

**Кыргызско-Российский Славянский университет  
им. Б.Н. Ельцина**

**Кафедра международной журналистики**

# **Заплутавшие в Сети**

Новая русская проза.  
Хрестоматия-учебник.  
Материалы.



Бишкек 2013

УДК 82.0 (075)

Рецензенты:

доктор политических наук Харченко В.А.  
канд. филол. наук доцент Слободянюк Н.Л.

Рекомендовано к изданию кафедрой международной журналистики и Советом факультета международных отношений КРСУ.

Идея профессора Кацева А.С.

Составители: Кацев А.С., Кацева Т.М.

Подбор материалов Литвиновой Е.И.  
Художественное оформление Абакумовой В.Ю.

Хрестоматия-учебник представляет современный литературный процесс – произведения, которые обрели «вторую жизнь» в Интернете, разнообразные по тематике, таланту авторов, воссозданию «болевых точек» современного общества.

## Предисловие

### И закинул старик в Сеть...

Так, перефразировав А.С. Пушкина, можно писать новую сказку о рыбаке и рыбке. И сюда же добавить уже из другого фантастического повествования: «Ловись, рыбка большая и маленькая...», этими словами сопроводив поиски новейшей российской литературы в Интернете.

Всемирная Сеть предоставляет разные материалы на любой вкус. Только необходимо этот вкус сформировать. Сегодня, не отходя от экрана монитора, можно приобщиться к мировой литературе, всемирному искусству и т.п.

Но на Интернете надо не паразитировать, «выдавая» статьи-рефераты и прочее, а относиться к нему как к умному собеседнику. Необходимо школьников и студентов научить вести исследовательский поиск источников, ссылаться на авторов, правильно цитировать и прочее. Все это должно входить в курс «Нравственные основы обращения с Интернетом», который начинать надо преподавать детям младшего возраста – по принципу «чужое брать нельзя!». Тогда и появится вместо стыдливого плутовства самоуважение.

Художественная литература сегодня разнообразна и по талантам авторов, и по воссозданию вечных тем. Сеть создает условия для многообразия подходов – чего кому угодно. Поэтому необходим своеобразный компас в бушующем, говоря метафорически, море книг.

### И закинул старик в Сеть...

Для того, чтобы наметить, хотя бы пунктиром, современный литературный процесс, мы обратились к сайту [flibusta.net](http://flibusta.net) - Флибуста (ассоциации ведут к флибустьерам-пиратам, к романтике литературных скитаний и благородных разбойников...). Из множества произведений в книгу вошли те, в которых необычное видение представило образную картину дня сегодняшнего с болью и состраданием, со смехом сквозь слезы, с самоиронией в трагикомическом контексте.

Герой этих произведений человек обыкновенный, из толпы, у которого оказывается своя насыщенная жизнь; в череде будней проистекает необыкновенное, когда сквозь серую обыденность вдруг предстает вся палитра красок.

Произведения отобраны, конечно же, хаотично, но они между собой незримо связаны воедино, представляя реалии современности. Эти книги не сетевая литература, а литература, получившая в Сети вторую, после публикации, жизнь, обретя намного более массовую аудиторию.

В хрестоматию-учебник, помимо текстов романов, включены биографии писателей, интервью, отзывы о предлагаемых книгах и рекомендательная библиография произведений публикуемых авторов. Студенты и школьники смогут не только познакомиться с теми или другими произведениями, но с удовольствием приобщиться к талантливому современно увиденному и представленному миру тех, кто живет бок о бок с читателем, кто страдает и радуется, как он, кто воплощает собой и в себе своеобразие личности нового XXI века.

Предлагаемые романы опровергают правила современного написания, когда Интернет пишется с заглавной буквы, а литература - со строчной. Здесь они доказывают справедливость их написания с большой буквы.

Как пел Б. Окуджава: «Каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит, как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить». Эти мысли относятся к писателям, попавшим во Всемирную Паутину и потому вошедшим в эту книгу, возникшую потому, что закинул старик в Сеть...

А.С. Кацев

## Содержание:

### *Аромиштам Марина*

КОГДА ОТДЫХАЮТ АНГЕЛЫ.....12

### *Абгарян Наринэ*

МАНЮНЯ .....120

МАНЮНЯ, ЮБИЛЕЙ БА И ПРОЧИЕ ТРЕВОЛНЕНИЯ (Заключение).....291

### *Волнистая Наталья*

РАССКАЗЫ НИ О ЧЕМ.....293

### *Муравьева Ирина*

ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА.....347

### *Колина Елена*

ПРО МЕНЯ.....510

### *Гергенредер Игорь*

ДАЙТЕ РУКУ КОРОЛЮ.....648

### *Геласимов Андрей*

РАХИЛЬ .....716

### *Катишонок Елена*

ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО СТАРУХОЙ .....874

### *Степнова Марина*

ЖЕНЩИНЫ ЛАЗАРЯ .....1084

## **Аромштам Марина Семеновна -**

известный журналист, талантливый педагог, автор популярных книг по воспитанию детей и мама двух сыновей.

Кандидат педагогических наук, девятнадцать лет проработала учителем начальных классов (в 1997 г. она стала финалистом Московского конкурса «Учитель года»).

С 2000 по 2007 г. курировала инновационные проекты дошкольных учреждений и учреждений для детей-сирот. Статьи Аромштам по проблемам педагогической реальности публиковалась во многих газетах и журналах. Много лет сотрудничает с такими СМИ, как «Мой ребенок», «Российская газета», «Крестьянка», «Учительская газета», «Дошкольное образование», «Школьный психолог», «Огонёк», Pshychologies.

С 2000 года Марина Аромштам является главным редактором газеты «Дошкольное образование» (ИД «Первое сентября»). С 1998 года вышло несколько ее книг по педагогике и методике обучения, а в 2007 в журнале «Кукумбер» были опубликованы первые художественные произведения Аромштам — рассказы из цикла «Мохнатый ребенок».

### **Произведения:**

Азбучные сказки. Начальный курс обучения грамоте детей от пяти лет.

Жена декабриста.

Когда отдыхают ангелы.

Мохнатый ребенок.

### **Отзывы, рецензии:**

*Смирнова Дашка*

Обожаю Аромштам. Жду, очень жду новых ее книг, а пока расскажу об этой.

Все ее 4 книги написаны совершенно в разных стилях, и за эту я бралась с большой осторожностью, побоявшись предыдущих рецензий.

Но начав читать, забыла обо всем. Автор включает читателя в эдакий тайный кружок, так что мы волей-неволей наблюдаем за всей историей изнутри. Вздрагиваем вместе с главной героиней, в некоторые моменты смущаемся, потому что автор создает ощущение, что мы словно подсматриваем в замочную скважину, а все происходящее настолько искреннее и личное, что хочется никому об этом не говорить. И все это принимается как свое, и оставляет сильнейшие впечатление.

Конечно, очень хочется хэппи-энда. Во всех книгах, которые принимаешь так близко к сердцу. Но если бы они всегда заканчивались хорошо, то такой реалистичности и не было бы.

Прекрасная книжка. Спасибо!

*Toystory*

Книга чудесная! Я начала её читать - и забыла обо всем. Карапуз мой бегал и ползал по квартире и устроил жуткий беспорядок, а я все читала и читала, не могла остановиться...Написано очень хорошим языком, написано свежо и проникновенно. Книга про начальную школу, про учительницу и её отношения с классом, но что важнее - книга про то, как важно найти свой особенный путь к детским сердцам, научить ребенка хорошему, не сфальшивив...Книга про безумную любовь к детям, про хороших взрослых, про то, что "счастье - это когда тебя понимают"...И теперь только один вопрос: откуда я вообще узнала, что существует эта книга, и даже умудрилась её купить???

*Мишина Ольга*

Хорошая добрая книга. Заказывала для дочки 8 лет. Но предварительно решила почитать сама, да так и дочитала до конца. А дочурке дам когда ей будет лет 11-12. Книга хороша так же для педагогов и просто думающих родителей.

### **Интервью:**

«ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ» Октябрь, 2010

Беседовала Алена Бондарева

Сначала я узнала о том, что Большую премию литературного конкурса «Заветная мечта» (2008) детское жюри присудило книге Марины Аромштам «Когда отдыхают ангелы» (издательство «КомпасГид»), потом за вечер прочла саму книгу. Особенно была поражена идеей о том, что, оказывается, когда ты делаешь добрые дела, твой ангел отдыхает и может помочь кому-нибудь еще. После этого вопрос, напрашиваться ли на интервью, для меня был решен...

**– А что Вы сами делаете для того, чтобы Ваш ангел отдыхал?**

– (Смеется.) Все-таки не стоит путать автора и человека, я была бы слишком амбициозной, если бы подняла руку к козырьку и сказала, будто все в порядке, ангелы отдыхают. Я, безусловно, стараюсь жить по каким-то нравственным принципам, но не знаю, достаточно ли их для того, чтобы у ангелов появилось свободное от меня время.

**– Как Вам пришла эта блестящая идея про ангелов?**

– Самое фантастическое, с чем сталкиваются читатели в моей книжке, на самом деле реально. В этой повести очень мало придуманного. Сюжет про ангелов взят из жизни, он был подарен мне в сложных обстоятельствах. Потом я действительно рассказывала эту историю своим ученикам, многие из которых стали прототипами моих персонажей. Они на нее как-то отреагировали. А потом забыли. И вспомнили о ней только после того, как прочитали эту книжку.

**– И у первоклассницы Алины, от лица которой идет повествование, был прототип?**

– Конечно. Но он самый условный, потому что у меня в классе было две ученицы, которые дали героине имя Алина. Эта линия наиболее придуманная.

**– А кому адресована Ваша книга? Хотя речь и идет о начальной школе, проблемы в тексте поднимаются серьезные. К тому же учительница Марсем иногда высказывается о детях так круто, что мало не покажется...**

– Конечно, книга не для маленьких. Условно роман написан для людей от 14 лет. А вообще – она для тех, кого тема школы, взаимоотношений детей и взрослых почему-то волнует.

**– Я правильно поняла, что Вы около 20 лет проработали в школе, и именно этот опыт лег в основу образа Марсем?**

– Да, следы профессиональной деформации скрыть трудно (смеется), хотя уже десять лет я занимаюсь журналистикой. Но от прошлого не могу отказаться, оно в меня въелось.

**– А вообще, детскому писателю обязательно быть педагогом?**

– Нет. Отечественная и западная литература доказывает, что к детскому писательству люди приходили из самых разных областей. Может быть, вопрос стоило поставить наоборот: насколько характерно для учителя открывать для себя писательскую стезю? В мировой литературе есть очень яркие имена, вышедшие из педагогической среды. Сельма Лагерлеф изначально писала учебник по географии, из него-то и вырос Нильс с дикими гусями. Сказка Лагерлеф стала неподражаемым образцом детской книги. Другой пример – немецкий писатель Михаэль Энде, придумавший «Бесконечную историю», был преподавателем. Японец Кэндзи Хайтани, чья книжка «Взгляд кролика» недавно вышла в издательстве «Самокат», также работал в школе. Он вообще учительствовал достаточно долго, поэтому очень рельефно нарисовал японскую школу. Сразу чувствуется: он знает школьные реалии не понаслышке. Ну, и о Макаренко нельзя не вспомнить. Он завещал написать на могильном камне «Писателю Макаренко».

**– А как Вы поняли, что пора переходить к писательству?**

– На этот вопрос я, наверное, не смогу ответить, хотя моя трудовая биография четко делится на три части. Я действительно очень долго была учителем. А внутри этой профессии, как известно, нужно выживать, чтобы она тебя не съела. Поэтому чем я только ни занималась: праздники детям устраивала, придумывала игры, ставила пьесы. Я написала свою первую заметку для школьной газеты, показала ее одному приятелю, а он работал в «Учительской газете». Заметка ему так понравилась, что он руками всплеснул и понес ее в редакцию. С этой заметки начался новый этап в моей жизни – вхождение в журналистику. Но параллельно я продолжала писать текстик и для детей – диктанты и маленькие пьески. Все хотела, чтобы моим ученикам было жить легче и интересней. И вот ведь какая странная история получилась: хотела научить своих учеников писать сочинения, в итоге научилась писать сама. В какой-то момент я начала записывать свои впечатления и переживания, связанные с детьми. Статьи стали публиковать, потом предложили мне вести педагогический журнал. Через год после того, как я стала писать активно, я выпустила класс и ушла из школы. Полтора года, правда, пришлось совмещать преподавание и журналистику. Надо было школьное дело до конца довести.

Переход в журналистику был очень сложным. Мои новые товарищи по цеху в большинстве своем окончили журфак. А про меня знали: я училка. Так меня и воспринимали. Я долго чувствовала свою «нелегитимность» и вроде бы ограниченность. Наверное, так оно и было, но я, мне кажется, быстро училась этому ремеслу.

Почему я стала писать художественные тексты, не знаю. Однажды сочинила рассказик и отправила в «Кукумбер» по электронной почте. Редактор «Кукумбера» Дина Крупская ответила: «Присылайте все, что у вас есть». А у меня больше ничего и не было. Мне даже совестно стало – что у меня ничего нет. И я начала торопиться. Стартовать в



качестве писателя в 47 лет, значит, постоянно ощущать дефицит времени. Два года прошло после первого рассказа – и я две книжки написала. «Когда отдыхают ангелы» – вторая. Первая еще не издана.

**– Кстати, в этом романе Вы пишете: «Чтение – вещь интимная, глубоко личная. Книга человеку друг, а не чиновник высшего ранга. И никто не имеет права принуждать меня читать». А как же в таком случае быть со школьной программой?**

– Эта беда, которую я пыталась решить, работая учительницей. Например, я не учила детей читать по Букварю. Я использовала специальную методику – так называемую образную методику обучения грамоте. Мы сочиняли вокруг каждой буквы сказки. Играли в игры со словами. Затем «открыли» классную библиотеку. Наступил момент, когда каждый ребенок должен был подойти к стеллажу и выбрать себе книгу, которую хотел бы читать. Ту, которая была ему по силам. И каждый наш день начинался с 20 минут свободного чтения самостоятельно выбранной книжки. Этот опыт я и описываю в «Ангелах...».

**– Кстати, почему Марсем читает детям именно «Короля Матиуша Первого» Януша Корчака?**

– Дети выбирают себе любимые книги, так же поступает и учительница. Эта книга для меня очень важна. Я, как и Марсем, читала ее своим ученикам перед расставанием, мне хотелось, чтоб эта повесть осталась с ними. Марсем хочет того же. Ведь «Король Матиуш Первый» – не только чудесная сказочная повесть. Это еще и детский «учебник» по психологии, социологии и праву. Вообще у меня есть три любимые детские книги: «Маугли» Киплинга, «Матиуш» Корчака и «Повелитель мух» Голдинга. Эти тексты адресованы разным возрастам. Киплинг – книжка для пяти–шестилетних детей, Корчак рассчитан на детей 10–12 лет, а Голдинг – на подростков. Я бы эти книги читала вслух всем детям.

**– И все-таки после всех метаний и рассуждений Марсем, что движет педагогом: любовь или нечто другое?**

– Мне кажется, слово «любовь» вообще следовало бы вычеркнуть из педагогического лексикона. Оно провоцирует на злоупотребление и мало что объясняет. Скорее – запутывает. Учителем, безусловно, движет энергия заблуждения. И эта профессия по своей сути глубоко трагическая, потому что педагог очень редко достигает поставленной цели. Чем выше и чище эта цель, тем она более невероятна. А другие и ставить не имеет смысла. Иными словами, педагог слишком часто ошибается и в своих прогнозах, и в своих методах. Единственное, что в какой-то мере искупает его ошибки, – честность взаимоотношений с детьми и серьезность, глубина переживаний. Об этом и я пыталась рассказать в своем романе.

**– Но не слишком ли сурово Марсем судит об учениках?**

– Она относится к ним честно. Думает о детях как об обычных людях, и поэтому ее отношения с ними сложны: ведь все ученики разные, каждый – со своим характером, со своей волей. Знаете, без чего учитель не может быть учителем? Без умения взаимодействовать с чужими волями. Любой молодой практикант, входящий в класс, чувствует себя дрессировщиком, попадающим в клетку с дикими зверями. Перед ним тридцать учеников, каждый со своей волей. И эти воли чаще всего желают чего-то своего, совсем не того, что нужно в данный момент учителю. Эти детские воли при любом

столкновении с волей взрослого начинают сопротивляться – всему «доброму, светлому и вечному», что желают им навязать. И вот если у учителя нет умения противостоять разнонаправленным детским волям, то такой человек педагогом быть не может. Учительский талант – это умение продавливать свою волю наименее травматичными средствами. И это, к сожалению, незаменимо в школьной системе.

**– А что должен делать писатель, чтобы дети его услышали и, более того, стали читать его книги?**

– Дело писателя – писать, он ни над кем не властен.

**– Но Вы же не будете отрицать того, что детская и взрослая литература – вещи разные?**

– Психологически точно угаданное попадание – вот что делает книгу – взрослую или детскую – «читаемой»: когда у читателя возникает возможность идентифицироваться с кем-то из героев, узнать в нем самого себя, свои проблемы, которые он сам не мог сформулировать и выговорить. Это и есть встреча писателя и читателя.

**– А с чем Вы связываете тот факт, что в русской литературе не принято говорить о детских проблемах? Вообще в России жанр подросткового романа как-то не приживается. У нас чаще с детьми сюсюкают...**

– Совершенно с этим не согласна. Ведь именно в русской литературе впервые появилась одиозная трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность». А теперь у нас существует целая обойма таких «детств» и «отрочеств», с помощью которых писатели пытались понять ребенка. Если литература когда-то и сюсюкала с детьми, то на стыке XIX и XX веков. Но этот тон соответствовал образу ребенка, доминирующему в общественном сознании. А в начале XX века возникла гигантская фигура Чуковского, совершившего перелом в детской литературе. Вот уж у кого нет никакого сюсюканья! Чуковский испытал сильное влияние английской литературы, а она лишена мягкости. Посмотрите: все его сказки построены на конфликтах, там всякое возможно – одни персонажи поедают других или убивают друг друга. Чего только стоит сложный образ Крокодила, проглотившего солнце! Что же касается отечественного подросткового романа, тут мне сложно судить. Когда я была маленькой, то читала Волкова, Софью Прокофьеву, Марка Твена, Дефо, Стивенсона. Потом, в четвертом классе, пришла очередь Дюма и Джека Лондона. А в седьмом классе я переключилась на Гюго, в котором завязла, и читала один его роман за другим. Поэтому отечественные школьные повести я миновала.

**– А как, по-вашему, выглядит сегодняшняя детская литература?**

– Мне трудно говорить обо всем спектре. В последнее время пытаюсь осмыслить современную литературу для маленьких. И тут стоит говорить именно о явлении детской книги: литература как таковая уступает место арт-продукту. Текст уже не существует (а порой и не имеет ценности) без картинок и книжной архитектуры. К тому же подобные проекты, в основном, переводные, наши издатели очень робко экспериментируют и сами мало что придумывают – как правило, привозят из-за рубежа готовые книжные макеты и тут их реализуют. Сегодня в почете коротенькие, даже рудиментарные тексты. Отчасти понятно, почему это происходит: книжка изо всех сил противостоит мощной визуальной среде. Другое дело, что упрощение текста и комиксные тенденции просматриваются уже и в книгах для детей более старшего возраста. И когда ты видишь такие странные вещи,

адресованные младшеклассникам и даже подросткам, охватывает тоска. Что же говорить о книгах для взрослых... На рынке уже существует философия в комиксах...

**– Считается, что люди не читают работы Канта и Фрейда, потому что это очень сложная литература. А если им все разъяснить и упростить, изобразить в виде комикса, глядишь, да и прочтут...**

– И поумнеют? Вряд ли. Схема по Канту или Фрейду – всего лишь схема. Она не равна содержанию их произведений. Тут какие-то другие задачи решаются. Какие – нужно подумать.

## КОГДА ОТДЫХАЮТ АНГЕЛЫ

Средневековые богословы всерьез обсуждали, сколько ангелов может поместиться на кончике иглы, но так и не пришли к единому решению. Про ангелов до сих пор ничего толком не известно.

Говорят, они умеют летать. И у них, наверное, есть крылья. Но есть ли у ангелов ноги? Можно ли сказать: «Ангелы сбились с ног»? Или надо говорить: «Ангелы сбились с крыльев»?

### Часть первая

#### 1

Все могло сложиться по-другому, если бы у меня был папа. Тогда мама могла бы с ним посоветоваться. Посоветовалась и не отдала бы меня учиться к Татьяне Владимировне. Татьяна Владимировна не сказала бы: «Встать! Руки за голову!» Дедушка не пришел бы в ужас и не стал бы настаивать на моем переводе в другую школу. И я не попала бы в класс к Марсём. Это Марсём рассказала нам об ангелах — о том, что они должны отдыхать. С тех пор прошло много лет. Но когда со мной что-нибудь случается — плохое или хорошее, — я об этом вспоминаю.



А если бы у меня был папа, я никогда бы об ангелах не узнала. Поэтому неизвестно, хорошо это или плохо, что его тогда не было.

Конечно, я знала: так не бывает, чтобы папы вообще не существовало. Где-нибудь — во времени или в пространстве — он обязательно есть. Должен быть. Хотя бы на Луне. Мой папа, например, жил в далекой, прекрасной Франции, на родине шампанского, великих революций и гениальных художников. Это немного ближе, чем на Луне. Но, с точки зрения практической жизни, родина художников от Луны ничем не отличается. Поэтому Наташка и пыталась меня убедить, что всякие там папы — просто рудименты и атавизмы.

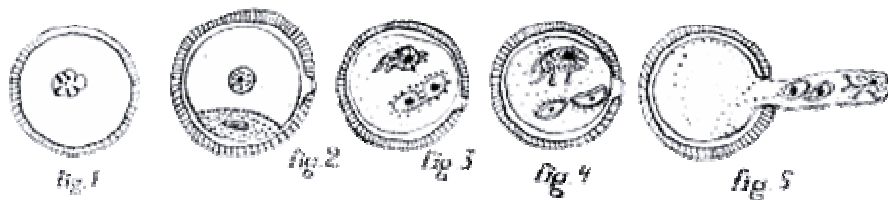
Слова «рудименты и атавизмы» Наташка произносила громко и отчетливо и не уставала объяснять их значение. Рудименты и атавизмы — это органы. Они требовались человеку, когда он был животным. А потом, в ходе эволюции, человек этими органами пользоваться перестал, и они за ненадобностью стали исчезать. Не сразу, конечно, а постепенно. Сначала ненужные органы становились очень маленькими, а потом и вовсе рассасывались. Чтобы ненужные органы исчезли, должно пройти много времени — иногда миллион лет. Но некоторым органам этого мало. Вот хвост у людей рассосался, и от него осталось две-три косточки — не больше. Это почти незаметно. А аппендикс и железы не рассосались. Пользы от них никакой, зато неприятностей они доставляют порядочно. Поэтому их вырезают. Не всем, конечно: это же больно. Но жить без аппендикса и желез можно. Даже очень хорошо без них жить, потому что они — рудименты и атавизмы.

Наташка с жестким удовольствием заносила в этот ряд еще и пап, хотя, на мой взгляд, их нельзя было без оговорок приравнивать к аппендиксу. Но она изо всех сил пыталась донести до моего сознания суть последних научных достижений: дети появляются на свет вовсе не по причине наличия папы, а из-за того, что сперматозоид сливается с яйцеклеткой. Раньше, может быть, папа и был необходим. Но только в те времена, когда люди были совсем дикими. А теперь все изменилось. Не понимают таких простых вещей

только хулиганы и какие-нибудь отсталые люди, которые и зубы-то чистят пальцем. Из рассказов Наташки получалось, будто яйцеклетки и сперматозоиды — автономные существа, перемещающиеся в пространстве загадочным образом. Наташка не опускалась до уточнения мелких деталей и в подтверждение своих слов ссылалась на авторитетный источник — детскую энциклопедию под названием «Откуда я появился?». Она открывала ее то на одной, то на другой странице и с видом человека, собаку съевшего в вопросах размножения, тыкала пальцем в рисунки. На одной картинке был нарисован большой ромбик с желтым шариком и белыми мешочками внутри, а вокруг — кружочки с хвостиками, похожие на головастиков. Под картинкой было написано: «Сперматозоиды вокруг яйцеклетки». На другой картинке один головастик прорывал контур ромбика, так что снаружи болтался только его хвостик. А на третьей вместо одного ромбика были нарисованы два, плотно прижатых друг к другу, и стояла подпись: «Клетка начинает делиться».

«Ну что? Видишь?» — торжествовала Наташка. По ее словам получалось, что главное — вовремя отловить этих головастиков и поместить в надежное место, в пробирку. А потом можно распоряжаться ими по своему усмотрению. И не нужно никаких пап. Никаких дурацких свадеб, которые пожирают огромные деньги, никакой стирки вонючих носков, всех этих ужасных и унижительных усилий, которые все равно кончаются разводом. А что такое развод для ребенка? Это как рана. Будто тебе вдруг взяли да что-нибудь отрезали. Пусть даже и какой-нибудь рудимент.

Тут я ничего не могла возразить. Наташке было виднее: ее родители в это время разводились. В результате она совсем перестала делать уроки и испытывала терпение Марсём, сочиняя истории про кота, писающего на тетрадки, про свое активное участие в дорожных происшествиях и про страшную занятость по выходным в связи с поездками к таинственной тете — источнику знаний про рудименты и атавизмы. На самом деле она часами сидела на диване, разглядывала энциклопедию и строила планы по поводу выведения собственных детей в пробирках с помощью последних достижений научного прогресса. Она хотела двух девочек и одного мальчика.



Желая обрести во мне единомышленника, Наташка прибегала еще к Одному аргументу: клеточный подход к проблеме избавлял от риска влюбиться без взаимности. Благодаря автономному существованию сперматозоидов и яйцеклеток, отсутствие взаимности никак не отражалось на возможности завести детей и жить счастливой семейной жизнью. Не то чтобы подобная перспектива очень меня радовала, но я тогда была влюблена в Егора и нуждалась в каком-нибудь утешении.

Правда, утешение это было слабым. Другое дело, если бы у меня был папа (пусть даже это и рудимент!), с которым я могла бы ходить за руку — туда, где делаются настоящие мужские дела. И там мы бы случайно встретили Егора с его папой, и наши папы подружились бы. Они бы по-мужски жали друг другу руки и что-нибудь делали вместе. А мы бы с Егором им помогали. И тоже сильно подружились. Стали бы как брат и сестра. И тогда Егор часто приходил бы ко мне в гости, и танцевал бы со мной на уроках хореографии. Он был бы всегда рядом. Почти всегда. А случись что-нибудь, он бы меня защитил. Или спас. Ведь он такой умный, такой сильный и хороший! И все девчонки умерли бы от зависти. А я бы не загордилась, нет. Ну, да! Вот я, а вот Егор. И мы всегда вместе. Что в этом такого особенного?

Но у меня не было папы, который мог обеспечить мне такую счастливую жизнь. Он жил на родине шампанского, во Франции. А это почти как на Луне. Иногда, мечтая о дружбе с Егором, я представляла, как папа в выходной день сидит в ресторане на самом высоком этаже Эйфелевой башни, с бокалом этого самого шампанского, а перед ним, как на ладони, весь город. И он Думает: «Как там моя девочка, моя дочь? Надо бы пригласить ее в гости, вместе с другом Егором, — показать им Париж с высоты птичьего полета».

Но мой папа, скорее всего, ничего такого не думал. Как объясняла мама, он вообще ни о чем не мог думать, кроме своих задач. Он был математиком. К слову «математик» прибавлялось еще определение — «сумасшедший». Или «гениальный». Выбор определения зависел от маминого настроения. У моего папы была не очень понятная работа — решать задачи. В школе на уроках мы решали задачи. Можно было решать задачу минут десять или пятнадцать. Иногда (очень-очень редко) задача совсем не решалась. Это означало: нужно у кого-нибудь спросить, что требуется делать. А потом потренироваться, чтобы в следующий раз справиться. Но решать задачи, которые до тебя никто не решал? Специально для этого приходите на работу?

Мама говорила, некоторые сложные задачи папа решал месяцами. А на одну ушел целый год — тот самый год, когда я должна была родиться. Далеким и прекрасным Францией для решения задачи требовался хороший математик. И мой папа вызвался быть этим математиком. К тому же папе нравилась Франция и все, что с ней связано. Поэтому из роддома нас с мамой забирал дедушка.

Дедушка надел белую рубашку — ту, в которой он когда-то ходил с бабушкой в театр, — побрызгал себя своей любимой туалетной водой и приехал за нами на машине. На медсестру, выдававшую детей, дедушка произвел самое приятное впечатление — таким веселым и молодым он выглядел. Медсестра с удовольствием приняла от него коробку конфет и вручила ему сверток с кружевными оборками, внутри которого была я. Малышке (то есть мне) повезло, сказала медсестра. И моей маме тоже. Не то что некоторым! За некоторыми вообще никто не приезжает. «А как же они?» — испугалась за них мама. — «Да никак. Так и идет. Или такси какое поймают!» Мама вздохнула, и мы поехали домой.

## 2

Французская задача, за которую взялся мой папа, не имела решения. Но в далекой Франции от этого не расстроились. В математике это допустимо — чтобы не было решения. Папе тут же дали решать другую задачу, и он так и не вернулся. Поэтому мы жили втроем: я, мама и дедушка. Мама тоже решала задачи. Не такие, как папа, а другие. Те, что «ставила перед ней жизнь». И решения к этим задачам обязательно должны были находиться. Как, например, решение с моим поступлением в первый класс.

Как я уже говорила, маме не с кем было посоветоваться — с кем-нибудь близким и дорогим. Обычно она советовалась с дедушкой, но дедушка в это время был в командировке. И мама советовалась с тетей Валей из соседнего подъезда. Вообще-то мама не собиралась с ней советоваться. Это получилось случайно. Тетя Валя встретила маму в магазине и спросила, записали меня уже в школу или нет. Мама сказала: пока нет. Они с дедушкой еще не решили, куда меня отдать. Они хотели бы найти для меня какую-нибудь хорошую учительницу. «Что значит — „хорошую“?» — тетя Валя потребовала от мамы объяснений, и мама растерялась.

Это не значит, будто она не знала. Она знала, ведь они с дедушкой много про это говорили. В таких разговорах дедушка всегда ссылаясь на бабушку. Бабушку я никогда не видела, она умерла еще до моего рождения. Но, по словам дедушки, моя бабушка была очень мудрым человеком. Не просто мудрым, а по-своему великим. И спорить с ее представлениями о жизни — дедушка показывал это всем своим видом — было бы просто нелепым. Особенно теперь, когда она умерла.

А бабушка считала: самое ценное в человеке — его внутренний стержень. Стержень — ось человеческой личности, как позвоночник — ось тела. Его нельзя увидеть или пощупать. Но отсутствие стержня в человеке сразу ощущается.

И если этот стержень был, а потом сломался, весь человек изнутри распадается на куски. С виду вроде бы ничего не изменилось, а на самом деле — сплошной человеческий лом.

Учительница должна бережно относиться к детским стержням, думали бабушка и дедушка. Только как это определить? Вот приходишь ты в школу. Там сидит какая-нибудь женщина и записывает детей в первый класс. Ты же не можешь прямо ее спросить: «Скажите, вы разбираетесь во внутренних стержнях?» Бабушка это понимала. И дедушка понимал. И он много раз рассказывал, как нашли учительницу для моей мамы.

Однажды в апреле, незадолго до того, как маме исполнилось семь лет, бабушка с дедушкой проходили через парк. Стояла прекрасная погода, в парке было полно людей. Весеннее солнышко выманило на улицу даже учительниц со школьниками. Учительницы стояли кучкой и беседовали, лениво отзываясь на редкие жалобы кишащих вокруг детей. А одна учительница была далеко от этой кучки — там, где дети прыгали через ручей, вырвавшийся из-под снега. Ручей весело булькал, довольный, что с ним играют и что вместе с детьми через него скачет учительница.

А ведь можно было забрызгать одежду! Или промочить ноги! Бабушка посмотрела на прыгающую учительницу и как-то сразу догадалась: эта в стержнях разбирается. (На дедушкином лице отражались смешанные чувства — нежность и полное признание удивительной бабушкиной прозорливости.) Она потихоньку отозвала в сторону одну девочку и спросила, в каком классе эта учительница будет работать на следующий год. Выяснилось — в первом. Бабушка тут же пошла в школу и записала к ней маму. Потому что бабушка была мудрой женщиной и по-своему великим человеком.

Прыгающая учительница учила маму целых четыре года. Мама была отличницей. А теперь вот стала замечательным специалистом. Да еще растит такую дочку! Тут дедушка гладил меня по голове.

Но когда пришло время записывать в первый класс меня, воспользоваться бабушкиным способом не удалось. Снег в ту зиму растаял рано, и лужи быстро высохли. Дедушка досадовал, вспоминал бабушку и предлагал маме творчески подойти к поставленной задаче. А потом уехал в командировку, отложив решение вопроса до своего возвращения.

Объяснить все это тете Вале из соседнего подъезда мама, конечно, не могла. Поэтому она замаялась и стала что-то бормотать про отношение к детям. Тетя Валя ответила сурово и категорично: «Глупости! Учительница должна давать крепкие знания. Вот что такое хорошая учительница! Потому что начальная школа — это фундамент».

Мама не стала уточнять, о каком фундаменте идет речь. Подразумевалось, будто это и так понятно. Упомянутый фундамент был таким же невидимым, как и стержень, и мама малодушно допустила, что фундамент в данный момент важнее. К тому же тетя Валя очень энергично на нее набросилась и стала убеждать, что они (мама и дедушка) зря тянут резину и что-то нелепое себе фантазируют. Ребенок должен идти в школу. Обязательно. Нечего терять год. Особенно, такому ребенку, как я. Этот ребенок тоже все время фантазирует. Она, тетя Валя, меня видела и знает, что говорит. Это фантазирование ни к чему хорошему не приведет. Человек весь изнутри истончается и становится что твое стекло. Чуть тронул — звенит, слегка заденешь — бьется. Так и получают люди, не приспособленные к жизни. А надо загрублять. Кожу ребенку наращивать. Для этого школа и нужна. И для знаний. Чтобы фундамент был. На месте моей мамы тетя Валя прямо сейчас побежала бы и записала меня к Татьяне Владимировне. Если там еще есть место. На прошлой неделе тетя Валя записывала в школу своего Ванюшку, и мест уже не было. Слова о фундаменте и моей неприспособленности к жизни произвели на маму сильное впечатление. Так как успокоить ее было некому, она, вернувшись из магазина,

сразу пошла к Татьяне Владимировне, и та записала меня к себе в класс. Двадцать седьмой по списку, хотя разрешалось записывать только двадцать пять человек. Татьяна Владимировна пошла маме навстречу. Узнала, что у бабушки своя фирма, что он может помочь с ремонтом класса, — и записала. Только поэтому. И мама обрадовалась, что задача решена.

Как оказалось, она ошиблась.

### 3

Мы с Татьяной Владимировной не сошлись характерами. Так иногда говорила мама, объясняя, почему папа живет во Франции. Это очень важное основание, чтобы не жить вместе, — разные характеры.

Вот и мы с Татьяной Владимировной не сошлись характерами. Правда, никто об этом не знал. Ни мама, ни бабушка, который по возвращении из командировки отправился платить за ремонт класса. Вернулся он молчаливый и озабоченный, поскольку при встрече с Татьяной Владимировной так и не смог понять, разбирается она в стержнях или нет. И мама тогда на него набросилась с упреками, что ему просто жалко денег, он хочет, чтобы я потеряла год и выросла без всякого фундамента, не приспособленная к жизни, что твое стекло.

Это было несправедливо. Бабушка не был против фундамента. И денег он никогда не жалел, если они шли «на благие цели». В прошлом году он перевел деньги на одежду для детей из детского дома, а потом купил холодильник в инвалидное общество.

Надо было посоветоваться, сказал бабушка. Вот бабушка всегда с ним советовалась, хотя была очень мудрой женщиной и по-своему великим человеком. Тут мама вспыхнула и заявила: ей не с кем советоваться. Тот, с кем она могла бы советоваться, решает во Франции свои дурацкие задачи. А потом заплакала — из-за задач и из-за учительницы. Ведь она беспокоилась! И бабушка утешал ее, как маленькую, и говорил, что, может быть, все еще будет хорошо. Бог с ним, с фундаментом. Если потребуется, он снова заплатит за ремонт. Только пусть мама не переживает. Ей нужны силы, чтобы воспитывать дочку, то есть меня.

И я пошла в класс к Татьяне Владимировне.

Существует такой закон: надо любить свою первую учительницу. Все дети подчиняются этому закону. И Татьяна Владимировна для этого закона очень подходила. Она была красивой, в модной кожаной юбке и с ногтями, выкрашенными маленькими оранжевыми квадратиками.

Но мне помешало несходство характеров.

Первого сентября Татьяна Владимировна привела нас в класс и велела сдать букеты. Первоклассники должны идти в школу с цветами. Это тоже закон. Поэтому первого сентября в школе бывает много цветов. Слишком много. От этого они даже теряют в своей красоте.

Мы сложили цветы на стол, а потом Татьяна Владимировна поставила их в ведра для мытья полов. Ведра были приготовлены заранее, и в них уже была налита вода. Только два букета она поставила на стол в вазы. На одном букете сидела большая пластмассовая божья коровка, а другой был украшен цветными бантиками. И еще один букет маленький, но в золотой обертке — примостился в баночке на подоконнике.

Сегодня очень важный день, сказала Татьяна Владимировна, начало нашей школьной жизни. Это праздник, поэтому мы будем рисовать цветы. И показала, что надо делать: нарисовала мелом на доске вазу, а в ней — стебелек. На стебельке в шахматном порядке аккуратно располагались листики, похожие на овалы, но с острыми носиками, а на конце стебелька — цветочная головка с круглой серединкой и ровненькими лепестками. Немного похоже на ромашку. Нужно было украсить вазу узором, сосчитать, сколько в ней цветов, а потом поднять руку и сказать Татьяне Владимировне.





Я посмотрела на доску и поняла, что не хочу так рисовать. Почему я должна рисовать вазу, если мой букет сидит в ведре?

Дедушка не стал покупать цветы в магазине, а привез их с дачи. Специально поехал и привез. Эти цветы вырастила мама. Она растила их все лето, заботливо пропалывая, подвязывая и нашептывая какие-то слова. Может быть, про то, как необходим мне фундамент для будущей жизни. Мама говорила, цветы на клумбе особенные, потому что пойдут со мной в первый класс.

Теперь мои особенные цветы сидели в ведре для мытья полов вместе с другими букетами, и им было тесно. Я чувствовала, как им тесно. И еще у моих цветов не было отдельных лепестков, как на рисунке у Татьяны Владимировны. Это были астры. Я знала, что «астра» означает «звезда», а лохматые головки напоминают пучки света, которые звезды выбрасывают в космос. У каждой звезды бесконечное множество лучей, их нельзя сосчитать. Про бесконечное множество мне рассказал дедушка. Он говорил, это самое главное в математике и вообще — в жизни.

Я решила нарисовать огромное ведро — такое большое, чтобы цветы не чувствовали тесноты. И у них должно было быть много-много лепестков — не три, не четыре, а бесконечное множество — будто это вспышки далеких звезд.

Прошло немного времени, и Татьяна Владимировна стала спрашивать: «Сколько цветов в вазе? Сколько лепестков у каждого цветка?» Все отвечали по очереди, и она всех хвалила. Я представляла, как она обрадуется, когда я скажу: «А у меня — бесконечное множество. Потому что сегодня праздник — первое сентября, а бесконечное множество — это самое важное!»

Татьяна Владимировна, однако, совсем не обрадовалась. Она сказала, нужно внимательно слушать задание. И ваза у меня какая-то странная, бесформенная. Как бочка. Впредь мне надо стараться быть аккуратной. Тогда все будет получаться красиво. А мы всё должны делать красиво, — она мельком взглянула на свои оранжевые ногти, — потому что теперь мы школьники. Но сегодня она мне прощает. Всю мою неаккуратность. Сегодня праздник, первое сентября, мы еще только начали учиться, и у нас все впереди.

Через некоторое время был еще один урок рисования. Мы рисовали неваляшку. Надо было начертить четыре круга — два больших и два маленьких — и сосчитать. А потом нарисовать неваляшке лицо и раскрасить. Я хорошо умела рисовать круги и быстро выполнила задание. Потом посмотрела на картинку и увидела, что нарисованной неваляшке очень одиноко. Она, неваляшка, не может ни лечь, ни сесть. Но должна же она что-то делать? А ей даже поговорить не с кем! И тогда я нарисовала рядом с первой неваляшкой еще двух — одну поменьше и одну побольше. Получилась целая семья. Самой большой неваляшке я нарисовала бороду, чтобы было видно: это неваляшка-дедушка, а рядом стоят неваляшка-мама и неваляшка-девочка. У каждой неваляшки по два больших круга и по два маленьких. Всего шесть больших и шесть маленьких. А можно еще по-другому: у одной неваляшки четыре кружочка, а у трех — в три раза больше. Три раза по четыре. Так научил меня считать дедушка. Но главное не это. Главное, что неваляшкам, когда их три, не скучно!

Татьяна Владимировна проходила по рядам и смотрела, кто что нарисовал. Она заглянула в мой альбом и ни о чем меня не спросила. Просто взяла и показала моих неваляшек другим ребятам.

— Какую ошибку допустила Алина? — спросила она с привычной ласковой строгостью, не допускающей возражений и не позволяющей перестать ее любить.

Все тут же подняли руки и стали трясти ими в воздухе. Татьяна Владимировна вызвала одного толстого мальчика, который весь вытянулся, как солдатик на параде, и громко сказал:

— Нам задавали нарисовать одну неваляшку, а она нарисовала трех!

И все сразу почувствовали, что я совершила что-то плохое. Какое-то глубоко неправильное дело.

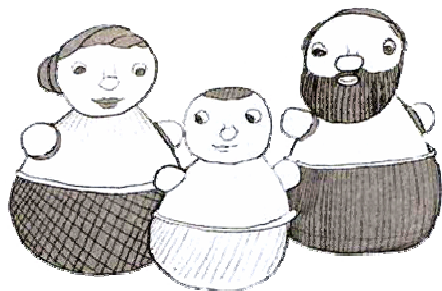
Татьяна Владимировна одобрительно кивнула мальчику — солдатике, позволила ему сесть, а потом поделилась с классом своими подозрениями:

— Алина, наверное, не умеет смотреть. Или у нее что-то с глазами. Какая-то болезнь. Вот это что такое?

Она взяла карандаш и показала на неваляшку-дедушку.

— Это борода, — сказала я тихо. По правилам я должна была что-то сказать.

— Вы слышали? — некоторое время Татьяна Владимировна одобрительно взирала на развеселившийся по команде класс, а потом призвала учеников к молчанию. — Вы где-нибудь видели неваляшку с бородой? И я не видела. Ни-ко-гда. Мы учимся в первом классе, и я пока не ставлю вам оценки. Но за эту бороду нужно было бы поставить двойку.



Татьяна Владимировна повернулась ко мне и, возвращая альбом, гулко его захлопнула:

— Переделай рисунок дома. Как требовалось. Завтра мне покажешь.

Потом она стала хвалить работы других детей. Все дети уверенно считали круги, и за это Татьяна Владимировна раздавала им картонные солнышки. Я тихонько поглаживала обложку альбома, чтобы неваляшки не расстраивались, и приговаривала: «А мне солнышки не нужны, а мне солнышки не нужны».

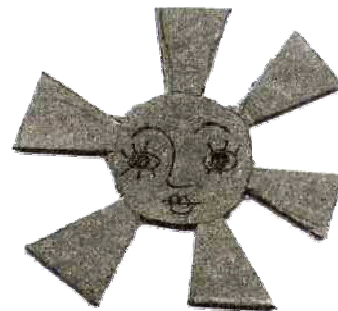
Дома я открыла альбом, положила перед собой картинку и некоторое время на нее смотрела. Неваляшки, казалось, не чувствовали обрушившегося на них позора, и та, которая с бородой, ласково смотрела на неваляшек поменьше. От этого глаза у нее чуть-чуть сдвинулись вправо, придавая лицу лукавое выражение. Я взяла карандаши и нарисовала дорожку, по которой неваляшечья семья тут же отправилась гулять. А вокруг нарисовала бабочек. Я тогда очень любила рисовать бабочек. Гораздо больше, чем цветы. Бабочки — это и есть цветы, как-то сказала мама. Только летающие.

Дедушка пришел с работы, и я показала ему картинку. Он долго и с удовольствием разглядывал неваляшек, жалел, что бабушка этого не видит, а потом попросил подарить ему рисунок. Дедушка повесит его над столом в кабинете. Если ему вдруг станет грустно, он посмотрит на картинку и сразу перестанет грустить.

Я вырвала листок из альбома и подарила дедушке. А другую неваляшку рисовать не стала, хотя мне было страшно: вдруг Татьяна Владимировна станет меня ругать? Но она не стала. Она забыла.

#### 4

Довольно быстро выяснилось: все ученики в классе делятся на неравные группы. Первая группа была маленькой. В нее входили умные дети — как тот мальчик-солдатик.



Татьяна Владимировна часто к ним обращалась, говорила, что он или она — «молодец». И солдатики получали больше всех картонных солнышек.

Все остальные были Татьяне Владимировне неинтересны и вызывали скуку. Скука была невероятно заразительной и оказалась бы невыносимой, если бы не наличие третьей группы. Ее представители никогда не получали солнышек. Время от времени Татьяна Владимировна о них вспоминала и говорила: «Так. Все молчат и работают самостоятельно. Я занимаюсь с дураками!» Дураки вставали рядом с партами, и Татьяна Владимировна с раздражением начинала требовать, чтобы они что-то повторили — еще и еще раз. В эти моменты она нехорошо возбуждалась, и в ее красивом лице чувствовалась недобрая, но живая жизнь.

Особое место в группе дураков занимал Колян. Татьяна Владимировна, обращаясь к нему, всегда несколько повышала голос: «Воротов! А ну — сядь! Ты успокоишься когда-нибудь? Ничего не соображаешь, так сиди тихо!» Но дети называли его Колян: «Колян сказал», «Колян кинул (уронил, толкнул, сделал)».

Колян был не просто дураком, от которого по непонятным причинам ускользали буквы и цифры в их подлинном значении. Колян был сумасшедшим. Не сильно, а чуть-чуть. Он не мог сидеть спокойно. Внутри у него работал какой-то бессмысленный механизм, заставлявший внезапно взмахивать руками, пищать или хрюкать. Татьяна Владимировна от этих незапланированных звуков выходила из себя. Я ее понимала — несмотря на несходство характеров. Мне тоже не нравилось, когда кто-то ни с того ни с сего начинает кукарекать. Но с этим ничего нельзя было поделать.

И это создавало некоторую непредсказуемость в нашей невыразительной школьной ЖИЗНИ.

Хотя Колян корчил рожи, на переменах орал и носился по классу, в целом он был безвредным существом. Пока не стащил зеркальце.

Зеркальце хранилось в учительской сумочке. Татьяна Владимировна время от времени извлекала его наружу, встряхивала прической, поворачивала голову то налево, то направо, убеждалась, что в мире существует красота, подавляла зевоту и начинала урок.

Вот это зеркальце и лопалось Коляну на глаза. Точнее, его ручка, торчавшая из небрежно прикрытой сумочки.

У Коляна не было злых намерений. Он просто проносился мимо во время перемены, демонстрируя чудеса увертливости и чудом не сшибая стоящие на пути парты. И его рука как-то сама собой ухватила зеркальце за торчащую ручку. Он и не думал скрываться и продолжал сумасшедший бег, размахивая зеркальцем, подсовывая его кому-нибудь под нос и восклицая: «Накось! Выкуси!»

Потом прозвенел звонок, и что-то в бедной голове Коляна защелкнуло. Он заметался по классу, отдаляясь от учительского стола и от сумочки, будто вдруг осознал исходящую от них угрозу. А потом и вовсе оказался в последних рядах и, пытаясь замести следы своего нечаянного преступления, куда-то это злополучное зеркальце сунул. Вошла учительница, мы вскочили и замерли рядом с партами. Татьяна Владимировна кивнула, класс дружно выдохнул и опустился за столы, а она привычным движением потянулась к сумочке. И не обнаружила там любимого зеркальца.

На лице Татьяны Владимировны вдруг вскипела жизнь, сделав его неузнаваемым, почти некрасивым. Все, даже любимцы-солдатики, почували неминуемую беду.

— Кто позволил лазить в мою сумку? — Татьяна Владимировна произнесла это с незнакомыми интонациями.

— Кто взял зеркало?

Кто-то из солдатиков тут же поднял руку.

— Ты?



— Нет, — испугался ответчик. — Это Колян взял. Я видел. Он с ним бегал.

— Не я, не я! — заканючил Колян, и было видно, что ему очень страшно.

— Где зеркало, я вас спрашиваю?

Колян все продолжал ныть и отнекиваться. Было видно: толку от него не добиться. И Татьяна Владимировна, все больше гневаясь, сменила тактику.

— Кто был в классе на перемене? Кто последним видел зеркало? А ну, встать!

Встали почти все. Только четыре девочки остались сидеть.

— По стойке смирно. Руки за голову! Будете так стоять, пока зеркало не найдется.

Мы встали и неуверенно заложили руки за голову. Как в кино про бандитов. Или про террористов. Террористы кладут руки за голову, когда их ловят. Или они сами велят кому-нибудь положить руки за голову.

И так мы все стояли перед Татьяной Владимировной, весь первый класс. Она сидела за столом, листала журнал и на нас не смотрела.

Одна маленькая девочка в последнем ряду вдруг подняла руку и начала ею трясти. Мы всегда так делали, чтобы нас спросили. А девочка не просто трясла рукой, она даже подпрыгивала от нетерпения.

— Я знаю, где оно! Я знаю! — громко зашептала девочка. Ребята стали переглядываться. И учительница, наконец, обратила на нее внимание:

— Я тебя слушаю!

— Вот оно, в ведре!

Все обернулись и посмотрели, куда указывала девочка. Среди бумаг в мусорной корзинке виднелась ручка зеркальца. Колян, осознав, что его разоблачили, страшно завыл и бросился вон из класса.

Татьяна Владимировна подошла к корзинке, извлекла оттуда зеркало, потом вернулась к столу, резко схватила сумочку и тоже быстро вышла. Дверь громко хлопнула. Хотя хлопнуть дверью было нельзя и учительница постоянно за это боролась. Но теперь она сама хлопнула дверью и ушла. А мы остались стоять «руки за голову». И не знали, что делать. Некоторые мальчишки стали опускать руки и садиться. А девочки все стояли: вдруг Татьяна Владимировна вернется? Но затем сели и они. И все стали разговаривать, шуметь.

Прозвенел звонок. Это был звонок с последнего урока. В обычные дни Татьяна Владимировна строила класс парами и вела вниз по лестнице, к родителям, ожидающим в вестибюле. А сейчас вести нас было некому. Поэтому мы еще немного посидели, а потом кто-то из мальчишек крикнул:

— А что, ребя! Я домой пошел!

Мальчишки похватили портфели и побежали из класса. А за ними — девочки. И так мы гурьбой скатились по лестнице, к удивленным родителям.

Меня ждал дедушка. Он спросил, что случилось. Я объяснила: Колян стащил у Татьяны Владимировны зеркальце, но не захотел признаться. Из-за Коляна нас всех наказали. Татьяна Владимировна сказала: «Встать, руки за голову!» Надо было стоять, пока зеркальце не найдется. «Но зеркальце нашлось?» — осторожно уточнил дедушка. Я сказала, да, нашлось. В мусорном ведре. Потому что Колян не хотел украсть. Он просто немного сумасшедший. Дедушка погладил меня по голове и больше не стал ни о чем спрашивать.

Ночью на меня напали. Кто-то сухой и жгучий, желавший лишить меня стержня. Враг был невидимый и прятался внутри. Он схватил стержень своей горячей рукой и

проталкивал в горло, чтобы проделать там дыру. В горле невыносимо скребло. Яне могла сама справиться с врагом и стала звать маму. Мама прибежала, и бабушка тоже пришел. Он сказал, «скорая» будет с минуты на минуту.

Потом появился человек в белом халате, с чемоданчиком. Он потыкал меня в живот холодной трубочкой, заглянул в горло и сделал укол.

— Классическая скарлатина, — спокойно подытожил врач. — Завтра вызывайте участкового. Это за два дня не проходит.

— Скарлатина? Откуда? — мамин вопрос звучал жалобно.

— Как откуда? Сидит за каждым углом. Особенно, в школе. Поджидает, кто мимо пройдет.

— Доктор, как вы думаете, — осторожно поинтересовался дедушка, — это заболевание не может возникать на нервной почве? Когда нервное напряжение является, так сказать, катализатором нарушения иммунитета?

— Скарлатина, батенька, — вирусная инфекция. Обычная детская болезнь, — отрезал доктор. — А про нервную почву — это не ко мне. Это к бабушкам из богадельни. У них там на этой почве чего только не бывает.

Дедушка попытался скрыть разочарование: он привык уважать профессионализм.

После укола жар меня отпустил, и я стала погружаться в спокойную дремоту уже опознанной болезни. «Скорая» уехала, дедушка и мама сидели в кухне, и до меня сквозь сон доносились их приглушенные голоса.

— Иметь в классе больного ребенка... У любого могут не выдержать нервы.

— Никто не спорит. Но надо быть разборчивой в средствах.

— Тридцать человек в классе. После Алины Татьяна взяла еще троих.

— И все сдали деньги на ремонт?

— Нельзя быть таким злопамятным. Она же не в карман эти деньги кладет. Они идут на детей.

— Охотно допускаю.

— Нет, ты не допускаешь. Ты все время хочешь обвинять!

— Ну что ты, Оленька! Я совсем не обвиняю. Просто я с самого начала чувствовал: это не для Алины. Бабушка бы ни за что...

— Хватит, хватит об этом. Ты можешь предложить что-нибудь другое? Что устроило бы тебя, меня, Алину? Не можешь! Так о чем речь?

— Алину нужно забрать из школы. Из этой школы. От этой учительницы.

— То есть ты хочешь, чтобы она нигде не училась. А только слушала байки про лужи и рисовала бородатых неваляшек.

— Бородатые неваляшки, Оленька, — это своего рода шедевр. Такие способности нужно беречь, а не загроублять, как рассуждает твоя приятельница из соседнего подъезда.

— Никакая она не приятельница. Просто знакомая.

— Хорошо. Эта знакомая из соседнего подъезда. А тот, кто загроубляет, совершает настоящую диверсию. Против человечества! Хочет лишить мир писателей и художников. А художники, Оленька, — это главный нерв человечества!

— Тебе сегодня уже объясняли, что нервная почва ценится только в богадельне и не может быть фундаментом будущей жизни! И с чего ты взял, что Алина станет художником? Из-за этих самых бородатых неваляшек? Да может, из нее получится математик!

— Хм... Математика — вершина человеческой фантазии. Это говорил еще Гильберт, про одного своего знакомого: «Он стал поэтом. Для математики у него не хватило воображения!»

— Папа! Ты неисправимый романтик! Твои взгляды на жизнь давно устарели. Но ты продолжаешь настаивать на своем. И всех нас вынуждаешь жить по-своему!

— Оленька, тебе не нравится, как мы живем?

— Пала, мне все нравится. Но что касается Алины...

— Я все-таки думаю, нужно еще поискать для нее учительницу.

— Ты с ума сошел! На дворе ноябрь.

— Ну, карантин по скарлатине, по этой детской болезни, имеющей вирусную основу, все равно кончится не раньше, чем через три недели. Так что у нас есть время.

— Времени нет!

— Кстати... Мне кажется, стоит посоветоваться с В.Г.

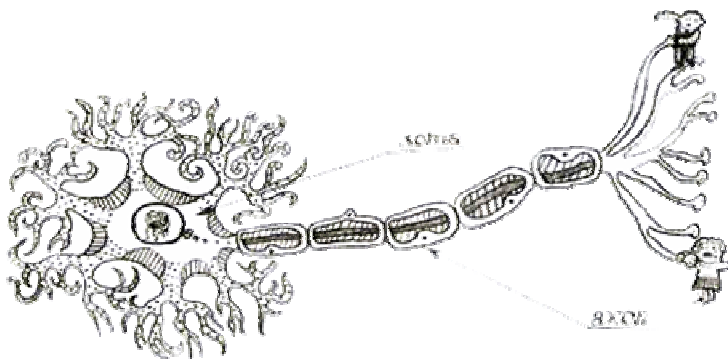
— С В.Г.? Что за новости? С каких это пор мы советуемся с ним по вопросам своей семейной жизни?

— Оленька! Ты пристрастна. В.Г. — профессионал. Профессионал с большой буквы. Он вращается в этой сфере.

Мама фыркнула — как всегда, когда дедушка упоминал В.Г. И я погрузилась в сон.

## 5

В.Г. был новым «дедушкиным приобретением». «Блистательный молодой человек, подающий надежды ученый», по образованию он был химиком. Но В.Г. пришлось выбирать между наукой и стержнем. Он предпочел стержень и пошел работать в школу. А подрабатывал переводами. Когда дедушке понадобилось перевести статьи о достижениях западной фармакологии, ему порекомендовали В.Г.



Добровольный отказ В.Г. от научной карьеры произвел на дедушку неизгладимое впечатление. Как и сам В.Г. — его внешний вид, манеры, стиль общения. И дедушка решил пригласить нового знакомого в гости.

Узнав об этом, дедушкина секретарша Клавдия Ивановна пришла в ужас. Да этот В.Г., он же просто чудовище! Клавдия Ивановна имела право так говорить. Она давно знала В.Г., и именно ее стараниями фирма получила нового переводчика. Но сейчас речь шла о другом — не о его профессиональных качествах, а об отношениях с женщинами. По словам Клавдии Ивановны, не было женщины, устоявшей против обаяния В.Г., за что он снискал себе дурную славу разрушителя женских судеб. Тут Клавдия Ивановна начинала загибать пальцы, пытаясь сосчитать его романы и увлечения. Только крупные! Для мелких не хватило бы суставных косточек. И то сказать: галантный, внимательный. Дамам ручку целует при встрече. Вы представляете? В наше время — целует ручку! Тут у кого хочешь крыша съедет. Даже она, Клавдия Ивановна, чуть было не попала в его сети. Тут секретарша с трудом подавляла вздох, выдававший то ли благодарность за чудесное

спасение, то ли сожаление об упущенных возможностях. А потом вновь принималась урезонивать дедушку: «Ау вас, Виктор Сергеевич, дочка. Молодая, хорошенькая! Да к тому же пережившая жизненную драму. К чему рисковать?»

Но дедушка предостережениям не внял и в подробности огнеопасного прошлого В.Г. вникать не пожелал. Правда, он считал нужным предупредить маму, что ожидаемый гость женщинам по преимуществу нравится. Ничего плохого дедушка в этом не видит. Ведь и бабушка когда-то так сильно влюбилась в дедушку, что готова была убежать из дома. Правда, это не понадобилось: бабушкины родители с готовностью дали согласие на их брак. Но мама все-таки должна иметь в виду некоторые... э-э-э... особенности взаимодействия В.Г. с женщинами.

«Не надо меня запугивать», — гордо заявила мама. У нее, у мамы, огромный опыт общения с разрушителями женских судеб. И если хорошенько подумать, что такое химия рядом с математикой, царицей наук?

Иными словами, В.Г. стал частым гостем у нас дома. Мама, чувствуя себя ответственной за все разрушенные женские судьбы, потребовала отменить ритуал целования ручки и встречала его гордым кивком головы, а в разговорах ни разу не согласилась с высказанным им мнением.

Сообщая дедушке о звонке В.Г., она ехидно называла его «твой юный друг»: «Звонил твой юный друг». Дедушка не возражал, поскольку находил в этой формуле «нечто диккенсовское и до некоторой степени соответствующее сути», и сам частенько обращался к В.Г. со словами «молодой человек».

С моей точки зрения, В.Г. не был таким уж молодым и тем более юным. В его рыжеватой бороде уже виднелись седые волоски, а виски были темные, рыжие и седые одновременно. «Трехцветный — как кот-красолов!» — посмеивалась мама.

Но в присутствии В.Г. она неузнаваемо менялась. Мама, сама того не сознавая, начинала светиться. И В.Г., очевидно, этим светом любовался — несмотря на то, что мама все время вредничала. Дедушка тоже посматривал на преображавшуюся маму с удовольствием, хотя она своими колкостями мешала ему вести дискуссию на какую-нибудь серьезную философскую тему.

Я любила посещения В.Г. В них было что-то от праздника. Он приносил с собой торт или виноград и цветы для мамы. Он внимательно смотрел и внимательно слушал. Он был нашим другом.

А потом, когда пришла скарлатина, рассказал про Марсём.

— Интересно, где он был раньше? — рассердилась мама. — Сидел и ждал, пока ребенок заболит?

Но мама напрасно обвиняла В.Г. в злонамеренном сокрытии информации. Он познакомился с Марсём совсем недавно, незадолго до событий вокруг зеркалаца.

## 6

Не только дедушка считал В.Г. хорошим учителем. Так считали многие другие. В.Г. даже отправили на специальный конкурс, где выбирали лучшего учителя. Там он изложил свою теорию «Химия — основа жизни» — и победил.

Нет ни одной сферы жизни, избежавшей влияния химии, сообщил В.Г. жюри. Химия касается даже того, что раньше считали областью сугубо духовной, — человеческих эмоций и чувств. Центр удовольствия в мозгу уже обнаружен. С помощью химических препаратов можно погрузить человека в состояние эйфории или наоборот — лишить его возможности испытывать удовольствие. Сегодня ученые делают смелые заявления, будто возможно обнаружить и центр любви. Экспериментально доказано: в организме влюбленного меняется скорость химических процессов, индекс кислотно-щелочного баланса и даже электрические показатели мозга. Следующий шаг — попробовать влиять

на некоторые мозговые участки, чтобы способствовать возникновению или уничтожению любви — этого самого неподвластного управлению чувства — сколь прекрасного, столь и разрушительного. Но пока наука находится в поиске, приходится надеяться на самих себя, на свою способность к саморегулированию. К химии же надо относиться с особым вниманием — как к орудию проникновения не только в тайны материи, но и в тайны человеческой души.

В довершение своей блистательной речи В.Г. устроил на демонстрационном столике, в непосредственной близости от жюри, маленький взрыв, искры которого заставили судей увидеть в новом свете и химию, и любовь, и самого докладчика. «Это наглядное доказательство силы химии, — заявил он. — И яркий образ для изображения любви!» Последнюю часть фразы В.Г. сопровождал демонстрацией горстки черной пыли, оставшейся после искрящегося пламени.

И жюри присудило ему первое место.

— Уверена, больше половины судей принадлежали к слабой половине, — заметила мама.

В.Г. усмехнулся. Его глаза превратились в щелочки, и теперь главными на лице оказались нос и борода: вот и Марсём, которая тоже была на конкурсе, попыталась связываться по этому поводу. Она подошла к В.Г. после выступления и спросила:

— Управляемый центр любви — это вроде электрического прибора? Захотел влюбиться — включил в розетку. Передумал — выключил. А вам это зачем? Боятесь воспламениться не вовремя?

В.Г. сказал, что не имел в виду конкретно себя и или кого-то другого. Это, так сказать, общий взгляд на вещи, аллегория.

— Если к вам это не относится, то и к детям относиться не может. В работе с детьми не бывает общего взгляда. Там все предельно конкретно. Вам не кажется?

Они немного поспорили. После чего В.Г. нашел, что Марсём — очень интересный человек и привлекательная женщина.

Эта часть рассказа маме не понравилась.

— И что же, этот интересный человек тоже занял какое-нибудь место?

В.Г. покачал головой.

— Привлекательная женщина проиграла? — мама не скрывала злорадства.

Не совсем так. Марсём показала очень смешное занятие — как она учит детей считать, используя пальцы. Не только рук, но и ног.

— Пальцы ног? Что за фокусы?

Человеческое тело, объясняла Марсём, — идеальные счеты. И было бы глупо не воспользоваться всеми его двойками, пятерками и десятками — этими замечательными подвижными пособиями, созданными природой. Тогда первые шаги в математике будут связаны с познанием самого себя.

— Математика — высокая наука. И ее отличительная особенность — в свободе от конкретного, — резко возразила мама.

— Но, Оленька, прежде чем достичь таких высот, человек должен был научиться считать мамонтов. И пещерных медведей. Каждого убитого медведя обозначали зубом и подвешивали на веревочке к шее охотника, — мягко возразил дедушка. — А потом считали: один охотник убил столько медведей, сколько пальцев на руках. А другой — еще больше. Чтобы счесть его медведей, и пальцы на ногах понадобятся.

— Вот-вот, — кивнул В.Г.

Он вместе с другими участниками изображал на занятии Марсём детей. Всем им было очень весело, и зрителям тоже было весело. А оператор, снимавший конкурс, так смеялся,



что камера прыгала у него в руках. И поначалу жюри отнеслось к Марсём благосклонно. Но потом все изменилось.

На следующий день конкурсанты должны были отвечать на вопросы. Марсём спросили, какие педагогические ценности являются для нее ориентиром в работе. Ей просто повезло! Так считали все участники конкурса. Нужно было сказать про любовь к детям и демократический стиль общения. Если детей любить и демократически с ними общаться, они вырастут активными гражданами и будут горячо любить свою родину.

Но Марсём вдруг замялась. Она сказала, это сложный вопрос. Она предпочла бы отвечать на другую тему.

Члены жюри выжидающе молчали. Марсём вздохнула. Вчера мы видели взрыв. Как символ разрушительных чувств. И всем это понравилось. Уж не знаю, почему. Но педагогические ценности взрываются точно так же. Они могут казаться бесспорными. На словах. А в жизни оборачиваются своей противоположностью. У Марсём такое было. И она не уверена, что в педагогике есть хоть что-нибудь незыблемое. Чем она руководствуется? Чем-то вроде рудиментов и атавизмов теорий, когда-то ее восхищавших. Не потому что они — истина. Просто она пока не имеет сил с ними расстаться.

(Вот когда я впервые услышала эти слова! А вовсе не от Наташки. Я даже думаю, что и Наташка узнала их от Марсём и потом приспособила к своей теории.)

Судьи неодобрительно переглянулись. Но жюри еще хранило воспоминания о смешном занятии Марсём, и белокурая дама из профсоюза — с очень полной грудью, красными губами и душевным выражением лица — попыталась протянуть ей руку помощи:

— Но, милочка, разве любовь к детям — не безусловная ценность?

Однако Марсём протянутую руку не приняла. Она отвергла эту руку с непонятым упрямством и даже с какой-то воинственностью.

Дети — не фарфоровые пупсики, сказала Марсём. Они люди. И, как люди, вызывают в нас самые разные чувства. Нам может быть с ними хорошо, а может быть — противно. Мы хотим, чтоб было интересно. В этом наша учительская корысть. Наш разумный эгоизм. Но вопросы профессионализма не связаны с любовью. Они ставятся по-другому: насколько наши теории губительны для нас самих?

— Я не поняла, милочка! — с удивлением прервала ее душевная представительница профсоюза. — Вы что же — не любите детей?

Тут Марсём утратила всякую артистичность и стала похожа на строптивного подростка:

— Вы хотите услышать от меня публичное признание в любви к детям? Я не понимаю, почему для педагогов эта двусмысленная процедура оказывается обязательной. Этот гибрид стриптиза и ханжества...

Мама не выдержала и рассмеялась.

— Ну и ну! Какая наглость! Как члены жюри такое пережили?

Эти слова произвели ужасное впечатление. С места поднялась одна очень важная дама, доктор наук. В ее толстой-претолстой диссертации рассказывалось о педагогических ценностях. Целых сто страниц про то, как учитель должен быть устроен изнутри, еще сто — что должно быть у него снаружи, и двести — как это совместить. От студентов, обучавшихся в педагогических институтах, требовалось содержание диссертации запомнить и четко на экзамене изложить. А если их усилия ни к чему не приводили, не было ни малейшего шанса получить диплом.

И вот доктор наук встала и сказала: ей не раз приходилось сталкиваться с людьми, не способными назвать педагогические ценности. Однако такую степень самонадеянного

цинизма она наблюдает впервые. Она не понимает, что Марсём, этот так называемый передовой учитель, делает на конкурсе. Ей и в класс-то нельзя позволять входить!

Все сочувственно закивали.

Но тут взял слово член жюри по фамилии Зубов. Зубов был маленький седенький старичок, тихонько дремавший в конце судейского стола. Первый раз он проснулся во время выступления В.Г. — но тут же опять уснул. Потом, открыл глаза, когда на сцене появилась одна очень юная учительница в короткой юбочке и в туфлях на высоченном каблуке, и еще — когда Марсём учила конкурсантов считать пальцы на ногах. Тогда он очень смеялся. Теперь Зубов опять сидел с открытыми глазами и с интересом наблюдал за происходящим.

Старичок был известным человеком, издателем. Он слыл оригиналом, всегда голосовал против общих решений или имел «особое мнение».

— Маргарита Семеновна, — Зубов обратился к Марсём с подчеркнутой учтивостью, от чего даму-доктора передернуло, — мы смотрели видеозаписи ваших уроков. Я заметил: у вас в классе висит портрет Януша Корчака. Вы ведь знаете его главный педагогический труд?

Марсём кивнула — будто бы слегка поклонилась Зубову в благодарность за отмеченную подробность.

— Не могли бы вы объяснить, почему вы повесили этот портрет над своим столом?

— Здесь? Сейчас? Нет. Думаю, не могу.

Старичка ответ почему-то удовлетворил. Он благосклонно кивнул, а дама-доктор пошла пятнами. Марсём отпустили и вызвали на сцену другого конкурсанта. Но зал еще некоторое время пребывал в оцепенении.

А потом, во время церемонии награждения, этот старичок, Зубов, поднялся на сцену, чтобы сообщить публике свое особое мнение — отличное от мнения жюри. Среди всех участников конкурса Зубов выделил одну учительницу. Это Марсём. Он отметил ее способность выдумывать. Но дело не только в этом. Дело в особой смелости — заглядывать внутрь себя. Крайне важное качество! И трудновыполнимое.

А вообще — он зато, чтобы педагоги как можно больше «какали».

Тут Зубов сделал небольшую паузу, наблюдая произведенный эффект, а потом разъяснил: прошло время, когда в педагогике требовалось задавать вопрос «Что?» — «Что надо делать?». Теперь настало время другого вопроса — вопроса «Как?» — «Как делать это „что“?».

Тут все поняли, что старичок — шутник и проказник, и облегченно рассмеялись. А он объявил, что награждает Марсём специальным призом: она поедет на практику в Швецию, в одну необычную школу. Зубов обнял и расцеловал Марсём и подарил ей цветы. Получилось, что она тоже победила.

Как и В.Г.

## 7

— Ну, и что мы имеем? — мама попыталась перевести разговор в рациональное русло. — В чем главное достоинство этой учительницы? В том, что она не желает говорить о любви к детям? На этом основании мы должны отдать к ней ребенка? Не вижу логики.

— Вы, Ольга Викторовна, как я вижу, вполне разделяете позицию основного состава жюри, — засмеялся В.Г.

Но дедушка не поддержал маму. Он, казалось, был очень заинтересован рассказом В.Г.

— Я думаю, в Маргарите Семеновне есть нечто, привлекательное и для вас, — В.Г. серьезно посмотрел на маму. — Ее, к примеру, очень волнует, что дети голодают.

— Я не понимаю, почему это должно меня привлекать. И какое отношение это имеет к нам, И Алине? Мы же не в Африке.

В.Г. секунду-другую пытался изображать скорбь, но не выдержал и громко рассмеялся. Ему доставляло явное удовольствие вводить маму в заблуждение: мамино лицо при этом утрачивало ехидное выражение и выглядело совершенно беззащитным.

— Маргарита считает, что дети голодают не только в Африке, но и в наших широтах. А именно — в школе. Им не хватает пищи для внутренней жизни. И эта внутренняя жизнь, точнее — пища для нее — и должна быть предметом педагогических забот.

— Ну, знаете ли...

В этот момент мама вспомнила про фундамент, о котором ее предупреждала тетя Валя. Она решительно не понимала, как Марсём может обеспечить мне приспособленность к будущей жизни. Но В.Г. уже перестал смеяться. Только напряженная внутренняя жизнь, считала Марсём, со временем превращает детей в писателей и художников, делает их нервами человечества.

Тут мама почти испуганно посмотрела на дедушку. Дедушка выглядел довольным.

— Папа, ты же не думаешь, что эта Маргарита Семеновна, эта Марсём разбирается в стержняках? И все эти разговоры о внутренней жизни, о голоде — косвенный признак?

— Нет, Оленька, это не косвенный признак, — дедушка ласково погладил маму по руке. — Не косвенный, милая. А прямой. Самый что ни на есть прямой.

И он глубоко и удовлетворенно вздохнул. Ведь бабушка в этот момент его обязательно поддержала бы. А она была по-своему великим человеком.

### Дневник Марсём

...Я повесила над столом портрет Корчака. Почему?

Потому что кончается на «у»!

По-моему, исчерпывающий ответ. Есть вещи, которые лучше не объяснять — прослывешь идиотом. Или получится какая-нибудь пошлятина — вроде любви к детям или ко всему человечеству.

И какая нелегкая занесла меня на этот конкурс? Директор уговорил? Оригинальный метод работы? Самобытное видение проблем?

Выпендриться захотелось — вот и согласилась. А раз согласилась, нужно было играть по правилам.

Выйти и сказать: «Корчак — это наше все! И скоро ученые откроют в мозгу центр демократии. Примешь пилюлю — и готовый демократ!»

Глядишь — и обскакала бы этого В.Г. сего химической любовью.

Так нет же! Не хватило смелости публично соврать.

А может, надо было честно сказать: я была молодая и глупая, когда повесила этот портрет. Я и правда тогда думала: вот они, мои ценности. И собиралась внедрять их в своем классе. Я мечтала, как приду искажу детям: берите! Веемое — ваше.

И в один прекрасный день действительно сказала: давайте придумаем законы и будем по этим законам жить. Детям предложение показалось интересным, и они быстро — за два урока — насочиняли много разных законов, записали их на альбомный листик и сдали мне, чтобы я вклеила листик в рамочку и повесила на самом видном месте.

Я, очень довольная, принесла итог коллективного труда домой и стала трудиться над рамочкой. Пока рамочка сохла, я решила вникнуть в содержание. И чем дальше читала, тем яснее понимала: дети, которых я пять лет учила прекрасному, доброму и вечному (с четырех годочков), — полные кретины. А может быть — даже наверняка — кретины не они, а их учительница. Уж она-то полная кретинка. Демократка. И надо что-то с этим делать. И с учительницей, и с этими законами.

Я решила: надо попробовать еще раз. По-другому. Я сказала: посмотрите на эту фотографию. Это Януш Корчак. Фашисты отправили его в лагерь смерти вместе с детьми, и там они погибли в газовых камерах. Но это случилось, когда началась война. А до войны Корчак писал книжки и придумывал для детей праздники. Он придумал праздник первого снега. В этот день в интернате отменялись уроки, и все — дети и взрослые — бежали на улицу играть в снежки.

Когда выпадет снег, мы тоже устроим такой праздник. Хотите?

Дети хотели. И я думала, что успешно внедряю ценности. Нужно только дождаться снега.

И снег наконец выпал.

Лучше бы он не выпадал. Это желание лишний раз подтверждает кретинизм учительницы: ведь в наших широтах оно невыполнимо. Но я тогда не один раз подумала: «Лучше бы он не выпадал!»

На следующий день после первого снега, этого снежного праздника демократии, когда все мы играли в снежки, и валялись, и промокли насквозь, и, казалось, были вполне счастливы, ко мне пришла Анина мама.

Она пришла перед уроками, хотя существовало правило — не портить мне перед рабочим днем демократическое настроение. Анина мама нарушила правило. Она была кроткой и тихой женщиной. Но в тот день пришла перед уроками. Ее попросила прийти Аня. Она была такая же, как мама. Такая нежная и чувствительная девочка. И еще — армянка. Точнее, ее родители были армянами. Этому обстоятельству я как-то не придавала значения.

У меня была своя классификация. Я делила родителей на три части: активные, сочувствующие и бесполезные, по степени их участия в классной жизни. А тут вдруг оказалось, можно по-другому. По этой не очень важной для меня классификации, Анины родители — армяне. И во время нашего демократического праздника, воплощаемого в жизнь корчаковского наследия, к Ане подбежал Кирюша. Такой красивый мальчик с большими голубыми глазами, такой большой младенец с brutальными чертами будущего самца. Подбежал и шепнул ей на ухо: «Твой отец — черножопый!» А потом засунул ей снежок за шиворот.

Снежок за шиворот — ерунда. Это, может быть, признак чувства. Даже наверняка — признак чувства. И даже «черножопого папу» при некоторых усилиях можно расценить подобным образом. Такое извращенное признание. У детей бывает. Но, чтобы это понять, нужно было начитаться Фрейда и других из его компании. А я тогда еще не начиталась. Я была молодая. Демократическая кретинка. Я читала Корчака. «Как любить детей». И эта «черножопость» — в свете праздника первого снега — совершенно выбила меня из колеи. Анина мама сказала, девочка весь вечер плакала, не хотела идти в школу. В мой демократический класс!

Я озверела. Я влетела в класс с перекошенным лицом и сказала очень тихо и страшно: «Посмотрите все на меня! На меня! Вы тут вчера законы сочиняли — кого за что наказывать. Но я — главное всех. Я главное вас и ваших законов. И в этом классе все будет так, как я решу. Если кто-нибудь из вас когда-нибудь обзовет кого-нибудь черножопым, или хачиком, или жидом — какие вы там еще слова знаете? — он вылетит из этого класса в два счета! Я понятно говорю?» Им было понятно. Им было понятно: я великая и могучая. И я страшно разгневана. А законы — это игра. Это не важно.

Мама Кирюши потом пришла ко мне извиняться. Он так испугался, что сам прислал ее в школу. Она сказала, Кирюша еще не понимает. Эти обзывательства — дурное влияние старших братьев. Разрыв-то у них — десять лет. Им, дуракам, уже по двадцать. А Кирюша — маленький. Поздний. И — она смутилась — случайный. Она им скажет, чтобы при

маленьком «не выразались». Обязательно скажет. Ведь они в семье меня очень ценят. Меня и мой класс, где детям хорошо. Им так весело, детям, в моем классе, так интересно!

После этого я по всем правилам, по всем жизненным показаниям должна была снять портрет Корчака со стены. Но я его не сняла. Почему? Потому что кончается на «у». На «у».

### *Другая запись*

Когда пишешь дневник, всегда немного хитришь. Вроде выводишь себя на чистую воду, а сам все представляешь, как кто-нибудь другой будет эти страницы полистывать да почитывать. Какой-нибудь педагог-потомок. И из-за этой мысли — о потомке — ты все время должен себя корректировать. Откроет потомок тетрадку, а там — «дети-кретины» и «учитель-кретин». Учитель еще ладно. Это допустимо. А вот чтобы детей так обзывать... Может создать неправильное представление о происходящем.

Так вот, объясняю для потомков: мой папа был учителем русского языка. Меня обучали говорить «скушно», «булошная» и «молошница». А еще «дощ». И что «кофе» — он.

Самым сильным выражением у нас в семье было слово «дура». Когда отец раздражался, он говорил: «Дура, сколько страниц „Мурзилки“ ты сегодня прочла? Ни одной? Что же ты хочешь от жизни?» Этого было достаточно, чтобы я, глотая слезы, приступала к самоусовершенствованию. И еще мама, которая тоже была педагог, учила меня не повышать голос: это вредно для детей и рассеивает их внимание. Они не вникают в смысл угрозы, они просто пугаются. Сильных звуков. Поэтому надо говорить спокойно.

Всегда говорить спокойно.



И я старалась не повышать в классе голос. Я никогда не обзывала детей.

Ни крестинами, ни кем. Потому что демократические ценности обязывают уважать чужую личность. А про себя я думала, что они — мои первые, мои неповторимые, мои незабываемые и незаменимые. Когда они сочинили эти идиотские законы, я просто впала в отчаяние. Что в мозгу нет центра демократии. Что нельзя послать туда электрический разряд и установить в классе свободу, равенство и братство. Еще я поняла, что плохо их учила. Раз они придумали такие законы. И такие наказания. А до этого я думала, что учу их хорошо. Что им вообще со мной хорошо. Но оказалось, им часто бывало плохо. Даже тогда, когда я думала, что им хорошо.

И я ничего не знаю об их внутренней жизни. О том, что у них внутри. А это важно. Это, может быть, самое главное — думать про их внутреннюю жизнь. Про то, как там все происходит. Может, центр демократии у них потому и не образовался: я начала не с того конца.

И я тогда дала себе слово: когда у меня будут «новые» дети, я начну по-другому. Я вообще стану другим человеком. Не буду больше такой правильной и нагруженной ценностями. Я буду учиться вглядываться — чтобы угадывать нечто про внутреннюю жизнь. Возможно, им чего-то не хватает для этой жизни. Взрослого внимания. Моего проникающего внимания. Ведь хорошее сочетание — «проникающее внимание»? Что-то вроде проникающего излучения, для которого телесное — не препятствие.

А Корчак пусть висит над столом. Пусть смотрит, как у меня получится. Как я буду играть с детьми в игры, которые придумаю для них сама. Точнее, которым позволю вырасти из нашей совместной жизни, из нашего трудного совместного бытия...

### *Другая запись*

Для потомков: специально переписала в тетрадку те самые законы, с которых все началось. В скобках — мои комментарии. Чтобы было понятней.

### ***Законы (написано зеленым, подчеркнуто красным)***

1. Нельзя драться, пока кто-либо заплачет. (В том смысле, что если уже кого-то довели до слез, то дальше нельзя.)
2. Нельзя бить по лицу.
3. Нельзя бить ногами.
4. Нельзя, чтобы мальчик бил девочку, и наоборот.
5. Нельзя ругаться в классе матом.
6. Нельзя опаздывать.
7. Нельзя пропускать дежурство.
8. Не брать чужие вещи без спроса. (Было «без спросу».)
9. Не мешать вести урок учительнице. (Видимо, мне.)
10. Нельзя пропускать занятия, не предупредив учительницу.
11. Нельзя оскорблять друг друга.

### ***Наказания (написано синим, подчеркнуто красным)***

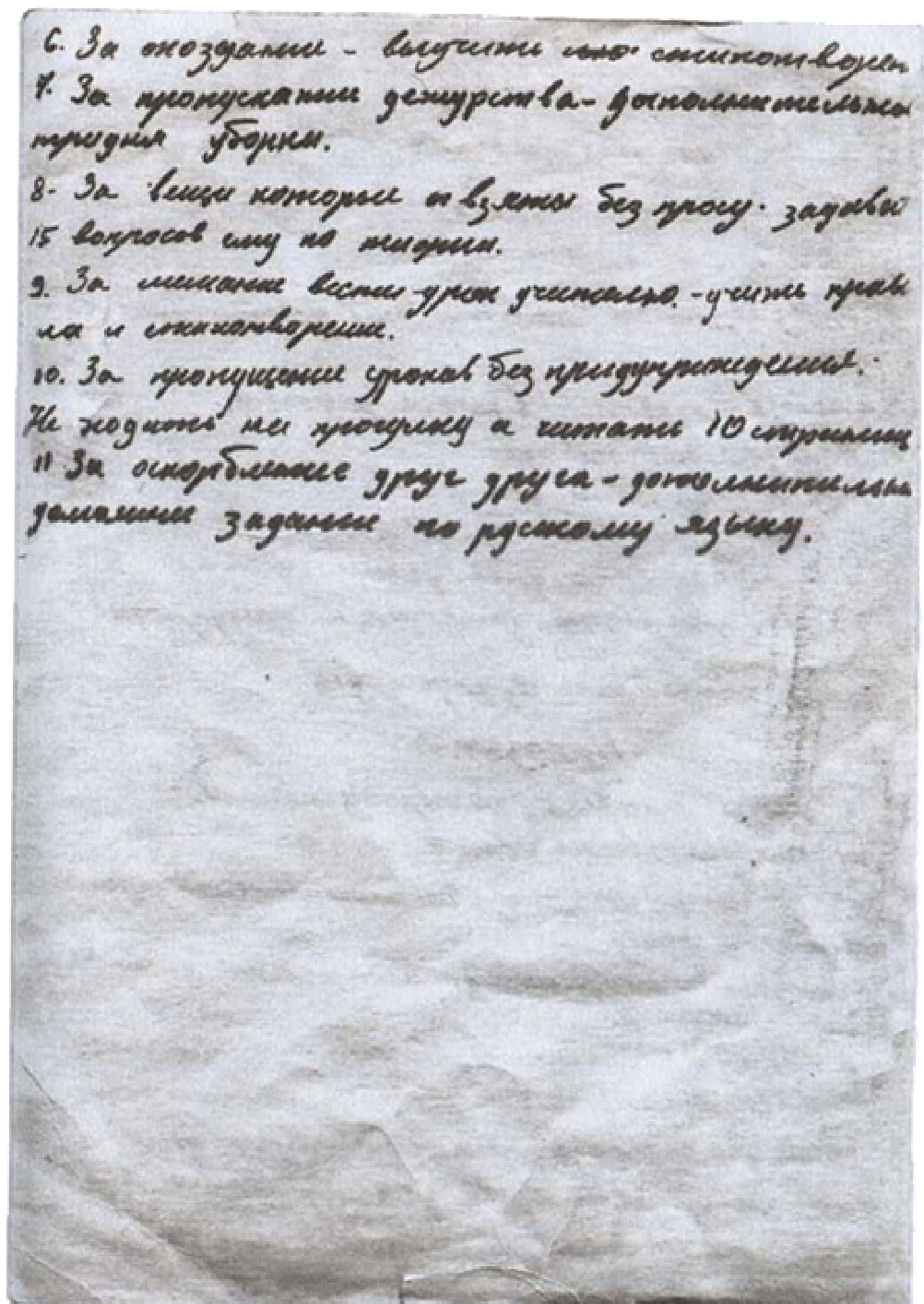
1. За слезы человека, которого побили, — Три дня поливать цветы. (Сохраняю пунктуацию.)
2. За побитие по лицу — Дополнительное задание по русскому языку.
3. За побитие ногами — дополнительное задание по математике. (Почему выше с большой буквы, а здесь — с маленькой, не знаю.)
4. За драку мальчика с девочкой они получают уборку в классе четыре дня.
5. За ругательство матом — три дня поливать цветы, два дня убираться в классе и еще дополнительное задание по русскому языку. (Это что — хуже, чем «побитие по лицу»?)
6. За опоздание — выучить стихотворение.
7. За пропускание дежурства — дополнительные три дня уборки.
8. За вещи, которые взяты без просу (народная этимология) — задавать 1 5 вопросов ему по теории. (Это я придумала такую форму опроса: кто-то выходит к доске, а остальные формулируют вопросы по прочитанному дома. Казалось — умно!)
9. За мешание вести урок учительнице — учить правила и стихотворение. (Особенно мне нравится последняя мера.)
10. За пропускание уроков без предупреждения не ходить на прогулку и читать десять страниц (Думаю, из своей «любимой» книги).
11. За оскорбление друг друга — дополнительное задание по русскому языку.

## Законы.

1. Нельзя драгаться, пока кто-либо занят.
2. Нельзя бить по лицу.
3. Нельзя бить по спине.
4. Нельзя, чтобы мальчик бил девочку или наоборот.
5. Нельзя ругаться в классе матом.
6. Нельзя опаздывать.
7. Нельзя пропускать занятия.
8. Не брать вещи чужие без спроса.
9. Не мешать вести урок учителям.
10. Нельзя пропускать занятия, не предупредив учителя.
11. Нельзя оскорблять в друг друга.

## Наказания.

1. За слезы человека, которого побили, — три дня полубата и вета.
2. За побитие по лицу — дополнительное задание по русскому языку.
3. За побитие по спине — дополнительное задание по математике.
4. За драку мальчика и девочкой или наоборот в классе — четыре дня.
5. За ругательство матом — три дня полубата и вета, два дня уборки в классе и еще дополнительное домашнее задание по русскому языку.



6. За опоздания - вычитается что-то сиюминутно.
7. За пропускания дежурства - дополнительно вычитается трудная работа.
8. За вещи которые и берутся без прощания - забирается 15 вопросов или по желанию.
9. За лишние вещи урон дежурства - вычитается графа и лишние вещи.
10. За пропускание уроков без предупреждения.
11. За подпортить или прогнать а читать 10 страниц.
12. За оскорбление друг друга - дополнительно вычитается задание по русскому языку.

## Часть вторая

### 8

Дедушка готовился к встрече с Марсём. В.Г. позвонил, что мы можем идти, он договорился. У Марсём в классе уже больше нет мест, но она попросит директора зачислить меня, потому что полностью доверяет характеристике В.Г. И как она может ему не доверять, когда он целует дамам ручки!

Мама поинтересовалась, целовал ли В.Г. ручку Марсём. В.Г. по телефону хмыкнул и на вопрос не ответил. Мама положила трубку и пошла гладить дедушке рубашку. Последний раз он надевал эту рубашку, когда забирал нас с мамой из роддома. Теперь, сказала мама, такие рубашки никто не носит. Никто, кроме дедушки. Но эту рубашку очень любила



бабушка, любила, как дедушка в этой рубашке выглядит, и дедушка хотел надеть ее на встречу с Марсём. Рубашка полностью себя оправдала, сказал он после встречи.

Я думаю, значение рубашки дедушка переоценивал. Он проникся симпатией к Марсём задолго до встречи. А Марсём почувствовала если не симпатию, то некоторое облегчение уже в тот момент, когда мы с дедушкой появились на школьном дворе: она смогла передоверить дедушке ноги, которые держала, и побежала за дворником.

Это были самые несчастные и одинокие ноги, которые мне когда-либо приходилось видеть. Они торчали из отдушины, ведущей в подвал. Вместе с ними торчала попка в «воротничке» из подола пальто. Все остальное, включая голову, застряло: двинуться назад, туда, где торчали ноги, оно не могло. Из отдушины доносились ясно различимые всхлипы.

— Нужно спуститься в подвал и протащить его в ту сторону, — объяснила Марсём дедушке. — Подержите, пожалуйста, ноги, пока я туда спущусь. А то проскользнет вниз раньше времени — костей не соберешь. Нужно ключи раздобыть. Эй, Егорка! Не плачь! Я уже бегу тебя спасать. Не плачь, говорю. Лучше пой что-нибудь. Мужественное. Споете с ним, ладно?

Дедушка кивнул, выражая готовность сделать все возможное во имя спасения обладателя ног, и Марсём убежала. До этого я ни разу не слышала, чтобы дедушка пел. И он, видимо, был не очень уверен в своих силах. Поэтому попытался несколько отсрочить данное обещание.

— Как же ты туда забрался? А?

Попка не отвечала. Но сведения не замедлили поступить от толпящейся вокруг публики, выразившей к происходящему самый живой интерес.

— Это Егор, — доверительно сообщила дедушке одна девочка. — Он был собака Баскервилли. Он выть умеет.

— Вчера по телику показывали, — стоявший рядом мальчик решил внести в сообщение ясность. — Про Шерлока Холмса. И там была собака. Такая страшная, огромная. В огнях на болоте.

— Она жила в темноте. И Егор полез в подвал. Выть оттуда. Чтобы всем страшнее было.

Получив исчерпывающую информацию о причинах возникшего в отдушине затора, дедушка решил перейти к выполнению порученного ему задания — к пению.

— Ну, Егор, давай с тобой споем. Мужественную песню для поднятия духа. Ты какие песни знаешь?

— Я знаю песню «Врагу не сдается наш гордый „Варяг“», — сказал мальчик, рассказавший про телик. — Ее моряки пели, когда тонули.

— И я знаю, — обрадовался дедушка поступившему предложению. — А Егор знает?

Всхлипывания стихли: видно, Егор прислушивался к разговору. Но судить о его готовности поддержать певческую инициативу было невозможно. Оставалось только надеяться. Поэтому дедушка обратился к автору идеи:

— Ну, давай, начинай!

— Наверх вы, товарищи, все по местам! — заговорил мальчик громким изменившимся голосом, ненатурально растягивая слова. Призыв «Наверх!» прозвучал актуально. Поэтому дедушка решил вступить, не откладывая.



— Последний парад наступа-а-ает! Врагу не сдается наш гордый «Варяг»! — протянул он, и, к моему удивлению, у него получилось даже лучше, чем у мальчика. — Помогайте! — кивнул дедушка, призывая окружающих принять участие в акции. И для верности повторил: — Врагу не сдается наш гордый «Варяг»!

Несколько голосов подхватили слова и отдельные окончания. Неожиданно из дырки донеслось приглушенное: «Пощады никто не желает!» Песня подействовала надлежащим образом. И вдохновленный дедушка закрепил достигнутый эффект повторением припева.

— Я те покажу, «пощады»! Не желает он! — голос доносился из глубины подвала и принадлежал сторожу-дворнику. Судя по всему, Марсём несвоевременно потревожила его покой. — Я те покажу, «не желает»!

Сторож-дворник решил спуститься в подвал вместе с Марсём, убедиться во всем своими глазами и по всей форме доложить начальству о безобразии. Как о каком? Вот об этом. Дети в подвал лазают! Отдушину заткнули. Режим проветривания нарушают. Хотят, чтобы сгнило все. Чтобы школа рухнула. Распустились! Сторож-дворник громыхнул Чемто — видимо, стремянкой. Затем ноги Егора в воротничке из подола пальто испытали потрясение: сторож-дворник хорошенько тряхнул Егора в целях безопасности школы, выволок из дыры, лишив нескольких пуговиц, и всучил Марсём.

— На, забирай своего хулигана! Ишь, пощады он не желает!

После чего, продолжая громыхать и ругаться, выпроводил их наверх.

Скоро Марсём привела Егора к нам. Он что-то размазывал под носом, но уже улыбался. И Марсём, казалось, дышала свободнее: с ее лица ушло напряженно-озабоченное выражение. Но нужно было что-то сказать. Что-нибудь порицающее, педагогическое. И она придумала: присела перед Егором, заглянула ему в лицо и спросила:

— Ты зачем туда полез? Захотел в пасть к дракону?

Егор взглянул на Марсём с любопытством. Все другие, топтавшиеся у отдушины, тоже смотрели с интересом и украдкой поглядывали на дыру. Было очевидно: в пасть к дракону хотят все — кто играл в собаку Баскервилей и кто не играл.

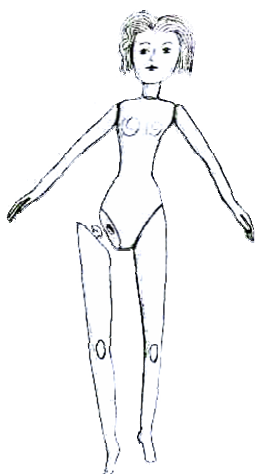
И Марсём поняла. Но решила не сразу. Прошел год, прежде чем она открыла для нас пасть дракона.

## 9

Жорик и Илюшка подобрали покинутую хозяйкой Барби, дождались, пока все уйдут гулять, спрятались в спальне и раздели беззащитную куклу догола. Они хихикали, уставившись на пластмассовые выпуклости, и по этому хихиканью были обнаружены. Сначала Марсём молчала — долго и тяжело. Это сразу заставило малолетних преступников потерять вкус к жизни. Потом она заговорила, глядя в пространство и не обращая ни к кому лично.

Больше всего, сказала Марсём, мне хочется раздобыть еще одну куклу. Такую же голую. На специальной веревочке. И повесить каждому из вас на шею. (Тут она посмотрела — сначала на Илюшку, а потом на Жорика.) Как орден за совершенные деяния. И чтобы все видели. А то ишь — спрятались! Кстати, чья это кукла? Большой Насти? Вот и поделились бы с ней своими открытиями. Но, сказала Марсём самым жестким голосом, я так не сделаю: мне жалко кукол. И стыдно перед Настей. А на вас смотреть противно. Она резко повернулась и ушла на улицу, к остальным, отыскала там Настю, велела ей привести свою куклу в порядок и убрать в шкаф.

Жору с Илюшкой Марсём не замечала два дня. В тот злополучный день они сами старались не попадаться ей на глаза. Но на следующее утро вступил в действие закон о любви к первой учительнице, и Илюшка уже не мог выдерживать подобной немилости. Он вертелся рядом с Марсём — неправдоподобно вежлив и неприлично послушен, все время поддакивал и заглядывал ей в лицо. Мрачный, как туча, Жорик следовал за ним по



пятам и был на редкость миролюбив. Так что классная общественность тут же заподозрила неладное.

— Ты чего? Совсем рехнулся? — выразила всеобщее недоумение Вера. — Тихий такой?

— Может, у него умер кто, — великодушно предположила Наташка.

— Да... Умер... Если хочешь знать, я сам чуть не умер, — заметил Жорик. — Марсём вчера знаешь как ругалась?

Илюшка вздохнул и согласно закивал:

— Хотела куклу на шею привязать.

— Какую куклу? Мою Барби, что ли? — Догадалась Настя и тут же дала волю возмущению: — Так это вы порвали ей платье? А я думаю: кто порвал? И еще под кровать бросили! Потом жалуются: «Марсём руга-а-алась!» — это Настя пропела противным тонким голоском. — Вот и правильно, что вас наказали.

— Правильно, правильно, — заворчал Жорик. Не надо кукол разбрасывать! — он внезапно решил использовать свое положение в воспитательных целях. — А то разбрасывают тут, а потом — платье порвали.

— А ты — не хватай, — резонно заметила Вера.

На этом публичный разбор инцидента был исчерпан.

Не успела забыться история с куклой, как поступили жалобы на Ромика: он пытался проникнуть на женскую половину туалета, проявив интерес к тому, что там, у девочек, в трусах. Обладательницы трусов сообщали об оскорблении своей чести плаксиво и настойчиво и в конце концов вывели Марсём из себя. Она велела всем девочкам достать трусики, в которых они ходили на уроки танцев, насыпала их щедрой кучкой перед Ромиком и пожелала ему приятного исследовательского труда.

Ромик выглядел совершенно уничтоженным. Он был маленьким, худеньким, по природе своей совершенно безвредным, и обожал играть с девочками. Уличенный в несправедных намерениях, Ромик даже не пытался сдерживаться — только горько плакал, вызывая у заложившей его публики сочувствие, граничащее с нежностью. Марсём не была исключением. Она сказала: «О, Господи!», смела со стола трусы, швырнула их в корзинку и велела большой Насте проводить Ромика в умывальник.

А через пару дней позвонил папа Егора. Егор принес домой машинку, сообщил он, немного волнуясь. Сначала Марсём не усмотрела в этом ничего криминального. Но, осторожно заметил Егоркин папа, его сын не мог толком объяснить, как машинка к нему попала. И, что особенно тревожно, это не первая машинка, пополнившая игрушечный автопарк Егора. За три дня до этого была другая. А на прошлой неделе к числу Егоровых игрушек был приобщен робот неизвестного происхождения. Из чего папа Егора заключил: он приносит чужие игрушки.

На следующий день машинки и робот вернулись в школу, и каждая вещь нашла своего хозяина. Попытки Егора убедить собравшихся, будто машинки испытывали чувство потерянности и чуть ли не сами просились в руки, не оправдали себя. И Марсём предложила похитителю общественное соглашение:

— Если в следующий раз тебе понравится какая-нибудь игрушка, шепни мне на ушко. Мы найдем хозяина и вместе с ним решим, на какое время ты можешь взять ее домой. Понятно?



Но игрушки уже потеряли в глазах Егора всякую ценность: ведь теперь их не надо было «спасать от одиночества». Зато у него появилось новое пристрастие: для починки карандашей в классе завели большую общественную точилку. Точилка немного походила на мясорубку, у которой нужно крутить ручку. Она совершенно очаровала Егора своей технической мощностью, и на некоторое время карандашный ремонт стал главным смыслом его жизни. Сначала починке подверглись Егоровские карандаши — сломанные и не очень. Они побывали в точилке-мясорубке по несколько раз, лежали в коробке, высунув наружу острые носики, и этим обстоятельством — полной готовностью к рисованию — расстраивали своего обладателя.

Егор стал ходить по классу, заглядывать в чужие пеналы и заботливо спрашивать: «Тебе не нужно карандаш поточить? Смотри: у этого кончик уже притупился». В процессе самоотверженного общественного служения он то и дело поглаживал точилку, приподнимал ее и слегка взвешивал в руках.

Марсём решила не дожидаться неприятностей.

— Хочешь взять точилку домой?

Егор не стал отпираться.

— Сегодня пятница. Берешь на выходные. Плюс понедельник. Договорились?

Егор повернулся к точилке, всунул в нее карандаш и стал медленно крутить ручку. Он сосредоточенно смотрел на вылезавшую из точилки стружку и морщил лоб.

— А в понедельник?

— Что — в понедельник?

— Как же тут в понедельник без точилки?

— Ну, как-нибудь справимся.

Егор еще сильнее наморщил лоб и продолжал разглядывать отходы производства.

Когда за Егором пришли, Марсём напомнила про точилку.

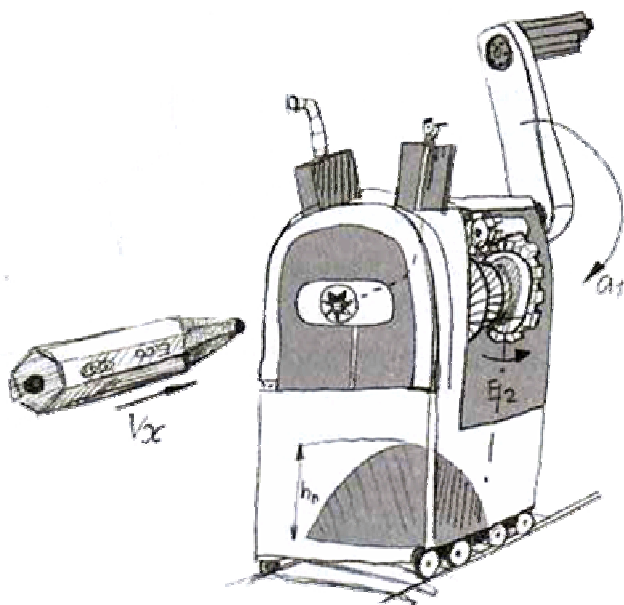
— Не, я раздумал, — сообщил вдруг Егор. — Раз вы догадались, что я хочу.

— Раздумал? Тебе что же — неинтересно стало? — у Марсём даже лицо вытянулось от удивления.

— Ну, да... И еще это... В понедельник всем надо будет. Папа взял Егора за руку, и они ушли. А точилка осталась.

Марсём некоторое время смотрела им вслед. Потом — на точилку, будто на ней были начертаны загадочные письмена. И, наконец, поняла: выхода нет. Придется послать нас в пасть дракона.

Вот тогда с холмов потянуло сыростью.



### Дневник Марсём

Они думают, я повесила портрет Корчака над столом, чтобы быть на него похожей. Упаси Господи! Для этого нужно по меньшей мере совершить подвиг, погибнуть в газовой камере.

— В детстве я читал ваши книжки, — говорит эсэсовский офицер Корчаку на вокзале, откуда уходит состав в концлагерь. — Эти книжки, они мне очень нравились. Поэтому вы можете быть свободны.

— А дети? — спрашивает Корчак.

— А дети поедут.

— Вы ошибаетесь: не все в мире негодяи, — замечает Корчак. И не уходит. Остается с детьми. А по дороге в Трешлинку, туда, где их ждут газовые камеры, рассказывает сказки.

Я не могу этого слышать. Я — против подвигов. Если жизнь нормальная, в ней не должно быть подвигов. Я где-то читала: в реальности человек не совершает подвигов. Он совершает поступки. Подвиг это или не подвиг, решают другие люди. Потомки. Те, кто может взглянуть на чужую смерть со стороны. Они думают: ах, как красиво этот человек умер! Настоящий герой!

А тот, кто действительно умирает, в газовой камере вместе с детьми, не совершает никакого подвига. Ему тоскливо, страшно, больно. Невыносимо ему. И он совсем не думает: как же красиво я тут помираю!

Я просто ненавижу подвиги.

#### *Другая запись*

Я просто ненавижу подвиги — когда их должны совершать взрослые, в реальной жизни. Но дети — это другое.

Дети думают: как хорошо было бы героически умереть — только ненадолго. Спрятаться за кустик, подсмотреть, как другие будут тобой восхищаться, а потом ожить — будто ни в чем не бывало.

А за это, за твою героическую смерть, за твой подвиг тебе многое простят — и телесную твою неустроенность, и темные твои желания.

Только неизвестно, где и как совершить этот подвиг. Нету места. Не предусмотрено. Потому что, если жизнь нормальная, человеческая, никто не будет испытывать тебя

смертью. Эта жизнь — про другое. Ноты еще этого не знаешь. Ты ничего не понимаешь. Тебе надо справиться с тем, что внутри.

И приходится придумывать: пройтись по карнизу восьмизэтажного дома, сыграть в «Догони — убей» с автомобилем — прямо на проезжей части.

Но это, как правило, не ценится. После этого отправляют на кладбище или в психушку. И нет ощущения подвига.

На моей памяти был только один случай, когда человек мелкого подросткового возраста сумел найти форму сильному чувству.

Пошел на бульвар, оборвал три клумбы тюльпанов протяженностью десять метров каждая и выложил под окном своей возлюбленной огромное красное сердце. Наутро все проснулись, посмотрели в окно, а там — сердце. И все сказали: «Ого! Вот это да! А парень-то не промах! Хоть и одиннадцать лет. Всерьез его зацепило. Молоде-е-ец! Ой, молоде-е-ец!»

Хотя, по большому счету, надо было этому молодцу хорошего ремня всыпать — за то, что испоганил клумбы и лишил бульвар общественно предназначенной красоты.

### *Другая запись*

Если бы у них была возможность совершить подвиг в выдуманной жизни! В выдуманной, но чтобы была почти как настоящая. Будто ты уснул, а потом очнулся — с подвигом внутри. И дальше бы с этим жил. А это героическое внутри — оно как гарантия человеческого качества, даже если жизнь вокруг будет нормальная и не потребует действительно умирать, задохнуться в газовой камере.

И вообще: быть может, если совершать подвиги в детстве, лотом, во взрослой жизни, ни от кого не потребует задохнуться. Не потребует подвиги, которые будут признаны после смерти...



## 10

Холмы были самым красивым местом лесопарка, гордостью микрорайона. Они были довольно далеко от школы, и все вместе, классом, мы туда еще не ходили. Но знали: есть холмы.

И вот теперь с холмов потянуло сыростью. Марсём стала зябнуть и кутаться в шаль, которую специально для этого принесла из дома. Она и нас призывала почувствовать, как комнату то и дело накрывают потоки непривычно холодного, колючего воздуха, проникающие в самое нутро: в холмах завелась Гниль.

«Гниль поражала быстрые прозрачные ручейки, и те застывали вонючими старицами, добиралась до веселых прудов с рыбками и стрекозами, и они обращались в гиблые болота. В мутной воде стоячих водоемов появились странные липкие кучки зеленоватых яиц. С виду они напоминали кладки лягушачьей икры, но были намного крупнее и плохо пахли. Когда весеннее солнце посетило холмы и лучи проникли сквозь тину, кожистая оболочка яиц стала лопаться, выпуская на свет странных человекообразных существ с бородавчатой шкурой и лягушачьими лапами. Это были жабастые — хладнокровные порождения болотистой Гнили. Они расплодились и заселили холмы. А теперь охотились за принцессами».

«Им нужны принцессы, — тихо повторила Марсём и внимательно на нас посмотрела. — Я, кажется, говорила: в конце года мы собирались устроить бал. Самый настоящий. Все девочки, как истинные принцессы, должны прийти во дворец в длинных платьях — точь-в-точь как у Золушки, когда она отправилась знакомиться с принцем...»

Оказывается, речь шла о нас. Конечно, о нас! «Принцессы придут на бал в красивых длинных платьях, — Марсём повторила эти слова с удовольствием. Но тут ей в голову пришла новая, более „правильная“ мысль. — А может быть, они придут на бал замарашками, в своей старой грязной одежде, и превратятся в принцесс прямо на глазах у всех». Марсём заметила, как изменились наши лица, и удовлетворенно подтвердила: «Да-да, прямо на глазах у всех. По взмаху волшебной палочки!» Она сделала паузу, позволив слушателям справиться с чувствами: «Но жабастые могут помешать. Не только балу. Им нужны принцессы. Чтобы обратить их в чудовищ».

Мне казалось, внутри меня все уже занято: там был стрежень, там жили разные мысли и чувства. А тут вдруг меня стал заполнять сладкий, тягучий страх, похожий на горький шоколад. Страх булькал от возбуждения, пускал пузырьки, делал меня легкой и горячей. Если бы я могла подпрыгнуть, то взлетела бы к потолку.

Принцессы, бал, жабастые... Наташка тоже не могла сдерживаться — схватила меня за руку и сжала изо всех сил: «О-о-о!»

«Жабастые давно бы расправились с принцессами. Если бы не принцы, — теперь Марсём смотрела на мальчишек. — Принцы им очень мешают. Ведь они никогда не позволят, — она снова сделала паузу, — не позволят посадить кого-нибудь в клетку».

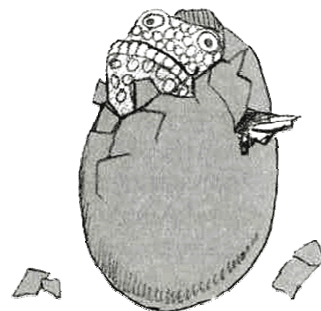
Вершители «невинных гнусностей» исчезли. Благородные принцы застыли от напряжения, сживаясь с уготованной им миссией.

«Принцы отправятся в путешествие, в настоящее рыцарское приключение — чтобы сокрушить Черного Дрэгона, повелителя жабастых».

«Говорят, Черный Дрэгон тоже появился на свет из яйца. Только никто этого не видел. Никто, кроме Беспечной птицы. Беспечная птица сидела на ветвях ивы, росшей у самого болота. Когда-то дерево склонялось над прудом, чтобы любоваться на свое отражение в чистой воде. И птица прилетала сюда за тем же. Она смотрелась в воду и время от времени выражала свое мнение по поводу увиденного: „Уй-ти! Уй-ти!“

Потом отравленная гнилью вода позеленела, заросла тиной и перестала радовать глаз отраженьями деревьев и птиц. Но ива уже не могла разогнуться. А Беспечная птица была слишком беспечной, чтобы менять привычки. Она продолжала смотреть на то, что можно было видеть, — на зеленую тину, и время от времени восклицала: „Фьють-фьють!“ Потому что „Уй-ти!“ теперь не годилось.

И вот она увидела, как из кожистого яйца, вызревшего в зарослях камыша, выбрался странный малыш. Он был самым темным и самым бородавчатым из всех жабастых, когда-либо появлявшихся на свет. И птица не могла сдержать удивления: „Уй-ти! Уй-ти!“ Маленький жабастик оглянулся вокруг, ухватился за тростниковые метелочки и позвал: „Мама! Мама!“ Но мамы не было. Вокруг вообще никого не было. Кроме Беспечной птицы, которая тут же закричала: „Мама — фьють! Мама — фьють!“ Что она хотела этим сказать, никто в точности не знает: птица была Беспечной и не отвечала за свои слова. Малыш, услышав пронзительное „Мама — фьють!“, горько расплакался. А птица все продолжала кричать. И от этих криков горечь жабенка стала свиваться в тугую жгут и биться о стенки сердца, пытаясь вырваться наружу. Но сердечный мешок жабастых достаточно прочен: он выдержал удары жгута. Горечь так и осталась внутри, отравляя жабенку вкус к жизни, а сердце изнутри покрылось мозолями, затвердело и потеряло всякую



чувствительность.

Он сделался молчаливым и подозрительным. Ядовитые болотные пары пропитали его злобой. И скоро злоба заполнила его до краев — ведь он был пуст: ни одно доброе чувство не сумело в нем угнездиться. Жабенок рос под крики Беспечной птицы, и вместе с ним росла его злоба. Редкий цвет бородавчатой кожи сделал его заметным, безжалостность вселила в окружающих страх и подарила над ними власть. Он получил имя — Черный Дрэгон, и это имя заставляло трепетать.

У Дрэгона не было никаких желаний, кроме безграничной жажды власти. Лишь одно пристрастие преследовало его: он любил слушать детский плач. Быть может, этот плач странным образом напоминал ему первые часы жизни — когда сердце его еще было мягким и он думал найти свою маму.

Чужой плач стал для Дрэгона главной пищей естества, и он научился его множить.

Дрэгон заставил духов болота раскрыть свои магические тайны и обучить жабастых секретам магии и колдовства, чтобы превращать людей в страшилищ. Для этой цели годились не все люди, а только принцессы — причастные сказочной красоте, обожаемые детьми.

Принцесс сажали в клетки и поили специальными зельями. Через некоторое время они покрывались дикой черной шерстью, у них отрастали желтые зубы — такие длинные, что торчали изо рта, — и кривые когти, вонзающиеся в ладони. Принцессы превращались в чудовищ, послушных злой воле, и их посылали пугать маленьких детей — чтобы те плохо спали по ночам и плакали от страха».

Как плакал сам Дрэгон, когда был маленький: «Мама — фьють! Мама — фьють!»

«Но наши принцы, — в голосе Марсём звучали торжественные нотки, — не допустят этого. Они вступят с Дрэгоном в битву, сразятся с ним и победят. Они совершат подвиг подвигов!»

Марсём перевела дыхание и, придавая грядущим событиям несколько больше неопределенности, уточнила: «Постараются совершить».

Принцессы тоже отправятся в путешествие. Это очень опасно, но необходимо: они станут хранительницами жизней принцев.



## 11

Жизни принцев мы плели на уроках труда — цветные шнурки, шесть боевых и один неразменный. Почти как мойры, заметила Марсём.

Во времена древних греков мойры были богинями судьбы. Они сидели высоко на горе, суровые и беспристрастные, и пряли нити человеческих жизней. «Знаете, как выглядит пряденая жизнь?» — спросила Марсём.

В юности они с друзьями ходили в поход, в Карелию. Пришли в деревню и попросились на ночлег в один дом. Там жила бабушка. Парни из туристской группы накололи ей много дров, на всю зиму. За это бабушка истопила для них баню. А потом отвела Марсём в маленькую летнюю кухню. Там была дровяная плита. Бабушка взяла «разжошку» и затопила печку. Пока печка чадила, а вода закипала, Марсём расспрашивала бабушку про жизнь. Бабушка сказала, что прядет помаленьку. Раньше пряла много, а теперь помаленьку. Марсём попросила показать, как это — прясть? Бабушка вынесла деревянную прялку — совсем простую, ручную, вырезанную из цельного корня елки. Нацепила на гребень клоч собачьей шерсти, послонявила пальцы и стала вытягивать из шерсти маленькие пучочки, скручивая их в нитку. Бабушка была



очень старая, и Марсём подумала: она похожа на мойру. А нитка состоит из крошечных узелков. Узелки — как события жизни, из которых складывается судьба.

Мы плели, почти как мойры. Только не беспристрастно. Мы должны были наделить узелки волшебной силой, вплести в нити свои надежды и заветные чаянья. Это совсем маленькое колдовство, говорила Марсём. Так поступали женщины во все времена, когда собирали мужчин в дальние странствия. И мы должны суметь.

Мне нравилось плести с умыслом. Косички получались красивыми, тугими и ровными. Марсём, проходя по рядам, даже остановилась, чтобы полюбоваться на них. Но, быть может, в них пробралось какое-то неправильное чаяние? То, что сыграло с их обладателем злую шутку? Как с верным и благородным рыцарем Тристаном, выпившим чужой любовный напиток. Как с верным и благородным рыцарем Ланцелотом, охранявшим молодую жену короля.

Если бы пришел некто и спросил, кому желаю я победы в бою с Дрэгоном, кому желаю совершить подвиг подвигов, я, конечно же, сказала бы: «Всем нашим принцам желаю совершить подвиг! И для этого плету цветные шнурки жизни! И вкладываю в них свои чаянья и надежды». — «Нет, — возразил бы некто. — Ты должна назвать только одно имя!» Что бы я ответила?

## 12

Принцы сами выберут себе хранительниц, сказала Марсём. Это их привилегия, старый рыцарский закон: рыцарь выбирает даму, которой служит и которую защищает.

— Тебе хорошо! Ты Петькины жизни хранить будешь! — проворчала Наташка.

Она боялась, что ее не выберут. А я совсем не боялась. Я знала, как будет. Но и Наташка зря волновалась. У нас в классе мальчиков было меньше, чем девочек. А в защитниках, сказала Марсём, нуждаются все. И хранительницами тоже все хотят быть. Поэтому, кроме меня, Петя выбрал еще и Наташку. Сначала — меня, а потом — ее. Он не мог поступить иначе. Он всегда поступал правильно.

Дедушка возил меня в школу на машине. Как-то, проезжая мимо троллейбусной остановки, мы увидели Петю с Наташкой и Петину бабушку. Дедушка притормозил, открыл дверцу и пригласил их сесть в машину. С тех пор он все время так делал. А иногда — очень редко, когда дедушка уезжал в командировку, — нас в школу провожала Петина бабушка.

Петя был кругленький, пухлый и задумчивый. Никто не знал, о чем он думает: он мало говорил. Зато любил слушать — меня, Наташку, свою бабушку. Но меня — больше всего. Петина бабушка считала, я хорошо влияю на Петю. Она специально готовила пирожки и приглашала меня в гости. Обычно вместе со мной заявлялась Наташка. Это было почти неизбежно: Наташка жила в том же доме и считалась моей лучшей подругой. А пирожки ей нужны были гораздо больше, чем мне. Из-за развода Наташкина мама была «вся на нервах», и еда дома стала готовиться с перебоями.

Я приходила к Пете в гости (с Наташкой и без Наташки), ела пирожки, смотрела мультики и играла в Петины игрушки, но я не могу сказать, в чем именно заключалось мое благотворное влияние на Петю. Наверное, я просто боюсь сказать. До сих пор боюсь.

Очень скоро после того, как дедушка первый раз посадил в машину Петю с Наташкой и Петину бабушку, у Пети дома случилось несчастье. Его мама заболела. Она заболела не просто так, а будучи беременной. Врачи очень беспокоились не только за ее здоровье, но даже за жизнь. Петина мама должна была все время ходить в маске, и ей нельзя было общаться с теми, у кого насморк: даже самый маленький насморк мог запросто ее убить. А у Пети насморк был очень часто, и не маленький. И так получилось, что он стал опасен для своей мамы. Поэтому Петин папа увез маму жить куда-то за город и только иногда приезжал за сыном, чтобы отвезти повидаться с мамой, — когда у Пети не было насморка. Папа сказал, он заработает много денег, поедет за границу и достанет нужное лекарство

— чтобы мама поправилась. Мама поправится — обязательно — и родит Пете сестричку. Но пока Петя должен терпеть и жить с бабушкой. Петя должен быть мужественным, не капризничать и хорошо учиться.

И Петя терпел и жил с бабушкой. А Петин папа очень много работал. Больше, чем по силам нормальному человеку. Потому что, объясняла Петина бабушка дедушке, лекарство для мамы стоило баснословных денег. Но они, конечно же, справятся. Потому что — слава Богу! — есть Марсём, и вот — Алиночка.

Петя старался следовать папиным наставлениям. Но у него не очень получалось хорошо учиться. Он часто бывал рассеянным, быстро уставал и рвался на перемену. Однако Марсём была его первой учительницей, он любил ее — в полном соответствии с законом, и это ему немного помогало. А Марсём знала про его маму и всегда сажала около себя. Часть уроков проходила на ковре. Мы сидели, скрестив ноги по-турецки, иногда лежали на животах. А Марсём рассказывала — про имена, про греков или про что-то другое. И было два места — рядом с Марсём, где все хотели сидеть. Раньше все сидели по очереди. А потом, когда Петина мама заболела, одно место, справа, закрепилось за Петей. Когда мы перебирались на ковер, Петя устраивался у Марсём под боком, как котенок, и она легонько прижимала его к себе. Она даже разрешала ему лежать, когда другие сидели. Если он вдруг начинал возиться и отвлекался, она прижимала его к себе чуть покрепче — чтобы он утих и сосредоточился. А когда ругала, говорила: «Ты мужчина или нет?» Потому что была уверена: Петя — не просто мужчина. Он верный и преданный рыцарь. Она так считала из-за меня.

Вообще-то мы в классе следили, кто с кем вдруг встанет в пару и кто за кем бежит на перемене. И если вдруг кто-то бежал за кем-то «новым», это сразу замечали, начинали обсуждать, задирать или дразнить — из зависти или просто так, для интереса. И только над Петей не смеялись. Петя всегда вставал в пару со мной. И на музыкальных занятиях хотел танцевать только со мной. Танцевал он очень плохо: не попадал в такт музыке, и его ногам требовалось много времени, чтобы освоить новое движение. А у меня все получалось легко. И наша учительница танцев Юлия Александровна часто ставила меня в пару с другими мальчиками — более ловкими и подвижными. Но когда мы сами становились в пары — как хотели, Петя неизменно оказывался в одной паре со мной. И еще он ездил вместе со мной в школу и обратно. И я ходила к его бабушке на пирожки. И мы играли в его игрушки.

Петя любил строить из кубиков. Когда он был один, он всегда строил — дома, башни, заборы, гаражи. Большие, маленькие, все время разные. Но в этих домах и башнях никто не жил. В гаражах иногда стояли машины. Но они были будто бы ничьи. Меня это удивляло. Когда я строила домик — даже самый маленький, — я сразу туда кого-нибудь поселяла, и там начинало что-то происходить. А Петя строил ради чего-то другого, чего я понять не могла. Ради того, чтобы это было и занимало всю комнату, и даже иногда вылезало в коридор. Однако, когда я предлагала заселить его город, он всегда соглашался. Он был рад, что у меня есть желания. Я приносила с собой человечков, и зверюшек, и маленьких монстров. Они занимали разные углы и башни, ходили друг к другу в гости, праздновали дни рождения, пели, танцевали, ссорились и воевали.

Петя сидел и смотрел, как я играю. Смотрел — и ничего не предлагал. Он не смел вмешиваться в жизнь моего игрушечного мира, будто это могло мне чем-нибудь повредить. Только иногда тихонечко просил: «Ну, играй вслух!»

Куколки и монстры, конечно же, разговаривали между собой. Все время разговаривали. Но их голоса звучали внутри меня. А снаружи лишь было видно, как фигурки перемещаются туда-сюда. Поэтому Петя и просил: «Ну, играй вслух!» Играть вслух было труднее. Иногда я соглашалась, а иногда — нет.

А он соглашался всегда: чтобы случилась гроза, или землетрясение, или налет инопланетян, и его город, огромный прекрасный город, который он строил три дня, вдруг

начал рушиться. Так бывает, говорила я. Даже на самом деле. Землетрясение может стереть с лица земли не только город — целую страну. Главное во время землетрясения — спасти жителей. Хотя бы не всех, а героев. Главных. Потому что главные герои могут построить другой город, еще лучше. Или вообще переселиться жить на другую планету. И Петя смотрел, как от устроенных мною толчков или от падения неопознанных летающих объектов рушатся его башни, заборы и гаражи — и соглашался: главное — спасти жителей. И помогал мне их спасать. А потом строил новый город. Будто бы — на другой планете. Это я настаивала, что на другой. Или Наташка, которая тоже любила землетрясения и катаклизмы. И он строил. Для меня.

А когда мы были в пасти дракона, он спас нас с Наташкой от жабастых. И наше спасение помешало ему совершить подвиг подвигов.



### Часть третья

#### 13

Дедушка проводил меня до школы. И еще немного постоял на крыльце, глядя, как мы уходим по дорожке в направлении леса и исчезаем за деревьями. Но я не обернулась. Никто из нас не обернулся.

Пасть дракона открылась!

Тропинка становилась все уже. Мы старались идти тихо. Мы старались не разговаривать. Марсём сказала, надо быть наготове. С этой минуты — все время наготове.

Принцы шагали, выстроившись с двух сторон от колонны, чтобы прикрывать собой принцесс. Они были серьезны и собраны. Они сжимали в руках оружие, которое дал им Отшельник, — короткие палочки с тряпичными шарами на

конце.

Отшельник сказал, Дрэгон в сто раз сильнее принцев. Нужно нанести ему сто ударов. Сто, ни на один меньше. Тогда он утратит свою злобную силу и падет. Это очень трудно и опасно: у Дрэгона тоже есть булава — огромная, с семью шарами. Он будет размахивать булавой и бить принцев шарами. Со всей силы. Глупо думать, будто он станет жалеть кого-то в бою. Если мы боимся биться, если мы боимся боли, лучше повернуть назад. Принцы сказали: «Ни-за-что!» И принцессы сказали: «Нет!» Отшельник кивнул, соглашаясь.

Но заставить Дрэгона драться тоже непросто. Нужно попасть в заповедный круг Зеленого холма. Там он не сможет избежать боя. А его слуги не смогут ему помочь: вход в заповедный круг для них заказан. Зато жабастые рыщут вокруг, подстерегают путников по оврагам, устраивают засады в кустах. Они похищают их жизни, и путники каменеют, не в силах сдвинуться с места. Чтобы миновать стражей холма, нужно

волшебное покрывало. В нужный момент оно сделает нас невидимыми для врагов. Это покрывало Отшельник нам дал.

В случае опасности нужно сразу встать плотным кольцом и набросить на всех ткань.

Покрывало могло стать спасением. Но жабастые напали, а мы не сумели сбиться в кольцо. Мы растерялись.

У принцессы Наташки глаза вдруг стали большими-большими, и она закричала. Закричала так громко, что сначала мы смотрели только на нее — как она кричит и на что-то показывает. А потом тоже увидели: из густого низкого куста на изгибе тропинки торчала голова. С всклоченными зелеными волосами и с серьгой в ухе. Конечно, мы ожидали страшных опасностей и ужасных приключений. Но голова все равно оказалась полной неожиданностью. И вслед за Наташкой закричали все. Поднялся страшный шум, и призыва Марсём занять оборону никто не услышал. Вдалеке, между елками, тоже мелькнуло что-то зеленое. И захлопало лапами в зеленых варежках. А «голова» вынырнула из кустов и бросилась к нам. В тот момент мы совсем не могли думать. И не могли занять оборону. От страха мы сбились в визжащую кучу, и это нас спасло: Марсём кое-как набросила на наши головы покрывало. Но мы ей почти не помогли, мы только боялись. Покрывало все время соскальзывало. «Голова» приближалась, и Наташка вдруг усомнилась в волшебных свойствах покрывала: а вдруг ее видно? Вот же она, вот, на виду у врагов! И «зеленая голова» несется прямо к ней. И непременно ее схватит. Она вдруг выпустила мою руку и бросилась бежать.

— Стой! Назад! — закричала Марсём.

Мы все вцепились друг в друга. «Голова» в два прыжка настигла принцессу и схватила за руку. «Спасите! Помогите! Он съест меня! Он оторвет мне руку!»

Я вывернулась из-под покрывала, бросилась к Наташке на помощь и вцепилась в нее, как дед в репку. Жабастый задорно тряхнул серьгой в ухе: «Тц-тц-тц, малявочки! Ловись, рыбка, большая! На один крючок — сразу две!»

И тут появился принц Петя. Он мчался к нам на помощь, охваченный яростью, маленький и страшный. Он бросился на жабастого, как отчаянный гном на великана. Не так, как учила Марсём. Не сзади, где болтались заветные хвосты. А спереди, с кулаками и яростными воплями: «Отпусти! Отпусти!» Жабастый слегка растерялся, выпустил Наташкину руку и развернулся к принцу. А потом хохотнул, чуть присел, расставив руки, ловким движением вырвал у Пети из-за пояса шнурок и покрутил над головой: «Ква-а-а!» Принц застыл от удивления, а жабастый ловким движением вырвал у него из-за пояса еще два шнурка. «Окаменей!» — весело сказал он. Петя, подчиняясь правилам, застыл на месте.

«Шнурки, лови шнурки!» — закричала Наташка и сдернула с шеи секретницу. Это было неправильно, совсем неправильно, но Наташка сейчас плохо соображала. Она швырнула сумочку в сторону Пети и бросилась бежать. Я за ней.

До Пети секретница не долетела. Жабастый подпрыгнул и перехватил ее еще в воздухе. Теперь он забавлялся, перекидывая мешочек из одной руки в другую — на глазах у беспомощного окаменевшего принца.

Мы с Наташкой нырнули под покрывало, откуда остальные с ужасом наблюдали за происходящим.

— Шнурки, он схватил шнурки!

— Все три боевых шнурка?

Принцесса Наталья тяжело вздохнула:



— И запасные?

— И запасные. Всю секретницу.

— Всю секретницу? — Марсём не могла прийти в себя. — А неразменный шнурок? У кого был неразменный шнурок?

Наташка схватилась за голову. Перед выходом я уговорила ее положить неразменный шнурок в свою секретницу. Я думала, боевые шнурки нести интереснее. Ведь их надо доставлять принцу во время боя.

— Без неразменного шнурка принц не сможет вернуться домой, — сурово сказала Марсём. — Он останется в пасти дракона. Мы не можем этого допустить.

Все прятавшиеся под покрывалом ждали, что будет дальше. Ромик слегка постукивал зубами, и большая Настя взяла его за руку — чтобы успокоить: «Не бойся! Петю сейчас спасут!» У меня сердце колотилось, как барабан, — то ли от бега, то ли от жалости к своему принцу. Марсём наконец приняла решение:

— Придется торговаться. Где остальные шнурки?

Я сняла секретницу с шеи и попыталась ее развязать. Тесемка не хотела слушаться, пальцы беспомощно теребили узелок.

— Скорее, время уходит.

Наконец мне удалось извлечь шнурки наружу. Те самые, пестрые, с ровными узелками, которыми Марсём когда-то любовалась. Шнурки, в которые я должна была вплести свои надежды и тайные чаянья. И которые стали жизнями принца Петра.

— Стойте тихо, не сбейте покрывало. Я пошла.

Марсём взяла у Ромика булаву, привязала к свободному концу зеленую ленту и, размахивая палкой, побежала туда, где жабастый веселился вокруг Пети. Еще двое носились по кустам вдоль тропинки. Все они кинулись к Марсём, окружили ее и стали страшно квакать. Что-то они там бурно обсуждали. Наконец жабастые, квакнув в нашу сторону, исчезли в кустах. А Марсём с Петей вернулись к нам. Все стали теребить Петю, пожимать ему руки. Он был растерян, но держался мужественно.

— Петр сейчас совершил подвиг — спас от гибели принцесс, доверивших ему свою защиту, — сказала Марсём. — Но подвиг принца дорого оплачен: он лишился всех боевых шнурков и не сможет биться с Черным Дрэгоном. Он не сможет совершить подвиг подвигов. Потому что вы поддались панике. Не сумели действовать сообща. Это плохо. Очень плохо для всех нас. И очень опасно. Нам нельзя терять воинов до решающей схватки. Как мы тогда сможем победить? Надо внутренне собраться, как следует собраться.

Мы попытались. Мы дали слово держаться вместе, не кричать от страха и не сворачивать с пути — что бы ни случилось. Теперь мы двигались плотной настороженной кучкой, чтобы не быть застигнутыми врасплох.

Петя шел между нами — между мной и Наташкой, верный, благородный, опустошенный. Принц, потерявший свои боевые Жизни. Из-за нас с Наташкой. Или из-за меня? Из-за тайных моих чаяний?

К полудню солнце устало вселять надежду и спряталось в большую тучу. Из леса выбрался злобный знобящий ветерок, в котором явственно различался запах Гнили.

— Там начинается тропинка, ведущая в заповедный круг, — тихо сказала Марсём. — Мы начнем подъем вон оттуда. Десять шагов вправо.

Раз-два-три... «Ох!» — выдохнул кто-то. Мы взглянули вверх и оцепенели.

Высоко-высоко над нашими головами, на самой вершине холма, виднелась темная фигура. Огромная, неподвижная, страшная, господствующая над миром.

— Это Дрэгон! — прошептал Саня.

— Сам вижу, что Дрэгон, — шепотом ответил Егор.

— Какой страшный!

— А ты думал, он какой?

Четыре — пять — шесть... Незаметный изгиб тропинки — и Дрэгон исчез из виду. Это было еще страшнее, чем видеть его впереди.

Мы опять замерли.

— Надо идти, — шепнула Марсём. — Теперь поздно раздумывать. Двигаемся под покрывалом. Вперед!

Так страшно мне никогда еще не было. То тут, то там из кустов появлялись головы жабастых, испускавших пронзительные визги и противно квакающих. Они тянули к нам свои зеленые лапы с черными когтями, будто пытались схватить. «Нас не видно! — Марсём сказала это очень громко — то ли для нас, то ли для жабастых. — Всё! Мы в заповедном круге!» Она привязала концы покрывала к деревьям. Получилось укрытие. Здесь будут пережидать битву принцессы. Сюда будут приходиться раненые принцы. Здесь можно будет отдохнуть и выпить напиток силы.

— Слушайте! Рог!

Из леса донеслись скребущие звуки, отдаленно напоминающие звуки горна.

— Это Дрэгон! Он нас почуял! Принцы! Готовьтесь к бою!

Принцы сгрудились на краю поляны и прижались друг к другу.

Терзающие ухо звуки повторились, и из леса появился Дрэгон. Он был в доспехах, с длинным разноцветным хвостом на шлеме и с огромным щитом, разрисованным огнедышащими мордами. В руке у него была «булава». Огромная страшная «булава» с семью шарами.

— Гарх! — издал гортанный возглас Дрэгон и взмахнул своим оружием. Шары заметались в воздухе.

— Гарх! — повторил он. — Трусые! Пришли сражаться и сбились в кучу! Бойтесь моих шариков? Гарх!

— Мы не трусы, — вдруг закричал Егор. — Мы не трусы! Мы тебе сейчас врежем! Нападай, ребя!

Принцы гурьбой кинулись к Дрэгону.

— Берегите шнурки! — крикнула Марсём. — Не заступайте за границу круга.

Все завертелось, как на карусели. Дрэгон кружил по поляне, принцы пытались достать его ударами своих маленьких шаров, вокруг поля битвы носились жабастые. А принцессы дрожали под тентом, в который временно превратилось покрывало.

Первым в укрытии появился Ромик. Он вполз на коленках, стуча зубами. «Лучше я посижу с вами, — с трудом выдавил он, — а то мне как-то плохо. Не по себе как-то». Принцессы бросились поить его водой и пересчитывать шнурки. Затем один за другим стали прибывать раненые принцы — получить замену потерянным в битве жизням. Марсём пыталась выяснить, сколько ударов получил Черный Дрэгон.

— Кажется, шестьдесят три, — сказал Петя. — Я считал.

— Всего шестьдесят три! — пробормотала Марсём. — А наши силы на исходе.

Бой затягивался. Принцы уже не носились по полю дружной кучкой. Оно странно опустело. И только Дрэгон широко размахивал своими шарами, гортанно вскрикивал и ревел.

Под тентом появился Егор.



— Все, больше не могу! Не могу больше.

— Где остальные? — Марсём тревожилась не на шутку.

— Не знаю. Они окаменели. И они тоже больше не могут.

— Что — все окаменели? А где Жора Илюшкой?

— Дрэгон на них замахнулся, и они заступили за границу. Испугались и заступили, а там жабастые. Жабастые погнали их в кусты.

— У тебя еще есть жизни?

— Да. Две.

— Молодец. А сколько ударов? Сколько ударов вы нанесли?

— Девяносто семь.

— Егор! Девяносто семь! Осталось три.

Егор молчал и не двигался с места.

— Егор! Всего три удара!

— Не могу.

— Три удара — и Дрэгон падет.

Егор молчал, глядя под ноги, и размазывал грязь по лицу.

— Егорка! Посмотри на меня! — Марсём наклонилась к нему близко-близко, пытаясь заглянуть в глаза. — Всего три удара! — и потом добавила тихо, но очень настойчиво: — Если не ты, то кто же? Кто, принц?

— А-а-а! — Егор вдруг развернулся и вылетел из укрытия, будто в нем разогнулась запасная пружина. Марсём бросилась за ним.

— А-а-а! — не переставая кричать, Егор бросился к Дрэгону. Он подбежал к нему почти вплотную и нанес удар.

— Девяносто восемь, — Марсём считала теперь сама и очень громко, чтобы все слышали.

Дрэгон поднял булаву и обрушил на Егора ответный удар. Егор не отскочил, только чуть отклонился назад, чтобы как следует размахнуться.

— Девяносто девять!

Теперь Егор стоял слишком близко к Дрэгону. Тому даже неудобно было его бить. Зато он мог легко выхватить у принца шнурок жизни.

— Сто! — раздался ликующий возглас Марсём. — Сто!

Мы высыпали наружу. Дрэгон продолжал кружиться, размахивая шарами, а Егор прыгал вокруг него.

— Я сказала, сто! — вдруг заорала Марсём не своим голосом. — Ты слышал? Сто!

Дрэгон внезапно остановился, взглянул на Марсём, пожал плечами и сказал совсем по-человечески:

— Как скажешь, начальник!

— Сто!

Дрэгон вскинул руки, уронил булаву и стал медленно заваливаться на траву.

— Заклятия сняты! — крикнула Марсём. — Все могут двигаться!

Дрэгон лежал на траве, раскинув руки. Вокруг него на почтительном расстоянии толпились принцы и принцессы. Егор стоял ближе всех, не в силах отвести глаз от огромной фигуры. Шлем слетел с головы, и картонные щитки на нем слегка помялись. На латах кое-где ободралась фольга.

— Во, какие здоровые! — Петя осторожно поддел носком кроссовки шар отброшенной в сторону булавы.

— А знаешь, как бьет больно! — прошептал ему Саня.

— Хорошая работа, Макс, — сказала Марсём будто бы в никуда. — Но уже все. Конец. Фигура не шевелилась.

— Ма-акс, оживай!

Дрэгон вдруг шевельнул головой, приоткрыл один глаз, взглянул на Егора и — подмигнул!

— Привет!

— Ах! — Егор чуть не задохнулся. Дрэгон опять подмигнул и теперь смотрел на мальчишку одним глазом:

— Сразимся, а?

— Бей его, ребята! — вдруг завопил Егор и повалился Дрэгону на живот. Дрэгон тут же обхватил его своими зелеными варежками и включился в шутливую борьбу.

— Ура, победа! — вслед за Егором на Дрэгона набросились Саня и Петя. Потом — все остальные. Куча шевелилась и перекатывалась с места на место. Принцессы прыгали вокруг. Кто-то пытался вмешаться в возню. Марсём суетилась вокруг и приговаривала:

— Осторожно, Макс! Осторожно, не раздави!

— А кто на меня, а?

Из леса выскочил зеленый. У него за спиной, как всадник на коне, сидел Илюшка.

— Ну что, принцесса? Покатать? Или боишься?

Я вскарабкалась на того, что с серьгой, и он понесся по поляне, толкая других всадников и пытаясь свалить их на землю.

— Нет, только взгляните на это безобразие! — Марсём изображала, что сердится. — Скачки устроили! Всё! Идем обратно.

Дорога домой оказалась на удивление короткой. Недалеко от школы наши спутники свернули к автобусной остановке.

— Хоть грим-то сотрите! — крикнула Марсём.

— А чё? Может, мы еще кого пугнуть захотим!

— Смотрите, как бы вас не пугнули. Милиционер какой-нибудь.

— Все путем будет.

— Надеюсь. Спасибо. Григоричу привет! Скажите — хорошая была работа.

## 14

— В пасти дракона было так страшно, так здорово! А Черного Дрэгона на самом деле зовут Макс. Но когда мы увидели его на горе, у меня в животе стало холодно. А у Наташки вообще чуть руки не отнялись. Особенно та, за которую ее тянул жабастый. Наверное, она впитала колдовство, эта рука. Хорошо, что Марсём прикрыла нас покрывалом.

Я рассказывала про наши приключения уже в третий раз. Первый раз — дедушке. Второй раз — дедушке и маме. А третий раз — когда пришел В.Г. и мы все вместе сели ужинать. Дедушке мои рассказы совершенно не надоедали, и он все время что-нибудь уточнял: кто откуда вылез, да куда побежал, и кого ранили первым, и кто где прятался. И как Петя потерял боевые жизни, и как Марсём считала удары во время поединка Егора с Дрэгоном.

— Папа! Ну что ты, как маленький! Ты уже об этом спрашивал, — с некоторой укоризной замечала мама.

— Да-да, — вздыхал дедушка. Он все жалел, что не видел битвы собственными глазами. — Ну, тогда расскажи, как вы прятались под волшебным покрывалом. И вас был не видно? — в десятый раз уточнял он.



— Да, деда, совсем не видно. Сначала, когда мы накрылись, казал что видно: один жабастый смотрел прямо на меня, хихикал и даже протянул в мою сторону зеленую лапу. Но Марсём сказала: «Под покрывалом нас не видно. Это условие», — и хлопнула его по этой лапе. Так что потом никто уже лапы не совал. И мы добрались до заповедного круга!

— Вообще-то я не удивляюсь, — дедушка, казалось, был удовлетворен моими объяснениями. — Все-таки парашютный шелк — стоящая вещь. Он всегда себя оправдывал. Что только мы из него не шили: и анораки, и бахилы, и краги! Помню, у одного моего приятеля даже рюкзак был из парашютного шелка!

— Папа, — притворно нахмурилась мама, — ты поставляешь ненужную информацию. Подумай сам: при чем тут парашютный шелк? Тебе же сказали: покрывало с магическими свойствами. И секреты его производства неизвестны.

Дедушка немного растерялся:

— Да-да, Оленька, ты права. Но, видишь ли, другой шелк, пожалуй, не выдержал бы такого обращения — всех этих битв и зеленых лап. Здесь нужен очень прочный материал...

— Ну, уж не знаю! Сам подумай: откуда у Отшельника парашют? — продолжала мама дразнить дедушку.

— Может быть, ему кто-нибудь подарил, — попробовал выкрутиться дедушка. — Отшельники часто живут за счет подношений добрых людей...

— Какой-нибудь летчик, да? Свалился с неба прямо ему на голову и подарил!

— Ну, зачем же летчик. Какой-нибудь старый альпинист, у которого этот шелк долго хранился без надобности...

— Я даже знаю одного такого, — закивала мама.

— Версия с альпинистом выглядит убедительно, — В.Г. вроде бы говорил серьезно. — Когда он был молодым, то ходил в горы. А когда достиг солидного возраста, стал чаще гулять в лесу.

— Альпинист по лесу шел, парашют в траве нашел! — не унималась мама.

— Нет, не совсем так. Парашют хранился у него дома. Но как-то раз он во время прогулки наткнулся на одинокую хижину...

— На шалаш, — я решила внести некоторые уточнения: выяснять историю появления магического покрывала было интересно.

— На шалаш с огромными дырками в стенках.

Против этой детали, предложенной мамой, В.Г. не возражал.

— Пусть так. Он посмотрел на этот шалаш и подумал: не подарить ли мне что-нибудь этому человеку...

— Чтобы он мог закрыть свои дырки...

— Старый альпинист вернулся домой, взял парашют и отнес Отшельнику.

— А тут оказалось, что парашют может не только закрывать дырки, но и сделать невидимыми тех, кто решил сразиться с Дрэгоном!

Дедушку предложенная легенда устроила, и он вздохнул с облегчением. Но продолжал вслух жалеть, что бабушка не дожидала до этого дня. Она в таких вещах понимала толк — в волшебных покрывалах, в дрэгонах. Тут мама опять не согласилась:

— Про покрывала ничего сказать не могу. Что же касается Дрэгона, патент на это сомнительное изобретение целиком принадлежит Марсём. И она своего добила: в течение последнего месяца мы, как дураки, только и делаем, что обсуждаем ее выдумки!



— А впереди еще бал! — с улыбкой напомнил В.Г., и его глаза тут же спрятались в щелочках.

— Вот именно, новая головная боль!

Бал был обещан победителям Черного Дрэгона, и обещание требовалось выполнять. Но Марсём ничего не могла делать «без фокусов». Выяснилось: на празднике, кроме принцев и принцесс, будут танцевать родители.

— Оленька, — дедушка пытался успокоить мамино раздражение. — Но ведь это тайное желание взрослых! Просто высказанное вслух. Каждый человек в глубине души мечтает хоть раз потанцевать на балу! Это так прекрасно!

— А больше ему и мечтать не о чем! Только не рассказывай, что сказала бы бабушка, — сердилась мама. — К тому же есть одна ложка дегтя в этой танцевальной бочке меда. Твоя Марсём потребовала приходить на репетиции парами — дама с кавалером. Говорит: «Мы должны продемонстрировать красивые образцы взаимодействия между мужчинами и женщинами!» А где я возьму кавалера, а?

— Значит, ты все-таки хочешь танцевать? — обрадовался дедушка. — Конечно, хочешь! Это так понятно. Знаешь — я с удовольствием буду твоим кавалером.

Бедный дедушка! Он так хотел, чтобы мама отправилась на бал. Он хотел галантно подавать ей руку, и выводить в бальный круг, и с поклоном усаживать на место. Но первая же репетиция расстроила его планы.

— Оленька, я, кажется, переоценил свои возможности, — дедушка не мог подавить вздох. — Боюсь, я могу тебя подвести: надо так быстро опускаться на колени! Чтобы в музыку уложиться. Но ты обязательно должна танцевать. Обязательно. Знаешь, — тут дедушка постарался говорить нарочито беспечно, — я попросил Володеньку меня заменить. И он согласился. С радостью.

Мама фыркнула, но представившуюся возможность не отвергла. К тому же выяснилось, Марсём тоже пригласила В.Г. принять участие в бале — вместе с перерожденными жабастыми. Так что он вполне мог совместить возложенные на него обязанности.

Теперь все вокруг — и дома, и в школе — были заняты исключительно мыслями о бале.

### Дневник Марсём

...Когда мне было одиннадцать, родители призвали меня «поговорить». Они сидели в кухне, за пустым столом, с торжественными выражениями на лицах.

Отец постарался говорить мягко и доверительно: «Видишь ли, у нас в жизни изменения. Мы с матерью решили разойтись». Это было почти невыносимо, поэтому я с поспешной готовностью согласилась: «А-а-а... Ну, расходитесь. Раз решили. Только бумаг никаких не подписывайте. Вдруг потом передумаете!» Почему-то мне казалось, что корень зла в этих самых бумагах. «Мы уже все подписали, — в отличие от отца мама держалась строго и независимо. — И папа теперь будет жить отдельно. Но ты сможешь ходить к нему в гости». Я сказала: «Ладно. Буду ходить». — «Ну, тогда все». Я повернулась и ушла. А отец собрал свои вещи и переехал жить в школу.

С этого момента все разговоры, так или иначе касавшиеся семейной жизни, мама начинала фразой: «Запомни: нужно быть гордой!»

Иногда сообщение имело более развернутый вид: «А то некоторые видят смысл жизни в стирке вонючих носков!» По-моему, отец всегда сам стирал себе носки. Но теперь это было неважно. Теперь я должна была усвоить: «Стирать мужские носки — ниже всякого достоинства. Совершенно не годится стирать чьи-то носки».

Мама никогда не говорила об истинных причинах, пробудивших в ней приступ гордости. Я узнала об этом много лет спустя: у отца, тогда директора школы, случился роман с районной начальницей. И кто-то маме об этом настучал. Отец был сознательный, роман быстро кончился. Но мама уже подала на развод.

После этого она стала истязать себя работой и между сменами — первой и второй — доводить до моего сознания: у нас очень мало денег. Но жаловаться нечего. И некому. Лучше отсутствие денег, чем стирать мужские носки и проводить жизнь среди грязных кастрюль, обслуживая не пойми кого и не пойми зачем. Видимо, ее женское горе я должна была разделить с ней по полной.

Накануне очередного учебного года мама достала откуда-то из глубины шкафа ботинки — огромные, коричневые, с острыми носами. Такие тогда никто не носил. «Это бабушкины. Новые не проси». Я не спорила. К этому времени я уже начиталась Диккенса и Гюго и находила в бедности нечто романтическое. В это можно было играть. И я играла.

Я зашивала дырки на колготках разноцветными нитками — чтобы было видно; на них нет живого места. Это роднило меня с Козеттой и другими «бедными честными девушками» прошедших столетий. А потому обещало неожиданные, непременно счастливые превращения в будущем.

Но ботинки были слишком ужасные. Они плохо вязались даже с тем образом «благородной бедности», который я культивировала в своем воображении. Поэтому я продумала тактику: прихожу в школу раньше всех, прячусь за учительской раздевалкой и быстро переодеваюсь. Тогда никто не увидит. А гулять можно в кедах. И мне, в общем-то, везло.

Зато мои ботинки увидел отец. Я пришла к нему в гости в этих ботинках, Йон увидел. «Слушай, мать что — не может тебе обувь купить? На что она деньги тратит?» — он даже поморщился, глядя на мои ноги. Но я уже усвоила: нужно быть гордой. Нужно защищать женскую честь. От любых посягательств со стороны мужчин — от стирки вонючих носков, от требования новых ботинок. Неважно, от чего. Поэтому я набрала побольше воздуха и сказала: «Не нужно считать чужие деньги».



Получилось громко и четко. Мне и в голову тогда не пришло, что отец платил матери алименты и считал себя вправе видеть на мне новые ботинки. А ему не пришло в голову это объяснять. Он просто схватил меня за шиворот и вытолкнул за дверь. Он был очень вспыльчивый, мой отец.

После этого я перестала ходить к нему в гости. И в последующие десять лет мы с ним не встречались.

У меня появилось свободное время, и я решила посвятить его самосовершенствованию. Точнее, развитию способности к независимой жизни.

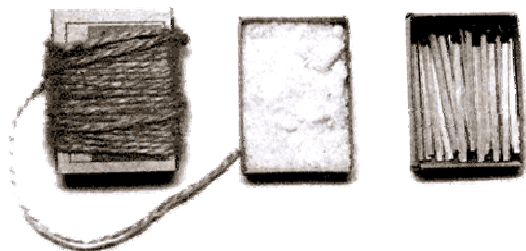
Я решила основать общество амазонок — из себя и своей подружки Лерки.

Мать Лерки не страдала приступами гордости в столь острой форме, как моя. Поэтому она просто устраивала Леркиному отцу разборки по поводу каждого случившегося с ним любовного казуса. А Лерка в это время приходила ко мне отсиживаться. В один такой день я коротко сообщила ей, что «поссорилась с отцом до конца своих дней» и теперь собираюсь обходиться без мужчин — сейчас и в будущем. Для этого нужно не так уж много —

научиться всему, что умеют мужчины: драться, играть в футбол, разжигать костер и орудовать ножом. Я показала Лерке маленький перочинный ножик. Ножуку теперь отводилось постоянное место в кармане тренировочного костюма, на который я после уроков меняла школьную форму. (Тренировочный костюм, по моим представлениям, больше всего подходил в качестве униформы для поставленных задач.) Там он покоился в компании с мотком шпагата, коробкой спичек и маленьким пузырьком с солью. Этот джентльменский набор должен был выручить меня в любой жизненной ситуации.

Лерка сказала, что она с отцом не ссорилась. Даже наоборот — она хочет наладить с ним отношения. Только для этого нужно его разыскать, поскольку живет он в другом городе. Не с ними. С ними живет Леркин отчим. Это он ссорится с мамой. В настоящий момент Лерка как раз занята поисками, но все же готова разделить со мной тяготы приобщения к независимой жизни.

Чтобы привыкнуть к безлюдным ландшафтам, где совершенно неоткуда ждать помощи, мы с Леркой ходили на пустырь и там, среди огромных бетонных плит, оставшихся от фундаментов снесенной деревни, разжигали костер из толстых стеблей сухой травы, ели вареные яйца и недопеченную картошку, выгрызая ее из обугленной кожуры. А еще играли в ножички и мечтали о независимой жизни амазонок, скачущих на конях по бескрайним степям и убивающих всех встречных мужчин за ненадобностью. К сожалению, с нами не происходило ничего такого, что привело бы к необходимости драться. Не могу сказать точно, как далеко продвинулись мы на пути к поставленной цели. Потому что потом возникла Аллочка и внесла в наши ряды разброд и смятение.



Аллочка была старшей сестрой Лерки. Не родной, а двоюродной. Но это было неважно, потому что для Лерки она была «даже больше, чем родная». «Представляешь, ей только девятнадцать лет, а она уже замужем! Ее муж — полковник. Он служит в Германии», — сообщила мне подруга, и я почувствовала неладное: от Аллочки, даже невидимой, исходила какая-то опасность, невнятная угроза нашей независимой жизни. Аллочка с мужем недавно приехали на побывку в Москву и теперь гостили у родственников.

Лерка стала настойчиво зазывать меня к себе в гости — познакомиться с сестрой. Аллочка привезла Лерке немецкие платья, очень красивые. А одно ей мало, и Аллочка хочет примерить его на меня.

— Привет, амазонка! — Аллочка, улыбаясь, оглядела меня с головы до ног, немного задержавшись взглядом на том месте, которое с некоторых пор стало предательски выдавать мой пол. — Рада тебя видеть! А знаешь, что амазонки отрезали себе правую грудь, чтобы легче управляться с мечом? Ну, ладно! Будем мерить платье. Надевай!

Платье было каким-то невероятным — с нижней юбкой и со шнуровкой. Не знаю, что там случилось с Золушкой во время смены туалетов, но у меня перехватило дыхание. На несколько мгновений я даже потеряла способность двигаться.

— Надевай, надевай, — подбадривала Аллочка. — А то Лерка длинная выросла. Ей это коротко. А тебе... — Аллочка одернула на мне юбки и повернула за плечи к зеркалу, — в самый раз!

Из зеркала на меня смотрело незнакомое существо. Аллочка даже причмокнула языком, приветствуя мое преобразование. Шнуровка сбивала меня столку, сигналила о чем-то мало знакомом. И это мало знакомое плохо сочеталось с образом амазонки.

— А если чуть распушить, будет слегка видна ложбинка груди, — Аллочка стала ослаблять шнуры. — Вот так. О-очень сексуально! Жаль, здесь нет никого, кто мог бы оценить, — Аллочка все продолжала вертеть меня перед зеркалом. — Ну, что, амазонка, нравится?

Амазонка в тот момент терпела поражение. Навязанная ей тактика боя была слишком непривычной.

Платье в конце концов надо было снимать. Уж не знаю, почему, но идти в нем по улице было пока невозможно. Будто в этом случае пришлось бы открыть окружающим страшную тайну. Вроде того, что ты только притворяешься лягушкой. А на самом деле ты — царица, только кожа твоя еще не сносилась. И я облачилась в эту свою привычную кожу — в тренировочный костюм, взяла под мышку объемный сверток и неуверенно двинулась к двери.

— Пока, амазонка! Заходи в гости, поболтаем! — сказала на прощанье Аллочка. — А вообще-то запомни: женщина без мужчины — не женщина, а пародия на саму себя!

Не знаю, что сыграло решающую роль в моей измене движению к независимости — платье или известие о том, что амазонки отрезали себе грудь. Я в то время еще не выработала четкого отношения к своей новоявленной груди, но мне почему-то было ее жалко. Чего это вдруг ее отрезать? Ради того, чтобы махать каким-то дурацким мечом?

А в мозгу все прокручивалась эта неподражаемая Аллочкина интонация: «О-очень сексуально!»

### *Другая запись*

Ну, и что от всего этого потомкам?

Разве что натолкнет их на мысль развесить на столбах лозунги: «Берегите пап. Они — друзья человека!» Или «Исчезновение папы обедняет окрестную фауну и вредит здоровью, особенно — здоровью мелких человеческих существ».

Между прочим, это даже на новую отрасль знания могло бы потянуть. Назвать ее как-нибудь броско — «папология». Или «логопапия». И сразу на конкурс: папология как новая технология. Логопапия как... Вот чёрт: рифму не подберу. Хотя можно и прозой: логопопия как средство развития логопапии. А логопопию широко так представить: здесь тебе и применение ремня, и хватание за шиворот, и выкидывание за дверь.

...Что из вышесказанного имеет отношение к моей школьной жизни? Разве что сюжет про платье.

## 15

После работы и по выходным мама шила мне бальное платье.

К этому занятию она отнеслась на удивление серьезно: долго листала модные журналы и книжки со сказками, перебирала куски старых тюлевых занавесок и кружевных наволочек, извлеченных из старых чемоданов, и, наконец, взялась за работу.

Каждый вечер перед сном в доме проводилась показательная примерка. Мама надевала на меня платье и открывала дверцу шкафа с большим зеркалом. Я крутилась и вертелась перед зеркалом, и ходила на цыпочках по комнате, и подпрыгивала, и приседала. А мама, довольная своей работой, только восклицала: «Осторожно! Там булавки! Не споткнись: еще не подшито!» Дедушку тоже приглашали на эти показы, и каждый раз он с новой страстью убеждал нас: я похожа на особу королевской крови больше, чем сама английская королева. Хорошо, что королева меня не видит. Чего доброго, умерла бы от зависти! А дедушка не желает королеве плохого: он всегда относился к ней с уважением.

И вот заветный день настал. Зазвучали фанфары, и под торжественные звуки полонеза в бальный зал вошли пары взрослых — дамы в длинных (до самого пола) платьях и кавалеры в черных пиджаках, в белых рубашках с бабочками. Моя мама была в блестящем красном платье с бантом на спине и в перчатках до локтей. И еще она сделала себе такую

прическу с локонами, как на картинках, где нарисован Пушкин с Натальей Николаевной. Мы вместе рассматривали эти картинки в одной толстой книжке. Мама сказала, Наталья



Николаевна — это жена Пушкина. Она была красавица. За ней даже царь ухаживал. Мама очень походила на Наталью Николаевну. А В.Г. немного походил на Пушкина. Не в точности, а чуть-чуть. Из-за кудрявых волос. И еще среди бальных пар мы разглядели Макса. Мы его с трудом узнали, потому что он тоже был в пиджаке с бабочкой и вел за руку тоненькую девочку в белом платье. А за ним в паре шел тот, с серьгой, который похищал Наташку, а потом катал меня на спине. Волосы у него оказались светлыми, а вовсе не зелеными. И он был очень серьезный, легко и ловко двигался под музыку и, когда Юлия Александровна, распорядительница бала, скомандовала: «Кавалеры — на колени!», проворно опустился на пол и подчеркнуто внимательным взглядом провожал

скользившую вокруг него партнершу.

А потом все расселись на местах, и свет в зале потух. Освещенной осталась только сцена, где у потухшего камина, до времени незаметные, тихонько сидели бедные золушки. То есть мы, девочки.

Заиграла грустная музыка, золушки поднялись со своих мест, взяли за метелки и стали подметать пол, жалостно напевая. О том, что где-то сияют разноцветные огни и гости в нарядных одеждах весело танцуют друг с другом. И только они, усталые, покрытые сажей и золой, лишены такой радости. Их мечтам поехать на бал не суждено сбыться: у них нет бальных платьев. Луч прожектора скользил по нашим живописным лохмотьям с огромными разноцветными заплатками. Над этими заплатками мама трудилась три дня. Марсём сказала, лохмотья должны быть выразительными и при этом легко сниматься: освободиться от них нужно будет за три минуты.

Мы махали маленькими метелками и жаловались на жизнь, но к нам на помощь уже летела Фея. Она легко вспорхнула на сцену, закрутила нас в хороводе, коснулась наших лохмотьев волшебной палочкой, и под звон колокольчиков маленькие замарашки скрылись в камине.

Пока Фея на сцене исполняла танец превращения, Марсём и две мамы за кулисами срывали с нас драпировки из лохмотьев. И когда свет снова вспыхнул, мы, одна за другой, стали появляться из черной дыры в своих чудесных новых платьях. Эти платья вобрали в себя все несбывшиеся мечты наших мам и бабушек, их детства, а может быть, и юности. И каждая из нас светилась от счастья — как и полагается Золушке, пережившей чудо. Присутствующие в зале на мгновение онемели от восторга, а потом все взорвалось аплодисментами.

Наше появление приветствовали юные принцы в разноцветных шелковых плащах: они встали и поклонились. Этот поклон Юлия Александровна долго с ними репетировала. Но они все-таки немного замешкались — от растерянности: не ожидали увидеть нас вот такими, сказочными.

Потом снова затрубили фанфары, оповещая собравшихся о прибытии новых гостей. Стремительным шагом в зал вошли три взрослых рыцаря. Их латы сияли, а плащи развевались за спиной, как огромные крылья.

Они поднялись на сцену и замерли в торжественной позе. Один из них поднял руку, призывая собравшихся к тишине, и заговорил голосом В.Г. (и когда он успел переодеться?): «Мы — рыцари Ордена Старого Замка. Много лет храним мы традиции рыцарской чести, отправляясь на помощь слабым и беззащитным. Весть о приключении юных принцев и принцесс, об их великой победе достигла наших ушей.

Как в древние времена, мы расселись за круглым столом и приняли важное решение: за сражение с Черным Дрэгоном посвятить принцев в рыцари и вручить им именные мечи».

Юлия Александровна и Марсём построили принцев перед сценой, и рыцарь В.Г. стал вызывать их для посвящения.

Под торжественную музыку каждый принц поднимался на сцену и опускался на колени. Один из рыцарей касался его плеча огромным кованым мечом. После этого принцу вручали деревянный меч с выжженным на лезвии именем.

Последним В.Г. вызвал Егора. Егор стоял на сцене с очень серьезным лицом и с горящими глазами, в синем плаще и в шляпе с пером. Шляпу В.Г. велел ему снять. Егор быстро стянул ее с головы, прижал к груди и теперь тербил за тулью нервными пальцами. «Этот принц совершил подвиг подвигов, — сообщил собравшимся благородный рыцарь. — Три его последних удара повергли Дрэгона в прах! Ура победителю дракона!» Все захлопали и закричали «Ура!»

Я тоже кричала «Ура!». И мне вдруг так захотелось, просто ужасно захотелось, чтобы Юлия Александровна поставила нас рядом и сказала: «А сейчас принц Егор и принцесса Алина будут танцевать танец танцев!» И мы бы танцевали, а все бы смотрели и говорили: «Это самый смелый из принцев. А у этой принцессы самое красивое платье!» Но Юлия Александровна не собиралась ставить меня с Егором. На балу он танцевал с Катей, которую защищал в лесу. А меня выбрал Петя. Он тоже был в новом плаще и держал свой заветный деревянный меч. И он бы, наверное, тоже мог совершить подвиг подвигов, если бы до битвы не потерял свои боевые шнуры. Спасая меня и Наташку.

«А сейчас танец танцев! — объявила Юлия Александровна. — Мазурка!» Кавалер с серьгой в ухе встал и направился к Марсём. «Неужели он будет с ней танцевать?» Но я не успела удивиться. Другой, незнакомый человек шел туда, где сидела моя мама, в локонах, как у Натальи Николаевны. Он вежливо склонил перед ней голову и протянул руку. Мама встала, сделала реверанс и вышла вместе с ним в самую середину зала.

«Бал венчает подвиги не только детей, но и взрослых, — сказала Марсём. — Всего за один месяц взрослые научились ходить в полонезе, танцевать гавот и польку. В наше время это серьезный поступок. Но освоить ход мазурки сумели немногие. Сейчас они покажут, что у них получилось. Этот танец мы посвящаем победителям Черного Дрэгона!»

Зазвучала музыка, и кавалеры уверенно повлекли в танце своих дам. Мама двигалась легко и изящно, локоны ее подрагивали, и она задорно смотрела снизу вверх на своего партнера. Я подумала: если бы здесь был царь, он, наверное, стал бы за ней ухаживать. Ведь она такая красивая! А потом я вдруг увидела В.Г. и поняла: он тоже так думает. Он успел снять латы и крылатый плащ, вернулся на место, где сидел рядом с мамой, и теперь следил за танцем.

Герои сказок часто влюблялись с первого взгляда. Принц как увидел Золушку на балу, так сразу и влюбился. И после этого танцевал только с ней. А про Ивана-царевича даже таких подробностей не сообщают. Он заезжал в тридцатое царство — тридевятое государство и сразу обнаруживал там какую-нибудь Василису или Елену. Не просто очень красивую, а прекрасную. Самую прекрасную на свете — по мнению всех окружающих, включая волка. Царевич сразу сажал Василису на коня и вез, из чего можно заключить, что все случилось с первого взгляда. К тому же на второй и, тем более, на третий взгляд у него просто не было времени: за ним всегда кто-нибудь гнался.

Дедушка говорил, это не выдумки. Только так и бывает. Ты давным-давно знаешь какого-нибудь человека, а в какой-то момент что-то случается с твоими глазами — будто



купил другие очки: смотришь на старого знакомого и вдруг понимаешь: увидел его впервые! И с этого момента — с этого взгляда — влюбляешься.

Я думаю, что-то случилось с глазами В.Г., когда мама танцевала мазурку. Будто до этого он не приходил к нам в гости, не носил цветы и не вел беседы за ужином. И уже ничего нельзя было изменить. Ведь в мозгу еще не обнаружили центра любви, чтобы выключать его, как утюг. А то, что В.Г. знал химию, — разве это что-то меняло?

### Дневник Марсём

Сегодня у нас был чудесный праздник в честь победы: Дрэгона завалили, жабастых преобразили. Теперь болота снова благоухают, а дети будут плакать значительно меньше, чем могли бы.

Честно говоря, меня подмывало влезть на сцену и сказать патетическую речь. Но я очень волновалась из-за мазурки. К тому же речь не была предусмотрена сценарием. Какие могут быть речи на балу?

Поэтому воплощаю невысказанное в письменной форме.

«Мы тут с вами насвершали подвигов и теперь знаем, что способны на это. И если нам в будущем захочется сделать какую-нибудь гадость — а нам захочется! — надо бы про этот опыт вспомнить. Он поможет куда-нибудь вырлиться. В какую-нибудь нужную сторону».

Вот такая содержательная речь.

Верю ли я в это? После бала, после сокрушенных злыдней и превращающихся принцесс, мне отказывает испытанная защита — здоровое чувство цинизма.

Удивляться нечего: все запасы сил ушли на магические действия и колдовские приемы. Еще немного — и буду летать в школу на метле.

Но, если без шуток, память об этих подвигах нужна, прежде всего, мне. Вот сделает некто, посещающий твой класс, гнусность, а ты на него посмотришь и подумаешь: гад, форменный гад! Но может совершить подвиг.

Только не надо говорить, что это игрушки. Сами попробуйте нанести три последних удара, когда ноги уже не держат, а страшилище величиной с дядю Степу колотит тебя диванными валиками. Все было по-настоящему. И на это — весь расчет.

Надеюсь, на наш школьный век, на наше совместное бытие нам этого хватит. Вряд ли мне достанет сил еще раз открыть пасть дракона. Какой-нибудь спектакль поставить, комнатный праздник — да. А это — вряд ли.

Чего стоит одного Дрэгона наколдовать! И для бала должны возникнуть благоприятные сопутствующие обстоятельства: например, наличие некоторого количества знакомых кавалеров, чтобы родительницы учеников не остались без пары; наличие некоторого количества артистичных подростков, по которым плачет то ли сцена, то ли детская комната милиции. Этого добра может и не оказаться под рукой в нужный момент. А без него — никуда. Никаких балов и пастей. Так что с В.Г. и его подопечными «злыднями» мне повезло.

Правда, эти великовозрастные детки пристали ко мне по дороге из леса: «Вы только для малявок стараетесь? Может, нам тоже что-нибудь устройте? С похищениями!» Я говорю: «О вас должен собственный шеф заботиться. Вот пусть и думает, кого и где вам похищать. А мне вы в аренду сданы. На строго оговоренных условиях!»

А вообще — хорошие ребята. Но думать про них не буду. Нет сил. Мое дело сделано. Теперь три дня буду лежать в отходняке. Ждать возвращения чувства здорового цинизма.

### Часть четвертая



Когда мы были в третьем классе, кто-то из детей принес в класс маленькую самодельную марионетку с головкой из пластилина и ручками на ниточках. Принес и заставил плясать у всех на глазах. Марсём смеялась, хлопала в ладоши и тут же присвоила кукольному умельцу звание — «наследник папы Карло», а на следующий день выдала ему красивое свидетельство с желтыми и красными буквами.

После этого в классе началась эпидемия кукольного производства. Мы делали кукол из воска и пластилина, из проволоки и тряпочек, из палочек и спичек, приносили в класс и заставляли «оживать». После выступления куклы заселялись в шкаф, на специальную полочку, и там ожидали нового пополнения своих рядов.

Как-то Петя встретил нас на остановке с сияющими глазами и огромным свертком в руках. Он был молчалив, сосредоточен и твердо отказывался отвечать на вопросы любопытствующих до назначенного времени. Когда все, наконец, уселись в круг, Петя еще немного помедлил, а потом неторопливо развернул свою тряпку. Мы ахнули: под оберткой оказался — неужели такое может быть? — настоящий Буратино. Самый настоящий, деревянный, сделанный, как сказал Петя, по всем правилам — из полена.



Субботний вечер и воскресенье — все время, отпущенное Пете на общение с папой, — они провели в гараже. Там Буратино и появился на свет. Самое трудное — сделать голову, объяснял Петя, ведь она круглая, ее нужно вытачивать на специальном станке. И Петя позволил себе усомниться, что настоящий папа Карло мог сделать Буратино вручную, без такого станка.

А потом настал мой день. На столе у бабушки лежали два магнетика. К ним цеплялась мелкая канцелярская всячина — кнопки, скрепки, зажимы. Если мама нечаянно роняла на пол иголку, один из магнетиков тут же приходил ей на помощь: ехал, как маленький трактор по полу, разыскивая пропажу. И иголка обязательно находилась — выскакивала из какой-нибудь щели, будто по взмаху волшебной палочки, и прилипала к магниту. Однажды бабушка показал мне фокус: взял листок бумаги, насыпал на него горсточку скрепок, а снизу подложил магнит. Бабушка двигал магнитом и отдавал команды: «Полный вперед! Полный назад!», а скрепки

шевелились, словно живые, и перемещались туда, куда он им приказывал. Сначала я просто смотрела и смеялась, а потом меня вдруг осенило:

— Деда! Я сделаю озеро. И лебедей. Лебеди будут скользить. Из-за магнита.

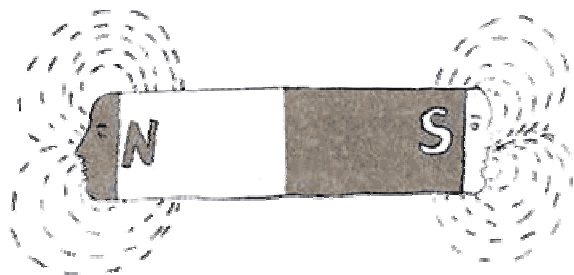
Я трудилась часа три, может быть, больше. Сначала мне не давались лебединые шеи. Ведь они должны красиво изгибаться! Но я их срисовала — из книжки про царя Салтана. Каждый лебедь состоял из двух одинаковых половинок с общим доньшком. К доньшкам я прицепила скрепки. Потом установила лебедей на поверхность бумажного озера, подложила снизу магнит и стала водить им туда-сюда. Невидимый магнит тянул лебедей за скрепки, и они двигались по бумаге. Будто плыли!

— Деда, правда, как настоящие? Как в «Лебедином озере»? Правда?

Я приклеила по краям картонки камыши и наутро принесла свое изобретение в школу.

Я предчувствовала, что поражу Марсём: она поражалась легко и с радостью. Я знала, что получу свидетельство. Но в тот день на меня обрушилось нежданное счастье: главным поклонником лебединого озера оказался Егор. На перемене у моей парты выстроилась очередь из желающих управлять лебедями. Егор подходил несколько раз, сосредоточенно водил магнитом по листу и приговаривал: «Вот, значит, как он работает! Вот чего может! Вот это да! Сила!»

Будь моя воля, я разогнала бы очередь. Я сказала бы: уйдите. Пусть он играет! Пусть играет только он. Мы теперь будем все время с ним играть. И я ему все разрешу. Как Петя мне разрешает. Я ничего для него не пожалею. Потому что в тот момент — наверное, в тот момент! — что-то случилось с моим взглядом. Он стал первым.



## 17

О любви детей почти ничего неизвестно. В отличие от взрослых, в мозгу которых ученые рано или поздно что-нибудь откроют.

Конечно, дети должны любить свою первую учительницу. Это закон. Даже для тех, кто не сошелся с учительницей характерами. Как я — с Татьяной Владимировной. А потом я любила Марсём, очень любила, хотя и не могла решить, какая она учительница — первая или вторая. И может, здесь действует какой-нибудь другой закон.

Еще дети любят маму и папу. Их они любят с самого начала, до всего, что произойдет потом. До того, как станет известно о каких-нибудь законах. Но у меня не было папы. Если папы нет, что происходит с его долей любви? С той долей, которая ему предназначена? Никто не знает.

Как-то я спросила у мамы, бывает ли у детей любовь. Если они учатся в третьем классе. Или в четвертом. Маме вопрос не понравился. Она сказала, это дурацкая тема. Если я хочу дружить с мальчиками, пожалуйста. Никто не запрещает. И я могу пригласить кого-нибудь в гости. Например, Петю. Только при чем тут любовь? Мама даже немного рассердилась. Будто я ее неприятно задела. А вечером, в присутствии бабушки, заговорила об этом сама. Сделала вид, что ей очень смешно, и сказала:

— Пап, вот тут у Алины вопросы. Могут ли мальчики нравиться маленьким девочкам? Бывает так, чтобы они любили друг друга?

Но дедушка не стал смеяться. Он сказал, что всегда любил бабушку и поэтому не знает. Дедушка встретил ее, когда учился в институте. Конечно, он был тогда молод. Но его уже нельзя было считать мальчиком. А бабушку нельзя было считать девочкой. Возможно, встретить он бабушку раньше, в школе, он бы и тогда ее полюбил, потому что бабушку просто нельзя было не полюбить.

— При чем здесь бабушка? — мама опять немного рассердилась. — Алина спрашивает, может ли такое серьезное чувство, как любовь, возникнуть у детей ее возраста.

— Да, да, я понимаю. Ну, почему же — нет? Влюбился же Лермонтов первый раз в пятилетнем возрасте? Это доподлинно известно. Ты же сама зачитывала мне из Ираклия Андронникова...

— При чем здесь Лермонтов? — маму явно не устраивало направление беседы. — Лермонтов — гениальный поэт, классик.

— Но, Оленька, когда ему было пять лет, этого еще не знали. Просто обнаружили, что он влюбился... А почему Алина об этом спросила? Ее что-то тревожит?

— Алину ничего не тревожит. Просто Наташка заморочила ей голову своими рассказками, — подвела неожиданный итог мама, имевшая некоторое представление о Наташкиных проблемах. — Лучше сходи с девочками в театр, чтобы они не забивали себе голову ерундой.

— Конечно, конечно, — дедушка любил ходить со мной в театр. И против присутствия Наташки никогда не возражал.

— Искусство способно дать нам ответы на наши вопросы. Я еще знаешь кого вспомнил? Тома Сойера. Ему было примерно столько же лет, сколько Алине. Может, чуть-чуть больше. Йон во имя своего чувства совершил подвиг. Что-то вроде подвига.

— Папа, ты неисправим! Том Сойер — литературный персонаж. А это — живые дети. Никто не спорит: они влюбляются. Но это игра. Не больше. Вспомни, как Алина рассказывала нам про Соломона. И как ты смеялся.

У нас в классе был мальчик с редким именем — Соломон. Мы все, включая Марсём, звали его просто Саней. Но в некоторых случаях Марсём называла его «полным именем». Например, в день рождения.

У нас был такой обычай. Все усаживались в кружок на ковре, а именинник — в центре, и Марсём рассказывала историю — про какого-нибудь героя с таким же именем.

Имя, говорила она, — связующая нить. Она связывает разных людей из разных времен. В честь Санинога дня рождения Марсём рассказывала про царя Соломона, про его мудрость и про то, как он строил первый Храм. Но у Соломона, сказала Марсём, был один недостаток. Он имел тысячу жен. И это обстоятельство плохо повлияло на дальнейшую судьбу его страны. Неудивительно. Если у тебя так много жен, ты даже не в состоянии запомнить, как их зовут. Где уж тут уберечься от несчастий!

Марсём рассказывала про царя Соломона три дня подряд. Два дня — про его мудрость, а третий день — про тысячу жен и царицу Савскую. И этот третий день понравился Сане больше всего. Когда мы пошли гулять, он позвал всех девчонок играть в царя Соломона — сказал, будет выбирать из нас самых красивых и жениться. Мы согласились. Все мы тогда (или почти все — включая меня и Наташку) были влюблены в Саню. Он считался самым красивым и всегда высказывал собственное мнение. Марсём считала собственное мнение особым достоинством. Она всегда говорила: смотрите! У Сани на этот счет есть свое мнение! Как интересно! Но если бы Саня никакого мнения не высказывал, мы бы все равно в него влюбились. Вера сказала, он похож на Ричарда Гира. А Ричард Гир — очень красивый. И в кино в него все влюбляются. Когда Вера так сказала, все девчонки быстренько влюбились в Саню. Когда ты в третьем или в четвертом классе, лучше всем влюбляться в кого-нибудь одного. (А потом, через какое-то время, в кого-нибудь другого.) Так гораздо интереснее. Ведь ты должен об этом с кем-нибудь разговаривать — с тем, кто понимает, о чем, собственно, речь. И тогда можно соревноваться: кто больше влюблен, кто раньше займет место в нужной паре.

Мы забрались на крыльцо под окнами сторожа-дворника и стали играть в царя Соломона. У Веры был тонкий прозрачный платок, и она повязала его на голову, как фату. У Наташки платка не было, и она сказала, что фата не нужна. Царь Соломон жил в Африке, и там одевались по-другому. Вот так. И Наташка накрутила на нос и на рот шарф. Тут Вера заметила, что Наташка в шарфе похожа не на невесту, а я какого-то ковбоя, на котором никто ни за что не женится. Только какой-нибудь «голубой». Наташка обиделась. Вера просто не умеет различать ковбоев и бедуинов, сказала она.

А бедуины всю жизнь водились в Африке. Но тут большая Настя предложила всем быть разными, потому что у Соломона жены были из разных стран. И царица Савская, хотя и не была женой, тоже была из другой страны. Все нашли Настино предложение разумным, нарядились, кто как мог, и выстроились в ряд. Саня стал мимо нас ходить и приговаривать: «Так-так-так! Выбираю себе жену! Самую красивую». И пока он мимо нас ходил, у меня внутри все замирало от страха: вдруг не выберет? Но Саня, похожий на Ричарда Гира, был добрым. Саня сказал, мы можем не волноваться, что он вдруг на ком-то не женится. Соломон женился тысячу раз. А нас гораздо меньше. И хотя первой Саня выбрал Веру, следом за ней он выбрал всех остальных. Мы все перешли с одной стороны лесенки на другую. В новом качестве.

Что делать дальше, было непонятно. Вера сказала, теперь Соломон должен выбрать самую любимую жену. Ту, которая будет главной. Много жен — это гарем. А там всегда есть главная жена. Наташка закричала, что Марсём такого не рассказывала — про главную жену и про гарем. А рассказывала только про несчастья. Верка просто хочет покомандовать. Воображает, будто она самая красивая. Тут все начали друг на друга кричать, и Сане стало скучно. Он сказал: «Ну, ладно. Я пошел. Живите тут сами. Все равно всех вас по именам не запомнишь!» И убежал к мальчишкам.

И дедушка с мамой очень смеялись — над тем, как мы играли в царя Соломона. Но это — совсем другое. Не то, о чем я спрашивала. То, о чем я спрашивала, не смешно.

Был день, когда Марсём позвонила и рассказала про Петю, дедушка не смеялся. И мама не смеялась. Мама сказала: «Алиночка! Петя — хороший мальчик. Надо быть великодушной!» А дедушка был очень грустным, но ничего не сказал. Когда Петя пришел к нам на следующий день, он повел его смотреть корабли в энциклопедии и показал один корабль, который раздавило льдами. Но люди, плывшие на корабле, не погибли. Они вылезли на льдины и жили там некоторое время, ожидая спасательной экспедиции.

— Их спасли?

— Да, спасли, — сказал дедушка и подарил Пете пакетик с волшебным порошком.

Этот порошок делали у дедушки на работе, на заводике фармакологических препаратов. Насыпанный в ранку, он останавливал кровь и убивал всех опасных микробов. Порошок может пригодиться, объяснил дедушка, если Петя разобьет коленку или поранит палец. Больше он ничем не мог ему помочь. Но я тоже не могла. Совсем не могла.

## 18

— Настя, что с твоими вещами? — Марсём выглядела недовольной. — Я же просила вас аккуратно складывать вещи в шкафчики. И закрывать дверцу. Пожалуйста, приведи все в порядок.

Сконфуженная Настя направилась к шкафу и стала возиться со свитером и шарфом, пытаясь заставить их слушаться.

— А это что валяется?

— Шапка. Это Веры.

— Что Верина шапка делает в проходе?

— Она вывалилась.

— Что значит — вывалилась?

— Ну, она все время вываливается.

— Надо дверцу закрывать. Тогда не будет вываливаться.

Вера встала, засунула шапку в шкаф и прижала дверцей.

Дверца тут же снова распахнулась и снова выпустила шапку на пол, будто кто-то ее заколдовал. Марсём нахмурилась и внимательно оглядела шкафчики. Они сегодня выглядели очень странно. Почти все дверцы были приоткрыты. Некоторые — широко распахнуты. И от этого класс имел вид неприбранного гардероба.

— Я что-то не пойму... Что происходит?

— Маргарита Семеновна! У меня дверца не закрывается. Вчера закрывалась, а сегодня не закрывается. Вот! Смотрите! — Вера продемонстрировала обнаружившийся дефект.

— И у меня!

— И у меня!

Класс загудел, выражая жалобщикам солидарность. Гул перекрыл чей-то тоненький голос:

— Это Егор!

— Что — Егор?

— Он магнители скрутил.

— Что сделал?

— Магнители скрутил. Со шкафчиков.

— А Илюшка с Жорой ему помогли! — кто-то решил, что справедливости ради надо уличить сразу всех.

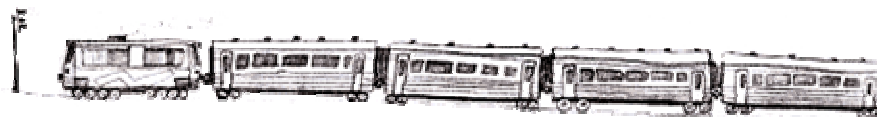
— Ничего не понимаю! — что-то мешало Марсём вникнуть в происходящее. Ромик решил объяснить:

— Ну, Егор хотел добыть магниты. Чтобы сделать дома машину. А магниты есть на шкафчиках. И он стал скручивать магниты. А Илюшка с Жориком как раз пришли. Он говорит: во, ребя, где магниты! Хотите? Тогда приносите завтра отвертки. А то ножницами неудобно.

— И что — принесли? — ошарашенная размахом преступления, Марсём все-таки не могла скрыть любопытства.

— Угу! — Егор сидел, насупившись и уставившись в парту. — Принесли.

— Они все трое принесли, — мягко пояснил Ромик. — И вчера свинтили. Вот тут не свинтили. Это мой шкаф. Я не дал. Мне магниты самому нужны.



— И эти люди победили Дрэгона! — Марсём с трудом сдерживала негодование. — Садитесь. Решайте примеры на сто двадцать первой странице. А я пока подумаю, что делать.

Все тихонько сели и открыли учебники, чтобы не мешать Марсём думать. Она тоже села и стала смотреть куда-то мимо нас. Когда прозвенел звонок, она все так сидела. Мы на цыпочках вышли в коридор, а потом вернулись.

— Давайте на ковер! Поговорить надо, — Марсём приняла решение.

Мы сели в кружок, поджав ноги. Все молчали, потому что сказать было нечего. Все понимали: дело плохо.

Я расскажу вам историю, сказала Марсём. Нет, две истории. Первая — из реальной жизни. В одном селе ребята решили устроить дискотеку. Настоящую. Как в большом городе. Когда кругом разноцветные круги вибрируют. Для этого нужны были специальные стекла. Цветные. Ребята стали думать, где их взять. И какой-то умник вспомнил: цветные стекла есть на станции, у светофора. Красное и зеленое. Все взяли отвертки побежали на станцию за стеклами, а вечером устроили дискотеку — как в городе, с цветными кругами. Но утром следующего дня в районе этой станции пассажирский поезд столкнулся с товарняком, и погибло много людей. Об этом писали в газетах. Это первая история.

А вот вторая. Как-то я встретила человека, который каждый день перед заходом солнца начищал до блеска свою лопату. Лопата сияла так, что в нее можно было смотреться — как в зеркало. Я спросила, зачем он это делает. «У каждого из нас есть ангел, — сказал человек. — Тот, что отвечает за наши поступки. Но ангелы не могут заниматься только нами. Если мы что-то делаем правильно — хоть что-то делаем правильно, они улетают по другим важным делам. И тогда одной бедой в мире становится меньше. Если же мы пакостим, ангелы должны оставаться рядом — исправлять наши пакости. Мой ангел знает: вечером я всегда чищу лопату.

В это время он может быть за меня спокоен, может от меня отдохнуть. И он летит спасать кого-нибудь — от бури, камнепада, землетрясения. Летит туда, где нужны усилия многих ангелов. И если хоть один из них не явится в нужный момент, последствия могут оказаться самыми печальными».

Так сказал мне тот человек. Подумайте об этом, ладно?



## 19

Это очень важно — узнать про ангелов. Но слова должны за что-то зацепиться. За что-то внутри. Иначе они скользнут мимо.

Как ветер.

Как шум проезжающего автомобиля.

Как чужая кошка, бегущая через двор. Она, такая мягкая и пушистая, бежит по своим делам и не имеет к тебе никакого отношения. Ты, конечно, можешь ее погладить — если она не испугается. И если ты не испугаешься погладить чужую, неизвестную кошку, только что выбравшуюся из подвала, — вдруг она заразная? Но даже если ты ее погладишь, это ничего не изменит в твоей жизни. И в жизни кошки тоже. Она все равно побегит дальше, по своим делам. И ты пойдешь дальше, будто бы никого не гладил.

С ангелами так нельзя. Нельзя поступить с ними так же, как с этой неизвестной кошкой: все узнать — и пойти по своим делам. Ты должен будешь с этим жить. Дальше — жить с этим.

Вечером я сломала своих лебедей. Достала тихонько с полочки в шкафу, принесла домой и сломала. Внутри меня было тихо и грустно. Я знала: теперь мы не сможем играть с Егором в магнетики. Магнетики теперь нужны для другого. Для шкафчиков. Чтобы шкафчики снова стали закрываться. Я попросила дедушку пойти со мной утром в школу и починить дверцы — мою и Наташкину. Потому что у Наташки, я точно знала, никаких магнетиков нет. И Наташка не знает, где лежит отвертка. Наташкин папа знал, а Наташка не знает.

Когда мы с дедушкой на следующий день пришли в класс, там уже было полно народу: папа Егора, и Илюшкин брат, и еще папы Жорика, Веры, Насти. Даже Петин папа приехал, хотя ему это было очень трудно. Все чинили шкафчики. А мальчишки подавали отвертки и винтики, потому что привинчивать труднее, чем отвинчивать, и у них это плохо получалось, слишком медленно. А девочки просто смотрели или аккуратно складывали вещи — чтобы не вываливались.

Марсём появилась в классе, когда мужчины складывали инструменты и готовились расходиться. Егор собирал в коробку винтики.

— Это запасные, — сказал он вместо «здравствуйте» и показал Марсём несколько магнитных защёлок. — Если отлетит, можно приделать.

— Доброе утро, Маргарита Семеновна! — поздоровался Петин папа. — Работайте спокойно. Ангелы сегодня отдыхают.

### Дневник Марсём

...Сегодня во время рабочего дня меня преследовала навязчивая мысль: «Убила бы!» Убила и развесила бы по фонарям: инициатора проекта — в центре, и двух сподвижников — по бокам. В назидание оставшемуся в живых детскому человечеству.

Вот как меня разозлили. И даже думать не хочется, что можно иначе. Без убийств.

Вот Корчак старался. Он придумал в своем интернате специальный орган — детский суд. Чтобы дети жаловались друг на друга в законном порядке и разбирались друг с



другом по закону, а не посредством мордобоя. Большая часть корчаковского судебного кодекса кончается словами: «Простить, потому что виновный сам уже раскаивается в содеянном».

Но есть одна запись в его дневнике. Одно место, где он записал: порой мне кажется, надо ввести для детей уголовное наказание. Для некоторых.

В учебниках, конечно, про это не пишут. Чтобы не портить Корчаку посмертную славу. А Корчак, когда писал, об этом не думал — о том, что придется совершить подвиг и погибнуть в Трешлинке. Что каждая оброненная им фраза, даже фраза из дневника, будет причислена к разряду святых истин. Он написал так в сердцах. Потому что его разозлили.

Он сидел в своем кабинете, в Доме сирот, и смотрел в окно. Кругом такое дерьмо — фашисты и полицаи, дети болеют, и нужно где-то добыть мешок гнилой картошки, чтобы они не умерли с голода. От всего этого пухнет голова. А во дворе Марыся и Янек строят из песка домик. Песок грязный, сероватого цвета. Откуда взяться чистому песку в Варшавском гетто в разгар войны? Марыся и Янек долго трудятся, прихлопывают песок ладошками, укрепляют камешками, чтобы стенки домика не обвалились. Им нет дела до полицаев и до фашистов. Пока есть песок и возможность строить домики.

А потом они уходят, ненадолго, чтобы съесть свою порцию гнилой картошки. Или зачём-нибудь еще.

В это время появляется еще один, имя которого вылетело у меня из головы. Совершенно вылетело. Он по-воровски оглядывается вокруг, а потом бежит туда, где Марыся и Янек строили домик, и топчет его каблуками. Одним каблуком, потом другим: вот так! Вот так! Без всякого смысла. Исключительно по злобе, чтобы навредить. А потом убегает, прячется. Марыся и Янек возвращаются и видят — домика больше нет. Только безобразная яма. Как на месте того дома, на который упала большая бомба. Там еще была лавка зеленщика. Они жили как раз напротив, пока мама и папа были живы. И потом они еще ходили туда — посмотреть на яму, пока Дом сирот не перевели в гетто.

Марыся и Янек решают: ничего! Еще можно все поправить — пока есть песок и возможность строить домики. И снова начинают копать, и прихлопывать, и укреплять стенки камушками. А наутро их домик опять окажется раздавленным. Потому что тот, чье имя я не запомнила, дождется вечера, придет и опять все сломает.

Корчак из окна это видит. Один раз, другой, третий. И в нем закипает негодование. Он думает про того, кто ломает: вот гадкое существо! Какой человек из него вырастет! На что он будет способен в будущем? А сейчас он тоже ест добытую с таким трудом гнилую картошку. И порции Янека и Марыси от этого меньше, гораздо меньше, чем могли бы быть. И почему только для детей не придумали серьезных наказаний? Для таких вот детей, с испорченным нутром? Он думает: была б моя воля — убил!

Но когда наступит минута, когда вроде бы его воля, когда нужно делать выбор, он спросит у конвойного офицера:

— А дети поедут?



И решит ехать вместе с детьми. С Янеком, с Марысей и с тем, кто ломал домики. В этот момент записанное в дневнике не будет иметь никакого значения...

### *Другая запись. Два часа позже*

Перерыла весь «Дневник» Корчака. Не могу найти это место — про Янека с Марысей. Про то, как злобный мальчишка топчет их домик каблуками. Сначала — одним, потом — другим. Сильно вдавливая песок ботинком, так, чтобы осталась вмятина.

Я что же — все придумала? Из-за каких-то дурацких шкафчиков?

Дурацкие-то они дурацкие, но ведь как мы им радовались!

Завезли в школу шкафчики, неизвестно зачем купленные. Начальство думает: не нужны эти шкафчики никому. Разве той демократке предложить? И предложили.

Я подумала: вот счастье-то привалило! Шкафчики! На каждого. Теперь, друзья мои, у каждого в классе будет свое местечко, свой тайничок.

А какую речь я на родительском собрании толкнула! Папы понабежали, с отвертками, с дрелями наперевес. Шкафчики ведь к нам не в виде шкафчиков приехали — в виде дощечек со штыречками. Но дырочки, куда эти штыречки вставлять, на фабрике сделать позабыли.

И мы эти дощечки три дня собирали — и в будни, и в выходные. Для чего? Чтобы юные кулибины магнитиками могли разжиться? Чтобы из шкафов дрессированные шапки выскакивали?

Хреновы победители драконов!..

### *Другая запись*

Учительское счастье слегка напоминает счастье идиота.

Ну, и действительно: сначала со шкафчиков свинтили магнетики, и ты впал в истерику. Потом магнетики привинтили обратно, и ты готов прыгать до потолка. Разве не идиотизм? Кому из нормальных людей можно объяснить, от чего ты, собственно, прыгаешь?

Поэтому объясняю — исключительно для потомков: прыжки вызваны внезапным открытием: твои дети — вполне люди! С явно выраженными признаками внутренней жизни. Ты решился доверить им свое тайное знание, и они тебя поняли!

Более того, вдруг понимаешь: никому, кроме них, ты бы эту тайну не смог открыть — с безумной надеждой, что это может исправить положение вещей. Где это видано — такое могущество слова?

Разве это не основание чувствовать себя счастливой?..

### *Другая запись*

...Тайное знание? Возможно, для Йона это не было тайной. Ведь мне он об этом рассказал? Но, может быть, это был особый дар. Дар неслучившейся любви.

Мы познакомились в Швеции, в той школе, куда после конкурса послал меня умный и хитрый Зубов.

Собственно, никакой Швеции оттуда не было видно. Видны были лес и камни. Такие огромные валуны с сединой мха. Они обнаруживаются в самых неожиданных местах между соснами, будто напоминают, что люди — молокососы, хоть и воображают о себе невесть что.

Среди этих сосен и валунов стоит школьный поселок: деревянные бараки на фоне средневековых развалин. То ли остатки деревни после нашествия вражеских рыцарей, то ли поселение свободных мастеров, свергнувших власть феодала. В общем, ничего современного. Дровяное отопление, свечное освещение. Средневековые развалины — не настоящие. То есть настоящие, но не средневековые. В какой-то моменте поселке решили построить замок — для театральных занятий. И почти построили, но в процессе



строительства он взял и сгорел. Кто-то, из-за привычки к свечному освещению, что-то не так включил или выключил. Поэтому случилось замыкание, и возник пожар. Я это рассказываю, чтобы дальше все было понятно.

Первый раз я увидела Йона на дорожке, которая отделяла цокольные домики от леса.

Было такое раннее серое утро, и я вышла пописать.

Только не надо дергаться. Это вам не любовный роман в стиле Джейн Остин, где барышни способны только на один физиологический акт — вздохнуть. Ах, да! Иногда они еще плохо спят.

Но это — не ко мне. Я пока хорошо сплю.



И, когда надо, — писаю. Как любой нормальный человек. И нечего делать вид, будто для учительницы это недопустимо! Учительница — а такие желания! Низкие. Все что угодно, только не это!

Я не согласна. Я думаю, писать — вполне невинное занятие. В отличие от многого другого.

А в той шведской школе, между прочим, пописать было не так-то легко. Особенно — с учетом моего знания языка. Когда мы только приехали, я спросила: «Где здесь туалет?» И мне показали: в той части замка, которая не сгорела. Туалет и душ. Правда, в душе текла только холодная вода. Нагреватель тоже сгорел. У некоторых, по слухам, отсутствие горячей воды только разжигало стремление к чистоте. Но ко мне это не относилось. Вообще — ко всем нам, к русской делегации. Нас возили мыться куда-то в другое, более цивилизованное место. Два раза в неделю. Там тоже был туалет. Но посещать туалет два раза в неделю — это круто. Даже если ты такое особенное существо, как учитель.

Несгоревшая часть замка — с туалетом — располагалась довольно далеко от домика, где мы спали. В домике, как везде, было печное отопление и свечное освещение. А туалета — даже на улице — не просматривалось. Может, он где-нибудь и был, только замаскированный, но я же не могла ходить по поселку и все время спрашивать: скажите, не туалет ли это? Во-первых, я не могла составить такую сложную фразу — с частицей «ли». Во-вторых, я все-таки была гостьей из России. Нельзя было показаться слишком навязчивой — все время приставать к шведским учителям с одним и тем же вопросом — про туалет. Вопросы надо было разнообразить — об уроках спрашивать, о воспитании — из соображений поддержать престиж страны.

И я приняла смелое решение: буду решать свои туалетные проблемы самостоятельно, по мере их возникновения. Тем более что лес рядом. С убедительными зарослями.

И вот я вышла решать возникшие проблемы, но двигалась неторопливо: к птичкам прислушивалась, на солнышко поглядывала. И это меня в некотором роде спасло: если бы я проявила излишнюю поспешность, я могла бы не успеть. Не успеть все закончить к тому моменту, когда Йон появился на дорожке.

И что бы тогда было? Ой-ой-ой!

Неожиданно совсем близко раздалось странное цоканье, и из-за поворота вышел человек. Такой огромный, в соломенной шляпе, с заступом на плече и в деревянных башмаках.

В деревянных башмаках!

Я просто остолбенела при виде этой шляпы и этих башмаков.

Я забыла про все свои проблемы, которые собиралась решать: когда на тебя живьем надвигается фрагмент картины Ван Гога, физиология отстывает. С человеком случается

культурный шок. И оттого что этот фрагмент слегка замедляет шаг, приветливо машет ручищей и говорит: «Hello!», легче не становится.

Фрагмент картины Ван Гога процокал дальше и скрылся за бараками. Чтобы получить доказательства подлинности происходящего, мне пришлось себя ущипнуть. И потом, в течение всего дня, я мучилась только одним вопросом: «Как бы узнать, кто это?»

Мучилась, как оказалось, напрасно. Стоило мне между делом поинтересоваться: «Кто это — в башмаках и шляпе?», я сразу же получила исчерпывающий ответ: это Йон. Садовник. Он следит за школьным огородом.

Мне хватило выдержки не броситься разыскивать огород в ту же минуту: Наоборот. Я внимательно наблюдала за дискуссией во время урока литературы (хотя она велась по-шведски), нарисовала восковыми мелками корову как символ погруженного в себя животного, походила спиной вперед на занятиях по искусству движения. И только после этого — после дискуссии, коровы и ходьбы спиной вперед — отправилась в том направлении, где должен был находиться огород.

В огороде действительно работал Йон — в той самой шляпе и в тех самых деревянных башмаках. То есть не то чтобы работал. Он чистил лопату. Вообще-то в этом нет ничего особенного — в том, чтобы чистить лопату. Каждый нормальный человек после работы счищает со штыка налипшую землю. Но Йон не просто счищал землю, и даже не просто протирал лопату тряпочкой. Он надраивал ее так, будто хотел превратить в зеркало. И время от времени, чтобы убедиться в исполнении своего намерения, поглядывал на блестящую поверхность.

— Любуешься собственным отражением? Как сидит шляпа?

Это я сказала вместо приветствия, кивнув в сторону лопаты.

Чтобы быть ехидной и отвести от себя подозрения — если таковые почему-то возникнут.

То есть я сказала не прямо так. Я сказала то, что позволял мне мой английский:

— Тебе нравится то, что ты видишь?' шляпа? Твое лицо?

— Я чищу лопату, — строго ответил Йон. Видимо, шутка не показалась ему безобидной.

— Но она уже чистая.

Йон отвернулся, чтобы я ему не мешала. И мне пришлось уйти. А потом, через пару дней, я опять шла куда-то через огород. В этот раз Йон начищал тяпку. Уж блестящая лопата была отставлена в сторону, и в нее заглядывалось раскрасневшееся к вечеру солнце.

— И это тоже должно блестеть?

— Она должна блестеть!

— Она уже блестит.

— Она должна блестеть как зеркало.

Йон кивнул.

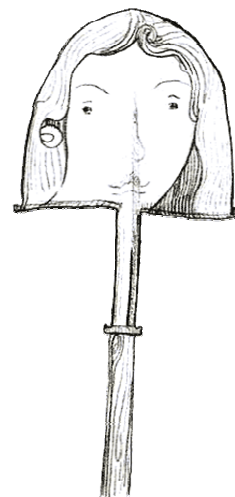
— Как зеркало?

Йон продолжал натирать тяпку.

— Все инструменты должны блестеть?

— Да, все.

— Ты ждешь красивых девушек? Чтобы они на себя смотрели?



Конечно же, я хотела сказать не так. Я хотела сказать: «Собираешь по вечерам красавиц, разбивших зеркала?» Но у меня так не получилось.

Неожиданно Йон предложил:

— Хочешь посмотреть?

Я не поняла, шутит он или говорит серьезно. Поэтому продолжала стоять на месте и молчать. В общем-то, как дура. Йон поощрительно улыбнулся и поманил меня рукой. Я стала приближаться — такими малюсенькими шажками, чувствуя себя пойманной в ловушку. Он смерил взглядом мой рост, достал лопату с коротким черенком и поставил передо мной:

— Красиво?

Слова относились не к лопате. Слова относились ко мне, и я смутилась. Пожала плечами.

— Не знаю, что сказать.

— Красиво! — утвердительно заметил Йон и улыбнулся.

— А где же остальные? — я имела в виду красавиц. Нельзя же было оставить за ним последнее слово.

— Остальным это неинтересно.

— Что — неинтересно? Почему ты чистишь лопаты?

— Пойдем, скоро ужин.

Йон запер инструменты в сарайчик, и мы пошли в сторону кухни. Это было так странно: я — и рядом он, такой огромный, в своих деревянных башмаках.

На следующий день я попросилась на практику в огород. Мне разрешили. Возможно, мне пойдет на пользу, если со мной поработает Йон. Он хорошо знает свое дело. А в школе любое занятие связано с воспитанием.

Я думала, я мечтала: после работы мне доверят натирать лопаты. К моему удивлению, Йон сразу и безоговорочно отклонил это предложение.

— Ты просто сиди и смотри. Мне от этого хорошо, — сказал он и стал начищать металл ловкими, правильно рассчитанными движениями. Каждый раз, заканчивая, он призывал меня взглянуть на свое отражение — то в лопате, то в тяпке, то в узком лезвии ручной бороны. Сначала я рассматривала себя внимательно, потом начала корчить рожи и кривляться. Йон улыбался, будто чистка лопат приобрела дополнительный смысл.

На самом деле он почти не пользовался ни лопатой, ни тяпкой. Он чистил их, что называется, из любви к искусству. А работал в основном руками, стоя на коленях, перетирая землю, шевеля ее своими огромными ручищами, которые казались странно ловкими, умелыми и — такими ласковыми.

Я поймала себя на мысли, что движения его рук кажутся мне почти эротичными. Я подумала: как жалко, что это — не мне! И испугалась. Йон, перехватил мой взгляд. И, наверное, тоже что-то почувствовал. Он вдруг заторопился. Сказал, нужно сегодня закончить пораньше. Раньше, чем всегда.

— Почему?

— У меня дела. В лесу.

— В лесу?

— Я там немного чищу. Лесу тоже уход нужен. Я наметил себе участок. Это, это...

Он искал слово. По-английски он говорил лучше, чем я, но все-таки не совсем свободно.

— Служба?

Я хотела сказать, служение. Но он понял и кивнул:

— Да, служба.

— Ты следишь за деревьями, как они себя чувствуют?

— Я очищаю кору. От того, что на ней нарастает, — он показал мне большой нож — с таким же блестящим лезвием, как металлические части всех его инструментов. — И еще мечу сухие стволы. А потом вырубая и жгу.

— Ты ходишь в лес жечь костер?

Йон кивнул.

— Я тоже люблю костер.

— Я не люблю. Я чищу.

— Я тоже хочу чистить.

— Это непросто. Это такое большое искусство — правильно жечь костер.

— Правильно? Что значит — правильно?

— Не должно оставаться углей. Только зола. Одна зола. Иначе лесу будет плохо.

— Одна зола?

— Да, зола. Уголь — это вредно. Он лежит на земле или в земле — сто лет, двести — и с ним ничего не происходит. Для леса это плохо, грязь. Родимые пятна.

— А зола?

— Зола — это другое. Это пища. Пища для деревьев. Поэтому жечь надо до золы. И это непросто.

— Научи меня! Научи, пожалуйста.

— Да, да, конечно. Но не сегодня. Потом. Как-нибудь потом.

Я поняла: он не хочет идти со мной в лес. Он боится.

И разгневалась. Рассердилась. Такой большой — и такой трус!

Но Йон все-таки позвал меня жечь костер. За три дня до нашего отъезда. Весь день мы провели за чисткой деревьев. Иногда он подсаживал меня, чтобы я могла забраться повыше: садился на корточки и сплетал пальцы рук. Получалась такая живая ступенька. Сначала я опасалась сделать ему больно. И было как-то неловко. Но потом поняла: это работа. Йон считает, что это работа. Поэтому — все в порядке. И наступала на подставленные руки уже смелее, а затем устраиваясь в основании какой-нибудь толстой ветки, как в гнезде.

Вечером Йон развел костер. Мы сидели, ели хлеб с сыром и смотрели на огонь, как он скачет по поленьям. Время от времени Йон поднимался и шевелил дрова — чтобы они смогли прогореть до золы. Огонь, сначала большой и сильный, плясал и радовался пище. А я думала, мне мало на него смотреть. Мне этого мало. Я хочу, чтобы Йон, который сейчас сидит рядом в своих неотменимых башмаках, обнял меня и прижал к себе. Я хочу почувствовать его близко-близко, каждой клеточкой своего существа. И я знала: он тоже этого хочет. Очень-очень хочет.

— Мне нужно тебе что-то сказать.

Сердце внутри дернулось и выпустило в сосуды свежей, теплой крови. Но кто-то внутри противно ухмыльнулся: «Ну, прямо классика жанра. Как в кино!»

— Я должен объяснить про лопаты — сказал Йон. — Когда я был маленьким, у меня не было отца. Для мальчика это, знаешь, плохо. Очень плохо — когда без отца. И я был нехорошим ребенком. Я делал много плохого. Так что моя мать часто плакала. Потом я подрос, и меня увидел один человек — как я делаю плохое. Он сказал: у каждого из нас есть ангел. И у тебя тоже. Ангелы должны делать добрые дела. Но твой ангел — не делает. Не может. Ты привязал его к себе своими дурными делами. Спутал его крылья. И знаешь, что хуже всего? Ты не умеешь держать слово.

Этот человек стал мне как отец. Я потом многому у него научился — ухаживать за деревьями и за землей. Так, чтобы она не обижалась. Чтобы ей было приятно. И я дал слово — каждый день чистить инструмент. До блеска. Как бы я ни уставал, как бы ни хотелось мне все поскорее закончить, я должен начистить инструмент, чтобы он блестел как зеркало. В это время мой ангел за меня спокоен. Он от меня отдыхает, от тревог обо мне. Он может лететь, куда ему надо. Делать что-нибудь хорошее. Что-нибудь такое, где без него нельзя обойтись.

И Йон меня не обнял. Не прижал к себе. И не поцеловал. Потому что не мог не думать об ангеле. О том, что у ангела много забот. Вдруг из-за этого он не сможет лететь по своим добрым делам?

А я думала о том, что в Москве у меня муж и дети. Которых я люблю. И по которым уже соскучилась. Сильно соскучилась. Я так давно живу без них, в этой Швеции. Я живу здесь уже целый месяц. Будто меня забросило на другую планету, в другую жизнь. И она течет своим чередом. Не имея отношения к моей московской жизни. Но это не так. Совсем не так.

Последний раз мы с Йоном увиделись на пристани, откуда уходил наш теплоход. Он вручил мне пакет. Сказал, пока не смотри. Откроешь, когда отплывете. И еще — не надо писать письма. Не надо тратить на это время. У тебя в Москве будет много дел — муж и дети. Ты будешь ходить в свою школу. Тебе нужно сосредоточиться. На том, что ждет дома.

Я с ним согласилась. С ним и с его ангелом. Я кивнула и пошла через таможеню, на палубу. Йона оттуда уже не было видно. Потом теплоход дал прощальный гудок, тяжело вздохнул и двинулся с места.

Воды между берегом и кораблем становилось все больше и больше. Швеция стала таять, а потом превратилась в воспоминание. В призрачный остров. В небывалую землю, которая случайно привиделась во сне. Мало ли, что там привиделось!

В каюте я открыла пакет. Там лежали деревянные башмаки. Они пришились мне точно в пору. Как он узнал мой размер?

### *Другая запись*

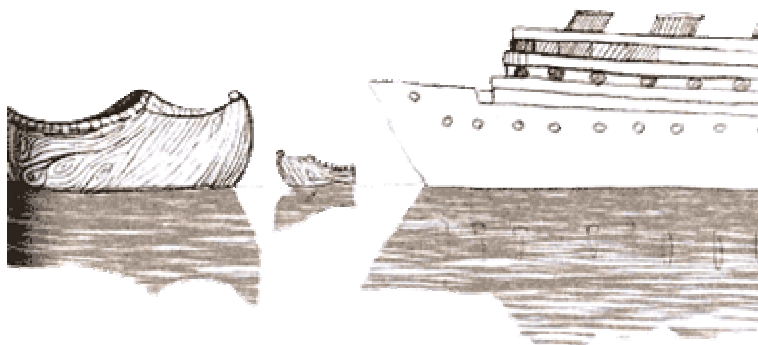
И это я решила доверить детям! Этим юным вандалам, покоренным силой магнетизма! На том основании, что два года назад они завалили Черного Дрэгона.

По-моему, это диагноз: «Помешательство на почве посещения пасти дракона». Может, дракон был бешеный и кого-то цапнул?..

### *Другая запись*

Интересно, В.Г. знает, что костер надо жечь до золы? Что зола — это пища, а угли — грязь? Может, на этом основании создать новую классификацию пережитого? Это — чувства а-ля угли. А это — доброкачественная зола. По-моему, вполне в его духе.

Кстати, я поняла, как Йон узнал мой размер: ведь когда я влезала на дерево, я наступала ему на ладонь...



## Часть пятая

### 20

В четвертом классе мы стали обманывать Марсём. Не так, как раньше — случайно. Мы специально стали говорить ей неправду. Специально ей — специальную неправду.

Но полночь еще не наступила, часы не пробили двенадцать и не оповестили всех и каждого, что кончил действовать закон о любви к первой учительнице. Поэтому она еще могла победить. Она еще побеждала.

Наташкино поведение являло собой образец целенаправленного вранья. Ее родители разводились уже полгода. И мир стал напоминать Наташке избушку на курьих ножках: поганая избушка вдруг взяла да и повернулась к ней задом. Надо было что-то делать, как-то бороться с этим, с неправильным положением куриных ног. Но не пойдешь же, не стукнешь избушку тряпичным шаром по крыше! И Наташка использовала те возможности, которыми располагала.

Она перестала вовремя приходить на остановку, откуда мы с бабушкой по дороге в школу в течение трех предшествующих лет «подбирали» ее и Петю. Поначалу бабушка терпеливо выслушивал истории про сломанные будильники и застревающие лифты. Но потом проявил вежливую твердость и сказал: ждать больше не будет. Он всегда хорошо к ней относился и сейчас хорошо относится. Но для руководителя фирмы недопустимо опаздывать на работу, даже на пять минут. А в прошлый раз он опоздал на полчаса. Из-за того, что Наталья не пришла вовремя.

Наташка изобразила на лице отчаянье, кивала с чувством преданности и понимания — без всякого снисхождения к собственной голове, которая от таких энергичных движений могла и оторваться. Наташка клялась и божилась: больше не будет опаздывать, не опоздает никогда в жизни. Чтобы исключить из нашей общей жизни сюжеты со сломанным будильником, Петина бабушка подарила ей свой, запасной, а Петя обязался будить по утрам телефонным звонком. Все оказалось напрасным. Наташка не приходила на остановку в назначенное время, бабушка сажал в машину Петю и, нахмурившись, отъезжал.

Наташка же появлялась в классе минут через двадцать после начала урока.

— Быстро проходи и садись! — Марсём старалась сделать это событие как можно менее значительным.

Но Наташку такой вариант совершенно не устраивал. По ее лицу разливалось показательное раскаяние, требующее сиюминутного признания и прощения:

— Маргарита Семеновна! Я так сожалею! Я совсем не хотела. Я должна вам все объяснить...

— Прходи на место! Тихо! — шикала Марсём, пытаясь защитить хрупкое внимание класса, занятого самостоятельной работой.

Но Наташка не сдавалась. На стремление Марсём не заметить ее опоздания бросала тень избушка на курьих ножках.

— Я правда не виновата. У нас знаете что случилось? Все электричество в подъезде отключили. А потом — во всем доме. И еще — в доме напротив. Это какая-то техногенная катастрофа, — Наташка упивалась размерами постигшего ее катаклизма. Но, поймав уничтожающий взгляд Марсём, спешно добавляла: — Маленькая...

Сидящие за партами отрывались от столбиков с многочленами. Сообщение о техногенной катастрофе было гораздо более волнующей информацией, чем решение задачи.

— Выйди за дверь и там жди звонка, — терпение Марсём истощалось по мере того, как в классе разрушалось поле интеллектуального напряжения, созданное с таким трудом.

— Одна бабушка в лифте застряла, и ее полчаса оттуда вытаскивали. У нее с сердцем плохо стало.

— За дверь! — рывкала Марсём, и Наташка выскакивала в коридор, громко хлопая дверью и обрекая потревоженные умы одноклассников на неизбежные ошибки.

Но эти мини-драмы, эти регулярные опоздания были сущим пустяком по сравнению с нежеланием Наташки читать.

Марсём не учила нас читать по букварю. Тетя Валя считала это форменным безобразием. Неизвестно, как она об этом провела. Но, встретив маму, соседка буквально набросилась на нее с обвинениями, будто та не думает о моем будущем. Отсутствие букваря никак не сказалось на моем умении читать, пыталась успокоить мама тетю Валю.

— Алина уже читает книжки, даже толстые.

— А учебник чтения она читает? — вкрадчиво интересовалась соседка.

— Учебник? Нет. У них нет такого учебника, — терялась мама.

— Вот то-то! У них нет учебника! — вспыхивала тетя Валя. — У всех есть, а у них — нет. И что же, позвольте спросить, она тогда читает? Откуда она знает, что нужно читать?

— Ну, она сама выбирает книжки. У них в классе библиотека, и дома у нас большая библиотека. К тому же мы часто ходим вместе в книжный магазин.

— Вы только подумайте! Сама выбирает! И как же это, позвольте спросить, она выбирает? — тетя Валя не находила слов. — Нужна система, — втолковывала она маме. — Система. Иначе толку не будет. Вот так и засоряют детям головы. Сама выбирает!

Мама пугалась. Но дедушка только веселился. Оказалось, он вполне разделяет ненависть Марсём к букварям и учебникам чтения.

Алина давно научилась читать, — говорил он. — И вряд ли ей интересно узнать про чью-то чужую «маму», которая «мыла раму». Чтение, Оленька, — вещь интимная, глубоко личная. Книга — человеку друг, а не чиновник высшего ранга. И никто не имеет права принуждать меня читать что бы то ни было. Даже очень важное.

Но, избавив нас от учебников и букварей, Марсём учредила в классе строгий режим самостоятельного чтения и требовала неукоснительно его соблюдать. В будни мы обязаны были прочитывать по десять страниц, в выходные — по пятнадцать. Не меньше. Утро каждого дня начиналось с ритуального действия: за десять минут до начала урока все должны были погрузиться в открытую книгу и в таком состоянии поджидать прихода Марсём.

«У каждого в жизни свои маленькие радости, — говорила она. — Мне доставляет удовольствие видеть читающих детей. В этот момент у вас умные лица, и я могу думать, будто нас что-то объединяет. Это некоторая компенсация за маленькую зарплату. Вы ведь слышали: учителя мало получают».

Марсём внимательно следила за появлением в классе новых обложек и новых авторов. Иногда она рассказывала коротенькие истории про создание книг и про писателей, иногда — просила поделиться впечатлениями о каком-нибудь персонаже, предположить, что будет дальше. И еще она показывала нам книжки, которые читала сама.

Вот из этого ритуального обмена информацией Наташка позволила себе выпасть. Во-первых, из-за опозданий. Во-вторых, из-за того, что с некоторых пор она ничего не читала. Кроме «Сексологии для малышей» и книжки «Откуда я появился». Но не могла же она припереться с этими книжками в школу и признаться,



что ее любимый литературный герой — сперматозоид?

Быть может, она в глубине души желала, чтобы Марсём догадалась об этом сама. И поведала бы какую-нибудь забавную историю вроде той, что рассказывала про Робинзона Крузо, Буратино или Винни-Пуха. Призналась бы, что обожала такие книги в детстве — читала их по ночам с фонариком под одеялом, потому что свет уже погасили, а оторваться от захватывающих страниц просто невозможно.

Однако Марсём могла видеть только в глубину. На три метра. Это она так говорила, когда мы пытались ее обманывать: «Я вижу на три метра в глубину под вами». Но разглядеть на большом расстоянии, что там Наташка читает дома по вечерам, когда мама «вся на нервах», а папа еще не пришел, и теперь уже больше никогда не придет, Марсём было не под силу. Чтобы прояснить обстоятельства дела, ей потребовалась очная ставка. В один прекрасный день она все-таки отловила Наташку и попросила предъявить читаемую книгу. Книги в портфеле, естественно, не оказалось.

— Пожалуйста, завтра принеси! Независимо от времени твоего появления в школе.

И Наташка принесла. Не свою любимую «Сексологию», а первое, что попало ей под руку в книжном шкафу, — «Трех мушкетеров». Марсём пришла в восторг. В классе произошла революция, объявила она. И вождь революции — Наташка. Через нее мы все откроем для себя авантурные романы. Марсём так увлеклась, что рассказывала про Дюма и мушкетеров даже дольше, чем про Винни-Пуха. Она заявила, что будет с нетерпением ждать, когда Наташка поделится с классом своими впечатлениями от Миледи, а заодно напомнит Марсём, как звали лошадь д'Артаньяна.

Но Наташка не собиралась — в то время не собиралась — читать про мушкетеров. Ведь у мушкетеров не было детей! И у Миледи тоже. И вообще та эпоха ей не подходила: она никак не продвигала Наташку на пути по осуществлению планов, связанных с обретением женской независимости. А книга была толстой и тяжелой. Чтобы не таскать ее туда-сюда, Наташка просто спрятала ее в парте и в нужный момент доставала, чтобы предъявить Марсём обложку. Марсём, тем не менее, все чаще обращала на Наташку заинтересованный взгляд и спрашивала: «Ну, как? Продвигаются дела? Про госпожу Бонасье уже прочитала?» Наташка кивала и соображала, как быть. Она понимала: ей не проскочить. Марсём обязательно спросит, что там происходит, с этим д'Артаньяном, куда он скачет и кого спасает. И Наташка решила играть ва-банк. Она увезла «Мушкетеров» домой и положила в тайник другую книгу, «Двадцать лет спустя». Когда же урочный час настал, смело заявила: «А все: „Три мушкетера“ кончились. Я теперь другое читаю. То, что через двадцать лет». Марсём как-то тяжело замолчала. Минуты на две. Или на три. Все притихли, чтобы не мешать ей разглядывать под Наташкой глубину в три метра. Потом она повела бровями вверх-вниз, сдвинула губы трубочкой, словно удивляясь чему-то, и, глядя одновременно и на Наташку, и мимо нее, сказала:

— Я поставлю двойку. По математике. А с книгами будем разбираться после уроков.

— Почему? — в голосе Наташки чувствовалось неподдельное возмущение.

— Что — почему?

— Почему по математике?

— За неправильный расчет. Сколько страниц в день нужно прочитывать?

— Десять.

— А сколько страниц в «Трех мушкетерах»?

— Н-не знаю, — Наташка уже чувствовала, что ее подловили.

— Не сомневаюсь, — кивнула Марсём. — Зато я знаю. Специально обратила внимание. Так вот: в книге восемьсот страниц. Вопрос ко всем: за какое время можно прочитать такой роман, если читать по десять страниц?

Класс загудел, выкрикивая результаты вычислений.



— Еще вопрос: у нас был дневной рекорд по домашнему чтению. Его поставила Катя. Сколько страниц она тогда прочитала?

— Тридцать.

— Сколько времени потребуется, чтобы закончить роман, читая по тридцать страниц в день? Считаем в столбик.

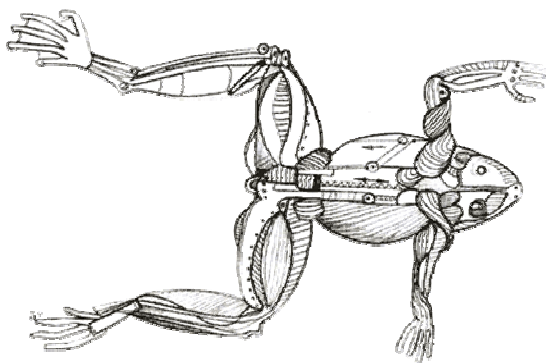
Ответ был выписан на доске.

— Теперь понятно, почему двойка — по математике? За несовершенное вранье. Продумать достоверную легенду это, знаете ли, сложное искусство. Поэтому не нужно ставить перед собой непосильных задач. Лучше говорить правду. По крайней мере, пока.

Но обещанную двойку Марсём не поставила. Это Наташка рассказала мне по секрету вечером. Про то, как они с Марсём выясняли правду.

Наташка, как осталась с Марсём наедине, сразу начала реветь. А Марсём говорила, что понимает, как ей трудно. Все понимает. От нее, от Марсём, тоже когда-то ушел папа. То есть не так. Папы уходят не от детей. Они уходят от мам. Это не значит, что папы не любят своих дочек. Просто ребенка невозможно разорвать пополам: невозможно оставить половинку маме, а другую половинку унести с собой. Но душа у ребенка рвется — как тонкая ткань, которую неосторожно потянули за один конец. Прямо посередине. Понимаешь теперь, почему так говорят: надорвали душу?

Это не смертельно. Это проходит. Срастается. И потом можно все исправить — когда вырастешь и встретишь какого-нибудь хорошего человека. Он тебя полюбит и захочет, чтобы у вас с ним появились дети. Как ты думаешь, сколько будет у тебя детей, когда ты выйдешь замуж? Мальчик и девочка? Вот видишь: я угадала! И тогда можно все исправить. Сделать так, чтобы дети, твои собственные дети, не рвали пополам свою душу. Потому что сейчас ты уже много поняла, уже сейчас чему-то научилась.



Я, кстати, знаешь чему научилась? Сейчас расскажу. Когда мой папа ушел, он почти ничего из вещей не забрал. Только свои носки, рубашки и брюки. А еще он забрал книги. Все книги. Он считал — это его. И нам с мамой не нужно. А ему нужно. Для работы. Он ведь был учителем литературы. Осталось только то, что дарили мне на праздники. Детское. И еще собрание сочинений Пушкина. Такой беленький восьмитомник. Потому что папа в тот момент уже купил себе нового Пушкина. Книги тогда очень трудно было доставать. Но у него были знакомые в книжном магазине, и он купил. И вот когда он уехал, вместе с книгами, в доме сразу стало так просторно. И в книжном шкафу — много-много места.

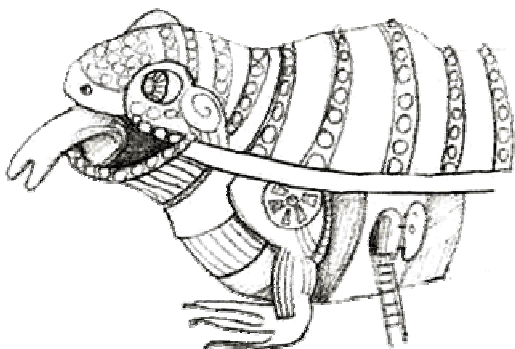
Я тогда решила, что заполню его: буду копить деньги и покупать книжки. Где найду. И я копила и покупала. И читала. Я приучила себя к мысли, что книги — это очень ценно. Это, может быть, ценнее всего.

Понимаешь теперь, почему я хочу, чтобы вы читали?

Наташка кивнула. И они стали вместе придумывать, что бы такое ей, Наташке, почитать. Может, про то, как животные воспитывают своих детенышей? И Марсём принесла Наташке Даррелла, и книжку про Бемби, и еще одну книжку про «лягушачий мир».

Сначала Наташка установила новый классный рекорд по скорости чтения: она проглотила «Бемби» за четыре дня. Затем она прочитала Даррелла и с головой

погрузилась в лягушачью тему. Через три месяца Марсём отправила ее на олимпиаду по природоведению в одну знаменитую биологическую школу. И Наташка там потрясла одного старенького профессора из МГУ. Не только тем, что в подробностях знала, как лягушки устроены внутри, но и призывом к человечеству взять за образец их способ выведения детей — из икринок, независимых от мамы и папы. Это, по мнению Наташки, сильно помогло бы детям не страдать от того, что их родители разводятся. Ведь лягушки не страдают! И хотя она ничего не знала про пресноводных моллюсков и не смогла определить по следам, в какую сторону скачет заяц, за лягушек ей дали третье место. Выписали диплом и прислали в школу. Этот диплом на торжественной линейке Наташке вручал сам директор. Он пожал ей руку и назвал будущим научным дарованием.



## 21

Однако лягушачью победу Наташки скоро затмило другое событие — мой день рождения.

Было традицией водить в честь именинника «Каравай». Впервые в честь меня водили «Каравай» в первом классе, когда мне исполнилось восемь. Потом — во втором, в третьем. И вот, наконец, — в четвертом. Я стояла в центре круга, а остальные ходили вокруг и пели: «Каравай, каравай, кого хочешь — выбирай!»

Выбирать можно было три раза.

В первый раз я выбрала Наташку. Это никого не удивило. Во второй раз я выбрала Веру. Это тоже никого не удивило, потому что Веру выбирали очень часто. Почти всегда. У меня оставался еще один, последний выбор, и Марсём задорно крикнула: «Мальчика! Выбирай мальчика!» Все двинулись Медленным шагом по кругу, и Петя опустил глаза. Даже щеки его порозовели. Выйти в центр круга всегда немножко страшно. Хотя так хочется, чтобы тебя выбрали!

Каравай, каравай!

Кого хочешь — выбирай!

«Каравайщики» остановились и замерли в ожидании. Хотя знали, что я выберу Петю. Должна выбрать. Как выбирала в первом классе, во втором и в третьем. Потому что Петя всегда выбирал меня.

— Выбирай! — опять весело призвала Марсём, и я стала медленно поворачиваться, определяя избранника. Я поворачивалась, и во мне вдруг мелькнуло рискованно и сладко: «А что, если — Егора? Ведь сейчас можно!» Вот все удивятся! Я никогда, почти никогда не стояла с Егором в паре. Только если Юлия Александровна случайно ставила нас вместе. Егор чаще всего танцевал с большой Настей. Считалось, они подходят друг другу по росту. А я танцевала с Петей.

— Ну, что же ты, Алина? — стала торопить Марсём. — Выбирай!

Неожиданно я повернулась дальше того места, где был Петя. Тут Вера, которую я уже выбрала и которая поэтому стояла рядом, наклонилась ко мне и быстро зашептала:

— Выбери знаешь кого? Жорика!

В это время все были влюблены в Жорика — как раньше в Саню. Я иногда танцевала с Жориком — когда Веры не было.

— Время истекает! — объявила Марсём.

Я все топталась. И все прислушивалась к тому, что шептало внутри: «А что, если Егора?» Но вдруг тогда все догадуются, про мой первый взгляд? Будут смеяться?

— Выбирай Жорика! — шепотом надавила Вера.

Я повернулась к Жорику и вывела его в круг. И теперь все мы — я, Наташка, Вера и Жорик — стояли в центре. На нас, однако, никто не смотрел. Все смотрели на Петю. А он улыбался и тоже смотрел — в пол. Он и раньше так смотрел — от волнения, что его выберут. А теперь — чтобы никого не видеть. И чтобы его никто не видел — как его губы непослушно дергаются, и он никак, никак не может заставить их замереть.

Марсём сделалась какой-то деревянной, будто кто-то лишил ее возможности двигаться. Наконец она захлопала в ладоши и запела каким-то ненатуральным голосом:

Тра-та-та! Тра-та-та!

Вышла кошка за кота.

За кота-котовича,

За Петра Петровича!

Никаким Петровичем не пахло. Но Марсём пела так в первом, во втором, в третьем классах. Это было традицией — так петь. И она не успела сообразить, что нужны какие-то другие слова. С другим именем.

Мы — те, кто стоял в кругу, — взяли за руки и стали кружиться, изображая веселье избранных. Потом все уселись на места, и я стала раздавать конфеты. Я доставала из одного пакетика шоколадного «Мишку», а из другого — две карамельки и клала на парты. Каждому — по три конфетки. А Марсём мне помогала и время от времени говорила: «Подсластите жизнь в честь именинницы!» Но на меня не смотрела, и голос ее был чужим, дежурным. А во мне все росла и росла ужасная пустота. Такая черная дыра, в которой безвозвратно может исчезнуть целый космос. И еще я думала, что сейчас подойду к Пете. Я ведь должна дать ему «Мишку» и две карамельки. Я быстро положу их на парту и пойду дальше.

Марсём вдруг остановилась и озабоченно взглянула на часы.

— Что-то мы сегодня затянули — с нашим «Караваем»! В столовой стынет завтрак. Петруша, будь добр, сходи в разведку, посмотри, как там обстоят дела. А Настя тебе поможет.

Петя кивнул, встал и вышел. А следом за ним — Настя. И еще вышел Егор. Он уже получил свои конфеты и вызвался помочь разложить завтрак. Ему было скучно сидеть, и он ни о чем не догадывался. Он не знал, что я хотела его выбрать.

Вокруг уже галдели и шуршали фантиками, не имея терпения сохранить конфеты до завтрака. Я отдала оставшееся в пакетиках Марсём и села за парту.

Все стали строиться, чтобы идти в столовую, но меня вдруг приковало к месту. Что-то тяжелое, неправильное, несправедливое. Оно касалось не «Каравая», не Пети, не случайно выбранного Жорика. Оно касалось всего вместе, всего мироздания, этой неправильной цепочки событий, которые мойра, не думая, связала между собой — узелок к узелку.

— Маргарита Семеновна! А Алина плачет!

Марсём услала меня до конца уроков — поливать цветы в актовом зале. И позвонила дедушке — чтобы он приехал за мной пораньше. А потом позвонила еще раз, вечером.

После этого мама и дедушка стали обсуждать со мной день рождения, кого бы я хотела пригласить к себе в гости. Я никого не хотела приглашать. Но мама сказала, это не дело.

Дети должны радоваться дню рождения. Они всегда ждут этого праздника, ждут подарков. Это закон. По-другому не бывает. «И я прошу тебя позвонить Пете, — сказала мама. — Он, наверное, расстроился, что ты не выбрала его во время игры. А он такой хороший мальчик. К тому же ему пришлось много выстрадать. Надо быть великодушной, Алиночка». И дедушка кивнул, соглашаясь. Что надо быть великодушной. Хотя ничего не сказал. Даже про бабушку не стал рассказывать. Но он был грустным. Марсём рассказала, что я плакала. И от этого дедушка грустил. Он всегда грустил и тревожился, если я плачу.

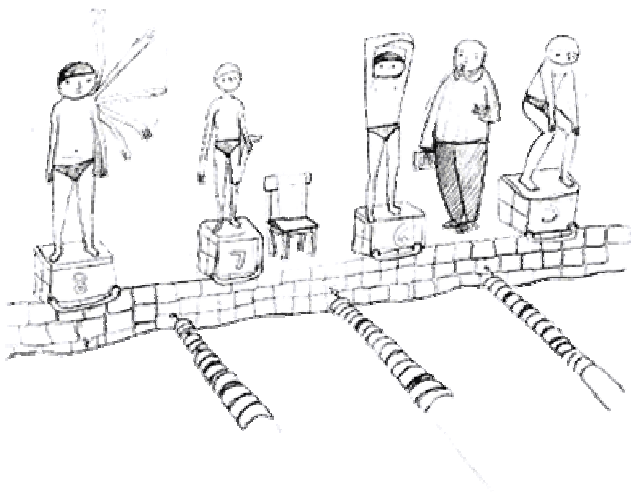
Я позвонила Пете. Трубку взяла Петина бабушка.

— Вот видишь, Петруша, звонит Алиночка! А ты переживал!

Я сказала, что буду ждать Петю завтра, в субботу. Я буду очень рада его видеть, потому что он — мой самый лучший друг. Петя спросил:

— А Жорик? Жорик будет?

Я сказала, нет, не будет. Потому что Жорику нравится Вера. А Веру я не приглашаю. Не хочу приглашать. Я приглашу Наташку и большую Настю. И еще Егора. Петя вздохнул и сказал, что придет. Обязательно придет. И пришел. Дедушка тогда показал ему корабли в энциклопедии и подарил порошок для заживления ранок. А Егор не пришел, потому что у него в тот день были соревнования по плаванию. Это были отборочные соревнования, и он не мог их пропустить.



22

— Алиночка! Надо быть великодушной!

Я рассердилась: и зачем мама это повторяет? Что они все ко мне привязались? Пусть сами выбирают своего Петю, если он им так нравится. А мне нечего указывать. Записались тут в командиры. И с кем мне дружить — знают, и кого на день рождения приглашать, и сколько пирожков в гостях у Петинной бабушки съесть...

— Сама будь великодушной! — я швырнула рюкзак в угол, прошла к себе в комнату, нацепила наушники и влезла с ногами на диван.

— Что ты имеешь в виду? — мама смотрела на меня испуганно.

Прежде, чем врубить музыку, я буркнула:

— Сама знаешь, что.

Я даже не знаю, почему я так сказала. Просто у меня было плохое настроение. Не особенно плохое, а так. Когда чувствуешь, что все достали.

Но что-то произошло. С мамой. Она еще немного постояла — посмотрела, как мне ни до чего нет дела, как я слушаю музыку, — и пошла на кухню, мыть посуду. Она в тот день долго мыла посуду. Терла плиту, и раковину, и кафель вокруг раковины. Я уже кончила слушать музыку, а она все терла. Потом стала тихонько напевать. А перед сном пришла

посидеть со мной, у кровати. Будто я маленькая. И мне сначала хотелось заплакать, а потом обнять ее крепко-крепко, прижаться к ней и никогда не отрываться. Я так и уснула, держа ее за руку.

И когда вдруг пришел В.Г., я никак не связала его появление с тем вечером. С тем, как мама на меня смотрела, когда я сказала: «Сама будь великодушной!»

Я открыла дверь. В.Г. вошел не сразу, не как всегда. Он помедлил на пороге — такой нарядный, белая рубашка, черный пиджак, — с розой в руках. А еще у В.Г. был галстук. Последний раз я видела его в галстуке на балу. Хотя нет: тогда у него была бабочка.

— Здравствуй! Мама дома?

— Здравствуйте, Владимир Григорьевич! — я обрадовалась. Я же всегда радовалась, когда он приходил — веселый и душистый, с пакетом винограда или с каким-нибудь небывалым тортом, украшенным фруктами. Я с готовностью сообщила, что мама дома. И дедушка дома. Мы все сегодня дома. Вот какой сюрприз!

— Да-да, конечно.

В.Г. неуверенно переступил порог, и роза качнула своей неправдоподобно крупной, красной головой. Она была закутана во множество прозрачных оберток с золотыми краешками. Обертки запотели и покрылись капельками: словно роза, прятавшаяся внутри, хотела уберечь себя от мороза частым дыханием. Я глядела на В.Г. с изумлением: он что — волнуется?

— Мама, Владимир Григорьевич пришел!

Мама появилась в дверях — и тоже показалась мне странной. Будто она перестала быть самой собой, а сделалась какая-то стеклянная и ужасно неловкая. Как какая-нибудь фарфоровая куколка из сказки.

— Оля, я получил валентинку, — В.Г. говорил приглушенно и не сводил с мамы глаз.

— С этой почтой ничего невозможно рассчитать. До праздника еще больше недели.

— Мне кажется, это не имеет значения. Для нас — не имеет. Я подумал: может, нам, не откладывая, зафиксировать наши отношения?

— Отношения? Зафиксировать? — стеклянная мама не просто боялась разбиться. Она, кажется, потеряла всякую способность ориентироваться в пространстве.

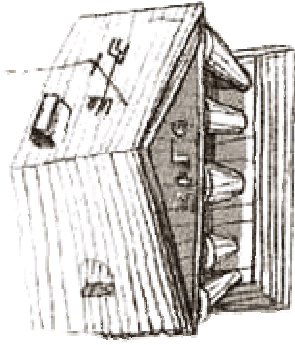
— Ольга Викторовна! — В.Г. решил обойтись без обиняков. — Я прошу Вас стать моей женой! Если, конечно, Алина не возражает, — он быстро взглянул на меня, призывая в союзницы. До меня вдруг дошло, что происходит: моей маме — моей маме! — делают предложение. Здесь и теперь. То есть не совсем так: нам с мамой делают предложение.

— Му-гу! — я быстро кивнула и теперь тоже смотрела на маму, призывая ее последовать моему примеру.

— Му-гу! — мама отозвалась приглушенным эхом.

— А, Володенька! — это в дверях появился дедушка. — Что ж вы тут стоите? Проходите! Проходите!

В.Г. церемонно подал маме руку, и мы все прошли в кухню. И там уселись за стол. Розу распеленали, поставили в вазу и некоторое время все вместе на нее любовались, на ее причудливо завитые лепестки. А она, словно чувствуя такое внимание, распушила цветочную прическу, расправила листики и, казалось, радовалась чему-то — какому-то собственному цветочному счастью. Потом В.Г. налил всем вина, а мне — сока. В высокий стакан с тонкими стенками, с белым лебедем на стекле. Из таких стаканов пили под Новый год. И вот — еще теперь.



Дедушка рассказывал, как поженились они с бабушкой.

ЗАГС, где им нужно было «фиксировать отношения», в то время ремонтировался. Там в очень маленькой комнатке сидела строгая тетенька — одна-одинешенька. Она согласилась расписать бабушку с дедушкой, но — без всяких торжеств. Торжественные церемонии будут только после окончания ремонта. Бабушка с дедушкой сказали, им не нужны церемонии. Пусть только поскорее распишут, а то они уже не могут друг без друга жить. И в назначенный день бабушка с дедушкой проснулись рано утром и встретились на троллейбусной остановке, чтобы ехать расписываться. Но троллейбуса очень

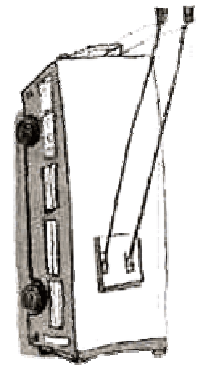
долго не было. И у дедушки лопнуло терпение. Он сказал бабушке: давай пойдем пешком, а то опоздаем. Они пошли, и тут вдалеке появился троллейбус. Дедушка схватил бабушку за руку, и они побежали вперед, чтобы успеть на следующую остановку, когда туда подъедет этот троллейбус. Бежали изо всех сил, но троллейбус их обогнал. И дедушка в тот момент решил, что жизнь рухнула: сейчас они опоздают, строгая тетенька запрет свою маленькую комнатку и уйдет. Что тогда делать? Он до сих пор помнит, как у него в груди колотилось сердце.

Но водитель троллейбуса их увидел, как они бегут изо всех сил, и не уехал с остановки. Когда дедушка с бабушкой наконец добежали и заскочили в салон, водитель открыл дверь и спросил: «Где пожар?» Дедушка объяснил, что они бегут жениться и уже опаздывают. Тогда водитель кивнул, дал гудок и поехал быстро-быстро — так быстро, как только может ехать троллейбус. Когда бабушка с дедушкой выпрыгнули из троллейбуса прямо напротив ЗАГСа, все пассажиры им замахали.



А бабушка так запыхалась, что никак не могла отдышаться — даже когда они с дедушкой уже вошли в маленькую комнатку к строгой тетеньке.

Дедушка снова испугался — что тетеньке это не понравится. Но тетенька сказала все нужные слова, а потом добавила: конечно, у них сейчас нет никакой возможности сделать регистрацию этого брака по-настоящему торжественной. Но кое-что все-таки можно организовать. И она нажала какую-то кнопку внутри стола. Сначала что-то зашелестело, а потом заиграла музыка — «Свадебный марш» Мендельсона. Этот марш всегда играют, когда люди женятся. Считается, что без его торжественного оптимизма никак невозможно начать шествие по совместной жизни. И вообще — это такая примета: нужно вступать в брак под музыку. И вот тетенька где-то раздобыла запись на кассете, принесла из дома магнитофон и в нужную минуту включила. А дедушка еще считал ее строгой!



Сейчас, сказал В.Г., многие не только расписываются, но и венчаются. В церкви. Как в старые времена. Это красивый обряд. Но у него есть свои недостатки: венчанным супругам нельзя разводиться, потому что их брак зафиксирован не только в книге гражданских актов, но и на небесах. И вот одна его молоденькая знакомая тоже решила венчаться со своим женихом. Ей очень хотелось постоять в белом платье под венцом, среди свечей и икон. Но, чтобы оставить себе пути к отступлению (вдруг муж ей через какое-то время надоест?), она во время венчания держала пальцы на правой руке крестиком.

— Зачем? — не поняла мама.

— Ну, как — зачем? — засмеялся В.Г., Он уже вполне освоился в новой ситуации. — Чтобы обмануть чиновников.

— Каких чиновников?  
— Из небесной канцелярии!  
— И что — обманула?  
— Очень даже успешно. Через два года старого мужа бросила и еще раз вышла замуж.  
— И опять держала пальцы крестиком?  
— Не знаю, не спрашивал.  
— Ну, знаешь, это, по-моему, совсем не смешно, — мама надулась совершенно в обычной своей манере.

И мне стало хорошо и весело. Оттого, что В.Г. смеется, и дедушка такой довольный, и мама такая красивая. Она такая красивая, моя мама! И В.Г., наверное, давно хотел на ней жениться. С того самого дня, на балу, когда мама танцевала мазурку. Но почему-то до сих пор не женился. Пока не получил валентинку. Валентинку ему послала мама. Потому что... она решила быть великодушной?..

## Часть шестая

### 23

Я помню, вечером мы еще ходили гулять. И все веселились.

А утром я проснулась от нашествия мыслей.

Бывает, что-то будит тебя снаружи — будильник, солнышко, мамино прикосновение. А бывает, толчок к пробуждению приходит изнутри — будто скрытая раньше пружина выбивает тебя из сна в реальность — вина, тревога, волнение. На меня напали мысли и уже не отпускали, не давали покоя: «Если мама выйдет замуж за В.Г., он что же — будет все время у нас жить? И будет спать в той комнате, где мама? И он будет мне... вроде папы? Вместо папы? Вместо того папы, что живет во Франции и решает там задачи? А тот папа, он, значит, больше не считается? Или считается? Просто он — во Франции. А В.Г. — здесь. На его месте. Ведь оно пустое. И я что же — смогу называть В.Г. папой? А вдруг тому, во Франции, это не понравится? Но ведь он же не узнает? Он очень занят, решает задачи. А если узнает? Если у него в задачах случится перерыв? Если он все-таки пригласит меня к себе в гости, посмотреть Париж с Эйфелевой башни? Что я ему скажу?»

Я лежала с закрытыми глазами и прислушивалась к себе — вдруг найдется какой-нибудь ответ? Но ответа не было. Тогда я решила прогнать эти мысли — как бездомных голодных собак. Не потому что я плохо отношусь к бездомным собакам. Я просто их боюсь. И ничего не могу для них сделать. Ничего хорошего. Даже еды никакой у меня с собой нет. Поэтому приходится их прогонять. И собак, и мысли.



Я сказала им: «Убирайтесь! Я не буду вас думать. Моя мама выходит замуж. Она победила В.Г. — разрушителя женских судеб, покорителя женских сердец. Теперь она не позволит ему целовать ручки кому угодно. Ведь он будет жить у нас дома. Вместо папы. Вместо моего папы».

С этим я пошла в школу. Я старалась двигаться аккуратно, без резких движений — чтобы не растревожить зловерные мысли. А потом вдруг все во мне будто сошло с ума, стало прыгать, скакать и звучать на разные голоса: «Мамочка, мама выходит замуж! Замуж выходит мама моя! Красивая мама выходит замуж! Вместе с ней выхожу и я! Вместе с ней выхожу и я!» Получилась будто бы песня. Такая прилипчивая. И я ее все время внутри себя напевала.

— Алина! Что с тобой? Где ты витаешь?

Я и сама не знала. Я, конечно, слышала, краем уха: Марсём читает вслух «Короля Матиуша».

Несколько дней назад она вдруг сказала: у нас осталось не так много времени. Наша совместная классная жизнь движется к концу. И перед тем, как все кончится, перед тем, как мы уйдем от Марсём, перейдем в пятый класс, она хотела бы познакомить нас с одной книгой. Эта книга — «Король Матиуш Первый». Ее написал вот этот человек, Януш Корчак. Марсём показала на портрет над учительским столом.

Януш Корчак жил в Польше, в Варшаве. Он был врачом и писателем. А еще он открыл Дом сирот — для детей, у которых мамы и папы погибли во время погромов, от рук бандитов. А кто-то из детей просто сбежал из дома. Или его привели родственники, чтобы не кормить лишней рот. В Доме сирот жили дети разного возраста, с разными характерами и привычками. Случалось, они дрались, даже воровали. И Корчак придумал для них законы — справедливые и гуманные, и создал детский суд. Корчак хотел, чтобы дети в Доме сирот учились жить по законам, а не по праву силы. Он вообще много чего для них придумал.

Но началась Вторая мировая война. Польшу захватили немецкие фашисты. И по их приказу всех жителей Дома сирот было велено отправить в концлагерь. Говорят, сам Корчак мог бы спастись. Ведь он был известным человеком, его книги читали взрослые и дети. Даже те, которые потом стали фашистами. Это очень плохо — что они все равно стали фашистами. Но, Марсём уверена, они не были столь жестокими, как остальные. Им не нравилось убивать. Наверняка не нравилось. Один фашистский офицер, например, хотел помочь Корчаку бежать прямо с вокзала, откуда отправлялись составы в концлагерь. Офицер сказал, что читал в детстве книгу «Король Матиуш Первый». Эта книга ему нравилась. Поэтому он не будет возражать, если Корчак уйдет и где-нибудь спрячется. Но Корчак спросил:

— А дети?

— А дети поедут.

И Корчак отказался. Отказался оставить детей и где-нибудь спрятаться. Он поехал в концлагерь со своими сиротами, и там они все погибли.

А пока их везли — в холодном, тряском вагоне для перевозки скота, — Корчак рассказывал детям сказки — чтобы отвлечь от пугающих мыслей, чтобы они не очень боялись.

Этих сказок мы никогда не узнаем: из тех, кто их слышал, никого не осталось в живых. Зато есть книга «Король Матиуш Первый» — может быть, самая мудрая, самая правдивая книга про детей.

Марсём, однако, не очень верит, что мы когда-нибудь ее прочитаем. Даже если дадим обещание. Мы читаем неохотно, из-под палки. Вряд ли мы сделаем для этой книжки исключение. Даже после того, что она нам рассказала.

Поэтому Марсём решила читать нам «Короля Матиуша» вслух, каждый день понемножку — пять минут в конце второго урока и десять минут на большой перемене. Она знает: перемена — наше личное время, время отдыха. Но просит пожертвовать частью этого времени — ради совместного чтения. Ради Януша Корчака и его «Короля Матиуша».

## 24

Мы тогда согласились. По закону о первой учительнице. По привычке соглашаться с Марсём. К тому же мы любили слушать, как она читает. Мы еще не знали, что это время, на перемене, очень скоро понадобится нам для другого. Что мы не захотим им делиться.

Потому что Кравчик придумал игру.



Кравчик — это фамилия одного мальчика, который появился у нас в начале учебного года. Звали его Леша. Но фамилия была легкой, звучала задорно. И хотя в классе, с подачи Марсём, по фамилиям никого не называли, для Леша было сделано исключение. Словно на него это правило не распространялось.

Впрочем, на Кравчика вообще мало что распространялось: этот Леша, он же не ходил в поход против Черного Дрэгона, не танцевал на балу. И ему не вручали меч победителя. Он вообще ничего вместе с нами не пережил — ничего такого, что давало нам возможность понимать друг друга.

Да и свободных мест за партами не было. Но Кравчик все-таки появился. Вместе с дополнительной партией, которую принес сторож-дворник и приткнул прямо к учительскому столу.

«Маргарита не могла не взять Кравчика, — объяснил В.Г. — Из-за Алины».

Оказалось, директор вызвал Марсём к себе и напомнил, как четыре года назад она пришла к нему с просьбой — записать в класс ребенка (меня). Хотя мест в классе уже не было, директор согласился — из уважения к Марсём. Он понимает, что сейчас мест тем более нет. Но Марсём должна пойти навстречу администрации. Возникла необходимость, острая необходимость: звонили из районного управления. И директор неслучайно выбрал класс Марсём: мальчик требует особого подхода. Пусть Марсём обязательно поговорит с его родителями.



Через неделю после начала занятий Марсём привела Кравчика в класс. На пороге они замешкались: Марсём положила на плечо новенькому руку. Она всегда так делала: слегка обнимала кого-нибудь или брала за руку — чтобы поддержать. Это же нелегко — оказаться лицом к лицу с незнакомыми людьми. Но Кравчик вдруг дернулся, будто его обожгло, и сбросил руку. Марсём опешила, однако быстро опомнилась и прошла вперед. Новенький последовал за ней и встал перед классом, глядя вперед, поверх наших голов, улыбаясь в пространство неизвестно кому.

— Это Алексей, ваш новый одноклассник. Ему, наверное, будет непросто на первых порах. Что-то может показаться необычным, что-то — трудным. Да и нам потребуется время, чтобы к нему привыкнуть. Отнеситесь к этому с пониманием. Проявите терпение.

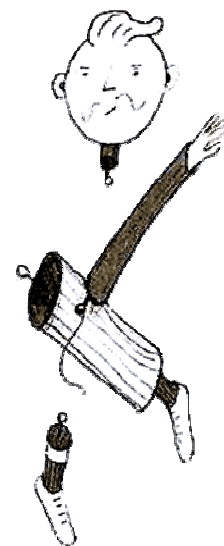
Мы очень хотели отнестись к этому с пони манием. Кравчик был «высокий и красивый» — вполне достаточное основание, чтобы все девчонки в классе в него влюбились. Для разнообразия. А то все Жорик да Жорик. Но у нас не получилось. Из-за самого Кравчика.

Леша действительно не умел много из того, что мы умели. Например, танцевать. Но не мог же он просто сидеть на стуле во время урока?

Юлия Александровна поставила Кравчика в пару с Настей и велела ей потихоньку обучать новенького, для начала — легким движениям.

Она разрешила им тренироваться отдельно от всех, в уголке зала. Настя к своей миссии отнеслась с энтузиазмом, и другие девчонки сначала даже завидовали ей.

Но в середине занятия Настя вдруг возмущенно отпихнула от себя Лешу, быстро прошла к стульям и села, закусив губу. Выяснилось, Кравчик во время танцев стал щипаться и специально наступать ей на ноги.



Марсём тогда оставила Кравчика в классе и о чем-то с ним разговаривала. А потом некоторое время приходила на уроки к Юлии Александровне и сама его учила. Леша оказался способным: он довольно быстро схватывал движения, и скоро его снова поставили в пару. На этот раз — с Верой, которая, казалось Юлии Александровне, Кравчику нравилась.

Через неделю Вера стала жаловаться, что Леша вместо «раз-два-три» бубнит матерные слова. Вера просила его перестать, но он не послушал. Он всегда все назло делает.

Жаловалась она дома. И на то была серьезная причина: Вера хотела, чтобы Кравчика наказали, и не верила, что Марсём это сделает. Никто из нас не верил.

Если бы кто-нибудь другой сделал что-нибудь эдакое, что делал Кравчик, Марсём поднялась бы на дыбы, смешала преступника с грязью, подыскала для него фонарь, чтоб повесить в назидание человечеству, перестала бы с ним разговаривать. Я не знаю, что бы она еще сделала. А на Лешу она только смотрела и говорила: «Сегодня ты ни с кем не будешь стоять в паре. Пойдешь за руку со мной. Ты обидел девочку». Или: «Сегодня после уроков тебе придется задержаться. Ты испачкал чужую парту. Ее нужно отмыть».

— Среди родителей назревает бунт, — сказала как-то мама. — Марсём ничего не делает, чтобы урезонить этого грубияна. Все недовольны. Новенький отравляет атмосферу в классе.

Мы не знали, как нам быть с этим Кравчиком. Пока он не придумал игру. А потом он придумал, и все стали играть.

## 25

Учились мы на первом этаже. С некоторых пор мальчишки старались проводить перемены этажом выше — подальше от класса, стараясь улизнуть от бдительного ока Марсём. Как говорил Илюшка, быть хорошим утомительно. Если Марсём все время на тебя смотрит, сильно устаешь.

И вот однажды они «отдыхали» — Жорик, Егор и Илюшка. А Кравчик — он не очень-то старался казаться хорошим, и потому признать его столь же утомленным было нельзя, — Кравчик просто стоял неподалеку, возле мальчишеского туалета. А еще по коридору шла Вера. Она поравнялась с Лешей, и он на нее посмотрел. Потом посмотрел на Егора с Жориком и сказал:

— Эй, ребя! Смотрите, Верка идет! Давайте ее в туалет затащим!

Озорно так сказал, задорно. И схватил Веру за руку. Конечно, Вера могла обидеться. Как тогда, во время танцев. Но она не успела. Потому что мы с Наташкой увидели, как Леша хватает Веру, и бросились к ней на помощь. Егор с Жориком тоже увидели. И еще они увидели, как мы с Наташкой вцепились в Веру. Поэтому они вцепились в Лешу — из мужской солидарности.

И вдруг получилось весело: все стали тянуть друг друга в разные стороны. Девчонки визжали, мальчишки орали и задирали им юбки, ослабляя сопротивление. А Жорик распахнул дверь в туалет и держал ее ногой, чтобы запретная зона выглядела страшнее.

Отрезвил нас звонок. Мы разом разжали руки, посмотрели друг на дружку — заговорщики, повязанные общим буйством, — и стремглав ринулись вниз по лестнице, покрасневшие и растерзанные.

— За вами кто-нибудь гонится? — спросила Марсём, когда мы с шумом ворвались в класс. — Из кого-то уже содержимое сыпется. (Наташка, вбегая в класс, зацепилась за какой-то винтик на двери, и у нее из кармана выпали заколки и носовой платок.) Главное, чтобы не мозги. Это было бы некстати — перед контрольной.

Теперь мы каждую перемену специально бежали к туалетам — чтобы затаскивать туда друг друга. Девчонкам скоро надоело только обороняться: они приняли решение нападать.

Набрасывались на какого-нибудь проходящего мимо мальчишку и пытались затянуть в свой туалет.

Передвижение по коридору стало увлекательно опасным: чуть зазевался — а враги тут как тут.

Мы с трудом дожидались, когда истекут десять минут чтения на перемене, пожертвованные в пользу короля Матиуша. Его злключения не могли сравниться с ощущениями туалетных баталий.

И соглашение о времени было нарушено. Через два дня после «открытия» игры Кравчик вышел из класса, как только прозвенел звонок. Егор и Жорик последовали за ним. Еще день — и к компании «нарушителей» присоединились Илюшка, Вера с Наташей и еще две девочки.

А Марсём делала вид, что ничего не происходит, и продолжала читать.

Я покинула класс раньше времени в тот день, когда во мне пелась песня про маму, о том, что она выходит замуж. Мне не терпелось рассказать об этом Наташке. Ну, может быть, не рассказать — просто намекнуть. Обсудить разные случаи. Например, может ли у человека быть два папы? Если раньше не было ни одного? А Наташка будто бы специально прибежала со второго этажа, толкнула меня локтем в бок и шепнула: «Там знаешь как весело!»

Я встала с места.

Конечно, ангелам не нравится, когда нарушают слово. Из-за этого они не могут лететь по своим делам. Туда, где очень нужны. Но ведь ангелы от этого не страдают? Не могут страдать, раз они — ангелы. Просто не летят — и все. Да и в тот момент это было неважно — ангелы, король Матиуш. Я просто не могла думать ни о каких королях. Ведь моя мама выходит замуж!

По классу я прошла не очень быстро, почти на цыпочках. Будто я не хочу мешать чтению.

А потом, очутившись за дверью, полетела-поскакала через две ступеньки по лестнице. Меня снова охватило безудержное, отчаянное веселье. Наташка неслась следом.

Кто-то налетел сбоку: «Поймал, ребя! Алинку поймал!»

До сих пор меня не ловили. Я только помогала отбиваться тем, кого пытались затащить в туалет. А теперь напали на меня! Теперь я сама стала главной героиней! И я едва пережила первую волну счастья, как дыхание у меня снова перехватило. Это был Егор! Это он высмотрел, как я бегу по коридору. Он выскочил и схватил меня за руку. Он меня выбрал и теперь тащит! Я завизжала, притворяясь испуганной, и стала отбиваться, подстегивая азарт нападавшего. Вера, Наташка и кто-то еще уже бежали на помощь. Но и Егору прибыло подкрепление — в лице Кравчика. Одной рукой Кравчик тянул меня, а другой — дверь туалета.

Старая дверь в туалет повидала, конечно, многое. Но мы в своем разгуле нарушили меру — меру терпения вещи. Дверь предупреждающе скрипнула, однако ничего больше не смогла для нас сделать: ручка оторвалась, и все полетели на пол, прямо под ноги дежурной учительнице.

— Я им говорю, а они не слушают! — кричала какая-то толстая девочка с красной повязкой на рукаве. — Этот вот, — она ткнула в Лешу, — дурой обзывается. Он еще сказал, что вы тоже дура. И он к вам не пойдет.

— А ну-ка, встать! Все — к завучу! — скомандовала учительница, схватила Кравчика за шиворот и потащила по коридору.

В классе мы появились под двойным конвоем. Впереди твердым административным шагом шла завуч. Сзади, волоча за ворот Кравчика, двигалась дежурная учительница. За

ней семенила толстая девочка — главный свидетель нарушений общественного порядка. Кравчик упирался и время от времени буркал: «Пустите! Ну, пустите!»

— Вот теперь — пушу! — заявила учительница и легонько вытолкнула Лешу в центр класса.

— Что это вы тут, Маргарита Семеновна, делаете? — с ласковой угрозой поинтересовалась завуч. — А, ведете культурную работу! — Она кивнула на книгу в руках Марсём. — Но охват, как видно, небольшой. (Вокруг Марсём сидело человек шесть.)

Остальные на свой лад развлекаются. Оскорбляют дежурных учителей, дверные ручки выламывают. Чуть дверь в туалете с петель не сорвали. — Завуч сделала паузу и нашла глазами Кравчика. — Этот вообще никаких границ не знает.



— Алеша, сядь на место, — быстро сказала Марсём, захлопывая книгу и поднимаясь навстречу процессии. — Мы разберемся, Галина Васильевна. Обязательно. Все, что сломано, починим.

— Конечно, вы почините. Только попробуйте не починить! Но завтра чтобы все родители этой команды (она выразительно кивнула головой в нашу сторону) — чтобы все родители были у меня в кабинете. Прямо с утра. А родители вот этого — в первую очередь! Дневники на стол.

Было видно, как у Марсём дернулось в горле. Мы вяло поплелись за дневниками и сдали их завучу.

— Делаю вам замечание, Маргарита Семеновна, — голос завуча теперь звучал официально. — Всё миндальничаете, философию разводите! И вот результат: распушенность и хамство!

Она взяла дневники под мышку и вышла. Следом за ней вышла дежурная учительница. Толстая девочка не просто вышла: она еще показала нам язык. А Кравчик в ответ показал ей палец.

Марсём изо всех сил хлопнула ладонью по его парте. От неожиданности все вздрогнули. Кравчик отпрянул назад всем телом.

— Допрыгался! — чужим, севшим голосом сказала Марсём, и я подумала, что сейчас она стукнет Кравчика. Но она не стукнула. Она обернулась к классу и заставила свой голос звучать:

— Мне жаль, что вы сегодня не дослушали главу. Я читала о том, как король Матиуш Первый учредил детский парламент. Дети получили свободу действий и стали править страной — как мечтали. Но единственное, что они умели делать, — это веселиться. А думать над собой и своими действиями они не желали. И их государство — погибло.

### Дневник Марсём

...Еще чуть-чуть, и я кого-нибудь тресну. Какого-нибудь ребеночка. Может быть, даже не одного, а сразу нескольких. Тогда меня, наконец, выгонят с работы. Это будет решением всех проблем. Окончательным решением школьного вопроса — к полному удовлетворению домашних.

Сегодня я сделала новый шаг в этом направлении — продемонстрировала мощь своего удара. Надо же мне как-то защищать свои нравственные ценности? У меня их и так раз, два — и обчелся. Одни рудименты и атавизмы. А ребяташки хотят лишить меня

последнего. Решили, например, наплевать на организованные для их просвещения корчаковские чтения! (Как же мне нравится это слово — ребятишки! В административном диктанте за полугодие ни один не написал его правильно.) Правда, воспитательный процесс длительностью в четыре года все-таки оставил на них свой отпечаток. Поэтому просто сказать мне: «А пошли вы!» — им неловко. Для соблюдения приличий они используют те самые театральные приемы, которым я их старательно обучала: будто бы им приспичило по нужде. И они, такие тактичные, стараются выйти из класса бесшумно, почти незаметно, чтобы не потревожить меня и тех немногочисленных дурней, которые почему-то продолжают слушать книжку. Они всерьез полагают, что предложенная версия меня устроит: будто бы звонок на перемену действует на них, как на собак Павлова, — стимулируя рефлекс мочеиспускания. У всех сразу. Такая вот завидная синхронизация физиологических функций. Совпадение биоритмов по фазе.

Только я никак не могу подстроиться.

У меня сейчас фаза метафизики, переосмысления ценностей: хочу новыми глазами взглянуть на знакомые книжки. А они на книжки вообще глядеть не хотят. Они хотят зажигать и обугливаться. У них перпендикулярная фаза — химия и жизнь, тренировочные игры раннего пубертата.

Пубертат — это не ругательство. Это термин. По смыслу похож на слово «турбулентность». При чем здесь турбулентность? В общем-то, ни при чем. Там «у», и тут «у». Но, мне кажется, надо смотреть на вещи широко, изыскивать как можно больше оснований для сопряжения. Чтобы не ограничиваться исключительно мочеиспусканием. А тут такое слово красивое — турбулентность. Что-то про завихрения. Очень даже подходит к случаю.



В индивидууме десяти лет от роду вдруг возникают завихряющиеся энергетические потоки. Прорываясь наружу, они объединяются с другими потоками. После чего эти слившиеся потоки несутся по школе и в экстазе единения сбивают с ног завучей. А заодно отрывают ручки у дверей школьного туалета. Что и предьявляется училке пубертатного сообщества в виде вещественного доказательства плохой воспитательной работы.

Но училке совершенно не жалко оторванной ручки. Она в глубине души считает, что ручки на всех дверях давно надо было заменить. На более современные модели, приспособленные к специфическим школьным нагрузкам. И завучей училке не очень жалко. Училка подозревает, что ситуация причиненного морального вреда обрисована в несколько сгущенном свете. К тому же завуч, как человек ученый, должна иметь представление о пубертате и связанными с ним неудобствами.

Жалко училке, то есть мне, только «Короля Матиуша». Эти пубертатные свиньи не только не желают самостоятельно читать, но даже слушать. Что уж там говорить о готовности размышлять над основами общественного устройства!

Может, все-таки пора снять портрет Корчака?..

### *Другая запись*

Попробовала снять портрет с привычного места. Выяснилось: стена вокруг портрета уже давно не белая, а желтая. Это нервирует. Какое-то несвоевременное открытие. Сделала вид, что снимала портрет из соображений гигиены: протерла от пыли и повесила на место. Как-то плохо я себя без него чувствую. Неуютно.

Села писать сочинение «Что я знаю о раннем пубертате?» Меня так учил один знакомый психолог Говорит, если чего-нибудь боишься, нарисуй свой страх и разорви на

кусочки. Можно еще эти кусочки сжечь или ногами потоптать. Для верности. Я объяснила, что рисую не очень хорошо. Из-за этого страх может получиться неубедительным. Не таким страшным, как на самом деле. Может быть, даже жалким. А тогда — как его порвешь? Тогда психолог говорит: не умеешь как следует рисовать, опиши страх словами. Это ты в состоянии сделать? Слова подбирать умеешь? Я говорю: попробую. Села пробовать — и увлеклась. Понаписала всяких страшилок и, конечно же, не решилась их порвать. А уж тем более ногами по ним топтать. Решила — для чего-нибудь пригодятся. Психолог поставил диагноз: конченный человек. Лелеющий собственные комплексы. Я пожалала плечами и пошла читать свои страшилки ученикам. Они смеялись так, что я почти простила психолога за диагноз. Вот теперь снова собираюсь последовать его совету.

### ***Что я знаю о раннем пубертате?***

#### ***Сочинение-исследование***

Речь идет не о том, что ты вычитал в энциклопедии. Речь идет о том, что ты про себя в это время помнишь. Если что-то помнишь, есть надежда понять других существ близкого возраста.

В моей личной жизни заря пубертата была очень даже вдохновляющей. Не то что более поздние периоды. Я тогда переживала первый пик женской популярности.

Была зима, и мы с девчонками ходили кататься на горку. Дома наши стояли по краю большого оврага. Поэтому зимой горка образовывалась сама собой. На ней раскатывали две-три ледяные дорожки. Сначала катались на ногах, по чуть задубевшему снегу. Потом дорожка коллективно полировалась попами окрестных обитателей. Никакими ледянками или покупными пластмассовыми сидухами мы тогда не пользовались. Таскали картонки со склада у магазина и на них катались. Пол дорожки едешь на картонке, другую половину без картонки: на каком-нибудь бугорке она из-под тебя обязательно выскакивает. Поэтому лед образовывался что надо.

Гора была высоченная, в меру крутая. Дорожки длинные, с пологими трамплинами. Но весь кайф был, конечно, не в том, чтобы просто съехать. Весь кайф был в тех сражениях, которые разыгрывались на горке между разнополыми представителями раннего пубертата. (Другие представители — не в счет. У них свои игры, со своими особенностями.)

Вот приходишь ты на горку. И с тобою две-три подружки. А на горке — никого. Ты разочарованно оглядываешь этот пустующий пейзаж и делишься с подругами впечатлениями:

— Слава Богу! Наконец-то нормально покатаемся!

Подруги выражают притворное удовлетворение от открытия.

Вы поднимаетесь на горку и скучно оттуда съезжаете — друг за другом или паровозиком. Никакой радости.

Но вас уже увидели из окон окрестных домов. Увидели и опознали.

И уже спешат к вам — чтобы нарушить ваш тоскливый покой. Двое или трое другого пола, с хищными улыбками, с угрожающими криками:

— Мы вас сейчас покатаем! Лови их, паря!

— Ну, вот! — вздыхаете вы, с трудом подавляя рвущееся наружу ликование. — Приперлись! Ой, девчонки! Бежим! А то они цепляться станут!

И действие приобретает совсем другую динамику. Ты карабкаешься на вершину — скорей, скорей, скорей, — чтобы обогнать преследователей, с разбегу плюхаешься на лед, едва успевая подсунуть под себя картонку, и несешься сломя голову, забывая спружинить на трамплинах. А преследователь, не успевший добраться до вершины горы, бросается на лед чуть ниже старта, напрыгивает сбоку, цепляет крепким хватом тебя за плечи и несется

вместе с тобою, прижавшись к тебе своим клетчатым пальто, обняв тебя за шею мокрыми варежками. В конце дорожки объятие разжимается, и тебя выкидывает куда-нибудь вбок, прямо в снег. Пока ты отряхиваешься и определяешь, где верх, где низ, позиции на горе уже заняты. И подан сигнал — не давать забраться. Вы с подругами лезете, а вас спихивают. Аккуратно, но упорно, сбивая шапки и поддразнивая, чтобы как следует вывозить вас в снегу. Чтобы места сухого на вас не осталось. Чем больше раз окунут тебя мордой в снег, чем с большей настойчивостью будут спихивать, тем выше твоя женская популярность.

И бесы в крови ликуют!

Но бесам этого мало. Они одержимы телесным. Они тревожат тебя догадками: тело может что-то еще. Те, другие, другого пола, могут делать с твоим телом что-то еще. Что? Пока неясно.

Зима сменяется летом, мы играем в войну. В войну полов. Сюжет не важен. Важно все то же — бегать и ловить. Только чтобы как-нибудь касаться друг друга — грубовато-неловко тянуть, даже делать больно. Что оно может, это чужое тело?

— А если тебя станут пытаться? Ты выдержишь?

Он стоит и смотрит, очень задумчиво, в землю. Потом пожимает плечами.

— Не знаю!

Вчера вечером в лагере были танцы, и он меня пригласил. Один раз. А потом ему помешали. Тот, другой. Он был выше ростом и поэтому понравился мне больше. К тому же он быстрее решался. Этот тоже хотел, но все время не успевал вовремя подойти. Поэтому все остальные медляки я танцевала не с ним. А теперь он стоит передо мной, под яблонями. У меня в руках прыгалки, из-за кустов нас не видно.

— Не знаю.

— Хочешь, попробуем? Я буду тебя пытаться. Чтобы ты узнал, можешь ли терпеть боль.

Он соглашается. Почему он соглашается? Он что — ненормальный?

— Тогда ложись.

Он ложится на какое-то бревно, и я начинаю стегать его прыгалками.

Сначала легонько. Потому что мне как-то страшно. Я же не фашист какой-нибудь. Я просто так, для пробы. Чтобы его проверить. Он терпит. Только сжал губы — и терпит. Я начинаю бить сильнее.

— А! А! А-а!

Он стонет, как партизан на допросе. Точно так же, как в кино. И крутит головой — вправо-влево, вправо-влево. А я — стегаю.

Я понимаю: он выдержал. Надо остановиться. Надо сейчас же остановиться. И не могу. Прыгалки, опускаясь ему на спину, издают короткий злобный свист. Уже не я — они тянут за собой мою руку.

— Все. Больше не надо.

Чтобы остановиться, приходится схватиться за дерево, за шершавый, нагретый солнцем ствол. Меня мутит, будто я напилась чужой крови. И отравилась. Он с трудом поднимается и уходит, не глядя. Я хриплю вслед:

— Ты молодец. Ты выдержал!

И слушаю себя: бесы притихли.

Они знают: я не могу им этого простить.

Им и себе. Я должна понести наказание. За то, что придумала все это, это дурацкое испытание. И еще за то, что меня охватило. За это упоение. Мне так стыдно, так стыдно! Но ничего нельзя изменить. Все уже случилось. Интересно, у него остались на коже следы? Вдруг остались?

Тошнота не проходит.

Я иду сдаваться в плен. Туда, где жизнерадостно воюют между собой разнополюе десятилетние существа. Где они друг друга ловят. У мальчишек есть шалаш.

— Я сдаюсь! Можете делать со мной что угодно!

Враги не очень рады. Ведь меня не надо ловить! А что еще со мной делать? Что — что угодно?

— Ну, можете пытаться.

Они не готовы пытаться. Они — хорошие мальчики и не могут вот так, ни с того ни с сего, делать кому-то больно. И они не знают, как нуждаюсь я сейчас в наказании. В восстановлении симметричности мира.

Поэтому меня просто приводят в шалаш.

— Она хочет, чтобы ее пытали.

Тот, кто сейчас главный, пожимает плечами.

— А как?

— Ну, — я напрягаю творческое воображение, — можно заставить меня сидеть на корточках.

У него на лице отражается сомнение. Потом он начинает смеяться.

— Подумаешь! Я тоже вон сижу на корточках.

— А давай, кто дольше? Я просижу полчаса.

— И что?

— Тогда вы меня отпустите.

— Ну, сиди!

— Спорим, просижу!

— Да сиди!

Я сажусь на корточки и обнимаю себя за колени. Тот, кто сейчас главный, смотрит на меня с любопытством. Но через Десять минут ему становится скучно. Подходят другие.

— Чего это она?

— Сидит!

— Чего сидит?

— Это пытка, — объясняю я.

— А-а! И чего?

— Ну, если высижу, вы меня отпустите!

— Да мы тебя и так не держим! Вали!

— А как же плен?

— Да все уже. Обедать зовут.

— А сколько я просидела?

— Ну, просидела... Откуда я знаю? Ни у кого из нас нет часов.

— Ладно, пошли!

— А эта?

— Ну, надоест же ей, наконец! Тогда и придет.



И они уходят. Шалаш пустеет. А я все сижу. Вот сейчас досчитаю до ста и встану. Нет, до пятидесяти. Что-то не могу больше терпеть. Вот, пятьдесят. Пытаюсь встать. Ноги подкашиваются. Хорошо, что никто не видит. Боль в мышцах адская. Неужели я сейчас закричу? Нет, не закричу. Ведь он не закричал — там, под яблонями?

Я не могу быстро идти и опаздываю на обед. А вечером снова танцы. Но я остаюсь в палате. Не хочу сегодня танцевать.

Вот что я знаю про ранний пубертат.

### *Другая запись*

Ну, ладно. Перетряхнула закрома памяти на истинно фрейдистский лад.

Что это дает? Здесь и теперь? Для решения проблемы с корчаковскими чтениями? С оторванными ручками и оскорбленными дежурными учительницами?

Почитать им что-нибудь другое? Про бесов в крови?

Про нераскрытые тайны тела? Что-то не припомню, где такое было. Считается, детям их возраста такое не положено.

Им нужно что-нибудь морально-нравственное, образ положительного героя, несущего непреходящие ценности. С этой точки зрения, история Матиуша не совсем подходит. Какой-то король-неудачник с провальными идеями детской демократии. Проиграл войну, развалил страну и кончил ссылкой на необитаемый остров. Ничего вдохновляющего! То ли дело — «Тимур и его команда».

Вот прибегают твои ребятишки из туалета, взмыленные и обвешанные оторванными ручками, а ты им раз — и такое волшебное зеркало под нос. Посмотрите, мол, какими бы вы могли быть при случае! Добрые дела делать, хулиганов перевоспитывать. Ребятишки на свое отражение смотрят, любуются: и правда, красота. Может, попробовать?

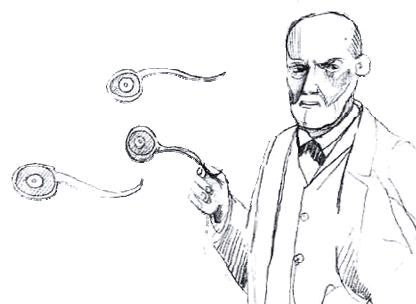
Когда я маленькой была, мне это нравилось — «Тимур и его команда». Зажигало как-то. Наверное, у меня тогда были ценности. Я же не только в пытки играла! Я макулатуру собирала, кукольные спектакли ставила, на праздниках строя и песни маршировала. У меня даже грамоты есть. Целый мешок грамот за «отличную учебу и примерное поведение». Потому что кукольные спектакли, они всем видны. А что ты там в кустах делаешь, это личная тайна каждого. Это секрет. И про него лучше забыть. Как вырос, так и забыл сразу. Иначе как в детях доброе и вечное воспитывать, к морали-нравственности побуждать — если ты такое про себя помнишь?

Ведь эти завучи-учительницы, а тем более — научные работники, ни за что не признаются, о чем они мечтали лет, например, в тринадцать. А мечтали они, чтобы какой-нибудь ковбой, или матрос, или солдат, — короче, какой-нибудь привлекательный бандит-супермен, с сильными руками и крепким мужским запахом, вылез из кустов в темной аллее и их изнасиловал. Они даже специально по этим темным аллеям в одиночку ходили. Завучи-учительницы и научные работники будут уверять: в тринадцать лет они мечтали о светлой дружбе, плавно перерастающей в крепкую супружескую любовь, и думать не думали о чем-нибудь таком, что бросает тень на их морально-нравственный облик, и вообще — на ценности.?

Может, они правы? И надо забыть? Про бесов в крови? Про свой детский опыт?

К чему это может привести?

Но этот Тимур, как же он мне не нравится! В детстве нравился, а сейчас — нет. Чем старше я становлюсь, чем меньше ценностей у меня остается, тем меньше я этому Тимур



симпатизирую. Какой-то ходячий плакат «Пионер — всем ребятам пример!», да еще и одержимый идеей вождизма: командир всегда прав, а если не прав, смотри предыдущий пункт. В Квакине — и то больше жизни. Так и хочется дать ему по морде.

Ладно, Бог с ним, с этим Тимуром. Все-таки он добрые дела делал, вместе с командой своей.

Но у нас с этим сложности. Дрова в городской местности никому не нужны, козы вообще только в зоопарке водятся. А уж о тайной помощи — чтобы интереснее было — вообще говорить не приходится. В эпоху разгула терроризма и наличия социальных работников ни одна бабушка тебя без сопроводительной бумаги на порог не пустит. Не то что в квартиру к ней тайком пробраться и полы подмести.

В общем, добрые дела надо как-то специально придумывать. Это непросто. И нет времени. До конца учебного года четыре месяца. Четыре месяца до конца отпущенного мне и детям срока совместной жизни.

Но положение дел все-таки еще можно исправить.

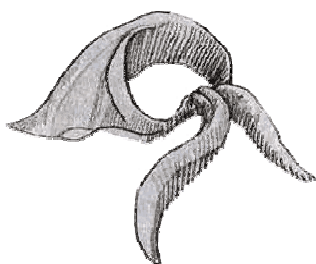
Ведь есть рецепт. Старый, испытанный — пасть дракона.

Вывезти бы деток куда-нибудь в отдаленную пересеченную местность и устроить им дня на три дикую первобытную жизнь. Все мальчики — племя «Тумбу», все девочки — племя «Юмбу». Пусть бы плясали вокруг костров под несмолкаемый бой тамтамов и умыкали представителей другого племени с намерением съесть их сердце. Почему-то в архаических обществах ценятся именно сердца врагов. На мозги совсем не тот спрос. Это к вопросу о ценностях.

Итак — поедание сердец представителей противоположного пола. А что? Хорошая идея. Удачная такая метафора для работы с раннепубертатной общественностью. По крайней мере, дает приблизительный ответ на вопрос, что делать с телом другого. То, что другого можно съесть, понятно в любом возрасте. Но здесь цель оказывается более определенной. Появляется мотив для ведения военных действий.

Буквального поедания мы бы, конечно, не допустили. Мы бы вовремя поставили народы перед необходимостью объединиться против общего врага (против мерзких взрослых), организовали обмен пленниками, трудную победу и всеобщее ликование с теми же тамтамами, кострами и зажариванием священного животного.

А вот когда бы ребяташки вдоволь набесились, наскакались и наорались, по ходу дела вникая в особенности архаического общественного устройства, можно было бы предложить им «подняться на новую ступень общественного развития» и основать детский парламент. В естественных для них условиях современного существования — в школе.



Но чтобы открыть пасть дракона, нужна сила. Сила, способная зачаровывать, обретать союзников, организовывать время и пространство. А я сейчас — как старый Мерлин, запертый в заколдованной пещере. Этот великий волшебник, этот маг, наводивший ужас на королей и простых смертных, не сумел отвалить камень от входа. Ему не хватило силы.

Сила иссякла. Перешла к другой волшебнице, к любимой его ученице, которая и замуровала его в пещере.

### *Другая запись*

...Я попалась. Как кур в ощи́п.

Кто такой «кур»? Неизвестный науке зверь? Не думаю. Видимо, существует какая-то «кура», что-то вроде курицы. Это — «она». Соответственно существует и «он» — «кур». Они — «куры». Нет кого? — «Курей». По-моему, ясно.

Первый раз слышите? Я и сама до сих пор думала, что муж курицы, то есть куры, — петух. Но, может быть, если муж-то петух. А если не муж — то кур. Или наоборот. Или вообще кур от петуха ничем не отличается. Просто для кого-то он кур, а для кого-то — петух. От ошипа ни то, ни это не спасает.

Ошипывают, чтобы съесть.

В моем случае до этого пока не дошло. Кравчик оказался более лакомым кусочком.

Хотя такой простой смерти — взяли и съели! — он не заслужил.

Кравчика надо привязать к позорному столбу на центральной площади города и отрезать от него по кусочку. Один кусочек бросать кошкам, другой — собакам. До тех пор, пока он не научится быть хорошим.

Так родители моих учеников решили. Пришли сегодня с утра пораньше на тусовку к завучу и давай кричать, что их дети — сахарные пупсики. Они даже бегать не умеют, не то что там плеваться или толкаться. А виноват во всех смертных грехах этот самый гадкий Кравчик. И откуда он только в нашем прекрасном классе взялся? А вот родителей его почему-то здесь нет. Где его родители? Мы бы им все в глаза высказали.

И почему Маргарита Семеновна никаких мер не принимает? Терпит его выходки, будто он ей родной какой. А это Кравчик — просто чудовище. Как можно все ему спускать? Вот Наденька вчера вечером стала рассказывать о его проделках и прямо в голос разрыдалась: он знаете что сделал? Юбку ей задрал. Подкрался на перемене сзади — и задрал! При всех! Вот хам какой!

Туг я не сдержалась.

Юбку Наденьке задрал? Да это же настоящее событие! Надо срочно кого-нибудь в магазин послать. За шампанским. Чтобы мы эту юбку, то есть — ее отсутствие в положенном месте — прямо здесь, сейчас, коллективно обмыли. Выпили за уравнивание Наденьки в правах с подавляющим большинством женского коллектива нашего класса. За то, что она, наконец, в фаворе оказалась. И видели бы вы эту Наденьку на перемене! Как глазки у нее блестели, щечки алели и смеялся роток! Заливалась эта Наденька, что твоя свирель. Пресчастливейшим смехом. А ведь еще два месяца назад мы все переживали: что-то Наденька в стороне от ребяток держится, ни с кем не играет, не шалит. А мальчики и девочки ее вроде как не замечают. И вот оно! Наконец — свершилось! Наденька благополучно вписалась в окружающую среду.

И я бы за Наденьку только радовалась, только радовалась, если бы она дома этот спектакль — со слезами оскорбленного достоинства — не устроила. Дайте подумать, как ей в голову такая режиссерская мысль пришла. А! Да вот же! Задачку она на контрольной не решила. Контрольную переписывать придется. Это она сказала? Сказала? Но, наверное, ближе к вечеру, после того, как на Кравчика нажаловалась?

Все. Давайте закроем тему Кравчика. Я с ним как-нибудь разберусь. Давайте подумаем, как быстро заменить ручки на дверях. Лучше — не одну, а все. Чтобы снискать не только прощение, но и благодарность школьной администрации. И как организовать у туалетов детское дежурство вне графика. Нет лучше способа дисциплинировать детей, как превратить их в надзирателей за общественным порядком.

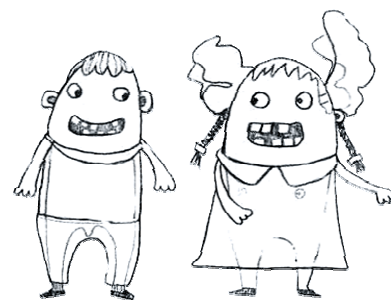
Пожимают плечами. Ну, мы всегда относились к вам с уважением. Мы всегда вам доверяли. И ручки, конечно, нужно заменить. Это дело благородное — заменить ручки... Но этот Кравчик!..

Уважаемые родители! Дорогие мамы и папы учеников четвертого класса «А»! Мне самой скучно, и тошно, и руку подать совершенно некому.

И этот Кравчик мне действительно не родной. Как и вам. И своим родителям тоже. Он никому не родной. Он приемный.

Девчонка, что считается Лешеньке кровной матерью, родила его, едва ей семнадцать стукнуло, и в урочный час явилась домой, в родную деревню, с этим подарком на руках. Но родичам подарок не понравился, и маленькую маму послали вместе с ее «довеском» куда подальше. Она нашла пристанище в той деревне, где жили тогда приемные родители Кравчика. Кравчики были скульпторами — ваяли головы знаменитых и не очень знаменитых людей. В деревню они уехали подальше от городской суеты, в поисках творческого вдохновения.

Не знаю, посетило ли их вдохновение. А вот маленькая мама точно посетила. И не один раз, так как поселилась с ними по соседству, вместе с ребеночком. Она явно тяготилась изменениями в собственной жизни: жизнь стала скучной и утомительной. Но туг в одной из окрестных деревень, где домов побольше, да еще и кинотеатр, заезжие музыканты устроили дискотеку. И маленькая мама решила разнообразить свои одинокие будни. Один знаменитый поэт как-то дал окружающим совет, которому нужно следовать в трудную минуту: «Ты все пела, это дело. Так пойдешь же — попляши». Маленькая мама решила, что имелись в виду колыбельные, которые у нее явно не очень хорошо получались, заперла дверь и ушла плясать. На всю ночь. А малыш проснулся и давай кричать. От голода и страха. Когда соседи ближе к утру взломали дверь, он уже не кричал, а хрипел. И был характерного синеватого цвета. Вызвали «скорую» и отправили ребенка в больницу. Мама утром прямо с дискотеки поехала в райцентр, забирать сыночка. Его уже к этому моменту откачали. В первый раз это случилось, когда мальчику было месяца два. Потом — когда ему исполнилось пять месяцев, восемь. Считаются только происшествия, заканчивавшиеся вызовом «скорой». Всякая мелочь — не докормила, не допоила, не так спать уложила — не в счет. В восемь месяцев дело зашло слишком далеко. Мать отсутствовала больше суток, и ребенок оказался в состоянии клинической смерти. Поэтому домой его не вернули, а подали в суд и наконец-то лишили эту стрекозу родительских прав. Вот тогда Кравчики решили мальчика усыновить. Оба уже достигли зрелого возраста. Собственные их дети давно выросли и разъехались в разные стороны. Вот они и подумали: почему бы не дать воспитание этому несчастному ребеночку? Глядишь — человеком станет.

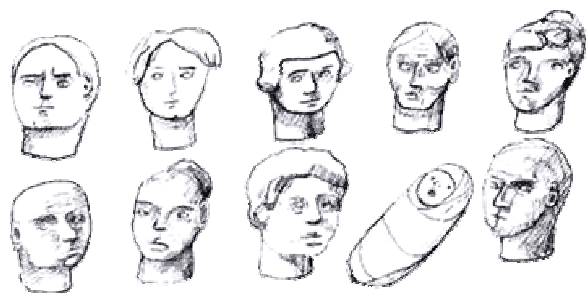


И уж как они старались! Читать его научили. Еще до школы. Вы же, Маргарита Семеновна, обратили внимание? Он бегло читает, без запинок. Теперь Кравчики получили большой заказ на головы и приехали в Москву. Здесь им на время работы дали мастерскую. А мальчика, Лешеньку, к ней привели. Директор рекомендовал. Отдайте, говорит, в класс к Маргарите Семеновне. Она — чуткий педагог.

Мальчик у них хороший. Но — что скрывать? Баловной немного. Конечно, со всеми детьми бывает. Но он-то деревенский, на воле рос. И наследственность, к тому же. Про наследственность они совсем не думают. Чего думать-то, раз усыновили? Но, если что не так, пусть Маргарита Семеновна не очень сердится. Пусть помягче к нему. Он из деревни все-таки. Может, и не умеет еще чего. Если набеда курит, пусть она сразу им звонит. Они с Лешенькой по-своему разберутся. Своими средствами. А так-то он мальчик неплохой, отзывчивый. В деревне по хозяйству им хорошо помогал, дрова пилить научился.

И еще они просят: не надо никому говорить, что мальчик приемный. Это они ей рассказали, свою тайну доверили. А больше — никому. Даже директору не сказали. Так,

обмолвились, что мальчик в детстве много болел. К нему подход особый нужен. И директор тогда вас, Маргарита Семеновна, порекомендовал. Мы и сами теперь видим, как он прав был. А мы что надо для класса сделаем. Только вы не говорите никому, что Лешенька приемный. Он ведь и сам не знает. Ни о чем не догадывается. Он же тогда совсем крошкой был, когда мы его взяли.



Теперь понимаете, дорогие родители? Я ничего не могу вам объяснить.

А расскажи я — уверена: вы бы меня поддержали. Вы же люди сердечные. Вы бы сказали: понятно, почему этот мальчик дергается, если ему неожиданно положить руку на плечо, почему у него с выражением чувств не все в порядке. В этих изменившихся обстоятельствах мы не станем привязывать Лешу Кравчика к позорному столбу и отрезать от него по кусочку. Мы придумаем что-нибудь другое.

Ведь надо учесть еще вот что: Кравчик не ходил в поход против Черного Дрэгона, не совершал подвигов во имя победы добра. Ему не на что опереться в своих поступках. Поэтому мы не можем строго с него спрашивать. Пока не можем.

Но мы обязательно что-нибудь придумаем. Что-нибудь такое, что поможет ему справиться со страшным своим наследством, с угнездившимся в глубине души одиночеством, со смертным страхом отсутствия матери.

### *Другая запись*

Вы так не скажете. Вы же ничего не узнаете.

И что мне теперь делать? Что мне теперь со всем этим делать? Где взять силы прожить жизнь так, чтобы не было потом мучительно больно? Чтобы всем нам потом не было мучительно больно? Ведь я во всем привыкла на вас опираться, на вашу поддержку и понимание: и когда готовили поход против Дрэгона, и когда устраивали бал, и когда спектакли разные ставили, шкафчики чинили. На ручки нас еще хватит, а на «Тумбу-Юмбу»?

Вы ведь, пожалуй, мне теперь не поверите. Не захотите верить, что все устроится, наладится. Что Кравчик этот, настанет день, перестанет задирать юбки и щипаться. Ведь и времени у нас с вами совсем не осталось.

В сказке про сестрицу Аленушку и братца Иванушку есть один эпизод. Привела ведьма Аленушку на берег реки, привязала ей на шею камень и бросила в реку.

Я все думала: что же эта Аленушка — так и шла за ведьмой, как ягненок на заклятие? А потом стояла и смотрела, как ей на шею камень вешают? Что же она не брыкалась, не сопротивлялась? Не могла, что ли, стукнуть эту ведьму по ее длинному кривому носу?

Но, может быть, утопил Аленушку не камень. Камень — это так, для красного словца. Сказочный шифр. Утопила Аленушку тайна, которой она ни с кем не могла поделиться. Из-за козленочка. Ведьма сказала ей: «Будешь мешаться мне под ногами, расскажу всем, что козленочек на самом деле — никакой не козленочек, а оборотень. Мальчишка, превращенный в козла. Ты ведь знаешь, как у нас относятся к оборотням? Сожгут и съедят. Как самого обычного колдуна. Так что вали отсюда, из дворца. И тайна останется между нами». Аленушка кивнула в знак согласия и ушла. От сытой богатой жизни, от

своего мужа-царя. От любимого козленочка. Чтобы сохранить его тайну. Она затерялась в потоке жизни, где-то на самом ее дне. И чем зарабатывала себе на хлеб, один Бог знает...

### *Другая запись*

После того, как Кравчик у нас появился, после того, как он сбросил с плеча мою руку и стал ругаться матом на переменах, я помчалась к подруге-психологу:

— Расскажи все, что знаешь о брошенных детях. И о приемных.

Подруга не стала меня вдохновлять. Велела набраться терпения и не ждать быстрых результатов. Она сказала, это сложно, очень сложно — изжить такую травму. Хотя может и получиться. Если все вокруг помогать станут. Если стрессов не будет, обстановка сложится доброжелательная.

— Ты издеваешься? Он ругается матом, а все улыбаться, что ли, должны?

Она пожала плечами. Она про тренинги понимает. А про школьную жизнь — не очень.

— Я тебе сочувствую.

Я разозлилась и ушла. Вечером зазвонил телефон.

— Я забыла тебе сказать про родителей. Очень много отказов.

— Каких отказов?

— Для приемных родителей самый тяжелый период — пубертат. Когда начинаются подростковые выверты, они часто не выдерживают, отчаиваются. Думают, в ребенке заговорила дурная наследственность, и не могут это преодолеть. Не находят в себе силы любить дальше и сдают обратно, в детский дом.

— Ты хочешь сказать...

— Я хочу предупредить. Родители этого мальчика тоже нуждаются в бережном отношении. Их нельзя все время нервировать. Наоборот — надо вдохновлять.

— Скажи, пожалуйста, — я почувствовала приступ бешенства, — а кто будет вдохновлять меня? Кто будет ласково нашептывать мне на ушко: «Полюби мат! Полюби мат!» Или: «Он не хотел ударить. Он обнять хотел. Не ущипнуть — погладить. Награди его за это. Улыбнись ему ласково!»

— Вот видишь: ты сама все понимаешь!

— Иди ты...

### *Другая запись*

Сын сказал, надо время от времени избавляться от отрицательной энергии. Может, мне записаться в секцию тайбо? Или каратэ?

А то я уже готова съесть сердце какого-нибудь врага. Может, лучше мозги? Нет, история учит: мозги есть бесполезно. Никакой пользы от этих мозгов. Вот вам и «Тумба-Юмба».

## **Часть седьмая**

### **26**

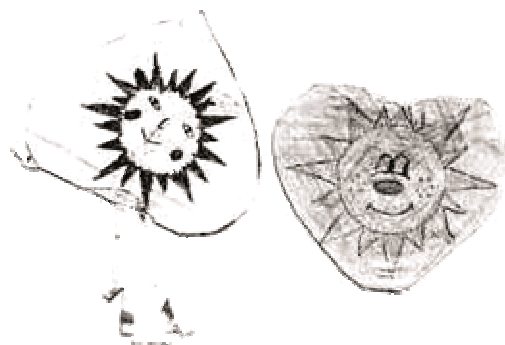
— Маргарита Семеновна! Посмотрите, что мне написали!

Марсём только что пробилась к классу. Школа возбужденно гудела. Народ высыпал в коридоры и толпился у картонных почтовых ящиков, развешенных на стенах по случаю праздника. Был День святого Валентина.

По лестницам сновали озабоченные почтальоны с пачками разномастных валентинок. На груди у них были приколоты значки с английскими словами, а на боку болтались матерчатые мешки на длинных лямках — слабый аналог сумки настоящего почтальона ушедших времен. Марсём прямо в толпе вручили три бумажных сердечка, разрисованных цветными фломастерами, — одно с бантиком, одно с солнышком и еще одно — с цветочком. Она прочитала их прямо на ходу, улыбнулась и покачала головой. Наверняка

ей признались в любви. И любовь наверняка была выражена без учета правил орфографии. Что-нибудь вроде: «Дорогая Маргарита Семеновна! Поздравляю с днем светого валентина». И вместо точки в конце для верности — сердце, проколотое вектором. Теперь она, наверное, решала, стоит ли на первом уроке уделить время на отработку написания имен собственных и поиску безударного гласного в слове «святой».

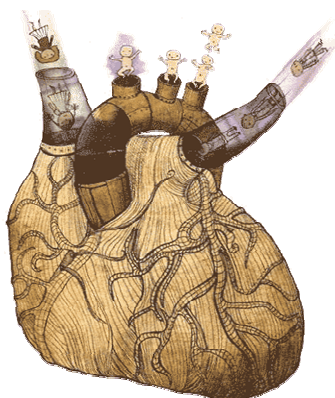
Это слово — «святой» — применительно к людям всегда казалось мне грустным. Конечно, я не очень разбиралась в святых. Но то, что рассказывала нам Марсём, убеждало: жизнь святых была не особенно приятной. Большую часть своего жизненного пути они обычно страдали, а потом умирали в мучениях. Через некоторое время, чтобы как-то компенсировать страдальцам прижизненные муки, их имена вносили в специальные списки. Будто бы эта запись должна была стать пропуском куда-то вроде ложи для почетных гостей в райском театре. Еще святым присваивали особый день. Эта награда и по сей день кажется мне сомнительной. Люди постоянно путаются, что, кто и кому в это время должен: то ли святому вменяется в обязанность защищать оставшихся па земле и выполнять их надоедливые просьбы, то ли оставшиеся на земле должны вспоминать святого со словами благодарности за его мучения. К тому же разные отдельные человеческие представители и целые их группы не перестают делать гадости в дни, записанные на святых. И если гадость немаленькая, потом вспоминают не столько святого, сколько совершенное в его день преступление. Кто что-нибудь знает о святом Варфоломее? Да никто ничего не знает. Зато Варфоломеевская ночь печально известна — гибелью сотен гугенотов, вырезанных рьяными католиками во имя истинной веры. Хорошо святому Варфоломею в его райской ложе, оттого что у него есть свой день?



Но День святого Валентина, он все-таки особенный. Он устроен специально для того, чтобы выражать чувства. Даже если ты очень долго терпел и ничего не выражал, в этот день можешь себе позволить. Взять и все изменить. Признаться кому-нибудь в любви. Как моя мама. Она послала В.Г. валентинку. По настоящей почте. Правда, валентинка пришла раньше времени. Но это ничему не помешало. Даже наоборот. Валентинка — это здорово. И я в тот день тоже надеялась получить валентинки. Хотя бы одну. От одного человека.

Ради этой валентинки я готова была отказаться от всех остальных.

Я готова была проиграть в конкурсе «У кого больше валентинок». Оказаться на последнем месте. Сама я уже написала: «Поздравляю с Днем святого Валентина! Желаю счастья, хороших подруг и друзей!» Сначала я просто написала: «Желаю хороших подруг». Но потом подумала немного и приписала «друзей». Мальчик ведь не может дружить только с девочками? Тем более — с одной девочкой? Ему тогда будет скучно. Свою валентинку я опустила в картонный ящик на втором этаже. Возле того туалета, где недавно оторвали ручку. Теперь на двери была новая ручка, большая и блестящая, золотистого цвета — словно ее позаимствовали в каком-нибудь дворце.



— Посмотрите, что мне написали! — Вера настойчиво протягивала Марсём какую-то бумажку.

— У меня тоже есть! Видишь? — Марсём весело помахала стопкой сердечек с солнышками и цветочками.

Но Вера не хотела поддаваться общему веселью. Она смотрела напряженно, и щеки ее были ярко-красного цвета.

— Посмотрите!

Марсём развернула записку — сложенную книжечкой, с изображением обязательного сердца на обложке. Автор послания не очень трудился над рисунком. Сердце было нацарапано синей ручкой, явно впопыхах, и выглядело каким-то худосочным: не то сердце, не то капля, вылезаящая из плохо завинченного крана.

Есть такая фраза: «Улыбка сползла с ее лица». Мне ничего не стоит это представить. Улыбка исчезает так же, как запись на доске, когда по ней проводят мокрой тряпкой — таким широким движением, сразу нарушая всякий смысл написанного. А потом подтирают штрихи и отдельные линии.

Уголки губ Марсём еще не успели занять свое место. Но с глазами что-то произошло. И кто-то невидимый уже трудится не тряпкой, а мелом, выбеливая ее лицо.

— Кто это написал?

Вера дернула головой:

— Не знаю. Кто-то из мальчишек, наверное.

— А что там написано?

— Не твое дело! — Вера злобно одернула Наташку, попытавшуюся заглянуть в записку из-за спины Марсём. — Позовите сюда мальчишек. Всех.

Через некоторое время стали появляться мальчишки — парами, тройками, шумно переговариваясь. Но, взглянув на Марсём, они тут же стихли, их празднично-деловитое возбуждение мгновенно улетучилось.

Марсём стояла совершенно прямо и крепко держала пальцами записку, чтобы всем было видно худосочное сердце.

— Я хочу знать, кто это написал.

— Что? Что? — мальчишки испуганно переглядывались.

— Вот это. Вот эту записку.

— А что там? Что написано? — всех вдруг одолело неудержимое любопытство. Что может сделать валентинку ужасной?



— Кто написал, знает. И у меня нет желания это озвучивать. Но я прошу этого человека признаться. Пусть не сейчас — позже. После уроков. Будет очень плохо, если он не признается. Нам всем будет очень плохо.

Девчонки переглядывались, мальчишки пожимали плечами и переминались с ноги на ногу.

— Разговор закончен, — Марсём вдруг сразу устала. — День святого Валентина отменяется. Больше никаких записок. Пока не найдется автор. Садитесь на места.

Жорик попробовал протестующе загудеть. Но большая Настя цыкнула, и стало ясно: дело серьезное.

27

Вечером позвонила Наташка.

Я сейчас к тебе приду. У меня важные новости, — заявила она и бросила трубку.

Новости, конечно, касались записки. Наташка начала прямо с порога.

— Ты знаешь, что было в записке? Знаешь? Там просто ужас! Там такое!

— А ты откуда знаешь?



Мне Настя рассказала. Она рядом с Веркой стояла, когда записку передали. И все видела.

— Ну, и что там?

— Ой, ужас! Я даже вслух сказать боюсь! — Наташка принялась зажимать себе рот руками, словно пытаюсь засунуть обратно рвущиеся наружу слова.

— Да говори же ты!

Наташка на секунду замерла, выпучила глаза и выпалила:

— «Верка, я хочу тебя трахнуть!»

— Ты что — с ума сошла?

— Я же говорю — ужас! Верка целый вечер ревет.

— Ревет?

Угу. А сначала смеялась. Когда записку получила. Развернула — и давай смеяться. Настя спрашивает: «Ты чего?» А она не отвечает — все смеется. Потом говорит: «Сейчас я тебе покажу!» И показала. Только Настя не засмеялась. Настя сказала, это неприличные слова. Верка говорит: «Сама знаю, что неприличные!» — и пошла жаловаться.

— А ты думаешь, это кто? Кто написал?

Кто, кто! Кравчик, конечно! И Настя так думает. И Жорик с Илюшкой.

— А они что — знают про записку?

— Да все уже знают. Верка говорит, этому Кравчику не поздоровится. Его завтра из школы выкинут. Веркина мама пойдет и выкинет. И другие родители. Потому что этот Кравчик настоящий развратник.

Видимо, на моем лице отразилось сомнение. Заметив это, Наташка перешла в наступление:

— Да, развратник. Так Надина бабушка сказала. Ты сама-то знаешь, что такое «трахнуть»?

— Думаешь, ты одна такая умная?

— А спорим, не знаешь!

— Не буду я спорить.

— Вот и не спорь. Это гадость, рудименты и атавизмы. Веркина мама сказала Настинной маме, что за такие слова этого Кравчика убить мало. А уж выкинуть — святое дело.

Слово «святое» неприятно меня задело.

— А Марсём знает, что Кравчика хотят выкинуть?

Наташка пожала плечами. Сейчас уже не имело значения, знает ли Марсём. Преступление было налицо. И преступника должно было настичь возмездие.

## 28

Марсём в то утро опаздывала. Она появилась в дверях, на ходу скидывая шубу, и так и замерла у входа, забыв одну руку в рукаве.

Мы сидели за партами — как положено. И, быть может, с умными лицами. По крайней мере, сидели мы тихо и слушали внимательно. Говорила Верина мама.

Верина мама появилась в классе рано утром, как и обещала. И еще с ней пришли мама Кати и Надина бабушка. У Надиной бабушки оказался очень строгий командный голос, и она велела нам сесть. Мы уже знали, что будет, что должно произойти, и быстро заняли свои места.

После этого Верина мама подошла к Кравчику и приказала ему встать перед классом.

— Взгляните на этого мальчика! — сказала она, едва сдерживая отвращение. — Его поведение отвратительно. Этот мальчик больше не будет здесь учиться. Наш родительский комитет потребует его отчисления, и сейчас он вместе с нами пойдет к директору. А там расскажет, где он научился разным плохим словам. Может, его мама с папой так воспитывают?

Что здесь происходит? — Марсём наконец стянула шубу с плеча и положила ее прямо на парту, за которой должен был сидеть Кравчик.

Мы, Маргарита Семеновна, написали коллективное письмо. Мы не позволим, чтобы этот хулиган оскорблял наших детей...

— Покиньте, пожалуйста, класс, сейчас же! — Марсём говорила холодно и отчетливо, не допуская возражения тоном. И, не дожидаясь исполнения своей команды, повернулась к мамам спиной. — Кравчик, пройди на место. На счет «три» открываем тетради по русскому языку. Раз-два-три. Диктант.

— Маргарита Семеновна...

— До административной работы осталось меньше недели. Все разборки — после уроков. Вороне где-то Бог послал кусочек сыра... Вера, я уже диктую.

Мамы взяли сумочки и неловко вышли.

— Вороне где-то Бог послал кусочек сыра... Бог мой! Так это ты написал? — голос Марсём вдруг разом изменился. Сейчас в нем звучало неподдельное отчаянье.

Кравчик отрицательно замотал головой.

— Леша?!

— Не писал я.

— Леша!

— Это Егор написал!

— Что? Кто это сказал?

— Это Егор написал! — Ромик поднялся с места. В наступившей тишине его тоненький голосок казался оглушительным. — Он мне сам сказал. Он сказал, я Верке записку написал.

Сейчас посмеемся. И бросил в ящик. Я сам видел.

Все разом обернулись. Егор сидел на последней парте, насупившись и ни на кого не глядя.

— Это написал Егор? — зачем-то переспросила Марсём, хотя Егор и не думал отнекиваться.

— Он сначала думал признаться, — попробовал заступиться за друга Ромик. — Но потом на Кравчика подумали. И он... Он не стал признаваться.

— Не стал признаваться? Ну, да. Конечно. Хорошо. То есть — нехорошо. Но мы должны работать. У нас ведь скоро контрольная. На чем мы остановились? — Марсём зачем-то подошла к окну и ткнула пальцем в горшок с цветком. — Да, а цветы давно поливали? Надо полить цветы. Прямо сейчас. А то земля совсем сухая. Хотя — лучше потом. Сейчас надо писать. На чем мы остановились? На какой вороне?.. Нет, не могу. Я не могу!..

Марсём тяжело опустилась на стул и некоторое время смотрела перед собой. Мы боялись шелохнуться.

— Дети, извините! Я правда не могу. Не могу вести урок. Я пойду скажу, вам пришлют кого-нибудь. Да, другого.

Она поднялась и потянула к себе шубу, которая так и осталась лежать на парте Кравчика. Шуба, как непослушный зверек, зацепилась застежкой за край стола. Кравчик



протянул руку и выпустил шубу на свободу. Марсём вяло кивнула, взяла вещи и вышла. И больше не вернулась.

### Дневник Марсём

С чего они взяли, что Корчак по дороге в Треблинку рассказывал детям сказки? С чего они это взяли? Ведь никого не осталось в живых. Никого, кто мог бы свидетельствовать.

### Другая запись

Какое говно — внутри и снаружи. Плевать на потомков.

### 29

Было как в первый день каникул. Только совсем безрадостно. Нам ничего не задали и после третьего урока распустили по домам. Так рано дедушка не мог приехать в школу, и мы с Наташкой решили идти пешком. Далеко, конечно. Но у нас было много времени. Очень много ненужного времени.

Наташка шла, загребая снег носками ботинок, и жевала булку. Я отказалась жевать вместе с ней, поэтому она решила делиться с птицами: то и дело останавливалась и выкидывала в сторону от дорожки пригоршню крошек. Ей хотелось угостить воробьев, но налетали голуби. Они появлялись быстро и в большом количестве, толкались, жадно склевывали, теряли крошки, перехватывали друг у друга добычу. Воробьи же пушистыми комочками оседали на каком-нибудь невысоком кустике поблизости и зачарованно на все это смотрели.

— Кшш! — взмахивала Наташка руками. — Дайте маленьким место! Не люблю голубей. Паразиты городские, — объясняла она свою жестокость.

Оклеветанные голуби неохотно взлетали, часто и громко хлопая крыльями, но скоро возвращались и снова принимались суетливо толкаться.

— Вот ведь настырные. Вас что — привязали? — возмущалась Наташка, и мы отправлялись дальше.

— Как ты думаешь, наши ангелы, они сейчас где? — спросила я, глядя на голубей.

— Ой, ты знаешь, я должна тебе что-то рассказать...

Я почувствовала в Наташке опасное вдохновение. Так случалось, когда она решала бороться с неправильностями мира своими средствами.

— Один ангел застрял. На шкафу в классе.

Шкаф стоял прямо за партой Егора.

— С чего ты взяла?

— Когда Ромик все рассказал, я повернулась посмотреть на Егора. И нечаянно посмотрела на шкаф. А там суккулент такой большой стоит.

С момента приобщения к лягушачьей теме Наташка то и дело употребляла неизвестные простым смертным словечки.

— Суккулент — это что? Из книжки про лягушек?

Наташка фыркнула.

— Это растение такое, навряде кактуса. У него еще цветочки бывают красные.

— Декабрист, что ли?

Наташка кивнула.

— А при чем здесь ангел?

— Понимаешь, раньше у этого суккулента веточки вверх торчали. А когда я на него посмотрела, они все наклоненные были. Как будто их сверху придавило. Я думаю, это ангел. Егора. Точно-точно! Он, наверное, взлетал, когда Ромик рассказывать начал. А как услышал, так и завис в воздухе. И приземлился на этот декабрист. В самую середину веточек. И еще, знаешь что? Этот ангел был потный.

— Ну, что ты придумываешь?

— Ничего я не придумываю. Я потом подошла ближе, и на меня капля упала. Скажи, откуда там взялась капля? Может, у нас в классе по потолку тучи ходят?

— Какая же ты врушка!

— Врушка? Я, между прочим, в «Занимательной анатомии» читала, что люди от волнения вспотеть могут. Или когда переживают очень. У меня знаешь какие ладони потные были, когда я профессору отвечала? Платком вытирать пришлось. Носовым. И он весь промок.

— Эта «Анатомия» про людей, а не про ангелов. Может, у ангелов другая анатомия. Может, у них вообще никакой анатомии нет.

— А ты чего взбесилась? Что ангел вспотел? Да на его месте любой бы вспотел. От расстройства. Ему, может, срочно лететь надо было. Самолет спасти или корабль. А тут — такое! «Верка! Я хочу тебя трахнуть!» — противным голосом процитировала Наташка.

В горле образовалась тяжесть. Словно кто-то сидел внутри и давил. Даже шея устала. Я с трудом сглотнула: еще немного — и заплачу. Разревуся.

Прямо на всю улицу. Некоторое время мы тащились молча. Наконец я решилась:

— Как ты думаешь, почему он ей написал, а? Он что — влюбился?

— А хоть бы и влюбился? Тебе-то что? Может, ты хотела, чтобы он тебе такое написал?

Я промолчала. Наташка остановилась, удивленно на меня взглянула и вдруг заорала:

— Ты что — совсем дура? Ты что, в этого дурацкого Егора втрескалась? В труса этого?

— Он не трус, не трус, — я чувствовала, что скажу сейчас глупость, страшную глупость. Но получилось как-то само собой: — Он же Дрэгона победил.

— Победил Дрэгона! Ха-ха-ха! — в свое «ха-ха» Наташка вложила весь возможный сарказм. — Нет, вы слышали? И что с того, что он тогда победил? А сейчас — струсил. Сделал гадость и свалил на другого. Специально все подстроил, чтобы Кравчика выгнали. Предатель!

— Он не специально. Не специально! — я тоже кричала. — Он хотел признаться.

— Да откуда ты знаешь?

— Он не мог не хотеть. Не мог. Он просто не успел. Сначала испугался, а потом не успел. Я его понимаю.

— Ты его понимаешь? Ты его понимаешь? — от возмущения Наташка даже поперхнулась. — Ну, считай, что твой ангел тоже застрял!

— При чем тут мой ангел?

— Потому что ты защищаешь этого Егора, — злобно сказала Наташка. — А из-за него ушла Марсём. И она, может быть, не вернется. Никогда! Хотя зачем она тебе? Ты можешь сидеть в классе и любоваться на своего Егора. Ну, и любуйся. Пока не треснешь. И пусть он тебе свои дурацкие записки пишет, свои рудименты и атавизмы: «Алиночка, я хочу тебя трахнуть!»

Она резко повернулась и бросилась от меня прочь, прямо через дорогу.

— Наташка! Машина!

Машина затормозила. Из окошка высунулся шофер и выругался. Но Наташка не слышала. Она уже бежала по другой стороне улице, в ярости размахивая портфелем. Взлетели с мостовой потревоженные голуби, но тут же вернулись — назад к своим крошкам. Как привязанные к земле ангелы.

До дома было еще далеко.

### 30

На следующий день Марсём в школу не пришла. Вера и Егор тоже не пришли. И еще не пришел Ромик. Он заболел гриппом. Настя сказала, ничего удивительного. Ромик часто болеет. Он слабенький. А вчера его еще и продуло на улице, пока он бабушку ждал. Долго ждать пришлось. А Наташка пришла. Она даже не опоздала. Она надеялась: вдруг Марсём все-таки появится? И пришла пораньше, чтобы лишний раз ее не расстраивать. Но расстраиваться было некому.

Уроки вела другая учительница. Мы сидели тихие и вялые. Разговаривать не хотелось. Даже на переменках. О чем говорить-то? Так что учительница была довольна: «Мне про вас такое наговорили. Пугали по-всякому. А вы — ничего. Нормальные. И примеры решать умеете. Даже с задачей справились». Она захлопнула журнал и собралась уходить. Наташка подняла руку.

— Да.

— А Маргарита Семеновна когда придет?

— Маргарита Семеновна? Не знаю. Она заболела.

— А чем она заболела? Она поправится?

— Ну, это не ко мне. Пусть ваши родители выясняют эти вопросы с администрацией. Я справок не даю. Мое дело — к контрольной вас подготовить.

И она недовольно двинулась к двери. Наташка продолжала стоять.

— А вообще, — учительница остановилась и повернулась к нам, — вы свою Маргариту Семеновну довели. Вот что я должна вам сказать.

И вышла.

### 31

Самолет разбился на следующий день.

«Сегодня над Боденским озером в швейцарском воздушном пространстве произошло столкновение российского Ту-154 „Башкирских авиалиний“ с грузовым „Боингом-757“ компании DHL. Погибли 70 человек, подавляющее большинство погибших — дети», — суровым тоном сообщал диктор.

— Папа, ты только послушай! — громко звала мама дедушку. — Ты только послушай, какой кошмар!

Дедушка уже пришел в кухню и, нахмурившись, смотрел на экран.

— Подавляющее большинство погибших — дети! И говорят, это были лучшие дети республики. Они летели отдыхать за границу. Получили путевки за победы в олимпиадах. Какой кошмар!

Я вдруг поняла, что не могу больше сдерживаться. Меня охватило чувство ужасного бессилия. Я еле добралась до дивана, забилась в угол, накрылась с головой пледом и разрыдалась.

— Алина! Алиночка! Что с тобой?

— Это ангелы, наши ангелы! Они больше не летают.

— Что ты такое говоришь? Ты бредишь?

— Ты не понимаешь. Марсём говорила, ангелы не могут лететь по делам, если человек поступает плохо. Они тогда привязаны. Как голуби к крошкам, — сглатывая слезы, я

пыталась объяснить маме, что происходит. — Наши ангелы не могут взлететь! Они все застряли! В кактусах!

— Нет, вы только подумайте! Эта Марсём совершенно запудрила вам мозги! Своими вечными выдумками. Полным отсутствием чувства реальности! Ей это уже аукнулось. Но никто не извлек из этого урока!

Мама открыла мне лицо и обняла прямо поверх пледа.

— Послушай, девочка моя! Никаких ангелов нет. Это только образ! Поэтический образ. Ты же не веришь в Бабу-ягу? Будто она ест плохих детей? Не веришь, правда? Ангелы — это то же самое. То, что самолет разбился, конечно, ужасно. Но ангелы тут ни при чем. Это халатность авиадиспетчеров. Самолеты разбиваются, такое случается. Тонут корабли и подводные лодки. И машины сбивают пешеходов — даже на тротуарах. Но маленькие дети не могут за это отвечать. Понимаешь? Не могут! Они даже за себя отвечать не умеют. За свое поведение.



Я выдернула из рук мамы кусок пледа, снова натянула на лицо и заплакала еще сильнее.

— Оленька! У тебя, кажется, пирог горит, — осторожно заметил дедушка.

— Ой, — спохватилась мама. — Тут не только пирог, тут все на свете, того и гляди, сгорит! — и кинулась в кухню.

Дедушка присел на диван и стал слушать, как я плачу. Я стала уставать. Рыдания стихли, но слезы еще текли.

— Знаешь, — заметил дедушка, когда я уже могла его услышать, — мне кажется, все еще можно исправить. С ангелами.

— Думаешь, можно? — я откинула плед с лица. Неужели есть какая-то надежда? — И они тогда полетят?

— Полетят.

— Ведь так уже было. С магнитиками. Помнишь?

Дедушка кивнул и погладил меня по голове. Он всегда гладил меня по голове, чтобы успокоить.

— Деда, а она вернется?

— Если ангелы полетят — вернется.

— Ты уверен?

— Абсолютно. Тут все дело в живой воде.

— В живой воде? — я откинула плед и теперь ловила каждое дедушкино слово.

— Помнишь сказку про Ивана-царевича? Его ведь убили. Родные братья, кажется. И нужна была живая вода, чтобы привести царевича в чувство. Это как раз об этом. Жажда — страшная вещь. Знаешь, чего человек больше всего жаждет? — дедушка снова погладил меня по голове. — Разделенности. Чтобы кто-то разделил с ним самое главное. Надо только подумать, что тут может стать живой водой.

— Что Марсём хотела с нами разделить? А вдруг мы не догадаемся?

— Нужно подумать. Хорошенько подумать. Всем вместе.

— Можно спросить у В.Г. Он же знает Марсём. Он с ней дружит! Деда, он сегодня придет?

— Да, должен. Я, правда, не уверен, что сегодня получится.

— Но ведь можно попробовать?

— Да-да, конечно, — дедушка вдруг стал думать о чем-то своем.

Но я уже ожила. Вечер — когда же он наступит?

### 32

В последнее время В.Г. приходил почти каждый день. Они с мамой даже смеялись, как это всем надоело: ходит туда-сюда! Надо это дело поскорей прекратить. Но поскорей не получалось. В.Г. решил переехать к нам после того, как они с мамой распишутся. Оставалось еще две недели.

В этот раз мама почему-то нервничала. Оказалось, В.Г. придет не один.

— Ас кем?

— Не спеши — узнаешь, — уклонилась от ответа мама и пошла хлопотать в кухню.

Но я спешила. Мне так нужно было поговорить с В.Г.!

Наконец раздался звонок. Я бегом бросилась к двери, торопя замки и цепочки. Дверь, наконец, открылась.

— Здравствуйте, дядя Володя! — крикнула я. И остолбенела. На дороге стоял не один В.Г.... Их было два: один всегдашний, которого я ждала, а другой — точно такой же, только намного моложе и без бороды. И еще у него были рыжие волосы. Такие же кудрявые, как у В.Г., только рыжие.

— Вот, познакомься, Алина, — сказал старый В.Г. — Это Матвей. Мой сын.

— А разве, — я замялась, — разве у вас был сын?

— Как видишь! — неловко засмеялся В.Г. — Может, раньше и не было. А теперь — есть.

— Просто он забыл о моем существовании, — решил пошутить рыжий. — А тут раз — и сюрприз.

— Что правда, то правда — сюрприз, — согласился В.Г.

— Ну, что же вы стоите в дверях? Проходите, пожалуйста, к столу, — в коридорчике появилась мама. — У меня уже пирог стынет!

— Ого! Как нас встречают! Добрый вечер! — и Матвей чуть поклонился, желая высказать маме свое почтение.

Тут все мы рассмеялись: он поклонился точно так же, как это делал В.Г., когда только-только появился у нас в доме. Матвей слегка растерялся и смотрел вопросительно.

— Вы точная копия Володи! Он бы не смог от вас отказаться — при всем желании! — объяснила мама.

— Но он отказался, как я понимаю.

— Давнее дело, — В.Г. постарался, чтобы фраза прозвучала полегче. — Выбора мне тогда не оставили. Твоя мама на этом настояла. Считала, вам с ней так будет лучше.

— Поэтому мне пришлось потрудиться, чтобы его отыскать, — Матвей кивнул в сторону В.Г.

— Ну, проходите, проходите, — теперь к маме присоединился дедушка. — И расскажите нам все по порядку. Это ведь настоящий детективный сюжет, как я понимаю?

— Есть немного, — засмеялся Матвей, следуя за дедушкой и усаживаясь за стол. — Пришлось покопаться в архивах, по адресным бюро побегать. У меня ведь на руках

только свидетельство было. О рождении. Копия. Случайно сохранилась. А так у меня и фамилия другая.

— Архивы — это ведь вам близко? — мама решила разнообразить беседу. — Вы же в историко-архивном учитесь? На каком курсе? На втором? Этот такой престижный ВУЗ. И конкурс туда очень большой! Как только вы решились туда поступать?

— Это не я решил, это отчим. У него там связи.

— Отчим? — у мамы никак не получалось вывести беседу в безопасное русло.

— У нас в семье все отчим решал. До последнего времени. А мать только и знала, что твердила: слушай отца, слушай отца! А потом выяснилось, что он никакой не отец.

Я вдруг представила, как мама Матвея, маленькая рыжая женщина (почему я решила, что она маленькая? Потому что моя мама была маленького роста?), стоит в кухне и говорит строгим голосом: «Ты сегодня совсем не занимался. Так поздно! Где тебя носило? И тебе не стыдно? Отец пашет с утра до вечера! Только чтобы у тебя все было. А ты? Где твоя совесть?» А Матвей бубнит, глядя себе под ноги: «Пашет он! Кто его просил! Тоже мне! Отец! Видали мы отцов и получше».

Это не тайный умысел. Это просто наглость. Чтобы сделать своей маме больно. За то, что она ругается. И за то, что она права, а он — виноват. И из-за того, что Матвей виноват, он хочет обидеть свою маму. И говорит это жестокое: «Тоже мне — отец! Видали мы таких отцов!»

И его рыжая мама вдруг меняется в лице, опускается на табуретку рядом с кухонным столиком и кладет перед собой руки, внимательно рассматривая пальцы. Она долго-долго рассматривает пальцы, а потом говорит, не глядя на сына: «Я давно должна была тебе рассказать... Но я думала, так будет лучше... Так всем нам будет лучше!» Матвей ошарашен. Он ничего такого не хотел. Он только хотел подразнить маму. А получилось — дразнил судьбу. Но, говорит рыжая мама, пришла пора сказать. Пусть Матвей знает. Тогда он лучше поймет, что сделал для него этот человек, его отчим.

Но Матвей понимает что-то другое, свое. Он как раз рассказывает: теперь ясно, почему у них с отцом (то есть — с отчимом) возникали все эти конфликты; почему тот взрывался по пустякам, и кричал на него, и все время что-то требовал. Он чужую породу чувствовал, вот что! Он в нем дурную наследственность подозревал. И хотел ее вытравить. Он однажды даже отлупил Матвея. За то, что тот спер у соседского мальчишки игрушечный танк. Знаете, были такие коллекционные машинки? Матвей их собирал. А этот танк, он очень редкий. И мальчишке тому совершенно не нужен был. Но меняться мальчишка не захотел — из вредности. И тогда Матвей этот танк утащил. Пришел в гости, положил потихоньку в карман и унес. А отец, то есть отчим, обнаружил. И хлопнул его по заднице. Сказал, воров в его роду не было и не будет. Придумал тоже — в роду! Но это полдела: он заставил Матвея унижаться — тащиться к тому мальчишке, возвращать танк, прощения просить. А Матвей хотел машинку просто под дверь подложить. Все равно бы ее обнаружили. И еще был случай...

— Это непросто, молодой человек! Очень непросто! — дедушке хотелось придать своим словам больше веса, поэтому он и обратился к Матвею так церемонно. Точно так же, как когда-то обращался к В.Г. — Жизнь в семье не бывает гладкой. Даже когда люди друг друга любят.

Я испугалась, что дедушка сейчас начнет рассказывать про бабушку, а Матвею будет смешно. Но дедушка не начал.

— И, случается, возникают споры. Между родными или просто близкими людьми.

— Знаете, отчим — он отчим и есть. Он никогда родного отца не заменит! У меня опыт есть, — это Матвей произнес очень авторитетно, с уверенностью, что никто из присутствующих не сможет его оспорить.



Мама выглядела испуганной. Матвей быстро взглянул на меня, потом — на В.Г., что-то вдруг сообразил и понял, что допустил тактическую ошибку. — Ну, вас я в виду не имею, у вас, может, все по-другому сложится. Тем более близость по духу. Владимир мне столько рассказывал! Говорит, люди такие хорошие. И мы теперь все дружить сможем.

Да-да, давайте дружить, — поддержал Матвея дедушка. Мы как раз хотели обсудить одну важную тему.

— О живой воде, — я, наконец, сумела встрянуть разговор. Дядя Володя! Как вы думаете, что может быть живой водой для Марсём?

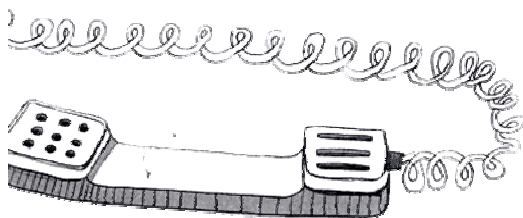
— Вы что — сказки народные изучаете? — Матвея тема явно не вдохновляла.

Нет, мы пытаемся понять жизнь, — уточнил дедушка. — Вы, Володенька, Маргарите Семеновне не звонили? Как она себя чувствует?

— Пытался. Но она к телефону не подходит. Муж говорит — переутомление. Просил пару дней не тревожить. Говорит, нужно дать ей время в себя прийти. Если появятся новости — сообщу обязательно.

Тут зазвонил телефон.

— Извините, — мама встала из-за стола и прошла в комнату.



Матвей воспользовался паузой и стал рассказывать, как ему удалось разыскать В.Г.... Как он позвонил и попросил встретиться. А кто звонит, не сказал. И что до сих пор не может без смеха вспомнить лицо В.Г., когда тот его первый раз увидел. А дома не знают, что Матвей разыскал отца.

Он решил не говорить. Чтобы мать не тревожилась. Ей только дай повод, она день и ночь тревожиться будет. И отчима он по-прежнему зовет «папа». Все-таки тот его вырастил. Чего уж тут! У него теперь такая двойная жизнь, как в романе. Вот знакомые новые появились. И Матвей обвел сидящих за столом широким жестом.

Мамы долго не было. Наконец, она вернулась. На лице ее застыло странное выражение. Словно она боялась, что глаза и губы будут жить своей жизнью, и по ним можно будет о чем-нибудь догадаться. О чем-то, что знать никому не полагалось.

— Оля, что-нибудь случилось? — В.Г. глядел на маму с удивлением и тревогой.

Нет, нет, ничего. Переходим к чаю? — мама оглядела присутствующих и с деланной бодростью принялась собирать тарелки. — Вы уже ситуацию в Алинином классе обсудили?

Обсуждение как-то не клеилось, потому что Матвей ничего не понимал и начал скучать. Из-за этого чай прошел вяло. Наконец В.Г. решил, что пора уходить. Перед уходом он еще раз взглянул на маму:

— У тебя все нормально?

Мама кивнула — странно отчужденно:

— Да-да. Я позвоню.

В этот вечер она не поцеловала В.Г. на прощанье. Наверное, из-за Матвея. Просто махнула им обоим рукой.

В дверях В.Г. оглянулся.

— Я о живой воде. Маргарита верит в слово. По крайней мере, верила раньше. Может, Алинке это как-то поможет.

Дверь закрылась, и шаги уходящих гостей скоро смолкли.

— Вполне толковый молодой человек, — заметил Дедушка. — Конечно, он сделал сложное открытие, и период в жизни у него непростой... Оленька, что с тобой? Ты же не изменишь своих планов из-за появления Матвея?

Ведь Володя не скрывал эту историю — с отказом от ребенка. Он тебе полностью доверяет.

— Из-за Матвея? Нет, — мама тяжело вздохнула, и губы ее задрожали. — Матвей здесь ни при чем.

### 33

— Добрый день! Я бы хотела поговорить с Алиной! Здравствуй, Алиночка. Это Лидия Петровна, мама Леша Кравчика, твоего одноклассника. Я по поводу Маргариты Семеновны звоню. Мы тут разговаривали и подумали тебя в гости пригласить. Чтобы ты совет дала. Лешенька говорит, ты лучшая ученица в классе. И Маргарита Семеновна тебя очень любит. Надо вместе подумать, что дальше-то делать. Вот и Егор так считает. Он тут у нас сидит.

— Егор?

— Да. Они тут с Лешенькой третий день уже сидят. Разговаривают. Ну, и играют немножко. Слезами-то горю не поможешь. Ну, так как? Ты сможешь к нам в гости прийти? Мы в том доме, что рядом со школой, живем. У нас там мастерская. Лешенька бы тебя на остановке встретил. Они бы вместе с Егором встретили. Еще мы Петю позвали. Вот они вас двоих и встретят. Сможешь приехать?

Живая вода! Живая вода! Я не успела положить трубку, как телефон зазвонил снова.

— Это я. Ты слышишь? У меня такие новости, такие новости!

— Ты же со мной не разговариваешь!

— Это я вчера не разговаривала. А сегодня мне надо тебе что-то сказать. Что-то важное. Егор признался! Пошел к Кравчикам и признался, что сам записку написал, а Лешку подставил. Представляешь? Прямо родителям его сказал!

— Откуда ты знаешь?

— Мне Петя рассказал. Ему мама Кравчика звонила. Твой телефон спрашивала. А зачем ей твой телефон?

— Я сейчас еду к ним в гости. Нужно подумать, как все исправить.

— Я с тобой! Ты меня подожди, на остановке!

— Петя тоже едет. Только попробуй опоздать!

— Ни-ни.

Дедушка вызвался нас отвезти. Всех троих. Прямо до дома. Так что встречать на остановке нас не пришлось. Дверь открыла мама Кравчика.

— А мы уж заждались!

Я с удивлением рассматривала витую лестницу, тазы с глиной и выставленные в ряд головы. Некоторые головы были белыми, как в Пушкинском музее. А некоторые были обмотаны тряпками. С потолка свисала люстра из гнутых вилок. И еще вокруг стояли горшочки и вазочки с сухоцветами.

— А вы же и не были у нас ни разу! Оглянитесь, оглянитесь! Лешенька, что же, не говорил ничего? Что мама с папой у него художники? Это вот Леонид Петрович делает, — мама показала на головы. — А я вот цветочками увлеклась. Букеты составляю. Их и покупают неплохо. Вот мы тут Маргарите Семеновне к женскому дню готовили. Всей семьей. И Лешенька участвовал.

Мы топтались у входа, не зная, что делать и на что смотреть. Вот бы дедушка видел! Вот бы все видели. Может, им надо было Марсём в гости пригласить?

Первым нашелся Петя. Он деловито пожал руку появившемуся откуда-то сверху, с антресолей, Кравчику и хлопнул по плечу Егора.

Егор махнул рукой:

— А мы тут с Лешкой подружились.

— Ма! Я самовар поставлю! — Кравчик был в вязаных тапочках и улыбался во весь рот.

— Поставь, поставь. Тут-то какой самовар! Электрический. А в деревне у нас настоящий. Растапливать надо. Сапогом пар нагонять. Лешеньке нравилось очень. Он и ставить его сам научился. Вот приедете как-нибудь, мы вас удивим.

Живая вода! Живая вода!

Было уютно и очень по-домашнему. Кравчик то и дело вскакивал из-за стола, чтобы что-нибудь принести. Он ловко управлялся с подносом, и с самоваром, и с чашками.

— Ну, давай-ка, Лешка, не скачи. Поговорить надо, — дал команду Леонид Петрович. Кравчик тут же сел на место. — Кто говорить начнет? Надо же нам придумать что-то. Чтобы Маргарита Семеновна на работу согласилась вернуться. А то нехорошо без нее. Нехорошо.

Все посмотрели на меня. Я набрала в грудь побольше воздуха.

— Нам, знаете, надо такое придумать, чтобы было, как живая вода. Чтобы Марсём поняла: мы без нее не можем.

— А живая вода — это что? — не понял Кравчик.

— Ну, это значит, то, что Марсём сейчас больше всего нужно. Что она больше всего любит, — пояснила Наташка. Все-таки она была моя лучшая подруга.

— А что она больше всего любит? — поинтересовалась Лидия Петровна.

Все посмотрели друг на друга.

— Сказки, — неуверенно предположил Егор.

Наташка тут же принялась спорить:

— Она вообще книжки любит. И по анатомии, и про животных разных.

— Да. Слова, — вспомнила я совет В.Г. — У нас один знакомый есть. Он и Марсём знает. Он еще мальчишкам мечи вручал, когда Дрэгона победили. И потом опыты приходил показывать. Помните?

Все, кроме Кравчиков, закивали.

— Он говорит, Марсём в слова верит.

— Я понял! — Петя с силой хлопнул себя по лбу. Наташка даже вздрогнула и осуждающе на него посмотрела: там, в голове, мозги все-таки. Но Петя осуждения не заметил. — Надо письмо послать.

— Правильно! Письмо! — Егор вскочил с места. — И там все написать. Что мы больше так не будем.

— Это мальчишки должны написать. Что они не будут, — сказала Наташка и насупилась. — Это из-за них Марсём заболела.

— А вы тоже дверь ломали!

— А вы больше хулиганили!

— Я тоже думаю, мальчишки должны написать, — сказал Петя. — Это по-рыцарски.

— Только надо, чтобы все писали.

— А как же всех собрать?

— А помните, как в «Тимур и его команда»? Тимур в сарае на чердаке начинает колесо крутить, а по дворам банки и жестянки звонят. Телеграф такой! Я читал! — похвастался Кравчик.

— А кто у нас будет Тимур?

— Тимур? Да не нужен нам Тимур. Нам колесо нужно.

— А ну, не придумывать глупости! — Леонид Петрович цыкнул на Лешку. — Колесо вам тут не поможет. Зачем вам колесо, когда телефон есть? Позвоните, предупредите. Пусть ваши ребята после уроков завтра останутся и все, как надо, сделают.

— Да, завтра. А то поздно будет. Ведь потом каникулы! Не соберешь никого.

— Ну, мы тогда побежим, звонить, — Наташка вскочила. — Только вы хорошо напишите, правильно. Ладно?

— Будь спок! — Егор успокоительно махнул рукой.

— Да, и еще, — крикнула вдогонку Лидия Петровна. — Цветочки в классе полить не забудьте. А то забываете, и сухая земля воды не держит. Лешка в прошлый раз так большой цветок залил, что вода два дня со шкафа капала. А вытирать некому было. Не забудете?

Мы кивнули. И побежали.

## 34

— Алиночка! Послушай, детка. Владимир Григорьевич не сможет к нам переехать. Все изменилось.

— Из-за Матвея?

— Нет, девочка. Я должна тебе сказать что-то важное. Очень важное. Скоро в Москву прилетит твой папа. Он хочет с тобой встретиться. И, быть может, пригласит тебя погостить.

Мама смотрела на меня с нескрываемой тревогой.

— Папа полетит на самолете?

Мама кивнула.

— И ты не будешь расписываться с В.Г.?

Мама не ответила. Только едва заметно вздохнула. Мы немного помолчали. Я подумала, жалко, что в мозгу не открыли центр любви. И его нельзя отключить. Как утюг.

— Но ведь у В.Г. теперь есть Матвей, правда? А с самолетом ничего не случится. Потому что мы нашли живую воду. Мама, мы нашли живую воду!

Мама обняла меня, крепко прижала к себе и стала укачивать. Как маленькую. Она не хотела, чтобы я видела в ее глазах слезы.

## Эпилог

«Дорогая Маргарита Семеновна Мы вас очень ждем и любим. У нас образовался мужской коллектив и от его имени мы (зачеркнуто) я говорю что постараемся чтобы у нас в классе больше такого не происходило. Надеюсь что у нас получится это организовать.

Вечно ваш четвертый А класс»

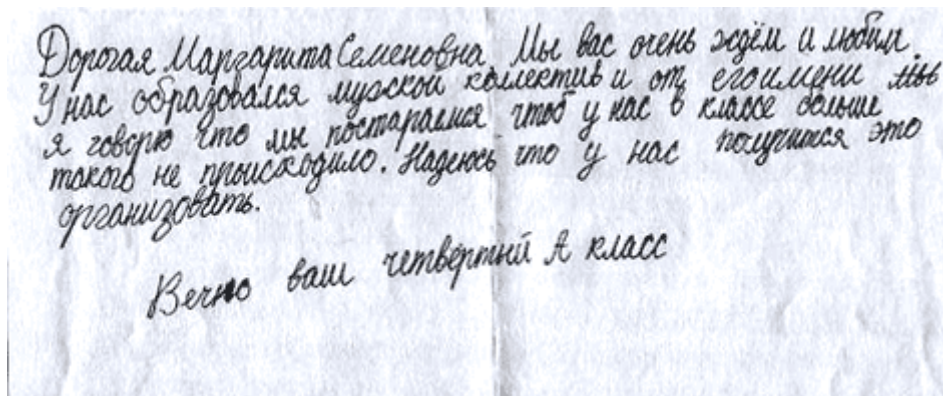
## Дневник Марсём

Сегодня получила записку от мальчишек. Пунктуация — никуда. И, конечно же, безударная гласная! А до конца учебного года, между прочим, меньше двух месяцев. И еще спектакль выпускной. Сплошная головная боль!

### *Другая запись*

А что еще мог рассказывать Корчак своим детям?

Конечно, сказки.



### Послесловие автора

Я читала «Короля Матиуша» своим ученикам. Читала — и рассказывала легенду о смерти Януша Корчака, о том, как он погиб со своими воспитанниками в фашистском концлагере Трешлинка. Мог спастись, но не стал этого делать. Предпочел отправиться вместе с детьми. Не захотел их бросить.

Может быть, это самое важное, что я успела рассказать детям за двадцать лет своей учительской жизни. Да, думаю, это самое важное.

Потом я написала роман «Когда отдыхают ангелы» — о том, как учительница читает детям «Короля Матиуша», а дети в это время живут своей сложной и плохо управляемой жизнью. И этот роман получил Национальную премию «Заветная мечта».

После церемонии награждения ко мне подошли подростки — те, что входили в детское жюри. Подошли поделиться впечатлениями, и я не удержалась — спросила:

— Ну, а «Короля Матиуша» вам захотелось прочитать?

Они ответили:

— Да. Мы думаем об этом.

И одна девочка, Юрико, написала мне потом письмо — из Южно-Сахалинска. Она вернулась домой и пошла в библиотеку — за книгой Корчака.

В библиотеке очень удивились: там никто не слышал о писателе Корчаке. И не могли припомнить, есть ли такая книга в фондах.

Тогда Юрико начала искать сама. Ей позволили. Ведь она в тот момент была знаменитым человеком — членом детского жюри Национальной премии.

Она писала мне, что перерыла всю библиотеку, все самые дальние, самые пыльные и забытые уголки — и нашла то, что искала. И прочитала. И вслед за ней все взрослые из библиотеки тоже прочитали «Короля Матиуша». И теперь не могут представить, что когда-то не знали об этой книге.

Я страшно этому рада. В воображаемом списке достойных дел я поставила себе жирный крестик: я подумала, что даром писала собственную книжку.

Найдите «Короля Матиуша». Откопайте в библиотечной пыли. Отыщите через волшебную сеть Интернет. Наткнитесь на нее — случайно — на книжной полке в гостях у знакомых.

Прочитайте ее обязательно. Иначе вы не поймете что-то важное о себе.



Взято из Флибусты, [fibusta.net](http://fibusta.net)

## Наринэ Абгарян

родилась 14 января 1971 года в городке Берд Тавушского района Армении. Ее отец – врач, а мама – преподаватель. Также у Наринэ есть еще три сестры и брат. Дед по отцовской линии - армянин, беженец из Западной Армении, бабушка по отцовской линии – армянка, уроженка Восточной Армении, которая двести лет находилась в составе Российской Империи. Дед по материнской линии – армянин, выходец из Карабаха. Бабушка по материнской линии – русская, уроженка Архангельской губернии России. С дедом они познакомились во время Великой Отечественной войны, которую прошли от начала до конца.

Среднее образование Наринэ Абгарян получила в Бердской средней школе №2. Также занималась музыкой по классу фортепиано в музыкальной школе №1, единственной в ее родном городке. Высшее образование получила в Ереванском государственном лингвистическом университете имени Брюсова. Училась на преподавателя русского и литературы.

В Москву переехала в 1994 году, чтобы получить высшее образование. Вышла замуж, в 1995 году родила сына. Златоглавая уже давно стала для писательницы второй родиной.

Литературный путь Наринэ Абгарян начался с того, что она завела блог в знаменитом живом журнале. Впервые своя страничка появилась у Абгарян в 2005 году, но спустя пару месяцев она перестала писать и возобновила записи только весной 2009 года. Затеяла истории про Манюню. Ими заинтересовалась писательница Лара Галль, которая и познакомила Наринэ с редактором «Астрель-СПб» Ириной Копыловой.

Лауреат первой национальной литературной премии "Рукопись года" (номинация «Язык»). Вошла в длинный список номинантов на премию «Большая книга» 2011 года.

### **Произведения:**

«Манюня»

«Манюня пишет фантастический роман»

«Манюня, юбилей Ба и прочие треволнения»

«Понаехавшая»

### **Отзывы, рецензии:**

*РасРомашка*

Для меня эта книга - самая-самая, зачитывала отрывки всем, кто только соглашался слушать. Чудесная, легкая, смешная, самую чуточку грустная, оттого, что так много было шалостей и маленьких радостей, и больших конечно тоже и родители тогда были молоды и деревья выше и петушки на палочке слаще и все это минуло, кануло и забылось. Спасибо Вам, Нарине, за все, за эту светлую грусть и за радость снова ощутить себя маленькой девочкой. Обещаю Вам, что эта и остальные Ваши книги у меня обязательно появятся и в бумажном варианте, для себя, чтобы было и для дочек, непременно. Жду третью "Манюню" так, как еще никогда не ждала новых книг.

*Захарова Татьяна*

Первая книга за последние годы, над которой я, не побоюсь этого слова, действительно ржала! Говорю, как дипломированный филолог, возвращенный на классике. Книга, для взрослых детей, рожденных в Советском Союзе. Очень милая и добрая. С большим удовольствием буду читать и остальные книги про Манюню. Большое спасибо!

*Ив Евгения*

У автора прекрасное чувство юмора. Прочитала книгу с превеликим удовольствием. Над некоторыми пассажами хохотала до слёз. Купила сразу несколько книжек и раздарила своим подругам. Нет, конечно, книжка не детская, а скорее для взрослых, которые не забыли о своем пионерском детстве. Возрастную категорию, на которую рассчитана книжка, определяет издательство. Думаю, это их просчет. Смех, как известно, продлевает жизнь. Советую прочитать книжку и посмеяться от души!

*Исакова Ирина*

Книгу прочитали с дочерью(8 лет) просто на одном дыхании. Перечитываем отдельные главы. Потрясающе "вкусная" книга. Озорная. Порекомендовали множеству друзей и знакомых, кто прочитал - в восторге! Благодаря книге я пересмотрела, а дочь посмотрела "Зиту и Гиту". Книга рассказывает о таких событиях, которые случаются в жизни, но о них не принято говорить. У меня застенчивая дочка, я её тоже иногда Манюня называю, т.к. она Маша. Так вот книжная Манюня, Нарка и др.девчонки открывали для нее новый мир -озорной, бесшабашный, но добрый и понятный в своей простоте.

Маме и папе — с чувством бесконечной любви и благодарности

## **Интервью**

Формула счастья Наринэ Абгарян

Марианна Гончарова «Зеркало недели. Украина» №12, 30 марта 2012, 19:30

В моем доме есть специальная книга «для выздоровления». Когда в семье кто-нибудь заболевает, ему торжественно вручается «Манюня» Наринэ Абгарян, русскоязычной писательницы, армянки, живущей в Москве.

Меня поймут люди моего поколения или старше, и, пожалуй, их дети, потому что эта книга — в ряду навсегдашних, для всех книжек, которые читаются с неослабевающим интересом всеми поколениями семьи (от семилетних до девяностолетних). Популярный блогер Наринэ Абгарян — яркое литературное открытие последних нескольких лет. Ее автобиографическая повесть «Манюня» сначала появилась на личной странице Наринэ в «Живом журнале». И потом, изо дня в день в ее ЖЖ появлялись рассказы о дружбе двух маленьких девочек, живших в армянском городке Берде. Буквально на глазах рождалась хорошая, умная, смешная и добрая книга, которая полюбилась читателям в первую очередь искренностью, свежей интонацией и легким авторским стилем. После присуждения Наринэ нескольких престижных читательских премий «Манюня» появилась и на прилавках книжных магазинов. А потом и продолжение — «Манюня пишет



фантастический роман». На днях вышла третья часть — «Манюня, юбилей Ба и прочие тревобления».

Мой собеседник — восхитительная женщина, популярный блогер, автор трилогии о Манюне и книги «Понаехавшая», писатель Наринэ Абгарян.

**М.Гончарова. — Наринэ, каких тем ты предпочитаешь не касаться?**

— Давай не будем касаться политики, ну ее.

**М.Г. — И правда, а ну ее!..**

**Как ты сама хотела бы, чтобы я тебя представила?**

— Да кто его знает, Маруся. Я себя писателем не считаю. Давай назовем меня обтекаемо и аккуратно — литератор. Можно блогер.

**М.Г. — Как думаешь, если бы не было Интернета и ты не завела блог, родились бы твои книги?**

— Я всегда призываю творческих людей заводить себе блоги. Блог — это возможность быть услышанным, возможность заявить о себе. Не будь в моей жизни ЖЖ, и книг моих наверняка не случилось бы. Я неуверенный в себе человек, мне редко нравится то, что я пишу. Поверь, без поддержки читателей моего блога я вряд ли решилась бы довести дело до конца. Люди меня подбадривали, поддерживали добрым словом, если и критиковали, то очень тактично. За что им большое спасибо.

**М.Г. — Кстати, о твоём блоге.**

**Будет несправедливо, если запись нашего с тобой разговора прочтут только украинские читатели, поэтому я поместила объявление на нескольких страницах социальных сетей с предложением ко всем, не только украинским читателям, спросить тебя о том, что их интересует. Согласна?**

— Ну еще бы.

**М.Г. — К слову, ты в Украине была когда-нибудь? Есть ли у тебя здесь друзья?**

— К сожалению, не была ни разу. В Харькове живут мои родственники — троюродные брат Андрей и сестры Рузанна и Тоня Меликян. Жизнь нас раскидала давно и надолго — последний раз мы виделись лет тридцать назад. Очень хотелось бы встретиться с ними. Я надеюсь, Рузанна простила мне несчастную пустую конфетную коробку, из-за которой мы чуть не поубивали друг друга летом 1981-го. Это была картонная коробка с красивой фрейлиной на крышке, которую я в честной драке отбила у Рузанн. И мигом потеряла к ней интерес, как только Рузанна уехала. Коробка потом валялась тут и там по дому, и каждый взрослый считал своим долгом попенять мне, что я не отдала ее Рузанне. Да, в детстве я умела быть вредной.

А вообще, в Украине у меня много прекрасных друзей, с которыми свел меня ЖЖ. Это замечательная писательница Каринэ Арутюнова, Ирина Бузко, Иван Гоменюк, Ирина Морозовская. И, конечно же, ты, дорогая Маруся. Очень хотелось бы побывать у вас. Когда-нибудь обязательно приеду. Обязательно.

**М.Г. — Думаю, когда твои замечательные книжки будут переводиться на украинский язык, а это, я уверена, в скором будущем обязательно произойдет, у тебя и появится шанс у нас побывать. А вот скажи, если бы ты не стала писателем, чем именно ты хотела бы заниматься и почему?**

— Я сейчас на минуту представила, что могла бы им не стать, и испугалась. Честно. Не скажу, что всю жизнь к этому шла. Скорее, это была тайная, задвинутая на задворки сознания мечта, в которой я не признавалась даже себе.

Но однажды эта мечта осуществилась, и другой реальности я себе не хочу.

**М.Г. — Вот, кстати, интересный вопрос от очень интересного человека. Лара Галль, писатель: «Наринэ, не оказалась ли такая большая популярность своеобразным стрессом для тебя? Были ли моменты, когда ты пожалела, что издала книги?»**

— Открою секрет. Замечательная питерская писательница Лара Галль — моя литературная крестная. Это она привела редактора АСТРЕЛЬ-СПб Ирину Епифанову за руку в мой блог. Так что Лара имеет самое непосредственное отношение к моим книгам.

Теперь к ее вопросу. Будь мне 25, наверное, это стало бы испытанием и даже стрессом. Но я уже взрослый человек, надеюсь, научилась отличать зерна от плевел. Поэтому популярность мне не страшна.

А если честно, я ее всерьез не воспринимаю. Она живет своей отдельной жизнью, я — своей.

**Валентин Постников, детский писатель («Карандаш и Самоделкин»). — Самое сложное, на мой взгляд, — написать такую книгу, чтобы она была интересна как маленьким, так и взрослым читателям. Чаще всего бывает так: детям книжка очень нравится, а взрослые ее ругают. Бывает наоборот: взрослые в полном восторге от книги, а детям она совсем не нравится. Но как написать книгу, чтобы взрослый читал ее ребенку и оба при этом хохотали или грустили? Как найти эту золотую середину? Словом, в чем же секрет книг Наринэ Абгарян? И есть ли он, этот секрет?**

— Я вас уверяю, есть взрослые, которые очень мою «Манюню» ругают. Они не понимают, как можно такую книгу давать читать детям.

Я сама, между прочим, не считаю ее детской книжкой. Это, скорее, семейное чтение — для детей от десяти и до ста лет. Для всех, кто не разучился смеяться.

Мне кажется, чтобы написать книжку, которая одинаково была бы интересна и детям, и взрослым, нужно самому оставаться немножко ребенком. Других рецептов я не знаю.

**Ясмин Кузнецова-Али-хан, фоторепортер. — Берд — это маленький городок, Москва — шумный мегаполис. Если бы условия жизни, образования для сына и так далее были бы такими же у тебя на родине, где бы ты жила — в неспешности маленького городка или все-таки в сумасшедших ритмах Москвы? Где тебе комфортнее?**

— Если бы у меня была такая возможность, я бы жила и там, и там. У маленьких и у больших городов есть свои преимущества и недостатки. Мне одинаково комфортно и в Берде, и в Москве. Наверное, я человек-хамелеон.

Наверное.

**М.Г. — Описанный тобой мир — не только Берд, а все те места, где хулиганили твои девчонки и их друзья, — это просто Вавилон какой-то. В нем мирно сосуществуют и дружат люди разных национальностей, языков и религий. Все друг другу помогают и, по-моему, там, в твоём Берде, никто и не задумывается, что он армянин, еврей или грузин...**

### **Ты недавно ездил на родину — как сейчас там живут люди?**

— Я знаю, что в Ереване действует православный храм Покрова Пресвятой Богородицы, есть Голубая мечеть, Израильский культурный центр с воскресной школой и маленькой синагогой. У ассирийцев в компактных местах проживания — свои церкви, у молокан — специальные моленные места. Имеют свои религиозные центры езиды...

К сожалению, война и блокада внесли свои коррективы: республику покинули очень многие — армяне, русские, греки, евреи, ассирийцы, езиды, курды, молokane, азербайджанцы. Мне очень больно приезжать к себе на родину. Она продолжает находиться в состоянии необъявленной войны; она задыхается в условиях экономического кризиса и непотопляемой коррупции. Несмотря на это, граждане Армении сохранили самое главное — оптимизм и чувство юмора. Людей, умеющих посмеяться над собой, ничто и никто не сможет победить.

После развала Советского Союза все республики проходили через болезненный процесс самоидентификации. Мы тоже сгоряча чуть не наломали дров. Слава Богу, хватило ума вовремя остановиться.

Людей других национальностей и религий в Армении было мало еще в советское время — республика не могла похвастаться привлекательными условиями жизни или достаточным количеством рабочих мест. Да и характер у моего народа не сахар — не каждый может с нами ужиться. Но те отчаянные граждане, которые все-таки бросали вызов судьбе и переезжали к нам, спустя какое-то время влюблялись в страну навсегда. Потому что сложно оставаться безразличным к тому, в каких нечеловеческих условиях моему народу порой приходилось выживать, спасать свою веру, язык, культуру. Шутка ли, в истории Армении лишь однажды случились сто лет мира, один век, когда она не воевала, когда ей не приходилось отбиваться от завоевателей.

Нам еще предстоит научиться жить, не оборачиваясь на прошлое и не вздрагивая от любого стука в дверь. Я знаю, я верю, мы справимся.

### **М.Г. — А как ты сама относишься к религии?**

— Я агностик. Я всю жизнь веду разговоры с Богом. Меня не устраивают Его молчание, Его индифферентное отношение к тому, что происходит в мире. Я не могу понять, где Он прохлаждался все то время, пока в Дарфуре убивали людей. Это ведь было совсем недавно. Как может Бог закрывать на такое глаза? Мне этого не понять.

Я знаю, Он любит бунтарей. Тех, кто не робеет задавать Ему неудобные вопросы. Тех, кто не боится спорить с Ним. Только до ответов почему-то не снисходит.

Я верю в бессмертие души. Верю в то, что когда-нибудь встречу с моими ушедшими родственниками. Они меня ждут, они меня оберегают. Они всегда со мной.

**М.Г. — Ты так круто поменяла свою жизнь. Вот тебя спрашивает 2\_red\_cat\_2: «Есть ли разница в твоём ощущении самой себя как „понаехавшей“ в первые годы после приезда в Москву и теперь, когда ты уже известная писательница?»**

— Разница, безусловно, есть. Тогда Москва была огромной, непредсказуемой и незнакомой. Сегодня я ее знаю достаточно хорошо, чтобы понимать, какая она ранимая и беззащитная. Соответственно, если раньше я ее немножко побаивалась, то теперь отношусь к ней как к члену семьи. Город нужно воспринимать таким, какой он есть. Нужно полюбить его всем сердцем, и тогда он обязательно ответит вам взаимностью.

**М.Г. — Как ты думаешь, от кого зависит судьба человека?**

— Судьба человека зависит от обстоятельств и от того, как он в этих обстоятельствах себя поведет. Я знаю, что такое война, видела, как она ломает людей. Те, на которых вчера хотелось равняться, в экстремальных условиях вели себя как настоящие сволочи. Те, которых всю жизнь не замечал, готовы были поделиться с тобой последним, только бы помочь.

Чаще всего судьба мира зависит от первых. Но стоит он от начала времен на вторых.

**Елена Мельникова. — Трудно ли оставаться в нынешние времена женщиной высокой культуры и прекрасного воспитания, удалось ли передать и культуру, и воспитание сыну?**

— Думаю, культура — понятие врожденное. Наверное, нельзя научить человека тактичности или предупредительности. Это качества, которые впитываются с молоком матери.

Я бы не назвала себя женщиной высокой культуры и прекрасного воспитания. Я бы назвала себя благодарным человеком.

Я всегда помню, благодаря кому я есть такая, какая есть.

**М.Г. — И кто эти люди, кто твои учителя, Наринэ? Вообще, на кого ты хочешь быть похожей? Хоть и говорят «не сотвори себе кумира...» Но как же жить и работать без идеала, как совершенствоваться без учителя?..**

— Дело в том, что я выросла в трезвомыслящей, если не сказать — скептически настроенной семье. Мама с папой никогда не создавали себе кумиров. Безусловно, были люди, которыми они восхищались. Но мои родители всегда умели сохранить тот баланс между восторгом и самодостаточностью, когда можно по достоинству оценить творчество или деяния человека, не скатываясь при этом в подобострастное преклонение. Мне кажется, что «кумир» и «подобострастие» — слова-синонимы. Поэтому кумиров я себе не создаю.

Кто мои учителя? Семья, природа, чувства. Книги, музыка, фильмы. Та интеллектуальная Ойкумена, которую человечество создавало на протяжении всего своего существования. Огромное спасибо человечеству за это. И спасибо моим родным за то, что у меня есть возможность это прекрасное распознать, прочувствовать и полюбить.

**Карен Маркарян, журналист (Латвия). — Что больше всего раздражает в окружающих тебя людях и что, в то же время, радует?**

— Единственное, что раздражает, — это хамство. К сожалению, бороться с ним я не умею. Все, что я могу, — это воспитать своего сына таким, чтобы никто не смог попрекнуть его в хамском поведении.

Радует в людях их жизнерадостность и умение над собой посмеяться. Думаю, благодаря чувству юмора мы и выжили.

**Мария Карандина (Киев). — Какова доля «истинной правды» в историях про Манюню? Вели ли вы в детстве дневники, спрашивали ли маму и сестер, какой вы были тогда? Мои воспоминания о детстве, к примеру, очень слабо коррелируют с тем, как моя мама помнит меня в возрасте Манюни и Нары.**

— Ну примерно пятьдесят на пятьдесят. Чтобы прошлое превратилось в книжное повествование, его недостаточно просто пересказать. Приходится вводить

дополнительных персонажей, сдвигать во времени события, изобретать какие-то ходы, чтобы одна история перетекала в другую.

И, безусловно, это счастье, когда у тебя большая семья. У меня много «напоминателей». Например, историю о том, как мы стреляли в физрука, Каринка забыла начисто. А у меня вылетел из головы Манькин метод спасения от комаров посредством заворачивания в пододеяльники. Так что вспоминали мы всем миром.

**Олег Нефёдов. — Если углубиться в ассоциации, то с каким музыкальным произведением, песней или альбомом наиболее схож был ваш Берд?**

— У меня о Берде очень личные, счастливые, но иногда болезненные воспоминания.

Поэтому — адажио из балета Арама Хачатуряна «Спартак».

**М.Г. — К слову, какую музыку ты любишь?**

— Обожаю джаз. Джаз — музыка бесконечного полета и свободной импровизации, музыка, не знающая границ. Люблю его во всех проявлениях — классика, мейнстрим, соул-джаз, эйсид-джаз...

**Ника Макаан. — Вы счастливы в личной жизни? Не трудно быть писательницей, хорошей женой и мамой одновременно?**

— Я счастлива в личной жизни. У меня замечательный муж, прекрасный сын. Исключительно благодаря их поддержке я состоялась как мама и жена. Исключительно благодаря моим родителям я состоялась как дочь. Благодаря моим сестрам и брату я состоялась как сестра. Благодаря моим подругам я состоялась как друг.

Меня окружают люди, которые меня очень любят. И которых очень люблю я. В этом и заключается моя формула счастья.

**М.Г. — От каких вещей, тебе принадлежащих, ты не смогла бы отказаться?**

— Нет таких вещей, от которых мы бы не смогли отказаться. Это я знаю совершенно точно.

Расскажу вам историю. Девяностые годы прошлого века. Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном был в самом разгаре. После нескольких дней бесконечных бомбежек вдруг наступила передышка, и папа вывез нас на природу. Это было такое счастье — оказаться на свежем воздухе, дышать полной грудью, не бояться ничего.

А потом началась бомбежка. Укрыться было негде, кругом поле — ни оврага, ни пещеры. Папа взял моего четырехлетнего брата на руки, и мы так и стояли среди этого кромешного ада.

До сих пор не могу забыть то униженное состояние беспомощности, которое обрушилось на меня. В такие минуты начинаешь понимать, насколько ты одинок. И как все те вещи, к которым ты привязываешься в течение жизни — книги, картины, клетчатый плед на подлокотнике любимого кресла, родные камни, родное небо, родное солнце, — КАК они к тебе безразличны.

Поэтому нет таких вещей, от которых мы бы не смогли отказаться. По сути, ничего страшного в этом нет. Нужно просто понять и смириться с этим, и спокойно жить дальше.

**М.Г. — Мы с тобой познакомились сначала в ЖЖ, а потом уже на Книжной ярмарке в Москве. Ты показалась мне очень нежной и беззащитной. А какой ты сама себя видишь?**

— На самом деле я скованный человек. И даже замкнутый. Оказавшись в толпе, моментально обессиливаю, начинаю судорожно зевать. Самым главным своим достоинством считаю незлопамятность. Я вообще не помню обид. Муж говорит, что со мной даже поссориться невозможно, потому что я не умею аргументированно возразить.

Кстати, это можно считать и самым большим моим недостатком. Иногда бывает нужно за себя постоять, а у меня не получается.

**М.Г. — А где ты обычно отдыхаешь? Как проводишь свободное время?**

— Дома. Я вообще домоседка. Меня трудно куда-либо выманить. Слушаю музыку. Общаюсь с моими любимыми подругами. Иногда вяжу. Так как мои мужчины профессиональные растеряхи, то к каждой зиме я в обязательном порядке вяжу шарфы. Английской вязкой.

Да, и обязательно читаю. Чтение — самый лучший отдых.

**М.Г. — Ну, навскидку, Наринэ, любимое, перечитываемое? Есть?**

— Обязательно есть. Любимых прозаиков и поэтов — легион. Начиная с Астрид Линдгрэн и Эно Рауда и заканчивая последним моим открытием-откровением — Мариам Петросян. Начиная с Пушкина и заканчивая Бродским.

По сути своей я ретроград. Поэтому к авторам-современникам я долго приглядываюсь — хожу кругами, глажу по обложке их книги, изучаю страницы. Иногда покупаю, прихожу домой и ставлю на полку. Книга может простоять так месяцами. А потом настает день, когда я решаюсь на чтение. Это настоящее везение, когда новое знакомство заканчивается любовью.

Мгновенная любовь у меня случилась, прости, повторюсь, к Мариам Петросян, Дмитрию Быкову, Лене Элтанг, Михаилу Шишкину, Лоре Белоиван, Дмитрию Горчеву, Глории Му...

А вообще список дорогих сердцу авторов обширен — Дюрренматт, Маркес, Камю, Сароян, Фриш, Кавабата, Фолкнер, Чехов, Салтыков-Щедрин, Булгаков, Шалев, Довлатов, Улицкая, Петрушевская, Толстая... Можно перечислять бесконечно.

А вечная моя слабость — «Улисс» Джеймса Джойса. Я возвращаюсь к этой книге раз в пять лет, иногда чаще. Перечитываю ее от корки до корки. И отползаю в свое привычное пространство — зализывать раны. Считаю «Улисс» величайшим романом современности.

Это большое счастье — быть литератором, быть немного сопричастной к литературе, стоять чуть ближе, чем остальные читатели, к любимым писателям.

Это настоящее благословение.

**luci\_djan. — Рассматривается в будущем экранизация «Манюни», а также участие самой Наринэ в роли одной из героинь, например, мамы девочек?**

— Я считаю, что в кино должны сниматься профессионалы. Я могу написать сценарий, и только.

«Манюню» очень хочет экранизировать кинорежиссер Евгений Лунгин. К сожалению, все упирается в финансирование — найти продюсеров, готовых вложить деньги в такой проект, пока не удастся. Но Женя не отчаивается.

**svetonebo. — Куда бы ты сама поставила книги о Манюне — на детскую или взрослую полку?**

**И еще: когда же будет еще про Понаехавшую? А то мы с подругами очень о ней волнуемся!**

— Я бы вообще завела отдельную полку для домашнего чтения. И поставила туда Астрид Линдгрен, Эно Рауда, «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева, «Почему нет рая на земле» Эфраима Севелы, Марию Парр, Артура Гиваргизова, Марианну Гончарову (не смущайся, я свои «Манюни» тоже бы с краешка притулила).

Продолжения «Понаехавшей» не будет. Книжка была задумана именно такой — коротенькие иронические истории о жизни не очень простой, но, на мой взгляд, достойной того, чтобы о ней рассказали.

**М.Г. — Как вернуть людям-детям интерес к чтению? Как влюбить ребенка в книгу? Как внушить подростку, что книга — это очень многое, чему он рано или поздно будет обязан?**

— Я могу судить по моему сыну. Лет с двух я ему в обязательном порядке читала. Не только перед сном, но и в течение дня. Он постоянно видел меня с книгой — все свободное время я отдавала чтению. И теперь его за уши от книг не оттащить. Думаю, приучать ребенка к книге можно только своим примером.

Я вообще считаю детей совершенными существами. Если вас что-то не устраивает в вашем ребенке, ищите причину в себе. Дети имеют обыкновение калькировать поведение и вкусы родителей. Хотите, чтобы ваш ребенок вырос в хорошего человека — подавайте ему соответствующий пример.

**М.Г. — Наринэ-джан, скажи честно, ты веришь в чудеса?**

— Я не просто верю в чудеса, я знаю, что они есть. Я вообще стараюсь верить во все хорошее — в добро, в торжество справедливости, в то, что когда-нибудь все будут жить в мире. Мечты имеют обыкновение сбываться, надо просто очень в это верить.

## МАНЮНЯ

### Вместо вступления

Много ли вы знаете провинциальных городков, разделенных пополам звонкой шепутной речкой, по правому берегу которой, на самой макушке скалы, высятся развалины средневековой крепости? Через речку перекинут старый каменный мост, крепкий, но совсем невысокий, и в половодье вышедшая из берегов река бурлит помутневшими водами, норовя накрыть его с головой.



Много ли вы знаете провинциальных городков, которые покоятся на ладонях покатых холмов? Словно холмы встали в круг, плечом к плечу, вытянули вперед руки, сомкнув их в неглубокую долину, и в этой долине выросли первые низенькие сакли. И потянулся тонким кружевом в небеса дым из каменных печей, и завел пахарь низким голосом оровел...<sup>[1]</sup> «Анииии-ко, — прикладывая к глазам морщинистую ладонь, надрывалась древняя старуха, — Анииии-ко, ты куда убежала, негодная девчонка, кто будет гату печь?»

Много ли вы знаете провинциальных городков, где можно забраться на высокую наружную стену разрушенного замка и, замирая от страха и цепляясь холодными пальцами за плечи друзей, глядеть вниз, туда, где в глубине ущелья пенится белая безымянная речка? А потом, не обращая внимания на табличку с грозной надписью: «Охраняется государством», — лазить по крепости в поисках потаенных проходов и несметных богатств?

У этого замка удивительная и очень грустная история. В X веке он принадлежал армянскому князю Цлику Амраму. И пошел князь войском на своего царя Ашота II Багратуни, потому что тот соблазнил его жену. Началась тяжелая междоусобная война, на долгие годы парализовавшая страну, которая и так была обескровлена набегами арабских завоевателей. А неверная и прекрасная княгиня, терзаемая угрызениями совести, повесилась в башне замка.

Долгие столетия крепость стояла на неприступной со всех сторон скале. Но в XVIII веке случилось страшное землетрясение, скала дрогнула и распалась на две части. На одной сохранились остатки восточной стены и внутренних построек замка, а по ущелью, образовавшемуся внизу, побежала быстроногая речка. Старожилы рассказывали, что из-под крепости и до озера Севан проходил подземный туннель, по которому привозили оружие, когда крепость находилась в осаде. Поэтому она выдержала все набеги кочевников и, не случись того землетрясения, до сих пор высилась бы целая и невредимая.

Городок, выросший потом вокруг развалин, назвали Берд. В переводе с армянского — крепость.

Народ в этом городке весьма и весьма специфический. Более упрямых или даже остервенело упертых людей никто в мире не видывал. Из-за своего упрямства жители городка заслуженно носят прозвище «упертых ишаков». Если вы думаете, что это их как-то задевает, то очень ошибаетесь. На улицах часто можно услышать диалог следующего содержания:

— Ну чего ты добиваешься, я же бердский ишак! Меня убедить очень сложно.



— Ну и что? Я тоже, между прочим, самый настоящий бердский ишак. И это еще вопрос, кто кому сейчас уступит!

А чтобы не быть голословной, приведу пример знаменитого упрямства бердцев.

Летом в Армении празднуют Вардавар — очень радостный и светлый, уходящий корнями в далекое языческое доисторье, праздник. В этот день все от мала до велика поливают друг друга водой. С утра и до позднего вечера, из какой угодно тары. Единственное, что от вас требуется, — хорошенечко намылиться, открыть входную дверь своей квартиры и встать в проеме. Можете не сомневаться: за порогом вас поджидает толпа промокших до нитки людей, которые с диким криком и хохотом выльют на вас тонну воды. Вот таким нехитрым способом можно помыться. Шучу.

На самом деле, если вас на улице незнакомые люди окатили водой, обижаться ни в коем разе нельзя — считается, что вода в этот день обладает целительной силой.

Так вот. Апостольская Церковь попыталась как-то систематизировать народные праздники и, пустившись во все тяжкие, утвердила за Вардавара строго фиксированный день. Совершенно не принимая в расчет упертость жителей нашего городка.

А стоило бы. Потому что теперь мы имеем следующую ситуацию: по всей республике Вардавар празднуют по указке Церкви, а в Берде — по старинке, в последнее воскресенье июля. И я вас уверяю, издай Католикос специальный указ именно для жителей нашего городка, ничего путного из этого не вышло бы. Пусть Его Святейшество даже не пытается, так ему и передайте. С нашими людьми можно договориться только тогда, когда они этого хотят.

То есть никогда.

Теперь, собственно, о главных героях нашего повествования.

Жили-были в городке Берд две семьи — Абгарян и Шац.

Семья Абгарян могла похвастаться замечательным и негибачаемым как скала папой Юрой, самоотверженной и прекрасной мамой Надей и четверьмя разнокалиберными и разновозрастными дочерьми — Наринэ, Каринэ, Гаянэ и Сона. Потом в этой счастливой семье родился долгожданный сын Айк, но случилось это спустя несколько лет после описываемых событий. Поэтому в повествовании фигурируют только четыре девочки. Папа Юра работал врачом, мама преподавала в школе русский язык и литературу.

Семья Шац могла похвастаться Ба.

Конечно, кроме Ба, семья Шац включала в себя еще двух человек: дядю Мишу — сына Ба, и Манюню, Дядимишину дочку и, соответственно, внучку Ба. Но похвастаться семья, в первую очередь, могла Ба. И лишь потом — всеми остальными не менее прекрасными членами. Дядя Миша работал инженером, Ба — мамой, бабушкой и домохозяйкой.

Долгое время герои нашего повествования практически не общались, потому что даже не подозревали о существовании друг друга. Но однажды случилась история, которая сблизила их раз и навсегда.

Это был 1979 год. На носу 34-я годовщина Победы. Намечалось очередное мероприятие в городском доме культуры с чествованием ветеранов войны. На хор бердской музыкальной школы была возложена ответственная миссия — исполнить «Бухенвальдский набат» Соболева и Мурадели.

Хор отчаянно репетировал, срывая голос до хрипоты. Замечательный хормейстер Серго Михайлович бесконечно страдал, подгоняя басы, которые с досадным постоянством на полтакта зависали во вступлении. Серго Михайлович заламывал руки и причитал, что с таким исполнением «Бухенвальдского набата» они опозорятся на весь город и в наказание хор расформируют к чертям собачьим. Хористы почему-то расстраивались.

Настал день икс.

И знаете, что я вам скажу? Все бы обошлось, если бы не длинная двухступенчатая скамья, на которую во время коротенького антракта лихорадочно водрузили второй и третий ряды хористов. Все складывалось образцово — песня полилась ровно и прочувствованно, басы вступили неожиданно вовремя, Серго Михайлович, дирижируя, метался по сцене такими зигзагами, словно его преследовала злая оса. Хористы равномерно покрывались мурашками от торжественности момента. Зал, по первости заинтригованный хаотичными передвижениями хормейстера, проникся патетическим набатом и притих.

Ничто, ничто не предвещало беды.

Но вдруг. На словах. «Интернациональные колонны с нами говорят». Хор услышал. У себя. За спиной. Странный треск. Первый ряд хористов обернуться не посмел, но по вытянувшемуся лицу хормейстера понял, что сзади происходит что-то ужасное.

Первый ряд дрогнул, но пения стойчески не прервал, и на фразе: «Слышите громовые раскаты? Это не гроза не ураган», — скамейка под вторым и третьим рядами с грохотом развалилась, и ребята посыпались вниз.

Потом ветераны удивлялись, как это они, будучи людьми достаточно преклонного возраста, гремя орденами и медалями, перемахнули одним прыжком через высокий борт сцены и стали разгребать кучу-малу из детей.

Хористы были в отчаянии — все понимали, что выступление провалено. Было обидно и тошно, и дети, отряхивая одежду, молча уходили за сцену. Одна из девочек, тощая и высокая Наринэ, сцепив зубы, тщетно пыталась выползти из-под полненькой и почему-то мокрой Марии, которая тихой мышкой лежала на ней.

— Ты хоть подвинься, — прошипела она.

— Не могу, — прорыдала Мария, — я описалась!

Здесь мы делаем глубокий вдох и крепко задумываемся. Ибо для того, чтобы между двумя девочками зародилась лютая дружба на всю оставшуюся жизнь, иногда просто нужно, чтобы одна описала другую.

Вот таким весьма оригинальным образом и подружились Наринэ с Манюней. А потом подружились их семьи.

«Манюня» — это повествование о советском отдаленном от всяких столиц городке и его жителях. О том, как, невзирая на чудовищный дефицит и всевозможные ограничения, люди умудрялись жить и радоваться жизни.

«Манюня» — это книга для взрослых детей. Для тех, кто и в тринадцать, и в шестьдесят верит в хорошее и смотрит в будущее с улыбкой.

«Манюня» — мое признание в бесконечной любви родным, близким и городу, где мне посчастливилось родиться и вырасти.

Приятного вам чтения, друзья мои.

И да, кому интересно: наш хор таки не расформировали. Нам вручили грамоту за профессиональное исполнение «Бухенвальдского набата» и премировали поездкой на молочный комбинат,

Лучше бы расформировали, честное слово.



## **ГЛАВА 1 Манюня знакомит меня с Ба, или Как трудно у Розы Иосифовны пройти фейсконтроль**

По ходу повествования у вас может сложиться впечатление, что Ба была вздорной, упертой и деспотичной особой. Это совсем не так.

Или не совсем так. Ба была очень любящим, добрым, отзывчивым и преданным человеком. Если Ба не выводить из себя — она вообще казалась ангелом во плоти. Другое дело, что вызвериться Ба могла по любому, даже самому незначительному, поводу. И в этот нелегкий для мироздания час операция «Буря в пустыне» могла показаться детским лепетом по сравнению с тем, что умела устроить Ба! Легче было наместе в совок и выкинуть за амбар последствия смерча, чем пережить шторм Бабырозинового разрушительного гнева.

Я счастливый человек, друзья мои. Я несколько раз сталкивалась лицом к лицу с этим стихийным бедствием и таки выстояла. Дети живучи, как тараканы.

Нам с Маней было по восемь лет, когда мы познакомились. К тому времени мы обе учились в музыкальной школе, Маня — по классу скрипки, я — фортепиано. Какое-то время мы встречались на общих занятиях, перекидывались дежурными фразами, но потом случилось памятное выступление хора, после которого наша дружба перешла в иную, если позволите такое выражение — остервенелую плоскость. Мы пересели за одну парту, вместе уходили из музыкальной школы, благо домой нам было по пути. Если у Мани в этот день случалось занятие по скрипке, то мы по очереди несли футляр — он был совсем не тяжелый, но для нас, маленьких девочек, достаточно громоздкий.

Недели через две нашей тесной дружбы я пригласила Маню домой — знакомиться с моей семьей.

Маня замялась.

— Понимаешь, — потупилась она виновато, — у меня Ба.

— Кто? — переспросила я.

— Ну Ба, баба Роза.

— И что? — Мне было непонятно, к чему Маня клонит. — У меня тоже бабушки — Тата и Настя.

— Так у тебя бабушки, а у меня Ба, — Маня посмотрела на меня с укоризной. — У Ба не забалуешь! Она не разрешает мне но незнакомым людям ходить.

— Да какая же я тебе незнакомая? — развела я руками. — Мы уже целую вечность дружим, аж, — я посчитала в уме, — восемнадцать дней!

Манька поправила съехавшую с плеча бретель школьного фартука, разгладила торчащий волан ладошкой. Попинала коленом футляр скрипки.

— Давай так, — предложила она, — я спрошу разрешения у Ба, а на следующем занятии расскажу тебе, что она сказала.

— Ты можешь мне на домашний телефон позвонить. Дать номер?

— Понимаешь, — Маня смотрела на меня виновато, — Ба не разрешает мне названивать незнакомым людям, вот когда мы с тобой ОФИЦИАЛЬНО познакомимся, тогда я буду тебе названивать!

Я не стала по новой напоминать Мане, что мы уже вроде как знакомы. Значит, подумала я, так надо. Слово взрослого было для нас законом, и, если Ба не разрешала Мане названивать другим людям, значит, в этом был какой-то тайный, недоступный моему пониманию, но беспрекословный смысл.

На следующем занятии по сольфеджио Манюня протянула мне сложенный вчетверо альбомный лист. Я осторожно развернула его.

«Прелестное письмо» моей подруги начиналось с таинственной надписи:

«Наринэ, я тебя приглышаю в субботу сего 1979 г. в три часа дня. Эсли можеш, возьми собой альбом с семейными фотографиями».

Мое имя было густо обведено красным фломастером. Внизу цветными карандашами Манька нарисовала маленький домик: из трубы на крыше, само собой, валил густой дым;

в одиноком окошке топорщилась лучиками желтая лампочка Ильича; длинная дорожка, петляя замысловатой змейкой, упиралась прямо в порог. В почему-то зеленом небе из-за кучерявого облака выглядывало солнце. Справа, в самом углу, сиял пучеглазый месяц со звездой на хвосте. Надпись внизу гласила: «Синний корандаш потеряла, поэтому небо зеленое, но это ничево. Конец».

Я прослезилась.

\* \* \*

Собирала меня мама в гости как на Судный день. С утра она собственноручно выкупала меня так, что вместе с кожей сошла часть скудной мышечной массы. Потом она туго заплела мне косички, да так туго, что не только моргнуть, но и вздохнуть я не могла. Моя бабуля в таких случаях говорила: ни согнуться, ни разогнуться, ни дыхнуть, ни пернуть. Вот приблизительно так я себя и чувствовала, но моя неземная красота требовала жертв, поэтому я стойчески выдержала все процедуры. Затем мне дали надеть новое летнее платье — нежно-кремовое, с рукавами-буф и кружевным подолом.

— Поставишь пято — выпорю, — ласково предупредила мама, — твоим сестрам еще донашивать платье за тобой.

Она торжественно вручила мне пакет с нашим семейным альбомом и коробкой конфет для Ба. Пакет был невероятно красивый — ярко-голубой, с одиноким красавцем-ковбоем и надписью «MARLBORO». Таких пакетов у мамы было несколько, и она берегла их как зеницу ока для самых торжественных случаев. Кто застал дефицит советской поры, тот помнит, сколько сил и невероятной смекалки нужно было затратить, чтобы достать такие полиэтиленовые пакеты.

— Не ставь локти на стол, не забудь поздороваться и говорить спасибо, веди себя прилично и не скачи по дому как ненормальная, — мама продолжала выкрикивать инструкции по поведению, пока я сбегала вниз по ступенькам нашего подъезда. — Платье береги!!! — Голос ее настиг меня уже у выхода и больно кольнул в спину.

— Хорошооооо!

\* \* \*

Маня в нетерпении переминалась возле калитки своего дома. Издали заприметив меня, она побежала навстречу.

— Какая ты сегодня красивая, — выдохнула она.

— Для твоей бабушки старалась, — пробубнила я. Весь мой боевой запал мигом куда-то улетучился, у меня двоилось в глазах, не разгибались колени и предательски потели руки.

Маня заметила мое состояние.

— Да ты не волнуйся, у меня мировая Ба, — она погладила меня по плечу, — ты только во всем соглашайся с ней и не ковырайся в носу.

— Хорошо, — каркнула я — в довершение ко всему у меня пропал голос.

Маня жила в большом двухэтажном каменном доме с несколькими лоджиями. «Зачем им столько лоджий?» — лихорадочно соображала я, пока шла по двору, но спросить об этом постеснялась. Мое внимание привлекло большое тутовое дерево, раскинувшееся в непосредственной близости от дома. Под деревом стояла длинная деревянная скамья.

— Мы здесь с папой по вечерам играем в шашки, — пояснила Манюня, — а Ба сидит рядом и подсказывает то мне, то ему. Ор стоит! — Манька закатила глаза. Мне стало еще страшнее.

Она толкнул входную дверь и шепнула:

— Ба, наверное, уже вынимает песочное печенье из духовки.

Я повела носом — пахло чем-то нестерпимо вкусным. Дом, достаточно большой снаружи, внутри оказался компактным и даже маленьким. Мы шли по длинному, узкому коридору, который упирался в холл. Слева была деревянная лестница, ведущая на второй этаж. Напротив стоял большой комод из черного дерева, увенчанный двумя латунными семисвечниками, на полу лежал ковер с тонким восточным рисунком, вся стена над комодом была увешана фотографиями в рамках. Я подошла поближе, чтобы разглядеть лица на фотографиях, но Маня дернула меня за руку — потом. Она указала на дверь справа, которую я не сразу заметила.

— Нам туда!

И тут силы окончательно покинули меня. Я поняла, что не в состоянии ступить и шага.

— Не пойду, — горячо зашептала я, — возьми пакет, тут конфеты для твоей бабушки и наш семейный альбом с фотографиями.

— Ты чего? — Маня вцепилась мне в руку. — Совсем с ума сошла? Пойдем, у нас еще мороженое есть!

— Нет, — я отступила к входной двери, схватилась за ручку, — я не ем мороженое. И печенье не ем, и вообще мне уже пора домой! Меня мама заждалась!

— Нарка, ты соображаешь, что творишь? — Манька повисла на мне и попыталась отодрать от дверной ручки. — Куда ты пойдешь, что я Ба скажу?

— Не знаю, что хочешь, то и говори, — перевес сил был явно в мою пользу, еще минута — и я бы вырвалась из дома.

— Что это вы тут затеяли? — Внезапно прогремевший сзади трубный глас пригвоздила нас к полу.

— Ба, она совсем с ума сошла, хочет домой уйти, — Маня все-таки оторвала меня от дверной ручки и толкнула в коридор, — стесняется тебя, вот ненормальная!

— А ну-ка, марш обе на кухню! — скомандовал трубный глас.

Я молча поплелась за Маней, не поднимая глаз. Боковым зрением воровато выхватила большую ступню в теплом домашнем тапке да кусочек платья в мелкий цветочек.

Кухня мне сразу понравилась. Она была очень просторной, с многочисленными шкафчиками, низким абажуром и простенькими ситцевыми шторами на окнах.

— Сейчас будем знакомиться, — голос прогремел прямо за моей спиной.

Мне стало страшно, как в приемной у врача.

Но выхода не было, пришлось оборачиваться. Ба пристально смотрела на меня поверх своих больших очков. У нее оказались светлые карие глаза и седые вьющиеся волосы, которые она стянула в пучок на затылке. Она была достаточно грузной, но, как потом оказалось, совершенно легкой на подъем и несла свое большое тело с невероятным достоинством. Еще у нее была родинка на щеке — кругленькая и смешная. Я вздохнула с облегчением. Это была обычная бабушка, а не огнедышащее чудище!

Маня подошла к Ба и обняла ее за талию. Прижалась щекой к ее животу.

— Скажи, Нарка — ПРЕЛЕСТЬ? — спросила.

— Вы все прелестные, только когда спите, — отрезала Ба и обратилась ко мне: — Ну что, девочка, будешь со мной здороваться или как?

— Здрассьти, — пискнула я.

— Здравствуй, коль не шутишь, — Ба фыркнула, а потом коротко рассмеялась.

Я чуть не лишилась чувств — Ба смеялась так, словно где-то у нее в животе терзают несчастное животное.

— Тебя как зовут? — спросила она.

— Ба, ну я же тебе говорила, — встряла Маня.

— Помолчи, Мария, не с тобой разговаривают, — одернула ее Ба. Манюня надулась, но промолчала.

— Наринэ, — пискнула я, а потом, мобилизовав остатки сил, добавила: — Очень приятно с вами познакомиться!

Видимо, несчастное животное внутри практически домучивали, потому что хохот, который издала Ба, больше напоминал агонизирующий хрип.

— Долго репетировала речь? — спросила она меня сквозь свой апокалипсический смех.

— Долго! — призналась я виновато.

— А что это у тебя в руках?

— Пакет, это подарок вам!

— Ты мне в подарок пакет принесла? — прищурилась Ба. — Это до чего же дефицит людей довел, что в подарок уже пакеты несут!

— Там еще конфеты и наш семейный альбом, — я сделала нерешительный шаг и протянула пакет.

— Спасибо, — Ба заглянула в пакет, — ооооо, трюфели, это же мои любимые конфеты! У меня словно камень с души свалился. Я счастливо вздохнула и выпятила грудь.

— Ты чего такая худющая? — Она подозрительно окинула меня взглядом с ног до головы и сделала пальцем круговое движение. — Ну-ка повертись!

Я повертелась.

— Мама мне по две пары колготок надевает, потому что ноги у меня такие тонкие! Она боится — люди скажут, что меня дома голодом морят, — пожаловалась я.

Ба расхохоталась, да так, что стало ясно — палач, сидевший в ее животе, взялся за новую жертву. Отсмеявшись, она снова принялась меня изучать. Мне очень хотелось произвести на нее хорошее впечатление. Я вспомнила, как мама учила нас держать спину правильно, — задрала плечи к ушам, отвела их сильно назад и опустила — теперь моя осанка была идеальной.

Видимо, Ба оценила мои старания. Она еще с минуту глядела на меня, потом хмыкнула:

— Грудь моряка, жопа индюка!

Я решила, что это комплимент, поэтому вздохнула с облегчением и смело подняла глаза.

Тем временем Ба достала из шкафчика большой розовый фартук и протянула его мне.

— Это мой фартук, надень его, ничего страшного, что он тебе велик. Заляпаешь свое красивое платье — мама потом по головке не погладит, верно?

Я виновато кивнула и напялила фартук. Манюня помогла мне завязать его сзади. Я прошла по кухне — фартук болтался на мне, словно флаг на мачте корабля при сильном ветре.

— Сойдет, — благосклонно кивнула Ба.

Потом она усадила нас за стол, и я впервые в жизни попробовала ее выпечку.

Вы знаете, какое восхитительное печенье пекла Ба? Я больше никогда и нигде в жизни не ела такого печенья. Оно было хрупкое и тоненькое, почти прозрачное. Берешь аккуратно двумя пальцами невесомый песочный лепесток и испуганно задерживаешь дыхание — иначе ненароком выдохнешь, и он разлетится в пыль. Нужно было отломить кусочек и поддержать его во рту — печенье моментально таяло, и язык обволакивало щекочущее тепло. И только потом, по маленькому осторожному глоточку, можно было это сладкое счастье отправлять себе прямиком в душу.

Ба сидела напротив, листала альбом и спрашивала меня: а кто это, а это кто?

Потом, узнав, что мамина родня живет в Кировабаде, всплеснула руками: «Так она моя землячка, я ведь родом из Баку!»

Потребовала наш домашний телефон, позвонить маме.

— Как ее по отчеству? — спросила.

Я от волнения забыла значение слова «отчество». Глаза заметались по лицу, я густо покраснела.

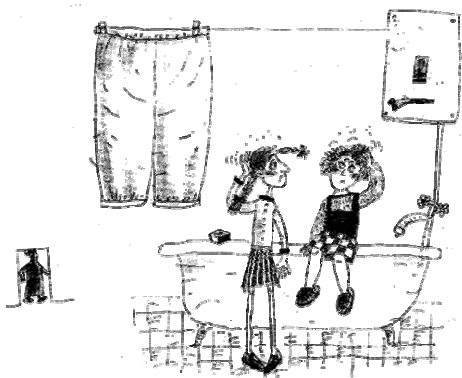
— Не знаю, — пискнула.

— Ты не знаешь, как твоего деда зовут? — глянула поверх очков на меня Ба.

— Аааааааа! — Я моментально вспомнила, что означает злополучное слово. — Андреевна она, Надежда Андреевна.

— Чудо в перьях! — хмыкнула Ба и стала важно крутить диск телефона.

Сначала они с мамой общались на русском. Потом Ба, покосившись на нас, перешла на французский. Мы с Маней вытянули шеи и выпучили глаза, но ни одного слова не поняли. По ходу разговора у Ба постепенно расцветало лицо, сначала она улыбалась, потом разразилась своим катастрофическим смехом — мама, наверное, на том конце провода выронила от неожиданности трубку.



— Ну, до свиданья, Надя, — закончила Ба разговор, — в гости придем, конечно, и вы приходите к нам, я испеку свой фирменный яблочный пирог.

Она положила трубку и посмотрела на меня долгим, чуть рассеянным взглядом.

— А ты, оказывается, хорошая девочка, Наринэ, — сказала.

Мне до сих пор удивительно, как я в тот момент умудрилась не лопнуть от распившей меня гордости!!!

Потом мы по второму кругу ели печенье. Потом мы ели мороженое. Потом мы пили кофе с молоком и чувствовали себя взрослыми, потом Ба пригладила рукой выбившуюся у меня прядь волос. «Горе луковое», — сказала, и ладонь у нее была большая и теплая, а Маня поцеловала меня в щечку, и губы у нее были липкие, а кончик носа совсем холодный.

## ГЛАВА 2 Манюня, иди Тумбаны бабы Розы

— У меня, кажется, завелись вошки, — задумчиво протянула Манюня. Мы сидели у нее в комнате, и я, перегнувшись через подлокотник кресла, доставала с полки шашки.

— Откуда ты это взяла? — На всякий случай я отодвинулась от Мани на безопасное расстояние.

— Я чувствую ШЕВЕЛЕНИЕ у себя в волосах, — Манюня многозначительно подняла вверх указательный палец, — какое-то ТАИНСТВЕННОЕ ШЕВЕЛЕНИЕ, понимаешь?

У меня тоже сразу таинственно зашевелилось в волосах. Я потянулась к голове и тут же отдернула руку.

— Что же нам делать? — Манюня была обескуражена. — Если кто узнает об этом, то мы опозоримся на весь город!

— А давай наберем полную ванну воды, нырнем туда с головой и будем сидеть на дне тихо, пока вошки не задохнутся! — предложила я.

— Сколько понадобится времени, чтобы они задохнулись? — спросила Маня.

— Ну, не знаю, где-то час, наверное.

У Маньки заблестели глаза, видно было, что идея ей пришлась по душе.

— Давай, — согласилась она, — только, чур, ни слова Ба, а то она запретит нам залезать в ванну.

— Клянусь всем, что у меня есть, — я не знала в годы моей глубокой молодости клятвы страшнее!

— Да? — засомневалась Маня. — А что с тобой будет, если ты не сдержишь своего слова? Тебя за это посадят в тюрьму и отберут все, что у тебя есть?

Я растерялась. Интересно, какая участь ожидает людей, нарушивших клятву? Воображение рисовало усеянные червями склизкие стены тюрьмы и мучительную, но заслуженную смерть в пытках. Мы какое-то время озадаченно помолчали. Манька убрала шашки обратно на полку.

— Не будем клясться, — решительно сказала она, — давай так: кто проболтается бабушке, тот говнюк!

— Давай, — с облегчением согласилась я. Перспектива быть говнюком пугала куда меньше, чем мучительная смерть в тюрьме.

Мы тихонечко выползли из комнаты подруги. Маня жила в доме весьма своеобразной планировки — чтобы попасть в ванную, нужно было спуститься на первый этаж и через большой холл, мимо кухни, и гостиной, пройти по длинному коридору со скрипучим деревянным полом к совмещенному санузелу.

Манина бабушка Роза стряпала на кухне. Мы бесшумно, по стеночке, крались мимо. Пахло мясом, овощами и жареными грецкими орехами.

— Во шуршит! — прошептала мне Маня.

— Чего шуршит? — не поняла я.

— Ну, папа ей сегодня сказал: мам, ты там пошурши на кухне, вечером к нам Павел зайдет. Вишь, как шуршит, — над Маниным лбом кривеньким ирокезом развевалась непокорная челка, — она обещала еще пахлаву к вечеру нашуршать, чувствуешь, как орехами пахнет?

Я принялась. Пахло так вкусно, что рот у меня мигом наполнился слюной. В животе громко заурчало, но я усилием воли придушила предательский звук в зародыше.

Мы тихонечко пробрались по коридору к ванной комнате и тщательно заперли дверь на засов. «Как Ниф-Ниф и Нуф-Нуф», — захихикала Манька. Первое, что в ванной бросалось в глаза, — это внушительного размера, на широкой резинке, панталоны, именуемые в народе тумбанами. Они висели напротив газовой колонки и на вид были совершенно устрашающие.

— Бабушкины? — спросила я.

— Ну не мои же, — фыркнула Манюня.

Для того чтобы наполнить ванну теплой водой, нужно было включить газовую колонку. Правда, здесь была одна загвоздка — прикоснуться к спичкам нам строго-настрого запрещалось. Мы понимали всю преступность нашего замысла, поэтому старались действовать как можно быстрее и бесшумнее.

— Давай я чиркну спичкой и поднесу ее к газовому рожку, а ты открутишь вентиль, — предложила я.

— Давай, — согласилась Манька и тут же открутила вентиль.

— Я же сказала: подожди, пока я поднесу зажженную спичку, — упрекнула я ее.



— Ты чиркай быстрее, вместо того чтобы ушами хлопать, — рассердилась Манюня и вырвала из моих рук спичечный коробок. — Дай я сама, а то ничего не умеешь сделать по-человечески.

Она переломала штук пять спичек, пока наконец ей не удалось зажечь очередную и поднести ее к колонке. В тот же миг раздался небольшой, но достаточно сильный взрыв, из колонки вырвался длинный сноп огня, обшарил стену напротив, погулял какое-то время по потолку и, не найдя ничего более достойного внимания, вцепился в тумбаны бабы Розы. Видимо, панталоны успели хорошо просохнуть или были из стопроцентной синтетики, потому что задымились вмиг.

— Аааааа, — заорали мы и стали колотиться в дверь ванной.

— Баааа, — кричала Манюня, — это не мы, оно само взорвалось!

— Бабаааа Розааааа, — орала я, — ваши тумбаныыыыы горяяяяяят!!!

Ба уже стояла по ту сторону двери.

— Ты откроешь мне дверь, Мария, или позвонить папе? — выкрикнула она с плохо скрываемым беспокойством в голосе.

Волшебное словосочетание «позвонить папе» возымело на нас моментальное отрезвляющее действие, мы сразу вспомнили, как отпирается дверь. Ба ворвалась в ванную ураганом. Было достаточно дымно, но она моментально сориентировалась — закрутила вентиль, смахнула полуистлевшие тумбаны в раковину и пустила воду.

Мы попытались скрыться под шумок.

— Кудааааааааа?! — крикнула Ба и схватила нас за шиворот. — Набедокурили и давай улепетывать? Кому было говорено не прикасаться к спичкам? Кому? — Она переводила взгляд с меня на Маню и обратно. Этот взгляд не предвещал ничего хорошего. Мы с Манькой взвизгнули и попробовали вырваться, но куда там! Ба держала нас так, словно наши шивороты прибили гвоздями к ее рукам.

— Ба, — стала канючить Манюня, — мы хотели вывести вошек!

— Вошек?! — Баба Роза собрала наши шивороты в одну руку и пошарила другой за спиной. — Я сейчас покажу вам, как надо вошек выводить! — Она огрела нас чем-то вонючим и мокрым. — Вы сейчас у меня попляшете со своими вошками!

Я сообразила, что это останки Бабырозиных тумбанов. Они отяжелели от воды и достаточно больно били по нашим спинам, поэтому мы сутулились и повизгивали. Ба вытолкала нас в коридор.

— Стойте здесь и не двигайтесь, двинетесь — будет хуже, — прошипела она и принялась наводить порядок в ванной. — Только что все вымыла, — причитала она, — и вот, на тебе, отвернулась на миг, а они уже устроили разгром! Вы люди или кто, — выкрикнула она, повернувшись к нам, — я таки спрашиваю вас — вы люди или кто???

Седые волосы Ба выбились из пучка и торчали в разные стороны, надо лбом развевался непокорный, как у Маньки, ирокез. Она глядела на нас потемневшими глазами и гневно ходила лицом.

— Таки я вас еще раз спрашиваю, вы люди или кто?! — не дождавшись ответа, выкрикнула она еще раз.

Мы жалобно взвизгнули.

— Баааа, ну чего ты спрашиваешь, ты что, не видишь, что мы девочки? — проскулила Манюня.

— Де-воч-ки, — передразнила баба Роза, — а ну-ка, марш сюда, надо умыться!

Она поволокла нас к раковине, пустила ледяную воду и плеснула ею нам в лицо.

— Аааааа, — взмолилась Манюня, — ты хоть теплую воду включииии!

— Я вам дам теплую воду! — Баба Роза усердно намылила по очереди наши лица вонючим хозяйственным мылом. — Я вам дам со спичками играть! — Она смыла пену тонной ледяной воды, от которой душа тоненько тренькнула и ушла в пятки. — Я вам дам не слушаться взрослых! — Она остервенело протерла наши лица вусмерть накрахмаленным вафельным полотенцем. Я глянула в зеркало — оттуда на нас смотрели две взъерошенные краснощекие девчонки с мученическим выражением на лицах.

Ба переполняло справедливое негодование.

— Откуда?! Откуда вы взяли, что у вас вошки? — принялась она выпытывать у нас.

— У нас таинственное шевеление в волосах, — хором выдали мы наш страшный секрет, — мы решили набрать полную ванну теплой воды и нырнуть в нее с головой на час, чтобы вошки задохнулись!

Ба изменилась в лице.

— Какой кошмар, — запричитала она, — то есть вошки бы утопли, а вы — нет?!!!

Мы с Манюней ошеломленно переглянулись. Что и мы под водой можем задохнуться, нам в голову не пришло.

Баба Роза поволокла нас на кухню.

— Сейчас вы у меня покушаете тушеных овощей, — безапелляционно заявила она, — и не надо кривить рот. Или вы все съедите, или не встанете из-за этого стола! Понятно? А потом, когда просохнут волосы, я посмотрю, что это за таинственное шевеление в ваших пустых головах!

Она наложила каждой по большой тарелке тушеных овощей и нависла над нами грозовой тучей.

— А мясо? — пискнула Маня.

— А мясом я нормальных людей кормлю, — отрезала Ба.

Мы вяло жевали ненавистные овощи. Овощи не глотались. Мы морщились и тихонечко выплевывали их обратно в тарелку. Манька демонстративно вздыхала и громко ковырялась вилкой. Ба делала вид, что ничего не слышит.

— Ба, — Маня намотала на палец прядь своих каштановых волос и подняла глаза к потолку, — а если бы мы поклялись, а потом не сдержали своего слова, что бы тогда с нами случилось?

— У вас бы вытекли кишки, — в сердцах бросила через плечо баба Роза. Она стояла к нам спиной и месила тесто, лопатки яростно ходили под ее цветастым платьем, — у вас бы вытекли кишки и всю жизнь мотались между ногами!

Мы притихли.

— Хорошо, что мы просто говнюки, — шепнула я Мане с облегчением.

— Ага, — выдохнула она, — если бы у нас между ногами всю жизнь мотались кишки, было бы хуже!

### **ГЛАВА 3 Манюня, или Все хорошо, прекрасная маркиза**

— Будем брить наголо. — Баба Роза глядела, как каменный истукан с острова Пасхи.

С Ба было трудно спорить. Ба была непреклонна, как гранитная скала. Когда оказалось, что мы с Маней благополучно обовшивели, она мигом забрала меня к себе, чтобы я не наградила вошками сестер.

— Не волнуйтесь, — успокоила она моих приунывших родителей, — я выведу это безобразия вмиг.

— Говорят, что можно керосином? — робко спросила мама. — Нужно нанести его на сухие волосы и продержать какое-то время

Баба Роза сделала властный жест пальцами, словно собрала мамины губы в щепоть:

— Не волнуйся, Надя, все будет в лучшем виде!

Ночь мы провели в Манькиной комнате, спали рядышком на ее кровати.

— А давай мои вошки этой ночью придут к тебе в гости. — Манька собрала свои вьющиеся каштановые волосы в хвост и уложила его сверху на мою голову. — Это будет братание моих вошек с твоими, — радостно добавила она.

Я так и уснула под ворохом ее волос, и снилось мне, что толпа Манькиных вошек перебирается мне на голову большим семейством Ноя с картины Айвазовского «Сошествие Ноя с горы Арарат». При этом у Ноя было лицо Ба, он грозил посохом и приговаривал: «Безобразница, ты не дала нам перебраться на волосы твоих сестер!»

На следующее утро Ба накормила нас завтраком и выгнала во двор.

— Вы погуляйте немного, я сейчас вымою посуду и займусь вашими волосами, — сказала она.

Мы с Маней плелись по двору и попеременно горестно вздыхали — уж очень не хотелось в свои практически десять взрослых лет лишаться длинных волос.

— А папа тебе недавно ободок купил, с золотистой божьей коровкой, — напомнила я Мане. Манька пнула со злости камушек, который лежал в траве, он отскочил и ударился о высокий деревянный забор.

— Ну хоть какое-то количество волос она оставит на наших головах? — с надеждой в голосе спросила Маня.

— Ничего не оставлю, — раздался за нашими спинами голос Ба, — эка невидаль, походите лысыми, зато потом у вас отрастут пышные и кучерявые, как у дяди Мойши, волосы.

Мы с Манькой ужаснулись. Дядю Мойшу мы видели только на старых стертых фотографиях в альбоме Ба, это был невероятно худой остроскулый молодой человек с выдающимся носом и беспощадной пышности шевелюрой, пьющейся мелким бесом.

— Не хотим мы, как у дяди Мойши, — хором запричитали мы.

— Ладно, — легко согласилась Ба, — не хотите, как у дяди Мойши, будет шевелюра, как у Дженис Джоплин.

— А кто это такая?

— Наркоманка и дебоширка, — отрезала Ба.

Мы притихли.



Ба повела нас к длинной деревянной скамье под старым тутовым деревом. Она смахнула упавшие с дерева зрелые ягоды и сделала мне приглашающий жест рукой — садись. Я покорно села. Ба встала у меня за спиной и начала состригать под корень мои длинные волосы.

Манюня крутилась рядом и ахала с каждой падающей прядью. Она подняла одну и приложила к своей голове.

— Ба, а если бы у меня были такие светлые волосы, что бы ты тогда сказала? — спросила она.

— Я бы сказала, что ты не моя внучка, — протянула Ба в задумчивости, а потом спохватилась: — Мария, что за глупости ты несешь, какая разница, какого цвета у тебя волосы? И убери эту прядь с головы, тебе своих вошек мало?

Манька приложила волосы к плечам.

— А если бы я была вот такая волосатая? Смотри, Ба, какая, и с моих плеч свисали бы длинные пряди? — Маньке категорически нужно было выговориться, потому что с каждым шелком ножниц приближался ее черед быть обкорнанной.

— Если ты меня будешь отвлекать, то я отстригу Нарке пол-уха! — пригрозила Ба.

— Не надо, — пискнула я.

— И ты помолчи, — прикрикнула Ба, — обовшивели обе! Уму не постижимо, где вы могли нахвататься вшей?!

Мы с Манькой воровато переглянулись. Ну, положим, нашему уму оно было очень даже постижимо.

На задворках Маниного квартала в старом каменном доме жила многодетная семья старьевщика дяди Славика. Дядя Славик был худющим, жилистым и крайне неказистым мужичонкой. Весил он от силы сорок кило и внешним своим видом напоминал зеленого головастого кузнечика. Когда дядя Славик смотрел собеседнику прямо в глаза, тому становилось неудобно от его редко мигающих широко расставленных глаз. Собеседник машинально начинал тарашиться в надежде поймать в фокус Дядиславикины зрачки.

Дядя Славик дважды в неделю объезжал дворы нашего городка. Скрип колес его тележки, груженной всяким хламом, загодя оповещал о его появлении, так что, когда старьевщик, сопровождаемый своими тремя чумазыми детишками, въезжал во двор, хозяйки уже поджидали его внизу. Дядя Славик точил ножи и ножницы, скупал всякое старье, а если ему удавалось что-нибудь еще и продать, то счастьем его не было предела. Остальной хлам у него оптом скупал цыганский табор, который периодически раскидывал свои шатры на окраине нашего городка.

Мы с Маней, несмотря на строгий запрет родителей, часто убегали к дому старьевщика и возились с его детьми. Мы воображали себя учительницами и муштровали несчастных малышей как могли. Жена дяди Славика не вмешивалась в наши игры, наоборот, одобряла.

— Все равно на детей нет управы, — говорила она, — так хотя бы вы их угомоните.

Так как признаваться Ба в том, что мы нахватались вошек у детей старьевщика, было смерти подобно, мы молчали в тряпочку.

Когда Ба закончила со мной, Манька тоненько взвизгнула:

— Аааааа, неужели и я буду такой страшной?

— Ну почему страшной? — Ба сгребла Маньку и властно пригвоздила к деревянной скамье. — Можно подумать, вся твоя красота в волосах, — и она выстригла крупный локон с Манькиной макушки.

Я побежала в дом, чтобы посмотреть на себя в зеркало. Зрелище, которое открылось глазам, ввергло меня в ужас — я была коротко и неровно подстрижена, а по бокам головы

двумя задорными листьями лопуха восстали мои уши! Я горько разрыдалась — никогда, никогда в жизни у меня не было таких ушей!

— Наринээээ?! — долетел до меня голос Ба. — Хорош любоваться своей тифозной физиономией, беги сюда, полюбуйся лучше на Маню!

Я поплелась во двор. Из-за могучей спины бабы Розы показалось заплаканное личико Манюни. Я громко сглотнула — Манька выглядела бесподобно, даже хлеще, чем я: у меня хотя бы оба кончика уха торчали равноудаленно от черепа, у Маньки они были вразной — одно ухо аккуратно было прижато к голове, а второе воинственно топорщилось вбок!

— Ну вот, — удовлетворенно окинула нас взглядом Ба, — чисто крокодил Гена и Чебурашка!

Потом под наш дружный рев она ловко взбила в миске мыльную пену и нанесла ее нам на головы. Через десять минут под летним жарким солнцем сияло два сиротливых бильярдных шара. Ба повела нас в ванную и смыла остатки пены.

— Во, — протянула Манька, когда мы посмотрели на себя в зеркало, — хорошо, что сейчас каникулы. А представь нас в таком виде на сцене, в составе хора?

Мы покатались со смеху. Это было бы то еще зрелище!!!

— А... а... а... — не унималась Манька, — представь, что мы в таком виде исполняем на сцене какую-нибудь сонату ми минор для скрипки и фортепиано???

Мы сползли от хохота по стеночке на пол.

— Ой... ай... — только и могли выговорить мы, потому что от каждого взгляда на наши гладковыбритые головы нас разбирал новый приступ смеха. По щекам ручьями текли слезы, и мы только и делали, что стонали и хватались за животики.

— Весело вам, да? — раздался над нами голос Ба. — Пойдем, сейчас будет еще веселее!

Мы протерли глаза и снизу вверх посмотрели на нее. Ба возвышалась над нами монументом «Родина-Мать». Только в руках, вместо меча, она держала какую-то миску.

— А это что? — поинтересовались мы.

— Это маска, — важно объяснила Ба, — специальная маска, чтобы волос пошел густой и кучерявый.

— А из чего состоит эта маска? — Мы, заинтригованные, поднялись с пола и попытались сунуться носом в миску, но тщетно — Ба подняла ее выше, и мы не смогли дотянуться.

— Много будете знать, быстро состаритесь! — сказала, как отрезала.

Мы молча потопали за ней во двор.

— Сейчас я нанесу смесь вам на головы, а вы потом должны где-то час просидеть под солнцем, чтобы она хорошо впиталась, понятно?

— Понятно, — хором отозвались мы. В принципе, нам уже было безразлично, что еще может сотворить с нами Ба.

Забегая вперед, я таки скажу, что не зарекайся, пока не наступил климакс, как любила приговаривать Ба. Услышав в первый раз это выражение, мы дружно решили, что климакс — это плохая погода, и каждый раз, когда Ба так говорила, выглядывали в окна в надежде увидеть природный катаклизм.

Ба усадила нас на скамеечку и принялась споро наносить помазком маску на наши лысые головы.

— Не вертись! — прикрикнула она на Маньку, когда та попыталась посмотреть на меня. — Сиди смирно, а то залапаешь платье!

В томительном ожидании прошло минут пять.

— Ну вот, — удовлетворенно выговорила наконец Ба, — теперь можете расслабиться.

Мы глянули друг на друга и взвизгнули от неожиданности — головы наши были покрыты какой-то темно-синей густой жижей. Я попыталась дотронуться до нее, но Ба шлепнула меня по руке:

— Нельзя трогать, кому было говорено?! Ровно час! — грозно пророкотала она и ушла в дом.

Это был тот редкий случай, когда мы побоялись послушаться Ба. И, хотя головы наши отчаянно чесались, мы обе сидели не шелохнувшись. Минут через двадцать маска обсохла, пошла трещинами и стала осыпаться. Мы воровато подняли отвалившиеся ошметки и протерли в пальцах — густые, неоднородные, с какими-то волокнистыми вкраплениями, они моментально окрасили руки в синий цвет.

Нашу исследовательскую деятельность прервал, звук открывающейся калитки. Мы юркнули за тутовое дерево.

— Мам? — раздался голос дяди Миши, Маниного папы. Мы с облегчением вздохнули и выползли из-за толстого ствола.

Дядя Миша увидел нас и замедлил шаг. По причине близорукости он сначала прищурился, потом, не поверив своим глазам, оттянул пальцем уголок века сначала одного, потом обоих глаз. Мы подошли поближе. Зрелище, открывшееся Дядимишиному взору, судя по всему, было настолько неожиданным, что он какое-то время в ошарашенности изучал нас. Мы, видя выражение его лица, снова тоненько заскулили.

— Здрассьти, дядьмиш, — сквозь слезы прошептала я.

— Мать вашу за ногу, — к дяде Мише наконец вернулся дар речи, — дети, кто это так с вами?

— Это Ба! — Манюня уже ревела в три ручья и от обиды заглатывала целиком слог. — Она ска... что мы... буууу-дем... черявые... черявые... как... как... как... как...

— Как Жооопли, — внесла свою лепту во вселенский плач я.

— Как ктооооо? — У дяди Миши глаза полезли на лоб. — Какой такой Жопли?!

— Наркоманкааа и дебоширкаааааа Жоооплиии, — нас с Маней уже невозможно было остановить. Мы разом ощутили весь ужас нашего положения — лыдые! на все лето! не погулять! в булочную за слоеными трубочками не сбегать! в речке не искупаться! и самое ужасное — сверстники засмеют!

Дядя Миша попятился к дому.

— Маааааааааааааааа?! — позвал он. — Что ты с ними сотворила? Был уговор обработать волосы керосином и продержат девочек вдали от огня какое-то время!

Ба вышла на веранду.

— Стану я вас слушаться! — проворчала она. — Потом еще спасибо мне скажете, когда у них отрастут пышные кудрявые волосы!

— Зачем кудрявые! У Маньки они и так были кудрявые! — Дядя Миша наклонился и принюхался к нашим головам. — А чем это ты их намазюкала?

— Это маска! Рецепт Фаи, которая Жмайлик! Надо в равных пропорциях смешать порошок синьки, бараньи катышки и развести это дело в яичных желтках, — стала перечислять Ба.

— Бараньи чего? — подскочили мы с Манькой.

— Катышки, катышки, — покотился со смеху дядя Миша, — сиречь какашки!

Мы с Манькой потеряли дар речи.

— Ба! Как ты могла?! — наконец взревели мы и кинулись в ванную, смывать маску с наших голов. Какашки легко и быстро смылись, но головы наши теперь отсвечивали нежным голубоватым колером.

Когда мы выползли на веранду, дядя Миша присвистнул.

— Мам, ну кто тебя просил? Ладно Маня, а что мы Наркиным родителям скажем?

— А ничего не надо говорить, — отрезала Ба, — они умные люди и, в отличие от тебя, оценят мои старания. Сходи лучше позвони Наде и скажи, что Нарку уже можно забирать.

— Ну уж нет! — Дядя Миша привлек нас к себе и поцеловал по очереди в сиво-голубые макушки. — Сама эту кашу заварила, сама ее и расхлебывай!

— Можно подумать! — фыркнула Ба и пошла в дом. — Позвонить ему трудно!

Мы, затаив дыхание, стали напряженно прислушиваться к разговору Ба.

— Алё? Алё-о? Надя? Здравствуй, дорогая, как у вас дела? У нас тоже все в порядке. Можете Нарку забирать... Почему сама не может прийти? Почему не может, очень даже может. Только панамы нужны... Па-на-ма... Как зачем? Чтобы голову не припекло... А что волосы? Волосы — дело наживное, вчера были волосы, а сегодня уже нет, хе-хе!.. Ну что ты сразу охаешь, побрила наголо, ага... Керосин? Буду я керосин на них изводить! Все сделала в лучшем виде, маску нанесла, по рецепту Фаи, которая Жмайлик... Я ей, главное, говорю: не надо нам никаких масок, Фая, а она — сделай да сделай, заставила прям, над душой стояла... Ну и что, что она в Новороссийске, а я здесь?.. По телефону и заставила!.. Да не волнуйся ты, маска как маска, желток да синька, ну и по мелочи... По мелочи, говорю... Ну, бараньи катышки, делов-то... Что ты охаешь, можно подумать, я крысиного яду положила... Нет, все смыли, все в порядке, только голова синюшная... Си-нюш-на-я, говорю, как у утопленника... Зачем ты сразу пугаешься, живая она, живая, это от синьки она синюшная, день-другой, и все сойдет... А волосы быстро отрастут, это ж не зубы!.. Ага... Ага... Ну, до свидания, дорогая, ждем!

— Мам! — крикнул дядя Миша, когда Ба положила трубку. — Ты уверена, что не слышала на том конце провода звука падающего тела?

— Зиселе! — Голос Ба не предвещал ничего хорошего. — Ты так напрашиваешься на свою порцию маски от тети Фаи!!!

Дядя Миша крякнул:

— Мам, ты бы лучше дала чего поесть, а то мне через полчаса возвращаться на работу. — Он весело подмигнул нам. — Ну что, жертвы компоста, пойдем поедим, надеюсь, обед уж точно обойдется без бараньих катышков?



#### **ГЛАВА 4 Манюня, или Баба Роза демонстрирует чудеса гуманизма**

На обед были жареная курица с рисом, зеленый салат и кисленький, освежающий компот из алычи.

Мы с Манюней прямо-таки пожирали птицу, тщетно пытаюсь сохранить скорбное выражение на лицах. В идеале, конечно, нужно было демонстративно окочуриться на глазах у Ба, чтобы она потом долго оплакивала нас, теребя в руках наши вшивые волосы. Но не существовало на планете Земля силы, которая могла заставить нас оторваться от хорошо прожаренной, хрустящей, ароматной курочки в исполнении Ба.

Дядя Миша посмеивался, искоса наблюдая за нами.

— Мам, ну посмотри на них, вылитые два мутанта-головастика! — не выдержал он.

Мы навестили ушки. Ба раздраженно отодвинула от себя тарелку.

— Поели все? А теперь марш из-за стола, к шести должны приехать ЛЮДИ, Нарку забирать, я хочу успеть испечь яблочный пирог.

— Ты хочешь шарлоткой искупить вину за нанесенный Нарке ущерб? — засмеялся дядя Миша. — Да за одни только бараньи катышки тебе придется расплачиваться бутылкой сливовой наливки!

Мы с Манькой тревожно переглянулись — дядя Миша явно искал приключений себе на голову. Ба смерила его тяжелым испепеляющим взглядом исподлобья.

— Молчу-молчу, — заторопился дядя Миша, — все, Фелен-Пелен, — повернулся он к нам, — я на работу, а вы ведите себя тише воды ниже травы, а то видите, к каким разрушительным последствиям приводят ваши эксперименты в вошководческой отрасли!

— Ты так уйдешь или тебя вперед ногами вынести? — ласково поинтересовалась Ба.

— Да я уже практически ушел. — Дядя Миша чмокнул ее и выскользнул из кухни.

Ба накрыла ладонью щеку, в которую ее поцеловал дядя Миша, и простояла так с минуту, рассеянно улыбаясь одними губами. Мы с Маней каким-то звериным чутьем догадались, что ее сейчас нельзя отвлекать, поэтому сидели за столом не шевелясь и во все глаза наблюдали за ней.

Ба очнулась, посмотрела на нас изучающим взглядом, рассмеялась:

— А ведь правда выглядите как два мутанта-головастика.

Мы сочли ее смех за контрибуцию и вылезли из-за стола.

— Ба, а что такое мутант? — спросила Манька.

— Вырастешь — узнаешь, — ответила Ба, — но если станешь сейчас канючить, что да как, то не получишь сладкого — она протянула нам ПО ДВЕ шоколадные конфеты.

Мы не поверили глазам своим — шоколадные конфеты от Ба были прямым свидетельством тому, что вселенная наконец-таки повернулась к нам лицом, а не тем местом, которым она стояла с самого утра. Ведь Ба категорически была настроена против шоколада, она считала его источником всех человеческих бед, начиная от энуреза и заканчивая синдромом Дауна. Поэтому, когда она добровольно протянула нам по две (!) шоколадных конфеты, мы, не мешкая, сорвали их с ее ладоней и выбежали прочь из кухни.

— А поблагодарить? — Голос Ба настиг нас на пороге и больно толкнул в спину.

— Спасиииибо, Ба, — хором закричали мы.

На веранде Манька развернула обе конфеты и разом запихнула в рот.

— Это она из-за чувства вины перед нами, — прочавкала она, — ешь свой шоколад быстрее, пока Ба не передумала.

Теперь представьте себе эту дивную картину: под высоким раскидистым деревом тута на деревянной скамеечке сидят две обритые наголо неравномерно лопоухие девочки и отсвечивают голубоватыми черепами. За каждой щекой у них по кусочку сладкого счастья, они в блаженстве закатывают глаза, причмокивают и местами преступно исходят слюной... Жалкое, душераздирающее зрелище!!!

Когда конфеты были съедены, мы пошли прогуляться на задний двор. Походили бесцельно под фруктовыми деревьями, постояли над аккуратненькими грядочками кинзы, выдрали по листику, пожевали в задумчивости.

Вдруг заметили какое-то шевеление под грушевым деревом. Пригляделись с замиранием сердца. В траве лежал маленький птенчик — жалкий, голенький, криворотый.

— Ой! — ужаснулись мы. — Он, наверное, из гнезда выпал.

Посмотрели вверх, но за густыми листьями ничего не разглядели. Манька осторожно подняла птенца. Он беспомощно пищал и барахтался в ее ладонях.



Мы побежали в дом показывать нашу находку. Ба возилась с тестом для пирога на кухне, пахло корицей и жареным миндалем.

— Ба! — крикнули мы. Она обернулась на наши голоса и вздрогнула от неожиданности.

— Вы меня напугали!

— Ага! — торжествуя выкрикнула Маня. — Теперь ты признаешь, что мы из-за тебя стали страшные как смерть, правда глаза колет, да?

— Я тебе покажу сейчас, как может правда глаза колоть, — взъерепенилась Ба, — что это у тебя в руках?

— Посмотри, что мы нашли, — Манюня сунула ей под нос птенца.

Ба недоверчиво оглядела нашу находку.

— Зря вы его взяли, он уже практическидохлый, — проворчала она.

— Ну Ба! — возмутилась Манюня. — Ничего он недохлый, смотри, — она ткнула пальцем в птенца, тот поморщился всем тельцем и задергал лапками. — Видишь? — победно сказала Манька. — Мы его спасли, а теперь будем кормить-поить-выхаживать! Ба, что мы можем ему дать?

Ба ни минуты не раздумывала.

— Можете откопать дождевых червей, хорошенько их разжевать и скормить этойдохлятине, — язвительно проговорила она.

— Фуууууу, Ба! — смешно наморщила носик Манька. — Представить даже противно. Вот если бы ты нам помогла...

— Ты мне предлагаешь самой разжевать червей? — Ба ненадолго оторвалась от теста.

— А ты можешь? — Манька нетерпеливо запрыгала на одной ноге. Несчастнй птенец тряся в ее руке безвольным комочком.

— Мария, — Ба глянула на Маньку поверх очков, — ты соображаешь, что говоришь?

Манька вылупила глаза. Потом надула щеки.

— А если напоить его молоком? — пискнула я.

Ба вздернула от удивления брови.

— Где это слыхано, чтобы птица кормила молоком? Ты хоть у одной птицы видела грудь?

— Видела! — Я решила пойти ва-банк. — У птицы гарпии, например, большая женская грудь. Я сама видела. В книге про античных богов.

Ба вспотела лицом.

— Так сходи к своей знакомой птице гарпии и попроси ее покормить этогодохлика большой женской грудью, понятно? — рявкнула она.

Мы молча переглянулись. Манька еще раз ткнула птенца. Он слабо зашевелился. Она положила его на краешек стола и погладила по голенькой спинке.

— Горе мое луковое, — прошептала умиленно. — Ба, мы можем его хлебными крошками накормить! — вдруг осенило Маньку. — И напоить водой из пипетки можем! Ты только дай нам крошек, Ба! И покажи, где пипетка, которой ты мне в ухо закапывала эту ужасную черную жидкость, помнишь? А еще мы, например, можем его искупать. Набрать в мисочку теплой воды, побултыхать его там и уложить спать, накрыв платочком.

Ба простонала. Но Манюня ничего не слышала, Манюню несло.

— А если у него вдруг случится заворот кишок, мы пипеткой поставим ему клизму, — у Маньки раскраснелись от волнения щеки, — ты ведь нам поможешь, Ба? Хотя не надо помогать, мы сами разберемся.

По окаменевшей спине Ба можно было догадаться, что сейчас случится непоправимое, но Манька этого не замечала, она была увлечена своими мыслями.

— Вот если бы ты еще умела мух ловить, — мечтательно протянула она, — или хотя бы мошек, а, Ба?

Ба со словами: «Да что же это такое!» — стремительно повернулась и с легким хрустом свернула птенцу шею.

— Вот теперь можете его хоронить со всеми почестями, — выдохнула она, не обращая внимания на наши вытянувшиеся лица. — Я даже готова вам на эту церемонию уступить железную баночку из-под индийского чая! Потому что лучше я его прямо сейчас убью, чем вы потом замучаете до смерти своими экспериментами!

Мы, потрясенные, в гробовом молчании забрали трупик птенца и пошли хоронить его на задний двор. Выкопали маленькую ямку под грушей, положили туда тельце и присыпали землей. Постояли какое-то время понуро над могилкой.

— Надо будет откопать его завтра и посмотреть, улетела его душа или еще ТЕПЛИТСЯ В ГРУДИ, — задумчиво протянула Манька.

— Ты чего? — возмутилась я. — Какое там теплится, он ведь умер!

— Ну ты же слышала, как Ба рассказывала про гойские выкрутасы Иисуса с воскрешением? — Манька сорвала с ветки листик и намотала его на палец. — Может, это птичий Христос?

Мы в задумчивости усталились на могилку. Потом, как по команде, подобрали два деревянных прутика, сложили крест-накрест, обмотали травами, чтобы крестик не распался, и воткнули в одинокий холмик.

*Автор приносит извинения своим замечательным читателям за богохульство. Автор сама является христианкой, правда, достаточно раздолбайского разлива, ну да ладно.*

*В оправдание Ба автор текста может сказать, что с богом у нее были весьма непростые, продиктованные тяжелым детством и юностью, отношения. Ба принадлежала к одной из основных авраамистических религий и считала себя вправе с одинаковым остервенением костерить святых всех религий подряд.*

*Все претензии просьба предъявлять исключительно автору, ибо Ба автор в обиду не даст.*

Когда вечером приехали мои родители, на кухонном столе исходил умопомрачительным ароматом яблочный пирог. Ба полила его, еще горячий, растопленным медом, посыпала корицей и миндальной крошкой. Обжарила в большой чугунной сковороде кофейные зерна до масляного блеска, принесла из погреба свою знаменитую сливовую наливку в запотевшей бутылке темного стекла. Мы с Манькой добросовестно смололи кофе в ручной кофемолке.

Ба вышла встречать маму с папой на веранду.

— Сидите на кухне, — шикнула она, грозно выпучив на нас глаза. — Ой, Наденька, Юрочка (чмок-чмок), как доехали? Ну и что, что пять минут езды, мало ли что может с вами случиться, колесо можно-проколоть, бензобак может протечь, мазут может пролиться или какая еще беда приключиться. Вон у соседа нашего, Гора, сын чуть в машине не сгорел, говорили — замыкание (сочувственные ахи и охи). Я пирог яблочный испекла (громкое восторженное бормотание родителей), ага, ага, скоро и Миша придет. Девочки сегодня себя чудесно вели, хоронили птенчика (тревожное бормотание). Да ничего страшного, они его подобрали, хотели клизму пипеткой сделать, пришлось несчастному свернуть шею, чтобы они его не замучили до смерти (растерянное покашливание). Вы только не пугайтесь, синюшность голов еще не прошла (тревожное покашливание), но это дело одного-двух дней, потом все придет в норму (растерянное мычание). Ну, что мы стоим на пороге, давайте пройдем на кухню!

Я не буду сейчас вам рассказывать в подробностях, какой мощи пароксизм истерического хохота согнул моих родителей при виде наших голубых черепов. Как потом папа вертел наши головы в руках и, любовно пересчитывая все характерные шишечки, сыпал страшными словами брахикефалия, долихокрания и краниология, и этим вогнал нас в окончательный и бесповоротный ступор.

Как мама рыдала на плече у Ба, а Ба утешала ее и говорила, что волосы не зубы, ну ты же понимаешь, Надя, а мама с каким-то сладострастным облегчением вытерла сопли подолом платья Ба и сказала: «Тетя Роза, я все понимаю, только детей все равно жалко!!!»



Как папа с дядей Мишей стояли на веранде, с дымящимися чашечками кофе в руках, выкуривали сигарету за сигаретой и вели бесконечный диалог на тему, что пора бросать курить, Миша, конечно, пора, а то сколько можно, Юра!

День удался, в общем, на славу. Я заснула счастливая, в своей кровати, жестоко осмеянная сестрами, но с греющей душу мыслью, что где-то там, в пяти минутах езды от нас, в двухэтажном каменном доме спит Манюня и отвечает в темноту такой же, как у меня, гладковыбритой, голубоватого колера, головой.

## ГЛАВА 5 Манюня, или Как мы сначала искали панамы, а потом Ба спасала сына

Выходить за порог с непокрытой безволосой головой мы наотрез отказывались, поэтому мама бросилась на поиски панамок. Что ни говори, детство наше протекало в дивные времена, поэтому в единственном универмаге нашего городка в отделе головных уборов можно было жарким июньским днем приобрести только мохеровые свалевшиеся шапки необъятных размеров да фетровую мужскую шляпу в количестве одна штука.

— Может, мы вам просто косыночки повяжем? — предложила мама. — Узелком под подбородком, будете Аленушками.

Косыночки повязывать мы наотрез отказались.

— Не по пять лет нам, — пробурчали.

Ба кинула ключ по соседям, уезжающим в Ереван, с просьбой привезти нам панамки. Соседи звонили и рапортовали:

— Роза, в «Детском мире» выкинули чепчики для грудничков, есть вроде большие размеры, я пыталась натянуть на колено, они нормально натягиваются, ну ты же знаешь мои колени, Роза!

— Роза, в ГУМе потрясающей красоты пляжные шляпы с большими полями, сиреневые в белую ромашку, но по семь рублей и на взрослую женщину!

— Роза, в ЦУМе видели соломенные шляпы, что-то типа сомбреро, но они декоративные и за бешеные деньги!

— Роза, в магазине «Пчеловод» продаются каски с лицевой металлической сеткой, я пригляделся — можно плоскогубцами понакусывать и снять это забрало. Получится панамка, правда, на периметр головы 58 сантиметров. Какой у девочек размер черепушек?

— Если бы у девочек были головы периметром в 58 сантиметров, мы бы их как гнет в кадке с квашеной капустой использовали, — ругалась Ба в трубку. — Хоть к телефону не

подходи! — жаловалась она на следующий день маме. — Сбрендили они, что ли? Или жара на них так подействовала? Я им про Фому, а они мне про Ерему!!!

— Ничего-ничего! Сами справимся, да, девочки? — обернулась к нам мама.

— Угум, — прозвучало ей в ответ.

Мы с Маней любовались своим отражением в стеклянной дверце кухонного навесного шкафчика. И если я могла делать это спокойно, не поднимаясь на цыпочки, то маленькая и пухленькая Маня до своего отражения не «дотягивалась». Она забавно подпрыгивала и, поймав свою мордашку в стеклянной дверце, моментально строила рожицу.

— Налей-ка мне еще чайку, Надя, а то от одного взгляда на них у меня в горле пересыхает, — пробурчала Ба.

Если Ба пила чай, то только крутым кипятком и вприкуску. Мама покупала в магазине специальный сахар, который сильно отличался от хрупко-прозрачного рафинированного, — твердый, неровными большими кусками, он плохо растворялся в чае и оставлял белый густой пенный налет на поверхности. Мы кололи его специальными щипчиками и хранили для Ба.

Когда Ба приходила к нам в гости, она первым делом просила чаю. Мама вынимала сахарницу и торжественно водворяла ее на чайный столик. Ба одобрительно кивала головой, принимала царственной рукой большую чашку исходившего паром напитка и, перекатывая во рту кусочек сахара, запивала его большими глотками, громко клопоча где-то в зобу.

— Я могу попробовать связать панамки крючком, — предложила мама, передавая Ба очередную чашку с чаем, — у меня есть подходящая тонкая пряжа. Потом мы их густо накрахмалим и придадим нужную нам форму.

— Не хотим мы вязаные крючком панамы! — взвыли мы. — Во-первых, ждать долго, пока ты их свяжешь, пройдет целая вечность, а во-вторых, они будут в дырочку, а через эти дырочки все увидят наши лысины!!!

— А у меня нет столько денег, чтобы с Маней по гостям на такси разъезжать! — рассердилась Ба. — Видите ли, стыдно им. Можно подумать, когда выйдете шляться по городу, люди подумают, что под панамами вы прячете не два пустых барабана, а ваши роскошные кудри!

Мы обиженно засопели, но взрослые уже не обращали на нас никакого внимания. После недолгого совещания они решили сшить нам панамки. Вытащили швейную машинку, порылись в бельевом шкафу и нашли две голубые наволочки в желтый горох.

— Самое оно, — обрадовалась мама.

Через два часа кропотливой работы наши швей-мотористки явили миру свой инновационный взгляд на летние головные уборы в виде двух кособоких конструкций с неровными, чересчур широкими полями и бестолково торчащей высокой тульей.

Ба нацепила панамы нам на головы.

— Вполне себе ковбойские шляпы, — проговорила она с еле сдерживаемой улыбкой, — теперь никто не посмеет приставать к вам на улице, потому что у вас очень боевой вид!

Мы помчались любоваться собой. Повертели перед зеркалом, встали и так и этак.

— А что, вполне, — Манька нахлобучила панаму на самый лоб и, подтянув поля, свела их под подбородком. Получилось что-то наподобие чепчика. Она выпучила глаза, выдвинула вперед нижнюю челюсть и прошамкала: — Деточка, дай рублик на жизнь!

Я покатила со смеху. Задрала поля своей панамы вверх, скосила глаза к переносице и растянула пальцами уголки рта.

— Ыыыыыыыы! — Мы повернулись друг к другу и замычали: — Ыыыыыы!

— Полюбуйтесь на этих дегенератов! — Голос Ба разнесся по квартире звуком ирихонской трубы. — Надя, а ты переживаешь, что им не понравятся панамы. Да они уже в своем обычном репертуаре!

\* \* \*

Спустя неделю наметился совместный выезд в горы, с ночевкой в нашем дачном домике. Но дядя Миша внезапно слег с высокой температурой, и Ба осталась ухаживать за ним.

Папа забрал Манюню за день до нашего отъезда. Мы из кухонного окна наблюдали, как они парковались возле нашего подъезда. Пока добежали до входной двери, Манька уже всю трезвонила в звонок. Как только я отперла, она ртутным шариком вкатилась в квартиру и моментально заполнила ее своим птичьим щебетом. Следом за ней вошел папа и с трудом втащил в квартиру большой баул.

— Это что такое? — удивилась мама.

— Роза нам припасов на дорогу дала, — протер пот с чела папа.

Мама открыла сумку и стала по одному вытаскивать аккуратные свертки. С каждым новым свертком на ее лице все отчетливее выступало отчаяние.

Ба положила нам в дорогу луковый пирог, пирожки с капустой, дюжину отварных куриных яиц, банку айвового варенья, банку малосольных огурчиков, банку аджики, овощей килограммов пять и столько же фруктов, а также большую эмалированную кастрюлю с замаринованным на шашлык мясом. В кармане сумки мама нашла нож, спички, полпачки мелкой соли, рулон драгоценной туалетной бумаги, таблетки тетрациклина и цитрамона, йод, зеленку, вату и широкий марлевый нестерильный бинт в количестве одна штука.

— Судно забыла положить, — захохотал папа.

— Зачем ты это взял? — Мама уставилась на отца. — Мы что, не смогли бы Маньку прокормить?

— Вот позвони и скажи ей это сама, — рассердился папа, — можно подумать, Роза приняла бы мой отказ!

— А что сразу звонить? — испугалась мама. — Надо было оставить сумку за порогом и быстренько уехать!

— Да Роза проконвоировала нас до машины, а потом еще махала вслед рукой! На каком отрезке пути я мог оставить сумку? Знаешь, что мне Миша шепнул? Заберите, мол, ее с собой, а то она убьет меня своей заботой! — Папа быстренько съел пирожок с капустой и потянулся за вторым. Мама резво шлепнула его по руке. — Ты бы слышала, что мне Роза на прощание сказала! — Папа потянулся за луковым пирогом и получил второй шлепок по руке. — Если не получится до вечера сбить ему температуру, придется ставить клизму! Клизму! И это Мише, который в прошлом году перед операцией не ел два дня, только чтобы ему не промывали кишечник!

Мама прыснула.

— Это да, Миша лучше утопится в колодце, чем даст поставить себе клизму!

\* \* \*

Через три дня мы вернулись с дачи и первым делом завезли Маню к ней домой. Во дворе под раскидистым тутовым деревом на деревянной скамье сидел дядя Миша. В жаркий двадцатипятиградусный летний день он выглядел как солдат отступающей наполеоновской армии — на голове дяди Миши красовалась Манина вязаная зимняя шапка с помпоном, растянутые на коленях треники были заправлены в толстые шерстяные носки, а грудь крест-накрест была повязана цветастым платком Ба.

— Папочка! — Манька бросилась обнимать отца. — А зачем ты мою шапку надел, она же девчачья!

Дядя Миша стянул с Манькиной головы панаму и поцеловал в макушку.

— А ты уже обросла на целый миллиметр, — улыбнулся он.

— Ну что, Рендл Патрик Макмерфи, таки тебе промыли кишечник? — засмеялся папа, протягивая дяде Мише руку.

— Э, Юра, давно я тебя в шахматы не обыгрывал, вот и наглеешь, — неуверенно огрызнулся дядя Миша.

— А что так? — Папа сел рядом и нащупал пульс дяди Миши. — Пульс как у трупа. Где Роза?

— Роза на консилиуме у соседей, — фыркнул дядя Миша, — каждый час бегают к ним советоваться.

— Это у каких соседей, у Шаапуну, у которых дочь педиатр?

— Нет, у Газаровых, у которых сын ветеринар. — Дядя Миша посмотрела на отца долгим выразительным взглядом. — Газаров-младший недавно на ферме села Паравакар проводил мероприятия по профилактике субинволюции матки у коров. Теперь, видимо, очередь до меня дошла!

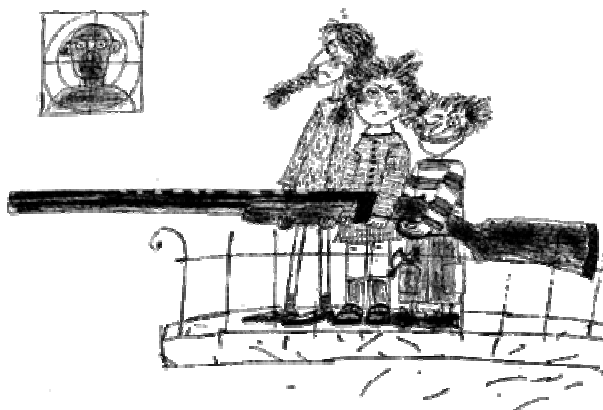
— Чего? — Папа зашелся в громком хохоте. — Чего... говоришь... он там... проводил?

Мы не поняли ни слова из того, что сказал дядя Миша, но тоже рассмеялись — уж очень забавно он смотрелся в красной Маниной шапке.

— Уже вернулись? — раздался за нашими спинами радостный голос Ба. Мы обернулись. Ба боком заползала в калитку, в руках она бережно несла какой-то большой пакет.



— Мамеле, — отчаяние, выступившее на лице дяди Миши, легко могло растопить лед в сердце железобетонной конструкции, — что тебе еще всучил этот маньяк Газаров? Доильный аппарат «Буренка»?



— Ой-ой-ой, можно подумать! — Ба положила пакет на скамейку и по очереди расцеловалась с нами. — Доильный аппарат, скажешь тоже. Это всего-навсего плед из овечьей шерсти. Надо будет перемешать гусиный жир с луковым соком и втереть тебе в грудь и шею. Потом дать пропотеть под этим пледом. И хворь как рукой снимет,

Дядя Миша угрюмо уставился на пакет. Ба заботливо натянула ему шапку но самые брови и подмигнула нам.

— Доильный аппарат тобі треба, сына? Мигом организуем! Любой каприз за ваши деньги!

## ГЛАВА 6 Манюня — снайпер, или Мамам-папам девочек посвящается

### ПРОЛОГ

У папы появилось двуствольное ружье ИЖ-27, настоящее, с которым можно ходить на кабана. Автор дуб дубом в охотничьих делах, так что знающим людям не возбраняется покрутить пальцем у виска, но, насколько помнится автору, с ИЖ-27 все-таки ходили на кабана. Или на какого-нибудь другого среднерогатого скота. Кажется.

Ружье отцу подарил благодарный третий секретарь нашего райкома за исключительной красоты искусственную челюсть червонного золота.

Папа честно пытался отговорить этого безумного человека от затеи вырвать себе здоровые зубы и украсить рот переливающимся золотом, но тот стоял на своем.

— Ты понимаешь, доктор, — объяснял он отцу, — я недавно из Москвы вернулся, был на очередном пленуме ЦК, там большая часть делегатов союзных республик щеголяли с золотыми зубами!!! А я чем хуже, у меня что, золота мало???

Видимо, золота у третьего секретаря райкома было действительно немало, потому что папа сделал золотые коронки не только ему, но еще и его жене, теще, матери и дяде. В благодарность за проделанную работу сановный пациент преподнес папе ИЖ-27.

Папа трясся над ружьем как скупой рыцарь над своими сундуками. Вел с ним долгие душеспитательные беседы.

— Когда-нибудь, — говорил он своему новому другу, — у меня родится сын, и мы с ним вдвоем пойдем на кабана!

Но пока сыном и не пахло, поэтому отец выезжал на охоту с друзьями. Возвращался он домой, как ни странно, в целостности и сохранности, навеселе, с ружьем наперевес и пустой охотничьей сумкой за плечом. За всю свою охотничью карьеру отец убил одну мелкогабаритную ворону, и то потому, что она зловеще каркала над нашими горе-охотниками, когда те пытались культурно отдохнуть после трехчасового безрезультатного прочесывания леса.

— Она каркала и каркала, ну я и выстрелил наугад, чтобы поугадать ее, — рассказывал потом отец, — а ворона возьми и свались нам на голову!

При возвращении с охоты папа первым делом тщательно прятал ружье. Заходил он домой на цыпочках, в надежде, что дети его не услышат, но куда там! Мы сразу выбегали ему навстречу и вешались гроздьями ему на шею. «Хватит, хватит», — нарочито хмурился папа. Ружье предательски выглядывало из-за его плеча.

Конспиративно ссутулившись, отец пятился в сторону своей спальни, нашаривал дверную ручку, при этом смотрел на нас грозно выпучившись, заползал задом в комнату и тщательно запирает дверь. Папа пребывал в счастливой уверенности, что никто, кроме него, не знает, где он прячет ружье.

Хех, папа плохо знал своих дочерей!

Как только за ним закрывалась дверь, мы сбивались в стайку и, затаив дыхание, подслушивали. Далее раздавался один и тот же, нарабатанный годами, звукоряд.

Бум!

— Это он поставил стул под антресоли, — волновались ряды преданных слушателей.

Хрясь!

— Ага, встал на стул и ударился головой о выступ.

Шур-шур-шур!

— Заворачивает ружье в газеты и прячет за одеяла, — удовлетворенно констатировали мы.

Бах! Бах! — захлопнул дверцы антресолей.

Плюх, — спрыгнул со стула (умильный вздох).

К моменту, когда папа, переодетый, выходил из спальни, наш след уже давно простывал.

Когда родители куда-то уезжали, мы часто забавлялись тем, что доставали папино ружье и по очереди перезаряжали его. При этом одна из девочек всегда стояла на стреме, чтобы сообщить о внезапном появлении родителей.

### **ЗАВЯЗКА**

Напротив нашего дома, через улицу Ленина, на счастливом расстоянии в триста метров (почему счастливом, поймете по ходу действия), окна в окна с нашей квартирой проживал

мой классный руководитель и по совместительству физрук Мартын Сергеич. Мартын Сергеич был известным на весь город стукачом. Люди за спиной пренебрежительно называли его кагэбэшной шестеркой. В течение рабочей недели МС вел наблюдение за учителями и старшеклассниками и делал заметки в блокноте, а потом бежал куда надо с подробным докладом. «Аж пыль столбом стояла, когда он мчался в КОНТОРУ», — презрительно кривила мама губы, рассказывая отцу об очередном кроссе Мартына Сергеича.

Я ненавидела его всей своей неокрепшей одиннадцатилетней душой. Мартын Сергеич имел обыкновение на уроке физкультуры поглаживать девочек по спине и нашептывать на ухо разные замечания типа: «Тебе, Алиханян, неплохо уже лифчик купить, а то грудь выросла и трясется при беге» или «Тебе, Шаапунни, надо бы шортики свободного кроя, а то эти практически обтягивают ягодицы».

Манюня, хотя и училась в другой школе, из дружеской солидарности ненавидела физрука не меньше, чем я. Когда она оставалась у нас с ночевкой, вечером неизменно подходила к окну, щурилась и презрительно цедила сквозь зубы:

— У этого козла в окнах уже горит свет!

Когда жена Мартына Сергеича вывешивала стирку на просушку, мы зорко выискивали белье МС и злорадно его высмеивали.

— Смотрите, — покатывались мы со смеху, — Мартын-то, оказывается, носит огромные семейники, они уж точно не обтягивают ему ягодицы!!!

### **КУЛЬМИНАЦИЯ**

Как-то в праздники мама с папой и младшими сестрами поехали в гости к папиному коллеге. Дома остались я, Манюня и моя сестра Каринка, та еще штучка. С Каринкой можно было спокойно идти в бой, она любого дворового мальчика могла искалечить шипящим куском карбида или довести до слез издевками. К Каринке мы испытывали смешанное чувство любви, гордости и страха.

Остаться дома одним было для нас невероятным счастьем. Какое-то время мы забавлялись тем, что ковырялись в маминой шкатулке с бижутерией. Потом перемерили все ее наряды и туфли, перемазались ее косметикой и надушились всеми духами. Для пущего аромата Манька сбрызнула нас освежителем воздуха «Лесная ягода». Амбре, которое мы источали, могло скопытить вполне боеспособную роту пехотинцев.

Когда зубодробительный марафет был наведен, мы решили сообразить светский раут на троих. Сварили кофе, притащили сигареты, долго искали индийские курительные палочки, но мама их куда-то упрятала. Ничтоже сумняшеся подпалили сухие колоски камыша в маминой икебане.

Сели пить кофе. С первой же затяжки мы закашлялись, с первого же глотка нас чуть не вывернуло. Раут не оправдал наших ожиданий. Мы вылили кофе, спустили недокурные сигареты в унитаз, проветрили кухню.

Вышли на балкон явить миру нашу неземную красоту.

Но покрасоваться нам не удалось. Напротив, на своем балконе, сидел Мартын Сергеич и читал газету. У нас сразу испортилось настроение.

— Давайте мы сконцентрируем всю ненависть в наших глазах и высверлим в его голове дырку, — предложила Манюня.

Мы принялись сверлить Мартына Сергеича взглядом, полным ненависти, но долгожданная дырка никак не высверливалась. Физрук потянулся, сладко зевнул и почесал себя в живот. Мы разочарованно вздохнули.

Тогда Каринка внесла новое рацпредложение: а давайте, говорит, мы в него выстрелим из папиного ружья!



— А давайте, — всколыхнулись мы с Манькой и бросились наперегонки за ружьем. Вытащили с антресолей и притащили на балкон. Каринка уже заняла огневую позицию на полу за решеткой. Мы подползли к ней на брюхе и передали ружье.

— Зарядили? — грозно прошипела Каринка.

— Издеваешься! — возмутились мы.

Каринка заграбастала под себя ружье, долго прицеливалась и наконец выстрелила.

Раздался негромкий хлопок, мы выглянули из-за балконной решетки.

Мартын Сергеич сидел не шелохнувшись.

— Дай мне! — Манюня вырвала ружье из рук Каринки. — У меня глаз меткий, я его вмиг свалю!

Манька с минуту елозила пузом по полу, выбирая единственно правильную огневую позицию. Боевой чубчик ирокезом топорщился над ее лбом. Затаив дыхание, она долго прицеливалась, потом зачем-то зажмурилась, отвернулась и выстрелила.

Мы прождали несколько секунд и воровато выглянули из-за перил.

Балкон напротив был пуст!!!

— Я его убила, — выпучилась Манюня, — я его убила!

Мы по очереди отползли задом в дом и закрыли балконную дверь. Щелкнули затвором, ружье выплюнуло горячие гильзы. Мы выкинули их в мусорное ведро. Потом изорвали в клочья новый номер «Литературной газеты» и прикрыли гильзы.

Боевой запал не иссякал. Содеянное смертоубийство сплотило нас в грозный триумвират. Мы походили какое-то время по квартире с ружьем наперевес.

Мне было обидно, что Манюня с Каринкой стреляли, а я — нет.

— Это нечестно, я тоже хочу выстрелить, — надулась я.

Девочки переглянулись. Требование мое показалось им справедливым.

— Сейчас найдем тебе цель. — Каринка зарядила ружье и сунула его мне в руки. — Сейчаааааас найдеооооооом.

Мы долго кружили по квартире. Сначала приценивались к хрустальной люстре, потом — к маминой любимой китайской вазе. Вовремя сообразили, что мама с нами сделает, если мы разнесем вазу или люстру, и отказались от мысли стрелять во что-то ценное. Итого наш выбор пал на мусорное ведро. Сестра поставила его посреди кухни, и я, зажмурившись, выстрелила внутрь.

Потом мы убрали ведро под мойку и аккуратно спрятали папино ружье.

— Наверное, жена Мартына Сергеича уже выплакала себе все глаза от горя, — сказала Манька, когда мы захлопнули дверцы антресолей и прыгнули со стула на пол.

— Наверное, — нам внезапно стало жалко длинную, жилистую и некрасивую жену Мартына Сергеича. Она преподавала в старших классах историю и имела кличку Скелетина.

— А давайте мы позвоним им, — предложила я, — заодно, когда поднимут трубку, послушаем, что там творится.

Я вытащила телефонную книгу. Найти номер физрука не составило большого труда. Манька важно поднесла к уху трубку, набрала номер, послушала гудки, потом почему-то резко закашлялась и покраснела.

— Алле, здрасьти, а можно Анну? Не туда попала? Извините, — она шмякнула трубку на аппарат и обескуражено уставилась на нас.

— Ну что? — хором спросили мы с сестрой.

— Он сам подошел к трубке! Ни черта мы его не убили! Хорошо, что я не растерялась и спросила про Анну!

Нашему разочарованию не было предела. Пули, видимо, не преодолели расстояние в триста метров и шмякнулись где-то на полпути между нашими балконами.

Мы в глубоком унынии поплелись в ванную, смывать с лица боевую раскраску. Остальной день провели в нехарактерной для нас тишине, играли сначала в шашки, потом — в подкидного дурака.

### **РАЗВЯЗКА**

Когда родители вернулись из гостей, они застали в квартире идиллическую картину: три девочки, высунув языки, вырезали из журнала «Веселые картинки» платица и шапочки для бумажной девочки Тани.

Мама погладила нас по голове, назвала умницами. Потом принюхалась, закашлялась.

— Не душитесь всякой дрянью, — сказала. Мы заулыбались ей в ответ. Вечер обещал быть прекрасным и тихим.

— Это что такое? — Мамин голос раздался над нами как гром среди ясного неба. Мы обернулись. Она стояла на пороге детской и в удивлении изучала ровную маленькую дырку на дне мусорного ведра. Мама посмотрела на нас долгим колючим взглядом и протянула гильзы. — Что это такое, я вас спрашиваю, и откуда в мусоре стреляные гильзы?

Мы виновато переглянулись.

— Это не мы, — пискнула Каринка.

— А кто?! — Мамин голос не предвещал ничего хорошего.

— Ладно, это мы, — вздохнула я, — сначала мы хотели убить Мартына Сергеича, стреляли в него два раза с нашего балкона, но ты не волнуйся, он живой и невредимый, мы уже позвонили к нему домой, он сам подошел к трубке. А потом я еще выстрелила в мусорное ведро.

Мама какое-то время переводила взгляд с нас на гильзы и обратно. Наконец по выражению ее лица стало ясно, что до нее дошел весь ужас содеянного нами. И до нас, кстати, он тоже дошел. Мы взвизгнули и бросились врассыпную.

Наказывала мама нас весьма своеобразно — в процессе нашего бега. Она хватала улепетывающего ребенка за шиворот или предплечье, отрывала с пола, награждала на весу шлепком и отправляла дальше по траектории его бега. Если она огревала нас достаточно больно, то остальную часть спасительной дороги мы преодолевали с перекошенными от боли лицами, а если нет — тут главное было убедительно сыграть эту перекошенность на лице, чтобы у мамы не возникло желания повторить свой фирменный шлепок.

Когда бежать стало некуда, мы попытались юркнуть мимо мамы в коридор. Первой на штурм ринулась Каринка, но мама схватила ее за шиворот, дернула вверх, пребольно ударила несколько раз по попе и отправила дальше. Каринка взвизгнула и, не останавливаясь, шмыгнула за угол. Через секунду из-за угла показалось ее сморщенное от боли лицо.

Пока мама отвлеклась на сестру, я попыталась проскользнуть мимо. К одиннадцати годам я успела вымахать в такую каланчу, что меня сложно было оторвать за шиворот от пола. Улепетывала я как комар-долгоножка, ловко переставляя длинными тонкими ногами. Поэтому мне достаточно легко удалось нырнуть под мамину руку и прорваться в спасительный коридор. Но я недооценила силу ее гнева.

Увидев, что жертва уходит безнаказанной, мама запустила в нее первым, что попало. А под руку ей попало пластмассовое мусорное ведро. Выпущенное маминой меткой рукой, оно нарисовало косую бумеранговую дугу и, настигнув меня уже за углом, красиво вписалось в мое левое ухо. Мир, благодаря брызнувшему из моих глаз искрам, засиял

доселе невиданными красками. Ухо моментально запульсировало и увеличилось в размерах раза в три. Я взвыла.

Но убежать далеко мы позволить себе не могли, потому что в плену у мамы остался драгоценный трофей — Манюня. Поэтому мы с Каринкой выглядели, потирая ушибленные места, из-за угла и горестно подвывали друг другу.

У Маньки надо лбом росла непокорная прядь волос, которую, чтобы кое-как пригладить и уложить в прическу, надо было обильно намочить водой и пришпилить заколкой. В минуты крайнего волнения эта прядь развевалась над Маней грозным ирокезом. Вот и сейчас боевой чубчик восстал над моей подругой, как большое соцветие зонтичного растения. Манька поскуливала и затравленно озиралась на нас.

И тут мама явила миру все коварство одной отдельно взятой взъерепенной женщины. Она не тронула Маню и пальцем. Она выговорила ровным, холодным голосом:

— А с тобой, Мария, разговаривать будет Ба!

Лучше бы мама мелко нашинковала Маню и скормила собакам! Лучше бы она выстрелила в нее из папиного ружья! Потому что разговаривать Ба не умела, Ба умела пройти по телу так, что потом на реабилитационный период уходило дня два.

— Тетьнадь, — залилась горячими слезами Манюня, — не надо ничего рассказывать Ба, ты ударь меня по голове ведром, а лучше несколько раз ударь! Пожалуйстааааааа!

Мы зарыдали в голос, мама обернулась на нас, потом посмотрела на Маню и разом упала лицом.

— Вы хоть понимаете, девочки, чем это могло закончиться? Вы хоть понимаете???

### **ЭПИЛОГ**

В тот же вечер папа отвез ружье своему неженатому коллеге, и они потом долго рыскали по его квартире в поисках укромного уголка.

Поздно ночью к нам заехал дядя Миша, и мама со слезами на глазах рассказала ему, что мы вытворили. Дядя Миша сначала молча выслушал маму, потом так же молча прошел в детскую спальню, поднял сонную Маньку с постели и отвесил ей могучий подзатыльник. Затем уложил ее обратно в постель и подоткнул со всех сторон одеяло.

— А потом знаете, что он сказал вашим родителям? — докладывала нам на следующее утро Манька. — Он им сказал — это правильно, что вы ничего не стали рассказывать Ба. Иначе мало никому бы не показалось. В том числе и вам. И мне.

Манька вздохнула и пригладила рукой складочки на юбке.

— Ба бы нас всех тогда побила, — взволнованно проговорила она и потрогала мое зудящее ухо: — Ого, еще горяченькое!

## **ГЛАВА 7 Манюня и ромалэ, или Ба сказала «господибожетымой»**

Середина лета — жаркая для хозяек пора. Отходят черешня, абрикосы, малина, ежевика. Нужно успеть сварить варенье и приготовить джем. Нужно закатать в банки лучик летнего солнца.

Ба варила абрикосовый джем. На абрикосовый джем Ба слетались все пчелы с окрестных пасек, бабочки кружили за окном, радуга раскидывалась над домом Ба и связывала противоположные концы горизонта разноцветной подарочной лентой.

Природа регулировала температуру так, чтобы было не очень жарко, но и не слишком прохладно, а чтобы самое оно — градуса двадцать два, и легкий ветер колыхал ажурные занавески и деликатно постукивал ставнями открытых окон. Ибо даже природа старалась угодить Ба, когда она варила абрикосовый джем.

Потому что Ба в такие дни становилась совершенно несговорчивой и даже агрессивной. Конечно, в случае с Ба представить еще большую степень несговорчивости крайне сложно, но при большом желании можно.

Ба ваяла и творила, как Антонио Гауди на стройке собора Святого Семейства — без чертежей и набросков. И ни в коем разе нельзя было ее отвлекать, потому что она постоянно совершенствовала рецепт, добавляя ингредиенты на глаз, по шепотке, по ломтику, по крупинке... Уходила в сад и возвращалась с очередным букетом разнотравий: «В этот раз добавим еще листик можжевельника», — в задумчивости бубнила она себе под нос. Мы беспрекословно выполняли все ее поручения и, дабы не мешать ей, старались максимально слиться с обоями на кухне.



На нас с Манькой возлагалась обязанность подрумянить на большой сковороде фундук, выскрести ваниль из стручков, притомить в духовке апельсиновые и лимонные корочки, извлечь из абрикосовых косточек сладкие ядрышки и очистить от кожуры... Также мы вырезали из пекарской бумаги кружочки размером с горлышко банки. Эти кружочки Ба потом замачивала в коньяке и накрывала ими джем непосредственно перед закруткой.

За любой вопрос мы рисковали получить по лбу деревянной лопаточкой, которой Ба размешивала джем. Поэтому мы перешептывались, тихонечко пинались под столом или перемигивались. Ходили в туалет гуськом, по стеночке. Если Ба случайно натыкалась на нас, когда мы ползли, затаив дыхание, к выходу, она издавала глухой рокот грозовой тучи: «Ааааа, шлимазлы!!!» На шлимазлов мы никак не реагировали, потому что шлимазл являл собой чуть раздраженную, но, в принципе, вполне благодушную констатацию факта нашего существования. Но если Ба вдруг называла нас шлемиэлями, то у нас душа мигом уходила в пятки. Потому что этот таинственный шлемиэль она всегда сопровождала могучим подзатыльником!

Весь наш городок был в курсе, что Ба категорически нельзя отвлекать, когда она ТВОРИТ абрикосовый джем. Казалось, даже глупые ласточки старались изменить маршрут своего стремительного полета в столь ответственный для мироздания день.

И только цыганам было невдомек. Впрочем, что с них взять. Ведь появлялись они у нас наездами, раз в несколько месяцев, и совершенно не обязаны были быть в курсе всех нюансов местечкового масштаба.

Появлению цыган предшествовал тревожный слух. «Цыгане идут, цыгане идут!» — новость клубилась, опережая табор, сизым дымом заползала в каждую квартиру, перетекала со двора на двор и расплзалась по кварталам. Смятенная тишина накрывала город кусачей мохеровой шалью. Люди свято верили, что цыгане воруют коней и детей, и, за неимением коней, прятали по домам своих отпрысков.

Табор раскидывал свои шатры неподалеку от городка, на берегу реки, и разводил в ночи высокие костры.

Показывались цыгане в городе на второй день своего приезда. Шли по улице цветастой говорливой толпой, о чем-то громко и весело переругивались, бренчали гитарами. Потом распались на маленькие группки. Женщины ходили по домам и предлагали погадать.

Я помню, как однажды к нам в дверь позвонила цыганка. Она курила сигарету и поминутно громко смеялась хриплым смехом. И называла маму «красавицадайпогадаю». Мама слабо улыбалась и отказывалась.

— Может, какое шмотье есть дома, которое вы не носите? — спросила цыганка.

— Сейчас посмотрю, — заторопилась мама и ушла за одеждой.

Я стояла в дверном проеме и во все глаза наблюдала за незваной гостьей. Она следила за мной насмешливым взглядом, потом бросила окурочек на пол, притушила его стоптанным носком туфли, поправила на голове платок.

— А знаешь, девочка, — сказала, — в твоей жизни все будет так, как ты захочешь, только тебе должно этого сильно захотеться.

— Знаю, — моментально соврала я.

Цыганка рассмеялась хриплым раскатистым смехом.

— Ну-ну, — сказала.

\* \* \*

Колхозный рынок располагался в пятнадцати минутах ходьбы от дома Ба и в любое время года радовал глаз южным изобилием. Торговали там исключительно азербайджанцы, и долгое время прожившая в Баку Ба умела с ними договориться. Но сегодня подвела знакомая азербайджанка Зейнаб, которая из года в год привозила спелые медовые абрикосы на джем. Зейнаб бессовестным образом отсутствовала, и Ба, не увидев ее за привычным прилавком, сильно расстроилась.

— Где Зейнаб? — спросила она у продавщицы с соседнего прилавка.

— Слегла с ангиной, — ответила та, — ее сегодня не будет.

— А у кого мне, спрашивается, покупать абрикосы? — рассердилась Ба. — Можно подумать, она при смерти. Могла и с ангиной выйти на рынок!

— Возьмите у Мамеда, — предложила продавщица и показала рукой, куда надо идти.

— Я сама решу, у кого брать, — отрезала Ба и демонстративно пошла в противоположную сторону.

Мы молча последовали за ней. У каждой из нас в руках была плетеная корзинка, куда надо было потом сложить абрикосы.

Ба обходила прилавки и придирчиво перебирала фрукты.

— Абрикосы сахарные, — уверяли ее быстроглазые торговцы, — попробуй, не понравятся — не бери. Они тебе на варенье или на джем, сестра?

— Буду я вам отчитываться, — обрубала на корню светскую беседу Ба, — лучше скажите мне, почем свой урюк продаете?

— Зачем урюк? — обижались продавцы. — Смотри, какие сочные абрикосы, прямо с ветки. Мы с четырех утра на ногах, сначала собирали, потом на продажу привезли!

— Меня ваша биография не интересует, — отрезала Ба, — мне интересно знать, почем вы хотите мне всучить это убожество, от одного взгляда на которое волосы дыбом шевелятся!

— Два рубля, — обиженно протягивали продавцы.

— Вот сходите и купите веночек себе на могилу за два рубля, — припечатывала Ба. — Где это видано, чтобы в июле за абрикосы такие бешеные деньги просили!!!

Переругавшись со всеми продавцами, она сделала круг и наконец дошла до прилавка, на который ей указала соседка Зейнаб. Мы увидели груды отменных золотисто-медовых, прозрачных, подернутых утренней росой абрикосов. За прилавком стоял маленький сгорбленный мужичок в огромной кепке. Она была ему настолько велика, что, если бы не уши, прикрыла бы лицо забралом. Мужичок ежеминутно разглаживал на лбу околыш кепки и заправлял его за уши. Увидев Ба, он радушно улыбнулся, из-под пышных его усов выглянули два ряда булатных зубов.

Ба повернулась к соседке Зейнаб.

— Этот косоротый сморчок и есть твой Мамед? — крикнула она ей. Мы с Манькой чуть в землю не провалились со стыда.

— Зачем косоротый, — заволновался мужичок, — ничего не косоротый, Роза, можно подумать, ты меня первый день знаешь!

— А с того дня, как ты мне кислую малину продал, я тебя и знать не знаю, — сердито отрезала Ба, — почему твоя курага?

— Зачем курага? — Мамед обиженно поджал губы. — Посмотри, какой отборный продукт!

— Ты мне зубы своим замшелым продуктом не заговаривай, — встопорщилась Ба, — я у тебя цену спросила!

— Тебе, Роза, за рубль восемьдесят отдам!

— Рубль, или мы с тобой расходимся как в море корабли, — Ба достала из сумки кошелек и потрясла им перед носом Мамеда.

— Роза, — заплакал мужичок, — какой рубль, о чем ты говоришь, все по два продают! Рубль семьдесят, и считай, что я тебе сделал царский подарок!

Ба убрала кошелек в сумку.

— Рубль пятьдесят, — забеспокоился Мамед. — Роза, ты меня режешь без ножа!

— Пошли, девочки, — сказала Ба и величественно поплыла к выходу.

— Рубль сорок! — Мамед побежал за нами, крикнул кому-то на ходу: — Присмотри за прилавком.

Ба плыла сквозь толпу, как атомный ледокол «Ленин». Мы семенили за ней, боясь отстать и потеряться. Манька вцепилась в подол платья Ба, а другой рукой пошарила за спиной и поймала меня за локоть.

— Рубль двадцать, и это только потому, что я тебя сильно уважаю, — голос Мамеда потонул в гаме толпы.

Ба неожиданно резко остановилась, мы врезались ей в спину. Но она этого даже не заметила. Она обернулась, на лице ее сияла победная улыбка.

— Рубль десять, и я, так и быть, возьму у тебя семь килограммов твоей алычи!

\* \* \*

По возвращении домой работа закипела со страшной силой. Ба промыла в проточной воде абрикосы, усадила нас за стол извлекать косточки. Притащила из погреба большой медный таз — неизменный атрибут для приготовления всех ее восхитительных варений и джемов.

Села перебирать с нами фрукты. Особенно спелые абрикосы разделяла на две половинки и отправляла нам в рот — ешьте, ешьте, потом будете пукать на весь двор!

Когда медный таз был наполнен абрикосами — настал момент священнодействия. Ба величественно ходила кругами и добавляла то крупинку сахара, то капельку воды. Мы тихонечко возились за столом с ванильными стручками. В кухне стояла торжественная, благоговейная тишина.

— Красавица! — как гром среди ясного неба раздался голос за нашими спинами.

Мы обернулись. В окно кухни заглядывала цыганка — она вся переливалась под лучами летнего солнца: легкий платок, кофта, несметное количество бус на шее слепили глаз золотом и бешеным разноцветьем зеленого, красного, синего и желтого.

— Красавица, — сказала цыганка, обращаясь к Ба, — дай погадаю!

Голос цыганки произвел в кухне эффект разорвавшейся бомбы. Ба окаменела спиной, сказала «господибожетымой» и резко повернулась к окну. Мы сгорбились за столом. Манька нашарила мою руку и произнесла одними губами: «Она сказала „господибожетымой“!»

Страх Маньки был легко объясним — Ба обращалась к Богу в случаях крайнего, неконтролируемого, темного в своей силе бешенства. Только два раза в жизни мы с Манькой удостоились от Ба этого «господибожетымой», и наказание, которое последовало за ним, по своему разрушительному эффекту могло сравниться только с последствиями засухи в маленькой африканской стране. Поэтому, когда Ба говорила заветное слово, мы инстинктивно горбились и уменьшались в размерах.

Но цыганка пребывала в безмятежном неведении. Она облокотилась о подоконник и улыбнулась Ба широкой, чуть бесстыжей улыбкой.

— Все расскажу, ничего не утаю, — протянула она мелодичным голосом.

— Уходите, — сдавленно прошептали мы, но было уже поздно.

Ба шумно выдохнула. Так тормозит локомотив, когда боится промахнуться мимо перрона — громким, пугающим пффффффф.

— Пффффффф, — выдохнула Ба, — а как это ты, милочка, к моему дому прошла?

— В калитку, она была не заперта, — улыбнулась цыганка.

— Убери локти с моего подоконника, — медленно проговорила Ба.

Цыганка не удивилась. Ей было не привыкать к раздраженному или настороженному к себе отношению, она много чего в своей жизни повидала и могла кого хочешь за пояс заткнуть. По крайней мере по выражению ее лица было заметно, что так просто она сдаваться не намерена.

— А хочу и облакачиваюсь, — с вызовом сказала цыганка, — что ты мне сделаешь?

— Отойди от моего подоконника, — подняла голос Ба, — и выйди вон со двора, еще не хватало, чтобы ты у меня что-то украдала!

Было еще не поздно уйти по-хорошему. Но цыганка не представляла, с кем имеет дело. И поэтому она допустила роковую ошибку.

— А захочу и украду, — сказала она, — нам сам Бог велел воровать. Да будет тебе известно, что наш предок украд гвоздь, которым хотели распять Христа! И в благодарность за это Бог разрешил нам воровать!

Ба выпучила глаза.

— То есть благодаря вам этому вероотступнику вогнали в обе ступни один гвоздь? — спросила Ба.

— Какому вероотступнику? — не поняла цыганка.

Ба пошарила за спиной и нащупала ручку чугунной сковороды. Мы тоненько взвизгнули — не надо! Но Ба даже не глянула в нашу сторону.

— В последний раз тебе говорю, отойди от окна, — сказала она.

— А не отойду, — цыганка подтянулась на руках и сделала вид, что хочет перебраться через подоконник в кухню.

В тот же миг Ба запустила в нее сковородой. Сковорода перелетела через кухню и с глухим стуком врезалась цыганке в лоб. Та покачнувшись, всхлипнула и рухнула во двор. Мы прислушались — за окном царил мертвая тишина.

Ба спокойно повернулась к тазу с абрикосами. Осторожно перемешала джем деревянной лопаточкой. Мы с Манькой переглянулись в ужасе, нашарили ногами тапки, потянулись к двери.

— Наринэ?! — сказала, не оборачиваясь, Ба. — Набери своему отцу и скажи, что Роза убила человека. Пусть приезжает.

\* \* \*

— Пять швов! Сотрясение мозга! Мам, ты соображаешь, что творишь? — Дядя Миша никак не мог успокоиться.

Был светлый летний вечер, пчелы с окрестных пасек кружили за окном ошалелым роем, соблазненные сладким ароматом абрикосового джема. Ба невозмутимо накрывала на стол. Нарезала крупными ломтями холодное мясо, выставила домашний овечий сыр, полила отварную картошку пахучим растительным маслом, посолила крупной солью, щедро посыпала зеленью.

— Мам, я с тобой разговариваю! — кипятился дядя Миша. — Ты хоть понимаешь, чего нам с Юрой стоило замять это дело, чтобы швы в больнице наложили без лишних вопросов?

Ба достала миску с камац-мацуном<sup>[2]</sup> и с громким стуком поставила на стол.

— Она мне сказала, что цыганам можно воровать, потому что их предок украл гвоздь, который должны были вогнать во вторую ступню Христа, — сказала она.

— Мам, ну мало ли что она сказала, не убивать же за это человека!

Ба вытащила из холодильника малосольные огурчики.

— Гвоздь они украли, — хмыкнула она, — дали бы умереть этому несчастному вероотступнику хотя бы как положено, чтобы в каждой ступне по гвоздю!

Дядя Миша лишился дара речи. Мы с Манькой стояли на пороге кухни и, затаив дыхание, прислушивались к разговору.

Ба разорвала руками хрустящий матнакаш<sup>[3]</sup> и сложила в хлебницу.

— Можно подумать, он того цыганского предка об этом просил! — важно сказала она и повернулась к нам: — Сударыни, вы пойдете кушать или и вам для разнообразия по шву наложить?

## ГЛАВА 8 Манюня, или Что делает большая любовь с маленькими девочками

### ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

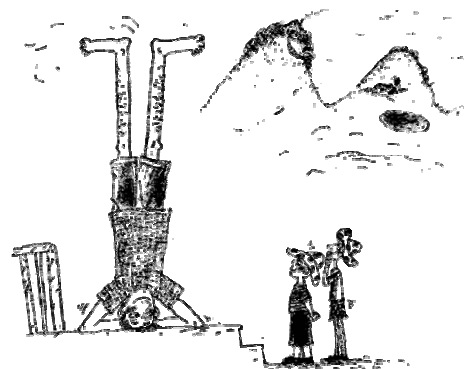
Горы... Вы знаете, горы... Как вам объяснить, что для меня горы...

Горы, они не унижают тебя своим величием и не отворачиваются от тебя, вот ты, а вот горы, и между вами — никого.

Где-то там, внизу, облака — люди — ржавое авто, эге-гей, я частичка космоса, я Божья улыбка, я есмь восторг, посмотрите, люди, в волосах моих запутались звезды, а на ладонях спят рыбы.

Горы... Я их всегда ощущаю на кончиках своих пальцев, особенно остро — когда температуру.

Помню, нам с Манюней было по десять лет, мы стояли на вершине, держались за руки, и было нам очень страшно. Я сделала шаг к краю, и Манюня тоже сделала шаг, и сердце мое подпрыгнуло высоко к горлу и заклокотало — заполоскалось — затрепетало пойманной птицей.





— Иииииииииии, — выдохнула Маня, — иииииииииии.

А я и выговорить ничего не могла, я превратилась в один протяжный вдох, и высота манила вниз, можете себе такое представить, высота манит не вверх, а вниз, хочется разбежаться и полететь, но не до солнца, а до камней долететь.

И я обернулась.

— Па? — неуверенно спросила.

— Вы только не пугайтесь, — сказал папа, — вы просто запоминайте, вам теперь нести это в себе всю оставшуюся жизнь.

\* \* \*

И помню другой день, и снова горы, мы стояли на берегу чистейшего горного ручья.

— Девочки, посмотрите сюда, — сказала моя бабушка Тата.

Она подняла с земли кусок подернутого ледяной коркой летнего высокогорного снега — от таких подтаявших ледников набирал свою силу журчащий ручей — и разломала его пополам.

И мы ахнули — все рассыпчатые внутренности снега кишели червями.

— Как такое может быть? — спросили мы.

— Прах еси и в прах возвратишься, — сказала Тата, — это касается и нас, и всего, что вы видите крутом, — снега, камней, солнца.

— И Бога? — осторожно спросили мы.

— И, конечно, Бога, — ответила моя мудрая Тата, — бессмертие — это такая непростительная трусость... Особенно непростительная ЕМУ.

### ***А ТЕПЕРЬ ИСТОРИЯ***

Роковая встреча Мани с ее любовью случилась на нашей даче.

Каждое лето моя семья выезжала в горы, где на макушке поросшего лесом холма, в маленьком дачном поселке, у нас имелся свой домик. Деревянный такой, добротной сколоченный теремок с верандой, двумя спальнями и большой кухней, совмещенной с гостиной. Выражаясь современным языком, мы являлись счастливыми обладателями загородного коттеджа, правда, с весьма скромной внутренней обстановкой. Двухъярусные детские кровати, например, нам сколотил знакомый плотник, при этом сколотил их так, что подниматься на верхний ярус можно было только по стремянке, ибо лесенка получилась настолько кривобокой, что ребенок, решившийся вскарабкаться по ней, рисковал свалиться и свернуть себе шею.

Аскетическое убранство дома с лихвой восполнял вид, открывающийся за окном. Когда ранним летним утром мы выходили на порог, природа, отодвинув занавес плотного утреннего тумана, являла нашему взору свою неповторимую, омытую прохладной росой красоту, дурманила острым ароматом высокогорных трав, шумела кронами вековых деревьев да манила в лес далеким криком одинокой кукушки.

Это было невероятное счастье — ощущать себя частичкой такой красоты.

Воздух в горах был вкусный и нестерпимо прозрачный, он не давил и не утомлял, он мягко обволакивал и успокаивал. Становилось звонко и легко от беззаботности своего существования, да, становилось звонко и легко.

Просыпались мы с раннего утра от негромкого стука в окошко. Это наш знакомый пастух дядя Сурен принес домашних молочных продуктов.

Дядя Сурен был обветренный, грандиозный в своем сложении пятидесятилетний мужчина — огромный, широкоплечий, могучий, весь пропахший дымом от костра.

Казалось, природа слепила его из цельного куска горной породы, он был красив той редкой и скупой красотой, внешней, но более — внутренней, которая свойственна жителям высокогорья. Росту в нем было не менее двух метров, по молодости он был быстр и неуклюж, но со временем приучил себя двигаться медленно и не столь резко, иначе, шутили люди, во-первых, за ним не поспевали коровы, а во-вторых, они пугались его размашистого крупного шага и не давали молока.

Дядя Сурен ежедневно гнал мимо нашего домика стадо по виду совершенно армянских, мосластых, тонконогих, широкозадых и, если вы позволите мне такое выражение, — носатых коров.

— Доктор Надя, — звал он маму (в его исполнении мамино имя звучало как Натъя), — я вам принес сепарированной сметаны.

Доктор у меня папа, мама — преподаватель, но дядя Сурен совершенно не брал в расчет такие нюансы. Среди простого люда авторитет отца и его профессии был настолько высок, что простирался над остальными членами нашей семьи и облагораживал всех!

Мама выходила на крыльцо и забирала у дяди Сурена неожиданно кокетливый для его грозного антуража расписной эмалированный кувшинчик в мелкие лилии.

— Сурен, — говорила мама, — может, вы хотя бы сегодня зайдете попить с нами кофейку?

— Что вы, что вы, — пугался пастух, — меня стадо ждет!

Стадо коров действительно терпеливо переминалось на почтительном от нашего домика расстоянии, две огромные, ужасающего вида кавказские овчарки, вывалив из пасти длинные языки, остервенело махали маме хвостами.

Я, наспех одетая, стояла на стреме за дверью. Главное было не упустить момент. Дядя Сурен ежедневно приносил нам продукты: домашнее масло — желтое, чуть подернутое каплями солоноватой пахты, мацони, сепарированную сметану, брынзу или густое, еще теплое парное молоко. Продукты эти приносились якобы на продажу. Но после одной-двух дежурных фраз он вручал маме свой расписной кувшинчик и норовил ретироваться раньше, чем мы успевали расплатиться с ним.

Ритуал был трогательный и отработанный годами до мелочей: дядя Сурен стучался в окно, мама открывала дверь и приглашала его на кофе, он отказывался и моментально пунцовел — мама была чудо как хороша в светлом сарафанчике, с роскошными русыми волосами по плечам. По первости она, заинтригованная такой его реакцией, решила, что наш замечательный знакомый просто стесняется зайти в дом, и стала выносить ему чашечку кофе на крыльцо. Дядя Сурен брал крохотную чашку в свои огромные руки и держал ее бережно в течение всего коротенького разговора, не осмеливаясь отпить и глоточка. Далее он возвращал маме чашку, оставлял у нас свой кокетливый молочник до вечера — не тащить же его с собой на пастбище, и спешно начинал пятиться в направлении своего стада. Вместе с ним приходили в движение его коровы и огромные овчарки. Если кто видел, как выходят армяне из григорианских храмов — пяťсь, не оборачиваясь спиной к образам, то он может себе представить всю прелесть действия, разворачивавшегося перед маминым взором.

И в этот миг приходил черед моего выхода на авансцену — я выпрыгивала из-за двери, сжимая в руках деньги, и догоняла огромного дядю Сурена, коров и двух ужасающих на вид овчарок. Дядя Сурен прикрывал огромными ладонями свои карманы и всячески сопротивлялся: «Это моя Мариам для вас передала, — отбивался он, — не надо ничего, мы от чистого сердца, у вас вон сколько детей, это доктору, это девочкам...»

Если мне удавалось закинуть ему деньги в карман и отскочить до того, как он мне запахнет их обратно за шиворот, то я убегала без оглядки к дому, одним прыжком

перемахивала через три ступеньки крыльца и захлопывала за собой дверь. Сердце колотилось так громко, что казалось — его стук эхом разносится по соседним холмам.

— Удалось? — спрашивала мама.

— Аха, — выдыхала я.

— Ну слава богу, — говорила мама, — ты посмотри, какую он нам сметану принес!

Сметана была восхитительной — желтая, жидкая, в толстой пенке взбитых сливок на горлышке кувшина. Так что, милые мои друзья, когда торговцы на рынках нахваливают вам свою густую, первой свежести сметану, то они лукавят, конечно. Свежая сепарированная сметана жидкая, чуть гуще 33 %-ных сливок, и твердеет она только на второй-третий день хранения на холоде.

Я стояла у окна и следила, как стадо коров уходит вдаль. Холм утопал в утреннем тумане, и было такое ощущение, словно коровы подцепили своими высокими рогами нижний край туманного полотна и гордо несут его над собой...

Мама нарезала большими дольками мясистые помидоры, болгарский перец и огурцы, поливала сверху сметаной, посыпала крупной солью да зеленью, мы ели летний салат, заворачивали в лавашные влажные шкурки домашний козий сыр. Друзья мои, кому, кому еще сказать спасибо за эти божественные вкусы-запахи-воспоминания? Кого я еще забыла поблагодарить?

Помню, как в один такой день к нам из леса вышел большой бурый медведь. И, видимо, в тот самый миг ангел свел домиком над нами свои ладони, потому что медведь постоял какое-то время, понаблюдал за нами, окаменевшими от ужаса, затем повернулся и неспешным шагом ушел в лес.

А вечером возвращался дядя Сурен, стадо медленно брело рядом — усталое, с набухшим выменем, густо мычало и топталось поодаль, пока пастух забирал у нас свою тару. Он приносил нам на большом листе лопуха горсть лесных ягод, орешков или грибов, которые мы потом запекали на решетке. Рассказать, как? Нужно было отделить аккуратно шляпку гриба от ножки, положить в каждую шляпку кусочек домашнего масла, чуть посолить и запечь на углях. Грибы подергивались дымным запахом костра, масло скворчало и впитывалось в мякоть, ммм, такая получалась вкуснотища!!!

Как-то утром мама долго не выпускала нас с Маней из дома, а все придирчиво разглядывала с ног до головы да поправляла наши платки. Мы переминались в нетерпении — за порогом нас ожидали неотложные дела. Вчера на склоне холма мы обнаружили большое семейство ядовитых грибов, именуемых в народе «волчий пук». Грибные шляпки имели сферическую форму, и если кто-то их задевал — мигом взрывались, распространяя вокруг немилосердную вонь. Мы с Маней передавили все грибы и долго плевались, пригнувшись к отвратительному смраду, исходившему от них. Сегодня надо было проверить, что стало с истоптанными грибами, и продолжают ли они распространять вчерашнюю убийственную вонь.

Наконец мы вырвались из маминых рук и нахлобучили на головы наши кособокие панамы. При виде панам мама наморщилась, как от зубной боли.

— Может, все-таки косыночки вам повязать? — предложила, впрочем, без особой надежды в голосе, она.

— Нет! — закричали мы с Манькой. — Какие косыночки, ты нам еще слюнявчики повяжи!

— Понимаете, девочки. — мама замялась, — к тете Свете приехала ее сестра Ася с мужем и сыном. Не хотелось бы, чтобы вы выглядели перед ними пугалами. Остальные девочки все при полном параде, с аккуратными хвостиками или косичками, а вы носитесь в этих уродливых панамах, только народ распугиваете.

— Сами же их нам сшили, — обиделись мы, — сначала говорили, что у нас воинственный вид, а теперь, значит, мы два пугала, да?

— Ну, как хотите, — вздохнула мама, — вы только ведите себя прилично и не шумите сильно, а то у тети Аси муж из Москвы, и он, глядя на вас, может подумать, что здесь одни дикари живут.

— А чего это он должен так подумать? — рассердились мы.

— Так он же москвич, вырос в столице. Поди у них в городе все девочки ходят в ажурных платьях и делают книксен, — хитро улыбнулась мама.

Маня надулась.

— Можно подумать, — пробубнила она, — книксен они делают! Эка невидаль. Пойдем посмотрим на этого москвича, заодно и покажем ему, как мы умеем делать книксен!

И мы пошли к дому тети Светы высматривать таинственного москвича. Тетисветын дом находился недалеко от нашего, на южном склоне холма.

— Ты хоть знаешь, что такое книксен? — Манька воинственно шмыгнула носом, поискала в кармане платок и, не найдя его, вытерла сопли тыльной стороной ладони.

— Не знаю, — мне было жутко обидно, что я, в отличие от московских девочек, чего-то не умела.

Мы какое-то время шли молча. Загадочное слово «книксен» взбудоражило наши умы, проникло в какие-то потаенные уголки сознания и требовало немедленной сатисфакции — нам хотелось прямо здесь и сейчас совершить какую-нибудь гадость. Я обернулась, посмотрела кругом — ни души.

— Москвички — в жопе спичкиииииииии! — проорала мстительно.

— А-ха-ха, — демонически рассмеялась Маня, — а-ха-ха!!!

— Не надо было грибы-вонючки давить. Можно было закидать ими двор тети Светы, — мы гаденько захихикали, — и, пока московский крендель ушами бы хлопал — наш след давно бы уже простыл.

Мы обошли холм южной стороной и приблизились к Тетисветыному дому.

— А вообще, как он выглядит, этот москвич? — задумчиво протянула Маня.

— Красивый, наверное. Обязательно в футболке с олимпийским мишкой на груди, — стала разбалтывать я свои сокровенные фантазии, — играет на гитаре и ест мороженое эскимо столько, сколько ему влезет, как старик Хоттабыч!

— Ну, — Маньке в целом понравился образ, который я нарисовала, — пожалуй, я была бы не против, если бы он еще трамваи водил.

— Трамваииии, — закатила я глаза, — дааааа, это было бы вообще здорово!!!

Манька посуровела.

— Но в целом он гадкий и сморкается в скатерть, а еще у него из носа торчат пучки волос, — заявила она.

— И уши у него волосатые! — вставила свои пять копеек я.

Наконец мы дошли до дома тети Светы, толкнули калитку и вошли во двор. Сделали несколько шагов по вымощенной речной галькой тропинке и встали как вкопанные.

На веранде Тетисветыного дома, аккуратно за глухими перилами, на фоне деревянной стены торчали две длинные бледные ноги. Они бесконечно тянулись вверх и весьма предсказуемо венчались большими плоскими ступнями. Ноги были в меру волосатые и воинственно топорщились острыми коленями.

— Это что такое? — вылупилась Манюня. — Это как называется, он вошел в дом, а ноги отстегнул и оставил на пороге вверх ступнями проветриваться?

— Да ну тебя, — захихикала я, — просто туловище за ограждением, вот мы его и не видим, он на голове стоит!

— А чего он на голове стоит, у них в Москве так принято гостей встречать? — съехидничала Манюня. — Пойдем поздороваемся с этим ненормальным, что ли.

В тот же миг ноги исчезли за перилами. Мы замерли.

— Сейчас покажется, — шепнула Манька. Но из-за ограждения никто не появлялся. Мы прислушались — ни звука. — Умер, — шепнула Маня, — а может, просто уснул. Пойдем, чего мы тут стоим, надо же ему книксен сломать!

Мы осторожно прошли вдоль веранды, поднялись по ступенькам и заглянули туда, где с минуту назад торчали ноги.

— Бу! — неожиданно выскочил нам навстречу высокий молодой человек.

Мы взвизгнули и пустились наутек. Но молодому человеку в комплекте с длинными ногами выдали не менее длинные руки, поэтому он быстренько схватил нас за плечи.

— Ну я же пошутил, девочки, что вы так испугались, — улыбнулся он. — Давайте знакомиться, меня зовут Олег, а вас как величают?

Мы зачарованно смотрели на него снизу вверх и молчали, словно воды в рот набрали. Олег выглядел как главный герой из фильма «Пираты XX века» — такие же голубые глаза, широкий лоб и ямочка на подбородке. А еще у него на шее болтался ажурный крестик.

— Ааааа, я понял, вы, наверное, немые, да, девочки? — хитро прищурился Олег.

— Да, — подала голос Маня, — мы немые, а зато у вас ноги бледные и волосатые!

— А у вас изумительные головные уборы, они вам очень к лицу, — загоготал столичный гость.

— Это не головные уборы, — рассердилась Маня, — это чтобы нам лысины прикрывать. — И, к моему ужасу, сдернула с головы панаму.

— О! — Наш новый знакомый растерялся, но быстро нашелся: — Ну и что, вы и без волос писанные красавицы.

Маня засопела, скрутила жгутом панаму, потом сунула ее мне:

— Забери себе, — прошипела уголком рта.

Я молча взяла панаму и разгладила ее в руках.

— А еще нам сделали маску из бараньих кашек и синьки, и какое-то время мы ходили с голубыми головами. — В Маньку словно бес вселился.

У гостя из столицы вытянулось лицо. Нужно было срочно спасать положение, пока он окончательно не решил, что столкнулся с дикарями.

— Всего два дня! — кинулась я восстанавливать нашу пошатнувшуюся репутацию. — Всего два дня мы ходили с синими головами, а потом маме с Ба пришлось шить панамы, потому что кругом дефицит и достать в магазине ничего нельзя! Поэтому мы сейчас выглядим как два пугала.

Манька пребольно пихнула меня локтем в бок.

— Дура! — прошипела она.

— Сама такая! — пихнула я ее в ответ.

Олег зашелся в хохоте. Мы с каменными лицами переждали беспардонное зубоскальство московского гостя. Он отдышался, протер ладонями брызнувшие из глаз слезы — на безымянном пальце его правой руки блеснуло желтой полоской обручальное кольцо.

— Девочки, а вы мне определенно нравитесь, — выговорил он наконец, — и акцент у вас такой забавный!

— А у вас акцент препротивный, — пошла в наступление Маня. — И кольцо вы носите не на той руке!

— Как это не на той? — Олег растопырил пальцы, а потом помахал ими у нас перед носом. — Наоборот, на той, православные носят обручальные кольца на правой руке.

— А мы, получается, левославные, — решила блеснуть эрудицией я.

— В смысле — левославные? — удивился Олег.

— Ну, в смысле, что носим обручальные кольца на левой руке, — отрапортовала я.

Мне этот Олег сразу понравился, и я, что греха таить, старалась тоже ему понравиться: В моей душе зашевелился укол ненависти к этой противной Асе, которой достался такой замечательный молодой человек.

— А это правда, что вы из Москвы? — поинтересовалась я.

— Правда, я родился и вырос в Москве. Потом женился на тете Асе. А потом у нас родился сын Артем. Ему пять, и он очень хороший мальчик, я надеюсь, что вы с ним подружитесь.

— Очень надо, — огрызнулась Маня.

Я помертвела. Мне было очень стыдно за свою подругу. Манька из улыбчивой и вежливой девочки превратилась в маленького злого бесенка, смотрела исподлобья, стояла руки в боки и воинственно топорщилась круглым пузом.

Но отчитывать подругу при чужом человеке было бы последним делом, поэтому я, как ни в чем не бывало, продолжила светский разговор:

— А где ваша жена?

— Они со Светой и детьми пошли прогуляться по поселку, а я решил пока заняться йогой, — пояснил Олег. — Скоро вернутся, вы сможете познакомиться с нею.

— Ладно, я пошла, некогда мне тут с вами разговаривать, — процедила сквозь зубы Манька.

Она сделала лицо кирпичом, спустилась по ступенькам во двор, вырвала голыми руками торчащий из-под лестницы стебель матерой крапивы и, размахивая им по сторонам, пошла к калитке. Я покорно поплелась за ней, предварительно сдернув со своей головы панаму, — позориться, так вместе. Вырвать стебель крапивы смалодушничала.

— Девочки, вы так и не сказали, как вас зовут! — крикнул нам вдогонку Олег. — И скажите на милость, зачем вам крапива?

— Зита и Гита, — не оборачиваясь, зло ответила Маня, — нас зовут Зита и Гита, а крапива нам нужна для занятий йогой. — Она пропустила меня вперед и демонстративно громко стукнула калиткой.

Мы прошли вдоль забора Тетисветыного дома и свернули за угол. И только здесь Маня выкинула крапиву в кусты.

— Кусачая, зараза, — процедила она сквозь зубы.

— Чешется? Может, смочить ладонь водой? — спросила я.

— До дома дотерплю, — Маня впервые глянула на меня и тут же отвела глаза. Выражение ее лица было такое, что у меня сразу пропала всякая охота задавать ей лишние вопросы.

— А давай наперегонки! — предложила я.

— Побежалиииииии! — заорала Манька.

Когда мы ворвались в дом, мама пыталась накормить мою младшую сестру Сонечку картофельным пюре. Маленькая Сонечка чуть ли не с рождения демонстрировала паразитильную разборчивость в еде. Все, кроме докторской колбасы и перьев зеленого

лука, она категорически исключила из своего рациона. Вот и сейчас она с облегчением выплюнула пюре себе на слюнявчик и потянулась ручками к нам.

— Зями меня на юкки, — пролепетала жалобно.

Манька состроила ей козу, погладила по головке. Хмыкнула. Из ее ноздри выдулся большой пузырь. Маня с шумом втянула его обратно.

— Тетьнадь, я, кажется, влюбилась, — ошаршила она маму.

— Так, — мама вытащила из кармана платок и заставила Маньку высморкаться, — и в кого это ты влюбилась?

— В мужа тети Аси. — Маня посмотрела на маму долгим немигающим взглядом, потом тяжело вздохнула: — Вот! Вы только не говорите ничего Ба, а то она сделает все возможное, чтобы помешать мне выйти за него замуж!

Мама выронила платок. Оставшаяся без внимания Сонечка дотянулась до тарелочки с пюре и с наслаждением погрузила туда свои пухленькие ручки.

Это была «взрослая» и, увы, самая беспощадная в своей безответности любовь моей Мани. Все оставшиеся дни пребывания Тетисветыных гостей она посвятила целенаправленному сживанию объекта своего почитания со света.

На третий день, под покровом ночи, московские гости отбыли восвояси. Вполне

возможно, что Олег, истерзанный разрушительными ухаживаниями Мани, уезжал на всякий случай переодетый, как Керенский, в костюм сестры милосердия. Это так папа предположил, комментируя поспешный их отъезд.



— Во всяком случае, — продолжил он в задумчивости, — кто-нибудь из них должен был сдать — или Маня, или Олег. Просто у Олега оказался хороший инстинкт самосохранения, — рассмеялся папа и натянул Мане на глаза панаму. — Ну что, маленький агрессор, неси карты, сейчас будем резаться в подкидного дурака!

## ГЛАВА 9 Манюня влюбилась, день второй, или Щедрые дары волхвов

Шел второй день пребывания московских гостей на Тетисветыной даче. Весь вчерашний вечер Манюня провела в душевных терзаниях — ей было очень неудобно за свое грубое поведение перед Олегом.

— Какая муха меня укусила? — причитала она.

— Небось какая-нибудь зловедная муха, — подливала я масла в огонь.

— Это ты так обзываешься или утешаешь меня? — разозлилась Маня.

— А нечего было человеку грубить! — пошла в наступление я.

После небольшого кровопролитного совещания мы все-таки пришли к совместному решению, что Манюне надо обязательно просить прощения у Олега.

Потом мы какое-то время рыскали вокруг Тетисветыного дома, все придумывали, в какой бы форме ей извиниться, чтобы и глубину своего раскаяния показать, и не сильно ударить в грязь лицом.

— Нужно извиняться так, чтобы никто другой, кроме него, тебя не слышал, — инструктировала я. — Ты просто подкрадешься к нему и шепнешь: простите меня, пожалуйста, я так больше не буду.

— Этого мало, мне нужно попросить прощения и еще кое-чего ему сказать, — упорствовала Маня.

— Что ты ему хочешь еще сказать?

— Я пока сама не знаю.

— Тогда, может, ты брякнешь первое, что придет тебе в голову? Можешь просто сказать: «Какой сегодня день хороший извините меня пожалуйста я так больше не буду!»

— Давай мы еще чуток погуляем, прорепетировать надо! — Манька умоляюще посмотрела на меня.

Ладно, гуляем дальше.

Наматываем круги, репетируем вслух извинения, мозолим глаза соседу дяде Грише, который уже с явным подозрением выглядывает из-за своего забора, беспокоясь, чего эти мы так упорно метим территорию по периметру Тетисветыного дома.

Каждый раз, равняясь с ним, мы важно здороваемся:

— Здравствуйте, дядя Гриша!

— Девочки, неужели вам больше нигде гулять? — После нашего третьего невозмутимого приветствия у дяди Гриши сдают нервы.

— Негде! — Маня исподлобья смотрит на дядю Гришу. — Негде, а главное — незачем!

Дядя Гриша качает головой и отходит в сторону — не каждый взрослый в состоянии хладнокровно здороваться с двумя ненормальными девочками три раза подряд в течение десяти минут.

В момент, когда количество витков вокруг Тетисветыного дома реально угрожает перевалить за сотню, Маня решительно останавливается напротив калитки.

— Пора! — командует уголком рта и затягивает голову в плечи. Берет штурмом забор и боевым зигзагом, заметая следы, с короткими перебежками от одного смородинового куста к другому, продвигается к дому. Я, затаив дыхание, бесшумно слеую за ней.

Мы быстрые и ловкие, как сто тысяч гепардов, мы смертельно опасные, как занесенная над позвоночником косули лапа разъяренной львицы! Дай нам сейчас роту зловредных душманов — и они на своей шкуре испытают процесс радиоактивного бета-распада. Ни одна камера не зафиксирует наши слаженные передвижения — настолько убедительно мы слились с окружающим ландшафтом!!!

— Девочки, — как гром среди ясного неба раздается вдруг голос тети Светы, — что это вы там делаете? Зачем топчете мою петрушку? Ну-ка, вылезайте к веранде!

Секретная операция провалена. Мы пристыженно покидаем место нашей дислокации.

Тетя Света выглядывает из окна, у тети Светы такое недоумевающее выражение лица, словно невидимыми нитями поддели ее веки и сильно потянули вверх и вниз. Еще чуть-чуть — и ее глаза вылезут из орбит.

— Наринэ, Мария, вам не стыдно? Что это вы там затеяли?

Мы виновато топчемся на месте и молчим словно воды в рот набрали. Нам действительно очень стыдно. Тетя Света — самый лучший педиатр нашего района, она знает нас буквально с первого дня рождения и все наши болячки помнит наизусть. Можно сказать, мы выросли на ее глазах и при самом непосредственном ее участии. Поэтому ничего другого, кроме как позорно торчать живописной окаменелой кучкой посреди двора, нам не оставалось.

Вдруг открывается дверь, и на веранду выскальзывает девушка потрясающей, неземной красоты. Она невысокая и хрупкая, у нее большие миндалевидные глаза, изогнутые в полуулыбке губы, золотистая кожа и роскошный хвост каштановых волос. На ней темно-синие фантастические джинсы и кофта в обтяжку. Она вся какая-то светящаяся,



нездешняя и прекрасная. Вот, значит, какая эта Ася! У меня больно сжимается сердце — никогда, никогда не променяет Олег такую красавицу на мою Манюню.

Ася разглядывает нас так, словно мы два вылезших на поверхность земли дождевых червя.

— Кто эти девочки, Света? — спрашивает она.

— Это Надина дочка со своей подругой, они почему-то прятались за смородиной и вытоптали мне все грядки с зеленью!

Ася изгибает бровь. Откуда-то из памяти всплывает слово «лунолика» и подпрыгивает невидимым мячиком на кончике моего языка. «Лунолика», — украдкой шепчу я, приноравливаясь к непривычному звучанию слова.

Тем временем лунолика облакачивается на перила веранды.

— Странные какие-то вы девочки, зашли без спросу, вытоптали грядки, вас сюда кто-то звал? — фыркает она.

— Да я их сто лет знаю, — заступает за нас тетя Света, но ее прерывает скрип открывающейся калитки. Тетя Света улыбается и теплеет лицом.

— Мама, тетя Света, мы видели в небе большого орла, — раздается за нашими спинами радостный детский голос. Мы оборачиваемся. К дому бежит маленький кудрявый мальчик в голубенькой футболке и клетчатых шортах. Следом за ним идет Олег. Заметив нас, он останавливается и моментально расплывается в широкой улыбке.

— Аааааа, Зита и Гита, это снова вы? Пришли за новым букетом крапивы для занятий йогой?

— Какие еще Зита и Гита? — обратно начинает сильно недоумевать тетя Света. У нее привычным маршрутом вылезают на лоб глаза и всячески грозятся отделиться от хозяйки и пуститься в свободное плавание.

Олег молчит и улыбается. Он прекрасен, как неженатый тронный принц в одном отдельно взятом сказочном королевстве.

— Пойдем, — Маня не выдерживает сияния, исходящего от Олега, и дергает меня за локоть.

Она делает несколько стремительных шагов, потом вдруг останавливается как вкопанная. Я больно налетаю на нее. Манька отодвигает меня рукой и оборачивается к веранде. Застывшим Маниным лицом вполне себе можно колоть орехи или вбивать аршинные гвозди в бетонную стену. Если быстренько снять с ее лица гипсовый слепок и всяко-разно его раскрасить, то не исключено, что можно будет потом его выставить в нашем краеведческом музее как ритуальную маску ацтекского бога войны Вицлипуцли.

С минуту моя подруга сверлит немигающим тяжелым взглядом дыру где-то в районе префронтальной зоны правой лобной доли Аси. Шумно выдыхает:

— Никогда!

Оборачивается далее маской Вицлипуцли к Олегу, выплевывает по слогам:

— Ни-ког-да!

Улыбка замерзает на лице Олега. Он открывает рот, чтобы что-то сказать, но Маня предостерегающе поднимает ладонь. Олег замирает. Маня обходит его брезгливой дугой и прет танком к калитке. Я еле поспеваю за ней.

— Наринэ, вы куда? — Тете Свете все неймется, тете Свете уже безразлична судьба ее оттопыренных глаз. — Девочки, что с вами?

Возле калитки Манюня оборачивается и выкрикивает, торжествуя:

— Никогда! И ни за что!!!

Занавес.

\* \* \*

Так прошел первый день любовного настроения моей Мани. Поздно вечером, когда мы уже лежали в постели, тетя Света с Олегом и Асей заглянули на огонек к моим родителям. До нас долетали обрывки разговора и взрывы хохота, потом наступила внезапная тишина, кто-то чабречал на гитаре и запел низким, чуть хрипловатым голосом «Арбатского романса старинное шитье». Манечка мигом села в постели, на фоне ночного окна смешно вырисовалась торчащими вразнобой ушками ее круглая голова, она обернулась ко мне и трогательно выдохнула:

— Это ОН!

Уснули мы с глубоким чувством выполненного долга.

\* \* \*

Второй день начался Маниными ритуальными занятиями на скрипке. Занятия периодически прерывались громкими «не хочу», «надоело» и «почему я должна, а Нарка нет?».

Почему Нарка нет — потому что Нарке в кои веки повезло, и ее взяли в класс фортепиано, а не флейты, например. А кто дурак перевозить фортепиано на лето из квартиры на дачу?

Пока Маня мучила скрипку, я возилась со своей младшей сестрой Сонечкой — отбывала наказание за Манюнины страдания. Мама решила, что так будет справедливее. Мы с Сонечкой, контуженные Маниной игрой, тихо перекладывали кубики и лепили пластилиновых уродцев.

Сразу после занятий, пока я убирала игрушки, Манька выскользнула за порог. Через какое-то время она заглянула обратно: «Пойдем», — шепнула конспиративно мне.

— Куда? — напряглась мама. — Снова к тете Свете? Она рассказала нам про все ваши проделки, как вы грубили Олегу и вытоптали грядки с петрушкой. Разве можно так себя вести, девочки?

— Мы больше не будем, Тетьнадь, — забегала глазами по лицу Манька и кивнула мне: — Пойдем что покажу!

Я выскочила за порог. Манька поволокла меня за угол и протянула таинственный сверток.

— Вот! — сказала она торжествующе.

— Это что такое? — Я с подозрением сначала пощупала, а потом принялась к странному свертку — доверия своим видом он у меня не вызывал.

— Это подарок, — Манька с трудом скрывала свое ликование, — для него! Здорово я придумала?

— В смысле: для него? Для кого это — для него?

— Нарка, какая же ты недалекая! Для Олега. Ну, чего ждешь, разворачивай скорее!

Я осторожно развернула мятый «Советский спорт». Под ним обнаружился свернутый пухлым конвертом лист лопуха. Внутри лопуха лежал камень размером с большую картофелину сорта «Удача».

— Это что такое?

Манька бережно завернула картофель обратно в лопух.

— Мы же помогали твоей маме заворачивать в виноградные листья фарш на толму, помнишь?

Я помнила, конечно. Сначала мы напросились помогать маме, а потом подглядели в кухонное окно, как она выковыривает из кастрюли наши «шедевральные творения» и по новой заворачивает фарш в виноградные листья.

— Вот, — Манька посмотрела на меня торжествующе, — я уже практически хозяйка, и Олег должен об этом знать!

— И что он должен с этим камнем делать? Есть его? — Я никак не могла взять в толк, зачем Мане этот сверток.

— Глупышка. — Манька смерила меня снисходительным взглядом. — Зачем его есть? Хотя, — призадумалась она, — мало ли что едят люди, которые стоят на голове, может, они камнями питаются, я же не знаю. Вот выйду за него замуж, расскажу тебе, что да как. А сверток этот просто подарок — он полюбуется на мою искусств... искусств... искусствую стряпню и сразу влюбится в меня.

Был замечательный летний полдень. Солнце стояло уже высоко, но, как часто бывает в высокогорье, — совершенно не припекало. Воздух был звонким и чистым и невесомым, словно перышко. С каждым вдохом он наполнял легкие газированными пузырьками счастья — хотелось взлететь и бесконечно парить над землей.

Все и вся вокруг радостно тянулось навстречу погожему оленчному дню. Все и вся! Кроме Мани. Мане было не до банальных розовых соплей.

Маня вышла на тропу войны.

Когда мы уходили со двора, мама высунулась в окно:

— Куда это вы собрались, девочки? Скоро обедать.

— Мы быстренько!

Идти до Тетисветыного дома было всего ничего, минут семь размеренным шагом. Труднее всего было найти способ передать подарок Олегу так, чтобы этого не видела его жена. Потому что мы не горели желанием снова расстраиваться из-за ее красоты.

— Ничего, что-нибудь на месте придумаем, — подбадривала меня всю дорогу Манечка. Но скоро мы уже были на месте, а совместный мозговой штурм не давал результатов.

— Давай кинем подарок им во двор, — предложила я.

— Ага, а потом его найдет эта фифа Ася и решит, что он предназначался ей! Еще чего!

Маня была абсолютно права — нельзя допускать, чтобы символ ее бесспорного кулинарного таланта достался врагу. Кидать нужно было метко, и желательнее именно в Олега. Осталось дожидаться, чтобы он вышел во двор и какое-то время побыл недвижимой мишенью. Тогда мы успели бы прицелиться и метко запустить в него драгоценным свертком.

В томительном ожидании прошла вечность. Мы, затаив дыхание, ждали, когда же выйдет Олег. Из дома раздавались негромкие голоса, слышался перезвон посуды.

— Обедают, — протянула я, в животе предательски заурчало.

— Ага, — Манька громко сглотнула, — страсть как кушать хочется!

Мы прождали вторую вечность. Вторая вечность тянулась еще дольше, чем первая. Живот от голодного урчания ходил ходуном.

— Давай сосчитаем до ста, если к тому времени Олег не выйдет во двор, то мы сбегаете домой, поедим, а потом вернемся дожидаться его по новой, — не выдержала я.

— Давай, — согласилась Маня, — только, чур, не мухлевать!

Через минуту мы чуть не подрались — Маня говорила, что я считаю очень быстро и специально заглазываю окончания слов, и это нечестно, а я отвечала, что она чересчур медленно считает и растягивает слоги.

— Дура, — ругалась Маня, — что же ты так частишь? Не двцтьдв, а два-а-адцать два!

— Сама ты дура, — громкое урчание в животе заглушало мой злой шепот, — какая разница, как я называю цифры, главное, что я не сбиваюсь со счета!

Еще немного, и мы бы, наверное, покалечили друг друга муляжом толмы, но вдруг с той стороны забора раздался тоненький голосок:

— А я тоже умею считать!

Мы притихли и глянули в щель между досками забора. За нами с Тетисветыного двора следил большой голубой глаз. Потом глаз исчез, а в щель просунулся толстенный пальчик:

— Это раз!

Пальчик исчез, и через секунду в щель высунулись два пальца:

— Это два!

— Подожди! — Мы с Маней переглянулись. — Тебя как зовут?

— Меня зовут Арден, и мне скоро будет пять лет, — с готовностью отрапортовал голубой глаз.

— Как-как тебя зовут?

— Арден!

Мы крепко задумались.

— Может, аккордеон? — нерешительно предположила Маня.

— Ты скажи еще гобой, — рассердилась я. — Мальчик, выговори четко свое имя.

— Ар-ден, — в свою очередь рассердился глаз, — меня зовут Ар-ден.

Потом глаз исчез, и из щели между досками вылезла пухлая ладошка с растопыренными пальцами:

— А это пять, мне скоро будет столько лет, — миролюбиво продолжил он.

Меня осенило:

— Мань, а давай мы Ард... ему вручим подарок и скажем, чтобы он отнес его Олегу. Просто скажем, что это подарок для его папы.

— Это выход, — обрадовалась Маня и позвала мальчика: — Эй, мальчик, Арден!

— Меня зовут не Арден, а Арден! — обиделся мальчик.

— Ну я же и говорю: Арден, — изумилась Маня.

— Это неважно! — торопилась я. — Мальчик, а давай мы тебе передадим подарок для твоего папы?

— Давайте, — обрадовался мальчик.

— Только ты ему не говори, что подарок тебе две девочки передали, ладно?

— Ладно!

— Точно не скажешь?

— Точно. Давайте подарок!

Маня протянула руку поверх забора и вручила Ардену драгоценный сверток. Тот взял его: «Ого, тяжеленький», — выговорил и побежал к дому.

— Папаааааааааа! — заорал он что есть мочи. — Тут две девочки тебе подарок передалиииииии!!!

— Какие девочки, что это у тебя в руках, Артемка? — раздался голос Олега.

— Бежим, — выпучилась Манька и рывком стартовала с места. Дорогу до нашего дома мы преодолели за считанные секунды, и, оказись каким-то чудом на финишной прямой рефери с секундомером, он бы зафиксировал новый мировой рекорд по бегу на короткие дистанции!

— Артем! — с трудом отдышалась я, заскочив одним прыжком на веранду нашего дома. — Его зовут Артем!

— Предатель он, а не Артем, — хваталась за бок Маня, — теперь Олег догадался, что это мы ему подарок передали!

— Ну так это же хорошо! — осенило меня. — Он ведь должен знать, кто так здорово умеет заворачивать толму.

— Ты думаешь? — Маня посмотрела на меня с благодарностью. — Нарка, ты прямо ГЕНИЙ, как я сама раньше не догадалась!

После обеда мы вышли прогуляться. Позавчерашний обильный и теплый дождь не прошел даром, и склоны нашего холма покрыл ковер из огромных алых высокогорных маков. Мы нарвали большой букет и с чувством исполненного долга вручили его маме.

— Ах, какая прелесть, — всплеснула она руками, — какая красота!

Мама была в длинном светлом сарафане, по плечам ее рассыпались пышные русые локоны, она держала в руках большой букет алых маков и улыбалась нам.

Мы невольно залюбовались ею.

— Тетьнадь, — выдохнула Маня, — я ведь, когда вырасту, буду на вас похожа, да?

— Ты будешь лучше, — мама погладила ее по щечке, — ты будешь настоящей красавицей!

— Да? — Маня вспотела от радости.

— Конечно! — засмеялась мама и пошла ставить цветы в вазу.

— А он-то знает, что я буду красавицей? — задумчиво протянула моя подруга.

Я пожала плечами. Откуда мне было знать, о чем думает Олег!

— Пойдем, что ли? — предложила я. — Посмотрим, что там у них во дворе происходит.

— Пойдем, — Маня благодарно глянула на меня. — Хорошо, что ты сама это сказала, а то мне уже неудобно было предлагать.

— Почему было неудобно? — удивилась я.

— Потому что я гордая, — вздохнула Маня.

Уже в трехстах метрах от Тетисветыного дома мы заметили красный флажок, торчащий из щели между досками забора. Топтались какое-то время на расстоянии, потом подошли взглянуть поближе. Это был совершенно обычный первомайский флажок на тоненьком деревянном древке. Мы в задумчивости постояли какое-то время над ним, потом ткнули пальцем. Флажок выпал наружу, и мы увидели завернутую в тугой рулончик бумажку, прикрепленную к его древку. Конечно же, первым делом подрались за право прочесть записку. Победила Маня, которая с душераздирающим криком: «Я его первая полюбила!» — вырвала у меня флажок. Она с замиранием сердца развернула бумажку.

«Зита и Гита! — гласила записка крупным размашистым почерком. — Подойдите к калитке и заберите то, что лежит под большим камнем слева. И не безобразничайте, все равно никто этого не оценит, потому что все ушли жарить шашлыки на природе».

Мы подошли к калитке, быстро вычислили камень и поддели его древком флажка — в стане врага нужно быть очень осторожным и не прикасаться к чему попало руками. Под камнем лежал маленький пакетик. Мы с замиранием сердца развернули его. В пакетике оказались четыре конфеты «Мишка на севере»!

— Видишь, какой он хороший, — с трудом вымолвила Маня, набив рот вкуснющим шоколадом.

— Угум! Ему явно понравился твой подарок!

— А давай мы еще чего ему подарим! — загорелась Маня.

— Давай, — обрадовалась я. Если за муляж толмы полагались по две шоколадные конфеты на одну девочку, то при продуманном подходе к делу нам могли отсыпать целый мешок шоколадных конфет!

И мы стали прикидывать, чем еще можно удивить Олега.

За короткий промежуток времени мы приволокли к заветному камню букет маков, десяток червивых желудей, горсть малины, большую, насквозь просохшую коровью лепешку, дырявое пластмассовое пятилитровое ведро, пустую пачку из-под вонючих сигарет «Арин-Берд». После недолгих раздумий к живописной куче подарков мы присовокупили какую-то ржавую железяку, назначение которой так и не смогли установить, дырявый резиновый мяч, большой полукруг чаги, выдранный с мясом со ствола бука, килограмм разнокалиберных камушков и целое семейство ядреных, вытянувшихся на радостях от дождя в полный рост мухоморов.

Возвращались мы домой в твердой уверенности, что при виде таких щедрых даров сердце Олега дрогнет, и участь Аси будет горькой!

Так закончился второй день любовного настроения моей Манюни.

Впереди был самый трудный и местами действительно печальный, последний день.

### **ГЛАВА 10 Манюня влюбилась, день последний, или Здравствуй, грусть**

Третий день любовного настроения Манюни ознаменовался грандиозным выговором с самого раннего утра. Выговаривали, естественно, мне с Манюней.

— Девочки, я вас совсем не узнаю, — кипятилась мама, — как вы могли натаскать такое количество мусора к калитке тети Светы?! Людям больше нечем заниматься, как за вами мусор разгрести? А главное — зачем вы это вообще сделали?

— Это не мы, — соврала я.

— Надо бы тебе суровой ниткой рот зашить, чтобы ты больше не лгала, Наринэ! Соседи видели, как вы чуть ли не весь мусор с окрестных свалок волокли к Тетисветыному забору! Вы мне хотя бы можете объяснить причину своего неадекватного поведения?

— Это не неадык... неадвыкват... что вы за слово сказали, Тетьнадь? — Манька мяла в руках свою панаму и виновато заглядывала маме в глаза.

— Неадекватное, то есть странное поведение. А как по-другому я могу назвать то, что вы сделали?

— Это не странное поведение, это я все придумала, — Манечка шагнула вперед и заслонила меня плечом. — Это я во всем виновата, Тетьнадь, вы меня ругайте, а не Нарку.

Мама действительно очень сердилась. Но когда Манечка заслонила собой меня — она не сдержалась и улыбнулась. Мы мигом заискивающе заулыбались ей в ответ. Мама спохватилась и вновь нахмурилась. Мы виновато сгорбились.

— Понимаете, Тетьнадь, — Манька нахлобучила на голову свою кособоковую панаму и сильно потянула за поля — панамы надвинулась на самые брови, подмяв под себя ушки, — я же вам говорила, что мне понравился Олег. Вот я и подумала, что пара-другая простеньких подарков может заставить его влюбиться в меня.

Мама всплеснула руками.

— Мария, ты хоть понимаешь, что говоришь? Он взрослый человек, ему уже двадцать восемь лет, у него жена и пятилетний сын...

— Арден, — вставила я.

— Кто?

— Ну, он называет себя Арденом. Не умеет правильно свое имя выговорить.

— Да хоть тазик! — рассердилась мама. — Только разве речь об этом? Речь о том, что нельзя влюбляться в чужих мужей, это раз. И два — вы маленькие девочки, а маленьким девочкам в вашем возрасте положено читать книжки и играть в куклы, а не забивать голову всякой ерундой да хулиганить!

Манечка обиженно засопела.

— Да мы уже все книжки перечитали, которые привезли с собой, а в куклы пусть Сонечка играет, мы уже не маленькие, нам по одиннадцать лет. Это раз. А два — Тетьнадь, ну ведь эта Ася — такая выыыыыдра, неужели вы этого не видите?!

— Мария, обзывать нехорошо, и тебе об этом не раз говорила Ба. — При упоминании Ба мы обе стали ниже ростом, зато мама гордо расправила крылья — ее слова получили дополнительную весомость. — Это раз. И два: коль уж ты такая большая девочка и не хочешь играть в куклы, тогда ответь мне, пожалуйста, на такой вопрос: если бы влюбленный мальчик подарил тебе дырявое ведро, что бы ты сделала?

— Я бы надела ведро ему на голову!

— А с чего ты тогда взяла, что ваши «подарки» могли понравиться Олегу? А по моим сведениям, в этой куче мусора дырявое ведро было самым безобидным экземпляром!

Мы пристыженно молчали.

— Любимому человеку нужно дарить самое дорогое, что у тебя есть, понимаешь? — продолжала поучать мама. — Что это за любовь такая, когда ты объекту своего вздыхания преподносишь сухую коровью лепешку!

— Но она была очень большая и плоская, — хором стали оправдываться мы, — и вся насквозь кишела жучками. Такие коровьи лепешки он вряд ли мог видеть в Москве!

— Ну да, конечно, — хмыкнула мама, — он ее заберет с собой в столицу и будет всем встречным-поперечным хвастаться: посмотрите, какими большими лепешками какают армянские коровы! Все, девочки, разговор окончен, вы сегодня под домашним арестом, марш в детскую! У вас до завтрашнего утра будет достаточно времени, чтобы обдумать свое безобразное поведение.

Мы безропотно поплелись в спальню. По собственному опыту знали — спорить с мамой себе дороже, и, если упрямитесь, можно больно-пребольно получить по попе.

— Угораздило тебя влюбиться в этого Олега, — сокрушалась я, — теперь придется из-за него проторчать взаперти до завтрашнего утра.

— Сердцу не прикажешь, — тяжело вздохнула Маня, — так папа говорит, когда ругается с Ба из-за мамы. Я все думала, что он имеет в виду, а теперь поняла. Влюбиться можно хоть в кого угодно, потому что сердце само выбирает, кого любить. Идешь ты куда-то, в булочную например, а дорогу медленно переползает червяк. Тебе так и хочется на него наступить, а сердце rrrrrраз — и влюбляется. И все, до свидания, спокойная жизнь!

Мне стало страшно. Мало ли в кого вздумает влюбиться мое сумасбродное сердце? А если и впрямь в какое-нибудь животное? Вон у старьевщика дяди Славика есть осел, орет круглые сутки. Соседи ругаются, что он им спать не дает, а дяде Славикау жалко от него избавляться. «Это потому он орет, что тоскливо ему от старости», — оправдывается он перед соседями. А мало ли зачем этому ослу тоскливо? Может, ему любви не хватает, может, он меня дожидается? Пойду я мимо дома старьевщика, а мое жалостливое сердце увидит осла и сразу влюбится. И что тогда делать? Выходить за него замуж, что ли?

Я решительно помотала головой, чтобы отогнать тревожные мысли. Манечка, пригорюнившись, стояла у стола и перекладывала книги из одной стопки в другую.

— Понимаешь, я бы хотела, чтобы он жил с нами. Дружил с папой, научил его правильно стоять на голове. Он бы спал в дальней комнате, а я по вечерам играла бы ему на скрипке.

— А Ба? — испугалась я.

Маня посуровела лицом.

— Дааааа, с Ба договориться не получится. Она Олега мигом выставит за дверь, — Манюня чуть помолчала, а потом добавила мечтательно: — Вот если бы у него была шапка-невидимка!!!

Перед моим внутренним взором развернулась дивная картина: дядя Миша стоит на голове, Маня играет на скрипке, Олег сидит в шапке-невидимке, а за его спиной стоит Ба и целится в него из папиного охотничьего ружья. Я прыснула.

— Нет, боюсь, при Ба все волшебные предметы будут терять свои свойства!

Манька покатила со смеху.

— Это даааа, — простонала она сквозь смех, — у Ба даже волшебные предметы не забалуют.

Потом мы какое-то время развлекались тем, что выглядывали в окно. С улицы доносились радостные голоса играющей в прятки детворы.

— Акали-бакали-чаварда-какали, — выкрикивала грузинскую считалочку моя сестра Каринка. Потом водящий стал громко считать, и мимо окна пулей пролетел маленький Артемка — он уже подружился со всеми детьми и с удовольствием носился с ними по всему дачному поселку. Мы проводили его долгим тоскливым взглядом — очень сложно сидеть дома взаперти, когда на улице светит солнышко и раздаются радостные голоса детворы!

— Придумала! Я знаю, что надо делать! — Подпрыгнула вдруг Маня. — Твоя мама сказала, что дарить нужно самое дорогое, что у человека есть, правильно? А самое дорогое, что у меня есть, — это мой амулет, — Маня хлопнула себя по груди, — вот его я Олегу и подарю.

— Ты с ума сошла? — испугалась я. — Ты хоть соображаешь, что Ба с тобой сделает, если узнает, что ты отдала свой амулет кому-то другому?

Я не зря беспокоилась. Амулет был единственной памятью Ба о ее родителях. Он представлял собой кулон в виде маленькой червонной ладошки с небольшим топазовым глазом по центру. Ба рассказывала, что он называется хамса. И что, когда родилась Манюня, Ба сняла цепочку с ладошкой со своей шеи и повесила в изголовье Маниной кровати. А когда моя подруга подросла, она стала носить амулет на шее. Он был старинным и очень дорогим. «В восемь папиных зарплат», — грозно предупредила Ба. Мне даже представить было страшно, что сделает она с Манюней, если та подарит амулет чужому человеку.

— Ты совсем спятила, — пыталась я воззвать к совести своей подруги. — Ты вообще подумай своей головой, что творишь!

— Ничего я не буду думать, — затопала Маня ногами. — Подарю, и все. Я так решила!

Она сняла с шеи цепочку с кулоном, распахнула окно и полезла на подоконник.

— Мань, если мама обнаружит, что ты ее ослушалась, — она прибьет и тебя, и меня.

— Да я быстро! Бегом туда и обратно, управлюсь за несколько минут. Она и не заметит. А ты пока шуми в комнате, чтобы Тетьнадя подумала, что мы здесь играем.

— Нет уж, одну я тебя не отпущу! — Я полезла следом за Манечкой — не оставлять же невменяемую из-за большой любви подругу один на один с ее бедой!

Мы легко спрыгнули с подоконника и прислушались — кругом царил тишина. Детвора умчалась в другой конец улицы — отсюда раздавался дружный хохот, прерываемый грозным улюлюканьем Артемки: «Я вождь, вы все должны меня бояяаяаяаться!!!»

Дорога была свободна. Мы прокрались вдоль забора и юркнули в калитку.



— Одна нога там — другая тут, — скомандовала я. Добежали до Тетисветыного дома мы в считанные минуты. Шумно ворвались во двор — не до конспирации было. И сразу же наткнулись на Олега и Асю — они стояли возле веранды и о чем-то оживленно разговаривали.

При виде нас Ася поморщилась, словно у нее резко разболелся зуб. Зато Олег расплылся в широкой улыбке.

— Бааарышни, здравствуйте, — шагнул он нам навстречу.

— Здрасьте, — шмыгнула носом Маня, — мы тут по делу, то есть я. У нас совсем мало времени.

Она шагнула к Олегу и протянула ему амулет:

— Вот, — шепнула, — это вам, самое дорогое, что у меня есть.

И улыбнулась.

Вы можете мне не поверить, но в тот миг Манюня была самой красивой девочкой на свете. Она стояла с гордо выпрямленной спинкой и казалась уже совсем большой, и только легкая дрожь в сложенных лодочкой ладошках выдавала ее волнение.

Олег растерялся.

— Зачем ты это делаешь, девочка? — только и смог выговорить он.

И тут случилось непредвиденное — Ася наклонилась, якобы чтоб присмотреться к амулету, и неожиданно шлепнула Маню по ладошкам. Манечка испуганно дернула руками, и амулет улетел куда-то в кусты.

— Ася, что ты делаешь? — Олег схватил жену за локоть.

И тогда мы услышали слово, которое обожгло нас до самого до нашего сердца и вывернуло наизнанку наши души. Мы были совершенно не готовы к этому, мы и думать не могли, что ТАК могут назвать Манюню.

— Малолетняя потаскушка! — зло выплюнула Ася.

А дальше случилось ужасное.

Маню вывернуло. Посреди Тетисветыного двора, прямо возле кустов смородины.

Была у Манечки особенность, о которой знал только очень узкий круг близких, — в минуты крайнего напряжения Маню выворачивало наизнанку. Резко, до последней капли содержимого желудка. Притом случалось это тогда, когда Маню кто-то незаслуженно оскорблял или унижал. Мой папа говорил, что Манюня настоящая белая акула — учуяв в себе чужеродный крючок, моментально выплевывает все свои внутренности — предпочитает умереть, чем проглотить обиду.

Меня словно контузило. В ушах стоял пронзительный звон, и ничего, кроме этого звона, я не слышала. Я видела, как Маню выворачивало, как она, чтобы не упасть, согнулась пополам и уперлась руками в колени, как ходило ходуном ее тело. Помню, что сняла с головы свою панаму и протерла ею Манины губы. Помню, как Маня доверчиво подставила мне свое личико.

Помню, как Олег что-то сказал Асе, она в ответ шевелила побледневшими губами, но, как я ни силилась, ничего не могла разобрать из того, что она говорила. Он взял ее за плечи, а она резко вырвалась и пошла мимо Мани к забору. И почему-то, когда поравнялась с ней, резко подняла руку, то ли поугагать ее хотела, то ли ударить. И Маня вцепилась в эту руку и повисла на ней всем своим телом. А потом несколько раз лягнула Асю по ноге.

— Зеленый, — сказала я, насчитав четыре удара — я часто путала цвета и цифры, и четверка соответствовала зеленому. И когда я произнесла вслух слово «зеленый», звон в ушах стал нестерпимо болезненным и внезапно оборвался на самой высокой ноте. И в тот же миг ко мне вернулись шорохи и звуки.

Я кинулась на ватных ногах к Мане, но Олег опередил меня. Он подхватил ее на руки и оттащил в сторону. «Иди в дом!» — крикнул жене. «Пошел в жопу», — бесстрастно ответила Ася и вышла со двора.

Олег отпустил Маню и побежал за женой.

Манечка проводила его пустым взглядом, подошла ко мне, взяла за руку.

— Пойдем, — сказала.

— Амулет, — напомнила я.

Мы быстро нашли ладошку — она лежала в траве и переливалась под солнцем голубым топазовым зрачком. Манечка бережно подняла цепочку и надела себе на шею.

И мы пошли со двора. Не оборачиваясь.

Маленьким девочкам иногда бывает очень больно на душе. Эта боль не идет ни в какое сравнение с болью физической. Эту боль не сопоставить ни с подзатыльником от дяди Миши, ни со шлепком по попе от мамы, ни с грозным окриком моего отца, ни с разрушительным наказанием разъяренной Ба. Эту внезапную боль, словно темную страшную жижу, нужно нести в себе тихо-тихо и под ноги обязательно смотреть, чтобы не оступиться. Потому что откуда-то ты знаешь — боль эту расплескивать нельзя. И ты бредешь слепым котеночком сквозь темноту, потом останавливаешься, прислушаешься к себе — болит? Болит, отзывается душа. И ты тихонечко идешь дальше.

Вот так мы и вернулись домой и ткнулись в колени маме.

И рассказали ей навзрыд все — как убежали в окно, как Маня решила подарить Олегу самое дорогое, что у нее есть, как потом ее выворачивало под смородиновым кустом и как я сказала громко: «Зеленый», — и звуки вернулись ко мне так же внезапно, как ушли.

А мама сначала молча нас выслушала, потом повела умываться, а потом достала с полки единственную баночку со сгущенным молоком, которую она берегла как зеницу ока для слоеного торта «Наполеон», открыла ее и выдала нам по большой столовой ложке. «Ешьте», — сказала. «Все?» — удивились мы. «Все!» — сказала мама. Но мы съели каждый по ложке и отодвинули баночку. «Так нечестно», — сказали.

А потом пришли тетя Света с Артемкой, принесли большую миску сладкой прозрачной смородины. И мы пили чай с яблочным пирогом и долго смеялись, потому что оказалось, что Артемка не умеет есть сидя — он ходил все время вокруг стола с ложкой во рту. «В меня так больше влезает», — приговаривал.

А поздно вечером они уехали, хотя планировали остаться до конца недели. И папа весь следующий день подтрунивал над Манькой и называл ее то Шамаханской царицей, то маленьким агрессором, потому что папа всю жизнь такой — он считает, что любая обида лечится только смехом.

И Манюнька громко хохотала и благодарно заглядывала ему в глаза.

Вот, пожалуй, и вся история про Манину самую большую детскую любовь.

И давайте больше не будем о грустном, ладно?

## ГЛАВА 11 Манюня разочаровывается в любви, или Одинокая песнь электрика

Вы только не подумайте, будто Олег был единственной Маниной детской любовью!



Потому что за долгие одиннадцать лет своей жизни Манюня влюблялась пять раз.

Первой Маниной любовью стал мальчик, который перевелся в их группу из другого садика. Мальчика звали Гариком, у него были круглые желтые глаза и рыжие кудри. Ритуальный полуденный сон Гарик упорно игнорировал. Он тихонечко лежал в своей кровати, выдергивал из пододеяльника нитки и долго, вдумчиво их жевал.

«Какой глупенький», — решила Манька и тотчас в него влюбилась. В знак своей любви она выдернула нитку из пододеяльника, скатала ее в комочек и принялась жевать. Нитка на вкус оказалась совсем пресной. «Фу», — поморщилась Манька.

— Она же совсем невкусная! — шепнула она Гарикю.

— А мне вкусно, — ответил Гарик и выдернул новую нитку.

«Я его отучу от этой плохой привычки», — решила Манька.

К сожалению, Гарик через неделю вернулся в свой прежний садик, потому что новый ему категорически не понравился. А может, в старом нитки были вкуснее. Маня погоревала-погоревала, но потом ей это надоело, и она решила найти себе другой предмет для вздыханий. Она перебрала в уме все возможные кандидатуры и остановила свой выбор на воспитательнице Эльвире Сергеевне. Почему-то.

У Эльвиры Сергеевны была длинная пушистая коса и родинка на изгибе локтя.

— Хочу себе такую же, — потребовала Манька.

— Через десять лет у тебя на руке появится точно такая родинка, — пообещала Эльвира Сергеевна. «Теперь я буду любить ее вечно», — решила Манюня и принялась выказывать Эльвире Сергеевне знаки внимания, как-то: ходила за ней хвостиком и периодически, как заправский рыцарь, преподносила своей даме сердца золотые украшения, которые тайком таскала из шкатулки Ба. Эльвира Сергеевна честно возвращала все украшения и просила не наказывать Маньку.

В первый раз Ба великодушно простила внучку. Во второй раз она пригрозила оставить ее навсегда и на веки вечные без конфет. В третий раз терпение Ба лопнуло, и она таки наказала Маню — оглушила подзатыльником и поставила в угол. Пока Манюня, уткнувшись лицом в стену, восстанавливала рефлексы, Ба немилосердно шинковала капусту и рассказывала истории про детей, которые родились честными, но потом стали воришками.

— И за это государство посадило детей в темную и холодную тюрьму, — заключила она.

— Их хотя бы кормили там? — обернулась к ней Манюня.

— Манной кашей, с утра и до вечера каждый день! — рявкнула Ба.

— Буэ, — поежилась моя подруга.

Потом Манька пошла в первый класс и влюбилась в мальчика из параллельного «Г». Звали мальчика Араратом, и отчаянно грассирующая Манька из кожи вон лезла, чтобы правильно произнести его имя. Впрочем, тщетно. Два «р» подряд были непосильной для Манюни задачей — она начинала булькать и тормозить уже на первом слоге. Правда, сдаваться не собиралась.

— Агхагхат, — приперла как-то к стенке своего возлюбленного Манюня, — а как тебя по отчеству зовут?

— Размикович, — побледнел Арарат.

— Издеваешься надо мной, что ли? — рассердилась Манька и ударила его по голове портфелем.

Так как за последние два дня это был третий удар портфелем по Араратовой голове, то учительнице ничего не оставалось, как вызвать в школу Ба.

Ба молча выслушала все претензии, вернулась домой, выкрутила Маньке ухо до победного хруста и повела к Арарату — извиняться. Не выпуская Манькиного уха из руки. Такого унижения Манюня Арарату не простила и мигом его разлюбила.

«Никогда больше не стану влюбляться в мальчиков!» — твердо решила она. Мужская половина начальных классов Бердской средней школы № 3 вздохнула с облегчением.

Когда Маня училась в третьем классе, по телевизору показали фильм «Приключения Электроника». И моя подруга не придумала ничего лучше, чем влюбиться в Николая Караченцова, который играл гангстера Урри.

— У него такая красивая щель между передними зубами, — закатывала глаза Манюня. Караченцов был практически недосыгаем для Маниного портфеля, так что Ба особенно не возражала против ее нового увлечения. Манька вырезала из журнала «Советский экран» портреты Караченцова и обвешивала ими стены своей комнаты. Ба ворчала, но терпела, потому что лучше портрет Караченцова в спальне, чем покалеченный одноклассник в школе.

Любовь сошла на нет внезапно — Караченцов, без всяких на то причин, приснился Мане в ночном кошмаре. Он преследовал ее по пятам, скалился и трясся в таком леденящем душу хохоте, что Маня от испуга описалась в постели. В свои десять, практически предпенсионных, лет!

Естественно, она не смогла простить Караченцову такого предательства.

А потом Манюня поехала с нами на дачу и влюбилась в Олега. И чуть не довела его своими ухаживаниями до нервного тика. Ну, эту трагическую историю вы уже знаете. Когда и эта любовь закончилась разочарованием, моя подруга поставила жирный крест на мужчинах.

— Никогда, — поклялась она, — никогда я больше не полюблю мужчин. Нарка, ты свидетель!

— Ну и правильно, — одобрила решение подруги я, — зачем они вообще тебе дались?

Я знала, что говорила. К тому моменту у меня за плечами была своя личная драма, и я, как никто другой, понимала Маню.

Моей первой и пока единственной любовью стал старший брат моей одноклассницы Дианы. Брата звали Аликом, и он отлично играл в футбол.

— Он в кого-то влюблен? — как бы между прочим поинтересовалась я у Дианы.

— Да вроде нет.

«Будет моим», — решила я. И стала терпеливо ждать, когда Алик в меня влюбится. Ждала аж целых три дня, но ситуация не менялась — Алик с утра до ночи гонял в мяч и не обращал на меня никакого внимания. Тогда я решила взять инициативу в свои руки и сочинила поэму о своей любви к нему. Потом выдрала из маминого блокнота голубенький листок и старательно переписала туда свое творение.

### **ПАЭМА**

Алик, ты можит спросишь

Кто автор этих строк!!!

Но это ананим, и ты о ней не узнаешь

Ни-каг-да!

И ни-че-во!

Кроме тово, что я тебя люблю

И жыть биз тебя нима гу.

Наринэ Абгарян. 2 «А» класс Бердской ср. шк. № 2

Запечатала поэму в конверт и вручила его Диане с просьбой передать Алику. Ответ не заставил себя долго ждать. На следующий день, пряча от меня глаза, Дианка со словами: «Нашла в кого влюбляться!» — вернула мне конверт. Я вытащила помятый голубенький листок. Это оказалась моя записка. На обратной стороне Алик написал очень лаконичную ответную поэму.

### **ДУРА**

Я повертела в руках записку и убрала ее в кармашек школьного фартука. Кое-как досидела до конца уроков, вернулась домой и, не переодеваясь, прямо в школьной форме, со значком октябрёнка на груди, легла умирать.

Умирала я долго, целых двадцать минут, и практически уже была одной ногой на том свете, когда с работы вернулась мама. Она заглянула в спальню и увидела мой хладный полутруп.

— А что это ты в одежде легла в постель? — спросила она и пощупала мой лоб.

— Умирать легла, — буркнула я и, вытащив из кармана записку, отдала ей.

Мама прочла поэму. Закрыла лицо ладонями. И затряслась всем телом.

«Плачет», — удовлетворенно подумала я.

Потом мама отняла от лица ладони, и я увидела, что глаза у нее хоть и мокрые, но веселые.

— Мам, ты чего, смеялась? — обиделась я.

— Ну что ты, — ответила мама, — давай я тебе кое-что расскажу, ладно?

Она села на краешек кровати, взяла меня за руку и стала терпеливо объяснять, что мне пока рано влюбляться, что всё у меня впереди, и таких Аликов у меня в жизни будет еще много.

— Сколько много? — живо поинтересовалась я.

— О-го-го сколько, — ответила мама и поцеловала меня в лоб, — вставай.

— Нет! — Я твердо решила умереть.

— Ладно, как хочешь, — дернула мама плечом, — только я купила бисквит, твой любимый, с арахисом, и козинаки взяла.

— Сколько взяла? — приоткрыла я один глаз.

— Чего?

— Того и другого.

— Три килограмма бисквита и два килограмма козинаков.

— Ладно, — вздохнула я, — пойду поем, а потом вернусь обратно умирать.

Умереть мне в тот день так и не удалось, потому что сначала я ела бисквит, потом мы с Каринкой смотрели «Ну, погоди!», потом подрались, и мама выставила нас на балкон, чтобы мы подумали над своим поведением. Потом мы подрались на балконе, и мама затащила нас в квартиру и развела по разным комнатам, чтобы мы еще раз подумали над своим поведением.

Мы сразу же соскучились друг по другу и до передачи «Спокойной ночи, малыши» перестукивались через стенку и орали друг другу песни в розетку. А после передачи легли спать, и тут мне уже точно было не до умирания, потому что надо было успеть заснуть до того, как сестра начнет храпеть.

На том и закончилась моя первая любовь.

Потом я познакомилась с Манькой и мне стало как-то недосуг влюбляться. Сразу появилось много интересных дел. Мы с утра до ночи бегали по дворам, наедались до отвала алычи, купались в речке, воровали незрелый виноград, штурмом брали кинозалы для просмотра очередного шедевра индийского синемаатографа и доводили до белого

каления Ба. О мальчиках не могло быть и речи, мальчики отошли на второй план и ничего, кроме жалостливого недоумения, у нас не вызывали.

Да и как можно было отвлекаться на любовь, когда жизнь в нашем городке была ключом, и одно удивительное событие сменяло другое?

Взять хотя бы историю, которая приключилась с нашим соседом по лестничной площадке дядей Арамом.

Дядя Арам был учителем черчения, но почему-то работал электриком. И, как водится в кругу уважающих себя электриков, полез в грозу чинить столб высоковольтных линий. За пять минут, в течение которых он находился наверху, в столб два раза ударила молния. Один раз — в его основание. «Молния не бьет два раза в одно место», — вспомнил народную мудрость дядя Арам и невозмутимо продолжил ковыряться в проводах. Но, видимо, в тот злополучный день вожжа попала молнии под хвост, потому что она, тщательно прицелившись, таки попала в дядю Арама. Аккурат в загривок, как потом сказала Ба.

Бедного электрика отшвырнуло чуть ли не в другой конец планеты, но сослуживцы быстро его нашли. Дядя Арам, почерневший от чудовищного заряда электричества, аккуратно лежал на земле, местами дымился и пах пережаренными котлетами.

И что самое удивительное — дышал.

В тот же день из Еревана прилетел вертолет, чтобы срочно перевезти его в лучшую клинику республики.

Дочка дяди Арама, Анжела, в одночасье стала девочкой номер один нашего двора.

— Ну как там папа, Анжелка? — спрашивали мы.

— Дышит, — важно отвечала Анжела.

— А что еще делает?

— Говорят — пахнет шашлыком.

— Ого, — уважительно тарасились мы, — а еще?

— Больше ничего пока не делает. И это, — замялась Анжела, — у него на теле все волосы выгорели — брови, ресницы. Даже на груди ничего не осталось.

— И на ногах?

— И на ногах, — вздохнула Анжела и вдруг расплакалась, — он лежит в отдельной палате, и к нему никого не пускают!

Нам стало жалко Анжелку. Мы обступили ее со всех сторон и стали гладить по волосам. Так как нас было много, а голова у Анжелки была одна, то мы чуть не передрались за право погладить ее.

На следующий день повторялась та же ситуация. Мы снова спрашивали, как дела у дяди Арама, потом Анжела плакала, и мы ее гладили по волосам.

А однажды Анжела вышла на улицу крепко задумчивая, привычно подставила нам свою голову и шепотом сообщила:

— Папа очнулся!

— И чего? — вылупились мы.

— И стал говорить, что он больше не будет электриком работать.

— Это как это? — не поверили мы своим ушам.

— Сказал, что с него достаточно одной молнии. И что он не хочет больше Бога гневить.

— Ааааа, ооооооо, — застонали мы.

Слухи в нашем городе распространялись с какой-то молниеносной скоростью. Не успела Анжелка рассказать нам последние новости о своем отце, как на другом конце

города люди уже уверяли друг друга, что у электрика Арама открылся третий глаз, что он этим глазом исцеляет любую хворь, видит будущее и ведет прямые переговоры с Богом на разные актуальные для мироздания темы.

Когда дядя Арам выписался из клиники и рейсовым автобусом вернулся домой, то встречать его на автовокзал пришла большая толпа.

— Арам, а правда, что молния бьет очень больно? — выкрикивали люди.

Дядя Арам боязливо выглядывал из-за спины водителя «Икаруса» и искал глазами в толпе жену.

— Арам, я здесь, — всхлипнула тоненько Рипсима.

— Пропустите человека к жене! — рявкнул водитель автобуса и ринулся прокладывать грудь дорогу.

— Арам! — причитала Рипсима.

— Рипсима! — жаловался дядя Арам.

Толпа терпеливо ждала, пока дядя Арам обнимет свою жену.

— Ну поцелуй ее, чего стесняешься? — подбадривали люди дядю Арама. — Мужик ты или не мужик?

Когда дядя Арам смущенно клюнул в щеку свою Рипсима, толпа решила, что все церемонии соблюдены, и снова обступила дядю Арама.

— Мне бы домой, — шепнул дядя Арам.

— На нашем глазу,<sup>[4]</sup> — заверили люди, подхватили его под руки и повели домой, не переставая сыпать вопросами. Спрашивали, есть ли на самом деле Бог, и если да, то что делать с партийными билетами, лечит ли теперь Арам педикулез и существует ли разум на других планетах.

Дядя Арам морщился, как от зубной боли, и молчал.

— Я здесь, Арам, — гладила его по руке Рипсима.

Когда поздно ночью толпа, наконец, разошлась по домам, дядя Арам обнял одной рукой свою Рипсима, другой прижал к себе Анжелку и сказал:

— Надо отсюда переезжать.

— Куда? — заплакала Рипсима.

— Поедем во Владикавказ, к твоей сестре. А то я этого не вынесу.

Целый месяц, пока шла подготовка к переезду, в нашем подъезде дежурила очередь из впечатлительных женщин, угрюмых мужчин и словоохотливых старух.

Дядя Арам прятался по родственникам и не ночевал дома.

— Скажите Араму, — обрывали телефоны родственников люди, — тут приехал человек из города Капана. У него жена на третьем месяце беременности. Пусть Арам подскажет, кто родится: мальчик или девочка?

— Не знаю, — мотал головой дядя Арам.

— Он говорит, что с пятидесятипроцентной уверенностью будет мальчик, — передавали в трубку родственники.

— Мальчик родится! — раздавался на том конце провода вопль радости. — Спасибо, Арам, они его назовут в твою честь!

— Я этого не вынесу, — качал головой дядя Арам.

— Не волнуйся, я с тобой, — шептала ему верная Рипсима.

Анжела ходила по двору насквозь заплаканная.

— Не хочу уезжать, — говорила она.

— Мы тебе будем писать, — гладили мы ее по голове.

Потом они переехали. В день отъезда дядя Арам пробился через толпу провожающих к нам домой, пожал папе руку.

— Юра, отправь летом Надю в санаторий, она скоро будет желудком маяться, — сказал он папе на прощание, — и не переживай, будет у тебя сын. На твоё сорокалетие.

— Да ну тебя, — махнул рукой отец, — о сыне я уже не мечтаю.

— Ну-ну, — улыбнулся дядя Арам, — а Надю обязательно отправляй на лечение, ладно?

— Ладно, — обещал папа.

— И, это, я тебя умоляю, не называй сына в мою честь! — засмеялся напоследок дядя Арам.

## ГЛАВА 12 Манюня едет на концерт, или Как можно заставить гневаться Бетховена

— Белый верх, темный низ, форма парадная! — Метался по коридорам музыкальной школы обезумевший от волнения хормейстер Серго Михайлович. — Девочкам обязательно повязать пышные белые банты, колготки тоже белые. Туфли черные!

Волнение Серго Михайловича легко объяснялось — завтра должно было состояться выступление учеников музыкальной школы города Берда в доме культуры села Мовсес. Выступление было приурочено к торжественной дате — пятидесятилетию формирования колхоза «Заветы Ильича», самого передового в нашем районе. Публика предполагалась соответствующая — исключительно труженики серпа и молотилки, а также члены их семей.

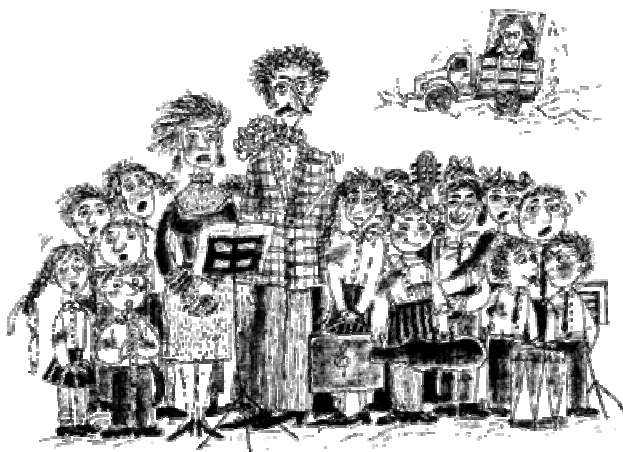
— Приедет делегация из соседнего Красносельского района, — Серго Михайлович заикался от волнения — Красносельский район Армении, издавна населенный ссыльными молоканами, славился на всю республику рекордными урожаями свеклы и кормовой репы. — А также предполагается присутствие ответственных товарищей из Еревана и Тбилиси и... — Серго Михайлович перешел на благоговейный шепот и махнул рукой куда-то в сторону иранской границы, — ...Ставропольского края РСФСР!

Если бы Серго Михайловичу сообщили, что послушать выступление учеников нашей школы прилетают жители далекой галактики Альфа Центавра, то волнения, поверьте, было бы меньше. Одно дело представители инопланетных, чуждых нашей партии и правительству идеологий, другое дело — пятидесятилетие самого передового на весь район колхоза «Заветы Ильича»!

— Завтра с утра никто не пойдет в школу, мы обзвоним ваших директоров и представим им список учеников, которые по уважительной причине будут отсутствовать на занятиях! — Наш дружный радостный рев заглушил на минуту голос Серго Михайловича, но хормейстер был стреляным воробьем — одним взмахом невидимой

дирижерской палочки он заставил крик захлебнуться в наших глотках. — С девяти утра и до часу дня мы репетируем в школе, потом все расходятся пообедать и переодеться! В три часа собираемся возле входа, там нас будет ждать автобус. Начало праздничного концерта — ровно в шесть! Опаздывать нельзя!

Еще бы опаздывать нельзя! На восемь часов вечера, в честь прибытия высоких гостей из соседних районов и республик, намечался торжественный банкет, который





по доисторической, неукоснительно и по пунктам выполняемой кавказской традиции предполагал убийственное чревоугодие, сдобренное огромными количествами доморощенного алкоголя. Банкет потом плавно перетекал в завтрак, и очумевшие гости внезапно обнаруживали себя за поеданием порции горячего, пахнущего ядреным чесноком хаша со стопочкой холодной, звенящей на воздухе домашней араки. Далее бездыханные тела гостей загружали в автобусы или служебные автомобили и раскидывали по пунктам назначения.

На следующий день, ровно в пятнадцать ноль-ноль, мы с Маней, простирнутые и отутюженные до крахмального скрипа, вошли во двор нашей музыкальной школы.

Первое, что бросилось нам в глаза, был заляпанный по самые брови грузовик «ГАЗ-63» в деревометаллическом и чуть ли не нэповском исполнении. Он раскорячился напротив входа в школу и всем своим видом гордо свидетельствовал о самом непосредственном своем участии в защите Киевской Руси от печенежских набегов.

Рядом с грузовиком волновалась стайка наших ребят в одинаковых белых сорочках и темных брюках. Чуть поодаль трепетали девочки с белыми пышными бантами в волосах.

У капота грузовика, при полном параде, в бархатном пиджаке и кружевном жабо, безутешно рыдал хормейстер Серго Михайлович. По левую руку от него клокотала в праведном гневном аккомпаниатор Инесса Павловна. Нам с Маней сразу стало ясно — происходит что-то из ряда вон выходящее.

Рядом с грузовиком виновато переминался с ноги на ногу кургузый худющий мужичок и периодически встревал во вселенский плач Серго Михайловича:

— А я-то при чем, мне сказали — загрузить и довезти до пункта назначения, я и приехал... Ты пойми, автобус сломался, чинить его будут, скорее всего, целую вечность, другого свободного автобуса нет... Я шофер опытный, кого только не перевозил — и племенных бычков, и беременных коров, и свиней, а однажды мне доверили чистокровного коня ахалтекинской породы, ты хоть знаешь, сколько они стоят?

Серго Михайлович оторвался от капота и смерил водителя уничтожающим взглядом.

— Объясните мне, при чем здесь племенные бычки или беременные коровы?! — крикнул он. — Это дети, вы понимаете? Де-ти!!! Как я могу позволить перевозить их на таком... — хормейстер запнулся, — драндулете?

— Зачем обзываешься? — заволновался бывший перевозчик чистокровного коня ахалтекинской породы. — Это же ласточка, а не машина. Ее как списали за физический износ с военного полигона — так она и служит нам верой и правдой двадцать лет. Ни разу не подвела!

— Вас как зовут? — В голосе Серго Михайловича зазвучала такая надежда, словно, назови сейчас водитель грузовика свое имя, и чудо-агрегат из тыквы превратится в изящную карету.

— Анушаван меня зовут, — галантно представился мужичок, — можно Анушаван Наполеонович!

— Как-как? — У Серго Михайловича задергалось веко. — Как, вы говорите, вас зовут?

Водитель грузовичка нервно покосился на глаз Серго Михайловича, потом спешно отвел взгляд в сторону кружевного жабо.

— Наполеонович я, — пробубнил он, — можешь меня просто Анушаваном звать. Главное — ты не сомневайся, я шофер опытный, доведу вас с песней!

— С какой песней?! — Серго Михайлович в поисках поддержки повернулся дергающимся веком к Инессе Павловне. — Это будет не песня, это будет реквием! Там все заляпано по самую крышу! И как я могу позволить, чтобы на таком грузовике перевозили этих музыкальных детей? — Перст Серго Михайловича вперился в нас — мы в знак солидарности мигом слились в единый, празднично одетый многоглазый

организм. — Две скрипки! — выкрикивал Серго Михайлович свои аргументы. — Альт, два канона, гитара! Два доола, один дудук! Две флейты! Пюпитры! Нотные книги! Тридцать восемь детей из интеллигентных семей!

Инесса Павловна заламывала свои прекрасные тонкие руки в многочисленных серебряных браслетах — нет, не затем она выросла в кружевном тбилиском Авлабаре, чтобы развезать на грузовике для перевозки скота.

— Серго Михайлович, — высунулась из окна секретарша музыкальной школы, — я дозвонилась, мне сказали, что ни одной свободной машины нет, придется ехать на грузовике. Если вы прямо сейчас не двинетесь, то к шести часам точно не успеете.

Выхода не было. Мы сложили в кузов музыкальные инструменты в футлярах, нотные книги, пюпитры. Пол там и сям был завален засохшей травой и листьями от кукурузных початков, лохмотьями мешковины, плохо прочищенными следами коровьих лепешек и другим полезным в сельском хозяйстве добром. Борта кузова ходили ходуном и всячески топорщились шляпками больших гвоздей — видно было, что не одно поколение неунывающих водителей пыталось собственноручно привести в порядок полусгнившее деревянное нутро машины.

— Ребята, крепко держимся за борт грузовика, но не облакачиваемся, одежда белая, испачкаете! — выкрикивал хормейстер, подсаживая каждого ребенка в кузов. Сам залез последним и проследил, чтобы Анушаван Наполеонович тщательно закрепил задний борт грузовика.

Инессе Павловне галантно уступили место рядом с водителем.

— Вуй ме, — покрылась мурашками Инесса Павловна при виде внутренностей кабинки, когда водитель услужливо распахнул перед ней дверцу, — вуй ме, это явно не Авлабар!

Анушаван Наполеонович заметно волновался от аппетитных округлостей нашей аккомпаниаторши, нежный перезвон ее многочисленных серебряных браслетов вызывал в нем непознанный доселе эротический угар.

— Домчу как ласточку, — шаркнул он ножкой в раздолбанном башмаке.

Мы в ужасе жались по периметру борта грузовика. Сесть было некуда. В довершение ко всему оказалось, что металлические части кузова проржавели насквозь, а каждый уважающий себя ребенок из замученной дефицитом советской семьи четко помнил — ржавчину с одежды не извести ничем. Если только атомным взрывом. Вместе с одеждой. Поэтому, хоть все и вцепились в борта грузовика, но старались держаться от них на расстоянии вытянутых рук.

— Анушаван Наполеонович! — крикнул Серго Михайлович. — У нас ровно два часа до начала концерта! Нам нужно успеть доехать, привести себя в порядок да подготовиться к выступлению.

— Мамой клянус! — заверил Анушаван Наполеонович.

Он сел в кабину и боковым зрением выхватил аппетитные коленки Инессы Павловны, смущенно выглядывающие из-под узкой обтягивающей юбки. Мужское начало ян ударило Анушавану Наполеоновичу в голову и в остальные части тела. Из далеких уголков подсознания всплыли звуки доисторической охоты, когда влюбленный мужчина ходил с голыми руками на всякую крупногабаритную тварь, дабы преподнести любимой женщине на ужин кусок диетической мамонты или какой другой первобытной курятины.

— Ласточкой домчу! — зарычал Анушаван Наполеонович и завел мотор. Раздался оглушительный взрыв, грузовик, выпукав какое-то количество топливных низкооктановых миазмов, рванул с места.

Трепетный «вуй ме» Инессы Павловны затонул в нашем дружном «аааааааааааа!».

Если по городу машина проехала еще более или менее прилично, и нам лишь приходилось со стыдом отворачиваться от испуганных взглядов прохожих, то на серпантине проселочной дороги она показала все свои таланты. Грузовик трясло так, словно неведомая центробежная сила рвала его на мелкие части. На поворотах его заносило сильно вбок, и вся наша ватага отскакивала теннисным мячиком от одного борта кузова к другому. Никто уже не думал о ржавых пятнах на одежде — главное было не упасть и вовремя увернуться от очередной ветки раскинувшегося прямо над проезжей частью дороги дерева.

— АнушаваАаАаАаАаАаАн! — заклацал зубами Серго Михайлович — праздничное ширококалиберное кружевное жабо застилало ему лицо и забивало рот. — АнушаваАаАаАаАаАаАн, осторожнееееее на поворотАаАаАаАаАх!!!

Механическое чудище заскрежетало, встало на короткий миг на дыбы и ринулось рассыпаться на куски с удвоенной силой. Из его недр вырывался вопль: «Мамой клянус», — это Анушаван Наполеонович, решив, что Серго Михайлович подгоняет его, прибавил газу.

Когда грузовик, дребезжа всеми металлическими частями своей израненной души, въехал во двор дома культуры села Мовсес, пред взором встречающих развернулась дивная картина — из кузова, как из рога изобилия, посыпалась кучка больных синдромом Паркинсона чумазых детей во главе с полубезумным мужчиной в кургузом пинжачке и заляпанном кружевном жабо. Из кабинки выпала женщина с застывшей гримасой бесконечного ужаса на лице. От нее исходил дивный аромат парфюмерной симфонии, включающей в себя бодрящие аккорды машинного масла, бензина, провонявших ботинок и папирос «Беломорканал».

— Я же говорил, что домчу с песней! — Водитель грузовика с трудом сдерживал ликование.

— Спасибо, Анушаван Наполеонович, — выплюнул наконец кружевное жабо изо рта Серго Михайлович, — что бы мы без вас делали!

К сожалению, поездка на колхозном грузовике оказалась не единственным сюрпризом, уготованным нам баловницей-судьбой.

Накануне в дом культуры села Мовсес был делегирован штатный настройщик музыкальной школы Эдуард Миронович. По приезде он позвонил Серго Михайловичу и мрачно сообщил, что рояль дома культуры находится в таком состоянии, что его можно прямо сейчас распиливать на небольшой костер.

— Сделай что-нибудь! — клокотал хормейстер в трубку так, что слышно было на всю округу. — Эдуард Миронович, вся надежда на тебя!!!

Эдуард Миронович буркнул, что он не Бог, но постарается что-нибудь придумать, и отключился.

Мы ехали в твердой уверенности, что рояль хотя бы частично настроен.

По приезде оказалось, что председатель колхоза «Заветы Ильича» со словами: «Ты сначала поешь, а уж потом поработай», — и, руководствуясь исключительно доисторическими кавказскими традициями гостеприимства, пригласил Эдуарда Мироновича к себе на обед.

Обед плавно перетек в ужин, и настройщик, потеряв всякий над собой контроль, решил сыграть с судьбой в русскую рулетку и испытать на себе все прелести клинической смерти. Засим он без меры накушался домашней семидесятиградусной нефilterованной тутовой водки. Поэтому он сейчас, хоть и реагировал на внешние раздражители, моргал и даже периодически выдыхал, но двинуться с места был категорически не в состоянии.

Серго Михайлович какое-то время простоял, словно громом пораженный, а потом махнул рукой — у него даже на банальное возмущение не осталось сил, свои эмоции без

остатка он уже выплеснул в кузове грузовика «ГАЗ-63» по всему протяжению тридцатикилометрового маршрута Берд — Мовсес.

Концерт мне запомнился двумя эпизодами.

Эпизод первый

Манюня стоит на сцене и увлеченно терзает скрипку. Я наблюдаю за ней из-за пыльного занавеса. Моя подруга выглядит так, словно ее, не отстирывая, долгое время сушили в автоклаве. Местами ее банты и даже сорочка сохранили еще свою девственную белизну. А в целом она была сильно мятая и заляпанная, и на коленках и щиколотках у нее гармошкой сложились колготки.

Эпизод второй

Помню, как я сижу за ненастроенным роялем и тщетно пытаюсь вытянуть из него звуки, отдаленно напоминающие пьесу Бетховена «К Элизе». Играю по памяти, потому что знаю произведение наизусть, и, разбуди меня в три часа ночи, я без запинки, с закрытыми глазами, продолжу его с любого места.

Неожиданно я спотыкаюсь о какой-то аккорд — и холодею, потому что понимаю, что концовка пьесы вылетела из головы. Наступает звенящая тишина, в зале раздается недоуменное шушуканье, и, чтобы как-то его заглушить, я начинаю наигрывать пьесу с самого начала. «Уж в этот-то раз концовка точно всплывет в памяти», — лихорадочно соображаю я. Но в опасной близости от рокового аккорда я с ужасом понимаю, что часть «К Элизе» забыта напрочь. Времени на раздумья нет, и я, ничтоже сумняшеся, стартую в третий раз!

Из-за кулис до меня долетает сдавленный шепот Инессы Павловны:

— Нариночка, деточка, закругляйся!

Да я бы сама с радостью, только бы знать, как это сделать!!!

Если бы не наш отважный хормейстер, то я, наверное, играла бы, не останавливаясь, до следующего юбилея колхоза «Заветы Ильича». По на восьмом витке, когда Бетховен уже вдоволь нагневался в своей могиле, из-за занавеса выскочил Серго Михайлович, решительным шагом направился ко мне, отодрал мои лапки от клавиатуры и сдал на руки Инессе Павловне. «Вуй ме, — причитала Инесса Павловна, — ребенка окончательно растрясло в кузове!!!»



Есть у меня маленькая надежда, что гости из союзных республик, ошеломленные разрушительным, уходящим корнями в далекое доисторье кавказским гостеприимством, обнаружив себя через какое-то время под капельницами в родных пенатах, ничего, кроме оглушительного застолья, не запомнили. И мое позорное выступление осталось в памяти только у выпускников нашей школы.

Правда, теперь и вы об этом знаете. Только вы ведь никому не проболтаетесь, верно?

### **ГЛАВА 13 Манюня фонтанирует идеями, или Как Ба устроила нам незабываемую премьеру «господибожетымой»**

Ба принципиально не доверяла отечественной легкой промышленности и особенно — ее текстильной отрасли. Ба раздражали монументальные псевдоатласные лифчики,

возвышающиеся над прилавками живописными горными хребтами и навсегда убивающие у подрастающего поколения представление о женской сексуальности, коричневые безобразные хлопчатобумажные чулки, байковые халаты и торчащие колом пальто из зубодробительного драпа. Ба любила пройтись мимо вешалок с растянутыми свитерами и демонстративно возмутиться на весь магазин: «Товарищи, что творится, куда ни глянь — одна говновязка!!!»

Дядя Миша считал, что в Ба погибла великая актриса, и иногда смешно передразнивал ее, когда мы возвращались домой после очередного похода в наш убогий городской универмаг. Но порой Ба выкидывала такие фортели, что даже флегматичный дядя Миша выходил из себя.

— Объясни мне, пожалуйста, — ругался он, — зачем тебе надо было становиться в первую балетную позицию и вещать на весь магазин о том, что на таких чулках должны повеситься члены политбюро? Ты забыла, в какой стране живешь? Из-за твоих выходов приходится жить с постоянно подобранным сфинктером ануса, потому что чуть расслабился — и ты уже не мужик!

Ба упирала руки в боки и хмыкала так, что от резонанса дребезжали стекла в окнах по всему дому.

— Сына, все никак не успокоишься после целебной клизмы с раствором ромашки, которую таки я тебе поставила?

— Роза Иосифовна! — Если дядя Миша называл Ба по имени-отчеству, это означало, что его раздражение достигло верхней точки кипения. — Вот не надо сейчас ля-ля про то, чего не было, особенно при детях!

— Ой-ой! — Ба вытаскивала из кармана огромный мужской носовой платок и демонстративно протирала им лицо. — Сына, можно подумать, не этими руками я подмывала твою каку каждый раз, как ты пачкал свои пеленки! И я таки напомним тебе, что пачкал ты их с такой прытью, словно вся тьма египетская сгустилась в твоих кишках!

Мы с Маней старались в такие минуты испаряться из комнаты. Во-первых, банально срабатывал инстинкт самосохранения, а во-вторых, нас тревожило словосочетание «сфинктер ануса». Мы потом долго гадали, что это такое страшное может быть, из-за чего дядя Миша может в одночасье перестать быть мужчиной.

— Письку ему, что ли, отрежут? — сокрушались мы. — Как же он тогда писать-то будет?

Поход в универмаг оборачивался скандалом не только для дяди Миши. На фирменный скандал от Ба могли напороться все сотрудники универмага, начиная с продавцов и заканчивая директором, если, конечно, он по какой-то нелепой случайности в этот тревожный для его трудового стажа день находился на работе.

Ба требовала к себе особенного отношения. И чтобы добиться этого, разыгрывала в универмаге целый спектакль. Сначала она методично обходила полки с товаром, тыкала пальцем в тот или иной шедевр отечественной легкой промышленности и демонстративно громко хохотала. Параллельно зорким взором она выискивала среди покупателей сочувствующих товарищей. Сочувствующие товарищи, в предвкушении зрелищ, сбивались в благодарную публику и подобострастно трепетали.

Далее Ба заканчивала с маневрами и приступала к военным действиям. Первым делом, заручившись одобрительным гулом преданной публики, она принималась третировать несчастных продавщиц.

— Небось сами из-под полы торгуете болгарскими полотенцами с вышивкой, а на прилавках шаром покати! — насканивала на них она. Продавщицы трепетали, разводили руками и кивали в сторону кабинета товароведа — вон где, мол, скрывается основной источник ваших бед. Ба, получив таким образом добро на дальнейшие действия, устремлялась к кабинету товароведа.

Товаровед тире бухгалтер универмага представлял из себя весьма жалкое зрелище — это был истерзанный и бесконечно несчастный лупоглазый мужичок, жертва сварливой, как Ба, тещи. Поэтому он, ничего не предпринимая, беззвучно вздыхал в ожидании своей горькой участи за огромными завалами папок по бухгалтерской отчетности. Нарастающие децибелы голоса Розы Иосифовны, эти неумолимые всадники Апокалипсиса, давно уже докатились до его кабинета и предрекали неминуемое явление самого Апокалипсиса в обличье Ба.

Когда Ба вторгалась в кабинет, товаровед, истерично дергая кадыком, выползал из своего укрытия. В качестве отступных он тряс перед собой, словно белым флагом, связкой ключей от склада. Ба, еще раз оглушительно хмыкнув для окончательного подавления его воли, пропускала его вперед и конвоировала к заветным, недоступным среднестатистическому советскому гражданину, помещениям.

Через какое-то время она торжественно выплывала к нам и победно несла в руках что-то заграничное, красивое и бесспорно качественное. Следом выползал несчастный товаровед. У товароведа выражение тела было такое, будто он несет за пазухой голодного ядовитого тайпана. Для вашего сведения — сила яда тайпана такова, что одним укусом он может убить сто взрослых людей!!! Если взять во внимание еще и Ба, торжественно шествующую рядом с товароведом, то смело можно утверждать, что двести человек в радиусе одного прыжка были на волоске от долгой и мучительной агонии!

Таким отчаянным методом Ба в эпоху жесточайшего советского дефицита добывала более или менее сносную одежду для всей своей семьи. Иногда, кстати, кое-что перепадало и моим родным. Был случай, когда Ба выдержала бой с самим директором универмага и ушла от него с тремя парами югославских кожаных сапог. Потом в них щеголяли моя мама и папина сестра Зоя, а третья пара улетела в Новороссийск, к дочке приснопамятной Фаи, которая Жмайлик.

Хуже обстояли дела с постельными принадлежностями и бельем. И так как неоднократные хождения по складам укрепили Ба в мысли, что перьев со всех голубоватых членистоногих советских кур хватает только на перины для партийной верхушки, то ничего другого, как самой шить одеяла и матрасы, ей не оставалось.

Для шитья одеял и матрасов закупалась овечья шерсть. Самым легким в этом деле была покупка шерсти. Далее начинались семь кругов ада. Эту кошмарную, невероятно грязную шерсть сначала нужно было очистить от мусора и репейных шишек. Далее ее тщательно промывали в пяти водах. Потом во дворе, на самом солнцепеке, стелились большие клеенки, и на эти клеенки выкладывалась мокрая шерсть. При этом ее в течение дня нужно было обязательно ворошить и переворачивать, чтобы она просохла со всех сторон. Потом шерсть выбивали длинным тонким прутом виноградной лозы. Долго и нудно, до волдырей в руках и радикулита в пояснице. Далее каждый (!) клочок шерсти нужно было распушить в руках, чтобы он стал невесомым и легким, как облачко.

Под одеяло покупалась специальная ткань, из нее шился наперник, его набивали шерстью, простегивали, а потом к одной стороне одеяла пришивался шелковый отрез, чтобы он красиво выглядывал из конвертика пододеяльника.

Адская работа. Поэтому, когда Ба бралась за нее, Маня перебиралась на день-второй к нам, чтобы не попадаться ей под горячую руку. Мама сидела с маленькой Сонечкой и не могла помочь Ба, зато она по мере возможности освобождала ее от других домашних забот. Поэтому в этот тяжелый период дядя Миша обедал и ужинал у нас.

— Спасибо, Надя, — говорил он маме, протягивая тарелку за добавкой, — если бы не ты, она бы давно уже простегала меня и Маню вместе с одеялами вдоль и поперек!

Мама делала бровки домиком, собирала губы в бантик, чтобы не рассмеяться, и предостерегающе кивала в нашу сторону. Дядя Миша отмахивался:

— Дети сами все знают!

В один из таких дней Ба позвонила маме:

— Я уже управилась с большей частью работы, пора набивать наперники шерстью, нужно, чтобы девочки подержали одеяло, пока я буду его простегивать. Отправь ко мне Наринку с Маней. И спасибо тебе, дорогая, за все, ты меня очень выручила.

— Ну что вы, тетя Роза! — Мама зарделась как школьница. — Не за что благодарить. — Девочки, — окликнула она нас, — Ба нужна ваша помощь!

— Хорошо, — мигом отозвались мы.

Кто бы посмел отказать Ба в помощи? Никто! Жить хотелось всем. Поэтому расстояние между нашими домами мы взяли резвым галопом за рекордно короткий срок.

Ба мы застали возле калитки. Она наспех чмокнула нас в щечки.

— Я в магазин за суровой ниткой, — бросила она на ходу, — ведите себя тихо, скоро буду.

Мы помахали для приличия ей вслед рукой и толкнули калитку. И окаменели от восторга. В центре двора на больших клеенках пенились воздушные клоки чистой белой шерсти. За три дня Ба успела ее промыть, просушить, взбить деревянным прутком и распушить облаком.

— Ух ты!!! — выдохнули мы. — Красота-то какааая!

Шерсть была белоснежная и, казалось, искрилась на солнце.

— Ура, — запрыгала Манечка, — кругом лето, а у нас зима, вон посреди двора лежит целая куча снега!

Мы подошли поближе. Потрогали аккуратно шерсть — она приятно поскрипывала в руках и вкусно пахла стиральным порошком.

— А давай разуемся и походим по ней! — У Маньки загорелись глаза.

— Мань, — замялась я, — Ба нас за это по головке не погладит.

— Да ладно тебе, у нас же ноги чистые, мы осторожно! — Манька быстро скинула сандалики и ступила в шерсть. — Ой! — вскрикнула она. — Здорово-то как и немного щекотно.

Я последовала ее примеру. Ходить по шерсти оказалось сплошным удовольствием, она была пушистая и очень мягкая и доставала аж до Маниных коленок, а мне доходила до середины икр.

— Можно ласточкой в самую гущу нырнуть! — крикнула Маня и бросилась вниз головой.

Раздался глухой стук.

— Ой, мамочки, — Манина перекошенная мордочка вынырнула из шерсти, на лбу моментально раздулась шишка. Она потрогала ее. — Ты, это, поаккуратнее тут с нырянием, а то под клеенками голый двор, я вот на что-то твердое напоролась.

— Больно? — Я нагнулась присмотреться к шишке.

— Больно! — вскочила на ноги Манечка. — Только я потом буду расстраиваться, а то сейчас времени у нас в обрез!

Времени действительно было в обрез, поэтому мы спешили порезвиться вдоволь.

Сначала мы развлекались тем, что перекатывались по шерсти туда и обратно. Потом мы стали кидаться ею, словно снежками, друг в друга. Снежки по причине рыхлости отказывалась долетать до цели, поэтому приходилось кидаться друг в друга с разбега. Тормозить мы вовремя не успевали и вылетали на голую землю, увлекая за собой часть шерсти.





Мы вбежали в погреб и захлопнули дверь. Изнутри погреб запирался на большой железный крюк. Мы накиннули его дрожащими руками и всем телом привалились к двери.

— Откройте! — заколотила в дверь Ба.

Мы тихонечко поскуливали, потирая ушибленные места.

— Или вы откроете дверь, или останетесь здесь навсегда! — протрубила Ба.

Мы молчали в тряпочку, сердца наши бились так громко, что слышно было, казалось, на всю округу.

— Замурую заживо! — Трубный глас Ба проник во все щели погреба и скрючил наши души.

Мы не совсем поняла смысл угрозы, но дружно заревели — было ясно, что ничем хорошим это «замурую заживо» не закончится.

— Кому сказано, открывайте, — задергала дверной ручкой Ба, — открывайте, а то хуже будет!

Мы заплакали еще громче.

— Ладно, — выдохнула огнем Ба, — лейте дальше ваши крокодильи слезы, но выйти отсюда вы не выйдете!

Нам было слышно, как она что-то волокла к двери, осыпая нас проклятиями и приговаривая про «мамэс милх». Потом наступила тишина. Стало ясно, что Ба чем-то загородила дверь и ушла.

Погреб был темным и холодным. Единственное маленькое окошко, которое выглядывало на улицу, было зарешечено. Когда глаза привыкли к темноте и мы начали различать предметы, нам стало еще страшнее, потому что казалось, что со всех углов на нас плятятся жуткие чудища.

И мы разревелись уже на законных основаниях.

Сначала мы плакали потому, что нам было больно, холодно и страшно. «Вот, оказывается, что такое „замуровать заживо“», — сквозь рев делились мы друг с другом свежеприобретенными знаниями. Потом нам захотелось в туалет по-маленькому, и мы ревели от обиды, потому что пришлось писать в углу, на беленький песочек, оставшийся после ремонта. При этом страшнее всего было сидеть голой попой на корточках — а вдруг из-за спины вынырнет длинная когтистая лапа и потащит нас в потусторонье? Поэтому, когда я сидела на корточках, Манька держала меня за руку, а когда она села писать, то я вцепилась ей в руку.

Потом мы оплакивали нашу тяжелую судьбу в зарешеченное окошко в надежде на то, что кто-нибудь пройдет мимо и вызволит нас из заточения. И если я дотягивалась ростом до окна, то Манька безнадежно маячила внизу. Чтобы она тоже могла явить миру перекошенное от горя и страха лицо, пришлось притащить кадку с рассолом для сыра. Манюня взобралась на кадку, и мы дружно заголосили в окно.

Потом мы отчаялись дожидаться помощи извне и стали взывать к совести Ба.

— Бааа, — плакали мы, — вытащи нас отсюда, пожалуйста, мы замерзли, и у нас болят от холода ступниииии. Мы уже достаточно замуровались и больше не будееееем!!!

Сначала вопли наши оставались безответными, а потом, спустя миллион веков, за дверью завозились.

— Баааа, это ты? — заголосили мы жалобно.

— Ыхть, — раздалось за дверью, — ыхть! Потом еще раз:

— Ыхть! Ыхть! Ыхть!

Мы испугались еще больше.

— Ааааааа, — заорали мы, — Бааааааааааа, помоги нам!

— Если вы сейчас же не заткнетесь, то я оставлю вас здесь навсегда, — пропыхтела зло Ба. Мы притихли. Ба еще какое-то время возилась за дверью, потом громко сказала «господибожетымой».

— Что? Снова «господибожетымой»! — зашлись мы в истерике. — Баааа, мы ничего такого не делали, только пописали на песочек в углу и всеоооооо, зачем же снова «господибожетымой» говорить?!!!

— Будете орать, вообще не выйдете оттуда, — выдохнула огнем Ба, и мы моментально притихли. — Потерпите чуть-чуть, скоро я вас выпущу.

Потом она куда-то ушла. На этот раз для разнообразия мы решили украсить томительное ожидание дружным иканием — на плач уже не осталось ни сил, ни слез.

Потом пришел сосед дядя Гор. Закаленный многолетним соседством с Ба, он не стал удивляться или задавать глупых вопросов, просто с нечеловеческим кряхтением отволок в сторону ржавый мотор от старого Дядимишиного драндулета, которым Ба, в адреналиновом угаре, загородила дверь в погреб.

— Так ведь и до геморроя недалеко, — бросил он на прощание.

А потом Ба открыла дверь в потреб, и наш Рагнарек возобновился.

Сначала она поволокла нас в ванную, где минут двадцать отогревала наши продрогшие чресла в крутом кипятке. Потом, когда в ванной отчетливо запахло консоме из детятины, она вытащила новую натуральную мочалку (акцентирую ваше внимание на слове «новая», потому что, если кто мылся натуральными мочалками, тот до сих пор недоумевает, почему ООН в своей Конвенции против пыток не наложила вето на мытье детей новыми натуральными мочалками). Итак, НОВОЙ натуральной мочалкой Ба отшлифовала наши тела так, что мы легко могли сойти, учитывая разницу в росте, за деревянную скалку и деревянный же, например, пестик. Притом, чем громче мы выли, тем усерднее Ба нас растирала.

А далее мы на своем опыте доказали, что пирамиды все-таки строили люди, а не инопланетяне. Потому что вдвоем, подгоняемые грозными окриками Ба, сначала помыли всю шерсть в пяти водах, потом сушили ее на солнцепеке, не забывая ворошить и переворачивать, потом мы ее выбивали деревянной палкой, нудно и долго, до волдырей на ладонях и боли в пояснице, а далее каждый клочок шерсти распушили нежным облачком.

И если кто из вас скажет, что Ба все-таки переборщила с «госнодибожетымоем», то я с вами не соглашусь. Ибо кару мы понесли вполне заслуженную, ага.

## ГЛАВА 14 Манюня, или Как с большой для себя пользой съездить в Тбилиси

Дядя Миша, Манин папа, работал на релейном заводе инженером. Главный инженер —



должность, безусловно, почетная. У дяди Миши в анамнезе были красный диплом политехнического института, кандидатская степень и кой-какие научные разработки. За все эти заслуги, а также за пятнадцатилетний непрерывный стаж работы на релейном заводе родина платила ему ежемесячно где-то около ста пятидесяти рублей. На эти деньги дядя Миша

умудрялся не только обеспечивать всю семью, но и позволял себе маленькие мужские радости — если, конечно, эти радости проходили строгий таможенный контроль Ба.

А еще дядя Миша был однолюбом. Редкое для мужчины качество, ставящее жирный крест на его судьбе. Еще со школьной скамьи он любил девочку Галю Ицхакову. И вопреки воле Ба женился на ней. Естественно, свекровь невзлюбила невестку. В бедной Гале все было не так — и происхождение (рабоче-крестьянское), и вероисповедание (пф, выкрест), и вкусы (ты видел булатные зубы ее матери — это же ни в какие ворота не лезет), и образование (медсестра, даже на врача не удосужилась выучиться).

Ради справедливости нужно отметить, что Ба в принципе не могла ужиться с женщиной, которая покушалась на любовь ее сына. Тетя Галя боролась за свое семейное счастье долго и отчаянно, но потерпела фиаско — Ба была мастером изнурительной партизанской войны. Мане было пять лет, когда ее родители развелись. Ба сделала все возможное, чтобы внучка осталась с ней. Я не знаю, на какие ухищрения она пошла, может, пригрозила судье пытками или взяла в заложники всю его семью, но суд принял сторону дяди Миши, и Ба получила Манечку в безвозмездное пожизненное пользование. Тетя Галя потом снова вышла замуж, уехала в другой город и родила своему мужу троих детей. Маня периодически приезжала к ней в гости, и к чести Ба нужно отметить, что та никогда не препятствовала общению Мани с ее мамой.

Ба вообще была достаточно замкнутым человеком и мало кого «допускала к телу».

Моя семья стала редким исключением. Уж не знаю, чем мы ее взяли, может, количеством детей (четыре девочки!) или тем, что мама оказалась землячкой Ба, а может, тем, что папа не раз вытаскивал дядю Мишу из передрыг, в которые тот регулярно попадал, но Ба раз и навсегда впустила нас в свое сердце и не выпускала оттуда уже никогда. Мы высоко ценили любовь Ба и бережно несли ее перед собой праздничным караваем.

Если у Ба случались какие-нибудь крупные размолвки с дядей Мишей, то плакаться она приходила к маме.

— Ты представляешь, Надя, — возмущалась она, громко отпивая горячий чай из большой чашки, — мне кажется, что у него кто-то есть!

— Тетя Роза, — маме хватило наглости возразить Ба, — Миша молодой мужчина, ему всего тридцать восемь, должен же он где-то оставлять свою... хм... энергию! — Последние слова она проговорила почти шепотом и, казалось, стала ниже ростом — Ба смотрела на маму тяжелым немигающим взглядом.

— Можно подумать, это аргумент! Я вот тридцать лет живу без мужика, и ничего! — рассердилась она.

По лицу мамы было видно, что она хотела бы возразить Ба, но сработал инстинкт самосохранения, и она промолчала.

Мы с Маней периодически, затаив дыхание, подслушивали диалоги Ба с мамой. Мане было жизненно важно, чтобы дядя Миша ни в кого не влюблялся, — она лелеяла тайную надежду, что родители когда-нибудь обязательно помирятся и снова поженятся. Видимо, об этом мечтал и дядя Миша, потому что так никогда и не решился на второй брак. Безусловно, как у любого здорового мужчины, у него были какие-то связи на стороне, но явок и паролей он никогда не сдавал, может, еще и потому, что узнай об этом Ба — и одной несчастной на этом свете стало бы меньше.

Самой большой легальной привязанностью дяди Миши, разумеется, после Манюни и Ба, был его автомобиль.

Автомобиль — весьма гуманное определение для того агрегата, на котором рассекал дядя Миша.

— Адам Казимирович Козлевич на своем «Лорен-Дитрихе» нервно закусывает зависть локтями, — комментировал папа, когда дядя Миша торжественно въезжал в наш двор на своем драндулете.

Манюнин папа являлся счастливым обладателем автомобиля повышенной проходимости, условно обозначаемого «ГАЗ-69». Почему условно обозначаемого — да потому, что дяде Мише от прежнего владельца машина досталась в весьма «модифицированном» виде — чего стоил один только кузов, собственноручно сваренный из железяк непонятного происхождения и предназначения!

Но дядя Миша не унывал. Он ласково назвал своего механического друга Васей, в честь главного конструктора Вассермана, под чутким руководством которого создавался сей вездеходный монстр, и два раза в год обязательно разбирал его на винтики и карданные валы. Далее он любовно протирал каждую деталь бензином, мазутом или чем полагается протирать детали «ГАЗ-69» 1956 года выпуска, а потом, что особенно удивительно, собирал машину обратно. Примечательно, что после каждой сборки Васи оставалась целая куча металлолома, которую дядя Миша аккуратно складывал на отдельную полку в погребе.

— Когда-нибудь найдем и этим деталям применение, а мой Вася и так поедит, — горделиво приговаривал он.

Если снаружи Вася смахивал на курятник на колесах и этим только интриговал неподготовленных зевак, то скудностью убранства кабины он ошеломлял людей уже по самые, ну не знаю, надпочечники, что ли.

В базовой комплектации производителем предполагались две трехместные продольные лавки для пассажиров. Но прежний владелец и сюда внес свои коррективы — за сиденьями водителя и переднего пассажира, вдоль боковых стен, были прибиты две деревянные, плохо отшлифованные доски. Усидеть на них по ходу движения было очень сложно, потому что держаться было не за что. Приходилось крепко упираться ногами в пол, а руками — в крышу автомобиля.

Если организовывался выезд на природу, то мама, Ба и младшие мои сестры садились в папину «копейку», которая на фоне Дядимишиного драндулета смотрелась как минимум «Кадиллаком», а я, Манька и моя сестра Каринка загружались в Васю.

Между деревянными продольными лавками Васи было достаточно большое пространство, куда складывали скарб для пикника — шампур, замаринованное мясо, овощи-фрукты, пледы, мячи, ракетки для бадминтона, нарды, термос с чаем, теплую одежду. Нашей обязанностью было по ходу движения Васи придерживать это добро, чтобы оно не разлеталось по машине.

Не знаю, предполагала ли базовая комплектация «ГАЗ-69» амортизаторы, но на Васе их точно не было. Машину на дороге трясло так, словно ее вручили какому-то малютке-великану вместо погремушки.

— Кастрююлю держи! — орала Маня Каринке, придерживая ногой пакет с картофелем, одной рукой упираясь в железную крышу монстра, а другой лоя откатившийся зеленобокий арбуз. Кастрюля с замаринованным мясом выделяла по полу опасные пируэты и всячески грозила опрокинуться и оставить нас без шашлыка.

— Да мне бы шампур поймать, — кряхтела Каринка, пестуя в руках огромный термос Ба, а ногой пытаюсь придержать связку острых шампуров.

Мне с невероятным трудом удалось подцепить кастрюлю локтем — руки были заняты магнитофоном «Электроника-322», а ногами я придерживала пакет с фруктами.

«Ах, Арлекино, Арлекино, нужно быть смешным для всех», — надрывалась в магнитофоне Пугачева.

— Васидис! — вел уважительные переговоры с Васей дядя Миша. — Давай, родненький, идем на подъем.

— Вннннн-внннннннннннннн, — преданно кряхтел железный монстр.

Дядя Миша, словно летчик-испытатель, увлеченно шурувал огромным количеством непонятных рычагов, торчащих по правую сторону от его сиденья.

— Кха-кха, вннннн, кха-кха, — надрывался Васидис и таки взбирался на очередной бугор тяп-ляп проложенной горной дороги.

Иногда, когда Вася находился в разобранном виде (в неглиже, хмыкала Ба), а дяде Мише срочно надо было куда-то ехать, он просил у папы его «копейку».

Практика открыла за дядей Мишей удивительную способность — если он пытался съездить куда-то на папиной машине, то обязательно попадал в передрягу.

Когда дядя Миша взял папину «копейку» в первый раз, то на скорости сорок километров в час он въехал в стадо коров и выехал из него с обезумевшим от такого беспардонного обращения быком на переднем капоте. Бык отделался легким испугом, а капот погнулся так, что пришлось возвращаться, чтобы отремонтировать машину. При этом всю долгую дорогу до сервиса дядя Миша проделал со скоростью 10 км в час, потому что, когда он пытался хотя бы на километр прибавить в скорости, погнутый дугой капот распахивался и, загораживая ему весь обзор, клацал, словно голодными челюстями.

Когда дядя Миша во второй раз дорвался до папиной машины, он умудрился попасть в открытом поле под град величиной с хорошее куриное яйцо. Когда он въехал к нам во двор, папа чуть не скончался от зрелища, открывшегося перед его глазами, — весь кузов «копейки» был погнут в элегантный крупный горошек.

В третий раз, когда мой оптимистичный папа не отказал своему другу в просьбе, дядя Миша умудрился провалиться в огромную яму в таком безлюдном месте, что ему пришлось пройти пешком 15 км до ближайшего населенного пункта, чтобы позвонить отцу.

— Юра! — заикался он в трубку. — Я провалился в такую яму, что мама не горюй! Кажется, передняя ось погнулась, я плохо видел, потому что грязищи кругом — тьма-тьмущая. Может, это даже не лужа, а болото, я плохо присматривался. Нужен трактор, слышишь меня, трактор, иначе машину не отбуксировать!

Папа запил радостную вест в ведром валерьянки и поехал искать в субботний вечер трезвого тракториста.

— Все! — поклялся он торжественно на следующее утро, когда, заляпанные грязью по самые брови, они с дядей Мишей вернулись домой. — Это была последняя капля. Ни-когда! Ни-когда я тебе больше не доверю машину. Клянусь памятью своего прадеда, понял?

— Я сам не возьму в толк, что за напасть такая, — виновато разводил руками дядя Миша. — Вася, что ли, ревнует?

А потом случилось вот что.

Грянул 44-й чемпионат СССР по футболу, встречались команды высшей лиги «Динамо-Тбилиси» и «Арарат-Ереван». Матч должен был состояться в Тбилиси, и папа с дядей Мишей намылились поболеть за вечно уступающий соседям в счете «Арарат». Если я ничего не путаю, это был вопрос жизни или смерти — проигрыш нашей команды означал автоматический ее вылет из высшей лиги.

Мама с Ба были категорически против этой поездки.

— Что вы переживаете? — кипятился папа. — Машина совершенно новенькая, ехать всего пятьсот километров, и потом, я же не один поеду, со мной будет Миша, он, если что, подстрахует меня.

— Зисале, так об чем и речь, — всплеснула руками Ба, — если бы ты ехал один, я и слова тебе поперек не сказала бы. А тут с Мишей решил! Обязательно что-нибудь случится, вот увидишь.

— А что сразу Миша? — встрял дядя Миша. — Мамэле, я даже к рулю не прикоснусь, водить будет только Юра! Клянусь!

Поздним вечером 24 июня раздался междугородный звонок. Мама кинулась к телефону.

— Алло, — крикнула она в трубку, — алло!

— Отвечайте Тбилиси, — раздался бесстрастный голос оператора телефонной станции.

— Алло, алло, Надя? — сквозь шорох и треск прорвался голос папы.

— Это я! Что случилось? — выкрикнула мама.

— Продули три — ноль, — загробным голосом поделился папа.

— Уф, — вздохнула с облегчением мама, — а я-то подумала, случилось что.

— Это как посмотреть, — продолжил папа после минутного молчания.

— Что стряслось? — У мамы сошла краска с лица.

— Машину угнали, — промычал папа, — Миша пошел доставать из бардачка сигареты. Ну, он открыл дверь, полез в бардачок, а тут его чем-то огрели, оттащили в сторону и угнали машину.

Мама села прямо на пол.

— Миша живой? — спросила сдавленным голосом.

— Конечно, живой, — рассердился папа. — Жив-здоров, даже сотрясение мозга не получил, — в голосе отца проскользнули нотки сожаления.

— И что теперь делать?

— Нужно тысячу рублей выслать нам!

— Сколько? Зачем? Откуда? — испугалась мама.

— Займи и вышли, — зачастил папа, — тут круговая мафия, я позвонил Юрику в Москву (Юрик, папин двоюродный брат, был одним из лучших сыщиков МУРа), он нажал на нужные рычаги, на нас вышли люди и потребовали тысячу рублей за то, чтобы вернуть машину. Юрик сказал, что надо откупаться, иначе машину мы вообще никогда не увидим.

Через три дня наши горе-болельщики возвращались домой. Настроение было паршивое. Дядя Миша после долгих раздумий решил выступить с рацпредложением:

— Юра, может, нужно освятить машину?

— В смысле — освятить? — От неожиданности папа сбросил скорость.

— Ну... это... как оно у вас называется... ну когда приглашается священник, вроде с кадилом...

Папа моментально вызверился.

— Чтобы ни один мудило с кадилом на пушечный выстрел к моей машине не подходил, понял?

— Понял! — Дядя Миша примирительно замахал руками. — Что ж тут непонятного, все понял!

Здесь надо сделать маленькое отступление и объяснить агрессивную реакцию моего отца. У папы были свои счеты с Богом. Они друг друга, скажем так, недопонимали. Или играли в сломанный телефон, но папа никак не мог смириться с правилами игры. Дело в том, что папа всю жизнь мечтал о сыне.

— Вот родится у меня сын, — строил он планы, — достойный продолжатель рода, будет он мне другом, опорой и поддержкой!

Но Боженька почему-то не считался с желаниями отца и одну за другой посылал ему дочерей.

Когда родилась я, папа даже обрадовался.

— Вот! — сказал он. — План на девочек выполнен, следующим точно будет мальчик!

— Юра, — мама сунула ему в руки меня, — посмотри, как она на тебя похожа!

— Что, и нос будет как у меня? — испугался отец.

— Нет, что ты, — соврала мама.

— Слава богу, — обрадовался отец, — тогда назовем ее Наринэ!

— Наринэ, — зашелестели эхом духи наших предков, — огненная.

— Не это имя нужно было ей давать, — вмешался дух прапрабабушки Сирануйш, — надо было назвать ее...

— Шшшш, — зашикали на нее духи, — не вмешивайся...

Потом родилась вторая девочка. Папа ходил мрачнее тучи.

— Юра! — Мама откинула уголок конверта новорожденной. — Посмотри, какая чудная девочка, очень на мою маму похожа.

Папа взял девочку на руки, погладил по щечке.

— И впрямь похожа, — вздохнул, — назовем ее Каринэ.

— Каринэ, — от шепота духов наших предков затрепетали шторы в больничной палате, — ликующая.

— Другое нужно имя, — снова вмешался дух прапрабабушки Сирануйш, — есть персидское красивое имя...

— Шшшш, — зашикали на нее духи моих армянских и русских предков, — какие такие персидские имена?

Потом родилась третья девочка. Папа места себе не находил, непрерывно курил, ругался куда-то вверх.

— Я у тебя чего-то невозможного прошу? — брызгал он слюной в небо.

— Юра, — мама сунула ему в руки девочку, — посмотри, какая она красивая, копия твоего отца.

Папа взял девочку на руки, долго вглядывался в лицо.

— И в самом деле на отца похожа, — умилился он, — назовем ее Гаянэ.

— Гаянэ, — заволновались духи наших предков, — земная.

— Имя — это сакральный код, — вмешался снова дух прапрабабушки Сирануйш, — оно должно символизировать...

— Что? — обернулись к ней духи.

— Твой посыл Вселенной, — зашептала Сирануйш, — девочку нужно назвать Сона. Сона в переводе с фарси означает «красивая». Но есть еще второе значение этого слова — «достаточно».

— Подождите, но Сона — это армянское имя, — встряла прапрабабушка Тамара.

— Пф, — фыркнула прабабушка Анна, — есть хоть что-нибудь в мире, что не армяне придумали?

— Да ты что, Анна, — хохотнул прадед Иван, — вначале были армяне, и только потом — свет!

— Да где ты был, когда мы уже христианами были... — полезла в бой Тамара.

— Вооорс утееееееееек!<sup>[5]</sup> — раздался грозный рык прапрадеда Пашо.

Все притихли.

— Развели тут курятник! Заткнулись все! Говори, Сирануйш!

— Спасибо, Пашо, лучше бы ты при жизни так меня слушался, — хмыкнула Сирануйш.

— Вооооорс! — прогрохотал Пашо.

Сирануйш вздохнула.

— Если назвать девочку Сона, что в переводе с фарси означает «достаточно», то следом обязательно родится мальчик!

— Сона, — заволновались духи предков, — девочку нужно назвать Сона!

— Хорошо, пусть будет Гаянэ, — улыбнулась мама папе. А потом мама забеременела в четвертый раз.

— Бог любит троицу, — потирал руки папа, — три дочери у меня уже есть, теперь точно будет мальчик!

Однажды он ворвался в дом с большим топором наперевес. Мама обхватила руками живот и забилась в угол. Папа был явно не в себе, он отчаянно жестикулировал, нервно ходил лицом и всячески напоминал умалишенного.

— Вот! — тряс он томагавком над головой. — Смотри, что я нашел в лесу! Топор! Оружие! Это знак!!! Теперь точно будет мальчик!

Когда родилась четвертая девочка, папа месяц с лишним ходил с немым вопросом на лице. Родные всерьез беспокоились о его душевном равновесии, поили отваром пустырника и зверобоя, кормили валерьянкой.

— Юра, — мама подвела его к кровати, — посмотри, как она на моего отца похожа!

— А что, она не могла быть мальчиком, похожим на твоего отца? — гаркнул отец.

— Она родилась с седой прядью в волосах, — заплакала мама.

— Да? — смягчился папа. — Видимо, знала, что я буду расстраиваться. Назовем ее...

— Сона, — наклонилась к его уху прабабка Сирануйш, — назови ее Сона, сынок.

— Мне кажется, ее нужно назвать Сона, — сказала мама, — почему-то это имя пришло мне сейчас на ум.

— Ну наконец то, — вздохнули духи наших предков.

— Ну наконец-то, — засмеялась Сирануйш.

Папа не умел слышать шепота духов предков. И не замечал знаков судьбы в виде белой пряди волос в кудрях своей младшей дочери. Папа всю жизнь страстно мечтал о сыне. И затаил большую обиду на Бога.

Дядя Миша уже крепко дружил с папой, когда родилась Сонечка. Дядя Миша наравне с отцом пил зверобой и закусывал его валерьянкой.

Вот почему, когда он предложил отцу освятить машину, тот моментально вышел из себя. Вот почему дядя Миша не стал спорить со своим другом, и всю оставшуюся дорогу они проехали в гордом молчании.

Когда папа довез его до дома, дядя Миша повернулся к нему:

— Я продам своего Васю и покрою твой долг, — сказал он.

— Если хоть копейку мне принесешь, я с тобой никогда больше здороваться не буду, — забарабанил пальцами по рулю папа.

Помолчали.

— Хоть бы вничью сыграли эти идиоты, — вздохнул дядя Миша.

— Это еще вопрос, кто тут идиоты, — ответил отец, — потратиться на билеты, гостиницу, проездить туда-обратно тысячу километров и выкупить свою машину может только очень умный человек.



— Понимаешь, Надя, — рассказывала потом Ба, — это надо было видеть, сидят в машине и хохочут в голос. С завываниями, охами-ахами, заламывая руки. Аж слезы по лицу ручьем текут. Только и слышно сквозь смех — идиоты, идиоты. Я даже выходить к ним не стала, ждала, пока отсмеются. Идиоты, что с них взять!

## ГЛАВА 15 Манюня и двойные стандарты красоты, или Как можно разжалобить Ба

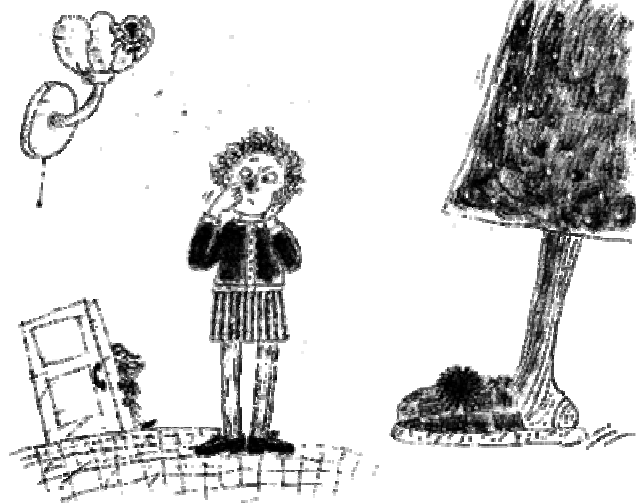
Ба считала мух опасным источником грязи и ненавидела их что есть мочи.

Мухи хорохорились и делали вид, что этого не замечают. Мухи не соображали, кому они бросают вызов, поэтому по дурости своей всячески лезли на рожон: залетали в форточки, назначали свидания у мензурок с вареньем и ходили парами по чисто протертой мебели. Ба мигом пресекала наглые притязания мух на ее личное пространство. Для этих целей у нее имелся целый арсенал разнообразных мухобоек — от простых пластиковых, которые разваливались буквально через месяц немилосердного обращения, до более основательных, с металлической длинной ручкой и тяжелой резиновой сеткой. Последние были из разряда долгоиграющих, и такой мухобойкой взъерепененная Ба могла легко скопытить не то что муху, а половозрелого африканского буйвола.

Я не могу, конечно, этого утверждать, но очень даже может быть, что наученные горьким опытом мухи всячески старались умаслить Ба. Может, в своем мушином царстве они в спешном порядке проводили реформы, как-то: господствующим строем объявляли матриархат, выпускали из тюрем всех женщин-политзаключенных, в рекордные сроки воздвигали храмы с идолами, стоящими по пояс в земле и отдаленно напоминающими Ба, а также переименовывали столицу из Мухосранска в Розиосифск.

Может, даже специально назначенная комиссия ежеквартально выбирала из числа молоденьких мушек прекрасную деву для жертвоприношения немилосердному Молоху. Возможно, бедняжку натирали ароматическими маслами, обкуривали благовониями, вешали на грудь полярное изображение Ба и запускали в дом.

Я не могу знать, на какие еще ухищрения шли мухи, чтобы пробудить в Ба хоть капельку сострадания. Ясно было одно — Ба не знала, что такое милосердие к мухам. Ба прихлопывала одной левой трепетную мушину Андромеду и шла дальше по своим делам.



Когда Ба торжественно говорила: «Завтра у меня уборка», — то у всех жителей северо-восточных районов Армении портилось настроение. Потому что Ба не умела убираться так, как убиралась среднестатистическая советская хозяйка — пропылесосил, протер полы, поелозил тряпкой по выступающим частям мебели. Ну и постирал-погладил.

Еженедельная уборка а-ля Ба предполагала ритуальный утренний геноцид мух, а далее по накатанной — протирку пыли влажной тряпкой со всех предметов и поверхностей, включая антресоли и шкафы. Мытье межкомнатных дверей и окон с подоконниками (слава богу, что только изнутри — окон в доме было миллион штук). Уборка включала в себя также остервенелую двойную протирку полов с обязательным перетаскиванием мебели, чтобы не дай бог ни одна пылинка не завалилась в каком-нибудь

уголочке. Далее производилось тщательное мытье всех раковин-унитазов и кафельных поверхностей до зеркального блеска. Непременным ритуалом была стрика, обязательно с синькой и крахмалом, и глажка.

А апофеозом этого мучительного дня становилось тщательное мытье Мани в семи водах до победного скрипа. Дядя Миша, как опытный диссидент, отстоял-таки единоличное право на свою гигиену и мылся сам.

В один из таких трудных дней я позвонила Маньке, чтобы позвать ее к нам переждать стихийное бедствие под названием «Ба убирается».

— Ты можешь зайти за мной? — шепотом попросила Маня.

— Зачем? Сама не дойдешь?

— Я тебя как друга прошу, — рассердилась Манька, — тебе трудно до нашего двора дойти? Поговорить надо, а у тебя не дадут.

Через пять минут я уже была у нее. Встретила она меня с таким лицом, что мне сразу стало ясно — случилось что-то непоправимое. Маня молча приложила палец к губам и повела меня в гостиную.

— Где Ба? — шепотом спросила я.

— На втором этаже, протирает окна.

— Так что случилось?

— Я случайно сломала плафон бра.

— Чешского? — Я похолодела.

— Да!

У меня захватило дыхание. Историю о том, как Ба простояла сутки в ленинградской очереди за люстрой и бра, мы знали наизусть. Героизм Ба заключался не в том, что она раздобыла в невероятной давке светильники потрясающей красоты. А в том, что когда она с коробками вернулась в гостиницу и обнаружила трещину на одном из плафонов, то по горячим следам вернулась в магазин, боем взяла прилавок и заставила продавщицу поменять сломанный плафон на целый! Я думаю, в магазине «Свет» ее запомнили на веки вечные.

Мне стало дурно.

— Как это ты умудрилась? — спросила я, разглядывая длинную продольную трещину на плафоне.

— Случайно, — заплакала Манюня, — погналась за мухой, она села на плафон, ну я и не подумавши хрястнула со всей силы!

На Маню было жалко смотреть — губы тряслись, боевой чубчик на голове поник и позорно повис надо лбом.

Я повернула плафон трещиной к стене.

— Пойдем отсюда, слезами горю не поможешь.

Мы выскользнули за дверь и поплелись к нашему дому со скоростью похоронной процессии. Настроение у обеих было препаршивое.

— Убьет ведь! — тяжело вздыхала Манюня.

— Убьет! — горько соглашалась я.

Во дворе нашего дома мы столкнулись с моей сестрой Каринкой. Ну, то есть как столкнулись, сначала из-за угла здания вылетела свора дворовых собак, потом группа испуганных мальчишек, а следом с гиком выскочила Каринка. Каринка дико щерилась и грозно трясла длинной грязной метлой. Волосы у нее были всклокочены донельзя, на

лице, во всю левую щеку, красовался длинный чапаевский ус, подол платья был изорван практически до трусов.

— Откуда метла? — невозмутимо поинтересовалась я. Мою невозмутимость, которой бы позавидовал сам Сфинкс, легко можно было объяснить: все в облике моей сестры — и угольный ус, и всклокоченные вихры, и разодранное практически в клочья платье — было вполне обыденным явлением.

— Украла в подсобке у дворника, — шмыгнула Каринка. Она провела указательным пальцем под носом, и рядом с одним усом у нее на лице появился второй.

— Покажи руки, — скомандовала я.

Каринка растопырила пальцы — руки ее были вымазаны чем-то черным.

— Это что такое?

— Уголь, я сначала кидалась в этих балбесов углем, а потом обмакнула в грязь метлу и погнала их как гусей.

Моя сестра была сущим наказанием для всего подрастающего мужского населения нашего квартала.

Мальчики боялись ее как огня — она могла с легкостью поколотить любого из них. Если у какого-нибудь несознательного мальчика почему-то отказывал инстинкт самосохранения и он обижал девочку, то эта девочка прямоком шла жаловаться моей сестре. А далее часы этого мальчика были сочтены — сестра находила его, и все заканчивалось тем, что вечером к нам в дверь скреблась очередная мама, держа за руку очередного покалеченного сына.

— Кто бы мне объяснил, за что я страдаю! — восклицала мама, отвечивая сестре очередной фирменный подзатыльник.

Мы с Манькой очень гордились Каринкой. Пока Каринка оставалась моей сестрой, ни один мальчик не смел подойти к нам ближе, чем на пушечный выстрел. А так как уходить к другим родителям в обозримом будущем сестра не намеревалась, то мы чувствовали себя как у Бога за пазухой.

— Что щас расскажу, что щас расскажу, — забегала глазами по лицу Каринка.

— Что?

— Знаете, чего мне Маринка из тридцать восьмой квартиры рассказала? Что если кто-то сильно скосит глаза к переносице, а в этот момент его чем-то тяжелым ударят по голове, то он останется косым на всю жизнь. Вот!

— Врешь небось!

Каринка выставила вперед свои грязные руки, чтобы мы видели, что она не скрещивает пальцы.

— Клянусь! — поклялась торжественно. — Я и Маринку заставила поклясться и внимательно следила — она пальцы на руках не скрещивала. И даже ноги не скрестила. И даже пальцы на ногах! Я все видела!

Мы переглянулись.

— Это надо же, что в мире творится, — ошарашенно протянула Манюня.

— Давайте я с вами пойду домой, авось проскочу, и мама не заметит, что я платье порвала, — заканючила Каринка.

Мы согласились, хотя знали совершенно точно — мимо маминого взора порванное платье невозможно было пронести. Мы встали перед входной дверью так, чтобы заслонить сестру спинами, и нажали на звонок. И сразу поняли о провале операции, потому что мама открыла нам с таким выражением лица, что мы молча расступились — сестру бы уже все равно ничего не спасло!

Мама затащила Каринку в квартиру, подцепила ее, кажется, за лопатку и, как жертвенную овцу, поволокла в ванную комнату. Молча!

Мы с Маней затравленно прислушивались к голосам, раздававшимся из ванной комнаты.

— Сколько можно, — ругалась мама, — ну сколько можно!

— Ааааа, — орала Каринка, — я нечаянно порвала платье, мам, я не специально, это я когда через окно в подсобку пролезалааааа!

— Раздевайся! — проорала мама так, что штукатурка посыпалась с потолка. — Снимай все!

Потом послышался плеск воды.

— Топит она ее, что ли? — вылупилась Маня.

Экзекуция Каринки напомнила нам о сломанном плафоне и, естественно, не добавила оптимизма — мы понимали, что и Маню поджидает такая же участь.

Минут через десять отворилась дверь ванной, и оттуда выползла чисто отстиранная сестра. Она куталась в банный халат, мокрые волосы были немилосердно прилизаны к голове, глаза припухли от слез. Кроме пламенно алеющего и увеличенного в размерах раза в два уха, других повреждений мы не заметили. Следом из ванной вышла мама.

— Марш все в детскую, и чтобы ни слуху ни духу вашего не было, понятно? — рявкнула она.

Мы припустили в комнату стаей вспугнутых сайгаков, а когда пробегали мимо мамы — инстинктивно втянули головы в плечи.

В комнате мы сочувственно разглядывали ухо Каринки.

— Больно было?

— Не очень, — шмыгнула сестра, — больнее было, когда она мне мокрые волосы расчесывала.

— А если у тебя ухо навсегда останется красным? — испугалась я.

— Не останется, — махнула рукой сестра, — если твое ухо от удара ведром пришло в норму, то почему мое должно остаться таким?

Я потрогала свое ухо. Все правильно, не прошло и месяца после знаменитого удара пластмассовым ведром по моему многострадальному уху, а оно вполне уже обрело прежние свои очертания.

Вообще наступили тяжелые времена. Нас уже сильно беспокоила наша внешность. И если Каринке было наплевать, что у флейтистки Ангелины уже выросла небольшая грудь, а у нас хоть шаром покати, то мы с Маней по этому поводу сильно переживали. Нам было по одиннадцать, и мы отчаянно хотели быть красавицами.

Меня волновал мой высокий рост, я уже вымахала аж до 165 см и могла похвастаться 38-м размером ноги. К тому же, для пущего счастья, у меня посреди лица вырос достаточно крупный нос с горбинкой.

— Мам, — пожаловалась я как-то маме, — ну почему у всех наших детей носы как носы, а у меня не пойми что?

— Ну что ты, дочка, — мама погладила меня по голове, — у тебя аристократический нос, с горбинкой, твой профиль называют римским! Такие носы были у античных богов и богинь!

— Да? — обрадовалась я.

— Ну конечно!

Манька скосила глаза к переносице.

— Я тоже хочу горбинку, — обиделась она, — чтобы как у античных богов!

— Зачем тебе горбинка? — засмеялась мама. — Ты и так красавица!

Маня надулась. В том, что она красавица, Манюня ничуть не сомневалась. Только лишняя горбинка на носу ни одной красавице не помешает!

Поэтому если меня беспокоила моя горбинка, то Манечку беспокоило как раз ее отсутствие. Так и жили, тайно завидуя друг другу.

Мы тихонечко ковырялись у себя в комнате, рисовали цветными карандашами. Потом вытащили альбом творческого наследия эпохи Возрождения и стали его пролистывать. Особенно пристально, пока мама гремела посудой на кухне, рассматривали мужское достоинство Давида.

— Ерунда какая-то, — фыркнула Каринка.

— Ага, — согласилась я, — что ни говори, дурачки у них все устроено!

Маня задумчиво рассматривала профиль Давида.

— Я придумала, как мне можно сделать горбинку, — протянула она.

— Ты снова за свое?

— А что, — Маня набычилась, — я, может, об этом всю свою жизнь мечтаю! И точно знаю, как надо себе сделать горбинку на носу.

— Как? — Мы с Каринкой с трудом оторвались от причиндалов Давида.

— Нужно сильно удариться переносицей обо что-то твердое. Нос припухнет, и образуется горбинка.

Мы испугались.

— Но это же больно, Мань, ты хоть соображаешь, как это больно?

— Ради красоты можно разочек и перетерпеть боль, — сказала Манька, — пойдем!

— Куда?

— К двери в ванную комнату. Она как раз нам очень подойдет!

Мы с Каринкой переглянулись. Перечить Мане, когда та собрала губы в куриную жопку и насупила бровки домиком, не имело смысла — в такие минуты Маня сильно напоминала Ба. Поэтому мы молча поплелись за ней.

Маня долго приглядывалась к двери, потом потянула за ручку, наклонилась и уперлась переносицей в острый угол.

— Подержи дверь, чтобы она не моталась, — пропыхтела.

Я подержала.

— Вот! — торжественно сказала она. — Вот куда надо бить! Теперь смотрите, что надо делать: ты, Каринка, держи мою голову, чтобы я не СБИЛАСЬ С ПРИЦЕЛА, а ты, Нарка, как только скажу «давай», со всей силы шандарахнешь дверью мне по носу.

— Не буду я этого делать, — испугалась я.

Маня выпрямилась. Боевой чубчик торчал над ней, как хохолок птицы-секретаря.

— Ты мне друг? — спросила она.

— Друг, — стушевалась я.

— Вот и делай что велят!

— Тогда пусть я тебя за голову подержу, а Каринка хрястнет тебя по носу!

— Ладно, тем более что Каринке не впервой кому-то калечить нос.

Манька снова примерилась к двери, я вцепилась ей в голову, Каринка взялась за дверную ручку.

— Давай, — заорала Манька,

Каринка сильно дернула дверью и заехала Манечке по носу.

— Ооооооооо, аааааааааааа! — заорала Маня и, схватившись за нос, упала на пол. — уууууууууууууууууууууууууууу!!!!!!!

Мама высочила из кухни и кинулась к нам.

— Это не мы, — зачастили мы с Каринкой, — это Маня.

— Чего Маня? — Мама испуганно наклонилась к Мане. — Покажи лицо, Манечка, что с тобой случилось?

Маня отняла руки с лица. Нос у нее на месте удара посинел, по лицу струились слезы.

— Нужно лед приложить. — Метнулась мама к холодильнику. — Как это ты умудрилась так сильно удариться носом? А если ты его сломала? Будет горбинка...

Мама осеклась. Выглянула из кухни, зловеще выпучилась.

— Вы это специально, что ли?

— Специально, — завывала Маня, — я тоже хочу нос как у Нарки!

— Мало с нас одного шнобеля? — рассердилась мама. Она приложила к Маниному носу пакет с замороженным мясом, потом всплеснула руками, кинулась за чистым кухонным полотенцем и, завернув в него пакет, снова приложила его к переносице Мани. — Второго нам только не хватало!

— А чего сразу шнобель, — разревелась я, — говорила, что римский профиль!!!

— Римский, римский, — спохватилась мама, — конечно, римский, но ты высокая, тебе такой профиль идет, а Маня маленькая, ну зачем ей горбинка на носу?

— Больно, — выла Маня, — Тетьнадь, не давите так сильно!

— Убить вас всех мало, — прошипела мама, — на минуту отвлеклась — и вот на тебе. Маня, ты хоть подумала, как Ба на это отреагирует?

— Да мне уже без разницы, что она скажет, — заревела Маня, — она меня все равно сегодня убьет!

— Это почему же?

— Я плафон бра сломала. Мухобойкой.

— Ой, — испугалась мама, — бра, которые Ба привезла из Ленинграда?

— Угум. — Маня скосила глаза на сверток с мороженым мясом. — Тетьнадь, может, достаточно мне нос морозить, а то мне совсем холодно, так ведь и заболеть можно!

— Да-да, деточка, — мама убрала пакет, — бог с ним, с носом, а вот плафон!!! Не двигайся, сейчас смажем ушиб мазью.

Она метнулась к домашней аптечке.

— Ну, — протянула мама задумчиво, нанося Мане на переносицу мазь, — если ты с таким ушибом на носу придешь домой, может, Ба и не станет тебя сильно ругать!

— Да?

— Вполне возможно, — задумчиво протянула мама, — вполне возможно.

Мы поплелись обратно в детскую. На Манию жалко было смотреть — нос у нее покраснел и сильно распух, а на переносице отливало баклажанной синевой. Манька осторожно шмыгала и о чем-то усиленно думала.

— Вот, — наконец торжественно изрекла она.

— Чего вот?

— Я про то, что можно ударом в голову заработать косоглазие. Одно дело явиться домой с ушибом на носу, а другое — с ушибом на носу и с косоглазием. Тут уж у Ба точно пропадет желание меня наказывать!

Мы с Каринкой переглянулись. Было ясно — удар по носу не прошел для Манечки даром.

— Мань, — как можно спокойнее сказала я, — ты чего добиваешься, тебе в больницу захотелось?

— Нарка, не мешай мне думать! — рассердилась Маня. — И вообще я тебя сегодня не узнаю, ты постоянно мне перечишь.

— Так ты ведешь себя сегодня странно!

— Посмотрела бы я на тебя, если бы ты плафон сломала!

Крыть было нечем. Если бы я сломала плафон, я бы просто тихо легла умирать в уголочке.

Пока мы с Маней препирались, Каринка притащила толстый том советской энциклопедии.

— Вот чем можно тебя ударить, — пропыхтела она.

Мы взвесили книгу в руках. Книга была действительно тяжелой, удержать одной рукой ее было невозможно.

Далее под руководством Мани Каринка притащила стул, взобралась на него и подняла над головой энциклопедию. Маня скосила глаза к переносице. Когда ее глазные яблоки практически исчезли из виду, она подала рукой знак Каринке — давай! И Каринка со всей дури заехала книгой Мане по голове.

Маня постояла какое-то время в оцепенении, потом молча сползла на пол.

— Мы ее убили? — испугалась Каринка и спрыгнула со стула.

— Ыыыыыыыы, — промычала Маня, одно веко у нее дергалось, но в целом она смотрелась вполне нормально и совершенно не косила.

— Не получилось, — разочарованно протянула Каришка, — надо еще раз попробовать.

— Вы обе с ума сошли, — заплакала я, — я больше не играю с вами!

— Дура, ты чего орешь? — взъерепенилась Маня.

— Сами вы дуры, — меня уже невозможно было остановить, — хоть поубивайте тут друг друга, а я в этом не хочу принимать никакого участия! Я маме расскажу всеоооо!

— Предательница, не смей! — завопила Манька, но было уже поздно, мама сама прибежала на шум.

— Теперь чего? — испугалась она.

— Маааа, — разревелась я, — Манька хочет стать косой, чтобы Ба ее не побилаааа!

— В смысле — хочет стать косой?

— Ну, Маринка из тридцать восьмой сказала, что если скосить глаза и сильно ударить по голове...

— Вы чего? — не дала мне договорить мама. — Ставили эксперимент на Мане?

— Дааааа, — зашлась я в плаче.

— Предательницаааа, — заплакала Манька, — не хочу больше дружить с тобооооо!

— Вот дуры! — скривилась Каринка.

Ну потом все шло по накатанной. Мама снова подцепила Каринку за лопатку и поволокла ее наказывать.

— Не надо меня по новой наказывать, — орала сестра, — все равно я сегодня чуть не выбила глаз Рубику из сорок восьмой квартиры, вечером придет его мама, вот тогда меня и накажешь!

— Сколько можно, — причитала мама, — сколько можно!

Естественно, досталось и мне.

Потом мама прочла нам лекции о членовредительстве и о косоглазии. Напугала до смерти.

А вечером мы с мамой пошли провожать Маню до ее дома. Повели ее буквально под белы ручки. Маня постоянно норовила вырваться и убежать в неизвестном направлении.

— Я все улажу, не бойся, — увещевала ее мама, но, судя по ее бледному лицу и блуждающему взгляду, сама побаивалась реакции Ба.

В Манин двор мы заползали как на минное поле.

— Посидите пока здесь, — прошептала мама нам и вошла в дом.

Все видели мультик «Рикки-Тикки-Тави»? Помните, как Рикки-Тикки-Тави бился в гнезде с Нагайной? Вот приблизительно так все и выглядело. Мы с Маней сидели на скамеечке под тутовым деревом и дрожали как листья на ветру, а в доме происходили какие-то тектонические процессы, извергались вулканы и образовывались новые материки.

Потом на веранду выползла мама. Волосы ее были маленько всклокочены, под глазами пролегли темные круги.

— Все! — вытерла она пот со лба. — Ба уже не сердится.

И она взяла Маню за руку и повела ее в дом.

Я осталась сидеть на скамейке. Мне вдруг стало очень жалко маму. У нее впереди был трудный вечер — скоро с работы должна была вернуться мама Рубика тетя Грета. И маме сначала надо было оправдываться перед тетей Гретой за фингал Рубика, а потом, приговаривая «сколько можно», выкручивать Каринке уши.

Я тяжело вздохнула, вытащила из кармана пакетик с сухим карбидом, который мы украли со стройки, и выкинула его от греха подальше в кусты. Этим карбидом мы намеревались прижечь пару-тройку строптивых мальчишек, которые постоянно лезли на рожон. Посидела с минуту, подумала. Расчесала до крови укус комара на руке. Вздохнула и пошла искать в кустах место, куда упал пакет. И как бы невзначай это место запомнила. На всякий случай.

А тем временем искалеченный моей сестрой Рубик экономил электричество, освещая квартиру ярким светом, исходящим от гигантского фиолетового фингала вполлица.

Был совершенно обычный летний вечер, один из многих, которые, благодаря нашим стараниям, родители потом долго вспоминали с содроганием.

## **ГЛАВА 16 Манюня едет в Ереван, или Как можно оставить без штанов лучшего отоларинголога республики**



Все началось с того, что я завела себе привычку болеть. Я температурила, жаловалась на боль в ушах и заложенность в носу, дышать могла только ртом. Районный отоларинголог долго ковырялся в моей несчастной носоглотке.

— Ничего не вижу, — разводил он руками, — по идее, должны быть аденоиды, но я их просто не вижу!



В итоге он посоветовал везти меня в Ереван, в Республиканскую детскую клиническую больницу. «Там оборудование лучше», — сказал он моим родителям.

— Через месяц поедем, — отмахнулся папа, — сейчас у меня много работы, никак не успеваю.

Ну, я не растерялась и в отместку заболела так, что мама, замученная моим нытьем, поставила отцу ультиматум — или ты отвозишь ребенка в Ереван прямо сейчас, или я тебе больше не жена!

Угроза возымела действие. Папа взял на работе двухдневный отпуск, и мы засобирались на прием к Самвелу Петросовичу, лучшему детскому отоларингологу республики, а по совместительству — папиному хорошему другу.

Когда дядя Миша узнал о планируемой поездке, то очень обрадовался. Дело в том, что дяде Мише надо было отвезти в столицу какую-то разработку, которая создавалась под его чутким руководством на релейном заводе. Эту разработку, точнее этот агрегат с нетерпением ждали в Ереванском НИИ математических машин.

— Вот повезло, — потирал руки дядя Миша, — теперь не надо будет шесть часов кряду трястись в рейсовом автобусе!

Вы спросите, как же так, ведь дядя Миша являлся счастливым обладателем роскошного внедорожника «ГАЗ-69» по кличке Вася, почему же он не мог съездить в Ереван на своей машине? И вы будете совершенно правы в своем недоумении. Но карты судьбы легли так, что в тандеме дядя Миша — Вася верховодил почему-то Вася. Поэтому только он решал, куда дядя Миша может ехать на своем автомобиле, а куда — на общественном транспорте. Вообще, Васидис оказался неумным собственником и ревновал своего хозяина не только к чужим автомобилям, но и, кажется, к другим районам Армении и, как только выезжал за пределы нашего горного хребта, тут же норовил сломаться. За короткий промежуток времени Вася из вредности умудрился побывать в автомастерских всех населенных пунктов, которые находились вне периметров нашего района.

А однажды он демонстративно сломался в километре от въезда в наше горное ущелье и завелся только тогда, когда вымазанный мазутом и грязью дядя Миша проорал ему под капот: «Если ты сейчас же не заведешься, я больше никогда не сяду за твой руль!»

— Кха, — испугался Васидис, — кха-кха!

— Захрмар!<sup>[6]</sup> — выругался дядя Миша. — Чтоб у тебя аккумулятор сел! Чтобы твой двигатель захлебнулся и сдох в страшных мучениях! Чтобы рабочий объем твоих цилиндров оскудел до одного литра! Чтобы всю оставшуюся жизнь ты ездил только на первой скорости и исключительно задним ходом!

— Вннннн, — обиделся Васидис и, не дожидаясь своего хозяина, рванул домой. По крайней мере дядя Миша утверждал, что еле успел запрыгнуть в кабину и пальцем не прикоснулся к рулю все пятьдесят километров обратной дороги.

Так что если дяде Мише предстояла поездка в какой-нибудь другой район Армении, то он благоразумно уезжал или на попутках, или рейсовым автобусом. А Вася преспокойно балбесничал на заднем дворе Дядимишиного дома.

— Ну и наглая у тебя рожа! — ругалась каждый раз Ба, когда шла мимо Васидиса в погреб.

В ответ Васидис пренебрежительно молчал. Женщин он считал рудиментарным явлением антропогенеза и брезгливо игнорировал факт их существования.

Когда Ба узнала, что меня везут на прием к именитому отоларингологу, то очень обрадовалась.

— Возьмите и Маню с собой, — попросила она моего папу, — пусть заодно этот хваленый отоларинголог и ее посмотрит.

— Ура! — закричали мы с Манькой. — Мы едем в Ереван!

— Нужно собрать вам в дорогу припасов, — озабоченно пробубнила Ба.

— Мам, я тебя умоляю, — заволновался дядя Миша, — не более чем три бутерброда на человека, соберешь снова провизию на целый полк — не возьму!

— Курочку запеку, — с нажимом сказала Ба, — а будешь выступать, еще и борща с собой в термосе дам! Ясно?

Дядя Миша приговоренно махнул рукой — делай что хочешь.

Выехать мы должны были ранним утром в четверг. А в среду вечером случилась катастрофа.

Папа решил чуть-чуть подкоротить волосы на затылке.

— У тебя все в порядке с прической, — отговаривала его мама.

— Всего сантиметр, — папа протянул ей огромные портновские ножницы, — совсем чуть-чуть, а то я оброс, выгляжу как баба! Не ехать же мне в таком виде в Ереван. Тебе что, трудно?

— Ладно, — вздохнула мама и повела отца в ванную комнату, — давай посмотрим, что тут можно сделать. Дети, — обернулась она к нам, — ну-ка выйдите отсюда, и так нечем дышать.

Мы выскользнули за дверь, но не стали далеко уходить, а, затаив дыхание, принялись подслушивать.

— Сантиметр, не больше, — увещевал папа.

— Не вертись, — шипела мама, — ну зачем ты головой дернул? Сейчас придется снова подравнивать!

— Это не я верчусь, это ты не умеешь стричь!

— Не нравится — стриги сам!

— Жена! Это сантиметр? Ты хочешь сказать, что это сантиметр?!

— Ну, может, два, — огрызалась мама. — Можно подумать, сантиметр что-то решает. Не оборачивайся к зеркалу, потом посмотришь!

— Может, я еще в парикмахерскую успею? — Папа сделал попытку вырваться.

— Куда? Смотри, который час! Парикмахерская давно закрыта. Лучше помолчи, не отвлекай меня!

Папа замолчал. Минут пять слышно было только шелканье ножниц.

— Ну вот, — наконец сказала мама, — вроде как получилось, можешь посмотретья в зеркало.

— Сейчас, — сказал папа. Воцарилась минутная тишина, а потом раздался леденящий душу вопль. Так мог орать только пронзенный охотничьим копьём вепрь. Так могла оплакивать погибшего в первобытных болотах мамонтенка его безутешная мать.

— Аааааа, — вопил папа, — женщина, что ты наделала!

Мы отпрянули от двери очень вовремя, потому что в следующий миг папа выскочил из ванной комнаты и промчался мимо нас на предельной для человеческих возможностей скорости. Но мы не растерялись, побежали следом и застали отца в позе жертвы цирюльника перед большим зеркалом в спальне. И смогли, наконец, оценить по достоинству мамин бесспорный парикмахерский талант — ничтоже сумняшеся, она постригла отца под горшок. То есть как под горшок: спереди у папы прическа не изменилась — те же зачесанные набок пряди и актуальные по тем временам бакенбарды, а вот сзади вместо обещанного сантиметра мама убрала целых пять.

— Агррррххххххх! — бесновался перед зеркалом папа. — Женщина, что ты со мной сделала?! Как мне завтра в таком виде ехать в Ереван?

— Можно в крайнем случае побрить тебя наголо! — Мама благоразумно заперлась в ванной и выкрикивала предложения из-за двери.

— Какое наголо, ты издеваешься надо мной? — делал попытки биться головой об стенку папа.

— Можно надеть водолазку и натянуть ее высоко на затылок, — не унималась мама, — или замотать шею шарфом. Имеешь право, может, у тебя горло болит!

— Двадцать градусов на улице, какая водолазка, какой шарф? — проорал папа и отпрянул от ужаса, снова поймав свое отражение в зеркале. — Боже мой, на кого я стал похож!

— На Емельяна Пугачева! — вспомнила я картинку, увиденную в какой-то книге. — Хотя нет, вроде у Пугачева волосы сзади были длинные. Но зато борода торчала колом, — поспешно добавила я, видя выражение лица отца.

— Агрррррххххххх, — рычал папа, — агрррррх!

Мы с сестрами малодушно отступили в нашу спальню и заперлись там, оставив маму на растерзание отцу.

Следующим утром, пока мы ехали забирать дядю Мишу и Маню, мама позвонила Ба и предупредила ее, что у папы неудачная прическа и лучше делать вид, что ничего не случилось.

— Ну что ты говоришь, Надя, и бровью не поведем, — заверила ее Ба.

Поэтому, когда мы подъехали к дому, все семейство в полной боевой готовности выстроилось вдоль забора — во главе отряда стояла Ба, рядом топтался дядя Миша с пайком на роту солдат. Отряд замыкала празднично одетая и немилосердно причесанная Маня. Семейство фальшиво улыбалось навстречу нашей машине и всячески делало вид, что не в курсе произошедшего.

— Твоя мать уже все им рассказала, — буркнул папа.

Когда он вылез из машины, чтобы помочь дяде Мише убрать вещи в багажник, у наших друзей вытянулись лица.

— Обкорнала-таки, — дипломатично заметил дядя Миша.

— Увы, мой бедный Йорик! Я знал его, Горацио... — расхохоталась Ба.

— Юрик-Йорик, — заплакал дядя Миша.

— Еще одно слово, и я уеду без тебя, понял? — выверился на своего друга папа.

— Молчу-молчу, — дядя Миша утер слезы, — поехали.

Все семьдесят километров до города Красносельска мы с Маней пели. Раз двадцать прокрутили весь репертуар нашего хора — начиная с «Бухенвальдского набата» и заканчивая комитасовским «Крунком». Дядя Миша все семьдесят километров прохрапел в такт нашему пению. И только по окаменевшему затылку моего отца было видно, что пение наше ему осточертело.

Наконец он не выдержал:

— Девочки, вы помолчать хоть чуть-чуть можете?

— Нет, пап, — отрапортовала я, — если мы перестанем петь, нас мигом укачает.

— Я губную гармошку взяла, могу вам что-нибудь наиграть, — предложила Маня.

— Нет, только не это! — испугался папа. — Вот если бы вы просто немного помолчали, а то голова уже от вас гудит.

— Пусть поют, — проснулся дядя Миша и снова затрясся от смеха. — Я уже забыл, какая у тебя прическа!

— Ты думаешь, из Красносельска рейсовые автобусы не ходят в Ереван? — Папа выпучился на него. — Высажу!

— А что я, я ничего, я молчу.

Папа погладил себя по обкорнанному затылку и тяжело вздохнул.

— Обрастать небось месяц!

— Ты чего? Какой месяц! Как минимум три! У тебя же сзади не прическа, а фактически челка, притом очень короткая, — дядя Миша смеялся уже в голос. — И я таки тебе скажу, что анфас ты выглядишь даже выигрышнее, чем в профиль, бедный мой Йорик.

Мы с Маней покатались со смеху. Дядя Миша скорчился от хохота на переднем сиденье. Папа посмотрел на него, посмотрел на нас и тяжело вздохнул, папе было не до смеха. Дело в том, что у главного врача больницы, где работал папа, умерла теща. И в пятницу намечались похороны. И папе надо было успеть сегодня вернуться из Еревана домой, а завтра явиться на похороны.

Вот с такой прической на голове!

Через несколько минут мы въехали в город Красносельск. Красносельский район Армении издавна был населен молоканами, сосланными сюда еще Екатериной II за отказ от православия. За прошедшие два века мало что изменилось в укладе их жизни — те же побеленные избы с резными ставнями, огромные хозяйства, патриархальный уклад жизни, неприятие спиртного и табака, отсутствие телевизионных антенн на крышах домов. Часто на улицах города можно было встретить людей в национальной одежде. Каждый раз, проезжая Красносельск, ты словно попадаешь в русскую народную сказку.

— Остановись где-нибудь, покурим, — попросил дядя Миша.

— Заедем на автовокзал, — предложил папа, — там можно и кофейку попить, и покурить, а то неудобно здесь, на виду у всех. Они же не одобряют курение.

Он припарковался возле низенького здания автовокзала!

— Посидите в машине, мы скоро, ладно?

— Ладно! — согласились мы. — Только вы нам принесите чего-нибудь сладенького.

— Возьмем вам бутылку лимонада «Буратино», — обещал дядя Миша.

— Ура! — обрадовались мы с Маней.

И принялись терпеливо дожидаться их возвращения. А чтобы ждать было не скучно, мы высунулись в окно машины и стали любоваться городом. Взглянули направо — стоял ряд белых домов с голубыми ставнями, взглянули налево — стоял ряд белых домов с зелеными ставнями.

— Красотаааа! — протянула я.

— Ага, — согласилась Манька, — ой, смотри, Аленушка!

— Где? — Я вытянула шею и увидела девочку, которая шла в нашу сторону. Девочка была в длинном белом платье и кружевном платочке, поверх платья она повязала узорчатый тюлевый фартук с оборкой понизу, на ногах у нее были светленькие туфельки.

Мы с Маней, высунувшись из окна, во все глаза наблюдали за ней. Аленушка под напором наших взглядов сбавила ход, а потом и вовсе остановилась шагах в пяти от машины. Постояла в нерешительности, потом повернулась к нам спиной. Мы ахнули — у нее оказалась длинная, пышная, необычайно красивого медового оттенка коса.

— Ух ты! — выдохнули мы. — Вот это волосыыы!

— Девووочкааааа, — позвала я.

Девочка не шелохнулась.

— Боится нас, что ли, — воинственно шмыгнула носом Манька.

— Наверное, — шепнула я.

— Аленушкааааа, — тоненьким голосом позвала Маня, — Алийоооооо-нуш-каааааа!

Девочка дернула плечом, но не сдвинулась с места, только привычным движением поправила платочек на голове.

— Аленушкааааа, — позвали мы, — девочка, ты Аленушка или кто?

Девочка обернулась. Посмотрела на нас с любопытством. Промолчала.

— Может, она глухая? Или немая? — Манька высунулась в окно машины так далеко, что чуть не выпала, — я еле успела вцепиться в ремень брюк и удержала ее на весу.

— Осторожнее — зашипела я.

Манька вползла обратно в машину. От прилизанной утренней прически не осталось и следа — волос у моей подруги немилосердно кучерявился, надо лбом развевался боевой чубчик.

— Ня! — вдруг сказала девочка. — Я ня Аленушка, я Варя!

— Варя? — Мы вылезли из машины и подошли к девочке. — А как тогда тебя ласково называют? Варежка, что ли?

— Сами вы варежки, — обиделась девочка, — а меня мамка Варечкой кличет.

Мы какое-то время молча изучали друг друга.

— «Ну погоди!» любишь? — Я решила продолжить светский разговор.

— А чтой это? — удивилась девочка.

— Ну, это мультик такой, неужели ни разу не видела? По телевизору часто показывают.

— Ня, — покачала головой девочка, — нам пресвитер ня велит смотреть телевизор. Говорит — это грех.

— Какой грех? — Мы чуть не задохнулись от возмущения. — Почему не велят телевизор смотреть? И кто этот... свитер?

— Ня свитер, а пресвитер, — рассердилась девочка, — вы что, совсем ничего ня знаете?

— Совсем ничего, — радостно закивали мы, — совершенно ничегошеньки. Мы тупые!

— То-то я гляжу! — не удивилась Варя. Она смотрела на нас своими большими васильковыми глазами и думала о чем-то своем. — Ладно, я пойду, — вымолвила милостиво.

— Иди, — согласились мы, — а чего ты в косыночке ходишь?

— Так положено, — сказала девочка, — так молокане ходят. Пойду брата искать, а то я яму шумела, а он ня отклякается. До свиданьица вам!

— До свиданья, — попрощались мы с Маней и поплелись к машине. Мы были заинтригованы и даже напуганы. Нам было непонятно, как можно не смотреть телевизор и ходить с косыночкой на голове.

— Бедненькая, — решили мы.

А потом вернулись папа и дядя Миша, принесли нам обещанный лимонад, и мы поехали дальше, в сторону озера Севан, и дядя Миша смешно рассказывал, как весь автовокзал оборачивался на папину прическу, а буфетчица не хотела брать деньги за кофе, все смотрела на отца и называла его «бядовой головушкой».

Часам к двенадцати мы уже были в Ереване. Сначала завезли Дядьмишин агрегат в НИИ математических машин, а потом поехали на прием к Самвелу Петросовичу.

— Ты зайди к нему первым, пусть он привыкнет к твоему виду, а мы с девочками в приемной посидим, — сказал отцу дядя Миша.

Мы терпеливо переждали в коридоре взрыв истерического хохота, которым Самвел Петросович встретил моего отца.

— Хочешь, я тебя отправлю к своему парикмахеру? Может, он чего-нибудь придумает? — всхлипывал он на все отделение.

— Не надо, — отнекивался отец, — я дома к своему парикмахеру схожу.

— Дааааа, — подмигнул нам дядя Миша, — нейметя ему, все домой тянет, можно подумать, домашний парикмахер уже не сделал свое черное дело!

А потом вышла прехорошенькая медсестра и пригласила нас с Маней в кабинет для осмотра.

— А вы пока посидите в коридоре, — улыбнулась она дяде Мише.

— Если только вы потом обещаете и меня посмотреть, — расцвел дядя Миша.

— Папа, — Маня укоризненно посмотрела на отца, — я все Ба расскажу.

— Иди отсюда, незнакомая девочка, я тебя знать не знаю, — отмахнулся от нее дядя Миша.

Мы с Маней зашли в кабинет и устроились на низенькой кушеточке возле окна. Я зацепила взглядом инструменты, аккуратно сложенные на специальных лотках, и мигом затряслась от страха.

— Не дам ему посмотреть свое горло, — громко сглотнула я.

— Нарка, не глупи, — скосилась на меня Маня, — зачем мы тогда сюда ехали?

— Не знаю, — заупрямилась я, — но этот Петросович ко мне не прикоснется, это точно!

И тут открылась дверь, и в кабинет вошел Самвел Петросович. Он оказался высоким, холемым и невероятно красивым мужчиной. Маня заулыбалась и пригладила ладошкой торчащий чубчик.

— Здравствуйте, красавицы, — проворковал Самвел Петросович.

— Здравствуйте, — расцвела Маня, — вы тоже красивый!

Я засопела и больно пихнула ее локтем в бок.

— Ты чего несешь?

— Отстань! — прошипела мне Манька.

— Ну-с, барышни, — пропел Самвел Петросович, — кто первый покажет мне свое горло?

— Я покажу, — вскочила Маня, — я врачей не боюсь. А Нарка пойдет второй, она почему-то докторов боится!

— Да? — Самвел Петросович удивленно посмотрел на меня поверх своих очков. — А отца своего Нарка тоже боится?

— И отца боится, — заложила меня Маня, — когда Дядьюра с работы домой возвращается, от него лекарствами пахнет, так вот Нарка к нему не подойдет, пока он в душ не сходит.

— Ты заткнешься или как? — рассердилась я.

Но Манька уже не могла мне ответить — Самвел Петросович светил ей в рот фонариком и что-то там высматривал. Поэтому она скосила в мою сторону глаз и погрозила кулаком.

Потом настал мой черед показывать свое горло врачу.

— Иди сюда, Наринэ, — Самвел Петросович похлопал по креслу рукой, — ничего не бойся, я тебе обещаю, больно не будет.

Я поймала свое отражение в круглом зеркале прибора, который был у него на голове, и решила, что так просто я ему не дамся.

— Фигушки! — рыкнула я. — Ничего я вам не покажу.

Все, что случилось далее, я до сих пор вспоминаю с огромным стыдом. Помню, как я валялась на полу, вцепившись в ножки металлического шкафа с медикаментами, и орала как ненормальная, а испуганная медсестра тщетно пыталась отодрать меня от шкафа. Помню, как отец с дядей Мишей прибежали на мой крик, отодрали-таки меня и поволокли к креслу. Но я как-то вывернулась, снова упала на пол и вцепилась в штаны Самвелу Петросовичу. Помню характерный звук, который издает рвущаяся материя — это папа с дядей Мишей отколупывали меня от штанов Самвела Петросовича, а я никак не желала отколупываться. Я орала: «Фигушки вам!» — куда-то ему в пах и изливалась горючими слезами. Самвел Петросович придерживал штаны за ремень и увещевал меня:

— Нариночка, я тебя не буду смотреть, ты только отцепись с моих брюк, а то мне не в чем будет домой идти!

Но мне уже нечего было терять, ибо меня накрыло такой волной паники, что я прекратила что-либо соображать.

Мне важно было как-нибудь обезвредить Самвела Петросовича, этого коварного змея-искусителя, чтобы он не смел прикоснуться ко мне хотя бы пальцем.

Вот.

Итого мы уехали из Еревана несолоно хлебавши. Всю дорогу домой я сидела тихой мышкой на заднем сиденье автомобиля и душераздирающе вздыхала. Маня периодически гладила меня по руке.

— Нарка, какая же ты все-таки трусиха, — приговаривала она с умилением.

— Аха, — соглашалась я.

— Захрмар! — грохотал отец. — Проехали четыреста километров, чтобы ты меня так перед другом опозорила?

— Пап, я не специально, — тонко заскулила я.

— Что за ребенок такой, — кипятился папа, — что за позорище такое!!!

Я угрюмо молчала.

А на следующий день папа пошел на похороны. И превратил это траурное мероприятие в несусветное представление. Потому что людям очень сложно было сохранять серьезное выражение на лицах при одном взгляде на отцовскую прическу. Они, прикрыв лица платками, пробивались к нему и сочувствующе спрашивали: «Кто это тебя так?»

— Жена, — говорил отец.

— Она еще жива? — тщетно пытались выдать хохот за рыдания люди.

— Жива, — понуро отвечал отец.

— Непорядок, — утирали выступившие слезы сострадающие. За короткий промежуток времени папа собрал вокруг себя толпу зевак. Покойница осталась дожидаться погребения в гордом одиночестве.

— Ну, как прошли похороны? — спросила мама отца, когда тот вернулся домой.

— Я имел бешеный успех, — буркнул он.

И не соврал. Так что конец 70-х и начало 80-х ассоциируется у наших горожан исключительно с прической моего отца. И люди до сих пор, вспоминая то время, говорят примерно так: Маришка родилась (корова отелилась, Размик поступил в институт) в том

году (за два года до, спустя год), когда доктор Абгарян специально постригся под шуга, чтобы насолить главврачу городской больницы на похоронах его тещи.

— И таки это ему удалось! — с хохотом говорят люди.

## ГЛАВА 17 Манюня и индийское кино



У каждого из нас в детстве были свои кумиры. Я назову вам два кодовых слова — Дхармендра и Санджив Кумар. И если эти имена вам ничего не говорят, то значит, друзья мои, не тех кумиров вы себе выбирали в свое допрыщавое, но вполне уже зрелое детство. За кого вы мечтали выйти замуж в десять-одиннадцать лет? Только не говорите, что за Алена Делона, кто вам поверит, хе-хе. И Африка Саймона сюда не приплетайте, пожалуйста. Потому что все это не то.

Кумиры 80-х — это Дхармендра и Санджив Кумар. Или вы со мной соглашаетесь, или мы прямо на этом абзаце расплываемся и расходимся как в море корабли. Ибо я сегодня тиран и деспот и не приемлю возражений.

Имею право в кои веки.

А коли я сегодня тиран и деспот, то буду играть эту роль до конца и, так и быть, единственный раз в жизни соглашусь с Лениным, который справедливо заметил, что важнейшим из всех искусств для нас является кино. Умел иногда сказать, сукин сын. Вот куда ему надо было идти — в синематограф. А не царское имущество разбазаривать да не свои территории на откуп бесславному варварам отдавать. Но это я так, по-тирански, о своем, наболевшем.

А теперь о кино. Точнее — об индийском кино. И о том, на какие жертвы шел житель среднестатистического советского провинциального городка, чтобы насладиться игрой своих кумиров.

В понедельник Манька опоздала на урок по сольфеджио. Она влетела в класс с таким всполошенным выражением на лице, что всем сразу стало ясно — в город прилетели инопланетяне. Как минимум. Потому что Манькины глаза существенно опережали остальное Манькино лицо. Я могла поклясться чем угодно, что в обычной жизни она не практикует такую пучеглазость.

Когда моя подруга вбежала в класс (впереди маячили глаза, над глазами развевался боевой чубчик, а в арьергарде мотались остальные ненужные в данном контексте



Манькины части), то ребята сразу напряглись. Всем стало ясно, что явился ГОНЕЦ. И что ГОНЕЦ несет какую-то сногшибательную ВЕСТЬ.

— Сергомихалыч, я больше не буду, можно сесть? — запрыгала от нетерпения моя подруга. — Что щас скажу, что щас скажу, — громко зашептала она в нашу сторону.

Мы встрепнулись и на всякий случай дружно покрылись мурашками.

Серго Михайлович смерил Маню долгим, немигающим взглядом голодного варана. У Серго Михайловича глаза смотрели чуть вразнобой, к тому же одно его веко было длиннее другого на приличный сантиметр. Поэтому наш славный хормейстер глядел всегда чужь искоса, сильно откинув назад голову, — это помогало ему не только сфокусировать взгляд, но и заодно зрительно сглаживало разницу в длине век.

— Шац! — вздохнул Серго Михайлович. — Теперь чего?

— А что сразу «теперь чего», — нахохлилась Манюня. — Можно подумать, я всегда опаздываю. На прошлый урок, между прочим, я не опоздала, вы помните?

— Помню, — хмыкнул Серго Михайлович, — и знаешь, почему я это так хорошо запомнил? Потому что это был единственный раз, когда ты не опоздала!

— Га-га-га! — дружно заржал класс. Громче всех смеялась Манька.

— Садись, горе луковое, — вздохнул Серго Михайлович, — ты хоть расскажешь нам, почему опоздала?

— Это! — вылупилась Манька. — Я когда шла в музыкалку, то увидела, как переклеивают афишу возле кинотеатра. Вот я и задержалась, хотела посмотреть, какой фильм будет идти завтра. И знаете, какой? «Зита и Гита!»

— Вах, мама джан! — присел Серго Михайлович. — Опять? Сколько можно?

— Ураааааа! — заорал класс. — «Зита и Гита», урааааа!!!!

— Снова пропадет занятие по хоровому пению, — рвал волосы на голове несчастный Серго Михайлович. — Дети, тем, кого завтра не будет на занятии, влеплю двойки, понятно?

Но кто его слушал! Если бы Серго Михайлович пригрозил даже атомной бомбардировкой, то и это бы никого не остановило. Потому что индийское кино любили все! А привозили его к нам в город очень редко и показывали всего пять дней.

Я не знаю, как обстояли дела с кинопрокатом в других советских маленьких городах, но в нашем десяти тысячном городе был всего один кинотеатр с залом на триста мест. Сеансов было два — четырехчасовой и семичасовой. До сих пор не могу понять, что мешало администрации кинотеатра организовать дополнительные сеансы. Может, конечно, количество сеансов регулировало специальное постановление пленума ЦК КПСС, где черным по белому говорилось, что после десяти вечера советский гражданин должен активно медитировать на Маркса и Энгельса, а не прохлаждаться по кинотеатрам. Я этого не могу знать, но факт остается фактом — сеансов было всего два, а фильм привозили только на пять дней. Если учесть, что новость о репертуаре кинотеатра распространялась по близлежащим селам со скоростью световой волны, то можно себе представить, что творилось в те дни, когда в нашем городе показывали индийское кино.

Билеты можно было купить только за полчаса до начала сеанса, потому что билетерша тетя Гармония (Гармония, Гармония, я не оговорилась) по совместительству работала в библиотеке и отпрашивалась в кинотеатр только за тридцать минут до начала сеанса. Она быстренько распродавала билеты на один сеанс, возвращалась в свою библиотеку, а потом приходила в полседьмого к началу второго сеанса.

Разношерстную толпу фанатов индийского кино невозможно ни в сказке сказать ни пером описать. Кого там только не было — и трепетные школьницы, и хулиганистые мальчишки, и домохозяйки, надевшие на себя по случаю «выхода в свет» все самое лучшее, и склочные старушки, которые приходили в кино в том числе и с намерением

просканировать очередь и набраться новых тем для посиделок вокруг чашечки кофе с бесконечными: «А ты видела, в какой короткой юбке явилась в кинотеатр младшая Сарафьян? Еще чуть-чуть, и все бы увидели ее колени!» Некоторые люди прибегали на просмотр чуть ли не с колхозных полей, буквально с орудиями труда наперевес. Поэтому очередь из провинциальных синефилов там и сям щерилась лопатами, серпами, вилами и другим сельскохозяйственным и рабочим инвентарем.

Когда появлялась кассирша тетя Гармония, то по очереди прокатывался вздох облегчения: «Гармония, Гармония идет!» — ликовали люди. Гармония шла через толпу как на эшафот — ей надо было выдержать получасовой натиск у кассового окошка с криком и руганью, с мелким шантажом типа: «Гармония, ты же помнишь, как мы с тобой в прошлом году стояли в очереди на прием к одному и тому же гинекологу, продай мне билеты первой» или «Гармония, моя мама училась в одном классе с первой тещей твоего двоюродного брата, ты должна меня помнить»!!! Люди норовили пролезть в кассовое окошко с головой, чтобы поздороваться с «глубокоуважаемой Гармонией» и поинтересоваться конспиративным шепотом, почему она до сих пор засиделась в девках.

Для того чтобы попасть в кинозал, нужно было пройти несколько ритуальных кругов ада. Сначала провинциального синефила хорошо истаптывали у окошка кассы, далее проходились по нему вдоль и поперек в очереди к подслеповатому контролеру, который, словно гомеровский циклоп Полифем, неспешно проверял каждый билет и пропускал людей в здание кинотеатра чуть ли не на ощупь. А финальный штурм подстерегал стойкого киномана уже у входа в зал. Дело в том, что билет, который зритель приобретал в нечеловеческой давке, представлял собой жалкий огрызок бумаги без указания ряда и места. До какого кресла добежал, там и есть твое место. Поэтому нужно было не просто добраться до первого свободного кресла, но и что есть мочи вцепиться в него всеми выступающими частями тела. Потому что были случаи, когда несчастных киноманов отдирали с кресел и отшвыривали в другой конец зала их более нахальные соплеменники.

Билетов всегда продавалось больше, чем было мест в зале. Поэтому нерасторопные граждане, которым не повезло со свободными местами, весь сеанс проводили на ступеньках между рядами или жались вдоль стенок.

Ну вот, теперь вы приблизительно представляете, на какие жертвы приходилось идти провинциальному ценителю индийского кино, чтобы попасть на просмотр любимого фильма.

\* \* \*

После занятий мы с Манькой помчались в художественную школу, которая находилась напротив нашей музыкальной. Нужно было предупредить мою сестру Каринку, что завтра мы идем в кино. Каринка была незаменимым атрибутом для успешного посещения кинотеатра. Она умела атомным ледоколом проложить нам дорогу сначала к кассе, а потом в зал, она первая добегала до кресел и в виртуозном прыжке занимала своей тушкой аккуратно три места, и попробовал бы кто потом отодрать ее от сидений!

Художественная школа находилась на первом этаже двухэтажного невысокого каменного здания. Мы с Маней по очереди заглядывали во все окна, пока не увидели мою сестру. Каринка сидела за мольбертом и вымучивала очередной косорылый кувшин на фоне аляповатого коврика. Лицо сестры там и сям было вымазано краской, бантик съехал набок и из последних сил цеплялся за торчащий клочок волос.

Между мольбертами ходил преподаватель и периодически делал замечание то одному, то другому начинающему художнику. Мы с Маней дождались, пока он повернется к нам спиной, встали в полный рост и помахали сестре рукой. Каринка обернулась к нам и увидела наши выпученные глаза.

— Что? — спросила она одними губами.

— «Зи-та и Ги-та», завтра, в кинотеатре! — проорали мы и нырнули в кусты. Шум, который поднялся в аудитории, свидетельствовал о том, что все двадцать учеников второго класса художественной школы услышали нас. Урок был сорван.

— Ааааа! — кричали ребята. — «Зита и Гита»! Завтра! В кинотеатре!

— Кто посмел?! — бросился к окну преподаватель, но прозвенел спасительный звонок, и дети, опрокидывая мольберты, ринулись из аудитории на улицу.

Впереди всех бежала моя сестра.

— Урааааа! — орала она.

— Урраааа! — закричали мы ей в ответ.

Первым делом мы сбежали к кинотеатру удостовериться, что Манька ничего не перепутала. Полюбовались на большую и красочную афишу, где были изображены все главные герои фильма.

— Мне больше всех нравится Дхармендра, такой лапочка! — сказала я.

— А мне Санджив Кумар, — протянула Манька, — он еще более лапочковее, чем твой Дхармендра.

— Дуры, — фыркнула Каринка, — нашли в кого влюбляться! Рупеш Кумар хоть и играет злодея, но самый красивый из всех!

Далее мы чуточку покалечили друг друга, потому что не могли решить, кто все-таки из актеров фильма самый красивый. А потом стали прикидывать, сколько у кого денег.

— У меня есть рубль, — сказала Маня, — девяносто копеек уйдет на три билета, и десять копеек останется на кулек семечек!

— У меня с собой двадцать копеек и дома еще сорок, — прикинула сестра, — и у Нарки рубль десять, она их прячет за Сервантесом в шкафу.

— Откуда ты знаешь? — задыхнулась я. — Это я на черный день коплю.

— Пф, — фыркнула сестра, — просто не надо по восемь раз на дню пересчитывать свои деньги!

— Ах, значит, вот как пропали мои пятьдесят копеек! — догадалась я и кинулась с кулаками на сестру. — Это ты их украла, воровка! Я сейчас тебе покажу, как чужие деньги без спросу брать!

Я сделала попытку вцепиться сестре в волосы, но Каринка легко вывернулась, моментально выдрала с моей головы клочок волос и сунула его мне под нос.

— Скажи спасибо, что я не все взяла, — уронила она пренебрежительно.

Я махнула рукой — не время выяснять отношения, подраться успеем в любой другой день, а сегодня нужно посчитать деньги и понять, на что мы можем развернуться.

Итого получилось, что если сложить всю наличность, то можно два раза сходить в кино, а на сдачу купить каждой — йо-хо-хо! — по слоеной трубочке со сливочным кремом и по кульку жареных семечек.

— Может, лучше коржиков возьмем? Тогда каждому по два достанется, — внесла рацпредложение Каринка.

Мы с Манькой поморщились:

— Коржики мы ежедневно в школе едим! А трубочки с кремом редко когда! И вообще, они же с кремом!

— Это дааа, — протянула Каринка, — ну ладно, берем трубочки. Я завтра по дороге домой зайду в булочную и куплю три штуки.

— Понадкусываешь наши — уьем, — сунули мы ей под нос свои кулаки.

На следующий день, сразу после занятий в школе, Манюня прибежала к нам. Времени было в обрез — нужно было привести себя в порядок, не идти же на встречу с кумирами в чем попало! Мы вскипятили термобигуди и завили мне волосы, почему-то локонами наружу. Получилась прическа как у папы Карло, но было уже поздно что-либо переделывать.

— Шикиблеск! — не дала мне расстроиться Маня. — Выглядишь как Констанция Бонасье.

Далее мы надели свои самые красивые платья, сбрызнулись мамиными французскими духами. Повертелись перед зеркалом. Красота! От нашего дома до кинотеатра при резвом галопе можно было домчаться за пятнадцать минут. Мы покрыли это расстояние минут за семь. Летели, как на крыльях любви.

Возле кинотеатра толпилась такая очередь, что нам сразу стало ясно — просто так к окошку кассы не пробиться.

Я тут же попыталась пуститься во вселенский плач, но Каринка предостерегающе подняла руку.

— Погоди, — сказала, — оставим это на потом. Стойте здесь, никуда не уходите.

И пошла вдоль очереди к окошку кассы. Очередь нервно вздрогнула, ощерилась локтями и коленками и всячески собралась дать достойный отпор чужеродному телу. Но Каринке было все нипочем, она шла вдоль очереди, словно и не в кино пришла, а так, на народ поглазеть.

— Побьют ее, — зашептала Манька.

— Побьют, — пригорюнилась я.

И тут Каринка сделала попытку нырнуть в очередь с головой. Очередь не дрогнула, поглотила ее, изжевала и выплюнула обратно. Каринка невозмутимо пригладила всклокоченные волосы, прошла чуть вперед и проделала по новой тот же маневр. За что была снова отшвырнута назад. На этот раз из очереди вынырнула монументальная в своих размерах пучеглазая тетка с огромной халой на голове и, сверкая на солнце булатными коронками, разразилась грозной речью.

— Бессовестная девочка, — вещала тетка, — совсем стыд и совесть потеряла, иди в конец очереди!

— Но тогда мы не попадем на сеанс, а в семь часов вечера нам уже поздно идти в кино, — развела руками сестра, — тетенька, можно вы мне тоже билеты возьмете?

Тетенька открыла рот, чтобы ответить Каринке, но вдруг всплеснула руками и выпучилась. Очередь повернулась в сторону, куда выпучилась тетенька, и заволновалась — к кинотеатру, ведя за собой на веревке тощую козу, шла древняя, страшная как смертный грех и практически бородатая старушка. Волос на лице у старушки был кучеряв и воинственно топорщился во все четыре стороны.

Очередь вздрогнула и сложилась в единый монолит. Старушка, не обращая внимания на фурор, который произвела своим видом и эскортом в виде козы, поправила на голове платок и пригладила скрюченными пальцами волосы на подбородке.

— Это сюда надо вставать, чтобы в кино попасть? — продребезжала она.

Очередь попыталась возмутиться, но монументальная тетка опередила всех. Она тряхнула халой, победно игогокнула и пошла штурмом на старушку.

— Мать! — сверкнула булатными зубами тетка. — Ты куда пришла? В кино или в хлев? И что это за чучело тебя сопровождает?

— Я-то в кино пришла, а откуда ты пришла, я не знаю, может, и из хлева! — не испугалась старушка. — Сама ты чучело, понятно тебе? А это моя коза Маньяк, еще слово поперек скажешь — и я ее на тебя натравлю. Учти, она бодливая, да, Маньяк? — обернулась старушка к козе.

— Ме-е-е-е! — с готовностью отозвалась Маньяк.

Здесь нужно сделать маленькое отступление и объяснить уважаемым читателям, что Маньяк — это древнее армянское женское имя, и никакого отношения к серийным убийцам оно не имеет. Правда, сейчас редко кто рискует дать своей дочери такое имя, просто боясь представить себе выражение лица собеседника, которому он гордо рассказывает, что девочку свою нарек Маньяк. А сына, например, Сасун. Тоже, между прочим, древнее армянское имя, но сами понимаете, мои дорогие русскоговорящие друзья, какие нехорошие ассоциации может вызывать такое имя. Вот так в эпоху глобализации и уходят в прошлое исконно народные имена.

Что-то сегодня меня потянуло на ликбез, заткнет меня кто-нибудь или как?

Итак, обстановка возле кинотеатра накалялась, старушка с Маньяк оборонялись, очередь во главе с грозной теткой наступала.

Люди шумно втолковывали старушке, что с животными в кино приходиться запрещено. Коза при виде большой гомонящей толпы всполошилась, стала отбрыкиваться и вонюче метить территорию вокруг. Народ взбеленился и попытался вытолкнуть козу и ее хозяйку из очереди.

Каринка, воспользовавшись всеобщим замешательством, юркнула к окошку кассы и вцепилась в оконную решетку. Мы вздохнули с облегчением — проблема с билетами была решена.

Тем временем тучи над старушкой с козой (хорошо, что не с косой) стремительно сгущались.

— Мать! — орал народ. — Привяжи козу хотя бы к столбу, а то она тут уже все изгадила! И вообще, как ты на фильм пойдешь, тебя же с животным в зал не пустят!

Старушка принялась всех уверять, что коза у нее смиренная и тихо может переждать в уголке зала весь сеанс, а если уж кого она и обкакала, то это исключительно от испуга, а не из-за вредности, как подумали некоторые.

— Войдите в положение, — ругалась старушка, — если я привяжу Маньяк к столбу, то ее мигом украдут! А мне страсть как хочется попасть на фильм! Я ведь здесь проездом, привезла козу к ветеринару, вечером уезжаю, и когда еще сподоблюсь приехать — неизвестно.

Народ демонстрировал поразительное бездушие, категорически отказывался входить в положение старушки и всячески отпихивался от нее локтями и коленями. Коза метко и вонюче отстреливалась, но перевес сил был на стороне очереди, поэтому старушка, проклиная всех до седьмого колена, ушла несолоно хлебавши на автостанцию ругаться с водителем, чтобы он пустил козу на рейсовый автобус.

— Чтобы вы остались бездетными на всю вашу оставшуюся жизнь, — долетали до нас ее крики, — чтобы вы ослепли и оглохли, чтобы у вас в роду рождались одни только дебилы, а вы даже среди них были самыми тупыми!

Потом пришла Гармония, и народ повалил к окну за билетами.

— Займите очередь у входа, — успела нам крикнуть сестра до того, как ее поглотило цунами любителей индийского кино.

Мы с Манькой бросились к входу и встали прямо напротив стеклянных дверей. Минут через пять прискакала Каринка. Вид у нее был такой, словно она поучаствовала в гладиаторских боях, — юбка болталась задом наперед, гольфы были изрядно испачканы и сложились гармошками на щиколотках. Каринка победно трясла над головой билетами.

Первый круг испытания с честью был пройден.

Во время второго штурма очередь подхватила нас и размазала по стеклянным входным дверям. Слоеные трубочки со сливочным кремом превратились в безобразное месиво.

— Осторожно, тут же дети! — орал обезумевший подслеповатый контролер, но кто его слушал? Итого когда мы уже оказались в зале, то выглядели мы так, словно нами тщательно протирали пыль, — от укладки не осталось и следа, одежда была изрядно помята и испачкана, аромат французских духов «Клима» был перебит стойким запахом толпы, а Манино платье на спине разошлось по шву сантиметров на пять. Уцелели только кульки с семечками.

Аншлаг был полный. Яблоку в зале негде было упасть. Публика, затаив дыхание, следила за событиями, разворачивающимися на экране и, как это обычно водится у провинциального неискушенного зрителя, параллельно активно обсуждала фильм. По ходу действия там и сям раздавались выкрики типа: «Вот баба дура, не может понять, что это не ее падчерица», «Куда прешь, идиот, она же сейчас свалится с каната» или «Га-га-га, так ему и надо».

В момент, когда одна из сестер решила покончить жизнь самоубийством и бросилась в реку, женская часть аудитории взвизгнула и попыталась упасть в обморок. Во время драк мужская часть аудитории оживлялась, громко свистела и активно обсуждала приемы.

— Размик, ты бы одной левой всех положил, да? — выкрикивал кто-то.

— Да через минуту их бы всех просто похоронили! — лениво откликнулся Размик.

В общем, просмотр удался на славу. Когда мы вышли из кинозала, то увидели клубящуюся возле кассы очередь на второй сеанс. Стоящие в хвосте напирали, те, которые находились поближе к кассовому окошку, отпихивались локтями и хватали ртом воздух.

— Какие они счастливые, — вздохнула Манька, — им еще предстоит попасть на сеанс, а мы уже уходим!

И мы тут же начали решать, когда еще пойдём на фильм.

— Давайте в четверг, — предложила я, — в выходные попасть в кинотеатр практически невозможно.

— Угум, — согласились девочки.

Мы не догадывались, что Серго Михайлович обзвонил родителей учеников, которые сегодня не явились на занятие по хору, и потребовал объяснений. Знай мы это, то штурмом взяли бы кинокассу и попали и на второй сеанс. Чтобы надышаться перед смертью.

Но мы, конечно же, ничего этого не знали. Мы шли домой, радостно предвкушали новый поход в кино и ничего не замечали вокруг. Нас даже не насторожили облака пыли, которые поднимались в небо в районе Манькиного дома. А зря. Надо было припасть ухом к земле и прислушаться.

И тогда мы бы догадались, что пыль, которая клубится в небе и уже практически застилает закатное красное солнце, поднимается из-под туфель разъяренной Ба.

Ба мчалась нам навстречу истинным воплощением Судного дня. Она была в бешенстве от того, что мы посмели впервые в жизни, не поставив в известность родителей, да что там родителей — не поставив в известность Ба, прогулять занятия в музыкальной школе, чтобы сходить в кино.

— Поймаю, мало не покажется, — шипела Ба, — на одну ногу наступлю, за другую потяну — и разорву пополам.

Мы же, счастливые в своем неведении, шли навстречу неминуемой гибели, прокручивали в голове кадры из любимого фильма и шептали про себя, как волшебную мантру, имена наших кумиров. Дхармендра и Санджив Кумар. Дхармендра и Санджив Кумар.

Жить нам оставалось несколько минут....

## ГЛАВА 18 Ба вышла на тропу войны, или Что означает выражение «Николай боз»

Ба вела непримиримую и изнурительную войну со своей соседкой тетей Валею. Соседка тетя Валя была крайне сварливой и невероятно глазливой (как утверждали старожилы Манькиного квартала), злобной женщиной. У тети Вали были три великовозрастные, засидевшиеся в девках дочери. И не сказать, что они были страшненькими, поэтому никто из молодых людей не обращал на них внимания. Наоборот, Тетивалины дочери были очень даже хорошенькие, и особенно младшая Кристина — тоненькая, изящная шатенка с потрясающей красоты золотистыми глазами и изогнутыми в робкой полуулыбке губами.

Вся причина неудавшейся личной жизни девушек скрывалась в самой тете Вале — своим сварливым и несносным характером она разогнала всех потенциальных кавалеров своих дочерей. А те отчаянные влюбленные юноши, которых не испугала кандидатура тети Вали как будущей тещи, были отвергнуты ею под разными предлогами — нищ, глуп, ненадежен, посмотри, на кого похож! Дочки, навсегда задавленные авторитетом матери, выросли совершенно кроткими бессловесными созданиями, говорили только шепотом и не смели поднять на собеседника глаза.

Муж тети Вали много лет назад уехал на заработки в Казахстан и больше в семью не возвращался. На целине он нашел себе замечательную, тихую, а главное — уступчивую, русскую женщину, влюбился и впервые в жизни почувствовал себя человеком. Засим он отписался жене коротенькой телеграммой: «Не жди меня тчк я не дурак зпт чтобы возвращаться тчк твой Петрос».

И эта таинственная подпись «твой Петрос» навсегда выбила тетю Валию из колеи. Она так и прожила всю оставшуюся жизнь в ненависти к мужу и к женщине, которая их разлучила, но в глубине души не переставала тешить тайную надежду, что «твой Петрос» когда-нибудь образумится и вернется в семью. И в ожидании возвращения блудного Петроса она превратила в сущий ад жизнь своих дочерей, соседей, да и вообще всего живого в радиусе нескольких километров вокруг своего дома.

Злобность тети Вали передалась даже всей ее живности. Кот тети Вали с особой изощренностью и наслаждением тиранил в округе все существа, которые в холке уступали ему хотя бы на миллиметр. Кавказская овчарка Найда лаяла круглосуточно таким захлебывающимся и ожесточенным лаем, словно кто-то из-за угла постоянно кидал в нее камнями. Гуси тети Вали были очень драчливыми и страшно кусачими. Поэтому если мы с Маней выходили за калитку и видели стаю Тетивалиных гусей, то тут же убегали обратно во двор. У нас была уже в анамнезе бесславная попытка вступить с ними в бой. В итоге мы отделались парой синяков от гусиных щипков и никогда более не лезли на рожон.

Тетя Валя со страшной силой ненавидела людей. Люди отвечали ей взаимностью, но, помня о ее глазливости, старались не демонстрировать своей неприязни. Единственный человек, который не опасался тети Вали и вел с нею бесконечную войну Алой и Белой Розы, была, естественно, наша Роза Иосифовна.



По первости Ба ходила к сварливой соседке «поговорить за жизнь» и не оставляла надежды как-нибудь облегчить судьбу ее забытых дочерей. Но тетя Валя мигом раскусила маневр Ба и в грубой форме попросила не вмешиваться в ее личную жизнь. Я не знаю, в каких именно выражениях тетя Валя «попросила Ба», но к моменту моего знакомства с Маней открытый конфликт между соседками перевалил за добрый десяток лет.

Война была совершенно беспощадной и велась с переменным успехом для обеих сторон. Да, я должна с горечью признать, что Ба иногда могла стушеваться перед натиском тети Вали. Но в защиту Ба я могу сказать, что, во-первых, такие досадные поражения случались крайне редко, а во-вторых, подстегнутая ими, Ба в следующий раз реваншировала с таким отрывом, что тетя Валя отступала, зализывая разрывные и колото-резанные раны, и потом какое-то время при виде своей заклятой соседки переходила на другую сторону улицы.

— Пф! — пренебрежительно фиксировала факты позорного отступления соперницы Ба.

Самое страшное рубилово между Ба и тетей Валею случилось в очереди за кухонными полотенцами.

Дело было так. У Ба вышли белые нитки, и она заскочила за ними в галантерею. И случайно застала счастливый момент, когда на прилавок выкинули кухонные полотенца. Сразу образовалась большая очередь, которую, как назло, замыкала тетя Валя А у Ба с собой было очень мало денег. И она почему-то решила, что в экстренных ситуациях можно рассчитывать на закон джунглей, когда к водопою допускаются все животные, независимо от их кубатуры, хищности или травоядности.

— Валя, ты не скажешь, что я за тобой? — обратилась Ба к своей заклятой соседке. — Я домой за деньгами сбегаю.

Вот как бы вы поступили в такой ситуации? Даже несмотря на то, что буквально дня три назад перелаивались через забор так, что если бы не вовремя подоспевший дядя Миша, то все бы закончилось большой кровью? Я почему-то думаю, что вы бы ссудили Ба какое-то количество денег или постерегли ее место в очереди.

Но тетя Валя не искала легких путей.

— Нет, — отрезала она, — зачем тебе полотенца, если ты посуду оконными шторами протираешь? Аж за километр видно, какие они у тебя засаленные!

Это был мерзкий удар под дых. Очередь вздрогнула и затрепетала. Все понимали, что двинутая на чистоте Ба не спустит тете Вале такой гнусной клеветы. И Ба, конечно, не разочаровала публику. Она моментально вспыхнула и, ничтоже сумняшеся, вцепилась тете Вале в волосы.

К счастью, в подсобном помещении магазина оказались два крепких грузчика. Они не побоялись встать таким водоразделом между взбешенной Ба и тетей Валею, чем и спасли магазин, посетителей и продавцов от незавидной участи быть распыленными в молекулы. Не знаю, как повел себя в этой ситуации директор магазина, но я бы на его месте выписала отчаянным молодым людям премии и отправила в какой-нибудь санаторий поправлять пошатнувшееся здоровье.

Любая, даже самая бесчеловечная война когда-нибудь обязательно заканчивается. Подписываются мирные соглашения, выплачивается контрибуция победившей стороне, восстанавливаются разрушенные города и села...

Я хочу рассказать вам о внезапной развязке этой кровопролитной истории. О том, как в одночасье Ба и тетя Валя превратились в добрых соседок.

А для целостности повествования здесь обязательно нужно ввести еще одного персонажа — мою бабулю, мамину маму Анастасию Ивановну Медникову-Агаджанову, ибо



долгожданное перемирие между заклятыми соседками случилось при непосредственном ее участии.

Бабуля жила в Кировабаде. И иногда, когда позволяло здоровье, она приезжала погостить к нам.

Каждый ее приезд превращался в невероятные душевные и даже физические страдания не только для моего отца, но и для самой бабули.

Во-первых, причина этих треволнений крылась в одной давней ИСТОРИИ, которую, как водится, все делали вид, что забыли, но на самом деле помнили до мельчайших подробностей.

Дело было так. На заре своего брака мама с папой за неимением своей отдельной квартиры жили с папиными родителями.

И как-то бабуля приехала на несколько дней погостить у дочери и зятя. Ее приняли с распростертыми объятиями, но так как других свободных комнат в доме не было, то бабуле постелили в спальне моих родителей. Мама с папой уступили ей свою кровать, а сами легли на диван. Вот. А папе ночью приспичило попить водички. Он прошлепал в кухню, вернулся, забрался спросонья в кровать, под одеяло к своей жене и привычно сгреб ее в объятия.

— Ой! Ай! — заверещала моя бабуля пожарной сиреной. — Юра! Это не я! Это не Надя! Это не туда!

Папа пережил такое чудовищное потрясение, что какое-то время после этого чуть ли не светил маме в лицо фонариком, перед тем как ночью забраться к ней под одеяло.

Если до этого случая бабуля с папой просто робели друг перед другом, то после папиного посягательства на бабулину честь их отношения превратились в сплошную обоюдную муку. Любовь, которая витала между зятем и тещей, приобрела воистину вселенский по своему размаху, но катастрофичный по форме изъясления характер.

Когда папа приезжал с работы на обед, бабуля, дабы не мешать зятю трапезничать, выскальзывала на балкон и сидела там до тех пор, пока папа не уезжал обратно на работу.

— Мой зять золото, — периодически выкрикивала она в балконную дверь.

Папа тоже не унимался. Во-первых, он все не мог отойти от той злополучной ИСТОРИИ, а во-вторых, находился в постоянном духовном поиске — никак не мог для себя решить, как называть свою тещу. Обращаться к ней по имени он считал фамильярностью, по имени-отчеству — проявлением холодности, а называть ее мамой не позволял махровый мужской гонор.

В результате бесконечных раздумий он нашел свой метод общения с тещей. Он обращался к ней опосредованно, через жену или дочерей.

— Твоя мама уже поела? — спрашивал он жену в присутствии тещи.

— Ой, Юрик-жан, — отважно брала штурмом армянский «джан» моя русская бабуля, — я уже поела, ты не волнуйся.

— Хорошо, — соглашался папа с ней.

— Ты своей бабушке чаю налила? — грозно сверлил он меня взглядом.

— Ой, Юрик-жан, спасибо, я уже попила чаю, — рапортовала бабуля и поспешно добавляла, предупреждая новый мозговой штурм папы: — Чаю больше не хочу. И кофе тоже не хочу.

— Хорошо, — соглашался папа.

— Мой зять золото, — всплескивала руками бабуля.

— Мммые, — любовно мычал в ответ папа.

Если не сильно придирается, то это папино «мммые» можно было спокойно трактовать как производное от «мамы». В результате все оставались довольны — и

бабуля, которая считала, что папа обращается к ней как к родному человеку, и папа, который не пятнал свою репутацию настоящего мужчины тем, что называл тещу мамой.

— Твоя мама точно поела? — грозно наскაკивал он на жену, садясь за стол пообедать.

— Поела-поела, — успокаивала его мама, — все уже поели, только ты остался.

— Мой зять золото, — доносились с балкона позывные.

— Ммммые! — покрывался в ответ благоговейной испариной папа.

Чтобы хотя бы иногда прерывать эту бесконечную и изнурительную в своем накале поэму любви, бабулечка к отцовскому перерыву уходила посидеть у Ба. Идти до Маниного дома было недалеко, поэтому ближе к часу дня бабуля напудривала носик из картонной, расписанной лилиями, пудреницы, душилась капелькой своих неизменных цветочных духов: «Надо же запах валерьянки перебить», — приговаривала, повязывала белую кружевную косыночку накидывала тонкое летнее светлое пальто и шла к Ба чаевничать. Я всегда с превеликим удовольствием сопровождала бабулю. Во-первых, это был лишний повод встретиться с Маней, а во-вторых, мы очень любили, раскрыв рты, слушать истории, которые рассказывали за чаем Ба с моей бабулей.

Первое знакомство моей бабулечки с Ба осталось притчей во языцех.

— Анастасия Ивановна, — шаркнула ножкой моя бабуля, — ветеран Отечественной войны, медсестра. Вдова.

— Роза Иосифовна, — вытянулась Ба, — ветеран неудавшейся личной жизни, потомственная домохозяйка с миллионерами-предками в анамнезе. Тоже вдова.

Дядя Миша называл их кумушками.

— Кумушки, — смеялся он, — как вы умудряетесь понимать друг друга? Говорите в унисон и совершенно на разные темы!

— Дорости до наших мощей, а там обзывайся, — огрызалась Ба.

И вот как-то у отца выдался очень непростой день — с утра он провел две сложнейшие операции. Дабы не заставлять его напрягаться еще и в обеденный перерыв, бабулечка решила навестить Ба.

— Позвони Мане и спроси, удобно ли зайти на чай, — попросила меня бабуля.

Я кинулась набирать номер.

— Алло, с вами говорит авт... ахт... ахтатвечик! — отрапортовала в трубку Маня. — Оставьте, пожалуйста, что хотели сказать после гудка, бип!

Я хмыкнула. Манино странное поведение легко объяснялось — мы недавно посмотрели по телевизору какой-то фильм и буквально влюбились в таинственный телефонный аппарат, по которому заграничный злобный миллионер получал сообщения. И периодически забавлялись тем, что отвечали на телефонные звонки механическим голосом автоответчика.

— Мань, это я, зря стараешься, — фыркнула я.

— Фу ты, — рассердилась Маня, — не могла сразу предупредить, что ли?

— Мы с бабулей скоро к вам придем, спроси у Ба, ей удобно?

— Сейчас, — Манька бросила трубку и шумно побежала куда-то вверх по лестнице, — Ба-а-а-ааа, Нарка звонит, говорит, что они с Настыванной хотят прийти на чай, моооожно?

— Можно, конечно, — отозвалась Ба.

Маня шумно ссыпалась вниз по лестнице:

— Можно, — выдохнула она в трубку, — а что вы нам принесете?

— Мария! — протрубила сверху Ба. — Уши откручу!

— Мама испекла торт «Мишку», — зачастила я, — обязательно возьмем с собой к чаю.

— Ура, — выдохнула Маня, — я выйду к вам навстречу!

Мы не успели одеться, а Маня уже трезвонила в нашу дверь.

— Сколько можно вас ждать! — крикнула она с порога. — Там Ба уже чай заваривает, а вас все нет!

— Идем-идем, — всплеснула руками бабулечка, — уже выходим.

— Торт не забудьте, — забеспокоилась Манюня.

Мама со смехом вручила пакет Маньке.

— Донесешь? — спросила.

— Тетьнадь, он с орехами?

— С орехами, конечно, — успокоила ее мама.

— Ура, — запрыгала Манька, — мой любимый. Спасибо, Тетьнадь, — она потянулась, чмокнула маму в щечку и нырнула носом в пакет. — Ух ты, а пахнет-то как!

Через минуту мы вышли из дома и торжественной процессией двинулись в сторону Манькиного квартала. И сильно всполошились, потому что буквально сразу до нас долетел несусветный гам — лаяли собаки, кричали петухи, гоготали гуси. Мы прибавили шаг. Еще через минуту нам стало ясно — Ба с тетей Валею сцепились в плановой схватке. И по очереди визгливо солируют на фоне гусяного гогота и собачьего лая.

— На себя посмотри! — орала что есть мочи тетя Валя. — Строишь из себя святошу, а сама чуть ли не каждый шаг сына контролируешь!

— Да кто ты такая, чтобы мне замечания делать?! — захлебывалась в ответ Ба. — Свихнулась вконец, дочерей из дома не выпускаешь! У самой личная жизнь не заладилась, так ты решила на этих несчастных отыграться?

Мы вошли в калитку и застали знакомую картину — Ба в позе Наполеона Бонапарта возвышалась посреди двора и ругалась в сторону Тетивалиного дома. Большие домашние тапочки с помпонами сильно диссонировали с общим воинствующим видом Ба, но кто на такие мелочи обращал внимание!

Тетивалины выпученные глаза грозно торчали в ответ по ту сторону деревянного забора. Потому что если Ба была достаточно высокой и видела тетю Валию как на ладони, то маленькой тете Вале приходилось униженно вытягивать шею и вставать на цыпочки, чтобы смотреть своему ярому оппоненту в глаза.

— Здравствуй, Настя, погляди, что эта ненормальная вытворяет, — обернулась к нам Ба, — совсем с ума сошла, на порядочных людей кидается!

— Девочки, ну что вы как маленькие, — попыталась образумить двух непримиримых врагов моя бабуля, — какой стыд, все соседи слышат, как вы тут переругиваетесь!

— Анастасия Ивановна, — подала голос с той стороны забора тетя Валя, — вы интеллигентная женщина, у вас зять врач...

— Мой зять золото, — встрепелась бабуля.

— Да-да, золото, — не стала спорить тетя Валя, — скажите мне, пожалуйста, как вы можете дружить с этой лицемерной женщиной, которая постоянно лезет учить меня, как я должна своих дочек воспитывать, а сама сделала все возможное, чтобы сына с невесткой посорить?

— Ах ты... — задохнулась Ба. — Ах ты... да как ты смеешь?.. Да что ты знаешь?..

— Дура! — проорала с той стороны забора тетя Валя.

— Николай боз! — не осталась в долгу Ба.

— Гхмптху, — подавилась криком тетя Валя.

Позволю себе маленькое отступление. «Николаи боз» в дословном переводе — «шлюха Николая», достаточно распространенное ругательство в северо-восточных районах Армении. Под Николаем подразумевается последний российский император Николай II. Никакого отношения к Николаю шлюха, конечно же, не имеет. Николаи боз — это женщина, которая занимается своим незавидным ремеслом с давних пор, чуть ли не со времен Николая II. Скажем так, шлюха с большим стажем. Очень часто в народе можно услышать выражения типа: «Это очень старая история, чуть ли не со времен Николая» или «Они еще с Николаевских времен живут у нас». Почему люди связывают давность событий с последним императором России (не будем сейчас об отречении), я не знаю. Могу предположить, что пиетет к царю-батюшке в народе был настолько велик, что не выветрился даже после долгих лет советского правления.

А теперь вернемся к нашим, так сказать, баранам.

— Николаи боз! — выкрикнула Ба.

Мы с Манькой от неожиданности присели. Мы и представить не могли, что Ба может позволить себе такое страшное ругательство.

— Ой-ой, — моя бабулечка перекрестила Ба, — Роза, что ты такое говоришь?!

— Э-их, — увернулась от бабулиной христианской щепоти Ба, — Настя, оставь эти православные штучки для выкрестов! Нечего трясти надо мной своей праведной дланью!

— Сама ты Николаи боз, поняла, старая карга? — наконец обрела дар речи тетя Валя.

— Я вас умоляю, — встала между ними моя бабуля, — я вас очень прошу, не умеете общаться — просто игнорируйте друг друга.

Ба открыла рот, чтобы ответить бабуле, но не стала ничего говорить, потому что увидела, как в нашу сторону бежит младшая Тетивалина дочка Кристина. Она подошла к матери и тихонечко шепнула ей что-то на ухо.

Тетя Валя всплеснула руками, замычала и вдруг горько и зло расплакалась. И побежала к дому.

— Что случилось, Кристина? — подошла к забору Ба.

— Ох, тетя Роза, — заплакала Кристина, — теперь мы опозоримся на весь город!

— Подожди, — остановила ее Ба и обернулась к нам: — Дети, идите в дом, мы тоже скоро будем.

Мы беспрекословно повиновались. На пороге обернулись и увидели, как Ба с моей бабулечкой влетают во двор Тетивалиного дома.

— Неужели убивать пошла? — испугалась Маня.

— Пойдем позвоним твоему папе, — всполошилась я.

Мы побежали к телефону.

— Алле, — проорала Маня в трубку, когда дядя Миша ответил на том конце провода, — пап, приезжай скорее домой, а то Ба пошла убивать тетю Валю!

— Там моя бабуля, — добавила я масла в огонь, — вы поспешите, Дядьмиш, она ведь уже старенькая, долго удерживать Ба не сможет!

— Может, еще 02 набрать? — выхватила у меня трубку Маня.

— Не надо 02 набирать, — гаркнул дядя Миша, — сидите дома и ничего больше не предпринимайте ради бога! Я скоро буду.

И бросил трубку. В ожидании скорого Дядимишиного приезда мы с Маней замерли скорбной скульптурной композицией на веранде дома.

Через какое-то время с громким воем к Тетивалиному двору подъехала машина скорой помощи.

— Убила! — всполошились мы и побежали к забору.  
— Баааааааааааа, — плакала Маня.  
— Бабууууууууууууля, — орала я, — кто кого убиииииииил?  
— Вы с ума сошли? — Вышла на порог Тетивалиного дома бабуля. Рукава ее почему-то были закатаны, и вдобавок она обвязалась большим полотенцем, как фартуком. — Идите в дом, сколько можно вам одно и то же повторять?  
— Ба живая? — крикнула, размазывая сопли по лицу, Маня.  
— Живая, конечно, — рассердилась бабуля, — что за глупости ты говоришь?  
Мы поплелись обратно в дом. Горю нашему не было предела.  
— Значит, Ба убила тетю Валю, — выдвигали мы сквозь плач версии.  
— Ее ведь посадяаяяят, — рыдала Маня.  
— Посаааааадят, — соглашалась я.  
— А куда же мы с папой денемся? — зашлась в плаче Маня.  
— К нам переедетеееееее, — погладила я ее по голове, — бедные мои сиротинушкииииии.  
— Хоть бы торта успела поееееесть! — сокрушались мы в унисон.

Пока мы, обнявшись, безутешно рыдали на кушетке в Маниной комнате, в городе творились совершенно другие дела. Страшная новость с невероятной скоростью разбегалась волнами от Тетивалиного дома на все четыре стороны.

Люди качали головами и даже злорадствовали: «Вот до чего доводит скверный характер», — говорили они.

К приезду скорой помощи весь город уже знал — у старшей дочери тети Вали Мариам отошли воды. Хорошо, что рядом оказалась моя бабуля. Она сделала все возможное, чтобы до приезда врачей с роженицей и ребенком не случилось ничего плохого.

— Нагуляла, — качали головами люди, — главное, когда успела? С работы домой и обратно на работу, коллектив сплошь женский, никуда больше не ходит, глаза всегда в пол! Вот, оказывается, какие черти водятся в тихом омуте!

Мариам родила мальчика, как две капли похожего на деда.

Его, естественно, назвали Петросом.

Тетю Валю словно подменили — она получила в собственное безвозмездное пользование хоть и маленького, но Петроса и навсегда распрощалась со своим сварливым характером.

Она помирилась с Ба и периодически хвасталась ей достижениями внука.

— Мы сегодня круто покакали, — кричала она через забор.

Ба вздрагивала.

— Валя, ты бы потише, люди тебя не так поймут, — увещевала она.

— Ай, Роза, — отмахивалась тетя Валя, — у нас такое счастье, а ты про людей!

В течение следующего года две младшие дочери тети Вали одна за другой вышли замуж. И только Мариам осталась одинокой. И так и не открыла никому, кто был отцом Петроса.

— Значит, от женатого мужика залетела, — вздыхали люди.

Но это уже не имело никакого значения. В доме тети Вали наконец-то воцарился мир. Иногда, оказывается, чтобы закончилась война, достаточно просто родить маленького Петроса.

## ГЛАВА 19 Манюня ест курицу, или Как можно заставить чертыхаться Бога

Было темно и очень холодно. Кругом стоял высокий, непролазный лес. Я шла по узкой тропиночке, леденящий страх проникал в душу и сковывал движения, в спину завывал колючий ветер — у-у-у, у-у-у!!!

— Наринээээ, — кто-то звал меня вдалеке, захлебываясь криком, — Наринээээ!!!!

И я шла на этот голос, спотыкаясь о каждую кочку, отшатывалась от голых веток, норовящих зацепить меня за плечо, и шептала: «Только не оборачивайся, только не оборачивайся!»

— НАРИНЭ! — крик раздался где-то совсем близко. Я подняла глаза и в ужасе отпрянула — прямо надо мной развевался большой кочан капусты с торчащей кривой кочерыжкой.

Мне стало плохо. «Вот как выглядит леший», — моментально догадалась я.

— Только не ешьте меня, — промямлила еле слышно из последних сил.

— Нарка, ты совсем с ума сошла? — Манькиным голосом рассердился леший. — Мало того что постоянно стонешь и пинаешься, так еще просишь, чтобы я тебя не ела?

Я моментально проснулась и села в постели. Кочан капусты оказался Манькиной головой, а кочерыжка — боевым чубчиком. Меня охватило чувство безграничного счастья — это был всего-навсего кошмарный сон!

— Манька, это ты, — с облегчением зашептала я, — ты не представляешь, какой мне приснился ужас!

— Представляю, — проворчала Манька, — ты пиналась как ненормальная. А главное — стонешь и приговариваешь загробным голосом: «Только не оборачивайся, только не оборачивайся!» Напугала меня до смерти!

— Хи-хи-хи, — тоненько засмеялась я, — а я, главное, иду по лесу...

— Вы заткнетесь или как? — раздался грозный окрик моей сестры Каринки. — Совсем с катушек съехали, на дворе ночь, а они тут разговоры затеяли!

Мы притихли. Сестра заворочалась в постели, посмотрела на часы:

— Три часа ночи! — прошипела она. — Если еще хоть раз пикнете, то потом сильно пожалеете, понятно?

— Ты сама храпишь, как наш Вася, когда взбирается на подъем, — пошла в бой Манька.

— Я тебя предупредила, и ты меня услышала! — отрезала Каринка и повернулась на другой бок.

В детской воцарилась тишина. Только слышно было, как тикают часы.

Моя семья жила в большой четырехкомнатной кооперативной квартире. Кроме гостиной и кухни, в квартире имелись две спальни — родительская и детская. Самую маленькую, пятнадцатиметровую, комнату моя сметливая мама превратила в кабинет, где располагалась наша домашняя библиотека. Там вдоль стен стояли стеллажи с книгами,





И все продолжается по накатанной — на островах Океании сворачивается молоко у рожениц, на Солнце начинается новая магнитная буря, Бог, заткнув уши комьями, которые он наспех выдрал из проплывающего мимо облака, ворочается в своей божественной постели с бока на бок и ругается на чем свет стоит:

— Чтобы я еще раз, черт меня подери, чтобы я еще раз решился на эксперимент с такой девочкой!

Поэтому, когда сестра шикнула на нас с Манькой, мы тут же замолчали. И честно попытались заснуть до того, как она захрапит. Но тщетно. Каринка поворчала еще чуть-чуть и снова принялась выводить рулады. Да с такой силой, что у нас моментально выветрились остатки сна.

Я какое-то время пялилась в потолок, потом мне это надоело, и я решила считать овец.

— Авось поможет, — шепнула я себе, крепко зажмурила глаза, представила стадо овец и начала считать: — Один, два, три...

— Буль-буль-буль, — забулькала Каринка. Овечки мигом разбежались. Я рассердилась и пнула Каринку в бок.

— Мня-мня-хррррррррр, — отозвалась она.

— Захрмар, — зашипела я, — сто тысяч захрмаров тебе, вот!

Манька заворчалась, повернулась на бок и сунула свою пятку мне под нос. Я подумала и потянула ее за большой палец ноги. Она тут же нашла мою ступню и потянула за мой палец.

Контакт был налажен. Мы принялись терзать друг другу пальцы на ногах. Потом Манька тихонечко нырнула под одеяло и вынырнула с моей стороны.

— Я хотела тебя защекотать под ногами, но потом подумала, что ты рассмеешься, проснется Каринка и убьет нас, — зашептала она мне в ухо.

— Убила бы в момент, — шепнула я ей в ответ, и мы тихонечко захихикали.

— Хрррр! — угрожающе возвысила над нами голос Каринка.

Мы снова замолчали.

Манька завопилась, обняла меня и положила голову мне на плечо.

— Давай поиграем в мечту, — предложила она.

— Давай! — согласилась я.

«Поиграть в мечту» было нашей излюбленной забавой. Суть игры заключалась в том, что мы по очереди называли вещи, о которых мечтали, но которые, по разным причинам, были нам недоступны.

Подозреваю, что так развлекались все измученные дефицитом советские дети!

— Жвачка с малиновым вкусом. Розовая. Пачку. Нет, лучше коробку, — шепнула Манька.

— Которая выдувается большим пузырем? — уточнила я.

— Естественно, — обиделась Маня, — выдувается и громко лопается! Теперь ты давай.

— Платье как у Золушки из фильма «Три орешка для Золушки», — зашептала я.

— С диадемой и туфельками? — уточнила Манька.

— Естественно, — обиделась я, — не в сандалиях же такое платье носить.

— И с красной шапкой с помпоном, которую мне Ба связала, — тихонечко захихикала Маня.

Я прыснула.



— Так, ладно, продолжим. Я хочuuuuuuуу, ммм, цветик-семицветик, вот! — шепнула Манька.

— Тогда сразу проси волшебную палочку, — подняла голову с подушки я, — а то цветик-семицветик — это всего-навсего семь желаний.

— Хррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр! — заворочалась в постели моя сестра.

Мы замолчали.

— Лааадно, это не считается, давай я лучше другое загадаю, — протянула через минуту Манька, — помнишь, в отделе игрушек мы видели немецкую куклу с сеточкой на волосах и с сумочкой через плечо? Вот такую хочу.

— Которая стоит двадцать пять рублей?! — ужаснулась я.

— Да, — вздохнула Манька, — которая стоит двадцать пять рублей и восемьдесят копеек.

Мы пригорюнились. Одно дело мечтать о несбыточных вещах, таких как коробка жвачки с малиновым вкусом или волшебная палочка, а другое дело — о совершенно реальной немецкой кукле с сеточкой на волосах и с сумочкой через плечо в отделе игрушек. Которую, если не видит продавец, можно взять с полки и даже немного подержать в руках. Можно даже, затаив дыхание, погладить пальчиком шелковистую сеточку на волосах и полюбоваться розовой блестящей пряжкой на сумочке через плечо. Но двадцать пять рублей восемьдесят копеек — это очень большие деньги, и наши родители не могут позволить себе купить такую дорогую игрушку!

— Вот бы мне такую куклу, — пригорюнилась я.

— И мнеееее, — вздохнула Манюня.

Мы притихли. Полежали еще какое-то время с закрытыми глазами. Сон все не шел. Еще бы — сестра выводила какие-то совершенно новые, изуверские рулады. Казалось, что если она еще чуть поднажмет, то наше пятиэтажное здание сложится как картонный домик.

— Нарка, я проголодалась, — шепнула мне на ухо Манька.

— Там в холодильнике жареная курица, — прервала свой храп Каринка.

Была у моей сестры еще одна особенность, которую никак иначе как чудом назвать было нельзя. Если кто-нибудь из нашей семьи не то что говорил, а даже думал о еде, моя сестра тут же оказывалась рядом.

— Пора бы перекусить, да? — спрашивала она опешившего члена семьи и, взяв его за руку, тащила к холодильнику. Пойдем посмотрим, что можно пожевать.

Мы с Манькой подняли головы с подушки и уважительно посмотрели на сестру.

— Ну ты даешь! — только и смогли выговорить мы.

— Так мы идем есть курицу или как? — села Каринка в кровати.

— Идем, конечно, — заволновались мы.

— Только по кусочку, — грозным шепотом предупредила Манька, — помните, что Тетьнада сказала?

— Помним-помним, не волнуйся, — зашипели мы ей в ответ.

— Не зря я так долго стояла в очереди, — радовалась вечером мама. — Мне достались две венгерские курочки! Это же не наши советские синюшные цыплята. Из этих двух курочек можно много чего приготовить, о-го-го как много! Можно их запечь со сметаной и грибами, можно отварить рис до полуготовности, добавить туда орехи и специи, а потом начинить этой смесью курочку, и... — Мама осеклась, окинула взглядом своих многочисленных дочерей и прибившуюся к их стайке Маньку, посмотрела на мужа, воззрившегося на курочек голодными очами, поймала свое отражение в зеркале, произвела в уме кой-какие нехитрые расчеты и тяжело вздохнула.

— Ладно, — сказала она, — сейчас мы этих курочек пожарим, одну съедем сразу, а из второй я завтра сделаю чахохбили.

— Ура! — дружно закричали мы.

Итого на ужин каждый получил по куску хрустящей жареной курочки с гарниром из воздушного картофельного пюре и дефицитного зеленого горошка. Остатки курицы под вожделевыми взглядами плотоядных членов семьи были убраны мамой в холодильник.

— Чтобы и завтра вы могли поесть курочки, — воззвала к нашему гражданскому долгу она.

— Лаадно, — вздохнули мы и встали из-за стола.

И вот теперь эта несчастная жареная курица манила нас как магнитом. Мы тихонечко поднялись, чтобы не будить мирно посапывающую Гаянэ, нашарили в темноте тапки и вышли из спальни. Впереди гончим псом шла Каринка. Мы с Маней доверчиво следовали за ней — никто не сомневался в способности сестры найти холодильник в темной квартире с закрытыми глазами.

— Осторожно, тут дверь, — шикала на нас периодически сестра, — здесь стул, не зацепите, а тут угловой диванчик!

— Свет в кухне включать? — спросила я.

— Включим маленький, — предложила Манька, — а то большой свет разбудит твоих родителей.

Мы вытащили из холодильника сковороду с жареной курицей и поставили ее на стол.

— Давайте возьмем по самому маленькому кусочку, — предложила я, — тогда никто не заметит, что мы ели курицу.

— Может, крылышки? — предложила сестра.

— Ага, крылышки! — встала руки в боки Манька. — Во-первых, крылышек два, а нас трое, а во-вторых, где это ты видела курицу без крыльев?

— А может, это вообще не курица! Может, это утка, а мама этого не заметила? — решила блеснуть интеллектом я.

— А что, утки бывают бескрылыми? — покрутила пальцем у виска сестра. — Ты бы лучше молчала, Нарка, тоже мне, ума палата.

Итого мы вытащили из сковороды кусочки куриной грудки и буквально сожрали их, преступно сутулясь и урча от удовольствия.

— Мало, — облизала пальцы Каринка, — может, еще по кусочку?

— По последнему! — угрожающе выпучилась я.

Мы выудили еще по кусочку курицы. Манюня закрыла сковороду крышкой и убрала ее в холодильник от греха подальше.

— Чтобы не дразнила аппетит, — сказала она и села за стол, — что же мы едим стоя, как лошади в стойле, давайте присядем.

Мы с Каринкой присоединились к ней.

— У-у, какая вкуснятина, — урчала Каринка, — всю жизнь бы ела только жареную курицу.

— И жареную картошку, — сказала я.

— Вот, это уже другое дело, — похвалила меня сестра, — чуток поела, и уже мозги стали на место. А то все курица не утка, курица не утка, — передразнила она меня.

— Сама дура, — огрызнулась беззлобно я.

— От дуры слышу, — захрустела куриной косточкой сестра.

— Шшшш, тише вы! — встрепенулась Манька, но было уже поздно.

Дверь кухни распахнулась, и на пороге нарисовался сонный папа. Папа выглядел просто бесподобно — волосы были всклокочены, большие семейные трусы нежного василькового колера воинственно топорщились вокруг тощих бедер, лямка майки съехала с плеча и кокетливо оголила часть волосатой груди. При виде нас он кинул вниз, в область своего многострадального таза, молниеносный взгляд, дабы удостовериться, что семейники на нем сидят как надо, и поправил лямку на плече. Потом открыл дверцу шкафчика с кухонной посудой, спрятался за ней и через минуту вынырнул в мамином фартуке в кокетливый розовый волан по подолу. Мы проследили за всеми его маневрами в гробовой тишине, с курицей в зубах.

— Что вы тут делаете? — Папа на всякий случай еще и втянул живот.

— Ой, Дядюра, у вас такие же семейники, как у моего папы, — умилилась Маня.

— Так мы вместе их и покупали, — ответил отец, — а вот вы все-таки что тут делаете?

— Проголодались, — проблеяли мы дружно в ответ, — курицу едим.

— Курицу? — испугался папа. — А что маме завтра скажем? — Он прошел мимо нас, вытащил из холодильника сковороду и поставил на стол.

— Мы по маленькому кусочку взяли!

— По мааааленькомуууу, — протянул папа и достал хлеб из хлебницы, — кто-то будет остатки пюре?

— Будет! — обрадовались мы.

Если бы какой-нибудь отчаянный акробат на ходулях в четыре часа утра прошел мимо окон нашей квартиры на третьем этаже, то застал бы дивную картину: за большим круглым столом, во главе с мужчиной в васильковых семейных трусах и фартуке в розовый волан, сидела группа преступных девочек девяти тире одиннадцати лет и, трусливо озираясь на кухонную дверь, доедала остатки курицы прямо со сковороды.

— А что мы маме скажем? — периодически взывал кто-нибудь, вонзая зубы в очередной хрустящий кусок курицы.

— Что-нибудь завтра придумаем, — хором успокаивали остальные.

Мы, конечно же, отложили порцию маме и спящей без задних ног Гаянэ. Сковороду натерли до блеска кусочками хлеба, кастрюлю с остатками пюре вылизали вдоль и поперек и даже чуть-чуть снаружи.

— Шикарный у нас получился поздний ужин, — тихонечко хихикали мы.

— Да уж, — хмыкнул папа, — поздний ужин плавно перетек в ранний завтрак.

Итого, когда мы ложились в постель, горизонт уже подернулся ранним летним рассветом, а в кварталах с частными домами победно перекликались драчливые петухи.

— Пять минут я еще продержаться смогу, — честно предупредила нас Каринка, — но потом я засну, и тогда уже пеняйте на себя.

— Мы быстренько, — обещали мы с Манькой и закрыли глаза.

В спальне воцарилась тишина.

— Вспомнила, чем отличаются семейники вашего папы от семейников моего, — сквозь сон прошептала Манька.

— Чем? — промычали мы.

— А тем, что у вашего папы трусы в горошек, а у моего — в мелкую звездочку, — сладко зевнула Манька, уткнулась носом мне в плечо и мирно засопела.

— Зато фартук сидел на папе просто бесподобно, — решила постоять за своего отца я.

— Хрррррррррррррррр, — отозвалась Каринка. Но никто уже ее не слышал — все благополучно провалились в глубокий сон.

## ГЛАВА 20 Манюня учится быть настоящей женщиной, или Как дядя Миша с папой вино из погреба доставали

Дядя Миша, как истинный сын своей матери, периодически выкидывал фортели, пытаясь отстоять себе кусочек независимости. Ба, как истинная Ба, одной левой гасила все попытки сына вырваться из-под ее тотального контроля. «В этом доме я господин», — любила повторять она.

В целом борьба дяди Миши с Ба напоминала противостояние между центром и мятежной провинцией. Провинция периодически поднимала плохо организованные и зачастую бестолковые восстания, а центр с особым удовольствием топил эти восстания в крови.

Любая Конвенция по правам человека прекращала действовать прямо на пороге дома Ба. Ибо только Ба устанавливала те рамки, в пределах которых члены ее семьи строили свою счастливую жизнь.

— Ба была тираном? — спросите вы.

— Конечно, нет, — смалодушничая я.

Но Дядимишина неумная душа не прекращала алкать свободы. И он, отстаивая свое право на личную жизнь, мстительно заводил связи «на стороне», а в особо критические для своей непокорной натуры дни имел наглость не приходить домой ночевать. Скандал, который неминуемо закатывала Ба, мощью энергетического выброса легко мог заменить распад уранового ядра.

— Вот этими руками, — кричала Ба, — вот этими руками, сына, я тебя родила! Вот этими многострадальными руками я ежеминутно подмывала твою попу, а какал и писал ты, скажу я тебе, как проклятый! Да и ел как прорва! Вот этими руками с утра и до ночи, не разгибая спины, я стирала твои пеленки-распашонки. Под каким девизом прошла вся моя жизнь, спрашиваю я тебя? Под девизом «накорми-обстирай-выучи сына!»! А чем ты мне за это платишь? Черной неблагодарностью, вот чем!

В один из таких злосчастных дней мы с Маней как раз играли у нее во дворе. Буквально накануне нам подарили большой набор игрушечной посуды, и сейчас мы были заняты тем, что готовили из подручных средств обед на большое кукольное семейство. Маня увлеченно шинковала огромный лист лопуха, а я крошила в труху полено.

— Ты пойми, — объяснила мне Манька, — чем мельче покрошить полено, тем больше труха будет напоминать муку.

— А что мы потом с этой трух... мукой будем делать?

— Ты измельчай, а мы там придумаем, что с нею делать, — воинственно шмыгнула Манька и вдруг предостерегающе подняла вверх указательный палец: — Ш-ш-ш-ш.

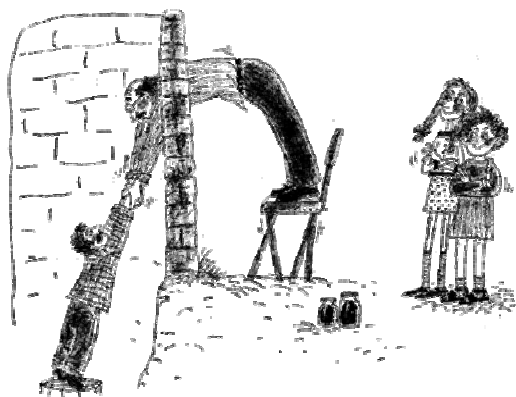
Я наострила уши. «Внннн, кха-кха», — донеслось издали знакомое кряхтение Васи. Мы с Маней горестно вздохнули — дядя Миша возвращался с очередного места восстания на свою верную погибель.

— Авось сегодня пронесет? — пискнула я, впрочем, без особой надежды.

— Не пронесет! Знаешь, какое с утра было выражение лица у Ба?

— Какое?

— А вот какое, — Маня насупила брови, собрала губы в куриную жопку, прищурила один глаз и встала руки в боки.



Я прыснула — уж очень смешно моя подруга передразнила Ба.

Когда Вася въехал на задний двор, мы почему-то спрятались за большим тутовым деревом. Видеть, как дядя Миша понуро идет к дому, было выше наших сил. Вылезли мы из-за ствола дерева только тогда, когда хлопнула входная дверь.

Скоро скандал в доме стал набирать обороты. Сначала до нас долетали отдельные фразы, а потом Ба подключила тяжелую артиллерию.

— А потом ты небось пришел и поцеловал Маню, фу! — кричала она.

— Мам, я тебя умоляю! При чем здесь это?

— При том! — захлебывалась Ба. — Сначала этими губами ты не пойми кого целовал, а потом полез к своему ребенку! Тьфу на тебя!

— Ну что ты такое говоришь!

— Говорю как есть, — топала ногами Ба, — и не родился еще на планете Земля человек, который бы мог убедить меня в обратном!

— Да легче удавиться, чем переубедить тебя! — крикнул дядя Миша и выскочил на веранду.

Мы с Маней дружно обернулись в его сторону. На дядю Мишу жалко было смотреть — выражение лица растерянное, между бровями пролегла глубокая морщинка.

Он поймал наши с Маней сочувствующие взгляды и натужно улыбнулся.

— Здравьсти, Дядьмиш, — пискнула я.

— Здравьсти, пап, — отложила лист лопуха Манька. — Ну что, получил свое?

Дядя Миша открыл рот, чтобы выговорить Маньке, но потом передумал и махнул рукой.

— Пойду, поковыряюсь в Васе, — сказал.

Преданный Вася терпеливо дожидался своего хозяина на заднем дворе. И уже издали, при виде его понурого силуэта, заботливо взбил подушку на сиденье водителя.

— Одни беды от этих баб, — вздыхал про себя Вася, скрипя шарнирами и карданными валами, — зачем они хозяину? Да и что с них взять — волос длинный, ум короткий.

— Женщины, что с них взять, — буркнул себе под нос дядя Миша, открывая капот Васи.

— А ведь мысли мои читает, — заликовал Вася и на радостях выпустил маленький фонтанчик машинного масла.

— Тебя не завели, а ты уже фортели выкидываешь, Васидис? — удивился дядя Миша.

— Ого, снова в объятиях своего сердечного друга? Ты поплачься ему в капот, он ведь обязательно тебя поймет! А главное — слова поперек не скажет, — Ба никак не унималась, она высунулась в окно своей спальни и жаждала продолжения банкета.

— И поплачу, — огрызнулся дядя Миша, — все вы, бабы, одинаковые.

— Да ну, — хмыкнула Ба, — ты еще скажи, что дуры.

— И скажу! — с вызовом повернулся к ней дядя Миша.

— Про волос длинный, ум короткий не забудь добавить, — не унималась Ба.

— Это уж само собой!

Ба высунулась в окно по пояс, старательно сложила пальцы обеих рук в дули и победно потрясла ими над собой:

— Во! Видел?

Дядя Миша какое-то время молча смотрел на свою всклокоченную мать, потом тяжело вздохнул и повернулся к Васе.

«Лучше промолчать», — подумал он про себя.

— Дура! — удовлетворенно констатировал Вася.

Ба демонстративно громко захлопнула окно.

«Весь в своего отца, — думала она, глядя с любовью на понурое темечко сына, — даже стоит как он — косолапит и чуть сутулится. Сделаю ему на обед его любимые котлеты. Картошечки пожарю, с лучком и грибочками. А то осунулся весь, кровиночка моя, одни кости торчат».

Она с шумом распахнула окно.

— В следующий раз можешь вообще не возвращаться, понял? — крикнула торжествующе.

Дядя Миша вздрогнул спиной, но не обернулся. И оттаял лицом, только когда из кухни потянуло божественным ароматом сочных котлет.

— О, Вася, — сказал он своему четырехколесному другу, — будут сегодня нам любимые котлеты, а к вечеру — изжога.

Вася понимающе молчал. Вася с младых ногтей знал, что такое изжога. И запор. И несварение желудка. И язва. Потому что постоянные болячки были планидой всех отпрысков советского автопрома.

Поэтому при слове «изжога» Вася суеверно поплевал через левую дверцу и тяжело вздохнул.

Так сошлись звезды, что именно в этот день, когда дядя Миша поругался с Ба, папа умудрился поскандалить с мамой. Вообще-то ссоры между моими родителями случались крайне редко, но уж если они случались, то по силе своей не уступали среднестатистической буре на планете Нептун. А в воронке такой бури, чтобы вам было известно, может легко уместиться вся наша планета. Будучи оба людьми взрывного темперамента, мои родители из любого пустяка могли раздуть такой пожар, что потом место их скандала напоминало выжженное поле. И только два горных орла кружили высоко над эпицентром этой вселенской катастрофы.

— Видишь хоть кого живоооогооооо? — кричал один орел с этого конца горизонта.

— Нееееет! — отзывался второй с другого конца горизонта.

— Женщина, — грохотал папа, когда крыть ему оказывалось практически нечем, — если говорит мужчина, ты должна молчать!

— А кто это тебе такое сказал? — возмущалась мама. — Оставь свои домостроевские замашки для других. Меня этим не проймешь!

— Кировабадци! — орал папа в ответ. Когда папа называл маму «кировабадци», то всем становилось ясно — у папы закончились аргументы.

Кировабад — это город, где жила семья моей мамы. В народе шла молва, что девушки из Кировабада славятся капризным, неуступчивым характером. Что они сильно избалованы и не видят ничего дальше своего носа. И что каши с ними не сварить.

Поэтому, когда у папы заканчивались аргументы, он прибегал к жалкой попытке заткнуть маму.

— Кировабадци! — грохотал он.

— Упрямый бердский осел, — крыла в ответ мама. Тот же народ нарек жителей нашего города ослами за жуткую неуступчивость.

Ради справедливости надо отметить, что если мама — кировабадци в том смысле, который вкладывал в это слово папа, то тогда он сам единолично является основоположником, архитектором, строителем и почетным жителем города Кировабад. Это чтобы вам было ясно, какой у моего отца был и, слава богу, есть характер.

Когда у отца закончились все аргументы, а дым над пепелищем стоял такой, что дневного света было не видать, он вытащил из домашнего бара бутылку коньяка и засобирался к дяде Мише запивать горе алкоголем.

— Не жди меня! — крикнул он маме с порога.

— Хлеба купи на обратном пути, — не осталась в долгу мама.

— Никогда! — крикнула папа и хлопнул дверью.

— И кофе! — крикнула мстительно мама.

— Агрхххх, — раздалось за дверью, и мама удовлетворенно хмыкнула. — последнее слово осталось за ней.

Мы с Маней как раз колдовали над вторым блюдом из мелко наструганного сорняка, когда папа ворвался во двор. Достаточно было одного взгляда на выпученные папины глаза, чтобы мне сразу стало ясно — они с мамой схлестнулись.

— Пап, вы что, поссорились? — спросила я.

— С чего ты это взяла? — дыхнул на меня огнем папа.

— Ну, это видно по сумасшедшему выражению твоего лица, — дипломатично ответила я.

— Не придумывай глупостей, Наринэ, — отрезал папа.

Потом он какое-то время под заинтригованные наши взгляды рыскал вдоль веранды дома туда и обратно и что-то бубнил себе под нос.

— Дядюра, вы забыли, где входная дверь? — спросила Маня.

— Ничего я не забыл, — сказал папа и поднялся вверх по ступенькам, — я просто думал!

Как только он вошел в дом, мы с Манькой прокрались под окно кухни и застали самое начало разговора двух обиженных мужчин.

— Да всю плешь мне проела, — ругался папа.

— Бабы, что с них взять! — вторил ему дядя Миша.

— Да какая баба! Это же бензопила «Дружба»!

— Юра, посмотри на меня! Ты же знаешь, какая у меня мать, а я живу с нею с самого рождения, и ничего!

— Так то мать, а то жена, — отмахнулся папа, — что у тебя есть к коньяку?

— Котлеты и картошечка с грибами. Роза Иосифовна приготовила мне поесть и демонстративно ушла к соседке.

— Нет, кушать не хочу, сыт по горло, — отказался отец.

Дядя Миша зашуршал по полкам.

— Пряники есть, лимон, еще какие-то на вид засохшие какашки в пакете (шуршание усилилось), что бы это такое могло быть?

— Один хрен, неси что есть, — вздохнул папа.

Нам с Маней стало скучно слушать их разговор, и мы вернулись к готовке.

— Сейчас они буду рассказывать друг другу, какие женщины ужасные существа, — фыркнула я.

— Ну да, — захихикала Манька.

Через какое-то время нам захотелось попить. Когда мы вошли в кухню, то застали моего отца с дядей Мишей в весьма живописной позе — дядя Миша нагнулся буквой Г, а папа лежал у него на спине, уткнувшись носом ему в затылок.

— Вот, — кряхтел дядя Миша, — если еще в этой позе тебя хорошенечко потряхнут, то можно полностью вылечить болячку.

— И самому свалиться с ответным радикулитом, да? — хмыкнул отец.

— А что это вы делаете? — поинтересовались мы.

Папы мигом выпрямились и сильно сконфузились.

— Кхм. Радикулит Юре лечим, — сказал дядя Миша, — а вы чего пришли?

— Попить пришли.

— Кстати, Маня, где ключ от нижнего погреба?

— От какого нижнего?

— Ну, от маленького, где стоит бочонок с вином.

— Так Ба с ним не расстанется. Сбежать к ней? — предложила Манька.

— Нет, — испугался папа, — не надо, мы сами как-нибудь.

— Ничего, у меня где-то была еще подарочная большая бутылка коньяка, — протянул дядя Миша.

Мы с Маней попили воды и вернулись во двор. Готовить нам надоело, поэтому мы принялись копать клад под тутовым деревом. И успели уже вырыть между корнями приличную яму, когда на веранду вышли наши изнуренные женской половиной человечества отцы. По целому букету характерных первичных и вторичных признаков было ясно, что они уже не совсем, мягко говоря, трезвы. В каждой руке они держали по одной полулитровой банке.

— До-оченьки наши, — загремели они банками, — а что это вы т-тут делаете?

— Клад ищем, — отрапортовали мы.

— К-какие они у нас ум-мные, — умилились наши отцы.

— А что это вы напильсь? — пошли мы в атаку. Папы одинаково нахмурились.

— Кто нап-пилсь? М-мы? Ничего подобного!

— Пойдем, друг, нас там д-дела ждут! — похлопал банкой по папиному плечу дядя Миша.

— Где? — встрепенулись мы.

— Там, — неопределенно махнул в сторону заднего двора папа.

— А зачем вам банки? — насторожились мы.

— Просто так. А вы копайте, если будете усерднее копать, то часа через два обязательно выкопаете клад, — сказали нам наши отцы и пошли в сторону заднего двора. По одинаково невинному выражению их спин сразу было ясно — задумали они что-то такое, что точно не понравится Ба

Как только они скрылись за углом дома, мы тут же кинулись следом. И застали их возле маленького погреба. В маленьком погребе Ба хранила скоропортящиеся продукты, потому что он был практически подземным, и круглый год там стоял ледяной холод. Узкое окошко погреба было зарешечено частой металлической решеткой, дверь запиралась на замок с защелкой.

Наши brave мужичины какое-то время молча изучали решетку на окне.

— Давай я, — сказала дядя Миша, — я тебя физически сильнее.

— Давай, — хмыкнул папа и отобрал у дяди Миши две его банки, — заодно посмотрим, кто тут сильнее.

— Пааап, а что это вы собираетесь делать? — подбежали мы к ним.

— Дети, не мешайте, — отодвинул нас банками мой отец, — и вообще, зарубите себе на носу — когда мужчина действует, женщина должна молчать. И трепетать. Ясно?

— Друг, не будем о грустном, — сказал дядя Миша и вцепился руками в оконную решетку.



— Раздватри! — вдохнул он и на выдохе попытался выдернуть оконную решетку. Та обиженно заскрипела, но не поддалась.

— Смотри, как хорошо ее приварили, э? — обернулся к отцу дядя Миша.

— Ты мне зубы не заговаривай, ты решетку отрывай, — не дрогнул отец.

— Раздватри! — вдохнул дядя Миша и по новой вцепился в решетку.

— Как ты думаешь, зачем они отрывают решетку? — шепнула я Маньке.

— Ничего не говори, а то погонят нас, и мы не увидим, что они тут творят, — зашептала она мне в ответ.

Тем временем дяде Мише удалось раскатать решетку, но она все равно отказывалась отрываться.

— Раздватри! — угрожал ей дядя Миша.

— Иииии! — отмахивалась от него решетка.

— Дай я, — сказал папа, засучил рукава и пошел штурмом на неуступчивую решетку.

Он вцепился в нее руками, уперся ногой в стену и с нечеловеческим «ЫХТЬ» выдрал-таки решетку. С кусочком стены.

— Брат, — только и смог вымолвить дядя Миша.

— Не за тем я в институте учился зубы мудрости выдирать, чтобы перед оконной решеткой пасовать, — хмыкнул папа.

— Полезешь ты, — сказала дядя Миша, — у тебя зад тощий!

— Зато голова большая, — не согласился папа.

— Давай сравним твою голову с моим задом, — внес рацпредложение дядя Миша.

— Не надо! — испугался папа. — Я так полезу.

Дядя Миша, не выпуская из рук банок, встал под окошком погреба и подставил спину отцу. Тот взобрался ему на спину и пролез в раздербаненное окно погреба.

Мы с Маней, затаив дыхание, следили за телодвижениями наших пап. Нам очень хотелось понять логику вещей, которые сейчас творили два самых главных мужчины нашей жизни.

Какое-то время папины ноги торчали из окна, потом он с глухим стуком свалился внутрь погреба. Мы испугались. Но через секунду в окно высунулись папины целые и невредимые руки.

— Банки! — скомандовал он голосом, которым командует на операции — «скальпель»!

Дядя Миша передал ему банки по одной. Папа наполнил их вином из бочонка и передал обратно дяде Мише.

— Вот у нас и есть вино, — возликовал дядя Миша, — а главное, не надо ни к кому на поклон за ключом идти, это во-первых, а во-вторых, пусть знают, кто в доме хозяин!

— Миша, — позвал из погреба отец.

— А то пилят и пилят! — распалялся дядя Миша, не обращая внимания на отца. — Сколько можно пилить? Женщины, хохохо!!! Волос длинный, ум короткий!

— МИША!

— Да, мой брат!

— А как я отсюда выберусь? — промышчал отец. — Встать не на что. Можно на бочонок, но я его не приволоку, он тяжелый. Пытаюсь подтянуться на руках, но с трудом дается. Опереться хотя бы на что!

Дядя Миша сразу протрезвел.

— Сейчас принесу табуретку, — ринулся он к дому.

— Складную? — крикнул ему вслед отец.

— Нет! Складных у нас нет!

— Так не пролезет, — взвыл отец.

Далее мы с Маней в гробовом молчании наблюдали, как дядя Миша лихорадочно придумывает способы, чтобы вытащить отца из погребца.

— Пошарь руками кругом, авось что массивное оторвешь, раз отрывать у тебя так хорошо получается!

— Нету!

— Пойду искать веревку!

— Зачем???

— Кину тебе в окно, обвяжешься ею, а я тебя вытащу!

— Брат! (Вопль отчаяния.)

— Хорошо, не буду!

— Дядьмиш! — подала все-таки голос я.

— Подожди, Наринэ, не мешай, — отмахнулся дядя Миша.

— Сейчас приволоку сюда Манин письменный стол! — хлопнул себя по лбу дядя Миша.

— Зачем? — протрубил из погребца отец.

— Взберусь на стол, пролезу по пояс в окно, ты схватишься за меня, и я тебя вытащу.

— Тогда притащи просто стул!

— Он в окно не пролезет!

— Зачем в окно! Встанешь на стул и пролезешь по пояс в окно. Какая разница, на чем стоять?

— Брат, ты умнее, чем я думал! — просиял утренним солнышком дядя Миша. — Сейчас принесу!

— Пап! — не выдержала Маня.

— Подожди, Маня, не мешай, — рассердился дядя Миша.

Мы с Маней переглянулись и продолжили дальше играть в настоящих женщин.

Всего каких-то полчаса, и сильная половина человечества в лице наших доблестных отцов явила миру всю мощь своего аналитического, а местами и пытливого ума. Ради того, чтобы вытащить из погребца два литра домашнего вина, была снесена одна оконная решетка, порушена часть стены и ободрана обивка на практически новом стуле. У отца все руки были в ссадинах, а у дяди Миши на спине по шву треснула сорочка.

Зато от победного сияния их лиц таяли арктические ледники, а перелетные птицы поворачивали вспять свои стаи.

— Видели? — гаркнули они нам.

— Аха! — радостно улынулись мы.

— Во-во! — хмыкнули они и пошли домой продолжать прерванный банкет.

Когда наши папы скрылись за углом, мы с Манькой подняли с земли маленький деревянный прутик, поддели им язычок замка и с легкостью открыли дверь погребца.

Постояли какое-то время перед открытой дверью. Зашли в погреб, захлопнули дверь. Повернули специальную пимпочку, замок щелкнул, и дверь открылась.

Мы вышли и уставились на Васю.

Вася понуро стоял под открытым небом и прятал от нас свои глаза.

Это был день, когда зерно сомнения во всесии мужчин дало первый крохотный росток в наших неокрепших душах.

«Бедненькие», — подумали мы и пошли дальше копать клад. Деньги при таком раскладе ведь кому-то надо было зарабатывать.

## ГЛАВА 21 Манюня и тушеные овощи, или Как мсье Карапет нас к красоте приучал

— Ба, а можно мы пойдём к мсье Карапету?

Ба только что накормила нас тушеными овощами и маялась совестью. Потому что она как никто другой знала — не существует на свете более ненавистного для нас блюда, чем тушеные овощи.

Ба нарезала кубиками картофель, болгарский перец и баклажаны, кружочками — помидоры и репчатый лук и тушила все это добро под крышкой на маленьком огне. Называлось ненавистное блюдо «аджапсандали на скорую руку». Подавалось оно обильно посыпанным свежей зеленью и красным сладким перцем, с кусочком подтаявшего сливочного масла.

— Или вы покушаете овощей, или не встанете из-за стола, ясно? — подбадривала Ба, со стуком ставя перед нами тарелки с псевдоаджапсандали. Мы принюхивались и закатывали глаза.

— Бааааа, ну сколько можно-готовить этот ужасный обееед!

— Сколько нужно, столько и можно, понятно? — отрезала Ба и садилась напротив. — А теперь вы быстренько покушаете, а потом еще протрете до блеска тарелки.

— Аааааа, — торговались мы, — поедим немного и всеооо! Пять ложек! Ладно, семь!

— Чтобы тарелки сияли чистотой, — не поддавалась Ба, — иначе если оставите их грязными, то что случится?

— Наши мужья будут некрасивыыыыыииии, — выли мы.

— Ага, — поддакивала Ба, — и каждый раз, просыпаясь с утра и глядя на безобразное, волосатое и клыкастое лицо своего мужа, что вы будете думать?

— Что он такой некрасивый потому, что мы в свое время не доедали тушеныыыые овощиии!

— Вот! — победно хмыкала Ба.

Она умудрилась внушить нам, что если оставлять за собой на тарелке еду, то будущий муж лицом будет напоминать объедки. И мы в это свято верили!

Самосовершенствование — процесс необратимый. А в условиях, приближенных к боевым, — еще и неизбежный. Поэтому мы с Маней находились в постоянном поиске каких-нибудь обходных путей, чтобы облегчить наше горькое существование. Бесконечно эволюционировали, если можно так выразиться.

Сначала мы просто ныли и прикидывались больными. Но Ба не дрогнула перед нашими мелкими инсинуациями и пригрозила добавкой. Тогда мы попытались, не



вдаваясь в подробности, заглатывать овощи целиком. Но Маня подавилась кусочком картофеля и, если бы не вовремя подоспевшая Ба, то она таки добилась бы своего. Но Ба не дала Мане спокойно протянуть ноги, она могучим ударом в спину вернула ее к жизни, усадила обратно за стол и пододвинула тарелку.

— Прожевывай тщательнее, — велела.

Наконец я придумала новый метод безболезненного поедания тушеных овощей.

— У тебя на нёбе есть такая точка, которую если мысленно отключить, то можно не чувствовать вкуса, — втолковывала я Мане.

— Покажи, где? — полезла она мне в рот.

— Ну вот смотри, где-то там есть такая точка, которую если отключить...

— А где твои гланды? — перебила меня Маня.

— Тебе гланды или точку? — рассердилась я.

— Точку! И гланды!

— Гланды удалили, когда мне было три года. А точку... Ну вот же она, — ткнула я пальцем куда-то себе глубоко в глотку, и меня чуть не вывернуло: — Буэ!

— Буэ, — с готовностью откликнулась Манька.

— Этттто еще что такое! — зашла в кухню Ба. — На минуту отвлеклась, а вы уже устроили марафон, чей муж будет уродливее?

— Ба, а у Нарки гланды удалили в три года, — заюлила Маня.

— Не поешь овощей, и тебе удалим, ясно? И не забудь протереть до блеска свою тарелку!

— А я не собираюсь жениться! — заныла Маня. — Поэтому мне можно не есть овощи.

Ба глянула на внучку поверх очков.

— Мария, если даже ты когда-нибудь решишь все-таки жениться, а не выходить замуж, то и это не спасет тебя от участи поесть сейчас тушеных овощей!

— Покажи еще раз, где там у тебя точка? — снова полезла мне в рот Маня.

— Если вы в течение пяти минут не съедите аджапсандали, то я вам обещаю, что кругом у вас будут одни только болезненные точки! — рявкнула Ба.

Мы молча взяли за ложки.

Как вам объяснить, чем отдают тушеные овощи? Возьмите школьный фартук, разрежьте его на полоски, заправьте мелом и скрипичным ключом. Добавьте двойки по алгебре и геометрии. Томите сутки в молоке с пенкой. Вот так уныло пахнут и выглядят тушеные овощи.

Но любому испытанию приходит конец. Минут пятнадцать мучений, нытья и закатывания глаз — и дело сделано, ненавистное блюдо плещется у нас в желудках.

— Ба, посмотри, какой у меня будет муж, — сунула Маня под нос Ба протертую до блеска тарелку, — скажи красавчик?

— Красавчик-красавчик, — хмыкнула Ба, — все извилины ему стерла!

— Какие извилины? — опешила Маня.

— Да шучу я, — отмахнулась Ба, — посмотрим теперь, какой у Нарки будет муж!

У Нарки муж получался не таким красивым, как у Мани. Нарка с раннего детства не дружила с тушеным луком, поэтому ее муж грозился ходить всю жизнь с полукольцами лука на лице.

— Эх ты, — постучала костяшками пальцев по моей голове Ба, — ладно, так и быть, выручу тебя.

Она взяла кусочек хлебной корочки, протерла им тарелку и запихнула остатки тушеного лука в мой распахнутый от удивления рот.

— Ммыыыые, — замычала я.

Ба ловко зажала пальцами мои ноздри. Мне ничего не оставалось, как наспех прожевать и проглотить остатки обеда.

— Потом мне спасибо скажешь, — буркнула Ба и убрала тарелки со стола.

— Ба, а можно мы пойдём к мсье Карапету? — выползли мы из-за стола.

Ба маялась совестью, и поэтому минут пять была особенно уязвимой.

— Можно, — со скрипом согласилась она, — только ненадолго, на полчасика всего, ясно?

— Ясно! — припустили к выходу мы. Нужно было успеть выскочить из дома до того, как Ба перестанет маяться совестью.

Мсье Карапет жил в большом, утопающем во фруктовых деревьях доме из белого камня. Второй этаж своего дома он превратил в просторную мастерскую, где писал удивительные по красоте картины. Мы с Маней любили, затаив дыхание, наблюдать за тем, как он работает. Мсье Карапет не возражал против нашего присутствия, наоборот, вел с нами долгие беседы «за жизнь» и поил горячим шоколадом из чашек тонкой ручной работы.

— А можно нам простые чашки? — попросила Маня в первый раз, когда мсье Карапет поставил перед нами поднос с горячим шоколадом и печеньем «Курабье».

— Почему? — удивился мсье Карапет.

— Мы обе косорукие и можем легко разбить такую красоту, — потупилась Манька. По тому, как уныло завалился набок Манин боевой чубчик, можно было догадаться, как сильно она волнуется.

— На то они и чашки, чтобы их бить, — улыбнулся мсье Карапет и этим завоевал наши девичьи сердца безоговорочно и навсегда.

Мсье Карапет был сыном чудом спасшихся от резни эрзрумских армян, которых корабль под французским флагом вывез в Нант. Среди нехитрого скарба, который в спешке успели забрать из своего огромного имения родители мсье Карапета, был тяжёлый, старинный пояс деда.

Первая волна эмиграции — потерянное племя. Родители мсье Карапета разделили горькую участь многих беженцев — они брались за любую работу, чтобы выбраться из беспросветной нищеты. Спустя десять лет, вместе с семьёй русских переселенцев, они открыли кондитерскую «Toutoundjian et Morozъ». Со временем кондитерская стала приносить неплохой доход.

Мсье Карапет родился и вырос во Франции, выучился на художника в парижской Национальной высшей школе изящных искусств, женился на французенке мадемуазель Жюли. В день свадьбы тикин Ануш, мама мсье Карапета, подарила своей невестке потемневший от времени старинный пояс.

— Это единственная память о дедке Карапета, храни его как зеницу ока, дочка, — сказала она.

Молоденькая Жюли повертела в руках кожаный, инкрустированный металлическими григорианскими крестами пояс, подивилась странному, обтрепанному подарку и задвинула его в дальний угол антресолей.

— Надо будет потом выкинуть это старье, — дернула она плечом. И благополучно забыла о подарке.

Мсье Карапет и мадам Жюли прожили душа в душу восемь счастливых лет. Она родила ему девочку Ани и мальчика Тарона. Как-то раз, во время уборки, мадам Жюли полезла в дальний угол антреселей и нашла свернувшийся змейкой старинный пояс.

Она вытащила его за металлическую пряжку, повертела в руках. «Тяжелый какой», — удивилась. Взяла маникюрные ножницы и поддела шов на кожаном брюхе пояса. Прогнившие нитки разошлись, и на пол посыпались золотые соверены с оттиском профиля английского короля Георга V и царские червонцы с профилем Николая II.

— Как они похожи, — изумилась мадам Жюли, сравнивая царственные профили на монетах.

— Каро! — поспешила она к мужу. — Каро!!!

Мадам Жюли была беременна третьим ребенком и шла очень осторожно — ступала боком и придерживала большой живот рукой. Но, видимо, радость от находки была столь велика, что в какой-то момент она прибавила шагу, запуталась в длинном подоле юбки и рухнула с высокой лестницы вниз. Там ее и нашел муж — она лежала на спине, раскинув в стороны руки, с внезапно окаменевшим, ставшим колом животом, с распахнутыми глазами, а вокруг нее искрились россыпью золотые монеты.

Обезумевший от горя мсье Карапет бросил все свое имущество, оставил кондитерскую сыновьям Мороз, взял детей в охапку и с первой волной репатриации вернулся в Армению.

Он стремился туда, где, по рассказам родителей, находилась земля обетованная, он возвращался, чтобы пережить немилосердное, разом убившее в нем волю к жизни, горе.

— Карапет, — говорила тикин Ануш, ласково проводя по его щеке своей огрубевшей от постоянной тяжелой работы рукой, — ты не умеешь рисовать Арарат, потому что ты его никогда не видел...

— Карапет, — говорил ему отец, — когда-нибудь мы обязательно съездим домой, и ты поешь настоящих абрикосов...

— Вот я и дома, — мысленно обратился к давно умершим родителям мсье Карапет, спускаясь по трапу самолета в ереванском аэропорту, — я вернулся.

Он возвращался домой, а оказался в Советской Армении.

Сначала его долго подвергали идейной обработке сотрудники какого-то важного учреждения. «Кагебешники», — решил про себя мсье Карапет и брезгливо скривил губы. Потом, когда с бумажной волокитой было покончено, он наконец-то получил возможность поехать по городам теперь уже своей страны. Зрелище, открывшееся глазам мсье Карапета, ввергло его в ужас. Это была совершенно другая, отличная от рассказов его родителей, страна. Здесь школьники ходили в красных галстуках, на всех площадях возвышались статуи вождя революции, а в магазинах не хватало самых необходимых продуктов.

Он продал нумизматам несколько английских соверенов, которые вывез из Франции в поясе своего деда, и купил дом в затерянном высоко в холмах городке Берд.

— Чем дальше от центра, тем меньше кагэбэшников, — справедливо решил он.

Мсье Карапет дружил с моим дедом, таким же, как он, беженцем из Западной Армении. Только если родителей мсье Карапета корабль под французским флагом вывез в Европу, то моего деда спасли отступающие русские солдаты. Они вытащили его из-под груды зарубленных трупов — испуганного, вымазанного в чужой крови пятилетнего мальчика.

— Один из солдат завернул меня в свой тулуп, разжал зубы и влил туда немного вина, — рассказывал дед, — и приговаривал: «Голубчик, голубчик». А я ни слова на русском не понимал, только помнил, как мама говорила: русские — они хорошие, они обязательно нас спасут. И я вцепился руками ему в шею, этому русскому солдату, «рус, рус», — говорю я ему, а он мне в ответ — «голубчик, голубчик», и я почему-то решил, что

его так зовут, и всю дорогу я его упорно называл Голубчиком. А в Эчмиадзине он меня сдал в наспех организованный при церкви сиротский приют, оставил мне все свои припасы, перекрестил и пошел дальше. И я никогда больше его не видел.

Уже потом, будучи при достаточно большой должности, дед пытался разыскать своего спасителя, но так и не смог его найти.

Мы с Маней очень любили ходить в гости к мсье Карапету. Он давно уже жил один. Ани и Тарон выросли, уехали в Ереван, получили высшее образование и осели жить в столице. Они звали отца к себе, но тот отказывался уезжать из Берда.

— Здесь так мало этого чудовищного советского вранья! — кричал он в телефонную трубку. Операторы междугородной связи каждый раз, наверное, падали в обморок, когда слышали антисоветчину, которую выкрикивал мсье Карапет. — Живите среди этих товарищей кагэбэшников и не трогайте меня!

— Папа, — всхлипывала Ани, — ты там совершенно один, и мы не можем к тебе часто приезжать...

— Я не один, дочка. Со мной мои картины, — успокаивал ее мсье Карапет.

\* \* \*

Идти до дома мсье Карапета было минут пять неспешным шагом.

— После этих отвратительных тушеных овощей так и хочется какао, — мечтательно протянула Маня.

— Не какао, а горячего шоколада, — поправила ее я, — ты же помнишь, как правильно нужно называть этот напиток?

— Помню! Это я при тебе говорю какао, а при мсье Карапете буду называть его горячим шоколадом, — заверила меня Маня.

Скоро мы уже были на месте. Я хотела толкнуть калитку, но Маня схватила меня за руку.

— Подожди!

— Чего тебе?

— А парижская осанка?

— Ах да! — хлопнула я себя по лбу. — Парижская осанка!

Мы плотненько прижались спиной и пятками к забору, задрали к ушам плечи, завели их назад и плавно опустили. Постояли какое-то время, привыкая к «парижской осанке», и наконец отколупались от забора.

— Ну, как я выгляжу? — скопсилась я на Маню.

— Шикиблеск! — шепнула уголком рта моя подруга. Она вышагивала так, словно аршин проглотила, и выглядела как истинная француженка.

Мы толкнула калитку и вошли во двор.

Шли рядышком, гордо задрав головы и отклячив назад попы. Шеи были вытянуты сильно вверх, ключицы воинственно торчали вперед, ноги мотались где-то далеко внизу и даже чуточку, кажется, позади. Обе от напряжения косолапили и дышали с большим напрягом.

— Я так долго не выдержу, — пожаловалась я Мане.

— Главное — до стульев добраться, а там можно и расслабиться, — подбодрила она меня.

Когда мсье Карапет открыл нам дверь, мы уже практически были на последнем издыхании.

— Здравствуйте, мадемуазели, — расплылся в улыбке мсье Карапет.

— Здравствуйте, — каркнули мы и шаркнули ножкой.

Мсье Карапет любезно посторонился, пропуская нас в дом. Мы прошли мимо него и напрямиком направились на кухню.

— Хотите посмотреть мои картины? — поинтересовался нам вслед мсье Карапет.

— Нет! — выдохнули мы. — Нам бы чуточку за столом посидеть.

— Ну и ладно, — рассмеялся мсье Карапет, — тогда сделаю вам горячего шоколада.

— Хорошо, — милостиво согласились мы, сели за стол и наконец расслабили мучительную французскую осанку, — фух!

— Как у вас дела? Какие новости? — галантно поинтересовался мсье Карапет.

— Мы поели сегодня тушеных овощей!

— Какой ужас, — всплеснул руками мсье Карапет, — вы же их ели на той неделе!

— Так и мы о том же говорили Ба, но она не стала нас слушать! Нет чтобы картошечки пожарить, — пригорюнились мы.

Мсье Карапет сочувственно покачал головой. Потом он открыл холодильник и долго глядел в его содержимое, пытаясь вспомнить, что ему там надо было взять.

— Что-то в горле пересохло, — не вытерпела Маня.

— Ах да, молоко! — воскликнул мсье Карапет и вытащил из холодильника бежевый молочник. Он налил в эмалированный ковшик молока и поставил его на маленький огонь. Когда молоко разогрелось, он добавил туда плитку горького шоколада и две чайные ложки какао. Выставил на поднос вазочку с вафлями и сахарницу. Мы, затаив дыхание, следили за его движениями.

— Наринэ, вчера вечером я имел долгий разговор с твоим дедом, — нарушил молчание мсье Карапет.

Мы с Манькой переглянулись. Мой дед был партийным работником, идейным и кристально честным коммунистом, и всю жизнь верой и правдой служил стране, благодаря которой он, круглый сирота, беженец из Западной Армении, получил образование и смог устроиться в жизни.

— Если бы не русские, то нас бы уже давно не было, — любил повторять он.

— Ты не видел настоящей жизни, — мгновенно вскипал мсье Карапет, — и настоящих русских ты не видел!

— А ты видел! — вспыхивал в ответ мой дед.

— А я видел! Весь Париж был наводнен настоящими русскими! — бушевал мсье Карапет. — Настоящие русские уехали из этой страны после позорной революции, а здесь остались одни конформисты!

— И эти конформисты выиграли Вторую мировую войну! — восклицал дед. — Полетели в космос и придумали самолеты вертикального взлета!

Мы с Маней нередко присутствовали при этих перепалках и знали все аргументы противоборствующих сторон наизусть. Слово «конформисты» нас сильно пугало, и мы каждый раз втягивали головы в плечи, когда дед с мсье Карапетом начинали обзывать людей конформистами. Спросить, что это означает, нам не хватало смелости. «Убийцы, наверное», — предполагали мы.

Вот и сейчас, когда мсье Карапет сказал нам, что вчера имел разговор с моим дедом, мы сильно напряглись.

— Снова поссорились, — шепнула мне Манька.

— Ага, — пригорюнилась я.

— Мы поговорили о Стендале, — продолжал мсье Карапет.

«Красное и черное», — мелькнуло в наших головах.

— О Гюго.



— Поругались, великий он писатель или шарлатан.

— О Бунине.

— Восторгались.

— О Маяковском.

Маня вцепилась мне в руку.

— Сейчас скажет про Маркса, — шепнула она одними губами.

— «Капитал» обсудили.

Все! Можно было собирать свои манатки и уходить. Ясно было одно — вчера мой дед с мсье Карапетом рассорились в пух и прах. Потому что мы отлично знали, что после «Капитала» они переходили на Ленина, и тут начиналось самое страшное.

— Самозванец и убийца! — грохотал мсье Карапет.

— Великий мыслитель и запутавшийся человек! — не соглашался мой дед.

— Разбазарил наши земли!

— Восточную Армению спас!

— Расстрелял царскую семью!

— Он хотя бы имел смелость признавать свои ошибки!

И т. д. и т. п.

Нужно было срочно отвлекать мсье Карапета от опасных воспоминаний, а то, того и гляди, он передумает поить нас горячим шоколадом.

— А вы потом покажете нам картину, которую сейчас рисуете? — заблеяла я.

— Покажу, конечно, — легко отвлекся мсье Карапет и поставил перед нами поднос с дымящимися чашечками.

Мы с Маней взяли по вафле и обмакнули в горячий шоколад. Мсье Карапет поморщился.

— Некрасиво макать вафли в шоколад, — сказал он.

— А сухари? — живо поинтересовалась Маня.

— И сухари некрасиво. Вообще некрасиво что-либо макать в напитки.

— А моя прабабушка в своем чае нагревает помидоры, — пошла ва-банк я.

Мсье Карапет чуть не поперхнулся.

— Как это помидоры?

— Ну, я сама видела. Она сделала себе чаю, потом взяла помидор, сказала, что он холодный, и бросила его в чашку с чаем. А когда я спросила, зачем она это сделала, она сказала, что помидор все равно чистый, и чаю ничего не будет. Она вообще старенькая и много чего делает такого, от чего потом волосы на голове шевелятся!

Мсье Карапет закрыл глаза и сделал такое выражение лица, словно у него резко разболелся зуб.

Пока он сидел с закрытыми глазами, Манька быстро допила свой шоколад, протерла коричневые усы ладонью и облизала ее. Я задохнулась от восторга — надо же, какая у меня подруга догадливая, вот как можно получить еще больше горячего шоколада! Но последовать ее примеру я не смогла, потому что мсье Карапет оправился от шока и открыл глаза. Пришлось допить шоколад по всем правилам этикета, и даже последний протяжный «фьююють», которым я осушила чашку, не утешил меня — шоколадные усы пришлось вытереть салфеткой.

Потом мы встали из-за стола и поблагодарили мсье Карапета за угощение.

Он повел нас в свою мастерскую и показал картину, которую писал. Это был портрет очень красивой женщины. Она сидела в кресле, на коленях ее свернулся калачиком рыжий

кот, она улыбалась одними уголками губ и смотрела куда-то нам за спину. Взгляд ее был таким живым и пронизательным, что мы обернулись посмотреть, чего она такого интересного увидела за нашими спинами.

— Шикиблеск! — выдохнула Манюня.

— Ага, — с трудом кивнула я. Мы снова вытянулись во «французскую осанку» и дико страдали от этого.

— Спасибо, — улыбнулся мсье Карапет и вытащил с полки большой альбом, — сегодня мы будем знакомиться с Модильяни.

В каждый наш визит мсье Карапет рассказывал нам о художниках, показывал их работы и объяснял технику рисования. Мы мало чего понимали в том, что он нам объяснял, и уроки эти воспринимали как данность, считая их неизменным приложением к горячему шоколаду.

— Вот покупаешь в магазине мясо, а тебе еще сверху костей накидают, — объясняла я Маньке, — такая же история и с мсье Карапетом. Попили горячего шоколада — пожалуйста послушать про Пик... Пикассу!

— Не Пикассу, а Пикасса, — поправляла меня Манька, — страшный человек, все на кубики раздробил.

— А эта странная тетка? Как ее там, «Любительница асбеста»?

— Не говори! Какой нормальный человек станет есть асбест? — разводила руками Манька.

Модильяни нас поразил до глубины души. Сначала мсье Карапет напугал нас словом «экспрессионизм».

— Икс... чего? — шепнула мне Манька.

— Пырсонизм какой-то.

— С ума сойти!

Потом мсье Карапет показал нам голых женщин. Они лежали на кушетках и выставили на всеобщее обозрение пышные груди и треугольнички волос на срамных местах.

— Нью, — втолковывал нам мсье Карапет, — Модильяни — первый певец обнаженного женского тела.

Мы с Маней усиленно отводили глаза.

— Вот что такое ню! — сконфуженно протянула я.

— Тьфу, срамотища, — рассердилась Манька.

А потом мсье Карапет показал нам портреты жены художника. Она нам очень понравилась — у нее были светлые, чуть раскосые глаза, рыжие волосы и длинная-предлинная шея.

— Он сильно любил ее, поэтому оставил так много ее портретов, — сказал нам мсье Карапет.

Внезапная догадка пронзила наши сердца. Мы подняли головы от альбома и окинули взглядом мастерскую. Почти со всех полотен мсье Карапета на нас смотрела одна и та же женщина. У нее были каштановые вьющиеся волосы, она улыбалась одними уголками губ и смотрела чуть рассеянно нам за спину.

— Вы тоже очень любили свою жену, да? — спросила Маня.

Мсье Карапет обернулся к своим картинам, вздохнул.

— Я до сих пор ее люблю, — глухо вымолвил он. Он тяжело встал и подошел к окну, и мы вдруг сразу осознали, какой он старенький и одинокий.

— Ты его расстроила, — шепнула я Маньке.

— Я не хотела!

Манька встала, пригладила ладошкой боевой чубчик, подошла к мсье Карапету и, как в дверь, постучалась ему в спину согнутым пальцем.

— Вы извините меня, я не хотела вас расстраивать, — сказала она.

— Ну что ты, детка, — обернулся к ней мсье Карапет, — ты меня ничуть не расстроила.

— А я бы на вашем месте все-таки расстроилась, — глянула на него укоризненно снизу вверх Манька, — и долго потом бы горько плакала.

Я вскочила с места.

— Нам пора! — Нужно было уводить Маню до того, как она доведет до слез мсье Карапета.

— Приходите еще, — улыбнулся нам мсье Карапет.

— Обязательно придем, — заверила его Манька, — у вас такой вкусный горячий шоколад!

— Хахахааааа, — затрясся в смехе мсье Карапет, — вот она, детская непосредственность!

— И картины у вас замечательные, — поспешно добавила я.

Мы сбежали вниз по лестнице и вышли на улицу.

— Мань, ну ты даешь! Зачем ты ему про горячий шоколад сказала? Теперь он подумает, что мы только за этим к нему и приходим!

— А за чем еще? — спросила Манька.

Мы крепко задумались.

— За икспырсионизмом, что ли? — неуверенно спросила я.

Манька вздохнула. Заправила мои волосы за уши и, склонив голову набок, долго разглядывала меня.

— Ты чем-то даже похожа на жену Мудульяно, — протянула она задумчиво.

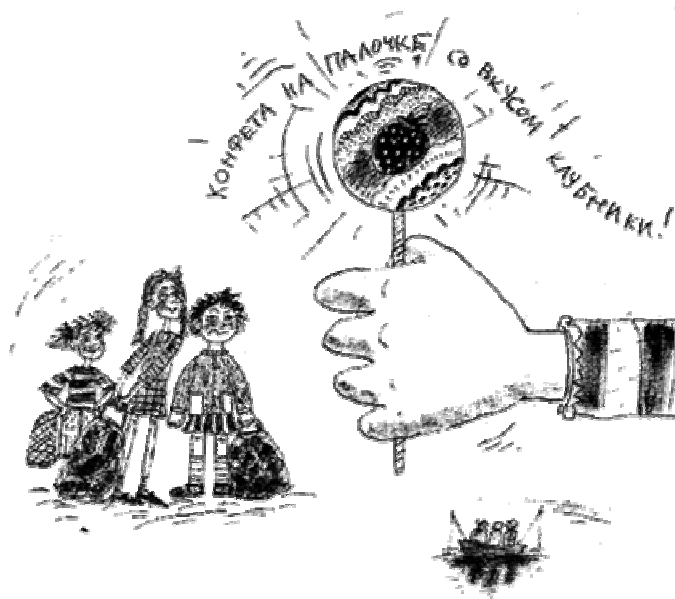
— Чем?

— Глаза такие же. Светлые и смотрят в разные стороны, — заключила Манька.

— Спасибо, — растрогалась я.

Что может быть желаннее хорошего комплимента от любимой подруги? Практически ничего. Если только еще одна чашечка горячего шоколада!

## **ГЛАВА 22 Манюня чистит помидоры, или Как папа дядю Игоря от депрессии лечил**



С началом осени в нашем городке наступали беспокойные времена — в бакалее заканчивался сахар, огромные очереди к овощным прилавкам ввергали в ступор редкого иноземного туриста, чудом забредшего в наши края. Берд напоминал большой муравейник: люди озабоченно куда-то спешили, а к вечеру тащили домой большие коробки и мешки, набитые до отказа продуктами.

Объяснялось это светопреставление очень просто — измученный дефицитом советский люд делал запасы на зиму. Мужчины договаривались со знакомыми председателями колхозов и везли с полей добытые трофеи — мешки с картофелем, капустой, морковью и другим полезным подножным кормом. Женщины закатывали на зиму банки с баклажанной икрой, лечо и аджикой, варили разнообразные повидла, джемы и компоты. Из соседнего Красносельского района выдвигались молоканские гонцы — принимать заказы на соленья. Недельки через три они привозили шинкованную, припорошенную алыми ягодами брусники капусту, моченые яблоки, острые маринованные перчики и всякую другую вкуснотень.

Рослые, немногословные молокане, все как один в домотканых рубахах, в заправленных в высокие голенища сапог брюках, споро продавали привезенные соленья, принимали новые заказы и уже к вечеру уезжали обратно в Красносельск.

Осень свирепствовала изо всех сил — фруктовые сады и огороды плодоносили с таким остервенением, что у людей ум за разум заходил в постоянных раздумьях, на что бы еще пустить щедрые дары природы.

В темных, холодных погребах, в специальных дубовых бочонках бродило золотистое домашнее вино. Молодое и игристое, оно имело одну коварную особенность — не обладало ярко выраженным спиртовым вкусом. Неискушенный дегустатор мог опрометчиво выпить бокалов пять такого вина, сохраняя при этом полную ясность ума. Но потом резко наступало опьянение — ножки отказывались идти по дорожке, а язык заплетался так, что даже мычание давалось с невероятным трудом.

Во дворах, под открытым небом, в специальных аппаратах гналась знаменитая на всю республику семидесятиградусная кизиловая водка.

Специальный аппарат — это, конечно, громко сказано. Ничего общего со знакомым нам из карикатур самогонным аппаратом сей ветхозаветный монстр не имел. Это был большой металлический конструктор, состоящий из нескольких, казалось, совершенно несовместимых частей. Собирался он, как это ни удивительно, достаточно легко, размерами напоминал сошедший со шпал локомотив, круглые сутки доходил на маленьком открытом огне и по капле сцеживал прозрачную, зубодробительную водку.

Почему зубодробительную — потому что редкому иноземному гостю удавалось обойтись без реанимационных мероприятий после того, как он выпивал бутылочку такой кизиловки.

Так как водку гнали в строго определенный период времени, а город наш находился в низине и со всех сторон был окружен невысокими холмами, то дух над домами стоял такой, что птицы пьянели на лету, а солнце отказывалось уходить за линию горизонта.

После «водочной страды» наступала пора вялить ветчину. Для домашней ветчины у знакомого мясника покупалась специальная, подернутая тонкими прожилками жира свинина. Чаще всего на эти цели пускался окорок. Мясо обрабатывали специями, обильно солили, начинали чесноком и оставляли под гнетом на день-второй. А потом его вялили в специальных печках на ветках можжевельника, и аромат над городком витал такой, что у жителей с утра до ночи текли слюнки.

В принципе, по одному только запаху, витающему над Бердом, можно было легко определить сезон года. Весна пахла пасхальным столом — молодой зеленью, отварной рыбой и крашеными яйцами, лето — клубничным, абрикосовым и ореховым вареньем, а осень... ммм... осень пахла счастливым сном Гаргантюа. Потому что после ветчинного аромата наступал коричнево-ванильный — хозяйки фаршировали сухофрукты смесью из разных сортов жареных орехов, посыпали корицей и ванилью и убирали куда-нибудь подальше от детских глаз. Иначе такие сладости грозились не дожить до новогодних праздничных столов. На больших подносах исходили умопомрачительным ароматом карамелизированные в сахарном сиропе груши и персики. В прохладных, хорошо проветриваемых помещениях «доходили до кондиции» длинные сосульки чурчхелы.

Приезжали гонцы из Грузии — привозили прославленные грузинские специи и соусы. Специи покупались впрок и хранились в стеклянных банках. Ароматными соусами до отказа забивались холодильники. Потому что, скажите на милость, как можно есть запеченную до хрустящей корочки утку, если она подается без норшараба? Или севанский ишхан, если его не полили кисленьким ткемали? И может ли считаться «правильной» новогодняя толма, если ее фарш не облагородили щепотью-другой хмели-сунели?

Ну что же, пора переходить к нашей истории. А то я что-то совсем разговорилась, вспоминая нашу осень...

Однажды, в такую благословенную закаточно-заготовочную пору, отец получил письмо от своего бывшего однокурника и замечательного друга дяди Игоря.

— Что еще могло случиться? — напрягся он.

Дело в том, что дядя Игорь развелся с женой и крайне тяжело переживал разрыв. Периодически, когда боль становилась совсем невыносимой, он писал моему отцу длинные душещипательные письма. Отец потом полдня ходил мрачнее тучи и придумывал другу бодрый ответ. Вот и сегодня, получив письмо от дяди Игоря, он посуровел лицом, взял сигареты, налил себе кофе и ушел на балкон читать.

«Жизнь для меня потеряла смысл, — писал дядя Игорь, — и я не знаю, когда смогу еще раз полюбить».

— Хех, — крикнул отец.

«Завел интрижку с медсестрой из хирургии. Не помогло».

— Однако!

«Подобрал во дворе трехцветного кота. Назвали Лжедмитрием, коротко — Лужей. Жрет, как прорва, гадит исключительно мне в носки. Не поддается дрессировке».

— Эхма, — почесал в затылке папа.

«Попал в аварию, погнул крыло „Запорожца“».

— Уффф...

«А теперь еще новая напасть — мало того что Оля ушла, так еще не дает с дочерью общаться».

— Твою мать! — отец как ошпаренный выскочил из дому.

— Что случилось? — крикнула ему вдогонку мама.

— Все беды от вас! — проорал в замочную скважину отец.

— Ты куда? — высунулась в кухонное окно мама.

Папа ничего не ответил. Он мчался с таким остервенелым выражением на лице, словно где-то за углом немилосердно строчил вражеский пулемет, и ему срочно надо было заткнуть его дуло своей грудью.

Мама обескураженно обернулась к нам.

— Что случилось?

— Мы здесь ни при чем, — на всякий случай открестились мы.

Тем временем папа, сверкая очами, диктовал на почте молнию.

«Приезжай зпт мы тебя вылечим тчк ждем вскл знк».

Ответ не заставил себя долго ждать.

«Сообщи размеры брюк зпт возьму тебе кримпленовые тчк что нужно девочкам впрс знк».

— Нарке пальто, у Каринки сапоги зимние прохудились, — кинулась перечислять обрадованная мама, — пусть Игорь еще детского питания привезет, а то «Малыш» в магазинах только гречневый, а Сонечка его не любит.

— Агрррх, — дыхнул огнем папа и умчался на работу.

Мама кинулась к телефону.

— Тетя Роза, Игорь должен приехать, вам из Москвы ничего не надо?

— Как не надо, Надя, неси ручку, сейчас список составим. Мы же не бесплатно, мы же все деньги вернем!

Итого к тому моменту, когда папа пришел с работы на обеденный перерыв, список разросся до угрожающих размеров.

Чего только там не было! И шерстяной костюм для дяди Миши, и мохеровая пряжа 20 мотков, и новый смычок для Маниной скрипки, и комплекты постельного белья (пять шт. односпальные, две шт. двуспальные), и специальные компрессионные противоварикозные гольфы для Ба (лучше сразу несколько пар).

— Юра, а как ты думаешь, удастся Игорю достать разъемную форму для выпечки? — ходила со списком в руках за папой мама. — И можно попросить у него какие-нибудь красивые елочные украшения?

Папа молча забрал у нее список и спрятал в карман.

— Хорошо, — подозрительно миролюбиво буркнул он. После работы зашел на почту и отбарабанил другу телеграмму:

«Ничего не надо зпт приезжай зпт ждем нетерпением тчк».

В ожидании убитого горем гостя мама развернула кипучую деятельность.

— Не стану же я при Игоре возиться с заготовками да сутки напролет стерилизовать банки, — резонно заметила она, — нужно успеть все сделать до его приезда.

И дома начался ад. На нас с Каринкой была возложена куча обязанностей, которые мы беспрекословно должны были выполнять. Например, по первому маминому зову мы притаскивали из подвала стеклянные банки, в которые потом закатывался очередной кулинарный шедевр.

— Мне нужны четыре двухлитровые и три трехлитровые банки, — втолковывала нам мама.

— Мам, двухлитровых такие, а трехлитровых такие? — показывали мы руками приблизительную высоту банок.

— Да, и не перепутайте!

Легко сказать — не перепутайте. Пока доберешься до подвала — в голове уже все благополучно перепуталось. Итого мы с сестрой, пошарив по всем полкам, приволакивали домой совсем другие банки.

— Я вам какие банки сказала принести? — ругалась мама.

— Такие и такие, — показывали мы руками.

— А вы что принесли?

Мы, грохоча банками, плелись обратно в подвал.

В наши обязанности также входило мытье в семи водах овощей и фруктов. А далее все за нас решал фатум. Если в этот день мироздание поворачивалось к нам передом, то мама с благословенными словами: «Дальше я сама справлюсь», — отпускала нас поиграть во двор, а если нет, то сажала за работу.

Помогали мы ей с большой неохотой.

— Маааам, — ныли мы, — нормальные дети играют во дворе, а ты нас заставляешь заниматься такой ерундой!

Но мама оставалась глухой к нашему нытью.

— Нужно успеть до приезда Игоря! — как заклинание, повторяла она.

Каждые пятнадцать минут в нашей квартире раздавался телефонный звонок.

— Але-о, — вздыхала в трубке Манька, — ну что вы там делаете?

— Чистим печеные баклажаны, а ты?

— Ба ошпарила помидоры и заставляет сидрааааать с них шкуру!

— Много?

— Очень много. Стомиллон кило, наверное.

— А выйти поиграть успеешь?

— Мария! — рвал в клочья наши барабанные перепонки грозовой рокот Ба. — Выпорю, если сейчас же не возьмешься за дело.

— Я пошла, — шептала в трубку Манька, — потом еще позвоню!

Самым большим испытанием для нас была не возня на кухне, а покупка овощей. Так как Сонечка была очень маленькой и мама боялась оставлять ее одну, то очередь в магазине выстаивали мы.

Поход в овощной был для нас сущим наказанием, и мы всячески пытались игнорировать эту нашу обязанность. Впрочем, безуспешно. Потому что мама придумала свой коварный метод, как заставить нас безропотно идти в магазин. Сначала она отпускала нас поиграть во двор. Усыпляла таким образом нашу бдительность. Через какое-то время наступал час расплаты.

— Дети! — подзывала нас сладкоголосой птицей мама. — Подойдите к балкону.

— Мам, мы в магазин не пойдем.

— Подойдите, сказано вам! — В мамином голосе проскальзывал металл. Делать было нечего, мы плелись к балкону. Опыт совместно прожитых с мамой лет свидетельствовал — лучше ей не перечить. Потому что рука у мамы тяжеленная, да и скорость у нее, как у заправского эфиопского бегуна. От такой далеко не убежишь! — В овощной привезли баклажаны. Вот вам три рубля, возьмите мешок. — Она вероломно кидала нам под ноги деньги и спешно ретировалась в квартиру.

— Ааааааааа, — бесновались мы, — мааааааааа, какие баклажаны, какой мешок! Никуда мы не пойдеоооом!

Стук захлопнувшейся балконной двери возвещал нам, что разговор окончен. Мы подбирали деньги и под гогот наших друзей со двора плелись в овощной.

— За что нам наказание такое?! — ругалась Каринка. — Все дети как дети, по дворам бегают, а нам целый час в очереди торчать, а потом еще домой баклажаны волоочь! А если кто-нибудь нас с авоськами увидит?

— Ааааа, ооооо, — выла я.

Час-полтора пребывания в очереди не шли ни в какое сравнение с тем позором, который приходилось переживать, когда мы волокли покупки домой. Потому что по закону подлости навстречу обязательно попадался какой-нибудь нежелательный одноклассник, который при виде сетчатых авосек с торчащими оттуда баклажанными хвостиками или кочанами капусты кривил рот, плелся следом и хихикал всю дорогу нам в спину.

— Поймаю — убью, — шипела ему Каринка.

— Ты сначала поймай, — корчил рожицы зловредный мальчик, — зачем вам столько капусты, кроликов завели?

— Тебя спросить забыли, — топала ногами Каринка, — уйди, говорят тебе, пришибу!

— Гыгыгы, шикарно смотрите, — не унимался молодой любитель острых ощущений.

Каринка бросала авоськи посреди дороги и кидалась на обидчика с кулаками. Я терпеливо ждала, пока она скрутит и покалечит его.

Потом она возвращалась, и мы плелись дальше. Так как тяжести мама нам запрещала таскать, то мы оставляли овощи за прилавком у продавщицы и переносили их в несколько приемов. Опасность встретить зловредного одноклассника в этом случае возрастала в разы!

Вот и в этот день судьба не пощадила нас — позвонила Ба и сказала, что в овощном продают красный болгарский перец.

— Сделаю аджику, — обрадовалась мама и полезла за кошельком.

— Нееееет, — заныли мы.

— Да! — сказала мама, всучила нам деньги, снабдила трудовыми авоськами и вытолкнула за дверь. — Манюня уже там, Ба и ее отправила в магазин.

Возле овощного змеилась длинная крикливая очередь.

— Девочкииии, я тут, — помахала нам Манька.

Мы с невероятным трудом протиснулись к ней.

— Привет, — шмыгнула носом Манюня, — здорово, да? Смотрите, что с моими руками.

Она выставила ладошки и показала скукоженные подушечки пальцев.

— Видали?

— Ого! — выдохнули мы. — Такого даже после долгого лежания в горячей ванне не бывает.

— Это я так помидоры чистила, — похвасталась она, — целое ведро начистила!

Я хотела показать ей свои руки, но Каринка дернула меня за капюшон куртки:

— Смотрите, смотрите!

— Чего? — вытянули мы шеи.

Вдоль очереди шла Маринка из тридцать восьмой квартиры. Маринка как Маринка, мы ее не первый день знали и даже дружили с нею. Девочка она была хорошая, компанейская,



не раз делилась с нами своими жвачками — давала каждой пожевать чуть-чуть. Мы даже как-то с нею придумали пустить на эти цели парафиновую свечу. Отпилили по кусочку и стали вдумчиво ее жевать. Свеча обладала отвратительным привкусом, но быстро размякла во рту и отдаленно напоминала жеваную-пережеваную жвачку. Ба потом за это содрала с нас три шкуры, и мы больше не решались ставить над собой такие эксперименты. Но общее преступное прошлое сблизило нас еще больше.

Маринка шла вдоль очереди, не обращая ни на кого внимания, и держала в вытянутой руке какую-то восхитительно прекрасную штукювину. Мы еще не знали, что это за штукювина, но моментально захотели себе такую же.

— Марии-ин, — позвали мы, — а что это у тебя?

— КОНФЕТА НА ПАЛОЧКЕ СО ВКУСОМ КЛУБНИКИ, — сказала Маринка.

— Чивой? — не поверили мы своим ушам.

— Грю: кон-фе-та! Со вкусом клубники! На палочке! — Маринка развернула прозрачную, хрусткую обертку, лизнула конфету и завернула ее обратно.

Мы потеряли дар речи. Стояли какое-то время в остоленении, дружно испепеляя розовое клубничное чудо алчным взором.

— Вкусная? — пришла в себя Каринка.

— Угум, — Маринка демонстративно еще раз лизнула конфету, — мне ее тетя привезла. Конфета-то импортная, чешская!

— Из Чехии? — решила блеснуть эрудицией Манька.

— Нуда, из Чехол... Чехосол... из Чехии, ага.

— И сделали ее чеши, да? — не унималась моя подруга.

— Ну конечно чеши, кто же еще, — пожала плечами Маринка.

Никогда в жизни мы не видели столь прекрасной конфеты — она была кругленькая, большая, блестящая, на тоненькой желтой палочке.

— Марии-ин, — заблеяли мы, — дай попробовать!

— А что мне за это будет? — не растерялась Маринка.

— Могу отдать свой блокнотик с ромашкой на обложке, — предложила я.

— Пф, он почти весь исписан!

— Ободок с божьей коровкой, — предложила Манька.

— Нееее, у меня от ободков голова болит.

— Я знаю! — осенило меня. — Скоро к нам в гости приедет дядя Игорь, он обязательно привезет вкусных московских конфет. Я тебе дам целых три штуки!

— Пять, — не дрогнула Маринка.

— Шесть, и каждая из нас лизнет конфету по два раза!

— Идет!

Она развернула конфету и отдала ее мне. Я осторожно лизнула ее и передала сестре. Маринка строго следила, чтобы никто не лизнул ее конфету лишний раз.

— Мммм, — замычали мы, — вкусно-то как!

Потом мы убедили Маринку постоять с нами за компанию в очереди. Она убрала от греха подальше в карман конфету и стала развлекать нас рассказами о своем старшем брате.

— Когда он делает уроки, то постоянно ковыряется в носу и ест свои козявки!

— Фууууу!

— И спит всегда в носках, даже в летнюю жару их не снимает. Придет домой в грязных носках и ляжет спать.

— Фууууу!

— А еще он как-то мылся в ванной и забыл закрыть дверь на защелку. А я туда вошла!

— И чего? Ты видела его писюн?

— Нет, он повернулся ко мне спиной. Но я видела его попу! Она у него в прыщах! И спина тоже!!!

— Фууууу! Бедненькая!!! Какой ужас!

В знак благодарности за сочувствие Маринка позволила нам лизнуть конфету еще по разочку.

Потом мы купили перцы и разошлись по домам. По дороге нам повстречались два моих одноклассника. Одного Каринка поколотила, а второго не смогла догнать — он занимался легкой атлетикой и бегал даже лучше, чем наша мама.

А через две недели приехал дядя Игорь. И привез нам в подарок «Брауншвейгской» колбасы, печенья «Юбилейное» и шоколадных конфет «Красная шапочка». Мы честно отдали Маринке обещанные шоколадки, и она пошла домой дразнить брата своим богатством. А брат скрутил ее, отнял все конфеты и съел. И Маринка пришла к нам вся зареванная и предложила поменять палочку и обертку от чешской конфеты еще на одну шоколадку. Мы потом содрали с обертки золотистую этикетку и чуть не покалечили друг друга, потому что каждая хотела забрать ее себе. Победила, конечно же, Каринка и полгода потом важно ходила с этикеткой «Сделано в Чехословакии» на школьном ранце.

А дядю Игоря папа вылечил. Ну как вылечил — позвонил дяде Мише и сказал:

— Игорь приехал.

Вот.

Дядя Миша тут же примчался. С трехлитровой бутылкой кизилки наперевес. Мужчины быстренько нарезали себе бутербродов и засобирались на рыбалку под девизом: «Чтобы ни одной бабы в радиусе километра не было». Дяде Игорю хотели взять «Пшеничной», но он обиделся, мол, что вы домашнюю водку пьете, а мне государственную подсовываете.

— Игорь, что армянину хорошо, то русскому смерть, — честно предупредил его папа.

— Ничего не знаю, — уперся дядя Игорь.

— Ты понюхай сначала, а потом проси, — откупорил бутылку дядя Миша.

— Бррр, — ткнулся носом в бутылку дядя Игорь, но не сдался.

— Игорь! — сделал последнюю попытку вразумить друга папа.

— Юра? — не согласился дядя Игорь.

— Ну как хочешь.

Потом папа с дядей Мишей загрузили в Васю удочки, припасы и убитого горем московского гостя и поехали на озеро запивать рыбалку водкой.

Вернулись поздно ночью. Долго спорили на пороге, имеет ли значение, как вносить дядю Игоря домой — вперед ногами или вперед головой. Итого втащили его боком, уложили на кровать и всю ночь выхаживали. К утру они его реанимировали, но еще дня два дядя Игорь был очень слабеньким и питался исключительно гречневым «Малышом» и куриным бульоном.

Мама кормила его с ложечки и сильно жалела.

— Игорь, ну зачем ты послушался этих ненормальных и выпил кизилки? — качала головой она.

— Я ж не знал, — заикался дядя Игорь, — я и предположить не мог, ЧТО это такое! Это же ужас какой-то! Второй день от собственной отрыжки обратно пьянею!

Он улетел через неделю.

— Вернусь в Москву, возьму еще одну недельку за свой счет, съезжу в санаторий поправлять печень, — пообещал на прощание.

— Приезжай к нам еще, — обнял друга папа.

— Спасибо, — растрогался дядя Игорь, — обязательно приеду. Дайте только мне время от этой поездки отойти.

Через месяц папа получил письмо.

«Приучил Лужу какать в унитаз», — хвастался дядя Игорь.

— Ну! — крикнул отец.

«Продал „Запорожец“. Чуть поднакоплю — куплю „копейку“».

— Вот это разговор, — одобрил папа.

«Завел интрижку с медсестрой из массажного кабинета. Вылечил радикулит».

— Хех! — потер поясницу отец.

«Дочка в выходные ночевала у меня. Пожарила картошки, спалила проводку. Ты знаешь, Юра, я счастлив!»

У папы на глаза навернулись слезы.

«Вылечил-таки», — с гордостью подумал он.

Потом профилактически нахмурился и обернулся к маме:

— Жена, или ты каждый вечер делаешь мне массаж спины, или пеняй на себя.

— Тебе даже массаж извилин не поможет, — не осталась в долгу мама.

## ГЛАВА 23 Манюня читает польский журнал мод, или Откуда у дяди Миши растут руки

Все началось с того, что Манюня сломала отцовскую электробритву. Бритва была импортная, очень красивая и называлась «Браун». Дядя Миша давно о такой мечтал и, махнув рукой на экономию, купил у фарцовщика Тевоса за большие деньги.

— Ничего не «Браун», — фыркнула Манька, заглянув в футляр, — какая-то непонятная штукавина. Железная. С проводом. Тоже мне «Браун». Папа, а что такое «Браун»?

— Это название фирмы, — объяснил дядя Миша, — такие бритвы долго служат. Всю жизнь. И главное — они совершенно безопасные.

— То есть ты уже по утрам не будешь ходить с кусочками туалетной бумаги на лице? — обрадовалась Манюня.

— Не буду.

— Сына, это не аргумент. У тебя руки растут из того места, где у других, хм, заканчивается кишечник. Тебе «Брауном» пораниться — раз плюнуть, — фыркнула Ба.

Дядя Миша молча захлопнул футляр электробритвы и унес к себе в комнату. Крыть

ему было нечем. Потому что на днях он снова отличился — сорвал со стены навесной кухонный шкафчик и буквально обрушился с ним на пол. А всего-то надо было затянуть шурупы на разболтавшейся дверце.

Ба потом извлекала своего горемычного сына из-под всевозможных обломков и ругала страшными словами. А дядя Миша отплевывался осколками чешского сервиза и бурчал, что



табуретка убежала из-под ног, и ему пришлось повиснуть на шкафчике, чтобы не упасть.

Теперь на месте порушенного шкафчика красовалась репродукция васнецовской «Аленушки», и Ба, всякий раз цепляя ее взглядом, начинала кипятииться.

— Нечего мне больше делать, как любоваться твоей унылой рожей! — отчитывала она Аленушку. — И это потому, что кое у кого руки не тем концом к телу приделаны!

Если честно, я перепутала хронологию. Все началось не с электробритвы «Браун» и даже не с порушенного шкафчика. А с того, что Маринке из тридцать восьмой квартиры подарили журнал мод. Польский. С красивыми белокуроми девушками на каждой странице. Девушки демонстрировали изысканные наряды, улыбались накрашенными губами и казались сказочными принцессами. Маринка показывала нам журнал издали, не позволяя прикасаться к нему руками. «А то мало ли, — приговаривала, — может, у вас руки грязные и вы испачкаете страницы. Или помнете», — не дрогнула она, когда мы продемонстрировали ей чистые руки.

Мы ахали и охали, разглядывая с безопасного расстояния журнал, и мечтали превратиться в польских красавиц. И глядеть томно, чуть отставив в сторону ногу, так, чтобы коленка выглядывала в разрезе платья.

— Шикиблеск, — вздохнула Манька.

— Ага, — трепетали мы.

Только Каринка сказала, что мы дурочки и ничего не понимаем в женской красоте.

— Разве это красавицы? Вот Изольда Саакян — красавица, а в этих девицах ничего такого, кожа да кости!

Мы молча переглянулись. Изольда Саакян была чемпионкой нашего города по борьбе и легко побеждала всех соперников, которые попадались на ее спортивном пути. Причем во всех весовых категориях. И даже своего тренера Валерия Станиславовича она умудрилась на одном из занятий покалечить. Тренер потом месяц лежал в гипсе, а после ездил в санаторий, поправлять здоровье. Изольда все это время ходила понурая и бубнила, что это она нечаянно, просто «Валерий Станиславич сам полез на рожон».

Поэтому спорить о красоте Изольды мы благоразумно не стали — никому из нас не хотелось целый месяц лежать в гипсе.

— Она тоже очень красивая, — дипломатично заявила Маринка и принялась пересказывать содержание одной статьи из польского журнала. Статью Маринке перевела ее тетя, которая была очень умной и владела семью иностранными языками.

— Ни одна уважающая себя девушка не потерпит на себе лишних волос, так здесь написано, — рассказывала Маринка.

— А чего они делают? Бреются, что ли?

— Вот этого я не знаю, но сама видела, как мама бреет ноги. Папиной бритвой. А папа потом орал, что это негиг... не-гегек... ни... гигично, а мама говорила, что она свои ноги моет чаще, чем папа лицо. Так что это еще вопрос, кому что ни... гигично.

— А что такое ни... гигично?

— Не знаю. Может, зараза какая-то? — вздохнула Маринка и почесала ногу. — Может, и я уже болею?

Мы испуганно переглянулись, но отодвигаться от нее не стали. Потому что если бы мы отодвинулись еще дальше, то журнал пришлось бы в бинокль рассматривать.

— Ну, моя мама тоже бреет ноги, и тети тоже, — пожалала я плечом. — Но над верхней губой у тети Жанны, например, растет пушок. Вот тут, — я потыкала пальцем у себя под носом, — и чего, его тоже надо брить?

— Не показывай на себе, а то сама станешь усатой, — хлопнула меня по руке Манька.

— Конечно, надо брить, — Маринка убрала журнал в мятый целлофановый пакет, — подумайте сами — это ведь очень стыдно, когда ты девушка, а у тебя кругом волосы торчат!

— А моя Ба не бреет ноги, — вздохнула Манька, — волос на ногах у нее совсем мало, но иногда попадаются такие длинные! Даже у папы на груди нет таких длинных волос! Я как-то пыталась выдрать один, но Ба дала мне по шее и сказала, чтобы я так больше не делала. Это потому, что ей было очень больно.

— Скажешь тоже, — фыркнула Маринка, — во-первых, твоя Ба не девушка. Так? Так. А во-вторых, ноги-то внизу, и их особо не видно. Вот у моей бабушки такие усы, что папа ее за глаза Чапаевым называет. Так и говорит маме — звонил Чапаев. Или Васильевич. А мама говорит, что тогда его мама вообще Карламакс.

— Кто-кто?

— Карламакс. Старик с бородой, мне брат его портрет показывал. Волосатый — жуть!

И мы торжественно поклялись на польской журнале никогда не становиться такими волосатыми, как Карламакс.

Вот.

А потом уже дядя Миша своротил шкафчик на кухне. И Ба долго не могла его простить и ежечасно перечисляла свои потери:

— Сервиз кофейный, чешский. Который я из Новороссийска привезла. Фая Жмайлик сутки простояла в очереди, чтобы раздобыть два таких сервиза! А ты его за одну секунду угрохал, дундук ты непролазный! Опять же керамические статуэтки из серии «Народы Советского Союза». Разбил узбечку с косичками, киргизского чабана с овцой и молдаванку с кувшином на плече! А главное, — здесь Ба переходила на ультразвук, — молочник белый загубил! А это была единственная память о твоей бабушке!!!

Дядя Миша виновато шевелил бровями и проводил свой досуг под капотом Васи. Домой он заходил только по крайней необходимости — поесть там или поспать. Опять же воровато смотрел спортивный выпуск программы «Время», опустив звук до минимума и придвинувшись вплотную к экрану. И прятал от греха подальше свой «Браун» в самых непредсказуемых местах. Например, в коробке из-под Маниных зимних сапог. Чтобы Ба в порыве гнева не выкинула его в окно. Зато теперь он брился с невероятным наслаждением и очень хвалил свою электробритву. Делал губами О или У, выдвигал то в одну, то в другую сторону челюсть и водил по лицу жужжащим станком. Манька стояла рядом, любовалась отцом и машинально повторяла его гримасы.

А потом Манька отравилась. То есть совсем. До рвоты и температуры. Травиться, правда, она не собиралась, просто переела маринованной свеклы. И от непривычной еды у нее взбунтовался желудок.

Произошло это вот как.

Недавно у соседки Ба, тети Вали, родился внук Петрос, и тетю Валю словно подменили. Если раньше она постоянно со всеми конфликтовала и слыла очень злобной и глазливой женщиной, то теперь она превратилась в добрую бабушку. Она души не чаяла во внуке, с удовольствием возилась с ним и на радостях помирилась со всеми своими заклятыми врагами. В том числе и с врагом номер один — Ба. Если раньше и недели не проходило без взаимных оскорблений и склок, то сейчас между ними воцарился мир.

— Роза, посмотри сюда, я тебя умоляю! Кажется, в наших кашках завелась слизь. Ах-ах, мы заболели! — трубила тетя Валя со своего двора.

Ба каждый раз вздрагивала от ее крика.

— Валя, ты чего орешь? — грохотала она. — Люди ведь не так тебя поймут! Показывай свои кашки. Какая это слизь? Нормальные кашки и пахнут нормально. Нечего нагнетать.

Так как наши дамы разговаривать тихо категорически не умели, то жители близлежащих кварталов всегда были в курсе, как сегодня покакал маленький, но бравый Петрос.

Вообще Петрос оказался очень серьезным и обстоятельным молодым человеком — он за считанные недели обзавелся круглыми толстыми щеками и не позволял себе лишних сантиментов. Плакал крайне редко, а если что-то его не устраивало, то обиженно кряхтел.

— Мужиком растет, — радовалась тетя Валя.

Мы с Манькой часто прибегали полюбоваться малышом. Он был невероятно хорошенький и очень смешной, когда его туго пеленали. Потому что тогда из пеленок воинственно торчали его большие щеки.

Вот и в тот злополучный день, увидев, что тетя Валя важно вышагивает с коляской по двору, мы пошли здороваться.

— Сладенький, — заглянули мы в коляску, — ты помнишь нас или нет?

Петрос крепко задумался щеками и свел глаза к переносице.

— Тетя Валя, он совсем косой, а вы говорили, что это пройдет, — расстроилась я.

— Пройдет, не переживай, — успокоила меня тетя Валя, — у маленьких детей не сразу получается смотреть в одну точку. Иногда глазки разбегаются в разные стороны.

— Может, это от неправильной еды? — не унималась я. — Чем вы его кормите?

— Грудью.

— Своей? — вылупились мы с Манькой.

— Нет, конечно, — рассмеялась тетя Валя и удивленно развела руками, — ну что вы за дети такие? Что ни день, так новый рекорд!

— Ба нас дегенератками называет, — радостно запрыгали мы вокруг коляски, — с нами точно не соскучишься, да-да!

— Не мельтешите так, ребенка напугаете, — остановила нас тетя Валя.

Мы снова заглянули в коляску. Петрос лежал на спине, важно причмокивал губами и пытался разобрать по местам съехавшиеся в кучу глаза.

— А он уже покакал сегодня? — продолжили мы светский разговор.

— Конечно, — у тети Вали от гордости за внука заблестели глаза, — ест и какает, ест и какает, весь в мать!

— Мам, ну что ты такое говоришь, — вышла из дома тетя Мариам, — что девочки обо мне подумают?

— Здравсти, тетя Мариам, мы уже не маленькие и понимаем, что какаете вы от силы один раз в день. Ну, если, конечно, у вас не понос. — Манька сунула нос в миску, которую мама Петроса держала в руках. — А зачем вам пустая миска?

— Пойдем со мной в погреб, поможете свеклу достать, — обрадовалась возможности сменить тему разговора тетя Мариам. Она вручила мне миску, и Манька тут же надулась.

— Я тоже хочу помогать!

— Вот тебе крышка от миски, — протянула я ей крышку.

— Ура, Нарка, ты не жадная и вообще моя самая любимая подруга, — чмокнула Манька меня в щечку. Я так обрадовалась, что вручила ей еще и миску, о чем сразу же, если честно, пожалела. Так и шла к погребу в растрепанных чувствах. С одной стороны, мне было приятно, что я лучшая подруга Маньки, но с другой — было обидно, что ей все, а мне ничего.

Тетивалин погреб оказался большим и темным и выглядел, как пещера Али-Бабы. Освещался он старой масляной лампой, а по углам стояли пузатые глиняные карасы. Я не удержалась и потянулась потереть лампу — вдруг оттуда вылетит джинн!

— Осторожно, стекло горячее, — предупредила тетя Мариам.

Манька важно обошла погреб вдоль и поперек, а потом с видом знатока постучала согнутым пальцем по одному из карасов:

— Вы тут золото и драгоценности храните?

— Ага, — хмыкнула тетя Мариам, — сейчас я как раз немного золота отсыплю.

И она стала доставать из самого маленького караса что-то темное, пахнущее специями и чесноком.

— Ой какой запах! А что это такое?

— Это маринованная свекла. Мы ее приготовили по старинному молочанскому рецепту. Любите свеклу?

— Любим, — соврали мы.

— Это очень хорошо, — тетя Мариам наклонила карас, — Манюня, подставь миску, зальем туда немного рассола, чтобы свекла не засохла.

— Шикиблеск, — принялась Манька к ядреному запаху маринада, — теперь я даже не знаю, что лучше пахнет — маринованная свекла или детское мыло с ароматом клубники.

Потом мы пошли в дом. Я вышагивала впереди, важно несла миску и думала, что никогда не надо быть жадной. «Вот, не зря в сказках говорят — делай добро, бросай в воду, — шепнула я Маньке, — сначала я тебе дала понести миску, а теперь ты — мне».

— Это потому, что я сказочная, — не растерялась она.

Тетя Мариам накрыла на стол и стала угощать нас маринованной свеклой.

Мне свекла не понравилась, и я поела хлеба с сыром, а Манька была в восторге. Она ела и ела и не могла остановиться.

— Манечка, ты бы положила себе отварной картошки, — забеспокоилась тетя Мариам, — нельзя так много маринованного есть!

Но Манька и ухом не повела.

— Ах как вкусно, — хрустела она свеклой, — ничего вкуснее я не ела!

В считанные минуты моя подруга опустошила всю миску, съела даже дольки чеснока и зелень, которыми обильно приправили маринад. На радостях хотела еще лавровый лист сжевать, но тетя Мариам решительно отобрала его. Зато Манька не растерялась и выхлебала весь рассол. Вместе с горошинами черного перца.

И тете Мариам ничего не оставалось, как идти снова в погреб за очередной порцией свеклы. Манюня, наверное, и эту порцию бы съела, но тут Ба окликнула нас, и мы побежали домой.

А спустя какое-то время Маньке стало плохо. Так плохо, что у нее поднялась температура. Ба рвала и метала. Она позвонила тете Вале — узнать, чего такого ела Манька, и бедная тетя Мариам прибежала к нам вся в слезах.

— Я ей говорила, что не надо так много маринованного есть, а она меня не послушалась!

Ба мигом поставила Маньке клизму, сначала с кипяченой водой, потом с настоем ромашки. Манька бегала в туалет и винила во всем меня:

— Если бы ты тоже поела свеклы, то мне бы меньше досталось! И я бы тогда фиг отравилась!

Потом Ба сделала слабенький раствор марганцовки и заставила Маньку его выпить.

— Буэ, — ругалась Манька, — привкус противный.

— Зато марганцовка свекольного цвета, — хмыкнула Ба. Она и меня заставила выпить стакан раствора.

— А мне зачем? — отбивалась я.

— На всякий случай!

После угощения марганцовкой я побоялась, что Ба мне тоже на всякий случай поставит клизму, и засобиравшись домой. Но Манька желала страдать в моем присутствии.

— Прочти мне «Убийство на улице Морг», — зловредничала Манюня. Она знала, что я очень боюсь этой новеллы и стараюсь обходить ее стороной.

— Давай я тебе лучше спою!

— Не хочу. Хочу «Убийство на улице Морг». Доставай с полки книгу, я сейчас вернусь, только в туалет сбегаю, — велела она. Я вздохнула и потянулась за новеллами Эдгара По. «Вот чем думал человек, когда сочинял такие ужасные истории? — недоумевала я. — Небось спал и постоянно видел, как орангутанг забирается через трубу и откручивает ему голову». Мне стало так страшно от собственных мыслей, что я побежала в туалет узнавать, как у моей подруги дела.

Манюня сидела на унитазе и рыдала в три ручья.

— Ты чего? — испугалась я.

— Нар-каааа, смотри, у меня на руках волосики появились!

— Где?

— Вот тут и вот тут, — протянула мне руки Манька, — видишь?

Я пригляделась. Действительно, Манины ручки покрылись редким золотистым пушком.

— Ой-ой-ой, — причитала моя подруга, — вот я волосатая!!!

— Да ничего ты не волосатая, смотри, у меня на руках такой же пушок, видишь? — сунула я ей под нос свою руку.

Но Маньку так просто не остановить. Если Манька начала плакать, то она выплачет себе все глаза. Вот и сейчас она гудела так, что слезы лились водопадом.

— Не веруюю тебе, ты вреооооошь!

— Клянусь! Вот тебе крест, — неумело потыкала себя вокруг живота я.

Манька для порядка поплакала еще чуть-чуть, потом утерла слезы и вцепилась в мою руку.

— Ну да, и у тебя есть волосики, — вздохнула она, — надо что-то придумать, так нельзя.

— А чего придумать?

— Сейчас побреем руки.

— Чем? — испугалась я.

— Старой папиной бритвой.

Она натянула трусы, пустила воду и со скорбным видом намылила руки. На попе у Манечки розовел след от ободка унитаза. Я потыкала в него пальцем.

— Чего это ты? — обернулась она.

— У тебя на попе след остался. Не болит?

— Неа, — повертелась вокруг своей попы Манька, — чешется. Жалко, у меня сзади нет глаз, а то я бы тоже увидела, чивой там у меня.

— Девочки, а что это вы тут делаете? — заглянула в ванную Ба.

— Манька на унитазе сидела, а я рядом стояла, — отрапортовала я.

Ба пощупала Манин лоб.

— Ты плакала, Мария?

— Нет, мне просто мыло в глаза попало, когда я умывалась, — мигом нашлась Манька.



Я вздохнула с облегчением. Если Манька снова виртуозно врет, значит, она уже поправилась.

— Ладно, марш в спальню, не бегай по дому в нижнем белье. А я попозже принесу тебе пустого чаю с сушками. Ничего больше ты сегодня есть не будешь!

— Можно я пойду домой? — спросила я. Пустого чаю с сушками мне категорически не хотелось.

— Не уходи, ну пожалуйста, — захныкала Манька, — Ба, скажи ей, я больнаааая, а она хочет меня бросить! Чтобы я одна страдаааалааааа! Вот предательницаааа!!!

— Нарка, у нас на ужин блинчики с мясом. Останешься? — хитро прищурилась Ба.

— А как же чай с сушками?

— Чай с сушками Мане, ей ничего есть нельзя. А тебе я блинчиков нажарю. Ну как?

— Ура! — запрыгала я.

— Вот и хорошо, — хмыкнула Ба. Она отконвоировала нас в спальню, уложила Маню в постель, подоткнула со всех сторон одеяло, а мне вручила томик братьев Гримм.

— Прочти ей эту сказку, — ткнула наугад в содержание.

— Хорошо.

— И смотрите у меня, — рыкнула грозно.

— А мы чего, а мы ничего, — заблеяла я.

Как только Ба ушла на кухню жарить блины, мы с подругой снова выползли из спальни. Прокрались по стеночке в ванную, бесшумно заперлись на задвижку и вытащили стаканчик со старыми бритвенными принадлежностями, который за ненадобностью убрали на дальнюю полку. Намочили помазок, потыкали им в мыло и намылили руки. Потом аккуратно побрили друг друга. И ни разу не поранились.

— И чего это папа так плохо брился? — удивлялась Маня. — То тут лицо порежет, то там. А мы раз — и справились.

— Усы брить будем?

— Конечно, будем. И усы, и бороду. Лучше брить сейчас, чтобы потом не быть как этот, как его, ну дядька с бородой!

— Ленин?

— Ну да. Только Маринка его как-то по-другому называла. Закрой глаза, чтобы мыло случайно не попало, — строго сказала Манька и принялась наносить пену мне на лицо.

— А лоб брить будешь? — промычала я, стараясь не разжимать губ.

— Конечно, буду, ты только не дергайся.

— Брови не трогай.

— Сама знаю!

И она за считанные секунды побрила мне лицо.

— Умывайся, теперь ты меня будешь брить.

Итого минут за двадцать мы привели себя в подобающий для будущих польских красавиц вид и вздохнули с облегчением.

Бриться нам очень понравилось. Это было совсем не больно и даже весело. Поэтому мы на радостях решили еще Манькиного плюшевого зайца побрить. Хотелось знать, как вообще выглядят голые зайцы.

Но зайчик, в отличие от нас, не поддавался бритве. Как мы ни старались его побрить, шерсть держалась на нем как приклеенная.

Тогда Манька сбегала за Дядимишиным «Брауном».

— Это импортная штука, она мигом его побреет, — заверила меня она, — ты только зайца крепко держи, чтобы он не вырывался.

Она включила электробритву и приступила к бритью. «Брауну» явно не нравилась заячья шерсть. Он недовольно гудел и почему-то сильно вибрировал. Маня держала его крепко, двумя руками, и водила по игрушке вдоль и поперек. В какой-то момент неприятно запахло гарью, электробритва несколько раз чихнула и заглохла.

— Сломалась, что ли? — опешила Манька. Она повертела в руках бритву, понажимала на кнопки. «Браун» предательски молчал. У Мани вытянулось лицо. — Да не может этого быть, папа говорил, что «Браун» служит всю жизнь!

— Может, у него жизнь очень короткая? — предположила я.

Мы молча спрятали обезображенного зайчика под кровать, а бритву убрали в чехол. Настроение было хуже некуда, жить категорически не хотелось.

— Папа убьет нас, — вздыхала Манька, — Нарк, может, тебе действительно сейчас домой уйти? Ну, чтобы и тебе не досталось?

Я крепко задумалась. Получать по шее совсем не хотелось. Но и Маньку оставлять в одиночестве было бы предательством. «И потом, — думала я, размазывая по свежесбриту лицу слезы и сопли, — как бы меня ни наказывали, но блинчиками с мясом все равно накормят!»

— Остаюсь, — вздохнула я.

— Спасибо, Нарка, ты настоящий друг, — обняла меня Манька.

И мы, в ожидании неминуемой порки, притаились в комнате.

Милые мои, вы надеетесь, что все обошлось? Ни в коем разе! Конечно же, нам влетело. Но не от дяди Миши, а от Ба. Потому что еще до приезда сына она зашла в ванную и по свежим следам вычислила преступников.

Сначала она приперла нас к стенке, и нам пришлось все ей рассказать — и про польских красавиц, и про бородатого дядьку, который Ленин, но зовут его совсем иначе, и про то, что у Маринки обе бабушки усатые, а ты, Ба, не усатая, только у тебя на ногах иногда попадаются длинные волосы, но их не видно, особенно когда совсем уже ночь!!!

Ба нас выпорола шнуром от сломанного «Брауна», а потом рассказывала маме по телефону, что, Надя, эти дегенератки снова отличились... чего?.. а что Каринка натворила?.. а откуда у нее рогатка?.. сама, говоришь, смастерила?.. а у Рубика глаза на месте?.. ну и радоваться надо, шишка на лбу, эка невидаль... швы наложили?.. а чем она в него пульнула?.. большим куском шифера?.. так это не рогатка получается, а катапульта!

Потом Ба положила трубку, выпила весь запас валерьянки и пришла нас пугать. Вот, говорила она, теперь у вас на руках и на лице вырастут длинные волосы, и быть вам как чудище из мультфильма «Аленький цветочек», помните, какое оно волосатое? Так вам и надо! Мы с Манькой безутешно рыдали, и было так тошно, что я даже от блинчиков с мясом отказалась.

И Ба тогда сжалась над нами и сказала, что в старом бритвенном приборе просто не было лезвий, и мы водили по рукам и лицу просто так.

— Вот олухи царя небесного, — ругалась она.

А когда с работы вернулся дядя Миша, Ба ему сразу рассказала, что «Браун» приказал долго жить, и дядя Миша сначала плакал над истерзанным станком, а потом назвал нас наказанием на веки вечные.

На релейном заводе электробритву, как могли, починили. Но теперь она брила так себе и нещадно царапалась.

А нам с Манюней было очень стыдно за свое поведение, и мы поклялись никогда больше плохо себя не вести. Никогда-никогда. И даже не нарушали своей клятвы. Целых три дня.

Просто очень сложно вести себя примерно, когда у тебя такая сестра, как Каринка.

## ГЛАВА 24 Манюня узнает, откуда берутся дети, или Как Ба чуть не сделала сиротиночкой Ритку из тридцать пятой

Каждая маленькая девочка мечтает о «принцессино платье».

Почему у вас такие удивленные лица? Вы не знаете, что такое «принцессино платье»? Значит, вы никогда не были маленькой девочкой! И не мечтали о пышных платьях, в которых щеголяли принцессы.

К таким платьям обязательно прилагались тонкие украшения и изящные туфельки на невысоком каблукке. И вся эта красота немилосердно переливалась на солнце множеством серебристых, ну или золотистых искр. И шлейф у платья был длинный-предлинный, пенно-кружевной, и несли его какие-нибудь ангельской внешности дети.

А теперь представьте себе такую картину. Идете вы, например, в музыкалку, на занятие по фортепиано, размахиваете убого-картонной папкой, перевязанной скучными серыми ленточками. На папке — грубым тиснением — скрипичный ключ. Внутри — этюды Черни, сонаты Гайдна и ненавистные гаммы. Зато на вас — переливающееся утренней зарей платье. До пят. И длинный-предлинный шлейф. Такой длинный, что вы уже завернули за угол на Абовяна, а он тянется за вами вдоль Маркса, через мост, вверх по щербатым ступенькам городского дома культуры, и наискосок, по большому двору, через дыру в заборе — на улицу Ленина, где вы живете. И шествуют по улице Ленина два ангельской внешности малыша, несут этот длинный, переливающийся шлейф, а он им указывает дорогу. Скажите, красота?

А дома вас дожидаются книжки, все в нарядных обложках, как в серии «Библиотека мировой литературы для детей», — голубенькие, желтые, красные и салатново-зеленые. Произведений в них намного больше, чем написали авторы. По сто романов Марка Твена, Жюль Верна, Эно Рауда, Астрид Линдгрэн... Много-много прекрасных, нечитанных книг.

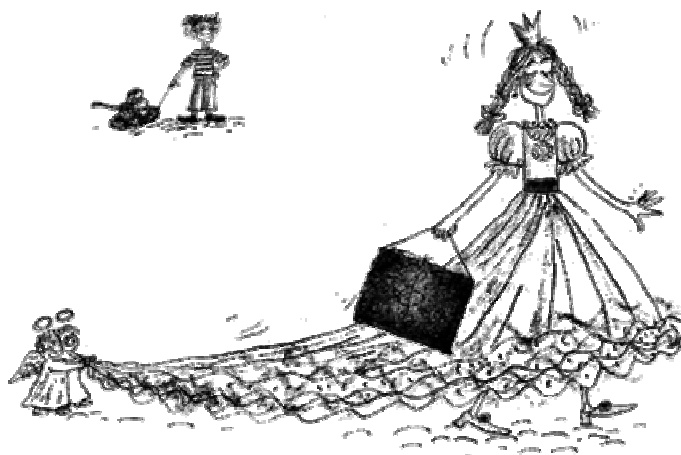
Конечно, не все маленькие девочки мечтали о таком количестве книг, и не все они жили на улице Ленина. Но я даже не сомневаюсь, что ни одна из этих девочек не отказалась бы от платья с длинным шлейфом и изящных туфелек на небольшом каблукке.

Этот комплект мечты у нас назывался «принцессино платье». Разбуди любую из моих сестер глубокой ночью, и на вопрос: «Чего тебе хочется больше всего на свете?» — она бы ответила: «Принцессино платье».

Все, кроме Каринки. Каринка, в отличие от остальных девочек, мечтала о мотоцикле, чтобы он громко делал «дрынн-дрынн-дрынн», и о ружье как у Гойко Митича из фильма «Чингачгук — Большой Змей».

Мы, конечно, подозревали, что Каринка вообще неправильная девочка, но боялись об этом говорить вслух.

— Нарин, а Каринка самашедшая, да? — воровато озираясь по сторонам, спрашивала Гаянэ.



— Ш-ш-ш, — пугалась я, — что ты такое говоришь, Гагасичка?

— Ну, или ненормальная, — не сдавалась сестра.

Если остальные девочки после передачи «В гостях у сказки» принимались рисовать принцесс, чтобы отправить на совсем непонятный адрес: гмосква Шаболовка 37, тете Вале («Мам, а что такое Шаболовка?» — «Название улицы». — «Это понятно, что название улицы, но слово «Шаболовка» что означает? И что такое гмосква?»), то Каринка находила для себя занятие поинтереснее. Она внимательно изучала анатомический атлас человека, а потом ходила за нами по пятам, пребольно тыкала под ребра и говорила — вот тут у вас находится печень, ясно?

— Врачом будет, — радовалась мама.

— Или убийцей, — хмыкал папа.

— Юра, как можно такое о своей дочери говорить? — стучала мама по дереву.

— О дочери нельзя. А вот насчет Каринки я не совсем уверен. Может, и можно.

Поэтому если на дни рождения остальным девочкам перепали платья и куклы, то Каринке дарили брючные костюмы из пуленепробиваемой ткани или игрушечные танки и грузовики. Сестра в два счета разбирала игрушки на мелкие винтики и, довольная собой, уходила на улицу — терроризировать мальчиков.

— Замуж ее надо во Владивосток выдавать, — качала головой Ба, — а то в наших широтах ни одна свекровь не согласится на такую невестку.

Однажды, ранним августовским утром, в нашей квартире раздался звонок. Я в это время чистила зубы, поэтому побежала к телефону с зубной щеткой во рту. Нужно было как можно скорее снять трубку, чтобы звонок не разбудил маленькую Сонечку.

— Ойе!

— Чего это ойе? — опешила Манька.

— Поои! — Я кинулась в ванную, прополоскала рот и вернулась обратно. — Это я зубы чистила.

— А что такое «поои»? — не унималась Манька.

— Подожди, неужели непонятно?

— Мария, ты поздоровалась? — прогрохотала Ба. Я инстинктивно втянула голову в плечи. То, что Ба находилась в двух кварталах от меня, ничего не означало. Громовые раскаты ее голоса ввергали в ступор любого ребенка в любом конце земного шара.

— Ой, Нарка, извини, — прошептала Манька и, прочистив горло, важно выговорила: — Здравствуйте!

— Здравствуйте, незнакомая Маня.

— Хихихииии, — захихикала Манька, — скажешь тоже — незнакомая.

— Чего звонишь в такую рань?

— Нарка. У меня новость. Дочь Шапуни выходит замуж. Ну ты помнишь, да?

Я, конечно, помнила. Дочь Шапуни, Агнесса, была самой красивой девушкой нашего городка. Когда она шла по улице, то все оборачивались ей вслед. Еще бы, если у тебя густые смоляные волосы, изогнутые в полуулыбке губы и серые глаза, то редкий мужчина может пройти мимо не обернувшись. Агнесса недавно выучилась на педиатра и вернулась домой уже помолвленной девушкой.

Свадьбы в нашем городе традиционно игрались осенью, но жених Агнессы учился в Москве, и к началу сентября ему нужно было возвращаться в столицу. Поэтому торжество назначили на август. Иначе Агнессу без свидетельства из загса не поселят в общежитии с мужем.

— Нарк, а знаешь чего? — продолжила Манька. — Сегодня у Агнессы последняя примерка свадебного платья. Придет портниха и на ней будет подгонять этот, как его, ну... опять забыла... скелет, во!

— Какой скелет? — испугалась я.

— Корсет! — прогрохотала Ба. — Корсет, горе мое!

— То есть корсет, — быстренько исправилась Манька.

— А-а, — кивнула я, — ух ты, как здорово.

— Ну?

— Чего ну?

— А чего не спрашиваешь, что такое корсет?

— Да я лучше у мамы спрошу, а то Ба сейчас снова будет ругаться, — струсила я.

— Ничего она не будет ругаться, она уже вчера меня отругала за то, что я этого не знаю. Ну и с утра еще добавила. Так что запомнила я на всю жизнь. Корсет — это такая штука, которая будет крепко обтягивать талию и грудь Агнессы. Правильно я говорю, Ба? — заюлила хвостом Манька.

— Правильно!

— И чего? — поторопила я Манюню, потому что папа, грозно выпучившись, тыкал пальцем в свои часы, а потом в телефон. Ясно было, что ему куда-то надо срочно звонить.

— А того! Агнесса сказала, что я могу прийти на примерку. А я за тебя и Каринку попросила. Так что мы втроем идем на примерку Агнессинового платья!!!

— Когда? — подскочила я.

— К одиннадцати утра.

— Ура! — запрыгала я. — Манька, ты настоящий друг!

— А то я не знаю, — важно сказала Манька и отключилась.

— Ну наконец-то, — вырвал у меня трубку папа, — вроде еще маленькая, а уже так долго разговариваешь по телефону!

Я побежала на кухню, делиться радостной новостью с мамой и сестрой.

— Это замечательно, только сначала нужно позавтракать, — сказала мама.

— Мам, я не буду смотреть на голую Агнессу, я отвернусь, когда она будет переодеваться, — зачатила я, быстро-быстро намазывая на хлеб масло.

— Ну и дура, — покрутила пальцем у виска Каринка, — когда ты еще Агнессу голой увидишь?

Но мама сказала, что если Каринка будет смотреть на голую Агнессу, то она не отпустит ее на примерку.

— Ладно, не буду, — надулась сестра.

Перед выходом мама вручила нам коробку шоколадных конфет.

— Это Агнессе. Ведите себя хорошо, ладно? И сразу после примерки уходите, а то в доме полным ходом идет подготовка к свадьбе, людям не до вас.

— Хорошо, — кивнули мы.

Во дворе мы встретились с Маринкой из тридцать восьмой квартиры. Маринка стояла над большой дождевой лужей и изучала в ней свое отражение.

— Если вот так вот покачаться, — повела она пузом вперед и назад, — то можно увидеть, какого цвета на мне трусы.

Но тут она заметила коробку конфет у меня в руках.

— Это Агнессе, — предостерегла я ее от дальнейших активных действий.

— А зачем?

— Она пригласила нас на примерку своего свадебного платья!

— Да ну! — У Маринки заблестели глаза. — А можно и мне с вами?

— Неудобно как-то. Тебя же не приглашали, — замялись мы.

— Ну возьмите меня с собой, — заканючила Маринка, — это нечестно, вы трое пойдете, а я не пойду. Я ведь вам никогда в просьбе не отказываю. И конфету чешскую давала полизать, и гудрон с вами жевала.

— Ш-ш-ш-ш, — зашипели мы, — чего ты про гудрон орешь?

— Я шепотом ору!

Про историю с гудроном мы старались не распространяться. Потому что было за что. Недели три назад на нашей улице меняли трубы. И рабочие, которые потом укладывали асфальт, привезли с собой какую-то большую, размером с бочонок, цилиндрической формы черную штуковину.

— А что это такое? — Наматывали мы круги вокруг рабочих.

— Это специальная черная смола, она как резина, ну или как жвачка. Ее используют при дорожных работах, — снисходительно объясняли они нам.

При слове «жвачка» у нас загорелись глаза. Как только все ушли на обеденный перерыв, мы прокрались за ограждение и оторвали большой кусок гудрона. И потом до поздней ночи жевали его. Гудрон пах бензином и оставлял во рту неприятный привкус.

— Если закрыть глаза, то можно представить, что это жвачка, — приговаривала Манька.

— Главное, чтобы мы потом не отравились, — беспокоилась я.

— А я знаю, чего с нами будет, — вдруг сказала Каринка.

— Чего?

— Мы станем неграми. Смола-то черная. Вот проснемся с утра и будем черные с ног до головы. И волосы буду кучерявые. Как у Африка Саймона с пластинки. Ну, который поет «афанафанфана шаралала».

Я не буду рассказывать вам в подробностях, как мы пережили ту ужасную ночь. Каждая из нас по восемь раз вскакивала с постели и при лунном свете проверяла цвет своей кожи. Пугало даже не то, что мы станем черными, а то, что придется рассказывать родителям про гудрон. К счастью, с утра мы проснулись такими же, какими были вчера. «Повезло», — решили и от греха подальше никогда больше не жевали гудрон.

Мы с Каринкой переглянулись. Маринка, в общем-то, была права. Она мировая девочка и ни разу не подводила нас.

— Ладно, пойдем, — кивнули мы.

— А я вам по дороге расскажу про своего брата, — радостно запрыгала вокруг нас Маринка.

— Чего он еще отчебучил? — подскочили мы. Тринадцатилетний брат Маринки был «тот еще фрукт» и периодически выкидывал непонятные нашему девчачьему уму фортели.

— Он стащил у мамы запретную книгу и прочел ее от корки до корки, — округлила глаза Маринка.

— Какую такую запретную книгу?

— Какую-то бакачу. Там что-то страшное и не для детского чтения, — объяснила Маринка, — а Сурик эту книгу украдкой читал. И прятал у себя под матрасом. А мама полезла менять белье и нашла бакачу. И папа выдрал Сурику уши и сказал, что он балбес и об этом ему еще рано читать. А Сурик сказал: можно подумать, что там такого, а папа назвал его олухом царя небесного. А потом еще маму отругал за то, что она книги такие покупает. Вот.

— Надо же, — покачали мы головами, — какой непослушный мальчик!

— И еще мне Рита из тридцать пятой рассказала секрет, и я который день страдаю, — пригорюнилась Маринка.

— Секреты выдавать нельзя, — расстроились мы.

— Да я знаю, вот и страдаю.

Так мы дошли до дома Шапуни. Манька ждала нас у ворот.

— А чего это вас так много? — испугалась она.

— Маринку мы по дороге встретили.

— Наверное, не пустят на примерку, — вздохнула Манька.

— Если не пустят, то я уйду, — заплакала Маринка, — я и так несколько дней страдаю, могу и из-за этого пострадать.

— А чего это ты страдаешь? — удивилась Манюня.

— Ей Рита из тридцать пятой доверила страшный секрет, — рассказали мы.

— Ой-ой, чужие секреты выдавать нельзя, — покачала головой Манька.

— Нельзя-нельзя, — вторили мы ей.

— Вот я и страдаю, — пуще прежнего разрыдалась Маринка.

Мы в растерянности топтались рядом. Каждую из нас подмывало спросить, что же такого страшного доверила ей Рита, но мы помнили, что секреты выдавать нельзя. Поэтому молча страдали вместе с Маринкой.

— Ладно, пойдем с нами, — вздохнула Манька, вытащила из кармана платок и протянула Маринке, — утри слезы.

— Спасибо тебе большое, — вздохнула Маринка, трубно высморкалась в платок, а потом протерла им лицо.

Агнесса, конечно, не возражала против присутствия Маринки. Она была очень радостная, постоянно смеялась и светилась счастьем. Приведи мы с собой еще с десятков девочек, Агнесса бы, наверное, и слова не сказала.

— А почему ты заплаканная? — спросила она Маринку.

— Страдает, — объяснили мы хором.

— Сейчас мы ее утешим, — сказала Агнесса и повела нас к себе в комнату. Там она усадила нас на диван и открыла коробку конфет, которую мы с собой принесли.

— Угощайтесь, сейчас вам еще лимонаду принесу.

— Вот повезло, — переглянулись мы и взяли каждая по конфете. Маринка взяла две, но мы на нее грозно цыкнули, и она виновато положила одну обратно.

— Это я от переживаний, — пробубнила она.

Потом пришла портниха, принесла платье Агнессы, и мы, затаив дыхание, ждали, пока она его достанет из большого пакета.

— Красота-то какааая, — выдохнули мы, когда портниха развернула свадебный наряд. Это было платье нашей мечты. Белое, легкое, с вышитым бисером корсетом, прозрачными рукавами-бабочками и пышной, словно пенной, юбкой. Когда Агнесса его надела, мы разинули рты. Такой красивой мы ее еще никогда не видели.

— Доченька моя, — заплакала мама Агнессы, тетя Нина, — какая ты у меня красивая!

— И такая счастливая, — завертелась в платье Агнесса. Она встала на цыпочки и стала кружиться вокруг себя. Мы любовались ее изящными ножками и впервые в жизни стали смутно понимать, сколько силы таится в хрупкой женской красоте.

— А-а-а-а-аааа, — вдруг разрыдалась Маринка, — не хочуууууу!!!!!!

— Чего не хочешь? — всполошились все. — Ну что такое с тобой происходит?

Агнесса перестала вертеться, пощупала лоб Маринки и уложила ее на диван.

— Может, ребенку успокоительное дать? — повернулась она к матери.

— Не надо мне успокоительного, — вскочила Маринка, — пойдем отсюда, девочки.

Мы попрощались и вышли на улицу.

— Переволновалась, бедненькая, — долетел до нас шепот портнихи.

До Маниного дома было рукой подать, и мы направились напрямик туда. Маринка села на скамейку под тутовым деревом, обняла ноги руками, спрятала лицо в колени и через плач, заикаясь, зашептала:

— Девочки, сил моих нет больше молчать. Сейчас вам расскажу. Знаете, что будет с Агнессой, когда она замуж выйдет?

— Что будет? — наклонились мы к ней.

— Она ляжет в постель со своим мужем, и он... и он... и он...

— Чего и он?

— И он... по-пи-са-ет на нееоооо!!!!!! — забилась в истерике Маринка.

— Чегооооо????????? — вылупились мы.

— Ну, мне это Ритка по секрету сказала. Говорит — знаешь, откуда дети берутся? Я говорю — знаю, из живота мамы. А она говорит — знаешь, как они туда попадают? Я говорю — нет. А она говорит — для этого нужно, чтобы муж обнял жену и пописал на нее.

— Фууууууууууу, — закричали мы, — ужас какой, ужас какой! Фуууууууууу!!!!!!

— Да врет эта твоя Ритка, — рассердилась Каринка, — врет она все, она же вруша!

— Я тоже так думала, поэтому пришла домой и спросила брата. А брат сначала посмеялся, а потом говорит — ну, в принципе, все пра-виль-ноооо!!!!!! А он же запретную книгу бакачи читал, он всеоооо знаееееет!

Мы с Манькой подумали и тоже заголосили.

— Дуры, — прокомментировала ситуацию Каринка.

— Что это за всемирный съезд плакальщиц? — раздался из кухонного окна голос Ба.

Мы обернулись. Маринка, как была вся зареванная, с задранными на скамеечку ногами и размазанными по лицу соплями, так и замерла. Потому что все дети нашего городка очень боялись Ба.

— Ну, у Мани, конечно, бабушка ваще грозная, — качали они головами, и при виде куда-то спешащей Ба быстренько переходили на другую сторону улицы. У всех в памяти еще жива была история, которая приключилась с мальчиком Рудиком. Рудик имел несчастье куда-то ехать на самокате, разогнался, отвлекся и врезался в Ба. Прямо в ту ее ногу, на которой были больные вены. Вот. А потом родители Рудика собирали по городу запчасти самоката, который разъяренная Ба мигом разобрала на щепки. Собрать самокат обратно они не смогли, но и к Ба идти с разборками побоялись. И остался Рудик без самоката на веки вечные.

Поэтому, когда Ба выглянула в кухонное окно, Маринка тут же попыталась превратиться в каменную статую. Любую другую бабушку, наверное, можно было провести таким приемом, но только не Ба. Ба высунулась в окно по самый пояс и сверлила нас своим фирменным взглядом из-под насупленных бровей. Мы вспотели. Рассказывать ей о том, что мы узнали у Маринки, было смерти подобно. С другой стороны, мы не были уверены, что она ничего не слышала. А врать Ба мы тоже не могли, потому что больше всего нам попадало именно тогда, когда она ловила нас на лжи. Поэтому мы молчали, как воды в рот набрали, и только изредка осторожно выдыхали.

— Я долго буду ждать? — прогрохотала Ба.



— Это, — решила Манька, — Ба, а ты знаешь Маринку?

— Ближе к делу, а то у меня там ореховое варенье на плите стоит, — отрезала Ба, — и если оно подгорит, то вам тогда точно несдобровать!

Маринка издала что-то вроде мемеканья и попыталась упасть в обморок.

И тогда Каринка решила. Она была самой храброй девочкой в нашем коллективе и в безвыходных ситуациях ответственность всегда брала на себя.

Вот и сейчас сестра отважно шагнула вперед и прочистила горло:

— Ба, тут такое дело. Ритка из тридцать пятой сказала Маринке из тридцать восьмой, а ее брат сказал, что это так!

Мы скорбно закивали головами.

Казалось, Ба задумалась всеми своими выступающими из окна частями тела. Если кому-то когда-нибудь удавалось сбить ее с толку, то это был именно тот случай. Потом она хмыкнула и сказала:

— Стойте там, я сейчас отставлю варенье. И исчезла в окне.

Маринка громко икнула.

— Пойдем отсюда.

— Ты с ума сошла, — зашипели мы, — сиди на месте, а то потом хуже будет.

Через минуту Ба вышла во двор. Мы расступились полумесяцем, Маринка сделала попытку подняться, но ноги подкосились, и она, нащупав попой скамейку, снова села.

— Еще раз и с самого начала, — потребовала Ба.

— Так я же уже все сказала, — развела руками Каринка.

— Значит, не все, раз я тут, — не дрогнула Ба.

И нам пришлось, набрав в легкие побольше воздуха, рассказать все про Ритку, бакачу, Маринку, ее брата и откуда берутся дети. Когда мы сказали про пописать, Ба сначала рассмеялась, потом рассердилась, потом собрала наши уши в кулак и повела через город на квартиру к Ритке — разбираться с ее родителями. Люди уважительно расступались перед нашей скорбной процессией. Мы безропотно следовали за Ба на полусогнутых, потому что понимали: шаг вправо или влево — и ты уже на веки вечные останешься без уха. Или без скальпа.

Потом Ба позвонила в дверь тридцать пятой квартиры, и когда к нам вышла Риткина мама, то по ее лицу было видно, что ей очень хочется прямо сразу стать невидимкой. Но Ба не дала ей это сделать. Сначала она продемонстрировала Риткиной маме наши деформированные зудящие уши, потом сказала: «Ждите меня здесь», — вошла в дом и закрыла за собой дверь.

Потом на ругань Ба из соседнего подъезда прибежала моя мама и, увидев нас на пороге Риткиной квартиры, стала колотиться в дверь всем телом, чтобы как-то повлиять на дальнейшую судьбу без пяти минут сиротиночки Риты.

— Тетя Роза, — звала она в дверной глазок, — вы только откройте мне, я рядышком постою, ничего делать не буду и даже слова поперек не скажу.

А потом недели три Ритка не разговаривала с Маринкой и называла ее предательницей. А Маринка обижалась и говорила, что некоторые секреты нужно держать при себе, тем более если в них ни капли правды.

А через два дня мы гуляли на свадьбе Агнессы, бежали как ошпаренные перед свадебным кортежем, тормозили его красной шелковой лентой и требовали выкуп. И громче всех орали, когда Агнесса с ее мужем разбили вдребезги на пороге дома тарелки. На счастье.

Мы с Каринкой красовались в новеньких туфельках, которые нам привез из командировки папа. Туфельки были белые, с серебристой застежкой, на небольшом

каблукке, и такие красивые, что даже Каринка отступила от своих принципов и одобрила такой «принцессин» аксессуар.

Папа и Манюне привез такие туфли. Но Манька их на свадьбу не надела. Просто она проспала в них всю предыдущую ночь. На радостях. Естественно, Манины ножки отекли, и туфельки категорически отказывались натягиваться на ступни.

Сначала Манька расстроилась, но потом нашла выход. Она надела свои истоптанные красные босоножки, а новые туфли положила в целлофановый пакет и взяла с собой на свадьбу. И не расставалась с ними ни на минуту. Бежала с пакетом впереди свадебного кортежа, сидела с ним в обнимку за столом. Если кто-то из гостей хвалил нашу обувь, Манька тут же доставала из пакета свою пару и пыталась надеть ее у опешившего гостя на глазах.

— Видите? — говорила она. — Не налезают. А почему? А потому что я в них всю ночь проспала!

## ГЛАВА 25 Манюня собирается в Адлер, или Как нужно правильно замесить тесто, чтобы потом вызывать сантехника

Мама сидела на нашей кровати и с каменным лицом наблюдала, как мы складываем свою одежду. Невозмутимость мамы, скажу я вам, обманный маневр. Чем безразличнее мама, тем глубже надо втягивать голову в плечи. Потому что, чем больше она напоминает безучастную железобетонную конструкцию, тем выше шанс получить от нее нагоняй.

Раз в неделю мама открывала дверцы детского шкафа, выгребала оттуда наспех закинутую одежду, сваливала на кровать и заставляла нас приводить ее в порядок. Нужно было сложить кофты в аккуратные стопочки, а юбочки и брюки повесить на вешалки. Мы ненавидели этот еженедельный ритуал лютой ненавистью, но были не в силах его изменить. Попробуй изменить ход событий, когда у тебя такая мама, как наша. Легче покориться судьбе и убраться в шкафу, чем напроситься на ее фирменный подзатыльник!



— Кто, кто придумал эту уборку?! — ругалась Каринка. — Вырасту, никогда не буду убираться и детей своих не стану заставлять.

— Ну-ну! — хмыкнула мама.

— Мам, а можно мы завтра закончим, а то сегодня к двенадцати нам нужно к Маньке?

— Нет. Складывайте быстрее, и вы

все успеете. А зачем вам к Мане?

— Ну сегодня же воскресенье!

— Ах да, — хлопнула себя по лбу мама, — сегодня ведь воскресенье. Как я могла об этом забыть!!!

По воскресеньям Ба пекла пирожки. Из нехитрого теста — литр мацуна, немного соды и соли, мука, три яйца. Начинка делалась трех видов — картофельная, мясная и яичная. Ба раскатывала из теста тонкие большие круги, щедро накладывала начинку и зашипывала пирожки мелкой косичкой по брюху.

Потом она жарила их в растительном масле. Получались поджаристые, ароматные и очень вкусные пирожки.

Ради этих пирожков мы готовы были на любые, даже самые большие жертвы. Иногда, как сегодня, приходилось откладывать заботы чрезвычайной важности.

Дело в том, что недалеко от нашего дома велись строительные работы — возводилось новое здание аптеки. И рабочие нашли в земле кувшин с серебряными монетами XVIII века. Весть о новом Клондайке мигом разлетелась по нашему городку и прилегающим деревням, и теперь детвора со всей округи в выходные, когда стройка стояла, ковырялась в земле в надежде отыскать клад.

Мы, естественно, не отставали от других.

— Найду клад, куплю мотоцикл и уеду в Америку, — потирала руки Каринка.

— Зачем тебе мотоцикл? — любопытствовал папа.

— Чтобы все мне завидовали!

— А в Америку зачем?

— Чтобы империалистов убивать! — рапортовала сестра.

— Хэх, — радовался папа, — хорошо, что ты девочкой родилась. Родись ты мальчиком, я бы разорился алименты твоим многочисленным женам выплачивать да передачи тебе в тюрьму носить!

Когда все аккуратно было разложено по полочкам шкафа, мы вздохнули с облегчением.

— Все, — обернулись к маме.

— Вот и замечательно, — сказала мама и встала с кровати, — вам осталось протереть пыль с мебели и помыть пол.

— Аааааа, — взвыли мы, — это нечестно! Что скажет Ба?

— Ба ничего не скажет, потому что сейчас ровно одиннадцать часов. За десять минут можно легко управиться с уборкой. Так что Каринка моет пол, а Нарка протирает пыль.

— Ну что за несправедливость такая! — запричитали мы. — То в шкафу уберись, то полы помой...

— Зато у меня для вас хорошая новость, — сжалилась над нами мама.

— Какая новость?

— Через две недели мы едем в Адлер.

— Ура, — запрыгали мы, — мы поедem в Адлер! Ура-ура! Мам, а что такое Адлер?

Мама рассмеялась.

— Вот как можно радоваться тому, чего вы не знаете?

— Мы на всякий случай. И потом «поедем» — это же хорошее слово!

— Конечно, хорошее. Адлер — город на Черном море. Мы поедem на море. А точнее, полетим. На самолете.

— Ура! — заорали мы. — Самолет! Море!!! Адлер!

— Ба! Дядя Миша! Манюня, — в тон нам продолжила мама.

Мы чуть не задохнулись от радости.

— Они тоже с нами поедут?

— Да!

— Ураааа!!!!

Это большая разница, какие мысли крутятся у тебя в голове, когда ты занимаешься уборкой. Потому что если, например, тебе надо сейчас полы протереть, а на обед сегодня тушеные овощи или, не дай бог, луковый суп — то это, конечно, большое и даже неподъемное горе. И совсем другое дело, когда ты знаешь, что через две недели тебе улетать! На самолете! В Адлер!!!

Подстегнутые радостной новостью, уборку мы закончили в рекордно короткий срок. Когда комната сияла чистотой, побежали докладывать маме, что все у нас уже прибрано. Мама ковырялась в домашней аптечке и составляла список медикаментов, которые надо будет взять с собой в дорогу.

— Активированный уголь, — задумчиво перечисляла она, — тетрациклин, йод, зеленка...

— Мам, мы уже все.

— Молодцы. Присыпка, бинты, бутадионовая мазь...

Мы тихо выскользнули за порог. Отвлекать маму, когда она составляет список в дорогу, очень опасное дело. Потому что она потом всю поездку будет вспоминать, чего забыла взять, и говорить, что виноваты те, кто отвлекали ее пустыми разговорами. И мы с папой будем украдкой переглядываться и бубнить себе под нос «этонемы».

Через десять минут мы уже влетели во двор к Манюне. Обычно она дожидалась нас на скамеечке под тутовым деревом, но сегодня ее там не было.

— Маня-а, — заорали мы, — Маня-а-а!

— Чего? — высунулась в окно своей спальни Манюня.

— Спускайся вниз, — потребовали мы.

— Нивидйанакз.

— Чивой?

— Говорю — нивидйанакз, чего непонятного? — рассердилась наша подруга.

Мы с Каринкой переглянулись.

— Заболела, что ли? — предположила я.

— Мань, ты заболела? — крикнула Каринка.

— Не выйдет она, потому что наказана, — вышла на веранду Ба.

— Здравсти, — шаркнули мы ножкой, — а почему она наказана?

— Руки ей надо оборвать, чтобы не лезла куда не просят! Потому и наказана, что всюду сует свой любопытный нос.

— Ыаааааааааааа, — зарыдала сверху Манька.

— Захрмар! Ты будешь еще крокодильи слезы лить!!! Никогда больше не выйдешь из своей комнаты, понятно?

— Ыаааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!

— А как же Адлер? И самолет? — расстроились мы.

— Какой Адлер? — прервала свой вселенский плач Манька.

— Никакого Адлера для нее не будет! — протрубила Ба. — Все уедем, а она останется дома. Одна!!!

— Ыаааааааааааа, — Манюнины горячие слезы полились сверху тропическим ливнем.

Каринка вдруг забеспокоилась.

— Ну а пирожки сегодня будут?

— Ыаааааааааааа, — тропический ливень перешел во всемирный потоп.

— Не будут! — прогрохотала Ба.

— То есть как это не будут? — У Каринки от обиды задрожал подбородок. — Сегодня же воскресенье!

— А вот благодаря этому наказанию, — ткнула пальцем вверх Ба, — и не будут.

— Ыаааааааааааа! — мигом отозвалась Манька.

Представьте себе разочарование Каринки — ни тебе клада, ни пирожков!

— Почему? — взвыла она.

— Потому что кое-кто, пока я ходила в магазин, решил улучшить тесто и добавил туда воды. А потом, чтобы я этого не заметила, вбухал туда муки. А мука оказалась картофельным крахмалом. А потом кое-кто!.. — Грозный взгляд вверх, проникновенное «ыаааааааа» в ответ. — ...Решил спрятать следы своего преступления, потащил тесто выливать в унитаз!!!!

— Ик, — отозвались мы с Каринкой.

— Заляпал коридор, заполнил унитаз тестом и спустил воду!

— Ик-ик!!!!

— А так как тесто было очень густое, и вода его не смыла, кое-кто полез половником в унитаз, выгребать тесто.

..... немое молчание.....

— И затолкал его так далеко, что вытащить невозможно!

..... потрясенное мычание.....

— И теперь ходить нам под кусты, пока не придет сантехник и не разберется, что там моя внучка, это сплошное недоразумение, эта тьма египетская сотворила.

..... всеобщее потрясение, «ыааааааа» сверху.....

— Ну, Манька, — глянула уважительно вверх Каринка, — ты даже меня переплюнула!!!!

— Я не хотела, — утерла соплю шторой Манюня, — я подумала, что теста малоооооо...

— Захрмар! — прогрохотала вверх Ба. — Вот и сиди безвылазно в своей комнате до скончания веков! Теста ей мало показалось!

— Ба, а что, теперь она вообще не выйдет из комнаты? — расстроилась я.

— Никогда!

— А можно тогда к ней подняться? Ну, посидеть с нею чуток? Утешить?

Ба погладила меня по голове.

— Можно, конечно. Но недолго. Потому что она сильно наказана.

Мы с Каринкой проскользнули в дом и поднялись на второй этаж. Манюня уже маячила в дверном проеме.

— Ну ты даешь! — зацокали мы языками.

— Я нечаянно, — вздохнула Манюня и посторонилась, чтобы пропустить нас к себе.

Мы зашли в комнату. Уселись рядом на кушетке. Пригорюнились.

— А половником зачем полезла? — не вытерпела я.

— Хотела быстрее тесто вычерпнуть.

— А чего не вычерпнула?

— Да половник там за что-то зацепился. Я стала его тянуть, чтобы вытащить, а он не вытаскивался. Тогда я попыталась втолкнуть его внутрь, чтобы он ушел в трубу.

— И чего?

— Втолкнула. И ручку погнула. Хотела сбегать за молотком, чтобы постучать по ручке, но вернулась Ба, и я не успела. Вот.

Я погладила Маньку по щечке.

— Не переживай, придет сантехник и все починит.

— Скорее бы, — вздохнула она, — а то меня на море не возьмут!

— Да не оставят они тебя! — махнула рукой Каринка. — Мало ли что ты можешь еще натворить, пока мы будем отдыхать на море? Ба побоится тебя одну оставлять.

— Да? — Манька с благодарностью посмотрела на Каринку. — Не врешь?

— Конечно, не вру. Если даже ничего не натворишь, то с голоду умрешь.

— Это да, это я могу, — согласилась Манька, — а еще я дом спалить могу. Или с горя, например, могу умереть.

— Ну, это и мы можем, — лавры Мани не давали нам покоя, — с горя любой дурак может умереть. А уж дом спалить вообще плевое дело!

— Спички зажег, и фьют!

— И в подвале стоит канистра с керосином. А керосин хорошо горит, — напомнила Каринка.

— Вот-вот, — закивали мы головой, — одна канистра керосина — и дома как не бывало.

Потом мы стали обсуждать, как будем отдыхать на море. Говорили шепотом, чтобы не напоминать о своем существовании Ба.

— Ура, — радовалась Манька, — будем загорать и строить замки из песка!

— А еще у нас есть красный надувной матрас! Мы на нем будем плавать по морю туда и обратно, от одного берега к другому, — захлопала в ладошки я.

— Да что там от одного берега к другому, если поднажать, то можно и вокруг света проплыть, пока взрослые на берегу прохлаждаются, — сказала Манька. — Мы вернемся — а они и не заметили нашего отсутствия.

— Аха, — радовались мы.

— А если акулы? — вдруг испугалась я.

— Одной левой! — лениво откликнулась Каринка.

— Только надо зонтики с собой прихватить, — спохватилась Манька.

— Зачем?

— Ну, я такое в одном мультике видела. Там девочка раскрыла зонтик, подставила его ветру, и лодочка поплыла быстрее.

— Это как это? — удивились мы.

— Сейчас покажу, — вскочила Манька, но тут же села обратно на кушетку. — Мне нельзя выходить!

— А чего тебе надо, скажи, мы принесем.

— Зонтик Ба. Он в ее комнате, прямо за дверью, висит на спинке стула.

Я пошла за зонтиком. Выглянула в коридор, прислушалась. Ба что-то немилосердно шинковала на кухне, так и слышно было — хрясь! хрясь! — и слушала радио.

— Передаем концерт по заявкам тружеников села, — объявил диктор.

— Мя-мя-мя, мя-мя, мя-мя, — передразнила его Ба.

Когда я тихонечко шла обратно, по радио передавали песню «Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним».

— На оленях они помчатся! — бухтела Ба. — Утром ранним! Идиоты!

Я зашла к Мане и осторожно прикрыла дверь.

— Что там Ба делает? — спросила она.

— Песни поет.

— Ого, — удивилась Манька, — а чего это она песни поет? В жизни никогда почти не пела, а сейчас поет?

— Ну как поет, ругает певца.



— Ничегооооооооооо, — рыдала Маня, — только ладошки поцарапала. — Она выставила вперед свои ладони. — Это я, когда приземлялась, подставила рукиииии...

— Пошевели пальцами... пошевели ногами... пошевели руками... — диктовала Ба. — Голова не болит и не кружится?

— Нееееееееееееет, — плакала Маня.

— А ноги?

— Нееееееееееееет!

— А спина?

— Нет!!!

— А чего же ты тогда плачешь? — не вытерпела Каринка.

— Зонтик сломалсяааа, — зашла в истерике Манька.

Ба махнула рукой и побежала звонить дяде Мише.

— Приезжай скорее, — кричала она в трубку, — нужно Маню отвезти в больницу и сделать ей рентген костей.

Потом она обернулась к нам:

— Дети, где ваш папа?

— На дежурстве.

— Это хорошо. — Ба стала набирать номер отцовского рабочего телефона. — Але, Юра? Нужен рентгенолог. Я понимаю, что воскресенье. Маня в окно выпрыгнула. Скоро будем.

Пока дядя Миша ехал, Ба постелила прямо на полу в прихожей большой плед и заставила Манюню лечь на него.

— Не двигайся, — велела.

— Да у меня ничего не болит! — ныла Маня.

— Горе луковое! — ругалась Ба.

Мы с Каринкой сидели рядом и скорбно обмахивали пострадавшую журналом «Здоровье».

Потом примчался дядя Миша, и мы поехали в больницу. У ворот нас встретил папа с целым десантом медработников. Маньку торжественно загрузили на каталку и повезли делать снимки.

— Прощайте, — махала нам рукой Манька, — может, когда-нибудь и увидимся!

— Я пойду с вами, — ринулась Ба.

— Роза, я тебя очень прошу, оставайся здесь, — прикрыл грудью медперсонал папа, — не переживай, все будет в порядке. Под мою ответственность!

— Дядьюра, может, вы мне заодно и зубы запломбируете? — предложила Манька.

— Обязательно, — затрусил за каталкой папа, — сначала запломбирую, потом вырву все до единого!

— Ух ты, — обрадовалась Манюня.

Пока Маньке делали рентген, а потом проявляли снимки, мы сидели во дворике и наблюдали за больными, которые прохаживались вдоль лавочек.

— Будете себя плохо вести, вам вырежут аппендикс, и вы тоже будете по стеночке передвигаться, — внушала нам Ба.

— Мы будем себя хорошо вести!

— Мам, ну чего ты детей пугаешь? — встрял дядя Миша.

— Не мешай мне их воспитывать! — рассердилась Ба.



Минут через двадцать появился папа.

— Ну что? — подбежали мы к нему.

— Все в порядке, ни трещинки, ни растяжки.

— Уф, какое счастье, — вздохнула с облегчением Ба, — а где же Маня?

— Она сидит в моем кабинете и требует, чтобы я ей зуб запломбировал. Или вырвал на худой конец, — засмеялся папа.

— Убью, — выдохнула Ба и ринулась к проходу в больницу.

— Дома! — крикнул дядя Миша и припустил за Ба.

Потом мы заехали к нам домой, и мама накормила нас хашламой.

— Ай, Надя, — щедро посолила свой обед Ба, — я когда-нибудь протяну ноги из-за ее выходок.

— Тетя Роза, все будет в порядке, — отобрала у нее солонку мама.

— Да? — Ба взяла перечницу и обильно поперчила обед. — Она меня до могилы доведет, я тебе говорю!

— Надя, убери перечницу со стола, — сказал папа.

— Да-да-да, — попробовала Ба обед, — можно и соль убрать, Надя, ты пересолила и переперчила хашламу, ее есть невозможно!

Потом все Манино семейство сходило к нам в туалет, потому что сантехник дядя Володя обещал быть только вечером.

А вечером пришел дядя Володя.

— Роза, только ради тебя я вышел в свой выходной! — сказал он вместо приветствия.

— А я слышала, что ты с утра у Антонянов был, — встала руки в боки Ба.

— Был, — не стал отпираться дядя Володя, — только Антоняну я никак не мог отказать, он же мой непосредственный начальник! Ну и тебе не смог отказать. Побоялся.

Потом дядя Володя зашел в туалет и сказал:

— Я... маму вашего хозяина... что это такое вы тут накакали?

— Это не накакали, это тесто, неужели не видно? — рассердилась Ба.

— Роза, тебе больше негде было тесто замесить, пусть бог тебе даст удачу?

— Валод! — выбесилась Ба. — Проблема не в тесте, там в трубе поварешка застряла!

— Хэх, — крикнул дядя Володя и полез унитаза, — столько лет работаю сантехником, ни разу еще поварешку из туалета не доставал.

— Переживи как-нибудь молча свою премьеру, — пробухтела Ба.

Когда дядя Володя вытащил, наконец, поварешку и засобирился домой, Ба взяла его за локоть:

— Владимир Оганесович, — проникновенно зашептала она, — я надеюсь, вся эта история останется между нами?

— Обижаешь, Роза Иосифовна, — громко сглотнул дядя Володя.

— Иди, — смилостивилась Ба.

И сантехник ушел в темноту, унося с собой сумбур своих мыслей.

«Интересно, что они хранят в холодильнике, если в туалет ходят с половником», — лихорадочно соображал он.

Мане, конечно, потом влетело. За все — и за тесто, и за поварешку, и за сломанный зонт, и за позор, который пришлось пережить Ба перед сантехником.

Ба выпросила в больнице рентгеновские снимки Мани и развесила их по стенам ее комнаты. Для устрашения.

— Бааааа, — ныла Манюня, — это что, мой череп? Не хочууууу!!!!!!!

— Это твой *пустой* череп! — ругалась Ба.

Все две недели до поездки в Адлер снимки провисели в Маниной комнате. Сначала Маня пугалась, потом свыклась с ними и стала водить нас на экскурсию к себе.

— Это мой пустой череп, — гордо тыкала она в снимок пальцем.

— А это чивой?

— А это таз.

— Совсем не похож, — удивлялись мы, — таз он такой, круглый, с ручками. Бывает эмалированный.

— Хм. Не знаю, — приглядывалась к снимку Манюня, — может, и эмалированный. Но точно не круглый. Скорее...

— Скорее чего?

— Слово забыла. Скорее... скорее...

— Ну! — поторопили мы ее.

— Веснушчатый, во! — наконец вспомнила слово Маня. — Точно, у меня веснушчатый таз.

— С чего ты это взяла?

— А ни с чего. Просто слово мне нравится, — ответила Маня и любовно погладила снимок.

## ГЛАВА 26 Манюня едет в Адлер, часть вторая из трех, или Салют над курортным городом

Мама крепко пожалела, что проболталась нам про поездку на море.

— Кто меня за язык тянул, — причитала она каждый раз, когда мы приходили к ней с очередной идеей, что еще нам жизненно необходимо взять с собой в Адлер.

Каринка отказывалась лететь на море без нового зимнего пальто.

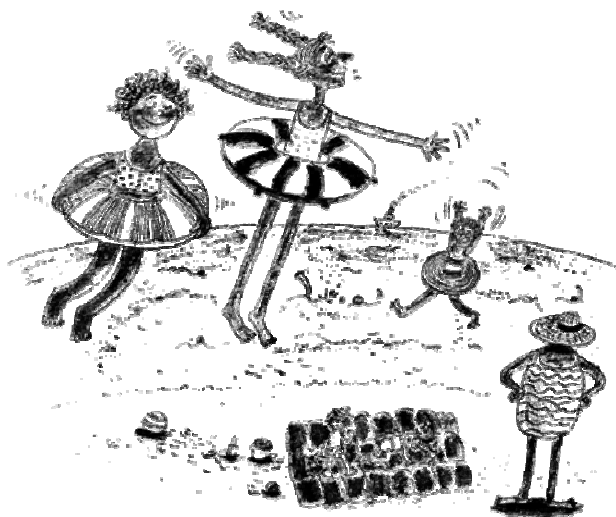
— Отдыхать без пальто я не собираюсь! — упиралась она.

Новое пальто Каринки было предметом всеобщей зависти. Особенно не давали нам покоя простеганная затейливым узором атласная подкладка, серебристые круглые пуговицы и отороченный мехом капюшон. Пальто прислала мамина троюродная сестра

тетя Варя. Она заметила его в универмаге, в груде зимней одежды, которую вот-вот собирались унести на склад.

— Кому-нибудь из Надиных девочек должно подойти, — рассудила тетя Варя и вцепилась в пальто мертвой хваткой. Но за секунду до нее в пальто вцепилась другая тетенька.

— Я первая заметила, — завизжала та на весь универмаг, — и не хватайте меня за руки, у меня маникюр!



— А у моей сестры четыре дочери, — перекричала ее тетя Варя и вырвала пальто. Вместе с маникюром тетеньки.

«Надюша, милая, — писала она в сопроводительном письме, — надеюсь, кому-нибудь из девочек обязательно подойдет этот воистину трофей».

Воистину трофей, к нашему горю, подошел Каринке. Она тут же его надела и ходила так по дому до позднего вечера. Никакие увещевания и уговоры его снять не возымели на Каринку ни малейшего действия.

— Мне не жарко, мне даже холодно, — приговаривала она.

Мы с Манькой ходили следом и тыкали пальцами в меховой капюшон.

— Мягонький! — захлебывались мы от восторга.

— Отстаньте, — ругалась Каринка, — вы мне пальто испортите!

— Просто потрогать, — ныли мы.

— Пять копеек стоит один раз потрогать, — рявкнула сестра,

— Ого, далеко пойдешь, — засмеялся папа.

— Ну, Америка же далеко, — не дрогнула Каринка.

Перед сном она с большим скандалом сняла с себя пальто, положила его в постель, накрыла одеялом и легла рядом так, чтобы заслонить его от нас спиной. Стерегла долго, пока мы с Манькой не заснули.

— Фух, ну наконец-то, — с облегчением подумала Каринка и провалилась в сон. О шестилетней Гаянэ она почему-то не подумала. А подрастающее поколение, скажу я вам, ничем не уступало таким корифеям разрушительного дела, как мы, и только до поры до времени прикидывалось овечкой.

Гаянэ тихо лежала в постели и ждала, когда заснет Каринка. Как только стены нашей квартиры задрожали от храпа сестры, Гаянэ подтянула к себе пальто, надела его и застегнулась на все пуговицы. Пальто вкусно пахло нафталином, которым его щедро сдобрила тетя Варя, когда собирала в путь-дорогу из Норильска в Берд. Гаянэ натянула на голову капюшон, спрятала руки в карманы и полежала какое-то время в постели, любуясь, как под тусклым лунным светом переливаются серебристые пуговицы. Потом она тихонько сползла с кровати, взяла с полочки ножницы, аккуратно срезала одну пуговицу и проглотила ее. Посчитала пуговицы. Остались четыре штуки. Подумала, срезала еще одну. Попыталась засунуть ее сначала в ноздрю, потом в ухо. Но потерпела неудачу, потому что пуговица оказалась достаточно большой. Тогда Гаянэ, ничтоже сумняшеся, проглотила и ее.

«Остались три штуки, одна Наринке, одна Каринке и одна Маньке», — решила она и, довольная собой, легла спать.

Наступившее утро стало недобрым для всей нашей семьи. Ибо вопль, который, издала Каринка, не обнаружив пальто, силой децибелов мог сравниться только с ревом взлетающей баллистической ракеты.

Она вытряхнула мирно посапывающую Гаянэ из пальто, влезла в него и... недосчиталась двух пуговиц. Гаянэ не стала дожидаться мучительной смерти и припустила в родительскую спальню.

— Спасите меня, — кинулась она ласточкой между мамой и папой и зарылась под одеяло.

На дальнейшие расспросы, куда подевались пуговицы, Гаянэ молчала как партизан. И только к обеду призналась маме, что проглотила их.

— Я подумала, что это конфеты, — расплакалась она.

— А если бы ты подавилась? Пуговицы-то вон какие большие, — всплеснула руками мама.

Пришлось Гаянэ два дня ходить по-большому в детский горшок Сонечки.

— Есть чего? — спрашивали мы ее каждый раз, когда она выходила из туалета.

— Неть, — расстраивалась Гаянэ.

И только на третий день пуговицы, наконец, вылезли.

— Фу, какая гадость, — ругалась Каринка, пока мама пришивала их на место.

— Никакой гадости, — успокаивала ее мама, — я их хорошенечко помыла, так что не переживай.

С тех пор, наученная горьким опытом, Каринка отказывалась оставлять без присмотра свое пальто.

— Оно там будет в безопасности, — убеждала она маму.

— Наоборот, оно дома будет в безопасности, мало ли что может взбрести вам в голову на море?

— А если его украдут? — беспокоилась Каринка.

— Не украдут, не волнуйся.

— Ладно, — скрепя сердце согласилась сестра.

Потом Гаянэ решила, что без своего велосипеда никуда не поедет.

— Мам, — обрадовала она маму, — без лясипеда я никуда не поеду!!!

— С велосипедом тебя не пустят на борт самолета.

— Это почему не пустят, — вмешалась Каринка, — его вообще необязательно брать в салон, можно привязать велосипед к ноге самолета, и он долетит с нами до Адлера!

— Вот! — обрадовалась Гаянэ. — Без лясипеда не поеду!

— Где ты у самолета ногу видела? — любопытствовала я.

— Там же, где и у тебя, — огрызнулась она.

— Ума палата, — постучала я себя по лбу.

— От умыпалаты слышу, — полезла в драку сестра.

— Подеретесь — никуда не поедете, — предупредила мама.

Мы нехотя разошлись по разным углам комнаты.

— Без лясипеда не поеду, — напомнила Гаянэ.

— Кто, ну кто меня за язык тянул, — схватилась за голову мама.

Ереванский аэропорт встретил нас толкотней и изнуряющей духотой. Ба путешествовать категорически не любила, поэтому пребывала в недобром расположении духа.

Сначала она поругалась со всеми в очереди на регистрацию (что вы по мне вдоль и поперек ходите, ищите другие маршруты для променада), потом она поругалась с уборщицей в зале ожидания (в туалете вонь и грязь, а ты тут тряпкой елозишь по полу). Потом мы толпились под палящим июньским солнцем возле трапа самолета, а нас все не пускали внутрь, и Ба поругалась сначала с бортпроводником (на одну ногу наступлю, за другую потяну и разорву пополам, щенок), потом поцапалась со стюардессой (глаза аж до висков подвела, а детей в самолет не пускаешь). Под ее натиском детей впустили в самолет, и мы стояли наверху, махали родителям рукой, а Гаянэ обливалась горячими слезами и говорила: «Щас мы улетим, а мама останется валяпальту».

Потом мы полетели на самолете, и стюардесса с подведенными глазами разносила на подносе мятные леденцы в желтой обертке с голубеньким самолетом на боку. Всем она дала по одной конфетке, а нам, покосившись на Ба, — по три. Ба мигом растаяла лицом и даже позволила себе некое подобие одобрительной улыбки. А мы весь полет забавлялись

тем, что ели конфеты, а потом нас рвало в целлофановые пакеты, которые в большом количестве принесла стюардесса.

— Ну зачем вы их едите, — ругалась Ба.

— Нас и так рвет, с конфетами хотя бы вкуснее, — стонали мы.

— Если смыть с тебя всю косметику, глядишь, под ней и обнаружится миловидное личико, — поблагодарила Ба на прощание стюардессу, когда покидала салон самолета.

— Простите? — не поняла стюардесса.

— Прощаю, — отрезала Ба.

Адлер нам очень понравился. Пока мы ехали из аэропорта, и Ба ругалась с водителем такси, что он плохо водит (тормоза-то помнишь где находятся или рукой показать?) и много денег берет за проезд (я смотрю, счетчик тикает очень резво, небось подкрутил там какую гаечку), мы вертели головами и любовались городом.

— Ух ты, как много людей, — вздохнула Манька, — в стотыщ раз больше, чем в Берде.

— В стотыщмиллионов раз, — важно говорила Каринка.

— В стотыщмиллиардов, — не уступала я.

— А мы лясипед не взяли, — вспомнила Гаянэ и горько расплакалась.

Дом, в котором мы сняли две комнаты, принадлежал грузинской родне моей преподавательницы по игре на фортепиано Инессы Павловны.

— Гоги — мой двоюродный брат. Очень честный и порядочный человек, а жена его вообще прелесть, — уверяла нас Инесса Павловна, — так что не волнуйтесь, вам у них будет очень комфортно.

Гоги оказался мужчиной гигантского роста и могучего телосложения. На лице у него красовались лихо подкрученные кверху пышные усы, от глаз к вискам разбегались тоненькие лучики морщин.

— Гамар джоба, — пожал он мужчинам руки, — как доехали?

— Лучше бы не ехали, так доехали, — любезно отозвалась Ба и прошла сквозь опешившего хозяина в дом. — Где тут наши комнаты?

— Теща? — скорбным шепотом спросил папу Гоги.

— Нет, — замотал головой папа и кивнул в сторону дяди Миши, — это его мама.

— Пойдем, покажу ваши комнаты. — Гоги отобрал у дяди Миши чемодан, взял его под локоток и повел в дом.

Все две недели он относился к дяде Мише как к тяжело больному человеку — всячески за ним ухаживал, подсовывал самые вкусные куски еды, норовил открыть перед ним дверь и называл за глаза «этот несчастный человек».

Комнат было две, одна большая, другая поменьше. В большой стояли три кровати, раскладной диван и большой шкаф, а в маленькой две кровати, трюмо и кушетка. После недолгого совещания взрослые решили, что Ба с мамой и Сонечкой будут спать в маленькой комнате, а остальные девочки с папами — в большой.

Мы разложили наши вещи в шкафу, а потом жена Гоги Натэла накормила нас запеченной рыбой и напоила домашним лимонадом.

— Ах, вкусно-то как, — причмокивали мы, отпивая из стаканов кисло-сладкий лимонад, — никогда в жизни ничего вкуснее не пили!

Натэла залиvisto смеялась, откинув голову, и подливала нам лимонад. Ее рыжие вьющиеся волосы отливали множеством золотых искорок под лучами заходящего солнца.

— Какая вы красивая, — залюбовалась Маня, — и веснушчатая!

— Это я летом такая веснушчатая, — сказала тетя Натэла, — а зимой превращаюсь в бледную моль.

— Небось врете, — не поверила Манька.

— Мария, — одернула ее Ба, — уши откручу! Разве можно так со взрослыми разговаривать?

— Я тебе потом свои зимние фотографии покажу, и ты увидишь, что я не вру, — пообещала Мане тетя Натэла.

Потом Гоги показывал цам баню, которую «уот этими уот руками сколотил», а мама осталась помогать Натэле убирать со стола.

— Очень хочу научиться делать правильный грузинский лобио, — сказала она.

Натэла тут же достала из шкафчика мешочек с фасолью и отсыпала часть в неглубокую миску.

— Завтра и приготовим.

— Замачивать не будем? — спросила мама.

Натэла открыла рот, но так и не успела ответить.

— Баб, — раздался сзади голос Гаянэ, — босбодри, что я зделала.

Женщины обернулись и потеряли дар речи.

— Вайме, — первой пришла в себя Натэла, — деточка, что это у тебя с лицом?

— Горе мое, — всплеснула руками мама, — ты снова что-то засунула себе в нос?

— Гонфеды, — отрапортовала Гаянэ, — дбе штуги.

— Покажи!

Гаянэ откинула голову, и Натэла чуть не грохнулась в обморок — в каждую свою ноздрю сестра засунула по здоровенной фасолине.

Так как фасолины она затолкала чуть ли не до самых до извилин, то вытаскивали их долго. Сначала мама надавливала на них сверху, чтобы они чуточку сместились вниз, а Гаянэ отбивалась и орала: «Дидада, мне и дак ходошо». Потом мама пыталась подцепить их ногтем и Гаянэ уже не отбивалась, потому что на ее крик примчалась Ба и пригрозила, что если она будет капризничать, то Ба саморучно извлечет фасолины. Гаечка смотрела на Ба громадными золотистыми глазами и тихонечко поскуливала:

— Тодько не Ба!

— Бедный ребенок, — сокрушалась Натэла и спешно убирала в квартире все, что может пролезть в ноздри Гаянэ.

— Дети, — спрашивала она, — а лото убирать?

— Убирать, — говорили мы, — и нарды тоже спрячьте, а то она однажды игральные кости себе в нос запихала, пришлось ехать к врачу.

— И нос вроде у ребенка совсем маленький, — удивлялась Натэла.

— Зато ноздри растягиваются будь здоров. Натренировала, — объясняли мы.

А потом на город надвинулась густая южная ночь, и небо обсыпало большими гроздьями ярких звезд.

— Надо же, в Адлере такие же звезды, как у нас, — удивлялись мы, — вон Большая Медведица, а вон Маленькая.

— Ну конечно, а вы думали, что мы в другой галактике живем? — смеялась Натэла.

Потом нас отправили спать, и мы долго не могли уснуть, возбужденные перелетом и новыми впечатлениями, и слышали сквозь полудрему, как папа с Гоги играют в нарды.

— Сейчас я тебе мастер-класс покажу, — сказал папа.

— Яйцо курицу учит, — хмыкнул Гоги.

— Вы тут посоревнуйтесь, а потом я разгромлю победителя, — подсел к ним дядя Миша.

— А я потом тебя разгромлю, — сказала Ба, и все расхохотались. Кроме Гоги. Гоги не знал, что Ба играет в нарды с детства, и редкому счастливчику удастся ее обыграть.

— Натэла, — восторженно воскликнул он, — принеси Мише мой синий жакет, а то вдруг ему холодно.

— Мне не холодно, — успокоил его дядя Миша.

— Ничего, пусть рядом полежит, — не дрогнул Гоги и кинул кости: — Готовься к проигрышу, Юрик. Ду-ек<sup>[7]</sup>.

— Шикарный старт, — захохотал папа.

Мы лежали с закрытыми глазами и прислушивались к звукам, которые лились в распахнутые окна спальни. Где-то совсем близко шумело море, ночь накрыла город темным звездным куполом, мама с Натэлой в два голоса пели «А напоследок я скажу»...

— Скажешь — не скажешь, все равно победа будет моей, — комментировал их пение Гоги.

— Хорошо-то как, — шепнула Манька.

— Угум, — промычали мы в полудреме.

Впереди были две недели замечательного, полного удивительных приключений отдыха.

\* \* \*

Наутро, сразу после завтрака, мы отправились на пляж. Идти было недалеко, минут двадцать неспешным шагом. Огромное, густое, безбрежное Черное море разом обрушило на нас все свое великолепие.

— Ух ты, — задыхнулись мы, — красота-то какая.

— Смотрите, народу как много, и все почти голые, — радовалась Каринка.

— Пахалеоод, самалеооот, деревоооо, пысоооок, много-много водыыы, — степным акыном перечисляла увиденное Гаянэ.

Мы расстелили пляжные полотенца, быстренько скинули наши платьица и остались в купальниках. Каринка в красном, я в голубеньком, а Маня в желтеньком, отдельном. Мы с Каринкой по очереди заглянули ей в лифчик.

— У тебя там ничего нет, — разочарованно протянули мы.

— Это на вырост, — важно сказала Манька и поправила лифчик, — в следующий раз я приеду на море уже с титьками.

— Где ты таких слов набралась, — рассердилась Ба, — надо говорить не титьки, а грудь.

— Ну, значит, с грудями приеду.

— Горе луковое, — вздохнула Ба и стянула через голову платье в мелкий цветочек.

— Хихихи, — захихикали мы.

На Ба был большой закрытый синий купальник в малиновые разводы. Грудь у Ба заканчивалась ровно там, где начинался живот, а живот плавно перетекал в бедра.

— Ба, я и не знала, что ты такая толстенькая, — прыснула я.

— Наринэ! — рассердилась мама.

Но я смеялась и не могла остановиться.

— Ничего смешного, — отрезала Ба и надела на голову соломенную шляпу.

— Ба, ты на Страшилу Мудрого похожа, — не вытерпела Маня.

— Ты с ума сошла, Мария? — разозлилась Ба.

— Ладно, на Гудвина, — не сдавалась моя подруга.

Дядя Миша хотел сделать дочери замечание, но глянул на Ба, приснул и спрятал лицо в ладони.

— Манюня, — решила вмешаться мама, — нельзя так с бабушкой разговаривать!

— А чего я такого сказала? — обиделась Манька. — Была бы она худая и костлявая, я бы сказала, что она на Железного Дровосека похожа.

— Хыхыхыыы, — покотился со смеху дядя Миша.

— Пригрела на груди клубок змей, — сердито пробубнила Ба, вытащила из сумки тюбик крема «Балет» и толстым слоем намазала себе нос.

— Главное, не сгореть, чтобы шнобелем не семафорить, — сказала назидательно. — Нарка, иди, и тебе нос смажу, — подозвала она меня.

— Почему как только шнобель, так все сразу Нарку вспоминают, — обиделась я, — не надо мне вашего крема!

Потом наши папы в два счета надули плавательные круги.

— Надя, я сегодня научу тебя плавать, — обрадовал папа маму.

— Не надо, — испугалась мама, — мне и так хорошо, и вообще, на кого я маленькую Сонечку оставлю?

— Я за ней пригляжу, — сказала Ба, — ты можешь спокойно поплавать. Если что, я тебя позову.

— Тут шумно, я могу не услышать вас, — упиралась мама.

— Надя, если я захочу, то меня и в Варне услышат, так что не волнуйся, — успокоила ее Ба.

— Юра, ты же знаешь, я воды боюсь, — взмолилась мама.

— Будем страх лечить, — потянул ее за руку папа.

— Завтра, ладно? — попросила мама. — Дай мне сегодня просто к морю привыкнуть.

— Ладно, — смилостивился папа.

— Вы пойдите поплавайте, а я вещи постерегу, — выдохнула с облегчением она.

— А я буду красивые камушки собирать, — сказала Гаянэ.

— Смотри у меня, — выпучилась Ба, — если хоть один камушек в нос засунешь, то вытаскивать его буду я. Тебе ясно?

— Ясно, — сказала Гаянэ.

— Умная девочка, — похвалила ее Ба, — ну что, пойдём плавать?

— Пойдеоооом! — заорали мы.

И мы побежали к морю. Маня бежала впереди всех, двумя руками придерживая на талии надувной круг и смешно двигая лопатками.

Дядя Миша подхватил ее под мышки и с разбега кинул в море.

— Иииииииииии, — завизжала Манька.

Потом папа таким же образом отправил в воду меня, а Каринку они с дядей Мишей раскачали за руки и ноги и швырнула дальше всех.

— Ааааааааа! — орала в восторге Каринка.

— Роза? — Обернулся к Ба папа.

— Нет уж, молодые люди, я как-нибудь сама, — сказала Ба и села прямо у кромки воды.

— Плавайте недалеко, чтобы я вас видела, — крикнула она.

Дядя Миша с папой пустились наперегонки и скоро оказались у буйков.

— Как два дельфина, — загордилась Манька.



— А мы как кто?

— А мы как три девицы у окна, — сказала Манька, — смотрите, как я умею делать — и она навалилась на круг, легла пузом на воду и задрала ноги. — Я похожа на русалку?

Мы с Каринкой повторили ее маневр.

— Теперь мы три русалки у окна, — обрадовалась я. Потом Каринке стало скучно бултыхаться в воде, и она выдернула затычку сначала из моего, потом из Маниного круга.

В отместку мы выдернули затычку из ее круга и навалились на нее всем телом. Пока барахтались в воде, круги унесло волной. Хорошо, что рядом плавало много сердобольных дядечек и тетенок, они нам вернули круги и наказали больше не шалить.

— Куда ваши родители смотрят? — возмутилась тетенька в малиновой панаме.

— Они смотрят в другую сторону, потому что им стыдно, что мы их дети, — не растерялась Манька.

— Вот из-за таких безответственных взрослых и растет в мире количество преступников, — неосторожно сказала тетенька.

— Это кого ты преступниками обзываешь? — надвинулась на нее Ба. — Вроде на вид нормальная женщина, а туда же!

— Куда это туда? — растерялась тетенька.

— Да известно куда. Девочки, отплывайте подальше, мало ли чем можно от нее заразиться!

— П-позвольте, — пролепетала тетенька в малиновой панаме.

— Не позволю! — Ба сдвинула шляпу на затылок и стерла с носа толстый слой крема.

«Бить будут», — подумала тетенька и быстро-быстро отплыла в сторону.

— Николаи боз! — прогрохотала ей вслед Ба, сделала в воде два приседания и вышла обратно на берег.

— Ба-а, — взяла ее за руку Гаянэ, — воть, я габушгов нашда даздых.

— Деточка, ну ты сама напросилась, — выдохнула Ба и наградила Гаянэ своим фирменным подзатыльником.

— И камушки сами из носа посыпались, — рассказывала потом Гаянэ.

— Хэх, Гагасичка, — хмыкнул дядя Миша, — это еще что! У меня иногда целые звездные системы выскакивали из глаз от подзатыльников Ба. Хотя я никогда в жизни себе в нос ничего не засовывал.

— Бедненький, — пожалела его Гаянэ, — я, когда в следующий раз буду камушки себе в нос засовывать, и вам принесу.

Ба зашла в комнату в ту минуту, когда дядя Миша, заговорщицки подмигнув Гаянэ, говорил:

— И мы тогда вдвоем набьем наши носы и уши камушками до отказа, да?

Через секунду закатное небо озарил победный салют искр, вылетевший из Дядимишиных глаз, а следом все жители и гости славного города Адлера узнали все, что Ба думает о шлимазлах в целом, и о своем сыне в частности.

## **ГЛАВА 27 Манюня едет в Адлер, часть третья из трех, или Как Ба кокетничала с внуком Гольданской**



На второй день отдыха, прямо с раннего утра, мама прикинулась больной.

— Что-то голова у меня ноет, — делала она скорбное выражение лица, — видимо, у моря продуло. Я посижу на пляже, но в воду сегодня не полезу.

— Хе-хе, — засмеялся папа, — жена, я тебя не первый день знаю, ты лучше сразу признавайся, что боишься учиться плавать.

— Ничего я не боюсь, — забегала глазами мама.

— Ну и нечего тогда придумывать. Чуть что — сразу голова болит.

— Вестимо дело, — рассмеялась Ба, — голова болит — самая известная женская отговорка.

— И прямой путь к раннему климаксу, — ввернул папа.

— Ну и ладно, — обрадовалась мама, — будем жить с тобой как брат с сестрой. Ого, рифма на радостях пошла!

— Это я пошутил, — забеспокоился отец, — это я так, к слову сказал.

— Поздно уже, — похлопала его по плечу Ба, — проложил себе необдуманными словам дорогу к раннему простатиту.

— Хахахаааа, — покатила со смеху мама.

— Сейчас пойдем учиться плавать, и я посмотрю, кто тут хахаха, — рассердился папа.

Пока родители препирались, мы с Каринкой и Маней засыпали песком дядю Мишу.

— Вы только в лицо песком не кидайтесь, а так делайте со мной что хотите, — попросил он, — а я чуток покемарю. Если бы Каринка храпела хотя бы вполсилы, то мне, может, и удалось бы ночью поспать.

— Ребенок! — отвлекся от переговоров папа. — Пора уже заниматься твоей носоглоткой. И я замучился всю ночь с боку на бок ворочаться.

— Па, ну я же не специально, — развела руками Каринка, — ты же сам говорил про искривленную перепелку и что оперировать меня сейчас нельзя, потому что я маленькая!

— Во-первых, не перепелка, а перегородка, а во-вторых, я думаю, оперировать уже можно. И даже нужно!

— Вы сначала поймите меня, а потом про операцию говорите, — хмыкнула Каринка и высыпала на Дядьмишины плавки целое ведерко песка. — Сей-час у-трам-буу-уем!!!

— Не надо! — вскочил дядя Миша. — Не надо мне там ничего утрамбовывать!

— Пап, — рассердилась Манька, — я тебе уже все ноги засыпала песочком, а ты вскочил, и весь песочек посыпался на землю!

— Извини, я нечаянно, — дядя Миша повернулся на живот, — засыпайте меня песком лучше сзади.

— Сза-ди так сза-диии, — прогундосила Каринка и высыпала на Дядимишины плавки новое ведерко песка.

— Дочка, — обернулся к ней дядя Миша, — неужели тебя во мне ничего, кроме плавок, не привлекает?

— Да я первым делом хочу срам прикрыть, — объяснила Каринка, — попу там или писюн...

— Спасите меня, — взмолился дядя Миша, — она мне ни днем ни ночью спать не дает!

— Дети, идите сюда, мы сейчас пойдем маму плавать учить, — позвал нас папа.

— Ура, — запрыгали мы, — пойдем учить маму плавать.

— Не хочу, — упиралась мама, — не умею и не хочу!!!

— Надо, — внушал папа.

— Юрик, ну что ты к ней пристал, — вмешалась Ба, — не хочет учиться плавать — не надо, я вот тоже не умею плавать, и ничего.

— И тебя научим, Роза, не переживай, — не дрогнул отец.

Папа был единственным человеком, который осмеливался возражать Ба. Такая беспрецедентная храбрость объяснялась его профессией. Когда ежедневно через твой кабинет проходит десяток женщин, каждая из которых готова скончаться в стоматологическом кресле, но не открывать своего рта, то это, конечно, сильно тренирует волю.

Например, одна обезумевшая от страха монументальная тетенька, увидев в папиных руках шприц с обезболивающим, вырвалась из кресла, схватила лоток со стерилизованными инструментами и, прикрываясь им, как щитом, выбежала на улицу. А вечером муж этой тетеньки вернул папе лоток, наполненный доверху... пирожками с мясом.

— Жена напекла, — виновато дергал он острым кадыком, — доктор, можно ей завтра прийти, а то зуб как болел, так и продолжает болеть?

— Можно, если она обещает больше не трогать инструменты, — смилостивился папа.

А другая тетенька, когда папа навис над ней со шприцем в руках, вцепилась ему в карман халата и вырвала его с мясом. Чем вогнала отца в ступор. И пока он из этого ступора выходил, тетеньки и след простыл.

— Через два дня пришлось лечить ей зуб вживую. Десна загноилась, и анестезия уже почти не действовала, понятно? — рассказывал нам папа и для пушей убедительности грозно шевелил бровями.

— Понятно, — пискнули мы и побежали чистить зубы. По двенадцать раз с каждой стороны вдоль и поперек.

Вот почему отец, натренированный ежедневным общением с непредсказуемыми тетеньками, не робел перед Ба. Да и Ба признавала в нем если не равного, то хотя бы полноправного собеседника и относилась к нему с большим уважением. Поэтому она не стала ругаться, а просто всплеснула руками:

— Ииии, шлимазл!

— Я тоже тебя люблю, Роза, — засмеялся отец.

— Раз ты меня любишь, купи мороженое.

— Ура, мороженое, — обрадовались мы.

— Уно моменто, — накинул на плечи рубашку папа.

Он вернулся через десять минут с ягодным мороженым в картонных стаканчиках.

— В такую жару лучше кисленькое есть, — объяснил.

Мы с большим удовольствием полакомились мороженым, а картонные стаканчики сложили в длинную стопочку. «На обратном пути выкинем», — сказала Ба и убрала стаканчики в сумку.

Настало время идти учить маму плавать.

— Надя, ты не волнуйся, за Сонечкой и Гаянэ я пригляжу, — успокоила ее Ба.

— Если что, зовите меня.

— Всенепременно!

— Пошли, — скомандовал папа и поволок маму к берегу. Мама слабо упиралась и причитала: «Да что же это такое».

Далее повествование делится на два акта. Они происходят одновременно в разных концах пляжа.

### *Акт I. Ба знакомится с внуком Гольданской*

Как только мы скрылись из виду, Гаянэ подошла к Ба, сложила ладошки домиком и зашептала ей на ухо:

— Ба, посмотри, что я с дядей Мишей сделала!

Ба глянула на сына и не смогла удержаться от смеха — дядя Миша спал на животе, подвернув под щеку локоть. Вся его спина и ноги были засыпаны песком, а на голове красовалось голубенькое пластмассовое ведерко.

— Это чтобы он не сгорел на солнце, — похвасталась Гаянэ, — Ба, скажи, я умничка?

— Деточка, ты даже умнее, чем я, — погладила Гаянэ по голове Ба, — молодец, теперь можешь поиграть со своей сестрой.

Маленькая Сонечка ползала по красному надувному матрасу и остервенело с ним ругалась:

— Это ты мне вава дейй? Яцем ты мне вава дейй?

Никто не мог взять в толк, почему ребенок выясняет отношения с матрасом. Но, как только мы его надували, Сонечка начинала ползать по нему и бесконечно выясняла отношения с каждым его квадратным сантиметром.

— Пяхой! — отчитывала она его. — Сонуцке вава дейй. Яцем???

Матрас в ответ хранил недоуменное молчание. Гаянэ порылась в пляжной сумке и достала разноцветные кубики:

— Сонечка, будешь в кубики играть?

— Буду, — пнула на прощание матрас Сонечка и пересела к Гаянэ.

Ба щедро намазала кремом нос, достала из сумки журнал «Здоровье» и, перед тем как приступить к чтению, окинула взглядом вверенное ей хозяйство. Дядя Миша мирно спал с голубеньким пластмассовым ведерком на голове, Сонечка с Гаянэ возились с кубиками.

Ба потянулась убрать ведро с головы сына, но потом передумала.

«От сглазу», — решила она, нацепила на нос очки и погрузилась в чтение.

— Простите, а можно расположиться рядом с вами? — прервал ее чтение какой-то мужчина.

Ба отложила журнал и недобрым взором уставилась на нарушителя спокойствия. Нарушитель спокойствия выглядел вполне благообразно — это был невысокий, полноватый мужчина в светлой панаме, льняной сорочке навыпуск и сандалиях на босу ногу.

— Да пожалуйста, — неожиданно для себя приветливо отозвалась Ба, — я смотрю, вы человек вполне порядочный и интеллигентный.

— Ой, спасибо, — обрадовался дядечка. Он вытащил из целлофанового пакета с надписью «С Новым годом» пляжное полотенце, постелил его почти вплоты к полотенцу

Ба и стал поспешно раздеваться. Казалось — он боялся, что Ба передумает и ему придется искать себе новое свободное место.

— Евгений Петрович Колокольников, — оставшись в очках и плавках, учтиво представился он.

— Роза Иосифовна Шац, — буркнула Ба.

— О! — заклокотал Колокольников. — Урожденная Шац?

— Если вы надеетесь, что я урожденная Иванова, а меня совершенно случайно назвали Розой Иосифовной, то я должна вас сильно разочаровать, — нахмурилась Ба.

— Нет-нет, ну что вы, — у Евгения Петровича от волнения запотели очки, — я просто хотел уточнить... то есть попросить... то есть чтобы знать... черт! не будете ли вы так любезны, Роза Иосифовна, посмотреть за моими вещами, пока я поплаваю? Я отлучусь совсем ненадолго.

— Буду любезна, — оттаяла Ба.

Евгений Петрович потоптался на месте, потом наклонился к Ба.

— Я в некотором роде тоже Шац, — сообщил он ей конспиративным шепотом.

— Да ну? — Ба поправила на переносице очки и внимательно оглядела Евгения Петровича с ног до головы. — А по вам не скажешь.

— Ну, — замаялся Евгений Петрович, — у меня бабушка по материнской линии была... хмхм... Гольданская.

— Знала я одну Гольданскую, она у моей тети Мирры жениха увела, — хмыкнула Ба, — а потом Мирра столкнулась с ней в мясной лавке и чуть не порешила подвернувшимся под руку ножом для разделки туши. Нож у нее в последнюю минуту отобрал помощник мясника, но тетушка все равно не растерялась и выдрала у разлучницы часть косы да испарапала ей лицо так, что потом остались шрамы. У вашей бабушки на лице шрамов не было? — полюбопытствовала Ба.

— Нет, ну что вы, — испугался Евгений Петрович, — ни одного шрама.

— Ну и ладно, — смилостивилась Ба.

Евгений Петрович нерешительно сел на полотенце и повернулся к девочкам.

— Это ваши дочери? — кивнул он в сторону Сонечки и Гаянэ. И забегал сконфуженно глазками.

Ба сняла очки и прожгла его насквозь огненным взглядом.

— Это мои внуки, — отрезала она, — идите уже окунитесь в воду, Евгений Петрович, а то вы меня утомили своей учтивостью. И смотрите не утоните.

— Да-да-да, — затрепетал Евгений Петрович и потрусил к морю.

— Мам, — подал голос дядя Миша, как только Евгений Петрович скрылся в толпе отдыхающих, — да ты та еще вертихвостка, я смотрю.

— Давно проснулся?

— Вот как только этот «в некотором роде Шац» подошел к тебе, так и проснулся.

— А чего ведро с головы не снял? — съязвила Ба.

— Не хотелось мешать тебе глазки строить, — потянулся дядя Миша и сел, — а где остальные?

— Пошли учить Надю плавать. Давно уже их нет, видимо, хорошо у нее получается.

— Пойду, посмотрю как они там, — встал дядя Миша, — и это, пока меня нет, не смей больше ни с кем кокетничать.

— Тебя забыла спросить, — хмыкнула Ба.

— Сонечка, а где красный матрас? — наклонился поцеловать мою сестру дядя Миша.

— Пяхой матлась, — встрепенулась Сонечка, — вава деяй Сонуцке.

— Прааавильно, — засмеялся дядя Миша, — плохой матрас, прощать его ни в коем разе нельзя.

Ба дождалась, пока сын скрылся из виду, полезла в мамину сумку, достала пудреницу и глянула на себя в зеркальце.

— Прелестно, — процедила сквозь зубы, — волос всклокочен, на носу толстый слой крема. И я еще ухитрюсь в таком виде кому-то нравиться!

— Ба-а, — погладила ее по плечу Гаянэ, — Ба!

— Чего?

— Я хочу какать.

— То есть как это какать? — ужаснулась Ба. — А на кого я все эти вещи оставлю? Мы сейчас не можем отойти! Потерпи, пока мама с папой вернутся.

— Я потерпеть могу, а вот кашки не могут, — расплакалась Гаянэ.

— Горе мое, что же нам делать? — всполошилась Ба.

**Акт II. Папа учит маму плавать,**

**или Как надо правильно топить свою жену**

Папа рьяно взялся за дело. Сначала он завел маму по грудь в воду и взял ее на руки.

— Ложись на воду... вот так... не задирай колени... ну что ты, как жираф, вытянула шею? Расслабься. Я сейчас тебя отпущу, а ты попробуй продержаться на поверхности.

— Хорошо, — сказала мама и моментально ушла под воду.

Папа вытащил ее на поверхность.

— Я утону, у меня ничего не получится, — еле отдышалась мама.

— Ну что ты так боишься, — рассердился папа, — я же рядом!

— Не знаю, — у мамы зуб на зуб от страха не попадал, — боюсь, и все.

Папа собственноручно затянул мамины длинные густые волосы в конский хвост, чтобы не мешали. Взял ее снова на руки.

— Юра, у нас четверо детей, — взмолилась мама.

— А то я об этом не помню, — отозвался папа, — мать четверых детей должна уметь плавать как рыба! Держись за руку... ладно, не хочешь за руку, держись за шею... отпускаю... не души меня... говорю — недшмня... кха-кха-кха...

«Плюх!» — и мама снова ушла под воду. Папа пошарил рукой и вытащил ее на поверхность.

— Аааа, — отдышалась мама, — никогда больше не поеду на море!

— Пап, — нам стало жалко маму, — не надо ее плавать учить, а если она утонет?

— Да не утонет она, — вскипел папа, — это нормально — человеку тридцать четыре года, а она плавать не умеет?!

— Но мы ее и без «плавать умеет» любим, — заверили мы его.

— Не хочу я плавать уметь, — жалобно расплакалась мама.

— Боишься?

— Боюсь.

— Ладно, черт с вами, — махнул рукой папа, — пойдем, прогуляемся хоть по пирсу, полюбуемся на тех, кто ныряет в воду.

— Спасибо тебе большое, — чмокнула его в щечку мама, — вот по пирсу прогуляюсь с удовольствием!

И мы пошли гулять по пирсу. На людей посмотреть и себя показать.

— Не забывай о французской осанке, — напомнила мне Маня.

Мы втянули животы и расправили плечи, отключили попы и пошли, вихляя тощими бедрами.

— Во дают! — присвистнул какой-то мальчик.

— Ща как дам в глаз, — успокоила его Каринка.

Мы шли за родителями и любовались маминой фигурой.

— Мам, ты у нас такая красавица, — выдохнула я, — никто не скажет, что у тебя четыре дочки! Ты худенькая, и попа у тебя совсем не большая.

— Спасибо, — зарделась мама, — у меня просто гены хорошие.

— А у нас какие простогены?

— Не простогены, а гены. У вас тоже хорошие гены.

— Ура! У нас хорошие гены, — захлопали мы в ладоши.

— А у меня лучше всех! — прыгала вокруг нас Манька.

Потом мы принялись болеть за тех, кто ныряет в море. Долго любовались тоненькой девушкой в красном купальнике. Она какое-то время простояла на краешке пирса, потом в профессиональном прыжке прямой стрелой ушла в воду.

— Bravo, — захлопали зрители.

Девушка вынырнула и помахала всем рукой.

— Надя, последняя попытка, давай я тебя сейчас с пирса столкну. Инстинкт — великое дело, ты мигом вынырнешь и больше не будешь бояться воды. А я следом прыгну, буду тебя подстраховывать, — сказал папа.

И, не дожидаясь ответа, столкнул маму в воду.

— Аааааа! — кричала мама, пока летела к воде.

— Аааааа! — орали мы ей сверху.

«Бултых», — спрыгнул за мамой в воду папа.

«Бултых-бултых-бултых», — спрыгнули за папой еще несколько человек.

Какое-то время на поверхности вообще никого не было, потом один из ныряющих вытащил маму.

— Развожусь, — выдохнула мама, как только отдышалась.

— Аааааа, — орали мы сверху, — а где же папа???

Папа не выныривал. Кто-то вытащил маму на берег, и она тут же начала бегать вдоль кромки воды, рвать на себе волосы и орать: «Спасите моего мужа». Про развод она больше не заикалась.

Через минуту подоспели спасатели. Еще несколько томительных секунд — и они вытащили на поверхность совершенно бледного отца.

— Он живой? — кричали мы сверху и обливались горячими слезами. Громче всех орала Манюня:

— Дядяюрочка, ну хоть что-нибудь скажи, хоть головоооой пошевелиииии!!!!

— Он живой? — кричала мама с берега и норовила пуститься вплавь к мужу.

— Живой, — успокоили нас спасатели, — в обмороке, воды наглотался.

Потом оказалось, что, когда папа в спешке прыгнул в воду, он как-то неправильно нырнул и от резкого перепада давления потерял сознание. И пошел ко дну.

Дядя Миша подоспел, когда спасатели втащили папу на катер и делали ему искусственное дыхание.

Сначала папу рвало водой, а далее он пришел в себя и стал тут же отшучиваться, мол, все это специально придумал, чтобы крепкие мужики ему искусственное дыхание сделали.

— Все, — говорил он, — пошел я по кривой дорожке, обратного пути мне нет.

Потом папу торжественно доставили на берег, и они с мамой обнимались, и мама говорила: «Ну какой же ты у меня дурачок», — а папа говорил: «Жена, ты безнадежна, плаваешь как булыжник». А мы прыгали вокруг и орал: «Ура-ура, все живы-здоровы».

***И снова акт I. Как покакать на пляже, когда нет никакой возможности отойти***

— Баааа, — рыдала Гаянэ, — сейчас уже совсем терпеть не могууууу.

— Да что же это за наказание такое, — ругалась Ба, — деточка, давай подумаем о чем-нибудь отвлеченном, давай камушков наберем красивых.

— Нееееет, — плакала Гаянэ и норовила стянуть с себя трусики, — я прямо здесь покакаю!!!

Времени на раздумья не оставалось. Ба пошарила в сумке и достала стопочку картонных стаканчиков из-под мороженого. Огляделась. Недалеко возвышались три пальмы, а под ними даже росла какая-то чахлая трава.

— Вот тебе стаканчик, — сказала она, — беги туда в деревья и покакай прямо в него. Смотри не промахнись. А потом закопаешь его в песок.

— А я так дырочку в попе не найду, — пуще прежнего зарыдала Гаянэ.

— Так. Сними трусы. Наклонись. Хо-ро-шооо.

Ба примерилась, приставила стаканчик к попе Гаянэ.

— Придерживай вот тут вот. Побежала!

И Гаянэ рванула с места, семафоря всем своей толстенькой попой. Бежала чуть нагнувшись, придерживая у «выхода» стаканчик руками.

— Лопаточку забыла, — крикнула ей вслед Ба.

— Потом вернусь за ней!

— Фух, — протерла пот со лба Ба, — ну что, Сонечка, тебе покакать не хочется?

— Неть, — Сонечка увлеченно терзала затычку красного матраса, — я уже сдеяла ка-ка.

— Остается еще мне тут покакать, и сегодняшнюю миссию можно считать выполненной! — выдохнула Ба.

— Простите? — наклонился к ней внук Гольданской.

— Фух, как вы вовремя, — обрадовалась Ба, — посмотрите за ребенком, а я сбегая туда в кусты.

— Здесь недалеко есть общественный туалет. Правда, ужасно загаженный, и очередь к нему большая, но все же это лучше, чем в кусты ходить, вам не кажется? — неосторожно спросил Евгений Петрович.

Ба смерила его таким взглядом, что вся морская влага мигом выпарилась с тела Евгения Петровича.

— Там у меня внучка какает! — прогрохотала она на весь пляж. — А вы себе шуточки идиотские позволяете!

— О, простите меня, Роза Исааковна...

— Иосифовна! И я думаю, что у вашей бабушки таки были шрамы на лице, — выдохнула огнем Ба, подняла с песка лопаточку и пошла к пальмам.

Либи́до Евгения Петровича было растоптано на веки вечные!



За время нашего отдыха в Адлере случилось еще много чего интересного. Как-то:

Сонечка умудрилась поймать и съесть пчелу. Пчела ужалила ее в нижнюю губу, и все потом прыгали вокруг Сонечки, чтобы она не плакала и не расчесывала до крови губу. Когда Гоги брал ее на руки, она хваталась ручками за его уши и терлась зудящей губой о пышные усы.

«Уертихуостка», — смеялся Гоги.

Манюня нашла в саду черепаху и решила забрать ее с собой домой. Рассказать взрослым об этом мы побоялись и просто спрятали черепаху в Манин чемодан. На третий день Ба за чем-то полезла туда, и вопль, который она испустила, услышали на том берегу Черного моря. Далее, сыпля проклятиями, она кинулась нас разыскивать, но Гоги ее опередил, заперся с нами в чулан и шепотом говорил: «Ни разу в жизни не увидел, чтобы черепаха так быстро улепетиуала».

Каринка покалечила соседского мальчика, и его родители пришли разбираться с Гоги и Натэлой.

— Как можно пускать к себе таких неблагонадежных жильцов, — ругались они.

— Сергей Максимович, не о том беспокоишься, — говорила Натэла, — переживать надо за то, что твой двенадцатилетний сын четыре года занимается борьбой, а его восьмилетняя девочка в два приема уложила.

— Уот! — сокрушенно кивал головой Гоги.

А в вечер перед нашим отъездом Гоги затеял прощальный шашлык, и мы допоздна сидели в саду, за длинным деревянным столом, накрытым простенькой клеенчатой скатертью, заедали сочное мясо хрустящим хачапури и салатом из запеченных овощей, и мама под диктовку Натэлы записывала рецепт «правильного» пхали.

На десерт взрослые пили кофе, а дети ели крупную, приторно-сладкую черешню и запивали ее кисленьким компотом.

А на следующее утро папа с Гоги чуть не подрались, потому что Гоги не хотел брать деньги за последние несколько дней проживания и кричал: «Юрик, уи никак хотите меня сильно оскорбить?» Чтобы не доводить дело до смертоубийства, Ба молча забрала у папы деньги и сунула их Гоги за шиворот.

— Спасибо, генацвале, — гаркнула она, чем ввела Гоги в долгий благоговейный ступор.

*Я навсегда запомнила тот июнь, и густое ночное небо над Адлером, и шумные его улочки, и дни, когда мы все были вместе и ни одному нормальному человеку не было дела до того, грузин ты, русский, еврей, украинец или армянин, и казалось, что так будет всегда и этой дружбе нет конца и края.*

*Я навсегда запомнила вкус той приторно-сладкой последней черешни и то, как Натэла смешно складывала губы трубочкой, назидательно приговаривая: «Надя, ты главное запомни — орехи лучше толочь в ступке, а не пропускать через мясорубку», — а Гоги, боязливо оглядываясь на Ба, объяснял дяде Мише: «Пожестче надо быть с женщинами, даже если эта женщина — твоя мать».*

*Я ни к чему не призываю.*

*Я прошу вас остановиться на минуту и вспомнить, как это прекрасно — просто дружить.*

*Вот так должно быть сейчас. И завтра. И послезавтра. Всегда.*

*Спасибо.*

## Примечания

- Традиционная армянская песня пахаря.  
2
- Кисломолочный продукт.  
3
- Хлеб.  
4
- Дословный перевод армянской фразы, которая по-русски означает «конечно, не вопрос».  
5
- Съешьте мою задницу (уж извините, но из песни слов не выкинешь).  
6
- От «захре мар» — змеиный яд (*фарси*).  
7
- Ду-ек (или ду-як) — 2:1 (фарси, все цифровые комбинации на игровых костях называют на языке фарси).

Взято из Флибусты, [flibusta.net](http://flibusta.net)

## МАНЮНЯ, ЮБИЛЕЙ БА И ПРОЧИЕ ТРЕВОЛНЕНИЯ

### Послесловие от автора

Меня часто спрашивают о героях повествования – что с ними стало, в кого они выросли.

Выросли все девочки, как ни странно, во вполне адекватных людей. Согласитесь, очень трудно представить такое по следам нашего ядерного детства.

Мы с Манькой выучились на филологов. Маня потом переучилась еще и в компьютерного программиста и уехала далеко за границу. Там ей живется очень даже счастливо и радостно. Я в долгу не осталась и переучилась в бухгалтера, трудилась на этой ниве несчастным и не вполне удачливым специалистом, пока с горя не начала писать. Вот так иногда из филологов-бухгалтеров вырастают литераторы. Тернистыми неисповедимыми путями сами знаете кого.

Каринка получила два высших образования, проработала какое-то время в важном военном министерстве, а потом ушла в батик с головой. Они с Гаянэ расписывают удивительной красоты шелковые платки – их очень любят туристы, приезжающие в Армению. Приглядитесь к платочку, купленному в Ереване. Вполне возможно, что в его уголке вы обнаружите фамилию Абгарян.

Сонечка выросла в художника-нонконформиста. Это художники, которых хлебом не корми, дай только повыступать против обычного порядка вещей. Очень подходящая ее характеру профессия.

Один мой замечательный друг как-то сказал: «Детство заканчивается в тот миг, когда жизнь перестает казаться бесконечной».

Давайте считать жизнь бесконечной. Тогда наше детство – беззаботное, радостное, прекрасное – будет с нами всегда.

И спасибо нашим родным и близким за то, что оно у нас, такое счастливое, было. Спасибо.

Взято из Флибусты, [flibusta.net](http://flibusta.net)

## Наталья Волнистая

Биография незатейлива.

Про возраст умолчу. Ежели его не упоминать всеу, то возраста этого как бы и нет.

Давным-давно, в 16 лет приехала из маленького городка в Минск, да так в нём и осталась. Всю жизнь работаю программистом – и до сих пор не надоело. У меня есть муж и сын, они замечательные, мне с ними повезло. Насчёт того, повезло ли им со мной – не уверена. Но терпят.

Почему пишу? А бог его знает. Наверно, для сына. Чтобы через много лет он сказал внукам – вот, почитайте, бабушка ваша не всегда в маразме пребывала.

Живу в Минске.

### **Произведения:**

«Рассказы ни о чем»

Мои истории...

Свитерь

### **Отзывы, рецензии:**

*matildon*

Очень понравились ещё "Об искусстве и жизни", "О путях неисповедимых", "О тяжести".

Ох, да всё хорошо и душевно. :-)

*Pumma*

Блеск! Про кактус знаю, прелесть, про шрайбен хохотала час.

*Samurai27*

Спасибо! Очень здорово!!! Почему-то даже слезы слегка навернулись под конец...

## РАССКАЗЫ НИ О ЧЕМ

### О КАКТУСАХ И УХОДЕ ЗА НИМИ

У одной женщины расцвел кактус. Ничто не предвещало. Четыре года торчал на подоконнике, похожий на хмурого и небритого похмельного дворника — и на тебе. А некоторые считают ее злобной бездушной стервой. Неправда ваша. У злобных бездушных стерв кактусы не цветут.

И в думах о кактусе она оттоптала ноги мрачному мужчине в метро, но не взвилась оскорбленно (а если вы такой барин, то на такси ездить надо!), а улыбнулась:

— Не сердитесь, ради бога, не могу ни за что ухватиться, хотите — наступите мне на ногу, будем квиты.

И мрачный мужчина проглотил то, что уже собирался было озвучить. А потом вышел на своей станции и вместо того, чтоб обозвать тупой коровой запутавшуюся со сдачей киоскершу, сказал ей:

— Ничего страшного, пересчитайте еще раз, я с утра тоже не силен в арифметике.

А киоскерша отдала за просто так два старых журнала и целый ворох старых газет одному старичку, который, видно, очень любил читать, но каждый день покупал только одну газету, подешевле. Вообще-то, нераспроданное полагалось списывать, но есть методы обхода.

А довольный старичок пошел домой с охапкой прессы. И, встретив соседку с верхнего этажа, не учинил ей ежедневный скандал (ваш ребенок топчет по квартире, как конь, воспитывать надо!), а посмотрел и удивился:

— Как дочка ваша выросла-то... Вот не пойму, на кого похожа больше — на вас или на мужа? Красавица будет, у меня глаз наметанный.

А соседка отвела ребенка в сад и примчалась на работу. И не обгавкала бестолковую бабку, записавшуюся к невропатологу на вчера и пришедшую сегодня, а сказала:

— Да ладно вам расстраиваться, и я забываю. Вы посидите, а я спрошу у врача, вдруг он сможет вас принять.

А бабка не стала угрожать жалобами во все инстанции вплоть до Страсбургского суда по правам человека, требуя у доктора выписать очень действенное, недорогое и еще не придуманное лекарство, чтоб принял — и всё, как двадцать лет назад, а вздохнула:

— Я ж не совсем из ума выжила, понимаю, что старость не лечится, вы меня, доктор, простите, таскаюсь к вам, как на работу.

А доктор ехал вечером домой, вспомнил бабку и пожалел ее, и подумал, что жизнь, черт ее подери, летит мимо, мимо, и остановился у супермаркета, купил букет какой-то дурацкий и торт с хищного вида кремовыми цветами. И поехал потом совсем в другую сторону.

— Ну что мы всё, как дети, в песочнице куличики делим, вот я тебе торт купил, только я на него портфель положил нечаянно, но это ж ничего, на вкусовые качества не влияет. И цветы купил, правда, их тоже портфелем прижало, помялись, может, отойдут?

— Отойдут, — сказала женщина, — мы их реанимируем. Ты только представь, я сегодня проснулась, смотрю — а у меня кактус расцвел, видишь?

### О ДУШЕРАЗДИРАЮЩЕМ

Чтоб я не вертелась под ногами у старших, меня очень рано научили читать.

Так вот, первым книжным кошмаром моего детства была сказка “Серая шейка”. Там про утку с больным крылом, которую другие утки (родственнички, так их и этак) бросили помирать на исторической родине, а сами веселой стаей рванули в теплые страны. Бросили, чтобы она не тормозила их величавый полет. Осень, потом зима, и лиса (вроде бы, та самая, которая и сломала ей крыло) нарекает круги вокруг замерзающей полыни.

До этого места я еще дочитать могла. Дальше — слезы градом от жалости к несчастной утке...

Когда мой сын вошел в осмысленный возраст, решила я повторить этот жестокий эксперимент на нем. Да и самой интересно, чем у них там окончилось. Все повторилось с точностью до предложения. Ребенок ударился в слезы, а потом дня два препрыгивал книжку, чтоб я ее, не дай бог, не нашла.

Мы оба до сих пор не знаем развязки. Я подозреваю, что бедную утку спас какой-нибудь добрый самаритянин, а когда вернулась вся эта утиная стая, загоревшая и отдохнувшая, то, небось, всплескивали удивленно крыльями и кричали:

— Ну это ж надо — жива! Чай, промахнулась-то наша лиса, совсем старая стала...

А потом судачили между собой, что ею, мол, даже лиса побрезговала.

### О МЕЛОНЕНАВИСТНИЧЕСТВЕ

7 лет. Боже мой, 7 лет.

За это время живущий этажом ниже ребенок убил во мне любовь к музыке.

Первый год она изошренно терзала музыку народную. Сколько боли и неизбывной тоски в незатейливых мелодиях русской песни “Во поле береза стояла” и белорусской “Перепелочки”, если их исполнять в стиле три такта, ошибка в четвертом, второй такт, почему-то пятый, снова со второго и опять ошибка в четвертом, и т.д. Причем у каждого такта свой темп.

Я утешала себя. Я говорила себе, мол, вначале всегда так, рука не поставлена, пальчики путаются, надо потерпеть.

7 лет.

Потом она взялась за классику.

Как вы думаете, что получится, если играть “Времена года” Чайковского (“У камелька” — Январь) при полной рассогласованности правой и левой рук? Впечатление, что правая рука исполняет “У камелька” (Январь), а левая — “Масленицу” (Февраль). Вот именно так и получалось, как представили. А то и хуже, ибо жизнь куда богаче любого воображения, и иногда ни с поля, ни с лесу посреди масленицы с камельком слышится многострадальная “Перепелочка”.

Три такта, ошибка в четвертом, второй такт, почему-то пятый, снова со второго и опять ошибка в четвертом.

До прошлого года я любила Шопена. Пока это несчастное дитя не начало разучивать его мазурку и полонез. Шопену хуже, чем Чайковскому. Тело его с глухими стенами переворачивается в гробу на кладбище Пер-Лашез, а сердце — в варшавском соборе Св. Креста.

Какой бездушный мизантроп внушил маме девочки, что ее дочь непременно должна брэнчать на фортепианах?!

Она и брэнчит. С 10 до 11 вечера. Иногда и позже.

Какой педагог настолько ненавидит Мусоргского, что предлагает девочке играть “Ночь на Лысой горе”?! Это можно делать только для разгона упомянутого шабаша.

Три такта, ошибка в четвертом, второй такт, почему-то пятый, снова со второго и опять ошибка в четвертом.

Не нужно искать Кольцо Всевластия, не стоит время тратить. Одно исполнение моей юной соседкой “Ночи на Лысой горе” — и Саурон, Саруман, Дарт Вейдер, лорд Вольдемор и далее по списку не рассматриваются в качестве хоть чего-нибудь стоящих противников. Их просто сметает, они улепетывают в своих развевающихся одеяниях, теряя Кольца Всевластия, Жезлы Могуущества и забывая Истинные Имена. Всего-то работы — ходи и подбирай — и безо всякого экстремального туризма в Мордор.

Да, у меня зрели планы мести. Я тонко намекала своему ребенку, как это здорово — быть ударником. Тем более, я знала, где можно взять задешево ударную установку. Да какое там задешево — бесплатно. Там бы еще и приплатили.

Но, представив себе, что снизу звучит очень вольная интерпретация “Фантазий на темы оперы Риголетто” (Верди-Баси), а сверху все это сдобривается барабанами-тарелками и прочим (ибо мой ребенок тоже отличается музыкальностью)... Будем считать, что победили человеколюбие и инстинкт самосохранения.

7 лет.

И только сейчас до меня дошло: а что если девочка решит учиться дальше?.. Нет-нет. Столько я не нагрешила. Столько вообще нагрешить невозможно.

P.S. Автор раскланивается и удаляется, улыбаясь доброй и бессмысленной улыбкой и напевая “А у перапелачкі галоука баліць... Ты ж мая, ты ж мая перапелачка...”

Три такта, ошибка в четвертом, второй такт, почему-то пятый, снова со второго и опять ошибка в четвертом.

## О ТЕМАТИКЕ ЖИЗНИ

Ну какой там Вениамин, все звали его Веник.

Веник-Веник, славный, добрый, нищий инженер со смешными гусарскими замашками.

Всякий раз, приезжая к нам в командировку, он приглашал меня в ресторан, и каждый раз я глядела на его туфли со сбитыми носами, лоснящийся пиджак и отказывалась, мотивируя своей идиосинкразией на все и всяческие рестораны. Мы шли пить кофе в какую-нибудь забегаловку, и он часа на два закатывал сольный концерт на единственную интересующую его в жизни тему: историю казачества на Северном Кавказе. Веник-Веник, с мамой полуэстонкой-полунемкой и папой полубурят-полурусским, имеющий к казачеству такое же отношение, как я к аборигенам Папуа — Новой Гвинеи.

Как-то приехал с измученным лицом — старенькие родители умерли в один месяц. А потом появился в неумело связанном свитере — счастливый, глаза горят, терские казаки отступили в тень. Женился. Женился на девочке из ниоткуда, с фамилией, придуманной в детдоме. Но женой она оказалась замечательной, идеальной, полностью растворившейся в муже и не желавшей себе другой судьбы. Теперь он говорил о жене. И немного о казаках.

Жена родила ему девчонок-близняшек. И появилась третья тема. Дочки и жена. Жена и дочки. И только за ними, с большим отрывом, казачество.

Потом страна рассыпалась, а жизнь продолжилась, и Веник ушел в ту неревизируемую память, куда ушли многие просто знакомые, несколько раз встреченные, сколько их там — не сочтешь.

Но прошлое — интересная штука. Вдруг выплывают полузабытые тени. Он позвонил, сказал, что у нас тут проездом, но вечером мы непременно должны поужинать в приличном месте. На тот вечер у меня чего-то было запланировано, что нельзя отменить, да и не хотелось отменять, но два часа выкроились, и я лихорадочно начала вспоминать, где в округе самая дешевая кофейня, потому как Веник болезненно реагировал на мои попытки расплатиться за свой кофе самой.

Потом он перезвонил, сказал, мол, выходи, мы уже подъезжаем. “Мы” несколько удивило.

На стоянку сначала вползло нечто благородно-черное, сверкающее, солидное, в наших палестинах почти не виданное, а следом вкатился бегемотоподобный джип, из которого выпрыгнули три “шкафа двухстворчатых с антресолями”, один начал бдитительно обозревать окрестности на предмет обнаружения скрытой угрозы, а двое других подскочили к первой машине и под белы ручки вынули из ее загадочных глубин Веника с букетом в половину моего роста и зарплаты. Президенту Путину или зеленым человечкам я бы удивилась куда меньше.

Веник-Веник. Как же он всем этим антуражем гордился, машиной этой, охраной, которая в нашей стоячей воде нужна ему была как рыбе зонтик. Гордился минут пять, потом гордиться надоело. Погода стояла замечательная, и мы решили просто прогуляться, свита медленно двигалась в кильватере.

Когда девочкам было по 4 года, страшно и необратимо заболела жена. Денег в доме на тихую жизнь с натяжкой хватало, а на болезнь — уже нет. И Веник, как в омут, бросился в бизнес. Наверно, Бог его заметил и пожалел. Через пару лет он уже возил жену по всем возможным клиникам, и в каждой ему говорили одно и то же: это не лечится, это не лечится нигде.

Жена умерла, когда дочки окончили первый класс. Это не лечилось нигде.

Он так и не женился. И мне кажется, поменял бы все, что имеет, на другое настоящее. Какое угодно, но с женой.

В жизни осталось две с половиной темы: дочки, которые смотрят на него мамиными раскосыми глазами, вольные казаки на Тереке, и где-то там, с большим отрывом, бизнес.

## О ПРОЯВЛЕНИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ К ИНОЗЕМЦАМ

Каждый месяц плачу за квартиру, воду и т.д. В одном и том же банке. В одном и том же окошке. Одной и той же медлительной тетке.



Каждый раз она пугается одного счета и начинает кудахтать, что их банк эту оплату “не проведет”. Каждый раз я вытаскиваю предыдущие квитанции и убеждаю ее, что никуда он не денется, проведет, как миленький. Меня она уже помнит, даже на улице здоровается, а про счет — никак.

Ну вот, опять пришла. Здравсьте-здравсьте, вот, пожалуйста, спасибо, где расписаться, и еще вот эта оплата, пожалуйста. Обычный диалог. На родном мне русском языке, на котором я разговариваю без всякого акцента, честное слово.

За мной стоят: сонная девица, крепкий дед лет под 80 и лицо жгучей национальности. В разгар нашего с теткой общения (то есть мы уже дошли до непроводимого счета и она привычно затрепетала) у меня зазвонил телефон. Нет, не слон, а приятельница из Голландии, которая собирается на важное интервью в солидную фирму и просит всех знакомых держать пальцы скрещенными, стучать по дереву, короче говоря, помогать ей телепатически. Разговор короткий, не дольше минуты, но на английском. Уточняю — на моем английском, с моим произношением.

Закрываю телефон, извиняюсь перед теткой, в общем, я вся внимание.

Тетка начинает говорить, отчаянно артикулируя, отчетливо и громко произнося каждое слово:

— Вот! Тут! Расписаться! Писать! Тут! Фамилия!

Стоящий за мной дед вносит свою лепту:

— Шрайбен, слышь? Тут надо шрайбен фамилия! — и тычет сухим пальцем в квитанцию, в то место, где надо шрайбен фамилия.

Лицо жгучей национальности хватает со стойки какую-то бумажку, вытаскивает ручку и своим примером пытается объяснить, что же от меня требуется:

— Сюда гляди. Видишь? Я — Саркисян. Пишу — “Сар-ки-сян”. Ты — Клинтон. Пиши — “Клин-тон”.

Тут подключается девица:

— Что вы несете? Она сейчас “Клинтон” и напишет. Девушка! Мисс! Райт! Вот тут! Райт. Фэмили. Или нейм. Райт!

Я почувствовала, что не вправе их разочаровать. Я шрайбен фамилию молча. Свою. Не Клинтон.

Я молча отдала мани и взяла чейндж. Не переставая кип смайлинг. Клоузед май бэг энд воз оф.

Когда уходила, дед с Саркисяном обсуждали, как тяжело жить в другой стране без знания языка.

## ОБ ИСКУССТВЕ И ЖИЗНИ

Когда Люся сделала ремонт в своей крохотной полуторке и переставила мебель, выяснилось, что стена в комнате как-то пустовата. Что-то просто просилось быть повешенным на эту стену. И Люся поняла, что именно и где это найти.

По выходным художники оккупировали сквер. Реализмом там и не пахло. На пьяной улице танцевали пьяные развеселые дома, странная многоногая лошадь скакала по

фиолетовому полю, и на фоне занавески цвета запекшейся крови сидела еще более странная женщина — одновременно и в фас, и в профиль. И сами художники были под стать своим произведениям.

Не сразу Люся нашла то, что надо. На картинах у солидного дядьки в берете красивые девушки вбегали в набегающие волны, выглядывали из-за белоствольных берез, лежали, жарко раскинувшись, в разнотравье, глядя на зрителя со скромным лукавством. Правда, смущало то, что девушки были голыми, а та, что вся в лютиках и васильках, напоминала хрестоматийные строки: “под насыпью, во рву некошеном, лежит и смотрит, как живая”.

— А вы пишете портреты? — спросила Люся.

— На счет раз, — ответил художник.

— А сколько это будет стоить?

Художник ответил. Люся про себя ахнула, но не отступила:

— А с котиком на руках можно?

— Хоть с крокодилком, но за котика придется доплатить.

И хоть у художника и было заказов по горло, но как раз сейчас он оказался немного свободен, так что начнет портретирование уже сегодня вечером.

Художник пришел, как договаривались, но не с кистями, красками и мольбертом, а с дешевой “мыльницей”.

— Сейчас так все делают. Вот Никас Сафронов — страшные тысячи за портрет берет, а тоже по фотографиям, — объяснил художник. — Ну, давайте пожелания.

— Знаете, — сказала Люся, смущаясь, — я бы хотела быть на портрете помоложе. Немножко. Чуть покрасивее. В голубом платье — любимый цвет. Потом, вот волосы, у меня, видите ли, аллергия на любую краску, а всегда хотелось быть с такой рыжинкой. Ну, вы понимаете?

— Чего ж тут не понять, — сказал художник. — Все так хотят, чтоб с рыжинкой. Идите, переодевайтесь. И кота берите.

Люся замялась:

— Платье я не купила. Такие цены. Что платье — сносишь, и как не было. А портрет на всю жизнь. Вы уж как-нибудь сами платье, пожалуйста. А котик у меня такой, знаете, своеобразный. Пушок! Пушок!

Художник только крикнул, увидев Пушка, подобранного в младенчестве и за два года превратившегося из трогательного, жалобно мяукающего комочка в наглую, бесчувственную и прожорливую скотину (и безо всяких там глупостей, типа уютных мурлыканий на коленях у хозяйки), причем все эти качества явственно читались на его шкодливой морде. Но Люся его нежно любила.

— Котика тоже подправим, — решительно сказал художник.

Нафотографировал Люсю и кота и ушел с авансом.

Но не исчез, не обманул, через неделю принес портрет.

Тетки из Люсиной бухгалтерии, пришедшие посмотреть и ремонт, и портрет, проглотили свои раздвоенные языки.

С портрета со скромным лукавством глядела сидевшая в кресле молодая красивая женщина, с рыжеватыми волосами, в открытом голубом платье, немножко похожая на Люсю, а на руках у нее был огромный рыжий кот чрезвычайно умильного вида.

Но было на портрете кое-что еще, отчего заткнулась даже главная кобра Кира Семеновна. Рядом с креслом на картине был придуман дверной проем в прихожую, и художник даже нарисовал в этой прихожей вешалку, на которой висели мужской плащ, мужская куртка и черная мужская шляпа.

Все-таки это был очень хороший художник.

## ОБ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

Мир был огромен. Частями Мира были Дом, Двор, Сад и Улица. За его пределами лежали неведомые земли, населенные индейцами, пиратами и папуасами из книжек брата. По Улице проезжали телеги, влекомые грустными лошадьми, иногда гроыхал зеленый грузовик, проходили непохожие на нас, живших в Мире, люди. Индейцы с папуасами не наблюдались, но я понимала: это просто вопрос времени, вот-вот появятся.

Дом был громаден и стар. Днем он как-то держался, не скулил и не жаловался, а по ночам давал себе волю, охал, скрипел и хлопал дверцей монументального буфета. Когда исчез наш кот, бабушка сказала: он ушел умирать. Я боялась, что когда-нибудь мы проснемся в своих постелях под ясным небом — наш Дом уйдет, оставив нас сиротами.

Двор был обширен. В дальнем его конце сидела на цепи мрачная нелюдимая собака. Она считала себя не сторожем, а пленным, ну и вела себя соответственно статусу. Я мечтала, что собаку отпустят на волю, и я, наконец, обыщу ее будку, ибо куда еще могли деться три цветных стеклышка — зеленое, синее и красное, ясно, что собака к лапам прибрала. Как трофеи.

Сад был необъятен. Сначала цветы — бабушка любила пионы, пионы были громадными, роскошными, быстро зацветали, быстро осыпались, земля под кустами становилась бело-розовой, вишневой, багровой. А мне нравились невзрачные звездочки турецкой гвоздики и мята. Гвоздику бабушка все грозила повыдергивать, да руки не доходили. Мята, днем незаметная, к сумеркам просыпалась и наполняла Сад горьким тревожным запахом. За клумбами были непроходимые заросли сирени. Внизу просто скучные ветки, а там, наверху, в небе, облаками плыли тяжелые гроздья.

Место было низкое, и чтоб по весне и в дожди Сад не заливало водой, по периметру выкопали канавы, а под огромной, в полнеба, ивой — пруд. За канавами росла малина. Года в четыре, обидевшись за что-то на бабушку, я решила уйти от всех. Бабушка не отговаривала, положила в корзинку яблоко и завернутый в белую салфетку бутерброд, и я гордо удалилась на край Мира, за канаву, в кусты малины. Яблоко и бутерброд съедены, запах малины и спокойное жужжанье пчел, на краю канавы застыла изумрудная лягушка. Дед сидел в дозоре в кустах смородины, следил, чтоб дите не свалилось в воду, дождался, пока усну, и вернул беглую внучку в Дом.

Брат сказал, что в пруду живет щука “во-от такой длины с вот такими зубами”, лучше не соваться, утащит под воду, и я часами таилась под ивой, обмирая от страха и любопытства, готовая вскочить и бежать, если щука высунет свою зубастую пасть из воды.

Я стала взрослой и снова приехала туда.

Маленький старый дом, крохотный двор, пруд — четыре шага в длину, два в ширину, и сирени — не лес, а несколько кустов, и в пяти яблонях нельзя заблудиться.

И только если сесть, стать на метр ближе к мягкой траве — все возвращается, приобретает истинные размеры.

Дом. Двор. Сад.

## О ПУТЯХ НЕИСПОВЕДИМЫХ

Вот, например, Надя.

Интеллигентнейшая семья, на каждой ветке генеалогического древа которой угнездилось по профессору с искусствоведем. Фортепиано. Художественная школа. Три иностранных языка. Почти золотая медаль. Институт, готовящий безработных с изящным образованием.

Поклонники появлялись, так как Надя не то чтобы красавица, но мила, несомненно мила.

Поклонники исчезали, испытания ужином в семейном кругу никто не выдерживал. То у них и с единственным языком проблемы, то рыбу вилкой ели, то их до нервной дрожи пугала Надина бабушка выяснением границ их художественно-музыкального кругозора.

— Замечательный мальчик, Наденька, — говорила бабушка после бегства поклонника, — просто замечательный. Но — увы! — не нашего круга. Ну куда за него замуж?..

Надю отправили на дачу за яблоками. Хилая яблонька неожиданно испытала пароксизм плодородия, и Надя потащила домой в руках два тяжелых пакета яблок, а в сумочке на плече килограмма три маленьких твердых груш.

Электричку она еще худо-бедно пережила.

Неизвестно, что именно подействовало на воспитанную Надю, которая за всю свою жизнь даже слово “задница” ни разу не произнесла вслух — то ли оттоптанное напрочь ноги, то ли оттянутые пакетами руки, то ли съезжающая с плеча сумка, но когда в троллейбусе она устремилась к свободному месту, а какой-то подвыпивший тип на финише обошел ее на полкорпуса, и при этом толкнул, и при этом выбил один из пакетов, и тот упал, разорвался, и яблоки раскатились по салону, и сумка опять свалилась с плеча, — то в Наде проснулись подавляемые во многих поколениях животные инстинкты, и она врезала этой самой сумкой пьяному по голове.

Пьяный драться в ответ не полез, но обиделся и обозвал Надю стервой. И Надя снова размахнулась сумкой. Сумка раскрылась и, влекомые центробежной силой, груши просвистели в разных направлениях, а одна из них метко попала какой-то тетке в лоб. Тетка сочла себя невинной жертвой и позвонила в милицию.

Милицейский наряд, похоже, сидел в засаде где-то неподалеку, так как не успел троллейбус остановиться, как был взят штурмом. Нападавшую хулиганку, потерпевшего и пострадавшую свидетельницу свезли в околоток. Вот тут пелена, застилающая глаза, растаяла, и до Нади дошел весь кошмар содеянного.

Разбирательство она почти не запомнила. Верещала тетка. Протрезвевший пьяный что-то тихо говорил пузатому милиционеру, а тот качал головой:

— Во девки пошли! Скоро на улицу страшно выйти будет.

В итоге Наде сказали, что раз потерпевшая сторона не будет писать заявление, то Надя свободна. И пусть хорошенько обдумает свое поведение. И нервы пусть полечит, пока окончательно не стала асоциальным элементом.

Всю дорогу домой Надя проплакала от стыда и ужаса. Дома она сквозь всхлипы поведала о случившемся побледневшим родителям и бабушке, и в густом запахе валокордина семья не спала всю ночь, прокручивая мысленно один и тот же сюжет: Надю ввергают в узилище.

На работу Надя не пошла — а смысл? После такого позора. Пролежала на диване день, уткнувшись носом в стенку.

Вечером в квартиру позвонили. Вся семья высыпала в прихожую в полной уверенности, что за Надей пришли. Папа дрожащими руками открыл дверь. За дверью обнаружился давешний потерпевший. Бабушка храбро шагнула вперед:

— Молодой человек! Надя совершила необдуманный поступок, она искренне раскаивается, и мы все клянемся, что подобного никогда больше не произойдет. Простите ее, не ломайте ей жизнь!

От такого напора молодой человек прынул в сторону, задев висящую на одном гвозде вешалку, которая успешно свалилась на его многострадальную голову, и рухнул наземь, придавив спрятанный до сих пор за спиной букет хризантем. А очухавшись и потирая макушку, сказал:

— Я вообще-то сам извиняться пришел. Я не пью, не думайте, я автослесарь, полтора дня одному чудаку машину делал не отходя, потом рюмку коньяку на голодный желудок — и на тебе.

Потом он посмотрел на учиненный разгром и мрачно спросил у папы:

— А дрель у вас в доме есть?

Ну что вам сказать? Вешалка была пришпандорена в тот же вечер. Через пару дней он пригласил Надю в кино. Через неделю повез всех на дачу и выкосил там многолетний бурьян у забора. Через месяц сопровождал бабушку в филармонию, так как все были заняты, Надя простыла, а бабушку с ее больными ногами отпускать одну было нельзя.

— Как прошло приобщение, храпел на весь зал? — спросила Надя у бабушки.

— Он уснул довольно быстро, — ответила бабушка. И добавила: — Но спал очень одухотворенно!

А перед сном она зашла к Наде.

— Надюша, он, конечно, замечательный мальчик. Увы, не нашего круга. Но если ты за него не выйдешь замуж — считай, что у тебя нет бабушки!

## О ЧЕМОДАНЕ С МНОГО ДЕНЕГ

Л. звонит редко, но каждый ее звонок — это праздник, народное гуляние, которое неизвестно куда вывезет — то ли в мирное распевание хоровых песен, то ли в массовую драку с увечьями, но фейерверк на десерт гарантирован при любом раскладе.

— Так, у меня идея, — говорит Л. — Мы напишем дамский роман, за мной сюжет, а ты его распишешь, чтоб читабельно было.

— Для чего? — интересуюсь я.

— Для денег. Тебе что, деньги не нужны? — возмущается Л. — Напишем и издадим. У меня завелись связи в издательстве.

Сколько я помню Л., и связи, и идеи у нее заводятся с той же легкостью, с какой в неопрятных пьющих семьях появляются тараканы — из ничего и ниоткуда, вот их еще не было, и вот они уже бодро топчут по грязному линолеуму, деловито шевеля усами и нагло поплеывая на закон сохранения материи.

— Значит, так. Она из обеспеченной семьи. Красавица. Муж — депутат думы, старше ее лет на 20. И вот она едет мирить своего брата-козла с его женой. И знакомится с молодым офицером генштаба. А он...

— А ничего, что ты мне сейчас “Анну Каренину” пересказываешь?

После паузы Л. расстроено говорит:

— Вот черт. Черт! То-то мне так придумывалось легко... Ну ладно. У меня еще тут есть. Значит, так. Она из бедной семьи, такая нищая, честная, гордая красавица. Вот она едет в Мексику...

— В бордель?

— Ты что, с ума сошла? Тебе ж сказано: честная и гордая!

— А на какие шиши нищая красавица едет в Мексику?

— Она моет полы по вечерам, чтоб заработать на хлеб, вот намылась полов, идет домой и находит чемодан с много денег.

— Что, прямо вот так и стоит открытый чемодан с много денег?

— Закрытый, конечно.

— Так какая ж она честная, если шарит по чужим чемоданам?

— Ты зануда, как тебя еще муж не бросил?.. Ну, интересно ей стало, подумала: а вдруг в этом чемодане много денег? Так оно и оказалось. И в тот же вечер она улетает в Мексику. А там...

— Нелегально улетает? Или у нищей девушки наготове был загранпаспорт, ну, на всякий случай, если вдруг споткнется о чемодан с много денег.

— О, господи. Какая ты скучная. Ну, не в этот вечер, ну, через неделю. Ладно. Самолет терпит крушение над бескрайними мексиканскими джунглями, спасается она одна.

— А чемодан?

— С чемоданом. Ну, там джунгли, анаконды, львы по ночам рычат, шакалы воют — очень страшно. Вот она скитается, скитается, как Робинзон Крузо или кто там еще скитался, и, наконец, знакомится с таким красавцем, ну, такой молодой Бандерас. Он пусть будет зоопсихолог, кого-нибудь в джунглях изучает, горилл, например. И вот самая главная горилла-вожак понимает, что...

Тут я, в отличие от главной гориллы-вожака, перестаю понимать что бы то ни было, и перед моим мысленным взором встают непроходимые мексиканские джунгли, населенные львами, гориллами и, наверняка, белыми медведями, а также красавцами-зоопсихологами, а в самых мрачных и непроходимых дебрях гордо скитается честная девушка с чемоданом денег. А, собственно говоря, где ей еще скитаться?

Потом мысли плавно переходят к чемодану с много денег. Вот иду я, напрограммировавшись, домой, смотрю, стоит чемодан, ну, я, конечно, тоже честная и гордая, но все же — а вдруг в нем много денег?.. С ужасом осознав зародившееся родство душ с гражданином Корейко, я ухитряюсь перебить Л. (где-то в районе бандитов, которые через год хватились-таки своего чемодана с много денег и всей своей ОПГ летят в Мексику, где у честной девушки вот-вот должна состояться свадьба с зоопсихологом):

— Ты меня прости, но и опыта у меня никакого, и времени вовсе нет, только испорчу все. Ты кого-нибудь другого найди.

Л. обиженно говорит:

— Так я и знала, тебе не понравилось.

А потом грустно добавляет:

— И правда, лажа лажей. Вот скажи мне, отчего это я внутри такая умная, а наружу только дурь пробивается?

### ОБ АДЕЛИНЕ МАРКОВНЕ, ТЕЩЕ

Я знаю, что в жизненных историях happy-end — скорее исключение, чем правило. Мы куда чаще оказываемся у разбитого корыта, нежели в царском дворце и чтоб райские птицы на каждой ветке зимнего сада.

Знаю разводы, в которых делилось все, до последней чашки, и если к данной чашке не было пары, то одна из сторон (а то и обе сразу) вела себя а la мстительный Карандышев — так не доставайся же ты никому! — и с размаху об пол, пугая кота и нижних соседей. Видела, как исчезает в туманных далах отец семейства, влекомый в эти самые дали новой Единственной Любовью, напрочь забыв и о прежней Единственной Любви, и о детях, и о том, что детей надо кормить, а через сколько там лет материализуется на пороге, сильно обижается, почему это семья со светлыми слезами счастья не бросается ему на шею, и посему пытается добиться семейной любви (а главное — справедливости!) через наш самый гуманный в мире суд.

И прочее, и прочее. Вплоть до совсем уж чернухи.

Но я не хочу писать об этом.

Дайте мне рассказать об Аделине Марковне, теще.

У Аделины Марковны, строгой преподавательницы английского, было две дочери-погодки. Девушки выросли бойкие, красивые, неглупые, так что потенциальные зятья не заставили себя ждать — летели, как мухи на вишневое варенье, только успевай отмахиваться кухонным полотенцем. В общем, как сказано у Шергина: в женихах как в сору рылись. И с лица Аделины Марковны, наблюдавшей за этим роением, не сходила вся многовековая скорбь еврейского народа, доставшаяся ей от дедушки по отцовской линии и так и не сглаженная позднейшими наслоениями русской, польской и грузинской крови, ибо будущая теща спинным мозгом чувствовала: при наличии выбора, как правило, выбирается далеко не лучшее.

Старшая дочка, отметнув весьма перспективные варианты (чиновник из администрации президента, владелец шустрой торговой фирмы, сын известного папы и т.д.), привела домой рыжего и конопатого голландского вулканолога Барта. Само словосочетание — голландский вулканолог — настораживало. Ну, как эскимосский селекционер

тропических фруктов. Или бедуин-гляциолог. Живший от гранта до гранта, Барт, размахивая руками, пел гимны дикой природе, как хорошо, мол, жить в палатке посреди этой самой природы, ожидая очередного извержения, и какое счастье, что невеста полностью разделяет его взгляды. Дочка, существо сугубо городское, уверенное, что булки растут на деревьях, а дикая природа отличается от не дикой только хуже заасфальтированными дорожками, радостно кивала. Через месяц молодожены уехали изучать потухшие вулканы в Чили.

Оставались еще надежды на младшую дочь. Но все закрутилось по испытанному сценарию: вместо солидного и положительного человека, способного обеспечить не только достойную жизнь жене, но и не менее достойную старость маме жены, был выбран разгильдяй и оболтус Сашка. То, что разгильдяй и оболтус, стало ясно сразу. Брошенный на третьем курсе институт. Армия. Непонятно что.

Нужно было что-то предпринимать.

Нет-нет, Аделина Марковна не сживала зятьев со свету, не плевалась дымным ядовитым огнем, как проснувшийся вулкан, и вовсе не стремилась развести дочерей с мужьями. Дочки любили своих мужей, мужья любили дочек. Аделина Марковна ничего не говорила. Она вздыхала.

Она вздыхала так, что даже у толерантного европейца Барта начинало дергаться нижнее веко. И в конце концов он перешел от просто любования вулканами к написанию диссертации о них. И книгу написал. Кстати, Аделина Марковна взяла на себя ее редактуру, превратив сухие научные выкладки в увлекательное чтение. Книгу издали, после чего Барту предложили кафедру геологии в небольшом, но уважаемом европейском университете.

Она вздыхала и молчала, и Сашка, дабы поменьше встречаться с любимой тещей, восстановился в институте на вечернем, устроился на работу, а поскольку он был из тех ленивых самородков, которые могут выйти в Интернет даже с калькулятора, то, непрестанно подстегиваемый вздохами, он вдруг пошел в гору.

И когда у отца Барта случился инфаркт, а мама сломала ногу, а Барт с женой ждал извержения какого-то подводного вулкана у берегов Африки, то именно Аделина Марковна уволилась с работы и на полгода уехала в Голландию выхаживать приобретенных родственников. И выходила.

И когда Сашка, уже открывший свою фирму, влетел на довольно солидную сумму по собственной доверчивости, то именно Аделина Марковна продала свои серьги и кольца, доставшиеся от бабушки, и никогда об этом не вспоминала.

У Аделины Марковны летом был юбилей. И подвыпившие зятя разными словами сказали ей одно и то же:

“Аделина Марковна! Я боялся вас больше, чем Виллема с соседней улицы и профессора Торенвида, больше, чем сержанта Игнатюка и налогового инспектора Рыжецкую. Я и сейчас вас побаиваюсь. Но я вас люблю! Какое счастье, что ваши дочери становятся похожими на вас. Можно быть спокойными за наших детей”.

Дети — три внука — облепили Аделину Марковну со всех сторон. У среднего, восьмилетнего Фомы-Томаса, обнаружились недюжинные способности к математике, но мальчик ленился, и уже пора было потихоньку вздыхать.



## О МИШАНЕ

Вот так стоишь себе на остановке, и вдруг чуть ли не по твоим ногам на тротуар лихо въезжает нечто серебристое, и из его недр, пыхтя и отдуваясь, вылезает Мишаня, и ты понимаешь, что надо было идти пешком. Осторожно пробираться темными тихими дворами, где есть возможность сигануть в чахлые кусты либо спрятаться за мусорным баком.

— Это ж сколько мы не виделись? — радостно вопрошает Мишаня. И с очевидным удовольствием добавляет: — Что-то ты постарела!

— Не так сильно, как тебе бы этого хотелось. На фоне твоего пуза и лысины я юная красотка.

— Где ты видишь пузо? — осведомляется Мишаня. — На меня еще девки молодые вешаются.

— Может, не на тебя, а на тебе, когда хотят на себя руки наложить? В безлесной плоской степи тебе в этом плане цены нет.

— Вот почему я на тебе не женился — из-за языка твоего, — с укором говорит Мишаня.

— Не, Мишань. Ты на мне не женился, потому что у меня не было квартиры.

Мишаня никогда не слышит того, чего не хочет слышать. Поэтому обидеть его очень трудно.

— Ну, как? — спрашивает он.

— Что — как?

— Точно постарела. Тормозишь. Джип как? Хорош джипец?

— Джипец как джипец. Что, покататься дали?

Если постараться, то и Мишаню можно достать. Аж задохнулся от возмущения, орел наш.

— Мой джипец, мой, — произносит он бесконечно терпеливым голосом, каким разговаривают с умственно-отсталыми детьми, похлопывает пухлой ладошкой по капоту джипца, потом наклоняется, дышит на похлопанное место, достает из кармана красивую тряпочку и бережно стирает невидимые отпечатки. — Спроси, сколько стоит.

— Зачем?

— А, ну да, тебе-то зачем? Тебе ж все на тарелочке.

Когда я вышла замуж, Мишаня, уже съехавший к тому времени в другой город, настойчиво интересовался у общей знакомой, кто у нас муж. Л., которая Мишаню терпеть не могла, на голубом глазу сообщила ему, что у мужа моего несколько автозаправок, но, мол, сам он светиться не хочет, так что записаны они на подставных лиц. Сказать, что Мишаня расстроился — ничего не сказать. Такой подлянки он от меня не ожидал.

— А что ж ты на общественном-то транспорте? С вашими деньжищами и по автобусам давиться. Все копеечки копите?

— Машина в сервисе. Муж в отъезде. Шофер болен. Такси не люблю.

Бедного Мишаню аж перекашивает.

— Слышь, ты у мужа спроси, может, нужен ему человек доверенный, надежный?

— А кто таков?

— Да я, я это! Ну, ты вообще думать не хочешь.

Если б у нас действительно были эти самые заправки или там, скажем, свечной заводик, я бы за большие деньги наняла крепких парней исключительно для того, чтоб держать Мишаню за пределом видимости.

— Ну, поговори с ним, ты ж меня знаешь — не подведу.

Чем еще хорош и даже изряден Мишаня — это своей святой верой в то, что он в данный момент говорит.

— Надежный, говоришь? Не подведешь? А с Сашкой тоже не подвел?

Сто лет назад была такая славная дурочка Саша, третий курс политеха, которую угораздило влюбиться в Мишаню до смерти, но тут на Мишанином горизонте появилась дочка очень перспективных родителей, и Мишаня из Сашкиной жизни исчез, как и не было его там, а когда Сашка родила мальчишку, эта скотина как-то уверяла Л., что ребенок не его, и вообще кто виноват, что Сашка такая дура.

Мишаня мрачнеет, молчит, а потом говорит в сторону:

— Что ж вы все, чистоплюи хреновы, тогда не собрались да холку мне не начистили?

— Не помогло бы.

— Все ты знаешь. Может, и помогло бы, — снова молчит и потом добавляет: — А Сашка замуж в Германию вышла. Бюргер ее законный пацанчика усыновил. Я три раза туда ездил... Да ладно тебе глазами сверкать, что я, совсем уже сволочь? Я издалека. Что ж я буду пацанчика расстраивать, он бюргера папой считает, а тут я — здравствуй, сын. Не, я так, посмотреть только. Хороший пацанчик. На меня похож. На Сашку — ни капли, а на меня — копия. В шахматы играет — это ж надо, в шахматы!

И, уже сев в джипец и съехав на дорогу, кричит в окно:

— А класс мы с тобой встретились! Хоть поговорили. Мужу не забудь сказать, слышь?!

## О ТЯЖЕСТИ

Август, тепло, часов 11 утра.

В проходном дворе на скамейке лежала женщина, а рядом с ней сидел мальчик лет трех, смешной такой, глазастый.

Я подумала, может, ей стало плохо, но, подойдя, увидела, что тетка просто спит крепким пьяным сном. А мальчик сказал:

— Тетя, не надо милицию. Мама поспит, мы домой пойдем.

Судя по речи, ему было не меньше пяти, только уж очень маленький.

Я спросила его, где они живут, и он махнул худенькой лапкой куда-то в сторону:

— Тут близко. Мама немножко поспит. Милицию не надо, тетя.

Он сидел рядом с пьяной спящей мамой, которой можно было дать и 20 лет, и 40, гладил ее по голове и смотрел на меня бесстрашно, готовый защищать вот эту маму от меня, от милиции, от прочих напастей.

— Ты есть хочешь?

— Мы скоро домой пойдем, я дома поем.

— А что ты любишь есть?

Он подумал и сказал:

— Я люблю сырки. И колбасу.

В гастрономе я попросила девицу сделать пару бутербродов с хорошей докторской колбасой, купила творожную пасту, бутылку воды и вернулась к ним. Тетка похрапывала, а мальчик все так же гладил ее по голове.

— Давай, ешь.

— Тетя, у меня нету денег, не надо.

— А мне сегодня дали зарплату, у меня, знаешь, сколько денег сегодня — вагон и тележка, и еще мешочек.

— Так много? — удивился он.

— Честное слово. Ешь, пожалуйста.

— А вы не будете милицию вызывать?

— Конечно, не буду. Мама поспит, и вы пойдете домой. А ты пока поешь. Только давай лапы помоем, потому как грязными лапами есть нельзя.

— Я знаю, в грязи живут микробы.

Я полила ему на руки из бутылки и вытерла маленькие ладошки носовым платком.

— Тетя, спасибо. Я, когда вырасту, вам что-нибудь куплю. Вы конфеты любите?

— Не то слово — обожаю!

— Я вам конфет куплю, когда вырасту.

Я ушла. У меня свой сын. Своя семья. Работа. Больные родители. Куча проблем, решаемых с трудом и не решаемых вовсе. У меня своя жизнь.

Где-то прочитано, что избавиться от тяжелых мыслей можно, записав их на бумаге.

Ни фиги.

У меня своя жизнь. Я не мать Тереза.

Что ж мне так хреново?..

## О СОНЬКЕ ЗОЛОТОЙ РУЧКЕ

Как-то позвонила мне многоюродная тетушка и пригласила на свадьбу своей дочери — моей многоюродной племянницы, которую в последний раз я видела в 6-летнем возрасте. В ее 6-летнем возрасте.

Я не страдаю от избытка родственных чувств, однако попытка улизнуть не прошла.

— Хоть раз в 20 лет мы можем встретиться, только попробуй не явиться, — грозно сказала тетушка.

И приглашение с голубками и розочками от Светы и Анатолия было прислано, и напомнено за пару дней тоже было — пришлось идти.

Ну ладно. Считай, суббота пропала, но куда ж ты денешься?

И вот я с букетом, поганым настроением и желанием уйти через часок по-английски приезжаю в ресторан, иду в банкетный зал, меня сажают в компанию веселых молодых

людей — друзей жениха, которые, пропустив пару рюмочек, начинают восхищаться, какая, мол, у невесты замечательная тетя, и на тетю совсем не тянет, и вообще — давайте знакомиться поближе и веселиться напропалую. Что мы и делаем.

Невесту я, конечно же, не узнала, столько лет, она из смуглой мышки превратилась в пышную блондинку с бюстом. Мышкой она мне нравилась больше.

Вообще было как-то мрачновато: куча сердитых теток с дядьками, жених с затравленным взглядом, невеста в осознании своей невозможной красоты и бюста, и если б не наша быстро веселеющая компания, то все это напоминало бы поминки. Тетки посматривали крайне неодобрительно.

На первый раунд тостов я опоздала, но тут начался второй. С меня. Тамада, выяснив, кто я такая, радостно объявил:

— А теперь молодых поздравит молодая и красивая тетя невесты!

И я задушевно произнесла:

— Дорогие Света и Анатолий!

Свадьба и раньше не шибко шумела, но тут уж воцарилась совсем каменная тишина, и в эту секунду до меня дошло, что тетушки моей я что-то не вижу и что вряд ли бы она изменилась настолько, чтобы я ее не опознала.

— Невесту зовут Люда, — прошипела сидящая напротив тетка в розовом. — И жених — Олег.

— Как Люда? Какой Олег?

— Ходят по чужим праздникам наесться-напиться на халяву, — добавила тетка. — У нас такой же на проводы в армию приперся, еле выгнали. Ни стыда у людей, ни совести.

Вот тут-то я поняла, что веселье на этой свадьбе будет. Как-то все гости хищно подобрались, начали посверкивать глазами и привставать с мест. Рукавов, правда, еще не засучивали, но к тому шло.

— Но позвольте, вот у меня приглашение! — вскричала (именно вскричала) я, потрясая этим самым приглашением. — Вот тут все написано: Света и Анатолий, ресторан такой-то, банкетный зал.

Спасение пришло от официанта.

— Девушка, — сказал он, — у нас есть еще один банкетный зал, на втором этаже, может, вам туда?

— Как же, туда ей. Поужинать бесплатно захотелось. Тут отметилась, сейчас пойдет, там добавит, — припечатала тетка в розовом. — И как таких наглых земля носит? Авантюристка!

— А наглость, Ирина Петровна, второе счастье, — встряла еще одна тетка, в салатovém, совсем уж противная.

Хочу заметить, что я не похожа ни на маргинальную личность, ни на мелкую авантюристку. Хотя со стороны, как говорится, виднее. Компания друзей жениха за меня вступилась, за что получила от тетки в сиреновом:

— О какая, уже мужикам головы задурила!

А дама в розовом добавила:

— Вот такая у нашего главного бухгалтера мужа увела. Только отвернись — на ходу подметки режут, стервы.

Я ни разу не уводила чужих мужей, но тут почувствовала себя подлой разлучницей. И даже начала присматриваться к мужьям — может, какой и сгодится, какая уже разница, по скольким статьям отвечать.

Слава богу, добрый официант сгонял в другой зал и привел мою тетушку, быстро оценившую ситуацию и поклявшуюся, что она меня знает. При этом она как-то странно подмигивала в мою и в противоположную стороны, как бы давая понять, что проблемы с головой у меня были на всем протяжении нашего знакомства.

Короче говоря, эвакуировали меня в другой зал, где действительно были смуглая красавица Света и не помню уж какой Анатолий и где меня долго отпаивали разными крепкими напитками.

Хорошо хоть, не успела подарок вручить.

Но провожали меня друзья жениха с той, с первой, свадьбы.

### О БЕЗЫМЯННОМ ДРУГЕ

Как-то летом, когда я шла на работу, за мной увязался пес. Эдакий дворянский коктейль из разных пород. Однако чистый, ухоженный, с ошейником. Я решила, что потерялся совсем недавно. Пес чинно шел со мной рядом и делал вид, что мои вежливые увещевания типа “ну чего ты ко мне пристал” относятся к кому-то постороннему. Никак не прогонялся. Топать же ногой или орать я не осмелилась, ибо породы в нем угадывались большие и, возможно, свирепые.

Встретившаяся тетка с удовольствием обвинила меня в том, что я гуляю со звероподобной собакой без намордника. С утра у некоторых очень много нерастраченной энергии.

— Ты почему без намордника? — грозно вопрошала она и тыкала в меня толстым пальцем.

Псу эти вопли не понравились, он начал порывивать, чем вчистую обесценил мои жалкие оправдания, что лично я всегда гуляю без намордника и пес этот мне никто, я вижу его впервые в жизни.

— А чего он с тобой идет да еще, ишь, как зубы-то свои на меня скалит? Хоть на поводок его возьми! Развели псарню — плюнуть некуда! Счас собаколовку вызову!

То ли пес был очень умный, то ли тетка ему надоела, но тут он уже взлаял гулким басом. Как из бочки. И по дворам прокатилось эхо. Тетку сдуло.

— Шел бы ты домой, — сказала я псу. — А то ведь с нее станется, возьмет, да и вправду вызовет.

Пес снисходительно покосился на меня, вздохнул и ничего не сказал. Он довел меня до светофора, сел на тротуаре, дождался, пока я перешла улицу, а потом потрусил назад...

Через пару недель я снова его увидела, и все пошло по прежней схеме: провел, убедился, что ничего не случилось, и удалился.

Я собралась давать объявление. Но на следующее утро на всякий случай спросила у дворника, не знает ли он, что это за собака, может, ее в приют отвезти?

— А, этот, — сказал дворник. — Вот в том доме живет. Хозяева старые. Когда болеют, то рано утром его одного погулять выпускают. Народу почти нету, а собака умная, дальше нашего квартала ни ногой. Да и мы все приглядываем. Не бойтесь, он сроду никого не укусил, нет у него в заводе такого, чтоб кусаться.

Пару месяцев я его не видела, а на этой неделе услышала за своей спиной сопение — наверно, опять хозяева приболели. И каждое утро сидит у арки, ждет, пока я не появлюсь, и исполняет свой долг. Наверно, считает меня совсем бестолковой, думает, что я и до перехода сама не дойду, да и переход-то, может, не найду.

В 7 утра еще темно и холодно, пустынно и безлюдно. Мы идем дворами, оба без намордников и без поводков. Потому что в пределах своего квартала, рано утром, когда темно, холодно, пустынно и безлюдно, намордник и поводок оскорбляют человечье и собачье достоинство.

## О ВЗГЛЯДАХ

У Тани завелось знакомство по переписке с английской парой. Пара пригласила ее в гости. Таня вышила гладью льняную скатерть с салфетками в подарок, накопила на билеты, что с ее доходами было не так уж просто, и поехала.

Как оказалось, в отношении Тани у пары были далеко идущие матримониальные планы: они, видите ли, понять не могли, как такая красавица и умница не замужем. И все две недели Таниного пребывания ей неназойливо, но постоянно выкатывали холостых и разведенных джентльменов. Судя по всему, предварительная пиар-кампания велась по всем направлениям, так что к концу пребывания у не рвущейся ни в британский, ни в какой другой замуж Тани в глазах мельтешило не только от достопримечательностей, но и от просвещенных мореплавателей. И все было не то. Не то.

Вернувшись домой, Таня рассказала подругам про ярмарку женихов.

— Вы ж знаете, мне нужно, чтоб — ах! — и с первого взгляда. Как в омут.

Подружки дружно вздохнули и обозвали ее дурой, так как помнили, с каким трудом Таня выплывала из предыдущих омутов...

По осени в Таниной хрущевке раздался звонок. Один из британских соискателей купил индивидуальный тур и приперся. Таня даже не сразу его вспомнила. Клифф был похож на полковника Гастингса в молодости. За день, посвященный любованию меловыми скалами Дувра, он проел плешь рассказами о том, какой истинно английский эль варят на его маленьких пивоварнях. Озверевшая от подробного описания технологического процесса Таня спросила, а не сыплют ли в сусло жучков для придания пиву должного истинно английского вкусового колорита? Клифф пришел в ужас и долго и занудно рассказывал от санитарных норм, приравненных к заповедям господним, а потом осторожно поинтересовался, откуда в Таниной голове столь странные мысли. Своего тезку Саймака он не читал.

Вот вам ситуация. Послать подальше — неудобно, человек потратил кучу денег, ведет себя прилично, руки не распускает, высокими чувствами голову не дурит, разве что временами смотрит грустно. В общем, сделали вид, что просто один хороший человек приехал к другому хорошему человеку, пришлось таскать его по музеям и гостям.

За пару дней до отъезда поехали к Таниным друзьям на дачу. На обратном пути Таня шипела подруге:

— Отвезем его в гостиницу!

— Да хоть чаем напои, неудобно же, — шипела в ответ подруга, ласково улыбаясь Клиффу.

Ну ладно, подруга посигналила на прощание и отбыла, а Таня повела иностранца поить чаем.

В квартире было нехорошо. В жилом помещении не должно пахнуть, как в привокзальном туалете времен развитого социализма. А уж когда открыли дверь в совмещенный санузел, где бодро фонтанировал унитаз, то стало еще хуже. Таня, на бегу бросив Клиффу, что, мол, стоянка такси напротив дома, помчалась к верхним соседям. На втором этаже не было никого, на третьем, в съемной квартире, гудело штук двадцать студентов, а на пятом праздновали юбилей, тоже не менее двадцати человек. Просить веселых подвыпивших людей не пользоваться туалетом — дело безнадежное. Тем более что студенты пили пиво. Таня прискакала вниз, позвонила в ЖЭС, чтоб вызвали аварийку, и ринулась на ликвидацию последствий.

В санузле она увидела Клиффа. И поняла, что такое жесткая верхняя губа. С непроницаемым лицом островитянин, закатав рукава рубахи стоимостью в Танину зарплату, собирал уже нафонтанировавшее в ведро.

Аварийка приехала через час. Все это время Таня и Клифф плечом к плечу сражались со стихийным бедствием, время от времени поглядывая друг на друга и начиная хохотать, как ненормальные.

Аварийщиков было двое: мрачный мизантроп и веселый циник.

— Слышь, подруга, — сказал циник. — У тебя мужик — буржуин, что ли?

Таня подтвердила.

— Ты смотри, весь в дерьме, но нормальный мужик, во как старается. Эй, мужик, дружба-фройндшафт, вери гуд!

К полуночи причины катастрофы были устранены, осталось устранить последствия.

К утру все было проветрено, вымыто, ковер из прихожей отнесен на помойку, а Таня поняла, что тот самый “первый взгляд” по счету может быть вторым. Или десятым. Или десятитысячным. Первый взгляд — это качество, а не количество. И вообще, не только стихи растут из сора...

Родители Клиффа молча, но выразительно не одобряли женитьбу сына на неангличанке. А потом как-то посмотрели на нее в первый раз.

У Тани двое сыновей, которых английские бабушка с дедушкой зовут Пашька и Петка.

## О ПРЕОДОЛЕНИИ ГРАНИЦ

Сто лет назад решили мы съездить на море. То есть выехать из слегка суверенного государства, пересечь очень суверенное государство и въехать в третье, тоже, в общем-то, суверенное, но суверенитетом первых двух особо не заморачивавшееся. В то время границы, существовавшие на бумаге, начали материализовываться в реальности, и одна большая география разделилась на множество географий поменьше.

Ехал с нами умный пес Берт, принадлежавший подруге моей подруги. Хозяйка умотала в отпуск и кукушечьим манером подкинула свое сокровище в чужое гнездо. Деть “кукушонка” было некуда, пришлось брать с собой, ну и в конце концов — должна же собачка хоть раз в жизни увидеть море. Бедный пес покорился судьбе и ничему не удивлялся.

Со стороны нашего расхристанно-суверенного государства на границе было пусто. Наконец, после долгого бибиканья откуда-то вылез заспанный недовольный мужик, мрачно осмотрел наш балаган на колесах и сказал:

— А что, ворота самим открыть руки бы отсохли?

А вот на другой стороне все было очень серьезно и суверенно. В маленькую стеклянную будку впихнулись пять человек в трех видах формы и с автоматами. Я надеялась, что автоматы у них не настоящие, потому как в такой тесноте и до беды недалеко. В общем, у нас проверили паспорта, долго и недоверчиво сличая фотографии с оригиналами. Все это было в новинку, и мы изо всех сил делали честные, открытые лица, несовместимые с разведывательно-подрывной деятельностью. Бертик тоже высунул свою честную, открытую морду в окно. И был замечен.

Вызвали человека в форме уже четвертого вида. Он посмотрел на нас, на Бертика и сказал с тщательно лелеемым акцентом:

— О, какая большая собака. А где справка, что у нее нет собачьих заболеваний?

Мы мамой клялись, что нету ни собачьих, ни человеческих, но человек в форме четвертого вида продолжал смотреть на Бертика, как на бактериологическое оружие. И при этом радовался так, будто за пресечение нашего проникновения в очень суверенное государство ему дадут орден. А то и два.

— Так что ж нам делать? — спросили мы.

— Вы можете вернуться назад и получить справку у своего ветеринарного врача, — сказал служивый.

Умный и все понимающий Берт обрадовано гавкнул. Его, в отличие от нас, на море не тянуло. Я уже начала прорабатывать альтернативные пути пересечения границы, ну, там, как все мы, включая Берта, нацепив коровьи копыта, преодолеваем контрольно-следовую полосу, негромко, но страстно мыча для придания большей правдоподобности.

— Ну что, Берт, гикнулся наш отдых? — сказали мы.

Но человек в форме четвертого вида вдруг взволновался, как ставшее недостижимым синее море, и уже почти без акцента доверительно сообщил:

— Завтра будет работать наш ветеринар, он осмотрит собаку и выдаст вам справку, вы можете его подождать.

В общем, направление было обозначено, и следующий вопрос был предсказуем:

— А нельзя ли каким-нибудь образом обойтись без завтрашнего ветеринара, но с нашей сегодняшней благодарностью в разумных пределах?

Человек в форме четвертого вида подозвал околавивавшегося неподалеку наготове человека в форме пятого вида. Они посоветались, и человек в форме пятого вида сказал:

— Я вижу, что собака здорова. Это будет стоить...



Берт был умным и воспитанным псом, но на столько он не тянул, коровьи копыта обошлись бы дешевле.

И мы с контрабандной собакой все же приехали к морю. Берт грозно лаял на волны и зачем-то копал на пляже туннели, только пышный хвост торчал из песка. Над пляжем, в дюнах, росли сосны. Над морем летали заполошные чайки — орали, опасались, что море испугается сурового лая и убежит в другую географию. Люди подходили к нашему красавцу и спрашивали, можно ли его погладить. И было абсолютно не важно, с акцентом они это спрашивали или без. Потому что добрая собака гладится одинаково в любой географии.

## О КОЛЛЕКТИВНОМ РАЗУМЕ

Еду нынче на работу. Тут троллейбус останавливается — впереди провода чинят. Водитель сходил к ремонтникам, сказал, что минут через 10 закончат. Кто тихо вышел и пошел, кто, ругаясь, выскочил и побежал, большинство осталось.

Ждем.

А рядом со мной сидит дядька, разгадывает кроссворд, аж пыхтит от умственного напряжения, но видно, что крепко застрял. Наконец не выдерживает и громко спрашивает:

— Может, кто знает, как называется озеро, у которого стояла крепость Измаил?

— Там два озера. Сколько букв? — осведомляется сильно помятый мужик в куртке с надписью “Зеленхоз”.

— Пять. Вторая “л”.

— Тогда Ялпух.

— Точно! Спасибо. О, кстати, аминокислота, отвечающая за синтез гемоглобина. На “и” начинается.

— Изолейцин, — уверенно говорит стоящая рядом юная красотка.

— Подходит. А девятый президент США?

— Девятый, говорите? — задумывается дедок в очках. — Да, вроде бы, Гаррисон. Влезает Гаррисон?

— Влезает. Спасибо. Так, дальше. Яркая звезда в созвездии Весов. Третья буква “ф”.

— Киффа, — робко сообщает сидящий впереди школьник лет 10-ти.

— Молодец парень, подходит. А река в Монголии?.. Странно, там же пустыня, какие там могут быть реки?

— Ой, ну вы, мужчина, скажете! Полно там рек. Селенга, например, — говорит толстая тетка с золотыми серьгами до плеч.

— Не, не влезает ваша Селенга.

— Ну, Орхон. Скажете тоже, рек в Монголии нету.

— Ага, Орхон, точно. Счас, уже немного осталось. Мадагаскарский хищник. На “ф”. Коротенький такой, пять букв.

— Фосса, — влезает я. Буквально на днях читала, что на Мадагаскаре страшнее этой самой фоссы и зверя-то нет.

— Ну всё, два последних слова. Религиозно-философское учение в древней Индии. В середине “й”.

— Джайнизм, что ж еще, — говорит пристроившийся со своими коробками на задней площадке попахивающий бомж.

— Так, джайнизм, подходит. Все, последнее. Чемпион Олимпийских игр в Риме и Мехико в ходьбе на 20 километров. Много букв. Первая “г”.

— Голубничий. Владимир Голубничий, — уверенно сообщает водитель, скрывается в своей кабине, и троллейбус трогается.

Вот так. Вместе мы — сила.

P.S. А я еще и про магнитную индукцию знаю! И про животный мир Австралии!

### О ТЕХ, КТО НЕПОДАЛЕКУ

Вчера на рынке я поджидала коллегу, застрявшую у прилавка с фруктами. Рядом ошивалась бомжиха неопределенного возраста и соответствующего вида — еще не на краю, но уже близко.

Кто-то громко позвал меня, я оглянулась — прихрамывая, спешил такого же бомжовского облика мужик, нет, не ко мне, к этой тетке. Видно, цветочницы отдали ему некондицию — большую растрепанную охапку сильно подвявших цветов — бледные розы, опустившие головы блеклые хризантемы.

Он гордо протянул ей этот веник:

— Это я для тебя взял.

Она растерянно улыбнулась щербатым ртом, сказала:

— Мне так давно не дарили букетов.

Потом взяла цветы, осторожно прижала их к грязноватой черной куртке и опустила в них лицо таким нежным, таким узнаваемо женским движением, что у меня защемило сердце.

Она стояла с этими цветами, которые следовало бы выкинуть еще дня два назад, не видя ничего и никого вокруг, как будто бы всего этого — толпы, шума, промозглого декабря — не существовало. Только эдемский сад в начале времен, где тигры играют с ягнятами, не помышляя о трапезе, и над счастьем ослепительный синий свод, а не набухшее непогодой комковатое серое небо.

Всюду жизнь.

Мы сами создаем свой рай.

Мы сами строим свой ад.

### О СУМЕ ПЕРЕМЕТНОЙ

Сима живность не любила. Увидев сидящую у подъезда кошку, прошла мимо, но почему-то остановилась, вернулась и, удивляясь себе самой, позвала ее. Кошка посмотрела на Симу, подумала и пошла за ней. Вытерпела мытье, визит к ветеринару на следующий день и мгновенно обжилась в квартире, как будто это была ее, кошклина, личная собственность, куда она из жалости пустила пожить Симу.

Сима хотела назвать кошку Муркой или Мусей или даже Дейзи, но кошка ни на какие имена не реагировала и осталась Кошкой.

Сима думала, что завела себе кошку. Кошка знала, что завела себе Симу. Обе, в общем-то, были недовольны.

Сима ожидала, что Кошка будет встречать ее с работы, тереться о ноги, сидеть на Симиных коленях, ласково мурлыкая.

Кошка считала, что она четко указала Симе ее территорию и обязанности, и была крайне разочарована Симиной тупостью — ясно ж дали понять, что никаких телячьих нежностей, никакого корма Супер-премиум класса. Вон в ту мисочку положи мясо. Или рыбку. Или колбасу, на худой конец. Положила? Все. Свободна... Теперь открой дверь в туалет. Свет включи. Ну чего ты стоишь над душой, бестолковая? Выйди... Можешь зайти. Лоток вымой.

Короче, радости от Кошки не было никакой. Но уже не выгонишь.

Кошка любила сидеть на подоконнике и наблюдать за тем, что происходит во дворе, благо, этаж первый, все наблюдаемо.

В пятом подъезде купил квартиру здоровенный мужик с такой же здоровущей собакой. Когда он выводил своего монстра на прогулку, то монстр, заметив на Симином окне кошку, останавливался как вкопанный и гулко гавкал на весь двор. Кошка презрительно умывалась, а собачища заходила басистым лаем.

В конце концов мужик не выдержал и пришел ругаться. Мол, из-за вашей паршивки я не могу толком выгулять свою собаку, она от вашего окна не оттаскивается. Сима горой встала на защиту кошки: да что ж это такое, в моей квартире мое животное может сидеть везде, где ему нравится, а если вы своего мастодонта не сумели воспитать должным образом, то это ваша проблема. Мужик напирал, Сима не поддавалась, а кошка, сидя на комодике, продолжала намывать гостей и не обращала внимания на эту суету. А потом очень удачно спрыгнула Симе под ноги, и Сима, чтоб ее не растоптать, совершила какой-то немыслимый прыжок в сторону, зацепилась за коврик и рухнула на пол всеми своими шестьдесятю семью килограммами.

Мужик застыл с открытым ртом, а потом развил бешеную деятельность: упаковал Симу в плед, чуть ли не вынес на руках к своей машине, отвез в травмпункт, держал Симу за здоровую правую руку, пока ей вправляли вывихнутое плечо, привез домой...

И как-то вот так оно все завертелось. Пес Норд сразу признал Симу за почти хозяйку (ну, сначала, конечно, Алексей Вадимыч, но номером два — Сима).

Кошка, кстати, ушла. В тот же вечер. Наверно, позабыли закрыть входную дверь.

Почти полгода жила в квартире учительницы музыки Людмилы Борисовны — кошку приволок домой учительский сын Макс, тринадцати лет отроду. Летом кошка стала какая-то невеселая, Людмила Борисовна повезла ее в поликлинику, а кошка выбралась из сумки, и ее ловили всем автобусом. Ловили все, а поймал Владислав Т., квалифицированный электрик. Макс давно хотелось, чтоб у него был отец...

А кошка явно без крыши над головой не осталась. Эта — уж точно не пропадет. Ходит где-то. Серая такая. Полосатая. Неласковая.

Когда Лена была в восьмом классе, к ним в школу приходил врач, проводил беседу о профилактике болезней.

— Прислушивайтесь к себе, — призывал он, подкрепляя призывы страшными примерами из собственной практики, когда кто-то там вовремя не прислушался, а потом уже и смысла в прислушивании не было — напрасные хлопоты.

Информация камнем упала на неокрепшую подростковую психику и произвела в ней необратимые изменения. Лена полюбила медицину на всю жизнь. Ну, не в смысле — выйти из операционной и, устало сняв хирургическую маску, сказать бледным трясущимся родственникам: “Будет жить”. Лена полюбила прислушиваться.

С возрастом это чувство только крепло, Лена все чутче прислушивалась к разным органам и частям своего тела и к тридцати годам превратилась в перманентный кошмар поликлиники номер 14. Потому как ежели человек что-то узнал, ему, как правило, не терпится поделиться узнанным с другими и высказать свои авторитетные соображения по данному поводу. Частей и органов в теле — хоть завались, и в 14-й поликлинике только уролог-андролог мог позволить себе ходить гоголем — на его счастье предстательной железы у Лены не случилось. Хотя, может, Лена плохо прислушалась.

Все было еще относительно терпимо до того, как Лена начала смотреть сериал о докторе Хаусе. Уже после первых серий она потребовала у стоматолога направление на МРТ — ей показалось, что вероятный парадонтит вот-вот перейдет в возможный гингивит, и именно МРТ может подтвердить зловещие перспективы.

В общем, появление Лены вызывало стон и скрежет зубовный у всех — от закаленных девиц из регистратуры до самой заведующей. Ну разве что уролог-андролог... Впрочем, я об этом уже говорила.

Невропатолог Роман Петрович за несколько Лениных визитов взалкал публично отречься от клятвы Гиппократ, но долг в его душе пересилил, и он стал предельно внимателен к старушкам, таскавшимся к нему, как на работу, ибо чем больше старушек — тем меньше места для Лены. Старушки хоть и не сразу, но оправились от потрясения и накатали благодарственное письмо в министерство здравоохранения, следствием чего явилось выдвижение Романа Петровича на звание “Лучший по профессии”, сопровождаемое вполне приличной премией.

Пообщавшись с Леной, молодой специалист отоларинголог Катя бегала в соседний кабинет к терапевту Анне Михайловне пить успокаивающие капли и наткнулась там как-то на сына Анны Михайловны, бизнес-аналитика Арсения, случайно заехавшего к матери. Надо сказать, очень удачно наткнулась.

А опытный гинеколог Тамара Львовна решила не откладывать на завтра и завести ребенка, что дало бы ей три года декрета и спокойной жизни без Лены (Лена как раз прочла учебник по гинекологии и, благодаря ему, обнаружила у себя еще массу мест, к которым следовало прислушиваться). Ребенок один заводиться не пожелал, и Тамара с мужем стали счастливыми родителями сразу троих — Темы, Егорши и Феденьки, а также счастливыми обладателями отличной квартиры, выделенной им горисполкомом абсолютно бесплатно.

Да что там говорить. Лаборантка Галя, которую Лена обвинила в подтасовке результатов анализа крови в смысле завышения уровня тромбоцитов, который был, несомненно, понижен, что четко указывало на апластическую анемию, так вот Галя,

наплакавшись от обиды, вдруг сдуру позвонила бывшему мужу, а он не только выслушал все ее жалобы на жизнь, но и предложил попробовать восстановить отношения.

— Ну куда тебе без меня, — вздохнул бывший муж, — тебя ж любой норovit обидеть.

А уборщица Саватеева неожиданно бросила пить. Хотя, возможно, это и не было связано с Леной напрямую.

И только уролог-андролог до сих пор не осенен всеобщей благодатью. Хотя — не стоит отчаиваться. В соседний с поликлиникой дом переезжает Николай Д., одноклассник Лены. Та давнишняя беседа о профилактике и на него произвела огромное впечатление.

## О ДУРЕ

— Как ты можешь с ней общаться? — говорит мне Д. — О чем с ней можно разговаривать? Она же дура, дура непроходимая!

Так оно и есть. Как ее еще назвать? Кто б спорил.

Смотрит сериалы эти дурацкие, пересказывает с удовольствием, вздыхает: ну как в жизни! В 20-й серии — украдено дитя, в 30-й — потеряна память, а в 75-й — и то, и другое счастливо обретено. Ну, как в жизни.

Анекдоты ей надо по три раза рассказывать и каждый раз объяснять. В конце концов смеется, но как-то неуверенно.

Еще романы в мягких обложках читает, рыдает над плоскими бумажными страстями.

Детей любит, а разговаривать с ними не умеет, начинает сюсюкать, повергая воспитанных подростков в недоумение, а невоспитанные в лучшем случае крутят пальцем у виска.

Газеты читает, чтоб узнать, что актрисулю А. бросил финансист Б., переживает за обоих, как за родных.

Большая, несуразная, нелепая, много лишних килограммов, много лишних сантиметров.

Вечно подбирает котиков каких-то помойных, собак, выхаживает, возит к ветеринару. Соседям ее повезло — у нее аллергия на шерсть, а то бы всех у себя оставляла, а не носилась по городу со слезящимися глазами и хлюпающим носом, пристраивая очередного кабыздоха в хорошие руки.

Моеет полы и окна еле ползающей полусумасшедшей бабке со второго этажа, старушенции мерзкой и, в свою бытность, во вменяемом состоянии.

А то одежду для бомжей собирала и раздавала. Бомжи ее и обокрали. Хотя что там красть-то было?

А когда Д. бросил первый муж, и Д., наглотившись таблеток, попала в больницу, таскалась к ней каждый божий день с бульоном и клюквенным морсом, сидела, делясь новостями из сериалов.

И вдрызг пьяных забулдыг из сугробов достает, на себе до местожительства доволакивает, получая по полной от жен, принимающих ее за собутыльницу.

Я знаю, что я умнее. И сравнивать нечего. Дура — она и есть дура.

Но если и меня, и Д., и ученую подругу Д., без пяти минут доктора философских наук, вычеркнуть из жизни, то средний уровень интеллекта на планете, скажем честно, не понизится. А если исчезнет она, то в мире, возможно, похолодает.

### О СКЕЛЕТЕ В ШКАФУ

Темные времена наступают в обычно беспроблемной семье З., когда при разборке шкафов мама Нина находит свою сиреневую кофточку.

Сначала она долго, со слезами на глазах, смотрит на нее, в смысле Нина на кофточку, потом становится неразговорчива, а к вечеру семья, предчувствуя неизбежное, разбегается по углам и сидит там тихо и кротко, как мыши под веником, потому как у Нины наступает критическое состояние души, которое можно определить как “а 20 лет назад она была мне впору”.

За ночь процесс усугубляется и переходит в острую стадию. Утром Нина объявляет о том, что садится на диету.

— Душа моя, зачем тебе нужно, чтоб радующие глаз округлости сменились суровыми костлявостями? — неосторожно осведомляется муж и огребает по полной. И за то, что ему все равно, как жена выглядит, и за то, что вот тут уже почти целлюлит, и за то, что полочка для шляп полгода как висит на одном гвозде...

Соблюдать диету сложно. Еще сложнее, если рядом постоянно едят, жуют, лопают, топчут и нагло жрут в три горла.

Дочь Анна, 16-летняя стройная красотка, способна за 300 метров от магазина до дома на ходу умять батон и с порога заорать:

— Дайте поесть! Я голодная, как не знаю что!

Сын Тимофей, тощий, как глиста сушеная (ласковое определение из уст свекрови, недолголюбивающей невестку и таким тонким образом дающей понять, что она невестка дурно заботится о детях), ест как птичка — вдвое больше своего веса.

Муж Михаил, лингвист и филолог, работник сугубо кабинетный, имеет аппетит лесоруба, весь день бодро машущего топором на свежем морозном воздухе.

Кот Бонифаций... А что, кот Бонифаций — не хуже других.

И мама Нина объявляет, что с этого дня все переходят на здоровую пищу: овощи, фрукты, салаты, отварная курица без соли, и прочая, и прочая... Как-то даже до пророщенных зерен пшеницы дошло. И никаких жиров и канцерогенов!

Неделю семья живет в предгрозовой атмосфере, то бишь неподалеку погромыхивает, но молнией по башке пока не стучит.

Нина теряет молочную розовость и розовую молочность кожи и моментально приобретает склочные и крайне неприятные черты характера.

Муж Михаил старается не прислушиваться к бурчанию в животе, протестующем против столь кардинальных перемен, и гонит от себя тяжелые мысли о том, что мама, возможно, не так уж и ошибалась насчет его женитьбы.

Дочь Анна мрачно хрумкает капустный салат и ярко демонстрирует сложности пубертата как дома, так и в школе.

Сын Тимофей после уроков заходит к однокласснику Голубченко Тарасу, маму которого вопросы похудения при ее 58-м размере не волнуют, и наворачивает там по две тарелки борща. Еще и вечером туда же норовит — Голубченко-мама, как правило, жарит очень много канцерогенной картошки с канцерогенной жирной свиной.

Кот Бонифаций сидит на подоконнике и тоскливым взором следит за пролетающими голубями, вспоминая прежнюю чудную жизнь, в которой ему всегда со стола перепадал кусок-другой, а третий-четвертый он под шумок утаскивал самостоятельно...

Через неделю муж Михаил не выдерживает, по дороге с работы заходит на рынок и покупает восхитительный, остро пахнущий шмат сала, с чесночком, перчиком, с мясной прослойкой, и, тщательно запаковав его в три целлофановых пакета, контрабандой приносит домой.

После ужина (мерзкая вареная рыба, кот Бонифаций чуть не плакал, но ел, дочь Анна заявила, что лучше помрет в голодных корчах, но в рот эту гадость не возьмет, сын Тимофей только что вернулся от Голубченков и был благостен душой и светел ликом) Нина садится за компьютер заканчивать перевод.

Муж Михаил подмигивает детям и коту, и они скрываются в его кабинете. Минут 20 слышно только клацанье клавиш клавиатуры, да из кабинета доносятся приглушенные звуки, напоминающие чавканье и урчанье.

Но запах не скроешь, как ни старайся законопатить щель под дверью старым свитером. Клацанье прекращается, осторожные шаги по коридору, легкий скрип двери, напряженная пауза и голос мамы Нины, наполненный одновременно отчаяньем и облегчением:

— А гори оно всё гаром! В конце концов, я попыталась.

Чавканье и урчанье, нехарактерное для интеллигентной семьи, возобновляются с новой силой. Мир, покой и благорастворение воздушных масс воцаряются в отдельно взятой квартире...

Каждый раз муж Михаил с наследниками жаждет выкинуть чертову сиреневую кофточку, разорвать ее на мелкие клочки размером с молекулу, но Нина уже успевает засунуть ее куда-то с глаз долой и сама не помнит, куда. Кофточка заползает в самый укромный угол и, мерзко хихикая, выжидает своего часа.

P.S. На следующий день сын Тимофей говорит однокласснику Голубченко Тарасу:

— Пошли к нам обедать, у нас щи сегодня, с мясом, с грибами, и мама целую кастрюлю котлет накрутила, картошку потушила, пошли, а то потом Анька придет, фиг что останется.

## О ПРИКЛАДНОЙ ИППОЛОГИИ

Когда я пришла работать в Очень Секретный Институт, меня тут же выперли то ли поднимать, то ли подпирать сельское хозяйство. Наверно, в сельском хозяйстве я могла принести больше пользы. Или нанести меньше вреда обороноспособности страны.

Было нас человек 30, готовить мы должны были себе сами. Умею-не-умею — не считалось, все строго по очереди. Мне повезло, я попала в поварихи вместе с девицей, которая знала не только то, что прежде чем жарить яйца, их необходимо разбить.

Народ после обеда отбыл на зерносушилку. А нам возчик должен был привезти коровью ногу с фермы.

Ничто не предвещало. Но гром грянул. Возчик несколько расплывчато возник в дверях кухни и сказал:

— Девки, ко мне свояк приехал, не могу я на ферму. Вон я вам коня привел, ехайте сами, тут близко, только животную мне не угробьте, животная — скотина государственная, деньжищ стоит, — повернулся и синусоидально удалился к своей хате.

— И не мечтай, — сказала мне напарница, — я их боюсь, они кусаются и копытом могут врезать. Давай ты, ладно? А я вечером всю посуду помою.

Предложение насчет посуды было заманчивым. Мы обошли вокруг коня и телеги, держась на приличном расстоянии. Заподозривший неладное конь предостерегающе заржал.

— Во! Видала, какие у него зубы?.. То есть я хочу сказать, что лошади не все время кусаются, почему он тебя кусать должен? Ты ж в телеге будешь, он не достанет. Я и посуду, и кастрюли вымою, честное слово! Я читала, ничего сложного — тпру! но! — и вожжами, знай себе, управляй.

Вот тут я хочу сказать всем родителям: учите своего ребенка говорить “Нет!” Одну идиотку вовремя не научили, и она забралась в телегу, взяла вожжи и сказала:

— Но!

К моему удивлению, конь пошел. Чувство своей тележно-наезднической крутизны прошло минуты через три, когда конь свернул налево, куда нам с ним было не надо. Вернее, мне было не надо, а у него имелись свои планы. Я ему сказала:

— Тпру! — и натянула вожжи.

Конь презрительно отмахнулся хвостом. Я даже соскочила с телеги и, забежав вперед, начала махать перед конем руками, но конь отпихнул меня своей мордой. Пришлось опять запрыгивать на телегу, пытаться управлять вожжами, орать нечеловеческим голосом “тпру!” Конь моими воплями не заморачивался, шел себе как шел, пока не пришел в овсы. Ну, я решила, что это овсы. Для коня как-то логичнее забредать в овсы, нежели, скажем, в какое-нибудь просо. Короче говоря, он влез в эти самые овсы и начал пастись вместе со мной и телегой. Я хотела было оставить его тут и бежать в деревню за помощью, но подумала, что — не дай бог — уведут, а срок за конокрадство (докажу ли еще, что не состояла в преступном сговоре с ворами) по любому больше срока за потраву совхозных угодий.

И вот вам картина, чистая пастораль: овсы до горизонта, облака плывут белыми замками по высокому блекло-голубому небу, конь, знай себе, хрукает, а я безуспешно уговариваю наглую животную вести себя прилично.

Натрескавшись, конь выехал из овсов и пошел гулять дальше. Он свозил меня к речке, напился, сам развернулся, чуть не перевернув при этом телегу, потом мы еще поехали вокруг какого-то леса, вернулись в деревню и начали щемиться в чей-то огород, дабы внести туда маленько разора.

Тут я поняла, что наступило время “Ч”. Если отравленные овсы были казенными, то огород частный, и за действия этой государственной скотины я рискую схлопотать по полной. Опять-таки в памяти весьма кстати всплыло слово “уздцы”. Определив примерно, что тут может называться уздцами, я ухватила за них и таки смогла выволочь недовольного коня вместе с телегой почти уже из огорода. Так и вела его до фермы — под



уздцы. Конь обиженно фыркнул — не ожидал от меня такого свинства. Но из нас двоих весь в мыле был не он.

В общем, выехали мы часа в два дня, на ферму пришли к восьми.

Господь услышал мои молитвы: ногу погрузили, и в телегу забрались две доярки. Одна сказала мне, давай, мол, погоняй, услышав, что конь плевать хотел на мои погоняния, взяла дело, то есть вожжи, в свои руки. Нас с ногой мигом домчали до кухни.

Напарница моя выскочила в крайнем озверении:

— Ты где была? У тебя совесть есть? Я тут, как раба крепостная, не присела, а она барыней разъезжает!

Конь, зараза такая, соорудил умильную невинную морду — в стиле козы-дерезы, типа ни крошки с утра во рту не было — и, как мне показалось, даже пустил слезу.

— Ах ты мой хороший, — запричитала напарница, — заездила тебя эта живодерка, сейчас, миленький, сейчас я тебе хлебушка вынесу...

Когда уже ночью я в гордом одиночестве домыла котлы и кастрюли, за конем пришел возчик. В смысле — пришатался.

— Поехал свояк, от хороший мужик! Ты, девка, гляжу, с конем управилась. Может, самогоночки глотнешь, а то свояк уже поехал? Самогоночка — ух! — для себя гнали, не для абы кого.

— Глотну, — решительно сказала я. — Лейте вон в ту кружку. Лейте, лейте. Ну, за коня!

## О БЛУДЕ ТРУДА, КОТОРЫЙ У НАС В КРОВИ

Фирма, в фирме отдел, то бишь департамент, в департаменте 10 рядовых сотрудников и директор — молодая, умная и амбициозная дама. Сотрудники — 9 мужчин, одна девица. Сидят они в старом здании, потолки 3.80, но с евроремонтом, сотворенном в стиле китайских кроссовок времен перестройки. То есть евроремонт с виду почти как настоящий.

У директора должен состояться важный разговор с перспективно-выгодными французскими партнерами. Минут за 10 до разговора она выходит. И не возвращается.

Партнеры звонят, сотрудники с извинениями сообщают, что разговор откладывается на полчаса, и бегут разыскивать директора. У более высокого начальства. В буфете. В соседнем департаменте. Паника, все мечутся, партнеры звонят снова и выражают легкое недоумение, им несут уже полную чушь, снова переносят разговор, мамой клянутся, что директор будет на месте, и чуть ли не вызывают милицию. Ну, был человек и нету. Шуба на вешалке, сумка на полке, чашка с кофе не успела остыть.

Тут приходит мрачная уборщица и говорит:

— Это не ваша фифа в туалете застряла? Идите, вызволяйте, мне там мыть надо.

Сотрудники, наплевав на гендерные различия, галопом врываются в сортир и обнаруживают, что замок в кабинку защелкнулся. И отщелкиваться не желает. А дверь открывается наружу. А места для разгона нету. А ручку на двери уже безрезультатно снесла уборщица. Тишина, из криво поставленного крана умиротворяюще капает вода, и

вообще полная благодать, если б не начальница, раненной обессиленной птицей бьющаяся в кабинке.

Столяр заболел, на работу не вышел. Служба по открытию дверей за любые деньги приехать соглашается, но только через два часа. Перенести разговор в третий раз никак невозможно. И тут кто-то обнаруживает, что между потолком и стенкой имеется незаделанная строителями щель сантиметров в 30. Дай им бог здоровья, халтурщикам.

Девушка жертвует запасные колготки, в них запикивают мобильный телефон, и двое молодых и самых рослых строят пирамиду из самих себя и перекидывают одну колготину с телефоном узнице. В щель. Остальные шмелем приволакивают стулья, удлинители, а также нужные бумаги и ноутбуки — мало ли какая информация понадобится. Разговор начинается в точно назначенное время.

А рассказывала мне это дама, работающая в том же здании, но в другом отделе.

— Ты представь, захожу в женский туалет, сидит там куча мужиков на стульях с ноутбуками на коленях, папки какие-то прямо на полу валяются, такая кипучая рабочая обстановка, из одной кабинки французская речь, из другой уборщица со шваброй выходит... А генеральный наш недавно говорил, что аренду повысили, и что в условиях кризиса надо экономить на всем, и что будем уплотняться. Ну, думаю, началось. А тут еще вижу черные колготки на спинке стула и от растерянности спрашиваю: “Ой, а чьи это?” Мне так небрежно отвечают: “Наши, наши”. И у меня только одна мысль: валить, пора валить из этой конторы, пока не поздно.

## ОБ ОПТИМИЗМЕ

Марина — девушка трепетного, романтического склада. Как-то, еще на заре туманной юности, она убежденно сказала подружкам:

— В жизни каждого человека должна быть Единственная Любовь!

И абсолютно искренне добавила:

— Хотя бы одна!

После нескольких тренировочных и разминочных романов к Марине пришло Настоящее Чувство. Она очень сильно полюбила негодяя Александра. Настоящее Чувство было нежным, хрупким и все время требовало подпитки.

— Ты меня не любишь! — со слезами говорила Марина негодяю Александру, который до поры до времени успешно скрывал свою негодяистость, хотя были звоночки, были!

Негодяй Александр сопел, вздыхал, уверял, что любит, и тащился после ночного дежурства на выставку кошек. Или, отстояв три операции (одна тяжелая), плелся по колено в весенней грязи следом за Мариной в близлежащий загаженный лесок, дабы умилиться первым подснежникам, которых там отродясь не росло.

— Ты меня совсем не любишь! — в очередной раз дрожащим голосом сказала Марина.

Негодяй Александр привычно посопел, подумал и сказал:

— В общем-то, да. Не люблю...

Даже самые тяжелые раны затягиваются, и к осени Марина вручила свое зарубцевавшееся сердце грубому животному Янковичу. Грубое животное Янкович

работал начальником цеха, то у него там аврал, то токарь запьет, то еще какая скучная проза. Марина все терпела, потому что Любовь Неземная умеет прощать.

Она решила отпраздновать двухмесячный юбилей этой самой любви, купила свечи, шампанское, выучила сонет Шекспира “У сердца с глазом тайный договор”, а грубое животное Янкович приперся только в одиннадцатом часу, мрачно посмотрел на шампанское, на белую розу в бокале и, не дослушав сонет, пошел на кухню, погромел там кастрюльными крышками, долго пялился в пустой холодильник, а затем ни с того ни с сего заорал, брызгаясь слюной, что, мол, сидя весь день дома, можно было бы хоть хлеба с колбасой купить. Любому всепрощающему терпению приходит конец. Марина поняла, что опять приняла стекляшку за бриллиант.

Потом по Марининой душе протоптались грязными сапожищами мерзавец Евсеев, похотливая скотина Николай и гнусный тип Виктор Иванович. Большие надежды поначалу возлагались на жмота Игоря, жлоба Станислава и ядовитую жабу Орловского, но рано или поздно каждый из них обнаруживал свою истинную отвратительную сущность.

Марина не сдается. Она по-прежнему верит, что непременно встретит свое единственное счастье. Хотя бы одно.

#### О ТОМ, ГДЕ СИДЯТ ФАЗАНЫ

Куда едет в такую рань насупленная недовольная старушка, крепко прижимающая к себе полиэтиленовый пакет с надписью “Красота — страшная сила! Магазин декоративной косметики” и неодобрительно зыркающая на юную девицу в отчаянном мини?.. Куда едет в такую рань девица в своей микро-юбке, с заклеенной пластырем левой коленкой, уткнувшаяся в совершенно несовместимую с ней газету “Известия”?.. Куда едет в такую рань мрачный красавец с ухоженной трехдневной щетиной, с небрежно повязанным кашне, с дивного качества портфелем и старой хозяйственной сумкой со сломанной молнией — полная нестыковка, как будто он отобрал эту сумку у заглавной бабули?.. Куда едет в такую рань толстый дядечка, с мечтательной улыбкой что-то пишущий пальцем на оконном стекле?.. Куда едет в такую рань молодая поросль лет 17-ти с невообразимой головой и трогательно торчащими ушами, в одном ухе — наушник, и юнец дрыгает в такт головой, ногой и вообще всем тощим телом?.. Куда едет в такую рань дородная молодая дама, сердито выслушивающая по телефону какой-то бесконечный монолог и все пытающаяся вставить свою реплику (Да, мама. Нет, мама. Не знаю, мама, и не знала никогда, и знать не хочу)?.. Куда едет в такую рань спящий с прихрапыванием мужик на переднем сиденье, просыпающийся на каждой остановке, заполошно оглядывающийся, облегченно вздыхающий и засыпающий до следующего торможения?..

За 15 минут можно придумать целую кучу историй и жизней.

Но в этих семи моих попутчиках есть некий неуловимый ритм.

И только когда выхожу, соображаю — они расположились в полном соответствии со спектральным распределением: бабуля со своим огромным красным пакетом, барышня в оранжевой курточке, заканчивающейся раньше, чем начинается юбка, красавец с ярко-желтым кашне на шее, дядечка в зеленой шляпе, юнец с выкрашенными в голубой цвет волосами, дама с синей шалью поверх плаща и спящий мужик в фиолетовой робе.

## О ТОМ, КУДА ЛЕТЯТ ДРАКОНЫ

У бабушки в верхнем запертом ящике комода хранились бесценные сокровища. Крайне редко мое выдающееся поведение совпадало с бабушкиным хорошим настроением и наличием у нее свободного времени. Однако случалось. Там хранился настоящий дамский веер, и бабушкина фата, и неземной красоты деревянная резная шкатулочка, и какие-то письма, перевязанные синей ленточкой — много чего. Самым главным сокровищем в моих глазах являлся то ли платок, то ли просто кусок ткани, аккуратно завернутый в белую бумагу. Ткань была невесомой, блекло-голубого цвета, почти прозрачной, и на ней были вышиты драконы. Крылья драконов отливали темным золотом, рогатые морды смотрели грозно и презрительно, но в этих драконах не было свирепости и тупости всяких там змей-горынычей.

Как-то в конце лета бабушка сказала:

— Смотри, что я тебе покажу.

Мы вышли на крыльцо, и бабушка осторожно взмахнула платком. Я была маленькой, смотрела снизу и внезапно увидела: цвет ткани растворился в цвете выцветшего августовского неба, глаз потерял чувство перспективы, и в недостижимой высоте вдруг поплыли драконы. Ветер играл легкой тканью, и драконы парили над моим миром. И были настоящими.

Я уже знала, что осенью птицы улетают в жаркие страны, и навоображала себе, что драконы тоже летят туда, где тепло, на загадочную африканскую гору Килиманджаро. Брат рассказывал мне, что внизу, у ее подножия, живут слоны, жирафы, львы и там очень жарко, а на вершине лежит снег, который никогда не тает. Это плохо представлялось — ну чтоб сразу и снег, и жара, но вкупе со звенящим названием — Килиманджаро — вполне подходило для места, где хотят жить драконы.

А потом я поверила в это. Ткань не при чем. И лет до десяти каждую весну и осень пыталась разглядеть в небе драконов.

Давно уже нет бабушки, да и дома по сути дела нет, и крыльца, и комода, и я сто лет не вспоминала о бабушкиных сокровищах. Понятия не имею, где они растворились.

Сегодня утром я обнаружила, что под окном расцвели вишни, буквально за ночь. А выйдя из дому, зачем-то уставилась в небо и подумала: точно весна, можно не сомневаться. Значит, время драконам возвращаться. Вон те золотистые точки высоко над соседней девятиэтажкой.

## О ГЕОМЕТРИИ РИМАНА

Где нынче моя подружка, мне 5, ей 7, страшные девчоночьи секреты, мне 8, ей 10, мне 15, она ждет ребенка и никакой счастливой семейной жизни не предполагается, мне 16, я студентка, мне не до нее с ее пеленками, невысыпаниями, отсутствием времени и желания писать письма, потом еще годы, и в их доме живут другие люди?

Где теперь мальчик, не дававший мне жизни в школе, мне 7, ему 8, мне 11, ему 12, ухаживавший по классической схеме — портфелем по спине и подножка, вдруг оробевший к десятому классу, что-то хотевший сказать, но так и не сказавший, где его рыжая голова и конопатый нос, шевелюра поредела, веснушки выцвели, это другой человек, мальчика заменили толстым неумным дядькой, и кому это было надо?

Не Евклид, не Лобачевский, линии пересекаются единожды, никакой параллельности.

Где то отражение в зеркале, мне 9, ему 9, мне 17, ему 17, мне 25, ему 25, тут нужно другое зеркало, чтобы показывало настоящее, мне много, ему 25, мне еще больше, ему 25, ну пусть 27, но уж никак не за 30?

Нет застывшей картины, на месте одних персонажей жизнь рисует других, краски не те, воздух не тот, и перспектива не та, горизонт куда ближе, хотя по-прежнему в небе замками и кораблями — облака, как в то время, когда мне 7, ей 9, ему 8...

## О ПРИЛОЖЕНИИ СИЛ

Моя приятельница Ю. славится нетривиальностью мышления и поступков. Недоброжелатели склоняются к слову “неадекватность”, но они просто не в силах проследить за молниеносной и зигзагообразной логикой Ю. Данные особенности накладываются на целеустремленность и безумную жажду деятельности, в результате получается некий смерч, с бешеной скоростью проносающийся над мирными поселениями и засасывающий в свою воронку ближних и дальних.

О разрушениях и прочем умолчу, ибо и так понятно.

Ю. способна утром проснуться, посмотреть на стенку, решить, что ей не нравятся поклеенные два месяца назад обои, через час их содрать, через три закупить новые, к вечеру оклеить этими новыми комнату, а ложась спать, окончательно сообразить, что предыдущие лучше гармонировали с обивкой кресел.

Как-то летом она позвонила мне и велела немедленно ехать к ней, потому как дело не терпит отлагательства. Попытки отвертеться не прокатили, мою жалкую оборону Ю. крушит, не притормаживая, примерно как танк Т-95 “Черный орел” на полном ходу способен проутюжить вражеские окопы, грозно рявкая 152-мм пушкой, дабы обозначить перед еще не проутюженными врагами свое присутствие и скорое к ним пришествие.

Мне очень нравится определение из дамских романов — “томимая предчувствиями”. Так вот, томимая невнятными, но нехорошими предчувствиями, я потащила к Ю.

Они меня томили не напрасно. Ю. воодушевленно мне объявила:

— Я своих мужиков сплывила к свекрови, чтоб под ногами не путались, и сейчас мы с тобой передвинем пианино!

Я не отношусь к хрупким хризантемам, за всю свою нежную хризантемскую жизнь не поднимавшим ничего тяжелее косметички, но вот тут речь у меня отняло надолго.

— Элементарно, не дрейфь! Сало я уже купила. Ну, что ты уставилась? Шкурка сала подкладывается снизу и — фьють! — оно само скользит по полу, только направление задавай... Да не сало! Пианино заскользит, все тебе разжевать надо.

Теперь представьте. Тополиный пух, жара, июль, восемь вечера, и две идиотки, никогда не занимавшиеся пауэрлифтингом и пытающиеся приподнять пианино, чтоб сунуть снизу шкурки. За час справились.

Еще час ушел на вытаскивание и подсовывание не щетиной, а салом к полу.

К удивлению Ю., пианино стояло как вкопанное и скользить белокрылой яхтой по морской глади явно не собиралось.

— Надо навалиться посильнее, давай-давай, не отлынивай. И — раз! И — два!

На счет “три” пианино рухнуло. Хорошо хоть не на ноги. Что удивительно, от него отлетели всего лишь пара щепочек, крышка, несколько клавиш да глухо застонали струны. Раньше даже музыкальные инструменты делали с двойным запасом прочности.

А я вспомнила еще одну фразу из упомянутых романов: “в ее душе разгоралось темное пламя отчаяния и ненависти”.

— Ой, ой, какие мы нежные! Не дрейфь, сейчас мы его поднимем. Не, сами не подыдем. Так, стой тут, я сейчас выскочу, кого-нибудь найду.

В тот вечер грустный жребий выпал не мне одной. Милицейский патруль в составе двух служивых и большой мрачной собаки смог бы отбиться от Ю., только применив табельное оружие по назначению.

Да, кстати, не говорите мне, что страшно далека наша милиция от народа, это неправда, смотря какой народ.

Потные милиционеры толкали пианино, Ю. руководила, а я пыталась удержать потерявшую всякий служебно-розыскной облик собаку, на чью долю такие развлечения выпадали, видно, крайне редко, и она от счастья носилась с громким гавканьем и конским топотом по всей квартире, сметая по пути стулья и напольные вазы.

В половине двенадцатого пианино передвинули. Как раз снизу прискакали две нервные соседки. Но скандала не случилось. Та, что постарше, заглянула в комнату и с удовлетворением сказала:

— Ага, так милицию уже вызвали?

— Мальчики, — обратилась к взопревшим милиционерам Ю., — спасибо вам большое, будете в нашем дворе, заходите, посидим, чайку попьем, отдохнете хоть от вашего патрулирования.

Мальчики переглянулись и страшно заторопились. Было очевидно, что больше они в этот двор ни ногой. Собака же, наоборот, уходить не хотела, так как последние двадцать минут для ее сдерживания я задействовала мощный материальный сосисочный стимул.

В общем, когда все стихло, Ю. критически осмотрела учиненный разгром, в смысле изменившийся дизайн, и произнесла:

— От черт, надо было вон туда, вместо шкафа, а шкаф — в прихожую. Ну ладно, это уже на следующей неделе.

## О ВЫРАВНИВАНИИ

Стоматолог Леночка, романтическая девушка со светлым взглядом и богатым воображением, не выходит замуж потому, что ей снятся сны, в которых она прогуливается по берегу океана под бархатным тропическим небом, а рядом с ней идет молодой Роберт Редфорд, или Антонио Бандерас еще до всякой там Мелани Гриффит, то бишь мачо, и от одного взгляда замирает сердце, или, на худой конец, старый, но обаятельный Шон О’Коннери, ветер шуршит жесткими листьями пальм, звезды мерцают и как бы одобряюще подмигивают, а вот эндокринолога Прокоповича тут и рядом не стояло, не тянет, нет, не тянет, несмотря на свое холостое состояние.

Гинеколог Марина, трезво глядящая на жизнь и ничего хорошего от этой жизни не ожидающая брюнетка, не выходит замуж потому, что все мужики — козлы, и

эндокринолог Прокопович — не исключение, что и подтверждается его до сих пор холостым состоянием.

Старшая медсестра Инга, дама самостоятельная и решительная, не выходит замуж потому, что починить розетку и сменить прокладку в кране она и сама умеет, тем более, что эндокринолог Прокопович в этом смысле бесперспективен, хотя казалось бы — раз ты в холостом состоянии, то просто обязан быть мастером Самоделкиным.

Невропатолог Алла, существо тонкое, в соответствии со своей профессией мятущееся, не выходит замуж потому, что никак не может встретить мужчину, готового три раза в неделю посещать филармонию, два раза лекторий в художественном музее, при этом очень хорошо зарабатывать, готовить, убирать, стирать, гладить и прочее, а также не забывать каждый день дарить жене цветы, чего от эндокринолога Прокоповича век не дождешься, так что толку от его холостого состояния по нулям.

А педиатр Лариса как раз в этом месяце выходит замуж в четвертый раз, так что средняя температура по больнице нормальная. Между прочим, за эндокринолога Прокоповича.

## ОБ ОСЕННЕМ

В университете мне не давали общежитие, потому как я происходила из богатых учительско-докторских слоев населения. И я снимала комнаты у женщин среднего возраста, разных, но с одинаково неустроенной личной жизнью.

Мое заселение что-то меняло в мироздании. Что-то где-то щелкало, у квартирохозяек вдруг появлялась эта самая личная жизнь, и мне поначалу намеками, а потом и открытым текстом сообщали, что неплохо бы подыскать себе другое жилье. Некоторые из дам жили себе одинокими рябинами в чистом поле — никаких дубов вплоть до горизонта, но стоило только мне пустить корни в ту же почву, как — на тебе — вон уже что-то перебралось через дорогу и завлекательно шелестит реденькой пожухлой листвой.

На одной из квартир события разворачивались столь стремительно, что уже недели через две в доме появился приходящий друг сердца — такой слегка поношенный и сильно неумный бодренький Витечка, все норовивший ущипнуть меня хоть за что-нибудь. Я пожаловалась хозяйке, но понимания не встретила.

— А ты не подставляй! — сурово заявила хозяйка. — А если такая нежная, ну так по средам и пятницам гуляй до часов одиннадцати, воздухом дыши.

Замечу, что даже в страшном сне мне не могло привидеться, что я могу добровольно подставить что-нибудь Витечке для ущипывания. Пришлось выбрать свежий воздух.

Приходил Витечка, дверь закрывалась на защелку, звонок отключался, кто не успел, тот опоздал.

Но все было по-честному — к половине двенадцатого Витечка уходил. Возвращался в лоно постылой семьи. Это не я придумала, это он так поэтически выражался. Там еще что-то было про такую же постылую жену.

— Она вцепилась в меня, как хищник в жертву, — с пафосом заявлял Витечка дрожащим от сдержанного негодования голосом.

Я представляла себе Витечкину жену с окровавленными клыками, прижимающую мощной когтистой лапой несчастного Витечку к затоптанному линолеуму на кухне, и мысленно желала ей удачи.

Как-то, надышавшись воздухом, я притащилась домой и обнаружила, что меня там не ждали. Поковырялась ключом без толку, звонок не работал, а колотить в дверь — при той слышимости значило разбудить весь подъезд. Полчаса я прослонялась вокруг дома, но и следующая попытка была неудачной.

Время за полночь. Днем-то было еще тепло, бабье лето, а ночью, скажем так, пробирало. Я потопталась в подъезде на сквозняхках и поняла, что на свежем воздухе пусть дует, но хотя бы не сквозит.

Через час бесплодных скитаний по окрестностям и попыток проникнуть в тепло и уют я села на скамейку и приготовилась помереть от переохлаждения. С собой даже ручки не было, чтоб оставить записку на холодеющем теле — для милиции, с указанием, кого винить в моей смерти.

Я сидела и слушала, как падают сухие листья. Лист возникал в конусе света от фонаря, медленно планировал и уплывал из освещенного пространства в темноту. Из ниоткуда в никуда.

Потом в круге света появился рыжий кот, постоял, приглядываясь, и в конце концов запрыгнул на колени. Кот был теплым, что значительно увеличило ценность его дружелюбия.

Мы просидели с котом в обнимку до трех часов ночи, пока меня не подобрал загулявший сосед с пятого этажа. А кот помявкал на прощание и с нами не пошел.

К тому моменту мне уже казалось, что если я упаду, то разобьюсь со звоном на мелкие ледяные осколки, а посему все опасения насчет мужского коварства растаяли осенним туманом. Наверно, я представляла собой такое жалкое зрелище, что соседу и в голову не пришло, как говаривала моя тетушка, воспользоваться беспомощным положением. Проснулась его мама, меня отпоили горячим чаем, загнали в ванну и уложили спать на скрипучем диванчике.

Утром хозяйка выговорила мне, мол, она брала на квартиру приличную девушку, а не шалаву, ночующую где ночь застанет. Тот факт, что после ухода Витечки она забыла включить звонок и на автомате опустила защелку, как-то не учитывался.

В общем, столько свежего воздуха ни до, ни после в моей жизни не было. Через пару месяцев Витечка скинул постылые брачные оковы и пришел навеки поселиться. Я съехала.

Лет через десять я встретила на базаре хозяйку с Витечкой. Витечка, совсем уже какой-то затруханый, все рвался к пивному ларьку, но хозяйка цепко контролировала обстановку. Когда она отошла к прилавкам, Витечка оглянулся и сказал:

— Живу как в тюрьме, всю кровь выпила, паучиха. Чего я, дурак, тогда за тобой не приударил? Знал же, что тебе нравлюсь, вон как ты переживала, даже домой не шла, когда я приходил, ревновала.

По-хорошему, так Витечку надо было придушить там же. Кровавое злодеяние на фоне горы полосатых арбузов. И в этих арбузах закопать. А с другой стороны — он стоял, осторожно кося в сторону яростно торговавшейся хозяйки, и верил в то, что говорил.



Я подумала, что именно с тех пор я и недолюбиваю свежий воздух в больших количествах, и сказала:

— Да, Витечка, так и знай, ты мне всю жизнь поломал.

## О ДЕДЛАЙНЕ

В один не то чтобы прекрасный день Олина бабушка Элиза Матвеевна (пожилая энергичная и решительная дама слегка за 60, подчеркиваю — пожилая, а не старая) сказала:

— Оля! Я долго ждала, долго молчала, но мое терпение лопнуло. Ты когда-нибудь дашь мне спокойно помереть?

Тоненькая брюнетка Оля, искусствовед, бабушку любила и потому очень удивилась, откуда столь странные вопросы.

— А откуда, что ты меня в гроб раньше времени загонишь, — нелогично продолжила бабушка. — Ты когда замуж выйдешь? Чтоб я могла упокоиться с умиротворенной душой! Тебе почти 27! Чтоб не мешать, я на все лето съехала на дачу к этой старой дуре Василевич. Три месяца по двадцать раз на дню сочувствовала ее геморрою. Что толку в моих страданиях — ты за это время даже не познакомилась ни с кем!

— Бабушка, когда и где мне знакомиться? Работа, испанский, диссертация. А в моем музее из холостых мужчин только Аркадий Палыч, ты же его видела.

— Да, Аркадий Палыч — это на безрыбье даже не рак, а полудохлая креветка, — мрачно согласилась бабушка.

А на следующий день позвонила старой дуре Василевич и выяснила, что Василевичская внучка познакомилась со своим будущим мужем в ночном клубе.

По телевизору Элиза Матвеевна услышала, что в ночной клуб \*\*\* вход с 21.00 до 24.00 для девушек и женщин бесплатный. Следующим вечером она туда и направилась, сообщив Оле, что идет прогуляться перед сном.

В считанные минуты разгромив охрану, пытавшуюся что-то слабо вякать о возрасте, добив их ехидной фразой: “Плохо держите удар, любезные!” — Элиза Матвеевна уселась (с помощью той же охраны) на высокий стул у барной стойки и строго оглядела окрестности.

— Ну и как вам у нас? — робко осведомился бармен, пододвинув ей высокий стакан. — Это за счет заведения. Безалкогольный.

— Бесперспективно, — припечатала Элиза Матвеевна. — Порядочной девушке тут ловить нечего. Кстати, не разорились бы, если б плеснули ложку коньяку. А вон тот рыженький — у него что-то с тазобедренными суставами или сейчас так танцуют?

В тот вечер в клубе \*\*\* было нервно. Как на школьном собрании в присутствии родителей и директора по случаю застукивания все тем же директором группы семиклассников за распитием пива на спортплощадке...

До Нового года Элиза Матвеевна посетила рок-концерт, выступление заунывного барда, файер-шоу, соревнование по экстремальному велоспорту, преферансный турнир и, уже от полного отчаянья, семинар молодых поэтов.

Закидывать наживку смысла не было — не дай бог, клюнет. Поэты ее доконали.

— В свое время я полгода выбрать не могла между твоим дедом и десятком других, не хуже деда. Даже у этой старой дуры Василевич был какой-никакой выбор. Хотя она все равно всю жизнь страстно пялилась на твоего деда. Но нынче молодые люди, Оленька, поразительно измельчали, не за кого взглядом зацепиться...

В марте Элиза Матвеевна, навестив старую дуру Василевич, решила заехать к Оле на работу. На подходе к музею поскользнулась и грохнулась. Хорошо — не на ступеньках. Какой-то военный бросился поднимать ее. Элиза Матвеевна проинспектировала себя на предмет отсутствия перелома шейки бедра, внимательно посмотрела на доброхота и сказала:

— Господин майор, вы, я вижу, танкист, мой покойный муж командовал танковым полком, скажите, господин майор, у вас найдется час свободного времени?

Майор, осознавший, что придется тащить бывшую мать-командиршу на себе до ее местожительства, проклял себя за неуместное проявление христианских чувств и обреченно кивнул.

— Прекрасно. Скажите, вы бывали в историческом музее? Нет? Напрасно. Очень советую. Только попросите, чтобы экскурсию провела Ольга Рашидовна, замечательный экскурсовод, не пожалеете.

Майор и сам толком не понял, какого черта он потащился в этот музей. Как загипнотизированный...

Недавно Элиза Матвеевна тихонько сказала спящему Митеньке:

— Вот ты, солнышко мое, медвежонок, пойдешь в школу, твой папа закончит военную академию, бабушке и умирать можно. А еще мама твоя докторскую допишет — я и уйду со спокойным сердцем. И сестричка тебе нужна, воробышек мой, что ж ты один расти будешь. Вот родится твоя сестричка, потом в школу пойдет, а потом... ну, потом мы еще посмотрим.

## О ПИСЬМАХ И ПРОЧЕМ

Антон Ильич неважно видит, плохо слышит и ходит с трудом.

У Антона Ильича, военного летчика, повоевавшего на множестве объявленных и необъявленных войн, хорошая пенсия. Он доплачивает там сколько-то, и пять раз в неделю, а иногда и по субботам, к нему приходит хмурая работница соцслужбы Шандора — за продуктами сходить, приготовить на скорую руку, прибраться. Шандора — человек честнейший, копейки чужой не возьмет, но у них с Антоном Ильичем уговор: 50 грамм до работы — для задору, 50 после — от усталку. Бдительные домовые бабки засекали, что время от времени Шандора покупает бутылку водки, и считают Антона Ильича тихим алкоголиком.

Антон Ильич женился поздно, между корейской и вьетнамской войнами, а дочка родилась еще позже, ему за 50 перевалило. Дочка пошла неизвестно в кого, училась в трех институтах, ни одного не закончила, пребывая в метаниях и хотениях всего и сразу. В 90-х решила заняться бизнесом, но не тут, а там, а для бизнеса нужен начальный капитал. Антон Ильич дураком никогда не был, видел, что из дочки бизнесменша — как из стрекозы бомбардировщик, но дочка рыдала, жене вызывали скорую, и он сдался:

поменяли просторную квартиру в самом центре, сталинку, рядом с парком, на убитую однокомнатную хрущевку. Дочка рыдать перестала, расцеловала родителей и отбыла со всей вырученной доплатой в Германию, пообещав писать, звонить, разбогатеть и вернуться.

Звонить не звонила, изредка приходили открытки с парочкой фраз, всегда без обратного адреса. Сначала из Германии, потом из Португалии, а последним, уже после смерти жены, пришло письмо из Бразилии. В письме была фотографии дочери с неизменным недовольным выражением лица и с хорошенькой мулаточкой на руках — внучкой Мишель. И никаких подробностей.

В Бразилии Антон Ильич не бывал. Только над.

В хорошую погоду Антон Ильич с двух до четырех сидит на лавочке, не у подъезда — там соседки жизни не дадут, чуть подальше. Думает и ничего не ждет.

Прошлым летом у него появились друг и подруга.

Друг — косматое чудовище Красс. А подруга — тоже косматое, да еще выкрашенное во все оттенки от фиолетового до розового, избалованное до безобразия 15-летнее чудовище Лили. Родители назвали в честь какой-то прабабки Лилией, хорошо хоть не Розой. Ударение на второй слог временно примирило.

Красс радостно рыскает вокруг, принося добытые сокровища к ногам хозяйки — то сломанную ветку, то старый драный ботинок, как-то приволок мертвую крысу и сильно обиделся, не получив похвалы и одобрения.

Антон Ильич называет Лили Лилечкой. Лили морщится, но терпит. Ей интересно, в каком платье была покойная жена Антона Ильича, когда он первый раз ее увидел, и что Александра Викентьевна отказалась с ним встречаться, потому как он не читал “Войну и мир” (когда мне читать было, Лилечка, да и не охотник я до чтения, но прочел, за месяц прочел). И про самолеты интересно. И про Дальний Восток. И про дочку, и про внучку (красавица, не хуже тебя, Лилечка). Антон Ильич слушает про Дэна из одиннадцатого класса, козел козлом (не надо так говорить, Лилечка; да если бы вы его видели, вы б сами сказали, что козел!), про идиотку Моргунову (одни понты и полторы извилины; не надо так, Лилечка), про то, что родители озверели, не знают, чего хотят, уйду в монастырь, еще наплачутся (что ты, Лилечка, они тебя любят, как умеют, но любят).

Половина соседок считает Антона Ильича педофилом. Вторая половина убеждена, что малолетняя прошмандовка нацелилась на гробовые сбережения.

Потом случилась радость: Антон Ильич начал получать письма. От Мишель. Письма были напечатаны крупным шрифтом (смотри, Лилечка, она понимает, что я почти слепой), на конвертах яркие марки с ягуарами, страусами и броненосцами (они переезжают часто, Лилечка, как обоснуются окончательно, тогда адрес напишет), в письмах про то, что все у них хорошо, даже замечательно, что мама много работает и ее очень ценят (я и не верил, что из Тани что-то получится, а видишь, Лилечка, она остепенилась; вот бы Александра Викентьевна порадовалась, какая у нее хорошая внучка, почти взрослая, умница, как ты, Лилечка).

Этим летом родители отправили Лили на два месяца в Англию — язык подучить, ну и вообще полезно.

В августе она вернулась — стриженная под призывника, с тремя сережками в ухе и одной над бровью.

Бабки у подъезда Антона Ильича, косясь на шалаву крайне неодобрительно, сказали, что умер, еще в июле. Не мучался, уснул и не проснулся. Военкомат хоронил. С караулом, с оркестром, красиво.

А одна, самая противная, хуже химички, добавила:

— Ну что, обломились денежки, не получилось к рукам прибрать?

Лили хотела на нее Красса натравить, но сдержалась (они несчастные, Лилечка, не нужны никому, оттого и несчастные).

Через пару недель Лили наткнулась у магазина на похмельную Шандору.

— Господи, что ж это ты со своей головой сделала, страхолюдые какое. Все мечтал, что внучка приедет да что вы с ней подружитесь. Радовался, что про внучку узнал. Говорил, что умирать не страшно. А писем больше не было, я ящик проверяла.

Какой там приезд, какая там дружба, какие письма?.. Папа Лили в детстве собирал марки. И бразильские там были. Правда, все гашеные, но Антон Ильич со своим зрением таких подробностей рассмотреть не мог. И ноутбук у Лили свой. И принтер. Родители еще в шестом классе купили.

## О ЛЮБВИ И КОВАРСТВЕ

Библиотекарша Юля, милая шатенка двадцати шести лет, живет с папой и кошкой Матильдой.

Папа — отставник из небольших чинов, ныне охранник, мечтающий, чтоб дочка вышла замуж за военного, дабы было с кем обсудить Ржевско-Вяземскую операцию и бои под Дюнкерком, но дочке плешь своими мечтаниями не проедающий.

Про кошку Матильду разговор отдельный. Кошка Матильда выстроила в семье суровую иерархическую систему по типу восточной сатрапии с вкраплениями утонченного садизма. На вершине царила она сама, пушистая, потом много пустых ступенек, а хозяева там, у подножия, между веником и тапками. И никаких вольностей в обращении с высшим существом.

В повседневном быту кошка Матильда следила, чтоб хозяева не смухлевали чего с ее едой, остервенело драла когтями обивку мебели и дрыхла на работающем телевизоре, свесив на экран пышный хвост, из-за чего папе оставалось только догадываться, каков он — четвертый гол, вколоченный Аршавиным в ворота “Ливерпуля”, а Юля так и не узнала, кто надругался над главной героиней сериала, хвост мешал пониманию сюжета.

Тем не менее, Юля кошку Матильду любила трудной безответной любовью. Папа любил Юлю и посему кошку терпел. Кошка плевать хотела на обоих.

Но как-то жили. Пока кошка Матильда не врубилась, что ей чего-то недодали, и не начала день и ночь орать дурниной, забыв даже про еду.

Ветеринар обнаружил у Матильды проблемы со здоровьем и стерилизовать категорически не советовал.

— Вы, — сказал, — ей таблеточки подавайте.

Супротив огненного темперамента Матильды таблеточки были — как зеленка против бубонной чумы.

Ветеринар сказал:

— Она потом успокоится. Попривыкнет. Про таблеточки не забывайте.

Однако Матильда успокаиваться не пожелала и в свой следующий порыв к простому кошачьему счастью устроила такое, что пришла интеллигентная соседка снизу и возмущенным речитативом исполнила арию князя Игоря: “ни-сна-ни-отдыха-измученной-душе-и-ночь-не-шлет-надежды-и-спасенья-ну-найдите-вы-ей-кота-пожалуйста-сил-уже-нету”.

Как на беду, у всех знакомых коты были в усеченном варианте.

К вечеру субботы папа пришел к мысли, что живодер — профессия нужная и обществом востребованная; соседка снизу, растерявшая интеллигентность, пообещала своими руками придушить мерзкую тварь, если ей не заткнут ее мерзкую пасть; а Юля вспомнила, что в соседнем подъезде живет породистый кот, наверняка производитель, и побежала выпросить его напрокат.

— Ну что вы, милая, как можно, у нас выставка через неделю, да и потом — ваша-то кошка из простых, мы не можем портить себе генетику!

Юля выскочила из подъезда, чуть не сбив с ног какого-то молодого человека.

— Слушайте, — в отчаянии сказала обычно сдержанная Юля, — у вас кота нет?

— Хомяк вам не подойдет?

Юля посмотрела вверх. На втором этаже на подоконнике Юлиной кухни бесновалась алчущая любви Матильда. Двухкамерный стеклопакет пока держался.

— Понятно, — сказал молодой человек, — стойте тут, я сейчас.

Исчез и появился минут через пять с серым помойным котом. Кот висел на руке этакой тощей вонючей сосиской и печально взирал на Юлю.

— Этот справится. Только выстирать надо.

Пока кот мужественно терпел мытье, Матильда с воплями колотилась в дверь ванной. После сушки кот рванул к миске, по пути отвесив Матильде хорошую затрещину. Довольно типичное мужское поведение.

Делу время, потехе час. Ну, дальше понятно...

Зная мое пристрастие к хэппи-эндам, вы наверняка ожидаете, что Юля влюбилась в котолова Костю, причем взаимно. Нет, они всего лишь приятельствуют. Костя уже второй год встречается с дизайнером Катей. Зато Костина мама — кандидат исторических наук — работает в Музее Великой Отечественной войны. Юлин папа не ожидал от женщины такого глубокого понимания личности генерала Роммеля.

Кота, кстати, оставили. Назвали Помойкиным. Помойкин — замечательный кот, без закидонов и когтей веером, смотрит ласково, мурлыкает благостно. Но строг — Матильда у него по струночке ходит. Правда, после беготни и нервотрепки с пристраиванием пяти котят в хорошие руки бедного Помойкина лишили определенных радостей жизни. Да и Матильда как-то сама собой успокоилась.

Когда-то за мной ухаживал один молодой человек из семьи с традициями. Его мама так и сказала:

— В нашей семье чтут сложившиеся традиции, — и посмотрела на меня со сдержанным негодованием.

Мама, кандидат каких-то расплывчатых наук, была уверена, что я хочу окрутить ее драгоценного Славика, женить его на себе, а потом изловчиться и оттяпать кусок их жилплощади. А то и всю. Чего еще ждать от девицы из общежития?.. То, что я не шастала по квартире с рулеткой, вымеряя квадратные метры, служило доказательством не чистоты моих намерений, а лишь изощренного коварства.

А я еще сдуру ляпнула, что у них редкая фамилия и что мне такая встречалась только в деревне, соседней с той, откуда родом мой папа. Мама-кандидат взволновалась, заколыхалась могучим бюстом и начала чуть ли не тыркать меня носом в портрет какого-то пучеглазого предка в сюртуке. Типа почувствуйте разницу.

Акции мои упали до нуля. В ее вселенной я была инородным телом из антивещества. Тем не менее, по молодости, глупости и слегка влюбленности мне хотелось соответствовать высоким стандартам.

Результаты не обнадеживали. То бишь на роль косорукой служанки я еще туда-сюда, а вот члена семьи — увы.

Так оно и тянулось. Но как сказано в одной книжке про трудное дамское счастье: и тут наступил катарсис. Молодой человек поволок меня на какое-то литературное чтение, где я чуть не вывихнула себе челюсть, пытаясь унять зевоту, но, не совладав с ней, со всхлипом зевнула прямо в лицо некоей поэтессе.

Зевота заразительна, и в зальчике нашлись еще плебеи. В задних рядах вообще кто-то всхрапнул. Теткины стихи иначе как полной ахинеей назвать было нельзя, да еще она читала их с замогильным подвывом, закатывая глаза и трепеща от собственной гениальности. Короче говоря, атмосфера на этом чтении очень напоминала безалкогольную свадьбу, на которой меня как-то угораздило присутствовать.

На мою беду, литературная тетка оказалась маминой приятельницей.

— Марина — это наша новая Ахматова! — с пафосом заявила мама, глядя на меня с презрительным укором.

Честно говоря, от Ахматовой у дамочки была только ложноклассическая шаль, в которую она зябко куталась. О чем я и сказала.

На следующий день мама позвонила мне на работу:

— Наталья, мне больно об этом вам говорить, поверьте, я не хочу вас ранить, но у вас с моим сыном нет ничего общего, никаких точек соприкосновения, общих интересов, устремлений.

А поскольку тем же утром я обнаружила, что полуторамесячная слегка-влюбленность сменилась сильным недоумением, то радостно воскликнула в ответ:

— И слава богу, Светлана Владленовна! И слава богу! — чем оскорбила ее чувства еще больше.

Я бы и не вспомнила этого Славика, если б в начале марта не встретила его маму на рынке.

— А Славочка так и не женился. Знаете, девушки нынче такие меркантильные, все ищут выгоду, все. А как у вас, Наталья? Замужем? И что, муж пьет?

Я потом даже переживала. Ну что мне стоило сказать, что муж пьет не просыхая, а сама я живу сбором пустых бутылок?

### О ЖИЗНЕННЫХ УСТАНОВКАХ

Одной девушке мама, ушибленная личной жизнью, с детства твердила:

— Таня! Мужчинам верить нельзя! Никому. Ни-ко-му! Им от тебя только одно надо, я-то знаю.

Так оно и получилось.

А одному мужчине вообще тяжело и жилось, и живется. У него кругомвраги. Ему мама еще в детском саду объяснила: завидуют. Годы шли, а кругомвраги множились. Одноклассники, однокурсники, коллеги, соседи, тот придурок в автобусе, наступивший на ногу, продавцы, ЖЭС в полном составе. Пару лет назад к кругомврагам примкнула жена. Бывшая. Далее в этот круг должны, по идее, влиться стихийные силы мироздания. По крайней мере, я его так поняла.

А вы думали, что астероид 2005YU55, пронесшийся 19 апреля всего лишь в двух с половиной миллионах километров от Земли, это просто так?

Сегодня утром на остановке ко мне обратился бомж, приподнял страшенькую зеленую шляпу в знак приветствия и сказал:

— Мадам! Не откажите себе в удовольствии угостить сигаретой собрата по дурной привычке!

Как тут было отказать?

Бомж затянулся, выдохнул дым кольцом и добавил:

— Чем дольше живу, тем крепче верю.

— Во что? — спросила я.

— В то, что хороших людей значительно больше, чем плохих. Подавляюще больше. Мадам, меня это радует!

### О ТРЕХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПУТИ К СЧАСТЬЮ

До 18.03 жизнь была прекрасна. В 19.02 Любу бросил почтимуж. Теперь подробнее.

В 18.03 почтимуж сообщил о наличии другой и выразил надежду на тихое интеллигентное расставание без скандалов и истерик. Не получилось, мгновенно съехали на уровень “ты всегда! — ты никогда!”.

В 18.40 Люба рыдала, а почтимуж метался по квартире, собирая вещи. Странное дело, Люба почувствовала прилив гордости, наблюдая, как почтимуж пихает в чемодан летний итальянский костюм и прочее. До знакомства с Любой он был обросший, как павиан, и ходил в коричневых туфлях, зеленых штанах и синих рубашках, считал, что так и надо — скромно, достойно и не марко. А теперь хоть перед другой не стыдно.

В 19.02 почтимуж хлопнул дверью, а в 19.10 в дверь позвонили. Первой мыслью было: он осознал, других много, а Люба одна!.. Но на пороге стоял не почтимуж, а юноша в

белых локонах. Окинув светлым взглядом зареванную Люба, юноша мягким голосом спросил:

— Вы хотите изменить свою судьбу и жить в гармонии с собой?

Что еще мог ответить человек, жизнь которого ровно за 59 минут превратилась из цветущего сада в унылую пустошь, заросшую бурьяном и репейником и усыпанную дохлыми надеждами?

Короче говоря, следующим вечером Люба присутствовала на заседании общественного объединения “Путь к счастью”. Путь к счастью объединил нескольких дам пост-бальзаковского возраста, парочку экзальтированных девиц, трех неухоженных мужиков и упомянутого юношу с локонами. Дорожным указателем направления и оплотом веры был гуру Радхатанайя — дородный блондинистый мужчина с носом-картошкой и блудливыми глазками.

Трезвомыслящая Люба пришла в ужас, поклялась больше сюда ни ногой, однако досидела до конца и кое-что для себя вынесла.

Путь к счастью требовал неубийства, вегетарианства и слияния с природой. Одна из дам долго водила дланями над Любиной головой и вынесла вердикт: для достижения гармонии Любе требовалось обнять ствол тамариска и раствориться то ли в астрале, то ли еще где — дама туманно объясняла.

Вегетарианства хватило ненадолго. Дней через десять Люба превратилась в мрачного мизантропа и даже начала покрикивать на больных, чего за ней сроду не водилось. Пришлось плюнуть и вернуться в привычное русло. Тем более что еда на Любиных боках не оседала, ревматолог Марина Викторовна, женщина рубенсовского стиля, всегда печально вздыхала, сидя в столовой над своей миской силоса:

— Ах, Любочка, — вздыхала Марина Викторовна, — как я завидую твоему метаболизму!

Неубийство тоже не прокатило, ибо распространялось на любую божью тварь. Если вы живете рядом с озером, и не исповедующие вегетарианство комары легко телепортируются сквозь противомоскитные сетки, то принцип “не убий” может привести к суициду. Через неделю озверевшая обгрызенная Люба распылила по всей квартире какую-то гадость и с наслаждением наблюдала за предсмертными комариными судорогами. Устойчивые к гадости особи были отловлены пылесосом.

Осталось только единение с природой. Но уже на входе в ботанический сад Люба сообразила, что понятия не имеет, как выглядит этот чертов тамариск. Однако рассудила, что ежели тебе суждено слиться с природой посредством обнимания тамариска, то предполагается, что ты этот самый тамариск опознаешь. Какие-нибудь фибры души завибрируют. Как-то так.

Таблички в саду неплохо было бы подновить, но в конце концов Люба нашла какой-то раскидистый куст с темными листьями, рядом с которым было написано “...ис”, и полезла его обнимать. Куст оказался редкой сволочью — весь в колючках. И в довершении всего из-за куста кто-то возмущенно спросил:

— Девушка, прекратите хулиганить! Это же редкое растение!

— Я тоже редкая. Ничего вашему тамариску не сделается. Вот обниму его — и всё. Ой!



— Какой тамариск? Это барбарис оттавский, у нас на весь сад только два экземпляра. Вам что, плохо?

— Плохо, у меня все плохо, и обнимаю я не то, и выбираю не тех, и вон все руки в колючках, и вообще! — злобно сказала Люба и вылезла из куста. — А вы шли себе — ну и идите. За табличками бы лучше следили, ничего не разобрать, работнички!

Высокий сутуловатый мужик посмотрел на Любу и сказал:

— У вас по ботанике в школе что было — двойка или кол? Вы б еще на ядовитое что бросаться начали... Да что ж вы плачете? Ну не плачьте, пойдемте, вытащим занозы, пойдемте, у меня вон там в оранжерее кабинет, пойдемте, чаем вас отпою. Кстати, а зачем вы наш барбарис так страстно обнимали?

— Счастья и гармонии хотела, — хлюпая носом, сказала Люба.

— Да? — удивился мужик. — Как интересно... Знаете что, вот давайте вытащим ваши занозы и, если вам так это необходимо, обнимите потом меня. В плане счастья и гармонии я гораздо перспективнее барбариса.

Добавлю — четвертый год уже обнимает.

## О НАУКЕ И ЖИЗНИ

Одна девушка подозревала, что все мужики — козлы. Ей об этом говорили мама и Интернет. Но замуж все равно хотелось.

Поначалу муж-таксист скрывал свою козлиную сущность. (Тут уместно вспомнить любопытные факты из мира живой природы. Про черного кобеля или про леопарда с его пятнами). Но со временем назрели вопросы: зачем мужу родители, если у него есть жена, какого черта он возит одиноких баб и почему он не олигарх?

Полгода муж что-то слабо вякал. Жалкие, жалкие оправдания, смешно и грустно. А потом ушел. Через пару лет женился на физиотерапевте Алисе и ныне растит двойняшек, рулит своим маленьким таксопарком и имеет наглость выглядеть счастливым. Кто он после этого? Мама и Интернет оказались правы.

И здесь мы видим прекрасный пример научного подхода: только практический опыт делает гипотезу полноценной теорией. *Quod erat demonstrandum*, как любят говорить доктора физико-математических наук, читающие математический анализ неразумным студентам.

Но не будем о печальном.

Вчера мы возвращались с Реки домой. Вдоль дороги стоял лес с соснами и лежали зеленые поля с кукурузой и желтые с чем-то вроде пшеницы (я не сильна в агрономии). На желтых полях пыхтели комбайны. За каждым комбайном ходили аисты. Когда комбайн решал передохнуть и комбайнер спрыгивал на желтое колючее поле, к нему подходил степенный аист, заглядывал в лицо и выразительно щелкал клювом.

Не нужно знать аистиный язык поз и движений, чтобы понять смысл мессиджа:

— Мужик, — говорил аист, — я понимаю, ты устал, пойми и нас, сентябрь на носу, ты прикинь, где мы, а где Южный Судан, крыльями так намашешься, что Африка не в радость, а полевые мыши — богатая белками и витаминами пища, ты, мужик, прости, что пристаем, но ноги размял — давай уже, работай.

Комбайнер смотрел в направлении Южного Судана, вздыхал, возможно, матерился, но лез в кабину.

А в небе парили аисты-разведчики, сканировали местность на предмет неучтенных комбайнов.

Рано или поздно какой-нибудь ученый напишет диссертацию о влиянии аистов на повышение темпов уборки зерновых в республике. А остальные, не такие ученые, просто подумают, глядя на аистов, комбайнеров, рыжего кота на лавке у деревенского дома, подростков, играющих в футбол на опушке, двух барышень-велосипедисток, дородную тетку у колодца, лохматую собаку рядом с ней, подумают: “Мы все одной крови”. А потом еще раз посмотрят по сторонам, вздохнут удовлетворенно и додумают: “Что и требовалось доказать”. QED.

### О НИКОЛАЯХ

В местах скопления теток я беззащитна. Тетки чувствуют это и любят рассказывать мне полынные повести своей жизни. Идешь сдавать мужнины ботинки в починку, оглянуться не успеешь, как уже зажата в углу между пыльной диффенбахией и инвалидной аустроцилиндропунцией и выслушиваешь печальную историю о том, что и Николай тоже оказался бездушной скотиной.

Из горьких рассказов можно составить солидный том, пронизанный любовью и коварством и населенный Николаями и подлыми разлучницами и интриганками. “Но и Николай оказался бездушной скотиной. Воспоминания очевидиц”.

Книга пользовалась бы заслуженным успехом у оголтелых феминисток, склонных к гендерному терроризму, и служила бы неисчерпаемым источником вдохновения для сериальных сценаристов. “Несгибаемым источником” — как я недавно прочла в одном романе.

Вчера на рынке разговор оттолкнулся от погоды и дороговизны и круто свернул к бывшему мужу, связавшемуся с негодяйкой и ушедшему жить в негодяйкину квартиру. У негодяйки есть ребенок, и она старше теткингого экса на четыре года.

Геронтофил.

Престарелая распутница и развратница.

Ни стыда, ни совести у обоих.

— Вот вы замужем? — недоверчиво спросила меня тетка. — Да?! Что ж вы кольцо не носите? Вот ваш муж на сколько вас старше?

Я честно ответила, что мой муж младше меня на пять лет.

Тетка глянула на меня с ужасом и отвращением, как если бы я была провокатором Азефом, а она наконец-то прозревшей партией эсеров, на всю очередь объявила:

— И ты такая же!

И поспешно удалилась, забыв прихватить свою сетку с помидорами.

Я же ее и догоняла с этой сеткой.

Догнала.

## О СТРАННОСТЯХ ЗНАКОМСТВ

Одна девушка, Марина, шла себе по улице, мечтала о своем, о девичьем, и тут ей на голову свалился третий том из одиннадцатитомного собрания сочинений Лескова, издания 1957 года. Тот, где “Старые годы в селе Плодомасове”.

Это ее будущий муж углядел из окна свою судьбу, сообразил, что выскочить и догнать не успеет, и решил сбросить книгу так, чтоб она упала прямо к ногам избранницы. Упадет, девушка ойкнет, посмотрит вверх — дальше дело техники.

Задумка была прекрасной, исполнение — не очень.

Хорошо еще плашмя по макушке, легкое сотрясение, без фатальных последствий.

Когда через полтора года они разводились, Марина сказала:

— Лучше б я его тогда сразу убила. Лесковым.

А еще одна девушка, кстати, тоже Марина, вымучила-таки права и на следующий день отправилась на своей маленькой аккуратной машинке к маме на дачу. И въехала в зад затормозившему садовому трактору МТЗ-422. Буквально метра не хватило.

Такой вот нечаянный краш-тест, доказавший, что сначала надо давить на тормоз, а орать “ты куда, козел, смотришь!” лучше потом, после полной остановки маленькой аккуратной машинки.

Вылезший из трактора мужик сказал, что про баб за рулем он примерно так и думал. Что раз в год выберешься к дядьке в деревню, вспомнишь молодость, за околицу на тракторе вытарактишь — обязательно какая-нибудь зараза испоганит всю ностальгию.

Что хорошо — трактор не поцарапался, а то бы дядька со свету сжил.

Марину-2 взорвало. Пылкость и убедительность наших речей, как правило, обратно пропорциональна нашей правоте. И монолог Марины был столь эмоционально-перенасыщен, что пыльная обочина наверняка была усыпана выпавшими в осадок эмоциями.

Однако минут через десять до нее дошло, что ответная реакция какая-то неправильная. Мужик стоял, улыбался, а потом сказал:

— Вы, девушка, продолжайте, не стесняйтесь. У вас такой голос красивый — век бы слушал.

Ну, потом много чего еще было, но слушает ее он до сих пор. Года четыре уже.

P.S. Вчера вечером мне сказали, что Марина-1 по-новой выходит замуж за бывшего мужа. Лесков — сила.

## О ГЕНЕТИКЕ И ПУТЯХ ГОСПОДНИХ

У одного молодого человека, Федора К., жила человеколюбивая собака Раймонда страхолюдной породы. Очень добрая, очень, но на лицо, зубы, загривок и лапы настолько ужасная, что желающих протестировать ее на доброту не находилось.

И все же Федору хотелось некоей гармонии между Раймондиными экстерьером и интерьером. Потому как ежели ты покупаешь щенка сторожевой собаки, то предполагается, что из щенка вырастет именно сторожевая собака, а не 70 кило слюней и обожания кого попало.

Федор даже водил Раймонду в специальную собачью школу для выработки правильных рефлексов.

Деньги на ветер. “Место!”, “апорт!”, “рядом!” и далее по списку — без проблем, а вот концепция “свой — чужой” в Раймондину систему ценностей не вписывалась. Как если бы уже наступило светлое коммунистическое будущее, в котором свои — все.

Хозяин махнул рукой на воспитание в надежде на то, что проникшего в квартиру и наткнувшегося на Раймонду грабителя незамедлительно хватит кондрашка от радости этой встречи и он откинет копыта до того, как псина дружелюбно завилает мощной задницей и покажет злодею, где хранится кубышка.

Пару лет назад, в октябре, Федор решил на выходные съездить на родительскую дачу — во-первых, мама просила забрать банки с огурцами, а во-вторых, чтобы ранними сумерками, тишиной, благодатью и безлюдьем подлечить разбитое девушкой Лорой сердце.

Когда сквозь голые яблоневые ветки на тебя смотрит холодное вечернее небо, то факт “Лора — дура” становится очевидным и не требующим доказательств.

Посидел, покурил, обрел душевный покой и в восемь вечера завалился спать.

Раймонда же потаскала по всему участку любимую кость из зоомагазина, от души обгавкала подозрительное шебуршение в кустах малины, а спать не пошла — решила подождать, не выйдет ли из малинника неизвестный доселе друг, которого можно будет зацеловать и зализать.

А в это время на соседнюю дачу приехала девушка Алина, кстати, тоже за огурцами. Вышла из машины, вдохнула прохладный воздух, сказала:

— Блин, хорошо-то как!

И позвонила маме, сообщив, что останется переночевать. Загнала машину во двор и закрыла ворота.

Вот тут хочется вспомнить из школьного: на ту беду лиса близехонько бежала...

Не совсем, конечно, лиса, но общий смысл понятен.

Когда Алина запирала машину, за спиной что-то страшно засопело.

Бедная девушка оглянулась, а потом обнаружила себя внутри машины вжавшейся в сиденье и судорожно уцепившейся за руль. Зря серьезные ученые морщатся при слове “телепортация”. Снаружи бесновалось исчадие ада размером с упитанную лошадь.

Наскакавшись, оно положило свою баскервильскую морду на капот, уставилось на скукожившуюся Алину и время от времени зевало, показывая кошмарную пасть и язык размером с полковое знамя, страшно взрыкивало и хрипело.

(Отступление: чужие люди, как правило, не догадывались, что эти тиранозаврьи звуки — всего лишь ласковое мурчание, только в другом регистре).

Минут через десять Алине удалось собрать себя воедино и обрести способность к логическому мышлению. И лучше бы она ее не обретала. Потому как выяснилось, что ключей в машине нет, телефон остался в сумке, а сумка — на лавочке у крыльца. Монстр куда-то исчез, но сразу же материализовался обратно — с огромной костью в зубах, очень похожей на человеческую.

Алина осознала, что чудовище скоро проголодается, откусит дверцу у старенького гольфа, и про то, что будет дальше — лучше не думать.

Адский пес тем временем уместил кость на капот и начал подталкивать ее мордой к лобовому стеклу. Как бы намекая.

Кинематограф учит нас многим полезным вещам, но теория — теорией, а практику никто не отменял: то, что машина заведется, если соединить какие-то проводки — было понятно, но какие проводки и как до них добраться — не очень.

В двенадцатом часу Федор проснулся, обнаружил, что собаки в доме и на крыльце нет, обеспокоился и начал ее звать:

— Райка!

Райка залаяла гулким басом с соседнего участка, но домой не явилась. Причем лаяла как-то обиженно. Пришлось за отбившейся от рук негодяжкой идти самому — в тапках, трусах и зеленом одеяле.

Освобожденная Алина крикнула Федору:

— Не кусается?! Где на ней написано, что она не кусается?! Стойте тут, я вам сейчас все выскажу! — и изо всех сил дунула куда-то за дом, не иначе как в сортир. Раймонда скулила и рвалась следом, за три часа тесного знакомства Алина ей стала как родная.

Нет, дальше никакой романтики. Перезваниваются изредка.

Когда через год Алина привела Рэма в школу “Ученый пес”, то после первого занятия кинолог Вадим спросил:

— А как маму вашего Рэма зовут? Что-то типа Ромуальда, Изольда, так?.. Ах, Раймонда. Как же, помню. Понятно, в кого он пошел.

Алина оскорбилась, обвинила Вадима в непрофессионализме, короче, разругались страшно. А в этом январе поженились.

## О СТАРИЧКАХ И СТАРУШКАХ — 1

Усланный в командировку и задержанный там еще на два дня внук Петя в расстроенных чувствах позвонил своей бабушке Лидии Юрьевне и прокричал, что у него в столе лежит конверт с билетом и что пусть бабушка попробует его продать, сегодня же, еще не поздно.

Бабушка нашла конверт, глянула на билет, не поверила своим глазам, выпила валерьянки и перезвонила внуку.

— Бабуля! — страшным голосом заорал внук. — Не могу я его пристроить, мои все либо с билетами, либо не могут!

— Петенька, ну кому же я его продам за такие деньги?! И не надрывайся, я тебя прекрасно слышу.

— Ну так выбрось! Или сама сходи!

Выбросить или просто так отдать билет ценою в две ее пенсии — это, считай, готовый инфаркт в компании с инсультом. Вот так слегка глуховатая, но отказывающаяся признать глуховатость Лидия Юрьевна побывала на концерте группы Рамштайн.

И ей понравилось. Конечно, можно было бы себя вести и поскромнее. Но понравилось. Особенно главный рамштайнщик, похожий на Николая Матвеевича, покойного мужа

Лидии Юрьевны. Тоже с виду был ёрник, бабник и рукусуй, а на самом-то деле человек хороший и надежный.

Молодые люди, сидевшие рядом с ней, сначала изумленно смотрели на Лидию Юрьевну, но потом прониклись, зауважали и после концерта предложили отвезти домой. И отвезли на красивой машине, и помогли выйти, и провели до дверей. И все это видела мучающаяся бессонницей сплетница Сатькова с первого этажа, что не могло не сказаться на репутации Лидии Юрьевны в глазах окрестных старушек. Но Лидия Юрьевна даже не расстроилась. Николай Матвеевич умер совсем молодым, чуть за сорок, и ни одной фотографии не осталось — альбом пропал при переезде.

— Вот, Коленька, и день прошел, сейчас все тебе расскажу, только посижу, с мыслями соберусь. Ну, слушай... — говорит вечерами Лидия Юрьевна и поправляет стоящее на комодике фото Тилля Линдеманна, вырезанное из купленного Петей постера и вставленное в рамочку из светлого дерева.

## О СТАРИЧКАХ И СТАРУШКАХ — 2

Татьяну Львовну соседка долго окучивала, но таки уговорила пойти в клуб для тех, кому за много.

— Что сиднем дома сидеть, племянница моя там работает, запишет нас не абы куда, а чтоб в группе мужчины были, посмотрим, поговорим, может, и потанцуем.

Как и ожидалось, сильно подвявший дамский цветник, украшенный несколькими старичками разной степени мумифицированности. Сначала распорядительница, та самая племянница, долго вещала на предмет золотой осени жизни. Наверно, чтоб ни у кого не осталось сомнений, что зима не за горами.

По ходу ее речи в зал прибывали заплутавшие старушки. А потом зашел Романюк. И застыл в дверях разочарованно. Как будто ему была твердо обещана стайка прелестниц не старше двадцати, а не этот залежалый неликвид.

Сорок пять лет, черт подери, сорок пять лет между Танечкой, смертельно влюбленной в Романюка с первого же курса, и нынешней Татьяной Львовной.

Перед распределением Романюк сказал ей:

— Ты, Танька, глуповатая какая-то, не перспективная, с тобой не вырастешь, мотивации нету расти, понимаешь?

Потускневшее прошлое ожило, показалось случившимся не далее как вчера, и Татьяна Львовна встала, подошла к усевшемуся в первом ряду Романюку, прихватив по пути увесистую папку со стола распорядительницы, и стукнула его этой папкой по голове. И уже замахнулась во второй раз, но в какую-то долю секунды поняла, что был бы Романюк — и не было бы ничего другого, ни долгой и действительно счастливой семейной жизни, ни замечательных дочек, ни докторской мужа, ни его кафедры, ни своей кандидатской — только заглядывание в глаза, чтоб угадать настроение, и боязнь сказать или сделать не то и не так.

Тогда она положила папку, сказала:

— Спасибо тебе, Романюк! — и чмокнула его в побагровевшую лысину.

А потом сидела в парке, смотрела, как с кленов шепотом облетают листья, как целуется на скамейке юная парочка, как по газону носится мальчишка с косматой дворнягой,

мальчишка смеялся, а дворняга лаяла и тоже смеялась. Мальчик был похож на ее внука. И собаку внук завел похожую — без роду и племени, зато шерстистости необыкновенной. И впервые за годы, прошедшие после смерти мужа, Татьяна Львовна была абсолютно счастлива.

А Романюк, кстати, учинил несусветный скандал, требуя, чтоб при вступлении в клуб предъявлялась справка от психиатра, а то понабирали тут сумасшедших маразматичек, которые кидаются на кого ни попадя. Хотел идти в поликлинику снимать побои. Еле отговорили.

## Муравьёва Ирина Лазаревна

родилась в Москве в 1952 году в семье переводчика Лазаря Марковича Штайнмеца и Тамары Константиновны Панкратовой, брат писательницы - художник Леон Штейнмец. В три года лишилась матери (мать умерла от врождённого порока сердца). После школы окончила филфак МГУ, отделение русского языка и литературы. Ученица профессора В.Е. Хализева. До отъезда в 1985 году на постоянное место жительства в США жила и работала в Москве. Начинала как литературовед. Переводила на русский язык стихи английских и немецких поэтов. После эмиграции начала активно печататься в газете «Русская мысль», журналах «Континент», «Грани», «Время» и многих других эмигрантских изданиях. Позднее начались регулярные публикации в России. После эмиграции проживает с семьёй в Бостоне. В США преподавала в Гарварде русский язык, получила докторскую степень в Браунском университете (тема диссертации «Психология детства в творчестве Ф.М. Достоевского»). Начала писать художественную прозу. Редактор-издатель газет "Бостонское время" (1995-'97), "Бостонский марафон" (с 1998). В настоящее время – автор 6 романов и более 50 рассказов, один из которых («На краю») вошёл в число «26 лучших произведений женщин-писателей мира» (1998).

### **Произведения:**

Портрет Алтовити

Весёлые ребята

Любовь Фрау Клейст

День ангела

Барышня

Холод черёмухи

### **Интервью:**

Ирина Муравьева – известный писатель, автор нашумевшего романа «Любовь фрау Клейст». На Московской международной книжной ярмарке она представила свою новую книгу, вышедшую в издательстве «Эксмо», - «Страсти по Юрию». О литературе, женской судьбе, роли интеллигенции в истории и о многом другом Ирина Муравьева рассказала в интервью корреспонденту WS.

**Ирина Лазаревна, вы считаете себя русским писателем, живущим в США, или американским, пишущим на русском языке?**

Я считаю себя русским писателем, живущим в США, потому что я пишу на русском языке. А язык – это основной наполнитель любого творчества.

**Все ваши героини – женщины хрупкие, мечтательные, но при этом очень сильные. Вы такой считаете русскую женщину вообще, или это чистый литературный вымысел?**

Это то, что мне хотелось бы видеть, то, что я люблю в женщине как в личности - сочетание деликатности и кажущейся хрупкости с большой внутренней силой, мужеством и способностью оставаться самой собой.



### **Как, на ваш взгляд, изменилась судьба и роль писателя в современной России?**

Мой новый роман имеет непосредственное отношение к вашему вопросу. Мне кажется, что сегодня происходит определенная девальвация культурных ценностей и вместе с этим меняется отношение к литературе. Литература подменяется понятием чтива, или развлечения, или проекта, чего-то такого потребительского. Но ведь литература – это большое искусство, которое никто не отменял. И подмена эта для человечества очень драматична. Что же будет, если искусство перейдет в категорию развлечения? Я написала свой новый роман «Страсти по Юрию» о писателе того типа, который мне близок и дорог, то есть, о настоящем писателе, который должен, по моему мнению, стать неотъемлемой частью большой русской словесности. Прототипом моего героя стал Георгий Владимов, хотя это роман не о нем, а его памяти. Его герой соответствует моему представлению о настоящем, большом писателе, которое выработано во мне давно, с детства, и которому я не изменяю.

### **Насколько интересуют, по вашему мнению, русская литература американского читателя?**

Дело в том, что американский читатель так же перекормлен, как и любой другой. Но есть такая категория американских словистов, делом жизнью которых стала русская литература. Вот они ей преданы неистово, не меньше, чем филологи, которые живут в Москве, или в Питере, или где-то ещё. Они любят свой предмет, они знают язык, они изучили его досконально и могут спокойно процитировать Пушкина. Таких людей довольно много, некоторых из них я знаю, но всё-таки это не широкая публика. Если говорить о широкой публике, то могу привести вам смешной пример. У нас есть один приятель, у которого жена – музыкант. Она англичанка, а живут они в Голландии. Она вполне интеллигентный человек, но когда как-то в компании зашел разговор об Анне Карениной, она спросила: «Who is Anna Karenina anyway?» - «Да кто такая эта Каренина, в конце концов?» То есть, понимаете, есть огромная масса вполне образованных людей, которые даже на таком уровне не знают и не представляют себе, что оставила русская литература в наследие всему человечеству. Но есть исключения, как всегда и везде. Я думаю, что перекормленность читателей всякой книгой, всякой информацией, любыми романами и жанрами, конечно, очень сказывается. Слишком много товара, чтобы его раскупить...

### **В романе «День ангела» вы дали определенную оценку поведения интеллигенции по отношению к тоталитарному режиму. Как вам кажется, как ведет себя современная российская интеллигенция по отношению к власти?**

Мне на этот вопрос трудно ответить, поскольку я не знаю на него ответа. Я в курсе событий, которые происходят в России, но никогда не сталкивалась с каким-то массовым явлением, по которому можно было бы сказать, что интеллигенция ведет себя вот так или ведет себя иначе. Думаю, что каждый человек ведет себя по-своему, так, как ему на этот момент кажется верным. Кто-то, наверное, отстраняется от политики, а кто-то прекраснодушно думает, что можно что-то изменить ...

### **А вы считаете, что повлиять на власть, изменить что-то в глобальном смысле нельзя?**

Я в этом смысле большая фаталистка и считаю, что людям только кажется, что они могут на что-то влиять. Они могут очень суетиться, могут с большим пафосом об этом

говорить, но влиять на такую ситуацию как судьба страны, практически невозможно. Что суждено, то исполнится. Это мое убеждение касается разных, самых серьезных вещей и история, как ни странно, насколько я её понимаю, подтверждает именно это представление о ней. То, что должно быть, всё равно происходит. Скажем, победа большевиков в России представлялась совершенно парадоксальной, очень маловероятной вещью, однако она произошла и повлекла коренную смену человеческого духовного состава. Люди стали меняться, их стали гнуть в разные стороны, как старые оловянные вилки. Это происходило, но представить, что такое может случиться за 20 лет до того, как оно случилось, было практически невозможно. Мне кажется, что течение человеческой жизни и судьбы страны вне нашей власти. При этом я думаю, что каждый человек должен отвечать за свое собственное личное достоинство, стало быть, не делать подлостей и не участвовать в зле. Если каждый человек, посмотрев на свою жизнь и своё я, поймет, что это главное, может быть, тогда мы постепенно что-то изменим.

## ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА

### Часть первая

Раздевалка девочек была отделена от раздевалки мальчиков тонкой перегородкой, через которую было слышно все, включая дыхание и шелест чулок. В закутке, общем для обеих раздевалок, стоял запах острого пота, внутри которого плавало множество побочных запахов, начиная от кислого — резины — и кончая горьковатым запахом польских духов «Черная кошка». Сильнее всего пахло от Юли Фейгензон. От ее влажной, в мягких глубоких складках полноты, на которой еле застегивалась старая школьная форма. Мы сидели на одной парте, и каждое движение ее смуглой руки с короткими пальцами, каждое ленивое почесывание ладонью заросшего темным пушком виска или машинальное погружение карандаша в глубину каштановых, с золотом, слипшихся кудрей приводило к тому, что мокрая, в белесых разводах подмышка, высунувшись из складок передника, ударяла по моим ноздрям дикой силы сладковатым неподвижным запахом, который, как мне казалось, и был душой Фейгензон, выражал собою всю ее — девочку из бедной семьи, молчаливую, рано созревшую, которая уже в девять лет носила огромный, серого цвета лифчик, плохо училась и смотрела на мальчиков смеющимися темными глазами в густых ресницах.

Переодеваясь для урока физкультуры, я старалась выбрать лавку подальше от Фейгензон, которая, кстати сказать, на физкультуру ходила редко и каждый свой пропуск объясняла учителю Николаю Ивановичу — бешеному фронтовику — тем, что у нее «это дело». А Николай Иваныч раздувал волосатые ноздри, всем своим нутром переживая то, что приходится выслушивать, и, упершись левым зрачком в ее распираемый мощной грудью передник, махал рукой с плоскими ногтями потомственного алкоголика:

— Ладно!

Она так просто, так доверчиво сообщала, что не сможет ни перепрыгнуть через козла, ни сделать березку, будто Николай Иваныч был школьной медсестрой, а не чужим человеком, мужчиной, чуть было не сломавшим однажды руку Сергею Чугрову за то, что тот, долговязый и неловкий, карабкаясь по шведской стенке, поскользнулся и неожиданно съехал вниз, прямо на шею растерявшегося от неожиданности, но тут же налившегося сизой кровью физкультурника, который изо всей силы схватил Чугрова за руку и так резко рванул ее вниз, что хрустнули все суставы. Наши мальчики обходили Фейгензон вниманием, она была слишком большой, потной и неподвижной, в то время как им до смерти хотелось вертлявых девчонок с тонкими талиями и темными сосками, которые проступали под майками во время все той же физкультуры, когда покрасневшая одноклассница, сверкая глазами, неслась к кожаному, продранному с одного бока козлу, чтобы под одобрительные покрикивания ломких басков перескочить через него, если получится, а если нет, то упасть, будто ее сразила пуля, на блестящий от пота, продавленный мат, вспыхнув полоской кожи между задравшейся майкой и сатиновыми трусами.

В это утро они сидели на лавочке втроем: Фейгензон, Орлов и Чернецкая. Фейгензон было четырнадцать, потому что она поступила в школу немного позже, а Орлову и Чернецкой тринадцать. Кончался март, долгий, промозглый месяц, когда воздух в высоких, наполовину забеленных окнах актового зала наполняется торопливой надеждой непонятно на что, а снег на земле сжимается и темнеет, как стариковская кожа.

В отличие от тошнотворно пахнущей Фейгензон с ее постоянным посмеиванием и мокрым ртом, Чернецкая была аккуратно причесана, быстроглаза, надушена и без устали

кокетничала со всеми лицами мужского пола, начиная со свирепого Николая Ивановича и кончая учителем истории Робертом Яковлевичем, высоким, с тремя скрюченными пальцами, торчащими из обтянутого кожей отростка, — вместо правой руки, и пустым рукавом, засунутым в карман пиджака, — вместо левой. Чернецкая кокетничала и с ним, и с Николаем Ивановичем, и с председателем совета дружины прыщавым Володей, и с милиционером, который руководил переходом через Смоленскую площадь, и с каждым из тех черноусых кубинцев, борцов за свободу и независимость, которые появились однажды в нашей школе на утреннике благодаря ее же, Чернецкой, матери, переводчице с испанского, работающей в Доме дружбы — небольшом, завитом, как улитка, старинном особняке, в котором, говорят, когда-то, еще в прошлом веке, умерла целая дворянская семья, отравившись конфетами.

Чернецкая кокетничала голосом, ресницами, плечами, руками, ногами. Она кокетничала всем существом и по правилам, которые были от рождения впаяны в ее плоть и кровь, а безнадежно отставшие мальчики, не готовые к ее откровенному женскому зову, ошалевали и отвечали на эту вдруг закинутую голову или упавший до шепота грудной голосок своими наивными ребяческими грубостями.

Итак, они сидели на лавочке. Орлов, Чернецкая, Фейгензон. У Орлова был мужской подбородок и темные тяжелые глаза, которыми он внимательно рассматривал все тонкие талии, все крепкие, как шишечки на молоденьких елках, соски, все вспыхивающие бедра. Взгляд этот был намного старше самого Орлова и изнурял его. Он был рассчитан на то, что Орлову не тринадцать, а по крайней мере семнадцать или даже побольше, когда человек уже представляет себе, что ему делать с женскими талиями, чтобы понапрасну не мучиться. Раздался звонок, одновременно с которым Фейгензон тяжело вздохнула и поднялась, а они, слегка касаясь друг друга, продолжали сидеть, словно им и впрямь было важно, чем кончится эстафета, кто быстрее добежит до стенки — Лapidус из команды мальчиков или Карпова Татьяна из команды девочек, поэтому, как только мягкая и неуклюжая Фейгензон поднялась, они одновременно увидели, что влажная лавочка, только что освободившаяся от нее, густо испачкана кровью. Орлов понимающе усмехнулся и заиграл своими тяжелыми темными глазами, а на щеках у Чернецкой вспыхнул сухой красный шиповник.

— Бедные вы, бабы, — вздохнул Орлов, у которого заныл вдруг низ живота и стало кисло во рту. — Достается вам... Бедные...

И преодолевая дрожь в коленях, пошел к двери.

— Куда? — зарычал на него потный Николай Иванович. — А дневник?

— У меня освобождение. — Орлов приостановился. — Зачем вам мой дневник?

— Что-о-о-о? — заорал Николай Иванович. — Ты с кем разговариваешь? На кого голос поднимаешь?

— Я не поднимаю. — Мощный Орлов опустил глаза. Желваки у него заходили. — Я вам объясняю: освобождение после гриппа.

Что померещилось Николаю Ивановичу, Бог его знает. Но — как это бывало всегда, когда подступало бешенство, — он, выкатив наружу застланные кровью белки, рванул Орлова за воротник и с воплем «молчать!» бросил его обратно на лавку. На глазах у Чернецкой, потому что, кроме них, в физкультурном зале никого не было. Но именно оттого, что это случилось на глазах у женщины, которую он только что остро почувствовал, тринадцатилетний Орлов вскочил и басом, не ломающимся, а настоящим, глубоким, хлынувшим из его ходуном заходившего горла, выдохнул прямо в запенившийся рот Николая Ивановича:

— Сам молчать!

И Николай Иванович, на которого неоднократно жаловались пухлой Людмиле Евгеньевне, директору школы, родители тех детей, которых он чудом не изувечил, вдруг

действительно замолчал и махнул по своей привычке рукой с темными и плоскими ногтями. Поташился в учительскую, бормоча себе под нос те недожеванные ругательства, которые он бормотал когда-то, сидя, молодым и кудрявым, в гниющем окопе.

— Гена, — задыхаясь, сказала Чернецкая, маленькая женщина, только что присутствовавшая при совершенном ради нее дерзком поступке и жадными ноздрями уловившая запах вызванного ее телом желания. — Разве можно так? Ты же его знаешь...

— А тебя — нет, — спокойно, новым своим, только что прорвавшимся басом ответил Орлов. — Пора бы и нам познакомиться.

Они принялись знакомиться на глазах у обоих классов, слегка растерявшихся от этого столь бурного и откровенного любовного праздника: он смотрел на нее, она смотрела на него, и, если гуляла в перемену под руку с другой девочкой, чаще всего своей ближайшей подружкой — длинной, глуховатой Белолипецкой, Орлов неизменно шел сзади, посмеиваясь, прожигая темными глазами ее покатые плечи, узкую спину, маленькие выпуклые ягодицы, взволнованно вздрагивающие от его приклеенного, как горчичник, взгляда. Ясно было, что он ждет не дожидается, чтобы скорее закончились уроки и наступила та неуверенная свобода, на которую со всех сторон зарились бывшие фронтовики, инвалиды, матери-одиночки, — вся эта беспокойная учительская шайка, где каждый так и норовил впиться в сладкую детскую душу, вывернуть ее наизнанку, вытряхнуть из нее все не дозревшие еще семена, все нежные косточки, заорать, наливаясь кровью, пристыдить, разодрать когтями, лишь бы отомстить за свое собственное, засиженное навозными мухами, водкой пропахшее детство.

Сразу, как только кончались уроки, смеющийся Орлов норовил подловить Чернецкую в дальнем углу раздевалки и там, среди вороха мокрых, потертых воротников, сброшенных ботинок, клетчатых шарфов, вязаных шапок, прижать ее, розовую, с опущенными глазами, к стене или вдавить ее маленькое нежное тело в гущу растерзанных курток, дожидаясь, пока она перестанет сопротивляться, застынет под его большими руками, и тогда он, мучаясь разламывающей низ живота болью, начинал осторожно покрывать поцелуями это лицо с узкими глазами молоденькой гейши, острый подбородочек, белую шею, норовя — внутри поцелуя — еще и расстегнуть верхнюю пуговицу коричневого платья и запустить что удастся — руки ли, губы ли — в раскаленную вздрагивающую развилку.

Так они дожили до лета, изнуря друг друга прикосновениями, обжигая глазами, пока не наступила пыльная московская жара, духота, не слабеющая даже ночью, и в первую неделю июня мама Чернецкой начала стелить себе в гостиной, откуда ей было легче прокрадываться в прихожую, не боясь разбудить чутко похрапывающую в чуланчике домработницу Марь Иванну. В прихожей, где висел большой черный телефон, она торопливо набирала номер и, приглушая голос, зажимая трубку ладонью, по часу шепталась с кем-то, изредка переходя на испанский, постанывала и один раз даже вскрикнула, громко, как голубь, влажно, коряво и глухо, но не испугалась своего крика, потому что мужа ее, отца Натальи Чернецкой, заведующего гинекологическим отделением больницы номер 59, не бывало дома в это время, и где он находился — то ли принимал роды, то ли сам делал детей другим женщинам, — мало беспокоило ее, синхронную переводчицу с испанского языка, прогрызшую себе дорогу наверх, в каменный, завитой, как улитка, Дом дружбы. За несколько этих лет, пока она грызла, еле слышно посапывая от напряжения, торопливо замазывая ярко-малиновой помадой пересыхающие от улыбки и болтовни губы, пришлось мимоходом проглотить нескольких неприятных соперниц, норовивших туда же, куда и она, так же, как она, терпеливо подскакивающих на чужих матрасах внутри чужих дач рядом с чужими, хрипловато икающими от белуги мужьями, которые, в конце концов, и решали, которая из этих женщин подскочила выше других и с кем из них можно, как говорится, идти в разведку.

Она победила соперниц — тихо, умно, незаметно, и тут же он стал безразличен ей — ее собственный муж с оттопыренными от благодарных денег карманами, потому что теперь она уже не только сама получала подарки — духи, мохеровые кофточки, блестящие колготки, — но оказалась выездной, начала ездить на Кубу, где иногда даже сходила за свою из-за черных глаз и испанского темперамента, в то время как настоящие свои — тоже черноглазые и темпераментные — отдавались советским морячкам за бутылку водки и флакон одеколона. О девочке, спящей под зорким присмотром Марь Ивановны, мягко и празднично закруглевшей своей уже не вполне детской плотью в эту последнюю зиму, она заботилась ровно настолько, насколько нужно было заботиться о ребенке молодой энергичной женщине, с головой ушедшей в работу, но каждый раз, когда черноусые кубинские друзья спрашивали ее о семье, радостно отвечала, что у нее есть дочка, и тут же показывала фотографию, искренне любясь нежным, излучающим свет изображением: она сама и ее девочка, сидящие в обнимку под русской березой. Черноглазой грызунье не приходило, разумеется, в голову, что каждый раз, когда она босиком прокрадывается в коридор позвонить, девочка со свесившимися набок спутанными каштановыми кудрями приподнимается на локте и, прикрыв узкие глаза, изо всех сил прислушивается к голубиному материнскому клетоту.

Они занимали большую профессорскую квартиру — Неопалимовский переулок, дом 18 дробь 2, — и сначала с ними жили родители ее мужа, которые постепенно умерли, первой — мать, а прошлым летом отец, тоже гинеколог, очень известный, не боящийся даже делать аборт прямо у себя в кабинете, превращенном после его смерти в комнату внучки.

В дни, когда предполагался аборт, Марь Иванна, в чистом хлопчатобумажном платке, с твердо поджатыми тонкими губами, уводила маленькую женщину Чернецкую гулять на Девичку — так назывался сквер, где она, твердогубая, крепкорукая Марь Иванна, глаз не спускала с аккуратной золотисто-коричневой головки, единственной радости своей осиротевшей жизни. Двадцать шесть лет было Марь Иванне, когда она, похоронив быстро умершего от непонятной болезни жениха, попала в город, долго скиталась по чужим домам, мыкалась по чужим семьям, пока не очутилась наконец в Неопалимовском переулке, дом 18 дробь 2, где через год после ее прихода родилась у молодой хозяйки Стеллочки чудо-девочка с узенькими глазами. Тут Марь Иванна успокоилась и стала эту девочку растить. Поначалу ей помогала профессорская жена Любовь Иосифовна, иссушенная ревностью, старая, седая, с роскошными, до старости сохранившимися волосами, но потом она начала болеть, чахнуть, ездить по бесконечным санаториям, и силы на внучку закончились. Хорошо, если почитает ей перед сном какую-нибудь книжечку, Стеллочки-то и вовсе не бывало дома.

После смерти Любви Иосифовны муж ее, выйдя на пенсию, продолжал принимать больных у себя в кабинете, а все аборт назначал почему-то на пятницу. Марь Иванна уводила Чернецкую гулять и, возвратившись, накрывала обедать в гостиной. Усаживались втроем: дед, домработница и ребенок — внучка. После супа старый профессор шел в свой кабинет и говорил лежащей на кушетке, слегка всегда окровавленной (ноги с внутренней стороны), безобразно бледной пациентке:

— Можете потихоньку вставать и идти домой. Подымется температура — звоните.

Никто и никогда не убирал у него в кабинете после аборта, даже Марь Иванна не допускалась, и маленькую женщину Чернецкую до тошноты испугало однажды то, как дед появился с мокрой и бурой от крови тряпкой в руках, сгорбившись, быстро прошел мимо них с Марь Ивановной, опустил глаза, скользнул в уборную и там долго, с силой дергал за ручку, — вода лилась мощно, бурно, а дед все не выходил, и, когда наконец вышел, на лице у него было сердитое выражение.

В июне оба восьмых класса — «А» и «Б» — отправились в трудовой колхозный лагерь для прохождения летней практики с воспитательными целями. Лагерь был разбит на опушке леса в километре от деревни, сорока километрах от города, жить нужно было в палатках, вставать почему-то в шесть, а ложиться в десять, злобно кусались комары, особенно малярийные, в палатках было душно, старые девы — учительницы (Нина Львовна, Галина Аркадьевна) терзали комсомольцев днем и ночью, смягчаясь только тогда, когда начинались песни у костра, и в частности «Синий троллейбус».

Под «Синий троллейбус» неистовые старые девы опускали глаза, начинали перебирать своими неухоженными пальцами края самовязанных ядовито-розовых или тускло-серых с коричневым свитерков, неуверенно подтягивать неверными голосами и, растворяясь своими никем не целованными, никому не понадобившимися телами с клубочками глубоко запрятанных, сморщенных душ в гитарной истоме, чувствовали, что все еще может перемениться, стать голубым и зеленым, и тогда их доцелуют, долюбят, воскреснут Сережки с Малой Бронной и Витьки с Моховой, которые были им, здоровым и плотно сбитым педагогам Нине Львовне и Галине Аркадьевне, предназначены, а вот не вышло, не сбылось, лежат в земле сырой, а поверх отвоеванных у фашистов полей стелется туман, и плывут по нему черный буйвол, и белый орел, и форель золотая, а иначе зачем тра-та-та-та-та-та живу?

И Нина Львовна, и Галина Аркадьевна не сразу поняли, что происходит между Орловым и Чернецкой. Много сбивало с толку. Во-первых, Чернецкая была большой активисткой и отличницей, на которую не хотелось сердиться, потому что были для этого другие — неприятные, несговорчивые девочки, например Соколова — огромная, с огненного цвета тяжелой, в жестких кольцах, косой, которая всегда была растрепанной, а щеки бордовыми, а смех оглушительным, и никогда он не умолкал, этот смех, даже ночью, когда, казалось, все уже давно заснуло, и тут вдруг, в боковой палатке, вспыхивал хохот дикой и бессовестной Соколовой. Кроме нее было еще несколько таких же, отвратительных для Галины Аркадьевны и Нины Львовны, будущих женщин, ироничных, насмешливых, застенчивых, себе на уме, которые не желали понимать (так уж, наверное, были воспитаны!), насколько все вообще должны быть благодарны нашей советской власти, и вместо этого усмехались, переглядывались с такими же, как они, замкнутыми и насмешливыми мальчиками во время политинформации или когда приезжали в школу уважаемые люди. Мать Зои и Шуры Космодемьянских, например, или любимая девушка бесстрашного весельчака Сережки Тюленина, замученного вместе с Олегом Кошевым, эта самая Валентина, о которой великий писатель Фадеев написал (ах, весна, вишни цветут, жить бы да жить ребятам!), написал Фадеев, что у нее на ногах был золотистый пушок, и Сережка, весельчак, бесстрашный (жить бы да жить!), прямо перед выполнением ответственного задания комсомола полюбовался еще раз этим золотистым пушком, и потом ему было что вспомнить в фашистском застенке, когда иголки загоняли под ногти, кипятки лили на голову... Было что вспомнить.

Ну и что же, что сама Валентина читала о Сережке Тюленине по тетрадке, а ноги у нее были как два сучковатых полена? Ну и что же, что — сутулая, неприветливая, в коричневом берете, — дочитав, она курила папиросы «Север» — одну за другой — прямо в актовом зале, не стесняясь детей, и явно норовила поскорее улизнуть, напялить на свою горбатую спину прокуренное пальтишко? Человек через такое прошел, потерял единственно любимого, сохранил ему верность — отсюда и горб, и берет, отсюда и «Север»! — а всё ради нас, неблагодарных, ради нашего будущего, веселые ребята, и в ноги нужно поклониться такому человеку, в ноги, с пушком ли, без пушка ли, но именно в ноги, и чтобы клятву принести, звонкую комсомольскую клятву... Ах, синий троллейбус!

Сердиться на Чернецкую не хотелось, она была правильно воспитана своей мамой Стеллой Георгиевной, переводчицей с испанского, которая работает с группами

кубинских борцов за свободу и независимость. Ездит с ними вместе на Кубу, остров зари багряной.

Слышишь? Идут барбадос? В небе та-та-та их огненный стяг... Слышишь ты или нет, в конце концов?

А такая ведь могла бы получиться избалованная девочка, потому что и домработница у нее (Марь Иванна свою Наташечку не оставила, пристроилась в лагерь поварихой!), и квартира у них великолепная, три комнаты в Неопалимовском, с роялем (дедушка с бабушкой в четыре руки играли!), и кофточки — ни у кого таких нет, даже у директора школы Людмилы Евгеньевны, — а она, Чернецкая, несмотря ни на что, скромная, приветливая, первой вступила в комсомол, и родители у нее — такая красивая пара, еще много лет должно пройти, пока все наши советские семьи будут такие красивые, да хорошо одетые, да так уметь себя вести, как эти...

С Орловым было труднее. Орлов, хоть и считался по возрасту мальчиком, по сути своей был, что называется, настоящим мужиком, и то, что внутри у него мужик этот ходуном ходит, ощущалось даже Галиной Аркадьевной и Ниной Львовной, заставляя их подтягиваться в орловском присутствии, взвешивать слова, краснеть и приглаживать волосы. Посомневавшись, классные руководительницы сошлись на том, что у нас в лагере началась Большая Человеческая Любовь и мешать ей нельзя, потому что она Чистая.

Прикрытые своей Большой и Чистой Любовью, Орлов и Чернецкая ходили как пьяные.

В шесть часов на линейке, когда роса крупными каплями пылала в траве, а в деревне за километр заходились петухи, Орлов самодовольно оглядывал заспанных девочек, только что содранных с волос большие железные бигуди и наскоро накрашенных ресницы. Потом зевал и отворачивался. Вскоре, однако, взгляд его загорался: Чернецкая, всегда немного опаздывающая, подпрыгивая на бегу, торопилась из своей палатки, только что разбуженная добросовестной Марь Ивановой. Этим загоревшимся взглядом Орлов неторопливо осматривал с головы до ног каждый каштановый волосок ее, каждую припухлость, изгиб, складочку, облизывался своими большими, вывернутыми губами — желваки его вздрагивали, — а наши угловатые мальчики, остро чувствуя, как далеко он ушел от них по пути мужества, прочищали свои прыщавые горлышки ломким кашлем и перешучивались. Вечером, у костра, девочки усаживались в первый ряд, поближе к огню, мальчики во второй, но оказывалось как-то так, что Орлов сперва сидел, тесно прижимаясь боком к Чернецкой, неподвижно глядящей в огонь, потом он раскладывался — полулежа, опираясь на локоть, — между нею и всеми остальными, заслоняя ее собой, отвоевывая пространство, потом, словно бы забывшись, сгибал локоть, падал затылком на ее колени, руки заламывал за голову, так что в конце концов ладони его соединялись за ее узкой спиной, но тут все настойчивей и настойчивей становились голоса, призывавшие синий троллейбус, потому что благодаря синему троллейбусу все на свете становилось чистым.

Никто из комсомольцев не знал, однако, было ли между ними «всё».

Галина Аркадьевна и Нина Львовна оказались, разумеется, дальше всех от истины, уверенные, что мальчик и девочка — да! — могут дружить, а потом, когда вырастут и поймут, что дружба (она же Любовь!) настоящая, они обменяются кольцами (можно и без колец: ни у Сережки Тюленина, ни у Ульянки Громовой никаких колец не было!), и тогда разрешается им поцеловаться и потом что-то «такое еще» (очередь на двуспальную кровать была на несколько лет дольше очереди на «Хельгу»), что-то «такое еще» разрешается в этой самой кровати, в длинной нейлоновой ночной рубашке, иногда выплывающей, как привидение, в центре ГУМа у фонтана (отдел женского белья и постельных принадлежностей), а уж после «такого еще» улыбающаяся Чернецкая придет в родную школу с голубой колясочкой. Ах, кто это там? Вася, да? Василёк! Ну, поздравляем!



По ночам в лагере дежурили: две девочки и двое мальчиков. Каждой четверке отводилось по два часа. С десяти до двенадцати, с двенадцати до двух, с двух до четырех и с четырех до шести. Ночи были холодными. Озябшие дежурные неизвестно зачем слонялись в тумане, прислушивались, чтобы никто внутри палаток не разговаривал, останавливали тех, кто, спотыкаясь, шел в уборную, спрашивали, куда идет и зачем, потом перемещались на пустую кухню — царство чутко дремлющей Марь Ивановны. В кухне разрешалось выпить по стакану чая, согреться, там же травили анекдоты, играли в морской бой, иногда мальчики закуривали, если доверяли тем девочкам, с которыми дежурили, но бывало, что девочки доносили, и тогда на следующий день собиралась экстренная линейка, преступника вызывали на середину лужайки, приказывали стать рядом со знаменем и честно, всем, вслух, громко рассказать, как он дошел до того, чтобы закурить. Галина Аркадьевна и Нина Львовна, с лицами красными, как у вампиров, задавали свои вопросы тихими металлическими голосами и с таким неподдельным ужасом, словно воскресшего Витьку с Моховой застукали на любовнице:

...может быть, ты, Иванов (Петров, Сидоров, Лапидус), решил, что без курения жить не можешь? Так ты нам так и скажи! Или, может быть, ты чувствуешь, что мнение товарищей для тебя больше не авторитет? Может быть, тебе все равно, примут тебя в комсомол или не примут? Ты, может быть, можешь прожить жизнь и БЕЗ комсомола? Без? Ну, говори!

Ах, если бы обратно, в серые костлявые времена, поглубже куда-нибудь, чтобы без разговоров, без поблажек, а запалить костер до самого неба — и туда его, негодяя, курильщика малолетнего, стилигу, в огонь его, чтобы косточки обуглились, чтобы кожей запахло! Стоишь вот, мерзавец, и советская власть тебе нипочем, и за комсомол не умрешь, и для партии жизнью не пожертвуешь, стоишь, с ноги на ногу переминаешься, на губах ухмылочка, а в твои годы другие ребята кровь свою проливали, крови своей не жалели, чтобы ты сейчас, мерзавец, стилига, мог переминаясь спокойно, чтобы над твоей головой никакие американские истребители...

Все это так и хрипело, так и свистело — того гляди вырвется! — в булькающих глотках Нины Львовны и Галины Аркадьевны, но они сдерживались, ненависть выходила беленькими пузырьками из уголков рта, и только дикой жадностью наполнялись их неистовые глаза, когда активисты наши — настоящие ребята! — снова и снова просили разрешения выступить, и шел суд над мерзавцем-курильщиком, шел при блеске луны, в соловьином пении!

...что ж ты, значит, не дорожишь ни мнением своих товарищей, ни мнением своих педагогов? Ты, что же, хочешь быть похожим на этих западных стилиг, американцев этих, которые из рук сигарету не выпускают? А ты подумал, почему они курят? Ты их жизнь себе хоть на секунду представил? С безработицей? С трущобами? А та-та-та... У-ту-ту-ту... Нет, он еще усмехается! А в глаза почему товарищам не смотришь, почему? Тебе же все равно не стыдно!

Маленькая полногрудая Чернецкая тоже тянула вверх правую руку с продолговатыми ноготками, тоже хотела выступить, осудить и звонким своим, нежным, томящимся голосом пела, как все, про предательство идеалов, про влияние Запада, а умные молчаливые мальчики иронически поглядывали на молодого Орлова — как же ты, мол, с идиоткой-то, — на что молодой Орлов усмехался снисходительно, опускал глаза, крутил головой, давая понять, что не следует требовать ума от женщины, не следует, не этим они сильны, женщины...

То, о чем даже и подумать не могли без отвращения Нина Львовна и Галина Аркадьевна, давно уже стало фактом действительности, и нежная плоть узкоглазой Чернецкой изо дня в день содрогалась под сокрушительными ударами мощной плоти стремительно взрослеющего Орлова. Место страсти — вихрастый, молоденький ельник за оврагом — было выбрано, и все меры осторожности соблюдались, потому что —

правильно рассудил молодой Орлов — никто не будет перебираться через овраг, чтобы их там застукать, рядом были места куда гуще, и, казалось, уж если прятаться, так в этой непролазной густоте, а они по камешкам, по жердочкам, которые потом сами же и убирала, переходили на ту сторону, падали в поросшую густой сине-зеленой травой впадину, и никто, кроме черноглазых птиц, торопливых белок да волосатых гусениц, не знал, каким огнем наливались сильные пальцы Орлова, когда он, дрожа от нетерпения, рвал кнопки, путался в тесемках ее женственных и невинных, терпеливой Марь Ивановой сшитых платьиц, обеими руками оттягивал от горячих висков ее цвета молочного шоколада пушистые косы, и ни просвета не оставалось между их соединившимися, бурно и ладно дышащими под одобрительный шум деревьев телами. Правы были умные мальчишки, когда подбрасывали брови к небу, выражая свое удивление по поводу выступлений активистки Чернецкой на комсомольских собраниях, ее вечно поднятой руки с серебристыми ноготками, но трижды прав был Орлов, который уверенно брал ее за эту руку, переводил, а иногда — скрежеща зубами от уже невыносимого желания — как пушинку переносил через темную, нагретую, настоявшуюся воду оврага, бросал в сине-зеленую травяную впадину и сам бросался в другую, горячую, как огонь, нежную впадину между ее вполне уже женскими маленькими ногами.

Их, разумеется, неоднократно видели вместе возвращающимися из лесу, с розовыми пятнами на лицах, с опущенными глазами, но настолько маловероятным было превращение этой отличницы, с которой пылинки сдувала жилистая, в чистом хлопчатобумажном платке нянька, в беспутную маленькую женщину, от рождения владеющую всеми ухватками портовой проститутки, так далека была эта ничего не стыдящаяся портовая проститутка от старательной узкоглазой восьмиклассницы, что весь лагерь как заколдованный твердил подмороженную фразу «у них любовь» и не вдавался в подробности.

В деревне, расположенной неподалеку от лагеря, наступил между тем праздник Ивана Купалы, Иванов день. Сладко пахло клевером с поля, шумели камыши, гнулись деревья, казалось, что еще немного — и разразится гроза, хлынет ливень, мутный, серебристый, белый, с ледяным, в яблочную величину, градом, и тогда уйдет вместе с ним, растворится в расплывшейся земле, в слизистых травах невыносимое какое-то раздражение, в котором злости было столько же, сколько восторга, и все хотелось непонятно чего: разломать, разрыдаться, убежать куда-нибудь, зацеловать кого-нибудь до смерти...

Нина Львовна и Галина Аркадьевна ходили настороженные, вытянув гусиные шеи, шипели, чтобы сегодня никто не переступал черту лагеря, а надо готовиться к родительскому дню, доделать стенгазету, разработать план военной игры на следующее воскресенье, короче, чтобы все сидели тихо, пока там, вдали, за рекой отгуляют свое, отбездобразничают, отголосят и улягутся спать. На всякий случай собрали линейку. Мальчишки пришли хмурые, пыля кедами, на девочек не смотрели, переминались с ноги на ногу. Галина Аркадьевна — помоложе Нины Львовны — уронила уголки рта, плаксиво сморщила щеки, все старалась поймать в воздухе бархатные зрачки самого высокого из всех, самого мускулистого комсомольца Михаила Вартаняна, которого задыхающаяся от быстрой ходьбы бабушка провожала ежедневно до дверей школы, лоя усатым ртом воздух, засовывала ему в портфель горячие, жирные пирожки. Бедная Галина Аркадьевна, сама не понимая, что с ней, давно уже вспыхивала, как красная смородина, исподтишка разглядывая Вартаняна так, как заботливые хозяйки разглядывают разложенные на прилавке мясные туши: взволнованно, с любовью и тревогой прикидывая, что пойдет на холодец, из какой части накрутить солоноватых котлеток... По простодушию своему Михаил Вартанян часто отвечал Галине Аркадьевне на ее бегающие влажные взгляды, особенно во время контрольных по математике, когда все лбы наклонены к тетрадкам, он, как загипнотизированный, поднимал волосатую свою, не дозревшую до любовных загадок

голову, и по три-четыре минуты они с Галиной Аркадьевной смотрели друг на друга, пока он не начинал недоуменно ерзать на парте, а она, покрывшись лишаями румянца, отворачивалась, чтобы судорожно протереть тряпкой и без этого чистую доску.

Однако сейчас, на линейке, Вартанян смотрел себе под ноги, словно — пока шел от палатки к поляне — вдохнул он предгрозового сердитого воздуха, возмужал, отравился и теперь, хоть вы режьте его, не желает замечать круглых, с шипящим угольком раздражения внутри, учительских взглядов.

— Если, — вскрикнула Нина Львовна, — сегодня к нам в лагерь придут ребята из деревни и попросят у вас чего-то...

— Чего? — расхохоталась неуправляемая Соколова. — Воды попить?

Нина Львовна сглотнула кусок кислой, как недозрелая антоновка, ярости.

— Сегодня ребята в деревне могут быть нетрезвыми, и поэтому разговаривать с ними ЗАПРЕЩЕНО!

Все вроде поняли, разбрелись по палаткам. Через десять минут вышел, позевывая, молодой Орлов, оборотил лицо к небу, улыбнулся во всю широту самоуверенного рта, побрел неторопливо в сторону уборной. Еще через пять минут выскочила узкоглазая Чернецкая, угодила прямо в объятия беспокойной Марь Ивановны (та шла к ней из кухни, несла на вытянутых руках похожую на свежеиспеченный «наполеон» стопку кружевных выглаженных трусиков), звонко расцеловала старуху, прощebetала что-то, заморочила голову, и умчалась неведомо куда золотая крутобедрая тучка.

За ужином Галина Аркадьевна обнаружила пропажу Юли Фейгензон. Бросились в палатку. Обшарили все кусты неподалеку. Разбились на шестерки, вооружились фонарями.

— Фейгензон! Фейгензон! — мучились классные руководительницы.

Им вторили ломкие голоса несерьезных мальчиков:

— Юль-Юль-Юлья-я-я!

— Юля-я-я?! — ахали девочки, слепя друг друга ненужными фонарями. — Ты где?

— Родит, тогда вернется, — пробормотал наконец Орлов и, заметив, что у Чернецкой развязался шнурок на беленькой заграничной тапочке, не стесняясь, опустился на корточки, завязал шнурок и, как птенца, поймал в ладони дрожь ее нежной щиколотки.

Чернецкая тяжело задышала.

— Что ты сказал, Орлов? — Из липового дупла высунулась Нина Львовна. — Умнее всех хочешь быть?

— Я? — удивился Орлов. — Я разве что-то сказал?

— Доиграешься ты, Орлов. — Она дернула шеей. — Мать твою жалко.

Вдруг кто-то спохватился, что Фейгензон видели «за чертой лагеря» во время тихого часа: стояла как миленькая, балакала с тремя деревенскими. Может, с ними и ушла? Нина Львовна и Галина Аркадьевна переглянулись.

— Всем — в палатки, никуда не выходить, — хрипло приказала Галина Аркадьевна. — Вечерняя политинформация отменяется. Мы с Ниной Львовной идем в деревню. С нами пойдут четверо: Вартанян, Орлов, Лapidус и Лебедев.

До деревни было чуть больше километра. Гроза так и не разразилась, хотя в воздухе по-прежнему стояло тяжелое душное марево, и казалось, что сам этот воздух, уже вечерний, не серого и не черного, а густо-розового, с малиновыми разводами внутри, цвета. Дико и весело разрывалась гармошка рядом с недавно отстроеным, тошно пахнущим краской помещением клуба. У крыльца толпились люди среднего возраста, все крепко выпившие, все принаряженные. Белоголовые дети с остановившимися глазами

жались к материнским подолом, сосали липкие кулачки. Одна из женщин, полная, с очень красным, блестящим от пота лицом и широко расставленными глазами, вдруг отчаянно взвизгнула, сорвала с головы цветастый платок, открыв жиденький пробор, круглый гребень, и, топнув ногой, завертелась на месте, выкрикивая частушку:

Вы не пойте длинных песен, хватит с вас коротеньких,

Не... старых девок, хватит с вас молоденьких!

Нина Львовна поджала губы, Галину Аркадьевну передернуло. Празднично одетые колхозники заметили гостей:

— Лагерники пришли! Московские!

— А бабочки гладкие, поди, пряткие! — натруженным горлом хрипнул высокий мужик в засаленной кепке, шатаясь и часто сплевывая. — Я б, растудить вам тудить, не побрезгую!

Вокруг одобрительно засмеялись.

— Мы ищем одну из своих учениц, — громко сказала Нина Львовна, — крупная такая девочка, кудрявая...

— Жидоватая? — уточнил мужик и снова сплюнул, густо, желто, обильно, прямо под ноги Нине Львовне. — Кучерявая?

— Да, — обмирая, сказала Нина Львовна.

— Не тута ищите, — расхохоталась та, которая пела частушку, и бессмысленно-радостно затараторила: — Ой, не тута, ой, не тута! Ой, не ту-у-ута!

— А где? — строго перебила Галина Аркадьевна.

— В лесу шастают, — махнула ладошкой певунья, — у их, у робят, там костры жгуть! Во-на-а-а туда идите, тама она, жидоватая! А не тута! Ой, не тута, ой, не тута!

Через пятнадцать минут глазам Галины Аркадьевны, Нины Львовны, а также Орлова, Лебедева, Лапидуса и Вартаняна предстала страшная картина. (В сорока пяти километрах от Москвы. В тысяча девятьсот шестьдесят шестом году. Через пятьдесят лет, в общем, великой победы революции.) В центре поляны сверкал высокий — до черного, беззвездного неба — костер. Рядом с костром громоздилось сделанное из пестрых тряпок, бумаги и дерева чучело быка, голова которого была перевита венками из свежих ромашек и папоротника. Трудлюбивая колхозная молодежь, вся вусмерть пьяная, — парни в трусах, девки в трусах и лифчиках, — суетилась вокруг огня, выкрикивая непристойности. Везде валялись пустые бутылки, недоеденные караваи хлеба, куски пирогов и лепешек.

— Давай, тащи ее сюда, сучару! — беззлобно орали двое парней во глубину леса. — Ща мы ее, ведьмаху, подпалим!

Еще один парень — маленького роста, почти карлик, с огромной, непропорциональной туловищу бугристой головой, — стоял спиной к московским гостям и, вздрагивая ягодицами, мочился в огонь.

— Степа, не загаси! — хохотнула одна из девок и звонко шлепнула его между лопаток — А то святой Иван рассерчает!

Нина Львовна схватилась за левую грудь, словно собираясь подоить самую себя, а Галина Аркадьевна закричала неожиданным низким басом:

— Фей-ген-зон!

Тут наконец они и увидели Фейгензон. В одной короткой рубашке, с распущенными кудрявыми, почти достающими до земли волосами, Фейгензон, шатаясь, вышла на поляну из лиственных зарослей. Двое парней обнимали ее справа и слева, а третий поддерживал сзади, чтобы она не свалилась.

— Ща тебя будем бабой делать! — вне себя от восторга закричал карлик и торопливо подтянул спущенные штаны. — Чур, мужики, я первый!

— Ми-ли-ци-и-и-я, — застонала Галина Аркадьевна, — где ми-ли-ици-ия...

Увидев, что за ней пришли, и залившись смехом, будто ее щекочут, Фейгензон вырвалась и бросилась обратно в лес. Слышно было, как под ее тяжелыми босыми ногами затрещали сучья. Парни с ревом побежали за ней. Девки, видимо, нарочно не обращая никакого внимания на незваных гостей, сплели хоровод и, спотыкаясь, пошли вокруг огня:

— А мы просо сеяли, сеяли! — визгливыми голосами заорали девки.

Тогда Галина Аркадьевна твердо сказала простодушному Вартаняну:

— Иди.

Вартанян исподлобья посмотрел на нее пушистыми глазами, и все четверо мальчиков осторожно двинулись к лесу. Нина Львовна перегородила им дорогу.

— Куда вы их посылаете, Галина Аркадьевна? На верную смерть! Назад!

— Милиция! — крикнула Галина Аркадьевна, и на поляне, как ни странно, появилась милиция.

Похожий, если верить портретам, на поэта Лермонтова, широкоплечий и кривоногий, очень молодой лейтенант влетел на поляну, еле сдерживая шумный и взмыленный свой мотоцикл.

— Всем стоять! — проорал лейтенант и, ломая кусты, исчез в зарослях.

Хоровод приостановился.

— Ну че? — спросила одна из девок, большеротая, с красными косматыми бровями. — Че вам здесь надо-то было? Только бы вот нагадить!

Милиционер выволок из леса голую Фейгензон. Она махала обеими руками и заливалась хохотом. Нина Львовна проглотила рыданье:

— Товарищ участковый, вы разрешите нам забрать эту девушку обратно в лагерь? Завтра мы свяжемся с родителями, сообщим на работу отцу...

— Не положено. — Милиционер угрюмо поскреб кадык. — Не по правилу. Вам за эту девушку тоже отвечать придется. Я в том смысле, что она, может, и не девушка вовсе...

Галина Аркадьевна и Нина Львовна подпрыгнули, будто им подождгли подошвы.

— Товарищ участковый! Вы что, хотите отправить ее в милицию?

— В вытрезвитель ее, вот куда, — нахмурился милиционер. — А завтра разбираться...

— Но ей же четырнадцать лет! — промычала Нина Львовна. — Она несовершеннолетняя!

Несовершеннолетняя Фейгензон отвернулась, разинула пухлый рот, и ее начало тут же выворачивать наизнанку.

— А-кх-кх-х! — захлебывалась Фейгензон. Плющ перепачканных волос прилипал к груди. — Ак-х-х, ма-ма-а-а!

— Забирайте! — отрезал милиционер. — И завтра чтобы все были в отделении. Протокол будем составлять. И это... Медицинский осмотр в больнице. Тоже. А я тут покамест по именам всех перепису.

— Че нас переписывать-то? — огрызнулась большеротая, с косматыми бровями. — Мы не убили никого. Иванов день сегодня.

— Кого день? — гаркнул милиционер. — Что за праздник такой? Где надыбали?

— Че надыбали? — загалдели девки. — Он отродясь был! Че нам, Парижскую коммуну, че ли, с вами праздновать?

— А эта как к вам попала? — раскалялся милиционер. — Школьница?

— Школьница? — захохотала косматая. — Эта школьница с нашим Подушкиным вторую неделю е...ся!

— Ложь! — взвыла Нина Львовна и вне себя замахнулась на краснобровую. — Лжешь ты, гадина!

— Отставить! — побагровел милиционер. — Вы мне тут еще своих порядков понаделайте! Мне в гробу видать, что вы с Москвы! Я вам по-русски говорю: забирайте ее и чтобы завтра к десяти утра все в отделении были! А я уж тут сам разберусь, не вашего ума, как говорится. Тут сообщать нужно куда следует. Чтоб по правилам.

В полном молчании, ярко освещенные желтой, до отвращения похожей на бровастую девку луной, вернулись в лагерь: нетрезвая Фейгензон, которая начала вдруг громко икать, бледные, как покойницы, Нина Львовна с Галиной Аркадьевной и четверо мальчиков, от стыда словно бы одеревеневших. Фейгензон всю дорогу шла очень неровно, пошатывалась.

Этой ночью в лагере не заснул ни один человек. Марь Иванна, причитая и сплевывая, отвела Фейгензон на кухню, напоила чаем, уложила в своей палатке на раскладушке. Фейгензон провалилась в забытие, но все продолжала метаться и всхлипывать. Тогда Марь Иванна вызвала на разговор Чернецкую, прижала ее к костлявой груди, заглянула в убегающие от вопросов глаза:

— Ты-то смотри, — плаксиво и грозно сказала Марь Иванна, — ты-то у меня смотри, чтоб без глупостей! Это ведь какие дела? Один раз не уследишь, и всё! Кто ее, такую, теперь возьмет?

Маленькая Чернецкая вспыхнула в темноте.

— Понимаешь или нет, об чем разговор-то? — возвысила голос Марь Иванна. — От этого безобразия и дети бывают, и болезни разные! Чтоб тихо сидела у меня! Шляться чтоб не смела без спросу!

— Хорошо, — тоненько ответила Чернецкая и укусила кончик своей пушистой каштановой косы.

Утром, на рассвете, пошел чуть живой розоватый дождик, а небо стало таким низким, что край его зацепился за котел с дымящейся и слегка подгоревшей кашей, который двое дежурных по кухне выволокли и поставили прямо на земле — остудить. На линейке — в восемь, а не в шесть из-за дождя — Галина Аркадьевна и Нина Львовна, не вдаваясь в подробности (ночью ими было принято совместное решение не предавать дело огласке), сказали только, что в лагере случилось ЧП: безобразное поведение Юли Фейгензон (Фейгензон стояла посреди лужайки с опущенной головой) привело к тому, что ее заманили на праздник, который справляют отсталые деревенские ребята, там она первый раз пригубила спиртного, и вот что вышло. Ее товарищи должны решить, как повлиять на Фейгензон, которой наплевать, что в ее возрасте другие девушки и ребята проливали кровь за то, чтобы не было ни спиртного, ни отсталых деревенских праздников.

Втайне ото всех Галина Аркадьевна и Нина Львовна решили после линейки самостоятельно отправиться в милицию, пасть на колени перед вчерашним кривоногим, умолять его не сообщать ни в школу, ни в больницу, не делать никакого медицинского осмотра, потому что так или иначе, но Фейгензон все равно должна была потерять самое дорогое, что есть у любой советской девушки, потому что давно созрела физически, и кроме того, она собирается после восьмого класса идти в техникум, а там ученицы ведут себя как взрослые, и, наконец, если сделать случившееся предметом всеобщего достояния, это может стать ужасным примером для остальных комсомольцев, а Нина Львовна и Галина Аркадьевна останутся без работы. Притом что у Нины Львовны на руках старуха мать, а у Галины Аркадьевны и того хуже: мать и древнейшая тетка.

Целую ночь Галина Аркадьевна убеждала Нину Львовну, что рыжая бровастая девка просто сболтнула и никакой Подушкин ничего ТАКОГО не сделал, но Нина Львовна, с каплями пота на длинном носу, была уверена, что сделал, и все повторяла: «Вот увидите, вот вы последняя и увидите!»

Растерявшиеся комсомольцы только-только начали придумывать, какими словами осудить неправильное поведение Фейгензон, как на лужайку въехали сразу две машины: черная «Волга» и серый, заляпанный грязью «Москвич». Через минуту подкатила еще одна машина — милицейская. За рулем ее сидел вчерашний, обозленный и нахмуренный, лейтенант. У Нины Львовны и Галины Аркадьевны подкосились ноги. Из серого «Москвича» вылезла Людмила Евгеньевна, директор, с маленькими пухлыми руками, в круглых очках, которые делали ее похожей на лягушку, за ней завуч Зинаида Митрофановна, высокая, на прямой пробор, с морщинистым провалом рта, густо набитым золотыми и металлическими зубами, потом бешеный физкультурник Николай Иваныч (он-то и вел машину) и наконец — осторожно, бочком, хмурясь и посмеиваясь, придерживая подбородком наброшенный пиджак, вздрагивая изуродованной воробьиной лапкой вместо руки, выпрыгнул историк Роберт Яковлевич с таким выражением лица, будто его всю дорогу знобило. Черная «Волга» стояла как неживая, ничего не было видно за затемненными стеклами. Никто из нее не показывался.

— Все свободны, — розовым накрашенным ртом сказала Людмила Евгеньевна. — За территорию лагеря не выходить. А вы, — она дернула подбородком в сторону Нины Львовны и Галины Аркадьевны, — и ты, — блеснула выпученными стеклами в сторону Фейгензон, — пойдете с нами.

Двинулись в столовую: директор Людмила Евгеньевна и Зинаида Митрофановна, завуч, — обе гневные, с высоко поднятыми головами, Николай Иваныч, набычившись, и Роберт Яковлевич с глазами грустными и усталыми, который все замедлял шаги и старался, чтобы идущие сзади Нина Львовна, Галина Аркадьевна и Фейгензон присоединились к остальным, но они еле-еле перебирали ногами и шли как на казнь.

— Так! — звонко сказала Людмила Евгеньевна. — Мы здесь не одни. В этой машине, — она ткнула толстеньким пальчиком в сторону неподвижной черной «Волги», — находятся товарищи из роно. Они ждут, пока мы с товарищами, пока мы с Зинаидой Митрофановной, Николаем Ивановичем и Робертом Яковлевичем узнаем все подробности безобразного поступка и безобразных последствий безобразия. — Она подавилась комком мокрого лесного воздуха. — То, что здесь происходит, очень даже возможно закончится судом и отдачей под суд виновных.

Нина Львовна рывком приподняла ладонью тяжелую левую грудь по своей всегдашней привычке и громко ахнула.

— Сначала пусть расскажет Фейгензон, — приказала Людмила Евгеньевна. — А мы слушаем!

— Я извиняюсь, — откашлялся Роберт Яковлевич. — Сначала, я думаю, нужно выслушать мнение педагогов...

— Вы, Роберт Яковлевич, — вскрикнула Зинаида Митрофановна, щелкнув верхним зубом, золотым и богатым, о нижний, металлический, попроще. — Вы, Роберт Яковлевич, не давайте воли национальным пристрастиям. Не давайте! Выше надо подыматься, выше! Недалеко вы подыметесь на национальных пристрастиях!

Лицо Роберта Яковлевича покрылось темными пятнами разной величины.

— И краснеть не надо! — дорвалась Зинаида Митрофановна. — Не надо нам здесь краснеть, не надо! Пусть комсомолка сама расскажет! Пусть! А краснеть нам здесь не надо! Ничего вы своими краснениями не добьетесь!

Мускулистый Николай Иваныч закивал подбородком.

— Говори, Фейгензон, — приказала Людмила Евгеньевна.

Фейгензон беззвучно плакала.

— Каким образом ты, комсомолка, восьмиклассница, на которую государство, ничего не жалея, потратило столько сил, столько средств, каким образом ты докатилась до того,

чтобы напиться пьяной и вступить в интимные отношения с... Как его зовут? Ну, отвечай?

Фейгензон закрыла лицо руками и затрясла головой.

— Где вы встречались? — заорала Зинаида Митрофановна. — Где ты позорила имя нашей школы?

Фейгензон мотнула головой в сторону леса.

— Та-а-ак, — развела руками Зинаида Митрофановна, — ну, что же... Фейгензон... В лесу, значит... И что же, необходимо тебе это было? Тебе, может быть, чего-то не хватало в жизни? Объясни нам: чего? Скучно тебе было, раз ты решилась на ТАКОЕ? Объясни нам, какие причины тобой руководили и каким образом ты, значит, унизилась настолько, чтобы — девушка, девочка! — предоставить чужому человеку, парню чужому, значит, увести себя в лес и там... Ну, рассказывай!

— Чего? — хрипнула Фейгензон.

— Как чего? — вскинулась Людмила Евгеньевна. — Того, о чем тебя спрашивают! Когда и при каких обстоятельствах ты, комсомолка, потеряла самое дорогое, что только бывает у девушки? Самое светлое? Самое святое? Вот чего!

— Ничего я не сделала, — прорыдала Фейгензон, — откуда я знала?

Роберт Яковлевич подцепил трехпалым отростком синий носовой платок из кармана пиджака, вытащил его и осторожно высморкался.

— Вот тебя уже и жалеют! — загрохотала Зинаида Митрофановна. — Сейчас мы все заплачем! Ах, бедная Фейгензон! Вот тебя уж и пожалели! А жалеть нужно было раньше! Жалеть не тебя нужно было, а силы и средства, которые наше государство по доброте своей на таких, как ты, тратит!

— Я не понимаю одного, — прорычал Николай Иваныч, — в голове у меня, — он хлопнул ладонью по лбу, словно убивая большое, во весь лоб, насекомое, — ну не понимаю я, как ты могла при товарищах, это, значит, интимные, так я понимаю, отношения... Что же, у вас в лес здесь никто не заходит? Тут же у вас военная игра должна была готовиться, а тут, значит, под кустами... Нет, вот этого я не понимаю!

— Мы, товарищи, — сказала Зинаида Митрофановна, — должны вернуться немедленно ко всем остальным, а не шушукаться здесь, при закрытых дверях. Пусть все знают, особенно товарищи из роно, какие мы приняли решения.

Опять протрубил горн, собрал комсомольцев на вторую линейку, и все вернулись под красное, сморщенное от дождя знамя. Фейгензон приказали встать рядом с невыкорчеванным пнем, в самом центре поляны.

— Я требую, — раздув раковины щек, сказала Людмила Евгеньевна, — чтобы ты сейчас, Фейгензон, внятно рассказала нам, как ты вступила в эти отношения и до скотского состояния напилась на религиозно-языческом празднике! Жду!

— Мам! — вскрикнула вдруг Фейгензон и протянула руки навстречу людям, только что ступившим на территорию лагеря с проселочной дороги, ведущей на станцию.

— А, приехали, — удовлетворенно сказала Зинаида Митрофановна, — раньше даже, чем я думала.

Приехали родители Фейгензон. Мать — на три головы выше отца, плечистая, кудрявая и седая, шла впереди, и видно было, что она в семье главная и сейчас все глаза будут устремлены на нее, а не на плюгавенького, с балетной походкой, плохо выбритого старикашку. Мать, видимо, привыкла к тому, что ее дочь всякий может обидеть, и сейчас приготовилась к отпору, визгу, препирательствам.

— Что тут происходит? — с сильным южным акцентом спросила мать, обращаясь к педагогам и не глядя на дочь свою Юлию, которая стояла как вкопанная.



— Вот мы и пытаемся выяснить, — язвительно сказала Людмила Евгеньевна. — Вот и вас мы для этого пригласили! Чтобы вы в присутствии всего коллектива расспросили ее, которая без всякого стыда опозорила имя комсомолки!

— Ты тут что наделала, я тебе говорю! — Мать схватилась за голову и покачнулась. — Мы с отцом работаем, дней не видим, ночей не спим! А ты тут что наделала! Говори, я последний раз спрашиваю!

— Фира, — забормотал отец Фейгензон, — пусть тебе сперва объяснят, а то, может, и зря весь базар, потому что мы же ничего и не знаем толком...

— Ты! — закричала мать. — Ты! Чтобы ты молчал мне, чтобы не пикнул! Чтобы я дожидала до седых волос, — она вцепилась в свой кудрявый седой висок и сильно дернула, — и чтобы мою дочь вот так вот увидеть!

Галина Аркадьевна, Нина Львовна, директор школы Людмила Евгеньевна и Зинаида Митрофановна, завуч, тут же почувствовали поддержку в лице этой большой и кудрявой женщины, которая имела право кричать еще громче, чем они, могла вообще проехаться рукой по физиономии своей глупой, бессловесной девки, и ничего бы ей за это не было, никто бы не осудил, никто бы не удивился, а девка бы от этого сжалась, совсем бы, бессовестная, почернела от страха, и поделом ей, поделом, потому что ни стыда, ничего, никаких идеалов, никто им не авторитет, и только гадость одна из них лезет, изо всех этих девок, в четырнадцать-то лет, а мы в их годы ничего такого и знать не знали, а только мечтали, чтобы фронту помочь, чтобы всё для победы...

— Ваша дочь вступила в половую близость, — сказала директор школы Людмила Евгеньевна, мать низкорослого сына Валерика, брошенная мужем за четыре дня до родов. — Ваша дочь жила интенсивной половой жизнью. — Отец Фейгензон сморщился, будто разжевал лимон. — И поскольку мы, педагоги, отвечаем за ее жизнь и здоровье, мы обязаны знать все обстоятельства этого безобразия, прежде чем вашим делом займутся соответствующие инстанции.

— Ты чтобы мне все сейчас рассказала, — плохо соображая, истерически закричала мать, — чтобы перед всеми здесь ничего не прятала!

— Я полагаю, что это недозволенные приемы, — пробормотал Роберт Яковлевич, — это все-таки так не делается, у ребенка есть все-таки какая-то гордость, мы не палачи...

— Я не палач! — моментально отреагировала Зинаида Митрофановна. — Но правильно говорит Людмила Евгеньевна: раз мы, педагоги, отвечаем жизнью, можно сказать, за ихнюю жизнь, так кто нам поручится, что у них у всех, — и она ужаснувшимися глазами обвела напряженные лица под слабым, еле живым, розоватым дождичком, — что у них, у каждого, не идет своя жизнь, так сказать, безобразная, может быть, даже и половая, а мы, которые всю свою жизнь в них вложили, мы не останемся, иначе выражаясь, в дураках! Вот об чем разговор, Роберт Яковлевич, а не об ваших пристрастиях!

— Ну, размечталась, — еле слышно пробормотал Орлов, — чтоб у каждого — половая...

— Юля, — забормотал отец Фейгензон и зашаркал ногами по траве, словно приглашая свою дочь на вальс, — ты, может быть, правду мама говорит, лучше бы уж рассказала. Если у тебя произошли, — он споткнулся на непростом слове, — такие отношения, то лучше ты уж скажи, а то видишь, какой компот...

Черная «Волга», все это время не подававшая никаких признаков жизни, вдруг плавно развернулась, описала небольшой круг и подкатила к самой линейке. Из нее вылезли двое мужчин и одна женщина с мощно выступавшим из-под легкого платья беременным животом.

— Вот сейчас все и станет ясно, — удовлетворенно рассерженной грудью выдохнула Зинаида Митрофановна, — вот уж товарищам из роно никто лапшу на голову не навесит...

Мужчины из роно резко отличались друг от друга. Один из них был весьма толстым, каким-то надутым, а другой худым до нездоровости. У надутого сильно выделялся большой темно-красный подбородок, словно его приклеили, а все остальное — лицо и шея — были обычного, бежеватого цвета. Глаза у него смотрели равнодушно и несколько даже мертво, словно душа давно уже ушла из надутого тела и теперь плавает совершенно самостоятельно неизвестно где, а надутый, ничего не заметив, продолжает жить так, будто с ним все в порядке и душа его никуда не девалась. Тонкий же, напротив, был таким слабым на вид и недокормленным, что сердобольная, слегка свихнувшаяся от любви к Чернецкой Марь Иванна почувствовала укол в сердце и неразборчиво пожалела, что он, недокормленный, вынужден, судя по всему, так тяжело и нервно работать. Приехавшая с ними женщина, которой предстояло в скором времени родить ребенка, чтобы через тринадцать лет его вот так же выставили на линейке под красным флагом, была смугла, цыганиста, губы имела вспухшие, зацелованные, а глаза голубые и такие прозрачные, такие беспутные глаза, что у мальчиков-комсомольцев пересохло во рту.

— Ну что, ребята? — хмуро сказал надутый. — Что же это у вас тут происходит? Разбираться будем.

— Учтите, — перебил его тонкий, — что на вас на всех лежит ответственность, что вы все отвечаете за поступок вашего товарища...

— Просто суд Линча какой-то, — в синий носовой платок прохрипел Роберт Яковлевич, — никуда не годится...

Но он не успел ничего сделать, ничем не успел помочь несчастной Фейгензон, которая за неделю до этого начала жить интенсивной, по словам директора Людмилы Евгеньевны, и безобразной, по словам Зинаиды Митрофановны, завуча, половой жизнью, потому что небо надо всеми собравшимися вдруг почернело, потом поседело, потом стало похожим на океан с высоко поднявшимися волнами, и оттуда, из океана, хлынул не просто дождь, а какой-то бешеный, безумный поток воды, словно на головы им опрокинулся водопад Ниагара, известный нескольким комсомольцам по фотографиям в «Огоньке», а Зинаиде Митрофановне и Галине Аркадьевне по популярной телепередаче «Клуб кинопутешествий». Дождь этот был вспыхивающего, почти белого цвета и такой холодный, что, казалось, еще немного — и превратится в снег. Мужчины из роно бросились к беременной, пытаясь укрыть ее от потоков, и толстый оттолкнул тонкого, а беременная с хохотом и воплями оттолкнула их обоих и побежала обратно к черной «Волге», сверкая по пузырящейся траве своими молочно-белыми, соблазнительными икрами. Все взрослые — включая фронтовика Николая Иваныча с мокрыми волосинками, вылезшими из каждой ноздри, — тут же потеряли неприступность и основательность, заметались, закрыв затылки ладонями, у директора Людмилы Евгеньевны бурые пряди прилипли к круглому черепу, так что открылись и оттопырились маленькие мясистые уши, а у Галины Аркадьевны вылупились большие твердые соски под заблестевшей и прилипшей ситцевой летней кофточкой. Дождь смыл их всех, и все они, как сухари, размоченные в кипятке, стали мягкими, раскричались, согнулись, утратили свои очертания и — скорее, скорее, забыв друг о друге, о развратной, испорченной, всех опозорившей Фейгензон, — побежали кто куда, гонимые инстинктом жизни и страхом смерти. А небо нависало все ниже и ниже, становилось все злее, все больше и больше лютой сверкающей воды извергало оно в своем отчаянии, догадавшись, что ни полуденное тепло, ни добродушные облака, ни золотистые радуги не помогут этим изуродованным, с оттопыренными ушами людям, и остается только одно: припугнуть их беспощадной грозой, огнем ее и потоками. На этом и закончился суд над Фейгензон.

Уехала черная «Волга», увезла красавицу с распухшими губами и тяжелым, нависшим над стройными ногами животом, увезла толстого и тонкого, которые, скорее всего, и нагрянули-то в лагерь, чтобы не сидеть в своих скучных, пахнущих чернилами кабинетах, а решили на скорую руку наорать, разбрызгивая слюну, припугнуть малолеток да и закатиться куда-нибудь по летней поре на казенной машине — в ресторан «Медвежонок», например, по Ярославскому шоссе, где подают жареных медвежат с печеной картошкой, и все это в красных глиняных горшочках, пальцы проглотить...

В суматохе никто не обратил внимания на то, что к родителям Фейгензон подбежал безрукий Роберт Яковлевич и что-то торопливо заговорил, кивая лысой головой на мокрую, полную Фейгензон, которая совсем не знала, что ей делать, и — будучи пугливой и нерешительной — так и осталась стоять, где стояла, а заблестевшее платье натянулось на ее большом выпуклом теле и обрисовало его целиком, со всеми изгибами и окружностями.

В конце концов остались только эти четверо, и Роберт Яковлевич, безрукий и сгорбленный, сгорбился еще больше, чтобы объяснить маленькому отцу Фейгензон что-то про жизнь, а отец Фейгензон, судя по всему, рад был услышать то, что говорит Роберт Яковлевич, отчего он и вцепился обеими своими здоровыми руками в костлявое плечо педагога и быстро закивал ему в ответ, а потом одной рукой — согнутым локтем ее — закрыл себе лицо и весь затрясся. У Роберта Яковлевича рук не было и нечем было обнять его, так что он начал просто переминаться под дождем, который становился все неистовее, и никуда эти четверо не бежали, ничем не прикрывались, и в конце концов создалось впечатление, что, оставшись одни под грозой, они надежно спрятались ото всех остальных, нашли себе пристанище, где ни живая, ни мертвая душа их не отыщет. Более того: мать Фейгензон, у которой вдруг разом разгладились все ее морщины и она стала как две капли похожа на свою опозоренную дочь, оборотила в небо ярко-карие, промытые ливнем глаза, вскричала «Ай, что же я!» и бросилась к этой самой дочери, которая сначала с ужасом смотрела на то, как она приближается, и была, видно, готова к любому удару в любую свою окружность, но потом уловила свет в материнском лице и, громко плача, припала к ней, прижалась изо всех сил, а мать стала раскачиваться и перебирать своими большими пальцами ее запутанные и мокрые волосы.

Вечером Фейгензон с родителями отправилась на электричке в город, но дело так и не стало предметом работы серьезных инстанций — как грозили Зинаида Митрофановна и Людмила Евгеньевна, — потому что Федору Подушкину, работнику колхоза имени Серго Орджоникидзе, только что окончившему деревенскую семилетку, было всего-навсего четырнадцать лет, столько же, сколько и самой Фейгензон, более того, пострадавшая оказалась на три месяца старше. Этого Федора Подушкина много раз пытались потом затащить из деревни на лагерное комсомольское собрание, всё хотели поговорить с ним начистоту, открыть ему глаза, как выразилась Нина Львовна, но он то ли решил всю свою *оставшуюся* жизнь прожить с закрытыми, то ли уж очень перепугался городских и московских, но только ни на какое собрание не явился, а, как рассказывали, запил, загулял, захулиганил и пообещал в присутствии двух других колхозников пообломать руки и вырвать ноги двум «блядам-кикиморам» (его собственные слова), то есть ни в чем не виноватым Нине Львовне и Галине Аркадьевне, за то, что они разлучили его с любимой девушкой Юлей. Про костер, на котором Фейгензон напоили портвейном пополам с водкой, Подушкин, как ни странно, узнал только на следующий день, сам же он на костре не был, а ездил на лошади в другую деревню, Михалево, за двадцать километров от Орджоникидзе, где у него, у Подушкина, помирала в это время родная бабка Евдокия Сергеевна. Получилось как-то уж совсем глупо: незнакомые ребята, польстившись, судя по всему, на доверчивое фейгензоновское тело, известное тем, что оно по ночам милуется с Подушкиным, выманили девушку из палатки, уволокли на праздник, набрехали с три короба, будто Подушкин сейчас вот вернется от мертвой бабки, уже, мол, в дороге, напоили, а дальше... Дальше, слава Богу, подросли наши.

Гроза наконец отгрохотала, и дождь, то черный, то белый, то серебряный, отшумел над покорными травами и людскими затылками, просверкал всеми оркестрами сразу и наконец ушел, уволок свое потускневшее серебро в чужие земли, чтобы припугнуть там других, бестолковых, с оттопыренными ушами, которые кричат не по-русски и угрожают не по-нашему. После его ухода в лагере наступило какое-то оцепенение, словно гроза выкачала из комсомольских сердец все силы на вранье и бессовестность. Обедать собрались тихие и грустные, перешепнулись между собой о том, что все, может быть, к лучшему, хорошо, что так закончилось, и пусть ее увозят в город, а там, к первому сентября, когда надо опять надевать капроновый белый фартук с крылышками, как у ангела, и в руки — букет из пожухлых флоксов, там уж как-нибудь все это совсем уляжется и травой порастет. Мокрой травой, после дождя сверкающей, с синими колючими фонариками мелких цветов, названия которых никто не помнит.

И пока всхлипывающая, гуще и слаще обычного пахнувшая потом Фейгензон, сжатая между отцом и матерью, тряслась в тамбуре заплыванной электрички, в палатке Марь Ивановны, отлучившейся на станцию в телефон-автомат, произошел разговор между хмурым Орловым и маленькой взволнованной Чернецкой. Чернецкая сидела, как обычно, на раскладушке, поджав полные ноги с серебристыми ноготками, источала аромат немецкого шампуня изнутри своих распущенных каштановых волос, а Орлов полулежал на земляном полу, гладил ее колено сильными мужскими пальцами и снизу вверх смотрел на ее острый подбородок и перламутровую в полутьме шею своими жадными и жесткими глазами.

— Я тебя хотел спросить, — вдруг сказал он и сжал ее мизинец, — у тебя все в порядке по вашим, ну, по женским делам?

Чернецкая вспыхнула. Она поняла, что он имеет в виду, и сердце ее заколотилось от той близости, которая была между ними.

— Я пока не знаю, — опустив трепещущие ресницы так, что с каждой стороны закрылось полщеки, прошептала Чернецкая, — жду.

— Слушай, — сказал Орлов, — мы поженимся с тобой сразу, как кончим школу.

— А если тебя в армию заберут? — спросила Чернецкая.

— Идиотов нет, — ответил Орлов, — в армию идут одни идиоты.

Чернецкая удивилась. Она росла в доме, где на подобные темы не разговаривали, и поэтому верила тому, чему учили школа, радио и телевизор.

— Как это?

— Ты что, не понимаешь? — спросил Орлов. — Очень мне нужно, чтобы меня, как осла, в армию запрягли. У меня ведь одна жизнь.

Чернецкая широко раскрыла глаза. Орлов усмехнулся и поцеловал ее теплое, гладкое колено.

— Но надо же защищать Родину, — звонким, как на собрании, голосом воскликнула Чернецкая. — От врагов! Ты же обязан!

— «Обязан»! — передразнил Орлов. — Никому я ничего не обязан. Я, может, в Бога верю, мне нельзя в армию идти.

Чернецкая в ужасе прижала к щекам ладони.

— Гена! Ты что говоришь! В какого еще Бога?

— Я пошутил, — медленно и задумчиво сказал Орлов. — В Бога я, кажется, не верю. У меня бабушка зато верит. И мать тоже. А я буду дипломатом.

— Дигагоматом? — переспросила Чернецкая.

— Дипломатом. У нас сосед был, он шофером в нашем посольстве в Мадриде работал. Мы здесь сидим, как идиоты, ничего не видим. А я хочу в Париже жить. Или в Лондоне.

Чернецкая вспомнила про свою маму Стеллу Георгиевну.

— Моя мама много раз бывала на Кубе.

— Ну, видишь! На Кубе! Пусть хоть на Кубе, все равно ведь интересно! Так что ты давай готовься, через три года женимся, я поступлю в МГИМО, это точно, ты не думай, что я треплюсь. Это точно.

— Но ты же учишься даже не очень хорошо, — заметила Чернецкая и тоненьким пальчиком провела по его переносице.

Орлов ухватил ее пальчик губами. Укусил легонько и отпустил.

— Чепуха, — сказал он, — настанет осень, и я все глупости брошу. Нужно будет в ЦК ВЛКСМ пробиваться. Буду все это говно половниками хлебать. Ради дела.

— Что? — ярко покраснев, переспросила Чернецкая. — Что хлебать?

— А ты что, веришь, что ли, во все это? — прищурился Орлов.

— Во что?

— Ну, во все это... Ну, вот, что Нина Львовна нам втюхивает... Про то, как мы войну на народном героизме выиграли, и вообще...

— А ты что, не веришь?

— Войну мы выиграли, когда второй фронт открыли, — жестко сказал Орлов, — и не на одном героизме, а на американской тушенке.

— Ты что! — закричала Чернецкая и вскочила с раскладушки. — Как ты с такими взглядами вообще можешь комсомольский значок носить!

— Могу, — усмехнулся Орлов, с силой усадил ее обратно и сам сел рядом. — Могу. Очень запросто.

— Я не стану с тобой встречаться! — вскрикнула Чернецкая и попыталась вырваться.

Орлов повалил ее на подушку в темно-желтой ситцевой наволочке.

— Куда ты теперь от меня денешься, дурочка? — продышал он в ее оттопыренные возмущением, сладкие губы. — Куда? Я только вот что подумал: нам с тобой надо предохраняться, Наташка, а то...

И велика же была его власть над ней — над ее каштановыми волосами, кожей, губами, грудью и животом, — так велика, что возмущенная Чернецкая поахала-поахала да и затихла под его уверенными руками, дышать перестала, глаза зажмурила...

Он ей, однако, не соврал. Мать его была верующей и ходила в церковь. Семья вообще получилась маленькой, из трех человек: бабушка, мать и четырнадцатилетний Орлов. Больше никого. Бабушка была вдовой бывшего фабриканта Лежнева, человека дворянского происхождения и до революции небедного, а после революции насмерть перепуганного, не успевшего, а может, не решившегося никуда убежать, который — как только затряслась земля от исторических судорог — умудрился так заботиться в жизненную щель, так свести к минимуму всякие общения и дружбы, что о нем забыли, ни в двадцатые, ни в тридцатые не тронули, пока он, тихий служащий в скромной конторе, не умер сам, своею смертью, поднимаясь по лестнице на третий этаж после службы, вечером, жарким очень августовским днем 1940 года. Оставшись с осиротевшим подростком на руках, бабушка Лежнева стиснула рот с остатками съеденных разнообразными болезнями зубов и принялась растить свою четырнадцатилетнюю дочь, девочку умную, грустную и очень скрытную, со всем усердием, на которое была способна. Не сразу, а потихонечку стала она разговаривать с ребенком о Боге, усмехаться, когда дочка, растерявшись, попробовала было образумить отсталую родительницу на советский неверующий лад, и в конце концов повязала на девочку белый платочек, повезла ее куда-то в отдаленную церквушку, выстояла вместе с нею всю пасхальную службу и, разглядев, что дочке это неожиданно пришлось по нутру, пошла к своему духовному отцу и посоветовалась с ним

начистоту: как, дескать, дальше быть с девочкой, чтобы ее и не погубить, и в то же время без Бога не оставить. Старый человек отец Амвросий просверлил свою духовную дочь внимательными глазами и наконец ответил ей так:

— Дитя — твое, ты мать. Как мать, ты свою дочь лучше других понимаешь. Я так вижу, что душа ее младенческая к Божьему Откровению вполне готова, отмолили ангелы небесные. Так что ты теперь доделывай и ничего не бойся.

Бабушка Лежнева и «доделала», как могла, на скорую, правда, руку, потому что через пару месяцев началась война, девочка ее вместе с другими своими одноклассницами поехала куда-то под Калинин помочь осиротевшим без мужского населения колхозницам с детьми в уборке урожая, а вернулась оттуда женщиной, полюбившись в дороге с каким-то солдатиком. Сразу же, разумеется, началась любовная и дружественная переписка. Целые тетрадки Сергея Есенина переписывала влюбленная девушка и посылала на фронт, как вдруг солдатик пропал, на Есенина не ответил и, скорее всего, сложил свою бритую молодую голову то ли при переправе, то ли при отступлении. Девочка Лежнева, к тому времени уже почти взрослая, голенастая, с тяжелыми светло-русыми косами, которые она корзиночкой укладывала на затылке, поступила в медицинское училище и сообщила матери, что останется верной своему погибшему жениху и будет ждать, пока их души — после ее смерти — встретятся на небе. Бабушка Лежнева так и ахнула, поняв, что пути Господни и впрямь неисповедимы, что «отмолили», как выразился отец Амвросий, ангелы небесные душу ее дочки, и испугалась теперь другой крайности: как бы не стала дочкина религиозность известна в ее медицинском училище.

— Кому какое дело, — угрюмо сказала дочка в ответ на материнские опасения. — Я в Бога верю, потому что знаю, что Он есть. А отчитываться мне перед ними нечего.

Так они и жили — мама с дочерью — до самой победы. Дочка закончила учение, но стала еще более скрытной, еще туже заплетала свои светло-русые косы, еще жестче стискивала губы, на танцы не ходила, в кино не бегала, хотя мать потихонечку перешивала ей из своих шелковых довоенных платьев и даже продала с помощью одной перекупщицы береженное, не отобранное большевиками, не проеденное во время войны кольцо с небольшим бриллианчиком, а другое, с бриллианчиком побольше, последнее, спрятала под половицей. На вырученные деньги сшили дочке габардиновое пальто, серое, модное, в талию, с рукавами-фонариками, прикупив к нему еще желто-серую лису с кроткой засохшей мордочкой и выковырянными после лисьей уже кончины глазками. Чтобы набрасывать поверх габардина, если снег пойдет. В этой лисе светло-русская медсестра познакомилась как-то в трамвае с широкоплечим военным, нестарым, но уже седым, который, как ни странно, до того напомнил ей потерянного в пекле войны солдатика, что она в первую секунду подумала, а уж не он ли это, бывают же чудеса...

Однако при ближайшем рассмотрении военный оказался совсем не тем полуголодным птенцом, который когда-то сделал ее женщиной, а потом улетел, торопясь обратно на поле брани, чтобы и рухнуть, в конце концов, комочком со своими слипшимися от крови крылышками то ли в бурю землю, то ли — глубоко и страшно — в осеннюю воду. Нестарый трамвайный знакомый имел абсолютно другую биографию, скрыл, как это водится, что женат, и, пользуясь отсутствием супруги, уехавшей с ребятами к матери в Подмоскovie, привел медсестру к себе домой, вечером, попозже, когда улеглись полуглухие и полуслепые соседи его, старики Тихомировы. В первую же ночь она и забеременела.

Бабушка Лежнева никак не могла понять, откуда у ее молчаливой и замкнутой дочери такая прыть: девочкой поехала в деревню копать картошку, всем ничего, а она вернулась опечаленной женщиной с разбитым сердцем и памятью о судорожной мужской плоти внутри своего полудетского, развороченного торопящейся любовью тела. Потом опять никого-ничего, училась, стиснув зубы, работала, наматывала то узлом, то корзиночкой тяжелые косы на затылке — и вдруг пошла в дом к первому попавшемуся мужику, легла с

ним в кровать, накрылась чужим одеялом, а утром вернулась домой, неся в своей утробе чужое семя.

С семенем, правда, выяснилось не сразу. Сначала приехали из Подмосковья жена с подростками. Тут седой раскололся, попросил медсестру простить его, сказал, что никогда в жизни ни жену, прождавшую его всю войну, ни ребятшек своих не оставит, но предложил — будучи настоящим мужчиной и к тому же влюбчивым — до конца не прощаться, а встречаться время от времени, только чтобы никто никогда не увидел. Мать будущего Орлова, совсем еще тогда неоформившегося, еле заметного среди гущи крови и зарослей многочисленных органов и окончаний, ответила, что ни о чем таком не может быть и речи, но она нисколько не жалеет об их знакомстве и желает седому трамвайному всего наилучшего. Так они и расстались.

После этого она преспокойно — с теми же своими тугими светлыми косами вокруг головы — протаскала по трамваям и лестницам день ото дня разбухающий живот, на любопытные взгляды не реагировала, на смешки не оборачивалась и в положенное время родила ярко-синеглазого, с черным коком густых волос на темечке, увесистого (5 килограммов 800 граммов!) мальчика, назвала его Геннадием, фамилию дала простую — Орлов, начала было кормить его грудью, но соски от жадного младенческого рта тут же потрескались, попала инфекция, поднялась температура, ребенка у заболевшей матери отобрали, перевели ее в терапевтическое отделение, а его, голодного, огромного, синеглазого, отдали бабушке Лежневой, прямо в задрожавшие от страха, слабенькие, с тонкими венозными веточками руки. И пока мать лечили пенициллином, резали ей каменные, огненно-горячие груди, выкачивали оттуда гной, а сестра-хозяйка каждое утро бухала перед ней миску с пересоленной, комочками сваренной манной кашей, маленький Орлов из синеглазого стал черноглазым, кок на темечке вытерся, как кончик кошачьего хвоста, и ни одной ночи не дал новорожденный внук отоспаться бабушке Лежневой — разрывался, заходился требовательным криком, все просил есть, и бабушка Лежнева сбилась с ног, два раза на дню бегала в женскую консультацию, чтобы принести оттуда плохо промытые бутылочки с жиденьким чужим молоком, горлышки которых были заткнуты белой марлей. Неожиданно — мать Орлова еще была в больнице — скончался священник, тот самый, который когда-то объяснял бабушке Лежневой про небесных ангелов, и на его место пришел другой, молодой, представительный, густогривый, которому по красоте его не службы бы служить в захолустной деревушке, не кадиллом над ледяными лбами размахивать, а сниматься на киностудии Довженко в самых замечательных фильмах.

Бабушка Лежнева, больше всего испугавшаяся, что новорожденный Геннадий без нормального питания да без матери умрет некрещеным, пошла к новому священнику и окрестила внука сама. Заодно и свечку поставила за здоровье своенравной своей дочери, которая все на свете делала, как хотела. Когда же дочка вышла наконец из больницы, была уже первая неделя Пасхи, и сообразительные старухи на кладбище продавали посетителям вербу, а другие, тоже сообразительные, старухи у метро продавали влюбленным полумертвую мимозу, по два рубля за букетик. Молоденькая «мамаша» — как называют только что родивших женщин нянечки и медсестры — завернула своего черноглазого в голубое одеяло, прижала его к ноющей, полной молока, резаной-перерезанной груди и поехала в церковь.

И тут, с первой же поездки, началось такое неслыханное и позорное, что, если бы бабушка Лежнева догадалась, что именно на ее глазах началось, рухнула бы она на землю и никогда с нее не поднялась. Новый священник увидел среди своей паствы незнакомую молодую женщину с плотным черноглазым ребеночком на руках, и слова самого Иисуса Христа, призывающего всех к источнику благодати, Им открытому, так и остановились в горле. Только сумел прошептать отец Валентин «еще кто да придет ко Мне», а уж «да пьет» совсем не получилось. Очень был сластолюбив отец Валентин Микитин, жить не

мог без ласки. Вернее сказать, поначалу-то он жил, не подозревая, что не может, и так — в неустанном чтении святых книг, молитвах и постах — дожил до тридцати восьми лет, опускал глаза, сглатывал соленую слюну всякий раз, как наплывали бесстыдные видения, бесовские развратные картины или — еще того хуже — представала перед ним живая, в натуральную свою величину, деревенская женщина, простая, верующая, чистым сердцем ищущая у него утешения прихожанка, а он — ирод Царя Небесного — вдруг представлял себе, какие у нее, должно быть, томятся сладкие, горячие тела под плюшевой кофтой, какие там, должно быть, трутся друг об дружку колени в неуклюжих валенках...

Но терпел. И готов был терпеть до последнего отрезанного наточенным топором мизинца (могло бы ведь и с ним такое случиться!), но однажды летом пошел отец Валентин, заночевавший в чужой деревне, куда пригласили его к не остывшему еще остроносому покойнику, рано утром на речку перед обратной дорогой по июльскому солнцепеку, разделся донага в высоких кустах, снял с себя осторожно православный крест, положил его, расцеловав, внутрь своей несвежей уже нижней сорочки, крикнул от восторга перед Божией благодатью, зажмурился от радости на эту парную, сонную, густосинюю речушку, оттолкнулся молодыми ногами от илистого дна, но не успел проплыть и двух шагов, как прямо перед ним вынырнула из набежавшей волны черноволосая русалка с зелеными глазами, расхохоталась ему в ошалевшее лицо, плеснула в ослепшие зрачки хрустальной водицей да и потащила за собой — сперва в эту самую хрустальную водицу, поглубже, а потом, накаленного и безумного, выволокла за обе руки на берег, опрокинула в пышную траву, под звенящие от невидимых пташек кусты, где лежала его аккуратно сложенная, несвежая уже сорочка с православным крестом в рукаве.

Так и согрешил отец Валентин Микитин, так он и пал, будучи при этом не просто священником, а монахом, которого матушка его, незадолго до этого умершая, строгая, властолюбивая попадья, прочила в архимандриты. Какой уж тут архимандрит. Срам, стыд и мерзость. После своего падения отец Валентин сперва разглядел как следует соблазнившую его русалку. Оказалось, приехавшая в гости к тетке из города рослая ткачиха, женщина свободная, до мужчин жадная, ни стыда, ни совести не знающая (не такая уж, кстати, и молоденькая, но действительно зеленоглазая, длинноволосая, с косеньким зубиком сбоку), а разглядев, уже не мог остановиться, и все они, молодые и не очень, с длинными волосами и с волосами, собранными под платочками, стали изо дня в день мучить бедного отца Валентина, сокрушать его чуткий сон, и тогда, чтобы не свихнуться, не запить горькую, не потерять работу, стал он грешить потихоньку, не часто, раза два или три в году. Но ничего, сходило, потому что любили его и городские, и деревенские, тянулись сиротливыми сердцами к осторожному церковному свету, золотистому в сумерках.

Ну, что говорить? Грех. У Катерины Константиновны ребенок на руках, у него приход и обет монашеский. И то, и другое, и третье пришлось отодвинуть. Маленького жадного до еды Орлова бросала она с бабушкой Лежневой, после двух суток медсестрой в больнице — по сорок восемь часов не спала — садилась на электричку, потом по непролазной весенней грязи на автобусе, а он уже ждал, сидел за столом под иконой, глаз с двери не сводил. Появлялась наконец. Входила без стука, с опущенными глазами, со светлыми своими, к тому времени уже остриженными волосами... Дорывались друг до друга. Что говорить?

Даже мать ее долгое время ни о чем не догадывалась. Огорчалась только на религиозное дочернее рвение. Потом увидела их как-то в Москве. Отец Валентин иногда наезжал в Москву, облачался в гражданский костюм, расчесывал густую бороду, и они гуляли по бульварам, перепрыгивали, шаяля, через майские лужицы. Увидела их однажды, перепрыгивающих, бабушка Лежнева и чуть рассудка не лишилась. А что проку в рассудке?



Молодой Орлов свою светловолосую молчаливую маму очень любил. Она с ним времени проводила немного, но всегда как-то с толком: научила его и плавать, и кататься на лыжах, купила ему — на свои медсестринские куцые деньги — неплохой велосипед в комиссионном магазине, записала сына в большую библиотеку, — короче, сделала так, чтобы он не чувствовал себя брошенным и одиноким. Про бабушку Лежневу говорить нечего, она и баловала, она и покрикивала, она и поцелуями осыпала. На старинный дворянский лад поцелуями, со слезами. За четырнадцать лет, прошедших с той самой Пасхи, изменилось, конечно, главное: черноглазый сверток в материнских руках развернулся в высокого, с сильными плечами, немногословного, себе на уме, смышленного подростка, можно даже сказать молодого человека, который о разных вещах на свете догадывался и очень не хотел, чтобы им распоряжались или учили его, как жить. Потому что он и сам знал, как ему жить. Копия матери.

Марь Иванна дождалась наконец родительского воскресенья, приехали Стеллочка с Леонидом Михайловичем, гинекологом. На своей роскошной, цвета закалившейся стали «Победе». Стеллочка долго жала обеими руками — горячими, с ярко-малиновым маникюром — корявые лапки Нины Львовны и Галины Аркадьевны. Хотела было расцеловать и ту и другую в щеки, но морды были постные, вытянутые, испуганные, и Стеллочка отступила. Протянула малиновый маникюр навстречу своей девочке, выбежавшей из леса, где с раннего утра репетировали двумя классами — «А» и «Б» — военную игру. Девочка негромко вскрикнула от радости и высоко задрала с обеих сторон полураспустившиеся от невинного веселья каштановые кудри (знала, что на нее и на родителей со всех сторон смотрят!), упала на грудь отцу не хуже Катерины из пьесы Островского «Гроза», кусок из которой вчера, к празднику закрытия лагеря, репетировали. Отец неторопливо — привык очень к женщинам! — пригладил ей волосы большими опытными руками. Марь Иванна прослезилась на «своих», вытерла глаза кончиком фартука. Стеллочка сверкнула на нее обжигающими зрачками.

— Хорошо тебе, хорошо? — страстно спросила Стеллочка у дочки.

— О, да! — порывисто ответила дочка, прижимаясь к матери. — Да! Очень!

— Ну, пойдём посмотрим, что мы тебе привезли, — чудесным басом вздохнул гинеколог и вытащил из машины тяжеленный портфель. — Тут много всего, будешь угощать подружек.

— Пусть сама ест, — с быстрой ненавистью отозвалась Марь Иванна. — Вы прям как вчера родились, Леонид Михалыч! У подружек свое, у нее свое! С рынка ведь небось привезли? Сотню ведь небось на рынке оставили? А то я не знаю!

— Ах, не надо, не надо жадничать, Марь Иванна! — пропела Стеллочка. — Пусть она поделится! Да, доченька? Да, моя роднюсенька?

Орлов, в чистой белой футболке, загорелый, с мощными плечами, стоял рядом со своей палаткой и, посмеиваясь, черными, тяжелыми глазами наблюдал, как его маленькая любовница играет в послушную девочку. В сопровождении Марь Ивановны, на ходу снявшей фартук и обеими ладонями торопливо пригладившей волосы на затылке, семейство отошло в сторонку и живописно расселось на поваленной русской березе. Гинеколог расстегнул портфель, Стеллочка расстелила на шелковистом березовом теле две ярко-красные гаванские салфетки. Из портфеля поплыли размокшие газетные кульки с кровавыми подтеками: клубника, смородина красная, смородина черная, помидоры, абрикосы, за ними в отдельной коробочке миндальные пирожные из ресторана «Прага», потом пакет рассыпчатого творога. На твороге Марь Иванна всполошилась:

— Это все надо прямо сейчас и съесть! Слышишь, Наталья! А то испортится! Сейчас сахарком посыпем и чтоб при нас съела! А то куда ж я это дену, денег-то одних пошло, Господи ты мой, Боженька, Пресвятая Царица Небесная!

Чернецкая откусила кусочек миндального пирожного, взяла в рот одну смородинку и тут же выплюнула.

— Ай! — закричала Марь Иванна так, что два старых ворона, испуганные ее криком, сорвались с дерева и полетели прочь, тяжело хлопая утомившимися за триста лет крыльями. — Ай! Наташа! Да куда ж ты ее в рот-то, немытую! Да там от этих узбеков грязи-то понасыпалось! На рынке-то! В пяти водах не отмоешь! Дай я побегу помою!

— Не надо, — побледнев, сказала любимый ребенок Чернецкая, — мне не хочется. Сама ешь, Марь Иванна.

Стеллочка переглянулась с гинекологом.

— Вас здесь что, миндальными пирожными кормят? — пошутил гинеколог. — Что-то не похоже.

При слове «кормят» Чернецкая побледнела еще больше и обеими руками оттолкнула окровавленные кульки.

— Ты нездорова? — встревожилась Стеллочка и горячую руку с твердыми малиновыми лепестками положила на кругленький дочкин лобик.

— Здорова, — тихо ответила дочка и оттопырила губы. — Меня тошнит.

— Это от воды! — заорала Марь Иванна. — Вода здесь гнилая! Меня самую, веришь, Стеллочка, самую меня выворачивает! Начнешь вот чай пить, и не идет! Всю мою унутренность обратно тянет! Так меня рвать и тянет!

— Горлышко не болит у тебя? — пела Стеллочка. — Горлышко?

— Да какое горлышко! — Марь Иванна изо всех сил всплеснула красными от непосильного труда руками. — Я говорила: ни к чему нам этот лагерь, справку взять, и отпустят! А вы свое: пушай с детьми играет, пушай как все растет! Вот и доигралась с детьми до того, что пирожные в рот не лезут! Прямо как я ее выхаживать буду, ума не приложу!

— Уберите это, — брезгливо прошептала Чернецкая, — меня от вида от одного тошнит... Каша какая-то... Гадость...

И, сморщив нежное личико, отвернулась от размокших кулек.

— Ты как мои пациентки, — пошутил гинеколог, — те тоже сами не знают, чего хотят... Капусты соленой, больше ничего.

Чернецкая покраснела до того, что на ресницах повисли слезинки.

— Что за шуточки, — прошипела Стеллочка, и свирепое беличье выражение сверкнуло в нижней части ее губ и подбородка. — Соображать все-таки надо, как с ребенком разговариваешь!

Гинеколог презрительно повел в ее сторону коричневыми зрачками. Горн заголосил на лужайке, призывая детей на предобеденную линейку. Нина Львовна в ситцевом желтеньком сарафане, оголившем ей мучнистые плечи, объявила, что тихий час отменяется, потому что ко многим приехали родители — она скривила рот в полузаискивающую улыбку — и надо уделить время родителям, потому что завтра они уже не смогут к нам приехать, так что в порядке исключения пусть уж погуляют тут у нас в лесу или еще можно пойти вдоль шоссе по направлению к полю. Тоже прекрасная живописная дорога. Ну, и со своими детьми, конечно. В порядке исключения. Марь Иванна побежала в столовую разливать по мискам сизый и скользкий перловый суп, а скучающие Стеллочка с гинекологом остались сидеть на березе в ожидании, пока можно будет погулять с их маленькой кудрявой девочкой вдоль шоссе.

— Пялятся мальчишки, — глядя на облако, напоминающее сросшихся гривами лошадей, промямлил гинеколог. — У нашей дочери большое будущее.

Стеллочка почувствовала отвращение к его уверенному густому дыханию.

— Я бы, — продолжал гинеколог, наблюдая, как одна из лошадей медленно разлагается на волокна и превращается в синеву, — будь я матерью, поинтересовался бы, как у нее обстоят дела на личном фронте. Ну, и вообще...

— Пошляк, — раздувая ноздри, сказала Стеллочка. — Ничего святого нет. Циник.

— О, — пробормотал гинеколог, сполз на траву, пышную голову прислонил к березовому стволу. — Кто бы говорил!

И закрыл глаза.

Ночью Марь Иванна не могла заснуть, ворочалась, прислушивалась к шороху лунного ветра в черных сосновых вершинах.

«Тошнит ее! — вспомнила Марь Иванна. — Гнилой воды нахлебаесси, быка затошнит, а не то что...»

Перед глазами ее возникла кроткая узкоглазая деточка. С рук ведь не спускала! Ведь вот, на этих вот рученьках выросла! Мать-то — что? Где она, мать-то? Фьють! И нету! Вот как с матерью-то обстоит! А ребенок хлипкий, еле родила, кормить толком не кормила, какое с нее молоко? Ацидофилин один, прости, Господи! Марь Иванна мысленно сплюнула в сторону Стеллочкиного ацидофилина. Пойти посмотреть, как спит. Не раскрылась бы, ночи-то холодные. И добро бы поехать некуда, а так ведь, при родной-то даче, О-о-осподи! Дача-то на Николиной пустая стоит, пропадает. Родственница дедова живет, Лялька. Стерва, дальше некуда. Марь Иванна напялила телогрейку на халат, пятнистые ноги засунула в кеды. Пойти посмотреть Наташечку. Не раскрылась бы во сне.

В палатке, где Чернецкая жила с еще одной девочкой, была одна только эта девочка, а Чернецкой не было. Когда всхлипывающая от заботы Марь Иванна протиснулась в щель, она сперва увидела густую черноту, потом в этой черноте всплыла пустая раскладушка любимой Чернецкой, потом другая раскладушка, полная ватным одеялом и толстой девочкой под ним. Косолапые ноги девочки не помещались на раскладушке и болтались поперек палатки, мешая Марь Иванне убедиться в том, что Чернецкой действительно нет и постелька ее не только пуста, но и вовсе не смята.

— Ты где? — забормотала Марь Иванна, отпихивая девочкины ноги. — Ты куда побегла?

Она судорожно ощупала пустоту, еще надеясь, не веря себе. Пустота не превратилась ни в горячие тонкие волосы, ни в гладкое личико, ни в ямочку на локотке. Осталась себе, черная и страшная, как была.

— В сортире, может? — вслух озарилась Марь Иванна. — Так ведь что б по ночам-то в сортир вставать? Отродясь у нас такого не было! Наталья! — громким шепотом выдохнула она. — Ты где?

Толстая девочка завозилась во сне, дернула ногой и зачмокала большими губами.

— Спи, спи! — шикнула на нее Марь Иванна, вдруг испугавшись, что отсутствие Чернецкой будет кем-то замечено. — Спишь и спи, чего расчмокалась! Сиську тебе надо?

Страх как обручем сдавил ей сердце, ноги затряслись. Марь Иванна выползла из палатки, опустилась на траву и стала шарить вокруг себя похолодевшими руками, словно Чернецкая была бусинкой или сережкой.

«В сортир!» — приказала она себе и, полная ужаса, заковыляла по тропинке.

Луна торопливо усмехнулась в старческое лицо Марь Ивановны и, ничем не желая помочь ей в поисках Чернецкой, закрылась траурным шарфиком. Марь Иванна оступилась, сделала неловкий шаг прямо в крапиву, зажмурилась от боли, покрылась волдырями и тут же услышала тихий стон своей ненаглядной девочки и хриплое ее дыхание, такое хриплое, словно девочку душат.

— О-ой, о-ой, как мне плохо-о-о...

Маленькая фигурка Чернецкой, сидящей на корточках, так испугала Марь Иванну, когда она наконец разглядела ее в темноте, что Марь Иванна только пискнула по-кошачьи и тут же обхватила свою Чернецкую крепкими работающими руками.

— Тихо вы! — шепотом сказал за ее спиной низкий голос Орлова. — Вас только здесь не хватало!

Орлов был не похож на себя: босой, в одних спортивных шароварах, с легким, серебрищимся от луны пухом на груди.

— Кто тут? — прижимая к себе Чернецкую, продышала Марь Иванна. — Ты тут откуда взялся?

— Оттудова, — нахамил Орлов и забормотал: — Ее тошнит. Сначала было ничего, а потом вырвало. Там, в кустах. — Он махнул рукой в сторону.

— Наташечка, — взмолилась Марь Иванна, — может, у тебя, это, месячные пришли? От их тошнит? А ты давай отседа, проваливай, — вспомнила она про Орлова. — Проваливай давай! Тебе тут чего подслушивать? В сортир шел небось? Так и иди в сортир!

Чернецкая выдавила изо рта густую слюну, подавилась ею и громко заплакала.

— Пошел, пошел! — замахала руками Марь Иванна, — я кому говорю: пошел прочь!

— Наташа, — испуганно сказал Орлов, наклонившись к плачущей Чернецкой. — Ты что, хочешь, чтобы я ушел?

Чернецкая отчаянно закивала головой.

— Ладно, — мрачно сказал Орлов, — но я спать все равно не буду.

— Пойдем, моя любонька, — всхлипнула Марь Иванна, — это у тебя от воды. От гнили.

— Не от воды! — зарыдала Чернецкая, оторвав от лица руки и оборотив его, распухшее и неузнаваемое, к Марь Иванне: — Дура! Дура! Дура! Это не от воды! И нет у меня никаких твоих месячных! Дура!

Молния ударила в голову Марь Ивановны, и в первую секунду она почти что ослепла от боли. Потом боль расплзлась по затылку, а тело покрылось мурашками.

— Да! — вскрикнула Чернецкая. — У меня нет месячных! Не началось! Уже полторы недели! Нет, уже две! И не будет!

Марь Иванна зажмурилась и, чтобы не слышать крика, зажала уши руками. Черный лес внутри ее зрачков стал белым, потом залился чем-то оранжевым, заплясали в нем какие-то мухи, и в эту секунду только Марь Иванна вдруг все поняла.

— Что ты говоришь-то? — забормотала она, открывая глаза. — Как же это так? И что ж, я, значит, недоглядела? Ну куда мы теперь с тобой? Когда срам такой?

Маленькая Чернецкая содрогалась от плача.

— Сделай что-нибудь! — услышала Марь Иванна сквозь потрескивающую вату, которой словно бы набили ее голову, как наволочку. — Сделай! Я чувствую, что ребенок, я знаю, я чувствую!

Дикие эти слова привели к тому, что Марь Иванна опомнилась, подняла с земли свою горячую, как огонь, с мокрыми от слез волосами Наташечку и, дыша на нее чесноком, которым обычно лакомилась перед сном, натерев его густо на ржаную корочку, сказала:

— Сделаю все. Все путем сделаем. Не плачь.

Тут бедную Чернецкую наконец вырвало, и она успокоилась. Марь Иванна обтерла ей лицо и губы своим рукавом, поцеловала ее узенькие соленые глазки и, обнимая за плечики, довела до палатки.

Толстая девочка так и не проснулась, только тихо засвистела во сне, когда Марь Иванна уложила Чернецкую, подоткнула под нее одеяло, дрожащими руками пригладила ей волосы и, прошептав: «Спи уже, горе мое!», пошла к себе. Мысли ее разбежались по всему телу, страшные и серые, как крысы. «Стеллочке как сказать? Убьет. Ножиком пырнет, она такая! А с Наташечкой что будет? Помрет Наташечка. Куда! Сама дитя, молоко не обсохло! Леонид, ясно, Стеллочку бросит. После такого сраму. Бросит, и поминай! Так. Нужно, значит, травить. Сколько он у ей там? Ну, недели три, не больше! Он и не прирос как следует!»

Тут Марь Иванна вспомнила, хотя и с неохотой, через силу, как покойный жених, прежде чем помереть, сделал ей ребеночка и она ходила по родной деревне — двадцать второй год, жрать нечего — вся зареванная, не знала, куда бежать от стыда, пока наконец бабка Медуница, сухонькая, желтая, как пчелка, в ветхом платочке, не дала ей разрыв-травы, побормотала над ее припухлым животом, налупила по нему как следует веником в баньке, и утром потекла из Марь Ивановны черная кровяшка, захлестала, а заодно с кровящей-то он и вышел, ребеночек, младенчик этот, вытолкнуло его из нутра, махонького такого, страшенького. Хорошо хоть, одна в избе была, все на покосе.

А через месяц вдруг жених — раз! — и помер. Марь Иванна уж и лицо-то его позабыла. Помнила только, что кудрявый. Несколько раз они ей потом — жених с младенчиком — снились. Оба веселые. Бежали куда-то по василькам да ромашкам. Вроде как от нее вдвоем убегали.

Утром на следующий день Марь Иванна, не заснувшая ни на секунду, поднялась в пять, как обычно, наварила овсянки на оба класса, разлила ее, жидкую, пересоленную, по алюминиевым мискам, пощупала у Наташечки лоб, всунула ей, чтобы другие не видели, бутерброд с черной икоркой и побежала в деревенский магазин. К самому открытию. Женщины, стоявшие возле крыльца, ждали, пока привезут хлеб, были хмурыми и разговаривали мало. У продавщицы болел зуб, щека распухла, помада размазалась. Марь Иванна незаметно перекрестилась под кофтой и подкатилась к одной из старух, которая показалась ей сговорчивее прочих.

— Вот не могу нигде достать уксусу! — пожаловалась Марь Иванна. — А без уксусу хоть помирай!

— Уксусу? — прошамкала старуха.

— Уксусу, уксусу, — закачалась Марь Иванна, — хребет ломит, еле ноги таскаю!

— А что ж вам, дак, уксус-то? — тут же включилась колхозница помоложе и раздраженно всмотрелась в незнакомую Марь Ивановну: — Вы, дак, что, с дач, что ли?

— С лагеря я! Со школьного! — охотно объяснила Марь Иванна. — Поваром тут у них. Подрабатываю. А котел с супом третьего дня подняла, двинуться не могу! Вот, думаю, разотру уксусом, так, может, отпустит. А то — хоть помирай!

— Вам, женщина, не уксусом, дак, надо, — рассердилась колхозница, — а к Усачевой. Чтoб та вам хребет размяла. Ну, дак, она может. Она, дак, и не такое. К ней с других городов, дак, ездют.

Дико заколотилось сердце внутри Марь Ивановны: не поверило, чтобы так повезло. И чтoб с первого разу-то, О-оспо-о-оди!

— Дорого берет? — для отводу глаз поинтересовалась она. — Усачева-то?

— Ну, дак, с вас, городских-то, дак, конечно, не задаром. Рублей, дак, пять, может, и попросит. А может, нет. Кто ж ее знает? Вы, дак, пойдите, ноги-то есть.

— Куда идти? — жадно спросила Марь Иванна.

— Ну, дак, куда? К лесу идите. Сначала, дак, речка будет. Да, она махонькая. Разуетсяь, и всё. Мост, дак, всё нам не поставят, а старый загнил весь. А она махонькая речка у нас, вся усохла.

Выспросив адресок Усачевой, Марь Иванна так лихо припустилась к лесу, что старухи, ждущие в магазине хлеба, проводили ее злыми насторожившимися глазами. Изба Усачевой была едва ли не самой убогой во всей деревне. Черная, покосившаяся, с маленькими мутными окошками, она наполовину ушла в землю, и заросли высоких подсолнухов вперемешку с лопухами и крапивой защищали ее от прохожих.

Марь Иванна поднялась по сгнившему крылечку, вошла в темные сени с запахом прелой картошки и ведром позеленевшей от несвежести воды в ведерке, остановилась и прислушалась. Из избы доносился топот босых пяток и прерывистый ребячий голосок:

— Ишо, ишо! Ах ты, мой бородатенький! Ах ты, мой раскудлатенький! А-а-а, ты меня бодаешьси? А ну, дак, я тебя хворостинкой? И-и-х!

Марь Иванна сделала глубокий вздох и толкнула осевшую дверь. Перед ее глазами вылутился из скисшего воздуха черный козел, на котором, заливаясь детским хохотом, сидела старуха и погоняла его хворостинкой. Другой козел, серый, поменьше, лежал на полу и равнодушно жевал пук травы, которая росла прямо из щели. Старуха, сидевшая верхом на черном козле, была маленькая, сгорбленная, щупленькая, без единого зуба, с распухшими, как у младенца, розоватыми деснами. Волосы ее растрепались, платок сбился на спину, голубые глаза так и искрились от радости. Вид этой наездницы так напугал Марь Иванну, что она тут же начала пятиться задом обратно в сени.

— Дак, заходь, заходь, — радостно прикрикнула на нее старуха, — апосля намилуемся. И-и-х, ты мой раскудлатенький!

Она боком соскочила с козла, высоко задрав драную юбку, и Марь Иванна с ужасом убедилась, что сумасшедшая старуха была без трусов, в одних только резиновых галошах на босу ногу.

— Ну, дак, и гуляйте! — приказала она козлам, живо подтолкнула их к сеням, а оттуда выгнала на улицу. — В огороде гуляйте! Ужо к вечеру, дак, тогда заберу вас в избу вечерять, на морозе не кину!

Марь Иванна тихонечко сплюнула от отвращения.

— Мужики мои, — счастливым детским голосом сказала старуха. — Борька да Сергунь. Сергунь помоложе, чернявенький, прилипнет ко мне — не оттащишь, а Борька — старый уже, злобоватый стал. Чуть что не по ему — у-ух! Забодает! Во какой!

Марь Иванна с опаской огляделась. Половину избы занимала огромная печь с лежанкой, на которой было набросано какое-то тряпье, по углам темнели отлакированные временем лавки. Иконы, украшенные бумажными цветами, были до того старыми, что и не разобрать, кого изображали.

— Чего пришла, девка? — спросила старуха у Марь Ивановны. — Никак присушить кого хочешь? Наше дело молодое!

Левый глаз Марь Ивановны со страхом уперся в растрепанную метлу, перевязанную красной шелковой ленточкой. Старуха визгливо засмеялась.

— Метлица! — с гордостью закричала она. — Ух, и метлица! Хошь, покажу?

И, не дожидаясь ответа, вскочила на метлу верхом, опять без стыда без совести задрала нестираную свою юбку и, хохоча, понеслась по избе от двери к окошку. Марь Иванна повернулась, чтобы уйти, убежать куда глаза глядят (привел же черт к ненормальной!), но страшная старуха вдруг прислонила метлу к стеночке и совсем другим, окрепшим голосом спросила у Марь Ивановны:

— Вижу, чего пришла-то. — Она сморщила нос, несколько раз, раздув ноздри, втянула в себя воздух и быстро выдохнула его назад, как лошадь. — Чую. Взшло семечко.

— Какое семечко? — оторопела бедная Марь Иванна.

— Ну, дак, какое? — повторила старуха. — Мушшинино, вот какое. В бабу семечко попало, детку бабоньке напало.

Тут Марь Иванна, забыв обо всем, близко пододвинулась к Усачевой, унюхала тяжелый, болотный какой-то запах, который густо шел от разгоряченного тельца с голубыми глазами, и всхлипнула ей прямо в растрепанные седые патлы:

— Могёшь? Она сама у меня дитя, четырнадцать годков только.

— Дак, чего? — спокойно сказала Усачева. — За деньги-то.

— Заплотим! — страстно откликнулась Марь Иванна. — Кто говорит! Заплотим! Все отдам за Наташечку-то! Освободи только! Когда приводить?

— А вот я дай погляжу, — сказала Усачева и, достав откуда-то из-под тряпья колоду засаленных карт, ловко разложила их на столе.

Марь Иванна следила за ней измученными глазами.

— Пацан, — умильно сморщившись, спела Усачева, — вот он, пацанек-то! Ишь ты, стоит, ножки раздвинул! А крепенький-то! А глазища-то! Ух! Цыган! Вот тебе, девка, мое слово: цыган!

— Освободи, — белыми губами прошептала Марь Иванна, живо представив себе, как внутри Наташечки стоит незнакомый цыган, раздвинув ножки. — Заплотим тебе. Всё бери.

— Дак, веди, — сказала старуха. — Мы с мужиками, — она кивнула головой за окно, где в синеве и зелени мирно паслись недовольные козлы, — мы с мужиками моими, дак, отечеряем, апосля приводи. В восьмом часу приводи.

На семь была назначена репетиция пьесы Островского «Гроза», в которой — исключительно с воспитательными целями — роль Катерины поручили неуправляемой Анне Соколовой, а роль Варвары — умненькой и старательной Чернецкой.

— Эх, Варя! — говорила Анна Соколова, прижав к сердцу руки. Пышная коса ее сверкала, как золото. — Не знаешь ты моего характеру! Я, конечно, сколько можно, терплю, но если не смогу терпеть...

Неуправляемая Соколова никак не могла выучить текст классика Островского и предпочитала передавать образ своими словами. Такое несла — перед людьми стыдно.

— Галина Аркадьевна, — пробормотала Марь Иванна в белый от перхоти затылок Галины Аркадьевны. — Мне бы Наташечку забрать с репетиции-то. Голова у нее очень раскаляется. Весь день намучилась.

— Так это не ко мне, — сухо ответила Галина Аркадьевна, — я не доктор. Если у человека что-то болит, нужно обращаться к доктору, а не репетицию срывать.

— А мы щас прямиком в медпункт, к Лилян Степановне, — заторопилась Марь Иванна (Лилян Степановна была лагерной медсестрой), — мы щас прям к ней. Даст нам таблеточек, температурку смерит. А то что ж так... Умучилась ведь...

— Чернецкая! — провозгласила Галина Аркадьевна и громко хлопнула в ладоши. Репетиция остановилась. — Тебе нужно пойти измерить температуру в медпункт. У тебя сильная головная боль, Чернецкая, это нехорошо.

Чернецкая увидела, как Марь Иванна подает ей знаки, и поняла.

— Извините, Галина Аркадьевна, — она прижала к вискам кулачки. — Если вы...

— У меня голова не болит, — мстительно отрезала Галина Аркадьевна. — Иди, Чернецкая, тебя ждут. Продолжайте без Варвары!

На сцене появился Михаил Вартанян со своими маслянистыми кудрями. Вартанян играл Тихона.

— Нэлза так, Ката, — волнуясь, заговорил Вартанян, — зачэм мамэньку огорчаэшь...

— Тиша! — закричала Соколова, с хохотом бросаясь на шею Вартаняну. — Миленький! Все в огне гореть будем!

— Ну, вот. — Белая, как мука, Галина Аркадьевна задохнулась. — Соколова идет в свою палатку. Вартамян идет в учительскую. Репетиция спектакля отменяется. Все остальные — на костер. Поём до отбоя. Нина Львовна, вы с нами?

Вартамян поплелся в учительскую палатку вслед за разгневанной Галиной Аркадьевной, а все остальные, опустив глаза, уселись вокруг костра. Нина Львовна передала гитару Орлову, который любил петь.

— Что-нибудь о войне, Гена, — шевельнув ноздрями, попросила Нина Львовна. — А то уж очень мы что-то тут все веселые.

«Над землей бушуют травы, — низким и чистым голосом негромко запел Орлов, — облака плывут, как павы, а вот этот, тот, что справа, это я...»

Нина Львовна насторожилась.

«Мама, ты мой голос слышишь: он все дальше, он все тише, голос мой...»

— Я, кажется, просила о войне! — вскрикнула Нина Львовна.

— Я о войне, — быстро отозвался Орлов, — вы же не уточняли... «Ах, зачем война бывает, ах, зачем нас убивают...»

— Я просила не это! — Нина Львовна телом чувствовала, что просила не это. — А вот что: «Спросите вы у матерей, спросите у жены моей...»

— Я не женат, — удивленно ответил Орлов и опустил гитару. — Это Евтушенко женат...

Одновременно со склокой вокруг огня, который пытался дотянуться до еловых верхушек и стать частью неба, странный разговор происходил в учительской палатке, где Галина Аркадьевна, зачем-то рывком стянувшая с себя шерстяную кофту и оставшаяся в одном легком, с крылышками вместо человеческих плечей, сарафанчике, шумно дыша, говорила большому, застенчивому Вартамян:

— Миша, я понимаю, что не ты был зачинщиком этой безобразной выходки! Поэтому именно к тебе я и обращаюсь! — Она приложила ладонь к его голому мохнатому локтю. — Не ты был зачинщиком! — Лоб Галины Аркадьевны побежал красными волнами. — Но ты должен сейчас ответить мне как комсомолец! Почему ты молчишь, Вартамян?

— Я не зачинщик, — не поднимая глаз, сказал Вартамян, — мы пашутыли немного, мы пасмеялись...

— Как посмеялись? — задохнулась Галина Аркадьевна. — Как вы, комсомольцы, можете так шутить? Я не хочу, чтобы ты так шутил!

Вартамян напрягся. Локоть его стал горячее утюга.

— Не шути так, — залепетала Галина Аркадьевна, — ничего из этих шуток не выйдет...

Она облизнула пересохшие губы. Вартамян переступил с ноги на ногу.

— Стыдно тебе? — еле слышно забормотала Галина Аркадьевна, сжимая его ладонь вспотевшими пальцами. — Тебе хоть капельку стыдно?

— Мне совсэм стыдно, — простонал Вартамян. — Я так нэ буду...

— Вот видишь, — Галина Аркадьевна пошатнулась, Вартамян испуганно поддержал ее. — Видишь? — закрыв глаза, повторила Галина Аркадьевна. — Все могло бы быть так хорошо, а ты попал под влияние Соколовой...

Волосатый Вартамян тоскливо молчал. Рука его, поддерживавшая шаткую Галину Аркадьевну, все еще покоилась на левом крыле сарафана. Галина Аркадьевна глубоко вздохнула, словно опоминаясь ото сна, и новыми, светлыми, счастливыми глазами посмотрела на него.

— Ну, иди, мы с тобой еще поговорим.



Марь Иванна с Чернецкой бежали по деревне.

— Ты только не пугайся, — бормотала Марь Иванна, — все, Наташечка, сделаем, все из тебя это выльет...

Срам этот... И папе с мамой не скажем, и никто нам не нужен. У тебя, слава Те, Господи, Марь Иванна есть, я за тебя землю есть буду. Ну, почему ты этого наделала, почему наворотила, ума не приложу! На кой ты ляд, детёнка моя, завалилась под него, ума я не приложу!

— Марь Иванна, — истерически закричала Чернецкая, — я не хочу об этом разговаривать! Ты что, не понимаешь? Ты что, глупая, что ли?

Усачева сидела на развалившемся крыльце избы, курила самокрутку. Козлы с задранными к небу бородами стояли рядом.

— Ага! — тонким своим, детским голосом закричала Усачева. — А мы заждались! Весь табачок урасходили! Думкали, может, переблзнили вы, может, дак, оставите, папанка-то! А пушай, дак, живет! А вы заявились! Ну, дак, проходите в избу!

У Марь Ивановны мелко задрожал подбородок.

— Пошли, Наташечка, не бойся.

— Ну, дак, ты, милка, показывай телеса-то! — приказала между тем Усачева, рассматривая своими голубыми глазами маленькую перепуганную Чернецкую. — Давно ты, дак, баловаться зачала? С парнем-то, давно зачала?

— Три недели, — твердо сказала Марь Иванна и грудью заслонила ребенка от Усачевой. — Как в лагерь переехали. Мой грех. Дай травы или чего там попить. Только чтоб месячные пришли.

Усачева положила на нежный живот Чернецкой свою сморщенную темную руку.

— Молодка-то сладкая, — пробормотала она. — Чистый сахар. Дак, с медухой. Моим мужикам, — она кивнула на равнодушных козлов, — и то, гля, полюбилась. Такая в девках долгонько не загуляет. Куда! Враз наскочут. Ну, дак, а ты, девка, решай: можно, ить, по-разному гнать. Перво дело — травы попить. Три дня — и нету. Друго дело: Варваре-великомученице поклонюсь, ночку на коленках проваляюсь, ну и ишо там кому словечко шептану. Это, дак, долгий срок заберет, тут я за глаза ничего не скажу. Ну и, значит, самый верный путёк. Такой путёк, что как у доктору: плоть отворотить, дак, и выманить. Крючком. Тоже могём. Выбериай, дак.

— Крючком — нет, — прошептала Марь Иванна, — этого я не попущу. С Варварой я тебе не верю. Ты не Варваре-великомученице, ты черту своему поклоны бить станешь, это уж я и так вижу. Тут больших мозгов не требуется. Раскусить вас, ведьмаков эдаких. А травы давай. Три дня, говоришь? Вот и давай нам травы своей на три дня.

— Зря крючочка боишьси. На моем крючочке полдеревни живут, хлеб жуют. Р-р-раз, и готово! А могём, дак, и травой. Отсыплю тебе травушки, заваришь и, дак, глот, глот... Маленькими, дак, глотышками, до самого донцу.

— А я не умру? — испуганно прошептала Чернецкая.

— Все помрем, милка, — спокойно отозвалась старуха Усачева, — никто тут не останется. Куда! На то тебе и землю, значит, придумали, чтоб по ней побёгши-побёгши да и спать полёгши. На спокой, дак.

— Ты чего говоришь? — ахнула Марь Иванна. — Зачем ты ее пужаешь?

— Дак, я не пужаю, — Усачева достала небольшой ярко-голубой, в цветочках, сатиновый мешок, развязала тесемку, высыпала на ладонь горстку сухой травы. — С нынешнего нашего дела не помрешь. У тебя ишо этих цыганят в нутре будет, всех не выродишь!

Чернецкая закрыла лицо руками.

— Стыдиться неча, — приговаривала Усачева, поднеся ладонь с травой к самому своему носу и шумно обнюхав ее. — Свежая. Сгодится. А то, если старой дать, дак, кусок, могёт, вытащим, а кусок, дак, в нутре позабудем. Ручку там, а то и ножку.

Чернецкая разинула рот и начала задыхаться. Крупные, как спелый жемчуг, слезы катились по ее розовым щекам.

— Не пужайся, не пужайся, милка, — Усачева ссыпала траву в чугуный горшок, залила водой из ведра, перемешала. — Печь я, дак, для вас затоплять не стану, у вас спичечек побольше мово там, в городе-то. А слова на скажу, какие надоть, и в бутыль солью, а дома, дак, в кастрюль перелейте, на огонь постановьте, и пушай кипит. С час, дак, а то поболе. И три дня пушай пьет. Маленькими, дак, глоточками. Глот, глот... Покамест плоть не отворится.

Прижав горшок к груди, Усачева отвернулась от Марь Ивановны и Чернецкой и принялась бормотать что-то, то глядя в пол, себе под ноги, то быстро взбрасывая глаза к потолку. До Марь Ивановны и Чернецкой доносились обрывки ее бормотанья.

«Прибери, Михайло, кособрюхий, тебе подарочек, свечки огарочек... А мене окаяние, от людей наказание... Дуй — задуй — уф, уф! Да тебе, кособрюхому, угощеньице, а мене, красной девице, опрощеньице...»

Наконец Усачева кончила бормотать, несколько раз перекрестилась на самую темную и большую икону на стенке, поклонилась ей, перелила содержимое из горшка в бутыль и передала бутыль в крепкие руки Марь Ивановны. Дрогнувшие, однако, и ото всего пережитого ослабевшие.

В лагере как раз протрубили отбой, когда Марь Иванна с Чернецкой возвратились и сразу пошли на кухню, где Марь Иванна опять зажгла плиту, вскипятила огромный чайник, в котором по утрам варили какао, а по полдникам кофе, и через час принесла в палатку к Чернецкой чашку кипящей, темной, кисло пахнущей отравы. Отпила сперва сама, а потом дала — глот, глот, как учила Усачева — своей бедняжке. Душа ее от этого успокоилась, но не до конца, к сожалению, потому что любовь к Чернецкой и страх за ее тоненькую, с нежной шейкой и темными ресничками жизнь так мучил Марь Иванну, что часа в три утра она не выдержала, подкралась к палатке мальчиков, поскреблась в нее и громко продышала в щель:

— Гена! Орлов! Геннадий! Выйди на улицу, помощь нужна!

Легкий, широкоплечий Орлов вскочил так, как будто и вовсе не спал, и, в своих спортивных шароварах, с серебристым от луны пухом на груди и предплечьях, предстал перед зоркими глазами Марь Ивановны.

— Иди, я тебе чего покажу, — дрожащими губами выговорила Марь Иванна и, достав из-под передника узкий блестящий нож, которым обычно с помощью дежурных комсомольцев рубила на кухне капусту для борща, показала его Орлову.

От неожиданности Орлов отшатнулся.

— Вот, — удовлетворенно сказала Марь Иванна. — По тебе плачет. Жизнь твоя воробьиная мне задарма не нужна, не бойся. А инструмента твоего, — Марь Иванна сделала ударение на «у», — я тебя враз лишу. Управляйся потом, как знаешь. Хошь волком вой. Один разик ее хапнешь руками своими погаными — и, значит, поминай как звали. Ездий тогда на курорты. (Курорты очень запали в сердце Марь Ивановны за долгую дружбу с болезненной Любовью Иосифовной, покойной женой старика Чернецкого.)

Орлов пожал плечами.

— Марь Иванна, как она? — прошептал он. У Марь Ивановны просияли глаза.

— Стервец ты, Геннадий, — всхлипнула она. — Тебе-то, стервцу, что сделалось? Дрыхнешь себе, ногами сучишь. А она?

— Марь Иванна, — еще тише спросил Орлов. — У нас что, правда ребенок будет?

Марь Иванна так и отпрыгнула, так и замахала на него обеими руками.

— Да ты чего мелешь-то! Да откуда ты таких слов-то понабрался, подлец ты и мерзавец!

— Будет или нет? — повторил Орлов, опуская глаза.

— Ничего тебе не будет, — прошипела Марь Иванна. — А еще разик рядом с ней увижу, отрежу сам знаешь чего, и пущай меня потом судят! Мое слово тебе последнее.

В пятницу полил опять дождь, на поле никто не вышел. Комсомольцы ходили скучные, голодные, не знали, куда себя девать. Галина Аркадьевна и Нина Львовна решили сводить девочек в баню. Девочки засуетились, напихали в рюкзаки бутылки с бадузаном, тюбики с кремом, расчески. Чернецкая сослалась было на нездоровье, но толстая ее соседка, которой Марь Иванна третьего дня в сердцах пожелала сиську, громко спросила при всех: «У тебя ведь задержка, Чернецкая. Почему же тебе нельзя в баню?» И Чернецкая опустила ресницы, собралась как миленькая. До бани оказалось километра два с небольшим. У кого были зонтики, объединились с теми, у кого не было. По две-три девочки под купол. Галина Аркадьевна и Нина Львовна крепко взялись под руки, раскрыли большой мужской черный зонт, пересчитали девичьи головы и, лицемерно спросив: «Что будем петь?», отправились.

«Ромашки спрятались, поникли лютики, — громко и нахально завела Соколова, — когда-а-а вернула-а-а-сь я под о-о-отчий кров... Зачем вы, девушки, кра-а-а-сивых любите...»

На полпути отряд обогнала телега с пустыми молочными бидонами, громыхающими, как барабаны. На телеге, уронив на грудь кудрявую пшеничную голову, ехал Федор Подушкин. Нина Львовна и Галина Аркадьевна приостановились. Лошадь Подушкина приостановилась тоже. Подушкин покраснел, как девушка.

— Если ты, Федор, — громко сказала Галина Аркадьевна, невольно сравнив золотушного Подушкина с налитым, как спелый гранат, волосатым Вартаняном, — надеешься, что все так и обошлось, то ты напрасно надеешься. Юля Фейгензон поверила тебе как другу, как товарищу...

Подушкин хмыкнул и удивленно закрутил своей пшеничной головой.

— А ты повел себя как израильский агрессор! — захохотала неуправляемая Соколова и тут же зажала рот обеими ладонями.

— Для Соколовой баня отменяется! — быстро закричала Нина Львовна, вся запыхав. — Соколова, ты сейчас вернешься одна в лагерь, и вечером мы поговорим на линейке!

— Подушкин, подвези, а? — вылезая из-под блестящего зонтика, попросила Соколова. — А то я до нитки...

— Никаких «подвези»! — в один голос взвыли Нина Львовна и Галина Аркадьевна. — Ногами пойдешь! Пешком и ногами! Вот так!

Соколова развернулась и зашагала обратно в лагерь.

— Нет! — спохватилась Нина Львовна. — Нет, нельзя ее так отпускать! Мы, Галина Аркадьевна, за нее головой отвечаем! Головой! Да! Нет! Нельзя! Значит, кому-то из нас нужно вернуться с ней!

— А баня-то? — нахмурилась Галина Аркадьевна. — Мы ведь теперь долго, Нина Львовна, в баню не попадем.

— Хорошо. — Нина Львовна до крови закусил губу — После бани. Разберемся с тобой, Соколова. После бани.

Отдохнувшая лошадь, на которой Подушкин в качестве приработка к материнским трудовням развозил молоко с фермы, вдруг заскучала от человеческой перебранки и, подняв изумруды брызг, понеслась прочь по ухабам. Подушкин чуть не выпал из телеги.

— Но ты учти! — как заведенная, проорала ему вслед Галина Аркадьевна. — Учти, Подушкин!

— Сучка, — всхлипнул далеко отнесенный раздражительной кобылой Подушкин, — чтоб тебя разорвало, училка поганая! «Учти»! Сама «учти», стерва обосранная! Приеду в Москву, подкараулю где надо, будешь знать! Дай только покамест деньжат наскребу! Думаешь, ты со мной справишься! Я от Юльки задарма не отступлюсь, хоть она жидовка, хоть кто! «Учти»!

Несмотря на то что бедную смуглую Фейгензон удалили из лагеря, приняв все меры, чтобы она не распространила свое развратное влияние на остальных комсомольцев, Подушкин ее полюбил и, как первую свою на свете женщину, все еще не мог забыть. Происхождение Фейгензон его, по всей вероятности, тоже не смутило, потому что никаких других евреев Подушкин в своей жизни не видел, радио слушал мало, телевизора у них с матерью не было, а то, о чем спозаранку бубнили в школе, пропускал мимо ушей.

«Было б, конечно, получше, — думал Подушкин, — чтобы Юлька была как все, а не жидовкой, но уж теперь пусть как есть. Раз у нас любовь».

В планы его входило накопить денег, приобрести голубой в красную полоску галстук в соседней деревне Михалёво и в этом галстук заявиться прямо в Москву. Адреса Фейгензон он не знал, но знал телефон ее тети, Софьи Марковны, которая работала в газетном киоске на Площади трех вокзалов и там же неподалеку жила. Фейгензон, когда они обсуждали каждый свою родню, сказала Подушкину, что она больше всего уважает эту самую тетю Марковну (Подушкин произносил «Морковну») и, если дома уж совсем станет невмоготу, сразу уйдет к ней на Площадь трех вокзалов.

«У тетки этой запросто перекантуем, — легкомысленно думал Подушкин, — раз она такая добрая. А перед армией распишемся. Чего тут осталось? Четыре года всего. Ждать меня с армии будет».

После насильственного отъезда Фейгензон Подушкин целую неделю страшно выпивал со взрослыми парнями и громко выкрикивал гадости в сторону московского лагеря, но потом почти успокоился и начал копить деньги на голубой в красную полоску галстук. Брошенная вслед его телеге угроза Галины Аркадьевны так сильно разозлила от природы миролюбивого Подушкина, что он тут же решил отомстить.

«Пургену куплю, — решил Подушкин, — и подсыплю. Ягод пойди набрать. И чтобы ей, значит. Ягодок. Похреновее».

Пурген, как безотказный способ мщения, стал известен малообразованному Подушкину почти случайно: прошлым летом они с матерью ходили убирать дачу, живописно расположенную в пяти километрах от Михалёва в высоком сосновом лесу, внутри которого зимой и летом стоял прозрачный золотой свет. На даче поселялся иногда знаменитый художник — толстый, в большом, местами полысевшем пиджаке, и Подушкин услышал разговор его сына-подростка со своим товарищем, тоже подростком, но чуть постарше. Ни сын художника, ни его товарищ не обратили на Подушкина никакого внимания, а может, и наоборот, обратили — кто их разберет? — только разговаривали они так, будто Подушкина вовсе не было в комнате.

— Берешь пачку, толчешь, чтобы оно как пыль стало, совсем мелко, и всыпаешь. Ничего на вкус не чувствуется. Да и полпачки хватит. Она у меня и с полпачки забегала. Даже и с четверти пачки. Продается без рецепта, плевое дело.

«Нет, в ягоды не годится, — вспомнив этот разговор, решил повеселевший Подушкин, — раскусит небось. Скажу Вальке, пусть, дак, варенья наварит. Или пирога.

Снесет в лагерь. Как раз на праздник. Всех же приглашают, а мы, дак, с подарком. Деньги есть, можно, дак, и потратиться».

Стегнул лошадь кнутом и взмыл над дорожной грязью, запев веселую и народную песню пустыми своими бидонами.

Баня оказалась маленькой, темной, пахла гниющим деревом, и мылись в ней, кроме пришедших московских, всего четыре женщины. Трое были с распущенными мокрыми волосами, а на голове у четвертой болталась плотная вязаная шапка. Женщины подобрались худые, неприветливые, с вялыми лиловатыми грудями. Увидев чужих, девочки застеснялись, прикрылись тазами.

— Начинайте мыться, — строго сказала Галина Аркадьевна и, переглянувшись с Ниной Львовной, стянула с себя блузку.

Нина Львовна нахмурилась, села на лавочку и принялась расшнуровывать тапочки. Никто не знал, что будет дальше. Представить себе, что Галина Аркадьевна и Нина Львовна через пять минут окажутся голыми и их можно будет увидеть и сзади, и спереди, и они так же, как все остальные, намылятся серым банным мылом, запенятся, стеганут друг друга вениками по ребрам, — такое в головах не укладывалось.

— Чернецкая и Аленина! — скрывая смущение, закричала Нина Львовна. — А вы что расселись? Вам особое приглашение нужно?

Маленькая Чернецкая, оказавшаяся в бане без Марь Ивановны, которая, скрипя зубами, варила на весь лагерь макароны по-флотски, глубоко вздохнула и расстегнула крошечные перламутровые пуговицы джинсовой курточки. Под курточкой оказалась кружевная синяя маечка. Чернецкая сняла маечку. Лифчик тоже был синим и расстегивался спереди. Девочки опустили глаза.

— Я ж говорила! — громко сказала толстая соседка Чернецкой по палатке. — У нее все такое!

Галина Аркадьевна, стараясь не смотреть в сторону синей и кружевной Чернецкой, стояла посреди раздевалки, вытянув чешуйчатую шею, особенно длинную без одежды, и делала вид, что спокойно расчесывает волосы. Нина Львовна наклонилась над лавочкой и, вздрагивая открывшимися всем ягодицами, аккуратно складывала стопочкой свои незатейливые вещи. Лена Аленина — худенькая, похожая на рыбку косточку, с плохими зубами девочка — сняла только кеды. Босые, очень белые, костлявые ноги ее почему-то притянули к себе внимание педагогов, а сама Аленина осталась при этом в тени, и никто, даже внимательная Галина Аркадьевна, не заметил, что глаза у Алениной стали мокрыми и сморщенными.

— Раздевайся, Аленина, — приказала голая Нина Львовна. Шрам на ее животе вспыхнул. — Нам здесь всю жизнь топить не будут!

Аленина покачала головой, повернулась и, сгорбив узенький хребет, пошла к выходу.

— Я кому сказала, Аленина! — закричала Нина Львовна, но было уже поздно: Аленина крепко затворила за собой дверь.

— Ой, да я догоню! — вскрикнула Соколова и, вся золотая, белоснежная, розовая, с огромным рыжим сиянием волос на затылке и таким же, только маленьким и пушистым, рыжим сиянием в низу живота, не дожидаясь разрешения, обмоталась махровым китайским полотенцем — черноголовые павлины на оранжевом поле — и бросилась догонять ушедшую в непробудный дождь босую Аленину.

Нина Львовна и Галина Аркадьевна решили быстро вымыться и самостоятельно, без помощи ненадежной Соколовой выяснить, в чем дело. Аленина была молчуньей и, как считали они обе, себе на уме. Отец Алениной женился недавно на матери Чугрова, на ком

женат был отец Чугрова и был ли он вообще, никто не знал, но теперь на родительских собраниях отец Алениной сидел в качестве отца Чугрова, а со стороны Алениной сидела бабушка, бывшая теща этого самого отца, потому что мать Алениной, узнав, что ее муж ходит теперь на собрания в качестве отца Чугрова, больше в школе не появлялась.

Краснея, серая обычно Аленина становилась ярко-пунцовой, как клюковка. Росту она была маленького, еще меньше Чернецкой, а Чугров, получивший на ее, можно сказать, костях и муках тщательно выбритого отца, возвышался надо всеми, как пожарная каланча, и умел играть на фортепиано. Совсем недавно, в конце мая, Чугров вдруг признался неуклюжему Лapidусу, что влюблен в Аленину и теперь глаз с нее спускать не будет. И не спускал. Прожигал ее, бедную, пунцовую, с плохими зубами, у которой мать не приходила в школу даже на новогодние родительские вечера, а посылала вместо себя аленинскую бабушку, странную, кстати сказать, старуху, потому что у нее вовсе не было никакого подбородка и впалый рот как-то сам собою разевался на шее, словно и был отверстием не на лице, а именно там. Чугров смотрел на Аленину мутными от нежности зелеными глазами. Дома у него жил теперь отец, и отец этот сидел на новом диване, проверял у Чугрова уроки и слушал, как Чугров играет на фортепиано. А потом приходила мать, и отец, приподнявшись с нового дивана, подставлял ей тщательно выбритую щеку. Они были семья. А у Алениной бабушка капала валокордином на половинку сахара, сахар размокал и желтел, бабушка, закрыв глаза, разевала свой рот, расположенный прямо на шее, и, задыхаясь, разжевывала половинку размокшего сахара. Потом ей становилось лучше, и она, подозвав хрупкую, как рыба кость, внучку Аленину, говорила ей этим пропахшим валокордином, несчастным ртом:

— Подлец! И правильно, что мамочка его знать не хочет! И ты не смотри в его сторону! Подлец!

Может быть, сейчас, в бане, когда полногрудая, узкоглазая Чернецкая сняла синюю курточку и оказалось, что лифчик у нее тоже синий и расстегивается спереди, а не сзади, как у всех, может быть, это и стало последней каплей, которую не выдержало надорванное сердце костлявой Алениной, и она ушла куда глаза глядят, босая и плачущая, в тренировочном, с пузырями на коленях, вылинявшем костюме. Ни Аленина, ни обмотанная черноголовыми китайскими павлинами Соколова не возвращались очень долго, и тогда Нина Львовна, голая, с голой Галиной Аркадьевной, которые именно из-за этого своего состояния никуда не могли выйти, будучи и мокрыми, и к тому же намыленными, очень разволновались, начали как попало плескаться на себя кипятком из огромного чугунного черного чайника, на ушах у них, как вязаные оренбургские платки, повисла мыльная пена, и Нина Львовна сквозь жгучий пар кричала до неузнаваемости изменившейся без одежды Галине Аркадьевне:

— Я говорила, что это добром не кончится! Я говорила, что Чугрова нужно послать в Артек! А Аленину отправить с бабушкой к родственникам, как они просили! Я говорила!

— При чем здесь Чугров! — выдирая из себя расческой волосы одной рукой, а другой намыливая пордевшую голову, отвечала задыхающаяся, похорошевшая от воды Галина Аркадьевна. — У Алениной ужасные наклонности! Она тяжелый, практически неисправимый подросток! И это то, что я говорила!

Когда высокая, с растрепанными рыжими волосами, белоснежная Соколова ворвалась наконец обратно в баню, выяснилось, что Аленина ушла, слушать ничего не стала, сидит сейчас, наверное, на станции и ждет электричку, чтобы уехать в город, а в лагерь она больше не вернется.

— Строиться! — выкатывая белки, закричала Нина Львовна. — Всем вытираться и строиться! Как есть! В мыле! Пусть! Вытираться, строиться и одеваться! Строиться! Ни минуты не терять! И это комсомольцы! Позор! Ее же милиция заберет! Босую!

Босая Аленина действительно уехала в город, села на электричку и укатила, а взмыленные от погони ее одноклассницы вместе с Галиной Аркадьевной и Ниной

Львовной остались ни с чем. Под дождиком, на деревянной платформе, с двумя разбурившимися во сне, спящими пьяными людьми возле лавочки. Нина Львовна была права, когда сказала, что нужно немедленно заявить в милицию, но и Галина Аркадьевна тоже была права, когда напомнила ей, что одна заявка в милицию уже была, и совсем недавно. Решили сделать вот что: дозвониться со станции в Москву, в квартиру Алениных, и сообщить, что она едет в город. Тем же самым вороватым бегом, не сбавляя темпа, понеслись под открытыми зонтами в лагерь, чтобы посмотреть в классном журнале телефон Алениных. Пока суд да дело, плюс один автомат не работал, а второй оказался рядом с почтой, а почта от станции — еще минут десять бегом, а если пешком, то и тридцать, — короче, когда наконец дозвонились, то нарвались на бабушку, которая иступленно рыдала и еле смогла прокричать им, что ее дочке только что позвонили из психдиспансера города Мытищи, куда прямо с поезда доставили хрупкую, истощенную Аленину, оттого что она, оказывается, прямо в поезде начала страшно кричать и кататься по вагону. И, прорыдала бабушка, дочка ее уже отправилась туда, в Мытищи, в психдиспансер.

— Ужас, — сказала Нина Львовна, положив трубку. — Больной ребенок. Плюс, конечно, распушенный. Мы абсолютно ни при чем. Здесь будет заключение врача.

— Да, — кивнула Галина Аркадьевна, чувствуя, как что-то закипает в затылке. — Нужно все-таки сообщить ее отцу.

— Отцу? — Нина Львовна неуступчиво выкатила белки. — Какому?

— Ну, этому, — выразительно понизив голос, ответила Галина Аркадьевна, — ну, отцу. Чугровскому.

— Ну, не сейчас, — решила Нина Львовна. — А послезавтра. Пусть он сначала приедет к нам на праздник. На закрытие лагеря. Чтобы все было как ни в чем не бывало. А после праздника, если он заметит, что Алениной нету, тогда сообщим. Это семейные дела.

— Ну хорошо. Давайте так, — согласилась Галина Аркадьевна и потеряла затылок ладонью.

Вернувшись в лагерь, вымытые, с мокрыми головами девочки, у которых от длинных пробежек — от бани до станции, со станции до лагеря и обратно на станцию — все мытье с бадузаном вместе пошло насмарку, тут же рассказали мальчикам про Аленину, и Чугров, покрывшись бурыми пятнами волнения, ворвался в палатку к Нине Львовне и Галине Аркадьевне с криком:

— Это правда?

— Что — это? — вскрикнула Галина Аркадьевна, которая как раз собиралась пойти в лес, чтобы почистить себе зубы на ночь.

— Про Аленину? — чуть не разрыдался нервный и артистический Чугров. — Про Лену?

— Успокойся, Чугров, — мягко попросила вставшая с раскладушки Нина Львовна и поправила свою левую щеку, потому что слегка отлежала ее. — Лену Аленину все равно нужно было показать врачам. Она плохо учится, невнимательна на уроках, опаздывает. Лилиан Степановна давно подозревала у нее глисты.

— Кого подозревала? — оторопел Чугров. Галина Аркадьевна сделала Нине Львовне гримасу и близко подошла к измученному Чугрову.

— Сергей, — сказала Галина Аркадьевна, — ты думаешь, что любишь Лену. Но ты не знаешь, что такое настоящая любовь. Настоящая любовь — это когда тебе хочется летать, когда ты жизни не представляешь себе без этого человека, когда у тебя отовсюду вырастают крылья. И вот когда к тебе придет такая любовь, ты сразу поймешь, что Лена Аленина не тот человек, с которым ты хочешь связать свою жизнь. Потому что у человека одна жизнь, Сергей. Запомни мои слова. Одна.

Черти вдруг заплясали в зеленых глазах Чугрова, и он тоненьким, дурашливым голосом пискнул:

— А глистов много?

И бросился вон из учительской палатки.

В воскресенье солнце хлынуло на землю с такой силой, что засверкала последняя, самая незаметная букашка, которой, может, и жить-то осталось под этим солнцем день-два, не больше. На лицах восьмиклассников, выстроившихся на линейку, была явная радость, что сегодня именно закрытие, а не открытие лагеря и завтра в это время уже подадут автобус, а солнца станет еще больше, еще долго будет хлестать из открытого неба этот ослепительный желтый огонь, и начнутся другие дни, без линейки и надрывного горна, где не захочется умирать, убегать, прятаться, да и, вообще-то говоря, смерть до поры до времени находится в густой темноте, а внутри человеческого сердца располагается только жизнь, со всеми ее сверканьями.

Марь Иванна вопросительно посмотрела на Чернецкую, которая задумчиво шла навстречу ей по тропиночке.

— Живот-то не болит, Наташечка? — спросила Марь Иванна. — Не пришло у тебя?

— Тянет немножко, — жалобно ответила Чернецкая. — Но ничего нет.

«Ну, помогай Бог! — мысленно перекрестилась Марь Иванна. — Она и сказала так, что через дней пять придет, Усачева-то. Все, значит, правильно».

Про Аленину и Фейгензон решили вообще не вспоминать, а закрыть лагерный сезон весело, с огоньком, ветерком, дружной песней и вечерним костром до самого неба. К полудню начали стекаться со станции родители с большими сумками, вспотевшие. Некоторые приехали даже на машинах, потому что к этому лету наша школа была уже не самая обычная, а полгода назад из самой обычной превратившаяся в специальную английскую и даже по этому поводу поменявшая свой прежний номер «37» на совершенно другой номер — «23». В прежней нашей тридцать седьмой школе все было очень просто и даже скудно, а в новой, двадцать третьей, начали заводить великолепные порядки, — приглашали на праздники иностранцев из дружественных стран, ввели уроки ритмики и приняли в оба класса — «А» и «Б» — несколько новеньких, у которых родители ездили за границу, а некоторые родители так и вообще там, за границей, жили и работали. Отсюда и кофточки у Людмилы Евгеньевны, директора. Отсюда, конечно, и машины.

Праздничный концерт придумали поделить на два отделения: в первом комсомолцы покажут отрывок из пьесы Островского «Гроза» с Вартаняном, Соколовой, Чернецкой и сестрами Померанцевыми в главных ролях, потом Чернецкой и Ворониной будет исполнен индийский танец девушек, собирающих урожай индийского риса, затем Лапидус и Семененко выступят с сатирическим номером вроде Тарапуньки и Штепселя, потом будет небольшой перерыв и сразу же второе отделение, где на сцену выйдут родители со своей веселой родительской самодеятельностью, после чего, наконец, все вместе — дети и родители — запоют «Синий троллейбус». Так было задумано, и на это приехали посмотреть директор Людмила Евгеньевна со своим новым другом, имени которого не знали даже Нина Львовна с Галиной Аркадьевной, Роберт Яковлевич, учитель истории, с полной, симпатичной, но очень какой-то усталой даже на свежем воздухе женой Симой Самойловной, Зинаида Митрофановна — волосы на прямой пробор и держит крепко за руку внучку Танечку трехлетнюю, оставшуюся по непонятным причинам без отца дочкину дочку, преподаватель физкультуры Николай Иванович, только что хлопнувший холодного пивка на станции, ну и, конечно, гости нашей специальной английской показательной школы номер 23: товарищи из роно и товарищи из Дворца пионеров. Всем товарищам хотелось провести воскресенье на природе, так, чтобы с



обедом на полянке, а вечером песни у костра, где, может быть, даже придется с кем-нибудь и пообниматься в еловой прохладе, под медленно гаснущими над головой острыми искрами. С какой-нибудь тоже пассажиркой из синего троллейбуса.

На обед был суп из консервов «бычки в томатном соусе» и макароны по-флотски, как обычно. Но десерт оказался очень вкусным, потому что мама Анны Соколовой, высокая, как ее дочка, и такая же рыжая, испекла шесть больших яблочных пирогов, так что каждому досталось по небольшому кусочку, да еще Марь Иванна сварила кисель из клубничного брикета. Начали играть отрывок из пьесы Островского «Гроза». Все было хорошо, пока не дошло до появления барыни, которая закричала на Соколову «Все в огне гореть будете!» — а Соколова, вместо того чтобы ужаснуться, расхохоталась своим лошадиным смехом и чуть было не сорвала спектакль.

Галина Аркадьевна между тем торопливо гримировала Вартаняна в своей палатке, для чего Вартаняну пришлось сесть на складной стул, и Галина Аркадьевна аккуратно, волосок к волоску, причесала его на прямой пробор. Вартанян сидел не шелохнувшись, смотрел на кружевную оборочку под самой ее грудью, которая поднималась и опускалась, как волна в Черном море, и пахла так же, как эта волна, свежей рыбой. Во глубине тихой своей и страстной души Вартанян с ужасом чувствовал, что, если он сейчас возьмется за оборочку двумя пальцами, Галина Аркадьевна не только не закричит на него, но, наоборот, моментально обрадуется, и беда, стало быть, была только в том, что он и сам не знал, хочется ли ему дотрагиваться до этой волны, чтобы она, озверев от радости, забила ему рот своими дико пахнущими солеными водорослями, или лучше переждать, пока все это — с кружевами и рыбами — откатится обратно. После «Грозы» Воронина и Чернецкая, обмотавшиеся ситцевыми тканями, с черными точками чуть выше переносицы, в серебряных браслетах, привезенных мамой Стеллочкой из жаркого Тбилиси, куда она ездила со своими кубинскими друзьями на встречу с друзьями этих кубинских друзей, под сладко влекущий аккомпанемент побелевшей от частых употреблений пластинки медленно задвигались по хорошо утопанной траве, заломив над головами голые руки, словно это были и не руки, а ручки какой-то загадочной и старинной вазы. Тонкие шеи танцующих комсомолок Чернецкой и Ворониной перескакивали в разные стороны — справа налево и слева направо — а лица оставались при этом почти неподвижны, и черные точки на переносицах стали особенно яркими на фоне синего неба с белым, поджавшим под себя кудрявые ножки ягненком-облаком. Девушки исполнили древний танец, который испокон веков исполняют проживающие в устье Ганга худощавые, со жгучими, как у Вартаняна, глазами, скромные индийские женщины. Чернецкая танцевала так, что у некоторых родителей (отцов, разумеется) брови изумленно поползли вверх, а ее собственный отец, гинеколог и заведующий отделением, сидящий в самом первом ряду в чудесной полосатой майке, слегка покраснел и рассерженно опустил глаза. Она двигала своими круглыми, стиснутыми пестрым ситцем бедрами, тяжело дышала, полуоткрыв ярко накрашенные губы, а когда приходилось наклоняться — ибо индийские женщины наклоняются за каждым упавшим зернышком небогатого урожая, — те, которые сидели близко к танцу, видели ее круглую, белую, как зефир, молодую грудь, горячую даже на взгляд, а не только на ощупь. Четырнадцатилетняя Алла Воронина, танцевавшая вместе с Чернецкой, двигалась старательно и просто, улыбалась простодушно, блестела вспотевшим лбом, а когда танец закончился и обе индианки стали, сложив ладони ковшиком, присесть в традиционном индийском поклоне, Воронина, не выдержав, весело замахала обеими руками своей семье, которая стояла в последнем ряду и гордилась.

Гинеколог Чернецкий встал и пошел к машине за сигаретами. Стеллочка злобно захлопала в ладоши, проводила его сверкающим взглядом и, достав из сумочки помаду, сильно обвела ею верхнюю губу, а потом прижала ее к нижней со звуком, похожим на мягко лопнувший стручок гороха. Вчера вечером стало известно, что во втором отделении будет выступать знаменитая певица Тома Тamarэ, которая, оказывается, родная бабушка

Миши Куракина, мальчика прыщавого, доброго, уже, кажется, пьющего и курящего, единственного (не считая его тоже очень пьющего отца) уцелевшего представителя мужского пола в истощенном роду князей Куракиных. Весной он сообщил всему классу, что это их именно семья описана в лучших произведениях русской литературы. Нина Львовна, разумеется, наострила уши и побежала к Людмиле Евгеньевне советоваться, как быть с молодым князем, не нужным ни в комсомоле, ни в коллективе. У Михаила Куракина были отец, мать и бабушка, мать отца, которая в молодости, потеряв свое княжество, пела романсы, носила лиловатый всклокоченный парик, оставшись после тифа лысой, как тыква, и была известна в Москве двадцатых годов под псевдонимом Тома Тамарэ. Она-то и вызвалась выступить, с нее-то и началось второе отделение. Почтительный, пьющий отец пьющего мальчика Михаила Куракина, ежемесячно относящий в ломбард то серебряные часы, то женину лисью шубу, вывел свою маму Тому Тамарэ на середину лужайки, обращенной в сцену. Тома Тамарэ сложила руки на груди и сжала губы сердечком. Она была очень стара, гораздо старше восьмидесяти, и от этого бледна смертной бледностью, резко подчеркнутой густыми румянами, намазанными скорее всего сослепу, а потому не по возрасту и слишком сильно.

— Василечки! — объявила Тома Тамарэ и выставила из-под длинной, порыжевшей от времени бархатной юбки узловатую, страшную ногу в ортопедической обуви.

Комсомольцы переглянулись.

На полянке собирали как-то утром васильки-и-и-и! —

визгливо закричала Тома Тамарэ.

Василечки, василечки, ах вы, милые цветы-ы-ы!

Синее небо горько отразилось в мертвых глазах певицы и поволокло их за собой вместе с белыми облаками и присмирившими птицами.

Собирая, мы смея-я-я-лись, —

продолжала Тома, заведя зрачки под веки и оставшись безглазой, с широко раскрытым, полным почерневшего золота ртом.

Нежно пахли васильки,

мы смеялись, целовались,

ах, вы милые деньки-и-и!

Михаил Куракин тяжело вздохнул и с вызовом посмотрел на простодушно улыбнувшегося Вартаняна. Тома Тамарэ допела «Василечки» и перешла к новому романсу.

Умирать мы не бои-и-и-имся,

смерть нам будет нипочем!

Она лихо махнула рукой с большим, как у Ивана Грозного, лиловым перстнем.

Целый де-е-е-нь мы веселимся

и вино мы пьем и пьем!

В самый разгар веселья на поляне вдруг оказалась невозможно маленькая, очень похожая на только что заболевшую Лену Аленину женщина. Она запыхалась, и видно было, что всю дорогу от станции ей зачем-то понадобилось бежать, так что сейчас все ее узенькое лицо превратилось в размякший помидор, со лба струился пот, а чулок на левой ноге перекрутился, и от этого казалось, что она как-то криво вывернула свою левую ногу и держит ее в стороне ото всего остального тяжело дышащего тела. Нина Львовна не успела даже приподняться с места, а Галина Аркадьевна так и вовсе осталась сидеть как пригвожденная, потому что кривенькая малютка, сделав неожиданный лягушачий

прыжок, изо всех сил ударила по лицу сидевшего в первом ряду полнокровного отца Сергея Чугрова.

— Песенки? — задохнулась она. — Песенки поешь, негодяй? А ребенок в сумасшедшем отделении! А дочь твоя в смирительной рубашке! Сволочь!

— Мария! — тонким голосом вскрикнул отец Чугрова. — Как ты смеешь, Мария! — И тут же плаксиво выпучил глаза: — Сумасшедшая ты женщина! Прошу же меня ижбавить! — Что-то, очевидно, произошло у него во рту, но только он так и не сумел выговорить слово «ижбавить» и повторил еще раз, задыхаясь и плача: — Прошу же меня ижбавить, ижбавить!

Зинаида Митрофановна с прилипшей к ней внучкой Танечкой первой подбежала к ополоумевшей матери Алениной и своим телом закрыла от нее отца Чугрова. Вслед за Зинаидой Митрофановной подбежали и Нина Львовна с Галиной Аркадьевной, и Людмила Евгеньевна со своим новым мужчиной, и физкультурник Николай Иваныч, и кто-то из роно, и двое из Дворца пионеров, так что вскоре вокруг матери Алениной и отца Чугрова образовалась разлапистая, многорукая, многоногая толпа, источающая сильный запах популярных духов, летнего пота и робкого, вороватого запаха того самого, вылаканного Николаем Иванычем привокзального пивка, от которого у него по-доброму и по-молодому заблестели глаза.

...успокойтесь вы, что вы делаете, забрать ее, связать и в милицию, хулиганка, главное, что он же ее не трогал, чья она мать, чья она будет мать, разве это мать, какая мать, где ее ребенок, ах, это муж, чей это муж, чей он сейчас муж, почему бросил, жену с ребенком, как это бросил, а на ком женился, какой мальчик...

Такими словами бурлила и горланила разлапистая многоногая толпа, выдавившая из себя под конец щупленькую внучку Танечку, которая, не заплакав, села на корточки и осторожно потянула из земли толстую зеленую травинку. Аленину, слава Богу, оттащили — да это было и нетрудно, потому что Аленина была слабой, тщедушной, разлюбленной плаксивым отцом Чугрова и от этого ставшей еще легче, еще малокровнее, словно из нее выкачали всю женственность, весь сладковатый жирок, оставив на плечах одну прозрачную кожицу, давно, к сожалению, истрепавшуюся от ежедневной тряски в неудобном городском транспорте, особенно в зимнее время. Тома Тамарэ, выступление которой было так неприятно прервано, вдруг ужасно оживилась и, скорее всего, вспомнив и свою, в слипшихся фотографиях и высохших василечках далекую молодость, энергично закричала ортопедической обувью и сказала матери Алениной такие странные слова:

— Вас не стоит. Он вас. Не стоит. Право.

Почтительный пьющий сын поддержал ее под руку, но Тома Тамарэ оттолкнула его поддержку, высоко задрала бархатную юбку и, открыв всему свету свои оказавшиеся без чулок, всего лишь в натуральной сетке вен и черных отметин, когда-то прекрасные и породистые ноги, громко, как в опере, засмеялась прямо в плачущее лицо отца Чугрова.

— Такие, — сказала она, — всю жизнь. Мою. Именно. Пили соки. Пока не отправились... — И легкомысленной высохшей рукой показала оторопевшим лагерникам, куда именно отправились.

Концерт был сорван, плачущую и хрипящую мать Алениной оттащили от ненавистного мужа, и невозмутимая, с бордовыми волосами, медсестра Лилиан Степановна долго отпаивала ее свежими каплями валерианы, измеряла подскочившее кровяное давление, после чего мать Алениной задремала прямо на раскладушке Лилиан Степановны и долго еще всхлипывала во сне.

Отец Чугрова решил почему-то сразу же уехать в город и хотел попрощаться со своим новым сыном, но сына нигде не было, и отец Чугрова — весь распухший и огорченный — ходил по опушке леса, выкликая звонкое имя «Сергей! Серге-ей!», а за ним ходила жена с пеннистым шипением «я ж-ж-же предупреж-ж-ждала», от которого у нее пересыхали губы,

так что приходилось их облизывать, и тогда в лесу наступала наконец долгожданная пауза, свобода от шипенья и криков, во время которой никому не известная, изнемогающая от нежности птица заходила восторгом высоко над землей. Сам же Сергей Чугров, прекрасно слышавший, что его зовут, прятался в тяжелой, темно-зеленой траве на дне глубокого оврага, лежал там, прижавшись лицом к маленькому журчащему ручейку, который омывал устилающую дно траву, и слезы спрятавшегося Чугрова смешивались с этой серебристой водой, которая в самое ухо бормотала ему, что в жизни бывает «всяко-всяко-всяко» и «ой!» — ручеек упирался в стебель осоки, удивлялся и ойкал — «всяко-всяко-всяко» и «ой!» — «всяко-всяко-всяко»...

Артистический и эмоциональный Чугров сам не понимал теперь, как можно было столь горячо полюбить чужого, жуткую тоску наводящего на всех человека, который въехал в их с матерью дом как в свой собственный, и начал устраивать там свои порядки, и покрикивать на мать, если у нее что-нибудь слегка подгорало на плите, и важно проверять сделанные уроки у сына Сергея Чугрова, и контролировать, как Сергей играет на фортепиано, готовясь к концерту в своей музыкальной школе. При этом он тут же засыпал на диване, прикрывая глаза, будто так сильно переживает музыку, что просто не может держать глаза открытыми.

И ведь все это было заметно! Но почему-то Сергей Чугров ничего этого не видел, не хотел видеть, и только запихивал (без всякой надобности!) слова «мой отец» в любую фразу, пока жизнь не рухнула, не взорвалась, не задымилась, а под обломками оказался и он, прижавшийся к ручью на дне оврага, и Лена Аленина со всеми своими глистами, которые пожирают ее маленький жалкий живот, в то время как сама она, пунцовая от стыда, отворачивается от Сергея Чугрова, закрывается тетрадкой, оттого что он взял себе за правило смотреть на нее все шесть уроков подряд, каждый Божий день, чтобы думали, что он влюбился, а на самом деле ему просто неловко перед ней, ведь это ее отец стал неожиданно его отцом, а она осталась одна, костлявая и маленькая, эта Аленина... Ах, какая все это глупость и гадость и как страшно кричала ее мать про смирительную рубашку и сумасшедший дом! Неужели это правда, что Аленину никогда уже не выпустят на свободу и она будет сидеть взаперти, со связанными руками? А у него при этом будет новый отец? Выбранный отец на диване? В эти полчаса Чугров, сжавшись на дне оврага, понял, что все пропало, что уже никогда, ничего — ни Алениной, красной от его вдохновенных, фальшивых взглядов, ни ежедневного праздника чужого мужчины в их с матерью доме, ни музыки, ничего, ничего, ничего! — а нужно только дождаться, пока станет темно и эти двое, выкликающие его имя, уйдут наконец, перестанут шуршать шелковыми сосновыми иглами над головой, перестанут скрипеть ветками и переругиваться, и тогда он встанет, глотнет своей переливающейся «всяко-всяко-всяко» и «ой!» воды, смоет грязь и спокойно поднимется наверх, в лагерь, на землю, где, оказывается, очень непросто жить, а он-то, идиот, думал, что ничего, терпимо.

После случившегося на концерте родители комсомольцев тоже почему-то вдруг притихли, смутились, и оказалось, что скандал, затеянный на полянке матерью Алениной, стал для них тяжелым уроком, вроде классного часа, на котором разбирается чье-то безобразное поведение и принимаются решительные меры, и что-то там пресекается, отсекается, затыкается, и ты уходишь вроде бы освобожденный и очищенный, но проходит день или два, и опять это ужасное, безобразное непонятно что настигает тебя в темноте остановившегося между этажами лифта, или во сне, или когда ты зачем-то вспоминаешь, что все на свете люди все равно умрут, все до единого, как бы они ни веселились сейчас, прогуливаясь в обнимку друг с другом, нюхая васильки на полянах...

А совсем уже вечером, в десятом часу, грустная история приключилась с бедной Галиной Аркадьевной. Надо сказать, что незадолго до концерта к ней подошла смущенная

деревенская девушка с круглым розовым гребнем в засаленных волосах и протянула кусок черничного пирога, только что, судя по всему, испеченного, с подгоревшей корочкой.

— Покушайте, — глядя на поникшую траву, сказала девушка, — вам пекли.

— Мне? — приятно удивилась Галина Аркадьевна. — От кого это?

— Тетка испекла, — сказала деревенская девушка, — сказала передать. Вкусный.

— А с чего это вдруг? — чувствуя, что слюнки текут от запаха слипшихся черных ягод, сказала Галина Аркадьевна. — Это совсем странно.

— Уважаем вас, — сказала деревенская девушка, — покушайте.

Посмеиваясь и нарочито хмурясь, довольная Галина Аркадьевна забежала на минуточку в свою учительскую палатку, которую делила с невоспитанной и крикливой Ниной Львовной, убедилась, что той дома нету, и быстро скушала подаренный ей в знак уважения подгоревший и очень вкусный черничный пирог. Страхнув остатки его с праздничной сиреневой блузки и бегло посмотрев в зеркало, не черны ли зубы от сухих пропеченных ягод, Галина Аркадьевна вернулась к своим обязанностям. И все было хорошо. То есть не то чтобы хорошо, учитывая Аленину и мать Алениной, и отца Чугрова, и отвратительную Фейгензон с Подушкиным, но, во всяком случае, лагерь подошел к концу, и назавтра Галине Аркадьевне предстояло вернуться в свою московскую квартиру рядом с недавно открывшейся станцией метро «Новые Черемушки». Ах, да, вернуться в затянутую серебристой пылью жаркую малогабаритную квартиру, где в кухне ярко-зеленые, зеленее, чем папоротник в лагерьном лесу, стены, а в ванной стены ядовитосиние, и в единственной комнате этой малогабаритной, недавно полученной за заслуги покойного отца-подполковника квартиры сидит на кресле-качалке злая-презлая от болезней и старости мать Галины Аркадьевны, тоже в прошлом учительница литературы и русского языка в средних и старших классах. Читает любимого своего писателя, только что изданного полным собранием сочинений в десяти томах, Константина Паустовского. И знает Галина Аркадьевна, что стоит ей только появиться на пороге, как мать поднимет от Константина Паустовского злые-презлые свои свинцовые глазки и прошипит ей безо всякой радости:

— Здравствуй, дочь, наконец-то!

А потом начнутся жалобы и попреки. И ничего хорошего не ждет Галину Аркадьевну в этой жаркой квартире, где утро начинается с золотого сухого луча на пыльном паркетном полу, такого сияющего, такого праздничного солнечного луча, что, кажется, еще немного, и переполнится радостью сжавшееся сердце Галины Аркадьевны, которая еще и не проснулась до конца, еще дремлет на своей узенькой тахте неподалеку от раскладного материнского дивана, и золотой этот, сухой летний луч сначала мягко касается ее растрепанных, вытравленных перекисью волос, потом в победительном блеске ложится на все ее спящее лицо, осветляет кусок постаревшего без любви плеча и наконец мощно прожигает грудь под тоненькой, ситцевой, в серых, ни на каких лугах не цветущих цветочках, чтобы наконец через одеяло, через застиранный пододеяльник, в уголке которого красными нитками вышито «Анисимова Галина», опалить собою все ее тело, вызолотить его, как тело колхозницы перед клумбой ВДНХ, ошеломить новизною наступающего дня с запахом клубники и настурции, с голосами беззаботных детей со двора, с волосами молодых девушек, которые в подражание Марине Влади перестали заплетать косы, а так и ходят, подставив свободные пряди свои солнечному, молодому ветру. Ах, кабы не просыпаться!

Завтра это все начнется, завтра, а сегодня вот черничный пирог в знак уважения от деревенских простых людей. И не Нине Львовне, нет, не Нине Львовне, а именно ей, Галине Аркадьевне. В девять часов пятнадцать минут у Галины Аркадьевны судорога пошла по животу, и начало его так крутить-прожигать, так скручивать да растягивать, что Галина Аркадьевна, сглатывая кислую слюну, побежала, насколько могла, в сторону

уборной — слава Богу, не занято! — и вышла оттуда минут через десять бледная и независимая. Добрела, закусив губу, до кухни, налила себе кипяченой водички из котла, проглотила глотка три-четыре, и — мамочки мои! — опять! Скручивает полыхающее нутро в один узел, а развязать не развязывает, и опять полный рот кислой слюны, и колени дрожат, и ноги подкашиваются, а главное — не добежать, Господи, не успеть! Добежала. И вышла с закушенной губой, бледная и независимая. Но до кухни уже не дошла. Повернула обратно. Оступилась. Побежала. Остановилась. Соединила колени, как будто зажала между ногами маленькое какое-то существо, птичку там или барсучка, и так побрела, на полусогнутых ногах. Был бы кто-нибудь рядом — а никого не было, слава Богу! — был бы кто-нибудь рядом, услышал бы, как она стонет. В одиннадцать часов вечера — уже и горн проголосил, и Соколова отхохотала, — опустилась Галина Аркадьевна в густую спелую крапиву, не чувствуя жжения, ничего не чувствуя, совсем ослабевшая, совсем бледная, обеими руками поддерживая свой холодный от страха, опустевший живот и сплевывая кислую слюну в близрастущие колючки. Слезы градом лились со щек Галины Аркадьевны, и мысли, захватившие ее вытравленную перекисью голову, были какие-то чужие, незнакомые, словно там, наверху, перепутали чью-то голову с головой Галины Аркадьевны и чужие голоса налетели на нее, как проголодавшиеся осы на малиновое варенье.

«Зачем я живу? — пели чужие голоса внутри растерявшейся Галины Аркадьевны. — Кому я нужна? И разве затем я появилась на свет, чтобы самой мучиться и других мучить?»

Она подняла глаза вверх, увидела над собой огромные, ослепительные звезды, темно-голубое внутри черного, дымное, бездонное, беззвучно звенящее, небесное, и что-то рванулось внутри Галины Аркадьевны, что-то задрожало в ней, будто провели смычком, — неумелым, по раскошейся скрипке, — но все-таки провели, достали из пыльного футляра эту скрипку, натерли канифолью неуверенный смычок, и Галине Аркадьевне осталось только покориться, только громче заплакать, даже и не приподнявшись, а прямо в крапиве, прямо на земле, полной равнодушной к ней ночной стрекочущей жизни, откуда смотрели на плачущую круглые муравьиные глаза да щекотали ей подбородок легкие пятки не спящих еще насекомых. Долго плакала Галина Аркадьевна, и всхлипывала, и вытирала слезы лопухами вперемешку с недоброй крапивой, и зажимала распухшими ладонями свой ледяной беспокойный живот, пока наконец не заснула, провалившись в глубокую, жаркую, как нагретая любовью перина, черноту, откуда и поплыли ей навстречу разные сновидения.

Сначала она увидела совсем розовую, как июльская земляника, девочку, ростом меньше Дюймовочки, которая примостилась на ее руке и заглянула ей в глаза жгучими глазками в густых ресничках. Галина Аркадьевна без промедления почему-то вспомнила, что девочку зовут Улей и это ее дочка. Сердце внутри Галины Аркадьевны стало мягким, как воск, и потекло сначала вниз, к животу и коленям, а потом вверх, к горлу и нёбу, и столько нежности охватило его по дороге, столько восторженной любви, что Галина Аркадьевна разрыдалась во сне сладким каким-то, не своим рыданием, и уже ничего ни у кого не требовала, никого ни в чем не упрекала, а только радовалась на маленькую Улю, прижавшуюся к ее груди, словно воробышек, и дышащую ей в лицо запахом белого клевера.

«Ты мамочка моя, да?» — серьезно говорила ей девочка, а Галина Аркадьевна ничего не могла ответить, захлебываясь восторженными слезами, и только гладила русую дочернюю головку распухшими своими ладонями.

Но едва она втянулась в материнское блаженство, насладилась им, едва забурился там, во глубине блаженства, страх, что дочка голодна и не готова к зиме, как Уля прямо на глазах стала вдруг еще меньше, размером со спичку, и ужасно бледненькой, словно

смертельно чем-то заболела. Галина Аркадьевна подумала, что ей холодно, и начала было торопливо пеленать Улечку в неизвестно откуда взявшиеся голубые пеленки, но девочка вся горела и смотрела на Галину Аркадьевну с немым удивлением, словно хотела упрекнуть ее в том, что вот, как же так: родила ведь, а помочь не можешь. Через минуту девочки не стало, и куда она делась, испарилась или растаяла, Галина Аркадьевна так и не поняла, но затосковала по своей крошечной, умершей, судя по всему, доченьке лютой черной тоской, будто самое ее закопали в землю по пояс, чтобы стояла так, не дыша, волком выла в сосновые вершины и мучилась.

Другое сновидение было про любовь к Вартаняну, которого Галина Аркадьевна сразу узнала, хотя он не совсем походил на мальчика, а был чем-то плюшевым, мохнатым, смешным, вроде игрушечного медведя, которого когда-то подарили первокласснице Галине Анисимовой на Новый год. Лица у Вартаняна не было, но были мягкие ресницы, брови и волосы, в которые Галина Аркадьевна — не взрослая, как сейчас, женщина, а семилетняя Галина Анисимова, — запустила свои перемазанные чернилами, торопливые пальчики.

«Только чтобы он не пропал, чтобы его не забрали у меня, как ее, — молила, как могла, Галина Аркадьевна, изо всей силы прижимая к груди мягкое, плюшевое, с густыми ресницами, — а то ведь я так тоже могу умереть, потому что чем же мне прожить мою жизнь? Нету ведь у меня ничего!»

Никогда не случалось таких мыслей у настоящей Галины Аркадьевны, всегда была ее жизнь наполнена то учебой, то работой, то вступлением в партию, то борьбой, то солидарностью, всегда бушевала вокруг нее огромная страна, расцветали от неустанной заботы молодые республики с узбечками в тюбетейках, собранным наперегонки урожаем и наспех освоенной целиной, ревели самолеты, уходили в моря свежеотбеленные ледоколы, выпрыгивала на сцену, стуча острыми каблуками, чернобровая Эдита Пьеха, и Майя Кристалинская с шарфиком на прооперированном горле медленно и сладостно пела своему другу или, может быть, даже законному мужу, что вот ты, дескать, летишь по небу, а тебе дарят зве-е-езды-ы-ы свою не-е-ежно-о-ость!

В два часа ночи Галина Аркадьевна наконец проснулась. Ей почему-то было страшно подняться с земли и войти в свою палатку, где невоспитанная Нина Львовна давно, наверное, дрыхнет, накрутив на голову четырнадцать больших желтых бигудей, а если не дрыхнет, то, скорее всего, поджидает ее, сидя на своей раскладушке, светит электрическим фонариком в дверную щель.

«Господи! — вдруг сказала Галина Аркадьевна, не отдавая себе отчета, к кому она обращается. — Пожалей меня, Господи! Что ж это за жизнь у меня такая, хуже, чем у последней собаки!»

Медленно и с трудом поднялась она с земли, расправила после себя помятые крапивные заросли и побрела в сторону учительской палатки. Вдруг чей-то жаркий шепот остановил ее внимание. Галина Аркадьевна напрягла слух и приостановилась.

— У меня вот здесь болит, когда ты дотрагиваешься этим, — прерывисто сказал неуверенный голосок Чернецкой, — я думаю, что вот-вот начнется. Давай уж подождем, пока все это будет.

— Ты только не бойся, я с тобой, — задыхаясь, мягким мужским басом, стараясь говорить тихо, ответил Орлов. — Я серьезно: если ты захочешь родить, то и рожай. Бабушка моя с ним посидит. Если ты, конечно, уверена, что это все-таки беременность, а не что там у вас, баб, бывает...

— Молчи! — Судя по судорожному вскрику, Чернецкая испугалась того, что услышала, и тут же, наверное, закрыла Орлову рот ладошкой. — Если у меня ничего не начнется, я с ума точно сойду, это я точно знаю! И я тогда тебя возненавижу! И не нужна мне твоя бабушка!

— На-а-аташка-а! — простонал Орлов. — Ты дура!

Тут же раздался звук поцелуя и какой-то возни, от которой все вокруг слегка порозовело, а потом Чернецкая сказала нежным и властным шепотом, словно она гораздо старше затаившейся под деревом Галины Аркадьевны:

— Геночка, ты, пожалуйста, подожди пока с этим...

В другое бы время, то есть не далее как сегодня днем, до черничного пирога, да разве стала бы Галина Аркадьевна стоять и слушать несусветный этот кошмар и безобразие? Да она бы налетела на нахальную парочку разъяренным зверем! Разодрала бы их! Диким, что называется, вепрем! Бешеным волком! Зубами бы разгрызла им ихние поцелуйчики! Ведь о чем они говорят, о чем они говорят-то?! Кто кого родит?! Девочка, школьница, восьмиклассница, только-только в комсомол приняли, и это она р-р-родит? Кого она родит? Ребенка?

Но что-то, наверное, случилось с Галиной Аркадьевной после отравленного черничного пирога. Во-первых, она поймала себя на абсолютном равнодушии, прямо-таки олимпийском ледяном покое, который пронзил собою всю ее, и вся она пошла какими-то легкими, приятными, прохладными пузырьками, словно внутрь закопченной и нервной Галины Аркадьевны впустили небольшое белое облако и оно там, внутри у нее, осторожно рассыпалось. Ну а во-вторых и в самых главных, Галина Аркадьевна не чувствовала почему-то никакого озлобления и даже никакого почти отвращения. Целуются, ну и пусть целуются. Что ж их теперь за это — убивать, что ли? Так никого, пожалуй, и на свете не останется, если всех, кто поцелуется, сразу убивать.

И Галина Аркадьевна отступила. Тихо-тихо отошла к своей палатке, сглатывая спокойные величавые слезы, набежавшие ей на глаза от душевного перелома.

— Вот тебе и раз! — хрипнула со своей темной разворошенной раскладушки Нина Львовна и приподнялась на локте, измятая и бестолковая. — Ну и где же это вы, Галина Аркадьевна, я извиняюсь за выражение, были? Где вас, так сказать, носило? Педагога? Извините, конечно, что я не выбираю выражений, но мне, Галина Аркадьевна, не до выражений сейчас при моих нервах!

— Я гуляла, Нина Львовна, — ответила ей Галина Аркадьевна.

— Гуляли? — вспыхнула от обиды Нина Львовна. — Как же это вы гуляли, Галина Аркадьевна, когда тут, извините за выражение, черт знает что творится! Это ведь ваши, извините меня за выражение, дети так называемые, а не мои! В моем классе дети другие! А в вашем это же не дети, извините меня, а безобразие, и притом вопиющее!

— Вы так говорите, Нина Львовна, — начиная злиться, прошипела ей Галина Аркадьевна, — потому что вы их не любите. А не любите вы их потому, что они не ваши, а чужие, и у вас на них ни терпения нет, ничего... А были бы они вашими...

— Это не аргумент! — закричала Нина Львовна и вся затряслась. — Ваши — не ваши! Это не аргумент! Когда партия возится с сиротами на Кубе и на Бангладеше, никто не разбирает, чьи они там дети! Надо значит надо, извините меня за выражение!

Галина Аркадьевна глубоко вздохнула и начала раздеваться.

— Вы, Галина Аркадьевна, возьмите поодеколонтесь немного, — язвительно заметила Нина Львовна и отвернулась к стенке, делая вид, что ей нечем дышать. — Где уж вы там гуляли, я, конечно, не знаю, я за вами, извините за выражение, не следила, но запах вы какой-то у нас здесь распространяете...

— Я вас ненавижу, Нина Львовна, — прошептала вдруг Галина Аркадьевна, — чтобы вы сдохли!

— Чтобы я... что? — ахнула Нина Львовна.

— Чтобы вы сдохли, вот что! — грубо повторила несчастная Галина Аркадьевна, накрылась одеялом с головой, отвернулась к стенке, зажмурилась, и тут же перед глазами



ее вспыхнула маленькая девочка Уля, которая прижалась к ее руке и задышала на нее запахом белого клевера.

### Часть вторая

Три тополя разбрасывали свой пух по Плющихе, и было этого пуха так много, что хватило и на Неопалимовский переулочек, который, как известно, от Плющихи совсем недалеко, минут пять пешком. Зима, устроенная этим пухом внутри жаркого июня, очень разозлила Стеллочку, которая только что вернулась с Кубы, где, на беду свою, давно уже прикипела сердцем к волосатым пальмам.

— Ну все платье мне этим перепортили, все платье в этой гадости! — капризно сказала Стеллочка Марь Иванне и ткнула пальцем в свое ярко-желтое мохеровое платьице. — Попробуй теперь отчистить!

— Пойди, Стеллочка, к Наталье, — поджала губы строгая и несговорчивая Марь Иванна, — вставать она у нас ленивится, кушать, говорит, не хочу. Как же мне ее, голодную-то, на дачу везить?

Во глубине души Марь Иванна совсем извелась, потому что уже два дня как переехали они из трудового школьного лагеря в столицу, а никаких изменений в организме маленькой Чернецкой не произошло, так что Усачева, судя по всему, только одно и умела — баловаться со своими козлами, а вовсе не лечить доверчивых и приезжих школьниц. Стеллочка пробормотала что-то и, выгнув полную нижнюю губу, сунулась было к дочке, но маленькая Чернецкая закрылась от материнских глаз локоточком и сделала вид, что спит.

— Жил да был черный кот за угло-о-о-м, — слегка задыхаясь, запела Стеллочка, начесываясь перед зеркалом в коридоре, — и ко-о-ота ненавидел весь до-о-ом! Только песня-я-я совсем не о то-о-ом...

Вдруг из комнаты маленькой Чернецкой донесся сначала сдавленный возглас удивления, а потом громкий плач с криками. Стеллочка с оранжевой гребенкой в руке замерла над раскрытой пудреницей, похожая на папуаса, принарядившегося на ритуальный костер. Марь Иванна, роняя тапочки с натруженных ног, бросилась на крики. Маленькая Чернецкая лежала поверх одеяла, густо залитого кровью, которая хлестала из нее так, словно открыли кран.

— Что это, что это, откуда это? — побелела Стеллочка, в ужасе остановившись над кроватью. — Наталья! Что это?

Она сделала быстрое и неумелое движение, словно хотела взять дочь свою на руки, как младенца, но только перепачкалась в густой крови, схватилась обеими руками за щеки, оставила на лице своем бурые полосы и громко разрыдалась. Марь Иванна оттолкнула Стеллочку от кровати и наклонилась над заболевшей Чернецкой.

— Наташа, — заикаясь, забормотала Марь Иванна, — а ить это из тебя дитя идет... Больше-то некому...

— Кто идет? — шепотом повторила Стеллочка. — Что ты сказала? Кто из нее идет?

— Не говори! — сквозь плач прокричала изувеченная Чернецкая. — Ой, не говори только никому!

Марь Иванна упала на колени перед кроватью и затряслась. Крови становилось все больше и больше.

— «Скорую», — медленно и страшно сказала Стеллочка, — скорее «Скорую»! Она же умрет!

Она откинула ладонью только что начесанные волосы, изуродовала красиво напудренный лоб ярко-красными пятнами и закричала в телефонную трубку:

— «Скорая»? У меня дочка истекает кровью!

— Чужих, — простионала Марь Иванна, подняв на нее с полу сплиссированное ужасом лицо. — Не надо чужих-то... позор... Звони отцу... Леониду звони, пусть спасает...

Гинеколог Чернецкий, бросив на полпути неизвестного младенца, которому собирался помочь вылезти на свет с помощью кесарева сечения, ворвался в свой жаркий, запорошенный тополиным снегом дом в чем был — зеленом халате, зеленом колпаке, зеленых чехлах на ботинках и в маске. Маленькая Чернецкая еще разобрала сквозь тошнотворную слабость, которая словно запеленала ее так, что не хотелось ни говорить, ни двигаться, — она разобрала, что у ее постели находятся мать с отцом, хотя они были мало похожи на себя. Над материнской головой дыбом стояли поднявшиеся в потолок окровавленные волосы, под глазами чернели синяки от размазавшейся туши, она беззвучно шевелила губами, словно молилась или, может быть, просто хотела пить. Отец, почему-то забывший снять с себя маску, мало походил на человеческое существо: это зеленое, в которое он был плотно завернут, собравшись гигиенично помочь вылезти на свет незнакомому младенцу, делало его похожим на водяного из мультфильма. Но все-таки это были они, и маленькая Чернецкая сквозь тошноту и слабость протянула к ним свои серебристые ногти, угасающий взгляд ее поймал распростертую на полу Марь Иванну, и, прежде чем окончательно отключиться, она изо всей силы погрозила ей своим побледневшим и осунувшимся пальцем:

— Ничего никому не рассказывай! Слышишь?

Через пять минут — в самом разгаре радостного дня, когда шоколадного цвета молодые девушки уже раскинулись на махровых полотенцах вдоль мутной от мазута и пестрой от оберток Москвы-реки с целью загара и привлечения к себе мужского внимания, — из дома 18 дробь 2 по Неопалимовскому переулку двое здоровенных мужиков в белых халатах вынесли носилки, на которых лежала кудрявая, тремя одеялами накрытая Наталья Чернецкая, и запихнули их в машину «Скорой помощи». Следом за носилками в эту же машину влезла ее мать Стеллочка с мужем своим, гинекологом Чернецким, так и не снявшим маски. Марь Иванну они с собой в машину не взяли, прямо перед ее носом захлопнули дверцу, и страшно было лицо брошенной на тротуаре несчастной, может случиться, что и в смерти любимой Наташечки своей виноватой старухи.

Когда маленькая Чернецкая очнулась после наркоза, рядом с ней никого не было, кроме одинокого ангела в золотых кудрях. Ангел немножко, как показалось маленькой Чернецкой, возвышался над полом, как и полагается ангелу, слегка парил над ним и то ли играл на лютне, то ли еще что-то делал, но только руки его двигались медленно и методично, а склоненная голова с маленькой белоснежной шапочкой на затылке была повернута профилем к Чернецкой, и она с удивлением узнала знакомые черты, потому что много раз видела их на картинке с подписью: «Ангел уносит душу Тамары в рай». Картинка была на шестой странице второго тома полного собрания сочинений Лермонтова в двух томах, принадлежащего деду Чернецкой, отцу ее родного отца, гинеколога.

«Вот и пусть, — удовлетворенно подумала Чернецкая и, шевельнув горячей своей ногой, почувствовала боль в низу живота, — пусть теперь за мной все ухаживают...»

Сквозь приятный, слегка желтоватый туман она вспомнила, что был Орлов и она каждый день целовалась с ним, обнималась и все вообще в глубоком лесу, вспомнила, что у нее ничего не началось и тогда Марь Иванна повела ее к какой-то... как ее... с козлами и распухшим ртом, которым она все время хохотала... Еще был мешочек, голубой, с синими цветочками, и в нем лежала толченая трава... Эту траву... глот, глот... Да, так старуха велела: глот, глот... От обиды на старуху и Марь Иванну глаза у маленькой Чернецкой налились слезами, и она тихонечко всхлипнула. Ангел повернул к ней все свое круглое безмятежное лицо.

— Проснулась? — звонко спросил ангел. — Живот болит?

— Где я? — пробормотала Чернецкая, силясь разобрать, где кончается золото ангельских волос и начинается что-то другое, черное, но с золотом в середине. — Куда меня привезли?

— Ты у нас, — так же звонко ответил ей ангел. — У отца своего, у папки.

— Я что, в больнице? — спросила Чернецкая и поняла, что черным было дерево за окном, а золотым — солнце, горящее сквозь его листву. — А вы кто?

— Я? — загадочно и неторопливо усмехнулся ангел. — Я вообще-то санитарка, но учусь на медсестру. Зоя Николавна. Вот кто я. — И поджал, как показалось Чернецкой, розовые губы свои так, словно разозлился.

— А где папа? — спросила Чернецкая.

— Сейчас позову, — откликнулся ангел и, положив на столик рядом с Чернецкой ворох бинтов, которые он, оказывается, разматывал, перелетел к двери, отворил ее и исчез.

Бедная Чернецкая закрыла глаза.

«Ни за что не скажу им, что это я была беременная, — сообразила она. — Пусть думают что угодно...»

— Проснулась она, проснулась, — зашептал ангельский голос над кроватью. — Ты с ней сам заговори...

К кому это было обращено, Чернецкая не поняла. Не к отцу же ее, заведующему отделением! Но вслед за ангельским голосом раздалось сердитое покашливание именно ее отца, которое ни с чем на свете нельзя было перепутать.

— Наташа! — строго и испуганно произнес отец. Чернецкая приподняла загнутые в уголках ресницы.

— Вот, — дрогнувшим голосом сказал гинеколог Чернецкий, — мы сумели спасти тебя. По счастью, ты не успела уехать на дачу, потому что если бы кровотечение открылось там, за городом... — Он шумно сглотнул слюну. — Страшно подумать, что могло бы случиться...

Он снова шумно сглотнул.

— Я сейчас разбуджу маму, она заснула у меня в кабинете, очень нервничала, пока шла операция, и я хотел бы, чтобы ты определенно и честно рассказала маме, каким образом ты дошла до такой... — Гинеколог беспомощно закашлял. — Как ты забеременела в четырнадцать лет и от кого. — Он сморщился от стыда. — Как все это, в общем, происходило.

Чернецкая помертвела.

— Ничего я не беременна, — пробормотала она и всхлипнула. — Что ты, папа... Можно я еще посплю?

— Пусть поспит, — шепнул золотоволосый ангел, санитарка. — Наркоз не отошел.

— Да, — с мукой в голосе согласился Чернецкий, — пусть спит.

Дочь его закрыла глаза и сделала вид, что заснула. На самом деле она, разумеется, притворилась и совершенно неожиданно разглядела сквозь ресницы, как Зоя Николавна, тонкая, как иголка у шприца, резким движением откинула назад золотистые локоны и вдруг впиалась всем своим ангельским тельцем в солидного гинеколога Чернецкого. Он было отпрянул. Чернецкая заметила, как отец сделал торопливое движение прочь от Зои Николавны, но та была настырна, не позволила ему от себя отодвинуться и прилепилась к заведующему отделением еще крепче.

— Сумасшедшая, — хрипнул он, — ты что, не понимаешь, что я тут чуть с ума не сошел...

— Да ведь все обошлось, — прошелестел ангел, — дай я хоть разок поцелую...

И она, как искрами, осыпала гинеколога поцелуями. Обеими руками он быстро схватил ее золотоволосую голову и прижал свои губы к ее губам. Сколько длился поцелуй, отвратительный для едва отошедшей от наркоза дочери, трудно сказать, но, во всяком случае, Зоя Николавна не сразу отпустила заведующего и еще успела напеть ему в ухо, что она его любит, любит, любит, потому что он такой зайчик.

«Оспо-о-ди-и-и!» — заорала бы Марь Иванна, случись ей это услышать.

— Зоя, я тебя прошу, — отдирая от себя влюбленную девушку, сказал заведующий отделением. — Я прошу: без глупостей. Сейчас сюда придет она, — гинеколог беспомощно сморщился, — и я бы не хотел, чтобы ты...

Ангел опустил голову, и маленькая, притворившаяся спящей Чернецкая услышала заупрямившийся скрип капроновых чулок.

— Поговорим завтра, — сказал отец, вышел и через две минуты вернулся вместе с разлохмаченной матерью Стеллочкой.

— Наташа, — ахнула Стеллочка, дотронувшись до горячего лба маленькой Чернецкой, — ты спишь?

— Как вы думаете, что она еще может делать? — язвительно спросила санитарка Зоя Николавна. — Она тут у вас десять литров крови потеряла!

Стеллочка пошатнулась.

— Потому что за детьми смотреть надо, — посоветовала дерзкая санитарка, — не все на домработницу спихивать!

Гинеколог Чернецкий сердито закашлялся:

— Зоя, там вас, кажется, спрашивали в шестой палате...

Золотоволосая Зоя Николавна хмыкнула и вылетела, стукнув дверью. Маленькая Чернецкая твердо решила не просыпаться, но мать ее Стеллочка громко сказала:

— Наташа, мы с папой должны знать, как это случилось. Ты же не спишь, я вижу.

Измученная Чернецкая оборотила на родителей удивленные глаза.

— Я ничего не знаю.

— Я все равно найду, кто это сделал, — мрачно вмешался отец и содрогнулся: увидел, наверное, мысленным своим родительским взором, как дочь его только что лежала перед ним на столе, окровавленная...

«О-о-осподи-и-и!» — опять-таки заорала бы Марь Иванна, доведись ей пережить то, что он только что пережил.

— Если это твой одноклассник, мы скроем то, что случилось, — сказала Стеллочка. — И никакого суда не будет... В общем, тогда мы все это спрячем. Но если это взрослый человек, Наталия, и ты была... по неопытности своей... ну, тогда этого оставить нельзя. Ты лучше скажи нам с папой правду.

— А если это в классе, — всхлипнула Чернецкая, — вы точно не станете?

Чернецкие переглянулись.

— Точно, — с отвращением сказал отец. — Но только если ты скажешь правду.

Маленькая Чернецкая опять сомкнула мокрые ресницы. За дверью между тем послышалась возня, сердитые голоса, топот чьих-то располневших ног, и тут же на пороге двери появилась воспаленная, с обезумевшим взором Марь Иванна, которая при виде своей бледненькой, до самого подбородка накрытой белой простыней Наташечки так и рухнула на пол как подкошенная.

— Кто ее пропустил? — заорал заведующий, в гневе выскакивая за дверь. — Я, кажется, просил, чтобы никто в эту палату...

— Да Леонид Михалыч, да как ее не пустить-то... да она прям напролом, да хоть милицию вызывай, пусти, кричит, и всё, она у нас всех рожениц распугала, Господи помилуй, да что ж можно было поделывать, когда такая ненормальная...

— Дитенышка-а-а ты моя, — сухими губами зашевелила Марь Иванна, — натерпелися мы, я ему, сволоте, за тебя...

— Так, — стиснула зубы Стеллочка. — Ты слышишь, да? Она все знала. Имя!

— Нет, нет, нет! — закричала Чернецкая и сделала было движение приподняться, но тут же боль в низу живота остановила ее, и лобик покрылся бисером мелкого пота.

— Геннадий это, — твердо ответила Марь Иванна и переползла с пола на стул. — Орлов Геннадий. Мужик здоровущий. Его дела.

— Ну что же, — Стеллочка стукнула левым маникюром о правый и страшные, размазанные слезами испанские глаза оборотила на неподвижного мужа. — Теперь мы знаем, как нам поступить.

Отец Валентин Микитин только что отслужил панихиду и собрался было идти домой, как в полупустой церкви, сладко заволоченной кадильным дымом, в центре которой возвышался гроб с приникшей к нему старухой в черном платочке (отец Валентин подошел и благословил старуху, которая поймала заплаканными горячими губами его породистую руку и поцеловала ее, густо окропив слезами), в полупустой этой церкви, которую кадильный дым словно бы прятал ото всего мира, раздался вдруг стук каблучков, и на пороге выросла статная, в белом городском костюме, с гордо расправленными плечами женщина лет сорока. Отец Валентин замешкался, снял облачение и посмотрел на нее внимательно. Женщина торопливо перекрестилась на икону Богородицы. Отец Валентин увидел, какие иступленные и жадные у нее глаза.

— Я к вам, батюшка, — низким и сочным, как спелая груша, голосом сказала незнакомая. — Вы мне очень необходимы.

— Вы по личному какому-то делу? — догадался отец Валентин, невольно взяв светский тон. — Нуждаетесь, может быть, в совете?

— Я Бога ищу, батюшка, — сказала она, но при этом так сверкнула зрачками на шею отца Валентина, что, кажется, еще немного — и покатила бы его гордая черноволосая голова по церковному, свечным воском закапанному полу.

— Крещены ли вы? — задрожав внутренне и чувствуя отвратительно быстро расплзающийся по телу огонь, пробормотал отец Валентин.

— Крещена, я крещена, — низко опустив ресницы, ответила она, — но я поговорить с вами хочу, совета мне вашего нужно.

— В чем именно? — теперь уже желая, чтобы она опять подняла притянувшие его глаза, хрипнул отец Валентин.

— В монастырь я хочу уйти, батюшка, все мне опротивело. Муж у меня... такой...

— Какой? — быстро, по-мужски отозвался батюшка. — Не любит вас?

— Любит, может, — задумчиво усмехнулась она и подняла наконец на него глаза.

Молния ударила в тело отца Валентина, как ударяет она, слепая и неистовая, в телеса тихих деревьев и пробивает их до самого нутра, оставляя груды сухой черноты. Без дна и без совести, безо всякой человеческой неловкости были эти медленно поднявшиеся глаза и такие, словно выплыли они со дна морского, покачиваясь и усмехаясь, ничего не подозревая о стыдливой земной жизни. Из глубокой мутной воды они поднялись, где живому человеку нечем дышать, где голубоватые цветы цветут и белые пески стелются, как перины, подлизнувшими с земли счастливыми.

«Опять! — вспыхнуло в голове отца Валентина. — Опять этот омут мой!»

На исходе ночи — а соловьи гремели так, что ветви на березах похрустывали, — выпустил отец Валентин из горячей своей постели черноволосую незнакомку, вернулся на кухню, выпил кружку самодельного кваса, подпер голову руками и глубоко задумался.

«Точно ведь как та! — подумал он. — Та-то, первая моя, совсем ведь как русалка была. Ведь она же меня посреди реки соблазнила! И за нее меня Бог по сей день карает! За водяную эту! Но не за Катю, нет! Катя — статья особая!»

Странность многолетнего союза отца Валентина с матерью мальчика Орлова заключалась в том, что все эти годы лукавый отец Валентин темнил, уверяя себя, что Сам Бог послал им такую глубокую, все сметающую любовь и что не через бесовское искушение проходят они с матерью этого рано повзрослевшего мальчика, а через чистый небесный костер, через такую вот божественную огненную закалку, потому что, если бы разбудил его кто ночью вопросом: «Примешь ли ты сейчас смерть за соблазненную тобой Катерину?» — он бы, глазом не моргнув, ответил утвердительно. А раз так, то и грех этот плотский — не такой уж и грех. Бог-то все видит. И прежде всего то, что отец Валентин изменил вчера Катерине ровно настолько, насколько любящий муж изменяет жене, оказавшись, скажем, в командировке. В каком-нибудь там, скажем, гостиничном номере или — еще того слаще — в купейном вагоне тощего, громыхающего заржавленными своими костями поезда, когда гаснет свет и остается только тусклый синий ночник, в сиянии которого лежит свободный командировочный человек, напившись крепкого чаю с шоколадной конфетой, и не спит, потому что слышит, как тяжело и заманчиво вздыхает на соседней полке случайная соседка, тоже, может, командировочная, — полная, моложавая, только что переодевшаяся в свежетыглаженный цветастый халатик, вдоль и поперек смазанная кремами, ландышевыми духами надушенная...

Легко ли свободному командировочному человеку не протянуть руку? Не дотронуться до свесившейся в проход полураспушенной косы? Очень нелегко. Потому что Бог сделал командировочного человека несчастным рабом жалкой его плоти, такой жалкой во всех ее торопливых желаниях, такой жадной и боязливой перед старостью и смертью, что как осудить такое вот краткосрочное существо за то, что оно жаждет себе радости и забвения? А где они, радость-то эта с забвением, как не в чужом милом теле, столь же торопливом и краткосрочном? Ох, как понимал это отец Валентин, как он чувствовал всей своей кожей, каждой жилочкой жуткий и греховный путь человеческий!

Что еще было тяжело с Катериной, так это ее прямота и беспощадное понимание всего, что у отца Валентина внутри накопилось.

— Ты, Валя, — говорила она ему, сидя на их большой и скрипучей, от матушки-попадьи доставшейся кровати, — зря себя успокаиваешь. Оба мы перед Богом грешники. Но тебя только то оправдывает, что вообще не нужно было тебе в священники идти, обет на себя накладывать, не годишься ты для этого. Я тебя знаешь кем представляю? Доктором, например, в больнице или учителем, потому что людям ты нравишься, людьми не брезгуешь, и они к тебе тянутся. Но ты — человек для жизни, Валя, а не для служения Господу. Это твоя матушка большую ошибку сделала, когда тебя по духовному пути повела.

— Если бы не ты, — отвечал ей с горечью отец Валентин, — не эти твои вот губы, не руки твои, не вся эта отравка твоя, может, и не был бы я так грешен перед Господом. Не ввела бы ты меня в искушение...

— Да тебя, батюшка, кто угодно в искушение бы ввел, разве во мне дело! — смеялась Катерина и прижималась к нему. — Ну, давай я тебя, бедного, пожалею! Тошно ведь тебе, бедному!

Сто раз была права Катя, двести раз. Ну что вот, например, сейчас? Почему он не удержался, когда появилась перед ним эта незнакомая, в белом своем городском костюмчике, расправила статные плечи, подняла бессовестные глаза? Как теперь с ней быть? Не прогонишь ведь с глаз долой, сам во всем виноват! А как задрожал, как повел-то

к себе! Пригибаясь, голову собственную, виноватую, в подмышку пряча! Огородами, огородами! Через лопухи да подсолнухи! Как вошли в сени, оба красные, огненные, адским желанием своим распаленные, да как бросились друг к другу, да... Ох, Катя! Слава Богу, что хоть этого-то она не видела!

Новую тем временем звали Людмилой Анатольевной, она была замужем за кем-то ответственным, но с мужем давно не жила, хотя по заграницам вместе ездили, потому что за границу неженатых не пустят. И — правду сказала Людмила Анатольевна — все ей опостылело, а пуще всего муж. Бывает. Отпросилась она на все лето пожить где-нибудь подальше, в тишине и покое, пособирать ягоды. Сняла комнатку в деревеньке, неподалеку от отца Валентина, стала исправно посещать церковь, а так ничего особенного больше не делала, валялась на лоскутном хозяйском одеяле под подгнившей яблоней, читала журнал «Юность», где Аксенов с Гладилиным, апельсины из Марокко, геологи да коллеги с бочкотарами... Короче говоря, с утра пораньше ожидала Людмила Анатольевна любовного свидания, а там уж, как в песне поется, «была бы только ночка, да ночка потемне-е-ей!»

Второго июля отец Валентин справлял свой день рождения. Как всякий любящий пожить человек, он хотел, чтобы в этот день собирались к нему гости, для которых он сам варил, сам накрывал на стол, и гости всегда бывали одни и те же, местная интеллигенция — доктор с докторшей, фельдшер с фельдшерницей, ну и, конечно, любимая подруга Катюша. Иногда еще приезжал из Владимира чудесный музыкант Миша Ласточкин, играл собравшимся на скрипке. Катюша при этом зорко посматривала, как бы батюшка не хватанул лишнего, не опозорился бы перед людьми. Непростая у нее была жизнь с любовью к духовному лицу, но страсть не ослабевала, бороться с ней было бесполезно, только сын вот так внезапно подрос, что ужас охватывал Катерину Константиновну при одной только мысли о том, что умный ее мальчик рано или поздно до всего докопается.

Накануне Людмила Анатольевна сообщила отцу Валентину, что она тоже придет. И непременно что-нибудь приготовит. Например, сациви. У нее и грецкие орехи есть, и приправы. Все с собой из Москвы привезла, как чувствовала. Отец Валентин не посмел отказать, но весь поджался, как нашкодивший котенок. Катя не была у него с конца мая и, стало быть, про Людмилу Анатольевну, только в двадцатых числах июня появившуюся, знать ничего не знала, слышать не слышала. Приехала на автобусе. Отец Валентин так и задрожал весь, когда она дверь открыла. Блузка в горошек, светлые волосы опять остригла коротко. Постарела, конечно, побледнела, а все хороша. На шее бусы гранатовые. Он ее обнял. Катерина Константиновна подняла к нему лицо, поцеловала отца Валентина в подбородок и нахмурилась.

— Что ж ты, батюшка, выпил опять, гостей не дождался?

Она его всегда останавливала с выпивкой. Да он и сам понимал, что слабость у него к алкоголю. Особенно когда зима наваливается и снег идет с громающим ветром. Ничего нет страшнее русского ветра, ничего. Смерть им прикрывается. Это ведь она воет, шарит по дворам, слабую человеческую жизнь прошаривает. Отец Валентин смерти боялся. Как только ветры эти бешеные с серым льдом начинаются, так горло перехватывает, впору самому завывать громче соседской собаки, старой, с погасшими глазами суки, занесенной метелью в развалившейся будке. Она тоже, судя по всему, смерть среди снега чувствует, морду свою ослепшую ветрам подставляет. А воет-то ведь как покорно! Бери, мол, меня, вот я, поскорей бери, не мучай только!

Вечером второго июля похолодало вдруг так, что хоть печь топи. Отец Валентин с Катериной Константиновной накрыли на стол, всего наготовили. Он ее предупредил, в глаза не глядя, что еще одна гостя будет, новая прихожанка. Людмила Анатольевна пришла последней. В белом открытом платье с наброшенной на плечи чернобуркой. Фельдшер Николай Петрович как открыл рот, так и забыл закрыть. Черно-бурая

извинилась за опоздание, поставила на стол блюдо с сациви, которого никто здесь и не пробовал. Села прямо напротив Катерины Константиновны, уставилась на отца Валентина страшными своими, с морского дна, глазами. Начали гулять. Доктор рассказал парочку неприличных анекдотов, докторша смутилась. Катя сидела бледная, гранаты на шее полыхали, гостей не угощала, и такое у нее было лицо, что еще немного — поднимется и уйдет под дождь. Отец Валентин выпил от стыда за происходящее и захмелел. К мясу уже нагрянул Миша Ласточкин из Владимира, жадно наелся, достал свою скрипочку, заиграл вариации на тему. Людмила Анатольевна приоткрыла чудесные губы, выпила полный бокал розового вина, покраснелась, сбросила чернобурку. Плечи открылись смуглые, круглые. Слева на шее три родинки. Отец Валентин сквозь хмель вспомнил, какие они на вкус. Сквозь набежавшие слезы посмотрел на свою Катерину. Ничего не разглядел, словно ее смыло.

«Ладно, — задрожало в нем сердце, — пусть так».

В полночь гости поднялись. Дождь бушевал за окнами, тьма египетская. Миша Ласточкин попросился ночевать к доктору. Людмила Анатольевна, пунцовая от выпитого, натянула на шею пышного зверя, прикрыла родинки мертвой лисьей мордочкой.

— Как же вы доберетесь? — спросил остолбеневший фельдшер.

— Как-нибудь, — звонко засмеялась она, не отрывая взгляда от пьяного отца Валентина, — мне тут два шага.

Раскрыла золотистый заграничный зонтик, наступила длинным каблуком в пузырящуюся лужу за порогом. Отец Валентин шумно сглотнул слюну. Ушли гости. Катерина Константиновна молча опустилась на диван. Отец Валентин пробормотал что-то и, свалившись на пол возле ее ног, поцеловал колено мокрыми пьяными губами. Она вскочила, будто ее ужалили, убежала на кухню.

— Брось, — попросил отец Валентин, — завтра приберем. Пойдем спать.

Катерина Константиновна обернулась к нему своими черными гранатами.

— Иди, — прошипела она и кивнула головой на бушующее окно. — Догоняй.

Отец Валентин сузил пьяные глаза.

— Идешь ты спать со мной или нет?

Катерина Константиновна отрицательно качала бусами.

— Ну и ладно! — не помня себя, возопил он. Бросился под дождь на улицу. Постучался в кривую дверь. Старуха хозяйка давно спала. Людмила Анатольевна вышла к нему в прозрачной ночной сорочке, чернобурку свою мокрую намотала на руку. Зубы блестели так, словно она собиралась отца Валентина всего искусать.

— Пришел все-таки? — спросила она, и больше ни один из них не произнес ни слова.

Когда он, весь мокрый, с блестящей растрепанной бородой, с которой текла вода, вернулся домой, оказалось, что Катерина по-прежнему сидит на диване, только уже не в праздничной блузке, а в болоньевом плаще и косынке.

— Я завтра уеду с пятичасовым, — тихо, спокойно сказала она. — Ты где был?

Отец Валентин неопределенно помахал рукой.

— Погулять ходил. Хмель продуть.

— А, — спокойно сказала она. — А это откуда?

Сняла с простенка небольшое зеркальце, поднесла к нему. Весь воротник наполовину растегнутой, несвежей рубахи был перепачкан помадой. Отец Валентин помедлил и наконец громоздко и неуклюже встал на колени.

— Не по чину, батюшка, — шепнула Катерина Константиновна, — священник перед любовницей на коленках стоит. Увидят — засмеют. Вставай.

— Не встану, — мучаясь, прохрипел он.



— Встанешь, — отмахнулась она. — Как миленький встанешь...

— Прости, — пробормотал он.

— Не прощу, — раздувая ноздри, сказала Катерина Константиновна, — что мне тебя прощать? Тебе не со мной разбираться надо, а с Ним, — и подняла вверх белую тонкую руку, — а я давно должна была с тобой попрощаться, нас с тобой ничего, кроме греха, не связывало.

Она содрогнулась всем телом и, стройненькая, упрямая, в мятой своей болонье, поднялась с дивана.

— Сиди, — отец Валентин заскрипел зубами. — Я тебе сейчас что покажу.

— Ой, не пугай, — усмехнулась Катерина Константиновна, — что ты мне покажешь, чего я не видела...

Пошатываясь, он встал с колен, снял с себя нательный крест на прочном кожаном ремешке, потертом от времени. Широко раскрыл заросший густыми каштановыми волосами рот, нащупал сбоку почерневший зуб, обмотал его ремешком. Крест повис над его мокрой, блеснувшей под лампой ключицей.

— Смотри, — приказал отец Валентин.

Защемил ремешок дверью и изо всей силы рванул ее на себя. Кровь хлынула на рубашку, вырванный с мясом зуб упал на пол. Отец Валентин зажал крест ладонями.

— Вот как нам расставаться, — сказал он Катерине Константиновне, ловя воздух своим свежееокровавленным ртом. — Видала?

— Все равно уеду, — трясаясь, ответила Катерина Константиновна. — Ты меня здесь цирком своим не удержишь. Пусти!

— Не пущу, — сплевывая кровь в грязную тарелку на столе, отрезал отец Валентин. — Сяду здесь и с места не сойду. Никуда не уедешь.

Он взял с комода будильник, завел его на четыре тридцать утра. Стул свой плотно придвинул к двери, уселся, расставив большие ноги.

— Засну, не дай Бог, — сказал он, старательно надевая крест обратно, — будильник разбудит. Никуда ты не уедешь. Иди отдохни лучше, Катя.

— Ну ты дьявол, — дрожащими губами прошептала она, — ну ты чудище...

— Завтра все комплименты мне скажешь, завтра, — усмехнулся отец Валентин, — а сейчас иди отдыхай...

Уронил черноволосую голову на грудь и вдруг в самом деле заснул, похрапывая.

— Господи, — взмолилась Катерина Константиновна, — прости меня!

Она еще постояла в нерешительности, посмотрела, как он спит, расставив ноги, между которыми блестит будильник. Потом зажмурилась и с отвращением затрясла головой. Ласковая улыбка новой прихожанки в чернобурке раскрылась перед глазами, как раковина.

«Ни минуты не останусь, — с силой прошептала Катерина Константиновна самой себе, — пусть хоть что».

Прошла на цыпочках в соседнюю комнату, где стояла кровать. Стараясь не стучать, отворила окно. Черная подвижная стена дождя, громыхая, неслась сверху на стонущие деревья. Катерина Константиновна осторожно перелезла через подоконник, спустила ноги и спрыгнула в размокшую клумбу с настурциями, которую сама же и посадила в прошлом году. Резко запахло травой, словно потом, выступившим на теле земли, когда она еще боролась, пробовала противиться ливню и щетинилась в небо всеми своими ветвями, цветами и травами. За два часа вода смыла их без остатка, остался только этот резкий травяной запах.

Катерина Константиновна обеими руками поправила свои тут же прилипшие к лицу короткие волосы и быстрым шагом направилась к автобусной остановке. Первый автобус в город должен был быть в четыре тридцать. Как раз когда его разбудит будильник.

Мальчик Орлов вернулся из лагеря совсем взрослым и хмурым. Бабушка Лежнева пробовала было расспросить его о том, что было в колхозе, как они там веселились и работали с друзьями, но он ее оборвал, и она больше не приставала. За долгую свою жизнь бабушка Лежнева научилась помалкивать и отползать в тень, если она не нужна, а нужна она бывала не так часто, потому что дочка, Катерина Константиновна, справлялась с жизнью сама, не спрашивала материнских советов, на родительскую помощь не рассчитывала. Сейчас же ее и вовсе дома не было, поехала к отцу Валентину на день рождения. Мальчик не спросил, когда мать вернется, хотя — бабушка Лежнева знала это точно — к матери он был привязан, и, если она надолго отлучалась, Орлов, как все дети, растущие без отца, начинал беспокоиться.

День клонился к сумеркам, казалось, что вот-вот начнется дождь, но он все не начинался, хотя по радио объявили, что по лесам и полям Подмосковья прошел даже небольшой ураган и навсегда уничтожил посеvy.

«Ну, значит, опять жрать будет нечего, — быстро и грубовато подумала про себя бабушка Лежнева. — Большевики-то, они умные, всегда какую-нибудь причину придумают. То ураган у них, то интервенция, то космосу помогать».

Во глубине души она все знала про большевиков, боялась их пуще смерти и всю свою сознательную жизнь прожила во лжи и страхе. Большевики были везде, как вши во времена Гражданской и Отечественной войн, они напоздали на жизнь бабушки Лежневой, ее дочки Катерины Константиновны и их мальчика Орлова со всех сторон, но бабушка Лежнева давно поняла, что лучше, не сопротивляясь, подставить им свое тело, и пусть они сосут из него кровь. Поэтому она стала неряшливой, курящей, волосы расчесывала не каждый день, в словах специально меняла ударения, чтобы думали, что она из простых, очень любила вставлять в разговоры с соседками фразы типа «что нам решать, за нас правительство думает!» или «советская власть нам не даст с голоду подохнуть», хотя знала, что прекрасно даст, и именно с голоду. Были примеры, ох, сколько.

Крошечным прокуренным своим носиком, к старости ставшим еще меньше, еще изящнее, бабушка Лежнева издали чужая опасность и побаивалась чужих. Поэтому, когда через два дня после приезда Орлова из лагеря кто-то позвонил в дверь три раза, то есть именно к ним, а не к кому-то еще из соседей, бабушка Лежнева, которая делала на коммунальной кухне сырники к ужину, не бросилась сразу открывать, но вытерла задрожавшие руки о фартук и приложила ухо к клеенчатой двери, прислушиваясь.

— Неужели их нету! — с отчаянной досадой сказал низкий женский голос, и тогда бабушка Лежнева сразу открыла, сдув нижней губой муку с волос и переносицы.

На пороге стояла невысокая, злобно напрягшаяся дамочка с кое-как причесанными волосами, очень ярко, но торопливо накрашенная и вообще взволнованная. Одета во все не наше. Над дамочкой возвышался плечистый, «породистый» (как сверкнуло в умной голове бабушки Лежневой) мужчина, тоже прекрасно одетый и тоже взволнованный. При виде перепачканной мукой старухи с ошметками теста на подбородке дамочка удивленно сверкнула глазами, словно ей показали что-то неприличное.

— Нам нужен Геннадий Орлов и его родители, — твердо, приятным породистым голосом произнес мужчина. — Позвольте пройти.

— Я бабушка его, — пролепетала бабушка Лежнева и уточнила: — Мать матери. А вы по какому вопросу?

— Где он? — вскрикнула дамочка и сделала такое движение пальцами, что разом сверкнули все ярко-малиновые, острые, как у птицы, когти.

— Он там, у нас, — поджавшись, ответила бабушка Лежнева, — он сейчас.

Услышав свое имя, Орлов вышел из занимаемой ими жилплощади — две смежные комнаты, 29 квадратных метров — и сразу же сильно побледнел, увидев гостей.

— Ну, так, — сказал гинеколог Чернецкий, — Стелла, не вмешивайся! Я сам.

Стеллочка негромко застонала и хрустнула пальцами.

— Ты знаешь, — спросил гинеколог, — что произошло с Наташей?

Орлов не опустил глаза, только еще больше побледнел.

— Подлец, — выдохнула Стеллочка, — животное! Ты же изуродовал ее! Она же ребенок!

Тут и вмешалась тихая бабушка Лежнева.

— Я извиняюсь, — сказала бабушка Лежнева, — это вот мой внук, и вы пришли и его оскорбляете. Потому что матери дома нету, она в... — бабушка Лежнева поперхнулась, — в командировке. Приедет только завтра, он на мне...

— Нет, я не могу, — лохматая Стеллочка с отчаянием запустила в прическу десять растопыренных сверкающих пальцев. — Нет, ну его же посадить надо... Повесить...

— Посадить? — задохнулась бабушка Лежнева. — Кого посадить?

— Стелла! — прогремел гинеколог. — Прошу тебя прекратить! Где мы можем поговорить спокойно? Здесь?

Он решительно прошел в первую из двух смежных комнат, с неудовольствием огляделся и сел на диван. Остальные продолжали стоять. Часы пробили три.

— Ваш внук, — твердо сказал гинеколог Чернецкий, не глядя на бабушку Лежневу, зато очень внимательно рассматривая угол покрытого клетчатой клеенкой стола, — вступил в интимные отношения с нашей дочерью и... — Он придержал дыхание и несколько раз быстро моргнул глазами, словно пытаясь избавиться от застрявшей в них клеенчатой клетки. — И в результате наша дочь, четырнадцатилетняя девочка, прошла сегодня через тяжелую операцию и очень серьезную получила психологическую травму. Я бы хотел услышать, что ваш внук обо всем этом думает. Я слушаю.

— Подожди! — Стеллочка подскочила к Орлову и замахала перед его лицом обеими руками. — Я тут сироп размазывать не собираюсь! Ты нам ответишь, поденок малолетний! Слышишь меня! Ты нам за все ответишь!

— Что вы хотите, чтобы я сделал? — Краска вернулась на щеки Орлова, желваки заходили. — Что я могу?

Он не успел закончить, потому что Стеллочка размахнулась, но гинеколог успел схватить ее за руки, а бабушка Лежнева грудью в перепачканном мукой фартуке заслонила своего преступного внука от справедливого материнского гнева. В эту же ровно секунду кто-то открыл входную дверь, раздался твердый стук каблуков, и в комнату вошла измученная дорогой, раздавленная вчерашним горем Катерина Константиновна.

Мальчик Орлов никогда не замечал, чтобы мать его так выглядела. Ни кровинки в узком сухощавом лице с высокими бровями и нежно очерченным, всегда немного горящим ртом. Рука Катерины Константиновны, прижимающая к плащу большую черную сумку, была как вырезанная из кости, и казалось, что мать только усилием воли держится на ногах, а не валится на пол.

— А, явилась! — закричала Стеллочка, которую муж по-прежнему крепко держал за руки. — Полюбуйтесь-ка! На сына своего, на подонка! Узнаете меня, узнаете? Мы ведь знакомы!

— Мама, — глухо спросила Катерина Константиновна, — что здесь...

— А то! — еще громче закричала Стеллочка. — Да не держи ты меня, всю руку изломал! — Она со злобой выдралась из цепких объятий гинеколога. — Он нашу девочку-у-у, он нашу девочку-у-у-у! — Рыданья не дали ей договорить.

— Ваш сын вступил в интимные отношения с нашей дочерью, которой едва исполнилось четырнадцать лет, — повторил Чернецкий. — Мы...

— Да что «мы», молодой человек! — неожиданно для себя вмешалась старушка Лежнева, трясая головой. — Вы что, поиздеваться сюда пришли?! Дратья вы сюда пришли! Так вы зарубите себе на носу, милая! — Она подняла вверх указательный пальчик со свежееотгрызенным, слегка кровоточащим заусенцем. — Вы драться к нам сюда не ходите! То, что они в четырнадцать лет, не дождавшись получения паспорта, полюбили друг друга, это большая, конечно, неприятность, но такое ведь случается! Да, моя милая, и драться не надо! А если я к вам приду и вашу девочку по щечке хлопну? Зачем ты, дескать, девочка, моего мальчика соблазнила? Или вы думаете, что в таких делах одни мальчишки виноваты бывают?! А девочки в стороне стоят и в куклы играют?

Бабушка Лежнева вся горела, говоря это, и голосок ее, обычно еле слышный, окреп и разросся.

— Подожди, мама, — перебила ее Катерина Константиновна, — подожди! Гена, это правда?

— Да, правда, — ответил Орлов, не опуская глаз. — Но мы по любви, мама, это я точно...

— По любви? — странным каким-то голосом, словно она давится, переспросила Катерина Константиновна. — По какой еще любви?

— Тебе ли не знать? — с упреком шепнула вдруг бабушка Лежнева.

— Ну, семейка! — ахнула Стеллочка. — Лёня, ты такое слышал?

— Чего вы хотите от нас? — с достоинством произнесла старенькая и седая бабушка Лежнева. — Если вам не совестно, идите в школу, разоблачайте его... А если бы меня кто спросил, так я бы сказала: оставьте вы их в покое. Слава Тебе, Господи, жива ваша дочка, жив наш мальчик...

— Я сейчас больше не выдержу! — закричала Стеллочка. — Я, кажется, в сумасшедший дом попала! С вами разговаривать нечего! Но мы ставим условие: вы забираете своего подонка из нашей школы, и на этом всё! Да или нет? Отвечайте мне!

— Да, — сказала Катерина Константиновна, — да, мы его забираем.

\* \* \*

...знаете ли вы московское лето 1966 года? Нет, вы его не знаете. Редкая птица не заливалась счастливым голосом на цветущем дереве, в редком дворе не томила молодая гитара, редкая лавочка на бульваре не вскрикивала, когда на нее обрушивалась жадная тяжесть обнявшихся юноши и девушки, которые, пошатываясь от восторга, еле-еле добредали до этой лавочки, уже соединившись губами, и с облегчением падали на нее, чтобы обняться еще крепче... Ах, московское лето 1966 года! Запах клубник и настурций! А дачи! Дачи не забудьте! Ведь тут-то, на дачах, вся романтика и затаилась! Никакие Гавайи не идут ни в какое сравнение с простой подмосковной дачей того же, скажем, 1966 года! С Загорянкой какой-нибудь! Или, на худой конец, со станцией Заветы Ильича по Ярославской дороге! Потому что когда раскрасневшиеся, в модных полосатеньких или в горошек платицах, сшитых какой-нибудь подслеповатой портнихой Ниной Павловной, которая принималась за пошив этого полосатенького еще в январе, еще в разгаре падающего с небес снега, когда и представить-то было трудно, что наступит время и можно будет снять две пары рейтуз и облачиться в это легчайшее полосатенькое, — так вот, когда раскрасневшиеся, в полосатеньких и в горошек, с распущенными своими волосами московские Марины Влади или там Клаудии Кардинале — красавицы с нарисованными глазами, — высоко подняв руки, увенчанные сетками с молочными бутылками, тортами и подтекшими пачками масла, входили, слегка вспотевшие и оживленные, в подмосковную электричку, чтобы отправиться к себе на дачу, и тут же, навстречу им, с другого конца вагона протискивались молодые люди в белых футболках

или в эластичных голубых (100 процентов нейлона!) рубашечках, с блестящими от загара лбами, с портфелями или с такими же сетками, истекающими сливочным маслом, то в дребезжащем вагоне электрички происходило такое вот лунное и солнечное одновременно затмение, оглушительная магнитная буря, Моцарт вперемешку с Бернесом, и уверяю вас, всякому человеку, которому хочется понять, что такое счастье и как оно выглядит в его натуральную величину, нужно было просто вдоволь наездиться в электричках — и не нужны ему никакие Гавайи.

А запах вечерних платформ и полустанков, тяжелые душистые липы, облепленные волосатыми гусеницами, осы в малиновом варенье, настольная лампа, зажженная на открытой веранде, куда стекались к вечернему чаю старые родственники в разношенных матерчатых туфлях и их жены, старые родственницы, с побелевшими от долгого употребления железными шпильками в редких волосах, аккуратно подколотых над расплывшимися шеями! А смех, доносящийся с реки?! А горлышко разбитой бутылки, блеснувшее на плотине и тут же погасшее...

Ах! А-а-ах!

Девочку Чернецкую выписали из больницы на шестой день. Перед самой выпиской ей приснился сон, от которого маленькая, полногрудая, чудом не родившая крепыш-цыганенка Чернецкая долго не могла оправиться и даже поплакала немного, лежа в одноместной палате с открытым в лунную, веселую, летнюю ночь окном. Приснилась ей та же самая палата и та же самая больница, в которой она, девочка Чернецкая, оказалась в числе других маленьких девочек, одетых так же, как она, в застиранные больничные, но чистенькие, пахнущие кислой хлоркой халатики, и все они, эти девочки, лежали на одинаковых, рядом поставленных кроватках в ожидании смерти. Чернецкой, правда, приснилось сперва другое слово — «казнь». Все они, девочки, лежали в ожидании казни. Вполне возможно, что для такого неожиданного сюжета еще весной дан был ей толчок на уроке истории, когда безрукий, с печальными глазами Роберт Яковлевич рассказывал комсомольцам о казни декабристов. Все девочки в застиранных этих халатиках вроде как бы даже и не боялись того, что они должны вот-вот отправиться на казнь, и как-то даже между собой перешептывались, пока не пришел вдруг очень симпатичный и немолодой человек с пышными усами, слегка напоминающий отца девочки Чернецкой, и не пощупал у каждой из них пульс совершенно ледяной рукой. Как только он взялся за пульс и маленькая Чернецкая, только что было узнавшая в вошедшем своего отца, немного, правда, изменившегося, почувствовала, каким ледяным холодом налита его рука и насколько быстро ледяной этот холод распространяется от его руки по всему ее теплomu телу, — как только это произошло, она поняла, что шутки кончились и сейчас нужно будет умереть. Первое, чего она испугалась, это боли, но тот, который щупал у девочек пульс, дал им понять, что никакой боли не будет, тогда другая, огромная и вся какая-то безмерная, бесформенная, ноющая, как больной зуб, мысль, осенила ее. Мысль эта была о том, что после смерти (или, если хотите, казни) не будет вообще НИЧЕГО. Маленькая Чернецкая начала лихорадочно перебирать в уме все, что БЫЛО, то есть лето, море, папу, маму, Орлова, мармелад, учительницу географии, запах асфальта, ангину, могилу дедушки, лиловые чернила, день рождения соседки по даче, поезд метро, снег, огонек такси, волосы Белолипецкой, калачи, мороженое, английский язык, низ ее собственного живота, телефонный звонок, вкус соли, — но все, до чего она мысленно как бы дотрагивалась, моментально исчезало и с легким скрежещущим звуком проваливалось. А НИЧЕГО оставалось. И ее очередь умереть, кажется, уже подходила, потому что из всего множества девочек осталось только трое, включая ее.

Просмотрев этот нелепый сон, который, к счастью, все-таки оборвался и толком не кончился, Чернецкая встала с кровати и вышла из своей одноместной, занимаемой по огромному, конечно, благу палаты в больничный коридор. Навстречу ей выплыли две не очень молодые, непричесанные женщины с огромными животами и серыми, в коричневых

пятнах, лицами и одна очень молодая, совсем почти девочка, с патлами, торчащими во все стороны, у которой сквозь раздвинутые полы халата виднелась выцветшая ночная рубашка с бурыми, неотстиравшимися пятнами чужой, наверное, крови. Девочка косолапила немножко поодаль и, видимо, была не уверена в том, что взрослые эти женщины хотят принять ее в свою интересную многоопытную компанию. Хотя тот факт, что и у нее тоже торчал животик и она держала на его загадочной выпуклости свои бледные ладошки с выражением лихого согласия на все, что там, внутри живота, происходит, делал ее гораздо старше и, может быть, действительно повышал шанс быть принятой в интересную и беременную чужую компанию.

— Ну, и я тогда позвонила его матери, — сказала одна непричесанная другой, — и всё. И говорю: «Если вы своему сыну счастья не хотите, то пусть он у вас спивается или там что. Потому что самое главное — это то, что мать для своего сына сделает». Ну, вообще. По жизни.

— Так и сказала? — даже приостановилась другая непричесанная.

— Ну, — усмехнулась первая. — И всё. И положила трубку. А вечером он сам после работы заявился. С цветами. Все, говорит, завтра, говорит, расписываемся. И ребенка, говорит, оставляем. Никакого аборта. А я же уже договорилась, уже все. Ну, и оставили. Это я уже третий раз тут на сохранении.

Патлатая девочка не выдержала и вмешалась прокуренным молодым голоском:

— У меня тетка тоже так говорит. Что если мужика самого не прибрать к рукам, он ни в жисть не дастся! Мой Серый ни за что не хотел записываться, а я ему говорю: тогда ты, говорю, сына своего не увидишь, потому что на какой ты ляд ему сдался? Мне тогда его государство поможет вырастить... Вот так и сказала!

Непричесанные снисходительно, через располневшие плечи, посмотрели на девочку, и она замолчала. У Чернецкой узкие глаза зачесались от тоски. Как это случилось, что она оказалась здесь, среди выцветших ночных рубашек и пятен неотстиранной крови?

А! Ну, это он виноват! Он хотел, чтобы каждый вечер они перебирались через ручеек и падали в глубокую сизую траву! А потом он там где-то гуляет, а она стоит здесь, в больничном коридоре, и слушает, как из процедурной доносится мелодичное позвякивание страшных, блестящих инструментов, а вокруг шатаются беременные и шаркают тапочками! А он где-то там гуляет! А папа вообще перестал встречаться с ней глазами! И этот ужас с Зоей Николавной! С потаскухой, как сказала бы Марь Иванна! Потому что она хочет увести у них отца из семьи! Вообще разбить им семью! А он там где-то гуляет и, может быть, даже хвастается, какая у них была любовь! Какому-нибудь болвану Лапидусу! Или Вартаняну с Куракиным!

Ненавижу. Ненавижу тебя, Орлов. И не подходи ко мне больше. Потому что все было хорошо, пока ты не подошел. Убери свои руки. Не смей. Куда ты суешь руки? Ты что, ненормальный? Знаешь, что со мной было, пока ты там гуляешь? У меня же вся кро-о-о-о-вь! Вся-я-я! Вытекла-а-а-а!

«Наташечку, сказал Леонид Михалыч, выпишут завтра. Сегодня, значит, надо ехать к Усачевой. Так этого дела не оставить. А кому не оставить-то? Некому и не оставить, окромя меня самоёй».

Марь Иванна поджала губы и поехала. Вот она, деревня эта проклятая. Теперь под горочку, через мостик и налево, до самого леса. Вот она, избенка. Ну, я ей задам козлов-то.

В избе было темно и душно. Мухи, беспокойные, с траурными облупившимися крылышками, роем вились над столом. Что-то там пролито. Молоко, что ли. Или мед налип.

— Усачева! — откашлявшись, позвала Марь Иванна. — А, Усачева!

На печи зашуршало, и слабый старческий голос прошелестел, как ветер в пучке соломы:

— Я... Зачем, дак, тебя принесло?

Марь Иванна всмотрелась. Из-под лоскутного ветхого одеяла выползла седая голова Усачевой с погасшими синими глазами.

— Ты чего? — удивилась Марь Иванна.

Слишком велика была разница между только что скакавшей на метле ведьмой (две недели назад всего!) и этой еле живой, закутанной в тряпье старухой.

— Я ниче, — прошелестела Усачева, — я, дак, лежу...

— Захворала, поди? — поинтересовалась Марь Иванна, намереваясь приступить к главному разговору.

— Схоронила яво, — всхлипнула неузнаваемая Усачева, — дак, и лежу. Тоскую, дак.

— Кого схоронила? — не поняла Марь Иванна.

— Борюшку, — чуть слышно ответила ведьма. — Помнишь, дак, яво? Кучерявенький такой, бородатенький? Сам серенький, а грудя-то черенькие?

— Осподи! — Марь Иванна торопливо перекрестилась на выцветшую неразборчивую икону. — Совсем ты дурная? Об ком говоришь-то? Об козле, что ли?

Усачева звонко стукнулась о печь головой.

— Четырнадцать годков! — услышала Марь Иванна. — Четырнадцать! Не расставамшись! Солнышко взглянет — он тута, месяц взойдет — он тута! А топерь я куда? Дак, куда?

— Слушай, ты, полоумная! — взвизгнула Марь Иванна. — Я к тебе по другому делу приехала. Я тебя теперь могу под суд отдать. Чуть девку нам на тот свет не отправила!

Усачева слегка оживилась.

— Девку? — переспросила она. — Енту вот? — и натянула свои старые голубые глаза обеими руками, изобразив Чернецкую. — А я тебя упредила, за чево ж ты меня виноватишь!

— Как? — не поняла Марь Иванна. — Где ты меня упредила?

— Он у ей там крепко сидел, внутрях-то! — вздохнула Усачева и боком скатилась с печи. Марь Иванна отодвинулась от навалившегося на нее усачевского болотного запаха. — Я тебе говорила, малец-то крепыш был, одно слово: цыган! Вцепилси в матку в свою, в родименькую, не хотел, дак, вылезать-то! Ну, дак, а когда срок-то, дак, припер, он яе, знамо дело, прошурабил... Дак, яму, ить, тоже тоска: вылезать-то, дак, неживому.

Марь Иванна так и осела на лавку.

— Ну, ты, ведьмачка!

Усачева подперлась и стукнула босой пяткой об пол.

— Ты сама, дак, ведьмачка! Думать, я твоей середки не вижу? Всю тебя насквозь вижу! Бона ты вся передо мной стоишь! Вся в мышах, в тараканах! А свово-то крепыша ты куда, дак, подевала? Тоже был ить парнишечка хоть куда!

— Какой парнишечка? — покрывшись торопливым потом, пробормотала Марь Иванна.

— И-и-х! — махнула рукой Усачева. — Гореть будем, девка! Головешки от нас, дак, одни остатнутся! Одни остатнутся корешки гнильные! От людев-то! А зверье-то, дак, скотина-то безмозговая, она, дак, к Боженке на небо уберёт! Потому, дак, душа у ей — белая! У скотины-то! А у тебя — гы-ы-ы! — Усачева раскрыла беззубый рот. — У тебя, глянь, вся душа-то черная! Гы-ы-ы-ы!

Марь Иванна попятилась к двери.

— Иди, иди! — прикрикнула на нее Усачева. — Ты иди, а я помирать ляжу! Сергунь помрет, он тоже, дак, стал хворый, от Борюшки зараза прилипла! Схороню своо серенького, отпою своо ласкова, дак, и сама — тудай!

Марь Иванна не помнила, как добрела до электрички, как купила билет, как нашла свободное местечко. Опустилась без сил на нагретую законным солнцем лавочку. По соседству расположилась веселая молодая компания. Москвичи, судя по всему. Три парня, две девушки. У одного из парней — бородатого, черноволосого, с наглыми выпуклыми глазами — гитара.

— А я еду, а я еду за туманом, — заливалась на весь вагон молодежь, — за туманом и за запахом тайги...

«Похож на когой-то», — тускло подумала Марь Иванна про бородатого с выпуклыми глазами.

Всмотрелась. Так и есть. На Борьку на этого, на покойного. Козла усачевского. Господи, спаси и помилуй! Все гореть будем. Одни головешки останутся.

Остаток лета маленькая Чернецкая провела с Марь Ивановой на даче. Об Орлове она решила не думать и не вспоминать. Родители навевались нечасто и каждый раз порознь. Стеллочку однажды привез на своей машине немолодой и солидный, как с уважением отметила Марь Иванна, человек. Стеллочка сказала, сослуживец. Выпили холодной ряженки на террасе, съели, смеясь чему-то своему, по чашке черной смородины. Стеллочка отвела ребенка Чернецкую в заросли душистой малины, прищурилась на медленно машущую пушистыми крыльями беспечную бабочку

— У тебя всё в порядке? — не спуская глаз с прелестного насекомого, спросила Стеллочка.

— Всё, — односложно ответила маленькая Чернецкая.

— А мальчики, — улыбаясь чему-то своему, спросила Стеллочка, — мальчики ухаживают?

— Ухаживают, — с легким презрением к матери ответила Чернецкая.

— Смотри, — с запинкой проговорила Стеллочка и испуганно перевела глаза с крыльев насекомого на розовую шею дочки, — смотри, чтобы не как в прошлый раз...

«Сама смотри, — горько подумала маленькая Чернецкая, живо вспомнив санитарку Зою Николавну и тут же рядом с ней неторопливого сослуживца, который в ожидании ее матери читал на крыльчке газету. — Не вам меня учить...»

Вообще она многое поняла за последние полтора месяца. Она знала, что нравится мальчикам. Мальчики кружились вокруг их дачи, как пчелы вокруг розового куста, и каждая пчела (теперь-то она понимала!) так и норовила впиться в темно-красные, свернутые трубочками бутоны, раскрыть их и выпить до дна. Мальчики на велосипедах проезжали мимо балкончика, на котором она сидела якобы в задумчивости с заданным на лето для внеклассного чтения Иваном Сергеевичем Тургеневым, потом доезжали до леса, возвращались и ехали опять — медленно, задрвав головы, надеясь, что она оторвется наконец от своих «Вешних вод».

Она чувствовала себя царицей, и ей было наплевать на Орлова, который шлялся неизвестно где, пока папа делал ей операцию. Да, это был ужас, что именно папа. Она не хотела, чтобы папа видел все это... ну, то, что у нее внутри, и вообще ее... и на столе этом... хирургическом... тем более что он целуется с санитаркой Зоей Николавной, которая только кажется, что похожа на ангела, а на самом деле... Сейчас, когда все это было позади и она беззаботно засыпала в небольшой комнате с подтеками золотистой засохшей смолы на сосновых балках, подпирающих высокий потолок, а потом просыпалась под оглушительное пение птиц, разбросанное по синему небу и розовому



саду, — теперь, когда никто не тащил ее по вечерам в лесной овраг, не обжигал поцелуями ее лица и тела, она чувствовала, что хотя он и виноват, потому что была операция, и они с Марь Ивановой ходили к Усачевой, и вообще папа видел все, что у нее внутри, но все-таки это было ужасно хорошо и она скучает по нему. Нет, не по нему, потому что он виноват и, наверное, все давным-давно разболтал Лapidусу, — нет, не по нему, а вот по этому оврагу в лесу с поцелуями. В конце концов, дочитав внеклассного Ивана Сергеевича Тургенева и узнав, что Санин «продает свое имение и собирается в Америку», маленькая Чернецкая — а был полдень, и парило, по дачам ходил точильщик с сорванным горлом «точить ножи-ножницы, точить ножи-ножницы!» — маленькая соскучившаяся Чернецкая, раздевшись догола, подошла к большому настенному зеркалу, внимательно и справедливо осмотрела всю себя с ног до головы, распустила волосы и тут же соорудила высокую женскую прическу в японском слегка стиле: двойной пучок на шпильках и «невидимках». Вслед за этим она протерла подмышки ваткой, смоченной французскими материнскими духами, и, разыскав материнскую прошлогоднюю тушь в ящичке, где валялись всякие мелочи и откуда сильно пахло сосной и нашатырным спиртом, смело нарисовала черным свои загибающиеся кверху ресницы.

Это было прекрасно. Она стояла без ничего, с высокой прической, и смотрела на себя в зеркало. А он где-то далеко и не видит ее. Хотя он, конечно, во всем виноват. Она открыла шкаф с материнскими платьями и выбрала желтенькое, мохеровое, с короткими рукавами. Они с матерью были почти одного роста. Платье преобразило ее.

Спустившись по лестнице на первый этаж, маленькая Чернецкая была остановлена криком несдержанной Марь Ивановны:

— Наталья! Ты такая откудова?

— Оттудова, — сердито огрызнулась Чернецкая и, не желая больше ничего слышать, выскользнула из дома и побежала к калитке.

— В два чтоб обратно! — крикнула ей вслед растерявшаяся Марь Иванна. — Котлеты холодные будут! Слышь, кому говорю!

«О-о-осподи! — подумала Чернецкая. — Осточертела! Наказанье мое».

Не торопясь, она шла по тенистой аллее, машинально прислушиваясь к стуку пинг-понгового шарика, детскому плачу, мыльному звуку громоздкой, на всю полянку перед крыльцом, стирки постельного белья в корыте, и так, изредка поправляя высокий двойной пучок над розовой шеей, дошла наконец до обрыва, где, облокотясь на свои велосипеды, стояли мальчики, курили и поплевывали вниз, в мутно-коричневую, разомлевшую от зноя речушку. При виде Чернецкой, задумчиво ступившей на тропинку, вьющуюся в двух шагах от них самих и их ободранных велосипедов, мальчики напрягли спины, закашлялись, голоса их стали громче, пушистее, и, боясь, что она пройдет мимо в золотистом своем платье, с рассыпающимся, пронизанным солнцем пучком каштановых волос на затылке, они тут же окликнули ее — нестройно, испуганно, нагло и весело. Она повернула голову и узкими накрашенными глазами посмотрела на них. В глазах ее звенела пустота, как будто это были глаза куклы, но на эту пустоту и кинулись побледневшие мальчики, торопливо затягиваясь сигаретами и пиная друг друга ободранными велосипедами.

...девушка, девушка, я тебя видел, а, ты с шестой дачи, а ты не скучаешь, а не скучно тебе без компании, а купаться ты уже ходила, а то можем вместе, будешь тонуть, вытащим, а почему ты подружку не привела, а в кино сегодня фильм французский, я приглашаю, почему это ты, я приглашаю, такая девушка, елки-палки, отвали, Валера, девушке с тобой скучно, сам отвали, а как же нашу девушку, интересно, зовут...

Они всё что-то лепетали, и базили, и сами себе смеялись, и всё глубже и глубже затягивались, а она смотрела на них пустыми глазами, ничего не выражая, не одобряя, не

упрекая, как кукла. А потом приоткрыла губы, блеснула мелкими белыми зубами и мягко сказала:

— Наташа.

Стеллочка с мужем, гинекологом Чернецким, после отъезда на дачу ребенка своего Натальи и домработницы Марь Ивановны, практически не сталкивались. Иногда только по утрам, на кухне, когда она по приобретенной на Кубе привычке варила себе очень крепкий, совершенно черный, невозможно горький кофе, от которого у нее каждый раз начиналось сердцебиение, — иногда только, когда она, стоя в нейлоновом розовом халатике и открытых туфельках с большими розовыми помпонами, варила себе этот самый кофе, появлялся из бывшего отцовского кабинета гинеколог, у которого вышитый на наволочке вензель всегда отпечатывался на левой щеке, и тут они, конечно, должны были что-то сказать друг другу, что-то друг с другом обсудить, наконец, поругаться, потому что все-таки они были мужем и женой и все вокруг люди думали, что они хотя бы иногда спят вместе, но они не спали. При этом они подходили друг другу гораздо больше, чем думали окружающие их люди, и даже гораздо больше, чем думали они сами. Каждого из них, в сущности, устраивало то, что они давно уже не спят вместе, ни о чем не разговаривают, кроме как о самом незначительном и необходимом, не боятся того, что другой умрет или заболеет, не стремятся к тому, чтобы проводить вместе отпущенное им житейское время. Единственным камнем преткновения была их общая и единственная дочь Наталья Чернецкая. В глубине души гинеколог Чернецкий обвинял жену свою Стеллочку в том, что их общая и единственная дочь Наталья рассталась с девственностью на пятнадцатом году жизни и протащила его, своего отца, через то, чтобы сделать ей глубокое маточное выскабливание под общим наркозом и с целью буквального спасения жизни.

То, что его ребенок, его дочь, которую он совсем, как казалось ему, недавно, умиляясь, катал в розовой коляске по приятно шуршащему старыми деревьями скверу, этот совершенно прекрасный и здоровый, с кудрявой головой ребенок вдруг оказался перед ним в виде усыпленной наркозом женщины с окровавленной раковиной интимнейшей части женского тела, — все это доставляло гинекологу Чернецкому острую душевную боль и заставляло его искать виноватого. Виноватым же был, как ни странно, не мальчик Орлов, хотя Чернецкий и вспоминал его с отвращением, а его родная жена Стеллочка, которая бегала, сверкая глазами, по Дому дружбы или вообще неизвестно чем занималась. Поэтому, оказавшись на протяжении двух месяцев в большой, нагретой солнцем квартире в Неопалимовском переулке наедине с этой самой глубоко провинившейся перед ним женой, гинеколог Чернецкий начал покрикивать на нее, отпущать небольшие грубости сквозь крепкие зубы, а один раз даже резко отодвинул локтем ее торчащую во все стороны нейлоновую розовую грудь, когда, раздраженная тем, что он слишком долго бреется, Стеллочка заглянула в ванную комнату и просунулась было под его локоть в поисках любимой своей ярко-оранжевой расчески.

Кроме всего прочего, у гинеколога Чернецкого случилась самая неожиданная в его жизни история, а именно настоящая любовь к санитарке Зое Николаевне, женщине девятнадцати лет, немосквичке, живущей на кухне у родственницы и прямо там, на кухне, и спящей под газовой плитой на раскладушке. Зоя Николаевна выглядела не старше его собственной дочери, а талия у нее была даже тоньше, совсем как у осы. Трудно было представить себе, что такое хрупкое ангельское существо, чью талию немолодой уже гинеколог, теряя сознание от разрушительного плотского желания, сжимал обеими руками, и каждый раз эта талия начинала шелковисто поскрипывать под его разгоряченными ладонями, невозможно было представить себе, что такое нежное существо с такой вот нежнейшей талией может задумать ту чертовщину, которую задумала, как выяснилось чуть позже, санитарка Зоя Николаевна. Зоя же Николаевна

решила, что хватит ей спать на раскладушке, вдыхая незначительную, но все же вредную для здоровья утечку ядовитого газа, а нужно сделать все, чтобы стать законной женой заведующего гинекологическим отделением Чернецкого. Для этого Зоя Николаевна перестала скрывать от сослуживцев свои отношения с заведующим, а, наоборот, норовила то прижаться к нему на людях, то фамильярно схватить его за руку в столовой, то послать ему совершенно неуместный, хотя и воздушный поцелуй на ежеутреннем собрании коллектива отделения. Кроме того, она решила, что необходимо, чтобы и Стеллочка узнала о том, что происходит, и, может быть, тогда...

О, тогда! Тут у Зои Николаевны начинала стремительно работать ее белоснежная ангельская голова: во-первых, Неопалимовский всегда можно разменять на трехкомнатную, в которой поселятся они с гинекологом, и однокомнатную для всех остальных, а во-вторых, можно просто удалить из этой прекрасной квартиры надоевшую всем Стеллочку со старухой нянькой и ребенком Натальей Чернецкой. Недавнее появление семьи Чернецких в больнице как раз во время ее дежурства вызвало в Зое Николаевне глубоко негативное чувство. Она впервые увидела, как сильно он привязан к этой своей распущенной, беременной (в четырнадцать лет!) дочери и какая у него шикарно одетая и вовсе не старая жена.

— Дурой будешь, если не уведешь, — сказала ей московская родственница, которой, может быть, просто надоело, что Зоя Николаевна каждую ночь спит у нее под плитой. — Быстро надо действовать, пока он не остыл. Он член партии?

Зоя Николаевна разузнала, и оказалось, что нет, не член.

— Значит, по партийной линии не скovyрнуть, — обрадовалась родственница, — потому что, если бы был член и жена бы пошла права качать в партком, тут его можно было бы напугать до полусмерти, он бы к тебе на пушечный выстрел не подошел. Потому что мужики — что? Мразь, слизь, и чуть припугнуть — полные штаны. Сильный пол, как говорится, это мы, женщины. Раскачивай семью. Чем можно, тем и раскачивай.

Зоя Николаевна закусилa персиковую нижнюю губу и принялась раскачивать. Встретаться — кроме как на работе или если заехать на машине в подмосковный лес — им было негде. Приятелей и друзей у гинеколога, во-первых, было немного, свободных квартир ни у кого, а во-вторых, не стал бы он — по занимаемому положению — никому доверяться. Исходя из этого, Зоя Николаевна придумала дьявольски смелую и рискованную штуку. Подкараулив любимого человека после изнурившей его хирургической операции (рожала и никак не могла родить сорокашестилетняя учительница кройки и шитья), Зоя Николаевна как бы на ходу и совсем небрежно сказала Чернецкому, что ему звонила жена, которая уехала на дачу к подруге, вернется только завтра вечером и просит не беспокоиться.

— Откуда вы знаете? — осмотрительно называя ее на «вы», спросил гинеколог.

— Ну, я заснула случайно у тебя в кабинете, — опутив ангельские глаза, ответила Зоя Николаевна, — а тут телефон. Ну, и я, знаешь, со сна, случайно схватила трубку, и она даже ничего не заподозрила, подумала, что ты кого-то специально посадил к себе в кабинет, ждал звонка из Минздрава, и она просила передать, что едет к этой подруге и больше ей будет неоткуда позвонить...

— Ясно, — мрачно и одновременно весь загоревшись, сказал гинеколог.

— Мы, значит, вместе сегодня? — уточнила Зоя Николаевна.

Гинеколог перевел глаза на ее неуловимую талию, туго стянутую халатом.

— Я могу прямо сейчас уйти, — сказал он, чувствуя сильную неловкость за свое мальчишеское нетерпение, — жди меня возле овощного.

Когда ничего не подозревающая Стеллочка открыла своим ключом дверь, в квартире было темно и тихо, но что-то ей все-таки не понравилось, и поэтому, сбросив в коридоре белые туфли на высоких шпильках и налив себе стакан молока из холодильника, она

просунула голову в кабинет мужа, и тут же молоко миллионом брызг разлетелось из разбитого стакана по еще в мае натертому Марь Ивановой паркетному полу. В лунном предательском свете Стеллочка отчетливо увидела гинеколога Чернецкого, крепко спящего в объятиях молодого ангела, который, как только Стеллочка появилась на пороге, неторопливо открыл свои небесные глаза и бесстрашно встретил ими остолбеневший и наполненный ужасом взгляд Стеллочки.

— Что это? — сначала прошептала, а потом перешла на крик и визг Стеллочка. — Ой, что это, что это, о, тварь, кто это, мерзость, дрянь, сволочь, откуда это, вон, вон, вон из моего дома, да как ты посмела, как ты посмела, девку привел, девку, да ты еще не знаешь, что я с тобой сейчас сделаю...

С этими словами она подскочила прямо к кровати и, не обращая внимания на негодующий ответный рык гинеколога, попыталась сорвать с омерзительной парочки одеяло. Однако заведующий отделением Чернецкий не зря все же провел с визжащими и кричащими женщинами большую часть своей непростой жизни. Вместо того чтобы выскочить как ошпаренный в чем был (а он был вовсе ни в чем) из постели, он выкатил на Стеллочку непримиримые глаза и заорал в ответ, чтобы она сама убиралась куда подальше из его комнаты. Завязалась яростная схватка за обладание одеялом, но поскольку Стеллочка была абсолютно одна, а любовников оказалось вдвое больше и они, судя по всему, готовы были скорее умереть, чем уступить, Стеллочке пришлось изо всех сил плюнуть в своего мужа и эту его приبلудную шлюху, попасть частично на шлюхин подбородок, частично на мохнатое плечо гинеколога, а потом, ни секунды не мешкая, перебежать, рыдая, из кабинета в спальню. Там она принялась выкидывать из общего шкафа носильные вещи гинеколога, разодрала от ярости несколько прекрасных заграничных рубашек и совсем потеряла свой миловидный облик, потому что все ее складно соединенные друг с другом черты исказились до неузнаваемости и что-то ведьминское, исконно женское проступило в этом испанском лице, несколько даже одуревшем от бешенства.

Пока мать его единственного ребенка рвала и метала прекрасные заграничные вещи, гинеколог Чернецкий наспех оделся и вывел из супружеской квартиры ужасно огорченную и голубоглазую санитарку Зою Николавну. В темноте Неопалимовского переулка Зоя Николавна упала на грудь любимого человека, и у нее началась истерика.

— Ладно, ладно, детка, — пробормотал гинеколог, глядя вспотевшими ладонями талию санитарки, — что-нибудь придумаем, не плачь только...

Подкатило такси. Гинеколог Чернецкий сунул таксисту пятерку, поцеловал соленые от слез щеки Зои Николавны («до завтра, детка, не плачь») и медленно вернулся к себе в квартиру. В квартире все было перевернуто вверх дном, а дверь в спальню изнутри заперта на ключ.

— Стелла, — грубо сказал гинеколог и стукнул в эту дверь пяткой, — открой немедленно.

— Сволочь, — сказала Стеллочка.

— Хорошо, — устало согласился Чернецкий, — я люблю другую женщину.

В ответ раздалось гробовое молчание.

— Для тебя, кстати, — сказал он, — тут не должно быть ничего нового. Мы давно чужие. Что ж ты думала, что я монахом стал за это время?

Стеллочка не отвечала.

— Хватит, — сказал он, — ты мне скажи, чего ты хочешь: разводиться?

— Интересно, — задумчиво произнес успокоившийся вдруг голос Стеллочки, — ты действительно думаешь, что я такая идиотка, или притворяешься?

— Не понял, — востроенулся гинеколог Чернецкий, который и в самом деле не все понял.

— Ты, значит, думаешь, что я буду разводиться и разменивать квартиру? Совсем, что ли, ничего не соображаешь? Нет и нет! Я подожду, пока ты подохнешь и квартира достанется мне! Я отсюда шагу не сделаю!

— С чего ты взяла, что я подохну первым? — поинтересовался заведующий отделением.

— Потому что на десять де-е-евчо-о-онок по статистике девять ре-е-ебя-я-ят! — издевательски и немного фальшивя, как всегда, когда доходило до музыки, спела Стеллочка. — Потому что люди медицинского труда редко живут долго! А я уж, будьте любезны, постараюсь! Подохнешь как миленький!

Она вдруг распахнула дверь, и гинеколог Чернецкий даже отпрянул. Перед ним стояла настоящая, кубинская, судя по облику, ведьма. Волосы ее торчали во все стороны, черные глаза извергали пламя. Она была в красном лифчике, похожем на цветы мака. Над левой грудью вздрагивал довольно большой синяк с кровянисто-желтым подтеком.

— А вот это что такое? — раздувая породистые ноздри, спросил гинеколог Чернецкий и ткнул пальцем в Стеллочкин некрасивый синяк. — Целоваться изволили?

Стеллочка торопливо схватила валяющуюся на кровати черную кружевную шаль — подарок ко дню Восьмого марта от мужского коллектива Дома дружбы, набросила ее на остаток слишком крепкого поцелуя и, подбоченясь, пошла на гинеколога Чернецкого ничем не хуже, чем Майя Плисецкая в балете «Кармен-сюита».

— Квартиру ты не получишь, дочь не увидишь! Можешь убираться к своей лимитчице! Слышал, что я сказала?

Появившись на работе после почти совсем бессонной ночи и зайдя первым делом в процедурную, где старшая медсестра Анастасия Михайловна, полная крашенная блондинка с вытравленными перекисью небольшими усиками, обрабатывала нагноившийся на чьем-то рыхлом животе шов, гинеколог Чернецкий первый раз почувствовал, что все эти женщины, включая дочь, жену и любовниц, вызывают в нем страх, смешанный с легким физическим отвращением. Он ощутил себя мальчиком, круглоголовым и застенчивым, которому вечно влетало то от матери, то от учительницы, и приходилось врать, боясь, что тебя вот-вот застигнут на чем-нибудь ужасном, постыдном, и тогда начнется крик, ор, визг, угрозы. Потом, когда круглоголовый мальчик вытянулся в высокого и красивого, прекрасно зарабатывающего благодаря отцовским связям молодого специалиста, начались другие крики и другая ложь, и теперь ему казалось, что он много лет ничего и не делал, а только медленно проваливался в какую-то темную, затягивающую его воронку, которая и есть, собственно говоря, не что иное, как ЖЕНЩИНА. Эта воронка, кажущаяся уютной, теплой, прячущей от мира, тысячью мельчайших щупалец зацепила его, как крючками, вдоль и поперек изодрала всю его добротную мужскую оболочку, и теперь, окровавленный и израненный, он делает судорожные движения, пытаясь отцепить от себя эти микроскопические закорючки, но у него ничего не получается, потому что у воронки нет дна, внутри ее нет просвета и выхода обратно тоже нет, — остается только зажмуриться и продолжать это утомительное и отталкивающее путешествие.

Гинеколог Чернецкий закрыл за собой дверь кабинета и сказал, чтобы готовили больную к операции. Он спустится через десять минут. На письменном столе его стояли две фотографии: матери, Любви Иосифовны, и дочери, Натальи Чернецкой. Он внимательно всмотрелся в каждое из этих лиц. Оказывается, они были похожи друг на друга. Да, узкие глаза и вот эти продолговатые скулы. Ему пришло в голову, что между покойной матерью и растущей дочерью нет никакой разницы, если не считать, что одна жива и ей четырнадцать, а другая мертва и ее больше пяти лет назад благополучно спрятали в землю.

«Да ведь это все временно, — холодея от того, что приходит в голову, пробормотал гинеколог, — ну, сейчас, сегодня, скажем, мы живы, а завтра, скажем, нас не будет, и что? Какая разница: год туда, два сюда, если кончается тем же самым?»

Он вспомнил, как заболевшая мать продолжала ревновать отца и как она, лысая от химиотерапии, сидела у окна, ждала, пока подъедет его машина, и тут же, дождавшись, хватала со стола зеркала и начинала судорожно красить губы, подводить дряхлеющие узкие глаза...

На что она рассчитывала? Что статный холеный отец опять потянется к ней, к этой ее облысевшей плоти? А девочка, дочь их Наталья Чернецкая, которую сам он только что катал в розовой коляске по приятно шуршащему осенней листвой скверу? Куда она так торопилась, когда в четырнадцать лет затянула в себя чужого наглеца?

В разгаре этих новых и жутких мыслей в дверь заведующего отделением поскребся розовый ноготок санитарки Зои Николавны, и тут же возникла на пороге вся она — светловолосый, взволнованный ангел с полуоткрытым от страдания ртом.

— Живой? — полуоткрытым ртом спросила санитарка Зоя Николавна.

Гинеколог Чернецкий первый раз в жизни увидел ее так, как он никогда ее не видел, даже и не представлял себе, что так вообще можно кого-то видеть. Зоя Николавна стояла под его напряженными глазами словно под рентгеновским аппаратом, и зрачки гинеколога медленно и дотошно изучали эту новую, неожиданно раскрывшуюся ему Зою Николавну. Под светлыми сияющими ее волосами металась совершенно одинаковые, мокрые, ноздреватые существа, которые сама Зоя Николавна считала своими мыслями. Существа эти были больны, поражены каким-то неизлечимым псориазом, вызывающим сильный зуд внутри всей ее головы, и бедная, рано или поздно обреченная на смерть Зоя Николавна, думая все время об одном и том же, как бы изо всех сил скребла ногтями одно и то же место. Она в кровь расчесывала затею, как ей устроиться в жизни и выйти замуж за Чернецкого и победить его крикливую жену Стеллочку, но в это же самое время — если всмотреться глубже, — можно было увидеть, как ниже, под ее прозрачной кожицей, билось уставшее сердце, ничего не умеющее и полностью зависящее от этих ноздреватых, мокрых существ. Как дважды два было ясно, что, если уж они совсем замучают Зою Николавну, оно, это ее беззащитное, молоденькое сердце, уродливо скорчится, станет из розового синевато-серым и лет через пятнадцать-двадцать организует Зое Николавне веселую жизнь с нитроглицерином и вызовами неотложки.

— Я живой, — ответил между тем заведующий отделением Чернецкий, желая заглушить в себе тяжелое чувство и как можно крепче зажмуривая эти свои новые, неожиданные глаза. — Как ты добралась вчера, детка?

Стеллочке тоже было очень и очень несладко. Она даже подумала бросить все и укатить на дачу к дочери, но оставлять мужа одного в городе с этой «лимитчицей» — как быстро и верно окрестила Стеллочка Зою Николавну — было по меньшей мере неразумно, и нужно было, наоборот, продумать новую тактику поведения и подготовиться к худшему. Существовал еще один человек, а именно тот самый немолодой «сослуживец», который уже третий год морочил Стеллочке голову. С одной стороны, все эти совместные поездки, эти белокрылые океанские лайнеры, эти, со свежесмытыми палубами, катера, дивное время в роскошной гаванской гостинице «Капри», где у входа седой, очень смуглый усатый портье почтительно склоняет голову, когда ты впархиваешь с раскаленной, заросшей пальмами улицы, а потом поднимаешься на лифте к себе в номер, и ветер с океана раздувает пышную белую занавеску твоего открытого окна, и ты, зажмурившись, долго стоишь под душем — в беломраморной, с золотом, ванной комнате (ах, американские эксплуататоры, ах, кровососы!), а потом в белом платье спускаешься в ресторан, где проворные, тоже очень смуглые, с проборами, официанты подают тебе на белых блюдах совершенно невиданные вещи: кальмары, например, в белом вине, или

устриц, или — из свежесрезанной, американскими кормами откормленной кубинской коровы — сочные бифштексы... А картофель — боже мой! Шестнадцать видов картофеля! И есть даже такой сладкий, что никогда и не подумаешь, что это, честно говоря, тоже картофель! А ананасы, из которых ручьями льется сок! А кокосовые орехи с голову московского школьника! Ах, да что говорить!

Потом наступает ночь. И тут на твоём ночном столике зажигается огонек телефона одновременно с мелодичным звонком.

— Спишь, золотце мое?

Да разве можно спать в такую ночь! И почему, кстати, люди не летают, как птицы? Ну почему? Почему?

— Нет, дорогой, я не сплю.

— Ждешь, золотце мое?

Он еще спрашивает!

— Жду, дорогой.

— Ну, я топаю, открывай.

И притопывает, и открываешь. Стоит в белой рубашке, в легчайших бесшумных сандалиях, в руках бутылка коньяка, связка бананов.

— А, ты уже и расстелила, умница моя, ты уже и платье сняла!

Но это всё — в Гаване. Здесь у «сослуживца» жена Тамара и двое близнецов, Миша и Гриша. У Тамары камни в почках, часто ездит на воды. У Стеллочки против этой Тамары один (зато какой!) камень за пазухой: «Опостылела-а-а-а она мне!» Ни позвонить, ни встретиться по-человечески! Стоит только этой, с камнями, вернуться с курорта, сослуживец поджимается, глаза опускает. Боится. Как бы чего... Положение, как говорят умные французы, обязывает. В Тамарино отсутствие тоже не очень разгуляешься, потому что Миша и Гриша. Хотя они спят, когда Стеллочка звонит ему по ночам для интимного разговора. Он боится, правда, что телефоны тоже прослушиваются. Но что же делать, если встречи их — такие короткие! Такие судорожные!

Нет, Гавана, конечно, Гавана. И больше ничего. Любовь моя. Остров зари. Багряной.

После страшной этой ночи с лимитчицей в мужнином кабинете Стеллочка позвонила сослуживцу домой. Рано утром, часов в девять. Специально позвонила в квартиру. Пусть. Подошла, громыхая своими камнями, супруга Тамара. Стеллочка вдруг набралась наглости (нервы расшалились!) и попросила Бориса Трофимовича. Тамара поинтересовалась, кто спрашивает.

— Сослуживица, — ответила в трубку Стеллочка и мысленно показала Тамаре язык.

— Сейчас, — не очень любезно ответила хворая Тамара.

— Слушаю.

Голос хриплый, дрых небось.

— Дорогой, у меня неприятности.

— Да, вы можете подписать это без меня, да, я разрешаю, — залопотал дорогой.

Стеллочка швырнула трубку. Вот какие дела. Чужие мужья, чужие жены. Посторонним вход воспрещен. Доживем до понедельника. Прощайте, голуби. До свидания, мальчики.

Стеллочка захлебнулась слезами. Позвонить еще раз, сказать:

— Здравствуйте, Тamarочка! У меня с вашим мужем интимные отношения. Он без меня дышать не может. А у вас, Тamarочка, кроме камней на обоих глазах по бельму. Всего доброго!

И всё. Завтра — увольнение. И никакого острова. Никаких больше устриц.

Мальчик Орлов стал замечать, что все вокруг него изменилось с тех пор, как он вернулся в Москву из лагеря. Во-первых, когда пришли эти, родители Наташи Чернецкой, и сообщили, что у них с Наташей действительно должен был быть ребенок, но его уже никогда не будет, он ждал, что мать устроит ему дикую головомойку, но мать ничего не сказала. Совсем ничего. Когда побледнел первый стыд, отхлынуло все обжигающее, ярко-черное, что ослепило его, когда они начали орать и в это время вошла его мать, а это черное отхлынуло и он опять прозрел, первое, что бросилось ему в глаза, была материнская, вдруг согнувшаяся, осевшая, как мартовский сугроб, спина. Все остальное, что прикреплялось к этой спине, осталось вроде бы прежним: волосы, руки, шея, но поскольку спина стала робкой и слабой, то и голова материнская, высоко закинутая, и светлые, своевольно вьющиеся ее волосы, и — главное — глаза, бесстрашные и твердые, как у него самого, — все это вдруг стало казаться чужим, наспех и неправильно подобранным к пристыженной и неуверенной спине. Орлов не понял, то ли это произошло, пока они орали и она все узнала про ребенка, которого уже не будет, то ли она вернулась откуда-то такая вот согнувшаяся, а они своим криком только добавили. Как бы то ни было, но она так и не распрямилась, так и ушла, составленная из двух разных женщин, в свою комнату и ни слова не сказала ему. Ни в чем его не упрекнула. Бабушка Лежнева тоже ничего не сказала, только поморгала на него своими настрадавшимися глазами. Более того: через три дня бабушка Лежнева выстояла дикую очередь в магазин «Руслан» на Смоленской и вернулась оттуда с рубашками для Орлова: голубой и розовой. Обе были и кроены, и сшиты в Болгарии. Мать же в то утро, пока бабушка Лежнева томилась на солнцепеке перед входом в «Руслан», коротко сообщила ему, что нужно, наверное, переходить в другую школу. Сообщив это, она рывком вымыла чашку и ушла на работу. Вернувшись из «Руслана», бабушка Лежнева сказала «примерь», и он примерил розовую.

— Красиво, — вздохнула бабушка Лежнева, — у нас так не умеют. Когда еще у нас так шить научатся?

И прикрыла глаза задрожавшими веками. О, у них в семье любили молчать. Чего другого, а этого не отнимешь. Он тоже любил. И обе они это знали. Орлов понимал, что нужно увидеть Чернецкую и что-то сказать ей важное, но он не знал что. У нее пошла кровь. Оттуда, что ли? И ее увезли на «Скорой помощи»? И потом ей делали операцию под наркозом? Вынимали из нее этого их ребенка?

Опять что-то черное, как пелена, и жгущее, как огонь, накрыло его с головой, опять он ослеп от стыда. Потом глубоко несколько раз вздохнул, и зрение вернулось. Ну, и как теперь быть? Позвонить ей? Так ведь подойдет, скорее всего, эта кикимора, нянька ее! Прикинуться, что это не он, а кто-то другой? За ней ведь теперь, наверное, следят. Нет. Тогда нужно подойти к ее дому и подождать, пока она выйдет. Ее уже отпустили из больницы, это ясно. Значит, рано или поздно она выйдет из дому, это тоже ясно. На улицу. Погулять, в конце концов.

Но прошла неделя — он слонялся по Неопалимовскому, меняя поочередно болгарские рубашки с голубой на розовую, с розовой на голубую, — а ее все не было. Тогда он позвонил. Никто не взял трубку. Он дождался вечера, остановил какую-то девчущку лет десяти с толковыми глазенками, сунул ей двушку и велел набрать 241-66-37, попросить Наташу. Девчущка посмотрела понимающе и быстренько набрала номер обгрызанными ноготками. Сердце Орлова колотилось. Он все-таки любил Чернецкую, это точно. И ребенок этот, которого никогда не будет, сильно мучил его, хотя Орлов становился слепым от стыда, когда думал о нем.

— А где Наташа? — спросила умная девчущка.

Что-то ей там ответили.

— А, на даче... А когда вернется?

Опять ей что-то ответили.



— Где дача? — зашептал Орлов. — Спроси там, где у них дача?

— А где у вас дача-то? — послушно повторила девчужка.

И, кивнув головой, повесила трубку.

— На Николиной Горе, — быстро, боясь забыть, сказала она.

Прошла еще неделя, прежде чем он выяснил, что это за гора и какие электрички туда ходят. Он становился совсем мужчиной, в нем бушевала злоба, и с каждым днем тот подрастающий мальчик, которым он привык быть, отплывал все выше, все дальше, — высоко в ослепительную листву, слегка обжигающую ему лоб и веки, в то время как мужчина, который наконец задышал в нем полной грудью, этот «мужик», как почему-то хотелось ему обратиться к себе самому, набирал все больше и больше сил, так же как волосы, мощно разросшиеся на середине его живота, становились все жестче и жестче.

Мимо проходили девушки и смотрели на него прищуренными глазами. У них были тонкие талии и кругленькие бедра. Некоторые нравились ему даже очень сильно, и — не будь этого ихнего ребенка, которого все равно не будет, и того, что ей в больнице что-то там делали, пока она спала под трубками и марлями, — не будь этого, он бы с радостью подошел к какой-нибудь и что-нибудь сказал ей такое... Он вообще-то знал, что сказать.

Он бы сказал: «Слушайте, девушка, из какой вы сказки?»

Это нравилось ему больше всего, он сам придумал такую фразу. Намного ведь лучше, чем: «Слушайте, девушка, где это я вас видел?»

Но девушки продолжали мелькать, со своими прищуренными глазами и кругленькими бедрами, а он, не обращая на них никакого почти внимания, ехал в электричке, чтобы отыскать Чернецкую, увезенную от него на Николину Гору.

На Николиной Горе был жаркий июльский полдень. В глубине заросших жасмином и лиловым плющом дачных веранд томились пенсионеры в полосатых пижамах, а грубые их домработницы в полинявших сарафанах полоскали на реке подсиненные простыни. Пахло свежесваренным вареньем и какими-то полевыми, только что сорванными или, может, еще живыми цветами. Орлов внимательно заглядывал в каждую калитку, надеясь ее увидеть. Качели скрипели тоскливо и раздраженно, словно они тоже кого-то искали. Ее не было нигде, ни под одним яблоневым деревом — хотя другие девушки в купальниках валялись под яблоневыми деревьями на вытертых одеялах, мусолили журнальчики, ее не было ни на одной садовой скамейке — хотя и там сидели какие-то морщинистые старухи с осоловелыми от жары внучками, не было ее, не было. Мимо проехали двое на велосипедах, размахивая полотенцами.

— Эй! — крикнул Орлов своим новым мощным басом, и они приостановились. — Эй! Где у вас тут искупнуться можно?

Он был весь липким и потным под своей розовой болгарской сорочкой.

— Да вон! — сказали они и взмахнули полотенцами налево.

— Далеко? — спросил Орлов, радуясь, что захватил из дома плавки.

— Не, — сказали они и умчались.

Голубоватый от зноя и стрекоз пруд был обнесен забором с распахнутой в центре калиткой. Перед калиткой на обыкновенном бухгалтерском стуле сидел немолодой бывший военный, за повышенный интерес к спиртному выгнанный из неповоротливой Красной армии, в которой спиртным интересовались практически все, но только некоторым пришлось за это поплатиться.

Розовый, во всем болгарском, подошел к калитке молодой Орлов.

— Пропуск, — хриплым перегаром дохнул на него бывший военный и растрескавшейся, пылающей от жаркого солнца пяткой (кеды валялись рядом) наступил на собственный, только что сплюнутый окурок. — Гони пропуск.

— Какой? — злым молодым басом спросил широкоплечий Орлов.

— Иди на... — радуясь, что можно высказаться, ответил военный. — Кому говорю!

Кровь заиграла в его отравленном теле.

— А ты не выражайся, — прищурился Орлов и темными зрачками поймал на ветке сияющую ото лба до когтей беззаботную птицу. — А то сам пойдешь.

— Га... га... га... да... я т-т-те... кому, бля, сказа-а-а, — захрипел военный и приподнялся на своем когда-то коричневом стуле, — да-а я т-те, бля...

Неожиданно для такого, почти уже неживого человека, он размахнулся и изо всех сил оттолкнул Орлова от калитки, раскачав в его глазах мирную голубизну пруда.

Орлов не упал.

— Убью, бля-я, изур-род-д-ую, бля-я, — в восторге зарыдал военный и, обнажив младенчески розовые, со следами черных зубных корешков, десны, двинулся на Орлова со своими поднятыми, как в опере, дряблыми руками. — Да-а-а, га-а-а, я т-т-те-е...

— Спокойно, Гагарин, — приказал Орлов и, сжав молодецкий кулак, спихнул военного обратно на стул, — кому сказал!

— Ну, урою, — счастливым голосом вскрикнул военный, — ну, ты, бля, припер!

Он опять привстал и обрушил на Орлова несколько ударов сразу. Один из них пришелся по носу и был таким неудачным, что свежая, яркая кровь тут же бросилась из раздувшихся орловских ноздрей на болгарскую рубашку и всю ее перемазала. Орлов вытер кровь тыльной стороной ладони и ею же, тыльной стороной ладони, как гильотиной, срезал военному голову. Голова сделала естественную попытку отвалиться от остального туловища, но, поскольку ладонь молодого Орлова была все же не такой острой, как железо, шея бывшего военного чудом удержала голову на плечах, но сам он стал при этом дергаться, выпучил глаза и, прохрипев «бля, милицию!», опустил обратно на стул, потеряв ненадолго дар речи. Это обстоятельство позволило Орлову безбоязненно зайти на запрещенную территорию и быстрым своим взглядом окинуть ее всю целиком. Он увидел скамейку, вокруг которой валялись костлявые велосипеды, снятая с ног обувь, мячи и майки. Потом он увидел несколько мужских затылков, щек, плеч, рук и лодыжек. Все это двигалось и сверкало, страшно волнуясь оттого, что и на самой скамейке тоже находилось что-то вроде солнца, не такого, может быть, обширного и желтого, как небесное, но не менее небесного, жаркого и притягивающего. Орлов прищурился и мысленно приказал затылкам и велосипедам расступиться. Они расступились, и он увидел Чернецкую.

Ту, с которой у них был ребенок, которого не будет. Которую только что оперировали под марлями и трубками. Из-за которой он не заговорил до сих пор ни с одной из мелькающих мимо девушек. Ту самую Чернецкую, которая была его женщиной и стала женщиной благодаря ему.

Она сидела на скамейке в полосатом — синяя полоска, красная полоска — заграничном купальнике. Волосы ее были распущены, голова слегка — как она часто это делала — откинута назад, ноги вытянуты и положены одна на другую. Она задумчиво шевелила пальцами обеих ног, словно и ими прислушиваясь к тому, что, перебивая друг друга, заливали возбужденные ухажеры. Ярко окрашенные ногти ее ног блестели на желтом песке, словно кто-то рассыпал возле лавочки горстку красных бутонов. Орлов сделал шаг по направлению к ней и вдруг почувствовал, что ему нечем дышать.

«Это от крови», — быстро подумал он и провел рукой по ноздрям.

Крови уже не было, ноздри оказались сухими. Тогда он снял кеды, закатал сначала штаны, потом рукава рубашки (не выделяться, все-таки пляж) и быстро пересек разделяющее их нагретое и вязкое расстояние. Чернецкая увидела его, идущего к ней по песку, окровавленного, обзленного и босого. Она посмотрела на него секунду-другую не

отрываясь, и узкие глаза ее вдруг засинели, как у только что прозревшего новорожденного котенка. Она не приподнялась ему навстречу и не выразила радости. Напротив, брови ее стали обидчивыми, а губы скривились. Орлов не успел опомниться, как она перевернулась на лавочке, нарочито оказавшись к нему спиной, и капризно сказала прилипшему к ней мужичью с их брошенными вповалку велосипедами:

— Пошли в воду, я вся перегрелась.

И действительно пошла. Вытянулась во весь свой маленький рост — он увидел, что она стала шире, крупнее — и закрутила, зазвенела бедрами, обеими руками зашпиливая на макушке вьющиеся свои золотисто-ореховые волосы. Велосипедная братва, хрипя и постанывая, повалила за нею. Орлов остался стоять где стоял, чувствуя, что еще минута, и он весь одеревенеет от стыда. Она плыла в дымно-поблескивающей воде, стрекозы задевали ее своими капроновыми крыльями. Ее золотистый пучок, из которого выбилось несколько намокших и ставших от этого черными прядей, струился вслед пучку по воде и был единственным предметом, который различали его полуослепшие от горя глаза. Никого больше во всем голубом пруду. Никого на всем желтом песке. Потом он услышал пронзительный милицейский свисток и оглянулся. От калитки, прихрамывая в тесных зимних сапогах, торопился милиционер (Орлов не видел его лица, что-то красное), и за ним едва поспевал бывший военный, ежесекундно отплевываясь и делая весь чистый радостный песок вокруг себя грязным и отвратительным. Милиционер подошел первым и зачем-то скрутил ему руки за спиной. Орлов заметил, что верхняя пуговица милицейской формы расстегнута и торчит коричневый от несвежести, засаленный воротник рубашки с прилипшими к нему волосинками.

— Покажи пропуск, — приказал милиционер, ненавидя Орлова за молодость и хулиганство.

— Нет у меня никакого пропуска, — ответил Орлов, и в это время золотой пучок плавно развернулся в голубоватом дыму, а вместо него над водой закачалось ее лицо с удивлением и страхом в верхней своей части, там, где лоб и брови.

— Тогда пошли в отделение, будем составлять протокол, — сказал милиционер и, видимо, не разобравшись в том, что Орлов еще школьник, гаркнул на него невпопад: — Чем в армии служить, шляетесь тут, шпана, а служить за вас, придурков, другие будут?

Что-то свое мучило, скорее всего, старого несвежего милиционера — может, его сына, слабого здоровьем, забрали в армию, и отцу теперь хотелось, чтобы все молодые парни служили в ней, а не плавали под прозрачными стрекозами, или, может, он просто привык везде наводить свой грубый порядок, но только, налившись злобой по отношению к Орлову, милиционер, как пешку, развернул его на песке и начал толкать к калитке.

В перерыве между толчками Орлов оглянулся и увидел, что Чернецкая вылезла из воды. Он увидел, как она стоит мокрая, с бегущими по плечам золотисто-черными волосами, и плечи ее сверкают. Она стала шире в талии и круглее в бедрах, хотя прошел всего месяц с тех пор, как они расстались. Она не сделала ничего, чтобы помочь ему или хотя бы выразить бровями и губами то, что у них должен был быть ребенок, которого не будет. Она смотрела ему вслед, как дорогая, производства какой-нибудь демократической республики кукла с полки «Детского мира» смотрит вслед только что купленному дешевому клоуну, которого неторопливо укладывает в коробку сильно накрашенная и курящая девушка-продавщица.

«Так, — мысленно произнес Орлов и скрипнул зубами, разжевав соль своей засохшей на подбородке недавней крови. — Полный порядок».

«Вот такие мы все, люди, — думала бабушка Лежнева, глядя постельное белье и одновременно всхлипывая от постоянной своей тревоги за дочь и внука. — Что, я Кате разве имею право указывать? Я ей скажу: „Катя, его же воспитывать нужно!“ А она меня спросит: „Ты знаешь, как его воспитывать? И я не знаю. Потому что если им запретили в

Бога верить, то как же их теперь воспитывать?“ — „Всё любовью делается, — вот что я скажу Кате! — Ты только люби его, и я буду любить, и тогда, может...“

Она не успела закончить своей мысли, не успела даже вытереть с новой силой полившиеся на раскаленный утюг слезы, как соседка Надежда Федоровна застучала к ней в дверь из коридора. Бабушка Лежнева знала, что это она, Надежда Федоровна, потому что только она и стучит так — отрывисто, всем своим пролетарским кулаком: «Тттуккк!»

— К вам, — гаркнула Надежда Федоровна, — оглохли, что ли!

Отец Валентин, Катеринин многолетний любовник, огромный, располневший и все-таки красивый, как всегда, сильно только обрюзгший, решительно вошел к ней в комнату и, набычившись, устался на нее.

«Чего в нем нашла! — сверкнуло в голове бабушки Лежневой. — Мужик мужиком! Прости меня, Господи! Чтобы в таком грехе жить!»

— Добрый день вам, — низким красивым басом сказал отец Валентин, — помешал, извиняюсь. Катерину Константиновну мне нужно. По срочному поводу.

— Она ведь на работе, — чувствуя, как заколотилось сердце, ответила бабушка Лежнева. — Она через полчаса придет. Вы присядьте, пожалуйста.

— Замечательно, — кивнул он и, видимо, растерявшись оттого, что бабушка Лежнева молчит, громко спросил про молодого Орлова: — А парень ваш где? Сын? В пионерском лагере, что ли?

— Болтается, — грустно махнула рукой бабушка Лежнева. — Никого не слушает. Возраст. И, конечно, без отца. Вы меня понимаете...

— Никогда не знаешь, что к чему, — угрюмо ответил отец Валентин, — никогда. Потому что сейчас такие отцы, что лучше бы они поменьше вмешивались.

«Говори, говори, — подумала про себя бабушка Лежнева, — не будь тебя, так она, может быть, и встретила кого-нибудь, может быть, и замуж... А так — что? Всё псу под хвост!»

— Вы ведь действительно веруете? — спросил вдруг отец Валентин.

— Верую, — встрепелась бабушка Лежнева.

— Позвольте мне вам один вопрос задать. Как истинно верующему человеку.

Он напряженно посмотрел на нее. Бабушка Лежнева опустила глаза.

— Вы мне скажите: ощущаете вы Господа Бога нашего когда-нибудь? Так, чтобы рядом с вами? Чтобы никакого, — он повысил голос, — никакого сомнения в том, что рядом?

Бабушка Лежнева помолчала.

— Я вам так скажу, батюшка, — усмехнулась она наконец, — мы с мужем когда-то давно, в другой, можно сказать, жизни про это же самое говорили. Муж у меня человеком умным был, головастым. Сердце очень доброе. — Она быстро взглянула на батюшку. Отец Валентин сидел, свесив голову на грудь, дышал тяжело, как мамонт. — Муж тогда так сказал: есть люди дурные, и я их никаким образом любить не могу. Есть люди вообще мертвые. От них тоже надо подальше.

Он поднял на нее свое красное, расползшееся лицо:

— Мертвые?

— Мертвые, — вздохнула она. — Внутри у них мертвечина.

— Я ведь вас не об этом спросил, — раздраженно сказал он, — не о людях.

— А вы погодите, — совсем тихо перебила его бабушка Лежнева. — Мы с вами среди людей живем. Я иногда смотрю на кого и думаю: «До чего дурен! Сколько такой всего понаделает!»

— Ну? — Воспаленными глазами отец Валентин впился в ее старенькую шею.

— Так вот вы мне скажите: если я так людей сужу, это что значит? Значит, что я в Бога не верую? Или как?

— Говорите, говорите, — кивнул отец Валентин, словно начав о чем-то догадываться.

— Потому что если я так про людей нехорошо думаю, то какая же это вера? Это ведь значит, что я с Его волей несогласна? Или на этих людей не Его воля была? А чья тогда?

— Ну, чья... — сморщился отец Валентин. — А этот-то? Этого вы забыли?

— Этого? — тонким, как проволока, голосом повторила бабушка Лежнева. — Вот вы мне сами и назвали! Вот кто нас в покое не оставляет! Вот кого мы каждый день рядом чувствуем! Этого! А Он, — она подняла к потолку морщинистые веки и глубоко, всей своей костлявой и вытертой грудью, перевела дыхание. — Он редко сам приходит. Нас к себе ждет.

Отец Валентин передернулся.

— Нет, батюшка, — прошептала она, — я не о смерти сейчас. Я про жизнь. Он нас внутри жизни к Себе ждет. А мы как на углях. Нам не до Него. Больно далеко к Нему пробираться. Душа устает очень быстро. Вот мы и выдыхаемся. Тогда для этого уж совсем, можно сказать, полное раздолье. Бери нас тогда голыми руками.

— Погодите, погодите, — заторопился отец Валентин, — вы мне говорите, что если, значит, я этого чувствую и знаю доподлинно, когда именно этот ко мне пристает, то я тем самым подтверждаю, что я именно в Бога и верую? По-вашему, значит, пока я внутри себя границу между Ним и этим провести в состоянии, я, значит, еще могу себя верующим человеком числить?

— Да ведь вы, батюшка, священник, вам сомневаться...

Бабушка Лежнева хотела что-то еще важное произнести и уж сложила было для этого бледные свои губы, как вдруг в коридоре включилось радио и тугой, горячий, как свежее испеченный батон, голос популярного любимца публики Эдуарда Хиля во всю силу запел:

Забота у нас простая, забота наша такая:

Жила бы страна родная, и нету других забот!

И сне-е-ег, и-и-и ве-е-етер!

И-и звезд ночью-о-й па-а-алет!

Меня ма-а-ае сердце в тре-евожную даль за-а-вет...

Слезы закапали из глаз бабушки Лежневой.

— Видите? Вот у них, — она всхлипнула и быстро, крепко вытерла глаза передником, — вот у них какая забота! И никаких других нету! А он у нас мальчик, да без отца, да с этими вот песенками... Что с ним будет?

— У него мать есть, — с усилием сказал отец Валентин, — она умная.

— Да что мать! — бабушка Лежнева махнула по своей привычке рукой. — Про его мать вы, батюшка, мне-то не говорите, у нее у самой жизнь покалечена. Мы ведь с ним про самые главные вещи помалкиваем. Зачем его баламутить? Вся школа — атеисты, а наш что, белой вороной будет? Тоже ведь беспокойно.

И она опять вытерла глаза.

— Какая вы хорошая женщина, — словно удивившись, выдохнул отец Валентин и встал. — Я, наверное, ее уже не дождусь, Катерину Константиновну. Мне бы на автобус не опоздать.

— Вы сюда по делам заехали, в Москву? — спросила его бабушка Лежнева и тоже встала.

— К врачу приезжал, к частнику, — ответил отец Валентин, — расхворался я что-то. Спасибо за разговор. Но мы с вами, Бог даст, к этому еще вернемся. Упустили вы один момент. Говорите: люди вокруг скверные. Много. Верно. Мертвые среди живых тоже часто попадают. Согласен. Но как вы о себе самой думаете? И я? Как я себя самого сужу? Вот где загвоздка... С другими-то нам легче...

— Может, чайку подогреть? — нерешительно спросила бабушка Лежнева, но он уже вышел.

Высунувшись в раскрытое окно, до отказа забитое голубиным клетотом и ленивым теплом заходящего солнца, бабушка Лежнева увидела отца Валентина, в раздумье остановившегося у детской песочницы и словно бы одолеваемого сомнением — остаться или уйти. Наконец он, видимо, сдался, присел на край песочницы, достал из кармана носовой платок, промокнул им горячее и мокрое от пота лицо и как-то слишком внимательно, словно они чужие, рассмотрел со всех сторон свои большие руки. С третьего этажа глазастой и умной бабушке Лежневой было прекрасно видно, что отец Валентин переживает нелегкие мгновения душевной муки, и мгновения эти напрямую связаны с ее родной и единственной дочерью Катериной Константиновной. Разговор о вере в Бога, неожиданно затеянный отцом Валентином, в первую секунду даже испугал было бабушку Лежневу, которая, прожив пятьдесят лет среди большевиков, научилась к любому разговору относиться с недоверием и в любом собеседнике подозревать стукача.

«Монах, — подумала она, стоя за осторожно вздрагивающей занавеской, красной от яркого заката, — потому что Катя ведь говорила, что он постриг принял, и — что же? С каким он сомнением ко мне пришел, это же уму непостижимо! Но Катя-то! — Она всплеснула руками. — Катя-то ведь с ним как с мужем четырнадцать лет прожила, и уж она-то, с ее головой, — бабушка Лежнева мысленно увидела перед собой светловолосую, гордо закинутую Катину голову, — она бы ведь про его неверие прежде него самого догадалась! Или, может, они о таких вещах совсем и не разговаривают? Потому что ведь... отношения-то у них какие?»

Она покраснела от жгучего стыда за дочерние отношения с монахом, отцом Валентином, и новая, совсем уже невыносимая мысль змеею ужалила ее в самое сердце:

— Если с мальчиком нашим, — мучаясь, пробормотала она вслух, — что-нибудь дурное получится, если он не разберется, что к чему, или его, не дай Бог, в армию возьмут на китайскую границу, Катя ведь все с себя одной спросит! Чем мы за грехи-то ведь платим? Деточками...

Катерина Константиновна возникла под аркой, ведущей со двора на улицу, и в эту же самую минуту пошел дождь. Он был неожиданным, сильным и светло-красным от незашедшего солнца. Отец Валентин вскочил и, шумно шагая через вчера еще наполненные и слегка покрасневшие сейчас лужи, пересек двор, чтобы там, прямо под аркой, и предстать перед окаменевшей от его появления светловолосой Катериной Константиновной. Бабушка Лежнева не слышала, разумеется, о чем они говорят, но то, что она видела, повергало ее в глубокую тоску. Дочь Катерина Константиновна сперва отступила на шаг назад, потом сделала движение в сторону, стремясь, видимо, убежать от него, но отец Валентин схватил ее за руку, и — заныло сердце внутри бабушки Лежневой — Катя вся задрожала, как овечка, закрылась свободной рукой и замотала головой, что-то, наверное, бормоча ему сквозь слезы, в то время как сам отец Валентин, только что мучивший бабушку Лежневу вопросами веры, косолапо затоптался на одном месте и, совершенно забыв обо всем, что ему, монаху и духовному лицу, запрещается, поцеловал несколько раз руку Катерины Константиновны, которой она и пыталась от него отгородиться.

— Сохрани, Господи, — простионала бабушка Лежнева, опуская занавеску, потому что все, что ей было нужно, она уже увидела. — Прости меня за нее. Дальше бы только не пошло... С мальчиком. Спаси и пронеси, Господи, и да будет воля Твоя...

Август был холодным, много пролилось дождей, и леса сразу встревожились, вспомнили о зимней вьюге, о мертвом, убитом, застылом, через что им придется вскоре пройти вместе со всей Божьей тварью, из которой уцелеет только одна половина, а другая захлебнется голодом, выстудится до последней шерстинки и покорно вмерзнет в ледяную поляну, неловко подвернув под себя кто коготь, кто хвост, кто целую голову с погасшим и закотившимся глазом. Леса в отличие от садов, легкомысленных и капризных, обо всем этом вспомнили заранее и сразу затосковали, выплонули из земли горькие грибы — поганки, распеленали всех своих куколок, и по мокрым травам поползли высвободившиеся из пеленок последние невзрачные бабочки, похожие на поздних, никому не нужных дочек многодетной семьи, которым уже ни молока материнского, ни отцовской ласки не достанется. В самом конце августа начали съезжаться в город дачники — кто на «Победе», кто на «Москвиче», кто на «Волге», — все шоссе были битком забиты, а перед каждым шлагбаумом приходилось стоять не меньше двадцати минут, вдыхая бензин и провожая глазами однообразные движения стрелочника.

У Стеллочки, как всегда, времени не оказалось, и утром двадцать восьмого августа, дотавившись наконец в город с Николиной Горы и не разобравшись даже как следует, Марь Иванна отправилась вместе с Чернецкой в «Детский мир», чтобы купить все необходимое для подступившего вплотную нового учебного года. Во-первых, нужно было купить платье. Коричневое, глухое, слепое и скучное, закрывающее колени, и к нему два фартука, белый и черный. Кроме того, манжеты и воротнички. Белье, колготки и обувь у Чернецкой были свои, то есть купленные в магазине «Березка» на честно заработанные Стеллочкой сертификаты.

В «Детском мире» толкались приезжие с разбухшими баулами, мешками и рюкзаками. Они часами простаивали в многоголовых очередях и пили невкусную московскую воду в уборной на первом этаже. Старухам, особенно из Узбекистана и Таджикистана, с их полными коричневыми ногами, еле влезшими в разношенные тапочки, изредка становилось плохо от духоты, так что они садились прямо на ступеньки между этажами и ловили остатки воздуха растрескавшимися губами. Внучки с засаленными черными косами махали перед их лицами вчерашними газетами. На тех же ступеньках молодые матери, крепко держа за руку свою старшенькую или старшенького, кормили при этом младшеньких, и груди их, наспех вынутые из уже липких от молока сатиновых кофточек, ни у кого из проходящих по лестнице не вызвали ни любви, ни интереса. Во всем большом и темноватом здании «Детского мира», внутри которого постоянно кто-то терялся и тусклый, лишенный любви и нежности женский голос монотонно объявлял, что девочку Таню Смирнову или мальчика Митрофанова Петю разыскивает отец, гражданин Смирнов, или мать, гражданка Митрофанова, — во всем этом здании стоял густой чад родительской заботы, которая металась от прилавка к прилавку, изо всей силы дергая за руку бледную свою детку, орала на ее младенческую нерасторопность, заискивала перед лохматыми продавщицами, оскаливалась на другую, такую же, как она, родительскую заботу и часто даже отпихивала наглуую кулаком в грудь, вступала с ней в бестолковый рукопашный поединок, так что приходилось — если сами не успокаивались — вызывать милицию.

Скучающая Чернецкая покорно встала рядом с сильно вспотевшей Марь Ивановой в хвост влажной человеческой очереди и, простояв уже минут двадцать, неожиданно увидела, как от прилавка напротив выдирается из густоты давящих друг друга покупателей красная Юлия Фейгензон с мученически полуоткрытым ртом, а за ней, изо всех сил работая локтями, выдирается ее мать, совершенно растрепанная, в съехавшей

набок байковой кофте. Узкоглазая Чернецкая и простодушная Фейгензон пересеклись зрачками, и Чернецкой почему-то страшно захотелось отвернуться, вовсе не узнать Фейгензон, потому что за именем Фейгензон поднялось недавнее летнее прошлое, засветилась луна над измятой травой оврага, загремели соловьи, и руки молодого Орлова заскользили по ее телу. Чтобы погасить эту вспышку памяти, Чернецкая решила было не заметить Фейгензон, но та, замахав радостно поднятыми руками и обдавая непривередливых соседок запахом пушистых подмышек, уже проталкивалась прямо к ней, звеня на весь магазин своим глуповатым, приятным голосом:

— Наташка-а-а!

Она продралась наконец и тут, как это всегда бывает с людьми, не умеющими предугадывать последствия своего поступка, остановилась, сильно смутившись от неприветливого взгляда Чернецкой.

— Здравствуй, — холодно сказала Чернецкая, — ты что тут делаешь?

— А у меня сносилось все, — весело сказала недавняя пьяница и участница суеверных деревенских сборищ Фейгензон, — мы в прошлом году ничего не покупали, бабушка умерла в Минске, и поэтому мы все, это, деньги, ну, которые были, все на похороны пошли, а мне сказали «донашивай», ну и я, это, доносила, конечно, так их, — она кивнула в сторону своей отгесненной толпой матери, которая все еще работала локтями, — предков, их два раза к Людмиле Евгеньевне вызывали, почему у меня такая форма старая, так мы поэтому купили только фартук в прошлом году, шикарный такой, ты помнишь, с крылышками, он мне все прикрыл, ну, а в этом году уж надо, конечно, было все новое, и, ну, это, мать говорит: «Давай сегодня поедem, я отгул возьму», и мы приехали, а ты что здесь делаешь?

— За платьем стою, — ледяным голосом ответила Чернецкая. — Я форму два раза в год новую покупаю, нельзя же столько времени одно и то же носить...

— Так у тебя ведь отец-то сколько зарабатывает? — вздохнула темноглазая Фейгензон. — Я бы на твоём месте вообще каждую неделю меняла!

Чернецкая не нашлась, что ответить, и только раздражительно пожала плечиками.

— Слушай, Наташ, — понизила голос Фейгензон, — я тут Таньку Карпову с Валькой Птицей встретила, они говорят, у тебя, это, ну, выкидыш был. Правда?

Хорошо, что Марь Иванна в эту минуту оказалась не в хвосте очереди, где стояла Чернецкая, а в самом начале ее, высматривая сквозь чужие локти, шеи и волосы, остались ли еще в продаже платица с плиссированными юбками. Она не видела того, как подошла Фейгензон, и тем более не слышала того, о чем она спросила. Сама же Чернецкая хотела сразу оттолкнуть Фейгензон, или убежать из «Детского мира», или, лучше всего, вообще провалиться сквозь землю после такого вопроса, но почему-то не провалилась, не оттолкнула, никуда не убежала, а только еще больше сузила глаза и неожиданно для самой себя ответила так:

— Ты, кажется, Юля, не помнишь, что с тобой-то в лагере было? Или мне во сне приснилось, как кое-кого пришлось из лагеря в Москву отправить? После комсомольского собрания? И кто-то даже вино пил в лесу с ребятами из деревни, и не только вино пил, а...

— Наташ! — всплеснула руками простодушная Фейгензон. — Да ведь хорошо, что у нас с тобой по любви это, ну, все вышло! Ты ведь Генку Орлова любишь? Ну, или, это, любила, в общем? Ну, вот. И он тебя любил. И мы с Федей по любви. А по любви, скажи, Наташ, не больно ничего, правда? А без любви — не так. Вон Ольку, у нас во дворе, отец изнасиловал, ну, это, он и не хотел, а так, по пьянке, пришел ночью со смены, мать в деревне была, ну, он бутылку выпил и... Так у нее там все разорвалось, у Ольки-то, в больнице потом зашивали!

— Как, отец? — вытаращила глаза Наталья Чернецкая. — Такого же не бывает!



— Прямо, не бывает! — вздохнула грустная Фейгензон. — Мы думали, его за такие дела в рудники сошлют, а он в тюрьме полгода побыл и опять вернулся. Не знаю, как это вышло. А потом под поезд попал. Пьяный, конечно. Голову отрезало.

— А Оля? — пробормотала Чернецкая, прожигая толстую Фейгензон своими посиневшими от разговора глазами.

— Оля жуть как плакала. Обревелась вся. Они, как гроб из морга понесли, они с ее матерью так рыдали, ты что!

Чернецкая не нашлась, что ответить.

— А потом ты вот говоришь: «аборт», — рассудительно продолжала Фейгензон, хотя Чернецкая ничего не говорила и молчала. — Я точно, Наташ, узнавала: у любой замужней от пяти до двенадцати, это, ну, аборт бывает. Я точно знаю.

— В год? — в ужасе спросила Чернецкая.

— Ты что! Не в год, а за все время, пока она с мужем живет, ну, это... как ты с Генкой.

— Слушай, помолчи, а? — страдальчески прошептала Чернецкая и ровно таким же жестом, как это делала Стеллочка, когда ругалась с гинекологом, прижала к вискам указательные пальчики. — Ты-то что собираешься делать?

— Я-то? — мечтательно сказала Фейгензон. — Я бы хоть сейчас за Федора вышла. А что? Красиво... Свадьбу можно сыграть очень шикарную. В ресторане, например, на Калининском, или, это, в кафе где-нибудь. Представляешь? Платье белое и до самого пола, конечно, букеты, это, ну, и на голове — фата, представляешь? Потом к Вечному, это, солдату, можно поехать. Там фотографироваться тоже...

— К огню, а не к солдату, — сухо поправила Чернецкая. — Вечных солдат ты где видела?

— Да какая разница! — пылко возразила Фейгензон. — Нет, я, правда, если б можно, завтра бы замуж пошла, это точно. За Федора, конечно. Другие парни мне все до лампочки.

Чернецкая почувствовала, что глупые слова этой Юлии Фейгензон вдруг перестали раздражать ее, потому что первый ужас стыда постепенно угас и на смену ему пришел жгучий, звериный интерес к тому, что еще знает дура Фейгензон такого, чего не знает она, Чернецкая. Потому что ее, Чернецкую, никто и никогда не отпускал во двор погулять просто так, потому что Марь Иванна всю жизнь торчит где-нибудь поблизости!

— Ну, замуж у тебя не получится, — прошептала она, следя за тем, как у Фейгензон темные глаза медленно наливаются слезами от этих слов. — Ты даже и не рассчитывай. А без замужа что ты будешь?

На это Фейгензон вдруг быстро приблизила мокрые губы к самому уху Чернецкой, обдала ее крепким запахом баклажанной икры с черным хлебом и зашептала:

— Федя уже ко мне приезжал. Нет, правда! Он меня через тетку разыскал. Тетка у меня на вокзале работает, в киоске. Я прямо так и села, когда он на кухню вошел!

— Ну и что? — не поняла Чернецкая.

— Что — что? — передразнила Фейгензон. — То! Мы с ним живем, понимаешь? Мы с ним все равно что муж с женой! Нам только зарегистрироваться — и всё! Через два года, Федор говорит, регистрируют, никуда не денутся! А как регистрируют, я ребеночка рожу! Ждать будем вместе отца с армии!

Во все глаза смотрела остолбеневшая Чернецкая на Фейгензон, и черная злоба раздавливала ей сердце.

Фейгензон хотела родить «ребеночка» и вместе с ним ждать из армии Федора Подушкина, «ребеночкиного» отца, а у нее, у Чернецкой, только что был этот... как это...

«выкидыш», но он тоже был «ребеночек», а после «выкидыша» на пруд пришел его отец, Геннадий Орлов, и она на него даже не взглянула. И как ужасно все это перепуталось в ее жизни! Голову, Фейгензон сказала, отрезало... кому? Олькиному отцу, и она ревела, когда его понесли, а у нее, у Чернецкой, тоже есть отец, который в белом халате делал ей операцию, и потом этот, другой, Геннадий Орлов, отец того, которого дура Фейгензон назвала «выкидышем», он пришел на пруд, а Подушкин тоже взял и пришел к Фейгензон на кухню, но они теперь как муж с женой, и Фейгензон будет ждать его из армии, а она, Наташа Чернецкая, даже и не взглянула на Орлова, потому что у них все кончено и никакого «ребеночка» никогда не будет, один этот был (девочка или мальчик?) «выкидыш»...

Чернецкую вдруг затошнило, и все закачалось перед ее глазами — худой узбек с мешком на плече, полураспущенная коса Фейгензон, потекшее на чью-то белую блузку желтое мороженое, — ото всего этого запахло жирной черно-красной кровью, которая полилась из нее утром, перед самой больницей, она почувствовала, что падает, сейчас упадет, и действительно начала медленно клониться в сторону, на чей-то незнакомый, острый, будто из железа сделанный локоть... — Наташа! — закричала Марь Иванна, обеими руками раздвигая людей так, как в чаще раздвигают ветки деревьев, чтобы сделать шаг. — Наташечка моя! Наташечке плохо! Да пропустите же вы, уроды!

Галина Аркадьевна и Нина Львовна после той ночи, когда Галина Аркадьевна, съевши черничного пирога, свалилась на просеке под луной и померещилась ей родная маленькая девочка, не просто возненавидели друг друга, нет! Они готовы были друг друга убить, разодрать на кусочки, исцарапать в кровь, втоптать в землю! О, и с наслаждением, с наслаждением! От всего сердца! Нине Львовне даже начал сниться один и тот же сон: она будто бы спускается по высокой мраморной лестнице, в таком прекрасном блестящем платье, которого у нее отродясь не было, и лестница тянется бесконечно, вся белая, вся мраморная, как в Колонном зале Дома Союзов. Нине Львовне хочется, чтобы лестница уже кончилась — нужно же дойти куда-нибудь и показать, какое у нее новое платье, но тут она видит перед собой толстого негра, который висит в воздухе. То ли летает, то ли плавает. Нина Львовна сразу же почему-то понимает: никакой это не негр, а именно Господь Бог, в которого она, Нина Львовна, никогда не верила и верить не собирается. Прикинулся толстым негром, чтобы доказать, что Он все-таки есть, а ее обманули. Ужас охватывал Нину Львовну такой, что волосы на спящей голове вставали дыбом. Да за такое сновидение можно из партии полететь! А жить без партии Нина Львовна не будет. Лучше смерть. Умрет Нина Львовна, как один умрет, а без партии не останется.

Ах, если бы можно было проснуться по желанию, но ведь нельзя! И приходилось все спускаться по долгой мраморной лестнице, а жирный негр все болтался в воздухе перед глазами и требовал (хотя и молча, молча), чтобы Нина Львовна вслух произнесла свое самое заветное желание! И Нина Львовна сдавалась, обмякала вся, садилась прямо на ступеньку в новом платье и покорно шептала: «Забери Галину, Господи, Боже миленький!» — а потом начинала кричать, воспалялась вся во сне, вскакивала, пыталась вцепиться в толстого этого обеими руками, но Он приподнимался в воздухе, усмехался прямо в лицо Нине Львовне, и чем больше она кричала: «Забери Галину, Боженька!» — тем туманнее и дальше Он становился...

Пока не таял в воздухе окончательно. Тут Нина Львовна просыпалась, не переставая при этом кричать и плакать.

Отвратительный кошмар начался в середине августа, когда они с Галиной Аркадьевной столкнулись в только что покрашенном ядовито-синей краской школьном вестибюле и тихонечко, словно замороженные, кивнули друг другу. И тут же разошлись в разные стороны, хотя им было нужно обеим в одно и то же место, а именно в учительскую. В учительской-то и случилось неприятное: посвежевшая за лето, в оранжевой губной помаде, Людмила Евгеньевна сообщила, что в середине сентября в Москву приезжает

группа молодых английских школьников в целях ознакомления с нашей жизнью. Нет, не из Лондона, а из Манчестера. Но Манчестер тоже Англия, и ничуть не меньше. Одиннадцать человек плюс два педагога. И они придут прямо в школу и будут у нас в школе, в нашем буфете, завтракать! А потом пойдут знакомиться с нашими ребятами, посидят на уроке английского языка. А через два дня этих одиннадцать школьников нужно пригласить в гости к кому-то из ребят домой, на квартиру. И напоить там чаем, показавши при этом, как живет обычная советская семья. Необязательно всех в одну квартиру. Можно их разделить: пятеро в одну, а шестеро в другую. И педагогов разделить: одного — туда, а другого — наоборот. А на следующий день одиннадцать наших девочек пойдут с ними на балет в только что открытый Кремлевский Дворец съездов. Каждому английскому школьнику — по русской девочке. Плюс два педагога. На «Бахчисарайский фонтан». И наконец, будет последний заключительный вечер в гостинице «Юность», куда пойдут те же самые одиннадцать девочек, чтобы они пообедали (плюс два манчестерских педагога, плюс четверо наших учителей, плюс одиннадцать молодых английских школьников) в ресторане гостиницы «Юность». В-в-вот так.

Закончив эту взволнованную речь, Людмила Евгеньевна задохнулась и бородавчатыми своими пальчиками сняла очки.

— Почему же именно нас отобрали? — удивленно, тонким для мужчины голосом пропел Роберт Яковлевич. — Мало разве других школ?

— А чем мы хуже? — не выдержала Зинаида Митрофановна. — Только тем, что в себе самих не уверены, как я погляжу!

— Прекратите этот разговор, — строго, как детям, приказала Людмила Евгеньевна. — Я вам могу ответить, Роберт Яковлевич: потому что мы вышли в победители коммунистического соревнования школ Ленинского нашего района, вот почему!

— У меня вопрос, — мрачно пробасил физкультурник Николай Иваныч и трясущимися после летнего отдыха пальцами изобразил в воздухе знак вопроса, — а на хрена они к нам едут? Из своего Манчестера?

Педагоги недовольно зашумели.

— Вы дикарь, Николай Иваныч, — вскрикнула импульсивная Галина Аркадьевна, — неужели вы думаете, что если едут товарищи из капиталистической страны, то мы должны повернуться к ним спиной? И только за то, что им не повезло! Что они родились не в Москве, не на Урале, не на нашей красавице Волге, а где-то у черта на куличках!

— Ну, — не сразу нашелся Николай Иваныч, — а я вот и спрашиваю: на хрена?

— Это не нам с вами решать, товарищи, — спохватилась Людмила Евгеньевна, — за нас с вами, товарищи, партия решит, кому приезжать в нашу страну и кого мы приветствуем, а кому решительно говорим: «Убирайтесь в свою Америку!» Или даже не в Америку, а вообще «убирайтесь». Если партия считает, что английским ребятам нужно познакомиться с нашей жизнью, то мы только исполним волю партии, вот и всё. Обсуждать тут нечего.

«Нечего!» — совершенно забывшись, передразнил злобный и несговорчивый Николай Иваныч. — А потом на своих ребят обижаемся, что они на этих козлов стали похожи! На патлатых этих! — И, безобразно открыв рот, будто он беззвучно поет какую-то вызывающую и глупую песню, закатил глаза и руками изобразил, какие у него будто бы длинные, непричесанные волосы. — Вот вам и «нечего!»

— Так что, товарищи, — высокомерно отвернулась от него Людмила Евгеньевна, — первого сентября собираем в зале оба восьмых класса и проводим с ними ознакомительную информацию. А вы, Галина Аркадьевна, и вы, Нина Львовна, обсудите между собой, кого из своих девочек вы хотели бы привлечь к знакомству с английскими ребятами и чтобы... Ну, вы понимаете... Чтобы все было, как говорится, в порядке.

— В ажуре, — встрял опять Николай Иванович, — чтобы чего не вышло... Манчестерского...

Не глядя друг на друга и тяжело дыша от ненависти, Галина Аркадьевна и Нина Львовна остались сидеть на диване в учительской. Все остальные разошлись.

— Вы слышали, что сказала Людмила Евгеньевна? — не поднимая глаз, спросила Галина Аркадьевна.

— Я не глухая, — ядовито ответила Нина Львовна. — Кого из девочек своего класса вы пошлете на знакомство с англичанами?

— Белолипецкую, Чернецкую, Воронок, Ильину и Птицу, — перечислила Галина Аркадьевна. — Разумеется, не Соколову! И не Аленину!

— Тогда с моей стороны будут Панкратова, Коган, Карпова Таня, Васильева и Бендерская.

— Вы же знаете, Нина Львовна, что у моей Белолипецкой непростые отношения с вашей Карповой Татьяной! Вы же помните, как ваша Карпова обозвала Лену Белолипецкую глухой тетерей? Или вы предпочитаете того, что вам неприятно, не помнить?

— Я бы, — тяжело, как дракон, задышала Нина Львовна, — я бы, Галина Аркадьевна, дорого бы отдала, чтобы кое-что забыть! А вот не забывается! Вот никак не забывается!

— Это вы на что намекаете? — побагровела Галина Аркадьевна и сквозь брусничную красноту, неожиданно заставшую зрачки, с трудом обнаружила, что у Нины Львовны два больших хрящеватых носа. — Это вы, может быть, объяснитесь напрямую?

— Что уж тут объясняться, Галина Аркадьевна, — сказала Нина Львовна, — хотелось бы мне забыть, как взрослый один человек, и между прочим женщина — да, Галина Аркадьевна, между нами говоря, женщина! — весь обоссанный, извините меня за прямоту, является в два часа ночи в палатку, в которой не может заснуть другой, между прочим, педагог, и...

— Сука, — тихо перебила ее Галина Аркадьевна. — Я тебе, сука, никогда этих слов не забуду!

— Посмотрим, посмотрим, — начала было Нина Львовна, но дверь в учительскую распахнулась, и Людмила Евгеньевна в наполовину съеденной оранжевой помаде влетела в комнату с такой скоростью, словно кто-то размахнулся и, как мяч, закинул ее сюда из коридора.

— Ой, хорошо, что я вас еще застала! — звонко сказала она. — От вас сейчас очень многое зависит. Главное, чтобы никаких провокаций! Все провокационные вопросы должны быть уничтожены в своем уже зародыше! Мы должны отвечать на них так, чтобы любой иностранец понял, что мы ничего не боимся и скрывать нам нечего! Мы ведь не спрашиваем у них про их дела? Так? Мы ведь не спрашиваем?

Галина Аркадьевна и Нина Львовна, едва не вцепившиеся друг другу в волосы, медленно подняли на нее мутные и измученные свои глаза.

— Нужно подготовить девочек, — деловито понижая голос, сказала Людмила Евгеньевна. — У каждой предварительно спросить, в чем она собирается прийти на встречу с иностранцами. В формах нельзя, мне в роно объяснили. Тогда в магазин. В «Машеньку». Там продаются приличные вещи. И о-о-очень приличные! С длинным рукавом. Все равно пригодится. Потому что у нас же вечера будут. Пусть сейчас купят.

— Ясно, — хрипло пробормотала Галина Аркадьевна, — пусть.

— В гости англичан можно пригласить к Наташе Чернецкой, — сказала Нина Львовна. — И я спрошу, может быть, ее мама Стелла Георгиевна отберет какую-то одежду, из Наташиной, для кого-то еще. Потому что это же на один всего вечер! Не все же побегут в «Машеньку»!

Первого сентября Орлов, подходя к зданию школы, выбросил в урну пучок лиловых флоксов, завернутых бабушкой Лежневой в размокшую газету, и пришел в актовЫй зал на линейку с пустыми руками. Вопрос о его переводе как-то сам собой замаялся, и никто из взрослых к нему не возвращался. Орлов заранее продумал свое поведение. Немедленно и на ее глазах. В первый же день. С Томкой Ильиной. Во-первых, потому что она была освобождена от лагеря, уезжала куда-то на все лето и, стало быть, ничего про него не знала, во-вторых, потому что у нее красивая фигура, и в-третьих, потому что у нее родители работают в Швейцарии. Туфельки у Томки Ильиной были еще нежнее, чем у Чернецкой, и, когда она шла в зал на физкультуру, эти только что снятые с ног розовые или голубые туфельки стояли рядом с лавочкой, как только что раскрывшиеся бутоны. Лицом Томка нравилась ему гораздо меньше, но, думал Орлов, замирая от распирающей его изнутри злости, если ее раздеть, пусть будет Томка, сойдет. На линейке оба восьмых класса услышали сообщение про молодых англичан, которые приедут сперва завтракать, а потом развлекаться с девочками на балете «Бахчисарайский фонтан» и в ресторане. Девочки побледнели, втянули молодые животы внутрь, торопливо поправили волосы. Орлов заметил, что почти все пришли в школу накрашенные — у кого ресницы, у кого уголки глаз, а у некоторых даже помада. Галина Аркадьевна и Нина Львовна тоже заметили, что девочки недаром провели без них лето, и Галина Аркадьевна, вытащив из кармана не вполне свежий носовой платок, прошла по рядам и каждой размалеванной безобразнице собственноручно и не говоря ни слова стерла с лица всю подлую краску.

Орлов подошел вплотную к Ильиной и прошептал ей в затылок:

— Мы без вас скучали.

И Ильина вспыхнула ярче, чем те георгины, которые к празднику первого сентября купила на Черемушкинском рынке ее чудом залетевшая из Швейцарии ненадоедливая мама.

Орлов облизнул губы.

— Я занимаю для нас шестую парту в середине. Пойдет?

Ильина упорно смотрела в сторону.

— Только не приставать! — бархатно прогудел Орлов. — Не приставать и не щекотаться! Я боюсь щекотки.

— А как же Наташа? — спросила взволнованная Ильина.

— Кто-кто-кто? — прищурился Орлов. — У нас в песочнице была одна Наташа. Так ведь когда это было? Ах, детство, детство! Золотое времечко!

Общее собрание для обоих классов проводилось совместно Ниной Львовной и Галиной Аркадьевной. Орлов осторожно дышал в растрепавшийся рыжеватый затылок Ильиной. Чернецкая стояла чуть-чуть левее с застывшими от обиды узкими глазами.

— В нашей школе, — звонким голосом, подражая удачливой Людмиле Евгеньевне, сказала Нина Львовна, — готовится большое и радостное событие. К нам едут молодые английские школьники из Англии. Чтобы познакомиться с нами и нашей страной. И мы никому не позволим ударить, как говорится, в грязь лицом. И при этом опозорить имя комсомола. Мы должны дать понять каждому иностранцу, пришедшему к нам из любой точки земного шара, как мы счастливо и дружно живем в нашей стране и как нам повезло.

— Можно вопрос? — Соколова выкатила вдруг остекленевшие голубые глаза. — Совсем маленький!

— Ну? — напряженно спросила Нина Львовна.

— А если они вдруг спросят, чем нам так повезло? Ну, типа того, что перечислить.

— И тебе, Соколова, нечего перечислить? — побагровела Нина Львовна. — Ты не знаешь, чем нам всем повезло?

— Если они, например, придут ко мне, например, в гости, да? — продолжала Соколова. — А у нас нет отдельной квартиры? И сосед алкаш такой, что если он выйдет в кухню, так это всё, в общем, конец. А я им должна что-то объяснить, так? Так вот я и спрашиваю: как мне объяснять-то?

— У нас же была война! — закричала Нина Львовна. — Мы спасали мир от фашизма! И спасли мир от фашизма! А если бы не мы, не героические усилия советского народа, не подвиги наших простых советских людей — каждый день, в любом месте! — если бы не это, я бы посмотрела на них на всех! С их бассейнами! И автомобилями! Да, Соколова! И именно так ты и должна будешь им объяснять! Что мы спасали мир от фашизма, пока они катались на своих автомобилях! Ясно тебе, Соколова?

— Ясно-о-о, — протянула отвратительная Соколова и голубыми своими, остекленевшими глазами плотоядно сверкнула, как кошка, дорвавшаяся наконец до селедочных объедков.

— Соколову к англичанам не подпускать, — не разжимая губ, выдавила Галина Аркадьевна в прыгающую щеку Нины Львовны. — Ни под каким видом.

— А то я без вас не знаю, — прошипела ей в ответ Нина Львовна и тут же опять сделала звонким и молодым свой невыразительный от природы голос. — Ребята! Кто из вас хочет, чтобы молодые английские школьники пришли к нему домой? Поднимите руку!

Чернецкая осторожно подняла ладошку.

— Можно к нам. У нас отдельная квартира.

— А ты чего? — прошептал Орлов в рыжеватый затылок Ильиной. — У вас ведь небось тоже отдельная.

— К нам тоже можно, — торопливо сказала Ильина. — Мы только что закончили ремонт.

— Ну вот и прекрасно! — полной грудью вздохнула Галина Аркадьевна. — Вот и прекрасно! И вы, девочки, конечно, сделаете там чай, и что-то нужно организовать будет к чаю, ну, я рассчитываю, что родители вам помогут, может, Мария Ивановна, ваша домашняя помощница, Чернецкая, может быть, она даже что-то испечет для наших английских гостей, и у тебя, Ильина, тоже, может быть, кто-нибудь что-нибудь испечет...

— Мы не печем, — вспыхнула Ильина, — мы в «Березке» отовариваемся, на сертификаты...

— Ну, — окаменела от такой откровенности Галина Аркадьевна, — это ваше, Ильина, дело! Мне кажется, что свое, домашнее, своими собственными руками сделанное, всегда намного лучше...

— Нет, — покачала головой Ильина, — там хороший ассортимент, особенно в том, который напротив метро «Спортивная»...

— А меня угостишь? — прошептал Орлов в ее рыжеватый затылок. — Я что-то давно на сертификаты не отоваривался...

— Мальчики не будут принимать участия в этих двух мероприятиях, — Галина Аркадьевна скосила глаза на барабан, розоватый от падающего через окно солнца. — Но когда молодые английские школьники придут к нам на завтрак, мальчики тоже будут показывать им нашу школу, и вообще... Они тоже будут присутствовать при том, как...

— ...англичане разбирают по рукам наших девочек, — еле слышно закончил Орлов внутрь нежных рыжеватых волос Ильиной. — А лучше бы, вместо завтрака, накостылять им как следует, чтобы они помнили, какие у нас тут завтраки!

Соколова, стоящая через одного человека, расслышала и громко расхохоталась.

У Галины Аркадьевны совсем сдали нервы.

— Вон! — закричала вдруг она страшным, не своим голосом и вся затряслась. — Немедленно вон, Соколова! И дневник на стол! И без матери завтра не появляйся! Ты у меня еще посмеешься!

На загоревшей во время лета физиономии Соколовой вспыхнули эти остекленевшие глаза.

— Лан-н-н-но, — медленно пробормотала она и вышла неторопливо фальшивой, раскачивающейся походкой.

«А может, лучше с Анькой начать, чем с этой?» — сверкнуло в голове Орлова, но он тут же отказался от этой мысли.

Соколова была «своя», в то время как Чернецкая и Ильина были «чужими», и представить себе, что он раздевает Соколову, «свою в доску», друга, товарища, было почти то же самое, что представить себе, как он раздевает Куракина или Лапидуса. Но было и еще одно, не менее важное соображение: если бы он вдруг «начал» с Соколовой, Чернецкая не была бы задета так сильно, она поняла бы, что он просто хочет ей отомстить, в то время как Ильина должна была вызвать в ней целую бурю, потому что тут его любовь и измена помножились на каждую голубую туфельку, каждую заколочку, каждую полоску жевательной резинки. Короче, в этой ситуации не было проигрыша, и она должна была почувствовать не только то же самое, но еще и в сто раз больше, чем почувствовал он тогда, когда пахнувший вонючими сапогами милиционер уволокивал его с озера и он повернул голову, чтобы увидеть, как она стоит — маленькая, со своими налитыми круглыми бедрами, со своей полосатой — синяя полоска, красная полоска — вздрагивающей грудью, по которой бежит вспыхивающая от солнца озерная вода...

Через два дня, то есть третьего сентября 1966 года, вечером, часов в восемь, он лежал рядом с голой Томкой Ильиной на огромной, черного лакированного дерева, кровати ее родителей в их большой, с букетом искусственных желтых цветов, спальне, и Томка, только что ставшая женщиной, обморочно-сладко спала на его мускулистом плече. Машинально он прижимал ее к себе, но чем крепче он ее прижимал, тем больше ему хотелось то ли плакать, то ли дико, до хрипа смеяться, и единственное, чего он желал сейчас, что могло бы принести ему успокоение, было бы присутствие в этой самой спальне маленькой узкоглазой Чернецкой. Вот прямо тут, на этой же самой черной лакированной кровати.

Чтобы она видела все, что он делает с Томкой, и умирала от боли.

### Часть третья

Молодые английские школьники подкатили на туристском автобусе. Первым из него выпрыгнул коренастый старик со спуганной седой бородой, в маленькой клетчатой юбочке и зеленых гольфах. Оба восьмых класса, прилипших носами к окнам актового зала, покатались со смеху.

— Не смей смеяться! — возопили Галина Аркадьевна с Ниной Львовной. — Молчать! Человек вас уважает, вот почему он так одет! Это его национальный шотландский костюм! Он оказывает нам свое уважение тем, что так одевается! И он хочет, чтобы мы тоже уважали его традиции! Шотландские! Там все в таких юбочках! До единого! Молчать!

— Пойти кокошник надеть... — задумчиво и еле слышно протянула Соколова. — Уважение показать...

Вслед за стариком по ступенькам спустился жеманный длинноволосый молодой человек в сером неряшливом свитере, с разлохмаченной холщовой сумкой через плечо. Нина Львовна и Галина Аркадьевна испуганно переглянулись.

— Это их педагоги, — горько вздохнула Людмила Евгеньевна. — Мне в роно говорили, что такие вот педагоги с ними приехали... Что же делать...

Зинаида Митрофановна с трудом сдержала себя: больше всего ей хотелось уйти и хлопнуть дверью.

— Я извиняюсь, — сипло пробормотал Николай Иванович, единственный не пожелавший празднично нарядиться и пришедший на встречу с английскими школьниками в синем тренировочном костюме с пузырями на коленках. — Извиняюсь, конечно. А трусы-то он носит под юбкой или так ходит?

Нина Львовна сделала физкультурнику страшное лицо, а Людмила Евгеньевна с покрывшейся красными пятнами шеей замахала на него обеими руками.

— Не советую вам проверять, Николай Иванович, — безо всякого юмора сказала Зинаида Митрофановна, — они приехали и уедут, а нам с вами тут оставаться.

Роберт Яковлевич скосил на нее потемневшие от беззвучного смеха глаза и осторожно покашлял в отросток своей левой руки.

Из автобуса тем временем выпрыгнули все без остатка молодые английские школьники. Сердца Нины Львовны и Галины Аркадьевны одновременно оборвались. Ужасны были эти манчестерские пришельцы, ужасны! Безо всякого уважения к стране, в которую их привезли и с которой они сами же, сами, мы ведь не навязываемся! — хотели познакомиться поближе. В юбках, правда, никого больше не было, кроме сумасшедшего старика, но и без юбок хватало. Во-первых, эта развязность. Недопустимая! Вылезли из автобуса кто в чем: у кого необъятные штаны по земле волочатся, у кого, наоборот, джинсы дудочками, и задницы в этих дудочках получают обтянутые, всё напоказ, патлы у многих до плеч, а у кого не до плеч, так заплетены в косицы, а у кого не заплетены, так у тех ленты через лоб, все равно как у этих... как их... Роберт Яковлевич должен знать, ну, у этих, у средневековых, их еще потом всех перевешали, в Европе где-то или, может, не в Европе, кто сейчас помнит? И все время они что-то жуют, как коровы, жуют и сплевывают! Вас не для того сюда, в чистоту, в осень нашу золотую, в багрец и золото одетую, привезли, чтобы вы здесь всё нам заплевали, не для того мы вас пригласили!

Старик в юбочке и молодой с разлохмаченной сумкой через плечо какие-то наставления своим стилигам надавали — весело так, отвратительно, всё, видно, с шуточками идиотскими, с ужимками, по плечам их похлопали, словно это не педагоги с учениками, а так, шелупонь подзаборная, и вот вам, пожалуйста, уже и дверь отворяют, уже пора их встречать идти в вестибюль. Запустили вперед боевую тройку преподавателей английского языка: Маргариту Ефимовну, женщину худую, длинную, с торчащими из подмышек по причине летнего платья кудрявыми черными волосами, Марту Ивановну, пышную, с огромным пшеничным начесом на голове, который сейчас, при свете яркого полуденного солнца, казался стеклянным, и милую, спокойную, неизменно беременную Тамару Андреевну, которая, придерживая обеими руками припухший живот, единственная из всех смотрела на молодых английских школьников безо всякого испуга — так ее, судя по всему, успокаивало ожидание грудного ребенка.

— Hello, — сказал старик в клетчатой юбке и неумно заулыбался. — Here we are.

Людмила Евгеньевна, очень слабо знающая английский язык, подтолкнула Маргариту Ефимовну, чтобы та сказала что-нибудь, но Маргарита Ефимовна смутилась до такой степени, что волосы под мышками стали мокрыми, а кончик носа покрылся мелкими капельками, словно его только что окунули в поблескивающую росу.

— We glad, — с небольшими ошибками вмешалась тогда Марта Ивановна и приветливо закачала стеклянным начесом. — Because you here. This is our school and our teachers. And our boys and girls.

— О-о-о! — воскликнул молодой с растрепанной сумкой и затараторил какие-то комплименты про прекрасную русскую погоду и чудный город Суздаль, из которого они только что приехали.



— Сузда-а-л? — с сильным иностранным акцентом протянула Маргарита Ефимовна. — О! Сузда-ал is the best city in the world!

У молодого человека слегка вылупились глаза на такое категоричное утверждение сильно взволнованной и как следует пропотевшей русской женщины, но он не стал возражать, да и вообще все вдруг ужасно оживилось, стали перечислять другие прекрасные советские города (не такие, как Сузда-а-ал, но все-таки!), и так, разговаривая, громко дыша и путаясь в ступеньках, спустились в столовую.

— Накормить, и пусть катятся! — злобно прошептала Зинаида Митрофановна и изо всех сил откусила расщепившийся надвое ноготь своего большого пальца.

— Вы, может быть, помолчите немного? — не стирая с лица напряженной улыбки, срезала ее Людмила Евгеньевна. — Что вам не нравится?

Английские школьники, бегая равнодушными туристскими зрачками по ядовито окрашенным стенам, наконец разглядели штук шесть-семь милостивых русских девочек и, вспомнив, что каждому из них полагается на послезавтра девочка для «Бахчисарайского фонтана», тут же поменяли свои безразличные глаза на заинтересованные и дружелюбные.

— Eat, eat, угощайтесь, на здоровье, от чистого русского сердца, от всей души, чем, как говорится, богаты, eat, please, russian bread is the best bread in the world... — заголосили учителя специальной школы номер 23, неуклюже кланяясь и прижимая руки к сердцу.

Дождавшись, пока англичане, не переставая жевать свою резину, расселись, начали, роняя стулья и наступая друг другу на пятки, рассаживаться и русские: сначала, разумеется, педагоги, а уж за ними и оба восьмых класса. На столах, накрытых совершенно новой и оттого сильно пахнущей клеенкой с чудесным рисунком — две большие красные клубники и рядом зеленое яблочко, — стояли пока что только тарелки с черным и белым русским хлебом и не очень хорошо промытые граненые стаканы.

— Можно подавать, Ольга Миронна-а-а! — заливисто скомандовала Людмила Евгеньевна и стала такого же цвета, как клубника на клеенке.

Из боковой двери, ведущей на кухню, выплыла необъятных размеров школьная повариха Ольга Миронна в белом халате и большой белой наколке на голове. На пышных руках ее вздрагивал поднос со вторым — первого, поскольку было еще утро, решили не подавать. На второе Ольга Миронна приготовила сероватое картофельное пюре с кусочком ледяного белого масла в середине и небольшую, крепко прожаренную котлету. К этому же прилагался и вялый, с большими водянистыми косточками, соленый огурец. Марта Ивановна, Галина Аркадьевна и приветливо беременная Тамара Андреевна вскочили и начали помогать растерявшейся от огромного количества гостей Ольге Миронне. Через минуту перед каждым молодым английским школьником стояла полная тарелка. Странное выражение одинаково сковало манчестерские лица. Голодные, должно быть, после долгой дороги из Сузда-а-ал англичане не торопились почему-то набрасываться на пюре с солеными огурцами и все как один посмотрели на старика в юбке. Старик ответил им сверкнувшим взглядом и мужественно отковырнул вилкой кусок котлеты. Молодые английские школьники всё смотрели. Старик проглотил кусок и снова обжег своих подопечных таким же и даже еще более ярким и выразительным взглядом. Оба восьмых класса, которые нацелились было плотно и задарма позавтракать, тут же мучительно застеснялись, и никто ни к чему не притронулся, если не считать Зинаиды Митрофановны, которая со свирепым лицом быстро съела все, что перед ней поставили, и в завершение, окончательно одурев от собственной недоброежелательности (как с тоской подумала про себя Людмила Евгеньевна), взяла ломоть черного хлеба и, не поднимая глаз, вытерла этим хлебом все, что прилипло к тарелке. Съела перепачканный ломоть и отряхнула крошки.

Разговор разладился, и к запаху клеенки неприятно присоединился острый запах соленых огурцов.

— Пусть уже какао наливают, — скрипнув зубами, приказала Людмила Евгеньевна. — Я уж не знаю, к чему они там, в своей этой Англии, привыкли...

Ольга Миронна, вооружившись большим чайником, принялась разливать по стаканам бледно-коричневый и очень сладкий напиток, а беременная Тамара Андреевна принесла из кухни поднос с коржиками в виде конвертов, из которых выпирал слегка подгоревший творог. Коржики, однако, почти все съели и какао тоже похлебали. Вытерли манчестерские свои губешки нашими салфетками. Русские мальчики переговаривались между собой, стараясь не обращать на англичан никакого внимания. Русские девочки стреляли накрашенными ресничками и покусывали заусеницы.

— А теперь все наверх, — скомандовала Людмила Евгеньевна, — и приступим к выборам!

Неприятно это как-то прозвучало, поскольку нужные девочки были все равно уже отобраны самими учителями, и не было никакой необходимости, чтобы молодые английские гости ходили по рядам и заглядывали в зубы каждой смущенной школьнице, словно она цыганская лошадь. Однако и избежать этого тоже было нельзя, поскольку иностранцы могли обидеться. Так Людмиле Евгеньевне, во всяком случае, объяснили в роно, а они знают. Кроме того, «Бахчисарайский фонтан» — послезавтра, в пятницу. И две отдельные квартиры для чаепития и знакомства с нашей советской жизнью — у Ильиной Тамары и у Чернецкой Натальи — завтра. Для всего этого английским школьникам нужно создать хорошее, веселое настроение. Пусть думают, что это они выбирают.

— Мальчики! 8 «А» и 8 «Б»! — еще звонче крикнула Людмила Евгеньевна. — Вы можете пойти во двор и поиграть в баскетбол. Николай Иванович пойдет с вами! А мы пойдем наверх. И девочки, — она торопливо забегала глазами по вспыхнувшим лицам девочек (тридцать шесть вместо необходимых одиннадцати!). — Девочки пойдут с нами разговаривать по-английски и знакомиться!

— Крепостной балет, — прошипела Соколова, — стройся! Ать, два, левой, ать, два, левой!

Бледный, с окаменевшим подбородком, мальчик Орлов пылающими глазами обежал жующих свою жвачку англичан. Потом перевел взгляд на раскрасневшуюся Чернецкую, гибкими мраморными пальчиками поправлявшую свои золотисто-каштановые волосы. Чернецкая заслуживала смерти. Вот что разрывало сердце Орлова. Как Миледи из романа «Три мушкетера». Он, дурак, не догадался выжечь ей в свое время какой-нибудь там тоже цветочек на плече. Типа лилии. Была бы метка на всю жизнь, как у Миледи. Он перевел глаза на Томку, и Томка тут же ответила ему бараньим извиняющимся взглядом, во влажной глубине которого булькала ненасытная любовь к нему, Орлову, и неистовая нежность к нему, Орлову, и желание уединиться с ним, с Орловым, куда угодно, хоть в физкультурную раздевалку, хоть в мужскую уборную...

«Ну, совсем съехала», — без особой жалости подумал Орлов и, пыля кедами, пошел во двор, где, ярко-синий в своем тренировочном костюме с пузырями на коленях, носился недовольный Николай Иванович и, выпучив глаза, яростно дул в свисток.

Девочки расселись по партам. Молодые иностранные школьники остались стоять. Маргарита Ефимовна и Марта Ивановна тоже сели, но не за парту и не за учительский стол, а почему-то боком на крышку парты, словно они всю жизнь только и делали, что ездили верхом по английским газонам. Галина Аркадьевна, Нина Львовна и все остальные педагоги покорно подперли стены затылками.

— Завтра пьем чай и угощаемся в непринужденной домашней обстановке, — сказала Людмила Евгеньевна. — Выбирайте, дорогие друзья, себе... — она слегка смутилась и добавила — компанию по душе.

Английские школьники были, кажется, сильно удивлены и поэтому еще быстрее задвигали челюстями. Русские девочки кротко сидели перед ними — свежие и румяные, как сыроежки в суздальском лесу. Их можно было рвать обеими руками. Это была Россия, и здесь так полагалось. Каждому по сыроежке — и на «Бахчисарайский фонтан». Старик в клетчатой юбке первым подал пример: он подошел к коренастой Марте Ивановне и сказал, как бы заранее иронизируя над ситуацией и призывая Марту Ивановну присоединиться к его иронии:

— Madam, I'll be happy to invite you to... — клетчатый запнулся, пошевелил пальцами в воздухе и неуверенно добавил: — to the theatre, I guess' Yes, to the Bolshoy Theatre...

— Кремлевский Дворец! — счастливым голосом поправила его Марта Ивановна. — We go to Kremlyovsky Dvoretz! Съездов!

Сначала все было очень хорошо, потому что английские мальчики пригласили и Панкратову, и Птицу, и Чернецкую, и Воронок, и Карпову Татьяну, но потом — вместо того чтобы пригласить глуховатую и смирную Белолипецкую, отличницу Коган, Ильину и Бендерскую, которые уже были готовы и выпячивали грудки навстречу смущенным англичанам, — потом произошло нечто совсем ненужное. Рыжий иностранный гость в широченных бархатных штанах, с неприязнью замеченных еще из окна школы всеми педагогами, а особенно Ниной Львовной и Галиной Аркадьевной, подошел не к Белолипецкой, не к отличнице Коган и не к Бендерской с Ильиной, а прямо к рыжей, как сестра родная, похожей на него Анне Соколовой и чуть ли не за руку ее потрогал, приглашая на фонтан! Во Дворец кремлевских съездов, куда Соколову даже и в мыслях нельзя было подпускать! А другой молодой английский школьник, в очках, аккуратно причесанный на косой пробор, в хорошем синем костюме, не нашел ничего умнее, как подойти к сидевшей в самом углу угрюмой и забитой Лене Алениной, недавно только выпущенной из сумасшедшего дома! Некстати, честно говоря, выпущенной и, судя по ее мрачно горящим глазам, совершенно недолеченной! Пригласил и улыбнулся, а она, эта недолеченная, пробормотав «спасибо», тут же гордо посмотрела на Нину Львовну с Галиной Аркадьевной и, будучи сумасшедшим, больным ребенком, отвратительно прищелкнула языком! И наконец, третий английский школьник — самый последний — все что-то мялся, жался, глаза боялся поднять на девочек, а потом с перепугу, наверное, взял да и пригласил Фейгензон! А как, каким вообще образом можно пойти в Кремлевский Дворец съездов с Фейгензон? У которой ничего нет, кроме школьной формы и байкового халата?

У Нины Львовны опустились руки, а Галине Аркадьевне стало совершенно нечем дышать, хотя окно было открыто и все время дул в него свежий сентябрьский ветер с птичьим пением вперемешку.

Ильина чуть не разрыдалась, потому что никто ее не пригласил не только что на «Бахчисарайский фонтан», но даже в собственную трехкомнатную квартиру, где назавтра предполагалось быть дружеской встрече с иностранцами.

— Ничего, ничего, — забормотала Людмила Евгеньевна и, выгнув спину дугой, пощипала Ильину за локоть, — ты же видишь, они не глядя приглашали... Конечно, ты пойдешь... И завтра, и послезавтра...

Когда перепутавшие все на свете англичане уселись наконец в свой автобус и укатили, Нина Львовна и Галина Аркадьевна отозвали в учительскую Соколову с Алениной. Людмила Евгеньевна сделала вид, что ее больше ничего не касается, перекинула через руку заграничную сумочку с розовой бумажной розой вместо застежки и заявила, что ей нужно в роно.

— Соколова! — громче, чем хотелось, сказала Нина Львовна. — Мы бы не стали ничего говорить, если бы ты в течение года вела себя нормально...

— Но ты не вела! — поддержала ее Галина Аркадьевна. — И мы считаем, что тебе нужно еще ой как долго доказывать, что ты такая же комсомолка, как все остальные, а пока ты этого не докажешь, мы не считаем, что тебе завтра...

Она не договорила, потому что вспыхнувшая Соколова громко расплакалась и выскочила из учительской, оглушительно хлопнув дверью.

— Так, — прошептала Галина Аркадьевна и взялась рукой за сердце, — я знала, что ничем хорошим это не кончится...

— Если вы такая слабонервная, Галина Аркадьевна, — сорвалась Нина Львовна, — то я вообще не понимаю, как вы можете заниматься тем, чем вы занимаетесь... Я имею в виду...

Только присутствие угрюмой, с горящими глазами Алениной спасло Нину Львовну от того, чтобы слабонервная Галина Аркадьевна не плюнула ей прямо в физиономию. Но Аленина была тут же, в комнате, она стояла, грызла ногти и смотрела на них исподлобья своими большими глазами. Поэтому Галина Аркадьевна судорожно вздохнула и вышла, а Нина Львовна, забежав зрчками, объяснила Алениной так:

— Лена! — И сама испугалась того, как Аленина задрожала всем телом. — Леночка! — Аленина, как назло, дрожала все сильнее и сильнее. — Мы, конечно, рады, что тебя пригласили на балет и потом в ресторан, мы очень за тебя рады, но ты смотри, как ты будешь себя чувствовать...

— Я не пойду, — стуча зубами, ответила Аленина, — я себя плохо чувствую...

Нина Львовна ощутила странную слабость под ложечкой, и ей захотелось взяться за сердце почти так же, как Галине Аркадьевне.

«Трудно как с ними, — с неожиданным ужасом подумала Нина Львовна, — это же каторжный труд какой-то!»

— Не пойду я никуда, — повторила Аленина и громко сглотнула слюну, — чего я там не видела...

— Смотри сама, сама решай, — вздохнула Нина Львовна, — никто тебя не заставляет. И если, конечно, тебя еще беспокоит здоровье, то, конечно, лучше отлежаться...

Аленина не пришла ни в гости к Ильиной, ни на балет «Бахчисарайский фонтан». И слава Богу, потому что и без Алениной хватило хлопот. И у Ильиной, и у Чернецкой гости вели себя хорошо, ели очень мало и все вопросы задавали как по учебнику. Холодная ли у вас зима? Сколько времени продолжаются ваши летние каникулы? Хотели бы вы полететь в космос? Никто не поинтересовался, почему советские ребята ни разу не были за границей, никто не спросил, сколько денег в год получают их родители в твердой валюте. У Ильиной — как попили чаю, так почти сразу же и разошлись, и вообще все было довольно вяло, зато у Чернецкой в разгаре угощения пришла домой мама Стеллочка, разодетая в пух и прах, с какими-то совсем по-новому подведенными глазами: во внешнем углу каждого глаза был нарисован черный треугольничек. Взгляд у Стеллочки тоже стал новым, слегка, кажется, бешеным и от этого особенно блестящим.

— Амиго! — весело сказала Стеллочка и тут же замахала руками, как бы вспомнив, что она, хоть и среди иностранцев, но все-таки не на Кубе. — Ах, как жаль, что я плохо знаю английский! Вот если бы вы говорили по-испански! Ах, если бы!

Не говорящие по-испански англичане тем не менее оживились, словно Стеллочка напомнила им кого-то родного и близкого.

— А танцы уже были? — продолжала Стеллочка. — Как же это так: не были? Наташа, ты меня удивляешь! А ну-ка давайте сейчас же все танцевать!

Гремя каблучками, она подбежала к проигрывателю, и через секунду низкий женский голос поплыл над удивленными англичанами:

Бе-са-ме... Бе-са-ме мучоо-о...

Стеллочка подхватила под руку старика в юбке. Старик скорчил томное лицо, полузакрыв глаза, и они со Стеллочкой закружились между большим обеденным столом и недавно купленной «Хельгой», куда с трудом влезла незначительная часть профессорской коллекции фарфора (значительная часть находилась в другом шкафу — дубовом и старинном).

— Ох, цел-у-у-уй, — басом запела Стеллочка, желая, чтобы иностранцы услышали и русский перевод популярной аргентинской песни. — Бе-са-ме мучо... Ох, целу-у-уй меня много-о-о...

Едва закончился этот танец, она опять захлопала в ладоши:

— А теперь русскую! Народную! А ну запевай!

Набросила на плечи синенький платочек, притопнула каблуком, уперла руки в бока, но не успела сделать и круга между столом и «Хельгой», как в коридоре раздалось пышное сморканье только что пришедшего домой гинеколога Чернецкого. Меньше всего он, очевидно, ожидал увидеть то, что увидел: то есть свою жену, собирающуюся плясать русскую перед молодыми английскими школьниками и распаренным чаепитием стариком в юбке.

— Приезжие у нас, Леонид Михалыч, — скорбно шепнула из кухни Марь Иванна, — развлекаем... Как могём...

Гинеколог Чернецкий был человеком воспитанным и особенно помнил, что из избы ни в коем случае нельзя выносить сора. Поэтому он бодро вошел в комнату, громко поцеловал подскочившую к нему дочь, за руку познакомился с каждым иностранным гостем.

— Вот так-то, — вытирая глаза кончиком передника, шепнула самой себе наблюдающая пир из кухни Марь Иванна, — чем мы не семья, Господи-и-и! Таких поищешь! Кругом-то что? Шваль одна, прости, О-о-осподи!

Все уже было позади: и завтрак в школьной столовой, и чаепитие в целях ознакомления, и даже великолепный, в шелковых шароварах, с кривыми саблями «Бахчисарайский фонтан». Осталось последнее: ресторан в гостинице «Юность» и прощальный обед перед вечной, судя по всему, разлукой. Русские педагоги почти махнули рукой на совершенно потерявших головы русских девочек: все одиннадцать пришли накрашенные, завитые, в белых и красных колготках. Как назло, погода испортилась, и в конце концов разразился ливень. Девочки и педагоги жались под школьным козырьком, ждали автобуса с иностранцами вместе ехать в ресторан на праздник. Подкатил автобус, давя мощными шинами быстро раскисшую и почерневшую золотую листву. Девочки радостно завизжали и, прикрывая завитые головы, бросились в автобус, как козочки перепрыгивая через пузырящиеся лужи, боясь перепачкать белые свои и красные колготки. Нина Львовна и Галина Аркадьевна с удивлением отметили, что все были очень прилично одеты. И с фантазией, и с огоньком. Женя, например, Коган, школьница из небогатой семьи (папа — патологоанатом, мама — помогает ему в морге), придумалашить на фасад своего простого розового платьица жемчужинки, ну, не настоящие, конечно, а из бус, купленных в галантерее на проспекте Вернадского, и получилось чудесно! Просто как у Белоусовой и Протопопова. Карпова Татьяна ничуть не хуже нарядилась: пришла в белом летнем сарафанчике, а на него сверху накинула красивое полосатое пончо, связанное, наверно, бабушкой. И тоже неплохо! Ведь не то главное, чтобы пойти в какой-нибудь капиталистический магазин и там купить себе, чего

понравится (это любой дурак умеет!), а вот ты догадайся, ты попробуй нарядись, когда в магазине ничего нету, кроме рейтуз с начесом да лиловых комбинаций пятьдесят шестого размера!

Девочки почувствовали себя принцессами, когда с шумом и визгом, встряхивая мокрыми руками, ворвались в автобус, где навстречу им тут же приподнялись оживившиеся и освоившиеся молодые английские школьники, и каждая девочка, прямо как Ассоль к своему принцу, приникла к молодому англичанину, и наконец все это, мокрое, завитое, раскрасневшееся, с бьющимися сердцами, понеслось в темноте осенней Москвы, сквозь дождь ее и негасимый свет вечерних окон, навстречу вечной разлуке. Интуристский автобус наполнился смехом, прерывистым дыханием, щебетом на обоих языках вперемешку, и, если бы не дождевая спасительная вода, омывающая его со всех сторон, вспыхнул бы, наверное, интуристский автобус и сгорел бы, как простая церковная свечечка, от безграничного любовного томления, зажатого в его углу пространстве. Томление, и именно любовное, присутствовало в автобусе, несмотря на Людмилу Евгеньевну, Галину Аркадьевну и Нину Львовну, которые старались не замечать, чтобы не доводить дело до международного скандала, как прикасались коленями и стискивали друг другу руки вверенные им комсомолки и чужие иностранцы, как, положив якобы для пущего удобства локоть на спинку сиденья, рыжий англичанин в широченных штанах, пользуясь автобусной полутьмой и полусветом, свалил свою ладонь, в конце концов, на шею восторженно-радостной Соколовой, которой все-таки разрешили прийти и на чай, и на балет, и в ресторан, потому что такие начались слезы, такая пошла разборка, что даже Людмила Евгеньевна сдалась и сквозь маленькую свою нижнюю губку фыркнула неразборчиво: «Пусть идет, раз ее отобрали!» И Соколова пришла. В сером материнском плаще и в материнских лаковых лодочках. Надушенная духами «Белая акация». И Фейгензон, которую тоже сгоряча «отобрали», пришла. С налакированной высокой прической, в красном, рытого бархата жакете, принадлежащем тетке Софье Марковне. Про Аленину, которая все три дня в школе не показывалась, благополучно забыли. И напрасно. Потому что не успел автобус подъехать к голубой, как весеннее небо, гостинице «Юность», маленькая, с плохими зубами, под огромным черным зонтом, выросла из-под земли школьница Аленина, недавно только освобожденная из сумасшедшего дома и там недолеченная. И к ней, этой маленькой, корявой, под черным зонтом Алениной, выскочил из автобуса прекрасный английский школьник по имени Питер, тот самый, который и выбрал себе — аккуратно причесанному, в роскошном синем костюме молодому человеку — эту самую гнилозубку на тонюсеньких ножках! Аленину! И вот она явилась! Всех обманув! Безо всякого одобрения и позволения со стороны педагогов и школьной администрации! Нина Львовна глубоко вздохнула своей закипевшей, как чайник, грудью, но первое побуждение — подойти к невыносимой парочке, выдернуть Аленину за ее тонюсенькую ручонку и выпихнуть обратно под дождь, чтобы она не смела самовольничать, — это побуждение тут же погасло, потому что рассудок подсказал Нине Львовне, что никакого хорошего последствия от ее выдерга не будет. А будет только хуже. И пришлось Аленину пропустить вместе со всеми в уютный зал ресторана гостиницы для интуристов, и там она уселась за третий стол рядом с аккуратно причесанным, в синем роскошном костюме англичанином Питером.

После второго блюда — куриная нога с вермишелью — начались танцы. Нина Львовна, никем не приглашенная, в отличие от Галины Аркадьевны, приглашенной стариком, сменившим наконец свою затасканную юбку на человеческие брюки, сидела и наблюдала. Чернецкая танцевала с юрким, маленьким, очень смуглым — не индус ли, кроме того, что, разумеется, англичанин? — и нежно к нему прижималась, а индус дышал полуоткрытым ртом в ее завитые волосы. Это было немножко неприлично, но не страшно. Соколова прижималась гораздо крепче и — хуже того — плакала. Да, плакала, рыдала, уткнувшись в плечо рыжего, похожего на нее, как две капли воды, и он тоже был весь какой-то перевернутый, стискивал Соколову обеими руками и все бурчал, бурчал, а она судорожно

кивала сквозь свои рыдания, словно обещала что-то. Что она могла обещать? Тут Нине Львовне пришлось отвернуться, потому что Соколова даже в мирном расположении духа была исчадием ада, а уж Соколова в рыданиях, Соколова, так сказать, на пороге вечной разлуки... Тут слова бессильны! Только отвернуться. Отвернуться и забыть до завтра. До завтрашней утренней линейки.

Аленина и англичанин Питер сначала не танцевали, а просто сидели рядом и разговаривали. Причем говорил в основном он, а она усмехалась и несколько раз даже широко улыбнулась своими плохими зубами. Нина Львовна заметила, что Аленина распустила волосы и перевязала их красной шелковой ленточкой, какими перевязывают конфетные коробки. На ней был чахлый беленький свитерок, черная юбочка, но — с удивлением отметила про себя Нина Львовна — сапоги резиновые она все-таки сняла и сидела сейчас в маленьких матерчатых туфельках с пряжками. Потом, когда уже начали разносить чай и кофе с миндальными пирожными, Питер вдруг встал и пригласил Аленину на танец. И она пошла, загребая своими туфельками с пряжками, положила светящуюся от слабости ручонку на его синее габардиновое плечо, и они тоже приникли друг к другу, словно были не иностранец с советской комсомолкой-восьмиклассницей, которые после сегодняшнего вечера никогда друг друга не увидят, а какие-то просто жених с, не дай Бог, невестой или вообще молодожены, надежно и крепко спаянные своим законным влюбленным чувством.

Чай был выпит, пирожные съели еще раньше. Молодые английские школьники и русские девочки, ученицы 23-й специальной школы, сидели, опустив глаза, и лица у них были такие, словно их вот-вот поведут на казнь.

— Ну, друзья мои! — поднялась наконец Людмила Евгеньевна и звонко захлопала в разгоряченные ладошки. — Ну, вот и пришел момент прощания. Давайте, девочки, поблагодарим ребят из замечательного английского города Манчестер за то, что они приехали в нашу великолепную страну, познакомились с ее успехами и достижениями, — теперь они уже не дадут обвести себя вокруг пальца и никакой клеветы по поводу Советского Союза слушать не станут! — поблагодарим и попрощаемся! И пусть они еще приезжают, мы им всегда рады!

Все торопливо поднялись и начали неловко пожимать друг другу руки. Нина Львовна увидела, что Питера нет среди расстающихся, а также нет и Соколовой с ее рыжим.

— Соколова, — прошипела Нина Львовна ничего никогда не замечающей Людмиле Евгеньевне, карьеристке и немного даже иностранной прихлебательнице. — Соколова ушла. С рыжим.

— Как? — задохнулась Людмила Евгеньевна. — Куда же вы смотрели? Немедленно! Вы мне за нее головой отвечаете!

Нина Львовна выскочила из обеденного зала и влетела прямо в лифт, где, слава Богу, никого не было. Она знала, что молодые английские школьники живут на четвертом этаже.

Так. Четвертый. За столиком, где должна денно и ночью сидеть дежурная, никого не было. Так. Этого тоже нельзя так оставить. Но не сейчас. Сейчас нужно найти Соколову. Даже представить себе, что она сделает с Соколовой, как только найдет ее — живую или мертвую, — было страшно. Нина Львовна сама испугалась того, что ей захотелось сделать с Соколовой. Убить — это еще мягко сказано. Это, в общем, цветочки. Такая, как Соколова, заслуживает... Нина Львовна не успела додумать, чего именно заслуживает такая Соколова, как из-за закрытой двери комнаты прямо напротив лифта раздался голос самой Соколовой и громкий плач самой Соколовой, нанизанный на прерывистый бас молодого англичанина. И он ее целовал! Это было слышно! И слышна была какая-то возня, какой-то отвратительный треск! Он, может быть, насиловал ее! Или убивал!

Но это вряд ли. Потому что Соколова плакала счастливым плачем — даже через дверь было понятно — и англичанин шептался счастливым басом, и этот ужас нельзя было терпеть ни секунды!

— Отворить! — закричала Нина Львовна и навалилась на дверь кипящей грудью. — Соколова! Чтобы ты мне отворила!

За дверью воцарилась тишина, и сквозь звон в ушах Нина Львовна услышала, как дышит Соколова.

— Я сейчас милицию вызову! — поклялась Нина Львовна в замочную скважину. — Соколова!

Английский бас застонал, наверное от отчаяния, и тут же Соколова громко сказала по-русски:

— Уходите. Я сама приду.

— Ну уж нет! — задыхнулась Нина Львовна. — Ну уж этого ты не дождешься!

Англичанин перестал стонать и что-то произнес, обращаясь, очевидно, к Нине Львовне.

— Что он говорит? — рассвирепела Нина Львовна. — Прекратите это безобразие! Чтобы ты сию минуту мне вышла! Проститутка!

— Он говорит, что, если вы не уйдете, он позвонит в английское посольство, — сказала Соколова. — Потому что вы не имеете права ломиться в его комнату.

Красная ковровая дорожка поплыла под ногами Нины Львовны. Это... что же это такое... Это уж просто несусветное что-то. Это же надо действительно милицию вызывать...

Опять он басит, этот рыжий.

— Соколова! — прошипела Нина Львовна. — Ты хоть понимаешь, с чем ты играешь?

— Я не выйду, — судорожно, горлом, полным слез и муки, повторила Соколова. — Если вы не уйдете. И он позвонит в свое посольство. Это точно.

— Ну-у-у всё... — выдохнула Нина Львовна, — я сейчас уйду. Я, конечно, уйду, чтобы не доводить школу до позора перед иностранцами, но я тебе не завидую, Соколова. Ты понимаешь, как я тебе не завидую...

Она отступила от двери, но никуда, разумеется, не ушла, а быстро проскользнула на место дежурной и уселась за ее столиком, завесившись газетой. Дверь отворилась, и они вышли. Рыжие, высокие, похожие друг на друга, как брат с сестрой. С пылающими лицами и горящими глазами. Держась за руки. Они вышли и сделали первый шаг, как будто идут на смерть. На героическую какую-то гибель. Так могли идти на виселицу только брат и сестра Космодемьянские. Зоя и Шура. Но те знали, за что они идут на виселицу. За Родину они идут. А эти? Они прошагали мимо, как слепые, не взглянув на Нину Львовну, закрытую газетой. Вызвали лифт, и, пока ждали его, англичанин притянул к себе Соколову и покрыл все ее распухшее, зареванное лицо поцелуями. Опять! И так, целуясь, повиснув друг на друге, они и скрылись в ярко освещенной кабинке. И кабинка тут же ухнула вниз, словно провалилась в преисподнюю.

Лена Аленина, с которой долго прощались за руку двое толстяков, Сэм и Мэт, повернула голову к тому месту, где только что стоял Питер, и увидела, что Питера нет. Она растерялась, обежала глазами всех в зале, но его не было. Сердце Алениной, отдохнувшее от боли за последние два часа, тут же снова и привычно наполнилось ею, как кувшин, подставленный под быструю струю воды. Она опустила голову, вышла из зала и побрела в раздевалку. Он стоял возле зеркала, держа в руках огромный черный зонт, куртку и резиновые сапоги. Аленина проглотила ком, застрявший в глубине горла, но на месте этого кома тут же появился другой, который стучал, как молоток, и щипал все



внутри. Проглотить его Аленина не смогла и от этого не смогла ни поблагодарить Питера, ни даже взять из его рук свои носильные вещи.

— Listen, — грустно и просто, как совсем взрослый человек, сказал молодой английский школьник Питер, — let's go outside.

И нежно, как младенцев, прижимая к себе аленинскую куртку, зонт и сапоги, вышел на улицу. Дождь уже кончился, сильно пахло только что слетевшей листвой, и слышно было, как встревоженно переговариваются вспомнившие о зиме и снеге птицы.

— I will write you a letter, — сказал Питер.

— Письмо? — переспросила больная девочка Аленина, все пытаясь проглотить этот горький, совсем уже разбухший внутри горла ком.

— I will never forget you, — сказал Питер. — And you? Will you forget me?

— Нет, — сипло сказала Аленина.

— I will come back and marry you, — сказал он. — I promise.

А потом наступила вечная разлука. Она подплыла прямо к подъезду гостиницы «Юность» в виде все того же интуристского автобуса, который безо всякой жалости осветил всех разлучающихся своими беспощадными фарами.

— Девочки, девочки! — хлопала в натертые ладошки Людмила Евгеньевна. — Все в автобус, девочки! Мы поедem на автобусе прямо к нашей школе! Быстренько, девочки-и-и!

В самом конце октября на Москву обрушился снег. Стеллочка как раз вернулась из Гаваны, где было очень тепло. Однако вся в целом поездка оставила безотрадное впечатление. Любимый человек стал явно отдаляться от Стеллочки, и не потому, что разлюбил — скребся к ней в номер после полуночи, скребся! — но если бы хоть что-нибудь, кроме этого! Кроме этой «проклятой», как, раздувая ноздри, говорила себе Стеллочка, «физической любви»! Сейчас, когда она убедилась в том, что среди шлюх гинеколога Чернецкого, на которых она предпочитала не обращать внимания, нашлась такая, которая не моргнув глазом залезла в семейную постель, и он, отец Стеллочкиного единственного ребенка, вместо того чтобы упасть на колени и лоб расшибить о паркетный пол, заявил, что любит эту шлюху, — сейчас, когда такой кошмар произошел среди бела дня, вернее ночи, Стеллочка почувствовала, как прежняя уверенность покинула ее и следов не оставила. Все нужно менять. Тот, который ее любит, которого она любит, — вот он и должен быть единственным мужем, то есть опорой, поддержкой и источником. А не только «бе-са-ме, бе-са-ме мучо-о»! Кто угодно может красивую, молодую, прелестную женщину «бе-са-ме»! А нужна еще квартира, носильные и другие вещи, репетиторы для ребенка — Натальи Чернецкой, которую через два года придется готовить в институт! Нужны, наконец, деньги на старость! Да! На врачей-частников! А не на «бе-са-ме»! И хватит трястись над почечницей Тамарой! Хватит! С Тамарой — развод, со Стеллочкой — свадьба! И ничего страшного! Сейчас не те времена, чтобы за такую ерунду из партии выгоняли! Пойдет куда надо, покается, и всё в порядке! Вот Портукалов Вячеслав, в Бонне сидит, не ему чета! И что? И ничего! Третью жену меняет!

С такими окрепшими и бодрыми ощущениями Стеллочка улетела в Гавану в самом конце сентября. Через несколько дней в ту же Гавану прилетел «сослуживец».

И опять гостиница, пальмовая лохматая ветка, повисшая в окне через черное небо, блеск океанской волны, лилово лоснящейся от звезд, каждая из которых величиной с голову московского школьника, и запах свежей рыбы, и...

— Спишь, золотце мое?

— Нет.

— Ждешь, золотце мое?

— Жду.

— Ну, тогда я потопал.

— Бе-са-ме... Топай, топай!

Через час Стеллочка приступила к разговору.

— Ты любишь меня?

— А як же?

Нет, это не ответ. По нынешним временам, когда эта кудрявая паршивая овца уже в родную Стеллочкину кровать забралась!

— Боб, я спрашиваю: ты любишь меня?

Левый глаз округлил на подушке, как сова.

— По-своему, детка, по-своему...

— Что это значит? Что такое «по-своему»?

— Ну, нам же хорошо вместе... Разве этого мало?

Главное, не уступить ему, не потерять нить разговора.

— Мне — мало.

Отвернулся, бритую щеку задергало раздражением.

— Тебе что, обязательно выяснять отношения? Особенно сейчас, когда уже два часа ночи?

— А когда же? У тебя ведь другого времени нет!

— Хорошо, давай. Но мы сейчас наговорим друг другу неприятностей, я разозлюсь...

Ах, ты меня запугивать собираешься? Разозлится он! Злись на свою, на эту, как ее... А на меня нечего! Вслух, конечно, ничего такого не произнесла. Сглотнула слезы.

— Милый! — обвила его загоревшими руками. — Милый! Ну почему ты не хочешь ничего менять?

«Сослуживец» подскочил на одеяле.

— Ты с ума сошла! Что — менять? Разводиться?

Стеллочка так широко раздула ноздри, что еще немного, и лопнут со звоном.

— А почему нет? Почему Портукалову можно?

— При чем здесь Портукалов?

— При том, что Портукалов полюбил и развелся!

— Ну, значит, Портукалов на это способен!

— А ты?

— Я не Портукалов.

— Ну еще бы! Портукалов в Бонне сидит!

Вскочил, натянул брюки. Молния взвизгнула. Ни слова не говоря, пошел к двери.

— Я пошутила.

Остановился, не оборачиваясь.

— В следующий раз думай, когда шутишь.

Ушел, дверь прикрыл плотно. Стеллочка острыми белыми зубами ухватила за угол гаванскую простыню. О-о-осподи-и-и! Как сказала бы Марь Иванна. А что делать? Да, что делать? А ведь пять минут назад задыхался! Кричал! Да, кричал и задыхался! Чуть не умер! И пожалуйста: «Я не Портукалов». Да ты Портукалову в подметки не годишься! У Портукалова третья жена в Бонн приехала!

Назавтра помирились. К завтраку сошла в розовом брючном костюме, вырез пиджака надушила французскими духами. Стоит «янеПортукалов» под пальмой. Ждет, пока

подадут машину. Прошла близко, задела коленом. Весь день до вечера была неотразима. Сдался. Собрал губы бутонем. Опять бе-са-ме, опять! Опять бе-са-ме му-у-учо-о!

Все просто, проще пареной репы. Что касается «физической любви» — это пожалуйста. Если в командировке, на свободе. Но разводиться, жениться, печать в паспорте и слезы почечницы Тамары — ни за что. И не зли меня. Пустыми, ни к чему не приводящими разговорами.

В пятницу отец Валентин отпевал Ольгу Таврилову. Это была непростая, грустная смерть. Ах, какая баба ушла! Красавица. Вся жизнь как на ладони. Отец Валентин ее давно — в девочках еще — зорким своим, блистающим взглядом заметил. Статная, волосы длинные, светлые. Вся сияла. Радостная была девка, работающая. Полюбила этого Мишку, механика. Ну, полюбила. Свадьбу сыграть не успели, Мишку забрали в армию. Служил во флоте, письма писал. Ольга была ему верна, ни с кем не гуляла. Откуда такие женщины берутся? Чистопородные, как их про себя отец Валентин называл. Вроде Катерины Константиновны, дворянской нашей косточки. И тут письмо: Мишка на своем корабле подорвался, лежит в госпитале, весь обожженный. То ли выживет, то ли нет. Сестра сообщила, единственная Мишкина родственница. Ольга в один день собралась и поехала. Прямо туда в госпиталь, где Мишка под кровавыми бинтами задышался.

Там ей главврач говорит:

— Ты ему, девочка, кто?

А она возьми да ляпни:

— Жена.

Ну что главврач? Он паспорта не проверяет.

— Пойдем, — говорит, — крепись, девочка.

Привел ее прямо в процедурную, где Мишке как раз перевязку делали.

— Михаил, — говорит, — радуйся! Жена к тебе приехала!

Она посмотрела: нету никакого Михаила. Сидит на белом топчане зажмурившийся скелет. Кожа да кости. А вместо лица — месиво, из которого нахмуренная медсестра щипчиками черную корочку, как кусочки приставшей земли, вынимает. Достанет кусочек, подцепит щипчиками — и в железную миску. Потом это место куском мокрой ваты протрет и опять — щипчиками...

— Ну, — говорит главврач, — гляди сюда, морячок!

Мишка открыл то, что раньше глазами было. Левый — щель окровавленная, правый наружу выкачен, без ресниц, без бровей. Увидел ее и затрясся.

— Уезжай, зачем приехала?

Тут она себе смертный приговор и подписала.

— Что ты, — говорит, — куда мне уезжать? Ты чего жену гонишь?

Через два месяца он из больницы вышел, приехал в деревню, сыграли свадьбу. Смотреть на них мука была, а не то что свадьбу играть! Гости сидели за столом как прибитые, никто даже «горько» не крикнул.

«За смерть за свою она у меня замуж пошла!»

Мать так сказала — и как в воду глядела.

Дочку, однако, Ольга все-таки родила. Значит, все, что полагается, выполнила: легла с калеккой — безо рта, без носа — в одну кровать, и он ей сделал ребенка. А потом — дочке и года не исполнилось — заболела. Работать не могла, да и вообще: ни спать, ни есть, ни пить, ни разговаривать, — ничего не могла. Возили ее в районную больницу, там посмотрели и направление в Москву дали. Нигде толком не ответили, что за болезнь, чем ее лечить. Мать говорила, что таблетки, которые Ольге в Москве прописали, были

маленькие, синего цвета, венгерские. Врачи объяснили: «от страха». Не помогли таблетки. Легла вечером спать, а утром — спохватились, ее уж и нету, вся остыла.

В пятницу отец Валентин ее отпевал. Страх в Ольгином лице никакого не осталось. Отец Валентин всмотрелся и себе не поверил. Лежит перед ним женщина — восковая, мертвая, а лицо такое, словно она сейчас расхохочется. Вся прежняя веселость, вся радость девичья на ее мертвое лицо вернулась. Все, что до Мишки было. Похоронили, поминки справили. Мишка валялся в снях, пьяный в дым, лыка не вязал.

«Убежала она, — догадался отец Валентин, глядя на Мишкину спину, свернутую калачом, как зародыш в утробе. — Теперь не догонишь...»

Пришел с поминок домой, достал Катину фотографию, поставил на стол. Ну, что? Не едет, не пишет. Он тоже в Москву — ни ногой. А боли продолжают, и кровит не меньше. Никакое это не воспаление, судя по всему. Воспаление за три-то месяца давно бы кончилось. Но как там ни назови, воспаление или еще что, а только к женщине уже не поедешь. К близкой женщине, которая тринадцать лет твою плоть тешила.

Людмила Анатольевна, слава Богу, еще в конце августа отчалила. Отец Валентин ее почти не вспоминал. Были родинки, была чернобурка, от ливня мокрая. Грех, Господи милосердный! Не отмолить. За все наказанье пришло: заболел. И ведь как заболел. Не головой, не кишками. Умница ты была, Оля Гаврилова! Померла! Теперь не догоните! Отец Валентин сам чуть не расхохотался. Всех обманула! И так ему понравилась вдруг мысль о смерти, так она сладко его всего зашекотала, что отец Валентин, ужаснувшись своей радости, стал на колени перед святой Божьей Матерью и простоял, пока не рассвело. Через неделю Катерина Константиновна получила от него очень странное, полное безумия письмо.

...

*«Дорогая и несчастная любовь моя, Екатерина Константиновна, я ведь не спросил тебя самого главного: а задумывалась ли ты когда-нибудь о том, что тебе предстоит? Каковы твои размышления о смерти, если ты в суете вдруг о ней спохватишься и остановишься хотя бы на минуту? И потому я тебя призываю, Катя: вспомни о смерти и думай о ней среди всего твоего греха, и, может, тогда ты и узришь перед собой Господа Бога нашего, Христа Спасителя, и я тебе говорю, Екатерина Константиновна, однажды меня соблазнившая и ни на секунду не убоющаяся гнева Божьего, что во всем, со мной случившемся, только тебя и обвиняю я, ибо ты знала, что творишь. А что же я сам? Я-то сам не знал разве, что за такую скверную жизнь не Небо меня ждет в алмазах Божественных, а черная яма, полная гадов и змей, олицетворяющих грехи человеческие? Нет, Катя! Не знал я ничего в ту самую секунду, когда обрушилась на меня красота твоя, дьяволом, врагом нашим, по земле гулять выпущенная! Ибо я был слаб и немогущ, Катя, перед красотой твоей. Зато теперь хочу и тебя укорить справедливости ради. Ведь я-то смертную муку уже принять готовлюсь за свой грех и справедливым это почитаю, но что же получается: я на крест боли пойду, а ты гулять останешься? И, не приведи Господи, еще не одного слабого и волю потерявшего человека своими женскими хитростями во тьму, полную гадов и змей, повергнешь?! Ведь вот что получается, Екатерина Константиновна, а ты того не ведаешь, и вместо того, чтобы брэнную плоть свою к смертному часу готовить, гуляешь теперь и посещаешь кинотеатры и, может быть, даже и в рестораны похаживаешь, а ни о чем главном и не подозреваешь! А когда начнешь подозревать, то поздно будет! Пробьет час и твой, дорогая моя Катя! Так что если ты и сейчас не хочешь меня видеть и не чувствует твое сердце, что со мной происходит, то, значит, так тому и быть. Значит, нисколько я не ошибся, когда в сердце своем назвал тебя грешницей, меня соблазнившей, и освободился от тебя! Но желаю тебе такой же муки, которую я благодаря тебе сейчас испытываю, потому что муками мы очищаемся и приближаемся к тому часу, когда Господь Бог наш пожелает*

*остановить наши дни и захочет, чтобы мы предстали перед Его очами. И еще посылаю тебе стихотворение, нынче ночью мною сочиненное.*

*Благословляю тебя. Прощай, Катя.*

*Друг твой, мучающийся о твоей несчастной жизни,*

*о. Валентин Микитин.*

К этому письму было действительно приложено стихотворение:

Когда ты, Боже, от меня Сиянный,  
Пресветлый Лик во гневе отвратил,  
я замер весь и сердцем покаянным  
вдруг понял всё. Среди чужих могил  
напрасно я искал родной могилы,  
лицо родное зря в толпе искал, —  
на этот поиск все растратил силы,  
был соблазнен и низко духом пал.  
Теперь, когда изнемогаю плотью,  
пора мне, Господи, припасть к Твоим стопам.  
Уста в крови. Шепчу Тебе: «Господь мой!  
Прости меня! Я веры не предал».

Прочитав это письмо, полученное как раз в воскресенье, когда не нужно было торопиться на работу и соседка Лизавета, сладко, с отвращением и хрустом зевая, домывала пол в коридоре (была ее очередь), Катерина Константиновна страшно побледнела и первый раз в жизни чуть не потеряла сознание. Самое ужасное, что в конце письма она увидела темно-бурое пятнышко, очень похожее на след крови.

«Откуда? — в ужасе подумала Катерина Константиновна, машинально продолжая смотреть на согнутую Лизавету остановившимися глазами. — Из носа, что ли? Что значит: „изнемогаю плотью“?»

Уж на что она знала фантастический характер отца Валентина, многолетнего любовника, мучителя и единственной своей жгучей радости, но то, что он возьмет и вот так вот, витиевато, ужасным каким-то, книжным языком, напишет ей, что пора думать о смерти, — нет, такого еще не было! И, главное, это стихотворение с пятном крови в придачу! Прижимая к груди листочек, она тихо вернулась в комнату, где бабушка Лежнева и молодой нахмуренный Орлов ели манную кашу с малиновым вареньем, только что сваренную бабушкой Лежневой на воскресный завтрак для всей семьи. Одного беглого взгляда на Катерину Константиновну было достаточно бабушке Лежневой, чтобы понять, что дочь ее чем-то обеспокоена и места себе не находит.

Катерина Константиновна придвинула стул и села.

— Сегодня, — сказала бабушка Лежнева, — в десять часов будут повторять фильм «Четыре танкиста и собака». Первую серию. Будешь смотреть, Гена?

Хмурый молодой Орлов медленно покачал головой.

— Сколько можно одно и то же смотреть?

— Ну, интересно же... — нерешительно сказала бабушка Лежнева. — Все смотрят...

— Я не все, — ответил Орлов.

— Не гордись, — опуская глаза, прошептала бабушка Лежнева. — Бог тебя, гордого, любить не станет...

— Я больше не могу! — прорычал Орлов, со звоном отодвигая от себя чашку. — Оставь ты меня в покое со своим Богом! Будет любить — не будет любить! Сколько можно бред этот слушать!

— Это не бред, — не поднимая глаз от тарелки, сказала Катерина Константиновна. — Глупости не говори.

Молодой Орлов вдруг посмотрел на свою мать таким взглядом, словно она маленькая девочка и раздражает его своими детскими речами.

— Надоело, — сказал Орлов. — Ты мне его ни разу не показала. И ты тоже. Только на картинке! — Он кивнул на маленькую икону, прислоненную к верхней книжной полке. — Которую вы сами же и прячете ото всех! От них, — он кивнул на плотно прикрытую дверь, имея в виду соседей. — И вообще ото всех! Потому что вы боитесь! И не только вы! Все вокруг всех боятся! А я не хочу! И не буду! Ясно вам?

Лицо молодого Орлова ярко покраснело, и настоящая злоба запылала в его темных глазах. Бабушке Лежневой вдруг ни к селу ни к городу вспомнилось, как ей пятнадцать лет назад вручили в роддоме белый такой, узенький, полный живым, горячим, копошащимся сверточек, а теперь этот сверточек сидит перед ней за столом в виде рассерженного молодого мужчины с горящими глазами, играет желваками!

— Дурак, — тихо и по-прежнему не поднимая глаз сказала ее дочь. — Таких дураков, как ты, которые не хотят бояться, знаешь, сколько на свете? Пруд пруди! Их потом жизнь учит. И тебя выучит.

— Катя, — перебила ее бабушка Лежнева, — ты не о том сейчас, Катя! Геночка, ты послушай! Ведь вот когда человек думает, что он сам все решает, ведь это ему только кажется так, Геночка! Я знаю, что вас по-другому учат, знаю! Но сам посуди: вот человек живет, и у него всякие там удовольствия, и работа, и семья, или там я уж не знаю — что, и вдруг он просыпается утром, а ему говорят: «Война!» И всё! А в его планы, так сказать, никакая война не входила! Ты подожди, ты дослушай! — заторопилась она, заметив, что еще секунда — и злой Орлов уйдет, хлопнув дверью. — Ты дослушай! Ну ладно, война. Это не лучший пример. А вот, например, болезнь. Ну откуда она вдруг берется, если, скажем, молодой, здоровый человек? Полный сил? И самоуверенный? А? А я тебе скажу, Геночка, что если ты всерьез об этом задумаешься, то чему бы тебя там ни учили, ты сам поймешь, что не все так просто на свете! И не сам по себе человек в этом мире живет, не сам! А есть над ним иная воля! И то, что мы с мамой твоей чувствуем эту волю Божественную и тебе пытаемся чувства свои передать, так это же, Геночка, долг наш перед тобой, ведь иначе получится, что мы тебя, как котенка слепого, в воду бросаем: плыви как можешь, барахтайся! А мы...

— Хватит, — сказал молодой Орлов и встал. — Я вашей жизнью пожил. Вот как! — он резко провел ребром ладони по горлу. — Больше не хочу. Если бы у меня отец был... — Катерина Константиновна побелела еще больше, но он не взглянул на нее, смотрел прямо перед собой ослепшими от злобы глазами. — Но у меня его не было. Я, наверное, от духа святого родился. Такое тоже бывает. И вы меня больше не трогайте. Я теперь сам разбираться буду.

Он схватил с вешалки куртку и вышел из комнаты большими разгневанными шагами. Бабушка Лежнева вздрогнула от того, как сильно хлопнула в коридоре входная дверь.

— Глаз с него нельзя спускать, — прошептала она Катерине Константиновне, словно пытаясь вывести ее, застывшую и белую, из столбняка. — У меня уж и сил на это нет, и времени не осталось, я ведь старая, всё на тебе теперь, Катенька...

— На, мама, прочти, — прошептала Катерина Константиновна, протягивая ей листок с бурым пятнышком крови в уголке. — И скажи, что мне делать.

Бабушка Лежнева быстро зашевелила губами, читая.

— Ну? — спросила ее Катерина Константиновна.

У бабушки Лежневой задрожали руки.

— У нас в семье, Катя, — сказала она, пугливо отводя глаза от белого лица Катерины Константиновны, — никто не выбирал, если выбирать приходилось между ребенком и адюльтером. Для меня такой твой вопрос непонятен. Он — человек больной, по письму видно. И в тебе нуждается. Тоже по письму видно. Но если ты сейчас все бросишь, туда сорвешься его спасать и метаться начнешь между ним и мальчиком, так мальчик это сразу почувствует. И... Сама видишь, в каком он состоянии, Катя. Ему мать нужна, которая на него всей душой направлена, а не та, у которой чужой мужик в голове... Вот что я думаю. А там решай сама...

— Я съезжу туда, — просительно, с неожиданной для себя интонацией шепнула Катерина Константиновна. — Съезжу, посмотрю, что с ним. А потом уж...

Бабушка Лежнева принялась собирать со стола грязные тарелки. Слезы поползли по ее порозовевшим от тяжелого разговора морщинам.

— Кто кому судья, Катя? — пробормотала она. — Кто кому?

С этого дня мальчик Орлов решил, что будет делать себе комсомольскую карьеру. Никаких советских идеалов у него не было, ничему тому, что басило, пело, ликовало и пугало по радио и телевизору, он не верил. Но он видел, что одно дело — жить так, как живут его мать и бабушка, то есть в коммунальной квартире, со множеством идиотов-соседей и считать рубли от получки до получки, другое дело — подъезжать вечером на своей собственной, родной, серебристой, лучше всего, «Волге» к высокому, только что построенному, с иголочки, дому в уютном арбатском переулке или к массивному, воздвигнутому тридцать лет назад серому великану на углу Котельнической набережной, кивать заискивающе улыбающейся лифтерше, входить в ярко освещенный, с большим зеркалом лифт, а потом, открыв обитую шоколадным кожзаменителем дверь, погружаться во вкусно пахнущий полумрак своей роскошной, в коврах и торшерах, квартиры, где уже суется тебе навстречу девушка-домработница, как это происходит у Ильиных, или пусть даже домработница-старуха, как это заведено у Чернецких, но главное: тыходишь, и тебе хорошо, спокойно, всего у тебя вдоволь, стол ломится от сервелата, шоколада и всяких там сухариков из красивых пакетов, а на телевизоре стоит огромная ваза, полная бананов. С которыми ты можешь делать все, что захочешь! Хочешь — хоть все зараз съешь. Новые появятся. В той же вазе.

Он представлял себе такую картину и усмехался. Что там бананы! Плевать на бананы! Но путешествия! Но мир, про который его сморщенная терпеливая бабушка говорит — «Божий»! Да, вот ради этого «Божьего мира» на многое придется закрыть глаза. Лишь бы выпустили! Чтобы самому, вот этими ногами, погулять по Пиккадилли! Чтобы увидеть над своей головой часы, которые называются человеческим именем, словно это какой-то герой из сказки: Большой Бен! И никогда не считать никаких копеек! И не месить промокшими ногами снег с песком на пробензиновой Зубовской, не дышать прокуренным запахом тамбуров в электричках, не мучиться в кисло пахнущих телами очередях!

Иногда молодой Орлов сам не понимал, что это с ним. Его вдруг начинало трясти от ненависти. Похоже, что все, что сумел спрятать глубоко внутри незнакомый Орлову дед, отец Катерины Константиновны и муж бабушки Лежневой, все это сейчас вырывалось наружу из сердца внука. Будто на внуке-то природа и отыгрывалась. Орлов прищурился, вспоминая приезд молодых английских школьников. Ах, как их, сволочей, катали на автобусе, как прыгали перед ними! А какие на них были шикарные куртки! С потрепанными замшевыми воротниками, с серебряными пуговицами! И как они спокойно, на глазах у всех, жевали свою жвачку, и никто, ни одна живая душа, не посмела сделать

им замечание! А девчонки, его одноклассницы! Что с ними началось! Как они все завибрировали — от кончиков ногтей до последнего волоска на затылках! Любая бы легла и ноги раздвинула! Потому что иностранцы, и ни почему больше! Ладно. У меня теперь свой план. Буду выступать на комсомольских собраниях. С пеной у рта клеймить американскую военщину. Говорить лозунгами. Буду принципиален. Чтобы к аттестату отличника прибавить «особую характеристику» секретаря комсомольской организации и рекомендацию для поступления в МГИМО. И поступлю, и окончу, и дадут работу, все равно — где. Хоть в Швейцарии, хоть в Англии. Плевать мне на все.

Марь Иванна увидела во сне старуху Усачеву. И сон был дурной, отталкивающий: старуха Усачева стояла перед двумя открытыми ярко-желтыми гробами. Гробы были веселого цвета, и вокруг них цвели колокольчики. Марь Иванна отродясь цветных снов не видела и тут здорово испугалась: синева, желтизна, хоть глаза жмурь! Старуха Усачева нерешительно задрала ногу и пощупала ею один гроб, потом ногу вынула и пощупала другой. Потом вдруг, непонятно отчего развеселившись, впрыгнула в первый гроб и заплясала. Но второй так и остался стоять открытым, яркого цвета, никому вроде не нужным.

С тем Марь Иванна и проснулась. Отплевавшись как следует и три раза перекрестившись, она побрела на кухню замесить тесто, чтобы к вечеру испечь капустный пирог. Гинеколог Чернецкий очень любил капустные пироги, и Марь Иванна, обуреваемая неистовым желанием скрепить семью, старалась ему во всем сейчас угождать. Она насыпала в миску легкой, во все стороны блеснувшей муки и изо всей силы шмякнула о край той же миски розоватое яичко. Вдруг перед озабоченными глазами ее опять появился этот проклятый, оставшийся никому не нужным, ярко-желтый, как на праздник сколоченный, гроб с откинутой крышкой. Марь Иванна ошарашенно опустилась на табуретку. Получалось, что в этой дружелюбной открытости смертного пристанища, а также и в похабной этой веселости, в назойливых голубых колокольчиках таится какой-то прозрачный намек, словно Марь Иванну приглашают занять отведенное ей место.

— Не дождэсси! — непонятно кому прошептала Марь Иванна и, всхлипнув, показала плите кукиш. — Мне еще Наташечку подымать и подымать, прости, Господи!

Однако капустный пирог печь не стала — ноги подкашивались, и в голову вступило, — пошла к себе, легла на потертый диванчик, голову закутала пуховым платком. Вот он, с открытой крышкой. Стоит, дожидается. А цветов кругом! А звону комарьего! Очнулась Марь Иванна в ту минуту, когда Наталья Чернецкая открыла дверь своим ключом, бросила мокрый от дождя портфель прямо на пол в коридоре и застыла в дверях чуланчика, звеня не слабже тех колокольчиков:

— У нас гости сегодня! Проснись! Марь Иванна! У меня гости! Вставай! А то не успеем!

— Свят, свят, — забормотала Марь Иванна, приподнимаясь на сухом и слабом локте, — ты такая откудова, растрепанная? Почему книжки с тетрадками на полу покидала?

Ребенок Чернецкая приблизила к Марь Иванне разгоревшееся свое, мокрое от сентябрьского дождика лицо с блестящими, как у мамы Стеллочки, глазами:

— Завтра — воскресенье! Уроков не задали! Ясно? Поэтому у нас сегодня гости! Ко мне придут мальчики!

— Кто придет? — оторопела Марь Иванна. — Какие-такие, ядрена мать, мальчики? Ты сполоумела, что ли, Наталья?

— Я не спо-ло-у-ме-ла! — переходя со звона на грохот, зашла Чернецкая. — Не споло-у-ме-ла-а-а! И не смей при мне выражаться! Тебе сто раз папа говорил! Не выражайся! При детях!



— Так ты мне объясни по-человечески, — забормотала Марь Иванна, нашаривая ногами тапочки. — А то налетела! Прости, Господи! Гости так гости. Чем угощать-то будем?

Часов в пять начали — по одному — появляться гости. Первым пришел мокрый, как мышь, толстый, как кот, с глубокими, влажными складками на горле, Володя Лapidус, который сразу же разулся в коридоре, оставшись в новеньких ярко-голубых носках, в уголках которых болталось по ниточке. Ребенок Чернецкая не обратила на него особенного внимания, усадила в кресло, сунула в руки журнал «Наука и жизнь». Марь Иванна чуть не закричала в голос, обнаружив, в какой туалет нарядилась ее Наташечка. На Чернецкой было черное, из Стеллочкиного гардероба, шелковое японское кимоно и Стеллочкины розовые атласные шлепанцы на высоких каблуках, без пяточек. Голову ребенка Чернецкой украшала высоченная прическа, которая непонятно даже как и на чем держалась. Глаза подвела, нос напудрила, надушилась. У Марь Ивановны во рту стало кисло, словно кто-то по секрету сообщил ей, что Наташечка опять беременна.

— Скорей, скорей! — требовала японка Чернецкая Стеллочкиным требовательным голосом. — Где твой пирог-то? И эти конфеты?! Ну, эти, зефир в шоколаде? Которые папе принесли вчера? И икра где? Ты уже открыла?

Марь Иванна до боли в висках сжала некрепкие зубы, икру раскупорила, зефир поставила. Опять звонок. Пришел Чугров под зонтом с плиткой шоколада «Сказки Пушкина». Увидел розово-черную Чернецкую, выпучил восторженные глаза. Чернецкая перекрутилась на паркетном полу, шурша нежными своими, голыми пяточками.

— Мадам, — сказал Чугров, будучи музыкантом и артистом, — разрешите мне выразить свое восхищение...

— Иди к Володе, — приказала Чернецкая, указывая тоненьким пальчиком в комнату, где сидел мокрый, сконфуженный Лapidус, — и ждите. Сейчас все придут.

Она не ошиблась. Через пять минут явился последний в знаменитом роду, отчаянно пьющий князь Куракин в заношенной школьной форме и вслед за ним подвижный, как щегол на ветке, с пунцовыми щеками и детскими еще, пухлыми, полуоткрытыми губами мальчик Слава Иванов. Глаза у него были вишневого цвета и блестели от волнения. Он задержался в коридоре, разуваясь, боясь испачкать чистый пол в профессорской квартире Чернецких, и она, маленькая, надушенная, все понимающая про любовь Наташечка, наклонилась, чтобы достать ему из-под вешалки отцовские тапочки. Слава Иванов увидел в вырезе просторного Стеллочкиного кимоно ее белоснежные, будто мраморные, в белом атласном лифчике, груди. Они вспыхнули прямо перед его глазами, будто его же глаза и извляли их из воздуха. Когда Чернецкая наконец выпрямилась и с понимающим — о, с лукавым, понимающим, вдохновенным от затеянной игры лицом! — протянула ему тапочки, Слава Иванов ответил ей таким обожающим, преданным взглядом, так испуганно облизнул свои пухлые детские губы, что женщина внутри только что надушившейся Чернецкой незаметно ни для кого удовлетворенно кивнула высокой прической и властно перевела дыхание.

Долго и нервно ели икру с шоколадным зефиром, роняли ложки, слишком громко смеялись, слишком шумно хлопали друг друга по спинам. Зрочки обжигало от любого прикосновения к ее узким беспощадным глазам, красному рту, нежному подбородку с крохотной родинкой. Ребенок Чернецкая пригласила к себе в гости детей — мальчиков и, задев за мокрую золотую листву краем черного шелка, уплыла вместе с ними из скучного, потемневшего от осенних сумерек Неопалимовского в далекую, желтую от вечно восходящего солнца Японию, где они уселись пить чай из тонких фарфоровых чашек, лаская друг друга глазами и обещая друг другу жгучие человеческие наслаждения.

В четверть одиннадцатого Лapidус, Куракин и Чугров ушли, а Слава Иванов со своими оттопыренными детскими губами остался.

— Ложись спать, Марь Иванна, — медленно и сладко сказала маленькая японка. — Мы тебе помоем посуду. Мне Славик поможет.

Иванов кивнул своей тонкой, как у гуся, оранжево вспыхнувшей шеей с острым выпирающим кадыком. Марь Иванна оторопело посмотрела на Наташечку, но — ноги гудели, голова лопалась — послушалась и, пробормотав «не разбейте, гляди», пошла к себе в чуланчик, рухнула и сразу заснула. Чернецкая свалила на поднос фарфоровые чашечки, блюдца с недоеденным вареньем из дачного крыжовника, куски надкушенного зефира и сказала мальчику Иванову, у которого бешено колотилось сердце:

— Неси на кухню.

И пошла впереди, как царица. Иванов дрожащими руками дотащил до раковины тяжелый поднос, не глядя, косо-криво поставил в мойку. В кухне неожиданно погас свет. У Иванова пересохло горло.

— Наташ! — хрипнул Иванов. — Ты где? Не видно ни черта.

— Я здесь, — ласково, медленно и спокойно произнесла недавно брошенная любимым человеком Чернецкая. — У окна.

Иванов всмотрелся в темноту, внутри которой шумел громкий и ровный дождь. Она стояла, спиной облокотясь о подоконник, и свет редких фар мертвым светом освещал ее поднятые к прическе руки.

— Ты без зонта, — прошептала Чернецкая, — смотри, какой ливень...

— Плевать, — выдавил ничего не соображающий Иванов, — подумаешь...

Она усмехнулась и вдруг резким движением вытащила из головы шпильки. Прическа рухнула, волосы упали ей на лицо. Свет был только там, где белели руки, которыми она отвела волосы от своих узких глаз, чтобы убедиться в том, что мальчик Иванов еще жив, что он дышит... Но он почти и не дышал. Странная боль в низу живота мешала ему сделать шаг по направлению к ней, и он испугался, что сейчас закричит или еще что-нибудь такое, потому что терпеть эту боль не было сил. Но неторопливая Чернецкая, продолжая слегка светиться в темноте своими поднятыми руками, прошептала ему что-то вроде «иди сюда», и мальчик Иванов рванулся, хрипя и вздрагивая, как конь из упряжки, обхватил Чернецкую дрожащими ладонями, вжался в нее, и боль в низу живота сразу же отпустила его, закончилась, хотя тут же, вместе с освобождением от боли, наступило рабство.

Молодому Орлову все стало ясно через два дня. Он видел, как несчастный, потерявший свою маленькую, на длинной, с острым кадыком шее голову Иванов смотрит на нее и как она в ответ прищуривается, мягко укладывает на щеки загнутые ресницы, которые, вздрагивая, остаются лежать, пряча ото всех ее узкие глаза, а потом медленно приподнимаются, и там — не голубое, не зеленое, не серое и нежное, как у Томки, но черное, пустое и блестящее, которое ничего хорошего никому не обещает! Ни Иванову, которого она не любит, ни кому бы то ни было еще, потому что она никого никогда не полюбит, кроме него, Орлова, каждый день на ее глазах обнимающего Томку Ильину за трепещущую талию.

Гражданина Насера, Гамалья Абделя, наградили званием Героя Советского Союза. По этому поводу Нина Львовна и Галина Аркадьевна решили провести объединенное (для обоих классов) комсомольское собрание. На доску, не очень аккуратно вытертую, всю в белых разводах, с остатками жалкой какой-то гипотенузы посередине, повесили портрет черноволосого, с волевым подбородком, египетского президента. Галина Аркадьевна глубоко вздохнула. Товарищ Гамаль Абдель Насер, друг Советского Союза и борец за

освобождение свободлюбивых арабских народов против агрессии империалистического Израиля, был необыкновенно похож на восьмиклассника Михаила Вартаняна.

Карпова Татьяна, заглядывая в бумажку, быстро и не очень интересно рассказала биографию товарища президента, потом Нина Львовна совершенно не по делу спросила, каких еще героев Советского Союза, но не русских, не наших, — а из живых, из живых! — знают комсомольцы. Комсомольцы замялись. И тут неторопливо поднялся Геннадий Орлов. Он был спокоен, уверен в себе и очень хорош внешним обликом. Темные глаза его горели целеустремленным огнем — не менее целеустремленным, чем глаза у товарища Гамалья Абделя на портрете. Басом, слегка ленивым, но громким и ясным, отчеканивая каждое слово, Геннадий Орлов сказал, что хочет кое-что сообщить и просит слова. Нина Львовна и Галина Аркадьевна напряглись и обе одновременно кивнули головами.

— Я хочу сказать, — отчеканил Геннадий Орлов, — что больше этого нельзя терпеть. Ни одного дня и ни одной минуты. — Он выдержал долгую, серьезную паузу. Никто ничего не понял. — Да, — тяжело и низко сказал он, — ни одного дня. Потому что агрессивный курс Израиля против арабских стран является одним из звеньев глобальной стратегии международных империалистических сил, о которых Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев в отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду нашей партии сказал так... — Орлов обвел комсомольцев горящими глазами. — «Нет таких преступлений, на которые не пошли бы империалисты, пытаюсь сохранить или восстановить свое господство над народами бывших колоний или других стран, вырывающихся из тисков капиталистической эксплуатации».

Опять он выждал долгую паузу.

— Это не мои слова, ребята, — грустно и задумчиво сказал Геннадий Орлов. — Это слова Генерального секретаря нашей партии, и мы не должны пропускать их мимо ушей. Это касается нас всех. И мы должны сейчас, немедленно вынести решение и поставить на голосование важнейший вопрос...

Зрачки товарища Насера на портрете хищно вспыхнули от удовольствия.

— Как должна измениться работа нашей комсомольской организации в связи с событиями, происходящими в мире, ребята? Имеем ли мы право пассивно наблюдать со стороны то, как свободлюбивые народы всего мира, стараясь вырваться из тисков капиталистической эксплуатации, теряют силы, в то время как мы, счастливые, всем обеспеченные благодаря заботам нашей партии, ничего не делаем для того, чтобы помочь им? Чтобы не на словах, а на деле выразить им свою поддержку?

У Галины Аркадьевны началось сердцебиение.

— Что ты предлагаешь, Орлов? — звонко спросила Галина Аркадьевна. — Давайте голосовать.

— Во-первых, я предлагаю написать письмо товарищу Гамалю Абделю Насеру, — спокойно сказал Орлов. — Он должен знать, что мы всем сердцем приветствуем решение нашей партии о вручении ему почетного звания Героя Советского Союза, что мы не стоим в стороне. И написать я предлагаю немедленно. То есть просто прямо сейчас.

— Просто прямо сейчас? — переспросила Галина Аркадьевна, заглядевшись на Михаила Вартаняна. — Мне кажется, что это хорошее предложение. Ребята, кто за то, чтобы просто прямо сейчас выразить товарищу Гамалю Абделю Насеру свою поддержку и одобрение?

Комсомольцы подняли руки. Лапидус и рыжая Анна Соколова переглянулись с поднятыми ладонями.

— Я предлагаю написать так, — сказал молодой Орлов, — ну, это можно немного переправить, дополнить, но в принципе я предлагаю написать так: «Дорогой товарищ Гамаль! Мы, простые советские ребята, учащиеся школы № 23, от всей души радуемся,

что Вы награждены почетным званием Героя Советского Союза. Нам не повезло: мы не успели принять участия в Великой Отечественной войне, нам не выпало высокой чести отдать свои жизни за любимую Родину. Но мы не стоим в стороне. Наши сердца горячо откликаются на все, что происходит в мире. Мы видим, как непросто достается простым людям в странах, которые еще не вырвались из хищных тисков капиталистических агрессоров, кусок хлеба. Как простые люди задыхаются под гнетом эксплуататоров. Мы знаем, что великое учение Маркса — Энгельса — Ленина завоевывает все больше и больше сердец, и именно это дает нам уверенность в завтрашнем дне. Ваша жизнь, Ваша борьба...»

Анна Соколова приподнялась на парте:

— Гена!

— Что? — тяжело и недовольно отвлекся Орлов, не взглянув на нее.

— Мне кажется, — тонким голосом сказала отвратительная Соколова, — лучше, если мы обратимся к товарищу Насеру на «ты». Не нужно так официально, правда? Не нужно на «вы»! Зачем? Ведь он наш друг, правда? Смотрите, как это намного лучше: «твоя жизнь, твоя борьба...» Разве нет?

— Может быть, — неохотно отозвался Орлов. — Хотя я лично большой разницы не вижу. Тем более что он вряд ли так хорошо знает русский язык. Чтобы прочитать наше письмо по-русски. Думаю, что ему переведут.

— Да, Соколова, — откашлялась Нина Львовна. — Ты права, но, к сожалению, товарищ Гамаль не успеет выучить русский язык к получению нашего письма... — Она заулыбалась, предлагая комсомольцам присоединиться к ее шутке.

Орлов недоуменно перевел на нее глаза.

— Продолжай, — с ненавистью к неуместному выпадку сказала Галина Аркадьевна. — Давайте, ребята, не прерывать Гену. Это важное дело, сейчас не до шуток. Пишем письмо, ребята!

Карпова Татьяна вырвала из тетрадки чистый листочек и приготовилась писать.

— Ты записываешь, Карпова? — кивнул молодой Орлов. — Правильно. Пиши так: «Дорогой товарищ Насер!»

Князь Куракин вдруг багрово покраснел, захохотал и закашлял от хохота. Лapidус поймал его умоляющий взгляд, что-то прочел в нем и тоже расхохотался.

— Оба — вон, — раздув щеки, произнесла Нина Львовна. — За дверь — оба!

Лapidус и князь Куракин вылетели за дверь, и тут же — не успела она с визгом захлопнуться — в коридоре раздался их лающий, неприличный смех.

— Букву заменили, — шепотом, слышным только самой себе, пробормотала Соколова. — Действительно смешно.

Во вторник, через месяц после письма товарищу Насеру, состоялось еще одно комсомольское собрание, на котором Геннадий Орлов был избран заместителем секретаря комсомольской организации средней специальной английской школы № 23, Ленинский район, город Москва, Союз Советских Социалистических Республик.

А в среду выпал снег, которого никто не ждал, и крыльцо старухи Усачевой стало белым и пушистым.

— Сергуня, — сипло позвала Усачева, выпростав растрепанную голову из-под тулупа, который накрывал собою ее всю, свернувшуюся на остывшей печи. — Я, дак, сегодня, туда, дак, иду. Ты, дак, с голоду помрешь.

Бородатый похудевший Сергуня подошел к ней и топнул своей свалывшейся серой ногой.

— Я, Сергуня, сон сладкий видела. Кликают меня, девку. «Быстренько, — говорят, — чего разлеглась? Не с парнем, дак, сама по себе ляжишь, скушно тебе, девке. А Боженька поджидает». И вот какие-то еще слова, Сергунь. Нежные, дак. Только я их, дура дурьева, упустилши. — Старуха Усачева сморщила деревянный лоб, пытаюсь, видимо, вспомнить, какие слова она упустила, но ничего не вспомнила и безнадежно махнула рукой. — Ты мне скажи, Сергунь, проклянуть, дак, меня, девку, на том свете?

Сергунь заглянул в ее тревожно забегавшие глаза своими помутившимися от старости желтоватыми глазами.

— Молчишь, дак? — спросила его Усачева. — У-у ты, зверюга моя! Ястреб ты мой родимый! Дак, я приду, в ножки Ему брошуся, а Он спросит: «Ты, дак, девка, баловала много. Куда тебя такую, девку неприбратаю, в рай ко мне впускать?»

Она задумалась, и руку с ногтями, похожими на ягоды засушенной смородины, уронила с Сергуниной головы. Постепенно изрезанное бороздами лицо ее приняло веселое выражение.

— Вот так вот, — удовлетворенно сказала она, словно отвечая кому-то. — Берешь меня, девку? Не брезговашь? А и то делов: все, дак, к Тебе идут! Кто раньше, дак, кто позже, а все идут! По одной, дак, тропочке, по узёнькой! Ну, растудить тебя, огненного, а и народу-то со вчера привалило, дак!

Усачева пристально вгляделась в темный угол своей неуютной избы, туда, где стояло ведро с водой, и затряслась от счастливого смеха.

— Толкают, дак, друг дружку, Господи, — укоризненно и радостно, помолодевшим голосом сказала она. — Народу-то! А сперва, дак, никто и помирать не хотел! У-у-ух как! «Боюся, дак, боюся!» А как ручку-то Твою на головке почувявши, дак живо заторопимшись! Перепужались, видать, что передумать, дак! Тута их, дурней, оставишь, в рай не возьмешь!. У-ух, напужались! Не могу прям! Аж мутит меня со смеху! Ты гля, гля! — Она поворотилась к похудевшему Сергуню, чтобы и он порадовался: — Ты гля, куда я тебе тыкаю, гля! Вишь, в пинжаке-то? Ой, дак, наворотил мужик! Ох, он бегёт! Побросал, дак, всех! Родня-то по ему воесть! А чего она, Сергунь, воесть? Песни орать, радоваться надоть, а не то, чтобы выть, дак! Когда мужику посля лиху в одночась волюшку дали! Душу ему, дак, от мяса да от костей счистили! Дак, ты за него веселися, Сергунь, а че тебе выть-то?

Она помолчала, не сводя восхищенных глаз со скосбочившегося ведра.

— А ента вон с дитеньшком идет, — вздохнула она. — А сама-то не нашинская, дак. Из какой-то из чужой землюшки. Ишь ты, расфуфырилась, дак, фу-ты ну-ты! Зря, девка, шелковую кофту спачкала! Все одно, дак, раздеваться!

Усачева погрозила пальцем невидимой девке и беззвучно засмеялась, широко разинув рот.

— Ну, иди, иди, милка. Ты, дак, я гляжу, приунята? А цвятов-то! Хоронили-то, видать, знатно! Гля, Сергунь, как идет! Вся пуховая! А уж заслонили тебя, покойницу, целовались!

Она сползла с лавки, накинула тулуп на плечи.

— Пить мне, Сергуня, — просипела она. — Очень попить надобно. А нету, дак, ничего. Водичка-то у нас вся стухшая. Выпьешь глот и, дак, отрависси.

Сергуня утвердительно замотал головой.

— Ты ко мне не липни, — сурово сказала ему Усачева. — С Борюшкой не подох, а со мной, дак, и подавно не подохнешь. Тебе ишо жить да жить, небо коптить. А я отправляюсь, дак. Мне тока надоть одну женщину за собой уманить, зажилася. А как эту женщину, Сергунь, звать, и не помню. Может, Машкой, дак, а может, и нет. Чем тут а с вами на холоду грязюку мясить, мы с ей вместе, дак, и отправимси.

Усачева растворила хлипкое окошко, всмотрелась в облетевшие деревья и горько заплакала.

— Нету! — плакала она своим провалившимся, беззубым ртом. — Нету никого, дак! Водицы некому слить! Стухло все внутрях-то у девки! Промыть нечем! Так и приду к Тебе, Господи, вся стухлая, вся неприбратая! Не отвернись от меня, девки, Батюшка, не вели, Батюшка, срам срамить! Прибери меня, девку, раз слово дамши! Виденье-то мне огненное, знашь, за что было?

Она перевела дыханье, набрала полную грудь осеннего воздуха и закричала в деревенскую поникшую красоту:

— Машка! Идем, девка-а-а! Собирайси-и-и! На реке меня жди-и-и! Мне на тебя виденье было, дак, огненное! Слышь, Машка-а-а!

Марь Иванна слышала, разумеется, сквозь чуткий дневной сон, как надрывалась на другом конце света потерявшая рассудок и волю к жизни старуха Усачева. И не только слышала, но и видела саму Усачеву, машущую ей обеими руками с утлой лодочки. На Усачевой было при этом нарядное розовое платье, и всю ее до подмышек запылил снег.

— Тьфу ты, Осподи! — вскрикнула Марь Иванна, проснувшись. — Навязалась ты мне на голову, горе луковое! По второму разу гляжу! Нашла себе клуб кинопутешествиев! Ну, куда я от своих-то для тебя, дуры луковой, денусь! У меня тут семья на глазах разваливается!

И нисколько Марь Иванна не преувеличила и никаких, к сожалению, красок не сгустила. Семья действительно, что говорится, разваливалась. У гинеколога Чернецкого во вверенном ему отделении скончалась молодая женщина, дочка известного режиссера, только-только родившая от известного же, хотя и варварски бросившего ее актера. И несмотря на то, что официально причиной смерти была признана редкая в Советском Союзе болезнь «анорексия», а именно полное истощение организма по причине голодания, которому предалась дочка известного режиссера после того, как ее бросил легкомысленный актер, — несмотря на это, сам гинеколог Чернецкий и двое его коллег, включая производившего вскрытие профессора Абрама Яковлевича Смуркевича, прекрасно знали, что режиссерская дочка выпила лошадиную дозу снотворного, после чего откачать ее, истощенную голодом и тяжелыми родами, не было никакой возможности. Младенец же, потерявший умершую во сне мать, не захотел оставаться на этом свете сиротой (на актера надежды не было) и кротко умер сразу же вслед за ней, предварительно покрывшись чудовищной какой-то, огненно-синей сыпью.

Похороны были пышными, с музыкой, морем чудных цветов и ненасытными слезами как совсем простых, обыкновенных людей, так и знаменитостей. Виновник случившегося несчастья — немолодой, старше даже отца покойной, известный актер — появился в последний момент, в черном и длинном пальто, с развевающимися над круглой лысиной седыми прядями, порывисто растолкал плачущих, приблизился к нарядному ящику, где лежала умершая мать с невинным младенцем на руках, хотел было стать на колени, чтобы громко стукнуться лбом о деревянную крышку, но был за шиворот оттащен разъяренным и взъерошенным отцом бедной женщины, который — не останови его собравшиеся слезами и криками — запросто уколошил бы мерзавца своей тяжелой, с серебряным набалдашником палкой.

Смерть эта тяжело подействовала на все отделение больницы и послужила поводом к тому, чтобы отчаявшаяся в смысле увода гинеколога Чернецкого из семьи санитарка Зоя Николавна вдруг заявила, что она тоже отказывается от приема пищи.

Ангельское лицо Зои Николавны быстро, буквально за два-три дня, потеряло свою округлость и вытянулось, как лепесток белой лилии. Шея стала прозрачной, руки слегка задрожали. Гинеколог Чернецкий, который решил было совсем не обращать внимания на

эти, как он сказал самому себе, «капризы и глупости», через неделю не удержался и почувствовал жалость, а еще через пару дней к жалости его присоединился страх.

Утром четвертого ноября, оставив машину на шоссе, санитарка Зоя Николавна и заведующий отделением Чернецкий медленно брели по шуршащему тусклой, мертвой листвой безотрадному лесу.

— Так нельзя, зайка, — хмурился гинеколог, нажимая своей мощной ладонью на звонко похрустывающее плечо санитарки. — Человек должен нормально питаться, чтобы поддерживать свою жизнь.

— Зачем? — тихо спросила Зоя Николавна и носком красного резинового сапожка поддела сгнившую, похожую на голову крокодила корягу.

— Что — зачем? — не понял гинеколог и раздраженно остановился. — Ты что, с ума сошла?

— Я? — вздохнула Зоя Николавна, обращая на него бездонные голубые глаза, налитые слабыми от голода слезами. — Нет, я в порядке.

Сердце дрогнуло внутри запутавшегося в личной жизни гинеколога Чернецкого от этого голубого, ничего от него и не требующего взгляда.

— Зайка, пойдем в ресторан! — вспыхнул он и не удержался: страстно поцеловал Зою Николавну в побелевшие губки. — Что ты меня мучаешь!

— В ресторан? — еле слышно засмеялась страдающая санитарка. — Я же не могу есть. Что мне делать в ресторане?

— Но так ты умрешь! — в ужасе выкатывая на нее зрачки, задохнулся он. — Ты ведь видела, как это бывает!

— Не хочу я жить, Ленечка, — еще тише вздохнула Зоя Николавна и ясным взглядом проводила улетающих в жаркие страны перелетных птиц. — Не хочу.

«Погибнет, — заколотилось сердце гинеколога. — Истощение третьей степени, и все. Вот что! Потому что как она меня любит, это не шуточки! Это не глупости, которые у меня были с Нинкой и с Любой. И с Адой. И со... всеми... с этими... тут совсем другое. Я скотина и... Да. Я скотина. Скотина я, и всё».

— Хорошо, — сказал он отчаянно, — хорошо, зайка. Ты хочешь, чтобы мы поженились? Хорошо. Мы поженимся, зайка.

Зоя Николавна прислонилась затылком к дереву, закинула лицо в небо. Вот как одерживаются победы. Проще простого. Без криков и воплей.

Слышите вы, перелетные? Э-э-эй! Перелетные-е-е-е!

Бедная девочка Лена Аленина задерживалась в своем развитии не только умственно, но и физически. Менструации, которые начались было у нее в седьмом классе, вдруг в конце первой четверти восьмого класса почему-то прекратились, а груди были такими прозрачными и бледненькими, что напоминали двух маленьких медуз, слабо дышащих на морском песке. Тем не менее в том же самом конце ноября, как раз когда у нее прекратились менструации, на адрес специальной школы номер 23 в слегка надорванном конверте и все вдоль и поперек изуродованное штампами пришло из города Манчестера письмо, адресованное Елене Алениной. Так и было написано: To Ms. Alyonin Helena from Peter Dover.

Людмила Евгеньевна, перед которой молча положили это письмо, первый раз в жизни не знала, как ей поступить. Звонить в роно и спрашивать совета не хотелось, потому что в роно и так косо посмотрели, когда Людмила Евгеньевна доложила на собрании директоров и завучей, как замечательно прошли встречи с молодыми английскими школьниками. Отдать письмо Алениной Елене было, разумеется, неправильным, но и совсем не отдать его Людмила Евгеньевна тоже не могла, потому что за спиной

манчестерского недоумка стояла туманная Англия со своей сухощавой королевой, морским и воздушным флотом и — главное — несметным количеством враждебно настроенных по отношению к советской власти людей. Которые со времен Антанты ждут не дождутся своего часа.

Первым делом Людмила Евгеньевна, разумеется, письмо вскрыла и, вызвав к себе в кабинет Маргариту Ефимовну, специалистку по английскому языку, велела его перевести.

...

*«Дорогая Елена, — волнуясь и морщась, начала Маргарита Ефимовна, — я много думаю и вспоминаю о тебе. Мне совсем не безразлично то, как ты живешь. Я видел, что ты в Москве была грустная и не рассказала мне ничего о своей жизни. Я думаю, что жизнь у тебя непростая. Решил я рассказать тебе о себе, чтобы мы хорошо познакомились и не были с тобой как чужие. У меня есть родители, которых я очень люблю, и старый дедушка, он живет в Лондоне, и он детский врач. А мои родители тоже врачи и работают в больнице для людей, у которых мало денег и они в этой больнице получают бесплатную медицинскую помощь».*

— Ну! — вскрикнула Людмила Евгеньевна. — А мы не ценим! У нас все бесплатно! Любая болезнь! А мы не ценим! Читайте дальше!

...

*«Я хотел бы тоже стать врачом, но не детским, потому что детей я немного боюсь, они такие непонятные. Я хочу стать хирургом и делать операции на мозге. А что ты хотела бы делать, Елена? Я сказал тебе тогда, когда вышел проводить тебя после последнего ужина в Москве, что хотел бы, чтобы ты стала моей женой и переехала ко мне в Англию...»*

— Что-о-о? — побелев, прошептала Людмила Евгеньевна.

— Ужас, — пробормотала Маргарита Ефимовна, — ужас, безобразия! Дальше читать?

Людмила Евгеньевна молча кивнула.

...

*«Я знаю, что это не очень просто, потому что я узнавал, и мне объяснили. Но я надеюсь, что ничего невозможного нет, если только мы действительно полюбили друг друга. Ответь мне на этот вопрос: полюбила ли ты меня так, как я, кажется, полюбил тебя? Если да, то я постараюсь через год опять приехать в Москву, и мы опять встретимся. А потом, когда мы оба закончим учиться, я придумаю, как мне приехать в Москву на более длительный срок, чтобы жениться на тебе и увезти тебя в Англию...»*

— Вот это да... — Людмила Евгеньевна закусилась по своей привычке пухлую нижнюю губу. — А если бы мы не получили этого письма? И оно попало бы прямо к Алениной?

Маргарита Ефимовна молча всплеснула длинными веснушчатými руками.

— Собрание, — жестко сказала Людмила Евгеньевна. — Общее собрание восьмых классов. И вызвать родителей. Ко мне. Завтра. А сегодня собрание.

— У нее родители — мать и бабушка, — трепеща, прошептала Маргарита Ефимовна.

— Ошибаетесь, — поправила ее Людмила Евгеньевна. — Вы же знаете, что ее отец — это теперь отец Сергея Чугрова. Вот его и вызвать. С бабушкой. Этого так оставить нельзя. Пока она, — и Людмила Евгеньевна криво усмехнулась, — пока она в Англию не уехала. Замуж.

Кому могло прийти в голову, что идиотская любовь Алениной к англичанину Питеру из Манчестера повлияет на будущую жизнь молодого Орлова и она, эта жизнь, засверкает, как наполненные ветром паруса, изо всех сил рванувшись навстречу своему успеху? Случилось бы такое сверкание, рывок, свист парусов и шум их, если бы не классное собрание, на котором нелепая Аленина, у которой ничего нет женского и



привлекательного, включая даже самое необходимое — менструацию, была поставлена в качестве главной и злободневнейшей темы?

На собрание пришлось все-таки пригласить товарища из роно, потому что в последний момент Людмила Евгеньевна струхнула и заискивающе пролепетала что-то в телефонную трубку, отчего товарищ из роно немедленно приехал, а как только он приехал, Людмила Евгеньевна ледяным голосом сообщила, что сейчас будет разбираться совершенно немыслимое поведение комсомолки, собравшейся предать свою Родину. После чего было рассказано, что комсомолка Аленина так «увлеклась» (Людмила Евгеньевна зловеще усмехнулась) иностранцем из города Манчестера, что, забывши все, что дала ей не жалеющая последних сил Родина, сговорилась выйти замуж за этого иностранца, лишь бы из своей Родины убежать! И никогда не возвращаться и ничем не воздать (опять она криво усмехнулась), ничем не воздать своей Родине, своей матери, потому что Родина — это прежде всего мать, а потом уже все остальное. После этого Людмила Евгеньевна дрожащими руками достала из сумки письмо манчестерского Питера и прочитала его тем же ледяным голосом.

— Мда-а-а, — сказал товарищ из роно и неуклюже приподнялся на парте, напомнив этой неловкой временной позой австралийского кенгуру. — Этого мы не ожидали от комсомолки.

Тут-то попросил слово молодой Геннадий Орлов, всего только месяц назад написавший письмо товарищу Насеру.

— Скажи, пожалуйста, Лена, — просто и душевно спросил молодой Орлов, — чем тебе не нравятся мы, советские ребята?

Лена Аленина посмотрела на него с ужасом.

— Нет, ты правда скажи, — еще проще попросил Орлов. — Потому что у нас нет таких замшевых курток, да? И мы не жуем жвачку, как колхозные коровы? Не плюемся на асфальт? Или что-нибудь еще? Но, может быть, мы изменимся? Может быть, мы еще заслужим твое благосклонное внимание?

— Замолчи, — прошептала Анна Соколова, — что ты, с ума сошел, что ли?

— Надеюсь, что нет, — Орлов быстро повернул в ее сторону аккуратную голову. — Надеюсь, что нет, Соколова, и надеюсь, что смогу это доказать.

Товарищ из роно удовлетворенно крякнул и посмотрел на Орлова так, как молодая, только что родившая мать смотрит на своего первенца.

— Мы ничем не хуже твоего англичанина, Лена, — спокойно сказал Орлов, — и то, что у нас нет замшевых курток и мы не бросаемся направо и налево фунтами стерлингов, не делает нас глупее. Но мы счастливы тем, что живем в стране, которая готова пойти на любые жертвы, лишь бы спасти мир от ядерной катастрофы. Как ты думаешь, Лена, стоит ли ядерная катастрофа замшевых курток?

Аленина наклонила шею, опоясанную несвежим кружевным воротничком.

— Не стоит нами бросаться, Лена, — сказал Орлов, — мы надеемся, что у нас будет возможность доказать не только тебе, но и всем, что мы не просто так родились и не просто так носим имя советских комсомольцев. И наша Родина еще убедится в том, что мы ее достойны.

На собрании постановили вынести Лене Алениной выговор по комсомольской линии за поведение, не совместимое со званием советской комсомолки, и тут же послать англичанину Питеру совместный ответ от имени двух восьмых классов — «А» и «Б». Чтобы просто и ясно объяснить ему, что для девушки, родившейся в Советском Союзе, одна только мысль расстаться со своей Родиной подобна смерти. И гораздо страшнее, чем смерть.

— Не надо, — хрипло сказала Аленина, когда ответ манчестерскому Питеру был написан. — Не надо вообще отвечать. Он же не знал.

Людмила Евгеньевна только махнула рукой, и письмо, которое от первой до последней буквы вывела своим прекрасным хрустящим почерком Карпова Татьяна, было положено в конверт, туго заклеено и в тот же самый день опущено в синий почтовый ящик.

И в тот же самый день товарищ из роно сказал директрисе Людмиле Евгеньевне, что из этого парня, ну, из этого — как его фамилия-то? — который вывел Аленину на чистую воду, будет толк. Настоящий. Кто теперь секретарь вашей комсомольской организации? А-а-а... Ну, все равно ведь скоро перевыборы, так? Ну, и нужно этого выбрать, как его? Который сегодня вывел эту — как ее? — на чистую воду.

Сначала широкоплечий и сильный Орлов чувствовал, что совершает над собой насилие. Особенно тогда, когда писали товарищу Гамалю. Он видел, как переглядывались Лапидус и Соколова, как у князя Куракина дергалась левая щека. То ли от удивления, то ли от пьянства. Он отвернулся от князя Куракина и решил лучше посмотреть на свою Томку. В ее преданные бараньи глаза. Что ему, в конце концов, князь Куракин и Володька Лапидус? Они хотят быть чистенькими, плевать. А он немножко запачкается, но зато будет гулять по Трафальгарской площади. Проверять свои наручные по Большому Бену. Сколько там натикало? Не пора ли уже в ресторан? Подкрепиться кровавым ростбифом? Супом из свежей спаржи? Он не очень представлял себе, какая она есть, эта спаржа, но слово ему нравилось. Оно блестело и пощелкивало во рту. Свежей спаржи, пожалуйста. А Куракин будет трястись в подворотне вместе со своим длинношеим папашей и еще двумя-тремя алкашами, разливать мутную водку по нечистым кружкам, размазывать огуречный рассол по небритому подбородку. Ладно. Просрал ты, князь, свою жизнь, а она у человека одна, другой не будет, так что извини-подвинься, княже, не трясись щечкой.

Ненависть подступала к горлу молодого Орлова, когда он думал, что Куракин и Лапидус хотят остаться чистенькими и будут смотреть на него с удивлением всякий раз, когда придется выступать на комсомольском собрании. А он — да! — собирался выступать еще и еще. Он чувствовал, как глубоко внутри что-то вдруг расстегнулось, будто молния на куртке, и вывалило наружу совсем другого, почти незнакомого ему самому Геннадия Орлова. Этот другой Геннадий Орлов оказался гладким, без единой волосинки, и со всех сторон смазанным густым рыбьим жиром. У него был настойчивый голос, плоские чистые ногти на руках и ногах и с левой стороны, под мышкой, поближе к сердцу, лежал мешочек со злобой, сухой и горячей, как нагретые солнцем опилки. Все было нипочем этому гладкому Геннадию. Только бы ему не мешали. Никто. Ни князь, ни Лапидус, ни любовь к узкоглазой Чернецкой, которую он ненавидел. Ни другие, такие же, как он, — гладкие, без единой волосинки, с настойчивыми голосами. Их было много, и они все хотели поесть свежей спаржи. Спаржа ярко зеленела на белом блюде посреди туманного Лондона. Большой Бен отмерял секунды ее недолгой растительной жизни.

Итак, ни Куракин, ни Лапидус ему не указка. Но была еще мать, которую он прежде очень любил и с мнением которой привык считаться. Но мать стала не похожа на себя. Она без конца куда-то уезжала. То на день, то даже на два. Брала отгулы. Он давно догадывался, что у матери кто-то есть. Он ревновал ее, и потому все, связанное с нею, отзывалось в нем остро и болезненно. Хотелось посмотреть на этого, как говорил он себе, материнского «мужика», но «мужик» ни разу не появился на его горизонте. Может, у него была семья и он просто так крутил с орловской матерью, не собирался никогда и никуда уходить из семьи. Может, он был командировочным и приезжал в Москву только изредка, таскал мать по гостиничным номерам, а потом убирался благополучно? Орлов скорее дал бы отрубить себе руку, чем спросить у Катерины Константиновны прямо и откровенно.

Написав письмо товарищу Гамалю и поставив своей целью стать секретарем школьной комсомольской организации, он разом отодвинулся от матери и бабушки Лежневой. Он не спрашивал, куда и зачем уезжает мать, почему она ходит такая расстроенная, почему в той

комнате, где спят мать и бабушка Лежнева и стоит старый буфет с дребезжащей посудой, часто горит лампочка посреди ночи? Ничего он не знал и знать не хотел. Горит и горит. Уезжаешь и уезжай.

Катерина Константиновна уезжала, конечно, в одно только место на земле, а именно туда, где жил и работал священником отец Валентин Микитин.

На следующий день после получения безумного письма от любовника Катерина Константиновна — в теплом уже пальто и вязаном шарфе на своих коротко остриженных волосах — прибыла в деревню Братовщину на последнем вечернем автобусе. Подойдя к двери и уже собираясь изо всех сил по своей решительной всегдашней привычке в нее постучаться, она замерла, услышав громкий голос отца Валентина, причитающего из глубины дома:

«Господи, Боже спасения моего! Во дни возвах и в ночи пред Тобою. Исполнися зол душа моя, и живот мой аду приблизися. Да внидет пред Тя молитва моя, приклони ухо Твое к молению моему! Благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя святое имя Его! Не остави мене, Господи Боже мой, не отступи от мене! Воими в помощь мою, Господи спасения моего!»

Катерина Константиновна осторожно толкнула незапертую дверь и вошла. Страшную и странную картину увидела она перед собою: на полу перед иконами распростерт был босой, с огромными несвежими пятками в разные стороны, в измятом подризнике на голом, судя по всему, теле отец Валентин, который изо всех сил прижимал к половице растрепанную, поседевшую (неожиданно для Катерины Константиновны) породистую голову и громко плакал, произнося молитвенные свои воззвания, а рядом, в двух шагах от него, стоял обшарпанный эмалированный тазик, на дне которого была размазана густая красная жидкость, очень похожая на кровь.

— Что ты... — непослушными губами вскрикнула Катерина Константиновна, — что с тобой!

Отец Валентин оборотил на нее с полу мокрое от слез и дрожащее лицо. Глаза его просияли немислимым каким-то восторгом при виде Катерины Константиновны, и он широко и размашисто перекрестился.

— Пришла все-таки, — просипел он и тяжело поднялся, — услышаны молитвы мои...

— Что это? — расширенными глазами Катерина Константиновна показала на эмалированный тазик. — Откуда это здесь?

— Кровь моя, — с готовностью ответил отец Валентин. — Кровь моя, Катюша. Думал помочиться, а глянул, и кровь пошла. Плоть моя крайняя, Катя, болезнью исходит, а приемлю я, приемлю наказание мое! Помнишь, как сказано: «Да молчит всяка плоть человека и ничтоже земное в себе да помышляет!» Прости меня, Катя!

Он протянул вперед правую руку, словно бы желая прижать к себе ею Катерину Константиновну, но в последний момент опомнился и торопливо перекрестил ее.

— Ты у доктора-то был? — глухо спросила Катерина Константиновна.

— Обойми меня, — сурово попросил отец Валентин, — ибо я тебе, Катя, более не опасен.

— Да и не был ты мне опасен, — через силу усмехнулась Катерина Константиновна и обняла его.

«Похудел! — сверкнуло у нее в голове. — Очень похудел!»

— Я, Катя, похудел сильно, — пробормотал отец Валентин, — а есть ничего не хочу. Тошнит от еды.

— Дай я пойду приготовлю, — простонала Катерина Константиновна, со страхом ощупывая его вдруг ставшие костлявыми плечи, — клюква-то осталась с лета? Дай хоть кисель сварю. Будешь пить... кисленькое...

— Пора, пора, — забормотал отец Валентин, — пора мне, милая моя, кисленькое пить. А то я все больше по сладкому. По сладкому да по сдобному. А ведь сказано: «И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она — сеть, и сердце ее — силки, руки ее — оковы, добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею...» Уловлен я был, Катя...

Он положил руку на ее грудь и слегка сжал ее. Катерина Константиновна так и замерла.

— Да, уловлен, — шепотом, со страхом повторил он, — а с меня, Катя, глаз не спускали. Оттуда-то все ведь видно, не спрячешься. Потому и болезнь у меня такая... Нижнего, так сказать, этажа... — Он вдруг засмеялся на секунду своим прежним рассыпчатым смехом и тут же оборвал его. — Придешь в больницу, а тебе там не сердце, Катюня, слушают, а сразу просят штаны снимать... Вот какая болезнь...

— Что ты говоришь, — спокойно сказала она, — да у кого ее нет, этой твоей болезни! У каждого второго мужчины! Вылечат!

— Ну, это положим, — пробормотал отец Валентин.

Неистовая радость сверкнула было в его лице, пропорола его, как бритвой, и тут же исчезла.

— Катя! — воскликнул он вдруг. — А почему ты мне не родила никого?

Катерина Константиновна тихо ахнула.

— Вот, вот, вот! — У отца Валентина затряслись руки. — И оправдан был бы грех наш! И прощен он был бы! И Господом был бы прощен! Катя! И была бы ты матерью сына моего! И прощался бы я с тобой сейчас не как с сосудом греха, а как с матерью детей моих! И великая это разница, Катя! Величайшая! Ибо сказано в Писании: «Таков путь и жены прелюбодейной, поела и обтерла рот свой и говорит я ничего худого не сделала...»

— А я, Валя, — тихо сказала Катерина Константиновна, — я ничего худого и не сделала... Что ж тут худого, когда я с тобой по любви и вся жизнь моя только любовью и была?

— Не любовью! — судорожно скривился он, и опять радость пробежала по его лицу, словно Катерина Константиновна по второму разу произнесла что-то, что предлагало надежду, которую отец Валентин себе не позволял.

— А чем же? — тихо спросила Катерина Константиновна.

— Как чем? Сказано же Апостолом: «...плотские помышления суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут...»

— Ой, милый, — тяжело и глубоко вздохнула Катерина Константиновна, — Апостолом-то сказано, да кто же в силах так прожить? Кто без плотских помышлений, тот и не человек, кто плотской любви не изведаль, тот и никакой любви не изведаль, вот что я тебе скажу! И не мучайся! И не вини себя, и меня не вини! Обернись-ка, обернись, я тебе говорю!

Катерина Константиновна с силой развернула ослабевшего отца Валентина к узенькому и мутному зеркалу, мерцающему в простенке его простого жилища.

— Смотри! — приказала она.

Зеркало испуганно отразило бледного, включенного старика в странном одеянии, с полными ужаса глазами, и немолодую измученную женщину в сбившемся на спину вязаном шарфе, которая крепко держала его под руку. Вид у обоих был такой, словно они собираются в дальнюю дорогу, где ждет их то ли сума, как говорится в пословице, то ли тюрьма, но что-то уж очень нерадостное.

— Вот мы теперь какие, — сказала Катерина Константиновна, — ты погляди, какие мы с тобой теперь, батюшка.

Слезы медленно поползли из воспаленных глаз отца Валентина, и он вдруг громко всхлипнул.

— Я тебя не оставлю, друг ты мой, и не думай, — выдохнула Катерина Константиновна, не спуская светлого своего и сильного взгляда с плачущего в мутном зеркальце отца Валентина. — Ну, и ответим. Ты вот мне все из Екклесиаста говоришь, ну, и я тебе оттуда скажу, вместе ведь читали-то: «Смотри на действие Божие, ибо кто может выпрямить то, что Он сделал кривым?»

С этого дня Катерина Константиновна начала буквально разрываться между домом, где она проживала со своей семьей, и деревней Братовщиной, в которой служил священником заболевший и горячо любимый ею отец Валентин. Времени — не только свободного, но даже и самого необходимого — оставалось у нее так мало, что ни поговорить с сыном Геннадием, ни всмотреться в его молодую судьбу Катерина Константиновна совсем не успевала.

Возмужавший Орлов с удовольствием принял приглашение Томки Ильиной, нынешней своей любовницы и соученицы, прийти к ним домой в воскресенье вечером.

— У мамы день рождения, — краснея и опуская бараньи глаза, пролепетала Томка, — гостей будет немного, потому что все мамини подруги работают за границей. Кто с мужем, а кто — сама. Но несколько пар — она так и выразилась: «пар» — придут. Мама с папой через четыре дня опять в Цюрих едут, поэтому мама просила, чтобы я была дома и... Ну и чтобы ты пришел...

Бабушка Лежнева дала ему три рубля. Рубль у Орлова был свой. Он поехал в магазин «Детский мир» и купил там золотистого плюшевого медвежонка за три с полтиной. За пятьдесят копеек он купил в булочной плитку шоколада «Сказки Пушкина» и привязал ее к медвежонку шелковой синей ленточкой. Он был решителен и резок, словно шел не на день рождения к Томкиной маме, а на совет в Филях, где решалась судьба России. Что-то внутри подсказывало ему, что от этого вечера многое зависит.

Прямо на пороге он спокойно, как взрослый, слегка посмеиваясь, словно понимая, какая ерунда этот его медвежонок с привязанным к лапе кудрявым Пушкиным, вручил Томкиной маме свой подарок.

— Говорят, что мы страна медведей, — сказал он, — ну так вот, чтобы вы не забывали о нас, когда будете жить в Швейцарии.

Томкина мама, очень похожая на Томку, с таким же вздернутым носиком и бараньими глазами, весело и по-заграничному развязно поцеловала его в свежевыбритую щеку.

— За стол, за стол! — закричала Томкина мама. — Посидите с нами, дети, поедите, потом можете идти в свою комнату смотреть телевизор!

— Это как им захочется, — тонким и гладким, как отполированным, голосом вмешался Томкин папа. — А пусть лучше побудут с нами, не маленькие... О'кей?

Орлова посадили рядом с длиннолицей красивой женщиной с накинутым на голые костлявые плечи белым мехом. Платье под белым мехом было черным, искрящимся, как будто женщина собиралась выступить на сцене. Напротив сидел, как сразу догадался Орлов, ее муж, тоже в шикарном костюме и полосатом галстуке. Лицо у него было серовато-загорелым, с умными и злыми глазами.

— Шампанское я беру на себя, — сказал он глухо, — кто не спрятался, я не виноват...

— Знаешь, кто это? — зашептала Томка в вымытое до хруста ухо молодого Орлова. — Это бывший разведчик! Наш друг! А это тетя Ляля, его жена, они где только не были! Весь свет объездили! — И Томка в восхищенном ужасе округлила свои и без того круглые глаза.

Геннадий Орлов вслушивался в то, что они говорят, и старался есть поменьше, чтобы не было заметно, до чего ему хочется всего этого; и копченых колбас, и черной икры, и

красной, и салату оливье, и маленьких печеных розочек, в которых лежало что-то розовое с торчащим из середины перышком петрушки, и крошечных, со скрюченными лапками, черно-розовых цыплят табака. Они, эти собравшиеся за столом разведчики, с белым мехом на костлявых плечах, отполированными голосами, в полосатых галстуках, пересыпающие свою речь гладкими, как лесные орехи, словами «о'кей», — они ели эти вещи постоянно и не задумывались, съесть ли их сегодня или оставить на завтра.

У Орлова слегка даже закружилась голова от выпитого вина и кружилась до тех пор, пока вставший из-за стола Томкин папа не пригласил его пройти вместе с остальными мужчинами в свой кабинет, чтобы продемонстрировать им коллекцию оружия. В кабинете все стены были обиты стеганой светло-бежевой кожей, на которой висели ружья, пистолеты и несколько разной длины и ширины остро наточенных сабель, которые ярко вспыхнули, как только Томкин отец зажег свет.

— Недурно, — усмехнулся разведчик с умными и злыми глазами, — ты, я смотрю, кое-что тут добавил...

— Да, но немного, — с удовольствием отозвался Томкин отец, — я давно не охотился, честно говоря, рука уж затекать начала. — И он потер левой ладонью правое предплечье. — Весной вот вернусь, надо всем собраться и уж поехать как следует. На лося, подальше куда-нибудь, а, Мить?

— Если только я не уеду в другое место, — со значением ответил разведчик Митя и, ослабив полосатый галстук на длинной морщинистой шее, обратился к Орлову: — Ну а ты кем стать собираешься, знаешь уже?

— Знаю, — ничуть больше не волнуясь, ответил Орлов, — я собираюсь стать дипломатом.

У разведчика слегка приподнялись брови, а Томкин отец удовлетворенно присвистнул.

— Да, — кивнул Орлов, — это единственное занятие, которое мне действительно нравится. И потом, я думаю, что представлять нашу страну за рубежом должны только самые лучшие люди. Самые достойные.

— И ты себя таковым считаешь? — засмеялся разведчик.

— Я бы хотел стать таким, — спокойно ответил Орлов, — во всяком случае, у меня есть настоящая цель. А когда у человека есть цель, его ведь трудно сбить.

— Практически невозможно, — сразу посерьезнев, сказал разведчик, — это я по себе знаю.

Он переглянулся с Томкиным отцом, и Орлов почувствовал под синим, связанным бабушкой Лежневой свитером свое заколотившееся сердце.

— Ты в МИМО хочешь? — спросил его Томкин отец. — Или в Азию и Африку? В ИВЯ, то есть?

— В МИМО, — твердо ответил Орлов, — я хочу туда. В МИМО.

— Ну что, Мить, поможем? — засмеявшись, спросил Томкин отец. — Так-то не очень попадешь...

На нижней губе его вскочил пузырь от смеха. Мимо дверей шмыгнула Томка с распущенными длинными волосами, в красных колготках и лаковых черных туфельках.

— Тамара Андревна! — крикнул ей слегка захмелевший разведчик. — Пожалте сюда!

Томка вошла в отцовский кабинет. Умными, злыми, покрасневшими от коньяка глазами разведчик Митя уперся в ее торчащие в разные стороны маленькие и острые, как у молоденькой, только что родившей волчицы, соски.

— А ну, Андрюха, — продолжал разведчик, не отрывая взгляда от Томкиных сосков, — сосватаем парочку?

— Брось, Митя, — слабо возразил Томкин отец, но, словно тоже поддавшись какому-то гипнозу, маслянисто заблестел кончиком длинного и тонкого носа. — Без нас разберутся, о'кей? Ступай маме помощи, Тамуся.

— Стоять! — прикрикнул разведчик, когда вспыхнувшая Томка хотела было выскользнуть из кабинета. — А ну иди сюда! И ты иди, — приказал он Орлову, — давайте руки!

Это, конечно, была шутка. Разведчик шутил, и Томкин отец, который был тут же, под развешанными на своей кожаной стене саблями, тоже шутил, но что-то раздражило их подскочившее от коньяка и шампанского воображение, потому что, когда разведчик взял в свои сухие смуглые ладони сразу же вспотевшую Томкину ладошку и вложил ее в широкую и спокойную руку молодого Орлова, Томкин отец вдруг жадно приоткрыл от волнения рот и не возразил ни слова.

— Мы вас благословляем, — сказал разведчик Митя, — живите дружно. Распишетесь после выпускного бала. Когда у вас выпускной-то?

— Через два года, — усмехнулся Орлов.

— Нормально, — сказал разведчик, притянув к себе Томку. — В Америке только так и обручаются. За два, за три года. А уж потом только свадьба. Поздравляю.

И поцеловал Томку в переносицу.

— Мы тебе поможем с МИМО, — сказал он Орлову, — фамилию мне свою скажешь, я там замолвлю... Как фамилия?

— Орлов, — сказал молодой Орлов.

— Ну и хорошо, Орлов, — усмехнулся разведчик Митя, — надо помочь будет, Андрюха. Э-эх, хороша парочка! Жаль, чтобы мимо... В жизни ра-а-аз бывае-е-ет восемнадцать ле-ет...

Ночью он не мог заснуть. Перед глазамиплыли скрюченные розово-черные цыплята табака, ваза с мокрой и крупной красной икрой, потом костлявое плечо Митиной жены Ляли. От всего этого он отмахивался, чтобы скорее, скорее, как в любимом кинофильме, который сто раз видел, скорее доплыть толчками своего неистово бьющегося сердца до остро наточенной сабли на кожаной стене, хищно заблестевшего носа у Томкиного отца и услышать, как сквозь вкусный сигаретный дым усмежается глуховатый голос разведчика: «Как фамилия? Орлов? Ну и хорошо, надо помочь...»

Он не в силах был лежать на своем диванчике, вскочил, подошел к окну, распахнул форточку. Небо было усыпано звездами так крупно и размашисто, словно чья-то порывистая рука не захотела сдерживать себя и одним движением выбросила из горсти все, что в ней было: большие и малые созвездия, отдельные огни, блески и какие-то, словно бы жасминовые ветви, полные ослепительных белых, жгучих цветов. Ему вдруг показалось, что еще немного, и он услышит громкую музыку, рвущуюся оттуда, с этого полыхающего неба, у него захватило дыхание, но вместо музыки раздался сперва гладкий смех Томкиного отца, потом слова «затекать стала», обращенные этим отцом к его же собственной руке. Он закрыл форточку, потому что ему вдруг сразу стало холодно, но еще постоял у окна, глядя вверх. Заслоненное стеклом небо перестало переливаться, и белые ослепительные цветы, похожие на жасмин, исчезли.

«Я женюсь на Томке и буду жить в ихней квартире, — вздрогнув, подумал он, — предков же все равно не бывает в Москве, они все время в Швейцарии, домработница только...»

И тут же вспомнил о своих — матери и бабушке Лежневой. Что-то прощально отозвалось у него внутри, как будто мать и бабушка Лежнева остались на берегу, а он несся в открытое море на ревущем катере.

— Ну и что? — вслух прошептал он, скривившись от стыда. — Если я не смогу их туда забрать, я все равно буду им все это давать. Фрукты эти и торты. Всю вкуснятину. Я что, их брошу, что ли?

Чтение собственных литературных произведений вслух было недавним изобретением неутомимой Галины Аркадьевны. Тот, кто категорически не умел ничего сочинять, обязывался тем не менее отсиживать положенный час и принимать горячее участие в обсуждении. Каждую неделю, в понедельник, оба восьмых класса собирались вместе, и начинался урок под красивым названием «Повести наших лет».

Сегодня была очередь Тамары Ильиной. Весь день, с самого утра, Ильина дрожала от волнения, не пошла в столовую на завтрак и плохо написала диктант.

— Ну, — сама почему-то волнуясь, сказала ей Галина Аркадьевна, — ну, читай.

Ильина облизнула слипшиеся губы и умоляюще посмотрела туда, где должен был находиться Орлов. Сердце ее колотилось, в глазах прыгали разноцветные точки, поэтому Орлова она не разглядела, но разглядела что-то большое, белое, с нахмуренными бровями и, догадавшись по приятному запаху знакомого пота, что это именно Орлов, чуть не расплакалась.

— Мой рассказ называется «Отомсти за меня», — дрожащим голосом сказала Ильина.

— Ну, — сказала Галина Аркадьевна.

— Вот, — сказала Ильина и принялась за чтение.

«В первом ряду сидела женщина, низко опустив голову. Когда ввели преступника, раздался ее крик: „Прощай, сынок!“ Преступником был красивый молодой юноша лет семнадцати. У него были голубые глаза, волосы, остриженные под гаврош, и большой клин. Раздался крик прокурора:

— Вы признаете себя в том, что убили человека?

— Да!

Состоялось вынесение приговора, и потом преступнику дали последнее слово.

«Я расскажу все сначала, — сказал юноша. — Мне было пятнадцать лет, когда мы приехали в этот город. Наступило 1 сентября, и я пошел в школу. Войдя в 8-й класс, я сел за первую парту. Тут же подошла какая-то девочка и сказала:

— Тут сижу я и Васильев.

Потом она сказала, что на последней парте никто не сидит. Затем подала мне руку и сказала:

— Давай знакомиться. Меня зовут Вера Иванова.

И, не сказав ни слова, она вылетела из класса стрелой. В школе я очень хорошо учился. Однажды ко мне подошла Вера и попросила, чтобы я ее проводил. Когда мы оделись и пошли, я заметил, что Вера смотрит на меня очень ласково. Но я спросил ее, почему она не хочет помочь Светлане Кузнецовой, которая отстает по математике. И Вера не стала мне отвечать, а убежала. Однажды я сидел дома и занимался, и тут ко мне в окно влетел аккуратно запечатанный лист бумаги. Я развернул его и прочитал: «Валера! Ты мне нравишься. Давай дружить. Приходи сегодня к кинотеатру „Стрела“ в 19–00. Света».

Я пришел к кинотеатру и увидел Свету. Она была прелестна. Особенно меня поразили ее большие карие глаза. Мы начали дружить, но никто в школе об этом не знал. Однажды я провожал ее домой и поцеловал, но в ответ получил пощечину. Я не обиделся. Наоборот: после этого Света стала мне дорога еще больше. Приближался мой день рождения и одновременно Новый год. Так как я один сын у родителей, моя мама пригласила ко мне в гости весь класс. Все пришли, но Светы почему-то не было. Я уже



начал волноваться, но вот раздался звонок. Это была Света. Увидев мою маму, она сначала смутилась, но потом все было нормально. Весь вечер мы провели со Светой и много танцевали. Однажды я обернулся и увидел, что на меня очень пристально смотрят чьи-то черные глаза. Это была Вера. Потом она ушла, сказав, что у нее разболелась голова. Когда праздничный вечер закончился, я пошел провожать Свету. Подойдя к ее дому, я спросил:

— Света! Можно, я тебя поцелую?

— Нет, — сказала Света, но я не послушался и все же поцеловал ее.

Это был мой первый поцелуй девушке в губы. Из дома напротив донеслась какая-то очень хорошая песня. Мы уже подходили к Светиному дому.

— Какая печальная песня, — сказала Света и прижалась к моему плечу.

Разве я мог подумать, что в этот момент она прощалась со мной и со своей юностью навсегда?

— Иди, — сказала она, — дальше я дойду сама.

Я стоял и смотрел ей вслед. Она уже скрылась за поворотом. Вдруг раздался крик. Я бросился туда, не понимая, что произошло».

На глазах у подсудимого появились слезы.

— Дайте ему воды, — сказал судья.

Подсудимый выпил воды и сказал:

«Я увидел Свету, которая держалась за дерево и медленно скользила на землю.

Я бросился к ней:

— Светочка! — закричал я.

— Валерик, меня что-то кольнуло в спину, — сказала Света.

Я посмотрел на ее спину. О! Как это было страшно! Как раз напротив сердца на спине у Светы торчал нож. Я выдернул его и бросил на землю. Увидев эту ужасную рану, я понял, что ей осталось совсем мало жить. Я опустился на колени, обнял ее и зарыдал, как маленький ребенок.

— Валерик, перестань, послушай лучше, что я тебе скажу, — с трудом, как будто сквозь сон, сказала она.

Я крепко обнял ее и поцеловал в горячие губы.

— Как я хочу, — сказала Света, — работать, так же, как все. Учиться. Радоваться тому, что наша жизнь так прекрасна!

— Не умирай, Света! — сказал я, сам не понимая, что она больше не придет никогда.

Я поднял ее на руки и положил на скамейку. Мне казалось, что она спит.

— Света, Светочка! — рыдал я. — Умоляю тебя, встань! Зачем жизнь так жестоко отомстила нам? Ну зачем?»

Галина Аркадьевна с ненавистью посмотрела на Соколову, которая громко всхлипнула.

— Соколова, — прошипела Галина Аркадьевна, — ты сейчас выйдешь из класса!

— Ни за что, — испуганно ответила Соколова и изо всех сил зажала рот ладонью, — я же не узнаю, чем кончилось!

— Читай, Тамара, — кивнула Галина Аркадьевна ярко-красной от переживаний Томке Ильиной, — нам очень интересно, читай!

«...подсудимый замолк и опустил голову. Все женщины в зале суда громко рыдали. Мужчины тоже плакали без стыда и стеснения. Даже главный судья снял очки и вытер глаза.

«Вы просили рассказать, как это было, — сказал подсудимый, — так слушайте. До утра я смотрел на Свету, которая лежала на скамейке, излитая кровью. Очнувшись, я взял ее на руки и пошел домой. Я поднялся по лестнице, постучал в дверь ногой, и больше я ничего не помню. На следующий день я пошел на то место, где убили Свету. Я закрыл глаза, в ушах звенело: „Валерик, я так хотела жить! Отомсти за меня, любимый!“

Утром на следующий день в классе ко мне подошла Вера Иванова и сказала:

— Валера, это я убила Свету. Прости меня, ведь я любила тебя.

Но я не стал слушать ее и убежал. О, как я ненавидел ее! Потом я схватил свой перочинный острый нож и воткнул его прямо ей в сердце. А теперь судите меня, мне это безразлично. Я убил Иванову и не жалею об этом. Света была самым дорогим, что у меня было в жизни. Судья, я прошу вас: пусть подойдет моя мать».

— Пропустите мать Лебедева, — приказал судья.

— Сыночек, — сказала мать, — я ни в чем не виню тебя, но ты бледен! Что с тобой? Ты болен?

— Выслушай меня, мама, я выпил яд, и мне осталось жить две минуты. Я прошу похоронить меня рядом со Светой.

— Сыночек, родимый, что ты наделал?

В зале все рыдали, глядя на мать и сына.

— Света, я иду к тебе! Родная, любимая моя Света! Мы опять будем вместе!

— Валерочка, сынок! Мой любимый, мой единственный!

Мать рыдала, склонившись над сыном.

— Катя, Катенька, успокойся, — со слезами на глазах говорил отец Валеры.

В зале была тишина, и лишь слезы нарушали эту тишину».

— Всё? — со слезами на глазах спросила Галина Аркадьевна.

— Всё, — ответила Ильина.

— Высказывайтесь, — с ненавистью к прячущей в ладони лицо Соколовой сказала Галина Аркадьевна.

— Тамара, — начала Карпова Татьяна с завистью, которая с самого рождения мучила ее, — это очень хороший рассказ, но он требует доработки. Мне кажется, что нужно рассказать, что было с Валерой, когда он пришел домой и принес туда Свету.

— Он пообедал, — негромко и словно бы с раздумьем сказала Соколова сквозь сложенные ладони, — сам пообедал и Свету покормил.

Лапидус громко расхохотался, но Галина Аркадьевна не успела даже отреагировать ни на гадкий этот смех, ни на отвратительную издевку Соколовой, потому что со своей третьей парты у окна вдруг вскочила Наталья Чернецкая, и была она совершенно не похожа на саму себя — розовую, с прекрасно уложенными каштановыми кудрями, в аккуратной отглаженной форме и со слегка подкрашенными лукавыми ресницами. Она еще ничего не произнесла, но лицо было как мраморное, а под глазами пролегли резкие голубовато-черные тени, похожие на след только что растаявшего в овраге снега. Сами же глаза были зелеными и сверкающими, как у кошки. Чернецкая немного даже шипела, как при реакции в химической лаборатории, когда кислоту соединяют со щелочью, и руку для того, чтобы ей дали выступить, выбросила вперед так резко, что треснула подмышка.

— Слушаем тебя, Чернецкая, — разволновавшись, хрипнула Галина Аркадьевна.

— За такие рассказы, — резким, визжащим голосом сказала Наталья Чернецкая, — надо выгонять из комсомола!

— За такие... чего? — испугалась Галина Аркадьевна.

— Да! — еще громче закричала Чернецкая. — Да, выгонять! Комсомолец не может так писать! Комсомолка не имеет права так думать! Комсомольцы знают, что в наше время любовь — это не самое главное в жизни человека! И никто не убивает перочинным ножом девушку, потому что она отбила у другой девушки ее друга! Потому что вокруг друзья, и они помогут девушке пережить эту любовь! Это рассказ, в котором искажается наша жизнь, и тот, кто может так писать, во-первых, сам никогда не любил, и во-вторых...

— Ты что, Чернецкая! — опомнившись, закричала Ильина. — Это кто никогда не любил? Это я никогда не любила?

— А что? — И Чернецкая Наталья обернулась к ней своим мраморным и страшным, со сверкающими глазами, лицом. — Ты, может быть, скажешь, что знаешь, что такое любовь?

И обе они замолчали, тяжело дыша, как заезженные лишним человеком Печориним молодые кавказские кобылицы.

— Прекратите! — опомнилась Галина Аркадьевна и слегка пристукнула ладонью по столу. — Это не разговор! Мы обсуждаем литературные достоинства рассказа Ильиной, а если ты не согласна, ты должна высказать свое несогласие нормально и как товарищ! Мне стыдно за тебя, Чернецкая!

Ильина вдруг разрыдалась, отвернувшись к доске и изо всех сил вжавшись телом в грязные меловые разводы.

— Мне ее не жалко, — отчетливо сказала Чернецкая, опускаясь на свою третью у окна парту так величественно, словно это была бархатная и красная, как кровь, поверхность трона. — Мне тебя несколько не жаль, Ильина.

Неудачное обсуждение литературного произведения тут же закончилось, и Галина Аркадьевна, сжав ладонями свои грохочущие, будто колеса товарного поезда, виски, закрылась в опустевшей по позднему времени учительской. Молодой Орлов подошел к заплаканной Томке Ильиной и по-отечески взял ее под руку.

— Пошли погуляем, — снисходительно и мрачно сказал Орлов, — погода хорошая.

Погода, несмотря на конец ноября, действительно была солнечной и хорошей, даже не очень холодной, хотя только позавчера, например, шел снег.

— Гена! — Томка вскинула на молодого Орлова заплаканные, любящие свои глаза. — Выполни мою самую главную просьбу! Пожалуйста!

Орлов проводил взглядом стройные ножки Чернецкой, простучавшие каблучками через всю только что чисто вымытую хлоркой раздевалку, дождался, пока за звоном каблучков оглушительно захлопнется дверь, вздохнул и спросил:

— Какую просьбу?

— Пойдем, — прерывисто вздохнула Томка, — сам увидишь.

Через полчаса они оказались перед воротами Новодевичьего кладбища, и Томка Ильина сунула под нос грубо пахнущей селедкой сторожихи какой-то пропуск.

— Мы что, — пошутил Орлов, — идем выбирать себе общую могилку? Как Ромео и Джульетта?

— Сейчас ты все поймешь, — задыхаясь, ответила Томка Ильина и потащила его в глубину вечеряющего приюта для покойных людей, на остатках которых лежали подтаявшие прожилки вчерашнего снега.

Они прошли мимо целого ряда маленьких облупившихся крестов со впаянными в них ангельскими и испуганными личиками. Орлов машинально отметил про себя, сколько детей не дожили до их с Томкой Ильиной возраста. Вот пожалуйста: «Петушок Лавровов

1928–1934. Прощай, наш дорогой, наш милый сын, мама и папа никогда тебя не забудут». Или: «Машенька Хризантемова 1952–1953. Ненаглядной доченьке и внучке от семьи Хризантемовых». А вот этот постарше: «Леня Пчелкин 1932–1950. Дорогому племяннику Ленечке от горюющих по тебе дяди Серафима и тети Симы».

И Машенька Хризантемова, запечатленная на фотографии в виде голого пузатого младенца с оттопыренными ушами, и бедный Петушок Лаврозов, весь в крупных локонах, прикрытых лихо надвинутой мужской кепкой, и неизвестно от чего погибший так рано — с мощными бицепсами под белой майкой физкультурника, с выпуклыми неподвижными глазами без ресниц молодой человек Леня Пчелкин — все они смотрели на Геннадия Орлова весело, дружелюбно и беззлобно, нисколько не завидуя тому, что он гуляет по осенней счастливой жизни 1966 года, в то время как они лежат глубоко под землей со своими протершимися за много лет кепками и выцветшими ржавыми гвоздиками.

Фотографии взрослых покойников отличались еще большим весельем и праздничностью. У женщин были завитые, доходящие до выщипанных бровей челки, голые — не хуже, чем у разведчицы Ляли — прекрасные плечи, меховые боа, кокетливые улыбки. Некоторые туманно и многообещающе смотрели из-под маленьких вуалеток, некоторые опирались кругленькими, как яблоки, подбородками на сплетенные пальцы. Всех или почти всех обещали не забыть и не разлюбить вечно скорбящие и преданные мужья, сыновья, изредка — даже внуки. Несколько женщин были изображены в виде ангелов с поднятыми к небу скорбными глазами. Рядом с одним из таких скорбных ангелов притулилась маленькая кривенькая могилка вовсе без имени и фамилии, на старой морщинистой земле которой стояла покосившаяся железная дощечка с простой и чудесной надписью «Спи, бабуня». Обойдя большую пухлую клумбу, в центре которой возвышался черный прямоугольный памятник с двумя лицами, очень похожими друг на друга — тяжелые подбородки, взгляд исподлобья и венчики кос над низкими лбами, — Томка остановилась.

«Ежевикина Анна Леопольдовна, член ВКП(б) с 1906 года, — прочел Орлов под первым тяжелым подбородком. — Ежевикина Леона Леопольдовна, член КПСС с 1920 года», — прочел он под вторым и, встретившись взглядом с неприветливыми глазами Леоны Леопольдовны, торопливо перевел их на живую — судя по ее шумному дыханию — раскрасневшуюся Томку.

— Смотри, — звонко сказала Томка, — вот мой дедушка.

Она протянула руку к соседней с Ежевикиными могиле. Орлов увидел — красного гранита со странным подобием китайской крыши — памятник, по всей ширине которого горели ярко-золотые слова: «Пламенный большевик с 1904 года, верный боец за дело Ленина Дмитрий Евсеевич Лазо. Спи, дорогой друг. Партия и народ не забудут твоей жизни».

— Я почти не помню своего дедушку, — торжественно сказала Томка Ильина, — но это неважно. Я знаю, каким он был. Я привыкла разговаривать с ним и советоваться во всем. — Она крепко зажмурилась. Орлов со страхом заметил, как из-под зажмуренных ресниц ее покатались крупные слезы. — Я советовалась с ним про нас с тобой.

Орлов закашлялся. Томка открыла бессмысленные глаза.

— Я простила то, что ты с ней был, — переходя на шепот, проговорила она скороговоркой, — но я не могу так. Я должна быть уверена, что ты никогда к ней не вернешься, что ты мой. Только мой. Вот, Гена.

— Ты чего, рехнулась? — Орлов неуверенно покрутил пальцем у виска.

— Не смей! — вскрикнула Томка, и Ежевикины одобрительно затрясли подбородками. — Не смей так говорить! Потому что мой дедушка, — она скорбно, как мраморный ангел, возвела к небу зрачки, — потому что мой дедушка тебе не простит. Он отомстит за меня.

Орлов растерялся. Томка опустилась на колени рядом с красным гранитом и пылко расцеловала слово «Лазо».

— Поклянись, — не вставая с колен, потребовала она, — что ты мой и никогда не вернешься к ней.

Ведьмы Ежевикины прищурились, и Анна Леопольдовна тихонько присвистнула сквозь плотно сжатые губы. Дедушка Лазо лежал в земле без портрета, и Орлову показалось, что этот кусок красного камня с китайской крышей сверху, украшенный буквами, похожими на редкие золотые зубы, и есть самое настоящее лицо пламенного большевика Дмитрия Евсеевича.

Ему было некуда бежать, негде прятаться. Ангелы шуршали безволосыми крыльями, мертвые, недобравшие любви женщины кокетничали из-под кудрявых челок. Томка стояла на коленях перед дедушкой Лазо и требовала, чтобы Орлов клялся ей в верности.

— Так, — очень громко, чтобы припугнуть собравшихся виев, сказал Орлов, — в чем ты хочешь, чтобы я поклялся? В том, что я не женюсь на Чернецкой? Пожалуйста. Я на Чернецкой не женюсь.

— Нет! — затрясла головой Томка. — Нет, не в том, что ты не женишься! А в том, что ты никогда, слышишь? Ни-ког-да! Ни р-р-разу в жизни! Даже не посмотришь на эту... как ее? — она запнулась, ища единственно верное слово. — Ни-ког-да в жизни даже не взглянешь на эту бактерию, вот! — Глаза ее засверкали. — На эту инфузорию! Туфельку! Ни-ког-да!

Страшна была Томка Ильина, стоящая на коленях пред могилой гордого и прекрасного человека. И не зря родил он с помощью своей круглоглазенькой дочери эту неукротимую девушку. Пламенная его кровь текла, судя по всему, в ее тонких жилах, жаркое дедушкино сердце стучало в ее груди.

— Ладно, — сдался вдруг молодой Орлов. — Вставай давай. Даю тебе слово, что не взгляну. Нужна она мне... Чернецкая твоя...

#### Часть четвертая

Во вторник, когда оба восьмых класса отправились в планетарий, живописно расположенный неподалеку от Московского зоопарка, и, оставшись в темноте, над которой загорелось искусственными звездами искусственное небо, некоторые комсомольцы тут же начали бесшумно целоваться и стискивать — по своему ребяческому обыкновению — друг другу руки, — в этот день в солнечном Ташкенте начались переговоры между министром Индии Лалом Бахадуром Шастри и президентом Пакистана Мохамедом Айюбом Ханом. Министр иностранных дел Союза Советских Социалистических Республик товарищ Андрей Андреевич Громыко, проснувшись в этот день с сильной головной болью, сморщился всем своим небольшим лицом, выпил натошак рюмку темно-коричневого французского коньяка и в одиннадцать часов тридцать минут по московскому времени заявил, что сделает все возможное от лица миролюбивого и многонационального советского народа и также от своего собственного, небольшого и продолговатого, лица, чтобы примирить враждующие стороны и восстановить в означенном регионе спокойную дружественную обстановку.

В этот же самый вторник и, как ни странно, в это же самое время, а именно в одиннадцать часов тридцать минут гражданин Чернецкий Леонид Михайлович, проживающий по адресу Неопалимовский переулок, дом 18 дробь 2, кв. 2, позвонил в редакцию газеты «Вечерняя Москва» и продиктовал тамошней секретарше, что возбуждает дело о разводе с гражданкой Чернецкой Стеллой Георгиевной, проживающей там же.

Гражданка Чернецкая Стелла Георгиевна, нимало не смирившаяся с тем, что неверный муж возбуждает с ней дело о разводе, решила со своей стороны не терять времени даром и посеяла раздор в семье своего непосредственного начальника Бориса Трофимовича

Твердова, у которого и без того хлопот был полон рот: на Кубе созревала оппозиция, и у жены Тамары обнаружился камень в желчном пузыре. Именно с Тамары-то и решила начать коварная Стелла Георгиевна, беспокоясь о том, как бы получше замести следы и никоим образом не обнаружить своего участия в деле развала хорошей и дружной семьи начальника. Следуя заранее разработанному плану, во вторник утром — не пробило и одиннадцати — Стелла Георгиевна передала болезненной Тamarочке конверт с фотографиями, который она незаметно вложила в сумку курьера, направлявшегося с важными бумагами прямо на домашний адрес Бориса Трофимовича. То, что Борис Трофимович не откроет конверта прежде пожелтевшей от проклятого камня Тамары и не уничтожит его содержимое тут же, Стелла Георгиевна знала точно, потому что Бориса Трофимовича отозвали в Ташкент и он пребывал в такой запарке, собираясь на мировой важности встречу трех держав, что неминуемо должен был (как он, кстати, часто и делал) крикнуть своей Тamarочке, только что принявшей от курьера пакет с важными бумагами:

— Открой, посмотри, что там! — сам при этом бреясь опасной бритвой и запихивая в чемодан нежное нижнее белье.

Именно так все и произошло. Борис Трофимович недобрился, даже и не смахнул пены с волевых щек своих, когда похудевшая жена Тамара в распахнутом желтом халате, задевая сухими коленями за недавно приобретенный, темного дерева, спальный австрийский гарнитур, ворвалась к нему с негромким криком и рассыпала по ковру ворох глянцевых фотографий.

— Что это? Что это? Что это? — забыв, скорее всего, от неожиданного потрясения все остальные слова, кроме этих двух, раскричалась Тамара. — Это что? Это что? Это что? Я спрашиваю-ю-ю!

Если бы, конечно, не Ташкент, где его ждали для того, чтобы содействовать перемирию, Борис Трофимович разъяснил бы своей Тамаре, что «это», собственно говоря, НИЧЕГО. Дружеские фотографии дружески-фамильярных отношений с женщиной-коллегой Стеллой Георгиевной. И больше — ты слышишь меня, Тома? — больше — говорю тебе — абсолютно НИЧЕГО. Но у Бориса Трофимовича нервы были, что говорится, на взводе, он неожиданно побелел, схватился одной рукой за сердце, другой за остатки своих когда-то прекрасных густых русых волос, типичных для простого заводского паренька, потом и кровью вскарабкавшегося на высокую ступеньку скользковатой государственной машины, и закричал, используя отвратительные бранные слова, давно выброшенные им из могучего словарного запаса:

— А ты, что, бя... за кого меня, бя, я тебя спрашиваю... принимаешь, бя? Я ночей не сплю, бя, работаю тут, понимаешь... а ты меня подозреваешь, бя...

Нервная Тамара тоже побелела, замычала в ответ что-то грубое, некрасивое, бессмысленное, из спальни выпорхнул младший сынок Боренька, только что, минуто буквально назад, заболевший свинкой и оставленный дома по причине болезни, — маленький, весь раздутый, с марлево-ватным компрессом на груди, — выпучил невинные глаза на родительский крик, получил незаслуженный пинок от раздраженного Бориса Трофимовича, разрыдался, был иступленно прижат к материнской груди, короче, началось такое, что подсмотри эгоистичная Стеллочка в дверную щель, осталась бы довольна. Налетев на подводные скалы, белый «Титаник» семьи и брака искрами огня, гроздьями гнева рассыпался по просторному океану. Закружились на волнах меха и бриллианты, закачались австрийские гарнитуры, а пассажиры, разинув рты, без шлюпок и спасательных кругов, забурлили в воронках ледяных беспощадных сил, которые вечно караулят, вечно высматривают, где потеплее да посытнее, чтобы именно туда — в теплое, сдобное, меховое и сытное — вдруг обрушиться с визгом и грохотом, смять всё это, растерзать на клочки, пустить пухом по ветру...

Улетел в Ташкент Борис Трофимович Твердов, но по пути на перемирие, готовясь к встрече с товарищами Лалом Бахадуром и Мохамедом Айюбом, взвесил второпях свою

собственную личную обстановку, решив, что ни со Стеллой нельзя разрывать отношений, ни с Тамарой, потому что и та и другая очень могут напакостить и совершенно отравить жизнь, так что уже никакие устрицы во льду не помогут. Поэтому на следующий же день бедная Тамара получила от мужа длинную и трепетную телеграмму: «Прости недоразумение тчк. Дружеские снимки тчк. Не более тчк. Ничего другого тчк. Праздновали Кубе День Восьмого марта тчк. Не было измены тебе детям тчк. Люблю только семью тчк. Забудем глупости тчк. Беспокоит твое здоровье тчк. Береги себя детям и мне тчк. Целую миллион раз Борис тчк».

Одновременно с этой телеграммой Стелле Георгиевне Чернецкой на адрес Дома дружбы была направлена другая телеграмма, на которой стояла пометка: «Лично получателю в собственные руки»: «Убит подосланными фотографиями тчк. Кто мог подлость тчк. Она ужасе тчк. Нужно обсудить все тчк. Будь осмотрительна тчк. Ни кем ни слова тчк. Жди моего приезда тчк. Целую Борис тчк».

Обе эти страстные, доказывающие, сколь хрупка и беспомощна наша жизнь — будь она хоть семи, хоть более пядей, — телеграммы полетели в одну и ту же точку (Москву) и по пути встретились с тысячами других телеграмм, направленных из разных точек в город Ташкент, где совершалась мировой важности встреча. Телеграфировали электрики и инженеры, домохозяйки и профессора, скрипачи и токари, бывшие уголовники и их судьи, работники ЖЭКов и служащие на подводных лодках.

«Приветствую... предлагаю вынести вопрос Вьетнама по вашему подобию на встрече Северного, Южного, Армии освобождения... горд нашу Родину... уверена успехе... лично Андрею Андреевичу... прошу сердечное пожелание моей семьи передать... достигнуть разумных соглашений... мир между народами... Милюков... Островерхов... Нижепалов... Лопожухина... Тетранидзе... Киселевы... Рцы Анатолий... Сырникова Вероника Сергеевна...»

И чем светлее грело солнце в Ташкенте, чем теплее смотрели друг на друга товарищи Шастри и Айюб Хан, тем холоднее и безотраднее становилось в зимней Москве с раскисшими меховыми воротниками на сгорбленных от колючего снега спинах людей и животных. Маленькая, слегка пополневшая от Марьиваннинных капустных пирогов Наталья Чернецкая чувствовала, что между отцом и матерью стоит теперь не просто берлинская и не какая-нибудь там древняя, всеми забытая китайская стена, а такое, чему на человеческом языке вовсе нет названия. Отец и мать, если им доводилось встретиться глазами, становились настоящими чудовищами, изо ртов у них изрыгались языки пламени, волосы на головах вздымались, и в результате этой ненависти и она, Наталья, дитя их нелюбовного брака, и Марь Иванна, самоотверженная хранительница их тусклого очага, обе почти заболели, начинали путать все на свете, огрызаться друг на друга, ронять на пол дорогие дедовские тарелки, не гасили за собой света в уборной, не попевали подойти к телефону... И главное: не было сил у Натальи Чернецкой ответить любовной взаимностью мальчику Славе Иванову, который с каждым днем привязывался к ней все крепче. Он приходил, и маленькая Чернецкая, всегда зазывавшая его прежде в свою комнату, как только Марь Иванна ложилась вздремнуть, теперь начинала демонстративно разговаривать по телефону с глухой Белолипецкой, поворачивалась к нему спиной, поправляла прическу, сверкала ноготками в распущенных каштановых кудрях, неестественно смеялась и всем своим видом, вернее сказать, всей своей круто выгнутой, равнодушной спиной, головокружительно переходящей в упругую раздвоенную поверхность, на которой — он знал, он видел все это! — нежно сминались кружева ее полупрозрачных трусиков, теперь показывала ему, что он не нужен, что весь этот рай — ее таинственно опущенные узкие глаза, запах ее крепко надушенного разгоряченного тела, неширокая кровать, аккуратно застеленная клетчатым пледом, — все это кончено, пишите письма, рай закрыт, он изгнан из благоухающей рощи, причем абсолютно один, без Евы, с яблочным вкусом на зубах, ломотой во чреслах и тоской,

невыносимой и огромной, как снег за окном, и даже больше, чем этот снег, неистощимее, чем снег, грустнее, пронзительнее...

Мальчик Иванов терпел неделю, и две, и три. Потом он заметил, что на уроках она безотрывно смотрит на широкие плечи и круглый затылок Орлова, который, не поворачиваясь, словно бы посылает ей какие-то сигналы. Мальчик Иванов чуть не закричал, когда почувствовал, как эти проклятые плечи притягивают к себе Наталью Чернецкую и она покорно гладит их своими блестящими от слез, узкими глазами... Чернецкая изменяла Иванову прямо при всех, изменяла этой невозможной покорностью, которая пропадала тотчас же, как только она отвлекала свое внимание на все, что существовало отдельно от молодого Орлова.

— Эй! — сказал мальчик Иванов, когда самоуверенный Геннадий развалистой и одновременно твердой походкой прошел мимо него по школьному двору. — Эй, ты! Генка!

— Что? — раздувая ноздри, спросил небрежный Орлов.

— В морду хочешь? — растерявшись, спросил Иванов.

— А ты хочешь? — бледнея, спросил Орлов.

Мальчик Иванов неаккуратно толкнул его кулаком в плечо, но молодой Орлов перехватил его руку и сжал ее так, что на вишневых зрачках Иванова выступили слезы. Сквозь туман, сквозь расплывающиеся лилово-красные круги он бросился туда, где было темно и раздувались ноздри. Эта темнота и раздутые ноздри были не чем иным, как подлым Орловым, их нужно было раздавить. Мальчик Иванов изо всех сил обрушился на раздувшиеся ноздри, потому что из-за них, из-за этих ноздрей, его, костлявого и простого, выгнали из благоухающей рощи. Вся окровавленная, вся задохнувшаяся ревность, только что целесообразно распределенная между миллионами мужчин и мальчиков всего мира, сосредоточилась сейчас в одном ломком теле Славы Иванова, и ее оказалось так много, что на мгновение широкоплечий и самоуверенный Геннадий Орлов отступил на шаг в сторону, словно считая для себя унизительным взять и подставиться чужому безобразию. Но потом, увидев в миллиметре от своего широкого небрежного лица эти красные щеки и трясущиеся губы дурака и троечника, он крикнул, как кричал его покойный дед, когда его толкали в трамвае или призывали на субботник по уборке территории, — глухо, свирепо и сдержанно, — но, в отличие от деда, спокойно бравшего праздничные грабли субботника в крепкие руки, молодой Орлов стал вдруг огненно-красным и принялся бить костлявого дурака и троечника по его впалому животу.

Подчинившись неразумному желанию уничтожить друг друга, оба комсомольца принялись топтаться на грязном, подтаявшем за утро снегу, обагрив его свежей кровью, которая, словно бы обрадовавшись свободе, начала вольно и радостно вытекать то из костлявой груди мальчика Иванова, то из раздувшихся ноздрей молодого Геннадия, образуя на грязном снегу вокруг жаркие пурпурные сгустки, похожие на ягоды перезревшей рябины. Наконец они сцепились так крепко, что уже не было понятно, кто есть кто и где находится в данную секунду каждый из них, потому что они не существовали по отдельности, и даже лица молодых людей перестали дышать индивидуально, а дышали лишь общей, враждебной и хлюпающей внутри их единства мокротой.

Чернецкая стояла у окна второго этажа и смотрела вниз. Она видела, как они убивают друг друга, и радовалась этому. Она радовалась тому, что молодой Орлов, отец их неродившегося ребенка, не переставал, оказывается, любить и желать ее. Сейчас она стала свидетельницей этой любви и желания. Он хотел, чтобы мальчика Иванова, которого Чернецкая — по женской мстительности и жестокости — впустила на часок-другой погулять внутри своего нежного тела, не было больше, чтобы от него остались одни только окровавленные рожки да ножки, но ведь никакой другой причины убивать Иванова, кроме любви к ее нежному телу, не было и не могло быть у самолюбивого



Геннадия Орлова. Чернецкой захотелось даже, чтобы погибли они оба, чтобы они упали рядом на грязный окровавленный снег — без малейших признаков жизни, без дыхания, стали восковыми и неподвижными, — и тогда она сможет сказать всем, всем, всем, что это была — да, ЛЮБОВЬ! — что двое прекрасных юношей умерли потому, что она так и не смогла решить, кто из двоих ей нужен, а просто стояла и смотрела на ихнюю смерть из окна, и на душе у нее пели скрипки.

Комсомольцев наконец растащили, и князь Куракин, выудив из кармана скомканный носовой платок, приложил его к разбитому лицу мальчика Иванова своими трясущимися и добрыми руками. Орлов же, отказавшись от помощи, стряхнул с разодранной одежды прилипший к ней снег, поднял голову и увидел Чернецкую, застывшую на подоконнике второго этажа. Тогда он усмехнулся, хотя рот его был уродливо распухшим и тоненькая затихающая струйка крови ползла по подбородку. Чернецкая не шевелилась. Она почувствовала себя так, как молодая, недавно еще строптивая змея чувствует себя в руках опытного и безжалостного факира, первый раз приволокшего ее на воскресный базар и разложившего посреди базара вылинявший персидский коврик для предстоящего выступления. И несмотря на то, что змея долго ждала этой минуты, чтобы либо уползти на свободу, либо до смерти искусать бритоголового факира, сейчас — когда он уже разложил коврик для выступления — она вдруг поняла, что ползти некуда, никакой свободы, кроме этих тонких, унизанных кольцами любимых рук, нет на свете и не бывает, поэтому остается лишь, нежно шипя, исцеловать их жгучим своим языком да побыстрей приступить к извивающемуся танцу под сладко-мучительную и властную дудку.

— Ну как? — задыхаясь, спросил окровавленный Орлов, поднявшись на второй этаж и близко подойдя к ней. — Ничего себе было? Не скучала?

— Ге-е-ен-а-а, — простонала Чернецкая и тихо протянула руки к его изуродованному лицу.

Тогда он не выдержал и обнял ее. В коридоре, как ни странно, никого в этот час не оказалось, уроки давно кончились, и, дорвавшись, молодой Орлов поцелуями своего разбитого и распухшего рта ее нежное лицо и медом пахнущую шею.

— Тебе больно? — шептала Чернецкая, вздрагивая под поцелуями горячего орловского рта. — Тебе правда не очень больно?

— Молчи-и-и, — простонал он в ответ и вдруг, словно испугавшись, что она обидится, пробормотал что-то странное: — Солнышко ты мое...

Он и сам не знал, какими судьбами вырвалось из него это «солнышко». Может быть, вспомнились напевы тихой и родной бабушки его, старушки Лежневой, которая баюкала молодого Орлова по старинке, нежной лермонтовской колыбельной, где мать-казачка баюкает своего младенца, хотя отлично знает, что недолго пролежит он в уютной люльке, недолго прочмокает во сне сладкими от материнского молока губами, потому что — не успеешь оглянуться — вырастет чернобровый казак, вскочит на горячую лошадь и «махнет рукой». Да, все это было, было, бормотала ему бабушка и лермонтовскую колыбельную, и «придет серенький волчок, тебя схватит за бочок», и «спи, солнышко мое, спи, моя деточка», и вот все это вдруг прорвалось, потому что есть свои законы у нежного душевного движения, которое вкладывает в разбитые и окровавленные мужские рты абсолютно чужие, казалось бы, слова и даже интонацию их повторяет. Так вот и бормочет себе, с придыханием: «солны-ышка-а ты мое-е...»

После смерти Усачевой все в деревне Братовщина осталось по-прежнему, ничего не изменилось, если не считать того, что Федору Подушкину начали приходить из Москвы письма от ученицы восьмого класса Фейгензон Юлии, которая горько сетовала, что он, легкомысленный и неверный Федор Подушкин, окончательно перестал приезжать к ней в столицу. Федор на письма отвечал нечасто, потому что писал вообще плохо, хуже даже Юлии Фейгензон, которая, будучи все-таки ученицей специальной английской школы, любила вставлять в свои письма иностранные слова, типа «by-by» или «see you later».

Главного, однако, глупая Фейгензон не сообщала, но скорее всего потому, что этого-то главного она и сама до последней минуты не подозревала. Мало кого волновало и беспокоило, что от природы полная Юлия еще больше раздобрела. Проще даже сказать, никого это не беспокоило, включая и Юлию, и ее примитивных, как полагали Галина Аркадьевна и Нина Львовна, родителей. На физкультуру она в этом году вообще не ходила, получив освобождение по причине хронического гайморита, так что рассмотреть, что именно происходит с ее животом, крепко утрамбованным под голубыми рейтузами из вискозы, а поверх них еще и черным плиссированным передником, не было никакой возможности. Вдруг через месяц примерно после заключения мира между Бахадуром и Айюбом, как раз когда Чернецким сообщили дату официального развода, Людмилу Евгеньевну бросил ее новый мужчина, отца Валентина забрали в больницу с желудочным кровотечением и оба класса посмотрели в кинотеатре «Россия» новый, только что вышедший фильм Бондарчука «Война и мир», вторую серию, — именно тогда и случилось событие, перевернувшее тихую и простую школьную жизнь.

В воскресенье, двадцать третьего февраля, в день рождения Советской армии, у Юлии Фейгензон, ученицы 8-го класса «А», комсомолки, родился ребенок.

Потом уже только узнали подробности. Ребенок этот, никем неожиданный, никому не обещанный, начал рождаться ночью, когда сама Фейгензон, родители ее и соседи крепко спали, радуясь тому, что завтра выходной и можно долго-долго не просыпаться. Не тут-то, как говорится, было. Ребенок, торопясь, наверное, отпраздновать День Советской армии или вообще стараясь хоть как-нибудь отличиться, подлизаться и понравиться, решил родиться на целых два месяца раньше и, захлебываясь в родовых водах, выскользнул на свет какой был — голый, несчастный, испуганный и, как ни странно, с кудрявыми черными волосами. Мать его, ученица 8-го класса, только-только продрала глаза в густых ресницах, поойкала от боли, разбудила усталых своих родителей этим неприятным ойканьем, и не успели они все втроем опомниться, как ребенок уже оказался тут как тут, и пришлось, грубо говоря, отрезать его от материнской пуповины.

Соседи, разумеется, тоже проснулись. Потому что они-то и отрезали. Мать Юлии Фейгензон, женщина нервная, издерганная, совестливая и старой закалки, вообще отказалась присутствовать при дочернином позоре, накинула облезлое пальто на байковый халат и, неприбранная, в тапочках на босу ногу, ушла из дому прочь, прямо в февральскую московскую улицу, слабо озаренную угрюмым фонарем, который стоял на углу и желтым прозрачным лицом своим ловил нисходящие с неба редкие снежинки.

Итак, ребенок родился. На рассвете он перестал почему-то кричать и заснул, притулившись к материнскому боку, горячему, как только что испеченный, густо смазанный сливочным маслом пирог. Рядом с постелью преступной Фейгензон остались только ее отец со вставшими над головой кудрявыми волосами и молодая соседка Клавочка, изнемогшая от любопытства и насквозь фальшивая в своем якобы сострадании семье Фейгензон. Тут Юлия наконец-то разрыдалась, размазала по лицу густые горячие слезы и попросила отца «ничего не говорить маме, а то убьет».

— Братик у тебя родился, вот что, — произнесла вдруг Клавочка и посмотрела на родительницу Фейгензон очень выразительно. — Знать ничего не знаешь. Поняла меня? Братик, и всё. Прибавление.

— Какой братик? — заикаясь, спросил бедный отец Фейгензон.

— Ну, вы даете, Сема, — хохотнула сообразительная соседка Клавочка. — Как какой? Ваш собственный сын. Ну, и Фиры, конечно. А Юльке — братик.

— Ай, ну, да, да! — закачался отец Фейгензон, в отчаянии схватившись за голову. — То есть вы думаете, что никому ничего не сообщать, а, наоборот, сообщить, что Фирочка, значит, родила... Да, но как же декрет тогда и вообще... То есть беременность?

— А никак, — жестко отрезала Клавочка и потерла друг о друга большой и все остальные пальцы правой руки. — Как всё, так и это. Дать, кому надо, в загсе. В поликлинике. Ну, и в ЖЭКе, наверное, тоже. Хотя в ЖЭКе необязательно. Там и так одно ворье.

Клавочка, в сущности, была просто золотом и государственного ума человеком, но Клавочка не могла поручиться ни за себя, что будет держать дело в секрете, ни тем более за Марью Никитишну, другую соседку, при родах присутствовавшую, ни за мужа ее, пьющего болтуна Севрюгина Петра Петровича, ни за бабу Катю, третью по счету соседку, которая при всей своей глухоте все-таки что-то такое сквозь сон расслышала и тоже подвалила полюбоваться, как голый младенец вылезает на свет. Юлию зачислили в больные, и в понедельник бедный отец Фейгензон, собравшись с духом, позвонил в школу, чтобы сказать Галине Аркадьевне, классной руководительнице, что дочь его лежит в фурункулезной ангине и в школу прийти не может.

— В ангине, — бесцветно повторила Галина Аркадьевна. — И прийти не может. А как у нее с молоком?

У бедного отца язык так и прилип к нёбу, он начал ловить воздух пересохшими губами, но делал это так громко, что Галина Аркадьевна брезгливо отодвинула свое немного как бы пожеванное ухо от телефонной трубки.

— Где ребенок? — громко и страшно спросила Галина Аркадьевна.

— Здесь, — измученно ответил отец Фейгензон, — здесь он. Куда ему деться?

— Ребенок жив? — уточнила безжалостная Галина Аркадьевна.

— Жив, — испуганно сказал отец Фейгензон и, не справившись с дедовской гордостью, добавил: — Ребенок очень хороший.

— Что-о-о? — переспросила Галина Аркадьевна. — Что значит «хороший»? И как нам, педагогам, объяснить поступок вашей дочери? Как нам, глядя в глаза пионеров и комсомольцев, сообщить ребятам, что у вашей дочери родился ребенок?

Отец Фейгензон молчал и по-прежнему ловил губами воздух, чтобы до конца не задохнуться.

— Вопрос о поведении вашей дочери, — сухо сказала Галина Аркадьевна, — будет поставлен на учительском собрании. Сегодня. В четырнадцать часов. Вы тоже приходите.

— На собрание? — испугался отец Фейгензон.

— На собрании вы никому не нужны, — нахамила ему Галина Аркадьевна. — Но вы будете присутствовать в коридоре, потому что могут возникнуть вопросы. К вам вопросы. Понятно?

Жили Фейгензоны — мать, отец и ребенок их Юлия, теперь тоже с ребенком, которого еще никак не назвали, все вместе. У стены справа стояла тахта, на которой спали отец и мать, а у стены слева помещалась раскладушка Фейгензон Юлии, у которой в ночь на воскресенье родился ребенок. Вернувшись из коридора, где висел на стенке общий для их коммунальной квартиры, замызганный неаккуратным Севрюгиным телефон, отец Фейгензон с тоской отметил, что ничего за время его отсутствия у них в комнате не изменилось: мать Фейгензон лежала, отвернувшись лицом к стене и замотав голову полотенцем, а только что родившая дочь Юлия под присмотром очень оживленной соседки Клавочки пыталась накормить большой левой грудью своего младенца. Младенец при этом был одет очень плохо, в какие-то ползунки дочери Клавочкиной подруги, которая уже много лет как эти ползунки не носила и вообще была в старшей группе детского сада. Расстроенный отец Фейгензон постоял сначала над своей неподвижной замотанной женой, потом перевел глаза на вспотевший кудрявый затылочек никому не нужного существа, которое, сопя и похрипывая, пыталось как-то все-таки прокормиться от материнской груди. Молока в этой груди почти еще не было, и несчастный малютка, не

плача и не упрекая, а только вот именно посапывая и похрипывая, тщетно втягивал в свои слабенькие недоношенные губки пустой коричневый сосок.

Тут что-то вдруг надломилось в осторожном сердце отца Фейгензона. Он наклонился, погладил своей маленькой и очень бледной рукой вспотевший затылочек и прошептал, кажется, так:

— Хороший ты мой мальчик. Маленький.

— Ну, что они вам там сказали, Сема? В школе? — громко спросила Клавочка.

— Сказали, чтобы я пришел на собрание. Они всё уже знают.

— Боженьки мои! — запричитала Клавочка. — Да откуда ж это? Да что у них, шпионы, что ли, за нашей квартирой приставлены?

И тут же осеклась, остановленная строгим и скорбным взглядом отца и деда.

— Это уже не так важно, — пробормотал он и обернулся к своей неподвижной жене: — Вставай, Фира. В два часа нам нужно быть в школе.

Фира не ответила. Отец Фейгензон прочистил горло птичьим трезвучием и повторил:

— Фира, вставай.

Замотанная жена его изо всех сил затрясла головой в полотенце.

— Он маленький мальчик, — тихо сказал отец Фейгензон, и у него торопливо задрожал подбородок. — Что ему делать? Или ты думаешь, что он выживет, если мы с тобой за него не похлопочем?

Фира перестала трясти головой и громко всхлипнула.

— Он умрет, — сказал отец Фейгензон, — и мы с тобой его похороним. Вдвоем. Потому что Юлия будет в школе, а больше он никому не нужен.

— О-о-о! О-о-о, вэй! — зарыдала Фира и, заплаканная, с раздувшимся лицом, приподнялась с диванных подушек. — Я же язык облупила! Я же ее, дрянь, на ключ запирала! И она все равно принесла мне в подоле!

— Ребенок не виноват, — тихо продолжал бледный и терпеливый Фирин муж. — Он нам родной и маленький ребенок. Он будет наш сыночек, а она будет ему сестрой.

Фира вылупила свои когда-то жгучие, а теперь просто темные внутри желтых белков зрачки и подавилась непроглоченной слюной:

— Чем будет? Кому сестрой?

— Мальчику, — сказал отец Фейгензон. — Этого мальчика родила ты. Мы хотели сыночка, и у нас есть сыночек. А она будет учиться. Она тоже ребенок.

— Шлема, — сказала Фира, — ты знаешь, что ты не в своем уме?

— Я знаю, — твердо ответил Шлема, — и не надо ее ругать. Она должна кормить нам сыночка, и молоко зависит от ее настроения.

В учительской собрались все, кроме Роберта Яковлевича, который сослался на озноб, боль, температуру, заложенные уши, нахлобучил на лысую голову потертого кролика и отвалил. Из женщин-педагогов в учительской находились: Людмила Евгеньевна, недавно брошенная мужчиной, Зинаида Митрофановна, у которой дочка только что развелась и мыкала теперь муку одиночества, подбрасывая матери чуть ли не каждый день сопливую свою, малоразговорчивую Танечку, Галина Аркадьевна с сильной мигренью, которая в последнее время караулила ее с настойчивостью опостылевшего ухажера, Нина Львовна, от волнения искусавшая весь незатейливый самодетельный маникюр, Тамара Андреевна, которая сама должна была вот-вот родить и только мешала работе преподавательского состава этим большим и треугольным, как у гусыни, животом. Ну, и Маргарита Ефимовна с Мартой Ивановной. Короче, в жарко нагретой учительской было просто яблоку упасть негде, пусть даже незрелому и мелкому. Пробыло два часа, а Фейгензонов все не было.

Наконец в два часа пятнадцать минут, когда терпению собравшихся просто наступил конец, дверь учительской распахнулась и на пороге появилось странное семейство в составе двух взрослых и одного младенца. Мать Юлии Фейгензон была в красном берете, из-под которого выбивались ее жесткие и кудрявые волосы, с красными покрашенными не только губами, но немного даже верхними зубами, что выдавало ее волнение в минуту окраски. На руках у нее был младенец, завернутый в потертое одеяльце. Она прижимала его к груди так крепко, как будто младенца могли отнять, и все ее решительное лицо сверкало оранжевыми и багряными красками, как болдинская осень.

— Ну, вот мы пришли, — громко сказала мать Фейгензон и еще крепче притиснула к себе младенца. — Извиняемся, если опоздали.

— А это вы зачем принесли? — холодно спросила Людмила Евгеньевна. — Ребенка вы зачем принесли? Мы и так знаем, что ребенок родился.

— Я извиняюсь, что значит «зачем»? — еще ярче побагровела мать Фейгензон. — У нас родился ребенок, и мы его принесли! Если бы у вас родился ребенок, вы что, дома бы его бросили?

Бездетная и только что брошенная мужчиной Людмила Евгеньевна тоже вспыхнула шеей, лицом и грудью под плотным и заграничным костюмом джерси.

— Нам, вы знаете, не до шуток. Ваша дочь пустилась на последнее, и мы должны обезопасить школьный коллектив от ее безобразного влияния. Ей вообще не место среди детей, ей место среди отщепенцев и преступников. Но не у нас, нет, не у нас в школе.

— Это еще почему, вот чего я не понимаю, — громко сказала мать Фейгензон и локтем отвела руку отца Фейгензона, попытавшуюся помешать ей. — Как это не у вас? А где же? На помойке, что ли? И какое такое она вам преступление сделала, что вы ее из школы гоните?

— Не мне вам объяснять, — прикрикнула Людмила Евгеньевна, — и оставьте, оставьте, пожалуйста, не прикидывайтесь, пожалуйста! Вы что, не понимаете, что по вашей дочери колония плачет?

— И с чего это вдруг бедная колония плачет по нашей дочке? — издевательски спросила мать Фейгензон и еще резче отодвинула локтем мужа. — Что же мы ей такого сделали, вашей колонии, что она плачет?

— Ну-у-у, люди-и-и, — развела руками Нина Львовна, — ну-у-у, и поговори с такими... Ну и что же мы удивляемся, что у такой матери такой ребенок?

— Ребенок у меня очень замечательный, — с вызовом сказала мать Фейгензон и отодвинула жалкое какое-то, застиранное кружево с лица этого спеленутого и беззвучного ребенка. — Пожалуйста, если кто-то хочет посмотреть на нашего ребенка, подходите, пожалуйста, мы только рады!

Педагоги переглянулись. Отец Фейгензон хотя и ничего не говорил, но тоже распрямился, вздернул голову с острым и маленьким подбородком, засиял запавшими глазами, и видно было, что он во всем поддерживает эту свою неумную скандалистку-жену.

— При чем здесь вы! — не выдержала Маргарита Ефимовна. — Речь идет о вашей дочери, которая в неполные пятнадцать лет родила неизвестно от кого! Которая гулящая, извините меня за выражение!

— Нет, я вас извинять не собираюсь, — тихо и зловеще сказала мать Фейгензон, — нет, уж вы меня, милая дама, не просите, чтобы я вас тут всех извиняла. О моей дочери, пока я живая и меня в могилу не засыпали, о моей дочери никто таких слов говорить не будет! Пусти, Шлема! — оттолкнула она отца Фейгензона и с размаху сунула ему в руки ребенка. — По какому такому праву вы ее обзываете? Это чем же она, я извиняюсь, гулящая?

— Товарищи! — звонким голосом перекрывая назревший скандал, крикнула Людмила Евгеньевна. — Всех попрошу помолчать! По-мол-ча-ать! А вы прекратите! Прекратите, я в последний раз говорю! Прекратите прикидываться! Вы что, не знаете, откуда взялся этот ребенок? Вы его что, на улице подобрали? В капусте? Ха-ха-ха!

И она очень звонко, хотя и совсем ненатурально, расхохоталась.

— Я его родила, — сказала мать Фейгензон, и ее по небрежности испачканные красной помадой зубы изо всех сил закусил нижнюю губу. — Это мой сын. Наш сын. Левочка.

Педагоги повели себя по-разному. Галина Аркадьевна, страдающая мигренью, вскочила со своего стула и собственным телом закрыла дверь, словно для того, чтобы не дать никому возможности покинуть помещение. Зинаида Митрофановна сняла маленькие выпуклые очки, что делала чрезвычайно редко, всего-то, может, раз или два в жизни, и бешено завращала своими освободившимися желтоватыми глазами, как будто их изнутри завел кто-то невидимый.

— Ну, ёлы-палы, дает... — пробормотал Николай Иванович и хрустнул плечом.

— Никакого другого разговора у нас с вами не будет, — твердо сказала мать Фейгензон. — Я вам наших детей не отдам. Нарожайте себе и делайте с ними, что хотите. А наших не дам. Вот вам последнее слово. Левочку мы уже в загсе заверили. Шлема, покажи им документы!

Отец Фейгензон торопливо достал из внутреннего кармана своего пальтеца какие-то бумажки и стал совать их прямо в лицо остолбеневшей Людмиле Евгеньевне. Людмила Евгеньевна брезгливо отвернулась, но Тамара Андреевна, тяжело вставшая со стула, вразвалочку подошла, заглянула в эти бумажки и, вздохнув, сказала негромко:

— Всё правда. Это документы. Фейгензон Лев Семенович. Родители: Фейгензон Семен Осипович и Фейгензон Эсфирь Самойловна. Не к чему придраться.

— Всего вам хорошего, товарищи, — надменно произнесла Эсфирь Самойловна, — пойдем, Шлема. Домой пора. Давай мне Левочку, я его понесу.

Они повернулись и ушли. И в самом уже конце, уже когда дверь за ними почти закрылась, Левочка, не издавший до сих пор ни единого звука, вдруг громко заплакал, словно бы для того, чтобы все удостоверились, что он есть, вот он, Левочка. Существует на белом свете. Маленький и хороший мальчик.

Юлия Фейгензон уходила из школы после второго урока и возвращалась только к четвертому. На переднике у нее — там, где он трещал и топорщился на груди — расплывалось по большому темному пятну с каждой стороны. Девочки говорили: «молоко пришло», а иногда просто «пришло» и выразительно переглядывались. Фейгензон помалкивала про своего «братика», и девочки тоже молчали: слишком странно было то, что между ними — в простой школьной форме, черном переднике, с пальцами, перемазанными плохой шариковой ручкой, — находится настоящая, только что родившая женщина, мать настоящего, из кожи и костей, с глазами, руками, ногтями и позвоночником ребенка. Он вылупился из нее, РОДИЛСЯ, и она кормит его своим молоком. Об этом нельзя даже говорить, запрещено, жуткая тайна, и Фейгензон будет всю жизнь врать, всю жизнь скрывать ото всех на свете, что она — в ночь с субботы на воскресенье, 23 февраля 1967 года — РОДИЛА себе этого тайного, спрятанного ото всех, маленького младенца.

Она, однако, сильно изменилась, родивши Левочку. Стала печальная и одинокая. А все потому, что один и тот же идиотский вопрос мучил ее: кто он ей теперь, этот — со множеством складок на крошечных локотках — мальчик? Мать говорила:

— Покорми брата, Юлия, сколько раз повторять! Брат с голоду заходится!

И она покорно подходила к кроватке, которую им подарила Клавочкина подруга, вынимала оттуда выгибающегося внутри своих тесных пеленок, красного от крика Левочку, быстро распеленывала его, меняла горячий и мокрый подгузник, снова запеленывала, а он все кричал и захлебывался, и она тоже начинала волноваться, быстро стаскивала с себя лифчик, протирала смоченным в кипяченой воде (мать велела!) полотенцем соски, и Левочка тут же ухватывал один, тут же затихал, успокаивался, а она чувствовала, как ноющая боль внутри груди становится тягучей, горячей, и не болью уже, а какой-то почти приятной ломотой, переполненной молоком, которое вытягивает из нее маленький изголодавшийся Левочка. Он ел, глядя светло и бессмысленно, потому что весь был сосредоточен на этом молоке, которое за два часа накопилось внутри ее большой груди, и ничего другого, кроме ее лица, шеи и запутанных волос, не искали его голубовато-пестрые младенческие глаза. Главное, что им обоим было в этот момент совершенно достаточно того, что они имели: Левочке — ее молока и лица, а ей — самого этого Левочки с его тихо журчащими и хлюпающими губами. Потом мать отбирала у нее ребенка, он снова превращался в материнскую собственность, а сама она снова становилась школьницей, ученицей 8-го класса «А», которую уставшая и раздражительная мать могла изо всех сил хлопнуть по щеке за полученную двойку. Их с Левочкой одинаково называли «детьми», мать кричала на отца: «Шлема, как детей на ноги поднимать будем, ты не знаешь?» И она, привыкшая слушаться родителей и верить им, ощущала, как та густая, молочная пустота, которую они с Левочкой до предела заполняли друг другом и где никого, кроме них двоих, не было и не должно было быть, сужалась до размера извилистой щели, внутри которой все остальные на свете толкались и мучились.

А 8 марта, когда у метро «Парк культуры» с раннего утра выстроились серые и страшные старухи с вытекшими глазами, протягивая прохожим чахлые букетики мимозы, издали похожие на цыплят, — в этот самый день загулявший с парнями Федор Подушкин получил из Москвы очередное письмо.

...

*«Здравствуй, дорогой Федя! Извини, пожалуйста, что долго тебе не писала. У меня совсем мало свободного времени, потому что 23 февраля, в день рождения нашей славной Красной армии, у меня тоже родился сын. Его назвали Львом, и я даже не ездила в роддом, потому что он родился совсем неожиданно. Я и не знала точно, что жду ребенка. У меня ведь и раньше бывали задержки. Но было очень больно совсем недолго. Может быть, даже меньше, чем полчаса. Теперь я уже и не помню. Левочка родился на два месяца раньше, чем должен бы родиться, но это ничего. В поликлинике нам с мамой сказали, что он совсем здоровый и очень хороший мальчик. Я его люблю. Хотя, конечно, трудно и учиться, и помогать маме воспитывать Левочку. Мама с папой так сделали, что теперь считается, что Левочка — это не наш с тобой, а ихний сын, а мне брат, а тебе вообще совсем никто, просто чужой человек. Я долго думала о том, что это неправильно, и поэтому решила тебе написать письмо и спросить твоего совета. Конечно, я от мамы с папой во всем завишу, потому что у меня нет ничего своего и нет денег, но все-таки мне не нравится, что Левочка будет моим только братиком и никогда даже не узнает, кто его настоящий отец. А ты ведь его настоящий отец. Мне кажется, что он очень на тебя похож. Он смеется так же, как ты, потому что он тоже очень веселый. Мне кажется, что он будет очень добрый. Как у тебя с учебой? У меня в этой четверти будет, наверное, тройка с минусом по алгебре. Так сказала Нина Львовна. Она сказала, что они так и поставят в дневнике этот минус, потому что я на самом деле заслуживаю двойку. Это нехорошо, что я так запустила алгебру. А как у тебя? До свидания. Если ты можешь приехать в Москву, то, пожалуйста, приедь.*

Юля».

Прочитав это письмо, Федор Подушкин стал красным и первый раз в жизни чуть не разревелся — настолько его потрясло то, что в далекой Москве у него, оказывается, растет сын Лев. Это, конечно, было очень хорошо, потому что ни у кого из дружков никаких сыновей в Москве не было. Плохо другое: сына этого никогда не отдадут Федору Подушкину, он останется жить у евреев, и они будут его по-своему всему там растить. А кроме того, очень жалко Юльку, с которой у Федора настоящая любовь, но они в разлуке и с самого сентября даже не виделись.

Мучаясь тревогой, Федор Подушкин вечером 8 марта заглянул в клуб, где шел праздничный концерт, посвященный женщинам-труженицам, и все собравшиеся тоже были красными и злыми от выпитого за день самогона.

— Ты че, Федяха, — сказал ему взрослый парень Митька, недавно из армии и сильно пьющий. — Че поздно-то? Девку обрабатывал иль, это, уроки свои делал?

— Письмо получил, — доверчиво ответил ему Федор Подушкин и протянул письмо Юлии Фейгензон.

Пьяный, еле держащийся на ногах Митька прочитал письмо и изо всех сил расхохотался своим пропахшим водкой некрасивым, немного кривым ртом.

— Ну-у, сука! — с восторгом и громко заорал Митька. — Ну-у, сука, блядь, чего выдумала! Москвичка, понимать, ё-моё! Нагуляла пузырь, а теперь на наших валит! Ну, ё-моё!

Федор даже и не понял сразу, о чем это он, а когда понял, было уже поздно: маленькое письмо Юли Фейгензон, нежное, словно веточка белой сирени, плыло между пьяными Федоровыми дружками, которые выхватывали его друг у друга, быстро пробегали своими злыми глазами, хохотали, плевали на пол и грязными словами выражали неприветливое отношение к тому, что в этом письме написано.

— Блядь столичная, ишь ты... да мы таких блядей-жидов, че говорить, р-р-раз и... Гулёна, вишь, нашлась... приезжай, мол... Они там, суки, щас каких только не рожают... там от черных, от этих, от обезьян африканских, рожать начали... во дела, блядь... там, это, университет Африки открыли, ну, и бляди эти, столичные-то, вроде этой твоей... жидюги-то...

Кровь бросилась в голову Федору Подушкину, в глазах у него потемнело, и — пока в далекой праздничной Москве располневшая и грустная Юлия Фейгензон кормила своей большой смуглой грудью их сына Левочку, а по телевизору показывали новый фильм «Женщины» и вся остальная семья, включая соседку Клаву, его смотрела — Федор Подушкин, превратившийся от ярости в молодого расвирепевшего льва, бросился с кулаками на целую толпу невежественных и нетрезвых молодых колхозников. Они ответили ему беспорядочными, но довольно-таки сильными ударами, Федор не сдавался и изо всех сил вцепился зубами в руку бывшего своего друга Митьки, отчего тот, взвизгнув от неожиданной боли, гулко хрястнул Подушкина недопитой до конца большой мутноватой бутылкой.

И Федор тут же выпустил его прокушенную руку, опустился на пол и остался лежать, заливаясь кровью. А когда подскочили остальные колхозники, завопили, начали растаскивать и колотить молодежь, он, выпустив изо рта последнюю струйку своего тихого и чистого, деревенского дыхания, перестал быть Федором Подушкиным, а в виде хрупкого светлокрылого серафима покинул распростертое на полу тело и с грустным облегчением взмыл в небеса. Там он еще помедлил, покружился над родными полями, улетать не спешил, потому что никто сразу не покидает тело, в котором жил и работал, — всякому ведь интересно посмотреть, что происходит, когда тебя освобождают ото всех этих костей, жиров и углеводов, чтобы можно было, ни о чем таком не беспокоясь, обдумать свою земную жизнь.



Короче говоря, за те девять дней, которые ему были отпущены, светлокрылый серафим Подушкин все, что нужно, более или менее успел. Он посмотрел, как его юное тело с криками и плачем уложили в свежееотструганный гроб и закопали в двух шагах от недавно умершей старухи Усачевой. Посмотрел, как убивалась мать, которой в насильно раскрытый рот вливали самогон из эмалированной кружки, а она отплевывалась и тонко, как раненый заяц, кричала. Кроме того, он увидел, как молоденький кривоногий милиционер скручивал руки протрезвевшему от страха Митьке, а двое других милиционеров били Митьку по лицу и голове. Но главное: он наконец увидел своего сына Левочку вместе с недоумевающей и грустной Юлией Фейгензон, которая, конечно, не представляла себе, кто таков теперь Федор Подушкин, и мучилась от того, что он не отвечает. Левочка же своему отцу, светлокрылому серафиму, очень понравился, и тихими ясными слезами омыл он кудрявый затылок беззащитного Левочки, осенив его на прощанье широким и крестным знаменем.

Никто в 8 «А» ничего толком не знал друг о друге, как это вообще всегда бывает в жизни. Это ведь только кажется, что все известно и понятно, а останься ты в полной кромешной тьме на самом краю земли (а еще лучше того над пропастью, где дна не видно) с самым что ни на есть знакомым тебе человеком, — поглядишь, что будет. И никто ведь не знает заранее, что именно будет. Поэтому на свете так много страха, злобы и неуверенности. А если бы иначе — ходили бы все обнявшись, грызли грибы да ягоды.

Томка Ильина не знала, что молодой Геннадий Орлов вновь полюбил Наталью Чернецкую, Наталья Чернецкая не знала, что Геннадий Орлов дал себе слово любыми путями поступить в Московский институт международных отношений, Геннадий Орлов не знал, что Наталья Чернецкая, расцветшая как роза под поцелуями разбитого рта его, прибежала домой и первым делом позвонила мальчику Славе Иванову, чтобы приласкать его и пригласить на вечер к себе домой, потому что поцелуи Орлова вернули ей, во-первых, уверенность, во-вторых, счастье, такое огромное, что им хотелось хоть с кем-нибудь поделиться, словно бы сплеснуть с ладони каплю принадлежащего тебе целого моря. Теперь, когда Орлов признался, что она его «солнышко», теперь вообще можно все! Теперь ей весело, теперь — как поет мама, когда она собирает чемодан, чтобы ехать на Кубу, — «Я танцевать хо-очу! Трам-там-там-там-там-там! Я танцевать хочу! Трам-там-там-там!»

Она набрала телефон Иванова, но трубку никто не взял, а вялая Марь Иванна позвала ее из кухни:

— Наташечка! Иди пообедай!

Она почувствовала волчий голод, влетела на кухню, намазала хлеб горчицей, как любила делать ее покойная бабушка Любовь Иосифовна, и неожиданно услышала, что Марь Иванна, наливавшая ей в тарелку грибной суп, громко всхлипывает.

«Осподи! — типичным словом плаксивой Марь Ивановны подумала про себя Чернецкая. — Опять все не слава Богу!»

— У тебя болит что-нибудь, Марь Иванна? — стараясь, чтобы ее голос не звенел от счастья, спросила она.

Марь Иванна обернулась к ней от плиты, держа в руках дымящуюся, голубую с синим и белым, драгоценную тарелку. Лицо у Марь Ивановны было все залито слезами, и морщины делали его поверхность похожей на кусок изрезанной велосипедными шинами темно-бурой земли, в больших и мелких колеях которой стоит мутная дождевая влага.

— Я помру, — всхлипывая и проталкивая слова через горло, как утка куски размокшего хлеба, сказала Марь Иванна, — а ты тут без меня... А ведь ты для меня, ведь ты, Наташечка... Ведь вот как на руки-то взяла, как принесли тебя, как прижала к себе сюда, — Марь Иванна поставила на стол тарелку с супом и обе освободившиеся руки прижала к груди, — так ведь и не отпускаю... — Слезы хлынули с новой силой, она

зажмурилась и затрясла головой. — И вот я сегодня все утро про смерть думаю... Ну, куда она меня от тебя забирает? Что им там за разница: одной душой больше, одной меньше? Ты бери тех, которые не любят никого! Им что? Собрался да и поехал! А когда вот как у меня, Наташечка, по тебе все нутро на кусочки разламывается, куда же я с этим там денусь? Я ведь и сама замучаюсь, и тебе покоя не дам! Вся болеть по тебе буду!

— Где это — там? — бледнея и расширив неподвижные испуганные зрачки, спросила Чернецкая.

Марь Иванна горько и безнадежно махнула рукой.

— Да где ни есть! Я ведь, Наташечка, не помирать боюсь, а тебя жалко! По тебе у меня, голуба моя, сердце плачет!

И, опустившись на стул, она обхватила Чернецкую дрожащими ладонями, громко зарыдав в ее нежную, густо исцелованную Орловым шею. Маленькая Чернецкая видела совсем близко, под самым своим подбородком, пегий и тонкий, как ниточка, пробор плачущей Марь Ивановны, вдыхала луковый, слегка кисловатый запах ее волос, чувствовала, как ее горячие слезы заливают ей школьный передник так сильно, что того гляди и разойдется плиссировка. Неожиданно ей пришло в голову, что на свете есть сильные, а есть и очень слабые люди, что Марь Иванна вот слабая, а ее мама Стеллочка — сильная, бабушка Любовь Иосифовна была слабой, а дедушка — сильным, мальчик Иванов, конечно же, слабый ужасно, а молодой Орлов — жутко сильный, глуховатая Белолипецкая — слабая, а сама она, Чернецкая, кажется, наоборот... Да, она, кажется, сильная, потому что никто ведь не заметил, как она плакала в роддоме, когда отец целовался с этой самой санитаркой, а ей, родной его дочери, пришлось сделать вид, что она спит и ничего не видит!

— Не плачь, Марь Иванна, — радуясь своей душевной силе, сказала Чернецкая и слегка поцеловала Марь Иванову в пахнущий луком пробор. — Ты еще не умираешь, ты не старая. Это тебе все показалось. Мама с папой когда придут?

Марь Иванна еще пуще затрясла головой и опять с большим усилием протолкнула разбухший хлеб через горло.

— Да что там мама с папой! Они ведь у нас разв-о-о-дуются, — Марь Иванна произнесла это слово так, будто скатала все звуки в трубочку. — Папа велел тебе это передать, чтоб ты знала. А он с тобой сам поговорить хочет.

Чего угодно она от них ожидала, но только не этого. Только не развода! Только не этого позора на всю школу!

— Разводятся? — закричала Чернецкая и тут же расплакалась, затопала ногами. — Не ври! Ты врешь! Кто разводится?! Где папа?

И, задыхаясь от слез, набрала номер.

— Передайте, что звонила его дочь! Чтобы он мне перезвонил! Что я жду!

Она уже не помнила о мальчике Иванове и не хотела делиться с ним своим недавним счастьем. Самое главное — не отдать отца этой мерзкой, этой лахудре кудрявой! Она ни на секунду не думала и не хотела думать о матери, потому что не о матери шла речь, а только о ней и ее отце! Самое ужасное, что приходило ей в голову, это то, что у отца может быть какой-то еще ребенок, если он снова женится! Конечно! Родила же вон Юлька Фейгензон, рождает же Тамара Андреевна! А она сама? Она ведь и сама чуть было не родила! Представить отца, голого и возбужденного, в одной кровати с голой, закатывающей глаза Зоей Николавной, было все равно что выпить большими глотками целую кружку дымящегося кипятку, все равно что отрезать кухонным ножом собственную руку! Ни за что! Никогда-а-а! То, что делал с ней молодой Орлов в лесу, в глубоком и влажном овраге, то, что она несколько раз разрешила мальчику Иванову, не смел делать с чужой лахудрой ее отец! Потому что каждый раз, когда она в детстве болела чем-нибудь и капризничала, именно он кормил ее с ложечки! Он таскал ее на плечах с

дачи на станцию и обратно, потому что ей это нравилось! А один раз, когда однажды летом — ей было, кажется, шесть лет — она чуть было, катаясь на велосипеде, не попала под грузовик, ее отец выскочил из дому в одних трусах — да, летом, на даче, в июле! — и как он кричал на шофера и как потом целовал ее всю, включая даже грязные, в песке и пыли, пальцы на ногах! Каждый палец сквозь ремешки сандалий!

— Ты мне звонила, Тата? — спросил отец в трубке.

— Мне с тобой сейчас нужно поговорить, — она уже не плакала, но продолжала задыхаться.

— Что-нибудь случилось? — напряженно спросил отец.

— Да, — задыхаясь, ответила она.

— Я приеду часа через полтора, — пообещал он и приехал.

Чернецкая сидела на кровати — как была в школьном платье, не снявшая даже мокрый от слез Марь Ивановны передник.

— Вы что, разводитесь? — спросила она, не поднимая глаз.

Заведующий гинекологическим отделением районной больницы сморщился и затоптался на пороге.

— Да или нет? — спросила она.

— Да, потому что... — начал было он и тут же прервался от того, как она закричала:

— Н-е-е-ет! А я тебе говорю: не-е-ет!

— Тата, — забормотал отец, — ты же не знаешь, ты же не понимаешь всех обстоятельств... Мы с мамой давно не... как это тебе сказать...

— Мне все равно! — Огненная, с глазами, превратившимися от слез в щелочки, она крикнула так громко, что тут же охрипла и потому перешла на шепот: — Мне все равно! Но если ты нас бросишь, я что-нибудь сделаю, вот увидишь!

Отец беспомощно прижал руку ко лбу и привалился к косяку. Да, вот они, женщины... Вот, пожалуйста... Слезы их, беременности, скандалы... Эрозии шейки матки. Угрозы...

— Не кричи, — сказал он, не отнимая руки ото лба. — Что у тебя за истерики? Я тебя на лекарства посажу.

— Посади, — шепотом ответила маленькая женщина Наталья, которую он сам же и сотворил когда-то. — Не посадишь...

Развод, назначенный на шестнадцатое апреля, не состоялся, потому что вечером, пятнадцатого апреля, в среду, Марь Ивановну разбил паралич и ее пришлось отправить в больницу.

Тихая и кроткая, в чистом белом платочке, лежала Марь Иванна в помещении Первой градской в большой и светлой палате на четырнадцать человек, где в старинном окне плыли ей навстречу обнаженные еще липы, щебетали весенние птицы, а отогревшиеся после снега воробьи вспыхивали на солнце своими скромными серыми крыльями. Разговаривать Марь Иванна теперь уже не могла, но могла мычать, улыбаться левой стороной рта и плакать своими вдруг прояснившимися и успокоившимися глазами. Гинеколог Чернецкий, знавший всех и вся в медицинском московском мире, устроил так, что к преданной и бесхитростной Марь Иванне частенько подходили медсестры, утренний врач непременно останавливался над ее кроватью и спрашивал, какое нынче у няни Леонида Михайловича верхнее давление, а во время обеда появлялась даже специальная девушка из мужского отделения и кормила Марь Ивановну нехитрой больничной едой с помощью погнутой и засаленной алюминиевой ложки. Дула на суп, если слишком горячий. Леонид Михайлович за это кормление платил девушке огромные деньги. Но в связи с тем, что Марь Иванна так вот неожиданно залегла в постель полюбоваться

воробьями сквозь окошко Первой градской, ребенок Наталья Чернецкая осталась совершенно без присмотра и все в доме пошло прахом: ни обеда не было, ни белья чистого, ни вообще ничего. Включая пироги с капустой. Развалить обездоленный дом еще больше у гинеколога Чернецкого просто не поднялась рука. Он так и сказал жене своей Стеллочке, вернувшись с ней в огромную, наводящую тоску квартиру после того, как они поместили бедную Марь Иванну в больницу. Стеллочка, испуганная зрелищем мычащей и просветленной своей домработницы, разрыдалась и сообщила, что ей вообще теперь все на свете все равно, пусть оно катится к черту, а у нее нет сил. Наталья Чернецкая в этот печальный вечер тоже не спала, а в ожидании родителей находилась в полулежачем положении под немецким торшером на антикварном диване, приобретенном когда-то ее покойным дедом. На вопрос отца, может ли она какое-то время обойтись без помощи домработницы, Наталья Чернецкая ответила:

— Могу. Что я, яичницу, что ли, не пожарю? Пусть только кто-нибудь приходит убирать и потом стирку.

Марь Иванна, когда кто-то из Чернецких навещал ее в больнице, буквально-таки заходила от восторга. Неподвижная левая сторона ее старческого худощавого тела начинала дрожать радостной дрожью, из глаз сыпались лучистые искры, и вся она источала такое сиянье, такую пылающую благодарность, что тяжелобольные соседки, лежащие в составе тринадцати человек в той же самой просторной и светлой палате, кивали на нее своими давно не чесанными головами и восклицали:

— Ах, бедная! Вот уж, правда, женщины, как она их любит, хозяев своих! А говорят, любви на свете нету!

Все поведение Марь Ивановны доказывало, что на свете есть именно любовь, и такая, которая побеждает смерть. Потому что из любви к хозяевам своим Чернецким она заболела неизлечимой болезнью, освободила Наташечку от своей давно ненавистной Наташечке опеки, продемонстрировала Леониду Михайловичу и Стеллочке, что им совершенно нельзя разводиться, потому что Наташечка совсем покатится, но, главное, она продолжала жить и не помирала, потому что ее молчаливое (если не считать мычанья) присутствие на свете семью Чернецких, как ни странно, объединяло, вновь спланивало в пусть и не самую образцовую ячейку общества, но все-таки ячейку, у которой есть забота о преданном им старом человеке и брошенном на произвол судьбы ребенке Наташечке.

Сама Наташечка, проводив бессознательную Марь Иванну до носилок, на которых та и отправилась себе напрямик в Первую градскую, почувствовала, что жизнь ее стала совсем другой, ничего похожего на прежнюю. Теперь она сама просыпалась по будильнику, чтобы идти в школу — отца уже не было к этому времени, а мать еще спала, сама доставала из холодильника красную икру или сыр, делала бутерброд, пила чай. Никто не смотрел на нее укоризненно, когда она начинала подкрашивать ресницы, никто не проверял, надела ли она рейтузы. Главное, однако, было не в будильнике и не в рейтузах. Главное было в том, что впервые в жизни она почувствовала себя свободной и взрослой. Она стала просто очень молодой женщиной, которая могла вернуться домой не одна, а с любимым парнем, могла накормить его той же красной икрой, сделать ему яичницу (Стеллочка готовила неохотно и нечасто), потом медленно и спокойно раздеться, лечь с ним в постель, изо всех сил размалевать губы материнской помадой. И никто не похрапывал в чуланчике, и не нужно было ни от кого прятаться.

Некому, кстати, было и задать ей такой, например, весьма существенный вопрос:

— Наташечка! А что ж их у тебя, парнёв-то твоих, вроде как двое?

Именно так и было. Орлов бывал у нее часто, мальчик Слава Иванов редко, иногда всего только раз в неделю. Орлова она жаждала и ненавидела одновременно, потому что женщина в ней, Наталье Чернецкой, чувствовала рядом с ним другую женщину, пусть

даже и не любимую самим Геннадием, но все же существующую. От ненависти к этой женщине и ревности она и не разрывала своей дружбы со Славой Ивановым.

Он приходил к ней, чтобы умолять и томиться. Чернецкая поджимала под себя ноги, усаживалась в кресло — в материнском кимоно или в коротком шелковом материнском халате. Иванов привычно опускался рядом на ковер и поднимал на нее вишневые, наполненные мукой глаза.

— Наташ, — хрипло говорил мальчик Иванов, — я люблю тебя. Наташка!

Не отвечая, она слегка отводила пальцем шелковую складку с колена. И он тут же набрасывался на это колено, замирал в поцелуе.

— Колеша моя, колешка моя, — как помешанный бормотал мальчик Иванов, которому ничего, кроме этой освобожденной от шелка «колешки», как он ее называл, не полагалось.

Он это знал. Чернецкая закидывала голову с длинными распущенными волосами, прикрывала глаза. Пусть целует. Потом, правда, трудновато бывает отправить его домой, но — ничего: постонет-постонет и отправится. Иногда она разрешала поцеловать себя в плечо, иногда, очень редко, — в шею. Никогда — в губы. Ибо мальчик Иванов мог потерять рассудок, умереть от разрыва сердца. Но он нужен был ей живым и в своем уме. Он нужен был ей про запас, нужно было его рабство, дрожащие от напряжения пальцы, вишневые глаза со слезами внутри, он нужен был ей так, как пчеле, влюбленной в пышнотелую розу, нужен сок худого и скромного флокса, попавшегося на пути. Просто так, для разминки. Глотнуть и лететь дальше.

Орлов же, приходящий к ней три, а иногда и четыре раза в неделю, ни в чем не напоминал мальчика Иванова. С Орловым все совершалось молча, в потемках: Чернецкая задвигала шторы и гасила свет. Потом он поднимался с постели, неторопливо принимал душ, одевался и уходил. Перед выходом усмехался и слегка чмокал ее в щеку. Каждый раз ей хотелось ударить его или закричать, что между ними все кончено. Ни того, ни другого она не делала, не смела. Чернецкая боялась молодого Орлова и ненавидела его всякий раз, когда он уходил от нее, но всякий раз, когда до его прихода оставались считанные минуты, она чувствовала, что разрывается от любви, и с трудом сдерживалась, чтобы не застонать в голос или не расплакаться. Он сказал ей, что в школе нельзя ничего демонстрировать, хватит. Дети они, что ли? Она ответила ему быстрым и пытливым взглядом. Ей нужно было понять одно: он требует тайны, потому что не хочет, чтобы узнала Ильина, или потому что они уже не дети? Но он таился, таился, он ничего не обсуждал с ней: ни того, чего он хотел бы в будущем (она же хотела одного: свадьбы!), ни даже того, что он испытывает к ней. После вырвавшегося из него, одного-единственного «солнышка», широкоплечий Орлов сжал зубы и замолчал.

— Почему ты молчишь? — спросила его однажды Чернецкая. — Ну почему ты все время молчишь?

— А о чем нам с тобой говорить? — усмехнулся Орлов. — Разговаривать ты и с другими можешь.

— Ты циник, циник! — закричала она.

— Польщен, — сказал Орлов и тихо провел ладонью по ее груди.

Они ничего не знали друг о друге, у каждого из них была своя тайна: у Чернецкой — голову потерявший мальчик Иванов, у молодого Орлова — ничего еще не понявшая Томка Ильина с бараньими глазами. Он знал, что поступает бессовестно: нужно было сказать ей. Тем более что Томка вовсе не интересовала его как женщина. Орлову было наплевать на ее тоненькую талию и стройные, как у козочки, ноги в красных швейцарских колготках. Запах печеной картошки, слабо доносящийся из ее нутра, вызывал в нем почти тошноту. Он отменял свидания, заглядывал к ней все реже и реже, отговариваясь тем, что по горло завален комсомольской работой. Он и в самом деле был завален по горло, но комсомольская работа не мешала ему забегать на Неопалимовский, где в старом сером

доме с бесшумным лифтом, на четвертом этаже, за дверью, обитой кожей, вернее, даже за двумя дверями — одной обитой кожей, и другой — просто дверью, его ждала и не могла дожждаться освободившаяся от Марь Ивановны Наташа Чернецкая.

В таких обстоятельствах ему нужно было продержаться еще немного: всего-то два года. Два года до того, как он поступит в МИМО. Два года и два месяца.

Весна в 1967 году наступила поздно, но зато так мощно и безудержно, что уже четвертого мая во дворе на Неопалимовском расцвела сирень. Говорили, правда, что это какой-то особенный ранний сорт и всего один куст, который посадил старик, зимой ходивший по улицам без пальто и спасавший дворовых кошек от дворовых пьяниц. Пьяницы загоняли кошек внутрь помоечных баков, потом вылавливали и сдавали в специальные пункты на шапки. Из двух кошек выходила ушанка. Пьяницы получали по пятьдесят копеек за кошку. Котята не ценились. Блаженный этот старик, и сам, как говорили, нищий, спасал кошек и платил пьяницам рубль за душу. Потом посадил особенный куст, расцветший ровно четвертого мая поближе к вечеру, и куда-то ушел. Больше его никто не видел. Сам он был не местный, не Неопалимовский, и даже не с Плющихи, но, может быть, из какого-нибудь другого, маленького и невзрачного переулочка, где все уже начали сносить, всю эту деревянную рухлядь.

Вечером четвертого мая гинеколог Чернецкий, приехав домой на машине с работы, увидел в своем собственном дворе, под только что зацветшим и сладко пахнущим сиреневым кустом, белого нежного ангела Зою Николавну, которая с распущенными локонами стояла в луче заходящего солнца и нюхала только что сорванную сиреневую гроздь. Надо сказать, что гинеколог Чернецкий не был даже особенно удивлен, ибо подозревал, что Зоя Николавна непременно что-нибудь такое устроит, раз он избегает ее на работе, никакого разговора о свадьбе и разводе не затевает, мотивируя тем, что пятнадцатого апреля, как раз накануне запланированного развода, слегла в смертельном инсульте домработница Марь Иванна и все, как говорится, пошло прахом. Так что удивлен он особенно не был, но испугался весьма серьезно: Зоя Николавна явилась, в сущности, прямо к нему домой, под принадлежащую их дому расцветшую сирень, и, если Наталья Чернецкая, его дочь, или Стелла Георгиевна Чернецкая, его жена, войдут в подъезд или, напротив, из подъезда выйдут, они непременно наткнутся и на цветущую сирень, и на белокурую Зою Николавну.

— Заинька, — осторожно спросил гинеколог, — ну зачем ты приехала?

Ни один на свете человек, глядя на его роскошные усы, красивые плечи, заграничный пиджак и шелковый галстук, не догадался бы, что сердце гинеколога Чернецкого бьется как рыба о край эмалированного таза, куда ее небрежно бросила хлопотливая хозяйка, только что отстоявшая многокилометровую очередь в отдел «Рыба живая» и уже поставившая кипятиться кастрюлю с водой, в которой она намеревалась сварить своему мужу Феде, или Коле, или даже какому-нибудь там Никите Андреевичу вкусно пахнущую уху — с лавровым листом, с черным перчиком, — потому что завтра воскресенье, можно будет и выпить, и закусить ущицей, — не сердись, золотая рыбка, попрошу в кастрюлю... Гинеколог Чернецкий откашлялся, чтобы унять свое бьющееся, замученное сердце, и сдвинул к переносице пушистые брови.

— Ну так что? — ненавидя ее за свой страх, сказал он.

— Я не уйду, — прошептала Зоя Николавна, — никуда не уйду... любимый...

Гинеколог не успел сообразить, что ему в такой ситуации делать, потому что как раз в этот момент подъездная дверь раскрылась и вышли из нее девочка Наталья Чернецкая и мальчик Вячеслав Иванов, которые направлялись на весенний школьный вечер, устраиваемый для обоих восьмых классов. Оба были очень нарядными, а Слава Иванов в галстук — не таком, конечно, красивом, как у Чернецкого, но все-таки неплохом и тоже, судя по всему, привезенном из ГДР или из Югославии. Наталья Чернецкая увидела своего отца, который, когда она в детстве болела ангиной, кормил ее с ложечки, а когда была

здоровая — таскал на плечах со станции на дачу и обратно, и рядом с ним она увидела очень молодую и прелестную собой санитарку Зою Николавну, которая целовалась с ее отцом, когда она, Наталья Чернецкая, чуть было не погибла летом прошлого года.

— Вы что здесь делаете? — спросила Наталья Чернецкая санитарку Зою Николавну.

— Вот, папу твоего пришла навестить, — с неожиданной находчивостью ответила Зоя Николавна и улыбнулась так, будто хотела склонить Чернецкую на свою сторону. — Соскучилась.

Маленькая женщина Чернецкая закусилась нижней губой точно так же, как закусывала ее мать в горьких жизненных переделках.

— Уходите прочь, — сказала она сквозь закусенную губу, — убирайтесь отсюда!

Гинеколог настолько опешил, что даже отступил на шаг в сторону: слишком уж это было не похоже на его нежную и вежливую баловницу.

— Если вы не уйдете, — бледнея лицом и чернея глазами, от рождения серо-голубыми, прошипела Чернецкая, — я вас ударю! — И сжала мраморные кулачки.

— Тата, — с облегчением пробормотал Чернецкий, которому хоть и стыдно было за эту сцену, но все-таки радостно, потому что женщина — слава Богу — напала на женщину, а не так, как обычно: все женщины на него одного.

— Папа, не мешай, — по-матерински выкатывая глаза, приказала Чернецкая, — ну! Считаю до трех! Раз! Два! Три!

На слове «три» золотистый ангел оторвался от земли и полетел по направлению к улице. Крича и рыдая в голос, бросив в загаженную кошками детскую песочницу сиреневую гроздь, из которой испарился уже весь ее сладостный запах.

Чернецкая пришла на вечер обоих восьмых классов гордая, со все еще сверкающими от чудесной победы глазами. В зеркале она увидела себя — молодую невысокую царицу со сложной прической, в красивом розовом платье, отделанном гипюром. Слава Иванов — длинный и тощий, с кадыком и галстуком, — как паж, маячил за ее спиной. Комсомольцы все уже, в основном, собрались, сидели на стульях перед сценой, слушали, как Миша Вартамян поет под недавно подаренную ему на пятнадцатилетие семиструнную гитару.

— Снэг, снэг, снэг, снэг... — мягко пел Вартамян, пряча глаза от блестящего, впаянного в него взгляда Галины Аркадьевны, — снэг над тайгой кружится, вот и закончился наш краткий ночлэг...

После песен поели бутербродов с колбасой и сыром, выпили яблочного крушона. Из педагогов были только не любящие друг друга Нина Львовна и Галина Аркадьевна со своей постоянной теперь мигренью.

— Танцы! — объявила Нина Львовна.

«Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу... — запел с пластинки молодой задумчивый голос, — глаз не отвожу...»

Мальчики, только что сбегавшие во двор покурить, смутились и нарядных, красных от ожидания девочек не приглашали. Девочки делали вид, что им это безразлично. Фейгензон одна сидела за опустевшим в углу столом, дожевывала бутерброд с колбасой. На белой блузке ее расплывались темные молочные пятна. Узкими и злыми глазами Чернецкая перехватила взгляд, которым Томка Ильина ласкала молодого, вовсе не собирающегося плясать с ней Геннадия Орлова. Судя по всему, дух борьбы не покинул Чернецкую и требовал новой крови. Она вскинула голову и вдруг подошла прямо к Орлову решительными звонкими каблучками.

«Или утром стучи-и-ит каблучками она-а-а», — пел неуверенный молодой человек на пластинке.

— Пойдем танцевать, — сказала Чернецкая.

Орлов усмехнулся. У Томки Ильиной вытянулось лицо. Чернецкая почувствовала, что сейчас или никогда. Мужчины, которые принадлежат ей, принадлежат только ей, а не санитарке и не Ильиной Тамаре.

— Я же тебя приглашаю, — повторила она, — пойдём.

— О'кэй, — сказал Орлов и прижал свою широкую ладонь к этой столь знакомой ему талии.

Они танцевали медленно, кажется, даже не в такт. И она — Соколова утверждала, что нет, не сразу, а Панкратова кричала, что сразу, ей было виднее! — она положила подбородок на его плечо, и все присутствующие ощутили, что та Большая и Чистая Любовь, от которой бывают дети, скандалы, убийства, кровотечения и свадьбы, находится прямо здесь, внутри их школьного актового зала, вот она, можно пощупать... Всего этого, разумеется, не выдержала Томка Ильина, в точности повторив недавний поступок санитарки Зои Николавны возле сирени кошачьего спасителя. Она зарыдала в голос и бросилась прочь, теряя из волос заколки.

Это была вторая победа маленькой женщины Натальи Чернецкой. На этот раз над бараньими глазами Ильиной, которая думала — она думала, дур-р-ра! — что ей достанется широкоплечий Геннадий Орлов в вечное пользование. Она, дур-р-ра, надеялась.

В час, когда усмехающийся Геннадий Орлов не совсем в такт кружился по актовому залу в скользких коготках Натальи Чернецкой, мать его, вернувшись домой с работы, сообщила бабушке Лежневой, что сейчас она едет в 46-ю городскую больницу, чтобы забрать оттуда и привезти к ним переночевать отца Валентина Микитина, которого сегодня выписывают.

— Где ты его положишь, Катя? — кротко спросила бабушка Лежнева.

— В Генкину комнату, — напряженно ответила Катерина Константиновна, — куда ж еще? Генка с нами ляжет на моей кровати. А мы с тобой.

— А-а-а, — сказала бабушка Лежнева и заглянула в глаза Катерины Константиновны своими тихими глазами: — Плох он, Катя?

— Увидишь, — сказала ей Катерина Константиновна и всхлипнула.

Вернувшись домой с достопамятного школьного вечера, Геннадий Орлов застал в своей комнате лежащего на его постели и тихо дремлющего старого изможденного человека. Мать, неслышно вошедшая с кухни вслед за Орловым, негромко сказала ему в затылок:

— У нас сегодня гость, Гена. Тихо, не разбуди.

Изможденный гость приоткрыл очень черные и все еще жгучие глаза и глубоким приятным голосом отозвался в ответ на материнское замечание:

— Я не сплю, Катерина Константиновна. Познакомь меня с сыном-то.

Неловко и тревожно было молодому Геннадию Орлову. Больной человек, забравшийся в его постель, сверлил его яркими зрачками, словно Геннадий Орлов вернулся домой только для того, чтобы перед ним повиниться. Наконец больной, по всей вероятности, утомился и снова прикрыл глаза.

— Славный, — медленно и с некоторым раздумьем в голосе произнес он, — крепкий юноша.

— Отдыхайте, батюшка, — спокойно сказала Катерина Константиновна и надавила на плечо сына своего Геннадия, чтобы вместе выйти из комнаты.



Окна по неистово теплой и внезапной весне были открыты, и такое благоухание освободившейся ото льда и снега земли шло с улицы, так сияли — невзирая на хрупкую весеннюю черноту ночи — внутри этого благоухания голоса проголодавшихся московских птиц, словно пытались ускорить наступление еще более счастливого, еще более теплого утра, что молодой Орлов не мог заснуть. Он пытался понять, почему мать, явно не спавшая сейчас на расстоянии двух метров от него, пригласила к ним ночевать этого черноглазого, изможденного болью человека. Бабушка Лежнева тоже не спала, а осторожно вздыхала в темноте, боясь разбудить своими вздохами Катерину Константиновну и строптивного внука Геннадия. Вдруг из соседней комнаты послышались стоны. Черноглазый «батюшка», пристроившийся на кровати Геннадия Орлова, звал к себе его мать — Орлов услышал, как он сквозь стон пробормотал ей: «Катя-я!» — и замолчал.

Катерина Константиновна сейчас же вскочила с постели, накинула в темноте халат и проскользнула в соседнюю комнату.

— Про-о-сти, — услышал Орлов. — Мила-а-ая ты моя...

— Плохо тебе, Валя? — шепотом спросила Катерина Константиновна. — Может, укол сделать?

Не спящий в темноте Орлов приподнялся на материнской постели и замер.

— Не надо, — прошелестел голос отца Валентина, — что мне себя дурманить... И так всю жизнь сквозь туман глядел...

— Все так, — суховати ответила Катерина Константиновна, — ни в ком ясности нету...

— Э-э, нет, — возразил он ей, — есть люди чистые...

— Так ведь это мы про них думаем: «чистые», а что они сами про себя знают? Чужая-то душа, как говорится...

Потом наступило молчание, и опять заговорила Катерина Константиновна:

— Что ты мне всё руки целуешь? И в больнице даже поцеловал. Что доктор-то подумал?

Она тихо, ласково засмеялась.

— Вот поправишься, Бог даст, поговорим спокойно... Простим друг другу...

— Нет! — вдруг свистящим каким-то шепотом перебил ее отец Валентин. — Нет у нас другого времени, Катя! Вот одна только эта сегодняшняя ночь! Для всех, так сказать, выяснений! Потому что завтра ты меня на автобус посадишь, и больше мы с тобой вряд ли увидимся. По этой причине я тебя и разбудил, а так бы не стал.

— Что значит: вряд ли увидимся? — испуганным голосом воскликнула Катерина Константиновна, и Орлов, знавший все ее интонации, смутился в темноте. — Ты что такое говоришь, глупый? Я к тебе через неделю приеду, я отгулы беру!

— Ты-то приедешь, да... — пробормотал он и запнулся.

Катерина Константиновна молчала.

— Ты парню расскажешь про нас? — спросил он.

— Зачем? — прошептала она.

— Затем, чтобы обмана между вами не было.

— А между нами никакого обмана нет, — со всегдашним своим спокойствием, видимо, оправившись, возразила она. — Наш с тобой обман, Валя, не перед людьми, а перед Богом, а Ему рассказывать нечего, Ему и так все известно.

— Катюша, — умоляюще зашептал отец Валентин, — ну вот я сейчас к Нему приду. А если Его там... — голос отца Валентина задрожал, — а если Его там нету? Если там пустота, Катя? Белый туман, как на реке по утрам, знаешь...

— Дай мне руку, — попросила Катерина Константиновна, — ну, вот так. Есть моя рука в твоей руке или нету? Есть? А если я тебе скажу, что тебе это кажется? Что в твоей руке ничего нет, пусто? Ты мне что ответишь? Так и тут. Молись Ему, и всё. Он уж там Сам с нами разберется...

Орлов с головой накрылся одеялом. Сердце его стучало о ребра, как дачный пинг-понговый шарик дробно и звонко стучится о фанерный стол. Значит, этот больной священник и материнский «мужик» — это один и тот же человек! Значит, вот куда она уезжала, бросала его, маленького, с бабушкой Лежневой! Вот почему никто на ней не женился! Вот почему она никогда не показала сыну Геннадию этого своего «мужика»! Ничего себе — религия! Ему было совестно за мать, и в то же время он чувствовал, что не все здесь так просто. То, как она, его мать, спокойно сказала сейчас в темноте: «Дай мне твою руку. Есть что-нибудь в твоей руке или нет?» — поразило молодого Орлова. Мать его никогда не произносила ничего просто так. Орлову пришло в голову, что она, наверное, ни разу не солгала ему, даже когда уезжала к своему «мужику», отцу Валентину. Она просто сообщала, в какой день и во сколько вернется, чтобы они с бабушкой Лежневой не волновались. Значит, когда она спрашивает: «Чувствуешь ты мою руку или нет?» — она так и чувствует, она же не врет!

Ему хотелось встать с постели и выйти на улицу, чтобы весь этот сумбур неожиданных и горячих мыслей улегся в нем, прекратился бы грохот вопросов, которым заглушило теплую, полную нежного весеннего пения ночь. «Что же делать?» — думал про себя молодой Орлов, широко раскрытыми глазами глядя в потолок, на котором изредка вспыхивали бесшумные полосы автомобильных фар. Если он останется с Томкой, то, наверное, разведчик и Томкин отец помогут ему попасть в МИМО, и тогда начнется другая жизнь, но в этой другой жизни ведь все будет другим, в ней не шепчутся по ночам о Боге и не пускают к себе ночевать черноглазых «батушек»! Гордому Орлову казалось, что он давно уже справился, давно отодвинул от себя то, чем мать и бабушка Лежнева пичкали его в детстве. Они, например, говорили ему: «Не ври, будь честным», но он не мог не врать, потому что врал целая школа — от мала до велика, и радио врало, и телевидение, ввали вывески на домах, витрины магазинов, афиши театров, учебники, книги! И все привыкли к этому, никто уже и не различал, где вранье, а где правда, всем было наплевать, словно дело только в коротеньком слове, в названии! Скажешь «правда» — и будет правда, скажешь «ложь» — ну, значит, ложь. Теперь вот он врал и в школе, и дома, врал двум обозленным маленьким женщинам, своим любовницам, — и все для того, чтобы достичь той скользковатой извилистой тропки, над которой летят цыплята табака! Но мать и бабушка Лежнева... Они что-то такое все-таки сделали с ним, что-то навязали ему, что будет вечно мешать, вечно путаться под ногами, даже если он добьется своего!

В соседней комнате раздался голос больного священника, который о чем-то попросил, но Орлов не расслышал, о чем именно, и тут же его перебил громкий шепот матери:

— Лежи, я принесу. Не нужно вставать.

— Нет, погоди, — расслышал Орлов, — нет, я встану...

— Ну, тогда давай осторожненько, — попросила мать, — вот так... Опирайся на меня.

Заскрипела кровать, потом послышался звук опрокинутого стула, звякнул стакан, и наконец Катерина Константиновна глубоко вздохнула:

— Ну-у-у, вот и встал... Ну-у-у, молодец! Пойдем вместе... только тихо-о-неч-ко...

— Дай я хоть рубаху застегну, — прерывистым шепотом сказал отец Валентин, — застегни ты мне, а то руки дрожат...

Через секунду они вместе появились в дверях, как раз когда свет, идущий с неба, из лунного, голубоватого и мерцающего, превратился в радостный, розовый свет утра, словно бы нарочно для того, чтобы Орлов сквозь неплотно прикрытые веки смог разглядеть, как Катерина Константиновна бережно поддерживает под руки не просто

худого, а до самых костей уже изношенного, не пригодного к жаркой и жгучей весенней жизни отца Валентина.

— Мама, не зажигай, — сказала Катерина Константиновна, когда бабушка Лежнева, приподняв с подушки седую свою голову, хотела было зажечь ночник. — Мы так...

— Прошу прощения, — пробормотал отец Валентин и вздохнул со свистом, — побеспокоил вас...

У матери молодого Орлова — сколько он помнил ее — никогда не было такого лица: сосредоточенного и словно бы полностью принадлежащего не ей самой, не ее мыслям, душе, желаниям и заботам, а другому человеку, вот этому самому чужому «мужику», который, опираясь на нее всей тяжестью иссохшего тела, всем шелестом истончившихся своих костей, осторожно переставляет ноги в орловских тапочках, чтобы добрести до уборной, находящейся в самом конце их длинного коридора. Геннадий Орлов вскочил, быстро оделся и, не дождавшись, пока Катерина Константиновна с отцом Валентином вернутся, выскочил на лестничную площадку и кубарем скатился на улицу.

Он ревновал мать и одновременно чувствовал к ней уважение, может быть, даже больше, чем раньше. Если бы он увидел ее с каким-то сильным, здоровым и красивым человеком, и мать, и этот человек вызвали бы в нем жгучее отвращение. Он не хотел делить свою мать с кем бы то ни было, кроме, может быть, этого умирающего. Этот умирающий не только не отнимал у него мать — Орлов сам удивился тому, что пришло в голову, — он не только не отнимал, но как будто освещал Катерину Константиновну новым, очень сильным светом, внутри которого все то, чему она учила своего сына Геннадия, стало весомым и плотным. Мать любила этого «мужика», но он умирал, стал больным, бледным, беспомощным, у него вылезли волосы, сгорбилась спина, на руках и ногах проступили вздувшиеся голубые вены, запал рот, — но она все-таки любила его и, не побоявшись соседей, не смутившись перед своей матерью, бабушкой Лежневой, и своим сыном, молодым широкоплечим Орловым, привезла отца Валентина к ним ночевать и повела через их комнату и через весь их длинный коридор в уборную, потому что он, может, и не дошел бы туда сам, упал бы, может быть, на порог!

«Наташка, — вдруг, словно взрослый, как следует поживший на свете человек, сказал себе Геннадий Орлов, — Наташка меня так любить не будет, когда я стариком стану. А Томка?»

Он увидел перед собой бараньи влюбленные глаза Тамары Ильиной и сказал самому себе: «А Томку не люблю я. Так что это неважно».

К сожалению, в эту весну происходило много печальных и неприятных вещей. В семье Чернецких заболела домработница Марь Иванна, обиделась санитарка Зоя Николаевна, чувствовала себя замученной и всеми разлюбленной мама Стеллочка и прятался от жизненных тревог глава дома — пышноусый заведующий гинекологическим отделением Леонид Михайлович. В семье молодого Орлова на руках у его светловолосой матери умирал в деревне Братовщине священник отец Валентин Микитин, с которым мать молодого Орлова находилась в непростительной связи и которого очень сильно любила на протяжении целых четырнадцати лет. Мучилась мигренью Галина Аркадьевна, классная руководительница 8-го класса «А» специальной английской школы номер 23 Ленинского района. Бегала по соседям и занимала трешку до полочки огненно-красная от высокого кровяного давления мать Юлии Фейгензон, которой было трудно поднимать на свои и мужние трудовые копейки неожиданно разросшуюся семью, притом что у сына, Левочки, обнаружилась тяжелая диспепсия недоношенного ребенка и нужны были дорогие венгерские лекарства.

Ах, да много, много было всего! Начни, как говорится, перечислять, пальцев не хватит.

Анна Соколова, не дождавшись весточки из далекой Англии и проплакав в подушку целую первую четверть и полторы примерно недели второй, как только пошел снег и заблестали в небе морозные лучистые звезды, познакомилась на катке со стилигой-хулиганом, в первый же вечер пошла к нему домой, выпила вина, потеряла невинность и, несмотря на то что еще 28 сентября управлением культуры города Москвы было издано постановление с рекомендацией запретить проигрывание в городе Москве грампластинок, компакт-кассет, видеороликов и другой продукции, отражающей творчество следующих зарубежных групп: «Секс Пистолз», «Пинк Флойд», «Дюран Дюран» и других, — несмотря на это, Соколова Анна спустя неделю была задержана в не совсем, как говорили, трезвом виде и в компании не совсем тоже трезвых молодых людей, из которых один до отвращения походил на Боба Дилана, тоже зарубежного джазового исполнителя. Задержана она была в тот именно момент, когда расплачивалась за только что приобретенную ею компакт-кассету с записью песен группы «Секс Пистолз» — на одной стороне и Майкла Джексона — на другой.

Понятно, что ничего хорошего из этой истории не вышло, и Анну Соколову чуть было не выгнали из комсомола.

Елена Аленина тоже не радовала своим поведением и успеваемостью ни семью, ни школу: она была угрюмой, молчаливой, ни с кем не сближалась и Сергею Чугрову, однажды после уроков вздумавшему было объяснить ей в любви, сказала вдруг такое грязное слово, что Сергей Чугров начал обходить ее стороной. У самого Чугрова тоже не все было в жизни так, как хотелось, потому что чужой этот отец, доставшийся ему после Алениной, стал совсем невозможным в своих капризах: он по десять раз гонял маму Сергея Чугрова перебивать тарелку на кухню, требовал, чтобы не только майки его, но даже и сатиновые трусы гладились после стирки горячим утюгом и, что самое неприятное, очень уж начал считать деньги — не только те, которые получал сам за исполняемую им должность старшего бухгалтера завода «Каучук», но и те, которые приносила домой мама Сергея Чугрова, скромная учительница музыки.

Начались также серьезные неприятности у Лapidуса, Куракина, Миши Вартаняна, Карповой Татьяны, Ирины Панкратовой, Аллы Ворониной и даже у маленького, кривоногого сына школьной уборщицы тети Маруси Алексея Сучкова, который в детстве так сильно переболел рахитом, что на всю жизнь остался вот таким кривоногим.

Бедная Марь Иванна, по-прежнему лежащая на чистенькой больничной кровати и радостно наблюдающая солнечную, весенне-летнюю жизнь птиц, ничего, к сожалению, не могла выразить словами, ибо в голове ее, как говорили специалисты, был задет в результате смертельного заболевания важный речевой центр. А ей, между тем, очень нужно было бы поговорить с Наташечкой, рассказать ей свой последний сон, а лучше сказать — видение, потому что Марь Иванна, впадши в болезненное состояние, стала почти провидицей и если и смотрела сейчас какие-то сны, то старалась выбирать такие, которые хоть немножко приоткрывали ей заброшенное Наташечкино существование.

В последнем сне Марь Иванна увидела большую, очень неприятную своей пустотой комнату, в которой не было ни окон, ни дверей. Внутри комнаты, на блестящем ее полу, стояла старинная лодка с обвисшим голубым парусом. Всмотревшись, Марь Иванна с удивлением увидела, что лодка полным-полна каких-то совсем еще грудных, голых деточек с кудрявыми головами.

«Ангелы!» — радостно догадалась Марь Иванна, хотя никаких крыльев у голых деточек не было.

Все они были хорошенькими и чистенькими, но какими-то словно бы огорченными, и многие даже плакали. Марь Иванна внимательно осмотрела каждую кудрявую деточку своими выздоровевшими вдруг глазами, и многие личики показались ей знакомыми. Она не могла вспомнить имен, но то, что когда-то уже этих кудрявых и бескрылых ангелочков встречала, знала точно.

«Куда это вы собрались-то?» — взволнованно поинтересовалась Марь Иванна. «К вам, — ответили ей деточки своими звонкими и певучими голосками, — нас отобрали». — «Куда?» — изумилась Марь Иванна, протягивая к ним натруженные руки, но дотрагиваться не решаясь: слишком уж хрупкими и нежными были их маленькие тела. «К вам, к вам, — плача, повторили ангелы, — нас отобрали...»

Марь Иванна сама чуть не заплакала от жалости и уже достала было носовой платок, чтобы было чем обтереть слезы, как вдруг увидела рядом с лодкой старуху Усачеву, привязавшуюся к ней с самого лета и часто тревожившую ее воображение то тем, то иным образом. Усачева была почему-то в красном, как кровь, длинном платье и длинной, хотя тоже почему-то красной, фате. «Замуж иду, — радостно подмигнула ей Усачева, — гля, дак, какой!» Она указала пальцем куда-то на пол, словно бы в самое днище лодки. Марь Иванна посмотрела по направлению усачевского пальца, но никого живого там не увидела: так, тень метнулась какая-то черная и исчезла. «Ну», — сказала между тем Усачева и наклонилась над лодкой, выбирая, какого маленького птенчика она сейчас выхватит себе из всей этой голенькой кудрявой гущи. Деточки прижались друг к другу и со страхом смотрели на красную невесту Усачеву. Наконец она взяла на руки одного, сразу же громко заплакавшего, мальчика и быстро сунула его куда-то под лодку, потом подула себе на ногти и выхватила еще одного младенца, на сей раз девочку. И девочка исчезла так же, как и мальчик. «Хозяин у ей там», — сообразила Марь Иванна, которой во сне показалось, что и Усачева тоже живет в домработницах у какого-то хозяина, — она ему этих и бросает, махоньких-то. «Ну, теперь, дак, эту вот курочку, и хва», — опять подмигнула ей Усачева и выбрала себе еще одну девочку, чтобы отправить ее туда же, под лодку. Но в девочке, забарахтавшейся на усачевских руках, Марь Иванна с тут же подступившей к горлу тошнотой узнала свою Наташечку. «Не-е-ет! — диким ревом заревела Марь Иванна, бросаясь на Усачеву с поднятыми кулаками. — Ты-ы-ы что-о-о! Пу-у-усти-и-и!» Лодка закачалась на полу, распустила по неожиданному ветру голубой свой парус и под силой этого ветра накренилась в сторону так, что Марь Иванна смогла увидеть под днищем множество маленьких кудрявых и бескрылых детей, которые мертвыми качались на волнах, как убитые рыбки, оборотив к небу белые, глянцевого свои животики.

Тут Марь Иванна проснулась в слезах, мыча и тоскуя пуще прежнего, и увидела, что над ее кроватью склонились гинеколог Чернецкий и еще какой-то в накрахмаленном халате с пухлым лицом. При виде своего Леонида Михайловича больная задергалась, затрясла половиной искаженного лица, пытаясь сказать ему, что она сейчас все поняла, что дело в том, что деточек изничтожают такие вот звери-люди вроде старухи Усачевой, убившей дитя внутри ихней Наташечки и других разных махоньких, а те махонькие, которых не убивают, все равно страшно мучаются, потому что нет на свете ничего труднее жизни. Простая эта мысль, как ни странно, первый раз пришла в голову Марь Иванне и поразила ее.

— Ну что, — изумленно гудел пухлый в белом халате, — не умирает бабушка, не хочет! Я даже, честно говоря, не понимаю, как это ей удастся: ни один орган толком не работает. Живет исключительно на энтузиазме. Но ты же понимаешь: два месяца продержали, больше не можем. Она беспокойная, бабушка ваша, кричит по ночам, рожениц мне тут, понимаешь, пугает.

— Так что ты предлагаешь? — отчаянно спросил гинеколог Чернецкий.

Пухлый беспомощно развел руками.

— Леня, дорогой, я для тебя — все, что могу, как говорится. Ты мне Васю родил, я тебе по гроб жизни обязан. Но бабушку нужно отсюда убрать. В богадельню нужно бабушку.

— Нет, ну как? — ахнул Чернецкий, дрогнувшей рукой поправляя на Марь Иванне чистый и белый платочек. — Я не могу ее в богадельню.

Пухлый, улыбаясь, погрозил Марь Иванне:

— Давай, давай, бабушка, отправляйся! Что нам с тобой делать? Куда тебя девать?

Марь Иванна поняла, чего от нее требуют, и сердце ее застонало. Она знала, что, пока она жива и лежит себе на чистенькой белой кровати, в семье Чернецких не будет развода, а значит, Наташечка останется, как ни крути, при обоих родителях, но стоит ей, Марь Иванне, умереть, и руки у бедовых супругов развяжутся, семья распадется, и Наташечке придется самой о себе беспокоиться.

Она замычала, как могла громко и, выпустив изо рта пузыри, попыталась поймать скошенными своими глазами глаза Леонида Михайловича, чтобы хоть взглядом взять с него клятву не бросать Наташечку и не разводиться с ее матерью, но силы оставили бедную Марь Иванну, она уронила на одеяло здоровую, приподнявшуюся было руку, голова ее свалилась набок, и тонкая ниточка слюны поползла изо рта.

— Марь Иванна, милая! — вскрикнул гинеколог Чернецкий, обеими руками поворачивая к себе ее дрожащую голову.

— На-а-ажа-а... — промычала Марь Иванна и перестала дышать.

Она хотела сказать: «Наташечку жалко», но ничего этого, разумеется, они не поняли, а если бы даже и поняли, то какая, собственно говоря, разница?

После похорон Марь Ивановны в квартире наступила тишина, родителей почти не бывало дома, никто ни с кем не ссорился, и по воскресеньям заведующий отделением Чернецкий сам ездил на рынок за картошкой и другими овощами. Стеллочка варила борщ на всю неделю, остальное покупали в кулинарии на Арбате. Очень выручали заказы, которые полагались гинекологу в больнице, а также и благодарные пациентки со своими и не своими мужьями. Так что по части питания трудностей не было.

Были трудности с настроением. Маленькой Чернецкой не хотелось после уроков идти домой, проходить мимо опустевшего чуланчика Марь Ивановны, видеть пустой, темно-синий квадрат на обоях (уже не таких темно-синих везде, кроме этого квадрата, а выцветших), где много лет провисела Марь Ивановна иконка. Родители, когда им случалось сходитья всем вместе, стали очень ласковы с ней и даже слегка сюсюкали, но маленькой осиротевшей Чернецкой все это было безразлично. Несколько раз она видела во сне Марь Иванну, которая якобы возвращалась обратно и горько спрашивала:

— О-о-осподи, да где ж это я?

— Ты умерла, Марь Иванна, — справедливо отвечала ей Чернецкая, — мы же тебя похоронили.

На что Марь Иванна всплескивала руками, ужасно удивлялась и укладывалась на свой диванчик отдохнуть. И Чернецкой во сне было уютно и весело, пока Марь Иванна отдыхала на своем диванчике. Но наступало утро, звенел отвратительный будильник, звенели и ворковали за окном птицы, звенели трамваи с недалекой Плющихи, радостно гоготала «Пионерская зорька», и никто не входил к ней в комнату с отглаженным черным передником, со встревоженными любовью глазами и не говорил сипловатым и нежным голосом:

— Заспалась, Наташечка!

Иногда Чернецкой даже казалось, что ее как будто оголили с одного боку, как будто она вот спала — хорошо, тепло, — и вдруг с нее сползло одеяло, подуло из форточки, и какая-то она оказалась вдруг вся неприкрытая. Главное, что никто из оставшихся на свете — ни отец, ни мать, ни глухая Белолипецкая, ни мальчик Иванов со своими вишневыми глазами, ни даже спокойный широкоплечий Орлов, которого она любила, — никто не мог дать ей того, что ненароком, изо дня в день, из минуты в минуту давала торопливая и надоевшая Марь Иванна. У всех была, кроме нее, Чернецкой, какая-то своя, отдельная от

ее интересов жизнь: не говоря уж об отце с матерью, даже Орлов пропадал иногда часами в ЦК ВЛКСМ, вносил куда-то какие-то резолюции, даже мальчик Иванов, как ни противился, но уезжал раз в неделю навестить своего престарелого дедушку в Подмоскowie и оставался там ночевать, даже глухая тетеря Белолипецкая хоть и звонила ей по пять раз на дню, но все-таки больше всего хотела обратить на себя внимание Миши Вартаняна и для этого в который раз перешивала свою единственно приличную, в косую полосочку, юбку. Всем, короче, было не только до нее, узкоглазой Наташечки, но и до себя. Всем, кроме одного на свете человека, которого уже и на свете-то не осталось. Умерла Марь Иванна, и ее схоронили.

В таком вот тягостном, что ли, настроении Чернецкая прождала Орлова весь день в четверг, восемнадцатого мая, но он не только не пришел, но даже и не позвонил, отчего тоскующая Чернецкая ужасно обиделась. Орлов же был несколько не виноват, если, конечно, не ставить человеку в вину то, что он, дожив до пятнадцати лет, первый раз в жизни увидел свою мать, Катерину Константиновну, горько плачущей.

Произошло же это следующим образом. Орлов пришел из школы, собираясь наскоро что-нибудь перекусить и бежать к Чернецкой, как вдруг, открыв дверь в комнату, увидел, что Катерина Константиновна, вся в черном и в черном даже платке на своих коротко стриженных волосах, лежит, уткнувшись лицом в подушку, и навзрыд, безудержно плачет. Никого в этот час не было в их густо населенной и жарко пронизанной солнцем квартире, так что плачущая не сдерживалась и даже не заметила, что сын ее давно уже находится рядом и смотрит на нее испуганными глазами.

— Мама, — сказал молодой Орлов.

Катерина Константиновна услышала его низкий красивый голос, оторвала от подушки голову в черном, сверкающем от заоконного солнца платке и произнесла одно только слово: «умер». Почему-то Орлов моментально догадался, кто именно умер, и смутился. Он даже подумал, что лучше уйти, чтобы дать матери возможность самой разобраться со своими чувствами, но Катерина Константиновна быстро спустила ноги с дивана, поправила перекрутившуюся кофту и хрипло сказала:

— Сядь, Гена.

Широкоплечий Орлов осторожно опустился на стул.

— Гена, — сказала Катерина Константиновна, — я хочу тебе кое-что рассказать, повиниться.

Больше всего удивило Орлова то, что мать произнесла чужое, деревенское какое-то слово: «повиниться».

— Не надо, мам, — попросил молодой Орлов, глядя в сторону.

— Надо, — жестко возразила Катерина Константиновна. — Я раньше тоже так думала, что не надо, но я ошиблась. Гена, я все эти годы, что ты у меня рос, любила одного человека. Очень любила. Почти как тебя.

— Да ладно, мам, — сказал молодой Орлов.

— Нет! — вскрикнула почти Катерина Константиновна. — Нет, Гена, не «ладно»! Ты ведь понимаешь, что это значит? Когда так сильно любишь, что ничего не можешь изменить? Любишь, и всё?

— И он умер? — уточнил все-таки молодой Орлов.

— Утром похоронили, — всхлипнула Катерина Константиновна, и слезы хлынули из глаз ее непрерывным потоком. — Прости меня, сыночек.

— Я-то что? — хмуро спросил молодой Орлов.

— Побудь со мной, — вдруг каким-то просящим, совсем не своим обычным голосом попросила она. — Побудь со мной сегодня, ладно?

— Ладно, — кивнул широкоплечий Орлов, первый раз ощутив, что мать его обыкновенная слабая женщина и нуждается в нем. — Ты обедала, мам?

Новое, пышное и невыносимо счастливое — если, конечно, смотреть с точки зрения природы, света и небесных красок — подошло лето. Потому что если смотреть с точки зрения человеческой жизни, да особенно учитывая, что людям по тем или иным причинам приходится друг с другом расставаться, друг друга обижать, хоронить, отпевать, мстить друг другу, не прощать, не доверять, предавать и так далее, — если, конечно, смотреть на лето 1967 года с этой мало обнадеживающей точки зрения, то тут уж абсолютно все равно, в какую погоду и при каком освещении происходят все эти события. Единственно, что «тё-ё-ё-пло», как любила бормотать самой себе покойная Марь Иванна, выходя утром на открытую дачную веранду и торопясь в сад, чтобы к завтраку набрать для Наташечки свежих розовых ягод.

Что есть, то есть. Тепло. А грустно до чего, Господи ты мой Боже! Все время ведь кто-то и внутри прекрасного цветущего этого тепла помирает. Вон их сколько! Голову задери, прищурься слегка — всех своих увидишь! Но так как-то получается, что никто не прищуривается, все напуганы, все себе под ноги смотрят. А под ногами — что? Так, асфальт один. Ну, в крайнем случае летняя лужица с каплей пролившегося бензина внутри, с птичьим беззаботным перышком.

А сколько людей болеет! Сколько их, честно говоря, сходит с ума! И летом, представьте себе, как назло, летом! Когда на лесных полянах расцветают крупные и холодные ландыши.

Бедная Галина Аркадьевна сошла с ума в последний день учебного года. В теплый сияющий день. Когда все, что могло распуститься, уже распустилось, и все, что должно было заблагоухать, заблагоухало. Надо сказать, что Галина Аркадьевна в этом году вообще очень сдала. Мигрени ее так участились, такими они стали гулкими, что Галина Аркадьевна начала на всех обижаться. Больше всего она обиделась на Михаила Вартаняна, увидев его во время большой перемены на школьном дворе с невысокой черноглазой девушкой в очень короткой черной юбке. После этого Галина Аркадьевна всем велела остаться на классный час. Приближались экзамены, в воздухе парило, хотелось поскорее добраться до дому, раздеться, умыться холодной водичкой, выпить лимонаду или квасу — если есть, конечно, — включить телевизор, а не сидеть седьмой урок подряд за раскаленной партой, прилипая жаркими форменными брюками и подолами к клейкой от жары скамейке.

— Сегодня, — сказала Галина Аркадьевна, и на шее ее напряжились жилы, — мы будем разбирать поведение Михаила Вартаняна.

Вартанян вспыхнул и изумленно завертел головой.

— Который, — с ненавистью сказала Галина Аркадьевна, — думает, что ему все позволено! Думает, что наша школа будет до скончания терпеть его издевательства! Который прене... пребе... — Она, судя по всему, хотела сказать «пренебрегает», но запнулась. — Который пребенегает всеми... за... — Опять она споткнулась на каком-то слове и, в ужасе выкатив глаза, остановилась. — Я предлагаю, — Галина Аркадьевна испуганно перевела шумное свое дыхание, — я пригладаю про-ло-го-вать!

Ни жив ни мертв сидел перед безумицей 8-й класс «А». Так тихо сидел, что, если бы пчела, впившаяся в цветок герани и оттого замолчавшая, продолжила свой полет и свое басовитое размеренное пение, оно, пение это, было бы единственным звуком во всей комнате.

— Что, — захохотала Галина Аркадьевна, — боитесь? Думаете, он вас всех скушает? А вы не бойтесь! Госолуйте! Госолуйте, я вам говорю! Го-со-луй-те!



— Кранты, — тихо, себе под нос, сказал кривоногий Алексей Сучков, сын тети Маруси, уборщицы.

— Это кто был? — закричала между тем Галина Аркадьевна, подскочив к Вартаняну. — Эта во-т-та кто был? В черной бубочке? — и она, кривляясь и гримасничая, изобразила руками короткую юбку.

— Ребя, — сказал Лапидус, — надо кого-нибудь позвать.

Карпова Татьяна, хлопнув дверью, выскочила в коридор. Через минуту она ворвалась обратно в сопровождении Людмилы Евгеньевны и Маргариты Ефимовны.

— Что такое с вами? Что вы? Успокойтесь! Галиночка Аркадьевна, — залепетали было белые как мел педагоги, — что это с вами?

Галина Аркадьевна оборотила на вошедших окровавленные глаза.

— Нет, ну как вам нравится? — разгневанно спросила она. — Я выхожу, а он любезничает! А она вот-т-та в такой бубочке! Мы его здесь не потерпим! Мы все как один... Мы уже просо-ло-го... — она махнула рукой (все равно, мол, не выговорю!). — Вот как мы его! — Она показала Вартаняну кулак и засмеялась.

«Скорая помощь» приехала довольно быстро, минут через двадцать. Все это время безумная женщина возбужденно рассказывала собравшимся про то, как она засекла негодяя Вартаняна с незнакомой, не нашей девушкой в короткой «бубочке».

Санитаров было двое на одного доктора, который быстро приблизился к Галине Аркадьевне, двумя волосатыми своими пальцами оттянул ей левое веко, щелкнул языком — и не успела больная опомниться, как ей уже скрутили, как преступнице, руки за спиной, набросили на нее застиранный, сизого цвета, длинный балахон и, не слушая рева и визга, уволокли на улицу.

Весь 8 «А» высыпал следом, и перед остановившимися его молодыми глазами прошла страшная в своих подробностях картина, состоящая из ревушей и, как ребенок, упирающейся Галины Аркадьевны, которая пыталась увернуться, чтобы искусать санитаров и грубого волосатого доктора, на ходу вытащившего откуда-то шприц и быстро, прямо через сизый балахон, всадившего укол ей в руку, так что она вдруг умолкла и покорно, как овечка, сама залезла в машину. Один санитар вспрыгнул следом, а другой остался рядом с машиной и закурил, пока доктор втолковывал что-то дрожащей как осиновый лист Людмиле Евгеньевне.

Наконец машина отъехала, оставив после себя на асфальте недогоревший окурок и слабый запах дезинфицирующего раствора.

Педагоги посмотрели в лицо 8 «А». 8 «А» посмотрел в лицо педагогам.

— Расходитесь, — прыгающим ртом сказала Людмила Евгеньевна, — идите домой и начинайте готовиться к экзаменам.

Какие уж тут экзамены! И что — главное — в них толку? Какая нам разница, что два пешехода — в черных плащах, черных шляпах, под черными зонтами — вышли одновременно навстречу друг другу из пункта А в пункт Б и из пункта Б в пункт А? Какое нам дело до того, встретятся они или нет, если и так понятно, что тот, который из А, не любит и никогда не полюбит того, который из Б, даже если они и встретятся? Если же вдруг полюбит или — что тоже бывает — узнает в этом, под зонтом, пришедшем из Б, своего родного брата или младшего сына, покинутого им вместе с разлюбленной женой двадцать лет назад у незнакомомго поселка на безымянной высоте, — если такое, не дай Бог, случится, разве ему, пришедшему из А, будет легче? Да нисколько! Это он в первый момент только, может быть, закричит «Сергей!» или там, к примеру, «Алеша!», а потом, когда нужно будет куда-то идти, где-то есть, пить, во что-то одеваться, тут-то и начнутся

все проблемы! Ведь именно так целая жизнь и устроена! Сначала «ах!», «ох!», а потом — отпустите меня! Знать я тебя не знаю! Шел себе из пункта Б, ну и иди! Я при чем?

Так что в книжках одно, а в жизни, как говорится, совсем другое. И никто тебя ничему не научит, пока сам не разберешься. А только-только начнешь разбираться, тут тебе говорят: «Вон, — говорят, — на горизонте синий троллейбус, видите? Ну так вот он за вами».

И всё. Хочешь не хочешь, полезай. Потому что если он синий, значит — последний.

«Осторожно, — говорят, — двери-то закрываются. Вы что, не видите?»

Все пять экзаменов молодой Орлов сдал на «отлично». Стиснул зубы, не спал ночами, наизусть всю эту чепуху выучил. Даже к Наталье почти не заглядывал. Мальчик Иванов завалил алгебру. В девятый перевели, но с переекзаменовкой в конце августа и, как всегда, со скандалом. Вообще скандалов было много в этом году: что зимой, что весной, что летом, едва начавшимся. Хотя вот Индию с Пакистаном помирили все-таки. И на том спасибо.

Отец Валентин и Марь Иванна, недавно и почти одновременно умершие, очень старались помочь оставшимся посреди скандалов и огорчений обожаемым своим людям. Отец Валентин, грешная душа которого проходила через многие мытарства и которому многое припомнилось из тех ошибок, которые он наделал, будучи земным человеком и духовным пастырем других людей, денно и нощно печалился за Катерину Константиновну, еще больше похудевшую и побледневшую, которая каждую неделю приходила к нему на могилу, протирала влажной тряпочкой свежеструганный крест, поливала из лейки ею же и посаженные оранжевые цветочки.

— Что ж ты, Валя, меня не отпустишь никак? — грустно спрашивала его Катерина Константиновна, сидя на скамеечке и подперев обеими ладонями светлую свою, коротко остриженную голову. — Подожди хоть, пока я сама к тебе приду!

И опять перед мысленным взором ее проплывал сон, который и в самом деле являлся Катерине Константиновне слишком даже часто, чтобы не запомнить его во всех подробностях. Снился ей этот же самый свежеструганный крест, который она каждую неделю навещала, — только огромный, гораздо больше того, который в качестве временного памятника поставили на могиле отца Валентина. Но (вот в чем мука ее была, вот от чего просила Катерина Константиновна освободить ее хотя бы временно!) видела она вцепившегося в этот крест дорогого своего любовника, который, прижавшись к перекладине лицом и грудью, умолял, чтобы его куда-то впустили, а его, бедного, не впускали. Катерина Константиновна и панихиды за упокой заказывала, и свечи ставила, — ничего не помогало.

Однажды она все-таки не выдержала и поделилась своими тревогами с матерью. Случилось это, правда, не на ровном, как говорится, месте. Бабушка Лежнева, милая и добрая мать отчаявшейся Катерины Константиновны, была в этот день занята совсем другими вещами. Видя, что дочери ее необходимо время, чтобы справиться с обрушившимся горем, и нет у нее, то есть у дочери, сил заботиться как следует о подрастающем и непростом сыне Геннадии, бабушка Лежнева решила сама о нем позаботиться. Первым делом нужно было купить молодому подрастающему Геннадию приличный костюм, который стоил несусветные — по представлениям бабушки Лежневой — деньги. Пожевав нежными и тонкими своими губами, бабушка Лежнева собрала все, какие у них были, оставшиеся от прошлого серебряные ложки, ножи и вилки, аккуратно их пересчитала, сложила в коробку из-под Катенькиных босоножек и отправилась в ломбард. Очередь в ломбард была длинной и утомительной, бабушка Лежнева стояла сперва во дворе, на утренней золотистой жаре его, потом на неприятной и несвежей, пахнущей известкой и человеческим потом лестнице, потом, наконец, уже

непосредственно в большой, плохо освещенной электричеством — окна были немывтыми, солнца не пропускали — комнате. Люди вокруг тоже были плохо освещенными, немывтыми, со злыми и несчастными глазами. Попадались среди них, правда, и так называемые перекупщики, в основном цыганского и вообще южного происхождения, — во множестве золотых украшений на шее, в ушах и на пальцах, но этих бабушка Лежнева боялась настолько, что даже прятала глаза и отворачивалась, когда золотом украшенные южане подходили близко и просили ее показать, что в коробочке. Проведя таким образом шесть часов в ломбарде, бабушка Лежнева получила огромные деньги и решила сегодня же обеспечить внука Геннадия приличным болгарским или, может быть, если очень повезет, югославским костюмом и отправилась в тот же самый магазин на Смоленской набережной, где она в прошлом году купила Геннадию две импортные мужские сорочки.

Ей повезло, и к вечеру бабушка Лежнева вернулась наконец домой, увенчанная серым костюмом в крупный, но неброский рубчик. Катерина Константиновна, укрытая зимним шерстяным платком, лежала на диване в сыновней комнате и, кажется, спала. Удивленная бабушка Лежнева тихонечко разложила покупку на стуле, стоящем поодаль, и хотела было выйти на цыпочках, как вдруг не подняв головы от диванного валика Катерина Константиновна остановила ее словами:

— Мама, подожди!

Бабушка Лежнева остановилась.

— Я сегодня, — продолжала Катерина Константиновна, — мою посуду в раковине. Вдруг чувствую, что он пришел и стоит за спиной. Вот-вот за локти меня возьмет. А повернусь — так и лицом к лицу столкнемся.

Она замолчала. Бабушка Лежнева быстро перекрестилась.

— Может, мне к доктору надо? — криво усмехнулась Катерина Константиновна.

— Не надо, — строго ответила ей бабушка Лежнева, — мы про эти дела, Катя, ничего не знаем. Что я тебе говорить буду? Раз почувствовала, значит, так и было. А какая нам с тобой разница, показалось ли тебе, что он пришел, или в самом деле душа его к тебе оттуда стремится, знаки тебе подает? И так и так правильно.

— Мама, — забормотала Катерина Константиновна, сбросив с плеч душный и не по погоде натянутый было на плечи шерстяной платок, — вот я все себе говорила: в грехе живу, права не имею... Его мучила, себя терзала, а сейчас — как его не стало — думаю: да вернись он ко мне сейчас хоть на минутку, в ноги бы ему упала! Вот в чем ужас мой! Мама! В разлуке!

Бабушка Лежнева осторожно придвинулась к ней на диване, обхватила ее всю добрыми и слабыми из-за возраста руками, прижала к груди и заплакала. В таком виде застал свою семью молодой и широкоплечий Геннадий Орлов, вернувшись к вечеру домой после только что сданного им последнего экзамена. То, что мать и бабушка Лежнева, обнявшись, плачут на его диване, могло бы сразу вывести его из себя, случись это, скажем, месяц или два месяца тому назад. Потому что месяц или два месяца тому назад он сам был другим человеком. Он знал, к чему стремится, и готов был всем на свете пожертвовать, лишь бы добиться задуманного. Мать и бабушка Лежнева, жившие слишком близко от него по каким-то совсем другим, «плаксивым», как он говорил, и «дурацким» законам, ужасно раздражали его тем, что ничего в жизни не добились и не понимали того, что казалось ему важным. Потом вдруг случилась эта ночь, когда он услышал разговор матери с заболевшим священником и догадался, что все эти годы у нее была своя, непонятная ему, но, судя по всему, очень печальная и странная история. Это немного изменило его отношение к матери, и молодой Орлов невольно задумался. Потом мать похоронила своего любовника, вернулась домой и вдруг так просто и доверчиво попросила у него, своего сына, к которому она всегда относилась немножко свысока и как к маленькому, — она вдруг попросила у него душевной помощи и поделилась с ним.

Молодой Орлов, насколько мог, оказал ей эту помощь и одновременно почувствовал, как материнский мир придвинулся к его миру и стал немножко теснить этот его мир, в котором он хотел добиться того, чего ни мать, ни бабушка Лежнева не понимали и не считали важным. Орлову вдруг стало самому приходить в голову, что если посвятить десять, скажем, лет, как он предполагал раньше, тому, чтобы стать студентом Московского института международных отношений, закончить его, вступить в партию и потом работать за границей, женившись при этом на неумной Томке с бараньими глазами, то эти десять лет могут оказаться и не такими уж легкими. Вообще многое вдруг начало приходить ему в голову и мучить его. Слишком скользкими были те люди, с которыми ему приходилось теперь сталкиваться в связи с затеянной им комсомольской активностью, и слишком уж сильно отличалось все, что они произносили и делали, от той родной тишины и испуганной какой-то искренности, которые охватывали молодого Орлова, едва только он переступал порог своего дома.

Вот и теперь, когда он увидел, что мать снова плачет, а бабушка Лежнева прижимает ее к себе и рядом на стуле разложен костюм в крупный, но неброский рубчик, предназначенный, разумеется, для него, Геннадия, перехватило горло, и молодой Орлов растерялся.

— Сдал? — спросила Катерина Константиновна, оборотив к сыну заплаканное и горестное свое лицо.

Молодой Орлов молча кивнул.

— Примерь, — тихо сказала бабушка Лежнева. — Сказали, если не подойдет, размер можно будет другой взять. Только завезли.

И опять кивнул молодой Орлов.

— Подойди ко мне, — попросила мать. — Что ты бледный такой? Не выспался?

Месяц или два назад Орлов бы огрызнулся на эти ахи и вздохи, хлопнул бы дверью и крикнул, чтобы они оставили при себе свои телячьи нежности, но сейчас он только молча пожал плечами и дотронулся ладонью до материнского затылка. И мать его, словно только этого она и ждала, изо всех сил притянула его к себе и, уткнувшись горячим, мокрым лицом в жесткий ремень с желтого цвета пряжкой, который опоясывал ее сына, застыла так, уже не плача, не шевелясь и даже не всхлипывая.

В субботу в школе был устроен праздник для обоих восьмых классов, которые только что сдали экзамены. Нина Львовна, с одной стороны, радовалась, что злейшему врагу ее Галине Аркадьевне, судя по всему, уже не пировать и не веселиться, но с другой — из-за этого Нине Львовне пришлось самой готовить праздничный концерт, самой договариваться с родителями, кто что купит к вечернему чаю и угощению, самой следить, чтобы никто из комсомольцев не протащил в школу ничего спиртного. От этих вдруг на нее свалившихся забот кругом пошла голова у Нины Львовны, совершеннейшим кругом. Особенно ее беспокоило то, что после праздничного вечера с танцами, концертом и скромным угощением (Нина Львовна ужасно настаивала, чтобы все было скромным!) — после этого предстояло проплыть с обоими восьмыми классами на речном трамвайчике по всей ночной Москве-реке, от Парка культуры имени Горького до Каменного моста и обратно. Людмила Евгеньевна, сначала было пообещавшая, что она тоже поплывет, неожиданно отказалась, и Нина Львовна поняла, что причиной отказа было то, что за день до праздника, в четверг, Людмила Евгеньевна, Маргарита Ефимовна и Роберт Яковлевич ходили в Институт имени Кашенко, где содержалась заболевшая Галина Аркадьевна. Вид ее произвел такое тяжелое впечатление на эмоциональную Людмилу Евгеньевну, что она стала бояться любого напоминания о Галине Аркадьевне и плавать с песнями под гитару по ночной красавице-реке расхотела.

А-ах, как это все чудесно, когда экзамены позади, и зима позади, и холод с тьмой тоже позади! А впереди красное лето и вольная воля на целых два с половиной месяца! Вот ведь, если подумать, что такое два с половиной месяца в человеческой жизни, ну? Чепуха, и больше ничего! А как, однако, их ждешь, как мечтаешь об этом коротеньком, сахарном, на сочный ломоть спелого арбуза похожем времени! И ведь никто из нас, заметьте, не думает в этот момент, что там еще впереди, кроме этих двух с половиной месяцев! Никто ведь не помнит, что сперва-то эти два с половиной, потом еще разное такое, приятное, а потом новая зима с тьмой и холодом, новое красное лето и еще зима! И опять ведь со тьмой и холодом! И опять, и опять! А загляни поглубже, подальше загляни — там ведь уже и твои седые волосы, плюс новая зима, плюс опять-таки холод! А потом, если еще глубже, если совсем глубоко — там ведь все то же самое плюс уход твой! И опять лето красное! Но уже не твое, а неведомого тебе восьмиклассника! Вот я и говорю: ах, как это все чудесно, не правда ли?

Утром в субботу большинство девочек разбежалось по парикмахерским. Грубоватые московские парикмахерши, в основном ударницы коммунистического труда, женщины уставшие и балованные, начесали молодых комсомолок, наввертели им на затылках волосяных букетов, кисло пахнущим лаком обрызгали их неузнаваемо прекрасные головы. Вошли — золушками, вышли — принцессами. Потом со слезами и нервами (иначе не бывает!) началось верчение перед зеркалами, напудривание, надушивание. Ресницы красить купленной у цыганки черной тушью не пробовали? Это ведь тоже риск, да еще какой! Никто ведь не знает и никогда не узнает, какой отравы она подмешала в черную свою тушь, цыганка эта? Не зря предупреждают: никогда не покупайте ничего с рук! Никогда! Сколько, говорят, девушек уже от этой туши ослепло! Сколько на тот свет отправилось!

К шести начали собираться в школьном вестибюле. Мальчики держались обособленно, с девочками не смешивались. Молодой Орлов пришел почему-то последним. В новом сером костюме. Крупный такой рубчик, но неброский, ботинки блестят.

— Что, — в нос, княжеским басом засмеялся Куракин, — вас там еще и одевают?

— Где это — там? — сухо спросил Орлов и крепко, якобы приветственно, хлопнул князя по плечу.

Покрасневший князь мысль свою развивать не отважился, заблестел нетрезвыми добрыми глазами.

В торжественной части вечера новоиспеченных девятиклассников долго и однообразно все кому не лень поздравляли. Потом Нина Львовна напряженным голосом перечислила отличников, начиная с Карповой Татьяны и кончая Сергеем Чугровым.

— Чтобы не портить праздника, — ядовито уточнила Нина Львовна, — имена тех, которые не сочли нужным хорошо учиться и не сдали экзаменов как следует, мы с этой праздничной сцены перечислять не будем.

Мальчик Иванов опустил голову на длинной и беспомощной шее.

— Они сами знают, — прошипела Нина Львовна, — сами прекрасно знают, чего заслуживают.

Елена Аленина закусила губу, словно сейчас расплечется, но не расплакалась, а негромко и придурковато (как все, что она делала!) засмеялась. Пока шла торжественная часть, растревоженные и нарядно одетые матери накрывали на стол в классной комнате. Больше всех суетилась мама Наташи Чернецкой — Чернецкая Стелла Георгиевна, которая вся так и сверкала: от золотой заколки в высокой прическе до алых, как красные смородины, маленьких ногтей на ногах. По случаю жаркой погоды Стелла Георгиевна была без чулок, в открытых золотистых, в тон заколке, босоножках.

— Ну а теперь, — наговорив со сцены кучу, как всегда, гадостей, завершила Нина Львовна, — попросим всех к столу. И перейдем к концерту.

Концерт, пироги и танцы закончились к полуночи, как раз тогда, когда большая, с плачущими глазами, скорбная луна, разорвав наконец завесу слипшихся облаков, показала свое мерцающее лицо.

— Как эта глупая луна... — сказал хмельной князь Куракин (пиво, конечно, в школу пронесли, несмотря на Нину Львовну!), — как эта глупая луна... на этом глупом... что-то там...

— ...небосклоне, — вставила Карпова Татьяна, давно мечтающая исправить «хорошего парня» Куракина, отучить его от выпивки и вообще подтянуть поближе к себе, отличнице и активистке.

— Эх, Танька! — всхлипнул князь. — Танюшка! Тебе б еще мозги, золотая ты моя!

— А тебе бы пить поменьше, — отрезала Карпова Татьяна, мотнув завитым в парикмахерской, неподвижным от лака конским хвостом.

Ярко светящийся в черноте ночи речной трамвайчик ждал их на пристани. И пахло рекой, травой, деревьями, пахло жизнью, разобранной на миллиарды подробностей и не видимых глазу деталей. У каждого существа на земле и под землей жизнь шла своя и длилось свое нежное и хрупкое дыхание. Все вокруг пытались что-то втолковать друг другу, объяснить и договориться, догадываясь, что это ведь чистая случайность, что высыпало их в подлунный мир, на эту траву и землю, из одной и той же божественной горсти в одно и то же время. С пустяковым каким-нибудь — от секунды, скажем, до восьмидесяти или чуть более лет — разрывом. И сейчас, укрытые одной темнотой, растроганные заботливостью своей единственной, распухшей от бессонных ночей луны, все почувствовали себя тихими и добрыми, засветились едва различимыми во тьме зрачками навстречу друг другу, и божьи коровки — милые насекомые с крапинками на спинах — уступили дорогу, проложенную ими сквозь июньский воздух, своим большим рассудительным родственницам — ночным бабочкам, неторопливым и черноглазым, с маленькими волосатыми ногами. Воцарился покой, разобранный на миллионы подробностей, на триллионы деталей, на миллиарды волокон — речных, песчаных, листовых, телесных, дровяных и каменных, — и внутри этого, общего для всех — кто жив здесь и бессмертен там — покоя тихо покачивался на маслянистых волнах ярко освещенный речной трамвайчик. Ждущий того, чтобы освободить оба восьмых класса от замусоренного асфальта и подарить им недолгое путешествие по серебристой от звездного неба, лоснящейся, как шкурка вылизанного матерью новорожденного котенка, реке. Что-то, конечно, произошло на свете в тот час, когда возбужденные свободой комсомольцы поднимались на просторную палубу по раскачивающемуся от их энергичной поступи трапу. Какая-то радость, никому прежде не ведомая, какая-то любовь — не только молодого человека к девушке или девушки к молодому человеку, которой почти все восходящие по трапу были связаны, но любовь нерассуждающая, неизбирательная, общая зажглась вдруг в каждом сердце и растопила его угрюмые, наполненные нечистой кровью узелки. Все, кто взшел на палубу, услышали, как маслянистая волна ненавязчиво бьется о борт речного трамвайчика, почувствовали запах сирени, доносящийся с берега, и всем вдруг стало хорошо. Комсомольцы посмотрели друг на друга веселыми и нежными взглядами и — молодые, раскрасневшиеся, неловкие — принялись тут же выражать свою радость. Мальчики начали хлопать друг друга по спинам, девочки — заботливыми пальчиками — поправлять друг другу прически. Всем вдруг захотелось произнести что-то дружеское, веселое, исполненное той любви, которая теснила грудную клетку и, как птица, требовала освобождения.

Трамвайчик просигналил в глубокую звездную ночь, прорычал что-то, как молодой напрягшийся левенок, первый раз выходящий на охоту в большой лес, усатый матрос (судя по всему, помощник невидимого капитана) отцепил канат, связывающий трамвайчик с оставшимися на земле человеческими существами, и вот все, кто был внутри

и на палубе, поплыли, вздрагивая вместе с дрожащей водой и отражаясь в слабо освещенных луною глазах друг друга. Те, которые стояли на палубе, перегнулись через борт, слегка поплевали в шипучую и пышную пену, а потом подставили лбы освежающему ветру, раскрытые глаза подставили ослепительному небу. Те, которые спустились вниз, парочками расселись на лавках, прижались в полутьме горячими бедрами к бедрам, намертво сцепили крепкие пальцы, а Михаил Вартамян, глядя воспаленными южными глазами на Анну Соколову, бледную, густо-рыжеволосую, с нежными веснушками на том бугорке, где тонкая шея переходит в спину, вынул из чехла гитару.

— Старая царица плачѣт у окна, — запел Михаил Вартамян, не грустя по сошедшей с ума от любви к нему классной руководительнице Галине Аркадьевне, — старая царица, жэ-э-эна и нэ жэ-э-эна, ничѣго не трѣбу-уй, сѣрдца-а нэ нѣволь, все равно к царэ-э-эвнэ убѣжал коро-о-оль...

И Анна Соколова, сердце которой было разбито еще в сентябре и вот уже который месяц ныло и ныло, вдруг просветлела, покраснелась, глубоко и неровно задышала, отвечая его южным глазам своими густо накрашенными зелеными глазами. Сергей Чугров, длинный, как подъемный кран, наклонился к уху замершей от его близости больной, оставленной отцом девочки Лены Алениной и, щекоча ее серенькую невесомую прядку своими жадными губами, зашептал, что он все равно ее любит, любит, что бы она ни говорила, какими бы ругательствами ни выстреливала в его беззащитное и вдохновенное лицо. В эту минуту недоверчивая Аленина нисколько не усомнилась в том, что он говорит ей чистую правду. Да и не только эти четверо, да нет, и не только они! Все тянулись друг к другу, все трепетали от нежности. В этот момент мальчики особенно почувствовали, что нет на свете ничего прочнее, чем мощная мужская дружба, а девочки, ласково поправляющие друг на друге слегка примятые прически, перестали завидовать и почти перестали ревновать. Нина Львовна, восковыми своими пальчиками с голубовато-перламутровыми ногтями прижимающая к груди белую лохматую сумочку, которую издали нетрудно было принять за болонку, никого не интересовала. Все ощутили, насколько Нины Львовны мало на свете, так мало, что не стоит, честно говоря, даже и думать о ней, а не то чтобы уж ее бояться...

Речной трамвайчик плыл себе и плыл, изредка рыча на другие речные трамвайчики, гораздо более будничные, чем наш, в которых, может быть, тоже была своя любовь, но не такая выпуклая и сияющая, как на нашем, — он плыл, норовистый и бесстрашный, как львенок, первый раз вышедший на настоящую охоту в большой, жизнью полыхающий лес, и в голосе его слышался вызов не только умиротворенным и радостным звездам, но и самой луне, знающей про каждого из нас гораздо больше, чем каждый из нас знал о себе и тем более о других.

К двум часам начал накрапывать дождь. Те, которые были на палубе, спустились вниз и тоже присоединились к пению.

Пели ли мы тогда про синий троллейбус? Знали ли мы тогда про то, что если он синий, то значит — последний? Разумеется, пели и, разумеется, ни о чем таком не догадывались. Дождь становился все сильнее и сильнее, вода, со всех сторон окружившая наш трамвайчик, яростно, но беззлобно омывала круглые двойные окна, сквозь которые не видно было земли, хотя и на ней, скорее всего, тоже кто-нибудь пел в эту минуту. Эдуард Хиль, например, или бабушка князя Куракина Тома Тамарэ, или премьер-министр Индии, которого наконец-то помирили с несговорчивым Пакистаном, или никому из нас не ведомый старик-кубинец, только что заботливо смахнувший пыль с желтых бумажных роз, украшающих самодельный алтарь в его бедной комнате. Пели, однако, не только на земле, потому что пение собравшихся на земле людей, даже если бы оно произошло одновременно, то есть даже если бы все на земле люди всех возрастов, вероисповеданий, устремлений, состояний здоровья и душевных особенностей, — если бы все они, отложив

дела и заботы, вдруг запели, то, как мне кажется, это ничего бы толком не изменило и даже, боюсь, не улучшило. Любовь же, охватившая наш норовистый речной трамвайчик и неожиданно соединившая всех со всеми, имела, конечно, какую-то ослепительную и не очень земную причину. Она была продолжением той любви, которую испытывают люди, пережившие потерю друг друга здесь, на земле, но удивительным образом продолжающие друг о друге заботиться. Оказалось, что у каждого из нас есть такой человек или даже несколько таких людей, несмотря на то что мы ничего не знаем о них и самоуверенно полагаем, что с ними все кончено. Потому что те, которых мы не видим, стараются не беспокоить нас и не вмешиваться в наши земные беспорядки. Они просто ждут своего часа, который, наверное, потому и называется звездным, что приходит тогда, когда все на свете звезды сходятся вместе на одном небе.

Хочу уточнить, что речной трамвайчик отправился в свое путешествие в ночь на двадцать первое июня, солнце так высоко и торжественно стоит в зените, что во всех земных календарях двадцать первое июня называется днем летнего солнцестояния. Так много любви и заботы скапливается к этому дню на небе, с которого тогда, когда мы оторвались от берега, начал накрапывать похожий на слезы неторопливый дождик, — так много любви и так много заботы, что небо начало делиться своей любовью с землею и те, которые ушли от нас, стали нашими хранителями, чтобы уже беспрепятственно облагородить сердца и удержать нас ото всего злого и опрометчивого. Вот они-то, не видимые нами, и запели в этот час, только совсем другие, не похожие на синий троллейбус, песни.

Взято из Флибусты, [flibusta.net](http://flibusta.net)



## Елена Колина -

коренная жительница Санкт-Петербурга. Она родилась в профессорской семье и получила три высших образования: она – психолог, филолог, кандидат математических наук. Работает преподавателем по психологии и английскому языку в Университете культуры. Елена замужем, имеет двоих детей. Колину заслуженно называют мастером жанра романтической комедии. Она очень популярна среди российских читателей, и её книги быстро расходятся внушительными тиражами. По рейтингу популярности книг жанра женской прозы Елена занимает шестую позицию.

Её произведения о грустном и весёлом, о тех проблемах, которые волнуют большинство наших современниц. Колина не любит давать интервью, шумным вечеринкам предпочитает задушевные встречи с читателями.

Когда-то Елена заведовала колонкой в петербургской газете «Город». Но однажды решила рискнуть и написала что-то вроде рассказа из своих воспоминаний, показав рукопись подруге-журналистке. Та осталась в полном восторге от прочитанного, и посоветовала немедленно всё бросить и начать серьёзно заниматься писательским трудом. Колина послушалась, отвезла написанное в три издательства, и одно из них – «АСТ» тут же заключило с ней контракт.

С тех пор у писательницы появилась своя, довольно внушительная аудитория поклонников. Книги «Питерская принцесса», «Профессорская дочка», «Любоф и Дружба», «Мальчики да девочки», «Умница, красавица», «Книжные дети», «Все, что мы не хотели знать о сексе», «Дневник новой русской», «Сага о бедных Гольдманах», «Не без вранья», «Про меня» написаны не просто увлекательно и просто. Каждая история заставляет задуматься и сделать какие-то выводы для себя, а неповторимый стиль писательницы приносит истинное наслаждение.

Елену очень любят кинематографисты, так как её произведения легко экранизируются, а роман «Личное дело Кати» преподаватели иногда используют как пособие по психологии.

### **Произведения:**

Бедные богатые девочки, или Барышня и хулиган

Наивны наши тайны

Взрослые игры

Не без вранья

Дневник измены

Питерская принцесса

Дневник новой русской

Про меня

Книжные дети. Все, что мы не хотели знать о сексе

Профессорская дочка

Личное дело Кати К.

Сага о бедных Гольдманах

Любоф и дружба

Умница, красавица

Мальчики да девочки

### **Интервью:**

Беседовала Елена Елагина

Журнал "У книжной полки".

**– Ваши книги чаще относят не к «женскому» роману, как это нынче принято называть, если автор женщина, а к роману «городскому». Вы согласны с этим жанровым определением?**

– Совершенно согласна. Мне вообще нравится это определение, потому что оно имеет какой-то смысл, в отличие от «женского романа». Женский роман – это что? Это то, что написано женщиной? Или то, что про слезы, кровь-любовь-морковь? Очень расплывчато. А городской роман может быть написан и женщиной и мужчиной, и для женщин и для мужчин.

**– На какого читателя вы ориентируетесь? Вы его себе представляете?**

– Более или менее конечно. Я знаю, что мужчины меня читают мало, в основном мои читатели – женщины. Наверное, условно говоря, это женщины образованные (я имею в виду не диплом, а уровень притязаний). Когда я написала первую книгу («Барышня и хулиган», потом ее переиздали под названием «Бедные богатые девочки»), одна из моих подруг сказала: «Это все так смешно, так остроумно, но кому же это может быть интересно? Только нам, петербурженкам из интеллигентных семей, но нас же три с половиной человека». Оказалось, что «нас» намного больше.

**– В читательских отзывах вас называют в числе любимых авторов, через запятую рядом с Мураками. Вас это не удивляет?**

– Теперь меня ничего не удивляет. А вначале очень удивляло. Например: «Мой любимый писатель Мураками – запятая – Елена Колина». Или: «Мой любимый писатель Дарья Донцова – запятая – Елена Колина». По математическому закону можно сказать, что Мураками = Дарья Донцова. Вот так получается.

**– Помните, вы говорили, что хорошо понимаете разницу между литературой и беллетристикой. А в чем она для вас?**

– В литературоведческом плане она известна. Можно справиться по словарям и учебникам. В авторском же плане я ее очень четко для себя определяю: высокая литература развивается по определенным жанрам и подчиняется определенным требованиям. Я себя отношу к беллетристам. Хорошая беллетристика – это крепкий сюжет, яркие характеры, приличный язык, ну, и хорошо, чтоб была какая-то идея. Некая идея у меня всегда есть.

**– В чем вы видите назначение писателя? Литература должна чему-то учить?**

– Учительство, как мне кажется, отзывается очень болезненно на самом человеке, а если это женщина, то женскую личность это просто корежит. Может быть, меня наши феминистки закидают помидорами, но я могу научно подтвердить как психолог: женщине

недоступна та ступень, которая называется гениальностью. Подтверждений этому масса. И даже если мы вспомним Джейн Остин, Айрис Мэрдок и много кого еще из писательниц первого ряда, то это все-таки не гениальность, а всего лишь очень высокий уровень.

**– Помогают две ваши освоенных профессии – математика (с диссертацией за плечами) и психология – писать? Или мешают?**

– Математика, конечно, помогает. Логическое мышление структурирует текст. Читая наши многочисленные детективы, наблюдаю полную авторскую беспомощность: ниточки оборваны, концы не связаны. А я мыслю логически. Другое дело, и сама пыталась написать детектив, считая, что разрисую все схемы и все у меня будет супер, как у Агаты Кристи. Но этот секрет мне не дался. Оказалось, что это, увы, не структурируется, это некое волшебство.

**– Детектив – это волшебство?**

– Такой, как у Агаты Кристи, – да. Я рисовала огромные листы со схемами, чертила стрелочки, но – увы... Не получается, Должно быть волшебство.

**– А в городском романе?**

– В городском романе тоже хватает своего волшебства. Хотя я, кроме того, что мыслю текстами, мыслю еще и алгоритмами. Даже когда самое сложное обсуждаю, даже если это нравственная проблема, могу стрелочки рисовать. Алгоритмическое мышление безусловно помогает, а психологическое образование – нет.

**– Ваш новый роман называется «Дневник измены». Почему вы обратились к этой тревожной теме?**

– Мне было интересно исследовать, что такое измена, как это все происходит. С одной стороны, мы сейчас на это смотрим очень просто: женился, развелся, изменил и не развелся – и кажется, что это часть жизни. Я не выступаю здесь в качестве морализатора. Но вот недавно читала у Надежды Мандельштам, как они в двадцатые годы увлекались сексуальной свободой и разного рода экспериментами типа жизни втроем, а позже она поняла, что измена – это настоящая трагедия и что отношения никогда не вернуться к тем, которые были до измены. Они могут стать – это уже я продолжаю – лучше, могут стать хуже, люди могут совсем расстаться, но к первоначальному состоянию они уже не вернуться.

У меня по сюжету две пары, и три дневника. Повествование ведется от имени двух женщин и одного мужчины, причем этот мужчина, скорее, женского типа. А второй мужчина – молчаливый мачо. Он не ведет никаких дневников, и он для нас черный ящик. Никто не знает, что происходит с его внутренним миром. Жена и любовница думают о нем совершенно разное. Что думает он сам, мы так и не узнаем.

**– А проницательный читатель может догадаться?**

– Может. И моя идея здесь такова: и мачо – человек, и для него, с его гаремным сознанием, ничто не проходит даром. Его сознание все равно не стоит отдельно от души. Жена себя утешает: «Это была измена без отношений». Но такого не бывает в принципе! Всё затрагивает человеческую душу. Всё человека меняет. И меняет не только самого человека, но и всю его систему отношений с миром. Я в этом совершенно уверена.

**– Поскольку это не детектив, можно спросить об итоге? Что случилось в результате с этими парами?**

– Я всегда хочу хорошего финала – и в результате у меня всегда так и получается. Мой лозунг: «Хорошим героям – хороший финал!» А в примечании я думаю: а не очень хорошим героям – ну, тоже не самый плохой финал, человеческий. Кроме того, что мне просто нравится, когда всем хорошо, у меня есть глобальная идея, она относится скорее к большой литературе, но и к беллетристике ее тоже можно отнести. Если, например, мы показываем всякие ужасы и страсти-мордасти, как на картинах Босха, то мы должны показать и возможность светлого пути. Закончить на том, что жизнь ужасна – это неправильно.

– **Мне тут хочется ввести ремарку устами одного священнослужителя, от которого я недавно услышала, что мы осуждаем грех, но не человека.**

– Это очень хорошо сказано! Очень точно. Грех – но не человека. История такая, что финал там все-таки не столь розов, как у меня обычно бывает. Вся эта история изменила людей. И хоть все осталось на своих местах, все в своих семьях, что будет с этими отношениями дальше, как они это все преодолению? Похоже, что преодолению.

В одном случае любовь сильна, в другом – спасает более или менее легкий характер, в третьем – внешние обстоятельства.

– **Ваш «Дневник измены» перекликается с рассказом Тэффи «Выбор креста» – и сюжеты схожи, и коллизия. У наблюдательной и ироничной Тэффи выведены те же, что у вас, два типа жен – легкомысленная свистушка и методичная зануда. Но в ее рассказе обмен женами завершается возвращением на круги своя.**

– Тэффи я обожаю! И как писателя, и как личность. Но с этим рассказом незнакома. Если какая-то аллюзия и была у меня в голове, то это Апдайк – «Давай поженимся». Но вообще-то обмен и возвращение на круги своя имеет серьезную психологическую подоплеку: первый выбор делается нами неслучайно, а во втором мы ищем то, чего нет в первом. Но если первый выбор был достаточно сильным (не любовь в нем важна, а близость и «родность»), то вновь возвращаемся к нему.

– **Ваш последний роман демонстрирует превосходное знание автором литературы и фактуры Серебряного века. Любите ли вы это время?**

– Начнем с живописи – мне нужно обязательно хотя бы раз в месяц сходить в корпус Бенуа Русского музея, где висят шедевры того времени. Для меня это подпитка. Что касается литературы и особенно личностей Серебряного века – да! Здесь и любовь, и нежность, и вовлеченность в их судьбы. Я не столько люблю литературу Серебряного века, как саму жизнь того времени! Не было больше в истории России такого феерического сочетания талантов литературных и талантов личностей – «таланта быть»! Нет мемуаров, которые я бы не прочитала. Мне кажется, я знаю о них все, что возможно, будто я сама жила тогда: кто кого любил, разлюбил, литературные успехи, ссоры, провалы, интриги... И через все это мне интересна в первую очередь личность. Смотрите, какие разные, к примеру, мемуары Одоевцевой и Берберовой. У Одоевцевой сквозь все просвечивает восторженная девочка с бантом, как будто ни голода, ни холода не было, а была только юность. У Берберовой сквозь описание тех же событий – железная логика, сухость, мужская точность оценок – до пренебрежительности.

– **А скандалисты-футуристы вам интересны?**

– Литературу их не люблю совершенно. Мне кажется, сейчас вряд ли возможно восхищаться, к примеру, Бурлюком. Да и Маяковского не люблю. Может быть, сказала

школьная обязателька с этими стихами про советский паспорт... Понимаю, что ранний Маяковский прекрасен, но... И здесь все то же – люблю как жизнь, как эпоху, как личность. Пожалуй, единственная, кого я иногда почитываю из литераторов Серебряного века, это как раз Тэффи. В общем, на эту тему я могу говорить бесконечно.

**– Как приходит замысел романа?**

– Самыми невероятными путями. Бывают и смешные вещи. Моя «Умница, красавица», если можно так сказать, римейк «Анны Карениной». Просто была идея посмотреть, как сейчас разворачивалась бы подобная ситуация: изменила мужу с молодым офицером – что дальше? А для меня всегда невероятно сложно выбрать имя и фамилию героям, потому что они очень живые. Стоит на середине книги изменить имя, и получается уже другая героиня, и под нее надо уже многое менять и подстраивать. И я никак не могла придумать фамилию для моей Анны (у меня она Соня) и ее мужа. И вот как-то, гуляя по Москве, вижу: «Усадьба Головиных». Боже, вот же эта фамилия – Головины! А потом, когда просто из любопытства рылась в истории создания «Анны Карениной», обнаружила, что «Каренин» – производное от слова «сарена» – голова. И получается, что Каренин – это Головин. Вот такая мистика!

**– Жизнь стремительно меняется, технический прогресс агрессивен, а человек ленив. Не заменит ли видео и интернет книгу окончательно?**

– Мне кажется, что все будет всегда. Ничто не может заменить бумажную книгу. С ней другое ощущение, другой способ восприятия. Здесь я скажу уже как специалист-психолог – это самое сложное интеллектуальное действие, оно значительно сложнее, чем смотреть фильм, или слушать музыку, или лицезреть произведения пластических искусств. И все-таки чтение будет всегда. И романы будут всегда.

## ПРО МЕНЯ

Я посвящаю эту книгу моей любимой подруге Аньке.

Все совпадения случайны, все персонажи, и знаменитая писательница, и главный режиссер, лишь повод для того, чтобы рассказать о любви и ревности одной странной девочки, такой же странной, как вы и я.

Люди делятся на скучных и странных. Скучные живут свои скучные жизни вдали от театра, а странные имеют все шансы на то, чтобы стать персонажами пьесы. Мир существует для того, чтобы войти в книгу, мир существует, чтобы войти в пьесу. Я все записываю, а потом напишу пьесу «Из жизни странных людей». Они и не знают, что я все записываю!

Все знают, что все уже было, все умное уже однажды кто-то подумал, все глупое уже кто-то высказал, любое чувство кто-то испытал, любую ошибку кто-то совершил. И несчетное количество раз кто-то сказал себе «я думал, что все понимаю, а я ничего не понимаю» и попросил прощения. Но ведь для каждого его «не понимаю», его «я больше не буду» – единственное. Как будто человек с этим своим «не понимаю» один во всем мире.

### Первое сентября, День знаний

*1 сентября 2004*

Мы странные. Санечка думает, что меня нет дома, а я дома. Он думает, что меня нет дома, я думаю, что его нет дома. Это такая игра, но иногда получается неловко.

...Голос Санечки в прихожей:

– Раздевайся, проходи. Будем пить кофе?

В ответ противный писклявый смех, – хи-хи-хи. Какая она? Судя по смеху хи-хи-хи – блондинка. Незначительное личико, хорошая фигура, в глазах надежда – вдруг вытащила счастливый билет.

Молчание – целуются?.. Что мне делать – выйти?

Санечка делает вид, что не смутился. Не хочу, чтобы мы с ним были как будто персонажи анекдотов «любовник в шкафу» или «муж приехал из командировки»!

Что мне делать – затаиться?.. Но они сейчас будут пить кофе, а потом может быть все что угодно, еще хуже, чем просто кофе. Что, мне так и сидеть в своей комнате, как хомяку в капкане?

Правильный тактичный вариант – закричать. Тогда все перейдет в другой жанр, пошлый анекдот, бытовую комедию.

– Санечка! Я дома! – закричала я и вышла в прихожую.

– Марусечка, любимая, детка, малышка! Ты опять сегодня думала, о чем на этот раз? – заворковал Санечка. Это такая ирония, что Я ДУМАЮ.

Санечке сорок пять лет, и он еще растет. Становится еще более привлекательным, мужественным, умным, благородным, неотразимым! Если бы он был актером, он был бы героем-любовником.

Не совсем так. Если бы Санечка был актером сто лет назад, он не мог бы рассчитывать на амплу героя-любовника. В классическом театре герой-любовник – это высокий рост, важная статная фигура, правильные черты лица, а Санечка не такой. Санечка похож на

выросшего Буратино. Он невысокий, худощавый, с обаятельно неправильными чертами лица. Очень ловко и быстро двигается, как будто на шарнирах.

А если бы Санечка был актером не сто лет назад, а сейчас? Его типаж – «мужественный интеллеktуал». Интеллект, рефлексия, обаяние, и по лицу понятно, что личность. Рефлексия – это когда человек все время страдает. В старом советском кино актер с таким лицом был физиком, геологом, врачом, интеллигентным слесарем. Вообще таких лиц немного, – оглянитесь по сторонам, – и где они, ау?.. Человек с таким лицом – штучный товар. Например, Даль, Баталов, Янковский, Филатов.

Но Санечка не актер.

Я прошептала Санечке «хорошенькая, скучная, бе-е», и Санечка кивнул – согласен, но что поделаться? Бедная блондинка – в глазах надежда, она не звезда, не главная роль, она вообще массовка. Главная роль в жизни Санечки – я!

Через десять минут я сидела на своем обычном месте – на веранде кафе у Казанского собора.

Я сижу здесь каждый день, но меня еще никто не спросил – А ЧТО ЭТО ТЫ ЗДЕСЬ ДЕЛАЕШЬ, ДЕВОЧКА, ВМЕСТО ШКОЛЫ?

Девочка интересная, умница, с развитой речью, слишком взрослая для своих 14 лет, но какой ей быть, ведь у нее СИТУАЦИЯ... – я знаю, так обо мне говорят в лице. Моя «ситуация» – это мой отец, главный режиссер театра и его любовницы.



Я учусь в лицее для одаренных. У нас интересно. Я люблю лицей еще за то, что, когда прогуляешь урок-другой, на вопрос «где ты была?» отвечаешь «я думала», и это считается нормально. Никого не интересует, ГДЕ я думала. Нам, одаренным, можно думать, но не чаще, чем один-два раза в неделю. Если больше, директор лицея звонит Санечке и спрашивает – вы не знаете, о чем она у вас думает? Санечку тоже не интересует, где я думаю, а интересует, о чем. Все

хотят знать, о чем я думаю. А я ни о чем не думаю, просто сижу.

Я сижу на веранде у Казанского собора, эта веранда почти в небе, на шестом этаже. Играю в свою любимую игру – наблюдаю за людьми, придумываю их судьбы.

Например, вот эта женщина, она неудавшаяся актриса, одинокая, нервная, бездетная. У нее такое бывшее красивое лицо.

Двойка мне! К бездетной актрисе подбежали дети, мальчик и девочка, кричат «мама».

...О-о, вот, наконец-то – идет!.. Как мне сказать человеку, что его больше не любят, – ужасно трудно. Что чувствует человек, понимая, что он есть, но его больше не нужно? Что он плохой, некачественный товар...

– Я по тебе соскучилась, – сказала я.

– ...Как ты думаешь, это действительно конец?.. Может быть, все-таки попробовать...

– Но зачем? Зачем мучиться, ревновать? – возразила я, – лучше пусть останется только хорошее. У нас же было много хорошего.

Мы долго вспоминали все милое и смешное, что у нас было, и она всего один раз заплакала.

– Ты права, это был праздник, – всхлинула она.

– Международный женский день, – сказала я.

– День милиции, – подхватила она, и мы засмеялись.

Мы провели вместе год, год назад я еще была ребенком, она даже один раз меня причесывала. Хорошо, что мы расстаемся друзьями! Мы всегда расстаемся друзьями, мы с Санечкой и Санечкина любовница.

Санечка профессионально занимается любовью. Это звучит, как будто человек занимается сексом за деньги, это шутка, каламбур, игра слов. Но ведь все спектакли о любви. Получается, что любовь – это по правде Санечкина профессия.

Что бы ни говорили все, и в лицее тоже, это неправда! В нашей жизни все не театрально, а обычно. Санечка говорит «эмоций мне хватает в театре, а жизнь вне театра должна быть устроена рационально».

У него система: всегда должна быть не одна женщина, а две. Как будто роли, главная роль и роль второго плана. Санечка в них не запутывается, ему нужно грамотно развести сцены, чтобы всем было хорошо, но он же режиссер. Режиссер – это структурированное мышление, умение построить интригу, развести сцены. Еще бывают эпизоды, ну, и кто-то маячит в массовке – это не считается.

«Главная роль» его официальная пара. Она сидит рядом с нами на премьере, ездит с нами на фестивали и гастролы. Надеется стать единственной и связывает свои планы на будущее с нами. Ни одна «главная роль» никогда у нас не ночует. Разве не понятно, что если нельзя у нас ночевать, то и ничего не будет?!

Роман длится один театральный сезон. Начинается в сентябре и к лету заканчивается. Как календарь, как явление природы. В начале весны я замечаю Санечкин уплывающий взгляд. В мае «главная роль» жалуется мне, что Санечка не пускает ее в свою жизнь, не разрешает ей оставаться ночевать, что его привлекают приходы, уходы, свидания, но не привлекает общая жизнь, общая постель» А летом роман заканчивается одновременно с закрытием театра. С началом сезона одна исполнительница главной роли заменяется другой.

– Теперь это уже не имеет значения, просто любопытно – он не половой гигант, он обычный мужчина, зачем ему нужно, чтобы была я – и она? Она милая, мы дружили, но – зачем? Чтобы в его жизни было как в театральной программке, «роли исполняют» – и две фамилии, звезда и дублерша? ...Он же не невротик, которому нужно лавировать между влюбленными в него женщинами, а трезвый, даже вполне циничный человек. ...Нехорошо, что я с тобой так откровенно, как с подругой, но... Ты что-нибудь понимаешь?

Подумаешь, «половой гигант», подумаешь «циничный человек», я и не такое слышала. Каждая его подруга вовлекала меня в свои отношения с ним.

– Да, понимаю... нет, не понимаю, – уклончиво сказала я. Это не полный ответ, как требуют на уроках.

Зачем Санечке нужна была «роль второго плана», не понимает ни одна «главная роль». А я понимаю! У Санечки вовсе не звезда и дублерша! Дублерша может при случае сыграть вместо звезды и даже иметь успех – они играют одну и ту же роль. А «она» никогда не борется за Санечку, никогда не станет главной. «Она» – роль второго плана, это ДРУГАЯ роль.

Санечка всегда ведет себя одинаково: ничего не скрывает, не оправдывается, не защищает свое право иметь любовницу при другой любовнице, а словно пожимает плечами – вот такие предлагаемые обстоятельства.

– У него скоро кто-то появится, опять какая-то чужая тебе женщина... У него дожуанский комплекс, а у тебя может быть душевная травма...

Душевная травма? У меня?.. Любовная жизнь Санечки, его подруги, сменяющие друг друга с началом театрального сезона, – это мои предлагаемые обстоятельства. Санечка



принадлежит мне. Никто никогда не вмешается в нашу жизнь, мы всегда будем без чужих!

И Санечка вовсе не Дон Жуан! «Чужих» было примерно по две с половиной новой женщине в год. Это нормально для свободного, невероятно привлекательного мужчины!

– Маруся, как ты думаешь, он меня любил? – Она сделала крошечную паузу и безразличным голосом, каким всегда задают главный вопрос, спросила: – А ты как думаешь, он меня любил больше, чем ее?

– Любил, – заверила я, – у него в этот раз была особенная любовь, правда. Я же видела...

А что? Я ее не обманула. Санечка ко всем нежно относится, он вообще полон любви к жизни и ко мне. Ее Санечка тоже немного любил.

Но он не понимает, что женщина, которую он вчера обнимал, думает, что его обнимания что-то значат. И хочет услышать от него какие-нибудь нежные слова. Например, «я буду скучать».

– Я буду скучать, – грустно сказала я, чтобы она не думала, что мы легко без нее обойдемся, – мы будем скучать.

– Приходи к нам в галерею, у нас Кустодиев из частных собраний, тебе обязательно нужно посмотреть, – сказала она.

Мы расцеловались, пообещали звонить друг другу – мы же друзья, и она ушла.

– Ма-ару-усь, приде-ешь? – Она стояла внизу, махала мне рукой и посылала воздушные поцелуи.

– Да-а! – крикнула я, перегнувшись через перила.

Я приду, конечно, в ее галерею – кто же не хочет посмотреть Кустодиева из частных собраний! Но мы уже никогда не будем так близки, это будет обычное светское общение. Ну... немного грустно, как всегда, когда что-то уходит из твоей жизни. Она искусствовед, пишет диссертацию по художникам Серебряного века. Мы с ней часами бродили по корпусу Бенуа.

Моя СИТУАЦИЯ кажется странной, в лицее меня жалеют, что у меня нет мамы. Но если бы они видели эту череду красавиц, которые водили меня за ручку! У меня нет мамы, но зато у меня были мамки-няньки. Мне внутри моей СИТУАЦИИ не странно, а хорошо.

«Мамки-няньки» – так Санечка называл своих подруг, когда я была маленькая. Они нужны были ему не только как любимые женщины. Мы с ним были два дружка, но все-таки ребенка нужно покормить, отвести в поликлинику, в музыкальную школу.

Вот они, Санечкины подруги, мои милые мамки-няньки в порядке моего взросления:

Номер один. Что я о ней помню? Куриный бульон, котлеты, кисель. Помню ее любимый вопрос: «Можно я буду твоей мамой?» Я была еще маленькая и отвечала без хитростей «нельзя, у меня уже есть мама – Санечка».

Номер два. Кажется, не она за мной присматривала, а я за ней. В первом классе я пропустила целую четверть, потому что ей было лень водить меня в школу. Мы с ней целыми днями валялись на диване, ели пирожки и пирожные. Она говорила подругам по телефону, что она хорошая любовница. На мой вопрос, что это такое, она ответила: «Ты еще маленькая, поэтому я тебе не расскажу, но знай: сексуальный контакт должен быть неожиданным, мужчинам нужно разнообразие, самое главное, чтобы мужчине было хорошо в постели». Я попросила Санечку, можно она будет по очереди спать с ним и со мной?

Жаль, что после этого я больше никогда ее не видела. Она меня красила, наряжала, вертела и щекотала, как куклу.

Номер три. Каждое свое дежурство по мне водила меня на концерты. Ее любимый вопрос: «Ты хочешь, чтобы мы с тобой всегда так жили? Когда ты скажешь ему, чтобы мы всегда так жили?» Я отвечала – завтра скажу.

Номер четыре. Ни полшага из дома, ждала Санечку. Просила меня: «Скажи ему, что я тебя очень люблю». Я кивала головой – скажу...

Когда я стала взрослеть, от них уже требовались не котлеты и кисель, а «дружба с бедной одинокой девочкой, пока он в театре».

Санечка пользуется успехом у женщин, ПОЛЬЗУЕТСЯ тем, что женщины от него без ума, и от этого его ребенок получил хорошее разностороннее воспитание. Нет, правда – мамки-няньки все вместе хорошо меня воспитали. Все они были красивые, умные, тонкие женщины. Одна, кинокритик, любила итальянский неореализм – было интересно не просто смотреть кино, а анализировать. Другая, филолог, занималась обэриутами, и когда другие еще читают «дядю Степу», я бормотала Хармса, Введенского, Олейникова. А учительница музыки часами сидела со мной за роялем, словно моя пятерка на концерте была для нее выражением любви к Санечке.

Каждая мамка-нянька так хотела Санечку, что искренне старалась добиться моей любви. А я чувствовала себя вовсе не девочкой без мамы, а ЦЕНТРОМ МИРОЗДАНИЯ. Захочу я, мамка-нянька останется надолго, а захочу – исчезнет.

Но они исчезали сами. Они были интеллигентные, умные, тонкие, увлекались искусством, но главное слово для них одно на всех – дура. Каждая из них думала, что он никого не любил, а именно ее полюбил, И даже забывали, что есть «она», роль второго плана.

К концу театрального сезона, когда они чувствовали, что Санечка отдаляется, почему-то всегда ставился вопрос – женится или не женится.

Первый раз я помогла ему случайно. Заплакала и сказала: «Не хочу, чтобы Санечка женился»... Бедная нянька жарила котлеты и вытирала мне нос, а я так однозначно решила ее судьбу.

Санечка посмотрел на нее с выражением «вот видишь, что я могу сделать», а на меня нежно. Поблагодарил без слов. А потом сказал кому-то: «Маруся самая умная в семье. Теперь я не плохой любовник, а, напротив, благородный человек, который пожертвовал ребенку своей личной жизнью».

Санечка не любит выяснять отношения, говорить «между нами все кончено». Он расстается со своими подругами, как я в детстве, просто откладывала в сторону надоевшую игрушку. Я же не говорила кукле «все кончено!» Кукла, которая вчера смеялась и плакала, мгновенно становилась неживой. За что ее жалеть, если она неживая?.. Мужчины вообще такие – равнодушные, безжалостные, не говорят ничего, а просто исчезают, уплывают, растворяются.

Я всегда понимаю, когда Санечка хочет от романа освободиться. Не то чтобы я обычно расстаюсь с его женщинами за него, но я ему помогаю, подыгрываю. Мы с ним никогда не сказали об этом друг другу ни слова. Слова сделали бы все это стыдным, неприличным. Каким-то театральным.

Когда Санечка был дома, я от него не отходила. Я все детство простояла на кухне за спинкой его стула, придерживая Санечку за рубашку, чтобы он никуда не делся.

Гости спохватывались: «Что мы говорим, здесь же ребенок! Ребенок, уйди!» Но я очень тихо стояла, и обо мне забывали. А когда я начала принимать участие в разговорах, все удивлялись: «Смотрите, наш-то ребенок знает слова аутентичность, сублимация и оральный секс, когда другие дети знают только "идет бычок, качается"».

Потом я начала принимать участие в жизни. Я всегда первая говорю, кто из наших знакомых поженится, кто разведется.

Может быть, вам кажется, что я плохая? Что я должна быть невинным ребенком, а я самая настоящая опытная женщина?

Но разве девочка, растущая в нормальной семье, обязательно невинный ребенок?

Да, я знаю все «волнения любви» моих мамок-нянек. Слезы, измены, обиды, бурные примирения. Зато весь калейдоскоп любовных историй – это воспитание чувств.

А одна девочка рассказывала мне, что ее родители не любят друг друга, что семейные обеды страшная скука, что у них скандалы. Что же, дети, которые видят, КАК их родители не любят друг друга, они невинные?

Разве девочка, которая показала мне картинку, на которой крупным планом – фу!.. Она невинный ребенок?! Но в сексе же нет ничего запретного и грязного! Секс вообще меня не интересует. Я так давно все об этом знаю, как будто я родилась с этим знанием.

Если я говорю: «Санечка с ней спит», это не означает, что я фамильярничаю и не испытываю уважения к взрослым! А если взрослый человек говорит: «Он с ней спит»? Никто же не думает, что он испорченный или не испытывает уважения к другим взрослым. Для взрослых это естественная часть жизни и разговоров и для меня тоже!

Может быть, вам кажется, что гости и мамки-няньки меня испортили, что нехорошо девочке вмешиваться в жизнь взрослых, но я не **ВМЕШИВАЮСЬ**, это моя жизнь.

«У Маруси талант и интуиция, Маруся знаток человеческих душ», – говорит Санечка.

Вы тоже могли бы стать знатоком, если бы все детство простояли за спинкой стула.



Уже холодно, все сидят внутри. Я одна на веранде. Можно попросить плед, они дают смешные пледы в крупную клетку. За соседним столом сидит М. Он гений.

Он гениальный петербургский театральный актер. Он Несчастливцев, усталый трагик. М. играл во многих наших театрах и сейчас играет у Санечки.

Он не просто играет спектакль, он исследует свою душу. Кроме репертуара, играет моноспектакли – Хармс, Лермонтов, Мандельштам. Он грустит один со стаканом какого-то спиртного, не замечает меня, что я ему? – девочка, по уши завернутая в плед.

...М. вдруг встал, наклонился ко мне:

– Вы любите солнце в Питере? Питер – это Достоевский и Гоголь, в Питере должно быть серо.

И ушел.

Какой красивый вопрос – вы любите солнце в Питере?

Я не люблю солнце в Питере. Это не депрессия, а просто в Питере должно быть серо, от этого не грустно, Питер – это Достоевский и Гоголь. Вот смешно – встретить на веранде родственную душу – не Гоголя, конечно, и Достоевского, а М.

Когда я прогуливаю целый день, я всегда до чего-нибудь додумываюсь, поэтому день прогула – это на самом деле **ДЕНЬ ЗНАНИЙ**. Что я сегодня узнала? Если сидеть на веранде одной, закутаться в плед почти с головой так, чтобы торчал только нос, и смотреть вниз, все кажется легким, невесомым, как перышко, и невеселое тоже кажется невесомым, и все, абсолютно все кажется маленьким, маленьким и неважным, вьется у земли, и – раз, и полетело.

**Моя другая жизнь**

От моей кровати до моей парты несколько минут бега, не меньше четырех, но не больше пяти.

Лицей было бы лучше назвать не лицей, а лицейка – в лицее всего 10 человек. Но в уменьшительно-ласкательном «лицейка» есть пренебрежительный оттенок, а лицей не заслуживает пренебрежения.

Воспитательная идея лицея в том, что все вокруг тупое, а мы особенные. У нас ограниченный контакт со средой, все, что вокруг, – у нас этого нет. У нас нет ничего, что есть в обычной школе, – раздевалка, мешки со сменной обувью, исцарапанные парты с прилепленной жвачкой. Нет дневников, отметок, матерящихся подростков с пивом, замученных учителей, которые не читали Джойса. Мы не в этом городе, не в этой стране, не в этом мире. Или наоборот – это ОНИ не в этом городе, а мы как раз в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.

Образовательная идея лицея в том, что одаренные дети не должны обучаться по школьной программе, это тупо. Мы учимся во флигеле Аничкова дворца, в залах с лепниной, все наши преподаватели работают в университете, они кандидаты и доктора наук.

Обычную школьную программу мы проходим два дня в неделю все вместе. В эти дни я сижу на веранде у Казанского собора. Остальные дни каждый человек учится по своему плану. У кого-то главный предмет математика, у кого-то европейские языки, у меня главный предмет – общая прелесть жизни. Мне углубленно преподают литературу, историю искусств, психологию.

Такое обучение в отрыве от мира стоит очень дорого, но Санечка держит меня здесь, как редкого жука в банке, потому что ему так спокойнее. Он говорит. «После того, что мы пережили, я хочу хотя бы в этом смысле быть за тебя спокоен». «Хотя бы в этом смысле» – пиво, ранняя беременность, жвачка, курение в туалете, Санечка может быть за меня совершенно спокоен – у нас этого нет.

Я живу там, где люди не живут. Все так говорят: «Здесь люди не живут!» Мы живем в нереально красивом месте. Жить здесь странно, как будто ни с того ни с сего поставил свою кровать в зале Эрмитажа.

Представьте себе, что вы стоите на Невском. Перед вами Екатерининский сад, за памятником Екатерине желтый с белыми колоннами Александрийский театр, слева павильон Росси и Аничков дворец, справа Публичная библиотека. Это самое красивое место в Петербурге! Кто-то из великих французов сказал – невозможно быть негодяем, если каждый день смотришь на красоту Парижа. Это неправда, конечно, можно быть негодяем! Но это и правда – если живешь в красоте, невозможно быть ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ негодяем. Если каждый день дух захватывает от великолепия барокко и классицизма, то дух становится лучше.

Представьте себе, что вы прошли сквозь Екатерининский сад к угловому дому, поднимаетесь по лестнице, на третьем этаже стараясь не шуметь, открываете дверь ключом, попадаете в тамбур, где находятся две квартиры, и тихо-тихо на цыпочках прокрадываетесь мимо первой квартиры, и вдруг открывается дверь, и оттуда высовывается рука и – цап за плечо!

И так каждый день.

У меня дома Зверь – сидит в засаде.

– Ко мне! – скомандовала Вика и потянула меня за воротник к себе.

Вика – моя бабушка, по прозвищу Зверь.

### **Моя главная жизнь**

– Садись, – велела Вика, и я уселась на гинекологическое кресло.

– Оргазм – это заблуждение непрофессионалов. Что женщина должна иметь оргазм, это глупость! – сказала Вика, побрызгала духами «Vulgari» носовой платок, вытерла пыль с туалетного столика смоченным духами платочком. Выглядит она при этом совершенно как лектор, который читает лекцию большой аудитории, – интонационно выделяет главную мысль и делает паузу, словно я за ней записываю.

– Оргазм не нужен женщине для продолжения рода, поскольку основной задачей женщины является беременность, вынашивание, роды, – сказала Вика, позвякивая браслетами и цепочками. Мы с Викой одеты одинаково – на мне джинсы и черный свитер, и на Вике джинсы и черный свитер, только у меня это просто одежда, а у Вики – концепция, она хочет выглядеть как богемная ленинградская девочка своей юности. Но ей мало быть девчонкой-хиппи, она хочет быть богатой дамой, поэтому на ней всегда одежда из разной жизни – солдатские ботинки и золотая сумка, рваные джинсы и норковая шуба, бриллианты и войлочные бусы, и все это кричит – эй, алло, Вика не дура, чтобы остановиться на одном имидже, Вика хочет быть все-ем!

– По исследованиям не помню кого, в тысяча девятьсот не помню каком году, не помню сколько процентов женщин могут иметь оргазм, а остальные – нет. Это я тебе как профессионал говорю.

Какой профессионал? Врач, ученый-биолог, сексолог, проститутка? Если спросить у Вики, она отмахнется, – профессионал и все.

– Когда у тебя будет первый секс... Я сама тебе скажу, когда уже будет можно. Так вот, нужно, чтобы ты не была сильно влюблена в своего первого мужчину, иначе это не будет чистый опыт, ты можешь перепутать оргазм с восторгом... или с ужасом.

Можно было бы подумать, что действие происходит в сумасшедшем доме. Но действие происходило не в сумасшедшем доме, а в моем родном доме.

С чего начать, с гинекологического кресла?.. У меня есть комната «дома у Санечки» и «дома у Вики». Дома у Санечки, в большой, парадной квартире с окнами на Александрийский театр, у меня совершенно неподходящая для девочки спальня-будуар с зеркалами и тремя (тримя!) антикварными комодами, но нет нормальной кровати и письменного стола, уроки я делаю на кухне, а сплю на изогнутой кушетке. Дома у Вики, в небольшой квартире с окнами на Казанский собор, у меня нормальная кровать, шкаф, письменный стол и гинекологическое кресло. Я складываю на него одежду, сижу на нем, разговариваю по телефону. У Вики все стены завешаны картинками, все поверхности заставлены безделушками, Вика никогда ничего не выбрасывает, и, уж тем более, она не выбросила гинекологическое кресло. «Это память о моем отце, знаменитом гинекологе», – объясняет Вика гостям. Как будто гинекологическому креслу полагается быть в доме гинеколога, как в доме моряка положено быть кортику, а в доме учителя – школьным выпускным фотографиям. На самом деле ее отец тайком вел домашний прием, и по оставшейся с тех лет привычке Вика продолжала считать, что это семейная тайна.

Дальше. Почему бабушка разговаривает с внучкой не про пирожки и горшочек масла, а про оргазмы? Да очень просто – Вика всегда говорит о том, что ей хочется. Это ее принцип – зачем делать вид, что человеку в 14 лет интереснее про пирожки или уроки, чем про оргазмы? Вика ходит в университет на открытые лекции «Психология и физиология» и потом пересказывает мне. Она профессионал в учебе – любит учиться, любит блокноты, дневники, зачетки и прочую канцелярию, любит сказать «у меня завтра экзамен». У нее есть настоящий диплом инженера и много игрушечных дипломов, которые ей выдали на разных курсах, у нее есть даже диплом программиста.

Вика всегда собирается применить очередной диплом на практике. Сейчас Вика хочет стать психологом, получает психологическое образование дома. Это ей идеально подходит, чтобы считать себя профессионалом в любой области знаний.

Что еще? Вика вытирает пыль надушенным платком, а пол моет крошечной бумажной салфеткой. Это тоже просто – у нее нет пылесоса и швабры. Санечка говорит: «Викон, ты перфекционистка, не признаешь изнанку жизни». В Викиной жизни должно быть только красивое. Пылесос и швабра некрасиво, быть бедной некрасиво, быть одинокой некрасиво... что еще?.. Ну, конечно, – старой!..

– Маруся! Я же все-таки читаю тебе лекцию, ты хотя бы прояви интерес к лекции! Задавай вопросы! Как ты вообще учишься в лицее при таком отсутствии интереса? Спроси – а как у тебя? – сказала Вика готовым к скандалу голосом.

– А как у тебя? – вежливо спросила я. Знаю я все про Вику и ее оргазмы, знаю, какие у нее были замечательные любовники, могу назвать по именам всех восемнадцать.

И еще – почему у Вики прозвище Зверь?

Но как нам ее называть?

Санечка любит рассказывать, как я в детстве громко объяснила гостям:

– У нас Санечка ничего не делает, руководит театром, у нас главная Вика. Знаете, как Санечка называет Вику, когда ее нет дома?

– Не надо! Не говори! – полуобморочными голосами вскричали гости.

– Нет уж, деточка, скажи... – елеиным голосом попросила Вика, и я при общем молчании торжественно объявила:

– Он говорит: «Вика Марусе бабушка, а мне ТЕЩА».

Страшно представить, КАК Вика улыбнулась Санечке!.. Санечка с Викторией не могли меня поделить и не могли прийти к согласию по поводу моего воспитания, но ведь в нормальной семье так и полагается, что теща ссорится с зятем из-за воспитания внучки.

Быть бабушкой или тещей Вике кажется некрасиво, но Викина роль в нашей жизни была, конечно, не «бабушка с обедом», ее роль – шум за сценой.

Мы с Санечкой, как непослушные дети, все от нее скрываем, чтобы она нас не ругала. На всякий случай мы скрываем от нее не только плохое, а вообще все. Приблизительно раз в три дня над нами пронесется буря. Скандал может разразиться по любому поводу: неправильное питание у меня, неправильные гости у Санечки, неправильный режим дня у меня и Санечки, плохое настроение – у самой Вики. Мы с Санечкой за глаза называем Вику Зверь, а Вика называет Санечку – этот человек. Санечка очень властный, как Карабас-Барабас. Говорит, что в театре должна быть сильная рука – его рука, а актеры как дети. Но это в театре он Карабас-Барабас, а дома у нас Вика Карабас-Барабас. А Санечка послушный Пьеро, а если не слушается, то исподтишка.

Вика сидит в засаде у приоткрытой двери, подкарауливает Санечку. Санечка уходит из дома с виноватым лицом и возвращается с виноватым лицом, старается проскользнуть мимо Вики.

Как будто он пришел домой под утро пьяный! Как будто он не главный режиссер театра, а загульный сантехник!

Вика из-за приоткрытой двери громко спрашивает сама себя: «Этот человек помнит, что у него есть ребенок? Что ребенок один спит?» Потом можно различить: «Ты!.. Я!.. Я же хочу как лучше!.. Ради девочки!» Ради меня Зверь сидит в засаде и следит, когда главный режиссер придет домой после спектакля и с кем.

– Задержался... – чуть более высоким голосом, чем обычно, объясняет Санечка. – Викон, спи спокойно, я уже тут, с тобой.

– Ребенок спит! Не разбуди! – рывкает Вика, и они расходятся по домам.

А я не сплю, я всегда жду Санечку. Почти каждый день он приносит мне какой-нибудь подарок, я в детстве мучилась – чего я больше жду, Санечку или подарков? А теперь я выросла и знаю – подарков, конечно. Это, конечно, шутка.

– Маруся, ты спишь? – кричит Санечка с порога и тут же спрашивает: – Ты сегодня была у Зверя? Ну, как она тебе показалась, ничего?..

### **Моя другая жизнь**

Но меня все-таки волнуют эти Викины разговоры – «когда у тебя будет секс...», «когда у тебя будет оргазм...», «не перепутай оргазм с ужасом...». Я же подросток, во мне просыпается сексуальность.

В смысле секса и любви – у меня флирт с Атлантом. Я прихожу к нему, люблю его невыносимой красотой. Иногда прикасаюсь к его ногам, а иногда мы с ним вообще обходимся без телесного контакта.

Я пошла к Атланту и погладила большой палец на ноге. Я долго гладила, и вдруг – странное незнакомое чувство внутри. Как будто все сладко задрожало. У меня было, как написано у Набокова, «сладкая спазмочка». Значит, это и есть оргазм?

Я не могла перепутать его с ужасом, потому что Атлант не живой человек, я его не боюсь. Но с восторгом могла перепутать.

Почти совершенно точно это и есть оргазм.

### **Моя главная жизнь**

Катька смеялась, когда я ей рассказала. Очень смеялась, но не надо мной, а как всегда – просто смеялась. Сказала: «Маруся, твои отношения с Атлантом развиваются». А я сказала: «Только не говори Вике».

– Атлант невыносимо прекрасен, так? Это был оргазм от его красоты, так? Тогда у меня вопрос, – сказала я, – если оргазм происходит, в сущности, от красоты, КАК можно испытать оргазм с человеком, у которого лысина или живот?

– У Санечки нет лысины и живота. Знаешь, сколько? Сколько он со мной не спит?.. Три недели и три дня. Так еще никогда не было...

– Врешь, было, – сказала я.

– Честное слово, три недели и три дня! Я не обманываю!

– Ты врешь, что так никогда не было. А в прошлом месяце кто говорил то же самое?!

Катька актриса в Санечкином театре, единственная актриса в Санечкиной жизни. Кроме нее, у Санечки не было ни одной актрисы. В театре некоторые говорят о Катьке: «Она ему как дальняя родственница».

Мы странные. Есть ли среди нас кто-нибудь нормальный?

На первый взгляд, Катька – нормальнее не бывает, но если приглядеться, она, может быть, самый странный человек на свете. Катька единственная никогда не хотела, чтобы Санечка на ней женился по неспособности хотеть чего-то несбыточного и вообще по неспособности чего-нибудь ХОТЕТЬ.

Катька – красивая! Тоненькая, нежная, с облаком пушистых волос, – одуванчик, золотая головка на тонком стебельке, и на тонком стебельке вдруг неожиданно пышная грудь.

Катька – выстрел в мужчин. Все говорят, что она обладает какой-то необыкновенной сексуальной привлекательностью. Сочетание трогательной воздушности и груди как на рекламе эротического шоу – странное. Катькина манера немного неточно двигаться, как будто она бродит впотьмах, – странная. По-моему, все совершенно обыкновенно – все странное волнует.

Я слышала, как один человек сказал Катьке: «Вы очень опасная женщина, вы беззащитная и сексуальная, вызываете у мужчин одновременное желание овладеть и защитить, в вас огромная сила». Какие же глупости говорят мужчины! Ну какая в Катьке сила! Она неудачка, нелепка, вечно спотыкается на ровном месте и падает лицом в торт.

Их с Санечкой роман случился давным-давно. Санечка был еще вторым режиссером, а Катька – начинающей актрисой. Было все как со всеми: какое-то время она была Санечкиной главной ролью и моей мамкой-нянькой. А потом Санечка расстался с Катькой, но Катька не рассталась с нами.

Никто не понимает, кто Катька Санечке. Она не героиня его романа, но он с ней много лет, но одежду и белье Санечке покупает она. Она единственная, кто остается у нас ночевать. Катька и есть «роль второго плана», которая есть всегда во всех Санечкиных романах.

Катька вдруг погрузилась...

Она ему как дальняя родственница?..

А вот и нет! Во-первых, не дальняя, а близкая, член семьи. А во-вторых, Санечка с ней спит. Обычно раз в две недели. Я всегда знаю, когда Санечка с ней спит. Если Санечка долго не обращает на нее внимания, она становится особенно неловкой, как будто сама себя стесняется. А после этого она всегда смущенная и гордая. Иногда я просто это вижу, а иногда Катька сама говорит мне застенчиво-смешливым голосом: «Он исполнил супружеский долг». Или: «Пусть он спит со мной по привычке, но это же ХОРОШАЯ привычка».

Санечка с ней иногда нежен, иногда груб и всегда делает, что хочет. Как будто Катька такой милый предмет домашнего обихода. Вышитая подушка, любимая чашка или скороварка, в крайнем случае, кошка, захочет – погладит, захочет – оттолкнет. Театральные все над Катькой подсмеиваются. Актрисы, костюмерши, гримерши, билетерши, все считают, что Катька «не уважает себя... позволяет себя... не умеет за себя...». Она и правда не уважает, позволяет, не умеет, но ей и не надо!

Но они все не понимают, не могут судить! Санечка никогда не делает ей по-настоящему больно. А если он отпускает ее от себя (они все же иногда ссорятся), то быстро притягивает обратно. Он сам ей звонит и говорит «приходи».

Санечка говорит. «Я не дурак отказываться от такой ненавязчивой и нескучной преданности». Но это не шутка. Он живет как хочет и на всякий случай как бы придерживает в своей жизни Катьку – а вдруг ее нежное участие при случае пригодится?.. Как будто поставил на полку в задний ряд баночку варенья на черный день, и можно не глядя протянуть руку – а у нас там вишневое варенье! Варенье – это не очень изысканно, но в черный несладкий день сладко.

Это очень умный эгоизм.

– Но ты же знаешь его теорию: когда он репетирует, должно быть воздержание, сублимация сексуальной энергии в творчество, иначе – плохая репетиция и вообще провал.

– Да ну, ерунда, – отмахнулась Катька, – может быть, у него новый роман? Что делать?

Катька любит драматизировать, нагнетать, смотреть убитыми глазами, спрашивать, «что делать?».

– Милая моя, кроме тебя, у него никого нет и никогда не было, – нежным голосом сказала я.

Катька фыркнула и я тоже – во-первых, кроме Катьки, у Санечки было сто миллионов женщин, а во-вторых, эта фраза из одного старого фильма. Мы с Катькой все время



цитируем старое советское кино, как будто у нас свой собственный язык, тайный от всех, – никто не знает старое советское кино, как мы.

– Ты останешься ночевать, – решила я.

– Нет. Нет и нет, – наотрез отказалась Катька. – Глупо навязываться человеку, который тебя не хочет.

– Не глупо. Хочет, – втолковывала я.

Уверяя, что она ни за что не останется, Катька последовательно вытащила из сумки: старого вислоухого зайца, потрепанный томик Новеллы Матвеевой и горсть желудей. Напевая «любви моей ты боялся зря, не так я стра-ашно люблю...», сыпала желуди в вазочку.

Катька всегда ночует у нас со своим детским зайцем, стихами и вазочкой. Для нее очень важны мелочи, совершенно незначачие для других людей, к примеру, этот ее ночной заяц или противозачаточные таблетки, – она держит свои таблетки в крошечной фарфоровой баночке в шкафчике в ванной, говорит, что носить таблетки в сумке неприлично.

Катька всегда что-нибудь приносит: летом полевые цветы, осенью листья или желуди, зимой слепленный снежок. Иногда мне кажется, что это я взрослая, а она маленькая прелестная девочка.

– Наконец-то выбрала пароварку! – сказала Катька. – Это очень модная хорошая вещь. Теперь Санечка будет есть диетическую еду. Я долго смотрела в Интернете и, наконец, выбрала, со специальной крышечкой. Завтра у меня нет репетиции, и я буду ее целый день ждать, – сладострастно сказала Катька.

– Жди у нас, – предложила я.

– А можно? – обрадовалась Катька. Она как ребенок, как будто не знает, что я мечтаю провести день с ней вдвоем.

Все Санечкины любовницы хотели, чтобы я их полюбила, а она полюбила меня. Катька сначала меня вырастила, а теперь подчиняется, я полностью ею владею, как человеком, в чьей любви абсолютно уверен. Я думаю, что ребенок так владеет матерью, хотя точно не знаю – откуда мне знать? Катька могла бы быть моей мамой, мне 14, а ей 38. Я называю Катьку «мамаКатька», когда я одна и никто не слышит, как я думаю.

...Санечкин голос в прихожей:

– Раздевайтесь, проходите. Будем пить кофе?

Какая она? Судя по смешку – хи-хи-хи, – опять блондинка-в глазах надежда. У Санечки период «эпизодов».

Вот черт! Пошлая неловкая сцена!

– ...Санечка! Мы с Катькой дома! – закричала я. – Здравствуйте, – сказала я и прошептала Санечке: «Где ты ЭТО взял?!»

И в следующую секунду поняла, что машинально поздоровалась с ней как со знакомым человеком.

Она не блондинка-в глазах надежда и не «Где ты ЭТО взял?!», она – лицо с экрана телевизора.

– Здравствуйте, – застенчиво сказала Катька, – а у нас тут... новая пароварка...

Катька мгновенно теряет уверенность в себе и от смущения вечно что-нибудь ляпает! Лицо из Телевизора, а она со своей пароваркой!

– Мария, – представилась я.

– Катя, – сказала Катька.

А Элла не представилась, но мы и так знаем, как ее зовут.

У Эллы, возможно, вообще самое известное лицо после президента.

Значит, она самая большая знаменитость после президента? Ее лицо повсюду: в витринах киосков, на плакатах в магазинах. Если включить телевизор, на одном из каналов непременно найдется Элла. Она ведет ток-шоу, угадывает мелодию, оценивает чужие таланты, учит любить, разводиться, воспитывать детей.

Она всегда во все игры выигрывает. Она вся сжимается перед тем, как ответить, как будто от ответа зависит ее жизнь, и всегда выигрывает. На экране она выглядит иначе – моложе, не такой высокой, худой и хищной. Наверное, ее специально гримируют, делают лицо помягче и поуютнее.

Конечно, мы с Катькой разволновались, не каждый день в гости приходит Лицо из Телевизора, из киосков, из магазинов! Элла – знаменитая писательница, пишет любовные романы.

Но если не знать, что она самая большая в стране знаменитость, можно подумать, что она пристала к Санечке где-то в ресторане. А что еще можно подумать о крашеной блондинке в сексуальном наряде? Ярко-синее платье с блестками и большим декольте, ярко-зеленые туфли на шпильках. Она крашеная блондинка с лицом брюнетки – жесткий взгляд, хищная зубастая улыбка.

Кто выглядит моложе: Элла или Катька? Катьке я знаю сколько лет – 38, а Элле?.. Я не могу точно определить возраст человека старше 18. Только приблизительно – 20, 30, 40, 100. Элла, наверное, моложе. Или Катька. Они такие разные, кто моложе: кастрюля или кактус, акула или одуванчик?

– Будем пить кофе, присоединяйтесь к нам... – пригласила она нас с Катькой.

Она первая пригласила меня у меня дома?..

Лицо из Телевизора прошло на кухню, уселось в кресло у окна.

Элла сидела очень прямо, скрестив длинные сухие ноги. Мы с Катькой гостеприимно роились вокруг с чашками, конфетами и мандаринами, а она не обращала на нас никакого внимания. Как будто мы домашние животные. И даже не собаки, о которых принято сказать: «Ах, какие хорошенькие у вас собачки», а две рыбки в аквариуме, плаваем с конфетами и мандаринами и безмолвно тарашимся на нее через стекло.

– Александр, я принесла вам мою первую пьесу, – сказала Элла.

Вот оно что! Теперь понятно, откуда у нас дома взялось Лицо из Телевизора! Пришло в театр, заглянуло в репетиционный зал – медийному лицу всюду можно, – познакомилось с Санечкой, напросилось в гости, чтобы в непринужденной обстановке уговорить его взять пьесу.

– Я написала шестьдесят пять романов. У меня миллионные тиражи. Лично вы можете относиться к моему творчеству как вам угодно, но... Не улыбайтесь так иронически.

Санечка – интеллектуал. У него ум и образование. Он питерский интеллектуал, на все смотрит иронически, с высоты своего ума и образования. И улыбается немного кривой улыбкой. Это значит – «ну-ну...» или «что поделать, такие времена...». Как может питерский интеллектуал с вечной полуулыбкой относиться к ее ярким книжечкам в мягких обложках? Как к тупому юмору, ток-шоу, к киоскам, которые поставили у Зимнего дворца. Как к неизбежному злу, которое и замечать-то глупо, все равно, что ввязаться в склоку в трамвае.

Санечка промолчал, но неизбежное зло не смутилось.

– ...но к славе нельзя относиться иронически. Вы можете презирать любовные романы как жанр, но не ТАКУЮ славу. Меня любит вся страна...

Элла нажала кнопку на пульте от телевизора, который валялся на кухонном столе, и в нашей кухне стало две Эллы, одна пила кофе, а другая, на экране, сказала: «Если любви нет, лучше расстаться, ревность разрушает отношения».

Я иногда включаю телевизор как фон, и она там разговаривает. Элла говорит четко и гладко и часто начинает фразу с «я считаю» и «я думаю». А я всего-то два раза на уроке сказала «я думаю», и наш преподаватель с филфака сделал мне замечание: «Следи за речью! "Я думаю" придает высказанной мысли излишнюю значительность, а наша мысль не всегда того стоит».

Элла, между прочим, тоже не говорит ничего умного! Кто же не знает, что, если нет любви, лучше расстаться? Она аккуратно повторяет общие места. Телезрителям, наверное, нравится, что она знает не больше их, а добилась такого успеха.

– На мое имя на афише зрители валом повалят. Вы вообще представляете, сколько у меня поклонников?! Мил-ли-о-ны. ТАКУЮ славу нужно использовать. Это здравый подход.

У нас дома часто за столом сидит человек, которого в это время показывают по телевизору. Чье имя стоит на развешанных по городу афишах. Но никто не говорит с таким напором «я, мое имя, меня любят...»! И вообще, у нас дома никогда не бывают крашенные блондинки в декольте с хищными лицами, они где-то там, на улицах.

Но эта крашенная блондинка – ОЧЕНЬ знаменитая! И от этого кажется, что все это совсем другое... не безвкусное хвастовство, а другое. Элла уговаривала, убеждала, наваливалась на Санечку всей своей славой, говорила спокойно, размеренно. Я даже стала ритмично кивать головой в такт ее словам, как будто загипнотизированная. И Санечка больше не улыбался иронически, он ее слушал! Что это такое магия успеха, магия ТАКОЙ славы?..

– Вы на моей пьесе хорошо заработаете, – привела Элла последний аргумент и замолчала.

– Лучше пусть заработают другие, – благожелательно отозвался Санечка, – за что мне оказывать такое предпочтение, не лучше ли предложить пьесу в другой театр?

– Вы хотите, чтобы заработали другие? Это ненормально, – изумилась Элла и стукнула рукой по столу. – Все. Я заканчиваю переговоры. Я озвучила свое предложение, а вы думайте. Посмотрите пьесу. Даю вам время до послезавтра. Если нет, я назначаю встречи в других театрах. Хотите знать, в каких?

Санечка покачал головой, но Элла все равно перечислила несколько петербургских театров.

Санечка сказал – ну и тетка! Просит у жизни счастья, как одесский беспризорный милостыню: «Дяденька, дай пяточок, а то в морду плюну, а у меня сифилис».

Это какая-то цитата? Часто не понятно, что он сам говорит, а что цитата.

– Как надо просить у жизни счастья? – спросила я.

– Этому не научишь, – ответил Санечка.

А Катька просит счастья так: «Может быть, я могу попросить у тебя пяточок, если он тебе самому не нужен... что, не дашь?.. Ну хорошо, ну ладно...»

Включили телевизор – там Элла, обсуждает влияние кризиса на культуру, переключили канал – Элла играет в «Поле чудес».

– Она повсюду, повсюду, здесь все – Элла, – завывающим голосом сказала я.

– Нехорошо обсуждать человека, который только что ушел, – строго сказала Катька, сунув мне в руку губку для посуды, – лучше возьми Элли и вытри со стола.

Я засмеялась и плюхнулась в кресло в углу.

– Осторожнее, ты уселась на Эллу, – укоризненно сказала Катька.

Весь вечер мы говорили вместо «передай мне соль» – «передай мне Эллу», вместо «положи мне котлету» «положи мне Эллу» и хохотали до колик в животе.

У нас был чудный вечер. Как будто к нам залетело что-то чужеродное. Мелькнуло и пропало, и мы остались втроем и любим друг друга с полуслова.

Потом я начала зевать.

– Я пойду спать, уже десять часов... – сказала я.

– Ты никогда не ложишься раньше двенадцати, – удивился Санечка, – ты не заболела?

– Нет, просто очень хочу спать. Катька, тебе глупо ехать домой, у тебя завтра репетиция... У меня рукав у куртки оторвался, ты мне утром пришьешь? Мне не в чем в лицей идти, – быстро сказала я. – ...Катька, ты меня разбудишь? И сделаешь омлет, ладно?

Я не первый раз так делаю – разыгрываю сцену, что Катька остается ночевать потому, что я ее прошу. Катька мнетя, краснеет. Ее так легко смутить, как будто это я актриса, а она не актриса.

– Спокойной ночи.

– Спокойной ночи, хрячок, – ответила Катька. Хрячок или хряк – это наше домашнее слово, мое и Катькино, говорится изредка, в приступе нежности.

### **Моя другая жизнь**

Сегодня у нас событие. Новый мальчик. Представьте, что вас всего десять человек, и вдруг вам говорят «новый мальчик». Вы бы тоже заплясали, запрыгали в душе – ой, новый мальчик!

Всегда думаешь – а вдруг именно сейчас что-то случится, например, влюбишься навсегда. Что для меня будет этот новый мальчик – Событие Невероятной Важности, или Так Себе Событие, или Вообще Ерунда?

На вид новый мальчик одаренный. Не то чтобы все наши одаренные бледные в очках – прижимают к груди десять томов Брокгауза и Ефрона. Но лицейские мальчики отличаются от обычных, на улице, нездешним светом в глазах. У одного глаза светятся математикой, у другого – биологией. А у нового мальчика глаза светятся древнегреческим и латынью.

Новый мальчик похож на куколку – хорошенький, с детским лицом, и имя у него, как у куколки, Элик.

Новый мальчик находится между Так Себе Событием и Вообще Ерундой. Он маленький, не в моем вкусе.

– Вы позволите присоединиться к вам? – спросил меня новый мальчик после уроков.

Вы когда-нибудь слышали, чтобы человек 14 лет так выражался? Может, он принц?

– Латинский глагол обладает развитой флективной системой спряжения, которая, однако, несколько упрощена по сравнению с более архаичными глагольными системами древнегреческого или санскрита... – сказал новый мальчик, – а в японском языке есть класс глаголов ирреалис и реалис.

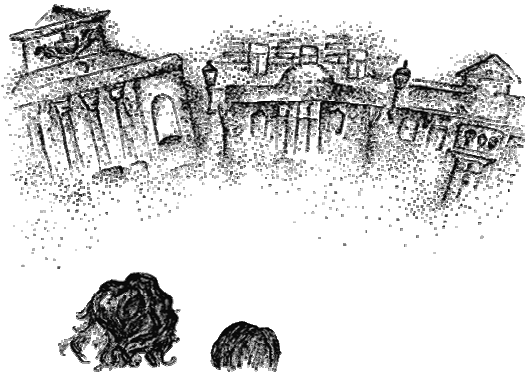
– Ты чей сын? – спросила я.

Элик сделал вид, что не слышит. Это нормально, у нас все чьи-нибудь дети, но не все хотят говорить о родителях. Наверное, он сын какого-нибудь не известного, а просто богатого человека, вот и не хочет говорить.

– А мой отец главный режиссер, художественный руководитель одного из самых старых петербургских театров. Вон того, – я махнула рукой.

Мы стояли на Невском, на Невском и на каждой улице вокруг Невского театры – Театр комедии, Александринка, Додинский театр, Театр на Литейном, Коммисаржевка, БДТ, но он не спросил, в каком театре.

– Хочешь, пойдём ко мне, – сказала я, – хочу больше узнать о реалис и ирреалис, это звучит необыкновенно красиво.



Зачем он мне?.. А затем, что пусть этот новый мальчик считается моим. Звучит расчетливо, но на самом деле нет – я просто хочу, чтобы на всякий случай новый мальчик считался моим.

– Я не имею возможности принять приглашение, поскольку у меня другие планы, – сказал Элик и удивленно добавил: – Неужели ты здесь живешь? Я думал, здесь люди не живут.

Другие планы Элика – это машина с водителем, ждет его за Катькиным садом, у Александринки, – я подсмотрела. Он не хочет об этом говорить, стесняется, что его возят как малышку. По-моему, ничего такого, меня тоже всегда провожали и встречали, Санечка с Викой дрожали надо мной как сумасшедшие – одна ни на шаг никуда! Только в этом году мне дали свободу, и я могу одна ходить в лицей, а могу сидеть на веранде у Казанского. Но не хочет говорить – не надо.

### **Моя главная жизнь**

Элла пришла за ответом. Санечка сказал:

– Нет.

Он, конечно, сказал вежливо – «ваша пьеса не вполне подходит для нашего театра», но это было просто «нет». Я поняла, Катька поняла, – любой человек бы понял!

А Элла не поняла.

– Я вас заранее приглашаю на премьеру моей пьесы в театр вашего отца и вашего... кто он вам? – спросила Элла у Катьки.

Катька неопределенно улыбнулась. А как ей ответить – любовник, муж, друг, главный режиссер? Кто Санечка Катьке?

Почему Катька примирилась со своим положением любовницы при главной любовнице?

И КАК она играет эту свою вечную роль второго плана? Оставаться со мной дома, когда Санечка со своей очередной главной подругой уходит в гости!.. Сидеть за столом, когда Санечка со своей очередной главной подругой принимает гостей?!.. Нормальному человеку это оскорбительно, обидно!

Бедная Катька, любит Санечку, покорно приняла свою второстепенную роль в его жизни, привязалась к месту как кошка? Бедная Катька, бедное унылое привидение, то и дело возникающее на Санечкином пути с укоризненным выражением лица «я тебя так люблю, а ты!..»

Ничего подобного! Катька не унылое привидение, КАТЬКА СОВЕРШЕННО СЧАСТЛИВА! Она самый странный человек на свете.

Вот, к примеру, я – хочу быть на первом плане, на первом месте, хочу играть главную роль, хочу быть самой любимой, быть для любимого человека первой, главной и единственной! И чего я только не сделаю, чтобы быть на первом месте! Это же свойство человеческой природы!

Чего Катька только не сделала, чтобы быть на втором месте! Я же говорю, она самый странный человек на свете – роль второго плана самая естественная для нее роль. Санечка для нее как будто премьера, волнение, как будто весь свет на сцене направлен на нее. А ей хочется быть в тени, на заднем плане, а лучше вообще затеряться в декорациях. Есть люди ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ, они весят сто тысяч килограммов, а Катька совершенно невесомый человек, ни на чем не настаивает, даже на себе не настаивает. Она вторая со всеми Санечкиными подругами, она даже со мной вторая.

Не дождавшись ответа, Элла добавила:

– Судя по вашим лицам, вы, девушки, сомневаетесь, что мою пьесу поставят в этом театре? Напрасно!.. Как вы думаете, почему я стала главным писателем нашей многомиллионной страны?

– Сказали издателю, что он разбогатеет на вашей книге, дали ему день на раздумье, а иначе к конкурентам? – с невинным видом предположила Катька.

– Нет, не так. Но по сути верно – я всегда получаю, что хочу. На мне написано – успешная, знаменитая, богатая, любимая, а на тебе... – Элла по очереди взглянула на меня и на Катьку, – на тебе еще ничего не написано, у тебя еще есть шанс. А на вас – вы уж не обижайтесь, но на вас уже все написано. Совсем не то, что на мне.

Конечно, Элла не такая, как Катька. Им даже кофе пить вместе ни к чему, они совершенно друг другу не подходят. Элла ходит грудью вперед, как танк, сидит с прямой спиной. А Катька изгибается, вьется, валяется со мной на диване с мандаринами. Я хотела ответить Элле как-нибудь остроумно и зло, например: «На Катьке не написано: «богатая, знаменитая, наглая». Но не смогла – магия успеха, Лицо из Телевизора.

– Девочки, не ссорьтесь, – поймав мой сердитый взгляд, попросила Катька. Это фраза из старого советского кино.

– Никто не ссорится, я просто с вами общаюсь. – Элла повернулась к Катьке: – Вы кто по профессии? Актриса?.. Я вас не знаю.

А если бы Элле сказали: «Вы писатель? Я вас не знаю»?..

Она бы вскинула голову и презрительно ухмыльнулась. Сказала бы: «Это ваши проблемы». А Катька смешалась, покраснела, сжалась до размера мандариновой корки. Если бы могла, она выбросила бы себя вместе с мандариновыми корками в помойное ведро.

– ...Как вас зовут, Катя? Катя, не стесняйтесь так, я самый обычный человек, – сказала Элла, – такая стеснительность, как вообще с таким характером можно было пойти в актрисы?!

А именно и можно – Катька способна на странные отчаянные поступки, вот и пошла в актрисы. Один раз она бросилась спасать девушку от компании подростков. Боится новых людей, умных разговоров, боится самых обычных ситуаций и не боится того, чего боятся все! Все прохожие аккуратно пьяную компанию обходили, как будто идут с закрытыми глазами, а Катька! Повела себя как спаситель в кино, бегала вокруг, хватала за руки и вдруг закричала «стреляю!». Как будто ей себя не жалко, как будто она собой не очень дорожит... Подростки испугались, что на них напал одуванчик.

– Не стесняйтесь так, просто скажите, как вы думаете, почему именно Я, почему у МЕНЯ такой успех? Почему у меня все, а у других ничего?

Ясно почему. Она сама сказала – всегда хочет победить. Что ей Катька, но она и тут хочет победить.

– Вот вы, – Элла кивнула Катьке, – вы как хотите? Вы КАК хотите?

– Как я хочу? – удивилась Катька. – Ну... я думаю, как было бы хорошо, если бы...

– Вот именно. Как было бы хорошо, если бы... но этого никогда не будет... – продолжила Элла. – Вы неправильно хотите. А я умею правильно хотеть.

Элла напряглась и, сощурившись, уставилась на вазочку с конфетами.

– Я ВИЖУ то, что я хочу. Визуализирую свое желание.

Она гипнотизирует вазочку. Как фокусник в цирке. Что она сейчас хочет? Чтобы вазочка с конфетами превратилась в кролика?

– Мой успех зависит только от моей целеустремленности и веры. Я сознательно совершаю поступки, способные реализовать мои желания. Меня никто не может подчинить своей воле, я делаю только то, что я хочу.

Элла вкратце рассказала нам свою теорию успеха.

Она знает много психологических и эзотерических терминов.

По-моему, все эти умные слова как кружева, которые нашивают на платье, а само платье скроено очень просто.

Платье Эллы без кружев такое: если чего-нибудь хочешь, нужно точно сформулировать желание, а затем сформулировать заказ. Если хочешь машину, нужно указать марку, год выпуска, цвет, цену. Хочешь новую работу – нужно указать должность, зарплату, рабочий график. Хочешь любовь – нужно точно указать, что хочешь именно взаимной любви и...

– И характеристики мужчины – год выпуска, объем двигателя, – подсказал Санечка.

Элла не улыбнулась.

– Нужно точно указать внешность, род занятий, характер. Нужно настроить подсознание, войти в контакт с Высшими Силами. Тогда Высшие Силы занимаются вашим желанием.

– Не забудьте указать номер заказа, – озабоченно сказал Санечка, – ну, а если ваш заказ спутали с чужим и выдали вам вместо красивого богатого мужчины пылесос улучшенной модели? Если не получается?

– Значит, вы плохо хотели, – совершенно серьезно отозвалась Элла.

Элла прямо завораживала меня как колдунья! Если она добилась такого невероятного успеха, значит, она не может быть просто ДУРА, значит, это все работает?..

Элла вещала, Катька смотрела на меня с таким страдальческим видом, будто ее мутит.

– Я провожу по телевизору интерактивный тренинг «Программирование успеха». Смотрите по каналу «Россия» в семнадцать ноль-ноль. Вы, милочка, мой клиент.

– Не Милочка, а Людочка, – сказала я. Это фраза из старого советского кино. Но Катька не улыбнулась.

– Но послушайте, Элла, это ужасная гадость! – резко сказала Катька, – как будто мир – это каталог товаров. Можно захотеть все, выписать себе, что хочешь, пылесос, новую машину, любовь, только не забыть описать товар! Но почему высшие силы должны нам это дать?

Почему вы уверены, что высшие силы о нас ЗНАЮТ? Да вы и не верите ни в какие высшие силы, вы просто хотите отщипнуть себе кусочек, все равно где! Это нечестно!

Санечка удивленно улыбнулся. Не то чтобы у нас часто бывают скандалы с его гостями. Катька никогда еще не устраивала приветственный скандал самой большой в стране знаменитости после президента. Она никогда не участвует в интеллектуальных разговорах, стесняется выглядеть «умной». Она вообще не любит разговаривать с чужими, у нее при чужих всегда напряженное и виноватое выражение лица. Но сейчас ее что-то сильно тронуло.

Наверное, утруждать собой высшие силы показалось ей наглостью. Катька даже у бога стесняется чего-нибудь просить, считает, что у бога и без нее много забот, что все хотят у бога что-нибудь взять. Если бы можно было что-то богу ДАТЬ, она бы дала.

– Думать, что высшие силы о нас знают, – нехорошо, – твердо сказала Катька.

Что сделал бы любой нормальный человек на месте Эллы? Извинился, сказал бы – простите, что задел ваши чувства, а теперь мне пора домой.

Что сделала Элла? Да ничего. Усмехнулась зубастым ртом, поправила желтые, как у куклы, волосы. Подумаешь, Катька никому не известная актриса неудачница.

На прощание Элла сказала Санечке «увидимся», а мне и Катьке ничего не сказала. Посмотрела на Катьку чуть брезгливо и удивленно, как на обезьяну в зоопарке, – надо же, совсем как человек, но не человек.

### **Моя главная жизнь**

Сегодня Вика чувствует себя одинокой.

– А у меня с утра болит... рука. Я упала на диван, – грустно сказала Вика, на ее лице выражение «учись переносить удары судьбы достойно, как я».

Откуда она упала на диван, с потолка?

– Знаешь что? Звони этому человеку, пусть отвезет меня в эту красивую клинику на Невском, заодно в Пассаж зайду... Звони! Скажи, что я сломала руку.

– Не верю, – сказала я.

Все знают фразу Станиславского «не верю!», многие слышали слова «сквозное действие» и «сверхзадача» – это «система Станиславского». Но обычные люди, не режиссеры и актеры, по-настоящему не знают, что это такое.

Вот, к примеру, Вика произносит слова своей роли: «болит рука». Можно просто произнести эти слова – испуганно, капризно или сварливо. Но – чего на самом деле хочет Вика? Ее цель на протяжении всей пьесы – быть в центре внимания, это и есть сквозное действие. Больная рука может быть и притворство, и правда. Когда ей одиноко, она может и руку сломать по велению подсознания.

Во время репетиции Санечка обычно не отвечает на звонки, но сейчас ответил.

– Вика сломала руку.

– Кому? – рассеянно спросил Санечка.

– Упала на диван, – объяснила я, – хочет в красивую клинику на Невском.

– У меня репетиция! Пусть идет к черту! Или нет, спроси, минут десять она может подождать? Нет, не спрашивай! Я уже лечу! – крикнул Санечка мне, а актерам «продолжайте репетицию без меня, шаг в сторону – убью!..»

Не прошло и десяти минут, как Санечка стоял на пороге.

...Клиника похожа на пятизвездочный отель, мы в таком были летом, – мраморные колонны, цветы в огромных вазах, фонтан с ангелами.

– Что вас беспокоит? – спросил врач, ощупывая Викину руку.

– Меня беспокоит этот человек, – Вика кивнула на Санечку, – я бы к вам не приехала, но он прожужжал мне все уши, что у меня открытый перелом со смещением.

Никакого перелома нет.

В кабинете врача Санечке попало за то, что он не может отличить сломанную руку от целой, подлинные страдания от мнимых. За то, что он бросил все по первому зову, и за то, что недостаточно резво примчался.

– А если бы это был открытый перелом?! – шипела Вика. – У тебя что, совсем нет воображения?! Тоже мне, режиссер... Нет, ну а если бы?..

В этой сцене у Вики главная роль, у Санечки роль без слов, он только вздыхает и виновато поглядывает на врача. Он статист, бессловесная овечка.

Но и овечка борется за себя как может и при случае может отомстить.

– Ты криветка, – мимоходом бросил мне Санечка. Я тут же прилегла на кушетку, распустилась, опала и отупела лицом.



– Теперь схвати себя за нос и кричи «хи-хи-хи», – велел Санечка.

Я высунула язык, схватила себя за нос и заверещала «хи-хи-хи» с серьезным лицом, как будто выполняю важное поручение – тут главное соблюдать серьезность, это же работа, а не розыгрыш или глупая шутка.

– Этот человек тебя погубит, – привычно отметила Вика, – немедленно прекрати быть криветкой!

– Объяснись врачу в любви, – прошептал мне Санечка.

Объясниться в любви? Я люблю его, этого доктора! Я люблю его с детства, я любила его всю юность, моя любовь так велика, что мне не стыдно, что моя любовь безответная. Он женат, и я все не могла решиться сказать ему о своей любви и вот, наконец; решилась. Почему? Потому что... пусть он хотя бы знает, что я его люблю.

Я подошла к врачу и тихо сказала: «Мне ничего от вас не нужно, я просто хочу, чтобы вы знали – я люблю вас...»

Врач растерянно кивнул, начал озираться вокруг. Наверное, хочет прибегнуть к помощи персонала, ищет тревожную кнопку. Но мы уже сами гуськом двинулись к выходу.

– Брекс! – сказала я, и Санечка, не оборачиваясь, высоко подпрыгнул в дверях, успев в прыжке сделать доктору извиняющуюся гримасу и виновато развести руками.

– Режисс-сер! – прошипела Вика, и мы покинули кабинет.

Викино главное ругательство – режиссер. Вот так, со свистом, выражающим максимальное презрение, – режисс-сер. Вика любит театр, для нее, как и для меня, во всем, что связано с театром, есть тайна, притяжение, трепет. Если бы Санечка был ученым, она бы шипела – уч-ченый, если бы Санечка был слесарем, шипела бы слес-сарь.

Санечка режиссер. Режиссер – это не просто поставить спектакль, это определенный тип личности. Режиссер всегда немного фюрер, он главный, умный, знает, как надо, умеет принимать решения и выстроить интригу. Люди с другим набором личностных качеств, мягкие, не умеющие управлять, в эту профессию не идут. Санечка примчался по первому зову потому, что репетиция не шла. Если бы репетиция была хорошая, то он вообще не ответил бы на звонок.

Санечка немного фюрер, Вика много фюрер... Как два фюрера могут общаться? Поссориться и не разговаривать всю жизнь, как Станиславский и Немирович-Данченко? У них в одном театре у каждого была своя труппа свои авторы, свои администраторы. Есть знаменитый театральный рассказ: после многих лет ссоры их уговорили помириться. Примирение было обставлено очень торжественно, на глазах у всех они должны были выйти на сцену, пойти друг навстречу другу и пожать друг другу руки. И что получилось? Они вышли с разных сторон сцены, но Станиславский пришел к центру сцены быстрее, а Немирович-Данченко замешкался, и по дороге споткнулся и упал – упал прямо к ногам Станиславского. Станиславский усмехнулся и сказал: «Ну что вы, не надо уж так-то»... Не надо так униженно просить прощения, припадать к ногам. После этого они не разговаривали до конца жизни.

А у нас иначе – один фюрер капитулировал с размаха, как подкошенный упал к ногам другого и не поднялся. Вика тиранит Санечку, рычит, кусается, царапается, Санечка послушно подставляет шею для укуса, руку для царапин, бросается к ней по первому зову, слушается беспрекословно. А ведь Вика Санечке всего-то «ТЕЩА», никто.

Но знаете что? Все это театр. Игра.

Вика очень хитро запрещает Санечке только то, чего он сам не хочет. Например, не разрешает ему оставлять его подруг ночевать: «Сколько, по-твоему, женщин должна насчитать девочка в твоей постели за эти годы, двадцать, тридцать? Я сказала «нет», значит «нет»!» Санечка слушается, – он сам не хочет, чтобы они у нас ночевали! Вика

хочет тиранить Санечку, а Санечка хочет, чтобы Вика им руководила, чтобы его жизнь была разделена на две части – работа и мы, и чтобы эти части подчинялись разным законам. Зачем Санечке это нужно, я не знаю. Мужчину нельзя понять до конца.

На самом деле у Санечки и Вики любовь. Любовь, страсть, близость. Конечно, духовная любовь, страсть, близость. Они жить друг без друга не могут.

Между прочим, в нормальной семье положено, что отец и бабушка ребенка любят друг друга, потому что их объединяет ребенок.

...Вика цепко схватила Санечку под руку:

– Так, внимание. Сейчас мы едем покупать тебе матрас «Волшебные сны». Я видела рекламу. Интересно, какие они, волшебные сны?.. Хочу купить сразу три, тебе, мне и ребенку. Как это не сейчас?! Нет, либо сейчас, с тобой, либо я вообще отказываюсь покупать матрас! Ну и что, что репетиция?..

Иногда Санечкина улыбка означает «да», иногда «нет, но все-таки да», иногда «ни за что!». Вика понимает все его улыбки.

– Нет, вы подумайте! У человека репетиция, актеры ждут, а он хочет ехать покупать матрас! Удивительно, что у тебя нет никакой ответственности! Я же сказала – сегодня никакого матраса! Ты уйдешь, наконец, на репетицию или так и будешь мне надоедать?!

### **Моя другая жизнь**

Что мне задано:

по литературе – комедии дель арте, влияние театра импровизации на развитие западноевропейского драматического театра, принципы комедии дель арте в создании комедийных телесериалов – интересно!

по музыке – «Хорошо темперированный клавир» и прочитать Браудо «Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной школе» – люблю Баха больше всех на свете!

по истории искусств – Станиславский «Работа актера над собой»

по математике – сколько будет два плюс два.

Вообще в лицее ничего особенного. Есть кое-что, смешное – дружба с Эликом.

После уроков его ждет машина. У него с собой всегда записная книжка. Он смотрит в нее, ставит закорючку и отрывает листок. У него там что, план? Куда ему дальше идти? У него день расписан по минутам. У него теннис, музыка, Эрмитаж, домашние учителя. В лицее у нас у каждого индивидуальные занятия, а у него еще и дома учителя! До ночи учат его спряжениям!

Он рассказывает мне какие-то глупенькие мелочи своей глупенькой малышовой жизни – как он играет в теннис, что играет, что смотрел в театре, что слушал в филармонии. Ему нельзя гулять, только заниматься и повышать культурный уровень.

Он странный – ни с кем не разговаривает, кроме меня. Не хочет, не умеет. Не знает, как люди разговаривают. У него нет навыка общения. Он что, вообще никогда ни с кем не дружил?

Где он вообще был до лицея? Жил в филармонии?

Раз в неделю, по вторникам, он провожает меня от лицея до дома, до памятника Екатерине. А за ним по Невскому едет машина, разворачивается у Екатерининского сада и ждет его. Пока мы стоим у памятника Екатерине. Ему можно постоять 10 минут.

У нас есть одаренные, которым интересна только математика, или биология, или литература. Но им ИНТЕРЕСНО. А его как будто запрограммировали на это на все. Как будто завели ключиком. Он какой-то игрушечный! У него даже ни одного прыщика нет, как у всех мальчишек, нежное гладкое личико. Может быть, родители не разрешили ему половое созревание?

Почему он выбрал меня?

Я его спросила:

– Почему ты выбрал меня?

– Нужно с кем-то дружить, – сказал Элик.

ЭТО он называет дружбой? Десять минут у памятника Екатерины по вторникам?

– Но почему я?

– У нас с тобой много общего.

Он не сказал, что, ему уже нужно было идти – десять минут истекли. Но мне и не интересно. Что у меня может быть общего с куколкой?!

Я дружу с ним снисходительно, как человек с куколкой. Это гуманитарная помощь. Мне его жалко. И мне не жалко десяти минут у памятника Екатерины по вторникам, если для кого-то это ДРУЖБА.

Я знаю – все, что человек делает, он делает для себя. И гуманитарную помощь оказывает для себя. Так что должна быть какая-то причина – почему я приручаю его как дикую птичку.

Наверное, я хочу чувствовать себя доброй.

Он ничего не рассказывает про родителей. Обходит тему своего прошлого стороной, как разведчик в тылу врага. Я не удивлюсь, если он когда-нибудь признается: «Мой папа король», – его так странно воспитывают, как будто все обычные, а он принц. Тайный принц.

### **Моя главная жизнь**

Сентябрь идет к концу, а у Санечки никакого романа. У нас уютная жизнь, как будто мы нормальная семья с Катькой. Мы идем в гости втроем, как нормальная семья. Катька счастлива как будто сегодня Новый год.

Санечка собирается и разговаривает по телефону с Эллой.

Элла все врет про высшие силы. Она и сама обдeldывает свои делишки. Звонит Санечке каждый день – уговаривает взять пьесу. Это и есть ее стратегия успеха долбить как дятел в одно место.

– Я бы с радостью, но, видите ли, у меня – театр, – говорит Санечка, пока Катька завязывает ему галстук, – да, у вас драма. Но не совсем в том смысле, в каком это обычно имеется в виду в театре. Я думаю ставить Чехова, «Три сестры» – это драма.

– Да, опять Чехов, опять «в Москву, в Москву...» – улыбается Санечка, – кому сейчас нужен Чехов? Это ненормально опять ставить Чехова?

Катька немного придушила его галстуком – как ты разговариваешь с таким знаменитым человеком?! Мы с Катькой хорошо знаем его улыбки, эта улыбка – очень вежливая издевка.

– Да, вы правы, я главный режиссер государственного театра. Да, у меня обычный театр. Совершенно верно, суперзвезд у нас нет, просто хорошая труппа. Да, у вас коммерческая пьеса. – Санечка посмотрел на телефон, как на продавца на рынке, который изo всех сил убеждает, что его черешня лучше, чем у соседа, вежливо, внимательно, думая о другом. Включил громкую связь и пошел в прихожую, он всегда забывает, в каком кармане оставил ключи от машины.

– Ваши зрители – это люди, которым есть куда пойти кроме театра в рестораны, казино. А если они хотят чего-то престижного, они лучше пойдут в оперу, а не в драматический театр. А для простых зрителей нужны коммерческие пьесы. Так хватит уже ставить Чехова, поставьте мегапопулярного автора! Вы должны рассуждать здраво!

Александр, вы же практичный человек! У вас проблемы. У вас падают сборы. У вас проблемы-мы.

Санечка вернулся, улыбнулся улыбкой «у кого же нет проблем» и выключил громкую связь.

Элла еще что-то сказала.

– Элла, мне больше нечего вам сказать, – резко сказал Санечка, – всего хорошего. – И швырнул телефон на стол.

Санечка никогда не швыряет телефон, никогда не обижается.

Что? Что она ему сказала?

### **Моя другая жизнь**

Элла сказала: «У вас проблемы», а Санечка улыбнулся улыбкой «у кого же нет проблем».

На тот момент проблем у него было две. Одна, по-моему, ерунда, а другая очень сильно меня напугала. Откуда я знаю? Подслушала его разговор с Катькой. Они ночью разговаривали на кухне, а я стояла в коридоре.

Остается, конечно, вопрос – почему я вообще подслушивала? Ну... просто хотела быть в курсе.

Санечка сказал:

– Эта наглая самодовольная коза попала в больную точку. Я всегда считал, что делаю самое важное дело – зрительский театр. Зрительский, а не элитарный! Где этот так называемый элитарный зритель? Говорят, он есть, но его никто не видел! Мой театр – для среднего зрителя, для людей, которые ходят в театр один-два раза в год. Мой зритель должен получить в театре не чужое «я», а настоящий театр. Он хочет испытать эмоции. И моя идея абсолютно, стопроцентно верная – зрительный зал у меня всегда полон. БЫЛ полон. А сейчас сборы упали, почему?.. Знаешь, что самое неприятное? Она права насчет коммерческих пьес и ее суперпопулярного имени. ...Кстати, ее пьеса ужасна, пьесы просто нет.

Катька сказала: можно переписать... если ты считаешь, что для театра это хорошо. У тебя же чутье.

Санечка сказал: ты думаешь?.. Ну не знаю... Она, конечно, самодовольная дура, она даже не заметит, что мы берем только ее имя. Зритель на нее пойдет, а на Чехова – не знаю.

Катька сказала:

– Думаешь, зритель идет по улице, видит афишу – спектакль по пьесе знаменитой писательницы. И думает – ага, у меня дома сто ее книжек, можно и спектакль посмотреть, приятно провести время. А вот, кстати, и Чехов, «Три сестры».

Санечка сказал:

– Ну, приблизительно.

Санечка сказал:

– Все-таки поставим Чехова. Есть один интересный молодой режиссер, он еще не ставил классику, но вообще ставит очень необычно.

А потом Санечка сказал... Я испугалась до дрожи в коленках, ведь я всегда видела Санечку уверенным, веселым, сильным.

В общем, Санечка сказал Катьке, что он не состоялся. Что быть не очень известным главным режиссером... Что он не сказал свое слово в искусстве, как Товстоногов, Эфрос, Додин. О Малом драматическом театре давно уже говорят «Додинский театр», а о его театре говорят просто «театр», и не важно, кто там главный режиссер. И если он завтра уйдет, театр останется прежним.

Я не знаю, что отвечала Катька, ничего не было слышно. Только Катькино тихое бормотание, а слов не разобрать.

Как она его утешала? Сказала, что в историю театра входят единицы?

Что он получал призы на международных театральных фестивалях, один раз получил Золотой софит и один раз Золотую маску?

Что сейчас он ставит немного, но актеры считают, что для театра это лучше?

Потому что если главный режиссер много ставит сам, то он приглашает на должность очередных режиссеров не талантливых, а просто. Из ревности к чужому успеху. А Санечка приглашает интересных режиссеров. Он не относится к чужому успеху болезненно, считает, что чужой успех на сцене его театра это и его успех.

Что он состоялся!

Или Катька просто говорила, что она его любит, что он самый лучший?..

На следующее утро я придирчиво всматривалась в Санечку, есть ли в его лице страдание и нервное расстройство, но и он, и Катька были веселы как птички.

– А как она тебе внешне? – спросила Катька. – Как кто? Писатель Ч?

– Похожа на старый лисий воротник, – сказал Санечка, – у моей мамы такой был, хищная мордочка, острые когти, клочковатый мех. Жутко страшный, она его нарочно забыла в химчистке.

И они засмеялись. Все ночное прошло без следа?

### **Моя главная жизнь**

Вечером Катька снова у нас – сделала в пароварке диетические котлеты. Санечка пришел из театра, попробовал котлеты, сказал – очень вкусно, пойдёмте в «Кидо».

«Кидо» – суши-бар в нашем доме.

«Калифорния» мне, «Филадельфия» Катьке, «фудоки» Санечке, «идзуми маки» Элле.

Откуда взялась Элла в платье с декольте? Позвонила Санечке, спросила, где он, и пришла! Преследует его как начинающая артистка, чтобы попросить роль.

– Зверь идет, – предупредила я.

– Какой зверь? Я не люблю животных, – всполошилась Элла, – позовите официанта, пусть прогонит...

Вика подошла к нам. В зале шумно, приглушенный гул голосов, музыка. Сейчас будет что-то ужасное – обычный скандал. Хороший большой скандал, как Вика любит, с криками, угрозами расстаться навсегда и хлопаньем дверьми. Мы не дома, но это Вику не остановит, она будет кричать шепотом.

– У вас го-ости?! А я, а меня не позвали?! Вы думаете, что я эгоистка, а это вы эгоисты! Едите суши все вместе, а я одна, как перст, и тоже люблю суши! ...Значит, вы со мной так! – страшным шепотом начала Вика, прихватив ролл с Катькиной тарелки. – Как деньги, так Вика, дай! Как суши, так без меня!

Дело не в суши. Вика уже три дня не кричала.

Помните, у Толстого: старая графиня подчиняется только своим ощущениям? Когда ей нужно поплакать, она вспоминает умершего графа, когда нужно посердиться, она к кому-нибудь придирается. А Вике нужно покричать.

Санечке, конечно, хорошо! Мы с Катькой ерзаем и беспокойно поглядываем то на Эллу, то на Вику, нам стыдно перед знаменитой писательницей, а он улыбается своей кривой улыбкой, сидит спокойно, как будто смотрит удачную сцену в спектакле, причем не своим, а чужом. Санечка независимый человек, ему не бывает неловко, ему бывает скучно или смешно.

– Не заказывай мне ничего, я ничего не хочу, – сказала Вика, подвинув к себе Санечкину тарелку.

Съела ролл, потянулась за следующим.

– А если я вам так надоела, если я вам не нужна – прошипела Вика и потянулась за следующим роллом, – то уж будьте так добры, тогда и содержите себя сами! И не приходите ко мне за деньгами – не дам! Содержанцы!..

«Викон, дай мне на кофточку!» – передразнила Вика.

Катька хрюкнула от смеха, Санечка улыбнулся, Элла с интересом перевела взгляд с Вики на Санечку, и дальше скандал развивался так:

Вика, тихим едким голоском, Санечке – ты улыбаешься как махровый эгоист! Где твоя элементарная благодарность?! Мне! С этой минуты ты будешь сам себя содержать!

Катьке – а ты, актриса погорелого театра, пойдешь в секретарши!

Мне – а ты быстро спать и больше ко мне не приходи!

Нам троим – вы все любите не меня, а мои деньги!

Элла, наверное, думала – как у этой женщины поворачивается язык говорить такие ужасные, обидные вещи?.. Но Викин язык легко поворачивался в любую сторону, она четко выговаривает слова, после которых люди расстаются навсегда. Но почему-то с ней еще никто не расстался навсегда.

– Кто это, спонсор театра? – прошептала Элла.

– Тещца, – прошептала Катька.

– Теща? Это же ненормально! – удивилась Элла.

Санечка представил ее Вике.

– Викон, это знаменитая писательница, любимица миллионов твоих сограждан, ведущая ток-шоу...

– О-о! Это ВЫ! Неужели это ВЫ! – воскликнула Вика и тоненьким голосом, которым она всегда просит прощения, скороговоркой произнесла: – Ну хорошо, ну ладно, все простите-извините, больше не буду. Но я не виновата. Пришла к вам, а вас нет – любой бы вспылит.

Вика всегда так. Не успеет поставить точку в страшной обвинительной фразе и тут же с удовольствием просит прощения.

– А я и думаю – мне знакомо ваше лицо, что-то связанное с книгами. Думаю – вы не продавщица в Доме книги? – щебетала Вика. – А это вы! Я ваша поклонница. Ваши книги такие жизнеутверждающие, романтические, динамичные сюжеты, характеры, я просто в восторге. А как вы ведете ток-шоу – бесподобно. Особенно эти животрепещущие темы... не помню какие, но очень животрепещущие!

Не узнала Эллу – вот глупышка! Говорит, что у нее плохая память на лица, но это не так – просто она никуда не вглядывается, кроме зеркала. У нее дома повсюду разбросаны яркие Эллины книжечки. Она купила одну ее книжку на пробу и сказала – приличные люди такое не читают. После этого в ее квартире стали появляться все новые и новые яркие томики с портретами Эллы на обложке. Вика уверяла, что эти десять-двенадцать томиков – все та же, первая и единственная книжка, которую она купила из любопытства и давно уже выбросила на помойку. Сама читает яркие книжечки, а сама прозвала Эллу «писательница Ч» – писательница чуши.

– Любовный роман – это именно то, что необходимо нашему народу... – сказала Вика.

Что это она так старается? Хочет включить Эллу в свою свиту и заставить что-нибудь для нее сделать? Думает, что Лицо из Телевизора будет ее слушаться, веселить, играть с ней дома в «Угадай мелодию», покупать ей курицу?

Санечка взглянул на часы и сказал:

– Девочки, я попрошу счет? Элла, по поводу вашей пьесы... Пьеса с современными реалиями, и думаю, зритель на нее пойдет, но не в нашем театре...

– Что? Ее в нашем театре? Но это даже смешно представить, что ты будешь ставить пьесу писателя Ч! – выпалила Вика. В зале шумно, она, наверное, не расслышала «но не в нашем театре».

Элла открыла зубастый рот и бросилась в атаку:

– Почему это смешно?! И почему я «писатель Ч»?

– Писатель Ч – это писатель Чудных книг. Вика дала вам такое милое прозвище, – нашлась Катька, – да, Викон?

– Да, – неохотно подтвердила Вика и неожиданно трезвым голосом добавила: – Что происходит с народом, какие у нашей страны кумиры?!.. А ведь неплохая была страна. Чехова читали. А писатель Ч – это не Чехов!

– Кто вы вообще такая?! Вы оскорбили не меня, а миллионы прекрасных людей, моих поклонников! Вы должны немедленно перед ними извиниться!

– Авось миллионы прекрасных людей не заметят, – отмахнулась Вика.

Ссориться с Лицом из Телевизора уже стало у нас традицией.

– Он Чехова будет ставить, – строго сказала Вика, – ты же будешь ставить «Три сестры»?

Санечка пожал плечами:

– Вот Элла считает, что сборы будут больше, если мы поставим ее пьесу. Но как ты скажешь, Викон, так я и сделаю.

На лице Эллы был четко написан текст: здесь есть только два настоящих человека – знаменитая писательница и главный режиссер. Почему неизвестно кто вмешивается в репертуарную политику театра? Почему этот Неизвестно Кто обладает таким влиянием на главного режиссера? ЧТО ВООБЩЕ ЗДЕСЬ ПРОИСХОДИТ?!

– Значит, так, – радостно подбоченилась Вика. – Ты. Сегодня. Решешь вопрос с Чеховым. Или я не знаю что сделаю. Режис-сер! Опозорился передо мной и всеми культурными людьми, надо же, ставить вместо Чехова писателя Ч! Раз ты так, я уйду.

Вика быстро прошла к выходу, изо всех сил хлопнула дверью, так что дом содрогнулся.

И через минуту появилась снова – она никогда не уходит со сцены с первого раза.

– Викон, я буду ставить Чехова, только не уходи... – жалобно попросил Санечка, – а хочешь, Шекспира?

Элла не понимает, что все это игра. Санечка никогда не обсуждает с Викой театр. Вике безразлично, что он поставит – Чехова или писателя Ч. Она своим хитрым, настроенным на Санечку носом почуяла – сейчас ей можно поиграть, что она главная. А любимица миллионов ничего не понимает! Думает, что главный режиссер – дурачок, а репертуарной политикой театра заведует «Тещца». Думает, что он принял решение прямо здесь, в суши-баре, пока Вика бесновалась. Мы больше всего на свете любим играть, Санечка и я.

Вика уселась за стол, наклонилась к Элле:

– Раз я победила и этот человек будет ставить Чехова, то вы уж простите меня, дорогая! Я не хотела принизить достоинства вашей чудной прозы. А писатель Ч звучит почти как писатель Чехов, правда? Я вами очень восхищаюсь! Добро пожаловать в наш дом, в наш театр! Санечка, закажи шампанское, отметим. Мне суши с крабом и авокадо.

– Обалдеть, – сказала Элла, – от вас можно обалдеть.

– Все так говорят, – скромно согласилась Вика, думая, что ей сделали комплимент.

Вот так мы себя показали самому знаменитому в стране человеку после президента.

Вообще-то Элла имела в виду не ее, а Санечку. Она, конечно, тоже поняла, что все это шутка. Она смотрела на него во все глаза. Как будто никто с ней никогда не шутил, не разыгрывал ее. Как будто она никогда не видела умных, интересных, красивых, необыкновенных мужчин.

Санечка не взял ее пьесу, значит, не все она может заказать?

Все равно в ней есть что-то опасное – она не старый лисий воротник, ее не забудешь в химчистке. Я ее боюсь. Как будто она и правда поставила высшие силы к себе на службу.

### **Моя другая жизнь**

Индивидуальное задание по психологии. Написать эссе на тему, которая меня волнует. Не скачивать из Интернета, а чтобы что-то касалось меня очень лично.

### **Моя главная жизнь**

– Как ты думаешь, он ее любит?

Как вы думаете, кто кого спросил и кто кого любит?

Спрашиваю я сама себя. Это я спрашиваю от полной беспомощности. Я вдруг обнаружила, что совершенно не понимаю мужчин.

Он же сам сказал, что она старый лисий воротник! Что она наглая самодовольная коза!

...Лицо из Телевизора появилось у нас дома как будто в эпизоде и должно было вернуться обратно в телевизор. Но Элла не вернулась обратно в телевизор, а осталась с нами.

Пьесу Эллы приняли к постановке и сразу же начали репетировать, переписывая по ходу репетиций. В следующем сезоне у нас будут два необычных для театра спектакля – Чехов и писатель Ч. Ставит писателя Ч. не Санечка, конечно, – много чести, чтобы главный режиссер ставил ее бездарную пьесу!

Элла сидит почти на каждой репетиции. Говорит: «Это мой первый опыт в театре, хочу держать руку на пульсе». У нее многомиллионные тиражи, телевидение, зачем ей эта пьеса?!

Лучше бы новую книгу писала. Может быть, она пишет свои романы во сне?.. Восемь часов сна – глава готова! Не понимаю, когда она пишет, она всегда у нас – в театре, в телевизоре, на кухне. Сидит у нас на кухне и одновременно поет и пляшет на всех каналах. Вечером Элла уходит, но если мы по ней соскучимся, всегда можно найти ее на одном из ночных каналов.

– Лицо из Телевизора лезет в окно, – сказала Катька.

– Мм-да, – ответил Санечка.

Элла стала новой Санечкиной главной любовницей.

Все, что я думаю об Элле, звучит по-детски, как будто мне пять лет.

Но она называет меня Мария! А не Маруся, как все. И еще говорит: «Ну что, как твои дела в школе, Мария?» точно с такой вредной ядовитой интонацией, как у девчонок-первоклассниц – «вот какая ты, Марусечка». Она даже не знает, что я учусь в лицее.

Как Санечка может с ней разговаривать, целовать ее?..

У нее наглое лицо, наглые плечи, наглые руки! Наглые ноги на шпильках.

**ЧТО ОНА К НАМ ЛЕЗЕТ?**

Для каждого человека есть одно слово, которое выражает его сущность, одно главное свойство, вокруг которого формируется весь образ. Я не сразу нашла для нее главное слово, слишком много во мне было для нее слов, и все обидные.



Главное слово для Эллы – Швабра. Противная Заводная Швабра.

...Почему Санечка с ней?

Мне не сказали. Никому не дают таких объяснений. Я просто теряюсь в догадках, почему «любит-не любит» случается с самыми неподходящими друг другу людьми.

Иногда мне совершенно понятно, почему один человек любит другого. Почему Санечка «любит» Катьку – она прелестный одуванчик. Понятно, почему Санечка «не любит» Катьку – просто не хочет. Катька слабый человек. Она все делает неправильно, слишком часто спрашивает его глазами: «Ты меня любишь?», не оставила ему в себе никакой загадки, считает, что она хуже всех.

Понятно, почему профессор Сережка любит Вику, – ему кажется, где Вика там жизнь.

Иногда мне понятно, почему один человек «любит» другого, а иногда я думаю – все-таки немного странно. Немного странно, почему я «люблю» Атланта, хотя он самый красивый и молчаливый в мире. Немного странно, почему я люблю М., но он все-таки гениальный Несчастливцев.

Но это впервые, когда **ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ПОНЯТНО!**

Не могу поверить, что Санечка влюбился в зубастое Лицо из Телевизора!

Как Санечка ведет себя с Эллой?.. Иронично, нежно-приятельски. Он так держится со всеми своими женщинами, это ничего не говорит о его чувствах.

Санечка всегда говорил мне: «Маруся! Если тебя что-то интересует, не гадай, не мучайся, не стесняйся – просто спроси».

Я спросила: ты в нее влюбился или как всегда, а он сказал – ну что ты, Маруся, конечно, как всегда.

– Почему ты беспокоишься, Маруся?

– А почему ты с ней? Тебе нравится, что ее повсюду узнают и бросаются за автографом?

– Марусечка! Мне нравится, что я сам себя повсюду узнаю и бросаюсь к себе за автографом, – ответил Санечка.

– Она тебя заказала? – спросила я.

Элла все время твердит о своих «заказах» – «заказала хорошую погоду, заказала новую передачу». У нее все так четко устроено: заказала – получила, и никаких сомнений. Может быть, Элла – человек без подсознания? У всех людей сознание – это крошечный островок в океане подсознания, а у нее – вообще нет подсознания. И сознания у нее тоже нет. У нее внутри только клетчатый лист бумаги, на котором написаны ее заказы.

– Очевидно, она меня заказала, – с серьезным видом подхватил Санечка, – тебе нужно было похлопотать, чтобы эти ее Высшие Силы немного придержали заказ на меня. Высшие силы могли бы соврать Элле, что как раз сейчас меня нет, записать ее на меня в очередь...

– Ты с ней на целый сезон? – не отставала я. – Мне что, еще целый сезон ее терпеть?.. Ты же сам знаешь, она нам не подходит.

– Послушай, малыш. В этой женщине есть что-то космическое. Тебе кажется, что она говорит несусветные глупости, но попробуй представить, что в ее мире все не так, как у нас, и для НЕЕ в ЕЕ мире все логично. Тебе не любопытно побыть в ее логике? Как будто у нас в гостях пришелец из космоса? У нас с тобой никогда еще не было пришельцев из космоса.

Санечка предложил мне поиграть в нашу любимую игру для развития наблюдательности и фантазии – придумать Элле биографию.

Придумать Элле биографию? Ее биографию можно прочитать в Интернете – Элла самая успешная, у нее самая лучшая, самая интеллигентная семья, отец директор завода в маленьком городке, мать профессор, у Эллы самый лучший ребенок, который учится в самой лучшей школе в Англии.

– А ты ПРИДУМАЙ. Исходи из того, какая она. А потом мы с тобой сопоставим твои идеи и мои впечатления. И расслабься – она совершенно безобидная. Она просто не понимает, как с тобой обращаться, думает, что ты обычная девочка.

Я успокоилась – Санечка сказал «мы», «у нас с тобой», значит, мы с ним, как всегда, отдельно от всех. Буду наблюдать – умение замечать детали должно быть привычкой актера и режиссера Лоуренс Оливье сказал, что хранил в памяти какие-то детали 18 лет, прежде чем они емугодились. Буду наблюдать. Может быть, мне через 18 лет понадобятся эти детали, чтобы сыграть пришельца из космоса.

Но я не понимаю! Он все-таки взял ее бездарную пьесу. Он с ней спит. Может быть, это его кризис середины жизни? Когда человек думает – вот черт, я всегда буду делать то, что я делаю, жить с той, с кем я живу, и что, ЭТО УЖЕ НАВСЕГДА?!

Вот он и подумал: «Я всегда ставил классику, пусть сейчас в моем театре поставят пьесу писателя Ч. У меня всегда была милая, умная, красивая подруга и Катька, пусть сейчас у меня будет зубастый пришелец из космоса и Катька». У него кризис.

Не грозит ли ему нервное расстройство?..

### **Моя главная жизнь**

Днем Санечка ушел в театр, а я кое-что сделала. Плохое.

Санечка ушел в театр, а я вдруг поняла, что Вика мне страшно надоела. И мне нужно побыть одной на веранде у Казанского собора. Я хочу на веранду – вдруг М. там? М. живет в соседнем доме, на канале Грибоедова.

Почему мне так хочется его увидеть? Я в него не влюбилась, он некрасивый, он так далек от моего идеала мужчины, от Атланта, как... как только может быть далек от Атланта невысокий, щупленький, лысоватый Несчастливцев!..

Вообще-то я считаю, актеры не настоящие мужчины. Это женственная профессия со всеми неприятными женскими качествами, да еще умноженными на сто, – повышенная эмоциональность, самовлюбленность, зависимость, желание нравиться... Но М. другой.

– Пойдем гулять! – сказала Вика. – Сначала в «Север», потом в Пассаж, потом в кино!

Нет, вообще-то, с Викторией весело. В «Севере» Вика купит «картошку», съест ее прямо на улице, обсыпаясь и вытирая рот рукой, и так, с коричневыми усами, отправится в Пассаж. Все перемеряет и ничего не купит. Потом в кино. Если фильм серьезный, будет хлюпать носом и просить платок, если смешной, хохотать на весь зал. Вика как Карлсон, толкает пропеллером, с ней кино становится КИНО, а мороженое – МОРОЖЕНОЕ. Она как будто смотрит на жизнь из коляски, как будто в первый раз.

Но я не хочу.

Всегда один целует, а другой подставляет щеку, даже если это бабушка и внучка. Раньше Вика подставляла мне щеку. Но у Вики не было на меня много времени, у нее были увлечения, поклонники, друзья для здоровья. Так Вика называла своих любовников.

Теперь у нее на меня много времени, но мы с ней опять не совпадаем – я не хочу, чтобы меня толкали пропеллером. У меня переходный возраст, и я хочу одиночества, во всяком случае, я не хочу столько Вики. Но я не могу просто сказать ей «нет». Когда Вике говорят «нет», у нее становится такое злое лицо, что потом даже солонку за столом не попросишь.

– Да, – сказала я, – я... у меня... мне надо уроки делать!

– Уроки?.. Смотрю я на себя в зеркало и никак не могу понять, что мне шестьдесят лет. Вот, к примеру, нога. – Вика вытянула ногу и задумчиво сказала: – Этой ноге шестьдесят лет. Больше полувека. А вещь, которой больше пятидесяти лет, считается антикварной.

Викина нога антиквариат.

– У меня кризис среднего возраста! А со мной никто не хочет купить матрас! – неожиданно закричала Вика. – Я не хочу матрас! Я хочу роман! Я хочу начать сексуальную жизнь. Я хочу роман – два! Лучше три. Но у меня никого нет! У меня и так никого нет, а ты говоришь «уроки»...

Я подумала – мне нужна свобода от Вики. Я еще не знаю, зачем мне свобода, но чувствую, что она мне нужна Зверь в кризисе среднего возраста в любую минуту может схватить меня за воротник, и у меня нет свободы, одиночества и личной жизни.

И я сделала ужасную вещь.

Я ее СДЕЛАЛА, и мы с Викой разошлись – я на веранду к Казанскому, а Вика – к станции метро «Маяковская».

– Я по делам, – небрежно объяснила Вика.

### **Моя главная жизнь**

Вечером я услышала, что в тамбуре кто-то разговаривает.

– Может быть, мы завтра встретимся?.. Сходим на выставку фотографий «Старый Петербург», – робко предложил мужской голос.

– Я в очереди стоять не буду, – предупредил Викин голос.

– Там нет очереди, – возразил мужской голос.

– А я все равно не буду, – строптиво отозвалась Вика.

Я незаметно приоткрыла дверь – мужской голос принадлежал высокому седому человеку в старомодном плаще.

А я знаю, кто это!.. Это Сережка.

Он профессор, доктор наук, член-корреспондент Академии наук. Безответно любил Вику в третьем классе. Вика вытащила его из небытия – нашла на сайте «Одноклассники», назначила ему свидание, но не пришла. Подумала и решила, что с третьего класса ее вкус не изменился и Сережка ей ни к чему.

– У меня уже в известном смысле все позади, – печально сказал профессор, – а вот ты ничуть не изменилась.

Я удивилась, что он говорит при мне такие интимные вещи. Но вспомнила, что я подслушиваю и они наедине. Профессор так смотрел на Вику, как будто они все еще в третьем классе.

Вика полная, толстощекая дама с пышной грудью. Но какая разница, как Вика выглядит, если она сама убеждена, что с третьего класса ничуть не изменилась? Достаточно описать Викину детскую фотографию. Там – глазищи, реснички, взгляд с поволокой. Вика кусает губы, трет глаза, строит детские гримасы и не пользуется косметикой. Считает, что косметика ее «взрослит».

– Ты что?! Вот, например, один человек в меня влюблен и считает, что у нас все впереди, – утешила Вика.

Врунья, никто в нее не влюблен!

– Расположение разных обстоятельств относительно человека – это его личный выбор, – еще печальнее подтвердил профессор, – а кто этот человек?.. Знаешь, я ему завидую... Ты... с тобой... без тебя как будто выключили свет... Ну что же, пойду... Все-таки жизнь печальная штука...

А Вика думает, что жизнь у нее на побегушках.

– Ко мне! – сказала Вика с интонацией полкового командира. – Я приглашаю тебя в гости.

– Я не могу... А как же этот человек, который в тебя влюблен?

– Он влюблен безответно, – рявкнула Вика и втокнула профессора в свою квартиру.

Оглянулась, метнула в мою сторону хитрый взгляд. Она, конечно, сразу заметила, что я «стою за спинкой стула».

...Поздно вечером Вика вызвала меня к себе.

– Ничего у него не позади. У него все нормально. У нас уже все было. Кроме этого, он ввернул лампочку и починил кран, вот что значит профессор в техническом институте. Завтра меня дома не будет, мы идем на выставку «Старый Петербург». Он милый, правда?..

И все это моих рук дело. Я сделала ужасную вещь. Улучила минуту, вытащила у Вики телефон, нашла в записной книжке «Сережка» и позвонила.

– Она хочет встретиться с вами на Невском, у метро «Маяковская». Она не может звонить сама, стесняется, переживает – вы же знаете Вику, – сказала я, – поэтому я за нее.

– Я знаю Вику, какая она нежная, чувствительная, настоящий цветок! – заторопился профессор. – Только я знаю ее по-настоящему, потому что мы дружили в третьем классе, позже людей уже нельзя узнать по-настоящему...

– Позвоните ей прямо сейчас по этому номеру, – быстро сказала я и отключилась.

Он перезвонил, и Вика отправилась к метро «по делам».

Я была уверена, что меня не раскроют! Главный принцип системы Станиславского – актер должен ставить себя в предлагаемые обстоятельства роли. Если я актриса и играю Джульетту, я должна не изображать Джульетту, а представить, что это я Джульетта, МНЕ шестнадцать, Я думаю только о нем, это МНЕ мешают родители и бабушка!

Я представила себя профессором Сережкой. Я была влюблена в Вику в третьем классе. Я считаю ее нежным цветком. И поняла – я, влюбленный профессор, не стану нетактично выяснять, почему Вика не сама звонила.

### **День знаний**

Ну что же... я плохая?

Но ведь я просто немного помогла судьбе! Судьба как пьеса, в которой идет акт за актом, сцена за сценой. Я столько раз слышала от Санечки «в пьесе нет интриги». Значит, это скучно. Или применительно к жизни «в этом нет интриги» – значит, это скучно.

Самый знаменитый интриган – Яго. Но интриган не обязательно страшный человек, действия которого приводят к трагедии. Интрига означает, что действующее лицо вступает в борьбу с другими персонажами, чтобы достигнуть своих целей. В итальянских комедиях всегда есть веселый доброжелательный интриган. Его хитрости приводят к осуществлению всеобщих желаний.

Я не подкидывала платок, не вызывала ревность, зависть, не клеветала, не заставляла страдать – я не играла чужими чувствами! Моя цель была – мне свободу от Зверя, Вике и профессору – первую любовь.

Результат моего ужасного поступка тоже имеет значение – Вика не задушила профессора! После подстроенного мною свидания всем стало лучше, чем до него, и профессору... застенчивому профессору очень подходит Вика! Рядом с Викой ему кино будет КИНО, а мороженое – МОРОЖЕНОЕ... и Вике, и мне.

Тогда что ужасного я сделала? Я принесла вред только самой себе. Человеку вредно считать, что он может влиять на людей, что люди ему подвластны. Тогда он бессовестный манипулятор.

И может заиграться. Начнет думать, что он лучше других знает, что им нужно для счастья. Но я всего один раз так поступила. Я больше не буду.

М. на веранде не было.

### **Моя другая жизнь**

Индивидуальное задание по психологии. Что меня волнует, касается меня очень лично?..

Я выбрала тему «Кризисы». У человека, оказывается, вся жизнь состоит из кризисов. Первый кризис в три года, когда он говорит «я сам», потом в семь лет, когда он идет в школу, потом кризис полового созревания, потом кризис середины жизни. Кризис середины жизни как раз и может привести к нервному расстройству. Мне нужно понимать, как с ним бороться. Что делать.

Подговорила Вику познакомить меня с Сережкой. Он ведь профессор, академик.

Начала издали – что у меня задание по психологии. Рассказала ему про кризисы в три года, в семь лет и подростковый кризис и подвела его к кризису среднего возраста.

Сережка сказал, что ему шестьдесят три года и у него уже лет двадцать кризис среднего возраста. Он все время из-за всего нервничает: заседание кафедры – нервничает, защита его аспиранта – нервничает... И даже впадает в отчаяние из-за черных шаров на защите аспиранта или из-за плохой рецензии на диссертацию.

Санечка тоже всегда нервничает – перед премьерой. Всегда сомневается – поставить эту пьесу или другую, будет ли спектакль иметь успех. И впадает в отчаяние при плохой рецензии, думает, что все пропало, если приходится заменять актера или если вдруг неполный зал.

– Вы когда-нибудь думали, что вы не состоялись?

– Я часто думаю, что я занимаюсь не тем, я хотел биофизикой, а получилось гидроаэродинамикой... Да, я часто думаю, что я не состоялся.

Вика засмеялась:

– Представляешь – он не состоялся!! Кто же тогда состоялся?! А что тогда думать водителю троллейбуса: «Я не состоялся как водитель троллейбуса. Я хотел водить троллейбус номер пять, а вожу номер шесть»? Ты же профессор, академик!

Сережка сказал, что умный человек всегда чувствует разницу между уровнем притязаний и уровнем достижений. Но мужчины мучаются таким вопросом независимо от своих достижений. И чем значительнее личность, тем меньше она принимает в расчет внешние обстоятельства. Мучается просто от того, что так уж положено. Но самое главное для мужчины – ему нужна женщина, которой он не стесняется, которой он может все это сказать. Скажет и сразу все покажется другим, лучше. И он хотел бы, чтобы Вике можно было хоть что-то сказать о себе, о своих мыслях, чувствах, сомнениях, но Вика предпочитает говорить о Вике.

– Что же, мне говорить о твоих глупостях – защитах, статьях, аспирантах? – фыркнула Вика.

И громко прошептала мне: «У меня всего один роман, а мне нужно два, лучше три... Мне необходимо мужское плечо... Два плеча, лучше три. Три мужских плеча».

Профессор посмотрел на Вику с выражением «два, лучше три?», Вика посмотрела на профессора с выражением «два, лучше три!», и я оставила их выяснять отношения.

Главное я поняла – Санечке не грозит нервное расстройство, потому что у него есть Катька.

### **Моя главная жизнь**

Элла – безобидный пришелец?!.. Как бы не так!

...Пришла Катька, пришла Элла, пришли гости.

Мы почти всегда принимаем гостей на кухне, у нас там большой круглый стол со стульями, диван и кресла. Раньше я стояла за Санечкиным стулом, но у меня уже давно постоянное место у окна. Сегодня мы сидели в гостиной, потому что Элла хотела смотреть на Екатерининский сад. В гостиной у меня тоже свое постоянное место у окна, пришлось уступить его Элле, а собственно говоря, почему?!

МАРУСЯ, НЕ ВРЕДНИЧАЙ! Она хочет смотреть на Екатерининский сад.

Было шумно, весело, как всегда.

– А ты почему со взрослыми сидишь? – вдруг сказала Элла.

Я оглянулась – думала, может быть, пришел чей-нибудь ребенок, а я не заметила.

– Ты почему со взрослыми сидишь?

– Кто, я? Где же мне быть, в детской?

– Может быть, кому-то хочется рассказать анекдот или просто посидеть без детей. И вообще, это ненормально, когда ты все время здесь.

Мы все замерли, и я, и Катька, и все. И в полной тишине Элла сказала:

– Мария, если ты хочешь добиться в жизни успеха, научись скрывать свои чувства и улыбаться. Чем сидеть и слушать взрослые разговоры, иди к себе и почитай Карнеги, у него написано, как себя вести с людьми, чтобы добиться успеха.

– Читать Карнеги? Маруся у нас читает Фрейда, Фромма и Эриксона! – подмигнул мне Санечка. – Ей читать Карнеги все равно, что профессору математики изучать таблицу умножения!

Я не читаю Фрейда, Фромма и Эриксона. Санечка просто спасал ситуацию.

Он видел, что я хочу плакать и сдерживаюсь ради общества. Все почувствовали бы себя неловко, если бы я заплакала и выбежала из-за стола.

Он же не может при гостях сказать Элле, что она космический пришелец, нужно вежливо притворяться, что она обычный человек, как все. Тем более он с ней спит.

– Хочешь, я сварю свой знаменитый суп из шпината? – прошептала Катька.

– Чем он знаменит?

– Никто его не ест, кроме меня...

Катька так не уверена в себе в любой мелочи, что за каждый суп волнуется так, как будто сдает экзамен. Она вкусно готовит, любит всякие хозяйственные мелочишки и штучки, и от этого рядом с ней жизнь кажется вкуснее.

– Очень хочу суп, очень! – сказала я, и мы потихоньку выбрались из-за стола и ушли на кухню. Это был правильный уход, потому что одно дело сдержаться и не заплакать, когда все на тебя смотрят, а совсем другое – не плакать, когда уже никто не смотрит.

На кухне мы с Катькой мгновенно забрались на диван, под плед. Раньше мы все всегда были вместе, а теперь Санечка и гости в гостиной, а мы на кухне, под пледом, как две кухарки.

«У Катьки нет самолюбия», – подумала я.

– Что ты подумала? Я не расслышала, повтори, – попросила Катька.

– Ты старая глухня! – мстительно ответила я.

Катька спрашивала, что я подумала, а не что я сказала. Наши с Катькой разговоры как наш питерский дождик, который если не идет, то все равно идет. Мы молчим, но все равно разговариваем.

– Ну пожалуйста, ну повтори! Что ты подумала? – упрасивала Катька с таким волнением, как будто это что-то необыкновенно важное.

– Так и быть, скажу, – пообещала я. – ...Я не помню.

– Что у меня нет самолюбия, – угадала Катька.

Катька резала шпинат и рассказывала, что делается в театре.

В театре все волнуются – пришел новый режиссер. Будет ставить «Трех сестер».

Насчет того, что счастье в труде – в своем труде, это, я думаю, какая-то ошибка. Счастье в чужом труде. Спрятаться от Эллы в плед, сидеть как птенцу в гнезде и смотреть, как Катька варит суп.

Катька терла на мелкой терке овощи, варила все овощи отдельно, чистила орехи, добавляла травки, пробовала, нюхала, бегала к компьютеру, уточняла рецепт в Интернете, сидела со мной под пледом. Я рассказывала ей все, что было в лицее, что я думала, что ела, как была одета. Ей все интересно, даже про Элика, которого она никогда не видела. Санечка тоже рассказывает Катьке все бытовые подробности – что ел, как себя чувствует.

Вика тоже рассказывает ей подробно все, о чем она думает, что чувствует, что ела, как была одета. «Катька, ты отклик», – говорит Санечка. «Ты не умеешь организовать свою жизнь», – говорит Вика, но на самом деле она довольна, что у Катьки вместо собственной жизни – наша.

Суп она сожгла.

### **Моя другая жизнь**

Вторник, десять минут дружбы с Эликом.

...Что-то я все время говорю о своем. А ведь у Элика только десять минут в неделю на дружбу.

– Расскажи о своей семье, расскажешь?

– У меня обычная семья. Мама, папа, брат и сестра. Это у тебя такая интересная жизнь. А у нас обычная жизнь. Хорошая.

Интересно, какая эта обычная жизнь.

– Теннис с отцом, бассейн всей семьей, лыжи всей семьей, ничего особенного, всегда все вместе.

Ничего особенного, всегда все вместе?..

### **Моя главная жизнь**

Пришел новый режиссер, знакомился с труппой. Режиссер очень молодой, около тридцати. Ленка и Женька насплетничали Катьке, что у нового режиссера роман с Катькиным портретом.

Ленка и Женька – ведущие актрисы театра. Между собой, конечно, не дружат, интригуют, борются за роли, а если оказываются на сцене рядом, борются за аплодисменты.

У обеих в театре свой клан, свои почитатели. Ленкин клан считает, что Ленка талантливая актриса, а Женька заштампованная, Женькин клан считает, что Женька хорошая актриса, а Ленка заштампованная. Штамп – самое страшное ругательство в театре. «Заштампованный» означает, что у актера есть свои привычные приемы, которые он практикует из спектакля в спектакль, из фильма в фильм, и он уже не актер, не играет, а изображает типаж, как в сериале – банкир, бандит, следователь.

Люди из Ленкиного клана дружат между собой против Женьки. Это старый театральный принцип – «против кого дружите». Они не так уж любят друг друга или Ленку, а страстно ненавидят Женьку. Но Ленкин и Женькин кланы это не воюющие армии, и многие актеры снуют из одного клана в другой, как муравьи. Все дружбы в театре – это просто сплетни и посиделки – так все говорят.

Катька – единственный человек, с которым дружат оба клана. Не потому, что Катька сама решила дружить со всеми. Она никогда не выбирает сама, просто ждет, когда с ней завяжут отношения. Катьку выбрали все, потому что с ней никому не стыдно

расплакаться. Все хотят быть на высоте, а Катька не на высоте, Катька – где придется. Она, Катька, безопасная как подушка, наплачешь в нее, и пошел дальше побеждать.

Конечно, она тоже не ангел. Катька часто делится чужими секретами чуть более щедро, чем рассчитывают те, кто доверил ей свои секреты. Но она же не может быть совсем без недостатков! Попробуй быть в центре всего и не посплетничать немножко!

– Мы всем нашим склочным коллективом любим только одного человека – тебя, потому что тебе ничего не нужно, – говорит ведущая актриса Ленка.

– Катька, с тобой все дружат бескорыстно, все же знают, что ты не имеешь на Главного никакого влияния, – говорит ведущая актриса Женька.

Ленка и Женька между собой Катьку делят, как девочки в младших классах. Ревниво следят, с кем любимая подружка ходит на переменке. Общим приятно сказать Катьке что-то милое, из чего для всех выйдет болтовня, сплетня, большие глаза, возбужденный шепот, наполнение жизни.

Ленка сказала, что новый режиссер интересовался Катькой, вернее, Катькиной грудью. В фойе висят сцены из старых спектаклей, и на одной из них, в правом углу, за колонной, совсем еще юная Катька, облако пушистых кудряшек, испуганные глаза, взгляд не прямо, а в сторону, – Аманда из «Жизни господина де Мольера», в придворном платье с огромным декольте. Ленка сказала: «Он запал на твою грудь, так и спросил – что это за девочка с красивой грудью?.. У нее грудь, как будто от другой женщины». Женька сказала, что новый режиссер несколько раз заходил за колонну, любовался Катькой и ее грудью.

И Катькина подружка-помрежка донесла, что новый режиссер спрашивал о Катьке. Катька изобразила разговор с подружкой-помрежкой в лицах:

– Спросил, кто эта актриса, – сказала помреж.

– Что играет или про личную жизнь? – спросила Катька.

– Он и так знает, кто у нас что играет, интересовался твоей личной жизнью.

– Что ты сказала?

– Да ничего не сказала. Сказала, что у тебя долгоиграющий роман, который никогда не закончится браком, что у тебя были предложения, а ты от всего отказывалась, как идиотка, и что это как роман с женатым человеком, совершенно бесперспективно, хотя он и не женат... Не сказала, с кем роман, чтобы не выглядеть сплетницей. Он к тебе клеится, Катька...

Лучше бы он дал ей роль. Но Катьке нет роли в «Трех сестрах», там все три женские роли – главные. И все три не Катькин типаж. Ирина – лирическая героиня, юная возлюбленная, Маша – драматическая героиня, Ольга – учительница. Есть, правда, еще Наташа, приземленная, пошлая, располневшая уже ко второму действию, и это тоже не Катькин типаж. Во всем мировом репертуаре нет ни одной роли одуванчика.

– Наши все волнуются, кто будет играть... – сказала Катька. – ...Ирину, конечно, дадут Соловьевой, Ольгу – Еременко, Ленке – Машу. Но девочки переживают. Ленка уже ходила к режиссеру, просила Машу. Знаешь, как было бы справедливо: дать Машу Женьке, хватит ей сидеть во втором составе. Но тогда Ленка расстроится...

Если бы Катька распределяла роли, для каждой роли было бы десять составов, а не два, как положено, чтобы ни одна ее подруга не расстроилась.

– Почему он спрашивал обо мне? Как ты думаешь?..

Почему, почему! Катька ему понравилась. Она всем нравится, она красивая и особенная, нежная взрослая девочка-одуванчик. У Катьки с новым режиссером будет роман.



Все волнуются, а Катька нет. Катька всегда говорит о театральных делах немного отстраненно. Ее жизнь не в театре, ее жизнь – любить Санечку, болтать со мной о том, что делается в театре, варить суп из шпината.

### **Моя другая жизнь**

САМОЕ УЖАСНОЕ! Швабра говорит, что наши с Санечкой игры ненормальные!..

Я как-то при Элле сказала Санечке «брекс!», а она сказала, что наши игры ненормальные!

А это наши любимые игры! И наши игры очень важны для моего будущего! Просто я не числилась в ее «заказе», она заказывала Санечку одного, без меня, и злится, что я есть.

Считается, что актеров и режиссеров учат по системе Станиславского. Что система – это главное в курсе «мастерство актера» и «мастерство режиссера». Но это только «считается», а на самом деле это не так.

Санечка говорит, что сейчас в театральных институтах учат неправильно. Не развивают аппарат актера, а на той органике, на которой сейчас работает актер, не все можно сыграть.

Вот представьте, что вы хотите научиться играть на фортепьяно. И вместо того, чтобы учить нотную грамоту, сольфеджио, играть гаммы, вам сразу дают играть сонату Бетховена.

С актерами так же. В институтах занимаются действием – ставят этюды, отрывки, и уже в конце первого курса готов прогон будущего спектакля. А в начале второго курса выпускают этот спектакль в Учебном театре. Это называется «волевая режиссура», режиссура результата – зачет, экзамен, учебный спектакль. Оттарабанили сонату, не умея играть.

Санечка считает, что для студентов это вредно. Они еще даже не актеры, а уже привыкают пассивно ожидать режиссерских заданий, привыкают осознавать себя глиной в руках режиссера, типажом. Потом эти студенты становятся очень плохими актерами, сериальными попками.

Многие считают, что талант или есть, или нет. Что играть нужно по наитию, что актер «играет нутром». И даже приводят в подтверждение слова Станиславского: «Научить играть никого нельзя». Санечка говорит – да, но при этом забывают другие его слова: «Познайте свою природу, дисциплинируйте ее, и, при наличии таланта, вы станете великим артистом».

Санечка говорит – конечно, научить играть нельзя, неталантливому человеку не поможет никакой тренинг, но если есть способности, то их можно развить при помощи тренинга.

«Креветка», «схватить себя за нос» в кабинете врача были вовсе не шалости. Это тренинг по системе Станиславского для обучения актеров и режиссеров. Санечка развивает во мне внимание, воображение и фантазию. Чтобы у меня был пластичный актерский аппарат – тело, голос, нервы, темперамент.

Схватить себя за нос в кабинете врача – это упражнение на действие в необыкновенных обстоятельствах. Чем более неподходящая ситуация и чем более нелепое действие, тем лучше. Потому что цель тренинга – полностью избавиться от застенчивости, быть готовой к любой неожиданности, с ходу бросаться в любое действие.

Объяснение в любви рентгенологу – это этюд. С этюдом я не справилась. Мне нужно было сыграть неожиданное событие без текста, я не должна была произносить ни одного слова, но растерялась, и сказала: «Я вас люблю» – это полный провал!..

Ну а что Санечка подпрыгивал в кабинете врача, это просто наша с ним игра – он должен подпрыгнуть по моему слову, где бы он ни находился. Условия игры часто

меняются – бывает подпрыгнуть, поджать одну ногу, как цапля, изобразить что-нибудь нелепое. Мы всегда во что-нибудь играем.

А Швабра говорит, что наши игры ненормальные. У нее получается очень обидно – я ребенок, и мне нельзя быть со взрослыми, но я уже не ребенок, и со мной нельзя играть, и вообще, нечего со мной нянчиться. А я Санечкин ребенок, который всегда со взрослыми!

Хорошо бы избавиться от Эллы без ссоры, без скандала и так, чтобы Санечка не заметил! Разыграть сцену «графиня указала барону на дверь». В прихожей показать Элле пальцем на входную дверь, Элла увидит дверь и поймет, что ей отказали от дома. Я хочу играть как раньше! Мы при ней не играем, а она так много с нами!.. А меня как будто вытесняют, выталкивают из комнаты.

...Я оглянулась, а за соседним столом – М. Я пью чай, а он пьет водку, хотя сейчас еще почти что утро. Поднял голову, посмотрел на меня и вдруг сказал: «Привет». Он меня узнал? Узнал как Санечкину дочь или как девушку, которую спрашивал про солнце в Питере?

Я открыла рот и не смогла произнести ни звука. Пауза.

– Если актер взял паузу, он должен держать ее как можно дольше, чтобы зрители оставались в напряжении, – сказал М.

Я не брала паузу, я просто растерялась. А ведь я могла бы светски сказать: «О да, конечно, я знаю это известное правило. Помните театральную легенду, как Михаил Чехов в Гамлете держал огромную паузу, и в зале была сумасшедшая энергетика, а когда его спросили, о чем он думал, он сказал – разглядывал гвоздь в полу...» И он бы понял, что мы с ним говорим на одном языке.

– Здравствуйте, – наконец ответила я глупым школьным голосом. А М. уже ушел.

Он что, петербургский призрак, появляется и исчезает на веранде у Казанского собора?

### **Моя главная жизнь**

Сегодня вторник, день дружбы с Эликом, но сегодня мне некогда с ним дружить десять минут, мне нужно проводить Катьку на свидание.

У Катьки начинается роман! Как я и говорила.

Катька готовилась к свиданию с новым режиссером, как будто это первое свидание в ее жизни. Новый режиссер пригласил Катьку в кафе рядом с театром. От нашего дома – десять минут пешком.

– Что мне надеть – это? Или это? ...Нет, лучше дай мне что-нибудь твое...

Свидание вечером, а днем Катька пришла к нам в черных джинсах и маленьком черном свитерке и принесла целый тюк одежды – платья, пиджаки, юбки, блузки. Перемеряла всю свою одежду, потом всю мою, остановилась, наконец, на своей длинной юбке и моем кашемировом свитере, и опять переделалась в джинсы и мой черный свитерок. Свитерок точно такой же, как ее, но почему-то мой ей показался лучше. Во всем черном она невозможно красивый одуванчик, тоненький, пушистый, золотой.

– Интересно, куда мы пойдём после кафе? Можно погулять в Летнем саду. Я больше всего на свете люблю шуршать листьями!..

Катька всегда говорит с одинаковым жаром: я больше всего на свете люблю шуршать листьями! Я больше всего на свете люблю слепить снежную бабу! Я больше всего на свете люблю, когда тает снег! Я больше всего на свете люблю траву! Она больше всего на свете любит осень, весну, зиму, лето. И больше всего на свете обожает крутить романы, делать большие глаза и говорить: «Он как-то странно на меня посмотрел...», «А потом он... а я...».

– А что, если он... а как он себя поведет, если я... – гадала Катька, – а что, если он сразу же начнет ко мне приставать?..

В нее все страстно влюбляются, вот и новый режиссер страстно влюбился в Катькину фотографию, а потом в Катьку.

Катька убежала, и через два часа вернулась, возбужденная и одновременно томная.

– Очень, очень приятный человек. Сначала все время молчал. О чем мы говорили? Ни о чем, о театре... Он видел меня в «Осенней сказке». Спросил: «Вы всегда играете спиной к зрителю?»

Катька играла в «Осенней сказке» беспризорную старушку в рваном пальтишке, кепке, с синяком под глазом. Она и правда все время старалась быть спиной к зрителю – ей казалось, что она в этом спектакле хуже всех играет.

– А потом у нас был очень странный разговор... – Катька притихла, словно прислушиваясь к своим ощущениям, – да, очень странный разговор. Он мне сказал: «Я знаю, что вы давно связаны с человеком, который пользуется вашей любовью, преданностью. Неужели вас не оскорбляют эти его бесконечные дамы сердца? Почему вы должны быть верной, преданной, одинокой, приживалкой при своем романе?.. Что у вас – вечное пришел-ушел-не позвонил?! А если бы вас полюбил свободный человек? Вы бы оставили его, например, для меня?»

– Ой! Тебе сделали предложение, – сказала я, – а ты что?

– Я? Неловко получилось – кофе пролился. Это я чашку с кофе резко поставила. И закричала: «Что вы о нас знаете?! О нем?! Да ни один «свободный человек» его не стоит!»

– А он?

– Он хитро улыбнулся и говорит: «Я знал, что вы умеете так злиться!» Спросил, когда мы увидимся, и сам ответил: «Увидимся завтра, не люблю тянуть».

Что значит тянуть? Сегодня он уже признался Катьке в любви и предложил руку и сердце, или только сердце, неважно. Что может быть после такого бурного начала?

Весь вечер мы с Катькой проживали этот роман в воображении. Мы дошли до того, что она ему откажет, потому что он ее младше, и этот роман закончится. Как и все остальные Катькины романы.

У нового режиссера ничего с ней не получится, ни завтра, ни когда-либо... Он ее бросит, как все. Потому что Катька все равно не будет с ним спать.

В Катьку мгновенно влюбляются и так же быстро бросают. Она такая красивая и сексуальная и вызывает у мужчин надежды на яркие сексуальные переживания... или хотя бы на просто секс. Но Катька – обманка. Ей не нужен секс с чужими мужчинами.

Катька говорит: «Не люблю секс с чужими». Она ни за что не скажет, что просто любит Санечку и больше ей никто не нужен. Она стесняется говорить о том, что по-настоящему чувствует.

– Маруся? Только не говори Вике...

Вике нельзя говорить – она может случайно проболтаться Санечке. Катька скрывает от него свои бурные платонические романы как самую страшную измену, как будто она от него уходит.

А Санечка и не замечает, как она от него уходит и возвращается обратно, – ему это совершенно безразлично.

– Маруся! Как ты думаешь, Санечка придет с Эллой? – спросила Катька. – А если он придет с Эллой, я сразу же встану и гордо уйду, скажу: «Пока, мне пора». Чтобы он понял, что я не сижу в засаде. Так лучше, правда? Чем просто он придет, а меня нет.

Санечка говорит – в женщинах самое интересное, что они разные. Элла с Катькой разные как ракета и одуванчик.

Пока я была маленькая и стояла за стулом, я слышала много разговоров про секс – мешает секс творчеству или помогает. Некоторые режиссеры, когда репетируют,

выпускают спектакль, вообще не заводят романов. Другие говорят, что секс с актрисами – это источник вдохновения, что через секс можно объяснить актрисе роль. А Санечка говорил – а если режиссер голубой? Тогда он вообще не может работать с актрисами? А если он верный муж, то вообще не может быть режиссером? Он считает, что флирт, влюбленность, увлечение, может, и помогают. А через секс нельзя ничего объяснить, что секс – это просто секс.

Санечке актрисы не интересны. Он говорит, актриса – это тщеславие, интриги, конкуренция и зависть. Какое это глупое обывательское заблуждение – что режиссер имеет гарем из актрис! Что все актрисы должны пройти через режиссерский диван, чтобы получить роль. Все совершенно не так!

Санечка говорит: «Зачем мне театр в жизни? Артистизм, истерики, наигрыш, этого мне в театре хватает».

Я понимаю, о чем он. Когда все время играешь, то и в жизни все время играешь, не можешь без этого. Актриса как будто все время на сцене, и в настоящей жизни играет любовь. И в жизни она вдруг – раз, и вставит реплику из классики, монолог из прежней роли! Представляете, сколько монологов, сколько чужого текста в памяти актрисы? Она могла бы сказать своими словами, что чувствует, но классики лучше сказали! И про свои чувства актриса лжет, не специально лжет, а придумывает красиво и интересно. Сама придумает, сама играет и сама верит. Санечка так считает. Но самое главное, актриса всегда требует – дай роль!!! Связь с актрисой – это потеря свободы, а свобода для Санечки – самое главное. Поэтому Катька с нами навсегда.

А что, если она не навсегда?!

Почему она должна быть верной, преданной, одинокой, если ее полюбил свободный человек, новый режиссер?.. Сколько людей, не имеющих понятия, что такое любовь, живут, рожают детей, ходят в гости. А Катька, на первый взгляд, принадлежит всему бытовому и простому – пароварке, супу из шпината. А на самом деле у нее талант любить, она знает о любви все, как «влюбиться сильно, любить вечно».

Конечно, было бы здорово, если бы Катьку полюбил свободный человек. Я представила, что у Катьки вдруг ПО-НАСТОЯЩЕМУ своя жизнь... но как же мы, я?!

А у нас останется пришелец из космоса?!

### День знаний

Я сижу на веранде у Казанского собора. М. нет.

Вика разрешила мне не ходить в лицей, но я все равно пошла. Сегодня нам давали знаменитый личностный тест Кетелла.

Я показала Элику результаты своего теста, а он мне свои. У него результаты теста такие: независимость, доминирование – минимальные баллы. Интеллект – высокий балл, выше моего. Получается, я довольно умная и очень наглая, а он очень умный и очень робкий.

Я получила высокие баллы по всем пунктам, определяющим художественность натуры!

У меня:

– максимальный балл за воображение – 10;

– за эмпатию, то есть эмоциональную чувствительность, у меня тоже высокий балл. Это значит – все читают стихи, но кто-то – переживает, может сделать чужую историю своей и прожить ее;

– общительность, доминирование, самоконтроль – тоже нормальные баллы;

– независимость очень высокая. Интеллект. Интеллект – нормальный.

ВСЕ ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ЛИЧНОСТНАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К ТВОРЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ! Это очень важно, потому что просто актерские способности сами по себе ничего не значат.

Санечка говорит, что Катька неплохая актриса, не хуже многих, но у нее не актерская природа. Актер должен предлагать себя, навязывать, продавать, но разве Катька способна себя продать? Она всегда ждет – выберут-не выберут и заранее уверена, что не выберут.

А в театр Катька попала легко. Если бы надо было ходить, показываться, она бы не смогла – заплакала бы и убежала. Она хорошо сыграла в дипломном спектакле, и ее взяли. Нельзя сказать, что Катьке в театре сразу же не повезло, наоборот. Она сразу же ввелась на две роли беременной артистки. Но в институте педагоги ее любили и занимались ею, а в театре никто не собирался о ней думать. И ей все казалось, что у нее не получается. Санечка (он был тогда вторым режиссером, и у них еще не было романа) походя, мельком сказал: «Что-то в тебе не так». Вот она играла вводы и думала – что-то во мне не так, может, не надо быть актрисой?

Катька была в театре меньше года, когда ее вдруг вызвал к себе в кабинет главный режиссер. Спросил – могла бы она сыграть главную роль в новом спектакле. Все актрисы просили роли, ловили, хватили за руку, а Катьку вызвали и спросили – вы могли бы сыграть? И что она ответила – да, да? Ничего подобного! Она сказала – не могу, не знаю, только не в первом составе...

И удача от Катьки отвернулась, решила, что с Катькой бессмысленно иметь дело. Катька сама виновата. Испугалась, растерялась, расплакалась.

Зато Катьку сразу полюбили все гримерши, буфетчицы, костюмерши, билетерши. Говорили ей – ты же хорошая девка, зачем тебе быть артисткой?

Зачем Катьке быть артисткой, если у нее нет зубов? У актрис в репертуарном театре такая конкуренция, что им нужно иметь зубы-зубищи. Ведь вся труппа не может играть! Есть часть труппы, которая всегда занята, и есть часть труппы, которая не играет. Режиссер, конечно, должен работать со всей труппой. Режиссер «должен», но он никому ничего не должен. И любой новый режиссер выбирает тех же актеров. А актрисы вообще годами ждут ролей, потому что женских образов в литературе в несколько раз меньше, чем мужских.

А у Катьки как получилось? Обычно роман с режиссером помогает актрисе, но Катьке все во вред. Роман с Санечкой все окончательно испортил. Когда еще и романа не было, только сплетня, Санечка не давал ей ролей, чтобы не поддерживать сплетню. Когда был роман, не давал ролей, чтобы не подумали, что он ей покровительствует.

Если бы я была режиссером, какую бы роль я дала Катьке? Если объективно. Какое у нее амплуа как актрисы – героиня, инженерю? Я изучала таблицу амплуа Мейерхольда, он пишет, что внешне героиня должна быть такая: «Рост выше среднего, ноги длинные, голова небольшая, исключительная выразительность кистей рук. Большие миндалевидные глаза... голос большой силы и диапазона, разговорный медиум с тяготением к контральто, богатство тембров». Вроде бы Катька годится, за исключением роста. Но по Мейерхольду героиня – это персонаж, преодолевающий трагические препятствия. Для героини Катька слишком маленькая и несерьезная, слишком золотой одуванчик. Разве можно представить себе Катьку, преодолевающую трагические препятствия? Она засмеется и сделает вид, что никаких препятствий вообще нет.

Тогда, может быть, инженерю? Инженю, по театральному словарю, «юная, наивная, простодушная, искренняя, веселая, обаятельная, глубоко чувствующая, лукаво озорная, шаловливо-кокетливая, обладающая своеобразным юмором». Это вылитая Катька. Но для инженерю Катька старая. Правда, великая французская актриса мадемуазель Марс и после 60 лет играла 18-летних девушек. А в Санечкином театре на роли юных девушек есть молодые актрисы.

Катька играет на выходах, в эпизодах, иногда назначается во второй состав – назначается, но не играет, потому что играет первый состав. Не просит ролей, не интригует, знает, что ничего не будет.

Конечно, Катька не одна такая забытая актриса у Санечки. Говорят, что неудавшаяся актриса – это диагноз. Что это всегда одинаково – нервные срывы, депрессии, болезни, злоба. Потому что они не рожали детей, приносили жертвы искусству, отдали себя театру, а их жертвы оказались не нужны. Я никого из них не знаю близко, только здороваюсь. Но если это действительно так, то Катька опять получается самый странный человек на свете!

Катька нисколько не озлоблена, ни капельки не несчастна! Она во всем видит хорошее, играющие актрисы должны все время худеть, не дружат между собой, завидуют друг другу, борются за роли, часто разводятся, не хотят признавать возраст, в сорок лет играют двадцатилетних героинь... При чем здесь Катька? Она тоненькая, у нее нет мужа, она дружит со всеми, никому не завидует. Но если хорошего нет, она его придумает.

Катька чувствует себя в театре уютно – все с ней дружат, она в центре всего. Если она не нужна на репетиции, то приходит в театр как в клуб, болтается в буфете, дружит с костюмершами.

Если режиссеру нужно, чтобы Катька сидела всю репетицию, чтобы произнести свои два слова, она приходит и сидит. Играет все, что дадут, от куста до Донны Анны, выходит в массовке в толпе светских дам, радуется кринолинам и шляпам. Когда она играла на утреннике Донну Анну и опустила на сцену умирать, ее обстреляли из рогаток. Она потом спросила – что, я так плохо играла? Но дети на утреннике обстреляли бы даже Комиссаржевскую!

У нее есть секрет, который знаю только я. Она каждый вечер репетирует роли из спектаклей, которые сейчас идут в театре. Эти роли играют ее подруги, а Катька просто репетирует для себя и никогда не сыграет на сцене. Но это только выглядит драматично, как в кино про непризнанную гениальную актрису, а на самом деле это просто Катькина привычка, на самом деле она не мечтает ни о каких ролях.

Вика хочет, чтобы Катька ушла из театра, говорит – быть захудалой актрисой стыдно, говорит, быть актрисой не ее призвание. Может быть, Катькино призвание – быть единственной счастливой неудавшейся актрисой?..

Может быть, и мне не стоит быть актрисой? Как вообще можно выбрать эту профессию, если хотя бы немного сталкиваешься с театром?!.. Актриса зависит от режиссера, от публики, от чужого вкуса. Актриса – самое зависимое существо на свете, а у меня повышенная независимость.

Может быть, мне не актрисой быть, а режиссером? Режиссер – это власть, умение держать в руках все нити. Показатель доминирования у меня высокий. Я держу в руках все нити в нашей семье, например, с Викой и профессором. Я режиссер жизни.

...Воспитание тоже важно для профессии. Вокруг меня всегда были интересные люди.

В общем, будущее стоит передо мной как чемодан на перроне, подними и неси... Но нужно взять СВОЙ чемодан.

### **Моя другая жизнь**

Вторник, дружба с Эликом, десять минут у памятника Екатерине.

– Засмейся, – попросила я.

– Зачем тебе? Я не умею... а моя мама громко смеется, – сказал Элик, – зачем тебе?

Я проверяю характеры по смеху.

Достоевский считал, что ключ к характеру – это смех, «хорошо смеется человек – значит, хороший человек». Санечка смеется негромко и открыто, прищуривает глаза, это говорит о незаурядном уме.

– У меня задание – наблюдение за одной противной теткой. Она все время улыбается.

Элла занималась с преподавателем из театрального. Он научил ее улыбаться за 200 долларов. Для телевидения. Преподаватель из театрального давал ей домашнее задание репетировать перед зеркалом специальную улыбку для ток-шоу – понимающую, сочувственную, озабоченную. Элла улыбается своей понимающей улыбкой, приподнимая уголок рта. Когда человек при улыбке приподнимает уголок рта, это говорит о его хитрости и что он неисправимый лгун. Если за двести долларов Элла научилась улыбаться как хитрый неисправимый лгун, как же она улыбалась раньше?

– Она улыбается и никогда не смеется. Никогда не смеется до слез, не хихикает, не фыркает от смеха, не давится смехом. Не хмыкает, знаешь, так, тихонечко хмыкнуть перед тем, как громко засмеяться, – сказала я.

– Может, ей не смешно? У нее нет чувства юмора. Чувство юмора единственное, что отличает человека от животного.

Малышка Элик прав. Над чем Элле смеяться? Ей ничего не смешно, она не знает, что смешное рассеяно в воздухе. Значит, она не человек!!! Элла не человек, Элла не человек, Элла швабра!

– А кто она тебе?

– Никто, просто лабораторная крыса.

– Если она тебе никто, зачем ты тратишь на нее время? Древние римляне говорили, надо изучать врага.

Я не могу говорить о нашей частной жизни. Нельзя сказать – включи телевизор, малыш, и ты увидишь любовницу моего отца, она швабра.

Она мой враг, она все время говорит: «Вы все ненормальные», «У Саши ненормальные отношения с этой вашей Викой», «У Саши ненормальная ситуация с этой вашей Катей», «Это ненормально для ребенка все время торчать со взрослыми». На все, что ей нравится, она говорит «нормально».

На все, что она не понимает, говорит «ненормально» или «странно». Ее «странно» звучит как «отменить».

– У меня еще один тест для тебя, – сказала я, – быстро скажи, как на латыни «Я знаю, что я ничего не знаю»!

– Scio me nihil scire. Зачем тебе?

– Хочу написать крупными буквами и повесить на холодильнике.

Хочу повесить на холодильнике и показывать Элле при каждом удобном случае.

Сократ сказал: «Я знаю, что я ничего не знаю». Чем больше знаний у человека, тем лучше он понимает, что его знания незначительные. Швабре Элле так же чужда эта идея философской скромности, как нашей лицейской кошке Муре, даже меньше! Мура тоже считает, что много знает, но хотя бы не говорит: «Напомни мне, что это».

Когда при Элле упоминают какого-нибудь писателя, художника, оперу, пьесу, картину, она напрягается и говорит Санечке: «Напомни мне, что это». Нет, человек не обязан все знать, как Санечка, даже если этот человек знаменитая писательница любовных романов!.. Но почему просто не сказать: «Я не знаю», как Катька? Или не промолчать, а потом потихоньку посмотреть в Интернете, как Катька? Элла считает, что все знает, и все время – прыг в галошу!

Элла не знает ни-че-го! Она как зубрилка-отличница, а что в школе не проходили – она не знает. Не знает, что Дега рисовал балерин, а у Шагала на каждой картине притаился козлик, что сестер Бронте было три, что Айрис Мердок писательница, а не писатель, не знает, что такое дискурс, – ничего, что ВСЕ знают! У Эллы нет культурного слоя! Как будто у нее под вечерним платьем дырявый халат.

Это объективно.

## Моя главная жизнь

Вторая встреча Катьки с новым режиссером была не свиданием.

Оказалось, что и первая встреча была не свиданием. Все это, роман с Катькиным портретом, странный разговор в кафе, все это не роман, а – роль!..

Катька верила и не верила, была как будто немного не в себе.

Сидела, смотрела в одну точку. Вдруг вскочила, сказала решительно – нет, это не моя роль!

Села, опять уставилась в одну точку, нервно кусала губы. Вдруг вскочила, сказала решительно – нет, это моя роль!

– Но какая роль, какая?!

– Маша.

– Маша?!..

Роль Маши самая интересная из сестер, недаром в первой постановке Машу играла Книппер-Чехова, а Вершинина играл Станиславский. Роль Маши – главная.

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!..

– Он сказал, что специально разозлил меня тогда в кафе. Оказалось, что ему это и надо. У него такая Маша – робкая во внешних проявлениях, с виноватым выражением лица, но с внутренней силой и страстью. Разговор в кафе кажется странным, но на самом деле нет. Это очень рискованное решение дать мне Машу, он должен был понять, есть ли у меня энергетика или я обаятельная, но вялая.

Режиссер сказал, что она не штампованная, что у нее индивидуальность, что она – это чувственность и благородство, что она актриса без героини, что она ничего не требует, просто любит...

Я сама немного запуталась, кто «она», где Маша, а где Катька.

– Кто чувственность и благородство, ты?

– Да. Это я, – гордо сказала Катька, – то есть нет, не я. Маша!

И вдруг смутилась:

– Нет, ну какая Маша, не может быть... А может быть, он еще и не предложил, просто мне кажется? Он со мной говорил, но ведь Ленка ходила, просила Машу...

И тут же сказала, округлив глаза – невероятно – Маша!!! Это же просто счастье – Маша!

Значит, Катька и не мечтает о ролях?! Значит, ее призвание быть счастливой неудавшейся актрисой?! Я глупая наивная дура! Ничего не понимаю в людях, даже в Катьке, а воображаю себя режиссером жизни... Вика сказала бы – тоже мне, режиссер!

Режиссер решил провести с Катькой пробу, как в кино. Обычно в театре этого не делают, но Катька – неиграющая актриса, поэтому проба.

При слове «проба» Катька превратилась в креветку, как я в кабинете врача, – прилегла на кушетку, распустилась, опала и отупела лицом.

– Катька, наш спектакль – твой последний шанс, – говорит Вика.

Вика говорит «наш спектакль», «наш Чехов», «наши "Три сестры"». Уверена, что скандал в суши-баре повлиял на Санечкино решение, не будь скандала, он не пригласил бы молодого режиссера, а тот не предложил бы Катьке роль. Вика считает, что она благодетель театра, русской культуры, молодого режиссера, Чехова и Катькин.

– Викон, ты лучше говори – мой спектакль, мой Чехов, мои три сестры, – предложила Катька.



– Ты понимаешь, что это твой последний шанс? – настаивала Вика.

– Викон, я не хочу последний шанс, последний шанс звучит очень страшно, – возразила Катька. – Я лучше откажусь.

Вика хочет, чтобы Катька «была настроена по-боевому».

А Катька была как я, когда мне было семь лет.

Санечка повел меня кататься на карусели. Мы так бесконечно долго стояли в очереди, что когда я, наконец, уселась на лошадку, от долгого ожидания, предвкушения, надежды меня стошнило. ...А лошадка, между прочим, оказалась не так прекрасна, как я думала, с некрашеным боком.

Вика держится как Катькин руководитель жизни. Возращивает ее как редкий цветочек в горшке, поливает, удобряет, расправляет листочки.

– Катька, это будет фурор!

– Фурор?.. – еще больше испугалась Катька. – Ужас!

Вика уговаривала, будила надежды, оскорбляла.

– Катька, ну неужели в тебе совсем нет никакого самолюбия, тщеславия, ты же актриса! Нет, ты дрянь какая-то, а не актриса!

– Пусть, мне и так хорошо, – кротко соглашалась Катька.

Умоляла:

– Катька, я буквально стою перед тобой на коленях, ради меня!..

– Что ради тебя? Опозориться, провалиться?! – кричала Катька. – Я знаю, что ты думаешь! Думаешь – ну, ты не Комиссаржевская, сыграешь как-нибудь, и сойдет.

– Да, – удивленно согласилась Вика, – а что? Я правильно думаю.

Шантажировала Катьку Санечкой:

– Этот человек не возражает дать тебе роль, значит, ты справишься!

– Это же не его спектакль, он не может сказать «нет» при выборе актеров, – резонно отвечала Катька.

– Он знает, что, если он только попробует отнять у тебя роль, ему не жить! Он в тебя верит!

И, наконец, Вика пустила в ход свой самый главный аргумент:

– Человек должен быть сильным, посмотри на меня!

– Ну ладно. Не хочу лишний раз на тебя смотреть, – сдалась Катька.

Мы скрыли от Вики, на какой день и час назначена проба. Пошли на пробу вдвоем.

У дверей театра Катька сказала:

– Втолкни меня.

Я втолкнула ее в дверь театра и осталась ждать в соседнем кафе. Санечка так отвел меня в первый раз в школу – я ушла в класс, а он сидел в машине, чтобы быть наготове, вдруг у ребенка начнется истерика.

Катька пришла через час с опрокинутым лицом.

– Провалилась? – мрачно спросила Вика. Она давно уже сидела за моим столом как перст судьбы. Откуда она всегда все про нас знает? Установила в наших карманах подслушивающее устройство?

– Да, провалилась, – независимо ответила Катька, – вот и хорошо, мне и не надо.

– Давай подробно, – потребовала Вика, – ты можешь от страха неадекватно оценить действительность.

– Ну... Я вышла на сцену и подумала: «Зачем все это, все бессмысленно. Все равно никогда...» – печально сказала Катька.

– Что никогда? Не дадут роль? – мрачно спросила Вика.

– Никогда Маша не будет счастлива, они никогда не будут вместе, никогда у Маши не будет от него ребенка, никогда... и тут я заплакала, не смогла говорить.

Катька думала о чеховской Маше или о себе? Что никогда Санечка не будет ее? Но спросить об этом нельзя. Даже у Катьки не все можно спросить, даже Вика не все может сказать.

– Мне все ясно, ты подумала про себя, – сказала Вика.

– Нет, что ты, – удивилась Катька, – я думала о Маше – бог ей не дал счастья. И ты знаешь, ведь так все и вышло...

– У кого так все и вышло?.. У Чехова? – простонала Вика.

Было слышно, как она от злости пощелкивает зубами. Вика страшно злится, когда мы не оправдываем ее ожиданий.

– Знаешь что? Я умываю руки. Тебе не нужна роль, тебе нужен врач. Опытный психиатр. Он тебя вылечит.

– Он меня вылечит, и ты найдешь мне работу в офисе. Мне дадут папки, скрепки, дырокол... – подхватила Катька. – Знаешь что? Я больше не хочу быть актрисой, я хочу дырокол.

### **Моя главная жизнь**

**КАТЬКЕ ДАЛИ РОЛЬ! КАТЬКЕ ДАЛИ ГЛАВНУЮ РОЛЬ!**

Катьке дали Машу в первом составе.

– Он сказал: «Маша тоненькая как девочка и вдруг – грудь. Это значит, в ней спрятана сексуальность, которая просыпается на глазах у зрителей, когда у нее сначала нелюбимый муж, а потом любовник», – рассказывала Катька.

– Господи, грудь! – удивилась Вика. – Ну хоть это у тебя точно есть, хотя бы за это ты можешь не волноваться!

– А знаешь, так все и говорят. Знаешь, что говорят? Говорят: «В нашем театре еще никогда не давали роли за грудь! Что же, она будет грудью играть?..» – засмеялась Катька.

– Кто говорит?

– Все.

### **Моя другая жизнь**

Вторник, дружба с Эликом.

– Хочешь помочь мне сделать лабораторную работу по психологии? – спросила я.

Элик кивнул.

У него нет никакого жизненного опыта, поэтому с ним можно говорить только об учебе.

– Существует зрелый человек и невротическая личность. Давай проверим, ты зрелый человек или невротическая личность?

– Надо знать признаки.

– Я тебе скажу. Зрелый человек может посмотреть на себя со стороны, а невротическая личность видит только себя.

Я могу посмотреть на себя со стороны. У меня большой нос с горбинкой. Санечка говорит «большой красивый носик». Я слишком худая, очень высокая. Элик мне по плечо, но он вообще малышка, меньше всех в классе. Длинная худая девочка и маленький аккуратный мальчик.

Когда мы идем до памятника Екатерине, люди думают – вот идут жирафенок и пони. Это тоже мой недостаток, что мне стыдно с ним идти. Но я же ЗНАЮ свои недостатки!

– Ты видишь свои недостатки?

– Я неорганизованный. У меня недостаточное чувство ответственности за учебу и свое будущее.

– Ты?!

Элик просто помешан на времени! Все время поглядывает на часы, смотрит в свой блокнот, проверяет, сделал ли что нужно по списку, и ставит закорючку. Организованнее его только компьютер.

Кто по правде не видит себя со стороны, это Элла. Элла работает на телевидении, ходит в издательство, на репетиции в театр и не видит, что все обычно одеты, а она одна Снегурочка или Барби.

Элла одета во все золотое, капроновое, блестящее – как Барби! Иногда как Снегурочка, в платья, отороченные мехом. Она уже с утра в вечернем платье!.. Как будто не знает, что на свете бывает просто свитер! А декольте?! А шпильки?! Она всегда на шпильках, даже к нам принесла шлепанцы на шпильках. Может заодно использовать свои туфли для самообороны, что-нибудь ими проколоть или порезать. Шпильки – это символ ее отношения к жизни: агрессивность.

Элла говорит мне: «Ты опять в джинсах? Учись у меня одеваться, у меня хороший вкус».

Как можно сказать «у меня хороший вкус»? Обычно это говорят другие, разве нет?..

– Ладно, давай дальше. Зрелый человек способен к теплым отношениям, дружеской интимности и сочувствию. Ты как?

Элик пожал плечами:

– Я не знаю. У меня нет друзей, кроме тебя. Ты сама скажи.

Я вежливо сказала – конечно да. Но конечно нет. Десять минут по вторникам не очень много для дружеской интимности, но мы встречаемся уже несколько месяцев, и совершенно ясно, что он куколка с подавленными эмоциями.

– Мне надо идти, – сказал Элик.

Ну и пожалуйста! Как будто нельзя задержаться на минуту-другую! Если я у него единственный друг. Ему даже не интересны результаты опроса, зрелый он человек или нет.

Вообще-то, насчет него нет никаких сомнений. Куколка – невротическая личность.

Буду делать лабораторную работу сама.

### **Моя главная жизнь**

– ...Ужас, – в который раз сказала Катька и уточнила: – Знаешь... РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ ужаса. Я думаю «не справлюсь» и – мгновенный холодный пот. Или думаю – «у меня все получится!» и – опять мгновенный холодный пот.

Есть люди, которые, начиная какое-нибудь дело, говорят – если я справлюсь, у меня будет успех. А Катька говорит – если я не справлюсь, меня так накажут, что ПРОСТО УЖАС! Она сразу думает о плохом.

– Мне сегодня худсовет дал «ведущий мастер сцены», и еще я беременна, – сказала Катька.

– Господи, какая ерунда! Какое это сейчас имеет значение! Кому это вообще нужно?! – воскликнула Вика.

Она имеет в виду, что «ведущий мастер сцены» ерунда, не имеет значения, никому не нужно.

Катька была «актриса первой категории» с крошечной зарплатой, а стала «ведущий мастер сцены» с зарплатой чуть больше крошечной.

Ее отношение к деньгам – благожелательное. Есть деньги – отлично, нет – как-нибудь само устроится. Она любит красивую жизнь. Красивая жизнь тоже любит Катьку. Катька в детстве привыкла быть обеспеченной и всегда ведет себя, как будто она богатая, любит красивую одежду, любит просто так не на Новый год принести всем подарки.

– Что это, откуда, с какой стати? – бормотала Вика, – я как врач тебе скажу, тебе абсолютно не с чего быть беременной!

Я тоже думаю, что Катьке не с чего быть беременной. Она же пьет таблетки.

Вот что мне удалось подслушать – не сейчас, в прошлом году:

«Твой организм и так загадка, а ты еще забываешь пить таблетки! Нет, ну скажи – ты сегодня выпила таблетку?! В инструкции написано, смотри: «Самая распространенная причина наступления беременности при приеме оральных противозачаточных средств – это нарушение графика их приема, когда вы забываете их принять или начинаете и прекращаете прием в зависимости от состояния своей сексуальной жизни. Каждое новое пропущенное драже еще больше снижает контрацептивную надежность. Имеется особенно высокий риск наступления беременности при пропуске драже в начале или в конце упаковки. Поэтому необходимо следовать правилам...». Ах, ты вообще бросила пить таблетки?! Ты все равно не можешь забеременеть, потому что у тебя гормональный дисбаланс?»

Это все, что мне удалось подслушать. Вика ругала Катьку за гормональный дисбаланс и несознательное отношение к своему организму.

О господи! Этого не может быть! Как гром среди ясного неба! Это же просто чудо! Это все, что мне удалось подслушать – сейчас.

Катька разговаривает со мной обо всем, кроме этого своего гормонального дисбаланса, но я и сама знаю, почему у Катьки нет детей. Катька много лет любит Санечку, а зачем Санечке еще один ребенок? У него уже есть ребенок, я. Бедная Катька – жертва его любви ко мне.

– ...Как что делать? – энергично сказала Вика. – Если ты не можешь принять решение, я сама за тебя решу. Этот человек пусть как хочет, а мы женимся и будем рожать!

– Ты делаешь мне предложение? – засмеялась Катька.

– Оставь свои шуточки! Я знаю, как надо. Я скажу этому человеку: «У нас будет ребенок. Найди себе кого-нибудь вместо писательницы Ч. – она нам не подходит, и будем жить нормально, как все люди.

Когда надо принять решение за себя и за другого, у Вики появляется охотничий блеск в глазах. Ее любимые слова «я знаю, как надо» и «я сейчас все решу». Катькины любимые слова «я не зна-аю...».

– Что «не зна-аю», – передразнила Вика и вдруг серьезно сказала: – Послушай, Катька. Сейчас совершенно не важно, почему был гормональный дисбаланс, а вдруг наступил баланс. Сейчас вообще ВСЕ не важно. Тебе 38 лет, ты впервые за все годы беременна.

Конечно, это очень простая ситуация! Катьке не нужно принимать никаких решений, решение уже есть. Вика торжествующе улыбнулась.

– Девочки, а вы кое-чего не знаете! Оч-чень важного! Я со вчерашнего дня студентка!

– Поступила в кружок? – отозвалась Катька. – Лепка, мягкая игрушка, что?

– Ха! У меня есть зачетка! Буду профессиональным психологом! Поступила в Международный Всеобщий Университет по адресу: Садовая, дом двенадцать, квартира четыре. Зачем называть «всеобщий»? Не люблю ничего всеобщего. У человека все должно быть свое. Но в остальном все замечательно!

Вот человеко-зверь! Борется с кризисом среднего возраста, будет психологом. Вика всегда кем-то будет, а Катька всегда в настоящем. Вика студентка, а Катька беременна, смотрит испуганными глазами, о чем думает?.. Представляет, как Вика приезжает к ней в ее квартиру «помогать», с погремушками и огромным медведем, и сама гремит погремушками, сама играет с медведем?

– Катька! Ты что такая? – опомнилась Вика. – Ну, хорошо. Один раз торжественно говорю – ты не одна. Один раз торжественно клянусь – я никогда тебя не брошу. Я буду приезжать каждый день. А когда ребенок подрастет, я даже один раз поеду с вами на дачу, хотя ты знаешь, как я ненавижу дачу. Ну, про деньги вообще нечего говорить, пока я жива. Что там нужно – памперсы, английский...

– Ты будешь меня наблюдать? Ну, как врач? – спросила Катька. – Наверняка среди твоих дипломов найдется диплом врача. Я буду приходить к тебе на прием.

– Не хочу. Не буду. Не желаю. Можно один раз в жизни серьезно? А не эти твои вечные шуточки, – отрезала Вика.

Катька единственный человек в мире, который такое невероятно огромное событие жизни сведет к шутке. Она болтает, смеется, будто играет резиновой уточкой в мыльной пене, пускает ее, топит, брызгается.

Катька смотрит на Вику со странным выражением лица, как будто Вика на ее глазах превратилась в страшного монстра и корчит ей угрожающие рожи. Чего она так испугалась?

Вика сказала Катьке «я тебя не брошу». Я не брошу, то есть она не бросит. Значит, она уверена, что Санечка?.. Бросит? Вика так решительно говорит «я не брошу, я помогу, я буду приезжать», что это уже как будто отделило Катьку от нас, оставило ее одну со СВОИМ, без нас. Поэтому она испугалась? А может быть, хочет, чтобы Вика ее понимала, жалела, ободряла. Но Вика, единственный человек в мире, который никогда не обсуждает по-настоящему важных решений, приняла решение и все, точка.

– Покажи зачетку, – попросила Катька, – настоящая... О-о, у тебя уже пятерка!

– Я уже получила пятерку за зачет по... не помню чему. – Вика скромно улыбнулась как человек, не перестающий удивляться своим способностям. – И слушала очень интересные лекции по... не помню чему... экзистенциальной философии, вот. Кьеркегор, надеюсь, не знаете?

Мы не знаем Кьеркегора. Катька беременна, ей не до него, а мне в лицее еще не рассказывали. Вика всегда тянет одеяло на себя! Катька хочет поговорить о себе, а вместо этого обсуждает с Викой ее глупости! Как человек, который собирался раскрыть парашют и, передумав, начал падать.

– Роль! Твоя роль! А наш спектакль, наш Чехов? А как же твоя роль? – вдруг сказала Вика и сама себе ответила: – Какая, к черту, роль! При чем здесь вообще какая-то роль! Как можно сравнивать! Твоя беременность – чудо, ты беременна первый раз в жизни! А я про какого-то Чехова!

Катька кивнула:

– Буду репетировать, а потом перейду во второй состав.

– Я просто удивляюсь! – недовольно сказала Вика. Она смотрела не на нас с Катькой, а в угол, на диван. – Вот судьба! Человеку в кои-то веки повезло, один раз в жизни человеку повезло, у человека один раз в жизни последний шанс! И надо же, такое совпадение!

Вика как будто выговаривала судьбе, которая сидела на диване. Но правда же, судьба повела себя странно? Роль последний шанс и беременность тоже последний шанс.

– Маруся? – Катька тормошила меня, щекотала и даже немного укусила меня за ухо, – ты что такая испуганная? Если ты боишься, если ты против, если ты не хочешь, тогда и я не хочу...

– Ты что?! Это маленькие дети ревнуют, боятся, что перестанут быть единственными, – удивилась я. – А мне четырнадцать лет, а не пять или три!

...Но знаете что? Я соврала.

Я очень рада за Катьку, но я не знаю, я не хочу!

И Вика тоже не хочет! Она только думает, что хочет, потому что она взрослая и не знает своих настоящих желаний. На самом деле Вика сама хочет быть Катькиным ребенком, хочет, чтобы Катька всегда любила ее так преданно, снисходительно, нежно, как сейчас! Катька со своим талантом быть близкой могла бы так дружить и с другой Викой, любить другую Марусю, а вот нам найти другую Катьку невозможно.

– Как назовем? – деловито спросила Вика.

– Пусть Маруся придумает, – счастливо сказала Катька.

– Марфуша, – предложила я.

– Ну, не знаю, – ревниво сказала Вика, – лучше Алеша.

– Марфуша, – подтвердила Катька, – вы представляете, девочки, что у меня будет ребенок? Я нет.

Я тоже нет.

Санечке я буду Маруся, старшая сестра Марфуши... старшая дочь. Старшая дочь гораздо хуже, чем просто Маруся.

Как только я увижу Марфушу, хорошенькую, в кружевах, моя ревность закончится, я ее полюблю.

Ревность. Дикая нерассуждающая ревность. Хочу, чтобы Катька любила только меня! Как будто мне не четырнадцать лет, а пять или три. Это естественная реакция – если кого-то сильно любишь, хочешь, чтобы он был только твоим. Наверное, другие люди моего возраста умеют бороться с плохими стыдными мыслями, а я нет.

### **Лабораторная работа**

Результаты наблюдений за экспериментальной крысой Эллой.

Сразу же оговорюсь. Не думайте, что это не может быть – что она такая дура. ТАКАЯ дура. Ведь она пишет книжки, хоть и любовные романы. Выступает по телевизору, хоть и в ток-шоу. Вы думаете, что при этом всем она не может быть ТАКАЯ? ЧЕСТНОЕ СЛОВО, ОНА И ПРАВДА ВСЕ ЭТО ГОВОРIT И ТАК СЕБЯ ВЕДЕТ!

Но если оценить ее объективно, без детского раздражения – ведь мне четырнадцать лет, а не пять или три.

Ее неглупый ум отдельно, а она отдельно. А разве вы не встречали людей, которые глупее, чем их умная карьера? Одна Санечкина подруга, доктор наук, всегда рассказывала, как мужчины упали от восторга, когда она вошла – в булочную, в поликлинику, в трамвай. И все переглядывались – надо же, а ведь доктор наук...

А сколько умных людей непрерывно говорят о себе, разве это не глупо?..

Объективно у Эллы неиссякаемый интерес к себе. Для нее все свое такое важное, что с ней всегда возникает неприятное чувство, словно все твоё неважно.

По-моему, вежливо было бы немного поговорить о себе, а потом поинтересоваться – а как у вас, ребята? Элла рассказывает о своих гонорарах, вложениях, покупках, о своей семье. Разве можно представить, чтобы Санечка рассказывал о своих гонорарах, покупках и вообще О СЕБЕ кому-то, кроме Катьки?!

Элла говорит о себе в автономном режиме, ей не нужен отклик, вроде кивания головой или «а-а, ну да», потому что она автомат. Но если выйти из комнаты, она замолкает, может быть, она все-таки полуавтомат.

Зрелый человек проявляет терпимость к различиям между собой и другими, уважение и признание их особенностей, чувств. И вообще – уважает ЧУЖОЕ!

Элла все время говорит слово «здроаво». Здроаво рассуждать, здравый подход, здравое решение. Санечка считает, что у нее такой успех на телевидении (подумаешь, в тупых ток-шоу!), потому что людям нравится ее здравый смысл.

Она нравится людям по телевизору. Но люди не знают, какая она хищная в жизни, эта мисс Здрoавый Смысл! Она только по телевизору говорит, что все должны считаться друг с другом, а сама!.. Она даже не умеет просто быть с кем-то вместе!

Зрелый человек умеет справляться со своими эмоциональными состояниями, с гневом, подавленностью, плохим настроением, зрелый человек в плохой день не закатывает немотивированную истерику, не срывает зло на первом встречном.

Конечно, Элла не срывается на Санечке или на мне.

Но я не раз слышала, как она визжит по телефону – «Я этого не желаю! Я это не буду! Вы мне за это ответите!». Чаще всего она визжит на свою «обслужу». Она так и говорит «моя обслужу»! Несчастные люди покупают ей продукты, билеты, возят по городу, приносят цветы на встречи с читателями, моют ей пол, а она на них ка-ак закричит, как выпустит когти!.. У Эллы «плохой день» бывает через день – может, ей туфли жмут?

Зрелый человек покупает себе туфли своего размера, разве нет?

Она не только на свою «обслужу» орет дурным голосом, но и на других безответных людей – редакторов на телевидении, пиар-менеджеров в издательстве.

Вчера Элла склочничала с телевидением. Хотела быть почетным гостем на аналитической передаче о состоянии экономики. А позавчера с издателями, требовала, чтобы ее портрет повесили на входе в издательство. Кричала – я, я, я!

Но что «я»?! Она не эксперт в экономике и не одна в издательстве.

Кстати – зрелый человек реалистически воспринимает себя в окружающем мире, не передергивает факты в угоду своим потребностям и имеет адекватные притязания. Зрелые люди имеют представление о своих сильных сторонах и слабостях.

И – честное слово, она не умеет пользоваться ножом и вилкой! Разрежет мясо, кладет нож на стол и берет вилку в правую руку. Хорошо, что ей не надо есть мясо в прямом эфире!

А Санечка только улыбается.

Вывод для лабораторной работы: Элла (назову ее другим именем и без указания профессии) – противная невротическая личность.

### **Моя главная жизнь**

Иногда прозрение приходит вдруг. А иногда постепенно. Теперь я все знаю о мужчинах. Я знала почти все, а теперь я знаю все.

В моей комнате у Вики появились новые потрясающей красоты вещи. Ярко-красный экскаватор, пятитомная энциклопедия искусства, соски. Экскаватор принес профессор – оказывается, он мечтал о мальчике. Соски купила я. Яркие, прозрачные, как разноцветные бабочки.

Кое-что принесла Вика – подогреватель для рожка в виде ракеты, утилизатор памперсов, радионяня для связи матери и ребенка. Марфуша приобретает реальность с каждым днем!

Вика радовалась ярким красивым вещам, особенно экскаватору и соскам, и не заметила, что радуется одна. А Катька даже не обрадовалась рожку в виде куклы, который

я купила в аптеке у Аничкова моста. Вежливо повосхищалась, и все. Она так сосредоточенно о чем-то думает, что даже не смеется.

У нас много Эллы, мало Катьки.

Элла всегда у нас, сидит в своих шлепанцах на шпильках, а если у нее вечерний прямой эфир, то после спектакля приходит Катька и остается ночевать. Такая строгая очередность, как будто день и ночь... Катька редко остается ночевать, а ведь мы с Катькой... мы же семья, пусть и странная. Но Элла не заказывала Санечку вместе с Катькой...

Несправедливо, чтобы Элла ничего не знала, и может быть, она все-таки уберется, если узнает, что Катька беременна. Но сказать ей я не могу – это уже не интрига, а мое прямое участие.

Сказать не могу, могу забыть на видном месте соски.

– Это кому? – Элла показала на соски.

– Это мне, – ответила я.

– Знаешь, почему мне это безразлично? – Элла кивнула на соски.

Я растерянно молчала. Она ЗНАЕТ?

– Вот я – я люблю себя. Я от него материально не завишу. Я никогда не буду зависеть от него психологически. Ему нужна сильная женщина. Ему нужен партнер по жизни, а не эти ваши шуточки, глупости, нежности.

Санечке не НУЖНЫ «эти наши нежности»?..

Катьку как-то утром тошнило. Она сгорбилась и виновато поглядывала на Санечку: «Я беременна, я не специально, но вот...». Менялась в лице – бледная, красная, опять бледная, выбежала из-за стола, и мы услышали звуки. И он сказал: «Меня самого сейчас стошнит. Это что же, ближайшие месяцы так и будет? Неужели нельзя как-то сдерживаться?» Еще недавно Санечка ее любил! Это всегда знаешь, если сидишь рядом, из нежностей, невысказанных слов, из воздуха. А сегодня поглядывает на Катьку зло и непонимающе, взглядом «что ты тут, рядом со мной, делаешь?!»

Катька не обиделась. Санечка очень брезгливый. Он не может прикоснуться даже к губке для мытья посуды или к тряпке для пола. Он не выносит неприятных запахов. Из-за этого у нас нет собак – щенок же писает на пол, а он не сможет видеть даже, как я вытираю лужу. Он боится крови. Ненавидит слабости, болезни. Чужая боль вызывает у него досаду.

Один раз ему стало плохо, когда Катька вытаскивала ему занозу. Не от боли, а от брезгливости. Он так брезглив к любым проявлениям физиологии, что даже своей болезни не выносит! А не то что Катькину беременность.

Но Санечка никогда не скажет «нет». Он скажет «решай сама».

Я много раз видела, как он расставался со своими женщинами, – он никогда не выясняет отношений, не ссорится, не говорит «нет». Он умеет расставаться не жестоко, просто исчезнуть – он тут, но его как будто нет. Исчезнуть, уплыть и потом появиться уже в новом качестве – было так, стало этак. Санечка держится с Катькой ровно, спокойно, не шутит, не подтрунивает над ней.

А что, если это только я думаю, что он никогда не расстанется с Катькой, а он уже принял решение исчезнуть, уплыть, а потом появиться уже в новом качестве – он сам по себе, а она с Марфушей сама по себе?

Может быть, для всех это «не твоё дело» и «взрослые сами разберутся». Но у нас не так! Это мое дело тоже.



Вечером я пришла к Санечке.

– Поговорим?

Санечка кивнул.

– В лицее что-нибудь?

Ненавижу, когда меня спрашивают: «В лицее что-нибудь?», как будто моя главная жизнь в лицее!

– Ты не рад, что будет ребенок? – спросила я.

– У меня уже есть ребенок – ты, – ответил Санечка.

Катька тоже так говорила – у меня уже есть ребенок, ты. Приятно, что у всех уже есть я и им меня достаточно. А теперь все изменится. Санечка будет говорить «мои девочки».

...Но Я его девочка! Но это все меняет, абсолютно все! Пусть лучше будет мальчик. Тогда Санечка будет говорить «мои дети». Это, наверное, можно пережить.

– Я и сам хотел поговорить с тобой об этом... о природе любви. Ты же все равно в гуще событий. Понимаешь, Маруся...

...Я ушла от Санечки потрясенная. Но хорошо, что я теперь это знаю! Многие взрослые женщины так и проживут, не узнают это никогда, а я знаю. Что мужчины и женщины мыслят совершенно по-разному!

Санечка сказал:

Первое. Эта беременность (он так и сказал «эта беременность») – нечестная. Это попытка контроля над его жизнью, попытка лишить его свободы. Оказывается, для нас Катькина беременность – чудо, ОНА БЕРЕМЕННА ПЕРВЫЙ РАЗ В ЖИЗНИ! А для него это вообще не аргумент. Какое значение имеет ДЛЯ НЕГО, первый раз или десятый, если ЕМУ это не нужно. Санечка сказал: мужчине важна не сама женщина, а каким он чувствует себя с ней, его физические ощущения, душевный комфорт. Только слабые люди позволяют собой манипулировать и навязывать неинтересные им ситуации. Нам кажется, что будет так: счастливый Санечка над ребенком, говорит ей растроганное спасибо, обожает и ребенка, и ее. Она надеется, что будет «семья», а оказывается, Катькин ребенок – это «неинтересная ситуация»...

Второе. Катька – единственный человек, которого он любит, кроме меня и Вики. Единственная женщина в его жизни. Со всеми остальными у него были просто отношения. Отношения – не обязательно любовь, это игра и чтобы не было скучно. Это всегда ненадолго, словно видишь женщину со спины, кажется, она красива, а как повернется – у нее пошлое лицо. И только у Катьки не пошлое лицо.

По-моему, все первое противоречит второму, разве нет?

Он не сомневается, что полюбит ребенка, но отношения с Катькой не сохранятся, Катька с ребенком ему не нужна. Ей придется выбрать – он или ребенок. Режиссер всегда знает то, чего не знают другие. Для нее самой лучше, чтобы ребенка не было. Но... что же, у нас не будет Марфуши? Я сердилась на Санечку, как будто она уже у нас была.

Санечка впервые говорил со мной так откровенно и чуть-чуть растерянно. Как будто ему нужна моя помощь! Как будто я должна помочь, чтобы они не расстались.

### **Моя главная жизнь**

– Он думает, что это нечестно... Ему было противно, когда меня тошнило. Он не хочет меня с ребенком... Это же так, правда?

Я промолчала. Катька почти дословно повторяла все, что говорил Санечка. Она всегда знает, чего он хочет. Мы все, и Санечка, и Катька, и Вика, и я, всегда знаем, чего каждый хочет, даже если промолчим, не скажем словами. Мы все друг про друга знаем, и нам больше никто не нужен.

– Ты ведь тоже не хочешь, я знаю, ты боишься...

Катька всегда так смотрит, как будто мое мнение решающее.

– Ты же сама говоришь – у тебя уже есть ребенок, я, – осторожно сказала я, – я ваш с Санечкой общий ребенок. Тогда зачем вам еще один ребенок?.. Ты что, многодетная мать?

– Зачем нам еще один ребенок, – как печальное эхо повторила Катька и опять посмотрела на меня, как будто от моих слов зависит все.

С одной стороны, Катька жертва, а Санечка виноват, у него такое молчаливое четкое отношение к ее беременности. Он виноват, и я виновата. Катька жертва нашего молчаливого сговора.

С другой стороны, нерешительность нерешительного человека очень упрямая! Катька ни за что не хочет сама принять решение. Просит, чтобы решение за нее приняли Санечка и я. А что я? Меня спросили, я честно ответила – не хочу. Санечку спросили, он честно ответил – не хочу.

С одной стороны, Катька жертва чужих хотений. Но что делать, если у нее вообще нет воли!!! Жертва чужих хотений всегда жертва себя самой.

– Ну, прости меня... – попросила Катька.

– За что ты просишь прощения? – удивилась я.

– Ты уже купила соски... и рожок, а Вика купила подогреватель, утилизатор памперсов, радионяню... Только не говори Вике. Она меня убьет.

Я не спросила, не говорить Вике что? Сделала вид, что не поняла.

В конце концов, пусть Катька сама решает. Она взрослая, а я ребенок. Я вообще не хочу об этом думать.

### **Моя другая жизнь**

Мое домашнее задание от Санечки было придумать биографию Эллы.

На основании моих наблюдений совершенно ясно, что она не та, за кого себя выдает.

В Интернете все вранье. Что же ее замечательная семья не научила ее читать стихи? Пользоваться ножом и вилок? Смеяться?

Кем она была до того, как стала знаменитостью?

Санечка всегда был режиссер, Катька актриса, Вика вечная студентка, Санечка и Вика всегда жили в нашем доме у Екатерининского сада, а кем была Элла до того, как стать знаменитостью на всю страну? Ткачихой, милиционером, золотодобытчиком на Севере? Ее биография – бедное детство, жажда быть в центре внимания, быть лучше других. Продолжение ее биографии – хваткая, с повышенной приспособленностью к жизни провинциалка приехала в Петербург и покорила его, наш бедный Питер.

Ей можно придумать множество похожих биографий, в которых будет бедное детство и приехала-покорила, но я знаю ее НАСТОЯЩУЮ биографию.

Настоящая биография Эллы: пылилась в хозяйственном магазине, никому не нужная, потом ее завели ключиком, и она стала злая швабра.

Я не буду говорить о ней с Санечкой. Он забыл о своем задании придумать Элле биографию, и просто я не хочу.

Мы с ним как-то не вместе насчет нее.

Вчера Элла рассказывала о своем новом романе:

– У одного моего персонажа, еврея, отец был маламут.

– Отец твоего персонажа – собака? – спросил Санечка.

А Элла с важным видом:

– Ты что, не знаешь таких простых вещей?.. Маламут – это учитель в школе.

Санечка только улыбнулся.

Я посмотрела в Интернете: у отца Эллиного персонажа, школьного учителя, мягкая шерстка, пушистый хвост, интересный окрас, темнеющий к спине, умный взгляд, в котором есть что-то волчье. А учитель в начальной еврейской школе называется меламед.

– Учитель в школе – это меламед, – сказала я.

– Элла, ты папуас, – сказал Санечка, – никогда не знаешь, чего от тебя ждать, в любой момент можешь залезть на пальму и начать махать хвостом.

– Ну, не знаю. Но на это у меня есть редактор, – небрежно сказала Элла, – и вообще, я пишу для простых людей простым языком.

На что у нее есть редактор, махать хвостом?

Почему она не обиделась? Не знает, что такое папуас, пальма, хвост?

А что, простым людям можно врать, что ее персонаж произошел от собаки? А если она в прямом эфире что-нибудь перепутает?! Чтобы медийное лицо было такой дурой!.. Теледура.

Людоедка-Эллочка, бе-е.

Почему Санечка ей все прощает, только улыбается?

Умный тонкий человек имеет главную любовницу швабру. Умный тонкий человек ложится с ней в постель. И главное, не видит, что в ней есть что-то еще, и это гораздо опаснее. Чем если бы она была просто швабра.

### **Моя главная жизнь**

Катька сделала аборт. Она уже знала, что сделает аборт, когда со мной разговаривала. Я все-таки спросила ее, нет ли моей вины, не была ли это последняя капля... ну, все-таки спросила.

– Ты что, Маруся! – чуть более тонким голосом, чем обычно, вскричала Катька, – ты что, считаешь, я такое ничтожество, чтобы перекладывать на тебя ответственность?! ...С беременностью мне пришлось бы перейти во второй состав. И все. Никакой Маши!

– Но это ГОРАЗДО ВАЖНЕЕ, – сказала я, – это ГОРАЗДО ВАЖНЕЕ, чем роль.

– Сказать тебе один секрет?

Катька пошептала мне на ухо. Первое слово было «шшш», и дальше только «шишш». Это она нарочно, чтобы я не поняла.

Но я знаю ее секрет – Катьке важнее всего Санечка. Санечке ее беременность не нужна и не интересна, а справится ли она с ролью – ему интересно. Катька вообще все делает для Санечки. Она и аборт сделала для Санечки. Для роли, но и для Санечки.

– Но все говорят, что у тебя был последний шанс.

– Они не понимают, – упрямо сказала Катька.

«Все» – это Вика, «они» – это тоже Вика.

Катька просила меня не говорить Вике, а сама ей сказала. Решила не дожидаться, пока в моей комнате у Вики вырастет огромная куча детских самосвалов и сосок.

– Ничтожество, вот ты кто! – бешено закричала Вика. – Забеременела раз в жизни и сделала аборт! И ради чего? Ради роли! Но роль-то все равно у тебя не получается! У меня от тебя давление поднимается! А может, ты просто испугалась? А?! Объясни свое поведение!

Катька упрямо молчала, не хотела объяснять. Это очень интимный секрет, в котором ни к чему признаваться человеку, который называет ее «ничтожество, вот ты кто». Не станет же она шептать Вике на ухо «шшш».

Странно, что Вика этого не понимает. Люди **ВООБЩЕ ДРУГ ДРУГА НЕ ПОНИМАЮТ**.

Мы с Катькой остались в тот вечер ночевать у Вики. Вика приносила Катьке то конфету, то сушку, швыряла в нее конфетами и сушками так злобно, как будто хотела Катьку прихлопнуть.

А мы с Катькой лежали под одним пледом.

– Я стала лучше репетировать... после этого, – сказала Катька, – чувствую себя плохо, слабость, озноб и из-за этого как будто перестаю себя контролировать и лучше репетирую. Я теперь специально не высыпаюсь.

Катька называет нового режиссера просто «он».

– Знаешь, что он говорит? – Катька выбралась из-под пледа, вытащила меня, схватила за плечи и закружилась вместе со мной в странном танце, то приближая меня, то отталкивая. – Он говорит... раз, раз, лови ритм!.. Он говорит, что я... раз, раз... стала лучше!..

Катька возбужденно ходила по комнате, прижимала руки к груди и, кажется, была немного в образе Маши.

– Он так глубоко разбирает, что происходит между персонажами. ...Так тонко разъясняет психологическую картину... Говорит, что любовь Маши замешена на страдании, на срыве, она сама знает, что тихое счастье не для нее. Я не понимала, а теперь понимаю! Мне повезло, что он такой молодой, почти мальчик. Я его не боюсь... почти.

Режиссер и актриса всегда не на равных, они всегда учитель и ученица. Почему именно с этим режиссером Катьке впервые в жизни кажется, что она хорошая ученица? Потому что он почти мальчик? Или он просто умеет работать с актерами? Но он не может быть лучше Санечки!

– Он говорит – нужно самой почувствовать! Сестры сначала верят, что уедут в Москву, а потом уже не верят, говорят об этом по привычке. Это все знают, это общее место. Помнишь, мы с тобой на даче сидели и вдруг так соскучились по Санечке? Дождь шел стеной, помнишь? Мы заволновались, забегали, стали собираться в город, а потом я подумала – Санечка не звонит, он занят, лучше мы завтра поедем. Утром встали, и я подумала – он же не звонит, что мы поедем, лучше завтра. А назавтра я думаю «сейчас поедем к Санечке», а сама уже знаю – не поедем. НУ ЧТО?!

– Что?

– Маруся! Ты что, специально не понимаешь?! Я вспомнила – в моей жизни много раз было такое – говоришь, что сделаешь, а сама точно знаешь, что не сделаешь! Я вспомнила!

– Да.

– Что да?

– Хорошо, что ты вспомнила. Здорово.

– Ну ладно, не ревнуй, – улыбнулась Катька и забралась обратно под плед, – знаешь, у меня, кажется, те же ощущения, привычки, что у нее.

И Катька вдруг больно ущипнула меня.

– Это не я, это она. Помнишь, у нее часто неожиданные реакции? – невинно сказала Катька. – Я даже иногда думаю – если бы я была Машей, как бы я поступила? И знаешь что? Маша бы сделала... это.

Маша сделала бы аборт? Потому что не нужна любимому? Потому что любовь Маши замешена на страдании и тихое счастье не для нее?

Ночью мне приснилось, что рядом со мной бегемот, дышит очень громко. Это Катька так громко вздыхала. Даже не понятно, откуда в таком маленьком теле такие вздохи, как у бегемота. Я к ней придвинулась и хотела сказать – бегемот, потише! А она – плачет!..

Ну, тогда мне вообще ничего не понятно.

## ЗИМА

### Моя другая жизнь

– Сегодня вторник, но у меня дела, – я на музыку, дополнительное занятие, – сказал Элик.

– А я пройду по Невскому. Ко мне музыка вечером домой придет.

– До следующего вторника, – попрощался Элик.

Какое смешное слово «пройду»! Возвратная частица «ся» очень коварная, «убираюсь» нельзя говорить, а «пройду» можно, но все равно звучит смешно. Я пройду себя по Невскому, куплю в Доме книги какую-нибудь Эллину книжку, усажу себя на веранде у Казанского, заверну себя в плед и задумаю себя о природе творчества. Может быть, мне стать писателем?..

В Доме книги меня встречала Элла. Сначала она улыбнулась мне у входа с огромного плаката. Потом я увидела Эллу в центре зала – она лежала на столе с бестселлерами – одна. То есть весь стол с бестселлерами занимали ее книжки, их было триллион. Я взяла одну, маленькую, желтенькую и тихо сказала: «Привет, Швабра!»

– При-ивет, – услышала я знакомый голос.

Вика! Вика должна быть на свидании с профессором, а она здесь, в Доме книги, в нескольких метрах от меня... Стоит ко мне спиной, в руках увесистая стопка Эллиных книжек и огромный букет роз, – значит, свидание прошло хорошо, профессор ее любит, она счастлива.

– Хм, – отозвался человек, похожий на гнома.

А мы его знаем, этого гнома!.. Гном – очень модный человек, известный литературный критик, выступает по телевизору, печатается во всех петербургских журналах. Вика читает его статьи и говорит «ну, это уж слишком», – он сражается злобно и жестоко, не хуже Белинского, раздает писателям обидные прозвища, обвиняет писателей в слишком длинных носах и слишком толстых щеках. Вот если бы он написал про Эллу, что у нее зубастая улыбка!..

Но он не обращает внимания на маленькие яркие книжечки, – он же литературный критик, а не масскультурный.

Критик стоял рядом с Викой и брезгливо смотрел на стеллаж «Книги петербургских авторов».

– Вы читали свою последнюю статью в журнале «Культурный Петербург»? – спросила Вика. – Я просто в восхищении! Так зло, так тонко! Умно. Вы единственный так разбираетесь в... во всем!

– Хм, – ответил критик. Но это было уже совсем другое «хм». Не равнодушное «хм» пожилой навязчивой даме, а гордое «хм» своей милой интеллигентной поклоннице. Он застенчиво улыбался. Наверное, его злость распространяется только на литературную борьбу, а в жизни он нежный и добрый.

Вика придвинулась к критику поближе, почти уперлась ему в грудь розами. Я видела Вику только со спины, но я знаю, какое у нее сейчас лицо, у нас такое Викино лицо называется «Зверь готовится к прыжку». Я не видела Викино лицо и не могла расслышать, о чем она говорит, но зато я видела, что происходило с критиком. Он в ужасе отступил, потом еще немного отступил.

Вика так действует на мужчин. Они ее пугаются! Вика же с детского сада уверена, что неотразима! Что она до сих пор фея-длинноножка.

Но ведь это только Сережке кажется, что она третьеклассница, а для всех остальных она немолодая пышная властная дама, и Викины приемчики из детского сада – наивный взгляд, беспомощные интонации, стреляющие глазки, мгновенная улыбка – кажутся им совершенно неуместными. Поэтому первая реакция мужчин – ужас. Как будто крупный опасный зверь вдруг кокетливо засюсюкал. Зачем, чего он хочет, напасть и съесть?..

А потом Вика... что делает Вика потом – это секрет. Не мой, конечно, а Викин. Но с мужчинами происходит что-то странное, в мужчинах при таком на них Викином наезде начинают бурлить какие-то пузырьки. Наверное, Викин секрет в том, что она забыла, что выросла. Она в детском саду, в первом классе, на первом курсе, и они тогда тоже в детском саду, в первом классе, на первом курсе. Они уже давно забыли, что такое любовь, и вдруг вспомнили. Как она это делает – играет как великая актриса? Никто не может описать игру Дузе, Ермоловой, Комиссаржевской.

И на лице у критика сменились ужас, изумление, заинтересованность, воодушевление, восхищение. Конечно, критик был польщен, что весь этот фейерверк улыбок и сверкающих глаз только для него, что именно от него эта величавая дама закружилась в любовном танце у стеллажа «петербургские авторы».

– А что это у вас за книжечки? – с мягкой укоризной спросил критик и тут же испугался. – Но если вам нравится... в нашей литературоцентрированной стране обилие новой развлекательной литературы воспринимается интеллигентными людьми болезненно, но нужно признаться, что...

Вот какая Вика! Вроде бы Вика отправилась в Дом книги за Эллиными книжками, но у Вики всегда получается из снега сахар. Из всего, что она делает, всегда получается именно то, что она в данный момент хочет. Сейчас хочет – роман.

Сказала, ей нужно три романа, значит, у нее будет три романа. Сережка уже есть, сейчас будет второй, потом третий. Вика уверена, что может получить любого мужчину.

Только в последнее время Вика как-то потухла, строила перед зеркалом горестные гримасы, бормотала: «Неужели это я... нет, не может быть... или все-таки может?..» В театре есть очень важное слово – кураж, это особое чувство, словно в тебе булькают пузырьки, часто говорят – без куража на сцену не выходи, не будет успеха. Вика потеряла кураж.

И вдруг! Оказывается, ей всего-то нужна была капелька восхищения, роман, розы, и она опять кружит головы мужчинам. Между прочим, это все я, режиссер Викиной жизни.

Я сидела на веранде, думала о природе творчества. Писателю не обязательно формулировать какую-нибудь очень интеллектуальную теорию смысла жизни. Но он должен знать, что есть религия, нравственность... а у нее шашни с Высшими Силами!.. «Шашни» – это Викино слово, не литературное, но смешное. Вика говорит «у них шашни» – значит, роман. Но это такой роман – не любовь, а какие-то темные интриганские отношения с потусторонним миром...

Я обернула Эллину книжку в суперобложку от Генри Миллера. Суперобложка от Генри Миллера велика Элле, но – вдруг на веранду придет М., а я сажу как дура с любовным романом!

М. подумает обо мне «гаинственная незнакомка, читает Генри Миллера».

Или «безобразие, почему сюда пускают детей».

Но может и просто не заметить меня, тем более его все равно нет.

Я наугад прочитала одну страницу. В первом же абзаце были: сильные руки, крепкие мужские плечи, теплые нежные губы, теплая мужская грудь, отросшая щетина. Ужас-ужас, еще хуже, чем я думала!..

И вдруг кто-то тронул меня за плечо и сказал: «Вы уже целый час здесь, что это за книжка такая интересная?»

– Подождите, мне чуть-чуть осталось... – пробормотала я.

Я прочитала всю книжку! Оказывается, миллионы ее поклонников не идиоты. Она знает какое-то волшебное слово, чтобы читатель по уши провалился в ее любовную историю! Пересказать историю нельзя – сильные мужские руки схватили кого-то за слабые женские плечи и куда-то поволокли, – но и оторваться невозможно! Есть и обаяние, и интрига, и даже юмор. Она талантливая!

Но. Мой преподаватель литературы дает мне тему, я пишу эссе, или рассказ, или статью. Форму я выбираю сама.

На тему «Первая любовь» я написала лозунг «Презервативы защищают на 80 процентов», а на тему «Рост цен на коммунальные услуги» – маленькую пьесу о любви.

Мой преподаватель говорит – что бы ты ни писала, в этом всегда ты сама. Не может быть творчество отдельно, а человек отдельно. Он говорит, что женщина всегда проецируется в свое творчество, она всегда играет сама себя, пишет саму себя, и по ее творчеству можно нарисовать ее психологический портрет.

Но Элла так не похожа на свои сочинения, словно они принадлежат другому человеку. Космический пришелец без подсознания не может писать такие любовные-любовные романы! Может быть, за Элли пишет ее домработница? А может быть, у нее в подвале сидит литературный раб в цепях? Может быть, в Элле живет другой человек, и пока Элла спала, этот романтик просыпался и сочинял, сочинял... и сочинил 65 романов и одну пьесу.

Я могла бы спросить у М., как у него? Он очень тонкий человек, и к нему можно было бы подойти с таким вопросом. Не глупо хихикать «я вас знаю, вы такой гениальный», а спросить, что он думает о природе своего творчества. Может быть, он сказал бы, что творчество отдельно, а человек отдельно.

Но М. не было. И я пошла домой, понеслась по Невскому, как игрушечный заводной заяц, – скок-скок!

### **Моя главная жизнь**

Я неслась по Невскому, как заводной заяц, – вечером ко мне придет музыка.

А у нашего подъезда – Вика.

Вика с двумя букетами роз и критик, как подростки стоят у подъезда, разговаривают, не могут расстаться. Вернее, критик разговаривает, а Вика украдкой посматривает на часы. Сама мне говорила, что стоять часами у подъезда неприлично. В прошлом году, когда у меня был один наш одаренный. Вика подкарауливала нас и говорила: «Ах, какая неожиданная приятная встреча! Маруся, приглашай своего знакомого в гости, я просто мечтаю поговорить с таким умным человеком». А мы с ним хотели поговорить отдельно от всех, тем более от Вики.

– Ах, какая неожиданная приятная встреча! Вика, приглашай своего знакомого в гости, я мечтаю поговорить с таким умным человеком, – сказала я.

– Ваша бабушка – удивительная женщина, – нежно сказал критик, – вы знаете, мне всю жизнь казалось, что человек в белом халате – это полубог, небожитель...

Я удивленно оглядела Вику – она была в белых джинсах и белой куртке, но не в халате.

– А... – сказала я и закрыла рот. Вика посмотрела на меня с выражением «Задашь хоть один вопрос, сама будешь жить на небе!».

– В гости! Да! Но ровно в шесть часов мне нужно будет выйти, у меня деловая встреча, то есть мне нужно в больницу, – сердитой скороговоркой сказала Вика, и критик радостно распахнул перед нами дверь подъезда.

Пока мы поднимались по лестнице, Викин критик рассказывал о какой-то своей знакомой, которая тридцать лет принимала роды в Снигиревке.

Снигиревка – это роддом на улице Маяковского, Санечка там родился, и Вика тоже там родилась. О знакомой критика говорят: «Она лучший врач в городе, у нее любая родит». Критик восхищался – помогать детям появиться на свет – самая поэтическая профессия на свете...

Восхищаться кем-то, кого мы не знаем, было странно, но критики вообще странные люди. Сами не умеют написать книжку, поставить спектакль, играть на сцене, а других судят. Мне кажется, у всех критиков душевная рана – они все это хотели, но не смогли.

А что, если мне кажется, что я смогу? Поставить спектакль или написать книжку? А на самом деле я ничего не смогу? Тогда я смогу стать критиком.

– Это я, имей в виду, что это я, – улучив момент, шепнула мне Вика, – я тридцать лет в Снигиревке, у меня любая родит.

О-о! Понятно. Для критика Вика – врач-гинеколог, известный человек в городе, тридцать лет в Снигиревке, у нее любая родит. Солидная дама, владелица успешного бизнеса, а опять выдает себя за другого человека!

– Виктория, вы ходите как королева, – произнес критик.

– Привыкла к обходам в окружении врачей и студентов, – пояснила Вика.

Мой преподаватель по психологии говорит, что каждый человек живет в своем жанре. Катька живет в лирической мелодраме, Санечка – в романе, а Викин жанр – комедия. Но выдавать себя за другого человека – это уж слишком! Это уже не комедия, а гротеск! Жадина Вика, одной жизни ей мало, вот и придумала себе две жизни – покорные медсестры, покорные роженицы, и она среди них, вся в цветах, как королева.

У входа в наш тамбур стояла очередь из людей в костюмах и галстуках.

Вика заметалась глазами – очередь-критик, критик-очередь.

– Маруся, что это? – беспомощно спросила она.

Как что? Очередь с деньгами. Первого числа каждого месяца в 18.00 к Вике выстраивается очередь с деньгами.

Викин бизнес – недвижимость. Вика домовладелица, у нее пять квартир в нашем доме. Она сдает квартиры разным фирмам, и первого числа каждого месяца фирмы приносят ей деньги.

– Я врач, поэтическая натура, – прошептала Вика. – По-твоему, поэтическая натура собирает деньги с фирм как персонаж Достоевского? – И громко повторила: – Маруся! Я тебе говорю – что это?

– Это ко мне, – сказала я, – то есть, КАЖЕТСЯ, это ко мне. КАЖЕТСЯ, я завтра в лицей не пойду.

Вика и посмотрела на меня с выражением «Я тебе покажу, шантажистка!» и сладко пропела:

– Конечно, дорогая...

Вика любит недвижимость как десять тысяч персонажей Достоевского! Недвижимость для нее как наркотик. Она все время что-то комбинирует, продает, покупает, называя площадь кухни или ванной с точностью до сантиметра. При словах «квадратный метр» у нее загораются глаза, сжимаются губы – Зверь готовится к прыжку.

Санечка говорит, что раньше Вика была «одинокая женщина интеллигентной профессии», и когда пришла новая жизнь, она взяла новую жизнь за горло и велела – будь



моей! Санечка говорит: «Викон, какая у тебя хватка» – и иронически улыбается. Но разве «хватка», «все сама», умение мгновенно ориентироваться – это не предмет гордости? Просто Санечка ко всему относится с иронией.

– Я вынесу тебе классный журнал и сумку для денег. Пересчитай два раза. Ты помнишь некрасивые слова?

У Вики есть книга, похожая на классный журнал, в ней она ставит фирмам отметки за поведение – тишина чистота, вынос мусора, оплата вперед. У Вики нет должников, ей не нравятся слова «кризис», «временные трудности», «в долг». Она говорит, это некрасивые слова.

Я поставила сумку с деньгами в прихожей.

Ко мне пришла музыка.

Потом Санечка с Эллой, потом Вика – за сумкой.

Вика поговорила с Эллой о литературе.

– Видите ли, – сказала Вика, – в нашей литературоцентрированной стране обилие новой развлекательной литературы воспринимается интеллигентными людьми болезненно, но нужно признаться, что...

– Что? – спросила Элла.

– Нужно признаться, что... – повторила Вика и задумалась.

– Сама придумала? – хитро улыбаясь, спросил Санечка, когда Элла отвернулась, – не верю...

– Ну и не верь, мне-то что, – ответила Вика.

Она очень победительная, вся светится.

У всех в этой семье романы – Санечка и Швабра, Катька и роль, Вика и критик.

Сначала профессор, а потом еще и критик – один роман рождает другой роман, как цепная реакция.

А у меня что? Вот мое мужское окружение: Атлант, М., малышка Элик. Атлант – гений красоты и М. Оба гениальны и недоступны.

Даже если в меня влюбится малышка Элик, даже если в меня влюбится весь мир и у меня появится кураж, Атлант и М. меня не заметят, так и будут стоять, невыносимо прекрасные.

### **Моя главная жизнь**

Катька репетирует Машу.

Но она совсем не кажется счастливой!

Она всегда так громко радуется мелочам: «Прямо под нами залили каток!! Чур, ты меня катаешь, а потом я тебя!» или «Открылась новогодняя ярмарка, пойдем скорей!» Обходит увешанные гирляндами киоски, стреляет в тире. Так трогательно радуется выигранной свистульке, так наслаждается жизнью, как будто родилась для мороженого и каруселей. Что же, свистулька радует ее больше, чем роль?

Катька нервничает так сильно, как будто от этого зависит вся ее жизнь. А от чего – кто бы мог подумать!.. Не от роли.

Выяснилось, когда мы все пошли в театр.

Вика пошла на большую сцену, на «Бесприданницу», с профессором и критиком. Сидела в первом ряду между ними, и наверняка каждый из них держал ее за руку. Вика любит, когда ее обожают группой, считает, что от двух мужчин она получит не в два раза больше восхищения, а в три. Вот у нее уже и профессор, и критик. Она делает, что хочет, а оба смотрят на Вику влюбленно и немного с опаской, как всегда все ее мужчины.

О профессоре Вика сказала нам с Катькой так: «Как любовник он просто машина времени». Это понятно – значит, он как будто молодой. О критике Вика сказала: «Как любовник он оч-чень загадочный». Что она имела в виду? Катька засмеялась. Обидно, что она поняла, а я нет!

У Вики теперь два романа, и у нее совсем нет на меня времени, как раньше, в ее детстве. Вика не признает слово «молодость». Она никогда не говорит, как другие люди: «В молодости я...», Вика всегда говорит: «В детстве я...». «В детстве» может быть и в сорок, и в пятьдесят. Хорошо, что у Вики опять нет на меня времени, как в ее детстве.

Я пошла на малую сцену на «Хармса» инкогнито – одна, тайком от Вики. Потому что есть вещи очень интимные. Что я третий раз за сезон иду на «Хармса». Я каждый раз хожу на моноспектакли М.

М. гений. Он необыкновенно пластичный, волнится по сцене, шелестит, играет стихи. Каждое его движение – образ. Он может сыграть все – самовар, чижа, бульдога, нос, даму. И вдруг он уже не самовар или дама, а Хармс, странный, отдельный от всего мира человек!

Когда он читает дневник Хармса, я всегда плачу.

Хотя Хармс ничего такого трагического не пишет, просто что ходил в филармонию или были гости... Но я же знаю, что его убьют, и все!

Санечка считает, что нужно было вставить сцену, как он умирает в тюрьме, но М. не согласился, сказал, что Хармс не хочет, чтобы зрители плакали. М. лучше знать, потому что он и есть Хармс.

На каждом спектакле М. всегда толпа его поклонниц, они все похожи, с сумасшедшими глазами. После спектакля они не дают ему сойти со сцены, окружают, обвивают его и как будто уносят со сцены.

А я пошла в главное фойе – решила подождать конца «Бесприданницы». Подумала: спектакль скоро закончится, если я немного подожду, то смогу на аплодисментах войти в зал. Катька играет в этом спектакле одну из барышень в доме Огудаловой. Я посмотрю, как Катька выходит кланяться, а потом подожду ее у артистического входа.

Вика часто говорит: «Я сделала это без всякой задней мысли». Это означает, что у нее точно была задняя мысль.

У меня много мыслей, задние мысли обгоняют друг друга, лезут вперед... Моя задняя мысль – вдруг я смогу увидеть М.?.

Когда начали аплодировать, я отодвинула портьеру и проскользнула в зал. Артисты как раз вышли на поклонны.

Представьте, как артисты берутся за руки, делают шаг вперед и кланяются. Катька на выходах всегда кланяется ниже, чем другие, и быстрее всех отступает спиной со сцены, торопится скрыться за кулисами.

Ну вот, а теперь представьте – артисты взяли за руки, подняли руки... и вдруг две артистки резко вырвали у Катьки свои руки. Все сделали шаг вперед, а Катька растерялась, застыла на месте и осталась за спинами артистов одна.

И стоит там, за спинами, все кланяются, а она стоит вся красная, неловко оглядывается. Что это?! Это же против правил театральной этики, даже если артисты в ссоре, они не выносят на публику свои отношения!

Аплодировали долго, артисты выходили еще три раза, но Катька больше не появилась.

Я долго ждала Катьку у артистического входа. Уже все вышли, а ее все нет и нет, и я пошла в гримерку. Мне нельзя болтаться в театре, без спроса ходить по гримерным, нельзя вести себя в театре как у себя дома, но я все равно всюду пролезаю.

Катька сидела в гримерке у стола, все еще загримированная, в платье барышни.

– Что я им сделала, что?! – вскричала Катька. – Ленка хотела эту роль, и Женька, но я же не виновата, что они хотели Машу, а дали мне... Я объясняю, что я с ним не спала, а они не верят! А они говорят – посмотри на себя в зеркало, ты же не умеешь врать, у тебя все по лицу видно!

Катька посмотрела в зеркало и повторила.

– Я с ним не спала, честное слово, я не просила у него роль и не спала с ним! ...Ну, что, похоже на правду?

Если честно, не похоже. У Катьки такой голос, каким человек оправдывается, робкий и обманчивый. Бедная Катька. Как я ее понимаю.

Одна девочка, наша соседка по дому, сказала мне: «Моя мама говорит, что ты водишь домой взрослых мужчин». Я растерялась и бегом стала оправдываться: «Кто, я? Ты что? У меня даже нет своих знакомых, это друзья моего отца, моей бабушки...» Но она ТАК смотрела. Как будто говорила: «Ври больше! Кто же тебе поверит!» А я тогда начала глуповато смеяться – еще хуже.

Лучше мне было просто промолчать.

Самое невыносимо обидное, когда обвиняют в том, что ты **ВООБЩЕ** не делал. Чем больше **ВООБЩЕ НЕ ДЕЛАЛ**, тем подозрительнее себя ведешь, больше похоже, что **ТОЧНО ДЕЛАЛ**. Я эту девочку немного толкнула. Но Катька не станет толкаться.

Ленка и Женька обвинили Катьку в интриганстве: она обошла ведущих актрис и быстро переспала с новым режиссером. Это звучит смешно, как будто ведущие актрисы просто не успели с ним переспать!

– А при чем здесь Санечка?!.. Санечка здесь вообще ни при чем! И разве мне пришло бы в голову просить у Санечки роль?.. Они же знают, что я никогда! Я **ПРОШУ У САНЕЧКИ РОЛЬ** – это же смешно!

Катьку обвиняют в том, что она использовала свои отношения с Санечкой?.. Но ведь это совсем уж нелогично, ведь Катька годами сидела без ролей!

– Со мной никто не дружит, – печально сказала Катька, – никто, ни один человек, представляешь?..

Вот почему Катька все время такая расстроенная, вот почему она не радуется роли... Ленка и Женька подговорили каждая свой клан, и теперь никто не бросается к Катьке посплетничать, теперь все дружат против нее. А Катька привыкла приходить в театр как в клуб, где все ее любят, и ей плохо.

Бедная Катька, как я ее понимаю! У меня тоже один раз так было в первом классе. Мы дружили с девочками втроем, а потом меня исключили, взяли вместо меня другую девочку. Я тогда своих бывших подружек била портфелем, плакала и била. Но Катька не будет бить ведущих актрис портфелем. Она хочет, чтобы без битья портфелем все стало как прежде уютно и тепло, чтобы волчий оскал сменился прежней ласковой улыбкой.

Оказывается, у Катьки было много маленьких неприятностей, она не рассказывала, а сейчас рассказала.

Вот, к примеру, неделю назад. Катьке позвонили из театра – вызвали на репетицию. У Катьки в этом спектакле крошечная роль без слов. Она пришла, надела костюм – тулуп, шапку, валенки, так и просидела в тулупе и валенках всю репетицию. В конце репетиции Санечка заметил ее, удивился – зачем ты тут, тебя не вызывали.

И чья это была шутка? Катька не узнала, кто звонил. Но это и неважно.

Или два дня назад. Санечка смотрел прогон первого действия Эллиной пьесы. У Катьки там небольшая роль во втором составе. Но она на репетициях ни разу не вышла на сцену, всегда репетировала другая актриса. А когда стало известно, что на прогоне будут

Санечка и Элла, Катьке сказали – прямо перед началом – на показе будешь репетировать ты.

– Ну как я могла сыграть, даже не зная мизансцен? Зачем они так со мной? Что я им сделала? – удивлялась Катька. – Я же им никогда ничего плохого...

После показа, на обсуждении, Санечка сказал: «Очень плохо».

– И все слышали, как Санечка сказал обо мне «очень плохо», – в отчаянии сказала Катька. – И Он слышал. Он снимет меня с Маши.

Он – это новый режиссер.

Катьке позвонил Санечка, сказал – приходи.

Катьке позвонила Вика, сказала – быстро ко мне.

И мы с Катькой пошли домой.

Дома за чаем Катька сказала:

– И, главное, знаешь, Ленка и Женька меня уже почти простили. Но остальные почему-то нет. Но они же не претендовали на Машу?!

Я сказала:

– Может быть, ты так радовалась, так светишься, что им было завидно? Несколько раз сказала что-нибудь вроде «мы, сквозное действие, сверхзадача...», и они решили, что ты задаешься?

– Пф-ф, нет! Я совершенно не изменилась! – воскликнула Катька. – Я только больше не сижу часами в буфете, не ем пирожных, боюсь поправиться, и если мне что-то рассказывают, не погружаюсь в сплетни.

Санечка сказал:

– Не сидишь, не ешь, не сплетничаешь – совершенно не изменилась! Человеку, который не сидит часами в буфете, не ест пирожных, не откроешь свои обиды, этот человек уже на другой стороне мира, на солнечной. В театре легче пережить успех успешного актера, чем актера, который все эти годы был рядом в болоте. Людям кажется, что нарушается их представление о правильном ходе вещей. Им кажется – несправедливо.

– Только не говори Вике, – попросила Катька, – она скажет «и-ди-отка, тебе нужно о роли думать, а ты!...»

...Вика сказала:

– ...И-ди-отка! Вот что я тебе скажу – забудь, как их зовут! Они не стоят твоего пальца! Тебе нужно всем организмом стремиться к успеху! У тебя есть цель! Посмотри на меня!

Она же видела, как у Катьки вырвали руки на поклонах. Хотела Катьку утешить, сказать «они и мизинца твоего не стоят». Вика не умеет утешать, она умеет от возмущения дымиться как утюг.

Что толку Катьке смотреть на Вику? Если бы Вика участвовала в лыжных гонках, она была бы соперников лыжными палками. Вика, если видит цель, уже не видит людей, даже себя в зеркале не видит.

– Все говорят: «Ну, предложили роль, но зачем соглашаться?!» Говорят: «Если режиссер в нее влюбился, он, конечно, сделает ей роль, но дальше-то что, как она играть-то будет?» Может быть, мне отказаться? Лучше пусть люди опять ко мне хорошо относятся...

– Лю-уди? – изумленно сказала Вика.

На слова «что люди скажут?» или «а как же другие люди?» Вика всегда задумчиво повторяет «лю-уди?», как будто вообще не знает, что это такое. Вике все равно, что о ней подумают, – такое у нее великолепное безразличие к людям. Нет, она очень хочет, чтобы все ее любили, но только не в том аспекте, что она должна с кем-то считаться. А люди

отчего-то отвечают на это живым интересом. Как будто им чем все равнее, тем интереснее.

Я понимаю. Катьку не простили те актеры, которые все эти годы были рядом с ней, в болоте. Как будто Катька всегда должна была оставаться там же, где они, в болоте. Катьке кажется, что ее загоняют как лисицу в нору. Она хочет всем уступить, со всеми считаться. Ей важно, чтобы ее любили, важны отношения с кланами Ленки и Женьки. Но, по-моему, это все-таки МАЛЕНЬКИЕ неприятности.

Но я не понимаю. У нее, наконец-то, роль, а она свое большое счастье занавешивает маленькими неприятностями. Если бы у меня вдруг счастье, я бы пила его, как молоко, залпом, не стала бы кривиться, пенки отодвигать.

### Моя другая жизнь

В лицее сегодня было интересно. На уроке литературы обсуждали вульгаризмы и просторечия, но не отвлеченно, а кого какие слова раздражают.

Многих раздражает все, что связано с едой: «кушать», «вкусненькое», и ласкательно-уменьшительное – «котлетки», «курочка» или невыносимо ужасное «мяско».

Некоторых раздражают вульгаризмы, связанные с сексом, – трахаться, телки и другие.

По поводу ненормативной лексики вышел спор – девочки верещали «ах, ругаться матом!..» Но наш преподаватель считает, что некоторые матерные выражения ничем нельзя заменить. Я тоже так считаю. Например... и... и еще...

Но, как писал Толстой, «на все есть манера».

Когда Санечка говорит... или Вика говорит... или Катька говорит... это очень точные эмоциональные выражения, а если бы я сказала... это было бы грубо и неуместно.

Меня раздражает, когда говорят «ужасно красивая». Это оксюморон, сочетание несочетаемого. Оксюморон можно использовать в литературной речи («Живой труп» или «Обыкновенное чудо»), но не в разговорной. Еще меня раздражает, когда говорят «я убираюсь в комнате», это означает «убираю себя».

Сегодня вторник, Элик провожает меня до памятника Екатерине.

– Знаешь, почему я выбрал тебя? Я, пожалуй, могу тебе сказать.

Он, пожалуй, может!.. Кто будет с ним общаться, если он говорит «пожалуй»! Даже наши «одаренные» не будут!

– Пожалуй, скажи, а я, пожалуй, послушаю... – сказала я. Глупый теленок, смотрит на меня глупыми телячьими глазами.

– Я выбрал тебя из всех, потому что ты другая, – сказал Элик.

Приятно. Я не такая, как все, я другая.

– Мы оба другие, – уточнил Элик.

Я, конечно, «другая», но в смысле особенная, не такая, как все. А вовсе не «другая» вместе с Эликом. Вот еще, быть «другой» вместе с розовощекой несмышленной куколкой!

– Одинокие, – сказал Элик.

– Я?! Одинокая? Ты что?! – засмеялась я. – Ты думаешь, если у меня нет мамы?.. Я не одинокая! Я просто другая! Я, я... я была под пулями! Ты видел на небе следы от пуль – зеленые, синие, как будто фейерверк?

– Ты обманываешь, ты не видела на небе следы от пуль.

Ну, возможно, я обманываю, и что?

– Я не одинокая! У меня знаешь, сколько всего есть! У меня есть в сто раз больше, чем у всех! У меня есть свой мир.

У тебя есть свой мир?

– У каждого человека есть, – удивился Элик.

– Я имею в виду не свой мир, а СВОЙ МИР.

Как объяснить куколке, что все мы в нашей семье связаны тончайшими любовными нитями? Как объяснить, что мы не просто какие-нибудь «отец, дочка, мама, теща», у нас каждый каждому по кругу «нежный сообщник»?.. Каждый из нас для чего-нибудь: я, чтобы меня любили, Санечка, чтобы мы его любили, Вика, чтобы командовать нами, Катька, чтобы был уют и безопасность. И что мой мир полон дорогих нам мелочей, разной прелестной чепухи, что...



Глупо говорить это Элику, правда? У каждого есть свой мир, и у Элика тоже есть свой мир, его мир состоит из мамы, папы, бабушки, брата, сестры, родственников и тоже полон дорогих ему мелочей.

– Ты все равно не поймешь, – сказала я.

Повернулась и ушла от него.

...Ох, а куколка-то почему одинокий? Я не спросила: а ты-то почему одинокий, бедная маленькая куколка?

– Эли-ик! Подожди! – я подбежала к Элику. – А ты почему одинокий? У тебя же мама-папа-брат-сестра?

– Я одинок как всякий умный человек, – сказал Элик.

Все очевидно – подростковые комплексы.

Но он хотя бы понимает, что он мне сказал, этот доморощенный психолог, эта куколка хренова (вульгаризм), этот дурачок (просторечие)?

Он сказал, что я одинока, потому что у меня нет мамы, а он одинок как умный человек. Жалко его – как он будет жить, если он ни-че-го не понимает...

От памятника Екатерине я пошла не домой, а обратно на Невский.

На веранде был М.

Вот кто точно другой, это он. В театре у него плохо, на душе плохо.

М. два раза сорвал репетиции – он же пьет. Санечка в наказание временно закрыл его моноспектакли. Моноспектакли не приносят театру доход, и Санечка предоставлял М. малую сцену просто из уважения к его таланту. А теперь он пьет из-за того, что Санечка сказал – ищи себе другую сцену. Санечка говорит – ему бы только найти причину.

На душе у него плохо – я же вижу, как он смотрит на свою рюмку водки. Как будто на всем свете они только вдвоем, он другой и она другая.

### **Моя главная жизнь**

Вика сказала нам с Катькой, что ее сексуальная жизнь увеличилась на одного человека.

– Не стыдно тебе, девица, изменять Сережке? – спросила Катька.

– Мне стыдно? С ума сошла?! Я изменяю по-честному. Они же друг с другом знакомы.

Профессор и критик часто бывают у Вики вдвоем, сидят-пересиживают друг друга.

Взрослые старые люди, а ведут себя, как будто они персонажи старого кино, – один перед Новым годом ходит в баню, другой жених, а Вика как будто томная красавица с гитарой.

Когда они вместе, Вика обращается с ними строже, чем по отдельности. Критик думает – Вика привыкла иметь дело с людьми под наркозом, вот и обращается с ними как с

роженицами, а профессор ничего не думает, он так слушается Вику, что даже не смеет разоблачить Викино вранье. Вика при нем врет критику, что она врач.

– А у вас, уважаемый, кажется, лекция, – потирая руки, говорит гномик-критик.

– Я могу опоздать на пару минут, – отвечает длинный худой профессор, горестно поглядывает на Вику и нервно убегает. Критик всегда пересиживает – у него же нет лекций, заседаний кафедры, защит аспирантов, он притуляется за столом на Викиной кухне и пишет свои статьи, не отрываясь от Вики.

– Вы что, девочки, ничего не понимаете? Они мне оба нужны, – сказала Вика.

Для Вики все что-нибудь делают. Профессор вкручивает ей лампочки и чинит кран в ванной, а критик водит ее повсюду, на разные модные мероприятия. Вике особенно нравится ходить в редакции толстых журналов.

– Викон, когда ты среди пожилых литераторов, у тебя создается впечатление, что ты – Старая Питерская Интеллигенция, – сказала Катька, – а когда ты с профессором, тебе кажется, что ты еще в третьем классе. Конечно, они оба тебе нужны.

– Давайте подробно обсудим мой любовный треугольник, – предложила Вика.

Катька на диване, я на гинекологическом кресле, Вика перед нами как актер на сцене, прижала руки к груди.

– Знаете, девочки... Мне эмоционально очень тяжело...

Таким нежно-задумчивым голосом в кино обсуждают сложный любовный треугольник, и Вика обсуждает свой любовный треугольник таким голосом, блестя хитрым взглядом.

– Я не могу никого бросить. Нет, я не взвешиваю, кто полезнее и больше меня любит» Но Сережка мне лампочки и кран, а критик любит меня как-то ярче, красивее... Девочки, я же в этой сложнейшей ситуации все сама! Я всех ограждаю от страданий, от ревности, вся эмоциональная тяжесть этого треугольника на мне... Катька! Маруся еще ребенок, но ты-то понимаешь, как мне тяжело?!

У них неравноправная дружба. Они как хитрая лисичка и простодушный зайчик. Вика свой интерес соблюдает каждую секунду: «Ты меня уложи, подоткни одеяло и убаюкай, а когда я засну уютно, ты ночью пойдешь домой за тридевять земель». А у Катьки никогда нет своего интереса, только болтать, смеяться, слушать Викины истории. Катьке и в голову не приходит сказать – а теперь твоя очередь меня баюкать. Это называется «синдром закадычного друга» – когда один друг, очень скромный, живет жизнью другого, более яркого, агрессивного.

Правда, иногда Вика может пожить Катькиной жизнью. Вика где-то услышала, что знаменитые актрисы очень внимательно относились к мелочам, это помогало им входить в роль. И теперь моя комната у Вики как будто костюмерный цех. Мое гинекологическое кресло завалено длинными юбками, дырявыми блузками, корсетами с пожелтевшим кружевом, поясами для чулок. Мы с Викой добыли всю эту одежду начала века в антикварных лавочках во дворах на Литейном, на Владимирском, на Пушкинской. Обошли все дворы, все неказистые, без вывесок магазинчики, рылись в корзинах и сундуках, и все нашли, и даже пояс для чулок, и рваную шаль, и поломанный лорнет!

Вика спросила:

– Катька, а как у тебя репетиции, нормально?

– Нормально, – сказала Катька. Она знает, что Вике интересно закупить рваных юбок, а слушать про репетиции неинтересно. Катька и сама не хочет рассказывать. Ей кажется, что рассказывать – значит, привлекать к себе внимание.

А у нее совсем не «нормально»! Она до смерти боится. Она в детстве боялась старших и до сих пор боится. Старшими она считает всех. Сейчас боится Чехова. Ей в институте

говорили – в классике вы должны трепетно относиться к каждому слову, это же классика, а не Ивановпетровсидоров!

Катька изучает всех исполнителей своей роли. Начала с первой Маши, Книппер-Чеховой. А потом ей нужно все чужое творчество забыть и быть собой, своей Машей, иначе как сделать новое и интересное? Классику очень трудно играть, с одной стороны, роль вся в штампах. А с другой стороны – сыграет по-своему, а все скажут: «Разве это чеховская Маша?»

### **Моя главная жизнь**

Вика все время хочет обсуждать свой любовный треугольник! Вздыхать, спрашивать, кто ее больше любит и как ей быть в такой сложной ситуации, чтобы никому не сломать жизнь.

Что-то придумывает, врет, что ей куда-то нужно, и Катька должна ее сопровождать.

Придумала, что ей нужно лечить кариес, а одной страшно. Повела нас в красивую клинику на Невском, ту самую, в которой она лечила псевдоперелом. В этой клинике есть все, даже пластическая хирургия.

От Викиного желания обсуждать два своих романа получился третий роман!

Викино третье мужское плечо – Лев Борисович. Он врач, гинеколог, владелец красивой клиники на Невском.

Вика познакомилась с Львом Борисовичем по месту лечения – устроила скандал. Что-то ей там не понравилось, то ли стоматолог, то ли гардеробщик, то ли очередь, и она потребовала самого главного. Ворвалась в кабинет, и нам пришлось идти за ней, как бычкам на веревочке.

– У вас там знаете что? – сказала она страшным голосом. – Очередь!

Вообще-то Вике никакая очередь не страшна. У нее такая свирепая энергетика, что очередь сама перед ней расступается, как будто падает в обморок.

– Там всего один человек, и он уже вошел в кабинет. Извините, пожалуйста. – Катька дернула Вику за руку.

– У вас там очередь из одного человека, а я не могу в очереди! У меня через десять минут лекция!

– Где вы читаете лекции? – Человек с голой, как шар головой, как у Маяковского, привстал с кресла в том смысле, что он сейчас доставит Вику на лекцию. На пиджаке у него бэйдж «Лев Борисович», без фамилии.

– Катька, Маруся, выйдите и ждите меня в коридоре... А хотите, идите домой. Идите, идите, девочки, погуляйте пока, давайте встретимся в Пассаже на нашем месте, – ласково сказала Вика. Выходя из кабинета, мы услышали – «читаю лекции в университете».

Мы с Катькой обошли весь Пассаж, рассмотрели все, что мы любим, – украшения, посуду, косметику, сувениры и обувь на первом этаже и поднялись на второй в отдел белья. Это и есть наше место, мы часто сюда ходим втроем.

Мы успели сложить в соседние кабинки по красивой воздушной кучке ночных рубашек, купальников, лифчиков и начали примерять, и тут появилась Вика, ворвалась в отдел как водная ракета, рассекая пространство, – бж-ж!

– Ну что... У меня совсем немного времени, ему шестьдесят четыре года! – закричала Вика. – Я имею в виду, что мы с ним через час встречаемся. Ему шестьдесят четыре года.

– О-о! Нет, не годится. Ему шестьдесят четыре года, а тебе шестьдесят три. Это же совершенно другое поколение, у него другие понятия обо всем, – сказала Катька из кабинки. – Ты можешь называть его «дядя Лева».

– Наврал, как все мужчины! Сказал, что не живет с семьей, а у самого большая разветвленная семья от трех браков, – рассказывала Вика, пытаясь проникнуть в Катькину



кабинку. – Он не живет, но семья продолжает с ним жить. Не переставая звонил телефон – он постоянно кого-то лечит.

– Все что-нибудь для тебя делают, один Лев Борисович не может ничего для тебя сделать... – задумчиво сказала Катька, – кариес ты вылечила, его деньги тебе не нужны. В практическом смысле он для тебя совершенно бесполезен. Пусть просто украшает твою жизнь. Маруся, зайди, посмотри на меня.

Я зашла к Катьке, она стояла в цветастом кружевном пеньюаре, такая нежная и красивая, – одуванчик в пеньюаре. Какой смысл быть такой красивой, как Катька, если совсем этим не пользоваться? Я сказала – супер и пошла в свою кабинку.

– Чтобы просто украшать мою жизнь, он слишком стар... – проворчала Вика. – Послушай! Он может кое-что для меня сделать! Может обследовать тебя в клинике! Проверишь сердце, язык покажешь... Вот что значит связаться с пожилым человеком – начинаешь думать о здоровье! Расстанусь с ним, и все!.. Нет, правда, пойдешь, развлекись. Роман заведешь. Знаешь, как люди легко заводят романы в кабинете врача? С врачом.

– Маруся! – позвала Катька каким-то напряженным голосом. – Зайди.

– Лева вам понравится, он умный, ироничный. Надеюсь, он будет обращаться с нами, как будто мы его четвертая семья. Он уже назвал Марусю за глаза «внученька», это очень приятно, у Маруси еще никогда не было дедушки. А мы с тобой, Катька, будем называть его дядя Лева... Что тебе, застегнуть? Давай я, – предложила Вика.

– Нет, пусть Маруся, а ты лучше померяй какое-нибудь сексуальное белье, – предложила Катька.

Катька стояла в кабинке в том же цветастом пеньюаре в странно замершей позе. И лицо у нее было странное, недоверчивое, как будто она увидела перед собой что-то страшное и совершенно нереальное, – чудовище из сказки.

– Ты что такая... – начала я и осеклась.

Катька прижала палец к губам – тише, Вика услышит.

Катька нашла у себя в груди шарик.

– А что это, шарик? А тебе не показалось? А что ты так испугалась? А ты уверена, что его раньше не было? – спросила я.

– Да, это совершенно посторонний шарик... Мне очень страшно, – почти обычным голосом сказала Катька. – Только не говори Вике. Она вызовет «скорую» прямо в кабинку. Сразу начнет что-нибудь решать. Потащит меня в клинику к дяде Лева. А у меня не кариес, а... я не знаю, что у меня.

Вика выбрала себе черную шелковую ночную рубашку. Сначала она не влезла в сорок шестой размер, потом в сорок восьмой, потом в пятидесятый... и все это время она громко рассуждала о том, что размеры в наше время очень увеличились, и по-настоящему у нее сорок четвертый. Хватала с вешалок еще какие-то рубашки и кричала, чтобы мы поторопились, – она сказала Льву Борисовичу, что сегодня у нее небольшая лекция, и ей уже пора.

– А он знает, что ты читаешь лекции в Пассаже? – сказала Катька, выходя из кабинки с ворохом цветных тряпочек в руках, – кем ты на этот раз представилась, критиком?

– Откуда ты знаешь? – удивилась Вика и с достоинством пояснила: – Для него я филолог и литературный критик.

Катька согнулась пополам от смеха.

– Викон, это гениальный ход – быть врачом для критика и критиком для врача. Смотри, не перепутай, кому говорить «я как врач», а кому – «я как филолог»...

Я незаметно прошептала Катьке:

– А ты пойдешь к врачу?

– Конечно, – независимо ответила Катька и серьезно добавила: – Не волнуйся. Что я, дурочка, не ходить к врачу? Вот, к Вике схожу.

Вика отправилась на свидание с Львом Борисовичем, а Катька проводила меня домой, чтобы еще немного поговорить. Мы говорили, какая Вика молодец, выполнила свой план по сексуальной жизни, мужскому плечу и трем любовникам.

### **Моя главная жизнь**

Санечка разрешил мне пойти с Катькой на репетицию! Хоть я и ребенок режиссера, Вика не разрешала мне быть «театральным ребенком». Кричала:

– Не позволю, чтобы ребенок рос в театре! Накрашенный и в парике! Слушала, кто с кем спит!

Мы с Санечкой могли перехитрить ее, обмануть. Но Санечка и сам не хотел, чтобы я росла в театре, болталась по цехам, засыпала под столом в гримерной, покрашенная и в парике, слушала сплетни и нехорошо взрослела.

Санечка не может репетировать при мне, я ему мешаю. И я всего один раз была на Санечкиной репетиции. Тайком пробралась и была – одну минуту.

Он действительно был там совсем другой. Орал – где костюмер?!! А почему нет стула?!! Что вы играете?! Я вас спрашиваю, что вы играете?! И даже – я сейчас вас повешу или сам повешусь!!!

И тут меня заметили и сразу же выгнали. Санечка заметил меня и сначала от злости чуть не проткнул театральной саблей помрежа – целился в него, а попал в стену. Сабля сломалась пополам, а помреж даже не поморщился. А потом меня сразу выгнали.

Я и сама после этого больше не просилась на репетицию. Мне и самой было неловко, странно, ведь я никогда не видела его дома в таком бешенстве. Дома же Санечке нельзя сердиться. Орать «я сейчас вас повешу!» и протыкать нас саблей можно только Вике.

Я спросила Катьку, Катька спросила нового режиссера – можно ли мне. Режиссер сказал «можно» и спросил Санечку, можно ли мне. Санечка сказал: «Если она вам не помешает, можно». И МНЕ РАЗРЕШИЛИ!

Санечка сказал – будешь сидеть, какдохлаямышь, как будто тебя нет.

Перед репетицией я для храбрости выпила. Это первая репетиция, где я присутствую по-настоящему, тихонечко сижу на законных основаниях какдохлаямышь.

Для храбрости я выпила две чашки кофе в кафе у театра.

Я села в самый темный угол и замерла, как велел Санечка.

Но я очень хочу в туалет! Зачем я пила кофе?! Но не могу же я выйти из зала во время репетиции.

Новый режиссер очень молодой, похож на студента или даже мальчика из десятого класса. Выглядит так, будто он играет режиссера в плохом кино. В плохом кино таким изображают «человека творческой профессии» – вдохновенное лицо, взгляд в себя.

А Санечка не похож на «творческого человека», он похож на любого человека, директора завода, директора лица.

Но зато этот новый режиссер не кричит, не протыкает никого саблей, он говорит тихо, так что мне из угла зала приходится прислушиваться. Он говорит тихо и как-то горестно.

Они сегодня начали разводить третий акт по мизансценам.

...Репетиция еще не в костюмах, но Катька в черном платье, на плечах шаль, для настроения.

– Что я здесь делаю? Сижу или хожу? – спросила Катька. Режиссер пожал плечами – попробуйте сами.

– Сама... – повторила Катька. – Вообще-то, я давно думала. Я придумала, я поняла! В этой сцене я сижу и плачу... Правильно?

– Да, умница! Вы все поняли правильно, – кивнул режиссер. – В этой сцене вы ходите и смеетесь.

И вдруг резко прикрикнул на Катьку, как на заблудившуюся козу:

– ...Давай, пошла! Быстро пошла! Улыбка! Пошла, остановилась, засмеялась, громче! Вернулась на место, опять пошла!..

Оказывается, и этот тихий режиссер кричит. Все режиссеры кричат? Может, мне не надо быть режиссером?

Режиссер определяет идею пьесы, объясняет актеру, что думать, как играть.

Если Я режиссер, то Катька будет ходить, как я хочу. Повторять одно и то же с разными интонациями, как я хочу. Захочу – она в этой сцене будет плакать, а захочу – смеяться.

Ни у кого на свете нет столько власти, как у режиссера! Но я как-то не представляла, что это ТАКАЯ власть!.. Как будто он один живой, а они все куклы.

Не СЛИШКОМ ли мне будет?.. У меня даже над Чеховым будет власть – Катька будет играть не ту Машу, которую Чехов написал, а кого я ей скажу. Я просто умираю, так хочу в туалет!

Может быть, мне поднять руку, как на уроке, и попроситься выйти? Но будет позор! Как будто я младенец. Или тихонько проползти вдоль ряда? Но если меня заметят, что я ползу?

– Что вообще тут происходит?! – печально сказал режиссер.

А что тут происходит? В книгах же все написано: сначала период репетиций, когда отработывают мизансцены, уточняется рисунок роли, у актеров идет работа с организмом. У них уже был этот период, был прогон первого акта, теперь репетируют второй акт.

– Что вообще тут происходит?! Такое чувство, что вы все к Чехову безразличны! У вас у всех лица не для Чехова! Кроме – вот ее, – режиссер показал на Катьку. А у Катьки лицо не для Чехова, а испуганное.

– Что с вами? Вы помните, какая первая фраза пьесы? – спросил режиссер. – Первая фраза «Отец умер ровно год назад». ...Вот вы, Катя! Помните что-нибудь, что часто говорит вам отец, или из детства что-нибудь.

Катька сжала губы, злится, не хочет плакать. Ее отец был главным конструктором в научном институте, учил ее языкам, рисованию, музыке, ругал за лень. Кричал: «Моя цель в жизни, чтобы ты не стояла у кульмана!» У Катьки рефлекс – она всегда плачет на слово «кульман», хорошо, что среди нас это очень редкое слово.

Я ужасно мучаюсь, просто скоро не выдержу, так хочу в туалет, больше не могу!

– Катя! Маша красивая, страстная и неудачница. У нее несостоявшаяся женская судьба, безнадежная любовь. Маша любит человека, который никогда не будет ее. Маша не может получить то, что хочет. Маше не суждено счастье. Почему? ПОЧЕМУ Маше и Вершинину не быть вместе?

– Но ведь у Чехова все сказано... – говорит Катька. – Порядочность Вершинина, его девочки, дочки... больная жена. Это же написано...

Она не спорит с режиссером, она просто очень старается. Хочет работать как можно лучше.

– Катя! Важно, для чего МЫ ставим спектакль! Наш спектакль – это не неумение людей уходящей культуры быть счастливыми, это НАШЕ С ВАМИ неумение быть счастливыми!

Чехов, кстати, и сам не умел быть счастливым. Что у него было с Книппер-Чеховой? Я не помню точно что, но что-то ужасное. Она ему изменяла, не любила его.

– Вы ничего не найдете, только повторите все штампы... – печально сказал режиссер. – Как это звучит сегодня? Что сегодня мешает людям быть вместе?

– Он меня не любит, – решительно сказала Катька, – Вершинин меня не любит. Не любит Машу. Он не хочет. И Маша знает и сама не хочет. Она боится – вдруг ее любви мало, вдруг он не будет с ней счастлив?

Режиссер удовлетворенно кивнул:

– Правильно. Они не верят в любовь – как мы. Вот для чего эта роль сейчас. Вы же все так хорошо понимаете, Катя. Тогда почему у вас сегодня ничего не получается?

Катька смотрит в пол, как будто стоит в углу носом к стенке.

Режиссер всю репетицию занимался только Катькой. Он в нее влюблен – это точно.

Впереди меня сидят не занятые в этой сцене актеры, шепчутся.

Но я слышу: «У него никакой идеи, все бред. Мы Чехова играем или этого режиссера?», «Скоро он закончит? Хочу в буфет». Как двоечники.

Катькина подруга Ленка тоже сидит впереди меня. Она играет Машу во втором составе.

Обидно ведущей актрисе играть во втором составе. Она всю репетицию что-то шипит: «Я не буду играть с ней в очередь», или «Она должна спасибо сказать, что ее заняли в репертуаре», или «Что-то он перемудрил», или «Актриса прежде всего индивидуальность, что, Катька – индивидуальность?!»... или «Что она все время лезет на сцену... ох уж эти наши актриски с неустроенной личной жизнью... Он имеет в виду, что Маша неудачница и Катька неудачница... Да уж, у Катьки точно несостоявшаяся женская судьба... тогда каждая баба сможет Машу играть...»

Ничего не каждая! А Элла? Стала бы она любить кого-то меньше, чем ее любят? Как чеховская Маша, как Катька? Ха-ха-ха! Это же НЕ ЗДРАВО! ЗДРАВО любить себя! Можно ли представить, чтобы Элла тосковала «В Москву, в Москву...»? Купила бы билет и поехала в Москву. Нет, билет бы ей принесли домой.

Ленка простила Катьку, а сама шипит. Всю репетицию слышу ее шипение. По-моему, Ленка хорошая актриса, а Катька индивидуальность. У нее есть ее собственная интонация, только ее. Называется «сотая интонация». Не у каждой хорошей актрисы есть эта сотая интонация, а у Катьки есть. Я очень-очень смертельно хочу в туалет.

– Можно в туалет? – издевательским голосом спросила Ленка, подняла руку, как в классе.

– Репетиция закончена, в туалет можно, – улыбнулся режиссер.

Ох, наконец-то репетиция закончена! Актеры смеются, барабанят, свистят, кричат: «Кто в буфет?!», как в лицее на перемене.

– Меня снимут с Маши, – сказала Катька.

Я не стала говорить «ну что ты, конечно, нет». Потому что, конечно, всегда могут снять. Даже если у этого режиссера такой прием – дать Катьке сыграть собственную судьбу, как будто она настрадала себе Машу.

– Ты бледная, ела что-нибудь, хочешь конфету, что болит, горло, голова, у тебя температура? – скороговоркой произнесла Катька, одной рукой трогая мне лоб, а другой запихивая мне в рот конфету. – ...Ах, в туалет... ну, слава богу, а я думала, опять горло болит...

## Моя другая жизнь

Малышка Элик смотрит на меня на уроках, а если я ловлю его взгляд, краснеет. Не чувствую никакого куража, как Вика от любой любви. Наверное, у меня нет никакой гордости, что он в меня влюблен, потому что его любовь НЕ ПРЕСТИЖНА. Он изгой. Над ним не издеваются – у нас вообще это не принято, но с ним никто не общается, ни один человек, кроме меня.

Санечке звонил наш преподаватель по литературе. Он на уроке сказал – Толстой сказал то-то и то-то, я уж теперь не помню, что именно. А я ему ответила:

– Толстой сказал, и что? Только глупые люди принимают чужую идею за истину. Толстой не истина в последней инстанции, а посредственный мыслитель.

– Это не твоя мысль, ты где-то это услышала, – рассердился он.

– Только глупые люди отвергают мысль потому, что она уже была кем-то высказана, – сказала я.

Тогда он позвонил Санечке, не жаловаться, что я не уважаю Толстого, а сообщить ему, что у меня самостоятельное гуманитарное мышление. И правда, меня бесит, когда люди говорят как главный аргумент – такой-то сказал. Сказал, и что? Это всего лишь его мнение, а у меня, может, другое мнение.

М. пришел на репетицию пьяный. Санечка сказал: еще раз – и уволю. Он его, конечно, не уволит, М. гордость театра, такими актерами не бросаются, даже пьяными. Санечка говорит: «При взгляде на М. у актеров возникает неприятная мысль – почему одним можно, а другим нельзя».

Но тот же Санечка любит повторять слова Бродского «есть люди гениальные, а есть – просто» и еще чьи-то – «все животные равны, но некоторые равнее». Кажется, это Оруэлл, я его еще не читала.

М. на веранде не появляется.

### **Моя главная жизнь**

У вас такое было? Чтобы вы были счастливы? И ваша связь с любимым человеком была абсолютна, как... как луна в небе! И вдруг оказывается, эта нежная тонкая связь, что всегда была между вами, вовсе не луна в небе, а может исчезнуть!.. Оказывается, она МОЖЕТ исчезнуть.

Это очень страшно.

Я не ребенок, который ревнует папу. Я же привыкла – с нами всегда кто-то есть. Но эти кто-то присоединялись к нам.

Вместо того, чтобы присоединиться к нам, Элла разрушает нашу жизнь. Мы потихоньку начинаем жить по правилам Эллы. Как будто у нас дома почетный гость нашего племени, премьер-министр соседнего племени, и мы должны все время говорить на его языке, даже когда спим, иначе будет война.

Я столько всего не должна говорить, что я уже не знаю, что мне говорить! Я уже вообще не могу! Элла все время недовольно говорит: «Вы как-то странно разговариваете». Но у нас с Санечкой свои шутки, любимые фразы, ассоциации, как у всех близких людей, что же нам теперь все забыть?! Перейти к односложному общению – «да, нет, не знаю»?..

Санечка попросил меня: «Давай стараться говорить между собой так, чтобы она понимала. Люди не могут говорить на своем языке, если кто-то рядом с ними его не понимает, это невежливо».

Мы с Санечкой часто разговариваем стихотворными строчками из какого-то одного поэта, например, договариваемся – сегодня пусть будет Саша Черный или Цветаева.

Санечка собрал, редкую библиотеку стихов, у нас есть Гумилев, изданный еще в двадцатые годы, есть при жизни изданные обэриуты. Раньше Санечка вечером читал мне стихи, пока Вика не начнет стучать в дверь и кричать: «Не смейте прятаться от меня, у вас на кухне свет горит!»

А Элла сказала:

– Я вообще не понимаю, зачем стихи. Целая страница текста, и все ни о чем.

При Санечке Элла улыбается мне своей специально разученной для ток-шоу улыбкой. Как будто я телезритель и сейчас задам вопрос, бывает ли дружба между мальчиком и девочкой.

Как только Санечка выходит из комнаты, сразу возникает какая-то неловкость, словно меня вывернули наизнанку и повесили на веревку сушиться!

У Санечки было столько женщин! Он всегда хотел быть свободным. Он говорил: «Главное – чтобы меня не пытались переделать». Его подруги и не пытались его переделать, старались закрепиться в его жизни с моей помощью, думали, как бы с ним поумнее, половчее. Элла тоже не пытается его переделать, она просто делает, что хочет. Она и не думает подстраиваться.

Она вообще не умеет быть с другими людьми! По любому поводу повторяет: «Почему я должна?!..» Посреди ужина встает и уходит – «почему я должна ждать всех, я уже поела». Не понимает, что люди вместе готовят еду, потом едят и разговаривают? Она не слушает с нами музыку – «почему я должна слушать ваши оперы?». Не смотрит с нами кино – «почему я должна смотреть ваше кино?». Когда Элла рассказывает о своих конфликтах на телевидении или в издательстве, она тоже всегда возмущается – «почему я должна!».

А как она ведет себя с Санечкой?!

Как будто она вообще не понимает, как ей повезло, с кем ее свела судьба! Она говорит: «Я скажу Саше, чтобы он...», «Я возьму Сашу с собой туда-то...» – это о Санечке! Она ведет себя с ним, как знаменитость с поклонником, как будто она ему делает одолжение. СМОТРИТ на Санечку, вся сжимается, визуализирует свои мысли... хочет, чтобы он превратился в кролика!

Но дело совсем не в том, какая Элла! Не в том, что Элла из публики.

Это такой старый-престарый театральный анекдот, как одна актриса спрашивает другую: «Кто твой муж? Актер, режиссер?.. Как нет? Неужели кто-то из публики?!»

Элла из публики, Элла другая, Элла лежит в другом ящике буфета, как будто мы вилки, а она нож. Но дело совсем не в том, какая Элла! А в том, что происходит с НАМИ!..

Санечка больше не ходит со мной в оперу, в филармонию тоже не ходит! Он ходит с ней на глупые тусовки, которые презирает! На показ новой коллекции модного модельера. На презентацию книги какого-то рокера в клуб. Он всегда говорил, что на любых презентациях чувствует себя дикарем, которому пытаются всучить блестящий ножичек! А сам ходил с ней на презентацию новой модели «мерседеса»! Почему он больше не играет со мной в нашу любимую игру? Почему он не разыгрывает со мной этюды? Почему не читает стихи? Почему не смеется, не разговаривает со мной ночами?

Это МЫ не разговариваем и не смеемся при ней, это не она хочет все наше разрушить, это МЫ все наше разрушаем! Санечка не понимает, а я понимаю.

Но не кричать же мне во весь голос – я бою-усь! Я боюсь тебя потерять!

### **Моя главная жизнь**

День и ночь никогда не встречаются, а Катька с Эллой сегодня встретились. Это я подстроила их встречу.

Сказала: «Катька, скорей, у меня горло болит. Санечки нет дома и швабры тоже».

Катька примчалась с мешком лекарств. С порога, взглянув на меня, сказала: «А-а, понятно, воспаление хитрости».

У нас была двойная репетиция. Сначала я прошла с ней сцену, где знакомятся Маша и Вершинин, я подавала реплики за Вершинина. Потом наоборот, я за Машу. Репетиция у нас была в костюмах – у нас у Вики есть для Маши новая рваная юбка шаль и пенсне.

– У нас еще кое-что есть, забыла, сейчас принесу, – сказала я и еще раз сбегала к Вике, – вот, пенсне начала века!

– Ты как Монморанси, когда он с гордым видом притаскивает крысу, – сказала Катька. – Зачем Маше пенсне?

– Можно для Вершинина.

Катька ходила по комнате в длинной рваной юбке, кутаясь в шаль, рассматривала меня в лорнет и иногда говорила: «Страшно, мне страшно, мне вообще не нужно было соглашаться». Странная Катька – как будто юбка лорнет и пенсне для Вершинина не помогают ей входить в роль, а наоборот.

После репетиции мы с Катькой по очереди кричали друг другу «гениально!», «неподражаемо!» и раскланивались.

Катька учила меня правильно делать реверанс, потом я заставила ее показать, что она умеет правильно выходить на поклонны – с радостным выражением лица, а не с испуганным, как обычно, и затем горделиво отступить, а не бочком-бочком улепетывать со сцены.

Катька горделиво отступала в глубь комнаты и вдруг вскрикнула: «Ой, кажется, Санечка идет», и взлетела, как испуганная птичка. Что у нас вообще происходит?! Катьке нельзя быть у нас?

Элла и Катька столкнулись в прихожей, нос к носу, застенчивый нос Катьки и самоуверенный нос Эллы.

Немая сцена.

В прихожей было много Эллы и очень мало Катьки – от Эллы длинные ноги, длинные руки, как у тараканища, а от Катьки – одна извиняющаяся улыбка. Это ее вечное чуть виноватое выражение лица! Вот в чем она сейчас извиняется перед Эллой?!

Я быстро достала из тумбочки заранее приготовленный сверток. Развернула, протянула Санечке: «Вот, рубашка, Катька купила тебе рубашку».

Катька удивилась, что я вытащила старую рубашку, положила ее в пакет и отдала Санечке как будто новую. Но я ее крепко обняла и прижалась, закрыла собой, чтобы никто не заметил ее удивления.

Санечка взял рубашку, сказал: «Красивая, спасибо».

Элла выпятила грудь, выгнулась колесом. Стрельнула острым взглядом: рубашка-Катька-Санечка.

Покраснела от злости!

Я режиссер жизни или даже почти театральный режиссер! Я придумала эту сцену!

Основа всего происходящего на сцене – действие, а не слово. Действие – это не просто перемещение по сцене, а внутреннее действие. Внутренние действия определяют скрытые желания персонажа, подтекст.

Например, я режиссер и говорю Катьке – в этом месте роли ты стоишь в прихожей. Но она должна не просто стоять. Она должна так стоять, чтобы показать Элле, кто покупает Санечке рубашки, кто здесь свой, а кто чужой!

Катька плохо играла. Вместо того, чтобы что-нибудь показывать Элле, она просто удивилась.

– Покупать рубашки, когда никто не просит, это значит специально подчеркивать близость, которой нет... не должно быть! – зло сказала Элла в сторону Катьки. И в сторону Санечки: – Когда в твоей жизни две женщины, это же просто самовлюбленность, нарцизм... нарцисизм...

– Цветок называется нарцисс, – заметил Санечка, – а я страдаю нар-цис-сиз-мом. Элла, пожалуйста, не нужно выяснять отношения.

Элла показала на меня пальцем, как на предмет, и железным голосом сказала:

– Почему она здесь?! Эта ваша странная манера все при ней! Ты еще ее в постель с нами положи!

Катька торопливо поцеловала меня, улыбнулась Санечке своей извиняющейся улыбкой и выскользнула за дверь.

– Что вы делали, репетировали?.. Но ты же еще учишься в школе. Кстати, где ты учишься? – рассеянно сказала Элла.

Она уже раз десять меня спрашивала: «Кстати, где ты учишься?» Высадилась в нашу жизнь, как полярник на льдину к пингвинам, и даже не знает, где я учусь, в обычной школе или в лицее!

А сейчас Элла вдруг перестала быть такой безразличной, нацелила на меня глаза, как будто вбила гвозди.

– Репетировали!.. Ты посмотри на себя в зеркало и здраво оцени свою внешность! Имей в виду – неудавшаяся актриса – это просто жалкая женщина! Ах, она такая тонкая, такая любящая, верная!.. Да она нарочно преувеличивает свои чувства! Это просто комплексы, драма на ровном месте. А на самом деле она просто ненормальная! Лицо такое всегда, как у ангела обиженного. А между прочим, обижаются только неудачники. Вот меня обидеть невозможно, у меня вообще нет ни одного больного места.

– Я не хочу быть актрисой... я хочу быть режиссером, – сказала я, просто от растерянности, чтобы что-нибудь сказать, чтобы не смотреть на нее, как будто увидела жабу!

– ТЫ? – рассмеялась Элла.

Элла вроде бы обращалась ко мне, но смотрела на Санечку.

Я поняла – весь этот монолог Эллы относится не ко мне. Элла злится, ревнует! Ревнует Санечку к Катьке!

Все вышло, как я хотела! Я хотела, чтобы Элла поняла, кто здесь семья, а кто чужой.

Хотела разозлить Эллу, и чтобы Санечка увидел, НАСКОЛЬКО Катька лучше злобной невоспитанной Швабры! На целый миллион!

Хотела, чтобы они поссорились.

– И вообще, можно нам хотя бы поговорить без нее? – сказала Элла.

Можно-можно, конечно, можно, я и сама хотела уйти! Но я не привыкла, чтобы меня выгоняли!

– Если... – начала я. Я и не знала, что во мне помещается столько злости, как будто в меня налили злость как молоко в бидон! Хотела сказать – если у человека нет ни одного больного места, если человеку ни от чего не больно, значит, он швабра. Санечка все равно меня не накажет, далее если я в глаза назову ее «Швабра!». Я же ребенок.

И тут раздался Викин крик:

– Ко мне!

Санечка мгновенно исчез.

А я осталась со Шваброй дома.



– Заслуженный деятель искусств, главный режиссер, лауреат премии Золотая маска, лауреат международных конкурсов... – сказала Элла.

Почему Элла перечисляет Санечкины звания с таким осуждающим видом?

– Вам не нравится, что он лауреат?

– Мне не нравится, что заслуженный деятель искусств, главный режиссер, лауреат премии Золотая маска, лауреат международных конкурсов бежит как собачка по первому слову этой вашей Вики, – отрезала Элла.

– У Вики сделка. Она продает одну квартиру и покупает другую, это ее бизнес, – объяснила я, – у нее сейчас нотариус, он не может долго ждать, а Вике лень ходить в контору...

– Он перед ней пляшет. Берет у нее деньги, вот и пляшет. Конечно, он привык ее слушаться – попробуй быть независимым от того, кто дает тебе деньги, – заметила Элла, – да-а, брать деньги у женщины не очень-то красиво...

– Кто берет деньги у женщины? Нотариус? Но это его работа, он у всех берет деньги, – удивилась я.

– Твой отец берет деньги у Вики, – усмехнулась Элла, – эта ваша Вика всех вас содержит, вот и секрет ее власти.

Элла – нетактичная швабра. Деньги – это очень интимно, как секс. Как вообще можно говорить о таких интимных вещах? Это наше семейное дело, что Вика дает Санечке деньги. Кстати, Станиславский тоже не зависел от театра материально, у него была фабрика, до революции, конечно.

Я немного подумала.

– Да. Вы правы, брать деньги у женщины некрасиво, – подтвердила я. – Но Санечка к этому давно привык. Но вы правы, вообще это некрасиво. Если к чему-то привыкнешь, то считаешь это нормальным, правда? Просто он ПРИВЫК брать у нее деньги.

Я не бросилась защищать Санечку, не закричала «как не стыдно лезть в чужую жизнь!».

Это была хитрость: может быть, бестактная Элла скажет Санечке про деньги что-то насмешливое, осуждающее? И он подумает «фу...». И они поссорятся!..

Я думала об этом, и вдруг заснула прямо в одежде и до утра. Когда я думаю о неприятном, я быстрее засыпаю, чтобы больше не думать, а вы?.. Когда я думаю о приятном, я тоже быстро засыпаю – может, проснешься, а это сбудется. Например, проснись, а Эллы больше нет.

...А утром я застала на кухне признак новой жизни. Элли в Санечкином халате. Элла у нас ночевала?..

Но... как же это?! Никто никогда не оставался у нас ночевать, кроме Катьки!..

На кресле лежит новая мужская рубашка, кричаще модная и дорогая. А вчера вечером лежала благородно строгая рубашка, которую купила Катька. Элла купила Санечке СВОЮ рубашку? А Катькину выбросила в окно, сожгла, съела?

– Странно... – пробормотала я.

– Что именно странно? – строго переспросила Элла.

– Странно, – растерянно повторила я.

– Быстро дуй в школу, – отвернувшись, ответила Элла, – теперь здесь все будет не странно, а нормально.

И тут я испугалась до дрожи, до истерики.

Санечка научил меня играть этюд на оценку факта: пауза, потом внутренний монолог, чтобы подвести себя к тексту, и только затем первая фраза.

Я молча смотрела на Эллу и повторяла про себя: «Вы хотите сделать нас нормальными? Хотите все наше разрушить? Отдайте нашу рубашку! Снимите Санечкин халат! Швабра, Швабра, противная Швабра!»

– Хорошо, – кротко сказала я.

### День знаний

Сразу после лица пошла на веранду. У Гостиного двора ко мне подошел человек, еще не мужчина, но уже не подросток. Назвал меня «эй, ты, лицо кавказской национальности».

Вика не разрешает мне вступать в отношения на улице – «не откликайся, не смотри в глаза, притворись, что ты слепо-глухо-немая и ка-ак завизжи!».

Я спросила: «Какое же я "лицо", если живу в Питере?» «Живешь, пока я разрешаю. Скажи спасибо, что ты красивая», – сказал человек и исчез. Значит, если я «красивое лицо кавказкой национальности», он разрешит мне сидеть на веранде у Казанского, смотреть, как плывут облака над Казанским собором.

Главное, не проболтаться случайно – тогда меня вообще не выпустят из дома, в лицах будут носить на руках, а гулять велят в форточку. И я стану изгоем, не умеющим общаться с людьми, как малышка Элик.

Я села на свое обычное место у окна.

Вчера я сделала выбор – быть честным человеком или интриганом.

Я выбрала – интриганом. Сказала Элле: «Да, вы правы. Некрасиво брать деньги у женщины». Кажется мелочь, но любое моральное падение начинается с мелочи, которую человек себе легко прощает, а следующую еще быстрее прощает, а потом как полетит вниз с высоты. Я имею в виду с моральной высоты.

Назначить Вике свидание с профессором – это просто слегка подправить ход событий, это хитрость как в водевилях, они там без конца подкидывают друг другу подметные письма, переодеваются, подстраивают встречи.

А вчера я подкинула Элле не письмо, а мысль. Мысль о Санечкиной безнравственности.

Я ПО-НАСТОЯЩЕМУ вмешалась в чужие отношения.

Но я же не должна была обсуждать с ней наши семейные дела?! Я же ребенок, я вообще могу не знать, что было, когда меня еще не было.

Вика считает, что я должна знать, что было, когда меня еще не было. Вика любит болтать и хвастаться. Поэтому она так подробно, в лицах, рассказывала мне эту историю о том, как одна секунда сообразительности может переменить всю жизнь.

И правда, что бы делала Вика, если бы не эта секунда? Работала бы на какой-нибудь РАБОТЕ С ДЫРОКОЛОМ? ...А впрочем, устроилась бы как-нибудь.

В начале 90-х Санечка получил ненужное наследство от своего дяди. Дядя был профессор живописи, член-корреспондент Академии художеств. Он не был знаменитым, как советские классики Налбандян или Герасимов, а был просто крепким советским художником. После знаменитой бульдозерной выставки, где Хрущев пинал ногами картины, молодого Санечкиного дядю так сильно ругали как «формалиста» и «абстракциониста», что он мгновенно стал реалистом. Безо всякого импрессионистского духа или «Бубнового валета». Это интересный вопрос – он испугался, потому что был не очень-то талантливым? Очень талантливые не пугаются?» Остаются, кем были?

Этот художник, Санечкин дядя, дальше был честный советский реалист. И даже вполне успешный художник. Он рисовал пионерок и пионервожатых на фоне портрета Брежнева, строителей БАМа с мощными челюстями в касках, счастливых колхозниц в платочках. Его картины хорошо покупали Дома культуры.

Последняя Санечкина подруга, искусствовед, говорила, что похожих на паровозы парней в касках дядя наверняка слизал с «Тракториста» Дейнеки.

Санечка перевез пионерок и колхозниц из дядиной мастерской к себе домой. А что ему было делать? Все-таки память о дяде. Картины нельзя продать или подарить провинциальным краеведческим музеям – уже началась новая жизнь, постсоветская, и эти пионерки никому не были нужны.

Санечка говорит, что это был кошмар. «Мне казалось, я на пионерском сборе, в армии, в цехе, на картошке». Что отовсюду на него глядели задорные крепконогие девчонки, и у всех были одинаковые приветливо-идиотические лица. Но Санечка не мог выгнать пионерок из дома, сразу же вынести пионерок на помойку у него не поднялась рука. Санечка решил, что пионерки отправятся на помойку по одной, постепенно – «это будет уже не концептуальным актом неуважения к дяде, а житейским – вынести мусор, освободиться от старых вещей».

И он просто повернул пионерок и парней лицами к стене и стал ждать, когда картины станут старыми вещами.

И вот однажды... как в сказке, правда? И вот однажды Вика заглянула к Санечке проверить, все ли в порядке... Вика заглянула к Санечке в розовом халате и застала у него компанию друзей, и среди них был один случайный немец.

Немец не участвовал в общем веселье, а ходил по квартире, переворачивал картины лицом и внимательно рассматривал. Вика говорит – в начале 90-х все пытались что-нибудь удачно продать иностранцам. «Хорошо бы у нас был какой-нибудь семейный Рубенс, или бриллиант размером с голубиное яйцо, или хотя бы найти клад», – мечтательно говорит Вика.

Но у Вики ничего такого не было, только никому не нужный Санечкин дядя.

И она без всякой задней мысли присоединилась к гостю, и на школьном немецком принялась извиняться – вот, советский кич, пионерки, Брежнев, вы уж извините, но наследство, дядя...

Вика говорит: «Мы тогда все время за что-нибудь перед иностранцами извинялись, как дураки».

А немец сказал: «Ваш дядя умел рисовать, у пионерки крепкие славянские ноги, а красное знамя как живое вьется по портрету Брежнева...»

И предложил Санечке тысячу долларов за все. Санечка удивился – почему так много, может быть, поменьше?

И тут выступила Вика. Санечка говорит, что эту сцену могла бы сыграть только Раневская. Вика убила Санечку взглядом и небрежно сказала: «Да что вы, это же наш дядя! Мы вообще дядины картины не продаем». Немец предложил две тысячи. Вика хмыкнула. Немец прибавлял по тысяче, а Вика смотрела на немца своим любимым гинекологическим взглядом «тужься, тужься!».

На глазах изумленных Санечкиных друзей Вика продала всех пионерок, и парней, и Брежнева за двадцать тысяч долларов. В начале 90-х двадцать тысяч долларов было как сейчас миллион. Вика унесла «миллион» домой в кармане розового халата и положила в диван.

Оба, и немец, и Вика, совершили фантастически прекрасную сделку. Немец продает на Западе советское искусство. Дядины картины теперь можно рассмотреть в Интернете, в каталогах выставок. Пионерки на фоне портрета Брежнева строители БАМа с каменными

лицами, колхозницы на полях – это модно, это обаяние эпохи. Санечкина подруга-искусствовед говорит, что, кроме обаяния эпохи, в дядиных картинах есть большие художественные достоинства, хорошие детали, композиция, цвет.

Вика купила пять квартир в нашем доме. Соседи эмигрировали и продавали квартиры, и Вика доставала из дивана деньги как из кошелька. Пять квартир в нашем доме стоят теперь больше миллиона долларов.

Я спрашивала Вику: «Ты знала?» Она так хитренько – улыбалась – вроде бы нет, а вроде бы и да. «Этот человек выкинул бы пионерок на помойку! Этот человек не знал бы, что делать с деньгами, а я знала!»

Интересный вопрос – случайна ли удача, случайно кому-то везет или нет? Наверное, удача всегда случайно приходит по правильному адресу.

Деньги Санечке дает Вика, Санечка не вмешивается в Викин бизнес. Он – рантье.

Это игра, что она дает ему деньги, но это наша игра, наша жизнь. Вика просто касса, но разве дело в том, что кому принадлежит? Мы же семья. И Катьке деньги дает не сам Санечка, а Вика.

Вике нужно, чтобы ОНА была главной, и Санечке нужно, чтобы она была главной. Даже если все это странно, мы ТАК счастливы.

Хотя Вике кое-чего не хватает для счастья. Викина мечта – пусть бы у Санечки по-настоящему вообще не было денег и он бы полностью зависел от нее.

...Что, я должна была все это рассказывать Швабре?!

Пусть я плохо поступила, но она сказала «ТЫ?». Это нехорошо, так презрительно говорить ребенку «ТЫ?». Она первая начала.

А что Элла имела в виду, когда предложила мне посмотреть в зеркало и здраво оценить свой типаж? Если я хочу стать актрисой. Что я «лицо кавказской национальности»?..

Внешность у меня неправильная, слишком яркая, вот что плохо... Правильная для театра внешность – это лицо без лица. Неяркое лицо с тонкими чертами, на котором можно нарисовать что угодно. А я?..

Санечке и Вике нравится, что я необычно яркая для привычного питерского взгляда, для серого питерского неба. Что в нашем городе приглушенных красок я как гостья.

Вике нравится все, что говорит – мы не как все. Вика гордо говорит: «Она у меня одно лицо с Пенелопой Круз». Мне тоже нравится быть «одним лицом» с Пенелопой Круз, с ее огромными миндалевидными глазами, пухлыми изогнутыми губами, темными бровями дугой, черными пышными кудрями до плеч.

Новым знакомым Вика рассказывает, что однажды отдыхала в Гаграх, и в ту ночь были звезды, розы, море. Отсюда взялась я – грузинка по звездам, розам, морю. Грузинские гены очень сильные.

Я представила себя на месте режиссера и подумала, какую роль я дала бы себе? Разве я со своими внешними данными вообще могу играть героинь? Русский классический репертуар – не могу, там все героини не грузинки. Но я могла бы играть в западных современных пьесах, в не русской классике: Шекспир, Мольер, все итальянцы – возможно. Кино – возможно. Не так уж мало. Но и не так уж много. Что, если Элла с ее «здравым подходом» права?..

Но, с другой стороны, я же все равно хочу быть не актрисой, а режиссером!

Мне одиноко. У меня никого нет. Сейчас закричу, как Вика, – у меня никого нет!

У Вики есть профессор и критик, а у меня Атлант и М. Атланта я люблю физической любовью, за красоту и сексуальность, а М. люблю духовной любовью за гениальность и раненую душу.

Но они оба неживые. М. тоже неживой – для меня. Моя любовь к М. такая же безответная, как моя любовь к Атланту.

### Моя другая жизнь

Малышка Элик все равно ничего не посоветует, потому что он – малышка. Но иногда человеку необходимо хотя бы с кем-нибудь поговорить!

– Опасно подростку с незрелым умом манипулировать людьми. Вдруг получится? Перемещая по своей воле фигуры, можно ненароком столкнуть их с доски. ...А я хочу. Столкнуть кое-кого с доски.

Элик не удивился, а всерьез задумался.

– Почему у тебя незрелый ум? Для своего возраста ты неплохо мыслишь, – оценивающе сказал он, как будто он сам старичок.

Да, я неплохо мыслю. Элла не такая женщина, которая может быть второй или даже первой, она может быть только единственной. Сказала – Высшие Силы, дайте мне его без Маруси, Катьки и Вики!

Она уже у нас ночевала. Выдавливает из нашей жизни Катьку. Я могу потерять Катьку. И Вику! Элла узнает, что Вика распоряжается чужими деньгами. Скажет: «Это ненормально! Эта ваша Вика дает ему его же деньги и еще делает вид, что она главная!» И чик – и нет Вики!

А вдруг Санечка привыкнет к Швабре? Санечка не такой знаменитый, как Элла, не такой богатый, Элла начнет им командовать, а потом просто съест. Съест и закажет себе что-нибудь другое, скажет: «Высшие Силы, дайте мне нового мужчину. Я должна ему помочь».

– Нет таких отношений, которые нельзя было бы разрушить. На этом построена вся мировая классика, – сказала я.

Можно заставить любого бросить любого, сыграть на тщеславии, недоверии, – и быстро! Все люди имеют уязвимые места, и Санечка, и Элла, и наблюдательный человек может это использовать. Можно заставить любого бросить любого, потому что любой любит себя больше, чем того, кого он любит. МОЖНО заставить Санечку бросить Эллу, потому что он любит себя гораздо больше, чем свое загадочное увлечение Шваброй!

Элик молчал, он вообще ничего не понимает, совсем ребенок...

– Я буду режиссером, – сказала я. – Режиссер может предугадать поступки людей и направить их в нужную сторону. Умеет влиять на людей.

Элик кивнул.

А Элла сказала – ТЫ?

Значит, я не смогу стать режиссером? Я докажу! Для меня это будет профессиональное задание – придумать интригу.

– Чтобы влиять на людей, тебе нужно знать тридцать шесть стратагем, – оживился Элик. – Стратагема в переводе с китайского военная хитрость, алгоритм твоих действий для достижения скрытой цели с учётом положения, обстановки и других особенностей ситуации. Это понятие существует в китайской культуре три тысячи лет. В китайской культуре нет морального запрета на применение хитрости к другому человеку. Стратагемность мышления приветствуется и рассматривается как проявление интеллекта.

Вот только моральный аспект. Мы же не в китайской культуре, а в нашей.

...Но манипулятор не обязательно страшный человек, действия которого приводят к трагедии. Я же не собираюсь подкидывать платок, чтобы Эллу задушили!

А в реальной жизни вообще все всеми манипулируют. Все мои действия приводят не к трагедии, а к очень хорошему! Я буду действовать не в своих личных интересах, а в интересах семьи, Санечке будет лучше и всем нам.

– Примером может служить первая стратагема «Обмануть императора, чтобы он переплыл море», где обманывают императора во время военных действий ради достижения победы над врагом, – бубнил Элик. – Император боится моря и не соглашается на необходимую переправу. Тогда его обманом заманивают на корабль для отдыха. Когда корабль отплывает далеко от берега, обман раскрывается, но император принимает случившееся как должное и благодарит подчинённых за гибкость мышления.

Ну вот, мне все стало понятно. Иногда человеку обязательно нужно с кем-то поговорить.

### **Моя другая жизнь**

Необходим научный подход. В пьесах бывает два вида интриги – мнимая и действительная. Мнимая интрига – веселая.

Подкидывают улику, которую сами придумали. Сами пишут письмо с признанием в любви или письмо о разрыве, сами назначают свидание – как я назначила свидание Вике и профессору. В общем, врут все, а человек вообще не имеет понятия, что происходит за его спиной. Как будто кукольник управляет куклой. Это весело, это комедия, водевиль.

А действительная интрига – когда выстраивают события так, что человек **ДЕЙСТВИТЕЛЬНО** совершает компрометирующие его поступки. Для этого интриган подсовывает ему какой-нибудь соблазн. Например, юную девушку, чтобы вызвать ревность у жены, или акции, чтобы он их украл, или ключ от сундука с сокровищами, чтобы он открыл сундук, а оттуда что-нибудь выскочит.

Интриган – ужасно смешное несовременное слово с оттенком осуждения.

Но ведь – внимание! – этот человек САМ ВИНОВАТ, интриган лишь пользуется его плохими качествами. Как будто кукольник управляет ПЛОХОЙ куклой. Это драма, все основано на несовершенстве человеческой природы.

Иногда бывают смешанные интриги. Яго подкидывает платок, улику. Но Отелло мог просто СПРОСИТЬ Дездемону, но он предпочел ее задушить. Потому что он недоверчив, обижен, заранее считает, что его не любят и изменяют ему. Он подходящий объект для манипулирования, его человеческая природа **ОЧЕНЬ** несовершенна.

А ведь у всех нас несовершенная природа, даже у Санечки.

Я хочу использовать и мнимую интригу, и действительную, и то, и другое.

Мой план – быстро понять, что такое ревность.

Элла сама говорила по телевизору: «Ревность к прошлому очень болезненна. Ревность к прошлому сильнее, чем к настоящему».

Почему ревность к прошлому сильнее, чем к настоящему?

Предположим, что у Санечки была другая девочка, которую он любил как дочку. Потом она куда-нибудь уехала навсегда, в Новую Зеландию, как герои Жюль Верна.

Я очень живо представила себе, как они прощаются, и тут же подумала – неужели он любил ее сильнее, чем меня? А что, если я только замена этой любви, а не единственная в его жизни? А что, если эта девочка лучше меня?.. Проверить нельзя, она давно уже в Новой Зеландии навсегда!.. А это еще хуже, чем если бы я была с ней знакома, я так и буду думать, – а что, если она лучше меня?..

Элла должна понять, что для Санечки она всего лишь одна из многих, очень многих! И что они были лучше!

### **Моя главная жизнь**

Что я сделала дома – расставила по квартире фотографии. Действительно, ревность к прошлому очень болезненна, поэтому я решила начать с фотографий. Я разбросала по квартире фотографии, на которых мы с Санечкой были с его подругами. Как будто быстро посолила суп – раз-раз, и они повсюду!

На столике в прихожей – Санечка, Катька, наша подруга-искусствовед и я у памятника Екатерине, все смеются, Катька и Санечка обнимают меня – очень хорошая фотография нашего счастья.

Кухню я целиком посвятила нашей подруге-филологу, теперь на холодильнике под каждым магнитом были мы втроем – в Эрмитажном дворике, в саду Фонтанного дома, на Петропавловке.

В Санечкину комнату я положила несколько фотографий с нашей подругой-кинокритиком, одну небрежно бросила на подоконник, а другую положила на тумбочку у кровати. Кинокритик была уже довольно давно – и хорошо, пусть Элла думает, что она до сих пор дорога Санечке.

Пусть поймет, что все, и филолог, и кинокритик, и искусствовед, были у нас до нее. Что у нас была жизнь, что мы их любили. Пусть думает: «Неужели он любил их сильнее, чем меня? А что, если я только замена этой любви, а не единственная в его жизни? А что, если они лучше меня?» И пусть еще подумает, что они БЫЛИ, а потом исчезли.

Вечером Санечка пришел домой с Катькой, а не с Эллой. Это немного неудачно, Санечку я могу перехитрить, у меня есть для него специальный детский взгляд – глаза пошире и поглупее. А Катьку нет.

– Не возражаешь, если они повисят? Это такой дизайн – наши приятные воспоминания.

– Да ради бога, Маруся, вспоминай, что хочешь, – рассеянно сказал Санечка, – только не развешивай фотографии по стенам, терпеть не могу фотографии на стенах.

А Катька поманила меня в прихожую. Порылась в своей сумке и протянула мне маленький бумажный пакетик.

– Хочешь? – проникновенно спросила она. – Хочешь мои фотографии на паспорт? Развесишь на лестнице по ходу следования Эллы.

Катька все понимает – что я интригую, и ничего не понимает – что ревность к прошлому очень болезненна.

Элла появилась на следующий день. Пока ждала Санечку, рассмотрела каждую фотографию, спросила: «Кто это?.. А это вы где?»

– Это Екатерина Вторая, а это наша близкая подруга... красивая, правда? Мы с ней были ОЧЕНЬ близки, нам до сих пор ее очень не хватает, – ответила я. – А это Петр Первый, а это другая наша близкая подруга. Санечка ее все время вспоминает, говорит, «какая она тонкая, умная, красивая»... И лицо у него при этом грустное. Вы лучше его о ней не спрашивайте, это очень-очень интимное, грустное, дорогое ему воспоминание.

– Что же он с ней расстался, раз так? – напряженным голосом спросила Элла.

Ей было неприятно!

– Он ее очень любил... но им пришлось расстаться. Понимаете?

– Не понимаю. Почему?

Я и сама не понимала, почему, и только значительно улыбнулась, показывая, что были очень важные причины.

Вообще-то это большой успех! Полуавтомат впервые говорит не о себе, а что-то спрашивает, проявляет простое человеческое чувство – любопытство. Как будто ей бросили наживку, а она не поймалась, но хотя бы клюнула!

– Она... она... сама с ним рассталась, когда поняла, что... – я сочиняла на ходу, – ...что он полюбил другую! Да, вот именно, он полюбил другую.

– Не понимаю, – недовольно произнесла Элла.

– Вы действительно хотите это услышать? – спросила я голосом, каким в кино сообщают неприятную правду – что развод, или лопнул банк, или нашли убийцу, а он оказался твоим родным дядей.

Элла нетерпеливо кивнула.

– Ну... если между нами, он не способен любить по-настоящему, не признает прочных отношений, не создан для брака, не пускает в свою жизнь, всегда будет уходить, искать что-то новое, ему никто не нужен, это заранее проигранная игра...

Я протараторила это как выученный урок – столько раз слышала это от его подруг, что знаю наизусть.

– Он и вам будет изменять, – тепло добавила я. – У него всегда две женщины, и одна всегда уходит через год. А другая остается! Подумайте, зачем вам заранее проигранная игра? Вы же не любите проигрывать, а он всегда всех бросает, уходит, как колобок.

– Как колобок? – переспросила Элла и неприятно засмеялась, как лиса, – от бабушки ушел, от дедушки ушел, а от меня вряд ли уйдет!

Мы разговаривали как будто мы друзья. А она вдруг сказала:

– Ты сама-то не играй со мной в игры, девочка. Тебе меня не переиграть.

Не то чтобы это прозвучало очень страшно, но я удивилась – все же я ребенок, а с ребенком не говорят таким угрожающим голосом.

Элла рано ушла. У нее был прямой эфир. Обычно ток-шоу, в котором она ведущая, записывают блоками, в день по пять программ, и в зале сидят одни и те же люди, только их переодевают. Но сегодня она гость в прямом эфире. Ток-шоу другое, а темы все те же, сегодня тема «Ревность».

Знаете, что мне сказала Элла по телевизору?

– Я ВСЕМ СОВЕТУЮ ЗАПОМНИТЬ, ЧТО ИДЕАЛЬНЫХ МУЖЧИН НЕТ. А ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА ЕСТЬ – ЭТО ВЫ. ПОВЫСЬТЕ САМООЦЕНКУ, ПОВЕРЬТЕ В СВОЮ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ, СЧИТАЙТЕ СЕБЯ ЛУЧШЕ ВСЕХ, И ВЫ ЗАБУДЕТЕ, ЧТО ТАКОЕ РЕВНОСТЬ. НАЧИНАЙТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС. У ВАС ПОЛУЧИТСЯ! У МЕНЯ – ПОЛУЧИЛОСЬ.

На следующий день все фотографии лежали на моей кровати.

Это что, такая игра? Я раскладываю, она собирает, я без объяснений, и она без объяснений.

Она сказала: «Тебе меня не переиграть».

Она сказала: «ТЫ? Режиссером?» Может быть, она права, может быть, мне лучше не режиссером, а воздушные шары продавать?..

### **Моя другая жизнь**

– Помогите мне написать сочинение, – попросила я.

Мне не нужна Каткина помощь, я просто не хочу ее отпускать. Катка очень нервничает перед прогоном. Вика старается не оставлять Катку одну ни на минуту. Что-то придумывает, врет. Сегодня Вика на свидании, я одна вру, что мне нужно писать сочинение.

Нам задано сочинение «Что такое счастье». Можно написать в виде эссе, можно как статью в гламурный журнал, можно как социологический опрос населения, как хочешь.



Она ненавидит философские разговоры – о счастье, смысле жизни, страхе смерти. Максимально абстрактный разговор, на который она способна, это хитренько улыбнуться с выражением «Может, хватит об этом?».

– Ты когда-нибудь думала, что такое счастье? – Я взяла ручку и приготовилась записывать.

– Когда я была маленькая, я точно знала, что такое счастье. Я знала, что я хочу, чтобы у меня было. Говорить?

– Говори.

– Я хотела работу. Папа так пугал меня кульманом, что я думала – мне бы любую работу, только чтобы не кульман. Чтобы не сидеть восемь часов в НИИ, в обед стоять в очереди за курицей... а потом мы с курицей ехали бы домой, а назавтра опять в НИИ... Я хотела актрисой – но чтобы у меня были роли! Кто же знал, что бывают актрисы без ролей.

– Что еще?

– Еще муж. Не какая-нибудь безумная страсть, а муж. Дети. Каждые пять лет рожать по ребенку.

– Да? А еще что?

– Еще что? Да все. Это ты у нас такая сложная, а я была скучная девица.

Если пересчитать, что у Катьки есть из ее списка счастья?

Только одно совпало – никакого НИИ и никакой курицы. А больше ничего не совпало.

– Чувствуешь, уже весной пахнет? – спросила Катька. – Когда весной пахнет, во мне сразу сто килограммов счастья!

В ней сто килограммов счастья или двести, точно не скажу, но много.

### **Моя главная жизнь**

Элла врет по телевизору!

Не может быть, что она вообще не испытывает ревности!

Не может быть, что она считает себя лучше всех! Она не ревнует Санечку к его прошлому, но к его настоящему, к живому человеку она обязательно должна ревновать! К Катьке.

Нужно показать ей, что Катька главная в нашей жизни. Нужно уговорить Санечку сходить – он, я и Катька – в кино, или в ресторан, или еще куда-нибудь, все равно куда. Элла узнает об этом и поймет, что отношения Санечки с Катькой гораздо ближе, чем ей казалось. И опять начнет злиться!.. Это не такой наивный план, как ревность к старым фотографиям.

Еще одно. Элла должна понять – у них есть физическая близость. Она, наверное, знает, но нужно, чтобы она УВИДЕЛА. Разыграть, как будто перед ее приходом была Катька, суетливо бегать, демонстративно засовывать на ее глазах разбросанные вещи в шкаф, как в водевиле.

...Это не получится. Санечка и Катька не персонажи водевиля и не мои куклы.

А если... духи? Подушить Санечкину одежду духами? Духи взять у Катьки в сумке, потом вернуть на место.

Элла подумает – ДУХИ?! Чужие?! Катькины?!

Кажется, слишком просто, но простой план не обязательно плохой.

Перед тем как надушить Санечкины рубашки Катькиными духами, я думала.

Я думала – вот так человек становится плохим. Сначала один маленький шаг, потом еще один, и все, я плохая.

Я надушила Санечкины вещи Катькиными духами. Надушила рубашки и свитера, еще просто открыла шкаф и брызнула в шкаф. И Катькиной помадой мазнула по воротнику свитера и рубашек. И на подушке оставила след помады.

Когда я все это делала, я не думала «я плохая», я просто старалась быстро подушить, измазать помадой и убежать. А потом я еще положила на стул Катькину рубашку, в которой она ночует у Вики. Какой смысл быть НЕМНОЖКО плохой? Еще один маленький шаг не важен, еще одна ночная рубашка ничего не изменит, я УЖЕ плохая.

Самое главное – предугадать действия персонажа. Действия должны быть в логике его характера. Что будет делать нормальный человек?

Нормальный человек промолчит. Катька ни за что не стала бы допытываться – чем это от тебя пахнет и чья это ночная рубашка? А Элла?

Элла не промолчит. Она скажет Санечке: объясни, почему от тебя пахнет чужими духами и чья это ночная рубашка?!

Санечка не будет оправдываться, объяснять – никогда!

К тому же в моей интриге есть беспроигрышный момент – ему нечего объяснять. Катька же на самом деле ЕСТЬ, она остается ночевать, его рубашки могут пахнуть ее духами, ее помада, ночная рубашка МОГУТ оказаться в его комнате. Санечка улыбнется, пожмет плечами.

Тогда Элла скажет железным голосом: «Я этого не потерплю! Выставляю тебе ультиматум – или я, или она. Выбирай».

Она, конечно, рассчитывает, что Санечка ответит: «Я принимаю твой ультиматум и выбираю тебя, дорогая Швабра!»

И тут-то они расстанутся. Санечка никогда не поддается давлению, никогда не выбирает никого из женщин, кроме свободы, и он никогда не расстанется с Катькой ради сезонного романа.

Может быть, мне повезет, и все так и произойдет.

Но даже если Элла ничего не скажет Санечке, то у нее будет плохое настроение. И между ними будет недоверие, подозрение, обида. Ну хотя бы...

Я ходила за Эллой и Санечкой по квартире, делая вид, что случайно оказываюсь там же, где они. Элла старательно нюхала воздух.

– Что? – спросила я. – Мне тоже кажется, что пахнет духами... Это Катькины духи, я их знаю.

Сначала за ними закрылась дверь в Санечкину комнату. Минут через пять Элла громко хлопнула сначала Санечкиной дверью, потом входной.

А сама говорила по телевизору: «В сражении за мужчину проигрывает тот, кто больше злится. Нельзя злиться, закатывать сцены». И что же – злится, закатывает сцены, хлопает дверью!

Вот и все, со Шваброй покончено. Неужели влиять на людей так просто? Всего лишь побрызгать духами в шкаф? Ну, и еще ночная рубашка.

...Интересно, Яго испугался хотя бы немного, когда понял, к чему привела его интрига? Я очень испугалась. Что у моей интриги такой мгновенный успех.

Прошла неделя.

Эллы больше нет. Ее совсем нет! По телевизору идет ее ток-шоу в записи, а в прямом эфире ее нет.

Катьки тоже нет. Они с Санечкой не ссорились, только смотрели друг на друга и односложно переговаривались. При мне – они же не знали, что я знаю.

Санечка показал на испачканный помадой воротник рубашки и удивленно спросил: «Катька?»

Катька удивленно ответила – ты что? Ты же знаешь, я никогда.

Санечка покачал головой – нехорошо, Катька.

Катька ушла, чуть не плача, а в прихожей полезла в сумочку за помадой. **ВОТ ЧЕРТ, ЧТО-НИБУДЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАБУДЕШЬ!** Я забыла вернуть на место духи и помаду.

Катька выразительно посмотрела на меня, но не выдала, конечно. Просто ушла как наказанный ребенок. Я не думала, что так будет! Может, я напрасно стала плохой?

...Да, я напрасно стала плохой.

Элла вернулась. Она была в Москве, на встречах с читателями в книжных магазинах. Они с Санечкой помирились.

...Все мои вещи надушены ее духами. Доказать, что это сделала она, невозможно. Не то чтобы это очень страшно, но я удивилась – все же я ребенок, а с ребенком не играют в такие игры.

**НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.** Все мои интриги – как будто я бросаю фантики под колеса танка. Если так пойдет моя жизнь – может быть, мне стать не режиссером, а смотрителем маяка?

### **Моя главная жизнь**

– Расскажите, ваш спектакль – это новое видение Чехова?.. Екатерина?..

Катька кивнула как робкая двоечница.

– Наверное, очень трудно играть роль, которую до вас играли звезды?

– Э-Э... да, – сдавленным голосом сказала Катька.

– Очень неглупо отвечает, – дипломатично сказал критик.

– Стесняется, – сочувственно сказал профессор.

– Что-то она бледненькая, – обеспокоенно сказал Лев Борисович.

– Идиотка, – сердито сказала Вика.

Мы сидели у Вики перед телевизором, все, и даже Санечка с нами, а на экране была Катька! Забилась в угол дивана, испуганно вздрагивала, когда к ней обращался ведущий. Ее вместе с режиссером пригласили на дневную информационную передачу, рассказать о спектакле.

Режиссер рассказывал, Катька мекала и пыталась раствориться в диване, а ведущий, как назло, все время обращался к Катьке. И вообще не сводил с нее глаз – наверное, влюбился в нее с первого взгляда, как все.

– Сейчас модно играть классику в современных костюмах, – сказал ведущий, – а как будет у вас, Екатерина? Как одета ваша Маша?

– Костюмы шьют по журналам того времени, – застенчиво сказала Катька и вдруг оживилась, – но Маша, понимаете, она не такой человек, чтобы носить, что все носят! Она носит, что хочет, это одежда независимого человека! Если бы Маша жила сейчас, она не одевалась бы по журналам мод! Я попросила сделать платье не по журналам того времени, а именно ее платье... Получилось красиво.

– Маше нравится? – рассмеялся ведущий, нежно глядя на Катьку.

Катька была на телевидении, Катька была на радио, у Катьки брали интервью для газеты «Санкт-Петербургские ведомости». Этот молодой режиссер всегда берет с собой Катьку как исполнительницу главной роли. Во всех интервью говорит, что для него главное в спектакле – дуэт Маши и Вершинина.

Санечка говорит, что Катька репетирует замечательно! Вика ворчит – что с тобой случилось, что ты вдруг стала такой гениальной актрисой?

Я была на трех репетициях.

Репетиции были на малой сцене. С Катькой у этого режиссера такой метод: он ходит по площадке, читает текст Катькиной роли – сам обозначает интонацию и мизансцену, а потом просит Катю повторить. Катя копирует его интонацию, манеру речи и что-то добавляет свое. Он поправляет, очень нежно и внимательно. А потом говорит – на всех трех репетициях одно и то же: «Умница, Катя! У вас темперамент пошел!» и «Умница, Катя! Схватываете мизансцену на лету!»

Он сам умница, этот режиссер! Когда Катке кажется, что ее не принимают, она вянет, как сорванный одуванчик, а от любви одуванчик расцветает, золотится на солнце. Режиссер нашел к Катке золотой ключик, понял, что ее нужно хвалить. Хвалить и делать ей роль.

С другими актрисами он обращается совсем иначе. При мне Ленка всего один раз вышла репетировать Машу. И через пять минут – ссора. Режиссер ей сказал: «У вас штампы». Ленка ответила грубо: «У играющего актера всегда штампы, у плохого два штампа, а у хорошего сто штампов. У меня сто». Нагубила и ушла с репетиции без разрешения.

Правда, потом Ленка вернулась на репетиции. Режиссер больше не выпускает ее на сцену репетировать, но Ленка приходит на все репетиции и сидит, прилежно записывает все, что относится к ее роли, к роли Маши.

Но это Ленкин личный конфликт с режиссером, а конфликта с Катькой у нее больше нет. Конечно, те, у кого берут интервью, не так близки всем, как несчастные актрисы без ролей, но прежняя Каткина «дружба со всеми» восстановилась.

Катка осмелела, на одной репетиции сказала режиссеру о партнере: «Он сбивает меня с ритма, делает слишком большие паузы». Для прежней Катки это было немислимо, но ее партнер не обиделся – это был вовсе не взгляд свысока или желание отыграться. Она просто хочет работать как можно лучше. Все это понимают, или просто надоело Катку травить, но больше никто на нее не сердится.

После репетиции были замечания. Катка записывает все замечания, не только свои. Режиссер ее опять похвалил – сказал, что Катка понимает, что Чехов поэт.

После замечаний Ленка сама позвала нас с Катькой поболтать в буфете.

Мы сидели втроем, но мне пришлось притворяться застенчивой мышью. Ленка спросила меня: «Как дела в школе?», и потом они с Катькой обсуждали эротические сцены в спектакле. Режиссер хочет две эротические сцены – Маша с мужем и Маша с Вершининым.

Режиссер не собирается заставлять Катку раздеваться. Если неловко актрисе, то и зрители чувствуют неловкость, смотрят не на сцену, а в проход. Поэтому режиссер не хочет, чтобы она стеснялась и тревожилась, как она выглядит, – только грудь. Он говорит, что Каткина грудь – это символ сексуальной энергии спектакля.

– В сцене с мужем я закрываю грудь руками, а в сцене с Вершининым обнажаю. Но может, можно как-нибудь так придумать, чтобы не раздеваться? – сказала Катка. – Я стесняюсь.

– Ничего он не будет придумывать. Твоя грудь играет главную роль в спектакле, – улыбнулась Ленка, – ничего, не умрешь, разденешься. Ты же теперь делаешь большое искусство, а мы тут так, примус починяем. Режиссер в тебя влюблен. Такой красоты, как у тебя, ни у кого нет! Ему от тебя и нужна-то только твоя грудь...

Я под столом толкнула Катку ногой – вот какая Ленка, подсыпает то сахару, то перцу, давай ей тоже что-нибудь скажем! Но Катка только виновато улыбнулась. Она стесняется всего – что у нее красивая грудь, что режиссер в нее влюблен, что роль

получается отлично, что у нее берут интервью. Она стесняется даже того, что Ленка ее простила.

– ...Екатерина, это ваша первая большая роль за последние годы, и особенная роль, такая, которую мечтают сыграть все актрисы, – сказал ведущий. – Вам не страшно было браться за Чехова?

– Страшно, очень страшно... – округлив глаза, ответила Катька и кивнула на режиссера: – Но наш режиссер, он очень хорошо объясняет все мотивы, нюансы роли, все...

Санечка хмыкнул. Ему неприятно, что Катька так поглощена ролью, что она так восхищается режиссером. Сказал: «Спящая красавица, спала-спала и проснулась от поцелуя режиссера».

Санечка ревнует Катьку к этой роли.

Он считает Катьку своей собственностью, а человек, поглощенный ролью, другим режиссером, Чеховым, человек, у которого берут интервью, уже не его Катька. Он хочет, чтобы она была только его, а ему было не надо.

– Ну что же, будем ждать премьеры, – сказал ведущий, – после короткой рекламы вы увидите...

Мы ждали Катьку, но после рекламы на экране возникла Элла – дневное ток-шоу для домохозяек, тема сегодняшнего разговора: «Здоровый образ жизни, мифы и реальность». Сейчас Элла расскажет, как делает зарядку.

– А Элла опять у нас ночевала, – тихо пожаловалась я Вике, как Мальчиш-Плохиш. – Утром ходила в Санечкином халате! Ты что, не слышишь?! Элла у нас! Ночевала!

– Что ты возмущаешься? Тебе не нравится здоровый образ жизни? Возьми салфетку и швырни в экран, – предложила Вика.

– Почему салфетку? – хором удивились критик и Лев Борисович.

– Ну не вилок же бросать, Вика не хочет разбить экран, – объяснил профессор.

Недаром он знает Вику с третьего класса.

Вика гневается, как Суворов. У него была манера в гневе топтать свою треуголку, но это всегда оказывалась старая треуголка. Суворов всегда знал, когда станет гневаться, и умел регулировать свой гнев. Вика тоже умеет регулировать свой гнев. Она не орет на Санечку за то, что Элла у нас ночует не просто так, а по какой-то неизвестной мне важной причине.

### **Моя главная жизнь**

Вместо первой пары зашла к Вике проснуться. Включили телевизор, а там уже Элла – «Доброе утро, дорогие друзья». Программа «Женский взгляд на мир».

– Ты не знаешь, как этот человек может с ней спать? Мне после этого всегда хочется немного поговорить, а о чем с ней разговаривать, если она человеческого языка не понимает?.. – пожаловалась Вика, – представляешь, сказала мне, что я должна сделать выбор между тремя любовниками! Как я могу сделать выбор между Сережкой, критиком илевой, если они нужны мне все трое?! От этой женщины я начинаю зевать и никак не могу остановиться...

У них разговор двух глухих – Элла всегда говорит о чем-то конкретном, а Вика – о чем-то приблизительном, да еще имея в виду совсем другое.

Вика присутствовала в нашем доме всегда, в воздухе, в виде разных опасений – «Зверь скажет, Зверь заругает, не говори Зверю». Поэтому Элле все-таки приходилось с ней общаться.

Она вела себя с Викой как с богатой пожилой дамой, с которой нужно соглашаться, потому что она всех содержит и слегка не в себе.

А Вика с Эллой – как звезда и поклонник, причем как будто это Элла ее поклонник. Вике кажется, что все ее любят и боятся и что все ей должны все, начиная от восхищения и заканчивая котлетами.

– Ты старая! – вдруг выпалила я.

– Кто старый? – не поняла Вика.

– Ты! У тебя колено, у тебя карьер! Ты скоро будешь старая, и кто тогда будет за тобой ухаживать?!

Я не знаю, что на меня нашло. Я не хотела Вику обидеть!

– Я надеюсь никого не беспокоить... – с достоинством произнесла Вика и, подумав, добавила: – Надеюсь, Катька подаст мне стакан воды и котлету...

– Ага, Катька?!.. Катька будет приходить к нам все реже и реже, а когда тебе понадобится стакан воды, у нас будет Элла! Только ты для нее чужая! Ну, пожалуйста, пусть она у нас не ночует! Запрети Швабре у нас ночевать!

– Ах, оставь, – отмахнулась Вика, – ты еще маленькая, не понимаешь...

– Я не понимаю?!

Это Вика еще маленькая, не понимает, что Элла «заказала» Санечку без нас и внедряется в нашу жизнь со всех сторон, как... как таракан!..

– Ты не понимаешь. Как филолог я никогда не борюсь с ветряными мельницами, – важно сказала Вика.

Это ее критик научил цитировать Сервантеса.

### **Моя другая жизнь**

На перемене Элик незаметно подложил мне в сумку подарок, фарфоровую куколку. Куколка подарил куколку! Я выставила куколку на парту и гладила ее по головке весь урок. А Элик улыбался.

Он так и не признался, не сказал, что это его подарок, он все-таки еще маленький! Я тоже не спросила. А вдруг это не он? Но тогда кто? У меня больше никого нет.

### **Моя главная жизнь**

Сегодня прогон спектакля. Должен смотреть Санечка – он раньше спектакль целиком не видел, ему показывали только первый акт. Он всегда так работает с приглашенными режиссерами – не ходит на репетиции, чтобы не лишать свободы, не давить, а смотрит первый акт и потом уже прогон. Сегодня все три акта с двумя антрактами, специально, чтобы люди могли обменяться мнениями. Пригласили своих – свою публику и своих критиков.

Я два дня не видела Катьку и даже не разговаривала с ней по телефону. Перед спектаклем я принесла Катьке ее зайца – она забыла его у нас. Я принесла зайца в гримерку, положила на стол и убежала. Катька меня не видела, она терла щеки. Она всегда перед тем, как выйти на сцену, даже если выходит в массовке, всегда трет щеки – заряжается.

Я села в последний ряд, чтобы не смущать Катьку, отделиться от Вики и ее свиты и спокойно, без помех, потереть щеки. Я терла щеки, как будто я Катька, и зло повторяла про себя: «Все будет хорошо, все будет хорошо!» Глупо, конечно, но вдруг поможет?

В первом акте все было хорошо. Спектакль в целом шел хорошо. Катька была вялая, заторможенная, как будто ленится играть, продирается сквозь сон.

...Я тогда не знала, что произошло, но теперь я знаю. В день перед прогоном Катька была дома, отключила телефон, репетировала перед зеркалом и перед зеркалом повторяла, как ей велел режиссер: «Я хорошая актриса, я докажу, что я хорошая актриса».

Она сутки ни с кем не разговаривала, кроме своего отражения в зеркале, ничего не ела и ночью не могла заснуть, вставала, опять разговаривала с зеркалом, поняла, что утром будет выглядеть ужасно, и приняла снотворное. Она уже один раз принимала это снотворное, когда нервничала и не хотела выглядеть назавтра плохо.

Нормальный человек не будет принимать снотворное перед спектаклем! Нормальный человек хотя бы подумает, что принимает таблетку не вечером, а ночью! Что срок действия таблетки будет другой! Но Катька вообще никогда не думает, что дальше, для нее главное, что сейчас. В ней как будто часы заведены наоборот, чтобы всегда сделать себе плохо!

В антракте я ходила по фойе и подслушивала, кто что говорит. Самое плохое, что сказали о Катьке – ну где вы видели чеховскую героиню с ее внешностью. И как актриса она ничто, пустое место.

Самое хорошее – чеховская героиня с ее внешностью – хм-м, забавно... Но если берешь небанальный типаж, это должна быть АКТРИСА. В труппе есть звездочки, есть просто приличные актрисы, а она, конечно... жаль.

Во втором акте Катька играла потрясающе! Она играла как на репетиции!

...Я тогда не знала, какая Катька молодец, а теперь я знаю. Перед вторым актом, перед тем, как ей выходить на сцену, подошла Ленка:

– Наш критик сказал, спектакль замечательный, но Маша – ужас, кошмар, чудовищно!.. Но ведь все так и думали, что, кроме груди, тебе нечего показать...

Ленка прекрасно знает – если Катьку похвалят, ее несет, она играет, а малейшее дуновение, и все, ее нет. И сказала такое... – «кошмар, чудовищно». Гадина!

Но Катька решила, что на этот раз она не позволит собой играть, не поддастся ни за что, и собралась. Она смогла, правда!

В антракте я встала рядом с двумя театральными критиками, сделала вид, что задумалась, и подслушала диалог.

– Маша однозначно прекрасная. Кто это? Странно, что я ее не знаю, она актриса редкой индивидуальности.

– Маша лучше самого спектакля. Пронзительная, современная, понятная всем в зале...

В третьем акте Катька не играла. Просто читала свой текст и ничего не делала. А на последнюю картину она вышла и как будто споткнулась – не могла говорить. На поклоны она не вышла. Сидящая впереди меня пара – не знаю, кто это, – перешептывалась: «Где Маша, нехорошо, неловко».

И в примерке ее не было, и нигде в театре я ее не нашла.

Я обежала театр несколько раз, пока меня в центральном фойе не поймал Санечка, как маленького ребенка, в расставленные руки. Он был, конечно, с Эллой. Они пили шампанское с критиками и режиссером. Режиссер еще больше обычного был похож на робкого мальчика из десятого класса, стоял как-то боком, как будто он еще не взрослый, как будто ему разрешили выпить шампанского на взрослом празднике.

Санечка сказал, что спектакль ему в целом понравился. Не считая кое-чего, о чем сейчас говорить не стоит. Кое-что – это Катькин провал в третьем акте? Критики наперебой говорили, что спектакль замечательный, спорный, потрясающий, новаторский, будет иметь большой успех. Элла ревниво сказала, что это, прежде всего, успех главного режиссера.

– Он же вас пригласил ставить? – повернулась Элла к режиссеру. – Значит, это его успех. А как вы могли так ошибиться с ролью Маши? Это вы от неопытности, от молодости?.. Это же просто непрофессионально! Она вас подвела, провалила роль!

Режиссер, кажется, не понял, кто непрофессионален, он или Катька, но испуганно кивнул.

Санечка улыбнулся и подмигнул режиссеру, а критики сделали вид, что ничего не заметили. Нетактичная швабра. С маленькой буквы.

– Я всегда говорил, что в своем театре обойдусь без демонстрации режиссерского «я». Я считаю, что у зрителя есть свое «я» и зритель не глупее режиссера, – мягко улыбаясь, сказал Санечка молодому режиссеру, – но сегодня ваше режиссерское «я» было мне как зрителю интересно. Так что поздравляю вас с успехом, а себя с тем, что вы приняли мое приглашение.

И все облегченно заулыбались. И Элла, которая, как всегда, ничего не поняла, широко улыбалась зубастой улыбкой, как будто поняла.

...И у нас дома Катьки не было, и на звонки она не отвечала. Наверное, она тихо вышла из театра, села в такси, ехала и плакала, что испортила все.

Вика сказала – не надо за ней мчаться. Сказала: погорше поплачет, полегче заснет. А завтра придет домой, то есть к нам.

Правильно Вика говорит – погорше поплачешь, полегче заснешь. Я заснула, едва войдя домой, провалилась в сон, чуть ли не стоя в прихожей, и проспала до следующего вечера.

### **Моя другая жизнь**

Санечка приказом снял Катьку с роли. Без объяснений.

Объяснения были у Катьки, но что в них толку?

– Почему ты провалила третий акт, ведь все шло так хорошо?! Почему ты вообще не играла в третьем акте?

– Меня попросили, – сказала Катька.

Что?!

Перед третьим актом к ней подошел озабоченный режиссер и сказал:

– Катя, мне сказали, что вас сейчас кто-то обидел. Вы не можете играть, если вокруг чужая злая вибрация. Потом со всем этим разберемся. Не нужно играть, просто проговаривайте текст и больше ничего не делайте. Я вас прошу – чтобы не испортить спектакль.

– Я подумала, что я УЖЕ играла плохо. Что я УЖЕ провалила роль, испортила спектакль, – объяснила Катька. – Он сказал, не играть, я и не играла. А на поклоны не вышла, потому что – уже все равно.

Катька была, как будто ей вообще все – уже все равно, как человек, которого долго били по щекам, плюх-плюх, голова мотается в разные стороны, он уже ничего не чувствует, ни унижения, ни отчаяния, не чувствует даже, жив он или не жив.

– Ленка ходила к Санечке, сказала: «Я сыграю, у меня все репетиции записаны». Она уже репетирует.

...Я спросила Санечку:

– А как же Катька?! Катька играет прекрасно!

– А что Катька? – переспросил Санечка. – Катька МОЖЕТ сыграть прекрасно. А может провалить премьеру. Она неровно играла. Она ненадежна, эмоционально неустойчива. Не имела права так расклеиться в третьем акте, не выйти на поклоны. Я не могу рисковать спектаклем.

– А как же режиссер?

– Согласился со мной. Спектакль ждет успех, премии, а она может провалить премьеру.

– А как же справедливость? Разве ты не хочешь ее наказать?

– Кого наказать? Ленку? Ее Бог накажет, при чем здесь я? Маруся, кто здесь главный режиссер, ты или я? – смешливо сказал Санечка.



По-моему, он доволен, что Катька ненадежна, эмоционально неустойчива и опять принадлежит ему целиком, а ему не надо.

Санечка хочет, чтобы Катька больше не восхищалась режиссером, режиссер хочет, чтобы спектакль получил премию, и уступает ему Катьку, Ленка хочет роль. Какая простая интрига. И все интересы совпали. Все очень сильно чего-нибудь хотят, а Катька опять жертва чужих хотений.

Что бы я делала, если бы со мной так поступили?..

Пусть только попробуют! Я буду царапаться, злиться, обижаться, обвинять, бороться, мстить! Или хотя бы презирать!

А Катька? Может быть, у нее нет гордости, самолюбия? Может быть, она не знает, что такое самолюбие, может быть, обманутые надежды ей ничем? Может быть, ей – подумаешь, Санечка выгнал ее из спектакля, которым она жила, подумаешь, аборт оказался напрасной жертвой!

...У нее ЕСТЬ самолюбие.

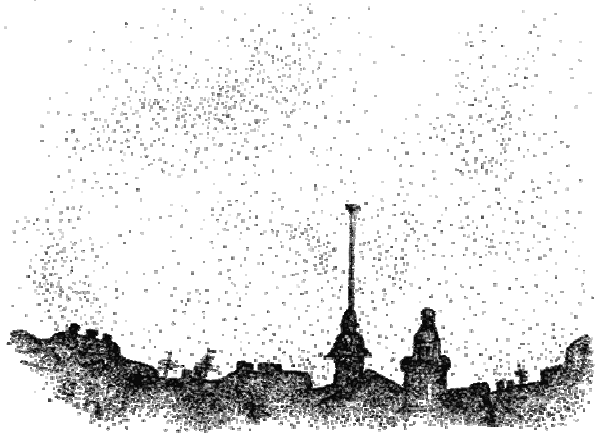
Для нее очень важно не показать свое отчаяние. Ее отчаяние не агрессивное, не громкое, а так, одна случайно брошенная фраза.

– Я чувствую себя так, как будто любой человек может подойти ко мне и ударить, просто пнуть меня ногой, – сказала Катька и тут же спохватилась: – Это шутка, шутка, я пошутила!

У нее и правда глаза, как будто она ЗНАЕТ, что ее ударят.

– В театре все говорят – какая жестокость! Ленка говорит: «Он предатель, если ты простишь, ты просто тряпка!» – сказала Катька.

Ленка говорит, что если Катька простит Санечке, что он снял ее с роли, она просто тряпка? ЛЕНКА говорит, а Катька ее слушает? Но ведь Ленка тоже предатель!



Катька опять уселась в буфете с кланами Ленки и Женьки, опять все эти разговоры – «он не умеет держать зал», «у нее отсутствует чувство партнера», «она наигрывает», «он провалил сцену»...

Но что делать, если Катька неудачница?! Каждому человеку придано что-то. Для каждого уже висит на небе удача или неудача. Для Швабры на небе висит огромная жирная удачища, как полная луна, для лучшей в мире Катьки – неудачка, небольшая нестрашная неудачка.

Справедливости нет, просто кому что попадется.

А что висит на небе для меня?..

### День знаний

Санечка отменил наказание М. Разрешил играть моноспектакли на малой сцене.

Санечка понимает, что прятать гения от публики из-за ерунды, вроде срыва репетиции, – преступление. Если М. хотя бы раз сыграет своего «Хармса» или «Лермонтова», одна или несколько человеческих душ станут лучше. Что важнее – живая душа или дисциплина в театре?

Поэтому М. снова на малой сцене – играет «Лермонтова»!

Я знаю, что у Лермонтова жуткий характер, – это все знают. Он угрюмый, холодный, желчный, высокомерный – противный! Светские люди думали – фу, гадость! Если бы мы с ним встретились, я бы тоже подумала «фу, гадость!».

Но я все-таки не светская дама, а знаток человеческих душ, я бы поняла – а каким ему быть со всеми этими светскими людьми, если они все глупые! Он высокомерный, потому что гораздо умнее окружающих.

Человек, который умнее других, – как ему быть милым, доброжелательным? Ведь он ВИДИТ чужую глупость, ничтожность, гадкие мотивы. Получается, что человек либо умный, либо милый.

М. играет Лермонтова таким разным, что кажется, речь идет о двух разных людях. Не только характер, но даже и внешность. Например, в сцене Лермонтова с кавказским офицером.

М. играет и офицера тоже, несколькими штрихами обозначает образ человека из другого круга, не из высшего общества. С ним Лермонтов так же холоден и презрителен, как со светскими людьми, но когда заметил, что ему и правда обидно, тут же стал ласковым, добрым, даже поцеловал его!

М.-Лермонтов улыбается по-разному. Как Санечка. У Санечки разные улыбки: кривая улыбка для всех – для почти всех, это улыбка человека сознающего свое умственное превосходство. Для Катьки и Вики – улыбка для совсем своих, рассеянная и снисходительная. И у него есть одна нежная улыбка – только для меня.

Наедине с собой Лермонтов задумчивый, нежный, грустный человек, такой же, как его стихи.

А в компании своих сверстников – он как будто вывернулся наизнанку, шумный, злой, разгульный, буйный. Вот этого я от него не ожидала! Такого злого бешенства Лермонтов иногда ведет себя как закомплексованный подросток!

А в нем – бесы!

...А если мужчина один, без бесов, это скучно!

В женщине нет бесов и не надо, а мужчине нужен хотя бы один маленький бес. У Санечки есть, и у Лермонтова есть, и у М. есть. М. один раз играл с температурой 40, его привезли из-под капельницы и увезли обратно под капельницу. Это не он играл, а бес.

Я уверена, что каждый настоящий мужчина, который личность – который стоит любви, – может быть ТОЛЬКО как Санечка, Лермонтов и М. Их нельзя поймать, уютно заключить в объятия и понять до конца.

...М. перебивает действие цитатой из Гоголя: «...никто еще не играл так легкомысленно со своим талантом и так не старался показать к нему какое-то даже хвастливое презренье, как Лермонтов».

М. тоже играет со своим талантом.

Я смотрела спектакль и думала, что М. гений, единственный актер – настоящий мужчина, открытая душа... и вдруг – в зале возникло какое-то напряжение, суета.

И почему помреж на сцене?..

Помреж объявил – театр приносит извинения за то, что спектакль прерывается, желающие могут получить деньги в кассе.

Что случилось? Спектакль не прерывают никогда.

Но спектакль прервали. М. на спектакле – пьяный!!!

...Санечка выгнал его из театра. По-настоящему выгнал, уволил навсегда.

Но он сам говорил, что гению все можно!

Но М. говорил, что больше не будет пить!.. М. ОБЕЩАЛ не пить, но пьет даже перед спектаклем.

Но Лермонтова я тоже сегодня увидела другим, жалким, закомплексованным подростком.

Сегодня все показали себя с неожиданной стороны – Лермонтов, М. и Санечка.

Мне нельзя так поздно быть не дома. Но я все равно после спектакля пошла за М. Вдруг он что-нибудь с собой сделает?..

Мы дошли до Казанского собора, М. впереди, я за ним – он меня все равно не замечает.

М. сел за угловой столик на веранде, а я осталась на улице. Мне нельзя быть на веранде вечером – это ресторан, а я «детям до шестнадцати».

М. сидел на веранде, а я смотрела на него снизу, с тротуара, и думала.

Как жестоко поступил с ним Санечка! Для Санечки главное слово – эгоист.

Конечно, Санечка не пошлый эгоист, для которого главное его мелкие интересики! Но он эгоист еще больше, потому что у него есть ОДИН ГЛАВНЫЙ интерес, вокруг которого построена вся его внутренняя жизнь. Санечкин главный интерес – театр. И он действует только в интересах театра.

Но люди?.. Но М. – гений, и он пропадет!

Санечка скажет – пусть пропадет. Он ненадежен, пьет.

А Катька – тоже пусть пропадет?! Она ненадежна, слишком эмоциональна. У него все ненадежны!

Катька сделала аборт, а ведь он взрослый и знает все это – что у нее был последний шанс.

Он отнял у нее роль, а ведь она вся светилась, она впервые жила чем-то настоящим! Вообще ЧЕМ-ТО, кроме нас! Он мог бы дать ей хотя бы сыграть премьеру, а потом как-нибудь... зачем же приказом снимать с роли?!

А вот зачем подсознательная ревность!

Он что думает, – если он режиссер, то знает больше, чем другие, может режиссировать чужую жизнь?! Ему все люди просто материал, лепит, что хочет?! А если не получается, он их выбросит?.. Он – жестокий человек, у него нет жалости ни к кому.

«У Маруси талант и интуиция, Маруся знаток человеческих душ», – говорит Санечка. Я не идиот, я знаток человеческих душ! Человек, все детство простоявший за спинкой стула, точно знает, что идеальных людей не бывает.

Но... как бы это объяснить? Я ЗНАЮ, что он эгоист, но вдруг обнаружились нюансы. Которые заставляют удивиться – я знаю, что он эгоист, но ЭТОГО я не ожидала.

...Я поднялась наверх, посмотрела на М. – он уже сидел за столиком не один, а с поклонницами. Теперь я могу уйти, они так его обожают, что при них он ничего с собой не делает.

Санечка пришел домой, когда я уже спала. Сделала вид, что сплю, чтобы не разговаривать.

Я не хочу разговаривать, но я люблю Санечку еще больше, чем до этой истории.

Я люблю его еще больше за то, что он эгоист и такой сильный.

Я люблю М. еще больше за то, что он гений и такой слабый. Если любишь человека, нужно смириться с тем, что он не идеален.

...Что же, мне так и придется СМИРЯТЬСЯ? Когда я вырасту и полюблю еще кого-то?

Сначала я буду думать, что этот кто-то прекрасный, идеальный, но очень быстро окажется, что у него есть недостаток – он эгоист и жестокий человек или он пьет?.. А потом вдруг окажется – «я знаю, что он эгоист, но ЭТОГО я не предполагала» или «я знаю, что он пьет, но ЭТОГО я не предполагала». И мне все равно придется его любить?..

Очевидно, да. И вот что интересно, пугающе и прекрасно – когда смиряешься с тем, что любимый человек не идеален, начинаешь любить его еще больше.

...Или уже всегда любить Атланта – он единственный, кто никогда меня не обманет.

### **Моя главная жизнь**

Этот день был, как будто играешь стокатто – ломким бегом, отрывисто.

– Если твое приглашение остается в силе... – сказал Элик, – ты приглашала меня в гости, помнишь?..

Когда это было?!.. Далекой осенью, в первый день, когда он появился в лицее и проводил меня до памятника Екатерине. При его воспитании строгого режима, калейдоскопе из занятий, уроков и пунктов в блокноте ему год как один день.

– Сегодня не вторник, – уточнила я.

– У меня есть час, – сказал Элик и на всякий случай сверился со своим блокнотом.

Ну почему эта глупая куколка считает меня своим единственным другом! Почему он самый маленький в лицее! Мне нисколько не лестно, что он смущается, отводит кукольные глазки, краснеет кукольными щечками, складывает губки бантиком, смотрит на меня так преданно, словно я единственный человек в мире, кто его не оттолкнет!

Но так и есть, я единственный человек в мире, который его не оттолкнет, который скажет ему:

– Хорошо, я приглашаю тебя в гости.

У бедной куколки есть целый огромный час на дружбу. Жалко его, пусть дружит.

Машина куколки следует за нами по обычному маршруту – Невский, Екатерининский сад, Александринка. Машина ждет Элика напротив памятника Екатерине, у нашего дома.

Я купила в Елисейском три банки пива, бутылку водки, и мы с Эликом пошли домой.

Вспомнила, что забыла сигареты, послала его за сигаретами, но он посмотрел на меня такими испуганными кукольными глазами, что пришлось идти с ним.

– Я ничего не понимаю, – сказал Элик, – признаться, я не совсем так представлял себе этот визит.

Он, конечно, не думал, что будет бегать за сигаретами! Он думал, мы будем слушать музыку, рассматривать книги и фотографии, говорить о склонениях и спряжениях.

Я вылила пиво в раковину, пустые банки бросила в прихожей. Открыла бутылку мартини и вылила половину, поставила бутылку и два бокала на кухонный стол. Пачку сигарет положила рядом. Поставила пепельницу с окурками. Окурки взяла из банки на лестнице. Хорошо бы еще травку, но не знаю, где взять. Хорошо бы еще залезть в Санечкин бумажник, чтобы он понял, что я стащила у него деньги, но Санечки нет дома.

– Зачем тебе водка, сигареты, окурки? Ты хочешь пить и курить? – испуганно спросил Элик.

Маленькая невинная куколка, совсем не знающая жизни! Да, я хочу курить чужие окурки!

Я не хочу пить и курить.

Я хочу, чтобы Санечка понял, что у меня переходный возраст. Что со мной нужно бережно обращаться, делать все, что я хочу, иначе я могу натворить глупостей.

Я хочу, чтобы он укоризненно спросил:

– Маруся?..

А я буду молчать, как тупой бычок. Как проблемный подросток.

– Что с тобой происходит? – растерянно спросит Санечка.

Я заплачу. И скажу сквозь слезы:

– Я хочу, чтобы ты обратил на меня внимание. Чтобы у нас все было, как раньше. Чтобы у нас не было швабры... Эллы.

Вот так нарочно оговорюсь, чтобы он понял, как я ее ненавижу!

А он улыбнется:

– Ты мой ребенок. У нас все будет, как ты хочешь.

Этот разговор должен произойти вечером. Днем он придет после репетиции с Эллой – это тоже входит в мой план. Пусть она думает, что я плохая, что со мной проблемы.

А вечером, когда мы с Санечкой останемся вдвоем... Мы еще посмотрим, кто из нас режиссер жизни!

...Мы с Эликом сидели на кухне, когда пришли Санечка с Эллой.

– У нас кто-то пьет пиво? – спросил Санечка, входя в кухню с банками в руках. – Привет, солнышко! Познакомь меня со своим другом.

Элик испуганно вздрогнул. Куколка, конечно, совсем не удачный актер на роль «плохой компании», но где мне взять кого-то взрослого? Я не могу привести в дом страшного взрослого человека с улицы!

– Что?.. Что это?.. Что здесь происходит? – шепотом сказала Элла.

У нее был такой ошеломленный вид, как будто она увидела не меня и маленькую куколку сидящими за столом с бутылкой мартини, двумя бокалами и пепельницей с чужими окурками, а САМЫЙ СТРАШНЫЙ УЖАС СВОЕЙ ЖИЗНИ. Санечка засмеялся:

– Маруся! Покуриваешь? Пьешь мартини? Мартини лучше не мешать с водкой.

Элик смотрел на Эллу, замерев, как перевернутый на спину жук, и вдруг потихоньку начал сползать под стол – как жук или как гусеница на солнце. Даже глупая куколка понимает, кто здесь страшный.

– Не бойся, она мне никто, – шепнула я.

– Сигареты?! Ты куришь?! Мартини? Ты пьешь?! Пиво?! Ты пьешь пиво?! А что это? ВОДКА? – свистящим шепотом перечисляла Элла.

Элла дрожала, задыхалась от злости и негодования. Оказывается, у нее ЕСТЬ эмоции. Вот как она вдруг разволновалась, неужели она ко мне не совсем равнодушна?..

– В твоём возрасте... я сейчас вызову милицию! – закричала Элла.

– Элла! Это же дети, – успокаивающе улыбнулся Санечка. – Ты бы лучше пригрозила вызвать Деда Мороза или Бабу-Ягу.

– Дети?.. Какие дети?!.. Это все она! Испорченная наглая девчонка, ее нужно отправить в исправительное заведение, я знаю адрес!

Санечка улыбнулся еще более успокаивающей улыбкой.

– У Маруси с этой осени началась новая жизнь, ей разрешили самой ходить в лицей и после лицей в пределах Невского, а она, как всякий подросток, – прыг, куда нельзя. Успокойся, ничего страшного не произошло, вообще НИЧЕГО не произошло...

Элла все кричала и кричала, выкрикивала ужасные гадости: «Ты... твоё место на помойке... ты пропадешь...» А потом заплакала. Просто заплакала в голос, как плачет деревенская баба в кино, – о-о, а-а... – вот так.

И все это – гадости, о-о, а-а было адресовано не мне.

Сериал – не наш жанр. Наш жанр комедия, а сериал – это дешёвка.

– Мы неожиданно оказались в сериале, – сказал Санечка. Он режиссер, он сразу понял, как развивается сюжет.

– Мама, я больше не буду! – жалким голосом сказал Элик.

Как маленький!

– Ты говорила, что твой ребенок учится в Англии, – довольно строго сказал Санечка.

– Ты говорил, что у тебя мама-папа-брат-сестра, – сказала я.

– Элик, подойди ко мне. Дыхни, – страшным голосом приказала Элла.

Человек после слез всегда совсем другой, растерянный, беспомощный. Но не Элла. Она даже после слез злая. Зачем она его унижает, ясно же, что куколка дышит не сигаретами, а карамелькой.

– А после этого скажешь, какие такие папа-брат-сестра и почему ты врал.

Что тут происходит? Кого за что ругают? За то, что малышка Элик посидел рядом с сигаретами, или за то, что он врал? Санечка никогда не скажет: «Почему ты врала?!», просто посмотрит укоризненно.

Элик бросился к Элле:

– Она первая врала! Что чудом спаслась, бежала под пулями! Что видела следы от пуль в небе. Она говорила, что была под пулями! – Элик опустил голову. – ...У нее такая интересная жизнь, что я тоже врал...

Кстати, он неталантливо врал – что у него нормальная семья, лыжи-бассейн, всегда все вместе...

– Мм... да. Кажется, здесь собрались одни вруны. ...Может быть, кто-нибудь хочет мартини? Или водки? Маруся, ты? – предложил Санечка.

– Домой, – скомандовала Элла, и они с Эликом ушли.

Санечка не сказал: «Что с тобой происходит?»

Он сказал: «Ну что, покурим?» И мы засмеялись.

– Мы?.. – спросила я.

– Мы что? – переспросил Санечка. – Знаешь, солнышко, Эллу можно пожалеть. Она умная, а умной больше, – больше ума, больше боли. Умная женщина в состоянии понять, что произошло в ее жизни. Успех – не всегда веселая история...

Вот что мне рассказал Санечка.

Элла несчастная – от нее ушел муж. Ее муж вдруг понял, что стал «мужем знаменитой писательницы», его знакомые просили его подписать Эллину книжку, он стал на людях говорить, что она пишет сладкую чушь, старался показать свою независимость от нее и ее денег. А потом ушел к не писательнице.

Элла одинокая – от нее отвернулись все друзья, от зависти к ее успеху.

– Она думала, что такие тривиальные истории, как «цена успеха», случаются с другими, а случилось с ней. Она думала, со мной будет иначе, она тоже хочет немного счастья, – сказал Санечка, – попробуй ее понять, Маруся, ты же знаток человеческих душ.

Санечка очень наивный! Тривиальная история означает, что можно рассказать и тебе поверят. Бедная Элла, несчастная Элла, у нее есть портреты в витринах и передачи на телевидении, но нет главного душевного покоя, любимого мужа и семьи...

Она врет!

А если это правда и от нее все ушли из зависти – тогда еще хуже! Нормальный человек как-то сживается со своим успехом, от него не отворачиваются друзья, не уходит муж.

Нормальный человек не скрывает своего ребенка от мужчины, с которым встречается уже почти целый сезон. Нормальный человек знает, где учится его дочь.

Нормальный человек не обнаруживает на кухне своего любовника своего ребенка! Не орет ему «Дыхни!»! С нормальными людьми не случаются истории, как в сериале!

А что она сделала со своим ребенком?! Для Элика иметь нормальную семью мама-папа-брат-сестра-лыжи-теннис такая же экзотика, как разноцветные следы пуль в небе.

Конечно, бедный малыш не смог учиться в Англии, не смог жить один, и ей пришлось его забрать. Это для нее позор. Она даже не разрешила ему говорить в лицо, чей он сын! Хотела, чтобы у нее все было нарядно – самый лучший ребенок в самой лучшей школе в Англии. Фу!..

А что она делает с ним дома?!.. Почему он у нее такая бедная куколка – не умеет общаться, разговаривает неестественным языком, сутулится и стесняется? Потому что она швабра!

Швабра Элла растит принца... А ему бы просто на горке покататься.

– Понятно, почему этот мальчик, ее сын, с тобой подружился, – сказал Санечка.

Санечка хотел сказать – понятно, почему Элик выбрал меня для дружбы, мы с ним – ДРУГИЕ дети, я бедная одинокая малышка, погруженная во взрослую жизнь, а он бедный одинокий малыш с мамой Лицом из Телевизора.

Это неправда – я взрослый человек, знаток человеческих душ, а он запрограммированная на успех куколка со списком занятий на каждый день.

Все-таки мужчины ничего не понимают в жизни. Чем умнее, тем больше ничего не понимают! Если Швабра даже своего родного ребенка съела, то нас она тем более съест, у нас вообще нет шансов!!

– Мы?.. – спросила я.

– Ну, что мы, малыш? – нетерпеливо спросил Санечка.

Мне было трудно произнести это вслух. Я спряталась в Санечку и прошептала куда-то между его плечом и шеей: «Наша жизнь теперь изменится?»

– Все может быть, – задумчиво сказал Санечка и быстро добавил: – Выпить хочешь?

Больше мы ни о чем не говорили.

**НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, НИЧЕГО!!!**

### **Моя другая жизнь**

Куколка со мной не разговаривает. А мне и не надо!

Но на уроках смотрит на меня глупыми кукольными глазами.

### **Моя главная жизнь**

У нас печальные перемены.

Я не разговариваю с Санечкой. Хотела наказать его за М. и Катю – демонстративно дуться, уходить к себе, сидеть там одной взаперти. Но он и сам не разговаривает со мной и не замечает, что это я с ним не разговариваю... Приходит поздно, сосредоточенный, весь в своих мыслях, смотрит сквозь меня, уходит к себе.

Вика ведет себя странно. Тоже смотрит сквозь меня. Не кричит на нас, не ругает Санечку, не обсуждает свою «драматическую ситуацию». Как будто спит на ходу. Ни разу не сказала «критик», «профессор» и только ведет какие-то бесконечные разговоры по телефону с дядейлевой – а при мне говорит с ним шепотом! Наверное, решила свою «ситуацию» в его пользу, а мне не говорит! Почему?!..

Я специально ее дразнила:

– А у нас нет обеда!..

– А я сегодня в лицей не пойду!..

– А Санечка вчера пришел ночью, а я одна боялась!

Я хочу ее потрясти и сказать – это я, я, кричи на меня! Но она только встряхивает головой, как уставший дрессированный медведь на знакомые слова, и все, никакого привычного рефлекса... Я уже просто не знаю, как ее разозлить!

Санечка и Вика дружат без меня. Вчера Санечка сидел у нее весь вечер – без меня!..

Катка не приходит уже три дня. Разговаривает со мной по телефону веселым голосом, смеется, настроение прекрасное. Она занята чем-то интересным – без меня! Я ее спрашиваю – у тебя новый роман? Смеется, говорит – потом расскажу. А несколько раз она вообще не взяла трубку!..

Меня что, вообще уже никто не любит?! Все заняты чем-то интересным – без меня...

...И вдруг я поняла – у Катки вовсе не веселый голос, у нее нарочито веселый голос. Она притворяется. В нашем доме витает дух ужасных перемен.

Элла вчера у нас ночевала и позавчера тоже. Происходят странные перемещения – Санечка попросил меня освободить полку в шкафу и как будто подвинулся в своей комнате. Ведет переговоры с Викой, уговаривает ее без меня – я же ребенок. Вика плакала, я видела, что она плакала.

А мне ничего не говорят. Сами все решат и объявят веселыми голосами – Элла переезжает к нам.

Я в полном отчаянии.

Мне осталось одно – действовать решительно.

### День знаний

Когда человек загнан в угол, он идет на все.

Памятник Екатерине не место для думания. Но я привыкла приходить сюда по вторникам с Эликом.

Сегодня вторник, но я одна.

Элик – это мой единственный шанс избавиться от Эллы. Мне нужно сделать с ним что-нибудь такое, чтобы Элла НЕ СМОГЛА больше меня видеть, чтобы она НЕ СМОГЛА войти в нашу семью.

...Я оскорбила его так, что Элла не смогла меня после этого видеть.

Я рассказала одной девочке в лицее, что Элик в меня влюблен. Что он назначил мне свидание, объяснился в любви. Стоял на коленях, унижался, сказал, что покончит с собой.

Я рассказала одной девочке, а она всем!

Элик пришел в лицей – все на него смотрят и смеются. Обычно с ним просто никто не разговаривает, а сегодня все смотрят и смеются. На уроке к нему пришли записки с картинками, где он стоит передо мной на коленях, а я пинаю его ногой.

После уроков девочки его дразнили. Элик плакал.

А на следующем уроке я спросила нашего преподавателя из университета, что он думает про маленькие яркие книжечки, которыми заполнены все книжные магазины. Этот преподаватель очень сильно ненавидит масскультуру. Он сказал: это осознанное преступление против нашего народа. Элик плакал.

В лицей пришла Элла – разговаривала с директором, забрала документы.

...Вот и все. Элла не сможет больше меня видеть, не сможет находиться со мной рядом, не сможет войти в нашу семью. Она же не выбросит Элика в канаву, она С НИМ. А Санечка – СО МНОЙ. У Эллы больше нет ВОЗМОЖНОСТИ войти в нашу семью.

– С тобой все в порядке? – Какая-то женщина тронула меня за плечо. – Ты спала стоя, у тебя были закрыты глаза.

Я не спала, я думала. ПРЕДСТАВЛЯЛА СЕБЕ, ЧТО Я ВСЕ ЭТО СДЕЛАЛА.

Представляла себе, что все это БЫЛО, – Элик плакал, Элла забрала его из лицей...

Приятно представить, что Элла может быть хлопотливой, растерянной, беспомощной – уязвимой. Приятно и немного жалко ее.



Но всего этого НЕ БЫЛО.

Рассказать девочкам, что куколка унижался, грозил покончить с собой, – это уже не интрига, это подлость. А ведь он почти весь сезон дружил со мной десять минут в неделю у памятника Екатерине, доверял мне свои глупые кукольные мысли, смотрел глупыми кукольными глазами. Я почти весь сезон была его единственным другом.

Очень жаль, это был отличный план... но я не могу.

А насчет ярких книжечек... ведь она же его МАМА. Я бы убила, разорвала в клочья кого угодно, кто сказал бы что-то плохое о мамеКатьке! Жаль, это тоже неплохой план, но я не могу.

Оказывается, когда человек загнан в угол, он идет НЕ НА ВСЕ.

Почему я боюсь быть плохой?

Я боюсь Бога? Но я не религиозный человек. Я агностик, как Санечка.

Мы с Санечкой агностики. Мы считаем, невозможно познать истину в вопросе существования Бога. Может быть, это и возможно – когда-нибудь, но пока невозможно. Нам очень подходит быть агностиками, потому что для агностиков нет авторитетов. Только сам человек. Сам человек должен решать, как ему действовать. Понятие греха мы, агностики, считаем бесполезным!

Я боюсь наказания? Но Санечка меня не накажет. И даже не осудит. Агностики воздерживаются от морального осуждения.

Я боюсь себя – что лягу спать и совесть меня замучает? Но в первый день можно быстро заснуть, и она не успеет, на второй день я придумаю себе оправдание, а на третий уже почти забуду. Совесть можно не бояться.

Я боюсь, что увижу в зеркале вместо милой любимой себя страшного монстра? Я хочу ЛЮБИТЬ себя и боюсь быть плохой из эгоизма? Это глупо.

Тогда почему я боюсь быть плохой?

Я не знаю.

### **Моя главная жизнь**

Я все рассказала Санечке.

Все, что я делала, – разбросанные фотографии, Катькины духи, излизанные помадой вещи, интриганские разговоры с Эллой про деньги и про то, что Санечка бросит ее, как всегда бросал всех.

– Неужели это все ты, Маруся? – улыбнулся Санечка.

Он совсем не казался удивленным. Просто не удивился, зная меня, или давно догадался, что это я?

Я рассказала, что собиралась сделать с куколкой Эликом, – две придуманные мной сцены его унижения. Мне все казалось, что я грязная, пока не рассказала. А когда рассказала, сразу стала чистой, как будто Санечка взял себе мое плохое.

– Ты можешь делать, что хочешь. Я взрослый человек, я не буду тебе мешать, – пообещала я.

Я была совершенно искренна. И только немного посмотрела на Санечку особенным беззащитным взглядом – сквозь слезы. Я умею плакать по своему желанию. Красивое театральное горе отличается от настоящего, некрасивого, тем, что каждая слеза капает отдельно – кап-кап и медленно сползает по щеке.

– Я правда хочу, чтобы все было, как ты хочешь, – повторила я.

– Представь, наши планы совпали. Я тоже хочу, чтобы все было, как я хочу, – сказал Санечка. – Я женюсь.

КАК?

Санечка женится, по-настоящему? У меня теперь будет мачеха?..

Когда у меня болит горло, Катька заваривает мне мать-и-мачеху, у мать-и-мачехи с одной стороны листок мягкий, нежный – это мать, а с другой стороны жесткий – это мачеха. У меня часто болит горло, мне не подходит дождливый питерский климат... а теперь у меня еще будет мачеха... Элла посмотрит в зеркало, спросит. «Я ль на свете всех милее?» – и велит отвести меня в лес.

Я так некрасиво сморщилась и заплакала, что Санечка понял, что у меня уже не театральное горе, и сразу стал меня обнимать.

– Ну, не расстраивайся так, малыш... я не то чтобы женюсь, но Катька переезжает к нам.

– Ка-тька? – прорыдала я. – К-как это К-катька?..

У вас когда-нибудь было неожиданное счастье? Чтобы вы совсем его не ожидали? Что вы тогда почувствовали? Восторг, изумление?

Я – ничего. Сначала совсем ничего, потом меня затошнило, а потом это большое пустое НИЧЕГО начало наполняться, как будто я воздушный шар и меня надувают радостью!

– Ты, солнышко, наделала столько глупостей, вообще-то тебе не свойственных, что с моей стороны было бы непедагогично жениться на Катьке. Чтобы ты не думала, что можешь всего добиться своими интригами и слезами.

– И это будет твоя жена? Настоящая жена? – подозрительно спросила я.

– ЭТО – это Катька? ЭТО будет моя настоящая жена.

Я уже поверила, но я хочу понять! Я же должна знать, что у нас происходит.

– Почему ты на ней женишься? Через столько лет?

– Как почему? – удивился Санечка. – По-моему, это абсолютно ясно. Для тебя, солнышко. Раз уж ты так этого хочешь.

Санечка женится ДЛЯ МЕНЯ? Потому что я так этого хочу?..

Да, Санечка женится для меня! На первый взгляд это странно, но меня это нисколько не удивляет – он любит меня, я его ребенок. Он все делает, как я хочу. Но какая же я глупая, мне нужно было захотеть этого раньше!

Я бросилась звонить Катьке – телефон не отвечает. Помчалась к Вике:

– Ты знаешь?! Что ты об этом думаешь, что?! А как же Элла? Ты поэтому разрешала ей у нас ночевать? Ты знала? Что все равно все так закончится?..

Вика ничуть не удивлена и далее, кажется, не считает это ВЕЛИКОЙ НОВОСТЬЮ. Пожала плечами и ответила на все вопросы сразу:

– Я же говорила, Элла – это ерунда. Откуда я знала? Жизненный опыт.

Мой жизненный опыт тоже большой, но я все равно не понимаю – почему Санечка был с Эллой? Еще вчера и позавчера, до последней минуты был с Эллой? Загадка.

– Загадка, – согласилась Вика, – но я знаю отгадку. Этот человек до последней минуты хотел жить по-своему.

...Но все же странно – почему мне не сказали?

### **Моя главная жизнь**

Катька переехала к нам.

Катька переехала к нам! С чемоданом!.. С зайцем!

Утром Санечка привез ее с чемоданом и ушел в театр. Катька вошла, напевая: «С чемоданом да с клетчатым узлом я примчался вприпрыжку на вокзал...»

С чемоданом, плюшевым зайцем, томиком Новеллы Матвеевой, двумя любимыми кастрюлями, букетом белых тюльпанов, красивыми вазочками и коллекцией фарфоровых фигурок, которые собирал Катькин отец.

И даже с шубой, хотя сейчас весна! С шубой – значит, навсегда!

Какая у нас началась новая старая жизнь!

Сначала мы долю обустроивали кухню на Катькин вкус. Переставляли кастрюли, меняли местами чайник и тостер, искали хорошее место для пароварки. Катька и без того прекрасно знает все наши кастрюли, но все равно – все поменяли местами. Потом все опять переставили обратно.

Мы бегали от Вики к нам и от нас к Вике, роняли вещи, и Вика с Катькой все время ругались – Вика хотела расставить Катькины статуэтки на кухне, чтобы все ими любовались, а Катька хотела поставить на кухне свои любимые кастрюли, чтобы самой ими любоваться, а фарфоровые статуэтки в спальне. Вика любит, чтобы было «культурно», Катька любит, чтобы было удобно.

Мы таскали статуэтки и кастрюли из спальни в кухню и смеялись, пока Вика не начала икать от смеха, а у Катьки не полились слезы. Когда Катька и Вика вдвоем, не понятно, где кончается Катька, а где начинается Вика. Начинают смеяться и не могут остановиться, как дети. И я с ними смеюсь.

С нами часто такое бывает по утрам... и по вечерам тоже. По утрам и вечерам бывает, что нас просто кружит смех.

...Вечером Вика ушла на двойное свидание с критиком и профессором, а мы с Катькой пели песни по старому песеннику, все подряд. «Ой, цветет калина», «Вот кто-то с горочки спустился». Санечка пришел домой, когда мы пели «Осенний сон».

«С берез не слышен, невесом слетает желтый лист...» – выводили мы.

– Эй, вы, вы так громко воете, что слышно в тамбуре! – закричал из прихожей Санечка и вдруг сам запел: «Старинный вальс "Осенний сон" играет гармонист...»

Санечка быстро-быстро пробежал по коридору, уселся рядом с нами за стол, выхватил песенник у Катьки.

«Вздыхают, жалуясь, басы, и словно в забытьи, сидят и слушают бойцы – товарищи мои», – уже втроем пели мы.

Мы пели два часа. Потом Катька жарила картошку, мы ели картошку.

Потом пили чай. Катька любит простые вещи, мелочи жизни – жарить картошку, пароварку, сериалы. У нас семья. Мы мгновенно превратились в нормальную семью, где распаковывают продукты, что-то готовят, потом все вместе едят, смотрят телевизор, подтрунивают друг над другом.

Может быть, семью создает пристальное внимание к мелочам жизни?

Наверное, да.

Из театра все звонят, поздравляют Катьку. А Ленка с Женькой поздравили одинаково, будто у них на двоих был один текст. Сначала сказали: «Главный всем сказал, что женился. ...Это правда, что он НА ТЕБЕ женился? Что, и свадьба будет?..»

А потом: «Ну поздравляю, наконец-то и на твоей улице счастье». Катька пересказала Санечке, он засмеялся и поцеловал ее в нос.

По утрам я ненавижу лицей, ненавижу будильник и всех, кто попадется мне под руку, – в этом мы с Санечкой похожи. Санечка по утрам мрачен и молчалив.

А Катька сразу же, как проснется, – веселая птичка. Санечка как-то давно сказал, что по утрам хорошее настроение только у клинических идиотов.

– Привет, – сказала Катька и повернулась ко мне с застывшей благожелательной улыбкой и остекленевшим взглядом. Это она показывает мне «утренний оскал идиота».

Я потянула ее на диван, уселась к ней на колени и решила еще немного доспать.

– Можно мне не идти в лицей? – пробормотала я, уткнувшись ей в шею. Я люблю спрашивать у Катьки «можно мне?..», как будто она может мне запретить. Катька тоже любит спрашивать у меня «можно мне?..», как будто я могу ей запретить. Это такая игра.

– Почему у меня никого нет? – спросила я. – Все никого нет и нет?.. Я же вроде бы не злая, не глупая? Тогда почему? Может быть, я неприятная, не обаятельная?

– У тебя есть Атлант, а когда тебе понравится кто-нибудь живой, он сразу в тебя влюбится, потому что ты лучший хрячок на свете, тебе можно не идти в лицей, – скороговоркой пообещала Катька, сделав важное родительское лицо, и добавила: – А как ты думаешь, Санечка меня любит?

Я бы с радостью подробно обсудила с Катькой ее отношения с Санечкой, но по утрам я злюсь и плохо соображаю, и только Катькин утренний оскал идиота примиряет меня с жизнью и с первой парой в лицее. И еще – посидеть у нее на ручках.

Катька иногда говорит: «Посиди у меня на ручках». Это выглядит смешно – Катька-одуванчик и я, высокая, длинноногая, как жираф-переросток. Жираф-переросток взгромоздился на ручки к одуванчику!..

Но ведь так бывает, что мама маленькая, а ребенок крупный! Я черноволосая, смуглая, а Катька светлая, с золотыми волосами, но ведь так бывает, что ребенок и мама совершенно не похожи.

В нашей семье все, как в классической пьесе – Санечка герой-любownik, Катька инженер, а все остальные роли исполняет Вика: благородный отец, гранд-дам – немолодая знатная женщина, гранд-кокет – красивая и задорная молодая женщина и характерная старуха. За «характерную старуху» Вика бы меня убила!.. Хорошо, что она еще не умеет читать мои мысли на расстоянии.

А теперь в нашей пьесе счастливый конец – как и положено, герой-любownik женился на инженеру.

Санечка непедagogично женился для меня!

В этой семье есть один по-настоящему взрослый человек, который все про всех знает и все за всех решает, – я. Я – кукловод, который дергал всех за веревочки. Наше счастье, мое, Катьки, Санечки, Вики, – это все я!

**МАРУСЯ – РЕЖИССЕР ЖИЗНИ, ЗНАТОК ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ!**

### **Моя главная жизнь**

Через три дня.

Вика сидит на подоконнике. Мы с Санечкой стоим рядом. Мы здесь на подоконнике уже три часа. Подоконник белый, только что покрашенный, мы все время забываем и прислоняемся.

У Санечки белый след на джинсах, у меня тоже, а Вика сказала – наплевать и села, у нее болит колено.

Уже три часа идет операция. Можно уйти, потом вернуться или ждать в машине, дома, в кафе – врач позвонит. Но мы лучше будем здесь. Нам кажется, что если мы отойдем...

Да ничего нам не кажется, мы просто стоим. Где нам еще быть?

Сначала вышел врач – сказал, что взяли на биопсию.

Врач сказал – впервые вижу такую красоту. Красота – это Катькина грудь. Разве так можно говорить, когда операция?

Биопсия – это быстрый анализ, который покажет... не понимаю, что он покажет, если уже известно – у Катьки рак.

Страшно, правда?

Я сначала хотела заткнуть уши, чтобы никогда не слышать этого слова. Я же ребенок!

Но это нечестно – бояться этого слова, если оно у Катьки.

Нечестно бояться его произносить. Я ходила и говорила сначала шепотом, потом громко – рак, рак, рак. Пока это перестало быть страшно как смерть, а стало нормальное слово, как ангина, и есть лечение, и можно лечить.

Они знали. Вот почему Вика смотрела сквозь меня, не кричала, не ругала Санечку, плакала, – они знали.

Пока я думала, что они заняты чем-то интересным без меня, они знали.

Катька разговаривала со мной по телефону веселым голосом, потому что я ребенок.

Ужас, паника, растерянность, шок – они все это пережили без меня, потому что я ребенок.

Когда Катька к нам переехала со своим плюшевым зайцем, когда смеялись и расставляли статуэтки на место кастрюль, когда пели песни по старому песеннику, они ЗНАЛИ.

– Но почему она не была у врача не пошла к врачу раньше, сразу же? – сказал Санечка.

Он уже в который раз это спрашивает. Мы здесь три часа, он каждые десять минут это спрашивает.

– Я ей говорю: «Катька, ты что, враг себе?!» – ответила Вика. – А эта идиотка оправдывается: «Нет, не враг, просто... думала...» Она думала!..

– Что она думала? – сказал Санечка, словно на этот раз Вика скажет что-то другое, объяснит ему.

– Она думала... Что ей показалось... потом все-таки пошла, сказали наблюдаться... потом как-то забыла, репетировала, волновалась... потом говорили: «Твоя грудь – это сексуальный символ спектакля»... потом расстроилась, когда сняли с роли, потом вспомнила...

– Все, хватит, – больным голосом сказал Санечка. – Я понял.

– Ты что? И не думай! Ты что?! – испуганно сказала Вика. – Ты не мог знать... Никто не может знать...

Санечка не виноват! Он не виноват, никто не может знать!

Это я виновата.

Катька нашла у себя этот шарик в примерочной кабинке, сказала: «Не говори Вике, Вика вызовет "скорую помощь" прямо в кабинку».

Я и не сказала, а потом вообще забыла – откуда мне знать, что это важно?

Но если бы я сказала Вике, если бы сказала... Вика не дала бы ей забыть, потом вспомнить, потом опять забыть... Санечка не виноват, это я виновата.

Я когда узнала, подумала – что рак?.. Она умрет?

Посмотрела в Интернете – ну, уж этого-то не может быть. Сейчас все лечат. Удалят грудь, и все будет хорошо.

Удалят грудь, и все будет хорошо? Но Катька не хочет!

Есть разные методики.

Есть методика – можно сразу удалить грудь, в которой опухоль. А есть методика – можно удалить только опухоль, а грудь тогда оставить.

Санечка говорил: «О чем тут думать, удалять все!» Вика кричала: «Зачем нам твоя грудь, ты, идиотка?!»

Меня кто спрашивает? Но я потихоньку уговариваю Катю: «Удали все, все, все. Пожалуйста, удали все, ты же моя мама».

Дома у нас теперь все время говорят про каких-то незнакомых людей.

Говорят – а у нее было это, а она... а у нее было то, а она... Все время говорят про каких-то незнакомых людей! И во всем этом такой страшный смысл, такая страшная недоговоренность – у нее было ЭТО, а она ЖИВЕТ.

От всего этого – беспомощность, как будто в мире были законы, мы ничего плохого не делали, а с нами поступили не по законам.

...Вышел врач.

Врач сказал, что биопсия плохая. Уже нет выбора удалить только опухоль, теперь точно нужно удалять грудь. Мне очень страшно это произносить, но нечестно бояться, если у нее так. Нельзя бояться, бояться – значит ее предать.

– У меня никого нет, понимаешь, у меня, кроме нее, никого нет, – сказала Вика.

Она что думает, что Катя умрет? Во время операции?

– Будь добра, помолчи, – сказал Санечка. Он никогда не говорил с ней так, вежливо и равнодушно, как с чужой.

Вышел врач, сказал непонятное. Плохая новость, про какие-то лимфоузлы. Что-то еще в лимфоузлах? Санечка побледнел, Вика скривилась. Врач ушел.

Санечка плачет. Он плачет, что лимфоузлы?

Вика боится. Делает вид, что храбрая, что все на ней – и Санечка, и я, и разговоры с врачом, и ей нужно всех поддерживать, а сама так боится, что от ее страха воздух дрожит.

Я не плачу. Наверное, лимфоузлы осложняют операцию? Я потом все посмотрю в Интернете. Я не плачу. Я не боюсь. Кто-то из нас должен поговорить с врачом, а кто, если Санечка плачет, а Вика от храбрости ничего не сообщает?

Это только сначала страшно, что рак, что Санечка плачет, а потом не страшно. Все это – нереально, в этой полной нереальности реальны только щербинки на подоконнике, реальны подтеки краски, а все остальное все равно нереально.

Можно думать не про свое страшно, а совсем о простых вещах – что Катя будет пить после операции. Что в реанимацию не пускают, а нам всем троим нужно быть рядом с ней, когда она проснется и опустит глаза, увидит бинты.

Может быть, хотя бы меня пустят в реанимацию, я же ребенок.

Пришел врач и говорит: «Вы простояли у подоконника восемь часов». Как будто жалеет нас, что мы простояли у подоконника восемь часов. Странно.

А Катя уже в реанимации, скоро проснется. Санечка боится спросить. Вика тоже боится, но спрашивает, как стонет, – удалили?.. Врач посмотрел на нее, как на сумасшедшую.

...Знаете, что мы почувствовали? После операции?

Ужас, несправедливость, злость, жалость к ней и себе, все это мы уже чувствовали раньше. А сейчас – облегчение. Что у Катки ЭТОГО ПЛОХОГО больше нет.

Я не должна бояться страшных слов, это нечестно. У Катки больше нет злокачественной опухоли.

### **Моя главная жизнь**

Вдохнули – задержали воздух – выдохнули – Катя уже дома.

– Следите, чтобы у нее не было депрессии, чтобы она понимала, что впереди жизнь. Вы же понимаете, что грудь не главное, главное жизнь. Нужно бороться за жизнь, – сказал врач.

Но это еще страшнее! Столько раз повторять слово «жизнь». Значит, грудь не главное, нормальная жизнь не главное, главное ЖИЗНЬ? Значит, может быть и НЕ ЖИЗНЬ?

– Вот еще – депрессия! – фыркнула Вика. – Глупости не говорите!

Врач склонил голову набок и замер, как большая удивленная птица.

Это самый лучший врач в городе. Лев Борисович с Викой нашли его в аэропорту. Не в том смысле, что шли-шли и нашли, а просто он улетал на консультацию за границу и даже уже почти улетел. Дядя Лева сначала считал, что самый лучший врач в городе – другой, а потом решил, что этот, и они с Викторией погнались за ним в аэропорт.

Вика прокричала врачу – умоляю, стою на коленях, речь идет о жизни и смерти и уточнила – о вашей жизни и смерти. Врач покачал головой – наверное, он слышит это каждый день. Вика встала на колени, бухнулась на пол у всех на глазах.

Что чувствует человек, перед которым стоят на коленях? Что он не может помочь всем и сейчас улетит? Врач опять покачал головой. Но дядя Лева что-то пошептал ему, и он остался. У врачей своя этика – дядя Лева врач, он знает волшебное слово для других врачей.

– Следите, чтобы она не лазила в Интернет, не читала про болезнь. Старайтесь быть веселее, не плачьте при ней, не смотрите на нее как на инвалида, – сказал врач.

– Вы думаете, что она думает, что мы думаем... – Вика вытерла кулаком слезу, хлюпнула носом, фыркнула: – Вот еще – инвалид! Скажете тоже – инвалид!.. Кому такое может в голову прийти?!

Санечка с Викторией привезли Катюшку домой, очень старались быть «как всегда», разговаривали искусственно бодрими голосами, пока Катюшка не посмотрела на них этим своим взглядом – укоризненным, смешливым, «вы дураки, что ли?». И они стали вести себя нормально. Вика – кричать: «Или ты сейчас же прекратишь лазить в Интернет, или я тебя убью!», а Санечка взглянул на часы и убежал в театр.

А в Интернет Катюшка и не думала, ей страшно читать всякие ужасы, да и зачем – чтобы еще больше испугаться?

– Ну как ты? Боишься? – спросила Катюшка, когда мы с ней остались одни. – Знаешь что, Маруся, не смотри на меня, если тебе страшно. И вообще – прости меня, я больше не буду.

– Ты что, с ума сошла?! Мне не страшно! Я не боюсь! – возмутилась я. – За что простить?..

Катюшка повела рукой вокруг себя – ну, за все это...

Но я боюсь, конечно.

Катюшка в джинсах, клетчатой рубашке, под рубашкой бинты. Она разделилась на две части.

Если посмотреть слева – прежняя Катюшка, если посмотреть справа – как будто мальчик. Страшно смотреть справа. А можно просто смотреть – золотое облако волос, огромные глаза, совершенно прежний одуванчик.

О чем она думает?.. Вика кричит и плачет, Санечка уходит и плачет, я молчу и плачу. Но – знаете что?.. Нам-то хорошо.

Мы действуем, гонимся за врачом в аэропорт, стоим на коленях, везем врача обратно как трофей... Нам, конечно, плохо, но нам-то хорошо, мы – не одни. А Катюшка одна со своим страшным. У нее такое страшное, с чем человек всегда один. Она вся в бинтах, боится. Боится смотреть на себя в зеркало, боится потрогать то место, где у нее была

грудь, боится умереть. Ведь она не может не думать о самом страшном – как все будет без нее, неужели так же, как сейчас, только без нее?..

– Маруся! Я не думаю об этом, – сказала Катька.

– О чем?.. О чем ты?.. О чем ты не думаешь?.. Давай ты поспишь, а я около тебя посижу, подержу тебя за руку, – заторопилась я, – или ты хочешь Вику?

– Ни за что! Засну, а Вика меня задушит и скажет: «Вставай и посмотри на меня! Человек должен быть сильным!»

Когда я маленькая болела, Катька держала меня за руку, пока я не засну. А на ревнивое Викино «давай лучше я» я отвечала: «Ни за что! Вика неуютная. Я засну, а Вика меня задушит и скажет: "Вставай и посмотри на меня! Человек должен быть сильным!"».

Я улыбнулась, но Катьке не понравилось, как я улыбаюсь.

– Маруся. Я не думаю об этом, – повторила Катька, – я не думаю об этом, я думаю, может, нам пирог испечь, с яблоками. Я буду лежать на диване и руководить. Что ты так смотришь? Не хочешь с яблоками?..

Катька не скажет: «Маруся, я боюсь умереть» – я же ребенок, а она моя мама Катька. И Вике не скажет – Вика начнет кричать: «Человек должен быть сильным!» И Санечке не скажет, потому что – что он может сказать в ответ? Она не сделает, чтобы ему было плохо. Она никому не скажет «я боюсь умереть», будет бояться одна и никому не скажет «я боюсь умереть».

– Я боюсь, что ты умрешь, – сказала я.

– Ну и дура, – легко сказала Катька, – сейчас все лечится. Меня совсем другое волнует.

– Что?.. – Я все плакала и плакала. Как мне не плакать, если я сделала такую ужасную непростительную вещь, нарушила все правила, которые велел соблюдать лучший в городе врач, – так сильно заплакала и заговорила о том, что нельзя.

– Понимаешь, есть люди, которым можно так ходить, – Катька кинула взгляд на свои бинты, – а мне нельзя, у меня же большая грудь. Большая, но одна... я получилась очень несимметричная... вот что мне сейчас надеть?! Тащи Санечкин синий свитер, он теперь будет мой.

Синий свитер огромный, как будто сидишь в одеяле.

– Ну что, в свитере не заметно? – спросила Катька. – Как ты думаешь, Санечке не бросится в глаза, что я в его свитере и не совсем симметричная?

Я почти успокоилась. Если Катьку волнует **СОВСЕМ ДРУГОЕ**, значит, можно не плакать, а печь пирог с яблоками. Хотя лучше бы Катька испекла, тогда совсем как будто ничего не было.

Когда происходит что-то очень страшное, не так невыносимо страшно, как когда об этом думаешь, потому что это **УЖЕ ПРОИСХОДИТ**. Катька обсуждает с Викой, где ей спать. У нее бинты, ей больно, она хочет спать отдельно от Санечки.

– Ты же знаешь, какой он... – Катька показывает на бинты, – мне лучше спать в кабинете, одной, я не буду ему мешать.

Она имеет в виду, что Санечка не может видеть признаков чужой болезни, не может видеть бинты с проступающей кровью, не может видеть чужую боль.

– Ну да, пожалуй, тебе будет удобнее в кабинете, – соглашается Вика.

Вика имеет в виду, что она знает, какой Санечка.

– Я теперь урод, – сказала Катька, – только не говори «что за глупости», а то я тебя укушу. Он будет меня жалеть. Но он никогда не будет спать со мной в одной постели, потому что я урод.

У нее виноватый голос, виноватые глаза.



– Ты точно урод. Моральный урод. Он спит с тобой столько лет, грудью больше грудью меньше... – невозмутимо сказала Вика.

Со стороны кажется, это цинично и грубо, но Катьке нет, не грубо, – Катька засмеялась.

Катька с Викторией рассматривают журналы. В журналах... НЕ БУДУ БОЯТЬСЯ, ЭТО НЕ ЧЕСТНО! Там протезы.

– Такую красоту, как у тебя, конечно, не добыть, – деловито говорит Вика, – но ничего, будет вполне красиво...

Это она о протезе – он не такой красивый, как Катькина грудь, но будет нормально, никто не заметит.

– А как тебе вот это? – Это она про белье.

Есть еще белье, специальные лифчики. От этих журналов становится не так страшно, как будто выбрать протез обычное дело, как заказать по каталогу платье.

Вечером Санечка принес Катькины любимые конфеты, Катькины любимые пирожные, Катькино любимое вино. Вино ей пока нельзя, а конфет можно. Она съела сразу три.

– ...Катька? – улыбнулся Санечка. – Ты почему в кабинете, а не в спальне? Не бросай меня, я хочу с тобой...

Катька ему не поверила – я видела по лицу. Она уверена, что он из жалости, чтобы она не думала, что она урод.

...Я утром не нашла Катьку в кабинете, постучалась к Санечке. Катька такая маленькая рядом с Санечкой, золотые волосы разметались по его плечу, Санечка ее обнимает, как ребенка, прижимает палец к губам – тише, она спит. На бинте проступила кровь.

Все ведут себя как всегда. Вика утром кричала, топала на нас ногами, сердилась на все, звонила по телефону и тоже кричала.

Она развила бешеную деятельность – профессор достает какую-то заряженную воду, критик узнает про лечение на Тибете, дядя Лева записал Катьку в экспериментальную программу лечения в Германии, а сама Вика, наорав на всех, умчалась с таинственным видом – к знакомым колдунам.

Катька тоже ведет себя как всегда. Стесняется, что оказалась в центре внимания. Смеется, а сама только и думает, как бы никого не беспокоить. Боится, что не нравится Санечке. Вчера на ночь красила губы.

И только Санечка ведет себя не как всегда.

Из театра звонили все, особенно Ленка с Женькой. Плакали, говорили: «он герой», «какой благородный человек», «мы все в шоке от его героизма», и даже «а мы-то всегда считали, что он эгоист...» и еще «какая любовь».

Но дело не в том, что это любовь и героизм, – это просто наша жизнь, а Ленка с Женькой ничего про нас не понимают.

Дело не в том, что Санечка прижимает к себе Катьку в бинтах, хотя мы-то знаем, он падает в обморок от одной мысли о том, что кто-то порезал палец. Дело в том, что он очень, страшно, невероятно боится.

### **Моя другая жизнь**

Вторник. Элик проводил меня до памятника Екатерине. Простил мне эту дикую сцену, в которой я, кстати, несколько не виновата.

Я соскучилась. Глупая нечеловеческая куколка мой единственный друг.

– Я слышал, твой отец женился. Мои и мамыны поздравления, – сказал Элик.

– Спасибо, – сказала я.

– Я слышал, у вас несчастье. Мои и мамины соболезнования, – сказал Элик.

– Передай привет своей маме, – сказала я насмешливо и злобно, как будто я ядовитый гриб. Но Элик не понял, кивнул, как будто я и правда передала ей привет.

Но я бы все отдала, чтобы сейчас было тогда! И пусть противная Швабра была бы моей мачехой, пусть бы она отвела меня в лес, в лесу тоже можно жить!

Какие это были детские, глупенькие пустяки. А ведь я была искренне несчастна. И не думала, что может быть еще хуже.

Наводит на довольно страшные мысли – неужели всегда может быть ЕЩЕ ХУЖЕ?

...Но что еще бывает?..

### **Моя главная жизнь**

Дома у нас странно – как будто трагедия, но как будто все как прежде. Как будто кто-то чудом спасся от пожара, сильно обгорел, но вот же он лежит – живой, и все страшное позади. Все САМОЕ СТРАШНОЕ позади, а теперь начинается жизнь.

Санечка – у него такая идея. Как будто ничего не происходит трагического. Как будто Катька не лишилась красоты, как будто ее не изуродовали, как будто, наоборот, все отлично.

Но он незаметно изменил свой день, приходит домой рано и уходит в театр поздно, а иногда как будто нечаянно остается дома. Вчера весь вечер рассматривал вместе с Катькой каталоги вилл в Интернете – Санечка хочет поехать в Италию, в Тоскану. Снять дом среди виноградников и ездить во Флоренцию. Или просто сидеть в тени на террасе и любоваться видом, как у Рафаэля, Перуджино – холмы, виноградники, закат.

Катька радуется – она мечтает об Италии, всегда мечтала, я тоже радуюсь, и только Вика назло нам хочет не в Тоскану, а в Валенсию.

Знаете, как это? Как будто ты смотришь каталоги, обсуждаешь виллу, а в тебе горит огонь, жжет тебя изнутри.

На самом деле мы только делаем вид, что живем. На самом деле мы ждем.

Мы ждем результатов анализа. Мы ждем, как будто это объявление нашего приговора, от этого анализа зависит все.

Потому что сначала я не понимала. Я думала, что удалили, и все. А они понимали сразу.

Оказывается, самое главное – этот анализ.

Анализ показывает, какие клетки. Все эти клетки плохие, но они могут быть совсем плохие, злые клетки. Эти клетки означают плохой прогноз. В Интернете написано – НЕ БУДУ БОЯТЬСЯ. Написано – прогноз два года, год, полгода Катька этого не читала, я читала одна, пока она спала.

Если это так, если окажутся эти клетки, тогда я просто сразу умру, и все. Я не буду это терпеть, ждать, когда пройдут эти полгода, год... я просто сразу умру сама, и все. Я НЕ ХОЧУ ЖИТЬ И ЗНАТЬ, ЧТО ВСЕ НЕ НАВСЕГДА!

Есть другие клетки, которые не такие плохие, не такие агрессивные. Тогда совсем другое дело, тогда нет никаких цифр, никаких два года, год, полгода. Тогда просто лечение.

Анализ делают три недели. Вика звонит в клинику каждый день – утром и вечером. Скандальным голосом спрашивает, почему еще не готов анализ. Три раза была в клинике, топала ногами, требовала немедленно выдать результаты или хотя бы намекнуть, какие они.

Посылала дядю Леву, кричала на него: «Ты всю жизнь в медицине и не можешь добиться, чтобы тебе сделали без очереди!»

– Катенька, я не могу сделать анализ быстрее, чем он делается, а она обижается, – пожаловался дядя Лева.

– Лев Борисович, вы не понимаете, что Вика ПРАВДА НЕ ПОНИМАЕТ, что анализ делают три недели, – хихикнула Катька, – ну, нарисуйте ей какой-нибудь анализ...

– Катенька, что за шутки... – испугался дядя Лева.

Мы так нервничаем еще и потому, что лечение назначат только после того, как будет готов анализ. А ведь каждый день – это день, когда Катька могла бы уже принять лекарство! Каждый день, каждую минуту она могла бы выздороветь. А так эти дни утекают между пальцами.

Мы ждем анализ и готовимся к Викиному юбилею.

– Ты что, не будешь праздновать день рождения? Из-за меня? Но ведь все не так плохо... Или совсем плохо? – спросила Катька.

У нее был такой напряженный взгляд, что Вика быстро сказала:

– Еще чего, не буду праздновать!.. Буду, конечно.

### **Моя другая жизнь**

Учебный год закончился.

У меня не сданы рефераты по индивидуальным предметам, ни один реферат не сдан – ни литература, ни психология, ни история искусств.

Я ничего не говорила в лицее – гадко говорить, что я не могу написать рефераты, потому что у моей мамы... НЕ БУДУ БОЯТЬСЯ... потому что у мамы Катьки была операция... опять я боюсь этого слова, все-таки я его очень боюсь!..

В общем, это слово и рефераты – несопоставимые вещи, все равно что сказать «в наш дом бросили бомбу, поэтому дайте мне мороженое без очереди».

Но мне никто не сказал, что у меня не сданы рефераты, просто поставили зачеты в зачетную книжку.

### **Моя главная жизнь**

Сегодня обед у Вики.

У Вики обычный день рождения, а Вика говорит: «У меня юбилей».

На Викиной двери горит надпись «63».

– Викон, тебе же шестьдесят два, – удивился Санечка, – зачем ты прибавила себе год?

– Не люблю круглые цифры. Круглые цифры очень старят – 22, 24, 26...

– А почему у тебя юбилей?

– Потому, – свирепо ответила Вика, – не понятно, что ли? Потому что я хочу подарки на юбилей, а не на обычный день рождения.

...Сначала мы дарили Вике подарки на юбилей.

Викины подарки на юбилей – медведи. В этом году Вика собирает медведей.

Санечка, Катька и я подарили общий подарок, как семья, – коллекцию кружевных медведей.

Санечка давно заказал медведей знакомому художнику. Каждый медведь со своим лицом, медведи-девочки – в кружевных юбках, а медведи-мальчики в кружевных шляпах и штанах с оборочками. Вика радовалась, гладила кружева.

Катька подарила отдельного маленького медведя – фарфорового мишку из коллекции своего отца. Вика очень на него заглядывалась, когда Катька переехала к нам со своей коллекцией. Катька тогда специально подарила ей не медведя, а танцовщицу, чтобы Вике было о чем мечтать, а потом обрадоваться. Катьке обязательно нужно, чтобы Вика подпрыгивала и повизгивала от радости. Вика подпрыгивала и повизгивала, и Катька тоже – от Викиной радости.

Критик подарил симпатичного мишку из игрушечного магазина. Вика строго кивнула.

Дядя Лева подарил золотого медведя с бриллиантовыми глазами от известного петербургского ювелира, ювелир сделал медведя специально для Вики. Вика вежливо улыбнулась.

Но всех передарил профессор! Профессорский мишка старый, облезлый, из его детства – и из Викиного тоже. Может быть, он вместе с ними ходил в третий класс. Вика посадила облезлого мишку рядом с собой, и профессор счастливо заулыбался.

После подарков был небольшой перерыв, который каждый использовал как хотел, – Санечка и дядя Лева вышли курить и говорить о Катькиной болезни, критик тихо ссорился с Викой, а профессор подошел к нам с Катькой.

– Что-то она очень нервная, сегодня сказала: «Ты не мужчина, а профессор»... – пожаловался профессор.

– Просила прощения? Подлизывалась? – тоном главного эксперта по Вике сказала Катька. – Тогда все в порядке.

– ...Тебе больше понравился его медведь, ты падка на мишуру, – шипел критик, кивая на дядю Леву. Критик его недолюбливает, считает своим главным соперником, потому что дядя Лева очень обеспеченный человек, а Вика «падка на мишуру».

– Под мишурой ты подразумеваешь деньги?! – едко прошептала Вика.

Потом мы сидели за столом, и впервые за этот месяц нам было хорошо.

Можно же просто жить одной минутой, когда все вместе, всем вкусно, и хотя бы на эту одну минуту забыть про анализ!

...А ведь он сейчас делается, он уже почти готов и совсем скоро решит нашу жизнь. Но на одну минуту можно, как будто кружевные медведи, и салат оливье, и все хорошо?!

...Это как будто на одну минуту сойти с ума, потому что «все хорошо» – это отрицание реальности.

Критик делал всем комплименты: Вика – как роза, Катька – как ангел с золотым нимбом вокруг головы, Санечка – столп отечественной культуры, Маруся – красавица, профессор – столп отечественной науки, а Лев Борисович – не сказал кто, сделал вид, что задумался. Вот какие страсти вокруг Вики на ее юбилей! Вика – ловец бедных одиноких душ – поймала и держит.

Я тоже хочу, чтобы у меня были страсти, я тоже хочу быть ловцом душ, как Вика!

– Викон, как дела в больнице? – невинно осведомилась Катька. – Как прошла твоя последняя операция? Гемоглобин как?

Вика беспомощно смотрела на нее секунду, потом беспомощность на ее лице сменилась злостью, и, наконец, она туманно сказала:

– Неплохо. Ну, то есть я имею в виду, что... что...

– Что гемоглобин, – сжалилась Катька, – повысился до ста?..

– Да, вот именно, – с облегчением подтвердила Вика.

Вика говорит, что врет не для себя, а для своих мужчин. Что она дает им, что им нужно, чтобы они ее любили. Но, по-моему, они подозревают, что она не гинеколог и не критик. По-моему, им достаточно ее самой.

А потом у Вики вдруг испортилось настроение.

– Маруся, быстро скажи ей что-нибудь хорошее, ей уже десять минут никто не говорил ничего хорошего... – прошептала Катька.

Но было поздно.

Вика указала на меня пальцем.

– А это еще что?! Я вас спрашиваю, что это?! Почему не в постели? Времени знаете сколько?!

– Это не в постели, потому что оно у тебя на юбилее, – объяснила Катька.

– И оно уже на каникулах, поэтому мы ему разрешили лечь попозже... – продолжил Санечка.

– ВЫ разрешили?! Я лично ничего ей не разрешала! – огрызнулась Вика. – Значит, вы теперь ребенку все разрешаете сами! ...Ну ладно, все домой, мне спать пора.

Сейчас всего десять часов.

Все ушли, и мы, и профессор, и критик, и дядя Лева, а через минуту Вика появилась у нас.

– Поедем в клинику, – приказала Вика, – анализ будет готов завтра с утра, а мы сейчас приедем и подкупим медсестру, и она нам его прочитает.

Вика всегда так. Вцепляется как бульдог в свое желание и не отпускает. Несется за своим желанием и рычит как тигр, сидит в засаде на свое желание как тигр или как лев, с угрожающим видом ждет, когда ей принесут ее желание, порывкая время от времени – где оно, мое желание, скоро ли будет?! И желание бросается Вике под ноги, угодливо попискивая, – вот я, не долго ли ждала?.. Она так хочет все – картину, корзину, картонку, луну с неба.

Она хочет, чтобы Катька была здорова. Мечется, бегает по врачам и колдунам, а иногда сидит притихшая – не понимает, как это может быть, что все не по ее воле. А если нельзя, чтобы Катька сразу же была здорова, то хотя бы анализ. Без очереди или на день раньше...

Мы ждали этот анализ, как будто это объявление приговора, как будто от этого зависит все.

А когда дождались, выяснилось, что это не так уж важно.

Клетки могут быть плохие и очень плохие. Мы боялись, что наши клетки – очень плохие, мы надеялись, что наши клетки – просто плохие.

Но, оказывается, очень злые клетки лучше поддаются лечению, чем просто злые. ...Но они очень плохие, и это очень страшно.

А если клетки не такие злые, то они плохо поддаются лечению, и тогда вообще не понятно, что делать. Что хуже – очень страшно или вообще непонятно, что делать?

### **Моя главная жизнь**

У нас все хорошо.

Мы скоро едем в Тоскану. Уже купили билеты. Сняли дом.

Дом в тридцати километрах от Флоренции. Есть сад, маленький бассейн, беседка. В доме все красиво и не как в обычном отеле – расписные буфеты, кровати с огромными спинками, круглые столы на толстых ножках.

В Санечкиной-Катькиной комнате кровать с пологом, в Викиной комнате балкон, увитый плющом, – Вика сможет играть, что она Джульетта.

А я живу в башенке, нужно подниматься по винтовой лестнице. Мы еще никогда не ездили отдыхать все вместе, но все, конечно, будет, как дома, – мы будем ходить друг за другом по комнатам, сидеть на всех балконах, лежать на всех кроватях.

Катьке, Вике и мне купили одинаковые шляпы с полями, Катьке белую, Вике ярко-зеленую, мне голубую. Еще купили много красивой одежды, огромную разноцветную кучу – юбки для всех, сарафаны для Вики и для меня, льняные шали для Катьки. Можно все это купить в Италии, но Катьке трудно долго ходить, она еще слабая, мы даже до Пассажа вместо обычных пяти минут дошли за полчаса, с остановками. Но в Пассаже нам

было весело, как всегда. Катька сидела на стуле продавщицы, а мы с Викой приносили ей шляпы, юбки и шали.

У нас уже вообще все как всегда!

Катька прекрасна, она настоящая красавица! Она еще никогда так не выглядела! У нее нежная розовая кожа, как у младенца, огромные чистые глаза, золотое пушистое облако над головой, и в одежде ничего не видно. А купаться она не будет. Ей нельзя быть на солнце.

А потом ей сделают операцию, и у нее будет своя грудь – это просто косметологическая операция, не страшная. Едем в Тоскану!

Выбрали лечение.

Врач сказал – есть химиотерапия и есть гормонотерапия, что вы выбираете, химию или гормоны?

Химия – трудное лечение. Это как будто отравление организма. Будет очень плохо, будет тошнить, начнутся другие неприятности и еще выпадут волосы. Нужно будет ходить в парике или в платочке. Но они потом опять вырастут, и Катька опять станет одуванчиком.

Гормоны – мягкое лечение. Врач сказал: «Гормональная терапия позволяет сохранить качество жизни». ...Качество жизни, что это? Жить нормально, хорошо себя чувствовать, путешествовать, ходить в театр, в кино. Не будет тошнить, не выпадут волосы. Это хорошо.

Но химия более сильное лечение.

Но если химия более сильное лечение, то выбора нет. Ясно, что нужно делать химию.

Врач сказал: «Решение за вами, но я как врач всегда выбираю химию. Такая молодая прекрасная женщина должна бороться за жизнь».

Почему он так страшно сказал? Как будто можно бороться и выбрать химию, а можно и не бороться и тогда выбрать качество жизни.

Другой врач сказал: «Я бы посоветовал гормоны, это хотя бы позволит сохранить качество жизни».

Почему он так страшно сказал – «хотя бы»?

Санечка сказал – однозначно химия, даже не обсуждается.

Катька сказала – конечно, химия, если ты так считаешь, но может быть, все-таки гормоны?.. Тоненьким просящим голосом, как ребенок, который сам за себя не решает.

А Вика за совсем другое.

Есть еще третий вариант.

Критик все узнал про Тибет.

В Тибет ездили разные известные люди. Они уезжали туда такие больные, что врачи отказывались делать им операцию, а возвращались здоровые, врачи их обследовали и ничего не находили. Это необъяснимое чудо! Называется альтернативное лечение.

Санечка с Викторией обсуждали третий вариант одни, без Катьки. Они были у Вики, в комнате, а я так тихо сидела на кухне, что они меня не заметили.

– Это сказки, – решительно сказал Санечка.

– Ага, сказки, сам ты сказки, – сказала Вика, – такие известные люди вылечились, а ты Фома неверующий.

– Это сказки, – чуть менее решительно повторил Санечка.

– А вдруг нет?.. А химия?.. Ты понимаешь, – сказала Вика.

– Допустим, я понимаю, – сказал Санечка.

Что они оба понимают, а я нет?

Он встал, походил по комнате – я слышала звук его шагов.

– А ты понимаешь?! – закричал он. – Ты понимаешь или нет?! Что ты предлагаешь – нам с тобой прямо сейчас решить – забыть про врачей, отказаться от лечения?..

– Ну, да... ну, пожалуйста, не кричи на меня сейчас, подумай спокойно, – попросила Вика.

– Сама подумай спокойно. Гормоны мы не рассматриваем, в нашем случае это проформа так? Согласиться на гормоны – это опустить руки... согласиться с... в общем, ты понимаешь.

– Да, да, да! Получается, что мы ее предаем, понимаешь? Как будто мы сразу же говорим себе... понимаешь?

– Понимаю. Гормоны – это предательство, так? Мы выбираем химию, так? Дальше. Это очень тяжелое лечение. Мы боимся сказать себе – а что, если это будут бесполезные мучения? Я понимаю, ты понимаешь...

– Я уже ничего не понимаю, я понимаю только одно – я не смогу жить, как я буду жить?!.. – Вика заплакала.

– Сейчас речь не о тебе. Мы решили, сказали себе и друг другу – да, это могут быть бесполезные мучения. Но, Вика! Все лечатся, все делают химию!

– Все да не все! Нам просто легче так решить – будем делать химию, как все! Но ведь это тоже предательство!

– Не ори. Дальше. Мы говорим – все лечатся, делают химию, а мы выбираем другой путь. Мы не будем лечиться, не будем ходить к врачам. Мы уезжаем в Тибет. Я поеду – куда скажешь. В Тибет, в Индию, на Луну, к черту! – Санечка уже кричал. – Только знаешь что?.. Это будет твоя ответственность. Вот и прими решение.

– Я?.. Почему всегда я?! – закричала Вика.

Раздался звук, как будто шлепок, а потом звук, как будто толчок.

Они подрались, что ли?..

– Не смей меня трогать!..

– Не смей рыдать!.. Реши сама! Я не могу! Слышишь, реши сама!

Вика не может решить, растерялась, плачет, а ведь она всегда молниеносно принимает решение!..

Тогда, в Грузии, в девяносто втором году, – я была еще совсем маленькая, – она приняла решение мгновенно. Приехали в Сухуми в гости из Питера на ржавой копейке – еле доехали. Сидели на веранде красивого дома на горе, смотрели на море. И вдруг увидели в небе синие и зеленые блики, это были следы от трассирующих пуль.

Санечка стал рассуждать: цель грузинского правительства – это установление контроля над своей территорией, цель абхазских властей – это расширение прав автономии, а Вика сказала – быстро домой! Они сели в свою ржавую копейку и поехали, побежали домой, в Россию. Вика говорит – могли машину отобрать на дороге, могли убить. А если бы остались, точно бы убили. Вика не всегда знает, как будет лучше, но всегда знает, как будет ЕЩЕ ХУЖЕ. А сейчас она не знает, как будет еще хуже?..

...Санечка уже не кричал, говорил спокойно.

– Гормоны – предательство, потому что это значит ничего не делать, химия предательство, страшно думать, что не поможет, Тибет – потому что это другой путь...

Санечка замолчал.

Санечка молчал так долго, что я подумала, что они уже закончили разговор, у нас будет другой путь.

– Есть еще одно – самое главное, – он говорил почти шепотом. – А ты сможешь сказать ей, что лечения не будет, а вместо лечения будет Тибет? Ведь это значит, что мы... ты

понимаешь. Как ты ей скажешь? Как она к этому отнесется?.. Это тоже твоя ответственность.

– Моя? – спросила Вика. – Почему моя? Может быть, наша?..

Почему, почему они говорят о Катьке как о кукле, как будто она тоже ничего не понимает, как я?

Они знают что-то, чего не знаю я?

Санечка разговаривал с врачом без меня. Вика разговаривала с дядей Левой без меня. Они боятся, что лечение может не помочь? Но ведь может и помочь!

– Но какой у нас на самом деле выбор, Вика? – сказал Санечка пустым голосом. – Тибет – это экзотика, истерика. У нас нет выбора. Я не могу отказаться от врачей, я не могу отказаться от лечения, я не могу на это пойти. А если лечение все-таки... понимаешь?

– Но ты же все понимаешь... – таким же пустым голосом сказала Вика. – ...Ладно, пусть. Решать тебе.

Первый раз в жизни она сказала Санечке «решать тебе».

– Маруся здесь, – сказал Санечка, – сидит на кухне.

– Маруся! Ты подслушивала? – позвала Вика. Когда она зовет меня таким ласковым голосом, лучше сразу прийти.

– Я подслушивала, но я ничего не поняла, – сказала я.

Знаете что? Они столько раз повторили «понимаешь», что я, правда, ничего не поняла. Я же все-таки ребенок.

Во Флоренции меня больше всего интересуют дом, где жила Беатриче, Давид, Филиппо Липпи и Филиппино Липпи в галерее Уфици, Вику – сумки в дизайнерских бутиках, Катьку – воздух. Она хочет прищуриться, чтобы видеть только полоску неба и нюхать воздух. Ей кажется, что Флоренция пахнет апельсинами, лимонами и еще чем-то горьким – оливковыми деревьями?..

### **Моя другая жизнь**

Если долго гладить Атланту палец на ноге, кажется, что нет ничего плохого, потому что на всем свете только я и он.

М. – я не знаю, где он, что с ним, это была не любовь, а увлечение его интеллектом, актерским даром.

Атлант, только он может по-настоящему разделить со мной все.

### **Моя главная жизнь**

Мы никуда не поехали. Билеты пропали, наш красивый дом с расписными буфетами пропал.

Катькино лечение – это таблетки. Ей нужно всего лишь принять таблетку, как будто это аспирин или аскорбинка. Но от этих таблеток ей очень плохо. Она старается, чтобы ей было ТИХО плохо, но ехать в Тоскану мы не можем. Мы можем посидеть на скамейке в Екатерининском садике у памятника Екатерине.

Но у нас все хорошо. Катьку не всегда тошнит. По утрам бывает лучше, чем днем и вечером.

Я каждое утро, когда Санечка уходит, прихожу к Катьке. Вика тоже приходит к Катьке каждое утро.

Каждое утро начинается с Вики.





...Я крепче прижалась к Катьке и сделала вид, что еще не проснулась. Вика с Катькой разговаривают, как будто меня нет, как будто я не лежу тут, уткнувшись лицом в Катькины острые коленки.

– Мне очень тяжело... – сказала Вика, – я тебе не говорила...

– Ты не говорила?! Говорила миллион раз – артрит, климакс, кариес, – засмеялась Катька.

– Да. Взгляни на мой организм свежим взглядом сверху вниз – сначала кариес, потом климакс, потом артрит. А посередине организма душа, а в душе я...

– В душе ты Ассоль, ждешь алых парусов, – подсказала Катька, – и что?

– А то, что мне сделали предложение, все трое. Я решила – человек сам хозяин своей судьбы и своего климакса! Выйду замуж. Только за кого?

– Чем больше у тебя мужей, тем лучше, – проникновенно сказала Катька, – тебе нужны двое мужей, лучше трое.

Я подняла голову с Катькиных колен:

– Ас кем тебе лучше в постели?

Вика, не глядя, прихлопнула меня рукой.

– А почему такая неуместная ирония? Ты думаешь, любовь – это когда тебе четырнадцать? Я тоже сначала думала, что любовь – это когда тебе четырнадцать или тридцать. А теперь я думаю – любовь для всех! Когда-то считалось, что предел женского любовного возраста – сорок, потом пятьдесят, потом шестьдесят...

– Потом сто... Викон, предел твоего женского любовного возраста – сто лет... Тащи сюда мазь, я тебе колено помажу... – вспомнила Катька.

– Не хочу мазь, не хочу колено... не хочу артрит, не хочу кариес! Мне всего шестьдесят, а у меня уже был кариес!

– Тебе шестьдесят?... Знаешь что? – участливо отозвалась Катька. – Хочешь, я сделаю тебе укол от бешенства?

– Не надо. Мне шестьдесят, потому что я старше тебя на пятнадцать лет, а тебе уже скоро сорок пять... – пояснила Вика.

– Мне скоро сорок пять, но пока тридцать восемь, – хихикнула Катька, – а тебе, Викон, шестьдесят два, и ты ни с чем не хочешь смириться, даже с кариесом.

– А ты актриса погорелого театра, – на всякий случай сказала Вика.

– А ты престарелый сексуальный маньяк! – засмеялась Катька и быстро добавила: – Ты первая начала!

Как дети. Они каждое утро так – Вика наступает, гонится за Катькой как акула с раскрытой зубастой пастью, а Катька как маленькая рыбка уплывает, прячется под камнем и оттуда смеется.

– Выходи за Сережку, – невинно предложила Катька, – хотя... дети пойдут, погрязнешь в пеленках...

– Пеленки? – Вика поморщилась и жалобно сказала. – Наверное, я уже не могу родить... А-а, ты издеваешься? Мне и так невыносима мысль, что мне что-то уже поздно, у меня и так не закончился кризис среднего возраста, а еще ты меня не жалеешь...

– Не плачь, я сейчас отведу тебя в детский сад, – успокаивающе сказала Катька и взглянула на Викину сумку. Детсадовская белая лакированная сумочка с розовым кармашком, у меня когда-то была точно такая, с белочкой.

– А что такое? – подозрительно сказала Вика. – У меня очень дорогая сумка.

Каждое утро Вика ссорится с Катькой, рассказывает про артрит и кариес, советуется, за кого ей выйти замуж. Это игра.

Мы все играем, как будто все как всегда. Катька тоже играет. У нее на тумбочке лежит красивая папка. Папку прислали из Германии. Дядя Лева договорился со своим другом, врачом, который работает в Германии, и Катьку вписали в проект. Это экспериментальное лечение – Катька будет принимать новое лекарство. На первом листе написано: «Ваша болезнь неизлечима». На последнем листе Катькина подпись. Катька знает немецкий. Она смеется, ссорится с Викой, обсуждает ее кризис среднего возраста и за кого ей выйти замуж. Может быть, она и правда не пускает в себя страшные мысли – прочитала, подписала и забыла. Может быть, она притворяется, потому что она нас очень сильно любит. А может быть, она просто стесняется – стесняется страдать.

Вика принесла с собой бутылку красного вина. В красном вине открыли ген молодости. Заставила Катьку выпить глоток. Быстро выпила бокал сама, облилась, на белой блузке расплылось красное пятно.

– Сейчас простирну в «Новости», – хором сказали мы с Катькой. Это фраза из старого советского кино.

– Девочки, – сказала Вика, – мне хорошо! А тебе хорошо, Маруся? А тебе, Катька? Этот человек тебя любит? Маруся, заткни уши. Катька, скажи мне, пока Маруся не слышит, – он с тобой спит?

– Ага, – застенчиво сказала Катька.

– Вот видишь, а ты говорила «что теперь будет... теперь все... теперь никогда...», – передразнила Вика и заорала: – Маруся, открой уши!.. Он с ней спит! ...Маруся, ты что, заснула? Просыпайся скорее! Проснулась?.. Можешь дальше спать. Сегодня ты в лицей не идешь!

Я давно не хожу в лицей, уже давным-давно каникулы. Вика ничего не соображает от горя.

### **Моя главная жизнь**

У нас свадьба!

Это не игра, это совершенно настоящая свадьба. Санечка отнес в ЗАГС их с Катькой паспорта и принес обратно уже со штампами.

На свадьбе только мы втроем – жених, невеста и я. Мы сидим на кухне. Санечка отдал мне коробочку с обручальными кольцами.

– Не смей улыбаться! Если для тебя это шутка, я не буду выходить замуж! – сердито сказала Катька.

Она ведет себя с Санечкой совсем по-другому, не так, как до болезни. Она с ним обращается нежно и насмешливо, и – нисколько не сомневается в том, что он ее любит. Санечка тоже ведет себя с ней иначе, чем до болезни. Он с ней обращается нежно и насмешливо, и – как будто сомневается, что она его любит.

Может быть, все это не от болезни, а просто раскрылось то, что было всегда между ними, только я не знала?

– Хочешь ли ты взять в жены Катьку? Обещаешь быть ей хорошим мужем в горе и радости, в болезни и здравии? – спросила я. Так говорят в кино.

Санечка кивнул:

– Да, хочу.

– За то, что я на тебе женюсь, ты сейчас что-нибудь съешь, – сказал Санечка.

– Бе-е, – протянула Катька.

– Что ты хочешь? – Санечка спрашивает небрежно, просто чтобы забросить удочку, не клонет ли, вдруг Катька скажет «хочу суп», или «хочу кашу», или «хочу апельсин».

Только Санечка может ее накормить.

Вика сердится, кричит. «Давай, ешь!» Санечка не сердится и не говорит нежных слов, но он так старательно варит кашу, так тщательно чистит апельсин, каждую дольку, что даже стыдно смотреть, словно это не каша или апельсин, а объяснение в любви.

Раньше он всегда был такой беспомощный, все вокруг него крутились, а теперь он сам варит кашу, никому не доверяет.

Элла говорила, что мужчины любят сильных женщин. Иногда мне кажется, что Санечка полюбил Катьку во время болезни. За то, что Катька оказалась сильной – она ни с кем не хочет разделить свой страх.

Или он всегда любил, только я не знала?

Раньше мне все это было важно, а теперь нет. Мне совсем не интересны их отношения – зачем мне это знать, я же ребенок.

– Хочешь ли ты взять в мужья Санечку? Обещаешь быть ему хорошей женой, в горе и радости, в болезни и здравии?

Катька сказала:

– Да, хочу, обещаю. – Она очень счастливая и очень красивая, ей идет смешной цветастый платочек.

– Я объявляю вас мужем и женой, – сказала я.

Катька надела Санечке обручальное кольцо, Санечка надел кольцо Катьке, она повертела рукой перед собой.

– Катьке это важно, она еще маленькая, – подначивающим тоном сказал Санечка.

– А ты что, только для меня?! Тогда мне не надо! – возмутилась Катька.

– Конечно, для тебя, – улыбнулся Санечка, – я могу жить с тобой и во грехе.

Катька покраснела, попыталась стянуть с пальца кольцо, у нее не вышло, и она бросила в Санечку салфетку, засмеялась.

Молодец Санечка. Мы с Катькой не любим трогательных сцен, чтобы в глазах щипало.

### **Моя другая жизнь**

У меня было задание на лето: история русского театра, школьного и светского, современная западноевропейская режиссура. И философия – Паскаль, Юм, Ницше, Кант.

Но я ничего не сделала. Я читаю сказки. «Красную Шапочку», «Белоснежку», «Дикие лебеди», «Огниво», прочитаю и начинаю сначала. Мне нравится про принца на белом коне, дровосека, солдата... мне нравится, что они в самый страшный миг приходят и спасают. Я хочу, чтобы они пришли и спасли нас.

### **Моя главная жизнь**

– А у меня для тебя подарок.

Катька протянула Вике «Справочник фельдшера».

– Почему справочник фельдшера, я же врач, – недовольно сказала Вика и, подумав, добавила: – Заслуженный врач.

– Будешь каждый день учить по три слова, чтобы твой критик тебя не раскрыл. Выучи сегодня слово «иссиканция», сможешь блеснуть, – предложила Катька.

– Нет такого слова, – подозрительно сказала Вика.

– Есть, – уверяла Катька, – это когда на операции неожиданно нужно иссечь часть организма.

– ...Ой, мне звонят – критик! Тише! – закричала Вика.

Вика так долго говорила с критиком, что Катьке надоело ждать, и она вдруг приподнялась и закричала в телефон:

– Скорее в родилку! Раскрытие на два пальца!

Вика растерянно смотрела на нее, и Катька взяла у нее трубку и строго ответила Викиным голосом:

– Позовете, когда будет на четыре!.. Следите за шейкой.

Согнувшись пополам от смеха, Вика показывала знаками – не буду больше с ним разговаривать, заканчивай разговор сама.

– Простите, ее в родилку вызвали, у нас тут раскрытие уже на пять пальцев. Она вам перезвонит после родов, – низким отрывистым голосом измученного врача из советского кино сказала Катька.

Отдала Вике телефон, задумчиво повертела перед собой растопыренной рукой, полнобовалась обручальным кольцом и пробормотала: «Интересно, бывает раскрытие на пять пальцев?»

И вдруг встала с кровати и забегала, закрутилась вокруг Вики.

– Ляг скорее, ты устанешь, – испугалась Вика, но Катька махнула рукой: – Отстань!

Катька изображала толпу студентов на обходе. Топталась на месте на полшага сзади, забегала вперед, почтительно заглядывала Вике в глаза и как будто записывала назначения в историю болезни. Одна играла целую толпу восхищенных студентов.

– С этой роженицей что делать?.. Все не рожает и не рожает. – Катька показала на меня. – Закапать ей капли в нос? Что вы говорите?! Это же просто новое слово в гинекологии!.. Ну спасибо вам, без капель в нос она бы не родила. Ой, а это у нас сложный пациент – мужчина. Что вы ему назначите? Валерьянку?.. Сестра – быстро один кубик валерьянки!

Катька очень талантливая актриса – так сыграла этюд «обход врача», что Вика поневоле сыграла врача. Она вдруг как-то приосанилась, принялась важно поглядывать вокруг и действительно стала похожа на врача, окруженного студентами, которые ловят каждое ее слово. Только по-настоящему талантливый актер может так убедительно сыграть, чтобы вовлечь непрофессионала в предлагаемые обстоятельства.

– Идиотка, – простонала Вика, вытирая слезы.

– Это ты идиотка, – немедленно отозвалась Катька.

Вика придет днем, а потом еще раз вечером, они с Катькой будут разговаривать до утра. Есть кое-что, чего я не понимаю, – о чем они всю ночь разговаривают? Они давно вместе как один человек, влились друг в друга как две реки, у них каждый миг разделен. Все друг про друга знают и все равно сидят ночами, разговаривают, – чтобы все-все-все друг про друга знать?..

Вика такая большая, сильная, сердитая – Зверь, а Катька маленькая, тоненькая, в этом своем смешном цветастом платочке. Когда Катька не видит, Вика смотрит на Катьку жалким взглядом, как будто думает: «Ты большая, сильная, а я маленькая, не бросай меня!» Как будто она не Зверь, а потерявшийся ребенок.

Санечка тоже иногда смотрит на Катьку жалким взглядом, как будто думает: «Ты большая, сильная, а я маленький, не бросай меня!»

Мой преподаватель из университета рассказывал: одного очень старого священника спросили: «Святой отец, вы пятьдесят лет принимали исповеди, что вы узнали о человечестве?» Он знает что ответил? Он сказал: «Я узнал, что взрослых людей не бывает». Это значит – не только я ребенок, и Санечка ребенок, и Вика, особенно когда так несчастны.

...Катька вышла из образа «толпа студентов на обходе», легла в постель, свернулась калачиком, сказала:

– А где Санечка?

**Моя главная жизнь**

У Санечки лживый голос, лживый взгляд.

– Лето. Ты сидишь дома все лето. Ты хочешь куда-нибудь поехать?

Я тоже могу солгать.

– Нет, не хочу.

Я очень хочу уехать, я больше всего на свете хочу куда-нибудь уехать, а еще больше я хочу закрыть глаза и улететь на луну.

Катька не хочет видеть Вику, Вика ее раздражает.

Катька и меня не хочет видеть. Как будто вокруг Катьки кто-то очерчивает круг, и круг все сужается. Сейчас в нем остались только она и Санечка.

У них теперь свое пространство, где только их слова, их отношения, где они только вдвоем. Он ловит каждый Катькин взгляд, откликается на каждое движение, как будто она его младенец. А Катька любит Санечкой, капризничает, кокетничает, но все чаще смотрит на него, как будто она младенец, а он ее мама и они одни на всем свете.

А потом она останется совсем одна?..

Я думала, что я буду плакать, прощаться, но я ничего не чувствую, у меня душа отделилась от тела. Душа витает отдельно, как будто не имеет ко мне никакого отношения, а тело без души – какой с него спрос.

И я не страдаю, я как ватная кукла, тело из ваты, голова из ваты. Я только все время повторяю про себя: «Я больше не буду, прости меня, прости», но ЧТО я не буду? И за что прости – за то, что она останется одна?

### **Моя другая жизнь**

*1 сентября 2005*

Куколка Элик за лето очень вырос. Мне уже не стыдно, что он меня провожает.

– Ты не возражаешь, если я выражу тебе свои соболезнования? Нет?.. – спросил Элик. – Моя мама сказала – тебя очень жалко. Ты столько пережила, ты приемный ребенок, а теперь еще и это. Мы очень тебе сочувствуем.

– Спасибо, – сказала я.

Сегодня в лицее все преподаватели сказали мне слово «соболезнование». Мне странно слышать «соболезнование», странно отвечать «спасибо». Как будто все это театр, и все актеры играют в одной пьесе, а я в другой, и я никак не могу вспомнить правильный текст и играть вместе с ними.

– Извини, что я думал, ты врешь про следы пуль на небе.

– Можешь не извиняться, я врала. Я не видела следов пуль на небе, – призналась я.

Вика с Санечкой приехали из Питера в гости в Сухуми без меня. Я тогда была маленькая.

Они жили в доме на горе, из окна их комнаты было видно море, перед окном была пальма. Кто они были тогда друг другу? Вика говорит, друзья, но любовники, конечно. Вике было за сорок, Санечке за тридцать.

Они сидели на веранде, смотрели на море и вдруг увидели на небе синие и зеленые следы от трассирующих пуль, – так они мне рассказывали. Они поехали домой, в Питер.

Сначала они поехали в Сочи, через Гагры. Там посреди города красивая широкая аллея, и вся аллея была усыпана убитыми людьми. Вика вдруг сказала – остановись!

Вика говорит, она не видела, девочка или мальчик, видела, что ребенок, сидит на обочине около убитых людей. Наверное, это были мои родители. Она сказала – остановись, смотри, открой дверь!.. Санечка сидел, смотрел, думал, а Вика закричала – ко мне!

– Прыг в машину! – кричала Вика.

– Она не понимает по-русски... – сказал Санечка.

– Бери, тебе говорят! – закричала Вика.

Санечка сказал – а что, а если... а Вика закричала – быстро! Он выскочил, взял меня, и мы поехали.

Вика с Санечкой сразу же не могли поделить ничего, что касалось меня. В машине Вика хотела назвать меня Ниной, Нино.

Мне нравится имя Нина. До Пушкина, пока он не ввел в литературный обиход имя Татьяна, оно было аристократическим именем, именем героини.

Вика хотела назвать меня Ниной, а Санечка быстро назвал меня Марусей. Машину начали обстреливать, он крикнул: «Маруся, ложись!», и я сползла вниз, между сиденьями, как будто поняла, откликнулась. Если бы я не откликнулась, они бы до сих пор спорили, как меня назвать.

Мы доехали до Сочи, машину обстреливали, я по команде Санечки ложилась вниз. Санечка кричал: «Маруся, ложись!» Они говорят, первое, что я выучила по-русски, – ложись. Пока мы ехали, Вика с Санечкой поругались насчет моего будущего. Вика сказала, что я продолжу семейную традицию и буду врачом. А Санечка – что я продолжу семейную традицию и буду актрисой или режиссером.

После того как они подобрали меня на дороге, сказали – прыг в машину, Санечка и Вика стали отец и бабушка, Вика стала «Тещца».

Я всегда знала, что я приемный ребенок, у нас в семье принцип, что я должна все знать. Психолог в лице считает, что у меня такая сильная привязанность к моей семье, что я хочу все время быть со взрослыми, потому что меня подобрали на дороге.

– Моя мама сказала, что ты бедная девочка, что вы все друг другу никто, – с жалостью сказал Элик.

Он за лето стал много лучше, свободно разговаривает, не боится проявлять эмоции, жалеть меня. Может быть, он еще станет человеком.

Мы все друг другу никто?.. Помните – можно разрушить любые отношения, потому что всегда найдется на чем сыграть?.. Это неправда. Мои отношения с Санечкой нельзя разрушить, даже если сыграть на моей любви к Санечке, на моей уверенности, что моя любовь для него главная, – я же уступила его Катьке. А мои отношения с Викой... попробуйте разрушить что-нибудь Викино!

Мои отношения с Катькой нельзя разрушить.

– Моя мама сказала, что она была хорошим человеком и актрисой, – сказал Элик.

Она была хорошим человеком? Почему она говорит о Катьке так равнодушно, безлико? Почему, почему?!.. Потому что Элла живая и может сказать, что хочет?!.. Она не «была хорошим человеком», она была робкая, храбрая, добрая, щедрая, считала, что она хуже всех, а сама лучше всех!..

Нет, не так...

Вот какой она была человек – она любила нас, а мы любили ее. Любила баловать нас, позволяла нам быть капризными, эгоистичными, нервными, сложными, давала нам ощущение защищенности, безопасности – от всего. Она и умерла, как будто это игра, как будто спряталась за углом и смеется, видя, что я ее ищу, как будто она убежала в Пассаж, вернется и скажет: «Ловко я тебя разыграла».

– Передай своей маме... спасибо.

Я хотела сказать – передай своей маме, что она противная Швабра. Но не сказала. Я тоже за лето стала много лучше.



Взято из Флибусты, [fibusta.net](http://fibusta.net)

## Гергенредер Игорь Алексеевич

родился 15 сентября 1952 в городе Бугуруслане Оренбургской области России, в семье выселенных сюда во время войны поволжских немцев. Отец Алексей Филиппович Гергенредер преподавал в средней школе русский язык и литературу, мать Ирма Яковлевна (урождённая Вебер) была бухгалтером.

В конце 1967 семья переехала в Новокуйбышевск Куйбышевской (ныне Самарской) области. И.Гергенредер, будучи старшеклассником, относил заметки и репортажи в городскую газету «Знамя коммунизма», где их стали публиковать. Печатался также в областной газете «Волжский комсомолец» и окончил организованную при ней общественную школу юных журналистов.

Получив аттестат зрелости, И.Гергенредер был принят 1 июля 1970 в штат новокуйбышевской городской газеты «Знамя коммунизма» корреспондентом. Спустя год поступил на отделение журналистики Казанского университета и окончил его с отличием в 1976-м. Работал корреспондентом в республиканских молодёжных газетах, завотделом в городской газете; писал прозу.

Первая литературная публикация И.Гергенредера относится к 1985 году: в коллективном сборнике «Поиск-85» Южно-Уральского книжного издательства (Челябинск) вышла фантастическая новелла «Испытание «Тарана». Вещи И.Гергенредера печатали журналы, альманахи, коллективные сборники, издававшихся в разных городах СССР.

В то время И.Гергенредер жил в Молдавии. Первая его книга «Русский эротический сказ» (сборник сказов) была издана тридцатитысячным тиражом в 1993-м. Через год И.Гергенредер переехал с женой и дочерью в Германию. С 1994 живет в Берлине, работает собкором выходящего во Франкфурте-на-Майне ежемесячного журнала «Литературный европеец».

Рассказы, повести И.Гергенредера опубликованы в берлинском альманахе «Остров», в альманахе «Новая студия. Берлин – Москва», в журнале «Родная речь» (Ганновер), в нью-йоркском THE NEW REVIEW («Новом Журнале»), в еженедельнике «Кстати» (Сан-Франциско»). Прозу писателя регулярно печатают «Литературный европеец», альманах «Век XXI» (Gelsenkirchen, Германия) и другие издания Русского Зарубежья. В ФРГ у И.Гергенредера вышли четыре книги. Он член правления Союза русских писателей в Германии, член профсоюза работников культуры Kultursyndikat FAU IAA и культурно-политического объединения Verein Freier Kulturaktion e.V., состоит в организации Literarisches Colloquium Berlin (Литературный Коллоквиум Берлина).

### **Произведения:**

Грозная птица галка

Стожок на поляне

Рыбарь

Донесённое от обиженных (роман)

Комбинации против Хода Истории



Парадокс Зенона  
Птенчики в окопах  
Маленькие странники, или Почти сказочная история  
Близнецы в мимолетности  
Дайте руку королю  
Страсти по Матфею (рассказ)  
Селение любви (повесть)  
Гримаска под пиковую точку

### **Интервью:**

Елена Зейферт, доцент, кандидат филологических наук

**Елена Зейферт: Игорь, как обычно складывается ваш день? Сколько времени вы уделяете творчеству?**

Игорь Гергенрёдер: Не каждый день можешь посвятить творчеству, нужно одно, другое, третье сделать. Творческих дней у меня три-четыре в неделю. После гимнастики и завтрака берусь за работу. Пишу шариковой ручкой. Четыре часа. В тот же день иногда, бывает, и ещё с час напишу – поздно вечером. Написанное помню и потом мысленно проверяю: что годится, а что надо исправить? Иду, еду куда-то – “правлю”. Когда вещь написана от руки, набираю на компьютере, опять же редактирую. Но и это ещё не окончательная редактура...

**Е.З.: Вы работаете над прозой разных объёмов, в том числе над очень крупными произведениями. К примеру, роман “Донесённое от обиженных” занимает около 300 страниц. Вы доверяетесь тексту, идёте вслед за ним или сначала пишете подробный план?**

И.Г.: План возникает заранее, и он только в голове. Трудность – поиск самых выразительных, наиболее подходящих слов: как точнее, образнее и, вместе с тем, “проще” и “легче” передать то, что уже есть в воображении? Когда очередной отрезок пройден, предстоящее открывается чётче, в подробностях.

**Е.З.: Какие документы вы изучали, создавая роман “Донесённое от обиженных”?**

И.Г.: Мне очень помогла небольшая книга историка Казимира Валишевского на французском языке “La dernière des Romanov., E” [“Последняя из Романовых”] (Париж, 1902), работа до сих пор не переведена на русский. Важной оказалась и другая книга К. Валишевского “Преемники Петра” (Москва, книгоиздательство “Современные проблемы”, 1912). Я опирался на Народный лексикон Бертельсманна (издания 1956, 1960) на немецком языке, пользовался многими другими германскими источниками. Нужные сведения, к примеру, нашлись в историческом лексиконе Кёблера [Koebler, G.: Historisches Lexikon der deutschen Länder. Die deutschen Territorien vom Mittelalter bis zur Gegenwart] (6. Auflage, München, 1999). Превосходными источниками оказались книга Игоря Плева “Einwanderung in das Wolgagebiet: 1764–1767” (Göttingen, Göttinger Arbeitskreis, 1999) и его же труд “Немецкие колонии на Волге во второй половине XVIII века” (2-е изд., Москва, Готика, 2000). Я постоянно обращался к богатейшему сборнику документов “Архив русской революции” в 22 томах, который издавался Г.В. Гессеном в Берлине в 20-

е, в начале 30-х гг. Стал находкой двухтомник В.А. Бильбасова “История Екатерины II” (Берлин, 1900).

Немало полезного дали и публикации на английском. Полный список использованных работ помещён в приложении к тексту романа. В списке указаны и издания советского времени, например, сборник “Гражданская война в Оренбургском крае. По воспоминаниям участников гражданской войны и документам” (Чкаловское областное издательство, 1939). От этой книги протянулась ниточка к современности. Не так давно я получил письмо от Азамата Магизова из башкирского города Мелеуз. Азамат, которому 35 лет, прочитал мой роман благодаря Интернету. В романе рассказывается о приезде башкирской делегации в 1918 году в Баймак. Там делегатов вероломно захватили, а затем расстреляли красные. Читатель, встретив фамилию одного из расстрелянных “Магизов”, пишет: “Фамилия наша очень редкая, родственники мои утверждают, что однофамильцев у нас нет. В связи с этим хотелось бы узнать, как фамилия Магизов попала в Ваш роман”. Я ответил, что фамилия была названа в вышеупомянутом сборнике: “Возглавляли банду офицер Карамышев и башкирские буржуазные националисты – Изильбаев, Магизов и другие”.

Лексика, стиль эпохи каковы!..

**Е.З.: Ваш цикл повестей о гражданской войне называется “Комбинации против Хода Истории”. Что значит для вас история?**

И.Г.: Мне с детства представлялось, что некая высшая сила “пишет роман” – творит Историю. Вот, например, Октябрьский переворот и последовавшая за ним 70-летняя эпоха – невероятно сильные, важные главы Общечеловеческого романа. Вообразим, что они вычеркнуты и внесена правка. То есть в 1919 или в 1920 победили белые. Допустим лучший из лучших вариантов: жизнь в России стала не хуже, чем в ведущих странах Запада. Так ведь и там никуда не делись нужда, инфляция, безработица. И сегодня в Германии из-за чего, как не из-за социальных проблем, которые не смогло решить правительство, назначены досрочные выборы?

Разумеется, в России и при небольшевистской власти было бы немало бедности. И в этой стране и в других странах говорили бы: “Победи красные, Ленин – явился бы пример новой системы отношений: без классовой вражды, без бедных и богатых, без эксплуатации человека человеком! Социализм доказал бы неопровержимой реальностью, что человек создан для счастья, как птица для полёта”.

Одержжи победу не красные, а белые, попробовал бы кто-то изобразить в произведении, чем обернулись бы красивые лозунги большевиков? Попробовал бы сказать о коллективизации, о вымаривании голодом миллионов крестьян и о том, какой будет создан культ вождя народов и на чьей крови: на крови тех же революционеров. Автора, который бы всё это нарисовал, объявили бы злобным мракобесом, человеком с большой фантазией. Над ним смеялись бы. Ну а теперь над кем смеяться? Наверно, надо задуматься над Общечеловеческим романом, к которому добавляются строки, страницы, главы...

**Е.З.: Интерес к гражданской войне в вас зародил отец, воевавший на стороне белых. Он рассказал вам правду о войне, показал её настоящее лицо и изнанку. Вероятно, вам, в то время советскому школьнику, было тяжело носить в себе эту страшную правду...**

И.Г.: Среди моих друзей детства были дети трудармейцев. Они, как и я, знали, что пережили наши родители в трудармии. Мы понимали: то, о чём нам толкуют в школе, то, что передают по радио, показывают по телевидению, не всегда правда и никак не мешает присутствию страшного в жизни. Мы чувствовали неприязнь к официозу, распевали без посторонних переделку пионерской песни “Куба, любовь моя!”. Мы пели:

Куба, отдай наш хлеб!

Куба, возьми свой сахар!

Куба, отдай установки ракет!

Куба, пошла ты на ...!

Откуда песенка прилетела в наш двор? Потом я узнал, что она была распространена среди подростков той поры, её знали в разных городах. Тогда же, при Хрущёве, после полёта Гагарина пели:

Юра, Юра, ты могуч,

Ты летаешь выше туч!

Соберёшься на орбиту,

Захвати с собой Никиту,

Чтобы этот п...

Не ... рабочий класс!

Словом, в обязательные для пионера, для комсомольца идеалы я не верил, и потому носить в себе страшную правду было естественно.

**Е.З.: В вашей повести “Грозная птица галка”, столь ярко открывающей цикл “Комбинации против Хода Истории”, пятнадцатилетний герой Лёнька, рядовой белой дивизии, не сразу осознаёт трагедию сообщённой ему страшной вести – гибели старшего брата. Только через время к мальчику приходит боль... Можно ли объяснить эту ситуацию общей оторопью в то смутное время? Или индивидуальной натурой героя?**

И.Г.: Отцу, когда тот был ребёнком, подростком, брат Павел едва ли не всегда виделся в движении и притом в щеголеватом движении. В том, как Павел катался на велосипеде, грёб на лодке, бегал на лыжах, сквозила небрежность необычайно уверенного в себе человека. Он никого не боялся, и ему нравилось, если что-то ему угрожало. Для моего отца казалось несомненным, что никто никогда не сумеет Павла побить. Вступив в Народную Армию, отец и другие солдаты сидели в вагоне-теплушке в Сызрани. Отец услышал: “Глядите, какой офицер идёт! Орёлик!” Оказалось, это Павел проходил по перрону. Отец мне рассказывал: “Осанка – блеск! Сила в нём так и играет!” В Павле кипело столько жизни, что она не позволяла поверить в смерть. Он своим обликом, поведением словно бы внушал, что неубиваем. Это я и постарался передать: мой герой не может сразу представить, что Павел недвижим, мёртв. Между прочим, такие, что давно известно, и погибают в первую очередь.

**Е.З.: Игорь, назвали бы вы вашу литературу однозначно антисоветской?**

И.Г.: Антисоветской её назвали бы люди с советским сознанием. В юности, когда мне в голову приходил замысел той или иной вещи, я рассказывал о нём людям, уже печатавшимся. И мне говорили: “Это не пойдёт!” Хотя я, понимая, где живу, отнюдь не пытался как-то критиковать порядки. Я сознавал, чем это для меня может кончиться. И

всё равно вещи “не шли”. Пример. Писатели, без чьего одобрения нельзя было отнести рукопись в издательство (там её не стали бы читать), зарубили мой сборник детских рассказов. В речи моих героев встречалось: “затранзал”, “отметелил”, “усикалась”. Мне возмущённо сказали: “Как у вас дети выражаются? Они нормального языка не знают?” Но в действительности дети говорили именно на таком языке, и я взял самые удобоваримые выражения. Конечно, можно было заставить героев изъясняться, “как положено”, – но тогда исказились бы образы, они же зависимы от речевой характеристики. Фальшь вызывала отвращение к работе. Сколько рукописей из-за этого я порвал, сколько вещей не довелось написать... В лучшие годы.

Но вспоминая то время, я не чувствую ненависти ко всей тогдашней жизни. При той власти я бесплатно получил высшее образование, мне платили повышенную стипендию, поскольку все экзамены я сдавал на “отлично”, вручили диплом с отличием. (А каково молодёжи учиться в сегодняшней России?) Я читал произведения многих прекрасных зарубежных авторов, потому что, по инициативе Горького, в 1918 году российская интеллигенция была привлечена к задаче: ознакомить народ со всеми достижениями мировой литературы. Задача, в основном, выполнялась, хотя, конечно, переводили не всех замечательных писателей и, понятно, почему. Но школа-то переводчиков была превосходная! В Германии, в первые месяцы жизни здесь, мне попались “Три мушкетёра”, переведённые на немецкий и адаптированные: книжка в палец толщиной.

То есть, в советском государстве, безусловно, имелось и то, что хорошо было бы сохранить.

Мне кажется, я смотрю на советское прошлое объективно. Человек с “непартийным” сознанием, наверно, не назвал бы все мои вещи однозначно антисоветскими.

**Е.З.: Вот цитаты из вашей повести “Грозная птица галка”: “Я услышал, как погиб Павка”, “Вот тут, неглубоко, лежит Павка. Серо-синий, ужасный, как те трупы, которых я успел наглядеться. Павка – такой ловкий, быстрый в движениях, такой самоуверенный, бесстрашный”... Можно ли в использовании имени Павки (в данном случае, белогвардейца) увидеть желание вызвать у читателя образ другого, красного, Павки?**

И.Г.: Нет. Я понимал, что возникнут мысли о “перекличке”, но мне не хотелось изменять имя моего дяди. Для его братьев он был Павкой. Отец вспоминал детство: родители дома говорили по-немецки. Приезжавшая в гости двоюродная бабушка по-русски почти не знала и называла Павла “Паулус”. А в то время ещё хорошо помнили о войне англичан с бурами 1899–1902 гг. Россия сочувствовала бурам, в народе ходила песня “Трансвааль, Трансвааль, страна моя”. Было популярно имя президента бурской республики Трансвааль Паулуса Крюгера. И когда дома братья сходились к обеду, кто-нибудь раньше других вбегал в столовую и при появлении Павла объявлял: “Их превосходительство Паулус Крюгер!”

**Е.З.: Судя по вашим произведениям, вы глубоко верующий человек и придерживаетесь позиции, что человек не вправе вершить правосудие?**

И.Г.: Мне кажется, человеку не дано понять, что есть действительное, подлинное правосудие. Обычно люди говорят, что следовали закону, приказу. Часто так оно было и есть. Но люди и по своему внутреннему побуждению отнимают чужую жизнь: вершат правосудие. Я бы не назвал этим словом подобные поступки. Однако надо ли делать

вывод, что на насилие нельзя отвечать насилием? Позиция эта для кого-то весьма удобна. Можно внушающими почтением словесами прикрыть собственный страх перед насилием, а если оно угрожает другим, – прикрыть желание остаться в стороне. В романе “Донесённое от обиженных” один мой герой спрашивает другого о заповеди “не убий”. Тот отвечает: “Христос сначала говорит о законе Моисея “око за око, зуб за зуб”, – доступном пониманию людей. А затем добавляет, что заповедь “не убий” была бы лучше... Была бы – если б все-все люди одновременно последовали ей. До тех же пор, пока это остаётся только идеалом, приходится следовать закону Моисея”.

В данном случае устами героя прямо выражена моя авторская позиция.

**Е.З.: О гражданской войне писали многие авторы – И. Бабель, М. Шолохов, Д. Фурманов... Каждый автор со своего ракурса, со своего отдаления или приближения... Но ваша проза о гражданской не укладывается ни в какую традицию, остаётся уникальной. Критик С. Воложин предполагает, что вы сознательно соотносили свою повесть “Грозная птица галка” с “Записками кавалериста” Н. Гумилёва. Эта гипотеза, думаю, неверна?**

И.Г.: Вы правы. Собственно, гипотеза слишком малоосновательна, чтобы быть гипотезой. С. Воложин не зря называет себя не просто критиком, а “критиком-интерпретатором”. Этим он хочет обеспечить себе больше простора для весьма вольного толкования текстов. В “Записках кавалериста” Николая Гумилёва рассказывается о первой мировой войне. А та война и война Гражданская, как говаривали в Одессе, – это две большие разницы. У Гумилёва, пишет С. Воложин, говорится о частных успехах своей стороны при общем неблагоприятном положении дел и в моей повести – тоже. Но сколько можно найти произведений, посвящённых подобным моментам. Первая же ссылка: Лев Толстой, “Война и мир”. В 1805 году русская армия Кутузова, воевавшая в Австрии против Наполеона, отступает. В бою под Шенграбеном, когда столь блестяще действует капитан Тушин, отряд прикрытия спасает от разгрома отходящие войска.

Критик-интерпретатор приводит начало “Записок” Гумилёва:

“Мне, вольноопределяющемуся – охотнику одного из кавалерийских полков, работа нашей кавалерии представляется как ряд отдельных, вполне законченных задач, за которыми следует отдых, полный самых фантастических мечтаний о будущем”.

С. Воложин предлагает сравнить это с началом моей повести “Грозная птица галка”:

“В середине октября 1918 наша 2-я добровольческая дивизия отступала от Самары к Бузулуку. Было безветренно, грело солнце; идём просёлком, кругом убранные поля, луга со стогами сена, тихо; кажется, и войны нет”.

Что тут сказать? Сходство, гм, прямо-таки налицо.

Продолжая интерпретировать повесть, С. Воложин сравнивает её окончание с тем, что написано у Хемингуэя в романе “Прощай, оружие”. У Хемингуэя:

“Было много таких слов, которые уже противно было слушать, и в конце концов только названия мест сохранили достоинство. Некоторые номера сохранили его, и некоторые даты, и только их и названия мест можно было ещё произносить с каким-то значением. Абстрактные слова, такие, как “слава”, “подвиг”, “доблесть” или “святыня” были непристойны рядом с конкретными названиями деревень”.

У меня:

“Мы несли Алексея до ближайшей деревни. Там и похоронили. Собрали в батальоне денег, сколько у кого нашлось, отдали священнику, чтобы отслужил не один раз.

Название деревни – Мышки. От Оренбурга в ста пяти верстах”.

По мнению С. Воложина, смысл этих строк тот же, что и у Хемингуэя. Но у меня название деревни не противопоставляется выражениям патетики. Рассказчику Лёньке очень жаль убитого им по ошибке Алексея Шерапенкова, Лёнька мучается виной, он полон уважения к погибшему. Потому деревня, то, где она расположена, запоминается навсегда. Эта память – памятник Шерапенкову. Он, а не Павка и не Лёнька, – главный герой повести.

Толкуя о моих вещах, интерпретатор там и сям предлагает выводы, которые не следуют из текста. Берёт эпизод, когда на некомплектную роту белых устремляются толпы рабочих, вооружённых, но не обученных военному делу, и выводит из этого, что за коммунистов было большинство населения страны. Но есть исторические документы. Известно, что Временное правительство назначило выборы в Учредительное собрание. Большевики, захватив 7 ноября 1917 власть, объявили, однако же, 9 ноября о созыве Учредительного собрания в назначенный Временным правительством срок. В ноябре-декабре 17-го по стране, уже при власти большевиков, прошли выборы в Учредительное собрание. Вот данные, взятые из советских источников. За большевиков отдали свои голоса 23,9% избирателей. 40% проголосовали за эсеров, 2,3% – за меньшевиков, 4,7% – за кадетов. Остальные проголосовали “за другие мелкобуржуазные и буржуазные партии”. То есть, если округлить: за большевиков оказалось только 24 процента! 76 процентов были против.

Однако интерпретатор, подобрав подходящую цитату нужного ему автора о неком “массовом улучшении людей” в те годы, добавляет, что имеются в виду массы трудящихся, “составлявших большинство населения”. Извольте верить: за коммунистов, оказывается, были все трудящиеся.

Далее в том же духе. У меня в повести “Парадокс Зенона” действуют гимназисты, которые вступили в отряд восставших против комиссародержавия, как тогда говорили. Повстанцы воюют с большевиками из-за того, что те разогнали Учредительное собрание. У каждого из моих героев есть своя программа преобразований: наивно-романтическая, невыполнимая, конечно. Программы рождены надеждой на свободное волеизъявление людей. С. Воложин меж тем пишет, что эти утопические мечты “неспособны” привести гимназистов “в ряды врагов Советской России”. (Ну да, коли все трудящиеся за большевиков, то и Россия – Советская). Скажу лишь: куда ещё могли привести мечты о добре, о демократии, как не в ряды тех, кто борется за установление парламентаризма?

Интерпретатор, неистощимый в приёмах работы с текстом, обращается к узловому моменту в моей повести “Рыбарь”. Пойманные большевистские агенты, мужчина, женщина и подросток, заперты в пакгаузе. Их ожидает допрос. Взрослые опасаются, что подросток, который уже начал их выдавать, “расколется” окончательно. Они душат его. В этом моменте, пишет С. Воложин, выявилось желание автора “подгадить” той “исторической правде”, что большинство населения было за коммунистов и что оно массово улучшалось.

Вспомним “Поднятую целину”, роман Шолохова, который изучался не одним поколением в советской школе. Положительный герой коммунист Нагульнов декларирует

со страниц книги, что если надо будет для торжества новой жизни, он сам порежет из пулемёта стариков, баб, детишек. Очевидно, это заявление не противоречит правде о массовом улучшении людей.

И ещё относительно взглядов интерпретатора. Агенты посажены в пакгауз по инициативе Ромеева, который за белых. Начальство не поверило, что арестованы агенты, и Ромеев запер их в пакгаузе, убеждённый, что взрослые убьют подростка и тем выдадут себя. То есть красные разведчики и их противник друг другу не уступают, чего не желает видеть интерпретатор. Ему нужно, чтобы красные были показаны “в улучшении”, а белые теряли бы “человеческий облик”.

С. Воложин находит неправдоподобным, что в повести “Комбинации против Хода Истории” командир отряда Пудовочкин и комиссар Костарев облечены доверием коммунистов, хотя первый – уголовник, а второй – бывший помещик и анархист. Интерпретатор пишет, что партия, которая с июля 17-го и до переворота больше была в подполье, чем на легальном положении, не могла дважды ошибиться. Но откуда взято, будто бывших помещиков и анархистов “не пропускали” в партию? Матрос Железняков, руководивший разгоном Учредительного собрания, – бывший анархист. Троцкий – бывший меньшевик, отец владел поместьем. Главнокомандующий красным Восточным фронтом М.А. Муравьёв, который 10 июля 1918 изменил коммунистам, – бывший царский полковник. Григорий Котовский – уголовник в дооктябрьском прошлом.

В июле 1920 близ Бузулука восстала дивизия Сапожкова. Сам он и весь командный состав были людьми, проверенными партией. Так вот, комиссар дивизии и комиссар штаба дивизии оказались заодно с её начальником Сапожковым. Более того: в организации восстания участвовал особый отдел.

**Е.З.: Созданный вами персонаж комиссар Костарев, который называет себя не красным, а чёрным, в повести “Комбинации против Хода Истории” излагает своему собеседнику, доктору, собственную “пассионарную” теорию российского “бунта, бессмысленного и беспощадного”:**

**“Испанцы, англичане, французы имели периоды исторического возбуждения, когда они устремлялись за моря, захватывали и осваивали огромные пространства, несоизмеримые с величиной их собственных стран. Грандиозные силы возбуждения избывались.**

**Русский народ таит в себе подобных сил поболее, чем указанные народы. Русские с кремнёвыми ружьями прошли Аляску, поставили свои форты там, где теперь находится Сан-Франциско. Но дальше подстерегала несообразность. За титанами России не потянулся народ, как потянулись испанцы за своими Писарро и Кортесом. Крепостничество, сонное состояние властей, сам косный, замкнутый характер чиновничьей империи не дали развиваться движению. Гигантские силы стали копиться под спудом. С ними копилась и особенная непобедимая ненависть народа к господам, к царящему порядку – ненависть, чувство мести, мука – от того неосознанного факта, что великому народу не дали пойти достойным его величайшим путём.**

**Между прочим, это смутно чувствует и российская интеллигенция, которая так любит говорить о великом пути России – не понимая, что смотреть надо не вперёд, а назад: в эпоху, когда возможность такого пути упустили правители...**

**Пётр Столыпин был умницей наипервейшим, он лучше всех понимал всё <...>. Его хлопоты о переселении крестьян в Сибирь – это попытка исполнить, пусть в крайне малом масштабе, но всё-таки исполнить те задачи, на которые предназначалась титаническая энергия России. Попытка дать выход накопленным силам возбуждения... Но Столыпина не стало. А большевики – для выпуска энергии – указали народу другой в известном смысле тоже грандиозный путь”.**

#### **Каковы корни этой теории?**

И.Г.: В детстве я узнал от родителей, что немцам, переселявшимся в Поволжье, со временем становилось там тесно, и они начали основывать дочерние колонии на Южном Урале. У Данилевского написано, что в 60-е годы XIX века российские немцы посылали своих людей уже и на Амур – присмотреть и прикупить землю. В этой связи думалось о русских первопроходцах, проложивших путь на Восток. Почему не возникло великое движение по этому пути?.. Я читал приключенческие романы Густава Эмара, Майн Рида, Луи Буссенара, Генри Райдера Хаггарда об освоении европейцами заморских земель. Отчего же в России не появилась подобная литература о россиянах, пришедших на Дальний Восток, на Аляску? Их дело, их фигуры не были интересны обществу, не воодушевляли его... Мысли об этом пригодились, когда, задумав повесть, я почувствовал, что необходим герой с “грандиозной идеей”.

Но должен уточнить: повесть написана не ради этой идеи. Главное – одержимость героя его замыслом. Человек, готовый, по его словам, обречь на смерть миллионы людей, дабы воплотить план в жизнь, жертвует им, а заодно и своей жизнью, которая теряет для него смысл. Жертвует, потому что его спас от смерти симпатичный человек, наивный добряк доктор Зверьянский, – и комиссар Костарев не может, в свою очередь, не спасти его с семьёй.

**Е.З.: В повести “Рыбарь” её герой Ромеев говорит: “Россия может и немецкой, и американской быть. Она всех стран пространственной!” Дайте, пожалуйста, комментарий этой фразе.**

И.Г.: Подростком я прочитал рассказ Александра Грина “Далёкий путь”. Его герой Пётр Шильдеров (пожалуйста, обратите внимание на фамилию) служил столоничальником в Казённой Палате в провинции. Однообразие службы и быта сделало для него жизнь невыносимо унылым существованием. Бросив дом, он пустился в скитания за границей, служил матросом, был добытчиком каучука, болел лихорадкой и едва не умер. Потом попал в Латинскую Америку. Уже и раньше он становился таким же, как люди, вместе с которыми ему доводилось жить и зарабатывать на пропитание. Теперь в Андах он превратился в проводника Диаса. Диас ведёт путешественников по опасным горным тропам, неотличимый от других проводников. Он свой для местного люда. Ему подошла жизнь, полная риска, жить иначе он не может.

Мне встречались люди, напоминавшие этот характер. Россияне, независимо от их происхождения, крови, – необыкновенно восприимчивы к новому, у них очень живое воображение, им интересно всё дальше. Писатели самых разных стран и эпох легко обживаются в России. Своими стали Хулио Кортасар, Сэй-Сёнагон, имена можно называть и называть. Пространство русской культуры, куда приходят новые имена, новые идеи, безгранично.



Когда мне представился герой повести “Рыбарь”, я почувствовал в нём воплощение тех черт россиянина, о которых сказал. И сами собой произнеслись его слова о том, что Россия “всех стран пространственной!”

**Е.З.: Материалы к вашему уникальному сборнику “Русский эротический сказ”, как указано на титульном листе, были собраны вами лично в фольклорных экспедициях. Это указание – мистификация? Если нет, то каким образом осуществлялась поисковая работа?**

И.Г.: Опять надо сказать спасибо отцу. Когда я был школьником, он летом ездил со мной в деревни неподалёку от Бугуруслана: покататься в речке, попить парного молока. Отец подбивал сельских стариков на рассказы о прошлом, о том, что случилось любопытного в их местах. Мне было велено записывать карандашом в тетрадку впервые услышанные слова. Отец считал: это пригодится, поскольку я решил стать журналистом. То, что нам рассказывали, казалось недостаточно интересным, и я мысленно усложнял фабулу, вставлял возникавшие в воображении персонажи. Позже, студентом, я натолкнулся на мысль: а почему бы не обратиться к почвенничеству? Нам преподавали историю зарубежной литературы, и меня впечатлило возникшее в германских государствах после войн с Наполеоном движение “Blut und Boden”. Начинающие писатели и поэты, решив наполнить культуру народным, от истоков, содержанием и духом, устремились в глухие деревни собирать фольклор. Так, например, появились сказки братьев Гримм.

Наши студенты-филологи отправлялись в экспедиции за фольклором, а журналисты – нет. Мне пришло в голову по собственному почину в каникулы взяться за дело. У меня был друг, который имел мотоцикл “ковроец” и поддержал начинание. Я в раннем детстве перенёс полиомиелит и, хотя к школьным годам стал ходить без клюшки, мотоцикл не водил. Усаживался за спиной друга, и мы катили из одной деревни в другую, нас пускали переночевать за библейскую, как стали говорить позднее, плату. Девушек на селе было больше, чем парней, мы нередко встречали радушие. Нам посчастливилось присутствовать на гульбе: этот молодёжный сабантуй описан в моей вступительной статье к сказам. Одна из увиденных на празднике игр вошла в сказ “Степовой Гулеван”.

С фольклором же обстояло вот как. Обычно мне самому приходилось рассказывать какую-нибудь историю, чтобы “разговорить” собеседников и, в свою очередь, что-то услышать. Услышать то, что могло дать толчок воображению.

Может быть, сейчас будет небезынтересна чёточка той эпохи. От поездок у меня сохранился, в частности, счёт из ресторана одного из районных центров: 1 бут. вина – 2,09 р., салат 2 порции – 0,10 р., заливной язык 2 п. – 1,20 р., шашлык 2 п. – 2,12 р., хлеб – 0,10 р. Стипендия тогда была 45 р., корреспондент районной газеты получал 115 р. в месяц.

Со временем я написал по собранным впечатлениям несколько вещей, постарался соблюсти в них скромность, но “безэротичными” они не получились. И, разумеется, “не пошли”. Когда в перестройку барьеры рухнули, я прочитал “Заветные сказки” Афанасьева. В них много жестокости, они замешены на злобном унижении женщины. Мне говорили: Афанасьев не придумал, а записал это, таковы были народные нравы. Тогда я решил противопоставить сказкам весёлые сказы, где женщина – прелестная, раскованная – владела бы магией игры. Напряглись память, воображение, фантазия. Во

время работы думалось: если известно, что Афанасьев записал сказки, отчего мне прямо не сказать того же о моих сказках?

Сборник быстро расхотелся, однако мне пришлось услышать, что я приписываю сказки народу, дабы на этом “выехать”. Тогда я решил указать моё авторство.

**Е.З.: Что позволено народу, не позволено одному автору... Ссылка на фольклор облегчила издание книги?**

И.Г.: Да, это точно.

**Е.З.: Игорь, ваши эротические сказки определены вами как буколические. Действие в сказках, в основном, протекает на привольной природе, людей связывают между собой чувственные отношения... Верите ли вы сами в идиллию любого рода, возможна ли она?**

И.Г.: Вернусь к моим поездкам с другом на мотоцикле. Нам встретилось занятное обстоятельство, своего рода курьёз тогдашней системы снабжения. Едва ли не в каждом сельском магазине мы видели сухое белое вино. Стоило оно дороговато, градусов имело мало, народ пренебрегал им как слабенькой кислятинкой. Мне же и другу нравились лёгкие белые вина, которые в большом городе, в той же Казани, редко бывали в магазинах. Так вот, в одном селе, купив несколько бутылок, мы расположились на берегу речки. Из лесу вышли девушки, собиравшие там грибы, присели невдалеке. Видимо, хотели искупаться, но наше присутствие их смущало. Мы принялись их угощать, они отказывались: “У нас никто это не пьёт”. Однако пример, который мы подавали, – с причмокиванием и возгласами восторга, – в конце концов подействовал. Одна из новых наших знакомых сделала глоток, потом ещё, повела вокруг взглядом и произнесла фразу, которую я позже записал: “О, как легко оно даётся пить!” Группка осталась с нами, вино было отдано должное. Мы купались, все нагишом, брызгали водой друг на друга, девушки сплели себе венки, набедренные повязки из травы, лопухов. Кутерьма поднялась! Всё стало удивительно просто и легко. Я и мой друг остались в этом селе ещё на два дня. Это была идиллия. Она отобразилась – не “один к одному”, конечно, – в сказе “Птица Уксюр”.

**Е.З.: Любовные сцены в ваших сказках столь естественны и в то же время вы изображаете любовь как произведение искусства, как действие... Вам становится подвластна такая неординарная художественная условность...**

И.Г.: Я стараюсь, чтобы слова заменяли непосредственное созерцание, непосредственное восприятие действительности. И тут помогает чувство, что описываемое – самая что ни на есть живая реальность. Чувство это возникает оттого, что в памяти отпечатались не только эпизоды, подтолкнувшие воображение к созданию развёрнутых сцен. Запомнилось и настроение, какое эпизоды у меня тогда вызывали. Идиллия, о которой я рассказал, запомнилась очарованием непередаваемо тесного родства, близости между тобой и подругой.

**Е.З.: В центре ваших сказов – женщина. В этом первенстве женских персонажей – естественный интерес к противоположному полу или причина здесь художественного характера? Изображение женщины интереснее, эмоциональнее?**

И.Г.: Меня очень любили мать, бабушка, старшая сестра, они не спали ночей, выхаживая меня после болезни. Поиграть со мной приходила девочка, дочь друзей нашей семьи. Когда я пошёл в школу, мы вместе возвращались домой. Но вскоре я начал стесняться: в том возрасте, дело известное, мальчишки стесняются ходить с девочками.

Но мне было заявлено: “Это ты из-за болезни. Не думала, что ты тряпка”. Разумеется, быть тряпкой не захотелось, и я даже стал брать подругу за руку.

Маугли и Робинзон Крузо побудили меня предложить девочке поселиться в “хижине из шкур”. Летом родители устроили нам “хижину” в сарае, употребив старые полушубок, пальто, одеяла. Мы с подругой стали “четой первобытных людей”. Когда приходило время обеда, мы приносили еду из дома в “хижину” и ели как бы охотничью добычу, зажаренную на костре. Игра была для меня полна эмоций и особенных, потому что я играл с девочкой. Навсегда осталось чувство женского очарования. Когда я взялся за сказы, мною двигало и сознательное намерение воплотить в них обаяние Вечной Женственности. Женщины меня восхищают и вдохновляют. Живу в компании женщин: жена, дочь и чудесная морская свинка Виннечка.

**Е.З.: Ваш несомненный шедевр – “Сказание о Лотаре Биче”. Я слышала самые восторженные читательские реакции на эту поэму. Люди перечитывали её по нескольку раз подряд! Расскажите об истории создания этого произведения.**

И.Г.: В детстве, ещё не умея читать, я просил мать и бабушку рассказывать мне “немецкие истории”. Помню, как меня завораживало, когда мне пели по-немецки. Хотелось знать продолжение того, о чём было в песне. От матери я слышал, в числе других, балладу о любви девушки к баварскому офицеру, от бабушки – о любви к цыгану: “Mein Zigouner, mein schwarzer Zigouner...”. Оба сюжета и им подобные, которых было множество, по моему настоянию стали развиваться: уже в форме импровизированных повествований. Если мать или бабушка отнекивалась, я говорил: у меня так болит нога! Когда я слушаю, мне легче... В отличие от бабушки, мать не всегда мне верила. В таких случаях отвечала немецкой поговоркой или анекдотом, но тут же сдавалась и переходила к рассказу...

Моя память загружалась, что и сработало, когда в пору ранней перестройки заговорили о возможном восстановлении нашей республики в Поволжье. Я, живя в Кишинёве, ощутил в себе эмоциональный подъём, память сообщила импульс воображению. Весной 1988 возникло ощущение, что на бумагу просится баллада ли, поэма, сага – на русском языке, но немецкая по духу и колориту. И началась работа над тем, что стало “Сказанием о Лотаре Биче”. Когда была готова часть достаточного, на мой взгляд, объёма, я назвал её фрагментом “Сказания” и отправил в Саратов, в редакцию журнала “Волга”. Тогда вовсю открывали “белые пятна”, и почему было не взять это за пример? В письме в редакцию я сообщил, что мой прадедушка собирал фольклор немцев Поволжья, и я перевёл отрывок из сохранившихся записей. Впоследствии я “приращивал” продолжение, но уже не называл это переводом.

**Е.З.: “Сказание” не перестаёт восхищать своей народной строкой. Это некая “стилизация под стилизацию”: Вы создаёте оригинальное произведение, но стилизуете его под фольклор. Указываете на источник – переводы фольклора поволжских немцев с наречия платт-дайч, но потом признаёте это мистификацией, литературным манёвром. Однако, несмотря на мистификацию, фольклорные элементы в “Сказании о Лотаре Биче” всё же встречаются. От своих матери и бабушки вы слышали народные легенды на платт-дайч. Какие-нибудь сюжеты, детали, имена из этих легенд воссозданы в “Сказании о Лотаре Биче”?**

И.Г.: Мать и бабушка произносили именно “платт-дайч”, а не “платт-дойч”. Относительно фольклорных элементов. В историях, которые я слушал, присутствовали седовласый толстяк и коварная красотка. У меня они – Фердинанд и Хельга. Ради интереса я представлял их себе существами из потустороннего мира, принимающими человеческий облик. В “Сказании” фигурирует ревнивый муж, который, уезжая по делу, нанял художника, чтобы тот разрисовал лошадками тело молодой жены. Это из анекдота, его мне по-немецки рассказала мать. В нескольких историях появлялась хорошенькая ветренная госпожа Лизелотте (у меня она – Лизелотта). Образ матери моего героя несчастной Лотты отчасти навеян поговоркой: “Gottin, Gottin, sprach Lottin, sieben Kinder und kein Mann!”.

**Е.З.: Корни характера и художественной “биографии” главного героя, очевидно, не из фольклора?**

И.Г.: На характер Лотаря Биче некоторым образом “повлиял” чёрный цыган из баллады, которую мне пела бабушка. Лотарь – родственник и Тиля Уленшпигеля (кстати, Шарль де Костер взял этот образ из фольклора). Но Тиль не колдует. А Лотарь бывает сильнее обыкновенных людей, волшебный дар, например, помогает ему превзойти искусного художника, защитить возлюбленную от ревнивца. Но Лотарь Биче не всемогущ, ему тоже приходится страдать. Мне кажется, такой он интереснее.

**Е.З.: Широко ли издан фольклор немцев Поволжья? Какие сборники самые известные?**

И.Г.: Увы, читать фольклор немцев Поволжья мне не доводилось.

**Е.З.: Откуда пришло само это имя?**

И.Г.: Фамилию Биче носил мой друг детства. Я посмотрел в словаре, что она означает, – и это вполне подошло для “Сказания”.

**Е.З.: Bitsche – деревянная чаша с крышкой. Вы переводите для русского читателя прозвание Лотаря, доставшееся ему от воспитавшей его ведьмы, “горбатой Биче”. Насколько знаково это имя?**

И.Г.: Я представлял старуху-ведьму, склонившуюся над деревянной, почерневшей от времени чашей с колдовским зельем. Стоит приподнять крышку – и с лёгким парком начинает распространяться неведомый пленительный аромат... Лотарь по прозвищу Биче наделён даром очаровывать.

**Е.З.: Имена любви многолики, как и само это вечное чувство. Вы подняли фольклорные истоки любви. Но у вас есть произведения, в которых любовь показана в современных условиях – “Близнецы в мимолётности”, “Страсти по Матфею”, “Гримаска под пиковую точку”...**

И.Г.: У моих героинь есть реальные прототипы. Я хорошо знал этих женщин, ими невозможно было не восхищаться. Судьбы их складывались несчастливо, но как самоотверженно они приходили на помощь!

**Е.З.: В вашем рассказе “Страсти по Матфею” есть удивительная притча:**

**“Жил-был кузнец, молодой, сильный. Однажды в лунную ночь к его кузнице подсказала юная всадница, потребовала подковать её лошадь. Кузнец восхитился девой и принялся умолять, чтобы стала его возлюбленной. “Я – дочь Богини Луны, –**

заявила та, – и если снизойду до тебя, ты понесёшь наказание!” Кузнец вскричал: “Если меня не ждут смерть или телесные муки, я согласен!”

Наездница снизошла...

Когда потом она вскочила на коня, молодец спросил, явится ли она к нему ещё? “Жди!” – крикнула дева и ускакала.

А поутру случилось... Кузнец взял клещами подкову, и вдруг та сделалась идеально круглой. Столь круглой, что не пришлась по копыту.

С той поры так делалось всегда. У него перестали ковать лошадей. Он начал голодать, как вновь прискакала всадница. Кузнец страстно обнял её.

“Тебе нравятся мои подковы? – спросила она. – Ты счастлив наказанием?” – “Счастлив-то счастлив, – отвечал он, – да было бы чем добывать пропитание”.

“Ну, это просто! – улыбнулась дева. – Один мой поцелуй – и тебе никогда не придётся думать о хлебе”.

“Тогда люди скажут – я живу воровством...”

И был ему ответ:

“А я могу полюбить и вора!”

Эта притча – предмет вашей авторской фантазии? Какие смыслы и подсмыслы заложены в этой притче?

И.Г.: Притча придумана мной, чтобы глубже высветить характер героя и сделать этот образ типом. Героиня, рассказавшая притчу, не задумывается, что та соотносима с её другом. А он это понял. Большого сказать не могу – иначе рассказ будет мёртв. Читатель, размышляя, сам увидит то, что видно не сразу.

**Е.З.: О каких талантливых иллюстраторах ваших произведений вы бы хотели упомянуть?**

И.Г.: Мою первую книгу “Русский эротический сказ” отлично проиллюстрировал молдавский художник Михаил Бруня. Выразительность его рисунков усиливает настроение жизнелюбия, которое я постарался отобразить. Дух другой моей книги, переведённой на немецкий, верно и с большой силой проникновения передал Христиан Ромаккер. Мне очень нравятся иллюстрации Юрия Диденко, живущего в Ганновере. В мастерских рисунках много динамики, ею подчёркивается напряжённость сюжета. Превосходны работы Тамары Ивановой, выпускницы Московского полиграфического института. В работах прослеживается влияние русского супрематизма (Малевич) в симбиозе с западноевропейским оп-артом (Виктор Васарели) и поздней графикой Арт-деко. Тамара – профессионал в книжной и компьютерной графике, в области создания книг – художественных объектов.

**Е.З.: Игорь, с какими писателями из России и других стран СНГ вы сохраняете тесные контакты?**

И.Г.: С начала 80-х я дружу с московским писателем Вардваном Варткесовичем Варжапетяном, автором прекрасных романов об Омаре Хайяме, Франсуа Вийоне, Григоре Нарекаци и многих других книг. Столько же лет длится моя дружба с молдавским писателем, доктором искусствоведения Константином Борисовичем Шишканом. В 80-е годы, будучи главным редактором журнала “Кодры”, он организовал при нём

литературную мастерскую, я там занимался. В 1986-м Константин Борисович опубликовал в журнале мою повесть “Это я – Елена!”.

**Е.З.: Как вы относитесь к современной немецкой литературе? Какие немецкие (германские) писатели 1990-2000 гг. сейчас особенно популярны и читаемы?**

И.Г.: По-прежнему популярен Гюнтер Грасс. Публика любит Владимира Каминера, его книги расходятся большими тиражами, он признан видным представителем германской литературы. Не знаю, насколько популярен Бернхард Шлинк, но от его романа “Чтец” я в восторге. Неплохи книги молодых авторов Рикарды Юнге “Никакой чужой страны”, Бернхарда Келлера “Игра во тьме”.

**Е.З.: Стал ли Берлин для вас второй (может, третьей?) родиной?**

И.Г.: Именно третьей. Второй родиной была Молдавия. Там я женился, там у нас родилась дочь. В Молдавии после 1986 меня часто публиковали в журналах, в альманахах, в коллективных сборниках. О вышедшей там первой книге я уже сказал. Я переводил по подстрочнику стихи молдавских поэтов Петру Заднипру, Василе Галайку, Лидии Унгуриану и других, состоял в Ассоциации русских литераторов, там было замечательно интересно. Уезжая, думал: а что будет в Германии? Встреча с Берлином неизгладима в памяти. Здесь необыкновенно тепло отнеслись ко мне, к моей семье. Общество друзей Московского университета устроило мою встречу с читателями. Издательство “Volk und Welt”, существовавшее до 1999 года, предложило издать книгу. Сама атмосфера Берлина как-то очень подошла мне. Здесь я и моя семья – у себя дома. Дочь окончила частную гимназию, войдя в пятёрку лучших, и поступила во Freie Universität на факультет публицистики.

**Е.З.: Берлин, вернув себе статус столицы и ещё больше увеличив свою притягательность, является сейчас крупным литературным центром. Соприкасаетесь ли вы с немецкими литераторами Берлина? Принимают ли российско-немецкие писатели активное участие в литературной жизни столицы Германии?**

И.Г.: Мне известны несколько объединений российско-немецких авторов в Берлине, но не берусь судить, насколько активно их участие в литературной жизни столицы. Немецких же литераторов я знаю по “Берлинскому литературному коллоквиуму”, вижу их в литературных кафе.

**Е.З.: Такие широкоизвестные литературные организации, как “Берлинский литературный коллоквиум”, обладающий своим фондом и собственной виллой на берегу Ванзее, как-то способствуют развитию литературы руссланддойче или нет?**

И.Г.: Я более десяти лет состою в “Берлинском литературном коллоквиуме”, но не помню, чтобы там проходили встречи с российско-немецкими литераторами. Не исключено, что я мог пропустить встречи.

**Е.З.: Наблюдается ли ещё противостояние восточного и западного литературного Берлина?**

И.Г.: Думаю, что противостояния ныне нет. Это, к примеру, следует из книги Роланда Бербига о неофициальных контактах писателей Западного и Восточного Берлина. Автор, рассматривая 16-летний период после падения стены, опирается на многочисленные высказывания, интервью таких писателей, как Криста и Герхард Вольф, Гюнтер Грасс и таких, как Андреас Коциоль, Габриэла Штётцер.

**Е.З.: Есть ли в Берлине уголок, который напоминает вам Россию или Молдавию?**

И.Г.: В Берлине несколько озёр, отдельные особенно живописны. Одно, совсем небольшое, Плётцензее, напоминает мне окружённое лесопарком озеро в Кишинёве, в районе Боюкань.

**Е.З.: Стал ли Берлин предметом вашего изображения?**

И.Г.: Я рассказал, как в юности ездил с другом по южноуральским деревням. И теперь у меня есть друг, коренной немец, с которым мы ездим по земле Бранденбург и соседним землям. Чувствую, что скоро у меня накопится достаточно впечатлений, чтобы начать писать для русской публики о современной Германии и, в частности, о Берлине.

**Е.З.: Игорь, вы – российский немец. В рецензии А. Кучаева на ваши повести о гражданской войне вы представлены как “русский немецкий писатель”. Русско-немецкое двуединство сквозит во многих ваших произведениях... Считаете ли вы российских немцев самостоятельным этносом, возникшим под влиянием истории?**

И.Г.: У меня нет в этом сомнений.

**Е.З.: Константы вашей жизненной и творческой позиции?**

И.Г.: Неприятие всякого рода упрощений и обобщений. Скепсис по отношению к официозу. Постоянство иронического взгляда, в том числе на самого себя. Максимум требований к тому, что пишешь. Стремление населять духовное пространство интересными героями.

**Е.З.: Несколько слов пожелания вашим соплеменникам, живущим в СНГ.**

И.Г.: Мы с другом были в Люббенау, любимом туристами, и вдруг Якоб говорит мне: “Вон русланддойче!”. Мужчина был в майке с надписью по-русски “Казахстан”. Мой друг русским не владеет, однако, встречаясь с русланддойче по работе, надпись запомнил. И заинтересовался страной Казахстан. Я уверен, что, благодаря русланддойче, о Казахстане знают все коренные немцы. Было бы хорошо, если бы мои соплеменники, переезжая в Германию насовсем или посещая её, больше бы рассказывали о землях, где они выросли, о культуре. Не только германские литераторы, но и вообще немцы, которые интересуются литературой, воспримут с вниманием слова о казахском народном эпосе, о поэмах “Камбар-батыр”, “Алпамыс”, о лиро-эпических творениях “Козы-Корпеш и Баян-Слу”, “Айман-Шолпан”. В Германии весьма ценят знакомство с культурами мира, и мои соплеменники очень выигрывают от приобщённости к культуре того народа, с которым их связала судьба.

Желаю всем русланддойче и не только им самых приятных впечатлений от Германии и ещё я всем желаю идиллий, счастья!

**Е.З.: Игорь, мы восхищаемся вашим недюжинным литературным даром. От имени коллектива нашей немецко-русской газеты желаем вам рождения новых произведений и благодарных читателей, способных к чтению как к со-творению текста.**

**Спасибо за интервью!**

## ДАЙТЕ РУКУ КОРОЛЮ

*То, что вы прочитаете, пережито лично мною, Игорем Гергенредером. Меня легко узнать в одном из героев. Все написанное – правда.*

*Я там был. Так было.*

### 1

Трое (младшему из них всего семь лет!) подготовили убийство, поразительнейшее по способу.

До чего же ненавидели они эту мразь! Ноздрястая безобразная, гадкая харя! Мускулистый торс, руки, что расшвыряют троих, как котят. Любому из них свернут шею.

Но не только перед ним бессильны они. Их предназначили умирать в мучениях...

\* \* \*

...Эта история началась 1 июля 1958 в Центральном ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательском институте ортопедии и протезостроения, в Москве.

На клеенчатой кушетке в душевой сидел шестилетний голый мальчик. И ждал мать. Она вышла на минутку. Так она сказала. Дверь откроется. "Ну вот и я! – скажет мать. – А ты уж боялся, я не приду? Тебя бросила?" И он рассмеется. Они с матерью будут смеяться, смеяться!..

Пол в душевой из желтых квадратиков, а стены из белых. На загнутую наверху трубку надета шляпка в дырочках: трубка со шляпкой похожа на подсолнух. Из дырочек выскакивает вода. Вода падает, падает – и об пол! звук – как будто бьют по щекам.

Подсолнух называется душ.

Дверь открылась, но только вошла не мама, а толстая тетка. Кинула ему полотенце, велела надеть пижаму.

– А где мама?

– Мама тю-тю! – тетка помахала рукой.

Он уронил пижаму, оперся на клюшку, чтобы встать: клюшка скользнула по желтым квадратикам... чуть не растянулся!.. Схватился за трубу. Труба скользкая-скользкая. Как облюнявленная.

– Не догонишь, догоняльщик!

\* \* \*

Пройдет время, и он постарается убить Сашку-короля. А сейчас и не думает, что тот рядом.

\* \* \*

Дверь опять открылась, и он хотел толкнуть тетку, пойти навстречу маме... Но это зашел низкий дядька в синем халате: широкий, как комод.

– Вчерась тута краны менял и часы оставил. Ищу, ищу, думал – сперли. Опосля нашлись. Если б сперли, я б вам спер!

– Чужого не берем. Мы свово не даем и чужого не берем, – сказала тетка. На ней халат белый, не как на дядьке.

– Уходите? – спросил дядька. – А я помоюся тута. Мочалка есть?

– Свою надо иметь.

– Институт – без мочалки! Тьфу! – дядька плюнул в дыру с решеткой, куда утекала вода.



Тетка надевала на него пижаму, а он глядел, какая у дядьки большая лысина и как на нее попадают брызги и блестят. И думал, что мама где-то рядом тут и все равно придет, хоть тетка и сказала: – Тю-тю! – А та взяла и повела его из душевой мимо уборной, откуда пахло хлоркой, а возле дверей стояли ведра, полные мусора, в одном ведре на мусоре блестела совсем целая хорошая слива. Они попали в коридор, там стены зеленые-зеленые, как зеленка на марле, а пол из дощечек, похожих на шоколадные плитки. Ключка стучала по ним: дук... дук... а впереди далеко виднелась дверка...

## 2

Когда они подошли к ней, она оказалась здоровенной дверью, и за нею была комната: в ней кровать и тумбочка, кровать и тумбочка... И здоровенное окно.

А человека там только три. Один был мальчик и лежал на дальней койке. Две девчонки стояли возле коек близко к двери. На койках подушки похожи на пороссячи головы. Углы у подушек торчат, как у поросят уши. Он вспомнил – но только как-то плохо вспоминалось, потому что было давно-давно и он тогда был, как папа говорит, совсем клоп – он уже лежал в такой комнате, она называется палата. Они с мамой лежали там. Вместе с мамой...

А сейчас две девчонки подошли к нему. У одной голова золотистая, как серединка ромашки, а рука обвязана бинтом и подвешена к шее. Другая девчонка в пижаме, которая ей велика.

– Хочешь со мной рядом лежать? – спросила его девчонка с золотистой головой, и он вдруг понял – это мальчик. Просто волосы длинные и с завитками, как у девчонок.

– Это Владик, – сказала про золотистого девчонка в пижаме, которая ей велика. Она и правда была девчонка.

– Ты принесешь мне бабочку? – спросил его мальчишка с дальней койки. – Или стрекозу, ладно?

Глаза у мальчишки удивленно-удивленно раскрыты. "Будто увидал какого-нибудь Кота в Сапогах!" – подумалось про него.

– Это Проша. Ты не думай, он не на тебя, он всегда так смотрит, – объяснила девчонка. – Он стрекоз любит. Только они не залетают сюда.

– А он все ждет! – золотистый Владик засмеялся. – До окна не дойдет. А то б увидал, как высоко мы!

– Ну и что, – сказала девчонка.

И Проша сказал:

– Да.

А Владик запел:

*Он хотел слететь с окошка,*

*Да расшибся, глупый Прошка!*

*Позабыл, что он не мошка.*

*Было б крылышек немножко...*

Эта песенка вдруг вспомнится, когда он придумает, как убить Сашку-короля. Но то будет еще нескоро – кончится лето, зима пройдет... Он целый год проживет в Королевстве Поли. И у него будет прозвище – Скрип.

## 3

– Когда залетят если, – Проша сказал ему, и он понял, что это, наверно, про стрекоз, – тогда поймай мне, ладно?

Он кивнул, лег на койку. Какие там ему стрекозы!.. Вот если б выйти, спуститься по лестнице, убежать! Вокзал – поездов много-много. Они стоят в ряд под высоченной крышей, собрались уезжать отсюда назад, потому что тут рельсы кончаются...

Он с матерью ехал сюда от дома целый день и ночь. Отец подал его матери в вагон, сказал:

– Вернешься – куплю тебе щенка. Только не реви – не расстраивай маму.

Он вытер кулаком слезы, спросил:

– Волкодава?

– Волкодава. Настоящего!

А мать:

– Мы скоро-скоро назад! Покажемся врачам – и сейчас же...

Паровоз вдруг выкинул пар, ужасающе взревел – он дернулся, как юла, когда у нее кончается заводка, и затрясся. Он всегда трясется, когда режут паровозы. Разве что-то может напугать так, как паровоз?

Отец пошел рядом с вагоном, но пассажиры в тамбуре заслоняли голову отца, и он видел только желтые отцовские брюки. Вдруг подумал, что никогда у других дядек не видал таких желтых, хороших-хороших, таких *отцовских-отцовских* брюк, которые вот сейчас, вот-вот пропадут из виду... И взял и спросил мать, почему ни у кого нет таких брюк? Пассажиры засмеялись, а мать сказала:

– Господи, да им сто лет! Это чесуча.

\* \* \*

Вот бы опять быть в поезде – и чтоб поезд несся домой! И под вагоном стучало: ту-да! ту-да! ту-да!.. Отец встречает – уж не провожает, а встречает! Встречает его в своих желтых брюках! В сандалиях, которые никогда не застегивает, и застёжки на ходу позвякивают. Отец берет его на руки, несет по перекидному мосту, под которым далеко внизу протянулись блестящие рельсы. Несет по улице, где грязные лужи, а в сторону отбегают, поджав хвост, бродячие собаки. Отец вносит его во двор, там растет низенькая травка, проложены дорожки из камней. С крыльца дома навстречу – бабушка.

Протянет к нему руки, у нее, как всегда, упадут очки, и она воскликнет, будто о чем-то желанном:

– О, опять треснули!

Как щиплет глаза! Он отвернулся к стенке, к темно-серой гладкой противной стенке, она одна только и есть перед глазами. Плюет в нее: "Н-на-а тебе! Н-на!"

– Тебе влетит, – шепчет девчонка. – А меня зовут Ия. Сколько тебе лет?

Он сказал.

– Хо! Я на три года старше! А Владик – только на два. А Проша – на один.

– Ф-фу, уже кашу несут! – Владик морщится.

Слезы, проклятые слезы! Каша никак не пролезает в горло. Владик машет на него рукой:

– Смотрите, смотрите – сам есть не умеет! Маленький, маленький!

Дома сейчас тоже ужин. Бабушка накрывает на стол. Перед высоким стулом с кожаной подушкой она не поставит чашку. Бабушка снимет очки, будет долго протирать их платком и глядеть, глядеть на пустой стул.

#### 4

Утром пришла сестра: сгорбленная, как старушка. А лицо – молодое. И такое, точно сестру обозвали и она психует. Она дала подержать под мышкой градусники, а потом стала их встряхивать так зло, будто градусники набезобразничали.

Он спросил сестру, какая у него температура – чтобы разговориться... И попросить: "Позвоните, пожалуйста, в гостиницу "Восток"!" Они с матерью, как приехали в Москву, жили в гостинице "Восток". Мать возила его в зоопарк, в цирк, кататься на Чертовом

колесе, поплавать на водном трамвайчике. И уж только потом привезла его в институт. Мама сейчас, конечно, в гостинице "Восток"...

Спросил про температуру, но сестра на него и не взглянула. Опять спросил, и она снова не взглянула.

– Что вам, что ли, жалко сказать?! – воскликнула Ийка. – Он и так плачет, а вы!.. А вы – вон как!

Сестра сгорбилась еще сильнее, словно что-то высматривала на полу. Пошла из палаты – и так стучала высоченными каблуками, будто в пол вколачивали гвозди.

– Грачиха горбатая, – прошептал Владик. Сильно согнулся, заковылял, разглядывая пол. И расхохотался.

– Просто она злюка, – печально сказала Ийка.

А он подумал: сестра злится, почему градусники не показали грипп. Тогда б она засадила уколы!

\* \* \*

А няня Люда – худая-худая, старая и веселая. Когда утром приходит, всегда:

– Здорово, братцы-кролики!

А когда хочет подсесть к кому-нибудь на койку, чтобы поговорить, няню всю вдруг как дернет! Будто дали тычка в бок.

– Прострел гадский! – она морщится, а сама смеется. – Поясницу простреливает, зараза!

Няня Люда объяснила: сейчас они в изоляторе. Их проверяют, не принес ли кто в себе микробов. А после переведут в стационар и начнут выправлять всякими штуками, разными механизмами.

– У тя, огурец, – сказала ему няня Люда, – горб растет, ноги сохнут. Как станут тя распрямлять! Ой, помудруют!

– У него, – показала на Прошу, – ноги вовсе высохли. Так и эдак будут резать, заниматься.

– А мне что сделают? – спросил Владик.

У него правая рука вся выкручена, согнута и не разгибается.

– Тебе перво-наперво золотые кудряшки срежут! А вылечат на полпроцента, – няня Люда отвернулась от него к Ийке: – Вот кого могут совсем вылечить, красоточку! – и хлопнула ее по попе.

У Ийки кисть левой руки немного свернута набок, плохо действует.

– А меня вылечат? – спросил он.

– Ты, самое главное, жизнь люби! – няня Люда хрипло, трескуче расхохоталась, вдруг ее дернуло, и она чихнула громко-громко, со взвизгом.

\* \* \*

Она сказала, что Надю надо жалеть. Сгорбленную сестру звали Надя.

– Как – жалеть? – Владик хмыкнул. – Сахар, что ль, давать?

– Она несчастная, – сказала няня Люда улыбаясь, точно хвалила сестру Надю. – Ее, бедную, никто замуж не возьмет.

– Почему? – спросил Проша.

– Потому что, – засмеялся Владик, – как и с тобой никто не женится!

– Если так, – Ийка топнула ногой, – я на нем женюсь!

– А на этом – новеньком? – спросил Владик.

– И на нем – тоже!

\* \* \*

Он попросил няню Люду позвонить в гостиницу "Восток". Пусть позовет к телефону мать.

– Умотала она. А те наврала, чтоб при ней не ревел, платье не измял. Денег мне дала – яблоков те купить. Но их сюда нельзя, не проси: можно занести дизентерию.

Расплакался. Конечно, не из-за яблок. Сквозь слезы спрашивал, сколько же ему здесь лежать, в институте?

– Самое малое – год! – весело сказала няня Люда.

Год... Год бывает – новый. Это когда елка, гости, а отец стреляет бутылкой, из нее лезет пена, и все так радостно пахнет! Пахнет елкой, духами мамы, бабушкиным темным платьем с тяжелыми рукавами... А тут, в палате, пахнет лекарствами и чем-то не то кислым, не то сладким, и таким едким – как не пахло нигде, кроме больницы. Нигде-нигде! Тут даже еда этим пахнет. Он не хочет нюхать этот запах, он его ненавидит. Тьфу-тьфу на него! Вот бы вдруг запахло – как дома на Новый год!..

Только разве не дома может пахнуть, как дома?..

\* \* \*

Неужели он будет лежать до самого Нового года? Это же ведь – до самой зимы! Это так долго, что даже нельзя и сказать – как. Однажды летом он увидел в сарае санки и вспомнил, как давно-давно была зима. И Новый год. Значит, вон как долго надо ждать... А может, год – это меньше, чем до Нового года? Наверно, меньше... Конечно! И мама сказала... и отец... Врачи только посмотрят – и все! Может, отец уже купил щенка. Маленького волкодавчика...

И он спросил про год. И Владик:

– Чего?! Ха-ха! Год – это, наоборот, больше, чем до Нового года. Это – до другого лета!

Ийка поглядела грустно, кивнула. Ужас-ужас – его даже затошнило.

*Год, побыстрей пролети,*

*Отсюда меня уведи!*

*Уведи-уведи-уведи!*

\* \* \*

Пройдет год, и он придумает, как убить Сашку-короля.

## 5

Сестра Надя снова пришла ставить градусники. Ему и так плохо, а тут еще злая сестра Надя! Его затрясло – градусник выронился из-под мышки. Разбился.

Сестра Надя подскочила – согнутая. Страшная, как колдунья.

– Р-руки не тем к-к-концом в-вставлены! – аж заикалась от злости.

Он чуть не заревел. А тут Ийка взяла и свой градусник на пол бросила... Сестра Надя громко задышала. Сейчас подпрыгнет, как вцепится в Ийку длинными пальцами – когтями!

Но сестра Надя только подбежала к Ийке. И остановилась.

– Ах-х-х ты дррр!.. др-р-янь маленькая!!! – было видно: хочет ругаться дальше, а горло не дает – закрылось. Она покраснела и лишь пыхтит.

И сразу стало не страшно, а почти смешно.

Ийка сидит на кровати, смотрит на сестру Надю, которая пыхтит. И заметно, как это интересно Ийке: даже рот открылся.

А Владик тут взял и сказал:

– Мы вас жалеем, потому что никто с вами не женится, а вы разорались. Эх вы, несчастная!

Сестра Надя согнулась еще сильнее, халат на горбу натянулся – до чего острый горб! Она боком-боком, на высоченных каблуках, побежала к двери. И он вдруг увидел, как сморщилось у нее лицо: она плакала.

Стало так странно, что она плачет... Плачет – как он.

Ийка сказала:

– Знаете, а мне ее жалко.

Однажды ему станут протыкать заостренной спичкой мочки ушей. Кто-то попросит: "Кончайте... жалко". А Сашка-король ухмыльнется: "Жалко в жопке у пчелки!"

## 6

Дверь открылась – она быстро шла через палату к окну. Ни на кого не глядит. Руки в карманах халата. А халат гладкий-гладкий и такой белый, что страшно его как-нибудь задеть. И он как увидел этот халат и лицо, и как она идет, так сразу и понял: врач. Его забила дрожь.

За врачом торопилась сестра Надя.

– Никаких нервов не хватит, Роксана Владимировна...

Та повернулась к окну спиной, оперлась попой о край подоконника. Посмотрела на свои длинные ноги, после – на потолок. Руки так и не вынула из карманов. Глаза яркие. Лицо какое-то удивительное – оторваться нельзя.

– Ах, оставьте! – перебила сестру Надю. – Это дети, а не монстры.

Голос как у Снежной Королевы. И вообще она на нее похожа.

– Завтра девочку переведете в четырнадцатую! Их – в одиннадцатую!

\* \* \*

Там, где он окажется, его научат мысленно раздевать "Роксану". "Какая жопенция! Представляй сквозь халат... Повернулась передом – что за ляхи! А промеж..."

Когда врач с сестрой ушли, Ийка прошептала:

– От нее как-то так страшненько... Страшней – чем от Нади!

Он кивнул.

– Лицо какое-то... э-э...

– Очень красивое! – объяснила Ийка. – Не разбираешься? – и добавила: – Завтра расстанемся. Не плачь – я буду к тебе приходить.

## 7

Он ступил в палату – она полна мальчишек. Три больших окна открыты. В одном на широком подоконнике, на подушке, сидит большущий мальчишка – плечи здоровенные, почти как у взрослого. А какое страшное лицо!

Новенький предстал пред Сашкой-королем...

Фамилия Сашки Слесарев. Няньки, сестры, воспитательница раздражались при одном его имени. Ему двенадцать. Детский паралич поразил частично ноги. Они короче нормальных, сведены вместе в коленях, а изуродованные ступни вывернуты так, что каблук тяжелых ортопедических ботинок смотрят в стороны. Каблуки специально стесаны и по срезу подбиты сталью.

Если б не болезнь, Сашка вырос бы богатырем. Уже в двенадцать лет грудь мощная, выступают бугры мускулов. Руки крупные, как у мужчины. Опираясь на клюшки, он не ковыляет, а носится – подсакивая, раскачиваясь из стороны в сторону. Руки до того сильны, что, оттолкнувшись клюшками от пола, он легко перепрыгивает через кровать. Прыжком взлетает на тумбочку, на подоконник.

Его физиономия поражает подвижностью и задиристым выражением. Черные наглые глаза выпучены, как у рака. Ноздри огромны, кончик носа толст и вздернут, а вместо переносицы – желоб, так что одним выпученным глазом можно увидеть другой. Сашка умеет двигать ушами, двигает и кожей головы – "шевелит волосами".

Его семья живет в Орехово-Зуево, в казарме работников хлопчатобумажного комбината. В одной комнате – отец, мать, Сашка, старший и младший братья. Отец был механиком на комбинате, с начала войны имел бронь, но в сорок третьем его мобилизовали. При штурме Берлина тяжело ранен, контужен, один глаз у него не видит. Вернувшись домой, устроился кочегаром в котельную (при казарме). Возвратился он в августе сорок пятого, а Сашка родился в декабре. Выпив, кочегар подступает к жене: "С кем блядовала? Хочу зна-ать!" Она – продавщица мясного магазина. Женщина крепкая, самоуверенная. Умело уворачиваясь от кулаков худосочного кривого мужа, хватает его за волосы, беспощадно дерет ногтями лицо, наотмашь бьет и ладонью, и кулаком. "Тоська! – вопит он. – Тося!" – и отступает.

Скорчившись на кушетке, с ненавистью глядит на Сашку, вполголоса ругает его выблядком.

Раз Сашка подсыпал ему дуста в бутылку с недопитой водкой. Едва откачали. С месяц он молчал, а однажды, когда супруги не было дома, исхлестал сынка офицерским ремнем чуть не до смерти. Пряжка оставила шрам поперек лба. После этого кочегара нашли в котельной без сознания. Когда он дежурил ночью пьяный, кто-то заткнул трубу тряпками, и он угорел. К жизни его вернули, но человек повредился. Забыл многие слова, стал робким; говорит тихо, все время улыбается.

Мать хмурилась на сына и даже покрикивала. Раньше ни разу на него не заорала. Никогда и не говорила, что любит. Говорила – «ценит».

– Я его *ценю* больше Кольки и Женьки!

Колька физически здоров, на два года старше Сашки, но остерегается его раздражать. Младшего Женьку Сашка совершенно поработил. Он и умом превосходил братьев. Обожал читать и открыл, что в книгах многие взрослые – дураки. А тут как-то услышал разговор подвыпивших стариков о том, что "даже учителям не хватает развития". Вот это да! Он давно подозревал. Вот почему он учится плохо, а вовсе не из-за лени. И когда мать ругала его за плохие отметки, заявил: "Да учителя сами тупые! Директор – дубина! Нацепил галстук и думает – умным стал".

Сашка пообещал, что "и сам выучится". Прежде всего, не станет читать то, что велят в школе. Читать он будет только "взрослые" книги. Потребовал, чтобы мать записалась в библиотеку. В конце концов она решилась... В библиотеке ее привлекло имя автора "Рони-старший". (Старший!) Она принесла книгу сыну. Книга называлась "Люди огня". Описание пещерных львов, мамонтов, саблезубых тигров, приключения первобытных людей потрясли Сашку.

Мать у себя в магазине приглядывалась к покупателям: заговаривала с теми, кто казался интеллигентнее. Не посоветуете, мол, книгу, чтобы больному сыну понравилась? "А я уж в долгу не останусь..." Ей дали роман Вальтера Скотта "Ричард Львиное Сердце"... Сашка читал и упивался: "Вот это человек!"

Знали бы писатели, как их благородные произведения причудливо преломляются в иных головах, на что вдохновляют... (Любимым героем закоренелых уголовников в советских тюрьмах был не Ванька Каин, а чудесно исправившийся добродетельный Жан Вальжан).

Мать между тем переживала, что увечье мешает сыну быть "полным человеком". Раз она заявила мужу:

– Теперь ты поставишь его на ноги!

– А? – он вяло улыбался.

- Кто он? – мать показала на Сашку.  
– А... Александр.  
– То-то! Чтоб я того слова больше не слышала!

Отец надел диагональный пиджак с приколотыми медалями, орденами, поехал в Москву к фронтовому другу – не очень большому, но начальнику. И сына положили в научно-исследовательский институт.

\* \* \*

Сашка-король восседает на подоконнике, мускулистый торс обнажен. На голове, защебив прядь волос, блестит складной ножичек из нержавеющей стали. Синеватый шрам поперек Сашкиного лба заключен в черные шпалы акварельной краски. Кожа лба от шпал до висков покрыта зубной пастой, ею же намазаны подглазья, скулы. Над вывернутой толстой верхней губой проведены усики в две полоски: черная и красная.

– У-у, бляди новые! – произнес Сашка-король, глядя на приведенных. – Учи их на ...ю стоять!

Вдруг выбросил руку с вытянутым указательным пальцем – палец нацелен в него, самого младшего.

– Этого!

Поволокли к повелителю, а тот харкнул на палец, шелкнул им – харкотина угодила мальчику в глаз. Захохотали.

– Целуй сапог! – Помогая руками, Сашка выставил ботинок.

Схватили за шею, за голову, прижимали губами к носку башмака.

– Лижи-лижи! Хорошо лижи... падла!

Он пытался вырваться, шея хрустнула – от боли закричал.

– Ф-ффу... писклявый, как скрипка!

И его стали звать: Скрипка, Скрипач, а всего чаще – Скрип.

## 8

Рано утром, вместо одной, мыть полы пришли сразу три санитарки. Давай и белье менять. Лежачих потащили в душевую, и ходячих подгоняют туда:

– Живо, живо! Не задерживать!

Из разговоров няnek Скрип понял, что "сегодня будут военврачи" и обход сделает сам директор института профессор Попов.

В душевой стало тесно. Тем, кто не мог стоять, не хватало места на кушетках. Тогда санитарки приволокли длинную доску, которая всегда выручала. Один ее конец положили на кушетку, другой – на край ванны. Детей раздели и усадили тесно в ряд на доску. Толстая санитарка рассерженно кричала:

– Ну погляди, Муся, ну погляди! Куда их умоешь?!

Та, кого звали Муся, почему-то складывала губы и дула, будто отгоняла дым. Сейчас она особенно сильно дунула и сказала:

– Они не думают, они командывают!

Скрип понял, что это о начальстве.

– Ну, чего нам ждать? – спрашивала толстая. – Нам ждать нечего!

Муся и еще одна, помоложе, налили ведро горячей воды, взяли по куску мыла и стали кухонными ножами состругивать мыло в воду. Толстая санитарка ушла, вернулась с отверткой и сняла с душа похожую на подсолнух шляпку. Потом принесла свернутый резиновый шланг.

– А чего не помыли его? – заругалась толстая: она натягивала конец шланга на трубку душа.

Муся выкрикнула жалобным, тонким голосом:

– Это Людка не помыла! Ее было дежурство, старой карги.

– Я ей уж говорила, что в морду дам, и я ей дам! – пообещала толстая.

Молодая прыснула, скорчилась от смеха. Они с Мусей взболтали стружки мыла в ведре, помешивают в нем ножами. Толстая направила воду через шланг в сливное отверстие в полу и объявила:

– Годить больше нельзя!

Муся и молодая подхватили ведро, подошли к мальчишке, что сидел на доске с самого края. Муся зачерпнула ковшиком мыльную воду, вылила мальчишке на голову. Подбежала толстая со шлангом и обдала его струей.

– Все, что ли? – крикнул он.

– Не задерживай!

Уже другому опрокидывают на голову ковшик, третьему... струя из шланга смыла мыльную пену – готово. Вот и Скрип зажмурился. Струя ударила в ухо, а ошметок пены на лбу как был, так и остался. Глаза открылись – как стало их есть! Муся наспех обтирает его полотенцем:

– Вас вениками парить – рук не напасешься!

Молодая обтирала другого мальчишку:

– Вениками... – и лицо у нее сделалось красным от смеха. В жизни ничего смешней не слыхала! – Их-то... – выдавила и не может говорить, давится.

Толстая толкнула ее:

– Берешь этого или того? – показала на неходячих мальчишек, схватила одного и понесла из душевой.

\* \* \*

Скрип снова в палате, лежит на койке, ворочается. В коридоре сильное гудение: полотерами надраивают паркет. Заблестит – ступи-ка на него! и ноги, и клюшка скользят. Ничего: руки-ноги поломаешь – гипса здесь вдоволь.

А здоровые любят блеск. Сегодня должна дежурить сестра Надя, но ее заменили стройной стремительной сестрой Светланой, про которую няня Люда говорит: "Эх, и форсистая!" Шапочка на сестре Светлане не круглая, а как пилотка. Из-под этой накрахмаленной белоснежной пилотки свисают локоны: меднокрасные пружинки.

Она влетела в палату, звонко приказала:

– Все – по койкам! Лежать смир-р-рно!

На этот раз распахнуты обе створки дверей. Ближе-ближе шаги, голоса. Миг – и в широком проеме возникли белые халаты. Нескончаемая толпа. Впереди – морщинистый доктор в высокой шапочке, из носа торчат черные пучочки волос. Это и есть профессор Попов.

За ним идет врач без шапочки, с ним трое молодых. На всех четверых – халаты внакидку, видны пестрые рубашки, заправленные в брюки. Этим они отличаются от остальных.

Так Скрип впервые увидел военных врачей...

Старший – генерал-майор медицинской службы Глеб Авенирович Златоверов. Тогда ему было чуть за пятьдесят. Ростом немного выше среднего, сухопарый. Темные волосы гладко зачесаны назад, в них ни сединки. Во рту коронки блестят. Лицо вытянутое, тощее, подбородок срезан. Круглые очки в стальной оправе, пристальный взгляд.



С генералом были три капитана: Радий Юрьевич Бебяков, Михаил Викторович Овечкин и Анатолий Степанович Фоминых. Бебяков – небольшой легкотельный брюнет, смазливый, с тщательно подбритой ниточкой усов. Овечкин повыше, такой же поджарый. Густейшие жесткие темно-русые волосы торчат над низким лбом – точно щетина дикого кабана. Маленькое лицо, круглые глаза близко посажены. Лоб, несмотря на молодость, в морщинах: то и дело собирается в гармошку. Фоминых плотнее коллег. У него какая-то странная челка полукругом, цвета соломы. На плоском простоватом лице – досадливо-недоуменное выражение вроде: "Я щипнул, а что даете?"

Златоверов называл Бебякова Радиком, Овечкина – Михой, а Фоминых – Тольшей. Генерал и эти трое приехали из подмосковного города Загорска, где они работали в засекреченном биологическом институте спецуправления генштаба. Институт условно обозначался "Загорск-6". Первое в СССР производство биологического оружия было организовано здесь в 1947 году. Отчеты об изысканиях Златоверова регулярно получал министр обороны.

\* \* \*

Профессор Попов сказал:

– Начнем со случаев ярковыраженной контрактуры, – и подошел к кровати Владика, возле которой стояла, как часовой, сестра Светлана и чуть-чуть улыбалась. Владика принялись щупать, крутить его руку, которая не разгибается.

Попов указал на Прошу:

– Случай тотальной атрофии нижних конечностей!

Так Скрип узнал, что больные мальчишки – всего лишь *случаи*...

Вот стоят уже и над ним.

– Чрезвычайно интересный случай сколиоза третьей степени и поражения конечностей средней тяжести!

Профессор посторонился, пропуская Златоверова. Тот ощупал грудь Скрипа, прикладывает к ней два пальца левой руки и постукивает по ним пальцами правой.

– Деформация значительная, – голос у Златоверова сильно прокуренный. У Скрипа от табачного перегара перехватило дух.

– Как ведут себя легкие?

– Трижды перенес двустороннюю крупозную бронхопневмонию, – сообщила Роксана Владимировна.

– Угу! Так и должно было быть! – военврач удовлетворенно кивнул, стал прослушивать грудь. – А тоны сердца – чистые... – Что-то тихо обронил своим спутникам.

Вдруг кто-то выкрикнул:

– Да здраст... его личество!

Различились смешки.

– Сопутствующая дебильность! – произнесла одна щекастая докторша.

– Посмотрим-ка, – Златоверов шагнул к кровати крикнувшего: – Что это такое – "ваше величество"?

Мальчишка приподнялся, показал на кровать Сашки-короля, что стоит под окном. Врачи переместились сюда.

– Ну и образина, – пробормотал Тольша.

– Кажется, не реагирует, – Радик наклонился. – Это... как тебя – говорить можешь?

Сашка, натянувший простыню до подбородка, скорчил рожу, словно силясь что-то сказать; помотал головой. Надул щеки и вдруг, мощно мыкнув, обдал Радика брызгами слюны. Тот отпрянул с отвращением.

– Что-то сохранилось в сей черепушке? – обронил Златоверов.

– Покажи, – Миха попросил Сашку, – на пальцах: сколько будет, если к пятнадцати прибавить шесть и отнять десять?

– Как же он покажет на пальцах одиннадцать? – усмехнулся Глеб Авенирович.

– А... да! Сколько будет, если к восьми прибавить семь и отнять двенадцать?

Сашка подвигал кистями, сжал-разжал кулаки – показал две фиги. Напряг шею, задержал головой, замычал, скашивая глаза на простыню.

– Простынку просит снять, – догадался Тольша и сорвал ее.

Сашкины трусы оказались спущены – торчал член невозможных для мальчишки размеров. Радик и Миха захрипели, подавляя хохот и глядя почему-то на Роксану Владимировну. Тольша расплылся в ухмылке.

– Правильно! – сказал Глеб Авенирович сухо, будто ничего необычного не было. – Показал три.

\* \* \*

После обхода няня Люда подсела на койку к Сашке.

– Ты кому х... показал? Профессору Златоверову! – схватилась за голову. И подмигнула.

– Злато... – начал Сашка-король, плюнул, крикнул: – Жестяной, ха-ха-ха!

## 9

Палата, где лежит Скрип, находится на самом верхнем этаже. Стены в ней на полтора метра от пола выкрашены рыже-коричневой масляной краской. Она исчеркана, во многих местах отбита. Тумбочки у изголовий колченоги, обшарпаны. Под кроватями клюшки, костыли, обрывки бинтов. Валяются две лангетки.

Рядом с ним лежит мальчишка – не то в лодочке, не то в футляре. Это гипсовая кровать. Мальчишка туго примотан к кровати бинтом от горла до щиколоток: чтобы не рос горб. Его зовут Кирей. Брови у него словно нарисованы тонкой кисточкой. Лицо такое... как Ийка говорит: "Очень красивое". Ему девять лет.

– Меня назначено карать, – прошептал Киря.

– Карать?

– Думаешь, закричу? – шепчет почти беззвучно. – Я не закричу, увидишь...

Когда Сашки-короля и старших мальчишек не было в палате, Киря назвал повелителя "полным гадом". Тот узнал.

\* \* \*

После обеда – мертвый час. Скрип заснул. Вдруг – грохот. Чуть не описался. А? Что?.. Киря в своей тяжелой лодке – на полу. Кругом хохочут, дико ржут:

– Йи-и-ги-ги-и! Ха-ха-ха!!

Когда Киря задремал, на изножье гипсовой кровати надели петлю, сплетенную из бинтов. Четверо ходячих взялись за жгут. Сашка-король взмахни кулаком: раз, два, три... И – гр-рох! Как гипс не раскололся? Не треснул пол?.. Хорошо, что лодка не перевернулась и мальчишка не упал вниз лицом. Но и так ему досталось. Что он почувствовал со сна?..

Прибежала старшая сестра. Пузатая – как бочка. Ножки коротенькие, кривые и очень крепкие. Она почти всегда бежит: трусит мелкими быстрыми шажками. Широкая помятая физиономия угрюма, как у убийцы.

Старшая всю молодость была вольнонаемной медсестрой в лагере под Воркутой. В ночные дежурства она выпивает, и тогда ей слышится шум в какой-нибудь из палат. Врывается туда, включает свет.

– Слева напр-ра-а-во, по одному, – бах-бах!!!

Ее так и зовут – Бах-Бах.

Увидела на полу Кирю с его гипсовой люлькой.

– Парр-ра-а-зитство!!! – Морда побагровела, глазищи – как у расвирепевшего дога. – Па-а-чему?.. А ну-уу... – мечет по сторонам остервенелые взгляды, от злобы захлебнулась.

Жгут с петлей спрятан. Все лежат по койкам. Сашка-король приподнялся.

– Он качается! – и показал, как Киря, лежа на койке в гипсовой лодочке, будто бы раскачивается из стороны в сторону.

– Все время играет! – подтвердил другой мальчишка. – И упал...

– Вот так качался! Вот так!! – понеслось отовсюду. – И слетел!

– Игр-р-раешь?! – взревела Бах-Бах. И не шевельнулось в черепе: как мог парализованный в претолстой неподъемной раковине раскачаться – и до того, чтобы слететь с койки?

Затопала ногами, пнула гипсовую кровать. Было видно, до чего ей хочется втоптать в нее Кирю. Невероятным усилием укротила себя. Тяжело наклонясь, наотмашь ударила его по щеке.

– Заср-р-ранец! – Побежала звать санитарок, чтобы его подняли.

\* \* \*

Потом Скрип спросит Кирю, почему он не сказал, как было?

– Я не дешежка, чтоб жаловаться! Пусть щипцами щиплют... пускай хоть что!

## 10

Сашке-королю подкатали кресло на колесах. Положили две подушки. Повелитель уселся на них – по пояс голый. Под подбородком завязали углы простыни. Она покрыла его лопатки и спинку коляски, свесилась до полу – королевская мантия. К креслу, наподобие бурлацкой бечевы, привязали жгут из бинтов: впряглись трое ходячих.

Распоряжался мальчишка на костылях, правая его нога загипсована от пальцев до ягодицы. Это первый подручный короля Петька Варенцов – Петух. Ему, как и Сашке, – двенадцать. Все остальные – моложе. У Петуха крошечные цеплястые глазки в темных мохнатых ресницах. Остриженная "под ноль" башка в ссадинах, густо замазанных зеленкой. Это он во время обхода крикнул: "Да здраст... его личество!" Так повелитель приказал.

– В поход! – Петух размахивает костылями над головой, ловко подпрыгивая на одной ноге. – Глобус – на запятки!

У того, кого зовут Глобусом, парализована шея. Поэтому он ходит в корсете с головодержателем, что подпирает подбородок. Говорить ему трудно, кричать и вовсе не удается. Зато Глобус умеет издавать носом громкие ноющие звуки, какие-то леденящие стоны. Сашке нравится – остальные завидуют.

Он встал на металлическую перекладину позади коляски, взялся одной рукой за скобу спинки. В другой руке костыль с наброшенной на него мокрой половой тряпкой: знамя.

– Фанфа-а-ры!! – завопил король, взмахнул скрученным мокрым полотенцем с узлом на конце.

Глобус издал пронзительный жалобный мык, поднял "знамя". Сашка хлестнул "коренника" в "тройке".

– П-пшли-ии!!

"Карета" покатила в коридор. Вчера Сашка перечитывал "Ричарда Львиное Сердце", с этой книгой он не разлучался. До чего жаждалось ему бурной королевской жизни!

– Дорогу его в-личеству! – орет Петух, выскакивая на костылях вперед.

За коляской устремились – кто с клюшкой, кто на костылях – шесть-семь мальчишек. Это "черная дивизия". Правда, пижамы на всех – обычные серо-голубые или зеленые, в светлую полоску.

– Война! – кричит Петух. – Война-а-а!

Двигутся по бесконечному коридору, Глобус испускает долгие душераздирающие стоны. Мальчишки, что попадают на пути, жмутся к стенке. Сашка-король с наслаждением хлещет их.

– Н-н-аа! Н-н-аа! Н-н-аа! Сгнивай, блядь! М-мри, падла!

"Черная дивизия" – "добивает". Сваливает побитых на пол.

Двери палат приоткрываются – в короля и его войско летят комки мокрой грязной марли, катышки пластилина. В морду ему едва не угодил ортопедический башмак – Сашка отбил его локтем.

– Дрожите, с-ссуки?! С-ссыте!

Петух поддел башмак концом костыля, сноровисто метнул в открытую дверь палаты:

– Ур-ра-аа!! Победа!

Что-то въедливо вжикнуло в воздухе – шелк! От скулы короля отскочила шпонка. Снова – вжик. Вторая попала в губу. Сашка с каким-то сдавленным хрипом – надсадным хрипом бешенства – подпрыгнул на подушках.

\* \* \*

Шпонку делают просто. Полоску бумаги сантиметра в два шириной туго скатывают и сгибают пополам. Чтобы ею выстрелить, нужна резинка. Ее достают в "кубовой" – в помещении, где стоят баки ("кубы"), тазы, корыта, ведра. Здесь же свалены мочалки: вперемежку с обычными валяются "наборные". Это пучки длинных тоненьких резиночек, из которых на фабрике изготавливают резинки для тросов.

Мальчишки завязывают концы резиночки петлями, надевают на указательный и средний пальцы. Вот и "рогатка" для стрельбы шпонками. В случае чего ее легко спрятать под язык.

\* \* \*

По приказу короля, "кони" выпряглись, чтобы толкать "карету" сзади. Пока они перемещались назад и разворачивали ее, в Сашкину рожу и в голую грудь шелкнуло с десяток шпонок.

– Вперед! – Петух потряс вскинутыми костылями.

"Карету" покатали к палате, откуда велась стрельба. Глобус на запятках, вместо того, чтобы высоко вздымать "знамя", заслонился им. Но король не пригнул головы, лишь рукой защитил глаза.

– Убью-у-уу!! – вопль переходит в натужное мучительно-яростное хрипение.

Дверь перед коляской захлопнулась.

– Тар-р-ра-ань! – заорал повелитель.

"Кони" изо всех сил толкнули кресло, его подножка давит в дверь, но та не поддается. Сашка привстал с подушек, забарабанил в нее кулаками.

– Зар-р-режу!!!

Но уже бегут няньки, дежурная сестра. Пришлось спешно убраться в свои владения.

## 11

Схватившись за подлокотники, он перебросил тело из "каretы" на подоконник. Огромные ноздри трепещут, влажные черные глаза вылуплены так, что сверкающие белки открылись по всей округности. На правой скуле – волдырь от шпонки.

– Я их, х...ету! Е...ть их в сраку! в пасть! в ухо! – мат льется грязней грязного. – В жопу! в глаз!.. – Вдруг вырывается совершенно оригинальное ругательство: – Е...ть их в ...й!!!

Глобус издал стенание восторга, отчаянно захлопал в ладоши.

– Как это? как это?.. – давится смехом Владик.

– Е...ть их в ...й! – Петух скачет на костылях перед Сашкой. – Наша победа!

Ура! Марш короля...

Он и "черная дивизия" грянули марш:

*В Королевстве Поли*

*Весело живем,*

*Лучше, чем на воле,*

*С нашим королем!*

*Если даст он в зубы,*

*Ну и что с того?*

*Все равно мы любим*

*И возим его...*

\* \* \*

В этой палате все – полиомиелитики: поли. В других – уродики, травматика, кривляки, "сифилитики". Уродики – кто родился искалеченным. Травматика – кто таким стал из-за несчастного случая. Кривляки – больные церебральным параличом. А "сифилитики" – те, у кого уродующий полиартрит. Эта болезнь – любят здесь говорить – "бывает от сифилиса". У одного мальчишки-артритника отец действительно – сифилитик. Потому "сифилитиками" зовут всю палату.

Скрип узнал, что поли – лучше всех! Почему, скажем, они лучше уродиков и кривляк? Те появились на свет бракованными. А поли здоровыми родились, и, если б не гадский вирус, они б – эге!..

Почему они лучше "сифилитиков" – конечно, и так понятно.

Возьмем травматиков. Они, как и поли, не были больны от рождения. Зато покалечились "или по своей дурасти, козлы, или их уронили козлы-родители!"

А поли страдают безвинно.

Они – лучшие и они всегда в войне против всех! Встретился чужой в коридоре, в процедурной, в уборной: если не можешь с ним справиться – харкни в него, обзови! Иначе ты – предатель.

\* \* \*

Как-то Скрип скажет няне Люде: а здорово, что он – поли. Няню всю передернет, точно ей дали тычка в бок. Она хрипло рассмеется, подсядет на его койку.

– Ты это им скажи! – покажет пальцами в пол.

Объяснит, что этажом ниже лежат искалеченные начальники и дети начальников. Сколько там простора, воздуха, света! Кругом живые цветы.

Чистота – ни пылинки. Няньки и сестры ходят в тапочках, подшитых войлоком, чтобы не беспокоить больных звуками шагов. К столу там всегда свежие овощи, фрукты. Зимой – клубника, виноград! А сколько всего еще родные и друзья приносят!

– Там-то лечат!

– А нас? – спросит Скрип.

– Вас?! Ха-ха-ха! Вы здесь для отчетности и чтобы на вас учиться, чтобы диссертации писать. То-то я зову – "братцы-кролики". По-до-пыт-ны-е!

Роксана Владимировна назначила Скрипу вытяжение. Его голову от подбородка до темени охватывает жесткая парусина. Этот наголовник называется – петля Глиссона. Петля крепится к спинке кровати, изголовье приподнято, к ногам привешены гири.

Его вытягивают, чтобы распрямить позвоночник, пораженный полиомиелитом. Может, Скрип и стал бы прямым – лежи он на вытяжении всю жизнь. Но ведь надо же и вставать, и передвигаться... Ему сделают корсет, чтобы держал торс, не давал позвоночнику согнуться. Но металлический каркас корсета не выдерживает, горб выпирает снова. Через каких-то два месяца корсет примет форму изуродованного торса. Вот и таскай бесполезную тяжесть, которая к тому же не дает расти грудной клетке.

Пораженным мышцам нужны массажи, лечебная гимнастика, укрепляющие ванны. Кого-то так и лечат. Ну, а его участь – недвижно лежать с раннего утра до ночи. Затрат – никаких! Мышцы продолжают атрофироваться, но кто за это спросит?

\* \* \*

Петлей стиснуты челюсти – ноют все сильнее. А как больно щиколоткам! В них врезаются твердые ремни, к которым подвешены гири.

Перед глазами – белый потолок. Днем он высокий, а когда становится ниже и все больше темнеет по краям, значит – наступает вечер. Скрип лежит через две койки от окна. Но если напрячься и сместить голову вправо, то можно увидеть немножко неба. Иногда там виден кусочек облака. Представляешь, что это – часть холма. За ним притаились разбойники. Поджидают путников. Те приближаются по голой унылой равнине... Вот бы путником оказалась сестра Надя! Или Бах-Бах! Или Сашка-король! А у разбойников – огромные острые ножи, здоровенные дубины. Косматые-прекосматые бороды. Как выскочат из-за холма! "Ха-ха-ха! Стра-а-шно?" И по башке дубиной. Или ножом чик – и покатила голова как мячик. "Ну-ка, теперь поори!"

\* \* \*

На кровати слева лежит Кирия в своей гипсовой люльке. Если собраться с силами, то удастся сквозь стиснутые зубы немного поговорить. Иногда Кирия что-нибудь тихо рассказывает. Например, откуда Сашка узнал, что он назвал его полным гадом? От Глобуса. Тот – главный сыщик его величества. Родители присылают Глобусу конфеты, а он подкупает ими мальчишек: а ну, кто плохое сказал о короле?

Кирию выдал Коклета – его койка слева через одну. Сейчас его нет. Наверно, он с другими ходячими в уборной: писают – кто дальше? Или щелчками запускают в оконное стекло катышки пластилина.

Вот мальчишки вернулись. Коклета, опираясь на костыль, скачет на правой ноге. Левая висит как плеть.

– Га-а! Ка-ак я с-ссыканул! Дальше Валадика! – с выражением счастья вытирает ладонью слюнявый рот, высмаркивается на пол.

– Владика! Дубина... – поправил Владик.

Коклета не обиделся. Падает спиной на кровать. Больную ногу – тоненькую, босую – подвернул к лицу, будто тряпочную, стал грызть отросшие старчески-сморщенные желтые ногти.

Когда он в первый раз съел больничную котлету – гадкую котлету из хлебного мякиша, лука и доли дрянного фарша – то восхищенно воскликнул:

– Вкуснота-а-а!

Узнав, как называется кушанье, сказал:

– Ага! Я не видал, однако слышал: коклета!

Его фамилия Французов. Он из Можайского района, из деревни. Она сгорела осенью сорок первого. Но и через тринадцать лет после войны полдеревни все еще живет в землянках. И это – в шестидесяти километрах от Москвы! Коклета Французов рассказал: его родители оплетают изнутри стены, потолок землянки прутьями ивы и мажут речным илом.

В девять лет он не знал, что такое известка. Глядя на потолок палаты, говорил с интересом:

– Эх-ка, ил-то белый, а?!

В институт попал благодаря какой-то случайности. Здесь все ему нравится невыразимо.

### 13

А Киря приехал из Орла.

– Поэтому, – сказал Скрип, – у тебя брови... орлиные.

– Чего? – удивился Киря. – Даешь! Ты видал у орлов брови?

Нет, ответил Скрип, он видел орлов только издали, в зоопарке. Бровей не заметил. Но он слышал слова "орлиный взгляд" – как здорово! Значит, и брови бывают – орлиные!

В Орле Киря живет в большой квартире. Она отдельная, а не коммунальная. Отец у него – дирижер военного оркестра. У Кири есть сестры Анюта и Танечка, близнецы. Им пять лет.

– Мама говорит, – шепчет он, – что они лицом еще красивей меня. И ведь обе здоровые! Они так быстро бегают!

Киря вернется домой – отец для него закажет специальную коляску на велосипедных колесах. Анюте и Танечке купит велосипеды. И то одна, то другая будут возить его на прицепе, куда он только ни попросит. Он их очень любит. А как они любят его!

А сейчас, когда ему разрешают ненадолго вылезти из гипсовой кровати, он ездит на низенькой тележке. Это скрепленные перекладинами две дощечки на шарикоподшипниках. Он опускается на тележку, садится на подогнутые парализованные ноги. Берет деревянные утюжки, отталкивается ими от пола – поехал! Шарикоподшипники по полу – др-р-р, др-р-р...

### 14

С таким же жестким звуком ездит "гусь". Он из металлических трубок, винтов, шарниров. Его шея загибается вниз под самым потолком.

Как-то дома мать дала Скрипу мясо с подливкой:

– Попробуй! Это гусь.

Разве он мог тогда подумать, что настоящий-то гусь – вон какой?

Справа от Скрипа положили Прошу. Между их койками стоит "гусь". Роксана Владимировна решила: обычного вытяжения Скрипу мало. Его опоясали парусиной, протянули шнур к "клюву гуся". Гири тянут за ноги, "гусь" – вверх и вправо – за середину туловища.

Он же тянет вверх ноги Проши, на его живот положили бандаж. Так думают выправить искривленную поясницу.

Приехал Проша из города Гусь Хрустальный: бывает же! Он там с мамой жил в общежитии, в одной комнате с тетей Ирой и ее маленькой дочерью Юлей. Мама и тетя Ира работают на фабрике. К тете Ире приходят или дядя Юра, или дядя Леня. Тогда мама берет Прошу, Юльку и идет с ними гулять.

А то к маме придут: или смешливый дядя Валя с громким голосом, или высокий-превысокий дядя Витя, который почти не разговаривает. Или Иван Поликарпович. Его мама зовет на "вы". Улыбаясь, качает головой:

– Опять вы выпимши, Иван Поликарпович. Ай-яй-яй!

А он:

– Насчет квартиры я улаживаю. Будет тебе квартира, будет! Но надо подождать.

И теперь тетя Ира забирает гулять Прошу и Юльку.

Он рассказывал об этом Скрипу – мальчишки подслушали. Смеются. Сашка называет Прошину мать матерными словами. Койка короля – под самым окном, справа от Проши.

– Кому мать больше дает? – спрашивает Сашка. – При ком вы дольше гуляете?

\* \* \*

– Погуляем! – услышал Скрип от Бах-Бах. Она повезла его из палаты на коляске для лежачих. Так бывает, когда срочно понадобится врачу – станут тебе врачи ждать, пока сам доплетешься? Скрип слышит сиплое дыхание Бах-Бах и запах чеснока. Почему-то кажется: она вот-вот зверски рывкнет! – он тут же обкакается от ужаса. Он это знает.

Коляска вкатилась в кабинет Роксаны Владимировны. На кушетке лежит раздетая девочка. Он видит – у нее такой же горб и такие же искалеченные ноги, как у него. Но девочке уже лет тринадцать.

– Одевайся! – сказала ей Роксана Владимировна, она окончила осмотр. – Через месяц станешь стройная, как тополь.

Девочка плачет. Она и не верит, и так хочется верить!

– Вы... успокаиваете... – не отрывает глаз от лица докторши: красивого, молодого, строгого.

Та занята своими мыслями, еще раз ощупывает перекошенные плечи девочки... Вот кушетка освободилась. Бах-Бах укладывает Скрипа, нижние веки у нее распухшие, морщинистые, с красной каемкой.

Нахлынул запах духов – Роксана Владимировна наклонилась, поворачивает Скрипа так и эдак... до чего у нее жесткие пальцы! Он боится ее взгляда – отвернул голову вбок. У противоположной стены – отопительная батарея, на ней лежит кот Махмуд, серый с черным боком, толстый. Скрип слышал, что Махмуд очень старый. Шерстка вокруг кончика носа и на ушках серебристо-седая.

Врач вертит руки-ноги Скрипа – а он весь превратился в страх...

А кот спит на теплой батарее. Будто чем-то туго набили валенок и положили.

Вошла еще одна докторша. Скрип услышал ее голос:

– И этого оперировать? – она спрашивала о нем.

Роксана Владимировна недовольно ответила:

– Возможно... Будем думать.

– Но – возраст?

– Возраст... – рассеянно повторила Роксана Владимировна, занятая осмотром.

Стала больно нажимать пальцами на его позвонки – у нее испортилось настроение. Докторша ушла, а Роксана Владимировна со злостью ходит по кабинету. Что же так занимает ее?

Группа советских хирургов была удостоена государственной премии за исправление сколиоза. Вот какой они создали метод. Больному удаляют искривленные ребра и в ходе этой же операции выпрямляют позвоночник. Из ноги берут малую берцовую кость и прикрепляют к позвоночнику. Это как со сломанным деревцом: выпрямить и привязать к нему палку для поддержки.

После операции у больного нет горба. Был скрюченный горбун – стал прямой человек! Чиновники, которым это показали, поняли, какое достижение советской хирургии можно преподнести миру!



Меж тем позвоночник человека – не ствол деревца. Когда позвоночник парализован, малая берцовая кость – не та подпорка, чтобы удержать его в выпрямленном положении. Кость "рассасывается" менее чем в полгода – и больной снова искривлен, скрючен! Скрючен больше, чем до операции!

Но у него имеется и вторая малая берцовая кость... Операцию повторяют.

А потом? Потом – все тот же корсет с головодержателем. Гипсовый панцирь. А спина теперь не только искривлена – она и вся искромсана. Ноги, и без того пораженные полиомиелитом, лишены и малых берцовых костей.

В 1958 метод был нов. Роксана Владимировна – одна из первых молодых хирургов, что взялись его осваивать. К тому дню, когда Бах-Бах привезла к ней Скрипа, ей не хватает трех операций, чтобы защитить кандидатскую. Скрип неподходящ – всего шесть лет! А после операции останавливается рост. Недоброжелатели, завистники (конечно, они есть у Роксаны Владимировны) могут уцепиться за это...

Потому она колеблется. Но и тянуть с диссертацией нельзя. Вдруг метод (его результаты она, разумеется, хорошо знает) – "не получит дальнейшего распространения"?

Скрип лежит ничком на кушетке, скопил глаза вбок. Мелькнули полы халата, стройные сильные ноги. Роксана Владимировна все ходит. Ноги мелькнули опять – но уже в другую сторону. И вдруг что-то с шумом упало. Кот Махмуд свалился с батареи. Прижался к полу – до чего растерянно, обалдело глядит! Вот как заснул! Шевельнулся во сне – и бряк.

Звенящий голос Роксаны Владимировны:

– Возрастной паралич начинается! Не хватало, чтобы куда-нибудь залез и сдох. – Она велела Бах-Бах: – Приготовьте мне... сделаю укольчик.

Бах-Бах ухмыльнулась, и Скрип понял: Махмуда ждет какое-то особенно нехорошее лечение. А кот уселся себе посреди кабинета и умывается. Бах-Бах пихнула его ногой:

– Брысь, дармоед!

– Я не просила вас это делать! – вдруг еще сильнее разозлилась врач.

Она взяла из холодильника бутерброд с ветчиной, присела на корточки, позвала кота и протянула ломтик ветчины к его носу. Махмуд стал есть.

Ему и Скрипу повезет. Укольчик коту в тот день не сделают, и позвоночник Скрипа не тронут. В институт поступили две девочки гораздо старше его. А девочки всегда так терзаются из-за того, что сгорбленные! сами умоляют врачей: "Делайте что хотите – только выпрямите!" Роксана Владимировна и занялась...

А метод, вопреки ее опасениям, превозносили еще пуще. Иначе не могло и быть: государственная премия! Она уже дана!

В 1960 исправление сколиоза приращением к позвоночнику малой берцовой кости практикуется, помимо Москвы и Ленинграда, в Казани, в Куйбышеве, в Саратове, в Свердловске. А еще через три года – в клинической больнице почти каждого областного города.

## 15

Передовая советская медицина внимательна не только к новому. И хорошо проверенное старое тоже не стоит забывать.

Профессор Попов еще в конце тридцатых годов сделал свое открытие. Стал лечить большим парализованные ноги укорачиванием прямой мышцы бедра. Это называлось "частичным восстановлением утраченных функций конечности".

Не похожа ли парализованная мышца на ослабевшую подтяжку для брюк?.. Что делают, чтобы подтяжка стала потуже? Укорачивают ее.

Вот и молодой в тридцатые годы хирург Попов начал вырезать больным куски пораженной прямой мышцы бедра, полагая, что укороченная мышца, "подтянувшись", став "туже", будет "частично действовать".

Известные, с еще дореволюционным образованием профессора выступили против метода Попова – ох, и нехорошие довелось пережить ему деньки... Зато после войны жизнь ему улыбнулась. Начались гонения на "космополитов" – светила, которые в свое время раскритиковали его, попали под репрессии за "низкопоклонничество перед Западом". Тогда-то Попов о себе и напомнил: эти предатели-де зарубили на корню его метод лечения – метод русского, с исконно русской фамилией хирурга.

До чего ко времени-то! Дополнительное обвинение пришили "агентам Запада" – обоглали, опорочили достижение отечественного врача-новатора...

Тут же – ход достижению, дорогу новатору. Что значит – в случай попасть! Сверху – благоволение, со всех сторон – почитание.

\* \* \*

Возглавивший институт Попов уже не делал операций: нужда отпала. К чему на такую мелочевку размениваться?

Глядь, пришлось прежнее и вспомнить...

Один из давних его критиков в лагере не сгинул, при Хрущеве воротился в Москву. И как-то старику попало на слух, что в именитом институте директором Попов... Уж не тот ли?

Оказалось – тот самый и есть. Старик принялся писать наверх: как же, мол, так – человек, своими операциями нанесший огромный вред советским больным, стоит во главе видного учреждения и, возможно, продолжает пагубное дело.

Наверху и при Хрущеве сидели люди старой закваски, родные с Поповым души. Потому писания, хлопоты неуемного старца имели только один результат: пошли разговоры...

Разговорам (была ж "оттепель"! ) сообщало соблазнительный душок выражение старичка: "Разве допустимо, чтобы в Советском Союзе действовали компрачикосы?"

Благодаря "компрачикосам" разговорчики и захватывали.

\* \* \*

Сашка-король услышал, как разговаривали сестра Светлана с сестрой Надей, но понял не все. Вскоре няня Люда "разжевала" и дополнила. Она была читающей няней (что, конечно, великая редкость) и, хотя Диккенса называла Диксоном, Гюго знала. По-своему, как сумела, пересказала мальчишкам роман "Человек, который смеется".

А заключила с лукавым смешочком:

– Ваше счастье, кролики, что "компрачикосу" стало лень резать...

В недобрую, в роковую минуту сказала это няня Люда.

На другой день – осенний, темный от тяжелых туч – профессор Попов решил на разговорчики ответить.

Пожалуйста! Мой метод принес не вред, а пользу. Проверенный временем, он практикуется и ныне.

Профессор распорядился подготовить пару больных: он будет сам оперировать.

16

Гулк! гулк! гулк! – стучит в груди...

– Пись-пись! – велит Скрипу сестра. – Пись-пись! Сам пописаешь или, может, подоить?

Нянька приподняла его под мышки, сестра держит меж его ног стеклянную "утку". Сейчас его повезут... повезут – резать... Его кожу – ей бывает так больно, когда вонзается игла шприца, – станут резать ножом...

– Пись – говорю! – злющим голосом выкрикивает сестра. – Или мне за тебя?!

Хохот! Мальчишки на койках веселятся. Выпало утро поинтереснее – Скрипа везут на операцию.

За окнами еще не рассвело, и в палате ярко горят лампочки. У Скрипа льются слезы. Ему хочется крикнуть мальчишкам, что это не от страха – просто свет так сильно бьет в глаза...

Нянька, держа его под мышки, встряхнула раз-другой – чтобы заставить пописать. Нянька и сестра подозревают, что он нарочно терпит – из озорства.

Если б он мог быть таким! Знать, что тебя везут резать, – и озорничать! Как было б здорово – быть до того бесстрашным... гордым!..

Струйка брызнула, брызнула пару раз и прекратилась. Как будто кран закрутили. Так накрепко – ничего не поделает. Он хнычет:

– Я – все-о-о...

– Все так все! – говорит сестра с угрозой. – Сам же потом поплачешь, смотри!

Его положили на высокий длинный стол – железный, холодный. Острый горб надавил на голую жесткую поверхность стола – стал мозжить. Повернуться бы набок, но нянька хлопнула его по груди, велела не шевелиться. Стол поехал – он был на колесиках.

Над Скрипом тянется потолок коридора, глаза режет ослепительный свет лампочек, они проплывают над ним одна за другой... пятая, шестая... Спина болит все сильнее, он терпит, боясь двинуться, его подташнивает от ужаса, в груди – гулк! гулк! гулк!.. – его везут, везут на холодном железном столе к страшному месту под названием "операционная".

Ввезли в залитый светом кабинет – он скосил глаза и увидел белую блестящую раковину умывальника, а рядом – стеклянный шкаф, за стеклом – разные бутылочки, пузырьки. Возле Скрипа прошла сестра, она как-то клонится вперед, а лицо – словно заплаканное. Мальчишки ему раньше показывали на нее в коридоре, он знает, что это не обычная сестра, а – операционная. Ее зовут Анна Марковна.

Она велела няньке снять с него рубашку – он остался совсем голым на голом железном столе. Холодно, его подергивает дрожь, но зато Анна Марковна разрешила сесть – и боль в горбу прошла.

Ноги Скрипа тонкие, слабые; правая побойчее: отец с матерью прозвали ее "хулиганкой". А левую – "сироткой".

Анна Марковна стала обтирать "сиротку" от живота до пальцев ватой со спиртом, и тут вошли врачи и врачихи. И профессор Попов. Сестра мигом повернулась к нему, поздоровалась таким голосом, как будто она очень рада.

– Здравствуй, Марковна! – громко ответил профессор. – Давно мы с тобой не оперировали. Ну, как твоя спина? Все гнешься? – он прошел к умывальнику, стал мыть руки.

Сестра тоскливо пожаловалась:

– Бодриться не буду... улучшения нет.

– Положу-ка я тебя на полгода на вытяжение!

У профессора большой нос, из ноздрей торчат черные густые пучочки волос. Губы тоже большие – пухлые, розовые. И насмешливые.

Сестра совсем расстроенным голосом сказала:

– Если б это помогло, разве б я не легла?

Профессор Попов стряхивал с рук воду:

– Не кисни, Марковна, мы тебя еще замуж отдадим! Такого найдем мужика!

Скрипу показалось – сестра сейчас заплачет навзрыд.

– Да что вы... я распрявиться не могу.

– Он тебя и распрямит!

Какой-то молодой врач захохотал. За ним хохотнула молодая врачиха с веснушками на лице. Другие тоже смеялись.

Профессор подошел к Скрипу, указательным пальцем постучал по его левой ноге выше колени, объявил врачам:

– Видите, какая плохая нога? Очень плохая! А после моей операции она будет действовать, больной будет передвигаться!

Но ведь Скрип и без того ходит! Опирается на клюшку, идет потихонечку, идет. И эта плохая нога его держит! Сказать им?

Открыть рот при врачах – до чего страшно...

Он растерянно крутнул головой и вдруг увидел на столе невдалеке сверкающие щипцы, здоровенные ножницы и... ножи, которыми режут больных: скальпели. Он тотчас узнал их, потому что мальчишки про них рассказывали. От жути у него "открылся кран" – и потекло...

– С полным пузырем привезли, – сказал кто-то из врачей.

Профессор Попов взвизгнул:

– Та-а-ак!!!

Нашел взглядом стоявшую среди врачей Роксану Владимировну:

– Узнать, какая дура готовила больного! Р-р-работать у нас наскучило?! В три шеи ее!

Роксана Владимировна сильно покраснела, ее красивые глаза стали странно белыми. Она жалобно всхлипнула: – Я выясню! – и выбежала опроретью.

\* \* \*

Скрипа обтерли простыней, переложили на кушетку. Анна Марковна стала снова "обрабатывать" его ногу ватой со спиртом.

Профессор Попов ходил взад-вперед по кабинету, сердито, резким тонким голосом пел:

*Кто мо-о-жет сравниться с Матильдой моей,*

*Сверкающей искрами черных очей...*

Врачи тихо стояли в сторонке.

Пришли еще сестры, ввезли Скрипа в кабинет, где электрического света было еще больше. Там положили на другой стол – без колес, стали обтирать ногу ватой с йодом, а он думал: если б у него была храбрость и если б удалось схватить нож... как он размахивал бы им:

"Не подходите! Не подходите к моей ноге, злодеи пр-р-роклятые!!!"

Его прижали спиной к столу – опять заныл горб, привязали к чему-то руки и ноги, он увидел перед лицом белую простыню – кто-то держал ее над ним.

Голос профессора Попова:

– Организм слабенький, и я решил под местным наркозом.

Это значит – его не будут усыплять. А простыню держат перед глазами, чтобы он не увидел, как нож рассечет его ногу... В нее больно вонзилась игла, а женский голос сказал нараспев:

– И уронила бедная девочка ведро в колодец...

Другой женский голос перебил ворчливо:

– Чего с середины-то начала?

Первый голос ответил:

– Начало тяжелое – мачеха злая, падчерицу била... Спустилась девочка за ведром в колодец и не утонула, смотрит – вовсе не вода вокруг, и все хорошо...

Тут ногу ожгло как огнем – он вскрикнул. Хруст, хруст, несчастная нога дергается – он это чувствует...

А женский голос тянет:

– Идет, идет девочка и видит избушку...

Он давно знает эту сказку, он думает: разве так мучила мачеха девочку – разрежала ей ногу? "Ногу, – шепчет он, – оставьте мою ногу-ногу-ногу!!!"

## 17

Когда нога заживет после операции, он увидит: она сделалась еще тоньше. От таза до колена – обтянутая кожей кость. Он трогал ее, и она была нечувствительная, будто затекла. Это так и останется.

\* \* \*

Он осторожно ступил на ногу – держит! Она ни чуточки не стала крепче, но и держать не перестала. До чего он обрадовался! Оперся на клюшку, пошел, пошел... И вдруг нога подогнулась – словно кто-то чем-то острым сильно ударил сзади в сгиб колена. Он полетел навзничь – хрясь об пол затылком. Перед глазами полыхнуло, точно взорвалось солнце. Потом долго стоял в голове гуд.

Он так и будет падать навзничь, ударяясь головой об пол, об асфальт, о булыжники... Нога на всю жизнь останется "с сюрпризом". Неожиданно, на ровном месте: раз! – и подогнулась...

\* \* \*

Его повели в ординаторскую, перед тем няня Люда успела ему шепнуть:

– Профессор Попов полюбуется на свою работку.

От этих слов он почувствовал дрожь даже внутри живота...

Ординаторская полна врачей, впереди стоит профессор Попов в высокой белоснежной шапочке. Он махнул рукой наискось сверху вниз – и сестры сдернули со Скрипа штаны и трусы. Профессор подошел ближе, вынул из нагрудного кармана халата очки и, наклонившись, стал смотреть сквозь них на свежий шрам на ноге Скрипа.

– Прекрасно! – энергично прошелся перед стоящим мальчиком, и другие врачи начали поочередно подходить и, присев на корточки, разглядывать ногу.

Потом все расступились – профессор приблизился снова и сказал Скрипу добрым голосом:

– Ну как наша ножка? Теперь она ходит?

От того, что голос был добрый, Скрипа пробрал ужас. Он подумал: если сказать, что нога стала неожиданно подгибаться, профессор будет опять резать и портить ее! И он крикнул:

– Она ходит! – ступил шаг, второй, третий, умоляя ногу, чтобы она выдержала. И нога на этот раз не подвела.

Профессор Попов ласково обратился к врачам:

– Ну – мы убедились... – и даже погладил мальчика по голове. Довольный, уже отворачивается – вдруг глянул на правую ногу Скрипа: – Конская стопа... Почему не выправлена?

После полиомиелита ступня правой ноги отогнулась вниз и как бы окостенела, перестав двигаться кверху. Скрип наступал только на носок. Врачи называют такую стопу "конской".

Профессор пальцем подозвал Роксану Владимировну:

– Тут можно без ножа. Займитесь!

\* \* \*

После обеда, когда больные должны спать, Бах-Бах стала уводить Скрипа в кабинет рядом с "кубовой". Быстро, цокая каблучками, входила Роксана Владимировна с ледяным выражением на красивом лице. Скрипа клали на кушетку, Бах-Бах придавливала его к ней, держала руки. Роксана Владимировна одной рукой сжимала его правую лодыжку, а другой отгибала ступню кверху.

Ступня не хотела двигаться – Роксана Владимировна налегала... Свирепая боль сводила щиколотку, била от пятки до колена, до таза, отдавалась в голову – Скрип корчился, кричал, кричал...

Раз он задохнулся от крика, замолк и услышал, как металлический голос Роксаны Владимировны обругал няньку:

– Не открывайте дверь! У нас тут песнь ямщика разливается.

\* \* \*

Пройдет время, однажды он услышит, как по радио пропоют:

*Разливается песнь ямщика...*

Тут же ступня заноеет.

\* \* \*

Роксана Владимировна день за днем налегала, налегала на ступню, потом наложила гипс. Когда его сняли, стопа снова сделалась "конской".

Скрип радовался, что хотя бы "обошлось без ножа".

Он узнал, что стало с девочкой, которую тоже прооперировал профессор Попов, и подумал – до чего же здорово он спасся!

Девочку после операции привели к профессору, а она и скажи: нога стала вдруг подгибаться ни с того, ни с сего... Тогда профессор вырезал ей коленную чашечку – нога больше не подгибается. Не сгибается совсем. Прежде девочка ходила с клюшкой, теперь – только на костылях, с трудом перебрасывая прямую негнущуюся ногу.

## 18

Скрипу ходить бы, ходить – упражнять ноги, а его опять целыми днями держат на вытяжении. На дворе давно уже зима. Ему это известно потому, что щели на окнах заклеены бумагой, а на стеклах – белые узоры. Когда они сходят, видны мелькающие снежинки. Но часто окна не оттаивают весь день.

Как-то няня Люда сказала:

– Сегодня тридцать два градуса. Светлана прибегла – красней помидора! Глаза горят! Но это уж не от мороза...

– А от чего? – Сашка-король отвратительно осклабился.

– Как она жопой играет! Долбится, как мышь! – няня Люда прыснула.

Сестра Светлана влетает в палату, халат шуршит и хрустит на ней, точно его накачивают насосом.

Коклета радостно уставился на нее:

– Доброе утро, тетя Лана!

– Кто, кто? Лана? – сказала она воркующим голосом, улыбнулась. – Лань... Красивое животное! Молодец!

– Чай, жених есть? – спросил Коклета.  
– Какой любознательный!  
– Женихуетесь? – спросил снова.  
– Еще как жених-хуются! – воскликнул король, ухмыльнулся страшной харей.  
– Р-рразговорчики, Слесарев! – сестра Светлана рассерженно крутнула к нему голову: меднокрасные локоны так и взметнулись.

## 19

А Нонка, рассуждают мальчишки, еще красивее сестры Светланы. Ведь с Нонкой "долбится" сам профессор Попов – "иначе она тут бы не работала без диплома! Из МГУ выгнали!" Они все знают от нянек.

Нонка – Нонна Витальевна. Воспитательница. В коротком халатике (осиная талия перетянута пояском) она выглядит школьницей. Наивное личико с высокими скулами, вздернутый носик. В удлинённых глазах – сладкое выражение. Густые пепельные волосы до плеч.

Она уводит ходячих в классную комнату. Считается, что они учатся как в школе. Сашка и Петух – в "пятом классе". Глобус – в "четвертом". Коклета – во "втором". Занятия длятся меньше часа в день.

Иногда она приходит и с лежачими заниматься.

– Здравствуйте, милые мальчики! – и начинает медленно прохаживаться. Взмахивает руками с растопыренными пальцами и соединяет пятерни. – Что вы знаете о науке? Советская наука даст вам абсолютно все! Ведь вы живете в великой стране СССР: на родине величайших научных открытий!

Рассказывает: один безногий мужчина – плавает. Другой, на протезах, встанет на лыжи и мчится со снежной горной вершины, огибая флажки. Прыгает с трамплина.

А безрукая женщина печатает на машинке быстрее, чем машинистка с руками. А еще женщина – и без ног, и без правой руки – носится на мотоцикле.

Все эти люди пользуются приспособлениями, которые создали советские ученые.

Очень скоро приспособления, машины, приборы будут делать любое дело. Только кнопки нажимай.

Выходило, ноги и руки вообще даже лишние. Кнопки можно нажимать носом.

У Скрипа вон какой длинный нос! Другие лишь пальцами будут кнопки нажимать, а он – и пальцами, и носом. Опередит всех и станет самым главным. И прикажет посадить Сашку-короля, Бах-Бах, сестру Надю в клетку, в какие сажают зверей.

\* \* \*

Сашка-король называет Нонку п...дежницей. Хохочет: она, мол, по двум специальностям работает. П...дит и долбится.

Долбиться – слово нематерное, но означает то же стыдное дело, которое Скрипу объяснили мальчишки. Они утверждают, что и его отец и мать занимаются этим.

– Ты ни разу не видел? – Петух так и впился в него крошечными злющими глазками. – Когда они думают, что ты спишь?

– Нет. Я сплю в комнате с бабушкой. А ты видел, как твои?..

Петух замахнулся на него, обругал.

\* \* \*

Няня Люда говорит: поли не должны ругаться. Почему? Зарабатывать на хлеб они смогут, только если станут культурно-образованными. А это те, кто не ругается.

Мальчишки спросили няню Люду, что такое культура? Няня ответила:

– Только главный всей страны скажет – Хрущев!

Хрущев в то время действительно говорил о культуре. Его речи печатали в газетах, передавали по радио. Культура должна быть везде и всюду, никому нельзя жить без нее.

И вот в палату пришел человек с баяном. У человека большие губы, очень спокойный вид. В прищельце есть что-то коровье. Белый халат почему-то выглядит на нем уморительно. За это поли сразу полюбили прищельца. Следом появилась Нонка, объявила, что его можно звать дядя Паша и что он – культурный организатор: культурорг.

Дядя Паша с баяном в руках стоял у дверей. Он поклонился, сел на табуретку:

– Теперь вы слушайте пока, а дальше мы будем разучивать...

И принялся играть. Через день появился опять. Играл он всегда одно и то же – марш монтажников из кинофильма "Высота". Вскоре стал и петь. Нонка заглядывала проверить, поют ли за ним. Мальчишки на своих койках – кто мог, сидел, кто не мог, лежал – хором пели:

*Не кочегары мы, не плотники, да!*

*Но сожалений горьких нет, как нет!*

*А мы монтажники-высотники, да!*

*И с высоты вам шлем привет...*

Петля не давала Скрипу петь – но как он был рад! Он – монтажник-высотник!..

Эх, хор-рошая штука – культура!

Но через некоторое время дядя Паша перестал приходить. Няньки говорили, это Нонка виновата – "у Попова ей отказу нет. Пашин приработок себе захапала!" Захапала, так сама играй – на дудочке на какой-нибудь... нет, не хочется ей. Вот и лежи, тоскуй без культуры.

## 20

Ийка уже сколько раз пыталась проведать Скрипа и Прошу. Ей и подойти к ним не дают, выталкивают из палаты. Владик, который дружил с ней в изоляторе, бросается на нее первый – подлизывается к королю.

Сегодня Ийка пришла опять. Встретила взгляд Скрипа – улыбается. Не ступила и двух шагов, а к ней уже скачет на костылях Петух:

– Бей, пацаны!

А Владик ругнулся:

– Пошла отсюда, п...да! – Старался пнуть Ийку в живот. Ее тормозили, толкали к двери, били, но она сумела махнуть Скрипу и Проше рукой:

– Я все равно приду!

А Сашка-король – на подоконнике. В черных волосах блестит складной ножичек. Поперек лба – шрам. Харя намазана зубной пастой. Раздуваются огромные ноздри. Вместо переносицы – желоб, и одним рачьим глазом можно увидеть другой.

– Эй, вы! – он переводит взгляд с Проши на Скрипа и обратно. – Почему не крикнули, что она – п...да? Я сказал в прошлый раз!

Они молчат.

– Ладно. Я – добрый. – Сашкины глаза жутко сверкнули. – Покарать надо, а я подарки дам! Тому, – указал на Скрипа, – серьги! А этому – табачку понюхать.

Палата радостно загалдела. Глобус в своем головодержателе даже взвизгнул от восторга.

Скрип лежит на вытяжении. Его схватили за руки. Мочки ушей щиплют больно-пребольно. И втыкают в них заостренные спички. Рот зажали. Да если б и не зажимали, все равно громко крикнуть не даст петля Глиссона. Вырывается прерывистое мычание. Его заглушает хохот мальчишек. Слезы льются.

– Посышь меньше! – хохочет Петух и, склонившись, плюет ему в глаза.



А Проше пихают в ноздри табак из окурков. Сашка и его подручные достают окурки из урн, что стоят на лестничных площадках между этажами. Там же берут пустые спичечные коробки. А спички выпрашивают у курящей няни Люды – якобы чтоб складывать из них "колодцы" и разные фигуры. Няня Люда думает: раз она дает спички без коробка – "баловаться с огнем" не смогут.

Проша пытается вертеть головой, но ее крепко зажали. Он было крикнул – горсть табаку и окурков сунули ему в рот.

– Пусть просрется! – приказал король.

От Проши отскочили. Какое чиханье, какой кашель напали на него! Во все стороны летят брызги, мокрые комочки табака.

– Ф-ффу... – Сашка выматерился. – Параша!

– Параша! Параша! – подхватила свита.

Мальчик прокашлялся. Поднял голову.

– Я – Проша!

– Ты ... – из Сашкиного рта полился мат, – ты ... Параша!

– Нет! Проша!

Король прыгнул с подоконника как бешеный. Метнул глазами туда-сюда, схватил за ухо Петуха.

– Петушок-птичка, раздражает он меня! Отдаю на расстрел...

Прошу оставили в одних трусах, сволокли на пол. Сашка и "черная дивизия" ожесточенно стреляют в него шпонками.

– Ползи! Собирай шпонки! – кричит Петух.

Проша ползет на руках, волочатся тонкие посинелые неживые ноги.

– Ко мне ползи, Параша! Мне – боеприпасы! – Сашка, сидя на подоконнике, пуляет в голову, в голую спину. – Быстрее!

– Нет! – он прижался лбом к полу, прикрыл ладонями виски.

– Пли! Пли! Пли!

Шпонки звонко щелкают о тело. Оно все в розовых волдырях. Проша вздрагивает, вздрагивает – терпит.

– П...да тебя родила, а говоришь – мама! – король, схватив подушку, на которой сидел, подскочил к лежащему. Кинув его навзничь, накрыл подушкой лицо. Слабые руки Проши хватаются за мускулистые Сашкины ручищи. Тот гогочет: – Молодец – Светлана! Хорошо ногти обстригла!

Проша задыхается – то растопырит пальцы, то сожмет в кулаки, судорожно взмахивает ими, бессильно бьет душителя... А ноги – не шелохнутся.

Вот руки напряженно вытянулись вдоль тела.

– Это, как его... – сказал Петух, – не сдох?

Сашка-король помотал головой.

– Перед этим говно бы вышло! – и объяснил, что так бывало с котятками, которых он душил голыми руками.

Отнял подушку от Прошиного лица, вглядывается с любопытством. Обеими руками сильно надавил мальчику на грудь. Тот часто-часто, жадно задышал.

– Будешь ползать? Мне шпонки подавать? – поднял над ним подушку.

– Буду.

\* \* \*

Наконец стрелять наскучило.

– А кто у нас такой печальный? – вдруг фальшиво-ласково произнес Сашка, передразнивая тетенек, что так говорят с маленькими.

Палата замерла, предвкушая новую радость. Король запрыгал на клюшках к Кириной койке. Тот, хмурый, лежит в гипсовой люльке.

– И чего это мы помалкиваем? У-тю-тю-тю...

– Йи-ги-ги-ги! – заржала свита. Кто-то захлопал в ладоши.

– Пацаны! А ведь этот ...й, – Петух указал на Кирию, – тоже не орал на девку, что она – п...да!

– И правда! Вот тварь!! – ругань сыплется со всех сторон.

Глобусу трудно говорить в головодержателе, но все-таки он выговорил:

– Я знаю. Он дико злой на короля.

А тот раскурил окурок. Зажав рукой Кирия рот, вдул дым в ноздрю. Мальчишка задохнулся, его забил кашель. Руки, как давеча руки Проши, безвредно ударяют по Сашкиному торсу.

– Кто курил? – король обводит взглядом палату. – Кирилл!

– А-аа-аа!!! – палата взорвалась. – Кто курил? Кирилл! Кто курил? Кирилл!

Петух, Владик схватили мальчишку за руки. Он пытается не дышать, когда Сашка прижимает губы к его ноздре. Тогда тот зажимает ему не только рот, но и нос. Выждав, освобождает одну ноздрю. Едва не задохнувшийся Кирия делает жадный вдох – и втягивает в себя дым. Кругом захлебываются хохотом, визгом. Кто может – скачет на месте.

Если б он был не в люльке, он корчился бы. А так – туго прибинтованный к массивной гипсовой раковине – совершенно недвижим. Недвижим в невыразимых мучениях.

Сашка-король оглядывает палату.

– Во кайфун! Полеживает – покуривает.

– У-у-ух-ху-ху-уу!!!

Глобус повалился к себе на койку, расшнуровал головодержатель. Крикнул неожиданно звучным голосом:

– О-о-ой! Сдохну от смеха!

– Кто-курил-Кирилл! Кто-курил-Кирилл! Кто-курил-Кирилл!

## 21

Пройдут дни. Как всегда, они будут лежать рядом: Кирия, Скрип, Проша. Короля и его свиты не окажется в палате. Приблизится, опираясь на костыль, Коклета.

– Мне вас жальчей жалкого! Но уж глу-у-пы вы! Коли велят орать: "П...да!" – то и ори.

Скрип уже научится ослаблять петлю Глиссона и даже совсем слезать с вытяжения. Когда Коклета отойдет, он расстегнет петлю.

– А ведь Ийка снова заглянет. Если мы не будем ее обзывать, то нам... то нас... – и замолчит.

Они будут лежать молча. Вдруг Проше вспомнится Иван Поликарпович.

Раз он пришел к маме поздно вечером, а она сказала, что комендантша общежития грозит выселить их с Прошей – зачем к ней так поздно приходят?

– Надо ей дать, – сказал Иван Поликарпович, вытащил деньги. Пересчитал их, протянул маме: – Вот это тебе, а эти ей дашь. Положи в конвертик. Зайди, когда у нее никого нет. Поздравствуйся, оставь на столе и исчезни.

Придя в другой раз, он спросил маму:

– Ну?

– В порядке! Сказала мне: "Я тебя понимаю и иду навстречу".

Проша расскажет это Скрипу и Кире.

– Вот бы и Сашке дать денег... Только их нету.

– Я знаю, где найти... – вдруг шепотом произнесет Киря.

Что он слышал от няни Люды! Под ними, где лежат начальники и дети начальников, в коридоре висит огромная люстра, похожая на таз. Больные развлекаются: забрасывают в нее деньги. Завернут монету в пятирублевку и кинут. Надо суметь так завернуть и бросить, чтобы в полете пятирублевка не развернулась и попала в люстру вместе с монетой. Больные не разрешают ни санитаркам, ни сестрам забирать деньги из люстры. Кидают и кидают неделями. Потом играют в домино. Велят принести лестницу, и все деньги достаются тому, кто выиграл.

– В мертвый час в коридоре никого нет, и туда можно зайти, – скажет Киря. – А ходишь только ты, – взглянет на Скрипа. – Я на тележке по лестнице не съеду.

– Ну, зайду... а как достать?

Киря вспомнит. Няня Люда говорила: там лежачим еду не приносят, а привозят на специальных столах на колесиках. Эти столы, должно быть, стоят в столовой. Если один подкатить под люстру, встать на него, то до денег можно добраться.

## 22

В мертвый час он освободился от петли, от гирь. Взял клюшку. Ему надо в уборную! Выглянул в коридор. В его левом конце – пост дежурной сестры. Столик, стул. На столике – лампа с абажуром, телефон. Сестра на месте. Читает книгу.

Уборная находится справа от его палаты. В правом конце коридора – выход на лестничную площадку...

Он двинулся в уборную, клюшка постукивает по полу. Интересно – сестра глядит на него? Оборачиваться нельзя: еще заподозрит.

Зашел в кабину, постоял. Можно бы и пописать, но нельзя отвлекаться. Дернул цепь – спустил воду. Пора выглянуть...

Сестра все так же на посту! Сидит, склонилась над книгой.

Хоть бы на капельку времени ушла!

Он спустил воду во всех кабинках. Досчитал до ста. Хоть-бы-хоть-бы-хоть-бы-ушла!!! Стал снова считать, сбился. Шепотом запел песню – ее часто слышишь по радио. Слышишь после того, как чудной голос (не то мужской, не то женский) скажет: "Говорит Пекин! Здравствуйте, дорогие советские радиослушатели".

Он поет эту песню:

*Всех, кто смел и отважен, и юн,*

*Звал в свою армию Мао Цзедун...*

Ну-ка?.. Никуда она не ушла! О-оо, если бы он был львом – разорвал бы ее! Да хоть бы котом: зашипел бы, пронзительно, ужасно замыкал... Она бы описалась и убежала.

Он яростно мяукает про себя: "Мя-а-ай-йу-уу, мя-а-ай-йу-уу! Мий-йу-уу!"

Сестра сидит. А время – тик-так, тик-так, тик-так... Мертвый час кончится – больные начальники выйдут в свой коридор. И не видать денег! Мятых, истертых, скомканных – но таких чудесных-чудесных денежек! Ийка заглянет в палату, и надо будет орать: "П...да!" А если не крикнешь... О-ооо!

Он вышел из уборной – и двинулся к лестничной площадке. Направился к ней – словно никакой сестры не было на посту.

Клюшка – стук... стук... А спина чувствует, что позади нее – сестра.

"Эй! Это куда?" – она еще не крикнула.

Крикнет! Вот... вот... Майка взмокла. Спине щекотно от стекающего пота. До чего длинный этот коридор!

"Эй! Куда еще?!" – как резко, как громко, как зло – страшно-страшно крикнула...

Нет. Пока – нет. Не крикнула до сих пор? Так кричи! Скорей ори – чтобы он не мучился!

Ор-р-рри-и же!!

В груди – стеснение. В груди слева. И там что-то горячее. До чего противное стеснение. Ф-фу – мутит. Тошнит! Вот она, дверь... Приоткрыта на лестничную площадку... Шаг. Еще шаг. Он на площадке. Уже не в коридоре – на лестничной площадке!

Как трудно обернуться! Сейчас нога подломится – хлопбысь!.. Только бы не упасть от этой дрожи. Раз! – оглянулся...

Далеко (теперь уже так далеко!) – сестра. Читает. Он закрыл дверь. Послал воздушный поцелуй. Его уже не увидишь. Пуст коридор!

Широкая площадка, шахта лифта, стальные двери заперты. Нажми на кнопку – внизу загудит лифт. А в нем – лифтерша... Нет уж! Он спустится по лестнице.

\* \* \*

Правой рукой держится за холодные металлические перила. В левой – клюшка, упирается ею в ступеньку. Он медленно спускается по решетчатым чугунным ступеням. До чего же медленно!..

Наконец он почти на площадке – между пятым и четвертым этажами. Клюшку вниз – вперед... О-ой!.. – бамц! Со всего размаху – о металлический пол! Проклятая "конская стопа" зацепилась за край ступеньки – и он об пол лицом.

Темно. Кошмарная боль. Внутри головы кто-то бешено колотит в виски молоточками. Мамочки, какая мука! Пожалей меня кто-нибудь...

Фиг! Так пожалеют, что...

Лишь бы не услышали, как грохнулся. Встать поскорее. Сил не хватает, гадство! Во рту что-то теплое, сладкое. Тьфу! зуб выпал. А! Он и так шатался. Сплюнуть кровь. "Всех, кто смел и отважен, и юн..." А еще поют: "Смело, товарищи, в ногу..." А то: "Смело за щеку берет, в обе скважины дает..." – так Сашка напевает. Сашка-король. Раз-два-три – о-оо-пля!

Шатается – но стоит! Опирается на клюшку.

Ну – дальше по лестнице...

Он ступил в покои запретного этажа. Здесь не коридор, а галерея: палаты лишь слева, а справа – ряд круглых колонн и окна. До чего от них светло! Между ними – кадки с цветами. Тут, там – мягкие кресла, столики. Пол сплошь покрыт ковром.

Люстру он увидел сразу. Она еще больше, чем представлялась. Висит себе – бледно-голубая. Похожая на треть громаднейшего арбуза – срезом вверх.

А как найти столовую, где стоят столы на колесиках?

Хо-о, вон же он! У стенки слева, между дверями палат. Стол из матово-белого металла, с блестящими ножками, на пузатых, похожих на бочечки, резиновых колесиках. Миленький хороший-хороший чудесненький столичек!

Лишь бы не вышел никто! Скорее к нему... Так – клюшку на него. Взяться за его углы, опереться – и шажок... Еще... Подкатил стол под люстру.

Теперь – на него взобраться... Лег на стол грудью, протянул руки, ухватился за край. Подтягивается изо всех сил, вползает на него животом. Зубы от напряжения – цыг-цыг-цыг... "Всех, кто смел и отва... м-мя-а-йу-уу! м-ми-ий-йу-уу!" – недостает сил! Пижама взмокла.

Закинуть на стол правую ногу – она поживее левой. Ннн-н-у!.. "Смело за ще..." – Готово! Неужели взобрался?

\* \* \*

Уф-ффф! Передохнуть. Вздохнуть-передохнуть-отдохнуть...

А из любой двери могут выйти...

Скорее на ноги – и к люстре! К миленькой богатенькой-пребогатенькой люстрочке! Денег будут полные карманы. Бери, Сашка! Хватай! Пусть няня Люда купит тебе яблок, груш, персиков, шоколадных конфет. Жри-обжирайся!

Но уж тогда Ийка спокойно пойдет к Скрипу. Присядет на его кровать, они будут разговаривать. И никто-никто-никто его не заставит обзывать Ийку!

Он встал на коленки, уперся в стол ладонями. Так. Теперь поднять правую коленку... Выше-выше! Почти достала до подбородка. Упереться носком в стол... Только бы ботинок не скользнул по гладкому столу!

Высунулся язык. Слюнявый язык. Не хватало высунутого языка... Выпрямляться постепенно, тихонечко... Если стол чуть поедет – полетишь на пол. Дышитесь еле-еле. Пот затекает в глаза, щиплет.

Лишь бы левая нога не подогнулась! Вот – он уже упирается руками в коленки. До чего трясутся! Еще легонько вверх – и он стоит на столе. Можно взглянуть на люстру.

Он запорокинул голову... А люстра еще так высоко! И тянуться нечего...

М-м-мя-ай-йу-уу! м-м-мя-ай-йу-уу! м-м-ми-ий-йу-уу! Чуть не кинулся на пол. Слезы хлынули. Не достать! Любимую чудесную богатенькую люстрочку, его-его-его люстрочку, полную денег, – не достать...

Сквозь слезы видит... Кого он видит?! О-оо, Сашку-короля. Тот стоит на лестничной площадке, смотрит в открытую дверь. За ним маячит Петух.

– Не п...данулся, а? – с изумлением сказал король. – Зря ждали. А мурло – разбитое! Какой, с-сука, жадный на деньги!

Он на клюшках подскочил к столу. Следом – Петух. Сорвали Скрипа вниз – разбиться об пол не дали. Но он больно ушиб правый локоть, плечо, висок.

Сашка встал на стол. Взяв клюшку за конец, протянул ее рукоятку к люстре. Рукоять уперлась в ее край. Люстра стала отклоняться – накрываясь. Через край посыпались монеты, полетели смятые пятирублевки. Король слегка принял клюшку на себя и толкнул вновь: встряхнул люстру. Деньги сыпанулись гуще. Он продолжал встряхивать люстру, пока в ней почти ничего не осталось.

– Тебя, Скрипач, на гвоздь посадить мало! – король сказал, когда они вернулись в палату. – Хотел все один захватить, курва! Но за идею я тебя прощаю...

Сашка расплющил на его голове катыш пластилина, надавил большим пальцем – с силой повел против волос. Он вскричал от боли.

– Нервный какой! – повелитель осклабился.

Потом Скрип узнает от Кири и Проши: его выследил Глобус. Заподозрил, почему он так долго не возвращается из уборной? Хотел пойти посмотреть, выглянул в коридор – и усек, как Скрип пробирается на лестничную площадку.

\* \* \*

## 23

На другой день король и Петух снова проникли на четвертый этаж, добрались до столовой. Из холодильника, где держат передачи, украли жареную курицу.

После мертвого часа ее обладатель-мальчишка как раз захотел курятинки... И надулся же! Позвонил по телефону папаше... Обо всем этом поли узнали от няни Люды. Больные

начальники стали говорить: персонал не следит за порядком. "Эти голодные" (так они называют тех, кто лежит этажом выше) – "эти голодные приходят, как домой, и воруют!"

А тут в аккурат – надо же! – пришло время разыграть денежки, что подкопились в люстре. Сели за домино. Велели принести лестницу... а в люстре всего две пятирублевки и десять копеек!

Ну, сказали начальники, это работают не "голодные". Калеки добрались бы до денег без лестницы? Она – под замком. А ключи – у персонала. Вот кто воры-то...

– Закипело-заварилось, к-х-хх!.. – няня Люда сипло захихикала, и ее передернуло всю от головы до пяток. – Кого-то вышибут! Под суд отдадут. Не кради у людей.

– А мы – не люди? – сказал Сашка, когда она ушла. – Вот блядская старуха! Сама наши передачи ворует – и ни х...я!

Поли загалдели: "Конечно, Сань! Конечно!.." Они отлично знают, как крадут няньки, санитарки, сестры... Из них никто не покупает хлеб – его "приносят с работы". Таскают сахар, какао, сливочное масло, сметану, яйца. Новое белье подменяют старьем. Повариха разбавляет молоко, компот, срезает лучшую часть мяса. А то, что осталось, по два раза вываривает и бульон забирает себе, и уж только потом вываренные остатки идут на щи больным. Не просто больным – а обездоленным на всю жизнь, заброшенным, замученным детям-калекам.

У одного мальчишки отец работает на плавучем заводе, где перерабатывают выловленную рыбу. Отец прислал посылку в десять кило: икру, разные сорта рыбы. Бах-Бах захапала все. У другого мальчишки молоденькая мать вышла замуж за грузина, уехала к нему в Самтредиа. Мальчишка лежит четвертый год, и каждые два месяца приходят посылки с фруктами. Сестры, няньки жрут абрикосы, мандарины, изюм, грызут орехи, делят лимоны...

Маленьких калек обворовывают деловито, обыденно. Какой там суд?!

Поли возбужденно толкуют об этом, перебивая друг друга.

Высказался Сашка-король:

– Идут споры: кто – воры? Вор крадет у кого почище, а не вор – у нищих!

Подбросил и поймал курицу:

– Дели на каждого! А мне этого хватит. – Отправил в рот гузку.

Даже Скрипу, Кире и Проше досталось по очереди поглотить крылышко.

\* \* \*

Коклета обсасывал куриную шейку, когда вошла сестра Светлана. Она не обратила б на него внимания, если бы он не ойкнул, не выронил шейку на простыню.

Сестра метнула взгляд – и догадалась. Она знала о пропаже курицы.

– Ах, вот кто это сделал!

– Тетя Лана, сжальтесь! – Коклета сполз с койки, обхватил ноги сестры Светланы. – Ы-ы-ы! Не выдавайте! – был, целовал ее гладкую икру, голень, лодыжку.

– Перестань сейчас же!

– Добренькая тетя Ла-а-на! Ы-ы-ыы! – облюнявил всю ногу.

Она хочет вырвать ее – не тут-то было.

– Ты прекратишь?!

– Сжа-а-льтесь, добрая, золотая, брильянтовая!..

– Да что это такое? – сестра Светлана, наконец, освободилась, отскочила, но он с воем пополз к ней. Слезы, слюни оставляли на полу лужицы.

Она подняла его, посадила на кровать.

– Зачем ты взял? Был голодный?

– О-о-ой, как голодно-то! О-о-ой!

Сестра Светлана смотрит на него:

– Что-нибудь придумаем. Подожди! – стремительно вышла. Вскоре принесла поднос с хлебом и тарелкой. На ней – котлетка, вермишель, политые противной томатной подливкой.

– В-во-о! – восхищенно воскликнул мальчишка. Быстро прибрал все без остатка.

– Стало получше? – сестра Светлана протянула руку. – Давай поднос.

– А? Под чей? – спросил Коклета.

– Что? – не поняла она.

– Под чей нос-то? И чего – под него?

– Теперь остришь, плакса? – улыбнулась, потрепала его по голове.

А Коклета вовсе не острил. Он в самом деле не знал, что эта штука, на которой ему принесли еду, называется подносом.

\* \* \*

Сестра ушла, и Коклету подтащили к королю, что уселся на подоконнике.

– Ну ты, колхозник еб...й! Откуда научился так жалобиться?

Мальчишка рассказал: мать с бабкой научили. У них вся деревня воеет, на коленях просит, когда приезжает какой-нибудь начальник.

– Чего просят?

– Улучшения.

Сашка-король хмыкнул.

– И... бывает?

– А то нет? – Коклета хитро усмехнулся.

Рассказал, что их главный (он имел в виду председателя колхоза) раньше ходил по дворам с двустволкой: не попадутся ли у кого-нибудь вместе свинья и гуси? Держать одновременно и свинью, и гусей было запрещено. Если председатель такое заставал, то, смотря по настроению, палил либо в свинью, либо в гусей.

После жалоб он уже так не делает. Где окажутся гуси и свинья, оставит зарубку на дери, и хозяева сами выбирают, кого зарезать и сдать заготовителям.

И еще он перестал в погреба лазить топтать картошку.

– Топтать картошку?

– Во, во... – кивнул Коклета.

Колхозникам запрещено также держать по две свиньи. Председатель подозревает то одного, то другого, что тот хочет тайком завести вторую. Смотрит: сколько в погребе картошки? Если кажется много: ага, для второй заготовлено! И давай картошку сапогами топтать.

– Давно уж перестал, – доволен Коклета. – Мы картошки едим, сколь хотим! Маманя по полному котлу варит. А в него заходит поболее ведра!

## 24

Однажды вечером в палате были только Скрип, Киря, Проша да еще двое-трое лежащих. Вдруг прискакал, стуча костылем, Коклета.

– Ой, режут! И ре-е-жут-то... ужаси! – упал ничком на кровать, зарылся лицом в подушку. Вздрагивает.

Оказывается, в этот вечер в столовой установили телевизор. Конечно, Коклета телевизоров никогда не видел. Включили – идет фильм о том, как пять пограничников воюют против целой банды, что переходит границу туда и обратно. Бандиты заставляют

крестьян прятать их. Кто слово вякнул – закалывают кинжалом. Хватъ за бороду старика – и горло перерезали...

Фильм кончился, поли возвратились в палату, хохочут над Коклетой. А он:

– Не, робяты! Для че глядеть это? Страх! Гольный страх и убивство...

Наутро Роксана Владимировна делала обход. Скрип и Киря стали упрашивать, чтобы разрешила по вечерам смотреть телевизор. Не отвечала ни полсловечка, точно и не слышала. А перед обедом заглянула сестра, от двери указала пальцем на Скрипа:

– Тебе разрешили.

– А мне? – спросил Киря.

– Нет!

\* \* \*

Телевизор "Рубин" стоит на большой тумбочке. Столовую называют теперь еще и красным уголком.

Скрип впервые увидел телевизор в гостинице "Восток", где они с мамой жили – перед... Перед тем как...

Теперь он каждый вечер смотрит "Рубин". До чего интересно! Картина про пиратов: они заимели подводную лодку. Сидят в ней оравой, оттачивают страшные тесаки. А лодка несется под водой и острым носом – дульц! – в подводную часть громадного парусника...

А то – про охотника на тигров. Эх, и тигрище! Разинул пасть во весь экран – как рыкнет! Коклета бы описался. А Скрип только заслонился рукой – и все.

Дежурная санитарка злится, что появился телик. Ей приходится протирать полы в столовой после девяти вечера, когда детей гонят по палатам. Она не ждет, пока все выйдут. Шваброй "подсекает" искалеченные ноги отставшим. Дети грохаются, а она шипит:

– Навели вас тут! Могила вас вылечит!

А сама-то с дежурной сестрой сядет и давай дальше телик глядеть.

## 25

В тот вечер ожидалась картина "Смерть в седле". Это ль не интереснее всего, что только может быть? Даже на вытяжении лежать стало не так невыносимо – знаешь: фильм-то все ближе, ближе...

Днем дежурила Бах-Бах и за что-то наказала троих поли: среди них Владик. Бах-Бах забрала штаны и трусы, чтобы не смогли пойти в красный уголок. Двое взяли одежду Кири и Проши – все равно они лежат.

Настало время идти. Скрип, дождавшийся, наконец, этого момента, расстегивает петлю – а Владик и подскочи. Сорвал с него трусы. Хватъ штаны. Натянул – и бегом.

У-у-уу! Он дрыгал правой ногой, которая поживее левой. Бил себя кулаками по голове. Скрежетал зубами. И встал, снял с подушки наволочку, разодрал по швам. Киря помог обернуться ею, завязать сбоку узел. Поверх Скрип обернулся еще и полотенцем.

Тихонечко вошел в темноту красного уголка, полного детей, присел на стул с краешку. На экране строчил пулемет, за всадником в черной бурке мчалась погоня, конники в папах стреляли на скаку, с каким-то завыванием размахивали саблями... Кажется, вся комната должна смотреть лишь на это...

Но по рядам поползли смешочки: "В белой юбке, хи-хи-хи!", "В юбочке сидит!"

Включился свет. Сгорбленная тонконогая, на высоченных каблуках, сестра Надя топает к нему. Она приняла у Бах-Бах дежурство.

– Вон оно что! Наказанный! А ну – марш в палату!

Скрип дрожит. Старается объяснить: он вовсе не наказанный!



– Вон кто... вон... – показывает на Владика.

– Он одетый! – вопит сестра Надя. – Еще и лжешь!

Схватила его за ворот пижамы, потащила к двери. Он уцепился за портьеру, рванулся что есть сил назад... Левая нога подогнулась: грох навзничь – и портьеру сорвал.

Надя пронзительно завизжала. Цап-цап его за ухо. Пока уцепила ухо, ногтями ободрала кожу вокруг. Он силился подняться, а она дергала-дергала его. И когда он все-таки встал – тут же упал на коленки от ее рывка. Но его ухо не выпустила. Тянула-тянула – пока не выполз на четвереньках в коридор.

– Др-р-рянь пр-роклтая! Сволочь! Тварь! – горбунья заходилась злобным хрипом, тряслась, вся багровая. Брызги слюны обдавали его.

Он не хотел ложиться на койку, и она с размаху дала ему по затылку. Киря и Проша не выдержали: не он наказан! Не он, а Краснощеков! Краснощеков надел его трусы, штаны...

– Ничего не знаю! – Надя оставила его совсем голым на кровати. Ушла. Вскоре пригнала Владика.

– Оба отдохните!

До чего же Скрип мучился, что Ийка, наверно, видела, как он ползет по коридору в дурацкой юбочке!.. Но Ийка не видела. Иначе – разве б не вступилась?

Накануне ей вырезали аппендицит.

\* \* \*

Днем король объявил Скрипу кару за то, что "выдал своего". Его должны "обуть в горяченькое".

Шнурок от ботинка повозили в манной каше, положили на горячую батарею. Высохнув, он сделался заскорузлым, шершавым, как напильник.

Скрип лежит на вытяжении. Щиколотки охвачены ремнями, на которых висят гири. Ноги недвижны. Мальчишки пропускают шнурок меж пальцев ноги и, действуя им как пилкой, стирают кожу до крови. Владик здоровой рукой зажимает Скрипу рот. Четыре "расшивки" сделаны меж пальцев левой ноги. Столько же – между пальцами правой.

– Без канифоли скрипка не пиликает! – вскричал Сашка-король. – Канифоль!

Из столовой принесли солонку. Раздвигая пальцы ног, принялись втирать в кровавые ранки соль.

Скрип кусает Владика руку – тот отдергивает ее. И тогда Скрипка кусает руку себе, чтобы не закричать. Но все равно вырываются стоны, всхлипы. От боли по телу пробегает мучительная дрожь. Вдруг Сашка приказывает своим:

– Хватит карать! Пусть успокоится...

Король, его свита покинули палату. Из столовой взрослых они украли горчицу. Вечером Сашка подскочил к кровати Скрипа:

– Выбери: или опять "расшивочку", или играем в "зжмуренные глазки"?

Снова раздерут раны между пальцами ног? снова – жуткая боль от соли? Нет-нет-нет! И он выбрал "зжмуренные глазки". Его освободили от лямок, от гирь, помогли слезть с койки. Посреди палаты поставили перевернутую кверху ножками табуретку. Сашка с пренебрежением махнул рукой:

– Он не усидит на ножке. Лучше "расшивку"...

– Нет, нет, не надо! Я усижу!

И он пытается усесться на ножку табуретки. Ему помогают: сесть нужно так, чтобы опираться только на копчик. Это, правда, немного больно, но он не показывает вида. Сашка держит в руке горчицу:

– Закрой глаза крепче!

Зажмурился. Сашка намазал ему веки горчицей.

– Сиди, сколько выдержишь.

Боль в копчике все сильнее. Привстать бы! Но мальчишки развели его ноги, не дают упереться ими в пол. Он прикусывает губу. А ему шепчут в одно ухо и в другое: "На шестке сидит сверчок! Чок-чок. На шестке сидит сверчок!" Боль пронзает копчик: встать-встать-встать! "На шестке сидит сверчок..." Терпеть-терпеть-терпеть... Слеза сбежала по щеке.

Голос Сашки-короля:

– Не можешь больше?

– Не-е-т!

Король приказывает: пусть встанет. Ему помогают подняться. Стоит с зажмуренными глазами: слезы так и льются. Растворили горчицу на веках, она попала в глаза.

– Ой-ой-ой!

Трет руками глаза и, крича, валится, елозит по полу. Кошмарная резь под веками. И хохот вокруг, радостные взвизги.

Как жжет! как жжет! – глаза вот-вот лопнут.

– Зажмуренные глазки! Трам-тим-там! трам-тим-там!

Наконец король велит схватить его и держать за голову. Набирая воды из графина в рот, пускает струю в глаза, смывает горчицу.

\* \* \*

...Сколько еще мук достанется Скрипу, Кире, Проше! Короля бесит, что они, единственные в огромной палате, – "понтятся".

Раз Скрипу выдавят в рот полтюбика зубной пасты. Выдерут по пучку волос из висков.

Однажды "черная дивизия" станет по очереди садиться голыми задницами ему на лицо и пердеть.

Как-то шесть дней подряд будут сморкаться в его суп, в гуляш или на котлету, и придется лежать без обеда.

## 26

А дома за обедом мать ругала, что он мало ест. Пугала: у него сохнется желудок, и он умрет. Ему становилось страшно... Вот бы сейчас оказаться дома: услышать это опять. Ох, и смеялся бы он!

Что за счастливое местечко – дом! Прекрасный-прекрасный! Родной-родной!

Кто убедил бы Скрипа, что его чудо-дом – неказистое унылое строение?

Сборный финский двухэтажный "коттедж" на восемь семей. Без канализации, без водопровода. По соседству – лишь одни бараки, вросшие в землю, сырые, тесные. И поэтому двухэтажная неприглядная постройка звучно зовется "коттеджем". Штукатурка во многих местах отпала: открылись доски, крест-накрест обшитые дранками.

Семья Скрипа живет на втором этаже. Две комнаты глядят на улицу – немощеную, неасфальтированную. Она вся в колдобинах. Машины часто буксуют на ней. Кухня выходит во двор, на общий длинный дощатый сарай. От дома к сараю проложены дорожки из камней, вокруг растет травка.

Летом, когда во дворе сухо, Скрип ходил с клюшкой, сидел возле сарая на скамеечке, которую ему сделал отец, смотрел на соседских кур и на двух петухов. Один петух – соседки тети Шуры, а другой – тети Раи. У тети Раи петух весь белый-белый, и его он про себя зовет Скакун, потому что один раз в кино он увидел красивую белую лошадь и отец сказал на нее:

– Какой скакун!

А петух тети Шуры – красно-рыжий с бурым и с черным, и его он зовет Павлин: в книжке "Восточные сказки" на картинке есть такой цветастый павлин.

Когда Павлин со Скакуном дерутся – вот это да!..

Только приходится очень долго ждать, пока они подерутся... Все ходят друг возле друга кругами, ходят, клюют землю, кококают, кококают... ну вот встали – должны подпрыгнуть, сшибиться... Сшибайтесь! Ну! А они вдруг возьмут и разойдутся.

Он всего-то два раза видел, как они подрались. И то в первый раз, лишь они стали по-настоящему сшибаться, выбежала дочь тети Раи Алька и скорей разгонять:

– Кыш! Ах, паразиты! Кыш! Кыш! – топала ногами, хлопала в ладоши, замахивалась, пока петухи разбежались к своим курам в разные стороны двора.

Зато во второй раз уж была драка!.. Но когда он вышел во двор, она кончилась... Он понял, что была отличная драка, потому что Скакун лежал возле сарая и шевелил откинутым крылом, а на земле вокруг темнели брызги. Он понял: это кровь – потому что на белых перьях Скакуна тоже были брызги и они так и сверкали на солнце красным... А Павлин стоял сбоку от сарая под забором, стоял среди своих кур, как чучело: не ворохнется. Весь в крови, на нее налипли пыль, травинки и всякий мусор.

Скакун раза три вставал и все падал. А после встал и пошел, пошел к своим курам в другой конец двора и даже стал кудахтать.

Эх, и жалко было, что он не видал боя! Правда, отцу сказал – видал. А тот:

– Значит, белый находился в глубоком нокауте! Интересно, признает он себя побежденным?

– А если нет?

– В таком случае они опять будут выяснять отношения.

И Скрип каждое утро садился у сарая ждать, когда петухи будут выяснять отношения. А его взяли и отвезли сюда...

## 27

Когда короля и свиты нет в палате, они лежат и тихо рассуждают. Как было б здорово отсюда удрать... У них под матрацами – фанерные щиты (здесь не положено лежать на мягком). Из этих щитов сделать планер – и полетели!..

Они прилетят в Африку. Чтобы на них не напали львы или носороги, жить будут на гигантском баобабе. Устроят на нем шалаш, покроют его листьями огромной пальмы. Конечно, лазать по баобабу они не сумеют. Поэтому укрепят на ветвях сплетенные из лиан гамаки – будут себе полеживать в них, раскачиваться. Приручат шимпанзе, и те станут носить их на себе...

По радио поют: "Как хорошо расцвел родной Китай..." На этот мотив они придумали свою песню:

*Как хорошо*

*Расцвел наш баобаб,*

*Как хорошо*

*Расцвел наш баобаб!*

*О, буги мамбо так-так-так!*

*Эту песню все поют!..*

Хлопают в такт в ладоши. "О, румба негро, о, румба негро, о, буги мамбо так-так-так!"

– Да... – Киря задумался. – Но ведь планер надо как-то запустить! Он же должен подняться на высоту.

– Хо! – говорит Проша. – А "гусь" на что?

Планер у них будет со складными крыльями. Подвешат его к "гусю". Усядутся. И станут раскачиваться, как на качелях. Раскачаются так, что больше уж некуда, в нужный момент перережут шнур – планер в окно. А там крылья раскроются... понесет их в Африку.

Все это бы хорошо – но Сашка не даст. Отнимет планер. Сам захочет полетать.

– Пусть! – говорит Скрип. – Он будет раскачиваться, а мы – чик! – перережем шнур раньше, чем надо...

У планера не будет сил взвиться. Едва вылетит в окно, крылья раскрыться не успеют – он вниз. Бац об асфальт! Что, король, слетал в Африку? Во фокус!

...Конечно, они знали: никакого планера не будет.

## 28

Петух и Глобус придумали свой фокус. Рассказали Сашке – он разрешил.

В ту ночь дежурила Бах-Бах. Слышит: в какой-то из палат насвистывают. На этот раз ей не почудилось. Несется по коридору, заглядывает в палаты. Ага! Вот откуда свист! Ворвалась к поли.

В темноте на стуле сидит мальчик.

– А ну – в кровать, пар-разит!

Ринулась к нему... Громых – рухнула, головой – в ножку стула. Опрокинула его вместе с мальчиком. Взыла:

– О-о-ой! Не могу-уу!

У нее сломана рука. Отбит бок. Подняться не может...

Пол перед стулом был побрызган водой, натерт мылом. А "мальчик" сделан из корсета с головодержателем и аппаратов, которые надевают на ноги. Все это обрядили в пижаму, на головодержателе закрепили мячик.

– Убила его... не шевелится... – испуганным голосом проговорил Петух.

– Убила! – подхватил Владик, и уже отовсюду слышится: – Убила, убила!..

– Я его не трогала! – кричит Бах-Бах. – Это вы его... вы... Он сам... – Она крепко выпивши.

Кругом заливаются беззвучным смехом.

– Миленькие! – взмолилась. – Кто у вас ходячие? Я встать не могу! Сходите на пост. Под стеклом – номера телефонов. На четвертый этаж позвоните – пусть врач придет...

На четвертом ночью не только сестра дежурит, но и врач.

Поли не спешат включать свет. Потихоньку утянули "мальчика" – разобрали. Петух отправился звонить – и нарочно вызвал "скорую помощь".

– У нас в институте дежурная убила! Скорей-скорей... помирает...

Бах-Бах грузной тушей лежит на полу. То охает, жалобно причитает. То – матерится.

Но вот в коридоре – быстрые шаги. Входят молодой врач, две медсестры.

– А? Кто это? – она увидела чужих, испугалась. Вдруг кричит: – Я его пальцем не тронула! Он сам убили... Эти зар-разы пар-разитские его убили...

Врач переглянулся с медсестрами.

– О ком вы говорите?

Бах-Бах уставилась на него мутными, налитыми кровью глазками. Роба – краснее вареного рака. Поворочала башкой. Валяется опрокинутый стул. Все поли – на койках.

– Куда дели?! – взревела, сжала здоровую руку в кулак, затрясла им.

– Однако... – сказал врач. – Успокойтесь. Сейчас придут носилки.

\* \* \*

Какая же была радость! День проходил за днем, а она не утихала. Поли узнали от нянек, что Бах-Бах, наверное, уволят. Врач "скорой помощи" сообщил, что она "находилась в состоянии алкогольного опьянения".

А тут и окна расклеили – весна! Первым высунулся наружу Сашка. Набрал воздуха, сунул пальцы в рот – как свистнет!

Внизу прямоугольный длинный асфальтированный двор. В него выходят подъезды двухэтажного жилого дома, что стоит напротив института.

– Дворовые падлы в футбол играют! – обернулся король к свите. – Кинуть в них нечем, гадство!

"Черная дивизия" выставилась в окна. Внизу мальчишки гоняют дырявый резиновый мяч. И вдруг поли, изуродованные болезнью, принялись – и с каким жадным удовольствием! – находить изъяны у здоровых дворовых мальчишек.

– Вон тот в кепке – какой косолапый! Га-га-га!

– С такими ножками в футбол играть! Ну-у, дур-р-рак!

– Игорь Нетто х...в!

– А тот, смотрите, – фитиль!

– Футболисты, в рот их е...ть! Выблядки! Х...та сраная!

Был бы у "черной дивизии" пулемет! Да хотя б дробовик. Садил бы картечью в этих счастливых, что с такой легкостью бегают и прыгают, наподдают мяч, наслаждаются весной...

– Отродье криволапое! Недоноски! Смотреть же – смех! У-у, пас-с-скуды...

Настоящие футболисты, настоящие боксеры, борцы, самбисты – могли выйти только из поли. Если бы не болезнь. Они, только они могли (должны были!) быть по-настоящему стройными, сильными, красивыми. Судьба ограбила их! Их место заняли эти засранцы...

\* \* \*

Из мусорного ведра в уборной вытащили коробку из-под торта. В соседней палате украли наволочку. Смастерили "парашют". Сашка и Петух испражнились в коробку, закрыли ее, подвесили к "парашюту". И пустили за окно.

Груз приземлился довольно мягко – коробка не открылась. Дворовые мальчишки оставили мяч, направились к ней.

– Не бери-и-те! – заорал Сашка-король во всю глотку. – Это не вам!

Те, задрав головы, глядят на него.

– Нельзя бра-а-ать!! Оболью!

Двое поспешно устремились к грузу. Сашка выплеснул из таза воду. Вода – шлеп-п-п об асфальт. Любопытные отскочили на безопасное расстояние. Грозят кулаками королю и свите, что высунулась из окон. И посматривают на груз. Наконец сразу трое метнулись к нему, один – цап! Бросились прочь.

У подъезда дома мальчишки сгрудились над добычей. Вдруг – врассыпную.

– О-о-го-го-го-о! – грянуло сверху.

Король высунулся в окно, правую руку вытянул вниз, к дворовым: – Эй, вы! – левой рукой схватил за волосы Глобуса – держит его голову, чтобы не свешивалась. Дворовые тарашатся снизу. Вдруг слышат громкое, разносистой, с "протягом":

*На зеркальном на паркете*

*Буги-вуги режет Кэтти,*

*И це-ээээ-лый джаз*

*С нее не сводит глаз:*

*Кэ-ээээт-ти!*  
*Красавец Джон*  
*В нее влюблен.*  
*Кэ-ээээт-ти!*

29

Снова появились военврачи. Перед их приходом всех, как и в прошлый раз, уложили в кровати.

Невероятно: врачи стали раздавать подарки! Маленьких пластмассовых волков – почему-то светло-коричневых. И зеленых козлят.

Златоверов склонил тощую физиономию над Сашкой.

– Ну как? Продолжаем шутить? Э-ка разыграл тогда! Я был уверен: мы и вправду не владеем речью.

Король нагло глядит на него.

– Поговори с нами, – попросил Радик.

– Стимула нет! – бросил Сашка.

Златоверов воззрился на помощников.

– Вы помешались на их умственной ущербности! Вот вам – по мордасам!

– Маловато, – возразил Миха. – Если б он, допустим, анекдот рассказал...

– Загнул! От кого анекдот... – усмехнулся Тольша: плосколицый, со странной челкой полукругом.

– А я могу! – заявил король. – Про наш институт!

– Это, должно быть, очень интересно, – сказал старший. Глаза за стеклами очков – пристальные, холодные.

Сашка не замешкался:

– Одного мужика звали Ин. Он не умел хорошо читать. Идет по улице – и вдруг охота срать. Смотрит: дом, подъезд, написано: "Институт". А он прочитал: "Ин сри тут". Зашел, насрал кучу. А в институте проходит съезд врачей. Вахтер к Ину подбег: "Ты чего наделал? Здесь же съезд!" А Ин: "И пускай съест! Хоть здесь, хоть где! Мне не жалко".

– Хо-хо-хо! – покотился со смеху Тольша. Миха вторит ему. Радик было улыбнулся, но сразу посерьезнел.

– Да-с... – заметил Глеб Авенирович. – Чтобы иметь моральное право... работать *над ними* – нужно быть немножко повыше их. По ин-тел-лек-ту!

\* \* \*

– Вы ведь военные врачи! – сказал король Златоверову. – А от нас вам чего надо?

Тот медленным движением поправил круглые очки в стальной оправе.

– А ты хотел бы быть военным? – меж тонких губ взблескивают металлические коронки. – Вы хотели бы быть военными? – обводит взглядом палату.

Поли подавленно молчат. Еще бы не хотеть! Они были б самыми лучшими на свете военными летчиками! Моряками. Танкистами. Разведчиками... "Э-эх!" – вырвалось у кого-то.

– Значит, – веско сказал врач, – мы должны быть друзьями! Большими друзьями! И я могу доверить вам тайну...

У мальчишек заблестели глаза.

– Но – чур! Не болтать!

– Ага! Ага! – раздается со всех сторон. – Конечно!

– Американцы готовят нападение на нас. С ними заодно немцы, японцы, другие опасные хищники. Они мечтают уничтожить всю нашу страну...

– Водородными бомбами! – вставил Владик.

Златоверов кивнул:

– И не только ими...

Все нетерпеливо ждут тайны. То, что услышали, они знают с младенчества. Об этом ежедневно толкует радио.

– Мы должны их победить. Разгромить!

Мальчишки дружно поддерживают военврача.

– Но война будет очень трудной, – его прокуренный голос сделался донельзя проникновенным. – А кто хорошо знает, что такое трудности? Вы! Вы каждую минуту испытываете их. Боль, физические мученья... Поэтому необходимо исследовать ваши организмы, чтобы на вашем примере научить наших солдат, офицеров, всю нашу армию – преодолевать трудности так, как преодолеваете их вы! Чтобы все наши военные стали такими же терпеливыми, выносливыми, стойкими...

Палата всколыхнулась. Сколько гордости в глазах у поли! У некоторых – слезы.

– Давайте! Обследывайте! Пожалуйста!

Но вот военврачей нет. Сашка-король вмиг на подоконник.

– Ой, дураки вы! А этот Жестяной – и хитрая же сука!

\* \* \*

Перед "хитростью" военных беспомощны не только дети, но и все многомиллионное население страны. Готовясь к наступательной биологической войне, советские правители будут испытывать оружие на собственном народе. В 1974 в городке Кольцово, в тридцати километрах от Новосибирска, начнет действовать засекреченный институт молекулярной биологии и прикладной вирусологии: его "продукцию" распылят с самолетов в 1979 над регионом Новосибирска. Аналогичные эксперименты будут выполнены в Узбекистане в районе города Нукус.

В начале апреля того же 79-го в Чкаловском районе Свердловска взорвется кассетный боеприпас с микробиологической "начинкой". Она поразит, главным образом, здоровых, крепких работоспособных мужчин. Врачи больниц, куда станут во множестве привозить умирающих, не будут знать, с каким заболеванием они имеют дело: сверху поступит запрещение вскрывать тела умерших. Будет предписано указывать причиной смерти "сепсис" или "отравление".

Эти и подобные факты вскроются лишь в 90-е годы.

### 30

Скрипа возят на второй этаж. Он ходячий, но санитарке, чтоб не терять времени, велят привозить его в кресле на колесах. Спускаются на лифте.

На втором этаже нет палат. В кабинетах выставлены образцы протезов, корсетов, всевозможной ортопедической техники. Стоят скелеты уродов. В других помещениях – приборы для исследований.

Его положили на кушетку голым. Златоверов, трое помощников укалывают специальными иголочками, ворочают его, постукивают резиновым молоточком. Приподнимают парализованную левую ногу, велят держать на весу – но она падает. С помощью прибора заглядывают ему в зрачки. Берут кровь из пальца, из вены, из мочки уха. Заставляют дуть в трубку, чтобы измерить силу легких.

– Интересненький букет! – замечает Радик. – Как здесь поведет себя "бэшка"?

– Может, – роняет Тольша, – очаг будет совсем не там, где ему положено?

– Тьма вопросов, друзья... – произносит Глеб Авенирович, слушает грудь Скрипа. – Не начнется ли в данном случае с астмочки?

У врача мосластые руки, длинные пальцы желты от никотина. Помог мальчику сесть в кресло с эбонитовыми подлокотниками. К ним пристегнули запястья. К предплечьям присоединили провода. На экране прибора вычерчивается светящийся зигзаг. Из другого прибора поползла бумажная лента. В руки Скрипу дали эспандеры – резиновые колобки.

– Жми быстрее, сильнее – как только можешь! – велит Миха.

Скрип старается. Врачи следят за экраном, рассматривают ползущую ленту. Старший, кажется, доволен. Достал янтарный мундштук, воткнул папиросу. Он курит исключительно "Беломор". Стоит, чиркнул спичкой. Сухопарый, немного выше среднего роста. Волосы гладко зачесаны назад, впалые щеки, срезанный подбородок. Пристально глядит на сидящего в кресле.

– Ну-с, дружок. А ты можешь принести пользу армии. Заметную пользу.

Златоверов и Тольша отошли к столу. Старший диктует – помощник записывает.

Скрип сидит на кушетке, надевает штаны. Радик и Миха расположились на венских стульях, вытянув ноги. Оба поджарые. Радик – смазливый брюнет с тщательно подбритой ниточкой усиков. Коллега – темно-русый. Маленькое лицо. Густейшие жесткие волосы торчат над низким лбом, будто щетина дикого кабана. Лоб, несмотря на молодость, – в частых продольных морщинах. В круглых близко посаженных глазах – любопытство.

– Как у тебя с Роксаной? – спросил Радика.

– Пока глухо, как в танке. Думаю, не катнутся ли к Светику?

– Ну уж нет! – Миха помрачнел.

– А у тебя что – наклевалось?

– Ну... – Миха собрал кожу лба в гармошку. – По-моему, она ждет подарков. И не дешевых.

– Не жмоться! А то я...

Оба посмеиваются.

...Сестра Светлана назначена помогать военврачам. Ее часто видишь на втором этаже.

### 31

Раз в палате Сашка-король говорит:

– Меня обследуют, а сами треплются! Тольша мечтает Нонку вы...ть. А этот, с прической "дикобраз", – Светку. А усатенький блядун к Роксане кадрится. Гадом буду, если не выслежу...

После обеда король и Петух задерживаются в столовой. Прячутся за оконными портьерами. От столовой до лестничной площадки – два шага.

Мертвый час. Они – на лестницу. Тихонько спускаются на второй этаж. Подкрадываются к дверям кабинетов, слушают... Если их застают – говорят, что снова пришли на обследование. Уж так охота помочь армии!

Это вызывает улыбки.

– Патриоты! Какие прыткие! За вами придут, когда будет надо.

Они уходят на площадку. Переждали – и назад...

\* \* \*

Примчались в палату – оба невиданно возбужденные. Не присядут. Сашка носится на клюшках от окон к двери и обратно. Петух на костылях разворачивается туда-сюда, крутит башкой. Переглянулись – давятся хохотом. Вспотели – словно из парной.

На Сашкиной харе – потеки зубной пасты, что смешалась с поплывшей черной и красной акварельной краской. Раздуваются огромные ноздри. Рачьи глаза сверкают.



– Ну, братва, вот это да-аа! У меня так и стоит! – он приспустил штаны, показал торчащий член.

Король и Петух крались по коридору второго этажа. Зашли в пустой кабинет. Часть его отделена фанерными стенками, вход в каморку закрыт темной шторой. Это оказалась фотолаборатория.

В коридоре шаги. Мальчишки – в каморку. Вошли Миха и сестра Светлана. Он запирает дверь на ключ.

– И все тихомолком... – Сашка едва справляется с приступом смеха. – А мы шторку чуток отодвинули – нам все видать... У Светки жопа как заголилась! Эх, и здоровая! белая-белая! На лежанку...

– Он хотел ее рачком, – перебил Петух, – а она – не-е...

– Она на спинку, – продолжает король, – ноги согнула, оттянула на себя, руками помогает – вот так... во... Нам видать и п...ду, и его ...! Он коленками на лежанку, на ее ляхи налег – вкрячил... Г-ха-ха-х-хх... – рассказчик задохнулся.

– Ох, и е...а-аал! – Петух восторженно мотает башкой.

– Ушли довольные... – Сашка осип от смеха, прокашливается. – И не знают, что мы видали...

Вновь и вновь описывают в подробностях увиденное. Палата слушает разинув рты. Смешки, восхищенные взвизги, вскрики.

Вдруг кто-то завыл. Коклета! Сидит на койке, ревет во все горло, текут слезы, слюни.

– Братва! – вскричал король. – Он же ревнует!

Вся палата сотряслась в бешеном гоготе.

## 32

Златоверов усадил Скрипа на тренажер – вроде велосипедика. Опять к предплечьям прикрепили провода. Велит:

– Поехали!

Он нажал на педаль правой ногой: тяжелое колесо провернулось на весу. Теперь надо давить левой – а она не слушается.

– Работай той, что действует! – подгоняет Радик.

Он вложил всю силу в правую ногу – колесо вращается. Вдруг левая соскользнула с педали, больно ударилась о нее. Со щиколотки содралась кожа – кровь...

– Ерунда! – роняет Радик. – Хочешь быть солдатом – будь им!

Стопу примотали к педали изоляционной лентой.

– Давай!

Он налегает правой – вращает колесо, "возит" левую. Старается.

– Быстрее-быстрее-быстрее!!!

В висках пульсирует боль. Все тяжелее дышать. А они торопят-торопят. Смотрят на экран, на ползущую бумажную ленту. Вдруг – темно. Обморок.

...Он лежит на кушетке. Миха измеряет давление, слушает сердце.

– У нас есть все, чего ни пожелаешь, – повернул голову к Златоверову. – Дистрофики? Натя! Крепенькие? Пожалуйста! И середнячки. И полные паралитики. Есть паралич вялый, есть спастический...

– С поражением головного мозга и без! – вставил Радик. – Насколько различно будет проявлять себя "бэшка"?

– Иммунная система... как покажет себя здесь? – Златоверов указал на Скрипа. – И как – при церебральном параличе?

Врачи продолжают обсуждение. Потом старший отошел к столу, занялся бумагами. Трое помощников расселись на стульях.

– Ко мне Нонна нынче с сюрпризом, – делится Тольша.

– Что такое? – любопытствует Миха.

– Заявила: Попов узнал! Лютует страшно. Вытуривает ее с работы. И... она на меня так смотрит... – на простоватой физиономии Тольши досадливо-недоуменное выражение вроде: "Я щи просил, а что дали?"

– Она хочет, чтобы ты на ней женился, а ты пасуешь, так? – смеется Радик.

– А мы женим, женим! – потирает руки Миха. – Или я к ней клинья подобью...

– У меня тоже новостишка. – Радик многозначительно помолчал. – Роксана...

– Дала? Ну-ну-ну?..

\* \* \*

### 33

Ийка поправилась после операции. И пришла к Скрипу и Проше. Они не обозвали ее, как было приказано.

Когда Ийку вытолкали, король велел снять с ног Скрипа гири: тяжелые стальные диски. Его стащили на пол, повалили навзничь. Диски сложили в две стопки, придвинули к голове с двух сторон. Голова зажата ими. Уши поддеты краями дисков – прижаты к стали.

Опираясь на клюшки, над ним наклонился Сашка. Зияют дрожащие ноздри. Толстый кончик носа круто вздернут, а вместо переносицы – выемка. Выпученные наглые глаза. Поперек лба шрам, заключенный в две черные шпалы. Скулы, подглазья намазаны зубной пастой. Над вывернутой верхней губой – акварельные усики в две полоски: черная и красная. В волосах блестит складной ножичек.

– Дарю пошаду... – король раздувает ноздрици, двигает кожей черепа. – Но залезешь в палату к бабам, к своей сучке: сп...дишь конфеты.

– Не-е!

– Не нет, а да! – здоровенные Сашкины пятерни охватывают рукояти клюшек. Он приподнял тело, опустил подбитые сталью каблуки на стопки гирь, меж которыми зажата голова Скрипа. Каблуки встали на поддетые дисками уши.

– А-ааа!!! – страшный крик боли был тут же заглушен: мальчишки неистово бьют в ладоши, затагнули: – А-ля-ля-ля-ля!.. – Петух лупит в поднос как в бубен. Глобус в головодержателе мычит ничуть не слабее коровы.

Король приподнял каблуки.

– Полезешь?

Мучительный спазм перехватил Скрипу горло, свел челюсти. Лицо искажает судорога. Прорвались рыдания. Повелитель наблюдает с интересом, ждет. Наконец Скрип выдавил:

– Н-ннн... н-не полезу...

– Ништяк, – неожиданно мирно сказал Сашка, – мне даже лучше! Щас за ней пойдут. Скажут – ты зовешь. Ее будут держать, и я ее вы...у! Ты не видел, как Миха Свету е...л. Увидишь, как я – твою сучку! – ослабился. – И ничего мне не будет! Все скажут: она сама пришла. И сколько уже раз приходила! Ко мне. Хотела – я отказывался. Но – дохотелась!

– Йи-и-ги-го-го-го! – заржала свита.

– Полезу.

### 34

Дома ему внушили: самое стыдное – красть. Просить – тоже очень стыдно. Но воровать – хуже!

И вот он идет воровать...

Дождался, когда девчонки ушли в красный уголок смотреть телевизор. Владик донес: у них в палате осталась лишь одна лежачая. Она – слева от двери, в дальнем углу. Надо пробраться так, чтобы не заметила...

Ключку она услышит – пришлось оставить. Коклета помог ему выйти в коридор. Дальше Скрип передвигается, опираясь о стенку. Поли следят. Шажок за шажком – к девчоночьей палате. Вот, наконец, дверь. Опустился на четвереньки, лег ничком. Нужно поползти на животе: лежачая не увидит со своей койки.

Тихонечко приотворил дверь. Слабо светит единственная лампочка. Он ползет под ближнюю кровать. Тумбочка. Конфет здесь нет... Дальше, дальше. И тут пусто. Вдруг какая-нибудь девчонка припрется? Он зажмурился от ужаса. Но еще страшнее, если он вернется без конфет...

И в этой тумбочке нет их! Скорее к следующей... Нету.

Он открыл дверцу – коробка! На ней нарисована ваза, полная шоколадных конфет, – в венке из алых, белых, желтых цветов. Пусто? Нет! Коробка тяжела! Ее даже не открывали.

Взять и... скорее же!

Украсть целую коробку... полную коробку... Он не смеет. Дрожит, весь трясется. Спеша надрывает бумагу, поддевает ногтями картон. Взял одну конфету. Вторую. Хватит! Теперь прочь...

А к двери ползет лежачая. Она услышала, как он возится, слезла с койки. До двери доберется раньше его.

– Ты не выйдешь! Сюда! Девочки, сюда!!

\* \* \*

Он скрючился на полу – оглохнуть-ослепнуть-окаменеть! Прижался ртом к руке – грызет ее. Втянул голову в плечи. А они шумно топчут вокруг, стучат костылями.

– Жулик! Жулик! Во-ор!

Пару раз шлепнули его, ткнули ключкой. Уж больно жалок, чтобы бить по-настоящему. Вдруг одна кричит:

– Давайте его разденем!

– Разденем, ха-ха-ха!!! – как все обрадовались.

Схватили за ворот, потянули за ноги – распрямить его, чтобы удобнее было раздевать. Он подогнул колени к подбородку, обнял их изо всей силы. А девчонки тормозят, цап за руки – разводят в стороны. Выпрямляют ноги...

Взмолиться-взмолиться-умолить: пусть лупят сколько охота! он сам будет лупить себя! разобьет об пол нос!..

Только бы оставили в штанах.

Без штанов при девчонках – о-оо!

Молить их – а голоса нет. Он лишь судорожно икает.

...Они с хохотом сдернули с него рубаху, майку. Тянут портки. Он вцепился в матерью. Рванули так, что обломались ногти...

Он вжимается лицом в пол до того, что кончик носа свернулся набок. Держать трусы, держать! Ему сдавили запястья, разгибают пальцы. Ширк – кончено.

– Ха-ха-ха! – залились на все голоса. Девчонки!

Он совсем-совсем голый – при девчонках!

Радостно топчутся. Он притиснул к вискам кулаки. На затылок что-то мягко упало. Его трусы бросили ему на башку. Девчонка запела:

*Я лежу у речки,  
Солнышко блестит,  
Спинку мою гладит,  
Попку золотит.*

– Хо-хо-хо! Хи-хи-хи! – сколько хохоту, визгу. Сколько топота. С каким восторгом хлопают в ладоши. – Попку-золотит-попку-золотит-попку-золотит!

– А ну – перестаньте!

Он крутнулся от этого голоса. Раскатиться – и об стенку! Вдребезги! Чтоб и пятна не осталось.

– Конфеты – мои! Я ему отдаю. Всю коробку.

\* \* \*

Он лежит на боку, надевает трусы. О-оо, как это долго! Левую ногу нужно сгибать рукой, приподнимать... Девчонки смотрят. И Ийка...

Теперь – портки. Правая нога влезла в ту же штанину, куда он всунул левую. У-ууу! Он гримасничает, дергает штаны, торопится. И нет конца... Девчонки глядят.

И Ийка...

### 35

Тьма. Ночь.

Он убегает... Ладони, живот, колени намазал клеем. Вылез в окно, прилип к наружной стене. Отдирает от нее ладони, передвигает ниже. Так же – живот. Колени. Передвигается вниз "по частям". Как гусеница...

Вот-вот грянет тревога. Чтобы его вернуть...

Зев водостока. Скорей сюда! Вытянув руки вперед, всунулся в трубу. В ней отвратительно склизко, липко. Но он втискивается в нее глубже, чтобы спастись. Карабкается вверх. Ногти мерзко скрежещут о ржавчину. Обламываются.

"Трубу не сдерут, как штаны! – думает он. – Я спасся!"

И вдруг вновь ужас: "Они будут ждать дождя..." Как жутко!..

Неожиданно мысль: "А я и в дождь не вылезу!"

Облегчение...

В животе затрепыхалась птица. Бьет, бьет крыльями. Крылья в острых-преострых перьях. Секут, секут его нутро. Резь! О-оо-м-мм!.. Клюв впился в кишки... птица рвется из живота.

Вырвало. Полегче... Потолок колеблется. Рушится... Глыбы, глыбы... Крикнуть! А голоса нет. Глыбы громоздятся на него: разбухшие, мягкие. До чего тяжелы! Давят! Стиснули! Воздуха...

А кому-то весело. Голос – звонкий-звонкий! – поет: "Я лежу у речки... попку-золотит-попку-золотит-попку-золотит..."

### 36

– Бр-ррр! Об-блевался! – голос Сашки-короля. Утро?..

Не сон. Сашка подбросил-поймал шоколадную конфету. В пасть. Жует, словно хлеб; желваки ходят, двигаются уши.

Скрип отдал ему вчера Ийкину коробку...

Глядит на Скрипа, рожу кривит:

– Бр-ррр! – И жрет конфету. Возле него Петух. Глазки-точки в мохнатых ресницах.

– Это его бабы так отпи...ли! По желудку напинали!

Король кивнул. И поскакал прочь на клюшках. Ему неинтересно.

\* \* \*

Скрипа положили в бокс. Есть особая палата, разделенная на боксы – узенькие каморки. В них держат заболевших гриппом, ангиной. Роксана Владимировна опасается, что Скрип заразный. На всякий случай колет его пенициллином. А у него был невроз желудка...

В боксе – кровать, тумбочка; на полу – судно. И больше ничего. Окошко – под самым потолком; не открывается; выходит в палату. Поэтому в каморке и днем полутемно. Дверь заперта.

Тошнота, температура у Скрипа прошли. Он отдыхает от вытяжения. Петля Глиссона не стискивает челюсти, ремни не впиваются в лодыжки. Можно лежать как хочется: на боку, на животе.

Но до чего же ему плохо! Невыносимо! Видит-видит себя в палате у девчонок. Они срывают с него штаны, трусы... Хохочут! Об этом нельзя не думать. Он кусает губы в кровь, бьет себя по щекам, по лбу – и все равно видит себя там...

"Я убью! Убью Сашку!"

Сколько раз видел в фильмах, как убивали. Из автомата. Из пистолета. Саблей. Ножом. У него ничего этого нет – но как надо! надо убить эту тварь! Проклятую-страшную-мерзкую... Каких только слов ни заслужила гадина.

О, если б Сашка был связан! Скрип точилкой для карандашей строгал бы его задранный толстый кончик носа... Раз няня Люда изобразила, как хорек загрызает курицу. Если б гад был связан, Скрип загрыз бы его, как хорек курицу! И пел бы от счастья...

Помоги же кто-нибудь! Мать бросила его здесь. Мать, отец, бабушка – далеко, как далеки герои сказок. Как Финист Ясный Сокол. Как Марья Моревна. Их можно лишь представлять... Отец сидит дома за письменным столом, на котором горит лампа с темно-голубым абажуром. Стопка тетрадок. Отец их проверяет, он учитель. Обмакивает перо в красные чернила, исправляет ошибки, ставит отметки.

У стола стоит кожаный коричневый диван. Скрип так любил, лежа на диване, наблюдать за отцом... Думает он сейчас о своем сыне?

Обещал щенка-волкодава... Мать уверяла: только покажу врачам – и домой... Обманули. Предали.

\* \* \*

Он нашел в тумбочке шарики от шарикоподшипников. И завернутые в бумажку палочки бенгальского огня. Наверное, их кому-то принесли перед Новым годом. Но зажечь не пришлось – хозяин попал в бокс. Вероятно, тут ему стало хуже, и его отправили в инфекционную больницу – иначе не бросил бы здесь.

Шарик закатился под тумбочку. Скрип хотел приподнять ее, и вдруг крышка отстала. Снялась.

Он понял, как тут развлекались... Собрал на полу все одиннадцать шариков. Положил на них крышку от тумбочки. Опустился на крышку, на подогнутые ноги. Можно немножко проехать: туда-сюда, туда-сюда...

Если бы появился Сашка – тут же отнял бы и это развлечение. Он представил: король отшвырнул его, усаживается на крышку... крышка трещит – она не то что крепкий широкий подоконник...

Скрип замер. Его осенило.

Когда он вернулся в палату, в одном кармане была горсть шариков, в другом – шесть палочек бенгальского огня. Улучив момент, он переложил это в свою тумбочку.

Лежа на вытяжении, Скрип дождался, когда ходячие выйдут, и шепотом сообщил план Кири и Проше. Они стали думать... Как это их захватило! Думают, перешептываются.

Через два-три дня Киря сказал: крышка от тумбочки не годится. И Скрип как раз сообразил это. Им нужна доска, что лежит в "кубовой". Эту доску кладут поперек ванны, сажают на нее тех, у кого загипсован торс, кому можно мыть только ноги. Доска примерно с подоконник шириной.

Еще им нужны спички... Скрип достал пустой спичечный коробок из мусорного ведра в уборной. А когда вечером поли ушли в красный уголок, залез в тумбочку к Сашке и стырил из полного коробка штук десять спичек. В другой вечер Скрип развязал бинты на Кириной люльке. Тот спустился на тележку. Они приволокли из "кубовой" доску, спрятали под матрац Проши. Его койка ближе к окну, чем их кровати.

Им на руку, что Бах-Бах лечится после "фокуса". Вместо нее дежурит сестра Светлана. Со второго этажа поднимается в сестринскую Миха. И Светлана не думает заглядывать ночью в палаты.

\* \* \*

...Три друга поклялись: молчать! (после того как их план исполнится). Пусть их пугают, пусть допытываются – ни словечка! Посадят в тюрьму? Им-то лучше! В тюрьме не лежат на вытяжении или в гипсовой люльке. Там не подтягивают к "гусю".

Может, будет лучше признаться – и в тюрьму?

### 38

Он опять не пошел смотреть телевизор. Какие фильмы – когда... Сидит на койке. Справа лежит Проша. Дальше – койка Сашки, сейчас пустая. Над ней – часть окна: примерно, его треть. Когда король прыгает с койки на середину подоконника, ноги повисают над полом.

Окно распахнуто. Лето. Вечер душный.

Слева от Скрипа – Киря в гипсовой раковине. В палате еще двое лежачих. Но их койки далеко, там не слышно, о чем шепчут друзья.

– Почему не говорим ничего? – прошептал Скрип.

Проша глубоко вздохнул. Глаза изумленные – точно увидели Ивана-Царевича на Сером Волке.

– Ну, чего ты? – нервно спросил Скрип.

– Хоть бы все получилось... – Проша вздохнул опять.

– Не фиг бояться! – сказал Киря.

Скрип вдруг заметил: друг дрожит. Примотан бинтами к люльке, и все равно видно, как трясется. А сам не дрожит? Даже зубы стучат.

– Вот-т-т... – выдавил Киря, – пог-г-говорили...

\* \* \*

Поли возвратились восторженно-взвинченные: какой был фильм! Про двух грузинских мальчиков-пастухов. Они были одни зимою в горах. Нашли израненного замерзающего человека, привели в свою хижину. А тут напала огромная стая волков – рвут овец. Мальчики стреляют из старинных ружей, а волки уже разорвали их любимую овчарку... Спасенный человек отогрелся: оказывается, это кровавый убийца. Подкрадывается к мальчикам сзади, с ужасающей усмешкой заносит кинжал...

Поли делятся впечатлениями не умолкая. Еще недавно как было бы обидно Скрипу, что он не увидел этой картины. А сейчас...

Когда они умолкнут, надо будет начинать. Хоть бы не успокаивались подольше... Нет!.. скорей!

Свет выключен. Храп. Это Коклета. Петух, Владик устало посмеялись над ним. Еще два слова о фильме... Тихо.

– Может, в другой раз... – еле слышно прошептал Проша.

У Скрипа перестали стучать зубы. Пожалуй, лучше бы в другой раз... Но тут Кирия позвал, как было условлено:

– Мне в уборную надо! Э-ээ!

Скрип поднялся, развязывает его бинты. Руки – не свои. Возится долго. Наконец Кирия вылез из гипсовой лодочки, спустился с койки на тележку. Громко повторяя: – Надо мне! Надо! – открыл тумбочку, переложил в карман палочки бенгальского огня, спички. Оттолкнулся утюжками от пола – покатыл.

На кровати ворочается Глобус – главный сыщик.

– Что он взял? – Влез в свой корсет с головодержателем. Отправился в уборную.

Вернулся, возбужденно мыча. Головодержатель мешает говорить, но он выкрикнул:

– Жгет... огни! Ново... годние! – Притопывает, размахивает руками.

– Огни? Кого? – кто-то встрепенулся спросонья.

– Здравствуй, жопа Новый год! – сказал Владик, залился смехом.

– Заткнись! – рявкнул Сашка-король. – Че там, Глобус?

– Скорей! Бенгальские... – тот взбудораженно взмыкнул, убежал.

Король на клюшках поскакал за ним. Поли повалили следом. Спешат в уборную, где Кирия вытворяет что-то загадочное.

В темной палате – Скрип и Проша. Двое лежащих далеко – не разглядят.

\* \* \*

Проша отодвинулся, отогнул край матраца. Скрип вытащил из-под него доску. Опираясь на клюшку, поволок к окну. Собрал все силы, занес конец доски на подоконник, толкнул. Сил не хватило – она поползла назад, уперлась в грудь. Его шатнуло – только б нога не подогнулась!

Вот-вот возвратятся поли... Кирия, удержи их! удержи их!.. Напрягся так, что в правом ухе щелкнуло. Доска подалась вперед... Он расположил ее по длине подоконника. В темноте доску от него не отличишь.

Теперь в карман за шариками... насовать их под доску... второй, третий, четвертый... Под ней все одиннадцать! Толкни – и она съедет на них за окно.

Скрип двинулся к койке. Нога подломилась, клюшка не удержала – хряп об пол. Вставать некогда. Взяв клюшку посередине зубами, пополз на четвереньках.

### 39

Поли вваливаются в палату. Впереди скачет Сашка. За ним катят на тележке Кирию.

– Тише! – командует король на ходу; шум может заставить сестру Светлану прийти из сестринской. – Не мешайте Светке е...ся! Свет не включайте. – Присел на свою кровать.

Раздался звук удара – Петух хватил Кирию кулаком по спине.

– Я тя понял, курва! Без нас жег, чтоб нас завидки взяли...

– А эти знали, знали! – Владик показывал рукой на Прошу и на Скрипа, который не успел влезть на койку: лежал около. – Вместе подстроили.

– Щас проверим, – сказал Сашка-король. – Скрипач, ко мне!

Он еле поднялся. Его бьет дрожь. Шаг-второй... нога вновь подсеклась. Треснулся затылком – в глазах пыхнули бенгальские огни.

– Падать вперед надо! – бросил король. – Падать ниц!

Дружно захихикали. Сашка подобрал ноги на койку, кинул тело на подоконник – гр-р-р-ы...

\* \* \*

С трудом подняв голову, Скрип увидел, как Сашка спиной опрокинулся за окно. Гр-р-р-ы – с этим звуком доска, на которую он вскочил, съехала наружу.

Мальчик зажмурился. Открыл глаза. В широком темном проеме окна далеко-далеко блестят звездочки. Что-то протяжно, жалобно скрежещет. Он встал, оперся на клюшку. Различил над подоконником светловатое пятно. В глазах прояснилось: лицо Сашки отплывало в черноту, как будто тот стал невесомый и плавал в воздухе... Скрип вглядывался, вглядывался и понял: Сашка висит на оконной створке, которая со скрежетом отъезжает наружу.

Скрип – у окна. Поли молчат. Ошарашены. А король... даже не крикнет. Кричи же! И вниз! Скорей!

Сашка дрыгнулся – как бы оттолкнулся ногами, туловищем от воздуха. Створка качнулась к окну. Рука выбросилась вперед – бац о подоконник.

Жадно царапает его ногтями, скребет, передвигается... Кончики пальцев зацепились за его внутренний край. Расплющились. Стали тоненькие, как копейки. А рука, крепкая круглая и упругая Сашкина рука дрожит. Чувствуется, как она напряжена и напрягается еще, еще... Она такая сильная, такая отличная, эта рука, что он потрогал ее, повел по ней пальцами и вдруг увидел глубоко внизу – глубоко-глубоко! – асфальт... На нем яркие прямоугольники света от нижних этажей.

Он увидел этот страшно далекий асфальт, увидел изуродованные Сашкины ноги. Они свисают, дергаются над этой глубиной... Его затошнило. Он отшатнулся, чтобы не видеть.

Король дрыгнулся опять – рука продвинулась. Миг – и она вся охватит край подоконника. Сашка подтянется, влезет...

Скрип ударил по пальцам кулаком, стал отгибать их. Все тело короля вздрагивает, тужится. Надрывается. И глаза выпучиваются. Надрываются. Держатся за него, за Скрипа. Впились в его, Скрипа, глаза и держатся-держатся-держатся за них!..

Король засопел и тихо, с иканием, охнул.

– Щас... в-вв... все-о-оо...

Он зажмурился и схватился за створку, за внутреннюю схватился створку, чтоб захлопнуть, рубануть по Сашкиным пальцам... Затошнило сильнее, сильнее, и больно-больно закололо сердце. И руки, проклятые руки, выпустили створку, вцепились в Сашкин локоть и потянули. Проклятые-миленькие-хорошие руки изо всех сил потянули короля.

Скрип уперся коленками в стену под подоконником и тянулся всем телом назад, и тянул, тянул за собой Сашку. Сашкина пятерня сжала край подоконника, другая рванула Скрипа за предплечье – ноги отделились от пола. Секунда – и он вылетел бы наружу. Но король уже влез.

Рухнул на койку.

\* \* \*

Сашка судорожно вращается на койке. Громко всхлипывает. Кряхтит. Стал бешено чесаться. Из рта вырвалось:

– Б-б-ыб-ббб... б-б-ыб-ббб!

Петух потянул носом воздух. Тут же и другие стали принохиваться.

– Ф-ффу!

Владик принялся размахивать полотенцем.



– Вонючка!

Палата захихикала. Поли машут полотенцами.

– Ф-ф-ффу! – кто-то сплюнул.

Сашка встал с койки, одну клюшку сунул под мышку, на другую оперся. Свободной рукой обнял Скрипа.

– В уб-ббб-о-о... – и не мог договорить.

Они заковыляли в обнимку.

#### 40

В уборной король разделся, бросил вонючие штаны, трусы в раковину, открыл кран. Скрип стоял оглушенный: он спас короля? И тот его обнял...

Зашли Петух, Глобус, Владик. С любопытством озирают голого Сашку, обтирающего зад мокрой тряпкой. Петух обвис на костылях, небрежно отставил ногу, загипсованную от пальцев до ягодицы.

– Помыться б, да? А негде...

Король медленно обернулся, не поднимая глаз: словно занятый какой-то важной мыслью. Спокойно-озабоченный. Казалось, он не сознает, что наг, что в раковине – его засранные портки. Нельзя поверить, что пять минут назад он слова не мог выговорить из-за дрожи.

Оттолкнувшись клюшкой, вдруг прыгнул на Петуха – головой треснул в подбородок: аж ляскнули зубы. Петух во весь рост грохнулся навзничь. Гипс глухо стукнул об пол, выложенный плитками. Загремели костыли. Сашка яростно бил упавшего по лицу.

– Ага! Два креста!

Над бровями Петуха лопнула кожа: кровь. Кровь из носу.

– Я тя умою! – король трет его лицо грязной смрадной тряпкой, вкручивает ее в рот.

Избитый слабо шевелится, надрывно стонет носом. Глобус, Владик в ужасе пятятся к двери. Сашка вскочил на клюшки. Приказал лежащему:

– Курить тащи! Быстро!

Тот еле поднялся, окровавленный. Скорей-скорей за бычками, за спичками.

\* \* \*

Он скакнул к Скрипу, тот прижался к стенке. Они одни в уборной.

– Не ссы! – сказал голый. Краску, зубную пасту он смыл с лица. Но складной ножичек, как всегда, блестит в волосах. – Умно подстроили... – выговорил почему-то шепотом. – Ох, и умно-оо! Три удава! Но я... – припоминал слово, – я – благородный! Не веришь, в рот ты е...ть?!

Скрип молчит. Если б король убили, сейчас не было бы ужаса. Но завтра... мучил бы Петух.

– Ты меня... ты ко мне отнесся... – выдохнул Сашка в лицо, – и я тя спасу! Ведь ты сдохнуть должен. Скоро! Это я узнал – я! Мы не только зырили, как Свету е...т, мы слушали. Знаешь, зачем мы военным? – И он объяснил, как смог, то, что можно передать короче, точнее.

Военные вывели вирус "бэшку". Для этого использовали вирус полиомиелита и другие. Начнется война, и страшной болезнью будут заражать американцев, немцев, японцев... "Бэшка" должна быть неизлечимой и быстродействующей. И надо, чтобы она не передавалась от человека к человеку: иначе пострадают и свои. Ее будут распылять в воздухе.

Работа еще не закончена. Военные не совсем довольны "бэшкой". Им нужно исследовать ее действие на тех, кто переболел полиомиелитом, кто болен церебральным

параличом. Тех, кого они выбрали, направят в Челябинскую область, на секретный объект...

Все это Сашка втолковывал Скрипу, пересыпая рассказ матом.

– Они почти всю нашу палату выбрали. Тебя. Парашу. Курилку. Петуха, Глобуса... И меня... По домам послали письма: хотите, чтоб вашего ребенка лечили грязью? В новом детском санатории? Лечение очень оздоравливает! – король разразился хохотом. – Жестяной – е...ть его в ...й, падлу, – умеет пи...дить. Озд-р-р-овляет, хо-хо-хо!

Скрип узнал: Сашка и Петух написали своим родным, родным других поли, как будут их "лечить". На конверты, на почтовые марки пошли деньги из тех, что были украдены из люстры. Их дали няне Люде. Она отправила письма. Подозревала, что написано в них? Взяла за труды.

– Думаю, а вдруг не отослала, блядская карга? Но не-е. Вчера спросил Роксану: когда, мол, еду в санаторий? А она: твои родители не согласны! – его глаза торжествующе сверкнули. – Ты понял?! Мать меня ценит!

– Я ведь че-о... – король оскалил зубы. – Думаю, а кого-то же нарочно отдадут. Избавиться! – хохотнул. Помолчав, обронил: – Петуха не отдали. Глобуса. Даже Коклету не отдали, – он хмыкнул. – Но на двоих пока никакого ответа нет. А Жестяной говорит: "Молчанье – знак согласия!"

– Твои, – Сашка погладил Скрипа по голове, – согласились! Курилка, Параша – вы едете в санаторий.

– Но ты же... нашим не написал?

– Конечно, нет!

Голый, мускулистый, стоит перед Скрипом, опираясь на клюшки.

Вглядывается.

– Введут тебе "бэшку", будут следить, когда ты скрутит. Какие лекарства как подействуют. Может, сдохнешь скоро. Может, помучаешься... Но если и скоро – все равно с мученьем.

Скрипу жарко. Охватила слабость. Сейчас ноги подкосятся...

– Жить тянет?

Он кивнул. Поспешно кивает.

– Я тя спасу! Напишу твоим. Адрес знаешь?

Мальчик сказал название города.

– Улица Тимирязева, восемь. Квартира семь.

– Сделаю! Но ты больно не радуйся. Я над твоими не король. Может, ты им на хер не нужен?

– Не-е-т!! – вскричал он.

– Орать бесполезно, – отрубил Сашка.

\* \* \*

Дверь открылась. Петух принес бычок, коробок спичек. Король взял. Велел:

– Срой!

Когда тот ушел, Скрип попросил:

– Пожалуйста... и Кире домой напиши, и Проше!

Сашка сжал окурок губами, перебрасывает его во рту. Все мускулы лица в движении. Зажег спичку.

– Им – нет!

У Скрипа – слезы.

– Пожалуйста! Сашенька... ты ведь... хороший.

Он затянулся, как мужик.

– На колени встанешь?

Мальчик, опираясь на клюшку, хотел опуститься мягко. Не вышло. Коленки ударились об пол.

– Поцелуй мой ..., – сказал король, дотягивая бычок.

Перед Скрипом покачивается здоровенный член с полуоткрытой головкой. Отпрянул, закрылся руками.

– Не хочешь?

Он мотает головой.

– Чмокни разок! Ведь за друзей.

Скрип отвернулся к стене, не отрывая от лица рук.

– Как хошь, – сказал Сашка. – Если б чмокнул, я б те велел мне жопу полизать. – И вдруг вскричал: – Ваше счастье, что я – благородный!

#### 41

Скрип лежит на кровати. Петлю не отцепили от ее спинки, но и не следят, чтобы она была надета. Скоро он, Киря, Проша и еще двое поедут в детский санаторий. Те двое – и лежачие, и дебилы. Они слышали, что их ждет, но не понимают этого.

А Киря и Проша – не знают.

– Хочешь – скажи! – говорил Сашка (тогда, в уборной). – Но если их отдадут? Так они не будут знать, не будут заранее мучиться. Или... – король оскалился, – их – нет, а ты отдадут? Они про это знать будут... Не обидно?

И Скрип не сказал.

Сашка написал письма домой всем троем. Адреса Кири и Проши узнал у Нонки. Истратил на конверты, на марки еще часть тех денег, что стырил из люстры. Не пожалел на авиапочту. Письма унесла няня Люда. Снова взяла за труды. Скрип спрашивал ее: отослала? Божится – да! Но кто знает, что накорябал король?.. Эх, не умеет Скрип писать...

Сашка верховодит в палате, точно ничего не случилось. Сильно побил, помучил Глобуса и Владика. А троих виновников не трогает. Поли уверены: изобретает для них какую-то особенную кару...

Киря и Проша тогда в темноте не разглядели, как Скрип спас короля. Считают – тот сам ухитрился. Они думают, он силой увел Скрипа в уборную и там изошренно над ним издевался. Может, заставил есть кал... И поэтому они не заговаривают с другом, чтобы не расстраивать.

\* \* \*

Он часто топчется в коридоре около ординаторской, где собираются врачи. Караулит, когда выйдет Роксана Владимировна. Спрашивает:

– Когда я поеду в санаторий? Я поеду?..

Она проходит, не ответив. Он дрожит. Если б отец-мать отменили свое согласие, она б ответила: "Не поедешь". Ведь сказала же Сашке! И Петуху. Глобусу. Коклете...

Разбить об стенку башку, чтобы уж больше не трястись.

Разбить – сил не хватит.

А может, письмо пришло? Родители отказались отдавать его в санаторий? Просто ему она не хочет отвечать... Но чуялось: не было письма.

Он запирается в уборной в кабине. И сидит-сидит... Палата опротивела до того, что здесь ему лучше.

Он представляет дом. Комнату, где жил с бабушкой. Если высунуться в окно, слева увидишь большую лужу. В той жизни, жизни дома, – как мечтал дойти до нее! пустить бумажный кораблик...

Не видать ему больше эту лужу...

Когда мать оставила его тут, как он мучился, что придется здесь лежать целый год! А сейчас он рад бы всю жизнь быть в постылой, отвратительной, ужасной палате!.. Только бы над ним не наклонился Жестяной со шприцем, не ввел "бэшку".

\* \* \*

Дверцу кабины сильно дернули.

– Скрипка, вылазь! – голос Сашки-короля.

Он отодвинул щеколду.

– Щас мы были у Нонки в классной комнате. Забегла Света. Отошли с Нонкой от нас, говорят тихо, а я слышу... Пришли письма! Про Курилку и про Парашу!

– А... про меня? – прошептали губы Скрипа. Хотя он уже знал ответ.

– Про тя – не-е. А их – отдали! Ага! Курилкин папаша написал: пусть будет польза обороне СССР! А мать Параша: нету моих сил и возможностей, вы лучше знаете, что с ним делать, на все даю согласие... Я говорил?! Я так и ждал. Это меня мать ценит! Ох, и ценит! А вас... – он на секунду умолк. Погладил Скрипа по голове.

– А врачи обоссались! Им хорошо, что вас отдают, но по письмам видать:

все стало известно! "Лечение" – га-га-га! В "санатории" – е...ть их в сраку! Пусть будет польза обороне СССР! И будь доволен. – Сашка потрепал его по щеке. – Света с Нонкой шепчутся, а я слышу... Перессали! Теперь их всех затаскают в КГБ! Ты понял?

Но он понимает одно: его отправят в... "санаторий".

\* \* \*

– А я бы, – король раскурил бычок, – я б никого не отдал. Даже если б вас, например, не стали кормить, я свою жратву с вами б делил. Ты помнишь, я курицу принес? Много я от нее съел?! А деньжата? Я их достал, ты же видел – я! А трачу на всех. Думаешь, они мне самому не нужны?

Он мог бы, объяснял Сашка, попросить няню Люду, и она приносила бы ему с фабрики-кухни жареных морских окуней. Какая у них хрустящая вкуснейшая корочка! А то еще вот: в институте, на первом этаже, – буфет. Там продаются бутерброды с красной икрой. Яблоки. Апельсины. Финики...

– Ты хоть раз пробовал финики?

Скрип не пробовал.

– Я бабки не зажимаю, я еще потрачу, – заявил Сашка. – Чтоб все было путем, будете есть финики! Только вы трое. Напоследок. А после... я б на вашем месте... на подоконник. И все трое – разом!.. Так и так сдыхать. А это будет подвиг.

Скрип заковылял из уборной. Может, и правда так сделать? И правда? Никаких фиников не ждать. Скорей-скорей – раз! – и... лежать в земле. Мертвые всегда лежат в земле. Это лучше?.. Лучше!

– Э-э, – сказал король за спиной, – еще по апельсину вам! Чтоб все было путем!

## 42

Он опирается на клюшку, переступает по паркету коридора. Клюшка стучит: дук... дук... Ближе, ближе мерзкая палата с рыже-коричневыми исчерканными стенами. В ней – три широких окна. Распахнутых. Под ними далеко – асфальт. До чего далеко...

– Сыночек!

Он не слышит.

Или слышит – но не верит?

– Сыночек! Рыбка моя! Золотой! – к нему по бесконечному коридору бежит мать. Ее заставили накинуть халат, она не всунула руки в рукава, они развеваются. Как громко она зовет его.

Зовет? Мать?..

Застыл на месте. Глядит. Не верит.

– Ты не узнал меня? Я – мама! Что с тобой сделали?! – ее голос разносится по всему институту. Она крепко схватила Скрипа.

– М-ма-аа... ма-ааа!.. – он заревел.

– Я за тобой! Мама за тобой! Они говорят: не положено, оформить справки... Суньте их себе в одно место! Я забираю моего ребенка! Мы как с отцом прочли – он за волосы схватился. Мы думали – тебя тут лечат. Ведь он в Кремль писал, чтобы тебя сюда приняли. Мы два года ждали очередь. Ужас, какой ты худой! Ты не ешь бульон?

– Бульон? – спросил Сашка-король. Он стоит рядом. Мать глянула на него – чуть не ахнула. Но тотчас о нем забыла.

– Мы каждый месяц двести рублей присылали! Няне. Она нам отчеты писала... приносит тебе бульон и куриную ножку. Ежедневно. Из детского кафе. И яблоки, персики, финики...

Король взвизгнул. Впервые – сколько его знает Скрип. Выронив клюшки, забил в ладоши:

– Держи-и-те меня! Хо-хо-хо!

– Вранье? – вскричала мать. Крутит, оглядывает Скрипа. – Ты худее скелета! Тебе не приносили?! А нам писали: все идет успешно. Все отлично! Тебя даже учат английскому языку! Какой-то Сыроед писал...

– Не он, а она – Нонка! – и Сашка заржал вновь.

– Врала? Все-о-о вра-а-ли?! Сволочи! – от скуластого лица матери отлила кровь. – А письмо... Сыночек! Наш адрес: Тимирязева, восемь, квартира семь. А на письме – Тимирязева, семь, квартира восемь. Его отнесли в тот дом, через улицу. Оно десять дней валялось там в подъезде, в углу! Дети подняли. Вскрыли, прочли. Догадались, что это про тебя – они тебя раньше видели... Принесли. Мы читаем – и сразу поверили! Отец говорит: тут и детская рука, и детское сознание, это никак не ложь!.. Ведь он – педагог! А бабушка: это чудо, что оно дошло! Это судьба... если уже не поздно... – Мать захлебнулась слезами.

– Ненаглядный... Ягодка моя! Рыбка! – присела на корточки, тискает его. – Отец провожал – мы бегом неслись, чтоб на скорый успеть! Тут их увидела... их лица... не смотрят на меня! Так и есть! так и есть! Все правда!

Ее горячие губы прижались к уху Скрипа:

– Сыночек, ты не научился писать? Это кто написал?

Он повернул голову к Сашке.

– Только не говори никому...

– Что ты! что ты! – и мать кинулась к королю, обхватила его: – Спасибо, мальчик! Умница! Мое золотко! У тебя доброе сердечко! – целует его измазанные зубной пастой щеки, прижимает к себе. – Я ничего купить не успела, даже шоколадки нет, только сахар... В купе чай приносили, я сахар оставила...

– Денег дашь ему? – прошептал Скрип.

– Конечно! А тебя не обманут? – она гладит Сашкины плечи. – Тебе принесут? Ты уже немаленький. Сумеешь, чтобы не обманули?

Кивнул.

Она полезла в сумочку, сунула ему в карман сто рублей.

\* \* \*

В то время двадцать два рубля стоил килограмм сливочного масла. Килограмм колбасы – от четырнадцати до семнадцати рублей. На сто рублей в Москве можно было купить шесть кило кишмиша. Или пять с половиной кило фиников. Мать Скрипа, бухгалтер, получала четыреста рублей в месяц.

\* \* \*

Приблизился Златоверов, покуривая папиросу в мундштуке.

– Торопимся, мама, торопимся... Как бы потом не пожалеть.

– Что вы сказали?

– Жизнь бежит – груз тяжелеет. Меняется чувство, меняется отношение... – пристально смотрит сквозь круглые очки в стальной оправе; втянутые щеки, срезанный подбородок. – Глядите – груз таким станет... Еще как будете жалеть...

Мать шагнула к нему, дрожащая, яростная – вцепится в лицо ногтями.

– Мерзавец! Да чтоб вы... ослепли!

Он поспешно отступил. Повернулся. Удаляется по коридору, чуть клоня голову вправо.

\* \* \*

Секретный объект в Челябинской области, которым руководил Г.А.Златоверов, обозначался "Новогорный-2". Когда 29 сентября 1957 в Озерске взорвалось хранилище ядерных отходов, «границу» зоны заражения *провели* двадцати километрах от объекта. В июле 1963 случилась авария уже на нем самом. Возникшее облако поплыло на села Муслимово и Кунашак, на поселок Бродокалмак. К многочисленным жертвам радиоактивного заражения добавились новые. Больше ста семидесяти человек погибли от болезни, которая начиналась с высокой температуры и приступов, подобных астматическим.

Златоверов и после аварии руководил "Новогорным-2". На объект продолжали периодически завозить детей, переболевших полиомиелитом, энцефалитом, больных церебральным параличом, прогрессирующей миастенией. Их подвергали опытам. Златоверов дарил обреченным подарки. Показывал диафильмы. Сказку про сестрицу Аленушку и братца Иванушку. Прокуренный голос читал: "Кипят котлы чугунные, звенят ножи булатные... Меня хотят зарезать!"

Один из детей выжил. Автор этих строк находился с ним летом 1964 в санатории "Озеро Горькое", в Курганской области. Он рассказывал автору о своем доме – и снова о доме, и все повторял адрес: Приморский край, город Арсеньев, улица Маяковского, дом 9, Пирожкову Петру Ильичу...

\* \* \*

Мать взяла Скрипа на руки. Его голова – над ее плечом, он смотрит назад. Сашка-король показывает большой палец.

– Она у тя – во-оо! Как моя! Она тя *ценит!*

Мать уносит его по коридору, король на клюшках скачет следом.

– Ты... не говори... Не говори – понял? Не расстраивай... Ты понял?! Все было путем! Ага?

– Ага! – он помахал рукой. Все было путем.



## Андрей Валерьевич Геласимов

родился 7 октября 1966 году в Иркутске. В 1987 году он окончил факультет иностранных языков Якутского государственного университета. С 1988 по 1992 годы учился на режиссерском факультете ГИТИСа (ныне - РАТИ) имени А.Луначарского, в мастерской Анатолия Васильева. В 1996-1997 годах Андрей Геласимов стажировался в Халльском университете (Великобритания). В 1997 году он защитил кандидатскую диссертацию по английской литературе в МПГУ им. В.Ленина по теме "Ориентальные мотивы в творчестве Оскара Уайльда". В начале 1990-х годов опубликовал перевод романа "Сфинкс" американского писателя Робина Кука (журнал "Смена"). Был доцентом кафедры английской филологии ЯГУ, преподавал стилистику английского языка; работает над докторской диссертацией об особенностях романной композиции конца XX века. С 2002 года живет в Москве. В 2001 году вышла книга Андрея Геласимова "Фокс Малдер похож на свинью"; заглавная повесть вошла в шорт-лист премии Белкина за 2001 год. За повесть "Жажда" (2002) писатель был отмечен поощрительной премией имени Аполлона Григорьева. В 2003 году был опубликован роман "Год обмана".

### Произведения:

Фокс Малдер похож на свинью

Год обмана

Жажда

Рахиль

Степные боги

### Отзывы, рецензии:

*Сергей Толмачёв*

Читая современную литературу

Почему-то роман «Рахиль» издательство «Эксмо» выпустило только в 2010 году. Это после «Степных богов», «Разгуляевки» и «Жажды». Они забываются, а новый (то есть старый) роман неминуемо становится бестселлером. На его обложке информация об авторе занимает целых 11 строк. На обложке «Жажды» («Эксмо», 2009) – 8.

Андрей Геласимов писатель знаменитый и после многочисленных премий может позволить себе многое. Но этого «многого» нет. Ни мата в «Рахили» (в отличие от «Степных богов»), ни темы «ниже пояса» нет (впрочем, где-то всё же проскальзывают намёки, но звучат они гигиенично). Читается легко, хотя порой мудрствования писателя зашкаливают. На грани фолла, как говорится. Правда, роман может показаться растянутым – объём придаёт главная доминанта в области геласимовского языка – разноречие. Но объёма не страничного, а внутреннего. Как бы объёма познания.

Разноречие в «Рахили» заслуживает высокой оценки. Геласимов оправдано подписывает книгу – «роман с клеймами». Клеймы – важные фрагменты из жизни святого, обрамляющие икону по краям. Так и у Геласимова: основное повествование от лица Святослава Койфмана, профессора филологии, обрастает рассказами Дины, его



невестки, стилияги, попавшего в психбольницу, и Николая, сотрудника КГБ. Но это всё – забегая вперёд.

Главный герой – полуеврей («Впрочем, технически называться евреем я не имел права»), неудачник, маленький человек. Он разменял шестой десяток, остался никому не нужный, никем не любимый и больной. В начале «Автобиографии» (сборник «Жажда») Геласимов говорит, что чем больше проходит времени, тем меньше остаётся желающих любить. Впрочем, здесь дело не во времени. Койфман сначала покидает свою сумасшедшую Рахиль по имени Любовь, потом женится на Вере, от которой у него рождается сын. И, наконец, бросает семью – уходит к молоденькой Наташе. Тут бы и должна начаться счастливая жизнь у старика, но – не судьба – студентка бессердечно бросает его (или её всё же уводят?). В придачу ко всему случившемуся сын забирает квартиру, где Койфман живёт, а беременную невестку ждёт суд за кражу. Желающих любить несчастного профессора не обнаруживается.

«Рахиль» выдавливают из читателя слезу многим больше «Степных богов». Житейская драма о времени «первых финансовых пирамид, ваучеров и Лёни Голубкова» достаточно трогательна, вполне реальна; голос автора обаятелен. Только вот буквально с первых страниц встаёт вопрос: почему опять главный герой, как и некоторые второстепенные, еврей? Дань моде? Разве без этого нельзя было обойтись?

Однако Геласимов – совершенно не бытописатель и не продавец развлекательного чтения рядового содержания. В романе нет «косметического изящества», очаровывающей лёгкости. Здесь, в «Рахили», он пытается оперировать глобальными идеями и понятиями, которые стоят на уровне благородных нравственных ценностей. Другое дело, что они немного вторичны и банальны. И, возможно, следствие этому – национальность Станислава Семёновича, то есть тема «русского еврея». Плюс многоплановая композиция.

Вообще Койфман перепутал жизнь с литературой. Он много анализирует, цитирует, думает, но это лишь философия художественной литературы (Фицджеральд, Хемингуэй, Фолкнер). Это, конечно, серьёзно и умно (не зря же Геласимов преподавал стилистику и анализ художественного текста на кафедре английской филологии Якутского университета), но книги и диссертация мало похожи на его жизнь, на работу в сумасшедшем доме и отношения со студентами. Они – другая реальность, другая система образов. Кстати, истории о докторе Головачеве, о внуке Ленина и о Люсе, которая «любила всех», раздавая кому попало свои вещи, всё же напоминают «пьяненьких» Достоевского. «Вот так просыпаешься – и уже не в раю. С добрым утром, моё замечательное грехопадение! Сиди и думай – как докатился до такой жизни».

Образ Рахили странно привязан к тексту. В первую очередь, она всё-таки символизирует мать сострадающую своим детям. В романе Геласимов обходится лишь некоторым цитированием из Бытия, впрочем, отсюда и вырисовывается смысл названия книги. Рахиль хоть и была «красива станом и красива лицом», Иаков любил ее больше, чем «слабую глазами» Лию. Однако она оставалась бесплодна и, отчаявшись, ей пришлось отдать свою служанку Билху в наложницы мужу. Рожденных от него детей она считала собственными сыновьями. Эта часть истории вполне связана с книгой, – Любовь приютила Койфмана тогда, когда время «застукало» его «с красным от стыда лицом». Здесь всё понятно. Но связи с дальнейшей судьбой Рахили и романом нет – в конце концов, согласно Бытию, она забеременела и родила сына. «Снял Бог позор мой. И нарекла ему имя Иосиф, сказав, Господь даст мне и другого сына». Во вторых родах

Рахиль умирает, и Иаков хоронит её у дороги. Над её могилой воздвигает памятник из камней.

Может, не стоит лезть в связи романа с Бытием. Может, Геласимов использует Рахиль как обобщённый, совсем не привязанный к определённой женщине образ, как метафору-символ. Тогда цитаты – всего лишь комплекс тематических и выразительных средств. Да и вообще – с названиями произведений Геласимова трудновато. Решительно непонятно, как связан Фокс Малдер с историей мальчика, случайно подглядевшего любовную сцену между учительницей и учеником. И почему свинья? Собственно, скорее всего, по этой причине и Рахиль.

Андрей Немзер в статье «Те же и Геласимов» сказал, что автор «Рахили» умеет чувствовать чужую боль. Мало того, «верит, что боль эта одолеваема». «Он не боится «хорошего конца», как не боится мнимой «вторичности». Он – прозаик. Кажется, очень нужный молодым читателям. Но не им одним», – добавляет потом. Не знаю, что Немзер имел ввиду под выражением «очень нужный». Нужный в плане духовного развития, в плане передачи опыта? Или нужный свидетель определённой эпохи, старательно фиксирующий главные её черты? Может, впрочем, всё сразу?

### **Интервью:**

Опубликовано в журнале: «Октябрь» 2003, №9

Ирина БАРМЕТОВА

**Ирина Барметова. “Рахиль” – не первый ваш роман, трудно, конечно, заранее заручиться читательским интересом, но что это для вас? Проба пера или все же вхождение в другую воду?**

Андрей Геласимов. Это следующий шаг, задачи в этом тексте ставились ведь совершенно иные, чем в “Жажде”, это естественно. Вообще чтобы написать такой роман, нужно было принять решение: он откровенно некоммерческий, в нем отсутствует видимый фабульный интерес и какие-то выгодные сюжетные ходы. Потом, взят героем интеллект, профессор литературы... Ну, в общем, я долго думал, можно ли это будет осуществить? Но было интересно все это попробовать, и, кроме того, я чувствовал свой долг – написать такой текст. В этом была определенная обязанность.

**– Обязанность? А не веление души?**

– Не веление души, а как бы... веление судьбы.

**– Как-то слишком пафосно!**

– Ну я же не принимал решения стать писателем, а как бы выбора уже не оставалось. Идет, определенным образом складывается жизнь, и определенные силы приводят тебя к такой ситуации, когда должен действовать так, а не иначе. Сначала это был выбор профессии, потом это был выбор еще чего-то и в конце концов выбор темы романа. Это не интуитивно, это, как бы сказать, не момент вдохновения. Чаплин был уверен, что вдохновение выдумали бездарности. Я прихожу, говорю, сижу на площадке пятнадцать минут и начинаю снимать. Мне нравится подход Чарльза Спенсера Чаплина к искусству. То есть профессионал должен прийти, подумать и начать делать, потому что он знает закон, как это строится, он знает задачу, и он ее выполняет, поскольку его к этому

привела его судьба. С ней трудно спорить... Я написал этот роман, и это была уже моя невозможность спорить со своей судьбой.

**– Вы – фаталист?..**

– Но я верующий человек. И считаю... ну не только считаю, чувствую в каждом своем шаге, что существует некий текст, частью которого являюсь. Я с интересом исследую этот текст, иногда перенося его в литературную плоскость.

**– Такое “перенесение текста” было в “Жажде”? Ведь вы писали повесть, не побывав на чеченской войне...**

– Не только на войне... я в армии не служил.

**– Вот и теперь, в новом романе, вы берете 60-е годы двадцатого столетия, время, когда вас еще просто не было на этом свете. Вас это не смущает?**

– Нет, не смущает, но добавим – время, которое меня волнует как очень драматический период в жизни культуры человечества и нашей страны.

**– А у нас были не драматические периоды?**

– Но это был еще и стильный период. Он же был художественный очень... А по поводу того, что писать, чего как бы не знаешь, существует два аспекта...

**– Два аспекта – это по-научному, может быть, просто вам нравится выдумывать и врать?**

– Да, но врать не просто так, а на генетическом уровне, на генетическом в смысле литературном. Вы помните, наверное, эстетические диалоги Оскара Уайльда, один из которых называется “Упадок лжи”, где он размышляет о природе настоящей лжи, “которая откровенна и бесстрашна, отличается прекрасной безответственностью, здравым и естественным презрением к любым потугам что-то доказывать!”

К сожалению, прошли те времена, когда на географических картах, как пишет Оскар Уайльд, рисовали чудовищ морских, когда жили какие-то люди с тремя головами на каких-то островах, и он призывает возродить старое искусство Лжи, где “ложь, умение рассказывать прекрасные истории, каких никогда не случалось, составляет истинную цель искусства”, вот как на этом гобелене (разговор происходит в кабинете, где висит гобелен с древним французским сюжетом “Дама с ликорном”), вот к этому единорогу, туда, в этот мир меня тянет. Еще лет пятнадцать назад я понял, что художник должен разыгрывать партию вчистую. Другой художник придумает другую игру, а я для себя ту, где должен играть, как набоковский Лужин. Не глядя на доску: фигуры двигаются в голове, как некие... символы. Они перемещаются, и партия раскладывается в той или иной прогрессии. И по мысли Оскара Уайльда, и по моим собственным ощущениям, мне кажется это более чистой задачей, чем пытаться описать то, что тебе известно. А потом, попытки описать свой собственный опыт присутствовали некогда в моих работах, но они приводили в никуда. Всякий раз мой опыт оказывался тяжелее, чем хрустальная конструкция композиции литературного произведения, он раздавливал ее. И тогда я начинал решать не литературные задачи, а какие-то там, не знаю, повествовательные – успеть message передать. Поскольку я литературовед, то для меня был и остается важным баланс семантики, то есть баланс между смыслом сообщения и манерой исполнения должен быть идеальным, они должны быть гармонично увязаны. Когда я описывал

реальные события или реальных людей, передаваемая информация перевешивала собственно литературные задачи.

**– Нереальный реальный мир... Он у вас какой?**

– Микеланджело говорил, что в каждом куске мрамора уже есть скульптура, нужно лишь отсечь ненужное. Экстраполируем эту мысль в литературу: существует текст, он присутствует в воздухе, в окружающих нас людях... Писателю остается только его прописать.

**– То есть водить пером по бумаге, ставить запятые, ведь слова-то уже есть?**

– Есть голоса, даже, я бы сказал, я их слышу, интонацию слышу, они ругаются там... Понимаете, история уже есть. Она только должна рассказать себя, и она выбирает того, кто это сделает. А когда выбрала, начинает ему нашептывать. И здесь надо быть очень внимательным. И вовсе необязательно знать, так это было или не так, потому что существует внутренняя правда этой истории, ее личная правда. Тут моя задача как автора не навредить своим волевым решением. То есть рождается некое существо, и я только повитуха – и все, и привет.

**– Если я вас правильно поняла, вы избегаете в своих произведениях навязывать какую-то идею, какое-то авторское послание. Для чего же вы взяли тогда за еврейскую тему? Только для того, чтобы избыть ее в себе?**

– Да, мне надо было ее проговорить. Копился какой-то внутренний материал, сердечный, душевный, если хотите, эстетический, то есть определенная культура. И вот все накопленное нашло свое применение.

**– Вы всегда пишете от первого лица, тогда откуда идея сделать главного героя полукровкой, хотя сами вы – русский?**

– Не русский... Казак.

**– Простите, вы – казак?... Но не еврей, скажем так...**

– Но не полукровка... Десять лет я рыдал от этого еврейского вопроса.

**– Почему не пятнадцать, не двадцать?..**

– Лет десять назад я наткнулся впервые на книжки Исаака Башевиса Зингера. Начал их читать в Англии, в переводах на английский, он же на идише писал, потом читал Сола Беллоу, еще ряд еврейских авторов, и с какой-то такой огромной душевной теплотой прильнул к еврейской музыке. Не знаю почему... Может, это казацкая кровь извинялась за все те погромы черносотенные. Не могу объяснить, что произошло, но была некая мистика. Я приехал в Швейцарию, там мы репетировали с Анатолием Васильевым в одном небольшом театрике пьесу австрийского драматурга, и вот швейцарский режиссер принес еврейскую песню “Ой мамэ”. Я слушал, просто слушал – и... полились слезы. Чувственное во мне заплакало. Вне всякого контекста, вне какой-то информации. “Список Шиндлера” был уже позже, намного позже для меня, лет через пять. А потом “Дневник писателя” Достоевского... А потом судьба свела меня в ОГИ с Дмитрием Ицковичем. Мы стали друзьями. И эта дружба развивала во мне еврейскую тему, я видел раскол в душе моего друга. Читая Исаака Башевиса Зингера, невозможно не плакать, читая Сола Беллоу, невозможно не грустить. Вся эта вселенская грусть, она вообще очень близка состоянию писателя. Как состояние рефлексивное. На протяжении многих лет моей настольной книгой был Ветхий завет. И в результате всех этих культурных, окологкультурных,

абсолютно некультурных событий подошло время, когда мне вдруг рассказали одну историю... Дело было на даче, куда я даже ехать не хотел. Ранним утром, после вечерних шашлыков и прочего веселья, на ступеньках крыльца женщина мне тихо так рассказала, как в юности ее бросил муж, а она, беременная, по сути, еще девочка, воровала деньги, чтобы поесть. Она ходила на дискотеки, танцевала с армянами и вот из карманов что-то таскала. Меня этот рассказ задел, и это попало в тему, то ли потому, что девушка еврейка была, то ли по внутреннему трагизму, по еврейской готовности к страданию... И во мне стала рассказываться уже история Рахили. Видите, как все случайно? У Фолкнера роман “Шум и ярость” родился из воспоминания, когда в детстве они в окошке разглядывали умершую бабушку и он увидел трусики то ли своей сестры, то ли кого-то, кто стоял на чьих-то плечах, и были они в речной тине... И вот от этого образа испачканного нижнего белья и стало ясно, как будет писаться роман... Я работал над другими вещами, над “Жаждой”, над абавным “Годом обмана”, но все равно знал, что напишу “Рахиль”.

**– Почему вы не стали наполнять “Рахиль” рассказами о бытовом антисемитизме, которые обострили бы эту тему в романе?**

– Он не захотел.

**– Кто это – он?**

– Мой герой. Его внутреннее устройство не позволило ему рассказывать истории, которые вызывали бы жалость. Это – дискретность или такое, не знаю, “британское” ощущение сдержанности. И чувство собственного достоинства. Страдания, через которые проходит каждый человек, в общем, являются его собственным опытом. И не всегда ими необходимо делиться. И из этого страдания каждый из нас должен выносить свои собственные уроки – вот и все. И поэтому мой герой об этом умалчивает. Я подходил к этим местам в тексте, они начинали прорисовываться, и потом мой герой на них замолкал.

**– У вас многое на подсознательном уровне, когда вы пишете?**

– Да, думаю, многое. То есть процесс подготовки текста – это строго сознательное мероприятие, а потом наступает момент, когда появляется свобода. И метафизика здесь даже не на уровне вдохновения, а можно сказать, на уровне метафизики синтаксиса. То есть свобода языка. Ты отпускаешь – и язык сам повествует, что происходит. И это он уже выбирает определенные лексические и синтаксические средства. Вот здесь я ему не указ вообще.

**– Вы только проводник?**

– Истории хотят сюда прийти. Просто им ставятся препоны все время нашей ленью, нашим нежеланием работать или нашей бездарностью. Ну вот и хочется приложить какие-то усилия, чтобы они пришли и здесь остались.

**– Ваше театральное прошлое влияет на то, что и как вы сейчас делаете?**

– Я изучал в ГИТИСе режиссуру на курсе Анатолия Васильева. И этот опыт, вне всяких сомнений, существенен в моей жизни и в судьбе, которая в итоге заставила меня писать книжки. Потому что уже тогда было понятно, что, в общем, я буду заниматься искусством всю жизнь. Хотя на десять лет после ГИТИСа я ушел в академический мир, защитил диссертацию по Оскару Уайльду. Для этой диссертации я год прожил в Англии, работал в архивах писателя, в его библиотеке... Но после этих академических трудов все-таки вернулся к практической словесности. И здесь уже пригодились навыки, полученные у Анатолия Васильева в “Школе Драматического Искусства”.

– **У Васильева, как я поняла, было интересно...**

– Интересно – не то слово...

– **Это была судьба?**

– Абсолютно верно. То есть нет, есть судьба, на которую ты как бы не очень обращаешь внимания, а есть судьба, которую ты, затаив дыхание, чувствуешь... и мурашки по коже, и понимаешь – да, вот оно... Знаете, Васильев нам еще в самом начале сказал: “Когда до пятого курса доучитесь, вы уйдете из театра, все уйдете!” – и зло хлопнул дверью.

– **Ученики должны предать учителя...**

– Имелось в виду не то, что мы как ученики Иисуса... а то, что в течение пяти лет он откроет нам что-то такое о театре, чего мы не в силах будем вынести. Так и случилось. По крайней мере в моем случае было именно так. Придя к мастеру на курс, абсолютно преклоняясь перед ним и будучи тогда и до сих пор уверенным в его гениальности, я считал, что жизнь не важна, важно искусство. Живем один раз – “ars longa, vita brevis”, но за годы учебы драма жизни в искусстве оказалась настолько напряженной и настолько жизнь все больше наливалась красками, а искусство, каким его без всяких купюр показывал Васильев, все тускнело, становилось все жестче, что я пришел к очень тяжелому на тот момент выводу – жизнь больше искусства. В одном интервью, помню, на вопрос, почему он так жестоко обходится со своими студентами, Васильев ответил, что хочет, чтобы курица полетела, чтобы в условиях максимальной несвободы студенты достигли максимальной свободы. Звучит великолепно. Но то, что мы вынесли на своей шкуре, было тяжелым испытанием. К чему я так сказал? Да ставки были настолько высоки... Из-за сугубо творческих проблем у нас на третьем курсе повесился студент. И тогда я подумал: нет, если искусство – это смерть, то я – за жизнь. Искусство – это очень тяжкий и страшный труд...

– **А литература – это удовольствие?**

– Ну вот лыжнику, который умеет кататься, лететь с горы – это тяжкий труд или удовольствие?

– **Вот именно: который умеет кататься...**

– Тот, кто не умеет, ему не надо на склон, это в теме не заложено!

– **Но многие, кто сейчас стоит на “литературном склоне”, – это те, кто не умеет...**

– Это уже их проблемы...

– **Вы родом из Якутии?**

– Из Забайкалья, а потом родители, отец военный, переезжали, переезжали... Сибирь, Дальний Восток... До ГИТИСа я закончил Якутский университет, факультет иностранных языков, это была уже филология, но строгая лингвистика. Хотя лукавлю, на самом деле, диплом я писал по литературе, на тему “Композиция романа “Авессалом! Авессалом!” Уильяма Фолкнера”. Чем гордился, потому что полюбил к тому моменту мистера Билла и очень рад был, что можно было с ним работать и еще деньги за это получать, – университет мне стипендию платил. Это был год 87-й, и тогда проводилась какая-то такая акция “Сто лучших защит России”. И вот мой диплом попал в эту сотню. Его отправляли куда-то в Ленинград, не помню, какие были определения достоинств диплома, но, думаю, не столько литературные, сколько за оригинальность. Я был наглый молодой человек и

навыдумывал всякой ерунды. Например, придумал свою концепцию времени для Фолкнера. Время у него – это такой клубок ниток, свернутый туго. Это его композиция. А что делает Фолкнер потом? Он этот клубок протыкает спицей, и вот по этой-то спице и движется повествование, текст, только по спице. А все, что вокруг, лишь имеется в виду, оно не в книге. Надо сказать, что я стремился написать диплом в романном ключе. Моя руководительница очень нервничала по этому поводу, так как научные работы так не пишутся. Ну ничего, защитились...

**– В новом романе вы ставите такие маленькие филологические меты своих пристрастий, например: “В комнате было светло и чисто, как в рассказе Хемингуэя”...**

– К Хему отношение ведь сложное на самом деле. Каждый, наверное, проходит несколько этапов отношения к Хемингуэю. Вначале большой восторг, поскольку ты юноша, и мечтаешь быть мачо, и тебе хочется носить тяжелые морские бушлаты, а уж если ты носишь пальто, то обязательно с поднятым воротником. И борода. Ну вот избавиться от бороды я так и не смог. Потом ты читаешь Марселя Пруста, Кортасара, Борхеса и иже с ними, и у тебя другое отношение. Ты говоришь: “А он – не интеллектуал...”. Потом – третий этап. Изучая Платона, его композицию диалога, на что я потратил благодаря режиссеру Анатолию Васильеву года два – три, понимаешь, что движение мысли Сократа удивительно просто: от А до Б. И вот в этот момент начинаешь любить Хемингуэя вновь. Знаете, по-моему, Иосиф Бродский, цитируя кого-то, говорил, что не столь важно полюбить Бога, поверить в него, важно поверить в Бога во второй раз. Хемингуэй, конечно, не Бог, но вот второй приход к нему становится интересней. При этом у меня возвращение произошло без перечитывания его текстов, они там, в голове. Я вообще редко читаю вещи по второму кругу. Только стихи Бродского. Его стихи я читаю без конца. А к Хемингуэю уважение и, конечно, грусть, что человек так закончил жизнь. Так не надо было заканчивать.

**– Судьба Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, к которому обращается в романе герой, и его личная схожи в чем-то: сумасшествие Зельды, жены Фицджеральда, сумасшествие Рахиль...**

– Верно, это сделано намеренно. Ведь и на сюжетном уровне в романе герой обращается к Фицджеральду после того, как ему не разрешают писать диссертацию о Соле Беллоу. Фицджеральд у него как эрзац-автор. Вот я и стремился выстроить его собственную судьбу как эрзац-судьбу. Герой не делает правильный выбор, он не живет с женщиной, которую любил всю жизнь, он не совершает в жизни того, чего хотел, и так далее. И у Фицджеральда, которого он изучает, в реальной жизни тема безумия, и тема алкоголизма, и тема маргинализма присутствуют. Все идет в общей упаковке, как эрзац-замена. Моему герою необходим был Сол Беллоу, благодаря которому решились бы для него многие вопросы, и еврейский в том числе. А Фицджеральд в моем романе никаких вопросов не решал, да он и в своей жизни их лишь поставил и быстро умер.

**– Не кажется ли вам литературным безвкусием – ставить восклицательные, а не вопросительные знаки?**

– Согласен. Но опять же зависит от литературной эпохи. Есть эпохи, когда модно ставить знак вопроса, а есть – когда надо дать ответ. То есть время собирать камни, время разбрасывать. Большой писатель ответы давать должен. Уильям Фолкнер их дал,

Достоевский, у Сола Беллоу их можно найти, если поискать... Ну, в общем, такие хорошие парни ответы дают...

– **И какой же ваш ответ?**

– А я... нет, я не могу еще...

– **Значит, вы пока только ставите вопросы?**

– У меня такой период. Пока ни в коем случае ... Я думаю, лет через двадцать и романов этак через десять.

– **Вы полагаете писать каждые два года роман?**

– Думаю, даже чаще... Я уверен, что настоящий писатель так и должен делать. То есть надо работать и работать. Моэм, Достоевский, Фолкнер – это люди, написавшие по восемь, десять, пятнадцать романов... Иначе быть не должно, иначе – это как бы любительское мероприятие.

– **Сэлинджеру достаточно было написать одну книгу и стать символом.**

– Сэлинджеру просто повезло: раз – и попал в нужный момент. А так бы не заметили – и привет. Вчера, кстати, забавно... Занимался переводами и вдруг понял, что название повести Сэлинджера – “Над пропастью во ржи” (“Catcher In The Rye”) вообще на русский язык не переводится. Потому что “кетчер” – это не только тот, кто ловец во ржи, то есть тот, который ловит детей, – помните аллюзию христианскую, как у Бернса: дети падают со скалы, он их ловит?.. Но ведь кетчер – еще и бейсбольный игрок, тот, кто ловит мяч. В бейсболе есть подающий, пичер, который бьет битой по мячу, а есть и кетчер. Поэтому главный герой Холден Колфилд, если помните, ходит в бейсболке. Это соединение в названии христианской и бейсбольной аллюзий, причем соединение таких полярных вещей: бейсбол – элемент массовой культуры, не имеющий ничего духовного. Мне башку вчера свернуло, я вдруг понял: для них же бейсбол-то – это же культ, и в повести Сэлинджера бейсбол очень важен, он становится контекстом жизни поколения. В результате соединения модного вида спорта с христианством да с цитатой Бернса получается такое название, такая силища! И никто не перевел название правильно. И я даже не знаю: можно ли перевести? То есть сейчас, когда мы знаем правила бейсбола, можно, действительно, говорить “Catcher In The Rye”, то есть “Кетчер во ржи”.

– **С повестью “Жажда” вы прошли в финал многих литературных премий и увидели, как, кто и кого оценивает...**

– Моя, персональная, история заключается в том, что “горнило” литературных премий ни в какое сравнение не идет с показами в театре Анатолия Васильева. Например, в час ночи, ты на третьем курсе, выходишь на площадку, и сидит мастер, а сзади весь курс, и не то что плохо, удовлетворительно играть нельзя. Ты должен быть гением, брат! Ты играешь, и если они там не заплакали, а мастер вот так не хлопнул – это означает – все! Твой отрывок не идет в зачетный показ, и так каждые полгода. Конкуренция на курсе колоссальная. У Васильева фраза “мутное болото ваших мозгов” была самая нежная. Сейчас бы он меня не напугал. Но тогда было ощущение, что от него зависела жизнь. Это необъяснимое чувство, когда человек заходит... а ты пошевелиться не можешь, потому что перед тобой полубог... его суд является окончательным и бесповоротным. В Швейцарии я переводил интервью Васильева для каких-то швейцарских газет. Его спросили: “А как получается, что, когда ваши русские мальчики играют, между их ногами и полом остается сантиметров пять, они как бы парят?” Васильев только засмеялся: “Вот у них и



спросите!” То, что парили, – факт. Другое дело, что из-за страха. Поэтому, оказавшись в списках литературных премий, я вдруг увидел, что тут особенно такого страха у людей нет. Вот не боятся они своих “Васильевых”.

**– Но разве Васильева вы боготворили только из-за страха?**

– Страх и любовь. Это вот такое потрясающее чувство... И рабство. Вне всяких сомнений.

**– Мастер знал о том, что уход от него был для вас освобождением?**

– Не думаю, что Анатолия Александровича интересуют такие вопросы, что для него это важно. Точно так же, как для меня не будет важным подобное решение моего ученика. Меня слишком занимают собственные проблемы.

**– Вы так эгоцентричны? Этому научил мастер?**

– Он не учил, он подбирал таких. Он умный, он все видит. Поэтому у меня никакого там чувства обиды...

**– Хорошо ли писателю быть эгоистом?**

– Я не был неэгоистом. Я не знаю, как это по-другому. Тут можно развернуть долгую схоластическую дискуссию по поводу терминологии. Оскар Уайльд говорил, что эгоизм прекрасен. Потому что надо полюбить прежде всех самого себя, и тогда ты научишься любить других.

**– Ну да, “возлюби ближнего своего, как самого себя”...**

– И получается славно вполне ... Изучите себя, дайте развитие всем движениям своей души и посмотрите, чего вы хотите в этой жизни. Я лично до сих пор следую этому. Как бы парадоксален и циничен ни был Уайльд, но в его парадоксах можно кое чему научиться. Я, помню, во время госэкзамена по английскому языку мне предложили вопрос по прессе. На мои слова, что газет не читаю, а занимаюсь собой и разбираюсь в себе, заведующая кафедрой возмутилась: “Вы комсомолец, вы должны быть передовым! А вы к двадцать одному году еще не разобрались в себе!”. Я говорю: “Альбина Абрамовна, неужели вы к сорока годам уже разобрались?”. Она: “Пошел вон!!” – и тройку мне поставила. А я был прав, потому что сейчас, к своим почти сорока годам, я понимаю, что есть еще в чем разбираться и ковыряться. Поэтому в этом смысле эгоизм – это как бы такая нормальная работа любого индивидуума, и писателя в том числе. Бродский здесь абсолютно прав, говоря, что пишущий человек идет впереди непишущего обывателя, потому что у пишущих рефлексия – профессиональная, они просто обязаны этим заниматься по делу, по своей работе сидеть и разминать все время внутри этот материал душевный и наблюдать. А от этого происходит колоссальное развитие. Ты в итоге становишься быстрее, реактивнее, в смысле своих реакций душевных, интеллектуальных.

**– Как вы относитесь к литературной критике, если таковая есть? Я имею в виду критику, когда анализируются произведения, чего практически у нас не случается, и критику, когда...**

– Бранят. Вы точно отметили, что критики с литературным разбором, к которому у особенно привык, преподавая анализ текста, практически нет. Только один раз это сделала Мария Ремизова. Там было здорово угадано. Понимаете, я часто движение мысли делаю на сломе фразы, движение текста иногда происходит за лексикой или за синтаксисом. Знаете, была такая группа в 70-е годы, “Deep Purple”. И там был вокалист Ян Гилан, его

голос был так высок, что иногда он уходил за пределы человеческого слуха. А потом Ян Гилан возвращался в наш диапазон, и мы начинали слышать. То есть он брал ноту, потом – раз – как бы замолкал с открытым ртом, а потом возвращался. Мы говорили: “Вон Гилан вернулся, привет, брателло!”. Это было здорово. И вот такой же момент движения в моем тексте Маша Ремизова угадала блестяще. Я подумал: “О-о, разгадали, не спрятался!”

**– Вы – оптимист? В “Жажде” есть такой скрытый оптимизм, а вот в “Рахили” его не так много...**

– Я по-настоящему такой. На самом деле главный герой вообще должен был умереть. Я его спас на последней странице. Подумал: Боже мой, что же я пишу, ведь я же от первого лица говорю. Это же часть меня сейчас умрет! Я так испугался.

**– Это от театра...**

– Конечно. Будучи театральным человеком, я твердо знаю, что не надо играть роли мертвых людей, не надо, чтобы тебя на сцене в гроб клали, то есть... определенный мистицизм присутствует. Булгаков вон пишет в дневниках: “Сегодня я написал сцену пожара”. Через два часа в его квартире случился пожар. Существует некоторая взаимосвязь между искренним творчеством и действительностью.

**– Да, прямо-таки согласно утверждению Уайльда – жизнь смотрится в искусство, словно в зеркало... “Рахиль” – роман камерный, а теперь что?**

– А теперь – да и, когда писал “Рахиль”, хотелось – пишу степную вещь. Степь, казаки, вся моя родная кровь. И тут будет уже генетика не на уровне генетических связей в литературе, а на уровне дядек, теток, бабок и шашек, которые до сих пор где-то в станице Атамановка на стенах висят. Я их видел в детстве. Действие в романе происходит в августе 45-го года, после победы над фашистской Германией и до начала наступления на квантунскую армию, название “Дурная порода”, пока рабочее. Может быть, будет называться просто “Порода”. Уже довольно много написано, получается широкое романное пространство, потому что там клубок судеб...

**– Ретроспективы уже не будет, действие в романе повествовательное?**

– Да, история начала себя рассказывать вот так. Если в других вещах у меня нет даже комнат, у меня нет ни часов на стенах, ничего нет, то здесь есть валуны каменной соли, которые лижут козы, есть жаворонки, вылетающие из камыша в небо, белое от зноя. Есть японские военнопленные, которые еще с Халхин-Гола сидят, и наши конвоиры бьют их прикладами в затылок... Есть такое... полотно... Может быть, не знаю, я всю жизнь стремился к этому тексту. Мне нравятся объемные, большие полотна, нравится ренессанс, нравится Паоло Уччелло, был такой анималист, рисовал лошадей, Витторе Карпаччо с его широкими площадями, палаццо венецианскими, эта живопись привлекает меня своей масштабностью. И этот текст будет такой.

**– Вернемся к роману. Любовь вашей Рахиль на грани ненависти...**

– Она другого ждала от жизни. А тут появился какой-то мальчишка, глупый, наивный, романтический, она его, в общем, переезжает, как поезд.

**– Вы верите в такую любовь?**

– Иначе и все остальное не интересно. То есть должна быть страсть такая африканская...

**– А мне казалось, у вас одна любовь – литература.**

– Я проверял. Искусство действительно играло огромную роль, но как только начинались какие-то нелады в личном – всё! Искусство летело к чертям собачьим. Всегда. Я не мог ничего, мне не интересно было ничего вообще. Я лихорадочно начинал бегать по городу с выпученными глазами и решать свои проблемы. Хватать за руки, кричать: “Моя!”

**– Для вас внутренний дискомфорт не является необходимым условием творчества?**

– Ни в коем случае! Одну поэтессу – она влюбилась, куда-то в Америку ей надо было лететь, голова набекрень – спрашиваю: “Вер, ну как же ты в таком состоянии стихи-то пишешь?” Она от души: “Андрюша, только в таком состоянии и пишутся стихи! Когда жить неохота”. У меня наоборот. Моя где? Моя на кухне. Дети тут? Дети, тихо! Дети делают уроки в углу. Все, с романтизмом закончили, давайте работать, давайте теперь писать. Потому что это вещи – разные абсолютно. В нашей профессии, мне кажется, ничего романтического нет.

**– Сейчас этот вопрос может показаться не таким актуальным, но он всегда волновал творческую личность в России. Могли бы вы в другой стране реализоваться как писатель?**

– Да. Мне все равно, на каком языке говорить, думать и писать тоже. Не пробовал еще, но есть планы написать книгу на английском.

**– Художественную прозу?**

– Есть замысел романа, который ложится под английский синтаксис. По менталитету персонажей, потому что взаимоотношения персонажей влияют на синтаксис. Может быть, я до него доберусь. Как-нибудь. Перемещение в географическом пространстве моего тела не играет никакой роли, если рядом жена и дети...

Андрей Геласимов ушел из отчего дома в восемнадцать лет. Босиком (в буквальном смысле). Родители в порыве своей правоты были категоричны, спрятали ботинки, не пуская Андрея к любимой. Она стала его женой. У них трое детей.

## РАХИЛЬ

### Дина

Он говорит – интересно, где ты это взяла. А я говорю – интерес, интерес, выходи на букву эс. И столкнула Люсю с дивана. Потому что профессор на кровати тогда спать уже не ложился. Думал, что Люся будет продолжать ему туда гадить. Но она ведь тоже не дура. Поняла, что к чему, и начала присматриваться к его дивану.

Поэтому я говорю – смотрите, какая клееночка. И совсем не похожа на детскую. Те ведь такие коричневые. Никто не подумает, что это вы писаетесь. Он смотрит на меня из своего кресла и говорит – кто не подумает? Ко мне не приходит никто. Я говорю – ну, не знаю. Вы же сами стеснялись детской клеенкой застилать. Он говорит – я не из-за этого стеснялся. Подай мне, пожалуйста, валидол.

И замолчал со своей таблеткой.

А я пошуршала клеенкой и пошла на кухню Люсю кормить. Только Люся еще не знала, что у меня нового для нее ничего нет. И стучалась об мои ноги, как будто у меня было. Лоб твердый, как бильярдный шар.

Я однажды оперлась на стол, а Володька в этот момент ударил. И шар прямо мне в косточку. Вся рука потом так опухла. А Володька говорит – извини, извини. Я думаю – ага, извини. Тебя бы так кто-нибудь. У самого ручища как танковый ствол. Какой там бильярдный – можно для кегельбана шаром колотить. Все равно ничего не будет. Как схватит. У профессора совсем не такие руки. Интересно, в кого это Володька пошел?

Я открыла холодильник и говорю – ехала машина темным лесом за каким-то интересом. Инти, инти, инти, рес, выходи на букву эс. А Люся меня послушала и догадалась, что ей ничего не светит. Хотя я совсем не для нее эту песенку говорила. Просто на ум пришло. Но Люся – умная кошка и умеет понимать голоса. И в моем голосе, видимо, было, что ничего для тебя, Люся, у нас нету. То есть у меня. Чем бы тебя, тварь этакую, покормить?

Потому что у профессора для Люси давно уже ничего не было. Если бы он мог, он бы ее вообще сбросил с балкона. Но он не мог. Потому что профессора кошек с балконов не бросают. У них другие занятия. К тому же Люся все равно бы вернулась. Если кошка начала гадить кому-то на постель, она просто так не успокоится.

Это еще мама сказала, когда отец стал совсем сильно пить.

Может, она и сейчас так говорит, но мне уже не интересно. Я теперь в профессорской семье. Правда, самого профессора в этой семье что-то не видно. Тут у всех в голове тоже свои тараканы.

А эта умная Люся разворачивается и с презрительной улыбкой уходит из кухни. Такая оскорбленная Принцесса Лебедь. Как в мультике. Или в балете. Я уже не помню. В общем, такая Майя Плисецкая. Но я же не виновата. Я специально ради нее заскочила в универсам, а там оказался этот мальчик.

Просто у меня правило – за один раз только один предмет. Будь там хоть миллион всего в ассортименте. Пусть даже самое-самое. Пусть даже английское печенье. С кусочками шоколада и облепленное орехами. И такое мягкое, что почти не хрустит. Хотя врач сказала – жидкости надо поменьше. Не больше одного литра в день, а то ноги уже отекают. А с этим печеньем столько всего напешься, что не запомнишь – литр там или не литр. Поэтому – строго одно наименование.

Ну и не только поэтому.

А тут этот мальчик. Года четыре на вид. И такой весь батон. В четыре года дети – очень батоны. Стоит там у себя внизу на своих маленьких ногах и шепчет что-то маме, у которой в корзинке маргарин «Рама» и хлеб. На цыпочки поднимается. И вид у него заранее виноватый, как будто он вот уже знает, что ему откажут, но удержаться и не попросить тоже нет сил. Потому что ему всего лишь четыре года, и он весь такой вот батон, и значит, у него еще имеется его волшебное право попросить даже тогда, когда совсем нельзя. Которое потом кончится. Стоит только чуть-чуть подрасти. И деньги у родителей вроде бы уже появились.

Я посмотрела на них немного и думаю – ну, покажи мне, чего ты хочешь. Сегодня я твоя фея. Люся «Вискас» и так жрет почти каждый день.

Но он, блин, совсем маленький и показывает как-то непонятно. Я смотрю осторожно в ту сторону и не очень-то понимаю – то ли малиновый джем, то ли компот из вишен. Вижу только, что мамаша с маргарином головой ему уже дала от винта. Я про себя говорю – не вешай нос, челдобречик, покажи мне еще раз. И он поднимает руку.

Но все равно непонятно.

Они ушли к кассе, а я стою у этой полки и думаю – компот или джем?

Я лично за вишенки. Мама только по большим праздникам покупала, и можно было косточками плевать с балкона во всяких лысых людей.

Компот или джем?

С другой стороны, джем можно намазывать на булку, и поэтому его хватит на несколько дней. А вишни улетят за десять минут. Ну, плюс еще полчаса с косточками на балконе.

Блин, если бы не мое правило!

Одного еврея спросили – вам бутерброд с маслом или с мясом? Он отвечает – с мясом. Такая умница.

Наш профессор тоже еврей. Но совсем не умный. То есть как профессор, наверное, умный, а как еврей – не очень. Живет никому не нужен, и в квартире у него – шаром покати. Нарочно сам все так сделал. Мог бы совсем по-другому жить.

Короче, если бы не мое правило, я бы и Люсю, наверное, не обидела.

Компот или джем, на фиг?!!

Я поворачиваю голову и смотрю – есть ли камеры. Вроде нету. Тогда я начинаю считать их пальцем. Эти банки. Мне так удобнее. Когда в детстве для прятков считались, обязательно тыкали пальцем в грудь. И я считаю – ручки, ножки, агу, речик, воты, вышел, челдо, бречик.

Получился малиновый джем.

Я обернулась еще раз и взяла вишни. Мало ли что эти дурацкие считалки могут сказать.

На кассе никто ничего не заметил, и я выскочила на улицу. Эти двое уже шли к остановке.

Смотри сюда – я этому батону говорю, пока его мамочка отвлеклась на какие-то объявления. Квартиру, наверное, хотела снять. Видишь?

Он посмотрел на банку и улыбнулся. Я думаю – значит, все-таки вишни.

Я говорю – бери. Он берет и тихим голосом говорит – спасибо.

И потом через десять секунд она мне кричит в спину – девушка! А я думаю – нормально придумала. Где ты видела девушек на восьмом месяце? Я – фея.

Но зато Люсю теперь кормить было нечем. Хорошо хоть забежала в универмаг и взяла у них там клеенку. Большая, правда, оказалась, зараза. Пришлось тащить ее из кухонного отдела в примерочную. Еле-еле пальто застегнула, хоть оно и на два размера больше. Но

Люсю можно уже не бояться. Помыл клееночку – и заново постелил. Только сидеть на диване будет немного странно. Как на столе. Она ведь в цветах. И попе, наверное, скользко.

У нас в школе англичанка любила так наряжаться. Тоже вся разноцветная. Отец ее как увидел, запел «Яблони в цвету» композитора Мартынова. Прямо в школьном коридоре. Он ведь не знал, что будет родительское собрание, и успел после работы клюкнуть. Но мама сказала, что он совсем не занимается моим воспитанием, и поэтому ей пришлось потом бить его по затылку газетой. Чтобы он перестал петь.

Англичанка по кличке «Тугеза». Разучивала с нами замечательные стихи.

*«Маза, фаза, систе, браза, хэнд ин хэнд виз ван эназа».*

А потом стояла грустная у окна и куда-то смотрела, пока мы бесились, как черти. Ощущение было, что звонка она ждет гораздо сильнее, чем мы.

Потому что мы-то его вообще не ждали. Нам и так было нормально. Однажды на шум влетел директор школы. Орал на «Тугезу» прямо при нас.

И тут профессор тоже вдруг начинает кричать из своей комнаты – Дина. И потом еще раз – Дина. Как будто пожар. Или как будто Дина значит – боже мой, как я устал от этой жизни. Я захожу к нему и говорю – ну а зачем вы клеенку-то, блин, убрали? Я ее специально ведь для этого принесла. А он говорит – совсем обнаглела. Я говорю – я, что ли? Он говорит – Люся. Прямо у меня на глазах запрыгнула на диван.

Я пошла в ванную за тряпкой и думаю – это она из-за меня. Отомстила за то, что я «Вискас» не принесла. А профессор идет за мной и говорит – ты знаешь, зачем человек воспитывает в себе хороший вкус? Я говорю – не знаю. Подвиньтесь, пожалуйста, мне надо пройти. А он говорит – за тем, чтобы постоянно страдать от окружающей его вульгарности. Я говорю – надо же, как интересно. А он продолжает – мазохизм это совсем не то, что придумал забавный господин Мазох. Австрийский затейник, со своими шлепками по заднице, просто дурачился, вспоминая веселые киндергартеновские времена. Настоящая суровая ненависть к самому себе господину Захеру даже не снилась. Сидел и сочинял непонятных теток, которым нужно неизвестно что.

Я говорю – кто сочинял?

Профессор смотрит на меня, а потом поднимает указательный палец и говорит – подлинный самоненавистник воспитывает в себе хороший вкус. Он понимает, как сделать себя уязвимым.

И тогда я говорю – вы специально, что ли, клеенку с дивана убрали?

Всегда подозревала, что у него не все дома.

Вера говорит, он когда-то работал в психушке. То ли санитаром, то ли еще неизвестно кем. Врет, может, конечно. Ей обидно, что он ее бросил после двадцати где-то совместных лет. Но зато у нее остался Володька. И теперь я. Хотя насчет меня еще не факт – большое ли это для нее утешение. Для меня было бы небольшое. Интересно, передается ли это по наследству? Я имею в виду – уходить от жены после двадцати лет. Потому что я тогда этого Володьку лучше прямо сейчас убью. Зарежу ночью в постели. Утром он просыпается, смотрит, а сам уже мертвый. Ужасно смешно.

Профессор говорит – не нужна мне, Дина, твоя клеенка. Я хочу, чтобы Люся перестала ходить мне на постель. Я ему отвечаю – она куда хочет, туда и ходит, а клеенку вы убрали совершенно напрасно. Мне ее не так легко было из магазина забрать. А он говорит – и ты к тому же воруюшь.

Конечно, ворую. Что мне делать еще?

Но я говорю – да перестаньте. Он говорит – уже перестал. А по глазам видно, что перестать он не может. Его доканывает быть родственником у воровки. Он же, типа, профессор.

Я говорю – вы вот профессор, а не понимаете сложностей переходного этапа. Он говорит – ты о чем? Я говорю – вы когда Белый дом защищать к этому Ростроповичу с автоматом ходили, разве не понимали, что вам потом все равно зарплату по полгода не будут платить? Ростроповичу будут, а вам нет. Он смотрит на меня и говорит – не было у меня автомата. Я говорю – да не у вас, а у Ростроповича. Я по телевизору видела. Что вы к словам цепляетесь? Он говорит – странная ты какая-то. При чем здесь это? Я говорю – а при том. Просто надо уметь выкручиваться. Ростроповичу уже, например, не надо. Вот он с автоматом и ходит. А вам лучше бы научиться. Он говорит – я профессор литературы, и у меня очень большое сердце. Я говорю – да знаю я все про ваше сердце.

Как в песне Леонида Утесова. Которая поется козлиным голосом.

*«Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить».*

Директор школы, когда из семьи ушел и на «Тугезе» женился, тоже, наверное, таким голосом разговаривал.

После пятидесяти мужикам надо делать чик-чик. Яйкам в штанишках становится туговато. Но они, гады, при этом говорят: «Спасибо, сердце». Видимо, в школе плохо учились. Не просекли по анатомии – что у них где.

А так были бы как коты после операции. Огромные, теплые и пушистые. И что с того, что не очень игривые?

Жрут, правда, много.

Я смотрю на профессора и говорю – не знаю, чем теперь Люсю кормить. Он отвечает – мне все равно. Можешь выбросить ее с балкона. Я говорю – нет, это вы сами. Кошка ваша, и гадит она не мне, а вам на постель. Профессор помолчал немного, и потом говорит – мне сказали, что это очень плохая примета. Я говорю – ну да. Ничего хорошего. Только вы ведь профессор. Не будете же вы верить в приметы.

А он говорит – да, да, конечно. Но голос у него какой-то задумчивый. Не совсем такой, как у тех, кто в приметы не верит. Те на любой вопрос отвечают по-пионерски.

Оптимисты долбаные.

Я, кстати, и сама еще успела пионеркой побыть. Пока Горбачев всю эту советскую лавочку не прикрыл. Меня как раз «Тугеза» в них принимала. Уставилась на своего директора и галстук этот мне на шее так затянула, что я начала кашлять. Любовь, блин.

Только я-то здесь при чем?

А профессорскую «тугезу» звали Наташа. Она у него студенткой была. Пионерский галстук на шее никому не затягивала, но за профессора взялась так, что у него все болты в голове с резьбы послетали.

Взвились кострами темные ночи.

А когда он ей надоел, она к какому-то кагэбэшнику от него ушла. Кажется, тоже старпёр. Все «тугезы» заточены под старпёров. Им с ними прикольно. Типа, такие папашки.

А у профессора теперь клин. То он от любви страдает, как Тристан и Изольда, то боится, что скоро умрет. Вера взяла и помыла полы после него, как после покойника. А он, хоть и говорит, что не суеверный, когда узнал об этом, начал за сердце хвататься. Где, говорит, мой валидол. Разве, говорит, можно так с живыми людьми обходиться.

Конечно, можно. Станный какой.

Да тут еще Люся. То есть примета на примету.

В общем, я смотрю на него и говорю – вы мне что-то сказать хотите? Потому что он губами шевелит, а звуков я никаких не слышу. Как будто оглохла или как будто немое кино. Только себя-то я слышу нормально. Не в голове же у меня мой голос звучит. И поэтому я опять говорю – не слышно. Что вы хотите? Может, у вас голос пропал? А он

начинает шарить вокруг себя руками. Везде, куда дотягивается со своего кресла. Ищет что-то, наверное. Я говорю – вам подать что-нибудь? Вы скажите. Чего молчать-то? Я принесу. А он рот открывает, и – полная тишина. Фильм ужасов, блин, какой-то. И потом у него глаза начинают закатываться. Я смотрю на него и думаю – сбывлась, на фиг, примета. То есть сразу две.

Может, не надо было к нему заходить? Нашли бы его завтра, и всем было бы проще.

Хотя, кто бы его нашел, кроме меня?

Але – говорю в трубку – «Скорая»? Вы приезжайте скорей. А то у меня тут человек умирает. Я лично понятия не имею, что с ним делать, если он сейчас ласты загнет.

А на следующий день – вся эта кутерьма с книгами. Выбрать ведь практически невозможно. Интересно, для кого их столько печатают? Даже профессор, наверное, так много не прочитал. В общем, то в медицинский отдел зайду, то в «Живую природу». И продавщицы все такие ухоженные.

Про кошек очень интересные книжки. С иллюстрациями. Еле оторвалась – штук десять, наверное, пролистала. Но сильно большие. По медицине томики выносить гораздо удобней. Вернее, один томик. Потому что два сразу я ни за что в жизни не буду брать. Сама решила, что это плохая примета. Профессор чуть не умер однажды, когда увидел, как я маслины беру. Банки три, кажется, или четыре.

А раз решила, то вот и верю теперь.

Обязательно надо во что-то верить. Профессор говорит, что хочет поверить в Яхве. Полдня мне однажды вкручивал на тему своей персональной избранности. А я ему говорю – вы же только наполовину еврей, и не обрезаны, наверное, даже. Он говорит – ну и что. Все равно я в рай попаду. За меня другие евреи молятся. Я ему говорю – ну, давайте.

А теперь хожу из отдела в отдел и никак не могу решиться – что брать. То ли про кошек, то ли про болезни сердца. Да тут еще на весь магазин из динамиков рассказывают про известную во всем мире группу «Битлз». Таким вкрадчивым голосом.

Володьке лучше даже не знать. С ума сойдет, когда про эту книгу услышит. Дома на каждой стене – по Джону Леннону. Все большие и все в очках.

В общем, я стою с книжкой про гепардов и слушаю песню.

А они поют: *«Конь тугеза. Райт нау. Оувами».*

То есть клевая песня. Но непонятная. Я думаю – надо профессора про нее спросить. Он «Гамлета» читает в оригинале.

Но профессор отвечать на мои вопросы не захотел. Ему было интересно – зачем я принесла эту книгу.

Я говорю – как зачем? Нам же надо повадки их изучать. Как у них там чего, и так далее. Чтобы Люсю отучить вам на постель гадить. А иначе мы ни фига не узнаем. И она будет продолжать делать свои дела. Вы разве сами меня об этом вчера не просили? Он говорит – книги из магазинов воровать не просил. Я говорю – ну ладно, давайте, давайте. Я, между прочим, могла у них взять для Володьки книжку про «Битлз». Она, кстати, и размером удобней.

Он смотрит на меня и говорит – но это же книга про больших кошек. Тут только ягуары какие-то и леопарды.

А я говорю – ну и что? Вот вы интересный какой. Вам ведь вчера уколы тоже не кардиолог ставил. А просто врач «Скорой помощи». И что-то вы не стали его прогонять. Врач он и есть врач. С кошками та же история. А то размеры вдруг его не устраивают. И вообще, хватит уже привередничать. Я у своей врачихи в женской консультации узнавала насчет сердечников. Она говорит – все вы капризные. Без исключения. Так что давайте лучше читать и искать полезную информацию.

И полезная информация пошла валом. Как на картине Айвазовского.



Выяснилось, что большинство кошек не любит воду. Значит, Люсю можно было либо: а) утопить; либо: б) сильно напугать, залив постель профессора водой из крана. Вторых, кисточки на ушах рыси служат не украшением, а антенной, и, если их обрезать, у нее сразу притупляется слух. То есть Люся с обстриженной на ушах шерстью, скорее всего, не услышит, встал профессор с дивана или он еще там лежит. И готов ее схватить, если что. Далее: каракал, живущий в Индии, а также в Иране, прыгает в середину голубиной стаи, которая кормится на земле, и начинает размахивать передними лапами, сбивая уже летящих птиц. Как боксер. Следовательно, мы можем развесить по комнате на веревочках такие пушистые детские игрушки, и Люся будет отвлекаться на них, думая, что она каракал и что настало время охотиться, а не гадить.

Этот способ, кстати, мне нравился больше всего. Я представила себе скачущую на задних ногах Люсю и вспомнила, как отец однажды выпил с большого похмелья из водочной бутылки скипидар. Мама его туда налила, чтобы разводить краску. Отец, конечно, его не выпил, а почти сразу весь выплюнул, но попрыгать и потрясти руками на кухне успел. Я потом видела по телевизору, как танцуют ирландцы. Очень похоже. У них, видимо, все спиртное, как скипидар. Потому что от хорошей жизни так не запляшешь.

А еще у Володьки есть друг, который служил на флоте, и он рассказывал, что они так спасались от крыс. Подвешивали на веревке булку черного хлеба и спокойно спали всю ночь, пока крысы старались до нее допрыгнуть. Иначе, он говорил, запросто могли ухо отгрызть. Или нос.

Так что этот способ мне лично показался вполне прикольным. К тому же Люся позанималась бы физкультурой. А то сидит дома почти без движения. Только на диван да с дивана.

Но профессор сказал, что я дура и что вся эта книжка ему не подходит. А я ему ответила, что дом закрывается, ключ у меня, кто обзывается – сам на себя. И книжка ему подходит самым клевым на свете образом.

Вот смотрите, ему говорю. Страница семьдесят пять. Состарившихся и больных львов прайд не защищает, а, наоборот, изгоняет. Одряхлевший лев, тощий и слабый, часто становится добычей гиен. Чувствуете, говорю – тощий и слабый? Никого не напоминает? Смотрим, что дальше. Таков бесславный конец владыки зверей.

Он уставился на меня и говорит – ну и что?

Я говорю – как что? Бесславный конец владыки зверей.

Он говорит – ерунда. Все умирают.

А я говорю – но не всех изгоняет собственный прайд. Люся ходит вам на постель, потому что она вас изгоняет. Теперь это ее территория.

Он помолчал, а потом говорит – вот уж фигушки. Дай-ка мне сюда эту книгу.

И я дала.

Мы сидели молча минут десять. Он читал про своих львов, а я сталкивала Люсю с дивана.

Потому что у нее стал вдруг очень задумчивый вид.

В конце концов он говорит – действительно, все на свете проходит. Даже жизнь льва.

Я говорю – а вы как хотели? Бесконечный праздник в джунглях?

Он говорит – львы в джунглях не живут.

Я говорю – а где они живут?

Он помолчал и потом отвечает – в зоопарке на Баррикадной.

А я говорю – ну да, только их там никогда не видно. Прячутся в своих норках. Им, наверное, неохота, чтобы на них смотрели.

Он еще помолчал, вздохнул и говорит – никому неохота.

А я думаю – ну, не знаю. Мне, например, нравится, когда на меня смотрят. Не в магазине, конечно. Где-нибудь в метро. Правда, из-за живота давно уже никто не оборачивается. Как отрезало.

Зато и на кассе не обращают внимания.

А профессор тем временем совсем загрустил. Сидит, мою книжку листает. Я думаю – ну да, все понятно. Листики, листочки, где вы, блин, те ночки. Интересно, когда он остановится? Потому что он ведь даже и не смотрел на все эти картинки, от которых я в книжном не могла оторваться. Просто перелистывал их одну за другой, как плохой Терминатор из второй части листает телефонный справочник. «Тугезу», наверное, свою вспоминал. Львиную охоту.

Я говорю – что-то вы загрустили. Принести валидол?

Он говорит – нет, не надо. Ты летку-енку танцевать умеешь?

Я говорю – а что это?

Он отвечает – танец такой. Вот так все встают паровозиком и начинают ногами то в одну, то в другую сторону. И потом прыгают.

Я говорю – прикольно. А тесно друг к другу встают?

Он говорит – практически прижимаются.

Я говорю – нет, я такой танец танцевать не умею. Тем более с животом. А вы это, вообще, к чему?

Он опять помолчал и говорит – я так с Володькиной мамой познакомился. Летку-енку танцевал в Академии имени Жуковского. То есть не совсем летку-енку, а вальс «На сопках Маньчжурии», но стояли вот так. Она впереди, а я сзади.

Я говорю – почему?

Он пожал плечами и говорит – в молодости с человеком происходит много странных вещей. С тобой происходят странные вещи?

Я говорю – о, до фига и больше.

Он говорит – вот видишь.

Мы посидели, и он опять загрустил.

Я говорю – а вообще-то все эти воспоминания ни к чему. От них только голова начинает болеть. И надо пить таблетки.

Он посмотрел на меня и улыбнулся.

Я говорю – хотите, я вам тоже про танцы историю расскажу? И про воспоминания.

Он молчит.

Я говорю – так вот, у нас дискотеку в школе вел Вовка Шипоглаз. То есть у него, наверное, была какая-то другая фамилия, но он в детстве взрывал с другими пацанами карбид. Знаете, они его насыпают в бутылку, а потом наливают туда воды и трясут. Можно после этого бутылку куда-нибудь бросить, и она там взорвется. Но они эту бутылку никуда не бросали. То есть вначале бросали, а потом им надоело, и они стали бросать ее друг другу. Бросают и ждут – у кого она в руках взорвется. Им интересно. Или в воздухе – пока летит. Вот. И взорвалась она в руках у этого Вовки, которого зовут как нашего с вами Володьку. То есть Володьку зовут Володькой, а Вовку диджея с тех пор зовут Шипоглаз. Потому что, когда бутылка у него в руках разорвалась, ему немного карбида в лицо попало. И он у него на лице шипел. Прямо на левом веке. И все закричали – смотрите, у Вовки глаз шипит. А потом стали называть его Шипоглазом. Понимаете?

Профессор говорит – я понимаю, только воспоминания мои здесь при чем?

Я говорю – вы подождите. Куда торопитесь-то? Сейчас будет про воспоминания. Потому что этот Вовка, когда вырос и вел уже школьную дискотеку, любил переводить в микрофон иностранные песни. То есть он их, конечно, не переводил, а говорил в свой

микрофон всякую чепуху, потому что сам ни слова ни по-английски, ни по-какому другому не знал, но получалось всегда прикольно. И всем нравилось.

Профессор говорит – ну-ну.

Я говорю – да подождите вы со своим ну-ну. Больше всего Шипоглаз любил переводить Джо Дасена. Знаете, был такой французский певец.

Он говорит – я знаю.

Я говорю – ну вот, а у этого Джо Дасена есть такая песня, где он вначале долго говорит по-французски про что-то грустное, а потом начинает петь.

Профессор говорит – я догадываюсь о какой песне идет речь.

Я говорю – вот видите. А Шипоглаз громче самого Джо Дасена наговаривал в это время свои собственные слова, и у него получалось примерно так – вот опять мы с тобой в этом парке. Вокруг те же деревья. Те же качели раскачиваются на ветру. Те же аллеи. Те же дети бегают по опавшим листьям. Я помню, как из-под трамвая выкатилась голова, остановилась у твоих ног и сказала – вот и сходил за хлебом. А дальше Шипоглаз начинал петь вместе с Джо Дасеном – где же ты, и где искать твои следы?..

Я все это дело пою, а профессор смотрит на меня, смотрит, и потом вдруг как засмеется.

Я говорю – вы чего?

Он говорит – сильный перевод. Практически наповал.

И продолжает смеяться.

А я думаю – чего он так хохочет-то? Прихватит опять сердце, и будем, как вчера, «Скороую» вызывать. Может, не надо было ему про Джо Дасена рассказывать?

Он отсмеялся, а потом уставился на меня. Мне даже не по себе стало. Еще глаза такие навывкате. Пекинес, блин, а не профессор.

Я говорю – что?

Он смотрит.

Я говорю – зрение, что ли, решили проверить?

Он смотрит.

Я говорю – ладно, мне домой пора. А то Володька потеряет. Ругаться начнет.

И тогда он говорит – слушай, а зачем тебе это все?

Я встала и говорю – в смысле?

Он говорит – ну вот ходишь сюда, еду носишь. Меня все ненавидят.

Я говорю – не все, а только ваши родные и самые близкие люди.

Он говорит – спасибо.

Я говорю – мне-то чего спасибо? Себе говорите. Но студенты ваши, например, вас не ненавидят. Им, скорее всего, на вас просто плевать. У них своих дел целая куча.

Он опять говорит – спасибо.

Я говорю – ну и чего вы заладили? Повторюша, дядя Хрюша.

Он говорит – смешно.

Но сам не улыбается. Думает о чем-то.

Наконец говорит – а тебе не наплевать?

Я говорю – мне нет.

Он говорит – почему?

Я подумала и говорю – потому что, если вы умрете, мне с Володькой будет уже не так прикольно.

Он говорит – поясни.

Я говорю – чего пояснять? Это он сейчас вас ненавидит, а умрете – начнет мучиться, как герой стихотворения Михаила Юрьевича Лермонтова «Мцыри». А мне скоро рожать. Врачиха сказала, что ребенку нельзя жить в тягостной атмосфере. Так что проще за вами ухаживать. К тому же вся катавасия с вашими похоронами свалится на меня. На кого еще? Вере Андреевне у нее в школе никто помогать не будет. В гороно даже на учебники денег давным-давно нет. Поэтому мне легче для вас колбаски в супермаркете наворовать, чем гроб в похоронном агентстве. Знаете, сколько теперь все это стоит? Венки-ленточки-цветочки.

Он смотрит на меня и молчит.

Я говорю – ну, я пошла.

Он говорит – до свидания.

Я говорю – и книжку я с собой заберу.

А в женской консультации на следующий день беременных было не протолкнуться. Праздник плодородия. Поэтому я заняла очередь и сразу пошла на второй этаж. Туда, где сидят кардиологи. Нашла кабинет, рядом с которым никого не было, залепила замочную скважину жевательной резинкой и стала ждать. Ни один врач не усидит в своем кабинете больше десяти минут, если к нему никто не заходит. Закон природы.

Моя просидела минут пять. Вышла такая, покрутила головой и стала ковырять ключом в двери. Без толку. Жвачка турецкая. Тягучая, как вареный гудрон. В детстве, когда его жевали, зубы иногда схватывало намертво.

Но обратно вернуться ей уже ни в какую. Засвербило. Обязательно надо куда-то идти. Я думаю – давай, давай. А я пока присмотрю за твоим кабинетом.

Она наклонилась раз шесть и зацокала по коридору. Шпильки после пятидесяти. Эта тетя если и работала тут специалистом по сердцу, то, скорее всего, по мужскому.

В кабинете у нее было прохладно. Я залезла на подоконник и закрыла форточку. Моя врачиха постоянно говорит – со сквозняками надо быть осторожней. Достала даже немного.

Когда спускалась на пол, уронила фотографию на столе. Неудобно, блин, с таким пузом. Сначала думала – внуки, а когда подняла, оказалось – кошка. Вот вам здрасьте. На колу мочало, начинай сначала.

Что-то еще было в этой считалке, но я никак не могла вспомнить. Что-то до кола и мочала.

Неважно.

Я сдвинула стекло в книжном шкафу и стала перебирать книги. Хоть бы одно знакомое слово. Сами-то понимают – чего написали? Неужели не бывает простой книжки с объяснением, как откачать человека с сердечным приступом? На что ему там давить и куда дышать, в какое отверстие. На занятиях по медицине, кажется, объясняли, но кто будет слушать их лекции?

Так, а что это вы, интересно, тут делаете – говорит вдруг сзади меня чей-то голос. Я оборачиваюсь, а там эти шпильки. Озабоченные. И голубая седина. Паричок, разумеется.

Вот так быстро вернулась.

Я говорю – как что? Книги смотрю.

Она уставилась на меня и говорит – какие книги?

Я говорю – вот эти. Мне нужно.

Она помолчала, а потом делает так немного странно рукой – а ну-ка, говорит, вон отсюда, как вы смеете.

Я говорю – да пожалуйста. Только не надо на меня тут орать. Я в положении.

И иду к двери. Но она стоит прямо у меня на дороге.

Совсем обнаглели – мне говорит.

Я отвечаю – ой, ой, ой.

И не могу мимо нее пройти. Потому что она весь выход загородила. А я тоже большая теперь.

Извините, говорю, но из-за вас мне не выйти. У меня живот. А у вас дверь почему-то широко не открывается. Наверное, за ней что-то стоит.

Она делает шаг вперед, прикрывает за собой дверь, а там – теремок из зеленой ткани. И сбоку такое круглое отверстие.

Она наклонилась, чтобы подвинуть его, а я говорю – ничего себе, это для кого красота такая?

Она хмыкнула и отвечает – для моего кота. Чтобы возить к ветеринару.

Я говорю – это не тот ли бурманский котик шоколадно-кремового окраса, который на фотографии? Очень славный.

Она посмотрела на меня и подняла брови – а вы что, разве знаете о бурманских котах?

Я говорю – конечно. У меня у самой такой же. То есть такая. Вашего как зовут?

Она смотрит еще недоверчиво, но сама уже отвечает – Кристобаль Дюк Вондерфлер.

Я говорю – а мою зовут Амирель Кристи. Хотели назвать Эмманюэль, но потом решили, что слишком чувственно.

И мы начинаем с ней так мило беседовать. Умереть не жить – две йоркширские розы. Божий одуван на шпильках и раздувшийся василек.

Не путать с василиском.

Через десять минут эта Алла Альбертовна сообщает мне, что Люсе, скорее всего, нужен кот. Поэтому она и ходит профессору на постель. Сигнализирует. То есть не Люсе, а Амирель Кристи нужен кот. И котят можно поделить поровну. А если нечетное количество, то нам на одного больше.

А вы как думали – говорит она. По сто, сто пятьдесят долларов.

Я говорю – сколько-сколько?

И вечером мы с профессором приезжаем на Чистые Пруды. А пока идем вдоль катка, он без конца говорит, что ему неудобно. В прихожей у Аллы Альбертовны натыкаемся на мешок и в темноте почти падаем.

Она говорит – это мука. Проходите сюда, пожалуйста. На всю зиму решила купить. Вернее, на рынке выменяла на ваучеры. Все равно непонятно, что с ними делать. Вы свои как пристроили?

И мы проходим. А там этот Кристобаль. Смотрит на нас круглыми глазами и ждет, когда мы ему из сумки достанем Люсю. У нас ведь нет такого домика, как у Аллы Альбертовны. То есть он ждет, когда мы ему достанем Амирель. Но Амирели-то у нас тоже нет.

Поэтому Алла Альбертовна смотрит на Люсину голову, которая появилась из сумки, но вся выскакивать не спешит, и говорит – так это же не бурманская кошечка.

Я говорю – а вы разве не знаете, как надо определять стандарт? По цвету глаз. Специалисты рекомендуют подносить животное к окну, и самым лучшим освещением для этого считается свет, отраженный от поверхности снега в зимний день. Где у вас тут самое большое окно?

Не знаю, правда, от цвета каких глаз она в конце концов успокоилась. То ли Люсиных в крапинку, то ли печальных профессорских. Хоть и слегка навькате. Я ведь заметила, как она сделала на него садку. В той книжке, которую профессор отказался читать, по этому

поводу было написано, что в играх представителей семейства кошачьих всегда присутствуют элементы полового поведения. Алла Альбертовна шпильки носила тоже не просто так.

Та еще когда-то была пантера.

А Кристобалу вообще, похоже, было плевать – бурманская Люся или не бурманская. Он завалился на свою подушку рядом с диваном и самым наглым образом придавил на сон. Как будто мы пришли на Аллу Альбертовну посмотреть. А Люсю с собой для прикола взяли.

Мне кажется – говорит эта кардиолог – нам надо оставить их наедине. При людях они стесняются. Вы не можете надеть мне пальто?

Я думаю – как это, интересно, можно во сне стесняться? Тем более если ты – кот.

А профессор уже держит для нее пальтишко. Галантный такой – просто сил нет.

Что-то не помню, чтобы он Вере когда-нибудь хоть что-то вот так держал. Про себя вообще не заикаюсь.

И на бульваре тоже придерживал ее за локоток – будьте внимательны, Алла Альбертовна, здесь скользко. Осторожней, Алла Альбертовна. Позвольте, я помогу.

Как будто я сзади них ехала на гусеничном тракторе. И обо мне с этим животом можно совершенно не беспокоиться.

А гололед на самом деле был – хоть стой, хоть падай. Народ, в принципе, хлопался пачками. И на катке их тусовалось прилично. Фонарики, музыка – все дела. Катаются, тоже падают, смеются.

Мои старички притулились на какой-то скамейке, а рядом целая орава завязывает коньки. Профессор дождался, пока они отвалили на лед, и говорит – а помните, Алла Альбертовна, какие здесь были катания в начале шестидесятых годов? Помните, тогда в моде были такие толстые свитера?

Я думаю – ну все. Началась программа «Голубой огонек».

Уважаемые телезрители, сейчас по вашим многочисленным просьбам выступит певец Иосиф Кобзон и вся его шайка.

Она говорит – да, да, разумеется. У меня у самой был такой. Ворот ужасно кололся. Конечно, помню.

И пошло, поехало. Что где стояло, чего снесли, в каких кафе отдыхали, какое было мороженое и как ездили загорать.

Как будто сейчас никто больше загорать не ездит.

Наконец, добрались до какой-то Елены Великановны и приуныли. Совсем повесили нос. Но потом снова ожили. Заспорили – ходило тогда метро до Войковской или нет. Сошлись, что нет.

И вот тут профессор вспомнил про свою енку.

Я думаю – нет, только не это. А он говорит – вставайте, вставайте все за мной. И мы как дураки встали. А я уперлась пузом в спину этой Аллы Альбертовны.

Она говорит – крепче держитесь за меня.

Я думаю – ну да, конечно. Только руки-то у меня не такие, как у гориллы. Там же еще между нами живот.

Профессор кричит – сначала левой ногой, а потом правой.

Алла Альбертовна говорит – да нет, все наоборот.

Я думаю – вы уж там разберитесь. А то сейчас все брякнемся.

И дети какие-то к нам подъехали. Перестали играть, стоят у кромки льда со своими клюшками, на нас смотрят.

Потому что мы интереснее, чем хоккей.

Профессор говорит – раз, два, туфли надень-ка, как тебе не стыдно спать.

И мы начинаем прыгать.

Я думаю – разрожусь.

Алла Альбертовна подхватывает – славная, милая, смешная енка всех приглашает танцевать.

И мы делаем ножкой.

Когда эти мальчишки перестали смеяться и уехали, мы расцепились. Минуту, наверное, дышали на лавочке как паровозы. А я прислушивалась, как он толкается.

Удивился, наверное.

То есть, может, это и девочка, но я почему-то говорю «он». Наверное, потому что «живот».

Вы знаете, Алла Альбертовна, – говорит профессор – там текст несколько иной. Не «всех приглашает танцевать», а «нас». В оригинальной версии поется – «нас приглашает танцевать».

Я говорю – все это, конечно, здорово. Но вы ни о чем не забыли? Или мы приехали сюда юных хоккеистов смешить? Будущую гордость канадских клубов.

Старички притихли, но потом все-таки поднялись и побрели назад.

А я думаю – интересно, как там Люся?

И зря, в общем-то, беспокоилась. У Люси все было в полном порядке. Она растянулась на ковре Аллы Альбертовны как у себя дома и даже головы не подняла, когда мы вошли. Спала, как безмятежное дитя на картине художника Репина. Не помню, правда, рисовал ли он спящих детей.

Неважно.

Важно, что Кристоаль этот сидел рядом с ней – весь такой заботливый муж, и на нас посмотрел как на пустое место. То есть у него теперь было что с чем сравнить. И мы в его глазах явно проигрывали.

Алла Альбертовна смотрит на все это и говорит – Боже мой.

А профессор ей тут же – Алла Альбертовна, не беспокойтесь, ничего страшного.

Она повторяет – Боже мой.

Я думаю – надо же, какая попалась набожная.

Она в третий раз говорит – Боже мой – и опускается прямо на пол.

Профессор хватает ее под руки и кричит мне – Дина, доставай у меня из левого кармана валидол.

Я ему говорю – он у вас не в кармане, а в сумке, в которой мы Люсю несли. Вы ее оставили в прихожей.

Он кричит – ну так носи ее сюда скорей. Не видишь, что тут творится?

Я возвращаюсь в прихожую, перешагиваю через всякую ерунду, а по дороге оборачиваюсь и смотрю, как за мной остаются следы. На ковре, потом на паркете – вообще везде. Ужасно красиво.

Я иду и думаю – вот это любовь. После такого Люся точно должна успокоиться. Мне бы, во всяком случае, хватило надолго.

Потому что квартира Аллы Альбертовны была похожа теперь на столицу Югославии город Белград после налета американской авиации. Люся с Кристоалем не занимались своими делами, видимо, только на потолке. Поэтому люстра и уцелела.

А еще они распатронули зачем-то мешок с мукой, который Алла Альбертовна выменяла на свои ваучеры, и по всей квартире теперь лежал толстый красивый слой почти настоящего снега.

Как в детстве под елкой на Новый год. Только там он был из ваты и таким бугристым комком. А тут – ровненький и везде. Даже на кухне.

Вот ваш валидол – говорю я профессору. Может, еще чего-нибудь принести?

Он говорит – нет, пока ничего не надо.

Я думаю – да, не повезло Алле Альбертовне, что именно рядом с ее кабинетом не было очереди. Зато Люся теперь перестанет какать профессору на постель.

Но у самой Люси на этот счет оказались другие планы.

Профессор с каждым днем грустил все сильнее, а Люся гадила ему на одеяло все чаще. Чтобы уберечься от нее, ему, наверное, надо было уже вообще не вставать. Лежать, как египетская мумия в музее имени Пушкина, и вздыхать по своей ушедшей жизни. Но он зачем-то ходил в институт, где ему уже давно не платили зарплату, и читал там свои лекции, которые никому не были интересны.

А Люсе этих уходов вполне хватало.

Мы пробовали запирать ее в туалет – там, где стоял лоток с газетами, – но она поднимала такой крик, что два раза прибежали соседи. В первый раз они подумали, что кто-то истязает ребенка, а во второй раз сказали профессору, что подадут на него в суд.

Я им ответила – подавайте, но профессору все равно стало плохо. Как только он пришел в себя, его заинтересовало – откуда взялась эта сумочка и всякие медицинские инструменты. А я ему сказала, что в поликлинике, кроме Аллы Альбертовны, врачей еще полным-полно, и у каждого, между прочим, свой кабинет. Когда он спросил – как я привела его в чувство, я ответила, что пусть это его не волнует.

Вам знать не надо – говорю. Вы и так много знаете.

Он смотрит на меня, морщится сначала, потом улыбается и говорит – ты прямо Экклезиаст.

Я говорю – да нет. Просто много будешь знать – скоро состаришься.

Но ему становилось все хуже. Я уже всерьез начинала бояться, что во время следующего приступа моя новая книжка окажется бесполезной. Надо было срочно принимать меры.

А может, нам снова к Алле Альбертовне съездить? – говорю я ему. Потанцуем енку на Чистых Прудах. Я у нее в прихожей новые обои поклеила.

Он говорит – да, очень интересная женщина.

Я говорю – ну так как?

Он вздохнул и отказался. Надо – говорит – иметь мужество принимать обстоятельства такими, как ты их заслужил.

Я говорю – вы это где вычитали, такую военную хитрость? В мемуарах графа Суворова?

А на следующий день предложила ему позвонить его беглой «тугезе».

Это обстоятельство – говорю ему – вы ведь, кажется, тоже заслужили. Взяли ее штурмом, как русские войска крепость Измаил. Помните анекдот про директора школы?

Он говорит – нет, не помню и не хочу его знать, и даже думать не смей никуда звонить по телефону.

Я говорю – я и не по телефону могу. Запросто можно сесть на метро и доехать. Она ведь у этого старпера из КГБ живет. Ой, простите.



Он говорит – да, да, именно у старпёра. Только, если ты туда отправишься, я пойду за тобой и столкну тебя в метро прямо на рельсы.

Я говорю – да ладно вам. Не столкнете.

Он помолчал, посмотрел на меня и потом говорит – нет, правда, столкну. Вот увидишь.

Я говорю – ну и пусть тогда Люся валит вам на постель. Тоже мне, Терминатор нашелся. Терминатор-обосратор.

Потому что мне вдруг стало очень обидно. Очень-преочень.

И я сказала – в гробу я видела таких толкальщиков. В белых тапочках.

А он говорит – твоя речь изуродована идиомами и затасканными метафорами. Ты пуста и банальна, как все эти устойчивые сочетания, порожденные плебейской культурой. И в голове у тебя один мусор.

Я говорю – за мусор ответите.

Он говорит – пошла вон.

После этого не виделись дней, наверное, пять. Я без конца спрашивала Володьку – почему у него отец такой дурак, а он пожимал плечами и опять утыкался в свою новую книгу. Я ходила по комнате и говорила ему, что «Битлз» меня достал, но он снова пожимал плечами.

В конце концов, решила заскочить к профессору. Ровно на одну минутку.

А то вдруг он уже там того. И никто ничего не знает.

Но он был совсем не того. Даже наоборот.

Вы зачем водку-то пьете? – я ему говорю. С ума, что ли, сошли? Делать нечего?

А он мне – а-а, это ты, кладезь народной мудрости. Хочешь, я тебе тоже считалочку расскажу? Есть одна про меня. Как будто специально написана.

Я говорю – какая?

Он встает на ноги, покачивается и говорит – шишел-мышел, этот вышел. И показывает на себя.

Я говорю – слишком короткая. Не знаю я этой считалки. Вы бы лучше в зеркало посмотрели. А еще профессор.

Он говорит – я не профессор, а старпер. И чего это, интересно, я не видел в твоём зеркале? Нет там меня. Я «шишел-мышел этот вышел». Володька бы сказал – вне игры. Смотрит еще футбол?

Я говорю – смотрит. И читает про «Битлз».

Профессор говорит – он такой. С ним надо ухо держать востро.

Потом как засмеется. Вот видишь – говорит – и я от тебя заразился. Припал к источнику народной иносказательности. Эзопов язык для бедных. Шуточки-прибауточки.

Я говорю – может, хватит водку-то пить?

Он отвечает – а кто здесь пьет? Здесь у нас таких нету. Не наблюдается.

Я говорю – ну, давайте, давайте. Вот возьму и вылью все что осталось в унитаза.

Он зажмурился и говорит – я возвращаю молодость.

А я ему – вы знаете, у меня отец тоже по этому делу. Любит молодость возвращать.

Профессор смотрит на меня и качает головой – ничего ты не понимаешь, нелепая девушка. Знаешь, что сказал Оскар Уайльд?

Я говорю – и Оскара Уайльда я тоже в гробу видела.

Но он продолжает – так вот, порывистая глупая девушка, этот замечательный ирландский писатель сказал, что снова стать молодым очень легко. Нужно просто повторить те же ошибки, которые совершил в молодости.

Я говорю – клево. Тогда я, видимо, вообще, не состарюсь, блин, никогда.

Он смотрит на меня, долго о чем-то думает и потом начинает кивать – слушай, а может быть. Почему нет? Вполне возможно. Что, если действительно не прекращать делать ошибки? Тогда ведь не придется их повторять. Все в первый раз, который просто растягивается во времени. Это же замечательно. Послушай, смешная беременная девушка, ты – настоящий Эйнштейн. Пришла и открыла новый закон относительности.

Я говорю – чего это вы там бормочете? И не надо, пожалуйста, меня так называть. Какая, блин, я вам девушка? Я Дина.

А он говорит – ну пошли, Дина, совершать ошибки. Есть у меня на примете одна.

И пока мы с ним брели, спотыкаясь и поскальзываясь, до метро, и потом, уже в вагоне, я все пыталась сообразить, что он задумал. То есть, какие это ошибки он совершал в молодости. Пьяный такой.

Но в голову мне ничего особенного не приходило.

Сначала я думала, что он хочет выкинуть какой-нибудь номер в метро. Раздеться, например, догола или пописать. Всякие бывают приколы. Но он спокойно дождался электричку и как все нормальные люди вошел в вагон. Там тоже ничего, в принципе, не случилось. Засмотрелся на какую-то пожилую тетечку, и я уже напряглась, чтобы вытащить его на следующей станции, но он только подмигнул ей, сказал – чувиха, и тут же уснул.

А я сидела рядом с ним и, в общем, не понимала, что делать. Я же не знала, где он хотел выйти, чтобы совершить эту свою ошибку.

До меня начало доходить, когда он на остановке резко вскочил и бросился в открытые двери. Я еле успела выбежать за ним.

В смысле, я еще не догадывалась, что он задумал, но мне уже было понятно – где.

Когда вышли на улицу из метро, я ему сразу сказала – может, не надо?

А он говорит – ты задаешь серьезный вопрос. Это вопрос стратегический, как бомбардировщик.

Я говорю – поехали лучше назад.

Он делает шаг, снова поскальзывается, чуть не падает, ловит меня за рукав и начинает смеяться.

Я говорю – ну и чего смешного?

Он говорит – гололед.

Когда Вера открыла дверь и увидела нас с ним таких тепленьких на площадке, ее чуть кондрат не хватил. Я даже успела подумать – хорошо, что на профессоре с его приступами натренировалась. Если что, Веру тоже быстро к жизни верну.

Но у нее сердце как у чернокожего участника марафонского бега. Заколотилось – и пошло как часы. Хватит еще на сорок километров. Тук-тук, тук-тук.

Алла Альбертовна на такую пациентку, наверное, бы не нарадовалась.

Она смотрит на нас и говорит – что хотели? В дом не пушу.

Я думаю – нормально. Как это – не пушу? Я, между прочим, живу здесь.

Профессор молчит и мотает головой.

Вера скрестила на груди руки и усмехнулась – ну что, напился как поросенок?

Он застегивает свой плащ на все пуговицы, смотрит на меня, потом на нее и, наконец, говорит – Вера, я хочу сделать тебе предложение. Выходи за меня замуж. Еще раз.

Я думаю – ни фиги себе. Так он про эту ошибку молодости мне говорил?

А Вера стоит столбом и ничего не отвечает.

И вообще мы все трое вот так стоим.

Объяснение в любви, на фиг.

Наконец, она говорит – пошел вон. И закрывает у нас перед носом дверь.

Профессор разворачивается и начинает спускаться. А я почему-то иду следом за ним. Как будто меня тоже прогнали.

И, главное, я не понимаю – почему мы идем пешком. Лифт же работает на полную катушку.

Внизу он останавливается и говорит мне – зато я попробовал.

Я говорю – ну, в общем, да.

Мы еще постояли, и он говорит – ты возвращайся. Зачем ты-то со мной пошла?

Я говорю – я не знаю. Пошла зачем-то.

Он поправил мне воротник и улыбнулся – иди. Тебе отдыхать надо. Когда у тебя срок?

Я говорю – после Нового года.

Он говорит – вот и отпразднуем.

Я говорю – да, да.

А на следующий день я к нему пришла, и у него дверь открыта. Я удивилась. Захожу, а там – тишина. На кухне никого нет. И в комнате на диване – тоже. Потом смотрю – он выглядывает из туалета и манит меня рукой. И палец к губам прижимает. Я заглянула туда, а там Люся. Сидит у себя в лотке и хвостом подрагивает.

Профессор мне шепчет – надо же, как странно все вышло. А я ему в ответ тоже шепотом – вышел немец из тумана, вынул ножик из кармана, буду резать, буду бить, все равно тебе водить.

Он смотрит на меня, улыбается и говорит – я согласен.

### **Рахиль Часть первая**

Этот мужчина уже был сильно пьяный и грустный. Там все, конечно, были грустные, но он грустил по-другому. И к тому же сидел. Все стояли на этой кухне, курили в форточку и рюмки ставили на подоконник, а он сидел за столом. Потому что на кухне осталась одна только табуретка. Все остальные забрали в большую комнату вместо подставок. И еще на них там сидели те, кто не сбежал на кухню. Хотя к этому времени сбежали уже почти все. Выпивали у подоконника и курили в форточку. Не всегда дотягивались, правда, и пепел неопрятно сыпался в чахлую герань. Поэтому мне у окна места, в общем-то, не хватило. Пришлось встать прямо посреди кухни с рюмкой в руке. Ужасно нелепое ощущение. Как будто сзади обязательно кто-то стоит. И ты никак не можешь чокнуться сразу со всеми. Тем более когда вокруг одни незнакомые люди.

– Вы что, с ума сошли? – зашипела на меня дама в красной мохнатой кофте, отталкивая мою руку и расплескивая водку на пол. – Нельзя чокаться. Вы что, с ума сошли?

– Простите, – сказал я.

– Это русские похороны, – со значением сказала она. – Русские, вы понимаете? У нас такие традиции.

«У нас» она выделила ударением, подниманием бровей и шевелением мохеровых плеч.

– Я понимаю, – ответил я. – Простите.

Поэтому в итоге я оказался рядом с мужчиной из КГБ. Только тогда я еще не знал, что он из этой организации. Просто он был единственный, кто сидел. Все остальные стояли. От окна никто не спешил отходить. Вынули уже по второй сигарете. А центр кухни остался за дамой в мохнатой кофте.

– Еврей? – спросил мужчина из КГБ.

– Нет, – сказал я. – Просто так выгляжу. Наследственное.

– У всех наследственное, – вздохнул он и выпил еще одну рюмку. – У нас в органы раньше евреев не брали. При Андропове говорили, что будут брать, но потом заглохло. Покойный вам кем приходился?

– Никем. Дальние родственники жены.

Так я узнал, что он был из КГБ.

– Николай, – сказал он и протянул мне руку. Не вставая.

– Святослав, – сказал я, делая шаг от стены.

– Не еврейское имя. Хотя Ростропович тоже был Святослав.

Так он узнал, что я был еврей. Впрочем, технически называться евреем я не имел права.

Мне стало неловко, что он перепутал Ростроповича с Рихтером, но я об этом ему не сказал. Сказал только, что Ростропович еще жив.

– Это хорошо, – обрадовался он. – А то взяли моду все помирать.

– Туки-туки, Лена! – раздался детский крик из прихожей, и сразу же вслед за этим сильно хлопнула входная дверь.

– Господи! – сказала дама в мохнатой кофте. – Зачем они детей-то сюда привели? И дверь входную нельзя закрывать! Нельзя! Откройте ее немедленно!

От окна отделился мужчина с бледным лицом.

– Это Филатовы, – сказал он. – Им не с кем детей оставить. Сейчас я отправлю их во двор.

– Нечестно! – закричал другой детский голос. – Ты на лестнице подножку мне сделал. Я первая прибежала!

Потом в прихожей тихо забубнили взрослые голоса.

– Не пойду!.. – в последний раз крикнула девочка, и после этого все стихло.

Через минуту на кухню вошли новые люди. С мороза у них горели щеки. Я посмотрел на них и подумал, что дети, которых прогнали во двор, наверное, совсем замерзнут.

– Здравствуйте, – шелестящим шепотом поздоровались сразу со всеми их родители.

Мама была совсем молоденькая. Чуть старше моих студенток. И очень красивая. И видно было, что она нервничает из-за детей.

– Холодно так сегодня, – сказала она.

– Это хорошо, что холодно, – тут же откликнулась дама в кофте. – Чувствуете? Никакого запаха. А если бы летом хоронили, уже знаете какой запах бы стоял. Никакая хвоя не помогает.

Я потянул носом воздух. Пахло свежеструганным деревом и квашеной капустой. Хотя капусты нигде, в общем-то, не было. Закусывали блинами.

– Пахнет, пахнет, – сказал Николай. – Это просто ваш мозг не хочет замечать. Защитная реакция. Вы, девушка, выпейте водки. Тогда тоже перестанете замечать. Он капустный такой пока еще запах, но потом будет хуже. Покойный вам кем, собственно, приходился?

От второй рюмки она отказалась. У меня, вообще, сложилось впечатление, что ей было довольно противно. И водка, и кухня, и похороны, и все мы. Ее передернуло, когда она допила свою рюмку. Такими мелкими аккуратными глотками. И кожа на шее покрылась мурашками. Там, где свитер не закрывал. И вообще у нее голову все время разворачивало к окну. И она слушала, что там происходит на улице. Где остались ее дети. Но к самому стеклу ей было не подобраться. Никто в комнату с покойником уходить не спешил. Молча смотрели, как сигаретный дым стелется по белому инею. Процарапывали в нем окошки. Давно не было такой холодной зимы.

– Мне больше нельзя пить, – сказала она, когда грустный Николай налил ей вторую рюмку. – У меня завтра зачет. Я буду готовиться. Мне водку нельзя.

– Ну и плохо, – сказал он и выпил сам обе рюмки.

Она действительно была красивая. Особенно для заочницы. В том, что очно учиться она не могла – я был почти уверен. Доказательства мерзли внизу во дворе. А может быть, и не мерзли. Бегали взад и вперед по детской площадке и орали на весь двор. Во всяком случае, она очень прислушивалась, чтобы уловить эти их крики.

Но для заочницы она, конечно, была перебор. Все очень слишком. И линия бровей, и поворот головы, и взгляд, и узкие плечи. Там плечи все-таки обычно были другие. У тех девушек. Посолиднее. Поэтому приходилось во время их сессий брать больничный.

А смысл? Смотреть в их преданные глаза? И видеть – какой для них это шанс. Потому что время уже уходит, вернее, практически ушло, и они теперь себе чего-то придумали – что все еще может оказаться не так, как начало складываться, что где-то там чего-то у них вдруг забрезжило и что частью этого просвета оказываешься для них ты.

Сначала, может быть, и волнует. Но не потом. Не после двадцати пяти лет в институте. Хоть и с небольшим перерывом.

После двадцати пяти лет увядающие и соскальзывающие перестают интересоваться. В принципе. Потому что ты сам, в общем-то, увял и скользишь. И там уже все гостеприимно распахнулось.

От этого большой интерес к тем, кто пока играет в основном составе. Скажем, от двадцати до двадцати пяти лет. Крайне допустимый возраст совпадает с твоим педагогическим стажем. Это ничего. Определенные созвучия допустимы. Тем более что при переходе от категории «нежный возраст» к категории «сколько там лет этот старый пень отработал у нас на кафедре?» само созвучие принимает форму метафоры. Вполне, кстати, симпатичной.

А кто бы не махнул свои двадцать пять в паршивом институте на ее двадцать пять со всеми вытекающими обстоятельствами? Как и втекающими. Потому что ведь плечи, и поворот головы, и дыхание. И вообще.

Я смотрел на эту заочницу и думал – куда запропастилась моя собственная красавица? Я зря, что ли, отменил последнюю пару и притащился на эти похороны? Сама же меня заставила. Не успел даже продиктовать задание на следующий семинар. Как ветром всех сдуло.

– А что это вы здесь столпились? – сказала небольшая траурная старушка, входя на кухню. – Проходите в комнату. Надо у гроба. Там почти никого нет.

Я представил, как все мы протискиваемся вдоль длинного ряда табуреток, стучаясь коленками о гроб. И сколько раз тот, кто лежит в нем, протискивался точно так же. И стучал коленкой.

Мать в детстве объяснила, что выпадающие зубы во сне – это к чьей-то смерти. И сразу спросила – а кровь была? Беспокоилась за родственников. Еще часто снилось, что иду по грязи. В одних носках. По глубокой и жирной. Вокруг хлюпает и темно. Когда просыпался, всегда думал – лучше бы босиком. Почему в носках? При этом с возрастом – все чаще. И все реже – обнаженные женщины. К сожалению. Впрочем, множественное число неуместно. Они всегда приходили поодиночке. Никаких оргий. Скромное соитие «сингулярис». Хотя интенсивнее, конечно, чем наяву. Но ни разу с двумя. Видимо, Блок ошибся. Не азиаты мы. И где эта восточная кровь, которая дремлет у меня в венах? Хоть бы сны могли стать поразнообразнее. Впрочем, теперь уже все равно. Даже поодиночке почти не приходят.

Я оторвал взгляд от венков и от этих белых рук у него на груди и тут же наткнулся на взгляд Николая. Он сидел прямо напротив меня с другой стороны. От грусти в его лице

уже ничего не осталось. Он подмигнул мне и кивнул в сторону двери в коридор. Я повернул голову.

\* \* \*

– Ненавижу похороны, – сказала она, когда мы вышли в подъезд.

– Ты опоздала. Я просидел тут уже полчаса.

– Ничего страшного.

– Где ты была?

– Слушай, не будь занудой. Ты мне больше не дипломный руководитель. Смотри, как меня подстригли.

Она повертела головой в разные стороны.

– Классно?

– Да, ничего.

– Ничего?

Она ткнула меня кулаком под ребра.

– Эй, осторожней! Больно!

– Еще не так получишь!

– Ну, хорошо, хорошо! Отлично подстригли.

– Молодец. Давай еще.

– Тебе идет.

– Еще! – она требовательно смотрела мне в лицо, сурово сведя брови.

– Ты самая замечательная красавица.

Вот это было проблемой. Все остальное прекрасно, а вот это – проблема. Детские игры. На автобусных остановках иногда приходилось просить ее взять себя в руки. Замечательно идиотская просьба. Откуда они у нее возьмутся? Руки – возрастной феномен. Хотя тоже не у всякого появляются. В смысле – для того, чтобы себя в них взять. Далеко не у всякого. Поэтому приходилось смотреть по сторонам с глупой улыбкой. Понятно, что все догадывались, почему она ведет себя так. Кто не догадывался, мог прочитать у меня по лицу. И охотно читали. Что им еще было делать? Все равно автобуса долго нет. А рядом профессор обнимается со студенткой. Пунцовый.

Но, в общем, довольный.

Еще раздражали словечки. Впрочем, хуже всего – идентификационная система. Они определяют друг друга, обмениваясь названиями музыкальных групп. Два-три английских названия уходят в одну сторону, и столько же – навстречу. На довольно приличной скорости. Дальнейшая реакция зависит от пола. Девочки хлопают в ладоши и смеются, мальчики стучают друг друга по плечам. Если совпало. В общем, довольно просто.

Хотя у собак еще проще.

Боже мой, кто бы говорил. Собачьего в каждом из нас навалом. И не всегда от этого бывает противно. Бежишь себе в стайке за нею, бежишь. Может, и повезет.

– Зачем ты заставила меня сюда прийти?

Она вынула сигарету из синей пачки.

– Мне надо было кое-что тебе сказать.

– Здесь? На похоронах?

В это время дверь из квартиры открылась пошире, и оттуда шагнул Николай. Он встал посреди коридора и смотрел прямо на нас.

– Знакомьтесь, это моя жена.

Мне ведь надо было хоть что-то ему сказать. Он не сводил с меня взгляда.

– Я знаю, – сказал он. – Ее зовут Наташа.  
– Знаете? – Я повернулся к нему.  
– Ненавижу похороны, – сказала она. – Когда я умру, пусть меня сожгут...  
– Вы что, знакомы с моей женой?  
– Или вообще отвезут куда-нибудь на необитаемый остров...  
– Подожди, Наталья! – Я попытался ее остановить.  
– Да, мы знакомы, – наконец сказал он. – Мы с ней встречаемся, когда у вас лекции.  
– Подождите... – начал я. – Это что, такой глупый розыгрыш?..  
– Я ухожу от тебя, Слава, – неожиданно сказала она, давя каблуком едва зажженную сигарету. – Я ухожу от тебя к нему. Прости, но я не могла тебе сказать об этом дома.

Я смотрел на них и не знал, что говорить. В голове – абсолютная пустота. И в животе немного щекотно. Как на качелях. Но, в общем, давно уже не качался.

Неожиданно я подумал, что те дети во дворе, наверное, совсем замерзли. Мы простояли молча целую минуту, и я наконец выдал из себя:

– Понятно. А вы... вы... давно познакомились?

Не самый умный вопрос. Учитывая обстоятельства.

\* \* \*

В таком возрасте не спать ночь – уже не шутки. В три часа начинает тошнить от папирос, а утром, выйдя на улицу, не узнаешь мир. Что-то блестит под ногами, во рту противно, голова болит, и в целом удивительно – зачем тебе это все в твоём возрасте. Потому что ты, в общем-то, давно не куришь.

И тут тебе еще говорят, что нет. Что все-таки лучше с ним. Что так будет хорошо для нас обоих. И ты успеваешь подумать: «для нас» – это для кого? Для меня с ней или для нее с ним? Или для него со мной, потому что прекратится вся эта ерунда и непонятность? А может, и не прекратится.

И ты говоришь – ага, только это мои пластинки. Зачем ты их туда понесла? Обойдется без моих пластинок. Будете заниматься этим в тишине. Не под моего Элвиса Пресли.

В таком возрасте не спать целую ночь – привет здоровью.

И тут вдруг ты думаешь – а какого, собственно, «хэ» ты не ложишься?

– У вас мешки под глазами, – сказала она, поворачиваясь от балконной двери.

Ей нравилось смотреть на снег, который только что выпал. Но теперь ей пришлось смотреть на меня. Не та уже чистота, что у свежего снега, но белизна еще будет. В окружении венков и цветов. Если самому заранее подсуетиться.

А кто еще побежит по этим делам? Теперь уже некому.

– У вас мешки.

– Да-да, а у тебя живот.

Она улыбнулась и погладила себя по этому шару. Большой круглый шар. Как в самом начале романа Жюль Верна. Они летели на нем через океан, а потом шар лопнул, и они попали на остров капитана Немо. Где он сидел со своей подводной лодкой. Как будто вылупились из этого шара. То-то обрадовался капитан. Мифология.

– Кого ждете?

– Не знаю, – сказала она. – Денег на УЗИ нет. И в очереди долго сидеть, а я часто в туалет бегаю. Но Володька хочет мальчишку.

– Володька всегда много хочет.

Год назад, например, ему хотелось, чтобы я умер. Так и сказал: «Чтоб ты сдох». Импульсивный мальчик. Впрочем, не знаю, как бы я сам себя вел, если бы мой отец отколол такой номер.

– Наталья Николаевна сказала мне постирать...

– Она тебе звонила? – я даже не дал ей договорить.

– Да, вчера вечером. Пришлось сказать Вере Андреевне, что звонил однокурсник.

– Вчера вечером?

Значит, заранее все было решено. Даже насчет стирки побеспокоилась. А говорила, что ей нужно время.

«Не мучай меня. Я сама запуталась. Мне надо решить».

До утра времени попросила. А сама вечером уже позвонила Дине, чтобы я тут не сидел один с грязным бельем. Как Кощей Бессмертный. Интересно, кто ему стирал, когда от него уходили жены? Или не уходили? Что-то он там прятал от них в своем хитром яйце, и они из-за этого с ним оставались. Опять мифология.

– По форме живота можно определить, – сказал я.

– Да? – у нее глаза стали круглые.

– Только я не помню, какая форма что должна означать. У тебя какая форма?

Она встала напротив зеркала и прихватила рукой широкое платье сзади. Живот обозначился, как гора.

– Большая форма, – сказала она. – Очень большая.

– Значит, девочка.

– Почему? – она, не оборачиваясь, смотрела на меня в зеркало – как я там сижу сзади нее на диване и даже рукой от усталости пошевелить не могу.

– Потому что вам, девочкам, всегда больше всех надо.

\* \* \*

На самом деле я точно знал, кто там сидит у нее в животе. И дышит через пуповину.

– Пойми, – сказала по телефону Люба. – Все твои проблемы оттого, что ты наполовину еврей. И твой сын наполовину еврей. И твой внук... Или это будет внучка?

– Не знаю, – сказал я. – У них нет денег на УЗИ.

– Вот видишь. Ты даже не знаешь пол своего внука.

– Я знаю, что это будет наполовину еврей.

– Ха! – коротко выдохнула она на другом конце провода.

Я, собственно, женился на ней когда-то из-за этого «ха!». Она, разумеется, не хотела и сопротивлялась, потому что она никогда ничего не хотела и всегда сопротивлялась, но я был очарован этим звуком. Не мог ничего поделать. Хотя разница в возрасте составляла почти десять лет. Не в ее пользу.

А может, наоборот, в ее.

Потом, когда уже пожилы вместе и я упоминал о ней в ее отсутствие, меня всегда удивляла массивность слова «жена». «Моя жена ставит чайник на крышку сковороды, когда жарит курицу». Или – «у моей жены точно такое же платье». Как будто говоришь о великане. А на самом деле ее платье всегда было на два-три размера меньше того, которое обсуждалось. И полный чайник был тяжеловат для ее руки. Но такова природа слов. Некоторые из них придуманы для маскировки. Поэтому требуется усилие, когда говоришь «жена». Чтобы не воспринимать это как другие. Те, кто ее не видел.

– Ты где там? – сказал ее голос у моего уха. – Уснул?

– Я здесь, – вздохнул я. – Можно с тобой увидеться?



– Вот еще! Будешь плакаться на свою разбитую жизнь? Неудачники меня не интересуют.

Плюс, конечно, глаза Рахили. Куда без них? На один звук «ха!» я бы, наверное, не купился. Во всяком случае, не так бесповоротно. Но тут уж выиграло. Как у Иакова рядом с колодцем. Впрочем, Иакова внутри меня было всего лишь наполовину. Зато Лаванов снаружи вертелось достаточно.

– Как твой отец? Не согласился еще ехать в Америку?

– Я еду без него. Он умер.

– Очень жаль.

– Не ври. Ты всегда его ненавидел.

– Я?

– Да, ты! Антисемит несчастный.

Она помолчала и потом добавила:

– Можешь зайти. Только учти – у нас похороны.

Вот так. Значит, и здесь меня поджидала сюжетная рифма. Как в случае с моим педстажем и возрастом Натальи. Тем самым возрастом, которого надо достичь, чтобы заманить меня на какие-то чужие нелепые похороны и сказать: «Я ухожу от тебя».

А до этого специально подстричься. И стоять там в этом подъезде с сигаретой в руках. И смотреть на меня. И говорить: «Я ненавижу похороны», и еще: «Я хочу, чтобы меня сожгли».

А я не хочу. Вообще не хочу умирать. Я не хочу, чтобы меня сжигали.

У Любиного отца на эту тему был большой сдвиг.

«Ни в коем случае не в крематорий!»

Это когда ему было меньше, чем мне сейчас.

«Папа, вам еще рано говорить об этом».

«Еврею никогда не рано говорить о крематории. Ни ему самому, ни его близким. Пора бы уже понять, молодой человек!»

Любу бесили эти разговоры, но она молчала. Слишком густая кровь. Из Сибири вернулись только в начале шестидесятых. И тут как раз подвернулся я. Со своей первой главой диссертации о Соле Беллоу в рваном портфельчике. Мечтал съездить в Америку и познакомиться лично. Просто хотелось пожать руку. Но им пока было не до Америки.

Забайкалье, Приморский край. Захолустные городишки. Кажется, какое-то Бодайбо.

Сослали еще до войны, когда разгоняли хасидское духовенство. Люба родилась уже там. Хорошо, что тетя ее отца была санитаркой в отряде Лазо. Из-за этого Любу принимали в пионеры на берегу Амура. Рядом с памятником героям Гражданской войны. Генеалогия, в конце концов, важна при любом режиме. И галстук ей повязывал секретарь райкома. Склонялся по очереди к этим кнопкам, трясущимся на холодном ветру. Шесть русских головок и одна темная. Люба смотрела на него и щурилась от солнца черные, как две маслины, глаза. Неумело заслонялась салютом. На Иакова он, наверное, не был похож.

Ее двоюродную бабушку звали Лена Лихман. В семье к Лазо относились тепло. Не потому, что Лена Лихман была у него санитаркой, а потому, что его сожгли.

Люба в Приморье подружилась с хулиганами. У них она научилась курить «Беломор», не сминая гильзы, плевать через зубы, щелкать пальцами и говорить звук «ха!». Для меня этого набора оказалось более чем достаточно. Даже когда Беллоу объявили сионистским писателем, я долго не горевал. За полгода написал диссертацию о пессимизме Фицджеральда и продолжал, не отрываясь, смотреть в эти глаза Рахили. Первая глава о Беллоу так и осталась первой главой.

Но вскоре она назвала меня антисемитом. Как-то вдруг неожиданно сошла с ума и заявила, что не станет со мной спать, если я буду «непокрытым». Я не хотел заниматься любовью в шапке, и все это закончилось некрасиво.

Сначала я думал, что она просто чересчур увлеклась этими Йом Кипурами, Рош Хашанами и Талмудом, но потом как-то ночью открыл глаза и увидел у нее в руке нож. Выяснилось, что в меня вселился диббук, и от него необходимо избавиться. У диббука даже было имя. Ахитов бен Азария. Он сидел у меня внутри и снова планировал восстать против царя Давида. Моя Рахиль хотела его остановить. Она не любила предателей.

Со временем кризис у нее прошел, и в больнице ее держали совсем недолго, но по возвращении она все же побрилась наголо и заявила, что будет носить парик.

В общем, мы прожили вместе всего полтора года. Моя Рахиль, как и должно быть, осталась неплодна, и после нее наступило время Лии. Хотя в Пятикнижии, кажется, было наоборот.

\* \* \*

– Койфман, ты никогда не знал священных текстов, – сказала Люба, глядя на меня в зеркало огромного шкафа. – Выучил всю свою литературу, а настоящих книг в руках не держал. Кому они нужны, эти писатели? Они все выдумывают.

– Слушай, а может, я все-таки сяду вместе со всеми без головного убора?

– Не в моем доме, – отрезала она и протянула мне соломенную шляпу своего умершего отца.

– Какая-то она легкомысленная, – сказал я, глядя на свое отражение.

– Ха! Папа никогда не был легкомысленным человеком. Это просто у тебя такое лошадиное лицо.

– Лошадиное?

Я посмотрел на себя внимательнее.

– И еще ты катастрофически постарел, Койфман. Просто скукожился.

Я перевел взгляд на нее. Она едва доставала мне до плеча. Такое ощущение, что раньше была повыше. И лицо стало в морщинах. Но глаза все те же.

– Ты знаешь, мне как-то неприятно смотреть в такое большое зеркало, – сказал я. – У тебя есть что-нибудь поменьше? Мы ведь только подбираем шляпу. Нет чего-нибудь такого, куда входит одна голова? Чтобы только лицо отражалось.

– Я не могу пустить тебя в другие комнаты. Там люди. И у них у всех на головах что-нибудь есть. Мы тут, между прочим, хороним моего отца.

– Я помню.

– А ты пришел в своей ободранной зимней ушанке. Может, ты в ней хочешь сесть с другими людьми за стол? Чтобы на меня потом вся Америка показывала пальцем? Смотрите – это та самая Люба Лихман, у которой на похоронах отца сидел человек в ушанке. К тому же он ее бывший муж, – она замолчала на секунду и перевела дыхание. – Я тебе тысячу раз повторяла – купи нормальную шапку. Нельзя ходить с кроликом на голове. Даже если ты всего лишь наполовину еврей.

– Средства не позволяют. Ты же знаешь, в институте зарплату никому не дают уже семь месяцев.

– Поменяй институт.

– Ситуация везде одинаковая.

– Поменяй страну. Сколько можно твердить, Койфман, – нельзя быть таким пассивным. Ты же профессор, в конце концов!

Я снова посмотрел на себя в зеркало и усмехнулся.

– Профессор, – повторил я следом за ней.

Она выстрелила в меня темным взглядом и хотела что-то добавить, но потом все-таки промолчала.

– Вот эта, наверное, подойдет, – сказала она, вынимая из шкафа темно-зеленую фетровую шляпу. – Надень.

– Я не могу в ней сидеть, – сказал я. – Это же шляпа дяди Гарика.

– Конечно, это шляпа дяди Гарика. Ну и что? Почему ты не можешь сидеть в его шляпе?

– Он меня ненавидел.

– Послушай, – она устало опустила руки. – У меня сегодня был очень тяжелый день. Я занималась стряпней, я встречала гостей, я готовилась к тому, что придешь ты, и у меня начнутся неприятности. Пойми, тебя ненавидело столько людей, что тебе уже должно быть все равно, если у тебя на голове вдруг окажется шляпа кого-нибудь из них.

Я надел шляпу и посмотрел в зеркало. Получилось весьма и весьма. Дядя Гарик любил выглядеть эффектно.

– А помнишь, как он упал со стула? – сказал я. – Говорил о чем-то важном и так размахивал руками. А потом – хлоп! – и сидит под столом. Мы так смеялись.

– Я не смеялась.

– Смеялась-смеялась.

– Я повторяю тебе – я не смеялась.

– Да ладно, перестань тогда. Сама чуть не лопнула от хохота. А бедный дядя Гарик сидел с такими испуганными глазами, и в руках у него была вилка.

Она старательно хмурила брови, делала строгий взгляд, но в итоге не удержалась.

Когда мы отдышались от смеха и я перестал кашлять, а она вытерла слезы с лица, я снова посмотрел на нас в зеркало.

– Что еще? – настороженно сказала она, заметив мой взгляд. – Других больше нет. Или в этой – или пойдешь домой.

– Надо же, – медленно сказал я. – К себе вот такому я уже абсолютно привык. И даже не представляю, что может быть как-то иначе... Но вот... с тобой вдвоем... Все это выглядит не так... Не так привычно...

– Два старичка? – усмехнулась она.

– Не знаю... Нелегко объяснить... Видимо, жизнь прошла...

– Ха! – сказала она. – Студенткам своим про это мозги забивай. Жизнь прошла только у моего папы.

Она помолчала и махнула рукой.

– Пошли к остальным. А то подумают, что мы неизвестно чем тут с тобой занимаемся.

То, о чем я хотел с ней поговорить, так и осталось не обсужденным.

\* \* \*

– Я так люблю, когда вы рассказываете, – сказала Дина. – Даже мурашки бегут. Смотрите.

Она потянула вверх рукав платья.

– Вот, видите? Расскажите еще.

Я встал с кресла и подошел к окну.

– Это длинная история. И на улице уже темно. Тебе пора возвращаться, а то Володька будет скучать. Странно, что он не позвонил до сих пор...

– Он никогда вам не звонит.

– Знаю... Глупо, что я это сказал. Хочешь, я тебя провожу?  
– Я сама, – сказала она и тяжело встала со своего кресла. – Мне надо еще в магазин.  
– Я могу не подниматься... Только до подъезда с тобой дойду.  
– Не надо. Володька будет кричать... А мне потом уснуть трудно. Я так нервничаю, как дура, когда он кричит, и потом ребенок в животе полночи шевелится. То пятка, то локоток. Я один раз коленку нащупала... Кажется...

Мы помолчали.

– Ну, пойдём, – сказал я. – Мне надо папиросы купить. До магазина с тобой дойти можно?

– А вы что, курить начали?

На улице опять шел снег. Вокруг фонарей вращались мохнатые конусы. Некоторое время мы шагали молча, прислушиваясь к неожиданной тишине. Первой заговорила Дина.

– Мне кажется, Любовь Соломоновна права, что ругает вас за Наталью Николаевну...

– Господи! Перестань называть ее Натальей Николаевной! Она всего на два года старше тебя.

– Но... она же ваша жена...

– Ну и что! Я ведь тоже пока не ископаемое! Мне всего пятьдесят три года. В Америке, между прочим, всех людей называют по имени. Независимо от возраста. Даже стариков...

– И насчет Америки Любовь Соломоновна, мне кажется, тоже права...

– В каком смысле?

Я даже остановился.

– Вам надо уезжать с ней.

– С ней? Да... она же... Нет, ты понимаешь, что ты несешь? В какую Америку? У нас даже разговора с ней на эту тему не было!

– Она вас любит.

– Кто?!!

– Любовь Соломоновна.

Я молча смотрел на нее, не в силах сказать хоть что-нибудь.

– Слушай... – наконец выдал я. – Ну ты даешь... Ты-то что в этом понимаешь? Поживи с мое... Потом... говори такие вещи...

– Вы же сами сказали, что еще не старик.

– Так, все! Хватит! В какой магазин ты направлялась?

Я взял ее за рукав пальто.

– Вон в тот, на углу.

– Идем! И не говори больше ни слова. Чтобы я даже полслова не слышал от тебя! Поняла?

– Поняла.

Она улыбнулась и поцеловала меня в щеку.

«Интересно, я брился сегодня?» – мелькнуло у меня в голове. Впрочем, я тут же пожал плечами. Не хватало, чтобы я беспокоился из-за какой-то девчонки. Пусть она даже беременная и ждет ребенка от моего сына. Который, кстати, не хочет видеть меня уже целый год.

Вот ведь разговорилась!

И к чему я все это ей рассказал?

\* \* \*

В магазине было как в рассказе Хемингуэя – чисто и светло. Длинные ряды стеллажей уходили куда-то к дальней стене, возле которой маячил одинокий охранник. Из четырех касс работала только одна. За нею сидела увешанная пластмассовыми браслетами очень худая и смуглая девушка лет двадцати. Когда мы с Диной вошли, она скользнула по нашим фигурам безразличным усталым взглядом и снова опустила глаза на свои кнопки.

Глядя на нее, я вспомнил, что мне тоже надо работать. Точно так же тяжело и усердно. Через полгода в издательстве должен лежать давно обещанный мною учебник по европейскому романтизму. Со всеми сносками, курсивами и симпатичными вставками мелким шрифтом. Студенты обожают обводить их карандашом.

Я вздохнул, снова посмотрел на юную кассиршу и попытался придумать пробную вставочку. Для начала хотя бы о ней.

Бессмысленный труд выполняет в обществе функцию нейтронной бомбы. Убивает живую силу противника, оставляя нетронутой материально-техническую базу. Изобретатели бессмысленного труда скоро добьются того, к чему они так долго стремились. В городах останутся одни материальные объекты с необходимым набором обслуживающего персонала. Совсем без него, к великому сожалению изобретателей, нельзя. Кто-то должен нажимать кнопки. И сидеть под огромным плакатом пепси-колы. Иначе плакат выглядит одиноко.

– У вас есть «Беломор»? – сказал я, пропуская Дину в торговый зал.

Девушка махнула рукой в сторону ряда сигаретных пачек, приклеенных у нее за спиной. «Беломора» там не было.

– Спасибо, – сказал я. – А какие из этих самые дешевые?

Она оторвалась от созерцания своей кассы и посмотрела на меня с откровенной тоской.

– Там все написано, – сказала она ровно через пятнадцать секунд.

Небольшая задержка сигнала. Как в космосе.

– Вы знаете, я не вижу. У меня плохо со зрением.

Она покрутила головой. Очевидно, искала кого-нибудь еще, чтобы разбить нашу внезапную пару. Почувствовала недостаток симметрии. Вернее, ее отсутствие. В качестве космонавтов мы вряд ли попали бы с ней в один экипаж.

Но кроме Дины и охранника в магазине никого не было. Наш спускаемый аппарат был рассчитан лишь на двоих. «Джемини» – так, кажется, назывался американский космический корабль, о котором все вокруг говорили тридцать лет назад, когда я познакомился с Любой и ее отцом. *Gemini* (Близнецы) – зодиакальное созвездие с двумя близко расположенными яркими звездами – Кастором и Поллуксом; в ср. широтах СССР хорошо видно осенью, зимой и ранней весной (Советский Энциклопедический Словарь. М., 1981. С. 148).

Так что напрасно теперь эта девушка вращала головой, как подвижной смотровой башней. Близнецы – это все-таки чаще всего двое. Тем более что мы были похожи как две капли воды.

Оба совершенно несчастны.

– Не могли бы вы... – начал я и тут же осекся.

Дина, которая стояла в пяти метрах от нас, начала складывать какие-то банки в карманы своего пальто. До этого просто стояла и рассматривала этикетки, а теперь начала набивать карманы. Заметив мой взгляд, она улыбнулась мне и, ни на секунду не прекращая своих действий, показала жестом, чтобы я продолжал разговаривать с кассиршей.

С моим однойцовым близнецом.

У меня в голове мелькнуло, что я еще никогда в жизни не участвовал в ограблении. Только в карманной краже в трамвае, но это было очень давно. От этих мыслей по спине веером побежали мурашки.

Неожиданно кассирша, очевидно, заметив мой застывший взгляд, начала медленно, как в американском кино, поворачивать голову.

Я понял, что я теперь соучастник. Выбора у меня не оставалось.

– Не могли бы вы рассказать мне об этих сигаретах подробнее! – выпалил я, едва не схватив ее за подбородок. – Подробнее, пожалуйста! Во всех мельчайших деталях. Меня интересуют подробности!

Такого она точно еще не слышала. Теперь у нее за спиной можно было проехать на танке.

А я успел подумать – что скажут в деканате, если мне не удастся ее отвлечь.

– Вон те, например, желтенькие! – заторопился я. – Какое в них содержание никотина?

Девушка посмотрела на меня, потом на сигареты и покачала головой:

– Вас же вроде цена интересовала...

– Да-да, интересовала. Но теперь я забочусь о своем здоровье!

Дина показала мне из-за спины кассирши большой палец.

Боже мой! Эта бессовестная воровка одобряла мою импровизацию!

– И сколько в них содержится смол?

– Чего?

– В сигаретах всегда присутствует определенный процент смол.

– Я не знаю... Вы будете брать или нет? Мне других покупателей обслуживать надо...

Я понял, что сейчас она повернется в сторону Дины.

– А вы сами, лично, какие предпочитаете? – в панике сказал я. – Вы вообще курите, девушка?

Она посмотрела на меня уже как-то по-другому.

– Курю, а что?

Я чуть было не сказал: «Давайте тогда познакомимся». Но удержался. Хотя в голову лезла всякая чушь.

– Курю, – повторила она. – А что дальше-то?

– Дальше? – переспросил я, глядя за ее спину.

Дина закончила наконец свой набег и размеренными шагами приближалась к нам.

– Дальше – тишина, – сказал я. – Помяни меня в своих молитвах, нимфа.

– Что-о-о?

Глаза у нее стали совсем круглые. Практически как браслеты.

– Пакетик лаврового листа, – безмятежно сказала Дина, подойдя к нам.

– Шестьсот рублей, – медленно проговорила кассирша, не сводя с меня глаз.

– А, пожалуй, не буду брать никаких сигарет, – небрежно сказал я деревянным голосом и направился к выходу.

Шаги, правда, были не очень твердыми. Как у космонавта после нескольких месяцев на орбите.

Да еще все смотрят.

\* \* \*

Нетвердость шага приключалась в жизни довольно часто – по многим причинам, одной из которых является просто достаточное количество лет, проведенных по эту сторону

смерти. Как следствие, увеличивается набор ситуаций, заканчивающихся нетвердой походкой. Самая продолжительная из этих ситуаций – твой сын. Длится уже двадцать лет. После Нового года будет старше.

Сначала – крик по ночам и твердое понимание того, что вставать не будешь. От этого стыд. Но проходит. Потом – учителя в школе. Всем надо хороших отметок и неразбитых окон. Пытаешься объяснить, что ты на их стороне, но столько хороших отметок он получить не в силах. «Слишком много училок, па».

Согласен, но при чем тут сломанные руки?

В принципе, виновата цикличность. Ведь как мы взрослеем, в конце концов? Произносишь грубое слово, как твой отец. Начинаешь пить вино и водку. Потом раздеваешься и ложишься с кем-то в постель. Тоже, очевидно, как твой отец. Хотя о деталях можно только догадываться. А потом твой сын вдруг ломает руку, как сын твоих родителей. То есть ты сам. И все. Круг замкнулся.

Оказалось, что Вера не успела сходить на родительское собрание. Проводила в это время точно такое же у себя в школе. А потом – четыре станции на метро плюс переход на Таганке. В общем, не успела. И на следующий день эта новая классная дама стала сверять журнал. Когда дошла до Володьки, у него все графы были пустые.

Имя с фамилией прошли гладко. Работа родителей тоже не удивила ее. Проблема возникла с национальностью.

Володька сказал, что он русский.

В конце концов, ему было лучше знать. Человек должен иметь право быть тем, кем он себя ощущает.

Но учительница опустила глаза в журнал и строгим голосом прочитала только что записанную фамилию. Очевидно, решила бороться с неправдой. При всем классе. Которому, в общем, надо совсем чуть-чуть.

Закончилось во дворе позади школы. Володька так и не рассказал, с кем он там дрался. Перелом получился довольно сложный, поэтому делали операцию. А я пытался тогда впервые бросить курить.

Не получилось.

Зато узнал кое-что про футбол. Володька ждал целый месяц какой-то бразильский матч, но операцию делали именно в этот вечер. И я сказал, что все ему расскажу – кто там куда бежал и в какие забивали ворота. Потом сидел у телевизора, курил одну за другой, вытирал глаза и записывал на бумажку незнакомые мне фамилии. Утром в больнице повторял ему непонятные для меня слова «проход по левому флангу», «офсайд», «искусственное положение вне игры», а он улыбался сквозь боль, потом морщился и потом опять улыбался. Ему было понятно то, что я говорю.

Но когда я ушел от них, он перестал меня понимать. Просто сказал: «Я хочу, чтобы ты умер».

А я навсегда запомнил, как звали одного из тех футболистов. Улыбчивые бразильцы с пляжа Копа-Кабана. Карнавал, самба, Жоржи Амаду, коктейль «Куба Либре».

Его звали Сократес. Огромный, как башня, бородатый философ в желтой футболке и зеленых трусах. Бил по воротам и все время смеялся.

Впрочем, это было давно.

А теперь я вышел из магазина. Без папирос, как и вошел. Может, действительно зря опять начал курить?

\* \* \*

Гибкость суставов на улице вернулась не сразу. К ее отсутствию добавился внезапно пересохший рот, ощутимый недостаток воздуха и шум в ушах. Первые два момента были

знакомы по предыдущей жизненной практике, но третий оказался открытием. Во всяком случае, после тех мероприятий, что я позволял себе с Натальей, такого со мной не случалось. Неловко перед остальными студентами на лекциях иногда было, но в ушах не шумело. Вывод: в любом возрасте организм может удивить непройденным материалом. Глупо обольщаться, что знаешь про себя все.

– Классно получилось! – сказала Дина, догоняя меня.

Впрочем, «догоняя» звучит сильно. Скажем – «сделав два шага от двери магазина».

Который мы с ней ограбили, между прочим.

Потому что более чем на два шага я пока рассчитывать, в общем, не мог. Это все, на что я был способен в смысле побега. В смысле стремительного исчезновения с места событий.

Протащиться, пошатываясь, два шага.

– Я мог умереть, Дина...

– Получилось просто отлично!

– Я доктор филологических наук...

– И охранник ничего не заметил!

– Ты могла хотя бы предупредить меня...

– Но вы же сами запретили мне говорить! Сказали, что даже полслова не хотите от меня слышать. А я как раз собиралась вам сказать...

– Не ври, пожалуйста! Слушай, не ври! Ты что, меня принимаешь за идиота?

Я вдруг разозлился на нее и сразу почувствовал себя лучше. Слабость почти прошла.

– Безмозглая дура!

– Так нельзя обзывать.

– Тупая, глупая дура!

– Я сейчас уйду и брошу вас здесь. Останетесь тут сидеть, и никто вас не доведет до дома!

Я посмотрел вокруг себя и понял, что сижу на земле. Прямо на тротуаре. И на голову мне падает снег.

– Вставайте. А то сейчас выйдут из магазина и догадаются, что у нас тут что-то не так. Давайте мне руку.

Я уцепился за ее ладонь, и она, как рыбак свою добычу, вытащила меня на поверхность. Вокруг все немного кружилось. А может, это был только снег.

– Сильная, – сказал я.

– Я в детстве на карате ходила.

– У тебя детство еще не закончилось...

– Чемпион Московской области в категории «ката».

– Лучше бы ты продолжала ходить на свое карате.

Дина обошла меня сзади и попыталась стряхнуть с моего пальто снег.

– Одной рукой плохо получается, – сказала она. – А вторая занята. Я должна под пальто эти банки придерживать. А то они вывалятся.

– Тогда пошли отсюда, – сказал я и тут же опять чуть не опустился на землю.

Перед глазами все плыло и кружилось.

– Я же не для себя, – протянула она не совсем своим голосом. – Мне надо Володьку кормить. И маленькому в животе нужны витамины. Зарплату не дают уже восемь месяцев, а декретные мы проели.

– Надо было у меня попросить...



– У вас у самого холодильник пустой. Я вам позавчера колбаску приносила.

– Тоже ворованная?

– А где мне деньги взять на такую? В вакуумной упаковке. В магазинах совсем недавно появилась. Бельгийская и французская. Да и на обычную у меня денег тоже нет. К тому же я ее не люблю. Она с жиром. Противная.

– А если поймают?

– Они на беременных не смотрят. Я давно заметила. Еще когда на пятом месяце была. Как только живот появился, сразу перестали смотреть. Так что нормально... Ну? Пойдемте домой? – она заглянула мне в лицо. – Говорила же, не надо было со мной идти.

Рядом с нами остановилась женщина лет сорока.

– Вам помочь?

Если бы мне было сорок, я бы тоже только и делал, что останавливался и предлагал помощь. Хитрость ведь не в том, что действительно сострадаешь всяким стареющим, покачивающимся на улицах персонажам. Все дело в чувстве превосходства.

Ходил бы и навязывался всем подряд. Потом весь вечер отличное настроение.

– Нам ничего не нужно, спасибо. Оставьте нас в покое.

У нее от моих слов лицо стало твердым. Ничего, в ее возрасте можно быть и с таким лицом. Одно компенсирует другое. Несимпатичное лицо – зато симпатичный возраст. Во всем важен баланс. Иногда везет как сейчас, и баланс восстанавливаешь ты, а не кто-то другой. Тоже вполне приятный момент. Можно сказать – миссия.

– У вас лицо белое, как простыня, – сказала Дина, когда мы вошли в квартиру.

Вернее, ввалились. Чуть не оторвали полку со шляпами.

– И пот бежит по вискам.

– Ты что, звуковой медицинский журнал? – сказал я, опускаясь на тумбочку для обуви. – Озвучиваешь симптомы?

– Это сердце, – сказала она. – Я проходила по медицине.

– Что получила на экзамене?

– Еще не сдавали. Сессия через два месяца.

– Молодец.

После валидола стало полегче. Люблю его вкус. Лет тридцать назад были конфеты с названием «Холодок». Питался ими, когда заканчивал диссертацию о Фицджеральде. Перед защитой пришлось переписывать всю вторую главу. А так – дешево и сердито. Иногда, правда, тошнило. Но раз ешь конфеты, значит, до этого был обед. Простота и надежность гастрономического алгоритма. Плюс иезуитская изворотливость аспиранта в борьбе с желудком и кошельком.

– Любовь Соломоновна права, когда говорит, что вам не надо было уходить от Веры Андреевны, – сказала Дина, усаживаясь в кресло напротив моего дивана.

– Ты опять начинаешь. Я же тебя просил...

– Нет, не опять. Это совсем про другое. С вашим сердцем Вера Андреевна вам нужна как воздух. Она умеет ухаживать за вами лучше всех. Поэтому Любовь Соломоновна на вас так сердится. Ей просто вас жалко. Был ведь уже один инфаркт.

– Мне самому себя жалко.

– И Володька бы тогда не злился на вас...

– Да, наверное, бы не злился.

– Ему просто очень обидно за мать.

Я повернул голову, чтобы посмотреть на нее.

– Это он сам ее так называет?

– Как? – она непонимающе смотрела на меня.

– Мать.

– Нет, – она даже слегка засмеялась. – Он говорит: «мама». Это я так сказала, чтобы было быстрее.

Я полежал и подумал – быстрее ли говорить «мать», чем «мама». У меня получилось, что не быстрее. Та же история, собственно, что с апорией Зенона. Ахиллесу никогда не догнать черепаху. Всегда будет оставаться срединный рубеж. С какой скоростью ты их ни пересекай. Поэтому и количество слогов не имеет значения. У нежности иная скорость.

– Как она там? – сказал я.

– Кто?

– Вера Андреевна.

– Все время плачет.

Я помолчал. Приступ вины легче переносить в молчании.

– А... Наташа тебе звонила?.. Наталья Николаевна?..

– Звонила.

– Передавала что-нибудь для меня?

Она ответила не сразу.

– Мне кажется, вам не надо искать встречи с ней. Так будет лучше.

– Слушай, мне уже пятьдесят три года, – сказал я. – Из них за последние пятьдесят я влюблялся двадцать четыре раза. По военным меркам я – ветеран... Если не сказать хуже.

– Не знаю... Мне кажется, лучше не надо.

Она с заметным усилием поднялась из кресла и направилась в коридор.

– Я оставляю вам маслины, – крикнула она оттуда. – Вы какие любите, беленькие или черненькие?

\* \* \*

Разумеется, я не искал встречи с Натальей. «Искать» предполагает процесс, длящийся во времени. На процесс у меня не было сил. Я просто снял трубку, набрал номер и сказал: «Я больше так не могу. Можно мне увидеть тебя? Хоть ненадолго».

Мотив унижения в моем возрасте звучит уже не так остро. Мелодия складывается из других нот.

Тем более что телефонный номер был оставлен как раз на такой случай. То есть мне обещали, что «я поживу пока у мамы», но телефон на стене написали именно этот. Не из маминых цифр.

– Я же тебе говорила – звони только в крайнем случае, – сказала она.

– У меня крайний.

– Сердце?

– В каком-то смысле – да. Можно назвать это сердечной проблемой.

– А валидол?

– Я пробовал. Не помогает.

В итоге решено было взять меня в кино. В темноте мое присутствие меньше оскорбляло их чувства.

Мы решили, что так будет происходить мое постепенное отчуждение. В брехтовском смысле. Что так мне будет легче.

Забота о старших.

Хотя в этом смысле теперь ей было о ком заботиться и без меня.

– Ну, ты чего? – сказал Николай, когда я сел к ним в машину. – Совсем, что ли, раскис? Мне вон тоже почти пятьдесят, а я, смотри, какой бодрячок. Ты спортом каким-нибудь занимаешься? Потрогай.

Он перегнулся через спинку сиденья и согнул перед моим лицом руку в локте.

– Давай, давай. Трогай. Видал, какой бицепс? Бетон.

Я прикоснулся к его кожаной куртке. Зеркальце над его головой отразило мое движение. В зазеркалье оно было не таким неловким. Просто одна рука прикоснулась к другой руке. Как у Микеланджело на потолке Сикстинской капеллы.

В детстве на эту тему бегали во дворе и хлопали по плечу друг друга. *«Теперь ты водишь!»*

Передача эстафеты. Стремление к спорту заложено в человеке очень глубоко.

– Нет, я ничем не занимаюсь. Я много курю.

– Ну и зря. А я по субботам – всегда в бассейн. И еще спортзал.

Наталья смотрела на нас и радостно улыбалась.

За билеты заплатил Николай. Я сделал движение к кассе, но он жестом остановил меня.

– Ты зарплату свою давно получал, профессор? Помнишь еще, как она выглядит?

Я сделал вид, что хотел просто рассмотреть афишу. От этого якобы и возникло движение. В конце концов, эстафета была уже у него.

Хотя штамп в паспорте еще оставался.

– Слушай, нам надо с тобой о разводе поговорить, – сказал Николай, когда мы шли по проходу между рядами.

– Не сейчас, – шепнула Наталья. – Давайте садитесь скорей.

А я от самого входа думал – как мы усядемся. Спрячется она от меня за него или сядет между нами? Вариант, что я буду сидеть между ними, практически отпадал. К чему было тогда городить весь этот огород с изменой и переездом на чужой телефон, в котором нет маминых цифр? Даже маминых черточек в нем нет. Хотя обещалось.

Она села на место 15. Он – на 16. Я опустил сиденье 17. В сумме составило 48. Всего на пять лет меньше, чем мне. От перестановки слагаемых сумма, разумеется, не менялась, но я эту перестановку с удовольствием бы осуществил.

Будь я Господь Бог.

И разверз бы кое перед кем геенну огненную. Чтобы корчился там на своем шестнадцатом стуле.

Или семнадцатом.

Потому что мы точно друг друга стоили. Со своим собственным ребенком в таком возрасте ни один из нас в кино бы ни за что не пошел. С нами сидел чужой ребенок. И каждый из нас думал о том, как бы с ним переспать. Вернее, это я думал. Николай шуршал руками в карманах своей куртки.

– Жевательную резинку будешь, профессор? – сказал он, нащупывая мою ладонь в наступившей темноте.

– Тихо вы! – шикнула на нас Наталья. – Как дети малые.

Я закрыл глаза и представил ее себе воспитательницей детского сада, а нас с Николаем – двумя пацанами из старшей группы, которых она привела на детский сеанс.

Желание от этого не прошло.

В следующее мгновение в зале зазвучала музыка, и сквозь закрытые веки я уловил всполохи света. Фильм начался. Я до сих пор так и не знал – как он называется.

Николай снова пошуршал оберткой жевательной резинки и молча вложил мне в руку гибкую полоску. Не открывая глаз, я поднес ее к лицу и почувствовал запах мяты. Очень сильный. Практически как в детстве.

\* \* \*

Такой чай пила только бабушка. Остальные либо ругались с ней и пили свой чай без мяты, либо делали вид, что пьют из ее чайника, а сами тайком выливали содержимое своих стаканов в открытое окно. Прямо на клумбу, где росли георгины. Все говорили, что чай надо пить в чистом виде. Без примесей. Но бабушка упрямо заваривала мяту каждый раз, как мы приезжали к ней из Москвы.

После смерти Сталина приезжали особенно часто. Взрослые пили водку, курили на открытой веранде, говорили, что не надо будет теперь никуда уезжать и что может быть, вернутся те, кого недавно забрали. Когда уходили с веранды, в комнатах начинался какой-то неясный шорох, возня и приглушенный смех, а бабушка включала свет на кухне и начинала заваривать свой чай.

«Видишь? – говорила она. – Листики заворачиваем вот так. Слышишь, как пахнет? А теперь – кипятком».

Я следил за ее движениями, морщил лоб, втягивал носом воздух и размышлял – почему это я должен слышать запах. Ведь он попадает не в уши, а в нос.

«Все на свете должно быть смешано, – продолжала она. – Мята с заваркой, каша с маслом, картошка с луком, хлеб с чесноком. Если семена не смешать с землей, то цветов не будет. Еще нужен солнечный свет и дождь с неба. А если смешать синюю краску с желтой, то получится зеленый цвет. Понимаешь? Все должно быть смешано».

«А люди?» – поднимал я голову от дымящейся кружки.

«И люди. Твой папа смешался с твоей мамой, и получился ты».

«Как зеленый цвет?»

Она улыбалась, ставила передо мной тарелку с блинчиками и говорила:

«Ну да, как зеленый цвет. Только не торопись. Чай еще горячий».

Я сворачивал блин и заталкивал его целиком в рот. Дышать становилось трудно.

«Не спеши, – повторяла она. – Откусывай понемногу».

«А бывает такое, что не смешивается совсем?»

Она задумывалась на мгновение и качала головой:

«Вряд ли. Что-то я не припомню. Хоть как-то все на свете должно быть смешано. Хоть в какой-то степени».

«А евреи и русские?»

\* \* \*

В середине фильма они начали шептаться о чем-то друг с другом, и я наконец открыл глаза. С закрытыми глазами мне казалось, что я их подслушиваю. А я не хотел. Вернее, хотел, но не мог себе в этом признаться. Все-таки оставалось еще кое-что, в чем я стеснялся себя уличать. Немного, но оставалось.

– Правда, тебе говорю, – долетел до меня голос Натальи. – Он может. Хочешь, спроси его сам.

Николай, повозившись в кресле, развернулся ко мне.

– Профессор, ты на самом деле можешь все угадать?

– Что угадать? – не понял я.

– Ну вот хотя бы что в этом фильме будет дальше...

Я понял, что Наталья рассказала ему про мои забавы на семинарах по композиции текста. Ирония состояла в том, что она решила похвастаться мною перед своим новым

возлюбленным. Перед своим новым старым возлюбленным. В ее сознании я по-прежнему принадлежал ей, как добыча удачливого охотника. Моя голова, украшенная раскидистыми рогами, висела у нее над камином. Теперь она присматривала место в своей гостиной для следующего трофея. Покусывала нижнюю губку и озабоченно обводила взглядом всю комнату.

– Могу, – сказал я. – Не вопрос.

– Ну, давай, – шепнул он. – Скажи, что там дальше случится.

– Подожди, мне надо десять минут.

Приманкой для нового трофея служило уже пойманное животное. Я порадовался охотничьей смекалке своего мучителя и решил помочь этой неутомимой Диане. *Диана* – в рим. мифологии богиня Луны. С 5 в. до н. э. отождествлялась с греческой богиней охоты и покровительницей рожениц Артемидой. Изображалась с луком и стрелами, иногда с полумесяцем на голове (там же. С. 80, 393).

Странное ощущение, но я больше испытывал солидарность с охотником, чем с дичью. Очевидно, у оленей слабовато с корпоративным сознанием.

Через десять минут я рассказал ему громким шепотом, кто кого в этом фильме убьет и кто на ком женится. Я угадал и то, что деньги сгорят в машине, а вместе с ними сгорит лучший друг центрального персонажа.

– Как это у тебя получилось? – спросил Николай, когда мы вышли на улицу.

– Ничего сложного. Простой анализ структуры. У каждого героя своя функция и свои мотивы. Как только и то и другое исчерпано, автору приходится его убивать. Если это хороший автор. У плохого все может тянуться до бесконечности, поскольку он не понимает ни мотивов, ни функций. Тогда читатель или зритель скучает. Аналитику определить этот момент в тексте совершенно не трудно. Позитивный эффект от ухода персонажа состоит в том, что зритель испытывает сострадание. Если погибает центральный герой, сострадание перерастает в катарсис. Ну, это все есть у Аристотеля. Технологии разработаны очень давно.

– А как ты узнал, что в последней перестрелке убьют только главного цэрэушника?

– Перед стрельбой он единственный снял пиджак. Это вопрос колористики. На белой рубашке кровь выглядит намного эффектней – поэтому режиссер специально его раздел. А в момент попадания пуль, если ты помнишь, сцена перешла в режим замедленной съемки. Это можно назвать актуализацией ключевого события за счет задержки в развитии композиции. Гете, кажется, называл это «ретардацией». Точно не помню.

– А пожар в машине?

– Видеоряд до этого был насыщен образами огня. И у того, кто должен был в итоге сгореть, прозвучала в предыдущей сцене реплика «Моя жизнь – как пламя», или что-то в таком духе. Это была, конечно, метафора, но в искусстве ничего не происходит без подготовки. Так же, например, как в бою. Перед атакой пехоты или бронетехники ведется артиллерийский огонь. То есть необходимо заранее создать внутреннюю мотивацию того или иного события, поскольку как автор ты знаешь, что оно в конце концов должно произойти. А просто так ничего не бывает. В реальной жизни, между прочим, тоже работают эти законы. Называются «причинно-следственные связи». Только вектор их построения смотрит в противоположную сторону. Как европейская письменность, в отличие, скажем, от арабской. Не справа налево, если ты понимаешь, о чем я говорю. И строит их совсем другой автор.

– Тебе в органах надо работать, – усмехнулся Николай, усаживаясь в машину.

– Ты же говорил, евреев туда не берут.

– Внештатником, – сказал он. – Внештатником, дорогой. Тебя куда отвезти?

– Мне все равно, – ответил я, стоя перед машиной на тротуаре. – В принципе, никуда. Можете оставить меня здесь.

Николай включил радио, и в машине зазвучала сицилийская мелодия Нино Роты.

– Это из «Крестного отца», – сказала Наталья, хлопнув дверцу. – Обожаю это кино. Аль Пачино в последней серии просто супер.

– Ну, ты как? – спросил меня Николай, перегибаясь через нее. Почти улегшись к ней на колени. – Чем будешь вечером заниматься? Нормально все?

Я помолчал секунду, прислушиваясь к мелодии, впуская ее в себя.

– Буду танцевать весь вечер, – сказал я. – Или повешусь и стану раскачиваться в ритме танго.

– Слава шутит, – сказала Наталья, вынимая сигарету. – Поехали. Я уже вся замерзла.

Стекло между нами медленно поползло вверх. Мелодия стала звучать глуше. Наталья закурила, выпустила дым в мою сторону, улыбнулась и помахала рукой. Еще через несколько мгновений их автомобиль растворился в пелене падающего снега. Очень снежной оказалась эта зима.

\* \* \*

– Ну и дурак, – сказала Люба, ставя передо мной стакан с чаем. – Так тебе, дураку, и надо. Кстати, печенье у меня все закончилось. Если хочешь, иди в магазин.

– Я не хочу печенье, – сказал я.

– Вот ведь дурак! Могу себе представить вашу троицу там в темноте. Какой хоть фильм вам показывали?

– Я не запомнил названия. Что-то американское. Про стрельбу.

Она скептически хмыкнула.

– И ты, как влюбленный идалго, вприпрыжку поскакал за этой парочкой голубков.

– Я не скакал. Мы доехали на автомобиле.

– На машине этого Ромео из НКВД? А ты кем при них был?

– Ему уже сорок восемь. Он совсем ненамного моложе меня.

– Ха! – она резко качнула головой.

– Всего на пять лет.

Люба посмотрела на меня, прищурившись, и я понял, что она сейчас снова скажет «ха!»

– Кого ты пытаешься обмануть, Койфман? – добавила она после этого звука. – Меня или себя? Если меня, то не надо. Я знаю все про эти дела. Волшебная палочка теперь у него. От его сорока восьми можешь смело отнимать последние восемнадцать. А ей добавляй десять-одиннадцать. Арифметика, мой дорогой. Он сейчас значительно моложе ее. Про тебя речь вообще не идет. Себе можешь накинуть десятку. Помнишь, каким ты был полгода назад? Так вот, сейчас совсем другая история. Надо было слушать меня и не бросать Веру с ребенком. Остался бы со своими пятьюдесятью тремя. Вполне, кстати, пристойная цифра.

Ну да, разумеется. Конечно, Люба была права. Самоконтроль, самоограничение, ежовая дисциплина. То есть железная. Потому что ежовыми, по русской фразеологии, должны быть рукавицы. Но разве я виноват, что у меня их не оказалось? И у кого они вообще есть? Ежи в лесу давно бы перевелись, если бы мы все вдруг решили не звонить по тем телефонам, по которым так хочется позвонить.

Отсекая «ежовую» половину в словах «самоконтроль» и «самоограничение», получаем вполне мощный и чувственный корень «сам». Основной инстинкт. Куда от него? Все мы,

в конце концов, самцы и самки. То есть не в конце концов, а в самом начале. Надо только раздеться недалеко друг от друга. И не на пляже.

Однако с идеей контроля приходится мириться всю жизнь. Хоть отрезай ее от приятного корня, хоть оставляй пришитой. В пионерском лагере в детстве вскакивали по утрам с пропахших чужой мочой матрасов и лихорадочно разглаживали ладошками пододеяльники. Плюс ни одной морщины на покрывале. Плюс подушка должна стоять идеально равнобедренным треугольником. Гладили, едва касаясь руками, пухлые катеты. Заранее ненавидели геометрию. И вся эта поспешность и лихорадочность только от одного – ты контролируешь себя прежде, чем за это возьмутся другие. Те, что сейчас войдут в палату, а подушка все еще у тебя на голове. И ты кричишь: «Смотрите! Я – Наполеон». Но Наполеоном тебе быть недолго. Ровно до тех пор, пока в коридоре не зазвучат их шаги. С этого момента ты начинаешь себя контролировать. Иначе на линейке с тобой будет как с тем другим мальчиком позавчера. Когда принесли его простыню, и все смеялись. Хотя, что тут смешного в больших пятнах желтого цвета? Но ты смотришь на них и понимаешь – злая и смешная публичность всей этой желтизны явилась следствием плохого самоконтроля. И тогда ты впервые задумываешься о том, как научиться держать себя в руках.

То же самое с алкоголем. Особенно на ранних этапах. Начинать вечеринку надо часа в два, чтобы к приходу родителей никаких следов не осталось. В смысле общей неприбранности, разбитой посуды, плачущей одноклассницы и нетрезвого друга, который уснул в спальне твоих родителей, предварительно наблевав под столом. Но всего этого так хотелось. Вернее, может, не буквально вот этого, но чего-то такого. За гранью контроля. Иначе с чего бы у всех этих твоих одноклассников в прихожей так блестели глаза, когда ничего еще не началось, а только шушукалось и расставлялось. Как у взрослых. И рядом с шампанским обязательно водка. И такой же, как у мамы, салат. И на девочках какая-то другая одежда. Ненастоящая. А потом ходишь во дворе и жуешь снег. Потому что отрезветь – это еще только полдела. Самое главное, чтобы не пахло. Ходишь и дышишь в ладони. Контролируешь процесс.

С течением лет все чаще приходится говорить самому себе «не надо». Сначала говоришь – «не надо так много смотреть на девушек», потом говоришь – «не надо так много смотреть на баб». Смена существительного отражает не оскудение вокабуляра, а некоторую лексическую усталость. Хотя непосредственно на желании смотреть эта усталость отнюдь не сказывается. Скорее наоборот.

От этого испытываешь потребность в еще более суровом контроле. Но выходит далеко не всегда. В конце концов находишь с самим собой общий язык и договариваешься. Обещаешь просто присматривать за «этим типом».

Заканчивается тем, что получаешь от себя совет избегать разочарований. С годами они незаметно становятся самым страшным врагом. Страшнее сквозняков, болей в сердце, алкоголя и даже женщин.

Но избежать их можно только одним способом.

\* \* \*

Когда поженились, Любе нравилось заниматься со мной любовью. Вечерами она расстилала постель, а я специально выглядывал из кухни, задержав свой текст о Фицджеральде на середине строки, позабыв об этом несчастном Гэтсби. Из комнаты ее отца доносились стихи Заболоцкого, и я напряженно старался уловить, что конкретно декламирует Соломон Аркадьевич. Если это была «Некрасивая девочка», то у нас еще оставались переводы грузинских поэтов, и, значит, вполне можно было успеть. Но если он переходил к «Старой актрисе», мероприятие приходилось переносить на завтра. После «Актрисы» декламация стихов обычно заканчивалась, и Соломон Аркадьевич начинал путешествовать по квартире. Понятие «закрытая дверь» для него не существовало. Хорошо еще, что он шаркал ногами.

«Это мой дом, – говорил Соломон Аркадьевич. – Не надо в нем от меня запираяться».

Чтобы избежать конфузов, мне пришлось подарить Соломону Аркадьевичу шлепанцы на два размера больше и в деталях исследовать творчество Николая Заболоцкого. При этом я должен был научиться идентифицировать текст через толстую стену и две двери. Сюда добавляй скрип старых пружин, Любино дыхание и стук моего собственного сердца. Время от времени – мяуканье Любиной кошки, которая сидела под нашим диваном, изгибаясь от похоти, и, очевидно, нам страшно завидовала. Но Соломон Аркадьевич не хотел котят, поэтому Люсю из квартиры не выпускали. В подъезде бродили ужасные черные коты, а я целовал мою Рахиль под Люсины вопли и прислушивался к голосу Соломона Аркадьевича за стеной.

Через полгода после того, как мы поженились, меня можно было брать акустиком на подводную лодку. Вражеским кораблям был бы конец.

У всей этой моей наблюдательной работы имелся один существенный минус. Она настраивала меня не на тот лад. Вернее, на тот, но он был немного не в том направлении. Из-за интенсивности моих наблюдений стрелка компаса иногда излишне стремительно разворачивалась в искомую сторону. То есть, разумеется, в итоге я сам всегда планировал там оказаться, поскольку – кто не планирует? Но не с такой же скоростью.

Казусы происходили не очень часто, однако воспоминание о них надолго отравляло радость от возвращения к тексту о Фицджеральде. После проигранной битвы я сидел на кухне перед своими исписанными листами и шаг за шагом анализировал причины своего очередного поражения. Чаще всего я склонялся к мысли, что виной всему была моя торопливость и природное любопытство. Декламация Соломона Аркадьевича оставалась вне подозрений, потому что по логике и по общему внеэротическому контексту она должна была меня отвлекать, однако в своих преждевременных эякуляциях я склонен был винить даже поэзию Заболоцкого.

Впрочем, быть может, мне просто не стоило подсматривать перед этим из кухни за тем, как Люба стелит нашу постель. Меня просто завораживали ее движения.

«Ну что, ты идешь? – оборачивалась она ко мне и откидывала узкой ладонью черную прядь со лба. – А то он потом не скоро уснет, а мне завтра к восьми. Чего ты так на меня смотришь?»

Я отворачивался, шелестел бумагами на столе, рассчитывая на спасительное воздействие литературного шелеста. Потом признавался себе, что сквозь этот жаркий туман все равно уже никакого Фицджеральда не видно, поднимался из-за стола и шел к ней, чувствуя как пылает лицо.

«Что с тобой? Тебе плохо?»

«Нет, мне хорошо. Только не надо говорить со мной таким материнским голосом».

\* \* \*

Отдельной строкой при этом шла ревность. Точнее, она шла с красной строки. И, в общем, заглавными буквами.

«Не стану я тебе ничего о них говорить, – шипела на меня Люба. – Отвяжись! А то хуже будет».

Но я не мог отвязаться. Это было больше меня. Как стихи Заболоцкого и неудержимое шарканье шлепанцев Соломона Аркадьевича. Ни одно существо на свете не сумело бы остановить ни то, ни другое. Тем более мою ревность.

Поэтому я спрашивал о них. О тех мужчинах, которым она стелила свою постель до меня. О настоящих взрослых мужчинах, которые не волновались, ни к чему не прислушивались и не кончали так быстро. Которые всегда были где-то рядом со мной, бесплотными тенями заглядывая через мое плечо ей в лицо, когда она закрывала глаза и откидывала голову на подушку.



«Слушай, так ты сойдешь с ума, – говорила она потом, присаживаясь рядом со мной на табурет и затягиваясь моей папиросой. – Или я сойду. Неужели тебя это так волнует?»

Меня волновало. Я много раз пытался проанализировать свои мотивации, но это так и не помогло. Все было ясно и без анализа.

«Слушай, а ведь ты, наверное, мог бы кого-нибудь из них убить, – задумчиво говорила она, щурясь от папиросного дыма. – Мог бы? Как думаешь? Если бы встретил? Ты как? Совсем уже или еще нет?»

Я сдувал со своих листов пепел от папиросы, отнимал у нее окурок и делал вид, что занят. Однако в голове моей творилось непонятно что.

Я был с ними связан, я знал это. С теми мужчинами, которые были у моей Рахили до меня. Уместились в те десять лет форы, что она бессовестно получила при рождении. Хотя должна была дожидаться меня. Просто была обязана. Иначе – зачем вообще было приезжать из Сибири, сводить меня с ума и курить потом на кухне мои папиросы?

Понимая, сколько всего вошло в эти десять лет. И щурясь на меня как кошка.

«Ну и дурак, – говорила она, вставая со своего табурета. – Не хочешь разговаривать – и не надо. Я же вижу, что ты не работаешь. У тебя оба зрачка на месте стоят. Ты не читаешь. Ты думаешь про свои дурацкие вещи».

И я действительно думал про них. Я размышлял о том, как непредсказуемо Бог сводит людей. Как удивительно он свел меня с Любой, а через нее – с теми мужчинами, о которых я не хотел думать, но никак не мог остановиться и думал о них без конца. И постепенно мне становилось понятным, что Бог доверяет нас друг другу и что я был доверен моей Рахили и Соломону Аркадьевичу, а они, в свою очередь, были доверены мне вместе со всем своим прошлым – нравится мне это прошлое или нет. Потому что время от времени так выходит, что те, кому нас доверил Бог, могут нас не устраивать и даже причинять сильную боль, но это, в общем-то, не нашего ума дело, и все что от нас требуется – лишь способность оправдать вместе с ними это доверие и быть в итоге достойным его.

Я чувствовал, что это были хорошие мысли. Но они не помогли.

В конце концов Люба не вынесла моих бесконечных расспросов и стала кричать на весь дом.

«Ты хочешь узнать – кто они были?! Хочешь услышать про них что-нибудь?! Сейчас я тебе расскажу!»

Она стояла рядом с диваном, на который мы только что улеглись, почти голая, а за спиной у нее уже открывал дверь Соломон Аркадьевич.

«Они были евреи! Понял? Обрезанные! Не такие, как ты!»

\* \* \*

И после этого она увлеклась своими еврейскими делами. Странно, но толчком к этому, видимо, послужил именно я. Точнее, моя неполноценность в плане еврейского вопроса. В доме появились книги на непонятном мне языке, какие-то специальные одежды, подсвечники. Необычные правила питания.

«Если бы твоя мама была еврейка, ты бы меня понимал. Но она русская, и поэтому ты не еврей. А твоя фамилия просто ничего не значит».

Когда я учился в институте, моя фамилия значила довольно много. Во время каждого ближневосточного кризиса меня вызывали на комсомольское собрание факультета и заставляли выступать с осуждением захватнической политики Израиля. Однокурсникам на все это было глубоко наплевать – они просто ждали конца собрания, а я читал вслух с бумажки необходимые слова и время от времени посматривал на задний ряд. Там всегда сидел кто-нибудь незнакомый. Чаще всего он не дослушивал до конца. Поднимался и

уходил в середине собрания. Эти незнакомцы нам доверяли. А может быть, просто были очень заняты. Или и то и другое вместе.

Но Любу эти исторические подробности не волновали. Мои страдания за еврейский народ она называла коллаборационизмом. Произносила это ужасное слово, сдвинув брови, сильно нахмурившись и глубоко затягиваясь папиросой из моей пачки. Она всегда курила из моей пачки. Видимо, тоже научилась этому у своих хулиганов в Приморье.

«Понимаешь? Она у тебя русская».

«Ну и что?» – говорил я.

Разумеется, моя мама была русская. Иначе откуда бы у меня взялась вся эта любовь к евреям? Будь я стопроцентный семит, я бы их наверняка ненавидел. Из всех народов человеку мыслящему труднее всего полюбить свой собственный.

Приходится долго убеждать себя, что виной тому твоя злобная и нелепая предвзятость, которая на самом деле есть форма скрытой и таинственной любви, выдающей себя за критическое отношение, а вовсе и не предвзятость, и никакой ты, значит, не предатель, а настоящий мужественный патриот.

Вот только раздражает поведение отдельных персонажей. Сливающихся постепенно в довольно многочисленные группы. А ты сидишь и занимаешься поисками толерантности в своем сердце. Как будто ходишь на работу, за которую давно уже никто не платит. Но ты ходишь, потому что привык. И вообще – как иначе? Свой народ надо любить.

Эту сентенцию произносишь вслух, чтобы проверить – слышна ли ирония. Если слышна, повторяешь еще раз. И потом еще. Пока не исчезнет.

В детстве развлекались тем, что забалтывали слова до полного исчезновения смысла. Повторяешь «самолет» сто пятьдесят раз на большой скорости и в итоге перестаешь понимать. Губы произносят, а в голове уже ничего нет. Пустота из семи букв. То же самое и с иронией. И вообще отличный способ избавиться от того, что тебя беспокоит. Повтори много раз, и оно исчезнет.

Или слушай народные песни. Надо признать, иногда пробирает до слез. Правда, тут тоже каприз воображения. Слушаешь, как они поют, легко идентифицируешь себя со всем этим великим народом, но потом они плавно переходят к цыганскому репертуару, а за ним – «Чардаш», и ты, перестав быть «ромалой» и после этого огненным венгром, начинаешь постепенно сожалеть, что эскимосский народ не оставил такого яркого песенного наследия. Потому что любопытно ведь ощутить себя эскимосом.

И тоже взять и заплакать от этого иногда.

По поводу моей незавершенности в этническом плане мне очень нравилась мысль одного из греческих мудрецов. Кажется, его звали Питтак.

«Я не понимаю тебя! – сердилась Люба и морщила нос. – Как это половина может быть больше целого?»

«А вот так, – говорил я. – В этом и состоит удивительная тайна паллиатива. Недосказанность всегда будет содержать больше смыслов, чем то, что высказано до конца. Понимать надо. Эй, осторожней! Зальешь мне чаем вторую главу!»

Однако родственники моего отца были склонны к тому, чтобы не замечать очарования паллиатива. Впрочем, меня, как собственно явление паллиативное, они воспринимали с большей или меньшей терпимостью, но вот причину этого явления они возненавидели всей страстной еврейской душой. Точнее, страстными еврейскими душами. Потому что их было много. Тетя Соня, дядя Вениамин, еще двоюродные папины братья. Мама всегда как-то оставалась одна. То есть в меньшинстве, поскольку я все-таки вертелся поблизости. Мало что понимая, бегая по комнатам, приставая к взрослым, воруя конфеты из шкафа, но постоянно находясь в полной готовности принять ее сторону. С ватрушками, пельменями,

звонким веселым голосом, фильмом «Девчата», с любовью к артисту Рыбникову и удивительными блинами.

Впрочем, ее блины папины родственники кушали с большим удовольствием. Блины для них были кошер.

«Если бы твоя мама была еврейка, ты бы меня понимал», – говорила мне Люба.

Но я и так понимал ее. Это она меня не понимала.

Когда мои родители разошлись, все папины родственники были довольны. Дядя Вениамин сказал ему: «Вот видишь, тебе хватило сил поступить так, как надо. Теперь можно заниматься воспитанием сына. А то назвали его Святослав. Надо узнать в облисполкоме, можно ли ему дать другое имя».

У дяди Вениамина в облисполкоме работал школьный друг, и он старался говорить о нем как можно чаще. Поэтому, не выговаривая правильно «молоток», слово «облисполком» в свои пять лет я произносил уверенно и даже с определенным шиком.

Одна только бабушка рассердилась. Оставшись вечером дома со мной и с отцом, она долго мыла посуду, молчала, а потом прогнала меня с веранды и начала сильно ругаться.

А я стоял за дверью, ковырял свои коросты на локтях и думал – может, после этого он отвезет меня к маме?

\* \* \*

Дина позвонила в два часа ночи. Пока я выбирался из сна, мне казалось, что я проспал свою первую лекцию, и теперь вот звонят из деканата, и надо что-то срочно придумать, чтобы студентам дали задание, пока я туда доберусь. Еще необходимо было изобрести какое-то оправдание, потому что на носу ученый совет и еще один пропуск мне уже не простят. После того как ушла Наташа, я совсем распустился.

На пятом или шестом звонке мое сознание застряло на тяжелой смеси Байрона и водопроводчиков, и я наконец проснулся. Поднимая трубку, я вдруг испугался, что Байрон может не подойти. Никак не мог сообразить – на каком курсе у меня с утра первая лекция.

– Святослав Семенович? Але! Это Святослав Семенович?

Голос был явно не деканатский. Я щелкнул кнопкой настольной лампы и посмотрел на часы.

– Святослав Семенович! Это я – Дина!

– Дина? – сказал я. – Ты знаешь, сколько сейчас времени?

– Святослав Семенович! Меня арестовали.

Я пошарил ногой под столом в поисках тапок. Пол был холодный.

– Что ты говоришь? Я не понимаю тебя.

– Меня арестовали. Я сижу в милиции. В обезьяннике.

– Где ты сидишь?

Я все еще соображал с очень большим трудом.

– В обезьяннике. Вы можете приехать и забрать меня?

Я опустил на стул, так и не найдя тапок.

– Они сказали, что профессору меня отдадут. Только возьмите с собой документы. Чтобы там было написано, что вы – профессор.

В общем, Байрон, как говорят мои студенты, уже «не катил».

Когда она впервые появилась у нас в доме, я сразу почувствовал – теперь все пойдет по-другому. Надо было готовиться к неприятностям. Очень милая девочка с таким добрым и открытым лицом. Проскальзывала за Володькой к нему в комнату, едва успев просвистеть свое «здрассьте», оставляя нас с Верой за бортом всего этого праздника,

который вдруг возник неизвестно из чего. И куда сразу же подевались все его Марадоны, бутсы и тренировки? Как будто ничего не было. Никакого футбола. А была только закрытая дверь, за которой буквально за секунду до этого мелькнула ее невообразимая цветастая юбка, и мы вдвоем с Верой перед телевизором. И, в общем, не решаемся друг на друга смотреть.

Но дети растут. Лично я знал об этом из литературы. Оказался предупрежден, так сказать. И все-таки не во всеоружии. Оставались кое-какие дыры в обороне. Но я еще ничего.

Вера понесла оглушительные потери.

Вообще-то она рожала Володьку довольно спокойно. То есть в своем таком собственном ключе. Я бы сказал – неторопливо. Она, скорее всего, и не стала бы его рожать, но врачи ей сказали – надо. Что-то там с грудью. Предрасположенность к онкологии. А младенец, видимо, должен был все рассосать. Или еще как-то повлиять положительно на эту проблему. Я не вдавался в детали. Видел только, что она восприняла это как комсомольское поручение. Сказали «надо» – она приступила к тщательному выполнению. Так появился Володька. Со всей серьезностью и необходимостью помочь Вере.

Но вскоре она перестала рассматривать его в качестве вспомогательного звена. Всякий раз, когда приближался его день рождения, даже через пятнадцать и через семнадцать лет, начинала нервничать, переживать все заново. Помнила даже погоду в тот день. И все, что я говорил, и что она отвечала мне, и как добирались до родильного дома. В итоге совсем потеряла от него голову и к моменту появления Дины была готова выцарапать ей глаза. То есть не обязательно Дине, а, в принципе, любой девочке, которая станет бормотать «здрассьте», проскальзывая мимо нас в его комнату. Просто так вышло, что на этом месте оказалась именно Дина. А на месте нас с Верой оказались Вера и я.

«Бесстыжая!» – шептала она, глядя на дверь, а не в телевизор.

«Перестань», – шептал я, одной рукой обнимая ее, а другой нащупывая в пиджаке зачетку Наташи и сравнивая свой выбор с тем, что выбрал мой сын.

Во всяком случае, таких нелепых юбок моя Наташа никогда не носила. Ей нравились джинсы.

Но Володька полюбил Дину, и теперь я ехал ее выручать.

\* \* \*

У капитана были абсолютно девичьи глаза. С такими глазами нельзя быть милиционером. Даже пожарным быть нельзя. Их не сощуришь мужественно и упрямо, глядя в лицо опасности. Можно смотреть только в лицо перепуганного профессора, который сидит у обшарпанного стола и держит за руку свою беременную невестку. В четыре часа ночи. И рука у нее вялая, без признаков жизни. Но все равно нельзя отпустить.

– А я, знаете, тоже литературой интересуюсь, – сказал капитан, дописывая что-то в своем листе и ставя точку. – Писателя Лимонова очень люблю. Как он вам? Уважаете?

– Да, конечно, – быстро сказал я. – Разумеется, уважаю. Он очень знаменитый писатель.

– Жизненно пишет.

Капитан перечитал свои записи и нахмурился.

– А вас точно Святославом Семеновичем зовут?

– Да, – я встревожился еще больше. – А в чем дело? Нам уже можно идти?

– Подождите. Мне надо кое-что проверить. Дайте-ка свой паспорт еще раз.

Он полистал мои документы и улыбнулся.

– Просто фамилия у вас... Не очень подходит к Святославу Семеновичу. Я и подумал – вдруг у вас настоящее имя тоже такое... – он покрутил в воздухе пальцами. – А вы его переделали. Так бывает.

– Нет, это мое настоящее имя.

– Да я понимаю. Просто у меня уже был один случай. Месяц назад старичка на вокзале нашли. А он ничего не помнит. И документов никаких нет. Ни где живет, ни кто родственники. Видно только, что он еврей... Простите.

– Ничего, ничего, – я изо всех сил делал вид, что мне интересно.

– Ну и вот, – капитан откинулся на спинку стула и, улыбаясь, потянулся, так что у него хрустнуло где-то в плечах. – Мы и не знали, чего с ним делать. А потом он сказал, что его зовут Изя. Фамилия – Винтерман. Пока искали его родню, он у нас в отделении жил. Куда его денешь? Но не нашли. Потом начали проверять заявления о розыске пропавших старичков. Одна старушка его опознала. Оказалось, что по документам зовут его вовсе не Изя, и даже не Винтерман. А Николай Иванович Патрушев. Просто родители в тридцатые годы его переименовали. Тогда почему-то не разрешали детям сильно еврейские имена давать. А он теперь помнил только про Изю. Даже старушку свою не узнал.

– А может, это была не его старушка? – неожиданно сказала Дина. – Вдруг она выдумала это все?

Капитан удивленно уставился на нее.

– Как это выдумала? А зачем он ей?

– Не знаю. Может, у нее свой старичок умер, и ей теперь одиноко. Она захотела себе нового старичка.

– Как это?

Девичьи глаза капитана широко распахнулись, и я понял, что надо немедленно вмешиваться.

– Так, может быть, мы пойдем? Если вы все закончили...

Он перевел свой удивленный взгляд на меня.

– Или вы не закончили?

Капитан вздохнул, сложил исписанный листок вдвое и опять посмотрел на Дину.

– Выйди в коридор. Мне надо поговорить со Святославом Семеновичем.

Дина отняла у меня свою руку, тяжело поднялась со стула и вышла из кабинета.

– Там тоже стулья есть, – крикнул в закрытую дверь капитан. – Посиди минут пять.

– Что? – она открыла дверь и снова заглянула в комнату.

– Я говорю – посиди там у входа рядом с дежурным. Сейчас я вас отпущу.

– А-а, – протянула Дина. – А я думала – вы хотите что-то сказать.

Капитан дождался, пока дверь за ней снова закроется, и посмотрел на меня.

– Вот, – сказал он с такой интонацией, как будто до этого говорил о чем-то важном для нас обоих, а мне теперь предстояло принять решение – согласиться с ним или нет. – Ну, что думаете?

Я покачал головой, потом пожал плечами, потом вздохнул и, наконец, сказал:

– Это ужасно.

– Я вас понимаю. У меня у самого дочь. Тоже не знаю – как уследить. Летом школу заканчивает.

Я поймал себя на том, что не могу отвести взгляда от этих его девичьих глаз. Они ждали от меня чего-то и требовали каких-то совсем не девичьих решений.

– Вы вступительные экзамены принимаете? – спросил капитан.

– Да, да, принимаю.

– Сможете нам помочь?

– А вы в какой институт планируете?

– В Физтех она хочет. Говорит – самое перспективное туда поступать.

– Ну да, у них очень сильная школа... Только я ведь преподаю литературу... Гуманитарное, так сказать, направление...

– Да ладно вам. Вы же профессор. У них там тоже профессора. Разве не договоритесь? По-профессорски.

– В принципе, можно поискать знакомых... Но мне сейчас нелегко вам так сразу сказать...

– А вы и не говорите. До лета времени у нас с вами полно. Тем более что и невестке вашей тоже надо сначала разродиться. Если до суда дело дойдет, то, пока не родит, никто ее вызывать не станет.

– А что, ее могут посадить в тюрьму? У нее же будет маленький ребенок.

– А за это вы не беспокойтесь, – махнул он рукой. – Такие колонии тоже бывают. Но до суда может и не дойти. Зависит от администрации магазина. Если заберут заявление – делу конец. А так – все должно идти своим ходом. Подождем. Может, и заберут. Что там она у них украла-то? Чепуха! Ну, так что? Поможете?

Я представил себе Дину с ребенком за колючей проволокой и закрыл глаза.

– Я постараюсь.

– Ну, вот и ладненько, – обрадовался капитан. – А то у нее с математикой совсем плохо. Учителя говорят – нанимайте репетитора. А где на него денег возьмешь? Третий месяц зарплату не видели.

Я открыл глаза.

– Вам что, тоже задерживают? Я думал – в милиции не должны.

Капитан нахмурился, и его глаза впервые перестали быть девичьими.

– Не должны, – зло усмехнулся он. – Они много чего не должны. Видно, одного путча им мало. Доиграются еще. Я в органах восемнадцать лет, и отец у меня – тридцать пять. И ни разу за все это время такого не было. Ни разу. Даже когда Сталин умер.

Он посмотрел на меня с таким гневом, как будто именно я был виноват и в смерти Иосифа Сталина, и в том, что офицерам милиции не выдают зарплату.

– Доиграются, – повторил он.

– Ну, мы тогда, наверное, пойдем? – вмешался я в его горестные раздумья. – А то Дине надо уже отдыхать. У нее срок – почти семь месяцев.

– Хорошо, – сказал он, поднимаясь. – Звоните... Да! И вот еще что!

Он рывком выдвинул ящик стола и вынул оттуда книгу.

– Вот, подпишите.

На обложке было набрано жирным шрифтом: «Это я – Эдичка».

– Но это же книга Лимонова.

– Ну да, – улыбаясь, сказал он. – Я же вам говорил, что его уважаю. Смело очень про педерастов. Жизненно.

– Но я не могу подписать этой книги. Я ее не писал.

– Но вы же профессор литературы.

– Ну и что?

– Как это – что? Кому еще подписывать, как не вам? Лимонова я ведь не знаю.

Я понял, что сопротивление бесполезно.

– Ну, хорошо, давайте... Только я не знаю, что мне вам написать.

– Напишите что-нибудь философское.

Я подумал и написал: «Капитану Иванову – от большевика Лимонова и жида Койфмана. На добрую память».

\* \* \*

На улице из-за выпавшего вечером снега было совсем светло. Не скажешь «как днем». Но и «как ночью» не скажешь тоже. Третье время суток. Зимнее. И все светилось. Даже лежавший на боку троллейбус не выглядел таким обугленным, как обычно. Путчи надо проводить зимой. Останки сгоревшего транспорта под снегом совсем не уродуют пейзаж. Скорее придают ему новый объем и интригу. Как большие пушистые елочные игрушки. А осенью раздражали.

– Вы как себя чувствуете? – сказала Дина, взглядываясь мне в лицо. – Вам с сердцем не плохо? Что-то вы побелели.

– Тут все побелело, – сказал я. – Смотри, сколько снега.

– А можно тогда мы Володьку с вами здесь подождем? Я ему тоже позвонила. А то он придет, а нас нет. Разминемся.

Впрочем, мне действительно было плохо. Поэтому то ли от боли в груди, то ли оттого, что я смотрел на тень капитана, падавшую из окна, я начал думать о смерти. Подрагивая на снегу у моих ног, бесплотный милиционер держал в руках бесплотную книгу. Я смотрел на него и думал, что, расписавшись там, на второй странице обложки, я установил наконец прямую связь с миром теней. Аид располагался от меня теперь на расстоянии полуметра. Глядя на то, как капитан в своем призрачном царстве перелистывает страницы, я вдруг понял, что в смерти ничего страшного нет. И, может быть, даже наоборот. Я понял, что там должна быть очень хорошая литература. Ведь Пушкин вряд ли перестал там писать. И у Достоевского вышло, наверное, еще томов двадцать. И все это наконец-то можно будет прочесть. И послушать – что нового спел Элвис. Плюс оттянуться с Венечкой. Похмелья там точно не должно быть. Не те эмпиреи.

– Вам правда не плохо? – произнесла Дина откуда-то очень издалека. – Вид ваш мне что-то не нравится.

«Он многим не нравится, – подумал я. – Но это ничего. Ничего страшного».

Мною внезапно овладела веселость. Я вдруг подумал – а с каким, собственно, видом приходят туда? То есть с каким уходят, очевидно, понятно. Примерно как у меня. А с каким приходят? Не может быть, чтобы при тамошней благодати мы добирались туда такие помятые, кашляющие и свистящие. В старых плащах. Что-то должно произойти в дороге. Должно в нас содержаться это второе дно. Как в хитрых шпионских чемоданах. Второе чудо. Которое там обнажится. И засверкает. И нам опять двадцать два. И мы больше не вялые гусеницы с таблетками, чужими зачетками и горькими надоевшими папиросами, а такие большие красивые бодрые бабочки. Как мадам Баттерфляй, которая тоже скрывала в себе нечто иное. И у всех у нас девушки. И Соломон Аркадьевич шаркает шлепанцами со счастливой улыбкой на устах.

– Смотрите! Вон, кажется, Володька идет, – сказала Дина, и я оторвал взгляд от тени милиционера.

\* \* \*

За этот год мой сын здорово изменился. Впрочем, мы все здорово изменились за этот год. Не обязательно даже было бросать семью, с которой прожил почти двадцать лет, и потом самому оказаться брошенным одним молодым, но неясным существом, сумевшим под занавес разбить тебе сердце. Достаточно было просто прожить этот год именно в этой стране. Вполне достаточно для необратимых потерь. В смысле отношения к жизни, а не в смысле денег.

Хотя и в смысле денег, наверное, тоже.

Так я встретился со своим сыном, которого не видел уже целый год.

– Ну что, как у тебя дела? – сказал я, продолжая держать на весу руку, чувствуя, как она замерзает без перчатки и как он упорно отводит от нее взгляд.

– Как там? – сказал он, глядя туда, где лежал троллейбус.

– Все нормально, – заговорила Дина. – Заявление они заберут.

Не знаю, почему она была в этом уверена. Что касается меня, то я не был. Быть может, это ее возраст нашептывал ей, что плохие вещи происходят только с другими людьми. Но суть всякого акустического обмана состоит не в искажении звука, а в устройстве ушной раковины. И головы, которая прилагается к ней, и сердца, бьющегося чуть ниже. Потому что многое можно услышать от самой себя в четыре часа ночи на крыльце отделения милиции, когда и голова, и сердце, и под ним другое сердце, и порозовевшая от холода ушная раковина вступают в заговор, чтобы воспринять всякий внутренний шепот с надеждой.

– Правда? – Володька наконец повернулся ко мне. – Они правда его заберут?

– Конечно, заберут, – сказал я, надевая на окоченевшую руку перчатку. – Куда они денутся?

Денег на такси ни у кого из нас не было, а все, что Дина украла в универсаме, осталось в милиции в качестве вещественных доказательств. Подтверждающих, впрочем, только одно.

Мораль не является экономической категорией.

Однако Бог создал нас моральными существами. Следовательно, мы либо должны оставаться моральными, либо Бог над нами посмеялся. Конец силлогизма.

Хотя еще неизвестно, согласился бы таксист везти нас за баночный паштет или нет. Наверное, не согласился бы.

Я шагал чуть позади Володьки и Дины, размышляя – стану ли я сам читать лекции за еду. Получалось, что еще два-три месяца без зарплаты – и, видимо, стану.

Поэтому злиться на Дину я совсем не мог. По крайней мере, она предпринимала какие-то действия. Демонстрировала отчетливое желание жить. У меня лично интерес к продолжению всего этого мероприятия становился все менее очевидным.

Так бывает во время сумерек. Когда день уже на исходе, и ты вдруг понимаешь, что ну и ладно. Пусть будет темно. Какая, собственно, разница? И, в общем, не предъявляешь претензий.

Потому что в конце концов понимаешь, что все это произойдет как обыкновенный отъезд из родного города. Такого, где ты провел детство и где в узких переулках между домами еще видны отпечатки шин твоего велосипеда. Ты сел с кем-то в поезд, в самолет, ты в пути. А в городе все по-прежнему. Люди, голуби, машины, деревья. Самое сложное, пожалуй, друзья. Поскольку ты с ними делился. Выпивкой, едой, деньгами, деревьями, улицами, голубями, людьми. Но они остаются. Все будет так же, как при тебе. А ты уже совершенно в другом месте. И тебе от этого не грустно.

Потому что это не ты перестал существовать для того города, а тот город перестал существовать для тебя. И требуется усилие, чтобы понять, что он еще где-то есть. Не только в твоей памяти.

– Постойте, – сказал я им в спину. – Это ночная аптека. Мне нужен валидол.

Когда вышли на Ленинский, сердце вроде бы отпустило.

– Вас точно не надо домой провожать? – повторила Дина, глядя в лицо.

Я покачал головой. В этих делах – как с зубным врачом. Вдвоем не заходят. Тем более втроем.



– Ты знаешь, – сказал Володька, – мне будет нужна бабушкина квартира.

– Квартира? – Я остановился и поискал глазами – на что бы присесть.

– Да. Мне надо ее продать. Когда Дина родит, нам нужны будут деньги.

– Но я там живу. Это... квартира моей матери.

Он посмотрел на меня и сумел не отвести взгляда.

– Она записана на мое имя. Ты сам так хотел. А теперь нам нужны деньги.

– Хорошо, – сказал я. – Придумаем что-нибудь.

Фонарь рядом со мной мигнул и погас. Из-за угла показался первый троллейбус.

\* \* \*

– Ха! – сказала Люба. – Теперь ты еще и бездомный. Я знала, что этим кончится.

– Он мой сын.

– Да хоть папа римский! Не все ли равно, кто выселяет тебя из квартиры? Валидол хочешь?

Я покачал головой.

– А я съем. Точно не будешь?

Я еще раз покачал головой.

– И башкой уже трясешь, как паралитик. Потому что ты бомж.

– У меня есть работа, – сказал я.

– Бомж – это не безработный, Койфман. Это когда негде жить. И за работу твою тебе все равно ничего не платят. Профессор!

Я помешал ложечкой чай и согласился:

– Значит, я бомж.

– И теперь приперся ко мне, чтобы я пустила тебя в папину комнату. Да еще сидишь и ждешь, когда я сама тебе предложу. Потому что ты деликатный и напрашиваться тебе как-то не так! Как-то не очень!

Приморские хулиганы ее детства в такие моменты неосязаемыми тенями входили в комнату, рассаживались кто где, закуривали свой «Беломор» и, сдвинув кепки на затылок, начинали набивать монеты об стеночку. Слегка матерясь и подначивая друг друга.

Но я, вообще-то, раньше уже жил в комнате Соломона Аркадьевича. Когда Люба сошла с ума и ее увезли в больницу, я почти сразу перебрался к нему. Он почему-то решил, что причиной Любиного расстройства послужила мрачная обстановка у нее в комнате, и тут же затеял ремонт. По утрам я бегал разговаривать с врачами в сумасшедший дом, после обеда писал диссертацию, а вечером надевал сделанную Соломоном Аркадьевичем из газеты пилотку и отскребал старые обои в Любиной комнате.

Соломону Аркадьевичу нравилось мастерить эти газетные треуголки. Одно время он даже меня пытался научить своему хитрому ремеслу, однако за моей бестолковостью все его попытки остались втуне.

«Ну, вот же, вот же! – горячился он. – Вот так надо погибать! Неужели непонятно, молодой человек?»

Он так и не стал называть меня по имени. Даже ночью, когда ему бывало нехорошо, он дотягивался до моей раскладушки, толкал меня в бок и шипел: «Вас не добудишься, молодой человек! Принесите мое лекарство».

Стихов Заболоцкого он почему-то теперь вслух не читал. Может, одного меня в качестве слушателя ему было мало. А может, он просто находил неинтересной свою декламацию, когда она никому не мешает. Потому что мне его чтение вслух теперь не мешало бы совсем. Даже наоборот.

Ритмизация трудового процесса. Ерзаешь мастерком по стене и наслаждаешься звучной рифмой. Труды и дни. Плюс Соломон Аркадьевич в роли демиурга.

А может быть, я не смог научиться делать эти пилотки из-за того, что просто-напросто отупел от горя.

Кажется, именно тогда я впервые заметил, что некоторые слова имеют второй этаж. При этом, находясь на первом, ты никогда не знаешь, как попасть на второй. Вход открывается только во сне. Утром просыпаешься и говоришь себе: «Опять приходил отец». А еще минуту спустя понимаешь, что глагол «приходить» имеет и другие значения помимо появления умерших людей в твоих снах.

При этом пока не проснешься, ты абсолютно уверен, что отец живой. И говоришь с ним.

А днем глагол «приходить» выполняет совсем другую работу. Легко применяется по отношению, например, к Соломону Аркадьевичу, который сначала скребется ключом в замке, потом хлопает дверью, шебаршится в прихожей и наконец появляется на кухне со словами: «Вот ваши папиросы, молодой человек. Вы что, еще не приступали сегодня к ремонту?»

Сам он ничего в Любиной комнате не делал. Максимум – стоял у меня за спиной или мастерил для меня новую треуголку.

«Вот видите! Это же так просто! Чему вас только учили в институте?»

Но потом ты вдруг понимаешь, что и по отношению к нему когда-нибудь глагол «приходить» станет применяться в своем ночном смысле, и сразу перестаешь злиться. Отодвигаешь недописанный лист и смотришь, как Соломон Аркадьевич ловко перегибает газету, разглаживая пальцами уголки. Наблюдаешь за тем, как «Целинные земли» превращаются сначала в «Целинные зем», потом в «Целин» и наконец в одну большую жирную «Ц».

Водружая ее на голову, размышляешь о том, что останется от тебя самого, когда время наконец доберется до тебя, как Соломон Аркадьевич до газеты, и начнет перегибать, сокращая твою площадь, сводя аккуратно один край с другим, стремясь к идеальной форме, у которой в случае с газетой три бумажных угла, а в случае с человеком – четыре. Но из твердого камня.

Если, конечно, на камень после тебя еще будут какие-то деньги.

Ты скоблишь мастерком пятна старой желтой известки и думаешь – какую твою букву тогда останется видно?

Из тех букв, которые составляли тебя.

\* \* \*

Все это закончилось, когда я нашел Любин дневник. Точнее, я его не нашел, а он выпал. И закончилось все не из-за того, что он выпал, а просто сразу же после этого. То есть причинно-следственных связей тут никаких не возникло. Была примитивная хронологическая последовательность. Одно шло за другим. Он выпал, я его подобрал, и все на этом закончилось.

Я как раз отскоблил всю известку вокруг Любиного шкафа и решил ждать Соломона Аркадьевича, потому что шкаф был огромный. В одиночку я отодвинуть его не мог. Пока курил, догадался, что Соломон Аркадьевич все равно помогать не станет, поскольку у него другие жизненные принципы. Тем более что двух человек в любом случае было недостаточно. Требовалось как минимум человека четыре.

Поняв это, я затушил папиросу, вставил под шкаф толстую швабру и начал раскачивать зеркального мастодонта. Ножки шкафа практически вросли в пол, и для начала мне было важно их оторвать.

Швабра хрустела, мой позвоночник тоже, но постепенно дело пошло на лад. Сначала левая ножка с фронтальной стороны всхлипнула и слегка оторвалась от пола, затем зазор появился между полом и правой ножкой, а потом что-то стукнуло позади шкафа.

По логике стучать было не должно. Перед началом манипуляций со шваброй и позвоночником я залез на шкаф, откуда, извозившись в пыли, убрал все, что могло свалиться. То, что стукнуло, упало из другого места.

Улегшись на пол, я разглядел толстую тетрадь в темной клеенчатой обложке. Очевидно, до того как упасть, она была зажата между стеной и шкафом. Это и был Любин дневник.

На первой странице большими красными буквами было написано «Закрой!» Размер восклицательного знака предполагал немедленное и безоговорочное исполнение багряного императива, который выглядел как графическая интерпретация выстрела из винтовки. Как команда «Огонь!» во время расстрела. В принципе, он даже не вошел целиком на страницу. Верхняя часть знака уходила за пределы тетради, выводя категорическое высказывание в трансцендентную плоскость, уже не воспринимаемую обыкновенными органами чувств. Привычных физических измерений Любе для изъявления своей воли попросту не хватало.

Однако я вырос в той же стране, что и она. Императивы окружали меня и моих сверстников так плотно, что выработался иммунитет. Знак интенсивности, помноженный на себя тысячу раз, неизбежно меняет полярность. Становится разреженным, как воздух в горах. Идеологи коммунизма этого не учли. Или учли, но им было неважно. Главное – произвести первоначальный эффект. Все равно, больше собственной жизни не проживешь. А на этот период всех напугали успешно.

К тому же мне очень хотелось оценить литературные достоинства Любиного стиля.

На второй странице пылало целое предложение. Теперь оно было обведено черным карандашом.

«Я сказала – закрой!»

Настойчивость всегда была ее второй натурой. Отнюдь не привычка, как принято говорить. Мне показалось, я даже услышал ее хриловатый голос.

Следующие страницы в нижнем углу оказались склеенными друг с другом. Я отогнул верхнюю половину листа, рассчитывая все же прочесть хоть что-нибудь, но в этот момент в прихожей хлопнула дверь. Даже если бы Соломон Аркадьевич специально выбирал время, чтобы насолить мне, у него вряд ли получилось бы лучше.

«Завтра выписывают, – сказал он моей спине, пока я запикивал тетрадку туда, откуда она упала. – А почему шкаф все еще не отодвинут?»

Вот так я не успел познакомиться с Любиными секретами. На следующее утро она вошла в свою комнату, и наше совместное заключение с Соломоном Аркадьевичем на этом закончилось.

\* \* \*

Впрочем, спать я продолжал в его комнате на той же продавленной раскладушке. Только теперь по ночам он толкал меня в бок не для того, чтобы я принес ему лекарство, а затем, чтобы я проверил все ли в порядке с Любой.

«Что-то у нее тихо, молодой человек. Сходите, тихонечко загляните».

«Она спит, Соломон Аркадьевич, – шептал я. – Поэтому тихо».

«А вы все равно сходите. Нельзя быть таким ленивым. Я тут лежу прислушиваюсь целый час, а вы спите как ни в чем не бывало».

Но к Любе заглянуть уже было нельзя. Впервые за полтора года дверь в ее комнату стала запирается. В газетах, которые Соломон Аркадьевич продолжал методично перегибать для меня, на эту тему мелькал заголовок «Граница на замке». Вероломным

китайцам на Дальнем Востоке дали самый решительный отпор, а я почти каждую ночь стоял под Любиной дверью по пятнадцать-двадцать минут, прислушиваясь к ее дыханию, переступая босыми ногами на холодном полу и ощущая себя настырным узкоглазым агрессором.

«Ну что? – спрашивал Соломон Аркадьевич, когда я возвращался с задания. – Спит?»

«Спит, – отвечал я. – Все в порядке».

Чтение стихов Заболоцкого он так и не возобновил. Очевидно, поэтическое мироощущение покинуло его. Но я об этом не сожалел.

В Любе тоже появились новые черты. Помимо того, что она обрила голову наголо и не хотела больше со мной спать, ей вдруг понравилось мыть полы.

«В больнице, – объяснила она, – это делают три раза. И еще вечером, перед самым сном».

Но она мыла полы чаще. Каждый раз, когда я откладывал в сторону кисть с известкой, снимал с головы газету про пограничников и выходил на кухню курить, она выливали на пол целое ведро воды. Как будто ей хотелось немедленно смыть всякие следы моего присутствия в ее комнате.

Мне приходилось выкуривать по две, а иногда по три папиросы, потому что она всегда вытирала насухо. Это занимало у нее, и следовательно, у меня не меньше чем полчаса. Она ползала на коленях с тряпкой в руках, пока абсолютно весь пол не переставал блестеть. Даже в самых дальних углах. Даже у плинтусов и под сдвинутым наконец шкафом.

«Нельзя, чтобы блестел, – прерывисто говорила она. – Иначе муж будет пьяница».

Об этом она тоже узнала в больнице.

Но мужем был я. Который, в общем-то, совсем не пил. Поэтому, стоя у нее за спиной и сглатывая горькую от бесчисленных папирос слюну, я начинал смутно догадываться, что речь может идти не обо мне.

Моя Рахиль заботилась о чьей-то чужой трезвости.

К привычной для меня лексике приморской шпаны в ее речи добавились слова «чувак» и «башли». «Чуваком» она иногда называла меня, но чаще – своих новых приятелей, с которыми она познакомилась в больнице. «Чувак» по моему адресу означал хорошее расположение духа или какое-нибудь мое персональное достижение – удачно выкрашенный потолок, прибитая полка или просверленная над карнизом дыра. В такие моменты мне позволялось остаться в комнате даже во время мытья полов.

Но чаще все-таки «чуваками» оказывались те таинственные узники сумасшедшего дома. Они были стилиаги и чуваки. Советское государство, стремясь обезопасить себя от их узких брюк, ярких галстуков, «черных котов», а главное – от их «шуба-дубы», заперло «чуваков» в одном помещении с моей безумной Рахилью, и сердце ее дрогнуло, пленившись ощущением новой свободы и свежего воздуха, а мне осталось только курить на кухне свой «Беломор» и поджимать по ночам у ее закрытой двери свои замерзшие голые ноги.

Вот так, в общих чертах, Родина отняла у меня Рахиль.

\* \* \*

Правда, доктор Головачев тоже принял участие в процессе. Он стал приезжать буквально через неделю, после того как вернулась Люба. Объяснял это тем, что ей необходимо находиться под постоянным наблюдением врача.

И, как я понял, за закрытой от нас с Соломоном Аркадьевичем дверью. Впрочем, Соломону Аркадьевичу на это было плевать. Он радовался, что я наконец закончил ремонт.

«А вот бумажные шапочки, молодой человек, вы так и не научились делать. Напрасно!»

Мы сидели с ним на кухне, и он спрашивал меня – отчего это у доктора Головачева такие узкие брюки.

«Ему же, наверное, неудобно. Как он их надевает?»

«Это просто мода, – объяснял я. – Сейчас многие ходят в таких брюках. Они называют себя «стиляги».

«Стиляги? – удивлялся Соломон Аркадьевич. – Это что, целая группа? Как хунвейбины? И что у них за идеология?»

Я смотрел на Соломона Аркадьевича, размышляя об идеологии доктора Головачева, но кроме того, что он запирается в комнате с моей Рахилью, в голову мне ничего не приходило. Очевидно, это и было его идеологией. Помимо узких брюк. В которых действительно непонятно каким образом он размещал свою нижнюю половину. Стискивая, очевидно, себе там буквально все.

«Смотрите, – сказала Люба, входя на кухню. – У меня сережки».

Я уже знал от нее, что все «чувихи» в больнице были с проколотыми ушами. Люба говорила, что это «клево».

На комсомольском собрании факультета у меня в институте за «клево» могли запросто отчислить с любого курса. Не говоря уже о сережках.

«Где ты их взяла? – сказал Соломон Аркадьевич. – Это сережки твоей бабушки».

«Где взяла, там уже нет. Нравится?»

Она повертела бритой головой из стороны в сторону. Солнечный луч из окна упал на сверкающие грани и блеснул мне прямо в глаза.

«Осторожней! – забеспокоился Соломон Аркадьевич. – Это настоящие бриллианты».

«Больно было?» – сказал я.

«Да нет, – она продолжала поворачивать голову. – Только похрустело чуть-чуть».

За спиной у нее появилось улыбающееся лицо доктора Головачева.

«Ну как?» – сказал он.

Человек-дырокол.

Он был для нее символом свободы, которую она обрела в сумасшедшем доме. Люба говорила, что он подменял стилигам все эти страшные таблетки на безобидные пустышки из сахара и муки. Собственное изобретение. Борьба за право носить узкие брюки, баки и напомаженный кок. От которого подушка, наверное, к утру покрывается жиром, как сковорода для оладий.

Ну, как мне было тягаться со всем этим маслом? С дырками в ушах? С тесно прижатыми гениталиями?

А насчет чистоты еврейской крови доктора Головачева даже не спрашивали. В его случае этот вопрос почему-то особенно остро уже не стоял.

\* \* \*

Наблюдая за развитием их взаимоотношений, я невольно стал задумываться о смысле жизни. Часами ходил вокруг дома и в соседнем парке, размышляя на эту важную тему, пока желтый плащ доктора не мелькал у входа в подъезд.

Начитавшись перепечатанных на плохой машинке запрещенных статей Мукаржовского, я воспринимал этот факт мелькания просто как часть определенной знаковой системы. С точки зрения семиотики желтое пятно у подъезда сигнализировало об уходе соперника. Оно декодировалось как возможность занять покинутое оперативное

пространство и развернуть в нем собственную операцию. Без помехи со стороны препятствующих факторов.

Но операция никак не разворачивалась. Оперативные силы сидели на кухне, уныло курили и размышляли о смысле жизни. Виня во всем советские дурдомы, в которых расцветает свобода, и теряя драгоценное время между бесконечными появлениями желтого плаща.

Стильного, разумеется, до самой последней пуговицы.

А может, виной всему был плохой перевод Мукаржовского. Кто его знает – что этот чех на самом деле имел в виду?

По причине всех этих обстоятельств размышления о смысле жизни плавно перетекли в размышления о смысле смерти.

Мысль о ней началась с Фицджеральда. Я вдруг задумался о том, что с ним могло случиться, если бы смерть не поселилась в его жизни в форме алкоголизма и сумасшествия его жены. Страшно даже представить. Ведь эта безумная Зельда сначала вообще не хотела за него выходить. Как будто чувствовала свой дар и отказывалась делиться. Дар поющей в ней смерти.

Скорее всего, он вообще бы не стал писать. О чем на свете можно писать, кроме приближения смерти? О ласточках? О синем небе? О первом поцелуе, розовых трусиках и фламинго того же цвета?

Но все это как раз и значит – писать о смерти. Поскольку мысль о ней скрыта во всех этих вещах. В их быстротечности. Какими бы голубыми и розовыми они ни казались. А может быть, именно благодаря этому. Потому что – кто пытался постичь цвета смерти?

Я стал размышлять о самых недавних самоубийствах в литературе. У меня получились Фадеев и Хемингуэй. Добровольный уход в эпоху проскрипций показался мне драматичней. Это напоминало о Сенеке, который просто выполнил приказ императора. Хотя Фадеев вряд ли выполнял чей-то приказ. Идеалы стоицизма, конечно, похожи на коммунистические, но только в профиль. Подоплека уже не та. Плюс отсутствие персональных бассейнов, где без суеты можно отойти в мир иной. Диктуя письмецо императору. Которого, кстати, сам же на свою голову и воспитал. Точнее, совсем некстати.

Но зато как звучит!

«Вы знаете, я педагог Нерона. Да-да, наследника императора. Такой непослушный мальчик». Небрежным тоном. Чтобы эти в тогах не подумали себе вдруг, что нам это так уж важно. И озабоченный думами взгляд. О грядущем, естественно, о чем еще. Мы ведь государственные мужи. Или правильной будет «мужья»?

А непослушный мальчик у себя в голове уже кропает приказ: «Дорогой учитель, пожалуйста, перепили себе жилы. Я хочу посмотреть». Он же не виноват, что именно через него Бог решил запустить в действие механизмы своей иронии. По поводу дум о грядущем, по поводу государственности мужей, ну и вообще, чтоб не скучали.

Короче, для анализа я выбрал Фадеева. Тем более что его двоюродный брат был знаком с Любиной бабушкой – той самой санитаркой из отряда Лазо. Соломон Аркадьевич говорил, что у них даже был роман. Пока этого кузена не сожгли вместе с командиром в паровозной топке. А до этого он целовал Лену Лихман в губы. И еще застрелил белого офицера, который снял бабушку Лену с забора, когда она зацепилась юбкой за гвоздь, убегая во время облавы. Офицер этот, очевидно, был добрый, поэтому отцепил Лену Лихман, поставил ее на землю и сказал: «Убегай». Но кузен вернулся из леса и выстрелил ему в грудь.

А может, он просто заревновал. Соломон Аркадьевич говорил, что бабушка Лена была очень красивой.

«Люба в нее», – добавлял он.

Из-за этой истории я даже отвлекался от своих размышлений. Мне казалось, что, может быть, кузен прав и надо стрелять кому-нибудь в грудь, если твою женщину вдруг вот так неожиданно снимают с забора. Ведь все эти вещи не просто так. Они обязательно что-то значат, и лучше их останавливать, пока они не начались и не стало совсем поздно.

Но потом я вспоминал, что кузен плохо кончил, и с глубоким вздохом возвращался к своим теоретическим построениям.

Принципы компаративного анализа требовали вторую фигуру. Необходимо было сопоставление. Еще одна смерть. Лучше всего подходил Сент-Экзюпери. Во-первых, не самоубийца. Во-вторых, на компромиссы не шел. В-третьих, во власти не участвовал. При этом – ровесник и тоже против фашизма. Одна эпоха.

Но какая-то очень другая смерть.

Что заставляло Фадеева подписывать бумаги, которые могли превратиться в смертные приговоры? Да еще тем людям, которых он лично знал?

Убеждение? Или страх за себя? Персональная боязнь того, что такой талантище тоже свезут на Лубянку и тогда всем этим пухлым книжкам про сталеваров – трындец. С простреленным лбом много не напишешь. Отсюда имманентное недоверие к смерти.

Ошибочное, как показывает опыт. В любом случае все умрем. Бояться неизбежного непродуктивно. Лишняя затрата энергии.

Можно найти ей вполне достойное применение. Пока ты еще здесь.

За штурвалом самолета, например. Но только говорить тогда придется по-французски. И за спиной будет не кондовый «Разгром», а «Земля людей». И перед глазами будут не рожи членов Политбюро, а «Мессер» в перекрестье прицела. И рука тянется не к протоколу заседания, а к пулеметной гашетке. Пусть даже в последний раз. И пусть об этом никто не узнает.

Зато падаешь в море, а не на письменный стол.

Я часами сидел на кухне и размышлял на эту тему, забросив дела, сморщив лоб, время от времени пытаюсь понять, что же я все-таки могу противопоставить ярко-желтому плащу доктора Головачева.

Выходило, что ничего. Взаимоотношения Сенеки и Нерона мою Рахиль интересовали в самой последней степени. Узких брюк ни тот, ни другой, к сожалению, не носили.

Вот так обыкновенный болоньевый плащ и пара темных еврейских глаз могут заставить человека всерьез думать об эволюции культуры самоубийства.

Прямо Камю в московской квартире.

\* \* \*

Выход из всех этих бдений на кухне, прогулок в парке и размышлений нашел не я, а сам доктор Головачев. Если только он искал выход. Вполне возможно, что не искал. Скорее всего, ему просто надоела моя унылая физиономия.

«Как у вас с деньгами, молодой человек?»

«Молодого человека» он перенял у Соломона Аркадьевича.

«С башлями?» – переспросил я.

Он улыбнулся и кивнул: «Ну да, с ними. Вы уже дописали свою диссертацию?»

Защита планировалась не раньше чем через два месяца, и на кафедре мне действительно пока еще не давали часов. Но стипендию платить перестали. Я уже был не аспирант, а соискатель. Приставка «со», очевидно, предполагала какой-то совместный поиск, однако без денег я сидел в одиночку.

Пока не подключился доктор Головачев. Со всем вниманием и сердечным участием. В обтягивающих брючках.

«В вашем возрасте, я разгружал вагоны».

«А пароходы ты не разгружал? – подумал я. – Или баржи водил с бурлаками по Волге?»

«Поймите, молодой человек, Любе в ее состоянии необходима поддержка».

Нормальная философия бурлака. «Обоприся на мое плечо, эй, товарищ».

«Я не молодой человек, – сказал я, поднося спичку к следующей папиресе. – Я – чувак. Пишу всякую дребедень про литературу».

Он покрутил набриолиненной головой и усмехнулся:

«Очевидно, я раздражаю вас своим присутствием в вашем доме, но вы должны понять, что это необходимо. Любе нужна помощь».

«Вы только что говорили, что ей нужна поддержка».

«Поддержка и помощь, – сказал заслуженный бурлак Советского Союза. – И вы совершенно напрасно иронизируете. Вы уже достаточно взрослый, чтобы понять, насколько серьезна ваша ситуация».

Ну, тут уж он зря. Вот это я понимал. Непонятно только, почему он сказал «ваша ситуация». Вообще-то должен был сказать «наша». Или он думал, что это была моя идея пригласить в дом врача из психушки, который станет шастать взад-вперед, шелестя болоньей и запираясь в комнате с моей женой? С моей безумной Рахилью. Пусть даже он ее ровесник, и даже немного старше, а я всего лишь тупой аспирант. Вернее, тупой соискатель.

«Когда у вас будет защита?»

«А вам-то какое дело?»

«Не грубите мне, молодой человек. Я хочу вам помочь».

Добрый доктор Айболит. «Как живете? Как животик? Не болит ли голова?» И глаза такие добрые-добрые. Как у дедушки Корнея Чуковского. Который тоже много чего украл в своей жизни. Но чужих жен не воровал. Только персонажей. Впрочем, может, и жен. Кто их знает – этих добрых стареньких старичков?

«Я хочу предложить вам работу. У меня есть знакомые в морге или, если хотите, могу взять санитаром к себе в больницу до защиты диссертации».

«Морг – это здорово, – сказал я. – У меня там тоже знакомые есть. Соседка вчера умерла. Октябрина Михайловна».

«Перестаньте паясничать».

Я затянулся поглубже, пока папираса не зашипела и не стала потрескивать. Мы так молчали минуты, наверное, две. Он стоял в дверях, а я сидел у плиты рядом с пепельницей.

«Слушайте, доктор, – наконец сказал я. – Давно хотел вас спросить... Вам в этих брюках хозяйство не жмет?»

\*\*\*

В конце концов я оказался в дурдоме. В том самом, где моя Рахиль повстречала своих замечательных волшебных стилинг. Мне казалось, что если я познакомлюсь с ними поближе, у меня все же появится шанс проникнуть ночью к ней в комнату, вместо того чтобы часами скрипеть раскладушкой в радиусе действия беспокойной руки Соломона Аркадьевича или топтаться на холодном полу перед закрытой дверью. Я решил перейти линию фронта.

Доктор Головачев легко простил мое хамство и устроил меня санитаром. Работая с сумасшедшими, он, очевидно, привык к подобному поведению, поэтому зла на меня не держал. Но я все равно несколько раз оторвал ему пуговицы на плаще, который он легкомысленно оставлял у себя в кабинете, не запирая при этом дверь.



На следующий день все пуговицы обычно снова были на месте. Даже когда я уносил их с собой, у Головачева всегда находилась замена. Видимо, и к подобным вещам он оказался готов. Удивить его было непросто. Да еще эта химическая ткань была устроена таким образом, что оторвать пуговицу «с мясом» у меня не хватало сил. Требовались нечеловеческие усилия. А мне очень хотелось, чтобы его плащ покрылся зияющими дырами. Как лунные кратеры, о которых тогда много писали в газетах.

И я в роли лунохода. Бреду себе по поверхности неизвестной планеты, ныряю в эти самые кратеры. А тот, кто внутри, нажимает на кнопки и думает – кому нужна такая любовь? Правда, потом я выяснил, что луноходы управлялись по радио. Этот внутренний чувак сидел только внутри меня. В луноходе его не было.

Поэтому однажды я дернул так сильно, что упала вся вешалка. Рухнув на письменный стол, она вдребезги разбила покрывавшее его стекло и опрокинула чернильницу. По столу разлилась яркая фиолетовая лужа, а я убежал в туалет.

Через десять минут, когда я вернулся, перепачканные чернилами санитары из отделения для буйных собирали с пола осколки стекла. Они даже почти не матерились. Я помог им вытереть стол и рассказал о нескольких писателях, страдавших помутнением рассудка. Когда они меня выгнали, я вернулся к себе в туалет и выкурил еще одну папиросу. Мне нравилось, что я веду себя как сумасшедший. В подобных занятиях мое, в общем-то, бесформенное страдание обретало параметры определенной структуры. Оно становилось способным к конкретному самовыражению, и от этого мне было гораздо легче. У моего страдания появлялся стиль.

Кстати, стилияг, на встречу с которыми я рассчитывал, когда устраивался на работу, в дурдоме уже не оказалось. Их отпустили из-за какого-то «потепления» наверху, и они, судя по всему, теперь опять воевали на улицах с «бригадмильцами». Впрочем, мне было уже не до них.

Там, правда, оставался еще один какой-то наполовину стилияга по имени Гоша, но в нем я не обнаружил ничего, что могло бы поразить воображение моей Рахили до такой степени, чтобы не пускать меня к себе в комнату по ночам. Единственное, чем он был интересен, – это три имени. Он всегда представлялся тройным образом. «Гоша-Жорик-Игорек», – говорил он, протягивая руку, которая так и оставалась висеть в воздухе, поскольку персоналу общаться с больными не разрешалось, а с другими сумасшедшими он сам разговаривать не хотел. О том, что он имел какое-то отношение к стилиягам, я узнал от доктора Головачева. Вернее, догадался по его поведению. Головачев даже не пытался скрывать, что симпатизирует «Гоше-Жорику». После отбоя только ему можно было вставать с постели и курить у центрального выхода возле окна.

Наблюдая за всей этой новой для меня жизнью, я время от времени внимательно прислушивался к себе. Иногда мне казалось, что я наконец отвлекся и беспокойство внутри меня улеглось, однако стоило мне снова увидеть доктора, как боль немедленно возвращалась и мне хотелось чем-нибудь его убить. Временами я даже мог заставить себя не думать о Любе, и все, казалось мне, утрясется, но в какой-то момент я с ужасом вдруг заметил, что Головачев становится похож на нее. Он начал точно так же, как она, поворачивать голову; так же щелкать пальцами, когда не знал – что сказать; так же хмуриться.

Но, что было хуже всего, он стал говорить звук «ха!».

### **Зиганшин-буги**

К роженицам в роддом мы не пошли тогда из-за Веньки. Он остановился прямо посреди улицы и сказал, что больше такой возможности не будет. Что, если «давим стиль», то надо давить до конца, и что Гленн Миллер нам этого не простит.

Мы с Колькой переглянулись и начали считать деньги. На троих нам хватало, но в буфет до стипендии можно было больше не заходить. Ежемесячный перевод из дома к этому времени тоже дал дуба.

– Гленн Миллер будет доволен, – подмигнул нам Венька, и вместо роддома мы отправились в хорошо знакомую уже квартиру на Ленинградском.

Размышляя о том, каким образом Гленн Миллер может узнать, на что мы потратили наши последние деньги, я помог какой-то девушке в желтом платье укрепить на стене простыню.

– Спасибо, – сказала она и сделала смешной книксен. – Вы очень любезны.

– Может, вы уйдете оттуда? – начали кричать на нас остальные. – Мы на вас, что ли, пришли посмотреть?

Я сел на свое место и стал наблюдать за девушкой.

– Чувак, – толкнул меня через минуту сосед слева. – Эй, чувак, ты вино будешь? Белое сухое. Домашнее. Из Крыма вчера привезли.

– Нет, чувак, – ответил я. – Хочу посмотреть «Серенаду». С вином будет не то.

– Уважаю, – сказал мой сосед. – Такой ништяк заценить можно только на трезвую голову. А я долбану. Точно не хочешь?

– Да нет, спасибо, чувак.

– Ну, давай. Только потом не обижаться. Договорились?

Но фильм я практически не смотрел. Даже когда все в комнате затопали ногами и закричали: «Чу-Ча!», я несколько раз довольно вяло притопнул и продолжал смотреть на слегка волнистый экран из простыни, не очень-то следя за тем, что там происходит.

Потому что не было необходимости. «Серенаду Солнечной долины» я знал наизусть. В одной только этой квартире на Ленинградке я видел ее уже восемь раз. Сюда добавляй три раза на улице Горького и два – на Таганке. Там жили какие-то Венькины приятели, у которых можно было не только посмотреть «Серенаду», но и купить дорогуший галстук с обезьяной. Венька говорил, что все галстуки прямо из Штатов.

Считая сегодняшнюю оказию с булькающим слева от меня чуваком из Крыма, для нас это была уже четырнадцатая возможность сделать так, чтобы Гленн Миллер до смерти ни на кого не обиделся. Я сильно подозревал, что по этой причине даже у себя в Штатах он мог считать себя самым счастливым чуваком.

А если не он, то хозяйева этих трех квартир – точно. На те деньги, что мы отдали им за эти четырнадцать раз, наверняка можно было купить что-нибудь грандиозное.

Я стал смотреть по сторонам, и в мерцающей полутьме, кажется, все-таки разглядел новое кресло. Во всяком случае, в наш первый приход его в этой квартире не было. Венька сейчас, разумеется, развалился именно в нем. Откинулся на спину и дирижировал.

Вторая причина моего втайне сдержанного отношения к «Серенаде» называлась «Небесный тихоход». Я ни за что в жизни не признался бы Веньке, но когда Николай Крючков в этом фильме начинал петь «Махну серебряным тебе крылом», по спине у меня всегда бежали мурашки. Может, это было связано с тем, что отец во время войны командовал эскадрильей дальних бомбардировщиков, а может быть, с тем, что меня самого полтора года назад не взяли по здоровью в Актюбинское летное училище и назло всем этим врачам я поехал в Москву и поступил в медицинский.

Трудно теперь сказать, какая из двух причин была для меня важнее, однако мурашки от песни Крюčkова по спине бегали регулярно, и Веньке в этом признаваться я не спешил.

Потому что мы должны были «давить стиль». Или «стилять».

В разном настроении Венька употреблял разные термины. Когда денег хватало не только на мороженое и на то, чтобы торчать целый вечер на улице Горького напротив

Главпочтамта, прячась время от времени в подъездах соседних домов от комсомольских оперотрядов, мы могли «стилять» где-нибудь в «Арагви». Там всегда «стиляли» фирменные чуваки и те девушки, которых Венька называл «золотые дукаты». Познакомиться с «дукатом», а тем более уйти с ней из ресторана, в его глазах было высшей стилижной доблестью. Правда, пока этого ни с Колькой, ни со мной не случилось. Чаще мы все-таки «давили стиль» на нашем «Бродвее» – или на «Броде» – между площадью Пушкина и гостиницей «Москва», разбегаясь как тараканы от бригадмилцев и стараясь не угодить в «полтинник», то есть в отделение милиции номер 50. Из института за это бы точно поперли.

Впрочем, не только за это. Доцент Зябликова давно уже точила зубы на нашу троицу. На первом курсе, когда нас всех привели в анатомку, Венька притащил с собой муляж гниющей конечности, который специально для этой цели украл из институтского музея, и положил его во время перерыва Зябликовой в портфель.

Нас не выгнали только из-за вмешательства Колькиного отца. Филипп Алексеевич много лет проработал в журнале «Огонек» и был знаком с ректором нашего института лично. К тому же Венька официально числился лучшим студентом на курсе. Профессура носилась с ним как с писаной торбой. Не знаю уж, как они там чего разглядели, но практически каждый преподаватель время от времени ему говорил при всем курсе: «Вениамин, у вас от Бога медицинский талант. Вы – прирожденный врач».

Как будто я или Колька не получал точно такие же «пятерки» во время сессий. Или как будто Венькины «пятаки» были особенно медицинские, а наши – так, из другой оперы. И можно было из шкуры вон лезть, не спать ночами, зубрить бесконечные кости, изображать из себя великого доктора – все равно «прирожденным врачом» называли одного Веньку. Они его выбрали, и с этим уже ничего нельзя было поделать.

Так выбирают любимый цвет. Никто ведь не сможет ответить, почему ему нравится именно красный или, скажем, зеленый. И уж тем более никого не волнуют чувства того глупого цвета, который не выбрали.

Поэтому мы с Колькой просто получали свои не очень медицинские «пятерки» и грелись в лучах славы будущего светила.

Зато у Зябликовой теперь появился шанс отомстить. Или, по крайней мере, сильно испортить Веньке, а за компанию и всем нам, наше безоблачное «стиляжное» настроение.

Это была третья причина, по которой я не кричал теперь вместе с другими «Чу-Ча».

– Жду завтра всех на семинаре по акушерству, – сказала Зябликова и, со значением улыбаясь, посмотрела на нас троих. – Вся группа может готовиться по обычному списку вопросов, а для вас, молодые люди, у меня будет особое задание.

– Сдурела совсем! – сказал Венька, когда мы вышли из института. – Тащиться в роддом обследовать беременных теток?!!

Именно в этот момент ему и пришла в голову идея насчет Гленна Миллера. Очевидно, как противоядие.

Впрочем, скоро выяснилось, что у него было много идей.

– Слушайте, кексы, – сказал он уже у Колькиного подъезда. – Хватит вам дуться. Сдаюсь – «Серенаду» сегодня можно было и не смотреть. Но я зато знаю, с кем поговорить о нарушениях в кровеносной системе в период беременности.

– С кем? – практически хором сказали мы.

– С Василисой Егоровной, остолопы. Она же тебя рожала, – он посмотрел на Кольку. – Должна помнить.

– Ну, я не знаю, ребята, – сказала Василиса Егоровна, глядя на нас в прихожей. – Это ведь давно было. Вы лучше переоденьтесь быстрее, а то Филипп Алексеевич может с работы прийти. Уже почти восемь.

Мы пошли в Колькину комнату и начали стягивать с себя узкие, как карандаши, брюки. Василиса Егоровна до определенной степени понимала трудности нашего поколения, а вот Филипп Алексеевич был человеком «на государственной службе», и о нашей непростой «стильной» жизни знать ему было совсем ни к чему. Ради нашего, естественно, блага.

И ради всеобщего торжества широких штанов, воспетых Маяковским. Его памятник как раз виднелся из Колькиного окна.

Потому что широкие штаны Филипп Алексеевич уважал. Замечательный во всех отношениях человек, легкий и остроумный собеседник, он при этом любил цитировать Никиту Сергеевича Хрущева и часто повторял, что хороший человек узких брюк не наденет.

Наденет или не наденет – на других мы не проверяли, но Колькин отец в скором времени должен был стать секретарем парткома редакции «Огонька», и, следовательно, он наверняка собственноручно поубивал бы нас из своего трофейного «Вальтера», если бы узнал, что те самые отвратительные стилиаги, о которых с таким презрением и брезгливостью пишет его журнал, это, собственно, мы и есть.

Они самые. Здрасьте.

А «Вальтер», между прочим, был у него знатный. Надежный, увесистый и в то же время поджарый, как породистый пес. С аккуратной маленькой мушкой. Венька, как только увидел его, сразу сказал: «Да, чуваки, это не семьдесят восемь. Это настоящие тридцать три».

Более высокой степени одобрения в его языке просто не существовало. Огромные толстые пластинки на 78 оборотов в минуту с песнями Бунчикова и Шульженко он ненавидел так, как обычный человек, то есть не стилиага, ненавидит смерть, или голод, или капитализм. В то же время редкие пока еще пластинки на 33 оборота были для него символом высшей справедливости и торжества человеческого разума.

Пистолет Филипп Алексеевич разрешал нам подержать только в своем присутствии. При этом обойма – даже пустая – всегда либо на столе, либо у него в руках. Щелкать курком тоже не разрешалось.

– А что, если там остался патрон? – говорил Филипп Алексеевич и оттягивал затвор, чтобы показать нам тусклую впадину, где, естественно, никогда никакого патрона не было.

– Нет, я не помню то время, когда ходила с Колькой, – сказала Василиса Егоровна, отодвигая на край стола вазу с цветами и расставляя чайные чашки. – Война была. Все как-то мимо катилось. Куда там за беременностью следить. Выжили – и спасибо.

– Но хоть что-то вы должны помнить, – настаивал Венька. – Токсикоз, головокружение. Нас особенно интересуют вены. Вены под кожей не расходились? Такими крупными синяками?

– Я не помню, Венечка, – виновато сказала она. – Может, вам про что-нибудь другое рассказать?

– Нет, нам про другое не надо, – вздохнул Венька, но через секунду сам неожиданно переменял тему. – А можно нам тогда пистолет посмотреть? Пока Филипп Алексеевич не пришел с работы.

У «Вальтера» была своя история. Колькин отец на войне в атаку, разумеется, не ходил, потому что был журналистом, но в немецких окопах все же бывал. Спускался туда после боя, чтобы собрать материал для статьи – поговорить с бойцами, полистать документы убитых фрицев. И вот однажды под Сталинградом он то ли не разобрал, что бой еще не закончен, то ли немцы решили вернуться в отбитый уже у них окоп, но, когда он спрыгнул в траншею, прямо на него смотрел молоденький фриц.

Филипп Алексеевич рассказывал нам эту историю не один раз и при этом всегда подчеркивал, что фриц был очень молод. А так как сам Филипп Алексеевич нам казался

глубоким стариком, то этот несчастный немец в наших мозгах навсегда застрял каким-то почти ребенком. И это было странно, потому что немцы были фашисты и не имели никакого права быть детьми. Их надо было убивать, где только возможно.

Но фриц Филиппа Алексеевича был молод. Может, под Сталинградом тогда уже воевал «Гитлерюгенд», а может, все это была только игра воображения не привыкшего к виду живых немцев Колькиного отца.

Так или иначе, но, рассчитывая на то, что в немецких окопах должны быть наши, Филипп Алексеевич и на этот раз не взял с собой автомат. Огромный ППШ мешал ему в узких траншеях.

Оказавшись лицом к лицу с этим немцем, он понял, что не успеет вытащить из кобуры свой «ТТ». В руках у фрица уже был тот самый «Вальтер». Немец навел его на Колькиного отца, но почему-то не выстрелил. Они постояли так несколько секунд, а потом фриц быстро сунул ствол себе в рот и нажал на курок. Почему он так поступил – Филипп Алексеевич так никогда и не понял.

Мы тоже этого не понимали, но были благодарны странному фрицу. Даже несмотря на то, что он был фашист.

Потому что без Филиппа Алексеевича стало бы намного скучней.

– Как это ты не помнишь ничего про беременность? – сказал он, усаживаясь к столу. – Эх, Васька, ну что за память? Я лично все помню. Спрашивайте меня, товарищи медики. Что вас интересует?

Венька на секунду засомневался, но все же задал свой вопрос.

– Синяки? – переспросил Филипп Алексеевич. – Да-а, разумеется. По всему телу. И жилы вот такими узлами. Величиной с кулак.

Василиса Егоровна поперхнулась чаем, закашлялась и начала смеяться.

– Филя, им правда надо, – переведя дух, сказала она. – Скажи честно – помнишь или не помнишь?

– Все помню как на духу. У твоей сестры после родов начался геморрой. Простите, не к столу будет сказано.

– Филя!

– Что Филя? У Филя ничего не было. Ни до беременности, ни после. И у тебя ничего. Только на четвертом месяце возникло небольшое потемнение вот здесь на локтевом сгибе. Я правильно говорю, товарищи медики? Это место называется локтевой сгиб?

– Перестань врать, Филя! Им серьезно надо для завтрашнего занятия.

– А кто врет? Вот тут у тебя было пятнышко. Васька, ты не поверишь, но я твое тело знал лучше, чем карту нашего наступления. Любо-о-овь! Так, молодежь, а ну-ка, заткнули уши.

Они познакомились в декабре сорок первого года. Филипп Алексеевич несколько раз говорил нам, что напишет об этом книгу, но пока рассказывал устно. И видно было, что ему нравится рассказывать.

Редакция «Красной Звезды» прикрепил его тогда к штабу 20-й армии, которая должна была отбросить немцев от Москвы в направлении Лобни и Ржева. Колькин отец напросился в передовые части, получил на складе буденновку и поехал отбивать деревню со смешным названием Катюшки. В общей сложности наши брали ее шесть раз. С Василисой Егоровной Филипп Алексеевич познакомился на третий.

В ту ночь он ползал по нейтральной полосе и разворачивал тела погибших красноармейцев головой к немецким позициям. Это было важно. От того, в какую сторону солдат упал головой, зависела судьба его близких. За трусость и предательство Родины отвечать должны были все.

Под утро он наткнулся на Василису Егоровну.

– Нет, Васька, ты мне скажи, – посмеиваясь, говорил Филипп Алексеевич. – Ведь мародерством приползла туда заниматься. Ну признайся, что за жратвой.

Но Василиса Егоровна уверяла, что хотела помочь нашим раненым, а тот сухпаек, который у нее оказался, она вытащила из немецкого вещмешка. Дохлых фрицев там тоже было навалом.

Потом, даже когда фронт ушел далеко на запад, Колькин отец, отправляясь за материалом на передовую, всегда старался проехать через Катюшки. За что, кстати, то и дело получал от начальства по шапке.

– А буденновка-то все еще, между прочим, при мне, – говорил он, вынимая из шкафа и надевая на голову потемневший остроконечный шлем с синей звездой. – Холодно только в ней было. Зима в тот год выпала, я вам скажу, «Гитлер – капут».

Почему-то так получилось, что бойцы 20-й армии оказались тогда одеты в кавалерийское обмундирование времен Гражданской войны. Неизвестно, это ли повлияло на решение Василисы Егоровны, но летом сорок второго они поженились, а осенью, уже в Москве, у них родился Колька.

Будущий стилиста и, может быть, врач.

– Я помню – совсем кормить его было нечем, – сказала Василиса Егоровна. – Вот это я помню. На карточки ничего для грудников не давали, а у меня не было молока. Почему-то пропало. Наверное, от недосыпания. На крышах по ночам сидели. Тушили «зажигалки». Я все боялась, что усну прямо там и свалюсь с пятого этажа. У нас в Катюшках выше голубятни ничего не было. И то ее потом миной снесло.

Продолжая наступать в декабре сорок первого, 20-я армия все дальше отбрасывала немцев от Москвы, а Филипп Алексеевич не спешил возвращаться в редакцию. За эти несколько недель наступления командующий армией генерал Власов стал любимым военачальником Сталина, и Колькиному отцу было понятно, что ни в какой другой фронтовой части такого материала для своих статей ему не найти. Он много писал о Власове, общался с ним, называл его в своих публикациях «новым Кутузовым» и «спасителем Москвы». Никому даже в голову тогда не могло прийти, что 2-я Ударная, которой Власов будет командовать под Ленинградом, всего лишь через полгода попадет в котел, а сам генерал станет предателем.

– Не знаю, почему он не застрелился, – говорил Филипп Алексеевич, и в его обычно добродушном лице проглядывали такие жесткие черты, что мне, например, становилось не по себе.

После предательства Власова ему действительно пришлось нелегко. Допросы фронтового «Смерша», допросы в штабе армии, допросы в Москве. Когда перевезли на Лубянку, он понял, что оставят в живых. Если бы хотели, могли расстрелять прямо у блиндажа «особиста». Со многими из тех, кто лично знал Власова, так и поступили.

Но повезло. Кто-то на самом верху читал его фронтовые статьи и оценил их идеологическое значение. Ему разрешили вернуться на передовую и продолжать писать. Правда, только с «лейкой» и блокнотом. О редакционном «виллисе» он мог надолго забыть. Даже после войны никто не спешил предлагать «власовскому приспешнику» кабинет редактора.

Поэтому теперь, когда Филипп Алексеевич должен был вот-вот стать партсекретарем «Огонька», а в дальнейшем, возможно, и главным редактором, в семье у Кольки царило предпраздничное, слегка нервное оживление. То есть ни Колькиному отцу, ни его матери по большому счету не было никакого дела до наших проблем. С доцентом Зябликовой и нарушениями в кровеносной системе в период беременности нам предстояло разбираться самостоятельно.

– Ну что приуныли, товарищи медики? – сказал Филипп Алексеевич, разворачивая газету. – Свет клином на ваших синяках не сошелся... Нет, ты посмотри, что тут пишут! Нашли все-таки солдат на барже. Подобрал американский авианосец. Сорок девять дней в океане болтались... А мне в редакции сказали, что по радио прошло сообщение, но я не поверил... Надо же как исхудали ребята... Где это, интересно, фотографировали? В Америке, что ли?

При слове «Америка» Венька вскочил из-за стола, забежал за спину Колькиному отцу и впился глазами в газету. Несколько минут они молча читали статью. Мы с Колькой уныло допивали свой чай, а Василиса Егоровна ушла на кухню шуметь посудой.

– А можно, мы у вас газету на секундочку заберем? – сказал наконец Венька, почему-то сильно волнуясь. – На одну секундочку. И тут же вернем обратно.

– Да можете забрать ее хоть насовсем, только мне еще про спорт почитать надо.

Венька не отошел от Филиппа Алексеевича ни на шаг, пока тот просматривал результаты футбольных матчей.

– Да-а, – в конце концов протянул Колькин отец. – Не выйдет, видимо, уже Бобров на поле. Только тренером. А какой был центральный форвард! Я помню, «Динамо» включило его в состав для поездки в Англию, а он...

– Можно газету? – робко попросил Венька.

В Колькиной комнате, едва за нами закрылась дверь, он рухнул на диван, подбросил газету над головой и, стараясь, чтобы его не услышали в гостиной, зашипел на нас, как змея:

– Все, кексы! Ура, чуваки! Тридцать три! Говорю вам – это тридцать три оборота! Лабаем джаз!

Мы с Колькой стояли перед ним, как два школьника, и ждали, когда у него это пройдет.

– Чего вылупились? Читайте!

И мы прочитали.

«...младший сержант Асхат Зиганшин и рядовые Федотов, Поплавский, Крючков... почти два месяца назад... на оторвавшейся от причала барже... и были унесены штормом в открытое море... Ни продовольствия, ни воды, ни горючего... Потерявшие надежду солдаты... сила человеческого духа наших ребят... оказались вынуждены питаться собственными ремнями, а также разрезанными на кусочки кожаными мехами гармони...»

– Ну и что? – сказал Колька. – А где тут тридцать три? Гармонь, что ли? Я не понял.

– Сам ты гармонь! Ты посмотри на фотографию.

На всех четверых были узкие брюки и стильные пиджаки с широкими плечами.

– Теперь понял? – сказал Венька.

– Нет, – ответил за Кольку я.

– Ну, вы оба тупые! Их в Америку привезли! Авианосец был американский! Смотри, как они там лабают. Чуете?

Но мы не чуяли. Нам хотелось, чтобы Венька все разъяснил. Или, по крайней мере, сказал нам, что мы будем завтра делать на семинаре по акушерству.

– Вы что, совсем сбрендили? – сказал он. – Какой семинар? Какое, на хрен, акушерство? Я вам говорю – нам баржа нужна!

Венька не всегда был стилигой. Сначала он был просто Венькой, потом комсомольцем, потом очень строгим комсомольцем, а потом уже наконец стилигой. И в Москве он тоже жил не всегда.

В наш медицинский ему пришлось переводиться из Ленинграда. С потерей курса. Но ему было все равно. Его не волновало даже то, что ему демонстративно отказали в общежитии.

– А мне без разницы, где стирать, – небрежно говорил он, выходя по утрам из каморки институтского дворника. – Я Петровича уже научил галстук завязывать. Готовлю его к «шюзам» на «манной каше». Спорим, завтра он будет в них подметать?

Развитию дворника Петровича помешало участие Колькиных родителей. Узнав про Веньку, они велели нам немедленно его привести и предложили ему перебраться в их квартиру на Маяковке. Он согласился.

В Ленинградском «меде» Венька успел проучиться три семестра. Больше они просто не могли позволить ни ему, ни себе. То, что он устраивал там, не шло ни в какое сравнение с нашим патриархальным московским «стилянием».

Но сначала он был комсоргом. И, как все комсорги, ездил с бригадмильцами бить стилиг – на самые разные танцплощадки, к магазину «Советское шампанское» на Садовой, который стилиги сокращенно называли «США», в парикмахерскую на Желябова, где стригли лучшие ленинградские коки, и на площадку у «Европейской», куда стекались самые клевые фарцовщики Ленинграда.

Фарцовщики избивались, коки отрезались, широченные пиджаки и узкие брюки приводились в негодность. Все шло как нельзя лучше.

Пока вдруг не случилось непоправимое.

Посреди всей этой идиллии, как гром среди ясного неба, на Веньку свалился Чабби Чеккерс.

Пораженный страшным открытием, Венька некоторое время просто не знал, что ему делать. Пропускал комсомольские собрания, мучался от бессонницы, худел. Потом наконец сдался и, закрывшись наглухо у себя в комнате, сам попробовал танцевать. Со временем в его несуразных движениях паралитика стало что-то проклевываться.

После долгих сомнений он решился на то, чтобы сделать это перед старым шифоньером с огромным зеркалом в комнате родителей, пока тех, разумеется, не было дома.

И понеслось.

Твист открыл ему то, на что комсомол не был способен. Венька еще продолжал ездить с оперотрядами, но твистеров уже выделял в отдельную касту. Обычных стилиг бил и сам, а за твистера мог запросто врезать кому-нибудь из бригадмильцев. Помогая однажды известному среди стилиг твистеру Толику по кличке Пижон сбежать с оцепленной танцплощадки, он окончательно покинул мир преследователей и навсегда стал одним из преследуемых.

Так песенка «Twist again» десятибалльным штормом раскачала Венькину жизнь, и вот теперь он хотел баржу.

Убегая с той танцплощадки, он уговорил Толика Пижона показать ему, что такое по-настоящему стильный твист. Полночи они провели в скверике рядом с Венькиным домом. Испещренный призрачной тенью листвы, Толик мягко качался на полусогнутых ногах, скрипел гравием и повторял:

– Вот так, чувачок... Понял, как надо? Плавненько! Ну, куда ты рвешь? И руками как полотенцем обтирайся. Как будто оно у тебя за спиной. Туда и сюда... Как мочалкой...

Венька страшно гордился своим знакомством с Пижоном, и через два года, когда тот тоже решил на время «кинуть кости» в Москву, повел его в самые твистовые рестораны. Если бы Чабби Чеккерс узнал, что эти двое вытворяли на втором этаже «Будапешта», в кафе «Националь», в ресторане «Урал» на Пушкинской или в гостинице «Советская», он – сто процентов – бросил бы все свои дела в Штатах и примчался первым самолетом



в Москву посмотреть на такой «сейшн». Потому что это надо было увидеть. Взволнованный «пипл» выносил Веньку с Пижоном из этих мест на руках.

Именно Толик Пижон объяснил Веньке, что «чувак» расшифровывается как «человек, усвоивший высшую американскую культуру».

После той памятной ночи в скверике учебу Венька почти забросил, а вскоре поехал в Харьков на съезд стилияг, который проводила там совсем не комсомольская организация под названием «Голубая лошадь». Вернувшись оттуда, он решил, что ему пора самому играть твист.

Поскольку ни одним инструментом он не владел, ему пришлось для этой цели переманивать музыкантов из институтского духового оркестра. «Состав» получился немного пестрым, но твист поначалу хотели играть все. Венька день и ночь проводил на репетициях, голосом и движениями показывая «составу», как это все должно быть. В итоге он так ловко научился изображать саксофон и барабаны, что запросто мог бы выступить на концерте вместо них.

Иногда он так, в общем, и делал. Когда очередной музыкант, уставший от его натиска и бесконечных репетиций, отправлял его к черту, Венька выбегал на сцену с саксофоном в руках и, не поднося его ко рту, начинал дудеть к полному восторгу своих поклонников. «Состав», названный им «Волосатое стекло», почти мгновенно стал популярен во всех ленинградских институтах.

Но Венька упивался славой недолго. Ему захотелось электрогитару.

Один технический журнал сдуру опубликовал тогда статью какого-то пня из самодельщиков о том, как переделать акустическую гитару в электрический инструмент. При помощи телефонного устройства. Через две недели после выхода этой статьи ни в Москве, ни в Ленинграде не осталось ни одного работающего автомата.

Венька успел раскурочить семь. На восьмом его повязали и отвели в отделение, где уже сидело человек двадцать. Всех взяли в телефонных будках.

Когда его поперли из института, рядом с деканатом вывесили плакат: «Сегодня он лабает джаз, а завтра Родину продаст». Напирая на свои прежние заслуги перед комсомолом, Венька умудрился добиться перевода, а не отчисления. Плакат он привез с собой в Москву и повесил его в дворницкой у Петровича. Тому было все равно. Он сам вернулся с Колымы только из-за амнистии пятьдесят третьего года.

Познакомившись со мной и с Колькой в первый же день у нас на курсе, Венька усмехнулся над нашими просторными, как паруса из книги Александра Грина, штанами и сказал:

– Ну что, лабухи, дремлет первопрестольная?

И у нас с Колькой началась новая жизнь.

Перед семинаром по акушерству Венька затащил нас в пустую аудиторию и показал учебник по клинической психиатрии.

– Зацените, кексы! Еле-еле библиотечаршу уболтал. Упиралась как бык. Говорила – только для старшекурсников.

– А на фига он нам? – спросил Колька. – Там же нет ничего про кровеносную систему.

– И не надо! – усмехнулся Венька. – Устроим сегодня цирк. Зябликовой будет не до сосудов.

– В каком смысле цирк? – спросил я.

– В самом прямом. Открывайте главу «Симптомы шизофрении». Там все, что нужно.

Колька автоматически взял книгу у него из рук и начал листать.

– Подождите, – сказал я. – Придуриваться, что ли, будем? Под сумасшедших?

– Поздравляю, – сказал Венька. – Допер наконец.

– Нет, я не буду.

Колька тоже замер и перестал шелестеть страницами.

– Пару воткнет – зачешешься, – пожал плечами Венька. – Но будет поздно. Не допустит к экзаменам – и трындец. А нам надо выиграть время. Я насчет баржи пока еще не до конца все решил. Целую ночь не спал. Проблема связи. Нужна будет рация. Иначе американцы нас будут слишком долго искать.

– Ты что, совсем сдурел?

– Пока еще нет. Но вот почитаю учебничек и сдурею.

Мы с Колькой молча стояли посреди аудитории, а Венька спокойно уселся за преподавательский стол и начал просматривать оглавление.

– Так... Абулия... Посмотрим, что у нас тут... «Ослабление и распад волевых процессов... В тяжелых случаях больной настолько пассивен, что не способен обслуживать сам себя»... Клево... Что еще? «Парамимия – гримасничанье. Паракраксия – вычурные позы, походка, манекенообразность и угловатость движений, манерность жестов»... Чуваки, тут все про Зябликову. Вот по кому Кащенко плачет.

– Венька, ты что, серьезно? – сказал я.

– Подожди, подожди! Кажется, есть кое-что... Кататонические симптомы... «Мутизм – нарушение волевой сферы, выражающееся в остановке речи... Закупорка... Шперрунг»... Хм... Может, шперрунг попробовать? Название стильное... Но если просто молчать, она точно поставит пару. Откуда ей знать, что у меня шперрунг покатило? Подумает – молчит кекс, и фиг с ним. Нет, надо что-то другое...

– Я пошел, – сказал я.

Венька поднял голову от учебника и, прищурившись, посмотрел на меня.

– Чего ты дрейфишь? – сказал он. – Не хочешь прикалываться – не надо. Я один все сделаю. Сам потом скажешь спасибо.

Видя, что я не отхожу от двери, он добавил:

– Или стукнуть решил?

Остановился он на атактических расстройствах.

– Вот, чуваки. То, что надо... «Речь становится неконкретной, витиеватой, неуместно абстрактной и символичной. При прогрессировании речевых расстройств теряется логическая связь между блоками фраз и отдельными предложениями. Наконец возникают логические нестыковки между отдельными словами»... Чуете? Песня, а не симптомы. Двинули на семинар! Весь вечер на арене клоун Бенджамин!

Не знаю как Зябликовой, но остальным поначалу, скорее всего, точно показалось, что у Веньки не все дома. Стоило ей войти в аудиторию и посмотреть в направлении нашей тройцы, как он поднял руку и, не вставая с места, начал говорить. Он сообщил ей о том, что советская медицина совершила небывалый скачок в области гинекологии и акушерства; что забота о женщине и о новорожденных в нашей стране превысила все мировые показатели; что капиталистические страны в этой сфере значительно отстают от нас по производству цветных металлов на душу населения; что младенцы в США и в Европе появляются на свет с пятимесячной задержкой, но зато у каждого из них есть свой маячок в качестве компенсации; что его самого зовут Орlando Эстонский; что его замучил постоянный параллелепипед в голове; что буддистская драматургия в нем инкогнито сидит и что албанцы втихую пожирают из него мозг.

– Ну и плевать, – сказал он, дождавшись нас на улице после семинара. – Подумаешь, выгнала! Зато пару никому не поставила. Держите учебник. Найдете мне к понедельнику симптомы постшизофренической депрессии. Я уезжаю.

– Куда? – в один голос произнесли мы с Колькой.

– Сказал же – рация будет нужна. У меня в Ленинграде кореш остался, радиолобитель. И в мореходку зайду. Надо переговорить насчет навигации. Интересно, бывают баржи с мотором? Вы как думаете, чуваки?

Вернувшись через три дня, он сообщил нам, что с рацией не покатило. Радиолобителя месяц назад замели за приемничек, по которому он слушал «Голос Америки». И хотя отпустили его почти сразу, он так перебздел, что по винтику разобрал всю свою аппаратуру.

– С космической скоростью, – пояснил Венька. – И все детали утопил в Неве.

Не успели мы облегченно вздохнуть, как он огорошил нас новыми планами.

– Короче, летом двигаем на Дальний Восток. Там этих барж немерено. Отвяжемся потихоньку и поплывем. Обойдемся без рации. Я к тому времени выучу карту океанских течений. Должна же быть такая карта. Или нет?

Но самое неожиданное, с чем он вернулся из Ленинграда, была песня. Мы уже две недели готовились к институтскому вечеру, на котором собирались танцевать твист, однако Венька решил теперь изменить программу. Изначально мы с ним вдвоем должны были лабать на сцене под Чабби Чеккера, а Колька выходил в середине танца и начинал читать Маяковского. В том смысле, что мы с Венькой такие уроды, «золотая молодежь» и вообще дрянь, а всем надо типа идти на субботник. После стихотворения Колька бежал за кулисы и возвращался с метлой нашего дворника Петровича, которой прогонял нас со сцены.

Метла и Колькины прыжки с ней были очень важны, потому что иначе мы бы никогда не смогли сбавить твист при всем факультетском начальстве и не вылететь после этого из института. Колька и так появлялся на сцене довольно поздно. К его выходу на голове у декана волосы уже должны были стоять дыбом. Для нас это была единственная возможность показаться у себя в институте в том прикиде, в котором мы давили стиль на «Бродвее». Но Венька решил все отменить.

Он сказал:

– Будем петь буги. В обычном тряпье.

И мы стали петь буги.

А пока репетировали, он продолжал свою «шизоидную» войну с Зябликовой. Из того, что мы подобрали ему во время его поездки в Ленинград, он одобрил только депрессивно-дистимический вариант.

– ПШД, чуваки, должна быть полна грусти. Как песня Элвиса Пресли «Лав ми тендер, лав ми тру». На то она, кексы, и ПШД.

На занятиях у Зябликовой он старательно имитировал меланхолический аффект, являя всему курсу образ вселенской скорби. Зябликова посмеивалась над ним и вслух сравнивала его с картинами Врубеля, но Венька не собирался сдаваться. Она предупредила, что положит конец серии его блестящих успехов во время экзаменов, а он ответил рассуждениями о бессмысленности жизни, об ощущении собственной малоценности, о том, что он вообще больше ни в чем не уверен, и о странном невыраженном чувстве вины перед своими близкими.

Ко всем этим переменам добавились наши новые имена. Венька заявил нам, что теперь мы будем называть друг друга, как те чуваки с баржи. По его мнению, это было клево и вообще должно было сплотить нас, объединить, взбодрить и воодушевить.

Удивляясь про себя не столько самой идее, сколько количеству глаголов, я решил, что он все-таки слишком увлекся витиеватостью речи. Зябликовой в этот момент рядом с нами не наблюдалось. Впрочем, я тут же порадовался, что ему не пришлось в голову ради тренировки поесть ремней. К этому я точно был не готов.

– Только я буду не просто Зиганшин, – добавил Венька, – а Зиганшн. Без буквы «и». Так вообще суперклево. По-американски. И поется как рок-н-ролл. Ты кем будешь, Колька?

– Поплавским, – сказал тот. – У отца есть один знакомый Поплавский. Генерал армии. В войну командовал стрелковой дивизией.

– Так, может, этот Поплавский его сын?

– Вряд ли. Он теперь в Польше живет. Командующий их сухопутными войсками.

– Клево, – сказал Венька. – А ты, Саня, кем хочешь быть?

Мне вдруг опять вспомнился фильм «Небесный тихоход», и в голове у меня зазвучала песня «Махну серебряным тебе крылом».

– Я хочу быть Крючковым, – сказал я.

– А Федотовым?

– Нет, Крючковым.

– Ну, смотри, – пожал он плечами. – А то был такой знаменитый художник. «Сватовство майора» нарисовал. И еще футболист.

– Футболиста я знаю, – сказал я. – А летчика не было? Боевого летчика?

– Насчет боевого – я, честно, не в курсе. Разве что летчик-испытатель. Но не уверен. Не буду врать.

– Тогда Крючковым.

– Договорились. Слушайте, чуваки, а может, четвертого найдем?

На концерте наш номер поставили во втором отделении. Мы выступали сразу после танца узбекских хлопкоробов. За кулисами была страшная толкотня, и Веньку несколько раз вытаскивали на сцену раньше времени. Оказываясь перед зрителями, он потешно раскланивался, и в зале благодарно смеялись. Им было скучно смотреть на танцующих первокурсниц. То есть сначала им было не очень скучно, потому что девчонки все были с косичками, с сотней, наверно, косичек – непонятно сколько времени они их заплетали, – но потом эти косички тоже достали всех. И тут, к счастью, Венька начал вываливаться из кулис.

Как стойкий оловянный солдатик.

А я к этому времени уже сильно устал и перенервничал. Выступление ректора и первая часть концерта заняли часа два. Все это время мы стояли за сценой и шепотом ругались друг с другом. Мне было странно, что Венька совсем не волнуется, а, наоборот, всю веселится, и я об этом ему говорил, но он беззвучно смеялся, показывал мне кулак и прокручивал у виска пальцем. Вот так прошло два часа.

Убегая со сцены, первокурсницы стучали Веньку и, как заведенные, повторяли: «Дурак!»

– Поехали! – крикнул он нам с Колькой.

Мы вышли на авансцену, и я немедленно вспомнил симптомы шизофрении из Венькиного учебника.

Манекенообразность. Угловатость движений.

Это было про нас. И вычурность поз тоже. Все совпадало.

Стать шизофреником оказалось очень легко. Я, например, даже не представлял себе, что в нашем зале может уместиться столько народу.

– Шуба-дуба! – страшно закричал за кулисами Венька и выскочил вслед за нами.

В передних рядах кто-то свистнул, но туда сразу же двинулись от входа дружинники из институтского оперотряда. Досмотреть, чем кончилось, я не успел.

Венька, как барабанщик палочками, щелкнул три раза пальцами и весело задудел на своем невидимом саксофоне.

Это были вступительные аккорды к рок-н-роллу Элвиса «My Blue Suede Shoes». Мы с Колькой качнули головами, но вместо:

«One for the money,  
Two for the show...»

мы врезали совсем, совсем другое.

Когда после первого куплета в зале поднялся невообразимый крик и дружинники уже не знали, куда бросаться и кого хватать, я наконец понял, что должен был испытывать Венька в ту ночь, когда мчался на поезде к нам из Ленинграда в Москву, и как ему, наверное, не терпелось поделиться с нами этой замечательной, этой самой лучшей на свете песней.

Но самое главное – я понял, что испытывал Элвис.

Венька как сумасшедший дудел на своем «саксе», мы с Колькой трясли головами так, что они только чудом не отрывались от наших шей, а зал, завывая, уже повторял припев вместе с нами:

«Зиганшин-буги,  
Зиганшин-рок,  
Зиганшин первым съел сапог...»

В какой-то момент я поймал взглядом совершенно белое от ужаса лицо декана, но его тут же закрыла от меня огромная спина человека с красной повязкой, и я продолжал своим уже практически сорванным голосом:

«Как на Тихом океане  
Тонет баржа с чуваками.  
Чуваки не унывают,  
Под гармошку рок лабают...»

И зал опять в восторге ревел:

«Зиганшин-буги,  
Зиганшин-рок...»

Когда мы подошли к последнему куплету, я на мгновение вдруг вспомнил наши споры с Венькой насчет того – надо ли его вообще петь, и теперь прямо на сцене успел удивиться своим глупым, никчемным сомнениям.

Конечно, надо.

И врезал:

«Москва, Калуга, Лос-Анжелос  
Объединились в один колхоз.  
Зиганшин-буги,  
Зиганшин-рок,  
Зиганшин скушал второй сапог!»

То, что творилось за кулисами, когда мы ушли со сцены, словами описать невозможно. Примерно как будто Гагарин слетал в космос еще раз. И опять – в первый.

«Узбекские» первокурсницы набросились на Веньку и начали его целовать, а он кричал: «Отвяжитесь, дуры!», смеялся и хватал их за плечи.

Никогда в жизни я больше не был так счастлив, как в тот момент. С годами я понял, что ощущение полного и абсолютного счастья вообще никогда не длится дольше минуты. Где-то в атмосфере или над ней происходит что-то никому не понятное, и все на минуту

соединяется, сходится, как стрелки на циферблате в двенадцать часов. И у тебя вдруг все получилось.

Вот только до конца никогда не ясно – это середина дня или середина ночи?

Нас всех троих тогда почти сразу отвели в деканат, и по дороге на третий этаж мы еще веселились, толкали друг друга на лестнице, а Венька повторял, чтобы мы все валили на него одного, что песню из Ленинграда привез он и бригадмилльцами его не испугаешь. Мы с Колькой мотали головами в знак своего отчаянного несогласия, потому что, с одной стороны, не могли возразить вслух из-за сорванных голосов, а с другой – были уверены, что разлучить нас троих уже ничто на свете не сможет. Но мы ошибались.

Некто по имени Олег Степанович уже подждал нас в деканате. А с ним доцент Зябликова. Которая неизвестно по какой причине сообщила ему о Венькиных фокусах. О «постпсихозной депрессии», о меланхолии, о неуверенности в себе. Быть может, она этим хотела нам всем помочь – неизвестно.

Поскольку она уже догадалась, что песня тут совсем ни при чем. Этого Олега Степановича интересовала наша затея с баржей.

Потом уже Венька выяснил, что стукнул на него тот самый знакомый радиолобитель из Ленинграда, но в этот момент в деканате у нас было такое ощущение, как будто нас предал весь мир.

И в психушке, куда нас привезли через два часа, у меня было точно такое же ощущение. Даже еще хуже.

«...посредством купирующей терапии аминазином и галоперидолом», – сказал Олегу Степановичу главврач, и нас развели по палатам.

Забавно, но Веньке не было плохо даже в дурдоме. Он быстро подружился с главным врачом, договорился, чтобы нам не ставили никаких уколов, и целые дни проводил в палате у одной странной еврейки, которая попала сюда, пытаясь ночью зарезать своего мужа. Прямо в постели, пока тот спал.

Венька сказал нам, что она сделала это из религиозных соображений.

Но меня не очень интересовали его рассказы. На третий день в психушке опять появился Олег Степанович. На этот раз он вызвал для разговора одного меня.

Оказалось, что Колькин отец, Филипп Алексеевич, накануне чистил свой трофейный «Вальтер» и в результате несчастного случая погиб. Василиса Егоровна, у которой было слабое сердце, перенесла обширный инфаркт и скончалась в больнице. И вот теперь Олег Степанович хотел, чтобы я, как друг, рассказал обо всем этом Кольке.

«Ему будет легче услышать это от вас».

А я потом несколько дней ходил по больнице и думал, как же мне это сделать? Я вообще о многом думал тогда – о том, что было бы, если бы Колькины родители не повели себя так гостеприимно и Венька остался бы жить в каморке Петровича; о том, что Филипп Алексеевич не мог позабыть о патроне в стволе, потому что он всегда о нем помнил; о том, что будет теперь со мной, и о том, как странно это все складывается – вот люди любят друг друга, а потом, раз, и умирают в один день.

Но главное – я думал о том, как мне сказать Кольке.

### **Рахиль Часть вторая**

Спустя тридцать лет выяснилось, что доктор Головачев так и не нашел в себе решимости справиться с обаянием короткого звука «ха!» – сигнала к атаке, с которым моя Рахиль призывала на помощь невидимые силы и, склонив голову, бросалась, как Орлеанская девственница, на кого-нибудь в бой. Чаще всего, разумеется, на меня. На мои перетрусившие полки бургундцев и англичан.

Даже спустя тридцать лет Головачев использовал этот сигнал с теми же военными целями. Только теперь он призывал к оружию не против замученного ревностью

аспиранта и по совместительству санитаря его сумасшедшей больницы, а против стоявшего перед ним мальчика лет десяти, на лице которого была ужасная скука и большой нос самого доктора Головачева. Вернее, теперь уже наверняка профессора.

– Ха! – говорил этот очень состарившийся человек. – Неправильное ударение! Неправильное!

– Почему? – с неприкрытой тоской спрашивал мальчик.

– Не делай вид, что тебе интересно! – кричал старик.

– Мне не интересно.

– Вот так. Всегда говори правду.

Он повернулся ко мне и покачал головой.

– Вечно врут. Это поколение мы потеряем. Вы можете подождать еще минут десять? Нам надо выучить до конца стихотворение.

– Мы его уже выучили, – сказал от стены мальчик.

– Стой там! – прикрикнул на него Головачев. – И не смей больше мне врать.

– Мы выучили его уже два раза! Ты все забыл.

– Я ничего не забываю. Это ты неправильно делаешь ударение.

Он снова повернулся ко мне:

– Как, вы говорите, ваша фамилия?

– Койфман. Мы были знакомы в начале шестидесятых годов. В шестьдесят втором, если точнее.

– В шестьдесят втором? – он поднял брови и кивнул. – У меня тогда родилась последняя дочь. Мать вот этого пройдохи. Стоять!

Я вздрогнул, но тут же понял, что он кричит не на меня. Просто мальчик у стены попытался дотянуться до вазы с печеньем.

– Бездельник! Ничего не получишь, пока не выучишь стих!

– Я уже два раза его рассказал!

– Не ври.

Он снова повернулся ко мне:

– Так, вы говорите, ваша фамилия – Койфман? Отлично вас помню. Вы были тогда очень известный спортсмен. Кажется, ваш брат у меня лечился. Мания преследования и депрессивный психоз. Чем теперь занимаетесь?

Он смотрел мне в лицо и рассеянно улыбался. Не дождавшись ответа, он повернулся к своему внуку.

– Давай с самого начала. Ты видишь – ко мне пришли. Нельзя долго держать человека.

Они снова начали препираться, а я смотрел на мальчика и вспоминал лицо доктора Головачева, когда он показывал мне свою новорожденную дочь. Тридцать лет назад я сидел в этой же комнате, и он вынес ее из спальни, чтобы похвастаться. Впрочем, возможно, у него были другие цели. Я в тот момент еще не знал, что они сделали с Любой в своей больнице. Не только с ее головой, но и с ее телом. Поэтому, быть может, он вынес свою дочь в качестве утешения. В качестве приза за то, чего я так и не получил.

У нее было сморщенное лицо, скрипучий голос и крошечные дрожащие руки, а теперь ее сын стоял у стены и читал наизусть Языкова.

– Неправильное ударение! – останавливал его Головачев. – На второй слог! На второй слог бей – я тебе говорю!

И мальчик уныло принимался декламировать с самого начала:

«Громатные тучи нависли широко

Над морем и скрыли блистательный день».

– Вот видишь, – радовался Головачев. – Второй слог ударный в «широко». Второй, а не последний.

– Дурацкое стихотворение, – отвечал мальчик.

– А я тебе говорю – все дело во втором слоге.

– Я уже читал с таким ударением. Сегодня утром и потом в обед.

– Не ври. Я бы запомнил. Всегда хочешь меня обмануть.

Когда он заставил внука читать стихотворение в пятый раз, я окончательно понял, что мальчик не лжет. Головачев действительно ничего не помнил. Он слушал декламацию внука, добивался правильного ударения, поворачивался ко мне, спрашивал о моих прежних успехах в гребле, а потом снова требовал, чтобы мальчик прочел наконец это несчастное стихотворение так, как надо. К пятому разу мне показалось, что я опять попал в сумасшедший дом. При этом больше всего удивляло поведение мальчика. Он хоть и сопротивлялся, но все же читал каждый раз эту историю про тучи над морем и терпеливо выслушивал потом бесконечно повторяющиеся замечания деда.

– Вот так, – говорил Головачев довольным голосом. – А теперь давай послушаем, как ты выучил стихотворение.

Я собирался уже встать и уйти, но в прихожей в этот момент хлопнула дверь.

– Ну что? – сказала, входя в комнату, раскрасневшаяся от мороза и быстрой ходьбы молодая некрасивая женщина. – Сколько раз он поел?

Судя по всему, это была та самая девочка, которую Головачев вынес мне в эту комнату тридцать лет назад.

– Ни разу, – ответил мальчик. – Я читаю ему стихотворение.

– Молодец. Можешь теперь отдохнуть. Если хочешь, беги во двор. Там Сережка с Наташей катаются на коньках. Спрашивали – выйдешь ли ты.

– Выйду, – мальчик кивнул головой и убежал в другую комнату.

– Простите, – сказала она мне. – Я только пальто сниму.

Когда она исчезла в прихожей, Головачев потянул меня за рукав:

– Подайте мне печенье, пожалуйста. И скажите им, что это вы съели. Вы ведь спортсмен, вам нужны калории. А то они не кормят меня совсем.

Я поднялся со стула и передал ему всю вазу. Пора было уходить.

– Вы извините, что никто вас не предупредил, – сказала мне в прихожей его дочь. – Просто вы позвонили, когда меня не было дома. Знаете, предновогодние хлопоты, и на работе как всегда аврал.

– Ничего, – сказал я. – Все в порядке. В любом случае надо было его навестить.

Она тяжело вздохнула и потеряла ладонью свой некрасивый, сильно закругляющийся к корням волос лоб. От этого движения стало заметно, насколько она устала.

– Он ничего не помнит. И главное, он не помнит, что уже поел. Приходится просить Кольку, чтобы отвлекал его. Врачи говорят – надо быть осторожней. Он ест без остановки. От этого можно ведь умереть.

– Да, да, от вас дожدهшься, – ворчливо сказал Головачев, появляясь у нее за спиной с вазой печенья в руках. – А вы заходите еще. Расскажите мне про греблю. Мне в юности очень нравились такие вещи.

Он стоял за спиной своей дочери, но при этом его как будто не было здесь. Как будто он вышел из своего собственного тела и позабыл закрыть за собой дверь. От этого тело все еще на что-то надеялось и не бросало жить, однако окружающим эта надежда, судя по всему, была уже в тягость.



– А вы зачем приходили? – неожиданно спросил он, когда я уже стоял на пороге.

– Просто так... Хотел повидаться, – сказал я, немного помедлив.

Рассказывать о Дине теперь не имело смысла. К тому же я понял, что она все равно бы не согласилась. Выдавать себя за сумасшедшую было не в ее стиле. Этой девушке хватало своих собственных сдвигов. Впрочем, от судебного разбирательства они, к сожалению, освободить ее не могли. Необходимо было срочно искать другой выход.

\* \* \*

Природа всякого выхода, к сожалению, состоит в том, что его непременно надо искать. Психолог показывает своему пациенту картинку со словом «подарки», и тот с радостью говорит либо «день рождения», либо «Новый год». Таковы его примитивные ассоциации. Но зато у него еще есть выбор. В случае с «выходом» опции исключены. Произнесите это слово, и пациент скажет – «надо искать».

При этом забавно, что вход всегда находится сам собой. Нужно всего лишь чуть-чуть ослабить оборону, прислушаться к вполне симпатичным предложениям, – и вот ты уже в самом центре абсолютно несимпатичных событий. И наверху усмеваются – думать надо было, дурак. И поправляют небрежно нимб, съехавший от усмешки.

С выходом другая история. Это только в кинотеатрах заботливая администрация подсвечивает его зелеными табличками. Но едва сеанс закончен, и ты покидаешь зал – поиск выхода тут же становится твоей личной проблемой. При этом никаких зелененьких букв. Одни знаки вопроса.

Отдельным параграфом идет история выхода из ситуации, в которую ты не входил. Другие вошли, но так получилось, что поиски выхода кто-то передоверил тебе. Такому терпеливому геологу, задача которого – вечно искать. Бродить с рюкзаком и постукивать молоточком.

А у того, кто передоверил, губы все еще дрожат в усмешке. Ему интересно – получится на этот раз или придется искать нового Гомера? Чтобы опять намекнул – как нелепо эти внизу решают свои проблемы. Шумят, суетятся, а в итоге чешут в затылке и повторяют – ну ладно, может быть, в следующий раз повезет... или построим еще одну Трюю?

Впрочем, Гомер – много чести. Хватит и невезучего профессора литературы, которому надо спасать от тюрьмы беременную невестку.

Кто знал, что из всех имеющихся в наличии девушек твой сын выберет kleптоманку? И кто мог сказать заранее, что тебе отчего-то будет жалко ее до слез?

Как, впрочем, и самого себя.

– Не надо его жалеть! – громко сказала рядом со мной женщина с лицом похожим на пожелтевший от времени кирпич. – Вырастет – потом спасибо скажет!

Она стояла в проходе между сиденьями, склонившись к девушке в красном пальто. На руках у девушки сидел мальчик лет четырех. Он отчего-то кривил губы и постукивал зеленым ведерком по очень красивому колену, которое выступало между двумя половинками мягкой ворсистой ткани красного цвета.

– Не смей бить свою маму! – сказала на весь трамвай женщина с кирпичным лицом.

Колено напротив меня играло в этой сцене настолько самостоятельную роль, что я уже не мог вернуться к своим размышлениям. Такова, очевидно, природа женских колен. И, видимо, размышлений. Хемингуэвский принцип айсберга. Подтексты, контексты, намеки, многозначительная недосказанность. Плюс мощная работа воображения. Мужского, естественно. Айсбергу даже не надо выныривать на поверхность. Стоит только намекнуть о своем присутствии где-то поблизости под водой, как тут же примчится «Титаник». И треснет из всех сил. Даже если для этого придется немного нырнуть.

Та же история с мужской аналитической мыслью. Сильной самой по себе – кто спорит?

Вьется на свободе как ленточка ДНК из учебника биологии, любит свои цепочки и вдруг натывается на красивое женское колено. Стоп, машина. Полный назад. Боже мой, мы сейчас утонем. А впрочем, полный вперед. Зовите музыкантов на палубу.

Пусть даже на этом колене сидит непонятный капризный мальчик и стучает по нему зеленым ведром.

И тогда мужская аналитическая мысль постепенно превращается в это ведро, чтобы опережая события, которые, кстати, скорее всего, даже и не произойдут, все-таки прикоснуться к этому колону, стукнуться об него и с замирающим от восторга дыханием благополучно пойти ко дну в холодных гостеприимных водах Атлантики.

– А ну, перестань! – сказала женщина с лицом из кирпича, и мне на мгновение показалось, что она обращается с этим призывом ко мне.

Во всяком случае, причины на то у нее были.

Но она, разумеется, говорила с капризным мальчиком.

Все эти шекспировские ведьмы в московских трамваях не так пронизательны, какими кажутся на первый взгляд. Это Макбету они явились всезнающими. Великий Бард хотел драматического контрапункта. Мудры, но уродливы. Вернее, уродливы, но мудры. От того, что стоит после «но», зависит отношение к жизни. То есть радуешься, когда просыпаешься по утрам, или нет.

Тем не менее по эту сторону от литературы одной отталкивающей внешности мало, чтобы обладать знанием тайн. Нужны по крайней мере две отталкивающих внешности. Или три. Или еще больше.

Набиться целой кучей в холодный трамвай и выпытать у несчастного профессора все его тайны. О чем он там думает, сидя у окошка в углу и глядя на чужие колени? Глядя их в своем воображаемом трамвайном раю.

– Давай, бери себя в руки, – сказала кирпичная женщина. – Ты ведь мужик. Хватит капризничать. Видишь, мама совсем устала.

Лицо напоминает кирпич даже не цветом и геометрическими параметрами. Все дело в решимости. В сосредоточенности кирпича, который уже сорвался с места и полетел. А так бы лежал на этой крыше всю жизнь и мучался – ну почему я не птица.

– Отвяжитесь от него, – сказала, наконец, девушка в красном пальто, поднимаясь со своего места. – Чего вы к нему прицепились?

Но она тоже не собиралась жалеть малыша. Ему предстояло справиться со всем этим в одиночку. Семенить за ней, уцепившись за твердую от злости ладонь, выступающую из красного рукава на эти пятнадцать холодных сантиметров, которые для каждого из нас в свое время, собственно, и представляли собой то, что потом для удобства начинаешь называть «мамой». Семенить и справляться со всей этой трамвайной смутой, явившейся неизвестно откуда и неизвестно зачем. Запинаться, но успевать переставлять ноги. Потому что она не сбавит шаг. И еще снег прямо в лицо. Не сбавит шаг ни за что на свете.

В общем, никто не собирался нас с ним жалеть.

И, наверное, так было лучше.

\* \* \*

– Да я бы все равно не смогла в сумасшедший дом, – сказала Дина, опускаясь в кресло напротив меня. – Они же там таблетки такие дают. Без таблеток диагноз никто ставить не будет.

Кресло, в котором она сейчас сидела, я купил восемь лет назад. Володька тогда прибежал с тренировки пораньше, крутился под ногами у грузчиков, пока его заносили, хлопал дверью в подъезд, потом забрался в это кресло с ногами и заявил, что будет делать уроки только в нем.

Настоящая кожа. Денег за защиту докторской ждали почти год. Зато сразу так много, что можно было не работать еще столько же. Хотя Вера хотела итальянскую мебель на кухню. Говорила – стыдно людей приглашать. Но перед кем там уже было стыдиться? К сорока четверем годам не то что друзья, знакомые почти все исчезли. Кто спился, кто умер, а кто дулся из-за этой самой защиты. Те, для кого «докторская» так и осталась навсегда колбасой. Поэтому решено было жить без кухни. За отсутствием посторонних и многочисленных тех, кто мог ее оценить. И позавидовать, разумеется. Поскольку я чувствовал, что для торжественной Веры это тоже было немаловажно. Видел по ее глазам и покрасневшему лицу. Потому что, когда заносили кресло, лицо у нее покраснелось. Пусть даже это кресло и было собрано ловкими мебельными мастерами в расчете на восхищение всего лишь одного скромного соседа по лестничной клетке. Который в нужный момент случайно вышел к лифту и сделал необходимое выражение лица.

А теперь со своим большим животом в этом кресле сидела Дина, только что выслушавшая мой рассказ о том, как время и обстоятельства обошлись с доктором Головачевым.

Правда, я еще думал при этом, что в его слабоумии отчасти был виновен он сам – иначе, где же тогда справедливость? – но Дине об этом говорить не стал. Все эти концепции о воздаянии придуманы не для беременных женщин. Их забота – доставлять обратно то, что увез Харон. В области компенсаций они и так делают все, что могут.

– Нет, эти таблетки беременным нельзя, – сказала Дина. – Или тогда надо делать аборт. Нормального ребенка после таких таблеток родить невозможно. Получится какой-нибудь урод. Или уродка.

– Да, да, – сказал я. – Мне это как-то не пришло в голову.

– Так что зря вы ездили к своему сумасшедшему доктору. Но все равно спасибо... – Она помолчала несколько секунд и задумчиво потрогала свой живот. – Володька уже которую ночь не спит. Говорит, что тоже со мной в тюрьму поедет. А вы откуда его знаете?

– Кого? – удивился я. – Володьку?

– Да нет, – она даже засмеялась чуть-чуть. – Вашего доктора.

– А-а, – я кивнул головой. – Да так... Работали вместе...

Мы помолчали, и она бросила взгляд на часы.

– Торопишься? – сказал я.

– Нет. Просто... одну программу жду по телевизору... А дочь, вы говорите, у него некрасивая?

– Ну да, некрасивая. У нее лоб вот тут, – я показал пальцем, – слишком скошен. Такой признак вырождения... Слабая генетика. Головачев, наверное, из-за этого, в конце концов, стал таким.

– Из-за лба своей дочери?

– Нет, конечно, – я улыбнулся. – Очевидно, генетический код в их семье несет какие-то погрешности. У разных поколений это проявляется по-разному.

– И поэтому у него некрасивая дочь?

– В том числе.

Дина недоверчиво покачала головой.

– А на улице?

– Что на улице? – сказал я.

– На улице так много некрасивых людей. Неужели у них у всех плохая генетика?

– Тебя стали занимать абстрактные проблемы?

Мне захотелось съязвить, что прежде ее волновали только продукты, которые можно украсть, но в конце концов я промолчал. Ворованную колбасу мы ели все вместе. Ignorantia non est argumentum. Что в переводе на позднерусский означает «Меньше знаешь – все равно не дольше живешь».

– Нет, правда интересно, – сказала она.

– На самом деле, – вздохнул я, – это такое большое несчастье. На массовом уровне оно превращается в Великий Секрет Отсутствия Красоты. Все слова с больших букв. – Я прочертил в воздухе пальцем эти большие буквы. – Платон, в общем-то, намекал на это, но его мало кто понял. Просто считали идеалистом. Им так было легче.

– Кому?

– Некрасивым людям. Им надо как-то защищаться. Оправдывать свое жите-бытье. Вернее, нам.

– Нет, вы красивый, – она улыбнулась и покачала головой. – И Володька красивый тоже. Он в вас. Потому что Вера Андреевна... она такая... не очень красивая... А Володька у вас получился классный. На курсе все девчонки завидуют. Я его специально приводила туда. А он не понимал. Говорил – зачем ты мне назначаешь свидание у себя в институте?

Она откинула голову чуть назад и засмеялась.

– Нет, Вера Андреевна не некрасивая, – сказал я. – Просто секрет отсутствия красоты распадается на такие компактные персональные истории. Как запертые изнутри купе в поезде. Уютные, кстати. Особенно по вечерам. Лампочки в темноте светятся. Десятки тысяч историй. Все они прописаны в печальных тонах. И в каждом этом глухом купе с лампочкой сидит по одному грустному человеку. При этом все едут в одну сторону. То есть они, в общем-то, вместе, но каждый совершенно индивидуально грустит и хандрит, потому что думает, что он несчастлив. То есть у него не хватает того и того, и еще ему хочется этого. Но он всегда забывает о том, что у него уже есть. Всегда. Это такой закон. То, что ты получил, – оно сразу исчезло. Можно было и не стараться. Как дым.

Дина внимательно посмотрела на то, как я показываю руками дым, и покачала головой:

– Но правда ведь хочется чего-то еще. То, что есть, – этого всегда мало.

– Да нет же! – Я почему-то заволновался и даже вскочил на ноги. – Бог дает человеку так много, что на самом деле все, что нужно для счастья, – это лишь согласиться. Сказать – да, я согласен, я счастлив, у меня уже так много всего! Надо просто иметь силы, чтобы признать это. Господи! Ну неужели же непонятно?!!

– А вы? – сказала она.

– Что я?

– Вам ведь тоже всегда мало.

Прямо напротив меня на стене висело большое зеркало. Я постарался как можно быстрее отвернуться от Дины, но вдруг наткнулся на свой собственный взгляд.

Интересно, успела ли Горгона Медуза удивиться, когда увидела свое отражение в сверкающем щите грека? Черт бы побрал всех Персеев. Превращаюсь в камень.

Изучив таинственную жизнь минералов и не дождавшись ответа, Дина опять посмотрела на часы.

– Сейчас уже Володька придет. И Вера Андреевна. Вам пора уходить.

Я промолчал. Статуи не разговаривают.

– Вы не обижаетесь на него за то, что он вас из квартиры выгнал?

Она не испытывала к каменным истуканам ни малейшего сострадания. O tempora! O mores!

Таких, как она, нельзя подпускать к острову Пасхи. На пушечный выстрел. Нельзя подвергать нас такой опасности.

– Хотите, я принесу ваше пальто?

Нормальный акт вандализма. Осквернение памятников старины.

Потолстевший Дон Гуан превращается наполовину (верхнюю, разумеется, поскольку нижняя, по его гнусным расчетам, может ему еще пригодиться) в Каменного Гостя, вежливо прощается и уходит со сцены. Занавес. Зрители встают со своих мест и начинают неодобрительно кашлять.

\* \* \*

Хитрые китайцы говорят, что Новый год – это не праздник, а просто такой момент в твоей жизни, когда чудо либо происходит, либо нет. Выходя из своей бывшей квартиры, в которой я навсегда оставил свое любимое кресло, я не испытывал к Новому году ни малейшего интереса.

Меня заботило чудо.

Такое, когда вдруг за окном – хлопьями снег, или неожиданно отпускает сердце. А ты еще не успел как следует испугаться, и от этого даже благодарность не смогла принять окончательные ровные очертания, а просто мелькнула и улетучилась как отброшенная после беспокойных снов скомканная простыня. И ты идешь на кухню за стаканом воды. Наслаждаясь тем, что ощущаешь под собой пол. И босые ноги.

Или садишься в трамвай и видишь знакомую девушку в красном пальто. И успеваешь подумать – о, Господи, это чудо. Только мальчика с зеленым ведерком на коленях у нее уже нет. Колени совершенно свободны. И у тебя почти не возникает мысль, что вот бы взять и занять это вакантное место. Ты просто смотришь на нее сверху, уцепившись за ледяной поручень, и размышляешь о чуде.

О том, что все на свете должно произойти дважды. И стать чудом от этого. Все должно произойти еще раз. Непременно. Рифма – основа чуда. А может быть, его причина.

Как эти ее колени. Обязательно два. Они должны были случиться два раза. Левое и правое. Отрифмовать друг друга сквозь плотную, непроницаемую для твоего взгляда ткань.

«Взглядонепроницаемые колготки. Артикул такой-то. Гарантия на столько-то мужских взглядов. От пылких взоров не воспаляются. Рекомендуется использовать в непосредственной близости с одинокими, больными, брошенными профессорами. Быть может, им станет легче».

Последняя фраза набирается курсивом. Обычный шрифт не передает ни сослагательности, ни заключенной в ней иронии.

Да, все должно произойти еще раз. Как снег за окном. С первого раза вряд ли кто-нибудь разберет. Просто белые точки. А потом ты уже говоришь: «Смотрите – снег».

И слово становится больше, чем произнесенные тобой звуки. Оно волнует. Это и есть чудо.

Я ехал в промерзшем трамвае, разглядывая клубы пара, которые неподвижно висели у наших губ – у моих, у двух азербайджанцев на задней площадке, и у губ моей незнакомки в красном пальто. Азербайджанцы обсуждали, очевидно, торговлю, поэтому их пар был живой, клубящийся и иностранный. Девушка в красном пальто выдыхала совершенно московское облачко, в котором рассказывалось о мальчике с зеленым ведром. Мое дыхание тоже хранило кое-какие секреты, поэтому я начал его задерживать. Важно было, чтобы пар успел раствориться в трамвайном холоде прежде, чем я обновлю свое облако.

Когда закружилась голова, я решил сойти. Хотя до этого планировал ехать за красным пальто. До ее остановки. Что-то нас связывало. Иначе она не появилась бы во второй раз.

К тому же Люба уже неделю собиралась в свою Америку, перекладывала старые вещи и целыми днями ворчала, что я путаюсь у нее под ногами.

А я не путался. Я просто переходил с того места, откуда она прогоняла меня, в какой-нибудь свободный угол и размышлял о том, где я буду жить после ее отъезда.

– Иди пить чай, – говорила она. – И не надо сидеть тут с таким потеряннным видом.

– Это не потеряннный вид, – отвечал я. – Это я думаю о Фолкнере. У меня завтра лекция на четвертом курсе. Очень талантливые студенты.

– Почти как твоя Наташа? – усмехалась она.

В общем, я не спешил к Любе домой. Может быть, именно по этой причине и затеял поездку к Головачеву. Чтобы не путаться у нее под ногами, пока она перебирает все эти кофты, блузки и свитера.

– Зачем они тебе в Америке?

– Отстань. Думаешь о своем Фолкнере – и думай.

Мои размышления о ритмической природе чуда Любу не волновали. Она собиралась в Америку.

Изо всех сил.

\* \* \*

– Простите, Святослав Семенович, – сказал после лекции коренастый большеголовый студент, имени которого я не мог запомнить уже почти два семестра. – Все-таки не совсем понятна мысль Фолкнера о том, что прошлого не существует. Не могли бы вы пояснить?

Такие бывают. На курсе их обычно человека два-три. Стараются обратить внимание. Все правильно – сессия на носу.

Остальные гурьбой столпились у выхода. Толкаются и хихикают. Знают, что сдадут и так. Ниже «четверки» я никому не ставлю. Мне все равно – читали они «Свет в августе» или нет. Думаю, что Фолкнеру, в принципе, тоже.

Но этот не уходит, стоит. На лице – пытлиное выражение. Видимо, хочет «отлично». Зануда.

Я собрал свои листочки в портфель и пошел к двери. Эти смешливые расступились.

– Святослав Семенович... – у него в голосе недоумение, как будто я ему денег должен.

Не должен. Лекция идет в два приема по сорок минут. Между ними пять минут перерыва. Мои законные триста секунд. Триста секунд на молчание. На смотрение прямо перед собой в попытке увидеть то, чего не существует. Вокруг – хихиканье, бутерброды и толкотня. Пять минут. Не больше. По-новогоднему круглое счастливое лицо Люси Гурченко ни при чем. Не подходит.

До Натальи эти пять минут можно было проводить в деканате.

Но если Фолкнер все-таки прав и прошлого действительно не существует, то сейчас, именно в этот момент, я не только спускался по институтской лестнице, кивая в ответ на все эти бессмысленные студенческие «здрасьте», но и покупал то самое кресло, и поднимался к себе в квартиру с толстым свертком, перевязанным голубой лентой, а сзади – бледная и немного растерянная Вера, а в свертке – безымянное существо, но голубая лента означает, что сын. И еще в этот же самый момент я стою к Вере спиной, телефонная трубка в руке. Нагрелась, но я ее не отпускаю, и надо быстро наврать что-то, потому что звонила Наталья, и до метро всего пять минут, и очень хочется, и, может быть, лучше вообще повернуться и сказать правду, но я не говорю ничего – так лучше, нельзя причинять боль тем, кого ты уже не любишь, вернее, никогда не любил, просто так получилось.

По Фолкнеру выходило, что я, множественный, как те песчинки, о которых говорилось сынам Израилевым, по-прежнему продолжал совершать все свои деяния там, где меня застало время. Застукало с красным от стыда лицом.

В том числе и в сумасшедшем доме, куда я пришел ради священной войны с неправедным доктором Головачевым.

А что было делать? Мое сердце жаждало мести.

\* \* \*

Оторванных пуговиц, разбитого стекла и разлитой чернильницы ему было мало. Сердце говорило – «еще!». Как ненасытный тренер у кромки поля кричит на измученного атлета, так и оно требовало от меня новых свершений. Быстрее, выше, сильнее. Олимпийский принцип. Важна не победа – важно участие.

Но я хотел победить. Отвоевать потерянное пространство. Изгнать оккупанта с захваченной многострадальной земли. Пуговицами было не обойтись.

Я понимал, что моей фантазии не хватает.

К счастью, источник для вдохновения вскоре обозначился сам. Забил рядом, как чистый лесной ключ. Фонтан животворящей влаги. И я припал к нему пересохшим ртом, телом, душой, сердцем и вообще всем, чем только можно было припасть.

«Природа жаждущих степей

Его в день гнева породила.

*Еще не видел из людей*

*Никто такого крокодила».*

Пусть так. Зато теперь мне казалось, что я могу все. Самсон, разрывающий пасть льву. Давид, беззастенчиво позирующий Донателло.

План был настолько гениален и прост, что несколько дней я буквально летал по коридорам больницы. Санитары и нянечки не узнавали меня.

«Я сам здесь помою, – говорил я и отнимал у кого-нибудь из них швабру. – И здесь я тоже сам уберу».

«Да ради Бога», – говорили они, но все же немного косились.

Они привыкли воспринимать любые проявления душевного подъема с опаской. Их опыт подсказывал им, что беспричинный энтузиазм чаще всего заканчивается плачевно. Аминазин, по их мнению, в этом случае был самым надежным средством.

Не спорю.

Но у меня была причина. Я понял, как вести войну с доктором Головачевым.

Основы сравнительного литературоведения подсказали мне, что надо искать параллель. Мне нужна была параллельная линия поведения. Сопоставительный анализ должен был выручить меня и на этот раз. Мне надо было найти аналог для ведения боевых действий. Требовалась практическая модель.

И я стал наблюдать за больными.

Кто-то из них должен был подсказать мне, как осуществить свою месть. Эти профессионалы вряд ли ограничились бы простым обрыванием пуговиц. По моим расчетам, их фантазия должна была оказаться прекрасной и буйной, как гнев греческого божества. Мне оставалось только просчитать и потом сымитировать их возможные действия.

При этом искусное исполнение гарантировало мою безопасность. Виноватым в том, что произойдет, должен был оказаться один из них.

Я радовался и волновался, как начинающий художник, который усаживается перед великим полотном и начинает копировать его с тайной надеждой постичь секреты давно ушедшего мастера.

«Быть или не быть?» – проблема для декадентов.

«Как это сделано?» – вот в чем вопрос.

Впрочем, я лично для себя все вопросы уже решил. *Русские не здаюца.*

\* \* \*

Марксистско-ленинская научная методология требовала строго детерминированного подхода, который предполагал движение от простого к сложному. Поэтому свой пытливый исследовательский взгляд я в первую очередь обратил на то, что выглядело попроще.

Самым простым случаем был наполовину стилига Гоша-Жорик-Игорек, попавший в дурдом неизвестно по какой причине. До настоящего стилига он не дотягивал ни речью, ни поведением, а сумасшедшим его можно было назвать лишь с очень большой натяжкой. За стенами больницы по городу разгуливало такое множество людей с лицами смысленных идиотов, что Гоша-Жорик, непонятно за что загремевший в лапы бесплатной советской медицины, мог бы спокойно сойти среди них за интеллектуала. Помимо тройного имени и, очевидно, тройного в каком-то смысле представления о себе, в нем не было ничего интересного. Во всяком случае, для моих упражнений.

При этом у него почему-то всегда блестели глаза, и доктор Головачев заметно выделял его среди других пациентов. Гоше-Жорику позволялось многое такое, за что остальным тут же вкатили бы лишний укол и подвергли «жесткой фиксации». Я несколько раз присутствовал при этой процедуре, поэтому отчетливо понимал, каким счастливым человеком должен был ощущать себя Гоша-Жорик. Острота восприятия счастья – вещь крайне редкая. Не многим удается ее испытать. Даже тогда, когда счастье прямо вот оно, человеку все равно кажется – нет, не может быть. С такой точки зрения можно было смело считать, что Гоше в этой жизни по-настоящему повезло. Думаю, он ценил благосклонность судьбы, принявшей в его случае облик доктора Головачева.

Как и в моем, кстати.

Однако именно это обстоятельство лишало Гошину фигуру всякого интереса в моих глазах. Фавориты доктора Головачева меня несколько не занимали. Алгоритм действий и обстоятельств, приводящий к симпатии с его стороны, предметом анализа для меня не являлся. Моя взволнованная мысль двигалась в противоположную сторону. Генералы, склонившиеся над полевыми картами в самых любимых фильмах про войну, называли это «направлением удара». И делали решительный жест рукой.

Необходимо было понять – как ведет себя человек, наименее всего симпатичный доброму доктору Айболиту.

Последнее, что можно добавить о Гоше и что забавно отличало его от других, – это склонность называть людей хлебными именами. Молодой мужчина для него был «крендель». Молодая женщина – «плюшка». Мужчина в возрасте назывался «батон». Пожилая женщина – «сайка». Слово «крошки», когда он говорил о детях, звучало в его устах как упоминание о раскрошившемся хлебе.

Меня, как и других санитаров, Гоша называл «кекс». Быть может, он подозревал, что мы содержим в себе некий полезный ему «изюм», выгодно отличавший нас от остальных участников его беспокойной жизни, а может, он просто-напросто имел в виду сахарную пудру на кексах, которая напоминала ему о наших белых халатах. После того как мы их постираем, конечно.

Впрочем, доктора Головачева он называл «доктор Головачев». В этом случае белизна одеяния никакой роли для него не играла.



\* \* \*

Вторым номером после Гоши-Жорика-Игорька в моем каталоге шел странный узкоглазый поэт. Хотя говорить «странный» о пациенте сумасшедшего дома, наверное, тоже немного странно. Для того окружения и тех декораций, в которых я познакомился с ним (если можно называть знакомством мытье полов под пристальным взглядом пары темных раскосых глаз), он был совершенно нормальным. Просто слишком много декламировал вслух. Ну и что? Соломона Аркадьевича за такие вещи никто в психушку отправлять не собирался.

Хотя иногда мне казалось – а почему бы и нет? Отдохнул бы, набрался сил, перестал чувствовать себя одиноко. Навык в изготовлении бумажных головных уборов снискал бы ему тут настоящую славу. Порадовался бы старичок, что кому-то все это нужно – и его газетные треуголки, и Заболоцкий вслух, и он сам.

То есть временами мне все же удавалось увидеть позитивное зерно в советской системе психиатрического здравоохранения.

У поэта было звучное то ли монгольское, то ли бурятское имя, которое, как мне сказали, он выдумал себе сам. Запомнить его я был просто не в силах, поскольку для такой операции требовалось как минимум это имя хотя бы произнести. Сделать это без фонетических ошибок у меня не получалось, а свое настоящее имя он никому из больных упорно не называл. Очевидно, это нагромождение спотыкающихся согласных было чем-то дорого его сердцу.

Спросить его – что оно значит, я не мог. О любом контакте персонала больницы с пациентами немедленно доносилось главному врачу. Санитары и нянечки стучали друг на друга с большим и плохо скрываемым удовольствием. Общаться с больными имел право только Головачев и еще несколько психиатров. Мы должны были просто мыть пол, осуществлять «фиксации» и на всякий случай сопровождать врачей во время обхода. Мало ли что – в битве с помешанными вполне могли пригодиться мои скромные усилия аспиранта кафедры всемирной литературы.

Иногда я представлял себя в центре подобного сражения – с дужкой кровати или табуреткой в руке – словно матрос с гранатой при обороне Севастополя на моей любимой картине, кажется, художника Дейнеки, а может быть, не его, и мне становилось грустно оттого, что моя Рахиль не сможет увидеть меня в таком героическом образе.

Потому что посторонним вход в больницу был воспрещен. Даже если речь шла о бывших пациентах. Именно по этой причине доктор Головачев встречался с Любой у нас дома, а не в своем кабинете. Где все еще витал дух возмездия, разбуженный мной.

Моя Рахиль могла снова войти в эту больницу только при одном условии. Она должна была еще раз сойти с ума.

Как ни странно, но о возможности такого развития нашего запутанного сюжета я думал с некоторой нежностью и теплотой. Двери в палатах запирались только снаружи. Это обстоятельство так выгодно отличало их от двери в Любину комнату, что я был согласен вытерпеть определенные неудобства, связанные с ее возможным безумием. Тем более что я уже не совсем ясно понимал, кто из нас двоих был безумней.

Или троих.

Так или иначе, имя узкоглазого «акына» оставалось для меня тайной. Можно было, конечно, заглянуть в историю его болезни, которая хранилась в кабинете Головачева, но я, честно говоря, боялся. После громкой тревоги с чернилами и разбитым стеклом за дверью в кабинет всегда кто-то присматривал. Стоило доброму Айболиту отправиться по коридорам своих владений, как рядом с его кабинетом как бы невзначай кто-нибудь начинал мыть окно. Или пол. Или расставлять ненужные стулья.

Получалось, что доктор все же испытывал нормальную человеческую симпатию к своему несчастному болоньевому плащу. Видимо, сострадание было не совсем чуждо его сердцу.

У себя на родине «акын», как мне рассказали, был довольно известен. Причем знали его там больше как поэта, нежели потенциального подопечного доктора Головачева. Широколищные соотечественники, судя по всему, и теперь не подозревали о том, где проводит свои вдохновенные дни символ их дерзких мечтаний. Отправившись в Москву добывать себе славы, он стал в их глазах тем, чем за год до этого стал для всех нас Юрий Гагарин.

Он был для них космический Чингисхан. Посол кочевого прогрессивного человечества.

Однако в московских редакциях у «посла» не заладилось, и в конце концов что-то соскочило у него в голове. Он придумал себе звучное имя, стал сильно пить, драться с милицией и жить на вокзалах. Там у него появилось много новых хороших знакомых, которые горячо поддерживали идею дружбы народов, но били его за частую декламацию. Очевидно, поэзия не была близка их черствым сердцам.

К тому же они с трудом понимали монгольский, а на русском посол доброй воли стихов не писал.

*«Эй, ты что, правда посол?» – «Да» – «Ну и посол отсюда. Ха-ха-ха. Или нет, постой. Держи-ка, братан!»* Бац-бац. *«В пяточок, братишка».*

Зато в больнице теперь он держался вполне молодцом. Иногда снимал с себя пижаму и майку, оставив лишь брюки, поводил плечами, ощупывал грудь, оглядывал свое отражение в окне за решеткой и громко спрашивал кого-нибудь из соседей: «Красивое у меня тело?» Тому, кто с ним соглашался, он сообщал, что бросает поэзию и станет отныне философом, поскольку в философии больше толка и можно печатать свои труды в Париже, а не в Москве. Непринужденная светская беседа всякий раз заканчивалась неизменным приглашением на ужин.

«Буду очень рад видеть вас у себя», – говорил «Чингисхан» и натягивал пижаму, в то время как польщенный собеседник возвращался к своим занятиям, оставленным ради волнующего вопроса об азиатской красоте.

Мысль имитировать его поведение, чтобы отомстить Головачеву, казалась мне неубедительной. Этот «друг степей калмык» для моих планов абсолютно не подходил. Пользуясь его моделью, можно было рассчитывать лишь на то, что удастся насмерть заговорить доктора монгольской поэзией. Но, во-первых, для этого пришлось бы выучить совершенно удивительный язык, а во-вторых, меня мгновенно бы уличили по искаженной от хохота физиономии умершего Головачева.

Нет, этот «финн, и ныне дикой тунгус» мне совершенно не подходил. Ни как поэт, ни как философ.

\* \* \*

В качестве собеседника он чаще всего избирал «внука Ленина» из Сестрорецка. Это происходило, скорее всего, потому, что, во-первых, тот, в отличие от других недужных, всегда готов был выразить свое восхищение по поводу красоты философского тела, а во-вторых, никогда не переспрашивал насчет обещанного званого ужина. Очевидно, он был хорошо воспитан. А может быть, просто не помнил, что его уже приглашали.

Впрочем, на самом деле память у него была великолепная. Иногда он мог вспомнить многое такое, что лично с ним даже не происходило. При этом вел себя очень скромно. Сказывалась наследственность Ильича.

Родственные связи с Лениным почти не тяготили его. Он был сдержан, немногословен, улыбчив и лысоват. Наблюдая за его поведением, я чувствовал, что он ни на минуту не забывает о том, кто он такой, но афишировать свое происхождение он, очевидно, считал

ниже собственного достоинства. Восхищенные потомки должны были сами догадаться, кто оказался среди них, и тоже вести себя соответствующим образом. Чем скромнее была реакция окружающих, тем более лучистым и добрым становился его взгляд.

Однако он не всегда был внуком Ленина. В ординаторской рассказывали, что до этого он был «Бобром». Психиатрам его случай казался чрезвычайно интересным, поскольку у сумасшедших редко происходит замещение одного помешательства другим. Поэтому они обсуждали его довольно часто. К счастью, иногда забывая выгнать меня из кабинета.

«А я вам говорю, – ворчал, раскуривая трубку, старичок Иннокентий Михайлович, – ничего нетипичного мы с вами тут не имеем».

«Ну как же? – возражал его молодой коллега Алексей Антонович, отмахиваясь от едкого дыма. – А полное вытеснение предыдущей индивидуальности? Одновременная раздвоенность сознания – это я понимаю. Но он ведь даже не помнит, что носил футбольную форму. То есть, конечно, не носил... Я, так сказать, в фигуральном смысле... Вы меня понимаете?»

«Я понимаю вас очень хорошо, коллега. Однако позвольте с вами не согласиться. Ровно сорок лет тому назад, в одна тысяча девятьсот двадцать втором году мой хороший знакомый... не стоит называть имен... защитил в Швейцарии диссертацию, построенную именно на таком случае».

«В Швейцарии?» – переспрашивал впечатленный и слегка взволнованный Алексей Антонович.

«Именно, дорогой мой, что в Швейцарии. А там, как вы понимаете, дуракам степени не дают... И главным врачом, кстати, никого без году неделя не назначают».

Алексей Антонович догадывался, что крамольная речь идет о Головачеве, делал заговорщицкое лицо, подмигивал Иннокентию Михайловичу, а потом вдруг замечал меня, притихшего за высоким стеклянным шкафом.

«А вам что, нечем заняться?» – повышал он на меня голос, хотя мы с ним были ровесники, и, насколько я знал, он, так же как и я, ждал защиты своей диссертации.

Тем не менее мой диссер, по замечательным словам Любы, «в психушке у них не канал». Поэтому я поднимался со стула и послушно шел мыть полы, размышляя о лингвистической связи ленинградских и венецианских, скажем, каналов с новой разговорной лексикой моей взбунтовавшейся ироничной Рахили.

На пороге я чаще всего наткнулся на того, кто подслушивал разговор в ординаторской, или даже на самого доктора Головачева. Вряд ли, конечно, он опустил бы до прямого надзора за подчиненными, однако оставлять их надолго в уединении он не любил. Это было заметно.

Пропуская его в ординаторскую, я кивал ему головой, а он каждый раз подмигивал мне, как будто между нами была какая-то тайна.

Впрочем, была. Только он о ней пока ничего не знал.

Его больше интересовала та ночь, когда Люба решила меня зарезать. Вернее, не меня, а того несчастного иудея, в которого, по ее смутным предположениям, я превратился, лежа в ее постели.

«Олоферн недорезанный» – было теперь мне имя.

Но она была не Юдифь. С этим бы я никогда не смог согласиться. Только Рахиль. Рахиль у колодца – и больше никто. И я отваливаю камень, чтобы она напоила своих овец. Никаких насильственных мероприятий со спящими боролатыми мужиками.

Или у Олоферна не было бороды?

«Расскажите о том, как это произошло».

И глаза такие внимательные-внимательные. Как будто завидует.

«Я уже вам рассказывал. Тысячу раз».

«Ну, положим, не тысячу... Вы часто преувеличиваете... У вас всегда была такая наклонность?»

«Я не сумасшедший. Можете не радоваться, доктор. Это просто гиперболизация. В литературе – обычный стилистический прием. Троп».

«Что, простите?»

«Троп. Но, в общем, не важно. Мне надо мыть полы. Отойдите, а то я вам халат забрызгаю. Будут пятна».

*«И поцеловал Иаков Рахиль, и возвысил голос свой и заплакал».*

Мне действительно некогда было разговаривать с Головачевым. Он отвлекал меня от важных аналитических наблюдений. Теперь я старался мыть там, откуда было видно, как внук Ленина, пристроившись на самом краешке привинченного к полу табурета, летящим стремительным почерком исписывает невидимым карандашом одну за другой несуществующие страницы. Склонив над рукописью свой сократовский лоб, он время от времени энергично потирал его ладонью, потом вскакивал с места, пересекал раза два палату из угла в угол и снова возвращался к работе. Очевидно, готовил для своего деда выступление перед депутатами Балтфлота.

*«Товарищи матросы! Загоним якоря наших железных линкоров в задницу контрреволюции! Дотянем мачты до неба! Выше, плотники, строила! Гуще супчик, повара! То есть, разумеется, коки».*

Впрочем, он практически не картавил. Это заметно лишало его обаяния, однако, в конце концов, он был ведь всего лишь внук.

Вот что оставалось совсем непонятным, так это как ему раньше удавалось быть «Бобром». Ни футбольного, ни хоккейного начала в его приземистой расплывшейся фигуре с большим животом я так и не смог увидеть. Быть может, оно витало в воздухе где-то поблизости от него, и, когда оно требовалось, он мог запросто до него дотянуться, воспользоваться им по своему усмотрению. Но теперь эта радость оставила его, и он больше не вскакивал по ночам с кровати от рева трибун, грозя кулаком туда, откуда летело «Бобра с поля!». Он больше не рвался к чужим воротам, не падал в чужой штрафной. Он успокоился и придумывал план вооруженного восстания.

То есть, разумеется, я не говорю, что я был таким уж спортивным болельщиком, раз знал о Боброве. Просто в то время невозможно было о нем не знать. В шестьдесят втором году, войдя практически в любой московский двор, ты рано или поздно должен был услышать крик «Бобер дорвался!». И не обязательно кричали мальчишки. Пыль во дворах зачастую поднимали столбом вполне оформившиеся мужики. Некоторые с бородами, как командиры подводных лодок. Или как Олоферн.

Покрикивали зычно «Бобер дорвался!» и «Дай мне!». Обе реплики означали одно и то же – неодобрение излишней индивидуальной игры. Излишнего эгоцентризма и порывистой гениальности. Если, конечно, гениальность бывает излишней.

Впрочем, в нашей стране...

А я тем временем чихал от поднятой бородами «подводниками» пыли и продолжал думать о том, как это человек вдруг сходит с ума. И где грань между метафорой «Бобер дорвался» и тем непонятным волшебным моментом, когда бедняга вдруг действительно ощущает себя «Бобром» и, в общем, уже готов «дорваться»?

Из разговоров гордых врачей, кичащихся перед подчиненными своим психическим здоровьем, а перед пациентами – своими инициалами на груди, мне удалось узнать, что все началось в Сестрорецке. Будущий внук Ленина работал там в конце двадцатых годов учителем начальной школы. Не знаю, была ли она единственная в этой местности, но так получилось, что настоящий Бобров, когда был еще маленьким и незначительным, пришел

учиться именно туда. Просто он тоже жил в Сестрорецке. Такое вот совпадение. И будущий внук Ленина, видимо, научил его читать. Что само по себе, конечно, прекрасно, однако со временем у него в голове произошла какая-то революция, и он незаметно экстраполировал свой педагогический вклад в судьбу будущей футбольной и хоккейной звезды на всю его блистательную карьеру. То есть он попросту решил, что это ему удалось открыть такой замечательный спортивный талант в неказистом мальчишке и что это именно он обучил Боброва всем его невероятным финтам. Внук Ленина, который тогда еще не знал, что он будет внуком Ленина, стал выступать среди односельчан и даже в местной газете, развивая тезис о своей педагогической гениальности. Этот прозорливый наставник великих, этот мудрый кентавр, выкормивший Геракла едва не собственной грудью, слово «Педагог» в своих статьях писал только с большой буквы.

В пятидесятые годы, когда «Бобер» гремел не только в СССР, но и по всей Европе, его сестрорецкий Учитель уже не мог усидеть на вулкане своего величия. То есть сначала это была просто такая Фудзияма величия – с белой симпатичной верхушкой, синеньким небом, соснами по бокам – никаких признаков сейсмической активности. Но потом внутри что-то вдруг задышало, что-то открылось, какие-то кратеры, магма, бурление, и бедные японцы стали беспокойно выглядывать из окон своих бамбуковых хижин. В общем, произошло непоправимое. В голове у него что-то шелкнуло, он бросил ходить в школу, закинул за шкаф свои методички, предпринял историческое исследование и выяснил, что Бобров – это он сам.

Оказалось, что во время войны семью Боброва эвакуировали в Омск вместе с заводом, на котором работал его отец. «Бобер» поступил там в военное училище интендантов и продолжал играть с местными пацанами в футбол. А летом сорок четвертого его поймал комендантский патруль. «Бобер» шатался по улицам в два часа ночи. Курсанты в это время должны были находиться в казарме, поэтому приговор был простой – отправка на фронт в двадцать четыре часа. Вот здесь лихорадочная мысль сестрорецкого исследователя как раз и нащупала трещину в истории. Достаточную по ширине, чтобы скользнуть в нее и разместиться вполне комфортно.

«Выяснилось», что группа проштрафившихся омских курсантов, отправленных вместе с «Бобром» на фронт, была неудачно сброшена на парашютах в Белоруссии прямо на головы мотострелковой дивизии СС. Группа попала под пулеметный огонь и практически вся была уничтожена еще в воздухе. Кроме одного человека. Которым, разумеется, и был «настоящий Бобров».

Ему удалось отстреляться, он долго скитался в лесах, вышел на партизан, разбил немцев и участвовал в Параде Победы на Красной Площади. Правда, знамя фашистское ему дали не самое главное. Он хотел, чтобы там был портрет Гитлера, но какой-то наглый маршал с папирисой «Казбек» знамя с портретом у него отобрал. Тем не менее он дошел до Мавзолея, чеканя шаг, и плюнул на это «фашистское говно» всей своей гордой «бобровской» слюною.

А в это время его зловредный «двойник», которого «якобы» пожалели и не отправили тогда, в сорок четвертом, на фронт, уже перебрался из Сибири в Москву и забивал всем подряд, играя за ЦДКА. Шустрый «самозванец» успел даже съездить в Англию в составе «Динамо» и заколотить там в ворота «Челси» и «Арсенала» те самые голы, которые по справедливости должен был забивать уставший уже от разочарований пациент доктора Головачева.

В конце концов он до такой степени свыкся со своей новой личностью, что, наверное, даже самому Всеволоду Боброву она не была так близка, как ему. Он прильнул к ней так же искренне, стремительно и порывисто, как юноша на лестничном проходе прижимается к еще малознакомой девушке, когда лифт, к счастью, сломан, и кто-то постоянно поднимается по ступенькам, и надо всех пропускать, но лестница слишком узка и так просто не разминуться.

На этой почве наш «бомбардир» эпизодически попадал в больницу к доктору Головачеву, ибо чей разум и сердце выдержит всю эту восхитительную гимнастику в полутемном подъезде, если она длится не двадцать минут, как у обычных людей, а всегда. Со всей силой и простотой бесконечности.

Врачи старались ему помочь, но на самом деле только заставляли его страдать. Попробуйте объяснить влюбленному юноше, что его девушка любит другого, а потом попытайтесь снова поверить в абсолютную ценность истины. Он приезжал в больницу совершенно счастливым и через месяц-другой отправлялся по месту жительства с мрачным лицом, запасом таблеток и массой сомнений.

И вот однажды все эти сомнения самым благополучным образом разрешились. Он смог наконец их проверить в лифте гостиницы «Москва». Непонятно, каким ветром его туда занесло, но на втором этаже в кабину лифта, где он посматривал на свое отражение в зеркале, предчувствуя уже некоторые интересные события и перемены, упругой походкой вошел высокий и красивый Сева Бобров. Неизвестно, о чем они говорили, пока лифт поднимался на пятый этаж, однако этого времени вполне хватило, чтобы «Бобровы» выяснили, кто из них кто, и, когда дверь лифта на пятом этаже плавно раскрылась, к ногам изумленной дежурной по этажу выкатился ни в чем уже не сомневающийся, слегка взлохмаченный, обыкновенный бывший учитель сестрорецкой начальной школы.

После всей этой веселой неразберихи, смуты и толкотни так и осталось неясным, узнал ли великий форвард того, кто учил его читать по слогам и писать на серой ворсистой бумаге «Мы не ра-бы», «Се-ва», «Ло-шадь», «Ма-ма» и другие, для начала пока двусложные слова («*Вот так, не торопись, здесь черточка, осторожней, обмакни ручку еще раз, не видишь – она у тебя рвет бумагу?*»). Бобров, как и на поле, решительно проявил все свои бомбардирские качества и поддержал реноме советского нападающего. Он стал нападающим в лифте.

Тем не менее для его первого учителя эта встреча спустя столько лет оказалась настоящим спасением.

Через несколько дней по Москве поползли совершенно нелепые слухи. В гастрономах и в поликлиниках люди передавали друг другу на ухо, что «Бобер» избил внука Ленина. Причина этой несообразности состояла то ли в том, что взволнованная дежурная по этажу, увидев катящегося по полу лысоватого толстячка, вообразила себе невесть что; то ли народ так сильно любил Боброва, что не мог себе представить, как он избивает кого-то менее значимого в мифологическом смысле, чем он сам; то ли вообще все привыкли к тому, что он вечно попадает в истории, и если в прошлый раз был генерал, которого он вытащил за погоны из такси и получил от Василия Сталина за это дело лично по физиономии, то теперь это должен быть кто-нибудь ну никак не меньше, чем внук Ленина, потому что сына ведь не избьешь – он, наверное, уже совсем старичок, а старичков колотить даже самому Боброву вроде бы неприлично. Не комильфо.

При этом никто не хотел вспоминать, что никакого сына никогда не было (если только его не прятали где-нибудь за границей, и вот теперь его отпрыск инкогнито явился в лифт гостиницы «Москва» и врезал там скорому на ответ футболисту). А следом за отсутствующим сыном не могло быть и внука.

Но все это уже никого не волновало – вся эта причинно-следственная генеалогия. Кому интересно, откуда берутся внуки? Да ниоткуда. Важно, что они ездят в лифтах и дерутся с Бобровым. Наотмашь. А потом выпадают к ногам испуганных дежурных по этажу.

Вот это весело.

Так или иначе, после случая в гостинице жизнь сестрорецкого учителя круто переменилась. Он перестал бывать в больнице наездами и переселился туда насовсем. Уступая молве, он сменил в своем сердце шаткий и ускользающий образ Боброва на ясный и близкий каждому советскому человеку ленинский задор и ленинскую улыбку.

Склонив голову над невидимой рукописью, он теперь часами писал воззвания к революционным солдатам, едко издевался над эсерами и социал-демократами, не сомневался больше ни в чем и являл собой образец полной гармонии и счастья.

Заканчивая процесс наблюдения за ним, я с грустью понял, что для своих планов мести я не смогу воспользоваться моделью его поведения. Любое возмездие предполагает в своем носителе незавершенность природы. Недостачу чего-то важного – нехватку, из-за которой, собственно, и начинается весь этот ужасный душевный зуд.

Внук Ленина достиг в своем развитии полного завершения. Его цикл замкнулся. Он наконец встретил самого себя и совершенно не подходил мне, потому что счастливые люди мстить не умеют.

\* \* \*

«Жизнь, молодой человек, – это более или менее череда упущенных возможностей, – говорил мне Головачев. – Странно, как вы, однако же, свою тряпку выжимаете».

«Не факт, – отвечал я. – Для многих людей, уважаемый психический доктор, жизнь – это тайный план Бога».

«Вот как? – удивлялся он. – Вы что, тоже стали религиозны? А как же комсомол? Да перестаньте вы елозить этой тряпкой. Забрызгаете мне весь халат. Вы член ВЛКСМ?»

«Мне надо домыть. Старшая сестра будет ругаться. Она и так меня ненавидит».

«Не выдумывайте. Вы слишком много анализируете. Поверьте, поведение окружающих не всегда поддается анализу. То, что вам показалось ненавистью с ее стороны, скорее всего, было просто минутным раздражением. Что она вам сказала?»

«Не важно».

«Вот видите. У нее, наверное, просто были месячные. Скажите... а у Любы... восстановился месячный цикл? – Он запинаясь, но тут же суетливо добавлял: – Меня беспокоит воздействие тех препаратов, которые она получила у нас».

«Я не в курсе», – отвечал я, чувствуя, как лицо тяжело и неуправляемо наливаются краской.

«Вы смутились, – говорил, улыбаясь, Головачев. – Ну да, вы ведь еще совсем молоды. Сколько вам лет?»

«Какая разница?»

«И хамите по-прежнему. Вам нравится работать у нас?»

Я молча тер шваброй и без того уже сверкающий участок пола.

*«И служил Иаков за Рахиль семь лет; и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее».*

Головачев был прав. Комсомолец не должен интересоваться религией. Но я чувствовал, что, говоря «вы тоже стали религиозны», он вольно или невольно объединял меня с моей Рахилью. Помещал меня туда же, где находилась она со своими новыми идеями, стриженной головой, проколотыми ушами и бесконечными лихорадочными разговорами о диббуках, суккубах и каббале.

Внутренние согласные в трех последних словах удваиваются, сигнализируя о твердом, негибком и даже упрямом характере говорящего. Повышенная частотность употребления в повседневной речи лексических единиц с двойными согласными свидетельствует также о торопливости, ажитации и постоянном состоянии возбуждения. Удвоение близкого к фрикативному согласного «к» в слове «суккуб» является фонетической аллюзией на фрикционные процессы совершенно иного свойства и тоже имеет непосредственное отношение к упомянутому выше состоянию возбуждения.

Которое удовлетворяется неизвестно кем.

**Н.В.** Как это неизвестно? Мужской вариант суккуба называется инкуб. Проникает к женщинам по ночам в закрытые спальни.

Поэтому в глазах Головачева я был ей пара. Хотя бы в этом смысле. В смысле моей якобы «тоже религиозности».

А Любу тем временем завораживал весь этот чувственный мистический бред, эти мощные сексуальные черты, рядом с которыми я, очевидно, выглядел как робкая, полупрозрачная, рогатенькая улитка, уставшая от своего домика, от самой себя, от солнца, от слишком широкой и сухой песчаной тропинки, которую надо – вопрос жизни и смерти – обязательно пересечь.

Да тут еще и стилиаги. В голове у моей Рахили действительно был кавардак, и препараты доктора Головачева никакой ясности в него не вносили.

Не знаю уж, как они действовали на ее цикл. Дверь к ней в комнату по ночам для меня оставалась наглухо заперта.

Днем с Любой еще можно было поспорить о том, что Якоб Бёме был никакой не каббалист, а просто сапожник и, на худой конец, один из дальних предвестников немецкого романтизма, но по ночам даже такие темы переставали ее волновать. Не знаю, что она делала там за своей закрытой дверью. Во всяком случае, точно уж не спала. Невозможно поверить, что человек может спать с такой силой, с такой бесконечной решимостью и с такой злостью, что ему требуется настолько плотно закрытая дверь. Дверь, закрытая насмерть.

*«И еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши...»*

Да, Головачев был прав. Религия комсомольцу совсем не нужна.

«Что же вы молчите? – продолжал он через минуту. – Так нравится вам работать у нас или нет?»

Но я не молчал. Я думал о том, может ли человек на самом деле, все равно каббалист он или не каббалист, повлиять своими молитвами, бормотанием, ритуалами или чем там еще на весь этот божественно-космический процесс? Космический не в смысле Юрия Гагарина и лунохода, а в смысле неизбежности попадания неизвестно откуда кому-то в живот, и в смысле появления с криком и сморщенным красным лицом из этого живота, вернее, из того, что находится ниже, и в смысле растущего с этого самого момента чувства необъяснимой горечи, как будто тебя обманули, обманывают и будут обманывать всегда, и в смысле вытекающего из этой горечи ощущения какой-то, быть может, ошибки, неизвестно кем совершенной, но раз уже она оказалась совершена и ты родился, то кто-то ведь должен был ее совершить.

И кто же это тогда? Ведь должен этот Кто-то существовать, раз совершает ошибки.

И можно все-таки повлиять или бесполезно? Молитвами, бормотанием, каббалой, запертой дверью – чем угодно. Можно или нельзя?

Существование тайного плана Бога, о котором я говорил Головачеву для того, чтобы он отвязался и дал мне домыть этот несчастный пол, предполагало, что, в общем, нельзя. По Лейбницу, Провидение само знало – как ему наилучшим образом распорядиться нашими судьбами, хлопотами, беготней, зарплатами и выбором того момента, когда зарплата уже не нужна.

Фильмы про войну с немцами подтверждали правоту Лейбница и его тезиса о мире «предустановленной гармонии», в котором запрограммирован всеобщий конечный успех. Военные генералы в просторных землянках склонялись в этих фильмах над картами будущих сражений и рисовали на них цветными карандашами полукруглые стрелки. Сцены были почти немые, и генералы в кадре совсем неразговорчивые, поскольку режиссер всегда отчетливо понимал и давал понять зрителю, что никакое бормотание, каббалистика или молитвы тех, кто сидит там, в окопах, а на карте представлен этими



самыми стрелками, не изменят движение генеральской руки. Потому что ей лучше знать. Потому что девятого мая все равно будет День Победы.

Но те, внутри нарисованных стрелок, могут никогда о нем не услышать. Им остается бормотание и каббала.

«Вы что-то сказали? – оживал заждавшийся моего ответа Головачев. – Не клеится у нас с вами разговор как-то».

«Мне надо домыть. Старшая сестра будет ругаться».

«Да, да, разумеется. Простите, что вас отвлек... Скажите мне только напоследок, почему фигу называется «комбинацией из трех пальцев»? В ней ведь участвуют все пять».

Он делал правой рукой фигу, показывал ее мне и вопросительно смотрел, на этот раз твердо решив дождаться от меня ответа.

«Перестаньте меня проверять, доктор, – отвечал я, роняя тряпку в ведро так, чтобы брызги долетели до его халата. – Я не сумасшедший. И с логикой у меня пока все в порядке».

«Докажите».

Я выпрямлялся над своим надоевшим уже нам обоим ведром и смотрел прямо в лицо доктору Головачеву. Он улыбался и повторял, одобрительно кивая:

«Докажите».

Яркий солнечный свет из окна падал как раз на тот участок пола, с которого я едва не стер прошлогоднюю охру, пока «беседовал» с этим «инженером человеческих душ».

«Докажите», – настойчиво говорил он, щурясь от солнечных бликов и поднося свою фигу прямо к моему лицу.

«У того, кто первым сформулировал эту устойчивую фразеологическую единицу, – медленно начинал я, – не хватало двух пальцев. Понятно? Мизинца и... вот этого... Как называется этот вот небольшой?.. Понимаете? Не было на руке пальцев... Откусила акула... Ходили в «Ударник» на «Последний дюйм»? Отличный фильм... Акулы искусали папу, а мальчик в конце ведет самолет. И главное – ему надо суметь приземлиться... Только билеты очень трудно достать. Стиляги все раскупили. Там музыка... Хотите, спою?»

Я отступал от него на один шаг и начинал раскачиваться из стороны в сторону, сильно фальшивя и к тому же перевирая слова. Я ведь не знал за два дня до этого, когда пытался в темноте зрительного зала разглядеть профиль окаменевшей рядом со мной Любы, что слова надо заучить, поскольку придется петь их доктору Головачеву в коридоре нашей с ним и с моей Рахилью психушки. К тому же Соломон Аркадьевич в кинотеатре так громко рыдал, что мешал мне как следует запомнить текст.

*«Земля трещит как пустой орех, – выводил я и тут же сбивался. – Та-та-там... чего-то... дня».*

Дальше было уже понятней, и я выкрикивал во весь голос:

*«Какое мне дело до вас до всех?*

*А вам – до меня?»*

Я замолкал, Головачев усмехался и, наконец, поворачивался ко мне спиной.

«А еще знаете почему? – кричал я ему вслед. – Знаете, почему три пальца? Потому что слово, которое этот жест означает, тоже состоит из трех букв. Из трех! Понятно? Это же семиотика! Знаковые системы! И, вообще, такие вещи нельзя показывать своим подчиненным. Это неприлично! Слышите вы меня? Это неприлично! Где вы этому научились? Эй! Куда вы уходите?!!»

Но он уже исчезал в соседнем коридоре.

\*\*\*

Мое эстрадное творчество не прошло незамеченным. Медсестры и санитары стали коситься на меня еще больше, а пациенты начали меня узнавать. Я видел, что они отличают меня от других санитаров. Неясно, каким образом до них доходили флюиды из ординаторской, но я чувствовал, что они знали. Быть может, в силу своих мозговых отклонений они обладали какими-то дополнительными психическими способностями и могли запросто уловить происходящее сквозь две-три кирпичных стены, а может, просто понимали, чем отличается счастливый человек от несчастного.

Как член ВЛКСМ и будущий кандидат наук, в чудеса я по возможности старался не верить. Поэтому склонялся к версии номер два.

Сумасшедшую Люсю, например, из всех чудес на свете волновали одни только бэники. По поводу эников у нее, очевидно, сложилось какое-то представление, а вот бэники – то есть как они выглядят, как ходят, во что одеваются, что едят (помимо вареников, разумеется), – все это волновало Люсю до глубины ее безумной и, судя по всему, самой прекрасной на свете души.

«А почему они всегда вместе?» – спрашивала Люся у медсестры, протягивая по утрам лодочкой сложенную ладошку.

«Нельзя им по отдельности, – отвечала сестра, отсчитывая в Люсину руку огромные белые таблетки. – Где эники, там и бэники. Куда они друг без дружки?»

Потерпев поражение в случае с монгольским поэтом и внуком Ленина, я наблюдал теперь за Люсей скорее уже по инерции, чем из каких-то стратегических соображений. Мой план имитации поведения сумасшедших полностью провалился. Выбрать модель оказалось невозможным. Имитировать пришлось бы буквально всех. Включая, между прочим, самого себя.

Поэтому я, наверное, и решился на разговор с Люсей. На больничные правила мне уже было плевать. Конспирация не имела никакого смысла. Я не хотел теперь даже прикидываться своим.

«Бэники – это такие стилиги, – сказал я Люсе. – В узких брюках, цветных галстуках, и слушают джаз».

«Стилиги? У нас здесь жили стилиги. Они не похожи на бэников. Их любит доктор Головачев».

«Похожи, похожи. Они украли у меня жену».

«Воровать нельзя, – сказала она. – Это плохо».

«Я знаю. Поэтому я очень расстроен».

Люся уходила от меня по коридору, наговаривая свое бесконечное «эники-бэники ели вареники», а я смотрел ей вслед, как двумя днями раньше смотрел вслед доктору Головачеву, и мне отчего-то опять было так больно и тяжело на сердце, что я всерьез задумывался – а так ли уж прав был старина Лейбниц со своим миром предустановленной гармонии? И куда эта гармония запропастилась, когда дело дошло до меня?

Впрочем, на разговор с Люсей я решился не только из-за того, что мне теперь было плевать на больничные правила. Если бы мною двигало только это, я бы, наверное, просто разбил какое-нибудь стекло или еще раз опрокинул чернильницу. Но дело заключалось не в одном нарушении больничного распорядка. Я хотел поговорить с Люсей, потому что она знала про любовь.

Про любовь, и не только.

Близкие начали подозревать, что с ней на эту тему не все в порядке, когда она пришла на день рождения к своей подруге, выпила вина, присела на корточки перед чужой шестилетней девочкой, погладила ее по голове, сняла с себя золотое кольцо и вложила его девочке в мягкий розовый кулачок.

«Ты хорошая, – сказала Люся. – Я тебя очень люблю».

Всем понравилось, но колечко Люсе вернули. Девочку успокоили леденцом.

Потом Люся отказалась получать на работе зарплату. Она сказала мужу, что боится разбогатеть, и он начал ходить второго и семнадцатого числа к проходной авиазаправочной службы, чтобы убедить Люсю вернуться к кассе и не смешить людей.

«Но ты же сам слушал этого поэта в Политехническом, – сопротивлялась Люся у проходной. – Тебе же нравилось, когда он сказал: «Уберите Ленина с денег!» Я тоже не хочу эти деньги. Ленина на них рисовать нельзя».

Операторы станции горюче-смазочных материалов выходили с работы, пересчитывали аванс, поглядывали в сторону Люси и ее мужа, усмехались, крутили пальцами у виска.

В конце концов ему разрешили расписываться в ведомости вместо Люси. Она работала хорошо, и профком даже попросил у ее мужа фотографию, чтобы все, кто идет через проходную, могли увидеть Люсино улыбающееся лицо. И еще на ней было желтое ситцевое платье с круглым вырезом и такими «овальными штучками в виде узора», как говорила она сама и рисовала при этом в воздухе пальцем кружочки и опять улыбалась, и белые туфли без каблука с узеньким ремешком. Но туфель на фотографии не было видно, хотя Люсиному мужу они очень нравились, и он сожалел, что не сказал фотографу «в полный рост». А тот ведь спросил, но почему-то показалось, что будет дороже, и переспрашивать насчет цены было уже неловко.

Люсин муж купил эти туфли в ГУМе, когда в первый раз получил зарплату вместо нее. Наверное, поэтому он и ударил Люсю, узнав, что она отдала их цыганке, которая приходила продавать ненастоящий мед. Просто не смог сдержаться. Он считал эти туфли своим подарком и говорил, что такую вещь могут позволить себе далеко не все. Он лично отдал за них половину Люсиного аванса, и две недели пришлось жить на его деньги. Сорок четыре рубля. Ударил совсем не сильно.

Потом Люся поехала к своей подруге и узнала, где живет та чужая шестилетняя девочка, которой она хотела подарить обручальное кольцо. А потом как-то раз ушла с работы пораньше, чтобы мужа еще не было дома и чтобы можно было спокойно раздать во дворе и на остановке разные вещи, не обнаружив которых, муж рассердился и ударил ее немного сильнее, чем в первый раз. Но она не испугалась и просто сказала ему: «Я тебя люблю». А он сидел на кухне, плакал и время от времени скрипел зубами. Потому что Люся подарила какому-то старичку наручные часы его отца. А на часах была надпись «От маршала Рокоссовского», и чуть помельче – «ш.б.», что означало «штрафной батальон». И отец уже умер от больных почек и сердца, и вообще от всего того, что с ним произошло в его штрафной жизни, и поэтому надеяться на новые часы, да еще с такой надписью, было уже глупо.

Люся всем говорила: «Я вас люблю», но когда муж спрятал от нее то, что у них осталось, Люсе стало нечего отдавать. Вот в этот момент она, очевидно, и сошла с ума от такого несчастья. Говорить «Я вас люблю» и не подкреплять слова подарком было для нее невыносимо. Поэтому Люся старалась говорить о своей любви как можно чаще. Ей важно было, чтобы люди не обижались на нее за то, что ей нечего им подарить. Кроме самой себя.

Так что Люсин муж сам, в общем-то, был виноват. Не надо было прятать от нее все эти вещи. Тем более что после кольца и часов все остальное не имело значения. В принципе, лучше было отдать. Быть может, Люся тогда бы и успокоилась.

Потому что операторами на станции ГСМ в основном были мужчины. Они носили комбинезоны и дружили с техниками, у которых был доступ на летное поле и которые вставляли в самолеты шланг. Люсины слова про любовь они восприняли так, как и должны были их воспринять те, кто связал свою жизнь с авиацией. То есть с небом.

*«Есть одна у летчика мечта...»*

Про любовь эти мужчины знали не меньше Люси, поэтому она просто не могла им отказать. Ведь это она первая говорила: «Я вас люблю», а работники авиации привыкли верить женщинам на слово. В этом отношении они всегда были настоящими рыцарями. Или гусарами. Смотря по обстановке.

Люся делала все, что они просили, а потом рассказывала об этом мужу, поскольку его она любила все-таки больше, чем всех остальных. Он ревновал и приезжал к ней на работу драться, но там над ним просто смеялись, и даже бить его никто не хотел. Впрочем, может быть, они испытывали к нему жалость. Ведь их было много, и они могли запросто отбить ему почки и сердце, и для этого вовсе не обязательно было попадать в штрафной батальон. Но они его не трогали. Просто смеялись и старались увернуться, когда он бегал за ними по всей станции с принесенной откуда-то монтировкой, которую пришлось завернуть в газету, чтобы доехать на электричке до аэропорта.

Несправедливость измены заключается в том, что обманутый и так, в общем, наказан неизвестно за что. Плюс методично уничтожает себя ревностью с такой силой, как будто самый ненавистный теперь ему человек на свете – это он сам. И тем не менее даже этого мало. Помимо всей муки, ненависти и брезгливости по отношению тоже, как это ни странно, к самому себе, тошнотный букет неизбежно украшается сияющим образом соперника-победителя. Который приобретает мифологические черты в считанные секунды. Стоит только услышать от того, кто тебе так дорог: «Ты знаешь, мне надо что-то тебе сказать... Только не сердись, ладно?» И холодные подрагивающие пальцы на твоём рукаве. А счастливый соперник уже занимает в твоём сердце такое же место, как ревуший дракон в сердце рыцаря Ланселота. Или чаша Грааля – в сердце короля Артура. То есть на всю жизнь. И разница между драконом и Граалем лишь в том, какие уроки ты из всего этого извлечешь. Хоть и не виноват во всем, что с тобой случилось. Просто ни сном ни духом.

Поэтому Люсин муж и бегал по станции горюче-смазочных материалов с высоко поднятой над головой монтировкой, пытаясь хоть как-то восстановить справедливость и лишить своих многочисленных соперников мифологического статуса, доставшегося им, разумеется, незаслуженно.

То есть его мотивы мне были совершенно ясны. Непонятным оставалось то, что испытывала Люся, когда изменяла своему мужу. Пусть даже от самой большой любви ко всему человечеству.

Об этом я и хотел у нее спросить в коридоре. Но не спросил. Побоялся услышать правду.

\* \* \*

С правдой вообще выходил какой-то напряг. Ненависть к ней достигла во мне такой высокой точки, такого фальцета, что если бы Головачев подошел вдруг ко мне и сказал: «Давайте начистоту. Сейчас я вам расскажу, чем мы с вашей женой тут занимались», то я бы, скорее всего, даже не дал ему договорить.

Я убежал бы или стукнул его своей мокрой шваброй. Лишь бы он замолчал.

Боюсь, к тому моменту я сам начал немного сходить с ума, но не хотел себе в этом признаться. Тяжело знать правду о своей жене – еще тяжелей знать ее о том, кем ты сам был совсем недавно и кого привык называть «я».

Наверное, поэтому Головачев и проверял меня время от времени. Со стороны ему было видней.

Как только я взглянул на себя и на всю нашу ситуацию под этим новым углом, мне вдруг показалось, что нормальных людей вообще не существует. То есть, может, они и существуют, но определение «нормальность» или «я – не сумасшедший» – это все-таки больше самооценка, краткая и невероятно хвастливая автобиография, но никак не описание работы полностью функциональной системы.

Просто взгляд изнутри. Сквозь узкие смотровые щелочки. Которые к тому же заросли волосами. Но некоторым нравится. Они подходят и говорят: «Какие красивые у вас ресницы».

То есть во всей этой близорукости и мохнатой в некотором отношении невозможности разглядеть истину присутствует еще и эстетический элемент. Забавно.

А нужен специалист. Чтобы послушал, подумал и сделал вывод: «Да, вы не сумасшедший. Вам нечего здесь делать, батенька... Пожалуйста, немедленно отпустите его». Но о себе он ведь, наверное, тоже думает, что он не сумасшедший. И судит меня, опираясь на свое собственное представление о том, как должен вести себя абсолютно не сумасшедший человек. Такой же примерно, как он.

А что, если у нас с ним просто одинаковая форма безумия?

Короче, я понял, что с теми, кто на тебя похож, надо держать ухо востро. Впрочем, пообщавшись несколько недель с доктором Головачевым, я стал подозревать практически всех. Кое-кому ради забавы даже присматривал место в нашей больнице.

Большое опасение, например, вызывала заведующая той самой кафедры в моем институте, где мне все никак не могли дать часов и без конца повторяли: «Ну вот,ждемся вашей защиты, и там посмотрим». Как будто у них было что-то со зрением, и после заседания диссертационного совета оно чудесным образом должно было исцелиться. Постоянная надежда на чудеса. Будь ты хоть комсомолец, хоть член КПСС с большим пузом. В любом случае догадываешься, что партбилет в кабинете у окулиста не помогает. Всегда хочется чуда. «Простите, как лучше пройти к купальне Силоам? Замучили эти минус десять» (См. Ев. от Иоанна, гл. 9, ст. 7—11).

Клавдия Федоровна, руководившая кафедрой, тревожила скорее даже не поведением, а внезапной переменой своего отношения к жизни. Будучи уже довольно опытной старой девой – с устоявшимися привычками, любовью к белым носкам и панталонам в горошек, которые она в жаркие дни надевала под тонкое прозрачное платье, – обладая твердой психикой и ясными представлениями о том, как вести домашнее и кафедральное хозяйство, она вдруг однажды решила выйти замуж.

Разумеется, ей это удалось. Благодаря решительному складу ума и отсутствию брезгливости в выборе средств ей вообще многое удавалось, и, скорее всего, именно по этой причине она неожиданно забрала себе в голову, что ей нужен муж. Захотела продемонстрировать свою мускулистую силу. В фехтовании такие штуки называются «тур-де-форс». Не по делу, конечно, но удовольствие доставляют. Ведь не была же она настолько наивна, чтобы верить во всю эту чушь насчет надежной мужской руки, которая и в старости опора, и в юности тоже чего-то там – шаловливое, неугомонное и любопытное. Плюс юркое, как хорек. Только зазевайся.

Тем более что ее женская рука была понадежней целого пучка мужских. Подрагивающих в ее присутствии, покрывающихся мурашками и потом. Далеко не от вожделения, надо сказать.

В общем, претендента искать ей пришлось недолго. Постоянная занятость – конференции, заседания, разнос подчиненных, снятие стружки со студентов – не предполагала длительного и серьезного поиска. Выбор пал на Тихосю. В миру – Тихон Николаевич Осипецкий. Самый худой доцент в мире.

Тихося приносил на свои семинары кефир и пил его из толстой бутылки, запрокидывая голову и не отворачиваясь от студентов. У него было что-то с желудком, поэтому он всегда морщился, делая очередной нелегкий глоток. Девушки стыдливо опускали глаза, потому что стеснялись смотреть на Тихосин кадык, который шевелился как отдельное существо и каким-то образом все время намекал на то, что, по идее, он должен располагаться где-то в таинственном низу Тихосино организма, а не на бесстыдно открытой да еще и выбритой шее. Мужская часть аудитории не прятала глаз, поскольку,

сидя рядом со смущенными девушками, она в той или иной степени думала о том же, на что намекал тихо шевелящийся Тихосин кадык. Мужская часть аудитории думала о любви.

И тут появилась Клавдия Федоровна. Очевидно, ее тронул тот неясный призыв, который исходил от Тихоси в момент публичного распития кефира. Скорее всего, он исполнял свой номер с бутылкой и на кафедре тоже. Чем еще занять себя одно– кому доценту на перемене? Свадьба состоялась почти мгновенно. А вот дальше все пошло непонятно как.

Через день после свадьбы счастливый муж был вышиблен из уютного семейного гнезда, которое ему так и не дали свить. Заботливой птахи, снующей с веточкой в клюве туда-сюда, из Тихоси не получилось. Видимо, в те моменты, когда он цедил свой кефир, в его запрокинутую голову вливался не только молочнокислый продукт, но и самые разнообразные мысли. Поделившись этими размышлениями со своей новобрачной, нетерпеливый Тихося совершил роковую ошибку. Клавдия Федоровна была порядочной девушкой и совершенно иначе смотрела на взаимоотношения полов. Она была изрядно удивлена тем, что кому-то из ее коллег вообще могли прийти в голову такие грязные мысли. Она даже представить себе не могла, какое пагубное воздействие оказывает обычный кефир на неокрепшее половое сознание советских доцентов.

Так или иначе, пылкий Тихося с треском вылетел из двухкомнатной квартиры Клавдии Федоровны, а привычно невыносимая жизнь ее подчиненных превратилась на этот раз в настоящий ад. В многострадальный Сайгон, где как раз в это время американцы негласно уже занимали бывшие казармы французских колонизаторов. И мне, кстати сказать, предстояло там работать. Выживать в джунглях Меконга. Разумеется, в роли трепещущего вьетнамского крестьянина.

*«'Ave you seen Vietcong, son? You haven't? You're lying, dirty native swine! Die, son-of-a...»* («*Вьетконговцев не видел, сынок? Нет? Не лги мне, мерзкий туземец! Сдохни, уб...*», пер. с англ.)

Так что усилий доктора Головачева для исцеления Клавдии Федоровны могло бы и не хватить. Медицина в ее случае разводила руками, а «внук Ленина» рядом с этой гордой наследницей рода Клавдиев выглядел как буколический персонаж. Беззаботный пастушок Вергилия, наигрывающий под кустом на свирели свое «ай-лю-лю».

\* \* \*

Сокращать Тихосю до «Тихоси» было одно удовольствие. Тихоном Николаевичем, кажется, его не называли даже в лицо. Он бы, наверное, и сам удивился, услышав хоть что-нибудь вместо «Тихоси». Так, моя еврейская бабушка при всей своей нелюбви к Иосифу Сталину еще и теперь говорила «Сталинград», когда вспоминала живущих в этом городе родственников.

Люди привыкают к определенному звуку. Особенно когда он связан с тем, что для них дорого. Тихося, очевидно, был дорог самому себе (поскольку, как выяснилось, даже Клавдия Федоровна дорожила им совсем недолго), а моя бабушка любила Сталинград. Хотя к этому времени уже прошел целый год с тех пор, как Гагарин слетал в космос, а Сталинград стал Волгоградом.

К третьему курсу мы несколько раз пытались сократить и других преподавателей, но у нас ничего не вышло. Получались какие-то жалкие «Валвикты», «Натсеры» и «Григорасты». «Григораст», в принципе, было неплохо, но семантического волшебства «Тихоси» в нем не хватало. Фонетика в этом мероприятии – всего лишь полдела. Стоило один раз увидеть, как наш любитель кефира и тайных мыслей вынимает из портфеля, поглядывая на студенток, свою заветную бутылочку, и сразу становилось понятным, что имя ему – «Тихося».

Во всяком случае, тот, кого раза три успели назвать «Григорастом», на настоящего «Григораста» ни в коем случае не тянул. Максимум – на «Григорастика». К тому же никакой внятной дисциплины он не преподавал. Так, один небольшой спецкурс. Кажется, даже в зачетку во время сессии он не шел. Поэтому, когда четвертой парой вне расписания ставили его семинар, по коридору шелестело: «Сорвемся».

Люба на эту тему постоянно распевала песенку «С одесского кичмана сорвались два уркана». Ей ужасно нравилось убежать. При этом совершенно неважно – откуда. Если бы мы учились на одном курсе, я вообще не посетил бы, наверное, ни одной лекции. Шатался бы с ней по Москве и целовался в парадных. Но она была на десять лет старше, и «срываться» мне приходилось совсем с другими людьми.

«Это неправильный вариант, – поправлял Любу Соломон Аркадьевич. – Утесов поет: «С одесского кичмана бежали два уркана». Понимаешь? «Бежали», а не «сорвались». Откуда ты взяла это слово? Сорваться можно только с какой-нибудь высоты. Упасть откуда-нибудь, понимаешь?»

Думаю, она научилась этому слову у тех самых хулиганов из Приморья, которых так полюбила в детстве и которые, несмотря на все свое могущественное влияние, почему-то позволили ей впустить неприключенческого и незахватывающего меня в ее жаждущее стремительных порывов сердце.

Правда, совсем ненадолго.

«Сорвались – бежали. Не все ли равно? – говорила она, морщась и теребя недавно проколотую мочку уха. – Сережку мою никто не видел? Головачев расстроится, если придет – а я без нее».

Видимо, Соломон Аркадьевич все-таки угадал. Слово «сорваться» она предпочитала из-за того, что в нем звучала тема падения. Не в окончательном смысле *Paradise Lost* Джона Мильтона, но где-то в ту сторону.

Вот так просыпаешься – и уже не в раю. С добрым утром, мое замечательное грехопадение! Сиди и думай – как докатился до такой жизни.

«В двадцать девятом году, – настойчиво продолжал Соломон Аркадьевич, – в Ленинградском театре сатиры я своими ушами слушал эту самую песенку. И спектакль, если хотите, назывался «Республика на колесах». Так вот, Леонид Осипович пел «бежали». Урканы бежали, а не сорвались! Ну почему ты такая упрямая?»

Странно, что он этому удивлялся. Как будто мы с ним поменялись местами, и это не я, а он совсем недавно женился на Любе и выяснял теперь, каким бывает настоящее, нешуточное упрямство.

*«И сказала Рахиль Иакову: дай мне детей; а если не так, я умираю».*

Потому что, если Люба говорила «надо найти сережку», это значило – надо найти сережку.

Ведь Головачев мог расстроиться. А этого не хотел ни один из нас. Моя Рахиль перестала бы со мной разговаривать даже днем, если бы доктор всего лишь нахмурил брови. В больнице я мог высказывать ему все, что угодно, но дома приходилось быть осторожным. Люба не спустила бы мне его дурного настроения.

Поэтому я бросался под стол и под кресло на помощь Соломону Аркадьевичу, выискивая пропавшую сережку, стучаясь лбом об этого сердитого старичка и стараясь отвлечься приятными мыслями о том, кого бы еще из своих будущих коллег я поместил в нашу с доктором Головачевым психушку.

\* \* \*

Да, в принципе, всех.

Различие между ними в этом смысле было попросту минимальным. Как между двумя рядами звездочек, выделяющих с двух сторон слишком короткую главу.

Которая стала такой короткой лишь по одной причине – тема ее столь обширна, что начни писать – и не остановишься никогда.

*«Я список кораблей прочел до половины...»*

Вторая песнь «Илиады» покажется не длиннее Люсиной считалочки.

*Эники-бэники ели вареники.*

*Эники-бэники бумс.*

\* \* \*

– Классная история, – сказала Дина, потягиваясь в своем кожаном кресле. – Вы ее рассказывали кому-нибудь?

– Да нет, – я пожал плечами. – Зачем? Кому это может быть интересно?

– Перестаньте, – она махнула рукой. – Целую повесть можно написать. Или роман. Клевая история – сто процентов. Особенно интересно про долбанутых. Только у вас лицо стало совсем бледным. Вам не плохо?

– Ты знаешь, голова что-то кружится. Видимо, слишком долго говорил. Так бывает. Пойду на кухню, налью воды. У меня тут таблетка.

Дина немного посмотрела, как я пытаюсь подняться с дивана, и снова махнула рукой.

– Сидите. Я сама принесу. Вам кипяченой? Или из-под крана можно?

– Спасибо, – сказал я. – А то что-то правда в глазах немного темнеет. И такие искорки в уголках бегут.

– Вам кипяченой? – повторила она.

– Все равно.

Мне было действительно все равно. Я просто хотел, чтобы она побыстрее вышла из комнаты, раз уж у меня самого не получилось. Хлопнуться в обморок на глазах беременной женщины – это совсем не то, что рассказывать ей три часа о своем героическом прошлом. Другой формат. Особенно когда причина твоей разговорчивости состоит в том, что тебе просто-напросто некуда больше идти. Ну, или почти некуда, потому что Люба все еще терпит, но ведь любому терпению приходит конец. И тогда ты сидишь в своей бывшей квартире и стараешься уложиться со своим рассказом в три часа с небольшим. Дальше нельзя – придут Володька и Вера. Они, скорее всего, даже не знают, что я практически каждый день сижу на этом диване и рассказываю Дине то, что, может быть, ей совсем даже и не надо знать. Но я все же рассказываю, потому что, во-первых, она единственная, у кого нет причин меня ненавидеть, а во-вторых, я почему-то надеюсь, что тот, кто внутри ее живота, тоже все это слышит. Хотя бы голос.

Немагнитная запись звука. Общение с потусторонним миром. Плюс подозрение, что оно таким и останется. От перемены мест слагаемых сумма, если честно, только выигрывает. То есть миры поменяются, но один из нас все равно будет «по ту сторону». Океана, реки, ручья – неизвестно чего, но обязательно водоема. И обязательно в родительном падеже, поскольку одного из нас в любом случае придется родить, а другой уже вот-вот станет ответом на школьный вопрос «нет кого?». И водоем обязательно с берегами. Потому что должен быть резкий контраст – зыбкость того, что надо пересечь, и надежность конечного пункта. То есть два берега, и между ними река. А в воде снуют разные подозрительные типы. В том и в другом направлении. И где-то среди плывущих голов виднеется уже и моя. Покачивается на волнах, как поплавок в ветреную погоду. Думает себе о чем-то. А с той стороны приближается мой внук. Середину уже переплыл.

Или внучка.

Надо же, они так и не сделали УЗИ.

– У вас лицо немного порозовело, – сказала Дина, протягивая мне стакан.

– Да, кажется, стало лучше.



– Но вы таблетку выпейте все равно. И вот мармелада съешьте кусочек. В сахаре много калорий.

– Боишься, что я тут у тебя упаду и проваляюсь бревном до самого вечера?

– Нет, мне просто вас жалко.

Я понял, что шутка не удалась, и молча запил таблетку.

– А как звали этого доктора? – неожиданно спросила она. – То есть зовут...

– Головачева? – я вытер губы и вернул ей пустой стакан. – Его зовут Дементий Петрович.

– Странное какое-то имя.

– Да нет, ему подходит... С именами, ты знаешь, бывают связаны очень забавные истории... Одна вот как раз насчет мармелада...

– Может, не будете больше рассказывать? А то опять побледнеете.

– Последнюю. Расскажу тебе последнюю историю – и уйду. Тем более что это, в общем-то, анекдот.

– Ну, хорошо, – она бросила взгляд на часы и снова уселась в то самое кожаное кресло.

Но стакан по-прежнему у нее в руке. Как знак быстротечности времени. Самый красноречивый на свете хронометр. Красноречивей кремлевского циферблата по телевизору в новогоднюю ночь. Совершенство часовой техники. И никаких шестеренок. «Картье» умирает в корчах от зависти. На тонких стенках еще блестят капли воды, но смысл совершенно понятен – давай быстрее, профессор, время пошло. Даже и не часы. «Стакан-секундомер» – имя этому стеклянному совершенству. Оглушительный выстрел из стартового пистолета. Уши заложило, и беговую дорожку затянуло дымом. И заложило уши.

Инверсивный повтор синтаксической конструкции. Подобный стилистический прием ведет к актуализации второго семантического слоя, который уже не связан с мотивом акустических последствий выстрела из пистолета, а указывает на тему легкого сердечного приступа, перенесенного героем чуть раньше. С другой стороны, этот троп может служить всего лишь проявлением некоторого синтаксического упрямства.

– Ты не волнуйся, я до их прихода исчезну.

– Я не волнуюсь.

– Так вот, – вздохнул я. – По поводу разных имен и сладкого мармелада... Ты знаешь, почему он называется «мармелад»?

Дина отрицательно покачала головой и снова посмотрела на часы. Как будто стакана в руке ей было мало.

– Дело в том, что королева Шотландии, – продолжал я, – однажды велела своему повару засахарить апельсины. Неизвестно, почему ей взбрело это в голову, но вот захотелось королеве Марии такого непонятного по средневековым временам лакомства. А когда повар все это приготовил, к нему явилась французская горничная королевы и сообщила, что у той пропал аппетит. И на глазах у расстроенного кулинара эта самая горничная всю тарелочку и подъела. Да при том по-французски еще приговаривала «Marie malade», что означало «Мари больна». С тех пор так оно и пошло «Mariemalade». Забавная история?

– Прикольно, – согласилась Дина. – Только вам уже правда пора идти.

– Да-да, – сказал я и поднялся с дивана. – Ты знаешь, если бы фраза «профессор болен» тоже стала обозначать какое-нибудь лакомство, пусть даже вполнину не такое вкусное, как мармелад, я бы считал, что жизнь прошла не впустую.

В прихожей, когда она уже открыла передо мной дверь, я повернулся и все-таки сказал то, что должен был сказать часа три назад, но, в принципе, мог побояться и уйти, вообще так и не заговорив на эту тему.

– Знаешь, я встречался с тем капитаном, который составлял на тебя протокол тогда ночью... Помнишь? Он хочет, чтобы я помог его дочери поступить следующим летом в Физтех.

– Ну? – Дина отступила на шаг в глубь прихожей.

– Мы ездили с ним в Долгопрудный... Я познакомил его там со своим приятелем... Он в МФТИ заведует кафедрой...

– И что? – сказала она.

– Вот... Съездили туда... поговорили...

– Ну и что? Что он сказал?

– Капитан сказал... – я вдруг запнулся, потому что услышал, как у меня в ушах стучит сердце.

– Да говорите же! Они заберут заявление?

– Нет, – я покачал головой. – Администрация магазина отказалась его забирать. Дело передают в суд.

Мы постояли молча у открытой двери еще целую минуту.

– Иди в квартиру, – наконец сказал я. – Тебя здесь продует.

Дина ответила не сразу.

– У меня на поясе шаль. – Голос глухой, и силуэт в полутьме размытый.

– Теплая?

– Да. Володька купил на вьетнамском рынке.

Я шагнул к ней и взял ее за руку.

– Ты не волнуйся. Я что-нибудь придумаю. Тебе нельзя волноваться.

– Хорошо, я не буду, – сказала она, и ее рука выскользнула из моей, как рыба выскользывает из некрепкой сети.

Плавно, безжизненно и неудержимо. Медленно уходя на глубину.

Через секунду дверь за моей спиной закрылась.

\* \* \*

Летом 1954 года, когда я закончил седьмой и перешел в восьмой класс, одной из центральных интриг моего четырнадцатилетнего, но тем не менее уже наполовину еврейского существования стало ожидание сентября. Осень манила не потому, что я успел за пару недель соскучиться по одноклассникам, и, разумеется, не потому, что Пушкин, Болдино и «короче становился день» – все это было еще впереди, таких вещей надо было ждать еще лет пять, а может быть, даже больше, – нет, тем летом хотелось поскорее вернуться в школу по абсолютно иной, хотя, возможно, не менее поэтической причине. В восьмом классе начинали преподавать анатомию.

На новый предмет возлагались совершенно особенные надежды, поскольку в 1954 году советский школьник четырнадцати лет не мог иначе получить ответы на те весьма острые вопросы, которые у него формировались к этому возрасту. В кинотеатрах висела табличка «Детям до 16», оказавшаяся, кстати, в итоге полным фуфлом, потому что Фанфан-Тюльпан в кадре максимум целовался, а в городских банях любое мало-мальски пригодное отверстие, ведущее в мир сказок «1001 ночь», непременно затыкалось с той стороны какой-нибудь абсолютно не сказочной мочалкой. Поэтому печальный Гарун аль-Рашид должен был ждать сентября. Ответы хранились в школьной библиотеке.

Теперь, спустя почти сорок лет, я шел по переулку мимо Сандуновских бань, ловил разгоряченным лбом снег и думал об огромном животе Дины. Я размышлял о женской анатомии, о том существе, которое находится у Дины внутри, и о страшном разочаровании, постигшем меня осенью 1954 года, поскольку в учебнике не оказалось картинок – вернее, они были, но все какие-то с ободранной кожей – практически никакой эротики.

Понятно, что все лето грезилась обнаженные одалиски. Но не до такой же степени.

Во всем этом эротическом-неэротическом царила сплошная неразбериха. То есть любое мероприятие, казалось бы, начиналось вполне приятным чувственным образом – мой интерес к учебнику анатомии, любовь моего сына к цветастым юбкам Дины и, очевидно, к ее поцелуям, – однако к моменту развязки, к тому времени, когда я наконец расписывался в библиотечном формуляре и отходил с потертым учебником поскорее к окну или когда внутри Дины уже всю толкалась и вертелась новая жизнь, весь этот чувственный элемент без следа исчезал, как будто появлялся в самом начале лишь для того, чтобы заманить, сбить с толку, перекрасить до неузнаваемости совершенно простую и очевидную мысль о том, что учебник предполагает только учебу, а любовь – только чувство ответственности и тяжелый труд. И никакого веселья.

Я отчетливо понял, что система работает именно таким образом и что во всем этом кроется огромный подвох. Однако было ясно еще и другое – понимание природы обмана вовсе не значит, что ты не захочешь обмануться еще раз.

Будучи в здравом уме и в твердом сознании.

– Это у кого твердое сознание? – сказала Люба, снимая со шкафа чемодан, принадлежавший еще, очевидно, Соломону Аркадьевичу. – У тебя, что ли? Держи крепче, а то упаду. Будем валяться здесь с переломанными костями, как два старикашки.

– Мы и есть старикашки, – сказал я, держась за стул, на котором она стояла.

– Ха! Ты, может быть, и старикашка, – она сдула с чемодана пыль. – А я нет. Я уезжаю в Америку.

– Осторожней, все летит на меня.

– Ха! – еще раз сказала Люба и опустилась со стула на пол. – Смотри какой чемодан. Просто красавец! Что ты говорил там насчет сознания?

– Ничего. – Я постарался стряхнуть с себя чемоданную пыль, но в итоге только ее размазал.

– Иди в ванную комнату. Сейчас я тебя отмою. Ты никогда ничего не умел делать сам. И еще гордишься при этом своим якобы твердым сознанием.

– Я ничем не горжусь.

– Вот и правильно. Из всех евреев с нетвердым сознанием твое сознание – самое ужасное. У тебя оно мягче мягкого места.

– Спасибо, но вообще-то я не еврей.

– Только не надо тут мне обижаться. Говорю тебе – иди в ванную комнату.

Оттирая влажной щеткой пыль с моих плеч, она продолжала отчитывать меня, как будто я на самом деле был в чем-то перед ней виноват.

– Люди с твердым сознанием не идут по своей воле работать в дурдом. Не идут, Койфман. Они находят себе другое занятие.

– Боже мой, Люба, это было тридцать лет назад. И потом – а как же тогда доктор Головачев? Он там тоже, между прочим, работал по своей воле.

– Кто? – она даже не остановилась, продолжая решительными движениями чистить мой пуловер.

– Доктор Головачев. Он лечил тебя, а потом ходил к нам домой, чтобы... чтобы... – я вдруг стал запинаться. – Ты знаешь, мне кажется, я не знаю, зачем он к нам приходил...

– Вот видишь, – сказала Люба. – Подними руки... Ты даже сам не знаешь, кто такой этот доктор, и хочешь, чтобы я помнила его фамилию. У меня, что, по-твоему, должна быть резиновая память? Повернись... Не стой как Лотова жена... Увидел привидение своей бабушки?

Но я видел отнюдь не бабушку. Если бы это была она, я бы, скорее всего, просто обрадовался. Увидеть ее наяву, а не в фотоальбоме, да еще через столько лет после того, как у меня навсегда исчезла такая возможность, было бы настоящим подарком. К тому же мир теней мог испугать меня уже не намного больше, чем кусок колышущейся марлевой ткани, который натягивают в театре перед сценой встречи Гамлета с духом его отца. И ставят по синему фонарю в обеих кулисах.

Нет, тут было совсем другое.

Я видел, что Люба не лжет. Она действительно не помнила доктора Головачева. Не помнила о нем ничего. Этот человек выпал из ее жизни, из ее сердца, из ее головы с такой стопроцентной надежностью, как будто его там вообще никогда не было, как будто это не он поселился там когда-то в своем дурацком желтом плаще и как будто воспоминание о нем представляло для Любы теперь не больше важности, чем пыль с чемодана ее отца, которую она сначала на меня преспокойно сдула, а теперь с ничуть не меньшим спокойствием отряхивала с моих плеч.

– Ты можешь хоть чуть-чуть повернуться? Или это я должна вертеться вокруг тебя?

Разумеется, я мог повернуться. Я мог сдвинуться влево, и я мог сдвинуться вправо. Я вообще мог начать вращаться как юла, или как бесноватый шаман, или даже как сверло буровой установки, но в этот момент до меня вдруг ясно дошло, что, быть может, именно эта склонность к повороту, к излишней и, как выясняется, не очень оправданной вертлявости, оказалась в моем случае роковой. Как и в случае с женой Лота. Похоже, мы с ней оба немного застряли в прошлом.

Слишком подвижные шейные позвонки. Что-то о них было в том замечательном учебнике 1954 года. Который, кстати, тоже давным-давно пора забыть.

Шею держать прямо и смотреть только вперед. Для этой цели профессор Илизаров из города Кургана изобрел специальные аппараты. Голова фиксируется в строго фронтальном режиме путем просверливания в ней дырочек, сквозь которые пропускаются сверкающие стальные спицы. Думать эти металлические пруты голове не мешают. Во всяком случае, так утверждают врачи. Попавший в это положение выглядит нелепо, но зато смотрит всегда вперед. Профессор Илизаров решительно сократил ему угол обзора. Все, что оказывается вне поля зрения, – неважно. Широкое стальное кольцо вокруг головы напоминает нимб. К «нимбу» прикручены гаечки. Христианская аллюзия не очевидна, но при достаточно свободном восприятии все-таки можно увидеть в этом сооружении цитату, скажем, на Фра Беато Анджелико или на Джотто. На их фресках нимбы тоже выглядят несколько механически. Светлый наивный лиризм раннего Ренессанса.

**Н.В.** Интересно, бывает ли в голове сквозняк после того, как спицы из нее вынимают, а дырочки еще не совсем заросли?

Потому что никакого прошлого не существует. Фолкнер абсолютно прав. Но только не в том смысле, что твое прошлое всегда с тобой, а в том, что, выйдя из своего прошлого, не надо без конца оборачиваться. Просто погаси свет и выйди из комнаты. Освободи помещение. И не превращайся в соляной столп. Не оборачивайся. «Eхegi monumentum» не актуально. Кому нужны белые памятники, если они не из мрамора? И, главное, ради чего? Какой-то Содом, какая-то Гоморра, какой-то Головачев.

– Алё! Ты еще здесь? – сказала Люба. – Я не очень мешаю? Если тебе интересно, то я закончила. Пыли на тебе больше нет.

– Спасибо, – сказал я и взял щетку, которую она мне протянула.

Моя физиономия в зеркале постепенно утрачивала характеристики соляной окаменелости.

– И, кстати, твоя криминальная невестка совершенно права, – долетел Любин голос уже из кухни. – Эта твоя одиссея в дурдоме вполне тянет на небольшой роман. Такой в стиле О’Генри. Хоть на что-то сгодились бы твои литературные замашки. Заработал бы денег, стал бы знаменит.

– О’Генри не писал романов, – сказал я, по-прежнему стоя перед зеркалом в ванной комнате.

– Ну, тогда кто-нибудь еще. Тебе лучше знать. Ты же литератор.

– Я ученый. Я только анализирую.

– И днем, и ночью кот ученый... – пропела она, мелькнув в дверном проеме у меня за спиной. – Ты будешь жареную картошку? У меня есть лук.

\* \* \*

Я почти не лукавил, когда делал вид, что не обращаю внимания на слова Дины и Любы о возможности написать книгу. Тень, падающая от слова «почти», была при этом настолько узкой, что в ней мог укрыться всего один факт – делать вид мне все-таки приходилось.

Разумеется, я и сам много раз думал о такой книге, и неоднократно даже садился ее писать, уговаривая себя тем, что после двух диссертаций я все же кое-что смыслю в литературе. Но заканчивалось это мероприятие всегда одинаково. Настроение портилось больше чем на неделю, студенты становились глупее обычного, семейная жизнь превращалась в молчаливый кошмар, по телевизору показывали полную чушь, телефон звонил лишь для того, чтобы кто-то неприятный сообщил еще более неприятные новости, а в деканате непременно затевалась новая форма отчетности, требующая заполнения бесконечных и абсолютно лишенных смысла огромных таблиц.

Никакие персонажи сквозь ячейки этих таблиц проглядывать не хотели. Один из них, впрочем, время от времени посматривал на меня из зеркала. Ничего художественного обнаружить в нем не удалось. Именно тогда я несколько нервно сообщил своим третьекурсникам, что автор не должен писать о самом себе. Персональный опыт переживания ситуации не позволяет реализовать ее в эстетической плоскости. Художественная конструкция слишком хрупка и прозрачна, чтобы удержать реальное жизненное наполнение. Она существует не столько в сознании автора, сколько в воображении читателя, поэтому свой личный опыт автор должен держать при себе. Он обязан лишь создавать повод для поэтических грез, которые сами собой проносятся перед восхищенным внутренним взором его читателя. Но грезы эти автору не принадлежат. В этом и состоит мастерство.

«А как же Генри Миллер?» – сказал тогда кто-то из удивленных моим неожиданным пылом студентов.

Видимо, я все-таки слишком порывисто делал свое сообщение.

«А что с ним?» – Я пожал плечами, восстанавливая сбившееся после моего пламенного монолога дыхание.

«Ну, он ведь описывает свои собственные похождения в Париже».

«Кто это вам сказал?»

«Там так написано».

«А вы что, всегда верите тому, что написано? Быть может, он вообще из Америки не выезжал. Сидел в своем городишке и выдумывал из себя сексуального монстра. Сексуального, понимаете? Первая гласная фонема произносится как звук «е», а не «э». При очень мягком стартующем «с». Как в слове «сюсюкать». Слышите, насколько так ироничнее? Сексуального... Брэм Стокер, например, писал в Уитби на севере Англии, а не в Трансильвании. И вряд ли пил кровь. Вы отдаете себе отчет, каким образом работает мифология? Особенно когда речь идет о ее поэтической стороне».

Впрочем, тут я, видимо, все же увлекся. В студенческой аудитории очень важно настоять на своем. Об этом знает даже начинающий ассистент кафедры.

Так или иначе, книгу о своих похождениях в сумасшедшем доме я не написал, и разговаривать о ней мне ни с кем не хотелось. Ни с Диной, ни с Любой, ни тем более со студентами.

От всей той истории, случившейся со мной в 1962 году, у меня надолго остался глубокий интерес к проблемам безумия, реальности прошлого и быстротечности времени. Эти мотивы волновали меня до такой степени, что я, как тот писатель, который все же не может удержаться и тянет в свой текст фрагменты собственного интимного опыта, иногда тоже был не в силах сопротивляться искушению и начинал рассуждать об этих вещах прямо во время лекций. Оправдать себя мне в этих случаях было легко. Никто ведь не мог внятно мне объяснить – как это так происходит, что между шестьдесят вторым и девяносто вторым годом лежит ровно тридцать лет, сколько бы вы их ни пересчитывали, а промчались они как один день. Как щелчок пальцев.

И кто виноват в этой математической неразберихе?

«То есть возьмем, например, женщин, – говорил я, выходя из-за лекторской кафедры и становясь прямо перед первым рядом столов. – Одни жалеют, что лучшие годы, когда им было двадцать или двадцать пять, потратили на роды, на стирку, на запах мочи, а потом – раз, и уже тридцать семь. А другие мучаются, что вот уже тридцать семь, а лучшие годы прожиты впустую – карьера, тусовки, мужчины, – но вот детей заводить уже поздно. И штука в том, что и та и другая страдают ровно от одного и того же. Ни у одной из них не получилось остаться двадцатилетней... Такой, как вы... Поэтому постарайтесь не торопить время...»

«А у мужчин? – непременно интересовался кто-нибудь из этих довольных тем, что лекция вдруг прервалась, да еще по такому забавному поводу. – Как это бывает у мужчин?»

«Тут все еще проще, – отвечал я, совершенно ясно понимая их примитивную хитрость в ожидании конца пары, но не имея уже сил остановиться. – Сначала держишь ребенка над горшком и повторяешь без конца свое «А-а», пока он не покакает, а потом он вдруг вырастает и пишет в тетрадях те же буквы «а» с маленькими двоечками и троечками в правом верхнем углу и говорит, что это алгебра и что «не мешай, папа», и что «это вовсе не «ху» без буквы «и краткое», а символы «икс» и «игрек», и «ничего ты не понимаешь». А ты стоишь и думаешь – куда же подевался тот зеленый пластмассовый горшок? И ручки у него не было, потому что вы были молоды и целовались, и окно было открыто, и в него – солнце, и ты уронил этот горшок на пол, потому что дыхания не хватило, и руки сами собой разжались, и вообще ты забыл, что он у тебя в руке, и он упал и сломался, и твой ребенок проснулся в кровати за деревянной решеткой и закричал, и воробьи за окном стали чирикать еще громче. И не было никакой алгебры. Для тебя – уже, для твоего ребенка – еще. Такое время между двумя заходами на математику. Короткое и странное, как перемена в школе... Как мечта школьника об учебном дне, состоящем из одних перемен. Хотя бы один раз в неделю... Ну, или хотя бы раз в год... Что? – говорил я в ответ на их сдержанные, но все более многозначительные прикосновения к сумкам, портфелям и шуршащим пакетам. – Пара уже закончилась? Хорошо, можете идти. Все

свободны... Не забудьте к семинару прочесть «Потерянный рай». Книг в библиотеке достаточно. Должно хватить на весь курс».

Они уходили счастливые оттого, что в конце лекции можно было не конспектировать, а я оставался и глядел в окно, испытывая смутное сожаление, поскольку все-таки проболтался, и в то же время злорадство, именно потому, что они не законспектировали мою болтовню, а, следовательно, остались не предупреждены. И значит, не одному мне в итоге маяться от всех этих фокусов, которые проделывает с нами время.

Но чаще я все же соскакивал на сумасшедших. Стоило только коснуться той сцены, когда Гамлет кладет свою голову на колени Офелии, – и безумие одного персонажа, подобно заразной болезни, перескакивает от этого прикосновения на другого, – как даже самый редкий гость на моих занятиях, который обычно усаживается с независимым видом на последнем ряду, знал, что лекция на этом закончена. Можно писать девушкам смешные записки, рисовать чертиков на крышке стола и подписывать под каждым из них мое имя.

А чье же еще? Несмотря на видимое отсутствие в аду чертей женского пола, кто-то все же сумел наставить этим беднякам рога.

Впрочем, inferнальность настольного творчества искупалась тем сосредоточенным молчанием, в которое погружался художник, слегка высунув от усердия кончик языка и позволяя мне без помех развивать мою любимую тему.

*«Страна, откуда ни один не возвращался».*

Поскольку с точки зрения туризма разница между смертью и безумием весьма незначительна. И в том, и в другом случае фирма гарантирует билет только в один конец. Путь обратно – на усмотрение самого туриста. Получится – будем рады видеть вас снова. От всего сердца. Поэтому путешественник, собирающийся в одну из этих *«undiscovered countries»*, должен отнестись к сборам в дорогу со всей серьезностью и вниманием. Неизвестно, что может пригодиться в пути. Тем более – по прибытии на место. Поведение туземцев и завсегдатаев – вообще отдельный вопрос.

Как и поведение притихшей студенческой аудитории, которая вместо того, чтобы конспектировать, жевать бутерброды или шушукаться, сидит и пристально смотрит на разволновавшегося профессора. На то, как он уронил свои записи, нагнулся к ним, замер, что-то сказал, резко выпрямился, а теперь ходит от стены к стене, так и не подняв разлетевшиеся по полу листочки, смешно размахивает руками и говорит весьма странные вещи.

«Ницше считал, что занятия искусством надо объявить уголовно наказуемым преступлением. Художников, уличенных в написании картин; композиторов, писателей, скульпторов он предлагал немедленно заключать в тюрьму. Наказанием, по его мнению, должна служить смертная казнь. Быстрая и безжалостная. Только тех, кому удалось создать настоящий шедевр, можно отпускать на свободу. Просто выпускать из тюрьмы. Это и есть награда. Плохих произведений искусства в результате этой программы должно быть значительно меньше... Но не стало... Никто не рискнул... Гитлер убивал только цыган и евреев... Сталин, в принципе, уже приближался интуитивно к концепции Ницше, но начал не с того конца. Он казнил гениев. В итоге в советской литературе получился Александр Безыменский. Такое вот имя... Ну, и писал стихи».

Я останавливался на мгновение, находил в себе силы удержать этот бьющий из меня поток, окидывал взглядом их изумленные лица и переходил к самому главному.

*«Давайте посадим гениев в сумасшедший дом».*

Я делал паузу.

*«Давайте разместим их по палатам. Пусть живут парами. Больше двух коек в палату ставить нельзя. За лучшую пару гениев ставлю автоматом зачет. Прямо сейчас. Могу в зачетку».*

Они сидели несколько мгновений вполне неподвижно, но потом их маленькие практические мозги начинали заметно шевелиться у них в черепах и шептать им, что у «препода» снова заскок и надо не упустить моментик.

«А то будешь потом париться с учебником, как лох».

Первыми, как всегда, реагировали те, кто усаживался поближе к лекторской кафедре. Этим важно, чтобы преподаватель запомнил их в лицо. Будущие работники администрации. Или шлюхи.

Как получится.

«Марк Твен должен оказаться в одной палате с Эдгаром По».

«Почему?»

«Он продолжает его романтические традиции... В некоторых произведениях».

Все-таки работники администрации. Выдает использование в речи устойчивых конструкций без понимания смысла. Для шлюх маловато мозгов и чувства собственного достоинства.

«Спасибо, девушки. У кого есть другие идеи?»

«Хемингуэя надо посадить вместе с Диккенсом», – оживали незаметные персонажи в средних рядах.

Эти – групповой портрет курса. Любого. Собирательный образ, о котором на уроках литературы любят поговорить школьные учителя. Меняется только год выпуска на снимке. И лицо куратора группы. Слегка печальное, поскольку он-то догадывается, что такое «собирательный образ» и каково оказаться с ним на одной фотографии. Вот уже в пятнадцатый раз.

«Поясните насчет Хемингуэя и Диккенса».

«Женщины, Святослав Семенович. У этих писателей были проблемы с женщинами».

«Ну и что? У всех есть проблемы с женщинами. Подозреваю, что у женщин у самих из-за этого масса проблем. Почему эти двое должны жить в одной палате?»

«Хемингуэй был женат несколько раз и все время бросал своих жен, а от Диккенса жена ушла к другому и оставила ему десять детей».

«Интересно. И что же, по-вашему, тогда между ними общего?»

«Хемингуэй мог бы помочь Диккенсу... разобраться в этих вопросах... Объяснил бы ему, как надо себя вести».

«А-а, – говорил я. – Теперь понимаю. Обмен опытом. Передовик производства берет лентя и прогульщика на буксир. Такое уже было в живописи, когда Гоген взялся присматривать за Ван Гогом. Кончилось неразберихой, бритвой, беготней и отрезанными ушами. Нет, надо быть осторожней. Гениям нельзя поучать друг друга. Наставником гения может быть только абсолютная бездарность».

«А что, если Киплинг и Шекспир?» – раздавался голос откуда-то сзади.

«Любопытно, – отвечал я. – Ждем объяснений».

В этой зоне, не доходя до самых последних рядов, селились «небезнадежные». В одной книге Бродский писал о венецианской набережной *Fondamenta degli Incurabili*, куда во время эпидемий то ли холеры, то ли чумы свозили тех, кому помочь уже было нельзя, поэтому место так и назвали – «Набережная неизлечимых». Там, откуда только что прозвучал голос, вместе с моими неясными надеждами время от времени обитал какой-нибудь студент, у которого, как мне казалось в отдельные моменты его просветлений, был шанс этой венецианской набережной избежать. Впрочем, чаще всего выяснялось, что и в этом смысле я воспринимаю действительность с излишним оптимизмом. Во всяком случае, Люба никогда не упускала возможности быть ироничной по этому поводу.

Но я все равно надеялся.



«Почему Киплинг? И почему Шекспир?»

«А помните «Книгу джунглей»?

«Интересный вопрос, – я разводил руками с деланой скромностью. – В общих чертах помню. А что?»

«Да нет, я не проверяю вас. Просто хотел объяснить, о чем речь».

«Спасибо за доверие. Итак, мы готовы».

В этот момент он обычно поднимался на ноги, чтобы его было видно из любой точки аудитории. Очень правильный ход. Беспреданно ворча по поводу выскочек, публика тем не менее любит подобные харизматические вставания. Обожает, когда появляется кто-то, кому не скучно навязывать ей себя. При этом всегда тайно рассчитывает на конфуз. Жажда посмотреть, с каким лицом бедолага будет садиться. В этом смысле публика – настоящий философ. Ей удалось постичь диалектическую драму, заключенную в бесконечной пропасти, которая пролегла между глаголами «встать» и «сесть».

«У Киплинга, – тем временем продолжал мой обаятельный наглец, – звучит такая же тема, как у Шекспира в «Макбете». Вполне, кстати, психиатрическая».

«Какая же?»

«Мания величия. Макбет в начале пьесы страдает комплексом неполноценности, но его жена делает все, чтобы он ощутил себя чуть ли не новым Цезарем».

«Согласен. А при чем же здесь Киплинг?»

«Маугли – тот же Макбет. Он занимает нишу отверженного в стае, но потом начинает лихорадочно стремиться к лидирующей позиции. Роль жены Макбета, не помню как ее зовут, – он делал нетерпеливый жест, – у Киплинга играет Багира. Видели диснеевский мультфильм? Она его все время подзуживает. И медведь Балу тоже».

«У Маугли мания величия?» – надо признать, такой интерпретации мне еще слышать не приходилось, и от этого в моем голосе неизбежно проскальзывали серебристые змейки иронии.

Однако сажать писателей в сумасшедший дом студентов до меня тоже наверняка никто из преподавателей не просил. Так что в некотором роде мы были квиты.

«Ну да. Иначе он бы просто наслаждался положением рядового волка. Власть в лесу должна принадлежать Шер-Хану. Он законный хозяин джунглей. Человек там рулить не имеет права. В джунглях человек может быть лишь человеком. Или лягушкой – как, собственно, его и назвал Акелла. Каждый должен занимать свое место».

«Но Киплинг ведь, кажется, и писал об этом. О том, как человек становится человеком».

«Да нет, Маугли у него просто бандитский босс. Как молодой Карлеоне в «Крестном отце». Помните? Пришел не на свою территорию и решил всех построить. Мания величия, точно вам говорю. Лечить надо. И у Шекспира как раз про то. Поэтому они с Киплингом должны быть в одной палате».

«Забавно. Ты правда так думаешь или выстроил эту схему лишь для того, чтобы получить автоматом зачет? Впрочем, не надо... Не говори... Давай зачетку».

Реальность моего автографа, на который уходило минуты две, – пока передадут через все ряды зачетку, пока я в ней распишусь, пока она вернется обратно, – производила наконец нужный эффект, и аудитория пробуждалась уже не на шутку.

«Слышь, он не гонит! Давай впарим скорее чего-нибудь!»

Наступало время для клоунов. На каждом курсе обязательно есть один. Или два. Начиная с выпуска восемьдесят пятого года, обращаются друг к другу голосом Ленина, Брежнева, чуть позже – Ельцина и Жириновского. Картавят, шепелявят, мычат и, в общем, несут всякую ерунду. Даже когда никто вокруг не смеется. До середины восьмидесятых

разговаривали голосом Хазанова из «кулинарного техникума» или Папанова из «Бриллиантовой руки». Историко-политический вектор отсутствовал. По причине трусоватости и ежемесячного комсомольского собрания факультета. Теперь они бесконечно и надоедливо цитируют последнюю телевизионную игру в КВН – ту самую, где скачущие мальчики, прыгающие девочки, уставшее от собственной известности и потому кокетливо рассеянное жюри, а ты умираешь от скуки, но дотянуться до выключателя просто нет сил – слева в груди опять что-то не то, «не комильфо» с точки зрения того кардиолога, которым ты, в принципе, уже мог бы работать где-нибудь в сельской больнице, и ты стараешься экономить движения. Мысль Гете о том, что юмор – это не тогда, когда человек хохочет, а когда у него слегка подрагивают уголки губ, этим шутникам не близка. Маски Бригеллы и Арлекина в комедии дель арте несомненно писались именно с них. Причем писали их художники реалисты. Сходство поистине уникальное.

Ожидая конца очередной репризы, я иногда думал, что Аристотель был прав, отказавшись писать в «Поэтике» о комическом. Наблюдая, скажем, за шутками Луи де Фюнеса, я никогда не мог понять, почему он стал так знаменит. Совершенно не смешной человек. Просто очень много шумит и размахивает руками. Быть может, смешное усматривается публикой в том, что он лыс, низкоросл и некрасив. Но в таком случае смеяться необходимо над половиной всего человечества. Впрочем, скорее всего, публика любит похотать над ним потому, что он так богат и знаменит, а у нее, тем не менее, всегда остается возможность над ним поиздеваться. Публика говорит: «Мы тебя поимели». Но тут ведь никогда не скажешь с уверенностью, кто кого поимел.

Поэтому на курсе всегда был хотя бы один клоун.

«Надо Эдгара По засадить в одну палату с сестричкой Бронте. Однозначно. Не с той, которая «Джен Эйр», а которая «Грозовой перевал».

«Вот как? Почему?»

«Подонки».

«Ты можешь говорить другим голосом? Этот мне неприятен».

«Однозначно».

«Я буду тебе очень признателен».

«Такой подойдет? Таким голосом разговаривать можно?»

«А кто это?»

«Не узнали?»

«Я сдаюсь».

«Это ваш голос».

«Мой?.. Ну, хорошо... Ладно... Говори моим голосом. Мне все равно... Так почему Эмили Бронте и Эдгар По должны оказаться в одной палате. Только предупреждаю – никакой эротики в формате поручика Ржевского. Одно нарушение, и сразу – штрафное очко. На экзамене ставлю оценку на балл ниже. Или на два».

«Так нечестно».

«Зато никаких последствий. Как в рекламе про безопасный секс. Видел по телевизору?»

«Так нечестно».

«Не хочешь рисковать – можешь оставить гэг при себе».

«Ладно, у меня есть другая фишка».

«Отлично. Ты, кстати, почему-то перестал разговаривать моим голосом. Впрочем, неважно. Что там у тебя под вторым номером? Та же Бронте и Эдгар По? Или меняешь пару?»

«Нет, пусть будут они».

«Хорошо. Теперь мы готовы тебя послушать».

Он несколько мгновений еще переживал молча драму своего несостоявшегося триумфа, проматывал в голове возможность выставить посмешней запасную историю, подавлял приступ злости и, наконец, начинал:

«Эта Бронте должна оказаться в одной палате с Эдгаром По... по-по-тому что у них будет любовь, и потом этот По ее...»

«Внимание! Будь осторожен!»

«Короче, у них родится двойня. Мальчик и девочка. Похожи как две капли воды. Только между ног...»

«Один балл потерял».

«Блин, Святослав Семенович, но это же анатомия! Даже дети в детском саду знают. В любом школьном учебнике нарисовано».

«Хорошо, продолжай дальше».

«Вот. Малыши будут очень симпатичные, и назовут их соответственно Альфред Хичкок и Маргарет Митчелл».

Он замолкал на секунду, грустно моргал и потом пожимал плечами:

«Смеяться после слова «лопата». Я же говорил – так нечестно. Первый прикол обломили, а в этот никто не въехал. Зажали зачетик, Святослав Семенович. Лучше бы и не дразнили тогда».

«Я никого не дразнил. Просто в твоей истории мало смысла».

«Ага, мало смысла! – он начинал зажимать пальцы на левой руке. – У Эдгара По ужасики, а у Бронте – «мыло». Он американец, она – англичанка. С Хичкоком и «Унесенными ветром» та же беда. Крест-накрест. Только через сто лет. Теперь он англичанин, а она – из Штатов. У нее «мыло», а у него трупачи. Только в кино. Вы же сами про него рассказывали! Я говорю – так нечестно!»

Мы продолжали с ним препираться еще несколько минут, в течение которых к дискуссии подключались другие, менее прописанные предыдущими обстоятельствами персонажи, и вся моя так называемая лекция благополучно летела коту под хвост. Среди раздающихся со всех сторон голосов звучали и такие, о существовании которых я узнавал обычно только во время экзамена. Эти искренне радовались единственной возможности вокализировать свое присутствие и, скорее всего, издавали вполне бессвязные реплики. В общем шуме разобрать, конечно же, трудно, однако в бессвязности реплик я был уверен. Чудеса случаются, Дед Мороз где-то есть, справедливость восторжествует – в это я верил всю свою жизнь, но для того чтобы поверить в осмысленность тех таинственных голосов, требовались сверхъестественные усилия. Такого напряжения ждать от меня просто бесчеловечно.

«Хорошо! – в конце концов сказал я. – Занятие окончено. Все свободны».

«Но у нас еще десять минут!»

«Все свободны! Я должен еще раз повторить?»

Когда аудитория опустела, я собрал, наконец, свои разлетевшиеся по всему полу, покрытые пылью и отпечатками студенческих ботинок листы. Заталкивая их в портфель, я снимал с них чьи-то длинные волосы, пытался отряхивать, сдувал грязь. Настроение было вконец испорчено.

«Не надо сажать писателей в сумасшедший дом», – раздался вдруг голос откуда-то с опустевших задних рядов.

Я вздрогнул и уронил портфель на пол. Листы из него опять разлетелись.

«Зачетов сегодня больше не будет!» – я почти закричал.

Сдержаться действительно было очень трудно.

«А я не хочу зачет. Я просто хотела сказать, что из сумасшедшего дома надо всех отпустить. Там можно оставить только Хемингуэя. Он бы тогда не застрелился».

Я перестал собирать свои записи и посмотрел наконец туда, откуда звучал голос.

«Почему бы он не застрелился?»

«Он был бы там счастлив».

Я выпрямился и смотрел, как она медленно спускается ко мне по левому проходу мимо пустых рядов. Пожалуй, излишне медленно.

«Как твоя фамилия?»

«Меня зовут Наташа, – сказала она. – Можно я буду писать у вас курсовую?»

«Курсовую? Но... курсовые будут только через семестр...»

«Я уже тему придумала – «Эволюция образа сумасшедшего в современном романе». Начну с Бенджи из «Шума и ярости». Можно?»

Курсовая у нее получилась абсолютно бездарная, но уже через два месяца своего научного руководства я знал, чем отличается музыка в стиле «техно» от направления «рейв», кто такой Тарантино и почему губы у меня все время обветрены.

«На ветру нельзя целоваться», – говорила она и тянула меня в подъезд.

Тихие семейные вечера с Володькой и Верой у телевизора превратились в пытку.

\* \* \*

Петру Первому следовало прожить дополнительные триста лет и настойчиво продолжать строительство своих «навигационных школ», потому что даже в конце двадцатого века, да еще разменяв пятый десяток, кто-то по-прежнему вдруг выясняет, что движется неверным курсом.

Следовательно, виноват штурман, что, в общем, неудивительно, так как во всем обычно виноваты евреи, а штурман, судя по окончанию, натуральнейший он и есть. Ничуть не меньше, чем Койфман. Который грустит о Петре Первом, поскольку сбился с курса и стал от этого, к своему стыду, совершенно счастлив.

Но «навигационная школа» все равно бы не помешала.

Потому что навык ушел. «Извините, где тут у вас паруса? Где ветрила?» Плюс надо ведь вспомнить, за какие веревки тянуть. После шестьдесят второго года корабль из гавани не выходил. Команда сушила весла, капитан спал, а Штурман переписывал в судовом журнале свою фамилию. Менял большую «Ш» на маленькую. Чтобы все считали это профессией.

И тут появляется юное создание, которое вдруг говорит: «Можно я буду писать у вас курсовую?» А тебе почти пятьдесят.

Так нечестно.

При этом бездарность курсовой влияет на отклонение от курса с той же силой, что огромный топор, засунутый зловерными пиратами под компас (точнее, «компас» с ударением на второй слог, как говорим мы, выдавшие виды соленые мариманы). То есть чем глупее получается у означенного создания начало первой главы, тем больше умиления это вызывает у т. н. научного руководителя. «У-ти-тю-ти, сюси-пуси! Вы посмотрите, как моя ляля сама научилась ходить». Излишне говорить, что это умиление абсолютно лишено каких бы то ни было отеческих чувств и по самой своей сути заточено совершенно в другую сторону. Поскольку если ты и напоминаешь самому себе кого-то из беглой семьи Лотов, то уж никак не папашу. Инцест в твоей персональной истории смутно присутствует лишь на лолито-набоковском, геронтологическом уровне. Волнует разница в возрасте, а не то, что ты когда-то стирал пленки именно этому существу. Разумеется, не стирал. Но все остальное волнует чрезвычайно.

В общем, подобные штормы не для сошедших на берег морских волков. Особенно если они никогда и не были такими уж морскими волками. Волчатами максимум или, на худой конец, очень крупными спаниелями. Но потом карьера пошла по другой линии. «Дай, касатик, я тебе погадаю. Ай, какая у тебя короткая эта линия. Сердечный ты мой! Совсем не длинная, но зато, посмотри, какая толстая». Любовь после шестьдесят второго года для меня очень быстро превратилась в табу, и корабль встал на глухую стоянку. Якорь ушел в грунт «по самое не хочу» – так, что даже колечка не было видно. Того колечка, за которое его можно вытащить в случае если что.

В случае, если – «По местам стоять! Внимание в отсеках! Свистать всех наверх! Господи, неужели это опять случилось?!» и тому подобных вещей.

В случае, если Наташа. А тебе почти пятьдесят.

Там, в шестьдесят втором году, когда я беспомощно раскачивался на гигантских волнах точно такого же шторма, непонятный стилига Гоша-Жорик-Игорек все еще распевал у себя в палате песенку о приключениях необыкновенного капитана Гарри, повторяя бесконечным рефреном последнее слово в каждой второй строке:

*«А в гавань заходили корабли, корабли.*

*Большие корабли из океана».*

Я вспоминал о нем и о том, как «в воздухе сверкнули два ножа, два ножа», и мне становилось грустно оттого, что я так и не сумел отомстить доктору Головачеву. Даже несмотря на то, что мстить, как выяснилось, было практически не за что.

Теперь, когда на меня обрушилась бестолковая история с поцелуями в подъездах, постоянным враньем дома и курсовой работой о сумасшедших, эта песня волновала совершенно особенным образом. Напряженный эротический контекст, отчаянные моряки, кинжалы, схватка в таверне – все это до известной степени тоже делало из меня отчаянного парня и головореза.

С одним инфарктом, двумя пожилыми женами и рассчитывающим на мою порядочность двадцатилетним сыном.

Но головорезы не бывают порядочными людьми. Поэтому я полюбил насвистывать песенку про гавань, про корабли и про капитана Гарри. Иногда даже во время лекций.

Этот неудержимый мачо стал моим неразлучным спутником и проводником, заняв место Вергилия. Правда, в отличие от Данте, я не сумел остаться всего лишь сторонним наблюдателем и туристом. Как соскользнувший с лекторской кафедры лист бумаги, я кругами спускался туда, где мне предстояло навсегда слиться с местным и, по-видимому, далеким от раскаяния населением.

По пути со мной происходили забавные вещи. То есть в том состоянии, в котором я находился, я не считал их в окончательном смысле этого слова забавными, но какой-то непораженный, незатронутый общим весельем участок в моей голове все же умудрялся мне сообщить, что все это, наверное, полная чушь.

Случилось так, что я полюбил песни.

Не только авантюрную историю капитана и атамана, но вообще – песни. Я стал вдруг слушать слова, покачивать головой и выяснил, что в большинстве из этих произведений рассказывается обо мне. Как на русском языке, так и на английском.

Долгие годы, когда я вскакивал с дивана, чтобы выключить радио или телевизор, или кричал из ванной комнаты: «Володька, хватит крутить эту дребедень!», оказались ошибкой. Я наконец понял, как глубоко я заблуждался, считая современные песни пошлыми, нелепыми и лишенными всякого смысла. Именно смысла в них оказалось навалом.

Выяснилось, что все они про любовь.

Даже когда в тексте звучало слово «бухгалтер», я все равно отчетливо слышал перед ним сочетание «милый мой». Эти два слова, расположенные в тесной и трогательной близости друг к другу, настолько полно компенсировали недополученное мною за последние двадцать лет, что я был готов простить распевавшим их по телевизору девушкам абсолютную и недвусмысленную вульгарность, и даже название «Комбинация», которое они придумали для своего коллектива, не вызывало у меня шока, но, напротив – пробуждало какие-то юношеские, давно забытые ощущения, связанные отнюдь не с шахматами или футболом.

– Ты всегда был эротоман, – сказала Люба, выслушав мой рассказ. – Вот тебе и грезилось нижнее белье. А песни тут ни при чем. Говорила я тебе два года назад – не бросай Веру, но ты не послушал. У тебя ветер свистел в голове. И нечего теперь спирать на эти песни. Как были дерьмом, так дерьмом и остались.

– Да нет, ты не понимаешь! – Взмахнул я рукой. – Представь, как вся эта квинтэссенция дурного вкуса в одно мгновение вдруг стала вовсе не квинтэссенцией... И каждое слово зазвучало как будто бы про меня.

– Ха! – сказала она. – Ты сдурел, «милый мой». У нормальных людей это называется – сбрендил.

Она покрутила пальцем у своего виска и пощелкала языком.

– Хочешь валерьянки? Или ты от нее еще больше дуреешь, как кот? Боюсь, я уже не могу тебе доверять. Скоро тут у меня замяукаешь. Может, тебе к Вере назад попроситься?

– Я не хочу к Вере. Я ее не люблю.

– Ха! Придумал проблему. В твоем возрасте...

Она отвернулась, но по движению ее плеч я видел, что слова о моей нелюбви ею услышаны.

– Ты не понимаешь, – продолжал я. – Вот смотри – Крис де Бург...

Я ткнул рукой в экран телевизора.

– Ну, неужели ты не чувствуешь того же, что и я? Того, о чем он поет?

– А о чем он поет?

– О девушке в красном. Он с ней танцует в пустом зале – щека к щеке, и говорит ей, как она красива.

– Боже мой, какая пошлятина, Койфман, – Люба даже прикрыла глаза рукой. – Ты что, правда так втрескался в свою вертихвостку? Ты сам-то хоть слышишь, что говоришь? Нельзя доводить себя до такого состояния. Тебе ведь этим же ртом завтра говорить о Шекспире. Иди в ванную комнату и немедленно его помой.

– Что помыть?

– Пошляк! Рот помой. Я лично уже не могу тебя слушать.

За прошедшие тридцать лет ее атака потеряла ту страсть, с которой японские летчики поднимали в воздух свои истребители в ночь нападения на Перл-Харбор, однако время от времени у меня еще появлялась возможность испытать на себе гнев божества-камикадзе, влюбленного до потери памяти в своего микадо – в то, ради чего можно и, в общем, хочется умереть.

В такие минуты моим надводным судам оставалось только открыть кингстоны, а флагманская субмарина под рев сирен и грохот зенитных орудий стремительно шла на погружение, выбрасывая из торпедных аппаратов судовой мусор и топливо, чтобы противник решил – цель уничтожена – и, может быть, все-таки вернулся домой. Несмотря на то, что возвращение в план операции в принципе не входило.

Я отлеживался на дне, прислушиваясь к потрескиванию корпуса и винтам противолодочных кораблей, словно наши подлодки во время Карибского кризиса в том

самом шестьдесят втором году, когда Хрущеву достаточно было снять ботинок и хлопнуть им по столу, чтобы мои не поступившие в институты ровесники оказались в наглухо задраенных отсеках на расстоянии торпедного удара от днищ американских эсминцев, а весь мир – в руках измотанных тяжелым походом командиров советских отчаянных субмарин.

Невзирая на свою твердую решимость не иметь больше ничего общего с женой Лота, я все же никак не мог расстаться со своим прошлым и, уходя на глубину от ударов неумолимого и все еще восхитительного противника, вновь и вновь старался разглядеть сквозь толщу морской воды и никуда не промчавшихся тридцати лет черты этого самого атакующего меня божества – моей не состарившейся еще там Рахили.

Иногда у меня возникало довольно твердое подозрение, что это прошлое, собственно, и есть все то, что я сумел накопить. Собрать по крохам и трястись над своим тайным сокровищем, как несчастный Скупой Мольера. Откажись от него – и команда к всплытию, вполне возможно, станет уже не нужна. Кто знает – что там окажется наверху, когда поднимешься и выставишь перископ?

Сплошной океан.

Как если бы в шестьдесят втором те командиры все-таки получили приказ открыть ракетные шлюзы.

\* \* \*

Однако Любу эти военно-морские аллюзии нисколько не волновали. Ценность прошлого, как и возможность ядерного апокалипсиса, в ее глазах с точки зрения математики приближалась к нулю. Ее заботили проблемы моего эстетического воспитания.

– Койфман, я принесла тебе шедевр, – сказала она, входя в квартиру и включая в прихожей свет. – Ты должен ценить. Стояла в гастрономе за молоком и записывала для тебя слова, как дура. Вот слушай... Хорошо еще карандаш под рукой оказался... Такое даже в гастрономе не каждый день услышишь по радио... Там есть такая армянка... Она все время включает свой черный приемник...

Произнеся этот монолог, Люба развернула листок бумаги и надела очки.

– Давай, я помогу тебе снять пальто, – сказал я.

– Нет, нет, подожди! Это не терпит! Да стой! Я сама потом эту сумку туда отнесу! Слушай!

Она торжественно взмахнула рукой и прочитала громким размеренным голосом:

*«Ты называла меня своим маленьким мальчиком.*

*Ну а себя – непоседливым солнечным зайчиком».*

Покачав от восхищения головой, она многозначительно улыbnулась.

– Ты чувствуешь, Койфман, какая сила? Действительно, каждое слово про тебя! Эта штука будет посильнее «Фауста» Гете! А если бы ты слышал – какой у певца был голос! Такой высокий, пронзительный... Заметь – я не говорю «писклявый». Койфман, я тебя поняла. Любовь – это прекрасное чувство!

– Человеколюбие, между прочим, не только христианская добродетель, – сказал я. – В Торе на эту тему тоже немало сказано.

– Нет, нет, подожди, Койфман, я там еще не все записала. В этой стране в очередях все ужасно толкаются... Но я старалась запомнить сюжет. У этой баллады, представь себе, имелся сюжет... Она сидела у него на коленях... Да поставь ты на пол эту несчастную сумку!

Я послушно замер и приготовился слушать. Она посмотрела на меня две-три секунды, вздохнула, сморщила нос и потом устало махнула рукой в мою сторону.

– А, ну тебя... Вечно вот так все испортишь... А было ужасно весело... Ну что ты стоишь? Неси теперь эту сумку на кухню! Хочешь, чтобы я с ней таскалась по всей квартире?.. И не надо больше делать мне таких глаз!

Вынимая из сумки продукты, она вдруг задумалась, остановилась и даже присела на табурет.

– Что? – забеспокоился я. – Принести валидолу?

– Да нет, подожди... Послушай, а ведь эта твоя вертихвостка может тебе помочь...

– Наталья?

– Ну да. С паршивой овцы хоть шерсти клок.

– Люба...

– Оставь, пожалуйста, этот тон. Я тебе о деле хочу сказать. Ты понимаешь, что такое гешефт? Поэтому помолчи... Ее Ромео ведь служит в НКВД?

– Люба, даже в шестидесятые годы эта организация называлась уже по-другому...

– Мне абсолютно плевать, как называлась, называется или будет называться эта организация! Мне важно узнать – служит ли в ней тот человек, который спит с твоей молодой женой.

Я помолчал секунду, но потом, разумеется, все же ответил:

– Да, он работает именно там.

– Хорошо, – Люба кивнула головой с таким удовлетворением, как будто ей доставляло особую радость удостовериться в том, что кто-то из моих знакомых работает в КГБ. – Так вот, он-то тебе и поможет.

– В каком смысле? Что ты имеешь в виду?

– Боже мой, Койфман, хватит делать вид, что ты меня не понимаешь. Ты же знаешь – я этого терпеть не могу!

– Но я правда не понимаю тебя.

– Пусть он вернет долг.

– Какой еще долг?

– Койфман, он спит с твоей женой. Сколько раз нужно это тебе повторять?

– Нисколько, Люба. Ты и так уже сделала мне достаточно больно. Я бы хотел, чтобы ты совсем перестала это повторять.

– Койфман, он должен с тобой расплатиться.

– Люба, то, что ты говоришь... это звучит ужасно... Это нелепо...

– Койфман, он должен помочь твоей невестке, – неожиданно твердым голосом остановила она меня. – Он просто обязан. Если он откажется, можешь считать его совершенно бесчестным человеком.

Я хотел что-то сказать, но не нашел слов. Просто смотрел на нее в изумлении, а она кивала мне головой.

– Да, да, Койфман. Ты ведь не способен сам ей помочь. Нельзя, чтобы она садилась в тюрьму. У нее в животе твой внук. Тебе придется позвонить этому человеку. Вот увидишь, он не откажет.

Я стоял перед ней молча еще целую минуту или, может быть, две. Потом сел на соседний табурет и покачал головой.

– Я не смогу. Это унижительно, Люба.

Следующим утром она отправилась за документами на отъезд в США. По ее подсчетам, они уже были готовы.



Вернулась к обеду ужасно расстроенная, долго не хотела мне ничего говорить, наконец расплакалась и сказала, что все пропало.

– Они хотят, чтобы я умерла в этой стране, Койфман. Они считают, что без Любы Лихман эта страна не проживет. Ты представляешь, как много я для них значу. Какая честь, Койфман, какая честь...

### Мужские радости

Я посмотрел в зеркало и сказал:

– Ну, и куда я в таком виде пойду?

Она хихикнула, мелькнула у меня за спиной и ничего не сказала. Потом еще раз мелькнула.

Я подумал: «Туда-сюда. Странно».

Но потом додумал: «Всему есть свое объяснение. Женщины должны мелькать».

– Ты скоро?

Она прошуршала в своем шелке у меня за спиной еще раз. Шик-шик, шик-шик. Красная, как фестиваль эстрадной песни в Сопоте.

– Куда я пойду? Там же генерал будет. Смотри, что ты сделала.

Она скользнула между мной и зеркалом.

– Где? Ну, покажи. Вот здесь, что ли? Да ерунда.

Потерла пальцем.

– Хочешь, пудрой присыпем?

На эту тему, лет десять назад всю контору повезли на стрельбы. Председатель на совещании сказал: «Что-то оперативники у нас давно не стреляли».

А половина офицеров уже с мамонами, как сундуки. На огневой удобно только в положении «сидя».

Как груднички в кроватке. И ножки раскинули, чтоб потверже сидеть.

Потому что если «лежа», то получают качели. При беглом огне даже в слона не попадешь. Сильно раскачивает через пузо.

Шутка.

Но мне ничего. Два раза в неделю спортзал, и по выходным – бассейн. Даже в сорок переплывал его туда-сюда десять раз. И сейчас, если надо, переплыву. То есть в порядке. Без складок над брюками обошлись.

Потому, кстати, она и мелькает. Так бы мелькала где-нибудь в другом месте.

Я тогда взял пулемет. Молодежь стреляла из полуавтоматического, а я говорю: «Дайте-ка мне вон ту дуру». Чтобы знали, кто в доме хозяин.

И снял рубашку.

Не то что выпендриваться хотел. Типа Рэмбо весь из себя. Просто жарко было. Июль.

Когда приехал домой, жена сказала: «Откуда у тебя засосы?»

Я говорю: «Это не засосы, а синяки».

Она говорит: «Знаю я твои синяки».

Так и не поверила. А там на прикладе такая пимпочка, куда ершик вставляется для чистки ствола. Он там хранится. И у этой пимпочки крышка с пружиной. После первой же очереди приклад к плечу присосался. Как пиявка. Отдача сильная. Я его – чмок – оторвал, и по новой.

Молодежь смеется. Говорят: «Михалыч, тебя жена из дому прогонит». Но потом притихли.

От мишени одни клочья остались.

Я поднимаюсь и говорю: «Вот так, молодые люди. Родина может спать спокойно».

Но с женой все равно потом разошлись. После Горбачева в конторе это уже никого не волновало. До перестройки только следили за такими делами. Как в церкви. У них тоже батюшка должен быть женат. Надежнее.

И дополнительный контроль. Пеньковскому в Штатах за утечку по ракетному топливу памятник из чистого золота могли поставить. Но не поставили. Потому что жена чекиста только во-вторых жена. Ей известно, что надо делать, когда муж предатель.

Так что теперь у меня просто Наталья. Мелькает и ни о чем не думает. Ей важно не опоздать в ресторан.

– Ну, чего замолчал? Говорю тебе – давай пудрой присыпем.

В итоге я все равно собрался быстрее. Хоть на пальцах пересчитывай: раз – красное платье, два – синее, три – опять красное. Им нравится выбирать. Знают, как из одной проблемы сделать четыре. Потому что четвертая проблема – это я.

Платье – шшик – на пол, а я стою и смотрю. Второе – шшик – и мне уже начинает нравиться. Третье – шшик – и я думаю: «А, может, вообще никуда не пойдём?»

И говорю.

Но она смеется и просит застегнуть молнию.

Тоже ничего. Согласились. Спина под шелком на ощупь приятная. Замок по такой скользит как по маслу. Сначала вдоль попы, а потом – в ложбинку на талии. Нырять как лодочка с крутой волны. Только шляпу придерживай.

То есть хорошая досталась. Не жалуемся. У одного еврея увел.

Ему все равно не в коня корм. Профессор.

– Все, я готова, – сказала она.

– Правда, что ли?

– Нет, пошутила. Принеси из кухни мои сигареты. Они где-то там.

Я протопал на кухню и оттуда кричу:

– На столе нет.

– А в шкафчике?

Я открыл шкафчик, посмотрел.

– Нету.

– А на подоконнике?

– Слушай, может, ты сама их поищешь? Чего мы через всю квартиру орем?

– Я в обуви.

– А я в чем?

И тут раздался звонок в дверь.

Вот что мне не нравится, так это звонки в такую минуту. Сто процентов. Можно даже не спрашивать. То есть ты тут собрался, напудрился, ищешь ее дурацкие сигареты, а они вдруг звонят. Нельзя, что ли, позвонить соседям? Те, скорее всего, никуда не идут.

– Открывать?

– Подожди, – крикнул я. – Вот они, твои сигареты! Я сейчас сам открою.

Подошел к двери и посмотрел в глазок.

– Ну что? Кто там? – шепчет она. – Чего ты застыл? Будешь открывать или нет?

– Сегодня какое число?

– Двенадцатое.

Я сел на подставку для обуви.

– Ты чего, Николай? Кто там?

– А ты не могла с утра мне напомнить, что сегодня двенадцатое число?

Она уставилась на меня, и глаза у нее стали круглые-круглые.

– Не поняла.

– Да иди ты.

И мы оба молчим. Через полминуты раздался второй звонок.

– Принеси табурет, – сказал я. – На вот, твои сигареты. Можешь курить сколько влезет.

– Подожди, мы ведь опаздываем! Ты же сам меня торопил.

– Уже не опаздываем. Неси табурет.

Встал и пошел к себе в комнату. Мне на это смотреть неохота. Видели все уже.

– Открой ему! Пусть заходит.

Сел в комнате, отдыхаю. Газету взял. Думаю: «Свежая. Посмотрим, что тут у нас».

– Зашел? – кричу так, что голубь с подоконника чуть не свалился.

– Да.

– Хорошо.

А в газете непонятно про что пишут. Кто только читает всю эту чушь?

– Сел он там?

– Сел.

– Ну и пускай сидит.

Голубь смотрит на меня через окно, а я на него. Так и сидим. Я ему кулак показал. Он отвернулся.

А в прихожей полная тишина.

Я думаю: «Чего это они там притихли?»

Кузнецов посмотрел на меня и говорит:

– Подстригся, Николай Михалыч? Раньше волосы вроде длиннее носил. Или лысеешь?

Наталья стоит в углу. На ней пальто застегнуто на все пуговицы. Смотрит на него, потом на меня и говорит:

– А почему ты так непонятно выглядываешь? Ты можешь сюда весь войти и объяснить мне, в чем дело? Кто это?.. Вы кто такой?

Кузнецов говорит:

– А вам Николай Михайлович обо мне ничего не рассказывал? Сегодня же двенадцатое число.

Наталья как закричит:

– Да слышала я уже про это двенадцатое! Вы можете толком мне хоть что-нибудь сказать? Мы идем в ресторан или нет, Коля?

Кузнецов на «Колю» насторожился, и я убрал голову из двери.

Через секунду в прихожей его голос:

– А я подумал – вы дочка. Просто, думаю, до этого с мамой жила. Поэтому я вас раньше не видел. Так и подумал, когда вы дверь мне открыли.

Я кричу:

– Ты сидишь там – вот и сиди! Догадки свои при себе можешь оставить!

И мы все опять замолчали.

Наконец Наталья не выдержала и говорит:

– Ну, я не знаю! Это какой-то идиотизм. Со мной такого еще никогда в жизни не было. Хоть кто-нибудь понимает, что происходит? Я лично – нет! И в этом пальто я уже вся вспотела!

А в газете – ну, вообще, ничего. Шаром покати. Хоть бы про футбол что-нибудь. Или про Пугачеву.

Вдруг за окном как шарахнет. Наталья в прихожей ойкнула.

– Опять стреляют?!!

И мне через дверь кричит:

– Коля! Что это? Снова пугч? Стреляют – слышишь? А ты ничего не говорил!

– Это дети, – сказал Кузнецов. – У них карантин. Все школы из-за гриппа закрыты. Поэтому они взрывают китайские петарды у вас во дворе. И вообще по всему городу. Я пока шел от метро, два раза бабахнуло. Очень страшно. Неожиданно потому что.

– Идиоты! – сказала Наталья.

– У нас дома уже все переболели, – добавил Кузнецов. – Две девочки и один мальчик. Еще до карантина.

– Твои дела семейные никого здесь не интересуют! – крикнул я из-за двери. – Сиди и помалкивай!

А потом думаю: «Чего это Наталья там с ним стоит? Шибздик, конечно, но кто его знает».

Приоткрыл дверь и говорю:

– Иди-ка сюда.

Она посмотрела на меня и скрестила на груди руки. Волосы на висках слиплись от пота.

– Может, хватит оттуда выглядывать?

Я ей повторяю:

– Иди сюда.

Не очень таким громким голосом.

Но ей уже начихать. Даже на негромкий голос. Хотя обычно пугается.

– Сам иди. Я собралась в ресторан – я раздеваться не буду!

Я говорю:

– На-та-лья.

Она отвечает:

– Че-го-о?

В те же три слога.

Я думаю: «Ну, теперь понесло. Не успокоится, пока не прижмешь как следует. Думает – если жопа красивая, то перед ней все будут хвостом вертеть. Наивная, как президент СССР Михаил Горбачев. Ничего, жизнь научит».

Но не при этом шибздике. Сейчас уйдет, тогда побеседуем.

Я дверь прикрыл, но сам от нее не отхожу. Даже если тихо будут говорить, все равно услышу.

Но они говорят нормально.

– Зажигалочки не найдется? – Натальин голос.

– Вот, пожалуйста.

Чирк-чирк.

– Спасибо. Вас не угостить сигаретой?

– У меня есть.

– Тогда курите. Чего мы будем здесь просто так время терять?

Я думаю: «Ловко придумали. Заняли мою прихожую и курят как у себя дома».

Кузнецов говорит:

– Если вы собирались куда-то идти, вы идите. Я один могу тут посидеть. Потом уйду и дверь за собой просто захлопну. Я знаю, как она закрывается.

– Ага, размечтался! – кричу я через свою дверь. – Может, тебе еще денег дать? Шутка.

– Нет, денег не надо. То есть надо, но у тебя я не возьму.

– Гордый?

– Да нет, не особенно. Просто твои деньги мне не нужны.

Я говорю:

– Гордый... А знаешь что?

Он говорит:

– Что?

Я говорю:

– Гордость фраера сгубила.

Он говорит:

– Я знаю. Только мне непонятно – кто такой «фраер».

– А это – много будешь знать, скоро состаришься. Тебе еще долго сидеть? Мы правда опаздываем.

– Пятнадцать минут.

– Ну, сиди. Только, смотрите, пепел там на пол не сыпьте! Наталья, может, снимешь пальто и пройдешь сюда?

– Мне здесь нормально.

Я думаю: «Ну, подожди. Сейчас этот шибздик уйдет».

Они еще покурили молча, и потом Наталья ему говорит:

– Ладно, я поняла... Это у вас ритуал какой-то... Рыцари плаща и кинжала... Вы, типа, масоны, что ли? Последние из могикан... Чук и Гек... Или как там его? Чингачгук?

– Да нет, что вы, – говорит он. – Все далеко не так поэтично. Виноваты перчатки Леонида Ильича Брежнева.

– Чьи перчатки?

У Натальи от удивления даже голос чуть-чуть изменился. А, может, она просто затянулась сигаретой в этот момент. Так бывает. И голос сразу становится такой ватный.

– Генерального секретаря ЦК КПСС и председателя Совета Министров.

Она помолчала и потом говорит:

– Не поняла.

А он:

– Да в этом нет ничего интересного.

Но Наталья – человек любопытный.

– Нет, нет, подождите! Как это – ничего интересного? При чем здесь Брежнев? Я не понимаю. И перчатки его при чем?

Я думаю: «Расскажет или не расскажет? Мемуарист долбаный».

Он помялся и все-таки рассказал:

– Я в середине семидесятых работал в одном институте. Занимал должность доцента. И к нам приехал Брежнев зачем-то. Ректора, кажется, награждать. И он там ходил по коридорам, кашлял и заглядывал в аудитории. А потом вдруг начал всем пожимать руки. Даже студентам. Но перчаток не снял. В перчатках со всеми здоровался. Может, ему холодно было, я не знаю... А на следующий день я в деканате пошутил по этому поводу. Сказал голосом Брежнева: «Нас голыми руками не возьмешь». Передразнил... То есть, ну, глупость совершенная... Просто за язык потянуло... Мне даже в голову не могло прийти, что это крамола. К тому же я был уверен, что вокруг только друзья... Десять лет уже там отработал... Начиная с лаборанта. Но кто-то куда надо написал письмо, и очень скоро в институте появился ваш... я имею в виду – Николай Михайлович. Он был тогда еще молод и, кажется, в чине старшего лейтенанта.

– Капитана! – крикнул я.

– Ну, капитана, – согласился Кузнецов.

– Слушай, может, закончим вечер воспоминаний?

– Нет, мне интересно, – сказала Наталья. – Рассказывайте, что было потом.

– Да ничего особенного, – ответил он. – Обычная в таких случаях рутина. Для Николая Михайловича, я уверен, это дело вообще было ужасно скучным. Не надо ни за кем бегать, ни в кого не надо целиться из револьвера.

– Револьверами не пользуются уже давно! – крикнул я.

– Ну, из автомата... Из чего там вы целитесь?.. Вот... После этого меня уволили, а потом не брали на работу уже никуда... Только в ЖЭК и в котельную. И еще я подметал. Пробовал писать докторскую, но ни один совет не соглашался назначить научного консультанта. Не бывает дворников докторов наук... А когда началась перестройка, я стал приходить сюда. Раз в год. В тот самый день, когда к нам в институт приезжал Брежнев. У меня он помечен в календаре.

– Зачем? – сказала Наталья.

– Не уверен, что знаю... Но, мне кажется, простой шутки – к тому же не очень удачной – все-таки мало, чтобы испортить человеку всю его жизнь. Для этого нужны какие-то более веские причины. Я ведь всего-навсего обыватель. Никакой не борец. Я имею в виду – не Вера, там, скажем, Засулич... Какой смысл был в том, чтобы смешивать меня с грязью?

– Был бы смысл, мы бы тебя вообще закатали на Колыму, – крикнул я. – Хлебнул бы мурцовки. Ты же кандидат наук. Законы физики должен вроде бы понимать. Знаешь ведь, что бывает с тем, кто ссыт против ветра.

– Это ты о категории страха?

– Нет, это я о том, у кого нет мозгов.

Он не сразу ответил. Я даже подумал – обиделся.

– Ты знаешь, – сказал он, – я долго размышлял на эту тему и понял, что бояться не надо.

– Смотря чего.

– Нет, вообще ничего. Просто ничего бояться не надо.

– Сам придумал?

– Я же говорю тебе – долго размышлял.

– Молодец. У тебя работа такая.

– Нет, у меня работа подметать двор.

– Никто тебя, между прочим, не заставлял дискредитировать первое лицо государства.

– Никто. Только над ним теперь смеются по всем телевизионным каналам. И никому не страшно. И ты не страшный... Раньше я тебя очень боялся. Даже спать иногда не мог. А

теперь – ничего. Нормально. Посижу у тебя и пойду в магазин. Хлеба надо купить. Я по дороге в булочную к тебе зашел. Всего две станции на метро. Крюк совсем небольшой.

– Да. Я вижу – ты стал очень смелый. С авоськой ко мне пришел.

– Можешь иронизировать, но мне это правда досталось не так легко... Я просто подумал... Понимаешь, больше всего на свете человек боится смерти. Остальные страхи второстепенны. Их можно преодолеть. А тут – как об стену. Умрешь – и на этом все... Но я вдруг подумал, что жизнь и смерть, как явные противоположности, должны обладать сходными параметрами. А жизнь ведь конечна... В этом ее главное свойство... И это знает каждый дурак... Каждый идиот знает... Так, значит, и смерть... То есть она тоже кончится... И тогда – бояться, получается, нечего. Ты понимаешь? Совсем нечего.

Я посмотрел на часы.

– Понятно. Спасибо, что объяснил. Только твои пятнадцать минут закончились. Наталья, уברי за ним табурет. И окурки положи в пепельницу.

Когда входная дверь хлопнула, я вышел в прихожую. Наталья стояла на том же месте с новой сигаретой в руках.

– Ну, у тебя и работа, – сказала она, сделав губы трубочкой и выпуская дым. – Может, на пенсию выйдешь?

– Мысль неплохая... Только, знаешь...

Я хотел наехать на нее пожестче за все эти выкрутасы в прихожей, но потом вспомнил про ресторан и про то, что генерал уже наверняка на месте. Пора было выдвигаться. К тому же с такой красивой задницей она имела право на некоторые вольности. Будем считать их подарком судьбы.

От нашего стола – вашему.

«А то вдруг вечером не захочет. Телевизор, что ли, сидеть и смотреть?»

– Что? – сказала она.

– Да нет, ничего. Всякая чепуха. Мы идем или нет?

– Ты меня спрашиваешь?

### **Рахиль Часть третья**

Николай назначил мне встречу в Александровском саду. По телефону он говорил весьма сдержанно и без особой приветливости, однако раздражения на мою просьбу увидеться я в его ответе не уловил. Выслушав меня, он просто попросил перезвонить, но через полчаса сам позвонил мне на кафедру.

– Увидимся в два пятнадцать, – сказал он. – Ты можешь там быть ровно в пятнадцать минут третьего?

– Могу, – сказал я. – А к чему такая точность?

– Потом объясню. Не опаздывай, а то ты меня подведешь.

Я не хотел никого подводить, поэтому вошел в Александровский сад без пяти два. Когда я звонил Николаю, во мне теплилась смутная надежда на то, что он пригласит меня к себе домой, и я хотя бы мельком смогу увидеться там с Натальей. Расхаживая теперь по заснеженной аллее, я немного грустил оттого, что этим надеждам не суждено было сбыться, однако в то же самое время испытывал странное облегчение, поскольку увидеть ее, вписанной в мир, который построил для себя другой мужчина, было бы для меня, скорее всего, еще мучительней, чем не увидеть ее совсем. Перемена контекста всегда губительнее простой утраты. Исчезновение Моны Лизы с полотна Леонардо, пожалуй, еще можно перенести, и, в принципе, даже привыкнуть к нелепой пустоте в центре осиротевшего пейзажа, но если бы пропавшая дама вдруг улыбнулась с какой-нибудь другой картины – вот это был бы уже караул.

Я присел на одну из скамеек и вспомнил, как рыдал в детстве, случайно увидев свой украденный велосипед под чьей-то промчавшейся мимо меня чужой отвратительной задницей. Самым обидным казалось то, что велосипед этой заднице совершенно не подходил. Он был ей абсолютно чужим, и я мог поклясться, что в считанные секунды, когда он пронесся мимо меня, я успел отчетливо ощутить тот ужасающий дискомфорт, от которого он страдал под неправильным игом чужих ягодич.

Так или иначе, но слезы мои были гораздо крупнее, обильнее и, кажется, даже более соленые на вкус, чем за месяц до этого, когда, собственно, и произошла утрата. Точнее, мировоззренческая дефлорация, поскольку девственная вера в человечество после этого происшествия в моей душе, разумеется, не восстановилась уже никогда. Физиология есть физиология. Впрочем, это был далеко не единственный случай в моей жизни, когда процесс потери оказался необратимым.

– Здорово, профессор, – жизнерадостно сказал Николай, подходя к моей скамейке. – Мерзнешь? Чего так оделся легко? Новый год скоро, а ты в плаще.

– Он на меховой подстежке. К тому же по радио обещали потепление.

– А ты все ждешь, когда тебе чего-нибудь пообещают? Хочешь, я тебе денег дам? В долг. Потом вернешь, когда будут. Купи себе пальтецо.

– Нет, спасибо. Я хотел о другом поговорить...

– Сейчас, подожди! – он остановил меня властным жестом. – Достань сигареты и дай мне закурить. Быстро!

Его тон изменился так неожиданно, что я опешил и на мгновение оцепенел.

– Давай, давай, – сдавленным голосом прошипел он. – Не сиди как истукан. Шевелись!

Я запустил руку в карман плаща и вынул оттуда мятую пачку.

– У меня «Беломор»...

– Неважно, – сказал он и нагнулся ко мне, чтобы прикурить. – Прошли?

– Что? – Я был абсолютно сбит с толку его поведением.

– Двое сзади меня. Один в такой дутой оранжевой куртке. Прошли или нет?

Я повернул голову вслед удаляющейся паре.

– Прошли. А кто это?

– Неважно. Как только сядут на скамейку в дальнем конце аллеи, скажешь мне. Понял?

– Да.

Он продолжал стоять, склонившись ко мне, как будто что-то мне говорил, а я косил глазами в сторону, чтобы, во-первых, уследить за оранжевой курткой, а во-вторых, не смотреть в его зрачки, которые весело блестели прямо перед моим лицом.

– Давай, давай, профессор, помогай Родине.

Я не был уверен, что он это сказал, но в тот момент мне так показалось. Хотя губы его оставались практически неподвижны.

– Сели, – сказал я примерно через двадцать секунд, сдерживая дыхание.

– Отлично.

Он наконец выпрямился, затянулся папиросой поглубже, подмигнул, сел на скамейку рядом со мной и ласково обнял меня за плечи.

– Вот так и сидим, – негромко сказал он.

– Что происходит?

– Работаем, профессор. Ловим шпионов. А ты как хотел? Середина рабочего дня. Ты что, думал, я ради тебя отложу работу? Радуйся, что я к тебе домой с ней не пришел. Ты, кстати, где живешь? Мои ребята пробрили – тебя нигде нет. Квартиру твой сын продал. В бомжи, что ли, решил податься?



– Это мое дело. Где хочу, там и живу.

– Ладно, профессор, не ерепенся. Я просто так спросил. Живи, где хочешь.

Мы посидели так еще пять минут, не говоря друг другу ни слова. Ситуация все больше напоминала дурной сон. Причем снился этот сон явно не мне. Каким-то образом я угодил в одно из сновидений Николая. Впрочем, если это все снилось ему, тогда сон, возможно, был не такой уж дурной. Кто его знает, к чему он привык на своей работе.

– Сейчас этот в оранжевой куртке уйдет, – сказал Николай. – Ему надо позвонить жене.

– Да? Откуда ты знаешь?

– Это мой человек. Мы пришли за вторым. Нас интересует высокий в пальто. Вот видишь, оранжевый встал и пошел. Сейчас подойдет дама.

– Она тоже твой человек?

– Нет, ей надо с кем-нибудь переспать.

– Понятно, – сказал я, хотя все это мне было совершенно непонятно.

– Я имею в виду – за деньги.

– Ага, – кивнул я, как будто мысль насчет денег многое проясняла. – Интересно, но если она не твой человек, откуда ты знаешь, что она подойдет?

Николай впервые оторвал взгляд от мужчины в темно-синем пальто и посмотрел на меня.

– Подойдет, куда она денется? Они всегда здесь подходят. Это такая скамейка. Богатые стервы покупают себе мужиков. Хочешь заработать – сам можешь попробовать. Сейчас мы его заберем, а ты потом сядь туда и подожди пять минут. Может, на свои лекции после этого ходить не захочешь.

– Да ты что? Правда бывают такие скамейки?

– Я тебе больше скажу – бывают такие бабы. Ну ты даешь, профессор. Совсем в своем институте мхом оброс. А жизнь тем временем идет мимо. Рыночные отношения на дворе. За полчаса на этой скамейке заработаешь три своих профессорских оклада. Как минимум. Хотя не знаю – сумеешь ли? Для местной публики, наверное, староват. Надо тебе подумать над своим маркетингом. Внимание!

К мужчине в синем пальто подошла женщина, о чем-то спросила его и пошла дальше, покачивая голубым пластиковым пакетом с огромной латинской буквой «L».

– Отбой, – сказал Николай. – Ложная тревога.

– А зачем его арестовывать именно так? Подойди к нему и надень наручники, или что вы там обычно при этом делаете... Выкрути руки...

– Злой ты, профессор, – усмехнулся он. – А работа у нас, между прочим, полезная. И даже иногда опасная. Просто на этого у меня ничего нет. А он сегодня улетит к себе в Осло. Пробовали подсылать ему проститутку, он им отказывал. Наркотики не подбросишь – не тот персонаж. Тоже, как ты, профессор. Норвежский консул будет просто смеяться нам в лицо. А мне надо-то задержать его в России всего на семьдесят два часа. Понимаешь? Поэтому и сидим здесь. Сейчас дамочка подойдет, а потом ты включаешься в дело.

На мгновение мне показалось, что я ослышался. Рядом громко кричали какие-то дети с цветными лопатками и зеленым ведром.

– Понял? – сказал Николай. – Как только она дает ему деньги, мы с тобой подходим и ты говоришь ему, что он задержан.

– Подожди, подожди? – Я почувствовал, как у меня все похолодело внутри. – Кто говорит, что он задержан?

– Профессор, сейчас не до этого. Она может подойти в любую секунду. Будь начеку.

– Ты что, совсем обалдел? – Я смотрел на него не в силах найти других слов. – Ты спятил?

– А кто будет с ним говорить? Я что ли? Я языков не знаю. Ты же у нас профессор. Наталья сказала, что ты чешешь на пяти или на шести.

– Постой, ты с ней это обсуждал?

– Ну да, а с кем же еще? Она мне тебя и предложила. У меня переводчиков больше нет. Не могу же я своего человека светить. Он потому и ушел – тот в оранжевой куртке. Нам знаешь как сократили штаты. Не платят уже никому. Офицер получает меньше, чем дворник...

– Да плевать я хотел на твои штаты!

– Не кипятись! Люди смотрят. Наталья сказала, чтобы я тебе заплатил. На вот, держи.

Он вложил мне в руку несколько смятых купюр. Я хотел бросить их под скамейку, но он вдруг схватил меня за локоть и потянул по аллее.

– Все, профессор! Пошли! Вот она! Давай, давай, быстрее!

Хватка была настолько сильной, что я едва не застонал от боли. В ушах как колокол грохотало сердце.

– Давай, давай, профессор! Надо успеть!

Когда мы подбежали к этой злосчастной скамейке, по обе стороны от норвежца уже сидели сотрудники КГБ. Оба они были одеты в черные кожаные куртки и сосредоточенно держали перепуганного иностранца под локти. Еще один стоял рядом с ошарашенной дамой в норковой шубе и держал ее за руку, из которой торчала купюра достоинством в сто долларов.

Как в странном сне, который – это было ясно теперь – снится отнюдь не Николаю, или как в романе Кафки, я вдруг некстати подумал, что этих денег мне действительно на кафедре не заработать – во всяком случае, не за такой короткий срок.

Я посмотрел на свою свободную руку – не ту, за которую меня все еще крепко держал Николай, – и с удивлением понял, что его деньги по-прежнему зажаты у меня в кулаке. Я так и не выпустил их, пока он тащил меня через всю аллею. На глазах переставших размахивать лопатками притихших детей.

– Короче, давай, профессор! Удиви его! – сказал Николай, слегка задыхаясь от бега.

Я перевел взгляд на норвежца. Из-за тонких очков на меня смотрели глаза, полные непонимания, беспомощности и страха.

– Скажи ему, что он задержан. Говори! Чего ты молчишь?

Я разжал левую руку и смотрел, как из нее на снег падают деньги.

– Так, быстро все подобрал! – Он на мгновение отпустил меня, чтобы я мог собрать купюры.

Но я, почувствовав неожиданную свободу, развернулся и медленно, как во сне, побежал к выходу из аллеи. Тротуар под ногами скользил, прохожие расступались, дети открывали рты, но я не слышал, что они мне кричат. Все звуки заглушал грохот сердца.

Николай догнал меня у ворот. Железные створки были едва приоткрыты, и мне пришлось остановиться, чтобы протиснуться сквозь них. Он добежал до ворот раньше, чем мне удалось это сделать. Просунув руки через литую решетку, он схватил меня за плащ и изо всех сил притянул к воротам с другой стороны. Я стукнулся головой, и некоторое время мы так и стояли, разделенные высокой решеткой. Я не видел его, но чувствовал горячее дыхание у себя на левой щеке. Потом я его услышал.

– Ну ты даешь, профессор... А говорил – спортом не занимаешься... Еле тебя догнал... Устроил тут мне тараканьи бега... Сказал бы сразу, что по-норвежски не понимаешь... От тебя студенты тоже так бегают, когда не готовы к экзамену?

– Я... не буду тебе переводить, – задыхаясь, сказал я.

– Да я уже понял... Догадливый... Ты о чем хотел поговорить-то со мной?..

\* \* \*

Много говоришь с людьми или мало, но с годами выясняется, что конструкция всякого разговора предполагает почти абсолютную невозможность взаимного понимания. Диалоги Платона замечательны в этом смысле именно тем, что не только запутавшиеся собеседники не понимают Сократа, но и Сократ, в общем-то, не понимает их. Все эти споры об истине, добродетели и конечном торжестве справедливости красноречиво говорят лишь об одном – мир создан так неповторимо прекрасно, что мы не в силах поведать друг другу об этой удивительной красоте. Ее неповторимость разделяет нас так же неизбежно, как стенки материнского чрева отделяют плод под сердцем одной женщины от точно такого же не родившегося еще младенца в утробе другой. Пусть даже обе будущие мамы сидят бок о бок в приемной врача и ведут, как им кажется, чрезвычайно близкий их сердцам разговор. В любом случае и та и другая говорят о своем. Им не понять друг друга. Каждый из нас рождается в условиях и по законам той единственной красоты, о которой нам не суждено поведать миру. И мир, похоже, благодарен нам всем за это. Нет, Платон писал не диалоги. Он написал поэтическую драму непонимания.

Во всяком случае, когда я сообщил Вере, что ухожу от нее, она так и сказала: «Я не понимаю тебя». Как будто я говорил на мандалайском языке. Если такой существует.

«Я не понимаю тебя», – сказала она, и в этом мы с ней были очень похожи. То есть среди нас двоих затесался один, которого мы оба не понимали.

И это был я.

На каком еще языке я мог объяснить ей, а заодно и себе, что, собственно, со мной произошло и какой паровоз меня переехал, раз уж она не понимала мой мандалайский? Какой лингвист сумел бы проанализировать строй того языка, на котором я никак не мог передать ей даже своего собственного изумления?

И что мне сказал бы Сократ, попади я в эпицентр его диалектических упражнений? Полных укоризны, само собой.

**Сократ:** Поделись же с нами, незнакомец, своими мыслями. Что, по твоему разумению, есть счастливая старость?

**Пока еще неясно кто, но очень печальный:** Брось, старина. Разве тебя самого не колотит твоя же собственная жена Ксантиппа? Все говорят, что колотит. Так что нечего тут сидеть и намекать, будто доволен семейной жизнью на склоне лет.

**Сократ:** Как интересно ты говоришь. Но скажи нам прежде всего – отчего у тебя нет имени? Вот у меня есть имя, и про Алкивиада мы все знаем, как его зовут, и даже Протагор известен среди нас под тем именем, которое дал ему отец, а вот про тебя мы ведь ничего не знаем. Как называешь ты себя сам?

**Пока еще неясно кто, но очень печальный:** Если хочешь, зови меня Алкивиадман. Или Койфматогор. Как тебе нравится.

**Сократ:** Ты, по моему разумению, из финикийцев?

**Койфматогор:** Лишь по отцу.

**Сократ:** И как же у вас, у финикийцев, определяется счастливая старость?

**Койфматогор:** Да я ведь, Сократ, не такой старый уж человек, чтобы знать ответ на эти вопросы.

**Сократ:** Я задал тебе, финикиец, ровным счетом один вопрос. Почему же ты говоришь «вопросы»?

**Койфматогор:** Потому что старость, Сократ, способна умножить все – как печали и радости, так и вопросы.

**Сократ:** Мне думалось, что в нашем с тобой возрасте множиться должны ответы.

**Койфматогор:** Не множатся, Сократ. Не множатся, хоть убей. Очевидно, это такое же распространенное заблуждение, как то, что старикам жить хочется меньше, чем молодым.

**Сократ:** В этом я с тобой соглашусь, финикиец. Но как же все-таки ты определишь счастливую старость, зная теперь, что старикам жизнь так же мила, как и молодым людям? И не уклоняйся больше от моего вопроса – вот о чем я тебя попрошу.

**Койфматогор:** Хорошо, Сократ. Я, пожалуй, отвечу тебе, какой мне видится счастливая старость.

**Сократ:** Рады будем послушать тебя. Вот и Алкивиад, хоть он еще молод, перестал смотреть на танцовщиц и даже не велит, чтобы ему долили вина. Такое, финикиец, бывает нечасто.

**Койфматогор:** Счастливая старость, Сократ, это когда прекрасная девушка, моложе тебя на тридцать лет, вдруг пишет у тебя на руке свое имя. Вот здесь, на внутренней стороне. Чуть выше запястья.

Впрочем, я все же немного наврал Сократу. «Прекрасной девушкой» Наталью назвать было нельзя. Просто – чего не сделаешь, пытаюсь убедить какого-нибудь упрямого грека? С другой стороны, как выразился один мой студент, «на вкус и цвет – у каждого свой фломастер». Вот и рисуем. У кого – Юдифь с заспанной головой Олоферна (отличная, кстати, была бы реклама снотворного), а у кого – Джина Лолобриджида с обложки пятидесятых годов. И плечики кокетливо оголены. Но нам чужого не надо. Со своими бы девушками разобраться в конце концов. Пусть даже прекрасными их называешь только в полемическом запале.

Но имя на руке все-таки было. Тут уж я не соврал. Точнее, инициалы. «*Она рисует на руке заветный вензель Н да Е*».

Вера спросила: «Это что у тебя?»

Вот в этот момент я как раз и сказал: «Я ухожу. Больше так продолжаться не может».

Потому что к тому времени речь не шла уже ни о каком призе. То есть сначала я еще забивал себе голову всякой чепухой насчет того, что имею право, что это мой приз, что не зря ведь всю жизнь только и думал что о работе, и теперь вот «награда нашла героя», и можно рассматривать ее как вполне заслуженный, пусть и не очень ожидаемый трофей. Такой не больше чем вымпел.

Все это настроение свистело у меня в голове, пока писалась та самая дурацкая курсовая. И еще немного после нее. Но к тому моменту, когда Вера увидела Натальин автограф на моем мужественном, но немного подрагивающем от испуга запястье, весь этот свист уже по большому счету улегся. И мысли о том, что я в любой момент могу это прекратить, тоже как-то перестали радовать своим посещением. Потому что я уже не мог.

В самом начале, пока смотрел, как Наталья грызет свою авторучку, делая вид, что слушает мои замечания по этой якобы курсовой, еще успокаивал себя, что все это так – одна только игра воображения, но когда сам начал замечать за собой тенденцию к покусыванию карандашей, стало уже не до шуток. Ни в какой микроскоп теперь не сумел бы разглядеть ту черту, которую один раз перескочил – и назад уже не вернешься. Потому что у сердца такие же правила, как у шахмат. Сделал ход – пережидать нельзя. Даже и не надейся.

– Мне она тоже писала на руке, – сказал Николай, открывая передо мной дверь и пропуская в темную прихожую. – Но я сразу стер. В спортзале было бы слишком заметно. Короткие рукава. Да и вообще, детский сад. Я ей сказал – я таких вещей не люблю.

Значит, она просто нас помечала. Клеймила принадлежащий ей скот. Крупный, рогатый, довольный своей участью и полупрозрачной футболкой хозяйки, обтягивающей ее красивую грудь. Совсем не такую, как у наших усталых ровесниц.

Очаровательная пастушка и ее выдавший виды табун. Или отара. Тонкости терминологии пока еще от меня ускользали. Значит, было над чем работать.

– Давай, проходи, – сказал он. – Чего встал? Вешай свой плащик вон там. Не бойся, не пропадет.

– А что это за квартира?

– Я здесь людей пытаю. Застенки НКВД.

– Понятно.

– Я пошутил.

– Да, да, я понимаю. Очень смешно.

Квартира была обставлена всей необходимой мебелью, но мне с первого взгляда стало понятно, что здесь никто не живет. Я попал в конспиративный мир засекреченных явок, паролей и адресов. Кресло, на которое меня усадил Николай, всем своим видом вопило о том, что оно напичкано микрофонами, камерами, датчиками и еще неизвестно чем. Были ли в нем обычные пружины – вот в чем я сомневался.

– Ты чего сидишь с таким лицом? – сказал Николай, выглядывая из кухни с открытой уже бутылкой водки в руке.

– С каким?

– С серьезным. Давай, иди сюда. Поможешь колбасу мне порезать. Важное дело, профессор. Это тебе не диссертации про литературу писать и по аллеям носиться. Закуска!

Он поднял указательный палец к потолку и снова исчез на кухне.

– Ну, ты идешь? – крикнул он оттуда через минуту. – Надо принять по пятьдесят... Граммуюлку, профессор, не больше...

Через полчаса я был в общих чертах пьян. Николай, как опытный профессионал, не преминул этим воспользоваться.

– Ну, давай, расскажи мне чего-нибудь про евреев... Били тебя одноклассники в детстве?.. Нет, подожди, я сейчас кварцевую лампу сюда принесу.

– Кварцевую лампу? – сказал я, но он уже вышел из кухни. – Зачем нам кварцевая лампа?

– Пока бегали по всей Москве за этим норвежцем, – объяснил он через минуту, – простудились всем отделом. Слышишь, какой у меня голос? Совсем другой. Гундит, как француз.

Меня слегка удивила та отстраненность, с которой он говорил о своем голосе, используя форму глагола в третьем лице, но, в конце концов, это были его личные взаимоотношения с собственным организмом. Я в них вмешиваться не хотел. Не в таком состоянии. К тому же я понятия не имел, какой голос у него был до этого. Я что, диктофон – запоминать голоса?

– Давай еще по одной макнем... Вот, пусть она здесь стоит. А то заразишься от меня – будешь тоже гундеть на своих семинарах.

Он поставил лампу между нами на стол и включил шнур в розетку.

– Убьет всех бактерий. Только не забудь мне напомнить – надо выключить ее через десять минут. Сгорим, если долго будет работать... Ты хорошо загораеться?

– Нет, у меня кожа плохая. Веснушки.

– Облазишь?

– Да я, в общем-то, редко хожу на пляж. В детстве только ходил. Мама загорать очень любила.

– Понятно, – он до краев налил обе рюмки. – Ну, за тебя...

Через мгновение он легко выдохнул, подцепил вилкой кружок колбасы, зажмурился, откусил, посмотрел на меня и подмигнул веселым, слегка увлажнившимся глазом.

– Ну, так гоняли в детстве за то, что еврей? Или давал сдачи?

– Я не помню.

– Да ладно, профессор. Какой там не помнишь! Со скрипочкой, наверное, в музыкальную школу ходил. А они тебя во дворе уже поджидали.

– Я не помню.

Воспоминания прекрасны только тогда, когда ты не делишь их с остальными. Надежность швейцарского банка. Или сверхсекретного компьютера американских спецслужб. Как в голливудском кино.

*«Введите код доступа».*

К тому же глагол «поджидали» не очень успешно маскировал слово «жид». Оно просвечивало, как оттопыренные уши, глаза навыкате и рыжие волосы.

«А ну-ка, жиденок, иди сюда! Скажи матерное слово».

Сколько мне было тогда? Года четыре? От этого, очевидно, и рождалось недоумение. Слишком рано, чтобы понять – жизнь не сахар. Со всей невозможностью произнести этот «сахар» и не картавить в конце. Никто ведь не понимает – насколько иронично обошлась с тобой судьба. В этническом смысле. Поэтому постоянное давление. И ты должен выбрать в итоге – еврей ты или нет.

Но бабушка сказала: «Все чепуха. Люди должны быть разными». И это тоже было не совсем понятно. Почти как слово «жиденок».

Зато удивительная радость, когда потом узнаешь вдруг, что Жид – это еще и знаменитый французский писатель. Забавно, с каких вещей может начаться интерес к мировой литературе.

– Ну, не хочешь рассказывать – не надо, – сказал Николай. – Ты пей, а то у нас тут сбросили одного с моста.

– Как сбросили?

– Очень просто. Тару задерживал, – он рассмеялся. – Ты чего приуныл? У нас же с тобой вечеринка. А? Вечеринка или где? Давай, не молчи, профессор. Поддержи беседу. Помнишь анекдот про поручика Ржевского? Как он в лодке веслом беседу поддерживал...

Наливая себе следующую рюмку, Николай продолжал смеяться, но ни одной капли на стол не пролил.

– Видал? Как прецизионный станок! Ковровая бомбардировка высокой точности! Ну ты что, обиделся, что я про евреев тебя спросил? Брось!

– Нет, нет, все в порядке, – сказал я.

Но был еще Сеня. Когда учились во втором классе, он громким шепотом рассказывал мне в мужском туалете, что его должны были назвать Соломоном, как дедушку, но не назвали.

Хотя Сеня тоже было еще то русское имя. Плюс неуклюжий и толстый, и рот всегда приоткрыт. В общем, мое спасение.

Потому что хватало его. За мной бегать по школьному двору было уже не так интересно. И пинать, чтобы сзади на брюках остался полный след. Для такого пинка надо было бить не носочком, как по мячу, а скорее толкать подошвой, так чтобы Сеня непременно рухнул лицом вперед. Как бы лягаться. И, главное, чтобы он не ожидал. Потому что иначе крепко расставит ноги и уже не упадет. Тогда не смешно. А отпечатков

Сеня никогда не стравивал со штанов. Так и ходил целый день. И вовсе не от неряшливости. В свои восемь лет он к этому уже относился как к серьезному документу. Есть отпечаток на заднице – значит, на сегодня уже получил. Так что можете быть свободны. Это был его дневной пропуск.

Я иногда испытывал мучительную неловкость, когда видел, как сзади к нему подкрадывается кто-то из них, но не мог дать ему знать об этом, потому что с ними у меня тоже была негласная договоренность. Я не имел права предупреждать его. В их глазах я стоял выше, чем он. Стыдно, но тогда я этим немного даже гордился. Поэтому продолжал разговаривать с ним как ни в чем не бывало, а потом делал быстрый шаг в сторону, чтобы он упал не на меня. Впрочем, Сеня на мое поведение не обижался. Он просто считал, что мне повезло больше, чем ему, и абсолютно на меня не рассчитывал. Вставал и отряхивал колени. Очевидно, он понимал, что падать ему еще долго предстоит в одиночку.

Зато именно мне пришла в голову мысль ставить отпечаток подошвы ему на брюки заранее. Мы встречались по дороге в школу, заходили за деревянные кладовки, Сеня снимал свой ботинок, и пока он неуклюже балансировал на одной ноге, я, как почтальон, проставлял ему на заднице штемпель. Моим ботинком для этой цели мы никогда не пользовались. Сене было плевать, и, может быть, он даже был бы доволен, потому что тогда ему не пришлось бы размахивать руками и подпрыгивать, пытаясь устоять на одной ноге, но я свой ботинок из этой комбинации решительно исключил. Достаточно было моего преимущественного положения в иерархии 2 «Б» класса. Поэтому руками все-таки размахивал он, а не я.

Потом мы с ним еще встретились на военных сборах в шестьдесят седьмом году, когда институтских преподавателей загнали на двухмесячную переподготовку. Сеня работал в Институте стали и сплавов, и, насколько я знал, дела у него там шли вполне хорошо. К этому возрасту его неуклюжесть совершенно пропала, уступив место огромному росту, широким плечам и уверенным сильным движениям. Но его слегка насмешливый и понимающий взгляд по-прежнему был на месте. Очевидно, он все-таки помнил этот мой шаг в сторону, когда мы с ним стояли там в прошлом и болтали о том о сем.

Израильтяне в тот год вели войну с Египтом, и, несмотря на то что мы официально поддерживали арабов, военные не скрывали своего уважения перед боевыми успехами «сионистских агрессоров». Выстроив нас на плацу, полковник Сизый делал несколько шагов вдоль строя и неизменно останавливался рядом с Сеней, который как башня возвышался на правом фланге.

«Рядовой Шапиро, два шага вперед», – говорил полковник, и Сеня четко, как на параде, тянул носочек, впечатывая сапог в поблескивающий от летней утренней влаги асфальт. Практически каждый день у нас начинался с того, что Сизый выводил Сеню вперед, и тот умело и с удовольствием показывал нам приемы строевой подготовки.

«Учитесь, – говорил полковник. – Думаете, зря, что ли, они сожгли на прошлой неделе всю эту танковую колонну. А у египтян, между прочим, наши инструктора. И они там тоже не груши околачивают».

Меня за два месяца полковник ни разу перед строем не вызывал.

– Але, профессор, ты еще здесь? – сказал Николай, гася в пепельнице сигарету. – У меня такое ощущение, будто я разговариваю сам с собой. Даю, знаешь, немного такого шизика... У тебя, кстати, говорят, первая жена в психушке лежала. Расскажи. Говорят, с ножом на тебя покушалась.

А вот и тема жертвоприношения. Интересный у нас разговор. Авраам и сын его Исаак. Божий агнец. Соломон Аркадьевич потом целый день ходил бледный. Держался за сердце. Интересно, за что я должен был держаться?

*«И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь с ослом; а я и сын пойдём туда и поклонимся, и возвратимся к вам».*

Лукавил старичок.

На втором или на третьем курсе пришла новая преподавательница русской литературы. Курила во время лекций, надрывно откашливалась и спрашивала нас про Достоевского.

«А какая была фамилия у Настасьи Филипповны в «Идиоте»?»

Но мы не знали, потому что фамилия упоминалась только один раз. Кто же на втором курсе будет читать так внимательно?

«Барашкова, – говорила она и выпускала дым в форточку. – Понимаете? Агнец на заклание. Поэтому Рогожин должен ее зарезать. Так придумано».

Вот и не верь после этого в знаки. Открытым текстом тебе говорят – будь начеку. Семиотика. Люба наверняка уже к этому времени приехала из своего Приморья. Хотя, сколько нас там сидело на этой лекции? Целый курс. Ко всем, что ли, потом ночью с ножиком приходили?

*«Любимых убивают все».*

Гипербола, разумеется, но в чем-то Уайльд не ошибся. Ни в одном музее потом не мог смотреть на картины с Авраамом и Исааком. Как они там идут. Или разводят костер. Сразу уходил в другой зал. Отчего у художников такой интерес к этой теме?

«Смотрите, – сказал наутро Соломон Аркадьевич, – вся подушка изрезана. Просто в ключья».

Открываешь глаза и уворачиваешься. Быстро-быстро. Дядя Вениамин в детстве на эту тему любил говорить: «Реакция есть – дети будут». И похохатывал. Оказалось, не врал.

– Ну так что? Расскажешь? – сказал Николай. – Чего у вас там произошло?

– Ты знаешь, я как раз хотел с тобой на эту тему поговорить... Я за тем и звонил... То есть не совсем на эту... но, в общем, про Любовь...

– Про какую любовь? – быстро перебил он. – Про твои отношения с Натальей?

– Нет, про Любовь Соломоновну. Ее так зовут... Мою первую жену... Любовь Соломоновна...

– А... Понятно. А то я вдруг подумал...

– Нет, нет, что ты. Это не обсуждается. Я и не хотел об этом совсем говорить. Я насчет Любви Соломоновны... И насчет Дины...

– Дины? А это еще кто?

– Дина – моя невестка. У нее большая беда...

– Так-так, стоп, подожди. Надо тогда еще налить. А то я вижу – ты наконец разговорился.

После того как я изложил ему свою просьбу, – сбивчиво, бестолково и сглатывая пересохшим горлом, так что дергалось все лицо, – Николай посидел молча, закурил, посмотрел на меня и усмехнулся:

– Ух ты какой, профессор. Молчал, молчал, всю мою водку выпил, а теперь я должен тебе помогать.

– Но я думал... тебе не сложно...

– Да? Как органы дискредитировать – это нормально, а как помогать – сразу «тебе не сложно». Молодец. Пять баллов.

– Я никого не дискредитировал...

– Перестань! Думаешь, я не знаю – о чем ты на своих лекциях без конца говоришь? «КГБ – то, КГБ – се». Рассказывал бы им про своих Шекспиров. Тебе за что деньги платят?

– Откуда ты можешь знать – о чем я там говорю?



– Брось! Не прикидывайся ребенком. У меня работа такая. Стучали и всегда будут стучать. А ты и разговорился. Думаешь, демократия – так теперь давай на каждом углу языком трепать? Ну и что с того, что я тебе насолил? Чего ты на всю контору-то ополчился? Там же у тебя дети сидят. С неокрепшим сознанием. А в стране еще неизвестно как повернется. Ты им жизнь можешь испортить. Головой думай! Я ведь не один эти бумажки читаю.

– Они что, передают кому-то мои слова?

Я смотрел на него и не мог поверить.

– Хватит, – сказал он. – Разговор окончен. Ты, видимо, точно идиот. Ах, черт! Что же ты не напомнил выключить лампу?!!

Он дернулся через весь стол, опрокинул бутылку и выдернул из розетки шнур.

– Говорил же тебе – сгорим! Надо было десять минут – не больше! Ты чем думал? Идиот! Тупица несчастный!

Утром я проснулся от боли в правом глазу. Люба промыла мне его чаем и сказала, что сетчатка, наверное, сожжена. Правая половина лица у меня была красная, как помидор.

Выходя из кабинета врача, я наткнулся на Николая. Он держался рукой за левый глаз и печально смотрел на меня правым. Вся левая часть лица у него была пунцовой.

– Красавчик, – сказал он. – Нам теперь можно с тобой в цирке выступать. Смешной будет номер.

– Как ты меня нашел?

– Цыганка погадала. У врача там еще кто-нибудь есть?

– Нет, никого. Но здесь только по прописке. Ты что, тоже в этом районе живешь?

– «Мой адрес – не дом и не улица». Ты ансамбль «Самоцветы» в молодости любил?

Я посторонился, и он шагнул в кабинет. Двигаясь к лестнице по коридору, я вдруг представил себе, как удивится сейчас окулист, и не смог удержать улыбки.

– Эй, профессор! – раздался у меня за спиной голос Николая.

Обернувшись, я увидел, как он выглядывает из приоткрытой двери.

– Ты подожди уходить. У меня к тебе дело. Поможешь мне кое в чем.

\* \* \*

Все это происшествие с Николаем было одним сплошным несоответствием. Вернее, с одной стороны – чего тут было и ожидать, когда идешь с просьбой к этим людям? Но с другой – все равно чувствовался какой-то диссонанс, несовпадение двух выкроек. Такая общая неровность краев. Как будто ждал чего-то иного.

Реальность редко совпадает сама с собой. Но это не страшно. Гораздо хуже, когда ты не совпадаешь. И отнюдь не с реальностью. Не можешь совместить свои собственные контуры с ускользающим драгоценным собой. Болезненная ситуация, ведущая к ситуации смерти. И окаменения.

Как в случае с памятником. Он хоть ни в каком смысле и не является человеком, но зато активно имеет его в виду. Стремится к совмещению очертаний. Включая динамические моменты в виде струящейся по каменному лицу дождевой воды. Которая в пространстве метафоры изо всех сил прикидывается слезами. Но безуспешно. Контуры не совпадут.

Эти мысли впервые пришли мне в голову в Киевской лавре. Концепция несоответствия вещи самой себе. И явлений. И возрастов.

Я смотрел тогда на крошечные иконки, которые продавались в магазине с белыми стенами, и думал сразу о всех святых – сколько им было лет, когда это с ними случилось, то есть все это кипящее масло, дикие звери, любопытство случайных и неслучайных зрителей, колья, крючья, наматывание кишок, топоры. Судя по изображениям – в среднем

лет пятьдесят, не меньше. Но тут ведь явно требуется наивность и жизнелюбие значительно более молодого человека. Для крючьев и топоров. Революция делается порывистым сердцем. Тем более если она победила на целые две тысячи лет, а не просто перегородила полицейскими кордонами, скажем, Париж на неделю, чтобы молодежь могла побить стекла, покричать и попеть на улицах все самое любимое из «Битлз».

Тогда в Киевской лавре я решил, что им всем было не больше двадцати пяти. Максимум двадцать восемь. Потому что в тридцать человек уже готов обсудить с обществом условия капитуляции. Своей, разумеется. Заставить капитулировать общество в этом возрасте за всю историю смогли всего два-три человека.

Я попросил у продавца святую Любовь и долго вглядывался в ее совсем не похожий на Любин лик взрослой печальной женщины. *«Вот возьмите еще свечечку. Как придете домой, зажгите ее перед дверью и войдите со словами: «Святые отцы Печерские, молитесь о нас». Возьмите, возьмите. Сила необыкновенная».* – *«Да нет, спасибо, я комсомолец».* – *«Берите, берите».* Потом, уже вернувшись в Москву, выяснил ее возраст. Дочерей святой Софии казнили в 137 году при императоре Адриане. Вере исполнилось двенадцать лет, Надежде было десять, а Любовь приняла мученичество девятилетней. Так что даже мои аллюзии на французских шалопаев оказались сильно преувеличенными. Но с «Битлз» все-таки были пересечения. Раннее христианство и рок-н-ролл. Встреча союзников на Эльбе. *«All we need is Love! All we need is Love!»* А вот насчет возраста – никаких двадцати – двадцати пяти лет. Просто дети.

Оскар Уайльд тоже мучился от этих несоответствий. Правда, в другую сторону.

*«Трагедия старости не в том, что стареет тело, а в том, что душа остается молодой».*

Извелся, бедняга, со своей юной душой, с этой шустрой Психеей, в коридорах тюрьмы города Рэдинга. Куда тоже попал, разумеется, по душевной молодости. А как вы хотели? Проблема внутреннего возраста.

Интересно, он когда-нибудь совпадает с тем, на что смотрят все эти люди в метро, когда тыходишь в вагон и стоишь у дверей, и качаешься, потому что все места заняты, и все смотрят, а на что им, скажите на милость, еще смотреть? И никто не уступает место.

Или никогда не совпадает?

Очевидно, на иконах пишут возраст души. С видимым глазу корреляция в этой живописи отсутствует.

И значит, все же несоответствие.

Такое же, впрочем, обычное, как отношение к евреям. Как те вопросы, которые задавал мне Николай по поводу моего жидовского детства. И думал, наверное, что выводит этим самым меня из себя. Хотел заставить меня занервничать, чтобы контролировать ситуацию. Психолог. Можно было предвидеть эти гэбэшные штучки.

Ну и зря старался. В артиллерии, как сказал мне один бывший полковник, это называется «огонь по площадям». То есть стреляем не прицельно, а так – в принципе, в том направлении. Где затаился противник и чешет свою пархатую голову. Потому что выводить меня из себя – излишняя затрата ресурсов.

Я уже давно из себя вышел. И где обратная дверь – я, кажется, позабыл.

Но зато помню, что все на свете является не таким, каким оно выглядит. Или считается. Несоответствие торжествует во всем, как удар дубиной. Покорность евреев ужасной судьбе – это просто колыбельная на ночь, которую гои напевают себе и своим детям, пока те носятся за очередным Сеней и пинают его ботинком под зад. *«Ой ты, гой еси, добрый молодец!»* Песенка для самоуспокоения. Потому что слово «изгой» во всей своей аутсайдерской красе означает «из гоев», а вовсе не «из евреев». Беззащитность семита –

самое сильное его оружие. Бьет прямо в сердце. Впрочем, иногда бывает и ниже. Как попадет.

Тут ведь многое упирается в мифологию. Самым тупым и самым тяжелым концом. Как в истории с Диной. Которая не жена моего Володьки и воровка по магазинам, а дочь Иакова. Разумеется, не от Рахили. И которая однажды *«вышла посмотреть на дочерей земли Ханаанской»*. Решила прикинуть шансы. Инстинктивное соперничество, проблема самооценки, сравнительный анализ. Ну и прикинула на свою голову. Компаративистика не всем дается легко. Подвернулся местный барчук. Затащил под кусты и *«сделал ей там насилие»*. Тоже можно понять. Не ходи одна по чужим улицам. А с другой стороны, к чему такую красоту прятать дома? Просто так пропадет, застоится. Вот и разогнали слегка кровь по жилам. И, в общем, так бы все и закончилось, ничего нового, и даже где-то отчасти и хорошо, поскольку вроде бы «нет – инцесту» и приток новеньких хромосом, но этот шустрец из-под куста взял, да и втрескался по уши.

Бывает.

И вот тут как раз появился Сеня. То есть, конечно, тогда он был еще Симеон. С братом своим Левием и другими основателями сионизма. И они предложили местным любителям сладкого свой гешефт. Потому что бизнес есть бизнес. Ничего личного. В смысле, примчались сваты, и начались все эти разговоры про свадьбу и про то, что, извините, мы не хотели, просто так получилось, сильно девица у вас красивая, как тут удержишься, само выскакивает из штанов, а мы тут вроде туземная аристократия, сами понимаете, привыкли на дармовщинку, так что – не до хорошего, и отдайте нам девушку в законные жены. На что братья оскорбленной, но затаившей дыхание жертвы ответили сдержанно и по-мужски: ну, раз выскакивает, вы это дело обрежьте, и будем с вами родственники, *«и составим один народ»*. А иначе – никакой свадьбы.

Но народ в итоге не очень составился. То есть местные по наивности себе чего надо отрезали, и потом заболели, потому что нельзя ведь не заболеть, и слегли, а Симеон с Левием, *«братья Динины, взяли каждый свой меч, и смело напали на город, и умертвили весь мужеский пол... и разграбили город»*. К такой-то, разумеется, матери.

Кадры черно-белой кинохроники: маршал Жуков показывает с трибуны мавзолея большой палец. Радостно улыбается и машет рукой.

Так что какая уж тут еврейская покорность судьбе? Опять одно сплошное несоответствие. Радует лишь участь того, кто должен был появиться через девять месяцев после всей этой суеты. Если под кустом у них все получилось. По матери он имел право считаться чистокровным евреем. Никаких проблем с самоидентификацией.

При этом забавно – на чем поймали. На обрезании. Прямо как хороший редактор. Ножницами – чик! И готово. «Ваша статья может пойти в печать только в таком виде». Или диссертация. Им все равно что обрезать. Лишь бы торчало.

«Вы знаете, – сказали мне тогда в ученом совете, – вашу диссертацию о Фицджеральде придется немного отложить».

То есть не просто отложить, а – «немного». Вопрос – это как?

«У вас вторая глава провисает в свете решений последнего пленума. Надо либо ее сократить, либо переписать заново. Но поскольку страдает объем, то лучше переписать».

И я согласился, что объем страдать ни в коем случае не должен. Страдание – категория не объемная. Существует в чем угодно, но только не в пространственных измерениях. Во времени, в воздухе, во взгляде, во сне, больше всего во сне – только не в количестве страниц и не в сантиметрах.

Если эти сантиметры, конечно, не складываются в чей-то конкретный рост. И если этот конкретный кто-то не обладает над тобой бесконечной властью. «Конкретный», разумеется, не в мужском роде. Окончание «-ая», как в деепричастиях «погибая»

и «засыпая». Является каждую ночь во сне – холодная, бессердечная, чужая. Уходит всегда с другим. И в пробуждении нет никакого смысла.

В общем, я понял, что вторую главу придется переписать. Новизна положения, правда, заключалась в том, что переписывать ее мне уже было негде. Даже в квартиру Соломона Аркадьевича после женитьбы на Любе я перебрался в общих чертах из ниоткуда. Служебное жилье отца после его смерти быстренько отобрали, а я слонялся по домам родственников, пока они мне открыто не дали понять, что у меня еще остается мама. Но у мамы давно уже была другая семья, а с бабушкой я жить не мог. После отцовского инфаркта и его быстрой смерти она без конца повторяла, чтобы я следил за своим сердцем, и я, в конце концов, от этого очень устал. Потому что – как за ним уследить? Выходишь однажды из института на улицу, а там Люба.

Поэтому больница доктора Головачева после квартиры Соломона Аркадьевича была для меня конечной станцией. *«Поезд дальше не пойдет. Просьба освободить вагоны»*. И когда я напросился на ночные дежурства, шансов на возвращение к Любе у меня уже практически не оставалось. Вторую главу можно было смело начинать переписывать в закусовых и на автобусных остановках.

С этими ночными дежурствами, кстати, выбор у меня тоже был небольшой. Точнее сказать, его вообще не было. То есть либо ночевать на улице, либо в больнице. Где все-таки стоит в ординаторской какой-то диван. И можно поспать хоть немного, пока не придет Гоша-Жорик и не начнет говорить, что он в этом не виноват. И требовать, чтобы я его отпустил на танцы. *«Только туда и обратно. Я быстро, студент. Никто не заметит. Выдай мне одежонку»*.

Конечно, он был не виноват. Я очутился бы на этом диване и без него. Но он, тем не менее, приходил и продолжал настаивать на своей непричастности. Я даже начал подумывать – не запереть ли его палату на ключ, но потом от этой приятной мысли пришлось отказаться. Головачев утром бы удивился тому, что Гошу лишили привычной для него свободы. Плюс наверняка бы задумался – какие такие вдруг отношения между нами возникли, что мне даже пришлось его запирать. В больнице доктора Головачева любые отношения между персоналом и пациентами были запрещены.

Но между Гошей-Жориком и мной они существовали.

\* \* \*

Это началось в тот момент, когда мне стало понятно, что анализом и наблюдениями в больнице занимаюсь не только я. Подглядывая за подопечными Головачева, я иногда чувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Разумеется, он мог принадлежать кому-нибудь из персонала, поскольку мое поведение с самого начала привлекало их живое внимание и, возможно, даже служило темой их профессиональных бесед. Но что-то в самой природе того щекотливого зуда, который время от времени возникал у меня между лопаток или на затылке, говорило мне, что вызвавший его взгляд слишком интенсивен для того, чтобы принадлежать врачу. Тем более санитару.

И я вертел головой. Затихал, а потом резко разворачивался всем корпусом. Вращался вокруг оси, как планета Земля. Не помогало. Я никак не мог избавиться от ощущения чужого взгляда, но его реактивный владелец в поле моего зрения так ни разу и не попал. Когда я стал подозревать себя в паранойе и был уже готов рассказать об этом врачу, он наконец объявился сам.

«Это не так делается, – сказал Гоша-Жорик, входя в кабинет к Головачеву и отнимая у меня ножницы из рук. – Болоневый плащ этими не порежешь. Они же для маникюра. Тебе надо большие. Или вообще бритву принеси».

«Я не могу большие, – сказал я. – Заметят и отберут. В халат только такие входят».

«Под мышкой, кекс. Под теплой мякенькой мышкой», – сказал он и подмигнул мне блестящим глазом.

Так у меня появился союзник.

На следующий день я принес бритву, и Гоша-Жорик показал мне в туалете, как надо резать плащи. Он разрезал мой халат на длинные тонкие полосы от самого воротника, а потом еще связал их между собой.

«Нравится? – сказал он. – Новая мода».

«А в чем я теперь буду ходить?»

«Скажи сестре-хозяйке, что соседи на кухне сперли. Пока сушился. Она тебе новый даст».

«Я не в коммуналке живу».

«В отдельной, что ли?»

«Ну да».

«Значит, буржуй. А я думал – ты кекс. Ладно, зови в гости».

После того как плащ Головачева был благополучно разрезан и все мои фрейдистские мучения оказались наконец позади, бритву Гоша-Жорик оставил себе. Непонятно, где он сумел ее спрятать, но санитары ее не нашли. Хотя обыск по всей больнице был устроен отменный.

«Хорошо пошмонали, – говорил мне Гоша после того, как переполох улегся. – А ты знаешь, между прочим, что значит слово «шмон»?»

«Нет», – отвечал я.

«Надо же. А по виду вроде еврей».

«При чем здесь это?»

«Шмон» по-еврейски значит «8 часов».

«Ну и что? Мне все равно непонятно».

«В 8 часов раньше в тюрьмах был обыск. Обязательно каждый день».

«А там что, сидели одни евреи?»

«Выходит, что так. Я тебе потом про эти дела много чего расскажу. Поможешь свинтить отсюда? Только не сейчас. Мне еще здесь покантоваться надо».

А через несколько дней, стремясь, очевидно, завоевать мое окончательное расположение, он рассказал мне, что произошло в больнице с Любой. И я был потрясен, и раздавлен, и даже сначала просто не хотел верить ему. Но он настаивал и говорил, что «у баб так бывает», и если в первый раз, и так поздно, то они действительно иногда сходят с ума. Хоть ненадолго.

«Клинит у них, понимаешь? – говорил он, хватая меня за плечо. – А у тебя самого бы, думаешь, не заклинило? Ходишь, ходишь до тридцати с лишним лет, а потом вдруг – бац! – и вот это. А ты ведь еще моложе ее лет на пятнадцать».

«На десять», – потерянно говорил я.

«Без разницы. Для нее это как целая жизнь. И тут она от тебя еще это. А в дурдоме таблетки. Сам понимаешь. В общем, нельзя».

И когда я наконец поверил и отправился, как освободительная армия, прямо из больницы домой, полный всепрощения, нежности и поддержки, стоило мне только открыть дверь и заикнуться сначала тремя словами «я все понимаю», а потом еще словом «аборт», как вся моя жизнь на этом остановилась. Свернулась и прекратила существование.

Перепуганный Соломон Аркадьевич успел вытолкнуть меня за дверь и под страшные Любины крики попросил пока дома не появляться.

«Вы понимаете, молодой человек? Ее состояние не стабильно. Врачи делают все, чтобы она перестала думать об этих вещах. А вы тут приходите и чуть не в рупор кричите!»

«Но я же не знал».

«Это не важно. Вам есть где переночевать? Она не должна вас видеть».

Вот так я оказался на том диване, который стоял в ординаторской. Головачеву это было даже удобней. Во всяком случае, споры из-за графика ночных дежурств в коллективе больше не возникали.

Но Гоша-Жорик все равно чувствовал себя виноватым.

Еще бы. Где я теперь должен был переписывать эту несчастную вторую главу?

Чтобы хоть как-то утешить меня, Гоша рассказывал мне истории из своей жизни. Он говорил, что, когда мы с ним «свинтим отсюда», мы первым делом отправимся в Киев. Потому что он там работал на хлебокомбинате и у него там много друзей, которые просто завалят нас всем необходимым.

«Мы тебе такую цыпу найдем – забудешь о своей Марусе».

«Она не Маруся», – говорил я, лежа на жестком диване и отвернувшись к стене.

«Ты на Крещатике цып не видел».

«Нет, она не Маруся».

В подтверждение своего киевского реноме он неустанно развивал образ хлебокомбината в качестве локального и не утраченного еще рая, приводя какие-то фантастические истории о невероятных количествах выпитой водки, сожженных роялях, обманутых Дедах Морозах и еще невозможно вслух повторить о чем. Рассказчик он был хороший, хотя иногда увлекался и уходил от темы. Это я понял даже несмотря на то, что почти не слушал его. Догадался по интонациям. Впрочем, один эпизод я выслушал довольно внимательно. Рисовал пальцем на обоях круги, но все-таки слушал. Потому что там фигурировал нож.

История звучала примерно следующим образом:

**Гоша-Жорик** (вскакивает со стула и подбегает к стеклянному шкафу): Не веришь мне, студент? Не веришь, да? Я ведь вижу, что ты не веришь.

**Я** (лежит на диванчике, свернувшись от переживаний, не в силах вытянуться во весь рост): Ты осторожнее там у шкафа. Крыльями не маши.

**Гоша-Жорик**: А ты знаешь, как такие вещи могут обидеть человека? Когда вот так вот не верят. Я тебе чистую правду рассказываю. Матерью могу поклясться. Или слово комсомольское дать.

**Я**: Не надо мне комсомольское. Рассказывай дальше. Чего ты вскочил?

**Гоша-Жорик**: Так ты же не веришь!

**Я**: Нет, я тебе верю. Хотя мне, знаешь ли, все равно. Ты рассказывай. Главное, не молчи. И не маши там руками.

**Гоша-Жорик** (немного успокаивается и возвращается к своему стулу): Тогда я себе еще спирту налью.

**Я**: Не обожги горло.

**Гоша-Жорик** (выпивает из прозрачной мензурки и отламывает черный хлеб): В Киеве пекут в тысячу раз лучше. В Москве тут не дрожжи, а глина. Чувствуешь? Совсем ведь не поднялось. (Протягивает лежащему Я кусок хлеба, но тот отворачивается к стене.) И правильно, что не хочешь. Я тоже его есть не могу (Съедает весь хлеб.) Просто жрать охота. От спирта, наверное. Про что я рассказывал?

**Я**: Про то, как тебе приносили муку, а ты резал мешки ножом, потому что не успевал.

**Гоша-Жорик** (воодушевляясь): Ну да, где тут успеешь! Пока эти вязочки там найдешь! Пока их развяжешь! Хуже, чем лифчик на цыпе. Ты с этим как? Быстро справляешься? (На секунду замирает, ожидая ответа, но потом машет рукой.) Ну, ладно. А муку надо постоянно в бункер засыпать, а то все остановится. И напарник еще, как назло, не пришел,

бухает. Тогда я начал эти мешки просто резать. Хлоп финкой в бочину, и муку – в раструб. Сыпалась, правда, но зато очень быстро пошло. И вокруг скоро от этой муки стало все белым. Потому что, я же тебе говорю, она на пол сыпется. А таскают мне ее наверх два кренделька, тоже бухие. Там все по этому делу, потому что нельзя. Если не пить, то уснешь. Работа изматывает. И, короче, один этот крендель притащил мне мешок и, видимо, вместе с ним завалился. Слишком сильно принял. А я ничего не вижу, отвернулся как раз. И он, этот крендель, так удачно на куче с мешками замаскировался. Как летчик Мересьев в снежном лесу. У него же бушлат от муки тоже весь белый. Лежит как мешок – лицом вниз, дремлет. И тут я поворачиваюсь со своим ножом. Представляешь? Картина Репина «Приплыли». О, я на эту тему стишок вспомнил! Знаешь его, нет? «А шизофреники вяжут веники. А параноики рисуют нолики». Слыхал?

**Я:** Нет. Ну и что было дальше?

**Гоша-Жорик:** Я размахиваюсь, и тут он начинает передо мной шевелиться. Я еще, знаешь, успел подумать – надо же, мешок ожил. Как в сказках Николая Васильича Гоголя. И стою. А финку уже высоко держу. Вот так (показывает). Меня ножом работать один фраер учил. Он до лагерей взводным был во фронтовой разведке. Немецким кексам кишки пускал. Уважительно к финочке относился. Говорил, что еще в тридцать девятом в зимнюю войну ее полюбил. Слыхал про «белую смерть»?

**Я:** Нет.

**Гоша-Жорик:** Смотри, вот так надо к часовому сзади с финочкой подходить. Вот так (машет рукой). Видал? Учись, студент, потом поздно будет.

**Я** (с некоторым нетерпением): Что дальше-то было с тем, который уснул? Ты его зарезал?

**Гоша-Жорик** (пренебрежительно): Да кому он нужен! Нет, ты подожди, я тебе еще один приемчик с ножом покажу. Вставай! Давай, подходи ко мне сзади. Как будто хочешь на меня напасть. Ну, давай! Чего ты разлегся? Смотри, вот это у тебя будет финка...

Он увлекался, размахивая во все стороны футляром от градусника, а я так и не мог получить от него ответа – какие чувства он испытал, едва не вонзив нож человеку в спину.

На мои вопросы, как он угодил в сумасшедший дом, Гоша-Жорик-Игорек отвечал довольно туманно. Судя по всему, он просто переживал здесь какие-то неприятности. В противном случае, как я понял, его ожидала тюрьма. В фавориты же к доктору Головачеву попасть для него было несложно. Пользуясь своим безграничным умением читать ситуацию, он очень быстро изучил повадки тех самых стилияг, которые томились в больнице до моего прихода. Как только их выпустили из-за «потепления» наверху, Гоша-Жорик вооружился идиомой насчет «свята места» и начал свою лексическую атаку.

Забываясь, он и при мне называл себя «штатником» или хвалил «штатские шузы», но я чувствовал, что этот новый и странный мир был дорог ему ничуть не больше, чем мне. А, может быть, даже меньше. Но такова природа притворства. Если бы к Тартюфу не прицепилась вся эта гневная молодежь, он, скорее всего, действительно стал бы вполне набожным христианином. Так что тут главное – не мешать.

О своем тройном имени Гоша-Жорик со мной говорить не хотел и только однажды весьма грубо ответил, что это не мое дело и что он ведь не спрашивает – кто я, русский, или еврей, или и то и другое вместе. И я не знал, что ему на это ответить.

Комплекс Минотавра ведь состоит не в том, что тебе хочется пожирать молоденьких девушек, или бегать по лабиринтам (предположим, страстей), или убить героя. Просто ты никак не можешь простить своей матери связи с быком. Пусть даже это был священный бык Посейдона. Или наоборот – не можешь простить папаше-быку минутного увлечения смертной женщиной. Пусть даже она была царицей Крита. И теперь в результате всех этих романтических затей одна половина твоего «я» постоянно стесняется другой половины. Просто не может не стесняться. При этом непонятно – какая из них права.

Бычьей голове наверняка хотелось бы, чтобы внизу тоже все было как-нибудь попримечней. В смысле анимализма.

Ну, и наоборот.

Все это, впрочем, касается также сфинксов, русалок, кентавров и остальной живописной нечисти. У которой к родителям, скорее всего, тоже масса вопросов. Плюс, разумеется, мулы. Но с ними как-то совсем обидно ассоциировать свое беспокойное «я». Слишком покладисты. И никакой Ариадны.

\* \* \*

«Свинтить» из больницы оказалось до смешного легко. Намного легче, чем продолжать там оставаться. Граф Монте-Кристо, узнав о таком побеге, умер бы, наверное, от черной зависти. Так и не сумел бы никому отомстить. А мы просто отправились с Гошей на танцы. Я, кажется, даже дверь, уходя из больницы, на замок не закрыл. Во всяком случае, ключ на следующее утро я у себя в карманах не обнаружил.

Первоначально, правда, мы еще рассчитывали вернуться, но обстоятельства той ночи разворачивались так стремительно и неизбежно, что больница к утру перестала для нас существовать.

Все началось с того, что Гоша-Жорик пришел после отбоя ко мне в ординаторскую и заявил, что ему надо повидать одну цыпу.

«У нее кренделька в армию закатали. Цыпа теперь в простое. Нельзя оставлять боевую подругу в беде. Сегодня в академии Жуковского на Ленинградке танцы. Она туда ходит как часы. Поперли. Ты летчикам давно морды не бил?»

Я сообщил, что уводить девушку у товарища, который к тому же ушел в армию, нехорошо, но Гоша-Жорик был настроен по-боевому.

«Если не хочешь, я – один. Сиди тут и кисни. Охраняй своих дуриков. Там, между прочим, других цып тоже будет полно. Они на летунах помешались».

Когда мы вошли в клуб, Гоша-Жорик уже изнывал от нетерпения. Протолкнувшись через курсантский заслон у входа, он обернулся и решительно втащил меня за собой. Мимо широких плеч, стоячих воротничков, мимо золотых нашивок и царапнувшего по щеке погона.

«Не дрейфь, студент. Еще момент – и все будет».

Застыв на пороге танцевального зала, он хищно втянул носом воздух, обвел взглядом вальсирующие пары, показал мне пальцем на прижавшихся к стенам девиц и, перекрикивая оркестр, громко продекламировал:

«Азохен вей, товарищи бояре,

Я князя Троцкого не вижу среди тут!»

Через секунду он растворился в круговороте синих кителей и цветастых платьев.

Постояв немного у входа, я понял, что всем мешаю, и отошел к стене. Оттуда было удобнее наблюдать, и к тому же мой гражданский довольно мятый костюм там меньше бросался в глаза. Практически все остальные мужчины были в тщательно отутюженной военной форме.

Через минуту я обратил внимание на девушку с толстой косой и в очках, которая сидела на стуле недалеко от меня. К ней несколько раз подлетали курсанты, но она всем неизменно отказывала. В ее напряженной спине, застывшем лице и вытянутой неестественно шее чувствовалась тяжелая скованность. Ей было явно неудобно вот так вот сидеть, но она упрямо не меняла позы. Больше всего я удивился, когда она вдруг обратилась ко мне. Музыка в этот момент немного утихла, и я отчетливо услышал ее голос.



«Послушайте, – повторяла она. – Эй, вы! Вы, что же, меня не слышите? Я с вами ведь говорю. Идите сюда. Ну что вы такой глухой!»

Я ткнул себя пальцем в грудь и сделал большие глаза.

«Да, да, – закивала она. – Идите сюда скорее».

Потом, размышляя об этом событии, я понял, что она выбрала меня из-за костюма. Отсутствие военного кителя делало меня в ее глазах как бы не совсем мужчиной. Не вполне тем, кого надо стесняться. И значит, мне можно было доверять.

«Что это у вас на щеке? – сказала она, когда я склонил к ней голову. – Царапина? Вы что, дрались?»

«Нет, просто на входе... там слишком тесно...»

«Ну, хорошо, – перебила она меня. – Это неважно. Вы можете мне помочь? Послушайте, вы ведь не из академии?»

В ее голосе вдруг зазвучала тревога, но я поспешил ее успокоить:

«Нет, нет, я здесь случайно. То есть не я, а нас двое».

«Вы с девушкой?»

«Да нет. Вы все не так понимаете. Просто...»

«Неважно, – она махнула рукой. – Если вы не с девушкой, то мне нужна ваша помощь. Вы ведь согласны?»

Она разговаривала со мной тоном учительницы. Что-то в этом тоне напоминало мне Любу, но эта девушка и вполнине не была так красива, как моя Рахиль.

«Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красива лицом».

«Что вы молчите? Поможете мне или нет?»

«Да, конечно. А что нужно сделать?»

«Прижмитесь ко мне сзади».

«Ага, – сказал я. – То есть прижаться?»

Мы помолчали некоторое время.

«Ну да, – наконец, сказала она. – Вы что, не понимаете?»

«Тут музыка слишком громкая. Мне кажется, я вас неправильно понял».

«Я говорю вам – при-жми-тесь!»

Последнее слово она проговорила по слогам. Чтобы я разобрал.

«Но мне как-то неловко...»

«Что вы говорите? Я вас не слышу. Слишком громкая музыка. Вы можете прижаться сзади ко мне?»

Я на секунду выпрямился и покрутил головой в поисках Гоши-Жорика. Он, конечно, говорил мне в больнице, что здесь будет много цып, но о том, что они так решительны, разговора у нас с ним не было.

Девушка нетерпеливо дернула меня за рукав, и я снова склонился к ней.

«У меня сзади на платье отлетела пуговица, – сказала она. – Я не могу идти к выходу и держать все это рукой. Слишком заметно. Прижмитесь ко мне, как будто танцуете «летку-енку», и мы дойдем до двери. Вы ведь знаете, как танцевать «летку-енку?»

«Но это не «летка-енка», – сказал я. – Это вальс «На сопках Маньчжурии».

«Неважно. Слушайте, какой вы привередливый! Я же не говорю вам – «танцуйте». Я говорю – «как будто танцуйте». Вы прямо такой буквоед. Никто ведь не просит вас брыкать ногами. Как вас зовут?»

«Слава».

«Очень приятно, Слава. Меня зовут Вера. Итак, вы готовы? Сейчас я поднимусь. На счет «три» делаете шаг мне за спину, и мы начинаем движение. Договорились? Кивните мне».

Я кивнул.

«Раз, два, три».

Она вскочила, и я, как оловянный солдатик, шагнул ей за спину.

«Хорошо, – сказала она. – Теперь пошли. И-и... раз-два-три, раз-два-три...»

Она отсчитывала ритм, как учитель танцев, а я старался не слишком сильно прижиматься к ее спине. Платье на ней было настолько тонким, что я не мог поручиться за нечувствительность некоторых моих собственных частей тела. Я хоть и являл собой вот уже несколько дней олицетворенный образ страдания, но не мог же отвечать за все человечество в том виде, в каком оно произошло от обезьяны. По мысли великого естествоиспытателя и путешественника Чарльза Дарвина.

Когда испытание моего естества и наше путешествие до двери уже подходило к концу, у нас на пути возникло неожиданное препятствие. Это был мой бывший однокурсник, который оказался здесь неизвестно каким образом и, как и я, был одет в гражданский костюм.

«Здорово, Койфман! – сказал он, хлопая меня по плечу, но уставившись на мою спутницу. – Сколько лет, сколько зим! Как дела? Познакомишь со своей девушкой?»

«Ты знаешь, мне сейчас некогда, – сказал я. – Давай как-нибудь в другой раз. Я сейчас немного занят».

К тому же я не помнил его имени. Он учился в другой группе.

«А почему вы так странно танцуете? – спросил он. – Это что, такой новый танец?»

«Да, – сказал я, начиная слегка покачиваться за спиной сохранявшей молчание Веры. – Мы – стилиаги. Это очень стильно, чувак. Штатский танец».

«А я ни разу не видел. Научишь?»

«Конечно. Встаешь как на «летку-енку», а танцуешь как вальс. Паровозиком. Чем больше людей, тем лучше».

«Клево, – сказал он, мигом подхватывая мой тон. – Слушай, ты, говорят, в психбольнице работаешь? У меня проблемы с военкоматом. Сделаешь справку?»

«Мы долго так будем стоять? – возмутилась наконец Вера. – Один шаг до двери!»

«Прости, чувак, – сказал я. – Нам хилить пора. А насчет справки – заходи. Не проблема».

Я назвал ему адрес больницы и готов был уже сделать этот последний шаг, но меня вдруг кто-то резко схватил за локоть.

«А чего это гражданские к нашим девушкам пристают? – крикнул высокий белобрысый курсант, нависая надо мной и стараясь привлечь внимание остальных военных. – Не положено так прижиматься. А ну, отпусти ее!»

Я растерялся. Я понятия не имел, что теперь делать, поскольку, отпустив свою новую знакомую, я тем самым немедленно выставлял ее на посмешище. Поступить так вероломно с доверившейся мне девушкой я просто не мог. С другой стороны, лицо этого курсанта как-то уж очень быстро наливалось кровью. Вера вздрогнула и еще сильнее прижалась ко мне спиной. Буквально вдавилась в мой живот.

«Отпусти, тебе говорю!» – рявкнул побагровевший курсант и в следующую секунду рухнул передо мной на колени.

Не успев удивиться, я поднял взгляд и увидел стоявшего за ним Гошу-Жорика, который уже размахнулся, чтобы нанести второй удар.

«Не надо!» – крикнула Вера и закрыла руками лицо.

Гоша, как молотобоец кувалдой, грохнул курсанта кулаком в ухо, и тот повалился на бок. Перешагнув через него, Гоша обхватил меня и Веру двумя руками и начал проталкивать нас через толпу. Сзади раздался еще один женский крик.

«Давай, давай! – жарко шептал мне в ухо Гоша-Жорик. – Пока они не очухались. Сейчас начнется!»

И оно началось.

Справа от нас прозвучал резкий и короткий свист, и Гоша тут же покачнулся от сильного удара.

«Давай, студент! Не останавливайся! – сквозь зубы прошипел он. – Надо выскочить на воздух! Тут они нас уроют!»

Я изо всех сил прижимал к себе Веру, стараясь укрыть ее от града ударов, который обрушился на нас буквально со всех сторон. Мы уже двигались по коридору. Вокруг нас кипел рой разъяренных курсантских лиц. В воздухе просвистел ремень, потом еще один, и, наконец, тяжелая пряжка врезалась мне в плечо.

В глазах у меня потемнело от боли, и я едва не выпустил Веру из рук.

«Давай, студент! – закричал Гоша, толкая меня к выходу на улицу, а сам делая шаг назад. – Я догоню!»

«Бритва! – закричал кто-то у нас за спиной. – У него бритва!»

«Ну, давайте, сучата! – зашипел Гоша. – Подходите по одному!»

Я обернулся и увидел, как они расступились, образовав вокруг него полукруг, чтобы сверкающая серебристая молния у него в руке никого не задела.

«Беги!» – закричал он, и мы с Верой побежали.

Когда он нас догнал, у меня уже не оставалось никаких сил. Так быстро и так долго я не бегал никогда в жизни.

«Ну, ты мечешь, студент, – проговорил, задыхаясь Гоша-Жорик. – Как спутник на орбите».

Он согнулся и, упираясь руками в колени, помотал головой.

«Ты... никого не порезал?» – сказал я, пытаюсь перевести дыхание.

«Ну и дурак ты, Гоша», – точно так же запыхавшись, выговорила Вера.

«Сама ты, – ответил Гоша. – Валерка только-только в армию загремел, а ты уже по курсантам скачешь».

«Не твое дело, дурак».

«Еще раз скажешь «дурак» – я тебе в ухо двину».

«Пошел ты! – она несильно пнула его по ноге. – С тобой свяжись – точно в тюрьму посадят».

Она повернулась ко мне:

«Я же только до двери просила меня довести. А вы притащили этого идиота!»

«Ты теперь моя девушка, – все еще не выпрямляясь, сказал Гоша. – Меня Валерка просил за тобой присмотреть».

«Ага, разбежался! Сидишь у себя в дурдоме – вот и сиди. И Валерку своего после армии можешь позвать туда же».

«А вам большое спасибо, – язвительно сказала она, снова поворачиваясь в мою сторону. – Как я теперь там в следующий раз появлюсь? И так дежурный офицер пускать не хотел. Говорит – из-за вас одни драки».

«Но я же не знал...» – сказал я.

«Да, да. Целуйтесь теперь со своим Гошей!»

Она развернулась и быстро пошла в сторону стадиона «Динамо». Платье у нее на спине распахнулось, обнажив полоски бюстгалтера, но она уже не помнила ни о чем.

«Эй, стой! – крикнул Гоша. – Стой!»

Она, не оборачиваясь, показала в нашу сторону фигу.

«Вот дура! – сказал он. – Ну ладно, сама потом прибежит... А чего это она говорила, чтоб мы с тобой целовались? Вы что, целоваться с ней собрались?»

Голос его зазвучал настороженно.

«Да нет. Просто она попросила меня проводить ее до двери».

«А чего ты тогда к ней так прижимался? Откуда ты ее знаешь?»

«Я ее не знаю. Первый раз сегодня увидел».

«Да? А то смотри у меня, студент. Порезу на тряпочки».

Мы помолчали.

«Ты зачем бритву туда принес?» – наконец, сказал я.

«А ты хотел, чтобы они нас урыли?»

«А если бы порезал кого-нибудь?»

«Я и порезал».

Над головой у нас от резкого порыва ветра зашумели кроны деревьев. Где-то невдалеке два раза прогудел автомобиль.

«Не дрейфь, – сказал Гоша. – Это же я порезал. Ты тут совсем ни при чем... Хотя бритва, конечно, твоя... Зря ты мне ее оставил. Я же сумасшедший».

«Насмерть?» – спросил я, практически ничего не соображая.

«Откуда мне знать? Кровищи вроде бы много. Ладно, пошли. Надо возвращаться в больницу».

Запинаясь и не разбирая дороги, я двинулся следом за ним, но потом в хаосе завертевшихся у меня в голове обрывков мыслей, панического страха и каких-то незавершенных чужих фраз, я вдруг вспомнил о своем однокурснике.

«Ты адрес ему сказал?! – зашипел на меня Гоша. – Тогда нам кранты. Понаедут кудрявые».

Так он называл милиционеров из-за их коротких стрижек.

«Слушай, у тебя деньги есть?»

«Зарплату вчера давали», – сказал я.

«Молодца. Двигаем на Киевский. В шесть утра будет поезд».

На вокзале он забрался с ногами на лавку и тут же уснул, а я всю ночь вертел головой, провожая взглядом каждого патрульного милиционера. Впервые за несколько месяцев мысли о моей Рахили покинули меня. Оставили рядом с безмятежно сопевшим Гошей.

\* \* \*

Обещанный Гошей-Жориком киевский рай обернулся безденежьем, проливным дождем, двумя мохеровыми кепками и огромным листом фанеры. Зарплаты, полученной накануне нашего бегства из Москвы, хватило совсем ненадолго. У моего спутника оказались весьма дорогие привычки. Первые три дня мы обитали в самых шикарных ресторанах. Гоша щедро раздавал мои деньги официантам, подмигивая мне каждый раз, как будто между нами был какой-то тайный сговор и как будто от этого подмигивания денег в моих карманах должно было становиться все больше. Но их становилось все меньше, а улицы Киева все сильнее напоминали каналы Венеции. Хотя я там никогда не был, чтобы судить наверняка. И даже подозревал, что теперь никогда и не буду.

Потому что то ли из-за дождя, который никак не мог кончиться, то ли из-за бездомной неприкаянности и постоянного присутствия Гоши-Жорика, а может быть, из-за картин драки с курсантами, вертевшихся у меня в голове почему-то задом наперед, как в неисправном кинопроекторе, со мной стало происходить что-то странное. Мой мозг отказывался воспринимать реальность всю целиком, и вместо этого впускал ее лишь урывками. Фрагменты менялись местами, выскакивали из своих гнезд, лица переходили от одного человека другому, улицы путались, Гоша-Жорик болтал, кто-то смеялся, и, кажется, это был я, мозаика не совпадала, и весь предполагаемо реальный мир стал ускользать от меня, как знаки препинания с печатной машинки Джойса. Впрочем, быть может, я всего-навсего заболел. Кажется, Жорик посмотрел на меня в какой-то подворотне и неожиданным голосом Робертино Лоретти сказал – эй, да ты весь горишь, крендель. Или потрогал, а не сказал.

Взаимосвязи между структурами рушились постепенно, как мосты в осажденном городе, по которому бьет дальнобойная артиллерия. То есть сначала проваливался переход из одного места в другое – вот мы сидим на скамейке, и вот я уже возле каких-то ворот, – а чуть позже стали исчезать и сами эти конечные пункты. То есть вот мы опять сидим на скамейке, а потом ничего, пустота, или голос Жорика, монотонный как город в котором пропадают улицы или как текст в котором все меньше этих крючочков запятых и точек и заглавных букв и глазу уже не за что зацепиться но он тем не менее продолжается этот текст как и жизнь хоть ты из нее почти вывалился или если не вывалился то плывешь где то сбоку параллельно этому голосу и он все рассказывает какие замечательные у него друзья и как они нам помогут но они не помогают а дают вместо этого лист фанеры и никто тебе не объясняет зачем просто говорят лезь в трамвай и ты лезешь и люди ругаются потому что ты всех толкаешь и вообще тесно но на улице гоша говорит молодца посмотри сколько нащипали давай крендель вот едет еще трамвай пара часов работы и хватит на ужин а потом ночевать но ты не понимаешь где ты ночуешь и ночуешь ли ты вообще потому что у фанеры края и рукам очень больно и кто-то кричит в середине вагона украли и потом гоши нигде нет он появляется на конечной и говорит чуть на спалили брось ты эту фанеру чего вцепился пальцы аж побелели пойдём я тебе куплю кепку а то совсем промокнешь но тебе страшно потому что у него бритва и ты не знаешь как вернуться домой и курсант с перерезанным горлом или не горлом и фицджеральд и его сумасшедшая сара фрэнсис скотт с двумя тэ то есть шотландец а не скотина которая на убой и соломон аркадьевич делает любе аборт чтобы она не носила ребенка который не от еврея и рахиль стоит у колодца и доктор головачев поит ее верблюдов и гоша говорит пойдём. вот тут снова всплывает первый знак препинания как подводная лодка под перископ но люки пока закрыты кругом корабли противника и ты ощущаешь радость оттого что можешь об него запнуться то есть препнуться не о перископ конечно потому что по воде почти никто не ходил а просто об знак препинания и тебя не так быстро несет но пока еще не заглавные буквы и все же это возвращает надежду хотя ты не понимаешь хочешь ли ты ее возвращения или нет. а гоша уже почти реальный и надевает тебе на голову кепку и на нем точно такая и он рассказывает про московских воров которые полюбили мохеровые кепки и никак не могли понять почему милиция в гуме так быстро их вычисляет а милиция забиралась на третий этаж и смотрела вниз с галереи и как только в мохеровой кепке она его цап и гоша стоит и смеется над недогадливыми московскими щипачами. но здесь в киеве можно потому что у местных другой фармазон или фасон просто трудно запомнить из-за того что гоша часто произносит такие слова а ты стоишь и смеешься. Не над московскими фраерами а оттого что гоша реальный и ты понял его рассказ и кепка все равно от дождя не спасает и нельзя было выдумать ничего глупее, чем ее купить. А еще оттого, что знаки препинания как будто вернулись. И даже заглавные буквы. То есть снова появились мосты.

Но ненадолго. Как будто вынырнул на поверхность – глотнул темный воздух, и от него внутри головы стало темней, чем снаружи. И сразу назад. Ноги в водоросли. На дне

клубятся скользкие как угри только я никогда угрей в жизни не видел может быть на картинке в том учебнике в пятьдесят четвертом году но это был ведь учебник анатомии и в нем ожидалось голые женщины но оказались одни скелеты и не было там никаких угрей значит путаница и ты упрямо лезешь под юбку и гоша говорит смотрите крендель ожил и тот кто в юбке смеется вернее та потому что она в женском роде первое склонение окончание а как в кабинете у зубного врача откройте рот скажите а и ты знаешь что будет больно но рот все равно придется открыть потому что это окончание женского рода и женский род носит юбки если он не шотландец не скотт но эта говорит что норвежка хотя откуда здесь взялась варягам одни хохлушки правда у этой акцент или она мне всего лишь снится и я лезу под юбку как скот как скотина в моем личном сне а раз это мой сон что хочу то и делаю отвяжитесь.

\* \* \*

По словам Гоши, я «косорезил» шесть дней, в то время как для меня это событие длилось не больше минуты. Просто минута оказалась очень насыщенной. Норвежская девушка, как выяснилось, действительно существовала. Она подобрала нас на берегу Днепра, где я разговаривал на английском языке с милиционерами, а Гоша прятался невдалеке, но не убежал. Сказав младшему сержанту, что я ее больной брат, и показав ему норвежский паспорт, она привела нас к себе в общежитие для иностранных студентов Киевского университета.

Почти все эти студенты были кубинцы, и мы с Гошей остались жить в комнате с большим портретом Фиделя Кастро. Первое, что я услышал, когда более-менее пришел в себя, был монолог Гоши-Жорика о том, что он тоже хочет такую сигару, как у «команданте».

Норвежку звали Вельма Холькскъяйер. Гоша произнести ее фамилию не мог, поэтому просто говорил «ведьма». Но, разумеется, только тогда, когда она уходила на занятия, и мы пробирались через коридор в ее комнату, где были хотя бы стулья. Вельма хорошо понимала русский язык.

Хотя и вправду была некрасива.

«У вас очень хороший язык, русский, – говорила она, глядя на себя в зеркало. – Мне нравится идиома «С лица воду не пить». Я только не сразу ее понимала. Я думала – какая на лице вода? Может быть, слезы? Но потом уже понимала. Хороший язык. Много смыслов. А тебе какая любимая идиома? Я правильно говорю?»

Она говорила неправильно.

И не в смысле построения русской фразы, а в том, что настойчиво продолжала обращаться ко мне. Гоша-Жорик сообщил ей, что я тоже «студент», и она надеялась достучаться.

Только я не мог ей ничем помочь. Мне нравилась масса русских пословиц, мне нравился ее голос, мне нравилась наша комната, где у окна над матрасом висел курящий Фидель, мне нравились все эти шумные кубинцы, которым после фестиваля молодежи и студентов не хватило мест в московских институтах, и они веселой кучей явились сюда, в Киев, – мне нравилось все, но я не мог ей об этом сказать.

После того как я раздружился с реальностью, а потом она вдруг снова вернулась в виде этой кубинской неразберихи, у меня из головы исчезли слова. Я просто не мог заставить себя произнести ни звука. Молчание опустилось на меня, как камушек на могилу еврея. Нравится или не нравится – все равно не вылезешь и не уберешь. Лежи и помалкивай.

А может, я еще не до конца был уверен в подлинности того, что вернулось. Кто мог гарантировать, что вот это и есть реальность? Сигара, а позади нее – борода и Фидель.

Поэтому Гоше-Жорику пришлось отдуваться за нас двоих. Он говорил и говорил без умолку. Наверное, боялся, что нас могут выгнать. Впрочем, Вельма тоже от него не отставала. Скорее всего, она старалась использовать наше присутствие в сугубо

лингвистических целях. На занятиях в университете ей не хватало практики языка, а кубинцы по-русски говорили совсем плохо. В этом отношении Гоша всегда был к ее услугам. Тем более что, как выяснилось, он мог объяснить ей такие вещи, о которых я понятия не имел.

«Халява» означает что-то бесплатное, – говорил он Вельме, и украдкой успевал подмигивать мне. – Происходит от еврейского слова «халеф», что означает «молоко».

«Интересно, – говорила она. – Но почему молоко бесплатно?»

«Потому что его давали в тюрьме. Зэкам. Зэк – это значит «ЗэКа», то есть заключенный. Им давали там бесплатное молоко. Очень давно. Когда был Мишка Япончик. Слышала про Мишку Япончика? Все бандиты в Одессе были евреи. Потом стали красногвардейцами. В гражданскую войну чекисты из них сделали целый полк. Но они разбежались. Налетчика в окоп не посадишь».

«Что такое «налетчик»? Пилот?»

«О-о, милая, да ты вообще ничего не знаешь. Чему вас эти профессора там учат?» – В его голосе звучало явное неодобрение по адресу всей системы высшего образования в СССР.

Гоша вздыхал, как будто собирался взвалить на себя чей-то чужой и, разумеется, непосильный труд, качал головой, пожимал плечами, снова подмигивал мне и начинал свою лекцию. Не знаю, как Вельме, но мне временами было забавно. Я даже забывал иногда, что не говорю. То есть я все-таки продолжал молчать, но скорее не потому, что не говорил, а потому, что слушал. Из-за этого, очевидно, я начал испытывать по отношению к Гоше-Жорику не совсем понятное мне самому чувство благодарности.

«Айсоры приезжают на гастроли в Москву, потому что у них в Средней Азии срока большие. Дома у себя за квартирную кражу они мотают по полной, а в Москве кодекс мягче. Трешкой обходятся, вот и едут. Прут как тараканы из всех щелей».

Вельма уже не спрашивала, что значит «айсоры» или «трешка», потому что Гоша проводил предварительное занятие для введения новой лексики. С точки зрения методики преподавания он отработывал наш кров вполне профессионально.

«Прямо с вокзала и прут. Как инженеры с такими тубусами. А в тубусах – инструмент. Очень интеллигентно. Вышел из поезда, огляделся. Хоп – и квартирка! Оттуда уже в ресторан».

Скоро на его лекциях стали засиживаться и кубинцы.

«Вот, дорогие товарищи пламенные революционеры, – обращался к ним Гоша. – Нам, конечно, до вашего опыта экспроприации далеко, но и мы кое-чего умеем. Батисты у нас, к сожалению, нет, но кого пощипать – это всегда найдется».

Меня лично больше всего заинтересовала его теория цикличности преступлений. Гоша-Жорик утверждал, что на зоне прибытие новых заключенных имеет сезонный характер. Обитатели тех мест в общих чертах заранее знают, по какой статье осуждены прибывающие в то или иное время года. Цикличность в интерпретации Гоши привязывалась к основным праздникам.

«После 8 марта идут за убийство. Причем косяком. Убийства в основном бытовые. На почве ревности. Работяга сидит дома, а жена празднует у себя в коллективе. Профком, местком, тосты, цветы. Восемь часов – ее нет, девять часов – ее нет. А он уже сходил в магазин. Собирается, и – к ней на работу. А там не пускают. Вахтер, все дела. А наверху в окнах какие-то мужики курят. Ну и пошло. Одно за другое – чего, кто, куда – или камнем по башке, или пику с собой взял заранее. Но бабы не понимают. Поэтому на 8 марта мрут как мухи. Неосторожно».

Перед последним словом он делал паузу, а произнося его, неодобрительно качал головой.

Май, по словам Гоши, был месяцем изнасилований.

«Сначала 1-е, потом 9-е. Одни выходные. Люди на пикниках. Компаний в лесу много. Шли мимо, туда-сюда. Она потом смотрит – чулки порвали, конфеты все унесли. Бегом в милицию. Ей за чулки обидно. И денег никто не дал. Сразу писать заявление. А эти – по сто семнадцатой. Или за групповое. Как она там напишет».

Празднование годовщины Великой Октябрьской социалистической революции вело за собой приговоры по делам об уличном грабеже.

«Холодно становится, – говорил Гоша. – Народу шапки нужны. А дорогую ну как ты купишь? На нее где-то деньги надо найти. Поэтому – цоп сзади! И побежал».

Слушая его, я попытался применить подобный принцип цикличности к анализу некоторых классических текстов и с удивлением обнаружил, что с его помощью открываются такие детали, о существовании которых я до этого даже не подозревал. Наблюдения Гоши-Жорика вполне могли стать основой для нового метода литературного анализа. Эта мысль удивила меня так сильно, что я встал со своего места и начал ходить по всей комнате от окна до двери.

«Эй, крендель, – сказал Гоша обеспокоенным голосом. – У тебя что, опять началось?»

Но у меня не началось. Просто я снова стал думать о литературе. И это, в общем-то, был хороший знак.

Я размышлял также о том, в какую из Гошиных категорий теперь попадаю я сам, сделавшись, очевидно, преступником, и каким образом вся эта цикличность связана с неизбежностью. Потому что любые ритмические процессы, любое постукивание пальцем по столу в конечном итоге намекает на бесконечность, а уж ее-то избежать никому на свете не суждено. В том виде, во всяком случае, в каком нам ее предлагает смерть. Будь ты хоть самым неритмическим чуваком или чувихой на свете. И никакие персональные качества в счет не идут. Человек, разумеется, может повлиять на исторические сюжеты, но их окончательным ритмом ему не овладеть. Просто не хватит дыхания. Ни в ритмическом, ни в физиологическом смысле. Персональное участие ограничивается постукиванием по столу. Легкой паузой между фразами «раз» и «два» на уроках ритмики в средней школе. В лучшем случае – возможностью увеличить цикл с десяти до двенадцати, назвав июль или август в свою чувацкую честь и отодвинув, скажем, октябрь с восьмой позиции на десятую. Но октябрь ведь от этого все равно не перестанет быть «октябрем», и из него по-прежнему будет настырно выглядывать цифра восемь. Как щупальца из осьминога.

*Octopus, октаэдр, Октавиан.*

Этот наследник Цезаря, кстати, оказался довольно последовательным чуваком. В приступе тоски по цикличности как средству избежать забвения присмотрел для себя именно восьмой месяц, что и предполагалось его первоначальным именем – Октавиан. Видимо, был восьмым ребенком. Насчет Августа пришло в голову значительно позже. Когда уже предал всех, кого можно было предать, и почувствовал, что заавгустел. Овидий, скорее всего, идею принес. Все правильно, императорские хлеба надо отрабатывать. Тем более если нацелился на его симпатичную родственницу. После нее, разумеется, – в ссылку. Хвала Юпитеру, что ничего не отрезали. И кропать «Скорбные элегии». «*The pangs of dispraised love*». Это мы тоже всё проходили. Не только у Шекспира, естественно. Хотя, какая там ссылка – на Черном море? Сиди на берегу, стихата кропай.

*Октава.*

У буддистов восьмерка вообще святое число. Срединный путь, бесконечность. Усесться на ее плавную линию и скользить по ней, как по рельсам. Пока в глазах не начнет мелькать. Пока реальность не сольется в обычный пятнистый круг, который всегда бывает вокруг карусели. Во всяком случае, был в детстве. Сейчас точно не знаю – давно



не проверял. В общем, пусть сольется. Потому что – кому она нужна, реальность? Да здравствует буддистский слалом. И никаких восклицательных знаков после слова «слалом». Их с карусели не разглядишь. Можно только услышать, как Гоша обучает поэзии Вельму Холькскъяйер – некрасивую норвежку, интересующуюся русским языком.

Ну да, а что ей еще остается?

«Песня называется «Хорошие девчата». Стихи написал поэт Матусовский. Поняла?»

«Мацуповски».

«Да нет! Матусовский. Великий советский поэт. Повтори».

«Мацуповски».

«Ну, что ж ты!.. В институте учишься, а ничего запомнить не можешь, кулема! Ладно. Повторяй за мной: «Хорошие девчата, заветные подруги...» Ну, давай. Чего молчишь? Я тебе говорю – повторяй!»

«Хорошие девчата, заветные подруги».

«О! Вот молодец. Получилось. Теперь дальше: «Приветливые лица, огоньки веселых глаз...» Чего опять замолчала?»

«Гоша, я не понимаю, что такое «кулема».

«Слушай, знаешь что? Я тебе лучше спою эту песню. Зови своих кубинцев. Пусть подыграют».

Окетет.

Из всех циклических и ритмических процессов музыка – самый приятный процесс. Уступает в этом отношении, может быть, только любви. В ее ритмической парадигме. Зато наверстывает количеством наслаждающихся. Впрочем, римляне и этот недостаток преодолевали легко. Стоило Августу умереть, как пустились на эту тему во все тяжкие. Меньше чем ввосемьмером, если верить Петронию, даже не начинали. Тут уже не до музыки. Но, поскольку прошло почти две тысячи лет и Великая Октябрьская революция, мы ведем себя гораздо приличней. Снимаем одежду только в одиночестве или когда вдвоем. И с выключенным светом. В остальных случаях одетые сидим на стульях и слушаем музыку.

Притопывая ногами, потому что удержаться, если честно, нет сил.

Гошину песню кубинцы не знали и почти сразу перестали мучить свои маленькие смешные гитары. Гоша успел добраться только до слов «Куда нас ни пошлете, мы везде найдем друзей». Кубинцы вежливо поаплодировали ему, переглянулись, хлопнули по гитарам и внезапно изменившимися голосами потянули пронзительное «Айя рива, Айя рива». Через минуту мы все щелкали пальцами и стучали ногами. Гоша свистел как Соловей-разбойник, а некрасивая Вельма танцевала посреди комнаты немного странный, очевидно, норвежский танец. Миф о скандинавской сдержанности разваливался на глазах.

Внезапно нырнув под кровать, она выдернула оттуда большой чемодан, открыла его и, практически вывалив содержимое на пол, стала быстро перебирать пластинки в цветастых конвертах. Найдя то, что искала, Вельма вскочила на ноги и бросилась к стоявшему на окне проигрывателю.

«Элвис Пресли», – выдохнула она.

Потом, когда все уже успокоились, Вельма, немного путая слова и блестя глазами, рассказала об американском военном госпитале у себя в Норвегии, куда после корейской войны привезли много раненых солдат. Для норвежских девушек это событие оказалось важнее, чем вся история скандинавских завоеваний. Американцы приехали не с пустыми руками. Вернее, они получали посылки из США. А в этих посылках в Европу летел Элвис Пресли.

«Мы делали вот так, – она снова выскочила на середину комнаты и затрясла головой. – И вот так».

Она вскинула руки и подпрыгнула, едва не опрокинув этажерку с учебниками русского языка.

«И у меня был такой розовый пояс. Очень широкий. И зеленый. Два пояса. И еще юбка. Она должна быть очень твердая. Почти хрустит. Мы разводили сахар в воде, и юбку туда опускали. Получается твердая. Только неудобно в кино. Прилипает, – Вельма засмеялась и хлопнула себя по заду. – Липкая, и царапается еще».

Я представил себе всех этих норвежских девушек в сладких юбках и американских солдат с пластинками Элвиса Пресли в руках, и мне стало ужасно смешно.

«Чего хохотать? – сказал Гоша-Жорик. – Хорошая музыка. Интересно, сколько эти пластиночки могут стоять, если их стилигам на барахолке толкнуть?»

Его тонкая музыкальная душа оказалась настолько впечатлительной, что буквально на следующий день он украл все пластинки из чемодана Вельмы, и больше я не видел его никогда. Расстроенная норвежка предложила мне сходить в лавру. Помимо русского языка, она изучала еще древнеславянское искусство. Стоя рядом с ней и рассматривая иконы, я впервые подумал о том, что многие вещи не вполне соответствуют сами себе.

Но зато я теперь мог говорить. Песни этого Пресли окончательно вернули меня в реальность, и оказалось, что она снова заслуживает каких-то произносимых слов. Извинившись перед Вельмой за Гошу-Жорика, я попросил у музыкальных кубинцев денег на поезд, а вечером уже ехал в Москву. В кармане у меня была лишь небольшая иконка и тоненькая свеча, которую надо было зажечь перед своей дверью и которую я не хотел покупать по причине явного отсутствия такой двери, но в конце концов за нее все равно заплатила норвежка. Ей понравилась сама идея.

Выйдя утром из поезда, я прямо с вокзала отправился к доктору Головачеву. Мне было уже неважно, искала меня милиция или нет. Мне надо было увидеть кого-нибудь, кто знал меня больше, чем последние два-три дня. Я смертельно устал быть незнакомцем.

Головачев встретил меня чрезвычайно приветливо. Он много говорил, постоянно пожимал мне руку, то и дело выбегал в соседнюю комнату, где его жена кормила только что появившуюся на свет дочь. В середине нашего разговора он вынес показать этого сморщенного ребенка и начал вертеть конверт с ним, как куклу, а когда я испугался, он сказал, что это все ничего и что он сам медик и поэтому знает, как надо.

Успокоившись и вернув ребенка своей жене, Головачев сообщил, что в Америке умерла Мэрилин Монро, и от этого его жена не может выйти ко мне из соседней комнаты.

«Ревела все утро. Теперь у нее опухло лицо, и она вас стесняется, молодой человек. Так что вы извините».

Когда я спросил про Любин аборт, он, наконец, немного смутился и сказал мне, что иначе поступить было нельзя.

«Я не мог давать ей пустышки вместо таблеток. Вы же понимаете. Хоть она и обижалась на это. Потому что ей хотелось быть как стилиги. Но я сказал ей, что стилиги не сумасшедшие, что они попали в больницу из-за политики. А ей нужны настоящие лекарства... Но они нанесли бы вашему возможному ребенку непоправимый вред. Поэтому пришлось пойти на операцию».

Я сказал ему, что все понимаю и что мне не нравится только фраза «возможный ребенок». Головачев извинился, еще раз пожал мне руку, я встал и ушел.

Перед самым уходом он спросил меня – вернусь ли я на работу в больницу. Очевидно, он никак не связывал мое внезапное исчезновение с побегом Гоши-Жорика. Я сказал, что нет, не вернусь. А потом вышел от него, так и не увидев его опухшей от слез жены.

Спустившись в метро, я остановился посреди станции, не в силах решить, в какой мне сесть поезд – справа или же слева. Разницы, в принципе, уже не существовало. Все поезда на свете шли в ненужном для меня направлении. Я чувствовал себя как Христофор Колумб, понявший, что точка возврата осталась далеко позади и питьевой воды на обратную дорогу в любом случае не хватит. Плыть можно было только вперед.

Странна и туманна участь того, кто решил попасть на восток через запад.

«А куда этот идиот делся? – сказал кто-то вдруг позади меня женским голосом. – Я думала, вы вместе».

Обернувшись, я обнаружил перед собой ту самую девушку, из-за которой разгорелся весь сыр-бор с поножовщиной на злосчастных танцах в академии Жуковского.

«Нет, мы не вместе, – сказал я. – Он украл пластинки Элвиса Пресли».

«Элвиса Пресли? А кто это?»

«Один американский певец».

Она чуть наморщила лоб:

«Как Ван Клиберн?»

«Ну да, только он, вообще-то, поет... То есть он не совсем пианист... Но это неважно».

Я никак не мог вспомнить ее имени и от этого чувствовал себя довольно неловко. Просто стоял и ждал, когда она уйдет. Но она почему-то не уходила. Людской поток обтекал нас, прижимая друг к другу все ближе и ближе, а она не переставала рассказывать мне всякую чепуху, пока не упомянула наконец того происшествия на танцах.

«А что случилось с курсантом? – затаив дыхание спросил я. – С тем, которого Гоша-Жорик порезал?»

«Да ничего, – она беззаботно тряхнула толстой косой. – Швы на руку наложили – и все. У них там постоянно кого-нибудь режут. Дураки. Я больше туда не пойду».

«На руку? – сказал я. – Только на руку?»

«Ну да, а куда же еще? Он ему всю ладонь распластал. Вот от сих пор до сих. Ой, на себе же нельзя показывать! Есть такая примета. В общем, сантиметров десять, наверное, шрам. Здорово, конечно, вы тогда меня до двери проводили».

Я извинился перед ней и хотел нырнуть в переход, но она схватила меня за рукав и продолжала болтать как ни в чем не бывало. Очевидно, ей не хватало собеседника. Только я был не самым лучшим кандидатом на эту роль.

«А почему у вас такие грустные глаза? – огорошила она меня вдруг вопросом. – Вы ведь меня не слушаете. У вас что-нибудь случилось, да? Что-то серьезное? Кто-то болен?»

Я сказал ей, что нет, что все, в общем, здоровы и что я благодарен ей за участие, но мне нужно идти. Тогда она снова схватила меня за рукав.

Вечером, когда мы поднялись к ней на шестой этаж, она еще раз заверила меня, что ее подруга вернется с практики только через неделю, а соседям по коммуналке на все наплевать. Я взял ее за затылок и впервые поцеловал не Любу. Губы у этой девушки были твердые и прохладные. Я все еще не мог вспомнить, как ее зовут.

«Ух! – задохнувшись, сказала она, когда я отпустил ее и вынул из кармана свою тоненькую свечу. – А это зачем?»

«Надо зажечь ее перед тем, как войдешь в дом, – сказал я. – Есть такая примета».

\* \* \*

Элвис Пресли оказался весьма въедливым товарищем. Всего лишь через полгода после того, как я наконец защитился, и мы с Верой снимали уже отдельную комнату, я бегал в перерывах между своими лекциями по Москве, заводя знакомства со всеми доступными мне стилистами, чтобы купить еще хотя бы одну пластинку. Вполне возможно, что среди них были и те, которые Гоша-Жорик украл у Вельмы и продал на киевской барахолке.

Вера же к Элвису относилась спокойно и чаще слушала песни в исполнении Гелены Великановой. Хотя проигрыватель купил я.

Потом стал просачиваться «Битлз». Капля по капле, но тоже довольно настойчиво. Кто-то услышал его по «Свободе», кто-то по «Голосу Америки», и, наконец, дружинники в институте отобрали у моих студентов маленькую пластинку, наивно передав ее после этого в деканат. Две ночи я не давал Вере уснуть, раскачивая головой над проигрывателем и распевая вместе с Полом и Джоном «*It's been a hard day's night*». Правда, тогда в Москве никто еще не знал, что они были Пол и Джон, и вообще у нас какое-то время считалось, что все они между собой братья. Если бы Леннон тогда узнал об этом, он, скорее всего, был бы очень доволен и, может быть, даже написал бы по этому поводу песню. Но «занавес» был железным с обеих сторон. В восьмидесятом году, когда его застрелили, я отменил занятия. Лежа у себя в комнате и пытаюсь глядеть в потолок, я вспоминал жену Головачева, которая не смогла выйти ко мне в день смерти Мэрилин Монро. Странные вещи иногда происходят с нами.

Но в семьдесят втором, когда меня попросили с кафедры, Джон был еще жив. И это во многом подсластило пилюлю. В июне они выперли из страны Иосифа Бродского, а к осени взялись за остальных. Несмотря на то что в пятой графе у меня было записано «русский», институт на время пришлось оставить. Коллеги скромно отводили глаза, а кое-кто советовал поменять фамилию.

«У тебя же по матери все нормально».

Формулировка мне очень нравилась. Как своим синтаксисом, так и неповторимой полифонией контекстов, которые этот синтаксис позволял. Но я все же предпочел написать заявление. Гонители были уже не те. Для хорошего серьезного аутодафе или Бухенвальда кишка у них была тонка.

Когда устраивался читать лекции в общество «Знание», дама в тяжелых очках попросила заполнить анкету. Дойдя до графы «пол», я, практически не задумываясь, печатными буквами написал «Маккартни». Печатными – чтобы она поняла. Тем не менее она удивилась.

«Но пол ведь бывает только мужской и женский», – сказала она, выглядывая из-за своих толстых очков.

«Не факт, – ответил я. – Любая дефиниция страдает определенной невозможностью адекватно описать то, что она призвана описывать. В науке – это настоящая драма».

«Как интересно», – сказала дама в очках.

«А вы посмотрите на пятый пункт. Что там стоит?»

«Русский», – сказала она.

«А теперь прочитайте фамилию».

«Койфман».

«Вот видите».

«Да, вижу. Ну и что?»

«У вас много знакомых русских мужчин с такой фамилией?»

«Ни одного. Вы первый».

«Замечательно. Значит, хоть где-то я оказался на первом месте. Американцы в таком случае говорят «*You made my day*». Большое спасибо».

Даже когда белые нейлоновые рубахи окончательно вышли из моды, я все равно продолжал их носить, вызывая этим насмешливые взгляды симпатичных студенток, уже обрядившихся в узкие разноцветные батники и широченные брюки клеш. Они создавали свои «системы» на улице Горького, проводили массу времени в «Трубе», как они называли переход у гостиницы «Метрополь», без конца болтали про американских хиппи

и повязывали на голову цветные веревочки. Но мое сердце осталось в шестидесятых. Однажды я даже купил в комиссионке точно такой же желтый болоньевый плащ, как у доктора Головачева. Правда, так и не решился его надеть. Володька потом использовал его для ремонта велосипеда. Складывал в него какие-то испачканные в масле запчасти, протирал им насос.

Вера, получив диплом, пошла на работу в школу и стала завучем. Не сразу, разумеется. Через несколько лет. Но для меня эти годы проскочили как-то незаметно. Я и моя жизнь – мы, в общем-то, уже не очень интересовали друг друга. У каждого из нас были свои дела. Моя жизнь сама собой протекала в аудиториях, на ученых советах и деканских часах, а я тем временем сидел на диване и слушал голос Веры, которая рассказывала из ванной комнаты одни и те же истории про школу, про коллег и про учеников. Она всегда говорила очень громко, и даже шум льющейся воды не мог помешать ей остаться услышанной. Когда мы переехали в двухкомнатную квартиру, ей стало труднее, но она сделала над собой усилие, и ее опять было слышно в любой точке нашего совместного жилья. Как только она уходила в ванную и начинала разговаривать оттуда, я мог перестать кивать и включать телевизор. Правда, звук приходилось полностью убавлять, поскольку он разрушил бы нашу схему общения.

Володька свои первые десять лет жизни был абсолютно уверен в том, что я обожаю безмолвные движущиеся картинки и что все папы смотрят телевизор именно так. Однажды, когда я опоздал с ноябрьской демонстрацией из-за того, что надо было собрать в деканате все транспаранты и портреты членов ЦК, он подбежал к ревущему праздничными лозунгами телевизору и на глазах у всех Вериных родственников выключил звук. Он просто обрадовался, что я наконец пришел, и хотел сделать мне приятно.

Вот так в тишине я пережил падение Сальвадора Альенде, отрубленные руки Виктора Хары, конец вьетнамской войны, гол Пола Хендерсона в наши ворота на последней минуте знаменитой хоккейной серии, приезд в Москву Ричарда Никсона, безмолвные и бесконечные монологи Брежнева, полет «Союз – Аполлон», полет мертвого Че, привязанного к стойкам шасси американского вертолета, и еще много разных других полетов, которые, то ли к счастью, то ли к несчастью, не имели в моей жизни никакого значения. Она – моя жизнь – неторопливо катилась сама по себе, и я даже в приступе сильного энтузиазма не мог бы сказать, что принимаю в ней какое-то особенное участие.

Время от времени я заглядывал в кафе «Сокол» на улице Расковой. Директор этого заведения, Леонид Михайлович, с пониманием относился к бывшим стилигам, и они собирались иногда здесь, чтобы повздыхать о былом, пошуршать нейлоном, поскрипеть шузами и позлословить о модном у «нынешних» лохматом хаере. Эти остатки разбитой наполеоновской гвардии можно было встретить еще в середине семидесятых в небольшой шашлычной напротив гостиницы «Советская». Среди стилиг эта шашлычная была известна под названием «Антисоветская». Разумеется, сугубо из топографических соображений. Директор ее, Павел Семенович, для краткости всегда назывался «Пал Семеныч», и его имя при редукции гласного звучало практически как «Пол», что, в свою очередь, тоже сообщало этому местечку известное очарование. Как-то раз среди стилиг там оказался один человек, за спиной которого все шептались и показывали на него пальцами. Когда я спросил: «А кто это?», мне ответили: «Бобров». Вот так я своими глазами увидел великого форварда. Он совершенно не был таким, каким я его знал в больнице доктора Головачева.

Однажды я уговорил Веру заглянуть со мной в это «злачное», как она потом выразилась, место. На самом деле никакими злаками там и не пахло, а люди просто ели мясо с бумажных тарелочек и запивали его вином. В летний день такой комбинации вполне хватает для того, чтобы немного приблизиться к пониманию счастья.

Приблизившись после двух стаканов портвейна к этому самому пониманию уже практически на расстояние вытянутой руки, я неизвестно зачем поднял голову от своего шашлыка и наткнулся на весьма интенсивный взгляд пары темных и очень тревожных глаз. Разумеется, вся эта темнота и тревога принадлежали моей растворившейся в бурных шестидесятых Рахили. В эту шашлычную ее привело, очевидно, то же самое, что и меня – недоверие к слишком поспешно наступившему «завтра». Как все нормальные советские люди, мы должны были испытывать прилив оптимизма при мысли о «завтрашнем дне» и всяких его свершениях, но, как несостоявшиеся стилисты, как неудачливые муж и жена, как не встретившиеся у колодца Рахиль и Иаков, мы просто стояли в этой шашлычной и молча смотрели друг на друга, как будто взглядом можно хоть что-нибудь изменить.

Совершенно забывшись, я уронил на пол кусочек мяса, и Вера прыснула, сообщив мне тут же, что я «окосел». Ей было весело, потому что она тоже пила портвейн. Хотя сначала немного стеснялась.

Когда я выпрямился с этим несчастным кусочком мяса в руке, Любы в шашлычной уже не было. Сквозь огромное боковое стекло я увидел, как вдалеке мелькнул ее плащ, но он только мелькнул и немедленно растворился среди других плащей. С утра обещали дождь.

На следующий день меня вызвали в деканат прямо с экзамена.

«Вам звонят из Совета Министров», – сказала мне секретарь, заглядывая в аудиторию.

«Откуда?» – сказал я.

«Але, Койфман, ты меня слышишь? – это был голос Любы. – Койфман, кто это вчера с тобой был? Ты что, теперь ходишь по ресторанам?»

«Это не ресторан, – сказал я, посмотрев на сидевшего передо мной замдекана, который изо всех сил делал занятое лицо. – Ресторан был напротив. Через дорогу. И, вообще, я принимаю экзамен. Мне не совсем удобно сейчас говорить».

«Ха! Тебе всегда неудобно. Что это за тетка была с тобой?»

«Это моя жена».

На том конце провода помолчали.

«Ты знаешь, я должен вернуться в аудиторию, а то они сейчас начнут списывать», – сказал я.

«Можно подумать – ты им математику преподаешь. Пусть списывают. Больше узнают. Так вот почему тебе был нужен развод. Как ее зовут?»

«Вера».

«Молодец. Только в третий раз не женись, пожалуйста, на Наде. Ты что, специально ее подбирал?»

«Нет, это она меня подобрала. В прямом смысле... На улице... Вернее, в метро... То есть до этого еще на танцах».

Я чувствовал, что немного запутался, и к тому же замдекана уже перестал притворяться, что заполняет зачетные ведомости, и с большим интересом смотрел мне прямо в лицо.

«Я не могу сейчас с тобой говорить, Люба, – сказал я. – Оставь мне свой телефон, и я потом тебе позвоню».

«Как будто ты не знаешь, что у меня нет телефона. Обещают поставить на будущий год».

«Ну, тогда оставь мне тот номер, с которого ты говоришь сейчас. Это где-то в Совмине?»

«Сдурел, что ли? Кто меня туда пустит? Я вашей секретарше наврала. Просто так она тебя звать не хотела. И знаешь... Не надо мне никуда звонить. Передавай привет своей среде».

«Кому?» – сказал я.

«Жене номер два. Она у тебя точь-в-точь как среда».

«В каком смысле?»

«Не такая страшенькая, как понедельник, но и не такая симпатичная, как пятница. Про субботу-воскресенье речь не идет. В общем, береги себя Койфман. Не увлекайся другими днями недели».

Но я не послушал свою Рахиль. Хотя имя третьей моей жены все-таки оказалось не Надя.

\* \* \*

После происшествия с кварцевой лампой я еще несколько дней забавлял своим лицом студентов и соседей у себя во дворе. Мало того что лицо было загоревшим ровно наполовину, оно к тому же оказалось загоревшим под Новый год.

– Готовитесь к карнавалу? – спрашивали коллеги на кафедре и подмигивали, как будто от этого мне должно было стать ужасно смешно.

Но к карнавалу я не готовился. Люба, которая в обычное время с радостью разделила бы веселье моих коллег, и день и ночь подтрунивала бы над моим несчастьем, теперь не проявляла к нему ни малейшего интереса. Наблюдая за ней, за тем, как она молчаливо переходит из комнаты в комнату и перекладывает давным-давно уложенные, готовые к отъезду вещи, я вспоминал немецкого, кажется, теннисиста по имени Макс Виландер, который ушел из спорта на следующий день после того, как стал первой ракеткой мира. «Я потерял инстинкт хищника», – объяснил он, и его объяснение теперь вполне подходило и моей растерянной, уставшей от бесконечной конфронтации с миром Рахили.

– Все будет хорошо, – говорил я. – Уедешь ты в свою Америку.

Но она ничего мне на это не отвечала.

Единственным человеком, способным в это время понять мое состояние, оказался волею случая Николай. Вдвоем мы составляли с ним вполне замечательную пару, которая радовала окружающих своим видом еще больше, чем это удавалось мне одному. Объединявшая нас симметрия относительно переменчивой сердцем Натальи нашла наконец свое прямое и непосредственное выражение на наших лицах. Отличие состояло лишь в том, что от этой полосы на лице он почему-то выглядел еще более рельефно и мужественно, а я все чаще хватался за сердце и глотал валидол.

– Не пей так много таблеток, – говорил Николай. – Пей лучше водку. Помогает от всех болезней.

Мы стали встречаться с ним очень часто. Во всяком случае, чаще, чем мне хотелось бы видеть эту его загоревшую половину лица. Он поджидал меня после занятий во дворе института и вел потом в какой-нибудь ресторан, где почти никогда не платил, и мне было неловко перед официантами, потому что он заставлял их бегать за этими графинами практически без конца.

– Ты так сопьешься, Койфман, – сказала однажды мне Люба. – И откуда у тебя столько денег? А еще говоришь, что полгода зарплату не получал.

Но денег действительно не было. То, что мне дал Николай во время третьей или четвертой встречи, я ему сразу вернул.

– Как знаешь, – сказал он, убирая в карман серый конвертик. – Я думал, не помешают.

После нашего совместного похода к врачу он несколько раз обращался ко мне с какими-то безобидными просьбами, и я с готовностью их выполнял, поскольку надеялся, что он все-таки поможет Любе и Дине. Но он на эту тему упорно молчал. Я пытался как-то неловко сам об этом заговорить, и мои слова всякий раз повисали в воздухе. Или служили поводом для начала нового разговора, не имеющего никакого отношения ни к

безмолвным переходам Любы из комнаты в комнату, ни к смешливому голосу Дины в телефонной трубке. Этой девушке, казалось, вообще было на все наплевать.

Николай приносил мне какие-то письма на английском языке, в которых, на мой взгляд, не было ничего интересного. Кто-то писал, что стоит чудесная погода, что цены невысоки и что девушки вокруг, наоборот, приветливы и красивы. Для меня это была полная чушь, но Николай спрашивал о подтекстах, о психологическом состоянии того, кто написал эти письма, и вообще постоянно просил охарактеризовать этого человека.

– Он не писатель, – сказал я ему, прочитав первое же письмо.

– Это мы знаем, – усмехнувшись, ответил мне Николай.

Примерно через неделю после начала наших стилистических упражнений он сказал, что больше не будет ждать меня около института, и дал номер телефона, по которому я сам должен был ему теперь звонить. Это был не его домашний номер. Те цифры я знал наизусть.

– Все правильно, – сказал он. – Это служебный. Пора, профессор, вписываться в контекст.

Быть может, я ответил ему слишком резко, поскольку был уже второй графин, и до этого я разругался с деканом, и официант весь вечер как-то странно на меня поглядывал, да и вообще. Но Николай отреагировал все-таки чересчур бурно.

Выговорившись по жидовской тематике, он сообщил, что размажет меня по стенке, что я импотент и что, в конце концов, я сам к нему прибегу «на карачках».

– Ну кому ты, б..., еще нужен?

С этим я не мог не согласиться.

Тем не менее листок с полученным от него телефонным номером я из своей записной книжки выдрал, а потом, смутно покачиваясь от горя и от выпитой водки, для надежности разорвал на клочки и долго втапывал в снег у Любиного подъезда.

Следующая неделя прошла мимо меня как во сне. На кафедре отметили Новый год, но я сослался на сердце и ушел еще до того, как начали составлять столы. От запаха принесенных кем-то салатов меня мучило. Я чувствовал этот запах весь день. Даже во время лекции в самой дальней от кафедры аудитории.

– Что тебе приготовить на Новый год? – спросила меня Люба, думая о чем-то своем.

– Не салат, – ответил я. – Что угодно.

Без пяти двенадцать мы включили телевизор и посмотрели в лицо Ельцину. Он пообещал, что все будет хорошо.

Когда пробили куранты, Люба сказала, что я слишком много пью. И совсем не закусываю.

– Почему ты не ешь?

– Я ненавижу салаты.

– Надо было сказать.

– Я говорил.

– Да? Странно. Я почему-то не помню.

Она по-прежнему не могла найти себе места. Переходила из комнаты в комнату, вздыхала, украдкой вытирала слезы и время от времени начинала ворчать:

– Ну что ты ходишь за мной? Что тебе не сидится? Невозможно от тебя спрятаться, чтобы погоревать хоть чуть-чуть. Ползаем по квартире, как... два таракана. Ноги бы хоть поднимал. Шаркаешь – просто оглохнуть можно.



Но у меня не хватало сил оставить ее в одиночестве. Моя душа старого таракана прилепилась к ее душе, и я с трудом переносил увеличение физической пустоты, которая возникала между нами во время ее странствий по комнатам.

– Тебе что, нечем заняться? У тебя лекции завтра нет?

Когда я позвонил Николаю на его домашний номер, он жизнерадостно рассмеялся:

– А я тебе говорил, профессор, сам прибежишь, а ты мне не верил. Так что еще неизвестно, кто лучше анализирует. Привет, как дела?

– Я согласен на твое предложение, – сказал я.

– Да ты что?! – он снова заливисто рассмеялся. – А уже поздно, профессор. Поезд ушел.

– Как ушел? Почему поздно?

– А вот так! Опоздал ты. Я из конторы намылился уходить. Тема есть замутив свой бизнес. Могу тебя, кстати, взять курьером. Зарплата все равно будет больше, чем сейчас у тебя, потому что у тебя сейчас, видимо, ровно ноль. Точно? Так что все твои переживания – псу под хвост. А ты ведь переживал? А, профессор? Переживал или нет?

– Я не знаю.

– Переживал, переживал. Ты мне не вкручивай. Мучился там, наверное, как принц датский – продавать душу дьяволу или не продавать, придержать, пока вырастет предложение. Но не вышло. Смешной ты, профессор.

– Почему?

– Да потому что не получился из тебя Фауст. Душа твоя никому не нужна. И никакого дьявола на самом деле вообще нету.

– А кто есть?

Он помолчал и потом опять засмеялся:

– Ельцин Борис Николаевич – вот кто!

– Всего хорошего, – сказал я.

– Эй, ты погоди трубку класть, – закричал Николай на другом конце провода. – Я с тобой не закончил.

– Что еще?

– Пойдешь ко мне на работу?

– Нет.

– Я так и знал. Все-таки я тебя люблю, профессор. «Врагу не сдастся наш гордый «Варяг»!

– Ты знаешь, у меня сейчас не то настроение. Передавай Наталье привет.

– Да ты погоди! Ты ведь хотел за невестку и за первую жену просить?

– Да, – я насторожился. – А что?

– А то. Ни за кого уже просить не надо.

– Мне кажется, я не очень тебя понимаю.

– Да брось ты, профессор! Чего непонятного? Все уладилось без тебя. Зря ты волну гнал. Я же тебе говорил – все твои переживания яйца выеденного не стоят. Иди лучше на работу ко мне. Я твоим мозгам найду применение. Насчет курьера я пошутил.

– Подожди, подожди, – сказал я. – Как ты говоришь? Все без меня уладилось? Я не понимаю. У Дины и Любы все в порядке?

– Да и было в порядке, профессор. Ты просто не можешь голову поднять и вокруг оглядеться. Живешь на какой-то своей волне, а жизнь мимо тебя. Ты в нее не попадаешь.

– Да подожди! Что ты расфилософствовался!

– А ты думал, тебе одному можно? Нет, профессор. Я до Горбачева в Пятом управлении, между прочим, работал. Знаешь, какие зубры шли через нас? Титаны. Сейчас уже все в Оксфорде преподают. Тебе и не снилось.

– Да, да, я понимаю. Ты лучше скажи про Любу и Дину.

– На невестку твою администрация магазина заявление забрала почти сразу. Они же понимают, что им с нее ничего не получить.

– Но как же... А тот милицейский капитан мне сказал...

– Ты, видимо, пообещал ему что-то, – усмехнулся Николай. – Вот он в тебя и вцепился. Наврал он тебе насчет заявления. Просто ты ему зачем-то был нужен. Обрати внимание, профессор, все хотят тебя поиметь. Хочешь, мы его накажем?

– А Любины документы на выезд?

– Там еще проще. Кто-то их по ошибке положил не на тот стол. У нас ведь тоже не машины работают. Обыкновенные люди. Может человек ошибиться? А, профессор? Может или нет?

– Я думаю, может, – сказал я. – Человеку свойственно ошибаться. И что, она теперь имеет право уехать?

– Когда угодно.

– Хорошо, – сказал я. – Спасибо тебе.

– Да мне-то за что?

– Нет, все равно спасибо.

\* \* \*

Природа благодарности непостижима. Кто-то разбивается для тебя в лепешку, не спит ночами, рыдает, говорит «Боже мой», а ты испытываешь прилив бесконечной нежности не к этому «кто-то», а к ободранному коту, который скользнул тебе из подъезда навстречу и нехотя зажмурил глаза в ответ на твое заискивающее «кис-кис». Ты думаешь и думаешь об этих вещах, и даже не очень радуешься, или, наоборот, очень радуешься, но сам этого не понимаешь, когда тебе сообщают о том, что жена твоего сына, которой ты так хотел помочь, но не помог, родила наконец, и даже не одного ребенка, а целую двойню, и теперь не надо расстраиваться, что вот хотел внука, а получилась девочка, или наоборот, потому что есть и то и другое – два человека, он и она, и оба они остаются. А ты идешь дальше. И смотришь, как та, которую ты любил всю свою жизнь, усаживается на чемоданы и говорит, что надо присесть и что прощание будет коротким, потому что краткость – сестра таланта, но ты не согласен, поскольку Чехов был очень скромным, и он имел в виду, что краткость всего лишь сестра таланта, а не сам талант, и значит, прощание должно быть долгим. И тогда вы едете вдвоем в аэропорт, туда, «откуда ни один не возвращался», и ты успеваешь подумать – а нужны ли кавычки, и в какой момент цитата становится больше, чем бесконечный коридор зеркал в культуре, а та, которую ты любил, гладит тебя по руке, и ты не можешь вспомнить, когда еще с ней такое случалось. И потом, стоя рядом с огромным черным табло, на котором шелестят белые буквы, ты думаешь про все эти буквы, про все эти города, где несколько часов назад тоже кто-то прощался, а сейчас подлетает, и стюардесса в динамике говорит: «Пристегните ремни». И в общем, ты уже сам не прочь пристегнуться, потому что даже в аэропорту воздушные ямы или, быть может, летчик попался плохой, и все куда-то плывет, включая табло, пассажиров и даже тот голос, который вдруг говорит: «Что-то ты приуныл. Может, тебе плохо». Но ты отвечаешь, что хорошо, и тогда она рассказывает анекдот, историю, чтобы тебе не было грустно, и в этой истории тоже про путешественников, про одного старогородского еврея, который никогда не отправлялся в дорогу один, потому что он очень боялся всего на свете, но на этот раз он поехал, потому что билет был только на одного, или путевка, и Сара сказала, что больше путевку уже не дадут, и дети тоже сказали, и даже

внуки, и вот тогда он сел в поезд. А в поезде он очень переживал, и, чтобы не переживать, начал кушать, и скушал сначала курочку, потом бутерброд, потом немного картошки, а когда все закончилось, он стал макать палец в соль и облизывать этот палец, но нервничать он все равно не перестал. И вот поезд остановился на маленькой станции, и неизвестно было, сколько он должен был там простоять, но старый еврей решил, что успеет, и сошел на платформу, чтобы купить еды, а пока там ходил, подошел другой поезд, и теперь надо было бежать в обход, но старый еврей был уже очень старый и быстро бегать уже не умел, поэтому он опоздал и остался на этой станции. И уже наступила ночь, и он совершенно не знал, что ему делать, но потом увидел небольшой огонек и пошел, и там оказалась почта. А когда он спросил – можно ли послать телеграмму, ему очень вежливо сказали, что да. И он взял такой маленький бланк, посмотрел на него, подумал и написал: «Сара, где я? Беспокоюсь».

Взято из Флибусты, [flibusta.net](http://flibusta.net)

## Елена Катишонок

родилась в Латвии, закончила филологический факультет Латвийского Университета. В 1991 году эмигрировала в США, где и живёт до сих пор, преподаёт русский язык, занимается редакторской работой и переводами, пишет стихи.

Дебютировала сборником стихов «Блокнот» (Hermitage Publishers, 2005). Спустя три года в соавторстве с Евгением Палагашвили выходит «Охота на фазана» — поразительный сплав мастерских фотографий со стихами, им созвучными (M•Graphics Publishing, 2008).

Роман Елены Катишонок «Жили-были старик со старухой» в 2009 году вошёл в короткий список одной из самых престижных литературных премий «Русский букер».

### Произведения:

Жили-были старик со старухой.

Против часовой стрелки.

Когда уходит человек.

### Отзывы, рецензии:

*Марина Кульгавчук*

...Повесть о старике и старухе — это книга о человеческой мудрости и об умении принять все, что дает человеку Бог. Описание смерти старика, жизни старухи без него, а затем и ухода из жизни старухи не оставляет тягостного чувства. Смерть как естественный конец достойно прожитой на земле жизни — это не конец существования, жизнь бесконечна, потому что дети и внуки ее продолжают и потому что память о человеке живет дольше, чем сам человек...

...Эта книга нужна, потому что помогает вспомнить о том, что такое хорошая литература, написанная хорошим языком в не очень модной «сказовой манере», по законам реализма — с типическими характерами в типических обстоятельствах. И еще потому, что автор точно знает, что она хотела сказать нам — читателям. А это, согласитесь, бывает нечасто...

*Наталья Алексютина*

«...Елена Катишонок написала книжку, которую можно написать, только отталкиваясь от своей личной любви и ненависти. Она вывела героиню с необыкновенным центростремительным характером, которая пытается удержать эту расплывающуюся ткань, называемую семьей, и ей это удается до самой смерти. Это великий характер. Данная книга заслуживает большой прессы, вещи с такой энергией любви появляются редко.

*Дина Рубина*

«...Эта история — по сути дела, семейная сага, — захватывает с первой страницы и не отпускает до конца романа. Живые, порой комичные, порой трагические типажи, «вкусный» говор, забавные и точные «семейные словечки», трогательная любовь и великое русское терпение — все это сразу берет за душу. В книге есть неповторимый дух времени, живые души героев и живая душа автора, который словно бы наблюдает за всеми перипетиями героев романа с юмором, любовью и болью.

Прекрасный язык. Пронзительная ясность бытия. Непрерывность рода и памяти — всё то, по чему тоскует сейчас настоящий Читатель...»

*Георгий Коншин*

«Приношу благодарность за прекрасную книгу... читал, как пьют хорошее выдержанное вино...»

*Майя Кучерская*

...Ощущение от чтения этой книги такое, будто вошел с морозной ветреной улицы в хорошо натопленный дом. Так пишут только о самом родном. Но даже если допустить, что перед нами чистый вымысел — доля авторского внутреннего участия делает это повествование почти документальным. Елена Катишонок строит его не по законам романа, а по законам жизни, пренебрегая литературными условностями.

...Впрочем, какое дело читателю, роман перед ним или документ — невероятное человеческое обаяние, безупречный язык и глубина этой книги делают ее выход светлым событием.

### **Интервью:**

Интервью с Еленой Катишонок на ЛитРесе

<http://books.vremya.ru/main/2267-intervyu-s-elenoy-katishonok-na-lit-ese.html#.UGvdmc1t2zo>

Роман Елены Катишонок «Жили-были старик со старухой» в 2009 году вошёл в короткий список одной из самых престижных литературных премий «Русский букер». Этот же роман принес Елене победу в литературной премии «Ясная Поляна» в номинации "XXI век" за произведение в жанре семейной саги. О Елене Катишонок и ее книгах всегда очень тепло отзывается Дина Рубина. Всем ценителям литературы жанра современная проза мы представляем нового героя рубрики «Наши авторы» – Елену Катишонок!

**– Ваш роман «Жили-были старик со старухой» часто называют сагой о старообрядцах. А как бы Вы сами сформулировали, о чем этот роман – о религии, старообрядцах, о корнях, культуре? Были ли Вы знакомы со старообрядцами?**

– Мои герои старообрядцы, поскольку я пишу о балтийских русских; а многие русские не только в Риге, но и во всей Прибалтике как раз старообрядцы – ведь здесь, «у самого синего моря», они издавна селились. В Латвии, Литве и Эстонии и сейчас очень сильны старообрядческие общины; многих староверов знаю. Но это не значит, что книги посвящены старообрядцам, описанию их жизни и уклада – такая монография мне не по плечу, тем более что в своё время это великолепно сделал Мельников-Печерский. Главное то, что они – люди, со всеми человеческими слабостями, недостатками, сомнениями. Да,

они верующие, но как вера и Бог влияет на каждого из них, чаще зависит от таких земных событий, как разбомбленный эшелон, вынужденная разлука, вид голодных детей, которых нечем накормить... Пусть читатель не настраивается на триллер – какой бы удручающей ни была жизнь, в ней всегда есть отдушина: улыбка любимого, слово, сказанное ребёнком, бытовая сцена, из которой может получиться Шекспир, а выходит анекдот...

**– Вы говорили в интервью, что роман «Жили-были старик со старухой» начинался с долгих телефонных рассказов друзьям, когда Вы пересказывали фрагменты будущей небольшой повести... А с чего начались другие Ваши книги? Какой-то первоначальный образ, повод, эпизод?**

– А вот представьте моё состояние: первый роман дописан и напечатан. Казалось бы, чего ещё ждать? Однако было как-то беспокойно, что ли, словно что-то не досказано. Я жила, но где-то параллельно продолжали жить люди – смеялись, пили чай, разговаривали, спорили, старели; не обращать на них внимания было невозможно, они на глазах оживали. Примерно как в «Театральном романе» у Булгакова, когда герой видит картинку, и не просто картинку, а коробочку – комнату, освещённую уютным светом лампы, кто-то играет на гитаре, слышится смех... Вот так Михаил Афанасьевич помог – я тоже увидела свою «коробочку», и она стала заполняться героями из первой книги так, словно они продолжали оборванный разговор.

К третьему роману подтолкнула память обо всех домах, где мне приходилось жить или просто бывать; память о любимом городе. И вдруг откуда-то в этом городе материализовался дом, который я скорее почувствовала, чем узнала, и поняла: он расскажет лучше, чем я.

**– Насколько сюжет романов сопоставим с историей Вашей семьи?**

– Вопрос о личных параллелях я очень люблю, да без него и не обходится. Когда автора отождествляют с героем или героиней, это означает, что книга состоялась: герои ожили. Честно говоря, я с ними по-настоящему сроднилась, пока писала: мне за них было больно, когда они болели; стыдно, когда они поступали скверно; я негодовала, когда они обижали друг друга... Умирала вместе с ними.

**– Второе произведение из дилогии, начатой романом «Жили-были старик со старухой», называется «Против часовой стрелки» – не могли бы Вы пояснить это название?**

– В самом начале героиня заводит будильник – старый будильник, прошедший с нею почти всю её жизнь. Заводится он причудливым способом: против часовой стрелки. Да и действие фактически начинается с конца жизни героини: стрелка часов почти окончила свой путь. Её мечта – написать книгу своей жизни – неосуществима, но достаточно какого-то толчка, подобного одному повороту винта будильника, чтобы ожило очередное воспоминание. Так, в сущности, устроена и наша память – отправная точка времени; только отдавая себе отчёт в прожитом, можно смотреть вперёд и... жить дальше, иначе люди станут манкуртами. Вспоминая, старая бабушка словно проживает свою долгую жизнь в обратном направлении, против часовой стрелки. В её воспоминаниях прослеживается не только её жизнь, но и судьбы братьев, сестры – детей тех самых Ивановых, Старика и Старухи.

**– Что было самым тяжелым при написании романа «Против часовой стрелки»?**

– Самое тяжёлое – прощаться с героями, потому что я с ними давно сроднилась. Вместе с тем нельзя откладывать или затягивать прощание – нужно вовремя поставить точку, в том числе и на судьбе.

**– Какие Вы испытываете чувства по случаю вручению престижной литературной премии «Ясная поляна» и номинации «Русский букер»?**

– Чувство, близкое к ошарашенности, и радость причастности к русской литературе.

**– Нет ли ощущения груза ответственности после получения премии?**

– Груз ответственности появляется, когда получаешь аванс, а не награду...

О другом берегу

**– В 1991-м году вы уехали в США, что послужило причиной к переезду?**

– Причиной отъезда стало национальное возрождение. Звучит красиво, правда? Однако на деле это означает приоритет «титульной нации» и, соответственно, второстепенность всех остальных. К сожалению, мы знаем, к чему это приводит...

**– Вы уже давно живете в Бостоне, есть ли интерес в Америке к русскоязычной литературе? Какие тексты переводят на английский?**

– Я могу говорить за себя и за моих друзей – за книгами на русском языке, конечно, следим. Но переведённые русские книги я читаю исключительно редко. Могу назвать, например, «Мастера и Маргариту». Насколько знаю, существует три или четыре перевода на английский, один из них блестящий. Мне было интересно, насколько Булгаков переводим, и я прочла.

**– А сложно ли найти современную российскую литературу в Бостоне?**

– В Бостоне есть магазины, где продаются книги только на русском языке. Современных изданий очень много, только успевай следить за новинками.

**– Герои Ваших книг также не делают глобальных прогнозов, практически не интересуются политикой, это связано с границами жанра семейной хроники или принципиальная аполитичность?**

– Что значит – «не интересуются политикой»? Если вы имеете в виду, что они не читают газет, то Старик со Старухой ничего не читают, потому что неграмотны. Однако волей-неволей так получается, что политика интересуется ими – они оказываются втянутыми в перипетии внешнего мира, когда речь идёт об оккупации, национализации или о войне. Младшие поколения знают, что происходит вокруг, и даже ведут споры, к чему то или иное событие может привести.

**– В своих романах Вы описываете XX век. Нет ли желания написать что-нибудь о конце XX века, о современности?**

– Для меня писать о современности означает писать о той Америке, которую я знаю, т. е. об эмигрантской среде. Согласитесь, что делать это после Довлатова невероятно трудно. Просто рука не поднимается...

**– А какие у Вас творческие планы?**

– У писателя всегда есть некий творческий портфель, но что из него появится: рассказ или роман, очень сложно угадать. Мне нравится вопрос о творческих планах. Я всегда вспоминаю одну из любимых моих поговорок: «Если хочешь рассмешить Бога, расскажи Ему о своих планах на завтра».

**– Вы преподаете русский язык и литературу. Расскажите, есть ли интерес в Бостоне к этим предметам?**

– В основном мои ученики – дети русских эмигрантов от семи до семнадцати, хотя некоторые так втягиваются, что приходят «что-нибудь почитать», уже поступив в колледж. Иногда это дети от смешанных браков, где в семье изначально присутствуют два языка, русский и английский. Американцы – это отдельный пласт, работа с ними требует совершенно другой методики. Возраст не помеха: одному из моих студентов 65 лет, это известный врач, которого приглашают в Россию на конференцию.

**– Кроме прозы, вы пишете стихи. Это Ваше хобби?**

– Понятие «поэт-профессионал» для меня лишено смысла. Это – от Бога. Стихи писать можно только в одном случае: если не можешь этого не делать. Если иначе – нельзя писать: это будут не стихи, а какой-то другой жанр.

**– А чьи стихи Вы любите? На кого, может быть, равняетесь?**

– Наиболее «мои» поэты – Пушкин, Саша Чёрный, Мандельштам, Ахматова, Бродский. В самом понятии «равнения» заложено стремление быть равным кому-то – это невозможно. Могу присовокупить строку Мандельштама: Не сравнивай – живущий несравним...

Об электронных книгах

**– Как вы относитесь к электронным книгам? Это прогресс или регресс литературы?**

– Вопросы нет – конечно, прогресс, это и определяет моё отношение. Мне кажется, ответ не требует пояснения, но если электронную книгу с чем-то сравнивать, то я бы сравнила с телевидением: именно оно даёт возможность посмотреть фильмы, которые раньше были доступны только на большом экране. Электронная книга, «электронка» – это окошко в литературу, позволяющее заглянуть в любой текст.

**– Как, по вашим наблюдениям, в США развивается рынок электронных книг? (Вопрос не о денежных показателях, а внешне. Читают ли люди в метро, на улицах книги на гаджетах?)**

– Судя по тому, что и в метро, и в парках люди читают по большей части «электронки», рынок цветёт. При этом можно заметить гаджеты самого разного свойства – как «книжки», так и «таблетки».

**– Вы читаете электронные книги? Если да, то на каких устройствах и как часто? Если нет, то почему?**

– Пока только на компьютере, но регулярно. Пристреливаюсь – выбираю что-то более портативное, и трудно на чём-то остановиться. Помните: «маленькие, но по три, и большие, но по пять». Вот и у меня примерно так же...

**– Как вы считаете, как через 5-10 лет будут распределены силы бумажных и электронных книг в предпочтениях читателей?**

– Мне кажется, это будет зависеть от стоимости. «Электронки» становятся всё более популярными. Логика проста: лучше один раз потратиться на гаджет и потом «кормить» его (и, соответственно, себя) любыми текстами, с картинками или без, включая собрания сочинений и энциклопедии, за скромные деньги, чем покупать растущие в цене книги, которые нужно куда-то ставить, что означает приобретение мебели... Нельзя не заметить,



что всеобщая тенденция – сократить количество вещей и увеличить пространство вокруг нас, за счёт отказа от громоздких предметов: так, телевизор стал практически двухмерным, компьютер можно захлопнуть, как журнал, и положить в сумку... «Электронка» даёт возможность носить и возить с собой всю библиотеку – Omnia mea mecum porto. Не исключаю и того, что в следующем поколении вспыхнет интерес к бумажным книгам, ведь всё новое – это хорошо забытое старое. При этом владельцы сохранившихся библиотек смогут устраивать у себя экскурсии для племени молодого, незнакомого.

**– Как Вы считаете, пиратство в сети – это бесплатная реклама писателю или ущерб материальный и интеллектуальный?**

– Несомненно ущерб писателю – материальный в первую очередь. Ни пиратские сайты, ни читатели, приобщившиеся к книгам через эти сайты, не думают – или стараются не думать, – что они залезают в карман людям, пишущим книги. Это какой-то социалистический, что ли, подход, с такой же философией и психологией: дескать, бесплатное – значит, общее – или ничьё, как рассуждали в течение семидесяти лет. Я не вижу такого буйного пиратства англоязычных книг: по-видимому здесь, в Америке, это сочетание легкости и удобства покупки официальных электронных изданий и лучшего понимания принципа «Не укради». Для исправления ситуации в России с первой частью многое делает LitRes. А вот вторая не в наших руках, увы. Copyright грубо нарушается – и вместе с тем появление книг на пиратских сайтах обеспечивает рекламу, это своего рода весы.

**– Следите ли Вы за современной русскоязычной литературой? Кого можете выделить?**

– Стараюсь следить. Очень люблю Сергея Каледина, по-моему, это самый сильный из современных прозаиков. Мне очень понравилась повесть Эргали Гера «Кома», книга Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». Совсем недавно прочла чудесную книгу прозы Юнны Мориц «Рассказы о чудесном». Люблю Дину Рубину – это сложилось давно и прочно. Это далеко не все имена, а первые, пришедшие на память.

**– Пожалуйста, порекомендуйте читателям 5 книг, которые, на ваш взгляд, необходимо прочитать каждому.**

– О. Генри, рассказы, Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», Евг. Шварц пьесы, Б. Житков «Виктор Вавич», Г. Владимов «Генерал и его армия».

**– Есть ли у вас настольная книга? Та, которая всегда с вами, часто перечитываете?**

– Конечно, и не одна. Среди них могу назвать Пушкина, Библию, «Мёртвые души» Гоголя.

## ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО СТАРУХОЙ

*Разве минувшее не родная стихия рассказчика, разве прошедшее время глагола для него не то же, что для рыбы вода?*

Томас Манн

1

Жили-были старик со старухой у самого синего моря...

Синее море было скорее серым и находилось в часе езды: сначала на трамвае, потом на электричке, но они давно там не бывали.

Жили они вместе уже пятьдесят лет и три года.

Старик действительно любил ловить рыбу, но обходился без невода: просто шел поутру с удочкой на небольшую речку, которая текла за спичечной фабрикой, прямо за парком. Накануне привычно проверял бесхитростную снасть, засовывал тайком от старухи чекушку во внутренний карман пиджака, некогда серого, а теперь сизого от старости, и церемонно просил у правнучки-четырёхлетки жестяное игрушечное ведерко. Рыбу он, понятно, в ведерко не клал, но девочка с таким благоговением наблюдала всякий раз за его сборами, поставив ведерко на видное место, что на рассвете он прихватывал с собой смешную жестянку. Был он среднего роста, коренастый, с очень прямой спиной, хоть и ходил, прихрамывая на одну ногу. Крепкий, солидный нос покоился на казацких усах, густых и блестящих; картуз нависал надо лбом точно так же, как густые брови — над черными, блестящими и глубоко посаженными глазами.

Пряжу старуха не пряла, зато вышивала в молодости немало и с большим искусством. Ей удивительно подходило ее имя Матрона, которое в жизни звучало более заземленно: Матрена; сама она тоже соответствовала имени: статная, прямая, с округлым, но суровым лицом, на котором выделялись черные брови редкой выразительности; голос имела высокий и сильный. Впрочем, она могла бы зваться и Домной, настолько была домовитой и властной. Одевалась всегда в темные платья с вышивкой на груди, свободный покрой которых целомудренно скрывал мягкими складками оплывшие формы. Неизменный платок на голове, как и платье, чистоты был безукоризненной, отчего старуха всегда выглядела нарядно.

Было и корыто: его роль выполняла добротная оцинкованная ванна, в которой раз в неделю старуха замачивала, а потом стирала белье, глубоко погружая в мыльную пену полные руки и безжалостно теребя тряпье по стиральной доске, рельефные волны которой имитировали все то же синее море. Через пару дней рядом с диваном, на котором спал старик, она клала аккуратно выглаженную, еще теплую косоворотку и белейшую пару нижнего.

Как они жили? Кем они были? Не всегда же звались они стариком и старухой: были ведь когда-то детьми, женихом и невестой, супругами, а затем и родителями — шутка сказать! — семерых детей, из которых двое померли во младенчестве.

Оба родились на Дону, в Ростове, и выросли в староверских многодетных семьях с очень сходным жизненным укладом и достатка весьма скромного. Староверов в Ростове было немного, и они жалась небольшой упрямой общинкой, теснимые уверенным троеперстным православием. Рабы Божии Матрона и Григорий (так звали будущего старика) обвенчались в маленькой моленной, заключив свой союз как раз накануне смены девятнадцатого и двадцатого веков. После этого, недолго думая, первыми перебрались в Остзейский край, к гостеприимному синему-серому морю, где трезвых и работающих их единоверцев встречали приветливо. Довольно скоро научились понимать на слух местный

язык, а поселились в так называемом Московском форштадте, где уже больше двух веков прочно жили русские староверы, отторгнутые родной землей за экономию букв в имени Господа.

Здесь и начали жить они в своей первой ветхой землянке — маленьком, но уютном домике, который сняли на Калужской улице. Старику в то время было двадцать четыре года. Он знал столярное дело и любил его, поэтому сразу открыл мастерскую. Рекламе не доверял и считал баловством, да и не нуждался в ней после того, как сделал шкаф по заказу своего домовладельца. В трактире, куда иногда заезжал, свел знакомство с пожилым земляком-ростовчанином, давно уже здесь обитавшим и имеющим связи, так что в мастерской недолго работал в одиночку: нашел двух столяров-подручных.

В Ростов между тем отправили весточку о своем житье-бытье, чтоб родным было о чем подумать. Там весточка была разумно истолкована как приглашение, и пока шли озабоченные сборы, старика, который стариком еще, конечно, не был, стали уважительно именовать «Григоримаксимычем». Заказы прибывали, а с ними прибывали и приятные хлопоты: закупка материала, новые деловые знакомства, не говоря уж об устройстве дома. Старуха, тогда восемнадцатилетняя, уже была беременна первенцем.

В первом году нового века, веселым Пасхальным апрелем, в большом светлом храме был «крещень младенец женскаго пола» именем Ирина. Знай родители значение имени, немало подивились бы собственной прозорливости, так точно нарекшей начало их мирной жизни. Крестным отцом новорожденной сделался старухин брат Феодор Иванович, прибывший недавно, но уже крепко стоящий на ногах; крестной матерью — Камита Александровна Великанова, достойная супруга известного благотворителя староверской общины.

Это был первый день после Радоницы. Счастливый молодой отец запер мастерскую и вместе с рабочими отправился кутить: сначала в трактир, а после, как следует отпраздновав и разогревшись, на извозчике — к центру города, в бордель, где и «угостил» обоих мастеров упитанными, надушенными пачулями барышнями в честь вышеупомянутого младенца женскаго пола.

Как об этом узнала мать младенца, установить так же трудно, как невозможно описать гнев, ею овладевший, когда она увидела в окно медленно подъезжавшего извозчика. Из пролетки, пошатываясь, вылез веселый муж и тут же полез в карман, чтобы рассчитаться с извозчиком и с городовым, который почтительно нес за пролеткой картуз счастливого и грешного отца. Дома он услышал от больной после родов жены немало таких слов, которые ему были знакомы, но словарным запасом молодухи из старообрядческой семьи никак не предусматривались. Ликующий, виновато-похмельный и изумленный, он все еще шарил по карманам, словно пытаясь что-то найти. И нашел: извлек на свет миниатюрную бархатную коробочку, открыл, подцепив ногтем крышку, и, поймав слабую, влажную руку жены, ловко надел на первый попавшийся палец золотое кольцо с изумрудом. После решительно грохнулся на колени, уткнувши горячее лицо в пикейное покрывало, чтобы высказать что-то благодарственно-извинительное и заодно избавить ее от перегарного духа, а потому не видел, как обида на лице жены сменилась восхищением и колечко быстро обрело свое место. Голос оставался еще сердитым, и Гришка был отослан «проспаться и вымыться», однако же к младенцу был допущен, и лицо его от созерцания дочери сияло таким восторгом, что куда там изумруд. Проспавшись от кутежа, но не от восхищения, водрузил рядом с прежними новую икону *Нечаянная Радости*, написанную по его заказу в честь младенца. И впрямь — не чаял...

Так они жили уже втроем; а вскоре и ростовская женина родня начала прибывать, быстро приноровляясь к другой полосе и пополняя ряды староверской общины. Молодой столяр сделал несколько прочных скамей для моленной да пару надежных, устойчивых лесенок, чтобы удобно было затеплять лампы и свечи высоко укрепленным образом, с которых печально смотрели мудрые очи.

Работал он много и истово. Его мебель шла нарасхват, потому что сделана была любовно и остроумно, без единого гвоздя или шурупа, и украшена была вдохновенной резьбой.

К непроходящему изумлению отца дочка радостно играла на полу мастерской со стружками. Он даже не успел пожалеть, что первенец «женского пола»: будь он «мужского», можно было бы передать ремесло. Впрочем, через пять лет родился крепкий чернобровый мальчик, которого окрестили солидным именем Автоном. Коренастый, здоровый, он рос кротким и послушным, вопреки торжественному своему имени, что не удивительно, поскольку привык отзываться на теплое, почти женское имя Мотя.

Андрей появился на свет год спустя, сильно измучив мать. Он оказался таким же крепким и здоровым, как брат, но рос серьезным, задумчивым и молчаливым; это в нем осталось на всю жизнь.

Четвертые роды прошли легче, но «ясное дитя», мальчик Илларион прожил меньше года и был унесен глоточной болезнью, успев за свою коротенькую несмышленную жизнь привязать к себе обоих родителей крепкими узами любви и боли.

Следующего ребенка, еще два года спустя, мать ждала со страхом и нетерпением, надеясь унять тоску по ушедшему ясному сыночку и боясь, как бы не случилось беды с этим. Даже имя было уже задумано: Антон. Повитуха, однако, повернула громко орущего, извивающегося младенца причинным местом, отчего стало ясно: Антонина.

К тому времени землянка на Калужской и вправду стала казаться ветхой, так что они по очереди сменили две квартиры на Малогорной улице. На пересекающей ее Большегорной как раз продавали дом: две четких четверки на эмалевой табличке задорно выставили острые локти: что, мол, Гриша, кишка тонка — собственный дом?! Впрочем, продавали недорого. Взвесив все «за», обнаружили так мало «против», что быстро и купили, чтобы не передумать. Неподалеку располагалось кладбище, где нашла себе вечный покой старухина мать. Так появилось семейное кладбище Спиридоновых. Судьба — или История — не очень мудрила и нарекала этих бесхитростных рабов Божиих столь же незатейливыми именами: старуха была урожденной Спиридоновой, от каковой фамилии без колебаний отказалась, чтобы стать Ивановой. Сами же старик со старухой были молоды и здоровы, и близость погоста никого из них не пугала.

Старшей девочке уже исполнилось одиннадцать, и она была главной и единственной помощницей матери по дому и, разумеется, нянькой для детей. Округлостью и чертами лица Ирочка очень походила на мать, только никакой суровости и властности в этом нежном лице не читалось: оно было спокойным, мягким и улыбочивым. Догадывалась ли девочка, что у отца она была любимицей, или нет, неизвестно, но не было случая, чтобы они не понимали друг друга, — и тогда, и сорок лет спустя. Она уже ходила в школу и своей страстью к учебе изумляла родителей. Сами они ничему, кроме молитв, никогда не были обучены; книг в доме не водилось. Мать, которую к тому времени все в семье, включая мужа, звали *мамынькой*, умела быть полновластной владычицей в доме, а отец знал свое ремесло, в котором аршин, опыт и вдохновенный ум собственных рук заменяли школьную премудрость. Газет, естественно, не читали и даже численника в доме не держали. Вся их жизнь, прошлая и настоящая, четко, как таблица умножения, укладывалась в стройную систему праздников и постов, так что отсчет вели, говоря упрощенно, от Покрова до Николы или от Сретения до Спаса, а дни ангела почитали важнее, чем дни рождения.

На рождение каждого ребенка старик — еще будучи далеко не стариком — кутил, ограничиваясь, впрочем, трактиром, после чего неукоснительно вручал жене то медальон на цепочке, то агатовую брошь с бриллиантом, то серьги с аметистами цвета теплого сумрака, всякий раз снисходительно дивясь ее страсти к желтому металлу. Сам он носил только простые серебряные часы на «цепке», подаренные женой на именины. Золотое свое обручальное кольцо надевал исключительно по праздникам, отговариваясь помехами

при работе, что было правдой. За жену всякий раз суетливо и беспомощно переживал, когда та болела родами; детям гордо радовался, но ни разу более не испытал он такого счастливого трепета, как в том прозрачном апреле, когда взял на руки первое свое чадо.

Постные дни в ветхой землянке — среда и пятница — соблюдались строго, не говоря уж о больших постах. Трапеза была обильной и разнообразной, на это хозяйка была большой мастерицей. Варились щи со сметками или густой грибной суп с пухлой перловкой, тускло поблескивающей не хуже настоящего жемчуга; крупная, вальжная белая фасоль, запеченная с разноцветными овощами, а уж пирогов!.. Семья собиралась за большим квадратным столом, сработанным отцом не для одного поколения. За этим же столом, покрытым белой и сияющей, как наст, крахмальной скатертью, справляли и праздники — с молочным поросенком, словно прилегшим боком от усталости на блюдо, гусями, вспухшими от антоновских яблок, и гигантским окороком, рдеющим таким же румянцем, как лицо создательницы этих яств. Для хозяина выставлялся законный праздничный графинчик. Откушав, нанимали экипаж и ехали гулять в центр города. Отец, все еще ощущая себя *ростовскимъ мещаниномъ*, сознавал, однако, что для детей родным стал именно этот город, а не Ростов. Мать любила прогулки не меньше детей, да и то сказать: жизнь у нее была непростая и, при всей занятости, однообразная, хоть вой. Ведь классические женские добродетели — *Kinder, Kirche, Küche*, эти сакраментальные три «К», хороши, только если опираются на четвертое — кротость, а этого в Матрене как не было сроду, так и не предвиделось.

...Ей нравилось гулять по этому западному городу, так не похожему на родной Ростов; нравилось быть главной и строгой, запрещать или снисходительно разрешать, когда к солидному семейству подкатывал свою тележку мороженщик, хотя сама очень любила держать шероховатую вафельную воронку с холодными матовыми шариками. Нравилось, когда встречные благосклонно, восхищенно или с завистью провожали взглядами здоровых нарядных детей; нравилось, что на праздной руке мужа тускло поблескивало венчальное кольцо, и нравилось любоваться тайком на их отражение в витрине.

А конка!.. Матрена делала особенно строгий вид, когда дети усаживались, потом чинно занимала место рядом с мужем. Конка уносила их вдоль реки на долгую прогулку в Царский Лес, где мороженое было совсем уже особенное — не иначе как царское; а старик с наслаждением выпивал холодного пива. Они не сразу заметили — спасибо, дети обратили внимание, — как спокойную конку вытеснил электрический трамвай. Поначалу старуха не очень ему доверяла: рельсы рельсами, а ну как свалится?! Лошадей нету, одной хлипкой жердинкой держится, и то Бог знает за что... Привыкла, перестала бояться и садилась в трамвай с предчувствием чего-то нового и радостного. Это сбывалось: рельсов становилось все больше, а когда трамвайные вагоны зазвенели на форштадте, по Большой Московской, она и думать забыла о своих страхах.

...Потом возвращались — шли по Театральному бульвару мимо пятиэтажной гостиницы «Рим», сворачивали на Александровский, по которому тренькал упомянутый трамвай, огибая монумент то ли великого тирана, то ли великого реформатора, но в любом случае — великого. С особенной гордостью слушали они звонкий голос старшей дочки, старательно и увлеченно читающей вывески на двух языках: «Контора нотариуса», «Отель Империял», «Склад товарищества ситцевой мануфактуры», «Фабрика Бон-Бон», «Парфюмерия», «Табак». Табаку старик не курил, как старуха не ведала парфюмерии; слова «отель» и «Империял» звучали, как выстиранные пододеяльники, полощущиеся на холодном ветру; к услугам же нотариуса, слава Богу, прибегать не было надобности. Бывало, гуляли и по Старому Городу, неторопливо обходя строгое здание ратуши и углубляясь в затейливые извивы улиц и улочек, вымощенных добротным шведским булыжником.

Город все еще оставался чужим, хоть и обживался понемногу: с Александровского бульвара сворачивали на Мельничную, которая вела домой, к Московскому форштадту,

уже привычному, растоптанному и разношенному. Старик уважительно снимал картуз при виде церкви с непривычными аскетическими крестами, которых в богобоязненном Остзейском крае было немало, но оба единодушно соглашались, что лучше их белокаменного храма, отражающегося золотой луковкой купола в реке, конечно же, нет.

Дома он с облегчением скидывал выходной пиджак и жилет и, вешая одежду в шкаф, искоса наблюдал в зеркало за женой. Она расчесывала свои длинные и пышные черные волосы, уставшие лежать сплетенными под праздничным платком. За эти годы он уже выучил наизусть, как она, отложив гребень, гибкими и умелыми взмахами плетет на ночь вялую ленивую косу больше чем в аршин длины, что прикинул сначала на глаз, а потом выверил: сошлось. Как всегда, на ночь затеплили все лампадки. То ли из окон, то ли от наволочек с кружевными прошвами шел спокойный аромат свежести. Не переставая зудели кузнечики, и это зуденье, хоть и громкое, убаюкивало. Июль выдался необычайно знойным даже здесь, у самого синего моря.

## 2

«На добрую память милому и дорогому брату Петру Ивановичу Спиридонову от Матрены Ивановны и на память от Григория. Быть может, больше не увидимся. Я ухожу на войну», — написано на обороте фотографической карточки. Лицо старика ничего, кроме хмурого раздражения, не выражает. Старуха здесь покорная (что затрудняет сходство с оригиналом), смятенная и потерянная. Самым решительным выглядит старший сын, стоящий впереди так, словно оба нарочно подталкивают его: ступай.

14-го июля была объявлена мобилизация, потому как земля была хоть и не русская, а все же Россия, ибо входила в Империю вот уже ровно двести лет и четыре года. Памятник Великому на Александровском бульваре озабоченно и хмуро демонтируют, в то время как старуха собирает мужа на войну. Уложила белье, сверкающее и мытьем, и катаньем, гирлянду сушек в льняном мешочке, издающих веселый кастаньетный стук, и неизбежное льняное же вышитое полотенце, а сняв с вешалки столь неуместную сейчас выходную жилетку, остановилась. Муж вошел в комнату с таким же точно лицом, как на фотографии, и она вдруг кинулась к нему: «Гриша!..» Так стояли они, обнявшись: не старик и не старуха — Гриша и Матреша — и знать не знали, как им жить дальше.

Мешок, заботливо собранный женой, старику не пригодился, как и сам он оказался не пригоден к армейской службе, не говоря уж о войне, по причине единственного пломбированного зуба. Он выслушал объяснение пожилого фельдшера, застегнул рубаху, аккуратно высвободив зацепившийся за пуговицу крест, и вышел на улицу, бормоча в усы: «Мать Честная, Пресвятая Богородица!..», и не помнил, как ноги донесли до дому. Ничего не зная об этой войне, он знал только, что на любой войне убивают. Не боялся, что его убьют, — боялся убить. Ни трусом, ни храбрецом старик не был, а боялся по одной-единственной причине, простой и понятной: убивать нельзя. Всегда твердо это знал, а сейчас с каждым шагом ощущал кожей прикосновение креста под натальной рубахой.

Немцев в городе еще не было, хотя вражьи корабли заняли ближний порт; стало быть, скоро будут здесь. Витрину немецкого оптического магазина «Генрих Краузе и Сыновья» в Старом Городе безжалостно разгромили местные патриоты и их сыновья. Ира звонким голосом читала из газет про Бог весть где существующую Сербию, так ощутимо близкую Германию, и что царь клялся на Евангелии воевать до победного конца.

Из всего стало ясно одно: отсюда надо уезжать, а куда, тоже понятно — в Ростов, конечно, куда ж еще. Там все родное и привычное, у обоих остался кто-то из родни, не говоря уж о том, что старику давно хотелось показать отцу с матерью внуков, всех сразу. Вскоре у неразобранного мешка с сушками появилось солидное соседство. Еще бы — самих двое да пятеро детей, а как бросить нажитое?! Старик запер «собственный дом, номер 44» и мастерскую. С соседями простились скоро — многие уже эвакуировались. Отстояв службу Успения Богородицы, вся семья получила благословение батюшки,

которое и помогло не потеряться, не отстать от поезда и не быть оттерту в неопикуемых мирных баталиях эвакуации, а прибыть в родной Ростов и легко отыскать брата Петра Ивановича, так и не получившего фотографическую карточку по той причине, что не была отослана.

Жилье нашлось вполне сносное. Приодевшись (не зря Матрена сунула в один из узлов выходную жилетку, не зря!) и нарядив детей, отправились к деду с бабкой. Ни деда — дедом, ни ее — бабкой, впрочем, признать было невозможно. Зорким женским глазом Матрена заметила, что кудри у свекра поредели, а сам будто подсох немного, только кисти рук стали крупнее, что ли; усы приглаживал тем же движением, что и муж. Он же, обнимая мать, чуть было не поднял и не закружил ее, как делал с дочкой: щуплая, цыгановатая, она осталась такой изящной, что осознать ее матерью двенадцати детей, воля ваша, было никак невозможно. К тому же называл ее свекор теплым и ласковым именем «Ленушка», а когда она стремительным и гибким движением сняла платок — примерить новый, подаренный невесткой, — стали видны черные густые волосы, нигде не прочеркнутые сединой. «Ишь, что копченая», — со странной ревностью подумала Матрена, сравнивая налитую тяжесть своего молодого кормящего тела с неуместной девичьей стройностью свекрови. С удовлетворением убедилась, что ни в ком из детей, слава Тебе, Господи, сходства с нею нет, да и живут... не близко. Это примирило ее с мужниной родней окончательно. Застолье удалось; милости просим к нам.

Трое старших детей на правах беженцев были устроены кто куда: Ирочка стала жить в пансионе, Мотя с Андрюшей попали в училище, где обучали ремеслам, в том числе и столярному делу.

Вот неделя, другая проходит. У младшего резались зубы; Тонька была ребенком подвижным, что называется, «живое серебро», и Матрена от всего этого, а также от непривычного быта измучилась. Время от времени, всегда внезапно, появлялась «Копченая». Быстро и ловко, не слушая Матрениных уязвленных протестов, постирывала детское и буквально выталкивала ее из дому: сходи, развейся. Поджав губы, та хватала корзинку и отправлялась на базар, который базаром звался только в Городе, а здесь — звонким, набатно медным словом майдан. Возвращалась она действительно отдохнувшей, со свекровью разминалась в дверях, не успев вслух ужаснуться ценам на майдане, а дома ждали накормленные, чистые дети, горячие чугуны в печке и еще не просохший пол. Домовой, бормотала Матрена, ставя корзинку, чисто домовой.

Старик в поисках работы уходил рано. Он стал непривередлив и брался даже за мелкий ремонт, но и такую работу стало находить все трудней. Ростов, куда они так стремились, менялся с каждым днем, с каждой проходящей — и проходящей — неделей. Он скучал по старшей дочери, которую видел только раз в неделю, и ему казалось, что за эту неделю она еще больше похудела. Говорят, время видно по маленьким детям. Что ж — Симочка ходил, что прибавило Матрене хлопот, а Тоньке уже заплетали тонкие волосы в косичку. Ира на глазах становилась барышней. Она прибежала в воскресенье, после заутрени, и хлопотала допоздна, виновато помогая матери и стараясь сделать как можно больше. Однако той становилось все тяжелее, да и скудная еда сказывалась. Симочку, любимца, пришлось отнять от иссякшей груди, когда ему только-только стукнул год, и у матери навсегда осталось чувство виноватости, словно недодала самого насущного по своей прихоти или недогляду.

Внимая ужасам войны,

При каждой новой жертве боя

Мне жаль не друга, не жены,

Мне жаль не самого героя...

Увы! утешится жена... —

пела Ира, развешивая белье. Старик у было жаль всех: и друга, и жену, и «самого героя» — этих героев стало появляться на улицах все больше, а сколько их лежало в больницах, а сколько полегло Бог весть где... И про это тоже пела дочь:

...То слезы бедных матерей!  
Им не забыть своих детей,  
Погибших на кровавой ниве,  
Как не поднять плакучей иве  
Своих поникнувших ветвей...

Слово «жертва» из песни было, в сущности, самым верным и определяло всю их жизнь. Война шла уже не только в окопах, но и в воздухе, что было совсем страшно, потому что непонятно. Пожилые сестры милосердия с подписными листами в руках, в развевающихся косынках, все чаще стучались в дома, останавливали прохожих на улице: «Жертвуйте...» Предлагалось жертвовать «детям воинов», «семействам павших», «на табак солдату», «на призрение вдов убитых воинов» и даже «на переносные бани солдатам в окопы». Ирочка призналась, что у них в пансионе идет сбор пожертвований «На книгу солдату», и отец не смог отказать, хотя не понимал, на кой им там, в окопах, книги?..

Теперь он уходил искать работу засветло, а возвращался в потемках, но аршин оставался праздно лежать в кармане — не нужна была ростовчанам мебель штучной работы, даже и с резьбой; да и никому сейчас не нужна была. Нужен был хлеб, который стремительно дорожал и норовил вовсе исчезнуть: лавки закрывались, и люди ездили за мукой по дальним станицам. Теперь никто мешками, как прежде, муку не продавал; только стаканами. Да и вообще продавали, как и покупали, всё реже: с деньгами творилось что-то непонятное, ибо свою осязаемую ценность, то есть способность купить, они стремительно теряли, и майдан жил главным образом обменом.

Слава Богу, что в тот день он пришел пораньше. Двое младших сидели под огромным клетчатым платком и замороженно слушали мать. Жена расчесывала дивные свои волосы и так-то весело рассказывала, что дров в эту зиму им не надо, жарко! А первым долгом, расчесав волоса, отправятся они в новый парк на Елизаветинской, да от солнца чтоб зонтик не забыть — не дай Бог, напечет, уж как палит, как палит, точно печка. На дворе стоял ветреный ноябрь, и старик недоуменно остановил ее руку с гребнем: «Мамынька?..»

У мамыньки оказался тиф. Сестра милосердия быстро выпроводила старика и детей приводить не велела. Старшая, однако, прибежала и долго плакала, обняв истаявшие ноги матери, после чего и случилось самое страшное: свалилась в тифу. Старик отвез младших к деду с бабкой и отныне каждый день, помолившись Богу и торопливо выпив стакан кипятку, спешил в больницу. Ни к старухе, ни к дочери было нельзя, но заставить себя уйти он просто не мог, и сестры милосердно не гнали его. Сам заболеть не боялся, даже не думал об этом ни секунды. Дома, перед сном, горячо и гневно молился, обещая все именование свое, лишь бы...

Перестал замечать, как меняется Ростов; ему казалось только, что родной город обесцветился, несмотря на обилие ярких плакатов, все так же призывающих жертвовать, жертвовать, жертвовать... А может, обилие выгоревших солдатских шинелей сделало город бесцветным. Если столько солдат в Ростове, то сколько ж их на фронте? И не додумывал эту мысль до конца: боялся только, что потребуют от него *главной* жертвы.

Засыпал с радостью — еще один день прожит! В Ростове начал видеть сны; просыпаясь, изумлялся, насколько сны эти походили на горячечный бред жены. Снился Город, но не праздный, нарядный центр, где они гуляли до войны, а их Московский форштадт, домик на Большегорной, и как он ладит новое крыльцо, чтобы брюхатая мамынька, упаси Господь, не оступилась. В мастерскую шел мимо кладбища, пылил сапогами по песку; сразу за высокими кирпичными воротами начинался спуск на Двинскую, ведущую в просторный подвал, заваленный свежими стружками. Во сне нужно



было чего-то ждать: то ли материал вот-вот привезут, то ли рабочие задерживаются. С Большой Московской доносятся стук лошадиных копыт и скрип колес. Старик мечтал туда переехать, даже и дом присмотрел: высокий, каменный, на углу с Католической.

Сон таял на рассвете, непременно что-то оставив и перенеся в Ростов: вот за окном проехал парный экипаж со скрипящими колесами, а в памяти затухали чьи-то слова, непонятные, как и полагается во сне, но на знакомом протяжном языке...

Когда его допустили к выздоравливающей жене, он поражен был не глубиной запавших глаз и не татарскими скулами, а — воспоминанием, как она расчесывала волосы в последний раз: больше расчесывать было нечего.

Ирина болела долго; уже не чаяли. Из больницы вышла сразу после Крещения, с такими же, как у матери, невесть откуда взявшимися скулами, и обритой головы своей очень стеснялась.

Из-за этих постоянно дежурящих смертей (у Иры был и возвратный тиф) старик потерял способность понимать, что происходит вокруг, хотя происходило столько, что с лихвой хватило бы на десятилетия безвременья. Солдат на улицах становилось все больше, а милосердные сестры уже не собирали пожертвования, а выхаживали раненых. Жизнь, как и война, стала для него одним нескончаемым тифом с пугающим бредом из новых странных слов: *жмых, мешочник, заем, дезертир, пшенка, спекулянты, теплушка...* и вдруг, особенно звонко: *родзянка!* Что такое эта *родзянка*, Мать Честная?! Бывало, что этот ужас просачивался и в спасительный ночной сон, и тогда не было покоя. Нет, сначала шло, как всегда: Город, будто бы пятница, и мамынька собрала ему белье в баню. Отчего-то сильнее, чем всегда, взяли сапоги в уличном песке; да баня-то рядом, надо только на Витебскую свернуть. Он и свернул, но бани не увидел, а вместо бани не то конюшня, не то амбар необъятный какой-то; главное, однако, что внутри темно, а куда уходит эта темнота, Бог весть, и сердце тоскливо сжалось. Уйти бы совсем, но чтобы уйти, надо к этому спиной повернуться, а сапоги как приклеились и все глубже в песок уходят. Главное, он помнил, чтоб ворота не закрыли; тогда конец. И руки заняты — узелок с бельем, да тяжелый какой! Что ж там такого тяжелого, Мать Честная? Развязать бы, да некогда, вот-вот ворота закроют, бежать надо, да куда бежать-то?! Вдруг словно подтолкнул кто-то: а в мастерскую, мастерская ведь рядом! Весь в поту, задыхаясь от невероятных усилий и страха, он выдернул — не сапоги, нет: ноги, — на едином вдохе повернулся и бросился в еще открытые ворота, боясь оглянуться. Босиком побежал по совсем чужой Витебской, один квартал только до мастерской, и влетел в подвал, все еще сжимая в руке узелок. Стружки ласково щекотали босые ноги, вещи целы — мамынька не будет ругаться, и старик как-то сразу успокоился. Надо работать, раз уж в баню не попал; а сапоги — дело наживное. Подойдя к верстаку, повел рубанком по доске: *жмых-жмых-жмых!* От этого звука и проснулся, содрогаясь от омерзения к вышедшему из повиновения рубанку.

Непонятно было все, куда ни оборотись. Царь, который клялся на иконе и на святом Евангелии воевать до последнего, был где-то безнадежно далеко, а кто поговаривал, что его уж и вовсе не было. Наверное, поэтому воевали теперь не только с немцами, а и с кем попадая, и даже друг с другом, отчего, должно быть, часто менялась власть. Она врывалась в город одинаково бесцветными шинелями, но была диковинным образом окрашена в цвет своих знамен, точно солдаты сговорились играть в неизвестную игру, где все воевали противу всех.

Так проходила неделя, потом другая. Изменилось время, а у нового времени появились свои, иные, приметы: вороха бумажных денег разного вида и цвета, но одинаково бессильные что-то купить; гармошка, удивленно ахающая на дворах и завалинках, на майдане, на вокзалах; поезда, идущие Бог знает куда... Людские судьбы, да и сами люди мчались, катились стремительно куда-то, словно яблоки из перевернутой корзины, — в пыль, в канаву, в бездну. Песен про ужасы войны уже не пели — такие песни для

гармошки не годились; придумывали новые, да и не песни вовсе, а — так, припевки, которые даже не пели, а кричали, ухая, точно капусту рубили. Сколько их было, припевок этих, и все пели по-разному, а называли одинаково: «Яблочко». Случайно?..

Эх, яблочко,  
Недозрелое —  
Красна армия  
Гнала Белую.  
От станции  
К полустаночку —  
Полезай ко мне  
На тачаночку.

Раз услышанный, примитивный и навязчивый мотив долго и беспокойно зудел в голове, да и не удивительно: пели везде, под гармошку или притоптывая, а чаще — вместе, и даже шелуху от семечек, казалось, сплевывали в такт.

Эх, яблочко,  
Черны семечки —  
Все рядком легли  
Да у стеночки.

Впору было бы отредактировать Владимира Красное Солнышко, что отныне «веселие Руси есть пети», а может быть, как раз это и сделал новый правитель страны, тоже Владимир, и тоже — красный.

Эх, яблочко,  
Да румяное —  
Комиссары  
От крови пьяные...

Матрена была совсем слаба, и он сам собрался на майдан — кое-какие деньжонки еще сохранились из тех, царских, которые только и оставались пока подлинными деньгами. Обошел толпу солдат в расстегнутых шинелях и любопытствующих баб: какой-то вольноопределяющийся с красным бантом на груди, поднявшись на постамент статуи Александру II, кричал непонятно про пушечное мясо и размахивал рукой, будто швыряя что-то в толпу. «Да какое мясо, — визгливо заорала одна из баб, — кто его видел, мясо-то?!» И то, молча согласился старик, мясо еще когда пропало; хорошо, если требухой разживешься.

Он давно не был на майдане и с трудом узнал этот некогда обильный южный базар, где можно было найти что угодно, от колесной мази до текинского жеребца. Впрочем, и сейчас глаза разбегались от обилия самых разнообразных вещей, которые люди пытались выменять на хлеб. Пара атласных туфелек с длинными лентами-завязками. Машинка для стрижки волос, какими работают в парикмахерских. Гигантский чернильный прибор на малахитовой подставке, изображающий бронзовых медведей, самый маленький из которых держит хрустальный бочонок с бронзовой же крышкой. Новый, ненюшенный мундир с неподшитыми рукавами и ровной наметкой белыми нитками вдоль борта; доброго сукна мундир, многие щупали. Пожилая дама и с ней молоденькая барышня — совсем как Ирочка — разложили на прилавке книжки; барышня открыла одну, да и зачиталась, быстро-быстро листает и прядку волос на палец наматывает. Старик краем глаза увидел на картинке гимназисток за партой и чью-то фигуру у доски. Решился и купил — порадовать выздоравливающую дочку; дальше шел с толстой бордовой книгой под мышкой и смутным чувством вины: мамынька не поймет.

Остановился внезапно, как в стенку уткнулся: какой-то малый держал в руках форменные казацкие штаны с широкими красными лампасами. Не веря своим глазам, приблизился:

— Ты что же, форму продаешь? Продается, спрашиваю? — Наверно, в голосе что-то странное прозвучало; парень даже отшатнулся.

— Купишь, так продам, — сказал, но неохотно, не как продавец.

— Как же ты, форму?.. — Максимыч не договорил.

— Мне, батя, там форма не нада, — ответил малый, — в чем есть похоронят. Так покупаешь, что ли?.. — И парень настороженно оглянулся.

Не чуя под собой ног, старик прибежал домой. Нет, ничего не принес — и, задыхаясь от бега, все рассказал жене. Матрена произнесла только одно слово: «Ступай».

Он понял — и припал благодарно влажным лбом к платку. Платок соскользнул, отрастающие волосы упали на лицо.

— Да ступай же, Ос-с-споди!

На бегу что-то мешало все время, но остановиться и понять, что именно, боялся: спешил. Ворота, двор — и вбежал в дом. Мать приподнялась со скамейки ему навстречу, простоволосая, платок зажат в смуглых руках, и с отчаянием встретила его вопросительный взгляд черными, как у сына, не выцветающими глазами: увели. Увели отца; братьев не было, их ищут.

— Ищут? Кто?

Да эти... новые. Не только их — всех казаков. То *рѳсказ*, *рѳсказ*, — плакала мать.

Он не понимал.

Какой приказ?

Мать повторяла страшное слово:

— *Выкѳнчиць*, — «известить», мотая головой с рассыпавшимися волосами, и сын вдруг увидел сверкающую, как лунная дорожка, белую полосу справа. Совсем белую. Стоял и гладил ее по голове, как ребенка, а мать шептала пришепетывающей польской скороговоркой:

— Уходи! Уезжайте, уезжайте обратно... — и совсем неслышно: — Мрук. — Мрак.

В тот зимний день, когда он увидел седину в волосах матери, ей было пятьдесят восемь лет. В Ростове должно было случиться еще многое, а тогда нужно было снова бежать — уже домой. На крыльце заколоченного лабаза сидели солдаты, и самый молодой, в свалывшейся шапке-манчжурке, нежно подбрасывал гармонику, словно ребенка тетешкал:

Коли был кулак —

Раскулачили,

А кто был казак —

Расказачили.

Другой, с кисетом в руке, одобрительно подхватил:

Раскулачили —

А взять-то нечего,

Расказачили —

Память вечная.

Старику стало жарко, он ускорил шаг, и снова что-то непривычное мешало; на пороге дома у него из подмышки выскользнула книга.

Максимыч страстно хотел освободиться от этого морока, забыть навсегда бред и ужас. Со дня на день ждали прихода каких-то анархистов; им с Матреной слышалось:

антихристов. Проелись и отощали так, что разбитое корыто должно было вот-вот предстать во всей своей деревянной плоти; и неделя, и другая проходили, а выхода никакого не виделось. Да, они были в Ростове, и Ростов был — свой, но они ему своими уже не были. Все чаще вспоминали Город, но в Городе были немцы. Трезво взвесив все, что еще было весомо в этом чумном аду, решили, что немец лучше антихриста, а дом там, где родные могилы; и так, переговариваясь и раздумывая вслух, собрали незаметно и быстро скудные пожитки, которые прежде были вещами.

Поколебавшись, отец кивнул Моте: пойдём к деду с бабой. Пересекая шумную улицу, наткнулись на Иру с Андрюшей, торгующих самодельными папиросами. Пошли вчетвером. Старик загадал: лишь бы с улицы был виден дым из трубы, тогда... лишь бы дым, и вытягивал шею. Ирочка шла рядом, спрятав озябшие руки в старенькую материнскую муфту и стараясь попасть в такт с его большими шагами. На повороте мальчики вдруг пустились наперегонки, и он не успел заметить, идет ли дым; а может, мать с утра топила печку-то...

— Дома нету, — разочарованно выдохнул запыхавшийся Андрюша.

Печь почти остыла, но чугунок с ячневой кашей был еще теплым. Это вселяло надежду: разминулись, мать вышла ненадолго; где-то поблизости.

Дух перевести перевели, но ждать было недосуг: надо еще успеть попрощаться с Матрениной родней. Как мог медленно, направился он к двери, дети следом. На пороге светлел ровный клетчатый лоскуток: карта, рубашкой вверх. Он поднял и перевернул: шестерка треф. Бережно обтер черные капельки, связанные в скупые кресты, и сунул в карман.

Шестерка — дорога; матушка напомнила — торопила. Или обронила, уходя? Или — про свою дорогу знак подала, кто знает...

Дома, когда уходили проститься с братом Пётрой, столкнулись в дверях с дамами из дочкиного пансиона. Дамы пришли от попечительского совета: просили оставить Ирочку для серьезного обучения вокалу и музыке, «для ее же собственного блага». Та, что помоложе, уговаривала, волнуясь: «Подумайте, госпожа Иванова, ваша дочь очень музыкальна. У нее прекрасное меццо-сопрано, она должна петь, ей нужно хорошее образование». Вторая, пожилая, добавила: «Попечительский совет постановил принять вашу дочь на казенный кошт, — и сочла нужным пояснить: — Вам, госпожа Иванова, это ничего не будет стоить». До сих пор настороженно молчавшая, госпожа Иванова ответила с незабытой величественностью: «Она старшая, а всех у меня пятеро. Не петь она должна, а ремеслу учиться». Даже не переглянувшись, попечительницы откланялись; и то — Пётра заждался.

Быстрых дорог, как и дорог безопасных, в то антихристово время не было. На всех пересадках и переправах, во время изнурительного ожидания поезда, везущего неважно куда, лишь бы — оттуда, старик больше всего боялся нового тифа и молился горячо, страстно, под удалой припев:

Пароход идет —

Волны кольцами;

Будем рыбу кормить

Добровольцами...

### 3

Уберегла Пречистая. В Город прибыли на Рождество Богородицы. Праздничную службу отстояли на своих привычных местах, в родном златоглавом храме. Старик незаметно попробовал крепкой рукой лесенку: хороша, не расшаталась. Знать бы ему, что и через 88 (прописью: восемьдесят восемь) лет стоит она здесь, на своем привычном

месте, такая же крепкая, хоть ступеньки посередине уже немного подтаяли под сапогами свечника, поднимающегося на эти четыре шага, чтобы поставить длинные, медового цвета, тусклые свечи, зажечь их, перекрестясь, и на те же четыре шага спуститься. Совсем немного подтаяли...

В мастерской из довоенной жизни и ростовских снов разместилась скобяная лавка. Первым делом старик снял квартиру, как и примеривался давно, на Большой Московской, в третьем этаже высоченного каменного дома. Первый этаж пустовал, и хозяин охотно сдал половину под мастерскую. Почти все вещи, оставленные второпях в доме на Большегорной, где старик в ростовских снах любовно чинил крыльцо, сохранились, и старуха умело и с увлечением начала обустраивать новое жилье. Старик приладил на дверь изящную латунную табличку с гравировкой «Г. М. Ивановъ» и понял, что он — дома. Дом № 44, хоть и собственный, по сравнению с новой квартирой выглядел домиком; до приезда своих решено было сдать его внаем. Места в мастерской хватало, мастера Иванова помнили; не сразу и не очень скоро, но начали прибывать заказы. Вначале было трудно, но тяготы не шли ни в какое сравнение с ростовским мороком и страхом. Оба сына, Мотя и Андрюша, не отходили от верстаков, но настоящего помощника старик обрел только в ноябре.

На базаре, договариваясь с пильщиками о дровах, он заметил странную кургузую фигуру, похожую на пингвина. Пленный немец, зябко дующий в воротник жалкой шинельки, топтался вперевалку, пытаясь согреться. У его ног на аккуратно расстеленной газетине лежали мелкие деревянные поделки. Пильщики, посмеиваясь, рассказали, что продают «фрицу» ненужные обрезки, из которых тот ладит всякие финтифанти; тем и живет. Старик быстро оценил, что без какой-никакой стамески и доброго навыка тут не обошлось, и решительно пригласил немца в трактир погреться, откуда они вместе направились прямо на Большую Московскую. Самое смешное, что фриц и впрямь оказался Фридрихом!..

Дело пошло на лад с самого начала: ремесло Фридрих знал отлично, был аккуратен и исполнительен, как и следует быть немцу; особенно же искусен оказался в инкрустации.

Старшая дочка между тем пошла учиться к портнихе мадам Берг, тоже немке; младшая ходила в школу. Самый маленький, Сенька, увезенный в бредовый Ростов полугодом, понятно, нежилась дома, при матери, которая баловала его как могла.

Все мальчики, кроме Андрюши, так и не научились выговаривать букву «р». Не помогли ни мамынькины подтрунивания, ни беззлые насмешки сестер:

— Сеньк, а Сенька! Скажи: «кружка», сахару дам!

Мальчик глядел исподлобья, потом с торжеством кричал:

— Стакан!..

Только одно событие омрачило их жизнь: умер старухин отец, почти до последнего дня работавший бакенщиком на реке; умер незаметно и быстро, не успев соскучиться в больнице, никого не обременив долгой болезнью. Схоронили, опустив гроб в рыхлый желтый песок рядом с могилой Сиклитикеи, и Максимыч крепко и бережно поддерживал жену, зная, что обнимает сразу двоих.

Вскоре после похорон родилась девочка, Лизочка. Восхитительно красивой родилась, только плакала все, будто жаловалась. Мать не спускала ее с рук; прибежав от портнихи, Ира брала сестричку и носила, носила до утра. Ребенок не успокаивался. Пригласили доктора; он долго слушал сердечко, осмотрел миниатюрные ушки, но ничего внятного не сказал. У Иры на руках девочка, наконец, затихла; та обрадовалась и долго еще носила красавицу, боясь потревожить переключиваньем, и напрасно боялась.

Отпевая младенца Елизавету, двенадцати дней от роду, батюшка так и сказал: «Бог дал, Бог и взял». Кладбище печально расширилось из-за маленькой, словно ненастоящей, могилки, а в коротком еще поминальном списке старухи стало одним именем больше.

Старик не успел полюбить Лизочку, но ее долгий плач будил его вдруг по ночам, оставляя в груди ноющую жалость и боль.

Больше старику со старухой Бог детей не дал.

За своими хлопотами, то радостными, то печальными едва заметили, как и здесь наступила советская власть, — догнала, что ли? Правду сказать, выглядела она совсем не так, как на Дону, да и не прижилась. То ли почва оказалась неподходящей, то ли выдохлась по пути, неизвестно. Одна за другой возникали партии разного покроя и фасона, точно туалеты у легкомысленной модницы. Модница оказалась капризной. Перемерив все обновки, придирчиво огляделась по сторонам и скроила наряд по собственному вкусу, после чего стала называться *независимой республикой*, и о скоротечной советской власти стало неприлично даже упоминать. Впрочем, старик здраво рассудил, что мебель нужна и при советской, и при буржуазной власти, и оказался прав. Старуха сердилась, узнавая в очередной раз, что прежние деньги уже не годны и надо привыкать к новым; долго не могла взять в толк, что денег, лежавших у них в банке до войны, уже нет, как нет и самого банка, и сердилась почему-то на мужа, в особенности когда находила в старом ридикюле царскую ассигнацию серьезного достоинства, не стоящую теперь ничего.

У жизни появился иной, нежели раньше, временной отсчет: все, что было до войны, называлось нынче «мирное время» и покрывалось, как молоко загустевающими сливками, теплым эпическим словом «бывало». Бредовые годы эвакуации обозначались неохотным и неопределенным «тогда, в Ростове», причем для обоих давний, безмятежный Ростов их юности и Ростов тифозный были точно разными городами. Да и только ли для них?..

И опять: вот неделя, другая проходит, и составляются из этих недель месяцы, а там, глядишь, и снова Великий пост, потом Пасха. Старик почти не менялся, разве что усы и небольшая бородка не то чтоб даже поседели, а как-то слегка выцвели. Шевелюра его, в молодости пышная и кудрявая, словно взбунтовавшись против неизбежного картуза, отбросила последние условности и предстала откровенной лысиной с достойной, все еще волнистой каймой. Жена хоть и твердо знала, что бабий век — сорок лет, с тайным сожалением распускала то пояс, то вытачки. Волосы у нее давно отросли, но коса уже не оттягивала голову, да и мерить ее стало неинтересно.

Летом снимали дачу и выезжали к самому синему морю, где наслаждались скуповатым солнцем, чистым белым песком и снисходительно рассматривали приезжих курортников, упакованных в полосатые триковые купальные костюмы до колен. По выходным, как прежде, ездили гулять: то в Лесной Парк, который только начинал застраиваться фешенебельными особняками и куда съезжались многие, чтобы погулять и устроить пикник на траве; то, как в мирное время, в центр города. Главные улицы, казалось, поспешно вышли замуж за новую власть и стали зваться по-другому: Александровская стала улицей Свободы, бульвар Наследника обрел имя самого талантливого поэта республики. В Старом Городе таких изменений не было, зато появилось много новых вывесок. Проходя пустой пьедестал, вспоминали о памятнике Великому, который убрали в начале войны. Впрочем, все вместе, как в мирное время, гуляли уже не так часто: Иру наперебой приглашали кавалеры. Никого не желая обидеть, она установила твердый график ухаживаний. Одному позволялось встретить ее после работы и преподнести букет, другой ждал на площади, чтобы проводить до угла, но обидеться за краткость встречи не успевал, поскольку третий соперник уже бежал навстречу — пройти рядышком целый квартал, которых до дому насчитывалось шесть. Самое удивительное, что никто не обижался: чаровница была со всеми кавалерами улыбчива и приветливо ровна, как с братьями. Родители ломали голову, пытаясь понять, кому же она отдает предпочтение, но додуматься не могли. Двое уже приходили сватать дочку, чем рассмешили ее до слез,

после чего обоим было разрешено проводить «невесту» до кинематографа, где с билетами на Макса Линдера ждал третий.

Двое старших парней продолжали осваивать отцовское ремесло. Оба работали старательно, учась не только у него, но и у Фридриха. Немец неожиданно для всех преподнес Ирочке на день Ангела шкатулку для рукоделия, изящную и одновременно вместительную, отделанную элегантно-строгой инкрустацией из трех пород дерева. Отчего-то накануне волновался Фридрих и даже уронил себе на ногу рубанок, что уж совсем было для него не характерно. На празднование явился во всем новом и, вручая подарок, чопорно поцеловал у фройляйн ручку, сильно при этом порозовев. Пока именинница приседала в книксене, Матрена зорко пробуравила взглядом перламутровые запонки, узел галстука, бугрящийся под адамовым яблоком, решительно набриолиненные волосы, обыкновенно цвета пыли, и уже подняла было брови, да передумала; и правильно. А шкатулка хороша... такие вещи служат долго, где-то она и сейчас, небось, стоит, только инкрустация могла облупиться местами, как скорлупка...

Тоне, второй дочке, уже шестнадцатый год шел. Она так же сильно походила лицом на отца, сколь на мать — характером и нравом. В ней совершенно не было улыбчивой легкости старшей сестры, и так же, как мать, Тоня очень любила золотые украшения. Младшенький, Сеня, или, как мать предпочитала звать его, Симочка, рос изрядным шалопаем: то ли от материнской залюбленности, то ли от беззаботности самого младшего в семье.

\* \* \*

Незаметно бежало это безмятежное время. Молодежь выросла, кавалеры у Иры не переводились, но поскучнели: вот уже несколько лет она предпочитала общество молчаливого и чуть высокомерного от собственной застенчивости типографского наборщика, с таким же отчеством, как у нее, и с патриархально-староверским именем Конон, а в быту — Коля. Мало-помалу другие ухажеры завяли, как их букеты, а потом вновь расцвели, женившись и перестав быть кавалерами. Старуха с легкой грустью повесила в шкаф платье из панбархата, в котором отпраздновала серебряную свадьбу — двадцать пять лет, как одна копеечка, сложившиеся из седмиц: «вот неделя, другая проходит». Все еще царственную шею приятно оттягивал золотой медальон. Старик в тайниках души лелеял планы грандиозной свадьбы и несказанно обрадовался, когда дочь сказала ему:

— Папа, мы с Колей решили...

Однако планы его сгорели, как сухие стружки в плите. Мягко улыбаясь, но очень решительно дочь отказалась не только от грандиозной, но и от свадьбы вообще. Наотрез. Сбитый с толку совершенно, а как же с венчанием, получил короткий ответ: завтра. Улыбнулась и попросила об одном только — благословить «Нечаянной Радостью».

Еще пуще старуха бранится... Бранилась и скандалила старуха наедине с иконами да время от времени с собственным отражением в большом овальном зеркале: муж со старшими был в мастерской, виновница материнского гнева на работе, младшие учились. Без сватовства! Без приданого!.. Когда ж хлопотать о нем?! Без свадьбы, Осс-споди! Прокляну, подумала грозно, и тут же, испугавшись страшной мысли, сотворила молитву. Досталось, однако, и кузнецовского фарфора рыбному блюду — чуть не расколотила, и вилкам, обиженно загремевшим под горячей рукой, и, конечно же, старику, виновному примерно в такой же степени, как блюду.

Что ж? Через год старуха держала на руках внучку и горда была и счастлива безмерно, но не скрыть этого не могла и потому нашла порок: черна, мол, слишком — цыганская кровь.

Старик привычно не услышал ехидства — давно знал, что жена не любила его покойницу-мать, которая действительно была взята из польского табора и крещена Еленой вместо прежнего басурманского имени Лана.

В памяти Матрены маленькая, черная как головешка «иноземка» навсегда осталась неумелым своим крестным знаменем, быстрой и легкой походкой, неуместной у матери двенадцати детей, да смешным шершавым языком, над которым невестка посмеивалась; так охотно и часто смеялась, что сама не заметила — и удивилась бы, если б ей сказали об этом, — как много метких и выразительных польских словечек вкрались в ее речь и уютно устроились навсегда. Свекра, худощавого лихого казака с такими же блестящими, как у мужа, усами, чтילה, хоть и ревниво недолголюбивала за «иноземку».

К ее собственной родне придаться было невозможно. Матушка, тихая хлопотунья с суетливым именем Сиклитикея (та, что первой легла в неростовскую землю), во всем слушалась мужа, который носил библейское имя Иона и, должно быть, поэтому всю жизнь был связан с водой: то нанимался плотогоном, то плавал бакенщиком по ночному Дону, зажигая огни. Вернувшись домой, Иона ужинал излюбленной своей тюрей, то есть крошил в миску черный хлеб, крупно резал лук, наливал постного масла и, перемешав и посолив, добавлял воды. Вопреки робким протестам жены, любил готовить это яство сам. Несмотря на привычку к такой аскетической еде, сложения был богатырского и силы поистине былинной. Так ведь других и не брали гонять плоты.

В очередной раз Матрена усмехнулась, вспомнив историю собственного отчества. Дети Ионы должны были, по логике вещей, зваться Ионовичами, однако у вещей одна логика, а у чиновников — другая. Первым вспылил брат Мефодий, так решительно отказавшийся стать Иоанновичем, что едва не разлил казенные чернила; обошлось, слава Богу. Старшие, Фома и Пётра, не сразу поняли, как испуганный лысоватый человечек сделал их Ивановичами; а известно: что написано пером, того не вырубишь топором.

Странно, что этот неторопливый серпантин воспоминаний вьется незатейливой лентой, как раз когда старуха пеленает первую свою внучку. Крестной матерью захотела стать Тоня, очень гордая тем, что она теперь тетка. Девочку окрестили Таисией, но иначе, как Таечкой, или Тайкой, никто ее, конечно, не называл.

Снова и неделя, и другая проходит, и девочка Таечка уже косолапо топает в крохотных патентованных ботиночках на кнопках до щиколотки, слегка оглушенная оркестром на Мотиной свадьбе. Свадьба гремела — старик взял реванш — в модном кафе «Би-Ба-Бо», как раз напротив Елизаветинского парка, куда так мечтала попасть мамынька из голодного тифозного Ростова. Впрочем, парк тоже сменил название, породнившись с новой властью, которая, кстати, давно уже не новая.

Новый внук — Мотин сын — появляется на свет как раз на архангела Михаила. Мишка чернобров и смугловат, но до Тайки ему далеко. У старика прибавилось работы: помочь Моте, который уже начал строить дом — там же, на Песках, совсем неподалеку; где же еще. Прибавилось забот и у старухи: коса незаметно редела, а тело тучнело, но заметно, уж и распарывать да выпускать нечего. Слава Богу, дочь портниха: и отрез выберет, и скроит, и сошьет. Спасибо пускай скажет, что пенью учить не оставили с антихристами, прости, Господи, мою душу грешную.

Ирина спасибо не говорила, да и вообще говорила мало, зато много и напряженно работала, а дом вела не хуже матери — иначе не могла. Таечке было уже четыре, когда родился братик Левочка, такой белокурый и голубоглазый, что потрясенная родня долго озадаченно всматривалась в карие глаза счастливых родителей-брюнетов. Всматривались так долго, что чуть было не пропустили, как Тоня, крестившая и этого племянника, стала невестой молодого задумчивого фармацевта, как раз поступившего в ученики к известному дантисту. У жениха было огромное достоинство, которое Тоня оценила сразу: он был сиротой, а тетка, воспитавшая его, была такой древней, что в расчет не принималась.



Уж как ревниво, как требовательно старуха вертела дочь-любимицу, то поминутно поправляя корсаж, то призывая к порядку локон, якобы случайно выскользнувший из-под флердоранжевого веночка, да и сам этот фран... фрол... тьфу! — померанец. Максимыча, уже во всем праздничном, допустили поглядеть, а также выслушать жалобы старухи на капризный померанец, что он и сделал, а потому был отпущен с наглухо застегнутой жениной рукой жилеткой. Дался им этот померанец, думал старик; и что это все невесты, как сказавши: подай да подай, а что в нем? — невидные такие цветки, и все. В памяти тут же всплыл гомон базара, лотки и прилавки с фруктами, горки померанцев и апельсинов, чья-то тянущаяся к ним рука, когда старик вдруг явственно ощутил свою собственную ладонь, гладящую не апельсин, нет: тугой беременный живот молодой жены, с торчащим, аккурат как у апельсина, пупком. Ах, ты, Мать Честная!.. Должно быть, от этого откровения у Максимыча на свадебной фотографии несколько плутоватый вид; старуха же строга и величественна, как и следует быть Матроне. Жених горд необыкновенно и красив, каким никогда раньше не казался; а вот и ветхая, иссохшая тетка — она сидит рядом с уверенной и счастливой невестой, одетая от головного платка до ног в черном, и так же уместна, как пьедестал почти забытого памятника на бульваре Свободы.

Ан нет: пьедестал этот, на вид совершенно бесполезный, обозначил место нового монумента — памятника Свободы. Строили его целиком на народные пожертвования — кто сколько мог, столько и давал, и на диво скоро — через два года — он был торжественно открыт. Теперь бульвар Свободы обтекал его с двух сторон, как некогда, в мирное время, таким же манером расходился и смыкался вокруг гарцующего на коне Великого Государя.

Монумент был прекрасен. Высокий столб с устремленной ввысь женской фигурой подпирали — и преданно охраняли — воины в латах и с мечами, с глазами, полуприкрытыми от усталости и боли. Взгляд Свободы был направлен вниз, на них, а на сером мраморе высечено посвящение: «РОДИНЕ И СВОБОДЕ», причем пластина эта вмонтирована в красно-розовое мраморное подножие, и плиты уложены так, что казались истекающими кровью. Линии и формы поражали гениальной и строгой простотой. Во время торжественного открытия памятника двое офицеров в толпе негромко поговорили о том, что свободу нужно время от времени мыть в крови, и оба польщенно удивились, когда та же мысль патетически зазвучала в речи одного из выступавших патриотов.

Полюбовавшись новым монументом, отправились гулять по городу всей разросшейся семьей. Обошли сквер напротив Национальной Оперы и двинулись вдоль городского канала. Тайка с Мишкой скормили лебедям свои лакомства и все сокрушались, что птицам холодно: стоял ноябрь. Ира волновалась, что дети простудятся, но все же направились в Старый Город, к Ратушной площади. Там, напротив ратуши, находился знаменитый чайный магазин, куда тотчас же озабоченно устремились дамы. Мужчины остались ждать, а дети вертелись вокруг, разглядывая памятники и затейливые старинные фронтоны. Старик с уважительным восхищением прислушивался, как оба зятя рассказывают о Старом Городе: сами старики мало что могли рассказать внукам, ибо ничего, кроме своего Московского форштадта, не знали. Зятя-то учились и, как видно, не зря: говорили, будто из книжки читали, дети только успевали головами вертеть.

Старуха с самого начала зорко присматривалась к зятям, пытаясь отыскать слабые места. Старший, Коля, ей очень импонировал внешне. В то же время своей элегантною стройностью, сдержанностью и негромкой книжной речью он казался на форштадте нездешним, хотя сам был из простой семьи. Недостаток в нем выискался скоро: зарабатывал намного меньше жены, которой дарил, к слову сказать, книжки, а чтоб стоящее что-нибудь, так нет; а та и рада, простофиля.

Тонечкин Федя был сутуловат, ростом ненамного выше жены, зато держал ее, как куколку, и квартиру нанял из четырех комнат, в центре. Мало что в каменном доме, так и в баню ходить не приходилось: прямо в квартире ванная была. Старухе было немного

досадно, что ее любимица будет жить так далеко, но Тоня объяснила, что Федор Федорович начинает делать зубные протезы на дому, для чего в квартире и комнатку маленькую, пятую, оборудовали, а кто ж порекомендует солидного пациента врачу с форштадта? Это мать поняла и «Федор Федоровича» оценила. Попыталась было занести в графу с недостатками то, что младший зять был православным, но не получилось: ни одного праздника в моленной не пропускал, хоть и крестился по привычке тремя перстами. Тоже покупал книги (даже шкафы особые завел со стеклами), так ведь тут и деньги другие. Федя получил диплом зубного техника, но и жене, и теще нравилось называть его среди знакомых доктором, отчего он сначала конфузился, а потом как-то перестал замечать, что ли. Человек он был добрый и, как большинство добрых, тихим. Знаниями своими в медицинской науке гордился, и когда сказал теще, чтобы она не заворачивала младенца в свивальники — дескать, вредно для ребенка — она только губы поджала, но спорить не стала, забрала домой отбеленное полотно: пригодится для других внуков. А Тонечка уже нянчила сына, который родился копией отца, только что не сутулился.

Оба зятя курили папиросы, и тут старуха оказалась в затруднении, потому что средний сын, Андря, тоже начал курить, а за ним и Симочка, возмнивший себя кавалером: того и гляди женится.

Женился, напротив, Андрюша, внезапно и безрадостно: не от большой любви, а потому что иначе нельзя было. Всегда задумчивый, он был в последнее время смутен и мрачен. Как все мужчины его возраста, он уже несколько лет носил форму Республиканского защитного батальона и не всегда ночевал дома, что понятно. Оказалось — вон оно что.

Если бы не вмешательство старухи, то через несколько месяцев одним внебрачным ребенком (тоже мальчиком) стало бы больше. Сын все рассказал сам, да и не много было рассказывать. Мамынька не была в восторге от невестки, уже «с начинкой», но твердо сказала:

— Женись, твой грех.

Обычно тихий и покладистый, Андрюша вспылил и наговорил старикам, как потом вспоминала мать, «сорок бочек арестантов» и даже пригрозил сделать над собой что-нибудь, на что получил еще более суровое:

— Грех, Андря!

Старик маялся и ничего не говорил, но думать, что Андрюшин сын не будет Ивановым...

Почему-то мамынька твердо знала, что мечтательный Андрюша свою угрозу в жизнь (точнее, в смерть) не претворит, и не ошиблась. В ту ночь родители не спали. Мать истово молилась, отбрасывая нетяжелую косу и опускаясь грузным телом в земных поклонах: за сына, за будущую сноху и за невинного младенца, который должен стать уже седьмым по счету внуком.

После торопливого венчания последовало негромкое домашнее застолье вместо свадьбы. Новая невестка не нравилась мамыньке, только невозможно было сказать чем. Надежда была аккуратная, ладная, яркая и ловкая, но всего в ней было как-то через край: и ловкости, и яркости, и говорливости. Где-то в глубине души и слова нашлись подходящие: окрутила сына. Так ведь нет — сама заставила жениться! Подумав, мамынька привычно поджала губы: тем и не хороша, что не девкой под венец пошла. Да еще тем, что хоть и старалась угодить старухе, было видно, что на самом-то деле ни в грош ее не ставит. Не-е-ет, с Павой, Мотиной женой, не сравнить: та — степенная, солидная, а уж хозяйка! И пироги, и в огороде не разгибается, и троих уже родила, а главное, мужа твердой рукой держит: Мотяшка-то не курит, не пьет, разве что на праздник, а дом построил — загляденье!

Старик видел, как лицо жены то мрачнеет, то разглаживается, но о чем она думает, не знал, потому что сам думал только о сыне. Ах, Андря, Андря... и на кой все это веселье, когда собственная свадьба парню не в радость?! Жена повторяла: стерпится — слюбится. Но настойчивое это «на кой», несмотря на несколько выпитых рюмок, вертелось в голове, как маринованный гриб под вилкой: он-то знал, что должно быть только наоборот: слюбится — стерпится, а все остальное — от лукавого.

В его смятенные думы ворвался какой-то сложный разговор между зятьями, и старик невольно прислушался, хотя понял немного. Федя все говорил, что время теперь хорошее. Коля чуть усмехнулся и спросил:

— Для кого?

— А для всех! Памятник видел? Ведь свобода!

— Кому ж при жизни памятник ставят, — усмехнулся старший. — Раз памятник, пиши пропала твоя свобода. Да и какая свобода при диктатуре?

Дальше пошло совсем непонятно, и старик налил новую рюмку. Вставая и вынимая портсигар (из-за икон курили на лестнице), Федя поучительно сказал, что диктатура диктатуре *люпус эст*, и спорщики вышли в коридор.

Время и впрямь было хорошее. Дети жили своими семьями, и пока старуха купала, брызгала от сглазу святой водой и закручивала младшего внука в беспощадный свивальник, чтоб эта лайдачка знала, как надо, Симочка привел в дом жену. Не спросивши благословения!.. Отец как раз поднялся из мастерской обедать; разгоряченная мамынька, с закатанными по локоть рукавами, вынимала противень из духовки, а Настя стояла, прижавшись к мундиру жениха, красивая, как Вера Холодная, и вписывалась в эту картину примерно так же, как вписалась бы та. Невозможно было представить себе, что эта синемаграфическая дива будет рожать детей; да она и не собиралась. Естественно, что такая невестка потрафить мамыньке не могла, однако старуха тайком любовалась Настей, гордясь выбором любимца, и даже на невесткину бесполезность смотрела сквозь пальцы.

#### 4

Это ж только подумать — через год сорок лет будет, как венчались! Так-то уж пышно праздновать навряд ли будут (старуха невольно покосилась на шкаф, где висело панбархатное платье с серебряной свадьбы), но семья соберется, все семнадцать, да кто из родни, да сами... это сколько ж выходит-то? В таких приятных подсчетах старуха начала жить новый день, и не хотелось даже придирается к этому дню — таким он был славным и добротным.

Неделя да другая, которые потянутся за ним, Бог даст, не хуже будут, уютно додумывает она, деловито, но не теряя величавости, выбирая на базаре все необходимое для обеда. В корзинке уже свежая зелень, кусок молодой баранины и нарубленные воловьих хвосты для бульона, чуть сочащиеся нежной розовой сукровицей, но мамынька требовательно указывает железным крюком на дебелую курицу и получает ее, чтобы властно, с акушерской ловкостью, развести бессловесной птице ноги и понюхать, а как же без этого. Хозяйка курицы старуху знает давно и уважительно наблюдает, как та выполняет все пункты неписаного покупательского кодекса, после чего четвертую по счету курицу, которой посчастливилось пройти этот страшный суд, велено завернуть, и корзина становится тяжелей. Пока мамынька, перейдя в молочные ряды, строго минует одну крестьянку за другой, окидывая нарочито равнодушным орлиным взглядом сочные глыбы творога, непроницаемые бидоны со сметаной, масло, похожее на густой мед, игнорируя призывы вкусить, дабы убедиться... а дальше не слышно, она уже далеко, уже пробует мед, подобный подтаявшему маслу, но нет, недовольна; пока она ищет совершенства в этом мире, текущем молоком и медом, старик думает синхронно с нею,

как это уже не раз бывало за сорок минус один лет. Его долото осторожно продвигается по раме будущего трюмо, деликатно, но уверенно взрезая плоть когда-то живого клена, чтобы через неделю-другую, отражая в зеркале чужую жизнь, этот кусок дерева мог вспоминать свою кленовую юность и зрелость, птичий переполох, взгляд сверху на оседающие пламенные листья, и этих воспоминаний хватит на весь его мебельный век, ибо разве не кленовый лист выходит барельефом из-под резца? Старик думает, что все дети, слава Богу, благополучны: суп у всех густ, а жемчуг, если у кого и мелок, так ведь — жемчуг. Стало быть, прав зубной доктор: хорошее время, что и Бога гневить.

В воскресенье после заутрени собрались за столом. Мамынька не хлопотала — для этого есть дочери и невестки, — а только дирижировала, чтобы трапеза шла плавно и не прерывалась. Андрюша с Симочкой явились с опозданием, и оба почему-то в форме, несмотря на воскресный день. Мамынька не успела решить, на какую высоту поднять все еще черные брови, как Андря, глядя на старика, произнес:

— Война, папаша.

Тот самый день, который был таким славным и удачным для старика и старухи, оказался черным днем для Польши, хотя светило одно и то же сентябрьское солнце, отражаясь в одном и том же синем море. Началась война, но не почернело синее море и не вздулись сердитые волны, а ведь Польша — вот она, совсем рядом.

Брови все-таки поднялись: «Так то Польша? Где Польша и где мы», когда старик вдруг сгреб в горсть скатерть так, что нож звякнул о тарелку, и стукнул кулаком по столу: «Не смеешь! Я польской крови!!», и так неожиданно зазвенел этот крик, что все замерли в изумлении. Сама-то фраза была мамыньке знакома: муж пускал ее в ход, когда она, бывало, слишком уж пиявила его после сдачи большого заказа и такого же кутежа в ознаменование. Никогда, однако, слова эти не выкрикивались с таким гневом. Старухе сделалось коломытно; так ведь не ругаться сейчас, баранина-то стынет быстро.

О чем в эти неопределенные недели думала старуха, то пробуя на базаре сливу для варенья, то развешивая накрахмаленные простыни на октябрьском ветру, а потом уверенно ведя по этим простыням тяжелым чугуном утюгом, сказать трудно. Тремя этажами ниже, ведя рубанком по березовой заготовке, которой суждено было стать чьей-то столешницей, старик думал, если это можно считать мыслью: на кой?! На кой немцам (опять — немцам...) Польша? И сам себе отвечал, если это можно считать ответом: а на кой им тогда была Сербия?

Разговор с учеными зятями помог немного, а правду сказать, так и совсем не помог, только прибавил путаницы. Говорили, что порты закрыты, а тут — извольте радоваться! — в этих закрытых портах русские, только уже советские, конечно, военные корабли. На кой? Ждать немцев? Зятя помалкивали уклончиво, вынимали папироски, и потрясенный старик понял: не знают, даром что ученые.

А немцы не ждали — уезжали из города целыми семьями, распродавали имущество. Два заказчика прислали сообщить, чтобы мастер не трудился, так как в заказанном более не нуждаются. А материал закуплен!.. Аванс, впрочем, назад не вытребовали, но это было только справедливо. Засобирался и Фридрих.

А-ах, Мать Честная! Тот самый, что, дую себе в воротник, торговал на зимнем базаре деревянными безделушками, тот, кого старик двадцать лет назад согрел в трактире и приветил у себя в мастерской, ну тот, который еще потом шкатулку Ирочке... Собирался Фридрих долго, хотя что там собирать-то? Сундучок смастерил на славу и, конечно, отделал крышку инкрустацией. Максимыч самолично насадил на сундук латунные уголки — точно как при въезде в квартиру, когда крепил на дверь, словно визитную карточку, табличку со своим именем. Странно было подумать, что Фридриха в мастерской больше не будет, и не из-за инкрустации, Господь с ней. Немец был для старика единственным «своим», кроме родных (а в лихую минуту и более своим, чем они), и связаны они были, хозяин и работник, тесными узами любви к своему мастерству и знанием его тайн. И как

знать? Попади старик тогда на фронт (иными словами, не имей он зуба с пломбой), а потом в плен, ибо попасть он мог только в могилу или в плен, потому что не мог поднять руку на ближнего, хоть и немца, — может, и ему пришлось бы жить из милости немецких пильщиков, бросающих ненужные обрезки дров, и ему пришлось бы продавать где-то на немецком базаре матрешек да щелкунчиков. А коли так, то — как знать? — может, и ему Бог послал бы благополучного Фридриха, прогуливающегося с тросточкой, а вовсе не дующего то в воротник, то на замерзшие пальцы. На вопрос, куда едет, Фридрих приостанавливал работу и отвечал односложно: «Фатерлянд». Так и подмывало спросить у немца, на кой его фатерлянду понадобилась Польша, но не спрашивал — догадывался, что ответа тот не знает. Старик видел, что немец не торопится, и со свойственной ему прямоотой уже хотел сказать: ты ж тут больше двадцати лет живешь, на кой ляд тебе фатерлянд этот, оставайся! Не сказал. Вспомнил далекий 14-й год, странный толчок где-то под ключицей и вдруг овладевшее им тогда чувство сиротства, от которого и бежали всей семьей в Ростов, свой фатерлянд.

Попрощались с немцем по-людски, как и познакомились: в трактире.

За верстак Фридриха перешел работать Мотя, и вначале было непривычно, а потом и это стало неважно, потому что республика, двадцать лет пробыв в этом качестве, вдруг потеряла независимость. Казалось бы, не привыкать — вон сколько лет входила в Российскую империю! Теперь вошла опять — вернее, ввели — в империю советскую. И этот опыт Остзейская земля имела раньше, с той лишь разницей, что теперь советская власть водворилась с неестественной скоропостижностью — и осталась.

И далее по тексту: старуха бунтует, на чем свет стоит мужа ругает, хоть муж тут явно ни при чем. Для старухи новая власть — хоть советская, хоть турецкая — означала появление новых денег, что она всегда переносила болезненно. В этот раз, однако, никто о новых деньгах не говорил, говорили о национализации; но ни старуха, ни старик не знали, что это означает. Вскоре начало проясняться: пропал куда-то хозяин дома, в котором они жили, и дом стал принадлежать государству. Для старухи, впрочем, это большого значения не имело: она так привыкла к этой просторной ветхой землянке из пяти комнат, что не задавалась вопросом, где теперь хозяин, да к тому же была приятно озабочена грядущей 40-й годовщиной их свадьбы. Годовщину отпраздновали, но не так, как это сделали бы прежде, в мирное время. Она поправила себя: время-то и сейчас мирное, только беспокойное, тревожное какое-то. Даже за юбилейным столом у всех на языке была эта национализация, чтоб ее. Поговаривали, что мастерскую тоже национализируют, но остались ведь жить они в национализированном доме? По-прежнему звонили у крыльца заказчики, вот только с материалом стало труднее, но старика выручали старые связи.

Даже накануне Благовещения мамынька не могла избавиться от суетных дум и пыталась — в который раз! — узнать у мужа, это ж сколько будет наших денег, если в новых рублях (в обращении был и рубль, и «наши»), но старик не знал. Ответ мамынька получила на следующий день, под праздничный апрельский благовест, когда объявили о национализации банков. На счету каждого вкладчика могло оставаться не более тысячи, и не «наших», а — рублей. Одной тысячи. Вернувшись из моленной домой и боясь поверить, расспрашивали зубного зятя, который и подтвердил.

— А остальные?! — недоверчиво вопрошала мамынька.

С уважением узнав, что теща говорит об «остальном» от миллиона с чем-то «наших», а не рублей (плюс проценты), Федя бросился за валерьянкой, убедившись, что дверь плотно закрыта: то, что мамынька выкрикивала высоким, накаленным от гнева голосом, посторонним ушам слышать было бы бесполезно, а иконы привыкли ко многому и, услышав, что все остальные деньги конфискованы государством, ликов не изменили. Муж и зять пытались старуху урезонить, говоря, что были б руки, так и деньги будут, что они, слава Богу, не нищие, и прочий банальный вздор, который никогда еще никого не утешил;

мамынька, натурально, заголосила, и валерьянка, как сказано, ни черта не помогла. Старик прибег даже к более радикальному средству и стукнул кулаком по столу изо всей силы, сопроводив этим совершенно здравую мысль о том, что мебель-то нужна и при буржуазной власти, и при советской. Знай он о явлении *déjà vu*, то вспомнил бы, что такое было уже думано и пережито двадцать лет назад, и жизнь подтвердила бесхитростную его правоту.

Прав оказался старик: большевикам мебель понадобилась скоро и вся сразу, поэтому они и не замедлили явиться, трое в советской военной форме. Торговаться не стали; удовлетворенно пересчитав все готовые и полуготовые заказы, составили мебель в грузовики, подергали, пытаясь сдвинуть с места, верстаки, оставшиеся неподвижными, и повесили на дверь мастерской большую печать. Сунув в руки ошеломленному старику бумажку с бледными буквами — расписаться, уехали.

Только миновав первый лестничный пролет, он начал понимать — если он понимал правильно — что произошло сейчас, и так паскудно сделалось ему от этого, что домой он не пошел, а заторопился к Ирине, живущей в нескольких минутах неторопливой ходьбы. Старик шел, зная, что дочери дома нет, но он сейчас хотел видеть не ее, а зятя, отсыпавшегося после ночной смены. Глянув на полуобморочно сиреневые буквы, зять подтвердил: конфискация. Мамаша знает? Старик неопределенно мотнул головой и растегнул верхнюю пуговицу косоворотки. Как заказчикам-то скажешь?! Коля убежденно говорил, что власть-то правильная, только люди, мол, которые у власти, они ж не всегда, папаша, разбирают, и когда лес рубят, то щепки летят.

На слове «щепки» старик поднялся, нахлобучил картуз и заторопился, словно куда-то опаздывал. Зять было двинулся следом, но тот мотнул головой: не надо.

В мастерскую он торопился, вот что. Вошел со двора, благо, заднюю дверь опечатать не догадались. В углу лежала груда щепок, которые, слава Богу, никуда не летели и береглись для растопки плиты. Под верстаками клубились, завиваясь, свежие стружки разных оттенков, словно локоны, срезанные ножницами парикмахера. Он постоял у верстака Фридриха (теперь Мотиного), подошел к своему. Постоял, водя по нему рукой, пытаясь кожей навсегда запомнить рисунок дерева, знакомый лучше, чем собственная ладонь. Взяв мешок, туго набил его щепками и стружками, жадно вдыхая непередаваемый смолистый запах, постоял еще немного, потом легко вскинул мешок на спину и вышел вон, тщательно заперев дверь. Рука хранила прикосновение к верстаку, а в памяти ладони ожило такое же прикосновение, много лет назад, к маленькому гробу Лизочки, так никогда и не поигравшей с веселыми стружками. За дверью мастерской навсегда остался мастер Г. М. Ивановъ и, может быть, смотрел, как по лестнице подымается крепкий еще старик Максимыч.

Дома он аккуратно поставил мешок у плиты и, снимая картуз, сказал мамыньке, что щепок больше не будет, после чего произнес непривычное слово, а вслед ему — неприличное.

## 5

Время шло к лету, но о выезде на дачу и речи не было. И не потому даже, что старуха хлопотала вокруг двух новорожденных внучек, чего могла бы и не делать: и Тонечка, и Андрюшина нелюбимая жена сами справлялись с младенцами, — а потому что Бог знает что творилось в некогда благополучном городе. Конфискация затронула не только старика. Много кто на форштадте (теперь называемом «район») остался дома, без дела и без денег, да и хорошо, если вообще остался дома: не все вели себя так безропотно, как Максимыч.

Новая власть заявила о себе военной формой, в которую с поразительной быстротой оказались одеты сыновья и старший зять; зубной же техник изо всех сил старался не выглядеть счастливым — близоруких не брали.

Красноармейская форма сидела на сыновьях не то чтобы мешковато, но не так щегольски, как прежняя, а о прежней лучше было и совсем не упоминать. Странные, а для многих страшные, шли недели, и дни были смазаны неопределенностью слухов и событий и невозможностью отделить одни от других, как и сами дни переходили в белые ненастоящие июньские ночи. Говорили о немцах и ждали немцев; это казалось одновременно и невозможным, и неизбежным, а для кого-то желанным. Этих последних легко было узнать по выражению удовлетворения и скрытого торжества на лицах в то воскресенье, когда в дверь позвонил Коля и сказал Андриюшины слова двухгодичной давности: «Война, папаша», а потом показал тонкую бумажку: «Всех призывают».

Вскинулась старуха — то ли голосить, то ли молиться. Старик молчал. Он понял, что отныне его жизнь зависит не от Божьей воли и не от его собственных рук, а от зловещих листков с бледно-сиреневыми буквами, напечатанными небрежным стаккато какой-нибудь барышней, с мазком от жирной лиловой копирки на уголке и круглым поцелуем невнятной печати внизу. Это и было теперь Божьей волей.

Следующая бумажка приказывала старику идти на войну. Такие же листки получили все сыновья, так что оба поколения, четверо Ивановых, стояли в очереди на освидетельствование, и все четверо получили один и тот же приговор: годен.

Где тот фельдшер, который велел ему, тогда 36-летнему, отправляться домой из-за пломбы в зубе? Его нынешний возраст, ловко поменявший местами те цифры, комиссию не смутил, и, возвращаясь к каноническому тексту, старичок к старухе воротился — проститься. Неведомо, было ли сказано сакраментальное: «дурачина ты, простофиля», но если и не было, то подразумевалось безусловно.

— Не смеют! — бушевала старуха, переводившая взгляд с мужа на иконы. — Не смеют, холера ясная!

Посмели.

Стремительно скрылся из глаз военный эшелон с тремя сыновьями, оставив потенциальных вдов и сирот, а пока еще жен и детей, которым плакать и стенать было некогда — надо было срочно эвакуироваться. Старику велено было ждать вызова и никуда не отлучаться, да и отлучаться было некуда — немецкая артиллерия уже бомбила Старый Город. Вместе со старухой они собирали невесток и внуков, и мамынька больше не говорила свое «не смеют», а молилась вполголоса, не снимая лестовку с запястья.

Бумажка с малокровным текстом, присланная Коле, содержала приказ оставаться в городе «на посту». Постом называлась типография, в которой он работал, но оставаться надлежало отнюдь не для работы, а для охраны важного стратегического объекта. Зачем бы немцам понадобилась типография, где и шрифта-то немецкого не было, Коля не знал, а Максимыч не терзал зятя праздными вопросами. Ира совершенно потеряла голову, и муж разговаривал с ней, как с ребенком, в то время как дети обводили глазами квартиру и складывали в наволочку школьные учебники и игру «Рич-Рач». Как бы то ни было, на исходе второго дня войны — вот так отчетливы и подробны были эти дни, и страшно было подумать, что из них составятся недели, — на исходе второго дня войны в одном вагоне для эвакуируемых оказались три жены: Ира, Пава и Надя, с полным, говоря по-военному, комплектом детей каждая.

Старуха эвакуироваться отказалась. Нет, и кончен бал. Старик начал было уговаривать, но вспомнил, что все это уже было: эвакуация, Ростов, морок — и замолчал. Да и не одна она оставалась — Тоня, любимица, тоже никуда не ехала: Федя практику не прекращал, здраво рассудив, что зубной техник одинаково потребен как большевикам, так и немцам — рты у всех устроены одинаково. Советские аппаратчики, кстати, охотно пользовались

услугами явно буржуазного доктора, не предпринимая ни малейшей попытки конфисковать кабинет: ну конфискуешь в пользу советского государства элегантно-кожаное кресло с бормашиной, а зубы-то кто вставит? Другое дело — лавка с бакалеей или мастерская, хоть мебельная, хоть скорняжная... Зятевы рассуждения Максимычу были понятны, как свои собственные, ибо его собственными какое-то время назад и были. Старик был уверен, что Тоня с Федей поддержат мамыньку. Оставалась и младшая невестка, Симочкина красавица, и тоже обещала «мамаше помогать», да что с нее, с неумехи, взять, хотя за доброе слово спасибо.

В один эшелон с сыновьями старик не попал: паскудная бумажка предписывала ему явиться в порт. Содержание листка, впрочем, гораздо лучше передавалось классическим текстом:

Ступай к морю, говорят тебе честью,

Не пойдешь, поведут поневоле,

в результате чего старичок отправился к морю, то есть в порт.

В порту, обычно оживленном и грохочущем, было непривычно тихо. Красноармейцев — отныне старик тоже принадлежал к этому племени — быстро погрузили на пароход. Женщин в порт, ставший военным объектом, не пустили, поэтому каждый мертвел душой в одиночку. Было много таких же, мягко говоря, пожилых, как Максимыч, но никого из знакомцев он не встретил, да и не искал. Винтовка оттягивала плечо, и делать с ней дозволялось только одно, чего он делать не умел и не хотел, а главное — не мог. Вся надежда была на Царицу Небесную — ведь уберегла ж тогда!.. Он не заметил, как пароход вышел из порта и осторожно, без гудка, словно крадучись, неуверенно двинулся по реке.

То ли немецкий бомбардировщик заметил эту неуверенность, то ли просто делал свое дело, но суматоха на пароходе поднялась совершенно не военная. Щелкали затворы винтовок, звучал неизбежный мат, долженствующий повысить боевой дух военнотружущих запаса, а бомбы падали в воду вокруг пароходика, и казалось, что кто-то большой неумело пускает «блинчики». Солдаты бегали по палубе, втягивая головы в плечи, словно это могло помочь, и старик тоже бегал, не понимая команд, а больше ориентируясь на мат и беспомощно тяготясь винтовкой, которую, по примеру других, держал в руке. От нескольких упавших подряд бомб пароход заволокло густым дымом, и послышался отчаянный крик: «Огонь!» Кто-то сильно толкнул Максимыча в бедро, и он увидел, что палуба трещит и расплывается, а тот, в фуражке, все кричит что-то и кашляет от дыма. Старик не бросился, а перевалился через борт, явственно расслышав слова покойного отца: «Бог не без милости, казак не без счастья». С облегчением выпустил ненужную винтовку и поплыл к берегу. Ему, выросшему на Дону, плыть было легко и нестрашно: разбомбив пароход, немец развернулся и дисциплинированно полетел докладывать об успехе. Максимыч плыл и плыл, а у берега встал на ноги, чтобы тут же отчего-то упасть вновь, да так и остался лежать щекой на песке — то ли песок был шершав, то ли щека.

\* \* \*

Было уже поздно, но старуха медлила ложиться спать, чтобы не стереть со щеки прикосновение мужниной бороды. За сорок один год разлучались они нечасто, а правду сказать, так и не разлучались совсем: старик всегда был с нею, даже в тифозном бреде. Старуха подкрутила фитили в лампадках, проверила замки и осталась жить, дожидаясь, когда он отопрет дверь своим ключом.

Вот неделя, другая проходит... Нет, другая успела только-только начаться, как немцы заняли Город. Еще неделя-другая вполне понятной неразберихи, и — извольте радоваться! — новая власть. Местное население в массе своей действительно радовалось,



страстно надеясь, что будет возвращено все отобранное большевиками, что вновь забурлит свободная жизнь... в режиме оккупации. Немцы сразу ввели трудовую повинность, напомнив, что бесплатных пирожных не бывает, и плохо пришлось бы 57-летней старухе, если б не зять Феденька. Кроме своего зубного ремесла, он хорошо знал новый государственный язык и уже оказал первую услугу одному не крупному чиновнику из гебитско-миссариата, который остался не то что доволен, а — счастлив. Старая истина о том, что все решается в нижних эшелонах власти, подтвердилась и здесь: Матрена осталась дома, моля Бога за Феденьку, которого все чаще и чаще мысленно величала Федор Федорычем. Но и работал же Федор Федорович не покладая рук и был рад-радешенек, ибо принадлежал к категории людей, любящих свое дело. Пациенты звонили, чужие мундиры отражались в зеркале, и нарядная Тоня гордо встречала очередного страдальца. Естественно, что жена герра доктора никакой трудовой повинности не несла, если не считать, что так же ревностно вела дом, растила детей и часто проводывала мать, принося деньги и продукты.

Не коснулась пока трудовая повинность и Коли, которому советская власть, уходя, поручила охранять типографию и даже выдала форму и винтовку. Тщетно ждал он обещанных «дальнейших указаний»; старуха же, не привыкшая есть в одиночку, дожидалась его, подогревая обед. Первого июля, увидев входящих в город немцев и отчаявшись, зять сделал то, что делали все вот так оставленные: переделался в свою привычную одежду, а форму и винтовку закопал на пустыре.

Пришли за ним через два дня, хотя могли бы прийти через два года, не говоря уже о том, что и вовсе могли не прийти, потому что пустырь тот ни при чем. Однако страна должна знать своих героев: нашлись на форштадте патриоты, нашлись. Собственно, оказалось достаточно одной патриотки, которая и донесла на члена ячейки. Какой ячейки? Да какой же еще. Нет, не жид и не цыган, брехать не буду, а что коммунист, так все знают.

Что уж говорить про всех — семья не знала. Примчавшийся Федор Федорович был в недоумении.

— Да какой он коммунист, мамаша, какая ячейка? Он же в моленную ходил! А форму на всех надели!..

Аргументы эти обнадеживали женщин, но не самого Феденьку. Хорошо, что не было Иры: уж ей-то ничего не нужно было знать до поры до времени.

До какой поры, до какого времени, сколько дней и недель пройдет, прежде чем... прежде чем что? Город жил под другими флагами, вывески заговорили на чужом языке, — так ведь это и раньше менялось. Люди приспособлялись — и приспособились, тем более что край этот издавна питал к немцам глубокий пиетет, думал Федор Федорович, доставая стерильную салфетку. Рот пациента выглядел таким жалким и беспомощным, что невозможно было соотнести эту немощность с регалиями на мундире. Сегодня последний визит. А значит, и последний шанс, быстро думал доктор, здесь нижние эшелоны не помогут: одно дело — трудовая повинность, другое — арестованный коммунист; понадобится этот зубр. Зубы «зубра» сидели, вернее, висели в бледных деснах, как зернышки в неспелом гранате, а глаз со страдальческим вождением косился на пальцы дантиста, сжимавшие протез неотразимой красоты, который и был водружен в измученный рот. После традиционного этикета вопросов и ответов, а затем предьявленного зеркала — всю процедуру может описать любой портной или парикмахер — было достигнуто взаимно однозначное соответствие лица и мундира. Широко улыбаясь и любуясь в зеркале собственной улыбкой, пациент достал портмоне и снова улыбнулся доктору, но уже вопросительно. Федя, вытерев последний палец, корректно, но решительно отвел деньги. Если герр Фюссмайер почувствует хоть какой-то дискомфорт, прошу покорно. Немец признательно кивнул и, не убирая портмоне, спросил, как он может отблагодарить герра доктора. Герр доктор удовлетворенно отметил про себя, что дикая пациента не пострадала и, словно колеблясь, промолчал. Дверцы стеклянного

шкафчика, никель бормашины и приоткрытое окно соблазнили немца улыбнуться еще раз. Улыбнулся: так как же?.. Аккуратно повесив полотенце, Федор Федорович пригласил пациента в кабинет.

Расчет был верен. Солидные немецкие издания по медицине в стеклянном шкафу (улыбка), старинный чернильный прибор, окно, защищенное от дневной суеты плотными шторами, должны были создать и закрепить образ ученого-медика, который еще и практикует ради хлеба насущного, однако от гонора отказывается.

Федино объяснение немец выслушал без улыбки, но когда заговорил, тон его был почти сочувственным. Был ли он потрясен метаморфозой собственного рта или безоговорочным речательством герра доктора за своего обреченного родственника, неизвестно; потребовал бумаги. Вручая записку, хмуро сказал, что ничего, разумеется, не обещает.

Наутро Федор Федорович отправился узнавать, где был его... шурин? деверь?... Махнув рукой, остановился на привычном «швагер», а следующая мысль: лишь бы — был.

Был!.. Концентрационный лагерь находился километрах в ста, и зубной доктор (хотя и только техник, но уже никого не переубедить), окрыленный успехом могучей записки, сразу же туда заторопился, пожалев, что отказался сгоряча от передачи, которую собрала Тоня. Тот же листок открыл ворота лагеря. Дежурный офицер прочитал записку с почтительным удивлением и, перелистав несколько бумаг на столе, подтвердил, что интересующий доктора субъект действительно был во вверенном ему лагере. Свидание исключается. В продолжение Фединой беспомощной паузы офицер сказал что-то лейтенанту. Тот вышел и скоро воротился, передав начальнику конверт из грубой плотной бумаги. Конверт, врученный затем герру доктору, содержал профсоюзный билет с Колиной фотографией и обручальное кольцо.

«Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего Конона», — прошептала старуха, выслушав недлинный рассказ зятя. Напив его чаем и неохотно проводив, она долго сидела за столом, вода ребром ладони по скатерти и выравнивая крошки в тощие грядки. Жизнь ее, с новой войной и с новой властью, при всей ее напряженности, стала пустой и длинной. Всякий раз, оставшись одна, она не начинала, нет: продолжала упрекать старика за то, что он так легко ушел воевать. Разогнавшись, старуха с азартом корила за отданную, как ей теперь казалось, большевикам мастерскую и пропавшие — а в сущности украденные теми же большевиками — деньги из банка. Сегодня прибавилась Колина смерть, в которой она тоже непостижимым образом винила старика. А зачем дочку отдал? — Вон сколько парней было, а теперь в сорок лет — вдовой!.. Доплетя тонкую седую косу и перекрестясь, она легла и долго прислушивалась к ночным звукам за окном. Потом заснула и увидела мужа, который говорил: «Бог не без милости, казак не без счастья», а вокруг стояли сыновья — все трое — такие красивые в мундирах, только не разобрать, каких — не то в республиканских, не то в красноармейских, но красивые!..

Так еще одно имя было вписано в поминальный список старухи — имя первого отнятого войной. Имя же Феденьки должно быть занесено в какой-то особый список тех, кто не побоялся по своей воле пойти на свиданье со смертью. Такого списка, однако, у старухи не было, хоть и молится она за здоровье раба Божия Феодора, который уснул сейчас тяжелым сном, и снится ему Коля. Он склоняется над списком и говорит негромко, что он — был, был и ждал его, а потом был экстерминирован, но прежде-то был!.. Глаз швагер не поднимает и продолжает чужим уже голосом, что выдать одежду экстерминированного не представляется возможным. От этого чужого голоса сон прерывается, и тихонько, стараясь не разбудить жену, доктор пьет сельтерскую, чтобы не думать про одежду, а значит, думая.

Может быть, рассказчику не следовало бы описывать все так подробно, а предыдущие несколько страниц и вовсе вычеркнуть? Дескать, если жили-были старик со старухой, то и

сосредоточиться нужно именно на их жизни, и незачем так пристально концентрироваться на зятях. Но, во-первых, имеет смысл доверять интуиции автора, ибо он — лицо ведомое, он не сочиняет, он просто идет за ниткой разматывающегося клубка; во-вторых... Впрочем, всегда хватает «во-первых»: проверено, и не раз. Невозможно зятя Феденьку, старухино доброго ангела, упомянуть походя — только потому, что зять. Особенно сейчас, когда мамынька, проводив всех сыновей на войну, обратила на зятя любовь и тепло, предназначавшиеся им. Было еще что-то, что она не могла даже в молитве высказать, какое-то суеверное чувство: пока жив и здоров Федя, то и с ними ничего худого не случится. Он, в свою очередь, слово «мамаша» произносил с особой теплотой, потому что сиротство — оно ведь никогда не забывается, даром что своих уже двое. Вот и получилось, что тихий сутулый младший зять стал главой семьи, еще полгода назад такой внушительной, а теперь развеянной по фронтам и эвакуациям; и не тяготился этим.

## 6

Октябрь уж наступил, когда овдовела, сама еще об этом не ведая, старшая дочь старика. А еще раньше, летом, сам он, уронив винтовку на дно, упал на берег и врос щекой в жесткий сухой песок. Старуха же молилась за здоровье его, не за упокой; и была права.

Не песок оказался жестким, а его собственная отросшая щетина. Песок же, напротив, был гладким и таким белым, что больше походил на подушку. Так это и есть подушка, удивился старик. Недоверчиво ощупал обеими — целыми — руками узкую подрагивающую койку и хотел сесть, но пронзительная боль швырнула его обратно. «Отвоевался, отец, — говорил врач, заканчивая перевязку, — болеть будет долго. Смотри, не вставай, а то кость неправильно срастется. Ты чего в воду-то полез?..»

Максимыч рассказал, как начали обстреливать пароход, как занялась палуба и как он поплыл, а винтовка утопла.

И-да. Шестидесят три года, на год старше папы, прикинул врач. Как, с осколком в бедре, старик мог добраться до берега? Это ж какое сердце надо иметь! На дезертира не похож: тот бы документы утопил прежде винтовки, не говоря о форме... Вода его и спасла — ни песка, ни грязи в ране практически не было. Сколько он пролежал? О том, что больше никого на берегу не нашли, врач не сказал, да и мысли его приняли совсем другое направление: от родителей, торопливо отправленных в эвакуацию, вести не приходили, а своей семьи у доктора не было. Он сдернул грязный халат и с ненужным раздражением велел сестре принести новый.

От-т работа, Мать Честная, уважительно изумлялся старик, следя за манипуляциями доктора. Чисто за верстаком стоит. Молодой, совсем как наш Андруша. Тоже ведь семья, небось, дома... или где-то, как у наших.

Санитарный эшелон двигался быстро, с короткими и нечастыми остановками. Лежать прямо, как велел доктор, было неудобно, но всякая попытка переменить положение прошибала резкой болью, и Максимыч смирился. Раз сказано, что отвоевался, значит, отпустят домой; скорей бы. Раненые называли его «дед» и удивлялись, когда он отказывался от махорки. Получая от усталой конопатенькой худышки свою миску с пшенкой, он спросил, когда ж поезд-то приедет? Скоро, дедуль: до Омска и остановок не будет.

И вправду не было. В самом же Омске остановка была неожиданно короткой из-за какого-то карантина, и поезд дернулся, словно рыгнув, когда отходил от перрона, к великой обиде юного, на вид младше Симочки, долговязого солдата с разрывной раной плеча: у него в Омске жили родители. Парню почему-то выйти не разрешили, и снова у Максимыча в голове начало клубиться это безнадежное «на кой». Вытащить мальчика из Сибири, чтобы загнать под Смоленск, где он и окоп-то по своему росту выкопать не

успел, хорошо, жив остался... О том, где и в каких окопах вжимаются с молитвой в холодный песок его сыновья, он мучительно старался не думать. На кой...

В следующий раз эшелон затормозил ночью и стоял долго. То ли от тягостных дум, то ли от постоянной тряски боль в бедре и ноге не утихала. Из темноты чужой, хоть и русской, ночи доносились отдельные слова: *карантин — Челябинск — предписание — транспорт — сульфидин — Чита — трибунал*, щедро разбавленные матом. Закрывая глаза, старик пробовал вспомнить, где такое уже было, но припомнить не мог и раздражался. Дожить бы до утра, Господи! — хоть белый день увидеть.

И опять где-то там, в небесной канцелярии, услышали его молитву, потому что белый день он увидел из окна госпиталя со сказочно удобными, после санитарного эшелона, кроватями и даже тумбочками между ними, а в окно светило солнце, пол не дрожал, и сюда перенесли старика, чтобы залечить его первое и последнее боевое ранение; все это называлось — Кемерово.

Мысль материальна, если она послана от одного человека к другому, и чтобы убедиться в этом, не надо читать сочинения философов. Живущий на Аляске и напряженно думающий о своем родном и близком, который в это время пересекает пустыню Гоби, посылает ему свою любовь и тревогу: так соприкасаются души. Эта связь чиста и надежна, ибо невозможно родному человеку послать таким способом ложную мысль. Другое дело — в письмах: легче солгать в первый раз, а потом поддерживать единожды написанную неправду.

От Иры пришла открытка с Поволжья: живы, мол; как вы, родные? Где Коля? Рыжеватая плотная бумажка дошла, по военным меркам, неправдоподобно скоро. Да что там, просто — неправдоподобно; какая вообще могла быть почта в военное время... Однако запыхавшаяся открытка с адресом на двух языках достигла-таки Остзейской земли и осела, в немногочисленной компании ей подобных, на почте маленького провинциального городка, где еще не висели флаги со свастикой, а люди не знали, что их родина отныне будет зваться чужим словом Ostland. Скоро так и случится, а пока письма уже аккуратно пришлепнуты штемпелем и ждут своей участи, то есть доставки.

Вот неделя, другая проходит, и почта, слава Богу, попадает в Город, где вызывает легкое недоумение у немецкого чиновника: конверты и карточки так истоптаны штампами, что он отстраняет легкую рассыпчатую горку и забывает о ней начисто. Пожилой исполнительный почтальон привычно загружает сумку и, взгромоздившись на ободранный велосипед, катит по булыжной мостовой, чтобы опустить невесомую бумажку в знакомый почтовый ящик. В Тонином парадном он медлит, наслаждаясь прохладным полумраком, но спустя минуту вновь напяливает фуражку и выходит в августовский зной. Что ж, служба такая.

Тоня несказанно обрадовалась весточке и написала в ответ, что Коля ушел с красноармейцами, а больше ни от кого известий не было; береги себя. Неизвестно, последовала сестра ее совету или нет, потому что ответа не было, да и не могло быть. Тонины письма, не достигнув пункта назначения, тоже зависли где-то в пространстве. Это и хорошо — значит, канула в небытие ложь, если считать ложью... А разве Тоня могла писать иначе? Да и ходил же он, говорила она сама себе, словно репетируя встречу с сестрой, ходил он в этой форме с другими, а что получилось так, как получилось, Ире сейчас знать было нельзя. Только вряд ли Тоня знала, что сестра ее редкую минуту не думала о муже, и Колины мысли были обращены к жене, хоть он и не знал, куда была заброшена его семья. Но для мысли это не имеет значения — линии такой связи никогда не бывают заняты.

В ожидании ответа Тоня собралась было послать сестре денег, что было только справедливо со стороны человека, не знающего о липком пайковом хлебе и щак из крапивы, но это осталось добрым намерением, и только. Стратегия привлечь ростовскую родню провалилась, ибо с Ростовом не было связи по той же причине, что и с Поволжьем,

а потом и он оказался под немцами, и пестрые рейхсмарки с колючими готическими буквами никак сестре помочь не могли.

Время шло, в отличие от писем. Достаточно сказать, что минуло три с половиной года с того полдня, когда измученный жарой почтальон опустил в ящик Ирину открытку. Он и не изменился совсем, только сейчас шея была закутана шарфом, и прежде чем вытащить из сумки почту, он стянул перчатки и теперь стоял, прижимая их подбородком к груди, в левой руке держа веером письма, и с ловкостью, присущей всем картежникам и почтальонам, выдергивал их правой. Проверив фамилию на шершавом конверте, метнул его в ящик квартиры № 3. Поправляя сумку, уронил перчатку, нагнулся, чертыхнувшись, а надевал уже на улице, где его ждал все тот же ободранный послушный велосипед.

Война еще не кончилась, но была предreshена. Вместо немецких флагов в городе развевались советские, и сумка почтаря с каждым днем становилась тяжелее.

Начали приходить, хоть и редко, письма с Поволжья, и не всегда их нужно было читать при мамыньке: *«...я вижу землю и кровь, Тоня, кровь, вижу и Андрюшу, и Колю, а Колю я вижу в ужасном виде: глаза у него выжжены, уши и язык отрезаны, руки выломаны, мне страшно, почему я еще не слебла...»*

Забегая вперед: Андрюша с войны не вернулся, числился пропавшим без вести. Не о своей ли смерти подал он весть старшей сестре? — Ибо никаких других известий ни от него, ни о нем не поступало. Как именно погиб Коля, иными словами, что кроется за словом «экстерминация», никто не знает, и далек в пространстве и времени немецкий город Нюрнберг, но может быть, и Коля подал знак жене? Да почему «может быть»? Конечно, подал, и принял нечеловеческие муки, и смерть его была ужасна. Феденька это почувствовал, когда вернулся из концлагеря: ведь Коля и к нему воззвал, сказав, что он — был...

Во время войны жизнь принято было делить на две части: фронт и тыл. Но ведь была и третья — оккупация. Так получилось, что клан старика и старухи был разделен и хлебнул от каждого из трех котлов. Те, что остались в оккупации — ядро семьи во главе с Федором Федоровичем, то бишь зятем Феденькой — как они жили? Он работал, жена занималась детьми, дети подрастали. Мамынька любила, когда все они приходили в гости: это было почти как в мирное время. Забегала к старухе и Настя, младшая невестка, что было совсем уж удивительно, но приятно. Трудовой повинности она как-то избежала, но ухитрилась баловать мамыньку гостинцем, с пустыми руками не являлась никогда. Приходила, как и прежде, нарядная и подолгу смотрелась в большое зеркало: «Семену понравится, мамаша, да?» Старухе было странно, что ее Симочку она называет так важно и непривычно: Семеном, но больше всего нравилась невесткина уверенность, что Симочка вернется, а значит, вернутся и остальные. Как и прежде, старуха ходила на кладбище и выстаивала службы в моленной. Она жила, если можно назвать жизнью ожидание; но ведь ожидание — это подготовка к чему-то, в том числе к жизни; значит, это и была жизнь.

Старшая дочь и обе невестки, все с детьми, оказались в эвакуации. Ира и Надя, Андрюшина жена, поселились недалеко друг от друга, в соседних деревнях на Поволжье; Мотину семью судьба забросила в далекое село на Урал.

Ирина в деревне была впервые. Если бы не швейная машина да прихваченный второпях сверток с отрезами (и то и другое диковина в этом медвежьем углу, который и назывался, как нарочно, Михайловкой), то померли бы от голода все трое... что, впрочем, на Поволжье никого бы не удивило. Отрезков оказалось меньше, чем деревенских щеголих, да и тем не перед кем было красоваться. Дети ходили в школу, а Иру председатель колхоза определил на охрану конторы «Заготзерно» — за трудодни, естественно. На трудодни еще никому прожить не удавалось, а уж когда она заболела, стало совсем лихо. Малярия трясла беспощадно, а по ночам приходил Коля, и это было намного страшнее. Кое-как, шатаясь от жара и слабости и постеснявшись просить подводу, доплелась до Нади:

— Помоги, детям есть нечего.

Надежда, прожившая всю жизнь до замужества на отцовском хуторе, от коллективного хозяйства пришла в ужас, но ничем этого ужаса не обнаружила, хватило ума. При детях, даром что несмышлениши, никогда вслух не говорила про местных «голода колхозная»: с волками-то жить. Ловкая, сильная, привычная к деревенскому труду и готовая работать за двоих, она такой шанс и получила — работала за двоих. Утро начинала в коровнике, а днем уходила в сельпо, где вначале с готовностью помогала выгружать, а потом и взвешивать пайковый хлеб. Ну а при хлебе-то... Золовка могла и не говорить ничего: ясно, зачем пришла.

— Так у меня своих двое и паек такой же, где ж я лишнее возьму?..

— Надя, мой брат вернется, он тебе в ноги поклонится; спаси моих ребят!

— А моих кто спасет?! Ты в «Заготзерне» работаешь, а я под коровами чищу.

— Так что, что в «Заготзерне»?..

— Вот ты и думай. А только мы сами голодные.

Нет, Андриюшина семья голода не знала. Война — это тоже вид власти, со своей валютой — хлебом; за хлеб можно было получить все. Пава с детьми не голодала тоже, хотя им полагались те же 800 граммов хлеба в сутки — норма на одного взрослого и двоих детей. В уральской деревне их приняли очень доброжелательно: староверов там было много. Сама Пава с рассвета трудилась на колхозных грядках, а потом колдовала над своими — ей выделили кусочек земли, поделились семенами и картошкой, и стало можно жить.

Всех приехавших связывало, помимо семейных уз, только одно: они, русские, приехали в Россию из такого региона, который для местных — тоже русских людей — был границей. Скрыть, откуда они приехали, было трудно, да и нехорошо, а объяснять, почему они живут там, и того сложнее. Они говорили на одном языке, но иностранность этих пришлых бросалась в глаза одеждой, вещами да еще тем, что слова «колхоз», «сельсовет», «Заготзерно» вызывали поначалу недоуменное помаргивание, будто им не по-русски говорили. И все же две семьи наладились жить, в то время как третья отчаянно билась, чтобы выжить; а это не одно и то же.

А теперь самое трудное в этой маленькой саге — фронт. Можно было бы сказать, что старик довоевался до города Кемерово, если бы не попал он в санитарный эшелон, образно говоря, чуть ли не в двух шагах от дома: в том-то и заключалась горькая ирония судьбы, увезшей его на максимальной скорости в этакую тьмутаракань. Бедро долго не заживало; уже начались морозы, когда ему разрешили ходить с палочкой, и то потихоньку. О том, чтобы добраться домой, не было и речи: все поезда шли только в одну сторону — противоположную дому. Несколько месяцев он харчился в госпитале, сколачивая нары (кроватей уже не хватало), а спал в коридоре, стараясь не встречаться с кастеляншей. Она подошла сама:

— Что ж ты все по углам, у меня хватит места. Да и в хозяйстве поможешь, одним словом сказать.

Мужа кастелянша схоронила перед войной, детей у них не было, и она изживала время, стараясь как можно дольше задерживаться на работе. Худая, сероглазая, с русо-седоватыми волосами, затянутыми в сеточку, когда сорока, когда пятидесяти лет на вид, женщина была неразговорчивой и спокойной. Одну ногу она с детства немножко приволакивала, и когда они медленно шли по заснеженной улице, симметрично хромя, со стороны казалось: пожилая пара, всю жизнь прожили в любви и согласии. Разговаривали мало — Калерия была не любопытна, а Максимыч не болтлив. По вечерам, присев с

очередной штопкой к огню, она изредка отрывалась посмотреть, как старик что-то чинит из бесхитростной соседской утвари, и оба с тревожной выжидательностью поглядывали на черную тарелку репродуктора. Почти каждую из своих немногословных фраз она заканчивала странным рефреном: «одним словом сказать», причем рефрен иногда был длиннее самого высказывания.

Наблюдая их со стороны, кто-нибудь, не лишенный художественной фантазии, мог бы взять да написать что-то вроде «Старосветских помещиков», а назвать иначе, с кивком на эпичность, например: «Жили-были старик со старухой». Чем не сюжет в сюжете? Однако те, кто обладал художественной фантазией, остужали ее сейчас на фронте; те же, у кого ее не было, то есть официальные писатели, тоже осторожно ринулись на фронт в поисках этой самой фантазии, так что наблюдать эту пару было некому.

Максимыч, отдыхая от казенной бесприютности госпиталя, в то же время мучился тем, что сидит на шее у женщины, а потому нескоро заметил, что Калерия приходит домой пораньше и уже не занимается часами починкой больничного белья. Когда же заметил, стало ему так коломытно, что даже попросил у нее папиросу. Курить старику неожиданно понравилось: во-первых, притупляет голод (если Калерии не было, он сам никогда к еде не прикасался), а во-вторых, занимает глаза и руки, что временами было ой как полезно. Оставаясь один, старик долго оправдывался перед мамынькой. Ты пойми, на мне даже рубаха нательная, и то чужая, я ж был голый и бóсый, и идти мне было некуда. А так живой остался. Да я у этой бабы по гроб в долгу — кто ж мне ногу долечивал, когда с госпиталя погнажи?.. Много что говорил он старухе, и не иначе, как слышала она голос мужа (даже если не слышала слов), потому и молилась за здоровье.

Следующий — Мотя, старший сын. Он, умчавшийся с братьями в пыльном фронтовом эшелоне, ни разу Ире не снился. Братья держались вместе, но на одной из остановок выяснилось, что их имена теперь в трех разных списках, и когда они снова встретятся — Бог весть. Часть вагонов отцепили, и Мотя поехал дальше, а младшие — по отдельности — остались ждать своей очереди воевать.

Мотя уже начал дремать, как из нагретого и прокуренного вагона их высадили в глухом лесу — рыть окопы. Дело нехитрое, только темень — глаз выколи, а потом вдруг стало очень светло, громко и страшно, и хорошо было тому, кто успел замереть в готовом окопе; впрочем, никакого значения это не имело. Все произошло так быстро, что колонну из пленных немцы построили еще до рассвета и так, оглушенных и потерянных, погнажи сквозь лес, покрикивая и посмеиваясь.

Он оказался позади, и немецкий солдат без злобы, а для порядка подпихивал его в спину. Немецкого Мотя не знал, ну да чтобы понять про концлагерь, много и не надо. Словно кто-то невидимый подтолкнул: согнулся и показывает на живот беспомощно: прихватило, мол. Солдат брезгливо кивнул на кусты и выразительно потряс винтовкой. Мотя нырнул в заросли. Господи, спаси и сохрани! Он бежал сломя голову, не зная, куда; главное — оттуда, и боялся погони или выстрела в спину.

Не то чтобы немец попался исключительной доброты: скорее, просто разумный. Прочесывать лес из-за одного за...ца? Себе дороже, да и куда он денется? Цурюкнул в нерешительную спину предпоследнего, и всего делов.

Лес казался бесконечным, и войны слышно не было. Сколько дней прошло? Голодный, обросший, он перепугал — и восхитил своей пилоткой — босого мальчугана, уронившего от неожиданности лукошко с грибами. Когда стемнело, он прибежал снова и, дождавшись, пока Мотя проглотит краюшку хлеба, повел в дом: «Мамка велела». От «мамки» Мотя узнал, что деревня белорусская, мужа угнали на фронт, а в деревне немцы. Женщина спрятала его в подвале, а через неделю, переодетый в деревенскую одежду и накинув старый ватник, делающий его не похожим на себя, но похожим на всех, ибо как хлеб — валюта войны, так ватник — ее униформа, — он шел по лесу, неся котомку с

«бульбой» и ломтем крестьянского хлеба. Шел он домой, вернее, в ту сторону, где находился дом. Ночевал когда на хуторе, когда в глухом овраге; если попадал в деревню, находил приют то в сарае, то в погребе, и муж хозяйки был на фронте, а детей или было много, или не было совсем. Всякий раз был похож чем-то на предыдущий, словно капризный режиссер требовал все новых и новых дублей для одного-единственного кадра, хоть актер выбился из сил, да и массовка устала. Он проходил сожженные, почерневшие города, где никого не было — или не было видно, — и отыскивал для ночлега подвалы в разбитых домах. Он почти привык так спать, и ему даже снилось, что жена с детьми здоровы, да иначе и быть не могло: они ведь вместе с Ирой уезжали. В Мотиной памяти очень хорошо сохранилась их первая эвакуация, Ростов, «Яблочко» под вихляющуюся гармошку, а главное, старшая сестра, успевавшая учиться и подкармливать всю семью. Он верил, что скоро будет дома, но странствие его уже напоминало Одиссеево, да и прятала его то одна, то другая Калипсо в сапогах и таком же, как у него, ватнике, совала в карман скудную еду и крестила, провожая, но Мотя об этом не задумывался, ибо об Одиссее не ведал. В отличие от мифического героя расстояние, которое он одолел, было намного больше, а срок — впятеро меньше, а уж чье странствие было опасней, так это еще вопрос. Соперник Лаэртида вернулся домой почти за год до окончания войны, рассказал все, что знал об отце и братьях, то есть менее чем немного, и остался жить, ожидая возвращения семьи, ежась от предчувствия кары, что всегда страшнее ее самой.

Об Андрюше не было известно ничего. Любая мысль о нем, тоска по нем не встречали никакого отклика, словно не доходили до адресата. Словно не было человека. Оставалось только самое иррациональное — сны старшей сестры, да потом, в самом конце войны, казенная откритка, присланная почему-то на имя матери, а не жены: «пропал без вести».

Другое дело — Симочка, младшенький, старухин баловень. Он оказался в списке танкового батальона, был обучен, как обращаться с этим чудовищем, и чудовище Симочке понравилось. Молодых парней, обученных с лихорадочной торопливостью, бросили защищать столицу. Надо отдать ему должное: Симочка нашел с танком общий язык — это, наверное, вполне возможно, если находишься внутри. Но то, что парень находился внутри, его чуть не погубило: после нескольких атак немцы подорвали танк, и он загорелся. Чудом — или старухиными молитвами, что, в сущности, одно и то же, — Симочке удалось не выскочить даже, а — вылететь, как пробка из шампанского, через башенный люк, крышка которого едва не приварилась намертво, но нет, не успела. Молодой танкист не был ранен и не обгорел, что было совсем уж чудом — механик, выбросившийся вслед за ним, вспыхнул как фитиль в своем промасленном комбинезоне, — а Симочка уцелел, но долго лежал в шоке, да и не мудрено. После шока был госпиталь, а после госпиталя — новый танк.

Младшенький отличался от всех мужчин в семье, а на войне отличился более всего. Симочке нравилась война, как нравится она любому мальчишке, — а он и был мальчишкой, хоть и женатым. Отличало его от мальчишки то, что он легко, не мучаясь и не задумываясь, научился убивать, первый — и единственный — в семье. Более того: ему понравилось убивать, и он яростно атаковал фашистов с криками: «За родину!», «За Сталина!», то ли не зная, то ли забыв, что его родина и Сталин — понятия взаимоисключающие.

Под Сталинград он, слава Богу, не попал, зато доблестно воевал на других фронтах, многожды нарушая заповедь «Не убий», что и требуется от солдата на войне, будь она проклята, и хорошо, что эта проклятая, хоть и самая справедливая, война уже идет к концу. Вот под Симочкиным танком падают на пыльную землю, как вафли, ворота польского концлагеря, а из бараков, не веря, что дожили, бегут бледные люди. Расстегнув шлем и выпрыгнув из танка, он ловко хватает и кружит самую первую из выбежавших,



которая оказывается и самой красивой, так что отпускать ее нет никакого желания, да и разве он не освободитель, не победитель? То, что Семену нравится, то — его, о чем очень хорошо знает красавица Настя, та, что ждет его с войны и потому требовательно рассматривает в зеркале свое отражение. Так что? Была — Настя, а теперь — Ванда! Разве для того он преступил «Не убий», чтобы запнуться о «Не прелюбодействуй»?..

...Он вернулся в мае сорок пятого, и мамынька с трудом узнала своего любимца в этом жестком заматеревшем дядьке, насквозь пропахшем кожей и соляжкой. Даже улыбка стала у него другой, а улыбался он широко и гордо: победитель. Победителя же, как известно, не судят, о чем он и заявил плачущей Насте с громкой и веселой решительностью, хоть и другими словами: не мог Симочка цитировать великую императрицу, — заявил с решительностью прямо-таки угрожающей, чтобы не сказать циничной. Ванда же, военный трофей героя, разжалованная им на месте в Вальку, боязливо наблюдала за супругами, в то время как мамынька присматривалась к новой — как ни крути — невестке.

Это на какое-то время отвлекло ее от необходимости привыкать к новой власти. Советские войска прогнали немцев, и население разделилось на две группы: одни говорили, что республика освобождена, другие — что она оккупирована. Старуха твердо держалась второго мнения.

Должно быть, рельсы не успевали остыть, переноса эшелоны, везущие эвакуированных, — теперь уже домой. Ждать становилось все трудней.

Вернулась Пава с повзрослевшими сыновьями и дочкой, нетерпеливо толкнула дверь. Дети бросились к отцу, а он только успел подхватить за чем-то узел, выпавший из ослабевших от радости рук жены. Ее радость длилась недолго. Мотя рассказал ей свою одиссею, и вот она уже плачет злыми слезами, проклинает его, не стесняясь сконфуженных, все понимающих детей. Бросилась к свекрови, которая — Пава знала — благоволила к ней больше, чем к другим невесткам. Бежала по улице, подвывая, в слезах, и прохожие отводили взгляды: еще одна «похоронку» получила.

Мамынька выслушала дуреху не перебивая, а потом знакомо так бровь подняла:

— Так что? Мужик дома; целый; руки-ноги на месте. Спасибо скажи.

Невестка в горестном отчаянии уронила разлохмаченную голову на стол и туда, прямо в скатерть, прорыдала что-то, однако старуха поняла.

— Как — «кому»?! Да бабам, что его по погребам прятали, не дали с голоду помереть!

— Так ведь кобель какой!..

— Он твоим детям отец! — строго прикрикнула мамынька. — И что тебе за дело, если он к тебе вернулся? Живите себе, и к месту!

«К месту» в семье всегда было итогом, финалом, вроде опущенного занавеса в театре. После этого можно было плюнуть и уйти — или остаться пить чай. И то правда: пришла невестка к свекрови правды искать. С другой стороны, приди она к родной матери, Царствие ей Небесное, с такой бедой, это была б кислота на рану, да еще с припевом: «я-тебя-предупреждала», что было бы совсем уж невыносимо, да и неактуально; а чай у мамыньки был отменный, в эвакуации-то и запах его забыли.

...Старик появился именно так, как старуха не раз себе представляла: уверенный поворот ключа в замке, вороватый сквознячок, тут же выставленный в коридор хозяйской рукой, и вот он стоит на половике, в ватнике и с палкой, а вместо картуза на голове выгоревшая фуражка. Живой, Господи!..

Так истосковался Максимыч по родному голосу, милому круглому лицу, и так трогательно-беззащитно смотрело это плачущее лицо — обезоружила старуху встреча, — что совершил он непростительную ошибку. Сам того не ведая, весь распахнулся

навстречу жене и повторил, повторил зачем-то оплошность старшего сына. Все рассказал он Матрене, как на духу, ничего не утаил, и был уверен, что поймет. Поймет, как хотел он уцелеть, не убивая, и не потонуть; а потом не застыть на сибирском морозе, не сдохнуть с голоду вдаль от дома; как жил, считая дни, чтобы вернуться к ней, а дни так неохотно выстраивались в недели, и пропал бы он, конечно, кабы не Калерия, добрая душа, дай ей Бог здоровья.

Вот этого говорить не следовало. То есть совершенно нельзя было такое мамыньке говорить, и если бы хоть что-то подобное стряслось с Максимычем в довоенном прошлом, ему и в голову не пришло бы исповедоваться.

От ярости старуха молодела на глазах, не уставая повторять одно и то же слово, которое здесь, однако, несмотря на священный гнев ее, приведено не будет. Хотя само слово-то не виновато, слово древнее, зародилось еще в праязыке и означает «заблуждение», вернее, «заблудший», чего Максимыч не отрицал, а ждал и надеялся только, что жена поймет. Вскинулся он, когда услышал, как старуха говорит о Калерии, и оцепенел от черного дегтя ее слов. Ведь все было не так! Не было в той женщине жадности к его мужской плоти, нет; ей просто очень нужно было немного уверовать в то, что она — женщина, несмотря на хромоту, на вдовство и на бездетность. Но этого старик объяснить не умел, а если б и умел?.. Какое там оправдание, какое понимание: еще пуще старуха бранится. Негодование ее было таким громким, что полностью заглушило собственные разумные слова, которые она недавно говорила Паве, икающей от слез, зато так удачно подвернулось самое вегетарианское слово из невесткиного арсенала: кобель!.. В сползающем с плеча ватнике, отбросив палку, Максимыч тяжело рухнул на колени. Как там у классика?

На него старуха не взглянула,

Лишь с очей прогнать его велела.

Да было бы кому велеть: сама и прогнала, хотя что-то дрогнуло в душе, когда с досадой оттолкнула покаянную голову.

Самовар был готов. Они сидели за столом, каждый вершок которого старик знал наизусть, сидели, как раньше: друг напротив друга, и было так, словно находились они на разных полюсах — Северном и Южном.

Ирина с детьми приехала только в сорок шестом. Тоня случайно встретила их, выходящих с вокзала; домой, скорей домой.

Много раз мамынька с Тоней репетировали, как Ирке-то сказать. Увидев старшую дочь и незнакомо взрослых внуков, старуха в смятении кинулась навстречу, а Тоня замерла, но Ира их опередила:

— Мама, я все знаю. Про Колю.

И стало можно заплакать.

## 7

Вот неделя, другая проходит какого-то по счету мирного времени. Новая власть оказалась прочной, цепкой, жесткой: государству принадлежало все. На первом этаже, где раньше у старика была мастерская, открылся обувной магазин с латунной рукояткой двери в виде буквы «S». Дверь назойливо взвизгивала, и однажды ночью Максимыч, не выдержав, спустился с масленкой и смазал петли, старательно не глядя в витрину. И к месту.

Между тем Мотя пошел работать на мебельную фабрику. Федор Федорович устроился — без труда и хлопот — в государственный стоматологический институт. Маленькая комнатка, где стояло кресло для пациентов и бормашина, была заперта на ключ, но хозяин

подозревал, что ненадолго; время показало, что он оказался прав, а пока Тоня заходила только смахнуть пыль.

Московский форштадт, то есть район, незаметно менялся. Вернее, это как посмотреть — незаметно; там, где Ира жила до войны, открылся кинотеатр с бодрым названием «Ударник», так что она, вернувшись из эвакуации, пришла к старикам и осталась жить у них вместе с дочкой, Тайкой, которая пошла в восьмой класс. Сына, Левочку, определили в шестой и отправили, по настоянию крестных, жить к ним: и места больше (что правда), и условия лучше (с этим тоже не поспоришь). Это соломоново решение Федя принял, когда понял, что денег Ира не возьмет, и стало быть, никак иначе помочь ей невозможно. Вопреки опасениям старика и старухи относительно прописки (оба не могли взять в толк, на кой такое нужно), у дочки здесь никаких сложностей не возникло, даже наоборот: квартиру почему-то оформили на ее имя. Впрочем, Ира не вдумывалась в эти формальности; прописавшись, пошла работать на швейный комбинат, для чего вставать надо было затемно и ехать на другой конец города.

\* \* \*

Странно жили старик со старухой. Они жили под одной крышей, но их отношения изменились; странность же состояла в нарастающей их отстраненности друг от друга. Строго говоря, отстранилась — как отшатнулась — старуха, так и не простив мужу... чего? Измены? Едва ли; скорее, своего истового, терпеливого ожидания. Она отстранилась, и старик остался жить, словно на обочине. Несмотря на горькое и страстное его покаяние, старуха не простила мужа. Вернее — не прощала: реальная его вина — да еще такая! — словно оправдывала ее упреки в продолжение всей их жизни. Не прощала и казнила регулярно.

Старик жил, как подсудимый, переминаясь с ноги на ногу, в то время как судьи (точнее, судья) не могли решить, какой приговор вынести. Совсем как в той коварной фразе «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ», где положение капризной «плавающей» запятой либо дарует жизнь обвиняемому, либо приговаривает к смерти. А на скамье подсудимых не живут — только ждут приговора.

Бурных внешних проявлений, однако, не было; так, по мелочам, всегда непредсказуемо и внезапно. Они молились утром по отдельности и даже перед разными иконами, потом пили чай за одним столом. Встречались снова за обедом, почти не переговариваясь; запятая безнадежно застревала слева. Начинала разговор всегда мамынька, гневно сетуя на пустоту в магазинах и унижительное безденежье. Вздыхала. Подогретая ее вздохами, запятая отклонялась вправо и пыталась привыкнуть к новому положению. Новая власть швырнула каждому из них — видимо, от щедрот — нищенскую пенсию «по старости», уравнивая, таким образом, в правах старика, отстоявшего у верстака больше пятидесяти лет, и старуху, властную матрону своего дома. В чем в чем, а в еде они себе отказывать не привыкли; пришлось привыкать. Федор Федорович, прочно стоявший на ногах, помогал старикам чем мог, но он же поддерживал на первых порах и Ирину, да и сколько он один мог?

Регулярная казнь начиналась с попреков, и запятая с готовностью снималась с места, привычно отступая влево. Старуха попрекала мужа грошовой пенсией, разбавленной магазинной сметаной, советской властью, Федиными подачками, «этой сибирской паскудой», оттяпанным куском квартиры и даже Андрюшиной гибелью, нимало не заботясь о причинно-следственной связи и личной ответственности Максимыча. Виноват — и кончен бал! Запятая слева. Старик привычно фильтровал поток слов, ожидая, когда мамынька доберется до слова «Кемерово», чтобы уйти в коридор курить. Он соблюдал весь ритуал: вытаскивал из кармана гладкий серебряный портсигар с крошечным зубчиком-педалькой сбоку, надавливал на зубчик, потом ловко выдерживал дешевую папироску из-под резинки; и, нет, пальцы его не дрожали. Откуда, кстати, у него этот

портсигар, так никто и не удосужился спросить; теперь, естественно, уже не спросишь, а портсигар был славный.

Время от времени, так же непредсказуемо, дрейфующая запятая отклонялась вправо, старуха вставала не с левой ноги и бывала даже великодушна. Сама предлагала Максимычу еще супу, подкладывая кусочек мяса пожирней, иногда единственный; охотно делилась принесенными с базара слухами или просто подолгу сидела напротив него за самоваром, и ни напряженности, ни ожесточения в воздухе не висело. Простила? Нет; просто отдыхала.

Никаких событий в их жизни не происходило, а о том, что случалось вне этого крохотного мира, они узнавали то от детей, то от внуков, но не всегда понимали, что происходит и почему. Пуще прежнего старуха ярилась от убогости и бестолкового деспотизма нового мироустройства; старик молчал. Так же, как и раньше, они жили по старому календарю, хотя на стенке в кухне висел взъерошенный численник; самую достойную одежду надевали по праздникам в храм, только теперь, опуская в кружку пожертвования, мучительно стыдились ничтожности даяний. После моленной, как и раньше, навещали кладбище, где деревья выросли ввысь и в ширину, а кусты сплелись в плотную изгородь.

На кладбище старуха никогда не чванилась и не костопыжилась, а как-то обмякала и молчала подолгу. Думала ли она, глядя на две маленькие могилки, о светлом мальчике Илларионе, чье имя было выбито на крохотной табличке, и казалось, что таким вот звонким переливчатым ручейком оно течет и бьется где-то глубоко под землей, или видела мысленно, какой красавицей так и не стала младенец Елизавета, а ведь уже и внучата были бы, что ж — Лизочке сейчас уж двадцать семь было бы. Разравнивали песок, весной поливали ландыши, а осенью сгребали сухие листья, и эта легкая, бесхитростная работа обоим была приятна. Потом прощались: подходя по очереди к каждой могилке и касаясь рукой надгробия, произносили вполголоса: «Прощай, мама», «Прощай, Ларя», «Прощай, Лизочка, спи спокойно», истово желая красавице-дочке того, чего так и недополучила она в своей короткой младенческой жизни. Крестились и шли к выходу. Вот это был самый трудный момент: повернуться спиной и уйти, оставив их лежать под дождем, снегом, ветром или даже солнцем, но — оставив. И на пути к воротам кладбища, раскланиваясь со встречными, говорили один другому такие необходимые банальности, что, дескать, им — тем, лежащим — уже хорошо, да и спокой вокруг; и что Андрюше надо поставить надгробие, хотя бы самое простое, да все равно не на что. Здесь разговор неизбежно иссякал, тем более что каменные ворота кладбища были уже позади, а сакраментальное «не на что» ввергало старуху в привычное раздражение, которое тем больше набирало силу, чем дальше удалялись они от кладбища, так что когда старики оказывались дома, то почти ничего от пережитого катарсиса не оставалось, а ведь был он, был, хоть слова такого ни он, ни она не ведали.

Так неделя, другая проходили, и жизнь старика и старухи текла, как хорошо выученный урок: посты да праздники, которые теперь, при их скудном достатке, так походили друг на друга, что немудрено было и ошибиться.

\* \* \*

Событие случилось — или пришло? — словом, тренькнуло воскресным декабрьским утром второго послевоенного года в дверь. Изумленная старуха оказалась лицом к лицу с Надей, нежеланной и нелюбимой своей невесткой, которая держала за руки двух ребятишек-погодков.

В квартире, освобожденные от пальтишек и шапок, они предстали здоровыми и крепкими, как желуди, и хоть смотрели буками, охотно взяли по пирогу. Мамынька умилелась: «Ах, молодцы!» и пригласила «эту» к столу. Из комнаты, прихрамывая, вышел

Максимыч и тоже поразился раннему визиту, потом восхитился ребятами, так что на шум выбежала Ира, но появлению Нади не удивилась, только лицом как-то напряглась.

За чаем Надежда бойко трещала, как раньше, непрерывно что-то говоря, но не рассказывая, как жила после эвакуации и почему так внезапно, не написав ни строчки письма, ни хотя бы открытки, возникла спозаранку за столом в доме, где и очутилась когда-то не по любви, а по мужской слабости парня, сгинувшего потом на войне. Гладко-гладко, быстро-быстро говорила: как же можно, чтоб внукам столько лет деда с бабой не видеть, все война проклятая. И ведь правильно говорила, но то ли неожиданность визита, то ли сторожкий, цепкий взгляд ее темных, блестящих глаз напрягали старика, и он с тоской думал о папироске, и только какое-то тревожное ожидание не давало уйти. Ира сидела прямо, сцепив на скатерти руки и задумчиво глядя на подростких племянников.

Отставив свою давно пустую чашку и придвинув внукам блюдо с пирогами, мамынька скучным голосом произнесла:

— Ну, хватит сектать, ты дело говори. В город-то надолго?

Сбитая будничностью тона и вопросом в лоб, Надя замолкла, но свекровь смотрела ей прямо в глаза, и одна ее бровь уже чуть приподнялась, что всегда означало медленное, но неотвратимое накаливание.

— Да как сказать, надолго или ненадолго...

— Так и скажи, нечего разводить финтифанты, немецкие куранты.

— А и скажу, — без улыбки и почти зло отозвалась невестка, игнорируя мамынькину бровь. — И скажу, что детям моим жить негде, вот и все тут.

— Как же негде, — тем же скучным голосом — если б не бровка — продолжала старуха, — где ты сама живешь, там и дети?..

— Так и мне негде!

— А где ж ты все это время жила и на глаза не показывалась?

Надя чуть скосила глаза на воротник кофты и поправила толстую английскую булавку. Подняла голову:

— У своих жила, в деревне.

Мамынька и не думала возвращать бровь на место:

— Так на кой было ребят в город тащить, в деревне-то сытней жить? — И кивнула, как на свидетеля, в сторону невесткиного гостинца, солидного куска сала.

Ох, как кстати была бы Максимычу папироска, но сейчас выйти и подавно было нельзя. Сам не заметив, как это получилось, он сидел, сцепив руки так же, как Ирина, и с восхищением слушал жену. Никогда не сумел бы он так просто и буднично спросить Надьку: «на кой», как это сделала старуха, даже не возмущившись голосом.

И невестка заговорила — уже не бойко, а горько:

— Вы-то в деревне не жили, для вас там будто медом намазано, а что в колхозы загоняют, вы знать не знаете: хочешь — иди и не хочешь — иди. Чем хозяйство паршивей, тем громче глотку дерут, а кто настоящий хозяин, как мой папаша, так ходят тихонько, как по сырым яйцам: дома скажешь «А», а «Б» договоришь в Сибири! Конечно, откуда вам знать, — она яростно уставилась в недоверчиво шевельнувшуюся бровь свекрови, — вы небось и про «лесных братьев» не слышали?

Выяснилось, что и отец невестки, и кто-то еще из мужской родни были прочно связаны с «братьями», а как же. Теперь, однако, стало лучше об этом забыть, а дочке велел и вовсе держаться подальше, тем более что за погибшего мужа и пенсия полагается семье.

— Карточка-то, что про Андрюшку прислали, сохранилась?

Старуха бережно вытащила из шкафа шершавую бумажку, которую невестка прочитала и молча перекрестилась.

— Завтра и пойду, в воскресенье-то военкомат закрыт. — Она поднялась и стала проворно убирать со стола посуду.

Осоловевшие дети вяло приоткрыли глаза.

— Мамаша, я уложу их в *нашей* комнате, а то мы полночи в телеге тряслись, вон как намаялись?

*Наша* комната вызвала у Матрены еще один вздерг брови, но детей отнесли на широкую старухину кровать, которая давно стояла в комнате, где раньше жил Андря.

Внешне Надя совсем не изменилась, словно не было ни войны, ни этих пяти с лишним лет: такая же румяная, гладкая, как налитая.

— Ты дай покой с посудой, не сепети, — остановила ее мамынька, не переставая при этом придиричиво рассматривать. — Сядь, отдохни. Ты отсюда-то куда дальше?

Ай да баба! Максимыч восхитился от добротного слепленного вопроса и напрягся в ожидании ответа, краем глаза увидев, как сцепленные дочкины пальцы дрогнули чуть заметно и сжались еще сильнее.

— А мне отсюда идти некуда. У меня в городе и нет никого. Кроме вас. И места нету никакого.

Это было сказано голосом почти безразличным, стылým каким-то голосом. Старуха и тут не выразила никакого удивления, только паузу подержала — то ли ждала продолжения, то ли готовила новый вопрос. Не дождавшись и вернув на место бровь, продолжила сама:

— К нам, говоришь. Не гуляла, не жаловала ни на Рождество, ни на масленицу, а привел Бог в Великий пост. Куда к нам-то?

А и вправду — куда? После войны квартиру, ставшую, понятно, тоже государственной, разделили на две, в результате чего старикам остались две комнаты, в одной из которых теперь жили Ира с Тайкой, и большая кухня, куда с лестничной площадки открывалась дверь с латунной табличкой «Г. М. Ивановь». Разделить-то разделили, да кабы с умом, а то такая несуразность вышла, что и смех и грех: уборная теперь находилась в соседней квартире, и это было непривычно и дико, так что в первое время жильцы отсеченной половины, переселенцы то ли из Верхнего, то ли из Вышнего какого-то Волочка, долго не могли взять в толк, почему старуха властно отпирает их дверь и прямоком, ничего не объясняя, следует по одному и тому же маршруту... Привыкли, что ж.

Ничего об этом не знаящая невестка опять затараторила:

— Конечно, вы тут вдвоем в пяти комнатах теснитесь, где ж найти место для внуков?! — О себе она не упомянула, а Иру старательно обтекала взглядом, обращаясь только к свекрам.

Объяснили. Вернее, объяснил Максимыч, а старуха, уже на полтона выше, прибавила и колеру, и яду в его краткий рассказ. Поправив воротник косоворотки, он кивнул на дочь:

— Нас-то четверо, а Левочка у крестных живет.

В первый раз, пожалуй, Надю видели растерянной. Она опять зачастила своей скороговоркой, забрасывая стариков очень прицельными, но, увы, бесполезными вопросами и жадно — всем существом, всем именем своим — надеясь ухватиться за что-то, уцепиться и уже не выпускать.

То уставившись в узел своих сплетенных рук, то медленно переводя взгляд с одного предмета на другой, Ира тоже не встречалась с Надей глазами, и никакого усилия, казалось, ей это не стоило.

Старик маялся. Еще в мирное время, когда семья жила куда как просторно, Надьку не любил никто. Вспомнилось отчаянное, дерзкое упорство сына перед надвигающейся свадьбой, мамынькина молитва ночью и потом, как приговор, ее же неотвратимые слова: «стерпится — слюбится». Стерпелось, куда ж деться, да только не слюбилось. Молодой

муж, Андрюша последним складывал инструмент (да как медленно и старательно складывал!), оставаясь в мастерской даже позже Фридриха, и домой приходил последним. Лицо у него было усталое и спокойное, только прежней мечтательности во взгляде не было, как не было и света в глазах. Жили они вроде и неплохо, а там кто их разберет, за закрытой-то дверью. И ведь баба как баба: и ладная, и *зграбная*, но уж и языкатая! И сам же отмахнулся: не то, не то. Тогда — что? Ведь вот породнились же, вошла в семью...

Поправляя круглую гребенку в стриженных — только-только закрывали уши — волосах, Ира перехватила недоуменный взгляд отца из-под нависших бровей и едва заметно кивнула ему, словно в ответ на услышанную мысль. По этому беглому взгляду и почти невидимому согласному кивку старик понял, что дочь думает о том же. Надя просто другая и всегда будет другой. Да, они породнились, но от этого она не стала им родной — да и не хотела этого никогда. И не вошла она в семью, как думал он в простоте души, а — вышла: вышла замуж за их сына, вот и все.

А теперь-то что, снова затосковал он. Куда ж ей назад в деревню тащиться с ребятами. Что малец, что девка, усмехнулся про себя: как два ежика.

— Да если б и место было, кто ж тебя пропишет, — спокойно и трезво проговорила старуха. Как опытный игрок, она долго придерживала козырную карту. — Мы теперь тут никто, — продолжала она тоном равнодушного смирения, и даже бровь оставалась на месте, — квартира на ее имя. — И она так величаво кивнула в сторону дочери, словно сама вынесла решение о том, на чье имя должна быть квартира.

Стенку буфета пересек по диагонали солнечный луч и остановился, переводя короткое декабрьское дыхание. То ли солнце на знакомом буфете, то ли тепло огромной, светлой кухни с горячей плитой, то ли просто злость от того, что не на ту лошадь поставила — и проиграла, вырвалось из Нади яростными рыданиями. По ярким, как зимние яблоки, щекам катились мелкие, частые слезы. Она пыталась даже не выговорить, а — выбросить какие-то слова из перекошенного рта, но захлебывалась отчаянными, воющими рыданиями. Через скрипнувшую дверь неслышно, в полуспущенных чулках, выбежали оба «ежика», испуганные и сонные, и кинулись к ней: «Мамка-а?!» Так, держась за полы ее кофты, они и стояли терпеливо, пока Надя умыла под краном лицо, вытерлась тут же висевшим полотенцем и теперь, наконец, посмотрела прямо на Иру:

— Они твоего брата дети! Пусти нас! Я никогда это не забуду, слышишь?..

Ни одного лишнего слова, как будто ее говорливость пропустили через самый частый фильтр. В голосе было отчаяние, досада, настойчивость, но не мольба. Может, и ей тогда, в Михайловке, надо было не умолять, а требовать? Но если у Иры и мелькнула эта дикая мысль, то где-то очень глубоко, и до взгляда не пробилась. Так хотелось бы написать, что она была спокойна! Но нет, не было спокойствия ни в голосе, ни в глазах: была беспомощная растерянность — и никакого выбора. Уходя на смерть, Андрюша просил: «Ты ведь знаешь, какая она. Помоги им, сестра!»

«Она пришла долг требовать, а я — тогда — только милостыню просила». Слова выговорились — единственные:

— Живите, Христос с тобой.

А руки пришлось расцепить: Надя обнимать бросилась, и вся мамынькина стратегия оказалась коту под хвост.

Весь этот эпизод был короче того декабрьского солнечного луча, и не стоило бы, наверное, так подробно его описывать, если б не стал он событием в самом буквальном смысле, совпав с бытием старика и старухи.

Еще не веря услышанному, мамынька вскинула отдохнувшую бровь и, не глядя на невестку, гневно повернулась к дочери:

— Ты что это?! Жену отдай дяде, а сам иди к...?

— Мама, мама! Я с Тайкой в кухне устроюсь, а ты с папой в моей комнате. Они ж сироты, мама, им идти некуда!

— Некуда нам, некуда, — тревожно вторила невестка, а Максимыч с улыбкой совал ребятишкам рафинад, но это уже не так важно, как не важны и беспомощные мебельные рокировки, ибо, как хитро ни переставляй кровати и шкаф, пространства от этого не прибавляется.

Так, под штормовые взмахи старухиных бровей и Надин признательный речитатив мамынькину черного дерева кровать водрузили в углу кухни, а диван, на котором спал старик, укоризненно покачиваясь, осел в дочкиной комнате, напротив печки. И к месту.

Средняя, Андриюшина, комната опять стала Андриюшиной, только уже без него.

Вечером напились чаю, помолились Богу и улеглись. Ребятишки, ошалев от суетного дня, да Тайка, вернувшаяся с какого-то долгого служебного дежурства и даже не очень удивившаяся: «Теть Надь?», словно виделись на прошлой неделе, уснули сразу, как будто их выключили.

Максимыч не спал, но не шевелился, чтобы не разбудить Иру с Тайкой. Что ж, може, и так: стерпится — слюбится; проживем. Ира лежала молча, боясь потревожить дочкин сон: они спали на одной кровати.

Старуха обладала существенным преимуществом: была одна, а потому ворочалась с боку на бок, вставала напиться воды, несколько раз проверяла, закрыта ли труба в плите, пока, сомлев от усталости, не угомонилась, лежа без сил на спине и дивясь на широкий отсвет окна прямо перед собой. Иллюзия была такой полной, что она даже обернулась, тут же выругав себя: за изголовьем находилось само окно, и уличный фонарь высвечивал неяркий, но четкий экран. От ветра фонарь раскачивается, и его пересекают голые ветки лип. Свет проезжавших машин творит мелкие чудеса, и рамы тянутся за ним вслед, то послушно превращаясь в бегущие рельсы, то вновь становясь на дыбы. По этим-то рельсам мамынька и умчалась незаметно и плавно в сон.

Поезд привез ее в Ростов, в родительский дом, а навстречу выходит брат Пётра, держа в руках что-то маленькое, детское: то ли платяице, то ли крестильную сорочку. Почему Пётра, а не Мефодий, дивится старуха; Пётра-то умерши?.. А брат, радостный, бежит, распахивает дверь, и Матрена оказывается в большой кухне, где на печке видит мать. Та лежит, как тогда, в домике на Калужской: слабая, точно прозрачная вся, и скудные волосы сбились. Тонко-тонко мать спрашивает: «Ребенку дали поить, Матреша? Ребенку исть надо». С криком: «Надо, надо!» выбежала Надька, подталкивая вперед двух насупленных ребятишек. А эта здесь откуда? — изумилась старуха, но Пётра, тронув ее за плечо, все совал в руки детскую тряпицу: «Возьми, сестра». На кой она мне, сердилась та (ох, как не хотелось брать!), но брат не отставал: «Возьми, тебе надо...»

За стенкой неслышно и крепко спали дети, причудами Морфея вклинившиеся в бабкин сон. Наде предстоял трудный день: домоуправление, военкомат... а не спалось.

Лукавила Надежда. Ей было куда пойти: в Старом Городе жила старшая сестра, тоже по настоянию отца уехавшая из деревни. Жила, твердо надеясь выйти замуж, чего и Надьке желала, куда ж без мужчины. Сестра была более смышленной — быстро разобралась во всем, что необходимо для выживания, и научила младшую трем главным формулам: прописка, жилплощадь, не имеют права.

## 8

В тот год, когда старик встречал свой восьмой десяток, ноябрь выдался взбалмошным, как старая дева, долго удачно маскировался под спокойно золотеющий октябрь и даже солнечный сентябрь, любой ценой стараясь выглядеть моложе. Он усыплял бдительность прохожих, заставляя их стаскивать шарфы и менять пальто на легкие пыльники, чтобы через неделю-другую завьить уже по-декабрьски, закрутиться штопором по тротуару и



швырнуть кому-нибудь в лицо горсть затоптанных листьев, припечатав для надежности липким ледяным дождем.

Тоня с матерью хлопотали изо всех сил, чтобы достойно отметить день ангела старика. Ну, о молочном поросенке в середине поста и речи не было, но многократные обходы базара не остались бесплодными: стол получился не хуже, чем у людей, то есть определенно лучше.

Собралась вся семья, уже начавшая разрастаться. Рядом с пустым Андрюшиным стулом сидел грешный, но прощенный старший брат с годовалым сыном на коленях. Напротив него Валька, в девичестве Ванда, кормила грудью первенца. Она была прекрасна классической красотой Мадонны, и даже когда кто-то, потянувшись за миногами, заслонял младенца, словно в фототрюке, сходство не исчезало. Симочка явился с медалями на груди, сияющими, как ризы на иконах. Он очень много и громко говорил; правда, и пил непотребно много, так что густые старухины брови держались на такой же высоте, как и Валькины, выщипанные модными изумленными арками.

Рядом с малышами странно выглядели повзрослевшие за время войны внуки. И то: красавице-цыганке Тайке уже двадцать стукнуло! Совсем невеста, думал Максимыч, незаметно любуясь старшей внучкой. И какие все разные, подумать только. Левка, брат родной, так и остался голубоглазым блондином, только что волосы чуть порусели. Вот Федины: малец — вылитый папаша, а дочка — та в Тонечку. Мотины больше в Паву пошли: смуглые все, а глаза узкие, как у матери; среднего в школе Мамаем прозвали. Глядя на Андрюшиных, дивовался: батьки совсем не видать, будто он и ни при чем. Оба плотные, как две репки, щекастые, в каждой руке по пирогу, смотрят буками.

Покойные эти мысли прервал Симочка. Он тянул рюмку через стол, картаво и надсадно крича:

— Фронтовые сто грамм, папаша! За то, что мы кровь проливали, а не отсиживались по тылам, как крысы! Выпьем!

Что Симочка всегда был пустомелей, знали все и как младшему и мамашиному баловню прощали многое; вернее, не обращали внимания. Однако ж тост баловень провозгласил ядовитый и отцу смотрел прямо в глаза.

Не сто, конечно, но свой маленький келишек старик наполнил. Взгляд сына встретил без улыбки и ответил негромко:

— Ты чужую кровь проливал, что ж ты фордыбачишь? А кто свою пролил, тот не вернулся.

Чокаться ни с кем не стал, а просто кивнул, как бы всем сразу, и выпил. Лица застыли на мгновение, словно показав, какой могла бы получиться фотография. Мотя втянул голову в плечи и смотрит на руку брата, сжимающую стакан, не рюмку; Пава разглаживает невесть откуда взявшуюся складку на скатерти; на лице Феденьки недоумение, в руке рюмка кагору (водка не полезна для сердца), а Тоня возмущенно что-то шепчет ему краем губ; Ира стиснула в руке платок и так замерла; дети смотрят во все глаза на звякающие дядькины медали; Надя, все еще жуя, с любопытством ерзает блестящими глазами, чтоб ничего не упустить, мамынька... Мамынька так яростно выпрямилась на стуле, что вся композиция распалась, и фотографии, если бы кто и вознамерился ее снять, не получилось.

— Совсем околеливши?! — яростно и отчетливо выкрикнула она. Бровям ее просто некуда было больше подыматься, но паузу держать мамынька умела. Потом, среди ошеломленной тишины, добавила так же властно, но уже на октаву ниже: — Язык, что помело. Хватит выкамаривать.

Повернула гневное лицо, кивнула Моте: Симочке, мол, больше не наливать, что и было понято однозначно.

Фронтвик все стоял. Потом хрястнул пустым стаканом по столу. Освободившейся рукой рванул у ворота рубашку. Пуговица катапультировала и завязла непрошеной инкрустацией в рыбном заливном. Громко закричал, выгибаясь, младенец на руках у Ванды-Вальки, и еще громче, давясь пьяными слезами, опять кричал Симочка о пролитой крови, да я в танке горел и вовсе уж непотребное. Миротворца Феденьку двинул локтем и назвал тыловой крысой, чего тот вовсе не понял, поэтому не обиделся.

— Упился, упился в шток, — безнадежно качала головой молодая мать, тыча тяжелую, как резиновая грелка, сиреневую грудь в растянутый криком рот ребенка.

Непринужденность, с которой она кормила на виду у всех, сковала гостей и хозяев такой неловкостью, что они старались не смотреть друг на друга. В этом доме видели много младенцев, но ни одной женщине не пришлось бы в голову вот так, на виду у всех, обнажать грудь, хотя бы и кормящую. Симочка был, конечно, изрядно пьян, но все же не «в шток». От его внимания не ушло внезапное короткое молчание и недоуменные переглядывания. Он обернулся — и на мадонну обрушилась затрещина, которая сделала бы честь как танковому батальону, так и пехоте.

Это уже был перебор. Никто из Ивановых никогда не поднимал руку на жен. «Вон» — был приговор мамыньки, и приговор этот, судя по рисунку бровей — одна длинная, как тире, линия — абсолютно не подлежал никакому обжалованию, так что любимец, поддерживаемый Мотей, был препровожден в ноябрьскую тьму. Волна холода и чужие запахи с лестницы, звук захлопнутой двери и пустой стул.

— Дай сюда мальчика и иди помой лицо. Что ж ты вымя за столом вывалила, не могла в комнату пойти?! Тоня, подай ей полотенце чистое. Ох, Хо-о-ссподи, никак голову разбивши?!

Симочкина истерика, водка стаканом, недотепа эта — и сама поплатилась, и ребенка перепугала; мамынькин любимец, ею же изгнанный из дома, — словом, шел настоящий скандал, когда всем не до именинника. Он сам неторопливо наполнил свою рюмку, выпил и задумался, глядя прямо перед собой, в приоткрытый зев капустного пирога, которого не видел вовсе, а видел загнанно-виноватое лицо старшего сына и пустой Андрюшин стул рядом. Пустой? — Нет, он не был пуст: так явственно только что показалось лицо Андри, тоже задумчивое. «Не мог я убивать, папаша, — тихо, словно не хотел, чтобы его слышали, говорил сын. — Ведь крест на мне». И я не мог, тоже тихо ответил отец. И брат не смог.

Второй — смог. Тот самый младший, который в соответствии со всеми классическими канонами сказок ловко обштопывал своих неоригинальных старших братьев. Но странное дело: Максимыч не стыдился старшего сына и не гордился младшим. Скандал кипел в полную силу, а старик продолжал тихонько разговор с Андрей, который то появлялся, то снова пропадал, притворялся пустым стулом. И отец торопился рассказать ему, что, слава Богу, его ранило, а то ведь и в окопы могли погнать. А как бы я стрелял-то? Ведь Фридриху тоже, небось, винтовку в руки дали. Да, може, и Фридрих-то далеко был, так другой кто: ладно, если старик, мы-то свое отжили, а то молодых сколько! Сними с него гимнастерку эту — такой же малец, как тот раненый, что со мной в санитарном поезде ехал, не отличишь, и тоже крещеный, и matka с батькой за него дома Богу молятся. Вот и Мотяшка не смог.

Очень хорошо все понимал Андрюша, не улыбался уже, как сначала, а только иногда кивал тихонько. Между бровями, старик заметил, у сына появилась маленькая строгая вертикальная складочка, и от этого молодое лицо его казалось мудрым и скорбным. У кого-то на лице Максимыч уже видел точно такую складку, и досадовал, что не может сейчас вспомнить. Знаешь, Колю убили тоже. На последнем слове он запнулся, но сын, не разжимая губ, снова тихонько кивнул: «Знаю». Все еще держа пальцами за ножку рюмку, словно маленький бутон тюльпана, старик предложил: выпьем, Андрия? Строго и медленно сын покачал головой: «Нам нельзя». Ну да... Тогда я сам выпью, и потянулся к графину.

Очень хотелось расспросить Андриюшу, как там, но не осмеливался и уже знал, что не спросит. Да и зачем, подсказала трезвая мысль, сам узнаешь скоро. Сынок, не выдержал он, ты... ты долго мучился? «Сестра знает», — ответил Андрия. Не меня выражения лица, он прикрыл глаза и слегка распрямылся, как очень усталый человек. Максимыч жадно вглядывался в сына, не боясь теперь, когда тот опустил веки, оскорбить пристальностью взгляда, и только сейчас заметил, что гимнастерка его покрыта ровным рисунком из перекрещивающихся под прямым углом линий, образуя маленькие одинаковые клеточки, а в центре каждой клеточки — ровное круглое отверстие. Всю грудь прострочили, понял старик и невольно взглянул на Иру, все так же сжимавшую в пальцах платок: «сестра знает». Когда перевел взгляд обратно, сына уже не было, а напротив Максимыча стоял пустой стул, и сквозь его соломенную прямоугольную спинку просвечивала стена, на которую падала волнистая тень от абажура. Вспомнил неожиданно и не вовремя, пристально и тоскливо уставясь в спинку стула, как ездил заказывать эту соломку «в мирное время», до той, первой войны... Это ж сколько Андрия тогда было? Если Моте лет пять, то ему четыре.

...Сначала ему понравилась было выпуклая, простого, крест-накрест, плетения; были и позатейливей, с двойной основой, которые отверг сразу: смотреть, так без рюмки в глазах двоится; точно так же отверг и двухцветные, с переплетающимися светлыми и темными волокнами: броско, быстро надоест. Та, которая сразу приглянулась, оказалась самой дорогой, но чем больше молодой старик ходил и придирчиво рассматривал другие образцы, тем больше хотелось ему вернуться и ударить с хозяином по рукам. Упругая, легкая и прочная, соломка эта была очень строгого и завораживающе простого рисунка: вертикальные и горизонтальные волокна образовывали прозрачную сетку-основу, а диагональные переплетения ложились так, что вырисовывали в каждой клеточке сетки маленький изящный шестиугольник, казавшийся кружком, если прищуриться. Ажурное это плетение было оправлено в прямоугольные ясеневые рамки с двумя точеными колонками по бокам и увенчано полуарками, превратившись в спинки стульев, на которых почти сорок лет уже сидела вся семья так, как сидела мать: прямо, не откидываясь и не касаясь спинки, но не испытывая ни малейшей неловкости позы.

Так много не успел спросить, ругал себя старик. Как это он сказал? «Сестра знает». Дети так и обращались друг к другу: «брат», «сестра». Вон Сенька все еще колготится на лестнице, а Тоня пытается его урезонить: «Брат, брат...» Хорошо, что Андриюша не спрашивал ни о чем. На самом деле старик боялся только одного вопроса: о верстаке; долго и трудно было бы рассказывать, да и на кой?.. Там — не нужно, как не нужны ни рюмка, ни папироса. Еще раз взглянув на пустующий стул, Максимыч поднялся, набросил пиджак, в кармане которого лежал портсигар, и вышел в коридор, где уже было тихо, пусто и промозгло.

Появлению сгинувшего на войне сына старик не удивился — было некогда: он старался не растерять, не расплескать все мелочи этой диковинной встречи. Слова, которые говорил Андрия, выцветшая гимнастерка, эта новая строгая и печальная морщинка между бровями... Вспомнил! Там, у подножия памятника Свободы, мраморный воин, что на меч опирается! И лицо похожее, и морщинка точь-в-точь. Завтра — первым долгом сходить, а то что ж я, как глумой какой, и вспомнить не мог. Папироса оказалась — или показалась? — тяжелой и невкусной. Должно быть, табак отсырел. Стало очень зябко, и старик заторопился внутрь.

На столе уже гудел, разгоняясь, самовар, уютно позвякивали блюдца. Мамынька внимательно резала пирог с яблоками. Старик тихонько прошел к своему стулу. Есть ничего не хотелось, а вот чай был кстати. Он грел руки о стакан, прихлебывал курящийся ароматным паром чай, но озноб не проходил, как не проходила и ровная, тянущая боль в животе. Хотелось лечь, подогнув коленки, чтобы утишить ее, и не шевелиться. Болело не в первый раз; что ж — не мальчик. Иногда ныло подолгу, отравляя весь день неприязнью

к еде и к куреву и странным вкусом, точно держал во рту оловянную ложку. Сегодня болело с самого утра и сильнее; отпускало — словно замораживало — только после водки. Но сейчас и водки не хотелось, Бог с ней совсем; только спать.

Назавтра он к памятнику не выбрался, а сделал то, о чем мечтал целый день накануне: остался лежать на своем диване, подтянув колени к ноющему животу, но не спал, а только задремывал время от времени и плавал в ненадежном, поверхностном забытии, пытаясь одурочить боль. «С осени закормленный», — недовольно бухтела старуха, убирая нетронутую еду. Придя из лавки и развязывая холодный платок, пахнувший ноябрьским ветром, она увидела, что муж все еще спит, свесивши голову на откинутый валик дивана. Мамынька тихонько подошла поправить подушку. Лысина спящего блестела, точно смазанная маслом, и только по совершенно мокрым, сбившимся волосам на висках старуха поняла и перепугалась: захворал.

Вечером Федор Федорович — всегдашняя старухина «скорая помощь» — привел доктора. Пока тот, переговариваясь о чем-то докторском с Феденькой, мыл руки, намыливая их, споласкивая и снова намыливая, будто забыв, что делал это только что, старуха торопливо листала жесткую стопку полотенец, выбирая поновее. Максимыч лежал на высокой подушке. От этого было непривычно, как и от переполоха; вот уже доктор в дверях и направляется прямо к нему — но, видно, так уж полагалось, чтобы все было сегодня неловко и неудобно, не как всегда, и сама досада на это «неудобно», как ни удивительно, отвлекала от боли. Вот как сейчас, когда он уже не думал о боли, а только ждал прикосновения чужих холодных пальцев к своему телу.

Пальцы оказались теплыми. Руки доктора так осторожно и умело трогали и мяли живот, бережно, но настойчиво проникали под ребра, что, казалось, вот-вот отыщут, где таится боль, и просто вынут ее вон. Все, к чему доктор прикасался, он тут же и называл очень ласково: животик, язычок, а теперь вот на бочок повернемся, отчего Максимычу стало почти весело и он неожиданно произнес: «Захворал, одним словом сказать», но, к счастью, никто ничего не понял, тем более что доктор как раз достраивал пирамидку из игрушечных слов, где три последние были: желудочек, язвочка, больничка.

Еврейская больница находилась в получасе ходьбы. Строго говоря, еврейской она была до войны, сейчас об этом почти забыли, но зять Феденька помнил хорошо, знал, что это надежно, а потому настоял, чтоб именно туда.

Старичок к старухе воротился дней через десять. Выглядел он и в самом деле старше. Из больницы принес грязную нательную рубашу, завернутую в газету на местном языке, бутылку в белом чепчике с оборками и длинной фатой, исчирканной неряшливой врачебной надписью, и слово «язва». Называть притаившуюся в брюхе гадину язвочкой, как ласковый доктор с теплыми руками, он не хотел.

Зять внедрил еще одно слово: «диета» и решительно отвел тестево «на кой». Старик упрямо не хотел понять, зачем гадину подкармливать, да еще чем-то особым. Затея, впрочем, быстро увяла: ублажать язву следовало сметаной да сливками, нежным куриным бульоном и прочими яствами, давно не доступными ни здоровой старухе, ни больному старику; дай Бог, чтоб от этих деликатесов детям хоть изредка перепало. Однако за эмалированной миской, в которой старуха толкла овес или разминала творог, закрепилось с той зимы название «диета» — да так и осталось, как белые крапинки на зеленой эмали, похожие на прилипший, плохо отмытый рис.

Никому не рассказывал Максимыч о больнице, да и кому можно было о таком рассказать? Каждую ночь, измученный дневными процедурами, он привычно подтягивал колени к животу и закрывал глаза, чтобы через несколько минут оказаться в Сибири — в первый раз после войны, но зато почти каждую ночь.

То ему снилось, что раненое бедро никак не заживает, а боль уже доползла до живота. То как будто привезли доски да прямо ему на койку и свалили, чтоб он гробы сколачивал. А то ждет он, что сейчас кастелянша появится. Она и появляется, стоит в двери, где свет, а в палате хоть глаз выколи. «Ты что не приходишь, одним словом сказать, я жду тебя». Он кричит ей в яркий проем: как же я приду, я теперь дома живу?! «Нет, — качает головой, — ты в больнице. Ты приходи, никто и знать не будет, одним словом сказать». А ведь правда, как раз успею обернуться, и к месту. Быстро-быстро идет он между высоченными сугробами прямо к дому Калерии, а она ждет на пороге. Дивится Максимыч: пальто на ней почему-то Тонино, довоенное; вместо валенок — фасонные ботинки на пуговках, а голова так закутана белым платком, что лица совсем не видно. Он чувствует, как рада ему Калерия: принарядилась, кивает издалека и кланяется легонько; заждалась. По такому снегу легко ли без палки? Запыхавшись, приблизился и тронул за плечо: на кой ты лицо-то закрыла? Она все молчит, кивает; и вдруг видно, что женщина не стоит, а — висит. Старик отшатывается с криком и падает прямо в бездонный сугроб. Сам он своего крика не слышит, зато видит, как из больничного коридора (когда ж он вернуться успел?) ложится на пол трапеция синего света, и люди в белом тихонько увозят соседа, а его лицо высоко затянуто простыней.

Нужно сказать, что к снам в семье относились очень серьезно, чтоб не сказать благоговейно. Сны подробно обсуждались и подвергались тщательному анализу. Их держали в памяти со всеми мельчайшими подробностями и хранили строго, как документы в архиве. События любого масштаба объяснялись в соответствии с видениями и никогда — наоборот. Хворь, обрушившаяся на мужа, старуху не удивила: позапрошлой весной ей снилось, будто старик в баню пошел, а там веселье да танцы!.. Вот и доплясались. А что сну тому полтора года, так ведь и язва не насморк. Доброжелательный голос из репродуктора в расчет не принимался: сегодня одно, завтра другое; шнур из стенки вытяни — и ничего не услышишь, хоть разбейся. А во сне — или, как уважительно говорила старуха, «во снах» — все правда, все как есть; придет время... Ждал своей очереди и неразгаданный мамынькин сон, где умерший брат так настойчиво совал ей в руки детскую рубашонку. Непонятное это, тревожное видение тоже заняло свою ячейку в бдительной памяти старухи.

Максимыч же остался наедине со своими больничными кошмарами. Он мог бы, наверное, поделиться со старшей дочерью, которая не закипала ни гневом, ни стыдом от слова «Кемерово», но не стал: это был его груз, напоминание о грехе, а такое не перекладывают не только что на родного — на чужого.

Ворочаясь ночами на своем диване и перебирая одно за другим больничные видения, решил, что Калерии нет в живых. Видел ее мысленно, но уже только такую — нарядную и висящую, винился, просил: отзовись! — но не было ответа, не было. И молиться стал — за упокой.

Зима тянулась бесснежная, сиротская какая-то, но озлобленная. Ветер задувал не просто сильный — лютый, неся по тротуарам песок, смешанный с грязным и скудным крупитчатым снегом. Только к середине масленицы земля побелела и за несколько ночей появились даже настоящие сугробы. Не зря, не зря старик ладил санки для внуков — вот и пригодились. Хотя Андрюшины ребята так и оставались дичками, но санкам обрадовались и дотемна торчали во дворе на горке.

## 9

Вот неделя, другая проходит, приближая Пасху, которую все ждут с особенным нетерпением: в этом году она совпадает с Первомаем. Значит, легче будет раздобыть «всего чего», надеется старуха, и это даже временно примиряет ее с советской властью, холера ее побери, добавляет она вполголоса. Извлекает на свет чуть потемневшую базарную корзинку и с обиженным, строгим лицом пересчитывает деньги.

Встретились все, как обычно, в моленной; отстояв праздничную службу, похристосовались и торжественные, нарядные, пошли на кладбище, где и разговелись, а оттуда — домой, к старикам.

За праздничным столом не было только Ириных детей. Левочка, поступивший в летное училище, жил в другом городе, а Тайка ушла на дежурство. Хотя и старалась мамынька не гневаться, а не удержалась: сердито выговорила Ире, это где ж может быть дежурство в праздничный день, хоть и знала, что служит внучка в райотделе милиции, куда не пойдешь уточнять график работы. То-то и плохо, что в милиции, разгонялась, несмотря на Светлое Христово Воскресенье, старуха, разве больше нигде работы не найти?.. Тоня, тоже никогда в жизни не работавшая, переключила внимание матери на куличи: как лучше резать, а Феденька, наклонившись к Ирине, в который раз заговорил, что надо, надо девочке школу окончить, а то ведь, с неполными девятью классами, так и просидит за пишущей машинкой. Ира кивала благодарно и беспомощно: учиться дочка отказывалась, и никакие уговоры воздействия не имели.

Говоря о куличах: это слово в семье почти не употребляли. То есть куличи пекли, святили, ставили на стол, а слова такого не было. Вернее, было другое: по ростовской традиции кулич называли пасхой, или ласково — пасочкой. Так вот, у мамыньки взошли отменные пасхи и пасочки, и жалко было посягать ножом на такую красоту. Каждая была похожа на крепость, а в толстые, сдобные стены вросли изюмины, словно пушечные ядра. Аппетитные глянцевые зубцы крепостной стены окружали румяные, блестящие буквы «ХВ» на вершине, и эту «крепостную стену» дети съедали в первую очередь: хоть и разговелись на кладбище, невозможно было устоять перед бабушкиной пасхой, да и зачем? Блестящими бильярдными горками высились яркие, разноцветные яйца; дети азартно спорили, чье яичко разобьется первым, и праздничная старухина скатерть уже была усеяна разноцветной мозаикой скорлупы.

Старуха снисходительно посматривала на мужа, непривычно нарядного. Сегодня он был не в излюбленной своей косоворотке, а в старой, с Бог знает какого мирного времени хранимой рубашке с отложным воротничком, возраста столь почтенного, что на ошупь он был как замшевый и шею не тяготил. Сыскался и галстук, ровесник воротничка, и старая, но совсем как новая жилетка, почти всю свою жилеточную жизнь проходившая — вернее, провисевшая — в шкафу, под титулом «выходная».

Сама же мамынька была одета в свое любимое платье светло-бежевого шелка. Платье это помнило лучшие времена: свою хозяйку в ее пятьдесят, воротничок Максимыча в пору ослепительной белизны и упругости, юный его галстук, в то время неразлучный с булавкой... Где она, та булавка, неведомо, а в вырезе платья тускло поблескивает крохотное золотое яичко на цепочке, с миниатюрными буквами «ХВ» и темно-синим сапфировым глазком, давний подарок старика. Он, конечно, платья нипочем не помнил, но яичко заметил и узнал, да и то случайно: вспомнил, что ему сапфир понравился, и немец-приказчик уложил безделку в атласный зев синего бархатного футляра. Это ж еще до Первой войны было, Мать Честная!..

Безотчетно и легко старик встал, подошел к жене и обнял за плечи: «Христос Воскресе!» Старуха отшатнулась было в изумлении, но стол вдруг затих, и она позволила себя поцеловать, ответив прямо в табачные усы: «Воистину Воскрес!» — но без особой уверенности. Старик протянул руку и взял ломтик пасхи: очень не хотелось уходить. Ему достался просвечивающий закатным шафраном завиток от «В». Так, стоя, под взглядами детей и внуков, он прожевал кусок и пошел на свое место, а мамынька, с горящим румянцем, сидела особенно прямо и смотрела перед собой — должно быть, на иконы.

А посуда, ни о чем не подозревая, как-то особо, по-праздничному звенела, на дворе стояла теплынь, и младших отправили гулять, сунув в карманы по глянцевому яичку.

Вокруг детей и завязался — или, скорее, продолжился — начатый Феденькой разговор о пользе учения.

К учебе детей и вообще к образованию в семье относились по-разному. Мамынька была твердо уверена, что главное — обучить ребят ремеслу, и не без ехидства вспоминала, как старшая дочь была готова остаться в голодном Ростове, чтобы учиться петь, бздурь какие! Може, и бздурь, соглашался мысленно старик, и тут же всплывало воспоминание, как сам спешил в растерянности с поганой казенной бумажонкой к зятю, чтоб разъяснил. И не Федина ли ученость бабу в войну спасла?!

Мотя с женой слушали внимательно: четверых растили, старший в институте учился. Ремесла, понятно, не знал и не знал даже, с какой стороны подходить к верстаку. Последнее обстоятельство более огорчало деда с бабкой, чем родителей: Мотя-то ежедневно подходил к чужому, то есть государственному, верстаку и с облегчением отходил от него в конце рабочего дня. И сам верстак, и все инструменты были общими, а значит, тоже чужими, и не узнавали руку, встречаясь; всякий раз нужно было привыкать заново то к рубанку, то к стамеске. Выдавал работу мастер, но Мотя никогда не знал, что станет делать: каждый подолгу был занят одной и той же деталью, потом — тоже подолгу — другой, и ему казалось иногда, что стол выйдет похожим на сороконожку. Впрочем, готового стола он так ни разу на комбинате и не видел. Мишка же смысленый, за учење платить не надо; так что ему в этом ремесле?..

Надя прислушивалась скептически. Сын, хоть и только первоклассник, в школу ходил неохотно, однако она уже сейчас была уверена, что семилетка — это «за много». И чего к Тайке прицепились — девятый же класс бросила, не второй?

Мало-помалу мамынькина бровь перестала парить над застывшим лицом, и она незаметно включилась в разговор.

— На что девке учење, унеси ты мое горе? — требовательно вопрошала она Иру, — вот ты скажи, на что? Читать-писать умеет, работу чистую работает, так что еще надо?

В это время младший сын воспользовался ослабшей старухиной бдительностью и успел-таки напузырить себе водки в стакан, успел. Справедливо опасаясь мамынькиного гнева, он сразу и хлопбыстнул этот полный стакан, под боязливым Валькиным и брезгливо-жалостным Фединым взглядами. Теперь он сидел, чуть наклонив голову, и чутко прислушивался к движению водки внутри себя, как будущая мать ловит каждое шевеление плода.

Плод созрел быстро.

— Вы тут, — медленно заговорил Симочка, — мамаша правильно говорит, а я, — продолжал он, с ненавистью почему-то глядя на Федю, — я...

Но не закончил, а схватив графин, быстро налил себе новый стакан и понес ко рту, расплескивая.

— Брат?! — высоким, предупреждающим голосом начала Тоня, и можно было еще остановиться, да поздно, после двух-то стаканов, а сколько «мелких пташечек» было уже пропущено?!

Всхлипы и рыдания, растерзанный воротник праздничной рубашки, знакомые крики про горение в танке, пролитую кровь и что-то несуразное дальше, из чего следовало однозначно, что шурин горел в танке и проливал кровь во имя того, чтобы его, Федина, дочка играла на пианино.

Вся эта дешевая опереточная атрибутика ничего у Федора Федоровича не вызвала, кроме гадливости; будучи медиком, он без труда ее в себе подавил. Но дети, дети же все слышат! Аргументов не запомнят, а что дядя человеческий облик потерял — запомнят. Знал Феденька и то, что завтра же Симочка придет к ним и будет просить опохмелиться. Ну так ведь это уже клиника.

Не мигая и не отводя взгляда, старик наблюдал — уже во второй раз — мужскую истерику. Это ж надо так оскотиниться, Мать Честная! Кабы не Светлое Христово Воскресенье, так бы и двинул в рыло, даром что родной сын; не сильно, а чтоб замолчал;

несказанно удивился бы Максимыч, если б узнал, что именно так истерики и лечат. Что ж он так на Федю-то вызверился, за ученье, что ли? И сам уверенно себе ответил, даже кивнул: за ученье.

Младший был единственным из пятерых, не обученным никакому ремеслу. Старших парней и он сам, и Фридрих научили столярничать, Ира пошла шить, Тоня выучилась вышивке и художественной штопке — и не зря: после войны от заказов не было отбою, и уж, понятно, не на вышивание. Правда, Феденькина узкая спина оказалась надежней гранита, так что нужда не подгоняла, но все ж Тонька умела заработать копейку, которую и совала матери, и у обеих лица при этом были почему-то сердитые. А этот... Потому и оскотинился, горько думал отец, что никакого дела не знал, только языком молоть. Что ученье, что уменье; одним то, другим это. Как он жить-то будет, Царица Небесная?!

А Симочка жил как-то. Нигде не работал, но на водку хватало. Насупленный, решительно выпятив челюсть, атаковал, словно все еще сидя в танке, военкомат и добыл трофей поценнее, чем шляхетская красotka: ордер на квартиру. Отдельную. Танк, однако, не остановил, а с захватывающей быстротой и дерзостью прошел какие-то комиссии, получив немалые льготы, причитающиеся ветеранам, — те самые льготы, которые искалеченные фронтовики пытались выбить собственными костылями у самой гуманной власти, за которую они проливали свою кровь...

Следующий день, Светлый Понедельник, с утра был, словно небо тучами, затянут старухиной пасмурностью. Даже после утренней молитвы лицо ее не посветлело и смотреть на мужа она избегала. Старик это заметил, тоже молился сердито и невнимательно, а садясь за стол, пытался поймать взгляд жены; какое там. Если она не швырнула ему чашку с кипятком, то исключительно по той причине, что чашек этих осталось немного, но жест был именно такой: швыряющий. Максимыч еще с наслаждением жевал кулич, как вдруг хлопнула дверь — старуха ушла в моленную, не дождавшись его. Такого в их совместной жизни еще не было; правда, и жизнь их уже с трудом можно было назвать совместной. Душистая сдоба обволакивала небо, и он ошеломленно прихлебывал стынувший чай, заваренный по-праздничному крепко и оттого, должно быть, горчивший.

Службу отстояли рядом, как всегда, но слов батюшки ни он, ни она не слышали, думая об одном и том же: не дотронуться, не дай Бог; не задеть даже нечаянно. Во время глубокого поклона бахрома шелкового старухиногo платка мазнула его по щеке, как ожгла. Ос-с-споди, Царица Небесная, как теперь жить-то?! Проходя к выходу мимо «Трех святителей», ревниво приостановился у лесенки, подергал: крепко.

Так прошла вся Светлая Неделя, а за ней — как у поэта — другая, столь же хмурая, ибо не была уже светлой, так чего и ждать? Язва тоже давала о себе знать, и обмануть ее можно было либо водкой, либо содой, так что по ночам старик, не зажигая света, ощупью пробирался на кухню, подставлял под кран холодного самовара стакан, а потом размешивал соду — медленно, чтоб не звякнуть ложкой и не разбудить жену.

Как будто она спала. Как будто так легко было уснуть! Лежа прислушивалась к осторожным, неровным шагам старика, а потом следила за его манипуляциями. Жалость, захлестывавшую сердце, старалась подавить негодованием: ишь, кобель. По Сибири шлендал, так не хромал небось. А как язву нажил, так домой вернулся, извольте радоваться! Негодование помогало, и мамынька уже катила дальше свой безмолвный монолог: что ж она тебе язву не вылечила, спрашивается? Не иначе как крашенная, привычно думала, наблюдая за осторожной возней старика; крашенная, стерва.

Как выглядит «эта паскуда», старуха, естественно, не знала и знать не могла, но была непоколебимо уверена, что крашенная, ибо страшнее греха для женщины не знала; более того, полагала, что именно в этом корень всех грехов. Цельный портрет как-то не складывался. Напрягаясь, пыталась представить себе, как «стерва» выглядит, но разгневанное воображение рисовало всегда одно и то же: ярко-желтый перманент, густо



намазанные губы и платье такое бесстыжее, будто обтекает всю, а бока так и выпирают, так и выпирают. Да как он смел?!

Старик уже начинал дремать, устав прислушиваться к единоборству язвы и соды, а мамыньку на кухне продолжал мучить уродливый фантом. И не только это: ведь посмотреть, так все живут неправильно! Кроме Тони. Вот Ирку знакомили с солидными мужиками — нет, и кончен бал! Это в сорок семь-то?! А ведь ни кола ни двора, исть нечего, все Тайке пихает да Левочке посылки шлет. Надька тоже: воротит морду, что комната теперь проходная. Тебя не спросили, когда квартиру кромсали; так ведь никого не спросили, чего уж. Сама сюда хотела, без мыла лезла, а что теперь про Иру да Тайку клеветает, так у ней всегда был язык без костей. Правда, на работе пуп рвет, так двоих малых поднять надо без мужа.

Сразу мысли перескочили на среднего сына. Как он убивался перед свадьбой, как против родительской воли бунтовал! Старуха перекрестилась: не раз уже где-то шевелилось у нее чувство, которому она даже и названия дать не решалась. А больше всего болело то место в душе, где был Симочка. Что ж он выкамаривает, Господи Иисусе? И с бабами, и с водкой. Ладно, с Настей развелся; так женись на этой, на кой сирот плодить?! Не женится. Из далеких прожитых лет пришло на память слово «иноземка»: тоже ведь свекор-батюшка из Польши вывез, однако все по-людски — и крестил, и женился, и вон сколько детей родили!.. Все, все неправильно живут. Тут цикл мыслей замыкался, и можно было уснуть.

Хоть бы во сне отдохнуть, так нет: надо складывать белье, чтоб снести на каток, целые вороха свежевывстиранного белья. Оно холодное, прямо с улицы, и топорщится в руках, но надо спешить, не то пересохнет. Вот Матрена с тяжелой корзиной на какой-то незнакомой улице; катка не видно. Спрашивает у встречных — в ответ только смеются. Наконец, ступеньки знакомые: здесь. Спустилась — верно, каток; народу никого, только одна баба стоит в углу спиной к ней, лица не видать, и сама не шевелится. Скоро управлюсь, радуется старуха; натягивает холст и начинает бережно вынимать и укладывать белье. А как сюда грязное попало? Матрена с отвращением отбрасывает замаранную рубашку. И вот еще! И вот!.. Она со страхом вынимает из корзины следующую, которая тоже оказывается поганой тряпкой, и тут же, словно ожегшись, отшвыривает с негодованием. Тут баба в углу поворачивается к ней лицом, и Матрена видит, что это никакая не баба, а покойный брат Пётра. Брат держит что-то за спиной и приближается, улыбаясь, а Матрена отклоняется назад: она знает, что у брата в руках, и не хочет, не хочет, не надо ей это! Громко-громко стучит сердце, руки не слушаются: что же это, Гос-с-споди, ведь все чистое, все стиранное несла, сама складывала!.. Так, с колотящимся у горла сердцем и онемевшими руками, мамынька просыпается и с надеждой творит молитву.

Дома стало напряженно, и Максимыч пристрастился к рыбалке. Улов принимался старухой снисходительно, а если бывал обильным, то и благосклонно. Нет, напряженность не уходила, но уходил старик, становясь на какое-то время недостижимым для нее. У него появилось излюбленное место на речке, в стороне от других рыбаков, и когда оно оказывалось занятым, он терпеливо шел, прихрамывая, вдоль берега, пока раздражение не исчезало; наконец присаживался, опять-таки на отшибе от остальных, и с привычным: «Ну, Царица Небесная!..» забрасывал удочку. Чтобы не озябнуть, как он себя уговаривал, в карман заранее укладывал «маленькую»: аккурат для сугреву и поддержания духа в случае неудачи или, напротив, чтоб было чем отметить успех. Дело шло к Троице; глядя на поплавок, старик мечтал о настоящей — как в «мирное время» — щуке к праздничному столу.

На базаре перед Троицей было почти как в старое «мирное время», хотя сегодняшнее их бытие старуха никак не могла назвать этими эпическими словами. А сегодня... сегодня

прямо глаз радовался: всего чего, да сколько... Назад возвращалась с достойно отяжелевшей корзинкой, так что, когда на полпути увидела Тайку, первая окликнула ее — донесет играючи. Несмотря на разгар июня, внучка была в теплой жакетке, которую еще и запахивала, точно мерзла.

— Ты не больная? — забеспокоилась мамынька, — смотри, спаришься?

Тайка не ответила, не улыбнулась, и только протянула руку за корзиной, как жакетка распахнулась. Во-о-н что.

Интересно, как они выглядели со стороны: статная, с румянцем гнева на щеках, старуха, крепко держащая за руку внучку — молодую, перепуганную и безнадежно беременную? Кто видел, как бабка тащила ее за руку, словно малое дитя, тащила, время от времени кидая на нее грозный взгляд и роняя одно и то же слово: «Яйца!», беспокоясь за содержимое корзины?..

Наверное, кто-то видел и как-то реагировал: удивлялся, смеялся, недоумевал. Однако ни старуха, ни Тайка никого не видели, пока мамынька не дотащила внучку до квартиры; даже на лестнице она не отпускала Тайкину руку. На пороге же Ириной комнаты отпустила, втолкнув девчонку внутрь:

— Иди, обрадуй матку, — но сама не ушла, а стояла на пороге, ожидая дочкиной реакции и обмахиваясь снятым платком.

Та застыла, переводя взгляд с матери на дочку, и стояла бы так, наверное, долго, если б старуха не спросила, подтолкнув Тайку:

— Ты знала?!

Можно верить или не верить, смеяться над ее наивностью или пожалеть — Ира не знала. И теплая жакетка летом, и одутловатое, уже в пятнах, дочкино лицо, и эти ее дежурства, которые и дежурствами-то не были, а чем были, уже видно, — для матери имели только свою номинальную ценность. Жакетка — от сквозняка, отечное лицо — от усталости и недосыпа, являвшиеся натуральным следствием тех самых дежурств, которых вовсе не было.

Прошныривая к раковине, Надя обиженно бросила:

— Я говорила, мамаша: за ней смотреть надо.

Мамынька только глянула вполоборота:

— А твои matka с батькой за тобой много смотрели?

Невестка язык прикусила, но ненадолго. Хлопнула дверцей буфета раз, другой — и бросила через плечо, скрываясь к себе в комнату:

— Мне — что, я не девкой рожала, а мужней женой.

Перестав, наконец, обмахиваться платком, старуха крикнула дочери:

— Слыхала? Ты добрая, ты ее пустила; теперь получила! — словно не кто иной как Надя наградила внучку пузом.

Уж как пофартило Максимычу, как пофартило, даже и не чаял: сом! Настоящий сом, какого сейчас и на базаре-то нечасто встретишь. Бывали, бывали и побольше... так это ж когда, а тут такой дядя попался: ишь, ворочается, в большом бидоне — и то ему тесно. По пути домой несколько раз останавливался: сняв картуз, вытирал взволнованный, потный лоб, переводил дыхание; потом опять подхватывал тяжелый бидон, в котором плескался «дядя», и торопливо хромал дальше.

В кухне были все, даже Тайка. Поставив удочки, старик нетерпеливо открыл крышку бидона и сразу же получил фонтанчик воды в лицо. Отряхивая капли с бороды, сунул руку в бидон, ловко подхватил рыбину под жабры и протянул жене:

— Ты глянь, как пофартило: прямо дядя!..

Мамынька выхватила трофей из мокрой руки и с размахом ударила мужа по лицу. Ошеломленный, старик отпрянул, а Матрена повторила с непонятной злостью:

— Пофартило тебе! Вот как тебе с дядей пофартило! — в то время как виновник этой сцены уже прыгал, извиваясь, по полу.

Ночью Максимыча начало рвать кровью, и приехавшая «скорая» забрала его в больницу.

\* \* \*

Большую часть ночи оба проводили без сна: старуха беспокойно ворочалась в своей кровати, следя за тенью колышущейся листвы, старик — на обшарпанной больничной койке, натягивая скудную, серо-гипсового цвета, казенную простыню. За окном тоже качались ветки, а под дверь подтекал синий слепой свет из коридора. Все остальные спали, но Максимыч им не завидовал: отоспаться можно будет и на кладбище, о коей перспективе думал он, кстати сказать, без паники, хотя и не спешил туда. От дочек узнал, что мамынька лютует — грозитя прогнать Тайку из дому; что жениться пакостник не собирается, и более того: сажают его. «За Тайку?» — с надеждой спросил старик. Нет, папаша, за растрату. Не свои тратил — казенные, а за это, мол, строго. Старик кивнул: растрата растратой, а в тюрьму — он был уверен — паскудник идет за внучку. И к месту.

В больнице время отсчитывалось не часами, а обходами докторов, процедурами да трапезами. Все, кроме Максимыча, с нетерпением ждали бренчания тележки, на которой развозили еду; для него еда интереса не представляла. Суп, незнамо из чего, был комковатый и больше напоминал жидкую подливку. Соседям давали какие-то плоские, точно на них спали, котлеты, мясом вовсе не пахнувшие, а ему приносили серенькие комочки, политые, должно быть, тем же супом; говорили — мясное. Сбоку от «мясного» тулилась полупрозрачная каша пюре, так что всякая охота есть пропадала. Станным образом процедуры и харчи походили друг на друга: то нужно было глотать ложками бариевую кашу, похожую на жесткий творог, то на ужин приносили творог, такой же серый и твердый, — ни дать ни взять известка.

С докторами была полная неразбериха: то один брюхо мнет, то другой: чисто бабы тесто месят. В сложной больничной субординации старик не разбирался — все в белых халатах. Не сразу, но заметил, что у сестер халаты задом наперед надеты и сами они попроворней. Что ж, на работе барышни. Самая же главная, как определил про себя старик, докторша ходила медленно, тяжело и важно ступая и не глядя по сторонам, время от времени осторожно трогая рукой прическу: блондинистый ролик на темени, похожий на трубочку без крема, и висящие небогатые локоны. Однажды Максимыч слышал, как она смеется, разговаривая с кем-то: точно мотоциклетку заводили. При ее приближении сестры торопились вон со своими звякающими подносиками; санитарки — из баб попроще — убежать не успевали. Ни с кем из больных докторша не разговаривала, а подходила к подоконнику и проводила пальцем, затем грозно смотрела на санитарку, брезгливо скривив накрашенный рот, разворачивалась и шла в коридор, а санитарка плелась следом. Что она там с ними делала — распекала? Грозила? Наутро та же санитарка мыла чем-то едким и вонючим пол. Набросив байковый халат и осторожно пробираясь к двери, Максимыч сочувственно кивнул: сильно докторша-то злобствует? Та недоуменно затормозила швабру. Докторша? Какая докторша? А потом, прислонившись к пустой кровати, смеялась беззвучно и необидно. Никакая не докторша, Христос с тобой, сестра-хозяйка она тут! Вишь, такой павой ходит, что в докторши попала!..

В больничный сад этот едкий запах не проникал. Здесь росли солидные каштаны с густыми кронами. Парк окружал здание и уходил далеко вглубь, к реке. На скамейках играли в карты, читали, курили, принимали гостей и тут же жадно, не стесняясь, ели из промасленных свертков что-то свое, домашнее.

Как и на рыбалке, старик облюбовал далекую скамейку и пристроился под августовским солнцем, сбросив ненужный халат, некогда байковый, а теперь постиранный до жесткости фанеры. Сначала думать о рыбалке было коломытно, и он даже головой помотал, как часто делал, разговаривая мысленно сам с собой. Что же с нами делается, Мать Честная!.. Снова вспомнил — как увидел — блестящего прыгающего сома и пятна мокрые по полу. А и хорош-ш-ш был, настоящий дядя! Сколько ж сейчас там ходит таких в глубине, только встать пораньше — и всех делов. Припомнилась и свежая уха из подлещиков да окуней, непередаваемым ароматом окутывающая кухню; рот вскипел слюной, заныло брюхо. До зимы еще далеко; вон сколько наловить можно!

По дорожке пробежали две сестры, тащили какие-то склянки в ящике. Из раскрытых окон слышались звонки: телефон. Такой диковины даже у Феди нет, уважительно подумал старик. Хлопнула — с растяжкой — тяжелая дверь, и стало слышно, как чей-то голос требовательно и наставительно выговаривал: «...каждый день. И не эту рвань, а полотенца. В противном случае я ставлю вопрос перед главврачом», после чего на той же дорожке показалась «докторша». Она шла необычно быстро, а лицо, свирепое и очень красное, прятала за стопкой белья, которое несла перед собой. Вроде Калерии, вдруг догадался старик, и такая ревнивая неприязнь ужалила его, что захотелось только одного: скорей бы отсюда.

«Уже скоро, — пообещал доктор на обходе, — вот только профессору вас покажем». Это еще на кой, громко не сказал старик, а потом махнул рукой и попробовал себе вообразить встречу с профессором. Такой, наверно, гладкий, хорошо одетый, в золотых очках, и говорит длинно. Знал он только одного профессора-немца, для которого в мирное время делал гостиный гарнитур, тот, вишневый... С тем и задремал. Проснулся от плеска воды: в этот раз пол мыла другая санитарка, помоложе; она небрежно шлепала на пол мокрую мешковину, кое-как обертывала швабру и гнала воду по всему полу. Тоска, тоска. Домой.

После обеда небо скуксилось, закрапал дождик, и вместо того, чтобы сидеть под каштаном и грезить о рыбалке, пришлось остаться в кровати. Из окна сильно пахло зелены, и жалко было его закрывать, хоть и дождь.

Вдруг все разговоры стихли, и в палату вошла группа докторов. Профессора среди них не было, и Максимыч опять прикрыл глаза. Его назвали по фамилии, сконфузив всеобщим вниманием, и столпились вокруг кровати. Всем заправлял утренний доктор: быстро говорил, сбиваясь с русского на непонятный, и закончил совсем уж странно: «Вот история, профессор».

Вперед вышел маленький и худой, словно школьник, но лысый человек, с очень любопытными выпуклыми глазами, в простых железных — не золотых — очках. Он ловко откинул полу халата, сел, протянул Максимычу руку и представился, будто разгрыз орешек. Потом ласково попросил: «Покажите язык» и проделал над стариком все, что делали другие доктора, только медленно и с удовольствием, подробно объясняя каждое движение. Все ответы Максимыча выслушивал, не сводя с него круглых живых глаз — ну чисто ребенок; остальные уважительно слушали. Он округло картавил, и старик сразу подумал о сыновьях, хотя они совсем не походили на профессора. Закончил, полуобернувшись: «У кого есть вопросы, прошу?..» Как раз, подумал старик, и попросил, вдохнув: «Мне домой-то скоро ли?», отчего сразу повисла неловкая пауза, прерванная веселым смехом профессора: «А как же, дома-то и стены лечат. Да хоть завтра!»

Попробуй усни, если завтра и впрямь позволили домой. Дождь перестал, в окно было видно звездное небо, совсем особенное в августе. Бог с ним, со сном, теперь уж — дома. Каштаны за окном шелестели, словно нашептывали что-то веселое. Не спали еще двое на соседних кроватях, тоже перешептывались. Уловив слово «профессор», Максимыч ревниво прислушался: никак, о его профессоре? Один — новенький, совсем молодой, о

чем-то спрашивал, другой отвечал. По частому одышливому дыханию старик узнал молчаливого конопатого мужика с грудной жабой.

«...Он в этой больнице еще до войны работал. Да что работал! Он и жил тут: ему квартирку дали, прямо рядом с чердаком. Я почему знаю, что малярничал тут. Да. Ихние две каморки тоже красил. Семейный, а как же. Не-е, он всегда был такой: бывало, идешь со стремянкой, так отбежит и к стенке прижмется — пропустить. Сзади посмотреть — студент вроде, из практикантов. Он мне тогда еще говорил: тяжестей, говорил, вам нельзя, плохо, говорил, дышите, молодой человек. А я ж тогда здоровый был — во!.. Потом уж, на войне, надорвал жилу какую-то в груди. Жаба, говорят... Он тогда профессор не был, нет. А работал знаешь как? Уж на что я спозаранку приходил — я ж не только здесь работал, — а он тут как тут. Мы с ним здоровались уже; я как-то спрашиваю: когда ж вы пришли, доктор? А я, говорит, никуда и не уходил: у меня дежурство ночное. И так через день; как только он тянул?.. Чего?.. А ты считал его деньги? Я видел, как они жили: вся мебель больничная, вот на такой же кровати спал, как ты тут! Стол шатался; так я ему поправил чуть, подкрасил — больно уж обтерханный был. Деньги... На что ему деньги, ему время не было тратить эти деньги!.. Не-е, от больных сроду не брал, это не про него. Вот, помню, ему раз коробку шоколада поднесли, так он эту коробку открыл и велел сестричкам угощаться. Открыл, ну... а там конверт. С чем... С деньгами. Да нет, с теми еще, досоветскими, ясное дело. Ну что — что? Он как забегал: адрес, адрес скорее! На свои деньги извозчика взял и отвез назад и коробку, и деньги; вернулся в самый раз к дежурству... во как!»

Парня Максимыч не слышал, тот лежал дальше. Вдруг рассказчик заговорил громче и с закипающим раздражением: «Не знаю, меня на фронт сразу забрали. Я только жалованье получить забежал. Да не перебивай ты, а то забуду: я ж на войне контуженный был! Ну вот. Он на этом этаже тогда главный был. Так две ночи сидел, с больницы выписывал. Человек сто, наверно, выписал... Как зачем? Чтоб уехать успели! Ты молодой, ты не знаешь, что с ними немцы сделали. Ну, кого успел выписать — больной, здоровый — тот спасся. Или нет, не знаю. Я ж говорю, я на фронт ушел. Полная больница была... да евреев, мать твою! Больница-то еврейская была!»

Из больницы старика выписали с напутствием доктора придерживаться диеты и не нервничать, на что Максимыч только пожал плечами; а с диетой известно как. Прямо домой не пошел, а заглянул в хозяйственную лавку — или, как теперь говорили, магазин, откуда вышел с жестяным чайником, самым дешевым. Назывался он по-местному трумуль и был похож на обыкновенный рупор, к которому припаяли дно; вместо мундштука полезная вещь была увенчана плохо пригнанной крышкой, из-под которой выпячивался небольшой носик.

Дома никого не было. Старик сполоснул трумуль под краном, наполнил водой и поставил на плиту.

С этого дня он кипятил себе чай сам и за стол садился, не дожидаясь старухи.

Зачем ему понадобился свой чайник, трумуль этот, Бог знает, только для старухи это явилось открытым вызовом. Принять вызов сразу она не была готова и потому держалась насмешливо-выжидательно: какое еще коленце старый хрен выкинет; бровь была наготове. Максимычеву обновку она внимательно изучила и оценила в его отсутствие, прикинув, что для себя одной ставить самовар хлопотно, а главное — скучно; после чего купила в той же лавке трумуль для себя. Такой же. Это создавало известное неудобство, ибо теперь каждое утро она ревниво сравнивала двух жестяных близнецов, чтобы — упаси Бог! — не спутать.

Сказавши «а», говори «б»: стали покупать харчи отдельно друг от друга. Быстро выяснилось, что это не только неудобно, но и дорого: суп, кипящий в котелке для одного едока, стоит столько же, сколько суп для двоих, но как остановиться? Невестка с самого начала стряпала отдельно; Ира ничего, кроме пшенной или грубой овсяной каши, не

варила — не было ни времени, ни сил, а Тайка или ела всухомятку, или делила с матерью кашу, хоть и надоевшую, да иногда с маслом.

Теперь, когда мамынька считала деньги, ее лицо становилось еще более строгим, да и хлопот у нее прибавилось — не только деньги считала. Приходя домой из лавки, выволакивала из-под кровати тяжелые весы, клала на чашку сверток в корявой бумаге и тщательно взвешивала, колдуя ярко-золотистыми латунными гирьками, похожими на хоровод матрешек. Брови, казалось, повторяли медленные качания утиных носиков, готовых вот-вот встретиться в платоническом железном поцелуе. Хоть ей было неудобно ждать, склонившись к полу тяжелым телом, а все ж какое-то непонятное мимолетное разочарование отражалось на лице, когда носики застывали в равновесии. Другое дело, если пакет оказывался легче. «Опять! — Матрена поворачивала к мужу разгоряченное от праведного гнева лицо, — эта русская, что недавно у них, уже в который раз обвешивает», — сообщала увлеченно, забыв о раздельном хозяйстве.

Забыв? Да, конечно; и забыв совершенно сознательно. Собеседник-то все равно был нужен, куда ж деться; можно и забыть. До следующего раза.

Строго говоря, хозяйство совсем уж раздельным не стало. Как-то само собой разумелось, что хлеб, крупа или картошка делению не подлежали — бери сколько надо. Зато в буфете стояли две бутылки с постным маслом, так же, как и для скоромных дней лежал уже не один шматок сала, а два маленьких, но независимых кусочка. Станным образом оба они таяли намного быстрее, чем некогда один, да и уровень масла в обеих бутылках падал с удручающей скоростью, хотя вроде и не жировали; зато в третьей, невесткиной, бутылке масло скуцало долго, будто про него забыли.

Бывало и по-другому. То ли старуха замечала, как часто Максимыч варит картошку в мундире, отчаявшись овладеть искусством чистки, то ли вес мяса соответствовал норме — не ввали весы, — а может, она вспоминала о больном его желудке, но только случалось, что мамынька вдруг наливала вторую тарелку и молча ставила на стол.

Старик опять стал рыбачить, всякий раз принося улов, который, слава Богу, на весы не клали. Рыбу чистить он не умел, но ему и не приходилось: по негласному уговору, или, как говорят в математике, по умолчанию этим занималась жена. Если бидон оказывался тяжелым, старик сопровождал добычу скромной фразой: «Вот, на ушицу, что ли», помня свои грезы в больничном парке и скучая по горячему. Мамынька неизменно отвечала: «Дай покой, сама разберу», снимала твердой рукой крышку, критически вглядывалась в игрушечный водоворот и цедила: «Разве что», даже если уха предстояла знатная.

А на следующий день после ушицы старуха вдруг грубо и властно сволокивала с огня чайник мужа, чтобы водрузить свой, и водяные горошины испуганно разбегались в стороны по раскаленному чугуну, обиженно шипя. Старик топал здоровой ногой, вскрикивал горько: «Тьфу ты, Мать Честная!..» и шел курить.

Так они теперь и жили, а до правнука — или правнучки — им оставалось всего ничего: несколько недель.

## 10

Вот неделя, другая проходит. Надя поглядывает на Тайкин живот, никакой жакеткой уже не скрываемый, все злорадней, словно там не ребенок дожидается своего таинственного срока, а Бог знает кто. Соседи тоже стали здороваться более оживленно, отчего мамынька свирепела, однако виду не подавала, что она умела делать мастерски, даже бровка не шевелилась. Зато дома, после того, как плотно закрывалась двойная дверь, вид подавала сразу: каленым румянцем вспыхивало лицо, глаза блестели гневно и молодо. Слава Богу, думал старик, что не докопались раньше, съели бы девку.

Не случайно старик думал во множественном числе — мамынька вступила в неожиданный альянс с невесткой, чем повергла его в немое остоленение. Как-то сразу

квартира распалась на два лагеря: один, представленный оскорбленной старухой и польщенно кудахтавшей Надеждой, и другой, куда входили старик, Ира в состоянии полной ошарашенности и обвиняемая Тайка, еле видная из-за круглого, тугого живота.

Впрочем, не совсем так: правильной было бы сказать, что лагеря было не два, а три. Виновница этой семейной гражданской войны ни к какой стороне не примыкала, а жила вроде как сама по себе. Старуху бесило то, что внучка делала все то же и так же, как всегда: ходила по квартире, пила воду, открывала или закрывала окно, причесывалась, держа в закушенных губах приколки, а то еще начинала вдруг напевать свое непонятное: «тач-тач-тач-та» на какой-то разудалый мотив, будто вот-вот пустится в пляс, подкидывая коленкой живот, как мальчишки во дворе мяч. Одним словом, внучка держалась так, будто ничего, ну ровно ничегошеньки не произошло, и виноватой себя не чувствовала ни на вот столечко. Казалось, что вместе с бесполезной жакеткой она отбросила и всякий стыд. В разговорах на кухне участия не принимала, становясь объектом кипящего бабкиного гнева и ехидного шипения Нади: «Ходит, будто три дня не евши», что вызывало одобрительный смешок старухи, причем ни одной из них не приходило в голову, насколько они бывали иногда близки к правде. Как и о чем Тайка говорила с матерью, если такое вообще случалось, ни мамынька, ни Надя не знали, и это мешало выработать правильную стратегию. У Иры ничего вызнать было невозможно, и это никого не удивляло: всегда была молчалива, а сейчас, придя с работы и наскоро поев, садилась за швейную машинку и строчила за полночь. Под это веселое «зингер-зингер-зингер» старик и засыпал.

Тоня с мужем были потрясены свалившейся новостью. Устроили семейный совет, на который виновница, впрочем, не явилась. Что-то ненужное говорилось, до такой степени несвоевременное, что даже если б и раньше было сказано... А что, если б раньше-то? Ведь аборты все равно запрещены?.. Да, но можно было бы как-то... Поздно. Грех.

Любопытно, кстати, какое слово было произнесено первым: «поздно» или «грех», что доминировало: моральный, то есть вечный, аспект или временной, он же временный? Как для кого. Каждый, наверное, содрогнулся от одного и с облегчением вздохнул, оценив другой, ибо этот другой зачеркивал первый, стирал его, словно резинкой, даже из памяти совещающихся. И то: разве можно жить в сослагательном наклонении? — да слава Богу, что нельзя.

— Ладно, но жениться-то он может? Посидит — и выйдет, а то как же ребенок сиротой расти будет, — беспокоился Федор Федорович, однако в глубине души немножко лукавил, беспокоясь не только о сироте. Как всякий отец, он был уверен, что его собственные дети-школьники понятия не имеют ни о зачатии, ни о деторождении, и плохо представлял себе, как же им сообщить о беременности двоюродной сестрички. Совершенно беспрецедентный случай, бессмысленно повторял он про себя, что, кстати, было чистой правдой: Бог миловал, такого в семье не случалось никогда.

— Отродясь такого не было, — громко подтвердила мамынька. — От людей стыда не оберешься. Должен жениться, пся крев, должен!..

Максимум любовно разминал папироску — в кабинете у Феди икон не было и позволялось курить. Размял и, еще не прикуривая, спросил негромко:

— На кой?

Прозвучало это таким абсурдом и так неожиданно, при том что старухин «пся крев» еще плавал в табачном облачке, что все повернулись к старику. В левой руке держа мундштук, он правой ловко ввинтил в него папироску и повторил:

— На кой вам надо, чтоб этот паскудник женился? Свои деньги промотавши, казенные растративши, девку обрюхатил — и махни драла!.. На кой вам надо такого добра? Чтоб, не дай Бог, ваши растратил или... — не договорил: зятя пожалел.

— Так что ж, — прищурилась мамынька, — може, ты сам и нянчить будешь ублюдка?

— А придется, так и буду, — все так же негромко ответил старик, — он мне правнук.

Об этом вот-вот уже грядущем ребенке, нежеланном и ненужном, нечаянном и досадном — так сказать, ребенке некстати, — думали все, или вернее было бы сказать, что всем некстати же о нем думалось, и всем по-разному.

Старик уже видел его: мальчика, разумеется. Славный такой улыбчивый парнишечка стоял перед глазами в ситцевой рубашонке, шкодливый, чумазый, как полагается. Можно будет и на рыбалку его брать, покуляется в песке, пока прадед удочку закинет. Какая рыбалка, Мать Честная, сам себя одергивал старик, не переставая улыбаться; дите дитем, ему только сиську у матки сосать, а рыбалка — это ж когда еще...

Думала и мамынька. Кто ж девку с ублюдком замуж возьмет, кому она такая надо? Так и будет у Ирки на шее сидеть. То, что «девка с ублюдком» ее первая и любимая внучка, залюбленная и всеми балованная красавица (впрочем, черновата немного), было особенно обидно, как было обидно и больно за стыд, который она, старуха, должна от людей терпеть.

И опять: какая обида у старухи была главной — за внучку или за себя? Она снова и снова вспоминала, как тащила покорную, оцепеневшую Тайку за руку, боясь почему-то хоть на мгновение ослабить властный захват. По щекам, по щекам сама бы отхлестала стервеца! Теперь, встречая знакомых, она держалась особенно надменно и величественно (чего, строго говоря, вполне хватало и раньше), чтобы только успеть откланяться, не дождавшись нового, усиленного интереса или — упаси Христос! — опасных вопросов. Срам-то какой, Ос-споди, за что ж такое?!

Никто не знал, что думала Ира, которой предстояло стать бабкой в сорок семь лет, но если бы кто видел ее лицо, склонившееся над машинкой, потерявшее за войну милую свою округлость, но светлое и только растерянное немного, увидел бы и улыбку, — и резвое «зингер-зингер-зингер» бежало навстречу этой улыбке. Несколько раз она даже начинала что-то петь, чего никто давно уж не слышал, а потом обрывала внезапно и вытирала лицо краем белой ткани: теплый был сентябрь.

Между этими двумя помещениями — Ириной комнатой и кухней, где старуха, сидя на кровати, заплетала на ночь жидкие белые косицы, — а вернее, между этими двумя полюсами, — думала и Надя, только не о ребенке, а о жилплощади, которую он будет скоро занимать, а значит, тоже о ребенке.

А что думала сама Таечка, выяснить не удалось: Ира отвела ее, тихо поскуливающую не столько от боли, сколько от неизвестности, в больницу, по привычке называемую еврейской, но официально числящуюся Третьей городской, и теперь она смотрела из окна родильного отделения на деревья. В кронах показались желтые пряди, а внизу, в траве, уютно лежали каштаны. Кожура кое-где лопнула, и прорезалась блестящая головка ядра.

О Тайке волновалась одна Ира. Старуха, родившая дома всех семерых, только снисходительно посмеивалась: ишь, моду какую взяли нынешние, а Максимыч не тревожился о внучке, поскольку озабочен был совсем другим.

В этот раз он отправился рыбачить вместе с Федей. Зять ох как любил посидеть над поплавком — для этой цели у него в чулане толпилась веселая стайка удочек, — но позволить себе такое мог очень редко. Интересно, о чем старик собирается с ним говорить, даже сына брать отсоветовал. Опять о крестнице? Семен колобродит? Или с Надеждой не поладили?

Феденька, человек самой гуманной профессии и сугубо гражданский, все свои выстрелы уложил в «молоко». Он был так ошеломлен просьбой тестя, что дергающийся поплавок заметил поздно и теперь копался в банке с червяками, выигрывая время для ответа. Максимыч подробно рассказал обо всем, что услышал ночью в больнице.



Наживку-то зять нацепил, но удочку не забрасывал, и червяк то замирал, то напрягался, выгибаясь, словно на качелях раскачивался, да и сам Феденька чувствовал себя примерно так же. Так вот почему он не велел сына брать.

— Зачем вам, папаша, — проговорил неохотно, — только душу рвать. Да я и мало что знаю, — спохватился тут же, в то время как тесть неторопливо закурил и сунул горелую спичку обратно в коробок.

— Так ты что сам видел, что от людей знаешь, а то, може, в газетах читавши... ты скажи: на кой профессор всю ночь сидел, людей с больницы выписывал, как тот говорил?

— А-а, так вас смотрел профессор...? — улыбнулся Феденька и вкусно разгрыз орех, изобразив трудную фамилию. — Он успел эвакуироваться с семьей, потому и остался в живых, слава Богу. Скольких спас...

Старик тихонько тронул его за рукав:

— Как было, сынок?

Рассказывать было непривычно: Федор Федорович ни разу до сих пор этого не делал, не рассказывал и не обсуждал, да и с кем было?.. Те, кого это касалось напрямую, сначала смеялись и не верили, а потом, в гетто, тоже не верили, но уже не смеялись. Когда он встретил доктора Блуменау?.. Ну да, у магазина «САНИТАРИЯ»; конечно же, до гетто, это еще летом было, они стояли в тени под маркизами, и тот прямо у витрины громко заговорил, тогда еще говорили громко: «Какой же это бред, вы подумайте, коллега: ни с того ни с сего срываться и ехать Бог знает куда и от кого, главное? — от немцев! Так я же и говорю, бред!..»

Бред начался очень скоро после этой встречи, и Федор Федорович пытался вспомнить первые симптомы. Может, улица? К еврейскому кладбищу, серые каменные стены которого делали его похожим на крепость, вела крутая, вымощенная булыжником улица, с царских времен называвшаяся Еврейской. В самый расцвет демократии — уже памятник Свободе строили — улица стала называться ни много ни мало «Жидовская», так прямо и было набито на эмалевой табличке. Много времени не понадобилось: люди стали пользоваться этим названием, ссылаясь на то, что в местном языке, дескать, нет более подходящего слова, в то время как слово и было, и есть, но филологи муниципалитета предпочли лексикон погрома. Нет, улица была раньше, хотя...

Плакат, конечно; он и не забывал его никогда. Среди всей антисемитской бумажной дряни, появлявшейся, как яркий лишай, на стенах домов, на столбах, этот плакат бросался в глаза и красками, и текстом. Простая местная семья: женщина в косынке держит руки на плечах сынишки с такими же остзейскими чертами лица, а мужчина в кепке обнимает жену, защищая от источника зла за их спинами: хитрого, циничного еврея. Вот он, наложивший печать скорби и безысходности на честные трудовые лица! Текст был прост, как ломоть хлеба: «ЖИД ВАМ ЧУЖОЙ. ГОНИТЕ ЕГО ПРОЧЬ!». Такое могло вдохновить, и плакатов было назойливо много, но ведь не плакат же выпустил на волю бред и придал ему дьявольскую силу, и не от плаката загорелась синагога в пятницу вечером?

— Так мало ли что — пожар. Свечу, може, уронил кто, а оно и занялось, — ошеломленно бормотал Максимыч, — кто знает.

— Свечу!.. Они стенки керосином облили, обложили паклей и подожгли, а когда люди начали детей из окон выбрасывать, так в них гранатами швыряли!

— Немцы?..

— Нет, свои. С плакатов, — непонятно добавил зять, — немцам и трудиться не пришлось.

Это Федор Федорович знал из рассказов пожилой ассистентки, наблюдавшей, пока хватило нервов, пожар из своих окон, но она могла бы и не рассказывать: огонь полыхал долго, июльский дождь потом смердел керосином и был цвета пепла.

Появился мерзкий плакат и в клинике, где Федор Федорович работал. Чья-то заботливая рука не только наклеила его на входную дверь, но и не обошла прохладный темноватый вестибюль, а через старинные витражи лилось июльское солнце: гоните его, доколе?! Одни старались пройти как можно скорее: работа, мол, ждет, другие непринужденно задерживались группками и заводили близкий к теме разговор — несколько громче, пожалуй, чем следовало, но, возможно, были виновны старинные своды, сообщавшие ненужный резонанс. Третьи прощмыгивали мимо, но с доброжелательным интересом на лицах: как, пожалуйста? Гнать прочь? И на лицах появлялось сочувствие, которое могло читаться по-разному.

Сколько пациентов тогда приходило — уму непостижимо, и все как один на протезирование. Потом клиника внезапно почти опустела, и не только потому, что иссяк поток скорбных зубами, а... приходиться стало не к кому. Коридоры опустели, и двери кабинетов сначала закрывались, а потом запирались одна за другой. Именно тогда Федор Федорович почти всех пациентов начал принимать у себя на квартире. Заходя же в вестибюль клиники, торопливо проводил рукой по щеке, словно проверяя, не забыл ли побриться; этот жест остался у него навсегда.

Интересно, а не будь эта яркая гадина расклеена по всему городу, мог бы этот бред осуществиться, думал он, сидя на берегу реки рядом с примолкшим тестем. И ведь никто не сорвал, ничья рука не поднялась, но это уже была совсем инертная мысль, без возмущения: и ты ведь не сорвал. Он внимательно, но без обычного интереса смотрел на неподвижный поплавок. Хорошо ловится, хотя почти октябрь.

Прочь погнали в октябре, уже на исходе месяца, когда за спиной маячил — и подгонял: прочь! — угрюмый ноябрь. «Прочь» носила название гетто и находилась в пяти минутах от дома.

— Где? — выдохнул старик.

— На Песках.

— Это где Мотяшкин дом?!

— Ну да. Там же рядом кладбище еврейское. — Федя объяснил, что всех, кто жил в округе, заставили освободить квартиры и дома, но внакладе никто не остался, потому что евреи оставили свое жильё, а значит, места хватало с лихвой.

— А у Моти-то?.. Тоже кого поселили?

— Папаша, их дом пустой стоял, так? Где-то людям жить надо было, вот и селились, кто где мог, ведь всех выгнали, со старыми и малыми. Что говорить про Мотин дом — на кладбище жили!.. — И не только жили, добавил про себя, а и умирали, для этого кладбища и существуют.

Их гнали, и они уходили прочь. Гетто оказалось на редкость прочной «прочью». По зловещей какой-то иронии его граница обозначалась двумя кладбищами: еврейским с юга и русским с севера, где так удобно располагалась железнодорожная станция. Переполненные составы прибывали день и ночь, и если б знал тогда Федор Федорович, что привозили они евреев из Германии, где в плакатах тоже недостатка не было, прямо в руки местных патриотов-палачей, — ведь недаром Остзейский край с незапамятных времен чтит немцев! Если бы он знал, если б знали его коллеги, соседи, знала жена, если б шведский камень Старого Города знал, изменилось бы что-то? Проверить невозможно, но сомнительно: не нашлось ведь руки, которая сорвала бы мерзкий плакат, а ведь бумага рвется куда легче, чем колючая проволока. Знал бы он тогда... Да он и сейчас не знал, а то, что мог рассказать старику, тоже тщательно пропускал через фильтр памяти. Да, он был в городе при немцах, но и представить себе не мог масштаб разрастающегося бреда.

Однажды лишь, идя мимо разгромленной «САНИТАРИИ», где еще висели выгоревшие, вялые маркизы, под ногами, среди битого стекла витрины, у которой доктор Блуменау говорил про бред, увидел он гнойную газетенку на местном языке с выпреним названием «Отчизна»; да и то, случайно взгляд упал, а вот поди ж ты, запомнился крупный заголовок: «40 000 ЖИДОВ ЗА ПРОВОЛОКОЙ — ГОРОДСКОЕ ГЕТТО!». Приснись такое — ущипнул бы себя за руку и выпил «сельтерской»; но то был не сон, и он долго и бессмысленно тер щеку, словно паутину смахивал. Закономерность это или феномен, что помпезность названия всегда прямо пропорциональна вонючести печатного органа, и так было во все времена на памяти Федора Федоровича, не исключая и настоящее.

Максимыч был потрясен: все, что напечатано в газете, было для него свято и непререкаемо. Однако старик умел хорошо считать:

— Куда сорок тысяч-то упихать, это ж люди, не селедки, а главное — на кой немцам евреи дались? — спросил он ученого зятя.

— А цыгане? Цыган ведь... тоже. Не знаю, папаша. Ни про немцев не знаю, ни про наших. Мне антисемитизм в принципе не понятен.

Про цыган конопатый не говорил. Ну да, больница-то еврейская была. Хватит того, что старик всегда помнил о своем цыганстве, поминая каждое утро мамашу, Царствие ей Небесное, и тихонько гордился стойкостью цыганской крови во внуках. Вот оно как. Прав оказался покойный зять, что так торопился посадить Иру на поезд, а ведь только второй день войны был.

— Хорошо, что Коля тогда отправил их, — негромко заметил Федор Федорович, словно услышал, и старик не удивился.

Долго молчали. Рыба, обманутая редко и беспорядочно забрасываемой приманкой, потеряла бдительность и послушно заглатывала крючок. Оба рыбака безучастно, словно стоя в очереди, вытаскивали разинь и бросали в бидоны, но не было ни ожидания, ни изжеванного, забытого в углу рта окурка, ни азартных сдавленных восклицаний. Рыба — была; не было рыбалки.

Евреев от неевреев старик отличал если не по именам или характерной внешности, то по стойкой привычке не снимать картуз, здороваясь; сам он, по столь же стойкой привычке, картуз всегда снимал. Перебирая мысленно своих знакомых евреев, он осознал вдруг, что после войны так никого из них и не встретил: ни сапожника Аншла, через руки которого прошло Бог знает сколько ботинок, как известно, горящих на детских ногах, ни Гирша и Рафала, всегда так симметрично стоявших в дверях скобяной лавки «Братья Левкович», да и где та лавка? Есть лавка, но братья тут уже ни при чем, и товары совсем другие: карандаши да тетрадки, дверь хлопает поминутно, но не выгянет ни Рафа, ни Гирш, только школьники снуют.

Лейба держал склад обивочных материалов, совсем недалеко отсюда, напротив маленького базарчика, так никогда и не выросшего в большой и называемого всю жизнь: Маленький базарчик. Помогал Лейбе на складе сын Меер. Старик никогда не мог понять (а спросить стеснялся), то ли отец выглядит на редкость молодо, то ли сын, наоборот, несколько старообразен, но казались они братьями. Каким-то чутьем Лейба всегда понимал, что именно Максимыч ищет, и добывал искомый товар, после чего посылал сына доложить об успехе, а на следующий день Меерова телега уже разгружалась у заднего входа в мастерскую. Чьей женой была Нойма, торговавшая орехами и изюмом на маленьком базарчике, Лейбы или Меера, старик тоже разобраться не смог. За что их? Что другому Богу молятся? Ни он, ни старуха, да и никто из староверов никакой неприязни к евреям не испытывал, скорее, наоборот, сочувствовали: сами были гонимы, память свежа... Где они все, где? А сорок тысяч-то куда?..

Федор Федорович тоже с трудом себе это представлял. С трудом, потому что боялся правильности своей догадки и потому малодушно отодвигал ее. Проще и честнее было ответить старику: «Не знаю».

Могло быть и так, что скромный дантист действительно не знал, что гетто их города было не совсем обычным. Будучи еврейским, оно было и многонациональным, пополняя свои ряды то немецкими, то голландскими, а то и вовсе венгерскими обитателями. И уж наверняка он не знал, что самая широкая улица делила гетто на два сектора: один для приезжающих, другой для местных, так сказать, импорт — экспорт. Нет, это не циничная шутка: «импорт» прибывал из Европы, а «экспортом» становились как обитатели местного сектора, так и слегка оправившиеся от ужасов транспортировки иностранцы. Местом экспорта служили местные леса. В этом и состоял секрет безразмерной емкости той адской ловушки, которая была оплетена колючей проволокой.

И неизвестно, какая половина обреченных испытала больший ужас при виде своих палачей — иностранцы ли, видя веселых мускулистых парней и тщетно вслушиваясь в чужой протяжный говор, или же местные, для которых язык этот был родным, а потому усиливал дикость происходящего, ибо невозможно, невозможно было поверить в смерть от руки своих! Эти исполнительные патриоты выполняли порученное с энтузиазмом, удивлявшим даже немцев. Для последних весь происходящий бред был хорошо продуманной системой; свои привносили в жестокость элемент творчества, и осмыслить это можно, только если помнить, что слово «тварь» того же корня. Ни в коей мере не пытаюсь оправдать немцев, следует помнить, что они были на службе, тогда как свои трудились добровольно и не за страх, а за совесть, как ни странно звучит применительно к ним это слово. Шепот, колеблемый страхом, нес по гетто имя вождя доблестной команды, которая так изобретательно подожгла синагогу и не дала спастись ни одному из двух с половиной тысяч молящихся. Лиха беда начало: во всех акциях он выходил веселым и усталым, но неустанным, победителем.

Страна должна знать своих героев, и страна знает; более того: страна гордится ими. Будь это историческая хроника, его имя неминуемо должно было осквернить ее страницы, но в рамках другого жанра можно только намекнуть или подсказать одной артикуляцией, не озвучивая намек. Как уже сказано, он носил имя победителя, а этимология фамилии оставляет простор для фантазии. Короткая, как свист плетки, заткнутой у него за поясом, она причисляла обладателя к кроткому племени земледельцев, означая «пахарь». Если же один слог произнести чуть протяжней, с учетом традиций языка, то получалось совсем уже любопытное, едва ли не судьбоносное: «изгоняющий вон», «гонящий прочь». Естественно, что никто за колючей проволокой не занимался вопросами ономастики — это хорошо делать с другого берега пространства и времени. Между тем лингвисты и там, безусловно, были, и не только лингвисты: были математики, философы, историки, в том числе знаменитый автор «Всемирной истории еврейского народа»; были и врачи — ведь Федор Федорович так и не увиделся больше с доктором Блуменау, который назвал бред бредом...

В то же время обладатель победного имени полностью оправдывал оба его значения — и когда со своей командой выгонял людей из квартир с криками: «Вон! Вон!», и потом, отправляя работоспособных на «пахоту» в леса, где они должны были копать могилы для своих близких — и для себя, как выяснилось скоро, но слишком поздно. За безукоризненную и бескорыстную службу команда кровавого пахаря снискала себе особую благосклонность немцев, но откуда было знать об этом Федору Федоровичу, который имел дело с молчаливыми эсэсовцами, вернее, с их доверчиво раскрытыми ртами? Только один раз он воспользовался беззубой зависимостью важного офицера от своего протезного искусства и получил пропуск в ад и обратно, побывал там, можно сказать, одной ногой, когда шагнул, не оглядываясь, за тяжелые ворота концлагеря.

Может быть, Максимычу следовало настойчивей теребить зятя вопросами, но тогда не было бы пауз, или, наоборот, Феденькино замешательство вызвало одну большую паузу, а на кой она — и так бидон полный.

— Кого куда, папаша, — продолжал Федя. — Кто послабее, так сразу убивали, а кто работать мог, держали.

Из той же газетенки, кстати. Может, не так уж не прав старик?..

Тот ноябрь держал летнее тепло, как в термосе, и не верилось, что вот-вот наступит зима, что зима вообще бывает на свете. Они гуляли с детьми в парке под густыми, вовсе не собирающимися опадать, деревьями, а ночью выпал снег, потом еще, и кроны деревьев обреченно держали влажную тяжесть, как атланты. Один за одним начали беззвучно падать листья — желтые, алые, рыжие, так похожие на оброненные перья украденной Жар-птицы. Ноги идущих оставляли темные следы, эти следы становились все глубже, а листьев больше, так что некоторые впечатывались в снег, а другие, уже зная, что их ждет, все-таки балансировали в воздухе. Чья-то подошва прилепила к кромке тротуара клочок газетного текста «...СКИХ РАБОТНИКОВ», полузакрытый багровым листом. Федор Федорович зашел в киоск за папиросами и первое, что увидел на прилавке, был полный заголовок: «В ГЕТТО ОСТАЛОСЬ 2 900 „ПОЛЕЗНЫХ“ ЖИДОВСКИХ РАБОТНИКОВ». Или это было позже, в декабре? Но листья, яркие листья в воздухе и на снегу сохранились в памяти из ноября, хотя странно, что такая малость вообще помнится.

— А потом?

— Потом их на остров отправили, у правого берега.

— Какой остров?

— Рыцарский. — Зять смотрел на медленно бегущую воду.

— Это там, где Колю?..

— Нет, Колю... в общем, в другом месте, — Федя потер щеку. — Пора, наверное, папаша, а то дома тарарам начнется.

Бидон был тяжелый, смутно и скверно было внутри, да и ноги устали, но Максимыч упрямо поднялся по крутой Еврейской улице, с которой как ни мудрила советская власть, так она и осталась Еврейской. Первое их со старухой жильё — тут же, рукой подать, на Калужской.

Вот оно, кладбище. Стена — каменная кладка почти в аршин шириной, кое-где проломы. Холодея душой, старик заглянул в один пролом. Опрокинутые, вывороченные с корнем надгробья, разбитые замшелые памятники и камни, камни...

Кладбище было мертвым, и как узнать, где Рафа с Гиршем, — почему-то представилось, что лежать они должны в одной могиле, — где Аншл, где остальные? А може, и не здесь, догадался он; може, в лесу. В яме.

— Господи, спаси и сохрани души усопших раб Твоих, — проговорил он и твердо перекрестился на разбитую звезду Давида, наполовину вросшую в землю.

Дома он узнал, что Тайка родила и через несколько дней ее выпишут домой.

Ира, придя с работы, затеяла стирку. Черные мамынькины брови, похожие на буревестника, распростершего крылья, ничего хорошего не обещали, поэтому Максимыч торопливо сжевал черствую баранку, выпил стакан кипятку с утренней заваркой, схваченной тонкой тускловатой ряской, и вышел посидеть в парке.

Был тихий, золотистый и светящийся последний день сентября. Плутоватый малец, парнишечка с замурзанными щеками, будущий товарищ по рыбалке оказался девкой, а с девкой что делать будешь?.. Курил, пристроив тросточку у скамейки, и пытался вспомнить своих дочерей в детстве: что они делали, что говорили. Это оказалось непросто: вспоминались почему-то фотокарточки, на которых все стояли послушные и

нарядные, старательно и вычурно причесанные, да и в эти воспоминания постоянно вклинивались лица и голоса внучек, а заодно и внуков, что было смешно и приятно, но никак не помогало его задаче.

Широкий закатный луч ровно лег на дорожку и словно осветил память старика: окно во всю стену, свежий, чистый запах дерева и полуденное солнце, а на полу мастерской сидит маленькая девочка и, радостно смеясь, играет со стружками.

Толстая хозяйка вела на поводке приземистую лохматую собаку, похожую на пыльную швабру. Собака двигалась ленивыми зигзагами, длинная шерсть мела гравий. Выполняя собачий долг, подошла и стала обнюхивать тросточку старика; женщина резко дернула поводок, и швабра с извиняющимся хрипом потащилась дальше. Ишь, сдобная какая, а злая. Вроде Надьки. И раскурил последнюю папироску.

Так было странно и непостижимо, что прошел только один день.

...Пока Тоня ловко чистила рыбу, мать сидела у нее на кухне, подперев рукой мягкую щеку, и привычно, хоть и снисходительно, отмечала про себя недостатки вокруг. Параллельно этому увлекательному занятию нужно было обсудить не менее важное дело: имя для ребенка.

— Хорошо, что девочка, — говорила Тоня, смахивая с лица чешуйку, — сегодня как раз поминают Святых Великомучениц Веру, Надежду, Любовь.

— Без тебя знаю, — жестко отозвалась мамынька, — и мать их Софью. А на кой ты гардины тюлевые в кухне повесила? Ну, Надежду нам не надо, хватит.

— Мамаша, а пускай Любочка будет, Любовь. А?

Старуха только фыркнула:

— Любовь, как же! Ты всю эту прорву жарить думаешь?

— Нет, половину. Остальное на противне запеку, с томатом. Федор Федорович любит. Может, Верой? Верочка?

— Вера и есть Вера. Сейчас Вера и в пятьдесят лет Вера, на кой это надо?

— Или майонезом залить, что ли?

— Конечно, с майонезом благородно. У тебя для майонеза все есть?

— Да у меня целая банка, я как с магазина принесла, так еще не открывала.

— В лавке брала? Майонез с лавки?!

Негодование мамыньки не было предела, и Тоня решила запечь с томатом. Внезапно старуха остыла, забыв про скомпрометированный майонез, и строго продолжала:

— В наше время не так было. Имя давали не как попало, а по своим. Вот хотя бы и по моей матушке, Царствие ей Небесное: Сиклитикея. Или вот: Иулияния. Ты тетку Улю помнишь?

Сообразительностью Бог Тоню не обидел: было очевидно, что имя Матрона частично примирило бы старуху с происхождением младенца. Она быстро поставила рыбу в духовку, выслушав замечание о никчемности газовой плиты безо всякой обиды: мать и дочь прекрасно понимали друг друга, и Тоня знала, что даже мамынькино «как попало» по отношению к святым великомученицам было сказано сгоряча.

Таким образом, девочку решено было назвать Софьей — и к месту.

— Хотя, може, matka эта непутевая что другое надумает, нынешние ни у кого не спрашивают, — недовольно и вместе с тем великодушно заметила мамынька, оставив — вопреки обычаю — свое итоговое «к месту» как бы открытым для прений, что заставило Тоню подавить улыбку. Свою крестницу она знала, как ей казалось, неплохо; хотя, с другой стороны, кто мог ждать такого фортеля? Знала она также наверняка, что ни одно из достойнейших имен, как то: Сиклитикея, Иулияния или даже Еликамида, вряд ли Тайку

вдохновит, да и у самой Тони не вызывали энтузиазма. Значит, Таечке надо подсказать правильную мысль, и сделать это придется Тоне.

— У меня уже все готово, — со скромной горделивостью объявила она.

— Ты же только поставила, — подскочила старуха бровкой, — или сырую исть собираетесь? Когда готово, дух по всей квартире идет, что майонез, что томат.

— Да нет, мама. Вот пойдем в спальню, покажу.

И пошли. А в спальне Тоня открыла шкаф, отчего сразу отъехало и пропало из глаз окно, зато выплыла вторая тумбочка и веером раздвинулась кровать. Пока она перебирала белье в поисках чего-то, то и дело задевая дверцу, так что кровать то расширялась, то сужалась, старуха не сводила глаз с дочкиных рук, уже зная, что сейчас увидит.

— Вот, — Тоня повернулась к матери, держа за плечики крохотную вышитую рубашечку из батиста: — Смотри! — но старуха пухлой рукой с испугом оттолкнула тонкую тряпочку:

— Вижу, убери. Уж второй год вижу, — и рассказала сон.

Пуще прежнего старуха бранится...

Нет, не состоялась девочка Матреной, несмотря на то, что заботливая крестная проникла, благодаря записке Федора Федоровича, в родильное отделение, где и пыталась вразумить упрямыцу. Не состоялась девочка, впрочем, и Софьей, не говоря уж об остальных великомученицах. Тайка твердо вознамерилась назвать дочку в честь... своей подруги, о чем Тоня и доложила матери с выражением «я умываю руки» на лице.

Веру, Надежду, Любовь и даже мать их Софью мамынька готова была скрепя сердце простить, но подруга-то сюда каким боком? Ей что, подруга ребенка нашептала?!

Насколько физически легко — для матери и для себя — этот ребенок появился на свет, настолько же непросто шло его водворение в тесный мир квартиры «7А».

Во-первых, неизвестно в точности, какими словами старуха встретила счастливую мать и свою правнучку, ибо никто больше при их встрече не присутствовал. Ира, бегом вернувшись после дневной смены, не нашла ни дочки, ни внучки, хотя сегодня их обещали выписать; удивилась, потом встревожилась. Мамынька, до сих пор молчавшая, объявила почти спокойно:

— Чего переполошилась, приходила твоя гулящая. Я ее выгнала.

Ира, послушная и кроткая Ира, посмотрела матери прямо в глаза:

— Тогда меня тоже гони. — И бросилась вон.

Как она искала и нашла изгнанниц, где и при каких сопутствующих факторах, уже выходит за рамки этого повествования. Важен результат: нашла. Нашла и привела назад, причем младенца крепко прижимала к себе и уже, оказывается, любила, а дочку только подталкивала время от времени плечом, так как счастливая мать шла весьма неохотно и с надутыми губами. Последнее обстоятельство даже ставит под сомнение самый эпитет «счастливая», делает его проходным штампом, что, конечно, недопустимо. С другой стороны, пока молодая бабка перепеленывает все еще безымянную девочку, а мать, которой полагается быть счастливой, стоит в оцепенении, можно немного и порассуждать: например, всякую ли молодую мать следует вот так, не думая, называть счастливой? Нет-нет, ссылки на мировую живопись неправомочны, поскольку имеют такое же отношение к квартире «7А», как выросшая в огороде бузина к дядьке в Киеве, не говоря уже о том, что у младенцев на полотнах великих мастеров отец, слава Богу, более чем известен, но только ли наличие отца, известного или не очень, делает мать счастливой?

Осуществились — или овеществились? — оба сна, пугающей своей непонятностью мучившие мамыньку больше года: она держала в руках невесомую вышитую рубашонку и

передала ее Тоне, которая, став трижды крестной, натянула ее на крохотное орущее тельце младенца Ольги, «женского», как написали бы прежде, полу.

## 11

Общеизвестно, что свои дети растут медленно и, как правило, с кучей сопутствующих трудностей; или, наоборот, чужие так стремительно вымахивают, что невозможно осмыслить. Старик, дав жизнь семерым, из которых вырастил и поставил на ноги пятерых, с неожиданным интересом следил за несостоявшимся правнуком. Ну, Ольга — это бздуря, конечно, Ольгой пускай ее кавалеры называют. Для него девка была Лелькой. Так близко и без помех он наблюдал младенца, пожалуй, впервые: собственные дети росли под надежным крылом жены, он видел их вечерами, возвращаясь из мастерской, а при больших или спешных заказах и того меньше. Что до внуков, так тех только в гости приводили, да на даче когда-никогда... в мирное время.

Девочка еще лежала в бельевой корзинке, с которой на каток ходили, когда старуха вынесла свой вердикт: «Цыганская кровь. Чисто головешка». Это привело Максимыча в такое веселое состояние духа, что он, проходя мимо большого зеркала, не раз и не два в тот день подкрутил кончики усов.

Мотя принес детскую кроватку как раз вовремя: и ребенку в корзине стало тесно, и белье складывать некуда.

Мадонны или просто счастливой матери из Таечки — теперь это можно было сказать точно — не получилось. Она опять пошла работать, а Ира, наоборот, должна была уволиться, ибо старуха громогласно заявила, что не намерена цыганское отродье нянчить. Как в подоле приносить, так мастерица — золотые руки, а как сиську дать ребенку, так этого и в помине нет, что было правдой.

Для старика время и летело, и замедлилось, если такое можно себе представить. Летело — это просто, ведь время летит — или катится, словно с горки, — для всех стариков, этим не удивишь; но как же быстро правнучка встала на ноги, стало быть, год промелькнул, а ведь, кажется, вчера еще в корзине лежала и крикала, ворочаясь, пока он смотрел, как солнце просачивается сквозь прутья, и осторожно передвигал корзину, чтоб не разбудить. И вместе с тем время приостановилось. Да, проходила неделя, и другая, и каждая следующая приносила новое слово — или фразу, а платице, подаренное Тоней, уже оказывалось тесно, — и значит, время летело. Когда появились эти — действительно, цыганские — завитки, чтоб Ира смогла завязать бант? Лелька уже спускается с ним по лестнице: они идут в парк, а ведь даже туфли, кажется, только на прошлой неделе были диковиной, надевать их девочка боялась, и он учил ее отличать левый башмак от правого и просовывать тупой штырек в дырочку ремешка, и конца-краю этому не было видно: время ползло, как маленькие смуглые пальцы по тугому ремешку.

Понять это, скорее всего, невозможно; только испытать.

Чувствовала ли старуха время так же, как он? А как же! Понять, впрочем, не пыталась, но как-то с появлением правнучки ее восприятие времени изменилось. Во-первых, прибавилось еще одно имя в молитвах «за здоровье», и хоть имя было — нашему забору двоюродный плетень, младенец-то — вот он, христианская душа, спаси, Господи, и сохрани!

Конечно, так танцевать вокруг девчонки, как муж, она и не думала: ищи дуру. Однако Матрена оставалась матроной своего дома, что сейчас было самое главное: уйдя с работы, Ира стала шить на продажу, потом носила на базар. А какой мужчина когда-нибудь мог совместить ребенка с горшком без долго смываемых последствий? То-то и есть. Как свои росли, так все было трын-трава, а теперь пляшет. Тьфу, даже слов нет, гневалась мамынька, сама не ведая, что ревнует.



Девочка подрастала, и уж кто-кто, а бабушка Матрена потачки ей не давала, хотя признавала про себя, что девка хорошая, не спорченная: не блажит, попусту не хнычет, разве когда matka придет, вся табаком провонявши, насулит ребенку Бог знает чего — и махни драла, ищи-свищи ее!..

Если мужа старуха неосознанно ревновала, то внучку судила — и обвиняла — совершенно сознательно, не боясь повторяться. Пятеро, плоть от плоти ее, уже сами давно родители, если в чем-то и не знали отказа, то в материнском молоке, да двое в земле, Царствие им Небесное... Старуха замолкала и крестилась. А эта — она даже по имени Тайку не называла в своих яростных монологах — эта сиську пожалела, зато свою матку вон как загнала, смотреть страшно!

В известном смысле, вернее, применительно к данной ситуации, было даже лучше, что Тайка с ними не жила: меньше скандалов, бесполезных упреков и сцен или, как сказали бы сейчас, меньше стресса; кто-то способен утешиться от банального «стерпится — слюбится», а для кого-то еще милее другой трюизм: «с глаз долой, из сердца вон». Но думать на эту тему было особенно некогда, потому что мамынька спешила то в лавку, то на базар, а потом домой, к плите, да заставить дочку хоть супу горячего съесть тарелку. Старуха заторопилась, и время, которое стояло вокруг нее, тоже спешило, чуть ли не летело, так что некогда было считать обиды и претензии, да что там — стало некогда стареть: нужно было, как всегда говорилось, дело делать — и к месту.

Как только девочку стало можно оставлять со стариками, Ира снова пошла на комбинат. Целый день они проводили теперь втроем: прадед, прабабка и правнучка. Ревниво наблюдая, как старый и малая разговаривают, играют или сердятся друг на друга, Матрена вмешивалась и направляла процесс в нужное русло: разрешала или не разрешала идти гулять, строго выговаривала за провинности, действительные или мнимые, велела садиться за стол, да не забудь лоб перекрестить, Ос-с-споди!

Когда мужа в очередной раз положили в больницу, она растерялась, хоть виду не подала: теперь ей самой приходилось целый день «сидеть с цыганским отродьем», и вид у нее был недовольный. Правда, раздумывать над своей несчастной долей ей не приходило в голову — или не успевало прийти, потому что времени не хватало: то она растирала творог с молоком в миске по имени «диета», то и дело суя ложку девочке в рот, — маткиного-то молока не видевши! — то процеживала овсяный тум, после чего, переодевшись, они вместе шли в больницу.

Неверно было бы думать, что вся жизнь стариков сосредоточилась на правнучке, нет; но ребенок этот оказался в однообразной их жизни не только нечаянным членом семьи, но и событием, вновь соединив на какое-то время бытие старика и старухи в единую беспокойную — а значит, живую — жизнь.

Пока старик лежал в больнице, Матрена должна была всюду таскать девчонку с собой. К ее удивлению, ребенок не ныл и не просился на руки; куда бы ни несли старуху ноги, на кладбище, в лавку или на базар, везде встречались знакомые, с которыми нельзя было не остановиться и не перекинуться несколькими словами. Наученная Тоней, девочка изображала книксен, после чего послушно скучала, но чтобы дергать за руку или, чего доброго, хныкать — нет, этого не было. Беседа со знакомыми шла по накатанному: кто умер, когда хоронили, Царствие Небесное, все там будем, и вам спасибо, кланяйтесь вашим. В эпилоге разговора собеседница всегда кивала на девочку: внучка? В этот момент рука старухи чуть напрягалась, хотя голос звучал, как обычно: правнучка. Лаконичный ответ обескрыливал встречное любопытство, девочке задавалось несколько формальных вопросов, которые не представляли для Матрены минных полей, тем более что на груди у нее висели крохотные золотые часики: на них-то и следовало посмотреть, чтобы заспешить и откланяться. «За таким языком не поспеешь босиком, — с досадой говорила старуха, заворачивая за угол, — а ребенку, може, на горшок надо».

Да, правнучка. Первая, мысленно продолжала она беседу, и на лице даже появлялась горделивая улыбка. Вместе с тем старуха твердо знала, что такой правнучкой — хоть и первая, и не балованная — гордиться нельзя: мало того что принесена в подоле, так еще и родной маткой брошена; все равно что подкидыш.

От постоянного этого противоречия на душе у старухи было смутно и неприятно, «точно кошки нагадили».

Писать о детях приятно, но отвлекаться нельзя. В то же время невозможно и продолжать сказ о бытии старика и старухи без того, чтобы не оглядываться на правнучку. Все остальное в их жизни — вынужденное сосуществование с невесткой, нищета, старухино кряхтенье над весами, самозабвенные рыбалки старика, его язва и связанные с нею отлучки в больницу — все это оставалось таким же, как раньше, но с новым участником.

Старики опять садились за стол вместе и разговаривали за едой, потому что девочка говорила с обоими. Но что важнее, они стали вместе смеяться, а ведь смех растапливает и ожесточенность, и одиночество. Причины для смеха возникали легко: слово, придуманное Лелькой, вопрос или ее бесхитростный ответ на их шутку.

— Ты наелась? — спрашивала старуха, когда девочка осторожно сползала с колен.

— Да, бабушка Матрена.

— Вкусно было?

— Очень вкусно!

Старики переглядывались. Максимыч говорил:

— Дай пузо полизать.

И девочка тут же задирала платъице:

— На!

Смеялись они долго, необидно и с удовольствием. Старуха, откидывая голову, тихонько всхрапывала от вкусного смеха; старик вздрагивал плечами и подкручивал кончики усов. Смеялась и правнучка, не совсем понимая почему, но заразившись их смехом.

Правда, как только на пороге появлялась Ира, девочка сразу кидалась к ней, и старики смотрели друг на друга немного разочарованно, словно не зная, что делать. Как — что? Грустить, конечно; оказалось, и это можно делать вместе.

— От-т девка, — начинал старик, — подумать только, про рыбку эту. Старичок, говорит, отправился к морю. Ему баба скажет, он и не рассусоливает, идет.

— Ну, и разве плохо? — Матрена перестает на минуту греметь посудой, — сколько добра-то получили! И домик, и прислугу... чего ж не слушать, плохому не научит?

— Так на кой баба чимурила? То ей одно подай, то другое. Чего блажила-то?

— Сразу никогда не знаешь. Може, думала, у рыбки этой и нету ничего, кроме корыта, а как дом получила, так и задумалась: хотела что получше.

— Чего там «лучше». Ей мужик рыбу в дом приносил, а его на конюшню. Ты спреси сначала, он с лошадьями-то обращаться умеет? Это тебе не фунт изюму; чай, не цыган. Кого другого послать не могла — полный дом дармоедов? А как ей царства захотелось, опять к нему: и то ей плохо, и это не так. Что ж с одной рыбки-то спрашивать?

— С тобой надо говорить, гороху поевши, — раздражалась старуха. — Чем тебе царство плохо?

Старик пожимал плечами:

— А на кой оно?

— То-то и есть: «на кой». Не дал Бог свинье рог, а мужику панства, — сердилась мамынька, но уже гудел самовар, из чайника шел дивный аромат, и в вазочке лежали баранки, принесенные Ириной.

Сидя за столом, старуха хвасталась:

— Она мне еще рассказывала про красавицу, вроде Лизочки нашей, Царствие ей Небесное; только уже барышня была. То ли пирожок несвежий съела, то ли что. Так в хрустальной люльке и хоронили. У ней и жених был; так убивался, так убивался, все искал. Ирка-то книжки что ни день тащит. Самой нет время поить как человеку, похватает чего — и садись, читай...

Молчали. Ревновали. Завидовали.

— Зато и башковитая, — крутил головой старик, отставляя чашку, — ведь сколько на память знает!

— ...Сколько она там пролежала, не знаю.

— Кто?!

— Красавица эта. Хрустальная. А как он пришел да поцеловал, сразу встала! Заспалась я, говорит, поздно-то как.

— Ну?..

— Что — «ну». Поженились. Он туда на лошади приехавши и домой ее забравши.

Самовар остывал.

## 12

Ира действительно чуть не валилась с ног. Экономила на всем, что означало — на себе. С трудом добывалось каждое яичко, так быстро внучкой съедавшееся, что странно было представить, будто хлопоты эти стоили выеденного яйца. После этого начинался книжный пир, если только Ирина не сваливалась совсем уже буквально с головной болью, перетянув голову платком и отвернувшись к стене. Тогда девочка шла к старикам поделиться очередным сюжетом.

Бывало и так, что она приносила Максимычу на коленки стопку тонких книжечек и просила: «Почитай!», что всякий раз вызывало у мамыньки чистосердечный смех. Прадед хмурился, пил соду, раздумчиво перебирал книжки: «Какую? Новую? Ну, давай новую».

Он усаживал девочку рядом с собой на диван или брал на коленки и начинал читать про мальчиков в ночном, терпеливо и мечтательно рассказывая городскому ребенку, как приятно идти босиком по росистой траве, купаться в теплой воде ночного Дона, а потом сидеть у костра и слушать страшные истории.

— Вот этот малец, что побольше, он старшой у них: что велит, другие слушают; Гриней зовут. Отец у его казак, а мамашенька дома осталась, с малыши. Кучерявенький, что у огня лежит, Родион, брат его; он поменьше. Ну костер, видишь, ночью-то холодно. А только сперва лошадей спутать надо, без этого нельзя. Травы кругом много, лошадь потянется туда-сюда, отойдет в сторону, а то еще в овраг забредет. Если не спутать, так и заблудится, или волк задерет, волку тоже исть надо. Почует, бросится — и враз загрызет! Потому ребята огонь всю ночь держат: волки огня боятся. На костре и ушицу сварить можно, вот сидеть-то и будет веселее. Ночью рыба знатно клюет, только закидывай. А ушицу с хлебом хорошо, с черным, да посолить. Соли мамка ребятам в тряпочку завязала, в карман сунула. Лошади соль любят, это им, как тебе сахар. Да-а... Раз как-то лошадь пропала, так искать пошли. Не, не все: трое, Гриня да Павлуша с Авдюшкой, Авдюшка-то и упустил; плохо спутал, видать. Ходили-ходили, чуть не заплутали. А самим жутко — кругом ночь, темень. Идут, на костерок оглядываются. Не-е, так и не нашли. Утром мужики из другой станицы привели, не ваша, спрашивают? Авдюшка такой радый был, такой радый: батька его прибить грозился за лошадь. Вот, видишь, сидят вокруг огня,

греются, он и рассказывает, как плутали. А може, про волков говорят... Это для больших ребят, — заканчивал Максимыч, закрывая тоненькую, как школьная тетрадка, книжку под названием «Пионеры-герои». — Ты про рыбку неси.

Ничего удивительного не было в том, что Ира покупала книжки, намного обгонявшие внучкин возраст. Детских книг на русском языке в магазинах было не много, поэтому она покупала книжки «на вырост», а заодно брала и нерусские: когда-нибудь и эти прочитает, а сейчас пусть картинки смотрит.

«Про рыбку» была любимой сказкой Максимыча. Читали они с Лелькой «в складчину»: девочка помнила наизусть длинные пассажи, а старик не уставал порицать неумную старуху, и восхитительные строки незаметно оставались у него в сердце. Тогда-то правнучка и стала давать ему на рыбалку свое игрушечное ведерко — специально для золотой рыбки.

— А на кой тебе золотая рыбка, — улыбался старик. — Ты, никак, тоже царицей стать хочешь?

— Нет, — серьезно отвечала девочка, — я у нее другое просить буду.

— Ну? И деду не скажешь?

— Я золотой рыбке скажу.

Старуха, ревниво прислушивающаяся к беседе и явно лелеявшая свои планы на безотказную рыбку, посоветовала:

— Ты валенки новые проси, зима на носу. У рыбки скорей допросишься, чем у матки своей.

Времени до зимы еще хватало. Октябрь стоял такой, что можно было с августом спутать, хотя уже отслужили Покров. Но, кроме праздников и постов, старику не давала забыть об осени язва. Он пытался как мог обмануть постылую хворь, но уже чувствовал, что обойтись без больницы вряд ли удастся.

Там его встречали приветливо: врачи привыкли к спокойному, непривередливому «хронику», а сам Максимыч каждый раз ожидал появления профессора: только после беседы с ним старик переставал бояться той непонятной жути, которая наваливалась на него с разгулявшейся язвой. Да и самой язвы тоже переставал бояться.

Сидя на речке, он мысленно уже готовился к больнице, но так не хотелось, так жаль было уходить! Погода была дивная; он с радостью брал бы правнучку с собой, даром, что не малец, но старуха и слышать об этом не желала: четырехлетку-то! Не углядишь, как в воду залезет, а там... Что мне делать с проклятою бабой, бормотал он, положим, углядеть-то углядел бы, да ребенка жалко чуть свет будить.

В этот раз он в больнице не задержался: почти никого из знакомых докторов не было, и профессор тоже не появился. Пройдя через привычные анализы, рентген и глотание кишки, он вернулся домой через неделю с небольшим, какой-то сердитый и торжественный, и сразу же засобирился в баню, чтобы смыть — и забыть как можно скорее — пронзительно-тревожный лекарственный запах и не заразить им дом. Вернулся с капельками блаженной испарины на лбу, прилег на диван и с наслаждением вдохнул запах чистой наволочки. Рядом на своем детском стульчике устроилась Лелька; из кухни шел сытный запах домашнего супа, и так приятно было лежать в ожидании родного недовольного голоса: «У меня все стынет!», что на деле означало самое благодушное приглашение к обеду.

Старуха не любопытствовала и ждала долго, то есть ровно столько времени, сколько ей понадобилось, чтобы накормить девочку, умыть и отправить в комнату, после чего деликатничать перестала.

— Что ты сидишь, насупивши, как мышь на крупу? Все остыло. Или там тебя лучше кормили?

— Какое... Резать хотят.

— Как?!

— Да брюхо. Язву вырезать.

Старик долго укладывал лавровый лист на краю тарелки, словно проверяя, достаточно ли прочно держится, потом отложил ложку и вопросительно посмотрел на жену:

— Може, к Феде сходить?

— Успеешь. — Мамынька решительно убрала тарелку. — Чаю будешь?

Чай пили как-то рассеянно, но ничем не нарушая ритуала. Старуха держала обеими руками чашку кузнецовского фарфора и, время от времени переводя дыхание, ставила ее на блюдце; тогда сидела, подперев красивой пухлой рукой щеку, а пальцы другой при этом тихонько, ласкающими движениями, поглаживали край блюдца.

Матрена всегда любила хороший фарфор. С особенным удовольствием вспоминала она изящный английский сервиз, заказанный Колей, покойным зятем, на ее именины к сорокапятилетию; так он и остался в ее воспоминаниях: Колин сервиз. Правда, она никому не рассказывала, как огорчилась, когда чайник ни с того ни с сего дал трещину, и чай в нем заваривать стало нельзя. Как раз в то лето, когда немцы город взяли. Английские чашки как-то сразу осиротели, да старухе и самой было очень сиротливо в то первое военное лето. Чашки стояли в буфете за стеклом, окружая совершенно бесполезный здесь — это вам не Англия — молочник с обиженно выпяченной губой. Красавица Настя, младшая невестка, забежала в гости и охотно присаживалась выпить чайку. Она-то и предложила старухе расстаться с осиротевшим сервизом. Черный рынок функционировал бесперебойно, и Настя бойко и дальновидно выменивала крепдешинные платья на зимние ботинки, затейливые альпаковые приборы не вполне понятного назначения на мотки деревенской шерсти и оливковое масло, так что мамынька скорбно напрягла бровь, но согласилась. И не прогадала: через несколько дней торжествующая Настя нанесла так много «всего чего», что старуха, оставшись одна, всплакнула: Коли уже не было на свете, Царствие ему Небесное, а на столе громоздились шоколад, затейливые упаковки печенья рядом с простецкими банками, полными меда, и... чай, настоящий английский чай в высокой цилиндрической жестянке, да еще запечатанный в прозрачную хрусткую бумагу! Избавиться от ощущения, что это Колины подарки, было невозможно, да и не хотелось; но разве не могло бы так быть?.. И не было уже у мамыньки ревности, что не попробовавший молока молочник теперь выпячивает свою недовольную губу в чьем-то чужом буфете; нисколько. Более того, в одном из ящиков ее собственного был спрятан маленький секрет, секрет под названием «на всякий случай»: фарфоровая крышечка когда-то треснувшего чайника, которого давно и черепков уж не осталось. На всякий случай, и к месту.

То, что в этом пересказе занимает целую страницу, в отчетливой старухиной памяти высвечивается и проносится, оставляя легкую привычную печаль, за очень короткий отрезок времени — интервал между двумя чашками чаю — увы, отнюдь не английского. Но не в том ли бесценное достоинство прошлого, что его можно извлечь из послушной памяти в любую минуту, а порой оно внезапно — и часто помимо желания обладателя — встрепенется само, окликнутое то ли полузабытой мелодией, то ли тонкой струей щемящего душу запаха, будь то корица, разогретое машинное масло или веточка жасмина, которая сейчас валяется в пыли на трамвайной остановке, а там, в прошлом, украшает петлицу и пребудет в том положении вечно. Человек — хозяин своего прошлого, равно как и наоборот, что тоже не редкость; однако уходить в философские дали опасно, да и ни к чему, ведь чаепитие — процесс хоть и неторопливый, но не бесконечный.

Заманчиво было бы сказать, что старик тоже пошел на поводу своенравных ассоциаций и погрузился в прошлое, тем более что и ему было что вспомнить, однако сказать так значило бы погрешить против истины: достоверно это звучит или нет, но Максимыч

думал о том, что его ждет, то есть о самом что ни на есть будущем. Лицо его утратило первоначальную сердитую торжественность и стало просто угрюмым. В известной мере он уже чувствовал какое-то облегчение, хоть и с примесью разочарования, впрочем, безотчетного: такую новость принес, но старуха не голосила, и в набат бить никто не собирался. Иными словами, ожидался тарарам, но его не последовало.

Как всякий больной, в глубине души старик немного тщеславился своей язвой, хотя, разумеется, не так — куда там! — как старуха своими новыми зубами, которые обрела по настоянию Федора Федоровича и, более того, из его собственных рук. Прежде скуповатая на улыбку, теперь она стала улыбаться чаще. Случались поводы и для смеха: например, когда правнучка спросила с завистью, скоро ли у нее вырастут такие же дивные золотые зубы...

Она быстро собралась: ключи, носовой платок, кошелек. Помогла одеться девочке, заставила Максимыча надеть под макинтош вязаную кофту (после бани, да октябрь на дворе), и они отправились к Тоне, чего ждать-то.

Кондуктор в трамвае, введенный в заблуждение старухиной золотозубостью, пытался настоять, чтобы Лельке тоже взяли билет; бровь, которую не пришлось даже озвучивать, его отрезвила — к тихому восторгу старика, удовлетворенности старухи и полному разочарованию девочки.

— Что ты, что ты! Вот приедем, я тебе свой билетик отдам. Карман-то есть у тебя? А завтра на базар тебя сведу, раков купим, — приговаривал старик, пока трамвай лениво выворачивал по широкой дуге Большой Московской, приближаясь к обещанному базару, постоял, дождавшись звонка хмурого кондуктора, и двинулся дальше, оставив в стороне реку; потом медленно миновал вокзал, позванивая и тормозя, будто заикаясь, отчего кожаные петли на блестящих штангах болтались весело и быстро.

Беседа с Федором Федоровичем получилась какая-то бестолковая, хоть и многословная. Тоня встревожилась и не сводила с отца сердобольного взгляда. Тревога передалась мамыньке, и стало намного хуже, чем дома, когда он — как сейчас казалось — безмятежно наслаждался чистотой наволочки и горячим чаем.

Положим, русский человек всегда может выпить стаканчик-другой чаю, размышлял старик, закладывая за щеку кусочек рафинада. Когда-то Федя — или то был Коля покойный? — рассказал, что чай пить придумали не русские и даже не англичане, а китайцы, что его искренне огорчило, хоть худого слова о китайцах сказать не мог. Он спросил еще осторожно: «А водку?» и после ответа огорчаться перестал.

Феденька выслушал и покивал, а потом заговорил скучно и однообразно, потирая щеку. Старику запомнилось только несколько раз повторенное «с одной стороны» да «с другой стороны». Выходило, что после операции может полегчать.

— Стало быть, пускай режут?

— С другой стороны, — тянул зять, — я не врач, я знаю только, что операция серьезная.

— Так... не надо?

— Опять же, папаша, судя по тому, как вы мучаетесь, так лучше, наверное, удалить. С другой стороны... — продолжал он, забыв, что «другая сторона» уже поминалась несколько раз, а это значило, что сторон этих — воз и маленькая тележка, и если уж он, Феденька, сказать не может, на кой надо резать, так лучше и не трогать. Бог не без милости, казак не без счастья.

Вступила старуха.

— Как можно живого человека резать?! Он соду вон пьет; а если надо, пускай лекарство какое пропишут, и кончен бал!

На Федора Федоровича нажимали и теща, и жена, не слушая его беспомощных возражений, что он только зубной техник. Про себя же, независимо от атаки, он принял решение связаться с больницей и выяснить ситуацию.

В прихожей, где толпились и говорили сразу все, Тоня дала мамыньке пакет, аккуратно упакованный в газету и перевязанный бечевкой: «Это вам с папашей, а если надо, сестра на машинке подгонит».

С этим трофеем и сели в трамвай, где после улицы было светло и уютно. Лелька, прижавшись к Максимиычу, спросила у старухи:

— Что такое «щина»?

Старики недоуменно переглянулись.

— Щетина?

— Не-е, щина.

— Мужчина?!

— Щина, — нетерпеливо повторила девочка и повела пальцем по газетным буквам: — Вот: «...щина Великого Октября».

Если бы у Лельки спросили, с кем она больше любит ходить на базар, с Максимиычем или с бабой Матреной, старик наверняка долго бы подкручивал усы. Умей девочка сравнивать явления в перспективе, она сказала бы, что поход со строгой бабушкой — это работа, и весьма скучная, а с дедом — праздник.

Баба Матрена выбирала, как назло, самые неинтересные места, хотя назывались они нарядно: павильоны. В первом продавалось мясо, вялыми ломтями болтавшееся на крючках. Покупательницы брали другой крючок и тыкали в мясо; смотреть девочке не хотелось, поэтому она глазела по сторонам. На соседних прилавках было, как ей казалось, то же самое, но Матрена медленно и уверенно, как всегда на базаре, шла вперед, время от времени раскланиваясь и одаривая встречных Фединой улыбкой. Она нигде долго не задерживалась, но и не ускоряла шага. Пожилая торговка, перед которой лежали продрогшие куры, улыбнулась ей; та ответила молчаливым величественным кивком, но подходить к прилавку, прицениваться и уж тем более нюхать кур не стала: не ко времени.

Высокие кафельные прилавки позволяли девочке увидеть немного, но пока старуха придирчиво вертела крючком мясо, она во все глаза разглядывала поросенка, который лежал за барьером, свесив мордочку, словно выглядывал из белой кафельной ванны. Смотрел поросенок, впрочем, не на Лельку, хоть она и старалась поймать его взгляд, а на кого-то за нею; она даже обернулась. Старуха же, получив неаккуратный пятнистый сверток и заметив, что девочка тянется на цыпочках вверх, решительно потянула ее дальше. На кой туда глядеть, как бы дурно не стало, и это было очень мудрое решение: малышка так и не узнала, кого высматривал этот аппетитный кусочек, полголовки, совсем молоденький, и недорого.

В молочном павильоне девочка оживлялась: не мешал тяжелый, прелый запах, но потом опять скучнела. Матрена двигалась вдоль рядов, останавливаясь, чтобы попробовать сметану. Хозяйка открывала тусклый бидон и подавала на полоске плотной бумаги толстую белую кляксу, которую старуха протягивала Лельке. Та с удовольствием слизывала сметану, рот наполнялся обволакивающей холодной вкуснятиной, язык натывался на пресную шершавость.

— Ну? — требовательно спрашивала Матрена. — Не кислая?

Девочка мотала головой. Творог старуха сама никогда не пробовала — определяла качество по виду, но Лельке всегда передавала нежные ломтики, добавляя «ну как?» вовсе не затем, чтобы узнать, каков творог на вкус, а потому, что ребенку надо. Она твердо знала, что «ребенку надо» и меду тоже, но мед пробовали (посредством ребенка,

естественно) редко, только если предлагали очень настойчиво, ибо у Матрены был свой, если угодно, кодекс чести покупателя: пробуешь — должен купить. Можно обойти весь базар из пустого интереса; тогда и христарадничать нечего. Если же она шла, чтобы купить ту же сметану, то чувствовала себя хозяйкой павильона. Впрочем, она держалась с такой неизменной величавостью, что никто из продавцов не заподозрил бы ее в попытке дать правнучке полакомиться, чтобы не сказать — подкормиться.

Она и сама не позволяла себе так думать.

Зато следующий день оказался праздничным: на базар собрался Максимыч, и девочка, старательно разгладив вчерашние трамвайные билетки, положила их в карман пальтишка: на всякий случай, и к месту.

Снова был трамвай, и в кармане прибавился еще один билетик. Слева остались река с пароходной пристанью, а старик и девочка пошли вправо, где начинался базар, и старик, как всегда, когда он оказывался здесь, помянул взглядом то место, где стоял, дую себе в воротник, мерзнувший Фридрих. Он рассказывал правнучке, какие забавные игрушки умел делать немец, и не только игрушки: шкатулку знаешь, что у бабы Иры стоит? То-то. Фридрих делал. Он крепко держал ребенка за руку, но это нисколько не мешало девочке смотреть по сторонам: Максимыч никогда за руку не тянул и никуда не торопился.

Смотреть было на что. Два ряда деревянных прилавков были густо уставлены копилками в виде глиняных раскрашенных кошек. Все кошки сидели на задних лапах, в одинаковых позах, отличаясь только величиной и раскраской. Цена была прямо пропорциональна яркости и размеру священных животных, но Лелька об этом не знала и напряженно думала, как можно с такой красотой играть. Когда же старик объяснил, что они не для игры, а для собирания денег, и даже приподнял, чтобы она рассмотрела щель для монет, недоумению девочки не было предела:

— А как доставать денежки?

— Разбить.

— Насовсем?!

Максимыч подтвердил, что насовсем, и обратно уже не слепить.

Мечта, уже почти оформившаяся, лопнула. А так хорошо было бы подарить вон ту, синенькую, бабушке Матрене, пусть берет с собой на базар вместо своего старого кошелька...

Старик смеялся, не выпуская ее руки, так что приходилось останавливаться, вынимать платок и промокать глаза и усы. Ах, ты...

В параллельном ряду продавались деревянные ложки, миски, подносы, подставки для яиц; многие тоже были ярко раскрашены. Зато игрушки почти все были сочно-разноцветные и сверкали лаком. Плодовитые матрешки, изящные солдатики в политически не определенной, но очень нарядной форме, зверюшки, вырезанные порой настолько искусно, что Максимыч останавливался, аккуратно брал в руки и рассматривал так уважительно, что продавец, не сразу заметив потертость макинтоша и ветхий шарф, уже приветливо улыбался девочке. Продавались разного размера ящички с сюрпризом: надавишь шпенек сбоку или просто откроешь крышку — и выскочит чертик с пронзительным верещаньем. Судя по количеству таких коробочек и их габаритам, на базаре продавалась средней руки преисподняя.

Старик не торопясь вел девочку за руку и, если игрушки были особенно забавные, поднимал ее к прилавку.

Умелец, сотворивший из светлого дерева эту веселую длинноносую куклу с круглыми, как у Лельки, глазами, мог смело бросить вызов папе Карло. Люди, которые перебирали гладкие, точеные скалки, невольно улыбались при виде Буратино, приценивались и,



уважительно присвистнув, отходили. Трудно было поверить, что игрушку вырезал парень с ленивым, отевающим лицом, стоявший по ту сторону прилавка, руки в карманах ватника.

Максимиыч купил девочке петушка на палочке. Петушок и вправду был золотым, как в сказке, и светился глубоким оранжевым светом. Они подошли к небольшой избушке с надписью «ПИВО», и старик взял полную кружку такого же, как петушок, цвета. После этого, отойдя под стенку красного кирпичного амбара, они прислонились к блестящим чугунным столбикам, и пир начался.

— Максимиыч, а пиво сладкое?

— Не-е, горькое, — ответил старик, осторожно, словно горячую, сдув пену.

— А мне можно?

— На кой тебе? Разве глоточек. Ну! Плюнь, плюнь, это для больших!

— А ты зачем пьешь?

— Жидкий хлеб, — таинственно сказал прадед, вытирая усы.

Лелька заглянула в пустую кружку: крошек не было. Она повернулась вопросительно к старику, но увидела такое, от чего замерла на месте, сжимая его руку изо всей силы.

Через базарную площадь... не шли, нет: двигались, тяжелыми толчками отпихиваясь от земли, очень короткие дядьки, бросая себя вперед, прямо к ним, и крича Максимиычу хриплыми голосами: «Браток! Папаша!..» Лелька зажмурилась и вцепилась в старика обеими руками, одна еще липкая от упавшего на землю петушка.

Инвалиды, перебивая друг друга, протягивали старику скомканные деньги. Он кивнул, подхватил девочку на руки и заспешил, прихрамывая, к пивному ларьку. Там он спустил ее с рук, взял, сколько мог, полных кружек и медленно, стараясь не расплескать, двинулся обратно, успокаивая правнучку:

— Что ты спугалась, они ж убогие. Их на войне покалечило; спасибо Царице Небесной, хоть живые остались. Сами-то и пива взять не могут: которая нальет, а другая обляет. Конечно, добрые, вот дуреха-то! Они добрые, только убогонькие.

Убогонькие не были похожи на добрых, они все были хмурые и сердитые. Получив пиво, обрадовались; Лелька думала: вот они теперь хоть на ноги встанут, но не дождалась и смотрела, не могла отвести взгляда от их рук — огромных, фиолетовых и распухших. Они так и остались сидеть на своих кожаных подушках, оторвав руки от железных утюгов, и с наслаждением втягивая пиво, а кто-то уже закуривал и протягивал папиросы Максимиычу. Девочка не отходила от старика и разглядывала татуировки на страшных руках. Максимиыч был самым высоким, а она старалась не смотреть им в глаза, что было трудно, так как приходилось смотреть или в землю, или куда-то вверх голов. Хоть и необычные, дядьки вели себя, как все взрослые: спрашивали, как ее зовут, сколько ей лет и «что ты с дедушкой покупать пришла». Чтобы внести ясность, она сказала, что дедушку убили на войне, а это не дедушка, это Максимиыч, и называется он прадедушка. Все начали хвалить Максимиыча, и Лельке уже было не то чтобы нестрашно, а как-то неловко. Потом они стали прощаться и снова схватили в руки по утюгу, а самый ближний к ним вытащил мятый рубль и попросил: «Возьми, отец, внучке на конфеты», — и кивнул на Лелькин леденец, валяющийся в пыли. Максимиыч замотал головой, но инвалид вдруг покраснел и закричал: «Бери, не обижай! — и добавил: — Я бы и своим купил, да где они, свои-то...» — бросил рублевку и устремился за товарищами.

Теперь их лиц не было видно, только подпрыгивающие от толчков, удаляющиеся спины, и стало ясно, почему они так и не встали: встать им было не на что.

Кончался октябрь, и беспокойно было синее море, если судить по резкому ветру, который гулял по городу и безжалостно гнал шелестящие листья; однако на море старики не бывали, да и что там делать осенью, золотую рыбку кликать?..

Старик брал девочку в старый парк за трамвайным депо. Это называлось «пойти пошуршать»: в парке росли огромные старые каштаны, и Лелька бродила, утонув ботинками в шелестящих листьях. Непонятно, кто из них больше любил собирать каштаны: правнучка или прадед? В отличие от жены старик никогда не задавался вопросом: «на что они надо?», поскольку, если здесь и было что-то ненужное, так это сам вопрос. Находить каштаны было так же интересно, как ловить рыбу: когда следишь за поплавком, вопросом «на кой» не задаешься; вместе с тем, если б рыба была несъедобной, разве он перестал бы ее ловить?

«Шуршали», то есть гуляли, долго и домой являлись с полными карманами лакированных шоколадных каштанов; все до одного находили приют у Иры в комнате. Она тоже любила бесполезные веселые ядрышки, и долго хранила их на тарелке, где они постепенно тускнели, твердели и ссыхались. Самый крупный девочка клала отдельно, на подоконник: для мамы, когда придет.

Раз уж зашел разговор о маме, то напрашивается вопрос, где же она пребывала все это время? Ответить трудно; известно только, что Таечка появлялась нечасто, всегда непредсказуемо и выглядела такой головокружительной красавицей, что даже мамынька как-то сникала от восхищения и не пивила ее. Старик же, всегда втайне гордившийся внучкиной яркой цыганистостью, никаких вопросов — упаси Господь! — не задавал. Он с улыбкой наблюдал, как Лелька, вскарабкавшись ей на колени, захлеб рассказывает о деревянной кукле и кошках-копилках редкой красоты, об убогоньких, о том, что лавровый лист в суп кладут для вкуса, но есть его нельзя, о каштанчиках и о том, что Максимыч поймает ей золотую рыбку. Конечно, ребенку мать надо, в который раз думал старик, но вслух не высказывался.

Жила Тайка то у одной подруги, то у другой, и получалось, что подруг этих пруд пруди; на дежурства, впрочем, больше не ссылалась, и на том спасибо. Время от времени подруги, по-видимому, давали приют кому-то другому, так что она даже оставалась ночевать, но уходила рано, когда дочка еще спала, и никто не знал, когда она появится в следующий раз. Самый большой каштан оставался лежать на подоконнике.

Единственный человек, который проявлял самый активный, живой, почти агрессивный интерес к ее появлениям и исчезновениям, была Надя. Ведь если есть где жить, пускай выпишется, чего ж она тут прописана, и так вон сколько народу, когда другие в проходной комнате должны толочься! Возмущенные эти мысли она не таясь высказывала мамыньке, по опыту зная, что ораторствовать перед Максимычем бесполезно: сверкнет черным глазом из-под бровей, как плеткой хлестнет, а отвечать ничего не ответит, будто не слышал. У мамыньки ее тирады тоже находили не много сочувствия, но та, по крайней мере, слушала, хоть и отвечала невпопад. Иными словами, высказаться Надежда могла, да что толку: свекруха и раньше ее не любила, а уж теперь-то, когда жили в тесноте... Она относилась к старухе хорошо, насколько могла, помня, как только что прожитый, день своего внедрения в квартиру, и то, что ей это удалось, привносило известную долю снисходительности к старухиному уму. «От большого ума досталась сума», — с особым удовольствием думала невестка. Что же касается свекра, то она надеялась, в строгом соответствии со своим именем, что старик не заживется: больница за больницей, да и одежда на нем висит, как с чужого плеча.

Задевало ее другое — вернее, уязвляло, и глубже, чем хотелось бы: как они цацкаются с нагульным ребенком, а ее дети будто и не внуки родные?! Ладно, она: невестка всегда невесткой и будет, тут нечего ждать, но дети?.. Конечно, любая мать — тигрица, и Надя не была исключением, везде и всегда стараясь добыть вкусный, теплый и увесистый кусок и принести своим тигрятам; точно так же она надеялась урвать у стариков шмат любви и заботы, явно ими недоданные.

Оба «ежика» за эти годы подросли и, хоть остались такими же буками, пора, наверное, назвать их по именам, а так как мать звала их только «Генька» да «Людка», то и все

остальные, включая маленькую Лельку, называли их точно так же. Последняя, кстати сказать, неоднократно получала от Надежды нареkania: «Какие они тебе „Генька и Людка“, они тебе дядя и тетя», что очень смешило девочку. И «дядя», и «тетя» были крепкими, румяными двоичниками, переходившими из класса в класс благодаря своим спортивным успехам.

Но родственные отношения внуков и правнучки уж, конечно, были известны старикам, в семейной традиции которых было абсолютно закономерно и естественно баловать самых младших. Нельзя сказать, что бок о бок живущие внуки не вызывали у стариков теплых чувств, при всей своей какой-то недетской самодостаточности; казалось, ни дед, ни бабка им не нужны, да и никто не нужен, кроме «мамки». Между тем то у Максимыча, то у Матрены временами щемило сердце, когда смеющаяся внучка, повернув голову, вдруг оказывалась — показывалась — в профиль Андрюшей, с такими же, как у него, крупными рыжеватыми завитками; или внук, который из всех забав выбрал тоже Андрюшину — велосипед, и часами гонял на нем. Входная дверь приоткрывалась, вкатывалось блестящее никелированное колесо и набычившийся круторогий руль, так что оба вздрагивали: сейчас увидят сына, вспотевшего и радостного; но входил, придерживая велосипед за седло, румяный черноглазый подросток. Если старики обращались к внукам, то те вначале быстро и насмешливо переглядывались, словно решая, стоит ли затрудняться ответом, и только затем отвечали; это сбивало с толку деда с бабкой, оставляя странное чувство досады, даже обманутости, и от профиля, и от набычившегося велосипеда; а сердце все равно щемило.

### 13

Не исключено, что автора упрекнул в неровности повествования: дескать, какие-то периоды жизни стариков описаны слишком поверхностно и кратко, в то время как другие неизвестно почему растянуты, иногда с точностью до дня и мельчайшей детали, закатившийся ли это под шкаф каштан или ложка, в сердцах брошенная на подоконник Надей, лицом и так второстепенным.

Упрек был бы справедливым, будь рассказчик одет в жесткий мундир исторической хроники. Однако выбранный — или угаданный — жанр позволяет увидеть то, что не сковано требованиями исторической достоверности, оставаясь в то же время в рамках описываемого времени. В самом деле, никому же не придет в голову вести раскопки у самого синего моря, чтобы по найденным трухлявым щепкам воссоздать конструкцию разбитого корыта? Да и упреки можно отвести: ведь когда старик и старуха были еще молоды, то есть не были ни стариком, ни старухой, пульс их жизни был сильный и наполненный. Спорилась работа; рождались, вырастали и, увы, умирали дети; бурлил дом со всеми страстями землянки той или иной степени ветхости...

Теперь, когда их жизнь уже состоялась настолько, что они стали пра-стариками, время стало обозначаться другими вехами, и пульс его замедлился. Не только повествователь, но и они сами смогли теперь многое рассмотреть пристальней. Вся картина их жизни более всего похожа на карту, составленную из фрагментов разного масштаба, где какой-то крохотный квадратик вдруг выхватывается лупой и разрастается, позволяя увидеть забытые надписи, лица, имена, а то и ступеньки дома, которого давно уж нет на свете. Лупа передвигается, не ведая, чем является найденная точка: заброшенным населенным пунктом или знаком конца предложения. Следует допустить и то, что какие-то места карты истерлись на сгибах, края надорваны и лохматятся, да и стекло лупы замутилось — должно быть, капля упала, капля дождя.

Время тянулось, и старики жили свою стариковскую жизнь: иногда по отдельности, как старик и старуха, а временами — как старик со старухой; в этой полосе они вспоминали «мирное время», своих маленьких детей, умерших родственников и название улицы,

которая всегда звалась Столбовой, а сейчас как-то иначе, ну да Бог с ней: Столбовая и есть Столбовая.

Время тянулось? — Нет, время ползло, хотя Федор Федорович дорого дал бы за то, чтобы оно двигалось как можно быстрее, пролетело бы так, словно его не было совсем, — вот взять этот кусок и вырезать. И не надо винить зятя ни с одной, ни с другой стороны — время навалилось анафемское, средневековое.

Он понял это еще до того, как начал думать о враче для Максимыча. По неписаному медицинскому цеховому уставу Федор Федорович мог обратиться к любому коллеге с вопросом о надежном диагносте, был бы направлен к коллеге этого коллеги, который специализируется как раз по язве желудка, в считанные недели получил бы мнение рентгенологов и по цепочке вышел бы на самого надежного хирурга, если бы «цепочка» склонилась к операции; словом, организовал бы самый настоящий консилиум в честь язвы, о чем ее обладатель, конечно же, и не узнал бы никогда.

Так ведь нет, никакого консилиума не получалось: цепочка рвалась в самых неожиданных и самых необходимых местах. Более того, один из коллег, врач, которому Феденька рассказал по телефону, что старик наблюдался в Еврейской больнице, вдруг провозгласил громко и назидательно, будто по радио выступал, что никакой Еврейской больницы не знает и ему, мол, желает того же. Федор Федорович долго сидел у телефона, растирая ладонью щеку, а на следующий день его телефонный собеседник заглянул в обеденный перерыв к нему в лабораторию и предложил «прогуляться, погодка-то какая».

Погодка и впрямь была на славу, будто календарь перелистать забыли: поредевшая, но яркая листва, безмятежное небо. Федор Федорович, еще не отошедший после вчерашнего, ругал себя, зачем согласился пойти, всегда был мямлей; оба закурили.

— Простите меня за вчерашний реприманд, Федор Федорович, — начал доктор, — но я ведь не самоубийца. Не только что обсуждать — название той больницы произносить по телефону отказываюсь! Что же до вашей просьбы, то ситуация аховая...

Они сидели вдвоем на самой высокой площадке, откуда была видна толстая башня старой крепости, театр и городской канал, и вполголоса говорили об «аховой ситуации», которая касалась не только тестевой язвы, но и ее тоже. Врач не просто подтвердил страшные и мерзкие слухи, ползущие по клинике, но и назвал много имен, которые не следовало упоминать в беседах с малознакомыми людьми, а лучше — ни с кем.

— В Медицинском институте уже было несколько чисток. Университет просто зачумлен; если вы хотите мое мнение, то его можно вообще закрыть — до лучших времен, если таковые наступят. Метут по всем больницам, Федор Федорович, да что я говорю: не метут, а прочесывают частым гребнем. Подождите, подождите: недолго осталось ждать, наша клиника давно под прицелом. Нас с вами не тронут; но с кем прикажете работать, с молодыми, простите за выражение, специалистами?! Так это не те специалисты, а те уже на Дальней периферии — в лучшем случае.

Он бросил окурок в урну, расстегнул плащ и снова вынул портсигар.

— Подумайте: ведь ни одного еврея нам не прислали из последнего выпуска, ни одного! А пациентов видели? — Помолчал в негодовании, потом наклонился к Феде и продолжал: — У него флюс, щеку до ключицы раздуло, а он к врачу не идет: боится. Сепсиса не боится, а доктора Берковича боится!.. Вы такое видели? Ну да, вы ведь больше в лаборатории, вы с протезами работаете, а до меня такие откровения из коридора доносятся... Люди стыд потеряли. Признаться, все под Богом ходим; сегодня их прочесывают, а где гарантия, что за нас не возьмутся?

— Кто же работать будет, — хмуро вставил Феденька, — зубы-то надо лечить?

— К цирюльникам пойдут! — запальчиво воскликнул доктор. — В средние века это была прерогатива цирюльников, кровь пускать да зубы рвать.

Их «прогулку» трудно даже было назвать беседой; скорее, пожалуй, это был горький монолог «защищенного национальностью», как он сам выразился, врача, который не мог вступить за своих собратьев по цеху, такой защиты не имеющих. Заканчивая, он предостерегающе поднял палец: никакой Еврейской больницы, запомните; Третья городская, и никак иначе.

Обобщая, можно сказать, что Федор Федорович узнал то, что уже знал, и теперь нужно было только научиться жить с этим знанием. Да и можно ли было оставаться наивным после всего, что он знал о войне, можно ли было надеяться, что проклятый плакат умер? Проходя по вестибюлю, он никогда, никогда не смотрел на стены, но щеку непроизвольно тер, ибо бессмертность плаката утверждалась самим окаянным временем.

Ёлку Максимыч выбирал на базаре сам, без девочки, и елка оказалась такая пушистая и славная, что хоть куда, так что обидеться Лелька забыла. Освоилась елочка быстро, словно всегда жила здесь, у Иры в комнате. Старик долго возился с какими-то банками, взбалтывая, переливая и смешивая, но правнучке ничего не говорил. А на следующее утро елка оказалась волшебной разряженной: на ней висели сосновые и еловые шишки, да не простые, а золотые; вернее, половина светилась тусклым серебром, половина золотом. Максимыч, выравнивая кончики усов, охотно подтвердил, что эти диковинные шишки выросли за ночь, а то как же. Матрена послушала-послушала, сказала «тьфуй» и велела отправляться гулять.

Какая ни есть, а все же елочка, думал старик, оттирая скипидаром пальцы; вот пойдет к Тоне, там диво, так диво; а и дома пускай порадуетя.

Оставшись одна, мамынька с кряхтением вытащила из-под шкафа объемную жестяную коробку от печенья «Бон-Бон», намного пережившую самое фабрику, смахнула пыль и аккуратно сняла крышку.

Можно сразу поручиться, что если бы в квартиру забрались воры и «обчистили», чего старуха боялась больше всего на свете и поэтому давно переправила к Тоне весь свой не только золотой, но и серебряный фонд, так вот, если бы воры посягнули на эту коробку, то с негодованием выкинули бы ее со всем содержимым в ближайшую помойку. Только для мамыньки невзрачная жестянка содержала нечто ценное.

Что же? Сейчас станет видно, хоть это отнюдь не означает, что станет понятно. Итак, крышка снята, и прямо в перевернутую ее прямоугольную емкость мамынькины пухлые руки вынули и положили половинку свадебной тиары, вернее, ее скелетик; однако нужно быть поистине матримониальным Кювье, чтобы угадать трогательные цветки флердоранжа в нескольких измятых лоскутках. Чья это была тиара, неужели старухина? Неужели здесь и хранилась символическая завязь тех тугих апельсинов, когда-то, еще на Тониной свадьбе, разгаданных стариком? Но, может быть, старуха берегла дочкин флердоранж? Едва ли: слишком ветхий, да и старомодный.

Сейчас таких нет, сама себе говорила Матрена, бережно разворачивая, а потом вновь складывая убедительного размера *dessous*, некогда ослепительной белизны, а теперь цвета густых сливок. Пока она держала *dessous* распяленными, можно было успеть заметить сложную застежку на окаменевших пуговицах, швы исключительной добротности и две торчащие накрахмаленные дыни, отделанные кружевами, которых сейчас тоже днем с огнем не сыщешь, это уж будьте благонадежны. Кое-где на полотне — ибо этот материал невозможно оскорбить словом «ткань» — видны пятнышки ржавчины, словно веснушки. Не оставляет сомнений, кстати, что придумавший бессмертную фразу про пифагоровы штаны явно видывал такие доспехи на бельевого веревке, застывшие от крахмала и морозного ветра.

Следом она достала маленький кошелек, почти игрушечный в своей миниатюрности. От времени и безукоризненной службы замша приобрела мягкость фланели, но кнопочка не заржавела, и вообще он молодцом.

Две крестильные сорочки неправдоподобно маленького размера; ведь если правнучка уже переросла стол, под который пешком ходила, то легко представить, как глаза и руки забывают крохотность новорожденных, — до следующего младенца. Вот эта — Лари, светлого сыночка Иллариона; а эта — Лизочки, красавицы моей, Царствие им Небесное. Старуха начинает считать, сколько лет было бы им сейчас, и благоговейно откладывает легкий, как перышко, батист.

Уже совсем близко дно, и под пальцами перекатываются бусины морковного цвета: то бывшее коралловое ожерелье, которое Матрена собиралась перенизать, да как-то руки не дошли. Вот еще один запасной воротничок к мужниной рубашке и даже запонки к нему, словно два обойных гвоздика легли валетом. Совершенно ни к чему напоминать, что сейчас таких нет, да и понятия такого нет: «запонка для воротничка».

Для чего-то хранились носовые платки, изношенные до марлевого состояния, но и выбросить их было невозможно. Две катушки с нитками настолько тонкими, что они казались нарисованными, и снова бусины.

Фотографическая карточка, снятая на тридцатилетие их свадьбы, сохранилась очень хорошо. Старуха внимательно вглядывалась в лица тех, чьи имена уже были вписаны в ее поминальный листок; потом в живых. Вот брат Мефодий с густыми, пушистыми усами, но почему-то без воротничка — снял, должно быть; Акулина, младшая сестра, сидит между Павой и стариком, а сам он сердитый, будто тоже воротник тесный. Она даже рассмотрела на левой руке у мужа кольцо, которое подарила ему, кольцо-печатку с черным агатом, да он как снял его, так и не носил больше. Долго смотрела на себя, уже оплывающую, но с гладким, совсем не старым лицом, в любимом платье бежевого шелка, и эту цепку на шее, что сейчас у Тони, тоже очень любила. Дети, все пятеро, во втором ряду, а Тайка здесь меньше, чем Лелька сейчас, Матерь Божия!..

Она отложила карточку лицом вниз, чтобы не отвлекаться, и развернула маленький тугой рулончик розоватых ассигнаций, все по двадцать пять рублей. Это ж какие деньги были, фунт сметаны три копейки стоил! Мамынька вспомнила, как муж доставал из кармана толстую пачку, добросовестно плевал на пальцы и принимался считать, а потом, махнув рукой, скидывал сапоги и шел, чуть покачиваясь, отсыпаться — и от заказа, и от трактира. Она же, пересчитав деньги, скручивала их в такой вот рулончик и засовывала Ирочке в чулок, наказывая нигде, Боже сохрани, не задерживаться: прямо в банк и обратно, одна нога здесь, другая там, что дочка исправно и выполняла, а уж в банке управляющий ее знал, не извольте беспокоиться. Хорошо жили, слава тебе, Господи, это ж мирное время было, благодать...

Разгладила розовато-зеленые ассигнации и еще раз посмотрела на Александра Второго. А у нашего-то Мефодия усы попышней... и отложила; дальше, дальше.

То, что старуха искала, лежало на самом дне, завернутое в ломкую, тусклую бумагу, рядом с профсоюзным билетом зятя, который Феденьке выдали когда-то в филиале ада — или в самом аду, как угодно.

Разумеется, здесь перечислены не все старухины реликвии, а лишь те, которые она брала в руки и держала какое-то время; что-то брякало на самом дне, а кое-что достаточно было отодвинуть «в сторонку», как говорили в семье. Напрашивается вопрос: почему столь явно дорогие сердцу вещи хранились не в шкафу, не в комод, не в буфете, наконец, а в жестянке от печенья, пусть и «Бон-Бон», да еще под шкафом, в пыли?

Строго говоря, пыли на коробке было немного: очевидно, Матрена частенько кряхтела, чтобы прикоснуться к своим сокровищам. В комод же она своих вещей не держала по той простой причине, что отдала комод в распоряжение невестки Нади, как только та

водворилась: ведь никакой мебели у нее с собой не было, да и комод, если быть точными, старик когда-то делал для молодоженов, к Андриной свадьбе. Буфет — опять-таки с тех пор, как Надя вселилась, — уже не принадлежал полностью старухе; оставался шкаф, или, как называла его по старинке мамынька, «шкап».

Шкаф стоял в Ириной комнате, и его бездонной емкости вполне хватало, чтобы вмещать более чем скромный гардероб хозяйки, старика и старухи, не говоря уж о пустяковых Лелькиных платяицах, которых было раз-два и обчелся. Пару раз, однако же, мамынька заметила Геньку, осторожно закрывающего левую дверцу, и остолбенела. Ну, домыслить несложно: свой подзатыльник он получил, и громкая Надькина божба, что ничего не пропало, во внимание принята не была. Что там искал этот проныра, бесстыжие глаза, одному Богу ведомо; вот коробка и пригодилась. Чтоб какой-то сопляк, хоть и внук родной, руками лапал... не-е-ет. А под шкаф и залезть трудней, и заманчивости нету никакой — не на замке.

...Было уже темно, когда пришла Ира. Принесла маленькие, как черешни, райские яблочки и стала учить внучку завязывать петельку из нитки и вешать краснощекие плоды на елку. Где-то нашлись и цепкие подсвечники, которые защемляли еловую ветку и держали свечи образцово прямо. Таких невероятных достижений прогресса, как электрическая гирлянда из разноцветных лампочек, здесь еще не знали. Нашлось у бабушки Иры и немного ваты для снежных хлопьев, отчего в комнате стало светлей и прохладней, и все остановились на минуту, неотрывно глядя на елку и думая о чем-то праздничном. Тогда-то старуха и развернула ломкую хрустящую бумагу.

Это был ангел. Он сверкал, весь покрытый блестящей твердой изморозью; крылья за спиной были полуразвернуты, словно ангел поднял плечи, а опустить забыл. Одевание из кисеи, настолько пышной, что оно с легкостью скрыло верхушку елки, тоже было украшено блестками, и чудом было то, что за все годы блестки почти не пострадали. Лицо... лицо было и радостным, и печальным одновременно, да каким еще могло быть лицо у ангела?!

Если бы девочка отвела взгляд от этого чуда, она бы увидела, что Ира вытирает слезы, Максимыч потрясенно смотрит на жену, а сама Матрена ни на кого не смотрит, кроме ангела, и лицо у нее торжественное. Что ж: завтра канун Нового года, хоть и по новому — Бог с ними — стилю.

Новый год никогда не был в доме значительным праздником, он только сопутствовал Рождеству Христову, и елка тоже называлась Рождественской. Точно так же в первую очередь праздновались именины, то есть дни ангела членов семьи, и к этому прилагались более скромные торжества: дни рождения. С течением времени последняя традиция все больше нравилась женщинам: день ангела — и к месту, но вызывала протест у детей, ревниво подгонявших время своей жизни. Нельзя забывать и то, что в советской школе устраивалась елка именно новогодняя, где никто не заикался о Рождестве — ни учителя, ни ученики. Наверное, поэтому само слово «елка» со временем утратило оба определения, то есть перестала называться как рождественской, так и новогодней. Было ясно, что словом «ель» обозначается дерево, а словом «елка» — то же самое дерево, только срубленное и в мишуре, свечках и бенгальских огнях, этой пародии на северное сияние.

Что же касается приоритета дня рождения или именин, то на стороне детей оказался поэт, приветствовавший как раз «ребенка милого рожденье», а не именины, что логично: не будь дитя рождено и одарено именем, то и ангел-хранитель не был бы откомандирован небесной канцелярией, а поэт еще когда вступился!..

Итак, Новый год особо не отмечали. Правда, между Рождеством и Крещением обычно собирались, чтобы встретить Старый Новый год: немного снисходительно, посмеиваясь, словно делая какую-то уступку традиции. В мирное время собирались, конечно, у мамыньки; после войны, несмотря на то, что время *de jure* было вроде мирное, признать

его таковым *de facto* старуха отказывалась. Кроме того, у Тони было и свободней, и сытней.

Собрались в этот раз не все: не было Тайки, Нади с детьми и — совсем уж непонятно — не пришел Симочка.

Зато елка, рождественская и новогодняя в одном лице, была наряжена на славу! Щедро и сухо струился серебряный дождик, переливались зеркальные шары, висели бахромчатые конфеты, более красивые, чем вкусные, и заиндевшие сосульки, которые не таяли, а под нижними ветками притаился, как диверсант, игрушечный Дед Мороз в красном тулупе и с многообещающим мешком за спиной. Верхушку елки, которая, понятно, упиралась в потолок, украшало нечто блестящее, похожее на светофор. Ангела не было; да какой ангел мог бы осенить зловещее тринадцатое января 1953 года, день «Правительственного сообщения» о врачах-вредителях?!

Что собрались именно здесь, у Тони, было не только правильно, но и просто необходимо. Старики слышали все, что целый день исторгал из себя репродуктор в Надиной комнате; Ира с Мотей и Федор Федорович прослушали «Сообщение» на работе, а радио продолжало извергать жуткие слова, которые только Феденька мог бы разъяснить.

Зять пришел самым последним, ибо уйти с принудительного стихийно-добровольного митинга было невозможно. Первое, что он сделал — это выдернул шнур из розетки, и чеканный обличительный голос смолк — в одной, отдельно взятой квартире. Он вымыл руки — провод еще покачивался укоризненно — и вернулся в столовую. Отогнул манжеты, налил себе рюмку кагору, но не выпил, а сидел и тер щеку. Замерз, догадалась старуха; крещенский мороз не шутка. Лицо у Феди было усталое, и она впервые увидела, что он не молод, а под глазами оплыли воспаленные мешки.

— Ты мне скажи, — она требовательно повернулась к зятю, — это что же за бздурь такие, кто кого там был отравивши?

Федор Федорович посмотрел на детей, улегшихся прямо на паркет перед елкой, твердо встретил тревожные взгляды и произнес:

— С Новым годом!

## 14

В Крещенский сочельник мамыньке привиделся скверный сон. Перед этим отстояли вечернюю службу в моленной и домой пришли сильно замерзшие, даже чашку с чаем трудно было держать — красные, распухшие пальцы слушались плохо. Слава Богу, дома было тепло. Окна покрылись махровым инеем, но двойные рамы, заботливо проложенные длинной ватной колбасой, мороз не пускали. И лампадки горели, и перина была взбита хоть куда, а привиделось такое, что лучше бы и не ложилась вовсе.

В этом сне у нее были деревянные зубы. Будто бы тоже Федя сделал — на каждый день, чтобы золотые не снашивать. Однако то ли сделал плохо, то ли материал для зубов неподходящий, но старуха маялась: зубы неровные, занозистые, и жевать надо было осторожно. Только как ни осторожничай, а щепки то и дело откалываются. И главное, Федя тут же, совсем поблизости, да мамынька стыдится сказать, как ей трудно. Тоня и зять знай подкладывают ей на тарелку то одно, то другое, и все жевать надо: копченая рыба, язык... Старухе уже неважно, и она решает снять негодный протез, к свиным собачьим: у нее ведь настоящий есть, фарфор да золото, совсем другое дело; да и к чему беречь, на ее век хватит. Она протягивает руку за салфеткой, в которую завернуты ее нарядные зубы. Но все на нее смотрят; не будешь ведь зубы вынимать на людях! Тарелка у Матрены полнехонька, а Феденька кладет миногу — знает старухину слабость. Она подносит салфетку ко рту и хочет вынуть гадкую деревяшку, однако деревянные зубы сидят крепко, как приросли. Матрена тянет, дергает — ни в какую. Ей страшно, тянет уже обеими руками; и пусть смотрят, лишь бы избавиться... Нет, никак не вынуть; а Феденька



утешает: «На ваш век хватит, мамаша». Потом склоняется к самому уху и добавляет очень тихо: «Теперь все будут такие носить». Мамынька показывает салфетку со щепками и пятнами крови, а зять ее успокаивает: «У всех так, мамаша: и кровь, и щепки летят; привыкнете». И повторяет: «На ваш век хватит».

Старуха пробудилась с мечущимся где-то у горла сердцем. Уже наяву вспомнила с сожалением: надо было напомнить Феде, что у нее хороший протез есть, настоящий, не то что эта пакость.

Старик возился у плиты, ловко накалывая лучинки. Не выбежала, как обычно, а пришла из комнаты правнучка, сказала «с добрым утром» и что пить хочет, — иными словами, паскудный сон, слава Богу, кончился, надо было подыматься и жить, хотя бы и с этим пресным деревянным вкусом во рту. Старуха знала, что такой сон отпустит ее нескоро. Чтобы освободиться, надо его разгадать, к чему она и собиралась приступить после молитвы и чаю.

Самые обычные утренние звуки: потрескивание дров в плите, плеск воды в раковине, шарканье подошв — все было заглушено громким детским воплем. Лелька отскочила от стола, опрокинув кружку, из которой теперь лилась вода прямо на пол и на выпавший старухин протез. Пока Максимыч держал перепуганную девочку на руках, старуха крестила ее, кропила святой водой и опять крестила. Зареванная, икающая, она так и сидела у старика на коленках, привалившись к плечу, а он приговаривал что-то про Крещение: дескать, сегодня и праздник такой, вишь, баба тебя опять крестила.

Мамынька, и так находившаяся крепко не в духе от скверного сна, нахмурилась: «Пустое мелешь», но по-настоящему рассердиться не успела, а решительно отставив чашку, положила руку девочке на лоб:

— Да она же горит!

В старых романах каждый уважающий себя герой то и дело теряет сознание, падая без чувств на руки преданного дворецкого, и бывает подвержен таинственному заболеванию под названием «нервная горячка», которая случается по самым пустяковым поводам. Обеспокоенные домашние вызывают доктора, тоже сугубо домашнего, который появляется в белоснежных усах, черном сюртуке и — уж будьте благонадежны — с потертым саквояжем. Доктор тревожно хмурится, а мать — естественно, со следами былой красоты и уже заранее почему-то в черном, сжимает в руке кружевной платок.

Здесь не приходилось рассчитывать ни на преданного дворецкого, ни на мать с платочком или даже без, ни на усы, сюртук и потертый саквояж доктора, — разве что отрядить Максимыча в детскую поликлинику, ближний свет в крещенский мороз. Несмотря на то, что все симптомы правнучки указывали на нервную горячку, Матрена, которая никогда в жизни не злоупотребляла чтением романов, зато вырастила пятерых детей и вынянчила уйму внуков, заламывать руки не стала, а приготовила клюквенной воды и быстро передела Лельку в ночную рубашку.

Девочка жадно выпила воду и зябко съежилась под одеялом.

— Спугалась, золотко?

— У-гу. А... они где?

— Зубы-то? Да у меня в роту, не бойся. Холодно тебе? А вот я платок сверху наброшу. Може, чайку тепленького попьешь?

— Не-е. Глазки болят.

— Закрой глазки, я лампу потушу и принесу еще водички.

Старуха знала, что корь боится света, а в том, что это была именно корь, не сомневалась. Телефона в квартире не было, да и мало у кого он был в то время; так что участковая докторша — платок в клетку, тесноватое пальто и дряхлый клеенчатый портфель вместо потертого саквояжа — появилась только вечером и подтвердила

Матренин диагноз. Про зубы ей ничего не говорили, да и на кой? — Чужой человек. Рассказали Ире, но лучше б не рассказывали: помертвела вся и чуть было мамыньке не наговорила лишнего, да внучка позвала — обхватила за шею и не отпускала, пока не уснула.

Ужинали втроем и как-то свободно — Надя работала в вечернюю смену. Старухе не терпелось рассказать свой сон, который так скоро и бесхитростно воплотился в Лелькиной болезни и перестал мучить. Ира слушала молча и только помрачнела, когда мать рассказала про угощение.

— Мама, в сочельник такая еда не к добру.

— Так я жевать-то не могла, — усмехнулась мамынька, — потому и не оскоромилась.

Старик подбросил полешко в огонь: он стал мерзнуть и с удовольствием сунул бы в плиту еще пару чурок, но дрова таяли быстрее льда, и нужно было их растянуть на всю зиму.

— Мне тоже скоромное снилось, — сказал он, возвращаясь к столу, — уж мы и поели так поели...

Вспоминая знаменитые романы: кому там снились одинаковые сны? Да-да, грешной Анне и этому, с лошадиными зубами, Вронскому. Хотя странно, что ему вообще какие-то сны могли сниться; правда, он был окрылен любовью, а тогда чего только не случается.

Нет, сон старика куда как отличался от старухино. Вот он.

Будто бы сидят они с мамынькой за столиком в трактире, и человек записывает в блокнотик, что им подать, и мало-помалу старик осознает, что это — мирное время, ведь вот заказали паровую белугу да утку с яблоками. А сам трактир и то, что пришли! Но самое главное — войны еще не было; значит, и Андрюша с Колей живы. Они заказали раков, и пока утка готовится, раков уже подали — точнее, одного огромного рака. Надо есть, а то остынет. Старик разламывает панцирь и вылуцивает тугую белую мякоть, осторожно пробует и дает жене. Матрена удовлетворенно кивает, улыбается; он кормит ее прямо из рук, и это оказывается особенно вкусно. Рак покрывает целое блюдо, и какую бы часть Максимыч ни взял, под ярко-морковным панцирем обнаруживается вкусная белая плоть, которую они оба отщипывают руками и едят. Обломив клешню и повернув на блюде полупустой панцирь, старик видит, что рак внимательно следит за его действиями выпученным глазом; глаз совсем живой и насмешливый. Ему делается не по себе; он боится, что жена перепугается насмерть, поэтому пытается заслонить глаз обломанной клешней. Есть он уже не хочет, а только осторожно наблюдает, не смотрит ли полусъеденный рак. Так и есть: смотрит, блестящий глаз двигается, а вот уже и ус шевельнулся. Ах, как нехорошо, как скверно, думает старик, ведь живую плоть едим! Уже проснувшись, вспомнил, что для них жарится утка, и горько пожалел, что не дождался, целиком увлекшись раком, что вначале было так упоительно, а потом жутко.

Всю жизнь мамынька была Иосифом Прекрасным — как сама себе, так и всем остальным, а потому сны трактовала, можно сказать, вдохновенно. Другой вопрос, что она не всегда справлялась с этой задачей, где самое важное — найти главный образ, который при утреннем свете трансформируется в ключевое слово. Ведь как случилось с тем сном про детскую рубашонку? Всю свою гадательную энергию Матрена направила на выяснение, который из братьев снился, живой или умерший, — ничего, ничего нельзя брать во сне от покойного, даже если очень настойчиво предлагает! А пойдя она тогда другим, более предметным путем, быстрее бы разгадала и успокоилась, поскольку кто предупрежден, тот вооружен.

Сон выслушала с пристальным интересом.

— Ты подумай, диво какое: оба сна — к болезни, мне еще моя мама-покойница, Царствие ей Небесное, сказывала: живых раков видеть — занедужить. И про зубы то же самое: как зубы снятся, так хочешь не хочешь, а в доме будет больной. То-то я смотрю с

утра, девчонка чимурит, а у ней жар; горячая, что печка. — И тут же повернулась к дочери: — Надо окна завесить, с корью не шутят: не дай Бог, ослепнет. Я нашла старые шторы, еще с мирного времени. Ничего, что рваные; повесь, и к месту.

С корью не шутили: окна завесили. Но и корь не шутила: крепко трепала девочку и отпустила неохотно, разжав, наконец, корявые пальцы.

Старик был рад без памяти, но уходил на базар один, без правнучки: Матрена не позволяла ей выходить на улицу: «Вот потеплеет, тогда».

— Что тебе купить? — спрашивал он, натягивая сапоги.

Лелька сидела на диване, приготовив самые нужные для ожидания Максимыча вещи: пластмассовую ванночку с крохотным сидящим пупсиком, бутылку от одеколona в форме виноградной кисти и большую книжку в твердой красной обложке, на которой мудро и хитро переглядывались оба вождя.

— Папу.

— А? — переспросил бестолково, и она внятно повторила.

Матрена, сотрясаясь от добродушного, без горчинки, смеха, посоветовала:

— У матки своей проси, она купит, — и ушла досмеиваться на кухню.

Озадаченный такой просьбой, в первый раз он принес многодетную матрешку с веселым лицом, оправдываясь, что пап не было. Был другой день, и опять базар, и третий... Заказ не менялся. Максимыч приносил то свистульку, то петушка на палочке или кулек орехов и, еще стоя в дверях, разводил руками: не было. Если бы речь шла, к примеру, о кукле Барби и старику было известно слово «дефицит», было бы куда проще, однако слово «дефицит» войдет в язык лет через десять, существенно опередив во времени и пространстве Барби. А сейчас была совсем свежа в памяти война и никому не приходила в голову большая мысль лишать ребенка детства посредством игрушки-манекена.

Закономерен вопрос: а к чему был этот чуть ли не ежедневный базар, при том, что лишние деньги карман отнюдь не тянули? Чтобы удовлетворить такое любопытство, нужно только обратиться к толкованию слова; это и вообще надежный способ: слова, как правило, могут постоять за себя, выставляя свой смысл то прикрывающим щитом, то разящим мечом, в зависимости от цели высказывания. Как раз сейчас, когда старик смотрит вслед виляющему трамваю и прикидывает, ждать ли следующего или идти пешком, и так, не придя ни к какому решению, уже минует Еврейскую улицу, то есть идет по плотному, утопанному снегу, можно заняться персидским словом «базар», которое давно примерило на себя русский сарафан — тоже, кстати, персидское слово — да так в нем и осталось.

Гениальный русский лексикограф, как это принято, иностранного (в данном случае, датского) происхождения определяет слово «базар» как «торговлю на открытом месте», «торжище, торг, рынок», вторым значением присовокупляя «крик, гам, шум, содом». Из меню поговорок, сопровождающих слово, наиболее уместна, пожалуй, вот такая: «На базар ехать, с собой цены не возить». Вот почему и старик, и старуха появлялись на базаре, который теперь скучно назывался «центральным колхозным рынком», вскоре после полудня, когда сам базар был уже, что называется, на излете. Как местные, так и приезжие почти распродались и торопились домой, собирая нехитрую тару: мешки, корзины, бидоны. Фигуры за прилавками редели, голоса в павильонах звучали более гулко. Вот тут-то и наступало время пройти с рассеянным видом мимо спешащих торговцев и как бы невзначай, без интереса бросить взгляд на пустеющий прилавок: что там, сливки?.. Совершенно очевидно, что хозяин не повезет домой остатки, особенно, если день был удачный; определить же это — по углу наклона бидона, ящика или по вялости мешка — было проще пареной репы. А раз сливок осталось только на дне, то можно и не

пробовать — это сделали ранние простофили, они же и раскупили; поэтому довольная торговка, то есть представительница трудового крестьянства, и нальет в подставленную банку щедро, «с походом».

Вместо тусклых цинковых бидонов в павильоне, которые уже моют тугой струей из шланга, снаружи, под деревянными столами-прилавками, стоят на земле разлохмаченные мешки цвета выгоревшей хвои, утратившие утреннюю полнотелость, а с нею и спесивость. На дне еще бугрится картошка или тускло лиловет свекла, но хозяин бесцеремонно высыпает... точнее, собрался высыпать остатки в лоток, но как раз в это время и появляется — совершенно случайно, разумеется, — такой вот ворошиловский стрелок в лице Максимыча. Идет мимо праздной походкой и приостанавливается, чтобы, сняв рукавицу, одобрительно пощупать картофелины (морковь, свеклу, нужное вписать).

— Хороша; рассыпчатая, небось.

— А то, — с достоинством соглашается хозяин, косясь на вокзальные часы: скоро поезд.

— Взять, что ли, — задумчиво тянет старик. — Завчера принес, баба взялась чистить, а она с пятнами; полсетки выбросили вон.

Здесь главное — не перегнуть палку, поэтому Максимыч добавляет:

— Твоя, похоже, хорошая, не мороженная, — и держит паузу, но и руку тоже держит на картошке, не убирает.

Торговец, типичный остзейский тугодум, хватает нож с поистине осетинской пылкостью и так ловко швыряет картофелину на лезвие, что — воля ваша — никак не вяжется с местным созерцательным темпераментом.

— Смотри, — он распахивает плотный и чистый золотистый срез, — смотри!.. Это не картошка, это яблоко (груша, дыня, нужное вписать, но можно и не вписывать, ибо этой заключительной ремарки не последовало: все-таки хозяин не осетин, нет).

— Хороша, — с восторгом соглашается старик, — хороша! Почему она у тебя?

После столь убедительной демонстрации достоинств корнеплода продавец называет утреннюю цену, но, хорошо зная, что утро давно позади, делает маленькую — совсем крохотную — заминку, поэтому Максимыч отряхивает руки и медленно натягивает рукавицу.

— Я же с тобой не шутки шучу, — замечает укоризненно, — я же тебя про настоящую цену спрашиваю.

И знает, ох знает старик, что вокзальные часы за его спиной, и как раз туда, поверх его головы, кидает взгляд торговец, потом переводит взгляд на исхудавший мешок и... произносит другую цифру. Старик кивает:

— Свесь три килочки.

Торопливо, но ловко хозяин высыпает из мешка последние картофелины, они глухо стучат в мерную чашку, и гири весов недоуменно подсакивают. Он добавляет гирию, потом еще одну, но картошка перевешивает. Взгляд продавца становится чуть ли не просительным:

— Шесть с половиной. Бери все, дяденька, картошка хорошая!

На местном языке слово «дяденька» не имеет того жалобно-попрошайнического оттенка, как в современном русском, так что это прозвучало очень естественно, с весьма уместной почтительностью как к возрасту Максимыча, так и к его статусу покупателя. Чтобы эта сцена не казалась искусственно затянутой, следует только свериться с реальным временем, где она длится не более десяти минут, включая сомнение, надежду, обмен репликами, снятие и надевание рукавицы, разрезание и взвешивание; эти десять минут отсчитаны беспристрастными вокзальными часами. Истекло ли это реальное время или вот-вот истечет, чего и боится хозяин картошки, неизвестно, однако он уже держит на

весу мятую алюминиевую емкость, наполненную доверху, в то время как покупатель неторопливо достает из-за пазухи... не кошелек, нет, и не бумажник, а именно портмоне, и раскрыв очень бережно, чтобы не потревожить резким движением его пожилой возраст, вынимает одну синеватую ассигнацию.

— Я бы взял, — говорит старик, адресуясь более к портмоне, чем к торговцу, и только потом поднимая глаза, — я бы взял, да у меня всего пятерка осталась. Жалко, такое добро... ты уж отсыпь.

— Да я уже свесивши! Куда ж мне назад сыпать?.. Бог с тобой, дяденька; забирай всю.

Продавец решительно и быстро пересыпает отборную картошку в полотняную торбу, которую Максимыч извлекает на свет куда проворней, чем портмоне. Одинок скучавшая в потемках портмоне ассигнация вначале попадает в неряшливую разноцветную компанию сородичей и сразу после этого с сердцем, пронзенным английской булавкой, тонет в душном сапоге торговца.

Ошибкой было бы полагать, будто стоящие по ту сторону прилавка не были осведомлены о хитростях находящихся по эту сторону; знали, будьте покойны, и не только не возмущались, но спокойно принимали это знание, ибо таков закон торжища: на базар ехать, с собой цены не возить.

Был и другой резон в пользу базара, привлекающий даже таких неимущих покупателей, как старуха и старик. Возвращаясь с полной торбой, запыхавшаяся и румяная от возбуждения, старуха ликовала: совсем как в мирное время! Такая параллель всегда означала высшую степень похвалы; применительно же к базару определяла сущность той формы торговли, которая была единственно понятной старикам, торговли не только от слова «торговать», но и от «торговаться». Как «в мирное время» она могла предпочесть один неповторимый букетик редиски восемнадцати другим, и он стыдливо краснел у нее в корзинке за свою избранность, так она могла сделать это и сейчас, но не в любой зеленой лавке, а только на базаре. Более того, выбери она два букетика, скидка была обеспечена, хоть и пустяковая, и скидка такого рода распространялась на любые покупки.

— Берешь пяток яиц — плати за пяток; а два десятка уже получаешь за... это сколько же будет? Вот я и говорю: как за пятнадцать, да я выбрать могу, чтоб давленное не всучили! А в этих... лавках, — мамынька не могла себя заставить произнести слово «магазин», — разве дождешься?!

И Тоня понимающе кивала: она тоже хорошо помнила «мирное время», хоть слово «магазин» выговаривала привычно и без эмоционального акцента. Если бы ученый зять случился при таком разговоре, он улыбнулся бы и не преминул вставить: «Что ж вы хотите, мамаша, чтоб закон оптовой торговли соблюдался при самой прогрессивной экономике?» Непременно что-нибудь эдакое ввернул бы, и Тоня пригвоздила бы его укоризненным взглядом, а теща, повернув свое полное, разгоряченное лицо, сначала уставилась бы недоуменно, а потом махнула величественно рукой: бздурь, мол; и еще много чего добавила бы про мирное время, как будто он сам не знал. Однако Федор Федорович, который обыкновенно любил побеседовать со старухой, вернее, послушать ее и восхититься про себя свежестью восприятия, сейчас был молчалив и не улыбочив, а то и не слушал вовсе.

И еще один довод в пользу базара, с которого, может быть, следовало начать эту апологию. Отправная точка — второе значение слова: «крик, гам, шум, содом». Впрочем, в этом контексте крик мог быть — и скорее всего был — шепотом, а шум совсем негромким. Из людского крика и гама выпадало в осадок — или, наоборот, многократным повторением всплывало на поверхность — слово, другое, потом фраза... Иначе говоря, базар всегда был живой газетой, доставляя новости намного надежней, чем газета мертвая. Да; а как иначе прикажете называть газетину, которую распяли на доске, как преступницу, и фасадом, и тылом, и мало того что заперли под стекло, чтобы никто не посягнул на труп,

так еще и казенного человека приставили — милиционера,дохнувшего от скуки и серьезности, но не теряющего бдительности?! Может, кто-то из приезжих и останавливался перед препарированной и застекленной газетой, но убедившись, что «Городская правда» ничем не отличается от их «Пригородной правды», спешил дальше, боясь подумать, что случилось бы, будь в каждом городе своя правда, и не воспаряя до размышлений о правде, запертой на замок.

Люди гораздо больше доверяли «живой газете», и старик тоже внимательно прислушивался к ее голосу. Что касается средств массовой информации, то, хотя понятия такого еще не знали, сами средства были представлены в двух ипостасях: газета (не живая) и радио — всегда хриплое, но громкое. Правда, назвать его живым только на основании издаваемых звуков было бы опрометчиво: шарманка ведь тоже звучит, однако живая не она, а тот, кто крутит ручку, и это не всегда папа Карло...

\* \* \*

Вот неделя, другая проходит, начиная отсчет куцему месяцу февралю. Солнце больше не кутается в серое небо, а светит всюду и даже пригревает. Февральские метели не успели еще затянуть свою вдовью — или волчью? — песнь и не намели свежего снега на осевшие сугробы.

Уже несколько дней подряд Лелька выходила с Максимычем гулять. Старуха, загодя готовившаяся к масленой неделе, озабоченно загибала пальцы, перечисляя все необходимое для блинов, и велела мужу походить и прицениться. Девочка больше не просила купить папу, и он успокоился.

Все испортила Матрена: завязывая Лельке платок под капор, напутствовала:

— Зараз купишь себе на базаре батьку, если у деда денег хватит, — и сама же первая засмеялась, вернее, первая и единственная.

Девочка помотала головой и уверенно ответила:

— Не хочу батьку.

— Как «не хочу»? — удивилась мамынька. — То каждый день донимала: купи да купи, а то: «не хочу».

— Не хочу батьку, я папу хочу.

— Иди, — махнула прабабка рукой. — Я ж тебе сказала: проси у матки, она тебе враз мазурика какого приведет.

— Максимыч, я не хочу мазурика, — тихонько жаловалась девочка.

— Ты на ветру не говори, а то опять болеть будешь, — беспокоился старик, но не о ветре, а о жене: на кой, Мать Честная, было растараканивать девку?!

Если бы знал он, что Матрена перестала улыбаться еще прежде, чем за ними закрылась дверь, а вернувшись в комнату, страстно помолилась за сироту, младенца Ольгу, может, и не досадовал бы так. Да ведь слово не воробей...

А и ладно, подумал внезапно, вот увидит сама, что папу-то не укупишь.

Стекла в трамвае немного подтаяли. Девочка сидела на коленках у старика и думала о том же — ведь мысль передается, хоть может принимать разные направления. Она пыталась представить себе длинные деревянные прилавки с игрушками, кофтами, варежками, только вместо продавцов стояли незнакомые папы, среди которых должен был находиться тот, из ее сна.

Во сне он стоял на кухне у буфета — высокий, в сером костюме, и выглядел куда нарядней, чем продавец из магазина на первом этаже, который огромными ножницами ровно-ровно отрезает куски от толстых рулетов с материалами. Он стоял у буфета,

немного наклонив голову, и смотрел прямо на нее, а на Лелькин вопрос: «Ты кто?» ответил: «Твой папа».

Он стоял спиной к окну, солнце было яркое, и серый костюм казался почти черным. Человек вытащил из кармана конфету и протянул Лельке. Она взяла. На картинке белый медведь стоял посреди льдины, прямо над буквами: «Мишка на севере». Тот улыбнулся: «Ешь!», однако сразу развернуть и съесть было жалко. Лелька очень хотела о чем-то спросить, но не могла вспомнить, о чем, а он молчал, только улыбался. Она несколько раз зажмурилась и вновь открывала глаза, и каждый раз он протягивал ей конфету, улыбаясь, как в первый раз, и конфета была одна, хоть она то закрывала, то открывала глаза, но ничего не менялось: серый костюм, папа, улыбка, конфета.

То ли сон был необычайно четким, озаренный солнцем и озвученный непривычным словом, то ли властно заявила о себе семейная традиция, но ребенок был не на шутку растревожен видением. Тогда-то и начались муки Максимыча перед уходом на базар, и даже сейчас он был так рассеян, что проехал нужную остановку. Пришлось выйти на следующей и пройти сквозь рыбный павильон. Старик не собирался там задерживаться, но Лелька восхищенно замерла: «Смотри, картина!»

Картина, потрясая воображение девочки, появилась на стене совсем недавно. На огромном полотне были изображены рыбаки, которые, борясь со штормом, в то же время вытаскивали из бурных волн сети, беременные таким уловом, что скромный баркас неминуемо должен был бы пойти ко дну. У рыбаков были мужественные, бесстрашные лица и элегантные серые шляпы. Художник изобразил момент, когда они высыпали на дно баркаса лавину серой, жестяного вида рыбы; ну, да если живописец готовился в айвазовские, то понятно, что в натюрморте силен не был. Иначе говоря, шедевром это назвать было трудно. Тем более удивительно было слышать, как странно переговаривались старик и девочка. Она спрашивала:

— Это что, «на море черная буря, так и вздулись сердитые волны»?

И старик кивал, подтверждая:

— Так и ходят, так воем и воют.

Их обходили, или, скорее, обтекали с обеих сторон, кто-то смеясь, другие раздраженно. Чтобы не толкали, старик обнял ее за плечи и отвел в сторону.

— Максимыч, а зачем у них сетка?

— А это и есть невод, помнишь, как у старика?

— Ты тоже так ловишь?

— Не-е, на кой мне столько. Да я и без лодки, я на бережку с удочкой. Вот снег стает...

Но девочка была поглощена картиной. Терпкий и въедливый рыбный запах ей не мешал, и время от времени она переводила взгляд на прадеда, который, по правде говоря, устал восхищаться.

— Пойдем, надо еще всего чего поискать, а то баба заругает.

Лелька вздохнула, и они двинулись дальше. Вдруг девочка резко дернула его за руку и потянула вправо, к большой витрине:

— Смотри, смотри! — отчаянно закричала она, тыча в стекло. — Максимыч! Золотую рыбку поймали!..

В витрине лежали шпроты. Тусклые шайбы консервов были уложены плотными рядами, и каждую банку украшала черная полоска с вытесненной золотом рыбиной. Ма-а-ать Честная! Сейчас заплачет.

— Посмотри хорошенько, — быстро заговорил Максимыч, — да разве это наша рыбка? Разве такая рыбка в твоей книжке? — Хотя навряд ли она сейчас что-то увидит, подумал он; Лелькины глаза налились огромными горестными слезами, и он вытащил из кармана

платок, продолжая увещевать: — Ну ты сама подумай: вон банок-то пропасть какая, где ж столько золотых рыбок напасешься?.. А книжка? Книжка твоя как называется?

— «Сказка о рыбаке и рыбке», — прошептала девочка и почему-то оглянулась на картину; как раз платок и понадобился.

— Вот видишь! А тут разве так написано? Ты читай, у тебя-то глаза хорошие!

— И губа не дура, — вставил какой-то проходивший балагур.

— «Штоты»? «Широты»?.. Максимыч!..

— «Шпроты», — снисходительно поправил старик. — Ну?

Он стер с ожившего лица следы переживаний, крепко взял правнучку за руку и повел к выходу.

— Дедушка Максимыч, мне очень золотая рыбка нужна, я у нее папу просить буду. Поймаешь?..

— Какая погода на Сретение, такая и весна простоит, — объявила старуха, вешая пальто. — Полная моленная, как на Пасху! Жалко, что к Тоне не пошли.

Праздничную заутреню старик отстоял. Как обычно, у выхода встретили Тоню с Федей; оба стали звать к себе, но вид у зятя был такой, словно тоже язва разыгралась, какие уж тут гости. Вернувшись, Максимыч сразу прилег, накиннув на зябнущие ноги старый вязаный платок. Он понимал, что Матрена соскучилась без младшей дочери, но сегодня с утра ныл живот и даже сода не помогла. Болеть дома надо.

— Не тискай деда, — строго предупредила правнучку старуха, — видишь, худо ему. Сядь, поиграй.

— Я ему «Сказку о царе Салтане» читаю.

— Читай про султана, только не лезь на него, спокой дай.

Старика немного мутило — от соды, должно быть. Из кухни шел запах, всегда такой желанный и вкусный, но сейчас хотелось закрыть дверь.

Ладно ль за морем иль худо?.. —

увлеченно читала девочка.

Худо, думал Максимыч. Может, надо было послушать доктора и резать? Так ведь кто ж виноват, что так получилось...

За морем царевна есть,

Что неможно глаз отвести:

Днем свет Божий затмевает,

Ночью землю освещает,

Месяц под косой блестит...

Но тут Матрена, которая приостановилась в дверях послушать, вдруг перебила:

— Что-о-о?! Месяц под косой? Неправильно в твоей книжке написано. — Подумав, добавила: — Гребень, наверно. Как есть гребень. — Она повернулась к мужу: — А ты помнишь тот, с хризантемами?..

От-т баба, старик машинально подкрутил усы. Как не помнить: сам выбирал.

Десятилетнюю годовщину свадьбы праздновать не стали. Но праздник — это одно дело, а подарок, чтоб на всю жизнь память была, совсем другое; иначе он не умел. И очень хотел, чтобы подарок был неожиданным, не как всегда. Купить еще одну брошку или цепку новую большого ума не надо было... хотя и броши перебирал он, и цепи с медальонами и без оных рассматривал, заставляя их послушно стекать между пальцами по твердой ладони. Откладывал, шел дальше. Сколько этих пещер Алладина он прошел, сколько раз приказчики распахивали перед ним бархатные футляры, где в атласных



потемках дремали ожерелья, браслеты, серьги! Сокровища эти были прекрасны, но тридцатитрехлетний старик отодвигал футляр за футляром, благодарил и шел дальше.

Драгоценности подобны цветам, а ювелиры — цветочницам: как только солнце начинает садиться, и те и другие сворачивают торговлю и прячут свой нежный товар от темноты. Оставалось два магазинчика. Нажав кнопку, он вошел в первый. Через несколько минут снова хлопнула дверь, впуслав молодую даму с орхидеями; следом вошел офицер. Перед Максимычем на черном бархате лежали камеи, словно фотографическая карточка выпускников гимназии, снятых в профиль.

От бездумного созерцания его отвлекло громкое «ах». Офицер быстро нагнулся и пружинисто поднялся, протянув спутнице оброненную заколку; и вот она, сняв шляпу, вновь прилаживает ее в высокую прическу, а приказчик услужливо поворачивает зеркало и замечает вполголоса: «Парижская работа, замочек деликатный очень, с густыми волосами намучаетесь...» Дама, узнав, что у нее густые волосы, благосклонно улыбнулась и спросила яшмовые серьги. «Сожалею, сударыня, — приказчик огорчился лицом, — зато имеются с малахитом, извольте взглянуть?..» Но дама уже натягивала перчатку, повернувшись к спутнику. Приказчик выровнял зеркало, отчего лицо яшмовой дамы пропало и криво вылез бок, на который легла рука в мундирном рукаве, промелькнул удаляющийся локоть и кивающие орхидеи. Бесстыжие цветы, что в них находят, раздраженно подумал старик и только со второго раза услышал вопрос приказчика.

— Для густых волос, и чтоб надежно, — ответил сердито.

— Заколки? Гребни? Имеются черепаховые японские, ручной работы, — приказчик ловко, как официант, убрал с глаз постылые камеи, отпер витрину и извлек на прилавок совсем другое.

К этому подошло бы название «убор». Поверхность, отполированная до гладкости кожи и даже теплая на ощупь, зубья цвета крепкого чая... Впрочем, слово «зубья» казалось неуместным; они скорее походили на тонкие, льющиеся пряди волос.

— Это, осмелюсь заметить, предпочтительнее для брюнеток. Для дамы или для барышни выбирать извольте?

Старик не слушал, он рассматривал инкрустацию: выполненный золотой вязью журавль с перламутровыми крыльями нес в клюве белые цветы, нежные и пышные.

— Хризантемы, — подслушал и встрял приказчик, — это у самураев вроде как у нас розы, самые авантажные цветы.

Чешуйки перламутра как нельзя лучше составляли рисунок цветков и чуть взвихренное оперенье птицы. Кто присмотрелся бы внимательнее — а именно это старик сделал, — то заметил бы и блестящий, совсем живой глаз журавля, откровенно говорящий: «Что, Гриша? Это тебе не орхидеи, тьфу на них совсем!»

— Для родственницы, — деликатно кашлянул приказчик, — или для супруги? — на что Максимыч невнимательно кивнул, обрешки бедолагу на полную неосведомленность, и продолжал рассматривать убор.

Трезубые изогнутые шпильки отверг не колеблясь: не дай Бог, ребенок в рот потащит. Отложил в сторону гребень и не удержался от тщеславного вопроса:

— Косу в аршин — удержит?

Приказчик, торговый человек, привыкший и к менее безобидным причудам, уважительно подхватил диалог:

— Толстая, должно быть, коса?

На что Максимыч гордо показал в ответ кулак. Это было так же убедительно, как и цена гребня, но покупатель не торговался, и приказчик, рад-радешенек, перешел в более доверительный регистр, даже голос понизил:

— Коли супруге дарить, то можно вскорости прибавления семейства ожидать; аист — он не только хризантемы приносит.

Старик хмыкнул добродушно: «Благодарствую» и весело добавил, что и без аиста, слава Богу, управились: троих родили. Хорошо поговорили.

Аист то был или журавль, а и года не прошло, как Тонька родилась, это тебе не Цусима.

...Вспомнилось все сразу и вперемешку, но очень ярко: шелест рисовой бумаги, в которую завернули гребень, шуршание отсчитываемых денег, почтительное: «С покупкой вас!», а дома — недоверчивое изумление жены, шпильки из распускаемой косы и — «дай, я сама, ты не умеешь», немой восторг, потом: «ах!», напомнившее даму, заколку и орхидеи эти, будь они неладны.

Он осторожно повернулся и увидел Лельку. Девочка стояла к нему спиной, а в зеркале был виден глаз, вздернутый нос и плотно сжатые губы. Она медленно поворачивалась из стороны в сторону и, кося глазом на обложку книги, строго рассматривала свое отражение.

Прежде чем позвать ребенка, старик перекрестился и шепотом повторил: «*Ныне отпущаеши раба твоего, Владыко...*»

Кончался праздник Сретения.

Сам по себе запах теста для блинов — так, ничего особенного, это не пасхальная сдоба, но обещает многое. Живя у самого синего моря, в рыбном краю, старики привыкли встречать масленицу со своими излюбленными деликатесами. И уж, конечно, эти деликатесы покупались не в рыбном павильоне: к описываемому времени трудящиеся уже отвыкли от изобилия и вспоминали о нем, только листовую толстую, с тисненой обложкой «Книгу о вкусной и здоровой пище», о которой при желании можно написать еще более толстую. Однако как ни хороши и аппетитны яства, там описываемые, а все ж на стол не подашь, тут и Матренины блины не помогут.

Помогали — рыбницы. Незаметные, в каких-то одинаковых серых платках и длиннополых пальто, эти женщины ходили с тяжелыми корзинами из дома в дом, как делали это прежде, в мирное время. Правда, тогда они не старались казаться незаметными, а, наоборот, громко и гордо возвещали на обоих языках о своем товаре. Этот достойный промысел советская власть давно и прочно занесла в графу «спекуляция», так что рыбницы соблюдали осторожность — так же, естественно, как их старые клиенты. Мужья ловили рыбу, а солить ее, коптить и продавать было прерогативой жен.

Старик со старухой были давними покупателями, некогда постоянными, щедрыми и почетными; теперь они перешли в разряд редких, но были по-прежнему уважаемы, наглядно являя разницу между почетом и почитанием.

Один раз повернулась бабочка звонка, издав короткий треньк. Старуха торопливо впустила посетительницу, осмотрела коридор, прислушалась и только после этого закрыла дверь.

— К празднику вам, тетенька. — Рыбница бережно приоткрыла корзину, затем развязала платок — в кухне было тепло.

Тусклые копченые угри, бронзовые шнуры миног, лососина в серебристой кольчуге с приоткрытой коралловой плотью, золотящаяся копченая салака толщины совершенно реликтовой — одним словом, рыбное «все что», и каждый ряд переложено промасленной пергаментной бумагой.

Старуха брала всего понемногу, и рыбница ловко упаковала ровные пергаментные свертки. Несколько фраз, процедура товарно-денежного обмена, и вот женщина уже тщательно закрывает корзину и завязывает платок. Нет, они не пили чай и не беседовали о

детях и внуках, хотя вполне могли бы, — впервые рыбница позвонила в эту дверь совсем молодой, держа под беременным животом тяжелую корзину: рыбы свежекопченной не желаете, сударыня? Слава Богу, в тот раз она ее здесь почти и разгрузила; с тех пор появлялась регулярно и всегда кстати. Шло время, из недели-другой складывались годы, и лицо женщины огрубело не только от соленого морского ветра, но и от этих недель, да и покупательница не молодела. У обеих рождались новые дети, а затем и внуки. Ни одна не помнила, чтобы между ними об этом говорилось, но какими-то непостижимыми путями и та и другая немало знали друг о друге; уж не рыба ли рассказала?.. Мало-помалу Матрена становилась — и стала — старухой, и рыбница, конечно, тоже, но друг для друга они, разумеется, не менялись. Когда рыбница не могла прийти сама, то бабочку звонка таким же коротким движением поворачивала ее дочка и вносила ту же корзину.

Здесь, у самого синего моря, менялись времена — и с ними нравы, моды, названия, флаги, правительства, деньги, но немногословная связь этих двух женщин оставалась такой же постоянной, как рыба и море, ее рождавшее. Те немногие слова, которые звучали, они произносили — из взаимного пиетета — на двух языках: рыбница — чтобы сделать приятное старухе, и *vice versa*, а что рыбница почтительно называла Матрену «тетенькой», хотя сама всегда была просто «рыбницей» и только изредка — Мартой, так то было уже традицией.

Сегодня старуха назвала ее Мартой: то ли давно не виделись, то ли потому, что и впрямь март был на носу. Рыбница Марта, подхватив корзину, отправилась дальше, к Моте, где ее ноша стала намного легче, от него к Тоне, а затем путь ее ведет домой, к самому синему морю, и след, заносимый февральской вьюгой, теряется — до следующей okazji.

Продукты, боящиеся тепла, держали не в холодильниках, о которых тогда не знали, а в погребах или темных кладовых; в холодное же время было еще проще. Прямо под кухонным окном снаружи дома в стену был встроены металлический карниз, похожий на корзину с редкими прутьями. Летом туда выставляли комнатные цветы, и тогда дождь заново лакировал фикусы, столетники с наслаждением вытягивали острые корявые пальцы и суежилась пустяковая герань. Но это еще когда будет, а сейчас, в феврале, старуха приоткрыла левую раму и уложила пергаментные свертки на решетку, где уже дождалась блинов тяжелая банка со сметаной. Метель дунула в лицо, моментально присолила снегом пакеты, а дерзкий февральский ветер сунулся за Матреной в теплую кухню, где сразу согрелся и утих.

А запах теста, обещавший так много, воплотился в блины, но описывать их можно, только хорошенько распробовав...

Первые блины ели у стариков, после Вселенской субботы. «Первые», но не первый: его старуха, перекрестясь, положила на окно. Не оттого, что он вышел комом: блин был ровным, золотым и ажурным, — а на помин усопших родителей, как делалось всегда.

На следующий день отправились к Тоне. Здесь все было иначе: как всегда, нарядный и обильный стол, вышколенные, почти взрослые дети, мебель в чехлах, и даже запах — нарядный.

Да, дети подросли. Сын Юраша уже хмурился на свое детское имя и хотел, чтобы его называли Юрием; лицом был копия отца, только волосы ежиком. Что ж, последний год доучивается, уже бриться начал, хотя что там брить. Его сестра звалась Татьяной... Вернее, была крещена Татьяной по настоянию молодого отца: влюбленный в жену, Федя радовался, что теперь у него будет не только Тонечка, но и Танечка. Малышку все, вслед за гордой матерью, называли ласково Таточкой, или Татой. Светленькая, с нежным голоском, приветливая девочка так Татой — или Таточкой — и осталась. Стеснительная, как все подростки, Таточка была нрава тихого и отличалась безропотным послушанием: старательно делала уроки, дружила с девочкой из хорошей семьи, играла на пианино, а недавно стала брать уроки рисования. Тоня очень гордилась и рисованием, и музыкой, и

только муж знал, что гордится она не столько успехами дочки, сколько самим фактом, что к ней на дом приходят учителя. Знал, но ничего поделывать не умел, да и не до того было.

Мамынька была в особенно приподнятом настроении, как почти всегда у Тони; Ира с Федей, тоже как всегда, переговаривались тихонько, голова к голове, и Тоня упрекнула с шутливой строгостью: «Сестра, шептаться неприлично! Где больше двух, там говорят вслух». Лелька, маленькая крестница, вдруг заплакала громко: крышкой пианино ей придавило пальцы, и девочка не успокаивалась, но в это время неслышно вошла кошка, остановилась и вытянула по паркету лапы в позе старательной прачки на берегу. Завороженная, Лелька сползла с бабушкиных колен и двинулась к экзотическому зверю. Женщины вслух сочиняли посылку Левочке: пятого марта парню исполняется двадцать один год.

Старик ел мало — не хотелось. Две рюмки холодной водки усыпили язву, и он немного повеселел. Зять, наоборот, был хмур и часто уходил в кабинет курить, но и курил как-то угрюмо. Справился о здоровье, медленно покивал, но рассеянно как-то, точно считал что-то в уме. На осторожный вопрос про больницу даже руками замахал: «Куда?! Там сейчас такая свистопляска, будто Мамай прошел, нечего и соваться!..» Уже в дверях столовой обронил непонятно: «Апокалипсисом пахнет».

Лелька пыталась кормить кошку черной икрой, поскольку сама этого продукта не понимала, но кошка оказалась упрямой. Пока не увидела жена, Федор Федорович отвел инициативную крестницу в ванную и умыл, повторяя все ту же непонятную фразу, хотя пахло блинами.

## 15

Посылку для Левочки собрали на славу. Максимыч придирчиво осмотрел шаткий, занозистый фанерный ящик. Экое паскудство; постукал молотком, укрепляя углы; вздохнул. Ира дописывала письмо, макая ручку в чернила и задумываясь, прежде чем поставить точку. Из комнаты пришла Лелька, обеими руками держа рисунок.

— Ты что за *чуперадлу* намалевала? — остановила ее Матрена.

— Это не чучело, — насупилась девочка, — это я кошку дяде Леве нарисовала.

— А кто ее царапал, кошку твою? — продолжала старуха.

— Никто. Это у нее полоски.

— Красные и синие полоски? Какая ж это кошка, это царский флаг. Бывало, как праздник, всегда молебен большой; ну и флаги вешали... как твоя чуперадла.

Лелька положила листок на стул и стала доводить кошку до совершенства, по очереди слюнявя то один конец карандаша «Победа», то другой. Кошка хорошела на глазах. Если слово «молебен» говорить много раз, будет очень похоже, как в моленной звонят. А флаг — красный! «Правда, бабушка Ира?» — «Правда, — улыбнулась та, — давай свое поздравление».

Может быть, Федор Федорович и верно сказал о запахе Апокалипсиса: на Лелькином рисунке тощая красно-бело-полосатая бестия, держа у бока красное знамя, шла прямо по неровным буквам «ЗДНЁМ АНЬГЕЛА».

На дно положили поздравление от крестных в отдельном конверте и несколько баночек икры. Старуха упаковала кое-что из Мартиной корзины и несколько носовых платков с собственноручно вышитой монограммой. Что приготовила для сына Ира, никто не знал; просто достала из шкафа сверток и переложила в ящик.

— Все, что ли, — засомневалась мамынька.

— Ну да, — отозвался старик, — а икру он как исть будет?

— С хлебом, — припечатала Матрена, — как еще.

— Хоть с хлебом, хоть с молитвой. Банку-то чем открывать, пальцем?

Это был звездный час Максимыча. Он вытащил из кармана свой складной ножик, быстро и привычно отогнул твердым ногтем все, что было отгибаемо, и, защелкивая обратно десертную ложку, произнес с торжеством:

— Можно и без хлеба. — Дыхнув, потер о рукав и протянул дочери: — Заверни в мягкое, чтоб не стучал. Пусть будет память от деда.

...Ножик ему подарил Фридрих. Таким же движением достал из кармана и вложил прямо в оторопевшую руку, игнорируя возмущенное «на кой», — бросить нож Максимыч не мог. Фридрих произнес только: «Золинген», будто это объясняло подарок. Ножик был не новый: судя по тому, что Фридрих с ним не расставался, можно было сообразить, что пленных в той, первой, войне обыскивали кое-как. Деревянная рукоятка была твердости и гладкости безукоризненной, а все лезвия внук и так помнил с закрытыми глазами. То-то ему радость будет, старик чуть подкрутил усы, да и потерять не потеряет, там особое колечко есть, на конце рукоятки...

Он так сладко задумался, к чему можно прикрепить ножик, что едва не пропустил свою очередь. На почте пронзительно и тоскливо пахло сургучом и влажной фанерой; люди, обступив высокие, неудобные столы и ссутулив плечи, поминутно тюкали в чернильницы казенными перьями, будто птицы клювами постукивали. Почтарь макал лучинку в железную бадейку, где пыхтел горячий сургуч, тянул длинную шоколадную соплю, шлепал на ящик; затем бережно припечатывал штампом. Молодой ведь мужик, недоумевал старик, наблюдая, как тот угрюмо пялится в бланки, записывает что-то в толстую книгу, потом опять ворожит с сургучом. Чтоб ему поближе банку поставить: ишь, тянет, чисто нитки мотает, а тяжелые ящики у него бабы ворочают. Правильно люди говорят: ума палата, да не почата.

На улице Ира начала высчитывать, дойдет ли к пятому марта. Сошлись, что на все Господня воля, и она заторопилась на работу.

Старик шел пешком, втайне надеясь нагулять аппетит. Конечно, не евши, так и немудрено, что с трудом ящик донес; хорошо, дочка не заметила. Мимо прошла цыганка, зацепила его взглядом, но сама же и усмехнулась: не клиент. Он тоже улыбнулся и даже потянулся к усам, но машинально; кого-то эта цыганка напоминала, что-то недавнее. Максимыч посмотрел назад, но люди, выходящие из трамвая, заслонили ее, и он увидел только мелькнувший и скрывшийся яркий платок. Да больше и не надо было.

Свой сон, подсказанный и заданный тем первым блином на масленицу, он вспомнил сразу. Папаша приехал откуда-то и привез матери в подарок платок: огромный, с тяжелыми кистями, в ярких цветах. Но вот уж отца не видно, а мать сидит и плетет косу, и маленький Гришка старается поймать в зеркале ее взгляд. «То ты», — произносит она наконец и целует его в голову, потом отстраняет и начинает распускать только что заплетенные волосы. Черные волнистые пряди покрывают всю спину, а она берет новый платок и повязывает, но не на голову, как обыкновенно, а на плечи; укутывается им и требовательно смотрит в зеркало.

Старик жил с этим сном весь следующий день, а душу щемило вдруг ожившее сиротство. После обеда прилег на диван, закрыл глаза и тут же увидел ее перед зеркалом, в новом платке, и как притянула его голову и поцеловала. А потом он забыл, как и все прежние, и этот сон, забыл напрочь, если б не цыганка.

Дома еще погадали, вовремя ли дойдет посылка и как там, в летном училище, дни ангела справляют.

Между тем посылка двигалась своим ходом, приближаясь, пока суд да дело, к месту и времени своего праздничного назначения. До суда, однако, «дело врачей» не дошло по самой уважительной причине: генеральный режиссер этого бреда умер. Умер, буквально

смертию смерть поправ, а кавычек нет, и пусть читатель не вздрагивает: поистине, своей смертью он избавил от смерти неисчислимое множество людей.

И посылка пришла вовремя. Но если день рождения невозможно было праздновать при всенародном трауре, то уж день ангела — самого милосердного ангела — в тот день чтили и верующие, и неверующие.

И было утро, и наступил новый день. Как всегда, около базара, у входа под виадук собрались инвалиды, но не было слышно ни обычной перебранки, ни зубоскальства: оттуда несся глухой вой.

Уберегла святая владычица: сегодня он ребенка не взял. Топчась на своих утюгах, они рыдали и вытирали красные, сморщенные плачем лица о плечи — или не вытирали вовсе. Скорбный вой нарастал; «убогонькие» приближались со всех сторон, голоса: «Батька! Сталин!..» и срываясь в булькающий хрип. Слава Богу, повторял Максимыч про себя, слава Богу, что не видит, и торопливо зашагал прочь.

Весна началась Великим постом. Март стоял голый и скудный, как стол, за который они садились, и даже мерзлая снежная крупа походила на обледеневшую перловку. В мясной павильон старуха не заглядывала, но по-прежнему приносила с базара яички и сметану для правнучки.

— В мирное время, — угрожающе говорила при этом Матрена, — она б у меня не смела в такие дни яйца исть; мы детей не так держали. — Готовить изысканные постные яства, как тогда, старуха уже не могла: постоянно обнаруживалась нехватка то одного, то другого, пока наконец махнула рукой: сыты — и слава Богу, сколько нам надо.

Надо становилось все меньше. Старик съедал несколько ложек каши, поблескивающей постным маслом, и отодвигал тарелку. Старуха бушевала, вина во всем папиросы:

— От-т махорка проклятая, грех один, даром что Великий пост!

Максимыч пережидал первые раскаты, потом кивал на зеркало:

— Грех?..

Мамынька с разгону замолкала, потом бросала с вызовом:

— Грех, — но тоном давала понять, что если зеркало и грех, то заслуживает прощения скорей, чем табачище, дьяволово зелье.

...Испокон веку, вернее, с тех пор, как появились зеркала, они почитались — если это слово здесь уместно — у староверов грехом, дьяволовым наваждением. Держать зеркало в доме — беса тешить; иконы и есть зеркало, ибо божественный лик являют. Но из всех способов тешить беса именно этот грех, будучи, в сущности, достаточно невинным, незаметно, но уверенно внедрялся в дома, где жили не только староверы, но и староверки; внедрялся и завоевывал все большую благосклонность жен и дочерей. А кто сам без греха, пусть бросит в них камень, только чтобы в зеркало не попал.

Впустив мало-помалу бесовскую игрушку в дом, хозяева, однако, тщательно соблюдали неписанный закон и вешали иконы так, чтобы святые лики не отражались в лукавом стекле. Отношение к зеркалу явно поменялось, но люди старшего поколения — и, конечно, мамынька — избегали подолгу тщеславиться, да и на кой. В родительском доме зеркал в помине не было, и, сколько себя помнила, она причесывалась «наизусть», чуткими, зрячими пальцами укладывая косу, когда та была еще в аршин и в кулак, а уж теперь-то и подавно. Другое дело платье прикинуть или что.

В комнате стоял шкаф с овальным зеркалом во весь рост и высокое трюмо, сработанные Максимычем. Лелька с удовольствием пялилась в оба зеркала и очень терялась и недоумевала, когда дверца шкафа распахивалась, уводя куда-то полкомнаты и притушивая солнце, бьющее в окна. Ей было строго-настрого запрещено молиться рядом

с зеркалами и заглядывать в них сбоку, чтобы увидеть край иконы. Удержаться от второго было очень трудно.

В мире — а значит, и в комнате — становилось все светлее и ярче. Весна приделась, распушила прическу и выпустила на молодую травку веселых желтоклювых дроздов. Близилась Пасха. На Страстной неделе Максимыч и Матрена стояли вечернюю службу каждый день, потом шли домой, почти не переговариваясь, каждый думая неведомо о чем.

И надо же — в ночь на среду мамыньке такая жуть привиделась! Она дома одна и топит плиту; кто-то в дверь стучит. Нет чтоб позвонить, раздражается во сне Матрена, но дверь отпирает. Собака. Стоит и глядит на нее осмысленным, совсем не собачьим взглядом. Прогнать бы, да и к месту; старуха машет, топает, но тварь только смотрит укоризненно. Идет в кухню, ложится прямо у плиты. Замерзшая вся, и между ушами у нее снег лежит. Матрена боится собаку, а прогнать боится еще пуще. Собака это понимает, а самое главное, знает, о чем перепуганная мамынька думает. Лежит перед топкой и смотрит неотрывно. Согреется и уйдет, думает старуха; в кухне жарко, но снег на голове у собаки не тает.

В тоске и смятении утром отправилась к Тоне. У дочери был сонник, а главное, нужно было поделиться.

Тоня выслушала сочувственно: такое — да на Страстной! — и принесла из спальни книгу.

— Собака, вызывающая симпатию... Нет, это не то...

— Какая симпатия?! — взвилась мамынька.

— Подожди, мама, я же ищу... — С тихим недоумением Тоня пропустила строчку: «твой бесстыдные влечения и животные страсти».

— Вот: «на тебя лает...» — она лаяла?

— Не-е, ни разу не гавкнула.

— «Кость грызет...»

— Не грызла никакую кость!

— «Собачьи ласки...», «собаки дерутся...», «ехать верхом на собаке...», «бешеная», «убить собаку», «собачья стая»...

— Говорю тебе: у ней снег на голове лежал и не таял!

— «Она грозит укусить...»?

— Посмела б она только кусить, — возмутилась мамынька и чуть прикусила губу, вспомнив о своем страхе.

Тоня прилежно дочитала всю страницу, но мать только сильнее раздражалась — то ли сон попался крепкий орешек, то ли книжка дрянь.

— Убери ты, к свиньям собачьим, ну ее совсем.

И уже в дверях обернулась:

— У тебя шафрану много?

Дома старуха не находила себе места, а толку? Невестка сон выслушала с любопытством, но поджала губы: нам сны не снятся. Мы романов не читаем. Кто был «нами», она не объяснила, но авторитетной интонацией дала понять, что клан могучий.

В ожидании Иры мамынька рассказала сон правнучке. Та поинтересовалась, не приснилась ли и кошка тоже, а потом попросила:

— Бабушка Матрена, расскажи про «бывало»!

Старуха часто упоминала это слово. Округлое, как облако, оно скрывало для девочки что-то никогда не виденное и далекое, и она была не только благодарным слушателем, но даже кивала иногда с таким знающим видом, что Матрена не могла сдержать улыбки.

— Про что тебе рассказать? — спрашивала она для разгона. — Разве про то, как меня папаша мой, Царствие ему Небесное, на ярманку брал? На-а-ро-о-ду-у! Отовсюду, бывало, понаехавши. Всего чего, а громко как! Я спугаюсь, бывало, так папашенька мне сразу пряник медовый покупал. Или крендель.

— На трамвае ехали? — деловито спрашивала девочка, уже увидевшая ту «ярманку» и петушка на палочке вместо кренделя.

— Зачем? У папаши свои лошади были. Сядем, бывало, в телегу — и махни драла! Там трамвая и не было. Это ж где, это в Ростове было, — спохватывалась она. Задумывалась и прибавляла: — Може, и сейчас нету, откуда ж?.. А как сватать меня приезжали?

Лелька кивнула:

Наутро сваха к ним на двор

Нежданная приходит...

— Что ты мелешь, — с досадой оборвала прабабка. — Я говорю, на тройке сваты приезжали, никто по дворам не ошивался.

Рассказывая, она временами замолкала, то ли пытаясь вспомнить родной дом тому назад пятьдесят пять лет, то ли видя себя и хлопотунью-мать, озабоченную неведомой судьбой красавицы Матрешки. И то сказать: отдать за богатого — гора с плеч, а там кто знает, как оно повернется. Долго, однако же, не думали: как вошли сваты да перекрестились на икону шепотью, так и не вышло долгого разговора; хорошо, что лошадей не распрягли.

— Шепотом перекрестились? — переспросила девочка.

— Не шепотом, а шепотью. Тремя перстами. Ос-споди, что за ребенок! Ну вот мы как персты для крестного знамения складываем? Правильно; а то православные были. Им что лоб перекрестить, что щи посолить.

— А ты?..

— Что — я? Я двумя перстами крещусь, — и Матрена сложила пухлые пальцы.

— Не-е. Как ты поженилась.

— То потом уж было. Прадед твой, Григорий Максимыч, посватался.

— Тоже на тройке? — с надеждой спросила девочка.

— Нет, верхом приехал, он и папаша его.

Для Лельки это было привычно и понятно:

Сват приехал, царь дал слово,

А придание готово:

Семь торговых городов...

— У нас на Дону, — строго перебила Матрена, — приданое за невестой не дают, этого и в заводе нет. Жених ее с ног до головы одевает как куколку. — Она помолчала. Нет, приданого у нее не было, если не считать искусных в рукоделии рук; должно быть, потому мать и дала ей с собой тяжелую штуку льна, но это уже потом, когда уезжать собрались.

Громкое шипение плиты вспугнуло зыбкое облачко «бывало», и оно уплыло куда-то далеко. Старуха бросилась к плите.

— Весь суп выплывет, — укоризненно закричала она, — что ж ты не говоришь ничего?.. — будто Лелька была виновата.

Вечером мамынька взялась за Иру.



— Вот ты книжки читаешь, — начала она, косясь на невесткину дверь, — може, там пишут что про сны?

Собака, нетающий снег, и как смотрела — все по кругу, чуть не опоздали к вечерне. Глядя на тревожное лицо жены, старик догадался, что сон не отпускает. Ну а это не грех — во время молитвы про собаку думать? Да если подумать — все грех; опустил глаза на сложенные руки. Рядом стоял старший сын. Все здесь, привычно и покойно думал Максимыч, кроме Симочки, этот давно забыл дорогу в храм. Хорошо, если на Рожество и на Пасху заглянет, а уж к исповеди Бог знает сколько не ходивши. Андри нет, Царствие ему Небесное, и где он упокоился, Бог весть. И ведь какие разные от одних матки с батькой! Старшие, Ира с Мотей, лицом в мамыньку пошли, а гордыни от нее ни капли не взяли; Андрюша такой же был. Младшие, Тоня с Симочкой, наоборот, с виду — в него, а спесивы, как три рубля.

Под конец размышлений чуть было не усмехнулся, да вовремя убрал улыбку в усы. Выходит, поровну: кроткие и гордые. *Будьте кротки, как голуби, и мудры, как змии.* Грех, спохватился он, не о том думаю, хотя в глубине души знал, что мысли не отпустят. Да и где думать о главном, если не в храме?..

На улице был только один фонарь, и человеческий поток редел медленно.

— Что ж ты раскапустилась? — недовольно спросила у Иры зоркая мамынька.

— Голова болит, — процедила та, разжевывая таблетку.

Федя зашел сбоку и взял ее под локоть:

— Тебе надо врачу показаться, сколько можно мучиться. Я прямо завтра и разузнаю. — И тут же повернулся к тестю: — Будем обследоваться, папаша, зачем тянуть.

— Не надо, — махнула старуха рукой. — Еще с масленицы отпустило, даже соду не пьет. У тебя ведь не болит? — спросила у мужа.

Нет, не болело.

«Прямо завтра» у Федора Федоровича не получилось: замотался, хоть ненавидел это слово, на работе. Да он и не любил ничего делать второпях, а надо было решить, к кому лучше обратиться. Хорошо, что теперь было к кому: желтый бред кончился, умер, канул в прошлое. Можно было выбрать любую формулу — главное, что его больше не было. На дверях кабинетов опять появились таблички с исчезнувшими именами, и оживленней становились в коридорах клиники. Но, к изумлению Федора Федоровича, радовались не все: нашлись и разочарованные, причем по обе стороны кабинетных дверей. Остаться слепым и глухим было невозможно, и нет-нет да и взлетала рука, терла щеку. Вождь умер, но дело его бессмертно. Вот и пойми, кончилась эта чума или перешла в латентный период, но таких вопросов Феденька никому, кроме себя самого, не задавал.

Дома тоже было хлопотно, правда, хлопоты были только приятные. Сын заканчивал десятилетку, и Федя с Тоней, как любые родители, ни о чем не могли думать, кроме экзаменов, аттестата, выбора будущей профессии, а значит, института, и думали об этом едва ли не больше, чем сам Юраша. Разумеется, Федор Федорович хотел, чтобы сын поступал на медицинский факультет, и хотел этого так же страстно, как тот, прежде никогда родителям не перечивший, не желал об этом слышать. Его можно было понять: если ребенок с детства видит такое количество скорбных зубами, сколько их видел Юраша, он может либо стать фанатиком и продолжать дело отца, либо возненавидеть и больных, и врачей любого профиля на всю жизнь.

Фанатиком сын не стал. Он успешно учился, но никаких предпочтений в школьных премудростях не выказывал, поэтому в доме все чаще стали говорить о политехническом институте: на то он и «поли», чтоб из него вылущить какое-то «моно» — и прикипеть

душой. Представить себе, что можно жить и работать без этого последнего компонента, Федор Федорович не мог, как не мог бороться с набирающим силу снобизмом жены.

А тут и пасхальные хлопоты. Конечно, шафран у Тони нашелся, да что там шафран — все нашлось, ибо директор «Центральной бакалеи», примерив новые зубы, не только свечки ставил за Федино здоровье. Описывать подготовку, стол или просто меню было бы негуманно по отношению к читателю, тем более что было уже описано, было.

В этом году пасхальное застолье отличалось от предшествующих не только изобилием, но и многолюдностью, так что между стульями пришлось класть доски, чтобы всех усадить.

Симочкины ребяташки, все трое, сидели рядом с Лелькой, которая приходилась им племянницей. В этот раз появилась Таечка, но только к застолью: в моленной ее не видели. Зато сюда пришла зачем-то с подругой, отчего мамынька не только вскинула бровь, но и нахмурилась: такого в заводе не было, чтоб чужих за пасхальный стол звать вот так, «просто с мосту». Другое дело — Надька. Намекнула, что хочет сестру Ирэнэу пригласить; что ж, пусть приходит. Им-то она — никто, а невестке — своя. Пришла с дочкой, на пару лет только постарше правнучки, а вышколенная, без книксена слова не скажет. Сидят с Надькой, между собой трещат не по-русски и быстро-быстро, чтоб не понять было, да где в таком шуме расслышать?..

А вот Камита, Ирина крестная, которую встретили на кладбище, была самой почетной гостьей. Сколько лет не виделись, шутка сказать! До войны они владели несколькими домами на Нижней улице, жили в достатке, а уж сколько жертвовали на храм, на богадельню, на сирот... Кто сейчас помнит об этом? Муж после Сибири прожил недолго, детей Бог не дал. На Нижнюю улицу Камита ни ногой — что ж душу теребить; живет где-то около Маленького базарчика.

Старик сидел рядом и старался не мешать разговору дочки с крестной. Камита погладила Лельку по волосам и повернулась к нему:

— А что, Григорий Максимович, с тобой да Матреной уже четыре? — Она с улыбкой переждала его недоумение и пояснила: — Четыре поколения, — кивнув на правнучку, которая забиралась на колени к матери.

Максимум был потрясен простотой и величию истины. Он молча переводил взгляд с одного лица на другое. Мотя рядом с четырьмя детьми выглядит старше своих лет. Сенька почти лыс. Старшие внуки говорят совсем мужскими голосами. Красавица Тайка в алом шелковом платье держит Лельку на коленях... Ну да: внучкина дочка, так и есть — четыре. Налил себе водки, выпил; пожевал упругую корочку пасхи и долго сидел, улыбаясь и старательно выравнивая кончики усов, время от времени недоверчиво покачивая головой.

Во главе стола Матрена голосом и взором свой пышный оживляла пир, хоть необходимости в этом не было ни малейшей. Гости разговелись и насытились, поэтому их голоса напоминали антракт в театре, где общий ровный гул то и дело разбавляется отдельными репликами и обрывками разговоров.

— Кто ей шьет, неужели мать?..

— Зависит, сколько до этой работы ехать. Если по часу, так мне и денег этих не надо...

— Какая ты большая выросла, скоро в школу пойдешь!..

— Из селедки все кости вынешь, порубишь мелко...

— Сабинка, проше пани, как мою матку...

— Вот получит аттестат зрелости...

— Не, млека немае, нету...

— Я сказала: или — или, сколько можно на двух стульях...

— А он?..

- ...в танке горел! Мы за Сталина жизнь отдавали!..
- Бывало, дашь дворнику гривенник, так потом...
- Потом яйцо крутое покروши, и опять майонез, но лучше...
- Лучше бы, может, по докторской части, ввиду того...
- Он сразу: «Что ты имеешь в виду?»...
- А ты?..
- Ты мне налей красненького, во-о-он того...
- Он «того», я тебе говорю, думает, на дуру напал...
- Ма-а-ам, а ты не уйдешь?..
- Чья это такая цыганочка? Тебе сколько лет?..
- Сколько лет, сколько зим, Камита Александровна, Христос Воскресе!..
- Когда все сложишь, вот так руками немножко помнешь...
- Осторожно, детка, ты мне помнешь платье новое...
- Это еще в мирное время было, когда приносили домой...
- Домой приходят, и по музыке, и по рисованию, а как же иначе?..
- Иначе, говорю, ты даже дорогу сюда забудь...
- А он?..
- Не забудь: желтки отдельно, белки отдельно...
- Отдельно, конечно. Пианино всегда в понедельник и в среду...
- В среду, на Страстной, мне во снях такое...
- Что такое там, на овальном блюде, во-он... Да!..
- Да я... Я хоть сейчас за Сталина драться готов!..
- И готов! Как вскипит, сразу поставь в холодное...
- Ты холодное не пробовала? Объединение!..
- Ма-а-м, ты не уйдешь с тетей, ма-а-ам, ты не...
- На третьем курсе, а в летнее время...
- А сколько время?..

Лето, пыльное, горячее и веселое, наступило быстро — как на велосипеде въехало — и громко звенело по городу. Максимыч намекнул правнучке, что сначала можно на речку, а потом в парк, но старуха и слышать об этом не хотела. Нет, и к месту.

Она была крепко не в духе, но если бы спросили почему, то разгневалась бы не на шутку, ибо и сама причины не знала. Даже молилась с напряженной бровью, что уже ни в какие ворота. Лельку, которая ходила за ней по пятам, чтобы послушать про «бывало», сурово отослала в комнату и велела собираться в баню. Девочка обреченно притихла: баня с бабушкой Матреной была испытанием на стойкость. Духота; все неприличные, потому что совсем голые, даже продавщица из хлебного магазина; вода нестерпимо горячая, и как ни жмурься, в глаза попадет мыло. Баба Матрена будет ругаться, что она плачет, а она не плачет, это из-за мыла слезы текут. Потом водой окатят и понесут вытираться. Тут не передохнешь: бабушка закрутит в пушистую простыню так, что трудно будет дышать. О том, как будут расчесывать волосы, лучше не думать.

Матрена яростно выдергивала из крахмальных стопок нужное, с досадой убеждалась, что вытащила не то, а «то» — в самом низу, и гневалась еще сильнее. Ос-с-поди, Иисусе Христе, что же это делается?..

Все, что ни делалось, делалось, по мнению мамыньки, не так. Все жили неправильно и не только не слушались доброго совета (понятно чьего), но упорствовали в своем «не

так». Уж на что Тонечка: всегда на ней сердце с отрадой успокаивалось, а поди ж ты — выкамаривает с детям сама не знает что. Ты научи девку, что сама умеешь, она тебе потом спасибо скажет; ей школу кончить — и замуж, на кой эта музыка?! И Юраше мозги спортили: нет, чтобы Федя к зубному делу парня привадил — и чисто, и благородно, и копейку считать не прискучит. Так нет: мало того что десять лет в школе сох, его в институт пихают — говорят, еще на пять лет волынка.

Ирка тоже хороша: то в молчанку играет, то платок завяжет и лежит — голова болит. А у кого не болит? В запальчивости риторического вопроса старуха упустила, что как раз она головной боли не знала. Кому бы помолчать, так это Надьке: как в двери, так и затрещит, так и закудахчет. Под воскресенье волоса закрутит, напудрится — и к сестре. Замуж ей надо; и сама еще хоть куда, и Геньке твердая рука нужна. Только не так все просто: вернется под вечер туча тучей, даже не трещит, туфли на каблуках так в угол шваркнет, что ясно — очередь не стоит ни за ней, ни за сестрой. Може, и стояли бы, да на войне остались, а кто вернулся, того не надо — вон ползают около базара, покромсаны, что короли да валеты, христарадничают...

Она с сердцем выдернула детский сарафанчик, переложила на стул. Да... Про Симочку думать было особенно больно, но не думать не получалось. Дармоедом живет, и хоть бы хны! Не сватался, не женился, а уж третий народился. Так все и записаны на маткину фамилию. Чем ему Валька плоха? Да если плоха, спохватилась старуха, что ж детей-то на свет пускать? Та тоже хороша: «Уеду, уеду, Польска, Польска», однако дальше раковины — кровищу смыть — не едет, да Симочка и не пускает, все ее бумаги спрятавши. В кого, Господи?! Стыд, стыд-то какой!..

Вытащила махровую простыню для ребенка, льняную для себя: привычка. Так, теперь что? — исподнее и чулки.

На Мотю посмотреть. А что Мотя? Вроде все есть, живут как люди, дети здоровы, слава Богу, дом — что картинка, сад-огород, только радости в глазах нету. А откуда ей взяться? — Пава так и честит его, даже детей не стесняется. За что? — чистосердечно не понимала старуха, ведь домой вернулся, из дому ни шагу; за что?!

Мочалка большая, мочалка маленькая, мыло; расческу не забыть. Она выволокла из-под кровати овальную цинковую ванночку и большой эмалированный таз для себя: общие шайки — Боже сохрани.

Этот простофиля... чего удумал: ребенка на рыбалку тащить, унеси ты мое горе! Мамынька смутно догадывалась, что грехи детей, подлинные и вымышленные, в натуральную величину или несколько раздутые, стали привычны, как утренняя боль в пояснице, тогда как своеволие мужа настораживало, ибо к такому она не была готова. Не то чтоб он поперек говорил — до этого, слава Богу, не дошло, разве он смеет? — а только мамынька знала, что если не говорит поперек, так не потому, что не смеет, а просто не слушает ее, и от этого раздражалась пуще. Вот как сегодня: сказано, чтоб и думать забыл про свои бздуры, а он стоит с удочками, усы скубает и — ей-Богу! — улыбается. Передается мысль, передается.

Старуха остервенело упихала в полотняную торбу всю банную снасть и недовольным голосом позвала девочку:

— Я что, целый день тебя поджидать буду?

Хоть мысли и передаются, раздражение и недобрая досада жены не догнали Максимыча. Он сидел на берегу речки, удовлетворенно покручивая усы. Пару раз леска уже многообещающе натягивалась, и старик оставался на месте, хотя ныла спина, и надо бы походить, размять.

Старик много раз представлял себе, как внук открывает ящик и достает Фридрихов ножик. Вряд, чтоб у кого из парней другой такой был. Про тот крючок, что в рукоятке, он

так Левочке и не рассказал, все отговаривался: подрастешь маленько, тогда. А сейчас внук кончает свое училище, и как домой приедет, так скажу: сам нипочем не догадается.

Мысли перескочили на Фридриха. Вот с кем больше не свидеться. Максимыч ругал себя, как мало знал о нем, мало расспрашивал. Откуда он — Германия тоже большая? Так и застряло в голове: «фатерлянд», даже голос Фридриха слышал. С какой семьи? Сам немец никогда не рассказывал; може, сирота? Одно знал: ни жены, ни невесты у Фридриха в «фатерлянде» не осталось, но старику было любопытно, каким он был в детстве. Человек начинается в ребенке. Улыбнулся, подумав о правнучке. Вся в Иру, matka там и не ночевала. Тоже из кротких, словно шепнул кто-то. Он полез за папиросой.

Сколько ни старался, не мог вообразить Фридриха мальчиком, зато осязаемо почувствовал теплую пыль под собственными босыми ногами: вспомнил, как бежал навстречу отцу, скачущему на коне, и храп осаживаемой лошади, а остаток пути к дому — с отцом, сидя впереди него на непривычной высоте, когда лиц других ребятишек уже не видно, а только макушки. Вспомнил отцову фуражку с красным околышем, которую всегда старался надеть таким же ловким движением, как он, а фуражка неизменно напознала на уши, норовя скрыть весь белый свет. Мать, выбежавшая на крыльцо, тревожно ощупывает глазами не мужа, а сына, и отец, должно быть, хмурится, но Гришка этого не видит. Он смотрит на мать и немного стыдится ее маленькой, худенькой фигуры: точно девчонка, и не скажешь, что уже четверых родила; другие казачки вон какие дородные. Он знал, что был у матери любимцем — вот как Симочка у бабы. Усмехнулся. Опять вернувшись в тот летний полдень, увидел отца в доме, с влажными после умывания волосами на лбу. Все уже за столом, и он, перекрестившись, режет хлеб щедрыми ароматными ломтями, а потом первым погружает ложку в щи.

Клюнуло!.. Отбросив окурочек, начал осторожно тянуть. Не зря ждал, выходит. Ну, ну... вот он, родимый, губастенький мой! Чисто конь казацкий. Налим отчаянно извивался, и в лепке головы действительно было что-то лошадиное. Вспомнилось отцовское присловье: «без коня казак хоть плачь сирота».

Старик легко опустил налима в бидон. Теперь можно и разговеться, тихонько сказал сам себе, вытащил из кармана початую бутылку с водкой и сделал аккуратный глоток. Потянув за цепочку, достал часы и начал собираться домой. Связывая удочки, представил себе, как поставит бидон... Куда, на стол или на буфет? — лучше на буфет. А потом можно и в баню сходить, попариться... Про баню вспомнил, а Лелькино ведерко — для золотой рыбки — чуть не оставил, Мать Честная!

Вот это и есть старость, вдруг догадался он, одолев подъем на Кленовую улицу, которая и вправду была засажена по обе стороны выпуклого булыжника кленами. Нет, не то, что стало трудно подыматься или тянет прилечь, а что сам себя дитем видишь, да так ясно, будто в книжке картинки разглядываешь. Хотя таких ярких картинок в книжках не бывает. Старость — это когда детство ближе, чем минувший день. Тут ведь что вчера, что завтра — один в один, как солдаты. Вот внук появится: скорей бы, давно не виделись; да не забыть про крючок. Мамынька костит-чихвостит всех до одного, а на кой?.. Да скучно ей. Малолетство на память еще не приходит, вот и лается по-пустому.

Старик безнадежно взмахнул рукой, зацепив удочкой картуз. Остановился, поправил; вошел в прохладный сумрак парадного. Доживать надо, и чтоб в душе покой был, а как это растолковать — Бог весть.

Вот неделя, другая проходит, а Левочки все нет как нет. Надеялись встретить в июне, а приехал он только к Спасу, уже август шел к концу. Задержался в связи с распределением, да и приехал всего на месяц: ждала служба в далеком Севастополе, а у молодых военных не бывает долгих отпусков. Мать, неистово ждавшая его приезда со дня на день, была и обрадована, и растеряна. Новенькая летчицкая форма поразила воображение не только племянницы, но и соседей, которые встречались на лестнице и почтительно отступали к перилам, от чего Лева конфузился, как девочка.

Максими́ч тихо ликовал, глядя на внука. Старуха не отходила от плиты, что в августе было нелегко, но переубедить ее было невозможно: ребенок все на казенном да на казенном, должен домашнего поить. Взрослый... какое там «взрослый», Ос-споди, совсем мальчик! — так вот, взрослый внук поглощал бабкины пироги за милую душу и улыбался, глядя в ее разгоряченное радостное лицо. Он многозначительно переглядывался с дедом: не оттого, что хотел сказать ему что-то важное, а пряча за мнимой многозначительностью отсутствие нужных слов, как всегда бывает между любящими и близкими людьми, долго бывшими в разлуке.

Разговора с сестрой, забежавшей, по обыкновению, ненадолго, не получилось. Тайка окинула брата насмешливым взглядом и послала почему-то воздушный поцелуй, сопроводив фальшиво спетой фразой:

Нам разум дал стальные руки-крылья,

А вместо сердца — пламенный мотор!..

В ее голосе была какая-то уязвленность, отчего не только Левочке, но и всем стало неловко. Может быть, оттого, что впервые дочка не выбежала ей навстречу, а снова и снова примеряла перед зеркалом новенькую дядину фуражку и так была поглощена этим занятием, что не заметила ее появления?

Глядя на заразительно жующего внука, Максими́ч тоже поел, хоть и через силу, и теперь старался подавить накотившую дурноту.

— Ну, — спросил он, как будто и не расставались, — когда на рыбалку пойдем?

— Да когда хочешь, — внук с готовностью поднял голову, — хоть завтра! Дед, а чего ты такой худой?

— Исть не хочет, чимурит, — пожаловалась внуку старуха. — Пару ложек, вот и вся еда.

— А сколько мне надо? Я старый уже. Да и живот полный — не лезет больше, ремень чуть сходится.

— Дед, а давай лучше послезавтра? Тогда и дядю Федю с Юрашей позовем, а? Давно я не рыбачил!..

Поев, Левочка засоби́рался к крестным, хотя что там было собираться — он даже чемодан не распаковывал. Честно говоря, уходить было жалко, но у них просторней и, главное, привычней. Интересно, куда Юрашка поступает?..

Ехать — от силы полчаса на трамвае, но так не хотелось расставаться, что все тоже засоби́рались его проводить. Кроме сестры, впрочем: она ушла так же неожиданно и быстро, как и появилась.

На трамвайной остановке Матрена недовольным голосом провозгласила:

— Ишь, чисто табор цыганский.

Муж в который раз подивился: ну баба! Ведь такая радая, такая радая, а голос, будто ее в лавке обсчитали.

В трамвае, куда сели, конечно же, всем «табором», его снова затошнило от тряски. Лелька, глядя на дядю замороженными глазами, обдумывала, как попроситься к нему на самолет, старуха торжественно обещала пироги с яблоками: «Вот как Спас пройдет»; слава Богу, приехали.

У Тони сразу началась суматоха. Она кинулась накрывать на стол, а мамынька громко обижалась: «Он только от стола!» Дочь еще громче возражает, что не видела крестника три года; шутка, что ли, так теперь и чаю не попить?! Таточке велено было что-нибудь сыграть для двоюродного брата, и она смутилась до слез, однако села и послушно заиграла, но тут выяснилось, что тот не слушает, а разговаривает с Юрашей в кабинете, где, кстати, ставят уже его старую — еще с мирного времени, сейчас таких не делают — раскладушку. Тоня мечет на стол разные лакомства и одновременно готовит ванну для

племянника. Хорошо, что Федор Федорович отвлек Ирину разговором: не нужно ей видеть этот покровительственный взгляд сестры; скорее всего, она и не видела.

Левочка садится рядом с Юрашей и улыбается всем сразу, а улыбка у него совершенно чудесная и ямочки на щеках. Он очень похож на мать округлостью лица и этой молчаливой улыбчивостью. День и ночь — парень и девка, дивится Максимыч. В одной семье выросли, Мать Честная! Отодвигает рюмку и чашку, тихонько отодвигает, чтобы Тоня не обиделась. Тошно сегодня что-то; видать, переел. Целый день он ждал okazji, чтобы поговорить с внуком о ножике — есть там секрет один; но не получалось. Теперь уж на рыбалке поговорим.

В среду, на следующий день, праздновали Спас. Несмотря на вторую смену, Ира решила поехать на работу с утра, похлопотать об отпуске, ведь сын приехал. Мать, собираясь в моленную и закалывая булавкой шелковый платок, уверенно сказала:

— Дадут! Не смеют не дать.

Покосилась на спящего Максимыча. Левая рука его лежала под головой, а правая на валике, непривычно худая и бескровная, так что крепкие квадратные ногти, казалось, были ей велики. И правда, совсем сдохлый стал, встревожилась она и решила не будить: пусть поспит, завтра на рыбалку вставать чуть свет. Должно быть, Ира подумала о том же и взяла внучку с собой.

Старик проснулся от солнечного луча. Не сумев разбудить Максимыча сразу, тот дотянулся до зеркала и уперся в шлифованный край лукавого стекла, заразился этим лукавством и перекинул шаловливую радугу на лоб и глаза, отчего веки задрожали и открылись, чтобы сразу же сощуриться, а лучик запрыгал на усах, и старик улыбнулся. «Ты зачем меня щекочешь, Лелька, — негромко сказал он и повернул голову к окну, — Лелька?..» Все проспал, одним словом сказать.

Никого дома не было. Преображение Господне, Спас, вспомнил старик; все в моленной. На столе из-под салфетки был виден край тарелки — для него. Он даже не приоткрыл: от запаха еды может вернуться вчерашняя муть. После умывания встал на молитву.

Молился долго, осеняя себя точными, скупыми крестами и низко кланяясь, потом застывал, сложив руки замком. Ничего не было слышно, кроме шелеста отдельных слов, хоть губы двигались, а взгляда он не отрывал от Той, кому посылал страстную мольбу. Всю жизнь он прибегал к Ней, единственной заступнице, в минуты горя, восторга, тоски, досады, ликования, растерянности, торжества, унижения, гнева, смирения и отрады, потому так часто от сердца к устам летели слова: Мать Честная, Царица Небесная!.. О чем он молил Ее? Чего просил в это августовское утро Святого Преображения?

Он так пытливо и просительно вглядывался в светлый лик, что сам себе напоминал написанного на иконе коленапреклоненного грешника. Богородица же, Мать Честная, наклонив с пониманием голову к плечу, смотрела не на того, нет! — на него, Максимыча, но смотрела с печальным сомнением: ох, не знаю, Гриша, словно и вправду не знала. А може, и не знает, внезапно догадался старик, ведь вот свое дите держит, а про Него... знает ли? Старик давно отошел от канонического текста молитвы и, по-прежнему стоя прямо, со сложенными на животе руками, горько жаловался на что-то и смиренно просил: силы, дай мне силы, Мать Честная, просил настойчиво, как ребенок у матери. Разговор перешел на жену, и торопясь, обгоняя собственный шепот, старик оправдывался — и снова просил, теперь уже снисхождения. Ты не смотри, что она костопыжится, она добрая, просто нрав такой... как у полицейского. Вот она к Симочке что ни день бегаёт, думает, я не знаю, Мать Честная! Что Симочка — ей ребят жалко; да и Вальке легче. Ты не смотри, что дома она высмеивает Вальку: она жалеючи; Мать Честная, помоги! Кого ж просить, как не Тебя?..

Молился — и молил — о детях, о внуках, но о кротких ли паче гордых или наоборот, не слышно было, да и кому слушать-то? Разве зеркалу? Грешное стекло не отражало, слава Богу, святых ликов, но стоящего в профиль старика, со сложенными в замок руками, чуть задранной бородкой и усами, ни разу сегодня не приглаженными, — это лукавое стекло увидело и запомнило навсегда.

Ни души не было в квартире, однако Максимыч так и не поднял голоса, только шепот шелестел неразборчиво. Известно ведь: чем тише и смиренней молитва, тем скорее она будет услышана.

## 16

Весь день получился ленивый. Иногда старик дремал, и ему виделось, как они с внуком пойдут на рыбалку, и зять с Юрашей. Вернее, все будет не так: сам-то он с Федей пойдет, а мальцы впереди. Да так и надо, они ж соскучились; пусть. А сесть поближе к Левочке и так, в разговоре, спохватиться: я сегодня ножик не взял; у тебя с собой? Ну и сказать...

Уже темнело, когда старуха позвала пить чай, но Максимыч был такой вялый, что даже лукавить не пришлось. Так и спит не евши? А завтра чуть свет... Однако тревожить не решилась.

Он спал и удивлялся во сне: знал, что внук уже приехал, а ведь только что посылку ему отправил, как раз с почты идет. Впереди мелькнул знакомый платок, и Максимыч торопится, обгоняет людей; так и есть — та самая цыганка. Она тоже узнала его, кивает и манит за собой. Старик удивляется, но идет. Вот они оказываются на Песках, идут по Калужской улице, а идти все трудней: ноги вязнут в рыхлом песке. Он уже не удивляется, что цыганка уверенно заходит в их старый дом; просто идет следом. Женщина садится за стол, почему-то спиной к нему, и вынимает карты, ловко щелкнув колодой, будто веер раскрыла. «Я тебе погадаю», — говорит, и карты мягко шаркают по столу. Цыганка резко выдергивает несколько, и платок у нее развязывается. Она поворачивается — и он видит мать. Оторопев от радости, хочет спросить, когда и как они померли, но застывает: раз мамаша живая, то и отец, должно быть, жив, она ж молодая совсем. Бросается подымать упавший платок, но мать его останавливает и показывает карты: они все — чистые. Пустые.

«Чуть свет» — это было сильно сказано, конечно. Левочка прибежал в восьмом часу, один: Юраша сидит, зубрит, а дяде Феде сегодня на работу.

Мамынька провела увлекательнейшее утро: старик поделился своим сном, и теперь она, имея такой богатый материал, вслух примеряла все сочетания и знаки, которые должны были лечь в основу наиболее гармоничного пасьянса.

— Цыган всегда хорошо видеть, — звучал ее высокий, уверенный голос. — Вот мне, бывало, во снах сколько раз то цыган приснится, то цыганка — так все к прибыли.

Муж не стал интересоваться, о какой прибыли она говорит, только ус подергал, чтоб улыбки не было видно.

Матрена азартно продолжала:

— Мать увидеть — счастье тебе будет. — Задумалась: — Постой; это когда живую. А если померши?.. Знала я, да сейчас на ум не приходит. Надо у Тоньки спросить. Вот про карты знаю, но если играть. А что ж такое, когда тебе гадают, да еще родная матка-покойница? Только, если пустые, так може, это и не карты были?

— Карты. Целая колода, я и рубашки видел.

— Что ж такое, что пустые выпали? Дай покой, не скубай ты усы Христа ради!

Внук, терпеливо слушавший старухины гипотезы, быстро соскучился:

— Дед, а у тебя удочка найдется?

— А то! Вон, я у дверей поставил, и мне, и тебе.



— Ты смотри там, — значительно наказывала внуку старуха, — дед вчера совсем расквасивши был; долго не сидите. Мне к Тоне надо, у ней книжка есть...

Вставая из-за стола, Максимыч поперхнулся, но вместо того, чтобы сказать свое обыкновенное «Мать Честная!», бросился к раковине.

— Подавился, Ос-с-споди. Дай я тебя по спине стукну!

Но в раковине старуха увидела кровь.

Внук беспомощно сжимал в руке удочку. В училище бы сразу санчасть вызвали, а тут...

— Сынок, — закричала Матрена, — бежи скорей в аптеку, скажи, что коркой подавился, пусть позвонят, скоренько!

Левочка помнил этого аптекаря всю жизнь: толстые седые волосы зачесаны набок и чем-то густо пропитаны, а лицо такое красное, словно пемзой тер. Аптекарь посмотрел куда-то поверх его уха, выслушал и поднял трубку, повернувшись к Лева в профиль. Узнав адрес и ожидая ответа, спросил вполголоса: «Мастеру Иванову внук будете?..», но тут же вернулся к трубке и строго произнес: «Горловое кровотечение»... И опять к Левочке:

— Вы идите, сейчас «скорая помощь» приедет. Осторожно в дверях, — но Левочка не понял почему, он уже мчался обратно. С ним поеду, не хочу, чтоб один.

«Скорая помощь» оказалась очень скорой, и два дядьки привязали Максимыча к носилкам. Бабка кричала, что корка острая попалась, «може, протолкнуть надо, я по спине хотела постучать...» Бородка была в крови, и ему подставили под щеку кривую ванночку. Чтобы вырвало, догадался внук. Ира кинулась было следом, но санитар посмотрел хмуро: «Не надо, мамаша. Вон парень пусть поедет», и начали спускаться.

— Придерживай, парень, голову, чтоб не задохнулся, да не так: чуть набок и выше; ну да. Не разговаривай, нельзя ему.

Ехали быстро; миновали дедову больницу. Левочка удивился, но спросить было неловко. Вихрем проскочили центр и покатали через мост. Мокрым полотенцем, которое сунула в руку бабка, он осторожно вытер кровь с бороды, и Максимыч улыбнулся. Дед поглядел куда-то вбок над его головой и подмигнул, но Лева ничего не понял. Старик закашлялся, санитары осторожно приподняли его с двух сторон и посадили.

«Скорая помощь» сделала плавную дугу и остановилась, обрезав надпись: «...лезная больница». «Полезная»? «Железная»? Его подтолкнули:

— Парень, ты первый выходи, да в дверях осторожно.

Но он уже спрыгнул на тротуар прямо перед застекленной дверью: «Городская туберкулезная больница. Приемный покой». Деда ловко пересадили в кресло на колесиках и тут же укатали за дверь с матовым стеклом; Леву туда не пустили.

Из другой двери появилась пожилая врачиха и начала задавать вопросы про деда. Фамилия, имя, отчество? Национальность? Адрес? Год рождения? Он запнулся, припоминая, но точно вспомнить не смог. Пока докторша записывала его ответы, окуная ручку в широкую, как ступенька, мраморную чернильницу, Левочка бездумно рассматривал крахмальный белый колпак и странно покрашенные губы, словно она окунала их в помаду, как в варенье, а не мазала, так что рот принял совсем другую форму.

— Давно в мокроте кровь?

Он не понял. Врачиха объяснила. Левочка пытался рассказать про язву, а вообще-то дед здоровый, мы сегодня на рыбалку собирались, и...

— Это ясно, — усмехнулась врачиха своим неприятным ртом.

Может, она не знает, а то давно бы стерла лишнюю помаду?

— Субфебрилитет есть?.. Температура, спрашиваю, какая?

— Не знаю. Нормальная, наверное.

— Снижения веса не отмечали?

— Да, — торопливо заговорил он. — Три года назад, когда я на каникулы приезжал, он был... он не был такой худой.

Докторша начала кивать, как человек, наконец-то добившийся понимания.

— Распишитесь вот здесь, внизу. Значит, мы вашего дедушку госпитализируем. Не могу сказать пока. Нет. После рентгена, только после рентгена. Нет, к нему нельзя. Не волнуйтесь, тут все сделают.

— До свидания. — Он не знал, что еще сказать.

— До свидания. Молодой человек!

Лева обернулся.

— Здесь больница, а не аквариум, — произнес рот. — Вы хоть в дверях аккуратней!

Садясь в трамвай, он удивился, что не помнит врачихины глаза; даже не мог сказать, в очках она или нет.

Хорошо, что крестная сунула в карман деньги. Через час он уже вбежал в парадное и взлетел на второй этаж. Тоня открыла дверь и всплеснула руками:

— Лева, на кой ты удочку принес?..

Так безмятежно начался старухин день, так много сулил интересного! Она только начала обживать мужнин сон, расставляя, по своему представлению об уюте, все на свои места, даже к Тоне собралась: что там в сонной книжке написано, а потом и к Симочке забежать — благо, рядом. Только все, как известно, пошло кувырком. Растерянно пометавшись по кухне и наговорив Ире на весь отпуск вперед, она бросилась к Тоне, но отнюдь не за сонником; про Симочку и думать забыла. В прихожей столкнулась с потным, растерянным внуком, которого они с Тоней тут же закидали вопросами.

— Это что же, к чахоточным отвезли?! Он там Бог знает какую заразу подцепит и в дом притащит! Я говорю, корка острая попала... — Сама себя оборвала и подвела итог: — Федю надо.

Дочь и сама это знала, как знала и то, что муж вернется только вечером.

— Ты покорми ребят, мама, — сказала властно, совсем как мамынька! — а я к Федору Федоровичу в клинику съезжу.

Фразу она договаривала уже в передней, надевая перед зеркалом шляпку. Щелкнул замок сумочки, а потом и дверной, а Матрена сидела, обмахиваясь платком и обводя требовательным взглядом стол и плиту. Что ж, детям исть надо.

\* \* \*

Федор Федорович выслушал все подробности, включая, естественно, острую корку, записывая что-то на календарном листочке, и мягко выпроводил жену домой. Нужно было сосредоточиться, а Тоня говорила, как дома, громко и авторитетно; ассистентка не поднимала глаз от журнала, но страницы не перелистывала.

Оставшись один, он вытащил записную книжку, но не раскрыл. Сидел, потирая щеку и крепко зажмурившись. Как стыдно, Господи! Проворонил, проворонил. Крутился возле сына, как наседка, а тут... В туберкулез Феденька не верил, но... лучше бы туберкулез: санаторий, питание — дай Бог каждому, и — как новенький.

Щека горела. Он нетерпеливо листал книжечку. Кто там остался в туббольнице? Зильбермана, Зильбермана надо... он даже застонал чуть слышно. Февраль 53-го, инфаркт. Айбиндер? — Перевелась куда-то на Дальний Восток. Гельфанд, Гриндин, Девякович, Кушлер, Цейдлин, Шур... С кем же они теперь работают?! Кто, собственно,

«они», кто там главный? Можно, конечно, позвонить, представиться... После пароля «коллега» трубку не бросят — предложат зайти в приемные часы, когда один дежурный врач на отделение. Рискнуть? А, пан или пропал! Замер. Вот кто нужен, не там искал: пан Ранцевич!

Высокий и худощавый, совершенно лысый в свои неполные шестьдесят, но неизменно веселый, с насмешливыми голубыми глазами навывкате, доктор Ранцевич был таким ярко выраженным поляком, что иначе как «пан Ранцевич» его не называли. Бонвиван и женолюб, перед которым ни одна женщина, будь то медуза горгона из Минздрава или юная лаборантка с обкусанными ногтями, не могла устоять, и даже кариатиды, казалось, готовы были бросить балкон и идти за ним по коридору. При этом чаще всего он прогуливался по набережной в обществе матери, назвать которую старушкой было бы то же самое, что его самого — просто Ранцевичем.

Мужчины ему завидовали. Поговаривали даже, что на прием к Ранцевичу записываются дамы со здоровыми зубами. Женщины молчали. И с теми, и с другими пан Ранцевич был приветливо ровен и доброжелателен. О его доброте и отзывчивости, особенно в 52-м, знали немногие.

Федя — знал. Это было время, когда в день зарплаты пан Ранцевич заглядывал в тот или другой кабинет и собирал деньги, первым делая нескучный взнос, потом сам обходил квартиры арестованных коллег. Риск был огромный, но пан Ранцевич интуитивно знал, к кому обращаться не следует, высказываясь в обычной своей насмешливо-загадочной манере: «К пролетариям я не адресуюсь: этим нечего терять, а значит, не дадут». После паузы неожиданно добавлял: «Они только приобретают».

Курил он редко, но в верхнем кармашке всегда носил тонкий янтарный мундштук, который часто вынимал и быстрым движением проводил над верхней губой, вдыхая запах. Если бы вместо мундштука оказался карандаш или стебелек травы, этот жест был бы так же уместен не из-за какого-то особого изящества, а потому только, что принадлежал пану Ранцевичу.

Не прошло и десяти минут после телефонного разговора, как в дверь постучали и в проеме показалась лысая голова. Ассистентка Феденьки, заалев, потянулась к сумочке за зеркальцем, но пан Ранцевич уперся костяшками пальцев в ее стол и попросил «Вестник дантиста», номер м-м-м... третий. Нет, за прошлый. И четвертый... тоже.

— Проше, пани, — добавил ласково, склонив голову к плечу, и «пани» сломя голову бросилась в библиотеку.

Повернувшись к Федору Федоровичу, доктор проделал манипуляции с мундштуком, сел и тоже вынул записную книжку.

— Туберкулезная, вы сказали? Найдется, найдется кто-нибудь. Уже... И вот. И еще! Вопрос, кто нам полезнее. Вот что: я позвоню прямо сейчас, а поедем вместе, сразу после приема — м-м-м... через два часа, згода?

Это был очень хороший знак. Пан Ранцевич щеголял польскими словечками только перед теми, к кому был особенно расположен. Федор Федорович оценил, сказав «так» вместо «да», чем привел поляка в неопишуемый восторг.

— Доктор, — спохватился Феденька, — мне, право, неудобно затруднять вас...

— О, то бздуры, — поляк укоризненно покачал блестящей лысиной, уже набирая номер и трубкой прижимая разворот книжечки.

Деликатный Феденька к разговору не прислушивался, но тихо восхищался интонацией Ранцевича: заботливой, чуткой, почти интимной. «Целую ручки!» — весело закончил доктор и положил трубку. Заметив Федино смущение, громко протянул:

— Ну что-о-о вы, Федор Федорович, — и счел необходимым пояснить: — Я с этой дамой на конференции познакомился, в буфете. Там и телефон записал. Случайно

выяснилось, что она как раз прима-балерина в стоматологии, в нашей туббольнице. Это ж козырная карта! — Понюхал мундштук и задумался. — Холера ясная, я же убей не помню, как она выглядит... Прикус неправильный, так; и серьги желтенькие... — Но тут же вновь разглядел лицо: — Так что? Имя-фамилия есть; найдем. Данные о вашем папёнке я сообщил; стоматологи там не перегружены — вот пусть и встанет на охотничью тропу.

— Как бы его в Евр... в Третью больницу перевести, — заикнулся Феденька.

Пан Ранцевич потянулся за мундштуком.

— Вы правильно назвали, Федор Федорович, — серьезно произнес поляк. — Эта больница была — и будет, помяните мое слово, — еврейской, хотя бы потому, что там профессор... — назвал фамилию, хрустнув воображаемым орешком, — есть. Не надо бояться слова; а номер можно дать любой, это проформа. Кстати, мне эта, — глянул в книжечку, захлопнул, — курица от стоматологии хорошую мысль подала. Ни в одном стационаре нет таких возможностей, как в туберкулезной. По инициативе этой... шановной пани ему сделают любые снимки, понимаете? Еврейская может только мечтать о таком оборудовании. Я уже не говорю об анализах: все сделают cito. Затем вашего папёнку вместе со свежим анамнезом переведем в придворную больницу. Ну как, згода?

Федор Федорович восхищенно притакнул.

— А за это, — многозначительно продолжал доктор, — я приглашаю вас в ресторанчик. Это по пути, скоро за мостом. Никакого шика, но кухня отличная. Традиция, так уж повелось.

— Когда повелось? — изумился Феденька.

— От Адама, — просиял Адам Ранцевич.

Федя в голос рассмеялся, едва ли не в первый раз за последнее время.

— Доктор, — сказал он, вытирая платком лоб, — я вам очень благодарен, но мы непременно должны зайти ко мне. Теща места себе не находит.

— Тещу я беру на себя, — согласился тот.

И — взял.

Пока шел ритуал знакомства, старухины брови были многообещающе напряжены, но пан Ранцевич сочувственно выслушал рассказ об острой корке и кивал с таким пониманием, что Матренино лицо разгладилось, а когда она веско изрекла, что корка «шкоду сделала», доктор восхитился и даже про мундштук забыл. И вот здесь уместно заметить, что роли их поменялись: теперь мамынька взяла поляка на себя. И сделала это очень просто:

— Ведь вы прямо с работы, не евши?..

Даже непонятно было, кто двигался резвей, мать или Тоня. Пан Ранцевич, поняв, что вкусного ресторанчика сегодня не предвидится, сдался на волю хозяйки и присел к фортепяно. Когда вбежала Тата, он встал и поклонился; девочка зарумянилась, и доктор задал какой-то вопрос, наклонив голову к плечу, а через пять минут они уже играли в четыре руки мазурку под звон столового серебра.

Склонившись над бульоном, Федор Федорович изумлялся, как быстро один человек сумел не только расположить к себе целый дом, но и, что совсем уже необъяснимо, внести если не покой, то присутствие духа.

— Тещу вы свою недооцениваете, — говорил поляк уже в таксомоторе, — не так уж она не права. Язва там или не язва, а поцарапать пищевод и спровоцировать кровотечение могла и корка. Вот на это и будем пока надеяться. Эх, Зильбермана нет, вот клиницист был!..

\* \* \*

Говорить запретили строго-настрога, смешно даже: будто было с кем. Пришел доктор, очень толстый. Кила, наверно, посочувствовал старик. От доктора шел запах дорогого табака, но сейчас и табак был противен. Толстый начал задавать вопросы и объяснил, как отвечать рукой: если «да», опустите ладонь; если «нет», вот так подвигайте. Вроде как «сдачи не надо», понял Максимыч. «Разговор» вышел неинтересным и, главное, непонятым. Выходило, что у него чахотка? Старик несколько раз делал «сдачи не надо», но толстый продолжал спрашивать и писал. Да что я, как глухой какой, рассердился Максимыч, язык-то у меня на что, Мать Честная?!

Сказал, к негодованию доктора, про давнишнюю язву и что лечился в Еврейской больнице, неподалеку от дома. Подумав, добавил, что профессор знает, мол, про язву.

— Профессор...? — оживился толстый, знакомо хрустнув орешком. — Что же там «скорая» мудрит? — но этот вопрос был адресован не старику, а то ли медсестре, ладившей бутылку к капельнице, то ли тощей тетрадке, которую держал в руках. — «Скорую помощь» вызывали? Вот: «горловое кровотечение, 8.47, аптека №...»

— За столом сидел; ну, и худо мне сделалось, а там кровь; жена спугалась.

— Что ж у вас на завтрак было? — недоверчиво заерзал толстый.

— Что? Да чай. Хлеб, може...

Толстый пожал плечами.

— Посмотрим. После капельницы сделаем рентген легких, там ясно будет. — И снова пожал плечами, точно сомневаясь, будет ли ясно. — А пока старайтесь не разговаривать, — закончил, вставая.

Перед этим его долго катили в кресле по коридору и привезли в какой-то солнечный тупик. Пока ставили железный скелетик капельницы и шел этот несуразный разговор, старик ждал, не покажется ли внук. Он еще чувствовал руку мальчика под головой и прикосновение мокрого полотенца к бороде.

Когда толстый доктор ушел, он откинулся в кресле и закрыл глаза. Тошнота отступила, но навалилась такая усталость, словно дрова пилил целый день. В большом, во всю стену, окне медленно колыхались сосновые ветки. Максимыч так глубоко вдохнул запах хвои, что закружилась голова. Ах, ты... чисто Рождество, и не скажешь, что Спас.

Из длинного коридора слышались мелкие шаги. Появилась опрятная пожилая санитарка и тщательно протерла подоконник. Хвойный запах испуганно улетел от карболки и спрятался в соснах. Закрыв глаза, Максимыч пытался удержать под веками качание ветки и пятна солнца на рыжей коре, но вместо этого увидел испуганного внука, вцепившегося в удочку, угрюмых парней в белых халатах и опять услышал мамынькин голос: «Корка не в то горло попала!...»

Он так и задремал, не подозревая, что сегодня в историю его жизни прочно вошла хлебная корка, вошла и внедрилась, как подпоручик Кижэ. Мало того что старуха в который раз рассказывала об этой корке, так ведь и доктор Ранцевич с Феденькой всерьез обсуждали на своем докторском языке, как эта чертова корка могла поранить эзофагус, то бишь пищевод.

Более того, подобно упомянутому подпоручику, виновная корка уже и прописку получила, то есть юридически закрепилась в жизни Максимыча. Как раз сейчас, когда мамынька, убирая посуду, снова рассказывала о карьере хлебной корки, толстый доктор сидел в ординаторской и заполнял историю болезни Иванова Г. М.: «...доставлен в стационар в 9.35 на „скорой помощи“ с горловым кровотечением. Гортань раздражена. Бытовая травма (?) острым объектом...» Задумываясь, толстый ритмично постукивал концом ручки в подбородок и уже слегка окропил чернилами полы халата; «...хлебной коркой». Вот и везли бы в травматологию, зудела раздраженная мысль, а теперь возись

тут. В таком возрасте корку мог бы и срезать. Написал: «Назначения», криво подчеркнул и застрочил дальше.

А возмутитель его спокойствия, Иванов Г. М., дремал в кресле, не подозревая о том, как стремительно обрастала плотью и все сильнее черствела мифическая хлебная корка, которой подавиться он никак не мог, ибо ничего сегодня еще не ел.

...Что-то звякнуло. Медсестра — уже другая — освободила от иголки его затекшую руку и унесла капельницу. По тому, как она коротко кивнула Максимычу, а больше по обращению «дяденька» и скупым умелым движениям, понял: местная. Из тех, что в шляпке ходят.

...Сколько Максимыч жил здесь, у самого синего моря, он делил всех женщин по этому принципу: одни носили платки, другие — шляпки, и даже когда встречал простоволосых, то мысленно всегда безошибочно примерял им подходящий головной убор. Чем он руководствовался, Бог весть; да он и не думал об этом. Дамская шляпка не была в его глазах признаком ни аристократичности, ни зажиточности: они-то с мамынькой в мирное время вон как жили, грех жаловаться, но чтоб Матрена шляпку надела... Впрочем, был грех: Тонька подарила ей шляпку и сама же долго прилаживала на голову, до второй войны еще. Он как раз поднялся из мастерской и остановился в дверях, глядя на растерянное лицо жены в зеркале; рядом суетилась дочь. Матрена обернулась: «Ну?!» Старик не ответил. Бережно снял какую-то ниточку с картуза и повесил его на место.

Картуз тут, в сущности, ни при чем: Матрена не была бы Матреной, если б такая малость могла ее остановить. Здесь было другое: она поняла, что хоть шляп этих — воз и маленькая тележка, все они не про нее, и к месту. А картуз... что ж картуз. Но мысль передается, как не раз уже было доказано. Когда Тоня легко и скоро обжилась на новом месте, она стала и мамыньку склонять к переезду, ибо знала, что именно с мамыньки следовало начинать. Дескать, центр — совсем другое дело, такое удобство и все прочее, что говорят в подобных ситуациях. Старуха выслушала и легко двинула бровью: «Нет. Там все в шляпках, а я в платке; на кой мне это надо?» Пощадила дочь, не сказала: «тебе», но та услышала несказанное, и они чуть было не повздорили; мать решительно прихлопнула скатерть пухлой ладонью: нет, и кончен бал.

Тоня — другое дело; муж никогда картуза не носил, будто родился в шляпе. Разве что летом полотняную кепку от солнца надевал, какие все дачники носили. Дочка переехала с форштадта в центр, словно платок на шляпку поменяла: поменяла, но не отбросила платок и не отказалась от него. Кесарю — кесарево, Богу — Богово: в моленной и на кладбище Тоня появлялась исключительно в платках, которые по-прежнему любила и с удовольствием покупала, как покупала и шляпы, и какую бы модную и незграбную «унеси-моя-печали» она ни напяливала на голову, выглядела в ней так же естественно, как в своей дорогой квартире с паркетными полами, картинами на стенах и ванной комнатой.

— Крестик снимите, дяденька, — отвлекла его медсестра в шляпке, вернее, в белой крахмальной шапочке. Максимыч заторопился, и цепочка обмоталась вокруг пуговицы нижней рубахи. Он пытался высвободить крест, суется и одновременно силясь вспомнить, почему так знакома ему эта возня с пуговицей и спех. Тоже дергал вот так...

— Я помогу, — сестра ловко обвела цепочкой его влажную лысину. — У меня пока будет, — и бережно опустила крест в нагрудный карман халата.

Делая снимки, заставляли его то стоять, то ложиться; поворачивали сначала одним боком, потом другим. «Дышите». «Задержите дыхание». «Еще раз. Дышите...» Было очень темно, только красная лампа горела у двери, но самой двери не было видно. Внук, упущенная рыбалка и даже хвойные ветки были где-то далеко. Заныло брюхо, боль была тянущая и требовательная. Тут зажгли свет, в дверях показалась медсестра и сразу протянула ему крестик.

Ощувив кожей знакомый гладкий холодок, Максимыч осмелел и спросил:

— Теперь куда же?

— Ванна, потом в палату, а дальше — как доктор скажет. Вот и кресло ваше.

Он приготовился сказать, что ноги, слава Богу, здоровые, но вспомнил длинные коридоры и передумал. Кто знает, где у них ванна эта.

Ванная оказалась просторней, чем в его больнице, и почти уютной. Старик с удовольствием вытянулся в теплой воде, и даже брюху вроде полегчало. Сестра ушла за ширму, потом вернулась, деликатно постучав, и сложила на табуретку твердо заглаженное казенное белье.

В палате было огромное окно, и Максимыч обрадовался. Три кровати пустовали; на единственной занятой лежал рыхлый мужик лет сорока и листал мятую газету с цветными рисунками. Старик кивнул; тот в ответ неопределенно мотнул головой и перевернул страницу. Хорошо, что Ирке дали отпуск, а то как же ребенок в таком тарараме. Из тумбочки пахло лежалым хлебом. Сосед глянул без интереса, буркнул:

— Устраивайтесь.

— Что едят? — спросил Максимыч, хотя было все равно.

Мужик приподнял массивные плечи и ответил странно:

— «Крокодил» старый. — Потянулся к своей тумбочке за банкой, отвинтил крышку, азартно харкнул прямо в банку и вновь завинтил.

Старик поспешно отвел взгляд. Сам ты крокодил... молодой, такое паскудство делать; в коридоре на каждом углу плевательницы. Лег так, чтобы видеть сосну, и закрыл глаза.

Вспомнил, Мать Честная, вспомнил! Когда его в армию призывали, перед той, первой, войной! Тоже крест за пуговицу зацепился, и никак не распутать было. И фельдшер тот, дай ему Бог здоровья, може, и на свете уже нету... Без года сорок лет назад...

В отличие от Феденьки, доктор Ранцевич нисколько не нервничал.

— Опаздывает — это хороший знак, — говорил он вполголоса, хотя в коридоре никого не было, — опоздание есть первый симптом настоящей дамы. — Твердо помня роковое «тройка, семерка, туз», поляк поставил, однако ж, на даму, которая и должна была с минуты на минуту появиться.

Ничего не было удивительного в том, что пан Ранцевич «убей не помнил», как выглядела прима-балерина стоматологии: «козырная карта» оказалась весьма невзрачной на вид. Да так ли важно, какого достоинства карта выходит в козыри? Дефект прикуса только и помог: вошедшая улыбнулась. Назвать ее дамой мог только куртуазный пан Ранцевич. И ведь что поразительно: когда он почтительно взял ее руку и галантно поцеловал, а потом, слегка наклонив голову к плечу, начал о чем-то негромко расспрашивать, потрясенный Федор Федорович наблюдал ошеломительную метаморфозу. Мелкость и невзрачность на глазах превращались в хрупкость и робкую прелесть, прикус уже не казался мышинным, а улыбка и без того была удивительно милой. «Да она молодая совсем!»

Разговор продолжался в кабинете у Серой Шейки, как мысленно окрестил ее Федя, хоть пан Ранцевич представил благотельницу:

— Доктор Долгих, Марина Павловна, наш добрый гений.

Тоненькая история болезни тестя, разбогатевшая на несколько вклеенных листков, лежала на столе. Доктор Долгих раскрыла ее, и поляк, чуть прищурившись, начал читать:

— «Травма гортани... хлебной коркой» — ну, это мы от супруги знаем. А где заключение отоларинголога? Он смотрел гортань?

Серая Шейка покраснела до самого прикуса. Пан Ранцевич продолжал:

— «...температура 37.4, аппетит снижен. Жидкое питание...»

Феденька осведомился о рентгене.

— Легкие совершенно чистые. Я могу снимки...

Но оба дантиста замахали руками, и пан Ранцевич со смехом пояснил:

— Снимки ниже челюсти не читаю.

Отсмеявшись, он очень доверительно задал «шановной пани» несколько прицельных вопросов, вертя в пальцах янтарный мундштук.

Женщина кивала, записывая что-то в блокноте, и Феденька поразился обратной метаморфозе. В «шановной пани» опять проглянуло что-то мышинное: робкое треугольное личико, мелкие глаза — рублем не подарит, нет; узкогрудость, зато полтора носа. Серая Шейка подняла глаза на Феденьку и улыбнулась милой, не меняющейся улыбкой:

— Вы ведь хотите повидаться с отцом? Пойдемте, я провожу, — и ему стало так неловко от своих мыслей, что рубашка прилипла к спине.

Тесть лежал у окна, спиной к двери, и был похож на худого, облысевшего подростка. Он повернулся и, увидев Феденьку, сел на кровати. Больничная рубаха была ему сильно велика, сползала с одного плеча и выглядела белей гипсово-желтоватой кожи.

— Сынок, — обрадовался Максимыч, — ну что там дома? Мы с Левкой сегодня на рыбалку собирались, — и виновато улыбнулся, вспомнив внука с удочкой.

Присев, Феденька заговорил негромко, уверенно и спокойно, как и полагается в таких случаях, пытаясь в то же время решить, что необходимо сделать прямо сейчас и в его ли это силах. Не уйду, пока не переведут, и чтобы при мне; диагносты чертовы. Взглянув на часы, поднялся и разгладил одеяло:

— Нам с доктором Ранцевичем пора, а то поздно уже, мне ж перед мамашей отчитаться надо...

К его удивлению, старик, пощипывая усы, повернулся к поляку:

— *Пшепрашам пана*, вы не из тех Ранцевичей будете, что на Малоцерковной улице жили, перед войной?..

Доктор чуть не выронил мундштук.

— Так, проше пана, — улыбнулся озадаченно, а дальше разговор шел преимущественно по-польски, и чаще всего повторялось слово «*несподзянка*».

«А вот сейчас и скажу», решил Феденька. Он приветливо помахал тестю: «Завтра увидимся»; выходя, пропустил Серую Шейку вперед. В коридоре он придержал ее легонько за локоть, с ужасом думая, не заразителен ли пример пана Ранцевича, и начал: «Коллега, я хотел бы...»

...Коллега хотел бы узнать, какая сволочь водворила ослабленного старика в палату, где находится больной с открытой формой туберкулеза. Коллеге очень хотелось бы повидать врача, принимавшего его отца — да, отца, а кем же еще Максимыч ему приходился? — познакомиться и спросить, с каким диагнозом его госпитализировали, если в легких ничего не обнаружили? Интересно было бы осведомиться у этого коллеги, знает ли он о желудочных кровотечениях?..

Все это Федор Федорович изложил доктору Долгих, изложил очень корректно, тщательно отфильтровав владевшие им панику и остервенение.

— Если же сегодня, прямо сейчас, перевод в другую палату по каким-то причинам не возможен, я настаиваю на выписке. Под мою ответственность.

Что-то, наверное, прорвалось, потому что Серая Шейка поморгала невидными ресницами:

— Я ведь не всех фтизиатров знаю... — но в это время из палаты вылетел пан Ранцевич и увлек обоих к лифту.



— Кто здесь у вас мажордомит?! Желая вызвать на дуэль немедленно. Шановна пани Марина...

Но Серая Шейка, прямо на глазах превращаясь в «шановну пани», оставила их ждать в кабинете и скрылась.

— Не удивлюсь, если благодаря этой милой даме вашего папеньку поместят в отдельный номер, — очень серьезно заметил поляк, — клянусь туалетным столиком! Подумайте, ведь шановны пан узнал меня! Он и бюро для отца делал; оно у меня теперь. Непременно расскажу матери, *ото ж несподзянка*...

Неожиданное предсказание доктора сбылось: ошарашенный Максимыч оказался в новой палате совершенно один. Лампа в белом, как у медсестры, колпаке отражалась в широком окне, сейчас графитно-сером. Рядом с кроватью стояла новехонькая тумбочка. На пыльном дне такого же новенького графина скучали опилки. Даже темно-синее одеяло, девственно-пушистое, пахло новой мануфактурой. Федор Федорович удовлетворенно покивал, подергал раму окна, которое открылось легко и бесшумно, впустив ошеломляюще-дачный аромат хвои, снова кивнул. Про себя, тем не менее, решил завтра с утра позвонить в Еврейскую. И хирурга, сразу же хирурга...

Прощаясь, пан Ранцевич грациозно поклонился доктору Долгих и произнес свое «целую ручки», что Феденька неожиданно для себя и проделал.

Стемнело.

## 17

Лелька лежала на Максимычевом диване, уткнувшись носом в нагретую солнцем подушку и закрыв глаза. Подушка пахла бородкой Максимыча, его картузом и немного — табаком. Она уже спрашивала бабушку Иру, скоро ли Максимыч выплюнет корку и придет домой, но бабушка только улыбалась: «Скоро сказка сказывается...», и Лелька подхватывала: «Да не скоро дело делается». Вздохнув, обе возвращались к начатым делам: Ира озабоченно прикидывала, что сыну понадобится на первое время; Лелька снова и снова укладывала свой портфель — вдруг в школу возьмут?! Через месяц и неделю — можно сказать, через месяц — ей будет уже пять лет, и уж что-что, а портфель у нее есть, вот так!

Между тем, вопреки предположениям бабушки и внучки, дело делалось как раз скоро: оттого, должно быть, что туберкулезная больница — не сказка. Дело делалось с такой скоростью, что Максимычу некогда было приклонить голову, чтобы вздремнуть днем. То и дело в дверях возникали санитары, помогали ему улечься на носилки и везли по широким и светлым коридорам, уставленным плевательницами и фикусами.

Толстого доктора он больше не видел. Приходили другие, слушали трубкой, глядя внимательно, но бессмысленно мимо Максимыча, щупали горло, живот. Расспрашивали про рану; бедро тоже снимали рентгеном. Часто забегала щупленькая докторша, что с поляком тогда приходила. Зубки кривые, сама неказистая, а улыбается так славно, что старик сам не замечал, как рука к усам тянулась. Иногда и не заходила даже, а только улыбалась и на часики показывала: спешу, мол, и осторожно закрывала дверь, а он долго еще лежал и ждал: може, забежит?

Под вечер появлялся зять — один, без поляка; усталый, под глазами мешки. Садился, снимал очки и тут же прикрывал глаза пальцами, словно стягивая их к переносице.

— Потерпите, папаша. Скоро вас должны перевести, поближе к дому.

— Мне бы домой. А то совсем замордовали, каждый день тягают — то туда, то сюда. Что ж не сразу домой?

— Надо подлечиться, — серьезно, без улыбки, говорил Федя. — Печень должны проверить как следует, желчный пузырь. Надо питание наладить. Вы опять вон не ели? — Зять кивнул на чашку с остывшим бульоном.

— Да ну; похлебал сколько. Я ж от такой еды отвык. Кормят, что на убой.

Еда и в самом деле была отменная — как в мирное время. Глотать Максимычу было трудно, будто и впрямь корка застряла. Ему приносили только жидкое: сливки, кисель, бульон; что-то дрожащее в розетке. Спросил; оказалось — куриное желе. Ма-а-ать Честная, куриное желе! Вот Лельку бы сюда — она курей только на базаре видала, а чтоб в тарелке... разве что у Тони в гостях. И тут же спохватывался: куда?! Сюда, к чахоточным, ребенка?! Феденька не говорил, но старик и без того понимал, что никому сюда ездить не надо: чахотка и есть чахотка, хоть как назови; а уж Лельке...

По вечерам, когда суета и гам затихали, старик подолгу стоял у окна, глядя на сосны и вдыхая смолистый запах. Стоять было легче, чем ходить: можно было опереться на широкий подоконник. Те, что помоложе, устраивались на подоконниках в коридоре и часами лупились в карты. Что они знают в картах, недоумевал старик, такие молодые? Шлеп да шлеп, точно воблу в трактире. Разве к картам можно без почтения?..

Мать никогда с ними не расставалась, но детям — даже ему, старшему и, чего греха таить, любимцу — играть не давала. Иногда, бывало, быстро раскинет их — на себя, должно быть. Карты у матери были совсем другие, не такие, как у парней в коридоре: очень плотные и такие гладкие, что отливали тускловатым блеском, как загорелая кожа. Ловкими стремительными движениями она бесшумно выдергивала их из колоды, меняла местами, останавливалась, пристально рассматривая и шевеля иногда губами. Точь-в-точь как Лелька над книжкой, подумал неожиданно. Что мать читала по своим картам, он никогда не спрашивал: дозволялось только смотреть. Временами она оживлялась, говорила ему что-то по-польски, и мало-помалу он привык к этим таинственным знакам, как много раньше привык к шершавым польским словам. Сам он карт не трогал, только любовался на усы пикового короля: совсем как у отца. Мать покачала головой и вытащила червонного: вот отец.

...Как странно она приснилась тогда, с этими пустыми, точно забеленными, картами! И с чего он взял, что на Калужской? — То Ростов был, отцовский дом, где он трогал тогда остывшую печь, а на пороге нашел оброненную трефовую шестерку. Какое там «оброненную»: Максимыч давно понял, что мать весточку ему оставила. И как он, дурачина-простофиля, глупо распорядился тем сном! Это сколько ж можно было сказать, а он в карты уставился. Обнять бы да руки целовать — ведь так и не довелось больше свидеться с того дня, как отца забрали; ни разу. А во сне седины у нее не было, нет. Зато точно такая же яркая белая дорожка теперь в волосах у Иры: это серебро она привезла из эвакуации, после второй войны.

Максимыч, в отличие от жены, не держал поминального листка. Имена братьев и сестер, общим числом одиннадцать, и отца с матерью каждое утро произносил тихо и отчетливо, твердыми привычными губами.

Лукавы и прельстительны сны. Старик знал, что никого из них в живых не осталось, никого. Всех истребил ростовский морок — не тифозный, а другой, кровавый, в котором вырезали всех казаков, «с чадами и домочадцами». И карточек фотографических не осталось — ни одной, да и не снимались, поди, мать с отцом на карточку. Не то чтоб он лица их забыл, нет; а вот правнучке показать бы... Осталась одна карта со щепотками черных слезинок в два ряда на плотном шелковистом прямоугольнике. Тогда, в 19-м году, вернувшись в Город, они со дня на день ждали приезда своих, всей родни. Появился один Мефодий, старухин брат. Он только-только схоронил жену и говорил мало, да и что он мог рассказать?..

...Ночью в коридоре загорался какой-то слепой свет, тусклый, как овсяный тум. Старик лежал и думал, какая Матрена счастливая. Если б он знал, где лежат мать с отцом, мог бы

прийти к родным холмикам. Посидеть, никуда не торопясь, разровнять песок грабельками и расспросить, и досказать все, что не успел тогда. И что во сне не сказал. «*От земли тленной взят и в землю отыдеши*», а земля-то вечная. Выходит, и человек никогда не пропадает бесследно, остается крохотным бугорком... если бугорок этот не сровняли с пустой землей. Ирина, старик знал, терзалась тем же — невозможностью прийти на могилу мужа. Если больше не суждено обнять человека, припасть к родному теплу, отвести упавшие на лоб волосы, остается холм земли. Убрать осторожно сухой лист с могилы, словно пушинку снять с плеча. Еловыми ветками потеплей укутать холмик, чтобы не померзла рассада. Преломить свяченную пасху в Великое Воскресенье и оставить щедрую россыпь ярких шафранных крошек; не надо и говорить ничего, благодарные воробьи доскажут. А то простой букет поставить в банку с водой — не в изголовье, нет: в головах. Холм земли, к которому можно — припасть, как припадут когда-нибудь дети к нашим могилам.

Если бы у Максимыча спросили, часто ли он вспоминает мать, он удивился бы несказанно: вспоминают только забытых, а его мамаша, Царствие ей Небесное, забыть себя не давала, даже и захоти он. Внучка перед зеркалом поправляла волосы, а из зеркала смотрела на него мать. С колотящимся сердцем, придирчиво всматривался он в Таечку: как есть цыганка, недаром с ней цыгане на улице заговаривают. Зашел как-то в комнату, когда она ногти мазала, и чуть не ахнул, узнав руки матери: очень маленькая, сильная кисть, и ногти выпуклые, с полукруглыми лунками, точь-в-точь... На кой закрашивает? Ухоженные, конечно, руки, гладкие, ни шершавинки; ну да это понятно — Тайка пеленок не стирала. Смуглость эта цыганская, руки и волосы, которые внучка завивала и поднимала высоко, отчего сходство с матерью размывалось и почти пропадало, хотя в зеркале все так же отражалось Тайкино лицо, но уже — только Тайкино, не матери. Старик вглядывался в него, но сходство ускользало, дразня похожестью отдельных черт: Федот, мол, да не тот. Понял он, только когда правнучка вылезла из-под швейной машины, подошла к Тайке и тоже уставилась в зеркало счастливыми улыбающимися глазами. Что-то словно сдвинулось в зеркале, будто из кусков сложилось лицо матери с такими же точно глазами, и он, с чуть слышным восхищенным «Ма-а-ть Честная!» даже прикрыл глаза ладонью, чтобы удержать родной образ.

...Его отец, Максим Григорьев Иванов, подобно своим отцу и деду, был донским казаком. Полк, к которому он был приписан, в то далекое время стоял в Польше, в предгорье Западных Карпат. Казак Иванов службой не тяготился, амбициями, как некоторые из его товарищей, не маялся — в офицеры выйти не мечтал, и снились ему не погоны хорунжего, а родной дом да широкий Дон, то серый, то синий, как новенький мундир. Службу нес исправно, коня держал — дай Бог каждому и у сотника был на хорошем счету. Из двадцати пяти лет службы Богу и великому государю отсчитал уже почти четырнадцать; теперь-то быстрее должно пойти, ровно под горку. За одиннадцать оставшихся лет и невеста подрастет, на хуторе хозяйничать. И то — тридцати трех лет от роду достиг уже казак. Прежде, когда в самой Варшаве стояли, насмотрелся на столичных красоток, да только красотки те показались ему какими-то вылинявшими, что ли. Видать, смотрел не на тех, а может, сравнивал со статными смуглолицыми казачками, но только варшавскими барышнями не пленился. А в горах и вовсе красавиц не было — до тех пор, пока однажды утром не появился, как черт из табакерки, цыганский табор и стал неподалеку. Просторные палатки с округлыми крышами казались — ни дать ни взять — выросшими за ночь грибами, а от дальнего конца тянуло дымом кузни, и в утреннем воздухе звонко разносились редкие удары молота. Подножье горы расцвело яркими платками и юбками, и диковинно было смотреть, как дерутся и мирятся ребятишки — не один казак украдкой подавлял вздох, — как сходятся группами, переговариваясь о чем-то, мужчины, как стремительно скользят по траве цыганки. Они не ходили и не бегали, а быстро и плавно словно перетекали от кибитки к костру, даже те, что были увешаны гроздьё ребятишек. Не диво поэтому, если кто-то из казаков, не дочистив шашку,

застывал, припав к раздвинутым ветвям, а другой, напротив, все усердней нажимал щеткой на круп волнующегося коня. Забегали хорунжие и сотники, а есаул, как назло, не мог отыскать свой бинокль, именно сей момент для чего-то потребный.

Такая сумятица, впрочем, царила только в первые дни; вскоре привыкли, а на исходе второй недели уже казалось, что табор стоит тут со времен царя Гороха. Бинокль свой есаул нашел и теперь с ним не расставался, а главных сердцеедов вызвал к себе особо для нравоучительной беседы: это, мол, не Варшава, а сам шомполом поигрывает и хоть бы раз улыбнулся. «Не сноситься с цыганами никоим образом», — подтвердил приказ по полку, да что уж там «не сноситься», когда на водопое твоего коня похвалят. Сноситься не сноситься, а табаком нельзя не угостить: даром что нехристи бродячие, а никто, кроме них, в лошадях досконально толку не знает. Вот он и сам кивает: «досконалы, досконалы», только серьга раскачивается. Говорили цыгане по-польски, а к этому языку казаки были уже привычные.

Несмотря на полковой приказ, многие проявляли такой же горячий интерес к дочерям свободолюбивого народа, как сам народ — к казацким лошадям. Женщины держались независимо, но в них и следа не было от показной робости варшавских паненок, зато было — достоинство. Записные сердцееды пышней обычного выпускали из-под фуражки кудрявые чубы да томно вздыхали, не отводя взора от смуглой шеи. Что ж? — Перехватит взгляд, затянет шелковый платок потуже, да только глаз не опустит, но и посмотрит не в глаза, а куда-то в кокарду, так что самому же и неловко делается. Иные пробовали через цыганят подъезжать: кому орехов в подол рубашонки, кому гильзу стреляную. «Дзенкуе, дзенкуе пана», — так и звенит, точно горсть мелочи рассыпал, а дальше ничего и не было.

На исходе лета начались грозы. Ветер поднимался такой, что крушил деревья; испуганные кони беспомощно ржали. Табор исчез так же внезапно, как и появился, словно и его унес грозовой вихрь. Начальство вздохнуло было с облегчением, но тут выяснилось, что вместе с табором пропало несколько добрых коней. Цыгане, в свою очередь, недосчитались одной из своих земфир, однако назад не вернулись, так что и эту каверзу пришлось расхлебывать войсковому старшине.

Самое ошеломительное заключалось в том, что никто из прославленных полковых донжуанов тут замешан не был. Земфиру привел к есаулу за руку образцовый казак Максим Иванов. Привел — и повалился в ноги, прося снисхождения и дозволения жениться. Понятно, что столь сложный вопрос есаул самолично разрешить не отважился, а потому, отложив ненужный теперь бинокль, отправился с докладом опять-таки к войсковому старшине.

Земфира не могла — или не хотела — ответить, куда направился табор, а если бы и ответила? Что, сниматься всем полком, мчаться искать ветра в поле, чтобы выменять капризную беглянку на пропавших лошадей, которые могли уже быть то ли перекрашены, то ли проданы, а скорее, и то и другое вместе? Э-э-э... Капризной, впрочем, барышня не была и выражала полную готовность кочевать с полком так же, как прежде с родным табором, но только в качестве мадам Ивановой.

Получив, наконец, дозволение начальства, счастливая пара отправилась напрямик к полковому батюшке — венчаться, но тут выяснилось, что невеста-то некрещеная! Валиться в ножки, однако же, не пришлось: опытный отец Порфирий принял решение цыганку крестить, а потом переходить к венчанию. Земфиру звали Ланой. «Елена, стало быть, — творчески вдохновился батюшка, — именины будешь праздновать одиннадцатого июля».

*A la guerre*, как известно, *comme a la guerre*. Сразу после крестильной купели невеста встала под венец, после чего была отправлена в обоз, а через год с небольшим отец Порфирий окунал в ту же купель младенца мужеска пола, нарекиши его Григорием.

С тех пор население обоза — а значит, и полка, да и всея России — увеличивалось каждый год на одного Иванова, отчего круг обязанностей батюшки расширился. Это,

впрочем, нимало не тяготило отца Порфирия и даже нравилось, что каждый младенец крепко вцеплялся смуглой ручонкой в рукав его рясы. Гордая и счастливая мать неизменно обвязывала запястье новорожденного красной шелковой лентой — от сглазу. Трудно представить, как эта миниатюрная, ловкая, очень молчаливая женщина, будучи постоянно беременной, умудрилась не только устроиться в обозе без помех, но и за десять с чем-то лет мужниной службы произвести на свет восьмерых детей! Не этой ли генетической закваской объясняется молчаливое умение ее потомков уживаться в советских коммунальных квартирах?.. Но это — в далеком «потом», а детскую свою жизнь среди казаков, благословение отца Порфирия и возвращение в Ростов первенец Максима Иванова помнил: в свои восемь лет он был матери по плечо.

...В палате было темно, и только из-под двери лениво тек этот неживой свет. На теплом августовском небе густо толпились звезды, и казалось, сосновая ветка вот-вот сметет их одним взмахом.

Максимыч пытался вспомнить, когда он в последний раз видел сразу так много сосен. Надо Лельку взять на взморье и гулять, просто гулять... Как в той книжке, у самого синего моря. Пустить босиком по воде, а там, небось, и янтарик найдет, с такими-то глазищами.

Вспомнился янтарный мундштук у доктора. Сам он и не изменился почти, только полысел.

Свою мебель старик всегда помнил; заказчиков быстро забывал. Эту пару запомнил. Начать с того, что очень не хотелось браться: он терпеть не мог ремонтировать чужую работу. Однако просил старый заказчик, уверяя, что в накладе мастер не останется, словно только в этом было дело. Сам и отправился на Малоцерковную: если небольшой ремонт, так чтоб сразу сделать, и к месту.

Оказалось, что при переезде повредили цветочный столик. Хозяйка сняла вазу и так стояла с вазой в руках, но Максимыч не торопился вынимать инструмент. Ведя твердым квадратным ногтем вдоль трещины, объяснил, что починка бессмысленна. Новый сделать — могу. Колыхнулась дверная портьера, и вышел хозяин. Он курил папиросу и сказал что-то жене по-польски прямо сквозь дым. Знакомые шелестящие звуки уютно плыли в сиреновой струе, и Максимычу вдруг тоже стало тепло и уютно. Хозяин перевел на него выпуклые голубые глаза: «Нельзя ли склеить?..» Старик тронул усы и спросил, наливает ли пан вино в бокал с трещиной? Склеить — можно, но куда пани поставит цветы?

Ответил — и сам удивился, как легко выговорились слова, спасибо матушке, Царствие ей Небесное.

Необъяснима власть родного языка! Самое простое слово становится паролем. Его произносят губы, а слышит — и отзывается — сердце. Что будет потом, окрепнет ли душевная связь между говорящими или все исчезнет, как только в воздухе растает последнее слово, неважно; пароль назван.

...Столик получился на славу или, как выразились хозяева, *файный*. Пан Ранцевич заказал письменный стол и даже старательно нарисовал его, жестикулируя папиросой. Для жены он попросил смастерить туалетный столик, но рисовать уже не стал, развел беспомощно руками. Она сама взяла карандаш, покрутила в руках эскизик и объяснила, что хотела бы столик «таки сам», только поменьше и с зеркалом. Они говорили вместе, и старик изумился, насколько муж и жена были похожи, не имея внешне ничего общего, кроме худобы. Сходство было в манере улыбаться, чуть наклонив голову к плечу, и в самой улыбке, а также в привычке жестикулировать, разговаривая, причем жесты были так похожи, будто принадлежали не двоим, а одному человеку. Но больше всего Максимыча поразило, что они произносили одновременно одни и те же слова, и когда это случалось, улыбались тоже одинаково, чуть прикусив нижнюю губу.

Оба заказа он делал сам, и хоть вначале хмыкал скептически, вспоминая «таки сам», но вещи непостижимым образом получились похожими. На крышке туалетного столика, в уголке, старик попросил Фридриха сделать маленькую инкрустацию, инициалы польки: FR. Как же ее звали?.. Забыл.

Да, а младшего Ранцевича увидел, когда привозили готовые заказы; увидел и сразу понял — сын: такие же выпуклые глаза и улыбается, наклонив голову к плечу. Молодой Ранцевич первым сел за новый стол и, одобрительно кивая, стал выдвигать ящики. Справный вышел стол, старик был доволен. Стойка для мундштуков, которых у хозяина было немало, и вертикальные гнезда для писем и бумаг привели его в восторг; естественно, что на рисунке ничего этого не было. Когда же Максимыч нажал под крышкой плоскую стальную педаль и сбоку плавно выскользнула дополнительная панель, поляк восхищенно присвистнул. Точно такой же педалькой выдвигались ящички для драгоценностей в туалетном столике. Поляк поспешно начал расставлять мундштуки; и янтарный там был, совсем как у сына. А может, тот и был? Янтарь долго живет...

Вот на море поехать — и идти по песку, а то прямо по воде: ракушки светятся розовые, промытые, волна сразу след зализывает, будто и не прошел; а янтарик нет-нет да и встретится.

Он отрывал глаза от сосен и опять ложился — если лежать, тошнило меньше.

Днем старик иногда выходил в коридор, надев на исподнее линялый байковый халат. Ходить было неудобно: тросточка осталась дома, а полы были гладкие и блестящие, ноги скользили. Халат попался на редкость тяжелый и давил на плечи, точно вязанка дров. Да и не с руки было отлучаться: несколько раз его принимались искать, чтобы опять везти куда-то на носилках. Уж хоть бы спокой дали.

«Дали покой» через два дня. Накануне Феденька, сняв очки и спрятав за пальцами усталые глаза, уговаривал, что все делается на диво быстро. Впрочем, никакого дива здесь не было, кроме расторопной обязательности Серой Шейки, той самой обязательности, которая сама по себе уже становится дивом.

На привычных носилках Максимыча привезли в тесную комнатушку без окон со смешным названием «бокс», где позволили переодеться. Это было особенно приятно: свое — оно и есть свое, хотя уже пахло больницей. Надо будет Иру попросить пуговицы на рубашке перешить, чтоб воротник не болтался, а то куда это... Санитар позвал его дальше, где были окна и двери с матовыми стеклами, а за столом сидела не то сестра, не то докторша, у которой помады было больше, чем рта. Удивляться было некогда. Докторша назвала его по фамилии, потом сложила картонные створки, завязала ленточки — точно младенца спеленала — и сказала вроде по-русски, но старик ничего не понял:

— Тэбэцэ мы исключили. Вы не наш больной. Вас переводят. — Она вильнула вбок, будто Максимыч ей кого-то заслонял: «Сопровождающий!»

Сзади вынырнул санитар, который и принял в руки завязанную папку. Ну да, Федя же говорил — в нашу повезут, догадался Максимыч и поблагодарил, но докторша уже сомкнула помаду и не ответила.

Глядя в наполовину замазанные белой краской окна медицинской машины, Максимыч не успевал увидеть, где ехали: машину трясло, и он почувствовал дурноту. Закрыв глаза и увидел крышку туалетного столика с буквами. Фелиция, вот как ее зовут!

## 18

Старуха была недовольна зятем: если доктора ничего у Максимыча не находят, чего ж держать? Ни дай ни вынеси. Если б еще тут, рядом, а то загнали, куда ворон костей не заносил. И ведь знала, что Федя что ни день ездит туда, но брови держала наготове.

Обе дочери и Мотя тоже хотели проведать отца, но Феденька запретил категорически: туберкулез, страшный риск. Интересно, что никому не приходила в голову мысль о его собственном риске; точнее, не думать об этом, конечно, не могли, но как-то само собой разумелось, что медицинская профессия обеспечивает ему надежный иммунитет. Дети и племянники тоже донимали Федю, пытаясь увязаться в компанию, чтобы навестить деда. Изменив своей обычной мягкости, он раздраженно посоветовал сыну думать об экзаменах, а всем остальным прочитал лекцию о туберкулезе, который в его описании сильно смахивал на средневековую чуму.

Единственный человек, не выказавший охоты отправляться по следам ворона с костями, была мамынька. Лекция ей не понадобилась: старуха и впрямь боялась чахотки, и само желание добровольно тащиться туда, где люди мрут от этой заразы как мухи, вселяло в нее могучий страх здорового человека перед болезнью.

— К тому же, — говорила она Тоне, — еще не известно, кому труднее, больному или здоровому. Он там лежит, прохлаждается, а я что, двужильная?! Сейчас у Симочки была. Дети в соплях; Валька совсем замучивши, под глазом синяк, все ко мне другим боком поворачивалась. Я и говорю: «Ты что, с кондуктором говоришь, что ли? Или я тебе чужая, что морду воротишь? Лохмы-то убери; а то я не вижу, что глаз подбит».

Мамаынька помолчала, давая Тоне осмыслить нарисованную сцену; продолжала:

— Плакала, плакала, я уж думала, родимчик с ней сделается. Что, спрашиваю, опять поспорили? А она чуть не заходится: «*Не до знесеня, не до знесеня...*» Это Симочка такой пьяный пришел, что через губу не плюнет; как спать завалился, она в карман полезла, достала с бумажника деньги, хотела, говорит, взять всего ничего — дети не евши. А он увидел, что в карман лезет, ну и отметелил: вся в синяках. Может, он и когда читый колотит: первых-то двух кормила, а на Сабинку молоко пропало. Я смотрю, в кухне пусто, дети макароны твердые грызут. Что ж ты, говорю, не сваришь эти макароны? А она все: «*Не до знесеня, не до знесеня*». Хорошо, у меня пышки были спечены, я как знала: дай, думаю, пышек напеку, снесу туда. Они хватают пышки исть, а сопли так и текут. Я говорю, дай платок, надо вытереть, на кой с соплями исть, а она...

Мамаынька достала из рукава собственный вышитый платочек, словно для иллюстрации; потом с негодованием подвела итог:

— Ты подумай, у ней платка чистого — и то не было!..

Если бы не Юрашины экзамены, из-за которых весь дом трясло как в лихорадке, Тоня негодовала бы вместе с матерью. Теперь же старухин рассказ вызвал у нее не сочувствие, а раздражение. Сколько же можно, в самом деле. Тебе домой пышки приносят, а ты и сама в истерике рассопливилась, и детям нос вытереть нечем! Она знала, что мать наверняка сунула невестке какие-то рублишки да велела в чулок спрятать, не иначе. Знала, что брат придет опохмеляться — тут уж не надо к гадалке ходить — и что она Бог знает в какой раз начнет его вразумлять, а следующий раз совпадет со следующим похмельем. Знала, что сегодня начнет перебирать старые вещи — слава Богу, на антресолях все сложено, чистое и целое, и завтра же заглянет с тючком к Вальке. Не забыть что-нибудь из еды, что хранить можно, печенья там, вафель... О Господи, да разве вафли — еда для детей?! Тоня раздражалась все больше. Как можно допускать, чтоб он столько пил? Вот мать рассказывала, что папаша в молодости тоже любил выпить; так не сравнить с Симочкой! Кто, наконец, в доме главный — женщина или мужчина?!

Тонино раздражение разгоралось в праведный гнев — не против невестки, нет, а против ее бестолковости. Как же можно настолько не уметь жить, Господи! В гневе Тоня олицетворяла собой всех праведных жен, уже нагнувшихся за камнем, чтобы бросить в жен неправедных, и никого не было рядом, кто простер бы руку: помедли. Пока еще не поздно, пока не брошен праведный камень, попытайся увидеть не ее, а — себя, запудривающую синяк на лице и, чтобы успокоить плачущего малыша, дающую ему пудреницу поиграть; себя, вынимающую непослушными пальцами пятерку из бумажника

и тут же отброшенную в угол мощной рукой твоего... не мужа, нет: твоего освободителя, отца твоих детей. Помедли...

Она остановилась и прислушалась: из кабинета доносились шаги сына. Потом шаркнул стул; упала книга. Завтра физика. Когда Левочка рядом, Юраша нервничает меньше, да тот и с физикой поможет. Не то чтобы знал лучше, спохватилась она ревниво, но требовали с них в училище как следует — иногда объясняет лучше, чем Федя.

— Раз ты меня не слушаешь, так я домой пойду, — недовольным голосом сказала мамынька, но с места не двинулась, только расправила юбку на стуле. — «Эта» в деревню поехала. Отпуск у ней.

«Этой» старуха называла Надю, и указательное местоимение вместо обычного «Надька» всегда обозначало спад в температуре отношений.

Матрена, легко забыв оригинальный сценарий, была свято убеждена, что «пустила эту в дом» только по своей ангельской доброте, а значит, «эта» должна быть по гроб благодарна и постоянно свою благодарность выказывать. То, что невестка не валилась в ножки и не благодарила поминутно за оказанную милость, старуху гневало постоянно.

— Мало что спасибо не скажет, так ведь нахратная какая: то дверью хлопнет, то надерзит. Ну а дети — известно: как матка, так и они. Я тебе говорила, что Генька в мой шкаф лазил? Ничего вроде не пропало; а только я думаю на замок запирать, на кой мне такое надо — в моем доме, за мое добро?! Раз я еепустила, она должна жить «нагнись да поклонись»; а она фыркает и морду воротит. Геньку ты видала, он вон какой бугай стал! В наше время отец с матерью таких женили.

Обернувшись к трюмо, поправила платок. Вдруг вспомнила:

— А про Левочку слыхала? — Мамынька оживилась и, глянув на дверь, продолжала вполголоса: — С барышней гуляет. Кто такая, не скажу — не знаю; они все друг дружке письма писали. Еще со школы знакомые. Она училась в женской школе напротив, а сейчас где-то в институте, в России. Теперь на каникулы приехала. Ирка ходит именинницей, а я думаю, что не вовремя: молодой совсем.

Тоня с досадой передернула плечами. Она тоже была уверена, что племянник влюбился совсем не вовремя, потому что завтра у Юраши экзамен, и пусть бы Левочка лучше занялся с ним физикой, чем с барышнями гулять. Конечно, рано. Задело ее и то, что принесла такую новость мамынька, а сам племянник ни гу-гу, хотя живет-то у нее, крестной... Странно даже. Что ж я ему, чужой человек?..

— Вот я и говорю, — неожиданно резюмировала мать, — еще не известно, кому труднее: больному или здоровому?..

Вопрос был чисто риторический, ибо по законам Матрениной логики труднее было, как ни крути, здоровым, что она и доказала с блеском.

\* \* \*

Новости были такие хорошие, что Феденька летел домой со всех ног. Во-первых, сын сдал физику на четыре балла; на днях будет известно, примут или нет, но похоже, что примут. Во-вторых, тестя перевели в Еврейскую больницу, о чем ему сообщил очень довольный пан Ранцевич, которому сразу же и позвонила Серая Шейка.

Еврейской больнице было не привыкать к тому, что пациентов навещали часто, заботливо и многолюдно, однако больного Иванова Г. М. только-только перевезли из приемного отделения в палату, а посетители уже нагрянули в таком количестве, что казалось, он вселился сюда со всеми родственниками. Они текли густым потоком, так что врач махнул рукой и скрылся в ординаторской.

Не пришли только Надя с детьми, уехавшая в деревню, и Тайка, которая не уезжала никуда, но едва ли знала, что дед в больнице, ибо давно не появлялась дома. Младший



сын пришел вместе с Тоней и явно не без ее помощи как в деле похмелья, так и в посещении больницы. Глаза у него сильно опухли и покраснели, но выглядел он вполне прилично и даже пахнул не водкой, а французским одеколоном. Этот запах Феденька с удивлением узнал, не признав, впрочем, на Симочке ни своей рубашки, ни галстука. Об одеколоне, который тот глотнул для куражу, почему-то побаиваясь встречи с отцом, Тоня решила не говорить.

У Феденьки тоже были красные глаза — от недосыпа, то есть от физики.

Молодежь толпилась у окошка, Лелька громоздилась на кровать и уже расшибла коленку; Матрена громко требовала, чтобы старик поел яблочного пирога, у которого она даже корку срезала.

Федор Федорович, потоптавшись несколько минут в палате, пошел знакомиться с врачом.

Остальные, как это обыкновенно бывает в больнице, то набрасывались на старика с разными по форме, но одинаковыми по содержанию вопросами, то вдруг одновременно замолкали. Наконец, Тоня с Павой устроились поговорить на свободной кровати. На другой, тяжело привалившись к спинке, маялся Симочка, а рядом переминался с ноги на ногу Мотя, решительно не зная, что сказать брату.

— Хватит галдеть, — строго одернула детей Тоня, подымаясь, — вас тут целых семеро, пойдите лучше в парк.

— Там каштанов пропасть, — проговорил старик, чуть приподняв голову и с тоской глядя вслед Левочке. Не успел про ножик... В другой раз, когда один придет.

Матрена твердо сидела на табуретке, чуть раздвинув колени для устойчивости, и обмахивалась платочком. В ноябре ей стукнет семьдесят, но если бы не огрузневшее тело, то ни по гладкому, почти без морщин, лицу, ни по прямой осанке ей невозможно было дать больше шестидесяти. Ровно и строго повязанный платок скрывал седину, а Феденькины зубы делали улыбку молодой и уверенной. Она старела красиво и с достоинством. Зорко и строго вглядывалась в мужа: нет, чахоточным он не выглядел; разве что мелким каким-то и серым. Лицо, руки и грудь, видневшаяся в вырезе рубашки, — все было нездорового серо-желтого цвета. Она испугалась, заметив крупные, выпирающие ключицы, и вспомнила, какими большими и чужими выглядели ногти на руке, когда он спал. Перевела взгляд на руки — ногти показались ей еще крупней. Что ж его там, не кормили, что ли?

В ординаторской Федя задержался. Уже была послана в архив и вернулась медсестра, и они сидели с доктором, склонившись над пыльной, жесткой от плохого клея историей болезни, поминутно заглядывая в новую, привезенную из туберкулезной больницы.

Врач Феденьке понравился. Средних лет, спокойный, без гонору; из тех тягловых лошадок, которые работают многие часы за малые деньги. Он быстро и привычно отыскивал нужные листочки, сверял; пробегал глазами абсолютно нечитаемые, на Федин взгляд, записи; вынимал упругие, пружинящие в руках рентгеновские снимки и внимательно рассматривал их на свет.

— Молодцы фтизиатры, — сказал он наконец. — У нас такая работа заняла бы месяца два, и то не наверняка. Он часто жалуется на боли?

— Он вообще не жалуется, — ответил Федя.

— Я почему спрашиваю: я не уверен, что у вашего тестя язва.

— А что тогда? Ему давно уже язву диагностировали!

— Федор Федорович, если язва подтвердится, это в нашу пользу. Боюсь, однако, вас обнадеживать, но это очень похоже на бессимптомный рак, и весьма запущенный. Да, симптомы есть, только... Не хочу каркать, но это уже другая симптоматика. Будем проверять на метастазы.

— Но его смотрел профессор... — Федя хрустнул орешком фамилии; доктор кивнул.

— Да, вот его запись: хроническая язва желудка, вопрос; CANCER, вопрос. Профессор рекомендовал консультацию хирурга и операцию в обоих случаях. Больной отказался; потом у нас перерыв... значительный. Он в поликлинике наблюдался? Ну да, я так и думал; а жаловаться, вы говорите, не любит.

Доктор быстро набросал план диагностики. На среднем пальце у него было чернильное пятно, как у сына, и это почему-то немного успокоило Федора Федоровича.

— Хирургов у нас не хватает, — закончил врач. — Если есть возможность, постарайтесь выйти на кого-то — одна голова хорошо, а две лучше.

Сразу возвращаться в палату Федя не стал: по лицу догадаются. Он посидел в парке, выкурил папиросу. Чтобы оттянуть время, вошел в здание через другую дверь. Пусть поговорят, давно не виделись, малодушно уговаривал он себя.

В чужом отделении запах антисептики был особенно пронзительным и резким. Хирургия, что ли? Он подошел к стенгазете. Один нижний угол был прикреплен не кнопкой, как другие, а пластырем. Бросался в глаза написанный то ли тушью, то ли зеленкой крупный заголовок: «ВНЕДРИМ ОПЕРАЦИЮ НЕФРОПЕКСИЮ ПО РЕВОИРУ ПРИ НЕФРОПТОЗЕ В МОДИФИКАЦИИ ПИТЕЛЯ — ЛОПАТКИНА». Ниже шел обильный текст. Прочитав гордый заголовок, Феденька не мог сдержать смеха. Так, смеясь, он двинулся к выходу, останавливаясь, чтобы вытереть очки и глаза.

Из палаты выходила Ира, держа за руку внучку.

— Дядя Федя, — сказала девочка, сияя, — а мне дедушка Максимыч обещал рака поймать!..

## 19

Старик был недоволен язвой: за что ты меня мордуешь?! Терпел сколько мог и еще потерплю — только отпусти, не тяни нутро! И сам себя одергивал: ишь, до чего дошел! У язвы, у гадины, жизни прошу, точно милости. Нельзя мне помирать; как же баба одна, ни пришей ни пристегни, у разбитого корыта останется? Ни поругаться с кем, ни почваниться...

В этой больнице время текло медленней, за окном вместо сосен росли знакомые высокие каштаны. Время текло медленней, но его оставалось все меньше, и старик хотел думать только о самом главном, чтобы успеть. Ему было отпущено совсем мало — это Максимыч знал. Ни о чем ни у кого не спрашивал, не заглядывал жалко и пытливо в глаза докторам — сам понял: победила его язва, сожрала заживо. Не может человек остаться живой, если утроба ничего не принимает, а только вон выталкивает. Не может.

Жалко было умирать. Жалко и страшно. Оказывается, что все когда-то уже было — то ли еще до него, то ли во сне, то ли в мирное время. Вот так же страшно ему было идти на войну — как на первую, что миновала его, прошла стороной, так и на вторую, когда он метался с винтовкой в руке, чтоб, сохрани Господь, не убить кого. Чуть сам не помер тогда и ногу покалечил. Теперь — иначе: от язвы, болячки паскудной, суждено смерть принять.

А как же они, все четыре поколения? Мужиков-то всего двое, Федя да Мотя, и то — у Моти своих четверо, да перед женой кругом виноватый, глаз не поднимет. Сколько один Федя может? Баба-то попросит; Ира — никогда. У кротких другая гордость: молчание.

Время от времени старик задремывал. Его лихорадило, сны пугались и рвались, оставляя обрывки странных видений. Вот он входит в море и плывет, но вода в море несоленая и горячая, неприятные частые волны толкают в лицо — это пароход горит, потому и вода нагрелась. А то, наоборот, зима, но ему отчего-то жарко. Он стоит, прижимаясь лбом к обледенелому окну, и смотрит вниз на булыжную мостовую, только

это не мостовая вовсе, а огромная мороженая рыба, занесенная снегом; как же он раньше не догадался, думает Максимыч и просыпается.

О главном надо, о главном.

Внуки тоже разные. Тайка — из гордых, Левка — кроткий. У Моти только один гордый, не зря его Мамаем прозвали; а Тонькины оба кроткие. Задумался о Симочкиных: кто знает, совсем крохи; а старший в батьку пошел, гордый. Уже видно.

Осторожно поднял голову: из капельницы перетекало в него какое-то розоватое снадобье. На кой добро переводят, Мать Честная? Оно капает, а мое время летит.

Что ж, Андря, скоро встретимся. Сын — в женку твою, таким же раскорякой живет; Людка другая — там нет-нет да и тебя видать.

Лелька, Лельца моя! Не поймал тебе дед золотую рыбку, не свозил к морю за янтариком. Усмехнулся и прошептал в усы: «Впредь тебе, невежа, наука, не садися не в свои сани». Только санки я тебе и смастерил; будешь кататься да меня вспоминать.

Через месяц Лелькины именины, спохватился он, а я без подарка, срам какой. Дождаться бы. Он промокнул краем простыни потный лоб и прикрыл глаза...

В прошлом году правнучке исполнилось четыре года. Таечка принесла куклу с косами из пакли и глазами, которые то открывались, то закрывались. Лелька гордо носила лупоглазую красавицу по всей квартире, пока, наконец, не усадила с другими куклами, где новая утомленно обрушила веки. Тогда Ира протянула имениннице пакет в оберточной бумаге.

Из жесткой, корявой завертки был извлечен... рыжий портфель. Небольшой, с блестящим веселым замочком и упругой ручкой, в Лелькиной руке он почти касался пола. Внутри были аккуратно сложены книги и одна тоненькая тетрадка. Схватив все это богатство в охапку, Лелька со щенячьим визгом бросилась к бабушке.

— Мама, зачем это?.. — недовольным голосом протянула Тайка и пожалала плечами.

Старуха и Надя, обменявшись красноречивыми взглядами, одновременно направились в кухню. Максимыч же захромал к сараю, где пробыл недолго, а после обеда попросил у Лельки портфель — проверить, в порядке ли замок.

Замок оказался в полной исправности, а когда девочка снова открыла портфель, внутри лежал новенький пенал. Присев на корточки, она стала сосредоточенно начинать обновку карандашами; только маленькие пальцы дрожали. Гулкая глиняная копилка, разрисованная под кошку, осталась в сарае, за поленницей.

Из-под окна за девочкой снисходительно наблюдала кукла, которая, кстати, так и не получила имени, а только длинный титул: «кукла-с-закрывающимися-глазами».

От шалопутный, рассердился на себя Максимыч, так мало времени, и о чем — о кукле! Нет, о Лельке. О четвертом поколении.

Пришла медсестра, поменяла бутылку в капельнице. Кивнув на пустующие кровати, спросила:

— Не скучно? Никто летом болеть не хочет, — и сама засмеялась.

Так ведь и я не хочу, подумал старик. Разве болезнь спрашивает?

В этой палате никто не задерживался. Вначале поселили маленького, сгорбленного старичка. Он двигался короткими шаркающими шажочками, а за ним шла, стараясь не обогнать, румяная сестра в тесном халате и несла узелок с вещами. Старичок едва кивнул, но было видно, что не от спесивости, а просто берег силы. Присев на кровать, он сипло и тяжело дышал, а потом начал развязывать узелок. У него так сильно тряслись руки, что Максимыч хотел было помочь, но постеснялся: мало ли, свое есть свое; прикрыл глаза и незаметно задремал. Когда проснулся, было уже темно и соседа слышно не было — спал, свернувшись в бесшумный комочек, сам похожий на узелок.

С утра Максимыча повезли куда-то в лифте на носилках, причем пожилой санитар ругал второго, помоложе: как ты завозишь, разве так можно?.. Головой разверни, головой вперед!.. Вернувшись в палату, Максимыч увидел на кровати старичка серьезного мужчину лет пятидесяти, с полными, как у женщины, руками и прозрачным зачесом на плоской лысине. Казалось, вчерашний старичок каким-то чудом помолодел, так что Максимыч даже машинально поискал взглядом узелок. Новый сосед решительно повернулся к нему:

— Пижама, говорю, полагается или нет?

Тот же вопрос он задал санитарам, раздраженно пригладив ладонью зачес, и старику показалось, что от пригладивания лысина становится все более плоской.

Потом опять была попытка запахами: развозили обед. Старик отвернулся к окну, а сосед наставительно объяснял раздатчицам, что в Республиканском госпитале ему полагалась пижама и здесь полагается. Ловкая рука поставила Максимычу на тумбочку чашку с бульоном, и он, сдерживая дурноту, с нетерпением ждал, когда тележка отъедет.

Это было для старика самое мучительное: завтрак, обед и ужин. Язва стала капризной и отторгала все, что пахнет. Улегшись в кровать после очередного приступа рвоты, он вспомнил, что и такое уже было раньше: чужие запахи. В Ростове, когда мамынька лежала в тифу, а он каждый день приходил в больницу, его сразу охватывал тревожный, пронзительный запах. Больничный воздух был так насыщен им, что нечем было дышать, и когда милосердные сестры проходили мимо быстрыми шагами, от их платьев тоже шел этот запах.

Или вот: удушливый, горький дым от горящего парохода, когда бомбили. Первый запах войны. Очнулся — точно в Ростов попал: молодой доктор, от которого пахло так же резко и пронзительно, аж в горле щипало. Удушливая пыль и тяжелый дух от потных, раненых, страдающих людей в эшелоне; второй запах войны — запах боли. Потом, в военном госпитале, уже перестал его замечать, принюхался; да и доски привезли, чтоб нары сколачивал. А чище, чем свежее дерево, разве что ребенок пахнет.

В доме у Калерии был, как и во всех домах, свой дух. Тоже сначала непривычно казалось: то ли не хватает чего-то, то ли что-то лишнее, только не понять, что. Потом перестал замечать, привык. Даже хлеб иначе пахнул, Мать Честная!

Когда мучают чужие запахи — это и есть тоска. Ведь и старичок тот приносил вместе с узелком свой запах, вспомнил Максимыч. И унес.

Новый сосед, в борьбе обрета вожденную пижаму, удалился в коридор вместе с фабричным уксусным запахом новой ткани. Интересно, что он так и не вернулся, словно лег в больницу из-за пижамы. Зашла санитарка, сдернула белье с его кровати и унесла, свернув вместе с одеялом.

А как пахнут свежие стружки! Деревом, смолой, теплом, солнцем...

Был доктор, послушал трубкой, что-то записал в тетрадку и посоветовал гулять. Славный доктор, спокойный.

Теперь еду приносить перестали, только чашку с питьем ставили, но даже воду глотать стало трудно.

— А бабе худо будет, — вслух сказал Максимыч, открыв глаза. Он лежал в палате один. — И сны не с кем будет гадать. Да что сны — и дрова, и топка, все самой; а зимой как?..

В окне было ярко-голубое небо и густая зеленая крона дерева. После обеда больница затихла. Максимыч долго ловил ногами жесткие дырявые тапки, закапанные почему-то белой краской, встал на ноги и надел халат. Попрошу, пусть мои принесут, что ж я чужую рвань таскаю.

Тапки оказались непослушными, поминутно соскальзывали. Старик медленно шел по коридору, стараясь не оступиться. За полураскрытой дверью громко разговаривали две женщины: одна неуверенно, другая авторитетно и жестко. «А тут чего писать?» — «Где?» — «Вот: причина смерти...» — «Пиши: отек легких. Остальное патологи впишут». Что-то упало со звоном, и тут же запело радио:

Мишка, Мишка, где твоя улыбка,  
Полная задора и огня?

Помер кто-то, Царствие Небесное рабу или рабе Божией. Старик перекрестился.

На лестнице тоже висел репродуктор, и лукавый голос втемяшивал Максимычу:

Самая нелепая ошибка —

То, что ты уходишь от меня...

Хирург, которого Федя нашел не без помощи всесильного пана Ранцевича, был похож на пожилого Буратино. Колпачок из старого носка давно износился, и его сменила белая крахмальная шапочка. Из-под шапочки торчали соломенного цвета стружки. На остром носу сидели старомодные очки, явно перешедшие по наследству от кроткого шарманщика. Наблюдая угловатые, шарнирные движения Буратино, Феденька изумлялся, как он завоевал славу блестящего хирурга. Буратино дернул его руку своей жесткой деревянной ладонью и кивнул носом:

— Очень приятно.

Его звали Теодор Карлович Бубрис.

— Очень рад, — улыбнулся Федя. При других обстоятельствах такое хорошо подогнанное имя его бы развеселило, но сейчас смешно не было.

Круглые усталые глаза Буратино смотрели деловито и серьезно. Говорил хирург так же, как двигался: короткими рывками, словно экономя фразы и слова. Кивок носом обозначал точку.

— Видел снимки. Обширная карцинома. Пальпировал. Желудок. Плюс двенадцатиперстная.

Федя ждал продолжения, хотя куда уж. То ли от бессильной злости, то ли заразившись римской лаконичностью собеседника, он спросил:

— Операция?

— Застарелая. Поздно. Неоперабельна.

— Метастазы? — не унимался Феденька.

— Пищевод. Кишечник не обследовали. Но. — Хирург пожал острыми плечами.

— Сколько?.. — голос у Феди сел, но врач понял.

— Зависит как организм. Метастазы множественные. Месяц. От силы.

— Я вам очень признателен, доктор, — Федя перешел на нормальный язык и вынул из кармана приготовленный конверт.

Буратино резко мотнул головой.

— Коллега. Адаму кланяйтесь. Однокашник. Звоните, если. — И встал, упрямо не глядя на конверт.

Что — «если», ломал голову раздосадованный Федор Федорович; «если» — что? Но ничего придумать не мог, тем более что мешало радио, из которого назойливо пел развязный мужской голос:

Самая нелепая ошибка —

То, что ты уходишь от меня...

\* \* \*

Хлопот прибавилось: начался учебный год. Тоня часто и гордо произносила непривычные строгие слова: «факультет», «конспект», «семинар». Крестник возвращался поздним вечером, охотно вступал в беседу, энергично кивая рассыпающимся пробормотом, но по счастливым голубым глазам становилось понятно: ничего не слышит и вообще не здесь он. Все так же улыбаясь, тыкал разлохмаченной щеткой в зубной порошок, проводил по щеке первым попавшимся полотенцем и валился с закрытыми глазами на раскладушку; с утра исчезал. Признался матери, что Милочка приедет к нему в Севастополь, как только окончит институт, и спохватывался, что не зашел к деду; завтра. Ирина тихо радовалась, да и как не радоваться, если сынок счастливый, а Милочка не только на редкость мила — вот магия и власть имени! — но и умница. Дай им Бог...

Труднее всех приходилось Лельке. Утром она завистливо наблюдала, как Людка с Генькой уходят в школу. Утешало одно: портфель.

Они с бабушкой ходили проведать Максимыча, и Лелька нашла в траве каштаны в игольчатой коже. От Максимыча пахло больницей, но если обнять за шею крепко-крепко, закрыть глаза и принюхаться, то все-таки Максимычем тоже.

— Ты скоро домой придешь? Мы с бабушкой Ирой твои чибы принесли и носки тоже, но ты лучше в них дома ходи. Вчера мне бабушка Матрена бусину подарила, насовсем: смотри! Она такая драгоценная, я ее в пенале держу.

Девочка вытащила из кармашка продолговатую темно-красную бусину.

— А Генька и Людка в школу ходят, — грустно добавила она, — и там за партой учатся. Я в книжке такую картинку видела. В школу все дети носят синюю форму и портфель. Бабушка Ира мне такую форму сошьет. Потом. Хочешь, я тебе бусину оставлю?..

Он машинально взял тяжелую кругляшку, нагретую детскими пальцами, и сидел, держа Лельку на коленях. В своих тапках, которые в семье все называли уютным словом «чибы», Максимыч приободрился.

— Бог даст, выйду отсюда, наберусь силенок, смастерю тебе парту. — К именинам не управиться; може, хоть к Рожеству. «Помоги, Царица Небесная», просил старик и ясно видел эту парту, и знал в то же время, что — нет, не успеть.

— Поедем с нами домой, Максимыч, сядем на диван и будем книжки читать. Меня во дворе цыганкой зовут, — продолжала она без перехода. — А ты мне расскажешь про бывало, и как ты цыганом был?

— Чего ж — «был». Я и есть цыган. — Старик тщательно разгладил усы. — Моя мамаша цыганкой была.

— Бабушка Матрена?! — Лелька в изумлении вытаращила глаза.

— Да не! Моя мамка. Она уж покойница, Царствие ей Небесное, — Максимыч перекрестился.

— А баба Матрена тебе не мама?

Старик засмеялся:

— Нет. Она ж твоей бабы Иры мамка, вон сама спроси у ней.

— А почему ты ее мамынькой зовешь?

— Да привык. У нас пятеро ребят было, и все: «мамынька» да «мамынька», ну так уж и пошло.

— Ты посиди сама или каштанчики поищи, — встревожилась Ира, — дед устал тебя держать. Ему полежать надо, да и лекарство пить пора.

Она поставила Лельку перед скамейкой и поправила платице. Только сейчас Максимыч заметил обручальное кольцо на левой руке дочери. И старуха будет на левой

носить, догадался он. Называться будет не жена, а — вдова. А снимет как, ведь больно? Он представил полные, красивые руки Матрены. Разве с мылом, и то... О чем я думаю, Мать Честная?! О главном надо, о главном!

В своих чибях идти было намного легче, хоть ноги все равно дрожали. Совсем никудышный стал, подумал с досадой. Толкнул дверь в палату и чуть не зашиб долговязого прыщавого парня. Новый. Молодой совсем, как Левочка. Болезнь-то не спрашивает.

Старик ждал внука и очень надеялся, что тот придет один. Попрощаться тихонько, и к месту; до Черного моря далеко, когда еще придет. В том, что Левочка придет в больницу с ножиком, дед не сомневался. Сначала спросить, а потом... а то сам нипочем не догадается.

Что ж такой молодой в больницу попал, думал Максимыч, вытянувшись поверх одеяла. Лицо парня было скрыто книжкой.

— Это к вам, наверно, приходили, — новенький отодвинул книжку. — Вы Иванов будете?

— Кто? — старик привстал на кровати, словно парень мог знать.

— Не знаю, летчик какой-то. И с ним еще одна, такая... с косами. Медсестра сказала, что вы в парке.

Ах ты, Мать Честная! Знать бы, так подождал бы, суетился Максимыч, запахивая халат. Бог даст, встречу; посидим на воздухе.

Больничные парк пустел — люди спешили к ужину. Со стороны улицы послышался звон трамвая. Поблизости никого не было видно. Гасло небо. Над входом зажегся фонарь, устроив сумерки. Кусты сразу стали темнее и гуще. От скамейки донеслись негромкие слова. Фонарь, легко покачиваемый ветерком, нарисовал на песке два увеличенных силуэта и отчеркнул широкой полосой скамейки. Старик узнал голос внука, но подходить не спешил; остановился. Девушка откинула голову и сказала: «Я тебя здесь подожду. Ты скоро?» Тот слегка наклонился к спутнице и тихо-тихо, как очень счастливые люди, засмеялся: «Сейчас», но не шевельнулся.

Осторожно ступая по песчаной дорожке, Максимыч двинулся обратно. Хорошо, что в своих, хоть с ног не сваливаются. Шел и улыбался, зачем-то выравнивая усы, и опять улыбался. «Вот оно как, — произнес негромко. — Вот как!» — повторил с торжеством кому-то — не иначе как Царице Небесной. Он и парню в палате хотел сказать, по-видимому, то же самое, но парня, как и следовало ожидать, там не оказалось, только лежала примятая подушка и книга, перевернутая домиком на постели.

Когда старик снял халат, что-то твердое упало и медленно покатилося по полу. Он нагнулся, держась за спинку кровати, и поднял Лелькину бусину. Осталось лечь и согреть ее в ладони.

Трамвай долго не приходил. Зажглись фонари и, покачиваясь, тускло отражались в рельсах.

— Бабушка, — обернулась Лелька, — а во-о-он моленная наша, смотри! Ты плачешь, бабушка Ира? У тебя голова болит?

Плохие вести расходятся быстрее добрых, растекаются злыми едкими ручейками. Федор Федорович здесь ни при чем, ибо никому, кроме пана Ранцевича и Тони, о беседе с хирургом не рассказывал.

Мамыньке решили не говорить. Ире — тоже:

— Не слепая, — раздраженно бросила жена, — видит отца каждый день; сама должна понимать, к чему идет.

Братьям? Ну, о младшем и говорить не приходилось: его трезвым и застать-то трудно. Хотя отец есть отец, нерешительно вступился Феденька, который своих родителей не помнил, а когда хоронил тетку, извещать было некого.

— Я говорю, нет! — высоким, напряженным голосом воскликнула Тоня, и муж замолчал.

— А вот Мотяшке обязательно...

Но печальный этот разговор был прерван длинным звонком. Это пришел Мотя, прямо с работы: узнать, что врачи говорят. И посмотрел на Феденьку с боязливым ожиданием.

Конечно, его приход был вполне объясним логически: отец болен, сын переживает, а муж сестры — человек знающий, сам доктор, хоть и зубной. Но ведь Мотя позвонил в дверь, как раз когда говорили именно о нем! Да и не принято было являться к Тоне без предупреждения, всегда заранее сговаривались через мать, которая единственная была абсолютным исключением из этого правила и служила надежным и безотказным диспетчером. Опять-таки, ситуация экстремальная: это не Симочка в поисках спасительной рюмки, так что даже и гостем не считался, тем более что жил в двух шагах. Однако рассказчик качает головой: нет, это передалась мысль. Старший брат услышал непостижимым образом, что речь идет о жизни и смерти — вернее, теперь о смерти, — и постиг это не в тот момент, когда было названо его имя, а раньше, когда супруги только начали тяжелый разговор; потому и сел в трамвай, идущий не к дому, а в противоположную сторону, к сестре.

Детям, конечно, знать ни к чему; с этим согласились все. А вот мамынька... Тихий, всегда уступчивый Мотя упрямо покачал сидящей головой:

— Мамаша должна знать. Проститься надо, а то не по-людски получается.

— К чему ей целый месяц душу мотать?.. — возмущалась сестра.

— Месяц от силы, — поправил муж, — а если раньше? Он же на глазах тает. — От какого момента следовало начать отсчет гипотетического месяца, и сколько от него осталось, Федор Федорович и сам не очень понимал.

— Пускай Ира скажет, — настаивал брат, все и всегда безоговорочно доверявший старшей сестре.

— Она ничего сама не знает, — обронила Тоня не то чтобы высокомерно, а — недовольно.

— Сестра — знает, — Мотя сделал паузу, — ей говорить не надо.

Условились, что мать Тоня возьмет на себя и осторожно, не сразу, но скажет... Проститься надо.

Тонина миссия, как ни странно, смягчила ее собственную реакцию: нужно было самообладание и хладнокровие для двоих. Она объяснила матери, что Федор Федорович беседовал с докторами и что доктора весьма обеспокоены папиной болезнью. Федор Федорович вызывал... разговаривал... проконсультировался... Дочь умышленно наградила обоих консультантов профессорским званием, потому что с лица мамыньки не сходила скептическая недоверчивость.

— Что ты мямлишь, — рассердилась старуха, хотя Тоня говорила четко и уверенно, тщательно подготовившись к нелегкому разговору. — Что ты плетешь?! Да и что они знают, твои доктора, — продолжала Матрена, одним махом разжаловав мнимых профессоров в их истинную должность, — что они знают?! Ну ты сама посуди: то к чахоточным свезли, то теперь здесь держат! На кой человека в больнице гноить, если вылечить не могут? Пустили бы домой, я бы его враз подняла!.. Ты скажи Феде, — наставительно продолжала мать после возмущенной паузы, — пусть спросит там: може, его не так лечат? Тогда к свиньям собачьим таких докторов! А если язву резать надо, так пускай режут: надо, так надо.



Даже если судить только по «свиньям собачьим», старуха разъярилась не на шутку. Слово «черт» в семье было под строжайшим запретом, и даже такой допустимый эквивалент употребляли нечасто.

Дочь напомнила, что резать надо было раньше, может быть, несколько лет назад, а теперь время для операции упущено. Что язва вовсе не язва, говорить не стала, — к чему?

— Он ведь крепкий был всегда, — горячилась мать. — Помню, я в Ростове тифом болела, — ты не можешь помнить, ты трехлетняя была, — так он ко мне каждый Божий день ходил — и хоть бы хны! Ирка один раз прибежала — и свалилась, а он... По сколько лет, говорят, люди с язвой живут!

Какие «люди», кто ей такое сказал, изумлялась дочь, но хорошо уже, что дело начато. Постепенно, постепенно; сразу нельзя.

С протяжным звоном хлопнула дверь парадного, и Матрена вышла на улицу. Ласковое сентябрьское тепло не смягчило ее гнева. Брови напряглись и сблизились, румянец молодил лицо, походка превратилась в поступь. Не сбавляя решительного шага, она свернула на Столбовую, но не направо, к Симочке, а в противоположную сторону. Через полчаса удивленно чмокнула больничная дверь: хлопка не вышло.

Дверь же в палату была и вовсе без пружины, да и хлопать как-то расхотелось: старик спал. Он лежал, запрокинув голову и чуть приоткрыв рот, как очень усталый человек. Матрена с недоумением смотрела на торчащую бородку, синие губы, точно чернику ел, и странно побледневшие рыжеватые усы, пока вдруг поняла: поседели. Под горлом, между торчащими ключицами, тихонько пульсировала маленькая ямка — будто слабый родничок. Старуха задела ногой табуретку, и муж открыл глаза:

— Мамынька?..

— Что ж тут понаставлено хламу под ногами, — она пыталась недовольным голосом замаскировать растерянность. Деловито придвинула охаянную табуретку к кровати; села. — Ну? — требовательно обратилась к мужу, — сколько ты тут будешь казенные тюфяки пролеживать? Точно дома уже и делов нету. Ручка от буфета, знаешь, левый ящик, где Надька вилки держит? — ручка расколовши, так она веревку привязавши и так, за веревку, ящик тягает, слыханное дело! Потом, стуло дальше, что у окна стоит, шатается; я могу Мотю попросить, да у него своих делов...

Помолчали. Матрена расправила сбившееся одеяло, и Максимыч, взглянув мельком на правую руку с венчальным кольцом, еще раз подумал, как трудно будет его снимать, и о том, что надевал-то кольцо он, а снимать — ей.

— Матреша, — начал он, и старуха испугалась: это когда ж он ее так называл? Давно... когда? Когда папаша мой померши был, вот когда. И после Лизочки, на кладбище уже. — Ты прости меня, Матреша, — просто и серьезно сказал муж. — Столько прожили, никого у меня роднее нету.

— Бог простит, — строго ответила мамынька.

Это старик знал сам. Он ждал прощения от нее, слова или знака, но лицо жены, как всегда при упоминании Бога, сделалось вдохновенно-неприступным. Максимыч дернул с досадой кончик уса, но старуха молчала. Это тоже было, подсказала память, когда на коленях стоял, и палка рядом валялась. Тогда, после войны. А для нее — после Кемерова.

Максимыч ухватил тощую складку одеяла, словно держался за нее обеими руками.

— Матреша, — снова произнес он, — ты свози Лельку на море... после меня. Помнишь, как мы с ребятами там жили, в мирное время?

...Дачу снимали сразу за дюнами, чтобы не тащиться караваном к пляжу, а выйти за калитку — и море. Снимали сразу целый дом, чтобы хватало места для взрослых детей и внуков. Старуха мечтательно улыбнулась, не вспомнив даже, а — увидев все сразу: нежные струйки клубничного сока на взбитых сливках, хрупкие плечики внуков, на глазах

покрывающиеся загаром, «бабушка-можно-мы-пойдем-купаться» и счастливый визг. Вспомнила — увидела, как они со стариком входят в серо-зеленую воду и терпеливо идут до третьей мели, где, наконец, и начинается купанье. Для них с Ириной это означало дальний и долгий заплыв туда, где вода была намного холодней и угрожающе отблескивала тусклым угольным цветом. Потом, бодрые и освеженные, они плыли назад, спокойно переговариваясь и вспоминая глубокие воды Дона. На песке кутались в толстые махровые халаты и лежали, наслаждаясь отдыхом и любовно наблюдая за детьми. Тайка в свои... сколько ж ей было тогда?.. десять? нет, одиннадцать, — была таким же прирожденным пловцом, что и доказала как-то раз, паршивка эдакая. Ира целый день пролежала пластом в темной комнате.

— Ты помнишь? — домогалась Матрена. — Ни говорить, ни исть не могла. Я ее святой водой кропила; помнишь?

— Да... — Старик подумал: а сам вспомнил бы? Наверяд. Вот если б море приснилось, тогда бы вспомнил.

— Пора мне, — заторопилась старуха, — что ж рассиживаться. Надо еще в хлебную лавку по дороге зайти.

И мне пора, Матреша, чуть не сказал старик в дверной проем.

\* \* \*

Дома никого не было. Положив на буфет коричневую буханку, Матрена направилась прямо к шкафу и, встав на коленки, вытащила из-под него жестяную коробку. Пыли на крышке не было, ибо на днях старуха что-то уже искала. Нашла, нет ли — неизвестно, однако ж бусина Лельке от щедрот досталась.

Сначала она пробовала приподнимать верхние слои с угла в надежде найти искомое; куда там. Промокнув концом головного платка верхнюю губу, отдышалась и стала методично перекладывать свои реликвии в крышку. На флердоранжевой диадеме несколько лепестков скрутились, как фитильки, и старуха бережно их расправила. Морщинистая папиросная бумага облекала елочного ангела — увы, даже ангел не ведал еще о полиэтилене, — а под ним лежала матовая коричневая фотографическая карточка. Матрена вынула ее и стала долго и пристально рассматривать.

Небольшой, как уменьшенная открытка, снимок был сделан с необыкновенной четкостью, хоть предмет изображения не поражал оригинальностью. На больничной кровати очень прямо лежал пышноусый старик, в изголовье и в ногах стояли медицинские сестры. Удлиненные платья, строгие, прямые передники и безучастные лица возвращали к эпохе сестер милосердия. Все трое смотрели в объектив, смотрели внимательно и спокойно. Их взгляды, а также безукоризненная геометрическая правильность постели, возможная только, когда человек не озабочен уже потребностью двигаться, делали кровать одром смерти, чем она и была. Отец смотрел прямо на Матрешу, смотрел обреченно и тоскливо, будто стараясь насмотреться и запомнить навечно.

Помяни, Господи, душу усопшего раба твоего Ионы. Старуха перекрестилась на иконы и поцеловала твердую картонку.

Воспоминания, как это часто случается, потекли от смерти в живое прошлое, словно нитка клубка разматывалась. Там, в клубке, таилось плотное ядро жизни, а снаружи только запыленный, разлохмаченный конец нити. Могучая фигура Ионы Спиридонова уже возникла однажды в этом повествовании, и за ней даже показался на миг силуэт его тихой, кроткой жены с хлопотливым именем Сиклитикея. Да как не хлопотать: четверых сыновей и столько же дочерей родили и всех, слава Богу, вырастили, что по тем временам бывало ох как нечасто. Жену Иона называл Тишей, да она и была такой: тише всех. Старшим сыном был Феодор, старшей дочерью — Ксения, очень рано выданная замуж и

до времени овдовевшая. Больше всех помогала матери в доме Матрена, потому и привыкла она командовать как братьями, так и сестрами, а перебравшись с мужем сюда, к самому синему морю, позаботилась о том, чтобы переехала ее семья. Отец, долго проработавший бакенщиком на Дону, сменил без лишних слов одну реку на другую, а бакены — они и есть бакены. Тиша дождалась внучки и даже понянчила ее немножко, а других Матрешиных деток не увидела: занемогла и слегла, да больше и не встала. Сохранилась фотография, где она сидит, приобняв рукой трехлетнюю Ирочку, а слева стоит младшая дочка Акулина, коей на вид никак не больше одиннадцати.

Когда гроб с женой опустили в ярко-желтый сыпучий песок, — послушно разматывался Матренин клубочек, — Иона остался жить с незамужними дочерьми. «Девки, — хмурился он, — хорошенько стирайте мне рубахи, как мамаша покойная!» Да только незамужние дочери были обеспокоены своим затягивающимся девичеством и все усилия затрачивали не на стирку отцовских рубах, а на поиски женихов, что в перспективе сулило им все ту же стирку рубах. У Матрены уже было двое детей, так что стирки и кипячения куда как хватало. Нет-нет да и забегала замужняя дочка Ксения — не столько помочь, сколько ужаснуться и попенять сестрам. «Смотрите, — сердился отец, — не будете как следует ухаживать за мной, возьму да женюсь!»

Как уже упоминалось раньше (тоже клубочек нитку раскручивал, только в мирное время, обернувшись нарядным и праздничным серпантинном), Иона всегда был немногословен, да и те немногие слова не привык бросать на ветер. Не успели дотрепетать на ветру запоздало выстиранные льняные рубахи, как отец женился.

Несмотря на то что все слышали его угрозы, изумлению детей не было предела. Сколько ему тогда было лет? Родился он в год смерти Пушкина, не подозревая, впрочем, о смерти поэта, как и тот, во гроб сходя, не узнал о рождении Ионы Спиридонова; стало быть, второй раз шел под венец в шестьдесят девять лет, а это вам не фунт изюму, как говаривала Матрена, играя соболиными бровями. Более того, женитьба отца явилась предметом особой семейной гордости, ибо взял он за себя девушку. Старую девушку, поправляли те, кто не понял пока, как относиться к этой женитьбе, хотя двух мнений быть не могло: вот они, венчальные свечи, а девушка хоть и «старая», так ведь далеко не старуха — Марфуше еще тридцати не было.

Соскучившись от долгого девичества, Марфуша любовно стирала, гладила и просто, но сытно кормила мужа, а через год счастливые родители стояли над купелью; дочь была крещена Руфиной. Других детей от этого брака у Ионы не было, но скептики и так пожимали плечами: принято было считать, что старик женился ради стирки, а тут... Несмотря на уговоры дочери, отец в эвакуацию не поехал и пережил смутное антихристово время, деля свою жизнь между домом и рекой, где бакены никто не отменял, а значит, их следовало зажигать и гасить вовремя. С Марфушей и подросшей дочкой встретил вернувшихся из Ростова и молча выслушал их скорбный рассказ.

Матрена смотрит на старую карточку и удивляется, что на смертном одре отец почти не изменился лицом, но куда девалась исполинская фигура, размах плеч? Ну, да карточка маленькая, приходит успокоительная мысль. Разматываясь, нитка клубка несколько раз запутывалась, но потом выравнивалась, а самого клубочка-то осталось всего ничего — так, смятый комочек, искривленный наподобие почки. Папаша ничем никогда не болел, и Матрена силилась припомнить, от какой же болезни он помер? Что-то доктор говорил о почках, но это всплыло сейчас, а тогда... Тогда она дохаживала с Лизочкой, Царствие ей Небесное, и была уверена, что помер он от старости. Шутка сказать — восемьдесят три года. Да и никак это не было похоже на болезнь, убеждала она кого-то. Пришел вечером с работы, рассказывала Марфуша, умылся и начал делать свою излюбленную тюрю: лук порезал, хлеб крошил, да только оставил почему-то, крошки на столе сдвинул холмиком и — лег. Наутро подняться не смог, а в больнице... Сколько он в больнице лежал? Клубок разматался до конца, оставив куцую нитку... Вот тебе и вся жизнь,

додумывала она уже без клубочка, снова опустилась на колени и задвинула коробку под шкаф.

И вовремя: хлопнула входная дверь, брошенная Генькой и радостно подхваченная сквозняком, и сразу же затараторила Надька. В собственном доме покою нету, с досадой подумала старуха. Так хотелось закрыться, запереться и никого не видеть, остаться наедине с укатившимся клубком... Она зачем-то открыла дверцу шкафа и бесцельно передвинула несколько вешалок. Нету покою, нету... Внизу лежали сложенные «на всякий случай» вещи, или, вернее было бы сказать, черновики вещей: нечто раскроенное, но по какой-то причине не сшитое, перевязанное ленточкой из той же ткани; или, наоборот, распоротое и заботливо сложенное; дежурная стопка одежды на починку, нитки... Все клубки давно пора собрать в мешок, вдохновилась старуха, а то катаются по углам, что ежики. Нашелся и мешок. Она собирала клубки и клубочки, как картошку, и уже мысленно прикидывала, из чего можно связать жилетку на зиму, как тусклое семечко упало на пол, но не осталось лежать, а неуверенно запрыгало и опять плоско закрутилось в воздухе. Моль. От-т паскуда! Весной все упихала нафталином; это теперь нафталин такой делают. Она решительно сдвинула брови. Хочешь не хочешь, весь шкаф перебирать надо. Снова мелькнул в воздухе прерывистый золотистый штрих, резко пресеченный властным хлопком. Завтра же все проверить, не то сточит... как язва какая.

## 20

Хоть Симочка отродясь не знал, кто такой Симеон-летопроведец, это не мешало ему гордиться, что начало бабьего лета приходится на его именины. Мать обязательно пойдет поздравить, а ближе к вечеру и Тоня... со своим индюком. Сестра щечкой дернет, будто графиня у пивного ларька, а индюк руку пожмет и торт на стол поставит. Чем на такой торт деньги выбрасывать, лучше бы хоть раз бутылку «беленькой» принес... Это ж почти две выходит! Да где там, держи карман шире. Тонька еще в кухню пройдет, так это, бочком, чтобы крепдешины свои не загваздать, и начнет из сетки харчи доставать. Чай, консервы всякие, детям лакомства. Подачки. Конечно, у нас паркетных полов нету, детей на пианино не учим, зато угостить — угостим. И портвейн есть, и водка припасена (он взглянул на початую бутылку), и закусить найдется. Мы живем по-простому, а только ни у кого милостыню не просим. Именинник гордо расправил плечи.

Ирка не придет; оно и лучше. «Грех, Сеня, грех: женись, чтоб перед Богом и людьми...» Дочка у ней — та совсем другая: забежит, папироску-другую с ним за компанию выкурит, а то и рюмку выпьет.

В кухне что-то булькало. Валька уронила крышку от кастрюли, и было слышно, как она со звоном покатила по полу. Безрукая, *пся крев*.

— Папа, там копейка, — Сашка, гундосый, как всегда, протягивал руку под стол.

Отец посмотрел вниз.

— Во-первых, не копейка, а двадцать копеек, это разница. А во-вторых, — продолжал он, разогнувшись и держа в руках раздавленную алюминиевую крышечку от «маленькой», — уйди из-под ног, не мешай.

Налил рюмку. Семен-день! Беззвучно выпил. Посмотрел на возившихся детей в линялых, застиранных одежках, на тусклые стены, захватанные и лоснящиеся на высоте детского роста. Встал и потянулся за пиджаком. Чем сидеть, лучше мамыньке навстречу пойти. Мол, так и так, пригласить хотел. Минуя кухню, глянул исподлобья: Валька резала лук, вытирая плечом слезы. Швырнул дверь: поплачь, поплачь.

Она плакала сегодня два раза: сначала получила письмо от матери, а затем «получила» от Симочки, который не успел перехватить конверт и, разорвав, спустить в уборную. Попольски Симочка не читал, и письма были ему не нужны, а только и ей без надобности, что он Вальке и демонстрировал, швыряя в унитаз голубые клочки. Вот так-то. Сегодня

она встретила почтальона на лестнице, когда шла за молоком, поэтому на протяжении короткого пути в магазин, а потом в очереди она была счастливой Вандой и на обратном пути тоже чувствовала себя Вандой. Улыбаясь, Ванда спрятала голубой конверт, потом спрятала улыбку, но мысль спрятать не успела: жалко было расставаться с нею так быстро. Между тем мысль-то передается, даже если люди думают на разных языках. Впрочем, нужен ли вообще язык для передачи мысли, если эта мысль ярко эмоциональна, если живущий ею счастлив или, наоборот, скорбит?.. Однако же эти рассуждения принадлежат целиком рассказчику, а Ванда, переступив порог квартиры и все еще светясь от полученного письма, была встречена Симочкой. Она поставила бутылку с молоком и сняла жакетку, а когда обернулась, увидела твердую вытянутую ладонь: давай. Ну!.. Ванда растерянно выгребла сдачу из кармана жакетки и протянула ему, а через несколько минут опять стала Валькой: кофта была растерзана, щека горела. Победитель смял письмо, и шум спускаемой воды был почти заглушен детским плачем.

Старухин маршрут именинник знал наизусть. На подходе к родительскому дому выкурил папиросу и приготовился к мамынькиному угощению.

Дверь открыла Людка и сказала: «Здрасссьть», а поздравить не поздравила; племянница, называется. Когда Симочка в последний раз приходил сюда с гостинцем, он запомнил; так ведь не о нем речь — о воспитании.

Он мазнул костяшками пальцев по Ириной двери — вроде постучал — и сразу же дернул за ручку:

— Мамынька?..

Ответила сидящая на горшке Лелька:

— Бабушки Матрены дома нету.

Симочка знал, что мать держала в шкафу настойку из черной смородины; хорошая настойка, крепкая. Он шагнул к шкафу, но был неприятно удивлен: дверца оказалась заперта, однако ключ, против обыкновения, в скважине не торчал. Озадаченно и с досадой подергав дверцу, он раздраженно спросил у девочки:

— Что ж у вас все заперто, воров боитесь?

— Это чтобы каждый лайдак не шнырял, — пояснила Лелька, не прерывая главного занятия.

На лестнице Симочка опять закурил. К Тоньке зашла, не иначе; не к Мотяшке же. Этот, небось, тоже вечером придет, со своей колодой вместе. Или не придет. Правду никто не любит; он сам в этом убедился, когда назвал Мотю дезертиром. На мамынькиных, что ли, именинах... Да нет! У Мотьки в гостях и было, в прошлом году. Так в глаза и сказал, ему стыдиться нечего. Выпил, конечно; так ведь правду сказал, и не за спиной, а в глаза. А правду-то и не любят.

Кепки чередовались с платками; ближе к центру замелькали дамские шляпки. Чаще и настойчивей звонили переполненные трамваи: люди ехали с работы. Лошадиные копыта извлекали из брусчатки ксилофонный звук, стучали колеса телег. Рванула пулеметная очередь: с грохотом промчался на самокате мальчишка с застывшей в воздухе ногой.

— Пора на стол накрывать, — нерешительно сказала Валька.

Она принарядилась и завила волосы. Дети, умытые и одетые во что-то немисливо красивое и яркое, присланное польской бабкой, жевали печенье. Симочка медленно выцедил полную рюмку и, расстегнув ворот рубашки, еще раз окропил шею одеколоном. Семен-день!

А вот и первый звонок: идут.

— Сам открою.

Он шумно отодвинул стул, распахнул широко дверь и увидел зятя. Одного, без Тони и без торта.

— Что ж вы по одному, — именинник выставил нижнюю челюсть, вроде улыбнулся. — Ну милости просим!

Федя ошарашенно вдохнул водочные пары, глянул на нарядных детишек и праздничный стол.

— Отец умер. Похороны послезавтра.

Твердо отцепил Симочкины пальцы от своего рукава и вышел.

День похорон приходился на среду. Все печальные и необходимые хлопоты: панихиду, похороны, поминки — под знаком буквы «П», отчего, должно быть, она и зовется «покоем», взяли на себя Тоня и Мотя. Старшая дочь неотлучно была с мамынькой: слава Богу, от отпуска оставалось еще два дня.

Матрена не плакала, не убивалась, а пребывала все время в стойком недоумении, даже брови не выдавали смятения, а как приподнялись 14-го сентября, так и остались приподнятыми, словно в ожидании чего-то. Она молча и упрямо крутила венчалное кольцо, плотно и преданно льнувшее к привычному пальцу; намыливала и трудилась опять. Надя посоветовала смазать постным маслом, и теперь казалось, что у старухи два кольца: на левой выпуклое золотое, а его глубокий оттиск — как тень — на правой. Все это старуха проделала в полном спокойствии.

— Шок, — непонятно объяснил Феденька, — блокада. Может быть, вначале и лучше.

Ира видела, как мать медленно достала из шкафа черное платье, черный платок и так же хладнокровно переделалась. Повернулась было к завешанному зеркалу, потом к дочери:

— Поправь мне платок сзади.

По дороге в моленную она подробно рассказала, как изничтожила моль, а то ведь какую шкodu могла сделать! Пришли, наконец. Всю панихиду старуха отстояла с такими же выжидающими бровями и очень спокойно; свеча в руке не дрожала.

Лельке тоже дали свечечку. Максимыча ей видно не было: он лежал очень высоко в гробу с серебряными кружавчиками, а на полу были набросаны еловые ветки. Пахло Рождеством. Бабушка Ира поставила ее рядом с лесенкой, которую сделал Максимыч. Лелька с удовольствием забралась бы на лесенку, чтобы увидеть деда, но боялась, что заругают: сегодня все очень строгие, да и лесенка выше ее самой, а в моленной падать — это грех. За Максимыча Лелька была спокойна, потому что он воскреснет, как Иисус Христос. Она нарочно поставила его чибы прямо к дивану. Может, они вернуться, а Максимыч уже дома!..

Мама взяла ее за руку:

— Пойдем, Ляля.

Гроб закрыли, и он стал похож на дом под крышей, только без окошек. Жалко, что не стеклянный, а то качался бы на цепях.

Дорога шла в гору, и гроб несли очень бережно, чтобы не оскорбить торопливым толчком или резким наклоном. Пересекли серую брусчатку Большой Московской, про которую никто, кроме Максимыча, не знал, что она похожа на рыбу, только сейчас она была не замороженная, а выброшенная на мель и занесенная песком, но все равно — рыба. Все, кто отстоял панихиду, двигались следом. Первые ряды были совсем ровные, черные и безмолвные, дальше от гроба группки становились пестрее и озвучивались, люди перетекали из одной в другую, негромко переговариваясь.

Семейное кладбище располагалось на пригорке. Старуху держали под руки сыновья, и было видно, что держат крепко. Ира и Тоня с мужем стояли рядом. Гроб, казалось, отдыхал после извилистого пути по улицам и кладбищенской тропе. С противоположной стороны встали невестки; пространство между ними заполнили внуки. Только двое самых младших не пришли проводить деда: Ванда оставила их на соседку. Остальные

одиннадцать, похожие и разные, взрослые и подрастающие, смотрели то на гроб, то на высокую горку ярко-желтого тяжелого песка. Здесь же стояла маленькая правнучка. Песок уже набился в обе туфли, но снять их и вытряхнуть она не решалась. Другие родственники деликатно рассредоточились позади плотными неровными рядами.

Кадило в руке батюшки было похоже на тяжелый послушный маятник. Звучащие слова отличались от привычных так же, как запах ладана от коптящей лучинки, но что-то нет-нет да и проникало в уши.

*Приидете на гроб, братие...*

Был только полдень, третий день бабьего лета, очень светлый и теплый.

*Воистину суета всяческая житие се, сень и сон...*

Густая сень деревьев почти не шевелилась, словно для того, чтобы не мешать словам, медленно плывущим в ароматном дыму:

*Господня есть земля, и исполнение ея, вселенная, и вси, живущие на ней...*

Неожиданно для себя самой заплакала Надя. Слезы лились по румяным щекам, и батюшка читал дальше, а она долго еще слышала это: «Господня есть земля...»

Левочка слушал не столько звучные слова, сколько смиренный голос. Казалось, это дед говорит ему: «Вот так отпусти пружину, видишь — крючок. Это когда лошадь захромает, ты первым делом слезь и проверь копыта: бывает, камешек попадет, ей ступать больно. Ты этим крючком камень подденешь, и к месту! Я так и знал, что ты сам не догадаешься». И потом, задумчиво: «Самолеты самолетами, а там как знать. Может, и на коне оказия будет когда».

*В недрах Авраама, и Исаака, и Иакова...*

Не один Лева, вслушиваясь в отпевание, слышал другое. В ушах Федора Федоровича звучал изумленный голос патологоанатома: «Подумайте, какое сердце, какое сердце богатырское! Да он с таким сердцем прожил бы еще двадцать пять лет!» Почему двадцать пять, а не двадцать или не тридцать, откуда он это взял?! И сам патологоанатом, и юбилейная цифра двадцать пять Феденьку безмерно раздражали; примиряло только скорбное изумление в голосе врача. А сейчас он стоял над открытой могилой и думал теми же словами: какое сердце, Господи, какое сердце...

Куда-то пропало легкое облачко, и желтизна холма сразу утратила свою яркость. Солнце ринулось на рыхлый песок широкой, щедрой струей, чтобы согреть его влажную тяжесть. Точно так же когда-то солнце, которое так любил Максимыч, падало на ворох стружек, и он от безграничного счастья мог только вымолвить: «Мать Честная!..» То же самое солнце ровно залило кладбище, превращая черный цвет в серый, обесцвечивая дымок ладана и заставляя щуриться не только от слез.

*Рабу Божию преставлешемуся, Григорию, ему же погребение творим. Вечная память...*

Матрена вздрогнула, словно ее окликнули громко, и внимательно посмотрела на батюшку.

*...прости его и помилуй. И вечныя муки избави. Небесному Царствию причастника учини. И душам нашим полезное сотвори.*

Маятник кадила послушно качнулся еще раз, батюшка перекрестился и легонько кивнул. Из-за кустов вышли четверо в кепках, деловито продвинулись к могиле и каждый ухватил конец бесконечно длинного полотнища. Не переговариваясь, а только обмениваясь взглядами, начали ровно опускать гроб в яму.

И Матрена закричала, запрокинув к небу гладкое лицо в черной оправе платка, закричала сильным, высоким и совсем беспомощным голосом. Не в открытое море, а в разверстую землю, в желтый плотный песок уходила старухина золотая рыбка. Уходила, ничего не сказав и не простив ее... Оба сына, большие и сильные, крепко держали мать под руки, но старуха не билась, не рвалась: она тянула ввысь свой долгий отчаянный крик, надеясь, что сам Царь Небесный услышит и — сжалится, отпустит раба Божия Григория.

Тоня рыдала, чуть заметными движениями поправляя черную кружевную мантилью. Ира стояла, не отводя глаз от песка, сложив руки замком и словно оцепенев. Левочка полез в карман за платком, нащупал нож и вдруг заплакал, пряча лицо в новенькую фуражку.

Были брошены первые горсти земли, давно усыновившей старика, и казенные люди в кепках ловко швыряли лопатами песок вслед ему, а Лелька так и не сумела заглянуть в яму, откуда Максимыч будет воскресать, поэтому ей тоже стало грустно.

Третьим днем бабьего лета началась суровая старухина зима. Они прожили вместе пятьдесят лет и три года.

## 21

Теперь следует продолжение — рассказ о старухе.

Жила-была старуха.

Она осталась жить, держа на коленях — или в жестяной коробке, что хранится под шкафом, или в памяти, неважно, — все еще не размотанный клубок. Он лежит, съезжившись, и нужно просто потянуть за конец нити... Но нитка легко обрывается, отслаивается от клубка, как обрывается и остается в пальцах следующая, и опять... Он источен молью, этот небольшой уже клубок, и рассказчику — да и старухе — предстоит связывать надсеченные концы.

История не окончена. Старик умер, но осталась старуха, и не в радость ей ни новое корыто, ни соболья душегрейка... Они жили долго, но не умерли в один день. Не всегда жили они ладно, это правда; но только став вдовой, Матрена поняла, что была счастлива. Да-да: пятьдесят три года под одной крышей, семеро рожденных детей, боль и страх друг за друга только таким словом и можно назвать. Другие властные три «К»: кровля — кровать — кровь связаны не этимологией, но общей судьбой, и надежно связаны; а треугольник — самая жесткая фигура...

Старуха осталась жить, плохо представляя, как это делать, но смутно зная, что так нужно.

А на следующий день Лева уехал в Севастополь. Долгая дорога в поезде не оставила ему времени, чтобы познакомиться с попутчиками за картами, домино или пивом: лежа на верхней полке, он потрясенно думал о мгновении — и бесконечности — своего отпуска и впервые уезжал с сосущей тревогой в сердце.



Ира проводила сына на вокзал, вернулась домой и легла на кровать, не откинув даже покрывала. Когда мать пришла из моленной, она все еще спала. Зная аккуратность дочери, старуха изумилась, что на одной ноге был надет тапок, а вслед за этим удивилась самой себе, как она обратила внимание на такой пустяк. Подошла к кровати и похолодела: Ира тихо говорила что-то по-немецки, а в полуоткрытых глазах светлели одни белки.

Матрена забыла перекреститься. Она велела Лельке быстро обуться и через бесконечные полчаса, бормоча: «Господи, помилуй, Господи, спаси и сохрани» уже звонила к Тоне в дверь.

— Так надо было «скорую» сразу, — растерянно заметалась дочь.

— Чтоб опять к чахоточным свезли, — старуха устало опустилась на стул. — Дай покой...

Здесь нитка опять невесомо повисла в воздухе, но это не беда: дальнейший ход событий мало чем отличался от недавно описанных: шляпка, зеркало, сумочка, щелчок замка.

Вечером, приехав из Республиканского госпиталя, Федор Федорович сказал, что пока ясно только одно: необходимо срочно оперировать. Будут делать трепанацию черепа.

— Это что ж, голову трепать будут?! — не поняла мамынька.

Зять принялся было осторожно объяснять, но Тоня решительно перебила:

— Лелинька останется у нас; может, и ты, мама?..

Но старуха опустила ладонь на стол:

— Нет, поеду. — Безымянный палец был ровно перерезан глубокой канавкой. — Нет, — повторила она, — мне домой надо.

По пути она вышла у моленной, где поставила две свечи: одну за упокой раба Господнего Григория, другую — за здоровье рабы Госпожней Ирины; домой шла пешком.

В Андрюшиной комнате было тихо: ушли. Она села за стол, сложив руки на скатерти и глядя то на огоньки лампадок, то на их отражения, растянутые боками самовара. Это уже было, вспомнила Матрена. Сидела вот так же одна, и лампадки теплились; ждала старика с войны. Сейчас она одна не была: вот-вот появятся невестка и внуки, но нечем было верить, что повернется его ключ в замке; а все остальное — так, как было тогда...

Теперь нужно было ждать дочь.

Завтра первым долгом — в больницу... Нет, сначала к Тоньке: и ребенок там, и ехать в такую даль лучше вместе.

Интересно, что, думая и говоря о правнучке, старуха, как правило, употребляла нейтральное слово «ребенок». Иногда, впрочем, появлялись другие слова, окраски отнюдь не нейтральной и рассчитанные на взрослого собеседника, — да и то, разве ребенок в таком возрасте может знать, к примеру, слово «ублюдок»? Нет, конечно; откуда. Нет, Матрена нечасто роняла такие поганые слова: ребенок-то не виноват; и гневно крестилась. Называть, однако, правнучку по имени отчего-то избегала — во всяком случае, делала это редко. Может быть, она так и не простила любимой внучке произвольный выбор имени, а скорее, не до конца простила обиду, которую та причинила старухе самим фактом появления на свет *такого* ребенка.

В корзине с чистым бельем лежали только вещи мужа, выстиранные и выглаженные. Надо проверить шкаф, отобрать что осталось и снести в моленную, пусть отдадут в богадельню. Собрать все в узел — не являться же в храм с корзинкой. Старуха вдруг увидела себя в коридоре моленной — растерянную, с узлом в руках: «Вот... вещи моего мужа... покойного. Може, кому Христа ради...» и явственно услышала чужой шепот сзади: «Вдова мастера Иванова...»

Как чудно, думала старуха, он — муж, а я — вдова. Никогда раньше она об этом не задумывалась. Когда сестра Ксения схоронила мужа и тоже стала называться вдовой,

Матрена нисколько не удивилась, однако думать о себе: «вдова», более полувека проживши женой, было диковинно. Вдова — это как сирота, вдруг поняла она.

В комнате на полу валялся платок дочери — соскользнул с головы, когда увозили. Швейная машина замерла, подавившись клетчатым ломтем. Ирка уже двенадцать лет вдовствует, да и эта... Надька вон тоже. Молодые бабы; что ж мне Бога гневить. Чуть дрогнул маленький твердый рот, но слез не было. Нагнувшись за платком, она увидела под креслом газетный сверток и догадалась: из больницы.

Тоня сложила вещи второпях, и старуха зачем-то стала разглаживать их руками, но вначале поставила у порога сапоги, на которых осела пыль Большой Московской и двух больниц, а за рант набились песчинки с последней рыбалки. Из-за того, что Максимыч приволакивал ногу, набойка на правом износилась сильнее; короткие голенища были чуть темнее по бокам, где старик хватался за них сильными пальцами, когда натягивал на ноги. Они стояли, почти соприкасаясь побелевшими бугорками на месте больных косточек, а глубокие складки кожи выглядели морщинами на усталом лице. С усилием отведя глаза, старуха вернулась к свертку. Когда она легонько встряхнула жилетку, из кармашка выпал желудь. Откуда, подумала с недоумением, там ведь каштаны, но уже видела, что никакой это не желудь, а продолговатая бусина, точь-в-точь, как та, что она подарила правнучке. Господи, ведь только на днях!..

Да это она и была, но почему у него в кармане?.. Maybe, ребенок играл и оставил, а он держал на тумбочке; Тонька и прибрала, не иначе.

...Только одна эта бусина и осталась от ожерелья сестры Кати, да, в сущности, и от нее самой. Матрена была старше сестры на восемь лет, но глядя на них, никто бы не признал их сестрами. Катя была узкоплечей и сероглазой барышней, со светлыми волосами цвета латуни и такими же блестящими, что среди блондинок редкость. Достигши восемнадцати лет, она заболела scarlatinой и хворала так тяжело и долго, что вернее было бы сказать: помирала. Сколько недель так пролежала, уже забылось; однако встала и осталась жить в полном безмолвии, ибо слух потеряла начисто. Как все почти люди в такой ситуации, отчаянно конфузилась, научилась читать по губам, но инстинктивно стала громче говорить, отчего все испытывали неловкость и раздражались на нее, уже здоровую. Кроме того, стало очевидно, что невзирая на свою редкую миловидность, останется она вековухой: кто ж глухую-то возьмет? Ксения была замужем, Матрена уже с Андрюшей дохаживала. Женились сыновья, оставшиеся в Ростове, но тоже подумывали о переезде. Даже Павлина, которая была только на год младше Кати, поглядывала на сестру немного снисходительно, потому что напротив их дома начал прогуливаться студент и, встречая сестер, снимал фуражку и кланялся. Павля, барышня строгого воспитания, но смышленная, смиренно опускала глаза, но словно бы забывала о не стертой с лица улыбке, которая сопровождалась у нее очаровательными ямочками на щеках. Студент даже зачистил в моленную, хоть был православным. Как Павлина, с глазами долу, разглядела троеперстное знамение, неведомо; а вот ведь...

Что же касается Кати, то никаких иллюзий на свой счет не имея, она даже подумывала о монастыре, и серьезно подумывала. Однако стала прихварывать мать. Акулине, младшей, едва минуло двенадцать, так что все хозяйство легло на плечи Павли и Кати. Студент все так же прогуливался и так же почтительно кланялся, теперь уже не только барышням, но и неразговорчивому их отцу. Что ж, поклон — не разговор; Иона спокойно кивал в ответ. Замужние сестры начали поддразнивать Павлину: хорош, дескать, жених, так и до второго пришествия кланяться будет. Павля огрызалась, хотя втайне гордилась: студент — это вам не фунт изюму.

Схоронили мать. Не заметили, как осень обернулась зимой. Отец выговаривал, что щи простыли. В окне маячила студенческая фуражка. Катя подкинула дров в печку. Павля села под окном со штопкой: темнеет рано. Два раза стукнули в дверь, и отец отпер.

Из рукава шинели студент вытащил посиневшие то ли от холода, то ли от сумерек подснежники и с поклоном протянул... Кате. Она смешалась, залилась румянцем и все показывала рукой на Павлю, застывшую с постылой штопкой в руках, на Павлю, которая сразу все поняла, и даже улыбку не пришлось убирать — откуда ей было взяться, улыбке-то?!

В тот же день студент попросил Катиной руки. Ее глухота не была для него ни секретом, ни препятствием к женитьбе, чем он крепко озадачил Иону, но отныне был принят в официальном статусе жениха. Отцу понравилось и достойное имя Иннокентий, позволявшее надеяться, что православный он только наполовину (что и подтвердилось), и серьезная специальность мостостроителя, с которой через год жених должен был кончить курс в институте; тогда же намеревались и свадьбу устроить.

Через реку как раз достраивали мост, поэтому Ионе часто доводилось встречать мостостроителей. Все они были люди основательные и так же основательно делали свою работу. Иначе и нельзя было: на строительстве моста пьяниц и шалопутов не держали. Понял Иона и то, что коли будущий зять сейчас заканчивает институт, то на работе он не тачку покатит в фартуке, а будет одним из тех, кто с карандашом за ухом командует фартуками. Да только все это вторично, а тронул Иннокентий отцовское сердце преданностью его увечной дочери, вот что главное.

В отличие от Кати жених говорил очень тихо; но, не слыша собственного голоса, девушка так и не научилась модулировать им. В апреле они вместе ходили на открытие нового железнодорожного моста, где Иннокентий пылко объяснял невесте особенности конструкции, словно она видела этот мост. Какое там: доверчиво и чуть напряженно Катя смотрела только на его губы, выговаривающие непонятные слова. Жаль, конечно, что мост был построен без Иннокентия. С другой стороны, мало ли рек в мире, да и здесь еще возникнет нужда в мостах; разве не так?

Оказалось — нет, совсем не так. 14-го июля, все еще в своей студенческой фуражке, Иннокентий оказался на призывном пункте, а спустя несколько дней — на войне. Прощаясь, он подарил невесте бусы, некогда принадлежавшие его матери. Катя срезала тонкую блестящую прядку своих волос, похожую то ли на струйку меда, то ли на текущую по сосне смолу, и, зашив крепко-накрепко в ладанку, повесила ему на шею.

Иннокентий с войны не вернулся. Может быть, тоже оглох от рвущихся снарядов, или был отравлен газами, или потерял память — кто знает? Катя по-прежнему жила в безмолвии, но теперь это было другое, враждебное безмолвие. Ожерелье она не снимала никогда и часто перебирала продолговатые тяжелые бусины, похожие на желуди. Они были выточены из каких-то уральских самоцветов; Иннокентий называл их гранатами, но Катя этого слова боялась: гранаты — это на войне, они-то и убивали людей.

Шло время, менялась власть, язык, деньги, но для Кати не менялось ничего в мировом безмолвии. Сестра Павлина, снова заиграв ямочками, давно вышла замуж и растила детей; Матрена нянчила первых внуков.

В глубине соседнего двора притулилась крохотная постройка — уже не сарай, но еще не домишко; там и поселилась Катя. Звали ее на форштадте Катя-гусятница. Она действительно разводила гусей, но привязывалась к ним так сильно, что трудно было расставаться; однако жить-то надо.

В то смутное время перед второй войной, когда исчез хозяин дома, но старик еще работал в своей мастерской, пришли — и смех и грех — национализировать Катиных гусей. Птицы растревоженно кричали, хозяйка ничего не могла понять по чужим губам, но когда представитель власти загреб переполошенного гуся, Катя замахнулась на него хворостиной. Красный от злости, он схватил и дернул ее за руку так резко, что от рывка порвалась нитка и тяжелые темно-бордовые градины запрыгали по бульжнику. Проходивший мимо Коля услышал необычно громкий гусиный клекот и Катин вой. Как ему удалось урезонить солдат, Бог весть; скорей всего, тем просто надоело выдергивать

свои галифе из цепких клювов. Они ушли с несколькими гусями, национализацию которых дружно отмечала вся казарма. С яблоками.

Катя долго ползала по горячим летним камням; да где там! Должно быть, укатились в канаву или спрятались в лопухах, закутавшись в пыль и песок; а может, кто-то из детей нашел: славная игрушка! Сохранилась одна-единственная бусина, которую она, надев на суровую нитку, упрямо носила на груди.

Между тем дивные, латунного блеска волосы превратились в седые космы, а глаза, точно такого же цвета, как море — скорее серые, чем синие — стали обыкновенными старушечьими, бесцветными. Катя заходила к сестре, да и та ее проведывала, а в последнее время и правнучку посылала «снести бабе Кате пирогов», хоть и подозревала, что большую часть сестра скармливала гусям. Лелька медленно шла с теплым узелком по бугристому булыжнику прямо к «избушке на курьих ножках» («не на курьих, а на гусиных», поправлял Максимыч) и боязливо приостанавливалась у Катиной конурки. Первыми выходили гуси, потом Катя. Лелька ее побаивалась: баба Катя говорила очень громко, громче бабушки Матрены, и слушая, смотрела не в глаза, а в рот.

Теперь уж полгода, как некому стало посылать пироги: померла Катя, о чем известили, понятно, гуси.

Можно сказать: война — безвременная гибель — изуродованная судьба. Но может быть, это могучая сила и власть имен? Не утратив своей девичьей чистоты, старухой ушла в могилу Екатерина. Иннокентий, намного опередив ее, лег в чужую землю — невинным.

А мост, на открытие которого они ходили смотреть, пережил обе войны, да и посейчас стоит. Мосты прочнее людей, даже и мостостроителей.

...Когда Катю обряжали, Матрена подержала ненужную бусину в руке — вот как сейчас, — но выбросить отчего-то не смогла, убрала в коробку; а потом отдала правнучке. Кто же мог знать, что она вернется к ней, храня прикосновение ладони мужа?

Если бы старуха узнала, какая вставная новелла родилась в ее теплой руке, согревшей тяжелую одинокую бусину, она ответила бы одной бровью: бздурь. Бусина, монетка ли с маленьким злым орлом или же флакон от духов, лет тридцать назад забывший их аромат — все это было нитями клубка, а если из-под белой вдруг выглядывала блестящая нитка цвета густого меда, то ни одна Матренина бровь не шевелилась: так надо, и к месту.

Утро мало чем отличалось от старухино настроения. Порывами налетал ветер, забрасывал пылью все еще пышную зеленую листву, взбалмошно трепал ветки из стороны в сторону. «Трепанация», — вспомнилось единственное понятное слово.

Самовар не ставила — что ж одной-то. Налила воды в трумуть Максимыча, который отличался от ее собственного крохотной вмятиной в боку. От того, что на плите стоял его чайник, она почувствовала себя немного уверенней. Чай отправилась пить в комнату: здесь стул Максимыча был плотно придвинут к столу, и Матрена не могла ни отодвинуть его, ни перестать смотреть в ту сторону.

Что ж так тихо? Ну да, Надькино радио не играет. Внуки в школе, а ребенок остался у Тони.

— Так и надо, — громко произнесла она вслух, — кто ж тут будет цацкаться с ним.

Сказала — и поймала Ирин взгляд. Дочь смотрела прямо на старуху с большой фотографии в овальной деревянной раме. Снимок заказал Максимыч на дочкино восемнадцатилетие. Старуха — в который раз! — поразилась, насколько Ира была похожа на нее в молодости.

— Одно лицо, — опять сказала она громко, — одно лицо.

Портрет обладал странной особенностью: казалось, девушка улыбается, а между тем на лице улыбки не было. Как фотографу удалось такого добиться, ему непостижимо. То ли

улыбка притаилась в уголках рта, то ли жила в глазах, спокойных и чуть лукавых, и значит, ничего такого особенного добиваться и не пришлось, но ясно одно: улыбка была, хоть ее и не было. Недоверчивым рассказчик советует обратиться к портрету Моны Лизы, чья улыбка вызывает целый взрыв эмоций на протяжении нескольких веков. В отличие от Джоконды (какое все-таки змеиное имя для женщины!) Ира на портрете улыбалась без улыбки; так чья загадка сложнее?..

Матрена перевела взгляд на детский стульчик, такой сегодня пустой и маленький. Квартирная тишина не нарушалась ни Лелькиным топанием, ни шелестом страниц, ни тихим сопеньем над рисунком, которое иногда прерывалось покаянным зовом: «Бабушка Матрена, у меня сопельки текут!»

Бережно подобрала со скатерти крошки и перекрестилась. Хватит расслаживаться. Она привычно собрала нехитрый реквизит: черный кожаный ридикюль, потертостью изображающий замшевый, такой же потертый кошелек, хранящий за отвисшими щеками трамвайную мелочь и несколько бумажных купюр, сложенных фантиком, носовой платок, ключи... Где ключи? Вот ключи, где ж им быть. И — отдернула руку: это были ключи мужа. Дура старая, выругала себя Матрена, ну так что ж, что его? И возьму!

Странная мысль, виноватая и вороватая, промелькнула мышью: не простил, а ключи оставил — точно позволил остаться жить. Она подержала их в ладони: ярко-желтый, латунный, и второй, потоньше и построже, стальной. Первый долгое время был единственным: наружную дверь не запирали. Это уже потом, после войны, когда в доме завелась, по выражению мамыньки, «всякая шваль да голытьба», пришлось поставить замок на дверь с табличкой. И с тех пор оба ключа, желтый и серый, обрученные надежным колечком, весело позванивали то в кармане, то в ридикюле, то в таинственном, неожиданном месте «где-мои-ключи?!».

А сколько раз пытались содрать с двери табличку, горько вспоминала Матрена, сворачивая на Садовниковскую и минуя богадельню, шумную и кишашую народом, давно из тихой богадельни превращенную в детскую поликлинику, сколько раз сдирали! — и хоть бы хны: держится, как заговоренная.

Старуха нарочно не пошла привычным коротким путем мимо кладбища: туда — на обратном пути. Трамвая долго не было, и Матрена, сердясь и раздражаясь от нетерпения, торопила себе навстречу уличные повороты, горбатый булыжник, а тут еще переходить надо; ну да уже скоро.

У Тони, однако же, выяснилось, что можно было не торопиться. Как?! — А вот так.

— Сейчас туда нельзя, не пустят к ней, — терпеливо объясняла дочь, — ты ж сама видела, какая она, — и быстро обернулась на Лельку.

Крестница, впрочем, была слишком занята: сидя на корточках под пианино, она давила обеими руками на блестящие желтые педали и взрослым разговором ничуть не интересовалась.

— Разве ж Федя не может сделать, чтобы... — недовольным голосом начала старуха, но Тоня ее перебила.

— Что ж вы хотите, — возмущенно заговорила она, обращаясь к матери, но в то же время включая ее в неведомый коллектив, обозначив его общим и безликим «вы», — что ж вы хотите, чтобы Федор Федорович бросил институт? Чтобы мы все положили зубы на полку? Чтобы Федор Федорович поминутно кричал «караул», а кусок хлеба ему чужой дядя будет зарабатывать, этого вы хотите?..

Тоня так распалилась, что не заметила даже, как Лелька, оставив педали, замороженно ждала, не вылезая из-под пианино, как крестная и бабушка Матрена будут складывать на полку зубы. Наверно, в буфет, за стекло, к тем маленьким чашечкам — из них все равно никто не пьет, но играть с ними почему-то не дают. Чашечки золотые — и зубы золотые; очень красиво получится, и гости смогут любоваться.

— Не пыли, — на диво спокойно встретила эту тираду Матрена, — я у тебя не милостыню прошу. Что за отца хлопотали — спасибо и низкий поклон; теперь сестру спасать надо.

Старуха давно заметила, что после суеты вокруг Юрашиного студенчества дочь полюбила слово «институт» и в особо важных моментах заменяла им привычное «клиника», где работал зять. Кроме того, раздражаясь, Тоня всегда поминала кусок хлеба, хотя в этом доме, слава Богу, кусков не считали. А что своим помогаете, так кто ж поможет, как не имущий? И да не оскудеет рука...

То ли Тоня услышала нечаянный упрек — мол, хлопотали, да не спасли, то ли пожалела о своей вспышке, как уже не раз бывало, а только поспешила поправить сеточку-паутинку на строгом перманенте и засуетилась у стола.

— Пойми, мама, — продолжала она почти на две октавы ниже, — нас все равно не пустят. Федор Федорович уже поставил на ноги все отделение, они и так бегают вокруг нее, а операция завтра.

Старуха чуть привстала, и Тоня поняла.

— Нет, сидеть там нельзя и не надо: на то сиделки есть. — Заметив угрожающий излом брови, торопливо закончила: — Ни ты, ни я выхаживать не умеем, особенно после такой операции; Федор Федорович договорился, — дочь произнесла это слово с нажимом, и Матрена поняла, — договорился с самой опытной сиделкой. Будет дежурить всю ночь.

И продолжала, продолжала говорить, ругая себя немилосердно за «такую операцию» и всей душой надеясь, что мамынька не заметила. Тоня деловито сновала от окна к кладовке, хотя стол уже был заполнен. Сев, обнаружила на старухином приборе две ложечки, но с места не двинулась.

— Куда ж ты, как на Маланьину свадьбу, — нахмурилась мать на обилие закусок, и, перекрестившись на икону, оглянулась: — Ребенка кормили?

— Утром завтракала, а теперь ей рано еще, — строго ответствовала дочь.

— Ну да, — усмехнулась бровь, — у вас же все по расписанию. Кипятку долей мне. Хватит, хватит, куда столько!

Старухина насмешка совсем не означала ни презрения, ни несогласия. Даже наоборот, ей нравился Тонин уклад: тщательная сервировка, неизменные крахмальные салфетки, слово «порция» — ничего оставлять на тарелке было нельзя, но «хватать куски» между обедом и ужином просто не допускалось, и к месту.

— Смотрю сегодня на папашино стуло, и так мне коломытно сделалось, — неожиданно вырвалось у нее. — Передвинуть его надо бы; не догадалась я.

Про трумуть говорить почему-то не решилась.

— Ключи свои куда-то дела, — продолжала она, — може, потеряла? Так я взяла его, как раз лежали рядом. Потом найду, — закончила, твердо зная, где ее собственные ключи, и не совсем твердо — зачем она плетет эти нелепости.

Дочка услышала это сиротское смятение. Она подозревала, что никуда мать свои ключи не «дела», но поворот разговора восприняла с облегчением.

Можно не объяснять, что причина Тониной вспышки крылась в страхе и бессилии помочь сестре. Накануне Феденька рассказал ей про абсцесс мозга, и хоть сделал это в самой щадящей форме, заснула она лишь после пяти, а проснулась словно бы только затем, чтобы вспомнить в прозрачной ясности сентябрьского утра все сказанное мужем. Обширный абсцесс мозга. Застарелый; возможно, многолетний. Кома. Операция тяжелейшая. Пункция.

Он присел на край постели, сбросив пиджак, и осторожно, с паузами, выговаривал непонятные слова, изредка глядя на нее, а Тоня смотрела на подтяжки, и ей почему-то хотелось поправить, чтоб они не сползали, хотя пора было ложиться спать.

— Последствия операции непредсказуемы, — добавил муж, высвобождая шею из воротника сорочки.

Это непредсказуемое пугало Тоню еще сильнее, чем беспощадное слово «трепанация», потому что Федя так же скуп, остановив руку с галстуком на отлете, и назвал возможные последствия: паралич, слабоумие, эпилепсия. Самое красивое слово «эпилепсия» означало падучую болезнь, и это было единственное, что она не то чтобы знала, но видела. Видела несколько раз.

...В мирное время Васюта держал маленькую скобяную лавку на Песках, в конце Полтавской улицы, за еврейским кладбищем. Это был расторопный человек веселого и легкого нрава, а его лавочка — бойким местом, ибо продавая всякую хозяйственную всячину, Васюта постоянно занимался мелким ремонтом. Ему приносили самовары, страдающие недержанием кипятка, разболтанные замки, в которых бессильно прокручивались ключи, старые будильники, а в углу толпилась гулкая груда кастрюль, кротко ожидающих своей очереди на лужение. У Васюты были золотые руки и безотказный характер, а в довершение обнаружилось полное незнакомство со святым принципом «не обманешь — не продашь». Из-за этой непонятной в торговом человеке странности к Васюте относились безо всякого уважения, но снисходительно-любовно.

Было у него две особенности: страсть к жилеткам и брезгливая неприязнь к накрашенным женщинам. Первая выражалась, например, в том, что, одеваясь после бани, Васюта менял не только белье, но непременно и жилетку тоже, что вызывало тихое веселье и беззлобные пересуды. Наиболее азартные бились об заклад, пытаясь угадать, какую именно жилетку он наденет. Вторая Васютина странность, вообще-то говоря, таковой не была: женщины-староверки ни к пудре, ни к помаде сроду не были приучены, как мужчины — к табаку и вину. Правда, именно «сроду», потому что городские мужчины мало-помалу сначала стали заглядывать в кабак, а потом и папиросы курить, особенно молодые. В свою очередь женщины, искушаемые лукавым стеклом — зеркалом и встречая других, нарядных и не только от природы румяных да чернобровых, посмотрели в зеркало более взыскательно, а после, вздохнув, обратили свой взор на краски. Случаются ведь в жизни такие дни, когда выйти на улицу, не подправив слегка недоданное — или отобранное — природой означает нанести тем самым оскорбление окружающей действительности. Мужья, как правило, смотрели на это снисходительно, а может, подозревали, что и в мужья-то попали не без содействия лукавого стекла. Ведь если разобраться, так берутся же откуда-то все эти реснички да бровки! И щечки, вдруг принявшие на диво персиковый оттенок, а тут еще прядка волос выскользнула из-под платка — случайно, должно быть.

Жене Васюты терзания по поводу косметики были решительно не понятны, и ее страсть наводить красоту перед зеркалом была вполне сравнима с благоговейным трепетом мужа при виде новой жилетки. Интересно, что обитатели форштадта его всегда ласково называли Васютой — может быть, причина коренилась в его наружности, столь же располагающей, как и натура. Никакой парикмахер не мог победить русский хохолок надо лбом: было похоже, что Васюту и впрямь лизнула корова, да так ласково, что он аж сощурился от удовольствия. Привычка шуриться осталась после той коровы у него на всю жизнь, но прищур был не хитрым, а добрым, как и круглое улыбчивое лицо с ямочкой на подбородке.

Зато его жену называли только Анфисой, а за глаза не иначе как Анфиска-Криворотая. Она отличалась какой-то трудно уловимой асимметрией в лице: левая щека немного выпирала, так что казалось, будто у Анфисы не то зреет флюс, не то что-то вкусное не дожевано и спрятано за щекой. В сущности, женщину следовало пожалеть: украшать и доводить до совершенства свое лицо Анфиска-Криворотая могла только в отсутствие мужа, что она и делала. Так, щедро насурьмившись, обсыпав асимметричные щеки

дешевой пудрой и накрасив губы, она в полном одиночестве суетилась по дому. Когда Анфисе надо было выйти в лавку, она себя раскрашивала в более щадящем режиме. Кстати, не любили Васютину жену именно из-за ее страсти к косметике и всюду встречали с поджатыми губами, особенно женщины; она же, по своей простоте и недалекости, сделала торжествующий вывод: завидуют!

Между тем смешки перешли сначала в насмешки, а потом — в слушки: гуляет, мол, Криворотая от Васюты. А и правда: только гулящие так мажутся, кто ж еще.

Анфиса радостно шла домой, стряпала мужу обед, а незадолго до его прихода тщательно и с сожалением умывалась. Придя, Васюта первым долгом снимал жилетку, мыл руки... но это неинтересно, это рутина бесхитростной Васютино-Анфисиной жизни, и погружаться в нее глубже не входит в задачи автора. Важнее рассказать о другом. Смешки и слушки довольно быстро дошли до Васюты — мужья все узнают последними, если есть что узнать, а на сплетни да на слухи ближний не поспеет, это уж будьте благонадежны.

Васюта отреагировал самым типичным образом: ничего не ответил, но помрачнел. Запер лавку, тоже по классическому сценарию, раньше обычного и отправился домой, где и застал жену за самым целомудренным занятием: она вытаскивала из духовки пышный пирог, но в каком она была греховном виде! Ох, не от кухонного жара разругались ее щеки, да и мушка на другой, нормальной, щеке наводила на раздумья, а когда Васюта увидел, какой широкий и дерзкий разлет приняли Анфискины куцые брови, он оцепенел. Жена тоже застыла с широко раскрытыми глазами, и что-то сатанинское было в ней... а впрочем, не надо забывать о горящей плите и бликах огня по всей кухне.

Отметелил ее Васюта от всей души. Соседи ликовали. К зеркалу Анфиса долго не подходила, а когда подошла — отшатнулась. И принялась исправлять ущерб, нанесенный ее красоте, тем же старым способом — благо, ее красок муж не нашел.

С тех пор так и повелось: когда у Васюты зарождались, не без помощи очередного доброхота, сомнения в Анфискиной нравственности, он являлся домой, требовательно брал жену за подбородок и, посплюнув палец, тщательно выискивал следы косметики. Если румянец оказывался гуще отмеренного природой, Васюта гонялся за женой по всему двору, а она, с разной степенью ловкости увертываясь от ремня и бельевых веревок, громко и жалобно кричала: «Ва-а-ся, я не кра-а-асилась! Ва-а-ся, я не кра-а-асилась!», и жалобное «ась-ась-ась» долго летало в воздухе, пока не оседало в листве.

Нет, не надо думать, что Васюта был тираном: он часто и охотно покупал жене обновки, никогда не попрекал бесплодием; одним словом, любил свою Криворотую — только ненакрашенной.

Потом пришли немцы, и никому уже ни до кого не было дела, и меньше всего людей интересовало, красится ли Анфиска-Криворотая или сколько жилеток прибавилось у Васюты. Про них забыли, а сам Васюта пропал. Но пропадали многие: кто на войне, кто вне войны, кто после войны; а кто и находился потом — вот счастье-то было!

Криворотая никуда не делась, но краситься перестала, выходила из дому редко и ни с кем разговоров не вела; да и не до нее было.

До конца войны оставалось года полтора, когда вернулся и Васюта, вновь появившись у себя на Полтавской. Впрочем, счастье то было или нет, Анфиске виднее, ибо вернулся совсем другой Васюта, и выражение «появился у себя», таким образом, звучит весьма двусмысленно, ведь появился он у себя прежнего, а теперешнему Васюте до того, настоящего, было, как Анфиске-Криворотой до Марлен Дитрих. Вновь появившегося стали звать Глухой Васюта. Он передвигался длинными, неровными бросками, сильно выгибаясь всем телом и хватаясь через каждые несколько шагов за пятку правой рукой. Левую он плотно прижимал к боку, словно держал под мышкой градусник и боялся выронить. Но самое страшное было то, что каждые несколько минут он с силой



выталкивал язык — так, будто хотел выплюнуть его совсем. Глумой мог говорить, но лучше бы он этого не делал. Речь была протяжной и невнятной, потому что язык Васюте мешал, он давился им, толстым и страшным. Иногда он выгибался вдруг очень сильно, валился на землю и, впиваясь зубами в язык, исходил пеной. Он узнавал всех, и его узнавали, но скрыть брезгливый страх умели немногие, хотя глумому-то все одно. Одни говорили, что Васюта отказался что-то делать для немцев. Другие уверяли, что не отказался, а делал что-то во вред; так или иначе, попал в лагерь — тут же, на другом конце города. В лагере его и покалечили: то ли били много, то ли заболел; а скорее, и то, и другое.

Когда Тоня проводывала мать на форштадте, она нет-нет да и встречалась с Глумым Васютой. Впрочем, узнавая издали его изнурительное вихлянье, она торопилась то свернуть, то зайти в любую лавчонку, только чтобы не встретиться и не слышать это мучительное приветственное клокотание. Однажды она видела, как Васюту скрутила судорога прямо у входа в парк, и он, пружиня насильно выгнутым телом, бился в пыли, сползая на серый булыжник. В другой раз, заглянув в новую кондитерскую у Маленького базарчика — мать побаловать, — с трудом пробилась через толпу: все сгрудились вокруг сотрясающегося Васюты, а у него изо рта текла пена, текла и не кончалась. Рядом на коленках стояла Анфиска и придерживала голову мужа. А на кладбище в Троицу кто-то дал ему хлебнуть водки, ну и... Федя говорил, что вина совсем нельзя, если падучая. Анфиса сорвала с головы платок и вытирала пену, как тогда в магазине, только один раз подняла голову, чтобы посмотреть на того, с бутылкой, и такая мука была в ее глазах, что никто не остался праздно глазеть, ни один.

Тоня рассеянно надкусила сухарик, не замечая другого, уже надкусанного. Не зная, как освободиться от страшных образов, она неожиданно спросила:

— Мама, а Анфиса жива?

— Тетка Анфиса? Жива, слава Богу; недавно младшего сына женила. Он у ней дурковатый какой-то, но услужливый. Нашли ему то ли девку, то ли бабу, но я на свадьбу не...

— Да я не про тетку Анфису спрашиваю, я про Анфису «Вася-я-не-красилась»!

— Криворотая? Жива, жива. Пару лет, как Васюту схоронила... или больше? Помнишь Глумого Васюту? Помер, Царствие ему Небесное. Куда ж было мучиться, убогому; прибрал Господь. В мирное время он совсем другой был. Придешь, бывало, к нему в лавку — всего чего! Да ты сама должна помнить?.. Он тогда глумым не был. Все в жилетках разных щеголял.

— Помню, — кивнула Тоня, и ей стало намного легче, когда мать произнесла страшное слово.

— Его могилка прямо по аллее и вниз, за Бобышевым. Их-то и нету никого, только он да Анфиска; она за могилкой ухаживает, как за ним за живым ходила.

— А на что они жили после... когда он вернулся?

— Да на Анфискины краски-замазки, — ответила Матрена, водя ребром ладони по скатерти. — Тебе чего? Исть захотела? — это уже к Лельке, которая подошла и уткнулась ей в колени. — А-а. Сходи в прихожую, там у меня в сумке платок лежит; неси сюда.

— Как... на краски?

— Так. Это ж война была, — терпеливо, словно Тоня не пережила то время, объяснила мать. — На черном рынке что сало, что какао, что ваши пудры-помады с руками отрывали. Я почему знаю, мне ж Симочкина Настя каких только диковин не таскала! Вот и Анфиса приноровилась: она-то в мирное время столько накупила!.. Ну и знала, какой товар подходящий, какой никудышный. Людям-то все надо, хоть и война: кому гвозди, кому свечи, а кому краски да помаду. Оба с этого и кормились. Хоть бы она и хотела

пойти работать, так его, убогого, одного оставлять нельзя было. Она, бывало, как на базар бежит, так его в доме на замок закрывает.

— Вроде не любили ее, — нерешительно произнесла дочь, отлично зная, что никакое «вроде» здесь не уместно.

— А на кой ей надо, чтоб ее любили? — подняла бровь мамынька. — Что морду все мазала, так и ты ведь мажешь, — она спокойно посмотрела на Тоню, — а только мужа глупого держала в чистоте и в сытости. Нянчила, точно ребенка. Сам-то он ни поить, ни одеться, ни... Много вы знаете... — Давай нос сюда! — Старуха требовательно ухватила в платок девочкин нос правой рукой и приступила к привычной процедуре, в то время как Тоня ломала голову, случайно или нарочно мамынька вернула ее «вы». — Ну, все? Ступай!

И Лелька, схватив платок, с наслаждением заскользила по паркету.

— Я высчитывала, когда девятины стоять. Получается двадцать третьего, в среду; надо панихиду заказать.

— Я уже договорилась, мама; утром батюшка в моленной отслужит, в десять часов.

В прихожей на подзеркальном столике Лелька играла ключами:

— Смотри, бабушка Матрена, вот этот желтый, толстый — это как будто тетя. А вот этот серебряный — это дядя. Или как будто они старик и старуха, правда? Тетя Тоня, правда?

## 22

«Скоро уже, мамынька, скоро», — торопливо приговаривает Максимыч. Рукава у него засучены, а жилетка надета какая-то нарядная. «Что ж ты выходную жилетку у верстака треплешь?» — Матрена говорит строго, хоть радуется, что он живой, и Бог с ней, с парадной жилеткой: вот он стоит, здоровый и крепкий, опустив правую руку с коловоротом, а левой расстегивает верхнюю пуговку рубашки. «Моя в шкапу висит, — отвечает уверенно, — а это Васютина, он мне проспорил: мол, не сделаю. А я уже почти сделал, делов-то... резьбу осталось кончить».

Живой, Господи! Живой! Да что я молчу, надо же спросить. «Гриша, ты простил?..» Он разравнивает усы свободной рукой и улыбается: «От-т... Мать Честная! Сделай поить». Старуха голову потеряла от радости: сам просит исть, оголодал — и бросается к плите. Огонь погас, а в дровяной корзине ни одного полешка нету. Муж подходит, прихрамывая: «Я принесу. Только там всего ничего, гроб-то маленький». И тут же, никуда не уходя, бросает в корзину какие-то чурочки — ровные, чистенькие, хоть сейчас детям в игрушки. «Гриша? — удивляется она, — кому ты гроб работаешь, ты ж никогда гробы не делал?»

Максимыч выпрямляется с лучинкой в руках и произносит укоризненно: «Она же вдова. Если я не сделаю, кто тогда? Для Лизочки смастерил, смастерю и ей», — и отворачивается. Матрена понимает и пугается, но все же спрашивает: «Кто помер, Гриша? Скажи!» Муж стаскивает сапоги, ставит у порога ровненько и, не подымая глаз, кивает коротко в сторону комнаты. Не помня себя, старуха бежит, но не может найти Ириной комнаты: квартира стала намного просторней, чем была в мирное время, и свету нет, одни лампадки горят.

На столе стоит гроб, но совсем крохотный, как для младенца. Матрена наклоняется: Лизочка. Ах, пустомеля... Старик кивает: «Смотри», и тогда она видит в гробу... Иру. Глаза закрыты, дочь улыбается — чуть-чуть, уголками губ, но старуха все равно понимает: мертвая. За что, Господи?! Вернул мужа, а дочку... дочку отнял...

Матрена начинает рыдать в голос, от слез трудно дышать, а они льются и льются. Кухонное окно уже светлеет, но старуха глаз не открывает, только всхлипывает глубоко и протяжно. Это сон, и муж простил ее. Слава Богу, простил. Что-то хотела... он ведь исть

просил, и она хотела его накормить... чего ж не кормила? И еще — что еще во сне хотела? Ах, да, хотела по имени звать его: Гриша, а то что ж я — все «ты» да «ты». Да, это правильно. Лежа со смеженными веками, повторила несколько раз: «Гриша», а когда открыла глаза, поняла, что никогда уже не назовет его так. Поздно. И страшное что-то было, вот наволочка мокрая. Гроб. Ирка?!

Сколько нужно времени, чтобы вернуться из того мира в этот — секунды? Миг — или вечность, но в этом мире было раннее воскресное утро; значит, сон вещей, и дочь жива. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Царица Небесная!..

К Ирине поехали на следующий день, с Тоней и с Лелькой, — с кем же оставить ребенка? Обе, прабабка и правнучка, рассматривали больничный город — ибо такое название подходило к Республиканскому госпиталю более всего — почти с одинаковым интересом. Здесь по-русски почти не говорили; ну, да мамынька не рассусоливать приехала. То ли Тонина уверенность, то ли внушительная фигура старухи в строгом трауре помогли отыскать в лабиринтах больничной крепости нужное отделение и палату сравнительно быстро и, главное, вовремя, потому что Лелька заговорила про горшок, куда она, оказывается, стремилась еще в троллейбусе. Тоня только успела бросить через плечо: «Подожди меня, мама» и помчалась с крестницей предотвращать бедствие.

Чего ждать-то? Мамынька недовольно поднялась со стула и нажала ручку двери. Радио молчит, слава Богу; трое спят — это среди белого-то дня! У ближней стенки — не то баба, не то мужик, не понять, лицо желтое и опухлое, точно тесто поднялось, а голова вся в бинтах. Чуть подальше баба на койке лежит одетая, одно ухо под толстыми бинтами, над ней медсестра склонилась. Медсестра почти не смотрит на шприц, а только на старуху. Больная, с интересом наблюдавшая за иглой в своей руке, тоже отвлеклась. Иры не было. Наконец резко запахло спиртом, сестричка сгребла свое хозяйство на поднос и повернулась к Матрене:

— Вы к кому?

Выслушав ответ, кивнула на кровать у стенки:

— Вот она, — и тут же бросилась за нашатырем: мать сомлела.

Дочкиного лица она не узнала: не могла, не хотела узнать его таким. Узнала — руки, лежащие поверх одеяла, и долго рассматривала маленькие кисти с состиранной кожей, как-то посветлевшие от болезни, твердые ногти с лунками и тонкое венчалное кольцо.

В дверях столкнулась с Тоней и решительно взяла руку правнучки в свою:

— Пойдем, золотко. Спит баба Ира, ей покой надо, чтоб скорее здоровая стала. А ты своди меня, куда вы с крестной ходили, хорошо? — твердо зная, что ребенку лучше туда, чем в палату.

Уговорились с Тоней ездить в больничное царство-государство по очереди. Сидеть там необходимости не было, а вот питание... Что ж — больница. Выбирая в мясном павильоне кусочек телятины с косточкой, старуха радовалась, что и девочке супец будет — от матки-то, что бегают, хвост задравши, не дождется; вернувшись, дома как раз застали Таечку. Она сидела надутая после беседы с крестными и тут же сказала дочке, что устроит ее в детский садик, а пока они будут вместе ходить «к маме на работу».

Мама работала в высоком сером доме, где душно пахло бумагами и дымом, а люди очень быстро ходили по лестнице вверх и вниз. Мама все время здоровалась, сильно дергая Лельку за руку и сердито шепча: «Поздоровайся». В одной из комнат мама печатала на машинке, а Лельке дала много бумаги, карандаши и резинку — рисовать. Иногда мама отрывалась и спрашивала: «Тебе куда не надо?», а когда стало надо, долго шли по коридору к двери с надписью «ТУАЛЕТ». Слово было знакомое: тетя Тоня, открывая в спальне шкаф, часто говорила: «Пора туалеты проветрить. Собирайся гулять, курносая!» Но здесь был совсем не шкаф, а просто нужник. Зачем такое красивое слово написали на двери, непонятно. Лучше бы проветрили.

Рисовать Лелька быстро уставала, и ей хотелось спать. Тогда она забиралась под стол и думала о детском садике. Он, наверно, похож на тот парк, в который они с Максимычем ходили, но только без взрослых. Тогда можно будет рвать желтые цветочки, из которых большие девочки умеют плести венки. И она научится. Максимыч всегда разрешал их собирать, а бабушка Матрена ругалась, потому что руки делались черные. Уходя с мамой «на работу», она по-прежнему ставила чибы Максимыча около дивана.

К маме пришла какая-то тетенька, и они заговорили тихо, но неинтересно: «А он?.. Иди ты!.. А она что?.. С ума сойти...» Мама вдруг сказала:

— Познакомься, Ляля: это моя подруга, тетя Капа.

Не успела Лелька удивиться, как подруга спросила:

— Конфетку хочешь?

Кто ж не хочет; но надо отказываться и говорить: «Нет, спасибо». Конфетку она все равно дала и села с мамой курить. Лелька под столом была занята сразу двумя делами: надо было отлепить «тузик», приклеившийся к зубу, и проверить, что капало из маминой подруги. «Так она у тебя Оля или Леля?» — «Спрашиваешь!.. Ольга, безусловно. Это моя матушка ее Лелей зовет...» — «А ты?» — «Ну что за старомодное имя! Она у меня — Ляля, Лялька».

А детского садика надо было ждать и ждать.

Вот неделя, другая проходит. Миновал Покров. Старуха сменила черное старенькое шелковое манто на черное же суконное: известно, что пар костей не ломит. Она немного похудела от беготни: базар, кладбище, моленная, больница. Девочка затосковала и по утрам вставала очень неохотно. Матрена подозрительно обнюхивала ее волосы и платица; узнав, что ребенок сидит целыми днями в табачном дыму, вспылила и запретила Тайке «таскать ребенка в этот вертеп», именно так и выразившись. Та задрала подбородок и объявила, что на днях получает отдельную квартиру, после чего забирает ребенка к себе. Надя при этих словах громко произнесла: «Слава Богу!», но дверью хлопнула еще громче.

...Уже отстояли сороковины, когда Иру выписали. «Непредсказуемые последствия», которых опасался Феденька, ее, слава Богу, миновали, однако мучили головные боли, хоть не опасные, но свирепые. Матрена каждый день возносила молитву Иоанну Предотече и была твердо уверена, что именно эта молитва подняла дочь.

Иногда октябрьские дни бывали совсем теплые, и старуха могла задержаться на кладбище. Ровный прямоугольник из песка уже утратил свою яркую желтизну. Мало-помалу она убрала засохшие венки, разровняла землю маленькими граблями. Только здесь можно было делать то, чего так хотелось во сне: называть мужа по имени, но не как в поминании: рабом Божиим Григорием, а просто — Гришей. Она часто повторяла его имя, удивляясь со стыдом, что не помнит, когда звала его так. А ведь больше полувека вместе прожили, это вам не фунт изюму.

Сон, в котором муж ее простил, не забывался. Старуха незаметно начинала говорить вслух. И сон рассказала, но не весь: про гроб не упомянула.

— Не зря ведь, — обращалась она прямо к ровному прямоугольнику, — не зря у меня вечером глаза свербели: ночью-то плакать пришлось... А Тайка говорит, что квартиру получает. Отдельную. Заберет ребенка. Уж как она жить будет, Бог знает. Ирка ведь не двужильная! Скоро, Бог даст, с больницы выйдет; так сразу и впряжется, ты ее знаешь. А я на днях обедать села; одна, с кем же мне теперь?.. Ну, так режу хлеб, смотрю — а у меня кусок недоеденный лежит. Кто ж, думаю, у меня голодный? А тут как раз тот сон, и будто ты поисть просишь...

Она вставала, доставала из ридикюля белейший платок и шла прощаться, по очереди дотрагиваясь рукой со сложенным платком до могилы: «Прости, мама... папа... Ларя... Лизочка» и наконец останавливалась у холма без надгробия: «Прости, Гриша». У выхода крестилась, низко кланяясь, и к воротам шла не оборачиваясь.

У колонки, где брали воду, женщина нагнулась за ведром, повернувшись к Матрене обильным задом. Из-под юбки видны были грубые бумажные чулки; на одном ярко желтел березовый листок. Она неловко развернулась, и ведро звонко выплонуло часть воды.

— Ох, искушение, — закудаhtала женщина, — чуяло мое сердце, надо было... Матрена Ивановна? — И тут же зачатила: — Доброго здоровья вам! Могилку проводывали? Я и Тоню вашу встречала пару раз, а больше никого.

В словах вопроса не было, только в глазах любопытство, точно спичкой чиркнула и ждет, загорится беседа или нет.

И зря чиркала: старуха не имела ни малейшего намерения говорить о дочкиной операции.

— Так все работают, — ответила коротко.

— Я уж и не припомню такой панихиды, — чиркнула следующая спичка, — полная моленная. А похороны!..

Внезапно сдавило горло, и Матрена торопливо полезла за платком.

— Ох, искушение, — жалобно протянула та, пока старуха шарила в ридикюле, — теперь только и осталось, что за могилкой смотреть. Летом грабельками пограбишь — и хорошо, а зимой уж как Бог даст. — Сделала уважительную паузу и снова спичкой чиркнула: — Редкий человек покойник был, Царство ему Небесное. А только я никого из его родни не признала. Ваших-то всех в лицо знаю, а ихних?..

— Никого и не было. Померши все, Царствие им Небесное, — ответила Матрена и решительно простилась.

У высоких кирпичных ворот кладбища зачем-то незаметно оглядела свои чулки: нет, листья не пристали.

Что ж всякому за дело, гневно думала она, до чужой родни?! И ладно бы свой кто был, а то — нашему забору двоюродный плетень. Привычная дорога: вниз к Маленькому базарчику и поворот на Большую Московскую — немного утишили ее волнение. У Тоньки тоже небось выпрашивала; у таких язык без костей.

Старуха досадовала на ненужную встречу, сбившую ее разговор с мужем. Вовсе она не собиралась вспоминать покойную свекровь, а та уже стоит перед глазами как живая, Царствие ей Небесное. Это ж сколько лет, как померши? Считай, тридцать. Да нет, какое: больше, уж тридцать пятый год. Сколько теперь ей было бы? Девяносто два — девяносто три; ну да. Она попробовала представить свекровь древней и немощной, но не выходило ровным счетом ничего, зато в памяти сразу высветилось узкое, очень смуглое лицо с глубоко посаженными глазами, черные, без сединок, волосы с поминутно соскальзывавшим платком и точная, бесшумная быстрота движений.

Тогда, в Ростове, ей было уже под шестьдесят, но не верилось ни о чем, хотя выросли все двенадцать детей, а уж сколько внуков вынянчено, Матрена не считала. В глубине души она была уверена, что не обошлось без цыганской ворожбы, а то как же? Баба — она и есть баба; где ж это видано, чтоб родить столько ребят, и живота не было?! А его не было — фигура у свекрови была такая, что хоть сейчас к Тоньке в буфет ставь. Там одна уже есть такая: руки в стороны, ногу отставивши, точно полетит сейчас. Одно слово: иноземка, хоть и крещеная. И мужа, Матрена была уверена, приворожила картами своими цыганскими, или как уж там они умеют.

Свекор всегда вызывал у нее восхищение и жалость одновременно. Она любовалась его стройностью, ловкой посадкой на коне, кудрявой шевелюрой и усами, еще более блестящими и ухоженными, чем у мужа; обращалась к нему не только «папаша», но и «Максим Григорьевич», с уважительной отчетливостью выговаривая отчество. Одно ей было не понятно: как он мог жениться Бог знает на ком, на цыганке этой, разве ж больше

никого не нашлось бы? И сама отвечала на риторический вопрос, задаваемый не один десяток раз: еще бы! Конечно, нашлись бы, и много лучше... А вот поди ж ты. Кого, впрочем, она имела на примете, оставалось ее тайной... Эти ненужные, хоть и от доброго сердца, мысли вызвали сочувствие к свекру, о котором тот и не подозревал, а если бы узнал, то безмерно бы изумился, потому что считал себя одним из счастливейших мужей, когда-либо живших на земле.

Конечно, опять упрекала Матрена покойницу, жила как у Христа за пазухой — на всем готовом. Исть захотела, сама или ребята, — пожалуйста: из солдатского котла! Ни тебе на базар бежать, ни в очередях давиться. Ей только и дела было, что ребят одного за другим рожать. Да эдак жить любая согласится!

Знала ли старуха, что упреки ее несправедливы, неизвестно: брови напряглись у переносицы, а губы были плотно сжаты. Наверное, догадывалась, и когда утверждала, что «любая согласится», сама не согласилась бы ни за какие коврижки. Хоть Максимыч никогда не служил, она смутно подозревала, что жизнь в обозе действующей армии несколько отличается от таковой у Христа за пазухой. «Иноземка» легко рожала, чему невестка тоже завидовала, хотя этой легкости верила не вполне, помня по своему семикратному опыту, что значит родить ребенка. Сама о том не догадываясь, она горько завидовала ровному, ничем не нарушаемому ладу в том доме, а особенно — нежности, с которой свекор смотрел на жену, и старалась убедить себя, что это смешно и неуместно, как неуместно ласковое имя «Ленушка», когда этой «Ленушке» под шестьдесят.

Это тогда шестьдесят, добавила удовлетворенно, а в девяносто три-то, небось, звал бы иначе... кабы дожили. Да только не осталось никого: ни свекра, всю жизнь обожавшего жену, ни свекрови, которую Матрена мысленно называла то «копченой», то «головешкой» за цыганскую смуглость.

...Они жили на новой квартире, но дом Максимыч нарочно не продавал: ждали родню. Считая по многу раз, чтоб не сбиться, предполагали встретить и устроить шестнадцать человек, не беря в расчет детей; старик присматривал недорогое жилье поблизости — на первое время, пока осмотрятся.

Приехал Мефодий, старухин брат. Один. Матрена смотрела с радостным нетерпением и недоумевала, зачем он закрывает дверь — другие-то идут следом, идут?.. Мефодий стащил шапку с заиндевевших волос и перекрестился на икону. Потом обнял сестру и шурина, но как-то безучастно. Есть отказался, только пил торопливо чай стакан за стаканом; наконец, отодвинул, вытащив зачем-то ложку.

Матрена с тревогой рассматривала брата. На исхудалой фигуре висела старая вязаная фуфайка, составляя нелепый контраст с почти новыми черными брюками. От фрачной пары, догадалась она, в которой венчался. Борода и волосы давно нуждались в стрижке, а иней на висках все не таял, потому что оказался совсем не инеем. Глаза немного запали и смотрели без интереса, а пышные усы неряшливо топорщились. Эта недавняя неухоженность, когда человек к ней еще не привык и не научился ни скрывать, ни игнорировать, особенно бросалась в глаза.

Он заговорил так же торопливо, как только что пил чай, и слова обжигали.

— В Ростов холера пришла, еще перед Рождественским постом. Кто говорил, от большевиков, другие — оттого, дескать, что гнилье всякое ели. Жена, будучи сказать, родить скоро должна была, ждали к Николину дню. А как схватило, Уляше худо стало. Колотило, точно в горячке; все пить просила. Пьет и еще воды просит, будучи сказать.

Брат подержал стакан, рассматривая вялые чайники на дне.

— Три дня промаялась; так и отдала Богу душу, не разродившись. Брат Пётра, будучи сказать, тоже холерой помер. В три дня, Царствие ему Небесное.

Как ни старался Максимыч встретиться с ним глазами, не получалось: Мефодий переводил взгляд с озябшего стакана на сестру, но и ей смотрел не в глаза, а куда-то поверх бровей. Он продолжал говорить, и старуха ошеломленно крестилась после каждого имени.

Неожиданно гость повернулся всем корпусом к старику, но глаз по-прежнему не поднимал.

— Ты, Григорий, своих не жди. Забрали всех, будучи сказать, тогда... с казаками. Как раз как вы уехали.

Старуха начала было недоверчиво:

— Да как же ты знаешь... — и замолкла, наткнувшись на гневный взгляд мужа.

Он слушал напряженно и чуть недоверчиво, как слушают глухие, всем лицом. Мефодий как раз знал, о чем говорил, недаром работал он у шорника, где казак — первый клиент: ведь хорошая сбруя для коня — не меньшей важности дело, чем мундир и штаны с лампасами для хозяина. Матрена запомнила весь его рассказ, с нелепым этим «будучи сказать», как запоминают слышанную в детстве страшную сказку.

— ...Форму совсем запретили носить, даже фуражки. Велели сразу оружие сдать, с обысками ходили: двое, будучи сказать, прикладами в двери стучат, а уж другие под карнизами хоронятся, только фуражки кожаные, что грибы, торчат. Ну вот. У кого винтовку найдут, тех сразу, будучи сказать, стреляли. Не-е, не только в Ростове — по всему Дону. Потом хлеб начали отнимать, по всем станицам разом; ссыпать велено было в кучи. Другие припасы тоже отбирали подчистую, чтоб людям исть было нечего. Лошадей, конечно. А кто, будучи сказать, бежал, так про них особый приказ пустили: расстреливать. Бежать-то бежали, да за каждого, кто бежал, убивали пятерых. А и кто убежит, круглым сиротой делается: они ж всю семью — и баб, и стариков, и детей — всех, будучи сказать... Вот и побежи... Баб-то с детьми за что?! Так я тебе скажу: хотели, чтоб казаков больше не было. А то: дети подрастут, а дед с бабой и расскажут... Так всех и перебили, весь Дон как чужой стал. Прежде-то были хутора да станицы, а нынче не хутор, будучи сказать, а — деревня, не станица, а — волость. Кого только не навезли туда, спаси Христос! На все готовое, будучи сказать, вот вам — живите! Оборванцы, голь перекатная да беспорточная. Собрали Бог знает откуда: и с Воронежа, и с Самары, и с Пензы какой-то. Босота да нагота, будучи сказать. Може, и холера от них...

Мефодий сжал кулак и так сидел, сосредоточенно глядя на торчащий черенок ложечки с монограммой. Чужие слова «перебили», «расстреляли» прозвучали здесь впервые, и никаких других слов не было, чтоб назвать антихристово действие, учиненное над казаком Максимом Григорьевым Ивановым и сотнями тысяч других невинно убиенных. Они не захотели — или не успели — бросить свою жизнь, с которой срослись, как с казачьей формой, и бежать куда глаза глядят, хоть бы и к самому синему морю. Да только глядели бы их глаза на белый свет после всего виденного, и если так, белым ли остался бы для них белый свет и синим ли — море?..

Едва ли Матрена думала такими словами. В ее представлении ни свекор, ни свекровь просто не соединялись с антихристовыми словами; да разве ж такое возможно для людей?! Она не заметила, как брат перестал терзать чайную ложку и сидел, ссутулившись и втягивая заношенные манжеты в рукава фуфайки.

— Она, люди говорят, вроде тифа, холера эта, — негромко заговорил Максимыч. — Как один сляжет, так непременно и другие. Може, и мои? От холеры?..

Придвинув к себе стакан, Матрена повернула кран самовара.

— А ну-ка, горяченького, — и протянула брату дымящийся чай, — выпей, выпей, ты же с морозу!

Все это она говорила громко и настойчиво для того только, чтобы заставить Мефодия посмотреть на нее. Тот машинально потянулся за стаканом и удивленно поднял глаза. То

ли сестра едва заметно кивнула, то ли чуть повела бровями, на одно неуловимое мгновение, только ложечка послушно завертелась в стакане, и Мефодий, наблюдая игрушечный водоворотик, согласно кивнул:

— Холера и есть холера. Сколько людей полегло... — и все размешивал, размешивал сахар, которого в стакане не было.

...Хлопнула дверь бакалейного магазинчика, выпустив тоскливый запах хозяйственного мыла и терпкий — селедочного рассола. Вышла женщина с ребенком. Матрена равнодушно смотрела, как та поправляет матросскую шапочку на детской голове, ищет перчатки в оттопыренном кармане и сворачивает в переулок, ни разу не оглянувшись на незнакомую старуху в черном, которая зачем-то запоминает эти ненужные мелочи навсегда.

О Ростове никогда больше с братом не говорили.

Ждать стало некого, и дом № 44, единственную свою недвижимую, продали. Продали поспешно, невнимательно и не дорожась. Бог с ним; на кой... теперь-то.

С тех пор миновала вечность, то есть тридцать четыре года и несколько трамвайных остановок, пройденных торопливым шагом. И Матрена вдруг поняла: восемьдесят, девяносто или девяносто два — все равно он называл бы ее Ленушкой. Усмехнулась — и тут же увидела себя в больнице, как прямо восседала на табуретке, и почти услышала желанное: «Матреша...», а под самым горлом у него пульсировала нежная ямка. Прости меня, Гриша. Гришенька, прости!..

## 23

По старому стилю старухины именины приходились на Филиппов день — канун Рождественского поста, да только где тот уютный старый стиль? В моленной да в церковном календаре, а каждодневное бытие давно уже текло по новому стилю, бестолковому и несуразному, когда январь, к примеру, уже к концу идет, а Крещение только завтра. Не раз Матрена путала, сколько надо прибавить, двенадцать или тринадцать, чтобы, упаси Бог, не ошибиться. Новый численник, что висел на кухне, только усугублял путаницу. Документы совсем уж откровенно лгали, поскольку честно указывали старые даты, а выданы были в новое время новыми казенными людьми, которые понятия не имели о юлианском календаре, да и о григорианском тоже, руководствовались все тем же численником и увековечивали ложь черной тушью.

В этом году, полном больниц, тревоги и скорби, Матрене исполнилось семьдесят. Траурную одежду после похорон она не снимала. Строго говоря, это не был траур в полном смысле слова, когда все, от головного платка до туфель, должно быть черным, нет; однако обе пары туфель, по скудости обувного ассортимента, так или иначе были черными, а в небогатом гардеробе наличествовали одно черное платье и черная же юбка — и то, и другое такой консервативной длины, что о цвете чулок можно было не беспокоиться.

Что касается платка, то здесь возникло затруднение, которое Матрена, недолго подумав, разрешила не хуже Гордия. В итоге бесхитростного пасьянса получились две ровные прямоугольные стопки: одна, из пестрых и светлых ситцев, была отправлена в узел для моленной, другая, с платками темных тонов, вернулась в шкаф. И к месту.

Простыни, закрывавшие зеркала, были сняты, и комната освобожденно вздохнула, снова сделавшись просторной и яркой. Осторожно, чтобы не пылить, старуха скрутила простыни и мельком увидела в зеркале угол дивана, под которым ровно стояли чибы Максимыча. Она машинально обернулась, словно проверяя, не насмехается ли лукавое стекло, соскучившись в потемках. Нет, стоят; словно кто-то нарочно приготовил. Тихонько сотворила молитву и медленно повернула голову: стоят. Я же их в



богачельню... — Гриша? — сказала одними губами и опустилась на диван. Что ж сердце так закудахтало? И сплю плохо. Надо у Феде капель каких попросить.

Подняла тапки и подивилась, как спрессованы задники, кои выправить не могла бы уже никакая сила. Стало трудно дышать. Подержав и ничего не придумав, бережно опустила на пол, чуть задвинув под диван. Не забыть про капли. Там, в шкафу, лежал еще один небольшой тючок; и чибы туда же, на кой тут... пылиться. Подумала ли этим словом или назвала его вслух, но взгляд послушно устремился к дверной вешалке. Пыльник.

В зависимости от настроения хозяина этот плащ именовался либо макинтошем, либо пыльником; при неопределенном настроении обозначался по родовидовому признаку: «плащ, тот, серый», хотя никакого другого у Максимиыча не было.

Пыльник тоже надо завернуть. Матрена решительно протянула руку. Вешалка, словно давно этого ждала, стремительно перекосилась и выдернула костлявое плечо; макинтош немощно осел, как человек, которому внезапно стало дурно. Поднять его и сложить — дело одной минуты, да напрасно она поспешила: из кармана выскользнул пятак и, почувствовав свободу, покатился, описывая неторопливую дугу, под шкаф, в бесконечность.

В карманах обнаружилось немного мелочи, пара красных ботиночных шнурков, ключ с затейливой бородкой... Матрена замерла. Таких ключей было всего два; второй у Фридриха, где уж он сам-то... Ключ от мастерской. Держал, поди ж ты... Ключ блестел, словно был хорошо начищен, и старухе почудилось на миг, что он хранит тепло мужниной руки. Еще нашлось свинцовое грузило, какие-то бумажные комочки и сложенный носовой платок в табачных крошках. Она хватилась было портсигара — где он, надо Феде отдать, он курящий, — но взгляд упал на внутренний карман. Там и лежит, наверно; для того и застегнул, чтоб не выскользнул; достала, однако же, портмоне.

Сколько ж ему лет, подумать только, ведь с мирного времени таскает, забыв на секунду, что — нет, уже не «таскает», да и шестнадцатилетний возраст для хорошей кожи — не век.

...Поехали с Тоней в Старый Город, чтобы выбрать отцу подарок: шестьдесят исполнялось. Почему тот день запомнился? Она любовалась дочерью, одетой, как всегда, модно и строго, в новой шляпке, сидящей на голове так косо, что непременно должна была бы свалиться, однако же и не помышляла падать, и под неласковым ноябрьским ветром ни Тоня, ни другие дамы в кривых шляпках за голову не хватались, а только кидали друг на друга такие же косые, как их шляпки, взгляды. Она как сейчас помнила, что вышла из дому без перчаток, и дочь хотела купить ей перчатки в том же магазине, где выбирали портмоне. Еще вспомнилось недоумение приказчика оттого, что Тоня требовала бумажник, а она сама настаивала именно на портмоне и даже погорячилась, доказывая дочери, что отцу не бумажки класть, а — деньги...

Сейчас ей казалось, что не шестнадцать лет прошло, а много больше... Дамских перчаток, слава Богу, там не оказалось, зато Тоня купила себе новый заграничный ридикюль и что-то еще, так что вышли из магазина с несколькими свертками, и каждый пахнул кожей. Ветер уgomонился, и нерешительного ноябрьского солнца хватило, чтобы осветить бульвар, бывший Александровский. Погуляли немного по Эспланаде. Руки застыли и покраснели; тем не менее, пакет с подарком несл сама и почти успела пожалеть, что не купили перчатки. С Площади... как ее? Площадь... Площадь Согласия, что ли; она еще спросила у дочери, как это место называлось раньше, но Тоня ничего вразумительного не ответила; прошли к Православному Собору, из которого выходили такие же, как она, в платках, и редко — в шляпках.

Купили именно бумажник, с множеством кармашков разного размера, прекрасной кожи бумажник, который, вопреки оригинальной своей породе, все же окрещен был портмоне и никак иначе не назывался, хотя отделения для мелочи в нем отродясь не было. Все равно портмоне, и к месту.

Старая кожа была теплой на ощупь. Пока новое, оно изнутри было светлее, но от долгой носки оба слоя так основательно потерялись, что приобрели одинаковый цвет — цвет ноябрьской травы. Затеяливо скроенные недра, включая два потайных отделения, урожай дали более чем скромный. Трехрублевка, махровая от ветхости. Две одинаковые фотографии для паспорта, старика и старухи. Квитанция за электричество с неряшливыми, расплывшимися фиолетовыми буквами. Шесть аккуратно разглаженных трамвайных билетов, непонятно зачем хранимых. В одном потайном отделении лежали два рубля, каждый сложенный фантиком, в другом — обернутая слюдой фотокарточка Андрюши и — совсем уж непонятно — трюфовая шестерка.

Старуха озадаченно повертела карту. На плотной атласной поверхности выстроились двумя сиротливыми рядами черные приземистые кресты, какие ставят на католическом кладбище.

Человек прожил на свете семьдесят пять лет, а после него осталась горстка нелепых мелочей: бусина, ключ от двери в бывшую жизнь, куда никому уже не войти, старые трамвайные билеты да игральная карта — явно чужая, ведь сам не играл никогда. Еще остается холм земли, который родные спешат ревниво отсечь рамкой надгробия, чтоб не смешивался с чужим прахом. Стол, шкаф, диван, трюмо, рожденные волей рук Максимыча, старуха не то что не видела, а просто это было сработано очень давно, во времена «бывало», и потому казалось, что существовало всегда... Выходит, что сейчас он там и нарядней, и богаче: свой дом. Она усмехнулась, а сердце прыгало где-то у горла, так что пришлось даже приложить руку к груди.

— Что, от тебя больше останется? — она повернулась к трюмо. Зеркало послушно отразило плюшевый валик дивана, осунувшуюся старуху в черном, сидящую очень прямо, и дверцу шкафа, а уж про жестяную коробку под шкафом оно никак знать не могло. — Вот и найдут; разве поймут что? Карточки Тоня в альбом приберет, а остальное в сор, куда ж еще. Може, отдадут ребенку играть...

Сегодня снова был нарушен покойный сон коробки от печенья «Бон-Бон», на буксире у которой, кстати, прибыл и укатившийся пятак.

К четырнадцатому ноября численник на стенке совсем отощал; его жестяной козырек, напротив, распух от оборванных листков. Ни о каком дне рождения старуха и слышать не желала. Веселиться в трауре?! Ребенку вон пять стукнуло — и то не праздновали; что ж мне-то в семьдесят? Да и по-настоящему, по старому, у меня именины только через две недели, на кой колготиться-то?

Совет не колготиться относился к Тоне, мать как раз зашла попросить у зятя капель. Вскоре появился и он сам, правда, не с каплями, а с тортом. На возмущенные протесты тещи возразил, что пост начинается только через две недели:

— Как вы, мамаша, и говорили. А сегодня просто попьем чаю с тортом, вот только Иру дождемся. Рановато она вышла на работу, рановато.

Ира пришла не одна, а с Лелькой. Пока развязывали шарф, снимали пальтишко и капор, девочка возбужденно объясняла, что одна воспитательница и двое детей в садике понимают по-русски, но говорить все равно не хотят, а ее ругали за то, что она неправильным полотенцем вытерлась и ночью плачет. Читать не разрешали и даже отобрали книжку. А еще, продолжала она уже в столовой, мама обещала, что заберет ее на следующий день, но не забрала, зато сегодня приехала бабушка Ира, и больше мы в садик не поедem!.. После чего с торжеством отправилась мыть руки.

Матрена целовалась с сыновьями и невестками, тоже, видно, любившими чай с тортом. Да что там торт! Она не успела оглянуться, как Тоня расставила закуски. Все усаживались, когда появилась Таечка с коробкой пирожных, жалуясь:

— Замерзла как цуцик!

— Так у тебя ж пальто на рыбьем меху! — воскликнула крестная, и Лельке пришлось оторваться от куриной ноги, чтобы проверить.

Мамино пальто пахло холодом, духами и табаком, но меха видно не было. Девочка ничего не знала про рыбий мех, но подозревала, что он мокрый. Наверное, потому и холодно.

В столовой стало громко. Дядя Федя называл маму «детка, деточка». Бабушка Ира говорила, что не даст калечить ребенка. Бабушка Матрена звонко и сердито повторяла: «Я, слава Богу, еще жива», а мама сидела самая красивая, как всегда, и внимательно смотрела на аквариум с рыбками.

Рыбки были совсем маленькие и мехом еще не обросли.

Вот неделя, другая... Неделя начинается у девочки буйной ветрянкой. Лелька блаженствует в бабушкиной кровати, уютно устроившись среди белоснежных подушек, которые тоже покрылись пятнами зеленки — видимо, из солидарности. Наблюдая, как Ира смачивает ватку, а потом бережно метит бугорки ярким изумрудом, Матрена рассмеялась, впервые после похорон. «Ты смотри, лечись, а то тебя на Пасху с яйцом перепутают!» — строгим голосом, но все еще улыбаясь, наказывала она правнучке.

Чесалось все, но как раз чесаться было нельзя, и девочка терпела, не чесалась. Когда болячки начали подсыхать, в гости пришла Тайка и опять заговорила о детском садике.

— Заразу в дом таскать? — возмутилась старуха. — Это ж какую еще чуму принесете? Ребенок в тепле, накормлен, напоен, на кой же его к чужим людям на всю неделю пускать?

Таечка обиженно вытянула губы: казалось, она сосет леденец. Щелкнула замочком сумочки, отчего в комнате запахло крепкими духами, достала портсигар и, вынув папироску, постучала концом по крышке.

— Пойду покурю, — и повернулась ловко, на одних каблуках, но уйти не успела.

Бабка положила ей на плечо пухлую властную руку.

— Ты где портсигар взяла?

— В тумбочке, дедушкиной, — Таечка возмущенно дернула плечом, но старуха держала крепко.

— Ты как смеешь без спросу брать?! — прозвенел яростный Матренин голос. — Тебя кто такому учил?

— Я не для себя! — внучка с трудом высвободила плечо. — Меня дядя Сеня просил поискать, на память о дедушке. Я ему отнесу. У меня теперь синяк будет как пить дать! — она оскорбленно поглаживала плечо, все еще держа зажатую между пальцами папиросу.

— Дай сюда, — Матрена протянула руку.

— У меня дядя Сеня...

— Дай сюда, говорю. Я сама знаю, кому отдать, — бабка говорила слишком спокойно, и на брови ее лучше было не смотреть.

— А куда я свои папиросы?.. — капризным голосом начала Тайка.

— Мне что за дело. Клади туда, где раньше держала, и к месту.

— Я квартиру получаю, — внучка вытряхнула папиросы в сумочку и с вызовом посмотрела на старуху.

— В добрый час.

— И перевезу дедушкин диван, — вела Таечка на той же ноте. — Он говорил, что диван мне оставляет. — Выпрямившись, добавила: — Это мое наследство, я имею на него право.

Старуха махнула рукой:

— Мели, Емеля, твоя неделя, — и, отстранив внучку, двинулась на кухню.

Лельке было жалко маму, жалко диван, который куда-то увезут, и жалко портсигар Максимыча. Она изо всех сил старалась не расчесывать болячки, придумывая себе новые занятия. Например, можно было бы найти отличное применение портсигару: держать в нем трамвайные билетки. Еще добавить серебряную бумагу и самые красивые фантики, а так хорошая вещь пропадет: дядя Сеня напихает туда папиросок.

...Дрова отсырели, и старуха намучилась, пока растопила плиту. Крыша в сарае течет, что ли? Надо Моте сказать, пусть проверит. Мысли перескочили на младшего сына. Стало обидно: аферист, у матери не попросил, а Тайку послал в тумбочке шарить?! Нарочно Феде отдам. Она сердито ткнула кочергой в ленивое пламя, уже зная, что портсигар отдаст не Феде, а Симочке, да неизвестно еще, откуда он взялся, портсигар этот...

Стоя у буфета, невестка торопливо дохлебывала чай — ей сегодня во вторую смену. Она слышала весь разговор с Тайкой и теперь с сожалением поглядывала на одноногий будильник, подпертый спичечным коробком, не позволяющий ей выразить свое негодование по поводу дерзкой девчонки. Той, на бегу застегивающей пальтецо, она тоже не успела толком посочувствовать, только кивнула понимающе, бросив в спину свекрови красноречивый взгляд. Теперь Надя стояла к Матрене лицом и ждала, когда старуха начнет возмущаться. Чай она пила из толстой фаянсовой кружки, не вынимая ложечку, и черенок закрывал то один, то другой глаз.

— Вот я и говорю, — коротко взглянув на часы, быстро затараторила, хотя ни слова перед тем не было произнесено, — уж если начала гулять с солдатами, то для девки это последнее дело. — Ложка, звякнув, отклонилась влево. — То-то иду и думаю: она или не она? Солдат высокий такой; идут под ручку, потом сели на скамейку, закурили оба. Смотрю: так это же Тайка! Веселая такая, все хохочет. Мне-то что, мне дела никакого нету, а все же, думаю: вы, мамаша, скажите ей. — Ложка завалилась направо. — Куда это годится — с солдатом гулять. — Ложечка со звяканьем поехала обратно.

Матрена закрыла дверцу плиты и, кряхтя, поднялась с колен. Встретила Надин взгляд и кротко произнесла:

— Ты с Андрюшей когда познакомилась? Он как раз в солдатах был, вот когда. Забыла? Ну да, ты ведь в Женском батальоне служила. Теперь вспомнила? Вот сама и скажи.

Спокойно, не глядя на невесткино лицо, залившееся горячим борщовым румянцем, отвернулась к кастрюле.

Ребенку исть надо.

Матрена тоже лечилась — пила капли, от которых в комнате долго держался запах аптеки. Зять обещал принести другие. Правнучка выздоравливала; болячки поотваливались, зеленка то ли выцвела, то ли смылась, но зуд не проходил. Особенно мучили шея и голова. Девочка сидела, поеживаясь под строгой Матрениной расческой. Та вдруг приостановилась, чуть сощурила все еще зоркие глаза и громко сказала:

— В баню! Да тут целое стадо, Господи, помилуй, спасибо детскому садику!

После бани зашли сначала в аптеку, а потом в галантерейный магазин на первом этаже. Правда, ничего стоящего не купили: ни круглую белую коробочку «Кармен» с красавицей, упоенно нюхающей цветок, ни мыло с такой же картинкой, ни толстую короткую кисточку неизвестно для чего, ни крохотные блестящие щипчики. Зато Лелька могла вдоволь полюбоваться на продавца, человека совершенно необыкновенного. Один глаз у него был как глаз, а другой — очень выпуклый, ярко-голубой и неподвижный, и когда он отмерял ткани, скрученные в толстые батоны, то нормальным глазом смотрел на

линейку, сколько резать, а другим наблюдал, много ли останется; очень удобно. Отмерив, продавец брал острый карандаш, лежащий у него за ухом так же неподвижно, как у дяди Феди на чернильном приборе, и склонялся над прилавком, выписывая чек. Волосы у него были зачесаны на одну сторону и чем-то намазаны, поэтому никогда не разлохмачивались. И это еще не все: продавец хромал, но не так, как Максимыч, нет: при ходьбе он равномерно качался из стороны в сторону, и за прилавком что-то тюкало, будто гвозди забивали. Бабушку Матрену продавец назвал «мадам Иванова», покачался, тюкая, а когда уходили, сказал: «Желаю здравствовать». Дома выяснилось, что купили какую-то кукольную расческу, такая была тоненькая.

Лелька поинтересовалась, нельзя ли ей вот так же голову мазать, как у продавца, и бабушка Матрена неожиданно согласилась: «Пома-а-а-ажем», так что стало можно спросить и про тюканье. Оказалось, что у продавца деревянная нога. Пока девочка раздумывала, что ценнее — золотые зубы или деревянная нога, бабушка Матрена ее вычесала, пересыпав волосы удушливым порошком из аптеки, а потом завязала платком голову так плотно, что ушам стало нечем дышать. Это было особенно неудобно: Лелька как раз собиралась примерить за ухо карандаш, чтобы как у продавца.

В тот же день обе бабушки устроили огромную стирку. Плиту раскалили докрасна; белье кипятили, выполаскивали и снова ставили кипятить. Лельку из кухни прогнали и даже не разрешили покататься на велосипеде, хотя там стало больше места: пока она теряла время в круглосуточном садике, кровать бабы Матрены переехала в комнату. Девочка, конечно, не знала, что старуху пришлось долго уговаривать, и только когда Федор Федорович сказал: «Мамаша, Ире ведь может стать хуже, и рядом никого», только тогда она перестала упрячиться.

Все проходит; прошла и эта напасть с многократным вычесыванием и дустом. Заглянувшая Таечка несколько раз громко воскликнула:

— Кошмар, кошмар!

Старуха с усмешкой поправила ее:

— Это не кошмар, это вши. — И не отказала себе в удовольствии добавить: — Нечего было ребенка по садикам таскать.

Ира много шила — вернее будет сказать, перешивала: внучка подросла. Как и обещал, Федор Федорович принес другие капли, которые не пахли ничем и уже одним этим старухе понравились. Принимать их нужно было перед сном, и если она забывала, то спала хуже обычного — или ей так казалось. Все спали, когда она вспоминала о лекарстве, и свет она не включала, а, вытащив пробку, капала в толстостенную рюмку на ощупь. И невдомек было старухе, что эти капли вошли в ее жизнь, как некогда корка вошла в жизнь Максимыча; вошли прочно, образовав треугольник со сторонами на букву «К»: корка — капли — Кижэ.

И Рождество, и Новый год справляли у Тони, на этот раз вместе с Надей. Тата и Людка, хоть и ровесницы, были совсем не похожи и, возможно, поэтому вначале дичились друг друга. Бледненькая, улыбчивая и большеногая, Тата была ярко выраженным гадким утенком, и если не знала о его существовании, то потому единственно, что прочтет сказки Андерсена только через год, когда их издадут. Крепкая румяная Людка, стабильная двоечница и спортивная гордость школы, уже сейчас отличалась прекрасной кожей, хорошей фигурой и, к счастью, полным отсутствием наглости, присущей брату. Юраша старался казаться совсем взрослым и потому выглядел младше — во всяком случае, младше Геньки, который снисходительно посматривал не только на двоюродного брата, но и на взрослых.

Моти не было — он устраивал елку у себя, а Симочка с семьей пришел. Графин с водкой от него все время отодвигали. Тогда он вынимал отцовский портсигар и шел курить. Дед Мороз так же точно, как и в прошлом году, устало сутулился под елкой, да и

не удивительно: всех оделил подарками. Таечке — с намеком на грядущее новоселье — досталась «Книга о вкусной и здоровой пище», которую Федор Федорович надписал: «Учись вкусно готовить, как следует кушать». Она дала Лельке посмотреть картинки, и та долго перечитывала надпись, восхищаясь крестным, который угадал, что мама должна кушать как следует, а то когда они идут куда-то, все думают, что это не мама, а сестра.

Подошло Крещение с неизбежными морозами, когда стекла окон становятся похожи на махровые полотенца, галоши надевать не надо, и невесомыми валенками можно хрустеть по снегу, а разговаривать нельзя: рот завязан, только шерсти наглотаешься.

У старухи валенок не было, а в ботах на кладбище далеко не уйдешь. У Иры, правда, были бурки с галошами; разумеется, не настоящие бурки, отделанные щегольскими полосками рыжей кожи, откуда? — Самодельные, которые она сшила из темной фланели с двойным слоем ватина. В них-то Матрена и ходила проведать могилу в воскресенье, а остаток дня бурки сушили у печки: в мокрых-то на работу не пойдешь. Иногда Ира возвращалась после первой смены заплаканная, и старуха знала: через кладбище шла.

Узнав, в чем дело, Тоня расстроилась до слез и обещала завтра же поискать: где-то на антресолях должны лежать валенки, как раз мамаше впору будут. Однако в каждой избушке, как известно, свои погремушки: учительница музыки была Татой недовольна, выразившись: «Девочку словно подменили», и пока что у Тони до антресолей руки не дошли. То ли нужно было искать новую учительницу, то ли дочку погонять хорошенько, и нечего хныкать, рано тебе еще перед зеркалом крутиться! Словом, забот полон рот. Мать не стала напоминать о валенках, а тут уже и Сретение на дворе; да и боты, слава Богу, есть.

Ох, обманчиво мартовское тепло; не дай Бог, простудила ребенка, гулявши: ишь, сопит во сне. За окном лениво проскрежетал ночной трамвай.

А славно погуляли сегодня. Проведали Симочку. Лелька детям из книжки читала, Симочкины-то не умеют еще, даром что старшему мальцу уже седьмой пошел. Она ж племянница им, Господи! И смех и грех: тетку на коленках держала. Уходили уже, так Лелька уперлась: хотела книжку забрать, что в прошлый раз им оставила. Какое; там и шматков не осталось.

— Что ты, золотко, за книжку так убиваешься, ты ж про эту рыбку все на память знаешь, — успокаивала Матрена, время от времени останавливаясь и вытирая безутешный нос. — А не про рыбку, так про что? Про мышку? Ну расскажи бабе, я послушаю про мышку.

Старуха заслушалась и даже обратной дороги не заметила.

— Как раз книжка про твою матку, тоже выкамаривает: и это не так, и то плохо.

— Это «Сказка о глупом мышонке», — снисходительно поправила девочка, и старуха не стала спорить.

Мышонок мышонком, а как там у ней было, где про царя? Сказка, дескать, врет, да в ней намек. То-то и есть; только ребенку такой намек где ж понять.

С Тайкиной квартирой тоже не легче: то она вот-вот должна появиться, квартира эта, то внучка опять замолкает. В мирное время как бывало? Тебе надо квартиру — иди и найми, еще хозяин следом побежит, уламывать будет. А теперь все не как у людей: и деньги плотишь, и живешь, как в гостях... или с гостями. Покосилась на дверь в соседнюю комнату. Матрена и у Феде спрашивала, что там с этой квартирой; може, подмазать надо? Зять перепугался. Там, говорит, мамаша, деньги такие, что не нам с вами подмазывать. Это Федя-то, а у них денег куры не клюют.

Она осторожно, чтобы не скрипнула кровать, повернулась на другой бок. Капли, Господи Иисусе! Забыла, как есть забыла. Подошла, тихонько ступая, к окну. Уличный фонарь, прикрытый широким конусом колпака, раскачивался от ветра, бросая свет то на окно, то на голые ветки лип напротив. Пипетка ей была без надобности: пятнадцать

капель как раз покрывали дно рюмки, похожее на воронку. Пробка застряла, как назло; ну наконец-то! Старуха долила воды, проглотила лекарство и закашлялась. Обернулась испуганно: спят, слава Богу. Закрылась бутылочка на диво легко.

Утром стало ясно, почему: от горлышка откололся кусочек стекла.

Я его проглотила.

Да не-е, бздурь. Не может того быть. Не должно!.. Несколько раз тщательно повторила весь свой ночной маршрут, в этот раз на коленках по полу. Maybe, осколок завалился куда и лежит, смеется. Нашлось овсяное зернышко, обломок грифеля, сломанная пуговица и — осколок, да, но от яичной скорлупы. Пошарила мизинцем по дну рюмки, да не раз, уж будьте благонадежны.

Не было. Нету.

После утренней молитвы поискала еще раз: нету.

Помру, решила она, но стало не страшно, а тоскливо. Ты-то помрешь, а с этими что будет? Ирке ребенка одной не поднять. Тайка безмозгая; одно слово, что матка, а в голове ветер.

С неприязненным вниманием осмотрела зазубрину на бутылочке. Делов-то, не больше хлебной крошки, а какой вред сделает. Велела искать правнучке: дескать, во-о-от такой кусочек стекла на полу валяется, не наступить бы. Лелька добросовестно ползала и вытащила из-под трюмо две фасолы, пустую катушку и сухой сморщенный каштан.

Нету.

Старуха решила ничего никому не говорить. Немедленно после этого собралась и отправилась с правнучкой к Тоне.

Дальше шло, как всегда идет развитие не сценической, но жизненной трагедии: дочери, разумеется, не было дома. Уже видя себя в гробу, Матрена несколько раз беспощадно вдавливала кнопку звонка, словно это могло изгнать паскудный осколок, и слышала укоризненный, глухой звон, приглушенный двумя дверьми.

Нету. Не судьба?

Одной рукой держа за руку девочку, другой слегка касаясь перил, она спустилась во двор. День был теплый, солнечный. Посреди двора стояла просторная песочница, а вокруг — низкие скамейки.

— Давай, что ли, подождем твою крестную. — Старуха опустилась на скамеечку и без интереса окинула взглядом высокий дом, «покоем» окружавший двор, никакие прозрачные кусты и женщину с ребенком на скамейке. Нянька? Нет, не похоже: в шляпке. Матка, небось. Женщина кормила чем-то из белой салфетки бледного мальчика в шубке и высоких ботинках с калошами. Ребенок капризно мотал головой, плотно упакованной в меховую шапку, а из-под шапки торчал платок.

Лелька наслаждалась развязанным капором. Стало жалко мальчика. Она подошла ближе. Ребенок лениво жевал, мама держала надкусанную котлету и рассеянно улыбнулась девочке. Лелька сделала книксен, как ее учила тетя Тоня, и сочувственно спросила, кивнув на мальчика:

— Он у вас тоже вшивый?

Женщина вскочила так, словно узнала, что скамейка покрашена. Она успела бросить гневный взгляд на старуху в трауре, недоуменно вскинув черную бровь, и схватила за руку мальчика, который с неожиданной ловкостью выплюнул в песочницу недожеванную котлету.

...Ругали Лельку одновременно бабушка Матрена и крестная, причем у бабушки Матрены колыхался живот, как всегда бывает, когда она смеется. Девочка поняла только

одно: вши — это стыдно, и говорить о них неприлично. Потом ей разрешили посидеть у дяди Феди в кабинете, а дверь в столовую закрыли.

— Так ты спроси у Феди, — повторила старуха уже в прихожей.

И они с Лелькой начали спускаться по лестнице, второй раз за сегодняшний день.

Вопреки Тониным ожиданиям, муж встретил известие очень спокойно, чуть ли не безмятежно.

— Ну, во-первых, нечего горячку пороть: бутылка могла разбиться неделю назад, так? Во-вторых, ты сама пробовала глотать стекло? То-то. Человеческая гортань устроена таким образом, что... И потом, если б еще с большой порцией жидкости... Сколько там было в рюмке, на один глоток? Не говоря уже о том, что осколок мог действительно оказаться на полу. А что не нашла — это не аргумент; не с ее комплекцией ползать по полу или лезть под шкаф.

Феденька оторвался от омлета, раздумывая, мазать хлеб маслом или воздержаться: он начинал полнеть. Так и не решив, продолжал:

— Даже если предположить худшее, то есть она проглотила... Я не понимаю, — он повернулся к жене, — Таточка уже полчаса за пианино?

— И будет сидеть еще десять раз по полчаса! Нина Альфредовна ею очень недовольна.

Тата всхлипнула и выбежала из столовой. Пока жена сумбурно и возмущенно жаловалась, Федор Федорович машинально намазал хлеб маслом и вернулся к омлету. Отодвинув тарелку, он сказал как можно мягче:

— Тосенька, ты же из музыки ей наказание делаешь. Она играет «Песню жаворонка», а получается «Траурный марш». Возможно, имеет смысл поговорить с Ниной Альфредовной...

Договорить он не сумел, только пил маленькими, аккуратными глотками нарзан под монолог жены. Из этого монолога Феденька снова узнал, что ему хорошо говорить, а на ней мало того, что весь дом, так и за мать сердце болит, и уж где-где, а в семье самое важное что? Дисциплина! Это слово жена особенно любила и выговаривала четко по слогам и через «Т»: «дис-ти-пли-на», причем на предпоследнем слоге Феде всегда представлялся полк, готовый к стрельбе по команде: «Пли!»

Он слегка поморщился.

— Так вот, если даже это случилось, — я говорю «если», это не значит, что она действительно проглотила, — ну так он выйдет!

Все еще распаленная своей речью, Тоня смотрела непонимающе.

— Очень просто, — поморщился Феденька, прикрыв рот салфеткой (надо поменьше яиц есть). — Я говорю, очень просто! Помнишь, Юраша в пять лет пуговицу проглотил?.. Вот и объясни ей: эвакуируется, мол. — Встретив недоуменный взгляд, пояснил: — Наружу выйдет. Как всё выходит.

После ужина им овладела сонливость, но жена принесла чай.

— Попьешь — и поезжай. Мать там с ума сходит.

Даже после крепкого, бодрящего чая — а может быть, особенно после него — выходить в промозглый март казалось невыносимо. В кабинете ждали свежие газеты. Юраше была обещана разгромная партия в шахматы. За столом у окна сутулилась бледненькая и очень несчастная Таточка, которую хотелось приласкать и развеселить. Все мечты, однако же, были прихлопнуты его любимой шляпой, и пальто он застегивал уже на лестнице.

*«Дис-ти-плиии!» — на», — издевательски пропела дверь парадного.*



Хорошо, когда повествование идет ровно, не убегая назад и не петляя по боковым тропкам, заводящим Бог знает куда, и можно просто рассказать, как долго и терпеливо Феденька развеивал тещины страхи, как она, смирившись с неизбежной и мучительной смертью, смотрела на него строго и недоверчиво, в то время как напряженное лицо мало-помалу начинало оттаивать, разглаживаться, вот и бровь заиграла... В этом месте зять облегченно вздохнул: миссия была осуществлена если не с блеском, то добросовестно. Уже и за шляпой потянулся с улыбкой... и оставил ее лежать. После такого успеха невозможно было уйти, не выслушав все печали.

Квартира. Какой-то солдат. Надгробие — пора ставить или рано? Пасха на носу. В мирное время, бывало...

Федор Федорович снял очки, и старухе показалось, что именно они удерживали толстые мешки под глазами. Ему же пятидесяти нет, Господи!.. Неохотно поднялась. Феденька протер очки, снова надел их, привычно усадив на переносицу и замаскировав стеклами мешки. Из кармана пальто достал свежие капли и пипетку в папиросной бумаге. «Только пипеткой!» — строго поднял палец, и таким убедительным был его жест, что Матрена прониклась невольным доверием к аптечной пустяковине.

А все из-за именин, вдруг поняла старуха, убирая капли от греха подальше в аптечку. На кой было справлять — не зря душа не лежала. «Так ты и не справляла, — защищал чей-то голос, слышный только ей, — никаких именин не было. Что у Тони за столом посидели, так разве это именины? Именины — это когда, бывало, "Многая лета" споют, потом за твое здоровье до дна выпьют да рюмку — об пол, чтоб стекло прозвенело... Какие ж именины без черепков да без осколков, Мать Честная?»

Вот тебе именины, вот тебе осколок.

«Ну-ну, — успокаивал голос, — тебе ж Федя разъяснил, что бздурь это. Дай покой. Вербное воскресенье близится, надо вербочку на базаре выбрать...», а кто первый о вербе вспомнил, Матрена или голос, ее утешавший, право, значения не имеет.

В этом году мамынька ждала Пасху без обыкновенной радости. Появилась было даже совсем непрошенная мысль: не справлять. Мысль не распространялась, естественно, ни на Великую неделю, ни на всенощные, как можно; а вот печь, готовить руки не тянулись. Это не мешало традиционной предпраздничной суете: придирчивым закупкам сдобы, изюма, миндаля, специй... Правильнее всего было бы сказать, что старуха готовилась к Пасхе, не вполне зная, зачем она это делает. Никогда раньше такого с ней не бывало, и потому даже с Тоней не поделилась крамольными мыслями.

Великий пост подходил к концу. Стараясь избежать толкотни и как можно скорее избавиться от тягостного беспокойства, она сходила в моленную к исповеди. Что правда, то правда: стало легче, неясное смятение улеглось. Однако глубоко внутри оно осталось, как... как тот осколок.

Да, зять прогнал ее первую панику, успокоил, дай Бог ему здоровья, и лекарство отныне исправно капала в рюмку Ира, да только что уж пипетка может сделать, когда проглочено стекло, Господи?! Осколок разрастался, превращаясь мало-помалу в линзу, через которую мамынька отныне видела мир, и мир, весьма далекий от совершенства, от этого не выигрывал.

Как странно жизнь переплетается со сказкой, истина с вымыслом! В далекой Дании — не очень, в сущности, далекой, почти напротив: через самое синее море и чуть влево, — в Дании девочка с преданным сердцем плачет из-за осколка, застрявшего в глазу названного брата. Но эта сказка — или история? — не известна пока на нашем берегу. А жаль: может быть, она утешила бы старуху — ведь мальчик избавился от проклятого осколка, и если бы все истории так кончались... Однако Дания далеко, хоть и близко; а самое преданное

сердце — еще дальше, хоть и совсем рядом, рукой подать, засыпанное тяжелой желтой землей.

По мере того как Пасха становилась ближе, настроение Матрены менялось и первоначальное беспокойство уступило привычной деловитости. Невестка в этом году тоже решила печь, и старуха вздергивала скептически бровь, наблюдая за ее хлопотами. Напрасно, между прочим: пасхи у Нади возшли на славу и явно не уступали мамынькиным ни видом, ни вкусом. Что и выяснилось на кладбище, когда разговлялись. Да у всех удались, что и говорить; пробовали и кивали одобрительно, причем каждая хозяйка снисходительно хмыкала про себя: мои-то лучше. Эта уверенность помогала великодушно хвалить остальные.

Похристосовались, разговелись. Угостили всех, кто присутствовал молча и кому едва ли нужно было угощение; а впрочем, как знать. Помолчали. Стало видно, что кусты, окружавшие фамильное кладбище, стали выше и гуще, и Лелька вместе с Симочкиными малышами уже нашла под кустом «хлеб от зайчика», завернутый в крахмальную салфетку с вышивкой точь-в-точь как у крестной. Удивляться было некогда, потому что все начали поздравлять с днем ангела Ирину, вчерашнюю именинницу. Потом спорили, громко и долго: Тоня звала к ним — и ближе, и стол накрыт; Матрена твердо объявила, что именины надо справлять дома. Это и решило дело.

Если бы только именины, думал Федор Федорович, глядя незаметно на свояченицу, тут второе рождение. Воскресение, и пригубил рюмку с кагором. Тоня, которая знала про операцию больше других, тоже наблюдала за сестрой. Помолодела Ирка, что ли? Так и не удивительно — весь дом на матери: и приготовит, и уберет, и ребенок присмотрен. На работу да с работы. Хоть бы одевалась помодней, что ли, подсадовала она, не озаботившись мыслью, что наряжаться сестре некуда, не для кого и не на что.

Бедная моя. Старуха опустила глаза, чтобы дочь не поймала растроганного взгляда. Пятьдесят три всего, а сдохлая какая. Вторая смена, да всенощная каждый вечер, а как только в двери, так ребенок виснет, приходится языком молоть, книжки читать. Ей ведь больше всех лиха досталось — старшая. Да и что она видит? Живет от письма до письма, сама что ни день строчит. Что пошлет, а больше порвет да в сор. Другая дочка на такую матку день и ночь Богу молилась бы, а эта торт принесла!

Хоть упрек по адресу внучки звучал не очень логично, старуху можно было понять. В самом деле, торт из кондитерской, во всем великолепии своих блеклых восковых роз, стоял среди румяных куличей, как манекен на свадьбе. Все как один заговорили про Тулу и самовар и заулыбались. Тайка обиженно надула губы:

— Хотела матушку поздравить, а у вас тут праздник, — и Лельке опять стало жалко маму.

За столом внезапно перестали разговаривать.

— Христос воскрес, — сказала крестная, глядя на Тайку в упор, но сказала это голосом совсем не праздничным, а словно сообщая: почтальон пришел.

Таечка, улыбаясь, подошла к Тоне похристосоваться, и все заговорили опять, словно звук включили, и начали целовать опоздавшую.

В этом году за пасхальным столом было просторней: Надя с детьми уехала в деревню, Тайка, к облегчению мамыньки, никого не привела. Почетных гостей тоже не было, собрались только свои.

Кроме одного.

Старуху долго мучил пустующий стул мужа. Пробовала передвигать — все одно, только хуже становится. Известно ведь: от перестановки мест слагаемых... Соломоново решение пришло не сразу и не от озарения какого-то, а с устатку: притомилась от бессмысленной рокировки и присела дух перевести, как раз на стул Максимыча. Так

решила и оставить, отчего сразу стало покойно. Даже привыкать не пришлось, точно так надо было, и к месту.

Она сидела во главе праздничного стола, а за ее спиной в промытое хрустальное окно ломилось апрельское солнце, окатывая голову и плечи щедрым, ярким светом. Лицо, обрамленное белым — ради Великого праздника — шелковым платком, казалось смуглее, брови были спокойны. Тонко, как и полагается благородным, позванивали чашки кузнецовского фарфора, аппетитно пахнул свежесваренный чай — китайский, Мотя принес два цибика, — по темно-янтарной поверхности метался нежный дымок. Старшие внуки старались говорить басом и словно невзначай дотрагивались до бритых щек. Дочь-именинница выпила рюмку вина и теперь остужала ладонями разгоревшееся лицо. В отросших волосах ярко белела седая дорожка.

— Покажи, покажи! — нетерпеливо закричала Лелька.

Тайка держала в высоко поднятой руке ключ и улыбалась.

Мамынька подняла бровь.

— Квартира! — торжествующе объявила внучка.

Занавес.

Подходила к концу Светлая неделя. Лелька с восторгом «проветривала наряды», а предстояла еще Первомайская демонстрация. Накануне бабушка Ира принесла красный флажок на занозистой палочке. На флажке было написано на двух языках: «1 Мая». Буквы были наляпаны твердой белой краской, поэтому флажок был жестким и от него сильно пахло маринованными огурчиками.

В Светлую неделю работать грех, однако попробуй не поработай. Придя с комбината, Ирина открывала шкаф и озабоченно раскладывала белье в две стопки: поновее и покрасивее — в одну, остальное — в другую.

— С ума-то не сходи, — урезонивала дочь Матрена, — ты же эту квартиру в глаза не видела. Куд-да ты покрывало тащишь, тебе Тоня с Федей на юбилей дарили?! — Старуха в отчаянии махнула рукой.

— Мама, ну мне-то зачем. Пусть Таечке будет. Ведь у нее своего никогда не было, только что на ней.

— Да уж, — горько язвила старуха, — голая и бóсая твоя Таечка, как же! Платье новое крепдешинное справила, а ты себе довоенное перелицовываешь. Я старая, да не ослепши пока; зимой ты в тряпочных бурках шлепала, а она в модных ботиночках щеголяла!

— Так она молодая, — Ира пожимала плечом, одновременно тихонько пересчитывая наволочки, — а я вдова, баба. На кой мне ботиночки на каучуке? Я вот что думаю, мама, — Ира озабоченно посмотрела на стол, — я думаю, надо бы из посуды что-нибудь...

— Дай покой с посудой. У тебя что, лавка посудная? Тоня с Федей сервиз собираются дарить, когда уж она там новоселье справлять думает.

Ярилась, негодовала старуха, бранилась, как сказано в каноническом тексте, на чем свет стоит. Дочка возражала редко — скорее для поддержания беседы или чтобы передохнуть, когда отводила ото лба влажную короткую прядку. Оттого ли, что Ира почти не прекословила или от радостной ее полуулыбки мамынька не успокаивалась, а продолжала бушевать.

— Вчера ботиночки, сегодня один крепдешин, завтра другой, а о своем отродье она много думает? Ребенок вон в чем ходит...

Лелька оторвалась от созерцания флажка и вмешалась в монолог:

— У меня тоже платье новое. Штапельное, — и Матрена ничего не могла на это возразить, да и кто мог бы, тем более что появилась Тайка.

— Я прямо с работы; устала как собака. А вы что, в баню собираетесь? — она кивнула на разложенное белье.

Услышав ответ, недовольно вытянула губы:

— Заче-е-ем ты, ну кому это мещанство надо?

Ира с матерью одновременно посмотрели друг на друга: одна — недоуменно, другая — торжествующе.

Таечка сняла жакетку и присела на стул, обмахиваясь сложенной газетой.

— Кошмар, жара какая. Хоть стой, хоть падай. Завтра Первое Мая, в чем я на демонстрацию пойду? В жакете сварисься.

— Это по-вашему, по-новому, первое мая. А по-людски, так середина апреля, мученицу Ирину празднуют, — недовольно заметила старуха.

— Ой, бабуль, я чуть не забыла! — Тайкина газета остановилась в воздухе, и Лелька успела прочитать загадочно сложенные слова:

НОЙ

ПАРТИИ

— ...за диваном заскочу на днях, а то мне там спать не на чем.

ЯЩИХСЯ

РАН

— Как же ты его потащишь? — заинтересовалась бабка, а Ира с тревогой посмотрела на дочь.

ЛОЖНЫХ МЕРАХ

ВОЕНИЮ

АХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ

— Конечно, не сама потащу, мне помогут. Мы приедем и заберем. В среду, наверное.

— Человек какой поможет или грузчика наняла? И почему сговорилась? — продолжала Матрена.

— «Человека», «грузчика»... Какие у вас старорежимные понятия, — снисходительно улыбнулась Таечка. — Просто один знакомый поможет.

Не нужно было здесь ни этой крохотной запинки, ни вскинутого с вызовом подбородка — вся головоломка, которая, в сущности, для старухи таковой не была, послушно выстроилась в нехитрую картинку.

УМА ВЕРХОВНОГО

— Нет, милая моя, — спокойно произнесла она, — так у нас не делают. Чтоб ты приводила чужих людей, и они мое добро растаскивали? Ищи-свищи таких дураков.

Таечка смешалась. Она переводила взгляд с бабки на мать, и ее растерянность нарастала. Ира сидела, устало сложив руки на скатерти, и улыбки на ее лице уже не было. Растерянность дочери перешла в возмущение.

— Во-первых, это мой знакомый, — пылко начала она.

НОВЫЕ

ОРДЫ

— Твой знакомый, — с нажимом повторила старуха, — пускай приходит к тебе в дом. Мне он — чужой человек, таких вон полная улица.

ЦИАТИВА

ХАРЕЙ

— ...ты приведи человека в дом, представь; пусть отрекомендуется честь по чести, как и следует быть. На всех шаромыжников мебели не напасешься.

Ира согласно кивнула.

ВОЙ

ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Мама подняла глаза куда-то к лампочке и опять замахала газетой. Больше ничего прочитать не удалось.

...То ли капли хорошие Федя прописал, то ли уходилась мамынька, наставляя строптивую внучку, но спала она в эту ночь как убитая. Снился ей высокий солдат со скаткой через плечо и ранцем за спиной, только шляпа была, как у зятя, совершенно партикулярная. Грудь пересекают ремни, и каким-то способом — за ремень, что ли? — на груди прикреплен бутоньерка. На ногах же — и смех и грех — бурки самодельные, что Ирка шила, даже строчка видна.

Ирина тоже видела во сне строчку, ровно бегущую по полотну из-под лапки швейной машины. Будто сидит она на комбинате и удивляется: как же сразу не догадалась — ведь можно сшить все что, и наволочки, и простыни; только строчи! Все у дочки новое будет.

А Лельке снилась демонстрация. Она идет, размахивая флажком, а флажок вдруг уменьшается, и вот это уже вовсе не флажок, это петушок на палочке, а рядом идет Максимыч в макинтоше и картузе. Лелька хочет спросить, что такое ЯЩИХСЯ РАН, но липкий петушок не дает ей ничего сказать: рот склеен, а Максимыч тоже ничего не говорит, только смеется.

25

Не сразу, конечно, и даже не в среду, — а впрочем, это могла быть и среда, вполне средний день, когда Таечка появилась не одна, а с героем бабкиного сна. Как-то получилось, что на проводы Максимычева дивана приехали Тоня и Федя с коробкой миндальных пирожных. Мамынька напекла пирогов, как на маланьину свадьбу, но тут удивляться нечему: пост давно кончился. Надя оживленно крутилась тут же на правах соавтора всего происходящего — не она ли первая обмолвилась о высоком солдате? В кухне было жарко и от совсем уже летнего солнца, и от духовки, поэтому Лелька, покругившись среди взрослых, убежала в комнату.

Здесь было прохладней. Она залезла с ногами на диван, который, кстати, давно пора описать, особенно сейчас, когда его вот-вот унесут.

Коренастый и невысокий, как сработавший его хозяин, диван занимал немного места и был очень удобен. Обивка на нем была из темно-вишневого бархата, потертость которого пытался скрыть плед весьма почтенного возраста и вида. Конечно, диван был слегка продавлен; девочка как раз устроилась в этой уютной впадине, положив голову на круглый твердый валик. Ей особенно нравилось, что валик откидывается, и тогда кажется, что диван огорчился и опустил плечи. А можно было играть в Север, и тогда валики были тюленьями с золотыми усами в виде висящих кистей. Если сиденье не то чтобы выдавало, но — намекало на солидный возраст дивана, то спинка его явно молодила. Вишневый бархат, правда, слегка выцвел от солнечных лучей, но все равно напоминал молодецкато выпяченную грудь, облаченную в мундир неизвестной армии, где вместо пуговиц поблескивали золотые головки обойных гвоздиков. Прямо над обивкой было врезано зеркало.

Когда Лелька была совсем маленькая, она была уверена, что это не зеркало, а овальное окно в другую комнату. В этой неведомой комнате девочка ни разу не была, да там и не было ничего интересного: стенка и белый потолок. Максимыч разрешал прыгать по дивану, но до зеркала она все равно долго не доставала, хотя в чужой комнате начали

появляться кое-какие нужные предметы. Чужие обзавелись лампочкой, на которую вешали, как бабушка Ира, кудрявую липкую бумагу от мух, а также мухами, доверчиво садящимися на нее. Потом диван передвинули, и в овальном окошке появилась печка, тоже как у бабушки. Лелька все рассказала Максимычу, и он долго смеялся, а потом предложил: «Хочешь посмотреть, кто там живет?» — и поднял ее высоко-высоко. После этого поднимал часто, потому что на Лельку время от времени нападало сомнение, а потом она стала такая большая, что, стоя на диване, могла сама себя увидеть, а потом Максимыч умер, и вот уже Пасха кончилась, а он все не воскресает. А когда воскреснет, где он спать будет, ведь мама заберет диван на новую квартиру?..

Между тем на кухне Матрена выложила горячие пирожки на большое овальное блюдо, живущее в буфете — и в этой истории — весьма давно, то самое блюдо, которое принимало уже на себя мамынькин гнев, но уцелело вследствие благородного происхождения. Пospел и самовар. Скатерть осталась будничная, в голубую клетку; никаких лакомств, кроме Тониных пирожных, не было, да и мать всегда была равнодушна к покупному тесту.

Если бы не аппетитный запах пирожков, то скромное застолье имело бы совсем театральный вид, словно только что подняли занавес и на сцене ничего пока не происходит, просто люди пьют чай. Автор, возможно, и дерзнул бы все переписать, сменив жанр, но больно уж много понадобится пояснений и ремарок, да и где трупку взять? Пусть останется все, как было: без занавеса, кулис, без требовательных зрителей и даже без суфлера.

Итак, сидели вокруг стола. Надя да и Тоня, чего греха таить, сгорали от любопытства. Старуха громко жаловалась на базарные цены. Ира не находила себе места, и только Феденька безмятежно наслаждался пирожками.

— Налей мне еще стаканчик, — повернулся он к свояченице, — и перестань маяться, Бога ради: он за диваном придет, не за дочкой твоей.

— Как знать, — немедленно откликнулась мамынька, словно судьба дивана сказывалась на дороговизне.

— А хоть бы и так, — включилась Надя, — пора уж ей своим домом жить. А что солдат, так он не всегда же в солдатах будет!

Старуха отвела глаза. Окинула властным оком свое царство: остывающую плиту, ярко начищенный бантик крана над раковиной, буфет. Взгляд привычно задержался на толстом рельефном стекле. Сейчас таких не делают, и когда левое разбилось, Максимыч сложил и склеил острые треугольники, а потом стянул их ровной круглой клепкой с блестящей блямбочкой в середине. Внук Лева, увидев, сказал: «Москва!», насмешив всех. Уж и Москва, не поняла Матрена, почему Москва? Паук, как есть паук. Починенное стекло служило исправно. Старуха давно привыкла к длинноногому пауку и старательно начищала мелом латунную бляшку.

Ожидание разлуки с диваном затянулось. Феденька насытился, цены обсудили, осудили и хватились Лельки. Тоня громко, совсем мамынькиным голосом, позвала ее, и через минуту раскрылись сразу обе двери. В проеме одной, словно в рамке фотокарточки, появилась Таечка с солдатом, а на полутемном пороге комнаты — остолбеневшая Лелька.

Ни скатки, разумеется, ни ранца за спиной у Тайкиного знакомого не было, как не было на ногах самострочных бурок из сна и бутоньерки за ремнями; ремней, понятно, не было тоже. Солдат как солдат, ничего особенного; а все же не зря мамыньке сон привиделся.

— Это Володя, — снисходительно сообщила Таечка.

Тот кивнул и даже сапогами пошаркал. На лицах возникли было улыбки, но тут же застыли от негромкого старухино голоса:

— Иконы здесь.

Таечка дернула спутника за рукав, но тот смотрел непонимающе. Матрена сказала громко и очень раздельно:

— Шля-пу!..

Не может быть, никак невозможно поверить, чтобы она не знала правильного слова: картуз Максимыча был ведь не чем иным, как псевдонимом фуражки. Слово было правильное, и сон был правильный.

Федор Федорович удивился: парень, только что сделавший эдакий *faux pas*, не извинился и не выразил ни малейшего смущения. Пожав плечами, он снял фуражку и бегло взглянул на икону в углу.

— Вообще-то я еврей.

Поскольку представила его Тайка, это была первая сказанная гостем фраза. Но что-то он должен же был сказать, рассуждал Феденька, беря новый пирожок.

— Вот в синагогу и приходите в шапке, — величественно кивнула мамынька, все еще избегая слова «фуражка», — а сейчас садитесь чай пить с пирогами. Тая, поставь человеку тарелку.

— Я не хожу в синагогу, — легко ответил солдат вместо «спасибо» и уверенно придвинул стул. — О, пирожки! А с чем?

— Вы же сказали, еврей? — Матрена вежливо подняла бровь.

Тоня коснулась Фединоного рукава. Боясь, что чаепитие перерастет в диспут о конфессиях, Федор Федорович поторопился спросить о службе, гарнизоне и боялся только, что вот-вот оскудеет его скромный ресурс вопросов по военной тематике.

Солдат браво отвечал и так же браво поглощал пироги. Тоня заварила свежий чай, стараясь не смотреть на сестру, что грозило бы одновременным смехом. Дело в том, что вопрос «с чем пирожки» в доме был под негласным запретом; в лучшем случае старуха ответила бы: «С молитвой». Читателя, заинтересовавшегося остальными вариантами, хорошо было бы познакомить с Фридрихом, который некогда задал такой вопрос, но ответа долго не мог понять — до тех пор, пока Максимыч не разъяснил одного ответа, предварительно отведя немца в кабак, чтоб не обижался на Матрену.

Одним словом, смотрины продолжались. Тоня сменила выдохшегося мужа, и гость быстро заполнил анкету.

Сам он с Украины. Родителей не помнит: отстал от поезда, когда с матерью и сестрой ехали в эвакуацию. Не знаю; помню, что мать за кипятком побежала. Отец? Его забрали, до войны еще. Не помню. Мне? Пять лет, ну, когда потерялся. Попал в детдом, в Ташкент. Детский дом, значит. Вкусные пирожки у вас. Еще не отслужил, нет. Скоро уже. Останусь на сверхсрочной, наверно. Так многие делают. Начинки много, хорошо. Вообще я музыкант. (В голове у Федора Федоровича еще не остыло «Вообще-то я еврей».) В оркестре, в военном. Я с капустой люблю. На валторне. Ну не только; почему? И с мясом. На фортепьяно тоже. На других духовых. Каждый день репетиции, потом сыгрываемся. Политучеба там, то, се. Да в казарме живу, тут близко. Ну да, от хлебного один квартал.

Он говорил, держа ладони перед собой, будто собирался нырять, и быстро-быстро крутя большими пальцами. Делал паузу, брал новый пирожок, жевал; на вопросы отвечал легко, не задумываясь.

Его внимательно слушали и рассматривали. У гостя были черные прямые волосы такой густоты, словно предназначались для нескольких. Маленькие глаза казались ленивыми; должно быть, от сытости. Между массивным носом, тоже великоватым для одного, и пухлыми, точно обожженными, губами, росли короткие усы, блестящие, как маслом натертые. Он легко дотянулся до коробки с пирожными и теперь хрустел, стряхивая ломкие крошки.

Тайка смотрела на жующего снисходительно и горделиво.

Может, и в самом деле нашла девочка свое счастье, растроганно думал Феденька. Отец, вероятно, известно где. Детдом, слава Богу, паренек пережил, не забили его; по музыке явно был отличником. Конечно, ему демобилизовываться не резон: сирота, вот и осматривается.

Изумляясь на явные издержки воспитания, старуха все же была польщена, видя, как «вообще-то еврей» уписывает пироги. Ремесло бы ему в руки настоящее. Разве дело молодому парню в дудку дудеть, пастухов хватает... Дерзкий, конечно. Ну да кто сироту научит, как себя на людях держать. Матка, если жива, убивается. Надо было мальчика за руку держать! Мало что за кипятком побежала. Вот и осталась с кипятком, да без ребенка, а сын без матки. Сестра, говорит, есть; а где сестра? Сколько горя на свете... И где Тайка его подцепила?

— Мы в Доме офицеров познакомились, — ответил он на Тонин вопрос, ловко крутя пальцами, — на танцах. Тайнька там самая красивая. — Он повернулся к Тайке и подмигнул ей. Та притворно нахмурилась. — Мы с товарищами туда по субботам ходим.

С улицы послышался затейливый свист.

— Это наши ребята, — вскочил гость. — Нести помогут.

Все сразу вспомнили про диван. Надя ушла к себе в комнату, и оттуда немедленно, точно соскучилось, запело радио:

...Ноченька яснозвездная,

Скоро ли я увижу

Мою любимую в степном краю? —

Мужской голос звучал очень бодро, почти весело, и ясно было, что если любимая не поторопится, то свет на ней клином не сошелся.

Лелька кинулась в комнату. Феденька зачем-то снял пиджак и неловко держал его в руках, пока «наши ребята» толпились у дивана. Миниатюрная Таечка выглядела очень трогательно со стопкой фуражек в руках. Матрена кинулась снимать паутину со стенки, но сначала зачем-то медленно и бережно протерла диванное зеркало; поправила валики.

Вьется дорога длинная,

Здравствуй...

— Ребенка! Ребенка с дороги уберите! — тревожно закричала мамынька, и Федя крепко-крепко обнял Лельку за плечи.

Диван развернули, приподняли, и «наши ребята» двинулись мелкими шагами, переговариваясь коротко и не в такт.

— Тяжелый, собака. Чуть левее!

— Зато крепкий.

— Ему лет сто. Угол осторожно!

— Еще левей, Вовка, левей! Вот так.

— А че, спать и спать...

— Подняли, тут порог. Опускай! Так...

Только без тебя немножко грустно будет жить, —

беспечально торопился певец.

Под ногами у Володи оказались чибы Максимыча, и он ловко, словно пасуя мяч, отшвырнул их блестящим сапогом.

Ты ко мне приедешь раннею весною

Молодой хозяйкой...

— Заткни ты свою шарманку Христа ради, — устало сказала мамынька, закрывая дверь. — Ишь, натоптали сапожищами...



\* \* \*

Ровный прямоугольник на вымытом полу темнел, словно тень от ушедшего дивана. Сюда передвинули мамынькину кровать. Трюмо удивилось, но послушно отразило высокое изголовье с высывающейся ленивой подушкой. В овальном зеркале шкафа стала видна спинка с перекинутым пикейным покрывалом, та же любопытствующая подушка и девочка с прижатыми к груди старыми тапками, а вот как она прятала свой трофей под шкаф, зеркало не углядело.

Миновала Святая Троица, а внучка и не заикалась о новоселье. Не то чтобы у Матрены других дел не было, дел хватало, как всегда, а все же мысли постоянно возвращались к Тайкиной квартире. Этой квартиры она не видела, поскольку подобающего, «чинного» приглашения от внучки все еще получено не было. Отсутствие одного приглашения удивило мамыньку до такой степени, что для обиды не осталось места. Ирка видела — и слава Богу; успею.

Ира действительно побывала у дочки на квартире — при обстоятельствах, впрочем, не совсем обычных. Начать с того, что ее Тайка тоже не приглашала; вернее, пригласила, когда они случайно столкнулись на улице. Ирина вела внучку, а дочь выходила из гастронома под руку с солдатом. Таечка растерялась и, должно быть, поэтому сказала с ненужной развязностью:

— Зайдешь, что ли, мама, на мои хоромы посмотреть? Тут рядом.

Девочка запрыгала радостно:

— Бабушка, пойдем! — И повторила: — Тут рядом.

Оказалось, и вправду рядом: два квартала. «Хоромы» находились на первом этаже. У двери квартиры, куда гордо устремилась Тайка, стоял, прислонясь к перилам, высокий старик. Он приподнял шляпу, чуть поклонившись, и сказал что-то на местном языке про мебель. Таечка обаятельно улыбнулась: «Пожа-а-алуйста!»

Оказавшись внутри, Лелька, по-прежнему держа бабушку за руку, начала с любопытством осматриваться. Солдат быстро сел на диван. Ирина остановилась у двери на кухню. Незнакомец стоял, обняв ладонями высокую спинку стула, точно пробуя на вес. Таечка грациозно присела на край кожаного сиденья. Все так же мило улыбаясь, она обратилась к старику:

— Неужели мы с вами не договоримся, дядюшка? — «Дядюшка» у нее прозвучало совершенно по-местному, уважительно и ласково одновременно.

— Барышня, — удивился тот, — мы уже договорились, вы обещали мне ключ.

— Вы здесь большее не живете, — мягко возразила Таечка, — как я могу вам дать ключ от моей квартиры?

— Но... я же отдал вам свой, — старик чуть откинулся спиной назад, словно хотел рассмотреть собеседницу получше, — а теперь, когда хочу забрать мебель, вас нет дома? Я ждал во вторник, потом вы говорили: четверг...

— После дождичка, — засмеялся солдат, но старик не понял и повернулся к Ирине:

— Сударыня...

Выяснилось, что он был в этом доме швейцаром — в мирное, естественно, время. Когда дом национализировали, что-то из хозяйского имущества — в частности, вот этот столовый гарнитур и люстру — он перенес в квартиру дворника, где они с женой поселились. Теперь он переезжает к сыну на хутор, а вещи оставляет в городе у знакомых.

— А ваша жена?.. — спросила Ира негромко и тут же пожалела, зная ответ.

— Схоронил в январе. — Старик медленно провел ладонью по гладким серым волосам.

— Так вы что же, дядюшка, и люстру заберете? — Тайка обиженно вытянула яркие губки.

— Тайка!.. — ахнула мать. — Как ты смеешь?..

Мама смотрела вверх, и Лелька тоже подняла глаза. Очень красивые золотые макаронины были завернуты бантами, а поверх бантов сидели матовые кувшинки, лучащиеся светом. Свет тускло отражался в кожаных спинках стульев.

— Прошу прощения, барышня, — продолжал старик без улыбки, — заберу. Приеду завтра утром и прошу вас, пожалуйста, быть дома.

Из разговора Лелька поняла очень мало. На кухне обнаружилась маленькая, но очень пузатая раковина, окно и плита, где стояла сковородка с двумя вилками и кружком засохшей колбасы. У плиты валялись папиросные окурки.

В дверях появилась бабушка Ира с красными щеками и взяла ее за руку: домой.

Попрыгать на диване не удалось.

Прежде чем представлять мамыньке отчет о дочкиной квартире, Ирина его тщательно отредактировала.

— Это на Садовниковской, напротив поликлиники. Ну, богадельни бывшей. Такой серый дом высокий; еще рядом пустырь. Первый этаж. Нет, потолки ничего; вроде высокие. Прихожая, потом комната; из комнаты дверь в кухню. Уборная есть, как же. В конце прихожей, — я не сказала? Да, в кухне кладовка холодная есть; хорошая кладовка. Плита, как у нас, только поменьше. Печка большая. Да ты сама увидишь. Ничего у ней там нету, — Ира перевела взгляд на вешалку, — только папашин диван. Окна? Да. Одно. Во двор, кажется, выходит; не рассмотрела. И в кухне одно. Да мы с Лелей на минутку зашли, торопились. Квартирка темноватая. А може, мне показалось: вечер был. Мама, мне в первую смену завтра; лягу я.

Накапала лекарство матери и легла.

— Зна-а-аю я этот дом, — раздумчиво протянула мамынька, — да только разве он на Садовниковской? Он же на Малой Парковой.

— Нет, на Садовниковской. Только она больше не Садовниковская, теперь Ворошилова называется.

— А вот пустырь не припомню, — продолжала старуха, — не было там сроду никакого пустыря. Это уж, наверно, после войны... наворошили. На кой было улицу трогать, Садовниковская — и к месту, — рассердилась она, но Ира выключила лампу и с головой накрылась одеялом.

Нет, это никуда не годится. Одна явно темнит, другая чепуху городит про золотые макаронны на люстре. Откуда, спрашивается, люстра взялась, если там ничего нету? Что с ребенка взять. А солдатик, видно, прижился; конечно, лучше, чем казарма...

Спрашивается, зачем так долго муссировать тему внучкиной квартиры, если повесть отнюдь не о ней — повесть о бабке, то есть о старухе? К чему вовлекать в повествование вовсе уж посторонних людей, вроде бывшего швейцара, фигуры совсем эпизодической, тем более что мамынька о его существовании и не подозревает, а сам он, простившись на углу с Ириной, один только раз мелькнул на перекрестке? Зачем было подробно цитировать Таечку, словно она одна в семье свободно говорит на местном языке? И для чего, наконец, так много было рассказывать о солдате — ведь он появляется, чтобы перевезти для внучки старый диван, а попадает к семейному чаепитию и только на практике, ибо именно она — критерий познания, разбирается, с чем были пирожки?

Как-то случайный этот солдат нарушает доселе стройную архитектонику повествования, и не случайно, должно быть, мамынька уже видела его во сне, еще не встретив наяву. Привела-то его внучка за диваном, это так, однако здесь доминирует не

обстоятельство, а сам факт, что привела: никогда до этого случая Таечка не приводила в дом и не предъявляла своих кавалеров — и уж, конечно, не потому, что таковых не было. Определенно были, хоть никто не задавался вопросом, сколько: как уже сказано, никто их не видел. Транспортировщик дивана явился в качестве поклонника, что в Надином лексиконе обозначалось пружинным, как матрацная сетка, словом «хахаль», а мамынька предпочитала называть его «ухажер» либо «кавалер».

Хочется думать, что читатель заметил самое главное: старуха перестала говорить об осколке, вот что. Да было ли о чем тревожиться? Ведь вон как все славно ладится: Тайка того и гляди свою жизнь устроит, благо есть где; сколько ж можно по чужим людям трепаться, да и подруги замуж повыходили. А на дворе — лето красное, деревья пышные, зеленые, хоть и впрямь бери правнучку да вези к самому синему морю. Ах, Гриша, Гриша! Кабы ты не лег так рано в желтый песок, вот бы вместе поехали! Ребенок — шкура, живое серебро; как же я одна-то? Матрена думала, как славно они могли бы поехать втроем, и верила, что — да, так все и получилось бы.

...На Ильин день вечером сидели у Тони. Ирина тревожилась: дочка ушла на свидание, прихватив с собой Лельку. Тоня с Федей, наоборот, сочли это хорошим знаком; старуха молчала и разглаживала ладонью крахмальную салфетку, только брови подрагивали.

— Пойми, сестра, — авторитетно говорила Тоня, — не вечно же девочке безотцовщиной жить. Таечка — молодец, она дает ему понять...

Федя согласно кивнул:

— Он не мальчик: понимает, что у Таечки... гхм... своя жизнь была, что ж. На мой взгляд, у него совершенно серьезные намерения. Не сегодня-завтра он снимет солдатскую форму...

Старуха подняла глаза от салфетки:

— Снять-то он снимет. Дальше что? Коров пасти наймется?

— Ну почему коров; мало ли. Музыкальное образование на дороге не валяется. Пристроится как-нибудь. А то, — Феденька засмеялся, — будет к вам на пироги ходить, мамаша. Не выгоните? Или вы все сердитесь? Так он молодой еще, и манерам научится. Постепенно.

— То-то и есть, что молодой.

— Моя крестница тоже молодая, — засмеялась Тоня, — пара что надо!

— Совсем вы очумевши, — устало и негромко произнесла мать, и оттого, что не было в ее голосе обычной гневливости, всем стало не по себе. — Когда война началась, Тайке пятнадцатый год шел; а этому сколько было, когда он от матки потерялся?.. Вот и считай.

Замолчали, но не потому, что последовали мамынькиному совету, нет: считали ведь и в тот вечер, когда гость отвечал на Тонины вопросы. Считали; но то ли счет не сходился, то ли итоги бесхитростной арифметики выглядели удручающе, только никто не хотел держать в памяти неудобные цифры. Этому обстоятельству способствовали и совершенно юное Тайкино лицо, и статуэточная миниатюрность фигурки. С другой стороны, уверенное поведение, помноженное на рост и усы, явно прибавляло солдату возраста.

— Это сейчас, — кивнула мамынька, словно услышав их смятение. — А через десять лет? Нашей курице под сорок будет, волоса начнут сесть, да сама расплывется...

— Мама, а ты бабу Лену вспомни, — подала голос старшая дочь, — Тайка-то в нее пошла.

Тоня плохо помнила ростовскую бабу, но с жаром начала говорить, что вот же и Коля был на год младше сестры, и ничего.

— На год, — согласилась мать. — Год туда, год сюда — большой разницы нету. А тут... Дай покой.

Выпили чаю. Начали вспоминать похожие случаи, причем всякий раз оказывалось, что «живут душа в душу». Помолчали. Матренины брови никак не успокаивались. Стало темно; Ира с матерью заторопились домой. Все устали от споров и сомнений, а потому пришли, как всегда бывает, к самому эпическому выводу: Таечке видней — ей жить, а главное, чтоб человек был достойный; сироте нужен отец. И к месту.

О самом трудном говорили потом: Ира с матерью по пути домой, а супруги в столовой, пока Тоня убирала посуду. Главное было уже известно: Таечка обрела диван, кавалера и квартиру, куда поместила свой первый трофей и вот-вот внедрит второй.

— Тем более что он демобилизовался, — произнес Федор Федорович в такт мыслям жены, что никого из них давно не удивляло. — Таким образом, у него появился выбор: казарма или... Кстати, как он тебе?

Вопрос отнюдь не означал, что Феденька только сейчас проявил интерес. О солдате уже говорили, но как-то осторожно, вскользь. Теперь же, когда он обрел статус кавалера, беглые оценки никого не удовлетворяли. Шутка ли: у любимой племянницы, у крестницы решается судьба! Тоня невольно увидела Тайку в своем свадебном наряде и фате, а рядом этот... в форме и с фуражкой на голове. Она решительно замотала головой, но волосы были надежно схвачены сеточкой-паутинкой, и прическа не пострадала.

— Совершенно чужой человек. К тому же не нашего круга, — подвела она итог своему видению.

Муж снял очки и прикрыл глаза пальцами. Лицо у него сморщилось, как если бы перед ним на тарелке оказалось что-то несвежее.

— Бога ради, Тося. При чем тут «нашего круга», «не нашего круга»; что мы за дворяне такие?

— Но ведь тебе он тоже не понравился, — резонно заметила Тоня. — Ведь не понравился?

— Что значит «понравился — не понравился»? — рассердился уличенный Федор Федорович, убирая руку от лица и откидываясь на стуле.

— Так я ведь вижу, не слепая. — Чашки укоризненно звякнули.

— Не в том дело, — он успокоился и заговорил в своей обычной манере, негромко и убедительно, — не в том дело, что я, ты, мамаша или... доктор Ранцевич, к слову, не в восторге от этого... кто он там, ефрейтор?., от этого солдата, — Феденька взмахнул рукой и чуть не сбросил очки на пол. — Я не в восторге, ну и что? Ты говоришь: «чужой»; не знаю. Пожалуй, он... другой, что ли. Но ведь слово «другой» и «друг» одного корня! — Он даже палец поднял от воодушевления, словно речь шла не об однокоренных словах, а о двух зубах, растущих из одного корня, и он, Феденька, только что стал свидетелем этого уникального явления. — Ведь что мы с тобой знаем о нем? Только то, что он рассказал между пятым и шестым пирогами. Девочка, безусловно, знает его — и о нем, я положительно уверен в этом — гораздо больше! А самое главное...

— Самое главное, — решительно перебила Тоня эту пламенную речь, — самое главное, что никого она слушать не будет и сделает по-своему. Не облакачивайся на пианино, сколько раз тебе говорить!

— Обопрись на меня, — Ира подставила матери локоть.

Вагоновожатый терпеливо ждал, пока старуха в черном тяжело спускалась и наконец ступила на булыжник мостовой; потом дернул звонок. Желтый освещенный вагон покатился дальше, и человеческие профили отражались в темных окнах, так что казалось, что людей вдвое больше, а над их головами весело болтались нестрашные кожаные петли, и два кондуктора, один чуть темней, двинулись неторопливой боцманской походкой

вперед, забыв про старуху, черный силуэт которой почти слился с августовскими сумерками.

Ира с матерью медленно шли к дому, говоря о самом насущном: что надо прицениться на базаре — пора варенье варить, а сахар в маленькой бакалее не брать, он мокрый у них; возьмем в хлебном. На днях в обувном ботиночки для ребенка видела; померить надо, как раз сезон. Кран течет в кухне. То ли к дому праву идти, то ли Мотю звать, а пока я тряпкой подвязала. Если Мотю, то пускай и сарай посмотрит — крыша давно течет. Тогда надо толь покупать, а где?.. Лельку пора в парикмахерскую сводить, вон какая кудлатая стала. Да, патлы надо подрезать, куда это годится. Я думаю белье замочить, пока сохнет хорошо, а потом уже варенье затевать. Что ж, если дождей не будет, сливу к Покрову сварим, даст Бог, а то и яблоки. Яблоки — не горит, сначала сливу и ягод каких; черной смороды бы побольше...

По лестнице старуха поднималась первая, держась за перила. Остановилась, поглядела зачем-то вниз, потом перевела взгляд на дочь и таким же голосом, как раньше про варенье и стирку, произнесла:

— Знал, что в доме ребенок! А пришел с пустыми руками, полгроша на гостинец не потратил, не говоря про игрушку какую. Разве Тайке такого надо? Да что с того... Она ведь что себе в голову вобьет, то и сделает.

На кухне Лелька что-то страстно рассказывала Наде и Людке. Надя вытирала посуду, вернее, машинально крутила в полотенце одну и ту же тарелку, недоверчиво поглядывая на девочку. Людка смотрела на Лельку во все глаза и заворожено слушала, покусывая конец полурасплетенной косы.

— ... потому что он был голодный. И тогда волчица-мама дала ему сисю пососать, и она его лизала, а потом маленьких волченят.

— Кто?! — выдохнула Людка.

— Маугли. Так ребеночка звали. Он сам к волкам в норку пришел. А тигр гнался за ним, только второй волк, он у них папа был, не пустил его.

— Это не может быть, чтобы волчица ребенка кормила, — Надя помедлила и уверенно взяла следующую тарелку, — наверно, собака какая.

— Нет, тетя Надя, это настоящие волки были! И тигр настоящий!

— Или куклу положили. Разве ж младенца дадут волкам?!

— ...медведь научил. Это как будто школа была у них в лесу, а ребеночек уже совсем большой стал. Как я, — уточнила Лелька. — Его научили нюхать и охотиться, а еще как от тигра прятаться.

— В лесу тигров нету, — неуверенно возразила Людка.

— Есть! Потому что джунгли. Там еще обезьяны живут. И змея, — девочка поежилась, — такая огромная и толстая, как... как труба. Только змея Маугли не съела, она обезьян глотала.

— А зимой? — вскинулась Надя. — Зимой-то ребенок в лесу замерзнет!

— Нет! — весело заверила Лелька. — Там зимы не бывает, там все люди, даже дяди, в летних платьях ходят и с голыми ногами.

— Где? — тарелка, давно соскучившаяся от бесцельной карусели, обреченно закрутилась снова.

— В Индии, — терпеливо объяснила Лелька. — В Индии только лето и... и джунгли, — было видно, что ей очень нравится новое слово.

— На кой ляд такое лето надо, если змеи кругом, — резонно заметила невестка.

— Там одна змея самая ядовитая была. Кобра. Она сторожила сокровища в погребе.

— Ну? И много насторожила? — Надин голос звучал иронически, но полотенце остановилось.

— ...целый дворец, а под землей деньги валялись, копейки золотые. Во-о-от такими кучами! И еще... — Лельке вспомнилась жалобная песня, которую часто передавали по радио, и она заговорила уверенней: — Драгоценные камни всякие: алмазы, жемчужины... и чудный камень яхонт. Не счесть. Царя не было, а кобра все равно берегла.

— А кто во дворце жил? — спросила Людка.

— Никто, — отмахнулась рассказчица, — только обезьяны.

— И все деньги забрали? — Людка широко раскрыла глаза. — Или этот... ну, что с волками?

— Маугли? — уточнила Лелька. — Нет, он деньги не брал, он ножик нашел и на шею себе повесил.

— А кобра? — Кончик Людкиной косы был похож на рыжий ус.

— Маугли волшебное слово знал, он умел говорить по-змеиному.

— Может, он и с обезьянами говорить умел? — повернулась Надя.

— Умел! Он на всех звериных языках умел говорить, даже... — Лелька вдохновенно подержала паузу, — даже на муравейном, и даже...

— Пойдем ноги мыть, Маугли, — вмешалась Ира, — спать пора.

— На тараканьем, — обидно засмеялась Надя. — Вот ребенок! Мели, Агаша: изба-то наша. А ты чего уши развесила? — Она замахнулась на Людку посудным полотенцем. — Ложись иди! Сами можем в кино сходить, не нищие.

Несмотря на разницу в восемь лет, внучка и правнучка отлично ладили. Матрена не могла этого понять: Людка, по ее представлениям, была почти невеста, но охотно играла с Лелькой. Она ж ей тетка, недоумевала старуха. А послушать, так и разница небольшая, но вслух этого не говорила, чтобы лишний раз не задеть невестку. Слушать, впрочем, случалось в основном правнучку, когда она пересказывала Людке очередную книжную историю. Та слушала всегда с одинаковым вниманием, чуть сдвинув тонкие рыжеватые брови — совсем как у Андрюши, Царствие ему Небесное, и покусывая кончик толстой золотистой косы.

Своеобразная эта дружба строилась на самом надежном фундаменте — зависти, а посему была весьма прочной. Людка самозабвенно купала в маленькой ванночке пупсика и увлеченно наряжала Лелькиных кукол, у которых имелся свой! Кукольный! Диван! И рояль! Не говоря уже о посуде. Ладно, посуда; но Ира сшила для этой посуды особое полотенце из полоски льняной простыни, так что можно было по-настоящему вытирать крохотные тарелочки, прислушиваясь, не идет ли мамка: если прозевать, так схлопочешь. А какие весы у Лельки были! — с такими же точно гирьками, как в лавке или на базаре!

Они долго спорили, кто будет продавщицей. Кроме того, что продавать было престижней, чем покупать, взвешивала-то именно продавщица. Чаще всего товаром были семечки или хлеб. Людка заготавливала бумажные кулечки из тетрадных листков — «фунтики», а потом со строгим лицом насыпала в них семечки, совсем как настоящая продавщица! Выполнив весь ритуал купли-продажи, включая плату «как будто» деньгами и получение «как будто» сдачи, девочки выходили из товарно-денежных отношений и сидели под огромным столом, поедая из фунтиков «товар». Семечки всегда доставались Людке, которая была уверена, что это ей за старшинство; младшая с удовольствием съедала хлеб, потому что семечки не любила.

Сейчас Людка деловито рассматривала жестяную плиту примерно такого же размера, как ванночка для пупсика. Плита была совсем как настоящая, только круги не снимались, а были нарисованы, зато дверца открывалась и закрывалась.

— А там даже можно огонь зажечь, — девочка несколько раз открыла и закрыла маленькую дверцу, — только дрова надо кукольные. Мамка твоя купила?

— Мама, — кивнула Лелька.

— А потом в кино ходили?

— Нет, это она раньше купила, когда вы в деревню ездили. А про Маугли только что было.

— Покажи опять, как он со змеей говорил!

Что Лелька с готовностью исполнила, и Людка даже не терзала косичку, но маленькую плитку из рук не выпускала. Ее «кукольное» детство совпало с войной, и уж, конечно, Наде некогда было думать об игрушках: главное, чтоб дети были сыты.

Лелька же мучительно завидовала своей не доигравшей в детстве тетке, и вот почему. Во-первых, Людка уже целых шесть лет ходила в школу. Правда, школу она не любила, хоть вообразить такое было просто невозможно. Не любила она и книжки, даже Лелькины любимые, однако часто просила что-нибудь рассказать. Она уже была большая, и когда тети Нади не было дома, надевала ее туфли на высоких каблуках и даже красила губы. Очень красиво получалось. Только Генька увидел и все рассказал тете Наде, так что она Людку поколотила. «Я тебе потачки не дам, — кричала тетя Надя, — тоже захотела в подоле принести?! Я тебе покажу!» Лелька долго ждала, потому что как раз принесла остатки семечек в подоле платья — делать такие фунтики, как Людка, она не умела. Потом Людка долго сморкалась под краном, и Лелька позвала: «Людка! Я тебе...», но договорить не успела: та повернула красное лицо и закричала: «Я тебе не Людка! Людка на базаре семечками торгует!..»

А еще Людке можно было гулять во дворе. Лельку туда пускали очень редко: бабушка Матрена не любила уличных мальчишек. Уличные мальчишки бегали за Лелькой и кричали: «Цыганка! А вот цыганка пришла!» Заступались за нее только Людка (Генька тоже оказался уличным) и еще одна девочка, которая говорила по-русски неправильно и протяжно. Да что двор! Людка могла переходить через дорогу, хоть каждый день. Сама, совсем одна.

Зато я видела кино про Маугли.

## 26

Если тезис о ружье, повешенном в первом действии, верен, то сцена давно должна была превратиться в оружейную палату — вернее, в ружейную, — в то время как автор старается не забыть, какое из ружей еще не выстрелило, причем где-то на периферии сознания бьется мысль о незаряженном ружье, том самом, которое раз в сто лет... И здесь он малодушно оставляет читателя считать гильзы.

Вот неделя, другая проходит, принося то радостные, то печальные события. Отпраздновали именины правнучки; скромно отпраздновали, вот только к пирогу, который испекла старуха, это слово не подходило: важный получился пирог. Подошла годовщина Максимыча. Господи, Иисусе Христе, сыне Божий, год уже прошел! Отстояли панихиду.

В моленной было пусто — только свои; что ж, дело семейное.

Незадолго до упомянутых событий у Лельки случилось горе: в школу ее не взяли. Мама специально отпросилась с работы, и они пошли «записываться», только вот взять с собой портфель мама не позволила: «Ни к чему это!» Коридор в школе был темноватый, а лестницы широкие, как в моленной. По коридору ходили учительницы в черных платьях. Мама со всеми здоровалась и много смеялась, потому что она сама когда-то ходила в эту школу. Учительницы всплескивали руками, точь-в-точь, как тетя Тоня, когда у нее на кухне что-то «бежит», и удивлялись: «Тая?! Подумать только, совсем взрослая дама!.. У

тебя, верно, и фамилия теперь другая?..», на что мама беззаботно замотала головой и засмеялась еще громче, а на Лельку никто внимания не обращал, и она пожалела, что пришла без портфеля. Одна учительница, седая, но кудрявая, вдруг обратилась к ней:

— Дочка — копия мамы, не спутаешь! Как тебя зовут?

Лелька сделала книксен:

— Оля. Мне семь лет. Почти что. Я в первый класс пришла записаться.

Учительница улыбнулась, но записывать в первый класс не торопилась, а начала вспоминать бабушку Иру, дядю Мишу, дядю Леву, тетю Нину... так что Лелька извелась от нетерпения. Потом учительница опять повернулась к ней и спросила:

— А в детский сад ты ходишь?

На что девочка твердо ответила:

— Боже сохрани!..

Из широких коридорных окон были видны огромные липы. Лелька ждала, что сейчас ей покажут первый класс, а она придет домой, и бабушка Ира сошьет ей синюю форму. Мама взяла ее за руку: «Прощайся». Вот тут бы и сказать про портфель и про пенал, но учительницы заулыбались, а седая сказала: «Приходите через год!»

По пути домой выяснилось, что мама не знала, «куда глаза девать» и «ты меня опозорила». Лелька повторяла: «Почему?!», но мама говорила про «Боже сохрани» и про «эти старорежимные приседания».

— Почему меня в школу не взяли?! — повторила, вернее, прорыдала свой вопрос девочка, потому что это было уже на лестнице.

Бабушка Ира долго успокаивала и уговаривала, что надо еще немного подрасти, один только годик подождать, но Лелька долго плакала и затихла не скоро.

Нет, идти надо было с портфелем.

В следующее воскресенье Тайка с солдатом собрались в кино и опять взяли ее с собой. «Багдадский вор» поразил воображение девочки, но «Маугли» не вытеснил, зато ее сценическое амплу обогатилось.

Може, Федя прав? Старуха вздернула бровь, обращаясь непосредственно к буфету. Раньше, бывало, хорошо если раз в пару месяцев куда сводит ребенка, да и то с подругами. Время покажет.

\* \* \*

Через неделю Покров, а теплынь стояла невероятная. Рано утром, прямо из моленной, Матрена отправилась на базар. И не зря: такую чудную сливу купила, хоть сейчас вари! Ира захлопотала над банками, мамынька озабоченно прикидывала, хватит ли сахарного песку, и Таечка появилась совсем кстати: на кой ребенку в такую погоду дома сидеть да под ногами путаться. Старуха пересчитывала банки и не сразу заметила внучкиного кавалера, который стоял у порога, держа фуражку в руках. Заметив, величественно кивнула и повернулась к Таечке:

— Тоню в моленной видала, тебе привет. Они с Федор Федорычем спрашивали, когда можно зайти тебя поздравить?

Внучка взяла сливу и осторожно надкусила сочную мякоть:

— М-м-м... вкусно! — И продолжала, жуя: — Я сама собиралась пригласить, пока было на чем сидеть. А дядька всю мебель забрал. — Осторожно выплюнула косточку в ладонь и потянулась за новой сливой: — Жмот. Сквалыга.

Немая сцена грозила затянуться, если бы Ирина не внесла ясность.

— Так что тебе до чужого добра? — прищурилась Матрена. — Свое наживешь!



— Можно подумать, он эту мебель наживал! Он хозяйское добро стерег, вот и все. Швейцар; хуже лакея. Жмот, просто жмот.

— Это чем же хуже? — мамынька говорила очень спокойно, но банку отставила, да и брови начали подрагивать. — Это чем же хуже? Человек, дай Бог ему здоровья, сохранил хозяйскую мебель, как свою, тебе квартиру отдал, а ты еще и недовольна?

— Мне до лампочки! — звонко отчеканила внучка. — Квартиру не он мне «отдал», квартиру мне исполком выделил! А дядька просто жила! Лакей буржуйский!

— Холуев нет с семнадцатого года, — слышалось от порога.

Старухины брови сомкнулись.

— Ты, Тайка, умная была бы девка, кабы не была дура. Не знаю, какой «полкан» тебе что выделил, а живешь ты в квартире этого человека. — В сторону кавалера она не смотрела. — Ступай; может, дурь выветрится.

...Левой рукой мама держала за руку Лельку, а правой — солдата, но под руку. Иначе идти было нельзя — правой рукой он отдавал честь. Лелька тоже пробовала отдавать честь, но мама дернула за руку: «Прекрати сейчас же!» Солдата она называла Вовкой, только выговаривала как-то странно, будто баловалась или у нее рот болел: «Вафка», но солдат и не думал обижаться. Сама Лелька не знала, как его называть, да это и не было нужно, а про себя звала «он» или «солдат».

...Все привыкли, что в любой сказке первые две попытки того или иного подвига — это только разгон, легкая тренировка воображения, где результат заранее известен; только дети готовы слушать раскрыв рот, тогда как взрослые скептически пролистывают разбег сюжета, нетерпеливо дожидаясь подвига номер три, то есть кульминации.

Никакой кульминации, однако же, не предвиделось: в кинотеатре выяснилось, что фильм сегодня взрослый и Лельку не пустят. Мама пошептала с солдатом, а потом сказала:

— Мы ходим в кино, а ты у меня побудешь, договорились?

Лелька соскучилась без дивана, и они, конечно же, договорились.

— Мы скоро вернемся, ты не скучай.

В предвкушении прогулки она захватила мяч в сетке, куда сунула зачем-то игрушечную плиту и китайские народные сказки «Братья Лю». На обложке были нарисованы домики с кудрявыми крышами и огромная рыба в пенистой, тоже кудрявой волне. Сейчас девочка разложила все это добро на диване.

— Окно пусть открыто будет, — решила Таечка, — тепло. Не вздумай спички трогать, — торопливо закончила она, и в замке повернулся ключ.

В прихожей было темно и, честно говоря, страшно. Зайдя на кухню, Лелька обнаружила знакомую пузатую раковину, а рядом стояла картонная коробочка с зубным порошком. У порошка был очень приятный запах, как у белья, которое бабушка приносит со двора.

В комнате ее ждал диван. Она теперь легко допрыгивала до зеркала. Стола, стульев и люстры больше не было, так что мячик легко отскакивал от стен и печки. Зато прибавилась этажерка, похожая на китайский домик, только без кучерявой крыши. Маленькое зеркальце с отбитым уголком было прислонено к книжке «Педагогическая поэма». Осторожно убрав зеркальце, девочка перелистала книжку и разочарованно закрыла. Нет, поэма — это «Руслан и Людмила». Рядом с книгой валялись бигуди, черносиние заколки и стояла полуоткрытая коробочка с пудрой. На сутулую настольную лампочку вместо абажура был нахлобучен кулек из газетной бумаги. Тут же, придавленная ножкой будильника, лежала сама газета, а край был оборван полукругом, и на нем четко виднелся отпечаток помады, как поцелуй. У печки стояла старая табуретка,

где лежало мамино красное платье в белый горох и скомканное полотенце, а из-под полотенца свешивался тонкий капроновый чулок, касаясь носком пола, точно встал на цыпочки. Все это пахло мамой и было очень любимое, даже полотенце.

Подоконник доходил ей до подбородка, но если встать на мяч, то становился виден маленький двор с высокой, как крепость, помойкой под большим каштаном. Двор был пуст. Окно смотрело на высокую кирпичную стену, которая замыкала двор с трех сторон. Лелька обнаружила, что двор не простой, а двухэтажный: за стеной и где-то над нею располагался второй ярус. Кирпичная стена чуть размыкалась, словно кто-то неровно вырезал ломтик кекса, и вверх вела узкая каменная лестница, по которой спускалась женщина с цинковым тазом и тощим ожерельем из бельевых прищепок на шее. Она без интереса посмотрела на лохматую девочку в окне и прошла дальше, держа таз у бедра, как в бане.

Лелька устроилась на диване и открыла книжку. За окном мужской голос лениво позвал: «Кла-а-ва! А Клава-а-а!» Клава не отозвалась, и крик повторился снова, так же лениво и протяжно, будто неохотно. Через некоторое время девочка с сожалением оторвалась и опять подошла к окну, привлеченная равномерными скребущими звуками.

Привычно балансируя на мяче, она выглянула и увидела дядьку в кепке и ватнике, который сгребал граблями сухие листья. «Клава! А Клава-а-а!» — закричали опять. Часть двора была заасфальтирована, и грабли царапали жесткую поверхность. Прямо напротив окна высилась горка листьев и мелкого мусора. Заметив Лельку, дядька приостановил работу и постоял, опираясь на грабли, а потом спросил:

— Ты чья? Ты ихняя?

Девочка замотала головой. Дядька сморкнулся прямо на мусор, закурил папироску и посмотрел куда-то вверх. Мяч коварно покатился в сторону, и Лелька стукнулась о подоконник.

«Кла-а-ва! А Клава-а-а!»

Не обращая внимания на крик о Клаве, дядька бросил окурок туда же, в кучу мусора и пыльных листьев, и ушел по лестнице на верхний двор.

«Братья Лю» были прочитаны. Хотелось кушать. Она примостилась в диванной ложбинке и задумалась, кто такая Клава. Должно быть, та, с прищепками. Дверь в прихожую была наполовину застекленной, и в углу стекла сидел такой же длинноногий «паук», как у них в кухне на буфете. «Клава! А Клава-а-а!»

А может, Клава уехала далеко-далеко, а этот не знает. Кино, наверно, скоро кончится. Стало немножко зябко, и она залезла под плед. Странно: плед пахнул как-то иначе, не как раньше. Грабли больше не скребли, и тот же тягучий голос звал Кла-а-а-аву, но это она слышала то ли во сне, то ли сквозь сон, а потом вместо Клавы стали звать: «Ляля! Ляля! Проснись, Ляля!», и кто-то другой сказал громко: «Я так и знал». Девочка проснулась, потому что Тайка трясла ее обеими руками:

— Зачем ты спички зажигала, я тебе запретила! Я кому говорила, не трогай спички!

В комнате горел свет. Было дымно, словно кто-то курил, и Лелька закашлялась.

— Тебя, кажется, спрашивают, — громко и строго сказал солдат, — ты зачем спички брала?

Лелька была сонная, ее знобило и першило в горле.

— Я не брала. Я не знаю даже, где тут спички лежат.

— А дым откуда? — нахмурилась Таечка. — Может, тебе холодно стало, и ты хотела печку затопить? Лучше правду скажи, Ляленька.

Лелька засунула в сетку мяч и «Братьев Лю».

— Я домой хочу.

Тайка нагнулась и подняла с полу жестяную кукольную плиту:

— Во-о-от где она спички зажигала. Теперь понятно, откуда дым!

— Никакие — спички — я — не — зажигала!

— И еще врет, — возмутился солдат. — Ты смотри, как выкручивается!

Таечка беспомощно повернулась к нему:

— Матушкино воспитание. Кошмар один. Вот так я и мучаюсь. Ее перевоспитывать надо, — она развела в бессилии красивые смуглые руки, — но мне не справиться.

— Я не трогала спички, — повторила Лелька, — я... я побожиться могу! И не зажигала ничего.

— А дым откуда, от Святого Духа? — засмеялся солдат.

— Совсем святошу из ребенка сделали, — Тайка задумчиво вытянула губы.

— Я ничего не знаю про дым, я спала! — крикнула Лелька. — Я домой хочу!

— Ума не приложу, — печально сокрушалась Таечка, — как это вранье из нее выбить.

Нет, не перевелись еще рыцари!.. Девочка увидела, как солдат, помедлив, взялся за начищенную до блеска пряжку ремня, и ремень вдруг раскрылся, словно распался на две половинки, и оказался у него в одной руке, а другой он сгреб Лельку.

— Будешь врать? Говори, будешь врать?..

Почти оглохнув от ужаса и боли, она завизжала яростно: «Дурак!», что и решило дело. Солдат рассвирепел и держал крепко.

— МАМА!..

Но Таечка качала головой со скорбной безысходностью, и было видно, что ей очень, очень тяжело.

...Вопреки обыкновению, заходить Тайка не стала. Осторожно нажала ручку двери, а сама побежала по лестнице вниз. Лелька кинулась в комнату. Ира читала, высоко подняв в руке книгу. Старуха, в долгой белой рубашке, сидела на кровати и заплетала на ночь такую же белую косичку.

— Явилась пропажа! А я тебе пенек с варенья...

Девочка уткнулась в мягкий теплый живот, пряча в белых складках распухшее лицо, и затряслась от новых слез и икоты.

## 27

Старуха никогда не задавалась вопросом, стоит ли мировая гармония слезинки замученного ребенка, да и вообще едва ли знала о писателе Достоевском; отбросила за спину недоплетенную косу. Ирина кинулась было за дочерью... но вернулась: тут ребенок заходится. В продолжение своего рассказа девочка дрожала и длинно, судорожно всхлипывала. Матрена сбрызгивала ее святой водой с уголька и подносила чашку ко рту, не спуская с рук ни на минуту, в то время как Ира хлопотала над ванночкой. «Все снимай; насквозь дымом провонявши. И голову давай, вот так. Потерпи, золотко; закрой глаза. А я тебе пенек с варенья зна-а-атных оставила!..»

Перебираясь из уже тесноватой ванночки в толстую простыню, вдыхая самый лучший в мире запах — запах бабушкиного шкафа, переходя из одних ласковых рук в другие и все еще дрожа, Лелька стала часто зевать и уснула прямо у Иры на коленях. Та осторожно уложила внучку в постель и перекрестила. Перевела взгляд на мать и впервые, пожалуй, увидела на этом лице растерянность.

Капли пили обе, да что толку. Сидели на старухиной кровати, Ира все еще с пипеткой в руке. Матрена гневным шепотом перечисляла способы расправы: «В казарму пойду! У

солдат начальство не любит шутки шутить: как узнают, вон погонят! В шею!» Или: «Пусть только придет, я ему все скажу. Что, скажу, это тебя в детском доме так воспитывали, чтоб — ребенка ремнем?!» И тут же, противореча себе: «Не-е-ет, теперь ноги его здесь не будет. Не посмеет в дом прийти. Да я и не пушу его!»

Ира, по обыкновению, ничего не говорила. Бросила в рот две бежевые таблетки цитрамона, отпив из Лелькиной чашки с нарисованным синим мячом. «Мама, мама!» — и зарыдала беззвучно и отчаянно. Старуха не мешала и не успокаивала. Пусть. Дочка непутевая, прости меня, Пресвятая Владычица, да хахаля какого завела — на сироту руку поднял. Ведь ребенка пальцем никто не трогал! Ах, Гриша, Гриша, подумала укоризненно, как рано ты ушел! Сейчас бы...

Что «сейчас», она никому объяснить бы не сумела. Откинулась на высокие подушки, медленно перебирая пальцами тонкие белые пряди, и ей хотелось, чтобы коса никогда не кончалась. Что-что, но смятение Матрене было свойственно так редко, что эти моменты можно пересчитать по пальцам. Да и то всегда, всегда находила она решение. А сейчас... Главное, Тайка — что кошка нашкодившая: в дом не зашла. От-т паскуда! Эти-то сервиз приготовили, горько усмехнулась она, вспомнив Тонины хлопоты, да к сервизу конвертик «на обзаведение». Все Федя чудит: «новоселье», «устроить жизнь», «ребенку отец нужен»... Спаси Христос от такого «отца»! Тоже, потатчики.

Это и было решением — Федя. Конечно, он; кому ж еще за сироту заступиться.

Оттого ли, что не было надежды на седовласого доктора с потертым саквояжем, а скорее, оттого, что ласковые руки сделали свое дело, обошлось без нервной горячки. Правда, от каждого звонка в дверь Лелька убегала и пряталась под кресло, однако звонили, слава Богу, редко. Тайка на глаза не показывалась; старуха торжествовала и в то же время ярилась: «Ей до ребенка дела нету!..»

Разговор с Тоней и Федей вышел каким-то сумбурным, хотя никто не мешал. Девочку отправили гулять во двор. Тата с подружкой ушли в ботанический сад. Юраша объявил, что должен встретиться с товарищем в библиотеке, и Тоня едва успела удивиться, к чему это он напялил выходной костюм в библиотеку, для товарища?.. И костюм, и ботанический сад, и страстное желание Феденьки возлечь на кушетке с новым «Вестником дантиста» были забыты после первых же слов старухино повествования.

Сидели в кабинете, откуда был виден двор. Ира то и дело подходила к тяжелой портъере и смотрела в окно. Феденька курил, глядя то на стол, где под стеклом лежала их свадебная фотография, то на кушетку напротив со свежим журналом, но не видел ни того, ни другого и даже пепельницу, к неудовольствию жены, заметил не сразу. Было от чего впасть в растерянность.

— Пятерых вырастили, слава Богу, всех на ноги поставили и без ремня управились, — гордо и горько закончила Матрена. — Ты, може, думаешь, Коля своих ребят колотил?

Нет, такое Феденьке и в голову бы не пришло.

— Подожди, мама, — вмешалась Тоня, и старуха с готовностью повернулась к ней, — подожди. Ребенок есть ребенок, и все дети балуются. Дома она паинька, а там начала шалить.

— С кем, с пустыми стенками?! На кой было ребенка в чужом доме на ключ запирать, в такую погоду?! Матка, называется... Сама в кино, а потом...

Все были растеряны и раздражены. Ирина с матерью — оттого, что надо было рассказывать о прошлом воскресенье и, значит, снова проживать страшный вечер. Супруги были раздосадованы, потому что рушилась стройная модель зарождающейся молодой семьи. Модель обоим очень нравилась, ибо являлась плодом их собственных вдохновенных умственных усилий. Тоня мечтала, как она научит крестницу вести дом, экономно покупать продукты, грамотно и питательно готовить — не зря ведь была

подарена ей «Книга о вкусной и здоровой пище», с дальним прицелом подарок! Феденька приучал себя к мысли, что суженого на коне не объедешь, хотя сам испытывал все ощущения гарцующей лошади, ловко берущей это препятствие. Впрочем, он не признавался в этом даже себе. Вместо этого старался припомнить, кто из музыкального мира — консерватория? симфонический оркестр? — обращался в их клинику: в ушах звучали беспощадные формулы тещи «пасти коров» и «в дудку дудеть». И вот теперь эта уютная модель рушилась, как карточный домик, хотя карточный домик Федя видел только единожды и был поражен легковесностью конструкции и прочностью метафоры.

— Но что если она и в самом деле шалила со спичками?

Ребенок...

— Нет, сестра, — Ира устало покачала головой, — нет.

И рассказала про керогаз. Как перед самым Благовещеньем принесла его из магазина и залила в гулкое жестяное нутро мутную вонючую жидкость. Через пять минут и заботливо постеленная клеенка, и руки, и сам керогаз — все было в керосине. Как намучилась с фитилями, пока вставила ровно, по инструкции. Спичечный коробок послушно скучал на клеенке, и картинка с неутомимым жокеем потемнела, так что казалось, будто он скакал на своей лошади уже в потемках. Чиркнула спичкой, и коробок враз занялся пламенем. Она сама не помнила, как он оказался на полу — бросила или уронила; затоптала сразу, и пол долго после этого вонял керосином. Лелька тогда перепугалась; кричит: «Пожар, бабушка! Пожар!» Насилу успокоили.

— Ты без глаз могла остаться, да мало ли... — поежилась Тоня. — Зачем ты связывалась с этим... как его?

Ирина снова выглянула в окно, потом повернулась к сестре:

— Утром с керогазом быстрее, чем плиту растапливать. — И закончила: — Она к спичкам близко не подходит, не то что в руки взять.

Феденька откинулся в кресле. Слушал, молчал, поддерживая обеими руками подтяжки, точно у него за спиной была не удобная кожаная спинка кресла, а тяжелый рюкзак.

— Что ж, девочка не знала? Таечка, — добавил торопливо.

Старуха усмехнулась:

— Ты уж привыкши: «девочка», «деточка». Девочка вон на дворе бегают, а Тайке двадцать восьмой год, скоро тридцать. Она ж баба!..

За насмешливым раздражением мамыньки крылась все та же растерянность. Не желая обнаружить ее перед дочерьми и зятем, и так уже изрядно сбитым с толку, она решительно отказалась от чая и поднялась: пора.

— Да, а что это за Клава? — спохватился в прихожей Феденька.

В отличие от тещи, Федор Федорович Достоевского читал, но не о Достоевском сейчас думал, хоть протяни руку — и вот он, в ровной шеренге томов, дореволюционный еще, издание Маркса, знать не знающего ни о каком Энгельсе, а иллюстрации прикрыты, словно невеста фатой, нежно льнущей папиросной бумагой. Не думал он и о вожденном «Вестнике дантиста», который ждал его на кушетке. Молча сидел в кресле, заложив большие пальцы за подтяжки, словно пытаясь облегчить ношу, лежащую на плечах. Ноша, что и говорить, была тяжелой: стыд, легкомыслие, беспомощность.

Да и что, собственно, мог сделать он, поставленный перед этим извечным русским вопросом? Федор Федорович поднялся, щелчком отпустив подтяжки. Обошел стол, пересек кабинет несколько раз. Ничего. Ни-че-го. В голове вертелась фраза: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Как раз сезон — за окном осень. Портьера была отдернута, и со второго этажа, как из ложи, двор был виден совсем близко. Солнце садилось прямо в черный клен. Девочка лет десяти, в берете и расстегнутом пальтишке, шевелила губами,

ловя ладонью цветной бумажный мячик на резинке: считала. Она не очень походила на Тайку, но Федор Федорович вдруг подумал, что именно такой запомнил племянницу: нарядной, красивой девочкой, ловко играющей в бильбоке. Из подъезда выкатилось колесо, спицы ярко блеснули, передразнив солнце, за колесом выбежал мальчуган и повел его палочкой по дорожке, огибая песочницу, к черному угасающему клену. Федя отвернулся к шкафу и болезненно зажмурился на ярко вспыхнувший экран, по которому катилось огненное колесо.

— А что ты здесь можешь сделать? — Тоня открыла дверь, выдержав, надо отдать ей должное, нелегкую паузу. — И почему опять ты?..

— А кто? — муж не успел скрыть растерянность в голосе, что и явилось главной тактической ошибкой.

Наступление осуществлялось свежими силами, в уверенном маршевом темпе, шутя смявшем растерянные ряды обороны. Несмотря на то, что жена говорила высоким и звонким голосом, Федор Федорович научился отвлекаться от поучительных победных монологов и пропускать целые периоды без ущерба для понимания смысла. Более того, уверенный голос Тони нередко даже помогал ему упорядочить собственные мысли. Например, сейчас он как раз искал самый эффективный способ воздействия на племянницу и... этого.

«Ну, с этим разговор будет короткий, — Федор Федорович решительно вцепился в подтяжки. — Вы, молодой человек, — черта лысого я его по имени называть буду, не дождется! — вы, скажу, молодой человек, отдаете себе отчет в своих действиях? Это, скажу, подсудное дело». Подтяжки воинственно хлопнули. Да, именно так и сказать: мол, ваши ефрейторские методы... м-м-м... нет, никуда не годится. «Солдатские» — тоже плохо; такие, как он, отвечают сразу: «Не всем же быть докторами», и объясняй потом, что совсем не то имел в виду, все равно окажешься без вины виноватым. Получалось, что... ничего не получалось. Назвать вещи своими именами невозможно, не обидев солдата, хотя именно он и был обидчиком!

— ...Да ты не слушаешь меня! — громко и совершенно по-оперному пропела жена.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, — неожиданно сказал он вслух, и Тоня застыла у буфета с поднятыми руками. — Тося, — закончил, вставая, — я выпью чаю в кабинете. Кстати, а когда отопление включат? Пора бы.

А потом наступила другая неделя, но решение так и не было найдено. Жизнь продолжалась. Старуха готовилась к посту. Крыша сарая больше не протекала. Людка получила очередной нагоняй за двойки, а по радио женский голос так трогательно пел:

Ландыши, ландыши,

Светлого мая приве-ет, —

хотя в окна хлестал ледяным дождем ноябрь. Шваркнув около печки охапку дров, Надя тут же начала подпевать:

...в них весны очарова-а-ние.

Словно песенка без слов,

Словно первая любовь,

Словно первое призна-а-ние.

Как многие безголосые люди, в глубине души она была уверена, что поет вовсе не хуже артистки, а если голос вдруг совсем выходил из повиновения, так это тоже было извинительно: песня очень чувствительная. Из печки тянуло холодом. Она чиркала спичкой, и холодная струя тут же задувала пламя.

Я не верю, что года

Гасят чувства иногда...

Возмущенный невесткин голос обгонял певицу; огонь загорался и начинал пощелкивать. Печка нагревалась, да и у Тони в квартире, наконец, включили отопление.

Резкий ветер торопливо сдирал остатки листьев и гнал их, взвихривая, по улицам. Босоножки заворачивали в газету и укладывали на шкаф до появления новых ландышей — переходили на «зимнюю форму одежды».

Время — лучший врач, и кому, как не Федору Федоровичу, пусть он и оставался только зубным техником, было не знать этой истины? Старуха сменила черное шелковое манто на черное же суконное пальто, которому «сносу не было». Ирина подогнала для внучки детское еще пальтишко Юраши, синего «мальчикового» цвета, к которому очень шел связанный прабабкой голубой капор с мохнатыми помпонами. «красавица хоть куда!» — радовалась Ира. «Хоть на свадьбу», — снисходительно засмеялась мать и тут же смолкла. На базар все чаще стали ходить втроем, и у Лельки появилась даже своя корзиночка. Варенья наварили — дай Бог каждому, но мамынька лелеяла надежду добавить в уже имеющиеся запасы свое любимое: клюкву с яблоками.

Пожалуй, если бы не светлого мая привет в ноябре, то в целом мировая гармония осталась ненарушенной.

\* \* \*

Перед приходом гостей большой квадратный стол, как всегда, передвинули на середину кухни, от чего она сразу сделалась меньше. С утра топилась плита. Пахло дровами, принесенными со двора, дымом от плиты, только что вымытым полом, но все перекрывали ароматы, плывущие от сковородок, где готовились начинки. Тесто с ленивым любопытством подглядывало за кухонной суетой из-под льняного полотенца и, чтобы лучше было видно, высовывалось все больше.

В этом году старуха тоже не собиралась праздновать именины, но Тоня так долго и настойчиво ее уговаривала, что та согласилась, хоть и неохотно. «Делать ничего не буду: руки не тянутся. Пирогов разве спеку, и к месту», — решила мамынька. Она не кривила душой: настроение было совсем не праздничное, но руки привычно резали, жарили, месили, словно им не было никакого дела, что на сердце так коломытно.

Обе девочки, большая и маленькая, сидели в Надиной комнате у печки. Лелька завистливо поглядывала на толстые рыжеватые Людкины косички, перевитые на затылке в корзиночку. Из кухни доносились озабоченные голоса.

— Школьное платье наденешь? — спросила тихо.

— Ну прям, — Людка дернула плечом, — мне мамка свою кофточку даст. Шелковую. А ты что?..

Лельку ожидало платье такой редкой красоты, какую только на бездонных антресолях крестной и можно было отыскать, даже переделывать не пришлось: ярко-алое вышитое великолепие с пуговками на плечах. Платье обладало редким удобством: если надеть его задом наперед, никто не заметит. Ленты, подаренные когда-то Максимычем «про запас», оказались такого же цвета. Не хватало только кос. Людка великодушно завязала ей на макушке крупный, как георгин, бант, и обе остались очень довольны.

...Пришли, как водится, только свои. Брат Мефодий с женой, которых видели в последний раз на панихиде, появились с букетом нарядных хризантем в руках. Вторые хризантемы принес Федя, такие же пышные, но не белые, а розоватые. Гости прибывали, поздравляли именинницу и вручали хризантемы, хризантемы, хризантемы. Не хватило ваз; ставили в трехлитровые банки, и вскоре широкий подоконник вспенился царственными пышными цветами.

Ирина нарезала хлеб; из-за окна достали продрогшее масло и переложили в нарядную масленку, помнившую не только лучшие дни, но и павших родственников по сервису. Тоня ловко расставляла принесенные шпроты, икру, буженину. Все эти деликатесы если и считались таковыми в описываемое время, то не потому, что их трудно было достать, нет: доставать не нужно было ничего, все можно было купить в магазинах, если... было на что.

В просторной кухне все быстро согрелись и даже не от графинчика, а от теплых мамынькиных пирогов, от привычного, родного уюта, одних и тех же шуток и вопросов, которыми обменивались гости. Очень скоро первый голод был утолен и за столом установилось ровное и бестолковое веселье, какое бывает только между своими. Матрена зорко следила, чтобы водка и Симочка встречались как можно реже. Лелька увела младших в комнату к своим игрушкам; старшие остались за столом, смеясь, переговариваясь и жуя.

Первым вышел из-за стола Юраша:

— Меня ждет товарищ, мы условились.

Бабка подняла бровь, затем и голос:

— Куда? Темень за окном, что ж на ночь глядя?..

Он нагнулся — тоненький, стройный, молодой Феденька — и чмокнул ее в теплую щеку. Дверь открылась и закрылась, и все на несколько секунд замолчали, обмениваясь легкими снисходительными улыбками. Так, улыбаясь, Мотя повернулся к Геньке:

— Ну а ты куда учиться пойдешь после школы?

Мальчик выслушал и снисходительно пожал плечами:

— Куда еще! Весной вон кончу семилетку и в шофера пойду.

Мотя сконфузился: племянник сильно возмужал и выглядел старше своих лет. Он совсем не был похож на сестру: румяный, круглолицый и черноволосый, Генька пошел в мать, и даже глаза, темные и быстрые, были, как у Нади. Ловко выудил из банки шпротину, положил на ломтик хлеба, и Моте показалось, что глаза у мальчика тоже блестят, как шпроты.

— Пралльна, — громко одобрил Симочка, — пралльна. Кому учитссс, а кому деньгу захибать. Пралльн? — посмотрел весело на Геньку, затем с вызовом почему-то на Федю.

Тот вызова умело не заметил; сидел, как обычно, между женой и свояченицей, дожевывая который по счету пирожок, и как раз доказывал Ире, что при таких пирогах безнравственно, ты слышишь, просто безнравственно есть икру.

Мефодий вытянул длинную руку и взял графин за горлышко, словно гуся за шею.

— Парень верно рассуждает, — и занес графин над рюмкой, — он старший у матки. Ты бы, Семка, помог племяннику, будучи сказать. Сам-то где работаешь?

Вот этого старуха и опасалась. Брат бывал здесь нечасто: жили далеко, жена частенько прихварывала, и как-то получилось, что о младшем сыне он знал не много; имена детей, своих внучатых племянников, помнил — и то спасибо. Самое время было вмешаться.

— Он на войне раненный, — подсказала брату вполголоса, — в танке горел.

Так и обошлось бы все, да беда в том, что после вопроса Мефодия над столом как раз повисла неловкая пауза, и высокий Матренин голос, даже и вполсилы, прозвучал очень громко.

— Тю! — не смутился Мефодий. — Горел, да не сгорел же, слава Богу! Подожди, сестра, — он предупреждающе вытянул руку с зажатым графином и продолжал: — А теперь ты где работаешь?

Не ответить дядьке, который к тому же старше матери, было нельзя. Симочка подержался за узел галстука, провел тяжелой ладонью по голове; привстав, ожесточенно ткнул вилкой в буженину и потянул на тарелку, но есть не стал. Наконец, не глядя на



Мефодия и вообще ни на кого, пробурчал что-то неразборчиво, где можно было разобрать только «нам положено».

— Нигде, выходит... — вслух догадался Мефодий. — Вот как. Так ты что же, — он высвободил полу пиджака, за которую безуспешно дергала Даша, жена, — ты что же, от бабы живешь, будучи сказать?!

Симочка набычился; лысина у него побагровела, желваки задвигались.

— Дядя Мефодий, — привстал Мотя, и почти одновременно послышался укоризненный Дашин голос:

— Надо тебе, да?

— Ты, Мотяшка, не сепети, — старик приветливо кивнул ему и тут же повернулся к сестре, — и ты не мешайся, дай поговорить с племянником, не чужой он мне, — так спокойно, что непонятно было, кого он имеет в виду, — чаю горячего налей-ка мне. — И снова к Симочке, словно его не прерывали: — Значит, от бабы живешь? А эти, — он показал графином сначала на Ирину, потом на Надю, — эти работать должны? Им нигде не «положено»? У них мужики с войны не вернулись!.. Мальчишка, будучи сказать, школу кончает, — графин теперь был направлен прямо на Геньку, — ты его не учи «деньгу зашибать», ты помочь должен, это твоего брата сын!

Все стремительно озвучилось и смешалось, как в хорошей массовке.

— Стекло к счастью бьется, мамаша, к счастью!

— Жили без ихней помощи и не померли, слава Богу.

— Мефодий Иванович!.. Послушайте, Мефодий Ива...

— Нет, я скажу ему, ты мне рот не затыкай!

— Даже не разбилось; долго стоять будет.

— ...в танке горел! Я всю войну прошел!

— Я ж говорю, целое; только чем бы тут вытереть?..

— Дядя Мефодий, дядя Мефодий, куда же?..

— ...не курвин сын — моей сестры сын! Гришкин сын!..

— На курсы шóбферов пойдет, еще и деньги платить будут.

— Ничего-о-о, обоих подняла, ни у кого не просила...

— Сестра, баба, пуп надрывает, будучи сказать...

— Заберите у него кто-нибудь нож, Федя, ножик заберите!

— ...контуженый, или что. Сгорел, говорят, как спичка.

— Ну зачем ты ввязался, он лучше тебя знает...

— На, возьми, вытри, она чистая...

— Не просили и не просим, у самих есть, не нищие!..

— МЕ-ФО-ДЯ!

И сразу стало тихо. Старуха властно забрала у брата графин. Прямая, в черном шелковом платье, она смотрела на него, нахмутив брови, но глаза не были ни строгими, ни сердитыми.

— Прямо кипяток. Как молодой! — Бережно протянула стакан с чаем и улыбнулась, заметив, что усы у брата такие же пышные, как у покойного отца. А мать никто, кроме них двоих, уже не помнит... разве что Ирка.

Успокоились на диво быстро. Через несколько минут невозможно было поверить в почти разразившийся скандал, особенно безобразный тем, что — свой.

Так бывает порой весенним полднем: повеет холодом, сбегутся облака, а деревья и дома на улице вдруг станут, как на старой открытке, двухмерными, ибо тени исчезнут,

растворятся в небе, и небо потемнеет. Прохожие превратятся в картонные фигурки с развевающимися полами одежды, и самые предусмотрительные уже встряхивают пока еще сложенными зонтами, искоса посматривая вверх. Хозяйки, глянув на небо, спешат закрыть окна или бегут во двор, чтобы сдернуть с веревки недосохшее белье; прищепки охотно разжимают затекшие деревянные челюсти и, выскакивая из торопливых пальцев, ласточками летят на землю... Воротники подняты. Зонты наготове. Закрыты окна. Полотенце вяло свешивается из переполненного таза. И в это время откуда-то появляется солнце, и первые зайчики резво и шкодливо скачут по витринам, окнам, стеклам очков... Самый предусмотрительный прохожий почти открыл уже непокорный зонтик, за которым по тротуару увязывается длинная тень, точно шлейф; да что зонтик, если все вокруг стремительно обретает плоть и цвет!..

Разговор опять зажужжал; кто-то уговаривал Иру спеть. Выделялся Тонин высокий голос: «Просим, просим!..», но в это время Симочка поднялся решительно, отодвигая стул и ни на кого не глядя.

— Пора нам, мамаша.

Ванда проскользнула в комнату, откуда сразу послышались недовольные детские голоса и плач, началась суета и прощание.

Вскоре за Симочкой заторопился и возмутитель спокойствия Мефодий, но старуха двинула нетерпеливо бровью:

— Послушай — и поедешь.

Ира сидела, задумчиво наклонив голову. Взглянула на мать:

— Твою любимую, мама? — но Тоня быстро перебила:

— Нет-нет! Именины празднуем. Другую, сестра, другую.

Ира перевела взгляд на тяжелые головки цветов, чуть кивнула: «Другую» и запела.

В том саду, где мы с Вами встретились,

Ваш любимый куст хризантем расцвел,

И в моей груди расцвело тогда

Чувство яркое нежной любви.

Отцвели уж давно

Хризантемы в саду,

Но любовь все живет

В моем сердце больном.

Крупные плотные лепестки тускло отсвечивали перламутром. Хризантемы были свежие, недавно срезанные, но сейчас казалось, что — да, отцвели, и давно отцвели.

Опустел наш сад, Вас давно уж нет,

Я брожу один, весь измученный,

И невольные слезы катятся

Пред увядшим кустом хризантем.

Ира повторила припев, и Мотя с благодарностью подхватил. Феденька растроганно покачивался в такт мелодии, но сам не подпевал: не умел и знал о своем неумении.

Закричали: «Еще!», «Бис!», «Спой еще, Ира!», но Мефодий, уже с шарфом на шее, подошел к ней проститься.

Старуха закрыла дверь за братом, а заодно и в комнату, чтобы не разбудить Лельку. Генька и Людка тоже отправились спать. Все нетерпеливо повернулись к Ирине: еще. Она снова обернулась к матери. Та сидела, подперши щеку, и смотрела прямо на цветы. Бровь чуть дрогнула, когда попросила негромко:

— Може, папашину?..

Как со славной восточной сторонушки  
Протекала быстрая речушка — славный Тихий Дон.  
Он прорыл, прокопал, молодец, горы крутые,  
А по правую сторонушку леса темные.  
На Дону-то живут братцы — люди военные,  
Люди военные живут — то донские казаки.

От двери потянуло холодом, послышался мелодичный смех и потом — Таечкин голос:  
— Ёлки-палки! Смотри, Вовка, как тут весело!

Следом вошел солдат.

— Здравия желаю. А кто так хорошо поет?

...От холодной струи воздуха безвременно гибнут нежные, своенравные розы; длинноногие гвоздики зябко подрагивают сизыми артритными суставами; не то хризантемы. Это величественные, эпические цветы осени, и воздух ноября для них так же естествен, как просто воздух. Они не затрепетали, не закивали головками: ждали.

А чего, собственно, ждать? Праздник кончился. Чернота за окном обещала смениться серым ноябрьским понедельником, который станет первым днем не только недели, но и поста. Пора по домам.

Матрена выпрямилась, опустив руку, на которую опиралась щекой, и на лице остался красный след пальцев, как пощечина. Пустые стулья остались стоять, как их оставили, развернувшись к столу под разными углами, словно тоже хлебнули из графинчика. Неуверенно переглянувшись, гости начали уходить.

Первой грузно поднялась Пава; тут же встал Мотя. За ними потянулись все четверо детей: Миша-студент с чуть татарскими, как у матери, глазами, второй брат, «Мамай», лицом совсем уже татарин; Нинка, смуглый узкоглазый подросток, и серьезный девятилетний Митя. Так, прощаясь поочередно с мамынькой, они прошли гуськом мимо новых гостей, кивая с улыбкой, и скрылись за дверью.

— С днем рождения, бабуль! — Тайка двинулась к старухе, протягивая сверток в серой бумаге, но бабка в ее сторону не глядела.

Тем же маршрутом, обходя стол, к ней направлялись дочь с зятем. Тоня остановилась попрощаться с сестрой, и Федор Федорович оказался лицом к лицу с опоздавшими. Он возненавидел себя еще до того, как улыбнулся, тем более что пять минут назад твердо решил не улыбаться ни в коем случае. «В конце концов, она моя крестница», — досадовал он, обнимая мягкие плечи тещи.

— Мы, как всегда, к шапочному разбору, — громко сказала Таечка. — В этом доме вообще как, всех угощают или только некоторых? Снимай шинель, Вовка, — и она снова двинулась к старухе, — мы тебя с днем рождения...

Внучка с улыбкой приближалась. Старуха встала, но не сделала ни малейшего движения навстречу. Одновременно поднялась Ирина и начала собирать посуду. Таечка, держа сверток обеими руками, переводила взгляд с бабки на мать.

— С днем рождения! — повторила уже с недоумением в голосе. — Пирожки-то остались?

— Сроду не праздную я никакого рождения, — холодно сообщила старуха глиняной миске, куда складывала пирожки (Лельке на завтра), — пост у меня.

Какой ценой задавила она в себе хлебосольство, коим славилась — и по праву славилась! — испокон веку, будь то тучные или тощие годы, здорова была или хворала, весела или гневалась? Кто бы ни оказывался в доме, никогда голодным не уходил; а теперь любимая внучка стояла чуть ли не с протянутой рукой, и куда там пирожка — улыбки не получила!

— Ну, нам-то один черт, мы постов не соблюдаем, — Тайка решительно расстегнула пальто, — правда, Вовк?

Солдат с готовностью поднял руку к воротнику шинели.

— Ты... — Старуха взглядом остановила его жест. — Ты!.. Ты как посмел сюда!.. — Она не договорила. Брови сложились в крылья беркута, целящего в добычу, маленький рот был плотно сжат, а на щеке еще ярче разгорелось алое пятно. Феденька, уже взявшийся за ручку двери, остановился.

— Че такое? — удивился солдат. — Че я вам?..

Старуха подняла со стола пустое рыбное блюдо и двинулась с ним, как со щитом, но щитом разящим, прямо на солдата. Он пятился и пятился к буфету, а старуха наступала решительно, занося свое оружие над головой:

— Сироту! Сироту посмел!.. На ребенка руку поднял!

Успел ли он надеть фуражку или просто прикрывал обеими руками голову, никто не запомнил. Все пытались успокоить мамыньку, правда, из безопасного далека: блюдо было тяжести нешуточной — долго ль до греха...

— Кошмар! Кошмар! — вскрикивала Тайка, прижав руки к щекам, а блюдо ритмично поднималось и обрушивалось в такт ее восклицаниям, пока Федя не перехватил и не высвободил его из крепко сжатых пальцев.

— Ты осторожно, смотри, Федя, — совершенно будничным голосом предупредила мамынька, — это ж кузнецовское. Дай Ирке, пусть в буфет уберет.

Прямо вслед за этим она, не спуская глаз с солдата, снова двинулась на него, схватив лежащий на скатерти столовый нож. Несмотря на Тайкины крики: «Мама!» и «Кошмар!», никакой опасности для жизни и благополучия солдата это оружие не представляло. Повидимому, Матрена и сама это поняла. Тем не менее, она без устали разила ненавистную шинель бессильными и яростными кинжальными ударами. Солдат даже не пытался защищаться, а ошеломленно стоял, встряхивая головой, потому что толстые пряди волос падали ему на лицо.

— Да она чокнутая. Чокнутая старуха!

— Вон! — высоко и громко закричала она. — Вон!

И вдруг подытожила тихо и отчетливо, опустив руку с ножом:

— Ты же нелюдь. Нелюдь. Вон!..

Последними Таечкиными словами были:

— ...чтобы мне так в душу плюнули. Кошмар!

Дочери хлопотали вокруг старухи. Федор Федорович прикидывал, сколько капель валерьянки дадут нужный эффект и справится ли деликатная валерьянка с таким возбуждением. Мамынька была между тем совершенно спокойна, даже румянец пропал.

— Чайку налей, — попросила Иру, — худо мне.

Феденька присел посчитать пульс. Она необходимо отняла руку, покачала головой и приложила ладонь к животу:

— Осколок. Вот... Опять ворохнулся.

\* \* \*

Отцвели уж давно хризантемы во всех садах, и только в витринах цветочных магазинов да на кладбище можно было увидеть свежие цветы — срезанные, конечно. Могила старика съежилась, осела и была уже очерчена надгробием из серого мрамора. Надгробие выглядело почти нарядно, особенно рядом со старыми — высокими, замшелыми, потемневшими от времени. Старуха заботливо, хоть и осознавая тщету своего занятия, обтерла серый мрамор и рассказала мужу, как прогнала солдата из квартиры — и из своей

жизни; посетовала, что не могла вот так же отвадить его от внучки, а жаль. Помолчала; а про оживший осколок говорить не стала.

— Пойду я, Гриша, — закончила вслух, — ветер сегодня какой студеный. Спи спокойно, Христос с тобой, — и низко поклонилась, коснувшись влажного камня.

Ветер и впрямь был свирепый. Дойдя до остановки и увидев вильнувший за поворотом желтый вагон, она пожалела, что не пошла к Тоне: уже пила бы горячий чай. Несколько человек старались укрыться от ветра за киоск и неохотно подвинулись, уступив местечко старухе. Ветер лихорадочно листал разложенные газеты; продавщица высовывала из хлипкого укрытия руки в перчатках без пальцев и в который раз передвигала бульжники, прижимающие газеты. Собачья работа, поежилась Матрена. Люди недовольно смотрели на часы, а другие, у кого часов не было, тревожно поглядывали на первых, после чего вытягивали головы из-за киоска, не идет ли трамвай.

Рук своих в перчатках она уже — как и та, в киоске — не чувствовала и, совсем осердившись, пошла пешком. Черная фигура решительно и скоро удалялась по серой дневной улице, а когда, через несколько кварталов, трамвай с бесстыжим ржанием обогнал ее, она даже головы не повернула: бздурь, а тридцать копеек карман не тянут.

Дома расстегнула онемевшими пальцами пальто, развязала платок, и показалось: тепло, однако по-настоящему не согрелась даже после чая. Холод сидел где-то глубоко внутри, там, где обретался осколок; он-то и не давал согреться. Вопреки обыкновению она прилегла, набросив на ноги большой старый платок, и, по-видимому, задремала; во всяком случае, голоса правнучки не слышала. Пробудилась от озноба: только что привиделось, будто стоит по пояс в ледяной воде.

— Снег! — громко и восторженно закричала Лелька, и старуха окончательно проснулась.

За темнеющим окном был виден мокрый асфальт, на который косо падали крупные хлопья, уменьшаясь на лету. «Пойти дров подбросить», — мелькнула мысль, и Матрена привычным жестом повязала на затылке платок точь-в-точь такого рисунка, как лежащий внизу асфальт с белыми крапинами снежинок.

«Чаю с черной смородой, — она закрыла дверцу плиты и прикрыла трубу, — к утру все как рукой...»

Громко распахнулась дверь (значит, кто-то из Надькиных), и послышался собачий лай. Вспыхнул свет. На пороге стоял Генька, чуть пригнувшись, а рядом с ним собака: мокрая шерсть цвета молока, в котором кофе и не ночевал; усталый, осмысленный взгляд. Она озябла, да так, что на голове между ушей лежал снег и теперь таял, стекая на пол. Словно желая разом покончить с ним, собака встряхнулась и быстро, ожесточенно начала чесать за ухом, хотя могла бы и не делать этого — старуха узнала ее сразу. Та, из давнего сна, тоже со снегом на голове, ее долго пугала, пока наконец, уже когда Максимыча схоронили, в одну из бессонных ночей она вдруг поняла: это же его смерть приходила! Как раз перед Пасхой сон был, вот что... И плита вот так же топилась.

— На кой ты ее притащил? — нахмурилась строго.

— А че, хорошая собака, — внук сидел, опершись на одно колено, и смотрел на пса, — она замерзала на улице. Пусть у нас живет.

«Кто замерзал? Она замерзала?» — но вслух сказала другое:

— Всех бродячих тварей не нажалеешься. Самим места мало!

— В кухне пусть живет, — мальчик поднял глаза, — у плиты.

— Вон! Вон ее! — закричала старуха, и собака, должно быть, поняла ее прежде внука: попятилась, перебирая тонкими лапами и оглядываясь, и Матрена распахнула дверь настежь, решительно повторив свое «вон!».

...В то время медицина была менее совершенна, более добросовестна и прямолинейна. Причиной воспаления считались — и не без основания — бактерии, переломы главным образом являлись следствием травм, а укусы тифозной вши естественным образом вызывали тиф. Медицинская статистика считалась скромным прикладным предметом (да простят автора специалисты) и не могла себе позволить более пристальный интерес к банальной тифозной воше. Если бы кто-то задался вопросом, почему тифом заболевают не все укушенные, тем более что вошь слепа от природы и кусает безо всяких личных пристрастий, — то гораздо быстрее пришли бы к выводу, что причина болезней — стресс, к каковому результату непременно придут, но еще не скоро; а тогда и слова такого не знали. Омерзительные насекомые приведены в пример не случайно: до сих пор мамынька хворала только однажды, в первую войну, в Ростове, и это был как раз тиф. Другие недуги ей были неведомы.

А теперь старухе нездоровилось. Она все чаще ложилась отдыхать днем и даже стала пропускать службу в молельной; и то, и другое прежде было немыслимо. Феденька видел ее реже других, а потому был поражен, увидев осунувшееся лицо. На все вопросы теща устало отмахивалась, ибо твердо знала причину своего недомогания: осколок.

С того самого дня, как он «ворохнулся» где-то в недрах ее тела, осколок ее не оставлял. Даже если старуха физически не ощущала его присутствие, он не позволял о себе забыть. Дрянь, сор, крошка стекла — он был во всем, куда ни повернешь. Пройдет ли трамвай по улице — задребезжат стекла в окнах. Лелька усядется читать любимую сказку: «Ах ты, мерзкое стекло!..» Подморозит — стекла замерзают. Горят лампадки перед иконами — две красного и одна оранжевого стекла. Снова и снова всплывает в памяти тот пузырек с тугой пробкой, хотя вот уж сколько времени Ира капает не иначе как пипеткой, да ведь и пипетка из стекла, долго ль кончику отбиться...

Зять слушал, кивал, щуря беспомощные, незащищенные глаза с набухшими мешками, а потом снова напялил очки и решил: обследоваться надо. И к месту.

О том, что происходило потом, можно не рассказывать по той простой причине, что и больница, и профессор со смешной фамилией, похожей на звук разгрызаемого орешка, — все это было уже увидено и прожито стариком, вот только каштаны за окнами стояли теперь черные и голые.

Правда, процесс внедрения больной Ивановой М. И., русской, 72-х лет, задержался в памяти скуластой санитарки, которая пристроилась на табуретке в приемном покое, одной рукой подперши полновесный бюст, а другой ковыряя спичкой в зубах. Матрена не заметила в ней ничего особенного — санитарка как санитарка, то ли сорок, то ли двадцать пять, не поймешь; руки крупные, как у мужика, халат перетянут там, где полагается быть талии, из-под косынки торчит непонятное что-то, вроде ниток спутанных. Санитарка и вовсе не обратила на больную внимания — старуха как старуха: кряхтя, безропотно залезла в ванну и вдруг позвала от двери властно и громко:

— Постой!..

Та остановилась — скорее от удивления, чем от тревоги, и в полном остолбенении уставилась на голую Иванову М. И., очень прямо сидящую в ванне с мочалкой в руке:

— Спину мне потри, милая.

Не найдясь с ответом, «милая» возмущенно заелозила мочалкой под громкую старухину диктовку о географии спины; придя в себя, шваркнула вялую мочалку на край ванны и вышла, обтирая руки полой кургузого халата. Это ж если каждому спину тереть, никаких рук не хватит, бормотала с досадой, идя назад по коридору с чистым бельем. Старая ведьма уже вылезла и ждала, обмахиваясь концом простыни. Поблагодарила величественным кивком, начала было одеваться, но тут же возвысила голос:

— Ты что мне тут принесла?!

Оторопев, санитарка просунулась обратно в дверь:

— Чево еще вам?

— Я спрашиваю, что ты за рвань незграбную мне принесла? — она стояла, закутавшись в прилипшую к телу простыню, и гневно трясла огромную рубаху в виде буквы «Г», с необъятной дырой подмышкой и костяными от крахмала завязками. — Как я могу в этих отрепках профессору на глаза показаться?!

— Уж и «отрепки», — забубнила вконец растерянная санитарка, — какое из прачечной дали, такое и получай... те. Шелков не держим, — добавила ожесточенно.

— Оно и видно, — спокойно кивнула старуха. — Ты принеси что-нибудь... попрличней. Похлопчи, милая, — закончила твердо и ласково, после чего решительно уселась на ободранный табурет.

Проще всего было напустить на нее сестру-хозяйку, но вместо этого санитарка почему-то перерыла в чулане кипы белья и, сама себе изумляясь, принесла новый комплект и даже полотенце вафельное отыскала, почти не изгаженное черными штампами. Может быть, чудеса эти объяснялись каким-то нетривиальным старухиным обаянием, а скорее всего, санитарка дежурила покладистая. И то: мужик не только целую неделю капли в рот не берет, так вчера еще принес мануфактуры на кофточку! Сама-то материя темненькая, вроде как свекольного цвета, а сверху такие букетики желтенькие, мелкие; развернула да прикинула — очень к лицу подходящая, только сшить надо скоренько, а то если откладывать, то и не соберешься; попросить, что ли, ту, из гинекологии, она хорошо скроит... Можно на кнопках, а то и на пуговках, если желтые укупишь; а коли к Новому году премию дадут, можно и химическую завивку сделать!..

Само обследование, которое профессор вел быстро и ловко, заняло на диво мало времени, так что старуха скоро вернулась домой с диагнозом окончательным, обжалованию и операции не подлежащим.

Матери ничего не сказали. В ее терминологии болезнь называлась «осколок», и хоть медицина нарекла ее цепким словом «рак», никто этого слова не произносил. Осколок — и осколок, что уж там.

Каким бы печально недолгим ни было старухино пребывание в больнице — короче, чем память о нем у той скуластенькой санитарки, — ребенок, естественно, не мог оставаться в квартире один. Вернее, мог, но не должен был, по мнению Тони. Оставить работу Ира не могла, и девочку отправили к крестным. Такие временные переселения, с ночевками в столовой на сдвинутых креслах, несколько раз случались раньше, и Лелька очень воодушевилась. На тот случай, если ей опять не дадут сказки братьев Гримм (в прошлый раз Тата объяснила, что у Лельки нос не дорос), она сунула в портфель самую новую: «Гуттаперчевый мальчик».

...Они остались дома втроем — Тата, Лелька и кошка Мурка. Ира с Тоней сразу ушли в больницу, Федор Федорович еще не вернулся из клиники, а Юраша... Юраша где-то жил свою загадочную студенческую жизнь. Тата строгим голосом сказала, чтоб Лелька не мешала ей играть: завтра музыка, но постоять рядом и послушать разрешила. Играла недолго; закрыв крышку пианино, с таинственным видом повела племянницу в кабинет и включила телевизор. Это было не то радио, не то «всевидящий глаз» из фильма «Багдадский вор», только занимало больше места. Лелька вежливо смотрела сквозь круглое толстое стекло, и ей было неловко оттого, что люди оттуда видят ее — тоже через стекло.

— Это линза, — объяснила Тата, — там внутри вода налита, представляешь?

На воду было не похоже, разве что на рыбий жир, а через него было видно, как люди в военной форме очень быстро танцуют на корточках под громкую музыку. Одни солдаты.

— Давай сказки почитаем, — попросила она.

Старшая сурово ответила, явно повторяя чьи-то слова:

— Тебе лишь бы сказки! Не знаешь, что ли, что бабушка умирает?

— Бабушка Ира или бабушка Матрена? — вскочила Лелька.

— Наша бабушка. А тебе она прабабушка.

— Как — умирает? Она ведь живая!..

...Все тайное, о чем взрослые шепчутся по ночам, быстро становится явным для детей, как бы тихо ни шелестели страшные слова, как бы плотно ни были закрыты двери. Шепот и слова могут быть вообще ни при чем; выдают тайны не они — или менее всего они; гораздо чаще проговаривается молчание, внезапно оборванный разговор, обмен взглядами, вопрос, повисший без ответа, не говоря уже о совершенно абсурдном поведении, вроде долгого простаивания в эркере перед окном, все еще со шляпкой на голове.

— У бабушки рак. Сказать трудно, — Таточка закусила нижнюю губу и медленно покачала головой, — но долго это не продлится.

— Значит, тогда они с Максимычем вместе воскреснут, — вслух решила Лелька и великодушно поделилась этой мыслью с Татой.

Та выслушала внимательно, но недоверчиво, и отреагировала непонятно:

— Вечно ты разводишь турусы на колесах, — но на всякий случай перекрестилась.

— А что такое «турусы»?

Тата честно призналась, что не знает, просто звучит смешно. Посмотрев друг на друга, обе фыркнули и начали смеяться — сначала тихонько, потом громче, с удовольствием повторяя:

— Трусы!

— Трусы на колесах!..

— А как они на этих колесах держатся?

— Прищепками, как на веревке!

— Ой, не могу! Умора!..

...Рассказ о том, как жила-была старуха, вступает в последнюю фазу, печальную и неизбежную: как она умирала, и ни она сама, ни другие героини повествования не знают, сколько времени ей отпущено, сколько раз можно будет повторить классическое: «Вот неделя, другая проходит...» А они между тем идут, одна за другой. Враждебный ноябрь сменился невнятным декабрем, и пока все это происходит, старуха живет, вот и сердце ее бьется в ритм бессмертным словам: жила-была, жила-была, жила-была, хоть она в это время умирает. Умирание — это тоже часть жизни.

## 28

Старуха только-только легла в больницу, поэтому Тайка, забежавшая вечером, никого не застала. Вернее, дома была Людка, двоюродная сестра: стоя у буфета, она резала ароматный хлеб с тмином. Отрезав, тонко намазала маслом и посыпала его сахаром, словно посолила.

— Хочешь? — с сожалением посмотрев на бутерброд, девочка протянула его Тайке.

Сахарный песок на хлебе темнел, будто первый снег на земле. Та рассеянно мотнула головой: «Сама ешь». Людка слизнула прилипшие к корке кристаллики сахара, потом решительно надкусила хлеб. Вместо чая она пила воду из-под крана. На ярких, блестящих от масла губах белели сахарные крупинки.

— Бабушка в больнице, — девочка гулко допила воду и снова потянулась к буханке.



Вот неделя, другая проходит... а может быть, и не успела пройти, как Таечка появилась и у крестных. Узнав о последних событиях, заахала и расценила все происходящее как «кошмар», с чем нельзя было не согласиться. Но одно дело — сидеть, вытянув губки и щелкая пальцами (была у Таечки такая привычка: сначала обхватить одной рукой сжатый кулачок другой и хрустнуть, словно кастаньетами, затем проделать то же самое с другой; что-то вроде навязчивой привычки, свойственной многим машинисткам), — так вот, одно дело похрустеть пальчиками, а совсем другое — решить, что делать с дочкой. И дело не в спанье на сдвинутых креслах, а просто ребенок живет беспризорным.

— Я Ляльку забираю, — решила Таечка, и, несмотря на всю самоотверженность этого заявления, проблема оставалась нерешенной, чтобы не сказать — осложнялась. Здесь ребенок, по крайней мере, был и сыт, и умыт, а у Тайки... Да Бог с ней, не о том надо было думать. Поэтому все осталось по-прежнему. Девочка кочевала с портфелем между двумя домами, сестры металась, сменяя друг друга, хотя особой необходимости в этом не было: как уже говорилось, мамыньку держали в больнице недолго и торопливо выписали домой — умирать.

Прав был покойный Максимыч: все повторяется. Только он заметил это так поздно, что не успел рассказать жене, иначе ее не удивила бы вдруг возникшая неприязнь к еде. Впрочем, она и не удивлялась; удивлялась Тоня. «Свеженькое, прямо с базара, — уговаривала она, — покушай немножко!» Опять появилась на сцене миска «диета», но успехом у мамыньки не пользовалась: «Что я, ребенок, что ли? Сами ешьте эту размазню». С нетерпением ждали, когда кончится пост: старуха очень ослабела, и сейчас как никогда требовалось полноценное питание.

Новый Год встретили у Тони, где же еще. Народу собралось много: пришли братья с семьями, и Тоня с сестрой то и дело вскакивали и бегали на кухню. Победно высилась елка, блестел паркет, трескучими искрами рассыпались бенгальские огни, и на какое-то время стало почти весело.

На Рождественскую службу собирались втроем. Первой оделась Лелька. Мамынька попросила Иру расправить ей платок и хорошо, что попросила: стоя за спиной у старухи и выравнивая ниспадающие складки, дочь едва успела ее подхватить. Нарядная и торжественная, Матрена тихо осела перед зеркалом на пол.

— Рождество... — выдохнула чуть слышно, открыв глаза и пытаясь поднять голову с подушки. Увидела испуганную правнучку и смятенное Ирино лицо. Приподняла руку — ох, какая тяжелая! — и сразу накатила дурнота. — Рождество. А в моленну?.. — она говорила ясно, только очень тихо и с видимым трудом.

Обе понимали, что сегодня в моленную, да и вообще никуда, она не пойдет. Была, была у Иры мысль добежать до аптеки, вызвать «скорую», как Левочка сделал когда-то. Но не двинулась; мать, только что придя в сознание, остановила — сперва взглядом, потом словами:

— Ты не вздумай... К чахо... чахоточным свезут.

Когда же кончилась праздничная служба и появились встревоженные Тоня с Федей, мамынька объяснила, что «сомлела» и «в глазах темно сделалось». Накрыла руку зятя сухой горячей ладонью и сказала:

— Не надо в больницу. Дайте мне дома... — и не договорила, да и нужды не было, как не было нужды в бодрых Феденькиных словах:

— Мамаша, да вы завтра уже на ногах... — и тоже не договорил.

Старуха взглянула укоризненно и перевела взгляд на Иру:

— Велят в больницу — не давай меня, слышишь?.. Не давай!

И уснула.

О том, чтобы послушаться матери, не было и речи, даже если больница, которой она так боялась, чем-то смогла бы помочь. Вместе с тем Федор Федорович не мог себе представить, как пожилой человек — никогда Феденька не называл старуху, даже мысленно, старухой — как пожилой человек, с огромной саркомой кишечника, может находиться дома, без профессионального ухода и с туалетом в соседней квартире! Даже если Тоня на время переселится... куда? — здесь трое, три поколения, живут в одной комнате; и туалет от этого ближе не станет.

Совещались, сидя на кухне у стола, и Феденьке показалось вдруг, что такой недавний ноябрь, с именинами и шумным застольем, был давно-давно, чуть ли не в «мирное время»; только вот влажный запах хризантем сбивал с толку. Откуда хризантемы, одернул он себя; просто от окна холодом тянет... И услышал голос жены:

— Тогда перевезем к нам. В кабинете можно очень хорошо устроить.

Федор Федорович начал было, что мамаша, мол, хотела дома остаться, но Тоня перебила:

— Так она и будет дома — у нас. И к месту.

И стало по сему.

Труднее всего оказалось объяснить старухе, что все останется по-прежнему: перевезут ее иконы, спать будет в своей кровати...

— Ребенок! — гневно и полногласно выговаривала она бестолковым. — Ребенка кто смотреть будет?!

И опять возникла Таечка, внезапно, как черт из люка. Как ни в чем не бывало, появилась и провозгласила с вызовом, что забирает ребенка к себе, и вообще хватит. Переждав немую сцену, не стала объяснять, чего именно «хватит», а позвала девочку:

— Собирайся. Будешь у мамы жить, — и приветливо улыбнулась.

— Со мной, — негромко, но отчетливо отозвалась Ира, не обращая внимания на надутые губки и хруст пальцев, — со мной вместе.

Тоня и здесь оказалась права: мать так давно чувствовала себя у них как дома, что переселение прошло безболезненно, и старуха оказалась дома. Дома, где не нужно было щипать лучинку для растопки, где прямо из крана текла по ее желанию горячая вода, не говоря уже о весьма прозаических чудесах за дверью помещения, которое Тоня именовала «маленьким домиком», зять — заграничным словом «ватерклозет», а мать по старинке — нужником.

Действительно, в кабинете оказалось очень удобно. Любимую кушетку Федора Федоровича переставили к другой стене, перпендикулярно к шкафу с книгами, а на ее место водрузили мамынькину кровать. Неожиданно обрела второе дыхание ширма, которая доселе жила в прихожей и, если роптала, то неслышно, или же ее ропот был заглушён висящими пальто, которые только и умели, что слушать и беспомощно разводить драповыми рукавами. Теперь, будучи повышена в должности, ширма скромно намекнула на свое иностранное, чуть ли не аристократическое происхождение, предъявив в доказательство изящные инкрустации: перламутровые журавли по черному лаку на фоне подагрических японских сосен. Ширма деликатно отсекала угол кабинета с кроватью, чтобы не видно было, как умирает старуха.

Иконы перевозить она не позволила:

— На кой? Папаша, Царствие ему Небесное, вешал. Образа не трогать! Я, може, еще... — и не договорила, осеклась.

Сколько раз повисали в воздухе недоговоренные фразы! Не в этом ли главная боль умирания? И уходящий, и остающиеся знают о неизбежном, но вступают в странный разговор. Все лукавят друг с другом, но остающимся заговорщикам легче, потому что они

вместе, тогда как умирающий, еще не простившись и не уйдя, оказывается совсем один, и мало у кого достанет духу сказать хитрецам, удерживающим слезы: «Милые! Мне не страшно».

Короткие обмороки, о которых предупреждал профессор, повторялись все чаще. Тоня совершенно извелась от собственного фальшиво веселого голоса, каждый звук которого мать встречала удивленным взглядом — и опускала глаза. Утром она первым делом спрашивала: «Ирка придет?», хотя накануне Ира сидела с ней допоздна, потом бежала к Тайке: внучка без нее не засыпала. Днем Лелька ходила с мамой на работу, и Таечка опять заговорила о садике, причем от каждого упоминания о дошкольном детском учреждении девочка начинала чесать голову. Ирина теперь работала только в утреннюю смену, а после работы ехала к сестре.

Федор Федорович видел, что обе валятся с ног; между тем главные тяготы были впереди. Подождав неделю, он привел сиделку. Та первым делом упаковала свой мощный корпус в белейший халат и замаскировала белой шапочкой рыжеватые кудельки. Обретя таким образом профессиональную полноценность, отрекомендовалась Астрой и, несмотря на дородность, присела в книксене. У сиделки была бело-розовая, как зефир, кожа, буква «А», вышитая готическим шрифтом на кармашке халата, мощные, незыблемые дюны бюста и двадцатилетний стаж работы.

Условились, что вначале сиделка будет приходить на два-три часа, а потом... потом по договоренности: только Федор Федорович знал о перспективе ночных дежурств, инъекций, а о других страшных подробностях он думать избегал. Федя считал сиделку своим трофеем и — что скрывать? — гордился и радовался, спохватываясь от неуместности этих чувств.

Можно ли представить его изумление, недоверие и разочарованность, когда выяснилось, что никто, кроме него, не обрадовался опытной медсестре?!

Первой нахохлилась старуха:

— На кой ляд вам эта... Хризантема?

Имя прилепилось намертво. С легкой руки мамыньки все, не исключая, увы, Феденьки, называли корпулентную сиделку только этим — тоже цветочным, впрочем, — именем; за глаза, разумеется. Что характерно, никто из недовольных не мог внятно объяснить, чем профессионалка не угодила. Сестры только пожимали плечами: Тоня — скептически, не скрывая раздражения; Ирина как-то недоуменно и чуть настороженно.

Мамынька жаловалась Ире:

— Хлебнут они с этой Хризантемой, помяни мое слово. Я смотрю, Тонька часики свои золотые на трюмо оставляет... Все на виду, бери — не хочу!

— Мама, — не выдерживала Тоня, — ну что ты говоришь? Может, и серебро в буфете запереть?

— А ка-а-ак же, — возмущалась мать, — а как же? На замок запереть; чужой человек в доме!

Откидывалась на подушку, отдыхала. Потом, открыв глаза, просила Иру:

— Что ж ты ребенка не приведешь? Ты, може, думаешь, я заразная? Это не тиф у меня, а стекло в животе застрявши... Соскучала я без нее. И еще что, — старуха понижала голос, — ты мне справу смертную шей. Скорее шей, Ирка, слышишь?

— Ну мама, — Тоня резко поворачивалась в дверях, — что ты помирать торопишься? Мы с тобой еще пасхи будем печь, — и поправляла ширму, вернее, прятала за ней лицо, которое слушалось все хуже.

Мать вполголоса продолжала:

— Можно в моленной попросить, там шьют. А только я хочу, чтобы для меня ты сшила. И ребенка, ребенка приведи! — добавляла вдогонку.

Какие-то дни были лучше, другие хуже. В хорошие старуха вставала и медленно передвигалась по дому, часто останавливаясь передохнуть. Длинная белая рубаша стала ей слишком просторна. Чтобы надеть халат, требовалось много сил, а их было жалко. Она набрасывала на плечи вязаный платок и стояла у окна, слушая потрескивание батарей и глядя во двор. Экономное зимнее солнце высвечивало затвердевшую песочницу, холодные даже на глаз скамейки и темный подъезд, похожий на устье русской печки, точь-в-точь, как в Ростове у нас была... Пробежал вприпрыжку мальчуган в шапке с болтающимися собачьими ушами и скрылся в парадном, откуда вскоре выкатилось тонкое колесо, а следом выбежал тот же мальчик и сильно толкнул колесо по дорожке. Оно быстро покатило по широкой дуге, вильнуло и упало, а Матрена, поправив сползавший платок, пыталась вспомнить, где она это видела, недавно совсем?.. Отвернулась, нахмурившись: никак не вспоминалось, и оказалась лицом к лицу с сиделкой, которая с готовностью протягивала ей лекарство.

— Дай же покой, Христа ради, — проговорила с сердцем, но бесполезное снадобье выпила.

Вечером Ира пришла с внучкой.

— Бабушка Матрена, послушай: опять про Мишку поют!

Девочка уселась в ногах кровати и задрала голову, вслушиваясь:

Я с тобой неловко пошутила,  
Не сердись, любимый мой, молю.  
Ну, не надо, слышишь, Мишка, милый,  
Я тебя по-прежнему люблю.  
Мишка, Мишка, где твоя улыбка...

Старуха улыбалась, не спуская с правнучки глаз, потом спросила, поддразнивая:

— Ну так чего ж он уходит, твой Мишка?

Лелька предупреждающе подняла руку:

— Ты слушай, слушай:

...От обиды сердце успокой.  
Ну, скажи мне, что могу я сделать,  
Если ты злопамятный такой?  
Мишка, Мишка, где твоя улыбка,  
Полная задора и огня?  
Самая нелепая ошибка —  
То, что ты уходишь от меня.  
Мишка, Мишка...

— Мне Максимыч все рассказал, — повернулась к ней девочка, когда песня смолкла. — Это вот как было. Охотники поймали в лесу маленького медвежонка. И он у них жил. В городе, под крышей ночи белой. Медведик этот у них совсем ручной сделался, вроде кошки: ласковый, хороший и простой. Как мальчишка. Ну вот. Его кормили... — Лелька помолчала, — песни ему пели. А он все равно грустить начал; даже глаз не хотел поднимать.

— Ну? — Старуха с трудом сдерживала смех.

— А потом взял и в лес ушел, — вздохнула девочка.

— Курам на смех, — с трудом выговорила Матрена, колыхаясь от смеха, — это же курам на смех!..

После этого вечера никто не помнил мать так самозабвенно смеющейся. Ира приводила внучку еще несколько раз, потом девочка начала ходить в детский сад, а вскоре приводить ребенка стало уже нельзя.

А время шло, каждый день честно откладывая на счетах по одному прожитому дню. «Мерзкое стекло», осевшее в животе у старухи, захватывало все больше и больше места, наливаясь холодной тяжестью. Однажды утром — еще одна костяшка на невидимых счетах — она не смогла стать прямо, как привыкла стоять всю жизнь: мертвое бремя опустило ей плечи, заставив ссутулиться, но содеянным не удовлетворилось и принудило поклониться в пояс. Попытка неповиновения каралась болью, и каждый приступ боли был похож на репетицию казни. «Во как меня», — изумилась старуха. Переведя дыхание, хмыкнула чуть слышно: «Богу молиться будет легче».

Так, согнувшись, она медленными, короткими шагами двигалась по квартире, завернув рукава долгой белой рубашки, чтобы удобней было придерживаться за мебель. Садилась в кресло и подолгу смотрела в окно, не уставая любоваться виденным, хотя за окном был все тот же двор, и разнообразие приносилось разве что погодой. Впрочем, мамынька и не ждала разнообразия; напротив, она глаз не сводила с выученной наизусть картинки. Так заядлые посетители музеев наслаждаются любимыми полотнами, ради которых приходят, и отнюдь не ожидают, что в излюбленном пейзаже или натюрморте появится вдруг новая деталь. Окно отрезало от старухи внешний мир, принявший вид городского дворика, и даже когда она закрывала глаза и уходила в сон, то всякий раз пересекала этот двор. Мальчишка, гонявший колесо, больше не появлялся, да ей это и не было нужно: вспомнила, вспомнила она и широкую дугу, и катившийся по этой дуге пятак, который так недавно выпал из кармана мужнина плаща. «Когда я вдовой стала называться», — пояснила она тихонько неизвестно кому и снова задремала.

Нужно ли говорить, что недуг согнул старуху только физически: остальное было не под силу ни выморочному тифу, ни осколку, ни... как там доктора его называют.

Время продолжало отшелкивать дни: подошло Крещение. Второй раз в жизни Матрена не только не стояла праздничную службу, но и вообще не пошла в моленную. Тоня пошла одна. По правде говоря, она не столько молилась, сколько решала в уме древнюю задачу горы и Магомета. И решила: после обеда привела батюшку, который и отслужил в столовой молебен для старухи. Сестры поддерживали мать с обеих сторон — сесть она наотрез отказалась. От кадила поднимался умиротворяющий аромат ладана, и сквозь сизоватый дым было видно то гордое и торжественное Тонино лицо, то Ирино, скорбное, с плотно сжатыми губами, то счастливое лицо матери.

В соответствии со всеми законами времени начались крещенские морозы. Мамынька была очень занята: то и дело звала Тоню и диктовала, «что кому». Памятью она владела блестяще и весь свой «золотой фонд», давно отданный на хранение дочери, помнила, к изумлению той, досконально.

— Медальон золотой мой с бриллиантами, тот, что открывается, тебе пусть будет. Я там карточки держала, Ларину и Лизочкину, Царствие им Небесное. А другой, с аметистом... Красивый камень, умели раньше делать! Так вот, его тоже тебе, у тебя и серьги есть аметистовые. Ну, так. Кольцо еще было, тоже с аметистом...

— Нет, мама, я кольца не помню, — Тонин карандаш повис в замешательстве над блокнотом.

— Где ж тебе помнить, — старуха иронически подняла брови, — за это кольцо папаша, Царствие ему Небесное, три фунта муки на майдане сторговал да сала от-т-т такой кусок! Тебе тогда лет пять было, а то и меньше. Ирка должна помнить. — И продолжала: — Часы папашины, с цепкой, Ирке отдашь. И кольцо его, с черным камнем, что я когда-то дарила, тоже ей.

Молчала; лежала не двигаясь, давая «осколку» занять еще кусок ее тела. Отдышавшись, перечисляла дальше:

— Ну вот. А мое венчальное кольцо этой вертихвостке, Тайке, отдай, как замуж пойдет. Хоть венчаться они не будут, а все ж отдай, пусть ей память будет. Раньше не вздумай, только когда замуж... Там, знаешь, другое колечко было: один бриллиантик, а от него изумруды в оправе, точно листики; очень тонкая работа. Это для Таточки. Потом: браслет платиновый, с замком в виде...

Старуха раздавала имение свое щедрой рукой, никого не забыв и никого не обидя. Столовое серебро, посуда, безделушки, кольца, серьги и цепочки, на которые всегда был так щедр Максимыч. Она, всю жизнь скрывавшая свою доброту, раздавала все и сейчас боялась только одного: не успеть отдать.

Дочь, зажав в одной руке носовой платок, а в другой карандаш, записывала торопливо и подробно, время от времени прикрывая глаза: то ли вспомнить предмет описи, то ли дать слезе стечь. Не раз и не два вспоминала Тоня разговор с мамынькой в то время, когда отца увезли в туберкулезную больницу, и мысль: кому трудней — больному или здоровому — казалась не эгоистической, но здравой. В самом деле, ведь если так посмотреть: кто, как не она, Тоня, всю жизнь была мамынькиной любимицей, чем она, по правде сказать, всегда гордилась? Кто, как не она, позаботился о том, чтобы матери было удобно, кто обеспечил... да к чему перечислять? А теперь — извольте радоваться! — мать поминутно спрашивает про Иру, ждет Иру, радуется только Ире, не говоря уже о том, что овальная агатовая брошь с большим бриллиантом посередине тоже достается сестре! Да, как ни кощунственно это звучит, Тоня обижалась на мать — и ужасалась своей обиде, которая была крепко настояна на ревности.

Тонин список охватывал не все, иначе она бы поняла, что старуха торопится отдать свой долг старшей дочери — долг любви, заботы, внимания. Ира очень рано стала для матери главной помощницей и «прислугой за все», благодаря чему старуха смогла научиться любить младших. Всю жизнь любовно собирая золотые побрякушки, она не оценила — и недолюбила — истинное золото, которое было рядом. Старуха заглянула в лицо своему греху — и ужаснулась; смотрела, не отрываясь, на голгофу окна, возведенную между нею и жизнью, и казнила себя многожды и беспощадно, с нетерпением ожидая дочь. Потом лежала, держа обеими исхудавшими ладонями ее холодную после улицы руку, и лицо у нее было такое же счастливое, как во время Крещенского молебна.

— Не забудь, — говорила она очень тихо не потому, что голос отказал, а просто боялась устать и задремать, пока Ира с нею, — не забудь мне в гроб крестик деревянный на шею. И чтобы положили меня рядом с папашей. — «Царствие ему Небесное» добавляла одними губами — то ли для экономии сил, то ли от близости этого царствия, настолько реальной, что можно было уже не беспокоить небесную канцелярию формальностями.

Время бесстрастно щелкает драгоценными костяшками дней, да и сколько там его, зимнего дня: помолиться, лежа в кровати, выпить полчашки теплого молока, принять ненужную микстуру. Только усядешься, наконец, в кресло посмотреть в окно — ан, уже и сумерки, вот и вся песня.

Да, время приносило и новые песни. Незадолго до Сретения Ира привела внучку. Скинув валенки с галошами в прихожей, девочка ловко прокатилась в чулках по паркету и сразу же, несмотря на протесты Тони и сиделки, залезла к старухе на кровать, к явному неудовольствию дремавшей там кошки.

— Золотко мое! — обрадовалась та, — совсем забыла бабу, вон как редко приходишь!

— Я в садик хожу, — ответила Лелька.

— То-то я смотрю, ты сдохлая какая стала! — воскликнула старуха, и девочка серьезно ответила:

— Ты тоже, бабушка Матрена.

Старуха любовалась правнучкой и засыпала ее вопросами.

Лелька рассказала, что ходит она в другой садик, где все говорят по-русски, только дети называются «ребята», а вместо «нужник» там надо говорить «туалет».

— Откуда ж там туалет, — старуха снисходительно шевельнула бровью, — нужник, конечно, потому как по нужде ходят. На кой надо детям голову забивать... А еще что? Ты расскажи, расскажи, я соскучалась.

Лелька охотно рассказала, что у каждого ребенка есть свой шкафчик с картинкой, чтобы одежду вешать, а еще:

— Представляешь, бабушка Матрена, есть такие дети, которые сами не умеют себе ботинки завязать!

Обе укоризненно покрутили головами. Лелька пожаловалась, что на завтрак кормят кашей: «она как лепешка, только горячая», а днем заставляют ложиться в кровать и по-настоящему спать, как будто на дворе ночь, хотя все знают, что день.

— Меня тоже утром заставляют кашу есть, — схитрила старуха, — и днем спать велит. Крестная твоя велит да вон та, в белом халате, что уколы мне делает.

— Больно тебе?

— Не-е, это разве больно; это пустяк. Ну, еще расскажи!

Оказалось, что одна девочка в садике знает песню про маму. Не про девочкину, а про Лелькину маму. Старуха была заинтригована, и Лелька запела:

Из-под горки катится  
Голубое платьице,  
На боку зеленый бант,  
Тебя любит музыкант.  
Музыкант молоденький,  
Звать его Володенькой;  
Через годик, через два  
Будешь ты его жена.

Обе замолчали. Старуха смотрела куда-то сквозь летящих по ширме журавлей, а девочка осторожно водила пальцем по черному лаку. За ширмой, в дверях, замерли плечом к плечу Ира с сестрой, споткнувшись о жуткую песенку.

— Бабушка Матрена, правда, это не про мою маму, правда?

Старуха рассердилась:

— Откуда девочка может что знать про твою матку?! Она что, гадалка какая, девочка эта? Видать, из уличных... Разве это подходящая песня для ребенка, Господи Иисусе! Ты бабу Иру свою попроси, она тебе настоящую песню споет. Она мно-о-ого песен знает!

— Это не про мою маму, бабушка Матрена, знаешь, почему?

— Ну? — с надеждой спросила та.

— Потому что у моей мамы нет голубого платьица, вот почему! У нее же зеленое, знаешь, такое шелковое?..

...Вечером старухе делалось хуже. Цветочная сиделка осторожно позвякивала спасительными докторскими бирюльками на эмалированном подносе, готовясь заранее. С середины масленицы она оставалась, за редкими исключениями, на всю ночь. Тоня

приготовила на кушетке комплект белья и подушку, но Хризантема, сделав укол, проводила всю ночь в кресле, к явному неудовольствию мамыньки, ревновавшей кресло. Когда старуха переставала стонать и засыпала, сиделка доставала пяльцы, вялые моточки «мулине» и погружалась в работу, набросив полотенце на лампу. Она так же сосредоточенно втыкала в полотно иголку, запряженную цветной ниткой, как только что иглу шприца — в старухину вену. Единственный элемент творчества, пожалуй, заключался в том, как Хризантема время от времени вдруг гибким движением отбрасывала цветную петлю, но и это было похоже на стремительный и точный жест, которым она развязывала и сдергивала жгут, вводя иглу; больше всего это напоминало росчерк подписи, чем, в сущности, и являлось. От ужина она неизменно отказывалась, но иногда выпивала чашку чая — здесь же, за письменным столом, аккуратно прикрыв крахмальной салфеткой такой же халат. Тоня уговаривала ее вздремнуть, но сиделка с достоинством объяснила, что никогда не спит на дежурстве. Действительно, утром была на удивление бодрa, хоть от кофе не отказывалась; только красные глаза и чуть подрагивавшие руки выдавали усталость. Все еще не в состоянии понять, когда же она спит, Тоня отложила недодуманную мысль, как после стирки откладывают непарный носок: вдруг найдется второй, да и выбросить жалко.

Старуха в этом не участвовала: освобожденная безотказным Морфеем, то есть морфием, от боли и тяжести, она засыпала, и сны ее были беспечальны. Она часто видела мужа, и он двигался ей навстречу. Вот она стоит в реке — это же Дон! — и не чувствует ни ног, ни живота, но и боли не чувствует, а он, рассекая грудью воду, идет вперед. Солнце где-то за спиной, прямо ему в глаза, и он щурится, протягивая к ней руки. «Смотри, какое диво! — показывает он на воду, где играют золотые солнечные блики, — мне теперь удочку не надо, я руками тебе рыбы наловлю!» Погружает полусложенные ладони в воду, ловит солнечное пятнышко и протягивает ей: «На!» Изумленная Матрена видит живую рыбку, сверкающую жарким золотом — точь-в-точь, как в Тонькином аквариуме, — а муж кричит: «Держи!» и дает ей следующую рыбку, потом еще, и она удивляется: теплые какие, как же это так? «От-т, Мать Честная, так они же от света Божьего! Дай-ка я тебе наловлю, пока солнце не село», — и снова смыкает ладони, ловя золотисто-оранжевые отсветы. Вдруг солнце исчезло — или сначала исчез старик? Опять стало зябко, и когда она открыла глаза, ни мужа, ни дивных рыбок не было, а солнце было завешено знакомым полотенцем. Под солнцем сидела чужая женщина и вышивала. В животе у старухи заворочался осколок. Он разросся и теперь острыми концами прорезывал себе путь вглубь, хотя живого места больше не оставалось. Женщина — как ее? Хризантема, конечно, — подошла со шприцем и ловко закрутила ей на руке резиновую кишку, точно выстиранное полотенце выжимала; резко завоняло спиртом и чем-то еще, но Матрена знала, что скоро полегчает.

...Боль меняла цвет и обличье. Матрена видела ее, лежащую прямо на земле, и удивлялась, как такое может быть: она ведь внутри, в брюхе, а вот поди ж ты; наклонилась, чтобы получше рассмотреть. Сначала боль была красно-коричневая и была бы похожа на воловью печень, если б не вздувалась грязно-серыми пузырями. Пузыри лопались и оседали, чернея и сжимаясь на глазах, пока от них не оставалась обыкновенная головешка. Теперь от Матрены требовалось самое страшное: перешагнуть через нее, иначе было нельзя. Она медлила. «Ну, не бойся! — старик спешил навстречу, протягивая руку. — Это не больно вовсе. Смотри, — он перешагивал через другую, очень похожую, головешку, — вот и все, и к месту!» Старуха прошла несколько шагов и выпрямилась. Ах, как славно! Пошла быстрее, побежала — и легко перескочила черное паскудство. Муж одобрительно засмеялся, и они оказались в лесу, где прямо на зеленом мху кипел самовар. Вот это правильно, оценила Матрена, в лесу-то шишек прорва, только подкладывай. У Максимыча в руках почему-то лопата; он весело кричит: «Хватит лимониться, собирайся!» — и втыкает лопату в яркий мох. Внизу показывается желтый песок, Матрена где-то видела такой. Старик роет быстро, но не в глубину, а в глубину и в даль сразу, и



уходит вперед; оборачивается к жене и зовет: «Скорей!» Она удивляется: «Куда, Гриша?», а он разглаживает усы и топает ногой: «В Ростов! Мы же с Ростова, там все наши остались!» Послушно и радостно старуха идет следом, потом бежит, — оказывается, очень легко бежать по глубокой песчаной кривизне, как по оврагу, только темнеет скоро, и она не заметила даже, когда отпала надобность в лопате, потому что они с Гришей быстро и легко летели в земной глубине прямо в родной Ростов.

## 29

Окно, обрaмившее для старухи внешний мир в скромную репродукцию Питера Брейгеля, пригласило в союзницы ширму: она ограничила мир внутренний, квартирный. Ни в столовой, ни на кухне Матрена больше не появлялась: не было сил. Обладавшая недюжинной силой Хризантема водила ее в комфортабельный нужник, и после этого похода старуха долго лежала без движения или впадала в забытие, пока боль не догоняла. Правда, когда все разъяснилось с Хризантемой, то пришлось... Однако лучше по порядку.

Началось с того, что сиделка пролила в кабинете спирт, причем извинялась так подробно и изысканно, что Ирине стало неловко: делов-то — паркет протереть; спасибо, что сестры в тот момент дома не было. Хризантема, сокрушаясь, сама затерла мастикой подсохший пол и, поднимаясь с колен, закашлялась, но вышитого платочка у нее, вопреки обыкновению, не нашлось. Впрочем, даже и найдись он, Ирина не могла обмануться: мастика честно пахла скипидаром, а сиделка — алкоголем, и верноподданнический аромат «Красной Москвы», не в силах помочь, сдал позиции.

Мамынька дремала; когда Тоня с дочкой и крестницей вернулись из «Детского мира», сиделки в доме уже не было.

Федя быстро соотнес непомерный расход спирта с дрожью в руках и красными глазами. Объяснился с Хризантемой коротко, но мучительно. Пьяницы всегда вызывали у Федора Федоровича брезгливость, а уж если женщина... нет, увольте. И уволил, стараясь не вслушиваться в сбивчивое оправдание, в лицо ей не смотрел и вообще не поднимал глаз выше буквы «А» на халате, превратившейся в абсолютно однозначный символ. Вытащил приготовленный бумажник:

— Сколько я вам должен? — и, наткнувшись на просящий взгляд, понял: — Нет, конечно; это останется между нами. Однако я как медик... — и, махнув рукой, начал отсчитывать кредитки.

В дверях Хризантема помедлила.

— Доктор, — сказала, натягивая перчатку, — правая ручка у тетеньки, там вена очень плохая; пусть в левую колют, будьте добры сказать.

И легко понесла по ступенькам свое громоздкое тело.

После изгнания сиделки Федору Федоровичу стало, вопреки ожиданиям, вовсе не легче: не покидало ощущение какой-то кривды. «С ее опытом найти работу — раз плюнуть», — утешал он себя, а внутри звучали непривычные, дурацкие, трогательные слова: «правая ручка у тетеньки». Он угрюмо взглянул на растерянную Иру:

— Ну и как тебе это нравится?.. — и вдруг, ужаленный страшной догадкой, в панике бросился в кабинет.

Слава Богу, все ампулы на месте. «Впрочем, на халате „А“, а не „М“, — невесело пошутил он сам с собой, но тяжелая неловкость не оставляла.

— Ира!.. — позвала мамынька.

Федор Федорович неосознанно взглянул на локтевой сгиб: ни одного кровоподтека. Не да. В комнату спешила Ирина; одновременно хлопнула входная дверь: вернулась жена, и Феденька пошел сдаваться.

Разрешилось мучительное недоумение, нашелся парный носок! Оказывается, Тоня «как чувствовала»; поэтому совершенно не удивилась и все действия мужа одобрила безусловно.

— Надеюсь, ты ей не платил? — она воинственно кряхтела, стаскивая тугой, попискивающий ботик, и Фединога лица не видела. — Мне эта особа сразу не понравилась, я как чувствовала. Это же подумать только!

Жена радовалась, что восторжествовала справедливость, и радость была отравлена только одним обстоятельством: произошло это в ее отсутствие.

Ночь прошла очень тяжело. Укол Феденька сделал вовремя, но с «левой ручкой» возился долго и результатом остался недоволен: навык навыком, а в челюсть колоть несравненно легче. И вообще все пошло наперекосяк. Поход в туалет обрастал немислимыми подробностями: иссохшая, скрюченная адской мукой старуха стыдливо шептала: «Как же можно?! Он мужчина!.. Хризантему зови...» Мамынька висела на Тоне, а ту, в свою очередь, поддерживал муж, с ужасом чувствуя, что впадает в ересь, ибо впервые в жизни чуть не усомнился в греховности пьянства.

Придя из клиники, застал около мамыньки Иру; жена уснула. Старуха капризничала:

— На кой прогнали? Она дело-то вон как знала! Пока меня Господь приберет, вы тут совсем с ног собьетесь... Ну да скоро уже.

Невозможно было поверить, что старуха поменяла свое откровенно неприязненное отношение к сиделке; похоже, однако, что это было именно так. Придираясь, пророчествуя и критикуя, Матрена освоилась с ней, как прежде освоилась с неизменным видом из окна, с неподвижными складками штор или с той же ширмой. Она так привыкла, возвращаясь из покойного сна в мучительное умирание, видеть за письменным столом монументальную вышивальщицу с игрушечными пальцами в руках, что теперь, когда обжитой интерьер нарушился, огорчилась и растерялась; примерно то же ощущает гурман-меценат, обнаружив, что в музейном зале картины поменяли местами, а любимый натюрморт отправили в запасник. Старуха привыкла с ворчаньем принимать микстуру из мензурки, походившей в пальцах Хризантемы на наперсток, как привыкла, что вторую мензурку — уж, конечно, не с микстурой — та выпивает сама, непременно промокнув губы вышитым платочком.

— Ну так что вам с того? — слабым, но требовательным голосом спрашивала она. — Папаша тоже любил выпить, а дело делал! Вон, забегались, ровно кошки на пожаре...

Обижаться было и неуместно, и некогда. За справедливость приходилось платить очень дорого. Один укол — это было, как говорила мамынька, «курам на смех», а днем зять работал. Оставалась «скорая помощь», но это означало для Тони оставить мать одну, добежать до телефона-автомата, набрать «03», объяснить ситуацию, вернуться и ждать помощь, почему-то называемую «скорой», не говоря уже о том, что обе старухины вены через два дня расцвелились, как она сама выразилась, «что яйца на Пасху».

— К свиньям собачьим такую помощь, — вынесла приговор старуха, отдышавшись, — и такое лечение. Дайте спокойно помереть. Ирка, Ирочка моя! — тянула к Тоне слабую, исколотую руку — после морфия она иногда путала дочерей, и это странным образом Тоню успокаивало.

Начался март. Старуха ворчала:

— Это у вас март, а у людей только-только середина февраля, — и сейчас ей особенно хотелось, чтобы помешкал немного торопливый февраль, когда она могла так много.

Недуг пригвоздил старуху к постели и уже не позволял встать, дав понять, что теперь иначе не будет. Мир еще сузился, ограничив ее подвижность уже не ширмой, а рамой кровати.

Вопреки обыкновению, Федор Федорович посовещался не с женой, а с Ириной, и снова привел сиделку. Тоня встретила Хризантему строгим взглядом и неровными пятнами на лице, а та, облачившись в халат и шапочку, спокойно вернулась к работе, словно не пропускала ни дня. Даже вышивка на пальцах была натянута та же самая: очаровательный бутуз с лукавым взглядом, восседающий на горшке щекастой попкой под готической немецкой надписью синим мулине: «СТАРАЙСЯ, ДРУЖОК!»; мастерица как раз приступила к орнаменту. Да и что, собственно, случилось, не плакать же о пролитом молоке, то бишь спирте, в самом деле?

Щелкнул еще один день на счетах времени, и старуха сказала, что хочет проститься.

— Ну что ты рюмишься? — чуть слышно прикрикнула на Тоню. — Карандаш бери, пиши!

Матрена помнила всех, кто давным-давно, в царское еще время, перетек сюда из далекого Ростова; в то время, когда молодые старик и старуха жили на Песках, в своей первой ветхой землянке. Славное было времечко! И каждый пустил в этой земле свои корни, сроднившись с нею, разросся детьми и внуками...

Впрочем, именной список, не в пример имущественному, оказался недлинным, что понятно: из старшего поколения остались только Матрена и брат Мефодий. Тоня, славившаяся аккуратностью, растерялась: имена тетки Павли и Ксении, вместе с адресами, в ее записной книжке были обведены черными рамками. Нужно было связаться с двоюродными братьями и сестрами, а с ними близки не были: встречались по праздникам в храме или на кладбище, вот и все. Чтобы помочь ей, мать называла еще какие-то имена, увлеченно плутая тропинками воспоминаний, но эффект получился прямо противоположным. Тоне, измотанной напряжением и недосыпом, казалось, будто она распутывает какое-то затейливое вязание, силясь не упустить пойманные концы нитей, и только старуха знала, что нитка-то была — одна, как и клубок — один...

— Недолугие какие, — пожаловалась она сиделке, — Мефодю надо попросить, он всех сыщет. Брат мой старший, — пояснила охотно, наблюдая за темной, цвета чайной заварки, жидкостью, медленно перетекающей из шприца в ее руку. Между бровями взбухла крупная испарина, и она говорила, оттягивая время, чтобы не сдаться осколку и не закричать.

Мефодий неожиданно появился сам, никем не предупрежденный и — если уместно в данной ситуации — не приглашенный. Бывают обстоятельства... Строго говоря, есть одно обстоятельство, когда звать родных и близких нет необходимости, ибо они сами знают и чувствуют: пора.

Брат пробыл за ширмой недолго. Простившись, поцеловал Матрену, а когда выпрямился, увидел на изболевшемся лице улыбку. Она тронула его за рукав и кивнула куда-то в сторону:

— У тебя хохол торчит, как раз как у того журавля, во-о-он на ширме, видишь? Ну, ступай с Богом!..

С обоими сыновьями простилась тоже безо всякой торжественности, но давши обоим напутствие, которое ни с чем, кроме последнего привета, спутать было невозможно. При прощании в комнате неизменно присутствовала сиделка, но не вслушивалась, да и русский язык не был ей родным, так что она приближалась крахмальным айсбергом, когда возникала надобность проверить пульс или дать воды.

Старуха помолчала, медленно облизывая губы, и долго смотрела на Мотю:

— Сестре помогай, — она не тратила силы на излишние слова, зная, что сын понимает, — ей ребенка поднимать.

И тут же спохватывалась:

— Смотри, Митюшку не приводи, я страшная стала. Больших-то можно. — И, рукой отведя Мотины протесты: — Молчи, я знаю. Мне зеркала не надо — у меня ширма, как зеркало, — и торжественно протягивала перст указующий туда, где на черной лаковой поверхности сын увидел себя вполоборота и руку матери в свободно болтающемся рукаве.

— То-то, — продолжала, немного отдохнув, — ты вот что: Пава чихвостить станет, так ты смолчи, не ввязывайся; баба и есть баба. Я знаю, я сама папашу грызла. Слава Богу, он молчать умел, Царствие ему Небесное. Дети у вас; детям покой нужен. Ну, ступай, Господь с тобой, — и крестила своего пожилого старшего сына, как в детстве, когда укладывала спать.

С невесткой простилась отдельно. Пава тяжело сползла на пол и долго рыдала, вытирая лицо краем простыни.

Младшему было велено прийти на следующий день, вместе с Вандой; с детьми осталась Ирина.

Симочка робел, но храбрился. Прошелся по комнате, выставив челюсть, потрогал зачем-то чернильницу, оставил; застегнул пиджак.

— Сядь ты, суета, — нестрого и устало произнесла Матрена. — И ты садись, — кивнула Ванде. — Мало сегодня напрыгалась? Дети что, здоровы?

Выслушала испуганный ответ, пытаюсь понять, насколько он соответствует истине, и повернула голову к сиделке.

Та поправила подушку и дала выпить то ли лекарства, то ли воды; неслышно отошла.

— Я что тебе скажу, — начала старуха без обращения, и сын застыл, — ухожу я. Молчи! — прикрикнула нетерпеливо и тут же закашлялась. — Ухожу, скоро уже. Вот только благословлю вас. — Она вытянула руку и ждала, потом снова возвысила голос: — Ну!

— Мамынька, — начал Симочка, — мамаша, да я... хоть завтра в загс, на иконе могу...

Но старуха настойчиво повторила:

— Ну!..

Тогда оба поняли и протянули руки. Симочка, широко раскрыв глаза, смотрел на мать, а Ванда — на левую руку старухи со свободно болтающимся кольцом.

— Благословляю вас, — негромко произнесла мать и держала, не отпуская, руки, хоть Симочке неловко было стоять, — а то что же, разве ты у меня порченый какой?

— Завтра, мамаша, прямо завтра в загс, — истово обещал сын, — завтра, вот посмотришь.

— Не-е-ет, милый, — старуха держала, не отпуская, их руки, — нет: венчаться должны. Вы крещеные оба, да я благословила — в моленну должны идти. А то в костел можно; Богу все едино, Бог не в церкви живет. — Понижила голос и продолжала: — У тебя трое душ детей, а вы не венчаны. Не смеешь так жить, слышишь?!

Продолжала спокойным, будничным голосом, точно на базар уходила:

— Меня не будет, сестру слушай. Она тебя маленького вынянчить да выкормить помогла. Если пустяк, бздуры какие, то не заботь ее, ей самой трудно. А когда нешуточное что — сразу к ней! — и тоже не сказала, о какой сестре говорит, с тоской потянулась к Симочке:

— Ну, иди сюда!

Симочка торопливо шагнул вперед и от неловкости задел ширму, которая вздрогнула и сомкнула створку, точно локоть выставила. Ванда отступила назад — не мешать прощанию, а старуха медленно провела ладонью по жесткой небритой щеке сына, чуть задержавшись на подбородке, и нежно прижала губы к твердому упрямому лбу. И оттолкнула, снова закашлявшись:

— Христос с тобой, иди!

...Звонили к Тоне в дверь те, кого предупредил Мефодий; смущенно здоровались с нею, прощались со старухой — и уходили. Приехала после работы Надя: хотела, мол, мамашу проведать. Однако ни обмануть, ни обмануться не удалось — в доме пахло спиртом, антисептикой и безнадежностью. Смертью пахло.

Появилась растерянная Таечка. Села на кухне, вытащила папироску и подула в нее, но курить ей не позволили. Посидела, хрустя пальцами, потом спросила у крестной:

— Где... она?

Тоня мыла посуду. Резко обернулась и посмотрела Тайке прямо в лицо, красивое и безгливое, с чуть вздрагивающей верхней губой. Поправив волосы, ответила спокойно, насколько сумела:

— Это бабушка твоя. Хочешь проститься — иди в кабинет, — и сама удивилась ярости, с которой отчеканила эти слова.

Здрав подбородок, Тайка решительно вышла, но дальше прихожей не двинулась. Попудрилась у зеркала и, посплюнув пальцы, заботливо стерла с носа лишнюю пудру. Наклонившись совсем близко, широко раскрыла глаза и слегка улыбнулась. Выпрямилась, но в кабинет и теперь не пошла; остановилась в дверях кухни, вытянув губы трубочкой:

— Я бою-у-усь. И пахнет тут... как в больнице.

Тоня повесила полотенце и спросила, не выдержав:

— Откуда же тебе знать, как в больнице пахнет? — и наговорила бы еще Бог знает чего, но сиделка приоткрыла дверь, началась вечерняя суматоха, и Тоня забыла про крестницу.

Гостья посидела в столовой, чтобы переждать суету; поболтала с Татой, открыла и сразу закрыла какой-то учебник. Дом жил своей жизнью: принесли телеграмму от Левы из Севастополя; старухе нужно было поменять белье; потом Тоня выскочила в магазин, где стояла в очереди, а, вернувшись, Тайку уже не застала. Поэтому никто не узнал, сколько времени любимая внучка провела у старухи и как проходило их прощание.

Действительно, так ли важны мелкие подробности и слова? Все сказанное означает только одно: живите, милые! Живите хорошо. Как нельзя рвать душу описанием агонии, сколь бы правдивым оно ни было, так же следует остановиться, рассказывая о прощаниях. Ведь каждый, кто пришел к старухиному одру, запомнил обращенные к нему слова, простился — и к месту!

— В моленну бы... еще раз постоять... — теребя простыню, тоскливо шептала она. — Ничего больше не надо. Ничего... — и чуть приподнимала свои говорящие брови, точно сама дивилась простоте последнего желания. Но здесь никто помочь не мог, даже Тоня.

Существует странная, непостижимая связь между явлениями и знаками: с того дня, когда стала известна старухина болезнь, то есть было названо слово, она прожила ровно столько месяцев, сколько в зловещем слове содержалось букв. А желание — желание ее сбылось: Матрена стояла в моленной, в гробу на высоком постаменте, на своем обычном месте, под иконой Трех Святителей, и простояла всю долгую панихиду. Она умерла 14-го числа весеннего месяца марта, в понедельник, словно нарочно выбрав то же число и день недели, что судьба назначила раньше для мужа. Ее опускали в землю, в промерзший и неподатливый желтый песок, в среду — в тот же день, как полтора года тому назад хоронили Максимыча. Тот же батюшка, что отпевал его, склонялся сейчас над старухиной могилой, и дымок от ладана зябко дрожал на холодном мартовском ветру.

Вокруг могилы так же, как тогда, стояли сыновья и дочери, теперь уже совсем осиротевшие, — а значит, не дети больше, ибо детьми остаются только до тех пор, покуда живы родители. Теперь они сами остались старшими и чувствовали спиной холод и одиночество: там, за ними, больше не было никого. Они обступили могилу, куда уходила

мать, и стояли, как старик-отец мысленно их расставил: кроткие и гордые. Кроткие — Ира с Мотей — стояли рядом, и Федя бережно придерживал Иру за локоть, другой рукой обнимая жену. А вот и гордые — Тоня и Симочка, и все вместе стоят подковой, в той последовательности, как расставила бы их мать в детстве: по порядку появления на свет. Нет одного Андрюши, и Федя, сам того не сознавая, занял место кроткого среднего сына, тоже осиротев сегодня вновь и окончательно.

Гроб еще не опустили, когда громко, отчаянно зарыдала Тоня. Захлебываясь криком, прижимала к глазам черное кружево накидки, чтобы никто не видел, как ей больно и стыдно. Вчера она полезла на антресоли и наткнулась на валенки, которые обещала найти для мамыньки прошлой зимой, да так и не нашла, и теперь, от этого стыда и безысходности, она кричала, точно мать могла услышать и простить ее. Федя протягивал ей платок, но не мог произнести ни слова, даже шепотом; все время слышал, как слышат собственный пульс, слова матери: «Я на тебя одного весь курятник оставляю, ты смотри за ними...». Он совал жене платок и не мог понять, отчего же так плохо видно, хоть и в очках.

Все плакали, кроме младших. Они посматривали друг на друга и отворачивались, потому что знали: все равно не может быть, чтобы это насовсем. Лелька держалась за руку бабушки, а та сжимала ее ладошку вместе с варежкой, да иначе и быть не могло: ведь бабушка не существует без внучки, а внучка бывает внучкой до тех пор, пока у нее есть бабушка.

Отвесные стенки могилы были такого же точно цвета, как пасхальное тесто; может быть, это утешило бы старуху, ибо Пасха только через месяц, и куличей ей не печь. Да разве нужны ей теперь куличи, зачем? — ведь сквозь этот желтый песок они с мужем помчатся к себе домой, в свой Ростов, где течет великий Дон и плещутся созданные из Божьего света золотые рыбки — такие же, как здесь, у самого синего моря, где жили-были старик со старухой.

Взято из Флибусты, [flibusta.net](http://flibusta.net)

## Марина Степнова

(1971 г.р.) — редактор, писатель, прозаик, переводчик с румынского, в том числе популярной пьесы Михая Себастиана «Безымянная звезда». Поступила на филологический факультет Кишиневского государственного университета, впоследствии перевелась в Литературный институт им. Горького, который окончила с отличием. Затем окончила аспирантуру Института мировой литературы им. Горького. Больше десяти лет работает в гляцевых журналах. Сейчас — в качестве шеф-редактора журнала XXL. Печаталась в журналах «Знамя», «Новый мир» и «Звезда». Первый роман «Хирург» вошел в Лонглист премии «Национальный бестселлер». В 2011 году свет увидели «Женщины Лазаря». Живет и работает в Москве. Замужем.

### Произведения:

Хирург

Женщины Лазаря

Бедная Антуанетточка

### Отзывы, рецензии:

*Политова Марина*

Очень сильная книга. И дело не в женскости или неженскости прозы.

Да, семейная сага по сути, но здесь есть и история страны, и история женщин, и главное написано так, что как бы ни банально это звучало, берет за душу и вызывает эмоции... В отличие от некоторых романов, где ты просто следишь за развитием событий, "Женщины Лазаря" заставляют переживать...

*Ирина*

Поддалась на рекламу и положительные отзывы - не пожалела:) Рекомендую всем ценителям качественной современной прозы. Отличный слог, четкая сюжетная линия, яркие образы. Мой любимый жанр семейной саги. С нетерпением буду ждать новые книги этого автора.

*Daria\_Samozvet*

Чудесная, глубокая, изысканная книга, написанная таким чудесным языком, что просто страшно читать, - каждое слово, как кинжал, попадает точным ударом в сердце. Книгу, написанную таким языком, можно только бережно смаковать, разбирать осторожно на цитаты, заучивать наизусть, нежно перебирать описания, гладкие, как обкатанные морем камешки: "Романтический пунктир судьбы никому не известного Петровича грозил превратиться в линию сплошного человеческого счастья", "Маня радостно кивала добрым ртом, щедро набитым золотой рудой". За каждой фразой - человеческая судьба. Это - лучшая книга о любви, которую я читала! Причудливо переплетаются судьбы, в каждой семье свое счастье и своя трагедия, за каждой историей успеха сломанная жизнь - а читатель следит за сюжетом с замиранием сердца, и, чем

ближе к концу, тем медленнее переворачивает страницы, бережет, как последнюю краюху хлеба. Только бы не заканчивалась так быстро!

Есть книги, которые невидимыми мягкими лапками трогают за душу. "Женщины Лазаря" - одна из них. Нельзя не поддаться ее обаянию, нельзя удержаться от сочувствия, нельзя не радоваться за героев и нельзя не рыдать навзрыд. Это та книга, которую невозможно описать словами. Нужно просто отложить все дела (все равно не сможете заниматься ничем другим) и читать - проживать множество таких грустных и таких прекрасных жизней

### **Интервью:**

Беседовал Максим Лаврентьев

Вышедший в конце лета в «АСТ» роман Марины Степновой «Женщины Лазаря» стремительно (и безо всякой рекламы со стороны издательства, между прочим!) проложил себе путь на вершину рейтингов продаж в московских книжных магазинах. На сайте магазина «Москва», к примеру, уже не первую неделю эта книга занимает лидирующую строчку, став книгой месяца в октябре и подвинув новинки от Михаила Веллера, Захара Прилепина, Владимира Маканина... Особенно примечательно, что популярностью у читателей пользуется на сей раз не обычное чтиво или штампованный образец премиальной литературы, а высокохудожественная интеллектуальная проза до сих пор не слишком заметного автора, не имеющего никаких литературных наград, кроме разве что единственной нацбестовской номинации пятилетней давности, и не прописанного ни в одной литтусовке.

**– Марина, читатель, как известно, обожает узнавать о писателе биографические подробности, дабы затем пофантазировать на тему соответствия автора своему литературному герою. Мы, конечно, не будем идти на поводу у публики. Поэтому не спрашиваю напрямую о прототипах, но все же ответьте, откуда вы так хорошо знаете бытовую сторону советского ученого мира, где так вольготно дышит ваш «секретный физик» Лазарь Линдт?**

– Советская наука – как и наука вообще – делается всего-навсего людьми, и даже не всегда – невероятно талантливыми, а мне в первую очередь были важны именно человеческие взаимоотношения внутри этого мирка. К тому же, признаюсь, я довольно долго и усердно занималась наукой сама – конечно, это была всего-навсего филология (стык лингвистики и литературоведения, если быть точной), так что любой технарь меня заслуженно засмеет, но это была все равно наука – с профессорами, заседаниями кафедр, защитами, долгими библиотечными бдениями, сплетнями и прочими необходимыми атрибутами. Ну и не будем забывать о мемуарах, конечно: опубликовано достаточное количество отличных воспоминаний именно советских физиков, математиков – всех тех, кто сделал советскую науку по-настоящему великой. Так что я готовилась очень старательно.

**– Но в романе безошибочно использована именно специальная техническая терминология. Одних заседаний и мемуаров тут, по-моему, было бы недостаточно...**

– Мне кажется, что у меня даже нет той половины мозга, которая отвечает за получение высшего технического образования, что вы! Но было бы самонадеянно братья за книгу, в которой главный герой – физик (и математик, и кто угодно еще – словом,



настоящий гений), и не набрать как можно больше специального материала. Даже передать не могу, насколько это было сложно и насколько я боялась сесть в лужу. Я поняла, что справилась, когда мой близкий друг, чудесный писатель Леонид Семенович Словин отдал одну из глав «Женщин Лазаря» своему знакомому, очень немолодому математику, – так сказать, на рецензирование. Тот прочитал и заявил, что прекрасно знает, кто послужил прототипом Лазаря Линдта – такой-то советский ученый, большая, кстати, величина. Мол, на такое был способен только он. Только тогда я перевела дух.

Да, в хореографическом училище я тоже не училась и танцую, как больной медведь, – это уж на всякий случай: ведь одна из героинь, Лидочка, профессионально занимается балетом, и над этим материалом тоже пришлось попотеть. Балетный сленг, упражнения, взаимоотношения в балете – это же огромный и очень закрытый от всего внешнего мир. Но, с моей точки зрения, врать в мелочах автор просто не имеет права – иначе рухнет вся конструкция книги и весь мир, выдуманный изначально, никогда не станет для читателя подлинным. Поэтому для меня сбор фактуры – не просто очень важная, но и фантастически, просто невероятно интересная часть работы.

**– Имя заглавного персонажа поневоле отсылает к библейскому Лазарю, воскрешенному, согласно Библии, Христом. Но в романе последовательно, одна за другой, «воскресают» женщины. Что это – глобальная женская эмансипация или осознанное преломление библейской истории в призме современности?**

– Мне кажется, самое главное в книге другое – в каком-то смысле Лазарь Линдт вовсе не умер, чтобы потом воскреснуть. Он вообще остался бессмертным – но не потому, что был гениальным ученым, а потому, что умел любить, пусть и не всегда счастливо. Именно эта любовь – очень разная, к трем разным женщинам – и подарила ему бессмертие. В романе вообще очень много любовных историй, много любви – не всегда счастливой, не всегда впопад, но именно любовь придает смысл всему. И если любви нет, ни громадный достаток, ни признание властей, ни слава – ничто не делает героев счастливыми.

**– Часто говорят, что подлинный художник далек от политики. Согласны ли вы с таким мнением? Дело в том, что в книге, как мне показалось, отчетливо выражено более чем скептическое ваше отношение к Октябрьскому перевороту 1917-го, да и ко всей последующей советской истории...**

– Боюсь, что слово «скептически» тут не совсем точное. Россия не знала спокойных времен никогда, и советская история – всего-навсего часть общего нелегкого процесса. В советскую пору было много кошмарных, но и столько же чудесных страниц, как, впрочем, и при петровских реформах, и в золотой век Екатерины, и при Александре Миротворце. Мне кажется, важно другое: то, что историю делают люди – и не только великие, но и обычные. А вот люди бывают счастливыми и несчастными, и это для них гораздо важнее того, что происходит вокруг. Я часто вспоминаю рассказы бабушки – как она была счастлива незадолго до войны. Был 1937 год, ее родного дядю посадили, все жили в страхе, кто будет следующим, дома пикнуть боялись, ждали арестов – а бабушка все равно была счастлива, влюблена, шила платья, радовалась тому, какая она хорошенькая, молодая. На танцы бегала, тогда так много танцевали! Это никуда не денешь. Бабушка была счастлива именно тогда.

Чалдоновы – герои моей книги – вообще прожили в счастье всю жизнь, и плевать им было на революцию и Гражданскую войну, на эвакуацию и голод. Они любили друг

друга, они были друг другу нужны. Вот что главное, вот что придавало смысл их жизни. А Галина Петровна, не знавшая ни войны, ни тревог, живущая в громадном богатстве, обладающая трудно представимой властью, была совершенно несчастна рядом с мужем, которого ненавидела. И ни его обожание, ни бриллианты, ни шубы – ничего не помогало.

**– Ваша книга с момента выхода в начале августа неизменно получает самые благожелательные отзывы. Во всяком случае, только такие отзывы в печати пока доносились до меня. А слышите ли вы голоса неодобрения? Как вообще относитесь к современной литературной критике, ожидаете ли ее внимания?**

– Конечно, приятно, что мой труд оценен – это враки, что писать в стол легко, на самом деле мы все мечтаем, чтобы нас слышали. Но угодить всем разом просто невозможно, да и не нужно, поэтому я спокойно отношусь к тому, что мой текст кому-то не понравится. За конструктивную критику я вообще всегда благодарна – очень трудно реально оценивать то, что сделал сам, так что если кто-то взял на себя труд выловить в вашем тексте блох, надо не злиться, а радоваться и говорить «спасибо». К тому же мне очень и очень повезло с первыми критиками и читателями. Книга понравилась моим родителям (не случись этого, я бы, пожалуй, не стала показывать ее больше никому), в нее сразу поверили литературные агенты Юлия Гумен и Наталья Смирнова, просто блестящие профессионалы, и, наконец, ее захотела издать Елена Шубина (тут очень уместно без всякой лести прибавить – сама). Думаю, что все, кто пишет сегодня по-русски, понимают, что это значит.

**– По-моему, вы – замечательный профессионал в прозе. Насколько поспособствовал развитию вашего мастерства Литературный институт? Что думаете о теперешнем состоянии нашего общего вуза?**

– Это очень странное место – Литературный институт, и, мне кажется, он был странным всегда и таким же и остался. Там прекрасно ставят руку и отлично учат – но только тех, кто этого действительно хочет, а таких студентов в Лите всегда – исчезающе малое число. Все же и так гении, сами понимаете. Чего над учебниками потеть? Мне невероятно повезло. У меня были прекрасные педагоги – просто невероятные: Олег Анатольевич Коростелев, Владимир Павлович Смирнов, Василий Васильевич Калугин, покойный Лебедев Евгений Николаевич, мой научный руководитель. Они не просто преподавали – они давали почувствовать литературу на вкус, позволяли ощутить себя частью литературного процесса. К сожалению, я не знаю, что творится в Литературном институте сейчас. Давно там не была, очень давно – ректор, при котором я училась (Сергей Есин. – М.Л.), начисто отбил у меня даже охоту приближаться к зданию. Наверное, там все то же самое. Много гениев, много споров о литературе, все валяют дурака и верят в счастливое будущее. Как и положено студентам.

**– Ваша новая книга пользуются большим покупательским спросом. И это при том, что интерес к печатной продукции сейчас падает. Что думаете о перспективах книгоиздания в России, в котором вы, не сомневаюсь, примите дальнейшее участие?**

– Пока есть люди, для которых чтение – потребность почти физическая, а такие есть всегда, я сама из их числа, никакие цены и кризисы ничего не изменят. Господи, да о чем мы говорим? Даже в первые месяцы после революции книжки выходили – на оберточной бумаге, мизерным тиражом, но выходили! Так что с книгами ни в России, ни в мире никогда ничего не случится – издавали, издают и будут издавать.

**– И напоследок банальный вопрос о планах: не намереваетесь ли, так сказать, воскресить своего Лазаря?**

– Ой, нет, продолжения «Женщин Лазаря» не будет – давайте дадим этой семье пожить спокойно, без нас. Тем более что следующая моя книга – тоже в своем роде семейный роман. Это история целой династии врачей, жизнь нескольких поколений семьи, которая все время готова была прерваться, прекратить свое существование, но все-таки выживала, выкарабкивалась. И еще это будет история о том, во что превращается жизнь человека, который вынужден отказаться от мечты. Страшная, в сущности, вещь – попытаться уничтожить в себе самое главное, свою суть, отказаться от этого ради других людей, которые скорее всего и не заметят жертвы. Лечить – это вообще очень непросто. Сложное призвание. Но я уверена, что герои справятся.

Подробнее: [http://exlibris.ng.ru/person/2011-11-10/2\\_hero.html](http://exlibris.ng.ru/person/2011-11-10/2_hero.html)

## ЖЕНЩИНЫ ЛАЗАРЯ

### Глава первая Барбариска

В 1985 году Лидочке исполнилось пять лет, и жизнь ее пошла псу под хвост. Больше они так ни разу и не встретились — Лидочка и ее жизнь, — и именно поэтому обе накрепко, до гула, запомнили все гладкие, солоноватые, влажные подробности своего последнего счастливого лета.

Черное море (черное, потому что никогда не моет руки, да?), похожий на рассыпавшиеся спичечные коробки пансионат, пляж, усеянный обмякшими картонными стаканчиками из-под плодово-ягодного (папа говорил — плодово-выгодного) мороженого и огромными раскаленными телами. Утренний проход к облюбованному местечку, вежливый перебор ногами, чтобы не зацепить пяткой или полотенцем чужую, буйную, отдыхающую плоть. Лидочка быстро теряла терпение, и стоило мамочке хоть на секунду отвлечься на соседку по столовскому столику или бродячего торговца запрещенной сахарной ватой, как Лидочка срывалась со строгого визуального поводка и, без разбору молотя круглыми толстыми пятками, с пронзительным верещанием бросалась к морю.

Потревоженные, как сивучи, курортники приподнимались, вытряхивали из влажных расщелин и синтетических складок крупный, словно перловка, утренний песок, улыбались в ответ на извинительные родительские причитания — ничего, нехай дите порадуетя! Ишь, поскакала, егоза! Вы понимаете, она у нас в первый раз на море... А вы сами откуда будете? Из Энска. О, далеко забралися. А мы из Криворожья, получили вот путевошки от завода, правда, Мань? Маня радостно кивала добрым ртом, щедро набитым золотой рудой, и сдвигала в кучу барахло, чтобы папе было удобнее постелить полотенце. Вы в Солнечном отдыхаете? Да-да. Мамочка торопливо выпутывалась из сарафана, потрескивая искрами и швами ненастоящего шелка. А мы в Красном Знамени. Очень приятно.

Готовой вспыхнуть многолетней дружбе — с открытками на календарные праздники и взаимными визитами через всю страну — мешали жара и Лидочка, золотистая, оглушительная, гладкая, блещущая в мелком всенародном прибое. Мамочка никак не могла отвлечься от нее — ни на вспотевший арбуз, сахарно хрустнувший под хищным перочинным ножом мирного криворожского пролетария, ни на вечного пляжного «дурачка» (позвольте, а что у нас — козыри? Нет, червы были в прошлый раз!), ни на нескончаемо запутанные монологи из заманчивой незнакомой жизни. И тогда Петрович, брат мой, grit — мол, забирай, Лариска, дите и перебирайся ко мне, места хватит, а он и правда только от правления комнату получил — двенадцать метров, хоть свадьбу играй, хоть на мотороллере катайся! Романтический пунктир судьбы никому не известного Петровича грозил превратиться в линию сплошного человеческого счастья, но мамочка только рассеянно улыбалась.

В другой раз она с наслаждением примерила бы на себя чужую, невозможную судьбу — только для того, чтобы убедиться, как ладно и ловко скроена ее собственная. Но стоило истории заложить очередной сюжетный вираж, полный коммунальной нищеты и прижитых во грехе младенцев (почему-то скудный советский быт всегда провоцировал невиданные, прямо-таки байронические страсти), как Лидочка, хохоча, отпрыгивала от щекотной волны, и нить истории безнадежно ускользала. Горизонт, мреющий, дрожащий от нарастающего жара, слепил глаза, мамочка испуганно жмурилась, не находя среди облезлых плеч, титанических задниц и ликующих воплей знакомую дочкину панамку. Слава богу, вот она. Лидочка в ответ махала рукой и, не снимая красно-синий надувной

круг, присаживалась на корточки — лепить из песка аппетитный куличный домик с термитными башенками, выдавленными из маленького горячего кулака.

Панамка из белого шитья бросала живую дырчатую тень на Лидочкины загорелые щеки, но тень от ресниц была еще прозрачнее и длиннее — ой и ладненькая у вас доча, тьфу на нее, шоб не сглазить. Мамочка благодарно — двумя руками, как хлеб, — принимала похвалу, но втайне с ликующей, клокочущей уверенностью даже не чувствовала — знала, что ничего Лидочка не ладненькая, а единственная. Неповторимая. Самый прекрасный ребенок на свете — с самой прекрасной, безукоризненно счастливой судьбой. Мамочка с тихой изумленной улыбкой смотрела на дочку, а потом на свой живот — молодой, тугой, совсем не изуродованный ранними родами, и сама не верила, что Лидочка — круглоглазая, как щенок, с шелковыми горячими лопатками и невесомыми взрослыми завитками на смуглой толстенькой шее — когда-то вся-вся помещалась там, внутри, а еще раньше вообще не существовала. Тут мамочкины мысли, достигнув окраины постижимого, начинали опасно буксовать, словно зависший над пропастью грузовик — надсадный вой агонизирующего мотора, два колеса тщетно наматывают на лысые шины густеющий воздух, два других — горстями швыряют мелкую, словно взрывающуюся от напряжения щебенку. Еще секунда до падения, секунда, секунда, прыгает перед глазами прозрачный пластиковый игрушечный чертик, Вовка сделал из капельницы, три рубля мне должен, зараза, теперь уж точно не отдаст, так вот, значит, как это, вот как умирают, вот о чем я уже никогда и никому не смогу рассказать... Ну почему небытие до рождения пугает меня больше, чем посмертная пустота? Почему умирать так не страшно, гос-пади-помилуй-и-пронеси?

— Ты бледная что-то, Нинуша, — встревожено говорил папа и целовал мамочку в плечо. Кожа под губами и языком была горячая и сухая, как будто слегка подкрахмаленная. — Не перегрелась?

Мамочка виновато улыбалась. Морок отпускал ее, и душа, мелко крестясь, вырубивала на основную дорогу — взмокшая от ужаса, спасенная, изнемогающая, но самым-самым своим краешком тоскующая, что так и не узнала что там — за последней секундой, после которой только кувыркаящийся полет вперегонки с бесшумными обломками железа, и треск рвущихся мышц, и... и... и... Мамочка растерянно пыталась представить себе то, что невозможно себе представить, терлась лбом о спасительную мужнину руку — крепкую, в крупных веснушках и родных рыжеватых махрах. Да, жарко что-то, милый. Голова закружилась.

Лидочка, в свои пять лет еще совершенный звереныш, почуяв неладный потусторонний сквознячок, тотчас бежала к матери — горячая, ловкая, в невиданных импортных трусиках-недельках. Каждый день — новый цвет, каждый день — новая смешная аппликация. Розовые трусики с земляничной — понедельник. Голубые с нахохлившимся зайкой — вторник. Желтые со щербатым подсолнухом — среда. Ма, ты чего? Мамочка нежными губами трогала дочкины веки — один глазик, другой — все в порядке, Барбариска, ты не обгоришь у меня, а? Не, успокоившаяся Лидочка выворачивалась из ласкающих рук, рвалась обратно к морю, новые пляжные знакомцы приветливо скалились. Лида, Лидочка, Леденец, Барбариска — маленькие семейные прозвища, воркующий говорок родительской страсти. Никогда и никто больше так сильно. Никто и никогда.

— Не удирай, партизанка, — папа подхватил Лидочку на руки, ловко перевернул, так что Лидочка зашлась от смеха: небо и море плавно поменялись местами, вот-вот посыплется в облака кораблики на горизонте, кусачие рыбы, морские коньки, все плыло, таяло, висели на невидимых нитках оглушительные чайки, парила между небом и морем сама Лидочка.

Это и было счастье — родные, горячие руки, которые никогда тебя не выпустят, не уронят, даже если перевернулся весь мир. Она потом это поняла. Очень сильно потом.

— Посиди с тетей Маней и дядей Колей, — велел папа, опуская Лидочку на песок, и море снова стало внизу, а небо — вверх. Как обычно. — Посидишь? А мы с мамочкой сплаваем, а то она у нас совсем-совсем сварилась.

— Идите, идите себе спокойно, — сдобно загудела тетя Маня, — я своих двоих на ноги подняла, да внучка третья на подходе — глаз с вашей красотули не спущу. Купайтесь на здоровье.

— Мы не надолго, — виновато пообещала мамочка и прижалась к Лидочке мягкой огненной щекой. — Слушайся тетю Маню. Я тебя очень и очень люблю.

Лидочка невнимательно кивнула — тетя Маня с заговорщицким видом производила в своей сумке какие-то энергичные раскопки, и ясно было, что извлечет она что-то очень и очень интересное. Дядя Коля тоже выглядел заинтригованным — видно было, что его жизнь с женой до сих пор полна молодых, волнующих сюрпризов. Опаньки! — с цирковой интонацией воскликнула тетя Маня и одарила Лидочку громадным персиком — нежно-шерстяным, горячим, тигрово-розовым от переполнявшего его света. Волна толкнула прохладной лапой мамочкин живот, и по спине и плечам тотчас шарахнулись торопливые мурашки. Лидочка, зажмурившись, понюхала щекотный персик. Давай, кто быстрее до буйков, Нинуш? Мамочка тряхнула головой и доверчиво улыбнулась. Кушай, доча, — ласково напутствовала тетя Маня, дядя Коля уже обстукивал об коленку вареное яйцо, добытое из той же сумки, на газетке один за другим, как в фокусе, появлялись уродливые помидорины «бычье сердце», ломти экспроприированного из столовой хлеба, колбаска, рыночный, насквозь золотой виноград. По восемьдесят копеек сторговалась, похвасталась тетя Маня и с одинаковой бездумной нежностью погладила сперва нагретую солнцем головку Лидочки, а потом — стриженный дегенеративный затылок своего пролетарского мужа, — ох, и золотая ты у меня, хозяйка, Маруська, сам себе завидую, чессло...

Лидочка доела персик почти до половины, переводя дух и подстанывая от удовольствия, липкий сок заливал ей подбородок, толстенький, загорелый живот — да не размазывай, доча, я тебя потом накапаю, будешь чистенькая, как яблочко, мамка-то где у тебя работает? Ишь ты — и папка тоже чертежи рисует? А комнат у вас сколько? Слышь, Коль, я ж говорила, что на севере инженерам трехкомнатные квартиры сразу дают, а ты — на фиг Генке техникум, пусть сразу на завод идет! Так и подохнут с семьей в общежитии. А зарплаты у мамки с папкой большие? Не знаешь? Ну, кушай, доча, кушай, дай тебе бог здоровычка, и мамке твоей с папкой тоже...

Крик раздался внезапно, жуткий, на одной ноте — ААААА! Лидочка поперхнулась, выронила персик, его тут же облепило крупным песком — прямо по самой лакомой мякоти, уже не отмоешь, на выброс, жалко-то как, а крик все приближался, пока не взвинтился на такие запредельные высоты, что пляжная картинка, словно нарисованная на толстом полупрозрачном стекле, тотчас помутнела и вся пошла быстрой паутиной испуганных трещин. Отдыхающие медленно, как сомнамбулы, поднимались с полотенец и лежаков, кто-то уже бежал к берегу, расталкивая остальных.

ААААААА! ПА-МА-ГИ-ТЕ! ПА-МА-ГИ-ТЕ!

Тетя Маня испуганно перекрестилась, господи исусе, Коль, глянь, что случилось, только не реви, доча, это кому-то, видно, головку напекло, пойдем тоже посмотрим. Лидочка все оборачивалась на упавший и безнадежно испорченный персик. Она и не думала реветь. Наоборот — было ужасно интересно.

Папа стоял на коленях на самой пляжной кромке и его, как маленького, тянул за руку рослый мокрый парень, один из отряда бугристых спасательных кариатид, которые обычно сутками торчали на своей деревянной вышке, обжираясь мороженым, заигрывая с курортницами, но по большей части, конечно, дуря от скуки.

— Вы в порядке, товарищ? — спрашивал парень у папы, участливо выставив зад в пламенеющих плавках, и из толпы любопытствующих кто-то ответил укоризненным баском:

— Какое в порядке! Не видишь! Потоп человек!

— Не потоп, а баба его потопла, — поправили басовитого, и папа, наконец вырвав у парня руку, вдруг мягко и глухо охнул и упал ничком, будто игрушка, которую случайно пихнули локтем с насиженного места.

Спасатель распрямился, растеряно озираясь, но сквозь кольцо отдыхающих уже пробивалась, покрикивая, белая и юркая, как моторка, докторша — и точно такая же белая и юркая, но уже настоящая моторка крутилась у буйков, нарезая взволнованные круги, и с нее с беззвучным плеском ныряли в гладкие волны другие спасатели, перекрикиваясь далекими, колокольными, молодыми голосами.

— Ишь ты, жена утонула, а сам целый, — не то укорил, не то позавидовал кто-то невидимый, неразличимый в голой, потной, гомонящей толпе, и папа, словно услышав эти слова, тотчас поднялся — весь, как недоеденный Лидочкой персик, облепленный тяжелым бурым песком.

Он вдруг задрал голову к небу и погрозил кулаками кому-то сверху — жестом такой древней и страшной силы, что он не был даже человеческим. Шаловливая волнишка решила подлизаться к нему, припала к розовым, детским каким-то пяткам, но вдруг перепугалась и бросилась назад, в море — к своим. Папа обвел отдыхающих голыми мокрыми глазами.

— Нет, — сказал он вдруг совершенно спокойно. — Это все неправда. Нам пора обедать. Мы сейчас пойдем обедать. Где моя дочь?

Лидочка выдернула из кулака тети Мани маленькую, липкую от персикового сока руку и бросилась прочь, увязая в сыпучем, горячем — сыпуче и горячо. Что-то отчетливо лопалось у нее в голове, маленькими частыми взрывами — словно срабатывали крошечные предохранители и, не выдержав напряжения, перегорали — один за другим, один за другим. Пока не стерлось все, что нужно было стереть.

(Только тринадцать лет спустя, глядя по Би-би-си неторопливую документалку про семью орангутангов, Лидочка внутренне запнулась, когда самец, едва отбивший детеныша у аллигатора, выскочил на берег, по-человечески, хрипло завыл и вдруг поднял изувеченного мертвого малыша к небу — не то карая, не то укоряя, не то пытаясь понять. Лидочка поморщилась, голову вдруг заволокло солевой мутью, будто она смотрела на мир сквозь захватанные жирными пальцами очки — чужие, с чужими диоптриями, прихваченные впопыхах с чужого стола. Ничего не получалось. Ничего.)

А потом самец бережно положил детеныша на землю и все орангутанги по очереди обнюхали неподвижное изувеченное тельце, как будто попрощались, и гуськом ушли прочь, ссутуленные эволюцией, нелепые, мгновенно и счастливо все забывшие, потому что забыть для них — это и означало жить. Жалко, правда? — спросил Лужбин, часто смаргивая — как все осознанно жесткие люди, он охотно лил слезы по пустякам. Лидочка согласно кивнула. Плакать от жалости ее отучили еще в училище, в девять лет. Персик хочешь? — Лужбин смущенно потянулся к тарелке с фруктами, вот черт, разнюнился, как баба. Нет, сказала Лидочка. Извини. У меня на персики аллергия.)

Дети устроены крепко, очень крепко. Сколько ни пыталась повзрослевшая Лидочка вспомнить лето восемьдесят пятого года не до, а после 24 июля — не получалось ничего, кроме болезненных и ярких вспышек. Покрывало на кровати в номере — бело-голубое, в цветах. Папа, целые сутки пролежавший на соседней кровати — лицом к стене, на затылке — сквозь рыжеватый пух — розовая, беззащитная кожа. В самолете — Лидочка первый

раз в жизни летела в самолете! — зятая в синее и очень красивая тетенька разносила на подносе леденцы «Взлетные» — махонькие, вдвое меньше обычных, удивительные. Лидочка взяла один и, как учила мамочка, тихо сказала спасибо. Возьми еще, девочка, — разрешила стюардесса, и сквозь приветливый профессиональный оскал, сквозь толсто, как на бутерброд, намазанный тональный крем «Балет» проступили вполне человеческие участливые морщинки. Спасибо, снова прошептала Лидочка и взяла еще одну конфетку. В самолете было интересно, но душно и пахло хвойным освежителем воздуха и призраком чьей-то очень давней рвоты. Все шесть часов, что они летели до Энска, папа проплакал. Без остановки. Целые шесть часов.

Кто тогда взвалил на себя все невозможные хлопоты, кто собирал документы, добывал гроб, кто помог перевезти его через всю страну — кто? Лидочка так и не узнала. На похороны ее не взяли, и она — под присмотром молчаливой, оснащенной вязальными спицами соседки — осталась дома и степенно играла со своими куклами. Куклы варили суп и ходили в гости, а гэдээровская Леля с золотыми скрипучими волосами даже вышла замуж за зайца. Она была ростом чуть поменьше самой Лидочки, эта Леля, так что мамочка даже перешла ей одно из Лидочкиных платьев — белое, праздничное, с ужасным ожогом на груди от неосторожного утюга. Мамочка спрятала ожог под большим бантом и теперь бело-шелковая Леля была просто обречена на вечные матримониальные устремления. Кем ты работаешь, Леля? Я? Невестой!

Когда зазвенел дверной звонок, Лидочка как раз соображала, кого назначить Леле и зайцу в ребеночки — лупоглазого щенка или пластмассового Гурвинека, у которого двигались ручки. Соседка в четыре приема (снять очки, положить очки, уронить клубок, потереть поясницу) попыталась извлечь себя из кресла, но Лидочка уже неслась в прихожую, подпрыгивая от счастья — мамочка, это мамочка пришла, я знаю! Соседка наконец-то вырвалась из мебельного плена и украдкой перекрестилась. За дверью стояла женщина — Лидочке совершенно незнакомая — в платье невероятного, тревожного, ночного цвета. Она была очень красивая — очень, куда там стюардессе. Почти такая же красивая, как мамочка. Только губы чересчур красные. Женщина не глядя отодвинула Лидочку в сторону, словно небольшой и не слишком ценный предмет, и вошла в дом.

— А где мама? — спросила Лидочка и заранее растянула рот, чтобы половчее зареветь.

— Умерла, — очень спокойно ответила женщина, и соседка еще раз перекрестилась.

— А папа? — что такое «умерла» Лидочка не знала, но рев на всякий случай отменила.

Губы у женщины чуть-чуть дрогнули, как будто она собиралась поцеловать воздух, а потом передумала.

— Твой папа скоро вернется, — сказала она и наконец-то посмотрела на Лидочку.

Глаза у женщины оказались серо-голубые, прозрачные, гладкие и с каким-то сложным сизоватым переливом на самом дне. А у мамочки глаза были рыжие. Рыжие и веселые — как у рыжей веселой собаки. И потом — дальше, всю жизнь — больше всего на свете Лидочка боялась это забыть.

— А вы сами, позвольте, кто такая? — наконец-то очнулась от морока соседка, которая до этого недоверчиво разглядывала двойную жемчужную нитку на шее неведомой гостьи — бусины были крупные, одна к одной, и держались вместе с замечательной скромностью очень дорогой и очень простой вещи.

Искусственные, поди, успокоила себя соседка, профессиональный товаровед и вдохновенная завистница на заслуженной пенсии. Напрасная надежда — жемчуг был настоящий, серо-розовый, морской, терпеливо выращенный в нежных, живых устричных потемках. У Галины Петровны Линдт вообще все было только настоящее, только самое лучшее и дорогое. За исключением ее собственной жизни, но об этом, слава богу, никто не знал.



— Кто я такая? — Галина Петровна сострадательно приподняла брови, как будто соседка была сумасшедшей и не узнала царствующую особу, портрет которой висел в каждом доме в красном углу — волнистый от фимиама народной любви и бесконечно закипающего самовара. — Кто я такая? Вы серьезно?

Соседка мигом стушевалась, отступила назад, в свою жалкую жизнь, в тесную однушку, где по побеленным стенам трафаретом были намалеваны угловатые деревенские узоры.

— Пойдем, — сказала Галина Петровна и подтолкнула Лидочку к двери, которую никто так и не догадался закрыть. И Лидочка послушно переступила порог собственной жизни.

Не сразу, но Лидочка разобралась, что ее унаследовала бабушка.

Бабушку звали — Галина Петровна, вы. Лидочка попробовала было вариант «бабушка Галя», но ей было отказано: во-первых, потому что звучит чересчур по-деревенски, во-вторых, можно подумать, что у тебя сто бабушек и ты не знаешь, к какой обратиться. Это правда — ста бабушек у Лидочки не было, да и дедушек тоже. Вернее, дедушка и бабушка были — жили в папиаминой спальне, и мамочка иногда снимала их со стены и ласково водила пальцем по черно-белому мужчине в кителе и по кудрявой женщине, положившей на мужнин капитанский погон легкую, полную, даже на вид веселую руку. У женщины были длинные бусы и ямочки на щеках, а у мужчины — усы насупленной щеточкой. А вот это, Барбариска, — говорила мамочка, — мои мама и папа, а твои — дедушка и бабушка. А где они? — спрашивала Лидочка, заранее, как в сказке, зная ответ и заранее радуясь этому, как радуется раз и навсегда положенному ходу вещей любой ребенок. Далеко-далеко отсюда, в одном чудесном и сказочном краю, — говорила мамочка грустно, — имея в виду не то рай, не то Дальневосточный военный округ, и заснеженный мост, с которого и нырнул задремавший за рулем грузовика несмышленный ушастый солдатик, прихватив в свои последние причудливые сновидения и продрогший в кузове взвод, и капитана, проголосовавшего на выезде из города Бикина, и сидевшую в кабине капитанову жену, которая даже мертвая прижимала к груди купленную в военторге настольную лампу под жарким солнечным абажуром.

А почему бабушка с дедушкой не едут к нам в гости? Лидочка нетерпеливо тянула мамочку за руку, как будто чувствовала, что нельзя слишком долго думать про ломающийся под колесами лед, про летящую навстречу черную, беззвучную от холода воду. Почему, скажи, почему? Потому что это очень далеко, Барбариска. А мы к ним поедим? Непременно, — серьезно обещала мамочка. — Сперва мы с папой, а потом и ты. Только это будет очень и очень нескоро. Через тысячу миллионов лет? У Лидочки даже дух захватывало от такой величественной цифры. И даже еще дольше! — обещала мамочка и вставала с пуфика, похожего на плюшевую клубничину на толстых ножках. А давай-ка пойдем и пышек с тобой напечем, вот что! Лидочка ликующе верещала, предчувствуя возню с мукой и свежееоткрытую банку варенья, и бабушка с дедушкой возвращались на стену. Честно говоря, на дедушку с бабушкой они были похожи мало.

Но Галина Петровна — Галина Петровна вообще не была похожа ни на кого!

Во-первых, она совершенно одна жила в огромной квартире, похожей на картинку замка в большой похрустывающей книжке сказок Шарля Перро.

Во-вторых, в квартире нельзя было бегать, прыгать и кричать. То есть — этого вообще больше было нельзя делать, но в квартире — особенно.

В-третьих, каждое утро приходила специальная женщина — Марьянна, которая передевалась в фартук и прибиралась во всех комнатах с бездушной и молчаливой сноровистостью настоящего механизма. Мамочка, когда прибиралась, всегда сердилась или пела. Еще Марьянна готовила еду — каждый день другую, свежую, а остатки вчерашнего обеда или ужина переливала в специальные кастрюльки, которые назывались

судки. Судки Марьванна уносила с собой. С Лидочкой она не разговаривала — как будто ее не было.

— А зачем Марьванне еда? — Лидочка не выдержала, все-таки спросила у Галины Петровны, хотя прекрасно знала и про любопытную Варвару, и про оторванный нос. Мамочка с папой не разрешали лезть с вопросами к чужим взрослым. Но если других, не чужих взрослых, больше не было, значит, спрашивать было, наверно, можно.

— Какая еда? — рассеянно удивилась Галина Петровна, оторвавшись от телевизора. — А-а-а... Эта. Не знаю, внукам, наверно, забирает.

Лидочка помолчала, соображая.

— А Марьванна — наша общая бабушка?

Галина Петровна окончательно вынырнула из художественного фильма «Браслет-2». Лошадь какая-то дурацкая. Совсем разучились кино снимать.

— С чего ты взяла, что Марья Ивановна — наша бабушка? И не ковыряй кресло. Испортишь.

Лидочка послушно перестала поглаживать бархатистую обивку. Марьванна приходила каждый день — готовила, убирала, застилала постели, стирала. Заботилась о Лидочке и Галине Петровне, как и положено бабушке. К тому же, как только что выяснилось, у нее были внуки, которым она носила то, что Лидочка с Галиной Петровной не доели. Следовательно, Галина Петровна и Лидочка тоже были внуки Марьванны, причем — самые любимые. Лидочка не видела в логической цепочке своих рассуждений ни единой дырки. Все было верно. Разве нет?

Галина Петровна раздраженно пожала плечами.

— Какой ерундой забита твоя голова! Марья Ивановна — моя домработница. Иди лучше почитай или порисуй. Ты читать хоть умеешь?

Лидочка обиженно сползла с кресла. Читать она умела. И очень давно. Между прочим, даже про себя!

Странно было другое: прежде Лидочка и понятия не имела, о том, что Галина Петровна вообще существует. Это было непонятно. Потому что или у тебя есть бабушка — пусть даже настенная, или у тебя бабушки нет. Конечно, можно было потребовать разъяснений у папы, но папа — хотя Галина Петровна и пообещала, что он скоро придет, — почему-то не возвращался. Лидочка смутно помнила, что в первую ночь, которую она провела у Галины Петровны (ей постелили на кожаном диване, живом и совершенно слоновьем на ощупь), папа был. Он, покачиваясь, стоял возле дивана на коленях и тоненько, как щенок, скулил, и Лидочка даже сквозь густые слои сна чувствовала его родной, теплый запах — чудесную смесь табака и одеколона, про который мамочка говорила, что он пахнет лавровым листом из супа, и даже звала иногда так папу — Лаврушка.

«Лаврушка», — пробормотала Лидочка, ворочаясь — подушка была непривычная. Слишком мягкая. Мамочка говорила, что спать на мягком — вредно. Папа испуганно замолчал. «Спи, доченька, спи, моя зайка, — зашептал он, невидимыми слепыми руками пытаясь нашарить Лидочку среди диванных отрогов. — Видишь, косички тебе никто на ночь не расплел, бабушка не догадалась, ты уж не сердись на нее, она научится, вот увидишь...»

Лидочка попыталась разлепить тяжелые ресницы — ничего не получилось. А где мама? — спросила она недовольным, лохматым со сна голоса, — маму позови... Папа помолчал, словно собираясь с силами, а потом вдруг уткнулся в Лидочку огромным, огненным лицом, так что она даже сквозь тонкую ткань пижамки почувствовала, как стучат и прыгают у него зубы.

— Прекрати истерику, Борис, — приказала из ниоткуда возникшая в дверном проеме Галина Петровна. Призрачно-белая ночная сорочка, затканная жесткими шелковыми драконами халат. — Ведешь себя, как баба.

Папа поднял голову, пижама на боку у Лидочки была насквозь мокрая от его слез.

— Ты всегда ее ненавидела, — сказал папа тихо. — Всегда.

Галина Петровна пожала плечами и исчезла, а потом исчез и папа, истаял в медленном ночном воздухе, когда Лидочка перевернулась на другой бок, не в силах больше противиться ласковому напору со всех сторон наплывающего сна...

Наутро папы нигде не было, и Лидочка долго слонялась по незнакомой квартире, шлепая босыми пятками, пока не набрела на Галину Петровну, которая стояла у окна в горячем табачном ниббе — мамочка никогда не курила. Папа курил, а мамочка нет.

— А где папа? — спросила Лидочка угрюмо.

Галина Петровна обернулась — сигарета у нее в пальцах была удивительная. Длинная.

— Уехал, — сказала она.

— А мама?

— А мама умерла.

Лидочка помолчала, примеряя на себя эту невозможную судьбу.

— Я хочу домой, — сказала она.

— Теперь твой дом тут.

Это была неправда — и обе они, и Лидочка, и Галина Петровна, прекрасно это понимали. Но выбора не было. И Лидочка с Галиной Петровной начали жить вместе.

Первым делом Галина Петровна повезла Лидочку к врачу. В длинной белой машине с плавным названием «Волга». Причем Галина Петровна сама села за руль: и это было удивительно, потому что в прежней Лидочкиной жизни машины водили только ласковые дядьки с огромными заскорузлыми руками — таксисты. Мамочка еще всегда делала на их ногти круглые, возмущенные брови: демонстрировала Лидочке, что бывает, если не мыть руки перед едой. Ногти были черные, в трещинах и некультурных слоях. А автобусы вообще ездили сами по себе. Зато в автобусах можно было тайком сунуть нос в душную мутоновую полу чьей-нибудь шубы или потрогать за скрипнувший яркий подол чужую нарядную юбку. Автобусы Лидочка любила.

Галина Петровна усадила Лидочку, свежую и наряженную, как кукла, на переднее сиденье и туго перехватила ремнем безопасности — словно перетянула лентой праздничный букет. Не вертись, — строго велела она, и улица радостно, как щенок, бросилась им навстречу — легкая, гладкая, вся в длинных тенях и слепящих солнечно-зеленых квадратах. От быстрого, почти клавишного перебора, с которым столбы сменяли стволы, а стволы — зеркально залитые окна, Лидочку почти сразу замутило. К тому же в «Волге» сильно и сладко воняло бензином и духами Галины Петровны — невыносимыми, густыми, будто взорвавшееся на жаре, нагло прущее из банки смородиновое варенье. Это был диоровский «Пуазон», аромат, которому только предстояло стать легендарным, а пока — новинка, невероятная даже для Парижа, выпуск 1985 года, этого года, того самого, в котором — прямо сейчас — текла по энским улицам «Волга», и Лидочка, притянутая к сиденью, болтала лапами, пытаясь нащупать сандалией громахающий пол. Тщетно. Столб, ствол, окно, поворот. Ствол, окно, поворот, столб.

Галина Петровна заплатила за «Пуазон» триста рублей — триста! — больше, гораздо больше чем ежемесячная зарплата многих граждан огромной советской страны. Но чем больше тратишь, тем больше становится денег — это же очень простое и очень понятное правило. И потом, кто определит, сколько стоит унция счастья, в каких денежных единицах измерить звук, с которым лопнул стеклянистый целлофан, лопнул и сполз с

зеленой, как будто даже малахитовой коробочки? Лилово-синий, округлый и гладкий, как молодая женская грудь, флакон. Прозрачная призма плотно притертой пробки. Галина Петровна провела прохладным, влажным горлышком флакона по собственному горячему пульсирующему горлу. Мед апельсинового дерева, малина, амбра, опопонакс и кориандр. Чтобы получить смолу опопонакса, растению *Ferula Oporopax* наносят смертельную рану. Слезы и кровь этой травы пахнут пряным, чистейшим ядом. Не думаю, чтобы в Совдепии еще у кого-нибудь были такие духи, — промурчала верная Норочка, тайная поставщица энской элиты, маленькая крыса больших фарцово-дипломатических путей. Триста полученных от Галины Петровны рублей она сунула в розовую полуоткрытую пасть своей щегольской сумочки — будто в лифчик, быстрым и сноровистым движением мелкой воровки, которое не вязалось ни с Норочкиным сложносочиненным, до вытачки и кокетки импортным нарядом, ни с ее протяжной небрежной повадкой ко всему привыкшей богатой дамы.

Машина подпрыгнула на предательски разъявленном канализационном люке, и Лидочка еле проглотила громадный шерстяной комок надвигающейся рвоты. Пахнет, — пожаловалась она прямо перед собой. Без особой надежды пожаловалась — просто так. Галина Петровна перегнулась, протянула крупную руку (пуазоново-бензиновая вонь стала осязаемой — как будто Лидочку с головой макнули в чернильно-черные сладкие сопли), и быстрый уличный воздух ловко, как кот, просунул сквозь оконное стекло тугую прохладную лапу и немного ударил Лидочку по губам и по круглому вспотевшему лбу. Дышать сразу стало немного легче. Зато опасная и монотонная считалка — столб, ствол, окно, поворот — сразу наполнилась грозным, рокошующим ревом. Все шумы проносающегося мимо города, торопливо отталкивая друг друга, попытались разом протиснуться в оконную щель, но, разумеется, застряли и от того завывли на совсем уже яростной, невыносимой ноте.

Чтобы хоть немного отвлечься, Лидочка скосила глаза на Галину Петровну, но и та, как на беду, была вся в непрерывном, почти механическом движении. Под юбкой цвета нежной свежей ряженки быстро ходили сильные колени — как будто Галина Петровна месила невидимыми ступнями что-то упрямое, сопротивляющееся и злое. Правая рука (с крупным, спелым рубиновым кабошоном на пальце) то и дело ложилась на рукоять, торчавшую прямо из пола, — рукоять с хищным хрустом дергалась, будто ломалась какая-то невидимая, но важная кость, машина в ответ жалобно рыкала, и рука Галины Петровны возвращалась на руль, завершая его плавное поворотное движение. Это было похоже на странный механический танец, невыносимый и для зрителей, и для плясуна, и особенно мучительно было движение головой, которое Галина Петровна делала, по очереди заглядывая в три зеркала — вверху, слева, справа, — и всякий раз медно-карий скульптурный локон над ее лбом вздрагивал, на одну сотую доли секунды выпадая из общего заданного такта.

В какой-то момент этот сложный узорчатый ритм пришел в резонанс с безостановочным законным мельтешением, запах в машине усилился, стал почти торжественным, хоральным и оглушительно громким. Лидочка, уже понимая, что поздно, кончено, все-таки попыталась выпростать из-под ремня руки или хотя бы зажмуриться. Не вертись, говорю, — сердито приказала Галина Петровна, взвизгнув тормозами, и — опляп! — Лидочку вырвало.

Платье (голубое, новое, с атласным поясом и мелко плоенным воланом по подолу) почти не пострадало, а белые носочки с бомбошками рыдающая Лидочка под присмотром Галины Петровны застирала в туалете поликлиники. Боже, что за ребенок! Лучше прополаскивай. Теперь отожди как следует. Руки не так держишь. Не так! Галина Петровна выхватила у Лидочки из рук опоганенные носки и ловко — раз, раз! — выжала над раковиной. Кабошон на ее пальце поймал бегущую из крана витую струйку и освобожденно полыхнул на весь туалет влажным багровым огнем. По кафельным стенам

вскачь пронеслись гладкие розовые блики — и пропали. Рот прополощи, — велела Галина Петровна, и Лидочка послушно покатила во рту прохладный, пахнувший хлоркой водяной шарик. Выпустила его на волю. Подобрала с подбородка нитку горькой, липкой слюны. Ее больше не тошнило, разве что самую малость крутило в животе. Да и то больше от стыда. Галина Петровна скатила постиранные носки в тугий влажный шарик и ловко бросила в сумочку. Пойдем, — велела она. И они пошли.

Докторша была похожа на пирожное безе — круглая, белая и словно склеенная из двух сахаристо похрустывающих легких половинок. Это что же это за кукла такая ко мне пришла, — затянула она сладким, тоже безейным голосом опытного педиатра, присаживаясь перед Лидочкой на корточки. Лидочка на всякий случай попятилась, ожидая чего-нибудь ужасного вроде шпателя или шприца — ясно было, что от человека с таким голосом нельзя ждать ничего хорошего. Но докторша ловко и небожно ощупала Лидочку гладкими пальцами — а теперь скажи а-а-а, вот умница, ручки подними, хорошо, давай-ка теперь тебя послушаем. Кружок стетоскопа — такой ледяной, что как будто даже горячий, хлопотливый топоток растревоженных, щекотных мурашек. Лидочка свела ставшие пупырчатыми лопатки и хихикнула. Не дыши, — серьезно велела докторша, — а вот теперь — дыши. Лидочка хихикнула еще раз, и Галина Петровна раздраженно погрозила ей пальцем.

— Совершенно здоровенькая девочка, — присудила наконец сахарная врачиха и помогла Лидочке надеть платье. — А красотка какая — просто копия вы, Галина Петровна. А вас что-то конкретное беспокоит? Может, Лида кушает плохо? Или спит? Вполне понятно — после такого-то стресса. Вы сами-то как себя чувствуете? — Докторша деликатно понизила голос, словно приглашая Галину Петровну на тур упоительного словесного вальса. Она, как и многие ведомственные врачи, большую часть дня дурела от невыносимого и хорошо оплаченного восторга перед высокопоставленными пациентами и спасала рассудок исключительно сплетнями.

Галина Петровна сердито дернула плечом. Сплетничать она была не намерена — тем более о себе самой.

— Я в абсолютном порядке, — отрезала она, — успокойтесь. А ребенка проверьте как следует. Может, у нее глисты?

— Ну что вы, какие глисты, Галина Петровна! — Докторша даже как будто немножко обиделась за Лидочку, которая сидела тут же, на стуле, болтая сандалетками. На волане голубого платья — предательское пятно от застиранной рвоты, левую пятку чуть-чуть саднит. — Девочка, слава богу, совершенно здорова. Конечно, если вы хотите, можно сдать анализы, но...

Словно вызванная к жизни словом «анализы», из-за ширмы вышла медсестра, немолодая, с деревянным лицом.

— Ольга Валерьевна, выпишите направление. Кал на яйцеглист. Лидия Борисовна Линдт. Ведь папу твоего, Лидочка, Борей зовут, правда? Лидочка не успела даже кивнуть — Галина Петровна встала, взяла ее за руку и, не прощаясь, вышла из кабинета.

— Вот ведь дрянь, — с неожиданной злостью сказала в закрытую дверь медсестра. — Глисты. Как будто котенка с помойки в дом притащила.

Заблеванная «Волга», которую Галина Петровна оставила у будки охраны, ждала их — раскалившаяся на солнце, но тщательно вычищенная внутри. Это расстарался охранник, веселый толстый дядька, приставленный оберегать ведомственную поликлинику от рядовых сограждан с их никому не интересными язвами и гайморитами. Ишь ты, укачало тебя как, козявка, — посочувствовал дядька Лидочке и сунул ей в вялую ладошку барбарисовую карамельку, которая от длительного пребывания в форменных карманах практически утратила первоначальный кондитерский облик. Лидочка, обалдевшая,

подавленная новой встречей с «Волгой» и загадочным словом «глисты», послушно пробормотала спасибо — извлеченное из навеки набитых мамочкой педагогических закромов.

— Лазарь Есича внучечка? — бодро поинтересовался охранник, пытаясь погладить Лидочку по горячей макушке, но Галина Петровна ловко выдернула Лидочку из-под ласкающей руки и взамен сунула дядьке заработанный тромяк — чтоб заткнул рот и не фамильярничал.

Хлопнула одна дверца, другая, и Лидочка снова оказалась в невыносимом автомобильном нутре, среди знакомой уже вони, остро смешавшейся с запахом горячей пластмассы, хлорки и свежей рвоты.

— А кто это — Лазарь Есич? — спросила она, стараясь дышать ртом и не шевелиться, чтобы не растревожить вновь завозившийся внутри живой рвотный комок.

Галина Петровна чуть-чуть приподняла брови и взглянула на Лидочку с неожиданным уважением — как на очень взрослого и очень смелого человека.

— Лазарь Иосифович Линдт, академик, — медленно, непонятно и чуть нараспев сказала она, и это было не объяснение пятилетнему ребенку, конечно, да и вообще — не объяснение, а так — не то заговор, убивающий память, не то молитва, заклинающая демонов. Лидочка непонимающе приоткрыла рот. — Твой дедушка.

## Глава вторая Маруся

Он появился в Москве ниоткуда, словно был воплощен Богом сразу на пороге второго МГУ, — хрустящим от мороза ноябрьским утром 1918 года. Услужливое воображение наверняка уже разложило перед вами веер смуглых от времени мрачных дагерротипов: холод, голод, разруха, оголтелое людоедство, ужас, братоубийство, тиф.

Однако на деле в Москве все обстояло не так уж плохо. С марта восемнадцатого года она вновь была объявлена столицей — правда, не очень ясно, какого именно государства, но зато торопливый переезд правительства из Петрограда гарантировал отсутствие на улицах пирующего на трупах воронья. В театр имени Комиссаржевской на аристофановскую «Лисистрату» валила отнюдь не опухшая с голоду публика, футбольная команда «Замоскворецкого клуба спорта» выиграла первенство города, а на теннисных кортах «Петровки» царил Всеволод Вербицкий, актер МХАТа, душка, красавчик, взявший в том же восемнадцатом году первое место на первом теннисном чемпионате революционной Москвы. В моду — с легкой руки Свердлова — входили приятно поскрипывающие кожанки для обоих полов, добыть с рук можно было все что угодно, и скуластые брюнетки все так же играли глазами и коленками, как в прежние, мирные и, пожалуй, даже скучноватые времена. Перебои с продуктами, близость немцев и толпы более или менее пьяной солдатни не казались несомненными предвестниками Апокалипсиса. Скорее уж — это были неизбежные издержки великого перелома: что-то, связанное столь же досадно и тесно, как прелестный дачный вечер и комары, влюбленность и женитьба, Масленица и жирная, уютно свернувшаяся за грудиной изжога.

Впрочем, обломков судеб и нехитрого человеческого мусора в Москве тоже образовалось преизрядно: свежесвершившейся революцией сорвало с места не то что целые сословия — народы. Особенно много было евреев — вот уж кому советская власть поначалу и сгоряча дала решительно все. Ошалевшие, нелепые, неприкаянные без привычной черты оседлости, они потянулись в столицу — не то мыкать своего невозможного иудейского счастья, не то удостовериться лично, что — кончено, отмучились. Теперь уж наверняка. Самые пронырливые и сметливые уже привычно прилаживались, приспособливались, притирались — кто к торговлишке, кто к стремительно обесценивающимся деньжатам, кто к невиданным прежде должностям, потихоньку, помаленьку, как говаривал зоологический антисемит и по совместительству великий русский писатель — тихими стопами-с.

Впрочем, некоторым приспособляться не было ни малейшего прока, поскольку лучшие сыны еврейского народа сами были участниками и вдохновителями русского бунта — и, надо сказать, бессмысленными участниками и беспощадными вдохновителями. Кстати, именно они стали и самыми первыми жертвами выпущенных на волю демонов, когда — спустя несколько ярких прерывистых лет — гигантская имперская свинья с хрюком поднялась из вековой лужи и принялась равнодушно пожирать собственных поросят, не разбирая особо, какие из них кошерные, а какие — не очень. Но в первые советские годы — ах, каким они были святым и неистовым воинством, эти юные комиссары, эти древние сыны Авраамовы! Неподкупные, фанатичные, безжалостные, прекрасные в своем идиотическом героизме, именно они придали русской революции тот отчетливый иудейский привкус, от которого и десятилетия спустя сами евреи яростно плевались — кто ядом, а кто и самой настоящей кровью. Это, как говорил академик Линдт, смотря с какой стороны рассудить.

Впрочем, сам Линдт не принадлежал ни к торговому, ни к комиссарскому сословию, да и вообще, признаться, находил в своем еврействе очень мало толку и проку. Иудеев он считал пугливым и мирным народцем с крайне неудачной исторической судьбой. Ну, подумайте сами — веками мелко торговать и мелко же унижаться, жить на узлах, ночами вздрагивать и жаться, зная, что, как ни старайся, при первой же заварушке все равно выпрут со всеми манатками за порог. Да еще и по шее накомылят. Просто так — чтоб под ногами не путались и чесноком своим не воняли.

— Знаешь, Лазарь, еврей-антисемит — это еще гаже, чем монахиня-шлюха! — морщился Чалдонов, один из отцов-основателей современной гидро- и аэродинамики, академик, сияющий столп советской науки и такой коренной русак, что никакого паспорта не нужно. Только глянь на непропеченный нос, бесцветные брови и общий склад простодушной бревенчатой физиономии, и сразу — как в быстрой прокрутке — увидишь всю немудреную историю российских хлебопашцев, с ее гиканьем и свистом, каторжной работой и таким же каторжным, словно подневольным, весельем.

— Да бросьте, Сергей Александрович, какой же я антисемит! — скалился Линдт, выставляя крупные ловкие зубы. — Я просто выступаю за справедливость. Как можно называть великим и богоизбранным народ, который бездарно проебал все на свете, включая собственный Храм, и потом тысячи лет питался исключительно слезливыми воспоминаниями? Они даже толкового культурного наследия не сумели создать!

— Лазарь, Бог с тобой, а Библия? — пугался Чалдонов, он был аж 1869 года рождения, но просветительский дар и крепкие кулаки дьячка, вбивавшего в тупоумную деревенскую паству богословие и боголюбие, не утратили для него педагогической убедительности даже к 1934 году. — А Библия-то как же?

— Какая Библия, Сергей Александрович, я вас умоляю! — Линдт смеялся уже в открытую. — Да ее кто только не писал, вы еще скажите — Упанишады или Тора! Я вам про культурное наследие говорю, а не про религиозные бредни. Где у ваших иудеев великая литература? Где живопись? Архитектура где?

Чалдонов мысленно крестился и мысленно же бормотал про хлеб наш насущный даждь нам днесь — родные, успокаивающие слова, почти не имевшие смысла, но словно елеем питавшие самые заскорузлые душевные горести и раны. И в унисон ему неслышно и невидимо молились — хоть и на другом языке, но все тому же Богу — поколения линдтовых предков, тихих скитальцев, отчаявшихся вечных жидов, действительно не создавших ни сложносочиненных дворцов, ни масштабных полотен, ни пышножопых скульптур — ничего, что жаль было бросить, отправляясь в очередное изгнание. Но именно это — непрестанное и горькое — молитвенное устремление так пропитало собой всю мировую культуру в целом, что из каждого угла торчали то тоскующие еврейские очи, то не менее тоскующие еврейские носы. Они — то есть, тьфу ты господи, вы, ну,

конечно, вы — и есть всему разумному и цивилизованному божественная первопричина и духовный первоисточник. Съел, Лазарь?

Линдт пожимал плечами — гадостей, а уж тем более религиозных, он сроду не ел.

Чалдонову иногда казалось, что Создатель просто поторопился запихать гениальную линдтову сущность в первое попавшееся земное тело — словно Ему самому не под силу было удерживать эту самую сущность в руках. Ну, как будто печеную картошку, раскаленную, обугленную, с лопнувшим сахаристым бочком, которую сперва честно перебрасываешь из ладони в ладонь, пытаясь остудить, а потом все равно роняешь в невидимую ночную траву, пропади ты пропадом, такая горячая — сил нет, ну хоть не в коровью лепеху угодила — и на том спасибо.

Подвернувшееся тело оказалось унизительно маленьким, щуплым и жилистым, так что продрогший ушастый солдатик, охранявший вход во второй МГУ в ноябре 1918 года, сперва принял Линдта за беспризорника — благо лохмотья на том были самые выдающиеся, как из Малого Императорского театра. Побираться будет, смекнул красноармеец и почти ласково приказал:

— Вали отсюда, жиденек, тут и спиздить-то нечего. Одни ученственные господа. У них у самих жрать нечего.

— Я к Чалдонову Сергею Александровичу, — вежливо, как взрослый, объяснил жиденек.

И твердо потребовал:

— Доложите, пожалуйста.

К Чалдонову Линдта проводил секретарь физико-математического факультета (с естественным, математическим и химико-фармацевтическим отделениями). На самом деле факультета и секретаря как бы не существовало, потому что весь факультет целиком — со всеми отделениями — еще находился в будущем, а секретарь, напротив, чтобы не свихнуться, хронически пребывал в своем уютном прошлом университетского приват-доцента — с верным жалованием и приличными званию духовно-нравственными исканиями. Однако Линдт, не знавший этих обстоятельств, не ощутил в ситуации ровным счетом ничего безумного или гофманианского. Впрочем, он вообще был чужд пустым размышлениям о тщете всего сущего и истерически-эзотерическим закидонам. В этом смысле он был не русский и, уж конечно, не интеллигент. Просто крепко стоящий на земле гений — причем гений в самом биологическом смысле этого слова. Классическая патология головного мозга. Честно. Наверно, какая-то редкая мутация. Я не виноват, что так получилось.

Услышав за дверью скребущиеся и совершенно дворняжьи звуки, которыми секретарь кафедры обычно предварял свое унылое появление, Сергей Александрович Чалдонов недовольно закричал.

Сергею Александровичу Чалдонову было некогда.

Вообще-то ему было некогда уже почти тринадцать лет — примерно с 1905 года, когда он — блестящий, между прочим, математик — на свою голову согласился стать директором Высших женских курсов. И понеслось: дрова, попечители, расширение, доклады, охваченные гормональными бурями курсистки — замуж, дуры, замуж срочно! Но теперь тогдашняя суэта казалась Чалдонову приятной послеобеденной дремой. Потому что директор Высших женских курсов при батюшке-царе — это одно, а вот ты попробуй, мил человек, за месяц превратить эти самые Женские курсы во второй МГУ — да при новом революционном правительстве, которое по неопытности само не знает, чего хочет, но требует при этом — будь здоров. При помощи нагана.



Деликатно поцарапав лапкой дверь, секретарь засунул в кабинет плешивую голову. Чалдонов с тоской отложил в сторону протокол № 77/113 заседания коллегии народного комиссариата по просвещению. Протокол предписывал «преобразовать Высшие женские курсы во II Московский государственный университет, сделав его смешанным учебным заведением, но не считая его вновь создаваемым высшим учебным заведением».

В этой бумаге отвратительным было решительно все — желтоватый цвет, шероховатость, невыносимый для потомственного крестьянина казенно-плебейский тон («ассигновать на содержание курсов в виде аванса 1/12 представленной ими сметы»). Но ужаснее всего был список присутствующих на коллегии и абсолютно неведомых Чалдонову людей. Д. Н. Артемьев, В. И. Калинин, М. Н. Покровский, В. М. Познер и Д. Б. Калинин были еще хоть как-то выносимы. Но фамилия Ленгник, которая разом отдавала и зубной болью, и свифтовскими непроизносимыми гуингнами, причиняла Сергею Александровичу прямо-таки физическое мучение. По счастью, заботливый ангел-хранитель избавил хронически не высыпающегося Чалдонова от совсем уже несносных подробностей — имени Ленгника (Фридрих Вильгельмович) и его партийных кличек (Курц и Кол). Иначе валяться бы будущему академику и лауреату на паркетe нетопленного директорского кабинета — с собственноручно простреленной башкой. Да что вы там мнетесь. Павел Николаевич? Заходите. Что там? Очередное предписание сверху?

— Нет, Сергей Александрович. Не предписание. Тут к вам пришли, — сообщил секретарь, по-прежнему пребывая между коридором (тыльная часть) и чалдоновским кабинетом (голова). В каком-то смысле это тоже была привычная ему позиция между прошлым и будущим.

— И кто же это, черт возьми? — не сдержался Чалдонов, который зависшего меж двух миров секретаря по-человечески, конечно, очень жалел, но на работе, милстсдарь, все же надобно работать. Да-с! Работать! Несмотря ни на что!

Секретарь замешкался, не решаясь хоть как-нибудь классифицировать оборванного подростка, который, несмотря на очевидную вонючесть и немытость, держался с замечательным веселым спокойствием урожденно богатого и свободного человека.

— Передайте Сергею Александровичу, что у меня есть вопросы по динамике неголономных систем, — негромко подсказал Линдт. Опорки на нем красовались такие, что о самих ногах лучше было и не думать.

— Э-э-э-э, — отозвался секретарь, чем окончательно решил судьбу советской науки, потому что соскучившийся Линдт ловко отодвинул приват-доцентскую задницу, преграждавшую ему дорогу в светлое будущее, и без доклада вошел в огромный чалдоновский кабинет.

Больше всего это было похоже на заговор. Или на детскую игру, правила которой меняются и придумываются на ходу, так что в памяти только и остается, что ощущение прихотливого счастья, которое бывает доступно только в раннем и еще не осознающем себя детстве.

Они с Чалдоновым сидели за столом для заседаний и ловко, словно картежники, бросали друг другу засаленную практически до съедобности тетрадку, которую Линдт извлек откуда-то из-под груды своих лохмотьев. Чалдонов быстро писал на свободных листах какие-то невозможные для обычного человека буквы, цифры и слова, а принявший пас Линдт писал поверх этих букв и цифр другие — свои собственные, и оба игрока даже кричали иногда от почти телесного удовольствия, будто действительно резались в волейбол, хекая, напрягая звонкие, здоровые, идеальные мышцы и посылая друг другу такой же звонкий, здоровый, идеальный мяч.

А потом Линдт наконец завис на несколько минут над какой-то неслыханной формулой, больше похожей на сложное насекомое, ощетилившееся десятком хищных педипальп и хелицер. Чалдонов протарабанил по столу короткую нетерпеливую дробь.

— Ну-с?

— Я не знаю, — признался Линдт и прикрыл формулу рукой, словно боялся, будто она проскользнет сквозь его опухшие от холода пальцы и с тихим сухим шелестом скроется в потустороннем воздухе смеркающегося мира.

— То-то же, коллега! — с удовольствием резюмировал Чалдонов, и они с Линдтом вдруг засмеялись от радости, как будто это был не похрустывающий от ледяной грязи ноябрь восемнадцатого года, а июнь мирного и солнечного 1903-го, и перед ними лежала не тетрадка, а распеленутый, розовозадый, довольный, сучащий толстыми ножками младенец, которого они только что — вдвоем — спасли от неминуемого несчастья. Может быть, даже от смерти.

— Вы возьмете меня учиться, Сергей Александрович? — тихо спросил Линдт, и как-то сразу стало ясно, что разводы и полосы на его обглоданном, мальчишеском лице — не от грязи, не от голода и даже не от тысячекилометровой усталости, потому что, знаете, по большей части приходилось все-таки пешком... Это были сумерки судьбы, тень большого, очень большого и страшно далекого дара, под сенью которого Линдту пришлось прожить уже восемнадцать лет своей огромной и торжественной жизни и надлежало прожить еще как минимум шестьдесят три.

— Учиться? — переспросил Чалдонов грозно. — Хуюшки! Учиться ему подавай — вы только посмотрите на этого гуся! Работать вы у меня будете, работать — и еще как!

Чалдонов с трудом вылез из-за стола, распахнул дверь кабинета и истошно заорал куда-то вглубь, вдаль, в неопределенно-личное будущее:

— Павел Николаевич, Павел Николаевич, немедленно оформите нового сотрудника! Вас как зовут, коллега? — спохватившись, Чалдонов повернулся к невиданному подкидышу.

Лазарь. Лазарь Иосифович Линдт.

Чалдонов кивнул — не то запоминая, не то отдавая честь, и, не дождавшись из будущего ответа, сам отправился на поиски утраченного приват-доцента. Когда через час он возвратился, обвешанный карточками, справками и анкетами, Лазарь Иосифович Линдт крепко спал, уронив прямо на открытую тетрадь вшивую нечесаную голову, и по лицу его — наконец-то! — плыли не тени демонских крыльев, а торопливая рябь коротких и, кажется, совершенно детских сновидений.

Вечером Чалдонов привел Линдта к себе домой, на Остоженку, — в огромную профессорскую квартиру, сумеречную, поскрипывающую, аппетитно пропахшую книгами в хороших переплетах и степенными домашними обедами — на пять гостей и четыре перемены блюд. Перед дверью Чалдонов на мгновение внутренне замешкался, и Линдт тотчас же мягко тронул его за рукав.

— Вы уверены, что это удобно, Сергей Александрович? Мне вообще-то есть где переночевать.

— Ну вот еще, что за глупые церемонии, коллега, — буркнул взятый врасплох Чалдонов, дергая дверной звонок, что за черт, мысли он, что ли, читает, а что, при таких-то способностях, и если предположить электромагнитную природу излучения... Ну и всыплет же мне Маруся, господи-пронеси-и-помилуй. Всыплет, это уж как пить дать!

Входная дверь распахнулась (без уточняющих вопросов и лягання засовов, вполне извинительных в городе, в котором недавно произошла великая октябрьская социалистическая революция), и на пороге появилась женщина, а вместе с ней — свет,

такой яркий и плотный, что Лазарь Линдт на секунду зажмурился. Свет был слишком живым и сильным, чтобы его можно было списать на банальную керосиновую лампу, которую Мария Никитична Чалдонова (по-домашнему — Маруся) держала в руках, так что Линдт долго-долго потом, целые годы спустя, ассоциировал жену Чалдонова и всю их семью именно с этим светом.

У Марии Никитичны было нежное, необыкновенно живое лицо того немного грубоватого и отчасти простонародного типа, который вышел из моды еще в десятые годы двадцатого века и теперь обитает исключительно на дореволюционных фотокарточках. В молодости она, несомненно, была хорошенькой — все в той же позабытой нынче манере, когда с женской красотой рифмовалась неяркая прелесть и девушке из хорошего семейства непременно полагалось много плакать по пустякам, иметь свежую кожу прохладного молочного разлива, а в месячные целые дни проводить в постели, пролеживая специально для этого предназначенные юбки. В жене Чалдонова все эти нежные требования и условности отступали на второй план, покоренные светом, который она излучала словно сама по себе, как будто даже против своей воли. Всю свою жизнь потом Линдт искал похожие отблески на лицах множества женщин, великого множества. Но так и не понял, что женщина сама по себе вообще не существует. Она тело и отраженный свет. Но вот ты вобрала мой свет и ушла. И весь мой свет ушел от меня. Цитата. Тысяча девятьсот тридцать восьмой год. Набоков подтвердил бы, что внимательный читатель и сам сумеет расставить кавычки.

— Вот, Маруся, смотри, кого я нашел, — сказал Чалдонов бодро и немного испуганно, будто он был мальчишкой, а Линдт — трясущимся, блохастым, но уже невероятно любимым щенком, и решить, останутся ли они дома — жить, или вдвоем отправятся назад на помойку, могла только мама, вряд ли вот так просто забывшая вчерашний «кол» по поведению. Мария Никитична вопросительно взглянула на мужа. — Это Лазарь Иосифович Линдт — мой новый коллега, — попытался отрекомендовать гостя Чалдонов. Затея с приводом найденыша домой с каждой секундой казалась ему все менее удачной. Маруся, как все хорошо воспитанные люди, обладала отлично взнузданным темпераментом и потому умела взрываться с замечательной быстротой. Чалдонов знал это прекрасно. Лучше просто и не бывает. Линдт попытался вежливо поклониться, и лестница, дверь и лампа тотчас мягко и быстро повернулись вокруг головокружительной оси. Есть хотелось просто невероятно. Маруся помолчала еще одну длинную секунду.

— Вшивый? — деловито спросила она у Линдта, как будто приценивалась к нему на рынке. Линдт обреченно кивнул. Собственно, кроме тетрадки и вшей, у него больше ничего и не было. — Тогда потерпите, пока я не приведу вас в порядок. И только потом уже — ужинать, ладно?

Через час с небольшим все уже сидели в столовой за обеденным столом, сервированном по правилам, которые стремительно, прямо на глазах, становились старорежимными пережитками. Хрустели салфетки, тяжело звякало серебро, из просторного, как полынья, ворота чалдоновской рубахи торчал, пуская ликующие блики, наголо обритый Линдт (Чалдонов принес в жертву отменную бритву фабрично-промышленного торгового дома Арона Бибера, Варшава, дореволюционная роскошь, в самый раз для ваших непроходимых кущей, коллега), в кузнецовских чашках светился настоящий морковный чай с настоящим сахаринром, а Мария Никитична подкладывала гостю на тарелку третью картофелину (с топленным маслом!) и ласково уговаривала — ешьте, Лесик, а то на вас смотреть страшно — какая-то голова на ножках, да и только.

— Зато какая, Маруся, голова! — хвастался довольный Чалдонов, воздев нож и вилку к небу. — Этот юноша — гений, можешь мне поверить. А я такими словами не разбрасываюсь, ты же знаешь!

— Может, и гений, но вот только очень уж недокормленный, — смеялась Маруся.

Линдт смущенно и сыто жмурился, изо всех сил пытаясь не задремать. Гений — это он уже слышал, и не раз. Но никто еще не называл его Лесиком — ни до, ни после. Никогда.

От четвертой картофелины он мужественно отказался: я получу продовольственные карточки, Мария Никитична, и сразу верну. Чалдоновы разом замахали на него протестующими руками. Это был счастливый билет, конечно. Незаслуженный, неожиданный. Шел по улице, подобрал золотой ключик, выпустил на волю замурованную судьбу. Линдт и сам знал, что так не бывает. А ведь — поди ж ты. Глаза слипаются, все дрожит и расплывается в мокром сиянии простого человеческого счастья. Мария Никитична поднялась, чтобы собрать со стола посуду, и тотчас вскочил помогать ей Чалдонов, уставший дальше некуда, конечно, но — Маруся, Господь с тобой, сядь, я сам, все сам. И по тому, с каким жадным обожанием он смотрел на жену, по тому, как мимоходом она пригладила ему надо лбом некрасивую белесую кудрю, ясно было, что даже тридцать лет супружества могут быть зачем-то нужны Богу, особенно если веришь, что Он действительно существует. Линдт проглотил ниоткуда взявшийся горький комок. У меня тоже так будет, поклялся он мысленно. Именно так — и никак иначе. Вот такая точно любовь, такая точно Маруся, такая точно семья.

Мария Никитична Чалдонова была самой большой жизненной удачей Чалдонова, и то, что оба прекрасно знали об этом, придавало всему укладу семейной жизни тот необходимый привкус чудесной авантюры, без которой брак быстро превращается в скучнейшее и едва удобоваримое блюдо — вроде трижды разогретой жареной картошки. Маруся была и умнее, и сильнее, и нравственно выше Чалдонова, но главное — она была совсем иной, лучшей человеческой породы. И вся семья ее была чудесная — старинная, священническая, уходящая корнями в такие раннехристианские, первоапостольские времена, что сразу становилось ясно, почему в их доме так хорошо и взрослым, и детям, и кошкам, и канарейке в клетке, и всему приبلудному, нищему, юридивому, переходящему люду, без которого и вообразить себе невозможно ни русскую жизнь, ни служение русскому Богу.

Впрочем, с Богом у Марусиной семьи были свои, особенные отношения. И фамилия их, дивная, лакомая, семинарская, была совершенно Божьей — Питоврановы. Чалдонов и сейчас, в сорок девять лет, помнил, с каким серьезным видом юная Маруся объясняла ему, двадцатилетнему олуху, что Питоврановы — это в честь пророка Илии, которого питали враны. Понимаете? Чалдонов кивал белесыми кудлами, но понимал только ямочку на щеке у Маруси и серые горошинки на ее узком, ловком ситцевом платье, про которое невыносимо стыдно было даже думать, но не думать тоже не получалось никак.

— И Господь сказал, — важно продолжила Маруся, — иди и скройся у потока Хорафа, близ Иордана, ты будешь пить от вод потока, и Я повелю вранам питать тебя. Враны — это вороны. Неужели не помните?

— Очень даже помню, — согласился Чалдонов, остро, гораздо острее обычного чувствуя себя деревенским стоеросовым дураком. И то, что он через год вообще-то должен был закончить физико-математический факультет Московского университета по специальности «прикладная математика», почему-то только усиливало мучительную резь потной рубахи под мышками и всю общую, телесную неловкость, которую Чалдонов испытывал от одного присутствия этой девушки, едва достававшей макушкой до петлички на лацкане его пиджака.

— А помните, так продолжите! — потребовала Маруся, но Чалдонов в ответ только немо и умоляюще растопырил руки, понимая, что самый главный экзамен его жизни провален — постыдно, жалко, без права на пересдачу, навсегда.

— А папа сказал, что вы — выдающегося ума человек, — разочарованно протянула Маруся и без малейшего церковного подвыва, просто, как стихи, закончила цитату: — Илия исполнил повеленное и жил при потоке, и враны вечером и поутру приносили ему

пищу, ибо Господь может и чудесным образом охранять тех, которые верно служат Ему и надеются на Него.

Чалдонов еще раз кивнул и покорно отправился вслед за Марусей в соседнюю комнату, где большое семейство Питоврановых уже рассаживалось за обеденным столом, громыхая стульями и весело переругиваясь — опять Алешка лезет поближе к пирогам, пап, да скажи ему, наконец, мамоне ненасытной! Питовранов-старший, профессор богословия Московской духовной академии, в ответ только насмешливо пушил холеную, вполне светскую, надушенную бороду. Чадо- и женолюбец, жуир, остролов и умница, он — вопреки всем представлениям о косности духовного образования — знал девять языков (пять из которых были, впрочем, безнадежно мертвы), защитил блестящую диссертацию по языческим культам (по поводу чего яростно спорил со своим вечным врагом-коллегой Введенским) и — несмотря на это — ухитрился остаться искренне и простодушно верующим человеком. Да и как было не верить, если ежедневно, ежечасно — в звоне столовых приборов, плаче младенцев, скрипе половиц, в каждой ноте многоголосого питоврановского дома — жил и дышал сам Бог, простецкий, уютный, единственно возможный, безнадежно антропоморфный Господь с крепкими крестьянскими пятками и кудрявой бородой, похожей на кудрявое облако, вполне заменявшее Ему и диван, и кресло, и основание мира.

Семейство было огромное, шумное и дружное, но даже случайному гостю было ясно, что дружба эта основана не на пустом и случайном кровном родстве, а на совершенно осознанной, умной человеческой приязни, так что каждому вновь народившемуся у Питоврановых ребенку, каждой приبلудившейся кошке или приглашенному на обед гостю приходилось постараться, чтобы завоевать любовь и приязнь всех остальных — но зато, раз влившись в эту мирную и многоголосую симфонию огромного человеческого счастья, каждый получал столько дивного, телесного уюта и тепла, что с избытком хватало и на земную, и на загробную жизнь.

Чалдонова в дом привел Питовранов-старший. Жадный и переборчивый ловец и коллекционер человеческих душ, он живо раскусил в долговязом студенте вполне, признаемся, несуразного и плебейского вида — нет, не будущего академика, не светило фундаментальной науки, а человека той высокой и редкостной нравственной пробы, которую так долго и яростно выискивал в людях граф Лев Толстой, сам, по воле Господа, начисто лишенный того тонкого безымянного органа, своеобразного вестибулярного аппарата души, который безошибочно позволяет даже маленькому ребенку или собаке отличить хорошее от плохого, добро — от зла, а грех — от праведного помысла или деяния. Впервые старший Питовранов воочию видел такое убедительное и оригинальное доказательство Тертуллиановской аксиомы о том, что всякая душа по природе своей христианка, — и это при том, что Чалдонов на своей религиозной стезе вряд ли продвинулся дальше Символа Веры да Отче наш. Однако умница Питовранов в отличие от многих богословов был вполне способен отличить церковь от Бога и потому после двух долгих бесед со смышленным студентом пригласил его на обед — Пятницкая, 46, собственный дом. Милости прошу, милейший Сергей Александрович, и никаких возражений не приемлю. Познакомьтесь с моими чадами и домочадцами, а заодно и домашнего поедите. У меня всегда вкусно — правило такое, соблюдается неукоснительно, а вы, поди, замучались по трактирам столоваться.

И Чалдонов, вообще-то мучительно стеснявшийся всего на свете, кроме своей математики, неожиданно не просто согласился — пришел, парадный, напомаженный, корявый от волнения, с глазированными вишнями от модного Эйнема — и коробка из-под этих вишен, обитая шелком, щегольская, в тот же вечер опустела и переехала в комнату к девочкам Питоврановым, где стала приютом для пуговиц, шелковых тесемок, стекляруса и прочих вещиц, разрозненных, ненужных, но бесконечно милых каждому девичьему сердцу.

Детей у Питоврановых было шестеро, но Чалдонов, кажется, так никогда и не запомнил их всех по именам, потому что сразу, едва войдя в тесноватую прихожую, увидел Марусю, которая держала за пушистую шкурку огромную дымную ангорку.

— Не снимайте калоши, — сердито приказала Маруся Чалдонову, — Сара Бернар, паршивка, опять принялась гадить!

Маруся встряхнула провинившуюся кошку, которая прижмурила наглые голубые глаза, посибно притворяясь раскаявшейся грешницей. Получалось, честно говоря, не слишком убедительно, и Маруся для острастки встряхнула обмякшей кошкой еще раз.

— Но, позвольте, — растеряно пробормотал Чалдонов, заливаясь краской и не зная, куда пристроить конфеты. — Как же я в дом — и в калошах. Разве же можно?

— Это верно, — согласилась Маруся, — мама наверняка расстроится. Разувайтесь. Уж лучше я Сару на улицу выставлю. Пусть проветрится. А вы Чалдонов, да? Сергей Александрович?

Она подала Чалдонову руку с зажатой в кулаке кошкой. Чалдонов в ответ неловко протянул коробку конфет.

— Так точно-с, — пробормотал он, проклиная себя за неизвестно откуда выскочившее вертлявое словоерик. Так точно-с! Как лакей, как приказчик! Боже, стыд-то какой! Погиб, решительно погиб!

— А я — Маруся, то есть — Мария Никитична, конечно. — Маруся легко, радостно улыбнулась — над верхней губой у нее сидела маленькая каряя родинка.

Кошка, воспользовавшись всеобщим замешательством, тяжело, как комок теста, шлепнулась на пол и тотчас предусмотрительно смылась.

— Ну вот, опять упустила! — огорчилась Маруся. — Теперь она наверняка еще и гардины изорвет. Да вы не стесняйтесь, пойдемте — все заждались уж. Папа только о вас и говорит — мы все думаем, что он в вас решительно влюблен.

Это было любимое Марусино слово — решительно. Она еще раз подала Чалдонову маленькую горячую руку, теперь уже свободную, и он осторожно подержал ее в потном кулаке.

Было 28 ноября 1888 года, а 9 апреля 1889 года, на Пасху, Сергей Александрович, бледный до обморока, с трудом ворочая словами, уже сделал Марусе предложение. Оглушительно — на всю комнату — пахли влажные даже на вид, тугие, праздничные гиацинты.

— Вы согласны, Мария Никитична? — спросил Чалдонов, в случае отказа твердо решивший стреляться — или, в крайнем случае, бросить все, уйти в деревню, в скиты, в запой.

Маруся подошла вплотную, заглянула снизу в глаза, и ее запах, очень простой, домашний и немного яблочный, разом вытеснил гиацинты, заполнил собой весь мир.

— Ну, разумеется, согласна! — весело сказала она. — Тем более что я из-за вас проспорила папе целый рубль! Он сказал, что вы непременно посватаетесь на Светлую седмицу. А я говорила, что раньше Святой Троицы ни за что не поспеете. Есть у вас рубль? — Чалдонов качнулся, вцепился белыми пальцами в край стола — удар счастья оказался такой силы, что перед глазами все поехало, поплыло, неспешно набирая ход и погромыхая на стыках. — А что же это вы бледный такой? Голодный? — Чалдонов помотал головой, как кляча. Говорить он все еще не мог. Все еще не мог поверить. — И что же вы — совсем-совсем не рады? — продолжала настаивать Маруся. — И даже поцеловать меня не хотите? Теперь-то, наверное, можно.

Она приподнялась на цыпочки, подставила гладкие губы — просто, как будто делала это уже тысячу раз. Чалдонов закрыл бесполезные глаза, и в комнату тотчас ворвался, взбороздив половики, Гриша, младший Марусин брат.

— Никак не нахристосуетесь? — поинтересовался он ехидно. — А там эта саранча, — он мотнул головой в сторону двери, за которой галдело, прорываясь в столовую, наголодавшееся Великим постом питоврановское семейство, — сейчас поросенка без вас сметет!

— А ну брысь отсюда! — засмеялась Маруся, взяла Чалдонова под руку, и они пошли к столу — ловко, в ногу, славно, как идти и идти бы всю жизнь, а впереди с ликующими воплями «А они целовались, я сам видел — целовались!» бежал обуреваемый ранними гормонами Гришка, и в столовой все уже рассаживались вокруг празднично и продуманно убранного стола, в сердцевине которого действительно лежал на блюде молочный поросенок, маленький и очень детский, испуганно прижмуривший напухшие, словно у новорожденного, веки — и Марусю на секунду кольнуло дурное предчувствие, но только на одну секунду. Потому что год был великий, благословенный для всей планеты — год открытия нерукотворного чуда Туринской плащаницы, о которой много и жарко спорили у Питоврановых, и, уж конечно, в такой год не могло случиться ничего дурного. Не могло и не случилось. Потому что в конце весны Чалдонов с отличием закончил Московский университет и по представлению своего учителя, великого Жуковского, был оставлен на кафедре — для подготовки к профессорскому званию.

А в начале лета они с Марусей поженились.

Сразу после венчания молодые уехали в свадебное путешествие по Волге — Марусина затея, оказавшаяся потом, как и все ее затеи, единственно возможным и счастливым вариантом — лучше и не придумаешь. Свадебная суматоха и переезд по железке до Нижнего Новгорода на несколько дней отложили то главное, чего Чалдонов так боялся и чего так наивно и неистово хотел. Всю тяжесть своего незаслуженного, невозможного счастья он ощутил только в поскрипывающей каюте парохода — в первый же вечер, когда они с Марусей наконец-то остались одни. Пахло нежной речной сыростью, по потолку плыли длинные, плавные, колыбельные тени, а потом в тот же плавный, колыбельный ритм пришел, наконец, весь окружающий мир: и качающийся ламповый свет, и ласковый, слабый переплеск Волги, и ответные Марусины движения, от которых у Чалдонова то обрывалось, то опять властно напрягалось влюбленное сердце...

Это был самый медовый месяц из всех возможных — длинный и неспешный, как их пароход «Цесаревич Николай», перестроенный обществом «Кавказ и Меркурий» специально для навигации 1890 года. Ставший двухпалубным и оснащенный новехонькой американской машиной Compound, «Цесаревич» не утратил своей провинциальной неторопливости. В ходу были медленные завтраки на палубе под полотняным тентом — с сероатой икрой, которую положено было намазывать на ноздреватую плоть горячего калача специальной костяной ложечкой, и с бесконечным чаепитием из маленького пузатого самоварчика, про который Маруся в первое же утро сказала, что он похож на архиерея — такой же важный и пыхтит. Мокрыми от непрошенных слез глазами Чалдонов смотрел на быструю солнечную воду за кормой, на визгливых чаек, которым почтенная публика бросала щедрые куски еще теплых саек, на заметно припухшие Марусины губы и на нежный, еле ощутимый кровоподтек на ее чуть позолоченной солнцем молодой шее. Ты что-то сказала, милая? Прости, я не расслышал. Я сказала, что ты похож на альпийского сенбернара. Такой же косматый и сентиментальный. Вот уж не знала, что выхожу замуж за плаксу.

Маруся поднималась из-за стола, ловко оправляла свое первое по-настоящему взрослое и дамское платье (с неудобным турнюром, к которому она никак не могла привыкнуть) и, напоследок быстро показав Чалдонову язык, отправлялась гулять по палубе. А Чалдонов — сквозь радугу, по-прежнему расплывающуюся на ресницах, — смотрел, как она идет по добела отмытым доскам, быстрая, улыбчивая, вся состоящая из плавных линий и шелковых теней, и боялся только одного — что умрет от счастья, не дожив до очередного вечера.

На долгих стоянках крикливые и нарядные бабы продавали неряшливую сирень и первую землянику — и Маруся, разглядывая с палубы толкотню на деревянной пристани и многосложные наряды провинциальных дам, весело объясняла Чалдонову, почему передвижники — это не искусство, а просто жалкое подражание тому, чему подражать — грех. Понимаешь — именно грех! Вон-вон, посмотри вон на ту тетку с пирожками, просто прелесть, правда? Лоб — хоть поросят об него бей. А глазищи, глазищи-то какие! Чудо! Разве можно передать такое красками или пусть даже словами? Маруся на секунду задумывалась. Разве что сыграть? Как фугу? По мне, так эта баба даже грандиознее фуги! И Маруся, музыкальная, как все Питоврановы, принималась негромко напевать что-то густое и титаническое, действительно похожее на торговку на пристани, которая легко на весу держала огромную корзину с огненными, укутанными в тряпки, новорожденными пирожками. Пирожки были толстые, сытные, с ливером, луком и гречневой кашей — ужасные! — смеялась Маруся, присаживаясь на корточки и делясь простонародным лакомством с вислогрудой дворняжкой, которая льстивым вьюном крутилась у ее ног. Нака вот, мамаша, угостись. Много у тебя щеняток, а? Признавайся?

Дворняжка жадно хапала ароматное тесто, не забывая при этом всей задней частью сигнализировать самую пылкую приязнь к новоиспеченной госпоже Чалдоновой. Щенят у дворняжки было семеро, и всех их пару часов назад утопил в выгребной яме лавочник, человек не злой и даже не жадный, а просто, как и положено истинному самаритянину, разумный и рассудительный. Он мог легко прокормить суку и ее приплод, но восемь собак ему были просто не нужны, и дворняжке еще предстояло узнать об этом. А пока — пока все было хорошо: и солнце, и пережаренная с луком начинка, и ласковая рука в белой перчатке, которая почесывала то за ухом, то загривок, и всякое дыхание славилло Господа, и даже казалось, что Ему это не безразлично.

Маруся в последний раз потрепала полурастаявшую от счастья дворняжку по холке и повела мужа гулять по кукольному Плесу, маленькому, прелестному, похожему на жемчужину, убежавшую в траву из чьейто булавки — жемчужину чуть запыленную, не идеально ровную, но все равно — настоящую. В торговых рядах орали, рвали гармонику, совали зевакам в лицо баранки, пахучую мануфактуру и знаменитую местную пряжу — и обоим, и Чалдонову, и Марусе, было ясно, что оба не ошиблись и это только начало чудесного, долгого путешествия — и, кажется, все будет действительно, как обещано, и их ждет жизнь мирная, долгоденствие, любовь друг к другу в союзе мира, и даровано им будет от росы небесной свыше, и от тука земного, и исполнятся дома их пшеницы, вина и елея, и всякой благодости — так, чтобы они делились избытками с нуждающимися. А раз так, то и не страшно было потом, когда-нибудь, умереть в один день. И все обещанное сбылось — буквально по пунктам. Кроме одного.

Через год счастливейшего супружества Маруся еще как-то отшучивалась от расспросов родни, желавшей во что бы то ни стало покачать на коленях внуков, еще через год забеспокоилась сама. Несколько лет — несомненно, худших в жизни Чалдоновых — ушло на отчаянную, никому не видимую борьбу. Особенно тяжело Маруся, необыкновенно чувственная и от того особенно целомудренная, переносила врачей. Пройдите за ширму, разденьтесь, пожалуйста, — уверенные мужские руки, пыточные инструменты, скомканный в кулаке потный, звука не проронивший платочек, унижение, ужас, унижительная надежда, раз за разом, раз за разом, один к одному. Были пройдены решительно все круги ада — поездки на воды и на грязи, университетские дипломированные светила, дорогие частные доктора, безвестные лекари, которые «с Анной Никеевной, вон, просто чудо сотворили», причем сама Анна Никеевна, знакомая знакомых чьих-то знакомых, была уже совершенно безлика и анонимна, как денежная ассигнация, — только, в отличие от ассигнации, с ее помощью нельзя было купить даже золотника счастья. В ход пошли даже стремительно входящие в моду гомеопаты, и от похода по бабкам, знахарям и колдунам Марусю спасла только врожденная душевная брезгливость. Причем дело было даже не в грехе, а в том, что ушлые метафизические



прихвостни (многие из них, кстати, брали за визит столько, что постыдился бы и самый алчный эскулап) обещали своими торопливыми наговорами, накрест подшитыми полотенцами и сломанными свечками изменить волю самого Бога, а Маруся, как никто другой, всей своей сутью чувствовала, что это именно Его воля — не давать им с Сережей детей. Противиться этой воле было бессмысленно, можно было только попросить, как просишь родителей подарить к именинам куклу с фабрики Саймона и Хальбига, но взамен литой восковой красавицы в модном шелковом наряде всегда рискуешь получить очередную копеечную книжку про медведя, а то и отеческую оплеуху. Но Маруся не боялась оплеух, она всего лишь хотела знать — почему и за что ей отказывают. Почему и за что — именно ей?

Походы по врачам, на которых настаивал Чалдонов, были для нее чем-то вроде вериг для юродивого — еще одно испытание, неистово истязующее плоть, но взамен так же неистово прокаляющее дух. Главное было другое — икона Божией Матери «Взыскание погибших», икона родителей Богородицы — праведных Иоакима и Анны, икона праведной Елизаветы — матери Иоанна Предтечи, мощи святого мученика младенца Иоанна в Киево-Печерской лавре, чудотворная икона Толгская в Толгском монастыре, рядом с ней на поручнях — икона Божией Матери Знамение, под которой нужно трижды проползти и слезно молить Пресвятую Богородицу. Маруся проползла и плакала так, что из храма ее вывели под руки.

Еще был Зачатьевский монастырь, и чудотворная икона Милостивая, и мощи преподобной Софии Суздальской. Духовник Маруси отец Владимир, сухой, лукавобородый седой старичок, который крестил и окормлял, кажется, все потомство Питоврановых, посоветовал написать в Афонский монастырь Хиландр, и через три месяца никем не замеченного ожидания Маруся получила от афонских монахов бандерольку с кусочком лозы святого мироточивого Симеона, плодоносящей уже тысячу лет. Кроме черствой веточки в посылке была иконка святого Симеона и три изюминки. Их полагалось съесть бесплодным супругам — две жене, одну — мужу, предварительно проведя сорок дней в строгом посте — без вина, варения и елтя. На практике это означало хлеб, воду да сырые овощи. Отец Владимир сказал, что Симеонова лоза — средство вернее верного. Чалдонов поста не выдержал, через неделю сорвался, пошел, как наголодавшийся пес, за ароматом щей и опомнился только в трактире, среди пахучих ямщиков и самого затрапезного люда. Миска перед ним была пуста до блеска, половой, ловко заложив руку за спину, уже тащил поднос с вареной говядиной, слезоточивым хреном и солеными огурцами. Чалдонов, сгорая со стыда, махнул на себя рукой и, чтобы усугубить ужас падения, потребовал к говядине водки.

А Маруся не сдалась, не отступилась, только от слабости почти перестала бывать на людях, и соскучившийся по дочери Питовранов-старший заглянул к молодым сам — Чалдоновы тогда снимали полдома на Поварской, Сергей Александрович был на хорошем счету и, если учесть еще и частные уроки, зарабатывал совсем-совсем недурно. Питовранов молча посмотрел на Марусино обглоданное мукой и голодом лицо и за рукав вывел Чалдонова за дверь.

— Я вам дочь свою доверил, Сергей Александрович, не для того, чтоб она свихнулась, — сказал он тихо, но так страшно, что Чалдонов, как нашкодивший пацан, спрятал враз вспотевшие руки за спину. Тестя он любил и после свадьбы подружился с ним еще крепче, чем раньше, — без условностей, без обязательств. Впрочем, по-другому дружить не умели оба.

— Я отговаривал, Никита Спиридонович. Но отец Владимир благословил на пост — сказал, только воздержанием и молитвенным подвигом.

Питовранов-старший пожевал в кулаке роскошную бороду, потом дернул — будто хотел оторвать.

— Отцу Владимиру, старому дураку, я еще морду набью, — пообещал он. — Но ты, Сережа, ты же математик, ученый человек, как ты мог распустить дома такие дикие, первобытные суеверия!

Чалдонов растерянно молчал — слышать такое от профессора богословия было невероятно, даже жутко — но еще жутче была Маруся, ничуть не изменившая прежнего веселого, ровного, внешнего тона — и вся скорченная, ни за что изуродованная внутри.

Тем же вечером к ним пришел встревоженный отец Владимир — вразумлять слишком далеко заблудшее духовное чадо, и Чалдонов, лакомя старенького священника чаем с вареньем, безотчетно искал на его сморщенном от пожизненной умиленности лице следы побоев. Кулаки у старшего Питовранова, несмотря на архиерейские учены, были такие, что любой купец позавидует. Но Маруся никого не послушалась, продолжала нести свой одинокий, никому не нужный пост — и Чалдонов, на коленях, со слезами умолявший жену не губить себя, не губить их обоих, понимал, что все напрасно, все зря, ничего эти слезы и мольбы не изменят. Маруся была упряма — и по наследству, и посвоему, — и не было в этом упрямстве ничего косного, дикого и больного. Она просто хотела знать. Просто хотела знать — за что и почему.

Через сорок дней присланные с Афона изюминки были съедены — с молитвой, с трепетом, с невероятной, глазом видимой надеждой. Все напрасно. Дверь не отомкнулась. Не вышел даже швейцар, чтоб передать, что никакого ответа не будет. Маруся подождала еще немного и тихо вернулась к себе.

Все, к боязливой радости Чалдонова, стало как будто прежним, прекратились пастыри и доктора, бесконечное — до ломоты в коленных чашечках — бдение перед иконами. Чалдоновы сидели за воскресным столом, было снова лето и утро, белые занавеси в столовой вздувались и опадали, вздувалось и опадало за ними зеленое и золотое, и батистовое платье на Марусе было прохладным сверху и огненно-гладким внутри.

— Агаша войдет — и будет стыдно, — упрекнула Маруся Чалдонова, ласково шлепнув его по лбу чайной ложечкой — тоже горячей и гладкой.

— Не войдет, — пробормотал Чалдонов, воюя с крошечными скользкими пуговичками и шелковистой тесьмой, — я ее за самоваром отправил, теперь часа два не дождешься.

Маруся все еще мягко отводила его руки, но он слышал, чувствовал, как сбилось ее дыхание, и знал, что через минуту все будет по-другому — вкус, жар, аромат, отзывчива она была удивительно, невероятно, о такой возлюбленной можно было только мечтать, если бы Чалдонов смел, конечно, мечтать о чем-нибудь подобном...

— Подожди, Сережа, — сказала Маруся, верхняя губа у нее всегда мгновенно вспухала от поцелуев, и это была ее особенная, Марусина, прелесть, от которой еще больше дрожали у Чалдонова руки и кружилась голова. — Мне нужно съездить в Кострому, к Феодоровской Божьей Матери.

Чалдонов потрясенно отстранился, не понимая, как она, такая чуткая, могла вдруг все испортить, и это утро, и солнечные законные пятна, и прозрачные медовые потеки на столовом ноже, и вкус собственных губ.

— Это будет в последний раз, Сережа. — Маруся легко погладила мужа по щеке. — Честное слово, в последний раз. Я обещаю.

В Кострому они поехали вместе — и, хотя оба изо всех сил старались держаться как обычно, это оказалась невеселая тень их чудесного свадебного путешествия. Чудотворная икона Феодоровской Божией Матери, писанная самим евангелистом Лукой, обитала в Свято-Троицком Ипатьевском монастыре, вызывающе богатом, белокаменном, похожем на зачерствевший кремовый торт. В Троицкий собор Чалдонов не пошел, остался снаружи — из деликатного крестьянского страха помешать, напортить что-нибудь своим корявым присутствием. Маруся, все еще сильно осунувшаяся, низко повязанная простым,

сероватым в капочку платочком, оглянулась на мужа с порога, будто боялась или не решалась сделать последний — действительно последний шаг. Губы ее безостановочно, беззвучно шевелились, и Чалдонов знал, что Маруся молится — матери Богородицы Анне: «Даждь плод чрева призывающим тя, разрешая мрак их бесплодия и, яко разрешение бесплодия, безчадных жен благочадны сотвори убажжающих тя и славословящих Богочеловека — Внука твоего и Создателя и Господа». Поразителен мир, где даже у Бога есть бабушка, и бабушке этой можно пожаловаться не только на разбитые коленки, но и на разбитое сердце.

Чалдонов вздохнул и присел на укромную, спрятавшуюся в самой сердцевине мохнатых кустов скамеечку; монастырь был ухоженный, зеленый, знатный — хранитель романовских устоев. И хотя и к регулярным приездам царской фамилии все давно привыкли, все же внешний форс неизменно блюли. Садам монастырским и монастырской солдатской чистоте можно было только позавидовать. Чалдонов присел, охлопал по привычке карманы — курить хотелось до горькой слюны, но достать папиросы не решился. Пахло солнечной, сочной, недавно политой листвой, жирным сытым черноземом, и оглушительно верещала в перепутанных ветках птица — распекала Чалдонова за то, что побеспокоил ее гнездо.

По монастырю сновали паломники, которых ловко, как овец, сгоняли в надобные места черные, поджарые монахи, степенно шли к молитве нарядные миряне, но в большинстве своем люди толклись некрасивые, переломанные, перебитые жизнью, униженные, притащившиеся сюда за последним приютом, за надеждой, которой больше не осталось даже внутри. Чалдонов поморщился — подранков, которых вечно собирала вокруг себя Русская православная церковь, он втайне презирал, и больно было думать, что среди этих отчаявшихся, сырых и убогих, приползших ко входу в обещанное царствие небесное, оказалась и его Маруся — живая, чудесная, вся насквозь настоящая. Он уважал всякую веру, и Марусину — особенно, но, помилуйте, при чем тут сам институт церкви — эта громоздкая, вроде государства, уродина, способная перемолоть в труху даже самый лучший человеческий материал.

Словно в ответ чалдоновским мыслям на площади перед Троицким собором появился монах, не нестеровский сусальный инок, а настоящий Христов воин, Господень пес — только в православном облиции. Высокий, широкоплечий, невероятно, почти пугающе красивый — нездешней, нечеловеческой и, уж конечно, совсем не Божеской красотой, он шел, широко раздувая черные рясные крылья, и с таким яростным презрением смотрел поверх человеческих голов, будто боялся замараться. Толпа, приседая и крестясь, расступалась перед монахом, оторопевшая от существа нездешней, невиданной породы. «Ить, какой ладный», — ахнула восторженно какая-то бабенка, сама ладная, как облупленная луковка, и лицо монаха вдруг мгновенно перекошилось от ненависти, словно вспыхнуло изнутри ярким, черным огнем, — и тут же снова стянулось в брезгливую гримасу.

Чалдонову стало не по себе, будто он оступился на высоте и лишь в последний момент ухватился рукой за неверный поручень. Богу не было ни малейшего дела до людей — это было ясно. Он наполнял протянутые сосуды без разбору, без толку, не замечая слез, не слушая молитв. Зачем этому доморощенному костромскому Люциферу было отпущено столько телесной красоты и мощи? Почему Маруся снова стояла на коленях перед очередной иконой — в темноте, в страхе, в отчаянии — и не видела ничего, кроме масляных охряных бликов на огромной старой доске? За что Господь не сподобил их увидеть чада чад своих, разве это было справедливо?

Птица, отчаявшись напугать Чалдонова своей трескотней, решила сменить тактику и, выбравшись из веток, заковыляла по траве, волоча крыло и припадая по наивности то на одну, то на другую лапку, — притворялась раненой, беззащитной. Спасала детей.

— Не бойся, дуреха, — пробормотал Чалдонов, утирая мокрые глаза — права Маруся, я настоящий плакса и нюня, — да не трону я твой приплод. — Птица остановилась, посмотрела на Чалдонова круглым непроницаемым глазом — он любил скворцов, они были умные, веселые и не бездельники, в деревне у них было полно скворцов. — Ухожу. Ты слышишь? Уже ухожу. Сколько же можно, а? Так долго! Сколько нам так еще брести? Долго ли муки сея будет? До самых смерти, матушка! До самых смерти...

Он так ждал, когда же Маруся, наконец, выйдет, что, разумеется, прозевал, как отворилась огромная дверь храма. Просто в один момент воздух вокруг стал другим, и оказалось, что Маруся уже идет по двору, низко опустив голову, идет медленно-медленно, как будто в храме вместо утешительной ладони ей на плечи опустили еще один крест. На этот раз уже совершенно непосильный. Все, понял Чалдонов, — все, ничего не помогло. Даже последнее. Поломали. Изуродовали. Добили. Мою Марусю. Захотелось кричать, даже визжать: как будто на его глазах терзали ребенка или кошку, и совершенно никак нельзя было помешать бессмысленной и долгой муке ни в чем не повинного, ничего не понимающего существа. Маруся все шла и шла — будто во сне, раздвигая тяжелую воду, и с каждым ее шагом Чалдонов ненавидел Бога все сильнее. Эта ненависть разбухала внутри — в пустой, темной, реберной клетке, — становилась все больше и больше, так что сначала стало невозможно дышать, потом верить и, наконец, жить.

Маруся подошла, легко положила мужу на рукав теплую ладонь.

— Что ты, милая? Как ты? — Чалдонов суетливо поцеловал Марусин висок, одернул пиджак, зачем-то поправил волосы — как будто пытался всей этой мелкой неловкой возней отвлечь Бога от собственного гнезда. Ненависти больше не было, был только страх, что неминуемый огненный столп теперь может обрушиться и на Марусину голову. Снова он все испортил, всем навредил. Недотепа. Дурень. Стоеросовая башка. Он хотел посмотреть жене в глаза и отчаянно трусил. Она была очень сильная, Маруся, но даже ее можно было раздавить. Раздавить можно вообще любого — особенно если ты Бог.

— Поедем, Сережа, — тихо сказала Маруся. — Поедем, наконец, домой.

— А как же... — Чалдонов замаялся, не зная, как продолжить. Как же вера? Как дети? Что будет дальше? Какая станция следующая — сумасшедший дом? церковный развод? петля, торопливо прикрученная к остревому хребту люстры?

— Поедем домой, Сережа, — повторила Маруся мягко. — Я обо всем договорилась.

Чалдонов наконец осмелился взглянуть ей в лицо. Глаза у Маруси оказались точно в тон платку — светлые, в крапинку — и очень спокойные. В них не было ни боли, ни гнева, ни надежды. Вообще ничего. Полная тишина.

Она действительно договорилась.

Ни она, ни Бог так и не сказали Чалдонову, в чем был смысл этого договора, но оба слово свое держали крепко. Чалдонов был счастлив в браке так, как только может быть счастлив рядом со смертной женщиной смертный мужчина. О детях вопроса больше не было никогда — как не было и самих детей. Марусю, впрочем, это больше, кажется, не волновало совершенно.

Она охотно и как будто даже радостно занялась делами мужа — его стремительно растущей карьерой, его научными работами и университетскими дрызгами. Чалдонов уверенно и мерно шел в гору, причем сплав крестьянского упорства и большой математической одаренности позволил ему сочетать виды деятельности, обычно сочетаемые крайне неохотно. Тем не менее Чалдонов одновременно показал себя ярким ученым и толковым администратором. Его оценили, продвинули, пригласили — словом, все шло правильным, благополучным чередом, и вечерами Маруся, стоя на коленках на поскрипывающем от усилий стуле, набело переписывала будущую диссертацию мужа, усердно высунув язык и ровным счетом ничего не понимая. «...То и решение

соответствующей задачи на течение газа может быть написано при помощи такого же ряда, во все члены которого войдут некоторые поправочные коэффициенты, выражаемые через Гауссовы гипергеометрические ряды...» — выводила она четким почерком с сильным и непривычным уклоном влево, что, по свидетельству графологов, говорит о полном контроле разума над чувствами. Чалдонов подходил сзади и тихонько дул Марусе на шею — прямо в пушистые щекотные кудряшки.

— Не пыхти на меня, — сердилась Маруся, — ты не видишь, я работаю. Сам же говорил, что надо скоро!

Чалдонов смиренно отходил в сторону, и Маруся, не оборачиваясь, строго распоряжалась — буфет чтоб не разорял, ужин скоро! Нет, что ты, клялся Чалдонов, стараясь не скрипнуть предательской дверцей.

— Гауссовы гипергеометрические ряды... — нараспев повторяла Маруся. — Очень красиво! Правда, непонятно. Это хоть что-то значит?

Чалдонов готовно мычал, пытаясь проглотить только что украденный кусок мяса:

— Ну как не стыдно, — возмущалась Маруся. — Через час за стол садиться, а ты... Телятину! Да еще и холодную! И всю подъял! Мне ни кусочка не оставил!

Круглобокая кухарка, пришедшая накрывать на стол, заставляла супружескую чету мирно поедающей варенье прямо из банки, причем Чалдонов увлеченно излагал Марусе основы газовой динамики, не замечая, что молодая жена орудует ложкой, бессовестно не соблюдая очереди. Работа «О газовых струях», представленная им в качестве докторской диссертации на физико-математический факультет Московского университета, была с блеском защищена в феврале 1894 года, и в том же году Чалдоновы отметили пятилетие со дня свадьбы.

Вопреки логике счастливых браков Маруся не превратилась в восторженную тень собственного супруга. Может быть, и потому, что Чалдонов прекрасно понимал, что дом, который вела его жена — порой упрямый и капризный, словно живое существо, — это тоже работа, тоже творчество, нужное миру ничуть не меньше, чем его научные изыскания или, скажем, мурчание кошки, вылизывающей сонных сытых котят. Мало того, Чалдонов был искренне уверен в том, что смысла в Марусиной ежедневной жизни куда больше, чем в его собственной. В разложенной на большом столе выкройке нового платья, в устройстве личного счастья горничной (прислуга Чалдоновых была почему-то особенно подвержена романтическим страстям, и Маруся то и дело выдавала очередную зареванную девушку замуж), даже в том, как Маруся, почесывая карандашом нежную шею, продумывала завтрашний обед, выгадывая из одного куска говядины и жаркое, и щи, и начинку для слоеных пирожков, — во всем этом была какая-то удивительная, трогательная, сразу понятная логика маленьких событий, из которых только и может сложиться большое счастье. По ночам Чалдоновы спали вместе, обнявшись, и, не просыпаясь, оба поворачивались на другой бок, стоило одному отлежать во сне ставшую огненно-игольчатой и непослушной руку.

Питоврановы — ставшие за это время еще шумнее и дружнее — часто бывали у Чалдоновых в гостях. Племянники и племянницы, которые каждый год нарождались в пугающей, почти геометрической прогрессии, обожали тетю Марусю, которая обладала врожденным женским даром качать, пеленать, напивать жидкой кашкой, отчитывать за расколотую тарелку (и ловко прятать осколки от прочих взрослых), пугать страшными историями и объяснять географию. И все это так, что даже самый капризный ребенок ни секунды не чувствовал, что его принуждают к чему-то, что он не желал бы или не мог сделать сам. Чалдонов даже ревновал жену к этой малолетней ораве, которая вечно повисала на Марусиных юбках, — притом что с детьми она никогда не сюсюкала и при случае могла оставить отменный пылающий отпечаток на провинившейся попе.

Родители как-то раз заговорили с ней о том, что можно бы взять сироту из дома призрения, но Маруся только удивленно подняла брови.

— Зачем? — сказала она просто. — У меня будет ребенок. Я знаю. Обязательно будет. Я в это верю, понимаете?

Мать не выдержала — расплакалась, она сама четырнадцать раз рожала, вырастила шестерых, остальных восьмерых прибрал Вседержитель, чтобы было кому резвиться у подножия Его сияющего престола.

— Что же ты говоришь, Маруся, если Господь не попустил, можно ли перечить?

— А я и не перечу, мама, — упрямо повторила Маруся. — Я просто знаю.

Шел 1899 год, начало нового века, новой эры, Россия каждый вечер утопала в полураздавленных кровавых закатах, про которые писали все, кто мог писать, и которые тревожили даже тех, кому не о чем было волноваться. Марусе исполнилось тридцать — и это уже чувствовалось, чуть мягче стала грудь, чуть резче — скулы, по утрам уже не так радостно откликнулась она мужу, хоть и знала, что он больше всего любит эти моменты, когда она была полусонная, теплая, словно слегка заторможенная долгим, блаженным, ни чуточки не страшным небытием. Жизнь проходила сквозь Марусю и мимо нее, но она все равно знала, что Бог выполнит данное обещание, как взамен она сдержала слово, данное Ему. И Бог оказался справедливым.

Ребенок у Маруси появился в сорок девять лет.

И ничего, что им оказался щедущий жиденок с горячими и веселыми — вопреки национальным велениям — глазами. Ничего, что ему было восемнадцать и что кроме вшей он принес в дом еще и отчаянно злую чесотку. Это был ее ребенок, Марусин. Ее единственный мальчик. Ее золото. Ее Лесик.

Она сразу поняла это, как только открыла дверь.

### Глава третья Лазарь

У Лазаря Линдта был удобный — девятисотый — год рождения, заранее облегчавший случайному кладбищенскому зевাকে все сложности праздного пересчета. Прочие покойники словно давали себе и свидетелям некий шанс: как будто сложные цифры на надгробии сулили особенно долгую и непредсказуемо интересную жизнь или даже бессмертие — которое, впрочем, длилось ровно столько, сколько требовалось прохожему на то, чтобы мысленно отнять одну четырехзначную цифру от другой. А тут — никакого напряжения мысли, никакого шевеления губами: вся судьба гладко и ловко укладывается в элементарное арифметическое действие — минус сто. Пойдем, что ты застрял у этой оградки? Да-да, дорогая, конечно, сейчас.

Самому Линдту на такие глупости, как собственная смерть, было наплевать — он был однозначный атеист, убежденный ревнитель базаровского лопуха. И, как ни странно, именно ощущение безусловной смертности, конечности земного существования дарило ему то же самое ровное и радостное бесстрашие, которым горели первохристианские мученики, пожираемые на аренах самую чуточку мультипликационными львами. Впрочем, к старости атеизм Линдта начал слегка горчить и выдыхаться, словно рассохлись какие-то резиновые прокладки, притиравшие пробку — ту самую пробочку над крепкий йодом, и Линдт не то чтобы стал верить — скорее, просто устал сомневаться. Он прожил невероятно длинную и очень удачную с любой точки зрения жизнь: провалы, аресты, расстрелы, идейные противники и бытовые завистники — все это происходило с кем угодно, только не с ним. Его боготворили друзья, уважали и побаивались оппоненты, обожали женщины. Все женщины — кроме одной. Даже не ошибка — меньше. Просто погрешность в тысячной после запятой.

— Ты, Лазарь, как будто не в наше время живешь, ни черт тебя не берет, ни советская власть, — ворчал Чалдонов, гоня под пересохшим языком ледяную таблетку валидола.

— Так их нету потому что, Сергей Александрович. Вот и не берут.

— Кого нет, Лазарь? Что ты несешь?

— Да никого нет — ни чертей, ни советской власти, Сергей Александрович. Люди всегда одинаковые. От сотворения Адама. Я просто умею с ними договариваться.

Линдт повозился, устраивая в кресле тощую язвительную задницу, и с наслаждением огляделся. Он обожал домашний кабинет Чалдонова — книжные шкафы, огромный стол, аппетитные залежи умного бумажного мусора, полумрак. Век бы отсюда не уходил, честное слово.

Чалдонов покачал головой. Договаривайся не договаривайся, а времена наступали самые людоедские. Шел 1937 год, на физфаке МГУ азартно громили троцкистов — и хоть до большой беды ученые умы не дошли, перьев и пуха по ветру напустили немало. Впрочем, разборки были исключительно внутренние — Родина, отдадим ей должное, физиков вообще особо не трепала — понимала, стало быть, что к чему, и кого бабы еще нарожают, а кого лучше не трогать, потому что выйдет однозначно — себе дороже. Жди потом полтора года лет нужного сочетания генов да вору у соседей по мелочи устаревшие технологии. Но Чалдонов, человек клинически порядочный и честный, каждую словесную баталию на заседании ученого совета воспринимал как настоящее сражение, причем вполне в духе Достоевского: дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей.

Линдт на этих шабашах демонстративно садился поближе к оратору и быстро начинал строчить что-то в тетрадь. Не то протоколировал, не то работал — мало кто разбирал его чудовищный, крючковатый, совершенно паучий почерк. Впрочем, суть записей тоже не понимал почти никто, но пара десятков ученых по всей планете от одного только имени — Лазарь Линдт — благоговейно закатывала глаза. Это звучало банально, но от этого не становилось менее значительным. Линдт работал на стыке физики, химии и, кажется, математики — на той невероятной высоте, где исчезают последние человеческие сомнения и сквозь истончившуюся ткань большой науки начинает просвечивать реальная плоть Единого Бога. Линдт был самым обыкновенным гением — и это понимали даже те, кто вообще ничего не понимал. Особенно в науке.

Но, несмотря на очевидную всем гениальность, в свои тридцать семь Линдт все еще ходил в вундеркиндах — звание глупое и тесное, как короткие штанишки на великовозрастном балбесе, но как еще могли называть его в мире, где средним возрастом признания считался семидесятилетний юбилей? Самый молодой профессор, самый молодой автор самой обсуждаемой монографии, самый плодовитый исследователь, собравший вокруг себя самую тесную стайку самых дерзких юнцов. Безусловно, он многих раздражал. Очень многих. По логике, Линдту давно следовало возглавлять целый отдел, а по уму — так и свой институт, потому что все идеи, которые он генерировал — часто на ходу, между делом, — он сам был не в состоянии ни воплотить, ни даже толком запомнить. Как любой человеческий выскочка, случайно, ни за что осененный свыше, Лазарь предпочитал заниматься только тем, что было интересно лично ему, — причем это «интересно» включало в себя не только науку, но и, например, прекрасный пол, до которого Линдт — обаятельный, как все уродцы, — был большой лакомка и охотник. Еще он любил хорошие книги, причем хорошесть таковых определялась не только автором и содержанием, но и годом издания. Полиграфическую продукцию, изданную после 1917 года, Линдт не признавал принципиально, и московские букинисты обожали его и за этот чудесный снобизм, и за чувство юмора, и за щедрость, и за поразительное чутье, но самое главное — за нежность, с которой он брал в руки очередной потрепанный том. Будто дотрагивался до коленей полураскрытой, дрожащей от нетерпения красавицы. Он был великолепный любовник, то есть, конечно, читатель — щедрый, умелый, благодарный, смелый. Ни одна не уходила от него обиженной — потому что с женщинами и книгами было приятно и выгодно дружить. Язвил и издевался Линдт только над мужчинами. С

ними приятно и выгодно было не иметь дела вообще. К сожалению, так почти никогда не получалось.

Разумеется, Родина очень быстро приспособила Линдта к войне, как приспособливали к ней все, что считала хоть сколько-нибудь полезным. Линдт не возражал — какая разница, к чему в итоге применяли его выводы — к усилению обороны страны или к увеличению молочных надоев. Это была не неразборчивость, не душевная тугоухость, а твердый и осознанный расчет. Во-первых, Линдт был начисто лишен нелогических человеческих сантиментов, во-вторых, процесс решения очередной научной задачи интересовал его куда больше конечного результата, в-третьих, он был взрослый и очень умный человек — в отличие от многих своих последователей, которые сперва азартно изобретали водородную бомбу, а потом так же азартно в этом каялись. Физика же, по мнению Линдта, была самым неподходящим занятием для бздунув. Или ты физик и идешь до конца, или просто трусливый лживый недоучка. Фарисеев Линдт не выносил.

Трудно сказать, почему его не пустили в расход или хотя бы не посадили. Может быть, потому что он был невероятно, почти анекдотически непрактичен и нечестолубив, а во всех сталинских делах — только копни — на свет вылезают банальные человеческие страстишки — деньги, почести, слава, которых никогда не хватает на всех желающих. Может, дело было в чувстве юмора — все-таки сражаться с человеком, который все время смеется, не только бессмысленно, но и унижительно для нападающего. А может, секрет таился в пресловутой гениальности — Линдт был на вид совершенно как все, но по каким-то едва уловимым признакам, по незаметному, но сильному перекосу по всем привычным швам отличался не просто от своего биологического вида, но, возможно, и от белковых форм существования жизни вообще. Скорость, с которой он думал. Отчетливый, чуточку механический смех. Великолепное пренебрежение любыми нормами размеренной человеческой морали. Манера быстро, по-обезьяньи, почесывать выпуклые гениталии. Хаос, который он производил, — жуткий, первобытный, вещественный хаос. Линдт был явно иной, нездешней закваски — очень может быть, что даже на клеточном, биохимическом уровне. Это было совершенно ясно — и очень страшно. По-настоящему страшно. Тем, разумеется, кто был в силах понять.

Конечно, огромное значение имело покровительство Чалдонова, который с чугунным, локомотивным упорством тащил Линдта за собой, прикрывая одышливым раскаленным боком от малейшего неласкового дуновения извне. Линдт, несомненно, пробился бы и сам. Может, на десятилетие позже, может, иной ценой, но — пробился бы. Но Чалдоновы...

В восемнадцатом Линдт прожил у Чалдоновых почти три месяца — на два больше, чем требовалось, потому что карточки, пайки, ордера, комната — все было (усилиями Чалдонова, конечно) готово почти сразу, почти сразу же исчезли вши, почти сразу же начались споры. Они с Чалдоновым орали друг на друга, надув горловые жилы, ссорились, причем особенно азартно — из-за теории движения тел с неинтегрируемыми связями.

— Мальчишка, — вопил Сергей Александрович, — неуч, сопляк, да я за эти выводы золотую медаль Академии наук получил!

— Царской академии наук, — ехидно улыбался Линдт. — А это, согласитесь, в нынешней ситуации совершенно меняет дело. Вот если бы в академии действительно интересовались наукой, то непременно обратили бы ваше внимание вот на эту обаятельную нелогичность...

Линдт принимался писать прямо на обороте какого-то не то декрета, не то приказа — власть исправно снабжала Сергея Александровича бесчисленными энцикликами и циркулярами, и если бы не эта полиграфически-канцелярская щедрость, ему наверняка пришлось бы бросить курить.



— Чаю, мальчики? — спрашивала Маруся, с любопытством заглядывая Линдту через плечо. За другим плечом пыхтел нависший Чалдонов, неразборчиво, но явно матерно бормоча. Линдт тотчас вскакивал, не дописав.

— Разумеется, чаю, Мария Никитична. Давайте я вам помогу.

— Так не дописал же! Не дописал! Потому что нечего дописывать, и нет тут никакой нелогичности! — вопиял Чалдонов, втайне страшно довольный и отчаянными (ну, совершенно как когда-то с Жуковским!) спорами, и веселой дерзостью Линдта, и даже диковатым, горьким, отчетливо меховым запахом, который он принес в дом. Как будто они с женой приручили никому не дававшуюся в руки молодую ласку.

— Не шуми, Сережа, — укоряла Маруся. — Лесик, не слушайте его — эту золотую медаль дали не ему, а мне — причем за отличный почерк. Сколько раз я переписала эту твою теорию движения никому совершенно не нужных тел? Вот именно — шесть раз! Кстати, Лесик, вы не поверите — я сегодня сменяла на десяток яиц как раз шесть серебряных ложечек! Подумать только, в четырнадцатом году эти самые ложечки стоили десять рублей, а десяток яиц — двадцать пять копеек!

— Ты все равно их терпеть не могла, Маруся, — утешал Чалдонов.

— Ложечки? — смеялась Мария Никитична. — Или яйца? Пойдемте-ка лучше обмывать эту грандиозную сделку — кроме яиц удалось добыть немного муки, и я напекла совершенно дореволюционных пирожков — правда, без сахара и без масла, но на вид решительно вкусные. Между прочим, за пуд ржаной муки просят три фунта махорки — вы только вообразите себе! Целый пуд!

Линдт и Чалдонов выражали согласное возмущение — как могла Маруся даже подумать о том, чтобы тащить на себе с Хитровки целый пуд муки! Когда в доме есть сразу два сильных и выносливых мужчины! Самых сильных и самых выносливых, весело соглашалась Маруся, проворно накрывая на стол и локтем прикрывая блюдо с пирожками от посягательств мужа. Но при этом невероятно глупых. Сами подумайте, откуда мне взять три фунта махорки, если некоторые не вынимают самокрутку изо рта! Никогда не курите, Лесик. Отвратительная привычка! Вы же не начнете курить? Обещайте!

Линдт кивнул с серьезностью, которую никто не заметил и никто не оценил. Курить он бросил тем же вечером — вышел в ледяной московский двор и вывернул из кармана даже не махорку — просто труху, табачный сор, добытый бог весть какой ценой, бог знает где, и такой вонючий, что Линдт, самозабвенно смоливший лет с десяти, ни разу не осмелился скрутить собачью ножку у Чалдоновых дома. Больше он в жизни не сделал ни одной затяжки, и если бы Маруся захотела вить из него веревки, то получившихся пеньковых изделий с лихвою хватило бы на всю Россию, а то и на весь обитаемый и необитаемый мир. Но она не хотела. Не хотела мучить своего мальчика. Такая чуткая, не видела и не замечала ничего. Линдт со стоном втянул в себя стиснутый, насквозь замороженный воздух и пошел назад, в дом. В тепло. Плевать на махорку. Можно отказаться от чего угодно — если тебе на самом деле есть куда идти.

Даже съехав в комнату, а потом и в свою собственную квартиру (благополучие Линдта росло прямо пропорционально благорасположению властей и обратно пропорционально его собственным потребностям), он не перестал бывать у Чалдоновых. Сначала едва ли не ежедневно, потом еженедельно — мучительный период ненужной деликатности, который Маруся, смекнув, в чем дело, решительно и быстро пресекла, — потом снова ежедневно, так что у Чалдоновых быстро появилась чашка Лесика, его любимое место за столом, диван, на котором он, припозднившись, оставался ночевать — привилегия, использовавшаяся действительно в исключительных случаях. Когда в двадцать третьем Маруся чуть не умерла от тифа. Не хочу даже вспоминать. Не буду. Слишком страшно. Или в двадцать девятом — когда Чалдоновы отмечали сорокалетие со дня свадьбы, и чуть не умер уже Сергей Александрович, на радостях преизрядно перебравший «рыковки» —

тридцатиградусной, мерзкой, но зато быстро пополнившей казну молодого советского государства.

Надо признать, что из всех деяний Совета Народных Комиссаров самым удачливым и значительным следует признать именно декрет о разрешении продажи водки, изданный в конце 1924 года. Доход от питейного дела вырос в разы — от 15,6 миллиона рублей в 1922–1923 годах, до волнительных 130 миллионов в годах двадцать четвертом и двадцать пятом. Неплохо, если учесть, что бутылка стоила рубль семьдесят пять. Неблагодарный народец, впрочем, норовил обозвать водку «полурыковкой» и завистливо утверждал, будто настоящую «рыковку» — в шестьдесят градусов — употребляет сам председатель Совнаркома товарищ Рыков. В одно, надо полагать, рыло. И как только не лопнет, сволочь этакая!

Впрочем, малопьющему и умиленному любовным юбилеем Сергею Александровичу хватило и «полурыковки», употребленной вне всякой меры и такта, так что Маруся, ругаясь и смеясь, упростила Линдта остаться — потому что я одна не управлюсь, Лесик, и потом его же все время тошнит. Нет-нет, не убирайте! Ни в коем случае не убирайте! Пусть утром проснется и увидит, что натворил! Чалдонов, которого с большим совместным трудом удалось угомонить и загнать в постель, мирно почивал, разложив по подушке нимб из благородных и слегка заблеванных седин. Совершенно свой у Чалдоновых, Линдт вдруг понял, что впервые оказался в хозяйской спальне — маленькой, простеганной ночными тенями, похожей на нескромную шкатулку, захлопнувшуюся изнутри. Было почти нестерпимо душно — от рвотных ароматов, багровых гардин, от красного пухлого одеяла, отчего-то не убранного по случаю летнего времени, от венозного румянца, блуждавшего по чалдоновским щекам. Даже июньский тополиный пух, невесомо и едва ощутимо шевелившийся в полутемных углах, и тот казался душным и жутким, словно в кошмарном сне. И только Маруся была прохладная, в прохладном платье, и гладкие перламутровые пуговички на ее спине тоже были прохладные и обнаженные, как позвонки.

Одиннадцать лет почти ежедневных встреч. Ни одного неосторожного слова. Тридцать один год разницы. В год, когда Линдт родился, она впервые заметила возле глаз грубоватые гусиные лапки, которые не исчезали, как ни передвигала Маруся лампу, пытаясь обмануть лукавое отражение. Она огорчилась неожиданно сильно для женщины, которая считала себя здравомыслящей и, выбирая ботики, всегда предпочитала бессмысленной моде здоровую практичность. Застав жену в слезах и невнятных жалобах, Чалдонов помчался в аптеку и принес во влюбленном клюве пакет, содержимое которого должно было, по его простодушному убеждению, волшебным образом преобразить Марусю в сказочную принцессу, каковой она и так, несомненно, была, но — только не плачь, Марусенька, ну что ты плачешь, ты только посмотри, что я тебе купил!

Обнаружив на туалетном столике мыло от головной перхоти провизора А. М. Остроумова (кусочек 30 копеек, продается везде, двойной кусочек 50 копеек, рачительный Чалдонов, разумеется, купил подешевле, но с запасом, чтобы надолго, — двойной) и депилаторий д-ра Томсона в порошке (лучшее и совершенно безвредное средство для удаления волос с тех мест, где они нежелательны, цена коробки 1 р. 50 к.), Маруся действительно мгновенно перестала плакать и устроила Чалдонову великолепнейшую, освежающую, молодую взбучку, после которой сперва хотела подать на развод, а после долго, до изнеможения хохотала, слушая нелепые объяснения до смерти перепуганного мужа, что он же как лучше, и в аптеке божились, что средства патентованные, самые лучшие и к тому же абсолютно безвредны для кожи.

Абсолютно безвредный для кожи депилаторий и мыло от перхоти были в ближайший же праздник торжественно вручены дворнику, непотребному щеголю и сердцееду, который, судя по довольному виду, патентованные и самые лучшие средства употребил с несомненной пользой для себя — хотя и без видимых для окружающих результатов.

Маруся, азартно державшая пари, что дворник останется без великолепных усов, проиграла Чалдонову прогулку в Нескучном саду и четыре поцелуя, после чего совершенно, раз и навсегда, перестала волноваться по поводу таких простых и ясных вещей, как жизнь, увядание, смерть.

Всего этого Линдт, разумеется, не знал, да и не мог знать. Большая часть Марусиной жизни прошла не просто мимо — до и вне его собственной. На его памяти она только старела — легко, весело, самоотверженно, без мук. Ей был к лицу ее возраст, старый, навеки влюбленный муж, были к лицу эти душные сумерки, текущие рвотой, молоком и медом. Лампа, заботливо прикрытая шалью, сияла неярко, будто дотлевающая жар-птица, и свет от нее — мягкий, медный, с шелковыми кистями — играл с Марусиным живым лицом, приглушая седину, нежно сглаживая морщины. *Animula vagula blandula...* Моя нечаянная радость.

Давай, ничтожество, соберись. Сейчас или уже никогда.

— Я люблю вас, Мария Никитична, — тихо сказал Линдт, глядя в сторону, в бесшумно вздыхающий угол, в другой, настоящий мир.

— Я тоже очень вас люблю, Лесик, — легко и невнимательно отозвалась Маруся, поправляя подушку так, чтобы мужу было удобней лежать. — И Сергей Александрович тоже любит. Знаете, Господь не дал нам детей, но...

Линдт вдруг хрипло закашлялся, будто залаял, и быстро, почти бегом, вышел из комнаты.

— Лесик, вы поперхнулись? — рванулась вслед за ним испуганная Маруся. — Надо воды, скорее выпейте воды, — но тут Чалдонов громко, с прямо-таки барскими перекатами всхрапнул и завозился в постели, и Маруся, мгновение поколебавшись, выбрала мужа. Она выбрала мужа.

— Чшшш, милый, я тут. Ляг поудобнее. Вот так.

Когда буквально через минуту она торопливо вошла в кухню, все было в полном порядке. Линдт, вполне отдышавшийся, мыл под витой струей стакан. Уже не тот, из которого пил, а чей-то чужой, испачканный по ободку жирной яркой помадой. Посуды от гостей остались целые вавилоны.

— Вы в порядке, Лесик? — спросила Маруся встревоженно.

— В полном, Мария Никитична, — вежливо откликнулся Линдт. — Не в то горло попало. Извините. — Глаза у него были красные, мокрые, но уже совершенно спокойные. — Ступайте к Сергею Александровичу, я тут пока приберусь.

— Спасибо вам, милый! — сердечно поблагодарила Маруся, и Линдт ловко и незаметно убрал затылок из-под ее ласкающих пальцев. Зря он надеялся, зря мечтал хапнуть то, что ему не принадлежало и принадлежать не могло. Вполне достаточно того, что она просто есть. Просто существует — у других нет и того. Мудрецы, Лазарь, довольствуются малым — видно, пришла пора становиться мудрецом. Линдт взял очередную грязную тарелку, сыпанул из картонки соды, под пальцами скрипнуло, взвизгнуло, отозвалось.

Да, ему двадцать девять и он влюблен в женщину, которой шестьдесят. Нет, не влюблен — он любит женщину, которой шестьдесят, и любил ее, когда ей было сорок девять. И пятьдесят пять. И будет любить ее и в ее восемьдесят лет, и, это уже совершенно ясно, что и в свои. Пусть бросит в него камень тот, кто считает это чувство ненормальным, — Линдт взамен с наслаждением вырвет мерзавцу кадык. Потому что не было на свете ничего нормальнее, яснее и проще его любви, и вся эта любовь была свет, и верность, и желание оберегать и заботиться. Просто быть рядом. Любоваться. Слушать. Следить восхищенными глазами. Злиться. Ссориться. Обожать. Засыпать, изо всех сил прижав к себе. Просыпаться вместе. Никому и никогда не отдавать. Почему это было

можно Чалдонову, но нельзя Линдту? При чем тут возраст? Какое значение имеют эти жалкие тридцать лет?

Да, Лазарь Линдт имел наложниц и жен без числа, куда там царю Соломону, его волновали женщины, он волновал женщин, но любил он одну только Марусю. Остальные были просто сосуды, пустые, темные, гулкие, куда он пытался спрятаться, потому что любил Марусю, а она не любила его. Он сходил и расставался с любовницами легко, едва отличая одну от другой, не запоминая запахов, не вникая в слова, не обращая внимания на жесты. В его случае не имело ни малейшего смысла поститься — целибат ничего не менял, так не стоило понапрасну мучить плоть, она, бедная, уж точно ни в чем не была виновата. Он получал много живого, животного, жаркого удовольствия от женщин, еще больше отдавал — но Марусю. Марусю... Мария Никитична, я вас люблю. Идиот. Жалкое ничтожество. Раз уж для всех эти тридцать лет так непоправимы, сделай так, Господи, чтобы я родился на полвека раньше, пусть кретином, недоумком, нищим обдергаем, не умеющим ни читать, ни считать. Я бы нашел способ найти ее. Она бы меня все равно полюбила. Сделай так, Господи, чтобы Ты — был...

Тарелка еще раз жалко пискнула под пальцами Линдта и распалась на острые неравновеликие части. Отличный знак, Господи. Я и не сомневался, что Тебе и дела нет до того, что Ты не существуешь. И не надо про Фрейда, оставь себе смешные половые теории дробчатого еврея, отчаянного курильщика, обитателя буржуазнейшей квартирки в центре неторопливой уважаемой Вены. Успокойся, моя мать тут решительно ни при чем, она была всего-навсего плодovitая дура, бессловесный автомат, штампующий никому не нужных жидовских младенцев, очень может быть, что она и была святая, но мой папаша уж точно не дотянул до плотника. Хоть в этом мне повезло. В спальне Чалдоновых было тихо — видно, Маруся заснула, прикорнула рядом со своим великим мужем. Если бы он не был моим учителем и ее мужем, я бы его убил. Нет, не так. Я бы убил его в любом случае, если бы это хоть что-то могло изменить.

Линдт обвел глазами бастион вымытой посуды. Из помойного ведра жарко воняло подкисающими объедками. Приготовленный Марусей гусь был выше всяких похвал. В Москве двадцать девятого года было сытно, лениво, и только на рассвете, который медленным бледным киселем заливал окна, чувствовалась какая-то неясная, будущая тревога. Наступали новые времена — очередные и снова страшные. Линдт вышел в переднюю, снял с вешалки пиджак и тихо затворил за собой дверь. В конце пустой улицы поднималось огромное равнодушное солнце. Впереди была длинная жизнь. Очень длинная.

И Лазарь Линдт честно пошел по направлению к последней странице.

Он был родом из какого-то сонного ничтожного местечка — не то на юге Херсонской губернии, не то где-то еще, — поначалу никто не потрудился уточнить ни у Линдта, ни на карте, а когда пришло время кропотливых и неумолимых анкет, то Линдт уже был нужен, ой как нужен. Так что пришлось довольствоваться только труднопроизносимым топонимом Малая Сейдеменуха — да самой беглой проверкой. Вы говорите, ваши все погибли в Гражданскую, Лазарь Иосифович? Расстреляны белогвардейцами? Телеграмма от товарищей из Малой Сейдеменухи лаконично подтверждала, что семейство Линдтов действительно было расстреляно в таком-то году. Правда, в том же году несчастное местечко громили и красные, и белые, и зеленые, и бог весть еще какие звероватые батеньки, совсем уже не классифицируемые по партийной или политической линии, но тем не менее отлично умеющие жечь, вешать, насиловать и убивать. Уточнять, кто именно стер с лица земли родню Линдта, на всякий случай не стали — мог выйти серьезный и никому не нужный конфуз. Сам же Линдт ни о детстве, ни об отрочестве не рассказывал никогда и никому. Не то чтобы скрывал, просто отшучивался, уходил, ловко плеснув хвостом, на какую-то совсем уже не постижимую собеседником глубину, как будто там, в

прошлом, остался какой-то незаживший нарыв — такой ужасный и набухший, что даже мысленно дотронуться невозможно.

Чалдонов из любопытства как-то покопался в дореволюционных статистических данных — совершенно для Линдта неутешительных — и выяснил, что в 1897 году, за три года до рождения Линдта, в местечке Малая Сейдеменуха проживало 520 человек, из них 96,5 % — евреи. Большая часть влачила земледельческое существование — на семью выходило в среднем одиннадцать с небольшим десятин земли, полторы коровы и тридцать восемь кур. Чтоб не помереть с натуги, многие баловались ремеслишком, особенно густо было стекольщиков. Впрочем, стекольное дело вообще отчего-то пользовалось у евреев особой популярностью. В местечке кроме перечисленных излишеств имелся молитвенный дом (до собственной синагоги сейдеменуховцы доросли только в начале двадцатого века) хедер и частная начальная школа Абрама-Трайтеля Лейбовича Шайкина — полоумного еврейского святого, усердно сеявшего в Малой Сейдеменухе разумное, доброе и вечное — уж чего-чего, а вечного у евреев всегда было хоть отбавляй.

Шайкин, происходивший из нищелуднейшей семьи, к тридцати годам не просто выучился грамоте, но и выколотил у Министерства просвещения России (тупого и косного, как любое министерство) диплом народного учителя — уже это было достойно подвига, но Шайкину мало было святости, он настаивал на мученичестве. Терновый мой венец! Став, наконец, учителем, Абрам Лейбович, вместо того чтобы на этом угомониться, открыл в доме собственного отца школу — внимание! частную и светскую! — и в школе этой ежегодно в три смены училось по сорок-пятьдесят сопливых и глазастых крестьянских детишек — чудесных маленьких жиденят. Причем учил их Шайкин (между прочим, папаша семерых собственных вечно голодных отпрысков) арифметике и географии, а также прочим премудростям, крайне необходимым в этой заскорузлой и каменистой жопе мира. Разумеется, вся Малая Сейдеменуха как один считала Шайкина законченным идиотом, и, разумеется, несмотря на все его титанические усилия, грамотных и малограмотных в местечке было больше 70 процентов. Мировую гармонию не так-то легко нарушить, даже если ты не только еврей, но еще и святой. Особенно, если ты еврей. Да еще и святой.

— Лесик, вы тоже учились у Шайкина?

— Я вообще не учился, Мария Никитична, — очень серьезно отвечал Линдт. — Некогда было.

— Но родители-то у вас были? Почему вы никогда не расскажете про маму или про отца? — продолжала допытываться любопытная Маруся, не обращая внимания на умоляющие гримасы Чалдонова, деликатность которого корчилась от любого вмешательства в чужую и от того особенно драгоценную жизнь.

— Разумеется, были. Хотя я бы предпочел, чтобы меня нашли в капусте — желательно, вашего приготовления. — Линдт улыбался и придвигал к себе тарелку с припухшими загорелыми пирожками так, что было совершенно ясно, что продолжения беседы не будет. В капустную начинку Маруся непременно добавляла вареное вкрутую яйцо, черный молотый перец и грибы. — Это ведь белые, Мария Никитична? Замечательно вкусно.

После того памятного предрассветного признания Линдт несколько месяцев разговаривал с Марусей с валкой, уклончивой осторожностью соучастника или канатоходца — будто и впрямь что-то зависело от каждого слова или жеста, будто Маруся действительно слышала его или поняла. Потом ему наскучила и эта игра, очередной жалкий самообман — ходьба на живых израненных подошвах по вымышленной — словно в насмешку — веревке, натянутой над ярмарочной площадью, забитой зеваками, которым нет до него никакого дела, потому что их и самих попросту не существует. В качестве головоломки, упражняющей мозг, это было неплохо, но для жизни годилось мало. И Линдт надолго смирился с существующим положением вещей, как смиряешься рано или

поздно с гравитацией, которая не позволяет летать, несмотря на то, что трудно вообразить себе что-то более естественное для человеческого тела, чем полет.

Все пошло по-прежнему — может быть, даже лучше. В конце концов, у Линдта была еще и работа, которую он ценил. Не служба, ежедневно выдиравшая из жизни кусок с девяти до семи, так что на радости свободного существования оставалось всего несколько часов, из которых большая часть вынужденно приходилась на сон и еду, а именно работа — к тому же отлично организованная со всех точек зрения. И справедливости ради надо было сказать, что работой этой — как, впрочем, и практически всем остальным — Линдт был обязан Чалдонову.

Чалдонов, правду сказать, недолго мучился, благоустроивая МГУ, — уже в конце восемнадцатого года, по горло сытый молодой большевистской бюрократией, он пошел на поклон к Жуковскому, да-да, к тому самому, к своему университетскому учителю, покровителю, практически к отцу.

Жуковский, когда-то приметивший среди своих студентов сообразительного деревенского паренька, не просто вывел его в большую науку, но и много усердствовал для того, чтобы большая наука оказалась к Чалдонову благосклонна. Брак своего выкормыша с Марусей он одобрил чрезвычайно и на свадьбе честно выполнил все утомительные обязанности шафера, включая держание венца (на цыпочках) над огромным Чалдоновым и выслушивание длиннейших и занудных заздравных речей, которыми по очереди раздражались все ученые коллеги невменяемого от счастья жениха. Марусю Жуковский очаровал совершенно — тем, что по страшной своей, анекдотической рассеянности принял за даму старого приятеля Питоврановых — иеромонаха Серафима, нисколько не смутившись наличием у последнего могучей рыжей бороды. Впрочем, праздничное бело-голубое облачение и пухлый зад отца Серафима могли ввести в заблуждение кого угодно, так что скисшей от смеха Марусе едва удалось спасти монашествующую особу, которую Жуковский во что бы то ни стало желал пригласить на пасадобль, не очень, правда, понимая, что это такое и как его, собственно, полагается танцевать.

Но в 1910 году, после многих лет замечательной дружбы, Жуковский и Чалдонов вдруг жестоко рассорились — причем по причине пустяковой и вопиюще антинаучной. Самым обидным было то, что сама эта причина почти мгновенно испарилась из памяти обоих — так исчезает порох, вспыхнув и дав снаряду возможность отправиться в смертоносный путь. Но, несмотря на это, все усилия Маруси и дочери Жуковского помирить двух упрямцев оказались тщетными. Жуковский и Чалдонов перестали не только встречаться, но и разговаривать, и это продолжалось — подождите-подождите... Господи помилуй! Восемь с лишним лет!

И вот Чалдонов, пламенея не только ушами, но и отчего-то даже носом, снова стоял перед своим старым учителем — теперь уже старым в самом прямом, мафусаиловом смысле этого слова. Разумеется, оба дореволюционно прослезились и дореволюционно же накрепко обнялись. Чалдонов извлек из-за пазухи заботливо добытый Марусей спирт — микроскопический мутный мерзавчик, который окончательно растопил и без того размякшее учительское сердце. Власть обсудив и новую власть, и старых знакомых, пройдясь по поводу вопиющих цен и вопиющей же невежественности общих научных оппонентов, Чалдонов и Жуковский вновь обрели душевное равновесие и друг друга. Оба так и не смогли припомнить, из-за чего вдруг так разобиделись, и нашли в этом поистине гоголевский комизм, который, не помиришь они сейчас, мог обернуться вполне гофманианской грустью. Подумайте, Сережа, ведь я, старик, мог умереть, так и не сказав вам, как вы мне дороги!

Все это было бы невыносимо банально, если бы не трясущаяся голова Жуковского и не зияющие раны на его книжных полках. Топить было нечем, торговать — тоже, да и не случилось у много лет вдовешего Жуковского ловкой Маруси, умевшей сменять пару

отличных поленьев за пару отличных же золотых сережек и никогда потом об этих сережках не жалеть. Дочь ведь вся в меня, Сережа, такая же ни к чему не приспособленная дура... Только вдобавок еще и математики не знает. Как жить — ума не приложу. Да и нужно ли? Может, и правда нет в нас никакого толку?

Чалдонов возмущенно замахал руками — да что вы такое, Николай Егорович, да о чем это вы, лучше послушайте, что я придумал и зачем, собственно, позволил себе к вам явиться. Помните, мы с вами обсуждали волновое сопротивление артиллерийских снарядов? Жуковский, все так же тряся головой, заулыбался. Он помнил — еще бы он не помнил!

— Так вот, — заторопился Чалдонов, — вообразите, что можно не обсуждать, а поставить все на сугубо научную и даже промышленную основу, получить, так сказать, отдельное направление, свое собственное — с отдельным финансированием, но не в этом суть. Главное — снова заниматься делом, а не этой... — Чалдонов передернулся, вспомнив свои тягомотные эмгэушные муки.

— А что же вы сами, Сережа, не возьметесь? — любопытно спросил Жуковский.

— Мне не дадут, Николай Егорович, — просто ответил Чалдонов. — Авторитету не хватает. Малограмотных пестовать мне еще, по их разумению, можно, а вот до войны могут и не допустить. Надо, чтобы вы пошли — вам непременно доверят, вы единственный из специалистов, кто... — Чалдонов замялся, и Жуковский твердо закончил за него:

— Кто еще не помер да не смылся за границу.

Оба угрюмо помолчали, мысленно примеряя на себя все названные варианты. Зима была непростая — и выбор был непростой. В ледяном воздухе дыхание Жуковского походило на слабые седые иероглифы, таявшие быстрее, чем кто-то успевал их прочитать. Он был старый, совсем старый, его было мучительно жалко. Но у Чалдонова на руках были Маруся и Линдт. И он не собирался сдаваться.

На следующее утро Чалдонов самолично проводил Жуковского до Кремля. Старик с трудом дошел — крошечный, ссохшийся, совсем затерявшийся в огромном заиндевелом пальто, он то и дело оскальзывался, и Чалдонов едва успевал подхватывать легкое тельце, почти целиком уже принадлежащее иному миру. Аудиенция длилась долго, и Сергей Александрович совсем промерз, прогуливаясь неподалеку от Боровицких ворот. Это были верхи, до которых Чалдонова пока не допускали, невзирая на безоговорочное принятие революции. Если б они только знали, что в основе этого самого безоговорочного принятия лежало исключительно упрямство Маруси, не желавшей бросать родительские могилы и соленые огурцы, кадушечные огурцы в крепких пупырях и с хрустящими белыми жопками.

— Куда ты там собирался? В Англию? Где я возьму, по-твоему, в Англии хрен? А смородиновые листья? А дубовую кору, не говоря уж о самом дубовом бочонке! Нет, нет и нет! — Маруся сердито пролистала «Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве» (издание 22-е, исправленное и дополненное, СПб., 1901, Типография Н. Н. Клобукова, Пряжка, д. № 3) и продемонстрировала мужу нужную страницу. — Видишь, вот тут — соленые огурцы пятым манером готовятся исключительно с дубовой корой.

Чалдонов попробовал возразить, что если в природе существуют еще как минимум четыре манера соленья огурцов, то, вероятно, не стоит так заикливаться именно на пятом, и что в Англии наверняка сколько угодно хрена, и очень возможно, что и смородины тоже, а вот Елена Молоховец — совершенно точно плохой советчик в вопросах, которые касаются жизни и смерти.

— При чем тут Молоховец! — возмутилась Маруся. — Для меня соленые огурцы — вопрос жизни и смерти!

И они никуда не поехали, конечно.

Через два часа Чалдонов уже смирился с тем, что Жуковского, вероятнее всего, арестовали или даже там же, в Кремле, расстреляли — про расстрелы рассказывали страшные вещи, совершенно в афанасьевском, сказочном, жутком духе. Только слушателям было не по пять лет и никакие попытки зажмуриться или проснуться ничего не меняли. Но спустя еще четверть часа Жуковский вдруг появился в сопровождении молодого обходительного солдата — живой, невредимый, страшно довольный, и даже надвое разделенная борода его серебрилась, будто заправский бобровый воротник, давным-давно отпоротый и сменянный на масло, которое, впрочем, оказалось прогорклым.

Еще через несколько месяцев, в начале девятнадцатого года, специально для Жуковского открыли институт с лязгающей аббревиатурой ЦАГИ вместо названия — очень небольшой институт, но с очень чрезвычайными полномочиями. Компания, которая собралась там, под руководством Жуковского, со временем вся целиком переехала в энциклопедии и справочники, причем не только в советские, но и в мировые, так сказать — всепланетного масштаба умы собрались тут, господа, а это значит, что и результаты у нас сами должны быть всепланетными. Чалдонов сидел по правую руку от учителя — на правах заместителя и автора идеи. Он предусмотрительно оставил за собой кафедру в МГУ, но все основные силы, разумеется, отдавал Жуковскому, в котором, несмотря на кажущуюся дряхлость, оказался просто невиданный, почти противоестественный запас сил. Институт под его руководством пыхтел, как кипящий чайник, активно строился, разражался блестящими идеями, выполнял правительственные заказы, попирал, открывал сияющие вершины, неистово ниспровергал.

В феврале двадцатого года Жуковский подхватил пневмонию — уже этого было вполне достаточно для того, чтобы отправиться на кладбище, но Жуковский выкарабкался, хотя, пока он плавился в старческом жару, сгорела от чахотки его дочь, даже не смейте мне сочувствовать, отрезал он, и никто не смел — да и не помогло бы, если честно, никакое сочувствие. В июне Жуковский перенес инсульт, от которого тоже умудрился оправиться, будто во время той заветной аудиенции в Кремле действительно продал душу пролетарскому дьяволу, иначе нельзя было объяснить то, что даже частично парализованный старик смог надиктовать курс теоретической механики стайке ничего не понимающих и бойких стенографисток. Он составил собственную автобиографию, сухую, скромную, небольшую, как он сам, завещал остатки роскошной когда-то библиотеки молодой советской республике, после чего немедленно заболел тифом и перенес второй инсульт, который тоже его не убил, хотя и помешал бурно отпраздновать пятидесятилетие научно-педагогической деятельности. Воистину повернуть такое было не под силу даже дьяволу. Завод закончился только в промозглом марте 1921 года — Жуковского похоронили в Донском монастыре, и ЦАГИ унаследовал Чалдонов. Разумеется, со дня открытия института в нем работал и Лазарь Линдт.

Кстати, Жуковскому Линдт не понравился совершенно.

— Я понимаю, Сережа, он талантливый самоучка, самородок, а это всегда чертовски обаятельно...

— Гений, Николай Егорович, — тихо уточнил Чалдонов. — Не самородок, а гений.

Жуковский, как любой педагог, не терпевший, чтобы его перебивали — пусть даже и по делу, — сердито потарахтел пальцами по обеденному столу. Кабинет, выделенный ему в ЦАГИ, был еще огромнее и холоднее, чем обиталище Чалдонова в МГУ, потому работать Жуковский предпочитал дома. Так сказать, и стены помогают.

— Хорошо — пусть он гений, хотя это и очень спорный вопрос. Но, помилуйте, он же совершенно бездушный. Весь какой-то ломаный, колючий, вывернутый — только не наизнанку, а вовнутрь. Ни малейшего почтения ни к чему, никаких авторитетов, вплоть до прямого хамства.



— Николай Егорович, — снова позволил себе перебить Чалдонов. — Мальчику едва исполнилось девятнадцать. Он бог весть откуда пришел пешком — из какого-то жуткого поселения, всех его родных расстреляли, сам чудом спасся. Вы про еврейских колонистов слышали? У них и в прежние-то беззубые времена был голод и каменный век. А что там сейчас творится, представляете? Лазарь — по всем законам Божеским и статистическим — должен быть вообще неграмотным, а поди же — не только меня, но и вас в тупик умудряется ставить. А почтение в науке — сами знаете, ведет только к застою да мелкому чиновничеству...

— Не знаю, не знаю, Сережа. Я вот вас в девятнадцать лет помню — вы тоже не из дворца прибыли, но совсем другое производили впечатление, так что на возраст и социальную среду не стоит пенять. Да, не стоит-с!

— Я никогда не был гением, Николай Егорович, — тихо признался Чалдонов и помолчал, давая Жуковскому возможность примерить это утверждение и на себя. Нигде не жало, все было чистой и грустной правдой. — Потому я вас нижайше, нижайше, самым покорным образом прошу...

— Бросьте эти глупые церемонии, Сережа! — рассердился, наконец, Жуковский, что всегда у него было признаком окончательной капитуляции. — Хотите нянчиться со своим приبلудным еврейчиком, ради бога. Что вы от меня-то хотите? Чтоб я его в академики произвел?

— Только одну-единственную подпись, — обрадованно зачастил Чалдонов, — академиком Лазарь и сам станет, вот увидите, но для начала ему надо хоть какую-то бумагу об образовании выправить. У него ведь за душой ничего, кроме метрики о рождении, да и та, кажется, фальшивая. Ему хоть сейчас свой отдел в институте давай, а он у нас по всем официальным параграфам — ноль. А за вашей подписью можно ему и полный аттестат о высшем образовании выхлопотать!

— Ладно, — проворчал Жуковский. — Приводите своего вундеркинда на следующей неделе. Но сразу предупреждаю — никаких поблажек.

Поблажек и правда не было. Лазарь Линдт в чалдоновском старом сюртуке, который Маруся ловко подогнала ему по фигуре (смотрите, какой великолепный камлот, Лесик, ангорка с шелком — я всегда знала, что ему сносу не будет!), словно почувствовал неприязнь Жуковского и держался с замечательной скромностью, которая очень ему шла. Он уже оброс после первичной санобработки, но диких кудрей больше не запускал, щеголял крупной головой в гладких, каракулевых полузавитках, да и вообще больше не выглядел беспризорным оборванцем. На, прямо скажем, непростые вопросы своих маститых экзаменаторов отвечал быстро, корректно и удивительно скучно, так что Чалдонов пару раз поймал на себе насмешливый взгляд Жуковского. Хорош гений, нечего сказать. Вызубрил три учебника и похваляется.

Смущенный Чалдонов почувствовал себя неудачливым антрепренером, который собрал полное шапито для демонстрации ученой собаки, знающей четыре основных арифметических действия, и внезапно осознал, что на арене с важным видом сидит очень славная, но совершенно бестолковая дворняга.

— А вы не хотите поговорить об уравнении Максвелла для электромагнитного поля, Лазарь Иосифович? — сказал он, пытаясь хоть немного спасти положение. — Мы недавно с вами очень интересно рассуждали об этом.

— Нет, — отказался Лазарь вежливо, но твердо. — Не хочу.

— Не имеете собственного мнения, коллега? — ядовито осведомился Жуковский, очень довольный сорванным представлением.

— Имею, Николай Егорович, — признался Линдт. — Но вам мое мнение наверняка покажется неутешительным.

— Это отчего же? — уточнил Жуковский, не чуя подвоха.

— Оттого, — отчеканил Линдт, — что ни одну из проблем электромагнитного поля, а уж тем более световых скоростей невозможно решить на основании уже упомянутого вами уравнения Максвелла и классической механики. При этом вы утверждаете обратное. Зачем же я буду спорить с некомпетентным оппонентом?

Чалдонов ахнул и зажмурился, будто трамвай на его глазах зарезал беспечного и полнокровного провинциала, а Жуковский молча разинул рот, отчего вдруг стал похож на Деда Мороза из детской книжки, только очень обескураженного тем, что его разоблачили. Линдт слегка поклонился обоим — это можно было расценивать и как извинение, и как издевательство.

— Но п-позвольте, уважаемый, — пробормотал Жуковский, приходя в себя. — То есть вы хотите сказать, что... Разумеется, никакой здравомыслящий человек не станет спорить с тем, что с возрастанием скорости и с приближением ее к световой величина  $\beta$  приближается к нулю, и, следовательно, масса тела растет до бесконечности. Все это весьма любопытно для радиологии, но зачем же впадать в эйнштейновскую метафизику, если можно прекрасно обойтись и обыкновенной механикой. Макс Абрагам давно составил уравнения движения электронов с помощью уравнений Максвелла...

— Ваш Макс Абрагам — просто неуч! — отрезал Линдт, и тут Чалдонов наконец-то не выдержал и принялся хохотать — простонародно ухая и отдуваясь. Жуковский какое-то время с изумлением смотрел на него, а потом вдруг сам рассмеялся дробным, чудесным, старческим смешком — уютным и сухим, как рассыпавшиеся сушки.

— Ну, засранец! — пропищал он восхищенно, тыкая в Линдта желтоватой лапкой, честно говоря, очень похожей на куриную. — Удивительный засранец! На какой помойке, вы, Сережа, его нашли? Из-за стола едва торчит, а туда же — огрызается!

Еще час все трое сладострастно спорили, пока, наконец, не утомили друг друга окончательно. Жуковский придвинул к себе злосчастное ходатайство, взмахнул острым, всеми цветами побежалости отливающим пером.

— Но позвольте, вдруг протянул он недовольно. — Помимо физики и математики в аттестате есть и другие предметы. География, например. Или эта... как ее, бишь... словесность!

— Это все Маруся, Николай Егорович, — выпалил Чалдонов явно заранее заготовленный ответ.

— Что — Маруся? Сдавать будет за вашего гения?

— Нет, что вы, боже упаси! Маруся лично с мальчиком занималась и, можете поверить...

— И не сомневаюсь, что занималась, — проворчал Жуковский. — Вслух, поди, сказки зачитывала этому обалдую. Афанасий Никитин. Хождение за три моря. Поди, оба были без ума от удовольствия.

Он быстро поставил в нужном месте щеголеватую подпись старого педагога — обманчиво простую и круглую на вид, но снабженную таким мудрено закрученным хвостиком, что всякая возможность подделки исключалась в принципе.

— Да, и не задирайте нос, засранец! — назидательно сообщил он Линдту. — Эта подпись — дань уважения Сергею Александровичу и большой аванс вам. Пробелы в вашем образовании сравнимы лишь с пробелами в вашем же воспитании. Вам придется много учиться. Очень много. Например, иностранные языки. Уверен, что вы не знаете ни английского, ни немецкого. А ведь без немецкого невозможно! Это язык большой науки!

Линдт кивнул. Немецкий действительно был полезным инструментом. Хотя бы потому, что недалеко от Малой Сейдеменухи мыкали горе немецкие колонисты — им приходилось так же несладко, как евреям, но, в отличие от последних, немцы дружили не только с головой, но и с руками. Когда речь идет о совместном покорении черствой

херсонской земли, идиш и немецкий становятся особенно похожими. Кровь и пот разных народов неотличимы на вкус. И еще слезы. Пожалуй. Еще и слезы. Поэтому спорить по поводу немецкого Линдт не собирался и, стоя в первых числах августа сорок первого года в нескончаемой очереди в военкомат, мысленно раскатисто повторял из Фауста самое любимое:

Ja, was man so erkennen heißt!

Wer darf das Kind beim Namen nennen?

Die wenigen, die was davon erkannt,

Die töricht g`nug ihr volles Herz nicht wahrten,

Dem Pöbel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten,

Hat man von je gekreuzigt und verbrannt... [Ш](#)

Вслух нельзя, конечно — за немецкий можно было теперь и по сопатке схлопотать, но в военкомате его произношение наверняка оценят. Не дураки же там сидят, в конце концов. Да если даже и дураки — знание языка противника считается преимуществом по законам любого военного времени. Его должны взять. Просто обязаны. В конце концов, ему всего сорок один! Линдт огляделся — вокруг было не так уж много откровенных мальчишек. Вон тот, например, в клетчатой рубашке, с худым, обглоданным какими-то невзгодами лицом, — ему никак не меньше сорока пяти. Почувствовав на себе взгляд, мужчина оглянулся, посмотрел на Линдта тоскливыми, в темноту провалившимися глазами. От какой судьбы ты удираешь на фронт, бедолага? С чего решил, что на этот раз тебе повезет? Мужчину толкнул какой-то крепкий мордастый парень, мазнул по лицу набитым вещмешком и, даже не заметив, отеснил в сторону.

Очередь беспокойно шевелилась, извивалась, то вытягиваясь напряженной стрункой, то хаотично запруживая часть улицы. То там, то тут то и дело взвизгивала гармошка и кто-то принимался отчаянно плясать, словно вколачивая свой страх в бульжную мостовую. В ответ гармошке взвизгивала, не выдержав, баба, принималась голосить, оплакивая своего Вовку или Кольку, всех-всех, пока целых, пока крепких, потных, переминающихся с ноги на ногу, галдящих. Родных. Бабу тут же затыкали, и она, всхлипнув, припадала к мужнину или сыновнему плечу, отчаянно пытаясь надышаться родным запахом на всю войну. Никуда не отпущу, не отпущу, говорю, на кого ж ты меня покидаешь, милы-ы-ы-а-а-а-ай! А ну цыц, дура! Не позорь меня перед ребятами, говорю!

Линдт был один — как положено, как всегда. Никто и предположить не мог его в этой очереди, и от этого почему-то было весело и радостно, будто перед... Линдт замялся. Он не помнил — когда и от чего ему в последний раз было радостно. Может быть, если бы в детстве у них в доме хоть что-то праздновали, наряжали елку, шуршали за дверью заманчивыми пакетами с подарками. Он усмехнулся. Будем считать, что ему весело и радостно, как и положено перед войной.

Линдт вдохнул поглубже теплый, коричный, почти пряничный дух московских мостовых. К осени этот город вспоминает свое деревенское происхождение и начинает пахнуть яблоками, булками, хрустящим новеньким ситцем, крепкой, медленно холодеющей листвой. Нет ничего прекраснее Москвы в сентябре, и нет ни малейшей надежды, что к ноябрю война закончится, хотя в очереди только об этом и говорили. Линдт понимал, что к ноябрю все как раз только начнется, — для такого анализа хватило бы и втрое меньших, чем у него, мозгов, но во всеобщую истерически оживленную болтовню не вмешивался. Пусть себе. Они всего лишь люди. Бедные люди. Пример тавтологии. Главное — чтобы в военкомате его не завернули назад.

Из-за угла вывернул шустрый лупоглазый автомобиль, тормознул у тротуара, ослепив будущих солдатиков лаковыми бликами. «Мамочки родные, это ж „Хорьх-853“, тридцать пятого года!» — почти простонал паренек за спиной у Линдта, будто, взгромоздившись на

десяток ящиков и с трудом удерживая равновесие, добрался наконец-то до заветной щелки в стене и увидел голую девушку. Настоящую голую девушку. Нежно-бархатную, мутно-лунную, едва различимую в парном банном полумраке.

Из «хорьха», ловко хлопнув черно-белой дверцей, вышел невиданный недоросль — рослый, круглоголовый, улыбчивый, в нездешнем твидовом костюмчике. Обомлевшая толпа, не веря свои глазам, наблюдала маленький щегольской чемодан из натуральной кожи, короткие штаны, ловко обхватившие наливные икры, затянутые — да нет, так просто не бывает! — в плотные гольфы. Бля буду, буржуй! — с восторгом матюкнулся кто-то за спиной у Линдта. Да какой! Просто буржуище! Чтоб ты понимал, поправили его недовольно. Не буржуй, а иностранец. Иностранец корреспондент. Статью будет про нас готовить.

Между тем иностранный корреспондент вальяжным манием отпустил свою невероятную машину и отправился в самую гущу очереди — все с той же ликующей, придурковатой улыбкой очень молодого и очень здорового человека, который каждое утро ест белый хлеб со сливочным маслом и розовой, слегка слезящейся ветчиной. Плюс теплое молоко, разумеется. В тонком голубовато-овальном стакане. Сытый какой, прямо боров! — позавидовали в очереди от чистого сердца.

Недоросль помялся секунду в нерешительности, а потом, с поразительной безошибочностью отыскав в толпе своего, подошел к Линдту. «Здравствуйте, — сказал он приветливо на чистейшем, чудеснейшем, сочном русском языке. — Простите, пожалуйста, что обращаюсь. Мне бы хотелось записаться на фронт, но я не знаю — с чего начать...» Линдт хотел ответить, но не успел — потому что невиданного парня тут же смыло волной народной любви. Он в буквальном смысле пошел по рукам — его хлопали по круглым твидовым плечам, приветственно матюкали, тискали, как умильного щенка, хором орали, пытаясь выяснить, откуда взялось такое нелепое чудо. Это как же это, бля, так, выходит, ты наш? Откудова ты такой свалился? Генералов сынок, не иначе! Не, мужики, мы точно победим — гляньте, да такую морду на танке не объедешь! Точно, в танкисты его! Не, лучше в летчики. Бомбить им будем — ни одного фрица не останется. Все со страху обосрут. Да не орите так — как зовут-то тебя, миляга? И где ты штаны потерял? Он не потерял, он из их вырос! А мамке длинные купить не на что!!!

Это было похоже на взрыв — взрыв всеобщего облегчения. Несколько часов толпа была будто фурункул — синевато-багровая, омертвевшая от страха, болезненно-напряженная. Появление смешного пацанчика, одетого, как Мальчиш-Плохиш, но вполне Кибальчишного по всему остальному, словно выпустило из людей мучительно копившееся напряжение: гной, страх, липкая сукровица — все вырвалось наружу вместе с истерическим весельем. Даже в восемнадцатом году не было так страшно. Линдт точно это помнил. В восемнадцатом было по-своему весело.

Обретший имя недоросль, — Сашка меня зовут, Сашка Берензон! — сияя, как нагой румяный зад на морозе, отвечал разом на все вопросы, одновременно пытаясь открыть свой пижонский чемоданчик. В чемоданчике оказался импортный бритвенный прибор фирмы «Золинген» и два пакетика конфет грильяж. Угощайтесь! Это мои самые любимые! Таких даже в Берлине ни за что не достать! Зачем заливаю! Я в Берлине пять лет прожил.

Так тайна «хорьха», гольфов и коротких штанишек была раскрыта.

Сашка — он же Александр Давидович Берензон — оказался всего-навсего сыном дипломатического работника, молодым славным обалдуем, преисполненным патриотических порывов самого наивного толка. Пока его отозванный по военному времени папаша ворочал государственными делами где-то в Кремле, Сашка решил отправиться добровольцем на фронт, что и проделал незамедлительно. Мужики, разинув рты, слушали его рассказы о берлинских улицах и кофейнях, причем Сашка по младости

лет все больше напирал на мороженое, а простодушная публика требовала историй про баб. Правда ли, что без подштанников ходят и платья насквозь просвечивают?

— Про подштанники ничего не знаю, — со стыдом признался Сашка. Народ разочаровано загудел. — Зато! Зато! Зато я Гитлера видел! — выпалил Сашка, пытаясь спасти пошатнувшееся положение. Все примолкли. Гитлер — это было серьезно.

— Ну и какой он? — серьезно спросил коренастый мужик лет тридцати пяти, по виду — потомственный мастеровой.

— Да никакой! — ответил Сашка. — Плюгавый, усишки под носом! Я б его одной левой.

— Плюгавый, говоришь? — откликнулся мужик. — Одной левой? То-то плюгавый этот нас от границы гонит, как кутят...

— Провокатор! — завизжала немедленно какая-то тетка. — Товарищи! Среди нас провокатор! Не позволим врагу сломить наш боевой дух!

Толпа, забыв про Сашку, сомкнулась вокруг мастерового, все орали, доказывая друг другу, а больше — самим себе, что мы фашистов одной левой, шапками закидаем!

Снова стало пронзительно страшно.

Растерянный Сашка все еще протягивал пакетик с остатками грильяжа, но его уже никто не замечал.

— Как вы думаете, — робко спросил он у Линдта, — меня возьмут? Вы не подумайте! Я очень сильный! Каждое утро зарядку делаю.

Линдт неопределенно пожал плечами — будь его воля, он бы не подпустил этого славного сопляка даже к игрушечному ружью.

Через два часа оба вышли на крыльцо военкомата. Белый от унижения Линдт не знал, куда девать глаза. Военком, злой, узкий, похожий на протертый спиртом ланцет, обложил его тихим, скучным и от того особенно неприятным матом. В бирюльки вздумали играть, товарищ ученый? Пострадать захотелось? За родину повоевать? Ты хоть сам знаешь, какая у тебя броня, профессор? Как у КВ-2! Тебе не на фронт, тебя самого надо под охрану! Под трибунал меня подвести решил, да, герой ебанный? Самому жить неохота, решил за собой еще кого-нибудь потянуть? А ну слушай мою команду: кругом и на хуй отсюда шагом марш! Немедленно!

Получивший направление на курсы младших командиров Сашка ликовал и трещал, как праздничная шутиха. Линдт крепко пожал ему руку, впервые в жизни ощутив себя старым, никому не нужным. Ни Марусе, ни Родине не требовались его добровольные жертвы. Никому. Вокруг гудели, напирали, размахивали руками и орали добровольцы. Девяносто процентов из них, оказавшись на фронте, погибнет в первые дни и месяцы боев. А Сашка — Александр Давидович Берензон — останется.

(Профессор, доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного права Международного юридического института, дамский угодник, лакомка и жуир, он умер только в прошлом году. И даже в восемьдесят восемь лет все еще был похож на рослого, пухлощекоего, балованного барчука.

Не верите — спросите у Яндексса.)

Из военкомата Линдт, подавленный, сразу осунувшийся, пришел к Чалдоновым — ноги сами принесли его к Марусе, точно так же, как руки сами положили на прилавок Елисеевского деньги. Мне буше, пожалуйста, меренги, тарталетки — всех по паре. Нет, давайте лучше по пять. Хорошенькая, румяная продавщица, сама похожая на горячую, сочную, обливную ромовую бабу, оттопырив толстенький мизинец, ловко укладывала пирожные в большую коробку. «Картошку не желаете? Имеется обсыпная и глазированной», — пропела она нежным, заговорщицким тоном, словно предлагала

Линдту бог весть какие пряные и запретные услуги. Клиент был интересный — бледный, маленький, нервный. Еврейчик, конечно, но сразу видно, что при солидном положении и деньгах. Одет прекрасно. А что немолодой — так его ж не варить. Линдт с машинальным удовольствием оценил и трогательные ямки на локтях продавщицы, и тугую, нежную силу, с которой она распирала свой белый, отлично накрахмаленный халат. Наверняка неумелая, но жадная и жаркая, так что хватит на десятерых. Не сейчас, милая, извини. Нетнет, а вот трубочки не надо, спасибо. Маруся терпеть не могла трубочки.

У Чалдоновых — впервые на памяти Линдта — царил самумный разгром. Маруся, складывающая одновременно три чемодана, при виде коробки из Елисейского всплеснула руками и выронила вязаный жилет Чалдонова, который безуспешно пыталась втиснуть между собственными туфельками и архивом мужа. Вы с ума сошли, Лесик! Пирожные! В такое время! Линдт подобрал с пола жилет, ловко свернул в тугую тубу. Вот так поместится. Да в какое — такое время, Мария Никитична? Голодно будет только к зиме, отчего же сейчас-то себя ограничивать? Вы затеяли переезжать? Или просто нервничаете?

Маруся недоверчиво заглянула Линдту в глаза — он был мастер разыгрывать, дурить, насмехаться. Парадоксальный склад ума, парадоксальное чувство юмора, полное бесстрашие. На грани с идиотизмом. И в ЦАГИ, и в МГУ ходили легенды о шуточках, которые Линдт отпускал, не считаясь ни с табелями, ни с рангами. Двадцатипятилетним мальчишкой он чуть не довел до инсульта Лидию Борисовну Ильенко, секретаря ученого совета, — даму, которая славилась своей монументальностью во всех областях, включая человеческую глупость. Говорили, что она повелевает диссертациями, научными светилами и даже кометами. Что дрожание ее второго подбородка есть великий признак. Что она спит с кем-то из партийных сфер настолько высоких, что это уже предполагало некую автоматическую, так сказать, профессиональную бесполость. Впрочем, мало кто верил в то, что охотник до лежалых прелестей Ильенко найдется даже в высших сферах, — а ведь истинные коммунисты, как известно, способны на любые подвиги.

Однако легенды легендами, а Ильенко действительно трясла академиками, как венниками, так что даже самые почтенные и седовласые жрецы науки лебезили перед ней, как нашкодившие щенки. Все, кроме Линдта, который предпочитал Лидию Борисовну просто не замечать. Впрочем, однажды она остановила его на пороге аудитории, в которой намечался очередной научный шабаш.

— А вы, собсно, куда, молодой человек? — пропела она тоном, не предвещавшим ничего хорошего. — Вы же, кажется, даже не член ученого совета?

— Совершенно верно, Лидия Борисовна, — любезно согласился Линдт. — Я не член ученого совета. Я его мозг.

И что вы думаете? С Линдтом не произошло ровным счетом ничего страшного, если, конечно, не считать того, что опившаяся валерианы и полностью деморализованная Ильенко раз и навсегда выучила его имя и отчество. Раз и навсегда.

Но нет, в этот раз Линдт точно не смеялся, уж кто-кто, а Маруся не могла ошибиться. Вы что, правда не знаете, что нас всех отправляют в эвакуацию? В институте с утра приказ вывесили. Сергей Александрович звонил, велел срочно собираться. Вас что, не вызвали в институт? Что вы все молчите, Лесик? Где вы болтались полдня? Линдт неопределенно пожал плечами, выкладывая на блюдо хрупкие, чуть похрустывающие меренги. Раз уж Марусе не придется собирать на фронт его, пусть хотя бы спокойно укладывает вещи мужа.

— Лесик, признавайтесь, у вас опять роман? — догадалась Маруся, по-своему истолковав молчание Линдта. — И что же — на этот раз все наконец серьезно?

Линдт снова промолчал, и Маруся, мгновенно забыв и про эвакуацию, и даже про войну, заспешила по волшебной дороге, вымощенной желтым кирпичом, — навстречу

чужому обаятельному счастью. Как любая бездетная женщина, она обожала сватать, крестить, сговаривать, провожать под венец и бережно принимать на руки кряхтящих увесистых младенцев — словом, подкладывать собственные несбывшиеся мечты под несимпатичные условности реальной жизни. Это был один из немногих способов превратить в праздничную парчу самый затрапезный ситчик, а уж Маруся знала толк в отличных тканях.

— И вы даже не пригласили ее к чаю! Как не стыдно! А ведь мы с Сергеем Александровичем, кажется, имеем некоторое право! — попрекала она Линдта, быстро отбирая у него опустевшую коробку, смахивая со стола невидимые крошки, недостойные соседства с чашками самого заурядного советского фарфора, который выглядел в ее руках драгоценным, китайским, костяным... Маруся двигалась, мягкая, легкая, шелковая на сгибах, прелестная, вот именно — прелестная, и никакое время было не властно над этой прелестью, над этими нежными губами, над этой сединой, которая так рифмовалась с кружевными манжетами на ее платье и с голубоватыми жемчужинами в мочках ушей. Он сам подарил ей эти сережки — с первого серьезного гонорара за первую серьезную монографию. Как там у Гёте?

Ihn treibt die Gärung in die Ferne,  
Er ist sich seiner Tollheit halb bewußt;  
Vom Himmel fordert er die schönsten  
Sterne Und von der Erde jede höchste Lust,  
Und alle Näh und alle Ferne  
Befriedigt nicht die tiefbewegte Brust...<sup>[2]</sup>

— Да вы меня не слушаете, Лесик! — возмутилась Маруся. — А я между тем мечтаю о внуках. Когда вы наконец-то соизволите жениться? Я не хочу умереть, так и не увидев ваших детей. — А вы и не умрете, Мария Никитична, — спокойно сказал Линдт. — Только не вы. — Я обещаю.

Он легко поймал ее маленькую горячую руку, прижал к губам — в который раз поражаясь аромату: полдень, полный солнечной соломы и спелых яблок, сонный, огненный, душноватый чердак, украдкой сорванные, спелые поцелуи. Все наладится. Все наладится именно в этой жизни, потому что никакой другой жизни не бывает.

Пришедший через два часа Чалдонов, взмыленный от непрерывных начальственных взбоек, застал жену и Линдта мирно распивающими чай. В углу высилась аккуратная гряда уложенных ящичков и чемоданов, а Маруся убеждала Линдта в том, что буше в ее исполнении ничуть не уступает елисейским, а во многом даже и превосходит. Линдт весело сопротивлялся, а на тарелке, предусмотрительно отставленной к самому дальнему краю стола, подсыхали честно оставленные Чалдонову пирожные. Буше среди них не было, потому что Маруся — подыскивая подходящие аргументы — съела все пять штук.

В конце августа сорок первого года ЦАГИ практически в полном составе отбыл в эвакуацию в Энк. И даже Линдт, покачиваясь в купе, задремывая, прижимаясь виском к пульсирующему вагонному стеклу и машинально подсчитывая русские бесконечные версты, не догадывался, что эта дорога — навсегда.

До места добирались почти месяц — неслыханная скорость по тем временам, когда на каждой узловой станции собирались десятки составов и приходилось стоять часы, а то и дни. В тупиках дремали, обрастая корнями и простиранным бельишком, сотни теплушек, больше уже похожих на дома. По перрону бродили эвакуированные, ревели младенцы, ссорились звереющие от непосильного быта бабы, пацанва постарше азартно играла в войнушку, курили, сплевывая на щебенку горькую слюну, измотанные ожиданием мужики. То и дело пробегали с матюками железнодорожники, потные, яростные, надолго

позабывшие про отдых, сон, семьи, пироги. Приставать с расспросами и жалобами было бесполезно — птенцы Лазаря Моисеевича Кагановича, они прекрасно знали крутой нрав народного комиссара путей сообщения. Шутить железный нарком не любил и частенько повторял, что у каждой катастрофы есть имя, фамилия и отчество. Так было до войны, а теперь рассчитывать на благодушие и вовсе не приходилось. Все понимали, что сажать за халатность больше не будут — расстреляют тут же, под насыпью, во рву некошеном. Прямо за эшелонам, который вовремя не отправился на фронт.

Для состава, в котором следовал в эвакуацию ЦАГИ, делались, впрочем, все возможные исключения — в Энске для обеспечения армии всем необходимым планировали развернуть крупнейший военно-промышленный комплекс, а в ту пору советская власть запланированное в жизнь воплощала жестко. На тесном провинциальном вокзальчике (Энск стал областным центром только в тридцать седьмом — вопреки современным учебникам истории, случались в том году и праздничные события) поезд, полный отборных столичных мозгов, встретила большая и очень деловитая делегация. Бестолковый ученый люд стремительно рассовали по грузовикам и отправили по месту новой приписки, а Чалдонова и прочее начальство увезли в горком — совещаться, причем Чалдонов в последний момент прихватил и Линдта, нашептав на ухо главному принимавшему их партийцу что-то такое, отчего бедный толстяк немедленно взопрел и даже присел от внезапно нахлынувшего уважения. Линдт упирался, как ребенок, которого уводят спать как раз, когда за столом собрались все гости, но напрасно — его любезно затолкали в «ГАЗ-М1», в овальном заднем окошке мелькнула Маруся, оставшаяся на перроне в толпе растерянных женщин, визжащих детей и взлохмаченных узлов. Семьями, как всегда, норовили заняться в самую последнюю очередь.

— Да не дергайся так, ради бога, Лазарь, — устало попросил Чалдонов, лязгая зубами — в «эмке» трясло немилосердно, дороги в Энске были сквернее скверного всегда. — Во-первых, я уверен, что мы ненадолго. Вовторых, поверь, Маруся и сама прекрасно справится.

— И не сомневайтесь! — встрял партийный толстяк, перевесившись с переднего сиденья. — Все будут размещены и устроены в течение двадцати четырех часов. В полном соответствии. Согласно всем нормам. Приказ наркома!

И точно — цагишние жены не успели даже толком поволноваться, как были взяты в оборот летучим отрядом веселых военных, неистово мечтающих о фронте, но вынужденных, вашу мать, черт-те чем тут в тылу заниматься. Они лихо разобрались на двойки и принялись заталкивать столичных теток (среди которых попадались прехорошенькие) по машинам. Маруся досталась круглолицему румяному офицеру, стянутому хрустящими ремнями, как праздничный букет. Пока рядовой размещал чалдоновский скарб в персональном грузовике (академикам везде у нас почет!) и вез дорогую гостью до нового места жительства, говорливый лейтенантик успел дважды рассказать Марусе свою нехитрую, но доблестную жизнь. Несмотря на единство времени, слушательницы и места, версии разительно отличались друг от друга, но и в одной и в другой главный герой решительно преодолевал все препятствия и обретал полцарства (отдельную комнату в восемь метров) и прекрасную королеву (Наталья у меня, вы бы видели — во! Меня на одной руке подымет!) и бог знает еще какие сказочные дивиденды.

Очарованная Маруся в итоге совершенно прозевала проплывающий мимо Энск и опомнилась, только когда грузовик остановился около угрюмого трехэтажного дома. Вознагражденный кульком сахарных подушечек (Наталье отнесу, то-то рада будет, она у меня сластена!), офицерик ловко помог ей спешиться. Вот туточки вы и станете проживать. На второй этаж тащи, Лихонин. Да не волоком, ирод, обобьешь ведь добро! Маруся поднялась по мраморной лестнице, когда-то явно сиявшей купеческим великолепием, и с любопытством вошла в квартиру.



Длинный полутемный коридор. Комната налево, две направо, там, должно быть, кухня. Точно — кухня!

— Царское жилище вам предоставили, Мария Никитична! — рапортовал офицерик, распахивая одну за другой все двери и явно гордясь энским гостеприимством. — Удобства все в закуте, за углом, даже чуланчик имеется, ежели задумаете нанять кого по хозяйству... Остороженько, не споткнитесь — тут саночки детские, мы сперва думали все вывезти, а потом решили — мало ли, может у товарища Чалдонова внуки, да и вообще — вещи хорошие, зачем выкидывать, ежели вы из Москвы можете прибыть практически с пустыми руками. Так чем отвлекаться на быт, лучше сразу — на все готовое, чтобы уж всеми силами за дело браться. Для фронта и для победы! Разве не так?

Странно притихшая Маруся кивнула, обводя глазами чей-то дом, явно родной, любимый, но брошенный впопыхах, при каких-то страшных обстоятельствах, о которых — это было ясно — спрашивать не просто нельзя, бесполезно, потому что тогда придется признаться себе самой, что этот славный ясноглазый мальчик в лейтенантских погонах тоже виноват в том, что осиротели вот эти шторы, сшитые чьими-то проворными ласковыми руками, эти навеки испуганные шкафы, полные изнывающей от одиночества посуды, эти... Да что там перечислять. И она, Маруся, тоже виновата. Конечно, виновата. А кто же еще во всем этом виноват?

Маруся подошла к столу, накрытому вышитой скатертью, пробежала по ней пальцами, как слепая. Выпуклые розочки чередовались с лупоглазыми ромашками — гладь, тамбурный шов, по краю мережка, целая зима кропотливой, уютной, вечерней работы, она сама прекрасно вышивала, тихий хруст прокальваемого полотна, яркое мельтешение ниток, мозоль на натруженном указательном пальце, наперстки — это для лентяек, здешняя хозяйка явно такой не была. Сколько ей было лет? Где она теперь? Где ее дети? Смогут ли они выжить? Или хотя бы простить?

— Вы не заболели, Мария Никитична? Может, за доктором? Я мигом! — участливо спросил офицерик. Маруся, голубовато-серая, враз опустевшая, отрицательно покачала головой.

— Вы идите, Коля. Все в порядке. Спасибо. Идите, у вас дел полно, а я уж сама тут, ладно? Наталье своей привет передавайте непременно.

Лейтенант Коля послушно козырнул.

— Передам. Но вы точно в порядке?

Маруся из последних сил улыбнулась.

— Тогда ладно, — облегченно заторопился офицерик. — Располагайтесь удобненько, и ежели что не так, просим извинять. Лихонин, на выход!

Так и не издавший ни звука Лихонин прекратил свою муравьиную возню с чемоданами и поплелся вслед за командиром к выходу. Дверь грохнула. Потом еще раз — подъездная, внизу. Маруся еще раз обвела глазами комнату, да, точно, вот — в красном углу полочка, нынче заселенная молчаливым репродуктором, но несомненная. Радиотарелка, может быть, и могла обмануть кого-нибудь, но только не Марусю, она сразу узнала опустевшую божницу, этот нашест для ангелов, тихую скамеечку, на которую Господь, обходя дома, мог присесть, перевести дух и оглядеться. Должно быть, осталась от самых первых хозяев, купцов, которых, верно, тоже увели отсюда впопыхах, в предутреннюю мглу, сквозь слезы, матерную ругань и проклятия, и хозяйка, та, самая первая, все оборачивалась, воя, и наверняка жалела что-то совсем пустяковое — вроде незаконченной думки или серебряных подстаканников, которые береглись для гостей, не использовались, да так и простояли всю жизнь в горке, напрасно ожидая своего праздничного часа... Маруся ясно представила себе, как и ее саму, растрепанную, страшную, ночную, отрывают от мужа — она даже видела, как он силится улыбнуться на прощанье и как по-стариковски трясется его плохо выбритый седой подбородок.

Да когда же это кончится, Господи? Когда прервется эта жуткая череда?

Господь промолчал, словно спрятался за пыльную радиотарелку (внутри места не нашлось бы даже Ему — уж слишком огромен был голос Левитана, слишком страшны сводки советского информбюро), и тогда Маруся, с трудом опустившись на колени, принялась молиться выключенному репродуктору — яростно, горячо, как не молилась никогда и никому в жизни.

Когда мутноватый законный Энск начал синеть (темнело не по-московски рано, не по-московски холодно было, а ведь всего-то — конец сентября), Маруся почувствовала, как заныли колени, как горячей болью стянуло наломавшуюся в поклонах поясницу. Пора было подниматься, готовить что-то на ужин, искать в узлах и чемоданах крупу, которой удалось разжиться на одной из станций, в жизни она не оставила мужа голодным, даже в Гражданскую, не оставит и сейчас, так что, прости, Господи, что прервусь, все равно Тебе есть кого слушать, все равно Ты не замечаешь меня — давным-давно.

Ну, прости, милый, что разворчалась.

Прости. Слышишь?

Прости.

Маруся встала и, поеживаясь, побрела на кухню, щелкая по дороге выключателями, — в Энске не было никакого затемнения, а из Москвы они уезжали уже при полной светомаскировке, и Маруся, пока машина не свернула за угол, все оборачивалась, все искала глазами родные окна, которые собственноручно перечеркнула бумажными крестами. Прощалась.

На кухне было пусто, тихо и страшно. И так же, как Маруся боялась всех этих чужих вещей, так и они боялись ее незнакомых рук, вздрагивали, сторонились, норовили, как живые, уползти в дальний угол, в спасительную тень. С каждой чашкой приходилось разговаривать, гладить ее по дрожащему боку, словно настрадавшегося брошенного щенка, приручать, и Маруся помешивала, переставляла, бормоча, прихватывала полотенцем и прикрывала осторожной крышкой. Это были уже никакие не молитвы, а чистое колдовство, знакомое каждой женщине, уходящее корнями в невозможную древность, когда даже Бога еще не было, и не было Слова, а существовала только чистая, ничем не замутненная любовь. И Маруся колдовала изо всех сил, прислушиваясь, не щелкнет ли в прихожей дверь, ей казалось, что только возвращение мужа вернет всему смысл и порядок, разгонит страхи, укротит плотную, почти кубическую тьму. Квартире нужен был хозяин, пусть и такой бестолковый, как ее Сережа, но он все не приходил и не приходил, и, в конце концов, Марусе пришлось сдаться, выключить плиту и всю ночь просидеть у непроницаемого окна в извечной, ожидающей женской позе — всегда одной и той же, сколько бы веков ни прошло.

Квартира тоже затаилась и только иногда тихо вздыхала, словно приспособливалась к Марусе, да изредка что-то снаружи садилось на подоконник, скребло отчетливыми коготками оглушительную ночную жуть, и Маруся уговаривала себя, что это голуби, обычные голуби, но никакие это были не голуби, конечно, и когда в прихожей тихой тенью промелькнула большая несуществующая кошка, Маруся не выдержала и заплакала.

Потому что у нее больше не было сил.

Ни Чалдонов, вернувшийся только на рассвете, небритый, почти пьяный от усталости, ни даже Линдт ничего не заметили. Иногда Марусе казалось, что они, поглощенные своими научными игрушками, не заметили даже войну, так что все четыре года страхов, сводок и бесконечных очередей легли исключительно на ее плечи. Линдту дали отличную комнату неподалеку, но, сколько Маруся ни уговаривала его перебраться к ним, он не соглашался, упрявился, и Маруся с грустью думала, что вот и Лесик совсем вырос, и больше она ему не нужна, а с ним было бы так легко; ладно — не легко, а намного легче, он бы умирил любых призраков, плевать ему было на призраков, он ни во что не верил,

ее Лесик, и это веселое бесстрашное неверие, которое обычно так огорчало Марусю, сейчас было бы в самый раз.

Впрочем, иногда Линдт все-таки оставался у них ночевать — и тогда все было почти по-прежнему, веселые вечера за веселым столом, и Маруся не видела никаких кошек, а квартира казалась ей теплой, мирной, залитой светом — точно такой, какой она и была для всех, кроме нее. Кроме нее. Но наутро Линдт уходил, быстро поцеловав Марусе руку и на ходу доспоривая о чем-то с Чалдоновым, на их совести было сто двадцать миллионов снарядов и мин, пятнадцать тысяч семьсот девяносто семь самолетов, неисчислимое количество смертей, а на Марусиной совести ничего не было, но они спешили вниз по лестнице, пересмеиваясь, как мальчишки, а она стояла на пороге, глядя им вслед, и за спиной ее настороженно молчал огромный страшный одинокий день, который невозможно было заполнить никакими хлопотами по хозяйству.

Между тем Энск угрожающе разбухал, волну за волной принимая эвакуированных, прибывающих эшелонами, заводами, целыми отраслями. Только с июля по ноябрь сорок первого в Энск перебросили пятьдесят крупных предприятий — а всего в стране было эвакуировано около девяти миллионов людей. Вы только вдумайтесь — около девяти миллионов! В городе стало тесно от десятков тысяч приезжих, перепуганных, оторванных от дома, шальных от усталости и той дикой, никому не нужной, отчаянной свободы, которую принесла с собой война. Жилья катастрофически не хватало, всех уплотняли, там, где прежде жили четверо, запросто находилось место еще десятерым.

Маруся поспешила в горком — четыре комнаты на двоих, товарищ первый секретарь, вам не кажется, что это не совсем справедливо? Первый даже не дослушал, махнул на нее единственной рукой, вторая с Гражданской гнила где-то под Верхнеудинском, да не гнила уж, поди — только косточки белые и остались. Идите к чертовой матери, голубушка, со своими закидонами, в стране война, а вы сами не знаете, чего хотите. Комнат ей много, понимаешь. Вам много, а академику в самый раз. В общем, товарищу Чалдонову я мешать не стану и вам не посоветую, и плевать мне, что вы его жена, да мы в свое время таких жен!..

Конец фразы, впрочем, вонзился в уже закрывшуюся дверь. И что это я, бормотала Маруся, выходя на горкомовское крыльцо, оснащенное вместо колонн двумя заиндевелыми часовыми, и что это со мной, в жизни ни у кого не спрашивала ни совета, ни разрешения, а тут — на тебе, выскочила, ах, батюшка-барин, дозвоьте доброе дело сделать да в плечико вас поцеловать. Неужто правда — постарела? Ну уж дудки.

Маруся быстро, ловко, совершенно по-прежнему, закуталась в платок — такой нежно-серый, что неясно было, где заканчивается пух, а где начинается небо, — и торопливо, легко поспешила по улице, оставляя на тротуаре звездчатые следы крепко подбитых каблуков. Вот погодите, сейчас я вам... — лихорадочно думала она, но сама не понимала — кто они, эти вы, и что она может сделать. Господи, что?

Маруся свернула, потом еще раз и вдруг поняла, что понятия не имеет, где находится. Это был еще не освоенный и не обжитый ею район Энска. Какая-то длинная, совершенно пустая, оцепенелая улица, вдоль которой медленно плыло кровавое, как будто даже густое на вид солнце. И ни дымка, ни стука, ни шевеления... На секунду Марусе показалось, будто все уже умерли и осталась только она одна — и теперь придется вечно брести по этому безмолвному обескровленному городу без малейшей надежды на помощь и спасение.

Было пронзительно холодно и тихо, только взвизгивал под ногами чистейший, никем не запятанный снег, так что Маруся не сразу осознала, что снег вскрикивает не совсем в такт ее шагам, как будто ребенок, который продолжает плакать, даже когда его уже оставили в покое, даже когда уже не больно... Она остановилась, и снег тут же замолчал, а вот детский голосок, наоборот, стал отчетливее. Свихнулась, с каким-то веселым

облегчением подумала Маруся и, сняв варежку, изо всех сил ущипнула себя возле запястья — в то чувствительное место, под которым жила нежная, упругая бусина пульса.

Плач никуда не делся — все так же вился где-то возле ног, слабенький, прилипчивый, тошнотворный, будто измученный приبلудный звереныш, которого нельзя бросить, но и взять на руки — слишком противно. Никаких сомнений не было — это плакал ребенок, живой ребенок, что-то делавший на оцепенелой от мороза энской улице в феврале 1942 года. Маруся еще раз оглянулась и поспешила на негромкий писк, отчего-то пригибаясь, словно принюхиваясь, и не замечая, что обронила на снег варежку — маленькую красную варежку, похожую не то на полураспустившийся цветок, не то на мертвого снегиря.

Говорят, что солдаты и влюбленные не болеют, — и совершенно точно врут. Потому что как минимум половину февраля сорок второго Лазарь Линдт провел в унижительной тягостной простуде, которую ничуть не ослабила ни любовь, ни война. И добро бы он стоял вместе с бабами да подростками у станка — в свежестроенных цехах начали топить только в сорок третьем, и приходилось часами работать в огромном, гулком, надчеловеческом — нет, даже надмирном холоде, так что к концу смены казалось, что нет вообще ничего — ни жизни, ни усталости, ни даже самого воздуха. Только совершенно пустое, ледяное пространство — до первого дня творения, до большого толчка, может быть, до самого Бога. И еще очень хотелось есть. Очень. Кормить приходилось весь фронт, так что от голода плохо думалось даже о победе.

Но Линдт-то не мерз, разве что пока шел от подъезда до машины, да и ел, признаться, хоть и не разносолы, зато досыта — у них были прекрасные, разве что не фронтовые пайки, на них не экономили ни минуты — было, слава богу, кого обобратить, чтобы как следует напитать лучших ученых. Вообще страна вела себя сурово и удивительно разумно, будто огромный погибающий организм — повинуюсь биологическим законам, она отключала одну за одной системы, без которых можно было обойтись, протянуть еще немного, лишь бы сохранить самое главное — сердце и мозг. Мозг, кстати, был предпоследним рубежом. Даже его приходилось приносить в жертву, чтобы спасти сердце. Это было, конечно, удивительно. Удивительно, страшно и очень гармонично. Особенно если учесть, что сердцем себя хотели считать очень и очень многие.

Жаль, что насморк не уменьшался даже от таких философских заключений — насморку было хорошо с линдтовым просторным носом, полным укромных закоулков и гулких пустот, так хорошо, что Линдт, кряхтя от унижения, сперва извел все имеющиеся носовые платки, а потом, оценив масштаб бедствия, пустил в расход целую простыню, с прохладным хрустом отрывая от нее лоскут за лоскутом. И, кажется, скоро придется браться за вторую. Голова болела просто неприлично, но чай не помогал, и аспирин тоже, так что приставленная исцелять Линдта докторица, панически боявшаяся пневмонии, даже засуетилась было добывать дефицитнейший бактериофаг, чтобы не дать угаснуть прославленному светильнику разума. Линдт докторицу хоть с трудом, но утомил и даже запретил заходить чаще, чем раз в день, потому что я понимаю, Нина Сергеевна, вам охота поскорбеть у одра умирающего, но я, уж простите, намерен еще немножечко пожить.

Докторица, пострекотав, смирилась, но все равно норовила заглянуть к Линдту и утром, и вечером. Была она, кстати, прехорошенькая — худошавая, с ловким носиком и нежными, чуть припухшими подглазьями. Петербурженка. Линдту она нравилась — особенно ее неожиданно крупные, почти мужские руки, которые, в отличие от самой докторицы, никогда не смущались. Давайте-ка я вас еще раз осмотрю, Лазарь Иосифович. Линдт послушно задира лисподнее, обнажая впалый живот с черной кудрявой струйкой, сбегавшей к паху, — под умными, ищущими пальцами этой женщины он чувствовал себя особенно горячим и живым. Жаль, что клятая инфлюэнца начисто лишила его обоняния,

потому что докторица наверняка славно пахла. Особенно с мороза. Должно быть, чем-нибудь прохладным, розовым и гладким. Как Марусины губы.

Вот почему он не выздоравливал. Потому что не было Маруси. Она ни разу к нему не зашла. За все две недели болезни. Ни разу.

Это было так странно, что не имело смысла даже искать объяснений — во всяком случае, логических, а нелогические для Линдта просто не существовали. Прежде любая Линдтова хворь — да и, если уж совсем честно, не только его — вызывала у Маруси настоящие спазмы нежности и сострадания. Нет, она не суетилась, не сочувствовала, не заламывала рук, даже не сидела часами у расплавленной жаром постели. Просто быстро входила в комнату, приподнявшись на цыпочки, с хрустом отворяла фрамугу и — что это еще за новости, Лесик? Нечего валяться, усаживайтесь, мы сейчас будем пить бульон со сплетнями, потому что вы и вообразить себе не можете — Курнаков завел себе новую пассию, да какую! Феерическая блондинка, бюст — хоть стол на двадцать две персоны накрывай.

— Аспирантка? — заметно оживая, интересовался Линдт.

— Берите выше — подвальщица! — радовалась Маруся, щедро, как сахар, добавляя в принесенный бульон черный молотый перец и энергично звякая ложечкой. — Ландау галстук на себе готов сожрать от зависти.

— Дау не носит галстуки, Мария Никитична.

— Тогда сандалии, — покладисто соглашалась Маруся. — Свои жуткие стоптанные сандалии. И как он себе такое позволяет, Лесик? Вот вы тоже гений, но тем не менее всегда в отличных начищенных ботинках. И не смотрите на меня глазами раненного навывлет олененка. Лучше пейте, а то остынет.

Линдт улыбался, глотал огненный от перца и глицериново-жирный бульон и физически чувствовал, как ртуть в градуснике упругими толчками возвращается в норму. Рядом с Марусей он мог выдержать что угодно — ампутацию, пытку, смерть. Но в этот раз, когда он в кои-то веки болел по-настоящему, она отчего-то не пришла. Всего один раз за две — две! — недели позвонила по телефону, хотя прекрасно знала, что он простыл. Поахала, спросила — не нужно ли чего, но как-то мимоходом и таким быстрым веселым голосом, точно Линдт был надоевшим поклонником, от которого надо было поскорее избавиться, чтобы бежать к гостям — в музыку, оживленный гомон и мандариновый аромат праздничной елки.

Линдт позвонил на работу, Чалдонову, но тот только проблеял что-то невнятное сквозь треск и шорох неверной военной связи.

Ну и как можно было выздороветь в таких условиях?

Совершенно никак!

Но к первым числам марта — в Энске это был пик остервенелых морозов — Линдт все-таки взял себя в руки и поправился. Точнее, устал капризничать, притворяться и пугать хорошенькую докторицу симптомами, которые он наугад выуживал из купленного при случае у местного букиниста «Руководства по патологии и терапии болезней носа, рта, глотки, гортани и дыхательного горла». (Dr. Maximilian Bresgen, Санкт-Петербург, Издание журнала Практическая медицина, Казанская, 44, 1897 год. Со многочисленными рисунками в тексте.) Страсть к старым книгам, несмотря на войну, никуда не делась, как никуда не делась любовь к Марусе.

Линдт вообще давно и с грустью понял, что однолюб.

Однако валяться на диване и наливать по самые брови чаем больше было невозможно — в конце концов, Линдт обладал отменным здоровьем, еще во младенчестве пройдя горнило самого настоящего естественного отбора: в Малой Сейдеменухе статистику уважали, потому до года доживал в лучшем случае каждый второй детеныш.

Да и работы было полно. И Линдт волевым усилием прекратил свою инфлюэнцу. Маруся этого, судя по всему, не заметила.

Он выждал из принципа еще неделю — и это было тяжело. Очень тяжело. А потом приехал к Чалдоновым сам.

Ни на звонок, ни на стук никто не ответил — и Линдт, решив, что разминулся с Марусей, мимолетно и очень молодо пожалел, что все пропадет зря — и свежая стрижка, и бритвенно отглаженные брюки, и спрятанный под пальто сюрприз: живые цветы в феврале, в сорок втором году. Достать такое в зимнем Энске было невозможно и в мирное время, но у лаборанток на подоконнике обитала отличная герань, от которой и был отщипнут микроскопический сочный букетик, почти бутоньерка, но это были цветы. Настоящие живые цветы. Теперь умрут совершенно бесславно.

Он стукнул еще раз — в надежде на теорию вероятности, и дверь вдруг послушно распахнулась, обдав гостя коммунальным гамом и вонью, настолько невозможными в Марусином доме, что Линдт решил, что ошибся либо квартирой, либо этажом.

На пороге стоял щуплый противный мальчишка лет девяти, обритый наголо — видимо, в гигиенических целях, которые оказались совершенно напрасными, потому что мальчишка все равно был грязный, точнее — неотмываемо чумазый, и даже женская кофта, в которую он был обряжен, засалилась на локтях и на пузе до зеркального лоска, а ведь это была Марусина кофта — бледно-голубая, из тонкого, упругого джерси, Линдт ее сразу узнал — он, в отличие от миллионов мужчин, прекрасно ориентировался в женских нарядах, в Марусиных — так уж точно. Он бы мог с легкостью перечислить все, во что она была одета с первого дня их знакомства — еще тогда, в ноябре, в восемнадцатом году. Это была Марусина кофточка, и ей нечего было делать на этом ушастом паршивце, который разглядывал гостя наглыми прозрачными глазами отъявленного хулигана. На юге таких называли байстрюками и пороли каждую субботу — просто для профилактики, хотя следовало бы поддавать и по понедельникам тоже.

— Че надо? — поинтересовался мальчишка с ленивой и презрительной гримасой, которая настолько точно копировала кого-то взрослого, опасного, злого, что на какое-то дикое мгновение Линдт вообразил невесть что — арест, высылку, Марусю, бредущую в каторжных ботах по раскисшей дороге, хруст передернутых затворов, прыжки дымящихся от веселой ярости овчарок, наглых плебеистых аборигенов, въезжающих в свитый Марусей чудесный дом.

Линдт почувствовал, как стянуло от ярости сперва мошонку, а потом кожу на скулах и висках, но тут же сам крепко встряхнул себя за шкуру. Вздор какой. Бабские бредни. Я бы знал наверняка — донесли бы мигом, да и кто бы посмел? Тронуть Марусю. Тронуть лично ЕГО! Это было совершенно невозможно. Конечно, там, наверху, полно болванов, ровно столько же, сколько внизу, Линдт, если честно, вообще почти не встречал умных, а уж чтобы просто поговорить, не пригибаясь, не приноравливаясь, наравне — таких и вовсе было наперечет. Но ему никогда не мешали. Никто и никогда не смел ему мешать — это была аксиома, совершенно ясная и для Линдта, и для любого клинического идиота, такая же ясная, как и разница между самим Линдтом и клиническим идиотом.

Это все понимали.

Линдт был один.

Талантливых было сколько угодно, способных, смысленых, башковитых. Подающих надежды, обещавших вылупиться. Но не гениев. Нет.

Гениев больше не было.

Вообще.

Линдт, живший с этим с самого малолетства, вдруг ощутил огромную сумрачную тень собственного дара, словно что-то отдельное, чудовищно тяжелое, неживое. Оказывается, он не привык, нет. У него просто не было выбора.

— Где Мария Никитична Чалдонова? — жестко, будто у взрослого, спросил он у пацанка, который мигом сник, попятился и, кошельком распутив рот, вдруг заорал на всю квартиру с сочным украинским прононсом:

— Баба Муся! Баба Муся! Тут до вас какой-то дядьку!

И тут откуда-то из глубин квартиры раздался веселый, молодой голос. Марусин.

— Лесик, это вы? Я знаю, что это вы. Ради бога, Павлуша, проводи Лазаря Иосифовича на кухню и прикрой дверь, дует!

Линдт немедленно выпустил свою беззвучно извивающуюся жертву и, как замороженный, пошел на Марусин зов, спотыкаясь о какие-то узлы, деревяшки, черт знает, что тут вообще такое произошло?

На кухне, кудрявой от голубого, почти съедобного облачного пара, стояла Маруся — розовая, растрепанная, мокрая — и мыла в огромном цинковом корыте молчаливого младенца невидимого Линдту пола. Еще один детеныш — на вид постарше — сидел в углу на эмалированной кастрюле, крепко держась за ручки, и с таким сосредоточенным упорством глядел прямо перед собой, что даже Линдту стало совершенно ясно, что процесс идет сложно и требует всестороннего контроля.

— Здравствуйте, Лесик! — радостно сказала Маруся. — Как я рада, что вы наконец-то поправились! Нетнет, не подходите, вы с холода, а у Катюши слабые легкие.

Линдт, который ни за какие коврижки не согласился бы подойти к этой живой, голой и к тому же человеческой личинке, остановился на пороге и, оглядев банно-прачечный хаос, поинтересовался:

— Вы ограбили детский сад, Мария Никитична?

В этот момент восседавший на кастрюле малолеток угрожающе потемнел, натужился и вдруг победительно заорал. Маруся сунула индифферентной и похожей на голого буддийского божка девочке мочалку и с незнакомым Линдту кудахтаньем кинулась на выручку маленькому засранцу. Приподняв его увесистый зад, она с какой-то сияющей радостью, тоже, кстати, Линдту прежде незнакомой, убедилась, что все в порядке (Линдт, учуяв облачко парной вони, брезгливо сморщил нос) и принялась за гигиеническую возню с газетками и уговорами. Ну, так что же ты плачешь, Колюшка, смотри, какой ты молодец, вот мы сейчас все вытрем, Катюшу докупаем, а потом и тебе попу вымоем. И будет у нас с тобой попа розовая, чистая, душистая, будет она дышать да радоваться...

Колюшка, видимо, прельщенный грядущими метаморфозами с попой, послушно заткнулся, зато заорала забытая Катюша, и не просто заорала, а швырнула мокрую мочалку и заколотилась в корыте, будто припадочная, обдавая все вокруг белесыми, едкими мыльными брызгами.

Маруся распрямилась, огорченно всплеснула руками, не в силах разорваться пополам и отчаянно желая это сделать.

— Лесик, вы не возьмете Катюшу? Полотенце вон там, на стуле!

— Вот уж увольте, — твердо ответил Линдт. — Не возьму и вам не советую. Она явно чокнутая и наверняка заразная. Я вообще не понимаю, что тут происходит? Какие-то идиоты вас уплотнили? Как только Сергей Александрович позволил! Я сейчас же позвоню в...

— Никто нас не уплотнял, — отрезала Маруся. — Это я сама нас уплотнила. Люди в землянках живут, чуть не на улице рожают, а мы тут... А вы тут... — Она смерила Линдта яростным взглядом. — От вас я такого не ожидала! И вообще — Катюша не заразная, а вот вы — очень даже наверняка. Так что убирайтесь, и чтобы я духу вашего тут не видела. Вернетесь, когда научитесь вести себя хорошо.

Линдт усмехнулся — кое-как, самым краем оскаленного рта.

— Боюсь, этого слишком долго придется ждать, Мария Никитична. Но — как вам угодно. Надеюсь, вы наконец-то счастливы. Жаль только, что святость — это единственное, что вам совершенно не к лицу.

Он вышел, трясясь от злости и унижения и пнув по дороге беззвучную, стремительную, лохматую кошку. Гадость какая, еще и кошку успели завести! А Маруся, молодая, неприбранная, с красными пятнами на щеках, энергично принялась намыливать орущую Катюшу, в общем-то уже совершенно чистую и имеющую самые определенные виды на кашу, которая прела тут же, на плите, укутанная в газеты и байковое одеяло.

— Вот паршивец, — бормотала Маруся, глотая то ли мыльные, то ли свои собственные слезы, — ты только подумай, какой паршивец, а, Кать! Надо же — заразными нас с тобой обозвать... Да на себя бы посмотрел!

Едва живой букетик герани Маруся нашла в коридоре только пару часов спустя и долго реанимировала его, пока не привела окончательно в чувство и не поселила в стакан, на полку. Повыше, чтобы дети не дотянулись. А на третий день пришел просить прощения и каяться побежденный Линдт.

Фактически это была их первая и совершенно точно единственная ссора.

Засилье детей — разного возраста и разной степени запаршивленности — разъяснилось еще до того, как Линдт с Марусей примирились. Взятый в заложники Чалдонов, сам изрядно потрясенный своим новым семейным положением, немедленно признался Линдту, что Маруся сначала буквально притащила с улицы эвакуированную с двумя детьми, потом еще одну — и вы не поверите, тоже с двумя отпрысками, и, наконец, организовала что-то вроде домашнего детсада, и теперь каждый день собирает со всей улицы кучу малышни и возится с ними, пока мамы обеспечивают фронт всем необходимым. А поскольку заводы неутомимо впахивали в три смены, поголовье детей в квартире Чалдоновых не переводилось никогда, и это просто сумасшедший дом какой-то, Лазарь. Бедлам, Содом и Гоморра. Пеленки, вопли, дерьмо — и все круглые сутки. Но разве Марусю переупрямишь?

Линдт кивнул, впервые в жизни испытывая к Чалдонову что-то вроде сочувствия — оба наконец-то были в одной лодке, оба наконец-то были заброшены и ревновали в унисон, и это давало странное, почти незнакомое Линдту чувство родственного тепла. Шерстяное, душноватое, едва ощутимо приванивающее козлом, оно все-таки было теплом. Линдт даже мимоходом погладил Чалдонова по довоенному, слегка обтрепанному пиджаку и тут же пожалел об этом. Академик, незаслуженно и внезапно лишенный жены, покоя и свежих рубашек, всхлипнул, и Линдту пришлось выслушать дребезжащие и совсем стариковские жалобы по второму разу.

— Не делай никому добра, Лазарь, — сам туда попадешь.

А Маруся действительно было счастлива. То есть она всегда, всю жизнь, даже в самые отчаянные времена, была счастлива — потому что ей повезло такой родиться. Быть счастливой для нее всегда значило — любить, но только теперь, в семьдесят три года, в эвакуацию, в войну, она наконец-то поняла, что любить — не значит делать своим собственным. Любить можно и чужих, то есть — только чужих любить и следует, потому что только так они становятся своими.

Все началось на той незнакомой заснеженной энской улице, и Маруся потом, смеясь, часто говорила, что для того, чтобы найти то, что искал всю жизнь, вполне достаточно просто заблудиться. Она так и не вспомнила, о чем думала тогда, когда спешила вдоль помертвевших домов, пригибаясь и крепко держась за ниточку надсадного детского плача. Кого рассчитывала найти? Подкидыша? Погибающего человеческого щенка? Очередного нерожденного ребенка — ведь Лесик давно вырос, Господи, да как быстро, как все



неистово промелькнуло, вся жизнь — и уже не разглядеть, не вернуть самых интересных подробностей.

Маруся нашла окончательный смысл своей жизни только в пятом по счету переулке. Правда, подкидышей оказалось сразу трое, просто двое молчали — видно, то ли не хотели, то ли не могли больше жаловаться и просить. За жизнь сражался только тряпичный сверток, невидимая, но категорически не желающая умирать кукла, лежащая на коленях женщины, которая очень прямо, словно каменная, сидела на крыльце заколоченного выстывшего лабаза. Рядом с женщиной — так же прямо и непреклонно — стоял укутанный драной шалью ребенок, Маруся сразу поняла, что мальчик, — по глазам, по тому, как крепко держал он мать за красную опухшую от холода руку — не защищаясь, нет. Защищая.

— Вы что тут делаете? — спросила Маруся, сама изумляясь глупости своего вопроса, потому что на этой войне все только выживали или погибали, никто не делал ничего другого, и эти двое явно собирались погибнуть, несмотря на все возражения третьего, вот только третий, с головой укутанный в тряпье, несомненно был самым умным — потому что хотел жить. И потому что, почуяв Марусю, тотчас же замолчал, словно выполнил спасительную миссию, словно добился наконец своего.

Маруся сама не помнила, как дотащила всех троих до дома, помнила только, что всю дорогу ужасно, в голос, выла, как не выла никогда в жизни, даже когда хоронила родителей, даже когда поняла, что никогда не сможет иметь детей, даже когда в детстве потеряла стеклянный шарик, огненно-гладкий, такой яркий, что даже немного жидкий изнутри, и у всех, у всех детей были стеклянные шарики, а у нее — не было, потому что мама сказала: не умеешь сберечь, так и поделом.

Наверное, Анеле помнила все подробности этой дороги, но она едва говорила по-русски, да и по природе своей была молчалива до неодоушевленности. Хотя, может, и не по природе, а по судьбе, потому что даже Маруся не могла понять — испытывает ли безответную Анеле ее ветхозаветный Бог или просто забавляется маленькой бессарабской еврейкой, как забавляются дети, со скуки мучающие живую, страдающую, теплокровную кошку.

Анеле не повезло тысячу раз. Может быть, даже больше. Она родилась в еврейско-молдавском местечке со смешным названием Фалешты в Бессарабии, которую последовательно считали своей все кому не лень, а не лень было практически всем. Правда, родители Анеле были людьми смиренными, зажиточными и не слишком религиозными, так что смышленную девочку отдали учиться в местную гимназию — и по-румынски Анеле говорила прекрасно, легко переходя дома на идиш, это было недолгое время, когда она в принципе говорила, даже болтала и смеялась, но Бог быстро смекнул, что это нехорошо, и родители Анеле умерли один за другим — сперва отца убили за какие-то неведомые грехи молдаване, а потом умерла мать, то ли от болезни, то ли потому, что и правда любила мужа так, что не видела смысла расставаться с ним ни за одним рубежом.

Анеле взял в семью дядя, евреи вообще не бросают своих, ни в радости, ни в горе, их за это и не любят, хотя, по правде сказать, не любят их много за что, список такой длинный, что дебет никогда не сойдется с кредитом, потому что счета выписываются с такой скоростью, что платить, пожалуй, и вовсе не имеет смысла. Все равно выгонят, сожгут или расстреляют. Дядя был кабатчик, держал постоянный двор и трактир, спаивал, жидовская морда, местное население, так что работы было по горло, и Анеле пришлось бросить гимназию, потому что геноцид требовал рабочих рук — надо было подметать, мыть посуду, кормить горластых курей и индюшек, но все равно это была хорошая семья и родная, так что Анеле никогда не ложилась спать голодной, слава богу, каждый ребенок в этом доме был сыт и одет, и достаток был такой, что старое платье не занасивали до

дыр, а отдавали старьевщику, чтобы выручить пару лишних бэнуц и пожертвовать их в синагогу.

Трудно сказать, как они умудрились спеться — сирота-старьевщик Янкель и Анеле, племянница кабатчика и бывшая гимназистка, но спелись же, сговорились, не сказав и десятка слов, поняли, что любят друг друга, что пришло время засылать сватов, ибо так велит Тора, и было сказано: «О Господь, Бог господина моего Авраама, сделай, чтобы так случилось сегодня, и сотвори милость господину моему, Аврааму: вот я стою у источника воды, и дочери жителей города идут за водой. Пусть девица, которой я скажу: „Наклони кувшин твой, и я напьюсь“, а она ответит: „Пей, я и верблюдов твоих напою“, окажется суженой служителю Твоему Ицхаку — и так я узнаю, что Ты содейл милость господину моему».

Но у Бога Авраама снова нашлись свои резоны — в конце концов, Его даже можно понять, это был чистый театр, местечковые Ромео и Джульетта, только без вражды семейств, потому что не было смысла воевать семье самого уважаемого в Фалештах ресторатора с вовсе уж бессемейным старьевщиком, они были из непересекающихся вселенных, из разных каст, да-да, у евреев тоже есть свои касты, свои неприкасаемые, у них все как у людей, потому что евреи — вы не поверите — тоже люди.

Анеле и Янкелю запретили встречаться, хотя они и не встречались — разве что только глазами, как и положено хорошим еврейским молодым людям, потому что нееврейские молодые люди давно вспомнили бы, что живут в самом настоящем двадцатом веке, наплевали бы на дурацкие предрассудки и замшелую родню да и удрали куда-нибудь подальше. Хотя бы в развеселую Одессу или, на худой конец — в сахарно-белый уютный Кишинев. Но Анеле и Янкель остались, и она каждый день в полдень выходила во двор — сполоснуть неподъемные кружки, а он в то же самое время подходил к воротам и смотрел, просто смотрел своими огромными, глупыми, беспомощными, прекрасными глазами. И так — десять лет подряд, каждый божий день, без праздников и выходных — бунт, он ведь тоже бывает разный, так что через десять лет Богу и кабатчику наконец-то наскучило это немое кино, потому что Анеле исполнилось двадцать пять лет и никто не хотел брать в жены эту тощую упрямую дуру, никто — кроме Янкеля.

И им разрешили пожениться.

Они были совсем нищие — ужас, какие они были нищие, и такие же счастливые, потому что Янкель был не только тряпичник, но и недотепа, а Анеле сразу же понесла и в положенный срок родила первенца Исаака, бубеле, капеле мой, век бы не отнимала тебя от груди. Она снова смеялась, Анеле, и снова разговаривала, и это был форменный беспорядок, конечно.

Поэтому 28 июня 1940 года в результате мирного разрешения советско-румынского конфликта Бессарабия была возвращена СССР, и уже 2 августа на седьмой сессии Верховного Совета вышел Закон об образовании Молдавской ССР. Это было вовсе не плохо, только уж очень не вовремя, сами посмотрите на даты, арифметика — точная наука, она не знает сантиментов, потому Анеле не успела даже как следует порадоваться тому, что они, голытьба, теперь уважаемые люди именно потому, что голытьба (мир Анеле вообще был полон парадоксов), — как настало 22 июня 1941 года. И двух дней не прошло, как Бессарабию начали бомбить, а Янкеля забрали на фронт, и Анеле, заливаясь слезами, висела у него на шее, стараясь поплотнее прижаться к мужу огромным пузом, она носила под сердцем второго и хотела, чтобы нерожденный малыш тоже мог обнять на прощанье отца, поцелуй и ты папу, Исаак, поцелуй его покрепче.

Еще через три дня Анеле, одной рукой прижимая к себе сына, другой — обнимая неподъемный живот, загрузилась в теплушку вместе с другими эвакуированными. Советская власть все делала быстро, быстро карала и быстро миловала. Бесчисленная родня — а в местечке все так или иначе друг другу родня — махала отъезжающим с

перрона, ох и дура эта Анеле, настоящий шейлем мазаль, и муж у нее такой же, но его хоть силком отправили на войну, а она добровольно дает увезти себя в Сибирь!

Анеле слабо махала в ответ, вагон швыряло и встряхивало на стыках, швыряло и встряхивало младенца у нее в животе, и она даже не плакала, так ей было страшно. А 26 июля того же 1941 года Бессарабию оккупировали румынские войска, которым никто по старой памяти даже не пытался сопротивляться, а даже наоборот — все обрадовались, именно потому румыны последовательно, местечко за местечком, зачистили оскверненную Советами землю. Всех оставшихся в Фалештах евреев согнали к Бельцам и тоже зачистили, расстреляли в яру — неаккуратно, без злобы, впопыхах. И Анелиного дядю-кабатчика, и родителей Янкеля, и кривую Ривку с детьми, и толстого юродивого Шмулика. Триста одиннадцать человек. Всех-всех. Так что никого не осталось.

Между тем Анеле в дороге, где-то под Челябинском, родила крошечную сердитую девочку и снова перестала разговаривать, так что семилетний Исаак, единственный взрослый мужчина в семье, сам назвал сестренку Кларой и сам заботился о ней и о матери, потому что обе были совершенно беспомощные и могли забыть, что надо поесть, вернее, это мама могла забыть, потому что Клара, когда хотела есть, очень здорово кричала. Громко. Он бы и в Энске ни за что не пропал, Исаак, только вот мама сперва забыла, куда им надо идти, а потом и вовсе заблудилась. Хорошо, мама Маша, что вы нас нашли. Он так Марусю называл — мама Маша. А она его — Исочка или Иса. Он был смысленный мальчик, все хватал на лету, только уж очень серьезный. А вот Анеле так и не разговаривала. Да и о чем ей, если честно, было говорить?

Валя появилась у Чалдоновых через несколько дней после Анеле — ее привел Исаак, который, едва освоившись в доме, сразу и добровольно взял на себя массу обязанностей, может, это был вопрос выживания, а может, ему и правда необходимо было что-то делать, быть полезным, иначе исчезал не только стимул, но и смысл существовать. Кларочке нужно было кушать, но молчаливая наголодавшаяся Анеле доилась скверно, молоко получалось жиденькое, голубоватое, горькое даже на вид, возмущенная Клара орала, и отчаявшаяся Маруся отправила Исаака на рынок, только предварительно отрезала от чалдоновской шубы рукава и смастерила новому сыну отличные чуни. Сносу не будет и тепло, — похвалила она сама себя и поглубже запрятала Исааку в рукавичку деньги. Рукавички были ее, да и деньги, конечно, тоже — это Исаак понимал, он вообще понимал про деньги куда больше любого взрослого, куда больше самой Маруси, бедняки вообще лучшие на свете финансисты, потому что им все время приходится считать, и очень часто — в отрицательных степенях.

Исаак вернулся через час, бережно выложил на стол два ледяных диска — молоко в Энске продавали замороженным, в кружках, стащил, хлюпя сопливим носом, vareжки и протянул Марусе комок купюр — сдачу, хотя дадено денег было ровно. Как раз на литр молока. «Я не украл, я сторговался», — тихо, но твердо сказал он, хотя Маруся и не подумала бы подозревать или хотя бы спросить, она сама бы украла, если нужно, Господи, да она убила бы, наверно, не раздумывая, если бы с ней, с ее жизнью, попробовали бы вот так. Но с ее жизнью пробовали совсем по-другому.

Потому она просто взяла у Исаака деньги и убрала в шкатулку, которая прежде стояла на верхней полке буфета, а теперь, видишь, я ставлю вот сюда, а то ты не дотянешься до верха, так что, как пойдешь в следующий раз на рынок, просто возьми сколько нужно. Только тяжелого очень ничего не таскай, хорошо? Почему? — не понял Исаак. И Маруся серьезно объяснила — пупок развяжется, а я назад завязывать не умею.

Они оба засмеялись, и добыча фуража раз и навсегда легла на Исааковы плечи, и он не подкачал: прекрасно знал не только конъюнктуру, но и всех торговков по именам и торговался так азартно и горячо, что даже самые упертые крестьянки сдавались, ошеломленно уступали, потому что вот, сами смотрите, тетя Оля, если молоко по двести семьдесят за литр, а мне нужно полтора литра, то это выйдет, двести семьдесят разделить

на два и прибавить еще двести семьдесят, но я ведь еще и картошку беру, да что вы, откуда сто шестьдесят за кило, если вон Агаша отдает за сто пятьдесят и с привесом, но у нее молоко невкусное, а ваше — самое лучшее, нет-нет, я же сказал, что молока нужно полтора литра. Это выходит два с половиной кружка. А вы кладете — три.

По-русски он, кстати, говорил прекрасно, без малейшего анекдотического акцента — уж слишком долго они ехали, да и потом у детей вообще — способности к языкам. Лесик, вы не хотите позаниматься с мальчиком? У него явный талант, я по бумажке считаю медленнее, чем он в уме, уверена, что и вы — тоже. Но Линдт — нет, не хотел, и поговорить с Анеле на идиш тоже не хотел. С чего вы вообще взяли, что я знаю этот варварский язык, Мария Никитична? Что значит — а как я разговаривал в детстве? В детстве я вообще не разговаривал, если хотите знать, потому что не о чем было, да и не с кем. И не надо совать мне этого вашего Исочку, черт подери, никаких способностей у него нет и быть не может, вырастет — будет лавочником, как ему на роду и написано, вот и все дела.

(Но Линдт ошибался. Исочка вырос и стал майором Советской армии, отличным офицером наведения, потому что на роду ему столько раз было написано умереть, что Бог сам запутался, что делать дальше, и пустил Исочкину жизнь на самотек, и от того она сложилась особенно хорошо и верно.)

Так вот, на четвертый день своей жизни у Чалдоновых Исаак привел с рынка Валю. Вернее, Валя пришла сама, за дочкой, которую крепко держал за руку Исаак, очень серьезный, очень ответственный, очень взрослый.

— Мама Маша, — сказал он, когда Маруся открыла дверь. — Это Эля Туляева, она не верит, что у вас пианино. Говорит, что так не бывает и я вру. Но я же не вру. Можно показать?

Маруся оценивающим взглядом взвесила шестилетнюю девочку в отлично сшитом пальто с большими, словно у взрослой, пуговицами. Лицо у девочки было как у куклы — прелестное, круглое и очень капризное. Ничего хорошего Исааку это не предвещало.

За спиной у детей стояла женщина — измученная, не пойми какого возраста, они все выглядели сорокалетним старухами, с этой войной.

— Вы извините, — сказала она Марусе. — Ради бога, извините, но пусть мальчик покажет, что хочет, потому что иначе она, — женщина мотнула головой в сторону девочки, — ни за что не уймется. Упрямая, хуже некуда. Я бы ее отлупила — да знаю, что бесполезно.

— Да зачем же лупить? — удивилась Маруся. — Проще действительно показать. Заходите, — она посторонилась, пропуская, — и слушать не хочу, никаких «на минуточку» и «я на лестнице подожду» не будет. На лестнице холодно, а на кухне — чай. А пианино на минуточку не бывает. Это всегда долгая история. Так что милости прошу.

Женщина благодарно улыбнулась и неожиданно оказалась очень молодой, лет двадцати трех от силы. Кончик носа у нее был уточкой, а между передними зубами — смешная щербинка, очень милая.

— Меня Валя зовут, — сказала она смущенно. — Валентина Туляева. А это дочка моя, Эльвира. Мы воронежские, эвакуированные. Тут, за речкой, квартируем.

Маруся кивнула, наблюдая, как коленопреклоненный Исаак помогает маленькой гостье разуться. Хрустальное и непривычное имя Эльвира шло ей чрезвычайно — это было правильное имя, оно рифмовалось и с ярким выпуклым ртом, и с крошечными белесыми бровками и особенно с веселым равнодушием, с которым девочка позволяла Исааку ухаживать за собой. Ну, вот кто учил его быть воспитанным, деликатным, взрослым? Никто. Чалдонов до сих пор не умеет помочь даме управиться с пальто, а этот местечковый мальчишка — пожалуйста, уже раздел свою шестилетнюю куклу, словно

букет развернул, — ловко, бережно, нежно, не повредив ни одного лепестка. Откуда в нем это? Непонятно...

Валя поймала Марусин взгляд и одернула на дочке шерстяное платице, тоже, как и пальто, удивительно взрослое, с карманами, пояском, даже, кажется, с кокеткой.

— Это я сама шила, — объяснила она. — Я вообще-то лесной техникум до войны окончила, а шью так, для себя да на детей. У меня ведь сынишка еще — Славик. Ну и немного на продажу, конечно, приходится, а то с продуктами, сами знаете, совсем тяжело. Вам не надо ли чего пошить, кстати? Я недорого беру.

— Разве Исочке что-нибудь, — раздумчиво сказала Маруся. — Я подумаю, ладно?

Исаак снова взял Элю за руку и повел показывать пианино, молчаливо ожидающее в одной из комнат своих прежних хозяев, но Маруся еще не знала, можно ли говорить об этом с новой знакомой или нет. Жизнь покажет.

И она показала — буквально через несколько дней, когда стало ясно, что Элечка уходит от Чалдоновых только на ночь, и что Вале, чтобы забрать дочку, приходится давать по жутким вечерним улицам здоровенный крюк, а главное, у Исаака были такие глаза, когда Элечку уводили...

В общем, вернувшийся с работы Чалдонов обнаружил, что жизнь продемонстрировала ему еще не все свои кунштюки и теперь, слава богу, у него нет больше кабинета, зато имеется кроме Анеле, Исаака и Клары еще трое подкидышей — Валя, Элечка и годовалый Славик, а ведь днем приходило еще по пять-шесть ребятишек зараз, да многие, если матери уходили во вторую и третью смены, оставались ночевать...

Так что, можно считать, что жизнь вполне удалась. Да-с. Удалась.

Но, как ни странно, буквально через несколько дней всем обитателям чалдоновского дома уже казалось, что они жили вместе вечно, — всеобщая беда, эта проклятая война, да когда ж она наконец закончится, словно зацементировала их судьбы, замесила вместе в один мгновенно застывший и супернадёжный раствор. Элечка и Исаак как будто всегда играли в чурбачки в захламленном барахлом длинном коридоре, соприкасаясь головами — ситцевой и войлочной, светлой и темной, масляно-гладкой и волнистой, как руно.

— Ну куда ты суешь, не видишь, что развалится? — возмущалась Элечка, она была ловкая, шустрая и вовсе не злюка и не капризуля, как сперва показалось Марусе, просто очень своенравная. Характерная — дальше нельзя. Чурбачковая башня, повинувшись Элечкиному инженерному чутью, действительно рассыпалась, Исаак виновато вздыхал и глупыми от Элечкиного присутствия руками принимался за возведение вавилонской конструкции заново, его терпения хватило бы и на миллион лет, лишь бы все эти годы рядом с ним сидела на полу эта девочка с сердитыми бесцветными бровками и небогатой косицей, в которую вместо ленты был вплетен лоскут выкрашенного синькой бинта. (Его и хватило на миллион лет — этого терпения, потому что Элечка и Исаак, мои мама и папа, до сих пор вместе, и до сих пор он ведет ее за руку, когда они возвращаются домой, и до сих пор она недовольна тем, как он управляет с хозяйством...)

И кажется, вечно ссорилась с Анеле недовольная Валя — вернее, Анеле вечно лежала у себя, за стенкой, иссохшая, бесплотная, погруженная в оглушительный, беззвучный, одному Богу ведомый и предназначенный монолог, а Валя яростно грохала на кухне дровами, бормоча, что, небось, двоих нарожать сумела, так умей и жопу за ними подтирать, у меня своих столько же, так какого же черта я должна за чужими говно загребать? Эля, а ну тащи сюда малышню, Кларка оборалась уже, жрать хочет, и Славику пора.

Исаак и Элечка появлялись в дверях: он — с ее братом на руках, она — с его сестрой, они не делили ношу на свою и чужую, да и Валя, если честно, тоже, просто была война, и Валя сопротивлялась ей вслух, а Анеле предпочитала сетовать молча.

Маруся внимательно наблюдала, как Валя разливает детям подогретое молоко — и можно было не сомневаться, что ее родной сын не получит и капли больше чужой крикливой девчонки, каждую картошину для Элочки и Исаака она резала пополам, и каждый получал ровно столько же, сколько другой, богом Вали была справедливость, великая справедливость, и архангелами этой справедливости служили ярость, сила и гнев. Не болеет она, Мария Никитична, эта ваша Анеле, так и знайте, просто работать не хочет! А что? Лежи себе и лежи. Муж мой говорит — работать дураки всегда найдутся...

Валя на мгновение туманилась, мысленно отыскивая среди вшивых окопников своего, родненького, но тут же брала себя в руки — Маруся в жизни не встречала человека, настолько бескомпромиссного, настолько лишенного даже малейших представлений о вере, но тем не менее, если добро и обладало кулаками, то это были Валины кулаки, покрасневшие, расцарапанные, ее проворные руки, умеющие все на свете лучше других — и сшить из солдатских портянок праздничное платье, и напечь круглых толстых пышек из желудей, и наподдать подзатыльник зазевавшемуся ребенку. Беда в том, что такой же ловкости и честности Валя непререкаемо требовала и от всех остальных, а остальные, неотцентрованные, смертные недотепы, знамо дело, не поспевали, все роняли, отказывались видеть задом, да и передом, если честно, не замечали и половину того, что, с точки зрения Вали, должны были бы заметить непременно. Заметить и сделать надлежащие выводы.

Зато она все успевала, Валя, все и за всех — и работать на заводе, и стряпать, и шить, и плести на продажу прелестные «мотивчики» — кружева для тонких сорочек, которые наголодавшиеся без мужей молодухи упрямо продолжали поддевать под уродливое свое, состарившееся вместе с ними тряпье. Валя, к ужасу Маруси, исправно платила за комнату — как она сама говорила, «за постой», но, поняв, что все заплаченное тратится на нее же саму и на ее детей, взялась обшивать и обстирывать все чалдоновское семейство, включая новоприбывших членов, — так что Маруся на старости лет чуть не стала настоящей бездельницей, потому что Исаак занимался снабжением и фуражом, Элочка возилась с малышами, Чалдонов изобретал бомбы и приносил домой карточки и паек, а тихая Анеле молча молилась за всех или, может, молча одна за них за всех страдала.

Но зато вечерами за стол садилось минимум семеро человек — не считая новорожденную Клару, которая мирно сопела тут же, в корзине, все отчитывались, как прошел день, Валя зорко следила, чтобы детям еды доставалось поровну, но Маруся мокрыми от умиления глазами видела, как Исочка тайком подсовывает Эле самые лакомые куски из своей тарелки, и курился над чайником ласковый пар, и Чалдонов, читая газету, машинально гладил по голове наевшегося, разомлевшего, сонного Славика... Это было счастье, счастье, о котором никто не хочет мечтать, потому что никто не верит, что оно такое кухонное и простое.

Иногда приходил в гости Лесик, и тогда счастье становилось совершенным, почти сферическим, и все слушали только Лесика, даже маленькая Клара не ревела в его присутствии, он был такой артистичный, ее старшенький, это было так хорошо, что все собирались вместе, жаль, что он приходил так редко, жаль, что смотрел только на нее, всегда — только на нее.

Чалдонов вставал из-за стола, передавал увесистого разнеженного Славика Марусе и церемонно приглашал Линдта «в курительную» — то бишь на лестничную клетку, потому что курить в доме, где столько детей... Маруся даже не продолжала, по ее бровям было ясно, что любого несогласного с этим постулатом вышибут вон, как проштрафившегося кота, потому Чалдонов и не пытался возражать, а даже наоборот — трогательно старался находить в своем новом положении всякие преимущества. Нет, Лазарь, теперь я вижу, что в гаремах был немалый толк, вот сам посуду — в доме у меня сейчас пропасть прелестных женщин, так что можно нисколько не беспокоиться ни из-за мытья посуды, ни из-за дров, девочки сами все делают, да так ловко!

На самом деле он отчаянно скучал, бедный старик, — и особенно сильно как раз по дровам, которые надо было принести, чтобы Маруся не портила руки, по посуде, которую было так хорошо вытирать полотенцем, стоя рядом с женой, — и это было так славно, что даже чистые тарелки постанывали в его руках от удовольствия. Неужели они с Марусей больше не будут проводить вечера вдвоем — тихо, за уютными разговорами, за воспоминаниями, родными и понятными только для них двоих? «Мы сядем в час и встанем в третьем, я с книгой, ты с вышиваньем, и на рассвете не заметим, как целоваться перестанем», — в такт Чалдонову подумал Линдт и тут же отпустил на волю чужие слова, потому что «Осень» будет написана только в сорок девятом году, потому что только в сорок девятом случится все, о чем он старался не думать с восемнадцати лет, с тысяча девятьсот восемнадцатого года, и о чем не переставал думать ежедневно, закрывая глаза, соскальзывая в сон, нет-нет, этого никогда не будет, никогда, именно этого — никогда... Маруся не умрет, все останется по-прежнему, ныне, и присно, и вовеки веков — навсегда.

Но сначала настал июль сорок четвертого. Лето в Энске выдалось невиданно жарким, переспелым, ягодным, и чуть ли не ежедневно из города отбывали назад, домой, слава богу, домой, сотни эвакуированных, а оставшиеся вечерами бродили по оживленным принаряженным улицам, словно пьяные — от непривычного тепла, от запаха пыли и близкой победы, от того, что с хлебом стало совсем хорошо и даже лучше, а из каждого распахнутого окна бархатный с исподу легендарный баритон докладывал, что 3 июля в результате победоносного наступления войсками Третьего и Первого Белорусских фронтов был полностью освобожден город Минск, а 13 июля — город Вильнюс. Правительственные раскаты заглушала «Рита-Рио, Рио-Рита, вновь звучит фокстрот, как хочу, чтоб этот вечер длился целый год!» Под управлением Марека Вебера в знаменитом, прикинувшемся фокстротом пасадобле томились парочки — шерочки с машерочками, конечно, но если зажмурить глаза, так легко было представить себе, что танцуешь не с подружкой, а с единственным, родным, любимым, долгожданным. И они кружились, кружились — постаревшие, измученные, счастливые, не открывая глаз.

Вместо похоронок все чаще приходили письма и телеграммы о том, что встречай четвертого, люблю, целую, тчк — вернее, похоронок не стало меньше, просто добрых вестей раньше не было совсем, а теперь — были, и на счастливиц толпами приходили посмотреть, прикоснуться, будто к чудотворным, мироточащим радостью иконам. Но самое главное — Анеле, Анеле тоже принесли такой листок, и Янкель обещал приехать за ней и детьми в конце июля, тяжелораненый, комиссованный вчистую, но целый, Господи. С руками и ногами. Живой.

Маруся, Валя и очнувшаяся, вынырнувшая из немого небытия Анеле сначала долго голосили над заветным письмом, а потом — так же слаженно и дружно — бросились готовиться к великому дню с пылом, которого не достаивался ни один императорский триумф. Все в доме, включая детей, драилось и начищалось, Маруся продумывала из пяти хлебов и двух рыбок невиданный обед, а Валя, добыв из потаенных закровов отрез голубого довоенного панбархата, срочно шила Анеле новое платье, в талию, на кокетке, да не вертись, тебе говорю, сердилась она невнятным, полным булавок ртом. Сейчас еще на груди складку заложу. Надо же тебе хоть какой-то перед соорудить, а то скажет твой, что мы тут тебя голодом морили. Валя тихонько всхлинула, и Анеле, у которой вдруг обнаружились громадные, серо-голубые, вполне панбархатные глаза, легко погладила ее по плечу, отчего обе женщины вдруг обнялись и снова разревелись, мысленно прощая друг другу все, в чем обе не были виноваты.

Это были хорошие слезы — последние хорошие слезы на ближайшие много дней.

Маленький Славик умер двадцатого июля. Янкеля ждали двадцать седьмого, Маруся затеяла варенье и логически следующий из этого пирог, потому Элечку с Исааком

отправили в лес, заросший по опушке кустами непроходимой, стремительно осыпающейся малины. Трехлетнего Славика им всучили в самый последний момент — чтоб не путался у взрослых под ногами, с наказом смотреть за ним во все глаза, и Элочка с Исааком честно смотрели, потому что Славика удалось сорвать с куста и сунуть в рот одну-единственную ягоду. Всего одну. Но этого хватило.

Наутро его залихорадило, и Валя, крепко отругавшая ноющего капризничавшего сына за то, что все у тебя, олуха, не вовремя и не как у людей, не простила себе этой брани до самой смерти. К вечеру Славика стало совсем худо, а через пять дней Маруся уже стояла на коленях возле больничной койки, механическим жутким движением подтыкая одеяльце под медленно застывающее, как будто пластилиновое тельце. Валя сидела в углу, раскачиваясь, будто дервиш, и на каждом выдохе издавая пронзительный, какой-то чайный крик — не женский и уж точно не человеческий, но она плакала, Господи, плакала. Ей было легче.

Откуда-то подошла нянечка, немолодая, навидавшаяся, притерпевшаяся, охо-хонюшки, будто мало мужиков поубивало, так еще и детей приходится хоронить. Нянечка обняла Марусю за плечи — пойдем, милка, к доктору, надо бумаги подписать, да не тормозишь ты, не замерзнет он больше, сердешный, отмучился, ишь, изглодало его как дизентерией, всего иссушило, бедного. Слово «дизентерия» нянечка произнесла с щеголеватой небрежностью малограмотного человека, который так много лет провел среди умных, образованных людей, что перенял все их внешние, необязательные ужимки.

Пойдем, говорю. Пускай и мамаша с ним попрощается.

Маруся покорно поднялась, не осознавая, что все еще сжимает и разжимает пальцы, пытаюсь укрыть Славика, пытаюсь хоть ненадолго сохранить его тепло. Он был такой маленький, Господи, такой смешной, с ямками на щеках, такой живой. Даже сквозь кровавую вспененную рвоту и диарею он пах свежим хлебом, топленным розовым молоком и самую малость — цветами, очень знакомыми, такими мелкими, едва лиловатыми, придорожными, но Маруся никак не могла вспомнить их названия, никак не могла вспомнить, никак не могла. Никак.

— Барух Ата Адонай Элоейну Мелех ha-Олам, Даян ha-Эмет,<sup>[3]</sup> — сказал кто-то в палате красивым низким голосом с нездешним придыханием, от которого веяло древними царствами и раскаленным песком. Маруся оглянулась — Анеле, которая все пять дней, что умирал Славик, просидела в углу палаты, испуганно глядя перед собой, вдруг распрямилась, встала и с хрустом разодрала на груди новенькое панбархатное платье, в котором беспечно вертелась перед зеркалом, когда пришла страшная весть. — Барух Ата Адонай Элоейну Мелех ha-Олам, Даян ha-Эмет, — повторила она твердо, так что и переставшая кричать Валя, и Маруся, и даже нянечка поняли, что Анеле говорит с Богом.

И встал царь Давид.

И разорвал одежды свои.

И не было от этого никому никакого прока.

Незаметно ни для кого вернувшийся Янкель увез семью в первых числах августа. Анеле — все в том же разорванном на груди, враз постаревшем платье, которое можно будет нарочно неровно, уродливо зашить только спустя тридцать дней после похорон, накрепко обняла Марусю, Валю, прикоснулась губами ко лбу зареванной Элочки. Оцепеневший от горя Исаак прижимал к груди подаренную Линдтом готовальню — царский подарок, всю роскошь которого он смог оценить только в военном училище, много, много лет спустя.

— Ты только пиши, Анеле, и ты, Исочка, ради бога, только пишите, — просила Маруся, давясь сухими, мучительными слезами, — и Анеле писала, до самой своей смерти в 1975 году, длинные, обстоятельные, полные невероятных грамматических ошибок



письма, которые почтальон до сорок девятого года аккуратно, раз в месяц, приносил к Чалдоновым домой, а потом стал приносить домой к Линдту, и он — так же аккуратно — носил их на кладбище и, не распечатывая, клал у серого каменного Марусиного креста, в крылатой тени которого уютно примостился и нелепый, непохожий бюст Чалдонова, и могильная плита маленького Славика.

Письма никто не трогал, даже кладбищенские нищие, простодушно собиравшие у чужих могил поминальные пряники и конфеты — отличная, между прочим, закуска, и опять же не грех, а за помин души, поэтому послания Анеле сперва постепенно желтели, потом, напоенные энскими дождями и энским же снегом, разбухали, иставали, превращаясь в землю, в прах, возвращающийся к праху, и сквозь прах этот прорастала трава, на которую ложились новые письма, и разговор все не прекращался, тихая неслышная беседа двух женщин, из которых одна почти всю жизнь промолчала, а другая — давным-давно умерла.

Через неделю после того, как Янкель увез семью, Вале пришла похоронка — даже не похоронка, так — извещение, мол, без вести пропал ваш Михаил Туляев, героически освобождая чего-то там, — Валя промахнула глазами, но не запомнила, не поняла, передала листок Марусе. Та ахнула, испуганно зажала рот руками.

— Да что же это такое, Валя? Да как же этот так? Ты погоди убиваться, может, напутали? И потом — без вести пропал — это какая-то надежда, разве нет?

— Да чего мне убиваться, Мария Никитична, — просто ответила Валя, за эти дни раз и навсегда зачерстневшая внутри так, что не отпустило больше никогда — и ни внуки не помогли, ни другой сынок, родившийся от другого мужа, ни сам муж (а ведь любил ее страшно сказать как, только вот и пил так же страшно, но это уж — у кого не бывает). Судьба. Чего убиваться, если уже убитая? Надо собираться да ехать — Воронеж уж год почти как освободили, в газетах пишут — восстанавливается народное хозяйство. И потом — у Миши старики там остались, в эвакуацию не поехали. Думаю, может, живы? Так со мной им все полегче будет, хоть немного — да помогу.

И Маруся сразу все поняла, не стала ни отговаривать, ни приглашать остаться, просто сказала, уже на перроне:

— Ты езжай, не бойся, я за Славиком присмотрю.

Будто он играл тут же, маленький, теплый, настоящий, весь в призрачной вокзальной пыли. И не соврала — к ужасу Чалдонова едва ли не каждый день ходила на кладбище, без надрыва, без слез, без игрушек, таких диких на детских могилах. Просто была рядом как можно чаще, чтобы Славiku не было страшно.

Чалдонов, зная характер жены, сочувственно терпел, изо всех сил проклиная себя за тайную бессовестную радость — война стремительно катилась к завершению, детсад в их доме сам собой рассосался, и они с Марусей снова были вместе, снова неразлучны и снова — одни. Но когда научную звездобратию потихоньку стали возвращать назад, в Москву, Маруся категорически отказалась укладываться. «Никуда не поеду, и не надеюсь, — заявила она с тем же юным пылом, с которым в семнадцатом году отказалась от Англии. — Хочешь — можешь ехать. А я останусь тут».

И Чалдонов, разумеется, тоже остался, сходил, кряхтя от унижения, на поклон к академику Скочинскому, который рулил новорожденным Западно-Сибирским филиалом Академии наук СССР, и после аудиенции получил все, что было положено маститому ученому его ранга, который на старости лет рехнулся и добровольно решил дожить дни у черта в жопе, на самом краю географии. «Не ворчи, — пригрозила Маруся. — Вот еще чего вздумал. Мы и тут отлично устроимся, вот увидишь».

Они купили старый дом на деревенской почти окраине Энска — большой, бестолковый, с вечно дымящими печами, но зато без призраков и горьких воспоминаний — своих и чужих. Маруся — в который уж раз — деловито вила гнездо, приходил по

вечерам Лазарь Линдт, разумеется, тоже оставшийся в Энске — в Москве только крикнули, но возражать не стали, не рискнули, уж больно серьезной проблемой занимались эти двое. Вернее, конечно, занимался Линдт, но в большой науке — свои правила, тут на пенсию уходят только вперед ногами, и фамилия учителя, вопреки и логике, и алфавиту, и обычной человеческой совести, всегда стоит рядом с фамилией ученика, но вот уж на это Линдту точно было глубоко наплевать. Он знал цену и себе, и Чалдонову, и большой науке. И было совершенно ясно, кто в итоге стоит больше.

Как-то незаметно закончилась война — Маруся даже праздничный ужин готовить не стала, просто сменила скатерть да выставила на стол лафитничек водки. Три стопки с негромким грустноватым звоном столкнулись над тарелками, Маруся украдкой вытерла глаза, мужчины, крикнув, потянулись за хлебом, и все кончилось — четыре года горя, подумать только — четыре года! И ровно столько же — впереди.

После войны все потекло тихим, уютным чередом. Маруся стряпала, Чалдонов дописывал большую и никому не нужную книгу, с грустью понимая, что пережевывает свои собственные, давным-давно беззубые мысли, а Линдт неожиданно увлекся материальным воплощением своих теоретических представлений о мире. Он полюбил полигонные испытания, долгие командировки, бумаги с печатями, допуски, молчаливых вестовых. Оказалось вдруг, что его безукоризненные бумажные выводы на практике обрастают веселой, пестрой, прямо-таки праздничной вещественностью: бурая степь, деловито окапывающиеся солдатики, тесный КП, пропитанный особым казарменным духом — вкусной помесью перегарного шипра, горячего пота и потертой портупейной кожи, которая сама по себе пахла всеми атрибутами военной жизни — табаком, порохом и той особенной идиотической бодростью, которой полны все, кто готов отдать свою единственную и конкретную жизнь за такое абстрактное и расплывчатое понятие, как родина.

На испытаниях Линдту нравилось все — и каша с тушенкой, огненная до полной потери вкуса и оттого невероятно сытная, и спирт из полулитровой кружки (на закуску полагался офицерский лимон — свежеоблупленная, сахарная на срезе луковица), и сами офицерики — серые лошадки войны, выносливые, дружелюбные, жизнерадостные, все сплошь, как на подбор, красношеее сангвиники. Хоть убивать, хоть выпивать — все легко, в охотку, с улыбкой. Линдта они любили — впрочем, на полигонах любили всех «промыслов» (ударение на второе, густое о) — производителей, приезжавших лично проконтролировать, как жажнет любимое детище, потому что под них выделяли дополнительный спирт, каковой и выжирался всеми участниками испытания с неподдельным воодушевлением, и только после этого приступали собственно к жаханью.

Мальчишки — одно слово. Мальчишки и дураки.

Впрочем, «промыслы» бывали разные — кто-то выпендривался, кто-то чурался дощатого уличного сортира, кто-то блевал со ста граммов, как первокурсница, или, ссылаясь на язву, норовил отвертеться от общего праздника вообще. А Линдт не выпендривался, не ломал доктора наук, охотно хохотал за общим столом и никогда не забывал выставить всем несколько с собой привезенных бутылок чего-нибудь редкого и дорогого — вроде армянского конька или совсем уже невиданного трофейного шнапса.

Всеобщая, впрочем, сильно подогретая на спирту приязнь была так велика, что летехе, который однажды совершенно справедливо и без малейшего желанья хоть кого-нибудь оскорбить опознал в Лазаре Линдте «жида», накостыляли по шее. Чтоб, значит, научился в людях разбираться, мудака. Лазарь Линдт о прецеденте так и не узнал — а жаль, он любил забавные ситуации, любил лишний раз убедиться в том, что система распознавания «свой-чужой» — штука внеэтническая и надконфессиональная. Он не раз убеждался, что чувство юмора, нравственный склад личности, манера пить или даже природный запах имели куда более принципиальное значение, чем общее гражданство или даже общий хромосомный набор. Это было логично и правильно. Справедливо. И — по этой логике и

по этой справедливости — в мире не было, да и не могло быть одиноких людей. Были только не опознавшие своих и оттого вынужденные мыкаться с чужими.

Отчего-то это грело Линдту сердце.

Война нравилась ему все больше — это было странно особенно, если учесть, что она только что прошла, но никогда не мешает как следует подготовиться к следующей, правда? К тому же было что-то исключительно правдивое в том, что наконец-то он занимался чем-то по-настоящему реальным и находился среди по-настоящему реальных людей. Линдт стал все реже и неохотнее возвращаться, перестал с прежним вдумчивым удовольствием (и с мысленной оглядкой на Марусино мнение) выбирать по утрам сорочки и начищать ботинки. К нему даже привязался бодрый матерок, которым сдабривалась на полигонах любая команда или фраза — так заботливая мать сластит неприятную микстуру, чтобы убедить плаксивое температурное дитя выпить ложечку, милый. Ну, ложечку. Всего одну.

— От тебя даже пахнет теперь как от вахмистра, Лазарь, — удивилась Лара, одна из многих его необременительных любовниц.

— Это как? — лениво поинтересовался Линдт, худой, чресла по-библейски прикрыты скомканной простыней — особенно белой на фоне его смуглоты, почти оливковой, отдающей иной раз даже торжественной бронзой.

— Известно как. Ремнем и хуем. — Лара поднялась с постели и нашарила круглой розовой рукой сброшенную в половых попыхах тоже розовую сорочку.

Линдт засмеялся. Один Бог знает, как ему было одиноко. Почему его все время признавали своим не те, кого считал своими он сам?

Вторую половину июля и весь август сорок девятого Линдт провел в увлекательнейшей командировке в Семипалатинске — дел с первой советской атомной бомбой было невпроворот. Чалдонов, — по возрасту и иным, совершенно понятным, причинам — оставшийся в Энске, нервничал и ревновал так отчаянно, что даже не пытался этого скрыть.

— Что ты изводишься, — мягко упрекала его Маруся, — тебя бы все равно не взяли. Разве что песком перед бомбой посыпать. Да твоим собственным песком, который из тебя сыплется. И не надо дуться, никакие «ах, вот если бы двадцать лет назад» тут не проходят. Двадцать лет назад у тебя уже был преотличнейший геморрой, которому совершенно нечего делать в окопах. И брось немедленно папиросу — ты минуту назад курил! Авось, без тебя большевики обойдутся! Пойдем лучше — поможешь мне подвязать акониты.

Чалдонов покорно совал в пепельницу сочный, едва начатый окурок и плелся за женой в палисадник, черт-те что — и вот это называется акониты? Я думал, эти, как их, — лилии! Маруся смеялась — лилии в Энске, Сережа! Ты вообще обратил внимание, что мы в Сибири? И планета, скажу уж на всякий случай, — Земля. А то мало ли в каких ты до сих пор пребываешь иллюзиях. Чалдонов недоверчиво качал головой — по поводу Земли он был практически уверен, но вот чтоб акониты... Точно не лилии? Маруся смеялась еще громче, вообще-то, она бы, наверно, смогла и лилии, у нее все цело, сочной буйной массой выпирало из палисадника, так что прохожие только головами крутили, а соседи завистливо выпрашивали — хоть череночек, Мария Никтична, только, уж пожалуйста, сами посадите — уж больно у вас рука легкая. И Маруся сажала, подвязывала, рыхлила пальцами нищую энскую землю, тихо приговаривала что-то, как будто давала чахлым росткам дополнительные силы.

Ее все любили, абсолютно все — даже цветы.

Двадцать шестого августа она проснулась рано, словно разбуженная внезапным и болезненным тычком — рядом беззвучно, как ребенок, спал Чалдонов, и лицо у него было такое обиженное и родное, что у Маруси от нежности и любви сжалось и вперебой

застучало сердце. За окном стояло влажное предрассветное молоко, было так невероятно тихо, как бывает только утром и только за городом, так что Маруся без малейшего труда услышала, как по крыльцу звонко затопали маленькие босые пятки. Пять лет, как нету Славика, вспомнила она. Пять лет. Уже бы в школу пошел. Дробный детский топоток затих, будто кто-то там, снаружи, стоял у двери, не решаясь постучаться.

«Иди, милый, я скоро», — мысленно пообещала Маруся, и ножки послушались, ушли, и тотчас напористо заголосили разом проснувшиеся птицы, завозился в своей одеяльной одури Чалдонов, и день, набирая скорость, обороты, гул, покатил раз и навсегда положенным славным маршрутом — завтрак, молоко, возня с упругим охающим тестом, кладбище, сад, чашка крепкого чая, словно сама собой возникшая у локтя склонившегося над рукописью мужа. Спасибо, милая, что ты — я бы прекрасно сам. Маруся прижалась нежным ртом к его старой, совсем оплешивевшей макушке. Стыдно, столько горя кругом, всю жизнь, а я всю жизнь счастлива. Спасибо, Господи. За эту чашу, за мужа, за то, что не оставил, держал столько лет, как наседка, под своим невыносимым крылом.

Они поужинали вдвоем на скрипучей дощатой терраске, которую Чалдонов все лето собирался утеплить, да так и не поймал мастера трезвым, ты уж сама поговори с ним, Маруся, тебя он послушает, а то время к осени, вон уж, и теперь холодает, нет, и слышать не хочу, не хватает еще, чтобы ты простудилась. Он принес жене пуховый платок, пожилой, переживший вместе с ними столько всего, что почти одушевленный, и Маруся благодарно укуталась, прижалась щекой к плечу мужа, и они еще долго-долго сидели и разговаривали ни о чем, о том, что жалко, что Лесика нету все лето, что пирог в этот раз поднялся куда лучше, чем в прошлый, а все потому, что не надо выдумывать, сказано — два яйца, так и надо класть два, а не четыре, что в сентябре можно будет начинать квасить капусту — ты только подумай, в Москве в сентябре еще в босоножках ходят, а тут — почитай, что зима.

Ты не скучаешь по Москве?

Нет, я с тобой никогда ни о чем не скучаю.

Мохнатые беззвучные бабочки залетали на терраску, привлеченные лакомым светом розового абажура, и с тихим лепестковым стуком падали на скатерть, опаленные, счастливые, потерявшие разум от боли и любви, а разговор все тек, не переставая, уютный, как мурчание кошки, пока наконец не закончился в маленьком самоваре кипятков и лиловатые летние энские сумерки не сгустились в непроницаемую, прохладную, полную деревенских звуков темноту.

Они на ощупь, чтобы не нарушить возней с электричеством драгоценную прелесть этого вечера, добрались до спальни и легли, обнявшись, как ложились все шестьдесят лет своего супружества, и не было не то что дня — минуты, когда бы Маруся пожалела, что рядом с ней именно этот человек.

— Я люблю тебя, — пробормотал Чалдонов, медленно уходя в сон, открывая какие-то тугие двери, неловко балансируя на пороге полудремы, потому что нельзя было заснуть, не услышав вторую часть заклęcia, отзыва к названному паролю, и Маруся послушно отозвалась:

— Я люблю тебя.

Вот что они слышали друг от друга каждый вечер и каждое утро все шестьдесят лет, с самой своей первой медовой ночи на пароходе «Цесаревич Николай», и каждую ночь так же нежно плескала вода, и плыли по потолку воздушные, кружевные, живые тени...

Чалдонов проснулся среди ночи точно так же, как утром Маруся — будто от толчка, и мгновенно понял, что случилось. Было непроглядно темно, звонко тикал на тумбочке невидимый будильник в ушастой металлической шапочке, рука Чалдонова все так же лежала на груди Маруси, все так же щекой он ощущал бархатистый аромат ее ночной сорочки, но самой Маруси больше не было.

Совсем.

Чалдонов не издал ни звука, не смог, просто до самого утра, пока не начало светать, лежал, боясь шелохнуться, чтобы не побеспокоить жену — маленькую, свернувшуюся в клубочек, все еще теплую, долго-долго теплую, потому что впервые в жизни это он питал ее своим теплом. Он, а не она. И только на рассвете, когда затекшая от напряжения рука начала болеть просто невыносимо, Чалдонов позволил себе пошевелиться.

— Я люблю тебя, — сказал он тихо. — Я люблю тебя, ты слышишь?

Маруся промолчала, и Чалдонов, уткнувшись лбом в ее неподвижную спину, наконец-то заплакал.

#### Глава четвертая Галочка

До семнадцати лет Галина Петровна была роскошно, постыдно, упоительно счастлива. Румяные феи в алых галстуках на молодых расцарапанных шеях сложили у ее колыбели все атрибуты золотого советского детства — яркие, чуточку аляповатые, целлулоидные, как игрушки, которые заботливые родители пускают в плавание по смешной малышовой ванночке, чтобы облегчить ребенку слезоточивые муки гигиенического созревания.

Галочкин папа (Баталов Петр Алексеевич) подвизался в райкоме мелким партийным бесом — потешный пузатый человечек с трогательным пушком на уютном, жирном загривке и длинной ухоженной прядью, прочертившей зеркальную плешь от одного круглого уха до другого. Он был слишком глуп и добродушен, чтобы совершить один, хоть самый немудрящий административный подвиг и пробиться в пылающий стан истинных коммунистических архистратигов. А потому целыми днями терпеливо кис в тесном кабинетике, копя на углу стола кипы бессмысленных бумажек, и ровно в восемнадцать пятнадцать уже садился ужинать дома — переодетый в отглаженную пижамную куртку, безмозглый, розовый, свежий, невинный.

Над тарелкой борща курился красный свекольный парок, и Петр Алексеевич, держа наготове вилку, увенчанную толстым, сочным куском иваси, подносил к мягкому роту тяжело блеснувшую свинцово-хрустальную стопку. Тягучая от холода водка гылкала внутри его кадыка, и Галочка, переливисто хохоча, требовала: еще, папа, еще! Петр Алексеевич, деликатно обнюхав пряную селедочную плоть, так же гладко и оглушительно заглывал вторую и, подмигнув довольной дочке, запускал ложку в горячее борщовое нутро. Галочкина мама (Баталова Елизавета Васильевна) с деланой укоризной качала гладко причесанной головой и демонстративно принимала со стола круглый графинчик — третью Петр Алексеевич не пил никогда. И вообще — жили они прекрасно.

Неприметное паразитирование на оплывшем теле великой (и единственной) партии не принесло Петру Алексеевичу ни почестей, ни доблести, ни славы — впрочем, в хозяйстве совершенно и не нужных. Зато он выслужил надежную бронь, сытый паек и приличную квартирку в кирпичном доме, достаточно просторную, чтобы Галочка полноценно цвела и развивалась в собственной отдельной комнате — с ветвистым столетником на подоконнике, хрупкой этажеркой и карим плюшевым мишкой, который днем терпеливо сидел на кровати, распахнув мягкие игрушечные объятия, а ночью, прижавшись к горячей Галочкиной щеке, легонько дул в ее растрепанные, влажные кудряшки: отгонял тихих, красногубых, бесплотных монстров, что прилетают после полуночи и, стрекоча невидимыми черными крыльями, садятся у изголовья — полакомиться детскими сновидениями, полупрозрачными, радостными, липковатыми, словно пятикопеечные леденцы на палочке, которыми торгуют возле булочных драчливые, многослойные, разноцветные цыганки.

Галочка росла крупной, смышленной девочкой, не баловалась на переменах и носила из школы табели, плотно набитые большими яркими пятерками. Все это вместе (плюс мама, работавшая в соседней школе заведующей по воспитательной части) обеспечивало ей солидный статус первой красавицы класса — должность, до определенного возраста

никак не связанная ни с длиной ног, ни с качеством эпидермиса. Но к шестнадцати годам Галочка растрясла смешной щенячий жирок и выправила себе легкую, округлую фигурку — словно выточенную на токарном станке из золотистого, плотного, невиданного сплава. Рыжеватая, с мельчайшей медовой искрой коса (витой львиный кончик которой Галочка вечно покусывала безупречными, совсем не советскими резцами), прозрачные, сизо-серые, грозовые глаза, аккуратный курносый носик и ямки на смуглых, чуть шершавых от солнца и молодости щеках.... У подъезда Баталовых зароились растерянные ушастые мальчишки, мечтающие уже не только о том, как бы половчее скатать у Гальки математику.

К тому же Галочка, с малолетства пищавшая что-то в школьной самодеятельности, одновременно с круглой молодой грудью надышала себе и новый голос: тяжелый, волнующий, страстный, отливающий на самых низких нотах драгоценной, опасной, рубиновой теплотой. Ее срочно вывели в солистки, и когда на отчетнопраздничных концертах она, в тесноватой суконной юбке, наивно обтянувшей великолепные бедра, выходила на сцену и, с детским усердием вытянув шею, принималась страдающим, хриплым контральто выводить идиотские песенки про летящий паровоз и «смело, товарищи, в ногу», в самом политически выверенном зале начиналось совершенно непристойное, прямо-таки кабацкое ликование.

Но истинной Галочкиной коронкой были «Вихри враждебные». Едва заслышав первые звуки революционного речитатива, на самом дне которого раскатисто перекатывались раскаленные шары решительного Галочкиного «р-р-р», ответственные лица в президиуме мгновенно каменели ширинками и оправлялись от преступного сладостного морока только к концу концерта — пропустив мимо ослепленного, взволнованного сердца и стихотворный монтаж, и матросскую пляску, и гимнастические экзерсисы худеньких пионеров, напряженивших в борьбе за дело Ленина будущие несокрушимые мышцы.

Слушок про перспективную девочку дошелестел до райкома комсомола, и оттуда немедленно позвонил какой-то молодой услужливый олух, желающий в собственных целях полакомить утомленное руководство, — прямо домой позвонил, стоеросовый идиот, со своим предложением, от которого неразумно отказаться. К счастью, звонок принял Галочкин папа, очень кстати бюллетенивший в приятной компании ветхих, взлохмаченных «Огоньков» и крепкого чая с малиной. Внимательно выслушав начинающего комсомольского вожака, Петр Алексеевич обменялся с ним парой фраз, совершенно пустых и невинных для неопита, — этакий пароль, невидимый словесный знак, по которому один тайный агент под прикрытием узнает другого, еще более залегендированного.

Юноша, смекнувший, что неожиданно напоролся на своего (да еще на партийно-райкомовского, да еще на старшего по табели о рангах!), торопливо заблеял что-то невнятное и невежливо бросил вспотевшую трубку, из которой вдруг пахнуло на него такой жуткой, живой, животной ненавистью, словно не осталось в мире ни партии, ни Страны Советов, ни водки по двадцать пять двадцать. Только адское небо пятого дня творения, праматерик, заросший шуршащими хвощами, да саблезубый самец, опасно ощерившийся над логовом с голым, скользким новорожденным детенышем.

Петр Алексеевич аккуратно вернул телефон на шаткий трехногий столик и несколько минут пустыми от ярости глазами разглядывал приклепленную к стене «Незнакомку» Крамского — пока не перебрал в уме весь арсенал чудовищных пыток, предназначенных для бесстыжего осквернителя. Когда мерзавец — кастрированный, изуродованный, с переломанными конечностями и наискось разорванным орущим ртом, — корчась, издох в последний раз, Петр Алексеевич пошел на кухню, допил остывший, подернувшийся масляной пленкой чай и сидел там, сгорбившись и выбивая на чистенькой ситцевой скатерти мелкую, горячую дробь, пока сквозь приоткрытую фрамугу не вползли

продрогшие энские сумерки и в прихожей не заскребла ключом вернувшаяся с работы жена.

Галочка, прискакавшая вечером из своего хора, — дробный топоток сброшенных ботинок, круглая мутоновая шубка, контрабандно впущенный в квартиру клуб розового от мороза нарядного воздуха, ма, па, я пришла! — застала родителей все на той же кухне. Оба рядком сидели за столом, тихие, постные, словно на поминках, когда все еще помнят, зачем собрались, и разбухшей от огорчения вдовице в первый раз капают в водку мутненькую, клубящуюся валерьянку. Но сильнее всего Галочку напугала не тишина и не скомканые неведомым горем родительские лица, а кухонный воздух, в котором, несмотря на время ужина, не витали привычные теплые феи домашнего очага, окутанные горячим крахмальным парком закипающей картошки и ароматом булькающего в казане тушеного мяса. В воздухе было стерильно и пусто, как в операционной, выжженной стрекочущей бактерицидной лампой. И только на столе молча стояла тарелка с невиданными в Энске даже летом яблоками — ярко-красными, ненормально глянцевыми, выросшими в далеком, импортном мире, где нет ни гусениц, ни черной гнили, ни зверских морозов, разрывающих стволы измученных, стонущих деревьев.

— Что-то случилось? — не то спросила, не то сказала Галочка, чувствуя, как мягкая незнакомая лапа сжимает сердце и, потискав его в мохнатом кулаке, тянет вниз, к солнечному сплетению — туда, где в красноватых потемках пряталась душа, крошечная, взъерошенная, неясная, как выдох на холодном стекле, но все-таки — живая.

— Галина, — начала Елизавета Васильевна, привычно, по-учительски лязгая голосовыми связками. — Ты уже взрослая девушка, комсомолка...

Галочка непонимающе хлопнула тяжелыми ресницами, и Петр Алексеевич недовольно поморщился.

— погоди, мать, ты не то говоришь. Вот смотри, доча...

Он взял из тарелки яблоко и, крепко хрустнув челюстями, откусил ему ухоженный бок, брызнув на жену и дочку мгновенно вскипевшим, душистым соком. Потом положил яблоко на скатерть — изуродованное, обслюнявленное, обнажившее истерзанное зеленовато-золотое нутро, — и тут же пристроил рядом второе — целое, лаковое, алое, послушно бросившее на стол округлый, розовый блик.

— Ты какое выберешь, доча?

Галочка, силясь угадать, собрала на гладком лбу мягкую складку (след будущей взрослой морщины, намек на грядущую, смертную, нерадостную жизнь), потянулась машинально к целому яблоку и вдруг поняла, ахнула и, некрасиво, в голос, заплакав, бросилась в свою комнату — к мишке, постаревшему, потерявшему в схватках с демонами одно мягкое ухо, но все еще серьезному, все еще готовому ради Галочки на все.

Минут через двадцать в бывшую детскую осторожно пробрался тихий запах готовящихся пельменей, крошечных, самолепных, до стеклянной твердости продрогших в морозилке, а теперь медленно, в кипящих муках, обретающих тестяную, полупрозрачную, нафаршированную плоть. Вслед за пельменями в комнату, по-зимнему синюю, практически ночную, заглянула Елизавета Васильевна, присела к Галочке, ничком упавшей на кровать, погладила теплую девичью спину, все еще вздрагивающую от глубинных тектонических рыданий. Пойдем ужинать, Галюня.

Галочка, всем лицом уткнувшись в спасительный мишкин живот, отрицательно покрутила головой и еще один раз — для верности — швыркнула носом. Пойдем, Галюня, папа заждался уже, — ласково повторила Елизавета Васильевна. И Галочка, словно намагниченная этой лаской, переползла с мокрого мишкиного живота на материны колени и заплакала снова, но на этот раз легчайшими, хрустальными, девичьими слезами, от которых не краснеет нос и не распухают веки, а наоборот — волшебным образом преображается все лицо, зажигаясь изнутри тем грустноватым, неярким, удивительно женственным светом,

ради которого, собственно, и живут мужчины всего мира, рабски сходя с ума, теряя состояния и развязывая столетние войны.

Елизавета Васильевна поцеловала Галочку в круглую, доверчивую макушку, природный аромат которой не могло испортить ни семейное мыло, ни звериный запах оренбургского пухового платка, который Галочка зимой носила вместо шапки, и обе — мать и дочь — отправились на кухню совершенно примиренные с миром и друг с другом. И долго-долго, едва ли не до полуночи, на кухне горела лампа, шипел сквозь зубы в который раз закипающий чайник да тихо дзынькали розетки, до краев наполненные засахаренным малиновым вареньем. А Баталовы все говорили, все обсуждали, перебивая друг друга и радуясь подступившему грядущему, которое крупными, полупрозрачными, воздушными клубами висело тут же, прямо над столом, наивно притворяясь крепким, домашним, чайным паром.

И только мишка, разведя толстые лапы, так и лежал в темной детской совсем один, прислушиваясь к неразборчивому гулу кухонного разговора и чувствуя, как его неторопливо, капля за каплей, покидает Галочкино детство. Слезы на мягком животе потихоньку высохали, оставляя на стареньком залоснившемся плюше едва заметные солоноватые разводы, но когда ближе к полуночи Галочка, счастливая, взбудораженная, (но с тщательно вычищенными на ночь зубами — порядок и гигиена превыше всего!), пришла в комнату и, мурча, принялась раздеваться, мишка был еще жив.

Он дотянул почти до утра — все ждал, собирая последние силы, не прилетят ли демоны. Готовился дать свой последний бой. Но они так и не прилетели, и мишка долго-долго лежал на спине, боясь шелохнуться, чтобы не потревожить Галочкину руку, невыносимо тяжелую, огненную, немного влажную с изнанки. Родную. А потом два прямоугольных потолка в его стекленеющих глазах начали медленно светлеть, и, когда Галочка, ворочаясь, беспокойным локтем столкнула мишку на пол, он еще сумел издать короткий, странный, почти рыдающий, совсем человеческий звук.

В семь утра, когда на тумбочке в голос закричал будильник, все было кончено. «Галюня, ты встала?» — спросила из-за двери Елизавета Васильевна, и Галочка, скинув с кровати молодые гладкие ноги, натолкнулась пяткой на неподвижное, набитое опилками тельце. «Встала, встала!» — откликнулась она бархатным спросонья, радостным голосом и, переступив через мертвого мишку, вприпрыжку отправилась умываться.

После большого яблочного совета с хоровым пением (и прочим школьно-общественным мельтешением) было единогласно покончено — и в святом семействе снова воцарился мир. Тем более что забот хватало и без отчетных концертов и враждебных вихрей — ведь весной Галочке предстояло получить аттестат зрелости и, скинув хитиновые стяжки и скорлупки, преобразиться из куколки в великолепную абитуриентку. Все высшие учебные заведения города Энска были по очереди возложены на невидимые весы. На одной их чаше покоилось светлое будущее с крепкой, добела отмытой карьерной лестницей, авансом пятого, получкой двадцатого, и — о венец творения! — с гарантированной месткомовской путевкой в летние (летние!) Гагры. На другой чаше сидела сама Галочка, болтая легкими ножками, которые не могли изуродовать даже простецкие чулки в хлопчатобумажный рубчик. Равновесное же острие весов вонзалось в само родительское сердце. Ах, что были страдания хрестоматийного Данко по сравнению с кровопролитными муками Баталовых, выводящих свое единственное чадо навстречу будущему счастью?

Галочка заикнулась было про стародевическо-педагогический, но Елизавета Васильевна только негодуяюще всплеснула чуть потрепанными в учительских боях, но все еще вполне лебедиными крыльями. Портить себе нервы ради чужих идиотов? Не позволю! Петр Алексеевич проконсультировался со старшими товарищами — на предмет серьезных перспектив, — и Галочку решено было отдать в местный политехнический, но



не на оборонные специальности (просидит всю жизнь в «почтовом ящике» и даже в Болгарию не съездит!), а на мирный факультет водоснабжения и канализации. Потому что уж чего-чего, а говна, доча, в стране столько, что на две твоих жизни хватит. А ты не морщись, работа на самом деле чистенькая, будешь себе сидеть в проектном институте в белом халатике, или вон Сан Саныч на водоканал тебя к себе возьмет. Обещал. Ты только, голуба, поступи, а дальше все само пойдет, по накатанной.

Галочка мечтательно смежала сизокрылые вежды и сквозь тяжелые кончики перепутавшихся ресниц видела мреющую, миражную комнату с гигантским окном, наполненным до самого горизонта сияющей водной гладью, в которой — микроскопически яркой точкой — таял притворившийся белым халатиком одинокий и необыкновенно обаятельный парус. Удивительные люди, мужественные и честные, с вдохновенно гладкими плакатными лбами, склонялись над чертежными досками, которые, честно говоря, в Галочкиных фантазиях больше походили на мольберты художников, но это было неважно, неважно, потому что в комнату вдруг — ах! — врвался самый главный, самый высоколобый, самый вдохновенный. Адский излом бровей юного Стриженова, подпрыгивающая походка пламенного и со второго раза расстрелянного революционера Артура Ривареса по прозвищу Овод... Тут Галочкины неясные устремления окончательно переезжали в область чистой кинематографии: Крючков, Меркурьев, Кадочников, — Галочка не пропускала ни одной премьеры, и нежный жар, с которым она обожала каждую серую экранную тень, в самом ближайшем будущем грозил обернуться живой, человеческой любовью.

Конечно, пока Галочка видела эту любовь в абстрактных, почти кубических символах молоденькой девственницы и одновременно — советской комсомолки: шепот, робкое дыханье, пылкие взоры, совместный созидательный труд и бесполое и оттого особенно торжественное слияние двух высокоморальных личностей строителей коммунизма. Но нижней своей, животной, женской сутью Галочка была уже совершенно готова и к влажным битвам на стонущей пружинной койке, и к азартным ссорам из-за полочки, и к счастливым ужасам многократного живорождения — словом, ко всему тому, что и делает женщин всех эпох и социальных систем по-настоящему бессмертными.

Однако на пути к полноценной ячейке общества и счастливому будущему угрюмым рядком стояли математика, физика и русский — нахохленные, мрачные, словно шпана из продуваемой подворотни, готовая со скуки пырнуть финкой и почтенного отца семейства в смушковым пирожке, и своего же полупризорного брата, случайно забредшего из вражеского, неподконтрольного района. И если с русским и математикой были ничтожные шансы договориться, надавить на жалость, выкрутиться, в крайнем случае — ускользнуть, проскочить соседним переулком, собрав дрожащей спиной паутину и побелку с ближайших домов, то физика была нема, непреклонна, непонятна и оттого — особенно ужасна.

Как только Баталовы уяснили всю чудовищную степень Галочкиной наивности в области силы тяжести и вращения тел, по физике был немедленно нанят репетитор — аспирант из Энского университета, знаменитого, знатного, дерзко и успешно соперничавшего с лучшими столичными вузами. Разумеется, об университете Баталовы и не мечтали, довольствуясь ласковым присловьем всех недалеких, осторожных людей про курочку, которая по зернышку клюет, — тем более что Галочка, ставшая от предвыпускных и абитуриентских хлопот еще прелестнее, и впрямь напоминала курочку — нежной бессмысленной суетливостью и особенно быстрым движением, которым она наклоняла над учебником хорошенькую (с шелковым рыжеватым отливом) головку.

Аспирант, долговязый парень с трагическими глазами изголодавшегося иудейского демона, приходил к Баталовым два раза в неделю — по понедельникам и четвергам и (под незримым присмотром царящей на кухне Елизаветы Васильевны) натаскивал будущую инженершу на грядущие канализационные подвиги. Елизавета Васильевна опасалась, что

между учителем и ученицей может некстати вспыхнуть непредвиденная страсть, и то и дело заглядывала в комнату Галочки под вымышленными и нелепыми предложениями. Впрочем, беспокоилась Елизавета Васильевна напрасно — аспирант презирал бедную Галочку так, что дело не спасали ни десять дореформенных рублей, причитающихся за каждый час их совместных академических мучений, ни круглая грудь, которой ученица покорно наваливалась на край письменного стола, пытаясь хоть таким — физическим — усилием заставить непокорный закон Гука сдвинуться с мертвой точки.

К тому же от присутствия молодого, едва знакомого мужчины Галочка совсем терялась, забывая даже то, что честно, вслух, зубрила в школе. Аспирант хватался за голову, мерил циркульными злыми шагами детскую комнатку, которая давно жала аппетитно налившейся Галочке и в проймах, и в груди. Ну, как вы не можете понять? Это же совершенно элементарно! Величина абсолютной деформации пропорциональна величине деформирующей силы с коэффициентом пропорциональности, равным жесткости деформируемого образца! Галочка торопливо записывала бессмысленные, грозные слова, тайком, краешком глаза, рассматривая крупные руки своего неистового педагога, торчавшие из свитера первобытной домашней вязки. Свитер, несомненно, нуждался в срочной стирке, но жилы, вздувавшиеся на сильных мужских предплечьях, отчего-то мешали Галочке не то что сосредоточиться — как следует вздохнуть. Она беспокойно теребила у горла душную байковую кофточку, то и дело вскидывая на аспиранта умоляющие, огромные, мокрые от усердия ресницы. Аспирант в отчаянии хватался за голову, которую тоже не мешало бы как следует вымыть, и до треска затягивался «Беломором» — курил он отчаянно, как приговоренный, и вынимал папиросу из закушенного рта, только когда картонная гильза насквозь пропитывалась горькой слюной. Пальцы у него были в желтых табачных пятнах, и это тоже волновало Галочку чрезвычайно.

Чудо закончилось в один миг. Елизавета Васильевна, в очередной раз одарив молодого учителя червонцем и кислой улыбкой, закрыла за ним дверь и немедленно велела Галочке проветрить квартиру, потому что, черт знает что, ведь, кажется, в советское время живет, образование высшее получил, а воняет, как бродячий зверинец. Галочка брезгливо передернулась, хрустнула тугой форточкой и спрыгнула с табуретки совершенно исцелившейся. Аспирант просто перестал существовать для нее — сначала как представитель тревожного противоположного пола, а потом и вовсе — как человек.

Убедившись, что Галочка накрепко, как бурсак, выучила учебник физики наизусть, аспирант с облегчением вернулся в свой университет и еще лет сорок радовал коллег рассказами о феерической дуре, не способной отличить вес тела от его же массы. А Галочка... А Галочка уже через день бессердечно позабыла и эмвэ-квадрат-на-два, и непростое имя своего репетитора (Герман Кириллович), и те сложные, смутные чувства, которые она к нему испытывала.

Она действительно была готова — если не к поступлению, то уж совершенно точно — к любви.

Трудно сказать, чем именно прогневила Создателя чета Баталовых, но на свой унитазный факультет Галочка не поступила. Не помогло ничего — решительно ничего. Все оказалось напрасным: и иезуитски-угодливые звонки Баталова-старшего, переворошившего все свои немалые связи, и нравственные усилия Елизаветы Васильевны, которая, ошалев от волнения, мешала мистическое с педагогическим и то будила сонную дочку на рассвете, чтобы еще раз прогнать ее по билетам, то часами стояла на коленях в полуночном санузле, вознося мучительные и бессловесные молитвы пыльной вентиляционной решетке. Не спасло даже то, что Галочка была очень неплохо подготовлена — аспирант, жестоко школивший ее несколько месяцев подряд, добился результатов почти невиданных, но совершенно цирковых. Так ничего и не понявшая в физике Галочка тем не менее быстро, ловко и совершенно бездумно решала любую

предложенную школьной программой задачку, словно заяц из уголка Дурова, который с одинаковым механическим усердием выбивает положенную дробь хоть по игрушечному барабану, хоть по перевернутому ведру, хоть по последнему тому «Войны и мира».

Предусмотрено было, кажется, все. На вступительные экзамены Галочка ходила в самом скромном из своих скромных советских платьиц, спрятав под рябенский ситчик малейший намек на плотское существование — само воплощение усердной и деятельной невинности. Гладко свернувшаяся на затылке коса (голову накануне экзамена не мыть!), даже легчайшие кудряшки на висках и у лба безжалостно подколоты грубыми черными невидимками, опущенные ресницы, потные от страха ладони, под левой пяткой — круглый, желтый и тоже потный пятак, подложенный на счастье. Но вымоленного на пятак счастья оказалось недостаточно.

Не срезавшись ни на одном предмете, Галочка, неброским, но ровным аллюром прошедшая все экзамены, тем не менее не добрала положенного балла — подумайте, всего одного! Не обнаружив свою фамилию в списке поступивших (может, опечатались? Да не пихайтесь вы так, говорю!), она впервые в жизни испытала сложное и унижительное чувство собственной неполноценности, знакомое разве что профессиональным спортсменам, которых иной раз отделяет от рекорда какой-то жалкий сантиметр, обращающий в прах бесконечные мучительные тренировки. И, что было больнее и обиднее всего, дело было не в недостаточном усердии, а в том, что конечности противника были элементарно длиннее на тот самый злосчастный сантиметр, данный к тому же ни за что, просто так, совершенно даром. Подарок от Бога. Божий дар. Самая жестокая и несправедливая вещь на свете.

Баталовы были в отчаянии, совершенно несоизмеримом вызвавшей его причине — в конце концов, Галочка не заболела, не умерла, не принесла в незамужнем подоле. Ей даже в армии не надо было служить — так что потерянный год не мог считаться потерянным даже теоретически. Тем не менее Петра Алексеевича прихватил самый настоящий стенокардический приступ, с аритмией, ледяным потом и смертным ужасом, который отчего-то напрямую связан с самой легкой сердечной болью — будто душа действительно живет где-то в районе аорты. Елизавета Васильевна, заплаканная, опухшая, проводила врачей скорой помощи до двери, всхлипывающая Галочка сидела на краю постели и держала свежеуколотого отца за руку, будто ей снова было пять лет, только теперь выпустить папину руку было еще страшнее. Ничего, дочушка, не плакай, все обойдется, шептал Петр Алексеевич, сам готовый зареветь от сладкой, баюкающей жалости к себе, — папка что-нибудь придумает, вот увидишь. Галочка кивала и верила, отец никогда ее не обманывал, это были последние месяцы, когда они были вместе, когда они были семья, когда они просто — были.

Спустя пятнадцать лет изглоданный раком прямой кишки пенсионер Баталов умирал в огромном и скучном онкологическом институте совершенно один — Елизаветы Васильевны не стало годом раньше. Может, они и не были идеальной парой, но друг без друга обойтись не смогли ни в этой жизни, ни, получается, в той. Напрасно Петр Алексеевич хватал за рукава неспешных и равнодушных, как языческие боги, советских медработников — дочушку мою позовите, сестрички, умоляю, Галочку мою, мне бы только попрощаться. Сестрички принимали в карманы жалкие баталовские рубли, согласно кивали и разве что лишний раз меняли докучному деду из третьей палаты постельное белье. Охотников звонить дочке Галочке не находилось — заведующего отделением, почтенного упитанного проктолога, она покрыла по телефону таким ледяным матом, что бедного профессора отпаивали в ординаторской спиртом с чаем пополам. И запомни — нет у меня никакого отца, и никогда не было. А еще раз позвонишь — заживо сгною, старый хрен. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я?

Проктолог понимал, и все понимали, потому Баталов умер в своей палате в тихих и страшных муках — и в тихом и страшном одиночестве. Тело никто, разумеется, не забрал,

так что смертную плоть бывшего инструктора райкома партии изрезали в лоскуты и пустили на препараты — на радость молоденьким и пытливым студентикам — медицинским эмбрионам, мечтающим победить рак, инфаркт и подарить человечеству здоровое, бодрое, коммунистическое бессмертие.

Бог знает, куда при этом делась душа Петра Алексеевича, может быть, скуля, примостилась в уголке огромной квартиры дочери, чтобы изредка, глубокой ночью, подбираться к ее постели и заглядывать в любимое, безмятежное лицо. Она всегда была хорошенькой, Галочка, а в свои тридцать два года стала настоящей красавицей — чуточку сонной, крупной, великолепной. Они поздно ее родили, Галочку, единственную дочку, Петру Алексеевичу тоже было как раз тридцать два, когда он забирал из роддома жену, прижимающую к груди тесно спеленутый драгоценный сверток. И Елизавете Васильевне было тридцать два, пожилая первородка, намучались с ней в родах — страшно сказать. Слава богу, с Галочкой ничего не случилось. Спи, дочушка, спи, моя милая. Спи. Папка что-нибудь придумает, вот увидишь.

«Опять на кухне соль сама собой просыпалась, — жаловалась домработница поутру, ловко шуруя бесшумной половой щеткой. — Говорю вам — точно у нас домовый завелся. Надо бы святой водицы принести да покропить». «Какой домовый, дура безрукая, — лениво отзывалась Галина Петровна, осторожно, по-детски, пробуя губами кофе — не горячо ли. — А тарелку кузнецовскую на той неделе тоже домовый разбил?» Домработница обиженно замолкала, стерва была Галина Петровна, что и говорить, стерва и сука, но платила хорошо. Все говорят — родители у нее померли, а она не то что слезинки не пролила — на похороны даже не сходила. Не сердце — каменюка. Галина Петровна отодвигала чашку, морщилась, уходила в спальню, трогала теплыми пальцами красивое лицо, легонько вбивала в кожу нежный, тающий крем. Никакой вины за собой она не знала и не хотела знать. Никто бы не простил родителям на ее месте. Никто и никогда.

По счастью, Баталовы довольно быстро справились с позорным дочкиным провалом. Выйдя с больничного, Петр Алексеевич вновь обзвонил всех, кого нужно, и, выслушав и высказав тонну ненужной словесной шелухи — ты подумай, дорогой, всего один балл! — добился того, чтобы Галочку в политех все-таки приняли. Не студенткой, конечно, а лаборанткой на кафедре химии — причем на нужный факультет вожделенного водоснабжения и канализации. Поработаешь хорошенько, Галюня, освоишься, будешь всем своя — и на тот год уже непременно поступишь. Только знай, кому угодить, без толку время не трать... Елизавета Васильевна поправила дочке белый, отдающий недавней школой воротничок. Обе нервничали, первый рабочий день — это вам не шутки, Галочка даже позавтракать толком не смогла, так что кружевные по краям, румяные блинцы так и остались на столе холодеющей стопкой, зря мать встала на час раньше и крутилась у плиты сразу над двумя чугунными сковородами. Ну, хоть чайку попей, Галюня. Не могу, мам, опоздаю. Галочка быстро чмокнула Елизавету Васильевну в щеку и, раздув плиссированную юбку, убежала.

Был не по-энски теплый август, а к октябрю Галочка уже была на кафедре настолько своя, что позволяла себе покрикивать на старшекурсников, быстро оценивших все гладкие достоинства новенькой лаборантки. Иди сам в свое кино, Светлов, опять я после вашей группы трех колб не досчиталась, и не вороти рожу, будто я не знаю, что вы в общаге самогонку изобретаете. Вот смотри, нажалуюсь Николаю Ивановичу! Светлов, униженный незаслуженным отказом (и заслуженным подозрением), уходил, унося с собой посрамленную репутацию опытного сердцеда. Галочка невнимательно смотрела ему вслед, и губы ее — теплые, гладкие, яркие, как барбарисные леденцы, — все еще хранили форму чудесного имени. Николай Иванович. Николенька. Колюшка. Коша. Галочка

вздыхала от полноты счастья — и по унылым политеховским коридорам проносился нежный яблочный ветерок.

Она была влюблена — наконец-то.

Наконец-то счастлива.

И было ее великому счастью отпущено четыре месяца и три дня.

Николай Иванович Машков был всего-навсего долговязым и застенчивым ассистентом кафедры химии — что по табели о рангах, честно говоря, стояло ненамного выше самой Галочки Баталовой, которой доверяли только готовить к занятиям реактивы да перемывать за студентами грязную лабораторную посуду. Но Галочке Машков казался богом — бесконечно взрослым (его двадцать пять против ее семнадцати) и бесконечно умным — Николай Иванович вел практические занятия, а иногда даже подменял на лекциях своего научного руководителя, жирного, страдающего от одышки профессора Лещинского, и студенты, эти горлопаны, слушали Машкова внимательно и с интересом. Галочка знала это совершенно точно, потому что ревниво следила за происходящим в замочную скважину. И ничего не стыдно, а очень даже можно, если по делу, вот!

А еще Николай Иванович был необыкновенно красивый, просто невероятно — яркоглазый, златоволосый, улыбчивый, он казался Галочке каким-то праздничным Лелем, воплощением сразу всех русских народных сказок, под которые она засыпала в детстве, окруженная смутным хороводом леших, змеев горынычей, работающих Василис и прекрасных Иванов-царевичей. Именно царевичей, ничуть не меньше.

На самом деле никакие царевичи в Машкове даже не ночевали — и то, что влюбленные Галочкины глаза принимали за золото и лазурь, в действительности было банальной среднерусской русостью, отдающей иной раз и вовсе в мышиную серость. Николай Машков происходил из семейства скучнейших мастеровых, носил дешевые, вечно мятые костюмы, следы от юношеских угрей на впалых щеках и обещал лет через пять начать лысеть, а через десять — стать наконец доцентом. Но Галочке даже сальный отблеск на его носу казался божественным знаком, символом высшей и тайной власти, которую Машков так быстро и чудесно приобрел над ее неопытным, невооруженным сердцем. Галочка смущенно улыбалась, закручивая кончик косы вокруг тонкого пальца, и Машков улыбался в ответ — он умел чудесно улыбаться, правда просто чудесно — широко, радостно, немного хулигански, будто десятилетний мальчишка, и зубы у него были белые-белые, а передний — чуть-чуть набекрень, и этот смешной, немножко детский зубок Галочка любила особенно сильно.

Они и двадцати фраз не сказали друг другу не по делу, но, конечно, Машков тоже ее любил. Галочка это не просто знала — ощущала, как ощущают, закрыв глаза на пляже, ласковый, шелковый напор невидимого солнца. Да что там солнце, Галочка, расставляя в шкафу свой химический инвентарь, не оборачиваясь, чувствовала, что на кафедру вошел Машков: просто воздух вокруг разом становился другим — хрупким, дрожащим от хрустальной сияющей нежности.

Сперва они просто обменивались улыбками — осторожно, издалека, едва-едва касаясь. Потом Машков как-то помог Галочке собрать рассыпавшиеся книги (она не меньше часа репетировала дома легчайший жест, едва заметное движение бедра, отправлявшее на пол сразу стопку свехустойчивых на вид талмудов), потом задержался на лишние полчаса после лабораторной — на те самые полчаса, что Галочка приводила в порядок столы и реторты. И как-то естественно было предположить, что он, такой взрослый и сильный, предложит ей, такой юной и беззащитной, пройтись вместе до автобусной остановки — да какая разница, до какой?

Это было чудеснейшее из свиданий — еще бы, ведь сразу два ангела-хранителя буквально сбились с крыл, стараясь, чтобы все — решительно все было устроено

правильно и хорошо. Автобусы волшебным образом исчезли с пустых и сонных энских улиц, осенний вечер похрустывал от легчайшего морозца, будто сложенный вчетверо лист голубоватой гладкой веленовой бумаги, Галочка улыбалась Машкову сквозь ресницы, сквозь голые ветки, сквозь лучистые фонари. Нет уж, позвольте, я сам понесу ваш портфель, нет и нет — девушкам неправильно носить такие тяжести. У Машкова были красноватые, обветренные, шершавые пальцы. Всего одна секунда, одно прикосновение, и отвоеванный портфель — такой игрушечный в его руках — снова поплыл над асфальтом, и даже заледеневшие харчки на тротуаре казались полудрагоценными — лунный опал, зеленоватый оникс, туберкулезно-бурый гематит. Машков всю дорогу так самозабвенно токовал, что сам едва не запутался в многословном монологе из своей научной жизни, в котором Галочка не поняла и половину, но... Но как она отзывчиво молчала, как вовремя поправила выбившуюся прядку, каким рыжеватым нежным свечением была налита до краев!

А вот и мой дом, Николай Иванович. Спасибо, что проводили. Машков осекся, запоминая три подъезда и пять этажей, которые отныне должны были стать центром его мироздания. Так скоро! В смысле — очень приятно, пробормотал он. Галочка снова улыбнулась и отобрала у Машкова портфель. В подъезде она торопливо достала из кармана зеркальце и с удовольствием убедилась, что морозец был так милосерден, что нащипал только ее щеки, пощадив нос — совсем-совсем не красный. Губы были нежные, не лохматились, а подлый прыщик на лбу очень удачно прикрывала беретка. Галочка спрятала зеркальце, довольно хихикнула и быстро побежала по лестнице — вверх, вверх, вверх.

На следующий день Машков снова проводил Галочку, и через следующий, и на той неделе — опять. Они каждый раз, не стовариваясь, находили новый маршрут, все запутаннее и сложнее, все дальше убредая от конечной точки назначения — будто бросали на карту Энска воздушные кружевные, невидимые петли. Пятнадцать минут неспешного хода превратились сначала в полчаса, а потом и в час — редкие энские фонари загорались один за другим, дрожащим пунктиром отмечая эту блаженную ежевечернюю прогулку. Машков похудел от непривычных пешеходных усилий и на занятиях то и дело давал мальчишеского счастливого петуха. А Галочка... Галочка сияла таким наивным полуденным светом, что на нее, как на новобрачную, было даже как-то неловко смотреть.

Вездесущие кафедральные тетки зашептались было про возмутительный роман и недопустимые отношения, но сами быстро прикусили завистливые жала. Ничего возмутительного и недопустимого не было в том, как эти двое смотрели друг на друга, мало того, совершенно ясно было, что дело идет к свадьбе, к законному, так сказать, социалистическому браку, и мешать молодым, ополоумевшим от любви олухам было все равно, что рассказывать несмышленому малышу, что никакого Деда Мороза не существует, а подарки в мешке принес сильно выпивший и от того особенно шаткий сосед дядя Миша, слесарь-сантехник второго разряда и неисправимый холостяк. Тетки поворчали еще для порядку, повспоминали собственную впопыхах облетевшую молодость и азартно, всей стаей, переключились на бойкую профкомовскую разведенку, пытавшуюся в очередной раз увести кого-то из семьи. Машков и Галочка, даже не заметившие, что вокруг них начали сгущаться общественные бури, снова остались наедине. Вопреки всеобщим сплетням и опасениям все между ними было таким правильным и настоящим, они до сих пор даже ни разу не поцеловались.

Это было прелестное чувство — нелепое и трогательное, как двухнедельный щенок с толстыми лапами и розовым голым пузиком. Ни Галочка, ни Машков не знали, что делать дальше, — Галочка потому, что действительно не знала, а Машков просто не торопился. Он был взрослый, несокрушимо порядочный и, что называется, с серьезными намерениями и потому хотел, никуда не спеша, обстоятельно пройти по дороге, ведущей

влюбленную пару к загсу, — и ничего, ничего не упустить, ни поворота, ни взгляда, ни укромного уголка. Он надеялся прожить с Галочкой долгую и счастливую жизнь, этот наивный Машков, и потому заранее, как хороший хозяин, запасался воспоминаниями и событиями, которые помогут потом преодолеть неизбежную скуку бытового сосуществования и дадут бесконечные поводы для бесконечных рассказов детям и даже внукам — а вот тут мы с бабушкой первый раз поцеловались, а вон из того роддома тебя привезли, ох и орал же ты первую неделю, я тебе скажу — мы с матерью ума не могли приложить, что с тобой делать! Наревелась она тогда, бедная... А потом легче пошло, а уж когда Машуня родилась, мать с ней, как с куклой, возилась — для чистого удовольствия. Ну, ясное дело, с третьим ребенком всему научишься...

Машков все хотел, все-все, как у людей, и даже лучше — и свадьбу, и фату для Галочки, и шумное застолье, и поцелуи под крики «Горько!» — стыдливые поцелуи, отдающие счастьем, винегретом и холодцом. Он хотел детей, много, как можно больше, чтоб вставать к ним ночью, носить на закорках и петь им песни про паровоз. Он хотел ложиться с Галочкой под одно одеяло, а утром — завтракать вместе с ней, и вместе принимать друзей, и вместе готовить борщ — Машков был самоотверженно готов взять на себя чистку лука и картошки, а уж мусор Галочка сроду бы не выносила, и посуду он тоже запросто сам, тем более что после армии ему все равно было, сколько мыть тарелок — пять или пятьсот. Вот как сильно он любил Галочку, так сильно, что, никому не сказавшись, не объяснившись, не познакомившись с родителями, уже начал тихую и яростную осаду месткома по жилищному вопросу. А заодно принялся собирать рекомендации, чтобы вступить в ряды КПСС. Он был хороший советский парень, Машков, — и честно верил, что родина и партия сделают так, чтобы у них с Галочкой была отдельная квартира. Конечно, не сразу, может, лет через десять — но отдельная. А пока — разберемся. Снимать можно свой угол, в конце-то концов. Или у родителей пожить. Главное — вместе.

Конечно, Машков хотел Галочку невероятно — и как было ее не хотеть, ловкую, круглую, золотую, до краев налитую сочной, солнечной жизнью? Но именно поэтому он и не торопился, позволял себе предвкушать, вежливо сидел за накрытым праздничным столом, как сидят воспитанные интеллигентные люди. К тому же советская мораль, которую прививали мальчикам с самого детства, диктовала совершенно определенный стиль поведения с любимой женщиной — суровый и прекрасный в своей почти рыцарской аскезе. До свадьбы будущую жену можно было только уважать — это был тест, важнейший этап посвящения, и только победитель, выдержавший все искушения, получал в награду и коня, и полцарства, и священное право расстегнуть на царевой дочке лифчик — простодушный, страшенький, хлопчатобумажный и оттого ненормально, почти болезненно сексуальный.

Галочка, понятия не имевшая обо всех этих половых страданиях молодого советского Вертера, тем не менее нутром чувствовала, что Машков топчется на пороге чего-то очень важного и даже поделилась сомнениями с более опытными подружками — которые на деле были такими же замечательно наивными дурами, как и она сама. По-ихнему выходило, что парни все без исключения мечтают, как бы потискать девушку в темном углу, и вообще только об одном и думают, кобели. Галочка пожалала плечами — это был еще один неоспоримый довод в пользу того, что ее Николенька был лучше всех.

Тем же вечером, перед сном, к ней в комнату заглянула Елизавета Васильевна. Галочка в одной ночной рубашке стояла перед трюмо и пыталась соорудить из кружевной подушной накидки что-то вроде фаты. Накидка капризничала, не хотела собираться правильными складками, и Галочка, рдея щеками, прикладывала ее то так, то сяк. Елизавета Васильевна по-бабьи вздохнула и, подойдя к дочери, помогла ей подобрать тяжелую, растрепанную косу. Так вот шпилечками прихватим, и сразу будет как надо, тихо посоветовала она. Галочка смущенно кивнула, и они с матерью несколько секунд

постояли перед зеркалом — отражаясь вдвоем сразу в трех зеркалах, ушестеренные, размноженные не то оптической иллюзией, не то эволюцией, не то судьбой. Не все ли равно? Грубоватое белое кружево накидки придавало Галочкиной красоте неуловимо испанский, чуточку трагический привкус — совершенно нездешний, и Елизавета Васильевна в очередной раз тихо подивилась: в кого дочь уродилась такой ладной? Ведь и на родителей похожа, вон брови отцовы, нос в точности как у бабки, царствие ей небесное, но все равно сразу видно, что они все — генетический мусор, ерунда, поточное производство. А Галочка — Галочка по-настоящему штучный товар, ручная сборка. Завернуть в шелковистую папиросную бумагу, упрятать в прохладную коробку, вынимать только по огромным праздникам. Не дотрагиваться, не вымыв начисто рук. Любоваться, затаив дыхание. Восторженно обожать.

— Человек-то он хоть хороший, Галюня? — тихо спросила Елизавета Васильевна, и Галочка, закусив губу, закивала с такой яростной убежденностью, что импровизированная фата слетела с ее головы и тихо, как ангел, приземлилась на пол. — Ну, дай-то Бог, — пробормотала Елизавета Васильевна и вернулась на кухню, к мужу, кушавшему свой вечерний чай вприглядку со свежей «Правдой». — Что, Петя, — сказала она грустно. — Сколько там у нас на книжке? На свадьбу хватит?

— Ты что говоришь? На какую свадьбу?! — ошарашенный Петр Алексеевич попробовал было выйти из берегов, но Елизавета Петровна только рукой махнула.

— На обычную свадьбу. С баяном, со свидетелями. Все как положено. Выросла наша доча, отец. А мы и не заметили.

Знакомиться с будущим зятем было решено через неделю — и это были семь дней, которые потрясли мир. Во всяком случае, мир Баталовых — точно. К часу икс Елизавета Васильевна умудрилась переставить мебель и перебелить потолки во всей квартире, приготовить еды на мотострелковую и сильно оголодавшую роту и даже накрутить себе в парикмахерской нелепые вавилоны, означенные в прейскуранте как «перманент». (Для этого ей пришлось уйму времени просидеть под громоздкой конструкцией, с трудом удерживая на плечах тяжеловооруженную бигудями голову — причем к каждой бигудюшке был подключен свой собственный электрический провод!) Галочке было заказано у портнихи новое платье — не перелицованное, новое, из синего в горошек крепдешина, в талию, юбка-полусолнце, рукава — фонарик. Портниха поклялась страшной клятвой, что к субботе будет готово и, заглянув Елизавете Васильевне в глаза, клятву свою предусмотрительно сдержала.

Петр Алексеевич какое-то время пытался сопротивляться всеобщей истерике, но к среде сломался и он и впервые в жизни пришел домой не просто с трехчасовым опозданием, но и сильно под газом.

— Ты в запой еще уйди, осрами единственную дочку! — гроыхала Елизавета Васильевна, пока непривычного Баталова утробно выворачивало в унитаз.

— Я ж для дела, мать, — оправдывался обмякший Петр Алексеевич, — к Григорьичу ходил, сама понимаешь. Справки наводил.

Григорьич был старый приятель Баталова, почетный чекист, а по нечетным — горький пьяница и угрюмый бобыль. Елизавета Васильевна мигом включила заднюю передачу и поволокла ослабелого мужа на кухню — исповедоваться. Впрочем, волновалась она напрасно — по достоверным сведениям КГБ (бывшего МГБ, ранее — НКВД, ОГПУ, ЧК и далее — со всеми опричными остановками), избранник Галочки, Николай Иванович Машков, был отменнейшим образчиком советской человеческой породы. Хоть на племя, хоть на семя, хоть в КПСС. Елизавета Васильевна облегченно заплакала и полезла в буфет за графинчиком водки. Петр Алексеевич, судорожно икнув, рванул обратно в санузел — заканчивать очистительные процедуры, а Елизавета Васильевна дрожащими руками, как валерьянку, нацедила себе в стопку живительной влаги, выпила и занюхала кухонным полотенцем.



В результате суббота, о которой так много волновались решительно все, благополучно свершилась. И в понедельник Галочка отправилась на работу самой взаимправдашной сосватанной невестой. Ура, товарищи! И это было действительно ура. Конечно, спихивать несовершеннолетнюю дочку замуж Баталовы не собирались — да и не было тому, слава богу, никаких спешных позорных причин. Потому свадьбу решили справить следующей осенью, предварительно отметив Галочкино восемнадцатилетие (в марте), а в начале лета... Петр Алексеевич поднял указующий и предостерегающий родительский перст, и Машков с жаром закивал головой. Разумеется, Галочке сначала надо поступить в институт. Разумеется, высшее образование просто необходимо. В конце концов, он сам, лично, берется поговорить с нужными людьми и, конечно, позаниматься с Галочкой, хотя ни малейшего сомнения в том, что она поступит, просто нет. При слове «заниматься» Елизавета Васильевна поджала губы, а Галочка порозовела. Мятущийся призрак иудейского аспиранта на мгновение возник в углу и немедленно провалился в свои адские физические бездны. Никто, впрочем, его и не заметил — такова доля всех предшественников, всех пахарей, чей удел — только подготовить ниву к грядущим урожаям, а уж сожрет вкусненькое непременно кто-нибудь другой.

Весь декабрь стояли замечательные морозы — совсем не энские, не злые, и получившие родительское благословение влюбленные по-прежнему кружили вечерами по синим, скрипучим улицам, и, боже мой, кто бы знал, как обожал Машков даже Галочкины белые рукавички, особенно левую, с дыркой, сквозь которую торчал розовый, новорожденный мизинец, который можно было наконец-то сколько угодно целовать. Но дальше мизинца упрямый Машков так и не продвинулся, как будто статус официальной невесты сделал Галочку еще чище и еще недоступнее.

Все было напрасно — вскинутые ресницы, легкое дыхание, трели соловья. Галочка даже стащила у матери «Красную Москву», наивно надеясь, что брокаровский «Любимый букет императрицы», ловко прикинувшийся честным советским продуктом, уж точно собьет жениха с проторенного пути строителя коммунистической ячейки, но — увы. От тяжелого и пыльного, как портьера, аромата Машков только трижды чихнул и трижды же виновато извинился, зато Петр Алексеевич, унюхав на дочери нестерпимые ноты гвоздики, ирисов и иланг-иланга, устроил несовершеннолетней преступнице качественную выволочку — ишь, до чего додумалась, сопля! У родной матери из сумки таскать! Не твое, так рот и не разевай. Замуж вот выйдешь, муж на «Красную Москву» заработает, тогда хоть ведрами на себя плескай. Галочка нервически разрыдалась, хлопнула дверь, но, впрочем, через час с отцом совершенно примирилась.

По сути, она была невероятно счастлива. Все были счастливы в те дни.

Стремительно наплывал новый, тысяча девятьсот пятьдесят девятый год. Машков на занятиях то и дело забывал, с чего начал фразу, путался в элементарных объяснениях, и студенты завистливо и добродушно переглядывались. Про то, что недотрога и красотка Галочка сосватана, знали все. Баталовы, голова к голове, вечерами упоенно обсуждали приданое — полотенца (кухонные), простыни (льняные, подрубить и пометить), отрезы (шерстяные), а также строительство нового демисезонного пальто для Галочки. Тут начинались отчаянные споры, потому что Галочка настаивала, чтобы с капюшоном и в клетку, Петр Алексеевич полагал, что это антисоветчина, а Елизавета Васильевна в уме подсчитывала рюмашки и стопки и прикидывала, кого из родни удостоить приглашением на свадьбу, а от кого только скандала и оберешься.

Словом, все были погружены в густой, теплый кисель самого возмутительного, антисоветского мещанства и потребностей, не имевших ни малейшего отношения к труду. Ожидались длинные праздники, гости, елки, танцульки в ДК и бесконечная жизнь, полная бесконечных, очень человеческих радостей. Галочку веселило даже то, что 25 декабря в политехе читал открытую лекцию какой-то очень известный академик (Галочка никак не могла запомнить его фамилию), и Николенька уверял, что они оба непременно должны

пойти, потому что это великий ум, настоящий гений, просто поразительно, что он наш современник. Разве ты не хотела бы попасть на лекцию Эйнштейна?

— А что, он еще не умер? — испуганно спросила Галочка. — Нам же в школе говорили, кажется... Или это не Эйнштейн?

— Счастье ты мое, — умилился Машков, зарываясь губами в Галочкины волосы. — Если б ты знала, какое ты счастье!

— Чш! — весело припугнула его Галочка. — Сумасшедший! Увидят же! Да пойдем мы на твоего Эйнштейна. Непременно пойдем. Только, чур — сядешь рядом и будешь переводить все, что твой академик говорит, на русский язык. А иначе я усну. И тебе будет стыдно.

— Не будет, — честно сказал Машков.

— А если я начну храпеть?

— Все равно — не будет.

— Тогда иди, — строго велела Галочка. — А то опоздаешь, и студенты разбегутся.

— И слава богу, — отозвался Машков. — Пусть разбегутся. Тогда и мы с тобой разбежимся. И удерем в кино. Ты хочешь в кино?

— Хочу, — сказала Галочка. — Я с тобой везде хочу. Даже на лекцию Эйнштейна.

Машков кивнул, с трудом удерживая на плечах пляшущий, счастливый, головокружительный мир, и поспешил на лекцию, а Галочка осталась у себя в подсобке — расставлять хрупкую химическую утварь, которая то и дело норовила выскользнуть из мечтательных пальцев и с дивным звуком разлететься на хрустящие радужные осколки. Галочка вздыхала и ловкой щеткой загоняла на совок очередной хрустальный призрак убитой колбы. Сколько посуды было перебито за эти дни — и все к счастью. К счастью, к счастью, к счастью.

Но 25 декабря 1958 года все с самого утра пошло на какой-то непривычный перекосяк. Во-первых, Галочка проспала и самым постыдным образом опоздала на работу. Во-вторых, лекцию долгожданного академика перенесли с часа на половину третьего, так что Галочка пойти не могла никак, потому что должна была готовить лабораторную для вечерников, — ну кто, спрашивается, назначает лабораторные под самый Новый год? И теперь, вместо того чтобы сидеть в актовом зале с женихом, чувствуя его плечом, коленом, локтем — вот интересно, а во время лекций гасят свет, как в кино, или нет? Так вот, вместо того чтобы сидеть рядом — а ведь Николенька, умница, два с лишним часа простоял в очереди за билетами и добыл отличные места на премьеру «Дорогого моего человека», в самом заднем ряду, так что если он и в этот раз не решится, то она непременно сама. Просто непременно. Сразу, как только он возьмет ее за руку, можно повернуться, ну, как бы невзначай, и спросить — да вот хоть бы и про кино, какая разница, если будет темно, главное — просто повернуться...

Ну что такое! Опять! Галочка сокрушенно ойкнула и присела на корточки над ни в чем не повинным стеклом. В дверь тихонько постучали, и она, не поднимая головы, сердито сказала:

— У меня опыт.

— Сын ошибок трудных? — засмеялся Машков, присаживаясь рядом с Галочкой. — Смотри, палец наколешь, осторожно.

Галочка покачала головой, и длинная, вечно не находившая себе места прядка зашекотала пушистую, смуглую щеку. На корточках они с Машковым вдруг оказались одного роста, так что Галочка впервые совсем рядом увидела его губы. Отчего-то сразу выключился звук, поэтому лекцию по технике безопасности при обращении с осколками она пропустила. Мало того, все храбрые завоевательные планы разом вылетели у Галочки из головы. И еще стало очень жарко.

— Ты точно не поранилась? — встревоженно спросил Машков и попытался взять Галочку за руку, но, потеряв равновесие, промахнулся и неловкой пятерней ткнулся ей в грудь.

Они встали оба, не сговариваясь, красные от смущения, и разом сильно и неловко столкнулись плечами, так что Галочка охнула, прикусив от волнения нижнюю губу, напухшую, гладкую, совершенно леденцовую на вид и — через секунду стало ясно, что и на вкус. И сразу же все вокруг задвигалось быстрыми горячими рывками, будто кто-то рвал мир — радостно и неровно, так что Галочка увидела сразу и пыльный плафон над головой, и стену с обрамленным Лавуазье, который, она совершенно точно помнила, только что скучал позади нее, и несколько щетинок на скуле Машкова, чудом избежавших бритвы, и только тогда вспомнила, что, когда целуешься, положено закрывать глаза, потому что с открытыми целуются, только если не любят. Она испуганно зажмурилась, но мир продолжал шумно рваться на части, дергаться, пульсировать, в такт ее сердцу, которое отчего-то ухнуло в самый низ живота, нет — не совсем в такт, немного быстрее, еще быстрее, сильно и горячо, так что Галочка почувствовала, что сейчас потеряет сознание, и тут же вдруг остро ощутила под собой что-то твердое и, резко оттолкнув Машкова, открыла глаза. Подсобка послушно остановила свое противозаконное кружение. Твердое оказалось столом, на котором она сидела (как? когда? почему?), а Машков, красный, почти неузнаваемый, трясущимися руками застегивал пуговицы на ее халатике. На кармане пламенело фенол-фталеиновое пятно, похожее на раздавленную ягоду, — совершенно точно, не отстираешь. Мама будет ругаться.

— Галя, — сказал Машков виновато, глядя разом во все стороны, будто пойманный за чем-то ужасным, по-настоящему постыдным. — Прости. Я не должен был, но... — Галочке показалось, что он сейчас заплачет. — Я же только на секунду зашел, чтобы ты не уходила, чтоб меня после лекции подождала... — Он потянулся застегнуть пуговицы у нее на груди, но тут же отдернул руки и покраснел еще больше.

Галочка спрыгнула со стола. Быстро привела в порядок халатик. Отвернулась, посмотрела на Лавуазье, который впервые на ее памяти выглядел несколько оживленным.

— Скоро этот академик приедет? — спросила она сухо.

— Минут через пятнадцать, — ответил Машков. Ты обиделась, да? Правда, я не хотел, то есть... Я люблю тебя, ты даже не представляешь себе как. Очень люблю. Я сам знаю, что нам не надо торопиться...

— Отчего же, — по-прежнему сухо ответила Галочка. — Очень даже надо торопиться. Ты же сам сказал, что всего пятнадцать минут...

Она не выдержала, прыснула со смеху, сложившись пополам, ничего не понимающий Машков тоже засмеялся — сначала неуверенно, потом громче, будто подключился к Галочке через невидимую розетку, и когда оба наконец отсмеялись, все стало ясно, и просто, и хорошо, и до звонка оставалась еще уйма времени, так что можно было целоваться. Теперь уже бережно, со всеми осторожными, сложными, нежными подробностями, которые случаются, только когда целуешься в первый раз.

И они целовались. Все пятнадцать минут. И немного еще.

Когда Машков наконец ушел — с третьей попытки, но кто бы смог оторваться сразу? — оправдываясь, что это ненадолго, правда, ты только не уходи, чтобы черт побрал эту лекцию, но я не могу удрать, я сам вызвался встретить Лазаря Иосифовича внизу, да если б я знал, я бы никогда в жизни...

— Да иди уже, — засмеялась Галочка. — Иди. Я никуда не денусь, честное слово.

Дверь за Машковым закрылась. Галочка быстро поправила растрепавшуюся косу, взялась было снова за щетку, чтобы прибрать наконец разбитую — колбу, кажется? Или реторту? А, какая теперь разница. Щетка выскользнула, как живая, но Галочка, прислушиваясь к тому, как медленно истаивают на губах и шее отпечатки поцелуев, даже

не заметила этого, только услышала — издалека, как сквозь вату, — круглый, деревянный стук. И еще. И еще один. Она не сразу сообразила, что щетка давно и неподвижно лежит на полу, а стучат в дверь.

— Вот смешной, — пробормотала она. — Опять вернулся. Дурачок.

И Галочка весело, в полный свой, драгоценный голос крикнула:

— Открыто, милый!

### Глава пятая Галина Петровна

Всю беременность Галина Петровна (уже навеки не Галочка, не девочка, не Галюня) проходила вялая, набухшая от близких слез, которые наполняли ее до самой мягкой ямочки между ключицами. Но выше слезы почему-то не поднимались — как будто упирались в невидимую прочную плеву, — и Галина Петровна то и дело пыталась не то откашляться, не то разрыдаться, пугая врачей Четвертого главного управления, приставленных наблюдать и оберегать вызревание драгоценного семени гениального Линдта.

Впрочем, все медицинские страхи оказались напрасны: девятнадцатилетняя Галина Петровна была великолепно, возмутительно здорова — и не могла побаловать докторов ни рвотными муками раннего токсикоза, ни давлением, ни неукротимым желанием полакомиться сырой штукатуркой либо пахучим содержимым переспевшего мусорного бачка. Легкие ее были девственно чисты, а безупречно розовую и стрельчатую, как храм, гортань можно было демонстрировать студентам в качестве образцовой. Поэтому странный кашель, поволновавшись, решили оставить без внимания, на всякий случай прописав Галине Петровне пить сок редьки с сахаром (по чайной ложке три раза в день).

И никто, никто не догадался, что она просто никак не может расплакаться.

Впрочем, не догадывалась об этом и сама Галина Петровна, с покорным ужасом носившая свой раздувающийся живот — жуткий, шелковистый, смугло-золотой. Живой. Галина Петровна боялась дотрагиваться до него руками — да что там дотрагиваться! — переодеваясь, она накрепко зажмурилась, лишь бы не натолкнуться взглядом на набухшее чрево, таившее — Галина Петровна в этом не сомневалась — что-то еще более чудовищное, мохнатое и многочисленное, чем сам Линдт.

Недели за три до родов Галине Петровне даже приснилось, будто из ее живота тянется бесконечная (Линдт бы сказал — мебиусная) бумажная лента, вся исписанная витыми невозможными линдтовыми закорючками, и когда эти закорючки, тихо стрекоча, принялись переползать с бумаги на ее голые, жутко и широко растопыренные ноги, Галина Петровна проснулась с таким криком, что переполошила едва ли не весь почтенный ведомственный дом. Линдт, даже спросонья соображавший лучше прочих тугодумных смертных, ловко проверил под икающей и хохочущей Галиной Петровной простыни, а потом ощупал ее беременный живот — быстро, бережно и осторожно, словно это и не живот был вовсе, а раненый звереныш, перепуганный, отчаявшийся, а потому способный здорово укусить.

Нигде не было мокро или больно, и вообще — Галина Петровна, сидевшая на постели в ворохе взбитых и скомканных подушек и одеял, даже икающая, даже заспанная, даже на немислимых своих восьми-с-лишним-месячных сносях, выглядела возмутительно здоровой и соблазнительной: круглая грудь в круглом вырезе мятой сорочки, бликующие в свете ночника молочные молодые коленки, припухший, чуть подпекшийся от жара и ужаса рот. Даже огромное выпуклое пузо гармонично вписывалось в этот праздник плодородия, щедро пахнувший свежим потом, яблоками и будущим молоком. Однако докторица, наслышанная от Галины Петровны о линдтовых любовных аппетитах, еще пару месяцев назад настрого запретила всякие половые шалости, потому Линдт только крякнул и, притормозив руки, которые уже не исследовали, а откровенно ласкали, поплелся звонить этой самой докторице — да, Ольга Иванна, вы уж простите, что так

поздно, нет, думаю, не началось, просто... что вы говорите? ну, воля ваша, ваша, говорю, воля и ваша епархия, делайте, что считаете нужным.

Ольга Иванна, оседлав ближайшую скорую, примчалась через полчаса и, взвихрив академическую квартиру — а что это мы такие грустные? а где это у нас сумочка для роддома? а ну-ка давленьице у нас? а давленьице у нас как у летчика-испытателя! — мигом уволокла так и не переставшую похохатывать и икать Галину Петровну в родильные недра, предназначенные для партийных и прочих полезных родине богов.

Линдт — маленький, сухой, похожий не то на вставшее на задние лапы чучело пожилого львенка, не то на молодящегося египетского божка, — остался маяться у ледяного ночного окна, провожая жену грустными глазами (не обернулась, нет, и снова не обернулась). Скорая, покрутив толстым красноглазым задом, выехала наконец со двора, и Линдт, машинально вычислив алгоритм чередования заснеженных елочных макушек и увенчанных чугунами пиками штакетин ограды, вернулся в спальню — единственное, кроме кабинета, обжитое место громадной квартиры. Было ясно, что тревожиться, в общем, не из-за чего, но на сердце все равно было беспокойно, то ли потому, что за год Линдт привык засыпать, до краев наполнив ладонь молодой женской грудью, то ли потому, что к утру Галина Петровна всегда умудрялась выскользнуть из подневольных объятий и отползти далеко-далеко, к самому краю постели, так что просыпался Линдт все равно один — вытянув опустевшую, напрасную руку, будто городской побирушка, юродивый старичок, пытающийся ухватить жизнь за неотвратимо ускользящие юбки.

Это было больно — каждое утро и целую минуту. Но Линдт, как взрослый и честный человек, понимал, что эта боль — правильная, и тоже — взрослая и честная, потому что — как иначе было расплатиться за пронзительное счастье ежевечернего засыпания, когда он и желанная женщина лежали, слившись, словно две миски, гладко и ловко сложенные одна в другую? А так утренняя боль уравнивала вечерние радости и даже делала их острее, так что общая гармония мира оставалась неизменной — это была ветхозаветная математика, божественно ясные правила возмездия и справедливости, понятный и правдивый расчет, и лишь сотое значение после итоговой запятой иногда вызывало у Линдта некоторое сомнение. После того как умерла Маруся, слово «любовь» он не произносил даже мысленно. Никогда. Теперь это было слово не из скрижалей, неточная дефиниция, Линдт таких не любил.

Он зарылся лицом в разоренную постель. От подушки тонко и сильно пахло нежным и золотым, влажным и рыжегато-розовым — плотью Галины Петровны и ее сутью, и все это за какой-то десяток с лишним месяцев стало его собственным запахом, продолжением его собственной сути. Нет — его собственной сутью, ибо оставит мужчина отца и мать и прилепится к жене своей, и будут они единая плоть. К юному и родному аромату примешивался почему-то тревожный болотный душок, гнилостный, грязноватый, жирный, — это был след ночного кошмара Галины Петровны, запах адреналина, за этот запах и за разработку бета-блокаторов адренергических и гистаминовых рецепторов Джеймс Уит Блэк получит Нобелевскую премию, и человечество с облегчением поймет свой генетический ужас перед болотами — просто болота пахнут нашим концентрированным страхом. Но это еще не скоро, это еще в 1988 году. Линдт перебрал в уме недоделанное за день — обрывки формул, вопросы, беглые маргиналии на полях, — пытаюсь заснуть и хоть так отогнать жуткую животную тоску по жене.

Млекопитающие привыкли спать в куче, это естественно и биологично, — объяснил он сам себе, задремывая и потихоньку отпуская на волю душу, бессмертную, беспокойную, не признанную им же самим душу воинствующего и блестяще вооруженного полуагностика-полубатеиста. И душа зашепила, понеслась к точке своего болезненного притяжения — мягкая, гладкая, невидимо, но ясно светящаяся в темноте. Покрутившись по больничным коридорам, она безошибочно нашла палату, в которой разместили Галину Петровну, опоенную безобидным пустырником и валерьянкой, но все равно —

испуганную настолько, что она даже икать больше не могла, а только лежала на спине, уставившись огромными сухими глазами в потолок и из последних сил отгоняя от себя стрекочущие буквы.

Линдтова душа немедленно примостилась у самого сердца Галины Петровны исцеляющим кошачьим клубком, замурчала неслышно и успокаивающе, и мороки и страхи поспешили прочь, а буквы расползлись по углам, бессильно шипя и скаля крошечные иголочные зубки. Больничная койка — сверхмодная, утыканная рычагами и рукоятками, которые в одно мгновение могли превратить страдальческий одр хоть в удобное кресло, хоть в операционный стол, — мягко заколыхалась, потолок, прежде враждебно белый и сухой, стал влажным, кружащимся, близким, и Галина Петровна начала неторопливо погружаться в него — слой за слоем, шаг за шагом — все ближе и ближе к мирному, колыбельному свету, который не нес ничего, кроме мира и любви, ничего, кроме любви и мира...

Чья-то теплая ладонь приласкала ей лоб, пригладила влажные волосы — материнским, бесполом, бесконечно сострадающим жестом, и как только опустошенная Галина Петровна наконец-то тихо, без сновидений и ужасов, заснула, на другом конце Энска беззвучно заплакал во сне Лазарь Линдт и плакал до самого рассвета — пока невыплаканные Галиной Петровной слезы наконец не закончились.

Наутро заполошный будильник вернул все на свои места — Галину Петровну, Линдта, его пропахшую больницей и подтаявшую от усталости и ночных бдений душу. И все потекло своим привычным скучноватым чередом, разве что протянутая поперек постели рука Линдта впервые не показалась ему самому напрасной, да наволочка была совсем мокрая, так что смущенный Линдт, выбривая перед зеркалом морщинистые синие щеки, даже горько поразмышлял о том, не начал ли он пускать на старости лет сонные слюни.

Вместо утренней кафедры он, разумеется, поехал в больницу, прихватив по дороге половину центрального рынка — яблоки, домашний творог, угреватые, пористые лимоны, мед — торжественный, неторопливый, превративший банальную липкую литровую банку в мерцающую изнутри дворцовую светильню, и — главное! — невиданные в декабре свежие тепличные огурцы.

— Что ж вы, Лазарь Иосифович, нас обижаете, как будто мы пациентов голодом морим! — от души возмутилась заведующая отделением патологии, обегая крошечного стремительного Линдта то с одного, то с другого бока, — вот тут направо, пожалуйста.

Но Линдт только отмахнулся, он и сам как будто знал дорогу, поворот, поворот, сердечный перебой и сразу слева — заветная дверь.

Галина Петровна сидела на кровати — выспавшаяся, яркая, до краев налитая мирным розовым светом.

— А вот и наша красавица! — умиленно пропела заведующая, словно самолично вылепила Линдту молодую жену из нежнейшего, свежайшего, самолучшего сливочного масла. Линдт разгрузил пакеты на тумбочку и клюнул Галину Петровну в мягкую ямку между шеей и плечом — вообще-то, он хотел поцеловать в губы, но ради бога, как угодно, главное — как ты, ясная моя, эскулапы вот хором клянутся, что все совершенно и решительно хорошо. Галина Петровна даже не кивнула в ответ, уставившись в воздух прямо перед собой сразу одеревеневшими глазами. Как только Линдт вошел в палату, она словно мгновенно захлопнулась — Линдту даже показалось, будто он услышал тихий, но отчетливый щелчок, с которым упала невидимая крышка, так что ему в очередной раз не удалось рассмотреть внутри ничего, кроме удушливо-ярких лоскутов да дрожащей россыпи разрозненных, разбежавшихся бусин.

В форточку вползло обессиленное декабрьское солнце, жидковатое, пыльное, едва живое. Тронуло вялой лапой волосы Галины Петровны, покатило по тумбочке высыпавшиеся из пакета огурцы — ненатурально длинные, как будто даже

пластмассовые, но тонко и сильно пахнущие еще нигде не существующей весной. Линдт оглянулся — в поисках медицинской помощи и поддержки, но заведующая деликатно слиняла куда-то, оставив сановного посетителя один на один с девятнадцатилетней беременной женой и неразрешимыми проблемами бытия.

— Ты правда в порядке? — еще раз переспросил Линдт — у больничной подушки, у солнца, у жизни, у самого себя. В разноголосице ответов не было только голоса Галины Петровны. Линдт неловко попробовал пригладить ей волосы: выбившуюся кудряшку возле уха в его молодости называли — завлекалочка. В его молодости, в ее молодости. Почти полувековой временной перепад. Как он мог решиться? На что надеялся? Кого попытался обмануть?

Галина Петровна дернула головой, словно отгоняя надсадную упорную сортирную муху.

Безнадежно. И еще раз — без-на-деж-но.

— Да не переживайте вы так, товарищ Линдт, ей-богу, — посочувствовал водитель, молодой ласковый парень, только начавший непростую карьеру персональщика и потому еще не отвыкший от человеческой речи. — Бабы, когда дите носят, последнего ума лишаются, вот родит вам супруга *сыночку*, все и наладится, сами увидите.

Линдт недоверчиво покачал головой:

— Вы думаете, сын будет?

— Да кто ж еще? — так простодушно изумился парень, что Линдт даже полчаса спустя, заходя на кафедру, все еще фыркал от тектонического смеха и бормотал, утирая мокрые глаза:

— Ну шельмец, вот шельмец, действительно — кто ж еще, а, Михаил Никитич, душа моя, здравствуйте, да погодите вы со своими подписями, вот я вам сейчас расскажу просто свежеиспеченный анекдот...

И в этом смехе, в привычной институтской суете, в озоновом запахе приборов и бумаг была какая-то нечаянная радость, будто и вправду рождение сына (а кого же еще?! ) могло чудесным образом изменить сразу все, сразу все исправить, наладить нужный тон, который — Линдт понимал это прекрасно — ему не удалось поймать впервые в жизни. Его всегда обожали и баловали женщины, даже Маруся — пусть не так, как он хотел, но она его любила, очень любила, и никогда он для этого особо не старался, а вот с Галиной Петровной старался, и все напрасно. Может, надо перестать бегать за ней, пресмыкаться, лебезить? Может, это действительно просто беременные, гормональные, нутряные и оттого особенно бессмысленные капризы? Может, она родит и наконец-то увидит его наново — Марусиными, веселыми, радостными глазами?

Но обманывать себя получалось недолго — максимум хватало на стакан чая, — и к тому моменту, когда на дне оставалась только сахарная, густая, ни на что не пригодная жижа (дурацкая привычка класть по пять ложек и не размешивать), Линдт уже понимал, что все напрасно, и что он влюблен во второй раз в жизни — и во второй раз, словно в насмешку, несчастливо. Нет, свет был тот же, тут Линдт не мог ошибиться, это был чистейший Марусин свет, только без самой Маруси, потому что Галина Петровна, и тут тоже не было никакой ошибки, оказалась в сущности пустым, ничтожным существом. И это тоже, к сожалению, ничего не меняло.

Все три недели, оставшиеся до родов, Галина Петровна провела в больнице. Ее решили оставить в патологии, несмотря на то что никакой патологии, разумеется, не было. Просто на всякий случай. По утрам, перед работой, заезжал Линдт, обвешанный деликатесами, сладостями и мелкими, прелестными, но совершенно ненужными вещицами, которые даже и не вещицы были, а так — жалкое мычание глухонемой человеческой нежности. Это было самое трудное время. Но Галина Петровна знала, что надо вытерпеть эти пять-десять

мучительных для обоих минут, после чего день покатится легко, набирая силу и слегка подскакивая на особо значимых местах: обход, обед, плавание в голубом, дымящемся от хлора и жара бассейне и лечебная физкультура, во время которой смешные, тугие, как надувные мячи, беременные тетки важно и неторопливо тянули руки к потолку и осторожно наклонялись, пока медсестра ЛФК, быстрая и востроносая особа, похожая на пастушью псину, приставленную к отаре разьевшихся овец, не позволяла наконец всем разбрестись по палатам. Некоторые роженицы, впрочем, из палат не выходили вовсе — так и лежали в опасливой неподвижности, чтобы не потревожить, не дай бог, капризный и изнеженный плод.

Галина Петровна — по молодости — сперва робела и дичилась всего на свете. С той же стеснительной, любопытной осторожностью к ней относились и все в роддоме — по множеству причин, не все из которых Галина Петровна вполне понимала. Во-первых, она была самая молодая и хорошенькая из первородок и при этом обладала самым старым мужем. Во-вторых, муж этот обитал на таких немислимых иерархических высотах и обладал таким сокрушительным влиянием, что Галине Петровне даже не завидовали, нет, просто злобно удивлялись, отчего одни всю жизнь упихиваются — и им ничего, а другие ни черта не делают и даже не смыслят и ни за что получают и скатерть-самобранку, и гусли-самогуды, и черт знает что еще, в шоколадной глазури, что даже в спецзаказах не предлагают. А уж по спецзаказам в ведомственном роддоме специалисты были все.

Конечно, тут полно было своих богатых и знаменитых: дочери, жены и свояченицы партийной номенклатуры, крупных хозяйственников, маститых управленческих шишек — это были советские сливки, свежайшие, жирно-желтые, парные, густые настолько, что ложка стоит, но всем этим небожителям даже вместе взятым было далеко до связей, возможностей и влияния Лазаря Линдта. Потому что любого партийного босса можно было, изловчившись, подсадить и снять, любого красного директора — уличить в растрате и посадить, в конце концов, всех их можно было выпереть на пенсию — пусть и персональную, но все-таки пенсию, которая означала однозначное понижение во всех привычных благах. А вот с Линдтом нельзя было поделаться ничего — он был единственный, уникальный, со своей мелкой походкой, неприятной ухмылкой, с жидовскими своими неопрятными седеющими кудрями, академическим званием и тремя государственными премиями, а уж премий поменьше, потиражных, погонных и подъемных и вовсе никто не считал, тем более — сам Линдт.

Слышь, шелестели в коридорах одурелые от скуки и обжорства пузатые бабы, он на сорок один год старше, говорят, со школы ее взял, старый кобель, чуть не с первого класса присмотрел и насили дотерпел, пока у нее кровя женские пойдут. Вот как! Да что вы такое говорите! Это она все сделала, заявила к нему домой и задрала юбку, а он, понятное дело, немолодой человек, одинокий, не смог устоять, так она сразу после этого куда надо бумаги накатала и в милицию даже заявление отнесла, сучка несовершеннолетняя, ну и пришлось Лазарёсичу покрывать грех и жениться, хотя я вам говорю — эта, прости господи, уже брюхатая к нему пришла, причем неизвестно от кого, и не надо, я — в отличие от вас — знаю все из первых уст, у меня муж с Лазарёсичем работает, так он говорит, Линдт буквально рыдал у него плече, когда все случилось. Буквально — рыдал!

Из палаты выходила Галина Петровна, чуточку испуганная, с пылающими от волнения и молодости щеками, и беременные тотчас расплзались по углам, шипя, что, мол, хоть и академик, а домашней одежды жене не спроворил, так и таскается в больничном. Дура! Галина Петровна провожала их грустными глазами и покрепче стягивала на болезненно набухшей груди белесую от дезинфекции общественную байку. Привезенные Линдтом пакеты с любовно упакованным батистом и шелком так и громоздились возле тумбочки, никем не раскрытые, никому не нужные, а ежедневные лакомства, истово благодаря Господа Бога нашего и родную Академию наук, растаскивали домой пронырливые и



вечно — сколько ни давай — голодные санитарки. Галина Петровна угостила бы и соседок, но ей полагалась персональная палата, персональная мука, персональная судьба.

Впрочем, через неделю к Галине Петровне попривыкли, и она тоже вполне освоилась в роддоме и даже стала совершать осторожные любопытные вылазки за пределы собственного отделения. Интересней всего оказалась курилка — лестничный пролет, оборудованный парой плевательниц, возле которых вечно роились веселые, разбитные тетки из абортария — с 1955 года по пять-шесть раз в год бодро поддерживающие известным местом отмену постановления ЦИК и СНК СССР (от 27 июня 1936 года), запрещающего аборт. Любительницы крепких выражений и крепких дорогих сигарет, абортнички мигом приобщили Галину Петровну к своим нехитрым радостям, и уже через несколько дней она перестала неистово краснеть от кудрявой и бессмысленной матерщины, а потом, преодолевая кашель и отвращение, освоила и дымную разницу между «Москвой», «Тройкой» и — о чудо из чудес! — особым дамским «Дюшесом» с ватным фильтром.

— Ты б не смолила с таким пузом, дочка, — мимоходом посоветовала одна из теток Галине Петровне и тут же поведала обществу леденящую душу историю про то, как одна девушка вот тоже курила беременная — тут последовало нагромождение нелепейших и дичайших подробностей, из которых Галина Петровна поняла только, что ребенок от табачного дыма может задохнуться прямо внутри, и его будут выковыривать крючками. С того дня она стала курить уже осознанно, дисциплинированно, по часам, будто принимала лекарство, единственно способное сохранить ей жизнь, никому уже, в сущности, не нужную, но все еще драгоценную. Крючки ее не пугали — пусть. Лишь бы умер ребенок. Задохнулся, что угодно — но не появился на свет. Только не ребенок Линдта. Это было слишком несправедливо.

Постоянно стрелять сигареты было совестно, и Галина Петровна приладилась покупать курицу у медсестер, готовых за сотню дореформенных рублей снабдить своих высокопоставленных пациенток хоть цианистым калием, хоть заботливо намыленной веревкой. Впрочем, горлодерный «Памир», который метко называли «Нищий в горах», цианистому калию по убойной силе уступал мало, и Галина Петровна особенно полубила курить его ночью, стоя в гулкой пустой курилке, полной ледяных сквозняков и стонущих больничных призраков. Для верности она оставляла в палате халат, а в курилке немедленно сбрасывала тапочки и, поживаясь, подолгу стояла у сифонящего изо всех щелей окна, глубоко-глубоко втягивая вонючий дым и ощущая босыми подошвами, как неторопливо и властно поднимается все выше и выше к ребенку бездушный энский холод — и точно такой же мертвый холод неподвижно стоял у нее в сердце. В приоткрытой фрамуге тихо подвывал заблудившийся ветер, то швыряя в Галину Петровну горсть колючей снежной крупки, то жалко пытаясь приласкаться к теплому человеческому существу, но Галина Петровна ничего не замечала. Словно изувеченная собака Павлова, которой удалили затылочные доли мозга, потерянная в пространстве, лишенная ради чьего-то садистского любопытства и зрения, и слуха, она упорно ползла по невидимому кругу, раз за разом возвращаясь к той последней точке, на которой закончилась ее счастливая, нормальная, человеческая жизнь.

Они с Николенькой собирались пожениться.

Нет.

Про Николеньку было нельзя.

Просто невозможно.

Вообще нельзя было слишком про многое — про канун прошлого, всего только прошлого Нового года, про то, как пахло в переполненном, несмотря на близкие праздники, политехе — мастикой, пылью и медленно оттаивающими валенками. Все тогда галдели, как ненормальные, и рвались на открытую лекцию, которую давал академик, фамилию которого Галина Петровна легкомысленно не запомнила — и, чтобы

закрепить ей память, эту фамилию теперь навеки вписали в ее паспорт, что ж, отличный урок для хорошенькой пустоголовой дуручки, лучше и не придумаешь, не так ли? На лекцию она тогда не пошла, потому что надо было прибраться в лаборантской, она, кажется, разбила колбу. Или реторту? Она тогда без конца колотила казенную посуду — и сама верила, что к счастью, просто не знала, что счастье это готовят совсем не для нее.

Потом пришел Николенька, и они впервые поцело...

Нет, только не Николенька, ну, пожалуйста, я умоляю!

Про родителей тоже было нельзя, и про припасенный к свадьбе заветный отрез белого крепдешина, плотный, шелковистый, похожий на мыльный брусок, — но стоило отмотать от этого бруска пару невесомых метров и приложить к груди, как среди комнаты сразу возникал зачарованный призрак будущего свадебного платья. Отрез так, должно быть, и лежал где-то в родительском шкафу, медленно и мучительно умирая, и, чтобы не думать о нем и еще о тысяче таких же болезненных и зудящих, как сыпь, мелочей, Галина Петровна, крепко тряхнув головой, закуривала очередную памирину. Одна ночь — одна пачка. Она бы выкуривала две, но ее начинало рвать горькой желчной пеной, а ребенок и не думал задыхаться, жизнерадостно возился внутри, укладывался поудобнее — ручки под щечку, глазки закрываем. Он, кажется, даже не мерз, хотя Галина Петровна уходила из курилки только к утру на заледенелых, синеватых, ничего не чувствующих ногах.

И что вы думаете? Чудовище внутри нее было довольней некуда, а она сама даже не простудилась.

Но, даже прокравшись мимо бессовестно дрыхнувшей постовой сестры и с трудом взобравшись на свое больничное ложе, Галина Петровна не переставала свое безостановочное мысленное движение, снова и снова натываясь на невидимое препятствие, переводя дух и скуля, пробуя ползти дальше. В сущности, все, что ей оставалось, — это последние несколько минут прежней жизни, впечатавшиеся в память с такой силой, будто тогда она и впрямь умерла: счастливая, растрепанная, со вспухшими от первых поцелуев губами, присевшая на корточки над радужными осколками лабораторного стекла. В подсобку тогда постучали, и она крикнула: «Открыто, милый!» Сама крикнула. И сама, легко вскочив, распахнула дверь, уверенная, что это Николенька сбежал с постылой лекции, чтобы никогда-никогда больше не расставаться. Чтобы остаться вместе с ней до самой смерти. Нет, даже дольше — навсегда.

Линдт, который теми же долгими мысленными часами стоял все у той же двери, но только с другой стороны, с тихой грустью думал, что материя, несомненно, разумна, но уж очень несправедлива, потому что ни единого знака не было дано ему в тот день, ни малейшей подсказки, ни легчайшего рывка божественным поводком — мол, приготовься, растяпа, подберись, сейчас случится главное — может быть, во всей твоей жизни. Может быть, и не только в твоей. Но нет — Вселенная молчала, мало того, Линдт до последнего пытался отбиться от скучной лекции, придумывая то недомогания, то отговорки. Он всегда ненавидел публичные выступления — хотя отлично говорил и без малейшего усилия удерживал внимание любой аудитории, это был тот самый вариант гениальности, которая способна объясниться и с пятилетним ребенком. Только, черт подери, почему я должен тратить время на пятилетних детей? Они ж не поймут ни хера — хоть бы я им эту лекцию на гармошке сыграл. А заодно и сплясал. Ну, пожалуйста, Лазарь Иосифович, мы вас умоляем — всего сорок пять минут, а студентам воспоминаний на всю жизнь. Хорошенькая у ваших засранцев планируется жизнь, если нудятина, в которой они ни пса не разберут, окажется в ней самым волнующим событием. Впрочем, согласен я, согласен — только отвяжитесь. Но чтоб никаких ваших идиотских «давайте потом коллегиально отметим по маленькой». У меня дел по горло, так что не сиротите напрасно кафедральные кошельки. И не надо никого встречать на выходе, я вас умоляю. Я еще не выжил из ума и уж как-нибудь не заблужусь.

И что вы думаете? Заблудился.

Вообще-то, несмотря на все отговорки академика, навстречу сиятельному Линдту был загадочно выслан гонец, призванный караулить великий ум у входа, дабы потом со всеми почестями препроводить его в нужную аудиторию. Но Машков, наконец-то дорвавшийся до Галочкиных губ, разумеется, потерял разом и счет времени, и разум, потому Линдт, неловко потоптавшись на пустом политеховском крыльце, пожал плечами и вошел в гулкий и мраморный, как усыпальница, вестибюль. Он решительно свернул направо, потом еще раз направо и очутился в сумрачном лесу. Бесконечные коридоры, бесконечные двери, бесконечное отсутствие логики в нумерации — рядом с пятнадцатой аудиторией соседствовала безымянная комната, а сразу за ней — помещение с загадочной табличкой «442-М».

— Вот долбоебы, — пробормотал Линдт недовольно. — Ничего не могут организовать — даже коридор.

И словно ему в ответ за безымянной дверью что-то грохнуло — будто судьба поставила в конце предложения оглушительную твердую точку. Линдт, оживившись от возможности взять языка и разузнать дорогу в этих политехнических дебрях, выбил на облезающей филенке вежливую дробь.

— Открыто, милый! — откликнулся женский голос, бархатистый, раскатисто и драгоценно подрагивающий на «р», и дверь тотчас же распахнулась, как тогда, в восемнадцатом году. И как тогда, в восемнадцатом году, Линдт чуть не потерял сознание от усталости, от счастья, от света — того самого света, в плотном кубе которого стояла, смеясь и двумя руками поправляя волосы, молодая, бессмертная, сияющая от радости Маруся.

Не обнаружив в своем химическом хозяйстве нашатыря, сердобольная Галочка просто усадила пепельного от бледности старичка на стул и щедро распахнула окно. Энский мороз плоско и тяжело ударил Линдта по лицу — будто хам, нарывающийся на дуэль, да что там — мечтающий об убийстве. Многоигольчатая снежная крупка, искрясь, затанцевала в воздухе, охлаждая пылающие Галочкины щеки и странной, тревожной сединой покрывая волосы Машкова, который бестолково метался перед политехом, разыскивая утерянного академика. Коварно притаившаяся под снегом ледяная дорожка ловко кинулась ему под ноги, опрокинула, звонко приложив задницей о промерзшее и твердое. Машков, нелепый, как все упавшие люди, попытался подняться и вдруг, словно со дна своего почти физически невыносимого счастья, увидел все разом — и неподвижное дегтярное небо с крошечной кривобокой луной, и похожий на сказочный замок политех — весь в длинных огненных бойницах светящихся окон, и старый пушистый от инея фонарь, в молочном ночном луче которого плыли снежинки — тающие и нежные, как Галочкины губы. Все это на секунду сложилось в картинку небывалой четкости и красоты, сулившую открыть какие-то величественные и оттого особенно бесполезные тайны, и вдруг расплылось, задрожало, налилось горячей соленой влагой, и Машков со стыдом обнаружил, что сидит прямо на ледяном асфальте и плачет, как маленький, как дурак, шмыгая подтекающим носом и улыбаясь огромной, глупой, совершенно детской улыбкой.

— Может, все-таки скорую? — еще раз заботливо спросила Галочка. Старичок, конечно, был довольно противный — тощий, морщинистый, весь заросший неопрятной сизо-седой щетиной, но советской девушке полагалось уважать еще и не такое. Старикам везде у нас почет.

— Благодарю вас, нет, — учтиво ответил Линдт, оправляя пиджак так, чтобы видны были орденские планки, и отчаянно, до хруста в скулах, презирая себя за это. — Лучше подскажите, пожалуйста, где у вас двести четвертая аудитория?

— Так вы тоже на лекцию! — заулыбалась Галочка, и Линдт торопливо отвел глаза, боясь ослепнуть или разрыдаться — эти нежные щеки, эти губы с младенческой, четкой,

молочной, изогнутой полосой. Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста; мед и молоко под языком твоим! Пить целую вечность, подстанывая от наслаждения, не верить своему счастью, пока не умрешь. Не думать о следующем стихе, о том, что запертый сад — сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник. Запертое одним человеком всегда откроет другой. Но как похожа, Господи! Нет, не похожа. Лучше.

— Все прямо перебесились из-за академика этого, — продолжала Галочка, не заметившая ничего и очень довольная, что хоть кто-то скрасит ей скучную подготовку к лабораторной. — Только что в очереди не стояли. Будто МХАТ приехал.

Линдт согласно покивал головой — ажиотаж вокруг его имени обыкновенно устраивали люди вопиюще невежественные и оттого особенно неприятные.

— Там душно наверняка на лекции этой — не ходите, — продолжала усердно заботиться Галочка, мысленно коря себя за неизвестно откуда взявшуюся брезгливость, тоже мне — комсомолка, разве он виноват, что старенький и некрасивый?

— Боюсь, без меня не начнут, так что все-таки придется, — с сожалением сказал Линдт, поднимаясь, и Галочка, совершенно не узнавшая изящную и легкую, как бабочка, отсылку к Андерсену, решила, что ошиблась. Очень может быть, что старичок пришел не провожать внучку (первая версия) и не пополнить скудный интеллектуальный багаж (вторая версия, выросшая на твердом убеждении советской девушки, что все родившиеся до революции люди были безграмотными и безмозглыми идиотами, которым советская власть подарила стеклянные бусы, лампочку Ильича и букварь).

— Вы, наверно, ассистент академика, да? — радостно догадалась она. — В опытах ему помогаете?

Она вообразила себе арену цирка, ловкого вертлявого мага в просторном, прохваченном звездами плаще, и сухонького семенящего Линдта, подливающего адское зелье в таинственный прибор, внутри которого меж двух хрустальных шаров грозно гудела опасно изогнувшаяся вольтова дуга. Линдт представил примерно то же самое и целую секунду оба — в первый и в последний раз в жизни — думали в унисон. Потом Линдт засмеялся, обнажив крупные зубы, — будто кто-то быстро провернул скрипучую костяную шестерню, и Галочке снова стало пронзительно неприятно. Словно она находилась в одной комнате с каким-то гигантским омерзительным насекомым.

— Давайте я вас провожу, — сухо сказала она, и перед глазами Линдта плавно поплыл тесноватый молодой халатик, круглая смешная пуговица на хлястике, кулачки, засунутые в карманы, суровое выбеленное полотно и глубокая голубая складка, которая ложилась то справа, то слева — там, где от тонкой сильной талии спешила к бедрам невероятно чистая линия, завораживающе чистая, это было движение самой жизни, и Линдт не видел ничего, кроме этой жизни, — ни тусклых коридорных ламп, ни взволнованной, до отказа набитой аудитории, ни дрожащих багровых щечек лебезящего директора политеха, который все тянул Линдта за рукав в сторону все-таки организованного банкета, будто малыш, который пытается уговорить взрослого посмотреть его никому не нужные, дурацкие игрушки. Это никогда больше не отпустило — и даже двадцать три года спустя, умирая, восьмидесятиоднолетний Линдт увидел перед собой не мать, не Бога, не назад проматывающуюся огромную жизнь, и даже не Марусю — а этот уплывающий по коридору идеальный белый халатик, и рыжеватую косу, небрежно уложенную на затылке, и быстрый жест, которым Галочка оправила подол, словно смахивая какую-то налипшую неприятную дрянь — влюбленный замороженный взгляд Линдта, его жизнь, его самого.

Она ни разу не оглянулась.

Он никогда, никогда ее не догнал.

Вечером, как всегда, заглянул Николаич — и, как всегда, якобы по делу, деликатно припасенному заранее, но упаси Боже — не по неотложному, чтобы, значит, не

потревожить великий ум, не всколыхнуть покой, тут из издательства договорчик прислали на переиздание — хотят переподписать, я уж все проверил — надо только подмахнуть. И осекся, оборвал уютное бормотание — Линдт, подтянув к подбородку колени, сидел в углу дивана крошечной сморщенной мумией, уставившись прямо перед собой горькими неподвижными глазами. В первый раз Николаич видел хозяина не за рабочим столом, не оживленным — Иисусе, да он вряд ли вообще замечал раньше этот чертов диван!

— Случилось что, ЛазарЁсич? — Николаич сам удивился тому, каким непослушным сразу стал голос, — так, работа под контролем, там точно все в порядке, значит, недоглядел за здоровьем, ах, мудацкий же мудак — надо было пинками пригнать на очередную диспансеризацию, не слушать отговорок, но поди не послушай этого упрямца, если он до сих пор с места вскакивает ногами на письменный стол и только хохочет сверху, что, мол, так в России могут только два человека — он да Пушкин, сукин сын. Слабо и тебе попробовать, Николаич? Ясное дело, что слабо, картошки надо меньше жрать с топленным маслом, да и не за тем, слава богу, приставлен, чтобы по столам макакой скакать. Не за тем. Так что пускай в одиночку тешится в своих сферах, а нам бы по земле пройти, не споткнувшись.

Линдт не ответил, будто не слышал или не понял вопроса, а то и вовсе не заметил, что Николаич пришел, а ведь как родного принимал с первой минуты — за стол вместе с собой сажал, слова не сказал кривого: и встанет, и проводит, и подарок к любому празднику, а уж водки сколько вместе съедено, разговоров наговорено — никогда не гнушался, даром что академик.

— ЛазарЁсич, золотой, что? Сердце?

Это была его выдумка, личная — ЛазарЁсич, — он прекрасно мог выговорить как надо, но не хотел, как не хотел на «ты», хоть Линдт сто раз предлагал, нет, нужно было что-то другое, что-то вроде меньшиковского «минхерца», только для них двоих, и чтоб все сразу это понимали — и степень близости, и тепло, и уважение, от непосильной тяжести которого Николаич иной раз боялся задохнуться. Он придумал этого ЛазарЁсича и в первый раз не сказал даже — пробормотал, готовый к выволочке, хоть к порке, но Линдт только посмеялся — как Николаич любил, когда он смеялся, из кожи вон лез, готов был на пузе ползать, вприсядку скакать, а словечко, поди ж ты, прижилось, перескочило на других, как блоха, — такое же верткое, живучее, и вот уже академика стали называть ЛазарЁсичем и в институте, и в академии, и в людской, но только, конечно, за глаза. В лицо смел только Николаич и привилегию эту блюл со всей великолепной ревнивой яростью лучшего друга и потомственного холуя.

Николаич хотел тронуть Линдту лоб, как малому ребенку, но в последний момент не решился, взял академика за плечо корявой от нежности лапой, тихонько сжал, словно проверяя — цел ли, и Линдт вынырнул из своего странного оцепенения, улыбнулся почти виновато:

— А, Николаич, здравствуй, хороняка. — Это тоже было их словечко. Только их. У них вообще много было своего. — Да не помираю я, не гоношись. Все хорошо. Хотя с сердцем ты, похоже, почти угадал.

— Колет? Жмет? — уточнил Николаич, сиюсь быть деловитым и чувствуя, как отпустивший было страх вновь стискивает все внутри в униженный ледяной узел.

— И колет, и жмет, и ноет, хороняка. И покоя не дает. Влюбился я, похоже, Николаич. Представляешь? Это на старости-то лет!

Николаич молча ушел на кухню — нежилую, господскую, огромную, где сроду никто не готовил и не хозяйничал, кроме него самого, и через пару бесшумных минут вернулся, держа в руках невесть кем преподнесенный Линдту жостовский поднос, уродливый, как любая пущенная на поток русская поделка. На пухлых расписных цветах красовался графинчик с водкой, неумелой мужской рукой протертые стопочки и грубо вскрытая

банка со смуглыми шпротами — самим же Николаичем и припасенная на всякий случай, потому что ночью встанет, захочет покушать и вообще — мало ли что? Николаич поставил поднос на диван, сел рядом, ловко разлил водку и чуть ли не насильно вставил стопку в равнодушные линдтовы пальцы.

— А теперь рассказывай, — почти приказал он, впервые в жизни обратившись к хозяину на «ты». Теперь было можно. Вот именно теперь.

Назавтра, ближе к концу рабочего дня, к Галочке, торопливо убиравшей в шкаф свои химические принадлежности (Николенька уже ждал, верно, на крыльце, пряча в карманы сиротского пальтишки крупные красноватые лапы, вечно он забывает про рукавицы, ну ничего, наведем порядок, и пальто новое ему справим непременно, и варежки!), подошел неслышными шагами коренастый человечек с жирноватыми боками перебравшегося в город крестьянина и цепким, умным, яростным взглядом дворняги, которую в детстве ни за что пинали по ребрам кирзовым сапогом. И она не забыла.

— Галина Петровна Баталова? — тихо уточнил человечек, ловко взяв ее под халатный накрахмаленный локоток. Галочка кивнула, чувствуя, как ниотчего вдруг слабеют ноги и на лбу, под теплыми завитками, проступает крупная, как роса, и такая же ясная испарина. — Проследуйте, пожалуйста, со мной.

И жизнь Галочки Баталовой закончилась.

В черной «Волге», несмотря на мороз, было душно, как в гробу, и так же оглушительно тихо, но Галина Петровна, оцепеневшая настолько, что не могла даже плакать, вдруг перестала жалко плавиться в своем унижительном поту и принялась мелко, как грызун, стучать непослушными зубами. Ее буквально колотило от ужаса, того самого смертного биологического ужаса, который знаком любому живому существу, ступившему на грань собственной гибели, — спутанное сознание, жар, озноб, испарина, непроизвольное расслабление всех сфинктеров. Даже здоровенные медведи и матерые человеческие самцы в такой ситуации мгновенно и бурно накладывают в штаны — и не потому что труслили, а потому что организм отчаянно пытается освободиться от всего, что может помешать сражаться насмерть или же панически от смерти удирать. Галина Петровна даже не описалась — но только потому, что самым краешком спасающегося сознания отчаянно верила, что это все сон, глупости, страница из детской книжки, где ужасный людоед тащит в логово хорошенького кудрявого мальчика-с-пальчика. В детстве она так боялась этой картинки, что так и не смогла рассмотреть ее во всех чудовищных подробностях — утыкалась с верещанием в спасительные отцовские колени. Но как же! Папа ведь говорил, что прежним временам возврата нет, значит, вышла какая-то ошибка, недоразумение! Галина Петровна была совсем молоденькая дурочка сорок первого года рождения и про те самые прежние времена знала только обрывки подслушанных разговоров, а после войны все стало не так уж и страшно, хотя отец и ворчал иной раз, что напрасно народишке столько воли дали, ох, напрасно, а потом Сталин и вовсе умер, и все ужасно плакали. Даже папа. Галина Петровна попыталась сказать это все, объяснить, выяснить, куда ее везут, но вышло какое-то никчемное «ав-ва-ва». Человечек, сидевший рядом с ней на заднем сиденье, бросил на Галину Петровну быстрый непроницаемый взгляд и распорядился — а ну подтопи-ка еще. Безмолвный водитель, не меняя выражения красного морщинистого загривка, щелкнул чем-то, и в машину вплыла новая волна искусственного жара.

Они остановились у огромного свинцового здания с нескромными башенками и завитками, и уже готовая ко всему Галина Петровна с изумлением обнаружила, что это жилой дом: за коваными кружевными пиками ограды какие-то женщины выгуливали смешных круглых малышей, усердно лепивших упитанную снежную бабу, ломко звенели на морозе детские голоса, медленно наливались мирным мутным светом фонари, не по-

энски изящные, сделанные, как и все в этом доме и в этом дворе, основательно, любовно и не по-советски напоказ. Человек, кряхтя, помог Галине Петровне выйти из «Волги», и в сопровождении обвешанного авоськами водителя они пересекли двор, причем человек так ловко и приветливо со всеми раскланивался, что Галина Петровна, решившая при любом удобном случае звать на помощь, бежать — что угодно, вдруг совершенно и очень некстати успокоилась. Кажется, действительно недоразумение. Или в кино позовут сниматься — а что? Говорили, что в Энск собирается Сергей Герасимов, рассказывать про свой «Тихий Дон» — может, увидел меня на улице или в политехе. Или на концерте где-нибудь. Галина Петровна вообразила себя поющей великому режиссеру фирменные враждебные вихри, и сразу потом — на афишной тумбе, с хищно подмазанным роковым ртом, и даже улыбнулась тому, как просто и нестрашно все разрешилось. Человек посмотрел на нее еще раз и хмыкнул, видимо, раз и навсегда составив мнение об умственных способностях юной комсомолки Баталовой. Галина Петровна еле удержалась, чтоб не показать ему язык, — и правильно удержалась, потому что уютный лифт, поскрипывая, вознес их на четвертый этаж, и началось по-настоящему страшное.

Человек отпер ключом входную дверь в одну из квартир, кивком отпустил развьюченного водителя и проводил Галину Петровну в огромную, абсолютно пустую комнату, видимо, предназначавшуюся для того, чтобы быть столовой, но с первого взгляда было ясно, что за просторным, персон на двенадцать, столом сроду никто никогда не ел, да и бывали в этой комнате вряд ли — разве что для того, чтобы свалить в угол груды каких-то неопрятных папок и книг. Даже высокие узкие окна были голыми — нежилыми, без гардин, и сквозь них осторожно заглядывал внутрь стремительно густеющий и мрачнющий энский вечер. Галина Петровна покорно уселась на стул, который, признаться, с трудом сдвинула с места, взвизгнув ножками по темному паркету, и визг этот, короткий, механический, неживой, долго еще стоял у нее в ушах, будто ее собственный.

Человек меж тем извлек откуда-то сероватую негнущуюся скатерть и принялся, то и дело ныряя то в авоськи, то в сумрачный буфет, сноровисто, но без суеты накрывать ужин на две персоны, и все это время — сворачивая салфетки и выкладывая на тарелки невиданные Галиной Петровной лакомства — без остановки и почти без интонаций говорил, терпеливо, очень тихо, будто объяснял трудную задачу бестолковому ребенку, и с каждым его словом Галина Петровна, боявшаяся даже шелохнуться, бледнела все больше и больше, пока не стала наконец ровного, очень красивого, почти оливкового оттенка. К моменту, когда стол был полностью готов, шампанское спрятано в запотевшее ведерко, а фрукты выложены в вазу, она совершенно усвоила, что именно будет с ней самой, ее родителями, а самое главное — с неким гражданином Николаем Ивановичем Машковым, да-да, вот именно — с Николенькой, если она позволит себе пикнуть, вякнуть, хоть тень неуважения проявить, и попробуй только слово кому о нашем разговоре сказать, никто не поможет — даже не надейся, ни бог, ни черт, ни председатель президиума ЦК КПСС, потому что он лично — слышишь? — ЛИЧНО Лазаря Иосифовича Линдта с днем рождения каждый год поздравляет, да не телеграммой отделяется, а звонит, сам своею царской ручкой диск телефонный крутит, чтобы выразить, так сказать, и пожелать.

— Поняла, сука подзаборная? — спросил напоследок человек и, подумав, обложил Галину Петровну безобразной, корявой и такой грязной бранью, что она не поняла и половины, а даже если б и поняла, это было уже все равно. Единственное, что она не могла уразуметь, — кто такой Лазарь Иосифович Линдт, но спрашивать об этом было нельзя, Галина Петровна это чувствовала всем своим животным, снова трясущимся нутром, потому что не животного, человеческого, в ней больше не осталось. Совсем.

— Вот и ладненько, — неожиданно весело сказал человек, выбрал из вазы апельсин покрупнее и ловко сунул в карман. — Витаминчики кушай и веди себя хорошо, — почти

ласково посоветовал он и тотчас исчез с беззвучной скоростью, наводившей на мысли о мелкой и потому почти уголовно опасной нечисти, оставив Галину Петровну одну в огромной столовой, за нарядно убранным столом, и она почти два часа сидела, боясь не то что шелохнуться — прислониться к спинке стула деревянной от напряжения спиной, и все эти два часа, сквозь страх и наплывающую дурноту, отчаянно мечтала отщипнуть от громадной грозди хоть одну розовато-прозрачную, округлую, будто девичий сосок, виноградину. Но так и не посмела. Хотя раньше не пробовала виноград никогда в жизни. Ни разу. Никогда.

Когда звучно щелкнула входная дверь, Галине Петровне было почти все равно, кого она увидит и что, собственно, будет дальше. Единственное, на что ей хватило сил, это распрямиться еще больше — и такую ее и увидел Линдт во второй раз: испуганную, бледную, неудобно сидящую на неудобном стуле: маленькие валенки чуть повернуты носками внутрь, платок, пуховый, старенький, как у Маруси, сбился на затылок, человечек не предложил ей раздеться, и Галина Петровна, так и не заметив, просидела все это время в шубке, только пуговицы расстегнула, и Линдт, обомлевший, совершенно не ожидавший воплощения своих ночных и не слишком приличных устремлений, долгие несколько секунд не замечал ничего, кроме этой распахнутой шубки и крепко стиснутых кулачков, которые Галина Петровна прижала к груди. Господи, а потом она вдруг просто просияла от такой нежной, живой радости, будто так же, как и он, ждала этой встречи, будто Маруся действительно вернулась, будто все наконец сбылось.

Линдт шагнул к ней навстречу, распахнув руки, и Галина Петровна готовно кинулась в эти неверящие, нетерпеливые объятия, прижалась к нему, зарылась носом куда-то в плечо — вздрагивая и от смеха, и от слез, так что Линдт, чуть не потерявший сознания от ее ароматной, жаркой тяжести, даже покачнулся. Она забормотала что-то, он не расслышал и, только поднимая ее прелестное заплаканное лицо, чтобы поцеловать наконец эти невероятные, полупрозрачные, сочные губы, вдруг понял, что она торопливо, задыхаясь, глотая не только слоги, но и целые слова, говорит: уведите меня, спасите, умоляю, пожалуйста, умоляю, помогите, господа, как хорошо, что вы пришли!

Домой Галину Петровну привезли только через час — очень тихую, умытую до скрипа, гладко причесанную Линдтовой гребенкой, которую он, стыдясь и торопясь, промыл в ванной комнате — вот черт, старый я козел, совсем зарос перхотью, запаршивел, ну да ничего, все наладится, но каков Николаич, ума не приложу, как он ее уговорил приехать, вот хороняка, надо ему орден, что ли, смеха ради, похлопотать.

Есть Галина Петровна категорически отказалась, пить тоже, так что никем не тронутый нарядный стол так и простоял посередине комнаты, явно стесняясь собственного неуместного великолепия. Рассыпавшийся в комплиментах и извинениях Линдт попытался все объяснить — Галина Петровна, не поднимая длинных, все еще мокрыми стрелками слипшихся ресниц, извинилась тоже. Нет-нет, никто ее не тащил и не заставлял — напротив, она сама очень рада, что... Галина Петровна замолчала, мечась внутри собственной черепной коробки и лихорадочно обшаривая незрячими руками ледяные, каменные, как бы даже слегка слезящиеся стены — нет, нет, не выход, сюда ни в коем случае нельзя, ЭТОТ сказал, что Николеньку арестуют, будут мучить, пытать, выкладывал на тарелку пласт за пластом янтарным жиром залитую осетрину и со вкусом рассказывал, как именно будут.

Галина Петровна сглотнула, подняла на Линдта невероятные сизые глаза:

— Я просто заждалась и случайно задремала, а когда вы вдруг пришли, спросонья, знаете... Всякое привидится. Извините, что вчера вас не узнала, — мне очень совестно, правда. Я для этого и приехала — извиниться. Вы же, наверно, подумали, что я дурочка, да?



Линдт, как взбесившаяся мельница, замотал всеми лопастями разом, разразился дичайшей речью, в которой сам запутался, — ну что вы, Галина Петровна, как вы могли подумать и тыр, и дыр, и пыр. Вот — и этому она была Галина Петровна. А Николенька говорил, как мама, — Галюня, и губы его складывались, будто для того чтобы тихонько и нежно свистнуть или так же тихо и нежно поцеловать. Мама! Галина Петровна вдруг вцепилась в эту спасительную мысль — ну, конечно же — мама! Она посоветует, придумает что-нибудь, мама ее спасет! Напрасная надежда — впрочем, много ли вы видели ненапрасных надежд?

Когда в столовую вместо ожидаемого чудовища вошел вчерашний, политеховский старичок, помощник мага, Галина Петровна, вполне уже обжившаяся в кошмаре, в который попала, обрадовалась так, что едва не потеряла сознание, — это был знакомый, человек, с которым она общалась, пусть и всего пару минут, но он должен был помочь, выручить, как советский человек советского человека, ведь в прежнем мире Галины Петровны зло всегда было абсолютно анонимным, а люди, которые хоть раз в жизни поговорили друг с другом, автоматически превращались в товарищей, которые сам погибай, а того, кого приручил, выручай. И потом старичок был ВЗРОСЛЫЙ, старший, он вообще не мог причинить ей вреда — ни по каким законам, ни по советским, ни по человеческим, ни по биологическим, — он обязан был вывести ее из этого зачарованного замка, позвонить в милицию, всколыхнуть общественность, ударить в набат! Но старичок вместо этого вдруг принялся целовать ее огромным, горячим, слюнявым ртом, а когда она начала, крича, вырываться, испуганно пробормотал про какое-то недоразумение и, выпустив ее из рук, снова назвал страшный пароль, который уже произносил человек, — Лазарь Иосифович Линдт. Старичок повторил это дважды, прежде чем Галина Петровна поняла, что он просто представляется.

Она опомнилась, оценила обстановку и нашла единственно верное решение буквально за несколько секунд — скорость, сделавшая бы честь и самому Линдту, который вместо рыдающей перепуганной девчонки вдруг обнаружил в собственной квартире чуточку заторможенную, но необыкновенно приветливую красавицу, конечно, слегка смущенную, но очевидно заинтересованную в продолжении знакомства. Это было настоящее чудо. Страх за Николеньку впервые включил мозги Галины Петровны на полную катушку, так что хватило на много месяцев вкрадчивого кружения, осторожного, совершенно птичьего обмана, где-то у нас уже была такая птица, отводившая от гнезда, только, в отличие от хитрой скворчихи, Галина Петровна была ранена по-настоящему и по-настоящему готова на все, лишь бы не пострадал Николенька, ее Николенька. Господи, лишь бы с ним не случилось ничего, лишь бы с ним, на себя ей было теперь совершенно наплевать.

Никто ни о чем не догадался, ни один человек, даже Линдт, даже мама. Родители вообще отреклись от нее сразу, бросили, беспомощную, изломанную, умирать, Галина Петровна, вернувшаяся от Линдта, поняла это с первой секунды — по притихшим, вороватым взглядам, по тому, что никто, собственно, не спросил, отчего она так поздно и где была, а ведь Галина Петровна, выходя из черной «Волги», прекрасно видела, как мама быстро отдернула кухонную занавеску, красную в белую клеточку, очень веселенькую, но немного кривую, потому что именно на этой занавеске мать несколько лет назад учила ее строчить на ножном, ужасно дефицитном трофейном «зингере», и Галочка все не могла взять в толк, уложить в маленькой прелестной голове сложную совокупность движений, при которых ноги плавно качали педаль, а руки в совершенно ином, независимом направлении двигали ткань, которую с аппетитным и опасным стрекотанием дырявила быстрая и ослепительная иголка. А потом все вдруг наладилось, встало на свои места, включая блестящую круглую шпульку, и мама с удовольствием сказала — молодец, доча, вот выйдешь замуж, будешь всю семью обшивать, погоди, я тебя еще крючком научу плести, будешь домой салфеточки выплетать, а можно и скатерть, если терпения хватит. И Галочка верила, что хватит, потому что мама никогда ей не врала. Взрослые вообще не

врут. Особенно собственным детям. И никогда их не предадут. К сожалению, это, как и плетенная крючком скатерть, тоже оказалось неправдой.

Галина Петровна торопливо поднялась по лестнице, открыла своим ключом дверь и сразу почувствовала, что напрасно надеялась и спешила. Человечек уже побывал здесь — это было ясно по тому, как прятали родители глаза, по яркому аромату валериановых капель, который так и остался испуганно стоять в углу, на кухне, где кто-то — должно быть, отец — шевеля губами, отсчитывал в стопочку: тридцать одна, тридцать две, тридцать три, на, мать, выпей и не реви. Ничего плохого не случилось. Как-никак уважаемый человек, заслуженный, а что в возрасте, так не суп же из него нам всем варить... Галина Петровна сдернула шубку и, не сказав ни слова, ушла к себе. Больше она с родителями не разговаривала — никогда.

На следующий день на работу Галина Петровна не пошла, и больше никогда уже, кстати, не работала, это было уже бог весть какое по счету никогда в ее новой жизни. А вечером приехал Линдт, сухой, нарядный, ароматный, с букетом чайных роз — почти в собственный рост — для будущей тещи, и с целой алкогольной обоймой для будущего тестя, и смущенный Петр Алексеевич Баталов впервые открыл для себя пробку-капельницу и стерильный безжизненный вкус импортной водки, от которой наутро совершенно не трещала голова, несмотря на то что попробовано было, стыдно сказать — и отличной выдержки шотландский виски, ароматом и вкусом не отличимый от лошадиной мочи, и ликер в круглой невиданной бутылке, похожий на разбавленную спиртом советскую сгущенку, да не стесняйся, мать, опрокинь еще рюмашку, это ж сладенькое. Хихикающая от смущения Елизавета Васильевна опрокидывала и, быстро-быстро тряся перед крепко ошпаренным ртом рукой, бежала на кухню — присмотреть за наспех замешанным и засунутым в духовку пирогом.

Галина Петровна сидела за столом, не поднимая глаз, и только иногда легко, едва заметно улыбалась, и никто не подозревал, что улыбка эта — результат совершенно механического, почти произвольного напряжения мышц, как у лягушки, распятой на лабораторном столе и раз за разом пропускающей через себя электрические разряды. Линдт преподнес ей бархатную коробочку, в непроницаемом нутре которой обнаружилось прелестное золотое колечко, очень простое, очень маленькое, с одним-единственным сапфиром — некрупным, но зато такой старинной и чистой воды, что сразу было ясно, что стоит колечко — целое состояние. Галина Петровна примерила его на средний палец — было чуть тесновато, и мать шепотом подсказала: на безымянный. Галина Петровна всхлипнула и выскочила из-за стола. Линдт проводил ее жадными, жалкими глазами и, откашлявшись, сказал все, что было положено сказать родителям будущей жены, — и про руку, и про сердце, и про счастье вашей дочери.

Учитывая возраст и положение жениха, шумихи решено было избежать, поэтому ровно через неделю Галина Петровна по всеобщему молчаливому одобрению просто переехала к Линдту. Маленький деревянный чемодан со смешным девичьим барахлишком нес за ней Николаич, мигом ставший в родительском доме таким же незаменимым и своим, как и в доме самого Линдта.

Наутро, выйдя из спальни, растрепанная, с остановившимися глазами, Галина Петровна увидела на столе свой паспорт — новый, скрипучий, красный, с чуть смазанным штампом о законной регистрации брака и свеженькой фамилией. Галина Петровна Линдт — прочитала она на первой странице и вдруг засмеялась. Они все у нее отняли. Имя, и свадьбу, и фату, и праздничный винегрет, и первый шажок первенца, и последний вздох любимого, совпавший с ее собственным последним вздохом. Всё. Всю ее жизнь. У Галины Петровны больше ничего не было.

Первые несколько недель своего неожиданного и подневольного супружества Галина Петровна провела в странном, болезненном оцепении, и хотя вся ее последующая жизнь с Линдтом мало чем отличалась от этих дней — и по числу супружеских ласк, и по

нежности с его стороны, и по отвращению — с ее, именно медовый месяц оказался самым невыносимым. Нечесаная, в измятой ночной сорочке, она часами слонялась по гулкой и практически пустой квартире (обжить пять ненужных комнат Линдту было недосуг, а ей самой — уж тем более), время от времени утыкаясь то в окно, то в книжную грудку, то в стол, будто механическая игрушка, у которой кончился завод. Вздрагивала от каждого шороха, как настоящая клиническая невротичка. Ждала.

Линдт, который все сильнее и сильнее увязал в молодой жене, откровенно манкировал и работой, и научными изысканиями и норовил поехать в институт попозже, заскочить хоть в обеденный перерыв и вернуться домой как можно раньше, поэтому основным занятием Галины Петровны было прислушиваться к входной двери — не щелкнет ли язычок английского замка, нет, слава богу, показалось. На этот раз пронесло. Но Линдт все равно приезжал — как она ни надеялась, веселый, ужасный, живой, он был сразу всюду — раскладывал на столе вкусности, шуршал пакетами, кряхтя, сбрасывал в прихожей махонькие, страшные, как у гнома, ботиночки, так же кряхтя, лез сразу двумя руками под ее сорочку, трогал — сначала медленно, сосредоточенно, потом все больше и больше входя в раж. Галину Петровну от отвращения мгновенно всю прошибало испариной, и от гладкого аромата ее пота он шалел еще больше. Дотерпеть до спальни Линдту удавалось нечасто, так что квартира была словно в пятнах мерзкой слизи, и, даже оставшись ненадолго одна, Галина Петровна не могла найти себе места среди этих невидимых следов — вот тут было, и вот тут, и вот тут он меня тоже. И в спальне, конечно. Огромная кровать. Каждый день. Утром и вечером. Иногда даже ночью, и это было хуже всего, потому что она не успевала подготовиться, собраться, как попадала в анфиладу кошмаров, которые переходили один в другой, и она не могла не то что проснуться — даже закричать. От любого прикосновения Линдта Галина Петровна на мгновение цепенела, как гусеница, а потом, как гусеница же, обмякала, но вместо того, чтобы умереть, становилась особенно податливой, шелковой, мягкой, и Линдт, простодушно воспринимавший это как стыдливое согласие, принимался усердствовать еще больше. Ни для одной женщины он так не старался. Ни в жизни, ни в постели. Ни для одной — никогда. Он думал — этого вполне достаточно, чтобы счастливы были оба. Галина Петровна ведь слова ни разу не сказала, ни разу не попыталась его оттолкнуть. Жалкое оправдание, конечно. Когда Линдт это понял, изменить уже было нельзя ничего. Или почти ничего.

Увы, его гениальность не распространялась на простые, едва заметные законы ежедневной человеческой жизни. Он слишком долго жил один и слишком долго наблюдал только за парадной стороной счастливейшего супружества Чалдоновых, чтобы повторить такое же чудо у себя дома. К тому же Галина Петровна не просто боялась мужа и не просто его ненавидела. Она не выносила Линдта так, как некоторые не выносят змей, тараканов или даже вовсе невиннейшие вещи вроде голых полупрозрачных птенцов, высунувших из гнезда скрипучие зияющие жерла. Это была линдтофобия чистой воды. Тягучие головные боли, потеря аппетита, тошнота, потливость, произвольные судороги, которые ликующий Линдт принимал за спазмы совершенно иного рода. Страх. Нет, даже так — СТРАХ.

Линдт ничего не замечал. Фейгеле моя, бормотал он, засыпая и сам дивясь неизвестно откуда выплывшему идишу — видимо, все-таки запас самой иступленной нежности закладывается в нас еще во младенчестве, и язык этой нежности всегда — материнский. Фейгеле. Птичка моя. Галина Петровна бесшумно вставала с постели, плелась в ванную комнату и мылась, мылась, мылась, пока кожа на пальцах не становилась белесой, сморщенной, как у утопленницы, горячая вода колыхалась, плыли по ней рыжеватые вьющиеся пряди, прикрывая намученные, натерзанные соски, болезненно вспухший от академических усердий срам. Вот именно — срам. Нельзя было подобрать слова точнее.

Когда энская зима чуть тронулась, ослабела, замаслилась по краям, предчувствуя весну, Линдт свозил молодую жену на могилу Маруси. За городом было пронзительно холодно, бритвенный ветер, присвистывая, как шпана сквозь дрянные передние зубы, стегал Галину Петровну по лицу, она куталась в старую свою девичью шубку (нового, от мужа, она не надевала ничего, даже в пакеты не заглядывала), смотрела, как Линдт возится у невидимого под сугробами холмика, утапывая снег и не замечая, что наступает на две другие могилы — какого-то угрюмого деда и ребеночка, от которого даже фотографии не осталось — лишь серый заиндевельный камень, на котором Галина Петровна смогла прочесть только имя Славик и две даты, строго обрезавшие с двух сторон маленькую жизнь. Родня, наверно, равнодушно подумала Галина Петровна, и глаза у нее были такие же серые и заиндевельные. Линдт отогрел ладонями фарфоровое Марусино лицо, пробормотал, стыдясь и стараясь, чтобы никто не услышал, — вот, милая, наконец-то привел тебе жену. Ты всегда мечтала, помнишь? Маруся смеялась одними глазами, легкие брови, легкие волосы, уложенные просто и высоко, в ушах — крошечные жемчужины. Его жемчужины. Чалдонов сказал — в них и похоронили.

Линдт еще раз погладил уже оттаявший могильный овал. Галина Петровна шмыгнула носом и оглянулась на ворчащую в отдалении «Волгу», в которой кемарил, разомлев в тепле, водитель, способный, как любой опытный персональщик, мгновенно заснуть хоть в эпицентре ядерного взрыва — лишь бы хозяин вышел из машины. Поедем, заторопился Линдт, ты замерзла совсем. Он попробовал дотронуться до ее щеки, Галина Петровна непроизвольно дернулась и торопливо отвернулась. Ничего, бормотал, Линдт, идя за женой по кладбищенской тропинке и стараясь не наступать на ее маленькие, круглые, до слез обаятельные следы. Ничего, все еще наладится, будет день, и будет пища. Маруся всегда так говорила. Но ничего не налаживалось. И щека Галины Петровны под его пальцами была холоднее фарфоровой фотографии мертвой Маруси.

Через несколько месяцев морок слегка рассеялся, и Галина Петровна стала понемногу приспосабливаться, как приспосабливаются люди даже к концлагерям и баракам, к ежедневным — с восьми до одиннадцати — пыткам, к подъему по гудку, к нищенскому авансу, к старости, к тому, что все (вообще — все) закончится тем, чем и должно закончиться, — смертью. Конечно, это была не жизнь, а среда обитания. Но ведь и в тюрьме тоже люди живут. А Галина Петровна, по крайней мере, была сыта, обута и одета. Она все еще по большей части дичилась, молчала и никуда не выходила из дома. С родителями она не говорила даже по телефону, молча отходила в сторону, совала трубку недоумевающему Линдту, который честно отправлял все нехитрые обязанности зятя, пока Галина Петровна не вступила наконец в полную свою силу и не перекрыла родителям даже эту крошечную живительную струйку. Но это было потом, очень потом. Пока же Галина Петровна, медленно, слабо, как после тифа, училась прежде простым и даже привычным вещам — причесываться, ежедневно чистить зубы, вовремя есть, включать иногда радиоточку, чтобы послушать что-нибудь умиротворяющее про удои и накос. Она даже как-то отгладила блузку, с удивлением обнаружив, что костяные пуговички еле застегнулись на груди.

За окном прыгали совсем уже весенние синие капли и отошавшие за зиму, но полные оглушительного ора воробьи. Апрельское небо едва помещалось в распахнутую форточку, во дворе нерасторопная нянька поспешала за упитанным ведомственным дитятей, который вознамерился собственноручно измерить новенькую, с иголочки, лужу. Бумс! Нянька растянулась во всю немалую длину, и дитяте, злорадно хохоча, тотчас вбежал в свою лужу, вздымая ледяные волны, словно маленькая кургузая баржа, груженная килограммами радости, свежей рыночной вырезки и теплого молока. Стукнула дверь, и Галина Петровна впервые не вздрогнула, не сжалась, а обернулась, все еще ощущая, как тает на отвыкших губах мягкая, сливочная на вкус улыбка. Но это был не Линдт. Хуже. На

пороге, прижимая к груди какую-то папку, стоял Николаич, который с той давней, приснопамятной встречи, как опытный царедворец, ни разу не позволил себе остаться с Галиной Петровной наедине. Оба и словом не перемолвились о том, о чем могли бы, хотя и не хотели поговорить.

Галина Петровна перестала улыбаться и торопливо вышла из комнаты. Николаич проводил ее угрюмым взглядом. Ему, старому бобылю, хватило секунды, чтобы понять то, что Галина Петровна осознала спустя долгие недели, а Линдт и вовсе узнал, как и положено, самый последний. Этот свет, и прежде нежный, а теперь загустевший до зримой, почти медовой плотности. Эти темные сладкие тени под глазами и в углах чуть приподнятых губ. Едва сошедшаяся на груди простенькая блузка, которую распирала изнутри сила невидимая, но явная и похожая на ту, что взламывала летом даже многосантиметровый асфальт, чтобы выпустить на волю шелковистую, упругую, круглую грибную макушку.

Галина Петровна была беременна.

Все лето сорок девятого года Линдт провел в Семипалатинской области, в пыльном коконе повышенной нервозности, секретности и жары. Народу собралась тьма — ждали Берия, Самого, конца света, казней египетских, расстрелов на месте. Никто, включая Курчатова, не верил, что чертова РДС-1 взорвется, — американцам со своей пришлось покорячиться немало, потому, на всякий случай, готовились к худшему, хотя, с точки зрения Линдта, худшим был как раз сам ядерный взрыв. Он-то как раз был уверен, что взорвется, на все сто — чистая математика, коллеги, можете даже не сомневаться. Это в физике полно сюрпризов, в математике все точно — единственная вещь, на которую можно положиться вполне.

С 27 августа никто не спал — просто не могли. Сам не приехал, зато все-таки прибыл Берия — очень полный, но с неожиданно легкими, почти изящными манерами, свойственными некоторым особенно удачливым толстякам. Линдту он понравился, вполне, впрочем, ожидаемо — Берия прекрасно слушал, был деловит, умен и обаятелен, как и положено хорошему исполнителю. Он и вел себя как исполнитель — не заносился, проблемы по большей части решал, а не создавал и старательно делал вид, будто он тут так — в сторонке, в тени, а главные здесь вы, товарищи ученые.

— Главные здесь — товарищи конструкторы, — поправил Линдт, — на бумаге все правильно, так что если они не налажали, все пройдет наилучшим образом.

— Думаете, Лазарь Иосифович? — вежливо спросил Берия, в сотый раз вытирая лоб и шею носовым платком, страдал он от казахстанской жары просто невероятно.

— Не думаю, а знаю, разница существенная, — проворчал Линдт. — Пойдемте лучше прогуляемся, а, товарищ министр? Завтра всего этого уже не будет, а жаль. — Линдт кивнул на Опытное поле, громадное, сотни в три квадратных километров, старательно застроенное железнодорожными мостами, домами, дорогами. Город, созданный только для того, чтобы умереть. Как и любой другой город, впрочем. Смеркалось, ревели обреченные верблюды и еще какое-то несчастное скотье, которое без всякой математики чувствовало, что эта ночь — последняя. Перекрикивались в отдалении люди, бодро пели марширующие солдатики, вкусным мясным дымком тянуло от полевых кухонь.

— А почему вы отказались от научного руководства испытаниями? — вдруг спросил Берия.

— Ой, увольте, Лаврентий Павлович! Бегать, бумажки подписывать, медную проволоку по складам выбивать. Такая скука. Даже Капица, на что дурак — и тот отказался. Пусть лучше Курчатов, он у нас молодой, честлюбивый.

— Вы всего на два года старше, Лазарь Иосифович, — резонно заметил Берия. Пытаясь угнаться за легким Линдтом, он отчаянно пыхтел. — Фу, да не бегите так, у меня сердце выпрыгнет.

— Не выпрыгнет, — пообещал Линдт, сбавляя шаг и приноравливаясь к забавному толстяку. Такой умильный. Что все перед ним так трясутся, честное слово? — Не скажите, два года — большая разница. Я уже над учебником Краевича потел, а он еще мамкину титьку сосал. Пусть теперь отрабатывает.

Оба засмеялись — немножко веселее, чем полагалось в такой ситуации, в такой компании, в таком месте.

На следующее утро, 29 августа 1949 года, в семь часов утра первое испытание советской атомной бомбы успешно состоялось. Маруся была уже три дня мертва, Линдту просто не доложили об этом. Не рискнули отвлекать. Поэтому он прыгал вместе со всеми в бункере, обнимался, радовался, что так здорово жажнуло. Даже, кажется, орал. И ничего не почувствовал — ничего. Ни единой мысли, ни малейшего предчувствия. Арифмометр. Тупая счетная скотина.

Линдт вернулся в Энск только к концу сентября — цветы на Марусиной могиле уже почти стали сочной гнилью, тленом, сеял мелкий ледяной дождь, то и дело срываясь в крупку, сухо секущую по щекам. Чалдонов, сразу постаревший на тысячи лет, сгорбленный, тряся головой, все пытался поправить оплывающий глиняный могильный бочок, и руки его дрожали так же мелко, жалко.

— Оставьте, Сергей Александрович, — не выдержал Линдт, — я сам.

Глина, скользкая, жирная, навеки забившая прелестный Марусин рот.

— И меня чтоб здесь вот, рядом, Лазарь, — с трудом выговорил Чалдонов и не выдержал, снова зарыдал, ужасно растягивая седые, колючие, старые щеки. Умер он только через четыре года — в пятьдесят втором, и Линдт, не оставивший медленно сползавшего в слабоумие старика до последней минуты, никогда даже себе не признался, что презирал и ненавидел его за это. Чалдонов обязан был умереть сразу за ней, вместе с ней, вместо нее. Они оба были обязаны.

Впрочем, у Линдта был шанс — отличный, почти стопроцентный, и, видит Бог, он не собирался от него отказываться. Разговор с Берией накануне Большого Взрыва, показавшийся Линдту таким незначительным, оказывается, не был обычной светской болтовней нервничающего сановника и малахольного ученого. Это стало ясно после первого же звонка из Москвы — в ноябре, спустя несколько месяцев после Марусиной смерти. Звонил какой-то профессор из Академии наук, якобы знакомец, но такой седьмой воды, что Линдт так и не связал его блеющий голосок хоть с каким-нибудь подобием физиономии. Звонок был контрольно-предупредительным, услужливому олуху велено было доложить, что Линдтом недовольны. Он был не идиот и прекрасно знал об этом раньше. Недовольны были не им самим, конечно, — кто бы вообще посмел, а тем, что он упорно не возвращался в Москву, хотя, между прочим... Линдт невежливо бросил трубку.

Вторым позвонил Иоффе. Линдт, в глубине души навсегда оставшийся тощим беспризорником, а потому мало кого уважавший как в науке, так и в жизни, для Иоффе делал исключение, больше, правда, похожее на грамматическую ошибку. Иоффе был Учитель — не в божественном, а в самом простом, педагогическом смысле этого слова, и это единственный повод написать его с большой буквы. Иоффе не лень было возиться с маленькими и слабыми, сирыми и убогими, и было в этом что-то очень еврейское. И очень Марусино. К тому же Иоффе был отменный теоретик, и Линдт прекрасно помнил несколько счастливейших минут, которые он провел еще в 1922 году над работой Иоффе по реальной прочности кристаллов. Поэтому трубку он не швырнул, а напротив, долго и с удовольствием говорил со стариком, над которым тоже уже сгущались тучи свежееорганизованной борьбы с космополитизмом, которые очень скоро пролились вполне

реальным серным огнем. Иоффе сняли с поста директора Физико-технического института АН СССР, который он еще в 1921 году сам, своими руками, вырастил из маленького отдела. Линдта снова не тронули, как не трогали никогда. Видно, надо пару раз прийти на ученый совет без штанов, раз в лицо не узнают, съязвил он, кажется, даже слегка обиженный очередным пристрастным невниманием властей.

Но тогда, в начале зимы сорок девятого, Иоффе звонил не для того, чтобы жаловаться — совсем наоборот, Лазарь Иосифович, я прошу, настоятельно прошу вас вернуться в Москву, и не просто так! Линдт внимательно выслушал оглашенный список должностей и окладов (совершенно неинтересный) и весьма заманчивый перечень запланированных на ближайшее время научных задач. Все это очень и очень соблазнительно, Абрам Федорович, и я польщен, что вы даже взяли на себя труд врать, будто не справитесь без меня. Но, честное слово, зачем мне для всего этого тащиться в Москву? Я прекрасно поработаю и тут — почта, слава богу, у нас еще ходит. Не как при царе, конечно, но справляется. А будет что невероятно срочное — можно ведь и фельдъегеря какого-нибудь снарядить.

Иоффе покряхтел, но, не доверяя телефонным проводам, предупреждать об опасности не рискнул. Только попросил на прощание — берегите себя, Лазарь Иосифович, и Линдт послушался, весь вечер вдумчиво собирал старый брезентовый вещмешок: две пары белья, кружка, ложка, шерстяные носки, блокноты, Марусина фотография. Набор вышел привычный — с тем же барахлом, уложенным в тот же вещмешок, он обычно мотался по полигонным испытаниям. Линдт вынул из гардероба брюки поплоче, взвесил их на руке и вдруг засмеялся. Хуюшки вам. Не дождетесь. Он быстро переоделся в лучший свой, специально под заседания и награждения сшитый костюм, радуясь тому, как хорошо и прохладно обнимает плечи белоснежная сорочка, как ловко уселся на положенное место узел нарядного галстука. Марусин снимок он переложил во внутренний карман пиджака, туда же отправил документы и пинком загнал ненужный вещмешок под кровать.

В три часа ночи, когда в квартиру позвонили, он открыл дверь уже одетый, в отличном, тоже на заказ сшитом пальто с воротником из седоватой каракульчи, почти неотличимой от его собственных, гладких, тоже чуть тронутых инеем завитков. Строгий аромат трофейного одеколona *Kölnisch Juchten* (геометрический флакон зеленого стекла, красная крышка, белая этикетка) стоял в прихожей вместе с Линдтом, будто адъютант его превосходительства, и запахи влажной замши, подкопченного мяса, сладкого талька и еще чего-то неуловимого, щегольского, офицерского, рифмовались с пришедшими, с их скрипучими портупелями, с идеально выбритыми щеками самого Линдта, с его свежим бельем, с самой ситуацией. Не зря «Кельнскую юфть» обожали летчики люфтваффе, не зря Линдт хранил этот бог весть какими кровавыми путями добравшийся до него флакон.

Угрюмый, похожий на бревенчатый сортир майор при виде такого парадного барина от неожиданности козырнул, хотя вообще-то собирался позвонить еще раз, а потом отколотить дверь привычными и к молоту, и к серпу кулаками. За спиной у него маялись не выспавшиеся солдатики.

— Обыск? — учтиво пригласил гостей Линдт, слегка поклонившись.

— Никак нет, — пробурчал майор, недовольный, как ребенок, которому вдруг начали перевирать известную наизусть и оттого особенно любимую сказку. — Приказано доставить.

— Так доставляйте, — распорядился Линдт, натягивая мягкие кожаные перчатки, еще до войны присланные из Лондона сэром Джеймсом Чедвиком, нобелевским лауреатом по физике за 1935 год. И первым легко, почти вприпрыжку, поспешил вниз по лестнице.

За всю долгую ночную дорогу Линдт не проронил ни слова — а зачем? Когда воронок, покрутившись по улицам, выехал за город, сам собой отменился допрос, а когда замигали впереди огоньки на вышках военного аэродрома, отпал и расстрел без суда и следствия, не радовавший Линдта только потому, что в начале декабря под Энском было не сыскать

утонувшего в черемухе набоковского оврага, без которого русскому человеку, будь он хоть трижды еврей, и расстрел — не расстрел. В ледяном рычащем и трясущемся самолете говорить тоже было не о чем, да и не с кем. Раз летим — значит, в Москву. Простая логика. Разум делает человека бесстрашным. Зато чувства отлично убивают.

Линдт вспомнил Марусю, движение, которым она подбирала с шеи легкие волосы, невнятно и весело, сквозь стиснутые в зубах шпильки, выговаривая ему за опоздание и очередные подарки. Ну что вы, Лесик, опять обвешанный пакетами — точно мародер, честное слово! И что-то я не слышала, чтобы по карточкам выдавали семгу. На дворе же двадцать второй год! Семга — давно официально признанный пережиток царского режима. Где вы ее взяли? Украл, Мария Никитична. Не наговаривайте на себя, Лесик, вы хороший мальчик, у вас это на лбу написано. Линдт смущенно развел руками — ничего не поделаешь, действительно украл.

На самом деле семгу он выменял у дурака-нэпмана, толстого нервного лавочника, всучив ему взамен чертеж вечного двигателя, наспех нацарапанный на бумажке. Вот, соберете из любого примуса. Тут ребенок справится. И без заправки будет электричество давать? И не остановится? — усомнился лавочник, смутно догадываясь, что его жестоко обманывают, но не понимая — как именно. До Страшного суда не остановится, а там — как Господь попустит, пообещал Линдт, укладывая в пакет жирную рыбину. Лавочник, все еще сомневаясь, проводил семгу тоскующими глазами. Если поломается, я там домашний адрес написал, приходите — почию, заверил на прощание Линдт. Адрес он оставил и правда домашний, но не свой — а Тихона Ивановича Юдина, профессора психиатрии Московского института дефективного ребенка. Милейший, между прочим, был человек, старый друг Чалдоновых, умница, интеллигент. Таких больше не делают — а зря.

Маруся усмирила шпилькой последний завиток и засмеялась. «Идите, Лесик, я вас поцелую», — сказала она нежно, и Линдт, сорокадевятилетний, двадцатидвухлетний, почувствовал, как бешено колотится в горле огромное, никуда не помещающееся сердце. «Умерла!» — вдруг громко и с упреком сказал Чалдонов, и Линдт, вздрогнув, проснулся. Самолет, завывая, заходил на посадку, в непроглядной черноте на горизонте уже мелькали, наплывая и увеличиваясь, огни. Линдт вытер слезы сухой, неживой ладонью. Это была Москва.

На аэродроме их ждал трофейный «мерседес» — новая забава водителей из ГОНа, гаража особого назначения. Безмолвный вестовой сдал Линдта еще одному такому же молчаливому голему, хлопнули дверцы, замелькали беспросветные, безлюдные улицы, было едва-едва четыре утра, хотя вылетели они из Энска тоже в четыре и провели в воздухе минимум пять часов — изящная физическая шутка, результат разницы во времени, помноженной на скромную скорость тогдашних летательных аппаратов. Линдт сильно потер заросшие щетиной щеки — все закрыто, не побреешься, напрасно он вообще устроил этот карнавал с переодеваниями. Он не был в Москве с сорок первого года и вдруг понял, что совершенно не соскучился. Без Маруси все потеряло свой смысл.

«Мерседес» остановился во Вспольном переулке у изящного особняка работы какого-то явно недурного архитектора. Линдт покопался в памяти и отшвырнул выплывшее откуда-то имя Эрихсон — а зря. Молодой подтянутый мужчина в прекрасном штатском костюме и с прекрасной, почти уланской выправкой проводил его в кабинет — лампа, стол, книжные шкафы, диван, тяжелые шторы. Линдт опустился в кресло и только сейчас понял, насколько устал.

Дверь тихо открылась, и кто-то вошел.

— Здравствуйте, Лаврентий Павлович, — сказал Линдт, не открывая глаз. — Если пересчитать горючку, которую вы на меня истратили, и все эти... — Линдт покрутил рукой в воздухе, подбирая слово. — ...И все эти вооруженные и молчаливые жопо-часы, то выйдет не одна тысяча государственных рублей. Между тем патент на изобретение



телефона был получен Александром Беллом еще в 1876 году, а сама идея передачи человеческого голоса на расстояние...

— Мне многие говорили, Лазарь Иосифович, что вы сумасшедший, — перебил его Берия. — Но даже сумасшедшие чего-нибудь боятся. Поверьте, я знаю, что говорю.

Линдт открыл один глаз, потом второй и зевнул.

— Ужасно спать хочется, — пожаловался он. Берия, свежий, будто не декабрьский рассвет стоял за окном, а июльский полдень, в отглаженной белой рубашке навыпуск, смотрел на него выжидающе. Линдт с огорчением подумал, что его рубашка, к сожалению, уже далека от такого же ослепительного совершенства. И вообще — хорошо бы в душ.

— Конечно, я тоже боюсь, Лаврентий Павлович, — признался он. — И конечно, я не сумасшедший.

— Тогда почему вы отказываетесь вернуться в Москву? Это глупо, в конце концов. Мы готовы создать все условия, тут же все-таки столица — передовой край науки, так сказать.

Линдт пожал плечами.

— Наука — понятие не географическое, — сказал он. — Передовых краев у нее нет. Впрочем, и не передовых тоже. Все ограничено пределами черепной коробки. — Он постучал себя пальцем по лбу и сам засмеялся, настолько вышло звонко. Как у полудурка-второгодника.

— И все-таки — почему?

— У меня в Энске — любимая женщина, — просто объяснил Линдт.

— Вранье! — Берия даже покраснел от гнева и сразу перестал быть уютным. — Вранье! У вас в Энске куча бессмысленного бабья, половину которого подложил под вас лично я!

— Премного благодарствую, — откликнулся Линдт. — У вас отличный вкус, хотя я, признаться, не самый капризный потребитель. Ем, что дают, и не жалею. Но только я ведь не про бабье вам говорю. Я про любимую женщину. Она в Энске. И я от нее не уеду.

— Так возьмите ее с собой в Москву, какие проблемы! — Берия успокоился так же мгновенно, как взорвался.

— Не могу, — тихо ответил Линдт.

— Замужем? — деловито уточнил Берия. — Но это же поправимо.

— Это непоправимо, Лаврентий Павлович, — еще тише сказал Линдт. — Она непоправимо замужем, понимаете? И к тому же умерла.

Линдт встал, лихорадочно обвел глазами кабинет.

— Где тут у вас сортир? — спросил он отрывисто, с ужасом понимая, что сейчас расплачется, разревется, визжа и колотя кулаками ковер, потому что это было несправедливо, черт подери, несправедливо, он отдал этим сволочам всю свою жизнь, досуха выжал свои мозги, придумал им чертову бомбу, да не одну — миллион бомб, снарядов, ракет, он херову тучу людей угробил ради их несчастного коммунизма. И они не могли воскресить Марусю. Не могли, суки. Если б они просто не хотели, он бы заставил. Но они не могли. Никто не мог. Совсем. Почему я не стал врачом? Биологом? Я бы что-нибудь наверняка придумал. В конце концов, если апоптоз клетки запрограммирован биологически, должны быть способы и перезапустить процесс, или...

— По коридору налево, — быстро подсказал Берия. — И не волнуйтесь так, Лазарь Иосифович. Вот увидите, мы что-нибудь придумаем.

Они ничего не придумали, конечно, зато отлично позавтракали, с хорошим кофе и горячими булочками, от которых Берия с явной грустью отказался, похлопав себя по внушительному животу.

— Врачи запретили, — недовольно сказал он. — Вот кто у нас в стране настоящие вредители и палачи!

Линдт засмеялся, не подозревая, что это не шутка — совсем, совсем нет.

К вечеру он тем же самолетом вернулся в Энкс, где его не успели даже хватиться. Больше Линдта никто не беспокоил — ни звонками, ни уговорами, напротив — он впервые в полном объеме ощутил, как легко и приятно катиться в комфортабельном вагоне, который тянет вперед хоть и бездушная, тупая, но такая упоительно могучая машина, как государство. Ему выделили целый институт, проглотив наглое заявление, что административными делами пусть занимаются идиоты, и тут же доставили и самого идиота, профессионального советского директора, патологически, почти нервно вороватого, но зато способного блистательно, из воздуха, добыть любую необходимую институту вещь — будь то туалетная бумага или самый сложный, только что выпущенный где-нибудь в Нью-Йорке или Мюнхене прибор. Хотя с туалетной бумагой было, конечно, не в пример сложнее.

Жизнь налаживалась, неожиданно становясь все буржуазнее, будто Линдт жил не в СССР, а где-нибудь под Стокгольмом, в тихом домике, личным другом короля. Издания, переиздания, новые разработки, премии — чуть ли не последняя из Сталинских досталась Линдту, силком практически врученная пятикомнатная квартира, хотя он просил отдать ему домик Чалдоновых, к чему эти хоромы, все равно я мотаюсь к старику по два раза в день? В верхах щелкнули каблуками, и у Чалдонова мгновенно появилась сиделка, круглосуточная, похожая на гориллу баба, управлявшая свои милосердные функции со сноровкой и сердечностью подключенного к розетке автомата. Чалдонову, погруженному в тихое, совсем обезумившее его горе, было все равно, а Линдт почти откровенно перевел дух — без Маруси Чалдонов, беспомощный, слюнявый, неопрятный, стал ему совершенно невыносим.

Были в новом сановном положении и свои сюрпризы. Вместе с громадной квартирой, которая Линдту откровенно докучала, появился Николаич. Именно появился — как домовый, нет, даже не появился — завелся, словно левенгуковские мыши в старых тряпках. Просто в один прекрасный день Линдт, приехав из своего института, обнаружил, что все потолки в квартире выбелены и среди свежего, влажного аромата известки возится, собирая с пола заляпанные газеты, коренастый паренек в стареньком солдатском х/б — босой, круглоголовый и очень основательный.

— Вы не подумайте, — доложил он Линдту вместо «здравствуйте», — я все, что с фотографиями Иосифа Виссарионовича, заранее отложил в стопочку, чтобы не замарать, так что никаких эксцессов не предвидится. — Слово «эксцесс» он произнес со старательной важностью малыша, совсем недавно выучившего очень длинное и сложное стихотворение. Линдт усмехнулся.

— А что — могут быть эксцессы? — поинтересовался он.

— Не за такое расстреливали, товарищ Линдт, — честно признался паренек, так что сразу стало ясно, что ему приходилось принимать непосредственное участие в этом безобразии, а что поделаешь? Служба есть служба! Он отер руки о крепкую задницу, встал во фронт и, щелкнув босыми грубыми пятками, отрапортовался — гвардии сержант Самохов Василий Николаевич. Глаза у паренька были твердые, как Марусины соленые огурцы, — и точно того же аппетитного зеленовато-бутылочного цвета. Линдту он понравился сразу.

На самом деле гвардейского в Василии Николаевиче Самохове было немного — разве что наглость да твердолобость, без которой почти недостижим ни один, даже самый завалывающий армейский подвиг. К тому же в кадровой армии Николаич не служил и даже толком не воевал, если не считать года, который он промаялся в СМЕРШе — в бериевском, разумеется, СМЕРШе, а не в абакумовском, их многие путали, а ведь был еще и кузнецовский СМЕРШ, тот, что при Управлении контрразведки наркомата военно-

морского флота, но во флот Николаич сроду бы не пошел. Ни широченными клешами бы не заманили, ни кортиками, ни сытным, хоть лопни, пайком. Боялся потому что сержант Самохов воды — просто до потных яиц боялся. А еще — пуще воды — боялся он не выбиться в люди.

Родом Николаич был из сельца под названием Елбань — и все, что вы могли вообразить, услышав этот звучный топоним, меркнет перед действительностью, в которой довелось родиться нашему герою — без ума, без таланта, без совести, без стыда, даже без мамки, которая, подарив Николаичу ненужную ему совершенно жизнь, померла, не оставив по себе даже воспоминаний. Не от болезни, нет — от беспробудного пьянства. В Елбани пили все, а те, кто не мог, отсиживались по дворам — село было немаленькое, лютное, со злющими бабами, злющими псами и злющими ветрами, которые круглый год с воем прочесывали улицы, расталкивая зазевавшихся ходяков и подшвыривая в небо мелкую пыльную сечку. Но семейство Самоховых — большое и бестолковое, слыло алкашами и изгоями даже в Елбани, и Николаич за первые пятнадцать лет жизни хлебнул столько, что Диккенсу с Достоевским хватило бы не на одну серию романов со зверскими рожами на дешевых тонких обложках.

Когда-то — может, до смерти мамки, а может, еще раньше — Самоховы, вероятно, знавали лучшие времена, от которых осталась только изба, срубленная неизвестно кем, но крепко. Должно быть, расстарался кто-то из дедов, но семейных летописей Самоховы давно не вели, едва осознавая в самогонном тумане настоящее время да себя самих. Отец Николаича пил много лет подряд, практически не приходя в сознание, и, вероятно, сильно изумил бы своей печенью любого врача, но охотников изумляться, как и врачей, в Елбани не находилось. Из двенадцати сделанных Самоховым-старшим детей (сплошь чистая порода — одни сыновья) младенчество удалось пережить только семерым, и старшие уже были родному папке достойные соперники и собутыльники. Николаич был младшим. Самым младшим. Тысяча девятьсот двадцать шестого года рождения.

Он вырос в нищете — не в честной протестантской бедности, где все выбиваются из сил ради трудовой копейки, но все равно находят и мужество, и время, чтобы выскоблить добела пол на кухне и начистить кирпичной крошкой медный кофейник, а именно в нищете — жуткой, грязной, липкой, безнадежной русской нищете, которая так любит визгливо сетовать на Бога и так же визгливо на Него уповать, выставляя, словно напоказ, драные локти и такую же драную, никчемную душу. За вареную картофелину или пару валенок приходилось воевать с братьевьями до крови, совсем по Дарвину и с дарвиновским же успехом. Но Николаич, переболевший всей дрянью, которой только может переболеть ребенок в аду, золотушный, тощий, с вечной соплей, наплывшей на верхнюю губу, оказался мутантом такой удивительной силы, что выжил. Ну и советская власть помогла маленько — чего уж. Советскую власть Николаич уважал — и было за что. В школе, куда его и записала, и отвела елбанская учительница, давно отвыкшая и сочувствовать, и удивляться, но все еще по инерции выполняющая свой гражданский долг, было тепло и бесплатно давали пожрать. А если поколешь дров или помоешь полы рыжей прокисшей тряпкой, то можно было и заночевать, заручившись разрешением сторожа, набухшего от самодельной браги, но смиренного, в отличие от отца, который, ненадолго трезвея, лупил детей с бессмысленной яростью стихийного бедствия.

А еще в школе была фотография товарища Сталина, и, глядя на его пушистые усы, ясный лоб и ласковые глаза с веселыми лучиками внутри, доходяга Васька Самохов чувствовал то же самое, что испытывают утомленные пилигримы, добредшие наконец до желанной святыни. От товарища Сталина был свет, и сила, и ласка, и любовь, которой Николаич сроду не знал в своей жизни, но любовь-то от этого не девалась никуда, и Николаич, будто стрелка на компасе, которая тоже вряд ли хоть что-то слышала про магнитный полюс, весь дрожа, тянулся к этой любви, и верил в нее, и жил фактически только ею. Товарищ Сталин все знал — Николаич в этом не сомневался, и про него,

маленького елбанского засранца, тоже знал и болел за него всем сердцем, так что Николаич чувствовал эту заботу и боль за тысячи километров и даже порой стыдился, что Иосиф Виссарионыч вот снова не спит, думает о нем, а позвонить не может — потому что некому в Елбани звонить, сроду тут не было никакой связи, и даже телеграммы сюда не носят, да и кому телеграфировать? Кто их помнит? Кому они, кроме товарища Сталина, нужны?

Ради товарища Сталина Николаич не брал в рот ни капли спиртного, ради него, кряхтя, обливался по утрам колодезной водой, ради него трудил в школе слабенькую беспамятную голову сына и внука деревенского алкаша, ради него с десяти лет херачил в колхозе — копил трудодни, выручал копеечку, надеясь, что когда-нибудь вырвется из проклятой Елбани и приедет в Москву, чтобы товарищ Сталин увидел, что не напрасно болело его огромное доброе сердце и у Васьки Самохова все хорошо и прекрасно. И портки, и галоши, и пиджак, и аттестат в кармане.

Это была любовь, конечно, в самом высоком и чистом ее проявлении — любовь сына к отцу, нет, даже Сына к Отцу, и любовь человека к Богу, которая самая по себе Бог, и свет, и надежда. Родись Николаич лет на пятьсот раньше, мир получил бы великого молитвенника, может, даже мученика или святого, но никто не спрашивает человека о том, какой крест ему сподручней нести. Поэтому младший Самохов до пятнадцати лет жил в своей Елбани, беспаспортный, бесправный, несовершеннолетний, нищий, одинокий, никем, кроме товарища Сталина, не любимый.

А потом его отчаянные бессловесные молитвы были наконец-то услышаны, и началась война.

Ясное дело, добровольцем Николаича не взяли — сочли малолетним человеческим отбросом, не годным даже на то, чтобы умереть за Родину и за Сталина, и он аккуратно, без злобы и обиды, занес это в копилку перенесенных унижений, чтобы потом когда-нибудь со вкусом и не торопясь разбить ее — и всем, всем, всем отплатить сполна. Ловкий и привыкший к примитивному выживанию, он сумел прибиться сперва к одной из солдатских теплушек, потом к набитому теплыми коровами товарняку и через несколько месяцев бесконечных остановок, задержек и пересадок (двигаться приходилось против течения — навстречу многомиллионному потоку, который хлынул в эвакуацию) сошел на перроне Казанского вокзала в Москве — вшивый, повзрослевший, научившийся отлично побираться и еще лучше воровать, но горящий все тем же неутолимым жертвенным огнем. Он приехал защищать товарища Сталина, о чем и сообщил первому же встречному патрулю. Патруль переглянулся и отправил беспаспортного парнишку с дикими глазами напрямик в НКВД.

Это было первое крупное везение в жизни Николаича.

Во второй раз ему повезло, когда он нашел академика Линдта.

В районном отделе НКВД ходоку из Елбани, прямо скажем, обрадовались несильно. Начальник отдела товарищ Ковальчук, красивый рослый хохол, круглоплечий и круглозадый, словно статуя греческого юноши, обряженная зачем-то в синие энкавэдэшные галифе и коверкотовую, индпошива, гимнастерку, буквально с ног сбивался и без Николаича с его высокими устремлениями. В НКВД царил трудноописуемый бардак, связанный отнюдь не с войной, а с очередной административной чехардой. 20 июля 1941 года Указом Президиума Верховного Совета СССР НКВД и НКГБ были объединены в единый НКВД СССР — это при том, что 3 февраля того же 1941 года тот же Президиум того же Верховного Совета принял Указ той же железобетонной силы о разделении НКВД СССР на НКВД СССР и НКГБ СССР. Берия, уступивший было половину царства Меркулову, вновь стал главным — и в связи с этим по всему ведомству шла параноидальная перестановка, которую только усиливали сводки с фронтов и все новые и новые энциклики взвинченного руководства.

Указ об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения. Постановление об организации местной противовоздушной обороны в городах и населенных пунктах РСФСР. Указ об организации борьбы в тылу германских войск — и тыды и тыпы. Это была адская бумажная волокита — причем адская в прямом смысле этого слова, и товарищ Ковальчук только поворачиваться успевал, чтобы угодить всему начальству разом. Уж лучше бы на фронт отправили, сукины дети, чем так — по одной — жилочки вытягивать. Но на фронт Ковальчука, разумеется, не отпускали.

Николаича он расколлот за сорок секунд — благо сразу было ясно, что внутри нет ничего ни опасного, ни плохого. Просто малахольный деревенский парень, пострадавший на окраине мира, может, даже юродивый, хотя, скорее всего, просто очень голодный. В армию его было нельзя, хотя пацан и многословно клялся, что ему уже восемнадцать (врал, причем безнадежно), а постановление СНК СССР «Об устройстве детей, оставшихся без родителей» еще блуждало где-то в аппаратных недрах, ожидая 23 января 1942 года.

Проще всего было, конечно, обратиться к другому приказу, совсем свеженькому, от 17 ноября 1941 года, согласно которому Особому совещанию НКВД СССР выдавалась лицензия на убийство номер один — право выносить меры наказания по делам о контрреволюционных преступлениях и особо опасных преступлениях против порядка управления СССР. Разумеется, вплоть до расстрела. Товарищ Ковальчук мысленно возложил тощего, даже как будто звенящего Николаича на весы Немезиды и, кряхтя, достал из стола газетный сверток. На-ка, сынку, поешь, пропел он бархатистым тенорком, из которого не могла вытравить певучую украинскую ласковость ни Москва, ни чертова служба. Николаич, заурчав, вцепился зубами в ржаную горбушку, накрытую толстым — в палец — шматом домашнего сала. Житомирское, мамка солила, пояснил Ковальчук. Мамка-то у тебя есть? Николаич, не отрываясь от еды, покрутил головой — мамки у него не было, только рваные портки да тень от длинных девчачьих ресниц на обглоданных голодных скулах. Ковальчук по-бабьи вздохнул — такие же ресницы были у его сыночки, малюсенького смешливого хлопчика, которого еще в тридцать шестом за неделю сожрала скарлатина. Жена сразу после похорон уехала к родителям, на Украину, сказала — не могу, Петро, ни тебя видеть, ни твою проклятую Москву. Как будто его кто-то спрашивал — нравится ему Москва или нет? Как будто он вообще мог выбирать.

Николаич проглотил последнее сальное волоконец, облизал пальцы и быстро, как зверек, огляделся.

— Давайте, я вам полы тут помою, — предложил он. — И окно. — Другого способа сказать спасибо Николаич просто не знал. Не научили. Товарищ Ковальчук посмотрел на затоптанный, зашорканный пол, и лицо его прояснело.

— А и помой! — весело согласился он. — И помой. А я до складу. Только смотри, пацан, утекешь — пристрелю.

Николаич не утек. И стал сыном районного отдела НКВД города Москвы. При полном пайке и дармовом обмундировании. День Победы он встретил уже совсем человеком — в звании сержанта при Главном управлении войск по охране тыла действующей Красной армии ГУВВ НКВД. Образованием сержант Самохов по-прежнему не блистал, но и в дураках не ходил, потому товарища Сталина больше любить и охранять вовсе не стремился. Божественная любовь к отцу всех народов сошла с него на нет вместе с юношескими прыщами и голодной худобой. Николаич раздобыл, заматерел, выслужил отличное жалование и научился всем опасным и искусным подковоерным играм, без которых невозможно существование ни в одной крупной иерархической структуре. Несмотря на свои девятнадцать лет, он слыл отличным оперативником — хитрым, цепким, начисто лишенным даже намека на сантименты. Товарища Ковальчука, все-таки

не успевшего увернуться от одного из Указов, к тому времени уж три года как расстреляли.

Николаич его почти не вспоминал.

Линдт, конечно, понимал, что Самохов Василий Николаевич приставлен к нему не в качестве денщика, но, ради бога, почему нет? Толковый и расторопный соглядатай в сто раз лучше какого-нибудь безрукого, но вдохновенного соратника. Хозяйство академика, оказавшись в сноровистых руках Николаича, покатило вперед без скрипа и толчков, будто отлично налаженная и любовно смазанная телега трудолюбивого хуторянина. К тому же Николаич был забавный и даже по-своему трогательный. Линдт чувствовал с ним странное и неясное ему самому родство, которое объяснялось, может быть, внешним сходством так и не рассказанных друг другу судеб, а может, каким-нибудь биохимическим пустяком — особым сочетанием феромонов или совпадающим уровнем окситоцина. Ведь все чувства, которые мы друг к другу испытываем, если вдуматься — всего-навсего активация гуанин-нуклеотида-связанных протеинов, своего рода химическая приязнь сигнальных молекул. Больше ничего.

Единственное, что слегка огорчало Линдта, — это отношение Николаича к Галине Петровне. Ну что ты, право слово, Николаич, что она тебе сделала? — уговаривал он, не замечая, что говорит тем же тоном, которым увещевал бы большую вредничающую собаку, и Николаич, тоже совершенно по-собачьи, отворачивал насуспенную морду, не достаивая ответом. Ревновал. Ну, не хохлись, хороняка, давай выкладывай, что там у нас? Кроватку добыл? Линдт трепал легкой рукой волкодавией загривок, и Николаич, размякая, кивал — ясное дело, добыл. Самую лучшую, из лиственницы, десятерых в ней вынянчить можно, а все сносу не будет.

Да куда мне десятерых, с этим не знаю, что буду делать. Ты тоже думаешь, что сын будет, а, хороняка? Сын, — уверенно отвечал Николаич. Пузо у нее вона как высоко сидит, ровно глобус проглотила, и кожа чистая. Это только девки материну красоту пьют, а от парней бабы всегда хорошеют. Линдт, едва удерживая на лице перекосившуюся волчью ухмылку, вспоминал горячую, чуть солоноватую кожу на беременном животе жены, то, как она закрывала глаза, подчиняясь его нажиму, живой, сильный, влажный жар у нее внутри, и — словно по контрасту — всегда прохладные соски, бледно-розовые, тонкокожие и такие нежные, что их хотелось собирать, едва прикасаясь губами, будто раннюю, слабую, вот-вот готовую осыпаться малину.

Всепонимающий Николаич вздыхал. Скоро уж вернется домой, потерпите. Врачи сказали — в аккурат к концу января родит.

И точно — 31 января 1959 года Галина Петровна родила. Сделала она это, вопреки всеобщим переживаниям, легко, по-кошачьи — от первой мягкой схватки до момента, когда акушерка, ловко держа лилового, будто чернослив, младенца под сморщенный, плоский задик, толстым голосом пропела: «Сы-ы-ынок!», прошло минут тридцать, причем десять из них Галина Петровна ковыляла из курилки. Ребенок показался ей страшеньким, но, слава богу, не настолько омерзительным, как Линдт. Правда, через сутки, когда мальчика впервые принесли кормиться, Галина Петровна устроила медперсоналу полноценную истерику — малейшая попытка сына присосаться к груди вызывала у нее настоящие судороги. Врачи метались, пытаясь исключить невесть откуда взявшуюся эпилепсию, но на самом деле Галине Петровне было просто противно. Успокоилась она так же внезапно, как и зашлась, но ребенка кормить оказалась категорически и даже запустила в медсестру банку необыкновенно красивых топлёных сливок. Это был предвестник будущих феерических бурь, о которых в Энске потом ходили страшноватые, как сказки Бажова, и такие же красочные легенды. Сцеживаться, впрочем, Галина Петровна любезно согласилась, и новорожденного, посовещавшись, решили кормить из бутылочки. Молока у нее оказалось столько, что хватило еще двум недокормышам — внуку директора огромного оборонного предприятия (дочка директора оказалось

тугосисей плаксивой дурой) и позднему, драгоценному, выстраданному детенышу какого-то партийного небожителя, который долгие десятилетия вымаливал у своих богов прощения за то, что — по их же приказу — расстреливал несчастных по темницам, пока не получил наконец желанный приплод — крошечную луноликую дочку с китайскими глазками и огромным, не помещающимся во рту языком. Ребеночка-дауненка в роддоме все очень жалели и даже уговаривали сдать его на хер государству как бракованного, но мать девочки, немолодая, некрасивая, немилосердно лишенная не только будущего, но даже капли молока, часами качала свою умственно отсталую кроху с такой исступленной нежностью, что было ясно — зубами за нее загрызет, насмерть. Но не оставит.

К сыну Линдта никто, кроме проворных медсестер, не подходил. Даже имя ему дал Николаич, уже после того, как сгорающий от нетерпения Линдт (ни разрыва, ни шовчика! можно! можно!) отвез Галину Петровну домой и чуть ли не сутки не выпускал из спальни — разве что попить воды да в очередной раз сцедиться. Пусть будет Борик, что ли, — присудил Николаич, неумело качая крикливого увесистого младенца и смутно припоминая, что у них в Елбани Борьками звали самых качественных и породных козлов.

Так сын Галины Петровны и Лазаря Линдта стал Бориком.

Трудно было представить ребенка, который был бы до такой степени не нужен никому.

Линдт оказался озабочен своим отцовством до смешного мало. Должно быть, добираясь от Авраама, который родил Исаака, который родил Иакова, который родил Иуду (и так далее со всеми занудными остановками во всех неисчислимых родах тринадцати израильских колен), ген иудейского чадолюбия так ослабел, что попал в Линдтову кровь совершенно выдохшимся, как старые никчемные духи. А может, весь его пыл ушел на Галину Петровну, в конце концов, с высоты его шестидесятилетия, она, в свои девятнадцать, была таким же точно ребенком — только гораздо более хрупким и ранимым, чем новорожденный бутуз, который по сто раз в день задристывал пеленки и требовал жрать с таким натужным, лиловым ревом, что ясно было — ломом засранца не зашибешь. Можно даже не пытаться.

Галина Петровна сына не любила — это было совершенно понятно и даже извинительно, но он был живой и беспомощный, и за ним надо было ухаживать, как она ухаживала бы даже за противными крысами в красном уголке. Просто потому что она советский, а значит, моральный человек, а не какой-нибудь проклятый фашист или американец. И Галина Петровна честно поднимала Борика, пеленала, терла ему спинку, чтобы срыгнул, но не испытывала при этом ничего, кроме тупого усталого удивления. Неумелая, как любая молодая первородка, она еще и совершенно не справлялась с бытовой сущностью своего нового положения: бутылочки надо было кипятить, молоко — сцеживать, киснущие в тазу пеленки и марлевые подгузники — стирать, полоскать и проглаживать с двух сторон. Галина Петровна похудела, осунулась, подурнела. По ночам она сбегала в детскую и часами сидела, напряженно прислушиваясь к тихому сопению Борика, — словно любая нормальная мать, вот только мечтала она не о том, чтобы малыш подольше поспал, а о том, чтобы вообще не проснулся. Бесшумным крошечным призраком входил Линдт, синеватый в предутренней темноте, обманчиво ненастоящий. Так не может больше продолжаться, ты себя уворишь. Давай возьмем няньку, в конце концов. Николаич уже сто раз предлагал, говорил, есть у него какая-то баба на примете. Ну, что ты капризничаешь? Галина Петровна упрямо крутила головой — шпионские бабы Николича ей были не нужны, достаточно того, что он сам бывает у них по сто раз на дню, тихий, страшный, как упырь, деловито распоряжается, суетится и нет-нет да поймает взгляд Галины Петровны и тоненько улыбнется самым краем рта — мол, помнишь уговор, сучка? Галина Петровна помнила.

Ну, полно, не плачь, фейгеле. Линдт подходил ближе, проводил сухими сморщенными пальцами по ее шее, потом по щеке, словно каким-то непостижимым образом слышал, как

поднимаются внутри жены тяжелые слезы. Скоро станет полегче, вот увидишь. Пойдем-ка лучше баиньки, пока этот проглот снова не разорался. Галина Петровна покорно кивала, но с места не трогалась, чувствуя, как пальцы мужа, скользнув по ключицам, ползут ниже и ниже — к тяжелой, как кувшин, и такой же переполненной груди. Одними утешениями он никогда не ограничивался. Или не баиньки, а? Раз уж мы оба не спим и минутка выдалась? Линдт бормотал все сильнее и бессвязнее, все сильнее и бессвязнее ходили его руки, кряхтел, будто подразнивая отца, спящий Борик, а Галина Петровна, чувствуя, как с аппетитом впивается в бедро оброненная, видно, ею же самой погремущка, смотрела, как дергается рывками медленно светлеющий потолок, и думала, что, наверно, не ребенку и мужу надо желать смерти, не ребенку и мужу, не ребенку и мужу, этим двум чужим и неприятным ей существам, не ребенку и мужу следует исчезнуть из жизни, чтобы все наконец наладилось. А ей самой.

От самоубийства (совершенно реального, потому что Галина Петровна обдумывала его с холодным спокойствием хозяйки, прикидывающей, как половчее отрубить голову избранной на суп курице) ее спасла патронажная сестра Зочка, еженедельно, по зову Минздрава, посещавшая плод Линдтовой страсти, а заодно и мамашу этого самого плода. Зочка была курносая, толстая, смешливая и совершенная дура, к тому же дура необыкновенно деятельная. Небогатые белесые косицы она корзинкой укладывала вокруг набитой всякой суеверной ересью головы и лезла решительно всюду, особенно туда, куда не просят. Дело свое, впрочем, Зочка знала преотлично, и даже самые набалованные младенцы во время ее инспекции не орали, а только сучили толстыми, в перетяжках, ножками и умильно гукали. Состоянием Борика Линдта Зочка была довольна — он прибавлял в весе и росте согласно выпущенной Минздравом инструкции, не норовил раньше времени затянуть родничок и даже гадил меконием образцового аромата и консистенции, но вот Галина Петровна Линдт Зочку беспокоила.

Она все больше отмалчивалась, смотрела в пол пустыми светлыми глазами и двигалась с протяжной задержкой, будто отставала от всего прочего мира секунд на десять, как шагающий по дну густого торфяного пруда водолаз в тяжелом, накрепко свинченном костюме. Несомненно, следовало предположить послеродовой психоз, но это было и вполнину не так интересно, как сглаз или венец безбрачия, которые преотличным образом уживались в Зочкиной голове с симптомами желтухи новорожденного и основными пороками развития. Поэтому, улучив минуту, она увела Галину Петровну на кухню и энергично принялась убеждать девятнадцатилетнюю супругу академика в том, что на ее родовое дерево навели порчу-сухотку. Видно, нашептали на вас, страстно митинговала Зочка, сильно тараща круглые, синие, как фарфоровые шарики, глаза и хватая Галину Петровну то за плечо, то за руку. Люди, они завидующие, ничего не прощают — ни красоты, ни богатства, могли и свечку поставить *вверх ногами* или даже *отчитать за упокой*. Живую!

Зочка так выразительно подняла брови, что они чуть не уехали на затылок, но Галина Петровна была все такая же снулая, будто вытащенная из воды большая, засыпающая рыба. Зочка даже немного огорчилась — на свечку вверх ногами живо реагировали даже самые отпетые коммунисты. Так же равнодушна осталась Галина Петровна и к призывам Зочки перетряхнуть подушки в поисках порчи, и к угрожающим историям об осколках зеркала, которые, будучи подложены в барахло доверчивых граждан, вызывали в их незащищенной жизни жутчайшие энергетические катаклизмы. Крестить младенчика, чтоб не заходился и лучше спал, она тоже не захотела.

Тогда уязвленная Зочка вытянула из рукава самый заветный козырь, и Галина Петровна даже встала, гроыхнув табуретом. Губы у нее дрогнули и порозовели, точно у сердечника, получившего наконец живительный вдох из кислородной подушки, коричневой, прорезиненной, запудренной тончайшим вонючим тальком.

— Вы правду говорите? — спросила она, вцепившись в Зочку обеими руками.



— А какой мне резон врать? — возмутилась Зочка, которая действительно не получала от своей бессмысленной деятельности никаких дивидендов, кроме морального удовлетворения.

— Честное ленинское дайте, — потребовала Галина Петровна самую страшную из известных ей клятв, заклятую, детскую, жуткую, родом из колодезных школьных дворов, запутанных игр и пионерских речевок.

— Честное ленинское, — отчеканила Зочка и для верности перекрестилась.

Галина Петровна медленно кивнула. В детской надсадно заорал соскучившийся Борик, и тотчас над ним по-шмелиному загудел Николаич, верный ревнитель барского добра, считавший ребенка Линдта чем-то вроде нового имущества, хрупкого, надоедного, но для хозяев, очевидно, дорогого. Галина Петровна прислушалась к этому гудению и впервые на Зочкиной памяти улыбнулась — детской, ясной, очень доверчивой улыбкой.

— Только мне надо, чтобы никто не знал. Это можно устроить?

Зочка с пониманием затрясла головой — это запросто, вы только наклонитесь... Галина Петровна послушно подставила ухо Зочкиному шепоту, щекотному, чуть пузырящемуся от торопливой слюны.

— Никто и не подумает, не сомневайтесь — заключила Зочка, очень довольная тем, что ее мистическая репутация не пострадала.

Никто и не подумал. Оперативная комбинация была проделана с четкостью, которая сделала бы честь любому чекисту. Через неделю водитель отвез Галину Петровну с Бориком в поликлинику — на плановый осмотр невропатолога — и привычно задремал у входа, благо хозяйка сказала, что канители минимум на час. Галина Петровна быстро вошла в вестибюль, передала увесистого сына шпионски озирающейся Зочке и, пройдя поликлинику насквозь, вышла через черный вход, у которого стояло загодя вызванное той же Зочкой такси. Ровно через час, на том же такси, она вернулась, забрала честно осмотренного невропатологом ребенка и постучала костяшками пальцев в переднее стекло линдтовой персональной «Волги». Водитель, всхрипнув, захлопнул пасть и потер закишшие со сна глаза. Домой, коротко приказала Галина Петровна таким неожиданно властным тоном, что водитель окончательно проснулся и всю дорогу то и дело посматривал на молодую хозяйку в зеркало заднего вида. Красивая все-таки баба, что ни говори. И жопа гладкая, как у кобылы. Не дурак, академик-то, несмотря что жид. А вот она — дура. Угрожает всю жизнь на старика, и никакие деньжищи не помогут. Галина Петровна поморщилась, словно могла почувствовать эти мысли — липкие, как замусоренная, заброшенная паутина. На дорогу смотрите, велела она сухо, и водитель послушно отвел глаза, смутно догадываясь, что везет на заднем сиденье какого-то нового, совершенно незнакомого ему человека.

На самом деле так оно и было. В апреле 1959 года Галочки Баталовой не стало окончательно. Ее место заняла Галина Петровна Линдт.

Годы спустя Галина Петровна только усмехалась, вспоминая, в каком ужасе прожила первый год своего замужества, как она боялась тогда, как обмирала, ожидая слезки, как верила во всемогущество Николаича, который казался ей персональным демоном, едва ли не земным воплощением Сатаны. Подумать только, долгие месяцы в его присутствии она даже думать боялась о чем-нибудь важном, всерьез предполагая, что этот услужливый и малограмотный, в сущности, холуй способен каким-то образом проникнуть в ее мысли.

И тогда, в такси, она едва не теряла сознание от страха, уверенная, что обман непременно раскроется, Зочку с Бориком схватят, разоблачат и что вот-вот вывернут из-за поворота посланные за ней воронки. К тому же Зочка, видно, напутала что-то с адресом, и немолодой медлительный таксист так долго кружил окраинами Энска, ворча, что, бля, двадцать лет вожу, сроду не слыхал про такие ебень, что Галина Петровна уже

совсем, было, собралась разворачивать его обратно. Но город вдруг неожиданно закончился. Совсем. Машина запрыгала по проселку, дорога повернула, потом еще раз, и таксист притормозил возле небольшого дома. Вроде тут, — сказал таксист неуверенно. Не признаешь?

Дом был старым и каким-то нездешним: двухэтажный, с просторной застекленной террасой, он прятался в глубине продрогшего обнаженного сада, словно слегка стыдился своей незащищенности. Ни высокого забора, ни крикливой цепной шавки, ни огорода — только тропинка из круглых влажных голышей, голые, страстно переплетенные ветки да скелеты прошлогодних золотых шаров, вполне заменяющие хозяевам изгородь. Дом был совсем одинок — Энск торопливо отступал на восток, увлекая за собой полуразрушенные окрестные деревушки, а с запада неотвратно надвигался сосновый лес, сейчас, в апреле, особенно строгий и прозрачный, будто выведенный тушью на мокром, туго натянутом, нежном небе.

Таксист заглушил мотор, вылез из машины и закурил. «Иди, дочка, не бойсь, я подожду, — пообещал он. — Отсюдова и на оленях не выберешься. Рази ж я не понимаю!» Галина Петровна, похрустывая льдом, торопливо прошла по тропинке к сырому темному крыльцу и, не заметив фарфоровую розетку звонка, постучалась. Сердце колотилось, как будто перед экзаменами, как будто целую жизнь назад. «Если уж и это не поможет», — удавлюсь, решительно подумала она.

«Ну и дура», — сказал кто-то насмешливо, и дверь распахнулась.

На пороге стояла высокая женщина в невиданном халате из плотного шелка, затканного струистыми драконами, похожими на причудливые цветы. Драконы были огненные, с медным отливом, и та же медь горела в густых волосах женщины, гладким валиком уложенных на затылке.

— Что? — испуганно переспросила Галина Петровна.

— Я говорю — дура ты, моя дорогая, каких поискать, — отдельно повторила женщина и засмеялась. Зубы у нее были круглые, белые, гладкие, как у открыточной киноактрисы, и такая же круглая, белая, гладкая шея, по которой витой струйкой сбегала вниз золотая цепочка с тяжелым кулоном, нырнувшим в длинный вырез, к тугой, спелой, наливной груди. Такие же тяжелые — гроздьями — золотые серьги чуть оттягивали крупные нежные мочки. От женщины вкусно пахло чем-то сладким, почти съедобным, и вся она — нарядная, чуть переливающаяся, крупная — была похожа на праздничную новогоднюю елку.

Галина Петровна вдруг увидела себя словно со стороны — в куцем распахнутом стареньком пальтишке, на блузке — предательские пятна от засохшего молока, растрепанная коса наспех прихвачена черной аптечной резинкой — и на мгновение остро захотела и такой же красивый халат, и похожие на виноград сережки, и высокие, идеальной дугой брови над смеющимися глазами.

— А вот теперь все правильно думаешь, — похвалила женщина. — Давай, проходи, а то олеандры мне выстудишь.

Галина Петровна шагнула в просторную прихожую — темную, торжественную, с пухлым пуфом и тяжелыми вешалками, поймала взглядом кокетливую песцовую шубку, огромный воротник из чернобурки на длинном красном пальто и смутилась окончательно.

— Извините, я, наверно, адрес перепутала, пробормотала она. — Мне бы к бабке.

— А я и есть бабка, — спокойно ответила женщина и снова рассмеялась — звонко, молодо, отчетливо и страшно, словно кто-то пробежал молоточком по металлическим клавишам ксилофона.

Странно, но Линдт был единственным, кто не заметил перемены, которая произошла в Галине Петровне. Ни истерики, ни капризы, ни быстро, словно раковая опухоль, прогрессирующая жестокая лень молоденькой жены не могли притупить его обожания, а мнения остальных никто, собственно, и не спрашивал. К двадцати годам Галина Петровна стала настоящей барыней — во всем ладном великолепии этого старинного, чуть потертого на сгибах, бархатного слова. Она обзавелась полноценной дворней, которая ненавидела и обожала хозяйку до примитивного пресмыкания, мысленных поцелуев в рассыпчатое плечико и почти фетишистского преклонения перед барским укладом и тряпьем. Причем дело не ограничивалось привычной номенклатурной домработницей да персональным шофером — от настроения Галины Петровны, ее сновидений и менструальных циклов зависели десятки людей: скорняки и повара, ювелиры, портные, врачи, аспиранты, профессора — взрослые, семейные, детные, пожившие и похлебавшие на своем веку, прежде чем попасть в услужение к молоденькой девчонке.

Впрочем, девчонкой Галина Петровна больше не была — любой доступ к телу академика Линдта, его телефону, архиву или душе отныне лежал только через нее. По ее велению или хотению публиковались новые статьи, выбирались президиумы и конференции, она назначала и отменяла аудиенции, мотала нервы и деньги — боже, какие деньги! Прежде мертвым грузом лежавший золотой запас Линдта ожил, шевельнулся, словно подтаявший ледник, и поплыл, мелькая круглыми быстрыми нулями. Только на ремонт и обстановку громадной квартиры Галина Петровна истратила почти всю Сталинскую премию академика, но Линдт, едва ли заметивший все эти антикварные вавилоны из мореного дуба и карельской березы, немедленно получил Ленинку, и капитал, будто по мановению черта, снова удвоился.

Все было точно так, как обещала бабка. Чем больше Галина Петровна тратила, тем больше денег у нее становилось, чем больше она занималась собой, тем выносимее становилось страдание ежедневной жизни. Идеально честная сделка. Патронажная медицинская сестра Зочка не соврала — поэтому Галина Петровна впервые опробовала условия договора именно на ней. Когда через неделю после знаменательной поездки в поликлинику Зочка вновь прибыла к Линдтам с плановым визитом (и миллионом взволнованных вопросов), вместо Галины Петровны к ней вышла, тетешка Борика, немолодая усатая нянька — первая в бесконечной череде холопок, которых Галина Петровна научилась нанимать и увольнять с той же бездумной сноровкой, с которой крестьянки перебирают картошку, равнодушно отшвыривая в сторону гнилую или просто мелкую. Зочка отправилась в ту же кучу отбросов — достаточно было одного звонка, чтобы бедняжку изгнали из престижного рая Четвертого управления и навеки сослали в районную поликлинику — прививать от смертельных хворей крикливый пролетарский приплод. Удовольствие, которое Галина Петровна испытала от этого незначительного, в сущности, события, приятно удивило ее саму. Вранье, что месть — это блюдо, которое подают холодным. С пылу с жару оно гораздо лучше утоляет голод. Еще вкуснее, когда мстишь просто так — без смысла и даже без злости, просто забавляясь. Как будто ты Бог.

Бабка тоже так сказала.

Галина Петровна быстро поставила дом на великолепную широкую ногу: у нее оказался неожиданный талант к хорошим вещам, больше похожий на обратную сторону ее же равнодушия к людям, но в делах декора, как известно, главное не причина и даже не следствие, а результат. Даже откровенный хлам, найденный на барахолке, в руках Галины Петровны словно приобретал смысл, оказываясь редкой антикварной вещицей, к тому же она не ленилась консультироваться и не стеснялась спрашивать — качество редкое, драгоценное, почти невероятное для молодой женщины, которая не знала, чего бы еще захотеть. В дом зачастили какие-то приванивающие Достоевским юродивые старички-коллекционеры, от которых Николаич только за голову хватался, а сама Галина Петровна полюбила часами валяться на диване, пролистывая пухлые каталоги и альбомы по

искусству и болтая розовыми, круглыми, безупречно ухоженными пятками. Линдт чуть не плакал от умиления, целуя гладкие ступни, выкрашенные густым алым лаком махонькие ноготки — ну, будто ягодки, честное слово. Маникюрша раз в неделю, два раза в неделю косметичка, каждый день с утра укладка, домашние туфельки на легком каблучке, шелковый халат, затканый драконами. Семь шелковых халатов — по одному на каждый день недели.

Домработница, дубоватая деревенская тетка, покорно откликавшаяся на Никитичну (по метрике на самом деле была Николаевна, больше того — Наталья Николаевна, этакий легкий, головокружительный, почти ничего не обещающий намек — словно пушистая, пушкинская ветка за полузамалеванным краской сортирным окном), трясущимися руками перебирала белье Галины Петровны: не то сортировала, не то ворожила, не то возносила молитвенную хвалу своим мордовским шишигам, которые поспешествовали и поспешили, и вот теперь она, Дуплищева Наташка, когда-то сопливый и голопузый рахит, невежественная дура, стоит в просторной хозяйской спальне, по самые локти погрузившись в запретное, сладострастное, нежное и кружевное.

О, эти скользкие шелковые комбинации — ледяные снаружи, электрически горячие изнутри, там, где шелк прилипал к бедрам и ласкал длинную гладкую поясницу с выложенной молодыми камешками дорожкой позвонков. Эти полупрозрачные срамные трусишки — даже ношенные, даже с желтоватыми пятнами и белесой слизью на ластовице, даже пропитанные в шагу старческой академической спермой, они пахли тонкой и тайной жизнью юного избалованного тела, и этот почти лепестковый, прерывистый аромат мешался с гладким запахом розового заграничного мыла, которым Галина Петровна распорядилась проложить все бельевые ящики своих бесчисленных гардеробов. А лифчики? Кружевные, на тонких бретелях, грудь в таких лежит, будто в открытой корзинке, наливная, тугая — не то зажмуриться, не то ущипнуть, не то со всей мочи воткнуть в золотую натянутую кожу булавку с яркой и круглой, как капелька крови, головкой.

Никитична-Николаевна встряхивала головой, отгоняя дурной морок, и выворачивала, и складывала по швам, и застирывала в высокой шипящей пене, целый день, целый день — в спальне один капроновый чулок, другой — в кабинете на подоконнике, отлетевшая перламутровая пуговичка, посуда, вся в слюдяных потоках подстывающего жира, пыль книжная, пыль платяная, пыль половая, пыль поддиванная... И все равно это была не работа, а судорожный, весь низ живота выворачивающий праздник, потому что из каждого небрежно сброшенного платья, из вороха скомканного постельного белья (менять каждый день, гладить с двух сторон, подкрахмаливать, не подсинивать ни в коем случае — вы меня поняли? повторите!) выступала сама Галина Петровна, не постижимая неповоротливому плебейскому разумению и оттого особенно желанная.

Прошел год, и еще один — гладкий, богатый, беспечный, пустой. Линдту дали очередной орден, Борик незаметно вылупился из своих пеленок и превратился в толстого покладистого мальчика, первому зубу и первому шажку которого не радовался никто, кроме няньки, которую, впрочем, скоро уволили, взяв другую, и далее — по капризному списку вечно недовольной хозяйки. Приемы Галины Петровны вошли в моду, она познакомилась со всеми нужными людьми в городе (остальные были либо ненужными, либо не людьми), полюбила сначала бриллианты, потом изумруды, но снова вернулась к бриллиантам — они были, что называется, «ко всему», а к изумрудам подбери еще подходящее настроение или платье.

Но в 1964 году Галина Петровна вдруг затосковала снова — двадцать три года, пять лет замужества, мужу — шестьдесят четыре, ничего не менялось, время стояло на месте, она даже не становилась старше, потому что громадная пропасть между ней и Линдтом не затягивалась, да и не могла затянуться. Он всегда будет старше на сорок один год. До

самой смерти. Бабка сказала — терпи, умрет твой академик, все сразу станет по-другому, но терпеть было невыносимо, и сделать ничего было нельзя (да и как бы она сделала это что-то? придушила его ночью подушкой?), а Линдт и не собирался умирать, он даже стареть как будто перестал, крошечный, мерзкий, всласть насосавшийся ее молодой крови.

Поэтому в одно сумрачное весеннее утро Галина Петровна вошла к академику в кабинет и, крепко стягивая на круглой талии пояс шелкового халата, заявила, что хочет учиться. Отлично, оживился Линдт. Отличная идея. Это ты здорово придумала, фейгеле, — учиться. Я совершенно и обеими руками — за. В конце концов, у нас равноправие полов, так что грех не воспользоваться хотя бы ради интереса. Галина Петровна даже не улыбнулась, и шуточка жалко повисла в воздухе, на глазах становясь дурацкой, плоской, несмешной. Так чему ты хочешь учиться, милая? Линдт героически не обратил внимания на неловкую паузу: в конце концов, семейная жизнь — непростая штука, и Маруся тоже, бывало, пушила Чалдонова самым зверским образом. Жалкое оправдание, конечно, но других у него не было. Я в политехнический вообще-то собиралась поступать, обиженно сказала Галина Петровна. А, — закивал Линдт довольно, — значит, физика и математика, лучшие подружки двоечников. Сейчас мы их с тобой расщелкаем!

Линдт вытянул откуда-то тетрадку, выложил на стол и взгромоздился на стул коленями, как маленький. Он быстро написал что-то на чистой страничке и ловким движением карточного фокусника перекинул тетрадь Галине Петровне — сияющий, непонятно чем довольный. Урод. Галина Петровна проехала глазами по строчкам и задумалась — она уже вполне освоилась с Линдтовыми закорючками, но, к несчастью, начисто забыла все, что вколачивал ей в голову иудейский аспирант. Давай же, милая, — ласково поторопил ее Линдт, будто легонько подтолкнул ребенка к кабинету врача. — Задача совсем простенькая.

Задача и правда была детская — и не только с точки зрения Линдта, на котором тестировали задания для Всесоюзной олимпиады школьников по физике, свеженькой, с иголки, запущенной только что, в 1962 году. Если Линдт размышлял над задачей, которую предстояло грызть гениальным советским младенцам, больше минуты, ее просто исключали из списка как нерешаемую. Но таких попадалось мало — заставить академика задуматься над физикой школьного образца было непросто. Линдт краем глаза поймал стрелку на настенных часах угрюмого черного дерева. Три с половиной минуты на такую пустяковину. Однако. Кажется, все будет совсем не так, как в восемнадцатом году, когда они с Чалдоновым, едва не вырывая друг у друга тетрадь, взапуски решали задачи — и это было и знакомство, и радость, и клятва, и вера, и обещание всего. Линдт невесело засмеялся — что ж, практически все обещания действительно сбылись, другое дело — как именно. Услышав смешок, Галина Петровна сильно покраснела и вдруг замалевала Линдтовы буквы и значки с такой злобой, что прорвала бумагу.

— Это зачем? — спросила она с горловой клокочущей яростью, отлично знакомой любому из ее челядинцев. — Я сказала, что хочу учиться, а не в игрушки эти идиотские играть.

Линдт растеряно сполз со стула и попытался взять жену за руку. Галина Петровна вырвалась и вышла, саданув дверь — крепко, плоско, хлестко, словно по лицу.

Диплом о высшем образовании (с присуждением квалификации инженера-проектировщика по специальности «водоснабжение и канализация») Линдту удалось выхлопотать только к осени — пришлось одалживаться всерьез, зато по синим (не надо с отличием, я вас умоляю!) корочкам выходило, что Линдт Галина Петровна, 1941 года рождения, проучилась в энском политехническом ровно пять лет своего замужества, о чем свидетельствовала выписка — ряд подлинных, во все реестры внесенных цифр и букв. Ксива была железная, не притерешься.

— Чересчур балуете жену, Лазарь Иосифович, — укорил Линдта начальник КГБ по Энской области генерал Седлов, без визы которого проверить аферу с дипломом не решился даже Линдт. Время от времени кусать руку, которая тебя кормит, можно и даже нужно, но вот плевать в нее... Линдт был для этого слишком умен.

— Да она не просила, я сам, — попытался оправдаться он, но вышло уж очень неубедительно.

— Еще хуже, что сам! — прогудел генерал, высокий, похожий на оперного певца красавец со старорежимно выхоленными усами, придававшими ему легкомысленный и даже чуточку комический вид. Совершенно напрасно. Седлов был неглуп (для генерала — почти гениальность) и вполне плотояден. — Бабам воли нельзя давать — они с ней не справляются, — назидательно изрек он и, решив, что с Линдта довольно, сменил тему. — Говорят, жена у вас — красавица невероятная...

Линдт чутко уловил микроскопическую паузу, и генерал немедленно получил любезное приглашение на ближайший же прием, нет-нет, никакого повода, обычные дружеские посиделки для своих.

На посиделки Седлов прибыл с ящиком двадцатилетнего армянского «Наири» и вел себя настоящим гусаром и душкой: то есть чудовищно много, но без малейшего урона для мундира пил, с большим чувством исполнял сообразные внешности классические романсы и поочередно поухаживал за всеми дамами, включая домработницу, которая, будучи застигнута между кухней и наковальней, немедленно жажнула об пол страстно вскрикнувшее блюдо с седлом барашка. Седлов был безупречен и очень скоро действительно стал в доме у Линдтов своим — причем настолько, что через семь лет, в 1971 году, Галина Петровна все-таки не выдержала и решила спросить у него о судьбе гражданина Машкова Николая Ивановича.

Глупо думать, будто она забыла Николеньку, — как будто такое вообще можно забыть! Поначалу, запуганная Николаичем, Галина Петровна не смела не то что позвонить Машкову (хотя бы на кафедру) — даже словом обмолвиться, что в жизни ее был когда-то такой человек. Галина Петровна закусывала дрожащий кулачок, чтобы не зарыдать, сглатывала, еще раз сглатывала — может быть, родители ему все рассказали? Да нет, разве они посмеют? Надо просто вести себя хорошо, тогда Николеньку ни за что не тронут — детские страхи, детские уверения, детские мечты сплести веревку из простыней, из собственных волос и сбежать из заколдованного замка. Все закончилось, когда она забеременела, — теперь бежать было некуда, оскверненная, пузатая раскоряка, она больше не была достойна своего сказочного королевича.

Бабка сказала — забудь, не лезь в прошлое, там ничего не изменишь, там одни трупы. Видимо, была приверженцем системной психотерапии.

Но ведь именно трупы порой забыть тяжелее всего.

Николай Иванович Машков, говоришь, зая? Генерал Седлов закатил глаза в поднебесье, запоминая, — как и многие силовики, он давным-давно стал параноиком и не доверял ни бумаге, ни людям, ни себе самому. Профессиональная болезнь. Как варикозное расширение вен у парикмахеров и официантов. Найдем, конечно. И даже доставим, если надо. Тебе живого или мертвого? Галина Петровна засмеялась и легонько шлепнула генерала по губам, прозвенев браслетами маленькую нежную музыку. Ей было тридцать лет — пик здоровья, молодости и красоты, сановное замужество приносило ей столько удовольствий, сколько иному не съесть за целый век, и научило таким уловкам, что она могла бы запросто украсить собой любую разведку. Во всяком случае, так она думала. Никого не доставляй, дорогой. Я просто любопытничаю.

Генерал сочно поцеловал наказавшую его ручку — пальчик за пальчиком, косточку за косточкой — январь, февраль, март, апрель. После того как в самом начале знакомства Галина Петровна попыталась его соблазнить — вполне, впрочем, безуспешно, они крепко

сдружились, настолько крепко, что генерал иной раз даже жалел, что повел себя таким Иосифом Прекрасным. Черрртова служба.

— Вы очень красивая женщина, Галина Петровна, но, пожалуйста, застегнитесь, — сказал он тогда так твердо, что Галина Петровна мигом протрезвела.

Вечер был холодный, октябрьский, но в генеральской «Волге» было тепло, даже душно, водил он сам, только сам — никому не доверял, все уши — лишние, молчи, тебя слушает враг. Старая школа. От ароматного коньячного дыхания Галины Петровны стекла в машине чуть запотели, словно заслезились, смутно и напрасно белела в сумраке салона ее грудь, крупная, круглая, тяжелая грудь молодой женщины, родившей и выкормившей ребенка. И даже, считая тех, роддомовских, не одного. Пусть и не лично — но выкормившей. От розовых нежных сосков бежали, прячась под тонкой кожей, голубоватые жалобные жилки.

— Почему? — спросила она угрюмо и медленно принялась застегивать платье.

— Потому что вы, Галина Петровна, замужем.

— Да все замужем, черт возьми, — и у всех любовники! Почему только мне нельзя?

Галина Петровна закусила губу, чтобы не расплакаться, — унижение оказалось неожиданно сильным.

— Потому что не все замужем за академиком Линдтом.

Генерал прикурил две сигареты, протянул одну Галине Петровне — несмотря на выучку, руки предательски прыгали, в штанах ныл огромный, болезненно набухший желвак. Галина Петровна затянулась так, что сигарета рассыпала трескучие рождественские искры.

— И ты, зая, — генерал Седлов неожиданно перешел на «ты», — и даже я — пустое говно по сравнению с Линдтом. Это, может, и обидная, но правда. Муж твой такие вопросы для правительства решает, что нам с тобой в голову не поместится, потому я тебе его беспокоить не дам. И не проси. Любовников у тебя не будет — это я сам позабочусь, будь спокойна. И вообще — имей в виду, за тобой и раньше присматривали, но, судя по всему, херово. Теперь будут смотреть хорошо. Я сам буду смотреть.

Галина Петровна затянулась еще раз и медленно, со вкусом, воткнула горящую сигарету в обивку «Волги». Завонял, плаваясь, дерматин, по обивке поползла ужасная, неровная рана. Генерал засмеялся и открыл окно.

— А и горячая же ты девка, зая! — сказал он с удовольствием. — Давай я тебя машину лучше водить научу, а? Это такая свобода — ты не поверишь! На ста двадцати любой пар сам выходит, вот увидишь.

Галина Петровна сморгнула слезы и тоже засмеялась.

— А давай, — сказала она, тоже переходя на «ты». — Научи. — И насмешливо прибавила: — Зая.

Седлов принес обещанные сведения через неделю, хотя узнал все, что было нужно, через час — невелика оказалась цаца, этот Николай Иванович Машков. Галина Петровна взяла тощую картонную папку, улыбнулась — как ей казалось, совершенно беспечно.

— Кофейку? — предложила она. — Сама сварю.

— Тогда точно не надо, — засмеялся генерал. — Да не томись, читай, там никакого криминала.

Галина Петровна улыбнулась еще раз, забыв про прежнюю улыбку, так что получилось больше похоже на мучительный оскал. Надо будет на всякий случай присмотреть и за этим полудурком, решил Седлов, быстро, по-молодому, преодолевая один лестничный пролет за другим и звякая мысленными шпорами. Старые связи — как старые раны. Сто лет молчат, а потом раз — и ты уже на том свете.

Генерал еще не покинул подъезд, а Галина Петровна уже знала, что Николенька никуда не делся, не был осужден, сослан, даже не уехал никуда. Он все эти годы преспокойно проживал в городе Энске в двухкомнатной квартирке (2-й Трудовой пер., 14/1, кв. 12), которую получил от государства... Галина Петровна встала, прошла по комнате, снова села. Правильно — в 1959 году. Когда она вышла... Нет, когда ее выдали за Линдта. В том же 1959 году Николай Иванович Машков необыкновенно быстро и удачно (ни одного черного шара) защитил кандидатскую диссертацию и получил соответствующую прибавку к жалованию и место заместителя заведующего кафедрой химии и природных соединений, но уже не в политехе, а в университете, что было еще одним колоссальным скачком вперед, фактически — сменой социального страта. В настоящий момент по указанному адресу с гражданином Машковым проживает его жена — гражданка Машкова Наталья Ивановна, библиотекарь, и две дочери — Анна, восемь лет, и Екатерина, четыре года.

Выходит, он откупился от нее тогда точно так же, как родители, — просто откупился. Галина Петровна закрыла папку и попробовала представить себе жену Николеньки, его дом, девочек — но ничего не увидела, кроме своего неясного отражения в буфетном стекле. Чарки агатовые в серебряной оправе, Россия, XVII век. Серебро, оникс, позолота, резьба. Посуду Петровской эпохи она начала коллекционировать совсем недавно, а места уже катастрофически не хватало. Надо поискать еще одну горку для посуды, хорошо бы с глухой резьбой, подумала Галина Петровна и сама удивилась, до чего же ей не больно.

В столовую заглянул Линдт. Ты занята, фейгеле? Мне тут билеты предлагают на гастроли Большого. «Лебединое озеро», конечно, не шедевр, но, говорят, сама Плисецкая танцует. Хочешь на балет? Галина Петровна кивнула и улыбнулась — неожиданно, почти нежно. Балет — это прекрасно, сказала она. Всегда ненавидела балет. Хочу, конечно. А потом — в «Центральный», да? Напьемся до упаду!

Линдт просиял, быстро, точно клюнул, поцеловал жену и тотчас, как чертик, скрылся. Галина Петровна проводила мужа глазами и непроизвольно потеряла плечом щеку, вытирая влажный след.

Все, что ей теперь оставалось, — так это ждать, когда он умрет.

Но теперь она, по крайней мере, будет ждать весело.

Так и получилось — девять лет с 1971 по 1979 год стали для Галины Петровны если не самыми счастливыми, то уж точно — самыми безмятежными за всю жизнь. Советский Союз — во всяком случае, Советский Союз Галины Петровны — был богат, уверен в себе и великолепен, как никогда, словно беспечный подгулявший барин, еще не подозревающий, что через пару подворотен шпана сдерет с него отличную, на хорях, шубу и пустит, улюлюкая, бежать по морозу в одних подштанниках, жалкого, униженного, залитого кровавой юшкой из разбитого носа. Но такой исход не мог предположить даже всезнающий Линдт.

Он все чаще не ездил в свой институт, оставался поработать дома, и все чаще это не раздражало Галину Петровну, которая, последовательно пережив вещественную страсть к антикварной посуде, мебели и украшениям, добралась наконец и до книг, а тут лучшего советчика, чем Линдт, в Энске было не сыскать. Они даже завели что-то вроде полуденного ритуала: Галина Петровна приносила в кабинет мужа чай в тяжелом серебряном подстаканнике работы Хлебникова (не того, безумного, что называл себя председателем земного шара, а честного московского купца 1-й гильдии Ивана Петровича Хлебникова, известного на всю Россию своей ювелирной фабрикой на Швивой Горке близ Таганки), и Линдт, с наслаждением отодвинув опостылевшие за жизнь бумаги, принимался за ланч с разговорами, во время которого Галина Петровна незаметно съедала все принесенное мужу печенье.



Ешь, ешь, милая. Я рад, что тебе вкусно. А Голубинского надо брать, конечно, — «Историю русской церкви» и до революции было не достать, а уж сейчас, да в четырех томах! Состояние хорошее? А, лисьи пятна — это пустяки, это поправимо. Знаешь, он был профессор Московской духовной академии, этот Голубинский, очень славный старик и с очень несчастной судьбой. С Победоносцевым воевал всю жизнь. Да еще и ослеп к старости. Но добрый был — просто необыкновенно. Линдт замолкал, вспоминая Марусин голос — теплые колокольчики, не бездушные серебряные, а лесные, на тонкой нитке стебля, замшевые изнутри, лиловые и розоватые. Ее рассказы про Голубинского, который бывал у Питоврановых дома еще в дочалдоновские ее, девичьи времена.

Господи, подумать только, я сам еще тогда не родился!

Галина Петровна терпеливо переждала, пока Линдт покончит с мысленными лирическими спазмами, — судьба Голубинского не волновала ее совершенно, другое дело — состояние его переплета. Линдт спохватывался, возвращался к прежней теме, и так, болтая, они проводили час, а то и больше, пока Галина Петровна не вспоминала наконец, что ее ждут в парикмахерской или у портнихи. Иной раз она даже сама чмокала мужа на прощание. Это было так похоже на нормальную семью, что не грех и ошибиться.

Галина Петровна стала куда спокойнее, чем прежде: меньше тиранила прислугу, реже устраивала истерики — ужасные, скучные, сухие, как грозы, с криками и битьем посуды — ценную, впрочем, не колотила никогда. Она была почти счастлива — и сама практически перестала замечать это «почти». Жизнь в целом устраивала ее полностью, а с частностями можно было справиться или смириться — как с ускользнувшей в сток любимой сережкой или скоропалительной женитьбой Борика.

Борик, которого родители замечали не чаще, чем какой-нибудь предмет обстановки — господи, откуда у нас эта дурацкая ваза? ах, да, это же Лысыковы подарили, — вопреки всем педагогическим и человеческим законам вырос славным парнем, немного тюфяковатым, но не представляющим для психотерапевта ни малейшего интереса. Еще один пример того, что хороший достаток уродует детскую душу куда меньше беспросветной маргинальной нищеты. Борик был так же замечательно равнодушен к отцу с матерью, как и они к нему, но это было веселое, вежливое равнодушие хорошо воспитанного молодого человека, вынужденного делить кров с едва знакомыми и лишь самую малость докучными людьми. Рыжеватый, толстозадый, смешливый, он не унаследовал ни способностей Линдта, ни красоты Галины Петровны, зато неизвестно у кого взял ловкие умные руки и большую часть времени проводил в своей комнате, склеивая модели парусных судов, прекрасных и хрупких, как засушенные бабочки.

Иногда к Борика приходили товарищи — такие же, как и он, добрые, ленивые, богатые и балованные мальчики. Они много и азартно спорили о будущем мира и холодной войне, слушали американские пластинки и обменивались ужасными слепыми копиями диссидентских рукописей, написанных по большей части так скверно, что их следовало бы не только запретить, но и сжечь. Это были милые мальчишеские игры, подростковая прививка свободомыслия, без которой потом было бы слишком трудно влачить незавидную судьбу советских торгпредов и атташе.

Школу Борик закончил без троек — может быть, потому что Галина Петровна вечно забывала, в каком классе он учится. Однако скромного аттестата вполне хватило, чтобы поступить в университет на факультет машиностроения: фамилия Борика и его отчество освежающе действовали на любую приемную комиссию Энска. Линдту даже не пришлось никому звонить — да, впрочем, он, если честно, и не собирался.

В конце второго курса Борик привел в дом худенькую смущенную девицу и сообщил родителям, что намерен немедленно жениться. Галина Петровна взвесила девицу взглядом — дешевое платье, пластмассовые клипсы, ресницы в пол, темный хвостик на макушке.

— Беременная? — спросила она в лоб.

Девушка вскинула, наконец, глаза — рыжие, как у дворняжки. Дворняжка и есть. Подзаборная.

— Нет, — ответила она. И зачем-то прибавила: — Извините.

— Так зачем тогда жениться? — резонно заметила Галина Петровна, с удовольствием чувствуя, что вся она, начиная с чуть приподнятых идеальных бровей, заканчивая лаковыми чулками на стройных икрах, в сотни раз лучше и качественней, чем эта свиристелка, которая даже молодостью своей не могла распорядиться с толком. Ногти обкусанные, кожа на переносице шелушится. Дешевка.

— Слово «любовь», надо думать, ни о чем тебе не говорит, мама? — Борик посмотрел исподлобья, тяжело, и Галина Петровна впервые осознала, что родила мужчину — настоящего, взрослого, зарастающего к утру жесткой щетиной, с тяжелыми жилами на предплечьях и, судя по всему, с наполненной всем, чем положено, шириной. И от этой мысли почему-то было неприятно.

— Не вякай, — спокойно осадил она сына. — С тобой мы потом поговорим. Жених. — Борик дернул головой, как от пощечины, но Галина Петровна уже снова повернулась к девушке. — А семейное гнездо вы, конечно, тут вить собираетесь? Или у вас свои хоромы? Потому что у нас, сами видите, места мало.

Девушка обвела глазами гостиную и покраснела.

— Я в общежитии живу, — сказала она тихо. — С девочками. Но женатым отдельную комнату дают. — Девушка покраснела еще больше и поправилась: — Могут дать. Нам обещали, Боря спрашивал в деканате.

— Боря у нас — парень деловой, — согласилась Галина Петровна ехидно. — Знатный добытчик. Повезло вам, ничего не скажешь.

Борик наконец-то не выдержал, встал и сдернул свою дворняжку со стула — будто пальто с вешалки.

— Пойдем, — сказал он. — Пойдем, нам с тобой тут делать нечего. Она свихнулась на барахле. А отец просто свихнулся. Я же предупредил.

Девушка послушно пошла к выходу — не спрашивая, не возражая, Борик держал ее за руку, как маленькую, и по тому, как крепко и доверчиво переплелись их пальцы, по тому, как, не сговариваясь, они пошли в ногу, ясно было, что это любовь, конечно, любовь, без всякой корысти, без повода, даже без смысла. Даже Галина Петровна это понимала.

— И не рассчитывай, что я твою шавку пропишу! — крикнула она вслед, но входная дверь уже хлопнула. В добрый час и скатертью дорога.

Линдт заметил отсутствие сына только на третий день.

— Борик уехал, что ли? — спросил он за обедом, принимая тарелку с густой куриной лапшой.

— Нет, женился, — угрюмо ответила Галина Петровна.

— Ну и славно, — равнодушно заметил Линдт, помешивая лапшу ложкой. — Безобразие просто, как горячо! Пицца должна иметь температуру, равную температуре человеческого тела, то есть ровно тридцать шесть и шесть десятых градуса по Цельсию! Тогда она нормально усваивается организмом.

Галина Петровна светски улыбнулась и немедленно выключила мозг. Разговоры мужа «об умном» она не выносила.

Борик так и не появился — ни через неделю, ни через две, но Галина Петровна, честно говоря, не особо и беспокоилась. Верный генерал Седлов время от времени доносил обстановку на поле битвы — расписались, получили комнату в общежитии, свадьбу гуляли вскладчину, всем курсом, ну что ты, честное слово, уперлась, зая. Она совсем неплохая девка, не шаболда какая гулящая. Сирота, родители погибли, учится хорошо, нагрузку общественную несет. Помиришься, тебе же спокойней. Я из-за такого говна волноваться

даже не собиралась, — злилась Галина Петровна. Все, слышать ничего не желаю про эту прошмандовку. Генерал пожимал плечами — пойми этих женщин. Голову свернешь, пока догадаешься, что у них на уме.

Медовый месяц, растянувшийся на все лето, Борик с молодой женой провел в стройотряде. В сентябре они вернулись, тощие, загорелые, счастливые, заработавшие на строительстве коровников фантастическую сумму в две тысячи рублей. На двоих. Борик съездил к отцу в институт и вернулся еще с пятью сотнями в кармане. Я отдам, папа, — пообещал Борик. Заработаю и отдам. Маме только ничего не говори. Линдт покачал головой, не то соглашаясь, не то возражая. Он показался Борiku совсем-совсем стареньким и каким-то заторможенным.

Деньги пошли на взнос в кооператив. Двух с половиной тысяч хватило в аккурат на маленькую, но зато трехкомнатную. Ордер дали как раз под Новый год, так что праздник вышел шумный, веселый, двойной. Счастливый третьекурсник Борис Лазаревич Линдт, как положено, перенес хохочущую молодую жену через порог новой квартиры, совершенно пустой, но зато своей собственной. Галдели, стреляя в потолок советским шампанским, гости, такие же студенты, аспиранты, молодые веселые советские олухи, дети великой страны, которая неспешно и торжественно вступала в свою великую агонию. «С новым, тысяча девятьсот восьмидесятым годом!» — задушевно сказал телевизор, взятый только на праздничную ночь, напрокат. Борик бдительно следил за тем, чтобы винегрета и вареной курицы хватило всем желающим. Они вообще-то хотели оливье, но не достали зеленого горошка. И черт с ним, они все равно были невероятно, волшебным, замечательно счастливы.

— А в маленькой комнате что устроите, буржуи? Кабинет? — поинтересовался кто-то из подвыпивших гостей, пытаясь стряхнуть пепел в чайную чашку, но всякий раз попадая на собственные брюки. Борик поймал взгляд жены, смущенный, веселый, рыжий. Она улыбнулась и кивнула — давай, теперь можно.

— В маленькой комнате у нас будет детская, — сказал Борик твердо, и все заорали и запрыгали еще громче — с новыми силами, с новым годом, с новым счастьем. Тут же была пущена по кругу нищая студенческая шапка и снаряжен к таксистам — за теплой водкой — самый трезвый гонец, так что праздник, словно мяч, получивший неожиданный толчок, поскакал дальше, к утру, с новой утроенной силой. Пели Макаревича, Высоцкого, целовались, плясали под кассетник, трясая головами, дрыгаясь, хохоча, и разошлись только часов в шесть утра, почти на рассвете.

Борик закрыл за последним гостем дверь и заглянул в комнату, которую они уже определили под собственную спальню. На раскладушке, бережно прижав руки к еще невидимому животу, тихо спала его жена, его девочка, его солнышко, его счастье. Борик прикрыл ее ноги сползшим пальто, сморгнул, еще раз сморгнул и пошел на кухню мыть посуду. Вода шла холодная, ржавая — сантехники тоже люди, у них тоже Новый год. Если будет мальчик, назовем... Нет, никак не назовем. Никаких мальчиков. Борик требовательно поднял голову к потолку, будто инстинктивно чувствуя, что Бог именно там. Хочу дочку, — попросил он, впервые в жизни радуясь, что знает, о чем просить. Пожалуйста. Девочку. Девочку Лидочку. Кран фыркнул и выплюнул крученую струю кипятка. Борик улыбнулся и благодарно кивнул, как будто действительно получил ответ.

И в июне 1980 года родилась Лидочка Линдт.

### **Глава шестая Лидочка**

Глистов у Лидочки, разумеется, не оказалось, и Галина Петровна утратила к девочке всякий интерес. К тому же быстро выяснилось, что пятилетний ребенок — крест не только тяжелый, но еще и удивительно неудобный. Лидочку невозможно было завернуть в папиросную бумагу и убрать куда-нибудь подальше — в шкаф, а возня с некстати порванными колготками и еще более некстати заданными вопросами совсем не входила в планы Галины Петровны. А эти умильные и медоточивые гули-гули, которыми

награждали Лидочку все встречные и поперечные? Ах, какая куколка ваша внучечка, ах у нее же совершенно ваши, Галиночка Петровна, глазки!

Во-первых, никакая внучечка Галине Петровне была не нужна, ей, в конце концов, только исполнилось сорок четыре года, а выглядела она — едва на тридцать пять. А во-вторых и в главных — и глазки, и повадки, и этот быстрый поворот головы, и даже, господи, движение, которым Лидочка придвигала к себе тарелку... Галина Петровна, за четыре года вдовства почти позабывшая животное, живое омерзение, которое вызывал в ней муж, с ненавистью следила за тем, как сквозь пухлое, веселое тельце подвижной хорошенькой девочки проступает, будто в кошмарном сне, Лазарь Линдт. Это был его взгляд исподлобья, его улыбка, его руки, фаланги его пальцев, его угловатая косточка на запястье, его манера быстро, будто украдкой, прикоснуться к ее бедру, так что Галину Петровну физически простреливало от отвращения — как от удара об угол локтем, самым живым его, беззащитным, электрическим уголком.

А ну не лезь ко мне, платье помнешь!

Лидочка, неуклюже пытавшаяся приласкаться, испуганно сжималась, втягивала голову в плечи, смотрела темными, жалкими глазами, точно так же, как это делал Линдт. Господи, конечно, ребенок был ни в чем не виноват, но сама Галина Петровна, она-то в чем была виновата?

Растить Борика было не в пример проще — но все проще, когда тебе девятнадцать лет. К тому же Борик прекрасно довольствовался сам собой, а Лидочка, еще не успевшая отвыкнуть от родительской любви, про которую Борик никогда и не знал, липла к Галине Петровне совершенно инстинктивно, как звереныш, которого проще всего успокоить не словом, а теплым боком, родным запахом, согревающим дыханием — всем тем, чего у Галины Петровны не было и что категорически невозможно добыть за деньги. Няньки, все такие же наглые, безмозглые и нерасторопные, как во времена Борикиного детства, были готовы за определенную мзду вытирать Лидочкину попу и следить, чтобы она жевала с закрытым ртом, но любить ее они не желали совершенно. Ее вообще больше никто не любил, и Лидочка постепенно, день за днем, осознавала это все яснее.

Вернее, не осознавала, конечно, — много ли она понимала в свои пять лет? Просто привыкала, как привыкает цветок, переставленный с подоконника, где было и солнце, и прирученный сквознячок, и голубая лейка со сладкой отстоявшейся водой, в какой-то дальний угол, не настолько темный, чтобы можно было позволить себе умереть, но мучительно невозможный по сравнению с прежним обжитым раем. И самым немилосердным было то, что память об этом рае не засыхала, как все остальное, а наоборот — росла и наливалась такой сочной болезненной силой, что Лидочка иной раз начинала рыдать без всякой причины, даже визжать, поднимаясь на высоких нотах почти до нестерпимого звона циркулярной пилы. Совершенно напрасно. Нянька, привыкшая к детским истерикам, просто выходила из комнаты, справедливо полагая, что свои нервы дороже, а до грыжи все равно еще никто не доорался, а Галина Петровна, заставшая как-то раз Лидочку на пике звукового припадка, просто вlepила ей качественную и равнодушную оплеуху. Лидочка лязгнула зубами и замолчала. Раньше ее не били. Никто и никогда.

Тяжелее всего было, что с ней никто не разговаривал — не считая, конечно, самых элементарных коммуникаций: подойди, подай, положи, ложись спать. Отстань. Отвяжись. Не трогай. Мамочка рассказывала много интересного. И папа тоже. Лидочка вспоминала, как уютно было сидеть между родителями на диване, чувствуя щекой нежную мамочкину руку, прохладную, как молоко, и тихонько вытягивать очень интересную пеструю нитку из папиного свитера. Ты думаешь, дадут путевки? — переживала мамочка. Да куда они денутся, весело говорил папа, а не дадут, так я местком в заложники возьму. А кто такие заложники? — немедленно оживилась Лидочка, бросаясь на новое слово, как котенок на шуршащий газетный бантик. Те, которые за воротник закладывают регулярно. Кого

закладывают? — пораженная Лидочка замерла, разинув рот и забыв про нитку. Не кого, а что. Водку всякую и прочий алкоголь. Закладывают за воротник. Это значит, пьют много и не по делу. Алкоголики, словом. Значит, в месткоме все алкоголики? — догадалась Лидочка, и мамочка мягко повалилась от смеха на диван. Видишь, даже ребенок все понимает! Не будет у нас никаких путевок!

Нет будут! Вот увидишь! Папа даже встал но, как жук, пойманный Лидочкой за нитку, тотчас вернулся и с жучиным же жужжанием принялся тормозить брыкающуюся дочку. Ах ты, Барбариска хулиганская! Ты зачем мне свитер распустила? Родного отца по миру голым решила пустить? Лидочка, вереща, забрыкалась, отбиваясь толстыми ножками. Не тормози ее так, она спать не будет, вступилась мамочка и тоже пожалела пострадавший свитер. Смотри, что ты натворила, а? Как только вытянуть сумела! И зачем тебе эта нитка? Красивая, — объяснила Лидочка, пытаюсь отдышаться и нисколько не боюсь. Правда красивая, — согласилась мамочка. Видишь, какая цветная? Называется — меланж. И это было еще одно слово, и еще одна история, и они все не кончались и не кончались, пока заложники из месткома не дали наконец папе путевки. И они поехали на Черное море.

Замечтавшаяся Лидочка, еще плохо умеющая отличать воспоминания от реальности, вздрагивала от тихого стука, с которым шлепалась о пол книга, соскользнувшая с ее колен, и мамочка тотчас же исчезала, словно ее никогда и не было. Лидочка вздыхала, сползала вслед за книгой с дивана и устраивалась с ней уже на полу, стараясь не хрустеть страницами. Шуметь у Галины Петровны было нельзя. Еще нельзя было бегать, прыгать, устраивать под столом домик, натянув скатерть так, чтобы образовалось таинственное сумеречное логово, необыкновенно уютное, все в золотых солнечных прожилках, среди которых роились тоже золотые и похожие на мушек пылинки. Лидочка мысленно загибала пальцы: играть в мячик. Скакать. Расковыривать обивку и обои. Пачкать все фломастерами. Выпрашивать пирожок до того, как пришла пора обедать. Также нельзя. Это было трудно. Очень трудно.

В сущности, Лидочка жила как породистая болонка. Четыре раза в день ей на полупрозрачном коллекционном фарфоре подавали правильную еду, а после завтрака (чай, овсяная каша с вареньем, теплая булочка, желтое масло, твердый сыр) и перед полдником (молоко, хрустящее печенье, пара яблок или банан) — выводили на прогулку во двор, ведомственный, тихий, отделенный от реального мира кованым забором с чугунными завитками и колючими пиками. На прогулке можно было немного побегать или покачаться на визгливых металлических качелях — под присмотром, разумеется, только уже не одной, а целого десятка няnek, причем каждая ревниво следила за вверенным ей дитятей: чтоб был толще, бойчее и пригляднее остальных. Лузгали семечки, хвастались хозяйским богатством, детскими выходками и капризами — а мой-то, а мой-то ка-ак даст мне этим ведерком по голове! «Мой-то», круглый, важный, весь в импортном наличествовал тут же, неподалеку, и, сопя, пытался выкорчевать куст бурого от осеннего стыда боярышника. Не запрещали детям ничего — во всяком случае, дурного. Хорошего просто не замечали, видимо, потому что его было мало. Перебрав содержимое барских шкафов, неизбежно переходили к холодильникам: захлебываясь, докладывали, чем и когда угощались, что стащили, чем побрезговали. Кухарок и домработниц презирали — черная кость, обслуга, полomoйки. Сами до уборки не унижались никогда. Раззадорив себя рассказами о жратве, тащили из авосек пакеты, голосили, призывая каждая свое чадо, — совали в замасленные, разинутые, как у птенцов, рты бутерброды с икрой, нежную сдобу, ломти ароматной буженины. Торопливо заглатывали объедки. Не угощали друг друга никогда. И детям не разрешали. Еще чего! Будто у них самих жрать дома нечего! Закормленные ведомственные отпрыски, впрочем, и сами не торопились вершить добро — в доме водились либо наглые, набалованные, мордастые барчата, либо бессловесные, слабенькие вырожденцы, жалкие, болезненные отпрыски могучих семейств,

набалованные еще больше барчуков, но лишенные природой даже элементарных инстинктов и навыков выживания.

Гулять Лидочка не любила.

Сидеть дома — тоже.

Оставались только книжки — они ничего не требовали, не запрещали, и с ними можно было разговаривать. Сколько угодно. Хотя и про себя. Убедившись, что Лидочка быстро преодолела все незначительные детские рубежи, начиная с простодушного Айболита и заканчивая прелестной, лукавой «Русланом и Людмилой», Галина Петровна, поразмыслив, решила, что для собственного спокойствия одну из позиций можно и уступить. Она подвела Лидочку к одному из накрепко запертых книжных шкафов, провернула хрустящий ключ и спрятала его в карман. Вот тут можешь копаться, сколько влезет — милостиво разрешила она и указала на нижнюю полку. Выше — и думать не смей. Лидочка, потрясенная открывшимися ей растрепанными сокровищами, мелко закивала.

Так она унаследовала книги своего дедушки.

Разумеется, это были не все книги из огромной драгоценной библиотеки Лазаря Линдта, а только мелкий букинистический сор, который Галина Петровна не знала, как идентифицировать, но выкинуть не решилась — не в память о покойном супруге, конечно, а просто потому, что боялась прогадать. Мода на книги менялась почти так же непредсказуемо и часто, как на длину юбок и ширину лацканов, и все то охотились за простодушными изделиями Ивана Дмитриевича Сытина, то вдруг принимались собирать первоиздания футуристов, выкладывая за нелепые, едва ли не из обойной бумаги сшитые брошюры столько же, сколько обычный советский гражданин был готов отдать только за вожделенную румынскую стенку. Поэтому Галина Петровна просто собрала все эти еще в девятнадцатом веке переплетенные годовые подшивки «Нивы», осыпающиеся учебники по арифметике и простодушные книжки «Дамского чтения для сердца и разума» и сослала на одну из полок, мысленно дивясь, зачем придиричивому Линдту вообще понадобился этот не имеющий ценности библиобред.

Лидочка села перед книжным шкафом на паркет, раскинув голые ножки, которые за год жизни с Галиной Петровной навсегда утратили живую, умильную, младенческую пухлость. Ей было шесть лет — совсем взрослая, учитывая все обстоятельства времени и места. Правда можно? — переспросила она прежде, чем протянуть руку, Галина Петровна могла передумать в любой момент, и за дозволенное вчера на завтра можно было получить преотличную трепку. Лидочка это знала. Оно вообще знала много больше, чем положено было человеку ее лет. Да читай, господи, — разрешила Галина Петровна. Не рви только и фломастерами не малюй. Лидочка кивнула еще раз и безошибочно вытянула из тесного, чуточку взлохмаченного книжного строя самый потрепанный и даже как будто немного теплый том. Это был «Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве» Елены Молоховец.

Лидочка уселась поудобнее, и книга сама готовно раскрылась ей навстречу — на излюбленном кем-то, зачитанном и даже немного замасленном месте. «Сливочное мороженое готовится следующим образом», — прочитала Лидочка, словно волшебную сказку, и поспешила вслед за уютным неслышным голосом, прячущим внутри себя необидную смешинку: взять сливок самых свежих, негустых, следовательно, и нежирных, а в недостатке их и цельного молока; желтки растереть добела с мелким просеянным сахаром, смешать со сливками, поставить в кастрюле на огонь, мешать, пока не погустеет, но не вскипятить. «Но не вскипятить», — повторила Лидочка, до той поры и не подозревавшая, что мороженое вообще готовят, да еще и таким удивительным — следующим образом. Она думала, что мороженое сразу появляется на свет в заиндевелой бумажке или, на худой конец — в стремительно раскисающем и от того особенно вкусном вафельном стаканчике.

«Пробовать лопаточкой», — предупредил голос, и Лидочка тотчас вернулась обратно. Если с лопатки не будет более чисто стекать, а будет отставать, наподобие жидкой сметаны, значит, что варить довольно, отставить, остудить, мешая; процедить сквозь сито в форму, которую надобно сперва вытереть хорошенько; накрыть бумагой и крышкой и вертеть на льду. Лидочка, забыв про все на свете, представила себе, как вертится на льду сливочное мороженое — будто Наталья Бестемьянова, крепкая, круглоногая, с пышной шапкой напружиненных, тоже как будто тренированных волос. А голос все объяснял — уютный, невероятно родной — как обтирать крышку формы, как выбивать получившуюся массу лопаточкой, пока мороженое не обратится в густую и сладкую массу наподобие чухонского масла, и слово «чухонское» было таким сказочным, что даже не требовало объяснений, и Лидочка — впервые за много-много месяцев — не вспомнила про мамочку и впервые была совершенно счастлива.

«Чем чаще мороженое будет вымешено веселочкой, тем оно лучше, в этом и состоит весь секрет хорошего мороженого», — закончила наконец-то Маруся и тихонько засмеялась. Это была ее полка, ее книги, которые Линдт унес, когда не стало Чалдонова, когда не стало вообще ничего, кроме памяти, кроме голоса, кроме так и не сумевшего умереть смеха, кроме этой книжки. Самой любимой — может быть, даже на свете. Теперь это была и Лидочкина любимая книжка. Елена Молоховец.

Следующие полгода Лидочка выпускала «Подарок молодым хозяйкам» из рук, только когда купалась или спала, да и то — Молоховец лежала тут же, неподалеку, на тумбочке, под подушку Галина Петровна не разрешила. Это были очень мирные полгода — во всяком случае, для Галины Петровны, потому что Лидочку, целыми днями сидевшую в кресле с потрепанным томом на коленках, было не видно и не слышно. Галина Петровна иногда даже забывала, что в доме живет ребенок — да что там, пожилой капризный фикус, лениво изображавший в углу гостиной зимний сад, и тот требовал больше внимания и забот.

Идиллия закончилась, как и положено, кровавым воскресеньем, причем кровавым в самом прямом смысле этого слова. Был чудеснейший день, звонкий, подмороженный, вечером Галина Петровна планировала отправиться в приятнейшие гости и потому торопилась завершить все свои дневные, земные дела. «Давай, быстро мой руки и обедать», — приказала она Лидочке, как обычно, полуутонувшей в кресле. Лидочка подняла бледное личико, послушно кивнула, и на желтоватую страницу — прямо на рецепт сливочных облаток (выпекать как трубочки, подавать к чаю или кофе) — шлепнулась тяжелая, густая, почти черная капля. Лидочка испуганно размазала ее пальцем, сползла с кресла и, сделав несколько неуверенных шагов, потеряла сознание, заляпав кровью из носа ковер, собственный свитерок, джемпер Галины Петровны — белоснежный, новый, из чистого кашемира, пятна теперь не выведешь ни за что, и никаких гостей, конечно, никакого приятного вечера, как эта девчонка все-таки умеет все портить! Просто невероятно!

Скорая приехала минут через десять, но Лидочку, к тому моменту вполне пришедшую в себя и даже умытую, все равно повезли в больницу. Врач, услышав про обморок, даже слушать ничего не стала — увозим без разговоров, мало ли что с ребенком, да вы что! Галина Петровна забегала по квартире, собирая Лидочкины вещи и с ужасом понимая, что не знает, где что лежит, чертова нянька, завтра же уволю, развела бардак, ленивая сука! Колготки твои где? — спросила она у Лидочки, и врач посмотрела удивленно, а плевать, не ее собачье дело, в конце концов, тоже мне — цаца, рылом еще не вышла, чтоб меня критиковать. Галина Петровна уронила сумку, подняла, снова уронила. И только теперь поняла, насколько испугалась.

По случаю воскресенья в детской неврологии имелся только дежурный, худой резкий парень с острыми скулами, уставший за сутки до полной потери вежливости, — случай для Четвертого управления невероятный, лебезить перед пациентами тут было важнее

всего, важнее даже результата лечения, да, собственно, лечить было не так важно, куда важнее — угодить. Но у дежуранта на руках было тридцать заполненных коек и бокс, в котором медленно плавился в энцефалитном аду десятилетний мальчишка, совершенно безнадежный, совершенно, и дежурант всю ночь просидел возле его койки, время от времени бессильно проверяя ненужную уже капельницу и мечтая только об одном: чтобы началась наконец агония и мальчишку забрали — в реанимацию, в рай, куда угодно, лишь бы не видеть этот запекшийся рот, запавшие глазницы, эти выкручивающие изможденное детское тело тягучие судороги. Добро пожаловать в педиатрию, сынок. А ведь мог пойти в стоматологию. Мама говорила — умный всегда ищет, где теплее.

Дежурант ловко осмотрел распластанную на кушетке Лидочку, последовательно исключив мышечную ригидность, симптом прилипшей пятки, глазки давай посмотрим, следы за пальцами, вот так, ну-ка, покажи язык, оскалься, хорошо, теперь вставай, ручки разведи. Так, в позе Ромберга устойчива. Молодец. Только бледная, даже не до синевы — хуже, и вялая, как картофельный проросток, будто в подвале росла, а не в богатом сытом доме. Дежурант с ненавистью посмотрел на Галину Петровну, крупную, красивую, закинувшую ногу на ногу, лакированные сапожки нежно стискивали круглые икры, шпильки тоненькие, высокие — зимой в таких не находишься, разве что пять шагов от машины до подъезда. Барыня. А ребенок как из концлагеря. Вот ведь гадина! Все они гадины — думают только о себе.

Дежурант на мгновение испугался, что сказал это вслух, но нет, смотровая, покачнувшись, вернулась на место, блеснув равнодушным никелем и стеклом. Сейчас бы кофейку — три ложки на стакан, с горкой. И покурить.

— Так что с ней, доктор? — спросила Галина Петровна нетерпеливо, страх за Лидочку, истеричный, стыдный, почти прошел, и теперь ей было только неудобно, и отчаянно хотелось домой, в тепло, в свет, подальше от этого худого парня с совершенно ненормальными глазами.

— Ортостатический коллапс, — сухо сказал дежурант. — Плюс низкая подвижность, эмоциональное напряжение. Масса тела понижена, вы кормите ее вообще хоть иногда? А на улицу выпускаете?

Он наконец-то не выдержал, сорвался, чувствуя, как бухает в ушах разогнавшееся от усталости и злости огромное сердце. Щеки у Галины Петровны пошли яркими, почти абстрактными, как на картинах Хуана Миро, пятнами.

— Вы что себе позволяете? — спросила она тихо и встала. — Да я на вас жалобу напишу. Вы у меня в два счета с работы вылетите.

— И напишите, — вдруг обрадовался дежурант и тоже вскочил. — Напишите, будьте любезны. Только не забудьте вписать, что не смогли ответить ни на один мой вопрос. Чем ребенок болел — не знаете, от чего и когда прививали — ах, я не в курсе, травмы головы — да откуда же мне знать! Вас родительских прав лишить надо, а еще лучше — судить. Гадина! — словечко наконец-то вырвалось наружу, закружилось по смотровой злобной юлой, и дежурант почувствовал внезапное облегчение, будто скинул со спины неподъемный мешок с чем-то живым, слабо шевелящимся, смрадным.

Галина Петровна, опешившая от такой неслыханной наглости, смотрела на него расширившимися глазами и молчала.

В дверь заглянула медсестра.

— В третий бокс срочно, Николай Иванович, — сказала она.

— Началось? — спросил дежурант. Медсестра кивнула. — Реанимацию вызывайте, я через минуту буду.

Медсестра кивнула еще раз и исчезла, только застучали по коридору быстрые подошвы — верный признак того, что все пошло на страшный перекосяк. В отделении бегают, только если кто-нибудь умирает. Живые могут и подождать. Дежурант с силой потер



ладонями лицо, одернул халат и погладил по голове Лидочку, которая все это время стояла возле кушетки, безвольно свесив руки и полуоткрыв рот.

— На всякий случай лору ее покажите, — порекомендовал он спокойно, будто ничего не было. — И отдайте девочку в какую-нибудь спортивную секцию, что ли. А то она ходить у вас разучится. Всего доброго.

— Всего доброго, — машинально повторила Галина Петровна. И Лидочка, растянув рот, вдруг отчаянно и совершенно беззвучно заплакала.

Как ни странно, жаловаться ни на кого Галина Петровна не стала, проглотила пилюлю, оказавшуюся, кстати, вполне целительной: Галине Петровне стало стыдно — как ни крути, а Лидочка действительно была ее внучкой, пусть и надоедливой, едва знакомой, неприятной, но родной. Детали ее хромосомного набора, тень ее собственной крови в маленьких чужих жилах. Конечно, приказать сердцу было невозможно — Галина Петровна это знала, но можно было привыкнуть, смириться, приспособиться, это она тоже знала, и, пожалуй, лучше многих других. В любом случае, так демонстративно забрасывать одинокую шестилетнюю девочку было подло, а Галина Петровна была взбалмошной, разбалованной, одинокой, жестокой, несчастной, но не подлой, нет. Только не подлой. Она отвезла Лидочку к лору, к невропатологу, даже (по великому благу) к частному, полуподпольному и несусветно дорогому гомеопату, и все эскулапы хором подтвердили диагноз и рекомендации яростного дежуранта. Больше двигаться — тогда придет и аппетит, больше общаться — тогда уйдет и эмоциональное напряжение. И никакого запойного чтения!

Галина Петровна вновь заперла книжный шкаф на ключ, но Молоховец Лидочка прижала к груди таким отчаянным, совершенно недетским жестом, что Галина Петровна только махнула рукой, ладно-ладно, пусть, только не больше часа в день, и смотри — я сама буду проверять. Лидочка мотнула головой, благодарно улыбнулась сквозь громадные, готовые пролиться слезы, и Галина Петровна впервые увидела у нее на щеке свою собственную ямочку — будто на одно мгновение оглянулась назад, в давным-давно заросшее пылью и паутиной детство. «А хочешь, в цирк вместе сходим?» — спросила она, сама себе удивляясь, и притянула девочку, впервые если не ласково, то хотя бы без отвращения. Лидочка вдохнула удушливый аромат жасмина и тубероз — огромный, огромный букет, даже корзина, на дне которой ждала терпеливого исследователя переложенная влажной древесной корой крупная, только что с куста, черная смородина — и смешно, помышиному чихнула. Парфюм BEAUTIFUL 1986 года рождения от Эсте Лаудер — новинок Галина Петровна не пропускала никогда.

В цирк они не пошли, конечно. Но сладость и тепло данного обещания еще долго-долго питали наголодавшееся Лидочкино сердце.

Спортивные секции отпали сразу — Галина Петровна была категорически против всяких девушек с веслом и прочих безобразных кариатид. Девочка должна быть девочкой. Поэтому, чтобы обеспечить недостающую подвижность, Лидочку решено было отдать в танцевальный кружок — разумеется, в самый лучший, в Центральный Дворец пионеров: снобизм Галины Петровны не выносил несоответствия даже в мелочах. На первое занятие она отвезла Лидочку самолично, на «Волге» — не слишком большая жертва, если учесть, что новая (только что из спецателье) шуба настоятельно требовала первой прогулки. Правда, портниха попалась бестолковая — все пыталась пустить по подолу купеческих, жлобских хвостов, но Галина Петровна настояла на своем, и шуба состоялась, не шуба даже — тонкое, легкое пальто из переливчатой черной каракульчи с муаровыми разводами там, где у неродившихся ягнят должны были потом образоваться младенческие тугие завитки. На подкладку пошел самый настоящий шелк невероятного, почти императорского оттенка. Посечется же, засалится, так непрактично! — заклинала портниха, дура, четырежды деревенская дура, потому что стоило Галине Петровне поднять руку к волосам или распахнуть полы, как шуба, замкнутая, непроницаемая,

монашески-строгая, вдруг являла миру свою тайную, тревожную, воспаленную изнанку и от этого становилась особенно беззащитной, раненой, невероятной — почти живой.

Огромный воротник из тронутой седоватым морозцем чернобурки, просторные рукава, перебор маленьких пуговиц на высокой, тесно обтянутой груди — Галина Петровна, скрипнув молодым аккуратным снежком, вышла из машины. Пахло близкими сумерками, скорой оттепелью и самую малость — только что разрезанным парниковым огурцом. Кургузые советские мамы, поджидающие у Дворца пионеров свой приплод, завидев диковинную барыню, завистливо поджали губы, и Галина Петровна ощутила себя не то героиней забытого на скамейке библиотечного романа, не то расплывающейся, влажной, прелестной переводной картинкой — такой неясной, что невозможно вспомнить, на каком полустанке памяти она мелькнула за окном в первый раз. Галина Петровна спрятала губы в щекотный мех, вдохнула нежный, чуть подмороженный воздух и вдруг почувствовала себя очень глухой, очень молодой и очень счастливой.

— Пойдем? — весело предложила она Лидочке, и та послушно засемила рядом — нескладная, в клетчатом стеганом пальтишке и буратиной шапочке с желтым помпоном, похожем на свихнувшийся лохматый лимон. «Надо непременно заказать ей капор с лентами и мутоновую шубку», — мимоходом подумала Галина Петровна, и Лидочка, словно почувствовав эти мысли, смущенно запнулась, уронила варежку и шлепнулась за ней сама — мягко, всем телом, как умеют шлепаться только маленькие дети. Галина Петровна со вздохом остановилась — давай, сама поднимайся, сама — и тут только поняла, что неуловимо мешало ей все это время — не снежные мошки, не ледяной тротуар, в который каблуки впивались с приятным сахарным хрустом, а высокий парень в куртке из громающей советской болоньи, стоящий на крыльце Дворца пионеров. Что-то было в нем знакомое и потому тревожное — красноватые, зазубленные без перчаток лапы, легкая сутулость, растрепанные светлые волосы, дурацкая вязаная шапка предательски торчит из кармана — вот пижон, не иначе как девчонку дожидается. Девчонка появилась тут же, выскочила на крыльцо — румяная, хохочущая, в черном танцевальном трико и короткой атласной юбчонке, едва прикрывающей круглый, совсем не пионерский задок — судя по всему, под местными сводами были рады не только любознательным детишкам. На морозе от девчонки тотчас пошел пар, будто от разгоряченной, взмыленной лошади, и она, с лошадиным же, золотым гоготком, кинулась на шею своему нелепому Ромео, а он торопливо прижал ее к себе, распахнул дешевую куртку, пытаясь закутать свое сокровище целиком, замерзнешь ведь, дурочка, как же я люблю тебя, ты даже не представляешь! Девчонка захохотала еще громче, брыкнув плотными ножками, вынырнула из-под куртки и ловко затащила смущенного парня в фойе, но на крыльце еще несколько секунд сиял плотный, всеми ощутимый свет — живые отпечатки живой человеческой любви. И только когда свет наконец погас, Галина Петровна поняла, что парень был похож на Николеньку. «Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною — любовь», — не своими, невероятно далекими словами подумала она, и сразу издалека, из старательно забытого прошлого, тугой волной пришла страшная, почти обморочная усталость, слизывая краски, растворяя силы, так что и шуба, и радость, и вечер — все исчезло в один миг, осталась только обычная жизнь, привычная, бесконечная и потому едва уже выносимая.

Галина Петровна поняла, что сейчас расплчется или потеряет сознание. Все, дальше сама. Двадцать восьмая комната, второй этаж, с усилием приказала она, подтолкнув уже поднявшуюся и даже вполне отряхнувшуюся Лидочку к воротам обители золотого детства. Через час няня тебя заберет. Жди на месте, на улице не торчи. Лидочка посмотрела испуганно, шмурыгнула носом, но справилась с собой и поплелась к огромной — в три человеческих роста — двери. Как она загребает ногами, господи, ну куда ей танцевать, у нее и слуха-то, поди, никакого, да за что мне это наказание, да расстегну я эту чертову шубу или — чпок! — одна непослушная пуговка отскочила и, цокнув о лобовое стекло, отлетела куда-то под пассажирское сиденье.

Окончательно справиться со ставшим пудовым каракулем удалось только в лифте — домработница, затеявшая по случаю танцевального дебюта пирожки, выскочила из кухни, воздев к небу мучные, осыпающиеся руки.

— Не приняли? — потрясенно выдохнула она, ища округлившимися глазами Лидочку.

— Туда даже даунов безногих принимают, — рывкнула Галина Петровна и раздраженно швырнула шубу на пол — вывернутую, освежеванную, теперь уже окончательно и бесповоротно мертвую. — Скажите, пусть Люся в шесть ее оттуда заберет. И не орите так, ради бога. У меня мигрень.

Домработница хотела было что-то спросить, но Галина Петровна только головой мотнула — отвяжитесь, я сказала! — и перед носом прислуги громко захлопнулась дверь в одну из комнат, еще одна, бог весть какая по счету, закрытая дверь в этой семейной истории.

Галина Петровна и сама не знала, зачем пришла в кабинет Линдта: большой стол, папки с бумагами, кожаный старый очешник, который он очень любил, зачехленная печатная машинка, которую он не терпел, все на тех же, что и прежде, местах — она сама распорядилась, чтобы трогать ничего не смели, так что получился маленький музей, стерильно чистый и совершенно никому не нужный, потому что после того, как Лазарь Линдт умер — прямо здесь, кстати, вот на этом самом слишком просторном даже для агонии диване, в кабинет не заходил практически никто. Уж тем более он сам.

Галина Петровна подошла к столу, провела пальцем по собственному лицу в деревянной рамке, на снимке ей было лет шестнадцать, хорошенькая бестолковая хохотушка, самая любимая фотография Линдта, может, потому, что с ним она никогда так не смеялась, рядом, в такой же рамке, — какая-то седая старушенция, не то родня, не то знакомая, за двадцать три года семейной жизни Галина Петровна так и не удосужилась расспросить, кто именно. Теперь уже поздно. И слава богу.

— Все ведь должно было быть по-другому, — сказала она тихо. — Все, абсолютно все. Разве я такая была? — Линдт молчал, лежал, скукожившись, на огромном диване, подтянув коленки к морщинистому пустому рту, — в той же позе, что и умирал, в той же, что и пребывал до рождения. — Это ты мне всю жизнь покалечил. Всю меня переуродовал.

Галина Петровна почувствовала, как издалека, чуть ли не из детства, приближаются, погромыхая, слезы, а Линдт все лежал, не поворачиваясь, и она вдруг поняла, что он вовсе не молчит, а едва ощутимо, на пределе чувствительности слухового нерва, бормочет что-то напевное, неразборчивое и бессвязное, как во сне, когда каждое отдельное слово, совершенно живое, круглое, словно бусина, нанизывается на другое, такое же понятное, но все они вместе сплетаются в запутанный, сложный, лишенный всякого смысла и оттого особенно страшный клубок.

— Теперь уже недолго, Галина Петровна, — сочувственно сказал врач и, судя по глазам, хотел погладить ее по плечу, но не осмелился. — Вы идите, поспите хоть немного. Сиделку я утром сменю.

Галина Петровна послушно кивнула, но не сдвинулась с места, как будто не могла оторваться от этой медленной, завораживающей, почти торжественной агонии. Тихо и отчетливо шелкали пластмассовые спицы в руках пожилой молчаливой медсестры, тихо и отчетливо тикали старые напольные часы фирмы Lenzkirch, дубовые, с бронзовым литьем и позолоченными стрелками, и в такт им, коротко и страшно выдыхая, бормотал Линдт. *Амол из гевен а майсе. Ун ди майсе из гор нит фрейлех.* И снова: *амол из гевен а майсе.*

— Что он говорит? — спросила Галина Петровна. — Что он говорит? Вы понимаете?

— Нет, — сказал врач. — Вряд ли это вообще имеет смысл. Мозг, скорее всего, мертв больше, чем наполовину. Идите. Не надо вам на это все смотреть.

Галина Петровна встала и только теперь почувствовала, как страшно затекли от многочасового сидения ноги и спина. Надо поспать. Это правда. Или хотя бы немного полежать. На пороге она вдруг остановилась и спросила со странной интонацией — он точно не поправится? Врач виновато развел руками. Галина Петровна вышла, и из коридора раздались сдавленные лающие звуки.

— Вот бедняжка, — сказал врач равнодушной, как сфинкс, медсестре. Хорошо хоть плакать начала, я уж думал — до реланиума дойдем.

Галина Петровна вытерла мокрые глаза, вдохнула поглубже, чтобы успокоиться, но не выдержала и снова неудержимо, обеими руками зажимая рот, расхохоталась.

Это началось в 1979 году. Вернее, Галина Петровна впервые заметила в семьдесят девятом — Бог знает, сколько жил с этим сам Линдт, и даже Бог вряд ли знал, насколько ему было страшно. Линдту было уже под восемьдесят, формально он давно числился пенсионером — почетным, заслуженным, черт знает каким еще — но на деле бывал в своем институте, правда, уже не ежедневно, а несколько раз в неделю, но в этих визитах все еще не было ничего формального. По-прежнему ядовито остроумный, по-прежнему соображающий с парадоксальной скоростью, он, как и раньше, курировал кучу проектов, выпасал (вернее — садистски угнетал) бесчисленных аспирантов и молодых ученых и азартно заканчивал очередную монографию.

Они были женаты двадцать лет, но Галина Петровна до сих пор старалась не называть Линдта по имени. Проще пройти несколько десятков метров, чувствуя, как ловко обливаает бедра новое бархатное платье, открыть дверь, другую, третью, укоризненно приподнять брови. Линдт стоял в центре спальни — маленький, ссутуленный — в одной белоснежной рубашке, из-под которой, как из-под ночной сорочки, торчали сухие гнутые ножки — детского размера, но в недетских проплешинах и лиловатых жилах. На кровати перед ним лежал, приветливо распахнув объятия, отглаженный костюм чудесного черносливого отлива со скромным рядком лауреатских медалей на правой стороне и увесистой орденской планкой слева.

— В чем дело? Мы опаздываем! — недовольно сказала Галина Петровна.

Линдт вздрогнул, непонимающе разинув рот, взглянул на Галину Петровну — и снова уставился на костюм. Голова у него мелко, едва заметно дрожала, будто изношенный механизм, с усилием пытающийся сняться с места.

— Мы опаздываем! — повторила Галина Петровна.

— Куда? — спросил Линдт растеряно, и Галина Петровна впервые в жизни услышала в его голосе что-то похожее на страх. Она вдруг с тихим отчетливым ужасом поняла, что муж, должно быть, ничего не понимает. Ни того, что лежит перед ним, ни причины ее недовольства. Эта отвисшая старческая челюсть, мутной желтизной залитые невидящие глаза... Очень может быть, что он и ее-то не узнает. Господи, ну, конечно, ему же почти восемьдесят! Надо срочно позвонить Никитским, Ляля говорила, у нее есть знакомый невропатолог. Хотя при чем тут нервы? Линдт, должно быть, давным-давно выжил из своего великого ума, а она даже не заметила.

— Ты что — не помнишь? — спросила Галина Петровна осторожно, будто разговаривала с буйным сумасшедшим, который мог в любую секунду выхватить стремительную и лиловую на отливе опасную бритву. — Мы приглашены к Андрикову, у него же юбилей. Машина уже полчаса внизу. Или ты плохо себя чувствуешь? Может, останемся дома?

— Ну что за глупости! — вдруг бодро отозвался Линдт и ловко, с удовольствием, прыгнул в костюмные брюки. — Вот еще — дома. У Андриковых отлично кормят — грех не подхарчиться, раз дают. — Он засмеялся совершенно ненормальным смехом, больше похожим на вой, и Галина Петровна вдруг на секунду дико, до слабости, до

испарины испугалась — будто была маленькой девочкой, совсем ребенком, которую безжалостно, даже весело бросал в лесу один-единственный известный ей взрослый.

— Что-то, мать, ты перепудрилась — белая вся, как снеговик, — недовольно присудил Линдт, пытаясь справиться с ширинкой — и это тоже было совершенно ненормально, никогда он не называл ее так — мать, и никогда не критиковал, даже в мыслях, Галина Петровна это точно знала, вываляйся она хоть в саже, хоть в перьях, хоть в самом дерьме. И с ширинкой у него никогда никаких проблем не было. Вот уж с чем у Линдта все и всегда было отлично.

Тем не менее вечер у Андриковых прошел безупречно — Линдт блистал даже больше обычного, сыпал парадоксальными остроумиями и затанцевал дам — да так, что Галина Петровна не один раз мысленно обозвала себя психопаткой и истеричкой. На долгих нескольких месяцев все стало прежним, привычным, обжитым, но она отчего-то никак не могла успокоиться и тайком наблюдала за Линдтом с опасливым, напряженным чувством, точно следила за невиданным насекомым, которое двигалось в отдалении по траектории, пока не опасной, но бог знает, что взбредет ему в голову в следующий момент, да и есть ли вообще хоть что-то в этой голове — уродливой, огромной, запятнанной коричневатой старческой «гречкой»?

Но все было как обычно — разве что Линдт стал чаще раздражаться да начал необычно много есть, причем с капризами и выкрутасами, чего раньше никогда не было. Или было? Галина Петровна провожала глазами кусок белужьего балыка, который Линдт обмакивал сначала в хрен, а потом в кизилковый джем, рассуждая о грамотной активации вкусовых рецепторов. Или он всегда так ел? Боже, дура, двадцать лет прожила с ним бок о бок и ничего, ничего не замечала!

Но странности с едой, сперва едва заметные, продолжались — Линдт стал ронять куски, сам, впрочем, смеясь над своей стариковской немощью, смотри, фейгеле, этак скоро тебе придется меня с ложечки кормить, потом отказал нож, а за ним и ставшая непослушной вилка, и ложечка оказалась совсем нешуточной, правда, с ней Линдт пока управлялся отлично, сгребая и вымешивая в глубокой суповой тарелке все сразу — мясную солянку с маслинами и лимончиком, молодую картошку, предусмотрительно и мелко нарезанную домработницей телячью отбивную... Все это малоаппетитное месиво подогревалось до температуры в тридцать шесть и шесть десятых градуса и с хлюпаньем и чмоком отправлялось в рот — согласно новейшей теории Линдта, это был наиболее результативный способ усваивать из пищи все содержащиеся в ней полезные вещества.

День, когда Линдт вылил в тарелку — в компанию к венгерскому гуляшу, тушеной капусте и паровой куриной котлетке — стакан сладкого чая, стал для Галины Петровны днем окончательного прозрения. Линдт поболтал ложкой мерзкую жижу, подумал и с хитрой ухмылкой принялся крошить туда же берлинское печенье. Домработница незаметно перекрестилась и ушла на кухню. Галина Петровна сглотнула тошнотворный комок — не омерзения, нет. Страха.

Сомнений больше не было. Лазарь Иосифович Линдт, академик АН СССР, лауреат, член и гонорис кауза всего, чего только можно, окончательно и бесповоротно свихнулся.

Однако это надо было еще доказать. Всегда не терпевший врачей, теперь Линдт и вовсе стал совершенно неуправляемым — ни о каком обследовании и речи быть не могло, ну не психовозку же Галине Петровне было ему вызывать? Она отчаянно, впервые в жизни, пожалела, что сама же с треском выжила из дома Николаича, много лет назад, а ведь Николаич, пожалуй, мог бы хозяина если не заставить, то хотя бы уболтать. Но поздно, поздно — времени прошло столько, что и не разыщешь, генерал Седлов еще лет десять назад сказал как-то мимоходом, что мажордом-то ваш бывший из органов уволился, пьет, говорят, по-черному, но язык за зубами держит крепко. Вот что значит хорошая школа. Николаич, давным-давно удавившийся на пике похмелья в своей однокомнатной

одинокой клетушке, молодецкато кивал, гордись, что не подвел старых товарищей, жизнь свою прожил гнусно, но честно. Как настоящий чекист.

От отчаяния Галина Петровна пригласила в гости психиатра, раздобыла по знакомым целого профессора, толстого, круглого, похожего на жизнерадостное пасхальное яйцо. Профессор с удовольствием принял приглашение и часа два кушал с академиком чай, ловко и незаметно, как кот, загоняя Линдта вопросами в самые разнообразные логические тупики, но Линдт, как назло, был безукоризнен, хлеба своего не намешивал и все словесные пасы собеседника отбил с легкостью, достойной себя самого. Профессор, запросивший за визит сто рублей, облобызал Галине Петровне ручку и на прощание заверил, что Лазарь Иосифович психически совершенно здоров, и вообще истинный гений имеет право на некоторые странности, тем более возраст почтенный, но для такого почтенного возраста, уж поверьте моему опыту, все более чем в порядке. Галина Петровна демонстративно вытерла руку о подол и выдала профессору пятьдесят рублей вместо обещанной сотни. Чтоб знал, мудака.

Но прошло еще несколько месяцев — и светлые промежутки вроде того, на который попал психиатр, стали реже. Линдт начал плохо спать и часто замирал на полуслове, уставившись всем обвисшим, застывшим лицом куда-то в одному ему ведомое время и пространство. Один раз, глядя в окно, он с удивлением сказал — ну и очередь, мама моя дорогая! Он с хрустом распахнул рамы и весело крикнул — эй, парни, даже не занимайте, картошки все равно всем не хватит! Галина Петровна отдернула тонкий сливочный тюль — двор был совершенно пуст, только шоркал метлой немолодой дворник, да текла вдоль кустов длинная, пушистая, огненно-рыжая кошка.

Это было похоже на медленное погружение. Линдт будто уходил в черную стоячую воду, неторопливо, шаг за шагом, теряя то небольшое человеческое, что в нем вообще было, и никто не останавливал его, не плакал, никто не умолял вернуться. Совсем никто. Поразительно, но он все еще невероятно много работал, ежедневно проводя за письменным столом не меньше четырех часов и иногда тихо, а иногда яростно разговаривая. Однажды, когда академик особенно бурно спорил с каким-то Сергеем Александровичем, понося его черной, совершенно лагерной бранью, Галина Петровна не выдержала и заглянула в кабинет. Линдт разговаривал с часами.

Всякий раз, передавая очередному аспиранту пачку листов, исписанных фирменными закорючками академика, которые теперь стали еще чудовищнее и крупнее, Галина Петровна ждала звонка с испуганными расспросами, откуда она взяла эту ахинею, и звонки, конечно, были, только совсем другие — ах, это просто гениально, совершенно поразительные выкладки, передайте Лазарю Иосифовичу, что из «Physics of Plasmas» прислали благодарственную телеграмму, они просто в восторге от его последней статьи, и, знаете, по секрету хочу вам сказать, уважаемая Галина Петровна, дело, очень может быть, пахнет Нобелевкой!

Галина Петровна положила трубку на рычаг и проводила глазами мелко семенящего по коридору будущего нобелевского лауреата, сухого, крошечного, кутающегося в засаленный, заляпанный до полной неузнаваемости халат. Прежде чем свернуть к своему кабинету, он подпрыгнул, хлопнул воображаемыми крыльями и залиvisto кукарекнул. Телефон зазвонил снова. Галина Петровна взяла еще теплую трубку и устало сказала: «Пошел на хуй, идиот. И не звони сюда больше — надоел».

Борик вспыхнул и, как ошпаренный, выскочил из телефонной будки. «Пойдем, — сказал он жене, покачивающей коляску, в которой спала туго спеленутая и похожая на очень хорошенькую сардельку новорожденная Лидочка. — Никого нет дома. Я потом позвоню. В другой раз». Но другого раза, разумеется, не случилось. Через несколько недель Лазарь Линдт заболел неизвестно откуда приблудившимся тяжелейшим гриппом. Приехавшая на сорокаградусную температуру скорая предложила госпитализацию, но Галина Петровна отказалась. Хорошо, покладисто сказала шустрая вышколенная

докторица. Учитывая положение пациента и его возраст, думаю, мы легко сможем организовать круглосуточный пост и на дому.

Четвертое управление встало на уши в прямом смысле этого слова, и уже дней через десять Линдт пошел на поправку. Точнее неторопливо, словно паводок, стал отступать грипп, оставляя после себя какие-то черепки, обломки, раздувшиеся трупы домашних животных и жуткие запахи сырости, смерти и гнили. Ежедневно посещавший высокопоставленного пациента терапевт (высшей, разумеется, категории) отвел Галину Петровну в сторону и деликатно спросил, не замечала ли она в поведении супруга каких-нибудь странностей.

— Он же гений, — сказала Галина Петровна зло. — Всегда был с приветом. Что вы от меня-то хотите?

— В первую очередь — мужества, — сказал терапевт и долю секунды полюбовался собой со стороны. — Должен сказать, что у Лазаря Иосифовича Линдта, судя по всему, болезнь Альцгеймера.

Линдт умер 25 декабря 1981 года, через два месяца после объявления приговора, и последние три недели провел в беспмятстве, полном никому неясного, невнятного бормотания. Он был еще жив, а в спеццехе центрального «Ритуала» уже заканчивали делать для него огромные колючие венки, складировали в специальные холодильные камеры тысячи нежных, махровых гвоздик, раскладывали, сбиваясь со счета, бархатные подушки для орденов, и стоял в углу, уже совершенно готовый, гроб с бронзовыми ручками — светлый, лакированный, почти радостный, и слишком большой для того, кому предназначался.

В доме Линдта было шумно, многолюдно, даже оживленно — как перед большим и долгожданным торжеством. Домработница сбивалась с ног, разнося канане и бутерброды, а Галина Петровна, похудевшая и похорошевшая еще больше, с достоинством принимала одного визитера за другим. Директор Линдтова института деликатно и с тысячью извинений обсуждал с ней сценарий похорон — ведь государственного масштаба мероприятие, создана даже специальная правительственная комиссия, сами понимаете! Галина Петровна понимала и не возражала ни против прощания в Центральном Доме Советской армии, ни против первого секретаря Энского обкома КПСС в почетном карауле. Ей без конца целовали руки, выражали соболезнования, пятились задом, вытирая платочками глаза. Но Линдт все не умирал — лежал в позе эмбриона, бормоча свою тихую невнятицу, словно завис между двумя мирами на невидимых, но все еще прочных нитях, и это продолжалось так долго, так что все, наконец, устали ждать. Все — включая его самого.

25 декабря в четыре часа пополудни Галина Петровна заглянула к Линдту в кабинет — как заглядывала ежечасно, и кивком отпустила сиделку, деликатно грызущую в углу юбилейное печенье. Идите, поешьте горячего, я посижу. Сиделка с благодарным воркованием исчезла, и Галина Петровна осталась в синей сумеречной комнате один на один со скукожившимся, почти исчезнувшим мужем. Амол из гевен а мейлех, — тихо и безостановочно бормотал он. Дер мейлех гхот гегхат а малке... Галина Петровна подошла к окну, чуть отдернула парчовую гардину — шел крупный, бесшумный, торжественный снег, какой бывает только на Рождество, и весь двор, весь город, весь мир были полны этим снегом и светом, бледным, живым, настоящим, какой бывает тоже только один раз в год, на Рождество. Бормотание вдруг стихло, и Галина Петровна испуганно оглянулась. Было почти темно, затхло и тяжело пахло какими-то лекарствами, болью и стариковским измученным телом. Все предметы в кабинете словно зажмурились и вжались в углы. И только с постели глядел на нее прежний Лазарь Линдт, живыми, усталыми, совершенно человеческими глазами.

— Фейгеле, — сказал он ласково. — Это ты. А мне все кажется — мама поет.

И он негромко и очень точно напел на идише старинную, старше его самого, колыбельную: *«Люлинке, майн фейгеле, люлинке, майн кинд»*. Ту самую, что повторял неверным, коснеющим языком долгие три недели.

Галина Петровна и сама не поняла, как оказалась рядом с диваном, на коленях. «Ты, — пробормотала она потрясенно. — Ты... Разве ты...»

— Голова болит, — пожаловался Линдт и приложил горячую, крупную руку жены к своему огромному лбу. — Я упал, что ли? Ничего не помню.

Он обвел глазами кабинет, попытался приподняться, но не смог. Галина Петровна неожиданно для себя самой всхлипнула — громко, по-деревенски, и закусила запрыгавшую нижнюю губу.

— Что со мной? — спросил Линдт настойчиво, и вдруг глаза его расширились и на мгновение застыли, словно увидели то, что не предназначалось ни ему, никакому другому человеку.

Он понял.

— Вот, значит, что, — сказал он хрипло. — А я думал — упал.

Он испуганно сжал пальцы Галины Петровны, словно маленький, словно она могла помочь, словно хоть что-то можно было поделать, но тотчас справился с собой и отпустил ее руку.

— Ничего, — пробормотал он. — Ничего, фейгеле, не бойся. Если вдуматься, это всего-навсего эксперимент, и даже очень любопытный.

Галина Петровна хотела ответить, хоть что-то сказать, но все заготовленные слова вылетели из головы — а ведь она столько лет ждала, готовилась, тысячи раз представляла себе, как проклянет его перед смертью, как выскажет все, что гнусным комком стояло в горле долгих двадцать три года ее кошмарного замужества. Она уткнулась лбом в край дивана и мучительно, будто ее рвало, зарыдала.

Линдт с трудом поднял руку, погладил жену по теплым, живым волосам.

— Не плачь, фейгеле, — попросил он тихо, ни на что не надеясь, как просил у нее всю жизнь — хлеба, взгляда, любви, сострадания. — Я тебе так за все... благодарен. — Он помолчал, собираясь. — Лучше тебя ничего не было. За целую жизнь.

Галина Петровна подняла мокрое лицо с пламенеющим на лбу диванным отпечатком, и Линдт улыбнулся ей — благодарно, нежно, изо всех сил.

— Мне бы... повернуться, родная, — попросил он, и Галина Петровна вскочила, суется, неловкими руками принялась укладывать мужа поудобнее, в кабинет уже спешила насытившаяся сиделка — ой, да что ж вы, да не надо, Галина Петровна, да я сама. Обе женщины, толкая друг друга боками, повернули иссохшее до темноты тело академика, Галина Петровна подхватила его соскользнувшую, изможденную, пергаментную руку, и на секунду все приобрело библейскую силу и простоту.

Она уложила на подушку седую огромную голову мужа, заглянула ему в глаза и отшатнулась.

Лазаря Иосифовича Линдта больше не было.

Когда накрытый с головой аккуратный сверток увезли на носилках, Галина Петровна разогнала всех — врачей, прибывших засвидетельствовать смерть, гэбэшников, явившихся оказать почтение, сиделок, хныкающую домработницу, и впервые за много месяцев осталась совершенно одна. Она обошла громадную пятикомнатную квартиру, зачем-то заглядывая во все углы, будто надеялась найти что-то или понять, но не нашла, и вдруг завывала, низко и жутко, как издыхающее животное, как собака, раздавленная равнодушным колесом (все, что ниже разможенной поясницы уже умерло, а душа все никак не вырвется из проломленной грудной клетки в тихий предутренный покой). Она



выла, раскачиваясь и сама не понимая, что делает, пока соседи снизу, смиренная генеральская чета самого преклонного возраста, не начала гулко колотить по чугунным батареям, выла, пока в десяток кулаков избивали входную дверь и пока в пару топоров ее мучительно калечили и ломали. Потом опять замельтешили какие-то полужнакомые люди, по-ишачьи заголосила под окном скорая, короткими синими всполохами разгоня боязливые сумеречные души покойников, прибывшие, чтобы поприветствовать новичка. Галину Петровну трясли за плечи, совали к лицу стакан с остро воняющей валерьянкой, а она все выла и выла, пока врач не кольнула ее в полное предплечье сияющим шприцем — будто укусила. И комната тотчас мягко закрутилась вокруг грандиозной люстры с гранеными богемскими висюльками, унося Галину Петровну в одинокое забытие, в котором она все равно продолжала жалобно, жутко, на одной ноте, выть.

Просто больше никто ее не слышал.

Она проснулась часа через два, оттого что покойный Линдт мягко позвал ее на ухо молодым, ласковым шепотом: «Фейгеле». Галина Петровна целую минуту лежала, зажмурившись, вся влажная от ужаса, с черствым от снотворного, горьким ртом, пока не поняла, что это всего лишь сон, просто сон, даже не кошмар. Потому что все кошмары ее жизни уже закончились, ушли вместе с Линдтом, который сейчас, должно быть, уже стоял где-то в предбаннике небесной канцелярии: приглаживал седые львиные космы, продувал забитую перхотью карманную расческу, скалясь и предвкушая завершение увлекательнейшего спора — а вот по этому вопросу, любезнейший, я буду вынужден опровергнуть вас даже сейчас. Галина Петровна старательно представила себе металлический стол ведомственного морга, крошечное, ссохшееся от старости и страсти тельце покойного мужа и безучастного патологоанатома — почему-то с большими кухонными ножницами, которыми домработница обычно разделявала к обеду курицу, ловко рассекая зазубренными браншами бледную бескровную плоть.

И только тогда наконец решилась открыть глаза.

Она лежала в тихой, полутемной гостиной на огромном кожаном диване, который был так потрясен невиданным прежде вниманием хозяйки, что не осмеливался даже шевельнуться. Какое-то время Галина Петровна бездумно рассматривала люстру, неподвижную, темную, растопырившую бронзовые лапы, точно гигантский затаившийся паук, готовый вот-вот рвануть вниз, к парализованной ужасом добыче. Завтра же сменю эту пакость, подумала она, и слово «завтра» отдалось в голове грустным, неясным звоном — словно где-то далеко, может быть, в детстве, уронил горн маленький и бесконечно уставший от подвигов пионер, похожий не то на замученную игрушку, у которой наконец-то кончился завод, не то на рано повзрослевшего ангела.

Галина Петровна неловко попыталась сесть — мир от снотворного стал мягким и путаным, словно полуспустившийся со спиц недовязанный шарф, — и только теперь заметила, что в гостиной не одна. У стола, в лужице света, едва просочившейся из-под абажура маленькой лампы, свесив непослушную голову на крупные лапы, дремал фельдшер, можно даже сказать — фельдшеренок лет двадцати, оставленный, видимо, для того, чтобы сановная вдовица не натворила на радостях еще каких-нибудь дел. Запястья у фельдшеренка были широкие, как у породистого щенка, а на носке, прямо у большого пальца, сияла умильная, как пупок новорожденного, дырка. Воспитанный парень. Разулся. Не рискнул осквернить грязными ботинками барские паркеты.

— Эй! — сказала Галина Петровна негромко.

Фельдшеренок дернулся, вскинул голову и то ли от неожиданности, то ли от молодости улыбнулся — глуповато и радостно, точно так же, как улыбался спросонок Борик, когда был маленьким. А ведь он младше Борьки. И мать у него, должно быть, моложе меня. Фельдшеренок крепко потер глаза и встревожено спросил Галину Петровну — вы в порядке?

— В полном, — ответила Галина Петровна и распахнула халат, мягко осветив комнату голубоватым голым телом. — Иди-ка сюда.

Фельдшеренок сглотнул и растерянно оглянулся, словно кто-то — старший и опытный — мог подсказать ему, что делать.

— Иди, иди, не бойся, — насмешливо повторила Галина Петровна, чувствуя, как заливают лицо и грудь дикая, глупая радость, что все наконец-то случилось, все кончилось, она наконец-то дождалась.

Все действительно кончилось — через пять минут, включая радость, и, закрывая за растерянным, отчаянно смущенным парнем дверь, Галина Петровна не испытывала ничего, кроме острого желания вымыться, такого же, как с Линдтом, только в тысячу раз хуже.

За первые полгода своего вдовства она сменила не меньше десятка любовников — молодых и не очень, наглых, самоуверенных и тихих, всего на свете робевших, — но ни с одним из них не случилось ничего, кроме влажной, омерзительной, телесной возни, в которой не было и тени той любви и нежности, которой, оказывается, была полна каждая минута ее жизни с Линдтом. С ним все было по-другому. Абсолютно все.

И теперь, когда сказка, которую она считала такой страшной, закончилась, Галина Петровна вдруг обнаружила, что балованная, юная, любимая девочка, которой она привыкла ощущать себя целых двадцать три года, превратилась в тыкву — обычную сорокалетнюю вдовицу, конечно, без материальных проблем, зато с намечающимся вторым подбородком. Желających переспать и подхарчиться было навалом, но никто не говорил ночью, не просыпаясь: «Солнышко мое», никто не помнил, что яблоки она любит твердые, чтоб хрустели, а груши, наоборот, переспелые, и никто не умилялся, когда, перепачканная этими грушами, она облизывала липкие пальцы, словно маленькая. Да и маленькой ее больше никто не считал.

Галина Петровна разогнала любовников и рассорилась даже с теми немногими приятельницами, что могли выносить ее выходки и бриллианты. Сын, говорите? Да этот свиненок умудрился не прийти на похороны к родному отцу! Она сменила гардероб, мебель в спальне, купила новую машину и поняла, что ей, собственно, незачем выходить из дому.

Это было чудовищно. Но это и была свобода.

До двадцать восьмой комнаты на втором этаже Лидочка добралась без приключений. В полуоткрытую дверь виден был циклопической величины зал с зеркальной стеной, в которой отражался зеркальной же натертости паркет, странным образом отражающий в себе зеркальную стену. В каждом направлении череда отражений упиралась в опасную бесконечность, и в центре каждой бесконечности желтым сальным пятном расплывалась все уменьшающаяся люстра. Очень простая задачка, отозвался Лазарь Линдт. Если принять во внимание скорость света и предположить, что расстояние между зеркальными поверхностями — два метра, то при продолжительности опыта в одну минуту можно увидеть девять миллиардов отражений люстры. Лидочка, полуоткрыв рот, начала считать. Важное условие, продолжил Линдт, и снова невозможно было понять — шутит он или давно уже умер, — наблюдатель должен быть совершенно прозрачным, чтобы не загораживать собой ряд отражений.

— Новенькая? — резко спросили из-за спины, так что Лидочка вздрогнула и сбилась со счета. — Как фамилия?

— Линдт. Лидия Линдт, — призналась Лидочка, не оборачиваясь и стараясь говорить четче, как учила Галина Петровна — у тебя фамилия, которой стоит гордиться, так что привыкай внятно произносить все согласные: Ли-ди-я-Ли-н-д-т.

— Внучка Лазаря Иосифовича? — Голос за спиной заметно потеплел. — А ты почему спиной со мной разговариваешь?

Лидочка перевела дух, обернулась — ничего страшного, никого страшного, просто жилистая пожилая девушка с обглоданными куриными костями вместо ключиц и бутылочными, странно вывернутыми икрами.

— Анна Николаевна, художественный руководитель танцевального кружка «Колокольчики», — церемонно представилась девушка и с заметным беспокойством спросила: — Ты танцевать любишь?

Лидочка растерялась, не зная, что сказать, — она вообще никогда не танцевала, разве что водила с мамочкой кратковременные хороводы вокруг новогодней елки, пока папа не начинал смеяться и не говорил, что прекратите, девчонки, у меня сейчас голова закружится, давайте лучше вплотную займемся тортом! А у Галины Петровны никаких елок не было, и никто не ходил хороводом, не пел и не танцевал. У нее и разговаривать-то громко было нельзя.

— Ладно, — сжалилась Анна Николаевна и крепко взяла Лидочку за руку. — Сейчас все узнаем. Идем.

И огромная дверь в двадцать восьмую комнату распахнулась.

Через год с небольшим семилетняя Лидочка протанцевала в «Колокольчиках» все что можно — и мазурку, и русскую плясовую, и откровенно переперченный чардаш. У нее обнаружился и абсолютный слух (ничего удивительного, я в детстве отлично пела, ревниво пожалала плечами Галина Петровна), и редкостная телесная одаренность, та счастливая мышечная ловкость, что позволяет смертному человеческому телу двигаться по законам иного измерения, а может быть, даже иного времени. Анна Николаевна души не чаяла в смышленной девчушке, которой, в отличие от прочих неуклюжих недорослей, ничего не надо было показывать дважды — Лидочка никогда не сбивалась с ритма, не путала ряды и любое, самое сложное па повторяла с той обманчивой легкостью, которая и предполагает наличие больших способностей, а может, даже и таланта.

Бледность и обмороки были забыты — двигательной активности у Лидочки теперь было столько, что хоть другим отсыпай. Она вытянулась и похудела еще больше, но теперь в ее худобе не было ничего болезненного, даже наоборот — ловкая, тоненькая, пышноволосяя и глазастая, Лидочка обещала со временем стать настоящей красавицей, причем обещание грозило сбыться буквально через несколько лет. Она стала еще больше походить на Линдта, но в женской ипостаси, только все, что Галина Петровна считала в покойном муже уродливым, в Лидочке странным образом стало прелестным, и это раздражало еще больше, почти нестерпимо. Они почти не общались — настолько, насколько это вообще возможно, пребывая в одной квартире. Впрочем, официальные обязанности бабушки Галина Петровна исполняла исправно: Лидочка ела (наконец-то с аппетитом) то же самое, что и она сама, — то есть самое лучшее и свежее, была отлично, дорого и со вкусом одета во все импортное, жила в отдельной, своей собственной комнате и, слава богу, была совершенно здорова. Остальное не имело значения, по крайней мере для Галины Петровны. Мнения Лидочки никто не спрашивал, как никто, собственно, больше и не спрашивал, любит ли она танцевать. Она не любила. И тем не менее исправно, без прогулов, трижды в неделю посещала свои «Колокольчики».

Всего за несколько месяцев передвинувшись из задних рядов, в которых козлятами скакали неопытные новички, она попала на переднюю, почти фронттовую линию танца, от которой не отрывали взглядов ни взыскующие зрители, ни придирчивые педагоги. Анна Николаевна даже поставила специально для Лидочки сольный танец — цыганочку, и в том, как смуглая хорошенькая маленькая девочка томно изгибается, поводит худенькими плечами и выше головы вскидывает облако крахмаленных пестрых юбок, было что-то глубоко ненормальное, даже трагичное, вот только никто этого не замечал. Совсем никто. «Улыбайся, — шипела из-за кулис Анна Николаевна, — умоляю — улыбайся», но

Лидочка только крепче сводила тонкие темные брови, быстро, мрачно и совсем по-цыгански взглядывая на простодушно рукоплещущую публику. Она и в училище потом долго не улыбалась, когда танцевала, но в училище за это били, да и не только за это, конечно. Еще один прыжок, изогнутая маленькая ножка почти касается затылка, звенят слишком тяжелые мониста, звенит слишком громкая, совершенно пьяная музыка. Всё. Наконец-то всё. «На поклон, Лида, и бисируем, бисируем, пока просят», — Анна Николаевна, изживающая с Лидочкой все свои бесчисленные комплексы неудавшейся танцовщицы, снова пытается вытолкать взмокшую девочку на сцену. «Я опаздываю», — упирается Лидочка, но снова оказывается в квадрате деревянного света, снова прыгает, призывно крутит бедрами и запястьями, отсчитывая такт и мрачно глядя в зрительный зал. Она действительно опаздывает, кружок по домоводству начинается в шесть, ее заберут в шесть тридцать, сейчас почти четверть седьмого, у нее уже отобрали целых пятнадцать и без того украденных минут!

Наконец Лидочку отпускают, и она, не переодевшись, подобрав сценические юбки, бежит по огромной лестнице, словно киношная Золушка, только танцевальные туфельки с крепким ремешком так просто не потеряешь, так просто не найдешь ни принца, ни свою судьбу. Домоводство всегда проводят в пятой комнате, старый замок в ней давным-давно выломан, и дырку заткнули обычной грязной тряпкой. Лидочка садится прямо на пол и тихонько вытягивает тряпку. «Мыть полы следует не реже одного-двух раз в неделю, не обходя ни одного уголка, — доносится до нее толстый, уютный голос тетечки Алечки, прививающей скучающим девицам основы будущего семейного счастья. — Вымытый пол скорее просыхает при открытой форточке». Лидочка закрывает глаза и улыбается, представляя себе распахнутую форточку, солнце, плавающее в ведре, влажный след на только что протертых темных досках. Дом! Ее собственный дом. Наконец-то.

Еще пять минут, и придется встать, вернуться в раздевалку, переодеться, выйти к няне, которая, слава богу, всегда опаздывает, но эти пять минут — только Лидочкины, больше ничьи. Эти пять минут она дома. «Ты чего на полу расселась, девочка, простудишься!» — недовольно говорит какая-то незнакомая дама из тех, кому есть дело решительно до всего. Лидочка покорно поднимается. Она растет послушным и жизнерадостным ребенком — качества, которые идут рука об руку гораздо чаще, чем мы думаем. «Пищу и продукты рекомендуется хранить в закрытом виде, а для отбросов иметь специальное ведро с крышкой», — назидательно говорит ей вслед тетечка Алечка, и не подозревая о том, что самая верная ее ученица три раза в неделю сидит за дверью и ни одно из занятий так и не сумела дослушать до конца. Можно сказать, что Лидочка ходит на танцы только ради домоводства.

Она попробовала было заикнуться о том, что есть еще один кружок, но Галина Петровна даже не дослушала. А уроки я за тебя буду делать? Лидочка виновато опускает голову — ей уже восемь лет, она год как ходит в школу — разумеется, в самую лучшую в Энке, с уклоном разом во все стороны, и английский, и математика, и музыка, одни сплошные серые тройки, надо же, внучка самого Лазаря Иосифовича, а не можешь решить такой простенький пример! Школу Лидочка тоже не любит. С самого первого в своей жизни первого сентября, на которое все пришли с родителями, с бабушками, дедушками, фотоаппаратами и даже с кинокамерами. А Лидочку, бледную от волнения, оснащенную громадным букетом влажных розовых гладиолусов, привела няня, сдавшая ее с рук на руки учительнице и тут же смывшаяся по своим делам. А ты чо одна, детдомовская, что ли? — поинтересовался у Лидочки щекастый мальчишка с ласковыми наглыми глазами будущего мерзавца, и кличка Сиротка Хася, холодная и липкая, как катышек жеваной бумаги, надолго впечаталась в Лидочкину жизнь, и без того лишенную обязательных детских радостей. Она терпела, сколько могла, но как-то ночью не выдержала, встала и, шлепая босыми пятками, отправилась на поиски справедливости.

Галина Петровна нашлась на кухне. Простоволосая, ненакрашенная, она сидела за кухонным столом и быстро-быстро заполняла какие-то квитанции, время от времени крепко затягиваясь сигаретой и снова пристраивая ее на край переполненной пепельницы.

— Ты чего не спишь, поздно уже, — недовольно сказала она, разогнав ладонью слоистый дым, и Лидочка с удивлением увидела на носу Галины Петровны очки — совсем пожилые, человеческие, в черной оправе. Как будто у настоящей, взаправдашной бабушки.

— Я сирота? — спросила Лидочка. Галина Петровна промолчала. — Мама ведь умерла, да? — подсказала ей Лидочка, и Галина Петровна подтвердила. Да. Умерла.

— А где папа? — не сдавалась Лидочка.

— Уехал твой папа. Ты сто раз уже спрашивала. Сколько можно?

— Он меня бросил? — Лидочка почувствовала, как глубоко в носу шевельнулись близкие слезы — щекотные, будто пузырьки от газировки.

— Иди сюда, — позвала ее Галина Петровна. — Вот, смотри. — Она отодвинула в сторону квитанции и вынула из-под них серую картонную книжицу. — Это твоя сберкнижка. Видишь? Написано — Лидия Борисовна Линдт. Каждый месяц папа переводит тебе сто рублей. На эту самую сберкнижку. И как только тебе исполнится восемнадцать лет, ты сможешь сама распоряжаться этими деньгами. А ты говоришь — бросил.

Лидочка невнимательно посмотрела на сберкнижку. Сто рублей не значили для нее ничего, даже еще больше. Она хотела знать главное.

— А почему он не приезжает? — спросила она. — Он меня больше не любит, да?

Галина Петровна сняла очки и потерла красную, похожую на рану вмятину на переносице. Глаза у нее вдруг стали мокрые и беззащитные.

— Иди спать, ладно? Завтра я все-все тебе расскажу.

Но назавтра Галина Петровна, накрашенная, неприступная, в высокой прическе, была так непохожа на себя ночную, тихую, в очках, что Лидочка не рискнула больше задавать вопросы, и все стало по-прежнему, как всегда, — школа, танцевальный кружок, ворованное домоводство, снова танцы.

Лидочка закончила второй класс, потом третий — важная, между прочим, веха не только для нее, но и для страны, шел 1989 год, и огромное государство сползло под откос, набирая скорость, так что самых умных и чувствительных уже начинало потряхивать и мутить от грядущих перемен. Анна Николаевна поставила для Лидочки еще один сольный танец — невнятную композицию собственного сочинения, исполняя которую Лидочке приходилось надолго застыть в нелепых и неудобных позах, но Анна Николаевна была очень довольна, так довольна, что даже напросилась на встречу с Галиной Петровной и долго, путано объясняла ей про высокое призвание и мир танца.

— Что вы от меня-то хотите? — раздраженно спросила Галина Петровна.

— Девочку просто необходимо отдать в хореографическое училище, у нее талант, большой талант, — с надрывом сказала Анна Николаевна и прижала к плоской груди руки, тоже плоские и громадные, словно лапы какого-то доископаемого морского зверя.

— Талант, говорите? — протянула Галина Петровна и неприятно усмехнулась. Только этого мне еще не хватало.

Анна Николаевна посмотрела умоляюще, как собака.

— Вы не понимаете, — сказала она. — Вы не понимаете. Балет — это целая жизнь.

— Ненавижу балет, — повторила Галина Петровна уже сказанные когда-то слова, и история, покорная Гегелю, сделала очередной виток, преодолев стадию трагедии и фарса и поднявшись наконец-то до уровня иронии.

Только что закончившая третий класс девятилетняя Лидочка с легкостью преодолела чудовищный — в полторы сотни человек на место — конкурс и поступила в знаменитое на всю страну энское хореографическое училище. Она была на год младше положенного — в балет брали только с десяти, но для невероятно перспективной девочки было сделано исключение — впервые без всякого Линдта и блата. Анна Николаевна, ликовавшая так, будто в училище приняли ее саму (напрасные радости, саму ее из училища только отчислили, давно-давно, целую грустную жизнь назад), в качестве награды повела Лидочку на первый в ее жизни балетный спектакль.

Давали «Жизель», Лидочку мучило от волнения, слишком тесного воротничка нового платья и укусного дыхания Анны Николаевны, которая, низко пригибаясь к Лидочкиному уху и блестя в темноте совершенно сумасшедшими глазами, шептала что-то про великое служение и про то, что все в жизни Лидочки теперь станет другим. Это была чистая правда. Картонная дверь на сцене распахнулась, и из левой декорации выпорхнула вся перевитая пружинными жилами балеринка с оскаленным напряженным лицом человека, которому приходится держать на плечах запредельную, непосильную ношу. Публика вяло заплескала ладонями, и балеринка, придерживая кисейную юбочку, запрыгала, вскидывая тощие мускулистые ноги и с отчетливым страшным стуком приземляясь на деревянный пол. Из восьмого ряда было прекрасно видно, как натянуты сухожилия у нее на шее и в паху, как дрожат от усердия огромные, как у куклы, накладные ресницы.

Лидочка, всхлипнув, закусила губу. Расписание занятий, которое Анна Николаевна аккуратно переписала для нее, не оставляло ни малейшей надежды на то, что в ближайшие восемь лет у Лидочки найдется время на домоводство, пусть даже украденное, подслушанное, высиженное под закрытой дверью, которая к тому же оставалась в противоположном конце города. Я знала, знала, что ты все поймешь, запричитала Анна Николаевна и тоже заплакала, неудобно прижимая Лидочку к своему костистому остову. Обе оплакивали свое, несбывшееся, невозможное, и в такт им неслышно плакала внутри себя усталая Жизель, все-таки сбившаяся на баллоте, в три тысячи двадцать первый раз, корова безмозглая, бездарная, бездарная, ни на что не годная кляча!

От дома Галины Петровны до училища было сорок пять минут езды, уроки начинались в восемь и заканчивались иной раз ближе к ночи. Это было понятно, ведь кроме общеобразовательных предметов будущий специалист с квалификацией «артист балета» обязан был овладеть игрой на фортепиано и специальными дисциплинами. Классический танец, дуэтно-классический танец, народно-сценический танец, историко-бытовой танец, современная хореография, актерское мастерство, гимнастика, грим. Галина Петровна пару месяцев потерпела безобразие с подъемом в шесть утра и обязательными упражнениями дома, в выходные, после чего отправилась к директору хореографического училища на прием. Что-что, а скандалы закатывать она умела. Несмотря на отсутствие мест в общежитии и наличие жилплощади и прописки в Энске ученица первого класса Лидия Борисовна Линдт была принята на полный пансион в интернат для иногородних учащихся, находившийся в пятидесяти метрах от здания училища. Пятиразовое питание, круглосуточное дежурство педагогов-воспитателей, медицинская часть с физиокабинетом и изолятором. Полное оснащение физиокабинета новейшей аппаратурой плюс ремонт санузлов Галина Петровна, не так давно при помощи генерала Седлова открывшая второй антикварный салон, брала на себя.

— По-моему, — сказала она сухо, — это честная сделка. К тому же через выходные я планирую забирать девочку к себе. И вы сможете пользоваться ее койко-местом, сколько захотите.

Лидочка вошла в узкую, как гроб, комнату — две кровати, коврик с истоптанными мишками, окно, все в трещинах и культурных пластах масляной краски. С тоской втянула

нежилой общажный дух — снова не дом. Опять. У окна маялась бесцветная девочка, даже не девочка — девченыш, мышинные волосы стянуты в жидкую балетную шишку, личико — в гримасу настороженной вежливости. Глаза огромные, как у истощенного совенка. Бухенвальд.

— Тебя как зовут?

— Лида.

— А меня Люся.

Через полгода все в училище так и звали их — ЛюЛи. Пришли ЛюЛи. Лида и Люся. Линдт и Жукова. Задавала с прилипалой. Принцесса и горошина. ЛюЛи, русский скатать дадите? Лидочка смотрит на Люсю, Люся на Лидочку. Потом обе согласно кивают круглыми, гладкими, балетными головами — ниточки проборов, узлы по-взрослому убранных волос над тощими детскими шейками, острые лопатки, фартучки, лошадиные сухожилия, сочленения натруженных позвонков. Дадим! Люсина тетрадка отправляется в плавание по чужим партам, Лидочка списала все еще в комнате — с русским она не дружит, с математикой тоже. Зато она дружит с Люсей Жуковой и Еленой Молоховец.

Вечерами, когда они наконец собираются все вместе — втроем, им больше никто не нужен. Люся лежит прямо на полу, распластав маленькие бедра, одна коленка засунута под чугунную батарею, на другой, слегка балансируя, стоит Лидочка с огромным томом Молоховец в руках. Упражнение называется «лягушка».

— Одну телячью печенку нарезать тонкими ломтиками, одну осьмую фунта шпика, одну луковицу мелко нарезать, сложить в кастрюлю, прибавить английского перца, лаврового листа, соли, поставить под крышкой на сильный огонь, смотреть, чтобы не пригорело, — нараспев читает Лидочка, и в паузах слышно, как Люсин ангел-хранитель тихонько сглатывает голодную слюну. — Когда печенка будет готова, то есть подрумянится, слить жир, выложить на стол, мелко изрубить, истолочь все вместе в ступке, прибавить ложку вымытого масла, четверть французской булки, намоченной и выжатой, перетолочь еще раз, протереть сквозь сито, влить рюмку мадеры...

— Долго еще? — стонет Люся, волосы у нее на висках слиплись от слез, натянувшиеся жилы в паху беззвучно поскрипывают, Люся даже не замечает, что плачет, она смотрит в потолок со дна своей боли — у нее плохая выворотность, надо работать, приходится работать, в балете все больно, чего ни коснись. Все — одна сплошная боль.

— Не перебивай! — сердится Лидочка. — Еще десять минут. Я скажу. Значит, прибавить рюмку мадеры, одну ложку хорошего рома, всыпать мускатного ореха, соли, нафаршировать испеченные слоеные пирожки в виде рога изобилия, вставить в печь минут на пять...

Люся обессилено закрывает глаза, пытаясь представить себе пирожки в виде рога изобилия или хотя бы просто пирожки, как у бабушки, — жареные, жирные, все в коричнево-золотых ожоговых волдырях. С капустой. Или с яблоками. Или — Люсины любимые — с грибами и крупно нарубленными крутыми яйцами. Можно не бабушкины, можно и обычные, столовские, резиновые, из алюминиевого бачка с размашистой надписью «Общепит». Куснешь такой пирожок за тугой бок, и голодное небо обдает тепловатым пустым вздохом — опять на кухне пожалели начинки, паразиты.

Впрочем, на кухне хореографического училища жалели как раз не начинку, а балетных, которые, отводя глаза, тащили полупустые засаленные пластмассовые подносы — мимо, читатель, мимо. Сдобные тетки-раздатчицы напрасно погружали половники в гигантские кастрюли с соблазнительно дымящимися белками, жирами и углеводами — несмотря на просчитанный диетологами рацион и адские нагрузки, будущие балеринки истерично, до голодных обмороков, боялись поправиться хоть на грамм и навеки лишиться расположения своего всемогущего бога.

Обязательное взвешивание раз в полгода было судным днем: когда солнце, луна и плафоны меркли и спадали с колеблющегося потолка, и сам потолок свертывался, как свиток. Бледные — бледнее самого бледного коня, оглушенные ангелами и трубным кишечным гласом, балетные толпились в коридоре перед медицинским кабинетом, прижимали к стене дрожащие лопатки, из последних сил втягивали несуществующие животы. Норма минус сто пятнадцать — это значило, что при росте в сто сорок сантиметров девочка не имела права весить больше двадцати семи килограммов. Лучше — двадцать пять. Совсем хорошо — двадцать три. В старших классах минус сто пятнадцать превращались в полноценные минус сто двадцать. Полтора метра роста и тридцать пять кило? Да кто тебя поднимет, жирная корова? Вместо того чтобы жрать, пойди лучше покури!

Курить начинали лет с тринадцати — и курили, с благословения и поощрения педагогов, отчаянно, самозабвенно, жадно. Заглатывали спасительный сытный дым — это за маму, это за папу, это за Галину Сергеевну Уланову, шарили ревнивыми завистливыми глазами по бедрам и ребрам товарок — вон у Таньки какая жопа жуткая, ее уже со средней палки выкинули, прямая дорога под рояль, хоть бы ее, боженька, отчислили, хоть бы ее, ну, пожалуйста, лишь бы не меня! Танька, раздавленная своей неотвратимо наступающей женственностью, белесыми от отчаяния глазами смотрела на страшный медицинский кабинет. Она сама понимала, что обречена, да что там жопа — у нее, подумать только, гадость какая, чур, пронеси и помилуй, чур! — даже наметилась некая грудь, слабая выпуклость, жалкая попытка природы отвоевать у балета хоть миллиметровую полоску живительного жира.

Перед взвешиванием или экзаменом измученные пубертатки сидели на гречке и кефире: за три месяца так можно было согнать до пятнадцати килограммов и навеки попрощаться с поджелудочной, самый лучший друг балетных — фурсемид, самая модная операция — удаление желчного пузыря, чаще рвутся только связки, но зато без желчного пузыря ты будешь еще легче, Сильфида, еще кружевней и воздушней. Неделя до взвешивания — никакой клетчатки, два последних дня — целительный голод, если угораздило что-то съесть, два пальца немедленно отправляются в сопротивляющуюся глотку, калории и надежды с хриплым ревом и брызгами извергаются в унитазное жерло.

Да, девочки, главное — ничего не пить, никакой жидкости, сушим мышцы, сгоняем балласт, клизма утром, клизма вечером, обморок, снова унитаз. Наутро перед Голгофой — крошечный квадратик шоколадки, чтоб не рухнуть прямо под ноги невозмутимому доктору. Вес в норме, а вот рост — никуда не годится, еще пара сантиметров, милочка, и ты отчислена. В недетских, нечеловеческих почти глазах милочки пляшут фанатичные сполохи не то жертвенного, не то палаческого костра: к следующему взвешиванию она готова, если надо, отрезать себе полголовы, да хоть всю голову — что угодно, кроме круто и кругло изогнутых стоп, — ломаем подъем, ломаем подъем, клуши, не жалеем себя. И они не жалеют.

Отбракованную Таньку с ее небалетной жопой утешают в коридоре обмирающие от облегчения — не я, не меня! — счастливые, стрекочущие товарки. Танька даже не плачет — она бы умерла, если бы смогла остановить сердце одним усилием воли, но до таких высот характер прокачивают только в старших классах, а Таньку отсеяли раньше, много раньше, и потому она просто кусает маленькие кулаки — изо всех сил, так, что остаются белые ровные зубные отпечатки, медленно наливающиеся сперва красноватым, потом сливовым, густым, торжественным огнем. Ее желчный пузырь спасен, ее жизнь закончена, но даже двадцать лет спустя, увидев по телевизору выплывающую на сцену четверку изможденно кивающих оперенными головками лебедей, она будет чувствовать внутри вой и свист черного ветра, срывающего афишу, на которой так и не напечатали ее имя. Пульт щелкает, оборвав белый акт «Лебединого» на полуноте, Танька выходит из комнаты — постаревшая, поседевшая, безнадежно мертвая со своих четырнадцати лет. «Ма, ты куда?»



— кричит ей вслед младший сын (слава богу — сыновья оба, дочку все равно отдала бы в хореографическое, своими руками принесла бы — и бросила на алтарь), но Танька не отвечает. Ее спина до сих пор прямее некуда, лопатки накрепко стянуты в узел железными мышцами, не умеющими расслабляться. Такая правильная, навеки поставленная спина у балетных называется — апломб. Другого апломба у них не бывает.

К слову сказать, хореографическое училище в Энске было знатное — спасибо войне, которая в свое время занесла сюда ленинградский балет практически в полном составе. В довесок к зябким балеринкам из Кировского в эвакуацию в Энск прислали и лучшее в СССР хореографическое училище — то, что нынче носит имя Агриппины Яковлевны Вагановой. Конечно, тогда, в сорок первом, Ваганова была еще не мемориальной доской, а живой властной теткой, но все растащенные по энциклопедиям титулы уже были при ней — выдающаяся русская балерина, педагог, балетмейстер, хранитель вековых традиций императорского русского балета, народная артистка РСФСР и бла, и бла, и бла. Важно было другое — возвращаясь из эвакуации в Питер, балетные оставили в Энске не только добрую память, но и половину педагогического состава, а также целый класс свеженабранных, худеньких и одержимых балетом военных детишек — основу будущего Энского театра и будущего хореографического училища, быстро прославившегося на весь Советский Союз жестокой муштрой и идеальной постановкой корпуса. Как сразу видно энскую школу, стонали балетоманы, лакомясь летящими по сцене балеринками — глиссада, глиссада, препарасьон — ах! Какой баллон, помилуйте! Какой баллон!

Есть вещи, о которых лучше не думать. Может быть, даже вовсе не знать.

Попробуете попасть с улицы в казарму, лагерный барак, в пыточный подвал или на заседание тоталитарной секты. Вас просто не пустят — как не пустят любопытствующего обывателя в хореографическое училище, потому что простым смертным, живущим легкой, суетной, повседневной жизнью, никогда не понять торжественного ужаса, которым пронизана суть по-настоящему закрытых сообществ. Идеальный параллелепипед казармы или барака. Залитый светом и потом танцевальный класс. Сложнейшие ритуалы, сладостная муштра, нужные лишь для того, чтобы окончательно выключить разум — никогда не думать, ни о чем не беспокоиться, ничего не решать, подчиниться всеобщему движению, раствориться, перестать быть собой, чтобы воплотиться на высшем уровне — в блаженном и множественном числе. Боль, унижение, зверская дедовщина, голод, счастье абсолютного подчинения. Снова боль.

А теперь вообразите себе оловянных от усердия солдатиков, фанатично влюбленных в свою муштру. Заключение, которые задолго до ежедневного допроса начинают готовить истерзанное тело к пыткам, добровольно вытягиваясь на дыбе и методично выламывая себе то один, то другой сустав. Выслушайте, навтыяжку стоя на пуантах, лекцию о собственной бездарности, узнайте, что вы безнадежный, ни на что не годный урод — не висим на палке, не опускаться, не опускаться, держим пятку, пятку, кому говорят! Получите стеклом по икрам, ладонью — по щекам, попадите в ритм, втяните разом живот и задницу, осознайте всё, что ощущают детишки, прелестной и шумной стайкой сбегающие по ступеням училища, взвесьте то, что они добровольно вышвырнули из своей жизни, — пирожные, сказки по вечерам, дружбу, первую любовь, жареную картошку с домашними котлетами, доверие к взрослым, к ровесникам, к самому себе. Положите на другую чашу весов всего-навсего возможность выбежать на сцену, чтобы отвесить публике жеманный и натянутый поклон.

Сделайте свой выбор.

Никогда не пожалейте о нем.

Теперь вы знаете, что такое балет.

В хореографическом училище Лидочка, привыкшая в обычной школе к незаметным тройкам, почти сразу же выбилась в признанные королевы. Еще при поступлении, на первом отборочном туре, она поразила выдавшую все комиссию практически идеальными данными. Честно говоря, правила отбора больше всего напоминали описание породных признаков выставочных собак или лошадей, и отбраковка шла жесткая, даже жестокая. «Отрицательными признаками являются: непропорциональная большая голова, голова угловатой формы, крупная нижняя челюсть, большой подбородок, выступающие наружу углы челюсти, неправильной или уродливой формы нос, уши, деформация передних зубов, нарушенный (неправильный) прикус. Противопоказан прием детей с короткой и широкой шеей. Дети с чрезмерно длинной шеей, с выступающим кадыком также неценны». И так далее — на десятке сухих машинописных страниц, способных поразить разве что помешанного на евгенике нациста.

Но Лидочка оказалась совершенством: отношение роста стоя к росту сидя, длина шеи, тонкость щиколоток и запястий — все в ней было словно создано для балета, который не терпит несовершенства даже в мелочах. Лидочка великолепно гнулась во все стороны, с легкостью поднимала ножку вперед, назад и вбок, демонстрируя великолепный шаг, бойко оттарабанила полечку, не завалив и не испортив ни одной легкой нотки. Музыкальность, танцевальность, ритмичность, физическое здоровье — все было на высоте.

Единственное, что слегка смутило педагогов, так это то, что худенькая смуглая девочка в сверкающих белых трусиках даже не пыталась им понравиться. Все прочие лебезили, елозили на пузе, скалили маленькие шакальи мордочки, изображая умильные улыбки. Рабски заглядывали в глаза, заранее готовые ради балета на все, даже больше — на все, что другим угодно. А Лидочка только смотрела угрюмо в сторону и, кажется, даже не особенно радовалась своему несомненному успеху. Видимо, просто дура, решила комиссия, сблизив увенчанные хореографическими лаврами головы и посоветовавшись. Дура — это в балете было очень кстати. Дура — это было хорошо.

К четырнадцати годам Лидочка окончательно приобрела статус лучшей ученицы училища и научилась механически реагировать на любую, даже самую сильную, боль улыбкой. Улыбаться было положено — балерина обязана держать лицо, делать публике красиво, чтобы даже самый подслеповатый провинциал из третьего балконного ряда осознал всю сладостную и счастливую полноту соприкосновения с прекрасным. Примерно в том же возрасте стало ясно, что Лидочка кроме несомненной и даже пугающей телесной одаренности обладает еще одним редчайшим талантом — она оказалась идеальной жертвой.

О природе виктимности много и бестолково рассуждают и психологи, и психиатры, и криминалисты, городя, как это водится, много нелепицы и чепухи и сваливая в одну кучу и короткие юбки, и легкие нравы, и скверное воспитание, и уродливую слабость характера. Все это было совершенно неприменимо к Лидочке, волевой и вышколенной, как выставочный пудель, которому любой имеет право задрать купированный под корень хвост и пощупать анальные железы. У Лидочки были стальные мышцы и такие же нервы, она не носила жалких, вызывающих жалкое желание прозрачных или коротких тряпок и, оказавшись на улице, не бросала по сторонам призывных взглядов дуреющей от собственных гормонов пубертатки. Она и глаза-то едва поднимала, предпочитая разглядывать заплывающий асфальт, быстро и гладко укладываемый под маленькие, но уже профессионально вывернутые ступни. И тем не менее, если в округе находился хоть один ненормальный, пьяный или просто убитый горем человек, его немедленно притягивала к Лидочке странная, угрюмая, не преодолимая ни для него самого, ни тем более для Лидочки сила. Унылые, жалкие, липкие, они выборматывали свои невыносимые истории, агрессивно требовали внимания, сочувствия, побирались: деньги в кошельке

Лидочки не задерживались никогда, хотя она и сама не подозревала, что подает не из сострадания, а из страха.

Конечно, отчасти виктимность Лидочки состояла из своеобразного сочетания внешней привлекательности и внутренней мягкости, своего рода неосознанный отказ от эволюции, когда вместо того, чтобы убежать или убивать, живое существо добровольно выбирает гибель. Но и это было не самое главное — на самом деле четырнадцатилетняя внучка Лазаря Линдта обладала врожденной и редкой способностью видеть обратную сторону мира, ту мрачную жизненную изнанку, которую обычно замечают только священники да врачи, да и то после многих и долгих лет работы. Правда, священники и врачи обычно способны хоть что-то сделать для несчастных, с которыми без конца сталкивает их жизнь, а Лидочка была вынуждена просто смотреть. Просто смотреть. Не отталкивая, не прикрывая глаза, не сопротивляясь. Помочь она никому не могла, но она ВИДЕЛА чужую боль, видела, не морщась, не жмурясь и даже не пытаясь отодвинуться. Как и положено идеальной жертве, Лидочка считала себя обязанной делать все, что было неприятно и даже отвратительно ей самой, но необходимо окружающим. Этому ее научил балет. Это и был балет. Балет Лидочки Линдт. Ее индивидуальное предназначение.

Особенно тяжело было видеть стариков, на которых, кажется, никто, кроме Лидочки, и не обращал внимания — энских стариков 1996 года, обнищавших, почти обезумевших, одиноких, когда-то выстроивших великую страну и вот теперь копошащихся на ее обломках, словно Иов на гноище. Повинуясь своему болезненному дару, Лидочка не замечала ни в изобилии заполнивших Энск сияющих витрин, ни шустрых иномарок, ни пестрого иностранного тряпья, украшающего горожан, которых юный российский капитализм вдруг разом превратил в орду предприимчивых, обманчиво приветливых и на все способных сволочей. Вокруг расцветал мир молодых, здоровых и наглых, но Лидочка, тоже здоровая и молодая, выше всяких потребностей обеспеченная богатой при любой власти Галиной Петровной, замечала только морщины и лохмотья. Старенькое, выстроенное еще в семидесятые годы демисезонное пальтишко старухи, копающейся в мусорном баке, старик в колом торчащих орденских планках, гоняющий по черствой, трясущейся ладони мелочь, выгадывающий на что-то — нет, не хватает, эх... А ну отвали, дед, чего торчишь на дороге! Лидочка совала в дедов карман ничего не менявшую купюру и бессильно провожала глазами сутулую, жалкую, беспомощную спину. Заплывшие белесой мутью смиренные глаза, провалы беззубых ртов, непослушными пальцами подобранные петли, кривоватые стыдливые заплатки — страшная, самая страшная на свете, старческая, никому не нужная нищета. Боже мой, как Лидочка боялась этих стариков, как боялась самой старости — неотвратимой, ужасной, ужаснее самой смерти, которая в этом униженном дряхлом бессилии казалась долгожданным и выстраданным облегчением! Это был странный и труднообъяснимый страх — ведь никаких стариков, кроме абсолютно чужих ей, уличных, убогих, Лидочка не знала. Галина Петровна, товарки по училищу, педагоги, даже мамочка и папа, даже мамочкины мама и папа, и Лазарь Иосифович Линдт на фотографии в кабинете, угольно-черный, фосфорно-белый, — все вокруг нее были молодыми, крепкими, бессмертными, все, даже давно мертвые, были как будто бы навсегда. Но страх от этого не уходил, наоборот, становился крепче, острее, невыносимый страх старости, от которой, как от занятий классическим танцем, не было спасения.

Может быть, робко размышляла Лидочка, может быть, если бы у нее был дом... Свой дом, полный тепла и детей. Может быть, тогда было хоть немного легче? Отгородиться от старости, сделать ее обитаемой, нянчить внуков, кряхтя, выносить мусор, помогать, до последней секунды быть нужной хоть кому-нибудь. Хоть что-нибудь делать. Хоть кого-нибудь обнимать. Она полюбила ходить в сквер неподалеку от училища — украшенную песочницей и деревянной горкой обитель беспечного материнства. Степенные мамыши, выгуливающие гомонящую малышню, суетливые голуби, Лидочка часами сидела на скамейке, насыщая зрение и слух и примеряя на себя то чью-то наливную неторопливую

беременность, то хорошенького карапуза, то мысленно заимствуя у какой-нибудь зазевавшейся мамы манеру подзывать к себе ребенка, чтобы, не прекращая трескотни с другой мамашей, быстро и ловко вытереть ему совершенно сухой носик или одернуть курточку — просто для того, чтобы показать всем и себе, что это ее, ее собственность, ее родное, хоть и смертельно надоевшее дитя. Лидочка тоже хотела иметь хоть что-нибудь свое. Это было спасение. Она точно знала. Нет, она верила — это было гораздо сильнее.

Даже старики в сквере были не такие страшные — мирные дедушки и бабушки, окруженные спасительной любовью, но все закончилось, как всегда в Лидочкиной жизни, — бесповоротно, безжалостно, в один миг. Какой-то дед, чужой, некрасивый, ненужный, в три приема, с трудом присел к ней на скамейку и так долго и мучительно доставал что-то из кармана, что Лидочка дернулась было помочь, но — он уже сам, слава богу, уже сам. Вытянул какую-то бумагу, распрямил корявыми пальцами, обломанные ногти, затхлый запах неухоженной, нелюбимой, старой плоти. Дед прочитал бумагу — видимо, официальную (мелькнула какая-то лиловая печать, равнодушная размашистая подпись, компьютерные, ровные, зернышко к зернышку, буквы) — и долго-долго сидел, нахохлившись, как больной голубь, только из-под красных сморщенных век текли беззвучные мутные слезы. Потом он вздохнул, крепко вытер ладонями лицо и горько, самому себе сказал — вот оно, что детки родные делают. Старик ушел уже, а Лидочка все смотрела ему вслед, гадая, что сделали бедолаге родные детки? Отобрали квартиру? Сослали в дом престарелых? Уехали навсегда в Америку? Может быть, просто умерли — бессовестно, скоростижно, оставив его совсем, совсем одного?

В сквер она больше не ходила — боялась еще раз увидеть старика, боялась признаться сама себе, что дети и внуки, о которых она так отчаянно и подробно мечтала, на самом деле совсем не обязаны любить ее в ответ. Смешные круглые малышата, играющие на площадке, не были гарантией ни от одинокой старости, ни от смерти. Они были не пенсионный фонд, не многолетний пополняемый вклад с хорошими процентами. Просто дети — сами по себе, ни для чего. Это была правда, но примириться с ней означало вообще потерять все. К этому Лидочка была не готова. В 1997 году ей и так пришлось потерять слишком многое.

Люсю Жукову отчислили в конце учебного года — даже не дали перейти в следующий, последний класс, хоть недолго почувствовать себя выпускницей. Нет, выкинули прочь, не дождавшись даже экзаменов, а потому что нечего, милочка, полтора месяца валяться в лазарете с пневмонией, если хочешь танцевать. Балерины не болеют, а если и болеют, то не пропускают занятия, а если и пропускают, то занимаются самостоятельно, ах, доктора запретили любую нагрузку?! Ваши проблемы, дорогая. В училище, вычеркивая из списка живых, всегда переходили на «вы». Люся, бледная, как опарыш, подурневшая от отчаяния и все еще одолевавшей ее пневмонийной слабости, даже не пыталась сопротивляться. Зачем? Никого не волновало, что воспаление легких она заработала в ледяном от сквозняков классе, часами отработывая никак не удававшийся *Grand Pas de chat*, большой прыжок кошки. Ноги выбрасываются выше чем на 90 градусов, руки открываются из третьей позиции, корпус прогибается назад — бум-с. Опять двойка.

Лидочка, честно отбывавшая с лучшей подругой кошачью повинность, честно ходившая к ней в лазарет — почитать Молоховец, просто посидеть, утешительно болтая ногами, на казенном байковом одеяле, бегала к педагогам, умоляла, обещала взять Люсю на поруки (да хоть на поноги!), но все было напрасно. Директор, к которой Лидочка, как взрослая, записалась на прием, тоже была неумолима — бездарности в училище не нужны. А ты, Линдт, чем тратить время на всякий балласт, шла бы лучше и репетировала. Или ты не понимаешь, какая ответственность на тебя возложена? Лидочка понимала. Сразу после перехода в выпускной класс ей, семнадцатилетней, предстояло станцевать первую в ее жизни Жизель в Энском театре, на настоящей, взрослой сцене — неслыханная, редкая возможность, которой удостаиваются только будущие примы.

Жизель — это была честь. Иди и работай, резюмировала директор, и Лидочка, послушная и стойкая, как оловянный солдатик, развернулась и пошла.

Люсю увезла домой мама, толстая деревенская тетка откуда-то с Южного Урала, из жуткого ржавого города-завода, где у людей с самого рождения и до смерти не было большей радости, чем нажраться до полного забытья. «Ты только не реви. Закончишь школу нормальную, я тебя в бух-гал-терию пристрою, — разливалась она, увязывая Люсины вещички и зыркая по комнате глазами, чтобы не забыть чего важного, годного в хозяйстве. — Чем ногами-то голыми дрыгать! Срам ведь, а не ремесло». Люся, прямо, как палка, сидевшая на краешке стула, не ревела, а только машинально, по привычке, выламывала никому больше не нужные стопы. Лидочка под села рядом, потерлась носом о худенькое подружкино плечо, как делала всегда, когда хотела приласкаться, — сколько было выплакано вместе, сколько выдано друг другу смешных, детских и оттого особенно страшных тайн, сколько они смеялись под сурдинку после отбоя, сколько мечтали, сколько раз засыпали вместе, в одной кровати, тощие, зябкие, маленькие, только друг у друга находившие капельку сострадания и тепла. Я к тебе на все каникулы буду приезжать. И писать — каждый, каждый день! — пообещала Лидочка страстно и горько, будто давала обет. Люся вздрогнула, словно ее разбудили, и взглянула на Лидочку сухими, как будто даже горячими глазами. «Иди в жопу со своими письмами, дура! — закричала она вдруг так громко, что тетка уронила глухо охнувший узел. — Ненавижу тебя, всегда ненавидела! Дура! Гадина! Уродка кривоногая! Вонючка!» Тетка перекрестилась, плюнула и угрюмо присудила — не трать нерву, доча. Оно того не стоит. Наплюй, да поехали домой.

После Люсиного отъезда Лидочка осталась совсем одна. В память о лучшей подруге она получила только единоличное пользование общажной комнатой (дань королеве плюс очередной финансовый транш Галины Петровны) да новую привычку при каждом удобном случае принимать душ, обжигающий, хриплый, долгий. Но слово «вонючка», как и неуловимый, невидимый, никем, кроме Лидочки, не ощутимый запах пота, осталось — в балете все воняли. Абсолютно все.

Летние каникулы перед последним классом показались Лидочке особенно долгими. Она осталась в общежитии — с молчаливого одобрения Галины Петровны, с которой они виделись все реже и, как ни странно, благодаря этому почти полностью примирились друг с другом. Лидочка аккуратно, через выходные, приезжала в квартиру Линдта с визитом и всякий раз находила в своей комнате какой-нибудь приятный пустяк — новую пушистую кофточку в хрустящем льдистом пакете, плеер, похожий на обласканный морем портативный бульжник или даже дефицитнейшие, из Нью-Йорка выписанные пуанты Grishko — товарно-денежные отношения всегда давались Галине Петровне лучше всего. Раз в месяц она снабжала Лидочку карманными деньгами (отчета не требовала никогда) и показывала аккуратную выписку из банка, свидетельствующую о безупречном состоянии Лидочкиных счетов. Банк с недавних пор был собственностью Галины Петровны, и потому ежемесячные сто рублей от папы конвертировались в условные единицы — такие же условные, как поздравительные телеграммы от отца, ставшие совсем редкими, такими же редкими, как и вопросы о нем.

К семнадцати годам Лидочка смирилась со своим абсолютным сиротством.

Впрочем, она умела быть благодарной: Галина Петровна не знала с Лидочкой никаких забот и — при желании — могла бы даже ею гордиться. Но желания, похоже, не было — Галина Петровна, увлеченная бизнесом так же болезненно и страстно, как когда-то букинистическими изданиями и антиквариатом, не приходила в училище даже на отчетные концерты, на которых Лидочка всегда солировала с тем ровным, равнодушным, великолепным блеском, который и отличает подлинный бриллиант от простодушного граненого хрусталя.

Бесконечные летние недели Лидочка проводила в бесконечных репетициях и бесконечном шатании по городу: за эти каникулы она впервые узнала Энск в мельчайших подробностях, вон за тем углом есть скамейка, на которой можно отдохнуть, а там, среди обломанных засанных кустов пузыреплодника, томится в ссылке маленький гипсовый бюст Ленина, размалеванный и покалеченный подростками до полной неузнаваемости и оттого ставший совершенно человеческим, живым. Сначала Лидочка бродила по улицам совершенно бесцельно, а потом подсмотрела на окраине красивый старенький палисадник, дерзко, не по-северному, выкрашенный лимонной краской, мысленно приладила к нему мощеную дорожку совсем из другого района и огромный багровый клен, увиденный и вовсе на фотографии в журнале.

Игра оказалась поразительно интересной — и Лидочка стала гулять осознанно. Теперь она собирала и выдумывала себе идеальный дом.

Важно было абсолютно все — цвет, свет, фактура камня, форма крыши, даже запахи. Особенно запахи! В поисках нужного для прихожей аромата (мастика, дерево и немножко ванили) Лидочка как-то забрела в рожицу похожих на обломанные макароны позднесоветских новостроек и вдруг остановилась посреди двора. Жалобно и ржаво поскрипывала покосившаяся детская каруселька, и березы, хоть и разрослись, но все те же — левая кривая, мамочка говорила — загогулиной. Лидочка присела на скамейку, нашарила на груди несуществующий ключ на давно выкинутой ленточке и быстро, как в детстве, пробормотала затверженное, оказывается, навеки — Усиевича, 14, кв. 128. Это был ее старый двор. Дом, в котором осталась квартира мамочки и папы. Просто поверить невозможно, что она сама не додумалась сюда прийти.

Лидочка вошла в подъезд, помнивший ее пятилетней, туп-туп, маленькие ножки, лифт часто отключали, ступеньки казались нескончаемыми и высоченными, незабывтый наплыв краски на перилах, незабывтый, незабываемый запах и свет. Шестой этаж ведь, устанешь. Давай на закорки возьму? Папа с готовностью присел, подставил шею, но Лидочка, не соблазнившись возможностью потаскать его за уши (лево руля! А теперь — право руля!), упрямо заспешила наверх — сама. Мамочка всегда говорила — ты все должна делать сама. Как в воду глядела. В воду Черного моря.

Лидочка остановилась перед дверью — когда-то она едва дотягивалась даже до ручки, а теперь, пожалуйста, вот она; и кнопка звонка, до которой папа поднимал ее, хохочущую, дрыгающую ножками, оказывается, тоже совсем невысоко. Лидочка подняла руку, собираясь позвонить, но рядом громыхнул механическими мослами лифт, и она быстро-быстро, через ступеньку, побежала вниз.

Она вернулась на следующий день, сама не зная — зачем, а потом и на следующий и через следующий — тоже. Подолгу сидела на лестничной клетке на подоконнике, подобрав колени и ни о чем не думая, просто ощущая, что пусть не сами родители, но хотя бы их квартира здесь, рядом. Это было приятное, даже уютное чувство, которое нередко испытывают на кладбище люди, давно смирившиеся с потерей, какой бы громадной она ни была, — точно так же, должно быть, смиряются с ампутацией или безнадежным бесплодием, начиная находить в отсутствии ноги или детей какое-то тихое, мало кому понятное удовольствие. Но Галина Петровна не ходила на кладбище сама и не водила туда Лидочку, поэтому ощущение для Лидочки было новым и таким странным, что она даже не удивилась, когда в один прекрасный день дверь родительской квартиры вдруг тихонько приоткрылась и, отчетливо скрипнув, тут же закрылась опять. Почудилось, успокоила Лидочка саму себя, но спустя несколько минут напряженного взаимного ожидания дверь приотворилась снова, и в проеме, вместо призраков прошлого, показались две озадаченные детские мордашки — мальчишеская и девчонская.

— Вы кто, тетя? — спросил мальчик, судя по голосу и носу — лет десяти, не больше. Лидочка спрыгнула с подоконника, не зная, что сказать.

— Я... я... — сказала она растерянно. — Я тут живу. То есть — жила. Очень давно.

Мальчик и девочка переглянулись, и девочка уверенно присудила:

— Тут мы живем, тетя. А ты уходи. А то мы милицию вызовем.

— Вот ведь дура, — огорчился мальчик и, судя по возне за дверью, вlepил девочке подзатыльник. — Старшим надо «вы» говорить. И потом, какая она тебе тетя? Тетя у нас — Аля. Она в Бийске живет. Мы к ней летом ездили.

Последняя фраза явно приглашала к диалогу, и Лидочке пришлось признаться, что в Бийске она не была и тети (ни Али, ни какой-нибудь еще) у нее нету. Мальчик — как и положено мужчине — ощутив свое превосходство, немедленно подобрел и стал снисходительным. Он приоткрыл дверь пошире и, звякнув спасительной цепочкой, похвастался:

— А еще у нас папа кандидат в науке! И мама тоже собирается. Вот!

— А у меня мама умерла, — неожиданно призналась в ответ Лидочка и, странное дело, впервые в жизни не почувствовала почти никакой боли. Это был просто факт. Факт ее биографии. Дети снова переглянулись.

— А папа? — очень серьезно спросила девочка.

— Папа...

Лидочка на мгновение задумалась, но поняла, что не объяснит историю с открытками и телеграммами даже себе.

— Папы тоже нету, — сказала она. — Очень давно. Я их с мамой почти не помню.

Мальчик захлопнул дверь резко, будто ударил Лидочку по лицу, и это было правильно, конечно. Нашла о чем разговаривать с малышами, идиотка. Лидочка привычно, в многотысячный раз, приняла всю вину за произошедшее на себя и, отряхнув джинсы, побрела вниз по лестнице. Погостила в прошлом — и хватит. Пора репетировать, заниматься, разминать мышцы, сотни раз повторять одно и то же движение. Парадокс ведь в том, что можно стать великим ученым, потрясающим композитором, большим писателем. Но стать великой балериной нельзя. Ей можно только быть, ежедневно изнуряя себя теми же экзерсисами, что проделывают и самые неловкие и нелепые начинашки. Вот только Лидочка совершенно не хотела ни становиться, ни быть балериной. Ни великой, ни обыкновенной. Она хотела иметь дом. Дом и детей. И больше ничего.

Мальчик нагнал ее только на третьем этаже — темноволосый, худенький, с очень прямыми плечами будущего офицера.

— Вот, — сказал он, задыхаясь, и протянул Лидочке половину батона. — Возьмите. Вы, наверно, голодная, раз мама... — Он хотел сказать — «умерла», но не смог, и виновато прибавил: — У нас еще картошка есть, но она сырая.

Лидочка взяла батон и понюхала ароматный нежный мякиш.

— Спасибо, — сказала она. — Правда — спасибо. А картошка розовая или желтая?

— Не знаю, — удивился мальчик. — А какая разница?

— Очень большая, — сказала Лидочка. — Если розовая, можно приготовить со сметаной сразу двумя манерами. А если желтая, то хорошо на клецки. Ты картофельные клецки ел?

Картошка оказалась и не розовая, и не желтая — просто дрянная, вся в глазках и бледных проростках, к тому же ни сметаны, ни муки, ни даже яиц в доме не оказалось, зато обнаружилось немного морковки и сколько угодно просроченных пряностей в старомодных бумажных пакетиках.

— Ничего не получится, да? — огорченно спросила девочка, оказавшаяся очень бойкой и очень некрасивой. Но у них, конечно, все получилось.

Царевы, вернувшиеся из своего НИИ к шести вечера, обнаружили дома почти настоящую итальянскую брускетту с розмарином, отличный чай, отварную картошку удивительного оранжевого цвета, на вкус напоминавшую настоящее пирожное, и Лидочку, за пару часов бесповоротно влюбившую в себя десятилетнего Ромку и шестилетнюю Вероничку.

— Это что-то невообразимое! — промычал Царев, засунув в рот сразу целую картофелину и размахивая руками от восторга. — Как вы это сделали, Лида?

— Это очень просто, — ответила Лидочка смущенно, — варить надо в мундире, а в воду непременно добавить одну морковку, одну луковичу, пару горошин душистого перца и...

Царева торопливо схватилась за ручку: сколько горошин? А солить когда? То есть совсем? Вообще? Нет, Володя, нет, что ты, как маленький! Оставь детям хоть немного!

На следующий день Лидочка пришла к Царевым с двумя огромными сумками, набитыми продуктами, которым позавидовала бы сама Молоховец. До конца каникул в выученном наизусть «Подарке молодым хозяйкам» почти не осталось не опробованных на практике рецептов. Руки у Лидочки оказались такими же талантливыми, как и ноги, — и повариха в ней все уверенней затмевала балерину. Царевы, безалаберные и нищие, как и положено мученикам науки, потолстели, порозовели и даже слегка замаслились, словно дрожжевые блины. Но сама Лидочка, втайне мечтавшая о спасительном отчислении, не прибавила ни грамма — у нее был линдтовский бешеный метаболизм, запросто сжигавший в прожорливой клеточной топке хоть сотню пельменей разом. В перерывах между кулинарными изысканиями они с Вероничкой и Ромкой усердно учились плести макраме и вышивать, пользуясь добродушными и путаными рекомендациями из старых «Работниц». Старшие Царевы не могли нарадоваться — впрочем, они, закаленные советским воспитанием и природным оптимизмом, радовались всему, что их не убивало. А убить их, дружных, жизнерадостных, неприхотливых, было непросто, как непросто убить любых по-настоящему, истинно, всем сердцем верующих людей.

Царевы всю жизнь верили в советскую власть. Не в настоящую, конечно, — а в идеальную, книжную, правильную советскую власть, которая, предварительно откачав все способности, должна была, по идее, воздать каждому по труду. Царевы выполняли свою часть контракта честно, не жалея ни рук, ни мозгов, поэтому унизительные очереди и дефицит всего, начиная с детских колготок и заканчивая подпиской на Достоевского, приводили их в желчное раздражение. Настоящую, ежедневную, всамделишную советскую власть они презирали — как презираешь крепко пьющую и молодящуюся мамашу, невозможную, жалкую, но все-таки родную. Разумеется, это была еще одна разновидность любви.

Царевым казалось, что если советский народ приложит какие-то дополнительные усилия — похоронит Ленина, забудет Сталина или впустит назад Солженицына, — то все волшебным образом изменится, заиграет кристальными лучами всеобщего счастья. Они хотели улучшить, но не развалить, оставить хорошее старое, прибавив к нему лучшее новое. Они верили в то, что советская власть вполне совместима с демократией, обилие танков — с избытком туалетной бумаги, а уж свобода слова — извините, у нас это даже в Конституции записано! Царевы честно глотали все диссидентские рукописи и запрещенные книжки, которые могли достать, еще честнее удивлялись — за что же эти книжки запретили, слушали кашляющие и хрипящие голоса — Америки, Стокгольма, Лондона, шепотком и под водочку критиковали партию и правительство, но при этом — по сути — оставались совершенно советскими людьми.

Они были чудесные — эти Царевы, честные, работающие, добрые и совершенно обыкновенные. Таких Царевых были миллионы, и они были лучшим из всего, что удалось сделать советской власти за все годы своего существования, все остальное, включая ракеты, станки и балет, ломалось, устаревало морально, разваливалось на части, не



оправдывало возложенных ожиданий, а люди оставались все такими же — людьми. Когда грянула наконец перестройка, Царевы радовались, как все, как дети, прыгающие у двери, за которой праздник и елка, они, словно наркоши на игле, сидели на «Огоньке» Коротича, таскались по митингам и баррикадам, голосовали, молились на Ельцина, рукоплескали Сахарову и даже вечером, ложась спать и прижавшись друг к другу, подолгу страстным шепотом диспутировали о том, что вот завтра, уже завтра...

Назавтра оказалось, что советская власть, которую Царевы так неистово хотели изменить, была единственной по-настоящему счастливой и стабильной вещью в их жизни. Безмятежное детство и бесплатное образование, синяя кварцевая лампа в новенькой поликлинике и кино про Чапаева на утреннем сеансе. Стройотрядовские песни, пирожные за двадцать две копейки и портвейн за два двадцать (пустую бутылку можно было сдать за 17 копеек!), аванс и получка, тринадцатая зарплата, вера в равенство и братство, шелковым ковром разворачивающаяся впереди счастливая жизнь, полная замечательных вех и привычных ритуалов, без которых и невозможно никакое человеческое счастье. Демонстрация на Первое мая, от которой все отлынивали, но после которой так дивно пилося и елось у кого-нибудь в шумных гостях, поход к Вечному огню — на Девятое, Парад Победы, вечером по телевизору — Кобзон и концерт, прекрасно сочетающиеся с «битлами» и «роллингами», живущими в магнитофоне, подпольный «Раковый корпус» и макулатурный Дрюон, добытые с равными усилиями и с равным удовольствием прочитанные. Сильная армия, добрая милиция, холодные руки, горячее сердце, трезвая голова. Жаль, что все это рухнуло. Жаль, что мы никогда, никогда больше не будем молодыми.

В конце концов, советская власть дала Царевым друг друга — они познакомились еще в институте и уже к концу первого курса поженились, молодые инженеры, молодые споры, молодой неуклюжий секс, общага, свадьба, аспирантура, каждое лето сплав на байдарках, комарье, вкуснейший, весь в хвоинках и кругляшах золотого жира, чай в банке из-под тушенки, двое детей. Они были совершенно счастливы вместе, эти Царевы — Еленочка Романовна, кругленькая, аппетитная хохотушка, и Владимир Сергеевич, худой, веселый, шерстяной, как йети, но с громадными ранними залысинами над подвижным морщинистым лбом. Только у нерадивых и беспутных мамаш случаются такие удачные дети. Советская власть была нерадивая. Даже когда она бросила Царевых, бессовестно, не оборачиваясь, навсегда, они не перестали быть хорошими людьми. И не перестали верить в то, что это правильно.

Лидочку они приняли с тем же веселым радушием, с которым принимали все, что посылала им жизнь или притаскивали дети, — провинциальную родню, припозднившихся гостей, ветрянку или голубя с перебитой лапкой. Поначалу она решила держать свои визиты к Царевым в тайне — не из скрытности, а просто потому, что большая часть ее жизни была Галине Петровне очевидно неинтересна. Однако открытий произошло слишком много и слишком много возникло вопросов, и Лидочка, добровольно пропустив прогулку с Ромкой и Вероничкой, отправилась к вдовствующей императрице с незапланированным визитом.

— Беременна? Заболела? — быстро спросила Галина Петровна, подкрашивая перед зеркалом губы: последнее время она все время торопилась, жить было некогда, жить было интересно, бизнес требовал стремительных решений, стремительные решения — больших денег, одно тянуло за собой другое, как в детской игрушке с деревянным мужичком и деревянным медведиком, которые поочередно тюкали ненастоящими топориками по маленькой наковальне.

Лидочка оказалась здорова и не беременна. Уже, как говорится, слава богу. Чего тебе еще? Деньги нужны? Возьми вот там, на столе.

— Я хотела спросить про квартиру, — тихо сказала Лидочка, привыкшая не повышать у Галины Петровны голос.

— Про какую квартиру?

— Ну, про ту, где мы с мамой и папой жили. Пока они, пока я... — Лидочка замялась, словно калека, не знающий, как правильно назвать собственное увечье. По-честному, в лоб, или так, чтобы другим было выносимо слышать.

— Целехонька, стоит, где стояла, — ответила Галина Петровна, вдевая в круглую, ни на миг не постаревшую мочку сережку с опасным игольчатым бриллиантом очень редкого, коньячного цвета. — А почему ты спрашиваешь?

Лидочка снова замялась — в присутствии Галины Петровны она всегда ощущала себя особенно глупой и нескладной, это было то самое место, где влюбленность и страх соприкасаются так тесно, что их почти невозможно отличить друг от друга.

— Я была там, ну, просто в гости заглянула, и...

— А, с жильцами познакомилась. Как их, бишь? Не помню. Круглые идиоты. Но деньги пока платят исправно. Они нахамили тебе, что ли? Так и скажи. Новых найдем.

Лидочка затрясла головой:

— Нет. Не нахамили. А квартира эта, она чья?

Галина Петровна засмеялась:

— Да ты никак поумнела, наконец? Похвально. Твоя эта квартира, твоя. Не беспокойся. Приватизирована, на твое имя записана, деньги, которые за нее платят, все на твой счет переводятся, восемнадцать лет стукнет — и воспользуешься. А заодно и переедешь. Или ты намерена всю жизнь у меня на шее сидеть? Так мне это даром не нужно.

Лидочка кивнула — шея Галины Петровны, все еще красивая, украшенная ниткой отборного таитянского жемчуга, тоже не казалась ей слишком удобным местом проживания. Аудиенция была закончена, просить о финансовом послаблении Царевым не имело смысла. В отместку Лидочка перестала бывать у бабушки даже через выходные — напрасные усилия, которых никто не заметил. Галина Петровна прекрасно знала, что дурные вести доходят быстро, так что случись что действительно неприятное, ей сообщат немедленно, а если все в порядке, то и переживать нечего. Не хочет — пусть не ходит. Лидочка и не хотела. Ей было хорошо у Царевых — и, как это ни парадоксально, именно потому, что они, безалаберные и веселые, выжили из дома всех призраков. Никто и ничто в старой квартире больше не напоминало Лидочке о родителях. Это было удивительно — и легко.

Но главным оказалось другое — дети. Ромка и Вероничка. Они сорили и ссорились, задавали невозможные вопросы и не слушались, рассыпали муку, пачкали одежду, разбивали коленки, слушали разинув рот и перебивали через слово. С ними было непросто, но без них оказалось невозможно совсем. Всякий раз, когда Лидочка появлялась на пороге, некрасивая мордашка Веронички и тонкое, как будто в насмешку над сестрой, невероятно правильное лицо Ромки вспыхивали такой бескорыстной брызжущей радостью, что Лидочка не могла поверить, что причина этой радости — она сама.

С началом нового учебного года все, включая погоду, испортилось и усложнилось. Лидочка вновь была занята с утра и до упада, да плюс репетиции «Жизели», пустая общажная комната и энская осень, ледяная, волглая, полная затяжных гайморитов и озлобленных прохожих. Ромку и Вероничку тоже заточили в школу — и жизнь от понедельника до пятницы потеряла бы всякий смысл, если бы не мечта о доме, занимавшая все Лидочкины мысленные и нравственные силы. Выходные она по-прежнему проводила у Царевых. И даже не заметила, что не видела Галину Петровну уже минимум два месяца.

Перед классикой Лидочка замешкалась в коридорном училищном аду. Если закрыть глаза — обычный школьный гвалт, бесконечно детский, горластый и радостный, но

Лидочку, застывшую у подоконника (за стеклом — кисленькое небо да увечный клен, оборванный и промокший, как городская побирושка, сентябрь в Энске — безнадежнее иного среднеполосного ноября), Лидочку, натянувшую на плечи теплую репетиционную кофту, не обмануть. Она знает: стоит обернуться, и гвалт исчезнет, растворится в жестоком балетном безмолвии — вон у стены прямо на полу на поперечном шпагате сидит ушастая второклашка — по одной вытягивая маленькие жилы, — а сама сжала в лапках учебник геометрии, шевелит беззвучными губами: отчислить могут не только за плохой шаг.

А вон мучается со своей выворотностью нескладная Ксюша, голенастая, мосластая, ее вышвырнут до того, как станет ясно, что вертлужную впадину не переделать никакими пытками, — вышвырнут просто потому, что она вырастет до негрузоподъемных размеров: никакой танцовщик не отработает с такой дылдой даже самую простенькую поддержку. Лидочкина вертлужная впадина безупречна — Лидочкин тазобедренный сустав выворачивается, будто под кожей у нее не человеческие связки, а гуттаперчевый каркас лесного эльфа. Нет, Лидочке тоже больно, как и всем смертникам балета, но ее боль, по крайней мере, имеет видимый результат. Феноменальные физические данные — качают головами преподаватели, драгоценная редкость, будущая прима, несомненно! Лидочку никогда не отчислят. Никогда не отпустят на свободу.

У нее Божий дар.

Она в жизни не просила Бога ничего ей подарить.

Лидочка смотрит, как ветер то грубо дергает застекольный клен за руку, то отпускает ему подзатыльник — будто читает мораль непослушному подростку, зажав его между непреклонных колен. Отвечай полным ответом! Клен уворачивается от очередного тычка, затравленно смотрит в сторону в поисках подходящей для побега подворотни — никуда ты не удерешь, сочувственно шепчет Лидочка, а сама машинально напрягает под шерстяными гетрами то одну, то другую икроножную мышцу — разогревается перед уроком классического танца. Сколько таких уроков ей еще осталось?

Лидочка честно попыталась сосчитать — но ближе к сотне сбилась, ускорила мысленный шаг и, наконец, побежала, одной рукой стягивая на груди репетиционную кофту, а другой отводя от лица тугие ветки еще не придуманных, не продуманных, бледнолистных кустов.

Дом никуда не делся, стоял на пригорке и на этот раз был из красно-коричневого вкусно пропеченного кирпича. Лидочка прикинула, по-хозяйски прикусив нижнюю губу, и кирпич послушно посветлел, а потом и вовсе превратился в крупно напильный ракушечник, ноздреватый и радостный, как рафинад. Лидочка подошла к двери — светлой? темной? светлой? — ладно пусть будет темный орех, и два изогнутых фонаря в чугунных шапочках, и дверной звонок, вылупивший на гостей приветливую, глуповатую, перламутровую кнопку.

Прихожую — пока непонятно даже, большую или маленькую — Лидочка проскочила, зажмурившись (потом-потом, теперь уже непременно придумаю в следующий раз!), и открыла глаза только на кухне, обожаемой, огромной, практически обставленной, любовно вылизанной до сверкающих, трубных, медных мелочей. Лидочка торопливо пересчитала глиняные чашки — в прошлый раз так и забыла все на столе! — три, четыре, шесть, рядом глиняный же кувшин грубого терракотового цвета, почти уродливый, совершенно прекрасный, хранящий на неровных боках отпечатки пальцев безвестного гончара. Молоко в такой посуде всегда будет холодным, даже в самую лютую жару.

Все на кухне, слава богу, осталось прежним. Солнечные вздыхающие занавески. Огромная плита. Под ногами налитанный летом деревянный пол, шероховатый, деревенский, — а вон из той щелки под плинтусом ночами будет вылезать мышонок, легкий, призрачный, как тень домового, и Лидочка никогда не забудет оставить ему у ножки стола маленький, но правильно сервированный ужин — пару ломтиков сыра и

хлебную корку на нежной бумажной салфетке. В доме непременно должны жить мыши, без их тихого сухарного хруста будут плохо спать и дети, и кошки — целая стая пестрых кошек, независимых, бесшумных, давно перепутавших в один беспородный клубок все нити позабытого кровного родства.

И еще обязательно будет собака — большущая, дворовая, и за ужином, в дождь или в снегопад, все будут уговаривать друг друга, что ей очень тепло и уютно в набитой сеном просторной конуре. А потом, когда во всех комнатах по очереди погаснут ночники и лампы, Лидочка поставит в буфет последнюю, до скрипа вытертую тарелку и пойдет к двери, чтобы втихомолку пустить собаку в дом. И улыбнется, услышав в потемках смущенный и радостный стук хвоста, — кто-то уже побеспокоился раньше нее, когда в доме много зверей, сердце у детей растет быстрее, чем они сами, но, ах, дети, дети, куда же вы торопитесь! Опять к весне покупать всем новую обувь, опять радостные ссоры над картонными коробками, негодующий визг младших и шорох мягкой мятой бумаги, мешающийся с крепким запахом еще не разношенной кожи и черных резиновых каблучков. Лидочка видела каждую загогулину на подметке, чувствовала войлочное тепло каждой стельки, но лица детей туманились, расплывались, дети были — сплошные птичьи голоса, близкий ласковый клекот, а муж и вовсе оставался невидимым, и как ни спешила Лидочка по комнатам, но догнать все равно удавалось только теплое движение растревоженного воздуха. Словно кто-то раздвинул невидимую портьеру и мазнул Лидочку по лицу тяжелым струящимся потоком, сотканным из запаха, из запаха... Лидочка терялась, не зная, как будет пахнуть муж, не понимая, как его можно окликнуть. «Милый?» — спрашивала она, растерянно стоя на пороге пустой комнаты, плывущей, зыбкой, а впереди струилась еще целая анфилада таких же неясных пространств — словно кто-то уронил на дно ручья нитку колеблющихся, струящихся бус. Дом, такой прочный и настоящий, начинал туманиться, теряя телесные очертания, и Лидочка, виновато зажмурившись, возвращалась на кухню, о которой мечтала больше и чаще всего — как будто о смысле и свете своей будущей жизни.

На кухне она переводила дух и, накрывая стол к чаю (чайные ложечки в правом верхнем ящике, розетки для варенья — в буфете, по левую руку), тихонько обещала себе больше не спешить, не гоняться за призраками, не торопить их показаться во плоти. Торопиться вообще нельзя, сила — в умении отдаваться частностям, а жизнь — жизнь состоит из мелочей. И только собрав эти мелочи в один непрерывный узор, только гладко замкнув каждую деталь с другой, можно было надеяться на то, что дом — когда-нибудь — из бесконечно долгой выдумки превратится в самую настоящую правду.

Именно поэтому так важно было не ошибаться в деталях. Лидочка, например, совершенно точно знала, что к чаю непременно будет подавать домашнюю выпечку — заварное петишу, миндальные лепешечки или, на худой конец, мазурек, тот, который Молоховец называла просто — «очень вкусный». Лидочка, давно выучившая заветный том наизусть, быстро, как молитву, пробормотала рецепт — полфунта масла тереть добела, не переставая мешать, класть полфунта сахара, шесть желтков, четверть чашки горького и четверть чашки сладкого толченого миндаля, шесть сбитых белков и полфунта фунта муки, влить в плоскую бумажную форму, намазанную маслом, и в печь.

«Не снимать мазурка с бумаги, пока не остынет, — строго предостерегла Лидочку Маруся и тут же, смягчив тон, посоветовала: — Сверху можно оглазировать, или украсить по желанию, или посыпать коринкой, сахаром, миндалем». Лидочка послушно кивнула — она понятия не имела, чем отличается горький миндаль от сладкого, да это было и неважно — важен был только теплый тестяной аромат, пропитавший кухню, и детская возня у стола — яростная и веселая — за право первому выхватить мазурек из-под полотенца. Но дети снова были размытые — похожие то на Ромку, то на Вероничку, то на чужих — очень славных, но все-таки чужих малышей, и Лидочка, вздохнув, поняла, что сегодня что-то не ладится и, значит, пора собираться назад, в реальную жизнь, которая, по

сравнению с этим домом, с каждым днем все больше казалась Лидочке совершенно ненастоящей.

«А вот ты у меня настоящая, — сказала она собаке, — понимаешь, а, Найда?» И Найда еще раз согласно стукнула по полу плотным шерстяным хвостом и смущенно заулыбалась. Лидочка наклонилась, чтобы почесать собаку за мягким горячим ухом, и получила такой увесистый тычок под ребра, что вылетела из своей мечты, не успев напоследок ни выпить чаю, ни пройтись по комнатам, ни проверить, хорош ли будет на застекленной веранде большой розовый абажур из старомодного шелка с невозможной, трогательной, изумительно мещанской бахромой.

Училище никуда не делось. И даже до звонка оставалась еще пара дрожащих от напряжения минут — чтобы понять это, Лидочка, как любая раба ежедневной рутины, давно не нуждалась ни в каких часах. То есть бежать и толкаться было совершенно незачем. И тем не менее тощенькая нескладная первоклашка не просто со всего размаха пихнула Лидочку в бок, она еще и крепко наступила ей на ногу — на ногу! — на драгоценную ступню лучшей ученицы школы, маленькую, твердую, изувеченную, словно у Русалочки, которую злой сказочник-импотент заставил годами ступать по остриям ножей. Без всякой любви — просто ради собственного бессильного удовольствия.

Балетные могли пихаться на переменах, скакать козлами, играть в обычные детские догонялки и даже драться, но ноги — ноги это было святое. Рабочий инструмент, посягнуть на который могла лишь обезумевшая от ревности соперница, но тут уже в ход шли натертые чем-нибудь скользким полы (чтоб ты, ведьма, шею себе свернула) да насыпанное в пуанты толченое стекло — совсем не анекдотичное, а вполне реальные электрические лампочки, растертые до тончайшей пудровой пыли. Один диагональный проход по сцене — и живые человеческие пальцы превращаются в окровавленные мокрые подушечки для невидимых булавок. Лидочке хватило одного раза, чтобы навсегда обзавестись привычкой ощущать балетные туфли изнутри — мгновенным, почти медицинским, пальпирующим движением. Так же машинально и осторожно она стала проверять всю свою обувь: домашние тапочки, туфли на зачаточном (чтобы не трудить измученную ногу) каблукке, похожие на нескладных щенят унты.

Лидочка крепко взяла проштрафившуюся первоклашку за горячее прозрачное ухо и несильно, но ощутимо дернула. Впрочем, это было совершенно напрасно, потому что первоклашка ничего не заметила — ни отдавленной принцессиной ноги, ни принцессиного же наказующего жеста. Она вообще была как маленький зомби: мягкая, безвольная и вся сосредоточенная на одной, невидимой прочим, но дико болезненной точке. Лидочка машинально проследила за первоклашкиным взглядом, и ледяная иголка, которая когда-то проколола насквозь судьбу Галины Петровны, с тихим шероховатым усилием прошла сквозь полотно Лидочкиной жизни, прочно соединив две вышивки, которыми некому было любоваться.

По коридору, покачивая спортивной сумкой, шел бог. Он был весь из меда, золота и молока. Из темного меда, теплого золота и топленого молока. Как ульмский торт, потрясенно подумала Лидочка, и первоклашка, прижавшись к ее боку пылающей щекой, плачущим голосом пробормотала — смотрите, смотрите, это он...

— Кто — он? — спросила Лидочка, остро чувствуя, как невероятным, плавным, округлым движением переворачивается привычный мир, который она считала хоть и ненавистным, но несокрушимым и который, оказывается, все это время был мучительно и нелепо поставлен с ног на голову.

— Витковский, — ответила первоклашка. — Алексей Витковский, его к нам из Москвы перевели.

Лидочка кивнула головой, как будто поняла, и, отстранив замороженную девочку, пошла вслед за получившим имя богом, не замечая, как вокруг нее падают беззвучные неторопливые обломки и лопаются какие-то невидимые стяжки и швы. Она сделала

несколько шагов, незапоминающихся, но очень важных, потому что впервые за долгие годы в училище она делала что-то в этих стенах — просто двигалась — по своей, а не чужой воле. Но тут до отказа отмотавшийся поводок натянулся, и Лидочка остановилась. Никакое крушение мира — включая апокалипсис и первую любовь — не могло послужить оправданием, если речь шла об опоздании на урок классического танца.

Лидочка устало, как кобыла, мотнула головой и повернула назад.

Она не терпела опозданий, Нинель Даниловна, Большая Нинель, миллион лет назад легендарная энская прима, божественная Одетта, дьявольская Одилия, а теперь просто грузная злая старуха с железными пальцами и такой же железной глоткой. Надо было видеть, каким хрупким, невероятным, юным и прекрасным жестом она поправляла красный от хны пучок волос на своем жирном бугристом затылке, каким точным, огненным ударом вбивала на место нерадивые лопатки и коленки своих навек перепуганных учениц. Ровные ряды вытянувшихся судорожных шеек, побелевшие пальцы, вцепившиеся в палку, округлившиеся, дрожащие от напряжения глаза. Дранные шерстяные кофты, толстые гетры со спущенными петлями нищей кучей валяются в углу — жалкий шик, училищная мода, репетиционная одежда должна быть рваной, это был едва заметный, никому не интересный глоток свободы, крошечное право на самоопределение. Зэки с той же целью вскрывают себе вены заточенными ложками. Лучше бы они попробовали экзерсисы у палки или разминку в партере.

— Гран батман жете! — рывкнула Нинель, и марионетки покорно вздернули нижние конечности. — Пятая позиция, правая впереди — два жете вперед, пике, закрыть. Два жете в сторону, пике, закрыть назад. Два жете назад, пике, закрыть. Два баленсуара медленных и два быстрых, закрыть назад и — ан дедан. Линдт! — вдруг заорала Нинель, так что даже ко всему привычные семиклашки вздрогнули. — Подбери жопу, куда она у тебя уехала?! И что это за спина? Не спина, а корыто!

Аккомпаниаторша, маленькая, похожая на сморщенную куклу старушка, которую все считали механической, остановилась, воздев руки над клавиатурой и глядя перед собой равнодушными пустыми глазами. Лидочка дернулась от крепкого удара и, не переставая улыбаться, послушно распрямила и без того до предела натянутую спину. Между лопаток на голой коже запыхал отчетливый яркий отпечаток педагогической длани. Девочки воровато и радостно переглянулись — Нинель не лупила лучшую ученицу школы с четвертого класса, и позорное возвращение Лидочки в стан таких же, как все, сулило много чудесных перемен.

— Еще раз — гран батман жете! И ра-а-аз! Стопой бросаем ногу, идиотки, стопой — не бедром! Боже, на кого я трачу свои нервы? Да вас всех еще в пеленках надо было передавить!

На этот раз Лидочкина ножка взлетела, как и положено, выше всех прочих. Но это было неважно. Все было неважно. После занятия Нинель подозвала Лидочку. Ты здорова? — спросила она и неловкой, не приспособленной к ласке рукой пощупала лаковый от пота Лидочкин лоб. Лидочка кивнула — да, здорова. Но это была неправда — мир перед ее глазами безостановочно плыл и качался, переливаясь золотом и медом, медом и молоком.

Бедная Лидочка, выросшая в мире великой, абсолютной нелюбви, сначала действительно решила, что заболела. Эта лихорадочная тревога, это поселившееся внизу живота дикое, вращающееся волнение, эта неумеренная болтливость, странная подвижность, когда никак не пристроишь обеспокоенные руки — разве это была не болезнь? Ледяные мокрые ладони, горящие щеки, бессонница, неврастеничный хохоток, на дне которого отчетливо колотится колокольчик близких слез, — училищный врач, румяный и толстопузый, как пушкинский критик, бездушными сноровистыми пальцами ощупал каждое Лидочкино сочленение — словно цыган, приценивающийся к подходящей кляче. Прописал валерьянку. «Вы, Лидия Борисовна, вполне себе здоровы. Ну, насколько

вообще можно назвать здоровой вашу балетную немочь. А так переживать из-за какого-то выступления — вы Жизель, говорят, танцуете? Поздравляю, большая честь для выпускницы — так вот, переживать из-за такого, простите, в сущности, говна никакого здоровья не хватит. Попейте капельки на ночь, все и рассосется».

Лидочка попила, но не рассосалось.

Конечно, вечерами тинктура валерианового корня и многолетняя мышечная усталость сваливали ее на общежитскую постель, казенную и бездушную настолько, что ее сторонились даже небрежливые ночные феи, справедливо полагавшие, что для нормальных сновидений нужна хоть самая микроскопическая капля домашнего тепла. Но несколько часов пролежав ничком на дне непроницаемого морока, ближе к рассвету Лидочка вздрагивала, словно кто-то встряхивал ее за плечо взрослой, беспокойной рукой. Дешевенький будильник с квадратным китайским личиком всякий раз показывал три часа ночи и несколько ничего не значащих минут — время полного мирового покоя, когда размыкают объятия наголодавшиеся любовники, успокаиваются уличные убийцы и даже самые безнадежные больные откладывают агонию до утра.

Лидочка садилась в постели, натягивала на плечи заклеенное печатями байковое одеяло и до самого утра смотрела прямо перед собой, ничего не видя, не чувствуя холода и улыбаясь слабой, едва светящейся в темноте улыбкой.

Алексей Витковский.

Она обмирала от того, как ломкое, ледяное, цесаревичево имя Алексей одним мягким движением спекшихся от волнения губ превращалось в былинное, мягкое Алеша. Алешенька. Как будто целуешь в теплую загорелую спинку круглую изюмную булочку.

А-ле-шень-ка.

Он был такой красивый, что Лидочка не могла смотреть на него больше нескольких секунд — как на солнце. Сразу начинала кружиться голова, и мир шел темными, огненными, долго остывающими пятнами. Приходилось довольствоваться малым — темными кольцами волос на смуглой молодой шее, родинкой на скуле, манерой слегка приподнимать брови, будто удивляясь. Брови были шелковые, с искрой, как шкурка норки, а вот глаза — синие или черные? Лидочка не знала. Не смела узнать. Один раз Витковский прошел коридором так близко, что она ощутила его тепло — такое же невозможное и желанное, как существование Бога. Лидочка запнулась, собираясь наконец хоть что-то сказать, но в очередной раз, не поднимая ресниц, шагнула мимо — надменная спина, вскинутый подбородок, королевская осанка, способная обмануть только того, кто никогда не учился в хореографическом училище.

На самом деле Лидочка, и без того бесконечно неуверенная в себе, влюбившись, совсем потерялась. Посоветоваться, даже просто поговорить было не с кем — изгнанная из рая Люся Жукова так и не ответила ни на одно из Лидочкиных писем, отвлекать Царевых-старших от усердного выживания было совестно, а дети — они были просто дети. Давали немножко сил, отнимали взамен очень много времени. Оставалась Галина Петровна, но говорить с ней о любви? С тем же успехом Лидочка могла искать участия у ящика с канифолью, в котором балетные, выбегая на сцену, буцали пуанты, чтобы окончательно не соскользнуть в иное измерение и не свихнуть себе шею.

Особенно тяжело переносила Лидочка бесконечный восторженный галдеж в классах и раздевалках — в новенького красавца-старшеклассника, как положено, влюбились сразу все, от первоклашек до выпускниц. Это было жадное, глупое, истерическое обожание, которое всегда процветает в закрытых сообществах — в гимназиях, в казармах, даже в бараках. Обсуждение рубашек прекрасного принца (ах! сегодня он в розовой!) и его происхождения (говорю вам, девчонки, у него папа — дипломат!) казалось Лидочке унижительной пародией на ее собственные чувства. Право мечтать о Витковском и толковать его взгляды, улыбки и даже жесты принадлежало ей — больше никому. Но,

несмотря на все попытки сохранить хотя бы видимость независимости, Лидочка то и дело ловила себя на том, что питается теми же жалкими крохами с общего стола, что и все остальные, — пришивая ленточки к пуантам, закалывая волосы, стоя под душем среди таких же, как она, мокрых и голых скелетиков, Лидочка жадно впитывала в себя каждое слово, каждую дурацкую историю — лишь бы речь шла об Алексее Витковском.

Только очень наивные люди могут предположить, что в балете в ходу исключительно платонические чувства и высокие переживания. Вольность нравов, которая царит в хореографических училищах, извиняется только тем, что большинство учащихся просто не знают, что на свете бывает что-то еще. Обтягивающие балетные трико, привычные переодевания на виду у всех, задранные голые ноги и руки, совместное мытье, бесконечное пестование тел, а не душ — все это не оставляет места ни воображению, ни романтическим мечтам. Плоть для любого балетного — это просто плоть, рабочий инструмент, которым изредка можно воспользоваться для дружеского перепихона, но не больше. На большее просто не хватало сил. В старших классах девочки много сплетничали о любовниках, которых заводили взрослые балерины, но упирали все больше на материальную сторону дела. Например, какой-то счастливце кавалер подарил сразу две пары кожаных сапожек — черные и цвета лосося, и это и было высшим триумфом в отношениях между мужчиной и женщиной. Других отношений между мужчиной и женщиной никто не знал. И Лидочка тоже.

Конечно, были еще пестики и тычинки, собачки и кошечки, парочки, обжимающиеся по скамейкам, Ритка Комова, бросившая училище по молодому шалому залету, плывущая под партами страница, вырванная из какой-то медицинской книжки, с черно-белым рисунком и устрашающей надписью — пенис в разрезе... Посмотри и передай дальше. Лидочка посмотрела и передала. На этом ее сексуальное воспитание завершилось.

Правда, когда начались занятия по дуэтному танцу, выяснилось, что отношения можно иметь еще и с партнером. Вдвоем было проще сражаться за место в репертуаре, вдвоем было удобнее репетировать, в конце концов, партнер был свой, и можно было не тратить время на объяснения, почему нельзя заводить детей и как размять забитую мышцу. Те, кому по страхолюдности не светили сапоги цвета лосося, и самые упертые фанатички выбирали партнеров. Но человеческого в таких парах тоже не было ничего или почти ничего. Это были браки по производственной необходимости. После того как два худых взмокших подростка несколько часов подряд отрабатывали подъем на руку партнера или подбрасывание ученицы в позе рыбки с поворотом, о романтических чувствах можно было не беспокоиться. Травмы, падения, дурные запахи, пот, слюна, сорванное дыхание, скользкие чужие руки, равнодушно ощупывающие твое тело, — после этого оказаться в одной постели можно было только по великой пьяни. Или от великой тоски.

Лидочка поняла это, как только обзавелась собственным партнером — Леней Беляевым, бледным, упрямым мальчиком, помешанном на балете и собственной заднице. Он часами изнурял себя упражнениями, добиваясь какого-то особого ягодичного изгиба, и, даже поднимая Лидочку на вытянутой, мелко дрожащей от напряжения руке, исхитрялся скосить глаза так, чтобы видеть в зеркальных стенах собственный зад. Его прикосновения, холодные и липковатые, как манная каша, не вызывали у Лидочки ничего — даже отвращения. Роняет редко — и на том спасибо.

С Витковским все было по-другому. Его Лидочка ощущала всем телом даже на расстоянии — и это было чудесное, яркое, нервное чувство, больше всего похожее на боль от ожога.

Это было настоящее. Это была любовь.

К исходу осени Лидочка похудела так, что стало заметно даже в хореографическом училище, но никто и не подумал волноваться — все списали на «Жизель», премьеру которой назначили наконец-то на конец января, так что Лидочке кроме основных занятий и репетиций назначили еще и дополнительные занятия в мужском классе. Уланова,



небось, не дура была, когда с мужиками репетировала, потому — прыгай, Линдт, прыгай, распорядилась Большая Нинель. Без великого баллона нет великой балерины. Лидочка послушно прыгала, едва замечая гравитацию и легко обставляя самых прыгучих и длинноногих парней. Еще час после занятий. Еще. Пустой зал, перекидное жете, перекидное, перекидное! Ап! Ап! Ап! Она, страшно стукнув пуантами, прыгнула последний раз и без сил повисла на станке, расслабляя натруженные гудящие мышцы и чувствуя, как стекает между лопатками струйка прохладного пота.

— Круто, — сказал кто-то позади с неподдельным восхищением. — В жизни не видал, чтоб девчонки так прыгали.

Лидочка обернулась.

В дверях стоял Витковский, темноволосый, легкий, в распахнутой на груди рубашке — в белой, девочки. Сегодня — в белой.

— Тебя ведь Лида зовут, да?

Лидочка кивнула.

— Слушай, а у вас тут кофе пьют? В Энске вашем?

Лидочка кивнула еще раз, и Витковский засмеялся.

— Мне говорили, что ты немая, — сказал он весело. — Но я думал — врут. Слушай, покажи мне хоть одну приличную кофейню, а? С Москвы капучино не пил, прям не поверишь — ломки уже начинаются. Покажешь?

Лидочка кивнула в третий раз, и теперь они засмеялись оба, как дети, подталкивая друг друга взглядами, неудержимо, взхлеб.

Через неделю о том, что Витковский и Линдт начали встречаться, знали все.

Лидочке даже не завидовали — просто смирились, что кесаревне в очередной раз досталось кесарево. Как будто она мало пахала вместе со всеми, наравне со всеми, больше их всех. Как будто не было этой бесконечной осени, чуть было не сожравшей ее без остатка, вместе с ее любовью, никем не замеченной, неоплаченной, немой. Сама Лидочка, в отличие от прочих, так и не решалась поверить собственному счастью, словно во сне, когда летишь — летишь ведь! — но совершенно точно знаешь, что это неправда. Просто не может быть правдой. Не имеет права.

Они много гуляли вместе — по тем же улицам и перекресткам, по которым бродила когда-то молоденькая Галочка Баталова, держа за руку своего прекрасного сказочного принца, так что, хорошенько приглядевшись, все еще можно было увидеть то там, то тут слабо светящиеся отпечатки их бестолковых следов, но Лидочка, без остатка поглощенная Витковским, ничего, ничего не замечала. Глаза у него оказались синие. Синие-синие, невероятного, почти ненатурального оттенка, похожего на тот, что возникает в стакане с водой, в котором только что быстро прополоскали запачканную ультрамарином колонковую кисточку. Пронзительный энский холод то и дело загонял Лидочку с Витковским то в одну кафешку, то в другую, и в искусственной полутьме, освещенные общим огоньком на двоих раскуренной сигареты, они подолгу разговаривали, вернее, разговаривал Витковский — к тихой радости Лидочки, о себе, только о себе.

Она питалась этими рассказами, как дети питаются впервые услышанной сказкой, совсем еще новенькой, по-настоящему волшебной, в которой за каждым поворотом сюжета, за каждой паузой, которую рассказчик делал, чтобы перевести дыхание, вставал дивный, неизведанный мир, впечатывающийся, кажется, сразу в самое сердце. Оказывается, рассказы про папу-дипломата, как и положено легендам, не столько приукрашали, сколько искажали чудесную действительность.

Витковский и впрямь перевелся в Энск из Москвы — случай в училище не то чтобы неслыханный, но и не уникальный. Три самых авторитетных хореографических школы

страны — питерская Вагановка, московский МГАХ и Энк — ревниво следили за успехами друг друга и время от времени обменивались то скандалами, то педагогами, то учениками. Но выпускники вроде Алексея Витковского все-таки обычно стремились в Москву, а не из Москвы — поближе к заветному Большому театру, этой Мекке балетного мира, славной своими мизерными окладами, зверскими обрядами и классическим репертуаром, в котором десятилетиями не менялось ничего — ни примы, ни па, ни аплодисменты, ни свиные рыла государственных деятелей в царской ложе.

Однако Алексей Витковский бросил все эти заманчивые своды и перспективы и прибыл заканчивать свое балетно-хореографическое образование именно в Энк — в училище говорили, что вслед за отцом, крупным функционером, которого правящая в ту пору партия под названием «Наш дом — Россия» кинула грудью на дальние рубежи Родины, чтобы укрепить веру провинциального электората в «рыночные реформы и здоровый консерватизм». В реальности отец Витковского, сильно пьющий холерик и бывший секретарь одного из московских райкомов, так задолбал всех своими запоями и выкрутасами, что его попросту сослали с глаз долой и куда подальше.

Витковский, ничуть не стесняясь, рассказывал об этом с простодушной прямоотой набалованного ребенка, уверенного, что ему простят любой скверный проступок, пусть даже совершенный родителями и потому особенно непоправимый.

А мама? Лидочка вскидывала огромные, переливающиеся сочувствием глаза. Витковский беспечно пожимал крепкими плечами — матери он не помнил, не то бросила их, не то умерла, пьяные истории отца отличались одна от другой, неизменными оставались лишь хриплые ненатуральные рыдания да лужицы остро воняющей блевотины, отмечающие путь партийного функционера к собственной спальне. Он был, кстати, неплохим отцом и, несмотря на ненависть ко всему балетному, предпочел добровольно отправиться не в солнечный Краснодар, а туда, где его сын мог продолжить свое идиотское образование.

— Ты, наверно, очень скучаешь? — тихо спрашивала Лидочка, имея в виду таинственно исчезнувшую мать любимого и переживая его сиротство в тысячу раз острее своего, давнего и привычного, как вывих, и Витковский невпопад соглашался — да, без Москвы погано, тут у вас, уж прости, такая жопа мира, что хоть давись. Он одним глотком допивал кофейную бурду, замаравшую дно чашки, и щегольским щелчком подзывал скучающего официанта.

— Отогрелась? — спрашивал он у Лидочки. — Еще что-нибудь хочешь, нет? Ну, тогда я в сортир, и погнались дальше.

Официант, волоча ноги, добирался наконец до их столика и, насмешливо ухмыляясь, наблюдал, как Лидочка с нежным, жадным обожанием глядя в удаляющуюся спину Витковского, слепой неловкой рукой лезет в сумочку за кошельком. Она всегда платила за них двоих в кафешках — и ни разу этого не заметила, как ни разу не заметила ни нагловатого, развязного тона, ни того, что Витковский, в сущности, ни разу не спросил ее ни о чем, что было бы связано с ней самой или с их совместным будущим, да он даже не дотронулся до нее ни разу, хотя Лидочка, с замирающим обнаженным сердцем, каждую минуту ждала поцелуя.

Они выходили на черную, ледяную улицу, едва освещенную тоже ледяным и ломким, почти леденцовым, фонарным светом.

— Ладно, старуха, — говорил Витковский, по-киношному поднимая воротник тоже киношного стеганого плаща на клетчатой яркой подкладке. — Пора и по домам. Ну, бывай!

— До завтра, — тихо говорила Лидочка, любуясь серебристой снежной пылью, едва касающейся его темных волос, и не думая о том, что ей сейчас предстоит одинокое возвращение в общежитие по извилистым, насквозь замороженным ночным улицам, —

она действительно ничего не замечала: ни оплаченных счетов, ни того, что, в сущности, каждый день провожает Витковского домой, ни того, что он никак ее не называет — разве что старухой, ни еще тысячи ужасных, безжалостных мелочей, которые однозначно разорвали бы ей сердце, не будь оно временно одарено высокой и божественной слепотой, которую принято называть любовью.

Новый 1998 год Энск отметил невиданными погодными аномалиями. В конце декабря вдруг приключилась полноценная оттепель — с самыми настоящими болтливыми ручьями, неторопливой солнечной капелью и многоголосым гомоном обалдевших от радости воробьев. Но уже в первых числах января эти же воробьи десятками валялись на заледенелых тротуарах — мерзлые, хрупкие, скованные неторопливой, ночной, музыкальной смертью. Дворники, заточенные в циклопические тулупы, собирали невесомые тельца и бросали в мусорные баки, и Лидочке казалось, что, если тихонько потрясти маленького пернатого покойника над ухом, непременно услышишь, как звенят внутри обломки замерзших чирикающих трелей.

До «Жизели» оставалось всего несколько недель, если точнее — две с половиной, премьеру перенесли с 25 января на 1 февраля, и Лидочка, услышав долгожданную дату, только ахнула и, прижав ладонями полыхнувшие щеки, выбежала вон, оборвав репетицию на половине такта. «Нервы», — извинительно буркнула Большая Нинель, подбирая с пола оброненную Лидочкой шпильку, и принц Альберт, долговязый взрослый танцовщик из энского театра оперы и балета, напряжинив ознобные перекачанные лыдки, недовольно отошел к окну.

— У всех нервы, — капризно протянул он, — у всех. Только я один должен пахать, как папа Карло. А жалованье, между прочим, с октября не выдавали!

— Мало денег — иди в грузчики, — отрезала Нинель, помнившая принца еще лопухим учеником с прыщавым лбом и скверной выворотностью. — Тебя, мудака, может, только потому и запомнят, что ты с Лидкой эту премьеру станцевал... Она махнула толстой, усыпанной старческой «гречкой» рукой и, крихтя, подошла к двери, за которой затихал дробный топоток сбежавшей Жизели. — И не стой столбом, занимайся. Барышников херов.

Лидочка нашлась в женском туалете на первом этаже — в этом излюбленном оазисе слез, горестей и сплетен многих поколений балетных учениц. Увидев Большую Нинель, она вскинула голову, торопливо вытерла глаза и осветила облупленный, пропахший сортир такой невероятной, сияющей, робкой улыбкой, что Нинель от неожиданности улыбнулась в ответ.

— Экая ты психованная все-таки, — прогудела она, доставая из кармана мятую пачку дешевеньких сигарет. — Давай-ка, покури и успокойся.

Лидочка, втягивая нежные щеки, наклонилась над бледным спичечным огоньком и благодарно закашлялась, осознавая оказанную ей огромную честь — курить с Нинель ее невозможную «Ватру», на равных, как взрослая со взрослой, как балерина с балериной.

— Ты чего убежала, боишься? — спросила Нинель, выпуская из ноздрей громадные вонючие дымные бивни.

Лидочка снова улыбнулась — на этот раз виновато, даже не пытаясь ничего объяснить. 1 февраля был не просто день премьеры, это был день рождения Витковского. Его день. Лидочка давно решила 1 февраля объясниться Витковскому в любви, но теперь, теперь это объяснение приобретало особый смысл. Это не могло быть совпадением. Это была судьба. Судьба, впервые повернувшаяся к Лидочке своей солнечной, парадной, радостной стороной.

— Я готова, Нинель Даниловна, — сказала она твердо и, еще раз крепко затянувшись, бросила зашипевший окурок в унитаз.

— И молодец, — пробурчала Нинель, — тогда иди в класс, я догоню. — Она проводила глазами Лидочку, кинула в тот же унитаз свою сигарету и, поразмыслив, задрала обширные, уже совершенно старушечьи юбки. Струя мочи ударила в старый советский фаянс, взбивая крепкую желтую пену. — Я не я буду, если не отправлю девчонку в Москву, — пробормотала она. — Хоть так в энциклопедию пролезу.

Нинель распрямилась, одернула подол и решительно рванула за унитазную цепочку, смывая за собой все неисчислимыи горести и грехи, накопленные за долгую, неласковую, в сущности, совершенно несчастную жизнь.

Торопливо одевшись в совершенно пустой, гулкой раздевалке (училище распустили на каникулы, настрого наказав помнить про ежедневные экзерсисы, как будто кто-то мог про них забыть), Лидочка выбежала на крыльцо, отыскивая глазами знакомую высокую фигуру, перехваченную в узкой талии поясом плаща, но тут же сникла — Витковский уехал на каникулы в Москву (не попрощавшись! не попрощавшись!). Значит, свидания не будет. Ну, ничего, до первого февраля совсем недолго. Лидочка покрепче запахнула шубку и, с удовольствием чувствуя громкий крахмальный хруст наста под ногами, поспешила в общежитие. Завернулась в одеяло, — пообещала она себе, — и буду спать, спать, спать, а проснусь — и Алеша уже приехал! Она приветливо дернула за заснеженную лапу знакомую толстую елку и засмеялась, подставляя варежки под маленькую, нежную, ею же самой созданную выюгу.

— Лидия Борисовна, — окликнул ее кто-то сзади. — Лида! Подождите минуточку!

Лидочка обернулась, все еще улыбаясь и сияя круглой ямкой на смугловато-бледной щеке и мокрыми, перепутавшимися ресницами, — как тогда, Господи, точно, как тогда, подумал Лужбин, по удивленному оттенку Лидочкиной улыбки, понявший, что она его не узнала, и вдруг, потеряв равновесие, постыдно шлепнулся на гладкий лед взметнувшегося тротуара.

Новый год Лидочка встречала с Царевыми, предварительно вежливо поставив в известность ничуть не огорчившуюся Галину Петровну. «У них пожрать-то хоть найдется?» — только и спросила она у Лидочки. И Лидочка, запланировавшая воплотить не один десяток страниц любимой Елены Молоховец, честно ответила — найдется. «Ну, тогда с наступающим», — равнодушно пожелала Галина Петровна, и Лидочка уже в короткие гудки сказала — и вас тоже.

Это был первый счастливый Новый год в ее жизни — первый с того последнего, что она встречала с родителями. Перепробовав все деликатесы и перепев все казспэшные песни, Царевы и Лидочка проспали несколько коротких и таких же суматошных и веселых, как новогодняя ночь, часов и, проснувшись, обнаружили, что за окном совершенно пушкинское утро — солнечное, ослепительное, чуть тронутое легким, веселым морозцем.

— А знаете, что мы сейчас сделаем? — спросил Царев, за ночь заросший невероятной, почти разбойничьей, веселой, синеватой щетиной. — Мы сейчас поедем на дачу!

Надо сказать, что дача — это было просто такое слово. На деле Царевы обладали небольшим и нелепым ломтем бывшей колхозной пашни, безнадежно истощенной социалистическими методами ведения хозяйства еще за пятилетку до Лидочкиного рождения. С одной стороны разбег царевских шести соток ограничивал сосновый лесок, степенно карабкающийся на невысокую сопку, а с другой — впрочем, других сторон просто не было, поскольку пашня вся была нарезана в пользу бестолковой НИИшной гольфьбы, у которой сроду не было ни денег на заборы, ни наглого пролетарского духа на скандалы. А потому Царевы, например, свою землю узнавали по сарайчику, который Сергей Владимирович собственноручно сколотил из снарядных ящиков и домовито запер на гигантский, почти антикварный лабазный замок.

Сарайчик предназначался для сельхозинвентаря, но при желании мог вместить себя и раскладушку, радушно готовую принять усталого путника на продавленное пружинное лоно. Впрочем, ночевать на даче Царевы не оставались, поэтому чаще всего на раскладушке перебирали набранные тут же, в лесочке, грибы — сперва подсопливленные маслята, потом рыжики, причем старшие Царевы, по унаследованной от деревенских родичей привычке, норовили брать исключительно грибную детву — со шляпкой не крупнее полуногтя, а Ромка с Вероничкой, охваченные первобытным азартом, выкорчевывали даже гигантские рыхлые сыроеги, насквозь проеденные проворными прозрачными червями и облепленные мертвой хвоей. Из-за сыроег в семье вспыхивали кратковременные ссоры, но побеждал, разумеется, опыт и авторитет — и в грибную икру и на засолку отправлялись только очевидно пригодные в пищу экземпляры.

Зимой — за отсутствием грибов — на даче делать было совершенно нечего — разве что наряжать елку да играть в снежки. И Царевы, поняв, что до ближайшей елки надо топтать по целине почти полкилометра, стали играть в снежки. Сперва разбились на команды, но, войдя во вкус, стали воевать каждый за себя, причем Лидочка, наряженная по дачному поводу в старую Ромкину кацавейку с разноплеменными пуговицами и напроць оторванным карманом, кричала и прыгала громче всех. Тренированное легкое тело впервые в жизни доставляло ей не боль, а радость, и, влепив в неприятеля очередной сверкающий меткий снежок, она успевала не только увернуться от встречного снаряда, но и издать ликующий индейский вопль, которому ее обучила Вероничка. Перед лицом такой опасности Царевы сперва дрогнули, а потом коварно объединились и громкой семейной когортой загнали визжащую и отбивающуюся Лидочку в громадный сугроб. Ах так, возмутилась она, задыхаясь от смеха и пытаясь выбраться, ах так — все на одного! Ну я вам сейчас покажу! И, быстро слепив здоровенный снежный ком, она со всего размаху запустила его в исполняющего победный танец старшего Царева.

Такой Лужбин и увидел ее в первый раз — стоящую на коленях в сугробе тоненькую, почти не существующую девочку в мальчишеском куцом пальтишке, растрепанную, хохочущую, с мокрым от снега сияющим лицом. Она набрала полные варежки снега и вдруг вскинула глаза — невероятные, темно-темно золотые, насквозь солнечные, с живыми кофейными искрами на самом дне радостного, полудетского взгляда, и Лужбин вдруг почувствовал, как со всего размаху налетел лицом на невидимую, но несокрушимую стену, и в обступившем его немом, неподвижном кадре девочка размахнулась, и снежок, все еще хранивший форму ее маленьких ладоней, полетел вперед, и пока он летел, бесконечно долго летел к земле, сияющий, круглый, Лужбин разом понял, как будет счастлив с этой девочкой, непоправимо, неслыханно, небывало, и ощутил вкус ее губ, и тяжесть ее беременного живота, он прожил с ней целую жизнь, долгую, радостную, как первые в жизни летние каникулы, и умер ровно через неделю после ее смерти, потому что она не должна была огорчаться, не должна была оставаться одна, и когда снежок наконец вlepился в плечо помирающего со смеху старшего Царева, все было кончено и решено.

И Ромка радостно заорал — здрасьте-здрасьте, дядя Ваня!

Иван Лужбин был местный, энский, шестьдесят первого года рождения. Он уродился в простой советской семье, славной своей порядочностью и борщами, на твердые четверки закончил ничем не примечательную окраинную школу, спокойно сходил в армию и без малейших видимых усилий поступил в энский политех, который и закончил — без показного блеска, но зато с пятью патентами на весьма полезные для родины штуковины, так что после защиты дипломного проекта за него чуть не передрались две кафедры и половина энских КБ.

Впрочем, такой ажиотаж можно было понять — шел 1986 год, и само понятие «инженер» давным-давно превратилось в синоним идиота-неудачника, просиживающего

дешевые измятые брюки в захудалом НИИ, которое бог знает какую по счету пятилетку пытается изобрести новую цепочку для сливного бачка вечно подтекающего и легендарного советского унитаза. Вузы всей страны стаями выпускали безмозглых девушек, мечтающих про замуж невтерпеж, да вялых молодых людей, заранее смирившихся с участью нищего персонажа популярного анекдота (этакое промежуточное звено между незадачливым Василием Ивановичем и совсем уже дебиловатым чукчей). А Лужбин, спокойный, медлительный и как будто даже чуточку сонный, одним фактом своего существования вернул слову «инженер» забытую и заслуженную славу.

У Лужбина была ясная циничная голова, упрямый характер, кошачье любопытство и совершенно невероятные руки. Не было такого прибора, который он не мог бы, поразмыслив, оживить, но — и это было куда важнее — не было и физического закона, для демонстрации которого он бы не смог придумать и собрать жужжащую, поскрипывающую или рассыпающуюся искрами штуквину. Это была уже не просто редкость, а очевидный, хоть и сам собой нисколько не кичащийся талант. Лужбину прочили хорошее научное будущее, но он, поразмыслив, выбрал одно из КБ, не самое перспективное с точки зрения профессионального роста, но зато самое щедрое на текущий момент — своя квартира через полгода максимум и более чем приличный оклад прямо сейчас. Это было важно — очень важно. Правда, не для него, а для Ольги, но раз для нее — значит, и для него. Ольга была самым главным и лучшим в жизни Лужбина. Даже больше — она была единственная и лучшая на свете женщина. Других женщин не было вовсе. Во всяком случае — для него.

Лужбин влюбился в Ольгу на первом курсе и, ничем не проявляя своих чувств и с удивительным спокойствием наблюдая за ее бесконечными, хотя и непродолжительными капризами и романами, терпеливо ждал окончания политеха — не потому, что был не уверен в себе, а потому, что хотел предложить действительно самое лучшее. И как только трудовая книжка легла в заветный сейф нужного КБ, Лужбин спокойно отправился сначала в парикмахерскую, потом в цветочный магазин и наконец к Ольге в общежитие, где своим тихим невыразительным голосом сделал предложение, от которого, он был уверен, она не сможет отказаться. И она не отказалась.

Свадьбу сыграли шумную, дорогую — по Ольгиным меркам и запросам, и, приподнимая над взволнованным красивым лицом невесты фату, припорошенную крошечными колючими стразами, Лужбин ни на мгновение не пожалел о долгах, в которые влез, чтобы устроить ей этот праздник в центральном банкетном зале на полторы сотни пьяных, жрущих и по большей части ему не знакомых гостей. И это кружевное белоснежное платье со шлейфом, которое нес тоже не знакомый Лужбину пятилетний мальчик в специально сшитом по такому случаю бархатном костюмчике, больше озабоченный не своими пажескими обязанностями, а очень интересной зеленоватой густой соплей, которую он то выпускал из носа, то ловко втягивал обратно, и фальшивящий ВИА, запросивший за вечер двести рублей, и заливная осетрина — все это было пустячной ценой по сравнению со счастьем, которое ждало их с Ольгой впереди.

Через полгода они получили обещанную квартиру, а еще через три месяца Лужбин расплатился со всеми долгами до копейки. Ольга так никогда и не узнала, что для этого он взял полторы ставки плюс полставки уборщицы и вечерами ловко и спорно, как и все, что он делал, мыл у себя в КБ полы, опрастывал мусорные корзины и протирал подоконники, не переставая улыбаться самыми краями твердого, сильно изогнутого рта. Да и зачем ей было знать? Подумаешь — полы. Лужбин бы сделал ради жены что угодно, честное слово. Что угодно. Убил бы, предал Родину. Ради бога. Она была его Родина. Ольга. Только она. А ее он бы не предал ни при каких обстоятельствах.

В девяносто первом году Ольга бросила его, как бросают в урну липкую обертку от доеденного мороженого, и удрала с заезжим уланом — не то следуя ветреному велению своего литературного имени, не то действительно поддавшись обаянию нездешнего

варяга, щедрого, щеголеватого красавца с пышными офицерскими усами, вечно присыпанными красным перцем кстати рассказанного и всегда похабного анекдотца.

Пока жена упаковывала чемоданы (улан деликатно ждал у подъезда в невнятно бурчащем такси), быстро переступая красивыми ловкими ногами пытающиеся спастись вещи, Лужбин молча сидел в углу на неизвестно откуда приبلудившейся табуретке, изумленно разглядывая свои трясущиеся руки. Удар, который он пропустил, оказался такой анестезирующей силы, что Лужбин не испытывал даже боли — только тихое, граничащее с безумием недоумение. Как будто коридор, по которому он уверенно шел, чтобы получить заслуженную награду на алой подушке и всеобщий гул радостного одобрения, внезапно закончился безмолвной площадью, в центре которой торчала черная, словно обугленная, виселица да маялся со скуки не проспавшийся после вчерашнего палач в грязноватом, скучном, предрасветном балахоне.

Когда взвизгнула последняя молния на последней сумке, Лужбин все еще пытался понять, что сделал не так, в чем провинился, где совершил жуткую ошибку, которая заставила жену вот так, мимоходом, выдрать из жизни пять лет их счастливого — ну счастливого же! — абсолютно счастливого брака. Ольга попробовала сорвать с насиженного места собственное прошлое, с трудом вместившееся в три разновеликие спортивные сумки и один неприлично раздутый чемодан, не смогла и метнула в Лужбина сердитую пепельно-зеленую молнию — помоги же, растяпа! Он послушно встал, вынес из квартиры вещи, аккуратно устроил на лестничной площадке. Обернулся.

— Дальше я сама, — милостиво разрешила Ольга, запахиваясь, застегиваясь, заматывая вокруг шеи ярко-красный длиннющий шарф — в апреле в Энске холодно, у нее всегда было слабое горло, и весной и осенью она мучилась от бесконечных ангин, и сонный Лужбин по ночам приносил ей попить разлохмаченный клюквенный морс, она бормотала что-то хриплым горячим шепотом и засыпала снова, прижавшись к нему всем телом, огненная от жара, влажная, невозможно желанная. Невозможно.

— Оля, — сказал он и сам испугался, услышав свой собственный голос. — Оля, почему?

Она на мгновение честно задумалась — дымчатые, зеленоватые глаза, безжалостно обесцвеченная челка, на щеках живые розовые блики от шарфа, от радости, от жизни, от радости жизни — и просто ответила:

— Потому что я люблю другого человека.

Лужбин кивнул, как будто что-то понял, словно это действительно был неопровержимый аргумент, с которым невозможно поспорить, — ну, конечно, другого человека, а он, Лужбин, выходит, даже не человек. И в этот момент анестезия перестала действовать, и на него обрушилась физическая боль такой грубой непреодолимой силы, что он вслепую закрыл за собой ахнувшую от отчаяния дверь, вслепую пробрел сквозь осиротевшую квартиру, со всего размаху споткнувшись о вякнущую кошку (которая все сборы пряталась неизвестно где и даже не соизволила выйти попрощаться), и, только наткнувшись на табуретку, с которой встал какие-то минуты тому назад, наконец заплакал. Не потому, что ему по одному, с аккуратным хрустом, выламывали ребра, неторопливо добираясь до сердца. А потому, что ушиб большую коленку, потянутую еще две недели тому назад, когда они с Ольгой поехали за город походить на лыжах по последнему тяжелому снегу и заблудились, а потом нашли и до одури целовались в пролеске, за которым грохотали и вскрикивали полупустые электрички, и он, прижимая Ольгу спиной к сосне и яростно прорываясь сквозь куртку и свитер, губами собирал с ее нежных прохладных скул растаявшую снеговую крупку, уже совершенно весеннюю на вкус, уже совершенно живую, и так неуклюже, по-мальчишески, торопился, что подвернул ногу, и Ольга всю обратную дорогу вперемежку смеялась, и ахала, и жаловалась соседкам по вагону, болтливым, уютным старушкам, что муж у нее теперь инвалид, и как такого бросишь. Никак не бросишь. Люди не поймут.

Когда год спустя кошка бесшумной лапой выгнала из-под дивана маленькую звонкую заколку с синим фальшивым камешком, Лужбин уже оправился настолько, что почти спокойно повертел в пальцах смешную женскую вещицу, которая почему-то привязалась к дому (или к самому Лужбину) и так захотела остаться, что забралась в самый дальний и пыльный угол и целых двенадцать месяцев пролежала там, боясь не то что перевести дыхание — даже сверкнуть. Лужбин поймал заколкой случайный солнечный луч и пустил по стене шуструю игрушечную радугу. Двенадцать месяцев он с такой свирепой яростью старался забыть жену, что заодно дотла, до невозстановимой пыли, до сытного праха разнес и свою собственную жизнь. Ему больше не было больно. Вообще ни от чего. Совсем. Будешь играть с этим, Матрена? — спросил он кошку, но та только брезгливо дернула сизой шубкой и царственно удалилась. И правильно, — пробормотал Лужбин, — и правильно, лапу только поранишь себе. И с размаху вышвырнул заколку в весеннюю, чирикающую, распахнутую форточку.

Собственно, именно кошка не позволила ему ни спиться, ни чокнуться, ни погрузиться в тупой безрадостный паралич, который так легко разбивает волю самых крепких российских мужиков, стоит в дело вмешаться женщине. Кошку надо было кормить предварительно добытой и отваренной рыбой, менять ей воду — в фарфоровой чашке с отломанной ручкой, и мелко порванные газеты — в старой сковородке, простодушно приспособленной под кошачий туалет. Еще с кошкой надо было разговаривать — приходилось, потому что с уходом Ольги она начала беспощадно драть обои, потрошить диваны — словом, проявлять лучшие стороны своего характера, и все эти мелкие, незначительные хлопоты, забота о бестолковом, невоспитанном и неразумном, по сути, существе, как елей, ложились на заскорузлое человеческое горе Лужбина, незаметно смазывая и напивывая болезненные корки. Когда пришло время, эти корки просто отвалились, и под ними обнаружилась побледневшая, слабая, но совершенно гладкая и живая кожа.

Но прошел еще один год, прежде чем Лужбин понял, что выжил. Выкарабкался. Самое страшное для них с кошкой было позади. Как только Лужбин это понял, он ушел из своего КБ, не слушая рев и мям директора, оплакивающего потерю лучшего сотрудника. Все вокруг занимались бизнесом, у некоторых даже получалось, и Лужбин решил попробовать тоже — в конце концов, все, чем он дорожил, он уже потерял, так что бояться было просто нечего. Поразмыслив, он решил заняться компьютерами — сперва покупкой (пришлось снова влезть в долги), а потом и сборкой. Потеря жены никак не сказалась на лужбинских профессиональных навыках, так что его сборка оказалось не просто дешевле желтой, но и лучше. Денег сперва стало много, потом очень много, а через пару лет Лужбин с удивлением обнаружил, что богат — причем по любым, даже самым капиталистическим меркам. Он подумал — не завязать ли с бизнесом, но червячок внутри, голодный, жалкий, злой, не унимался, и Лужбин решил, что бросать только вставшее на ноги дело — недальновидно. На самом деле он все еще хотел доказать Ольге, безвозвратно растворившейся неизвестно в каком времени и пространстве, что он лучше. Потому что давным-давно понял, почему она его бросила. Понял, но так и не смог признаться себе самому. Дело было всего-навсего в деньгах. Которых не было у него, которые были у улана, впрочем, может, и у улана тоже не было, во всяком случае, в необходимом Ольге количестве, но деньги — это была сила. Сила, с которой считались и женщины, и мужчины. И теперь частью этой силы был и Лужбин.

Правда, легче от этого не стало. Когда умерла кошка, Лужбин остался совсем один. Ни стремительно развивающийся бизнес, ни уверенным потоком прибывающие деньги, ни увлекательные терки с бандитами, ни первые банковские кредиты — ничто не приносило облегчения и не могло заполнить ужасную пустоту внутри. Лужбин сменил офис и даже сделал ремонт в старенькой квартире — новомодный, в стиле хай-тек, после которого не только ночевать, но даже просто бывать в доме стало невыносимо. Лужбин помучился пару недель и, продав квартиру, перебрался в офис, в пятиметровую комнатку отдыха,



притаившуюся позади его директорского кабинета. Диван, кресло, видеодвойка, микроскопический сортирчик, совмещенный с душем, и дюжина сорочек на вешалке — больше у него ничего не было. Как выяснилось, больше было и не нужно. Сорочки отдавала в прачечную секретарша, нерасторопная, но зато некрасивая и немолодая, а заказывать пиццу Лужбин научился сам.

Он очень страдал от одиночества — совершенно физически, как другие мучаются от многолетней мозжащей боли в суставах, и, конечно, спастись от этой боли можно было только теплом — женским или хотя бы кошачьим, но Лужбин, внутренне махнувший на себя рукой, больше не верил ни женщинам, ни кошкам. Раз две — единственные, самые любимые — бросили его одного, стоило ли ждать сочувствия от всех прочих?

Друзья, отчаявшись познакомить Лужбина с сестрами, сестрами сестер и подругами жен (ну что тебе стоит, Вань, просто приходи, она отличная девушка), попробовали пристрастить его хотя бы к порнографии (а то ты рехнешься, парень, видит бог, просто рехнешься!) — благо в Энке появилась целая пропасть ларьков, а то и просто лотков с видеокассетами, и по первому игривому подмигиванию продавец добывал нужную коробочку из россыпи боевиков (говоривших в ту пору с отчетливым китайским акцентом) и мелодрам, в которых хромота нескладного сюжета с лихвой искупалась грандиозностью замысла и количеством оборотов на платье главной героини. Порнография стоила вдвое дороже обычного кинокорма, но тоже была родом из девяностых — нелепая, простодушная, с рябыми коврами в качестве задника и вечной тенью невозмутимого оператора, которая в самый неподходящий момент ложилась на потную от полового усердия компанию, на мгновение отвлекая взволнованного и тоже взмокшего зрителя от недалекого и такого предсказуемого финала.

Лужбин — чего не сделаешь ради друзей — честно пересмотрел десяток веселых кассет с аляповатыми голыми туловищами на обложках, но не получил даже вполне ожидаемого физиологического облегчения. Увы! Оказалось, что он обладает врожденным и редким даром видеть человеческое даже в самых нечеловеческих вещах. Вместо того чтобы следить за возвратно-поступательным развитием нехитрого сюжета, Лужбин замечал то трогательный, совершенно машинальный и очень женский жест, которым поправляла волосы порноактриса, едва различимая за частоколом вздыбленных членов, а то вдруг какой-нибудь сексуальный красавец со взмокшей от усердия спиной по привычке, которую, видимо, не выбивала даже такая сволочная работа, тянулся губами к губам своей партнерши — доверчиво, почти нежно, но она резко отклонялась, и целую секунду они смотрели в глаза друг другу испуганными, совершенно человеческими глазами, не прекращая при этом своих скотских, нелепых, почти механических телодвижений.

Пару раз, крепко напившись, Лужбин, не приходя в сознание, переспал с какими-то приبلудными деваками, может, даже и неплохими, одна так даже названивала ему пару недель подряд, соблазняя самодельной выпечкой, дармовым сексом и домашним уютом. Но Лужбин представил себе все, что произойдет, когда секс и пирожки закончатся, — надо будет вставать, о чем-то говорить, что-то делать, развлекать малознакомую, в сущности, особу, считаться с ее неинтересным никому (даже ей самой) мнением.

Нет, избавьте.

И на всякий случай он перестал пить вообще.

В 1997 году, спустя шесть лет после ухода Ольги, он все еще был один, но уже совершенно примирился с этим. Правда, комнату отдыха, под нажимом друзей и партнеров, пришлось сменить, но сделка оказалась выгодной — по чистому случаю Лужбин купил большой дом на окраине Энка, заброшенный, старый, так явно, будто человек, нуждавшийся в заботе, что Лужбин не смог устоять и занялся перестройкой, переделкой, ремонтом — словно птица, принявшаяся вить гнездо задолго до того, как нашла себе пару. Дом оказался на удивление отзывчивым, и, взясь с ним, Лужбин, сам

того не замечая, начал потихоньку, едва-едва, по миллиметру, возвращать назад свое собственное сердце.

Новый, девяносто восьмой год он встретил уже не один — вдвоем с домом, и это было славное, теплое, давно забытое чувство. В полночь он обошел все комнаты, чокаясь с мебелью, притолоками и подоконниками бокалом, в котором шумно выходила из себя минералка, и лег спать, впервые за долгое время чувствуя себя сильным, здоровым и удивительно молодым.

А наутро впервые увидел Лидочку.

Это было начало новой эры. Он точно знал. Новой счастливой эры, которая будет длиться долго-долго, целую жизнь. И Лужбин был уверен, что на этот раз не ошибся.

Второе свое свидание с Лидочкой он готовил вдумчиво, как не готовил ни одну деловую встречу. Съездил с громадным тортом к Царевым, которых знал сто лет — еще со студенческих стройотрядов, и так долго расспрашивал про Лидочку, что они начали переглядываться.

— Девочке семнадцать лет, Вань, — с едва уловимой тенью в голосе сказала Царева. — Ты, часом, дверью не ошибся?

Лужбин помолчал, взвешивая что-то внутри себя, а потом твердо, будто разговаривал не с Царевыми, а с Лидочкиными родителями, сказал:

— Нет, не ошибся. Я хочу, чтобы она... Нет, не так. Она будет моей женой. И если для этого надо подождать год, десять, двадцать пять лет — не проблема.

Царевы переглянулись еще раз.

— Ну, раз женой, — раздумчиво протянул Царев. — Раз женой, я думаю, надо выпить! Ты как, Вань?

Лужбин улыбнулся — светло, смущенно, радостно, как не улыбался уже много-много лет.

— Выпить — это вы здорово придумали, — сказал он. — Отличная идея. Я обеими руками — за!

Лидочка и правда не узнала Лужбина, который несколько часов караулил ее возле общежития. Она, если честно, и на первой-то встрече едва его запомнила — ну, пришел какой-то знакомый к Царевым, помешал им играть в снежки, скучный, серый дядька с невыразительным лицом. Словно вареная картофелина. Он показался семнадцатилетней Лидочке совсем немолодым, впрочем, ей все люди старше двадцати пяти лет казались жалостными и пожилыми. Лужбин о чем-то тихо переговорил с Царевыми, то и дело поглядывая на Лидочку с таким странным выражением глаз и губ, что она смутилась, как всегда смущалась при виде чужих. Когда он ушел, поскрипывая снегом и сунув кулаки в карманы дорогой палевой дубленки, Лидочка обрадовалась и немедленно выкинула Лужбина из головы, да так основательно, что теперь не могла вспомнить не то что отчества — даже имени.

— Э-э-э, — промычала она, помогая Лужбину подняться с тротуара. — Вы не ушиблись?

— Иван Васильевич, можно просто Иван, — отрекомендовался Лужбин, тотчас понявший Лидочкино состояние. Он вдруг осознал, что чувствует ее всю на расстоянии — но не как мужчина, нет, а так, как, должно быть, мать чувствует свое новорожденное дитя.

— Я помню, как же, — соврала Лидочка, извиняясь за этот обман глазами. — Так вы точно не ушиблись?

— Нет, — сказал Лужбин. — Нисколько. Очень приятная встреча, правда? Вы тут живете?

Лидочка кивнула. На бровях и ресницах у нее сияли крошечные живые бисерины растаявшего снега. Лужбин почувствовал, что у него перехватило дыхание.

— Серега, гхм, то есть Сергей Владимирович сказал, вы балерина? Да?

Лидочка засмеялась.

— Нет, что вы! Балериной стать очень сложно, не у всех получается. Это вроде титула. Танцовщиц много, балерин — единицы. Я просто в хореографическом учусь.

— Любите танцевать? — спросил Лужбин, и по лицу Лидочки пробежала длинная темная тень, мгновенно слизнувшая и блеск в глазах, и улыбку.

— Да, очень, — снова соврала она — но на этот раз не из вежливости, а чтобы отвязаться.

Сейчас уйдет, понял Лужбин, лихорадочно хватая то один, то другой обломок стремительно разваливающегося разговора.

— У вас скоро премьера, правда? Я не очень разбираюсь, честно говоря, но хотел бы, если можно...

Он жалко развел руками, не зная, что сказать. Глаза у Лидочки чуть потеплели.

— Конечно, можно, — сказала она. — Спектакль первого февраля, думаю, билеты есть еще. Но если хотите, я могу достать контрамарку.

— Я куплю! — заверил Лужбин. — Непременно куплю.

Но Лидочка так и не улыбнулась.

— До свидания, — сказала она и пошла к дверям общаги, стараясь не замечать, как Лужбин смотрит ей вслед. Спать, спать. Завернуться в одеяло — и спать. А проснусь — и Алешенька уже приехал!

Ночь накануне премьеры Лидочка не спала и весь день, до самого вечера, не могла уgomонить мелко прыгающую под левым веком злую жилку — первый предвестник будущего серьезного тика, это ничего, ничего, Лидка, главное, не сбейся, причитала Большая Нинель, собственноручно укладывая Лидочке волосы в гримерке. Лидочка, осунувшаяся, желтая, будто только что выписавшийся тяжелый больной, кивала, не понимая ни единого слова. Из зеркала на нее смотрела страшная восковая кукла, с трудом поднимающая громадные, как бабочки, наклеенные ресницы. Премьера не волновала ее совершенно — больше всего Лидочка боялась, что не увидит Витковского. Я тебя люблю, я тебя люблю, люблюлюблюлюблюлюблю, бормотала она внутри себя, репетируя.

Мигнула лампочка «На сцену», и Нинель оправила на Лидочке корсаж. Все, пошли, девка. С Богом. Лидочка встала. Только не сбейся, ладно? — еще раз умоляюще простонала Большая Нинель, нашаривая в просторной сумке тубу с валидолом. Не собьюсь, — пообещала Лидочка и, громко, отчетливо стуча пуантами, пошла в левую кулису.

Первый акт она станцевала превосходно, так что приглашенные Большой Нинель московские гости, сидевшие на лучших для обзора местах лучшего ряда, только блаженно складывали губы, будто растирая по небу нежные лопающиеся бусинки зернистой икры. Зал был полон — чего в Энском театре не случилось до обидного давно, а Лидочка — необыкновенно выразительна и так же необыкновенно технична, правда, после сцены безумия, вылетев за кулисы, она простонала: «Тазик!» Но Большая Нинель оказалась на высоте и, что куда важнее, — на подхвате, так что Лидочку дважды вырвало желчной пеной в вовремя подставленную емкость, и публика получила свою нежную тающую танцовщицу назад, благо, ароматы пота и рвоты никогда не достигают даже партера.

Перед вторым актом надо было переодеться — белоснежная шопенка, гладкая прическа, деревенской дурочке предстояло переродиться в ведьму, но Лидочка думала

совсем о другом. Витковского так нигде и не было! «Вы не видели, Нинель Даниловна...» — начала она, и Большая Нинель заходила ходуном, как взбесившаяся опара. Видела, видела, Лидка, все из Большого тут, все кто нужно, чтоб решение принять. «Ты не кобенься, но и не продешеви. Тебе цены нет, они это уж поняли, а надо, чтоб и ты поняла. — Нинель судорожно вздохнула. — А как уедешь, меня, старую, вспоминай! Обещаешь?» Большая Нинель неожиданно прижала круглую и гляцевую Лидочкину головку к своей обмякшей груди и заплакала слабыми, даже не детскими, а щенячьими слезами. Лидочка вывернулась из громадных душных объятий и выскочила из гримерки.

Она даже не бежала, ее несло, как несет ветром лист папиросной бумаги, — трепетали полупрозрачные слои пачки, плыли навстречу сумеречные лампы, неслись вдогонку тени балетных призраков, и если бы не страшный стук сердца и пуантов, Лидочка и впрямь поверила бы, что на самом деле умерла и обернулась вилиссой. Судя по гулу зрительного зала, до начала второго акта оставалось совсем немного времени, Лидочка свернула, еще раз свернула и наконец под пыльной лестницей увидела огонек контрабандной сигареты и услышала тихие голоса, один из которых узнала бы даже во сне, даже мертвая. Она остановилась, успокаивая дыхание и вглядываясь в неверный полумрак. «Давай беги, старик, твой выход скоро», — сказал голос Витковского, сигаретный уголек погас. Лидочка сделала еще шаг вперед, надеясь, что не видимый ей танцовщик заметит ее и уйдет, — и тотчас зажмурилась от ужаса, невозможного, невыносимого, такого, что не может выдержать живой человек. Ялюблютебялюблютебя — колотилось у нее в голове, ялюблютебя, ялюблютебя, я...

Это неправда, успокойся. Это неправда.

Лидочка открыла глаза. Принц Альберт и Витковский целовались. Она видела их совершенно отчетливо, особенно закрытые глаза Витковского, его темные, чуть загнутые, как у отличницы, ресницы, и красивую мальчишескую руку с косточкой на широком запястье, которой он поглаживал выпуклую задницу Лидочкиного партнера.

— Я люблю тебя! — вдруг закричала Лидочка так громко, что сама испугалась. Витковский вздрогнул и открыл затуманенные, будто парным молоком налитые глаза.

— Ты что здесь делаешь, старуха? — спросил он смущенно, отталкивая от себя принца. Принц обернулся и смерил Лидочку негодующим взглядом.

— Что за манеры, — процедил он недовольно. — Почему не на сцене? Наберут соплячек из училища, а мне с ними ковыряться.

Он потрепал Витковского по шее и прошел мимо Лидочки, напрягая разом ноздри и длинные брыла, будто рассерженная лошадь.

Лидочка так и осталась стоять под лестницей, уронив тонкие руки, потонувшие в воздушной пачке. Рот у нее безвольно приоткрылся, будто у слабоумной.

— Ну ты что, старуха, ты чо! Маленькая, что ли? — бормотал Витковский, потирая ладонями локти и морщась, будто у него нестерпимо болели суставы.

Лидочка помолчала и повторила единственную фразу, которая все еще звенела у нее в голове:

— Я люблю тебя.

На красивом лице Витковского на мгновение мелькнула жалость, за которую, должно быть, Бог прощает людям многие прегрешения. Многие, но не все.

— Лид, — сказал он, впервые называя Лидочку по имени. — Лид, ты что, правда не знала? Я гей, понимаешь. Мне вообще никогда бабы не нравились, ни разу в жизни, веришь?

— А как же... А зачем же ты... со мной?..

— Ты прикольная, танцуешь хорошо, — Витковский виновато улыбнулся своей почти детской, честной улыбкой. — И потом ты ко мне единственная из девок не лезла! Меня же тошнит от девок, как ты не понимаешь!

Лидочка, как механическая, повернулась и пошла в сторону сцены.

— Ты не говори только никому, ага? — крикнул Витковский ей вслед и, вздохнув, достал из пачки еще одну сигарету. Все равно всем разболтает. От этих баб — одни беды.

Не зря говорят, что профессиональные навыки угасают последними — второй акт Лидочка станцевала так же безупречно, как и первый, а ее застывшее мертвое лицо — лицо умершей и превратившейся в ведьму вилиссы — отметили в своих рецензиях все критики — как большую творческую находку, неожиданную в арсенале столь юной и столь многообещающей балерины. Жаль, что никто не обратил внимание, что с тем же мертвым лицом Лидочка вышла и на поклонны, так что принц Альберт, сжимавший ее ледяную влажную ладонь, незаметно, но ощутимо ткнул Лидочку локтем под ребра. Улыбайся, дура! — прошипел он, растягивая в благодарном оскале накрашенный рот. Улы-бай-ся! Лидочка его даже не услышала — как не услышала ни оваций, ни криков «браво!». Ее поразила странная слепоглухонемота, не позволившая ей увидеть в рукоплещущем зале ни ликующих Царевых (Вероничка даже попыталась влезть ногами на кресло, но ее зашикали), ни Галины Петровны, ни Лужбина, протиснувшегося к сцене с громадной корзиной белых роз, от которой балетоманы чуть не захлебнулись ядом — какое жлобство, вы только подумайте! Какое жлобство! Лужбин поставил корзину прямо Лидочке под ноги, попытался поймать ее взгляд, но не сумел и тотчас стал проталкиваться сквозь гомонящую публику назад.

Все хотели поговорить с Лидочкой, взять у нее интервью, поцеловать ей руку, выразить свое восхищение, но едва закрылся занавес, как она исчезла, словно ее и не было, так что желающим пришлось довольствоваться Большой Нинель, которая от пережитого волнения и тайно выпитого коньяка в конце концов сама поверила в то, что это она, в свои семнадцать лет, так волшебно, так неистово, так упоительно станцевала первую в жизни «Жизель».

Лужбин подогнал машину к черному ходу и, поставив двигатель на прогрев, вышел из салона. Было так пронзительно, звеняще холодно, что казалось, что сам этот звонкий звук мороза издают звезды, огромные, колючие, низко-низко нависшие над ночным Энском. Лужбин знал и ждал, что Лидочка выйдет, словно ему заранее сказали об этом, но все равно пропустил момент ее появления, как будто она не вышла из двери, а возникла из седых клубов его собственного дыхания — тоненькая, голорукая и голоногая, в белом невесомом платье, которое, как ему показалось, на этом страшном морозе мгновенно застыло и тоже тоненько, жалобно зазвенело — как звезды, как воздух, как его собственное сердце.

Несколько секунд Лужбин смотрел на Лидочку, словно не веря, что она настоящая, а потом, на ходу срывая с себя дубленку, бросился к черному ходу.

Они долго ездили по ночному Энску на машине, просто катались, и Лужбин впервые в жизни осознанно радовался тому, что заработал кучу денег, потому что в новенькой «вольво» было тепло и хорошо пахло, уютные мягкие сиденья ласкали спину и уютная мягкая музыка удачно заполняла молчание. Лидочка так и не сказала, что случилось, она вообще ничего не сказала, но и не плакала, а потом перестала и мелко дрожать, и когда стало светать, даже слегка шевельнулась, устраиваясь поудобнее, и Лужбин понял, что кризис — каким бы он ни был — миновал, и можно сказать что-нибудь, главное — придумать, что именно. И с прозорливостью влюбленного и взрослого человека Лужбин сказал именно то, что нужно. «Хотите за город, Лидия Борисовна? У меня чудесный дом, старый. Сосны, воздух свежий. Отоспитесь, успокойтесь, а потом я вас отвезу, куда скажете».

Лидочка вскинула на него благодарные глаза и несколько раз кивнула головой, все еще украшенной белоснежным, страшным венчиком вилиссы.

Сосны были такие, что она видела их, даже не открывая глаз, — великолепные, наглые, воткнувшие тугие розовые тела прямо в низенькое, косматое энское небо. Пахло смолой, близким крупным снегом и подступающими сумерками, неясными, тихими, полными торжественного, почти колокольного собачьего перезвона.

Лидочка, по самое горло закутанная в клетчатый плед, сидела на террасе. Она проспала почти весь день, а проснувшись, обнаружила, что ее шопенка висит на плечиках, а в изножье кровати лежат аккуратно сложенные мужские джинсы и свитер. Конечно, рукава придется подвернуть, — пробормотал Лужбин, вскакивая, когда она вышла в гостиную, придерживая двумя руками спадающие джинсы, — а портки — это мы мигом... Он достал откуда-то ремень, шило, огромные портняжные ножницы и быстро провертел в ремешке нужные дырочки. А потом встал перед Лидочкой на колени и с аккуратным, осторожным хрустом обрезал джинсы так, чтобы они не волочились по полу. Руки у него мелко, но заметно дрожали.

Он напоил Лидочку бульоном, крепким, огненным, и долго извинялся, что из кубиков, зато горячий, Лидия Борисовна, готовить я не силен, уж простите, зато все остальное умею, не сомневайтесь. Давайте я вам дом покажу, а? Тут многое, конечно, не доделано, но в общем и целом... Лидочка поставила на огромный стол чашку и оглядела просторную кухню. Покажите, пожалуйста.

Дом оказался почти такой, как она мечтала, может быть, даже лучше, а главное, здесь было спокойно, так спокойно, что Лидочка вдруг поверила, что все события прошлого вечера, да вообще — вся ее прошлая жизнь — просто кошмарный сон, дурной морок, от которого она начинает медленно оправляться. Лужбин водил ее из комнаты в комнату, размахивая руками и горячась, а потом вытащил на террасу кресло-качалку, выдал Лидочке маленькие, почти детские валенки (тут в кладовой были, я не стал выбрасывать, жалко) и сам закутал Лидочку пледом. Вы посидите немножко, подышите, а я вам чаю принесу. Я чай хорошо завариваю, не волнуйтесь.

Лидочка уперлась валенком в доски террасы и легонько качнула кресло. Последний раз ее любили в пять лет — родители, — и она совсем забыла, как это бывает. Царевы были не в счет: по уши напичканные правильной советской моралью, полупереваренным самиздатом и природным добродушием, они любили всех подряд — родину, синиц, Энск, Солженицына, друг друга. Лидочка терялась в этом засахаренном вихре всеобщего неразборчивого обожания — это было все равно что греться в куче полужнакомых шевелящихся человеческих тел. Очень тепло, немного противно и совершенно безадресно. А вот Лужбину нравилась именно она, это было ясно даже по тому, как он нес ей чашку с чаем, как смотрел, как она пила, непроизвольно вытягивая губы, точно стараясь помочь или боясь, что она обожжется. Он заботился о ней. И это оказалось невероятное чувство — когда о тебе заботятся. Теплое.

Лужбин, словно притянутый этими мыслями, заглянул на террасу.

— Ничего не нужно? — спросил он. — Вы, наверно, проголодались? Можем съездить куда-нибудь поужинать.

И он даже слегка втянул голову в плечи, боясь отказа.

— Иван Васильевич, отнесите меня, пожалуйста, в дом, — попросила Лидочка.

Лужбин посмотрел на нее почти с животным ужасом — словно дворняга (тощая, вся в обручах голодных ребер), со щенячества привыкшая получать только окрики да тяжелые пинки и теперь не узнающая ласковую человеческую руку.

— В дом? — переспросил он хрипло.

— Да, пожалуйста, — повторила Лидочка и протянула ему выпростанные из-под пледа руки.

Лужбин неловко подхватил ее, и Лидочка машинально, как на поддержке, напрягла мышцы, чтобы облегчить партнеру нелегкую лирическую участь. Она была «удобная» балерина и никогда не висла на руках танцовщика безучастным грузом, безвольным суповым набором из жил, костей и колючего наэлектризованного капрона, который следовало вознести на вытянутых руках в ликующую высь — поближе к пыльному театральному потолку, искусственным звездам и сонным мордам осветителей, навеки охреневших от нескончаемых потоков прекрасного. Но Лужбин не заметил Лидочкиных мускульных стараний, пораженный ее эльфийской невесомостью — даже в валенках, даже по-кукольному закутанная в плотный плед, она едва весила сорок пять килограммов.

— Какая легонькая... Как цветок, — пробормотал Лужбин, прижимая Лидочку к себе, как прижимают больного ребенка, ослабевшего, горячечного, полуобморочного от ночной несусветной температуры. Как будто отправляешь в больницу десятилетнюю дочку.

Три шага до входной двери. Четыре невидимых, тряских лестничных пролета — впереди угрюмая спина уставшего врача, не уронить, не уронить, не... чшшш, потерпи, солнышко, сейчас все пройдет. Бессильный пинок подъездной двери — придержать плечом, чтоб не стукнула, не задела. Распахнутая задница старенькой скорой, ледяное, дрожащее нутро. Не плачь, зайчика, папа рядом. Он никогда тебя не бросит. Я никогда тебя не брошу. Слышишь? Никогда.

Лидочка, словно услышав этот страх, вдруг обняла Лужбина за шею, ткнулась носом куда-то между ключицей и плечом так, что он почувствовал совсем близко, почти на своей коже, ее нежные, прохладные губы.

— Лидия Бо... Лидушка, — сказал он сдавленно, прижимая ее к себе.

Один маленький валенок упал еще на террасе, второй — в гостиной, но оба они этого не заметили, пораженные тем, что оказались так близко друг другу, — еще несколько часов назад совершенно чужие друг другу, едва знакомые люди.

А потом у Лужбина вдруг оказалось сто рук, и все сто были одновременно всюду, путаясь в пуговицах, рукавах, каких-то неожиданных ляшках. И еще он все время бормотал — девочка моя, девочка, девочка, девочка моя — мягкими, горячими, мокрыми губами, и губы тоже были всюду, так что зажмурившейся Лидочке на секунду показалось, что Лужбин сейчас просто проглотит ее — всосет с тихим чмокающим звуком, будто макаронину, пропитанную жирным сырным соусом. Она попыталась было помочь, но честно не знала, что нужно делать, и потому просто, как ребенок, поднимала руки и сгибала колени, чтобы было удобнее стягивать никак не прекращающуюся одежду, а Лужбин все бормотал — девочка, девочка, — и тут одежда на них двоих наконец закончилась, и Лидочка вдруг всей кожей ощутила чужое голое тело — горячее, тяжелое, местами неприятно колючее, словно шерстяное.

От страха и неожиданности она открыла глаза и в миллиметре от себя увидела лицо Лужбина, почти сумасшедшее от непонятого ей напряжения, с распухшими, будто размытыми, расплывшимися губами. Лидочка поймала взглядом громадную морщину на мокром лбу, рыжеватую щетину, невидящие зрачки, щетку коротких бесцветных ресниц, слюну, кипящую в уголке шевелящегося рта — и тут же зажмурилась снова, вся покрывшись мгновенной сизой пупырчатой гусиной кожей.

— Холодно? — испуганно прошептал Лужбин, ощутив под ладонями быстрые твердые Лидочкины мурашки, и на миг перестал тискать и вымешивать ее, словно вынутое из ледника тесто.

Лидочка, не открывая глаз, отрицательно закрутила головой — балетная шишка, растеряв последние шпильки, рассыпалась, и губы Лужбина зарылись в теплые, живые, гладкие волосы, слабо пахнущие сосновым воздухом, свежими огурцами и смешной,

щекотной табачной крошкой. Лужбин тихо ахнул, словно захлебнулся этим ароматом, и завопил еще сильнее, но на этот раз Лидочка наконец уловила вектор его торопливых устремлений, и сразу стало легче, как будто в беспорядочном наборе нескладных движений появился осмысленный рисунок — уродливый, хаотичный, но все-таки — понятный. Почти танцевальный.

«Зато у меня будет дом», — некстати подумала Лидочка и послушно, как в классе, развела на плие тренированные колени.

Лужбин приподнялся над ней на вытянутых судорожных руках, перекошенный, зажатый, страшный, и Лидочка — испытывая отвратительное, дикое, тесное ощущение чего-то инородного внутри себя — вдруг ясно-ясно увидела лицо Витковского — веселое, родное, прекрасное, с маленькой родинкой на твердой горячей скуле — и не выдержала, все-таки заплакала. Тут Лужбин весь как-то перекособочился, напрягся, так что Лидочке стало страшно, что он умрет и ей придется бог весь как добираться до города — вечером, зимой, по заснеженным, сказочным, горам и долам, синим, лиловым, совершенно безмолвным. Она попыталась высвободиться, но Лужбин детским, почти плачущим голосом простонал — господи, я больше не могу-у! — а потом дернулся, и еще раз, и еще. И Лидочка поняла, что все кончилось.

В темнеющей спальне пахло потом и еще чем-то застывающим, незнакомым, странным. Лужбин сидел на краю постели, свесив ноги, рыжеватые, будто в шерстяных колючих чулках, и даже по его голой ссутуленной спине было ясно, что случилось что-то ужасное. Лидочка, которая опять не знала, что нужно делать, на всякий случай так и осталась лежать на спине, не шевелясь, и только вытерла слезы и свела вместе распахнутые колени — как будто бабочка сложила тонкие смуглые крылья.

— Тебе больно? — спросил Лужбин, не оборачиваясь и впервые обращаясь к Лидочке на «ты», как будто пот и все их смешавшиеся жидкости дали ему право на особую близость. Голос у него был скомканный, словно несвежий носовой платок.

Лидочка честно прислушалась к себе — немножко ноет травмированный мениск (верно, снег уже пошел или начнется с минуты на минуту) да странное круглое ощущение между ног, будто туда со всего размаху ударили кулаком или пришлось долго, целую вечность, скакать верхом. Вот танцевать на концерте на окровавленных, до мяса стесанных пальцах, когда подруги подсыпали ей стекло в пуанты, — это была боль. Лидочка вспомнила волну электрического, живого кипятка, в которую по щиколотку опускалась при каждом кружевном прыжке, и тихо сказала: нет, не больно.

— Прости меня, пожалуйста, — попросил Лужбин, как будто действительно сделал что-то ужасное. — Все должно было быть не так. Понимаешь, не так!

Лидочка промолчала.

Лужбин вдруг обернулся к ней всем телом, так что она увидела у него между ног то, что не успела да и не хотела ни рассмотреть, ни понять, и тут же испуганно отвернулась. Он тотчас понял и, сильно покраснев, потянул на себя край скомканного одеяла.

— Выходи за меня замуж, — сказал он тихо. — Умоляю. Выходи, пожалуйста.

Свадьбу сыграли в июне, как только Лидочке исполнилось восемнадцать (условие Галины Петровны) и сразу после выпускных экзаменов в училище (условие Лужбина, упростившего Лидочку не бросать учебу, довести дело до конца, а потом «что хочешь, что хочешь, милая, честное слово»). У Лидочки условий не было — по крайней мере, выполнимых. Конечно, она бы предпочла тихую регистрацию в загсе, но бизнес Галины Петровны и Лужбина требовал соблюдения всех купеческих политесов, так что Лидочке пришлось выдержать и выписанное из Парижа платье, и лимузины с пупсами, и Вечный огонь, и банкет. Лужбину тоже было тошно от воспоминаний о прежней свадьбе, пусть и не такой богатой, но такой же нелепой. Но больше всего его мучило то, что Лидочка его



не любила. Не любила, он чувствовал. Он понимал, что поторопился, и еще лучше понимал, что не торопиться было нельзя. Стерпится-слюбится, — сказала какая-то бойкая бабенка в загсе, глядя, как Лидочка, едва шевеля бледными губами, произносит «да». Вранье, — отрезала Галина Петровна с такой злобой, что бабенка отшатнулась, испуганно распустив неровно покрашенный аляповатый рот. Галина Петровна, едва дождавшись конца церемонии, подошла к Лидочке, дернула за руку, словно хотела оторвать, и зашептала ей прямо в лицо, яростно, словно шипела.

— Вот что, девочка, я перед тобой виновата, не спорь, виновата, и ты даже не знаешь как. — Галина Петровна на мгновение перевела дух и вспомнила красавицу-бабку, к которой ходила, едва родив Борика, дура, ой, дура, и ведь некому было сказать, что дура! Бабка ведь по-честному сказала — а что ж ты не спросишь, кто платить будет, милая? И главное — чем? Все ведь на детей ляжет, на внуков. Галина Петровна закрыла глаза и услышала свой голос — ну и пусть платят, мне-то что? Бабка снова засмеялась внутри ее головы страшными ровными зубами и сказала — вот молодец, люблю!

Лидочка смотрела непонимающе, бледная, бледнее своего платья, только бриллианты на шее и в ушах горят живым, хищным, баснословным огнем. Галина Петровна не пожалела, не пожадничала — подарила внучке на свадьбу свои лучшие камни. Но не полегчало.

— Если невмоготу станет или молодого захочешь — не терпи, слышишь? Не доводи себя до греха. Бросай мужа, живи, как считаешь нужным.

— Я не понимаю, — честно призналась Лидочка.

— Ничего, скоро поймешь, — пообещала Галина Петровна и неожиданно засмеялась странным, коротким, почти рыдающим смехом. Как будто поперхнулась Лидочкиной свадьбой и теперь никак не могла откашляться.

— А от меня еще один подарок будет — жди, — наконец сказала она и, быстро повернувшись, вышла из загса.

Когда нескончаемая свадьба все-таки закончилась, Лужбины уехали домой, за город, и обоим сразу стало легче. Лето выдалось неожиданно удачным, теплым, и Лидочка с Лужбиным, неустанно занимаясь хозяйством и домом, осторожно, едва прикасаясь, сближались друг с другом, так что к августу Лужбин, услышав, как жена негромко поет на кухне, сочиняя ужин, даже поверил: Лидочка полюбит его не просто когда-нибудь, а очень и очень скоро.

Когда Галина Петровна звонком вызвала его к себе в банк, он даже растерялся. Общих финансовых дел с вдовой Линдта Лужбин не имел и иметь не собирался принципиально, а о самочувствии можно было справиться и по телефону. Но ссориться с единственной родственницей жены было неблагоразумно, и Лужбин, бросив все дела, приехал, когда и куда было велено. Галина Петровна ждала его в огромном кабинете, и Лужбин в очередной раз поразился тому, какая она красивая, ненормально красивая и моложавая для своих лет. Неприятно. Рядом с ней лебезил какой-то пронырливый типчик, похожий на истасканный и обсусленный собакой тампон.

— Вот, — сказала Галина Петровна, не здороваясь. — Покупатель на ваш дом. Деньги дает хорошие, въехать хочет к осени, то есть — быстро.

— Что, — не поверил своим ушам Лужбин. — Какой покупатель? Какой дом?

— Ваш дом, — повторила Галина Петровна. — Что тут непонятного?

— А мы? — Лужбин все еще ничего не понимал.

— А вы поедете в Москву.

— Но почему в Москву? — Лужбин даже разозлиться не мог, настолько все происходящее было нелепым.

— В Москве — Большой театр, идиот. — Галина Петровна взяла со стола кипу каких-то бумаг и встряхнула. — Вот, видишь, лауреаты, делегаты, еще какие-то ебанаты и прочие деятели искусств. Все пишут петиции — Лида должна танцевать, в Большом яйца на себе грызут, что она к ним не приехала. У нее талант, говорят, что огромный — вторая Павлова, бла-бла-бла. — Галина Петровна еще раз встряхнула бумаги и брезгливо передернулась. — Ненавижу балет. Гадость. Но ничего не поделаешь.

Она помолчала, они все помолчали, только человек-тампон нервно похрустел пальцами.

— На квартиру вам вроде хватит, мало будет — добавлю. С бизнесом — тоже помогу. Это мой Лиде последний подарок, — сказала наконец Галина Петровна. — Надеюсь, теперь я с ней рассчиталась. Все, свободен, пиздуй.

Лужбин развернулся и вышел вон. Балет он тоже не любил. Но заживать талант жены был не намерен. Он хотел было вернуться в офис, но передумал и поехал сразу за город. Лидочка, как всегда, была на кухне, из которой ползли, смешиваясь, длинные волны волнующих ароматов.

— Лидуша! — закричал Лужбин с порога. — Это я!

Лидочка выглянула — в коротком сарафане, с розовыми от плиты щеками, она казалась совсем девчонкой — какие там восемнадцать лет. От силы четырнадцать.

— Ты что так рано? — спросила она испуганно. — Случилось что-то?

— Нет, сказал Лужбин. — Вернее, случилось, но хорошее. Галина Петровна, как и обещала, делает тебе подарок.

Лицо Лидочки изменилось еще больше, и Лужбин неожиданно почувствовал, что делает что-то ужасное, непоправимое, может быть, самую большую ошибку в своей жизни.

— А чем пахнет так вкусно, — спросил он. — Голова просто кругом — такой аромат.

— Королевский суп и венские колбаски, — неохотно ответила Лидочка. — Так что Галина Петровна? Что за подарок?

Лужбин набрал полную грудь воздуха и признался:

— Мы переезжаем в Москву. Ты будешь танцевать в Большом, там ждут уж, даже репертуар готовят.

Лидочка молчала, и лицо у нее медленно мертвело, застывало, как восковая отливка, превращаясь в гримасу мертвой вилиссы, в личико девочки в пачке, окаменевшей на морозном крыльце ночного театра. Лужбину даже показалось, что от нее потянуло холодом — тем самым, ужасным, звенящим изнутри.

— А дом? — спросила Лидочка.

— А дом продадим, собственно, считай, уже продали. Завтра подпишем бумажки, и можно паковать.

Лидочка помолчала еще минуту и ровным голосом сказала:

— Хорошо. Раздевайся, мой руки и будем обедать.

Среди ночи Лидочка проснулась, словно от толчка, и долго не могла осознать, что за человек лежит рядом — короткостриженный белесый затылок, глубокая морщина на шее, мерно вдыхающее и выдыхающее одеяло. А вот дом она узнала сразу, даже не успев открыть глаза. Он был в точности такой, как она мечтала, только лучше — совсем родной. И он хотел попрощаться.

Лидочка осторожно села, нашарила ногами пушистые тапочки — слишком новые, непривычные, как пижамка со смешной аппликацией, как обручальное кольцо, как вся ее теперешняя жизнь, на которую возлагалось столько надежд, что, конечно, ни одна и не

могла сбыться. Лидочка тихо прошла по темным комнатам, не ошибаясь, не путаясь — этот дом она заранее знала наизусть без всякого света, вот этот смоляной наплыв под ласкающей ладонью, эту приветливо пискнувшую половицу, этот запах — сонное и чистое дыхание ее будущего, и лестницу на второй этаж, поющую негромко, но чисто, словно старенькая учительница пения, износившая за жизнь слабенькие голосовые связки, но все еще влюбленная в музыку — неразделенно, робко, только для себя самой.

Лужбин, конечно, многое переделал — но удивительно ловко и хорошо, не потревожив ни сущности, ни сути самого дома, и Лидочка, обойдя три совершенно новые, недавно пристроенные комнаты, тихо порадовалась, какой муж молодец и как правильно он все устроил, особенно вторую, заднюю террасу, выходящую прямо в лес, так что можно было, сбежав утром по ступеням, нарезать к завтраку живых, не садовых цветов, а со временем, может, и грибов на свежую жареху — они ведь собирались приживить поближе к крыльцу рыжики и лисички, а что — очень даже запросто, главное, набраться терпения и не связываться с белыми, они капризные и даже в такой условной неволе умирают. Еще планировалось приручить белок, Лужбин говорил, что в лесу их полным полно, и Лидочка заранее беспокоилась, что у белок выйдет конфликт с кошками — очень может быть, что и вооруженный, но зато детям от белок будет большая радость. Лужбин только смеялся, потому что ни детей, ни кошек и в помине пока не было, да и белки, Лидушка, что-то не очень-то к нам пока рвутся, сама видишь. Но ты не расстраивайся, как закончим перестраиваться, тогда и набегут. Все скопом. То-то напугают твоим будущим кошкам шубки! Лидочка смеялась в ответ, неумело, все еще стесняясь, и Лужбин, неудобно прижимая ее к себе, бормотал, словно заклинание — ялюблютебягосподибожемойкакжеятебялюблю. Он смешно звал ее — Лидушка, и выходило почти так же ласково и весело, как родительская Барбариска. Она бы, конечно, привыкла. Совершенно точно — привыкла бы, Лужбин был хороший парень, а Лидочка умела отличать хорошее от плохого. Но выходила замуж она все-таки не за Лужбина, а за этот дом.

Лидочка погладила свежеструганную, гладкую балясину террасы — теплую, совершенно человеческую на ощупь, и дом вздохнул, принимая ласку, примеряясь к разлуке и одновременно примиряясь с ней. Было не темно, а словно сумеречно, и Лидочка, стоя в теплом, полупрозрачном киселе неяркой северной ночи, вдруг заплакала — осознанно, как не плакала уже давным-давно. В страшном балетном мире, где она выросла, слезы были самой простой, ежедневной, обыденной вещью и потому не стоили почти ничего. В училище плакали все — от боли, к которой никак не удавалось привыкнуть, от унижения, потому что без унижения нет балета, от страха, что отчислят, от обиды, от ярости и снова от боли, и каждодневность этих слез лишала их всякого значения и смысла, превращая в обычный физиологический акт, что автоматически исключало и страдание, и сострадание. Нынешние слезы были совсем не такие — тяжелые, медленные, они были такими настоящими, что Лидочке казалось, будто они даже слегка дымятся.

Она плакала долго, пока не поняла, что и это совершенно безнадежно — все решено, поэтому надо умыться, высморкаться, вернуться в постель, дотерпеть до рассвета и собственноручно укладывать вещи, готовиться к отъезду в Москву, о которой все мечтали и которая была для Лидочки просто плоской картинкой из детской книжки, ничего не значащей, бездушной, аляповатой. Надо было продолжать жить и танцевать. Господи — снова танцевать!

Лидочка вернулась в дом, вошла, не потревожив ни одной половицы, в ванную комнату, тоже пристроенную и устроенную Лужбиным, — просторную, с деревянными половичками, плетеной корзиной для белья и ультрасовременной сантехникой, которая ловко притворялась старомодной — одна только круглобокая ванна на гнутых ножках стояла целое состояние. И еще тут было окно — самое настоящее большое окно, которое

Лидочка немедленно распахнула, впустив к себе несколько старых, совершенно одичавших яблонь и призрак бывшего будущего сада, который она собиралась разбить уже следующей весной, — яблони, груши, непременно парочка слив и даже вишня — песчаная и войлочная, они очень хорошо зимуют, и варенье вкусное, и на пироги, а когда пойдут внуки... Лидочка осеклась и обвела ванную комнату потерянными глазами.

Какие внуки.

Уже через неделю здесь будут жить совершенно чужие люди.

Она зачем-то открыла шкафчик, пересчитала глазами баночки и флаконы — по большей части лужбинские, и зацепилась взглядом за бритвенный станок, старый, еще советских времен, с тяжеленькой костяной ручкой и сменными лезвиями. Папа когда-то таким брился. Лидочка улыбнулась слабости Лужбина к старым вещам, которые он жалел, будто они были живыми, — это была еще одна точка соприкосновения, спящая почка, из которой со временем могла вырасти хорошая крепкая ветка. Может быть, даже любовь. Но для этого нужен был дом. Этот дом. Ее дом.

Лидочка захлопнула шкафчик и открыла горячую воду, туго и хрипло ударившую о дно ванны. Надо выкупаться. Надо ехать. Надо танцевать. Надо. Надо. Надо. Ей даже не пришло в голову, что она может отказаться. Просто сказать: нет, мы никуда не поедem. Я не буду. Просто не хочу. Но Лидочка с детства попала в балет, где «нет» употребляли только в паре с повелительным залогом. Нет, ты это сделаешь! Нет, ты прыгнешь. Нет, сможешь. Это было совсем не такое «нет», но других Лидочка просто не знала.

Она скинула пижаму и взглянула на свое отражение в огромном, почти до потолка, зеркале холодными оценивающими глазами, будто рассматривала чужого, неприятного человека — вывернутые ступни, костлявые руки, грубые, обглоданные голодом и упражнениями мослы бедер, сухие крепкие мышцы легкоатлета под некрасивой желтоватой кожей. Агрегат для производства нелепых телодвижений. Уродина. Дура. Жалкая, уродливая дура.

Она и в самом деле не видела ничего, что сводило с ума Лужбина и заставляло других мужчин провожать ее почти испуганными от восхищения глазами, — ни едва заметной, но такой прелестной груди, ни родинки на хрупкой высокой шее, ни выющихся, высоко подобранных волос, ни линии плеч — чистой и выразительной, как поздние стихи Георгия Иванова, уже безнадежного, умирающего, горького. Пришли соленых огурцов и, если найдешь, русскую селедку. Жорж очень просит. Ему стало хуже.

Лидочка машинально оперлась на край раковины, точно на балетный станок, и тело ее, вымуштрованное, совершенно чужое и ненавистное, тотчас приняло знакомую позицию, так что Лидочка и сама не поняла, как распрямилась еще сильнее и с механической ловкостью одержимой бесами вдруг необыкновенно изящно и быстро сделала батман тандю с первой и пятой позиции по всем направлениям, а потом бросила вбок великолепный гранд батман и снова застыла перед зеркалом с восковым приветливым лицом, точно ожидая аплодисментов. Она проделала это так быстро, что сама испугалась, словно и впрямь — впервые в жизни — ощутила над собой ужасную, внешнюю, демоническую власть, способную в любой момент согнуть ее в бараний рог в самом прямом, физическом смысле. Даже тело, воспитанное в ненависти и рабстве, было против нее самой. Это было ужасно. По-настоящему ужасно.

Лидочка снова распахнула шкафчик, трясущимися руками развинула станок Лужбина и вытряхнула на ладонь бритвенное лезвие, лиловатое, с надписью «Ленинград» и крошечным ржавым пятнышком на самой острой, почти невидимой, опасной кромке. Подушечки пальцев сразу стали мокрыми и холодными. «И правильно, — сказала Лидочка быстро, боясь передумать. — И давно надо было уже. Не поедem мы ни в какую Москву. Поедem лучше в Ленинград. Ленинград, Ленинград, покупай себе наряд! Красный! Синий! Голубой! Выбирай себе любой!» Она зажмурилась и даже тихонько зашипела, но было совсем не больно. Вот и все, успокоила она себя, потому что больше

успокаивать ее было некому. Вот и все. И, не открывая глаз, торопливо легла в почти наполнившуюся ванну.

Теплая вода тихо плескалась вокруг шеи — как будто подглаживала кожу голыми гладкими деснами. Запястьям и лодыжкам было щекотно, почти приятно, из открытого окна слабыми волнами приходил ветерок, едва ощутимый, ласковый, совсем летний, и вместе с ветерком порывами налетала мягкая усталость, будто после длинной — на целый день — счастливой прогулки по лесу, когда волосы полны солнечного света и сухой хвои, а руку оттягивает тяжелая, чуть поскрипывающая корзина с грибами, которые надо успеть перемыть и почистить дотемна, чтобы назавтра натушить полную кастрюлю — с мускатным орехом, петрушкой и сметаной, а глаза слипаются, ресницы такие тяжелые, такой тяжелый аромат кружится в голове — влажного подлеска, папоротников, нагретой солнцем коры, нет, не спи, не спи, не спи, разве хорошая хозяйка уйдет в спальню, не закончив все дела на кухне?

Ножик, выскользнув из дрогнувших пальцев, звякнул о дно раковины, и Лидочка, испуганно вздрогнув, проснулась.

Было совсем светло и отчего-то холодно. Она торопливо натянула прямо на мокрое, непослушное тело пижамку, на ощупь нашарила дверь и оказалась не в ожидаемом коридоре, обшитом тонко пахнущей золотистой вагонкой, а на пороге совершенно незнакомой комнаты — пустой, белой и какой-то нежилой, точно сразу после ремонта. Впереди была еще одна дверь, и Лидочка, скорее удивленная, чем испуганная, поспешила к ней, оставляя на чуть припудренном пылью полу гладкие, голые, мокрые следы. Точно — после ремонта. Вот ведь эти рабочие! И даже не подмели!

Дверь подалась легко — как и первая, и Лидочка, сделав шаг, поняла, что следующая комната ничем не отличается от предыдущей: все те же заляпанные известкой строительные козлы в углу, такие же гладкие, без единого окна, стены и даже дверь впереди — такая же. Новая, хорошая, импортная дверь. Дубовый шпон. Золотистая фурнитура. А за этой дверью — следующая и следующая. Анфилада.

Лидочка прибавила шаг, но комнаты не менялись, плыли, открываясь, одна за одной — светлые, пустые, одинаковые. Не страшные, нет. Просто странные — и оттого неприятные. Лидочка попробовала их считать, но быстро сбилась и потому просто шла и шла, раздвигая плечами воздух — такой же гладкий, светлый и нежилой, как все остальное.

Открывая очередную дверь, она вдруг почувствовала, что начала уставать, и тут же — словно эта усталость могла воплотиться, заметила, что пыли в комнате стало больше, а козлы потемнели и как будто покосились. Лидочка остановилась и оглянулась, словно хотела выяснить у кого-нибудь, можно ли отклониться от маршрута. Но позади было пусто и — сколько хватало глаз — зияли, все уменьшаясь и удаляясь, распахнутые двери. Лидочка осторожно подошла к козлам, потрогала скрипнувшие, разошедшиеся доски и только теперь, вблизи, увидела, что стены, прежде выбеленные, гладкие, покрылись едва заметной паутиной тончайших трещин.

Лидочка оглянулась еще раз и ощутила, как шевельнула ей волосы тихая лапа наплывающего ужаса. Она хотела крикнуть, позвать кого-нибудь, но представила себе, как ее голос, затихая, прокатится по бесконечным гулким комнатам, и промолчала, изо всех сил уговаривая себя успокоиться. Это просто комнаты. Много комнат. Я просто сплю. Совершенно точно — сплю. Но она, конечно, не спала.

Лидочка тронула строительные козлы еще раз — и из них выпал, мягко звякнув, жалобно изогнутый, с подржавленной рыжей шляпкой гвоздь. Она наклонилась, чтобы подобрать его и даже поперхнулась, увидев протянутую к гвоздю руку — худую, обтянутую сухой, сморщенной на костяшках кожей, пожилую женскую руку.

Свою собственную.

Несколько комнат она пробежала, зажмурившись, на ощупь, не слыша ничего, кроме свиста в собственных бронхах. Гулко и страшно хлопали двери, гулко и страшно колотило в виски и в горло сердце, и Лидочке казалось, что с каждым шагом оно становится все больше и больше, а тело, наоборот, усыхает, стягивается, превращается в мумию, в плотную жесткую куколку, в тлен.

Наконец дышать стало совсем нечем, и Лидочка остановилась и открыла глаза. Комната была все та же, только еще больше обветшала. Пыль крупными беззвучными клубками стояла в углах, у козел с неслышным хрустом подломила ножка, и они с тихим, совершенно человеческим вздохом опустились на колени. Лидочка лихорадочно ощупала лицо, волосы, но ничего не поняла и снова поднесла к глазам руки — да. Ей не показалось. Она старела. С каждой комнатой. С каждым шагом. Становилась старше. Нет, даже не старела. Умирала.

Лидочка вдруг осознала это совершенно ясно, и страх, преследовавший ее так долго и настойчиво, страх состариться, тотчас исчез, как будто единственное, что могло поглотить этот кошмар, была сама старость, и когда она пришла, бояться стало просто нечего. Лидочка постояла, не зная, что делать дальше, а потом вдруг собралась с духом и пошла дальше, вперед, медленно переставляя тяжелые, уродливые ступни — ступни профессиональной балерины, которые с каждым шагом все оплывали, превращаясь просто в босые некрасивые ноги старой женщины. Она больше не оборачивалась, потому что позади что-то *было*, Лидочка точно это чувствовала, и это что-то, невидимое, но осязаемое, тяжело и лениво напирало, подгоняя ее вперед. Идти было тяжело — она все хуже видела, все больше старческой спелой «гречки» появлялось на руках, совсем сморщенных, жалких, дрожащих, все меньше становилось света, все больше пыли, и когда козлы в углу окончательно стали грудой почти истлевшего мусора, Лидочка поняла, что дверь перед ней — последняя.

Сейчас я умру, — совершенно спокойно подумала она и из последних сил повернула потемневшую от старости ветхую ручку.

Улица блестела — мокрая и черная, как облизанный лакричный леденец.

В толстом столбе фонарного света дрожала сияющая водяная морось, пахло недавним дождем, горячими пончиками и крепким кофе из раскаленной медной джезвы. Из-за угла медленно вывернулась машина, прошелестела по жидкой, блестящей брусчатке, отражая выпуклыми боками короткие неоновые вспышки, плывущие окна и подмигивающее гнутыми розовыми трубками слово «Кофейня». По тротуару пробежала стайка подростков в коротких шумных плащах, крайняя девчушка задела Лидочку влажным плечом и, вместо того чтобы извиниться, широко улыбнулась. Блеснули зубы — тоже влажные, круглые и гладкие, как пляжные камешки-голыши из детства. С Черного моря.

Лидочка машинально улыбнулась в ответ, но девочки, путаясь в залитых колготками коленках, уже заворачивали за угол, унося с собой облако полудетского торопливого гомона и почти физически осязаемого счастья. Лидочка проводила их взглядом и тут только осознала, что она стоит на совершенно незнакомой улице — живая, восемнадцатилетняя, в желтой пижаме с пузатым котом, пришитым чуть повыше сердца, и вечер осторожно прикладывает к ее спине то одну, то другую зазябшую, мокрую ладонь. Осень — подумала Лидочка, ничему не удивляясь. Ранняя осень. Или поздняя весна. А у нас — лето.

Ее обошел еще один прохожий, крупный седеющий мужчина с огромной немецкой овчаркой на поводке. Собака мимоходом ткнула Лидочку кожаным приветливым носом. Как тебе не совестно? — тихо упрекнул овчарку мужчина и успокоил Лидочку — не бойтесь. Он не кусается. Я не боюсь, ответила Лидочка и потянулась погладить собаку по крупной, как у ребенка, теплой голове, но овчарка с достоинством посторонилась, и

Лидочкина рука осталась висеть в воздухе — молодая, тонкая, полная крепкой, живой, горячей крови.

— Барбариска!

Голос, звонкий, чуть надтреснутый от волнения, почти забытый, но все-таки невероятно, физически родной, заметался по мокрой улице, отталкиваясь, будто мячик, от мостовой, фонарных столбов, влажных, как будто покрытых мурашками стен.

— Барбариска!

Лидочка лихорадочно закрутила головой — и да, по тротуару бежала к ней, радостным крестом распахнув объятия, невысокая, кудрявая, в тоненьком серо-голубом скрипучем, почти целлофановом плаще, точно таком же, как... Лидочка шагнула навстречу, прижав к груди стиснутые, неверящие руки, словно пыталась закрыть глаза аппликационному коту.

— Ма, — откликнулась она беззвучным осиплым голосом. — Ма.

Домашние тапочки, набравшие черной ночной влаги, тихо, но отчетливо чавкнули.

— Мамочка!

— Барбариска!

Они обнялись так, что обе чуть не упали, Лидочка крепко ушибла себе плечо и даже не заметила, тыкаясь, как слепая, как маленькая, в знакомое, нежное, единственное тепло, мамины щеки, мамина мочка, полыхающая, полупрозрачная, с простенькой золотой сережкой, которая вечно норовила потеряться, мамин смех, запах — мамочкин, необыкновенный, родной, никак не желавший умирать, ушедший даже из памяти, но еще долго-долго живший в шкафу, давно уже оккупированном Царевыми, Лидочка иногда тайком приоткрывала дверцы и, зажмурившись, вдыхала все сразу — боль, тоску, тающие следы, последние молекулы собственного детства, но это редко, очень-очень редко. Она боялась выдышать весь мамин запах и остаться совсем уже, окончательно одной. Мамочка, мамочка, господи, мамочка, да как же я без тебя, как же я все это время!..

Мамочка то целовала ее куда попало горячими веселыми губами, то вдруг принималась тормозить и ощупывать, будто Лидочка свалилась с какой-то ужасной высоты и теперь надо было удостовериться, что все цело — и кости, и мышцы, и связки, и колготки даже не порвались. Вот молодец, только, чур, на чердак больше не лазить! Обещаешь? Худющая какая стала, прошептала мамочка куда-то Лидочке в ключицу лохматым от близких слез голосом. Тощая совсем. Одни косточки и остались. Лидочка хотела что-то сказать, но не смогла — и обе они вдруг заплакали и засмеялись одновременно, как умеют только женщины, и снова принялись обнимать друг друга и тискать, совершенно забыв, что они стоят посередине улицы, и только повторяя все время: ну как ты? Как ты? Господи! Мамочка! Барбариска! Как ты без меня? А ты? А ты? Как?

Они успокоились так же разом — будто вдруг отключились друг от друга, и Лидочка сразу почувствовала, что замерзла. Она передернула плечами, и мамочка тотчас снова обняла ее, потянула к себе — под крыло, под полу плаща, подбитую изнутри тоже не забытым, оказывается, родным, нежным, душноватым теплом. «Пани Валевска». Флакон упоительно синего стекла, на боку — белая кудрявая головка легкомысленной польской красавицы. Лидочка вдохнула простенький — всего на два такта — аромат, блаженно зажмурилась, прижалась всем телом — так крепко, что не разбирать было, где стучит ее, а где мамочкино сердце. Доченька моя, радостно сказала мамочка и потерялась щекой о Лидочкины волосы. Пойдем скорей. Папа тоже ужасно соскучился.

— Папа? — Лидочка вывернулась из-под плаща, отстранилась, посмотрела недоверчиво — как будто маленькая, как будто снизу, хотя они с мамочкой теперь были вровень. Лидочка, пожалуй, даже и выше. — Как — папа? Разве он тоже... — Лидочка хотела сказать «тоже умер», но не смогла. В это невозможно было поверить. Даже сейчас. Даже здесь.

— Ну да, папа. — Мамочка изумленно подняла брови, а потом вдруг поняла и огорченно ахнула, зажав руками рот, блеснуло знакомое обручальное кольцо, толстенькое, бочонком, с желтоватым бриллианчиком, втиснутым в золотое тесто. — Бабушка что же — так ничего тебе и не сказала?

Лидочка замотала головой — нет, ничего. То есть сказала, конечно, — что папа уехал. На заработки. Разве нет? Он же открытки мне ко всем праздникам присылал. Лидочка вспомнила коробку, в которую аккуратно складывала картонки, разрисованные цветами, мишками и воздушными шарами. Яркие марки. Торопливый размашистый почерк. «Дорогая моя доченька! Поздравляю тебя! Учись хорошо, слушайся бабушку. Твой папа». Чернила то синие, то черные. Неразборчивый штемпель. Никакого обратного адреса. Никогда.

Мамочка снова заахала.

— Да нет же, какие открытки! Он действительно уехал, только... Ну да, почти сразу после моих похорон. Представляешь, вернулся в Адлер, ну, там, где мы на море были, помнишь? Правда, наша комната была уже занята, но он как-то... В общем, ему позволили переночевать в соседней, и он, дурак такой... Ох, я так ругалась, ты не представляешь! Бросить тебя совсем одну! Но что уже было поделать? Его только утром нашли. Сама понимаешь. Было поздно.

— А как же деньги? — спросила Лидочка, все еще не веря. — Деньги. Папа ведь мне деньги переводил каждый месяц. Галина Петровна показывала. На сберкнижку. Она все это потом в свой банк перевела, так что ничего не сгорело, ни копеечки, даже в дефолт.

— Потому и не сгорело, что это ее деньги были, — объяснила мамочка. — Она сама тебе и переводила. Вообще странно, конечно, что она ничего тебе не сказала, хотя... — Мамочка на мгновение задумалась, а потом весело тряхнула кудрявой головой. — Может, так и правильней. Кто же знает. Ну, пойдем, господи, а то ты промокнешь совсем. Расскажешь нам с папой все-все-все.

— Как в детстве? — спросила Лидочка — В мелких подробностях?

— В мелких подробностях, — засмеялась мамочка. — Мы же ничего про тебя не знаем! Тут ведь все, как у вас. Газеты врут, по телевизору сплошные сериалы. Новости только от знакомых. А их дождись еще, знакомых этих! И потом не все правду говорят, сама понимаешь, некоторые так просто сплетничают! Вот, например, когда... А, да что там говорить. Пойдем лучше домой.

— Домой, — повторила Лидочка, не веря.

Домой. Наконец-то домой.

Мамочка снова обняла ее за плечи, притянула, и ночная улица тотчас, задрожав, поплыла куда-то в сторону, а потом и вовсе расплылась, набухла, вот-вот готовая перелиться и торжественно, как улитка, поползти по щеке. Мамочкино лицо на мгновение тоже исказилось, поехало по невидимым швам, стало уродливым, чужим — на мгновение даже нечеловеческим.

Лидочка, вздрогнув, отстранилась.

— Ты что, Барбариска? — спросила мамочка ласково, и Лидочка, быстро смаргивая влагу, попыталась улыбнуться. Ее вдруг затрясло изнутри мелкой, безостановочной дрожью. В одной пижаме. Вечером. В незнакомом месте. Под дождем. Что это, собственно? Где? Что? Как я сюда попала?

На мать она больше не смотрела. Боялась.

— Барбариска.

Лидочка молчала, глядя прямо перед собой. В кофейне напротив хлопнула дверь. По мостовой плавно проплыл светящийся изнутри автобус, полный беззвучно, как в немом кино, жестикулирующих людей.



— Барбариска!

В мамочкином голосе, возле самого дна, зазвенело тонкое, синеватое, как сталь, недовольство — как всегда, когда Лидочка не слушалась.

— И не думай даже никуда идти, — спокойно сказал Лазарь Линдт, встряхивая и закрывая зонт, заросший живыми ртутными каплями. Он был настолько похож на собственную фотографию, что Лидочка даже не удивилась. Мамочка. Папа. Теперь вот еще и он. Она посомневалась, можно ли называть Линдта дедушкой, или, как и с Галиной Петровной, придется соблюдать какие-то церемонии.

Линдт засмеялся, словно прочитал эти мысли, и, привстав на цыпочки, поцеловал Лидочку в щеку. От него вкусно пахло кофе — настоящим, крепким, с пенкой и коричной палочкой.

— Какие уж тут церемонии, — сказал он. — Зря ты вообще все это затеяла. Давай, дуй скорей домой.

— Домой, — эхом откликнулась мамочка, и Лидочка машинально шагнула к ней, все еще боясь взглянуть, но все-таки — к мамочке. Линдт нахмурился и неожиданно молодым, быстрым движением преградил ей дорогу.

— Я сказал — возвращайся. Брысь. И чтоб я тебя здесь больше не видел.

За спиной у него мелькнуло, шурша, голубое, и Линдт, поморщившись, развел руки, мешая мамочке пройти.

— Быстрей давай, — поторопил он Лидочку. — Ты что, не знаешь, где у тебя дом?

— Нет, — честно ответила Лидочка. — Не знаю.

— Назад обернись, — велел Линдт.

И Лидочка обернулась.

За спиной было окно. Обычное окно в первом этаже немолодого дома — хотя, конечно, должна была быть дверь — та самая, последняя, к которой она шла, старея, анфиладами своего сна. За стеклом, на подоконнике — с той стороны, с которой, Лидочка точно помнила, не было ничего, кроме череды пустых ветшающих комнат, — сидели, освещенные празднично, точно в театре, дети. Мальчик и девочка. Погодки. Девочке было лет семь, и у нее был курносый нос и хорошенькие кудряшки, на которых, как стрекоза на цветке, примостился, большой, в горошек, бант — очень легкомысленный и повязанный явно взрослой, женской, любящей и балующей рукой. Девочка что-то сердито выговаривала мальчику, крупному, сумрачному увальню в тесноватой разноцветной рубашке, и по тому, как мальчик невнимательно и обиженно слушал, было ясно, что он, несмотря на крепкие щеки и преимущество в росте, все-таки безнадежно младше, может быть, даже на целый год, но мириться с этим не намерен, нет, не намерен! Девочка недовольно ткнула его кулачком в круглое плечо и, словно почувствовав Лидочкин взгляд, взгляделась в законную темноту — напряженно, серьезно, точно взрослая.

— Кто это? — испуганно спросила Лидочка.

Линдт за ее спиной сухо хмыкнул.

— Ну же, — сказал он. — Думай. Соображай.

Лидочка присмотрелась — и, точно кто-то повернул картонную трубу калейдоскопа, лица детей вдруг распались на отдельные знакомые черты: смоляные завитки Линдта, улыбка мамочки, квадратный лоб Лужбина, ее собственная ямочка на щеке мальчика, тоже принадлежавшая прежде Галине Петровне, а до этого — кому-то еще, кому-то неизвестному по имени, давно забытому, но все равно родному. Кровь, смешиваясь, толчками застучала у Лидочки в висках, в запястьях, отдаваясь в груди мальчика, розовым ярким светом наполняя девочкины губы и веки, пульсируя сразу в миллионе вен — прошедших, будущих, настоящих.

Это мои внуки, вдруг поняла Лидочка. Все не закончилось. Совсем нет. Все продолжается. Но как же тогда? Но почему же? Она шагнула к окну, словно собираясь постучать, и тотчас у нее за спиной страшно закричала мамочка.

— Не пуцу! Нет, не пуцу! Барабариска!

Лидочка обернулась.

— Быстрее, — сказал Линдт, — ну же, быстрее.

Что-то билось у него в руках изо всех сил, вырываясь, что-то страшное, не мамочка, нет, но оскалившийся Линдт держал крепко, очень крепко, так что Лидочка почувствовала, как напрягаются под сухой кожей мышцы, как сжимают ее сильные мужские руки и все вокруг наливается светом, смыслом и торжественным плеском. Вода, тяжелая, теплая, текла уже не сквозь — а с нее, давай, давай, быстрее, закричал Линдт, я держу ее, возвращайся, давай, возвращайся, и Лидочка с размаху, двумя руками, ударила по оконному стеклу, так что все вокруг на секунду словно застыло, а потом взорвалось и осыпалось миллионом хрустящих сияющих осколков, и она побежала вслед за смеющимися детьми назад, по комнатам — теперь совершенно живым, полным прекрасных людей, дружелюбных собак и старой добродушной мебели. Все сильнее пахло мастикой, яблочным пирогом и можжевельновыми ветками, и все стремительнее приближался свет — ослепительный, плотный, молочный, полный такой радости, что Лидочка засмеялась тоже, а свет все приближался, пока не ударил ее по лицу сильной горячей ладонью, и еще раз. И еще раз. И еще.

— Ну же! — совсем близко, прямо над ухом, закричал Лужбин.

— Ну же, девочка, давай!

И Лидочка очнулась.

Лужбин стоял над ней на коленях, и лицо у него — даже не бледное, синеватое — прыгало, ходило ходуном: дрожали перекошенные губы, подбородок, дергалась изуродованная тиком щека.

— Ты, — сказал он, словно не узнавая, не веря, что Лидочка вернулась, что она вообще могла попытаться уйти. Ты...

Лидочка хотела ответить, но губы не слушались, шелестели, шелестела, уносясь в сток, полная ее крови вода, и отчего-то было очень больно спине, а еще несильно, но длинно ныли щиколотки и запястья, крепко стянутые распущенной на бинты простыней, какой все-таки молодец, умница. Ваня. Догадался. Спас... Спас... Спасибо.

Лужбин наклонился, пытаясь расслышать, и Лидочка, изо всех сил напрягая голос, прошептала — я... Я... Хочу...

— Что ты хочешь, Лидушка? — Лужбин приподнял ее за плечи. — Попить? Водички, может? Сейчас скорая приедет, потерпи, родная. Сейчас уже. Прямо сейчас.

Лидочка упрямо мотнула головой и наконец закончила.

— Я хочу остаться, — твердо выговорила она и сама удивилась, потому что никогда в жизни не говорила так, и никогда в жизни ничего для себя не хотела, не смела, а оказалось, что это так просто, надо всего-навсего набрать полную грудь воздуха и сказать. Просто сказать.

— Я хочу остаться, — повторила Лидочка, и Лужбин сразу понял, о чем она — о доме, о нем самом, обо всей жизни, которая с этой секунды наконец-то и навсегда стала у них общей, одной на двоих, как он и хотел, а теперь захотела и она, Лидочка. Она сделала свой выбор, впервые кто-то выбрал его, вот так — осознанно, по-настоящему, и Лужбин, задыхаясь от благодарности, заплакал, уткнувшись лицом в Лидочкин живот, впалый, почти детский, но уже таивший в своих золотистых потемках никем пока не прочитанную и не узнанную следующую главу.

За воротами резко вскрикнула недовольная ранним вызовом скорая, и серый от предрассветной усталости врач попытался затушить в переполненной пепельнице докуренный до картонного фильтра слюнявый бычок, но промахнулся. Господи, ты глянь, какой дворец, Вася, и что им, буржуям, не живется, ненавижу этих суицидальников, четвертый случай за неделю, и одни сплошные истерики, всех бы в психушку упек, честное слово, без права переписки, и хоть бы одна сволочь вены резала, как надо, — не поперек, а вдоль, вдоль, вдоль, так нет же — спасай их за эту зарплату, сволочей, ну, ладно, тормози давай, вот так, задом, задом сдавай, а то носилки не вопрем.

Врач выскочил из скорой, придавившей колесом посаженные еще Марусей золотые шары, и пошел навстречу дому — той же тропинкой, что шла когда-то к своей ведьме молоденькая Галина Петровна, и все было по-настоящему, все наконец-то распуталось, разрешилось и вновь соединилось — на этот раз навсегда: и любовь, так долго блуждавшая по этой истории, так долго не умевшая попасть в такт, и этот дом, и холодный вкусный воздух, и медленно выплывающее из-за розовых сосен круглое и тоже розовое солнце, такое громадное, что где-то далеко-далеко засмеялся от радости Лазарь Линдт.

Засмеялся и поцеловал маленькую, теплую, бессмертную Марусину руку.

## Примечания

### 1

Что значит знать? Вот, друг мой, в чем вопрос.

На этот счет у нас не все в порядке.

Немногих, проникавших в суть вещей

И раскрывавших всем души скрижали,

Сжигали на кострах и распинали,

Как вам известно, с самых давних дней.

*Гёте, Фауст. Перевод Б. Пастернак*

### 2

Он рвется в бой, и любит брать преграды,

И видит цель, манящую вдали,

И требует у неба звезд в награду

И лучших наслаждений у земли,

И век ему с душой не будет сладу,

К чему бы поиски ни привели.

*Гёте, Фауст. Перевод Б. Пастернак*

### 3

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Судья истинный (*иврит*).

Взято из Флибусты, [flibusta.net](http://flibusta.net)



